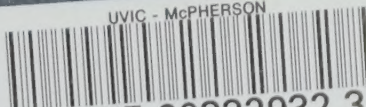


UVIC - McPHERSON



3 2775 90332932 3





UNIVERSITY  
OF VICTORIA  
LIBRARY











# СОЧИНЕНІЯ Д. И. ПИСАРЕВА.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ  
ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и статьей ЕВГЕНІЯ СОЛОВЬЕВА (автора біографіи Писарева).

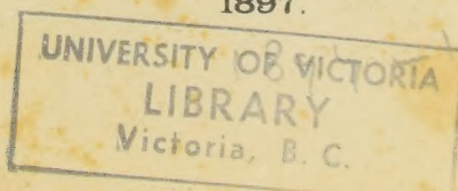
ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Цѣна каждаго тома 1 рубль.

Портретъ автора и статья о его литературной дѣятельности  
помѣщены при шестомъ томѣ.

Изданіе Ф. Павленкова.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Типографія А. Пороховщикова, Бассейная, д. № 3—5.  
1897.









# Оглавленіе перваго тома.

1859.

	стр.
1) Первые литературные опыты . . . . .	1

1861.

2) Несоразмѣрныя претензіи . . . . .	225
3) Народныя книжки . . . . .	237
4) Идеализмъ Платона . . . . .	257
5) Физиологическіе эскизы Мошешота . . . . .	281
6) Процессъ жизни . . . . .	307
7) Схоластика XIX вѣка . . . . .	331
8) Стоячая вода . . . . .	401
9) Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ . . . . .	437
10) Женскіе типы . . . . .	481
11) Библиографическія замѣтки . . . . .	529
12) Меттернихъ . . . . .	561









## ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ.

(Библиографическія замѣтки и критическія статьи изъ журнала «Разсвѣтъ», 1859 г.).

### Записки доброй матери или послѣднія ея наставленія при выходѣ дочери въ свѣтъ.

Спб. 1858 г. Ц. 1 р.

Книга эта, по своему важному предмету, заслуживаетъ полнаго нашего вниманія. Эти послѣднія наставленія, писанныя отъ имени умирающей матери, заключаютъ въ себѣ взглядъ автора на значеніе женщины, на положеніе ея въ обществѣ и на ея обязанности. Вся книга раздѣляется на 4 части.

Въ первой части авторъ говоритъ о женщинѣ вообще и опредѣляетъ ей мѣсто въ природѣ. Мнѣнія его о различномъ назначеніи мужчины и женщины довольно вѣрны, но не новы; первому онъ предоставляетъ дѣятельность внѣшнюю, государственныя и общественныя заботы; на долю второй оставляетъ домашнюю жизнь, воспитаніе дѣтей, дѣятельность въ семейномъ быту. Можно однако замѣтить, что дѣленіе это у него сдѣлано слишкомъ рѣзко и вредитъ разумной самостоятельности женщины, ставя ее въ полную зависимость, во-первыхъ—отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, во-вторыхъ—отъ мужчины. Почему-же женщинѣ не заняться наукою для науки, почему ей не посвятить себя искусству, ежели она чувствуетъ къ тому внутреннее призваніе? Вообще первая часть, кромѣ этого отдѣла, заключаетъ въ себѣ общія мѣста о необходимости сохранять здоровье, заботиться до нѣкоторой степени о наружности и обогащать умъ познаніями; во всемъ этомъ нѣтъ ничего новаго; самыя гигиеническія указанія очень неопредѣленны и ограничиваются совѣтами быть умѣренной во всемъ, беречься простуды, избѣгать сквозного вѣтра.

Во второй части говорится о добродѣтеляхъ, необходимыхъ для женщины, и объ образованіи ея ума. Говоря о сердцѣ женщины, авторъ какъ-то странно отдѣляетъ душу отъ сердца и старается опредѣлить различіе между тѣмъ и другимъ.

«Душа — мать добродѣтелей, сердце — источникъ чувствъ нашихъ; душа дѣлаетъ насъ достойными любви, а сердце учитъ любить; душѣ мы обязаны счастьемъ, а сердцу—способами, какъ пользоваться этимъ счастьемъ; первая, бывъ безпрестанно дѣятельна, требуетъ силы, постоянства; второму необходимы чувствительность и доброта, потому что оно постоянно любитъ. Душа совершеннѣе, а сердце прекраснѣе; добрая душа, кажется, не подвластна никакому заблужденію, а наилучшее сердце можетъ ошибиться».

Это чрезвычайно непонятно; вообще авторъ любитъ раздѣлять то, чего раздѣлять нѣтъ ни надобности, ни возможности; при этомъ онъ вдается въ такія психологическія тонкости, которыя только затемняютъ дѣло и въ сущности ни къ чему не ведутъ; такъ напримѣръ онъ отдѣляетъ «доброту» отъ «добродѣтели», «неаккуратность» отъ «беспорядка» и долго разсуждаетъ о мнимомъ различіи ихъ между собою. Несмотря на эти недостатки, изложенія о добродѣтели, необходимой для женщины, опредѣлены вѣрно; указывая на добродѣтель, авторъ въ то-же время упоминаетъ и о тѣхъ крайностяхъ, къ которымъ можетъ повести излишнее преобладаніе самаго благороднаго качества. Доброта можетъ перейти въ слабость, чувствительность часто разстраиваетъ здоровье, постоянство иногда доходитъ до упрямства. Что касается до развитія умственныхъ способностей, то основной взглядъ автора на образованіе женщины совершенно невѣренъ. Вотъ его подлинныя слова:

«Всѣ даже науки и искусства, которыми женщины преимущественно занимаются въ молодости, имѣютъ двоякую цѣль: первая—придать себѣ прелести и пріобрѣсть средства всѣмъ нравиться; вторая, по моему, болѣе важная, — удѣлять ихъ дѣтямъ».

А гдѣ-же внутренняя самостоятельность женщины? Неужели она должна развивать свой умъ только для свѣта, для мужа и для дѣтей? Неужели она должна совершенно оставить въ сторонѣ свою собственную личность? Нѣтъ, женщина должна также учиться и для самой



себя; она должна развивать свои умственные способности для того, чтобы возвысить и облагородить свою личность, чтобы выработать себѣ свѣтлый взглядъ на вещи, чтобы освободиться отъ предразсудковъ, чтобы сдѣлаться нравственно совершеннѣе. Женщина, близкая къ идеалу, развитая во всѣхъ отношеніяхъ, всегда будетъ и хорошею женой, и примѣрною матерью. Эта невѣрность взгляда автора на цѣль образованія женщины выражается въ томъ, что онъ ограничиваетъ и стѣсняетъ кругъ наукъ, которыхъ изученіе считаетъ необходимымъ; самый процессъ изученія является поверхностнымъ и недостаточнымъ. Глава о чтеніи содержитъ въ себѣ полезные совѣты и указанія на то, что нужно читать со вниманіемъ и дѣлать выписки; жаль только, что авторъ возстаетъ противъ всѣхъ романовъ безъ исключенія и не допускаетъ даже существованія такихъ романовъ, въ которыхъ можно было бы видѣть жизнь и людей безо всякихъ прикрасъ,—въ томъ свѣтѣ, въ какомъ являются они на самомъ дѣлѣ. А такіе романы и повѣсти существуютъ, и чтеніе ихъ, не оскорбляя ни нравственности, ни приличія, развиваетъ чувство изящнаго и даетъ правильный взглядъ на жизнь.

Третья часть говоритъ о недостаткахъ, которыхъ должна остерегаться дѣвушка; это лучшая часть всей книги; самые недостатки подмѣчены и опредѣлены очень вѣрно, но любящая мать подтверждаетъ слова свои примѣрами, взятыми изъ жизни,—примѣрами, въ которыхъ, разумѣется, порокъ наказывается и торжествуетъ добродѣтель. Лучше было бы, когда бы этихъ примѣровъ совсѣмъ не было; пора перестать говорить съ дѣвушкою, какъ съ ребенкомъ; довольно объяснить ей, что дурно и что хорошо, зачѣмъ-же еще грозить ей наказаніемъ; добродѣтель должна быть слѣдствіемъ сознанія долга и внутренняго убѣжденія, а дѣлать добро по заказу, для награды или по страху наказанія мелко и недостойно развитого человѣка. Къ тому-же почти всѣ наказанія, которыми грозитъ маменька, состоятъ въ томъ, что можно по тому или другому недостатку упустить блестящую партію. Странно! Неужели же дѣвушка должна исправляться отъ своихъ недостатковъ для того только, чтобы поскорѣе выйти замужъ? Это оскорбляетъ достоинство женщины. Кромѣ того самъ авторъ противорѣчитъ себѣ, потому что въ 4-й части мать убѣждаетъ дочь свою не спѣшить замужествомъ, говорить о прелести дѣвической жизни и замѣчаетъ, что лучше весь вѣкъ остаться въ дѣвушкахъ, нежели выйти замужъ кое-какъ, не обсудивъ этого важнаго шага и не узнавъ коротко жениха.

Четвертая часть состоитъ изъ общихъ разсужденій о дружбѣ, о любви, о семейной жизни и о свѣтскихъ отношеніяхъ. Въ этихъ рассу-

жденіяхъ много хорошаго, когда говорится объ обязанностяхъ жены и матери; но странно, что авторъ ставитъ супружество по «разсудку и уваженію» выше брака «по истинной любви». На любовь авторъ смотритъ какъ-то не совсѣмъ дружелюбно, онъ смѣшиваетъ истинное чувство, основанное на взаимномъ уваженіи и пониманіи, съ пустою игрою фантазіи.

Авторъ, какъ мы видѣли, не понималъ истиннаго значенія женщины и безсознательно отнялъ у нея то высокое мѣсто, которое она должна занимать въ человѣческомъ обществѣ. Въ частностяхъ, чисто практическіе совѣты его могутъ принести пользу, но основной взглядъ рѣшительно не выдерживаетъ критики.—Изложеніе очень неудовлетворительно: риторическія фигуры и избытокъ сравненій встрѣчаются на каждомъ шагу; попадаютъ даже въ очень серьезномъ разсужденіи выраженія «храмъ Гименея», «крылатый божокъ» и тому подобныя вычурности. Языкъ тяжелъ, а мѣстами даже совершенно неправиленъ.

#### Стихотворенія Юліи Жадовской.

Всѣ стихотворенія Ю. Жадовской проникнуты истиннымъ, неподдѣльнымъ чувствомъ, которое вездѣ преобладаетъ надъ поэтическимъ творчествомъ; оттого въ каждомъ стихотвореніи есть что-то недосказанное, неопредѣленное; мысль и чувство не всегда находятъ себѣ соотвѣтствующіе образы и не вполне укладываются въ словѣ. Несмотря на эту недостаточность формы, несмотря на эту недосказанность и неопредѣленность, искренность чувства и тихая задушевная грусть придаютъ стихотвореніямъ Ю. Жадовской особенную трогательную прелесть; грусть эта ищетъ себѣ отраженія въ явленіяхъ природы; и восходъ солнца, и лѣтній вечеръ, и легкое облачко, и падающая звѣзда находятъ себѣ сочувствіе въ душѣ Ю. Жадовской и наводятъ на нее мрачныя мысли; то тоскуетъ она о несовершенствахъ жизни, то груститъ собственнымъ горемъ, то съ печальной улыбкой вспоминаетъ о невозвратимомъ прошедшемъ. И вездѣ господствуетъ глубокая затаенная грусть, которая выражается просто и безъ искусственности. Укажемъ нашимъ читательницамъ на нѣкоторыя изъ лучшихъ стихотвореній Ю. Жадовской. Къ числу такихъ стихотвореній относятся: «Исторія цвѣтовъ», XXXIX-е, «Сила звуковъ», XLVII-е, «Необходимое при творство», «Неутоленная жажда», XCIX-е, «Нива», «Посѣвъ», «Посѣщенія». Мы обратили вниманіе нашихъ читательницъ только на самыя замѣчательныя изъ поэтическихъ произведеній Ю. Жадовской,—на тѣ, въ которыхъ форма всего болѣе соотвѣтствуетъ содержанію, въ которыхъ прекрасная идея выражается въ художественномъ образѣ. Приводимъ для примѣра



стихотвореніе 1-е, замѣчательное по глубинѣ мысли:

Лучшій перлъ таится  
Въ глубинѣ морской;  
Звѣтъ мысль святая  
Въ глубинѣ души.  
Надо сильно бурѣ  
Море взволновать,  
Чтобъ оно въ бореньи  
Выбросило перлъ;  
Надо сильно чувствую  
Душу потрясти,  
Чтобъ она въ восторгѣ  
Выразила мысль.

Въ этомъ стихотвореніи лежитъ глубокая идея. Только сильное волненіе можетъ вызвать наружу завѣтную мысль, которая таится въ глубинѣ души; человѣкъ бережетъ и лелѣетъ эту мысль, не хочетъ и не можетъ ея высказать; она для него священна, онъ боится подѣлиться ею съ другими, которые, быть можетъ, не поймутъ ея; она слишкомъ сильна, слишкомъ обширна, чтобы выразиться, и до времени таится, но настанетъ рѣшительная минута, которая потрясаетъ всю внутреннюю природу человѣка, и эта завѣтная мысль съ неудержимой силою, легко и свободно вылетаетъ во вдохновенномъ словѣ, или въ гениальномъ произведеніи. Сравненіе задушевной мысли съ перломъ, выброшеннымъ моремъ во время бури, образъ, въ которомъ выражена эта прекрасная идея, немного натянуть, и потому слабъ и блѣденъ. Приводимъ для сравненія стихи Шиллера, въ которыхъ высказывается та-же мысль:

Ich wohn in einem steinernen Haus,  
Da lieg ich verborgen und s'hlafe,  
Doch ich trete hervor, ich eile heraus  
Gefordert mit eiserner Waffe.  
Erst bin ich unscheinbar und schwach und klein,  
Mich kann dein Athem bezwingen;  
Ein Regentropfen schon saugt mich ein,  
Doch mir wachsen im Siege die Schwingen:  
Wenn die mächtige Schwester sich zu mir gesellt,  
Erwachs'ich zum furchtbarn Gebieter der Welt.

Какой оригинальный образъ: сравненіе гениальной мысли и поэтического творчества съ искрою, которая отъ удара желѣза вырывается изъ холоднаго кремня и разрастается въ могучій пламень,—это одно изъ такихъ сравненій, которыя составляютъ принадлежность великихъ поэтовъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что этотъ прекрасный образъ рѣшительно не переданъ въ русскомъ переводѣ Мейснера:

Я въ каменномъ домѣ незримо живу  
И сплю въ безмятежномъ покоѣ;  
Но я не могу не предстать на яву,  
Заслыша оружье стальное.  
Сперва я чуть видимъ, безсиленъ и малъ,  
Дыханье твое мнѣ опасно;  
Довольно дождинки — я въ мигъ и пропадъ,  
Но въ сушѣ расту я ужасно:  
Когда же со мною мой братъ заодно—  
Весь міръ мнѣ тогда устрашать суждено.

(Шиллеръ въ переводѣ русскихъ поэтовъ,  
т. II, стр. 195.)

Изъ стихотвореній Ю. Жадовской приведемъ еще одно, въ которомъ выражено поэтическое сочувствіе къ бѣдной, трудовой жизни поселенина:

Грустная картина!  
Облакомъ густымъ  
Вьется изъ овина  
За деревней дымъ.  
Незавидна мѣстность:  
Скудная земля,  
Плоская окрестность,  
Выжаты поля.  
Все какъ бы въ туманѣ,  
Все какъ будто спитъ...  
Въ худенькомъ кафтанѣ  
Мужичекъ стоитъ,  
Головой качаетъ,—  
Умоляетъ плохой,—  
Думаетъ, гадаетъ:  
Какъ-то быть зимой?  
Такъ вся жизнь проходитъ  
Съ горемъ пополамъ;  
Тамъ и смерть приходитъ,  
Съ ней конецъ трудамъ.  
Причастить больного  
Деревенскій попъ:  
Принесутъ сосновый  
Отъ сосѣда гробъ;  
Отпоютъ уныло...  
И старуха мать  
Долго надъ могилой  
Будетъ причитать...

Какимъ теплымъ, мягкимъ сочувствіемъ дышатъ эти простыя, безыскусственныя строки; это простой рассказъ жизни поселенина,—рассказъ, вылившійся прямо изъ души поэта, не получившій въ словѣ никакихъ прикрасъ, но зато проникнутый тихою, какъ бы робкою грустью и глубокимъ искреннимъ чувствомъ. Въ этихъ стихахъ нѣтъ ни претензіи на эффектъ, ни желчи, ни сатирическихъ выходокъ; въ нихъ отразилась мягкая, нѣжная душа женщины, которая понимаетъ несовершенства жизни и груститъ молча и безропотно. Такое направленіе проходитъ чрезъ всѣ стихотворенія Ю. Жадовской, но не вездѣ выражается въ такой опредѣленной и законченной формѣ. Кромѣ того въ другихъ произведеніяхъ Ю. Жадовской вниманіе поэта обращено на свой внутренній міръ, и причиною неясности является отчасти самый предметъ. Понять, уловить, выразить въ поэтической формѣ движеніе собственной души—неопредѣленное чувство, несознанное стремленіе, труднѣе, нежели изобразить внѣшнюю природу. При первомъ нуженъ глубокий психологическій анализъ, при второмъ—достаточно одного поэтического чувства. Во всякомъ случаѣ, обращаемъ вниманіе нашихъ читателей на стихотворенія Ю. Жадовской; многія изъ указанныхъ нами произведеній стоятъ на ряду съ лучшими созданіями русской поэзіи. Къ тому-же женщина лучше насъ пойметъ и оцѣнитъ чувства женщины и сердечнымъ сочувствіемъ отзовется на задушевное, грустное слово.

**Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова.**  
*А. Г. Е—А. («Отечеств. Записки», 1858 г., январь).*

Наталья Борисовна Долгорукова, дочь фельд-маршала графа Бориса Петровича Шереметева, въ началѣ царствованія Анны Іоанновны вышла замужъ за князя Ивана Алексѣевича Долгорукова, бывшаго любимцемъ Императора Петра II. Когда весь родъ Долгоруковыхъ въ царствованіе Анны Іоанновны подвергся опалѣ, Наталья Борисовна послѣдовала за мужемъ своимъ въ ссылку, — сначала въ дальнія деревни, потомъ Спбѣрь, въ Березовъ. Девягъ лѣтъ прожила она въ изгнаніи; мужъ ея былъ казнень вмѣстѣ съ тремя своими дядями, а Наталья Борисовна, возвращенная изъ ссылки при Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, удалилась въ Кіевскій монастырь и умерла схимницею. Вотъ въ нѣсколькихъ словахъ біографія знаменитой страдальцы, — женщины, посвятившей всѣ силы души святому чувству, — женщины, которой имя осталось въ исторіи, хотя она не была ни правительницей, ни писательницей, — хотя жизнь ея была только длиннымъ рядомъ страданій. Особенно утѣшительное явленіе представляетъ свѣтлый образъ княгини Долгоруковой въ половинѣ XVIII столѣтія среди безпрестанныхъ переворотовъ и смутъ, среди сценъ насилій и дворцовыхъ интригъ. Наталья Борисовна узнала и полюбила Ивана Алексѣевича при жизни Императора Петра II, когда Долгоруковы стояли еще наверху могущества, когда всѣ ожидали, что Иванъ Алексѣевичъ заступитъ мѣсто павшаго Меншикова, когда сестра его была обрученною невѣстою Государя. Но Императоръ умираетъ, и сцена перемѣняется. Долгоруковы сходятъ съ политическаго поприща, и въ городѣ уже носятъ слухи объ окончательной ихъ опалѣ. Родственники Натальи Борисовны убѣждаютъ ее отказать жениху. Но 16-лѣтняя дѣвушка съ негодованіемъ отвергаетъ всѣ ихъ доводы. «Когда онъ былъ великъ, — пишетъ она въ своихъ запискахъ, — такъ я съ удовольствіемъ за него шла, а когда онъ сталъ несчастливъ, отказать ему? Я такому безсовѣстному совѣту согласія дать не могла и такъ положила свое намѣреніе, отдавъ одному сердцу, жить или умереть вмѣстѣ, а другому нѣтъ уже участія въ моей любви». Возникаетъ вопросъ, — нѣмѣ ли князь Долгоруковъ, ожидавшій опалы, право связать судьбу свою съ участіемъ прелестнаго молодого существа, которому повидимому такъ улыбалась жизнь? Зная историческую личность князя Долгорукова, трудно рѣшить, понималъ ли онъ великость подвига своей невѣсты, былъ ли онъ способенъ оцѣнить ее, и потому нельзя сказать утвердительно, какая побудительная при-

чина заставила его принять приносимую ему жертву. Въ счастливые дни свои онъ является намъ обыкновеннымъ временщикомъ, надменнымъ и честолюбивымъ, и только очистительная сила несчастія облагородила его, дала ему средство умереть истиннымъ человекомъ и спасла его память отъ нареканій потомства. Въ несчастіи смыслъ онъ съ себя пагубные слѣды тогдашняго превратнаго воспитанія и положенія своего при дворѣ; въ несчастіи является онъ человекомъ съ великой душой, достойнымъ любви своей супруги. Одно то обстоятельство, что онъ могъ быть любимымъ такою женщиною, какова была Наталья Борисовна, доказываетъ намъ, что онъ стоялъ выше уровня людей того времени, выше мелкихъ бездушныхъ честолюбцевъ. Что касается до личности самой княгини, то конечно она не принадлежитъ къ своему вѣку; она гораздо выше его и возбуждаетъ теплое, почтительное чувство. Вы не ограничитесь однимъ уваженіемъ, вы полюбите ее какъ благородную женщину, умѣющую любить, умѣющую страдать. Это не античная статуя, поражающая правильностью формъ, строгая и холодная; это живая женщина съ истинно чело-вѣческимъ, глубокимъ чувствомъ.

Скажемъ нѣсколько словъ о самой статьѣ. Это, по словамъ самого автора, не исторія, а только бѣглый очеркъ одной изъ благороднѣйшихъ личностей исторіи. Изъ нея читательницы наши, незнакомыя съ Наталіею Борисовною, могутъ вкратцѣ (въ этой статьѣ всего 26 стр.) узнать главные факты ея жизни и характеръ той эпохи, въ которой она жила и дѣйствовала.

Паденіе Меншикова, обрученіе Петра II съ княжною Долгоруковой и смерть его, вступленіе на престолъ Анны Іоанновны описаны довольно живо и подробно, можетъ быть даже слишкомъ подробно по объему всей статьи. Обстановка — важное дѣло; не зная ея, не зная духа времени, нельзя понять ни личности героини, ни смысла событій; тѣмъ не менѣе не должно въ пользу этой обстановки жертвовать главнымъ дѣйствующимъ лицомъ; на него обращено слишкомъ мало вниманія сравнительно съ окружающими его обстоятельствами; оно не выдвигается на первый планъ и иногда даже теряется изъ виду втеченіе нѣсколькихъ страницъ. — Нужно было говорить не столько о ходѣ политическихъ событій, сколько о впечатлѣніи, какое производили они на княгиню Долгорукову. Это ближе обрисовало бы ея характеръ; но, повторяемъ, рассказъ, когда онъ касается личности Натальи Борисовны, дѣлается очень интересенъ, тѣмъ болѣе, что онъ оживленъ цитатами изъ ея записокъ, въ которыхъ она съ такой благородной простотою, съ такой покорностью сама говоритъ о своихъ несчастіяхъ.



**Образование женщинъ средняго и высшаго состояній. Г. Аппелърота.** («Отечеств. Записки» 1858 г. № 2).

Хотя статья Аппелърота написана болѣе для матерей семейства и для педагоговъ, нежели для нашего круга читателей, мы не можемъ пройти ее молчаніемъ; предметъ слишкомъ важенъ и слишкомъ близко касается цѣли и направленія нашего журнала. Всѣмъ извѣстно, что воспитаніе женщинъ въ наше время еще не вполне соотвѣтствуетъ высокому ихъ назначенію; со временъ Грибоѣдова, поднявшаго въ «Горе отъ ума» вопросъ о нашихъ женщинахъ, говорятъ и пишутъ о *миширномъ блескѣ, о внутренней пустотѣ* женскаго воспитанія, а до сихъ поръ еще не все переговорено. Слова остаются словами. Теоріи не проводятся въ жизнь. Женщины по-прежнему живутъ болѣе внѣшнею жизнью свѣтскихъ удовольствій, оставляютъ свои обязанности, мало думаютъ о воспитаніи дѣтей. А между тѣмъ рѣдкая серьезная статья не указываетъ на этотъ недостатокъ нашего общества; рѣдкій романъ, рѣдкая повѣсть не выставляютъ губительныхъ послѣдствій превратнаго воспитанія нашихъ женщинъ.

Статья Аппелърота — прекрасный протестъ противъ этого общественнаго зла, прекрасный по своей идеѣ, прекрасный потому, что, указывая болѣзнь, авторъ указываетъ и средства исцѣленія и по мѣрѣ силъ старается представить идеалъ правильнаго женскаго развитія. На этомъ основаніи статью эту можно раздѣлить на двѣ части, какъ дѣлать ее и самъ авторъ: одна, отрицательная, послѣдовательно представляетъ развитіе зла, разбираетъ причины, изъ которыхъ сложилось современное превратное направленіе воспитанія, наконецъ раскрываетъ до послѣднихъ подробностей результаты, къ которымъ оно ведетъ, и выставляетъ разительные примѣры нравственнаго и умственнаго разлада между мужемъ и женою, — разлада, отравляющаго домашній бытъ, порождающаго семейныя непріятности, ссоры, слезы, несчастія. Мы назвали эту часть отрицательною, потому что въ ней указываются недостатки; въ этомъ же смыслѣ гоголевскія личности называются отрицательными типами.

Вторая часть, положительная, показываетъ намъ женщину идеальную и воспитаніе ея такое, какимъ оно должно быть по мнѣнію Аппелърота.

Первая часть вполне удовлетворительна, да и не мудрено. Это вѣрный снимокъ съ натуры, проникнутый искреннимъ, благороднымъ негодованіемъ. Вообще и въ изящной литературѣ нашей, и въ серьезныхъ статьяхъ лучше удаются отрицательныя стороны, отрицательныя типы; и это понятно: все, что насъ окружаетъ,

содѣйствуетъ развитію отрицательныхъ характеровъ, оттого и натурально видѣть отраженіе ихъ въ литературѣ; они списаны съ натуры; мы узнаемъ ихъ, узнаемъ себя и свое общество въ уродливыхъ типахъ. — Говорить объ уродствѣ легче, нежели представлять идеалъ красоты, потому что легче вообще порицать, нежели хвалить. Люди обыкновенные, дюжинные встрѣчаются чаще великихъ людей, а между тѣмъ въ этой обыкновенности много недостатковъ, много печальныхъ сторонъ.

Все, что мы сказали вообще, можно отнести къ нашимъ женщинамъ, къ положенію ихъ въ обществѣ, къ семейнымъ ихъ отношеніямъ, къ условіямъ, подъ которыми онѣ развиваются.

Все это *обыкновенно*; и недостатки этой обыкновенности прекрасно выставилъ Аппелъротъ. Особенно поразительны его примѣры семейныхъ несчастій, хотя мысль сама по себѣ и не нова:

«Посмотрите на эту чету супруговъ: жена воспитана по модѣ, недурна собою, премило болтаетъ по-французски, ловко себя держитъ и даже иногда, не только при постороннихъ, прогремитъ на роялѣ презабѣйливую піеску — конечно тоже модную и твердо-заученную; а мужъ — человѣкъ дѣловой, просвѣщенный и мыслящій; всмотритесь въ нихъ пристальнѣе: кажется, чего бы имъ не доставало? Оба образованы и учены всему, а другъ друга не понимаютъ, будто сошлись они съ разныхъ планетъ. Онъ смотритъ на жену свою съ прискорбіемъ и какимъ-то ироническимъ сожалѣніемъ и принужденъ съ нею объясняться чрезъ посредство другихъ. Ему хотѣлось бы и самому съ нею побесѣдовать отъ души, и начиналъ онъ не разъ такую бесѣду, но она не могла его понять — скучала, зѣвала и внезапно прерывала его какимъ-нибудь пустѣйшимъ вопросомъ; и замолкалъ онъ тогда, и съ грустью уходилъ отъ нея, и затаивалъ въ груди своей горькое чувство своего одиночества, одиночества узника, скованнаго супружескимъ долгомъ, отношеніями семейными и пустосвѣтскими. Много разъ пытался онъ устроить свой семейный бытъ разумно и правильно, но отказался наконецъ отъ этой мечты, махнулъ рукой и приютился въ клубѣ, гдѣ и находитъ себѣ покой и утѣшеніе. Она же очень довольна собою и даже мужемъ, всегда въ свѣтскомъ кругу, всегда развлечена, прославлена всѣми львами, никогда не бываетъ наединѣ съ собою и дома у себя, вѣчно въ гостяхъ».

Не правда ли, *mesdames*, тутъ есть надъ чѣмъ задуматься. Мужъ и жена любятъ другъ друга (на сколько умѣютъ), оба молоды, богаты, образованы (по-нашему). Чѣмъ не жизнь? А все чего-то недостаетъ. И въ этомъ нельзя обвинять жену; она — невинная причина этого постоянного томительнаго недоразумѣнія, этого недоговореннаго, непонятаго въ ихъ отношеніяхъ.

Можетъ ли иначе чувствовать, можетъ ли иначе смотрѣть на жизнь женщина, воспитанная такъ, какъ воспитывается большинство нашихъ женщинъ?

«Но вотъ и другая чета — средняго состоянія-семья небогатая. Мужъ трудами своими и служъ

бою добываетъ честно все необходимое для умѣренной... безбѣдной жизни, а на дорогѣ загнѣ и роскошныя прихоти у него средствъ недостаетъ. Жена воспитана въ модномъ пансіонѣ, привыкла къ великолѣпной обстановкѣ, отъ сверстницъ наслушалась разныхъ соблазнительныхъ разсказовъ объ удовольствіяхъ свѣтской жизни и требуетъ отъ мужа такой-же щеголеватой обстановки, такихъ-же нарядовъ и удовольствій, какими пользуются ея прежнія пансіонскія подруги. Онъ не въ состояніи удовлетворять этимъ требованіямъ—и вотъ начинается домашняя война, семейныя сцены; это повторяется довольно часто, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Безпрерывная война на булавкахъ убійственна, тѣмъ болѣе, что эти нападенія дѣлаются на беззащитнаго мужа въ то время, когда онъ, утомленный отъ трудовъ и заботъ, нуждается въ покоѣ душевномъ и тѣлесномъ; эти булавочныя нападенія неотразимы, а потому чрезвычайно утомительны и невыносимы. Кончается тѣмъ, что честный человѣкъ, чтобъ отдохнуть хоть на минуту въ своей семьѣ, исполняетъ требованія жены, а для этого принужденъ прибѣгнуть къ чрезвычайнымъ мѣрамъ; онъ берется за кривыя дѣла, выжимаетъ взятки, пускается въ грязныя аферы и становится мерзавцемъ; или отъ чрезвычайныхъ усилій и трудовъ становится жертвою чахотки... А семейнаго мира все нѣтъ; желанія и требованія такой женщины неограничены и увеличиваются по мѣрѣ ихъ удовлетворенія...

Для полноты, приведу еще одинъ примѣръ благодѣтельнаго вліянія этой лощенной полуобразованности. Небогатый, но трудолюбивый и честный человѣкъ, по любви и здравому разсужденію женился на дѣвушкѣ простенькой, скромной, добродушной, воспитанной въ патриархальной простотѣ. Они устроили скромное свое житье-бытье; онъ трудится и добываетъ необходимое; она хозяйничаетъ, какъ умѣетъ; все идетъ прекрасно, и оба довольны своимъ состояніемъ. Но вотъ молодая женщина познакомилась съ сосѣдкой и очень ею обласкана — онѣ подружились, какъ говорится. Сосѣдка воспитана въ пансіонѣ, образована какъ слѣдуетъ по-пансіонски: бывала въ свѣтѣ, знаетъ во всемъ толкъ, особенно въ нарядахъ, маскарадахъ, гуляньяхъ и т. д. Молодая простушка слушаетъ ея заманчивые разсказы о модныхъ шляпкахъ, накидкахъ, браслетахъ, объ удовольствіяхъ балныхъ и театральныхъ; слушаетъ съ подобострастіемъ и наставленія мудрой сосѣдки, какъ себя держать, какъ жить прилично слѣдуетъ, какъ въ обществѣ быть приятно и у себя вечера дѣлать необходимо. Заронились желанія въ головѣ бѣдной простушки. Мужъ замѣчаетъ, что у него въ домѣ что-то неладно; жена какъ-будто на него дуется, иногда подтруниваетъ надъ его бѣдностью и неумѣньемъ жить прилично: сравниваетъ свое житье съ жизнью другихъ знакомыхъ, находитъ, что всѣ живутъ гораздо лучше и веселѣе, и выводитъ заключение, что мужъ ея вовсе не заботится о ея спокойствіи и счастіи, что она погубила свою молодость, вышедши за него замужъ. Потомъ начинаются упреки въ безчувственности, нерадивости, лѣни; упреки переходятъ въ брань, въ ссору — и «прощай хозяйскіе горшки!» Мужъ пытался уговаривать, урезонивать, упрашивать взбѣленившуюся жену свою, но она ничего и слушать не хочетъ; сладкіе разсказы образованной сосѣдки отуманили ея воображеніе; она возмечтала о себѣ. Наскучили наконецъ бѣдному мужу задорныя выходки жены и, чтобъ отъ нихъ избавиться, онъ началъ бѣгать отъ своего дома, проводить свободное время гдѣ-нибудь съ пріятелями и за графинчикомъ, повѣряетъ имъ свое горе; ему отъ этого какъ-будто становится легче, и втеченіе времени онъ, вслѣ-

ствие усиленныхъ пріемовъ утѣшительной эссенціи, дѣйствительно избавляется отъ всѣхъ печалей и пріобрѣтаетъ значительный запасъ терпѣнія и великолѣпнѣйшій багровый носъ. Между тѣмъ жена, отъ скуки, еще чаще посѣщаетъ милую сосѣдку, образовывается подъ ея руководствомъ и участвуетъ наконецъ собственными природными талантами добывать себѣ всевозможные модные наряды и прихоти и пользуется не хуже другихъ образованныхъ разными невинными удовольствіями. Вотъ какіе успѣхи можетъ сдѣлать простая женщина подъ руководствомъ пріятельницы, образованной въ пансіонѣ!»

Причину этихъ печальныхъ разладовъ въ супружествѣ Appelrotъ дѣйствительно выводитъ изъ невѣрности основнаго взгляда на воспитаніе женщины, или, скорѣе, изъ отсутствія опредѣленнаго взгляда и направленія. Переходимъ ко второй части, къ части положительной, къ изображенію женскаго воспитанія такимъ, какимъ оно должно быть, по мнѣнію Appelrota.

Посмотримъ сначала на цѣль его воспитанія, на конечный результатъ, къ которому должна прійти женщина, оканчивая курсъ своего ученія. Искключительной сферой дѣятельности женщины Appelrotъ считаетъ семейный кругъ, домашнюю жизнь; онъ смѣется надъ учеными женщинами и съ пренебреженіемъ отзывается о женщинахъ-писательницахъ. И такъ, вотъ одно положеніе: *женщина создана исключительно для семейнаго круга.*

Ограниченная сфера дѣятельности требуетъ ограниченнаго, до нѣкоторой степени, развитія, и Appelrotъ стѣсняетъ кругъ образованія женщины, смотритъ на нее какъ на какого-то вѣчнаго ребенка, которому нельзя и не должно говорить вещей серьезныхъ и отвлеченныхъ; онъ объясняетъ это тѣмъ, что «женщины вообще болѣе способны чувствовать сердцемъ, чѣмъ разсуждать; въ нихъ болѣе развито воображеніе, чѣмъ сознаніе, и вѣрованіе—болѣе, чѣмъ убѣжденіе».

Другое положеніе: *въ женщинѣ чувство преобладаетъ надъ умомъ*, и преподаваніе должно съ этимъ сообразоваться.

Appelrotъ распредѣляетъ всѣ науки, которыя считаетъ достойными для женщинъ, на три разряда:

1) Предметы, развивающіе чувство нравственнаго добра: Законъ Божій, отечественный языкъ, исторія, естественныя науки и географія.

2) Предметы, развивающіе и укрѣпляющіе мыслительную способность: отечественный языкъ, отчасти иностранныя языки и математика (арифметика и геометрія).

3) Предметы, развивающіе механическую ловкость и чувство изящнаго: чистописаніе, рисованіе, танцы, музыка, рукодѣліе и домашнее хозяйство.



НВ. Все эти предметы должны быть преподаваемы только въ томъ объемѣ, въ какомъ они нужны для семейной жизни, и сообразно съ тѣмъ, что у женщины чувство преобладаетъ надъ умомъ.

Полож. I. *Женщина создана исключительно для семейной жизни.*

Въ наше время большинство женщинъ, при самыхъ благородныхъ стремленіяхъ, при всемъ тепломъ, искреннемъ желаніи принести пользу, часто не имѣютъ средствъ благотворно дѣйствовать на свой домашній кругъ и, не получивъ основательнаго образованія, не могутъ даже воспитать своихъ дѣтей сообразно съ требованіями и духомъ времени.—При такомъ порядкѣ вещей конечно хорошо назначить имъ опредѣленное мѣсто, дать имъ разумную дѣятельность, а дѣятельность въ семейномъ быту конечно дѣло прекрасное. Но, ежели представлять себѣ идеаль развита женщины, то можно ли допустить такую исключительность, такое деспотическое ограниченіе? Можно ли отнять у женщины все поприща дѣятельности, кромѣ семейнаго круга?

Ежели принять равенство мужчины и женщины, можно ли совмѣстить съ этой великой идеей такое несправедливое, обидное дѣленіе? Мужчина взялъ себѣ все: и гражданскую дѣятельность, и науку, и литературу, и искусство; мужчина не отказывается и отъ своей доли семейнаго счастья, а женщина *должна* довольствоваться тѣмъ, что ей оставлено: скромной своей половиной семейнаго счастья.—Воспитывая женщину исключительно только для домашней жизни, вы ставите ее въ полную безотвѣтную зависимость отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, отнимаете у нея всякую внутреннюю самостоятельность. Нѣтъ, мы думаемъ, что женщины, какъ и мужчины, должны быть открыты все поприща возможной дѣятельности. Гражданская жизнь наша не такъ организована, чтобы женщины могли принимать въ ней живое участіе, но зачѣмъ же самымъ воспитаніемъ отдалять ихъ отъ науки, литературы и искусства, когда онѣ могутъ внести въ эти области свой новый, оригинальный элементъ? Дѣло воспитанія—развить физическія, умственные и нравственные способности и потомъ предоставить полную свободу естественному влеченію; всякое ограниченіе въ воспитаніи, всякое направленіе къ извѣстной, узкой цѣли ведетъ за собою горестныя послѣдствія, особенно если одна исключительная цѣль назначается половиной человѣческаго рода.

Полож. II. *Въ женщинъ чувство преобладаетъ надъ умомъ, и преподаваніе должно сообразоваться съ этимъ.*

Ежели и дѣйствительно преобладаетъ чувство, то неизвѣстно, дѣлается ли это по естественнымъ законамъ природы, или происходитъ

отъ недостаточнаго развитія умственныхъ способностей.

Утѣшительнѣе и правдоподобнѣе было бы послѣднее предположеніе; въ противномъ случаѣ, ежели умственные способности женщины дѣйствительно никогда не могутъ достигнуть той степени развитія, которой достигаютъ способности мужчины, тогда невозможно равенство правъ обоихъ половъ, тогда женщины осуждены на вѣчное подчиненіе, на вѣчное рабство. Но такое предположеніе не согласно съ человѣческимъ достоинствомъ и рѣшительно не можетъ быть допущено. Неужели работа вѣковъ и тысячелѣтій, постепенно выводившихъ женщину изъ униженія и подданства, пропала даромъ? Неужели женщина никогда не будетъ вполне подругою мужчины, никогда не раздѣлитъ съ нимъ тяжелой ноши заботъ и обязанностей, неужели женщина не скажетъ своего слова въ дѣлѣ развитія человѣчества? Нѣтъ, это не возможно.—Дѣло воспитанія—именно развить до послѣднихъ возможныхъ предѣловъ умственные силы женщинъ, привести эти силы въ равновѣсіе съ преобладающей силою чувства, а не полагать этому преобладанію, вредящему полной гармоніи. Переходимъ къ частностямъ.

Раздѣленіе наукъ на три разряда совершенно неестественно. Апелльротъ отдѣляетъ силу духовную отъ умственной, считаетъ однѣ науки нужными для развитія чувства нравственнаго добра, другія—для развитія мыслительной силы. Но развѣ можно отдѣлять одна отъ другого, развѣ есть науки, которыя не развивали бы мыслительной силы и въ то-же время, ведя къ истинѣ, не поддерживали чувство нравственнаго добра?

Апелльротъ самъ чувствуетъ это, и потому отечественный языкъ попалъ въ обѣ категоріи, но исторія, по его мнѣнію, не развиваетъ мыслительной силы. И немудрено. Апелльротъ представляетъ исторію какимъ-то правоученіемъ въ лицахъ, въ которомъ, какъ въ дѣтскихъ сказочкахъ, и то въ старыхъ, добродѣтель торжествуетъ, а порокъ наказывается. Такъ конечно исторія не развиваетъ мыслительной способности; но ежели мы въ ней будемъ видѣть жизнь и развитіе человѣчества, ежели изъ нея мы будемъ изучать физіономію и характеръ различныхъ эпохъ и народовъ, ежели, однимъ словомъ, мы будемъ смотрѣть на исторію, какъ смотрятъ на нее современные ученые, и ежели мы передадимъ этотъ свѣтлый взглядъ нашимъ ученикамъ (а передать его можно, лишь бы умѣли взяться за дѣло), тогда никакая наука больше исторіи не разовьетъ мыслительной силы.

Назначеніе всякой науки—развить умственные способности; этого развитія нельзя отдѣлить отъ развитія чувства нравственнаго добра;



свѣтлый умъ, нормально развитый, горячо полюбить добро, потому что оно истинно, и полюбить его сознательно, умно. Аппельротъ самъ говоритъ, что въ сущности чувство нравственнаго добра, чувство истины и чувство прекраснаго—одно и то-же. Къ чему-же его неестественное дѣленіе? Къ чему-же на первомъ планѣ поставлено развитіе чувства нравственнаго добра, когда оно путемъ науки невозможно безъ стремленія къ истинѣ? Надо сначала пробудить это стремленіе, вызвать къ дѣятельности силы молодого ума, и тогда плодомъ этого стремленія явится истинное, сознательное чувство нравственнаго добра.

Въ третьемъ отдѣлѣ соединяются изящныя искусства и чисто-практическія упражненія; рисованіе и музыка поставлены рядомъ съ чистописаніемъ и домашнимъ хозяйствомъ. Аппельротъ смѣшиваетъ чувство изящнаго съ опрятностью и аккуратностью.

Еще нѣсколько словъ: изученіе литературы, изученіе народа въ его словѣ, эта высшая наука не нашла себѣ мѣста въ программѣ Аппельрота; онъ какъ будто съ прискорбіемъ допускаетъ чтеніе иностранныхъ писателей, и даже изученіе отечественной литературы ставятъ у него на степени полезнаго развлеченія, не болѣе.

Трудно по объему нашего журнала войти въ болѣе подробный разборъ статьи Аппельрота. На этотъ разъ довольно будетъ и этихъ бѣглыхъ общихъ замѣчаній. Итакъ, статья, прекрасная по вызвавшей ее идеѣ, представляетъ нѣкоторые недостатки въ выполненіи: она стѣсняетъ дѣятельность женщины, ставитъ ее ниже мужчины по умственнымъ способностямъ и предлагаетъ программу, не соответствующую цѣли образованія женщинъ и не удовлетворяющую требованіямъ современной науки.

#### Наслѣдство тетушки. Разсказъ И. Весеньева. («Отеч. Зап.», 1858, № 3.)

Статья Аппельрота и повѣсть И. Весеньева сходятся въ своей основной идеѣ; и та, и другая выставляютъ недостаточность современнаго женскаго воспитанія, съ тою только разницей, что эта мысль у Аппельрота развивается теоретически, а у И. Весеньева она проводится въ живомъ разсказѣ, влагается въ образы и потому сильнѣе поражаетъ умъ, сильнѣе дѣйствуетъ на душу. Сюжетъ самый простой; это обыкновенно бываетъ тогда, когда основная мысль говоритъ сама за себя, когда она такъ сильна, что автору нѣтъ надобности прибѣгать къ внѣшнимъ эффектамъ. Вотъ въ чемъ дѣло. Племянникъ, послѣ смерти тетушки, умершей классною дамой въ одномъ изъ модныхъ пансіоновъ, прибѣгаетъ въ пансіонъ узнать о послѣд-

ней волѣ покойницы и получаетъ ея книги и вещи; онъ разсматриваетъ ихъ на досугѣ и удивляется: записки о вещахъ пансіонерокъ, журналъ ихъ занятій, учебныя книги, разныя контрабандныя книжки и тетрадки, письма къ родителямъ, отобранныя у воспитанницъ,—вотъ все, что онъ находитъ; нѣтъ ни слѣдовъ само-бытної жизни, задушевной мысли въ томъ, что осталось отъ тетушки.—Эту загадку объясняетъ ему одна кузина, знавшая тетушку и даже воспитывавшаяся подъ ея руководствомъ въ этомъ модномъ пансіонѣ. Тетушку 5-ти лѣтъ помѣстили въ пансіонъ, 14-ти включили въ число пансіонерокъ, потомъ повысили въ классныя дамы—тѣмъ и кончилось. И такъ прошла цѣлая жизнь, не выходящая изъ сферы тѣснаго, сухого пансіонскаго быта; и тетушка умерла спокойная и счастливая сознаниемъ, что исполнила свой долгъ; а въ чемъ, спросите вы, состоялъ этотъ долгъ?—Дѣйствительно, давать направленіе молодому поколѣнію, развивать его умъ, облагораживать сердце и видѣть плоды своего воспитанія—какая великая, святая обязанность! какая прекрасная награда!—Но то ли дѣлала тетушка, такъ ли смотрѣла она на свои обязанности?—Нѣтъ, она поставила себѣ цѣлью жизни строгое, слѣпое исполненіе пансіонскаго устава, подъ гнетомъ котораго она выросла и состарѣлась. Пансіонъ замѣнилъ ей весь окружающій міръ, и она посвятила ему все существо свое, не разсуждая, не спрашивая о томъ, дѣйствительно ли здравы и непогрѣшимы всѣ его постановленія, хорошо ли то направленіе, которое даетъ онъ воспитанницамъ.—Мысли ея не шли далѣе ограды пансіона; могла ли она спрашивать у себя или отдавать себѣ отчетъ въ цѣли и назначенія пансіона, въ цѣли и назначенія собственной дѣятельности? Она была колесомъ сложной машины, полезнымъ только для движенія этой машины, но лишеннымъ всякаго сознанія, всякой самостоятельности. И такъ прошла жизнь; и это называется жизнью? А вѣдь въ этой женщинѣ были зародыши ума.—Имъ не дали развернуться; было чувство, это видно изъ того, что, умирая, она утѣшалась мыслью, что исполнила свой долгъ; видно изъ того, что она привязалась къ своему дѣлу и исполняла его добросовѣстно, хотя безтолково и безсознательно. Ежели бы эти силы были развернуты любящей рукою матерн, ежели бы опытные просвѣщенные наставники развили умственныя способности ребенка, могла бы выйти женщина, а сколько высокаго, святаго въ одномъ словѣ: женщина.—Но съ пяти лѣтъ сухая, безцвѣтная обстановка замѣнила ей жизнь—и судьба ея была рѣшена, и она умерла, не понявъ того, что дѣятельность ея была бесполезна, что жизнь прошла вяло и сонливо. Странно одно. Неужели она могла безъ борьбы уступить окружающему порядку вещей? Неужели



ли ни разу душа не пробуждалась, не рвалась въ другую сферу, не искала любви и сочувствія? Неужели очнувшійся умъ не ужасался окружающей пустоты, не искалъ другой полезной дѣятельности? Правда, сильны дѣтскія воспоминанія, а съ этими воспоминаніями неразрывно связанъ тотъ же пансіонъ; но вѣдь есть пора молодости, когда сердце дѣвушки пробуждается, ищетъ любви, поэзіи. Тогда неволя должна казаться неволею, монотонная обстановка явится во всей монотоніи, безцвѣтная дѣйствительность покажется еще безцвѣтнѣе, въ сравненіи съ радужными идеалами, и тутъ должна быть минута борьбы, и послѣ этой борьбы нужно или вырваться въ другую сферу, или навсегда помириться съ прежнимъ положеніемъ. Тетушка помирилась и вѣроятно смотрѣла на мечты свои какъ на глупое увлеченіе молодости, но врядъ ли дѣло обошлось безъ всякой борьбы. Вѣдь и ученики іезуитовъ, въ которыхъ съ колыбели убивали волю, порою возмущались и сбрасывали съ себя нравственные цѣпи, несовмѣстныя съ достоинствомъ человѣка.—Жаль, что Весеневъ не прослѣдилъ этой борьбы; за послѣднимъ порывомъ къ свободѣ еще страшнѣе, еще грустнѣе показалась бы наступившая мертвая тишина, *calme plat*, какъ говорятъ французы. Кромѣ того процессъ и исходъ борьбы яснѣе выставили бы жалкую личность тетушки. Трудно обвинить въ участи тетушки одинъ модный пансіонъ, въ которомъ она воспитывалась, трудно сложить на его счетъ всю вину ея нравственного и умственного отупѣнія; однообразіе ея жизни и отсутствіе самыхъ святыхъ родственныхъ чувствъ, самыхъ необходимыхъ для сердца семейныхъ обязанностей положили на ея личность печать какой-то сухости и холодности; она не знала своего семейства, не испытала любви матери, умершей вскорѣ послѣ ея рожденія, и сама никого не любила сильно, съ самоотверженіемъ. Пансіонъ при самыхъ лучшихъ условіяхъ, при самомъ вѣрномъ направленіи воспитанія не могъ замѣнить ей семейства; смерть матери оставила ничѣмъ не замѣнимый пробѣлъ въ ея жизни; мягкость чувства, сердечная теплота, которую только любящая рука матери можетъ вполнѣ развить въ ребенкѣ, уступили мѣсто холодному исполненію долга.—Вина пансіона состоитъ въ томъ, что онъ не развивалъ ея умственныхъ способностей, что онъ далъ ей кой-какія знанія безъ живого примѣненія ихъ къ жизни, что онъ не показалъ ей истиннаго назначенія женщины; еслибы въ этомъ отношеніи пансіонское воспитаніе сдѣлало свое дѣло, то тетушка была бы вѣроятно, какъ большинство людей, которыхъ дѣтство прошло не весело и однообразно, женщиною серьезною, сосредоточенною въ себѣ, можетъ быть даже холодною, но тогда по крайней мѣрѣ она могла бы принести дѣйствительную пользу,

тогда дѣятельность ея была бы сознательная и разумная. Но пансіонъ не сдѣлалъ этого. Соблюденіе пустыхъ формальностей обратило на себя все вниманіе наставницъ; строгая, холодная, форменная вѣѣшность занятій и самыхъ рекреаций запугала воспитанницъ и не могла привлечь ихъ, заинтересовать и пріохотить къ наукѣ, которая представлялась имъ въ видѣ уроковъ, не имѣющихъ между собою живой связи.

Такъ училась сама тетушка, такъ стала она учить своихъ воспитанницъ съ полнымъ убѣжденіемъ, что исполняетъ свой долгъ. Трудно винить ее въ этомъ.

Старое горе. В. Крестовскаго. («Отеч. Зап.», 1858 г., № 8).

Дѣйствіе происходитъ на Душинскомъ Чугунномъ Заводѣ, въ глуши Пермской губерніи. Молодой человѣкъ, управляющій этого завода,—главное дѣйствующее лицо разсказа. Люди, съ которыми ему приходится жить, стоятъ ниже его по образованію; ему скучно, онъ обращается къ прошедшему и вспоминаетъ о своемъ старомъ горѣ, еще живомъ и не забытомъ. Его записки составляютъ повѣсть. Авторъ даетъ статьѣ форму дневника. Эти записки писаны черезъ годъ послѣ смерти жены, проникнуты грустью и глубокимъ отвращеніемъ къ жизни; онъ схоронилъ свое счастье и увѣренъ, что въ будущемъ ему ожидать нечего. Конечъ его записокъ убѣдить насъ въ противномъ, но объ этомъ послѣ. Скажемъ сначала нѣсколько словъ о покойной женѣ его, Сашѣ.—Характеръ Саши очерченъ въ двухъ-трехъ отрывочныхъ сценахъ семейной жизни, о которой вспоминаетъ ея неутѣшный мужъ. Несмотря на то, онъ принадлежитъ къ лучшимъ женскимъ характерамъ нашей литературы, въ которой эти характеры удаются довольно рѣдко. Добродѣтельныя женщины большей частью выходятъ изъ ряду живыхъ существъ и дѣлаются какими-то блѣдными идеалами, въ которыхъ нѣтъ ничего женскаго.—Напротивъ, Саша—живая, прекрасная женщина; она безропотно переноситъ бѣдность, живетъ для своего мужа, старается облегчить его горькую участь, скрываетъ отъ него свои лишенія, чтобы не огорчить его, и когда недостало силъ страдать, умираетъ спокойно, безъ слезъ, безъ жалобъ на свою судьбу. И при всемъ этомъ она остается вполнѣ женщиной, прелестнымъ, любящимъ существомъ. Вотъ сценка изъ ихъ семейной жизни.

«Мнѣ попался въ книгѣ лоскутокъ, обрѣзокъ шелковой матеріи. Помню, я нашелъ его на полу нашей комнаты и, не знаю почему, вздумалъ спросить Сашу, что это. Она покраснѣла, смутилась и стала ласкать меня. Это значило, что она не хотѣла отвѣчать. «Я себѣ обновку шью» сказала она наконецъ, когда я ужъ слишкомъ привязался. Об-



новки, и такой дорогой, быть не могло; я допрашивалъ настойчиво; она призналась: она взялась шить платье какой-то госпожѣ, которая искала, чтобы ей работали дешевле, чѣмъ въ магазинахъ. Саша уже не въ первый разъ это дѣлала.

Это была ужасная минута... Моя жена — швея, поденщица — вотъ все, что я ей доставилъ! Грязная франтиха, торгующаяся въ каждомъ грошѣ, важная богатая барыня, которой не жаль тысячей для своихъ глупыхъ прихотей, для своихъ тряпокъ, и которая смѣетъ находить, что бѣдные люди дорожатся, продавая свои безсонныя ночи и голодные дни; уродливая барышня, которой надо угодить, чтобы скрыть ея выломанные бока и сухія кости — все это обходится съ моей женой, какъ съ служанкой, посылаетъ за нею, когда вздумается, заставляетъ ее ждать въ своихъ дѣвичьихъ... Я задыхался... не помню, что я дѣлалъ. Саша выхватила у меня изъ рукъ это платье: я хотѣлъ бросить его въ печку. Это меня образумило, это дало мнѣ понять, что, сколько ни негодуй, ни кричи, ты — человекъ «чистый и развитой», тебѣ это не къ лицу, не приходится сожечь гадкую тряпку, а заплатить за нее не въ состояніи...

— Милый, не шуми! сказала она, тихо обнявъ меня и тихо плача...

Ея отецъ, слѣпой, больной, спалъ рядомъ въ комнатѣ».

Сколько чувства, сколько деликатности въ этой женщинѣ! Она понимаетъ свои обязанности въ отношеніи къ мужу, рѣшается помогать ему и во имя долга побуждаетъ ложный стыдъ и предразсудки; но она падаетъ самолюбіе своего мужа, боится оскорбить его, и, быть можетъ, первый разъ въ жизни рѣшается хитрить съ нимъ, и хитритъ такъ неудачно, съ такой прелестной неловкостью; ей тяжело и больно скрывать отъ него что бы то ни было. Приведенная нами сцена необыкновенно хороша. Она бросаетъ яркій свѣтъ на два главные характера повѣсти. Мужъ Саши — человекъ образованный и развитый, а между тѣмъ онъ не понимаетъ прекраснаго поступка своей жены. вмѣсто того, чтобы поддержать и ободрить жену, онъ приходитъ въ негодованіе и дѣлаетъ нелѣпую сцену. А между тѣмъ въ его запискахъ встрѣчается такое мѣсто:

«Онъ забыли, что женщина — *помощница*, и съ какой-то гордостью считаютъ ее только *утѣхой*, не вникая, что это названіе, когда оно *одно*, унижаетъ женщину...»

Тутъ явное противорѣчіе словъ съ поступками, и такія противорѣчія встрѣчаются у него на каждомъ шагѣ; это отличительная черта слабого характера. Многіе прекрасно говорятъ, и говорятъ отъ души, съ полнымъ убѣжденіемъ, а въ жизни поступаютъ совершенно иначе и даже не замѣчаютъ противорѣчія въ своемъ поведеніи. Къ числу этихъ многихъ принадлежатъ и мужъ Саши; у него свѣтлый взглядъ на жизнь и прекрасныя убѣжденія, но онъ не умѣетъ съ ними сладить, не смѣетъ отбросить ихъ, потому что чувствуетъ, что они вѣрные, и не въ силахъ держаться ихъ въ жизни, потому что они слишкомъ велики и тяжелы для

него. Онъ возстаетъ противъ предразсудковъ общества, говоритъ очень умно и дѣльно, а между тѣмъ самъ вполне подчиняется имъ и никакъ не рѣшается отъ нихъ освободиться. Онъ виноватъ передъ своей женой; онъ не умѣлъ поддержать ея энергіи, не умѣлъ ободрить ее и облегчить ей горькую долю бѣдности; Саша не могла даже быть откровенной и страдала молча, потому что жалѣла мужа, какъ больного, слабого ребенка, а мужъ унывалъ, отчаялся и измучилъ жену, думая, что выражаетъ этимъ свою любовь. Изъ его записокъ видно, что онъ смутно понималъ свою невольную вину; вмѣсто тихой грусти является горькое чувство озлобленія, когда онъ говоритъ о своей прошедшей семейной жизни; въ его тонѣ слышится что-то вродѣ раскаянія; мѣстами проглядываютъ обвиненія противъ самого себя; но, какъ человекъ слабый, онъ тотчасъ старается сложить съ себя вину въ прошедшемъ, и жалуется на людей и на судьбу. Но это мрачное настроеніе духа со временемъ проходить. Такіе люди, какъ мужъ Саши, не могутъ ни вѣчно любить, ни вѣчно страдать. Но забыть — невозможно. Прошло семь лѣтъ, а свѣтлый образъ Саши еще живетъ въ его душѣ, и ему больно, по временамъ стыдно за свое новое счастье, за довольство, котораго не раздѣлила бѣдная жевщина, жертва нужды и лишеній. Въ послѣднихъ словахъ записокъ прекрасно выражено смутное состояніе души нашего героя; представлена внутренняя борьба, которая мучитъ и истощаетъ его силы. Ему хочется счастья, забвенія, а между тѣмъ жалко, совѣстно забыть бѣдную Сашу; хотѣлось бы воротить прошедшее да не воротишь, хотѣлось бы свѣтлаго будущаго, да на душѣ тяжелыя воспоминанія. — Весь характеръ мужа Саши выдержанъ до мельчайшихъ подробностей; авторъ отъ себя не говоритъ ни слова; даже самъ герой въ своихъ запискахъ говоритъ о себѣ и о своихъ качествахъ очень мало; а между тѣмъ его личность просвѣчивается въ каждомъ его словѣ; каждый разсказъ, каждая сцена его воспоминаній прибавляетъ къ его характеру новую черту; послѣ прочтенія повѣсти, онъ какъ живой человекъ является передъ читателемъ, со всеми своими хорошими и дурными сторонами, со всеми слабостями и недостатками.

Въ нѣсколькихъ словахъ записокъ очерченъ отецъ Саши, старый гимназическій учитель. Приводимъ эти слова и предоставляемъ нашимъ читательницамъ составить себѣ понятіе о личности этого восточнаго труженика:

«Помню похороны старика. Его лицо будто предо мной, и расплаканное лицо Саши... И то сказать, такимъ людямъ незачѣмъ жить на свѣтѣ! Любить науку, изучать, не утомляясь и не слабѣя волей до старости, — и не имѣть возможности выбиться изъ труженничества, доставить пользу другимъ, а себѣ хотя пылинку той извѣстности, которую другіе до-



стають такъ легко; быть принужденнымъ изъ-за куска хлѣба преподавать узенькій, жалкій курсъ мальчикамъ, которые, чтобъ скорѣе кончить, убоясь премудрости, то-и-дѣло выпрыгиваютъ въ юнкера... стоило ли для этого родиться съ горячимъ сердцемъ, неочерствѣвшимъ ни отъ старости, ни отъ горя, ни отъ стѣсненій, ни отъ безчувствія, съ чистѣйшей любовью къ добру и прекрасному, угнѣвшейся среди всей житейской грязи?... Говорятъ, чувство долга, чувство прекраснаго во всемъ угнѣшаетъ и поддерживаетъ. Да, угнѣшало, какъ угнѣшаетъ опиумъ, вино, на извѣстное время, но не поддержало, а свело въ могилу. Будъ онъ не труженникъ, а шарлатанъ, онъ бы не негодовалъ, не тратилъ времени на добросовѣстные и никѣмъ не оцененные труды; онъ бы приноровился къ настоящимъ потребностямъ, искалъ бы протекціи, сдѣлалъ бы одну-двѣ уступки совѣсти, издалъ бы брошюрки въ назидательно-хвалебномъ духѣ о какомъ-нибудь мудреномъ вопросѣ, прославился бы, слылъ бы за человѣка благонадежнаго и получилъ бы гдѣ-нибудь мѣсто инспектора, а пожалуй и директора гимназіи...

Онъ кончилъ иначе: ослѣпнувъ надъ ночной работою, лишенный хлѣба, онъ умеръ на рукахъ бѣдняка, которому, самъ восторженный, какъ юноша, любясь на молодую любовь, отдалъ онъ свою безпомощную, безпріютную дочь...

Вдумайтесь въ эти слова; вспомните, что это пишетъ молодой человѣкъ, полный жизни, только что кончившій курсъ въ университетѣ, о старикѣ-учителѣ, отжившемъ свой вѣкъ; сравните ихъ между собою и посмотрите, въ комъ изъ нихъ больше энергіи и свѣжихъ силъ. Старикъ трудился до изнеможенія, ослѣпъ надъ работою, умираетъ въ бѣдности, никѣмъ не замѣченный, и все-таки вѣритъ въ жизнь, и, какъ юноша, горячо любитъ прекрасное. Молодой человѣкъ сомнѣвается въ святости чувства долга, отступаетъ отъ борьбы въ жизни, не вѣритъ въ изящное. Остальные лица повѣсти стоятъ на второмъ планѣ. Они хорошо и живо очерчены, но останавливаться на нихъ мы не можемъ.

**Джонъ Говардъ.** («О. З.», 1858 г., сентябрь).

Обращаемъ вниманіе нашихъ читателей на этотъ краткій біографическій очеркъ; личность Говарда такъ замѣчательна и составляетъ такое угнѣшительное явленіе въ исторіи человечества, что трудно пройти его имя молчаніемъ. Онъ посвятилъ всю свою жизнь на облегченіе страданій ближняго; благо человечества и улучшеніе судьбы его составляли единственную цѣль жизни Говарда; этой высокой цѣли онъ принесъ въ жертву и состояніе свое, и время, и лучшія силы. Говардъ родился въ Англіи въ 1726 году. Два важные предмета обратили на себя его вниманіе, онъ съ полнымъ самоотверженіемъ посвятилъ имъ всю свою жизнь. Эти два предмета были: улучшеніе тюремъ и изученіе чумы, отыскиваніе предохранительныхъ мѣръ и лекарства отъ заразы. До него тюрьмы въ Англіи представляли страшную,

отвратительную картину; онѣ были грязны и нездоровы; заключенныхъ содержали очень дурно, тюремщики, не получавшіе жалованья отъ правительства, притѣсняли своихъ колодниковъ и выжимали изъ нихъ деньги. Говардъ, выбранный шерифомъ (мировымъ судьей) графства Ветфордъ, обратилъ вниманіе на всѣ эти недостатки; съ цѣлью усовершенствовать тюрьмы, онъ два раза объѣхалъ всю Англію, путешествовалъ по Европѣ и, наконецъ собравъ всѣ матеріалы, издалъ сочиненіе: «О состояніи тюремъ въ Англіи и Валлисѣ». Его книга произвела желанное дѣйствіе: по его проекту англійское правительство, подражая голландскому, учредило рабочіе дома, въ которыхъ преступники приучались къ труду и получали такимъ образомъ средства сдѣлаться честными и полезными гражданами: тюрьмы были передѣланы и усовершенствованы по указанію Говарда.—Изученіе чумы и наблюденія надъ леченіемъ этой страшной болѣзни, а также странствованія по карантинамъ заняли остальные годы жизни Говарда. Онъ умеръ въ Россіи отъ заразы и похороненъ въ Херсонской губерніи. Такіе люди, какъ Говардъ, рѣдко встрѣчаются во всемирной исторіи; одинъ простой перечень фактовъ его жизни внушаетъ глубокое уваженіе; онъ всѣмъ пожертвовалъ для пользы человечества и умеръ, исполняя тяжелыя и опасныя обязанности которыя добровольно на себя принялъ. Всѣ подробности о такомъ человѣкѣ должны быть для насъ дороги и интересны. Указанная нами статья очень коротка и не можетъ дать полнаго, яснаго понятія о личности Говарда; она только познакомитъ съ главными фактами его жизни, но эти факты такъ краснорѣчивы, такъ характеризуютъ человѣка, что изъ нихъ легко самому вывести заключеніе.

**Братецъ. В. Крестовскаго.** («О. З.», 1858 г., октябрь).

Повѣсть В. Крестовскаго представляетъ намъ внутреннюю семейную жизнь, бѣдную, грустную, однообразную, какъ сѣрый осенній день. Главный характеръ повѣсти, характеръ Сергѣя Андреевича Чиркина, *брата*, очерченъ превосходно. В. Крестовскій прослѣдилъ его развитіе съ колыбели и наконецъ показалъ намъ своего героя человѣкомъ пожилымъ, въ которомъ выработались всѣ черты характера.—человѣкомъ, котораго убѣжденія успѣли сложиться и окрѣпнуть. Чтобы представить этотъ характеръ нашимъ читательницамъ, намъ достаточно будетъ сдѣлать нѣсколько выписокъ изъ самой повѣсти. Вотъ, напримѣръ, черты изъ дѣтства и первой молодости Сергѣя Андреевича, тогда еще Сереженьки:

«Сереженька писалъ рѣдко: у него и въ гимназіи постоянно недоставало времени, а позже и гово—



рить нечего. Но онъ аккуратно помнилъ дни рождения и именинъ своихъ родителей и умѣлъ приноровить такъ, что поздравленія его получались въ самый день торжества; если же письма должны были опоздать или придти ранѣе, по расчету почтовыхъ дней, Сереженька пользовался этимъ случаемъ для какой-нибудь особенной любезности. «Ранѣе всѣхъ и первый бросаю я въ ваши объятія, дражайшіе родители!.. Или: «теперь, когда давно кругомъ вась затихъ шумъ поздравленій, радуюсь, что моего голоса не заглушитъ болѣе голосъ постороннихъ... и прочее. Сергѣй Андреевичъ не думалъ и не понималъ, что «посторонними» называлъ своихъ сестеръ...

Онъ зналъ ихъ мало, но онъ хорошо его помнилъ. Когда онъ прїѣзжалъ на вакацію, ему было девятнадцать лѣтъ, его сестрамъ — двадцать и одиннадцать; третьей еще не было на свѣтѣ. Онъ сказалъ только Вѣрѣ, что она ничего не знаетъ и не граціозна, и замѣтилъ (при родителяхъ) сестрѣ Прасковѣ, что она могла бы заняться ребенкомъ, что долгъ женщины — любить дѣтей и заботиться о нихъ. Мать ахала отъ ума и сердца Сереженьки.

Желаніе высказаться передъ родителями, поважничать передъ сестрами, дать имъ почувствовать свое превосходство, унижить ихъ въ глазахъ отца и матери, все это такіе зародыши, которые со временемъ обѣщаютъ принести богатый плодъ. Во всемъ этомъ уже проглядываетъ черствое сердце, замѣтно отсутствіе юношеской теплоты и юношескаго благородства. Наглая самоувѣренность, сухой, бездушный эгоизмъ, грубое самопоклоненіе, неприступная гордость въ отношеніи къ подчиненнымъ, заискиваніе передъ людьми, стоящими выше, — вотъ что обѣщаетъ въ будущемъ этотъ характеръ, вотъ что мы можемъ вывести изъ одного, приведеннаго нами, отрывка. Сергѣй Андреевичъ сдержалъ все, что обѣщалъ онъ въ молодости. Кромѣ себя, своей выгоды, своихъ интересовъ, онъ не хотѣлъ знать ничего, цѣль въ его жизни — карьера и состояніе; дальше, выше этого онъ ничего не видитъ и для достиженія своей цѣли готовъ пожертвовать всѣмъ на свѣтѣ. Онъ никого не любитъ и даже не скрываетъ этого въ своемъ семейномъ кругу, куда онъ заглядываетъ очень рѣдко, да и то по дѣламъ. Приведемъ для характеристики Сергѣя Андреевича еще одно мѣсто изъ повѣсти — разговоръ Прасковьи Андреевны съ Ивановымъ, женихомъ младшей сестры ея, Кати.

« — Ахъ, Боже мой! прервалъ Ивановъ; — это даже больно слушать! Нѣтъ, я вамъ все скажу. Объ этомъ даже грѣшно молчать: лучше вамъ совсѣмъ глаза открыть. Прошлый разъ, какъ я отъ вась воротился, я на другой день пошелъ къ нашему управляющему палатою поговорить о моихъ бумагахъ, о разрѣшеніи, потому что я женюсь. Вы помните... я-то ужъ очень хорошо помню, какъ вашъ братецъ принялъ и мое сватовство, и меня — ну, словомъ, все. Я тогда же рѣшился объявить, что мнѣ дано слово, что я женюсь, взявъ разрѣшеніе, чтобъ вашъ братецъ не подумалъ, будто я испугался. Ему все равно, что я женюсь на его сестрѣ, а мнѣ онъ и подавно все равно: мнѣ ни его милости, ни протекціи, ни денегъ его — ничего не нужно, право... Ради Бога, скажите, такъ ли я

говорю? Что жъ? я молодъ, не важная особа; но, кажется, всякій человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, имѣетъ право о себѣ думать по справедливости, имѣетъ право... хоть не унижаться, если ужъ судьба и пустой карманъ велитъ ему молчать — такъ, что ли? скажите!

— Что жъ вы управляющему вашему сказали? спросила Прасковья Андреевна.

— Я? ничего; говорилъ о бумагахъ, какія мнѣ нужны, просилъ не задерживать — и только. Онъ — человѣкъ чудесный, разспрашивалъ, что, какъ, по любви ли я женюсь, на комъ. Я скаралъ. Онъ говоритъ: «не родня ли Чиркину, что служилъ въ... министерствѣ?» — «Сестра», говорю я. Въ то время былъ у управляющаго нашъ ассесоръ, недавно изъ Петербурга: онъ вступилъ въ разговоръ. «Какая, говоритъ, сестра? у Чиркина нѣтъ сестеръ». Я говорю: «Есть сестры и мать, живутъ въ деревнѣ»... Да Боже мой! это разсказывать отвратительно. Вообразите вы, что онъ увѣряетъ всѣхъ, цѣлый свѣтъ, что у него нѣтъ родныхъ: отрывается отъ вась, потому что вы для него слишкомъ бѣдны, слишкомъ мелки... отъ матери!.. Видите, ему, важному лицу, непріятно имѣть провинціальныхъ родныхъ, вы на него тѣнь бросаете... я ужъ и не понимаю, что это! какъ будто вы не въ тысячу разъ лучше его, благороднѣе его, со всѣми его мраморными лѣстницами да золочеными карнизами, какъ будто вамъ не больше стыдъ и обида, что вашъ братъ — эгоистъ, взяточникъ... Нѣтъ, ради Бога, простите меня! Я изъ себя выхожу...»

Тутъ уже выразился весь характеръ, къ этому нельзя ничего прибавить. Гнетъ братца, которымъ всегда была ослѣплена старуха-мать, тяжело налегъ на сестеръ и подѣйствовалъ на обѣихъ старшихъ, обѣимъ имъ испортилъ жизньъ, но дѣйствіе этого гнета было различное. Старшая сестра, Прасковья Андреевна, дѣвушка умная, съ твердымъ характеромъ, не подчинилась вліянію братца; характеръ ея окрѣпъ въ борьбѣ, она сосредоточила въ себѣ свои силы и сдѣлалась еще тверже, еще самостоятельнѣе. Была пора молодости, когда она искала сочувствія, когда у нея была потребность высказаться, полюбить, привязаться. Она обратилась было къ брату, но мы знаемъ Сергѣя Андреевича; онъ умомъ могъ понять, что желала сестра его, но не хотѣла; Прасковья Андреевна ждала хоть капли сочувствія, хоть одного дружескаго слова: она встрѣтила насмѣшку и грубое, жесткое наставленіе со стороны матери; она ничего не могла ждать и ничего не встрѣтила; но по неволѣ затаила она въ себѣ свои силы, углубилась въ самое себя, сосредоточилась и уже не высказывалась. Счастливый характеры, которые могутъ такъ сосредоточиться, которымъ есть во что углубиться. На слабые характеры гнетъ дѣйствуетъ иначе; вторая сестра, Вѣра, совершенно покорилась, и покорилась безсознательно, желѣзной волѣ Сергѣя Андреевича, который самовластно, какъ патриархъ, господствовалъ въ семействѣ; бѣдную дѣвушку запугали смолodu, она потеряла всякое довѣріе къ собственнымъ силамъ, боялась всѣхъ и особенно братца, растерялась, отупѣла



и, не рѣшаясь имѣть ни мысли, ни воли, стала повиноваться молча и машинально. Безотрадно прошла жизнь обѣихъ дѣвушекъ; не было ни счастья, ни любви, не было даже удовольствій. Прасковья Андреевна тратила свою замѣчательную энергію и силу души на мелкую, ежедневную борьбу, которую поневолѣ должна была вести въ тѣсномъ, душномъ кругу своей неладной семьи. И между тѣмъ она сохранила способность любить и сосредоточила всю силу чувства на младшей сестрѣ своей, на «своей дѣвочкѣ» Катѣ. Эта сила характера, эта твердость воли и въ то-же время эта мягкость, способность любить сильно, съ самоотверженіемъ заставляютъ насъ признать въ Прасковьѣ Андреевнѣ женщину дѣйствительно замѣчательную; вспомнимъ при этомъ, что она не успѣла развиться какъ слѣдуетъ, что ея не любила мать, что ее преслѣдовалъ братецъ, представимъ себѣ монотонную обстановку всей ея жизни, и только тогда мы будемъ въ состояніи вполнѣ оцѣнить и понять ея характеръ, выработавшійся при такихъ невыгодныхъ обстоятельствахъ. Катя является намъ молоденькой дѣвушкой, почти ребенкомъ; она еще весела, беззаботно смотритъ на жизнь, она любить и любима; Прасковья Андреевна отстаиваетъ ее отъ матери, а неумолимая рука братца не успѣла еще разбить ея свѣтлыхъ мечтаній... настанетъ и ея время.

Объ матери, объ Любови Сергѣевнѣ, трудно сказать что-нибудь определенное; это одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые ничѣмъ не выдаются изъ общей массы. Любовь Сергѣевна принадлежитъ къ числу характеровъ, какіе встрѣчаются на каждомъ шагѣ, но эти обыкновенные характеры трудно выставить, трудно опредѣлить именно потому, что они обыкновенны, что ничто въ нихъ не бросается въ глаза; ихъ надобно наблюдать и изучать, а такое изученіе не всякому по силамъ; потому большинство плохихъ романистовъ русскихъ и особенно французскихъ обходятъ такіе характеры, изображаютъ какихъ-то небывалыхъ героевъ или небывалыхъ злодѣевъ, описываютъ ихъ подвиги или преступленія и совѣмъ не даютъ понятія о характерѣ. Напротивъ, въ повѣстяхъ В. Крестовскаго постоянно дѣйствуютъ люди обыкновенные, взятые прямо изъ жизни; Сергѣй Андреевичъ—дурной человѣкъ, но не извергъ, не чудовище. На каждомъ шагѣ встрѣчаются такіе эгоисты, люди, готовые принести въ жертву себѣ и своимъ выгодамъ все на свѣтѣ; они не дѣлаютъ преступленій въ полномъ смыслѣ этого слова, а только тяготѣютъ надъ всѣмъ, что приходитъ съ ними въ соприкосновеніе, и часто разрушаютъ счастье людей близкихъ. Прасковья Андреевна—хорошая женщина, но никакъ не идеальная. Что касается до Любови Сергѣевны, то объ ней даже трудно сказать,

хорошая ли она женщина, или дурная. Личность ея впрочемъ производитъ непріятное впечатлѣніе, непріятное уже потому, что она безградно любитъ своего ненагляднаго Сереженьку. Впрочемъ эта любовь очень понятна, какъ любовь матери. Мать любить свое дитя, хотя это дитя и уродъ, даже когда оно—уродъ нравственный; любить даже болѣе прочихъ дѣтей, потому что видитъ, какъ всѣ отъ него отворачиваются.

Въ характеристикѣ Любови Сергѣевны особенно замѣчательно слѣдующее мнѣніе автора о такихъ безцвѣтныхъ личностяхъ:

«Эти люди иногда среди другихъ людей выбираютъ себѣ привязанность — и всегда выборъ бываетъ неудаченъ; изъ противорѣчія, изъ того, что другіе говорятъ, что такой-то дурень, они берутъ именно этого человѣка себѣ въ друзья, говоря съ самоуниженіемъ, не лицемернымъ, но озлобленнымъ: «Для меня и то хорошо». Иногда возраженіе дѣлается иначе: «Его всѣ ненавидятъ; со мной по крайней мѣрѣ ему будетъ съ кѣмъ слово сказать»... Съ вида — чувство доброе и смиренное; но тотъ не ошибется, кто сочтетъ его за осужденіе всѣхъ этихъ ненавистниковъ и гордецовъ, которые отталкиваютъ отъ себя человѣка... Зато, выбравъ друга, эти люди не знаютъ ему предъ другими цѣны и мѣры; наединѣ сами съ собой они размышляютъ, что этотъ другъ ими манкируетъ и прочее...»

Наконецъ, Ивановъ, женихъ Кати,—влюбленный молодой человѣкъ, хорошій и благородный. Больше о немъ ничего нельзя сказать. Любовь стоитъ на первомъ планѣ и заслоняетъ отъ насъ всѣ остальные стороны его характера. Впрочемъ и онъ, и Катя—лица второстепенныя; хотя на ихъ судьбѣ собственно и основано дѣйствіе повѣсти, но дѣйствуютъ за нихъ другіе; другіе заботятся объ ихъ интересахъ, между другими происходитъ печальная семейная драма, которой развязка прямо относится къ Иванову и его невѣстѣ. И такъ, мы постарались представить нашимъ читательницамъ списокъ дѣйствующихъ лицъ и ихъ взаимныя отношенія; дѣйствія этихъ людей совершенно обыкновенны и не выходятъ изъ предѣловъ вседневной семейной жизни; нѣтъ никакихъ особенно замѣчательныхъ приключеній, но зато ни одна сцена повѣсти не пропадаетъ даромъ, зато въ каждомъ словѣ выражается характеръ дѣйствующихъ лицъ и проводится мысль автора, зато вся повѣсть заставляетъ задуматься, не забывается и оставляетъ по себѣ глубокое впечатлѣніе, какъ всякое вѣрное изображеніе дѣйствительной жизни съ ея печальными недостатками.

*Дочери. Совѣты старушки, посвященные матерямъ, имѣющимъ дочерей.*

Среди книгъ и статей, писанныхъ въ послѣднее время о женщинѣ и о женскомъ воспитаніи, заслуживаетъ особеннаго вниманія небольшая



брошюра, заключающая въ себѣ: «Совѣты старушки». Въ этой брошюрѣ находятся въ равновѣсіи между собою результаты жизненнаго опыта и строго-логическаго мышленія; взаимно смягчая и умѣряя другъ друга, эти результаты сходятся въ общихъ, стройныхъ выводахъ, въ которыхъ не видно ни пылкаго увлеченія утопическими теоріями, ни отталкивающей холодности чисто практическаго, матеріальнаго взгляда на вещи. Видно, что жизненный опытъ умѣрилъ въ авторѣ юношескія увлеченія, не убивая живыхъ благородныхъ началъ человѣческой души, не подавляя вѣры въ прекрасное, не подавляя святого стремленія къ добру и къ истинѣ. Такой предметъ, какъ воспитаніе женщины, требуетъ спокойнаго и хладнокровнаго размышленія; рассуждая о немъ, легко впасть въ крайность, легко увлечься теорією. Не понявъ истиннаго назначенія женщины, не обсудивъ положенія ея въ современномъ обществѣ, можно, при самыхъ лучшихъ намѣреніяхъ, указать женщинѣ несвойственную ей сферу дѣятельности; желая строго опредѣлить кругъ ея обязанностей, можно стѣснить ея законную свободу; желая расширить эту свободу, желая избавить женщину отъ всякой зависимости, можно отодвинуть на второй планъ лучшія права ея,—права быть подругою мужа, матерью и воспитательницею. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ увлеченіе будетъ вредно и приведетъ къ ложнымъ результатамъ. Этого увлеченія избѣжалъ авторъ «Совѣтовъ старушки»; онъ пишетъ для современнаго общества, знаетъ его потребности, видитъ его слабыхъ и сильныхъ стороны и даетъ совѣты и указанія, прямо относящіеся къ дѣлу, прямо примѣнимые къ теперешнему порядку вещей. Такую книгу мы не можемъ оставить безъ вниманія. Для нашихъ читателей въ ней недоступны нѣкоторыя мѣста (глава 2); но зато матери найдутъ въ ней дѣльные и благоразумные совѣты, высказанные убѣдительно и послѣдовательно, подтвержденные логическими доказательствами и разительными примѣрами изъ вседневной жизни. Авторъ начинается съ самаго простаго и въ тоже время важнаго вопроса, имѣющаго существенное вліяніе на положеніе и жизненные силы высшаго и средняго класса нашего общества. Отчего, спрашиваетъ онъ, такъ много холостяковъ и старыхъ дѣвъ? Отвѣтъ на это самый простой и естественный: оттого что мужчины, отъ которыхъ зависитъ сдѣлать выборъ, не рѣшаются выбирать, боясь ошибки и разочарованія. Не рѣшаются-же они потому, что у нихъ передъ глазами много примѣровъ несчастныхъ и, какъ говоритъ авторъ, *получастливыхъ* супружествъ. Отчего же такъ рѣдко встрѣчается истинное, прочное семейное счастье? Отвѣтъ на этотъ вопросъ должно искать въ воспитаніи женщины, въ томъ первоначальномъ направленіи, которое дано ей съ малыхъ лѣтъ и кото-

рое въ большей или меньшей степени имѣетъ вліяніе на всю ея жизнь. Обращаясь къ воспитанію, авторъ высказываетъ свои мысли о назначеніи женщины. Не отнимая у нея права заниматься наукою и искусствомъ, онъ говоритъ, что истиннымъ поприщемъ для ея дѣятельности должна быть семья; только въ семьѣ женщина вполне достигаетъ своего назначенія; только въ семьѣ могутъ вполне развернуться любящія женственные силы ея души. Совѣтуя матерямъ готовить изъ своихъ дочерей преимущественно хорошихъ семьянокъ, авторъ не стѣсняетъ этимъ женскаго образованія; онъ понимаетъ, что добросовѣстное исполненіе обязанностей жены и матери требуетъ многосторонняго и гармоническаго развитія всѣхъ умственныхъ способностей и всѣхъ силъ души; онъ понимаетъ, что для семейнаго счастья необходимо возможное равенство между супругами, равенство умственное, на которомъ должно быть основано взаимное пониманіе и уваженіе.

«Она (женщина), говоритъ онъ, должна быть образована, чтобы понимать и сочувствовать интересамъ своего мужа, чтобы основательно развивать понятія, мысли и взгляды своихъ дѣтей въ ихъ первомъ возрастѣ. Программу такого образованія дать трудно, потому что въ разныхъ классахъ общества различно и самое воспитаніе, но во всякомъ случаѣ, думаю я, дѣвушкамъ должно давать образованіе, соответственное тому обществу, въ которомъ имъ суждено жить».

Съ послѣднею мыслью автора мы позволимъ себѣ не согласиться. Бѣдная дѣвушка должна быть приучена съ малолѣтства къ тому образу жизни, который суждено ей будетъ вести современемъ, къ тѣмъ занятіямъ, которыми она должна будетъ добывать себѣ пропитаніе, наконецъ къ тѣмъ лишеніямъ, съ которыми она встрѣтится въ жизни,—все это справедливо; но умственное образованіе ея не должно терпѣть отъ ея общественнаго положенія. Ежели она имѣетъ средства учиться, развиваться—пусть учится, пусть развивается во что бы то ни стало. Правда, развитой дѣвушкѣ предстоитъ въ жизни много горя, много страданій; каждое грубое слово, каждая неосторожная шутка болѣзненно отзовутся въ ея душѣ; не помирится она съ нравственными несовершенствами окружающихъ ея людей; но, какъ бы то ни было, она будетъ благотворно дѣйствовать въ своемъ семейномъ кругу, дастъ хорошее направленіе своимъ дѣтямъ, быть можетъ облагородитъ и возвыситъ своего мужа, и сознаніе исполненнаго долга вознаградитъ ее за тяжелыя минуты страданія. А эти тяжелыя минуты неизбѣжны. Ихъ переживаютъ всѣ лучшіе, болѣе развитые люди, стоящіе впереди своего общества; гдѣ масса будетъ смѣяться, гдѣ она съ тупымъ равнодушіемъ взглянетъ на нравственное зло, тамъ передовою чело-  
вѣкъ по-



чувствуетъ грусть или негодованіе, тамъ онъ переживетъ одну изъ тяжелыхъ минутъ. Но слѣдуетъ ли изъ этого, что не должно быть людей, выдвигающихся изъ среды окружающаго ихъ общества? Что мы сказали о развитомъ человѣкѣ вообще, то можно приѣхать къ дѣвушкѣ, для которой роль общества будетъ играть семья, стоящая ниже ея по образованію. Тяжело будетъ ея положеніе; но не для одного счастья, не для одного наслажденія созданъ человѣкъ; онъ созданъ для труда и борьбы, для усовершенствованія своей духовной природы и для благотворнаго дѣйствія на окружающихъ его людей. Со всѣми остальными совѣтами автора нельзя не согласиться; замѣчанія его о преподаваніи наукъ, о занятіяхъ искусствами, о домашнемъ хозяйствѣ, о выѣздахъ дѣвушки, о ея первыхъ чувствахъ и о степени ихъ прочности, наконецъ о выборѣ жениха и объ отношеніяхъ родителей къ замужнимъ дочерямъ, всѣ эти замѣчанія вѣрны и полезны. Авторъ въ своихъ разсужденіяхъ умѣетъ быть практически благоразумнымъ, не дѣлаясь сухимъ и холоднымъ; такъ, напримѣръ, не оскорбляя свѣжести и чистоты первой любви, онъ умѣетъ критически оцѣнить ея значеніе для супружеской жизни и съ тонкимъ тактомъ отдѣляетъ истинное чувство молодого сердца отъ минутнаго, непрочнаго увлеченія. Въ каждомъ словѣ его проглядываютъ опытность, благоразуміе и теплое чувство. Книга его можетъ принести истинную пользу матерямъ, воспитательницамъ; даже молодымъ дѣвушкамъ хорошо было бы прочесть ее, начиная съ III главы.

**Фрегатъ Паллада. Очерки путешествія. Ивана Гончарова, въ двухъ томахъ. С.-Пб. 1858 г.**

Очерки путешествія Гончарова составляютъ существенно важное приобрѣтеніе для нашей литературы, и мы считаемъ долгомъ обратить на нихъ вниманіе нашихъ читателей. Не принимая на себя серьезной и трудной обязанности критика, мы только укажемъ на главные красоты этого произведенія и постараемся поставить нашихъ читателей на ту точку зрѣнія, съ которой должно смотрѣть на «Очерки путешествія». Отправившись въ кругосвѣтное путешествіе въ концѣ 1852 года, Гончаровъ въ письмахъ къ своимъ петербургскимъ друзьямъ дѣлился съ ними путевыми впечатлѣніями; письма эти печатались въ разныхъ журналахъ и въ прошломъ году собраны и изданы отдѣльной книгой подъ заглавіемъ «Фрегатъ Паллада». Цѣлью путешествія была Японія, съ которою наше правительство желало заключить торговый трактатъ; путь лежалъ изъ Балтійскаго и Нѣмецкаго моря по Атлантическому океану мимо западныхъ береговъ Африки, че-

резъ мысъ Доброй Надежды къ южнымъ оконечностямъ Азіи, а оттуда къ сѣверу, по Восточному океану, вдоль береговъ Китая въ Нагасаки. Изъ Японіи фрегатъ пошелъ къ берегамъ Сибири, и Гончаровъ черезъ Сибирь сухимъ путемъ вернулся въ Петербургъ. Въ этомъ путешествіи Гончаровъ видѣлъ три океана,—Атлантическій, Индѣйскій и Тихій, два раза переходилъ черезъ экваторъ и тропики и наблюдалъ вблизи природу, жителей южной Африки, южныхъ и восточныхъ береговъ Азіи, и азіатскихъ острововъ, разсѣянныхъ по Восточному океану. Онъ видѣлъ много любопытнаго, много замѣчательнаго, но, несмотря на то, интересъ описываемыхъ предметовъ, содержаніе, стоитъ на второмъ планѣ и уступаетъ самому описанію. На книгу Гончарова должно смотрѣть не какъ на путешествіе, но какъ на чисто художественное произведеніе. Отъ путешественника мы требуемъ подробныхъ и полныхъ свѣдѣній о странѣ и ея обитателяхъ, требуемъ статистическихъ, историческихъ и этнографическихъ данныхъ; путешественникъ долженъ изучить свой предметъ, и количество сдѣланныхъ имъ наблюденій и сообщенныхъ свѣдѣній опредѣляетъ достоинство его труда. Отъ разсказа путешественника мы можемъ требовать только ясности и послѣдовательности. Въ путевыхъ очеркахъ Гончарова мы должны искать достоинствъ другого рода. Заключая въ себѣ результаты личныхъ впечатлѣній, выражая собою то, что передумалъ и перечувствовалъ художникъ, они представляютъ чисто литературныя, эстетическія красоты; въ нихъ мало научныхъ данныхъ, въ нихъ нѣтъ новыхъ изслѣдованій, нѣтъ даже подробнаго описанія земель и городовъ, которые видѣлъ Гончаровъ; вмѣсто всего этого читатель находитъ рядъ картинъ, набросанныхъ смѣлою кистью, поражающихъ своею свѣжестью, законченностью и оригинальностью. Въ этихъ картинахъ воспроизведена природа въ самыхъ разнообразныхъ своихъ видоизмѣненіяхъ, въ нихъ схвачены разнородные типы, представители различныхъ національностей; тонкая наблюдательность автора успѣла выбрать характеристическія черты; творческій талантъ его соединилъ эти черты въ одно цѣлое, создалъ изъ нихъ стройные живые образы. Описаніе неодушевленной природы и наблюденіе надъ отдѣльными личностями и цѣлыми народами составляютъ два главные сюжета путевыхъ замѣтокъ Гончарова. Эти двѣ стороны неразлучны между собою въ самомъ ходѣ сочиненія и часто сливаются въ общей картинѣ, въ которой внѣшняя природа служитъ обстановкою для человѣка, или человѣкъ дополняетъ собою общее впечатлѣніе, произведенное внѣшнею природой. Несмотря на тѣсную связь ихъ между собою, мы позволимъ себѣ для большей ясности



разсмотрѣть отдѣльно каждую изъ этихъ сторонъ. При описаніяхъ величественныхъ явленій природы какъ-то невольно, естественно измѣняется общій тонъ разсказа: хладнокровный, добродушно веселый, слегка насмѣшливый юморъ, возбужденный окружающими людьми и забавными сценами морской жизни, исчезаетъ; поэтъ безраздѣльно отдается обаятельному впечатлѣнію; для него наступаетъ торжественная минута внутренней тишины, спокойнаго благоговѣнія; онъ не анализируетъ, не дробитъ общаго впечатлѣнія, не старается даже опредѣлить его; онъ только смотритъ, думаетъ, чувствуетъ и создаетъ стройную, прекрасную картину, въ которой отражаются и его думы, и его чувства. Въ подобныхъ сценахъ природы нѣтъ мѣста анализу; спокойно восторженное состояніе поэта устраняетъ холодный, критическій взглядъ наблюдателя. При изображеніи людей, при воспроизведеніи ихъ характеровъ въ живыхъ эпизодахъ, обнаруживается другая сторона творческаго таланта Гончарова: авторъ подмѣчаетъ тончайшія особенности различныхъ національностей, показываетъ ихъ читателю въ двухъ-трехъ мѣтко выбранныхъ случаяхъ вседневной жизни, группируетъ эти особенности и опредѣляетъ ими народный характеръ; все это дѣлается какъ бы само собою, безъ труда и натяжки. Авторъ рассказываетъ самые простые эпизоды своего путешествія, рассказываетъ ихъ повидимому безъ всякой задней мысли, безъ всякой, заранѣе обдуманной, цѣли, но взгляните въ эти эпизоды: въ каждомъ изъ нихъ вы увидите какую-нибудь мелкую, едва замѣтную, но характеристическую черту; прочтя нѣсколько такихъ эпизодовъ, вы замѣчаете, что нечувствительно познакомились съ духомъ и складомъ ума извѣстнаго народа. Англичане, голландцы, индѣйцы, китайцы, лийцы, корейцы, и особенно японцы, доставляли автору матеріалы для наблюденій; всѣ они являются съ своей оригинальной фizioноміей, своимъ личнымъ, отчетливо обработаннымъ характеромъ. Даже жители крайняго востока Азіи, китайцы, корейцы, лийцы и японцы—народы родственные, близкіе между собою по происхожденію—рѣзко разграничены; между ними есть много общаго, есть семейное сходство, но каждый изъ нихъ сохранилъ у Гончарова свою оригинальность, каждый имѣетъ свои отличительныя свойства. Очерчивая типы цѣлыхъ національностей, авторъ въ то же время отдѣляетъ характеры отдѣльныхъ личностей. Японскіе переводчики и сановники, посѣщавшіе фрегатъ въ нагасакской гавани, выведены такимъ образомъ въ дневникѣ путевыхъ впечатлѣній: всѣ они представляютъ типъ японца, но каждая отдѣльная личность живетъ своей жизнью, имѣетъ свои личныя общечеловѣческія свойства и, сохраняя національную фizioномію,

рѣзко отличается отъ своихъ единоплеменниковъ. Богатый матеріалъ для наблюденій давалъ автору экипажъ фрегата; большая часть офицеровъ и матросовъ играютъ важную роль въ путевыхъ замѣткахъ, представляя собою различные видоизмѣненія русскаго народнаго характера. Столкновеніе этихъ чисто русскихъ типовъ съ англичанами, съ японцами, съ малайцами и т. д. представляетъ любопытное явленіе и даетъ мѣсто многимъ занимательнымъ эпизодамъ, въ которыхъ авторъ обнаруживаетъ въ полной силѣ свое знаніе русскаго человѣка. Не приводимъ здѣсь никакаго отрывка, потому что подобные эпизоды могутъ быть совершенно понятны, могутъ произвести свое полное впечатлѣніе только въ связи между собою, когда уже знакомы и общій тонъ разсказа, и характеры отдѣльныхъ дѣйствующихъ лицъ. «Фрегатъ Паллада» состоитъ, какъ мы уже замѣтили, изъ писемъ, писанныхъ для друзей и сначала не предназначавшихся для печати. Это обстоятельство придаетъ путевымъ замѣткамъ особенный характеръ душевной теплоты и дружеской откровенности: Гончаровъ постоянно говоритъ о себѣ, о своихъ впечатлѣніяхъ, о своемъ расположеніи духа, о вліяніи вѣшной обстановки на его здоровье и духовную дѣятельность; личность автора не скрывается за описываемыми предметами; читатель не теряетъ ея изъ виду и коротко знакомится съ нею къ концу путевыхъ замѣтокъ. Путешествіе Гончарова по неизмѣримымъ равнинамъ, болотамъ и тундрамъ Сибири,—путешествіе, въ которомъ онъ почти исключительно говоритъ о своихъ лишеніяхъ и путевыхъ страданіяхъ, всего болѣе содѣйствуетъ этому сближенію читателя съ авторомъ. Эта часть путешествія сверхъ того даетъ самыя занимательныя подробности объ обширномъ краѣ, любопытномъ во всѣхъ отношеніяхъ, составляющемъ часть нашего отечества и почти неизвѣстномъ большинству читателей.

**Отголосокъ «на жалобу женщины» В...й.**  
(«Современникъ», 1858 г., февраль.)

Въ небольшой статьѣ г-жи В...й затронуты самыя важныя и существенныя вопросы женскаго воспитанія,—вопросы, вызванные не теоретическимъ размышленіемъ, а насущною жизненною потребностью. Г-жа В... — мать, занимающаяся воспитаніемъ своихъ дочерей, съ любовью взявшаяся за свое святое дѣло и посвятившая ему всѣ силы своей души. При всемъ горячемъ желаніи принести истинную пользу своимъ дѣтямъ, г-жа В..., не получившая прочнаго образованія, не слѣдившая за развитіемъ педагогическихъ идей, не довѣряетъ собственнымъ силамъ и, излагая свою систему воспитанія, требуетъ совѣта и помощи мысля-



щих людей нашего общества. Чтобы объяснить свое положеніе, чтобы показать тѣ обстоятельства, подѣ влияніемъ которыхъ она взялась за трудное дѣло воспитанія, она въ короткихъ словахъ рассказываетъ свою молодость, прошедшую безъ любящаго надзора матери и не оставившую ей ни основательныхъ свѣдѣній, ни твердыхъ убѣжденій. Прекрасное сердце и свѣтлый природный умъ избавили г-жу В... отъ внутренней душевной пустоты и сухости, которая большей частью бываетъ слѣдствіемъ недостаточнаго развитія; весело и беззаботно прошли первые годы ея замужества, но обстоятельства скоро перемѣнились, состояніе разстроилось, и г-жа В..., сдѣлавшись матерью, поняла свои обязанности и сама взялась за воспитаніе своихъ дочерей. Желая приготовить ихъ къ бѣдной, трудовой жизни, желая убѣдить ихъ въ необходимости полезной дѣятельности, г-жа В... не скрываетъ отъ нихъ стѣсненнаго положенія своихъ обстоятельствъ, не утѣшаетъ ихъ, не общается имъ веселой будущности, но, приучая ихъ къ хозяйственнымъ заботамъ, старается приохотить ихъ къ труду, который, смотря по направленію, данному въ молодости, можетъ сдѣлаться для человѣка невыносимымъ бременемъ или необходимымъ условіемъ жизни. Чтобы наставленія и уроки ея не оставались мертвой буквой, чтобы они глубоко проникали въ молодые сердца дѣтей, чтобы они служили основаніемъ ихъ будущихъ убѣжденій, г-жа В... старается быть близкою къ своимъ дочерямъ, живетъ съ ними одною жизнью, раздѣляетъ ихъ игры, дѣлается ихъ необходимою подругой и, не стѣняя ихъ подозрительнымъ надзоромъ, не тяготя надъ ними строгою властью, приобретаетъ ихъ добровольное и полное дружеское довѣріе. Она приводитъ простой, но трогательный эпизодъ, доказывающій всю силу любви дѣтскаго, неспорченнаго сердца. «Образовать своихъ дѣвочекъ нравственно, говорить г-жа В...: — я, кажется, успѣла; онѣ религіозны безъ суетвѣрія, добронравны и чувствительны, готовы отдать послѣднее бѣдному, не жаждутъ нарядовъ и способны на всякія лишенія». Если воспитаніе достигаетъ такихъ результатовъ, то можно сказать смѣло, что оно ведено правильно и разумно. Но для гармоническаго развитія необходимо еще прочное научное образованіе; чтобы понимать свои обязанности и свое положеніе, женщина должна имѣть вѣрный взглядъ на жизнь, на людей, на все, что ее окружаетъ. Такой взглядъ дается жизненнымъ опытомъ; но, чтобы этотъ опытъ вполне принесъ свою пользу, чтобы въ немъ окрѣпли убѣжденія, необходимо, чтобы убѣжденія эти были вложены воспитаніемъ, необходимо правильное приготовленіе къ жизни и всестороннее умственное развитіе. Необходимость такого развитія

сознаетъ г-жа В..., но тутъ начинаются для нея мучительныя сомнѣнія, недовѣріе къ собственнымъ силамъ, къ правильности своего взгляда на вещи. Несмотря на всѣ эти затрудненія, она, руководствуясь однимъ природнымъ здравымъ смысломъ, слѣдуя внушеніямъ разумной материнской любви, достигаетъ самыхъ отрадныхъ результатовъ, къ которымъ стремится современная педагогическая наука. Г-жа В... не скрываетъ отъ своихъ дѣтей грустной, мрачной стороны жизни, не представляетъ людей ангелами, не создаетъ имъ фантастическаго міра, въ которомъ господствуетъ и торжествуетъ добродѣтель; не разоблачая передъ ними отвратительныхъ явленій порока, не останавливая ихъ мысли на сценахъ злодѣянія и безнравственности, не убивая ихъ вѣры въ доброе и прекрасное, она даетъ имъ замѣтить, что въ жизни есть много не изящнаго, что въ людяхъ много дурного и плоскаго, что человѣку свойственны слабости и заблужденія. Лучшимъ средствомъ къ ознакомленію дѣтей своихъ съ будничной невзрачной стороною жизни г-жа В... считаетъ чтеніе нашихъ лучшихъ современныхъ писателей и смѣло, съ полнымъ убѣжденіемъ, даетъ въ руки своимъ дочерямъ Гоголя, Аксакова («Семейную хронику»), Толстого («Дѣтство и отрочество»), Тургенева («Записки охотника») и др. Такое приготовленіе къ жизни избавить въ будущемъ отъ горькаго разочарованія, которое въ душѣ пылкой и воспріимчивой можетъ оставить неизгладимое чувство ненависти и презрѣнія къ людямъ и къ обществу. На такихъ данныхъ основано воспитаніе г-жи В...; по свѣтлымъ мыслямъ, которыя она высказываетъ въ своей статьѣ и которыя повидимому выработались въ ней опытомъ и путемъ самостоятельнаго размышленія, можно судить о степени ея простого ума; по искреннему чувству, съ которымъ она проситъ совѣта и дѣлится своимъ опытомъ съ матерями и воспитательницами, легко узнать любящую женщину-мать, глубоко проникнутую сознаніемъ своихъ святыхъ обязанностей. Можно надѣяться, что теплые слова г-жи В... не останутся безъ отвѣта и принесутъ свою долю пользы въ уясненіи идеаловъ женскаго воспитанія.

**Николай Яковлевичъ Прокоповичъ и отношенія его къ Гоголю. П. В. Гербеля.** («Современникъ», 1858 г., февраль).

Дорого русскому сердцу имя Гоголя; Гоголь былъ первымъ нашимъ народнымъ, исключительно русскимъ поэтомъ; никто лучше его не понималъ всѣхъ оттѣнковъ русской жизни и русскаго характера, никто такъ поразительно вѣрно не изображалъ русскаго общества; лучшіе современные дѣятели нашей литературы



могутъ быть названы послѣдователями Гоголя; на всѣхъ ихъ произведеніяхъ лежитъ печать его вліянія, слѣды котораго еще долго вѣроятно останутся на русской словесности. Все, что можетъ объяснить подробности жизни Гоголя, условія, при которыхъ онъ развивался, характеръ его, какъ частнаго человѣка, все, что было къ нему близко и приходило съ нимъ въ соприкосновеніе, заслуживаетъ нашего полнаго вниманія. Статья Гербеля содержитъ въ себѣ краткую біографію Н. Я. Прокоповича, лучшаго друга и школьнаго товарища нашего великаго поэта. Прокоповичъ вѣстѣ съ Гоголемъ воспитывался въ Нѣжинскомъ Лицеѣ, подружился съ нимъ въ молодости и остался близокъ къ нему на всю жизнь. Гоголь часто видѣлся съ нимъ, когда жилъ въ Петербургѣ, гдѣ Прокоповичъ служилъ послѣ окончанія лицейскаго курса; во время разлуки они вели между собою постоянную переписку, откровенную, товарищескую бесѣду, которая бросаетъ яркій свѣтъ на личность Гоголя какъ человѣка. За границею, въ Парижѣ, въ Римѣ, Гоголь любилъ забывать на время свои заботы, душевныя волненія и физическія болѣзни, любилъ переноситься воображеніемъ въ веселый кружокъ прежнихъ товарищей. Въ письмахъ своихъ къ Прокоповичу, проникнутыхъ задушевнымъ, теплымъ чувствомъ, онъ часто вспоминаетъ лицейскіе годы и съ искреннимъ участіемъ разспрашиваетъ о своихъ сверстникахъ. Гоголь видѣлъ въ Прокоповичѣ замѣчательный творческій талантъ и въ письмахъ своихъ часто уговариваетъ его взяться за перо; въ литературныхъ опытахъ Прокоповича дѣйствительно замѣтны проблески истиннаго таланта, но талантъ этотъ никогда не получилъ полнаго развитія. Прокоповичъ довольствовался скромной должностію учителя, печаталъ мало и неохотно, и рѣшительно не оправдалъ тѣхъ надеждъ, которыя возлагалъ на него Гоголь. Опыты его прошли незамѣченными, и Прокоповичъ, какъ писатель, рѣшительно неизвѣстенъ въ русской литературѣ. Зато имя его занимаетъ важное мѣсто въ біографіи Гоголя; онъ помогалъ нашему поэту дѣломъ и совѣтомъ; въ отсутствіе его онъ завѣдывалъ изданіемъ его сочиненій; ему поручено было высылать Гоголю деньги за границу; его спокойная веселость разгоняла при свиданіи меланхолію Гоголя; въ домѣ Прокоповича собирався кружокъ нѣжинскихъ товарищей, и въ этомъ обществѣ Гоголь былъ веселъ, шутилъ и сочинялъ на общихъ знакомыхъ разные пѣсни и куплеты. Въ разлукѣ письма Прокоповича поддерживали въ Гоголѣ веселое расположеніе духа и служили ему истинной отрадой на чужой сторонѣ. Въ своей статьѣ Гербель приводитъ цѣликомъ нѣсколько писемъ Гоголя къ Прокоповичу. Письма эти показываютъ намъ,

какъ тѣсны были ихъ отношенія. Гоголь съ полной откровенностію говоритъ въ нихъ о своихъ нуждахъ, о своихъ планахъ и надеждахъ. Впрочемъ въ этихъ дружескихъ отношеніяхъ лучшая роль принадлежала не Гоголю. Въ большей части своихъ писемъ, особенно въ тѣхъ, которыя относятся ко времени печатанія «Мертвыхъ Душъ», Гоголь требуетъ отъ Прокоповича разнаго рода услугъ и одолженій; видимо злоупотребляетъ его дружескою предупредительностію и даже иногда, въ случаѣ какой-нибудь неудачи или ошибки Прокоповича, даетъ ему почувствовать свое неудовольствіе въ какомъ-нибудь косвенномъ намекѣ. «Дѣльною перепискою» Гоголь называетъ только такую, въ которой дѣло идетъ о «Мертвыхъ Душахъ» и объ изданіи его сочиненій; во всѣхъ письмахъ онъ говоритъ о себѣ, о своихъ нуждахъ и только изрѣдка, для приличія, покровительственнымъ тономъ убѣждаетъ Прокоповича взяться за перо и развивать свой литературный талантъ. Гоголя въ то время занимали чисто практическіе, промышленные интересы; въ письмахъ, относящихся ко времени изданія сочиненій, цѣлыя страницы наполнены разсужденіями о шрифтѣ, о бумагѣ, о цѣнѣ. Болѣе замѣчательны другія письма Гоголя, въ которыхъ онъ говоритъ о состояніи своей души,—письма, относящіеся къ послѣдующимъ годамъ его жизни, проникнутыя уныніемъ, болѣзненной грустью, полнымъ недоверіемъ къ собственнымъ силамъ. Приводимъ послѣднее его письмо, писанное за годъ до смерти и носящее на себѣ слѣды этого мрачнаго настроенія духа:

«На твое письмо не отвѣчалъ, въ ожиданіи лучшаго расположенія духа. Съ новаго года напали на меня всякаго рода недуги. Все болѣю и болѣю: климатъ допекаетъ. Куда убѣжать отъ него, еще не знаю; пока не рѣшился ни на что. Радъ, что ты здоровъ и твое семейство также. По-настоящему слѣдуетъ позабыть свою хандру, когда видишь, что друзья и близкіе еще, слава Богу, здравствуютъ. Впрочемъ и то сказать: надобно знать честь. Мы съ тобой, слава Богу, перешли сорокъ лѣтъ и во все это время ничего не знали, кромѣ хорошаго, тогда какъ имъ вся жизнь — одно страданіе. Да будетъ же прежде всего на устахъ нашихъ благодарность. Болѣзни приостановили мои занятія «Мертвыми Душами», которыя пошли было хорошо. Можетъ быть болѣзнѣ, а можетъ быть и то, что, какъ поглядишь, какіе глупые настаютъ читатели, какіе безтолковые цѣнители, какое отсутствіе вкуса... просто не поднимаются руки. Странное дѣло, хотъ и знаешь, что трудъ твой не для какого-нибудь переходнаго... современной минуты, а все-таки современное неустойчивое отношеніе нужно для него спокойствіе. Увѣдоми меня о себѣ. Все же и въ твоей жизни, какъ дни ея повидимому ни походятъ одинъ на другой, случится что-нибудь не ежедневное: или прочтется что-нибудь, или услышится, или сама собой, какъ подарокъ съ неба, почувствуется такая минута, что хотѣлъ бы благодарить за нее долго и быть вѣчно свѣжимъ и новымъ въ своей благодарности.



Адресуй по прежнему: въ домъ Талызина, на Никитскомъ Бульварѣ. Супругу и дѣтокъ обними.

Твой весь Н. Гоголь».

Только въ дружескомъ письмѣ могло такъ полно обнаружиться состояніе души нашего поэта. Въ каждомъ словѣ Гоголя видна болѣзненная внутренняя пустота, неудовольствіе на себя и на другихъ; видно, что въ Гоголѣ уже совершился горестный переворотъ, вслѣдствіе котораго онъ вдался въ ханжество и отрекся отъ лучшихъ своихъ произведеній. Отсюда происходят жалобы его почитателей, которые конечно не могли понять его «Переписки съ друзьями», показавшей въ немъ совершенную перемѣну основныхъ убѣжденій. Въ статьѣ Гербеля на первомъ планѣ стоитъ личность Гоголя, заслоняя собою личность Прокоповича. Это довольно понятно. Для біографіи Прокоповича нѣтъ другихъ матеріаловъ, кромѣ переписки его съ Гоголемъ, къ тому же самъ Прокоповичъ важенъ для насъ только какъ другъ великаго поэта, и потому письма Гоголя, приведенныя Гербелемъ, составляютъ главный интересъ статьи тѣмъ болѣе, что они напечатаны въ первый разъ и до сихъ поръ не были извѣстны.

**Босоножка.** Повѣсть *Ауэрбаха*. («Библіотека для Чтенія», 1858 г., январь и февраль.)

Эта повѣсть Ауэрбаха отличается необыкновенной граціозностью формы и тонкимъ анализомъ внутреннихъ движеній человѣческой души. Въ ней прослѣжено параллельное развитіе двухъ характеровъ, которые, развиваясь при одинаково неблагоприятныхъ обстоятельствахъ, доходятъ до совершенно противоположныхъ результатовъ. Братъ и сестра, Дами и Амрея, дѣти бѣднаго нѣмецкаго крестьянина, въ младенчествѣ теряютъ своихъ родителей и, оставшись круглыми сиротами, растутъ на попеченіи общественнаго совѣта деревни, который, заботясь о ихъ пропитаніи, посылая ихъ въ школу, конечно не можетъ слѣдить шагъ за шагомъ за ихъ умственнымъ развитіемъ и такимъ образомъ заимѣять имъ родительскій надзоръ. Предоставленные собственнымъ наклонностямъ, лишенные необходимаго присмотра, дѣти развиваются независимо отъ посторонняго вліянія, свободно слѣдуя каждый своему внутреннему побужденію. Различіе ихъ характеровъ, замѣтное въ самомъ нѣжномъ возрастѣ, съ годами усиливается и принимаетъ болѣе опредѣленныя формы. Одно и то-же несчастье, поразившее обоихъ дѣтей, дѣйствуетъ на нихъ совершенно различно: Амрея глубоко чувствуетъ свою потерю, свое одиночество, питаетъ благоговѣйное уваженіе къ памяти родителей, но затаиваетъ въ глубинѣ души свою печаль и въ самой горести находитъ новыя силы,

чтобы учиться, работать и поддерживать брата. Дами плачетъ громче сестры, часто жалуется на свое сиротство, но утѣшается всякою бездѣлицей и, лишь бы ему было хорошо, готовъ забыть невозвратную потерю. Амрея груститъ о своихъ родителяхъ, боится за будущность брата; Дами жалѣетъ объ удобствахъ жизни, которыми пользовался въ отцовскомъ домѣ, и думаетъ только о себѣ. Бѣдность и зависимое положеніе, въ которое поставлены сироты, также производятъ на нихъ различное вліяніе. Амрея сосредоточиваетъ въ себѣ свои силы, приучается заботиться о самой себѣ, вдумывается въ собственное положеніе и въ поступки окружающихъ ее людей; въ ней просыпается чувство собственного достоинства, и она, по инстинктивному побужденію благородной природы, старается оградить себя отъ обидъ и подарковъ, отъ оскорбительныхъ насмѣшекъ и оскорбительнаго участія людей постороннихъ. Дами не умѣетъ стать выше своего положенія и постоянными жалобами на свое сиротство возбуждаетъ въ сверстникахъ и знакомыхъ отвращеніе или презрительную жалость; оскорбленія не возмущаютъ его, а заставляютъ страдать настолько, насколько нарушаютъ его спокойствіе или матеріальное благосостояніе. Онъ не размышляетъ, не вдумывается въ жизнь, а живетъ, какъ живется: чуть улыбнется счастье, начинается строить воздушные замки, при малѣйшей неудачѣ падаетъ духомъ, жалуется на сиротство и во всемъ обвиняетъ сестру, которая, несмотря на свою молодость, съ предусмотрительною нѣжностью матери заботится о его будущности. Въ повѣсти Ауэрбаха стоитъ на первомъ планѣ превосходно обработанный характеръ Амреи. Мы поговоримъ о ней подробнѣе. Авторъ слѣдитъ за ея внутреннимъ развитіемъ, за постепеннымъ пробужденіемъ различныхъ силъ ея души, за процессомъ мысли, которая съ каждымъ годомъ сильнѣе и сильнѣе работаетъ въ головѣ дѣвочки. Способность вдумываться въ предметъ и быстро схватывать его характеристическія свойства проявляется въ ребенкѣ въ умѣнн сочинять и отгадывать загадки; самостоятельность характера выражается въ какой-то угловатой, безыскусственной оригинальности, которая съ лѣтами до нѣкоторой степени сглаживается, но оставляетъ на Амреѣ легкій отпечатокъ чего-то особеннаго, недюжиннаго. Въ безсознательномъ влеченіи ребенка къ цвѣтамъ, къ зелени, къ родной листвѣ видны зародыши глубокаго поэтическаго сочувствія къ природѣ; въ нѣжной, ребячески-граціозной заботливости 17-ти-лѣтней дѣвочки о бѣдномъ Дами замѣтна мягкая женственность; ея умѣнье обращаться съ неразвитымъ, своенравнымъ и въ то-же время безхарактернымъ мальчикомъ показываетъ задатки рѣдкаго благоразумія. Эти отдѣльныя черты прекрасно сгруппированныя авторомъ, слага-



ются въ нѣжный, прелестный образъ; ребенокъ дѣлается дѣвучкою, свойства характера обозначаются опредѣленнѣе и круглѣе, изъ инстинктивнаго стремленія къ истинѣ и прекрасному возникаютъ сознательныя убѣжденія, выработанныя самостоятельнымъ размышленіемъ и приведенныя въ жизнь. Сочувствіе къ природѣ, слѣдствіе частаго уединенія и простой, деревенской жизни, принимаетъ оттѣнокъ мечтательности, которая не вредитъ однако чисто практической сторонѣ жизни. Дѣвучка поэтизируетъ явленія природы и случаи всендневной жизни, отыскиваетъ въ нихъ идею и значеніе, видитъ въ нихъ скрытый, таинственный смыслъ, сливаетъ ихъ съ собственными радужными грезами и фантазіями и, несмотря на то, строго выполняетъ свои обязанности, здраво и свѣтло смотритъ на жизнь и на свое назначеніе. «Въ самомъ дѣлѣ, говоритъ Ауэрбахъ:— въ Амреѣ образовались отшельническія мечты, рѣдко освѣщаемыя жизненнымъ расчетомъ; но при всѣхъ мечтахъ и размышленіяхъ своихъ она тщательно вязала и не спускала ни одной петли». Въ заключеніе приведемъ нѣсколько сценъ между братомъ и сестрою: эти сцены, выбранныя изъ различныхъ возрастовъ, покажутъ постепенное развитіе обоихъ характеровъ, постепенное осмысленіе ихъ взаимныхъ отношеній. Вотъ сцена въ самомъ началѣ повѣсти:

«Дорогой дѣвочка сказала:

— Я тебѣ задамъ загадку: «какое дерево грѣеть, хотя имъ и не топятъ печки?»

— Линейка учителя, когда бьютъ ею по рукамъ, отвѣчалъ мальчикъ.

— Нѣтъ, не то; дерево, которое колятъ, грѣеть безъ огня.

И, остановившись у куста, она спросила:

— А это что? сидитъ на палочкѣ, въ красной рубашечкѣ, брюшко сыто, камнями набито?

Мальчикъ серьезно задумался и воскликнулъ:

— Поймай, не говори мнѣ, что это такое... Ахъ! это шишка шиповника.

Дѣвочка одобрительно кивнула головой и сдѣлала видъ, какъ-будто задала ему эту загадку въ первый разъ, между тѣмъ какъ это случилось очень часто, и она повторила загадку, чтобы потѣшить братишку».

Тутъ видно только доброе чувство, желаніе развеселить брата, чувство инстинктивное, но уже показывающее огромное превосходство Амреи надъ Дами. Дѣвучка смутно понимаетъ, что она старшая, что она обязана уступать ребенку, и въ ея обращеніи проглядываетъ сознание своего превосходства. Черезъ нѣсколько времени происходитъ сцена въ томъ-же родѣ, но уже съ другимъ оттѣнкомъ. Вотъ она:

«Всего больше доставляла Амрею удовольствія Дами, когда «дарила ему свои загадки». Дѣти все еще сиживали у дома своего богатаго опекуна, то у телѣги, то у хлѣбной печки за домомъ, грѣясь около нея, особенно осенью. Амрею спрашивала:

— А что всего лучше въ хлѣбной печкѣ?

— Ты вѣдь знаешь, я не умѣю отгадывать, жалобно отвѣчала Дами.

— Ну, такъ я тебѣ скажу: лучше всего въ хлѣбной печкѣ то, что она не сѣдаетъ сама хлѣба. И, указывая на телѣгу, стоящую передъ домомъ, Амрею спрашивала:—Ну, а это что: все въ дырахъ, а ужъ какъ крѣпко, просто страхъ?

И, не дожидая долго отвѣта, она прибавила:

— Это цѣпь.

— Эту загадку подари мнѣ, говорилъ Дами, а Амрею отвѣчала:

— Да, можешь задавать ее кому хочешь. А видишь тамъ овецъ? Теперь я еще загадку выдумала.

— Нѣтъ, восклицала Дами: — нѣтъ, трехъ мнѣ не запомнить; мнѣ довольно и двухъ.

— Нѣтъ, слушай, а то я и тѣ отниму.

И Дами съ безпокойствомъ шептала, чтобы не позабыть: «цѣпь, печка», а между тѣмъ, какъ Амрею спрашивала: «Съ какой стороны у овецъ больше шерсти? Мя! мя! съ наружной!», добавляла она шутливо, напѣвая; а Дами послѣ этого бѣжалъ загадать свои новыя загадки товарищамъ».

Угроза отнять подаренныя загадки составляетъ важную черту. Амрею смотреть на дѣло серьезнѣе, и игра въ загадки перестаетъ быть пустою забавою: она видитъ въ ней средство упражнять память брата и для этого пользуется тѣмъ влияніемъ, которое успѣла приобрести на него. Къ доброму желанію потѣшить ребенка присоединяется разумное желаніе принести ему пользу. Спустя лѣтъ шесть Амрею дѣлается гусятницею и случайно узнаетъ, что званіе это въ ея деревнѣ считается унизытельнымъ.

«Для самой себя она и не желала ничего лучшаго, но она не стала больше позволять Дами стечъ съ нею гусей. Онъ — мужчина, изъ него долженъ выйти человѣкъ, и ему повредило бы, еслибъ его можно было упрекнуть, что онъ прежде пасъ гусей. Но, при всемъ желаніи, Амрею не могла разъяснить ему этого, и онъ спорилъ и ссорился съ сестрою».

Тутъ уже является такое благоразуміе, которое можетъ даже показаться неестественнымъ въ 14-ти-лѣтней дѣвучкѣ; но надо вспомнить, что эта дѣвучка рано развилась, что она съ шести лѣтъ росла на свободѣ, обдумывала свои поступки и вглядывалась въ природу. Ранняя самостоятельность или испортилъ характеръ, или придасть ему особенную силу: съ Амреей случилось послѣднее... Еще одна сцена тоже лѣтъ черезъ шесть послѣ предыдущей. Дами уходитъ въ другую деревню на мѣсто, и Амрею, прозванная Босоножкой, даетъ ему послѣднія наставленія.

« — Кабы ты мнѣ сказалъ это, сказала Босоножка: — я нашла бы тебѣ мѣсто получше. Я дала бы тебѣ письмо къ Ландфридху въ Альгей, и тамъ бы тебя приняли, какъ сына.

— Лучше не говори объ ней, сердито сказала Дами: — вотъ ужъ скоро тринадцать лѣтъ, какъ она должна мнѣ пару кожаныхъ панталонъ, что обѣщала. Помнишь? Тогда мы были еще маленькіе и думали, что если будемъ стучаться у своего дома, то намъ отворятъ батюшка съ матушкой. Молчи лучше объ Ландфридхѣ. Богъ знаетъ, помнитъ ли она объ насъ: и жива ли еще.

— Да, жива; вѣдь она родня нашимъ, и дома объ ней часто говорятъ; она пережила всѣхъ своихъ



дѣтей, кромѣ одного сына, которому передать свое хозяйство.

— Ты только отворишь меня отъ моей новой службы, жалобно сказала Дами: — вотъ ты говоришь, что я могъ бы достать мѣсто получше. Хорошо ли это?

Голосъ у него задрожалъ.

— Не будь же такимъ нѣженкой, сказала Босоножка. — Развѣ я отнимаю у тебя что-нибудь? Ты дѣлаешь всегда такой видъ, какъ будто тебя гуси щиплютъ. Вотъ что скажу я тебѣ: теперь оставайся при томъ, что есть у тебя, постарайся остаться на этомъ мѣстѣ. Не дѣло, какъ кукушка, переходить всякую ночь ночевать на новое дерево. Я бы также могла достать другое мѣсто, но не хочу; я вотъ сдѣлала, что мнѣ и тутъ хорошо. Кто каждую минуту переходить съ мѣста на мѣсто, на того смотреть какъ на чужого; знаютъ, что завтра его не будетъ ужъ въ домѣ, и потому и сегодня тамъ, какъ не дома.

— Мнѣ не надо твоихъ нравоученій, сказалъ Дами и, разсердившись, хотѣлъ уйти. — Ты всегда стараешься задѣть меня; а со всѣми другими ты уступчива.

— Да, потому что ты братъ мнѣ, смѣясь, сказала Босоножка, лаская недовольнаго.

Можно подумать, что мать говорить съ сыномъ: такая разумная нѣжность, такая серьезность и твердость убѣжденій видны въ словахъ Босоножки. Жалкая личность Дами прекрасно выразилась въ этой сценѣ. Онъ то сердится, то плачется на судьбу, то тяготится благотворнымъ вліяніемъ сестры и между тѣмъ не въ силахъ его сбросить. Есть въ повѣсти мѣста довольно блѣдныя, особенно во второй части: первая любовь Амрен объяснена довольно безцвѣтно и недостаточно, мѣстами въ повѣсти отражается нѣмецкая туманная сантиментальность, когда говорится о симпатіи, о сочувствіи душъ, о безсознательныхъ предчувствіяхъ двухъ любящихъ сердецъ. Эти мелкіе недостатки впрочемъ вполнѣкупаются достоинствомъ цѣлаго и превосходно выдержаннымъ характеромъ Амрен.

**Остапъ Бондарчукъ.** Романъ *І. Крашевскаго*.  
(«Библи. для Чт.», 1859 г., июль).

Романъ польскаго писателя Крашевскаго «Остапъ Бондарчукъ» отличается разнообразіемъ положеній, занимательностью содержания и живостью дѣйствія. Въ немъ представлено столкновение двухъ поколѣній, которыя смотрятъ совершенно различно на предметы самые важные: на личность человѣка, на его отношенія къ обществу, на его обязанности въ отношеніи къ самому себѣ и къ ближнимъ.

Съ одной стороны является старый графъ, обломокъ польской аристократіи и представитель старыхъ идей и отжившихъ предразсудковъ. Онъ различаетъ людей по ихъ происхожденію, уважаетъ только знатность рода или богатство и не обращаетъ никакого вниманія ни на образованіе, ни на личныя достоинства; съ другой стороны стоятъ дочь и племянникъ графа,

воспитанные подъ вліяніемъ живыхъ идей, проникнутые теплою любовью къ человѣчеству, съ искреннимъ уваженіемъ ко всему истинному, благородному и прекрасному, гдѣ бы оно ни встрѣтилось, въ какой бы низкой сферѣ общества оно ни находилось. Племянникъ, Альфредъ, представляетъ типъ молодого аристократа, умнаго, развитого, сознающаго необходимость труда и образованія, но сохранившаго какую-то врожденную наслѣдственную лѣнь, склонность къ бездѣйствію, которая мало-по-малу беретъ верхъ надъ желаніемъ трудиться и приносить пользу, надъ сознаніемъ собственныхъ обязанностей въ отношеніи къ обществу. Дочь графа, Михалина, по своимъ понятіямъ представляетъ совершенную противоположность съ старымъ графомъ: открыто высказываетъ свои идеи, спорить съ отцомъ и старается, по возможности, измѣнить его неправильныя убѣжденія; она держитъ себя независимо какъ въ своихъ разсужденіяхъ, такъ и въ поступкахъ, любитъ все новое и оригинальное и часто является прелестнымъ, избалованнымъ ребенкомъ въ своихъ желаніяхъ и требованіяхъ. Среди такой обстановки помѣщенъ герой романа, Остапъ Бондарчукъ, крѣпостной человѣкъ графа, получившій, по особенному стеченію обстоятельствъ, прекрасное образованіе. Онъ поставленъ въ самое затруднительное и тяжелое положеніе: образованіе выдвинуло его изъ прежняго состоянія, приблизило его къ другой сферѣ, въ которую не пускаютъ его общественныя предразсудки, олицетворенныя въ особѣ стараго графа. Графъ, не обращая никакого вниманія на образованіе и личныя достоинства человѣка, не придавая имъ никакого значенія, по-прежнему считаетъ Остапа своею собственностью, не щадитъ его самолюбія и хочетъ по своему произволу располагать его судьбою. Альфредъ, товарищ Остапа по Берлинскому университету, считаетъ его лучшимъ и единственнымъ своимъ другомъ и, зная его прекрасныя качества, питаетъ къ нему глубокое уваженіе. Михалина, заинтересованная его оригинальнымъ положеніемъ, вглядывается въ него пристальнѣе, оцѣниваетъ его достоинства и, несмотря на различіе общественнаго положенія, чувствуетъ къ нему непреодолимое влеченіе. Вотъ на чемъ основана завязка романа. Дѣйствіе происходитъ на Волыни, въ помѣстьи графа, и начинается пріѣздомъ изъ-за границы молодыхъ людей, Остапа и Альфреда, окончившихъ курсъ въ Берлинскомъ университетѣ. Съ этой минуты, собственно говоря, начинается дѣйствіе. Въ предыдущихъ главахъ заключается вступленіе, въ которомъ авторъ выводитъ свои дѣйствующія лица и знакомитъ читателя съ ихъ характеромъ и убѣжденіями. Романъ Крашевскаго состоитъ изъ двухъ частей; но въ одной первой части заключается весь интересъ романа: въ ней уже оканчивается на-



чатое дѣйствіе, рѣшается судьба главныхъ дѣйствующихъ лицъ, Остапа, Михалины и Альфреда. Событія первой части прямо вытекаютъ изъ характера и положенія дѣйствующихъ лицъ. Они вполне естественны, находятся въ тѣсной связи между собою и проникнуты живымъ интересомъ. Во второй части событія придуманы искусственно и основаны на разныхъ случайностяхъ, которыя не обусловливаются характеромъ выведенныхъ лицъ, плохо вяжутся между собою и не составляютъ никакого стройнаго цѣлаго; несмотря на усилія автора оживить дѣйствіе разными вводными лицами, несмотря на нѣсколько прекрасныхъ и типичныхъ сценъ, интересъ во второй части слабъ, дѣйствіе вяло и натянуто. Замѣтимъ еще одинъ недостатокъ въ романѣ Крашевскаго: у него нѣтъ анализа внутреннихъ движеній души, онъ описываетъ очень вѣрно и художественно внѣшнее дѣйствіе, но не вникаетъ во внутреннія причины этого дѣйствія, не слѣдитъ за развитіемъ характеровъ. Дѣйствующія лица его можно назвать типами, олицетвореніями извѣстныхъ убѣжденій; но трудно опредѣлить ихъ личный характеръ. Графъ—старый аристократъ, Альфредъ—молодой аристократъ; но ни у того, ни у другого нѣтъ своей собственной личности: они дѣйствуютъ подъ вліяніемъ внѣшнихъ обстоятельствъ, поступаютъ по убѣжденіямъ, которыя вложило въ нихъ воспитаніе, выражаютъ извѣстныя идеи, не высказывая нигдѣ, ни въ словахъ, ни въ поступкахъ, своего характера, внутреннихъ свойствъ своей души. Душевные движенія не разобраны авторомъ. Напримѣръ, любовь Михалины къ Остапу, любовь очень естественная, которой можно было ожидать отъ положенія молодыхъ людей, является какъ-то внезапно. Какъ личность Остапа обратила на себя вниманіе Михалины, какъ подѣйствовали его возвышенный образъ мыслей, его благородныя убѣжденія на воспримчивую глубокую душу умной и развитой дѣвушки, какъ совершился переходъ отъ сожалѣнія и снисходительнаго участія къ уваженію, отъ уваженія—къ болѣе нѣжному чувству, какъ поняла дочь графа свой первый, едва замѣтный проблескъ любви,—всѣ эти вопросы, существенно важные для объясненія личности Михалины, остаются безъ отвѣта. Остапъ является героемъ романа, онъ дѣйствуетъ тоже сообразуясь съ обстоятельствами, поступаетъ вездѣ хорошо и благородно; но читатель нигдѣ не видитъ побудительной причины, не можетъ прослѣдить внутренней борьбы, совершавшейся въ его душѣ, не видитъ онъ, какъ мысль сѣялась мыслью, какъ чувства одно за другимъ овладѣвали душою, какъ дѣйствовали внѣшнія обстоятельства и какъ подлѣ ихъ вліяніемъ возникалъ и слагался характеръ. Словомъ, Крашевскій представляетъ результаты, выводы, не анализируя причинъ. Недостатокъ анализа вы-

купается до нѣкоторой степени художественною полнотою, роскошною свѣжестью описаній. Гдѣ Крашевскій рисуетъ съ натуры, гдѣ онъ является живописцемъ, тамъ онъ поражаетъ вѣрностью и силою своихъ картинъ. Въ самомъ началѣ своего романа онъ рисуетъ картину разрушенія, которую представляла волынская деревня графа вскорѣ послѣ нашествія французовъ въ 1812 году. Для своего описанія онъ не беретъ никакихъ смѣлыхъ образовъ, не позволяетъ себѣ ни малѣйшихъ прикрасъ, не даетъ воли воображенію: онъ рисуетъ просто, осязательно, останавливаясь на мельчайшихъ подробностяхъ, картину опустѣлаго села и разореннаго панскаго дома. Простота эта глубоко западаетъ въ душу и производитъ сильное и продолжительное впечатлѣніе. Приводимъ слова Крашевскаго:

«Послѣ двѣнадцатаго года избранная нами деревенька представляла самую грустную картину. Нѣсколько хижинъ были совершенно разобраны; торчали только оставленные столбы и развалившіяся черныя печи. Плетни заборовъ лежали на землѣ, огороды покрыты хворостомъ и крапивой. Кое-гдѣ виднѣлись слѣды недавняго пожара. Истоптанная земля свидѣтельствовала о недавно стоявшихъ тутъ лошадяхъ. Груды костей валялись по дорогѣ, вороны клевали остатки падали. Гробовая тишина прерывалась только ихъ карканьемъ. Крестьянъ возвратилось еще мало. Оттого рѣдкая изба топилась, и рѣдко человѣческая фигура показывалась на широкой улицѣ, частью поросшей уже травой. На концѣ селенія былъ старый панскій замокъ. Звали его замкомъ потому что тотъ, кто жилъ въ немъ, назывался графомъ. Это было желтое одноэтажное строеніе съ четырьмя колоннами спереди, съ двумя флигелями по бокамъ съ рѣшеткой, раздѣленной кирпичными столбами, и съ высокими каменными воротами, украшенными двумя глиняными сосудами. Послѣ войны рѣшетка была выломана, штукатурка со столбовъ осыпалась, и одна часть воротъ обрушилась. Замокъ представлялъ не очень красивый видъ. Въ большей части оконъ не было стѣколъ и даже рамъ: инны были затворены ставнями, инны забиты досками, а другія сдѣланысь пріютомъ для воробьевъ и ласточекъ. Одинъ изъ флигелей служилъ повидимому конюшней; въ другомъ же одна половина была пустая, а другая занята управляющимъ. Въ переднемъ фасадѣ замка, не знаю, какимъ образомъ, пушечное ядро пробило дыру надъ самымъ стертымъ гербомъ владѣльца. Ласточки тутъ же прилѣпили себѣ гнѣздышки: разрушеніе послужило имъ въ пользу. Грустно было войти во внутрь зданія. Поврежденная крыша пропускала снѣгъ и дождь, грязныя струи которыхъ лили на выбитый и выломанный полъ, на алебастровыя статуи и на расписанныя мозаическія стѣны. Замокъ самъ повѣствовалъ о своемъ бѣдствіи. Въ снѣгахъ прострѣленные стѣны, обвалившійся потолокъ, разбитыя двери. Въ комнатахъ были кучи пепла и угля, кресла и столы безъ ножекъ, вмѣсто печей одни кирпичи. Въ столовой висѣло въ беспорядкѣ нѣсколько фамильныхъ портретовъ, разурбленныхъ, ободранныхъ и прострѣленныхъ. Большой бильярдъ, безъ сукна, закрытъ былъ соломою; къ зеленому снурку, на которомъ висѣлъ паукъ, привязана была веревка, служившая вродѣ висѣлицы; подлѣ ней была черная запекшаяся лужа. Вездѣ валялись кости, клочки бумаги, пыжи, обломки мебели и лохмотья одежды. Стѣны



исписаны были разными неприличными словами. Въ кабинетѣ стояло разрубленное сабельными ударами фортепьяно, а на полу валялись бѣлыя клавиши, разбитая арфа висѣла на кольцѣ; пустыя рамы картинъ затянuty были трудолюбивымъ паукомъ. Въ библиотекѣ всѣ шкафы были пусты; только нѣсколько растрепанныхъ книгъ валялось въ безпорядкѣ, и вырванные листы бѣлѣлись по угламъ».

Другого рода картина разрушенія представляетъ художественное описаніе бѣдной хижины волынскаго крестьянина, описаніе простое и трогательное, проникнутое глубокимъ сочувствіемъ къ тяжелой долѣ несчастныхъ труженниковъ:

«Нѣсколько кривыхъ дубовыхъ или осиновыхъ столбовъ подпирають ее по сторонамъ. Березовыя или осиновыя, полустгнившія кривыя балки служатъ подпорками крыши. О тесѣ и говорить нечего: онъ состоитъ изъ ободранныхъ осиновыхъ прутьевъ, безобразно прищипленныхъ одинъ къ другому, такъ что, когда солома облежится, то вся крыша или поднимается, или образуетъ ямы, черезъ которыя дождь ручьями проходитъ въ мазанку и ускоряетъ ея разрушеніе. Стѣны, заваленныя бревнами, служатъ цѣлой семьѣ защитой отъ зимней непогоды и страшныхъ вьюгъ. Внутри и снаружи хата каждый годно обмазывается и огораживается валомъ изъ земли или навоза. Надъ прорубленнымъ маленькимъ окошечкомъ виситъ кусокъ свернутой соломы. Въ такомъ видѣ она существуетъ многіе годы; зато старость ея очень печальна. Нескоро поселянинъ подумаетъ о новой хатѣ. Для него это невозможно. Крыша развалится, поростетъ мхомъ, травой и житомъ. Стѣны уйдутъ въ землю, такъ что и окно придется на завалинкѣ, срубъ разойдется вкось, а все зовутъ ее хатой, все живутъ въ ней люди. Нерѣдко и крыша слѣзетъ, стѣны вывалятся; но и это не бѣда: ихъ подопрутъ, и все-таки живутъ въ нихъ. Трудно выстроить жильѣ въ безлѣсной сторонѣ. Гумно огораживается изъ плетня и изъ экономіи одной стороной примыкаетъ къ хатѣ; хлѣвъ и сарай тоже прижаты къ ней. Зато, когда искра попадетъ на крышу, нѣтъ спасенія: все горитъ! Тутъ ужъ поневолѣ придется думать о постройкѣ новаго жилья».

Далѣе замѣчательна картина селенія графа во время холеры. Крашевскій выбираетъ обыкновенно сюжеты мрачные и грустные и прекрасно разрабатываетъ взятый предметъ. Не менѣе замѣчательны въ романѣ разговоры между дѣйствующими лицами, оживленные, естественные и прямо вытекающіе изъ ихъ положенія. Вообще говоря, романъ Крашевскаго, несмотря на недостатокъ анализа, несмотря на растянутость и неестественность второй части, представляетъ замѣчательныя литературныя достоинства и заслуживаетъ вниманія нашихъ читателей.

**Екатерина Великая на Днѣпрѣ.** Разсказъ Гр. Данилевскаго. («Б. для Ч.», 1858 г., октябрь).

Рекомендуемъ нашимъ читательницамъ небольшой историческій разсказъ г. Данилевскаго, описывающій эпизодъ изъ путешествія Екате-

рины II по южной полосѣ Россіи. Путешествіе это происходило въ 1787 году, вскорѣ послѣ присоединенія Крыма. Крымъ былъ присоединенъ безъ войны, потому что ни Турція, утраченная побѣдами Румянцова и Орлова, ни татары, занятые внутренними раздорами, не могли сопротивляться дѣйствіямъ русскаго правительства, которое въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ назначало и смѣняло по своему произволу крымскихъ хановъ. По мирному договору, заключенному при Кучукъ-Кайнарджи въ 1774 году, Турція объявила свободными прежнихъ данниковъ своихъ, татаръ крымскихъ, буджакскихъ и кубанскихъ, жившихъ на Таврическомъ полуостровѣ и по всему сѣверному берегу Чернаго моря. Независимость татаръ продолжалась недолго, и уже въ 1783 году крымскіе и ногайскіе мурзы принуждены были присягнуть на вѣчное подданство Императрицѣ Екатеринѣ. Границы Россіи раздвинулись на югъ до Чернаго моря и устья Дуная; но вновь пріобрѣтенныя земли, покрытыя луговыми и песчаными степями, необработанныя и слабо населенныя, не имѣли въ то время большого значенія и не могли принести государству почти никакого дохода. Князю Потемкину поручено было управленіе всѣми присоединенными землями, на него возложена была трудная задача заселить и разработать богатый, но нетронутый край, воспользоваться его роскошною природою, провести пути сообщенія, создать промышленность и дать движеніе торговлѣ. Потемкинъ взялся за дѣло ревностно, со свойственной ему неутомимою энергіей, и Императрица, отправившаяся въ 1787 году осматривать свои новыя владѣнія, была изумлена благоденствіемъ и цвѣтущимъ положеніемъ страны. Правда, для проѣзда Екатерины были сдѣланы приготовленія въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. Всѣ силы края, все, что въ немъ было лучшаго, самаго блестящаго, все было сдвинуто по обѣ стороны дороги, по которой ѣхала Екатерина; все было выставлено напоказъ. Гдѣ не доставало дѣйствительныхъ средствъ, тамъ помогали театральныя декорации, представлявшія дома, деревни, цѣлыя пейзажи, раскинутыя въ отдаленіи. Съ Государынею ѣхали представители иностранныхъ державъ, послы французскій, австрійскій и англійскій; въ Каневѣ, на Днѣпрѣ, ждалъ и король польскій Станиславъ-Августъ; къ ней навстрѣчу ѣхалъ Іосифъ II, императоръ австрійскій. Нуженъ былъ блескъ, нужна была великолѣпная обстановка: того требовалъ XVIII вѣкъ, пышный, блестящій и часто суетный, и пустой; того требовали обстоятельства и положеніе Екатерины. Выставляя напоказъ свое дѣло, прибѣгая къ оптическимъ обманамъ, Потемкинъ заботился не объ однихъ своихъ личныхъ интересахъ: тутъ шло дѣло о славѣ его Государыни, которой онъ былъ искренно преданъ; тутъ могли



руководствовать имъ политическіе расчеты. Въ разсказѣ Данилевскаго описывается самый интересный моментъ путешествія — встрѣча Екатерины съ Іосифомъ, — встрѣча, происшедшая самымъ оригинальнымъ образомъ, въ бѣдной корчмѣ. Зная историческія личности, разыгравшія эту комическую интермедію, можно себѣ представить общую картину любопытной сцены, въ которой выразилась та эпоха, любившая блескъ и оригинальность, французскую философію и французскіе мадригалы, рѣшавшая шутя государственные вопросы и часто обращающая въ государственные вопросы свои шутки и забавы. Всего забавнѣе въ этой сценѣ комическая досада свѣтлѣйшаго, приготовлявшаго и выдумывавшаго самые разнообразныя и роскошныя эффекты, и вдругъ вмѣсто торжественной встрѣчи происходитъ свиданіе двухъ вѣнценосцевъ въ глуши, гдѣ даже нельзя достать приличнаго завтрака, вмѣсто идиллическихъ поселянъ, пастуховъ и пастушекъ является полупьяный старикъ, выжившій изъ ума, и, не узнавая гостей, начинается откровенный разсказъ о своихъ домашнихъ непріятностяхъ. Свѣтлѣйшій сердится и про себя прокликаетъ всякія дорожныя случайности и импровизованныя встрѣчи. «И что это за корчма? и чортъ бы ее побралъ! думалъ свѣтлѣйшій, между тѣмъ, не зная самъ, куда идетъ и куда ведутъ двухъ вѣнценосныхъ странниковъ. Ну, ожидалъ ли я, что они тутъ встрѣтятся? Строилъ города, завоевывалъ царства, крестилъ татаръ, чтобы прославить Екатерину, и совершилъ чудеса, чтобы въ безлюдномъ краѣ она царственно проѣхала и увидѣла многолюдство; короля польскаго заставилъ выѣхать ей навстрѣчу въ Каневъ, а австрійскаго императора — въ Херсонъ. Все устроилось отлично, — и вдругъ они встрѣтятся въ гнилой корчмѣ, гдѣ попадется какой-нибудь жидъ, или хохоль, или пьяный шляхтичъ. Наговорять, наврутъ, безпорядокъ...»

Въ этомъ комическомъ отчаяніи виденъ и придворный, и человекъ XVIII вѣка, виденъ наконецъ князь Потемкинъ, соединившій въ своей личности и того, и другого, виѣщавшій въ себѣ кромѣ того ненасытное честолюбіе и безпредѣльную преданность къ облагодѣтельствовавшей его Государынѣ.

**Кенигсбергъ во время семилѣтней войны.**  
*Изъ записокъ А. Т. Болотова.* («Библиот. для Чт.», 1858 г., мартъ и апрѣль).

Мемуары или историческія записки частныхъ лицъ составляютъ драгоценный матеріалъ для исторіи и имѣютъ важное значеніе въ глазахъ каждаго любознательнаго читателя. Современники, бывшіе свидѣтелями описываемыхъ событий, принимавшіе въ нихъ болѣе или менѣе

дѣятельное участіе, могутъ представить живую картину своей эпохи, могутъ бросить яркій свѣтъ на историческія личности и подмѣтить такія тонкія, неувидимыя черты, которыя ускользаютъ отъ историка, но, несмотря на то, имѣютъ важное значеніе въ правильномъ пониманіи духа времени и событий. Современники часто бываютъ пристрастны и, увлекаясь личными побужденіями, личною ненавистью или пріязнью, выставляютъ историческія происшествія въ неправильномъ свѣтѣ. Принадлежа къ какой-либо партіи, имѣя собственныя убѣжденія, они часто невольно стараются оправдать своихъ единомышленниковъ и бросить тѣнь на противную сторону; но такое пристрастіе распознать нетрудно: оно проглядываетъ въ тонѣ разсказа, отражается въ томъ увлеченіи, съ которымъ авторъ записокъ говоритъ объ интересующихъ его событіяхъ. Кромѣ того, самое увлеченіе, самое пристрастіе современника имѣютъ свою цѣну для потомства: они показываютъ намъ, насколько предки наши умѣли быть справедливы, насколько уважали они чужія убѣжденія, какъ смотрѣли на событія и какимъ образомъ выражали свои мысли и чувства. Извѣстная эпоха въ частныхъ мемуарахъ невольно является предъ нашими глазами съ мельчайшими подробностями, съ дурными и хорошими сторонами.

Андрей Тимоѣевичъ Болотовъ, авторъ разсматриваемыхъ нами мемуаровъ, былъ сынъ русскаго дворянина, родился въ 1738 году и, по обычаю того времени, съ дѣтства былъ зачисленъ въ военную службу; уже съ десяти лѣтъ онъ вмѣстѣ съ отцомъ находился при своемъ полку и всюду слѣдовалъ за нимъ въ его переходахъ. Въ 1757 году началась война съ Пруссією, извѣстная подъ названіемъ семилѣтней войны, и молодой Болотовъ вмѣстѣ съ полкомъ отправился къ мѣсту военныхъ дѣйствій. Походная жизнь и боевыя тревоги не нравились будущему автору записокъ и утомляли его, не оставляя ему времени для мирныхъ научныхъ занятій, къ которымъ онъ былъ расположенъ смолodu. Къ величайшему своему удовольствію, Болотовъ, какъ человекъ, знающій нѣмецкій языкъ, былъ прикомандированъ къ канцеляріи барона Корфа и остался въ Кенигсбергѣ, который въ то время былъ занятъ русскими войсками. Описаніе жизни въ Кенигсбергѣ составляетъ седьмую часть записокъ Болотова. Первые шесть частей, въ которыхъ Болотовъ описываетъ свою первую молодость и походъ въ Пруссію, были напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1850 и 1851 гг. Жизнь въ Кенигсбергѣ въ то время представляла множество разнообразныхъ развлеченій. У генераль-поручика Корфа часто происходили танцевальныя вечера, о которыхъ Болотовъ вспоминаетъ съ большимъ удовольствіемъ. Въ



Кенигсбергскомъ театрѣ давались маскарады, привлекавшіе въ ложи многочисленную и блестящую толпу зрителей. Общество русскихъ офицеровъ собиралось даже устроить благородный спектакль, и роли были уже розданы и разучены; но какія-то непредвидѣнные обстоятельства помѣшали дѣлу. Приводимъ для примѣра мѣсто изъ мемуаровъ, въ которомъ авторъ жалуется даже на излишество увеселеній: этотъ отрывокъ можетъ дать нашимъ читательницамъ понятіе о языкѣ Болотова, устарѣломъ, но живомъ и понятномъ.

«Балы, маскарады и танцы происходили у насъ и до того нерѣдко, а тутъ, когда уже было гдѣ потанцовать и поразгуляться, количество ихъ усугубилось и танцваніе мнѣ такъ наскучило, что иногда нарочно сказывался я больнымъ, чтобы не идти на балъ и не истощать силъ своихъ до изнуренія въ танцахъ и прыганьѣ. Сіе дѣйствительно было болѣе оттого, что дамъ и дѣвицъ съѣжалось къ намъ всякій разъ превеликое множество, и всѣ онѣ были ужасныя охотницы танцовать, а мужчинъ, и особенно молодыхъ и могущихъ танцовать, какъ говорится, во вся тяжкая, было очень мало; а какъ я находился уже тогда въ числѣ немногихъ первѣйшихъ и лучшихъ танцовщиковъ, то судите, каково было намъ безъ отдыха по нѣскольку часовъ пропрыгивать и кругомъ вергѣться, танцуя разные контрадансы, изъ которыхъ и одинъ всегда кроваваго пота стоилъ прогнать; ибо мы ихъ тутъ, въ новой и пространной галлерей, танцовали не менѣе, какъ паръ въ тридцать; а другая и такая же или еще большая половина молодыхъ госпожъ и дѣвицъ, поджавъ руки, стояла и съ нетерпѣніемъ ожидала окончанія того, дабы начать имъ самимъ другой контрадансъ, и жадность ихъ къ тому и въ пріисканіи себѣ кавалеровъ была такъ велика, что не мы ихъ, а онѣ сами уже насъ отыскивали и не поднимали, а просьбою просили, чтобы съ ними потанцовать, и спѣшили всякій разъ другъ передъ другомъ захватить себѣ лучшаго танцовщика; такъ что въ половинѣ еще танцуемаго контраданса къ намъ сзади подхаживали и обѣщанія рукъ нашихъ себѣ прашивали. Сперва, и покуда было намъ сіе въ диковинку, ставили мы себѣ то въ особенную честь; но послѣ, когда длина контрадансовъ, а особливо самыхъ бѣшеныхъ и рѣзвыхъ, такъ намъ надоѣла, что ждешь не дождешься, покуда и одинъ окончится; наконецъ мы начали прибѣгать къ разнымъ хитростямъ и обманамъ и, отдѣлавшись отъ всѣхъ подбѣгавшихъ сзади и требовавшихъ обѣщанія танцовать, увѣреніемъ, что мы уже заняты и дали слово свое уже другимъ, хотя ничего того не бывало, тотчасъ, по окончаніи танца, уходили въ самые отдаленнѣйшіе и такіе покои, гдѣ никого не было, и тамъ сколько-нибудь отдыхали. Но нерѣдко отыскивали насъ и тамъ госпожи, и мы не знали уже куда отъ нихъ, искавшихъ насъ шайками и хоровами, дѣваться».

Развлеченія и дѣла службы не мѣшали Болотову заниматься серьезными научными предметами: пребываніе въ Кенигсбергѣ принесло огромную пользу его умственному развитію. Любознательность его вездѣ искала себѣ удовлетворенія, а Кенигсбергъ представлялъ всѣ удобства для научныхъ занятій. Болотовъ сблизился съ многими учеными специалистами, старался учиться, гдѣ только было возможно, много читать, покупалъ книги на послѣднія деньги и

въ своихъ запискахъ говорить съ особеннымъ одушевленіемъ обо всемъ, что относится къ области знаній, обо всемъ, что содѣйствуетъ умственному развитію. Занимаясь нравственной философіей, Болотовъ старался провести ея идеи въ жизнь, старался размышленіемъ исправиться отъ своихъ недостатковъ. Онъ приводитъ изъ собственной жизни два любопытные примѣра самообладанія, два случая, въ которыхъ онъ, не поддаваясь первому влеченію гнѣва, поступилъ благоразумно и хладнокровно. Эта часть записокъ Болотова, въ которой онъ говоритъ о своихъ занятіяхъ и о своемъ образѣ жизни, внушаетъ невольное уваженіе и вызываетъ сочувствіе къ его личности; его трудолюбіе, свѣтлый умъ, благородная любознательность, кроткій нравъ и добродушіе, съ которыми онъ огзывается объ окружавшихъ его личностяхъ, — все это располагаетъ въ его пользу и заставляетъ насъ признать въ немъ одного изъ лучшихъ людей своего времени. Въ его запискахъ поражаютъ искренній тонъ разсказа и добродушная веселость, которою проникнуто повѣствованіе: ни о комъ изъ своихъ сослуживцевъ или знакомыхъ не говоритъ онъ дурного, ни на кого не бросаетъ тѣни; о тѣхъ, съ кѣмъ онъ не сошелся во вкусахъ и убѣжденіяхъ, онъ упоминаетъ коротко и въ самыхъ умѣренныхъ выраженіяхъ, о людяхъ, любившихъ науку, помогавшихъ ему своими совѣтами, оказавшихъ ему какое-нибудь одолженіе или изъясвившихъ ему ласковое участіе, Болотовъ говоритъ гораздо подробнѣе, съ теплымъ чувствомъ и трогательной благодарностью. Между тѣмъ, пока авторъ записокъ проводилъ время среди ученыхъ занятій и мирныхъ увлеченій, военныя дѣйствія шли своимъ чередомъ, и извѣстія изъ дѣйствующей арміи сильно интересовали кенигсбергскихъ жителей. Въ запискахъ Болотова находится разсказъ о всей кампаніи 1759 года и прекрасное описаніе знаменитаго сраженія при Кунерсдорфѣ, — описаніе, составленное по самымъ свѣжимъ извѣстіямъ. Не ограничиваясь сухимъ перечнемъ разныхъ военныхъ маневровъ, Болотовъ въ живомъ повѣствованіи изображаетъ положеніе дѣлъ въ обонхъ враждебныхъ лагеряхъ и потомъ ясно и послѣдовательно излагаетъ планъ дѣйствій обонхъ военачальниковъ—Фридриха Великаго и Салтыкова. Описаніе кунерсдорфской битвы проникнуто чисто драматическимъ интересомъ. Не увлекаясь неумѣстнымъ патріотизмомъ, Болотовъ отдаетъ полную справедливость храбрости прусскихъ войскъ и военному искусству великаго короля; радуясь блестящимъ побѣдамъ, одержаннымъ русскими войсками при Мюльрозенѣ и Кунерсдорфѣ, онъ приписываетъ первую явному превосходству силъ, а вторую объясняетъ случайною оплошностью Фридриха, увлекшагося въ пылу сраженія и неумѣвшаго во-время оста-



новить натиска своихъ войскъ. Нигдѣ нѣтъ видимаго пристрастія къ военной славѣ Россіи; съ теплымъ чувствомъ патріота Болотовъ соединяетъ холодную справедливость историка; говоря о дѣйствіяхъ союзныхъ австрійскихъ войскъ, онъ нисколько не уменьшаетъ ихъ заслугъ, приписываетъ имъ честь кунерсдорфской побѣды и въ то-же время прямо и откровенно говоритъ объ ошибкахъ, которыя дѣлали австрійскіе генералы во время всей кампаніи. Вообще простой, безыскусственный разсказъ Болотова объ этомъ интересномъ эпизодѣ семилѣтней войны имѣетъ въ себѣ особенную прелесть. Личность Фридриха, его надежды передъ кунерсдорфской битвой, геройская храбрость его во время сраженія, его бѣгство и отчаяніе, роковая ночь, проведенная имъ въ бѣдной деревушкѣ съ нѣсколькими солдатами, безвыходное положеніе великаго короля, — все это представлено Болотовымъ такъ сильно и вѣрно и въ то-же время такъ просто и естественно, какъ могъ представить только современникъ, писавшій подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ событій. Занимательность сюжета и повѣствовательный талантъ автора почти вездѣ выкупаютъ недостатки устарѣлаго языка и странной разстановки словъ.

**Семилѣтняя война.** Изъ записокъ А. Т. Болотова. («В. для Ч.», 1858 г., августъ).

Эта статья составляетъ второй эпизодъ изъ записокъ А. Т. Болотова и содержитъ въ себѣ описаніе двухъ послѣднихъ годовъ семилѣтней войны. Говоря объ описаніи Кенигсберга во время семилѣтней войны, мы уже познакомили нашихъ читателей съ общимъ значеніемъ мемуаровъ Болотова и съ личнымъ характеромъ ихъ автора; скажемъ теперь нѣсколько словъ о предметѣ разсматриваемой нами статьи и о ходѣ событій, какъ ихъ описываетъ Болотовъ.

Приближалась развязка кровопролитной и продолжительной войны. Силы Фридриха были истощены, и уже большая часть его владѣній была занята непріятельскими войсками; собственная Пруссія уже давно находилась подъ властью Россіи, присягнула Императрицѣ Елисаветѣ и управлялась, какъ русская область; западныя, при-рейнскія владѣнія прусскаго королевства были заняты французами; южные области грозили австрійцы. Армія Фридриха, разбитая при Кунерсдорфѣ, была малочисленна, дурно одѣта, дурно вооружена; земли, находившіяся еще во власти короля, были истощены и едва могли доставлять войску съѣстные припасы; старые генералы и опытные офицеры были перебиты или изранены; народъ утомился тяготами войны и сильно желалъ мира. Мира желали и всѣ воевавшія державы, его желалъ и король Фридрихъ; но никто не рѣшался сдѣлать ни малѣйшей уступки, и открылась кам-

панія 1760 года. Почти вся Европа была заинтересована ходомъ военныхъ дѣйствій: французы, австрійцы, русскіе и шведы соединенными силами съ разныхъ сторонъ двинулись на прусскія владѣнія. Въ Кенигсбергѣ всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдили за событіями: для русскихъ шло дѣло о военной славѣ отечества и о плодахъ всей кровопролитной войны, для пруссаковъ рѣшался вопросъ — кому имъ принадлежать, Пруссіи или Россіи. Между тѣмъ военныя дѣйствія шли вяло и нерѣшительно. Болотовъ, который, несмотря на свои миролюбивыя наклонности и философскій взглядъ на вещи, дорожилъ славой русскаго оружія, даетъ подробный отчетъ о кампаніи 1760 года и явно выражаетъ свое неудовольствіе: не было никакого единства въ дѣйствіяхъ, никакого общаго плана. Австрійцы, или, какъ онъ называетъ, цесарцы, часто несли на себѣ всю тяжесть войны и не получали помощи отъ нашихъ генераловъ; союзники дѣйствовали врозь, ходили взадъ и впередъ и, не терпя значительныхъ неудачъ, не рискуя ничѣмъ, не вступая въ генеральное сраженіе, тратили свои силы въ мелкихъ стычкахъ и не приобретали никакихъ существенныхъ выгодъ. Въ 1760 году Берлинъ былъ занятъ русскимъ отрядомъ графа Чернышева. Взятіе столицы и резиденціи короля можетъ показаться событіемъ важнымъ, имѣющимъ рѣшительное вліяніе на ходъ войны; но надо вспомнить, что въ то время нетрудно было взять Берлинъ: онъ не былъ защищенъ ни природнымъ своимъ положеніемъ, ни сильнѣйшими укрѣпленіями, въ немъ не было многочисленнаго гарнизона, и столица прусскаго королевства сдалась почти безъ сопротивленія; сверхъ того, Берлинъ не былъ важнымъ военнымъ пунктомъ. Фридриху горько было видѣть свою столицу въ рукахъ непріятеля, его самолюбіе и національная гордость страдали; но силы его не уменьшились, а взятіе Берлина не отнимало у него средствъ продолжать войну. Болотовъ не считаетъ этого событія важнымъ и, кончая описаніе кампаніи, говоритъ рѣшительно, что не произошло ничего замѣчательнаго и что «всѣ труды, убытки и люди потеряны были попустому». Замѣчательно, что во время своего пребыванія въ Берлинѣ русскія войска вели себя съ рѣдкой умѣренностью, не производили никакихъ безпорядковъ, не грабили и шадили жизнь и собственность частныхъ лицъ. Но явились австрійцы, и все переменялось. Берлинъ, Потсдамъ, Шарлотенбургъ испытали всѣ ужасы войны: ихъ обложили тяжелой контрибуціей, частные дома были ограблены, королевскіе замки разорены и обезображены, произошли убійства и возмутительныя жестокости. Болотовъ съ негодованіемъ разсказываетъ объ этихъ поступкахъ, которые впрочемъ въ то время считались явленіями обыкновенными и почти всегда



сопровождали взятіе города. Особенно славилась своимъ своеволіемъ и дикой жестокостью легкая кавалерія австрійцевъ, состоявшая изъ кроатовъ и венгерцевъ, которые еще во времена тридцатилѣтней войны, подъ начальствомъ Тилли и Валленштейна, наводили ужасъ на мирныхъ жителей Германіи. Дальнѣйшій ходъ военныхъ дѣйствій не представляетъ ничего замѣчательнаго. Салтыковъ былъ смѣненъ, и главнокомандующимъ нашихъ войскъ назначенъ Бутурлинъ, о которомъ Болотовъ отзывался довольно рѣзко, называя его прямо совершенно неспособнымъ «къ командованію не только арміей, но и двумя или тремя полками». Кампанія 1761 года была ведена слабо и безсвязно. Между тѣмъ частная жизнь Болотова въ Кенигсбергѣ шла по-прежнему тихо и безмятежно. Въмѣсто Корфа губернаторомъ назначенъ Суворовъ, отецъ знаменитаго рымникскаго побѣдителя, который въ то время былъ неизвѣстнымъ армейскимъ подполковникомъ. Балы и маскарады почти прекратились; но ученыя занятія Болотова шли живо и удачно. Въ своихъ запискахъ онъ очерчиваетъ характеръ своего новаго начальника, приводя почти дословно нѣкоторые разговоры, въ которыхъ выразилась его личность. Суворовъ былъ человѣкъ простой, безъ претензій, нелюбившій розказней, даже немного скупой, строгій въ исполненіи своихъ обязанностей, но добрый и ласковый въ отношеніи къ подчиненнымъ. Онъ принялъ участіе въ Болотовѣ, полюбилъ его за склонность къ научнымъ занятіямъ, оцѣнилъ его свѣтлый умъ и счастливыя способности и часто давалъ ему разныя порученія, требовавшія скорого и точнаго исполненія. Однажды ему было поручено арестовать графа Гревена, прусскаго помѣщика, обвиненнаго съ неосторожныхъ выраженій о нашемъ правительствѣ. Описаніе этого ареста составляетъ интересный эпизодъ въ запискахъ Болотова: испугъ графа, непонимающаго своей вины, горестъ жены, слезы дѣтей, общая картина страха и печали, непріятное положеніе самого Болотова, исполняющаго по обязанности порученіе, которому не могъ сочувствовать. Все это представлено въ самыхъ вѣрныхъ яркихъ краскахъ. Въ этомъ эпизодѣ обрисованы отношенія нашего правительства къ покоренному населенію Пруссіи, понятія нѣмцевъ о Россіи, ихъ чувства къ русскому правительству и наконецъ, среди всей этой обстановки, въ самомъ тонѣ разсказа проглядываетъ добрая и мягкая личность самого автора. Эта часть записокъ оканчивается новымъ назначеніемъ Болотова. Онъ получаетъ мѣсто флигель-адъютанта при бывшемъ своемъ начальникѣ, генералѣ Корфѣ, и перѣзжаетъ въ Петербургъ. Начинаются новая жизнь и новыя обязанности.

**Петербургъ при Петрѣ III.** Изъ записокъ А. Т. Болотова. («Библ. для Чтен.», 1858 г., декабрь).

Назначенный адъютантомъ къ барону Корфу, Болотовъ пріѣзжаетъ, какъ мы уже замѣтили, въ Петербургъ, и для него начинаются новая жизнь и новыя обязанности. Та часть его записокъ, въ которыхъ онъ рассказываетъ о своей адъютантской службѣ и о пребываніи своемъ въ столицѣ, представляетъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ и любопытнѣйшихъ эпизодовъ его мемуаровъ. Въ Кенигсбергѣ Болотовъ жилъ тихо и спокойно, занимался канцелярскими работами, учился, да изрѣдка танцевалъ на вечерахъ у барона Корфа. Въ Петербургѣ было не то: въ качествѣ адъютанта, онъ долженъ былъ ѣздить съ своимъ генераломъ и во дворецъ, и къ тогдашнимъ вельможамъ. Онъ видѣлъ вблизи все блестящее общество того времени и могъ собрать самыя любопытныя подробности объ отдѣльных личностяхъ, могъ составить въ своихъ запискахъ самую полную картину нравовъ и обычаевъ своей эпохи. Не задолго до прибытія Болотова въ Петербургъ скончалась Императрица Елисавета, на престолъ вступилъ Императоръ Петръ III Оеодоровичъ, и во всѣхъ дѣйствіяхъ правительства произошелъ переворотъ. Петръ III, горячо любившій и уважавшій короля прусскаго, тотчасъ по вступленіи своемъ на престолъ, заключилъ съ нимъ миръ, отказался отъ всѣхъ завоеваній, отдалъ назадъ Кенигсбергъ и собственную Пруссію, уже присягнувшую Елисаветѣ, очистилъ Померанію, занятую русскими войсками, и приказалъ корпусу графа Чернышева присоединиться къ войскамъ Фридриха. Семилѣтняя война дорого стоила Россіи, жертвовавшей для военныхъ дѣйствій деньгами и людьми, и Императоръ Петръ III, отказываясь отъ плодовъ побѣды, купленной русской кровью, возбудилъ всеобщее неудовольствіе, которое живо отразилось въ запискахъ Болотова, человѣка миролюбиваго, но горячо преданнаго интересамъ своего отечества.

Внутреннія распоряженія новаго правительства отличались кротостью и гуманностью. Дворянство получило новыя права: законъ Петра Великаго, по которому каждый дворянинъ обязанъ былъ служить до старости,—законъ, смягченный при Аннѣ Іоанновнѣ, былъ отмѣненъ Петромъ III; дворянину позволено было безпрепятственно ѣздить за границу и выходить въ отставку, когда заблагоразсудится. Тайная канцелярія, учрежденная Бирономъ, была уничтожена; роковое слово *и дѣло*, которымъ часто, по личной ненависти, обвиняли невинныхъ, было отмѣнено. Старый фельдмаршалъ Минихъ, сосланный въ Сибирь Елисаветою, былъ возвращенъ. Желая привести въ порядокъ законода-



тельство, запутанное множеством указовъ, часто противорѣчившихъ другъ другу, Императоръ приказалъ перевести и издать уложеніе Фридриха II, отличавшееся сжатостію и опредѣленностью. Болотовъ упоминаетъ обо всѣхъ этихъ распоряженіяхъ, одобряетъ ихъ; но по тону его разсказа замѣтно, что онъ не вполне сочувствуетъ новому правительству и не можетъ забыть уступокъ, сдѣланныхъ королю прусскому, и недоброжелательно смотритъ на излишнее пристрастіе Императора къ личности Фридриха II. Пристрастіе это выразилось въ слѣпомъ подражаніи всему прусскому: войска были одѣты въ прусскіе мундиры и подчинены прусскому военному уставу; была введена строгая дисциплина и приказано было ежедневно, несмотря ни на какую погоду, производить военныя упражненія. Нововведенія эти не нравились ни солдатамъ, ни офицерамъ, и неудовольствіе противъ правительства мало-по-малу распространилось во всѣхъ слояхъ столичнаго общества. Болотовъ былъ также недоволенъ и правительствомъ, и своею должностію. Онъ имѣлъ на то достаточныя причины. Служба его была самая тяжелая. Не имѣя никакихъ опредѣленныхъ обязанностей, онъ вполне зависѣлъ отъ своего генерала, находился въ полномъ его распоряженіи, долженъ былъ исполнять малѣйшія его прихоти. Въ своихъ запискахъ онъ самымъ трогательнымъ и въ то-же время комическимъ образомъ выражаетъ свое негодованіе и изливаетъ горькія жалобы на тягости адъютантской должности.

«Скоро почувствовалъ я всю тяжесть такой безпокойной и прямо почти собачьей жизни, и не только разъѣзды свои съ генераломъ и непрерывныя разсыланья меня то въ тогъ, то въ другой край Петербурга до крайности возненавидѣлъ и проклиналъ, но и самый дворецъ, со всѣми пышностями и веселостями его, которыя въ первый разъ такъ были для меня занимательны и забавны, наконецъ такъ мнѣ надоѣлъ, что мнѣ о немъ и вспоминать не хотѣлось».

Странныя отношенія тогдашнихъ адъютантовъ къ своимъ генераламъ, разсылавшимъ ихъ по своимъ надобностямъ въ разные концы города и считавшимъ ихъ чѣмъ-то вродѣ камердинера, характеризуютъ то время и до мельчайшихъ подробностей представлены въ запискахъ Болотова. Громадный повѣствовательный талантъ во всей своей полнотѣ развертывается въ этой части записокъ, наполненной разсказомъ разныхъ мелкихъ случаевъ изъ всендневной жизни самого автора. Эти случаи сами по себѣ очень незначительны; но въ нихъ съ поразительной ясностью представленъ бытъ тогдашняго общества, въ нихъ выражается личность Болотова, и потому они въ нашихъ глазахъ должны имѣть свою цѣну; сверхъ того, они разсказаны съ такой увлекательной простотой, авторъ такъ хорошо умѣетъ расположить чита-

теля въ пользу своей добродушной личности, что невольно интересуешься мельчайшими подробностями его жизни, невольно принимаешь искреннее участіе въ его надеждахъ, въ его радостяхъ и печаляхъ. Особенно хороши въ этой части записокъ разговоры Болотова съ разными сослуживцами и начальственными лицами: они написаны такимъ живымъ, естественнымъ, чисто разговорнымъ языкомъ, въ нихъ такъ мѣтко схвачены личности людей, окружавшихъ Болотова, въ нихъ мѣстами такъ много неподдѣльнаго комизма, что почти трудно повѣрить, что они написаны въ прошломъ столѣтіи, когда на нашей письменности еще лежала тяжелая печать реторики.

**Голосъ русской древней церкви объ улучшеніи быта несвободныхъ людей.** Рѣчь, произнесенная 8 ноября 1858 года на торжественномъ актѣ Казанской Духовной Академіи, въ памятъ основанія ея, бакалавромъ *А. Щаповымъ*.

Вопросъ объ освобожденіи крестьянъ обратился на себя вниманіе всѣхъ слоевъ нашего общества; онъ находитъ себѣ отголосокъ во всѣхъ сферахъ умственной дѣятельности нашего отечества. Люди, занимавшіеся наукою, трудившіеся надъ нашей отечественной исторіею, работавшіе въ области права, посвятили теперь свои силы разрѣшенію или по крайней мѣрѣ уясненію этого вопроса. Даже церковь наша, которая въ обыкновенное время не принимаетъ открытаго участія въ нашей гражданской, государственной жизни, теперь не разъ говорила свое слово, не разъ изъясняла свое сочувствіе къ прекрасному, гуманному дѣлу. Въ Казани по этому предмету была произнесена замѣчательная рѣчь, на которую мы обратимъ вниманіе нашихъ читателей. Вопросъ о крестьянахъ долженъ интересовать каждого русскаго, каждого, кому дороги честь и благосостояніе нашего отечества. Какъ бы ни былъ вопросъ этотъ удаленъ отъ непосредственныхъ, ближайшихъ интересовъ нашихъ читателей, онъ не могутъ, не должны, во имя челоуѣчества не должны оставаться къ нему холодны и равнодушны. Имъ только стоитъ вдуматься въ значеніе словъ: рабство и свобода, стоитъ только взглянуть въ бытъ и личность нашего крестьянина или даже просто прочесть кого-нибудь изъ нашихъ современныхъ писателей, и онъ поймутъ, какой великій шагъ впередъ дѣлаетъ въ эту минуту Россія. Слѣдить за постепеннымъ развитіемъ этого вопроса, читать статьи о взаимныхъ отношеніяхъ между крестьянами и помѣщиками конечно не дѣло нашихъ читателей: такое чтеніе будетъ для нихъ утомительно; статьи эти



имѣютъ временный и частный интересъ. При обзорѣ журналовъ мы обходили подобныя статьи и, несмотря на то, считаемъ себя въ правѣ рекомендовать читательницамъ рѣчь Щапова, важную по своему отношенію къ современности и къ тѣмъ историческимъ свѣдѣніямъ, которыя она сообщаетъ о древней Руси, разбираетъ отношенія древней русской церкви къ рабству, какъ оно существовало у насъ въ средневѣковой періодъ нашей исторіи. Для этого онъ сначала набрасываетъ общую картину Руси XII вѣка и объясняетъ, какимъ образомъ возникло и развилось рабство, которое, какъ извѣстно, составляетъ неизбѣжное, но временное явленіе въ исторіи каждаго народа. Рабовъ приобрѣтали всѣми правдами и неправдами; рабы были нужны богачамъ, потому что земли было много, а рукъ мало: нужно было вырубать лѣсъ, обрабатывать поля, сѣять и собирать хлѣбъ. Люди того времени, неразборчивые въ средствахъ, не занятые никакими высшими интересами, сосредоточивали всю свою дѣятельность на приобрѣтеніи матеріальныхъ выгодъ и употребляли всевозможныя хитрости и насилія, чтобы заманить къ себѣ въ работу или закабалить въ неволю свободнаго человѣка. Средствъ на то было много, и рабство дѣлало быстрые успѣхи. Изобразивъ такимъ образомъ печальную картину развитія рабства, представивъ въ нѣсколькихъ сильныхъ чертахъ мрачныя стороны угнетенія, авторъ переходитъ къ тѣмъ утѣшительнымъ, свѣтлымъ явленіямъ, въ которыхъ въ то время выразился въ нашемъ отечествѣ духъ христіанства:

«Подлѣ грубой матеріальной силы, — говоритъ авторъ, — подлѣ господства сильной личности, стремящейся поработить себѣ слабыя личности, выступаетъ могущественная духовная сила, воздвигаются личности, облеченныя силою духа и правды, какъ пророки, защищающіе вдовъ и сиротъ во имя христіанства, возвѣщающіе отраду несправедливо порабащаемымъ людямъ».

За этими словами, выражающими собою строгую истину, нисколько не уклоняющимися отъ исторической дѣйствительности, слѣдуетъ цѣлый рядъ самыхъ краснорѣчивыхъ и убѣдительныхъ доказательствъ. Щаповъ приводитъ случаи изъ жизни нашихъ древнихъ святителей, — случаи, рассказанные ихъ современниками или ближайшими потомками, съ такою безыскусственною простотою, которая рѣшительно не позволяетъ сомнѣваться въ ихъ достоверности. Въ этихъ приведенныхъ случаяхъ мы видимъ со стороны лучшихъ людей тогдашняго духовенства ту полную и мягкую гуманность, которою во многихъ отношеніяхъ справедливо гордится нашъ просвѣщенный вѣкъ. Многие изъ нихъ открыто осуждаютъ рабство, всѣ они отпускаютъ на волю принадлежавшихъ имъ рабовъ и стараются облегчить участь угне-

тенныхъ. Рядомъ съ примѣрами изъ жизни, Щаповъ приводитъ въ доказательство отрывки изъ поученій, изъ писемъ святителей, изъ церковныхъ узаконеній. Особенно убѣдительны послѣдніе документы. Примѣры изъ жизни отдельныхъ лицъ, отрывки изъ частныхъ писемъ могли бы показаться единичнымъ явленіемъ, составляющимъ рѣдкое исключеніе изъ общаго правила. Можно было бы предполагать, что не церковь, а только нѣкоторые, немногіе ея представители принимали участіе въ судьбѣ угнетенныхъ рабовъ. Но церковныя узаконенія уничтожаютъ подобное предположеніе. Изъ нихъ мы видимъ, какъ наше духовенство смотрѣло на рабство, какъ обращалось оно съ подвластными ему крестьянами. Правда, тогда немногіе говорили противъ самой идеи рабства, правда, духовенство при Іоаннѣ III не согласилось отказать отъ своихъ населенныхъ помѣстій; но этого нельзя было и требовать въ то время. Понять, что рабство само по себѣ несправедливо и противно человѣческому достоинству — это было уже дѣломъ высшей, болѣе развитой цивилизаціи. Довольно того, что церковь обращалась вполне гуманно съ принадлежавшими ей крестьянами, довольно того, что она считала тяжкимъ упрекомъ жестокое и грубое обращеніе съ подвластными людьми. Въ то время, при томъ глубокомъ уваженіи, которымъ пользовалось духовенство, оно могло имѣть и имѣло сильное и благотѣльное вліяніе и на владѣльцевъ, и на рабовъ. Съ теченіемъ времени вліяніе духовенства становилось конечно слабѣе, потому что образованіе мало-по-малу дѣлалось достояніемъ свѣтскаго общества. Частная и государственная жизнь совершенно почти выдѣлилась изъ сферы религіи. Щаповъ считаетъ XVIII вѣкъ самымъ тяжелымъ временемъ для низшаго, несвободнаго класса. Мысль эта вполне основательна. Принесенная къ намъ образованность ослабила и почти уничтожила вліяніе духовенства; привилегированный классъ — дворянство возвысилось на счетъ другихъ сословій, но возвышеніе это было искусственное, образованность внѣшняя и непрочная. Люди XVIII вѣка вышли изъ повиновенія своихъ духовныхъ учителей, но не дошли еще, путемъ развитія, до пониманія истинной гуманности, до уваженія личности человѣка. Произошло безобразное смѣшеніе пзъ остатковъ старины и изъ нововведенныхъ обычаевъ; произошелъ разладъ и въ семейной, и въ общественной, и въ государственной жизни. Патріархальность нравовъ уже исчезла, истиннаго образованія еще не явилось, и это промежуточное время, какъ всякій переходъ, болѣзненно отозвалось на безответномъ и зависимомъ сословіи. За XVIII вѣкомъ послѣдовала новая эпоха: началось съ половины нынѣшняго столѣтія сознательное движеніе впередъ, и это движеніе не могло



ужиться съ возмутительными формами рабства. Послѣдній остатокъ среднихъ вѣковъ долженъ былъ исчезнуть, и вотъ теперь церковь опять подаетъ свой голосъ за правое дѣло; но обстановка, окружающія обстоятельства сильно измѣнились: тогда церковь говорила одна, и то большей частью безуспѣшно, тогда она стояла впереди всего общества въ дѣлѣ гуманнаго развитія, теперь она идетъ вмѣстѣ съ другими, она увлечена общимъ прогрессомъ и своими теплыми молитвами благословляетъ общество на новый, великій шагъ впередъ.

**Воспоминанія о Петрѣ Николаевичѣ Кудрявцевѣ. А. Галахова. («Русскій Вѣстникъ», 1858 г., № 4.)**

Петръ Николаевичъ Кудрявцевъ, окончившійся въ началѣ 1858 года, принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ представителямъ исторической науки въ нашемъ отечествѣ. Онъ былъ ученикомъ извѣстнаго Грановскаго, потомъ преподавателемъ всеобщей исторіи въ Московскомъ университетѣ и наконецъ послѣ смерти Грановскаго занялъ его кафедру, но къ несчастію не надолго. Въ октябрѣ 1857 года умеръ Грановскій, а черезъ три мѣсяца, въ январѣ 1858 года, скончался и Кудрявцевъ. Въ ученомъ мірѣ особенно извѣстенъ обширный историческій трудъ его, «Судьбы Италіи», въ которомъ онъ представляетъ исторію этой страны со времени паденія Западной Римской имперіи до Карла Великаго. Кудрявцевъ умеръ 52 лѣтъ, умеръ въ то время, когда достигъ уже полного всесторонняго развитія, когда взглядъ его на вещи окончательно установился, когда каждый годъ его жизни могъ быть важнымъ приобрѣтеніемъ для науки. Одинъ изъ друзей покойнаго профессора, Галаховъ, знавшій его съ двадцатилѣтняго возраста, написалъ свои воспоминанія, въ которыхъ старается воспроизвести личность Кудрявцева, какъ чловѣка, представить тѣ стороны его характера, которыя не могли отразиться въ его ученыхъ и литературныхъ трудахъ. Галаховъ предупреждаетъ читателя, что онъ пишетъ воспоминанія, а не біографію. Предостереженіе это дѣйствительно необходимо, потому что въ статьѣ Галахова нѣтъ ни полного, послѣдовательнаго повѣствованія о главнѣйшихъ фактахъ жизни Кудрявцева, ни критической оцѣнки его дѣятельности; Галаховъ не прослѣживаетъ постепеннаго развитія Кудрявцева, не объясняетъ тѣхъ обстоятельствъ жизни, не очерчиваетъ тѣхъ личностей, которыя могли имѣть вліяніе на его характеръ; объ ученыхъ трудахъ Кудрявцева упоминается вскользь; Галаховъ показываетъ намъ Кудрявцева такимъ, какимъ знали

его близкіе друзья, приводитъ только тѣ черты его жизни, которыя извѣстны ему лично. Статья Галахова содержитъ въ себѣ такимъ образомъ драгоцѣнные матеріалы для будущей біографіи Кудрявцева и можетъ дать читателямъ понятіе о благородной личности покойнаго.

Жизнь Кудрявцева представляетъ въ себѣ много интересныхъ моментовъ. Онъ воспитывался въ Московской духовной семинаріи и началъ такимъ образомъ свой курсъ ученія при довольно неблагоприятныхъ обстоятельствахъ. Отсталыя руководства, отжившія идеи, рутинное преподаваніе,—все это долженъ былъ испытать на себѣ будущій профессоръ. Какъ уживалась съ этими неблагоприятными обстоятельствами даровитая, свѣжая природа любознательнаго юноши, какъ потомъ, въ годы его студентства, въ немъ совершался переходъ ребяческаго взгляда на занятія къ свѣтлому пониманію обязанностей чловѣка,—это два важные вопросы, которыхъ рѣшенія мы можемъ требовать только отъ біографіи Кудрявцева. Въ «Воспоминаніяхъ» обозначены эти два момента въ жизни покойнаго профессора; но Галаховъ не можетъ дать полного удовлетворительнаго отчета объ этомъ, тѣмъ болѣе, что онъ сблизился съ Кудрявцевымъ уже въ послѣдніе годы его университетскаго курса. Галаховъ сообщаетъ очень интересныя свѣдѣнія о томъ, какъ добросовѣстно исполнялъ онъ свои обязанности, какъ смотрѣлъ на свои журнальныя работы, за которыя онъ принялся довольно рано. Здѣсь перечисляются повѣсти, написанныя Кудрявцевымъ во время его студентства, потомъ въ первые годы по выходѣ изъ университета. Перечисляя повѣсти Кудрявцева, Галаховъ даетъ въ то-же время краткій отчетъ объ ихъ литературномъ достоинствѣ. Судить о первыхъ опытахъ Кудрявцева должно конечно относительно: надо помнить, что онъ писалъ въ 1838 году, когда еще не вполне установился вкусъ общества, когда требованія критики не были высказаны и созданы такъ ясно, какъ высказаны и сознаны въ наше время. Ежели сравнить повѣсти Кудрявцева съ большинствомъ тогдашнихъ беллетристическихъ произведеній, въ которыхъ, чтобы завлечь читателя, придумывались разныя неправдоподобныя приключенія и подбирались эффектные сцены, тогда въ авторѣ этихъ юношескихъ опытовъ нельзя не признать истиннаго таланта и вѣрнаго пониманія изящнаго. Недостатокъ анализа, неопредѣленность характеровъ, которыхъ нельзя не замѣтить на примѣрѣ въ повѣсти «Флейта», прямо вытекаютъ изъ возраста автора, изъ степени его тогдашней опытности. Обративъ вниманіе читателя на литературныя занятія Кудрявцева, Галаховъ переходитъ къ характеристикѣ его внутренней жизни; онъ показываетъ отношенія молодого чловѣка къ членамъ семейства, къ



каждую прочитанную мысль, тщательно слѣдя за своими поступками, за движеніями своей души, Чаннингъ умѣлъ достигнуть того гармоническаго, цѣлостнаго развитія, которое должно быть цѣлью каждаго человѣка. Онъ былъ религіозенъ, его одушевляло самое теплое, высокое чувство любви къ Богу, и между тѣмъ это чувство никогда не доходило до фанатизма и исключительности, никогда не побуждало его бросить міръ, удалиться отъ людей, ему близкихъ, отъ тѣхъ людей, которымъ онъ дѣлать такъ много добра. Религіозность Чаннинга не придавала ему того мрачнаго, суроваго взгляда на жизнь, которымъ такъ отличаются американскіе пуритане и квакеры. Чаннингъ до конца своей жизни, до семидесятилѣтняго возраста, сохранялъ самый свѣтлый взглядъ на личность человѣка, самое поэтическое сочувствіе къ красотѣ природы. Онъ, какъ ребенокъ, какъ восторженный юноша, радуется появленію весны, любитъ на свѣжую зелень, прислушивается къ пробуждающейся жизни природы. Мы называли его радостью юношескою; но въ ней есть другой оттѣнокъ, въ ней есть какое-то величественное и трогательное спокойствіе, слѣдствіе стройнаго, законченнаго развитія и зрѣлаго размышленія надъ предметами жизни и надъ отвлеченными вопросами науки. Вотъ его слова, взятая изъ одного письма:

«Сию минуту я глядѣлъ на зелень, разстилающуюся передъ моимъ домомъ, покрытую каплями росы, которая блистала въ тѣни ближайшихъ деревьевъ, и вдругъ почувствовалъ такое умиленіе, какого мнѣ не случалось испытывать въ мои молодые годы. Древніе называли землю нашею матерью. Мнѣ это не нравится: она слишкомъ молода, свѣжа, полна жизни, и это сравненіе нейдетъ къ ней. Правда, я вѣрю, что есть другой міръ, который еще прекраснѣе этого, но люблю наше первое жилище и не могу подумать безъ сожалѣнія, что мнѣ придется разстаться съ этимъ солнцемъ, съ этимъ небомъ, съ этимъ океаномъ и съ этими полями».

Понимая всю прелесть внѣшней природы, во всѣхъ ея разнообразныхъ видоизмѣненіяхъ, Чаннингъ вполне цѣнилъ и уважалъ нравственную природу человѣка: онъ видѣлъ ея высокія и прекрасныя стороны; онъ вѣрилъ и хотѣлъ вѣрить въ добро, но при этомъ не былъ близорукъ, не увлекся мечтательностью и умѣлъ находить и обличать людскіе слабости и пороки. Эти слабости и пороки не могли сдѣлать его холоднымъ и мрачнымъ мизантропомъ; глубоко онъ страдалъ, обличая ихъ, но не ожесточился отъ этихъ страданій, не загрузѣлъ въ борьбѣ съ жизнью и всегда умѣлъ найти въ себѣ достаточно душевной теплоты, чтобы утѣшить несчастнаго и сказать ему доброе, ласковое слово. Чаннингъ былъ отличный семьянинъ. Онъ женился на той женщинѣ, къ которой чувствовалъ съ первыхъ дней своего дѣтства сначала дружбу, потомъ глубокую и искреннюю любовь. Взглядъ его на женщину вообще отличается самымъ

высокимъ пониманіемъ ея правъ, ея обязанностей и того вліянія, которое она можетъ и должна оказывать на общество своею тихою, кроткою дѣятельностью въ семейной жизни. Съ пятнадцати лѣтъ, съ того возраста, когда онъ началъ мыслить, онъ сталъ смотрѣть на женщину, какъ на воплощеніе добраго начала, какъ на граціозное существо, призванное преобразовать общество силою добродѣтели.

«Мнѣ было пятнадцать лѣтъ: удивительно ли, что всѣ мои помыслы обратились на женщину? Мнѣ чудилось, что она управляетъ человѣческимъ обществомъ, что, еслибъ она захотѣла отдаться добру, а не суетности, все въ мірѣ измѣнилось бы къ лучшему. Я написалъ тогда же длинное письмо, въ которомъ подробно развилъ мои мысли. Посланіе это назначалось ей — и при этомъ онъ указывалъ на жену свою — но не я осмѣлился отдать ей его».

Поэтическій взглядъ этотъ на женщину не былъ увлеченіемъ молодости, неяснымъ бредомъ пылкой души: онъ сохранился въ Чаннингѣ до послѣднихъ дней его жизни и отражается во всѣхъ его сочиненіяхъ и особенно въ его перепискѣ. Чаннингъ высоко цѣнилъ женскую грацію и женскую добродѣтель; онъ понималъ, чѣмъ должна быть женщина, и потому съ особенною горестью, съ особеннымъ внутреннимъ страданіемъ смотрѣлъ на ея недостатки и на ложный путь, который выбираютъ себѣ въ жизни многія женщины, способныя быть семьянинками, хорошими матерями, полезными членами общества. Мы, быть можетъ, слишкомъ долго остановились на личности бостонскаго пастора; но у насъ есть на то свои причины. Личность Чаннинга не бросается въ глаза, не поражаетъ никакими громадными качествами, никакими рѣзко выдающимися особенностями. Съ перваго взгляда все въ немъ кажется обыкновенно, потому что все пропорціонально, умѣренно и нормально. Нужно вглядѣться въ каждую черту его характера, вдуматься въ его мысли, почувствовать тѣ чувства, которыя волновали его теплую душу, и только тогда мы до нѣкоторой степени будемъ въ состояніи судить о гармонической полнотѣ его развитія, о той нравственной высотѣ, на которую онъ умѣлъ поставить себя долговременнымъ, часто мелочнымъ трудомъ надъ своимъ совершенствованіемъ. Представить хотя въ общихъ чертахъ такую личность нашимъ читательницамъ мы считали долгомъ: въ Уильямѣ Чаннингѣ читательницы увидятъ человѣка глубоко религіознаго, нравственнаго, вполне развитого и научно образованнаго. Всѣ эти качества рѣдко сосредоточиваются въ одномъ человѣкѣ. Сверхъ того онъ увидятъ въ Чаннингѣ такую мягкую, любящую душу, которая заставитъ ихъ невольно понять и оцѣнить эту личность. Въ мысляхъ Чаннинга, во многихъ отрывкахъ изъ его писемъ, приведенныхъ въ статьѣ г-жи Туръ,



такъ много искренняго благочестія и чистаго нравственнаго чувства, что эти мѣста могутъ служить вмѣсто религіознаго чтенія. Гдѣ Чаннингъ говорить о любви къ Богу, объ обязанностяхъ человѣка къ ближнему, о своемъ сочувствіи къ природѣ, тамъ въ каждомъ словѣ его свѣтится горячая молитва, вылившаяся прямо изъ души. Нашъ бѣглый очеркъ личности Чаннинга можетъ показаться панегирикомъ. Мы не могли подтверждать каждой нашей мысли собственными словами разбираемой нами личности и потому просимъ нашихъ читателей обратиться къ статьѣ г-жи Евгеніи Туръ: въ этой статьѣ онѣ найдутъ біографію Чаннинга и подробную оцѣнку его личности, основанную на его собственныхъ словахъ, на выпискахъ изъ его сочиненій или на отрывкахъ, взятыхъ изъ его писемъ.

#### О подражаніи Христу. Четыри книги. *Томъ Кемпійскаго*. Новый переводъ.

Книга «О подражаніи Христу» принадлежитъ къ числу наиболѣе распространенныхъ религіозныхъ сочиненій. Причины этого распространенія заключаются съ одной стороны въ строгой нравственности книги, съ другой — въ ея древности, доставившей ей извѣстность и упрочившей ея авторитетъ. Книга «О подражаніи Христу» написана на латинскомъ языкѣ въ половинѣ XV столѣтія и приписывается монаху августинскаго ордена Томѣ Кемпійскому. Сочиненіе это вскорѣ распространилось въ огромномъ числѣ рукописей; по введеніи книгопечатанія, оно выдержало множество изданій и было переведено на всѣ европейскіе языки. У насъ, въ Россіи, оно стало извѣстно съ половины XVII вѣка и съ тѣхъ поръ было переведено девять разъ. Последній переводъ, графа Сперанскаго, выдержалъ уже шесть изданій. Въ нынѣшнемъ году появилось новое московское изданіе, но это не переводъ графа Сперанскаго. Ежели принять въ расчетъ ограниченный кругъ нашего читающаго общества, то нельзя не предположить, что книга «О подражаніи Христу» извѣстна въ каждомъ религіозномъ семействѣ. На этомъ основаніи мы считаемъ излишнимъ распространяться о ея достоинствахъ, въ пользу которыхъ такъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ самый успѣхъ ея; мы постараемся только поставить нашихъ читателей на ту точку зрѣнія, съ которой должно смотрѣть на нѣкоторыя мысли этой книги и на общій тонъ изложенія. Для этого необходимо сказать нѣсколько словъ о содержаніи. Все сочиненіе состоитъ изъ четырехъ книгъ. Въ первыхъ трехъ книгахъ выразился взглядъ автора на людей и на ихъ обязанности, выразились тѣ требованія, которыми

онъ опредѣляетъ нравственное совершенство. Личность автора, его положеніе, время и обстановка, среди которой онъ жилъ, — все это не могло не имѣть вліянія на направленіе его идей, и все это дѣйствительно отразилось въ его сочиненіи. Нельзя не замѣтить съ перваго взгляда, что его совѣты и наставленія не имѣютъ живой связи съ практической жизнью: онъ смотритъ на міръ строго и мрачно, совѣтуетъ человѣку удалиться отъ шумной свѣтской дѣятельности, совѣтуетъ ему углубляться въ самого себя, посвящать себя уединенному созерцанію и постоянному сокрушенію о грѣхахъ. Человѣкъ долженъ, по мнѣнію автора, отрѣшиться отъ всего земного, убить въ себѣ всякое уваженіе воли, всякое стремленіе ума къ сознанію; все, что выходитъ изъ границъ монастырской кельи, все, что не составляетъ подвига благочестія въ тѣсномъ значеніи этого слова, все это признается авторомъ или существенно вреднымъ, или совершенно бесполезнымъ. Невинныя радости жизни, привязанность къ людямъ близкимъ, самоотверженіе во имя науки, эстетическія наслажденія предметами искусства, — все это презираетъ авторъ, все это считаетъ онъ недостойнымъ христіанина. Такой взглядъ конечно въ наше время не можетъ найти себѣ сочувствія: мы привыкли слышать отъ нашихъ духовныхъ учителей, что всякая добросовѣстная и полезная дѣятельность ведетъ человѣка къ нравственному усовершенствованію; въ наше время наука не ведетъ ни къ отрицанію законовъ нравственности, ни къ отрицанію истинъ религіи. Въ XV столѣтіи было не то: европейское общество переживало тяжкую эпоху, нравственность находилась въ упадкѣ, наука ограничивалась мертвою буквою или занималась разрѣшеніемъ вопросовъ, не имѣвшихъ ни живого смысла, ни отношенія къ дѣйствительности. Человѣку неиспорченному, сохранившему въ душѣ своей стремленіе къ добру, трудно было помириться съ подобной обстановкой. Въ такомъ человѣкѣ необходимо должно было возникнуть съ одной стороны искреннее отвращеніе отъ всего окружающаго, съ другой — сильное влеченіе къ лучшему міру, не имѣющему ничего общаго съ земными страстями и побужденіями. Эти два чувства испыталъ Тома Кемпійскій, и въ своей книгѣ онъ выражаетъ ихъ то въ горькихъ жалобахъ на слабости и несовершенства человѣческой природы, то въ строгихъ упрекахъ испорченному и суетному міру. Тома Кемпійскій въ этомъ отношеніи заплатилъ дань своему вѣку: въ его совѣтахъ и наставленіяхъ высказывается тотъ же взглядъ на міръ, который иногда въ безыскусственной формѣ выражали средневѣковые хроникеры, утомленные несправедливостями и грубой необразованностью своихъ современниковъ. Ту истину, что внѣ Христа нѣтъ спасенія ничему человѣче-



скому, Оома Кемпійскій доводитъ до такой односторонности, что рѣшительно не вѣрнѣ силѣ человѣческой мысли, не полагается на результаты науки, забывая, что Христосъ пришелъ спасти и человѣческую мысль, слѣдовательно, и науку; оттого религіозно-нравственное ученіе его чисто и возвышенно, но слишкомъ строго и односторонне; оно не мирится съ дѣйтельностью человѣка, не переходитъ въ его всеневную жизнь и потому, оставаясь въ предѣлахъ монастырской кельи, пугаетъ читателя неумолимостью своихъ приговоровъ. Самое изложеніе носитъ на себѣ отпечатокъ фанатическихъ убѣжденій средневѣкового католика; это не разсужденіе, въ которомъ авторъ старается подѣйствовать на умъ и на чувства читателя, это не поученіе, въ которомъ общее нравственное положеніе примѣняется къ отдѣльнымъ случаямъ жизни: это по большей части рядъ общихъ сентенцій, высказанныхъ коротко, строгимъ, рѣшительнымъ тономъ, не принимающимъ ни малѣйшаго возраженія, не допускающимъ и тѣни сомнѣнія. Авторъ говоритъ читателю: «ты долженъ поступать такъ», и большей частью не присовокупляетъ къ такимъ словамъ никакихъ доказательствъ, не объясняетъ своей мысли ни однимъ примѣромъ. Часто даже авторъ говоритъ отъ лица Бога и представляетъ свои мысли въ видѣ разговора между человѣкомъ и Творцомъ; иногда тонъ поученія переходитъ въ тонъ молитвы; авторъ какъ бы забываетъ о читателѣ и, увлекаясь порывомъ собственнаго чувства, предается безраздѣльно благоговѣйному созерцанію. Такія мѣста—лучшія во всемъ сочиненіи: въ нихъ видно полное одушевленіе, въ нихъ исчезаетъ или по крайней мѣрѣ дѣлается незамѣтно та риторическая цвѣтистость, которая въ духовной литературѣ такъ часто вредитъ изложенію высокихъ и прекрасныхъ идей. Строгость и рѣшительность приговоровъ, непріятно поражающая въ наставленіяхъ Оомы Кемпійскаго, смягчается въ его молитвахъ, такъ что читателю становится легче на душѣ, и онъ самъ поддается тому благоговѣйному увлеченію, которое испытывалъ въ эти минуты авторъ. Наставленія Оомы Кемпійскаго имѣютъ кромѣ своего мрачнаго характера другой недостатокъ: они слишкомъ отвлеченны; въ нихъ говорится человѣку, что онъ долженъ любить Бога, что самоотверженіе составляетъ обязанность христіанина, что міръ полонъ грѣха и соблазна, но на этомъ большей частью и останавливается авторъ; онъ не показываетъ, въ чемъ должна и въ чемъ можетъ выражаться любовь къ Богу, онъ не опредѣляетъ, что такое самоотверженіе, не даетъ полной и вѣрной характеристики пороковъ и добродѣтелей. Наконецъ авторъ забываетъ, что онъ говоритъ съ человѣкомъ, съ существомъ слабымъ, склоннымъ къ грѣху и паденію; онъ не хочетъ понять, что неумолимый

тонъ его и строгія требованія могутъ только потрясти и испугать читателя, а не убѣдить, не растрогать. Такой испугъ, такое потрясеніе бывають иногда спасительны; но, по нашему мнѣнію, всегда вѣрнѣе и надежнѣе бывають тѣ результаты, которые достигаются путемъ кроткаго убѣжденія и постепеннаго дѣйствія на умъ и на чувство. Мы много говорили о недостаткахъ книги и, указывая на нихъ нашимъ читательницамъ, старались объяснить ихъ изъ личности самого автора, жившаго въ печальную и смутную эпоху. Недостатки эти во многихъ отношеніяхъ вредятъ цѣлому, и ежели сравнить книгу «О подражаніи Христу» съ религіозными сочиненіями Иннокентія и Кирилла, то нельзя не отдать предпочтенія послѣднимъ. Нравственное ученіе ихъ также чисто и возвышенно, но предложено въ болѣе современной формѣ; взглядъ на жизнь кротче и терпимѣе; наставленія болѣе примѣнимы къ дѣйствительности, подкрѣплены доказательствами и вообще болѣе дѣйствуютъ на умъ; изложеніе проще, скромнѣе и естественнѣе. При всемъ томъ книга «О подражаніи Христу» имѣетъ свои неотъемлемыя достоинства: она можетъ возбудить въ душѣ читателя неудовольствіе противъ самого себя, можетъ навести его на спасительныя размышленія; самая суровость тона въ нѣкоторыхъ мѣстахъ придаетъ изложенію такую силу и энергію, которая можетъ произвести глубокое впечатлѣніе.

#### Народные украинскіе рассказы. Марка Вовчка. («Русскій Вѣстникъ», 1858 г.)

Рассказы Вовчка въ началѣ 1857 г. вышли отдѣльною книжкою на малороссійскомъ нарѣчій и потомъ переведены самимъ авторомъ на нарѣчіе великороссійское и помѣщены въ «Русскомъ Вѣстникѣ» за 1858 г. Рассказы эти взяты изъ всеневной жизни украинскихъ поселянъ и отличаются простотою сюжета и необыкновенной художественностью изложенія. Мы не будемъ разбирать каждый изъ его рассказовъ отдѣльно, а постараемся передать нашимъ читательницамъ то общее впечатлѣніе, которое они оставляють по себѣ, постараемся познакомить ихъ съ литературными приѣмами автора и съ художественными красотами его произведенія. Рассказы относятся къ различному времени: одни берутъ черты изъ современнаго быта, другіе воспроизводятъ преданія и повѣрья старины, сохранившіяся въ народной памяти изъ временъ казачества, когда еще Украиной вращала Московщина вмѣстѣ съ Польшею. И тѣ, и другіе представляютъ впрочемъ одинъ національный характеръ, мало измѣнившійся втеченіе двухъ вѣковъ. Тѣ-же народные типы, примѣненные только къ обстоятельствамъ мѣста и времени, встрѣчаются



и въ преданіяхъ, и въ современныхъ разсказахъ: и здѣсь, и тамъ является старикъ-отецъ, сѣдой казакъ или поселянинъ, любящій дѣтей по своему, держащій ихъ въ строгомъ повиновеніи, гордый своею волею, непоколебимый въ своихъ убѣжденіяхъ; рядомъ съ старикомъ стоятъ старуха, нѣжная мать, готовая исполнить малѣйшее желаніе любимого дитяти, но несмѣющая выйти изъ повиновенія мужу; она заступается за дѣтей, которыхъ журить отецъ, но заступается робко и какъ бы украдкой; сочувствуя ихъ желаніямъ, она плачетъ и горюетъ вмѣстѣ съ ними, старается ихъ утѣшить, но признаетъ сама непогрѣшимость мнѣній старика и боится подать другимъ членамъ семейства примѣръ ослушанія. Дѣти, особенно дочери, вполне зависятъ отъ воли отца и рѣшительно расходятся съ нимъ въ убѣжденіяхъ. Онѣ являются у М. Вовчка беззаботными пташками, «неразумными щебетушками», живущими со дня на день, не думая о прошедшемъ, ни о будущемъ; все ихъ радуетъ, все веселитъ, и только твердая воля «грознаго батюшки», который, «въ кои-то вѣки пустить на улицу погулять», способна сдерживать рѣзвые порывы живой молодости. Но беззаботность эта скоро проходитъ; наступаетъ рѣшительная минута, пробуждается первое чувство любви, и начинаются сознательная радость и повременамъ серьезное тихое горе; оппозиція отца дѣлается тверже и страшнѣе; отецъ не хочетъ себя зятья изъ панскихъ, «а чтобы самъ себя паномъ быть, чтобы никому не кланялся—вотъ какого!» Дѣвушка любитъ панскаго; надежда и опасеніе быстро смѣняются въ ея груди и нарушаютъ ея прежнее безоблачное веселье; мысли и чувства ея группируются вокругъ одного предмета; въ ней совершается переходъ отъ ребенка къ женщинѣ. Этотъ переходъ, это тревожное развитіе чувства прекрасно представлены въ разсказахъ М. Вовчка; часто дѣвушка говоритъ отъ своего лица и въ простыхъ, безъ искусственныхъ словахъ изображаетъ силу своего чувства и состояніе глубоко взволнованной души; въ ней любовь возникаетъ внезапно, развивается быстро и вскорѣ дѣлается для нея необходимымъ условіемъ существованія; она готова пожертвовать всѣмъ для любимого человѣка, но никогда не нарушаетъ законовъ семейнаго повиновенія, никогда не рѣшается идти противъ воли отца. Сила чувства и постоянство составляютъ главные качества дѣвушекъ, которыхъ выводитъ авторъ; оставаясь вѣрными своему долгу въ отношеніи къ родителямъ, онѣ не измѣняютъ и чувству и, какъ святыню, хранятъ его въ душѣ. При согласіи родителей, на долю дочери выпадаетъ тихое семейное счастье, въ противномъ случаѣ дѣвушка груститъ и чахнетъ или умираетъ насильственной смертью. Счастье для нея возможно только съ любимымъ человѣкомъ; а любить она одинъ разъ и на всю жизнь. То-же постоянство,

та-же чистота чувства характеризуютъ и паробковъ; они любятъ по нѣсколько лѣтъ, не забываютъ своихъ дѣвчинъ въ разлукѣ и свято хранятъ данныя имъ обѣщанія; изъ любви къ дѣвушкамъ паробокъ уважаетъ желаніе ея отца, покоряется его волѣ, работаетъ и копитъ деньги, чтобы откупиться и сдѣлаться вольнымъ казакомъ. Если его возлюбленная по волѣ родителей выходитъ за немилаго человѣка, онъ на всю жизнь остается холостякомъ и напрасно старается размыкать свое горе, забыть его въ разгульной бурлацкой жизни. Таковы главные типы, которые всего чаще повторяются въ украинскихъ разсказахъ. Есть и другіе, менѣе свѣтлые и чистые; но они встрѣчаются рѣже и видимо не пользуются сочувствіемъ народа. Въ одномъ изъ разсказовъ мать выдаетъ дочь насильно замужъ, въ другомъ жена господствуетъ надъ мужемъ, въ третьемъ свекровь преслѣдуетъ сноху; но видно по тону разсказчика, что этихъ отдѣльных случаевъ нельзя принимать за общее правило. Мы замѣтили, что простота сюжета составляетъ одно изъ главныхъ достоинствъ украинскихъ разсказовъ. Взаимная любовь двухъ молодыхъ людей стоитъ обыкновенно на первомъ планѣ: иногда этому чувству мѣшаютъ расчеты родителей, иногда нѣтъ никакихъ препятствій, все идетъ благополучно и оканчивается счастливымъ супружествомъ; немногіе изъ разсказовъ имѣютъ трагическую развязку, но и эта развязка приводится такъ естественно, такъ просто, послѣ такой несложной интриги, что невозможно заподозрить автора въ малѣйшей натяжкѣ. Все дѣйствіе выводится изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ и изъ ихъ положенія, и эти характеры, и положенія картинно и наглядно опредѣляются съ первыхъ словъ разсказа: случайностей, подобранныхъ происшествій нѣтъ вовсе, ежели не почтеть случайностью встрѣчу молодой дѣвушки съ пригожимъ чумакомъ на деревенскомъ праздникѣ или просто на улицѣ. Авторъ часто ведетъ свой разсказъ отъ имени кого-нибудь изъ дѣйствующихъ лицъ, иногда говорить отъ себя, но всегда умѣетъ придать своему изложенію наивность и прелесть народной рѣчи, которую мы встрѣчаемъ въ языкѣ нашихъ старинныхъ сказокъ и преданій; мѣстами даже проявляется безъ малѣйшей искусственности та мѣрная, звучная рѣчь, которая составляетъ неотъемлемую принадлежность эпического языка народной поэзіи. М. Вовчокъ приближается къ народной поэзіи не только внѣшнею формою своихъ разсказовъ, но и всѣми своими литературными приемами; онъ разсказываетъ, какъ простой очевидецъ, близкій къ изображаемымъ лицамъ по понятіямъ и образованію, раздѣляющій ихъ простодушія вѣрованія и предразсудки, сочувствующій ихъ горю и радости; мы нигдѣ не видимъ личности автора, нигдѣ не высказываетъ онъ своихъ мыслей и чувствъ,



нигдѣ не выдѣляется изъ той сферы, которую описываетъ. Говоря о чувствахъ, онъ ихъ не анализируетъ, онъ не раскрываетъ непосредственно передъ глазами читателя состоянія души своихъ паробковъ и молодежи; онъ просто описываетъ, не измѣняя своего ровнаго и спокойнаго тона, ихъ поступки, движенія, слова и взгляды, и весь ихъ внутренній міръ вполне отражается въ этихъ повидимому незначительныхъ наружныхъ дѣйствіяхъ. Приводимъ для примѣра небольшую сцену между отцомъ и двумя дочерьми:

«Она сидитъ въ садикѣ, плететъ вѣнокъ изъ ала-го да изъ бѣлаго маку, зеленымъ барвинкомъ перевиваетъ, а солнышко всходитъ изъ-за днѣпровской кручи.

— Дитя мое, Катруся! говоритъ старикъ, садясь подлѣ нея. — Послалъ тебѣ Господь великую печаль на сердце! Подними же головку, дочка, да глянь на стараго батька!

Она подняла голову и взглянула на него.

— О, дочка! какая жъ ты старая стала!

— Нѣтъ, тато, я еще молоденькая! вздохнула, и опять за вѣнокъ.

Какъ ужъ онъ ее ни утѣшалъ, какъ ни уговаривалъ, она, знай, плететъ вѣнокъ и ни слова.

Пошелъ старій, кликнулъ меньшую дочку.

— Тетяню, поди, моя рыбка, къ сестрицѣ; она въ великомъ горѣ, утѣшь ее.

— А что тамъ? гдѣ жъ она?

Прибѣжала въ садочекъ: «Сестрица Катруся, сердечко! чего вы тоскуете? Вотъ ужъ и лѣтенько на дворѣ!»

А сама обхватила ее за шею ручонками.

— Сестричка, моя милая, щебетушечка моя неразумная! ласкаетъ Катря малую.

— О, да какой же вѣнокъ вашъ краснѣй, сестрица! да какой же краснѣй! Сестронька, любонька, когда жъ вы его надѣнете?

— Вечеромъ надѣну.

Повѣсила вѣнокъ надъ водою, да и гуляетъ по саду, водячи сестричку за руку, а та щебечетъ...

Кличетъ отецъ обѣдать. Пришла и сѣла за столъ, своими бѣлыми руками медъ отцу наливала и разговаривала. Только какъ старикъ не заходилъ, ничего о себѣ самой не сказала.

Вечеру вошла къ отцу и поцѣловала у него руку. Старикъ обхватилъ ее голову: «Катря, дочка моя несчастная! помилуй тебя Матерь Божія!» И малую сестру обняла и прижала къ сердцу».

Авторъ ни разу не говоритъ о томъ, что чувствуетъ Катря, и между тѣмъ страшно становится за нее: въ каждомъ ея словѣ, въ каждомъ движеніи видно нѣкое горе, видна какая-то мрачная и спокойная полнота несчастія, при которомъ человѣкъ не плачетъ, не жалуется, а сосредоточиваетъ въ себѣ всѣ душевныя силы, при которомъ онъ не теряетъ сознанія, не измѣняетъ своего обращенія, но медленно изнываетъ и гаснетъ. Она не отвергаетъ ребяческихъ ласкъ Тетянки, рѣзвой «сестрички», которая утѣшаетъ ее по-своему, напоминая о лѣтѣ, указывая на цвѣтущую природу; она улыбается ей странною улыбкою человѣка, который потерялъ все, что ему было дорого, кончилъ всѣ расчеты съ жизнью, отрѣшился отъ всего земного и ничего

не видитъ и не желаетъ въ будущемъ. Во всемъ поведеніи Катри видна, кромѣ жестокой горести, спокойная, но страшная рѣшимость, которой ничто не поколеблетъ и не измѣнитъ. Второстепенныя лица этой сцены, старій Максимъ Гримачъ и Тетяна, въ высшей степени типичны и живо очерчены. Въ первомъ обычная суровость и важность смѣняются отцовскою любовью, нѣжностью, желаніемъ приголубить страдающую дочь; видно, что старикъ не умѣетъ взяться за дѣло, не привыкъ вести мягкую и чувствительную рѣчь, да къ тому-же и понимаетъ, что не помогутъ никакія утѣшенія. Тетяна воплощаетъ въ себѣ граціозный образъ веселой и беззаботной дѣвочки; она смутно понимаетъ горе сестры, сочувствуетъ ей всѣми силами дѣтскаго, любящаго сердца, но не можетъ долго грустить и по врожденной потребности тотчасъ начинаетъ щебетать и безотчетно радоваться всему окружающему. На всей этой семейной картинѣ, несмотря на ея печальный характеръ, несмотря на ея трагическое значеніе въ разсказѣ, разлитъ теплый колоритъ какого-то торжественнаго примиряющаго спокойствія. Граціозная простота выраженія и строгая истина изображеннаго чувства глубоко ложатся на душу, но не потрясаютъ ея, не волнуютъ, а приводятъ въ какое-то гармоническое настроеніе тихой и мягкой грусти.

Послѣ обѣда въ гостяхъ. *Кохановской.*  
(«Р. Вѣстникъ», 1858 г., № 16).

Повѣсть г-жи Кохановской заключаетъ въ себѣ разсказъ пожилой женщины, небогатой помѣщицы, о своемъ житіи-бытіи, воспоминанія ея о прошломъ, о дѣвическомъ веселіи и о первыхъ годахъ замужества. Личность разсказчицы, Любви Архиповны, такъ ярко и живо выставляется и въ припоминаемыхъ ею событіяхъ, и въ самомъ тонѣ ея разсказа, что намъ будетъ легко передать нашимъ читательницамъ ея характеристику. Для этого мы должны сообщить имъ главные моменты ея исторіи; но это не повредитъ интересу сюжета, потому что достоинства повѣсти заключаются не въ сцѣпленіи событій, а во внутреннемъ развитіи характеровъ и въ отдѣльных мелкихъ подробностяхъ, въ которыхъ и отражается жизнь провинціальнаго городка, и которыми очерчиваются положеніе и взаимныя отношенія главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Любовь Архиповна, какъ видно съ первыхъ словъ ея, съ первыхъ движеній,— женщина живая, энергическая, одаренная здравымъ умомъ и довольно вѣрнымъ взглядомъ на вещи; ни лѣта, ни матеріальныя заботы, ни бѣдная обстановка ея жизни не могли подавить въ ней врожденной веселости, не могли засушить ея любящей, воспримчивой души, не омрачили ея взгляда на людей и на жизнь. Она съ



полнымъ сочувствіемъ и довѣріемъ обращается къ молодой дѣвушкѣ, съ которою встрѣчается въ одномъ домѣ; въ разговорахъ съ нею она сама молодѣетъ душою, дѣлается веселѣе и сообщительнѣе, вспоминаетъ бывшее и съ перваго же свиданія рассказываетъ все, что у нея было на душѣ, все, что она пережила и переживала. Съ перваго взгляда подобная откровенность можетъ показаться неестественной, читатель можетъ принять ее за пустую болтливость, за признакъ вѣтренности и неглубокаго характера; но тутъ будетъ вѣрнѣе предположить другую причину, болѣе сообразную съ послѣдующимъ развитіемъ личности Любови Архиповны. Вѣднѣе и безпомощное вдовство ставятъ ее въ зависимое положеніе, которое часто даютъ ей чувствовать окружающіе ее люди, необразованные или полубразованные. Свѣтлый, природный умъ бѣдной помѣщицы даетъ ей средства угадывать и понимать эти великія оскорбленія, выраженные въ оттѣнкѣ голоса, въ наклоненіи головы, въ холодномъ взглядѣ; добрая, воспримчивая душа ея болѣзненно сжимается; въ ней накапливается и накипаетъ горе; она рѣдко видитъ искреннее участіе, въ которомъ не было бы оттѣнка покровительственнаго превосходства; не естественно ли ея искреннее удовольствіе, не естественна ли та непринужденная откровенность, которую вызываетъ къ Любови Архиповнѣ мягкое, веселое и въ то-же время почтительное обращеніе ея молодой собесѣдницы? Наболѣвшему сердцу ея становится легче; она рада отвести душу, и краснорѣчіе ея, вызванное задушевнымъ словомъ молодой дѣвушки, не находитъ себѣ предѣловъ, пока не высказано все, что было на душѣ. Стоило только затронуть рой свѣтлыхъ воспоминаній, и всѣ они неудержимо стремятся наружу. Разсказъ слѣдуетъ за разсказомъ, одно воспоминаніе будитъ другое, и, воодушевленная звуками собственнаго прошедшаго, Любовь Архиповна спѣшитъ освѣжить въ памяти и какъ бы снова пережить и бывшее горе, и бывшія радости. Личность молодой дѣвушки, которой помѣщица рассказываетъ свою исторію, стоитъ конечно на второмъ планѣ; она принимаетъ участіе въ разговорѣ отдѣльными, отрывочными словами и только вызываетъ откровенность Любови Архиповны. Вообще вся сцена между этими двумя женщинами служитъ только вступленіемъ и обстановкою для разсказа; но, несмотря на то, она заслуживаетъ нашего полнаго вниманія. Въ этой сценѣ авторъ умѣлъ, во-первыхъ, обрисовать личность молодой дѣвушки такъ, что по ея односложнымъ вопросамъ и отвѣтамъ можно составить себѣ полное понятіе о ея характерѣ; во-вторыхъ, онъ необыкновенно живо и естественно воспроизвелъ то впечатлѣніе, которое оказываетъ она на Любовь Архиповну, ту инстинктивную сим-

патію, которую чувствуютъ онѣ другъ къ другу и которая постепенно растетъ вмѣстѣ съ интересомъ разсказа. Дѣйствительно, бываютъ разговоры, которые быстро сближаютъ собесѣдниковъ, бываютъ минуты, когда душа жадно ищетъ сочувствія, когда она особенно расположена высказаться, открыть другому свои запредѣльные мысли. Кромѣ этого общечеловѣческаго чувства, въ Любови Архиповнѣ дѣйствуетъ другое, личное побужденіе, обусловленное ея лѣтами и положеніемъ въ обществѣ. Сорокалѣтняя женщина, не потерявшая ни свѣжей впечатлительности, ни задушевной теплоты юности, по естественному влеченію, обращается къ молодой дѣвушкѣ; молодость составляетъ лучшую пору ея жизни, къ ней обращаются ея мысли; въ прошедшемъ ищетъ она отраднѣе минутъ, и ея живая, веселая слушательница напоминаетъ ей то, что уже пережито, и съ неподдѣльнымъ любопытствомъ и искреннимъ участіемъ выслушиваетъ ея разсказъ.

Въ тонѣ молодой дѣвушки, въ первыхъ словахъ ея слышна какая-то насмѣшливость; но въ насмѣшливости этой нѣтъ ничего желчнаго, оскорбительнаго, нѣтъ и того оттѣнка пренебреженія, который такъ болѣзненно дѣйствовалъ на Любовь Архиповну въ обращеніи ея съ другими людьми. Это—веселая шутливость, естественное послѣдствіе молодости, здоровой и полной силъ. Она придаетъ словамъ дѣвушки граціозный отпечатокъ игривости, развеселяетъ Любовь Архиповну и содѣйствуетъ сближенію обѣихъ женщинъ; въ ней свѣтитъ и веселый умъ, и прекрасное сердце; когда разсказъ помѣщицы дѣлается серьезнѣе и грустнѣе, насмѣшливость эта совершенно исчезаетъ и уступаетъ мѣсто самому напряженному вниманію и непритворному участію. Не переступая границъ вѣжливости, эта шутливость устраиваетъ ту натянутую изысканность, которая обыкновенно господствуетъ въ разговорѣ между людьми мало знакомыми и которая дѣлается еще чувствительнѣе, когда эти люди расходятся въ лѣтахъ, въ общественномъ положеніи и особенно въ образованіи. При такихъ условіяхъ, при томъ живомъ и сообщительномъ характерѣ, который мы видѣли въ Любови Архиповнѣ, очень естественно, что она высказалась и даже, какъ женщина пожилыхъ лѣтъ, разболталась. Она замѣчаетъ, что барышня мѣстами шутитъ и лукаво улыбается; но это ей по сердцу: она любитъ шутки и сама не прочь пошутить. Это всего лучше видно изъ слѣдующаго разговора, который завязывается тотчасъ послѣ перваго знакомства:

«Приподнимаясь и оправляя нѣсколько раскинувшееся платье, чтобы этимъ самымъ предоставить возлѣ себя мѣсто моеи неожиданной собесѣдницѣ, я не могла воздержаться отъ маленькой улыбки.

— Такъ она виновата? спросила я.



— Она, матушка! сказала, садясь возлѣ меня, моя собесѣдница, покручивая немного головою, и начала живо пересказывать все, что я знала и чего не знала, что слышала и не дослышала изъ разговора въ гостиной. — Свѣтъ бѣлый на томъ стоитъ, что жены мужьями мудрятъ, охъ, мудрятъ!

— Все это такъ, отвѣчала я, едва удерживаясь отъ смѣха: — извините меня, имени и очества не знаю.

— Любовь Архиповна, подсказала помѣщица.

— Извините меня, Любовь Архиповна; но, кажется, не вамъ бы такія рѣчи говорить и не мнѣ бы слушать.

— Какія, матушка? — спросила помѣщица. — Подлинно, неслыханныя рѣчи, что жена мужа на водочкѣ ведетъ!

— Да вѣдь вы не водили вашего?

— А вамъ кто сказалъ, что не водила? — перенимая мою живость и почти тонъ голоса, передразнила меня Любовь Архиповна. — Вотъ то-то и есть, что водила. Коли-бъ не водила, то и не говорила-бъ.

На такой аргументъ возражать было нечего. Я немножко примолкла.

— Вотъ вы и замолчали, — сказала Любовь Архиповна, заглядывая съ участіемъ мнѣ въ глаза. — А я, матушка, за цѣлые полдня намолчалась, и больше молчать не приходится... Нѣтъ-таки, вы посмотрите на меня. — прибавила, трогая меня потихоньку рукою, разговорчивая помѣщица. — Какъ я вамъ показываюсь?

— Въ какомъ отношеніи? — сказала я, весело смѣясь и протягивая руку къ рукѣ Любови Архиповны, теребившей мой кисейный рукавъ».

Здѣсь высказывается та непринужденная добродушная веселость, которая придаетъ шуткамъ молодости такую граціозную прелесть и невольно располагаетъ въ пользу молодой дѣвушки; высказывается и та безобидная шутливость, которая обыкновенно служитъ выраженіемъ остраго, бойкаго ума. Затѣмъ начинается самый рассказъ. Онъ иногда прерывается замѣчаніями барышни, которая употребляетъ разныя невинныя хитрости, разныя уловки, чтобы навести разговоръ на самый интересный для женщины предметъ, чтобы узнать отъ Любови Архиповны романъ ея жизни, ея чувства и сердечныя тайны. Любовь Архиповна замѣчаетъ хитрости и отшучивается; но потребность откровенности пробудилась съ новою силою и не позволяетъ ничего утаить. Къ тому-же романа, мечтаній, развившагося чувства въ ея жизни и не было. Она начинаетъ свою добровольную исповѣдь съ оживленнаго описанія своей дѣвической жизни въ бѣдномъ, но веселомъ украинскомъ городкѣ. Провинціальная жизнь въ такомъ захолустѣ, куда еще не проникла новѣйшая образованность, гдѣ все идетъ на старый русскій ладъ, гдѣ веселятся по-своему, гдѣ соблюдаютъ всѣ обряды, установленныя вѣками, представляетъ множество самыхъ интересныхъ особенностей. Читатель слышитъ воодушевленный голосъ человѣка, прожившаго при такой обстановкѣ лучшіе годы своей жизни, свыкшагося со всѣми ея мелкими подробностями, полюбившаго всѣ ея привлекательныя и

отталкивающія стороны. Человѣку свѣжему, привыкшему къ разумной дѣятельности, покажется утомительнымъ однообразіе, неподвижность, ограниченность подобной жизни; но Любовь Архиповна, какъ женщина мало развитая, не сознаетъ ея недостатковъ, потому что воспоминаніе о ней нераздѣльно слито съ лучшими, самыми свѣжими ея воспоминаніями; рассказъ ея получаетъ оттѣнокъ радужной мечты, въ которой сглаживаются и исчезаютъ рѣзкія и непривлекательныя черты дѣйствительности. Несмотря на розовый, отчасти фантастическій свѣтъ, разлитый въ ея рассказѣ, описаніе провинціальной жизни не теряетъ своего художественнаго значенія; мы не имѣемъ права искать въ немъ того безпристрастія, котораго можно ожидать отъ посторонняго зрителя, потому что такое безпристрастіе было бы несовмѣстно съ личнымъ характеромъ и съ положеніемъ рассказчицы; мы должны видѣть въ рассказѣ ея не самую дѣйствительность, не самый предметъ, а произведенное имъ впечатлѣніе, составившееся подъ вліяніемъ личнаго взгляда Любови Архиповны. Авторъ хотѣлъ показать, какъ смотритъ провинціальная барышня на окружающую ее обстановку; онъ хотѣлъ въ рассказѣ Любови Архиповны не столько представить полную и вѣрную картину быта, сколько добавить новыя черты къ характеристикѣ своего главнаго дѣйствующаго лица. Дѣвическая жизнь, веселая и беззаботная, ея безпричинныя радости и мимолетныя огорченія, шумныя хоробы уѣздныхъ красавицъ, ихъ рѣзвыя шалости описаны чрезвычайно художественно. Слушательницѣ Любови Архиповны дѣлается даже завидно; она невольно сравниваетъ непритворную веселость старосвѣтской барышни, выражающуюся въ такихъ непрехотливыхъ формахъ, съ блестящими, но часто скучными балами, которые выпадаютъ на ея долю. Сравненіе это выражено въ очень граціозной формѣ.

«Измаешься такъ, что лишь бы до постели добраться: упадешь на подушку, какъ убитая; не въ мочь тебѣ и Богу помолиться. Только развѣ въ дремотѣ, какъ малое дитя, перекрестишься, да себѣ на умѣ скажешь: слава Богу, вотъ я наплѣлась и наплясалась вдоволь. У меня мелькнула мгновенная странная мысль: возникаетъ-ли когда въ насыщенной, пресыщенной удовольствіями, свѣтской блистательной дѣвушкѣ подобное же чувство, которое посѣщало ея меньшую сестру, старосвѣтскую барышню. и хотя разъ въ жизни случилось ли той заснуть, послѣ блестящаго бала, съ этимъ лепетомъ радостной молодой души: слава Богу, вотъ я наплѣлась и наплясалась вдоволь? Любовь Архиповна не дала мнѣ подумать объ этомъ».

Во всемъ этомъ прелестномъ описаніи дѣвическихъ увеселеній встрѣчается только одинъ эпизодъ, который непріятно поражаетъ своей искусственностью и впадаетъ въ фарсъ. Эпизодъ о городническомъ козлѣ или чортѣ, вынесшемъ на рогахъ плетень, тревога, надѣланная этимъ



событіемъ по всему городу, представляетъ подборъ смѣшныхъ происшествій, приклеенныхъ одно къ другому. Искренній смѣхъ отъ души возможенъ только тамъ, гдѣ онъ возникаетъ свободно и естественно, гдѣ онъ вызванъ истиннымъ комизмомъ правдоподобнаго происшествія; но гдѣ замѣчаются натяжка, искусственное приготовленіе смѣшного эффекта, тамъ комизмъ переходитъ въ фарсъ и не достигаетъ своей цѣли. Впрочемъ нѣтъ недостатка въ истинномъ комизмѣ, вызванномъ положеніемъ и характеромъ дѣйствующихъ лицъ. Къ такимъ художественно комическимъ мѣстамъ относится напримѣръ разсказъ о хороненіи золота. Беззаботные годы дѣвической жизни проходятъ; настаетъ другая пора, начинается драматическій интересъ разсказа, начинается глубокій анализъ характеровъ. Любовь Архиповна выходитъ замужъ по принужденію, и въ крутыхъ поступкахъ ея матери, женщины стараго вѣка, обнаруживается мрачная сторона патриархальнаго быта, который такъ свѣтло и привлекательно представленъ въ дѣвическихъ воспоминаніяхъ. Замужество и семейная жизнь Любви Архиповны служатъ выраженіемъ той мысли, что иногда взаимное уваженіе, скрѣпленное узами привычки, можетъ составить семейное счастье, можетъ вознаградить собою за отсутствіе страстной любви. Такая мысль блистательно проведена въ разсказѣ: въ ней глубоко убѣждена разсказчица, испытавшая на своемъ вѣку странный, едва понятный переходъ отъ крайняго отвращенія къ нѣжной привязанности. Предметомъ обоихъ этихъ противоположныхъ чувствъ былъ ея мужъ, котораго замѣчательный характеръ прекрасно обрисованъ и выдержанъ въ повѣсти. Мужъ Любви Архиповны, Никаноръ Семеновичъ, принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ людей, которые умѣютъ соединить въ себѣ твердую волю съ мягкостью, съ женственной нѣжностью чувствъ, которые умѣютъ любить съ полнымъ самоотверженіемъ, не требуя отъ любимаго предмета, въ замѣнъ приносимыхъ ему жертвъ, ни взаимности, ни благодарности, ни даже вниманія; сила чувства его высказывается въ силѣ его страданій, въ томъ странномъ нравственномъ мученіи, которое выдерживаетъ онъ отъ презрительной холодности своей жены; твердость его воли выражается въ умѣнии кротко сносить эти страданія, безъ ропота, безъ озлобленія, въ умѣнии молчать и терпѣть, не надѣлая любимому предмету своимъ присутствіемъ, не преслѣдуя его жалобами и изъясненіями своихъ отвергнутыхъ чувствъ; его подвергаютъ ежедневной, ежеминутной пыткѣ, стараются вывести изъ терпѣнія злыми насмѣшками и нескрытыми признаками отвращенія,—осмѣянный мужъ великодушно выдерживаетъ всѣ эти нападки и, въ награду за то, защищаетъ свою жену отъ деспотическихъ притязаній ея матери.

Трудно предположить, чтобы подобное величіе души не произвело рано или поздно благотворнаго вліянія на больное, разбитое сердце молодой женщины; ежели отвращеніе не могло смѣниться страстной любовью, то оно должно было перейти въ тихое чувство дружбы и нѣжной признательности. Переходъ этотъ, взаимное дѣйствіе другъ на друга разнородныхъ характеровъ обоихъ супруговъ прослѣжены и разобраны самымъ тонкимъ психологическимъ анализомъ. Ограничимся одной выпиской того мѣста, въ которомъ изображено примиреніе и рѣшительный переломъ въ чувствахъ молодой женщины:

«Стали мы подъѣзжать къ Купянкѣ, прилучился намъ на дорогѣ мосточекъ. «Дай, говорю, хоть выйду, пройдуся, перейду этотъ мосточекъ». Онъ велѣлъ остановить лошадей, и мы вышли. Только онъ, матушка, хотѣлъ взять меня подъ руку, чтобы перевести, значить, черезъ мостокъ (дурно было идти), я какъ отшатнулась отъ него, и прямо съ размаху упала подъ мостокъ, не удержалась на краю. Я перепугалась, а онъ бросился ко мнѣ, лица на немъ нѣтъ. «Боже мой!—всплеснулъ руками,—долго ли это еще будетъ?» Я стала подниматься, матушка, и какъ-то мнѣ пришло, что я прямо глянула глазами на него; а онъ, бѣлый какъ полотно, стоитъ надо мною, и мнѣ его, матушка, жалко стало... Съли мы, опять поѣхали, а мнѣ все его жалко. Ушибиться я вовсе не ушиблась; упала мягко на прошлогоднюю траву и даже не замарала ничего... а какъ подумаю, и мнѣ жалко его. Дай, говорю себѣ, погляжу на него. Поглядела я, матушка, а онъ сидитъ какъ словно окаменѣлый: въ лицѣ ни кровиночки нѣтъ; протянулъ руки, сложилъ ихъ себѣ на колѣно и сидитъ, хотя бы онъ двинулся или пошевелинулся; даже у него глаза будто остановились. Я хочу позвать и не знаю, какъ. Позабыла я, не знаю, какъ моего мужа зовутъ. Тронула его за рукавъ, онъ не слышитъ. Я не знаю, что дальше со мною случилось. Только я, матушка, упала ему на руки, ухватилась за него и говорю: «Прости меня! я больше не буду». Онъ даже задрожалъ весь. «Не будешь?» Наклонился ко мнѣ и глядитъ на меня быстро глазами. Что мнѣ даже страшно стало. «Посмотрю я, какъ ты не будешь? Поцѣлуй меня!» И вотъ тебѣ, какъ Богъ святъ, родная моя, откажись я въ ту минуту поцѣловать его, онъ бы, кажется, тутъ же убилъ меня... Я закинула ему руки кругомъ шеи, крѣпко обняла его, и какъ я своимъ поцѣлуемъ поцѣловала его, да и не оторвусь отъ него... Какъ зарыдаю я, какъ польются у меня слезы.—и вотъ, матушка, когда пришелъ истокъ имъ! Я тебѣ и сказать не умѣю, какъ это я плакала. Ни прежде, ни послѣ я не видала и не слыхала, чтобы человѣкъ лился такъ слезами, какъ я лилась тогда. Никаноръ Семеновичъ меня обнялъ, держитъ возлѣ себя. «Любаша!—говоритъ,—Богъ съ тобою! Христосъ съ тобою!» креститъ меня; цѣлуетъ меня, а я одно, что льюся слезами, припала на груди у него».

Въ этой сценѣ нѣтъ ничего случайнаго и произвольнаго; каждая черта, каждое душевное движеніе строго обдуманно и прекрасно подмѣнены. Бываютъ въ жизни минуты, въ которыхъ достаточно одного толчка, чтобы рѣшить участь цѣлой жизни, одного случайнаго событія, чтобы перевернуть цѣлый образъ мыслей, вырабатывавшійся втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ.

Въ такую минуту внезапно, вдругъ припомнятся



той истины, что наука можетъ возвысить, облагородить человѣка, что путемъ серьезныхъ научныхъ занятій достигается то полное, гуманное развитіе, къ которому должно стремиться. Трудясь для науки съ полнымъ самоотверженіемъ, отыскивая истину для истины, человѣкъ развиваетъ не однѣ умственные силы: онъ дѣлается нравственнѣе и чище, онъ отрѣшается отъ мелочности грязнаго исключительно практическаго разсчета; чувства его приходятъ между собою въ гармонію, движеніе души дѣлается сознательнѣе и разумнѣе. Безкорыстный трудъ приноситъ съ собою самую прекрасную награду: онъ даетъ человѣку тихое, внутреннее удовлетвореніе, сознаніе исполненнаго долга, онъ вырабатываетъ въ немъ твердость убѣжденій и самостоятельный, безстрастный и въ то-же время полный теплаго сочувствія взглядъ на людей и на жизнь.

Уильямъ Чаннингъ. *Евгеніи Туръ*. («Рус. Вѣстникъ», 1858 г.).

Имя Уильяма Чаннинга по всей вѣроятности совершенно незнакомо нашимъ читательницамъ; между тѣмъ это имя одной изъ самыхъ развитыхъ, самыхъ благородныхъ личностей нашего времени. Сочиненія его, переведенныя на всѣ европейскіе языки, приобрѣли ему въ послѣднее время самую почетную извѣстность. Чаннингъ не былъ ни исключительно ученымъ, ни исключительно государственнымъ человѣкомъ, ни исключительно писателемъ: онъ трудился вездѣ, гдѣ могъ принести пользу; онъ принимался за всякое дѣло, къ которому влекло его внутреннее чувство или къ которому побуждали его голосъ совѣсти и разумное пониманіе долга. Дѣятельность Чаннинга была самая разнообразная; развитіе его самое многостороннее. Онъ былъ бостонскимъ пасторомъ и своими проповѣдями имѣлъ сильное и благотворное вліяніе на своихъ слушателей: убѣдительность его краснорѣчія, искренность воодушевленія, мягкость чувства, ясное и полное пониманіе предмета, простота и увлекательная прелесть изложенія,—все, что дѣйствуетъ на умъ и на сердце, все это встрѣчается въ рѣчахъ Чаннинга и вполнѣ объясняетъ необыкновенную популярность, которою онъ пользовался уже въ первые годы своего пасторства, когда былъ еще молодымъ и неизвѣстнымъ человѣкомъ. Довольно будетъ сказать, что стеченіе публики на бесѣдахъ молодого проповѣдника бывало такъ велико, что нарочно для Чаннинга пришлось строить новую, болѣе помѣстительную церковь. Чтобы удовлетворять требованіямъ многочисленныхъ и просвѣщенныхъ слушателей, нужно было конечно много труда и времени; но дѣятельность молодого, болѣзненнаго человѣка далеко не ограничивалась

составленіемъ и произнесеніемъ поученій. Онъ самъ проводилъ въ жизнь тѣ прекрасныя идеи христіанства, которыя развивалъ передъ своими слушателями; проникнутый уваженіемъ къ своему священному званію, понимая во всей ихъ полнотѣ высокія обязанности, которыя оно на него возлагало, Чаннингъ отыскивалъ всевозможные случаи, чтобы дѣлать добро; онъ сближался съ низшимъ и бѣднѣйшимъ классомъ народа,—съ тѣмъ сословіемъ, въ которомъ нужда, соединенная съ недостаткомъ образованія, всего чаще ведетъ за собою пороки и преступленія; входя въ тюрьмы, въ больницы и частныя жилища, онъ изучалъ потребности народа, примѣняясь къ степени его развитія, помогая деньгами и совѣтами, и часто его простое, душевное слово глубоко западало въ душу несчастныхъ, подавленныхъ нуждою и болѣзнію. Чаннингъ заботился о народномъ образованіи и сильно говорилъ и писалъ о необходимости школъ, доступныхъ не только для богатыхъ и бѣдныхъ, но и для цвѣтныхъ жителей, которыхъ постоянно чуждались бѣлые. Слова его конечно не оставались безъ послѣдствій, и въ путешествіи Лакиера мы читаемъ, что въ Бостонѣ существуютъ школы для цвѣтныхъ дѣтей, а что въ Чикаго цвѣтные и бѣлые учатся вмѣстѣ, сидя на одной школьной скамейкѣ. Занимаясь нуждами своего родного города, Чаннингъ не оставался равнодушнымъ къ вопросамъ, касавшимся всего Союза. Бѣдственное положеніе негровъ-невольниковъ въ Южныхъ Штатахъ заставляло глубоко страдать его возвышенную, чистую душу; онъ даже не могъ и не хотѣлъ понять, что во владѣльцахъ негровъ дѣйствовало одно корыстолюбіе, а не ложное убѣжденіе: онъ думалъ, что плантаторы считаютъ рабство необходимымъ для благосостоянія общества, и потому всѣми возможными доводами старался разувѣрить ихъ, показать имъ, какъ пагубны слѣдствія рабства и для рабовъ, и для владѣльцевъ. Во имя чести своей родины, во имя страждущаго человѣчества, Чаннингъ въ первый разъ выступилъ впередъ, какъ политическій писатель, и безпристрастно, хладнокровно, не увлекаясь ни духомъ партій, ни своимъ состраданіемъ къ угнетеннымъ неграмъ, разобралъ вопросъ о рабствѣ и высказалъ много обдуманыхъ и смѣлыхъ истинъ, которыми вооружилъ противъ себя и плантаторовъ, и *аболиціонистовъ*,—людей, требовавшихъ освобожденія невольниковъ и увлекшихся своимъ справедливымъ рвеніемъ. Ни политическія занятія, ни дѣла благотворительности не заставляли Чаннинга забывать о собственномъ умственномъ развитіи и нравственномъ совершенствованіи. При всѣхъ своихъ многосложныхъ трудахъ, Чаннингъ находилъ время для научныхъ занятій: онъ изучалъ литературу, философію, богословіе и право. Строго обдумывая и анализируя



отцу, къ сестрамъ, взгляды Кудрявцева на женщину, влияніе, которое оказывала на родныхъ и близкихъ его развитая, благородная и мягкая личность. Кудрявцевъ отличался самой гуманной терпимостью, самымъ сознательнымъ уваженіемъ къ личности женщины, самымъ искреннимъ желаніемъ принести пользу ея умственному и нравственному усовершенствованію. Въ его нѣжной дружбѣ съ сестрами, которыя во многихъ отношеніяхъ были обязаны ему своимъ развитіемъ, всего полнѣе выразились эти свойства его характера. Онъ никогда не давалъ себѣ права показывать имъ своего умственного превосходства, онъ уважалъ ихъ убѣжденія, какъ бы ни были они незрѣлы. Эта скромность вызвала съ ихъ стороны довѣріе и давала ему возможность успѣшнѣе содѣйствовать ихъ образованію. Глубокая привязанность Кудрявцева къ супругѣ даетъ также важную черту для характеристики покойнаго. Способность любить сильно и глубоко составляетъ принадлежность немногихъ избранныхъ. Кудрявцевъ былъ вполне счастливъ съ своею супругою, но могъ быть счастливъ одинъ разъ въ жизни. Онъ пережилъ свою супругу немногими мѣсяцами, и что онъ испыталъ въ это время, что онъ перечувствовалъ, то выразилось въ двухъ прекрасныхъ письмахъ его къ Галахову. Письма эти приложены къ воспоминаніямъ и составляютъ одну изъ самыхъ интересныхъ частей статьи. Первое письмо написано Кудрявцевымъ за границею, черезъ пять мѣсяцевъ послѣ кончины жены. Второе писано имъ уже въ Москвѣ, незадолго до смерти. Въ первомъ Петръ Николаевичъ весь занятъ своимъ горемъ: онъ не даетъ мѣста никакой посторонней мысли, никакому отрадному чувству, никакой даже отдаленной надеждѣ. Онъ говоритъ о себѣ и о своей потерѣ много и подробно; онъ самъ анализируетъ состояніе своей души и съ какимъ-то страннымъ удовольствіемъ останавливается мыслию на воспоминаніяхъ о прошломъ и на созерцаніи темнаго и безотраднаго настоящаго. При первомъ, поверхностномъ взглядѣ можетъ показаться неестественнымъ то изумительное спокойствіе, съ которымъ Кудрявцевъ вглядывается въ свое несчастіе, та хладнокровная послѣдовательность, съ которою онъ развиваетъ свои мысли, наконецъ тотъ чисто литературный языкъ, которымъ онъ пишетъ въ минуты сильнаго страданія. Но сомнѣній въ этомъ случаѣ быть не можетъ. Противъ такихъ сомнѣній говоритъ простота, съ которою Кудрявцевъ пишетъ о своихъ чувствахъ. Что онъ анализируетъ ихъ, это понятно: онъ привыкъ вдумываться во все, что его окружаетъ, привыкъ искать во всемъ мысли, связи между причиною и слѣдствіемъ; что онъ такъ упорно всматривается въ свою потерю, что онъ съ усиленнымъ вниманіемъ напоминаетъ черты былого счастья, это тоже понятно, это показы-

ваетъ, какъ сильно было чувство. Человѣкъ, у котораго нѣтъ отрады впереди, долженъ оглянуться назадъ, долженъ съ любовью, съ мучительнымъ наслажденіемъ останавливаться на прошедшемъ. Сверхъ того, ежели припомнимъ, что письмо Кудрявцева было писано черезъ пять мѣсяцевъ послѣ смерти жены, когда уже первый бредъ отчаянія прошелъ, то не покажется удивительнымъ послѣдовательный ходъ мысли и литературное изложеніе. Приведемъ отрывокъ изъ этого письма.

«Какъ страшно можетъ иногда расколоться жизнь; все по одну сторону и ничего по другую! Я все не знаю до сихъ поръ, что это такое — слѣпой случай, или въ самомъ дѣлѣ какое «наказаніе»? И знаете-ли, что мнѣ бы, кажется, было лучше увѣриться въ послѣднемъ. Наказаніе имѣетъ хоть какой-нибудь смыслъ; но слѣпой, бессмысленный случай, разрушающій однимъ разомъ все ваше счастье, губящій его въ вашихъ глазахъ съ какою-то злою проницательностью и насильственно переворачивающій всю вашу жизнь къ прошедшему — это невыносимо тяжело. Если это неразумная сила, то откуда-же въ ней столько разсчитанной жестокости? А если она разумна, то какъ можетъ быть столько жестокою? Такъ спуталось все у меня въ головѣ, что самое сильное впечатлѣніе, которое остается у меня отъ жизни — это впечатлѣніе жестокаго обмана. На свою личную жизнь пожаловаться не могу: она и довольно долга теперь уже, и не скажу, чтобъ она была пуста. Вы знаете, любезный другъ, тѣ интересы, которые проходили черезъ нее, потому что большую и, можетъ быть, лучшую часть ихъ мы пережили вмѣстѣ. Но мнѣ было послано *счастье*. Говорю послано, потому что я не искалъ его усердно, не гонялся за нимъ — само пришло, будто посланное кѣмъ. Ужъ подавая ему руку на будущій союзъ, я далеко, далеко не предчувствовалъ всей цѣны его. Мнѣ почти безъ искательства было послано то, что не всегда дается послѣ многихъ и усиленныхъ поисковъ. У меня было столько счастья, что меня, кажется, не испугало бы никакое лишеніе. Я былъ наконецъ можетъ быть даже слишкомъ самодоволенъ. Мнѣ нечего было искать, потому что около меня было все, все... Прежде, чѣмъ я опредѣлилъ себѣ, въ чемъ можетъ состоять мое счастье, оно ужъ было со мною. Да, это было счастье — могу я сказать теперь, лоя все дальше и дальше убѣгающую отъ меня тѣнь его. Еще въ тотъ день, какъ я прощался съ вами въ Москвѣ, оно было со мною все сполна, и я легко подавалъ руку друзьямъ, потому что видѣлъ впереди только свѣтлые и радостные дни. Давно-ли, кажется, это было, а теперь у меня ужъ ничего нѣтъ: какъ неожиданно создалось мое счастье, такъ быстро, внезапно и насильственно было оно разрушено».

Второе письмо отличается болѣе спокойнымъ тономъ: видно, что Кудрявцевъ уже свыкся съ мыслью о своей утратѣ; его занимаютъ серьезные обязанности профессорства, и онъ съ чувствіемъ говоритъ о студентахъ и о томъ возбуждающемъ влияніи, которое оказываетъ на профессоровъ ихъ живая и разумная любознательность. Мы указываемъ нашимъ читателямъ на статью Галахова не потому, что предметомъ воспоминаній является русскій ученый: Кудрявцевъ замѣчательнѣе, какъ человѣкъ; его личность служить живымъ доказательствомъ



мысли, слова и поступки, сдѣланные, произнесенныя и задуманныя очень давно,—все сдѣлается ясно передъ глазами; окинешь взоромъ далеко прошедшее,—и все вдругъ явится въ иномъ свѣтѣ. Такого рода переворотъ совершился въ Любви Архиповѣ при случайномъ взглядѣ на блѣдное, истомленное лицо мужа, носившее на себѣ глубокіе слѣды тяжелаго нравственнаго страданія. Перевороты эти подготавливаются долгимъ рядомъ мыслей и чувствъ, но совершаются внезапно, безъ участія нашей собственной воли. Въ душевномъ движеніи ея мужа мы видимъ другое, весьма замѣчательное явленіе: Никаноръ Семеновичъ терпѣливо сносилъ холодность своей жены, онъ молчалъ и терпѣлъ, его энергія была подавлена тяжестью страданія; но эта энергія пробуждается съ полной силой при первомъ свѣтѣ надежды. Онъ страшиваетъ съ себя свою апатію, и сердце его уже не проситъ, а требуетъ полной любви, полного вознагражденія за вынесенныя страданія; въ немъ вдругъ проснулось чувство, сдвоенное громаднымъ усиліемъ воли, и чувство это требуетъ взаимности, во что бы то ни стало: оно вырвалось наружу, и уже ничто его не сдержитъ. Его глубокая, спокойная природа, потрясенная до основанія, сильно взволновалась, не мудрено, что страшно стало Любви Архиповѣ. Ежели бы она вздумала послѣ первыхъ словъ своихъ возвратиться къ прежней холодности, дѣло могло бы дѣйствительно получить трагическую развязку. Въ заключеніе, укажемъ нашимъ читательницамъ на второстепенное, но весьма типическое лицо повѣсти—на Авдотьюшку, бѣдную, благочестивую старушку, проводящую всю жизнь въ постѣ и молитвѣ и странствующую по различнымъ монастырямъ Россіи. Ея рассказы, проникнутые поэтической, безграничной вѣрой, служатъ выраженіемъ полного преобладанія чувства и воображенія надъ критической силой ума. Не будемъ говорить о Черномъ, о лицѣ самомъ поэтическомъ въ рассказѣ; читательницы пусть сами прочтутъ художественный рассказъ г-жи Кохановской и вполне оцѣнятъ его красоты.

### Свободный выборъ. Повѣсть *„Е. Нарской“* (тамъ-же).

Повѣсть г-жи Нарской должна обратить на себя наше вниманіе не столько по своимъ литературнымъ достоинствамъ, сколько по той мысли, которая положена въ ея основаніи. Г-жа Нарская хотѣла представить въ своей повѣсти характеръ дѣвушки, получившей правильное, основательное образованіе и развившейся при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ; она хотѣла привести эту дѣвушку въ соприкосновеніе съ шумной свѣтской жизнью, поставить ее среди блестящаго, мало развитаго общества и про-

слѣдить тѣ ощущенія, которыя переживетъ эта дѣвушка, и то вліяніе, которое будетъ оказывать она на окружающихъ ее людей. Тема, выбранная авторомъ, обширна и соответствуетъ потребностямъ нашего времени и общества, въ которомъ поднять вопросъ о женскомъ образованіи; тема эта находится въ прямомъ соотношеніи съ направленіемъ нашего журнала, и потому мы считаемъ нужнымъ представить подробный отчетъ о повѣсти г-жи Нарской.

Клавдія Александровна Фуржеева, молодая дѣвушка, занимающая среди дѣйствующихъ лицъ повѣсти главное мѣсто, проводитъ въ деревнѣ дѣтство и первые годы молодости; воспитаніе ея находится подъ руководствомъ старика-отца, человѣка опытнаго и свѣдущаго, сохранившаго чистоту юношескихъ убѣжденій, сознающаго необходимость образованія, умѣвшаго пробудить въ дочери живую любознательность и развить въ ней благородный и правильный взглядъ на жизнь. Слѣдствія подобнаго воспитанія проявляются во всемъ послѣдующемъ ходѣ событій; но о самомъ ходѣ этого воспитанія г-жа Нарская говоритъ очень мало: она беретъ Клавдію въ томъ возрастѣ, когда учебныя занятія ея уже оканчиваются, когда первоначальное направленіе уже дано, когда человѣку предоставляется возможность работать собственными силами надъ дальнѣйшимъ своимъ развитіемъ и усовершенствованіемъ. О предыдущемъ періодѣ жизни, о дѣтствѣ, о тѣхъ пріемахъ, которыми пользовался старикъ Фуржеевъ, не сказано ни слова; встрѣчаются только общія, довольно неопредѣленныя указанія: такъ, напримѣръ, г-жа Нарская говоритъ, «что цвѣты и книги составляли всю ихъ прихоть», сама Клавдія говоритъ отцу, что бабушка ея не разъ замѣчала, «будто она болѣе похожа на студента, чѣмъ на благовоспитанную дѣвицу». Эти указанія, самый характеръ старика Фуржеева и наконецъ рѣзкое различіе между Клавдіей и окружающими ее дѣвицами, получившими поверхностное свѣтское образованіе,—все это даетъ намъ право заключить, что воспитаніе ея было серьезное и основательное; но при этомъ нельзя не пожалѣть, что г-жа Нарская не дала намъ болѣе подробностей объ объемѣ этого воспитанія, о томъ, какъ и чему училась Клавдія. Сцена изъ ея дѣтства, перечень ея занятій уяснили бы намъ характеры Фуржеева и его дочери и дали бы намъ право судить о взглядѣ автора на образованіе женщины; отсутствіе опредѣленныхъ указаній на воспитаніе Клавдіи по-даетъ поводъ къ довольно важному недоразумѣнію. Въ ходѣ послѣдующихъ событій у Клавдіи является желаніе трудиться и зарабатывать деньги, она обращается къ запасу свѣдѣній, пріобрѣтенныхъ ею подъ руководствомъ отца, и съ ужасомъ замѣчаетъ, что свѣдѣнія



эти недостаточны и даже поверхностны. «Я не знаю по-русски», говоритъ она себѣ, «я не могу свободно и правильно написать письма на родномъ языкѣ! Развѣ насъ учатъ, какъ слѣдуетъ, русскому языку?» Не имѣя опредѣленнаго понятія о томъ, какъ шло воспитаніе Клавдіи, читатель не знаетъ, чему приписать эти слова — дѣйствительному сознанию недостаточнаго образованія или минутному порыву отчаянія, вызванному обстановкою всендневной жизни. Прочтя эти слова, читатель не можетъ также утвердительно сказать, на сколько воспитаніе Клавдіи стояло выше того воспитанія, которое обыкновенно дается дѣвушкамъ, готовящимся жить исключительно для свѣта и для его шумныхъ удовольствій. Клавдія жалуется на неосновательное знаніе русскаго языка. Въ чемъ же состояло ея образованіе? Такой вопросъ не находитъ себѣ опредѣленнаго отвѣта; а между тѣмъ ясно видно намѣреніе автора показать превосходство Клавдіи надъ окружающими ее молодыми дѣвушками. Превосходство это выражается въ возвышенномъ образѣ мыслей, въ стремленіи къ серьезнымъ занятіямъ и къ разумной самостоятельности, въ умѣнii думать и обсуживать, анализировать движенія собственной души. Клавдія не увлекается первымъ порывомъ чувства и въ то-же время не даетъ въ своихъ мысляхъ мѣста холодному и сухому расчету; она чувствуетъ горячо и искренно. Она довѣрчиво сближается съ людьми; но эта довѣрчивость не отнимаетъ у нея способности оцѣнивать людей по достоинству; она понимаетъ, что для счастья въ жизни необходимо сознательное чувство, что чувство это должно быть основано на уваженіи и одинаковомъ пониманіи главнѣйшихъ обязанностей человѣка; она готова скорѣе принять на себя тяжелую трудовую жизнь, полную заботъ и матеріальныхъ лишеній, нежели связать свою судьбу съ судьбою человѣка, недостойнаго уваженія и неспособнаго возбудить къ себѣ искреннюю привязанность. Результаты воспитанія очевидно самыя утѣшительныя; но въ чемъ состояло это воспитаніе, и почему Клавдія не вынесла изъ него даже основательнаго знанія русскаго языка? Это остается вопросомъ очень интереснымъ, но тѣмъ не менѣе неразрѣшеннымъ. Повѣсть начинается со вступленія молодой дѣвушки въ свѣтъ. Свѣтскія удовольствія сначала конечно занимаютъ ее, ей весело, она рада потанцовать; но балы скоро надоѣдаютъ ей, когда она замѣчаетъ, что ей ставятъ въ обязанность присутствовать на нихъ и веселиться во что бы то ни стало; докучливыя наставленія старшихъ родственницъ, изучившихъ до тонкости всѣ мелочныя условія свѣтской жизни, тяготятъ ея свѣжую, неспорченную природу; каждый шагъ ея, каждое естественное движеніе вызываютъ толки, комментаріи и длинныя право-

ученія со стороны бабушки. Все это становится для нея невыносимо; жизнь въ Москвѣ теряетъ въ ея глазахъ всю свою прелесть, и тихія, серьезныя занятія прежней уединенной жизни снова манятъ ее къ себѣ. Такой переходъ не представляетъ конечно неестественнаго. Было бы странно, если бы молодая дѣвушка имѣла отвращеніе отъ свѣтскихъ удовольствій; какъ бы ни было серьезно данное ей воспитаніе, оно рѣдко ведетъ, да и не должно вести, къ подобнымъ крайностямъ. Съ другой стороны, очень понятно, что дѣвушка умная и развитая не могла удовольствоваться одной салонной, внѣшней и пустой жизнью. За минутнымъ увлеченіемъ столичными удовольствіями конечно должно было послѣдовать разочарованіе, болѣе или менѣе непріятное. Можно при этомъ замѣтить, что періодъ увлеченія свѣтомъ выставленъ въ повѣсти довольно слабо. На него есть намеки, о немъ можно догадываться, наприимѣръ по письму Клавдіи къ своей подругѣ; но нѣтъ ни одной сцены, въ которой прямо и ясно выразилось бы это увлеченіе. Между тѣмъ содержаніе повѣсти развѣтывается, и являются новыя личности. Въ выборѣ этихъ личностей нѣтъ ничего случайнаго: видно, что каждая изъ нихъ осуществляетъ собою одну изъ сторонъ мысли автора; однѣ приходятъ въ столкновеніе съ Клавдіей и содѣйствуютъ развитію ея характера; другія составляютъ съ нею противоположность и помогаютъ автору отгѣнить и обозначить посредствомъ сравненія свойства главнаго дѣйствующаго лица. Планъ повѣсти строго обдуманъ: мы видимъ, какъ проявляется самостоятельная дѣятельность ума и сердца молодой дѣвушки. Она отказывается богатому жениху, потому что не чувствуетъ въ себѣ способности и желанія составить его счастье; въ то-же время она готова, изъ жалости, выйти замужъ за человѣка безхарактернаго и пустого, но страстно привязаннаго къ ней. Мы видимъ такимъ образомъ въ ея поступкахъ съ одной стороны пониманіе обязанностей женщины, съ другой—вполнѣ женственное увлеченіе порывомъ сердца; въ первомъ случаѣ видимъ преобладаніе нравственнаго чувства надъ грязнымъ расчетомъ, во второмъ—перевѣсъ чувствительности надъ голосомъ разсудка. При этомъ должно замѣтить, что второй эпизодъ жизни Клавдіи гораздо болѣе перваго обрисовываетъ ея характеръ. Отказать богатому жениху не важность: это сдѣлаетъ каждая развитая дѣвушка, но сжалиться до такой степени надъ чувствомъ, котораго не раздѣляешь,—это черта важная и замѣчательная. Клавдія поступила бы опрометчиво, если бы повиновалась въ этомъ случаѣ первому влеченію сердца; но есть такого рода опрометчивые поступки, такого рода неосторожности и ошибки, на которыя способны очень немногія, прекрас-



ныя и развитыя личности. За этими двумя эпизодами, въ которыхъ читатель постепенно знакомится съ различными сторонами характера героини, слѣдуетъ третій, изображающій любовь Клавдіи къ человѣку мыслящему, развитому во всѣхъ отношеніяхъ, самостоятельному и достойному уваженія. Это одна изъ лучшихъ частей повѣсти: развитіе чувства прослѣжено и объяснено читателю; въ проявленіяхъ этого чувства нѣтъ никакихъ неестественныхъ эффектовъ, противорѣчащихъ характеру и положенію дѣйствующихъ лицъ. Клавдія любитъ тихо и спокойно; молча страдаетъ она отъ встрѣчающихся ей препятствій, твердо борется она съ ними и силою воли побѣждаетъ ихъ. Сдѣлавшись женою любимаго человѣка, она съ непоколебимымъ постоянствомъ исполняетъ свои обязанности, дѣлитъ съ мужемъ горе и радости, помогаетъ ему въ работахъ, переноситъ болѣзни и заботы. Говоря объ этой порѣ жизни Клавдіи, авторъ не впадаетъ въ преувеличеніе, не идеализируетъ своей героини, а просто представляетъ въ ея лицѣ добрую, мыслящую и развитую женщину. Личности, окружающія Клавдію, очень разнообразны и очерчены довольно ярко. Однѣ—сухіе эгоисты, неразвившіеся, непонявшіе цѣли жизни и смотрящіе съ предубѣжденіемъ и съ затаенною досадою на всякаго, кто потревожитъ живую мыслью ихъ тупое умственное усыпленіе. Эгоисты эти являются въ различныхъ видоизмѣненіяхъ; но не трудно узнать одинъ и тотъ-же типъ: тутъ есть старухи, которыя проводятъ время за картами, живутъ городскими слухами и строго наблюдаютъ за ненарушимостью свѣтскихъ обрядовъ; есть молодыя дѣвушки, вѣчно танцующія, вѣчно смѣющіяся и высматривающія жениховъ; есть и молодые люди, не знающіе никакого труда, живущіе со дня на день безъ всякой опредѣленной цѣли. Другого рода личности, забытыя, подавленные силою обстоятельствъ или мертвящимъ вліяніемъ сухихъ и тяжелыхъ людей. Такія личности всего лучше удались автору; Нарская умѣла показать, какъ въ этихъ людяхъ есть и умъ, и чувства, и какъ все это въ нихъ стѣснено и связано; она умѣла даже представить въ нихъ проблески ума и чувства, проблески минутные, за которыми опять слѣдуютъ неподвижность и официальная холодность. Все, что мы сказали, относится къ плану, къ идеѣ повѣсти; въ выполненіи этой идеи есть много недостатковъ: видно, что авторъ, обдумавъ и разобравъ характеръ, не всегда умѣлъ воспроизвести его, не всегда примѣнялся къ положенію выведенной личности и потому отъ ея лица высказалъ идеи въ такой формѣ, въ какой не могли онѣ быть высказаны. Фуржеевъ и его дочь большей частью говорятъ книжнымъ языкомъ; старикъ Фуржеевъ произноситъ довольно некстати по-

ученія рѣзкія, длинныя и утомительныя. Желая обозначить какое-либо движеніе мысли, какую-либо сторону характера, Нарская употребляетъ черты слишкомъ рѣзкія; чтобы показать неправильное развитіе родственницъ Клавдіи, она приводитъ сцены, въ которыхъ нельзя не замѣтить утрировки. Къ такимъ сценамъ относится большая часть разговоровъ Клавдіи съ бабушкой: бабушка слишкомъ открыто и нагло становится на сторонѣ обскурантизма, слишкомъ нелѣпо говоритъ противъ образованія женщины; она можетъ такъ думать и чувствовать, но, какъ женщина умная, не будетъ говорить такъ рѣзко съ внучкой, которую желаетъ убѣдить и подчинить своему вліянію. Молодые дѣвушки, подруги Клавдіи, представлены также черезчуръ пустыми и неразвитыми; ихъ остроты, ихъ насмѣшки надъ Клавдіей слишкомъ плоски. Вообще разговорамъ, приведеннымъ въ повѣсти Нарской, недостаетъ живости, и это много вредитъ достоинству цѣлаго.

#### Un mot aux mères. Par L. S. de M.

Небольшая брошюра г-жи L. S. de M. посвящена разрѣшенію одного изъ важнѣйшихъ вопросовъ, касающихся женскаго воспитанія, одного изъ тѣхъ вопросовъ, которые въ послѣднее время были подняты въ нашей педагогической литературѣ. Г-жа L. S. de M. поставила себѣ задачею обсудить выгоды и невыгоды женскаго общественнаго воспитанія и разобрать то вліяніе, которое можетъ имѣть такое воспитаніе на образъ мыслей дѣвушки, на ея нравственность и на положеніе въ семействѣ. Сравнивъ общественное воспитаніе съ домашнимъ, г-жа L. S. de M. выводитъ изъ этого сравненія результаты и представляетъ въ общихъ чертахъ планъ такого учебнаго заведенія, которое, не отрывая воспитанницъ отъ семейства, доставило бы имъ средства пользоваться уроками хорошихъ учителей и такимъ образомъ совмѣстило бы въ себѣ выгоды домашнего и общественнаго воспитанія. Таковъ общій планъ сочиненія; сообразно съ этимъ планомъ самое сочиненіе раздѣляется на три главы. Первая глава доказываетъ необходимость домашнего воспитанія для правильнаго развитія женщины. Г-жа L. S. de M. начинается съ того, что вглядывается въ окружающее насъ современное общество и опредѣляетъ ту роль, которую занимаетъ въ немъ женщина. «Я вижу, говорить она,—что женщина не понимаетъ своего назначенія, тратится на пустяки, забываетъ свои святыя обязанности и такимъ образомъ дѣлается для своего времени источникомъ несчастій». Приговоръ этотъ строгъ; но онъ показываетъ, какъ высоко понимаетъ г-жа M. значеніе женщины, говоря, что она имѣетъ



такое рѣшительное вліяніе на направленіе общества. Сверхъ того г-жа М. допускаетъ и исключенія изъ высказаннаго ею правила; но исключенія эти конечно бываютъ рѣдки и большей частью являются независимо отъ тѣхъ условій, при которыхъ обыкновенно развивается въ наше время женщина. На эти-то условія г-жа М. и обращаетъ преимущественное вниманіе. Она съ благоговѣніемъ останавливается передъ прекрасной мыслью, которая лежитъ въ основаніи институтовъ; она съ уваженіемъ говоритъ о числѣ и великолѣпіи этихъ заведеній, въ которыхъ сироты, не имѣющія ни семьи, ни пристанища, могутъ получать отъ государства прочное и обширное умственное образованіе. Отдавая полную справедливость пользѣ этихъ общественныхъ учрежденій, г-жа М. въ то-же время замѣчаетъ въ нихъ существенный недостатокъ. Недостатокъ этотъ тѣмъ важнѣе, что онъ не является слѣдствіемъ случайнаго временнаго злоупотребленія; напротивъ, онъ составляетъ неизбежное, необходимое свойство казеннаго заведенія, которое ни въ какомъ случаѣ не можетъ замѣнить для воспитанницъ семейства. Приводимъ слова автора, въ переводѣ:

«Эти воспитательныя заведенія въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ держатъ бѣдную дѣвочку вдали отъ нѣжной ласки матери; они отчуждаютъ ее отъ домашнихъ обязанностей, отрѣшаютъ ее отъ тѣхъ заботъ, отъ тѣхъ привычекъ, отъ тѣхъ горестей, которыя составляютъ для человѣка истинную житейскую школу. Ребенокъ долженъ мало-по-малу приучаться къ сердечнымъ огорченіямъ, къ лишеніямъ, къ обманутымъ надеждамъ,—словомъ, ко всѣмъ мелкимъ непріятностямъ, которыя неизбежно ведетъ за собою семейная жизнь».

Съ этими словами нельзя не согласиться. Давно извѣстно, что жизнь составляетъ лучшую школу, что опытъ и практика необходимы во всякомъ дѣлѣ и что ихъ не замѣнить никакая теорія; поэтому ребенку лучше всего жить по возможности въ дѣйствительности, въ той средѣ, въ которой ему современемъ придется самому быть независимымъ дѣятелемъ. Нужно избѣгать для ребенка той искусственной атмосферы, въ которой нельзя будетъ держать его въ продолженіе всей жизни, изъ которой ему рано или поздно необходимо будетъ выглянуть на свѣтъ, въ дѣйствительность. Такую искусственную атмосферу представляютъ всѣ помянутыя заведенія, въ которыхъ воспитанникъ видитъ вокругъ себя одни и тѣ-же лица, одни и тѣ-же занятія, одни и тѣ-же отношенія; онъ создаетъ себѣ свои понятія, отъ которыхъ потомъ трудно бываетъ отрѣшиться, свой маленький міръ, часто не имѣющій ничего общаго съ тѣмъ большимъ міромъ, который лежитъ за стѣнами училища. Взглядъ его на жизнь получаетъ особенное, всегда неправильное, а иногда и превратное развитіе; тѣмъ больше бываетъ

замкнутость, тѣмъ полнѣе отчужденность отъ окружающаго общества, тѣмъ чувствительнѣе вліяніе, которое оказываютъ годы ученія на дальнѣйшую жизнь и дѣятельность воспитанника. Кромѣ запаса занятій, училище даетъ воспитаннику извѣстнаго рода понятія, которыя рѣдко выдерживаютъ столкновеніе съ дѣйствительностью, которыя большей частью самому же воспитаннику приходится искоренять и перерабатывать. Въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ замкнутость всего полнѣе, и потому вліяніе пансіонскихъ привычекъ и понятій всего сильнѣе проявляется въ жизни женщины, тѣмъ болѣе, что этому содѣйствуютъ воспримчивость и впечатлительность, свойственныя ея полу и тому нѣжному возрасту, въ которомъ дѣвушки большей частью поступаютъ въ заведеніе. Г-жа М. обращаетъ вниманіе на слѣдствія подобнаго воспитанія и въ особенности развиваетъ ту мысль, что дѣвушка, находившаяся въ первые годы молодости вдали отъ семейства, не можетъ жить сердцемъ, не можетъ найти пищи для своей врожденной потребности любить и приносить, по мѣрѣ силъ, пользу любимымъ людямъ. Дружескія отношенія съ сверстницами обыкновенно оканчиваются за дверьми пансіона и оставляютъ по себѣ одни безплодныя сожалѣнія, вселяютъ въ сердце дѣвушки тоскливое воспоминаніе о прошедшемъ, — воспоминаніе, являющееся въ ту пору, когда всего лучше бываетъ жить въ настоящемъ, весело смотрѣть впередъ и думать о ближайшемъ будущемъ. Эти воспомнанія порождаютъ въ жизни дѣвушки какую-то раздвоенность, какой-то разладъ между мыслью и дѣйствительною жизнью; тѣмъ рѣзче переходъ изъ пансіона въ родительскій домъ, тѣмъ чувствительнѣе этотъ разладъ, тѣмъ больнѣе отзывается онъ въ молодой душѣ дѣвушки, тѣмъ серьезнѣе могутъ быть и послѣдствія этого разлада. Г-жа М. справедливо замѣчаетъ, что внѣшняя обстановка можетъ имѣть въ этомъ случаѣ важное значеніе.

«Онѣ (воспитанницы).—говоритъ она, — привыкли къ просторнымъ комнатамъ, къ заламъ, освѣщеннымъ лампами и люстрами; имъ тѣсно въ маленькой, скромной, часто даже бѣдной квартирѣ, въ которой ждетъ ихъ материнская нѣжность. Многія изъ нихъ, навѣрное, мечтаютъ о любви къ родителямъ и даже, при романическомъ настроеніи ума, мечтаютъ о высокомъ самопожертвованіи, сочиняютъ себѣ цѣлую трагедію прекрасныхъ словъ и прекрасныхъ поступковъ,—и, несмотря на то, онѣ не могутъ себѣ представить мелкихъ, тягостныхъ подробностей жизни, полной лишеній, такой жизни, какая обыкновенно ожидаетъ ихъ въ родительскомъ домѣ. Еще труднѣе имъ представить себѣ, что сила воли и привычка терпѣть нужду могутъ поставить человѣка выше многихъ мелкихъ неудобствъ жизни, что рядомъ съ лишеніемъ можно встрѣтить радость и наслажденіе».

Но тутъ все-таки дѣло идетъ только о внѣшней обстановкѣ: еще тяжеле можетъ быть



внутренний разладъ между матерью и дочерью, —разладъ въ основныхъ понятіяхъ и убѣжденіяхъ, во взглядѣ на жизнь, въ пониманіи важнѣйшихъ обязанностей человѣка. Такой разладъ иногда бываетъ необходимъ. Можетъ случиться, что молодая дѣвушка стоитъ выше своего семейства по умственному развитію и по нравственнымъ качествамъ, что ея не понимаютъ и не умѣютъ цѣнить: тогда со стороны дѣвушки должны быть только мягкость и терпимость; но, при поверхностности нынѣшняго воспитанія, такіе случаи рѣдки. Чаше бываетъ, что, наоборотъ, виною разлада является сама дѣвушка или, вѣрнѣе сказать, то странное направленіе, которое дала ей замкнутая сфера пансіонской жизни, холодная и форменная обстановка первыхъ лѣтъ молодости. Въ заключеніи своей первой главы г-жа М. обращается къ матерямъ и говоритъ имъ, что воспитаніе дочерей составляетъ ихъ прямую обязанность, отъ которой онѣ не имѣютъ права уклоняться, отъ которой можетъ освободить ихъ только крайняя нужда или искреннее и глубокое сознаніе собственной неспособности. Доказавъ необходимость домашняго воспитанія, г-жа М. объясняетъ въ слѣдующей главѣ, въ чемъ должно, по ея мнѣнію, состоять это воспитаніе. Совѣты ея ограничиваются очень вѣрными, но довольно общими и часто растянутыми указаніями. Въ числѣ этихъ указаній встрѣчается впрочемъ одна замѣчательная мысль, которая находится въ тѣсной связи съ общимъ направленіемъ первой главы: тамъ г-жа М. показала, какіе пробѣлы оставляетъ въ душѣ дѣвушки пансіонское воспитаніе; здѣсь она обращаетъ вниманіе матерей на то, какъ пополнить эти пробѣлы.

«Если,—говоритъ она,—Богъ пошлетъ вамъ болѣзнь, если случится несчастье въ домѣ, не удаляйте отъ него вашего ребенка: пусть онъ ухаживаетъ за вами, пусть сидитъ у вашей постели, какъ бы ни былъ онъ молодъ; пусть плачетъ съ вами, какъ бы ни былъ онъ слабъ. Физическая природа его не должна развиваться въ ущербъ нравственной. Удаляя его отъ себя въ минуту испытаній, вы скрываете отъ него лучшія стороны, лучшія способности его души; если охранять ребенка отъ всякаго огорченія, то окончится тѣмъ, что онъ не будетъ въ состояніи не только страдать, но даже и смотрѣть на страданіе. Дочь уйдетъ отъ больной матери, потому что у нея неостанетъ силъ видѣть ея болѣзнь».

Въ этихъ словахъ видно знаніе современной семейной жизни. Г-жа М. прямо указываетъ на одинъ важный недостатокъ воспитанія,—на недостатокъ, происходящій отъ излишней нѣжности къ дѣтямъ. Родители стараются скрывать отъ дѣтей свои огорченія, стараются держать ихъ въ счастливомъ невѣдѣніи печальныхъ сторонъ жизни. Но это счастливое невѣдѣніе не можетъ продолжаться всегда: за нимъ непременно долженъ слѣдовать рѣзкій переходъ въ

жизнь, и чѣмъ рѣзче этотъ переходъ, тѣмъ тяжеле отзывается онъ во всемъ нравственномъ существѣ молодого человѣка. Часто за этимъ переходомъ могутъ развиваться или недовѣріе къ людямъ и къ собственнымъ силамъ, или мелочной и холодной эгоизмъ, равнодушіе къ чужимъ дѣйствительнымъ страданіямъ и, рядомъ съ этимъ равнодушіемъ, слезливая чувствительность. Эти качества довольно часто встрѣчаются въ женскихъ характерахъ, потому что женщина большей частью долѣе мужчины остается подъ любящимъ вліяніемъ родителей, вдали отъ огорченій и заботъ самостоятельной, дѣятельной жизни. Не испытавши въ молодости ни противорѣчій, ни лишеній, не узнавши, что такое горе, она не найдетъ въ себѣ достаточныхъ силъ, чтобы перенести свои страданія или чтобы облегчить страданія другого. Потому совѣтъ г-жи М. имѣетъ важное значеніе въ дѣлѣ нравственнаго воспитанія: надъ этимъ совѣтомъ слѣдовало-бы задуматься многимъ родителямъ. Въ третьей и послѣдней главѣ г-жа М. предлагаетъ проектъ женской гимназіи, или заведенія для приходящихъ,—проектъ, который въ главныхъ чертахъ своихъ былъ осуществленъ въ концѣ прошедшаго года. Говорить о выгодахъ подобнаго учрежденія считаемъ излишнимъ: можно съ перваго взгляда замѣтить, что онъ совмѣщаетъ въ себѣ преимущества общаго и частнаго воспитанія: живя дома, находясь подъ постояннымъ надзоромъ родителей, воспитываясь въ той сферѣ, въ которой имъ современемъ придется дѣйствовать, дѣвицы въ то-же время за ничтожную плату могутъ получить основательное образованіе. Изъ числа мыслей, встрѣчающихся въ проектѣ г-жи М., особенно замѣчательна по своей практичности слѣдующая:

«Въ этомъ заведеніи, — говоритъ г-жа М., — не должно быть дѣтей ниже девятилѣтняго возраста; чтобы не отвращать малютокъ отъ занятій, не должно держать ихъ слишкомъ долго въ училищѣ; въ первомъ классѣ довольно въ день двухъ часовъ ученія, потому можно приходить въ классы не ранѣе 10 часовъ. Воспитанницы высшихъ классовъ могутъ продолжать часовъ въ девять, и уроки должны продолжаться около пяти часовъ».

Эту мысль не мѣшало-бы примѣнить и къ мужскимъ учебнымъ заведеніямъ, въ которыхъ также встрѣчаются воспитанники различнаго возраста, подчиненные одному общему уставу. Такъ напримѣръ, въ мужскихъ гимназіяхъ есть мальчики лѣтъ десяти и молодые люди лѣтъ восемнадцати; и тѣ, и другіе проводятъ въ классахъ одно и то-же время, то есть болѣе пяти часовъ. Вообще у насъ соображаются съ возрастомъ только въ изложеніи предмета, а продолжительность преподаванія для всѣхъ возрастовъ одна и та-же; между тѣмъ физическія и умственные силы воспитанниковъ измѣняются съ каждымъ годомъ, а потому съ каж-



дымъ годоу должна измѣняться и работа. Что легко для молодого человѣка, то утомительно для ребенка. Остальныя мысли г-жи М. о женскихъ гимназіяхъ прямо вытекаютъ изъ ея мыслей объ общественномъ и домашнемъ воспитаніи,—изъ тѣхъ мыслей, которыя высказаны въ первыхъ двухъ главахъ ея сочиненія. Мысли эти здравы и вѣрны: въ нихъ выразился правильный взглядъ на задачу воспитанія; въ нихъ видно знаніе нашего общества и пониманіе его недостатковъ и насущныхъ потребностей.

**Дѣтство и юность Т. Н. Грановскаго. II. Кудрявцева.** («Р. Вѣстникъ», 1858 г., № 12).

Тимоѣй Николаевичъ Грановскій, бывшій профессоръ всеобщей исторіи въ Московскомъ университетѣ, извѣстный своими учеными трудами и теплою любовью къ наукѣ, скончался въ 1855 году. Читательницамъ нашимъ вѣроятно не разъ приходилось слышать его имя, которое съ уваженіемъ произносятъ и его сослуживцы, и бывшіе его слушатели, и наконецъ всѣ, кому дорого развитіе научной дѣятельности въ нашемъ отечествѣ. Со смерти Грановскаго прошло уже нѣсколько лѣтъ; но до сихъ поръ еще не было составлено полной и удовлетворительной его біографіи.

Преемникъ Грановскаго по кафедрѣ всеобщей исторіи, Петръ Николаевичъ Кудрявцевъ, скончавшійся въ первой половинѣ 1858 года, взялъ на себя трудъ описать жизнь своего предшественника и собралъ всѣ матеріалы, состоявшіе большей частью изъ писемъ и семейныхъ воспоминаній. Преждевременная смерть не позволила Кудрявцеву окончить его трудъ, и только первый періодъ жизни Грановскаго, заключающійся его выходомъ изъ университета, получилъ окончательную отдѣлку и появился въ печати въ «Русскомъ Вѣстникѣ» за ноябрь 1858 года. Эта начатая біографія Грановскаго имѣетъ для читателя двойной интересъ: во-первыхъ, она знакомитъ съ фактами жизни покойнаго профессора, съ обстановкою первыхъ лѣтъ его дѣтства и юности, показываетъ первоначальное развитіе его характера; во-вторыхъ, какъ посмертный трудъ Кудрявцева, она обнаруживаетъ глубину мысли и критическій взглядъ своего составителя и служитъ вѣрнымъ отраженіемъ его замѣчательной личности. Кудрявцевъ съ горячей любовью занялся своимъ дѣломъ: онъ собралъ всевозможныя свѣдѣнія о первыхъ годахъ жизни Грановскаго, о его родителяхъ, о той обстановкѣ, подъ вліяніемъ которой росъ и развивался ребенокъ: онъ умѣлъ расположить эти разрозненныя, отрывочныя свѣдѣнія, привести ихъ въ систематическую послѣдовательность и составить очень живую и интересную картину дѣтства Грановскаго.

Первые годы жизни заслуживаютъ полного вниманія біографа: первыя впечатлѣнія, первоначальное направленіе воспитанія, личности окружающихъ людей имѣютъ часто рѣшительное, неизгладимое вліяніе на наклонности и характеръ ребенка. Къ сожалѣнію, бываетъ обыкновенно очень трудно собрать подробности объ этомъ первомъ періодѣ жизни, сообщенныя свѣдѣнія бываютъ обыкновенно отрывочны, неясны и безцвѣтны. Рѣдко даютъ себѣ трудъ наблюдать надъ постепеннымъ развитіемъ ребенка, подмѣчать въ немъ характерныя особенности, слѣдить за пробужденіемъ молодого ума. На этомъ основаніи Кудрявцевъ не могъ дать полной характеристики дѣтства Грановскаго: онъ приводитъ отдѣльныя черты, очень любопытныя и занимательныя, но неотражающія въ себѣ личнаго характера героя; дѣтство Грановскаго прошло тихо и мирно; онъ не обогнѣя своимъ умственнымъ развитіемъ сверстниковъ и не стоялъ выше ихъ по благородству характера. Дѣтскія шалости его, о которыхъ воспоминаніе сохранили самъ Грановскій и нѣкоторые изъ его близкихъ знакомыхъ, доказываютъ, что ни нравственные свойства его, ни наклонности не обозначались въ первый періодъ его жизни. Эта часть труда Кудрявцева важна и интересна для насъ въ особенности потому, что знакомитъ съ обстановкою жизни Грановскаго, съ членами его семейства, съ тѣми личностями, которыя имѣли на него ближайшее и непосредственное вліяніе. Такимъ образомъ разсказъ доходитъ до тринадцатилѣтняго возраста будущаго профессора. Здѣсь онъ оживаетъ и становится интереснѣе и глубокомысленнѣе; тутъ уже обозначаются зародыши тѣхъ чувствъ и стремленій, которыя должны были опредѣлить судьбу молодого человѣка. На первый планъ выступаютъ любовь его къ матери и страстная охота къ чтенію. Эти два чувства, глубоко укоренившіяся въ душѣ ребенка, повели за собою важныя послѣдствія. Любовь къ матери подчинила его ея благотворному вліянію и положила прочныя основанія той нравственной чистотѣ мыслей и побужденій, той мягкости и глубинѣ чувства, которыя отличали Грановскаго въ позднѣйшую пору его жизни. Развившаяся наклонность къ чтенію расширила кругъ его мысли, затронула въ немъ многіе вопросы, которыхъ не могло поднять одно домашнее воспитаніе, и облегчила дальнѣйшій ходъ его самообразованія. Интересъ біографіи возрастаетъ по мѣрѣ того, какъ молодой человѣкъ дѣлается самостоятельнѣе, сталкивается лицомъ къ лицу съ практической жизнью и, выходя изъ-подъ вліянія родительской власти, начинаетъ жить и дѣйствовать своимъ умомъ. Здѣсь, подъ вліяніемъ обстоятельствъ, часто подъ вліяніемъ нужды и горя, слагаются и крѣпнутъ убѣжденія Грановскаго; умъ



ственные способности его начинают работать самостоятельно; онъ задумывается надъ цѣлью собственной жизни, старается разгадать свои наклонности и выбрать своимъ силамъ соответствующее имъ поле дѣятельности; онъ жадно ищетъ образованія и не довольствуется той ограниченной средою, въ которую поставило его желаніе родителей; сила воли и еще инстинктивная любовь къ наукѣ прокладываютъ ему дорогу и заставляютъ его преодолѣть препятствія, на которыхъ остановился бы всякій другой. Принужденный работать надъ своимъ образованіемъ, предоставленный собственнымъ силамъ, Грановскій въ одно время борется и съ матеріальной нуждою, и съ жестокимъ горемъ, и съ семейными непріятностями, и со всѣми трудностями университетскаго курса. Пораженный извѣстіемъ о смерти матери, оставленный, почти забытый отцомъ въ чужомъ городѣ, двадцатилѣтній молодой человѣкъ не забываетъ своихъ младшихъ сестеръ и брата; обремененный заботами, подавленный собственнымъ горемъ и нуждою, онъ старается устроить ихъ участь, обезпечить ихъ существованіе, развить ихъ умственные способности. Эта послѣдняя часть недоконченнаго труда Кудрявцева представляетъ особенный, мѣстами драматическій интересъ. Біографъ собралъ письма Грановскаго, расположилъ ихъ въ хронологическомъ порядкѣ и, вникнувъ въ то состояніе души, подъ вліяніемъ котораго они были писаны, воспроизвелъ самыми яркими и вѣрными красками его студенческую жизнь, его отношенія къ товарищамъ, къ обществу, къ семейству и къ самому себѣ. Не позволявъ себѣ ни одного произвольнаго слова, не прибавивъ къ личности Грановскаго ни одной черты, неоснованной на какомъ-нибудь фактѣ, не оставивъ безъ вниманія ни одной подробности, которая могла бы бросить свѣтъ на его характеръ, Кудрявцевъ исполнилъ ту задачу, которую предположилъ себѣ, приступая къ своему труду. Читатель можетъ познакомиться вполне съ личностью Грановскаго, какъ человѣка, въ первый періодъ его развитія. Молодость его, та школа горя и лишеній, черезъ которую онъ прошелъ такъ рано, въ которой сформировались черты его характера, обрисована со всѣхъ сторонъ мастерскою рукою Кудрявцева. Несмотря на недоконченность его біографическаго очерка, юношескій образъ Грановскаго, глубоко прочувствованный и художественно воспроизведенный, обозначенъ въ наглядныхъ чертахъ и производитъ цѣльное и определенное впечатлѣніе.

**Мачиха.** Рассказъ *Б. Ауэрбаха*. («Р. В.», 1858 г., ноябрь, прилож.).

Повѣсти Ауэрбаха должно разсматривать, какъ произведенія нѣмецкаго поэта и какъ про-

изведенія поэта вообще. Двѣ стороны въ его рассказахъ должны обратить на себя особенное вниманіе читателя: сторона національная, мѣстный колоритъ, выражающійся во внѣшнихъ формахъ и въ обстановкѣ, и сторона общечеловѣческая, внутреннее развитіе характеровъ, анализъ душевныхъ движеній. Личности, которыя Ауэрбахъ выводитъ въ своихъ рассказахъ, отличаются своей типичностью: на нихъ лежитъ неизгладимый отпечатокъ ихъ національности; ихъ взглядъ на жизнь, ихъ поступки, ихъ рѣчи, всѣ внѣшнія формы, въ которыхъ проявляются ихъ личныя свойства, обуславливаются ихъ общественнымъ положеніемъ и прямо выходятъ изъ народнаго характера. Но одной такой типичности было бы мало. Если бы въ повѣстяхъ Ауэрбаха была только воспроизведена нѣмецкая народная жизнь, если бы дѣйствующія лица были исключительно нѣмецкими типами, то интересъ самихъ повѣстей былъ бы временный и мѣстный. Для читателя, принадлежащаго къ другому народу, онѣ были бы любопытны настолько, насколько интересуется cadaго образованнаго человѣка рассказъ путешественника. Въ нихъ не было бы той свѣжей художественности, которая составляетъ ихъ главное достоинство. Художественность эта основана на пониманіи человѣческой души, на психологической вѣрности и естественности, съ которою поэтъ воспроизводитъ явленія внутренней жизни. Онъ умѣетъ слѣдить за самыми неувидимыми ея движеніями, облекаетъ свою мысль въ самые живые образы, создаетъ самые естественные и въ то-же время граціозные характеры. Не выходя изъ сферы семейной жизни, не вводя въ свой рассказъ никакихъ происшествій, кромѣ мелкихъ случаевъ вседневной жизни, онъ умѣетъ въ каждомъ такомъ случаѣ отыскать его внутреннюю причину, объяснить его вліяніе на каждое изъ дѣйствующихъ лицъ. Рядъ такихъ случаевъ обрисовываетъ характеръ несравненно лучше и полнѣе, нежели обрисовали бы ихъ искусственно подобранныя событія. Мы видимъ живого человѣка въ соприкосновеніи съ дѣйствительной, вседневной жизнью; мы передумали и почувствовали то, что можно думать и чувствовать, находясь въ его положеніи; по крайней мѣрѣ мы видѣли въ дѣйствительной жизни подобныя обстоятельства и потому можемъ полнѣе сочувствовать дѣйствующимъ лицамъ повѣсти, вѣрнѣе понимать состояніе ихъ души, неуклоннѣе слѣдить за мыслью автора. Все, что мы сказали о повѣстяхъ Ауэрбаха вообще, вполне можно приложить къ его повѣсти «Мачиха». Постараемся сдѣлать легкій очеркъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ. На первомъ планѣ стоитъ прекрасная женская личность «Мачихи» Тадден. Въ ней авторъ изобразилъ одинъ изъ тѣхъ сильныхъ, сосредоточенныхъ въ себѣ характеровъ, которые выра-



батываются одиночествомъ, невеселою обстановкою и самостоятельнымъ размышленіемъ. Авторъ не прослѣдилъ ея развитія съ дѣтства, но онъ показалъ намъ общій колоритъ ея домашней, дѣвической жизни, выставилъ личность ея отца, и по этимъ даннымъ ея семейнаго быта мы можемъ заключить, что первая молодость Таддеи прошла однообразно и скучно. Такія условія жизни дѣйствуютъ различно, смотря по врожденнымъ наклонностямъ, смотря по тѣмъ силамъ, которыя вложены въ человѣка природою. Обыкновенный, дюжинный характеръ могъ бы сдѣлаться еще мельче и безцвѣтнѣе; нуждаясь въ посторонней поддержкѣ, не будучи въ состояніи жить и думать собственными силами и не находя въ окружающихъ людяхъ ни помощи, ни сочувствія, онъ бы потерялъ и вѣру въ жизнь, и довѣріе къ людямъ, и уваженіе къ собственной личности. Сильные характеры развиваются иначе. Таддея является намъ въ эпоху разсказа тридцатилѣтнею дѣвушкой. Изъ этой черты можно заключить, что Ауэрбахъ рисуетъ дѣйствительную, а не романическую жизнь; героиня его начинаетъ дѣйствовать въ такомъ возрастѣ, въ которомъ женщины обыкновенныхъ романистовъ уже сходятъ со сцены. Это не случайная черта. Ауэрбахъ хотѣлъ представить выработавшійся, оконченный характеръ; а такого сложившагося характера нельзя предполагать въ шестнадцати или семнадцатилѣтней дѣвушкѣ, которая можетъ полюбить и разлюбить, которая случайное движеніе чувствъ можетъ принять за дѣйствительное, глубокое чувство. Молодость Таддеи прошла безъ любви; но самостоятельность и твердость характера спасли ее отъ того жалкаго озлобленія, которое такъ часто слѣдуетъ за разочарованіемъ. Умѣя смотрѣть на жизнь здоровыми глазами, она не ждала отъ нея невозможнаго счастья, не тревожила себя несбыточными мечтами; грустно проведенное дѣтство выучило ее переносить и мелкія непріятности, и, что еще тяжелѣе, однообразіе жизни; но терпѣніе это не одревенило ея чувства, не превратилось съ тупою забитостью: она умѣла только затаить въ себѣ любящія силы души, умѣла примириться съ своею скучной жизнью и старалась до времени точно и вѣрно исполнять свои обязанности, чтобы въ сознаніи долга находить внутреннее утѣшеніе. Твердость воли и самостоятельность характера, сформированныя такою постоянною борьбой съ жизнью, не мѣшали развитію женственной стороны ея души; онѣ совмѣстились съ мягкостью чувства, со способностью любить. Способность эта не находила себѣ исхода, но не замерла въ ея душѣ и, затаившись, сохранила всю свою юную свѣжесть и грацію. Таддея видитъ человѣка, способнаго составить ея счастье, — человѣка достойнаго уваженія, и, вполне сознавая принимаемая на себя обязан-

ности, отдается тому чувству, которое онъ ей внушаетъ, просто, спокойно, безъ излишняго увлеченія, несвойственнаго ея лѣтамъ, и безъ притворства, несообразнаго съ ея честнымъ и прямымъ характеромъ. Можно только замѣтить, что чувство Таддеи возникаетъ слишкомъ быстро. Авторъ мало объясняетъ его и не прослѣживаетъ его развитія; оно вполне естественно въ своемъ проявленіи, но съ перваго разу является уже готовымъ. То-же замѣчаніе сдѣлали мы, говоря о «Босоножкѣ». Можно сказать вообще, что Ауэрбахъ лучше умѣетъ представлять естественное развитіе мысли, изображать спокойное состояніе души, нежели слѣдить за сильными ея движеніями и анализировать тѣ чувства, которыя глубоко волнуютъ и потрясаютъ ее. Когда Таддея полюбила Раймунда, личность ея осталась вѣрно себѣ. Авторъ выдержалъ ея характеръ; по мы не можемъ вполне отдать себѣ отчетъ въ томъ дѣйствіи, которое оказала на нее любовь. Въ минуту тихой грусти или спокойнаго счастья личность ея гораздо полнѣе и определеннѣе выступаетъ передъ нашими глазами. Мужъ Таддеи, Раймундъ, представляетъ съ нею совершенную противоположность: онъ — человѣкъ добрый и честный, но слабый, робкій и нерѣшительный; онъ выросъ при такихъ условіяхъ, которыя, содѣйствуя развитію хорошихъ качествъ сердца и ума, не дали окрѣпнуть волѣ, не положили основанія сильному, самостоятельному характеру. О немъ съ малолѣтства заботились, за него думали и рѣшали другіе; онъ съ удовольствіемъ довѣрялся любящему надзору родителей, не разставался съ ними и дожилъ до зрѣлыхъ лѣтъ, не выработавъ въ себѣ энергіи, не приучившись дѣйствовать по своимъ убѣжденіямъ. Взглядъ его на жизнь вѣренъ и ясенъ, идеи его отличаются благородствомъ; онъ часто расходится въ убѣжденіяхъ съ своимъ отцомъ, человѣкомъ добрымъ, но хитрымъ, мало развитымъ и исключительно практическимъ; онъ говоритъ и мыслить здраво, строго и честно, но когда приходитъ пора дѣйствовать, тогда онъ робѣетъ, отступаетъ и часто по слабости позволяетъ сбить себя съ прямого пути, на который указываютъ ему совѣсть и природный умъ. Онъ самъ первый замѣчаетъ въ себѣ этотъ разладъ мысли съ дѣломъ и самъ жестоко страдаетъ отъ каждаго своего проступка. Почему Таддея полюбила Раймунда — по безотчетному ли влеченію, или по сознательной оцѣнкѣ его хорошихъ качествъ, это у Ауэрбаха почти вовсе не объяснено. Чувство съ ея стороны возможно и естественно, потому что чистота убѣжденій Раймунда должна была прежде всего броситься ей въ глаза и сильно подѣйствовать на ея неспорченную природу; но почему именно возникло это чувство, какъ оно развилось, на это нѣтъ отвѣта.



Зато послѣдующее вліяніе Таддеи на характеръ мужа прослѣжено прекрасно; здѣсь мѣтко схвачено то ободряющее дѣйствіе, которое оказываетъ сознательная привязанность на слабую и нерѣшительную личность.

«Почтмейстеръ (Раймундъ), котораго отецъ не безъ основанія обвинялъ въ слабости, какъ - то окрѣпъ и возмужалъ подлѣ Таддеи. До сихъ поръ онъ слишкомъ привыкъ къ ровному теченію семейной жизни, ему не нужно было употреблять старанія, чтобы сохранить любовь и уваженіе своихъ близкихъ; теперь же онъ хотѣлъ доказать Таддеѣ, что онъ умѣетъ дѣйствовать самостоятельно, и чрезъ это съ каждымъ днемъ приобреталъ мужество и твердость».

Объ остальныхъ личностяхъ мы упомянемъ коротко. Всѣ онѣ въ высшей степени типичны. Однѣ едва набросаны, другія тщательно обработаны; но нѣтъ ни одного безцвѣтнаго, нѣмого лица. Художникъ въ нѣсколькихъ чертахъ умѣлъ уловить характерныя особенности. Къ числу такихъ неотдѣланныхъ, но оригинальныхъ типовъ принадлежатъ булочникъ Геслеръ и его жена; но особенно замѣчательна личность Штаффельши, матери Раймунда. Эта женщина стараго вѣка, дѣятельная хозяйка, соединяющая въ себѣ практическую мудрость и опытность съ мягкимъ сердцемъ и съ искренней душевной теплотою. Рѣчи Штаффельши, ея совѣты проникнуты здравымъ смысломъ и замѣчательны по своей примѣнимости къ дѣлу; ея поступки прямодушны, обращеніе откровенно, иногда угловато, но всегда привѣтливо. Отношенія ея къ невѣсткѣ, къ Таддеѣ, отличаются задушевностью и нѣжностью, въ которой нѣтъ ничего приторнаго и натянутого. Дружба ихъ основана на взаимномъ уваженіи и выражается не въ словахъ, а на дѣлѣ. Таддея довѣряетъ опытности старухи, съ удовольствіемъ обращается къ ней за совѣтомъ, цѣнить ея умъ и открытое добродушіе. Штаффельша съ своей стороны понимаетъ замѣчательный характеръ невѣстки, инстинктивно ставитъ ее выше собственнаго сына и съ материнской заботливостью вникаетъ въ ея нужды и сомнѣнія. Вотъ напримѣръ одинъ изъ ихъ разговоровъ:

«Старая Штаффельша все болѣе и болѣе сходилась съ невѣсткой и вполнѣ одобряла ея образъ дѣйствія, указывая ей, однако, на затрудненія, которыя ей предстояли. Однажды она сказала Таддеѣ:

— Знаешь-ли, когда Эрнестина привяжется къ тебѣ, какъ родная дочь? Когда ты ее хоть разъ хорошенько накажешь. Пока ты этого не сдѣлаешь, ты все будешь смутно чувствовать, что ты ей чужая, потому что не смѣешь ее наказывать, и что она тебѣ чужая, потому что не можетъ тебя разсердить такъ, какъ родной ребенокъ, ма котораго ты именно оттого и сердилъ, что онъ тебѣ дорогъ. Ты хочешь, чтобы дѣвочка чувствовала, что она здѣсь дома, но тѣмъ именно, что ты такъ осторожно съ ней обращаешься, не требуешь отъ нея почти ничего, ты ее отъ себя отчуждаешь. Дитя не почувствуетъ себя дома, пока его немножко не поштра-

фуютъ. О, Боже мой! Ты—первая мачиха, которой приходится совѣтовать это.

— Вы, можетъ быть, правы,—отвѣчала Таддея.— Будьте увѣрены, что при первомъ случаѣ я накажу ее.

— Постояй!—сказала Штаффельша.—Ты еще млада. Знаешь-ли ты, какая самая лучшая оплеуха? — Нѣтъ.

— Та, которая дается безъ предисловія и безъ длинныхъ разсужденій, безъ угрозъ и безъ выговоровъ. Такъ, бацъ въ щеку, и больше ни слова. Это и для матери лучше, и для ребенка лучше, и дѣйствуетъ хорошо. Спроси у мужа: я два раза выдрала его за уши, не говоря дурного слова, и онъ этого въ вѣкъ не забудетъ. А разозлить и себя, и ребенка прежде или послѣ наказанія — и ребенка можно испортить, и мать».

Совѣтъ Штаффельши конечно можетъ вызвать много дѣловыхъ возраженій; но въ немъ видно глубокое практическое изученіе дѣтской природы, виденъ и ясный, здравый смыслъ. Ребенку, чтобы почувствовать себя, какъ дома, должно понять, что надъ нимъ имѣютъ власть, а заставить его понять это, можно, какъ говорить Штаффельша, только посредствомъ легкаго и конечно справедливаго наказанія. Изъ этой выписки мы видѣли, что Таддея, выходя за Раймунда, сдѣлалась *мачихою*. Послѣднія двѣ главы, лучшія во всей повѣсти, показываютъ намъ ея новое положеніе, ея обращеніе съ пасынками и отношенія къ другимъ членамъ семейства. Романическій интересъ уже конченъ, судьба главныхъ дѣйствующихъ лицъ уже рѣшена, первая минута любви прошла, праздничная обстановка первыхъ дней замужества исчезла; для Таддеи настаетъ будничная жизнь, и она вступаетъ въ свои новыя обязанности. Тутъ Ауэрбахъ начинаетъ свой глубокий и тонкій анализъ; тутъ онъ выказываетъ свое знаніе человѣческой души; тутъ особенно привлекательно и естественно представлены въ двухъ-трехъ сценахъ чувства и мысли ребенка, выведенъ весь его внутренній міръ. Таддеѣ было всего труднѣе преодолѣть нерасположеніе своей маленькой падчерицы, запуганной разказами о *мачихѣ* и холодно отвѣчавшей на ея нѣжную заботливость. Какъ ей удалось привлечь къ себѣ сердце ребенка, какъ совершился переломъ въ его душѣ, это описано авторомъ въ двухъ послѣднихъ главахъ, въ которыхъ дѣйствіе не выходитъ изъ тѣснаго семейнаго круга. Выписываемъ глубоко обдуманную и граціозную сцену окончательнаго примиренія:

!- «Приближался конецъ марта. Уже было нѣсколько теплыхъ, весеннихъ дней; но потомъ опять выпалъ снѣгъ; опять какъ будто бы настала зима; но видно было, что не надолго. Мать разсказывала дѣтямъ, что уже прилетѣли скворцы и потомъ опять исчезли, неизвѣстно, гдѣ они теперь; дѣти слушали съ удивленіемъ.

Эрнестина сидѣла подлѣ матери, которая учила ее шить,—задача довольно трудная, потому что дѣвочка не любила этой работы. Таддея прятала у самопрялки, маленькій Магнусъ подъ столомъ строилъ домики изъ деревяшекъ.



Мать на минуту ушла, чтобы распорядиться по хозяйству; когда она возвратилась, она нашла прялку въ величайшемъ беспорядкѣ; лень былъ весь спутанъ и раздерганъ.

— Это ты сдѣлала, — сказала мать строго. — Поди сюда. Эрнестина, сюда, поближе. Ты видишь, что ты тутъ надѣлала, ты видишь, сколько мнѣ нужно труда, чтобы все опять привести въ порядокъ? Я тебѣ говорю въ послѣдній разъ, если ты еще станешь трогать самопрялку, ты будешь наказана. Теперь садись, пододвинь скамейку сюда, налѣво, чтобы я могла видѣть, какъ ты шьешь.

Въ комнатѣ слышно было только монотонное жужжанье веретена, и Таддея нѣсколько времени не смотрѣла на дѣвочку, чтобы дать ей успокоиться.

Какъ знать, что происходитъ въ дѣтской душѣ? Рѣчи и чувства ребенка часто бываютъ загадками для тѣхъ, кто его окружаетъ. Часто насъ поражаетъ проблескъ мысли, неожиданная выходка, которая показала бы намъ невѣроятную и невозможную, если бы мы не видѣли ея сами.

Никогда еще Таддея такъ строго не говорила съ ребенкомъ, никогда еще Эрнестина не выдавала ея такою серьезною и твердою, и какое-то необыкновенное волненіе овладѣло ея дѣтскою душою. Она невольно прижалась къ Таддеѣ. Былъ-ли то страхъ или любовь?

Таддея чувствовала ея приближеніе; она на минуту остановила веретено и, положивъ руку на плечо дѣвочки, сказала только: «будь умница». Потомъ опять долгое время не было слышно ничего, кромѣ мѣрнаго звука самопрялки. Два сердца бились такъ близко другъ отъ друга; но какъ знать, когда они сольются вмѣстѣ.

Солнце озарило окна первыми весенними лучами, Таддея встала и подвинула къ солнцу комнатныя растенія, которыя она привезла съ родины. Ею овладѣло особое чувство тихаго счастья. Есть минуты, когда мы сливаемся душою съ жизнью всей природы. Таддея смотрѣла на цвѣты и думала о томъ, какъ нуженъ для нихъ теплый солнечный лучъ, они выросли далеко отсюда, и солнышко ихъ отыщетъ вездѣ. И вдругъ ей показалось, что вся эта обычная обстановка посылаетъ ей глубокое напоминаніе. Имъ нужно вырасти на солнцѣ! А для сердца человеческого нужна теплая любовь. Жалко то сердце, которое въ лучшую свою пору не было согрѣто лучемъ!

Таддеѣ захотѣлось выказать ребенку всю свою нѣжность, приглубить и пригрѣть его, какъ она пригрѣла цвѣты на весеннемъ солнцѣ. Она обратилась къ Эрнестинѣ, и взглядъ ея засіялъ ярче и теплѣе солнечнаго луча. Дѣвочка, можетъ быть, почувствовала этотъ взглядъ: она какъ-то вздрогнула, но однако не обернулась. Упрямство Эрнестины все еще не было переломлено.

Таддея опять зачѣмъ-то вышла, и когда она, возвращаясь, отворила двери, дѣвочка опять стояла передъ самопрялкою. Таддея быстро подошла къ ней, и въ ту же минуту, неласково дернутое, сильно загорѣлось ушко малютки.

Она не прибавила ни слова. Она опять посадила дѣвочку подлѣ себя на скамейку и дала ей въ руки работу безъ малѣйшаго замѣчанія. Опять быстро завертѣлось колесо самопрялки и такъ-же быстро смѣнялись ощущенія въ душѣ Таддеи. Дѣло сдѣлано, она наказала ребенка, и ребенокъ, рыдая, сидитъ подлѣ нея. Опять настало долгое молчаніе.

Кто наблюдалъ за дѣтми, тотъ долженъ былъ замѣтить, какъ рѣдко даже самыя благонравныя сразу повинуются какому-нибудь запрещенію.

Это рѣзкое преломленіе ихъ воли оскорбляетъ ихъ самолюбіе, можетъ быть, даже дѣтское чув-

ство собственнаго достоинства. Запретите ребенку трогать какую-нибудь вещь, онъ большей частью повинуется невдуръ, и, если возможно, еще разъ дотронется до нея, какъ бы въ доказательство, что онъ оставляетъ ее не иначе, какъ по собственному рѣшенію. Съ другой стороны, когда накажешь ребенка, въ самомъ наказавшемъ обыкновенно остается какое-то чувство досады на самого себя, и нѣтъ ничего опаснѣе, какъ стараться разсѣять это не-приятное ощущеніе, преждевременно утѣшая ребенка и предлагая ему тутъ же разныя удовольствія. Таддея дала Эрнестинѣ хорошенько выплакаться, какъ ни хотѣлось ей остановить эти слезы. Наконецъ, когда Эрнестина совсѣмъ успокоилась, мать сказала ей:

— Если ты будешь умна, я тебѣ будущую зиму подарю самопрялку и выучу тебя прясть.

— Да, — закричалъ вдругъ маленький Магнусъ изъ-подъ стола: — мама всегда даетъ то, что обѣщается.

Таддея радостно улыбалась увѣренности мальчика: она, точно, никогда не давала дѣтямъ пустыхъ обѣщаній.

Опять все утихло въ комнатѣ. Таддея чувствовала, что Эрнестина къ ней прижимается все ближе и ближе. ей показалось даже, что она тихонько цѣлуетъ ея платье, и наконецъ голова дѣвочки совсѣмъ опустилась на ея колѣни. Она медленнѣе стала вертѣть колесо самопрялки, и ребенокъ тихо задремалъ. Но вотъ Эрнестина глубоко вздохнула. Таддея смотрѣла на нее, и въ ея душѣ раздавался напѣвъ старой пѣсни:

Что мягче лебяжьяго пуха?

Лоно матери!

Что слаще душистаго меда?

Ласки матери!

Все глубже становился взглядъ, и вотъ ребенокъ открылъ глаза, да, точно, то былъ взглядъ матери; нельзя сказать, кто первая нагнулась, кто первая протянула руки. «Маменька!» «Ты мое дитя!» и онѣ уже лежали въ объятіяхъ другъ друга, и косвенный лучъ солнца падалъ изъ окна, озаривъ комнату весеннимъ блескомъ.

Но Таддея не захотѣла продлить эти ласки; не даромъ же про нее говорила старая Штаффельш: «Во всемъ, что она дѣлаетъ, чувствуется ея доброта, но нельзя разказать, въ чемъ именно! Ея доброта, точно масло въ сдобной булкѣ: она вездѣ».

Таддея посадила Эрнестину къ себѣ на колѣни и стала учить ее прясть, и, когда отецъ вошелъ и съ удивленіемъ взглянулъ на нихъ, Эрнестина закричала ему звонкимъ голосомъ:

— Папа! маменька обѣщала мнѣ на будущую зиму подарить самопрялку; она всегда дѣлаетъ, что обѣщаетъ!»

Отъ себя мы не прибавляемъ ни слова. Попросимъ только нашихъ читателей вдуматься и вчитаться въ это мѣсто, разобрать каждую отдѣльную черту и сличить ее съ своими воспоминаніями дѣтства, и тогда поневолѣ тепло и ясно станетъ на душѣ и вся семейная картина въ кроткомъ свѣтѣ выступитъ передъ глазами.

Частные женскіе пансіоны. Д. М. («Атеней», 1858 г., № 14.)

Недавно (стран. 9) мы высказали нѣсколько замѣчаній по поводу статьи Апшель-



рота «Образованіе женщины средняго и высшаго сословія»; въ статьѣ Д. М. заключается разборъ мыслей Аппелърота и указываются тѣ затрудненія, которыя встрѣтили бы его совѣты, ежели бы ихъ захотѣли примѣнить къ жизни. Авторъ, какъ показываетъ уже заглавіе его статьи, обращаетъ преимущественно вниманіе на тѣ несовершенства, которыя указываетъ Аппелъротъ въ устройствѣ частныхъ женскихъ пансіоновъ; Д. М. защищаетъ частныя пансіоны и, разбирая упреки Аппелърота, находитъ, что одни изъ нихъ совершенно неосновательны, другіе голословны и бездоказательны. Изъ тѣхъ словъ Аппелърота, которыя приводитъ его рецензентъ, нельзя не замѣтить особеннаго ожесточенія перваго противъ пансіоновъ, содержимыхъ иностранками. Аппелъротъ возстаетъ противъ иностраннаго вліянія «какой-нибудь мадамы, иногда весьма сомнительныхъ достоинствъ» и говоритъ о необходимости «народнаго образованія будущихъ русскихъ женъ и матерей». Мысли эти выражены въ рѣзкой формѣ, черезъ которую проглядываетъ странное недовѣріе ко всему иностранному; но онѣ не до такой степени невѣрны, чтобы вызвать то серьезное возраженіе, которое представляетъ Д. М. «Развѣ, спрашиваетъ онъ, иностранка не можетъ быть хорошею воспитательницей?» Конечно можетъ; но зачѣмъ такимъ образомъ ставить вопросы. Дѣло не въ томъ, можетъ ли иностранка быть хорошей воспитательницей, или нѣтъ. Объ этомъ странно и спрашивать. Намъ надо знать, дѣйствительно ли удовлетворяетъ какимъ-нибудь разумнымъ требованіямъ воспитаніе, получаемое дѣвками въ частныхъ пансіонахъ, которые большей частью содержатся иностранками. Ежели воспитаніе это удовлетворительно, то возраженіе Д. М. основательно, хотя и невѣрно поставлено. Но въ статьѣ рецензента не приведено фактовъ, на которыхъ можно было бы основать такое утѣшительное положеніе, и потому мы позволимъ себѣ сомнѣваться въ этомъ. Частныя пансіоны нерѣдко составляютъ предметъ спекуляціи; содержатель или содержательница рѣдко бываютъ проникнуты сознаніемъ своихъ обязанностей; рѣдко принимаются они за свое дѣло изъ безкорыстнаго желанія принести пользу или даже съ твердымъ намѣреніемъ исполнить добросовѣстно свои обѣщанія. Конечно ежели бы общество наше было достаточно развито, то трудно было бы обмануть его эффектной обстановкою; оно бы скоро умѣло оцѣнить дѣйствительныя достоинства воспитанія, умѣло бы отдѣлать и недостатки. Тогда между частными пансіонами явилась бы конкуренція, и воспитаніе, сдѣлавшись предметомъ коммерческаго предпріятія, нисколько не утратило бы своихъ внутреннихъ качествъ. Но развѣ на самомъ дѣлѣ такъ? Развѣ многіе изъ роди-

телей нашего времени способны основательно судить о томъ, что нужно для хорошаго воспитанія? развѣ могутъ они подвергать критикѣ составъ пансіонской программы и слѣдить за тѣмъ, чтобы обѣщанія, данныя въ программѣ, были строго выполнены? При такомъ порядкѣ вещей, какъ ни печально подобное сознаніе, а необходимо поставить предполагаемыя казенныя гимназіи выше частныхъ пансіоновъ. Въ первыхъ по крайней мѣрѣ выборъ наставниковъ, классныхъ дамъ и проч. не всегда будетъ зависѣть отъ произвола одного лица и, быть можетъ, будетъ подлежать болѣе строгому контролю. По крайней мѣрѣ онъ навѣрное не будетъ обуславливаться экономическими расчетами частнаго лица. Что касается собственно до вліянія иностранцевъ, то вѣрнѣе и здѣсь не видать въ словахъ Аппелърота своей доли правды. Очень естественно, что національность содержателя должна имѣть вліяніе и на выборъ преподавателей, и на самый ходъ преподаванія, и наконецъ на языкъ, который господствуетъ въ стѣнахъ пансіона. Пристрастіе иностранца къ своей народности очень естественно; но тѣмъ не менѣе это пристрастіе не принесетъ никакой пользы воспитанницѣ, а только собьетъ ее съ толку и вселитъ ей ложныя понятія, или не дастъ ей достаточно полнаго понятія о Россіи и о русскихъ. Авторъ упрекаетъ Аппелърота въ славянофильствѣ; не наше дѣло рѣшать, насколько основателенъ этотъ упрекъ, но нельзя не замѣтить, что рецензентъ впалъ въ крайность. «Общество, говоритъ онъ, быстро двинется впередъ, только не на основаніи славянофильской идеи о народной семейственности, а на основаніи общихъ для всего человѣчества законовъ развитія». Съ послѣдней частью этой мысли мы совершенно согласны. Очень понятно, что каждый народъ, составляя часть человечества, пойдетъ впередъ по общимъ его законамъ развитія. Но можно ли на подобной мысли построить заключеніе, что въ преподаваніи нѣтъ надобности сообразоваться съ народностью учащихся? Мы думаемъ, что объемъ, въ которомъ преподаются науки, долженъ наводиться въ прямомъ отношеніи съ потребностями учащихся. Этими же потребностями должны обуславливаться приемы преподавателя. Нельзя отвергать, что желаніе узнать подробности того, что окружаетъ человѣка, что ему близко и дорого, что имѣетъ вліяніе на его личность, нельзя, повторяемъ мы, отвергать, что это желаніе составляетъ одну изъ самыхъ естественныхъ и законныхъ потребностей. Какже ученику не интересоваться свѣдѣніями, которыя сообщаютъ ему о его родномъ языкѣ, о его отечественной исторіи, о его литературѣ? Нужно только, чтобы эти свѣдѣнія имѣли въ его глазахъ живой смыслъ, чтобы они въ наглядной формѣ представлялись его уму. Преподаваніе,



по нашему мнѣнію, должно сообразоваться съ національностью ученика. Знаніе отечественнаго языка, исторіи и словесности должно занимать одно изъ самыхъ важныхъ мѣстъ въ запасѣ свѣдѣній, выносимыхъ имъ изъ школы. Пора космополитизма прошла съ XVIII столѣтіемъ; идея гуманности, скрѣпляя союзъ между всѣми людьми, рѣшительно не исключаетъ патриотизма, который конечно не долженъ доходить до слѣпago увлеченія всѣмъ, что *наше*, и до бессмысленнаго гоненія того, что *чужое*; всѣ мы должны работать для человѣчества, но всего естественнѣе работать тѣми средствами, которыя находятся у насъ подъ руками, и въ той сферѣ, въ которую мы поставлены; описывая сцены изъ русской жизни, трудясь надъ мелкими вопросамъ русской науки, русскій писатель и ученый конечно работаютъ для человѣчества, хотя результаты ихъ трудовъ будутъ чувствительны въ одной его части. Все это конечно знаетъ рецензентъ; но мы привели эти общезвѣстныя мысли, чтобы показать, что дѣло только въ словахъ; выраженіе Аппелльрота дѣйствительно неудачно и неясно, но идея о томъ, что преподаваніе должно быть ведено сообразно съ національностью ученика, очень основательна. «Русская жена и русская мать» должна знать потребности того общества, въ которомъ она живетъ; она должна слѣдить за успѣхами просвѣщенія, за движеніемъ идей въ литературѣ; чтобы оцѣнить значеніе этихъ идей, она должна знать ихъ отношеніе къ прошедшему; чтобы понимать и уяснить своимъ дѣтямъ красоты отечественныхъ писателей, она должна знать духъ языка, должна изучить, конечно на примѣрахъ, его изгибы и обороты. На чистоту русскаго языка воспитанницъ, на полноту изученія отечественной литературы конечно могутъ имѣть вредное вліяніе національность содержателей и учителей и преобладаніе иностраннаго языка въ пансіонѣ,—обстоятельство, которымъ часто такъ дорожатъ родители. Изученіе иностранныхъ языковъ и литературъ важно и необходимо для всесторонняго развитія; но развѣ нельзя согласить одно съ другимъ? Развѣ это помѣшаетъ занятіямъ по отечественному языку, чтенію русскихъ писателей? Между тѣмъ, въ какомъ предметѣ всего слабѣе и поверхностнѣе знанія нашихъ дѣвицъ? въ русскомъ языкѣ, въ русской словесности. Объ исторіи и говорить нечего: у насъ нѣтъ по этому предмету порядочныхъ учебниковъ, да и предметъ-то самый неразработанный. Этихъ печальныхъ фактовъ не отвергнетъ Д. М. Смѣшно приписывать ихъ иностраннымъ пансіонамъ; но нельзя не допустить, что они имѣли въ этомъ случаѣ нѣкоторое вліяніе. Хотя мы далеко ушли впередъ отъ временъ Грибоѣдова, а нельзя не замѣтить въ нашемъ обществѣ остатковъ прежней перемѣчивости, прежняго пристрастія къ

чужому ради чужого. О нравственной порчѣ, которую, по словамъ Аппелльрота, выносятъ дѣвицы изъ пансіоновъ, мы говорить не будемъ: этому факту мы не вѣримъ, какъ не вѣрить ему и Д. М.; сверхъ того, мы думаемъ, что поверхностное, неправильное образованіе, хотя бы оно и никогда не вело къ безнравственности, составляетъ само по себѣ большое несчастіе. Аппелльроту, для подтвержденія его мыслей о слѣдствіяхъ превратнаго воспитанія, не слѣдовало прибѣгать къ примѣру, очевидно натянутому: доказательства были и безъ того довольно сильны, а первые два примѣра были вполне достаточны.

Д. М. несогласенъ съ мыслью Аппелльрота, что, благодаря поверхностному и неосмысленному ходу преподаванія въ пансіонахъ, познанія, пріобрѣтенныя втеченіе курса, испаряются вскорѣ послѣ выпускнаго экзамена. Причину этого явленія, существованіе котораго онъ признаетъ, Д. М. видитъ не въ системѣ преподаванія, а въ неразвитости нашего общества. Это отчасти справедливо. Общество конечно виновато; но виноваты и учебныя заведенія, зачѣмъ они не внушили воспитанницамъ уваженія къ наукѣ, зачѣмъ они не пріохотили ихъ съ серьезнымъ занятіямъ, къ осмысленному и послѣдовательному чтенію, зачѣмъ они заставили ихъ смотрѣть на науку, какъ на враждебное начало, или по крайней мѣрѣ какъ на сухую и страшно скучную матерію. Общество плохо, согласны; оно не можетъ оказывать возбуждательнаго вліянія на умственную дѣятельность воспитанницы, окончившей курсъ; но мѣшать серьезнымъ занятіямъ оно не будетъ: вѣдь не до такой-же степени оно бессмысленно и неразвито, чтобы преслѣдовать умную, милую и образованную дѣвушку за то только, что она у себя въ кабинетѣ читаетъ дѣльныя книги. Ежели эта дѣвушка станетъ выставять на показъ свои свѣдѣнія, то конечно ей не миновать насмѣшекъ; но вѣдь педанство, какъ извѣстно, есть признакъ неправильнаго и недостаточнаго развитія, и его предполагать не слѣдуетъ. Неразвитость общества не оправдываетъ учебныхъ заведеній, тѣмъ болѣе, что направленіе воспитанія могло бы имѣть обратное вліяніе и на самое общество. Взявшись опровергнуть мнѣніе Аппелльрота насчетъ частныхъ пансіоновъ, Д. М. не представилъ ни одного убѣдительнаго, фактическаго возраженія. Онъ нигдѣ не говоритъ, что воспитаніе въ нихъ хорошо; онъ только старается доказать, что недостатки пансіонскаго воспитанія будутъ встрѣчаться и встрѣчаются вездѣ, сближаетъ положеніе содержательницы съ положеніемъ казенныхъ начальниковъ и начальницъ и вину заведеній сваливаетъ на общество. Аппелльротъ говоритъ напримѣръ о наружной эффектности экзаменовъ; Д. М. не опровергаетъ



этого мнѣнія фактами, не доказываетъ, почему такихъ экзаменовъ не можетъ быть, а говоритъ только: «думаемъ, что время такихъ экзаменовъ прошло безвозвратно». Впрочемъ Д. М. прибавляетъ, что, не имѣя подъ руками фактовъ, онъ оставляетъ дѣло подъ сомнѣніемъ. Но на чемъ же основано въ такомъ случаѣ первое предположеніе, можетъ ли оно сколько-нибудь приниматься въ расчетъ? Не опровергая Апелльрота фактами, Д. М. часто принужденъ спорить пзъ-за словъ, придираться къ частностямъ, даже къ неудачнымъ выраженіямъ, въ которыхъ иногда заключена вѣрная мысль. Гораздо серьезнѣе и основательнѣе возраженія Д. М. противъ той системы женскаго образованія, которую предлагаетъ Апелльротъ во второмъ отдѣлѣ своей статьи. Этотъ второй отдѣлъ, который мы въ нашемъ разборѣ назвали положительной частью, совершенно несостоятеленъ. Замѣчанія, которыя высказываетъ Д. М., очень сходны съ нашими замѣчаніями, съ тою только разницею, что мы обратили вниманіе преимущественно на теоретическія невѣрности системы, а Д. М.—на степень ея практической примѣнимости. И въ томъ, и въ другомъ отношеніи система Апелльрота не выдерживаетъ критики: она основана на невѣрномъ или неполномъ вѣрномъ взглядѣ на женщину и, какъ прекрасно доказалъ Д. М., не примѣнима къ дѣйствительности, потому что Апелльротъ требуетъ напримѣръ, чтобы учителя безраздѣльно посвящали себя своему дѣлу, не заботились о своихъ личныхъ выгодахъ, чтобы они были въ одно время и мыслителями, поэтами и художниками, чтобы они преподавали свой предметъ въ связи съ другими предметами, и т. п. Исполнять такого рода требованія конечно невозможно. Возраженія Д. М. основательны и дѣльны.

**Еще о женскомъ трудѣ.** По поводу журнальныхъ толковъ объ этомъ вопросѣ. *А. М. Пальховскаго*. («Атеней», 1858 г., № 24.)

Взявши на себя обязанность слѣдить за движеніемъ идей, касающихся женщины и ея воспитанія, мы часто бываемъ принуждены останавливать нашихъ читателей на явленіяхъ безплодныхъ и неотраднхъ. Къ числу такихъ явленій относится статья Пальховскаго; не рекомендуемъ ея для чтенія: ни идея автора, ни развитіе этой идеи не принесутъ нашимъ читательницамъ ни малѣйшей пользы; мы съ своей стороны не обходимъ этой статьи потому, что она помѣщена въ одномъ изъ нашихъ извѣстныхъ журналовъ, и что авторъ говоритъ о своемъ предметѣ съ такой самоувѣренностью, которая можетъ поколебать неполнѣ устано-

вившееся убѣжденіе. «Всеу есть мѣра!»—такими словами начинаетъ Пальховскій свою статью, въ которой онъ разбираетъ вопросъ о томъ, должна-ли женщина трудиться ради денегъ, и можетъ-ли сфера ея дѣятельности выходить за предѣлы семейной жизни. Самая статья и начальныя слова ея вызваны, какъ выражается авторъ уже въ заглавіи, «журнальными толками», или, какъ скажемъ мы съ своей стороны, двумя дѣльными статьями, отвѣчавшими на потребности нашего времени и встрѣтившими въ обществѣ единодушное и неподдѣльное сочувствіе \*). Въ этихъ статьяхъ проводится та мысль, что женщина сдѣлается самостоятельнѣе, ежели рѣшится работать, ежели дѣвушки будутъ съ молодыхъ лѣтъ приучены къ какому-нибудь серьезному и прибыльному занятію, ежели мать семейства будетъ въ состояніи собственнымъ трудомъ обезпечить существованіе своихъ дѣтей или по крайней мѣрѣ будетъ облегчать тяжелую ношу мужа, принося въ домъ свои заработки. Въ настоящее время женщины большей частью работаютъ только въ случаѣ нужды, поступаютъ въ чужіе дома, дѣлаются гувернантками или работаютъ иглой и своимъ шитьемъ едва приобрѣтаютъ себѣ насущное пропитаніе. Другія сферы дѣятельности: наука, литература, искусство (специальное, музыка, пѣніе), прибыльныя ремесла, торговля, большей частью закрыты для женщины; она не приготовлена къ этимъ занятіямъ, ей почти никогда не приходится въ голову взяться за что-нибудь подобное; наукою не занимается въ настоящее время почти ни одна женщина въ нашемъ отечествѣ; искусству посвящаютъ себя только тѣ, кого съ непреодолимой силою побуждаетъ къ тому громадный талантъ, скромныя дарованія большей частью остаются даже несознанными, потому что первоначальное воспитаніе не угадало ихъ зародыша, не развернуло ихъ, не приготовило врожденныхъ способностей къ дѣятельности. Между тѣмъ эти скромныя дарованія, не производя переворота въ искусствѣ, не дѣлая шума въ свѣтѣ, могли бы принести свою долю пользы и поставили бы обладательницу ихъ въ независимое и почетное положеніе. Нѣтъ той человѣческой природы, которая, при правильномъ развитіи, не нашла бы себѣ въ образованномъ обществѣ занятій, соотвѣствующихъ ея способностямъ и призванію; нужно только, чтобы была возбуждена потребность дѣятельности, чтобы было вложено съ дѣтства глубокое убѣжденіе въ необходимости труда, какъ священной обязанности человѣка. Проводя подобныя идеи, гг. М. В.

\*) Статьи эти — «О женскомъ трудѣ» М. В. и «Объ общественной самостоятельности женщинъ» Славинскаго были помѣщены: первая въ «Экономическомъ Указателѣ» 1858 г., № 60, вторая — въ «Санктпетербургскихъ Вѣдомостяхъ», № 55.



и Славинскій не отнимаютъ у женщины правъ быть женою и матерью, не снимаютъ съ нея и тѣхъ высокихъ обязанностей, которыя связаны съ этими правами; они только говорятъ: «нѣтъ уважительныхъ причинъ предназначать женщинъ *исключительно* къ семейной жизни». Противъ этихъ высказанныхъ ими идей возсталъ Пальховскій. Онъ повелъ свои доказательства путемъ естественно-историческимъ, взявъ въ примѣръ общественное устройство и частную жизнь пчелъ и бѣлыхъ муравьевъ и на основаніи этихъ данныхъ вывелъ свои результаты, опредѣлилъ отношенія между мужчинами и женщинами, опредѣлилъ ту роль, которую должны играть оба пола въ семействѣ и человѣчествѣ. Мы не будемъ слѣдить за рядомъ доказательствъ, которыя приводитъ Пальховскій; такая работа была бы утомительна для нашихъ читателей, тѣмъ болѣе, что параллели и наведенія Пальховскаго большей частью крайне натянуты. Такъ напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ имъ проводится параллель между людьми и пчелами; «въ человѣческомъ родѣ, говоритъ авторъ, нѣтъ рабочихъ, но зато въ немъ не должно быть и трутней; а *потому* мужъ долженъ заботиться о женѣ и о своемъ семействѣ». Все это заключеніе построено на одномъ фактѣ, на томъ, что у людей нѣтъ рабочихъ. Къ этому факту авторъ прибавляетъ нравственную сентенцію: «не должно быть трутней», и, считая все дѣло доказаннымъ, подводитъ итогъ: «а потому мужъ долженъ заботиться о женѣ». Такими насильственными сближеніями и параллелями наполнена статья; но мы ограничимся одними результатами, до которыхъ дошелъ авторъ путемъ подобныхъ силлогизмовъ. Пальховскій строго разграничиваетъ обязанности мужчины и женщины: первые должны трудиться, добывать деньги, работать для своего отечества, для потомства, для человѣчества; вторыя должны хозяйничать въ домѣ, рождать дѣтей, кормить ихъ грудью, потомъ воспитывать и дѣлать изъ нихъ полезныхъ гражданъ. Мужчинѣ не дозволяется проникать въ дѣтскую и вмѣшиваться въ воспитаніе; женщина не смѣетъ выходить изъ своей домашней жизни и должна проводить свой вѣкъ въ хозяйственныхъ и педагогическихъ занятіяхъ. Пальховскій не говоритъ прямо, что онъ не допускаетъ вмѣшательства отца въ воспитаніе дѣтей; но изъ его словъ очевидно, что онъ не оправдываетъ такого вмѣшательства и считаетъ его явленіемъ противоестественнымъ. Пальховскій не признаетъ законныхъ правъ отца на воспитаніе и въ этомъ отношеніи ставитъ его на одну доску съ нянькою и наемнымъ учителемъ. Правильнъ ли такой взглядъ на семейную жизнь? Должно-ли воспитаніе быть безраздѣльно отдано на руки женщины? Дѣло воспитанія—развить умъ и сформировать

характеръ будущаго человѣка. Можетъ-ли женщина выработать въ своемъ воспитанникѣ ту твердость воли, которая необходима мужчинѣ для дѣятельности и для борьбы въ жизни? Исклчительно женское, большей частью мягкое и нѣжное, часто слабое воспитаніе можетъ развить въ воспитанникѣ чрезмѣрную чувствительность, преобладающую силу воображенія, излишнюю уступчивость,—словомъ, женственность характера, которая для мужчины можетъ быть въ послѣдующей жизни источникомъ проступковъ и несчастій. Мы думаемъ, что для воспитанія, вполне достигающаго своей цѣли, необходима совокупная, согласная дѣятельность отца и матери, необходима мирная семейная жизнь, необходимъ живой и благотворный примѣръ родителей. Но, спрашивается, можетъ-ли быть такая согласная дѣятельность, такая семейная жизнь при томъ порядкѣ вещей, котораго желаетъ Пальховскій? Жена и мужъ будутъ постоянно дѣйствовать въ двухъ различныхъ сферахъ; отецъ не будетъ принимать участія въ воспитаніи дѣтей, которыя такимъ образомъ будутъ находиться подъ постояннымъ, исключительнымъ вліяніемъ матери. Такая жизнь будетъ конечно лучше, разумнѣе и нравственнѣе той жизни, которою живутъ теперь многія семейства; но все-таки она построена на совершенно неправильной или по крайней мѣрѣ односторонней идеѣ. Что обезпечиваетъ здѣсь самостоятельность женщины? Вотъ что говоритъ объ этомъ авторъ:

«Въ семействѣ людей развитыхъ жена не жалуется на зависимость отъ мужа, потому что образованный мужъ вполне сознаетъ, что если жена исполняетъ часть возложенной на него обязанности, то и онъ, по чувству справедливости, долженъ исполнить что-нибудь за жену. Если жена воспитываетъ за него дѣтей, то онъ долженъ позаботиться за нее объ ея существованіи. Здѣсь только обмѣнъ услугъ, здѣсь равенство отношеній, а не зависимость, не рабство».

Обмѣнъ услугъ? Хорошо, ежели этотъ обмѣнъ дѣлается добровольно, по взаимному влеченію; но кто-же имѣетъ право сдѣлать его насильственно, кто можетъ, не спросивъ членовъ семейства, самовластно распоряжаться ихъ способностями, ограничивать ихъ дѣятельность, вмѣшиваться въ ихъ отношенія? Требованіе Пальховскаго, чтобы жена занималась исключительно воспитаніемъ дѣтей, представляетъ незаконное посягательство на разумную свободу личности. Сверхъ того, въ приведенныхъ нами словахъ авторъ проговорился и самъ опровергнулъ ту мысль, которую онъ поддерживаетъ; онъ сознался, что на мужа также возложена природою обязанность воспитывать дѣтей и что жена исполняетъ ее отчасти за него, а что мужъ заботится о существованіи жены—за нее. Стало быть, теоріей Пальховскаго



нарушается естественный порядокъ вещей. Обмѣнъ услугъ дѣлается не только не спросомъ супруговъ, но онъ даже, по сознанию автора, идетъ противъ законовъ природы. Къ чему-же повело сближеніе съ пчелами? Не лучше-ли-же, чтобы каждый изъ членовъ семейства исполнялъ всѣ свои обязанности за себя, чтобы мужъ заботился, на сколько можетъ, о воспитаніи дѣтей, а чтобы жена, по мѣрѣ силъ, не отрываясь отъ семейства, занималась какимъ-нибудь ремесломъ, искусствомъ, наукою и зарабатывала деньги. Тогда между супругами будетъ болѣе общаго, дѣятельности ихъ не будутъ такъ расходиться; они будутъ въ состояніи ободрять и поддерживать другъ друга и дѣломъ, и совѣтомъ; наконецъ самостоятельность женщины будетъ обезпечена тѣми матеріальными средствами, которыя будутъ доставляться ей работою, и между супругами будетъ господствовать полное разумное равенство, которое не можетъ имѣть мѣста, когда жена чувствуетъ, что только трудъ мужа доставляетъ ей средства къ существованію. Пальховскій думаетъ, что ежели женщина будетъ работать, то она перестанетъ быть женою и матерью; онъ приходитъ въ негодованіе, горячится, рисуетъ восторженную картину материнской любви и въ заключеніе восклицаетъ: «Богъ съ вами, гг. эмансипаторы! Вы не видали матерей, вы не проникались высокой поэзіей ихъ безграничной любви!» Къ чему все это? За что сердится авторъ? Женщина будетъ имѣть опредѣленные занятія, положимъ, хоть журнальный переводъ (эта работа почти общедоступная), будетъ работать въ свои свободныя минуты и насколько не потеряетъ отъ этого своей материнской нѣжности. Не забудетъ она своего ребенка, не отойдетъ отъ колыбели больного дитяти, какъ бы много ни было работы. Осмысленная дѣятельность развиваетъ силы ума, а не уничтожаетъ естественныхъ чувствъ и побужденій, вложенныхъ въ человѣка природою. А какой богатый источникъ чистыхъ наслажденій найдеть женщина въ такой дѣятельности! Молодая женщина, молодая мать, сидя надъ денежными работами, будетъ понимать, что она работаетъ для своего ребенка, что она доставитъ ему удовольствіе на свои трудовыя деньги, что она, быть можетъ, обезпечитъ его воспитаніе, дастъ ему средства развиваться правильно и успѣшно. Эти наслажденія Пальховскій совершенно произвольно отнимаетъ у женщины и еще, въ добавокъ, считаетъ себя прогрессистомъ, еще называетъ идеи М. В. и Славинскаго «вредными и опасными». Какое же вредное вліяніе произведутъ ихъ идеи? Внушать женщинѣ стремленіе къ самостоятельности? Дай Богъ! Лишь бы только женщины поняли, что самостоятельность покупается цѣною труда и что истинная самостоятельность состоитъ въ разум-

номъ употребленіи тѣхъ способностей, которыя вложила въ насъ природа, а не въ пустомъ нарушеніи безвредныхъ условій общественности. Дай Богъ, чтобы женщины почувствовали потребность въ трудѣ; трудолюбіе не поведетъ къ дурному, не извратитъ, не засушитъ любящихъ силъ души; въ трудолюбіи заключается надежный залогъ семейнаго счастья. Мы до сихъ поръ рассмотрѣли одну сторону вопроса. Мы брали женщину въ семейномъ быту, какъ постоянно беретъ ее Пальховскій; но авторъ забылъ, что въ нашемъ обществѣ далеко не всѣ дѣвушки выходятъ замужъ. Что-же будетъ дѣлать старая дѣвушка? Чѣмъ она обезпечена? На нее смотрятъ часто какъ на жалкое, непріятное или по крайней мѣрѣ несчастное, неудавшееся существо. Отчего это происходитъ? Оттого, что старая дѣвушка, не имѣя опоры въ семействѣ, въ мужѣ, зависитъ болѣе или менѣе отъ окружающихъ ее людей и не имѣетъ опредѣленныхъ занятій. Дайте ей средства трудиться сообразно съ способностями и врожденной склонностью, дайте ей возможность жить своими заработками, и тогда навѣрное къ одинокому и дѣйствительно несомнѣнно веселому положенію старой дѣвушки не будетъ по крайней мѣрѣ примѣшиваться тяжкое, мучительное чувство зависимости и собственной безполезности. Мы можемъ привести въ примѣръ американскихъ женщинъ, которыя, работая наравнѣ съ мужчинами, умѣли внушить къ себѣ самое сознательное уваженіе. Въ Америкѣ, ежели вѣрить рассказамъ путешественниковъ, и старыя дѣвушки не чувствуютъ себя лишними, трудятся, какъ трудились въ молодости; спокойно, среди полезныхъ занятій, доживаютъ свой вѣкъ. Пальховскій возражаетъ въ концѣ статьи по пунктамъ на мысли М. В. и Славинскаго; но въ этихъ возраженіяхъ не знаешь, чему болѣе дивиться — неосновательности или самоувѣренности, съ которою они высказаны. Приводимъ для примѣра одинъ изъ такихъ пунктовъ:

«По нашему мнѣнію (которое, разумѣется, насколько не выдаемъ за абсолютно-вѣрное), эти неправильныя заключенія вызваны слѣдующими условіями: 1) *Незнаніемъ женскаго организма*. Истинныя, добытыя науками естественныя, у насъ еще чрезвычайно мало распространены въ обществѣ; а между тѣмъ значеніе этихъ наукъ такъ велико, что нѣтъ почти ни одного общественнаго вопроса, который бы въ своей сущности не опирался на тотъ или другой законъ природы. Отсюда происходитъ весьма непріятное послѣдствіе: люди, незнакомые съ природою и человѣческимъ организмомъ, принимаютъ трактовать о предметахъ, требующихъ основательнаго знанія наукъ естественныхъ, и, разумѣется, впадаютъ въ ошибки. Еслибы гг. М. В. и Славинскій, прежде чѣмъ рѣшать вопросы о «Женскомъ трудѣ» и «Общественной самостоятельности женщинъ», потрудились изучитъ физиологію (а вмѣстѣ съ тѣмъ и психологію) женскаго организма, они вѣрно не написали-бы того, что прочли читатели «Экономическаго Указателя» и



«Санктпетербургских Вѣдомостей». Опираясь на фیزیологическія данныя, г. М. В. никакъ не рѣшился-бы (ради эманципациі) отрывать женщинъ отъ ихъ семейства; а г. Славинскій не сказалъ-бы, что «нѣтъ уважительныхъ причинъ предназначать женщинъ исключительно къ семейной жизни, домашнему житью».

Что высказано въ этихъ строкахъ? Чѣмъ доказано, что гг. М. В. и Славинскій не знали женскаго организма? Какія стороны женскаго организма были имъ неизвѣстны? Вмѣсто отвѣта на эти вопросы Пальховскій даетъ отвѣченное разсужденіе о пользѣ изученія естественныхъ наукъ. Надобно согласиться, что такія разсужденія ничего не доказываютъ. Въ заключеніе считаемъ нелишнимъ указать наставникамъ и воспитательницамъ на мастерской разборъ статьи Пальховскаго, помѣщенный въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1858 г. за сентябрь.

**Парижскія письма. М. Л. Михайлова.** Письмо V. («Современникъ», 1859 г.)

При обзорѣ «Современника» за 1858 годъ мы не говорили о письмахъ Михайлова и имѣли на то свои причины. Изображая различныя стороны французской жизни и французскаго общества, Михайловъ съ безпощадной правдивостью обнажалъ пороки, развѣдающіе его организмъ; при этомъ ему приходилось упоминать о такихъ печальныхъ и грязныхъ явленіяхъ, съ которыми мы не считали нужнымъ знакомить нашихъ читателей. На этомъ основаніи мы прошли молчаніемъ первыя четыре письма; пятое письмо Михайлова, составляющее самостоятельное цѣлое, заключаетъ въ себѣ такія свѣтлыя мысли о женщинѣ, о значеніи ея въ общей жизни человѣчества, что мы считаемъ обязанностью указать на это письмо и поговорить объ его содержаніи. Молодые дѣвицы могутъ встрѣтить въ этомъ письмѣ нѣкоторыя рѣзкія выраженія, и потому мы рекомендуемъ его не имъ, а матерямъ и воспитательницамъ, и советуемъ тѣмъ и другимъ прочесть его съ воспитанницами, выпуская то, что покажется излишнимъ. Общее направленіе, основная мысль письма выкупаютъ эту рѣзкость отдѣльныхъ эпизодовъ,—рѣзкость, которая можетъ быть смягчена, не вредя достоинству и связи цѣлага. Письмо Михайлова вызвано толками о женщинѣ, занимающими французское общество въ лицѣ передовыхъ его представителей. Толки эти выразились въ послѣднее время въ книгѣ историка Мишле: «l'Amour», надѣлавшей много шума, получившей незаслуженную извѣстность и, по выраженію Михайлова, скандальный успѣхъ. Первое изданіе «l'Amour» разошлось въ мѣсяцъ съ небольшимъ. Оно надѣлало шуму и въ Петербургѣ; оно могло имѣть вредное вліяніе на

образъ мыслей общества, и потому дѣльное опроверженіе основныхъ положеній этой книги заслуживаетъ полнаго сочувствія. Такое опроверженіе составляетъ существенную и главную часть статьи Михайлова. Приступая къ разбору новаго сочиненія Мишле, авторъ «Парижскихъ писемъ» дѣлаетъ бѣглый очеркъ новѣйшихъ мнѣній, высказанныхъ о женщинѣ французскими писателями и мыслителями; въ этомъ очеркѣ Михайловъ обращаетъ особенное, почти исключительное вниманіе на Прудона, знаменитаго представителя коммунистскихъ идей во Франціи. Мнѣніе Прудона о женщинѣ кажется Михайлову несовременнымъ и, что еще важнѣе, совершенно неистиннымъ. Такимъ должно оно дѣйствительно показаться каждому безпристрастному человѣку, не увлекающемуся именемъ Прудона и принимающему къ сердцу самостоятельность женщины и ея права на развитіе. Прудонъ не только смотритъ съ предубѣжденіемъ на современную женщину, далеко несоотвѣтствующую нравственному идеалу, но даже отрицаетъ въ женщинѣ вообще всякую способность къ самосовершенствованію; стремленіе къ прогрессу онъ считаетъ со стороны женщины незаконной попыткой выйти изъ того положенія страдательной подчиненности, на которое, по мнѣнію Прудона, она отъ вѣка осуждена природою.

Путь къ самосовершенствованію, путь науки и умственной дѣятельности, по мнѣнію Прудона, долженъ быть закрытъ для женщины; она неспособна къ серьезному труду и недостойна такого труда. Чѣмъ-же поддерживаетъ Прудонъ такое обидное для женщины положеніе? Тѣмъ, что женщина ни въ области мысли, ни въ области искусства не можетъ представить тѣхъ знаменитыхъ именъ, которыми гордится человѣчество. «Гдѣ твои Шекспіры, Кювье, Канты?» спрашиваетъ Прудонъ у женщины. Онъ не замѣчаетъ того, что силы женщины просыпаются только теперь и что ссылка на безотрадное прошлое, проведенное ею въ полной умственной зависимости, неумѣства, невеликодушна и не можетъ служить противъ нея доказательствомъ. Прудонъ считаетъ вліяніе женщины на общество вреднымъ; слѣды этого вліянія онъ замѣчаетъ въ поэтическихъ произведеніяхъ, отличающихся сентиментальностью, лишенныхъ силы и мужества. Этотъ фактъ, подмѣченный самимъ Прудономъ, служитъ разительнымъ доказательствомъ противъ его теоріи: ежели онъ признаетъ въ женщинахъ способность дѣйствовать на общество и человѣчество, то онъ не можетъ, не противорѣча себѣ, считать ее существомъ слабымъ и ничтожнымъ, не можетъ презирать ее. Дѣйствительно, тонъ ненависти смѣняется у него тонъ пренебреженія, съ которымъ онъ до тѣхъ поръ отзывался о способностяхъ и значеніи женщины. Призна-



вая вліяніе женщины вреднымъ, Прудонъ совѣтуетъ совершенно парализовать это вліяніе, стѣснить женщину и отнять у нея тѣ жалкія права, то скудное умственное развитіе, которыми пользуется она въ современномъ обществѣ. Здѣсь Прудонъ поступаетъ неэкономически. Онъ видитъ силу, приносящую вредъ общему организму человѣчества; вмѣсто того, чтобы выикнуть въ сущность этой силы, вмѣсто того, чтобы стараться извлечь изъ нея ту пользу, которую можетъ принести каждая сила, приложенная къ должному мѣсту и получившая должное направленіе, вмѣсто всего этого, онъ совѣтуетъ уничтожить эту силу и такимъ образомъ лишаетъ человѣчество одного изъ его могущественныхъ двигателей. Мнѣнія Прудона о женщинѣ рѣзки, несправедливы, оскорбительны для достоинства женщины. Онъ принимаетъ за норму результаты неправильнаго развитія и считаетъ случайныя свойства, привившіяся къ женщинѣ отъ испорченнаго общества, за необходимую и неизбежную принадлежность ея природы. Мнѣнія Прудона, повторяемъ, рѣзки; но уже по самой рѣзости своей они не такъ опасны, какъ мысли, выраженные Мишле въ его книгѣ «l'Amour». Мнѣнія Прудона возстановятъ противъ себя всѣхъ: мыслящій человѣкъ увидитъ ихъ несправедливость и нелогичность, человѣку пустому, преданному исключительно свѣту, не понравится мрачный взглядъ на вещи, проведенный въ его мысляхъ; женщина оскорбится тѣмъ беспощаднымъ приговоромъ, который произносится надъ ея судьбою. Совершенно другое впечатлѣніе можетъ произвести на читающее общество книга Мишле, уже на первый разъ располагающая въ свою пользу блестящимъ, увлекательнымъ изложеніемъ. За этимъ изложеніемъ скрываются мысли невѣрныя, но не всегда поражающія глазъ рѣзкостью или очевидною нелогичностью. Мишле располагаетъ читателя въ свою пользу, объявляя себя защитникомъ женщины. Но какъ же онъ ее защищаетъ? Такъ, какъ защищаютъ балованнаго ребенка отъ справедливыхъ требованій наставника. Какое понятіе составляетъ себѣ Мишле о личности женщины? Понятіе самое жалкое, самое оскорбительное, хотя облеченное въ сладкія, вкрадчивыя фразы, проникнутыя французскою любезностью. Женщина, по его мнѣнію, вѣчная больная, вѣчный ребенокъ, котораго капризы долженъ уважать мужчина, не стараясь ни о фундаментальномъ излеченіи болѣзни, ни о воспитаніи и развитіи дремлющихъ въ ребенкѣ способностей. Автору «Любви» какъ-то нравятся въ современной женщинѣ ея непривычка мыслить, ея неумѣнье понимать серьезные гражданскіе или человѣческіе интересы, ея слабость воли; въ томъ, что прямо происходитъ отъ неправильнаго или недоста-

точного развитія, онъ видитъ какую-во прелесть, женственную грацію, забывая ту великую истину, что женщина — человѣкъ, и что общечеловѣческій недостатокъ не можетъ казаться добродѣтелью въ женщинѣ. Любуясь этими граціозными, по его мнѣнію, особенностями женской природы, Мишле, подобно Прудону, принимаетъ случайныя и по всей вѣроятности временныя явленія за необходимые и законныя; на этихъ особенностяхъ онъ основываетъ любовь, которая не выходитъ въ его книгѣ до степени разумнаго, сознательнаго чувства. Женщина является въ этомъ чувствѣ повелительницею, которой пріятно располагать волею любимаго человѣка, является больнымъ, балованнымъ ребенкомъ, который капризничаетъ, хнычетъ и требуетъ себѣ постоянныхъ услугъ и угожденій. Мужчина играетъ страдательную роль, смотритъ въ глаза своей повелительницѣ, не имѣющей впрочемъ никакой личной свободы, ея капризамъ жертвуетъ своими обязанностями и съ ея стороны не можетъ ожидать никакого сочувствія задушевнымъ интересамъ своей умственной жизни. И это любовь? И на такомъ-то жалкомъ чувствѣ должно быть, по мнѣнію Мишле, основано семейное счастье? Гдѣ же мысль, гдѣ пища для умственной жизни, гдѣ то обновленіе нравственныхъ силъ, котораго мужчина имѣетъ право требовать отъ женщины, рѣшившейся раздѣлить его судьбу? Въ любви, какъ характеризуетъ ее Мишле, существуетъ только обаяніе, основанное на созерцаніи физической красоты и граціознаго кокетства. Такая любовь недостойна мыслящаго человѣка и оскорбительна для нравственной и развитой женщины, оскорбительна потому, что не предполагаетъ уваженія необходимымъ условіемъ. Опровергая Мишле и Прудона, Михайловъ самъ прямо и открыто становится въ ряды защитниковъ эманципации женщины. Эманципация женщины! Слово это вызываетъ самыя разнообразныя понятія, производитъ самыя разнообразныя впечатлѣнія. Одни считаютъ эманципацию женщины невозможною, другіе — предосудительною мечтою, многіе принимаютъ за эманципацию неосмысленное желаніе нѣкоторыхъ женщинъ оригинальничать, нарушать безъ особенной надобности принятые общественные обычаи, отличатся рѣзкими манерами и рѣзкимъ образомъ мыслей; многіе думаютъ, что эманципация несовмѣстна съ истинной жественностью; многіе именемъ эманципированной женщины называютъ какую-нибудь неудавшуюся подражательницу г-жи Жоржъ Зандъ. Всѣ эти мнѣнія несправедливы и не вытекаютъ изъ смысла самаго слова «эманципация». Жоржъ Зандъ отнеслась не такъ, какъ слѣдовало, къ вопросу о самостоятельности женщины. Она обратила преимущественное вниманіе на тѣ стѣснитель-



ные законы свѣта, которые ограничиваютъ кругъ дѣятельности женщины; она потребовала уничтоженія этихъ неосмысленныхъ законовъ; она сама нарушила ихъ и думала такимъ образомъ доставить женщинѣ независимость. Она ошиблась, потребовала вдругъ независимости, тогда какъ слѣдовало сначала требовать для женщины серьезнаго образованія; она напала на вѣщныя стѣсненія, не понявъ, что эти стѣсненія основаны на внутренней слабости и неразвитости самой женщины, что они останутся въ полной силѣ до тѣхъ поръ, пока будутъ существовать вызвавшія ихъ причины. Эманципация женщины состоитъ не въ безплодномъ ниспроверженіи общественныхъ приличій, а въ реформѣ женскаго воспитанія. Только правильно развитая, серьезно образованная женщина будетъ въ состояніи руководствоваться въ своихъ дѣйствіяхъ не бездушнымъ судомъ свѣта, а собственнымъ нравственнымъ чувствомъ, голосомъ собственного разсудка. Только женщина, способная къ серьезному труду, будетъ поставлена въ совершенно независимое положеніе въ обществѣ и въ семействѣ; дѣло эманципации — разрушить предрассудки, которыми скована женщина, и дать ей въ замѣнъ этихъ предрассудковъ твердыя, здравыя убѣжденія. Порядокъ въ этомъ дѣйствіи долженъ быть обратный, то есть, сначала надо сформировать убѣжденія, а паденіе предрассудковъ будетъ уже естественнымъ слѣдствіемъ этого формированія. Дѣло эманципации — внести въ женское воспитаніе науку во всемъ ея строгомъ величіи. Тѣ женщины, для которыхъ настала пора самостоятельности, съ жадностью возьмутся за науку, онѣ поймутъ, что знаніе, только знаніе дѣлаетъ человѣка свободнымъ и великимъ. Кто не способенъ понять этой истины теперь, тотъ пойметъ ее впоследствии, или, хоть и не понявъ, увлечется общимъ движеніемъ. Что дѣлать! безъ этого нельзя. Во всякомъ дѣлѣ есть передовые люди, есть и масса, толпа. Такъ проводится въ жизнь вопросъ о самостоятельности женщинъ въ Англіи и въ Америкѣ. Михайловъ приводитъ въ своемъ письмѣ имя миссъ Елисаветы Блеквель, доктора медицины, отправлявшагося, во время пребыванія его въ Парижѣ, въ Лондонъ читать лекціи фیزیологіи. Вотъ типъ эманципированной женщины въ томъ смыслѣ, какъ должно понимать это слово. Миссъ Блеквель не тратила жизни и душевныхъ силъ на мелкую борьбу съ мелкими условіями общественной жизни; ею не руководило желаніе блеснуть оригинальностью; она пошла тяжелою, трудовою дорогою, переломила встрѣчавшіяся ей препятствія не изъ своенравнаго упрямства, не по капризу, а вслѣдствіе твердаго убѣжденія; она отстаивала за собою право трудиться и приносить пользу и потомъ втеченіе послѣдующей жизни скромно,

безъ претензій пользовалась приобретеннымъ правомъ. Бѣглая характеристика личности и дѣятельности миссъ Блеквель, представленная въ статьѣ Михайлова, показываетъ намъ, какъ смотритъ авторъ на эманципацию женщины. Онъ отдаетъ полную дань уваженію личности миссъ Блеквель и ставитъ ее несравненно выше женщинъ, подобныхъ Жоржъ Зандъ, которыя, по его словамъ, составляютъ «печальныя, хотя и симпатическія явленія переходной, страстной эпохи». За этой страстной эпохою, за эпохою борьбы женщины съ препятствіями, которыми окружило ее общество, должно слѣдовать время сознательнаго труда и разумной свободы, какъ слѣдствіе этого труда. Представительницею или, вѣрнѣе, предвѣстницею этой лучшей эпохи, къ которой стремятся желанія всѣхъ передовыхъ людей, мужчинъ и женщинъ, является миссъ Блеквель, и за нею слѣдуетъ много другихъ женщинъ, трудящихся въ Америкѣ въ скромныхъ и неизвѣстныхъ должностяхъ. Эти скромныя труженицы безъ шума отстаиваютъ общее дѣло женщины и тихой дѣятельностью своею готовятъ ей лучшую будущность. Уваженіе къ личности, самостоятельности и труду женщины, сочувствіе ко всему, что содѣйствуетъ ея развитію и самоосвобожденію, и смѣлое противодѣйствіе антипрогрессивнымъ, вреднымъ идеямъ Прудона и Мишле — вотъ отличительныя свойства и главные достоинства статьи Михайлова, вотъ и побудительныя причины, заставившія насъ обратиться на эту статью вниманіе матерей и воспитательницъ. Мысли, приведенныя Михайловымъ, должны быть распространяемы въ нашемъ обществѣ, стремящемся къ самосознанію; на этихъ мысляхъ должно быть воспитываемо молодое поколѣніе; только подобныя мысли, проведенныя въ жизнь, способны сформировать женщину, гармонически развитую, способную приносить пользу, нравственно свободную и слѣдовательно счастливую.

**Эпизодъ изъ исторіи Нидерландовъ. Правленіе герцога Альбы.** (Изъ сочиненія Мотлея: «Therise of the Dutch republic».)

Нидерланды въ концѣ XIV столѣтія вошли въ составъ герцогства Бургундскаго, которое было основано Филиппомъ, сыномъ Іоанна Добраго, короля французскаго. Въ 1477 году послѣдній герцогъ бургундскій, Карлъ Смѣлый, былъ убитъ при Нансѣ, въ сраженіи съ швейцарцами. Обширныя владѣнія его распались; собственная Бургундія покорилась его постоянному сопернику королю французскому Людовіку XI, а Фландрія и Артуа, то есть большая часть нынѣшнихъ Нидерландовъ, остались во власти дочери Карла, Маріи Бургундской, которая вышла замужъ за германскаго импера-



тора Максимилиана. Дочь Маріи и Максимилиана, Іоанна, вышла замужъ за Филиппа Аррагонскаго, сына Фердинанда Католическаго и Изабеллы. Сынъ Филиппа и Іоанны былъ Карлъ, вступившій на испанскій престолъ подъ именемъ Карла I и потомъ избранный императоромъ германскимъ и принявшій имя Карла V. Знаменитый Карлъ V, происходившій такимъ образомъ по женской линіи отъ герцоговъ бургундскихъ, соединилъ подъ своею властью большую часть тогдашняго политическаго міра Европы. Пиренейскій полуостровъ, Нидерланды и южная Італія составляли его родовыя владѣнія; Германія повиновалась ему, какъ императору. Америка была покорена горстью искателей приключеній. Когда Карлъ V отрекся отъ престола, сынъ его Филиппъ II наслѣдовалъ его родовыя владѣнія, а братъ его, Фердинандъ, сдѣлался императоромъ. Мы сочли нужнымъ напомнить нашимъ читательницамъ эти сухія, генеалогическія подробности, чтобы объяснить имъ, какимъ образомъ въ концѣ XVI столѣтія испанскій король Филиппъ II является повелителемъ и угнетателемъ Нидерландовъ. Эти подробности, повидимому сухія и незначительныя, очень важны для пониманія смысла тѣхъ событій, которыя изложены въ статьѣ Мотлея. Еще важнѣе знать внутреннее положеніе Нидерландовъ. Характеръ жителей этой страны всегда отличался мужествомъ, стремленіемъ къ независимости и трудолюбіемъ. Въ средніе вѣка во Франціи составились сильныя городскія общины, которыя не хотѣли покоряться сосѣднимъ баронамъ и часто вели упорныя войны съ герцогами бургундскими. Городскія общины эти обезпечивали частную собственность гражданъ отъ всякихъ незаконныхъ притязаній и содѣйствовали такимъ образомъ развитію торговли. Фландрскіе города, Антверпенъ, Гентъ, Люттихъ, Мехлинъ славились въ средніе вѣка своими промышленными издѣліями и поддерживали обширныя торговыя сношенія со всѣми странами Европы. Движеніе торговли возбуждало предпріимчивость нидерландцевъ, поддерживало въ нихъ смѣлость и, доставляя имъ богатства, давало имъ средства отрѣшиться отъ мелочныхъ заботъ о насущномъ хлѣбѣ и посвящать свои досуги умственнымъ занятіямъ. Народная образованность приняла обширные размѣры: въ XVI столѣтіи рѣдкій нидерландецъ не умѣлъ читать и писать. Понятно, что при такихъ условіяхъ деспотизмъ испанскаго короля не могъ не встрѣтить въ народѣ энергическаго сопротивленія; понятно также, что движеніе мысли, пробужденное въ Германіи проповѣдью Лютера, его послѣдователей и современниковъ, не могло не найти въ Нидерландахъ живого сочувствія. Богатый, дѣятельный, сильный народъ не могъ безропотно переносить нарушеніе своихъ человѣческихъ правъ; не могъ онъ также оставить

безъ вниманія смѣлое слово истины, неиспровергавшее вѣковыя заблужденія, во имя чистой нравственности евангельскаго ученія. Нидерландцы выработали себѣ конституцію, которую Филиппъ принужденъ былъ подтвердить при своемъ восшествіи на престолъ; реформація быстро распространилась въ Нидерландахъ и, найдя себѣ многочисленныхъ приверженцевъ, породила нѣсколько различныхъ сектъ. Эти два обстоятельства: конституціонныя права нидерландцевъ и ихъ религіозныя убѣжденія, подали поводъ къ упорной борьбѣ между государемъ и его законными подданными. Филиппъ хотѣлъ управлять ими произвольно, не справляясь съ ихъ узаконеніями, не стѣсняясь тѣми обязательствами, которыя были даны имъ самимъ, не обращая вниманія на явное неудовольствіе цѣлаго народа. Будучи ревностнымъ католикомъ, Филиппъ не могъ возвыситься до вѣротерпимости и ненавидѣлъ новую религію, называя ее ересью и богохульствомъ. Характеръ этого короля, составившаго себѣ въ исторіи печальную знаменитость, вѣроятно въ общихъ чертахъ извѣстенъ нашимъ читательницамъ. Главныя свойства его характера: жестокость, мрачная недовѣрчивость, вѣроломство и умѣнье холодно обдумывать самыя возмутительныя злодѣянія, находятся въ тѣсной связи съ характеромъ эпохи, проникнутой духомъ политическихъ сочиненій Макіавелли. Сверхъ того, могущественнѣйшимъ двигателемъ Филиппа II былъ религіозный фанатизмъ, вытѣснявшій размысленіе, одушевлявшій его дикою энергіей и доводившій его нерѣдко до пагубныхъ безразсудныхъ крайностей. Фанатизмъ этотъ обусловливался тогдашнимъ положеніемъ религіи. Католицизмъ начиналъ терять свое міровое значеніе и безусловное вліяніе на умы людей. Протестъ здраваго смысла противъ его притязаній выразился уже въ опредѣленной формѣ и нашелъ себѣ многочисленныхъ послѣдователей. Въ началѣ XVI вѣка жили Лютеръ, Кальвинъ, Цвингли,—реформаторы, шедшіе съ болѣею смѣлостью и съ болѣеимъ успѣхомъ по дорогѣ, проложенной Виклефомъ въ Англіи, альбигойцами во Франціи, Гуссомъ въ Богеміи и въ Германіи. Человѣческая мысль пробуждалась, и непогрѣшимость папы подвергалась сомнѣніямъ, которыхъ уже не трудились скрывать. Католицизмъ отживалъ свой вѣкъ и хватался за послѣднія отчаянныя средства; усилилась инквизиція, явились іезуиты, выступили послѣдніе бойцы католицизма, дикіе фанатики, которые тѣмъ упорнѣе гнали истину, чѣмъ болѣе чувствовали ея могущество. Къ числу этихъ фанатиковъ относится Филиппъ. Въ этой отчаянной борьбѣ католицизма съ наплывомъ свѣжихъ идей выразились отличительныя черты переходной эпохи, отмѣченныя Грановскимъ въ его публичной лекціи о Людовикѣ IX. «Разсматривая съ вер-



пины настоящего погребальное шествіе народовъ къ великому кладбищу исторій, — пишетъ покойный профессоръ, — нельзя не замѣтить на вождахъ этого шествія двухъ особенно рѣзкихъ типовъ, которые встрѣчаются преимущественно на распутияхъ народной жизни, въ такъ называемыя переходныя эпохи. Одни отмѣчены печатью гордой и самонадѣянной силы. Эти люди идутъ смѣло впередъ, не спотыкаясь на развалины прошедшаго. Природа одаряетъ ихъ особенно чуткимъ слухомъ и зоркимъ глазомъ, но нерѣдко отказываетъ имъ въ любви и поэзіи. Сердце ихъ не отзывается на грустные звуки былого. Зато за ними право побѣды, право историческаго успѣха. Больше право на личное сочувствіе историка имѣютъ другіе дѣятели, въ лицѣ которыхъ воплощаются вся красота и все достоинство отходящаго времени. Они — его лучшіе представители и доблестные защитники». Эти слова сказаны Грановскимъ о средневѣковыхъ учрежденіяхъ, о рыцарскомъ, феодальномъ бытѣ, уступавшемъ при Людовикѣ IX мѣсто менѣ блестящимъ, но болѣе разумнымъ формамъ гражданственности. Въ этихъ словахъ историкъ отдаетъ справедливость прогрессистамъ, — людямъ, ведущимъ человѣчество впередъ, и въ то-же время изъясняетъ свое личное сочувствіе къ приверженцамъ отжившаго порядка вещей, — людямъ заблуждающимся, но поставленнымъ въ драматическое положеніе и погибающимъ потому, что ихъ увлекаетъ слѣпая, безкорыстная привязанность къ мертвой, невоскресимой старинѣ. Это сочувствіе историка къ представителямъ умирающихъ идей невозможно въ настоящемъ случаѣ, при разсмотрѣніи борьбы, происходившей въ XVI столѣтіи между католицизмомъ и движеніемъ человѣческой мысли. Здѣсь въ драматическомъ положеніи находятся представители прогресса; они заслуживаютъ двойкаго сочувствія: во-первыхъ потому, что на ихъ сторонѣ *право* побѣды; во-вторыхъ потому, что они — угнетенные, ихъ казнятъ, вѣшаютъ, жгутъ. Католицизмъ теряетъ свою состоятельность въ области мысли, у него нѣтъ доводовъ, которыми бы онъ могъ отстоять законное право на неограниченное господство; но онъ располагаетъ огромными матеріальными средствами и душитъ всякое движеніе идей. Колоритъ, разлитой въ приведенномъ нами отрывкѣ изъ лекціи Грановскаго, не идетъ къ нашему случаю, но основная мысль, выражающая собою непреложный историческій законъ, остается въ полной силѣ. XVI вѣкъ былъ для Западной Европы переходною эпохой. Въ эту эпоху, въ томъ самомъ эпизодѣ, который изображаетъ Мотлей, выступаютъ на сцену оба рѣзкіе типа, которые отмѣтилъ Грановскій. Воплощеніемъ перваго типа, представителемъ новой жизни является Вильгельмъ Оранскій, освободитель Нидерландовъ, вождь народа, защитникъ свободы, совѣсти и

въротерпимости; воплощеніе второго типа мы видимъ въ Филиппѣ II, въ деспотѣ, въ фанатикѣ, презирающемъ человѣческія права и унижающемъ человѣческое достоинство. Подтверждается нашимъ эпизодомъ и та мысль, что отживающій принципъ передъ окончательнымъ своимъ паденіемъ развертываетъ все свои силы и высылаетъ послѣднихъ своихъ представителей, въ которыхъ воплощается вся его энергія. Примѣры для подтвержденія этой мысли найти нетрудно: представителемъ отживающаго римскаго язычества былъ Юліанъ Апостатъ, думавшій воскресить классическую древность; представителемъ падающаго язычества на Руси былъ Владиміръ Свѣтой, придавшій въ первую половину своего царствованія особенную, небывалую торжественность богослуженію Перуна. Все эти люди употребляли всевозможныя усилія, чтобы поднять то, что упало навсегда или по крайней мѣрѣ клонилось къ неизбежному паденію. Все они своими усиліями истощали послѣднія средства поддерживаемыхъ ими идей и такимъ образомъ ускоряли гибель того, что старались возвысить. Сами они или погибали въ бесплодныхъ попыткахъ остановить теченіе исторической жизни, или, подобно Владиміру, увлеченные неудержимымъ потокомъ новаго порядка вещей, отступались отъ своихъ прежнихъ цѣлей, сами разрушали кумиры, которымъ служили, и дѣлались ревностными проповѣдниками истинъ, воспринятыхъ слѣпо отъ упорной борьбы. Филиппъ остался до своей смерти мрачнымъ приверженцемъ старинны. Онъ не погибъ самъ въ борьбѣ, но погубилъ свое государство и растерялъ одно за другимъ владѣнія, доставшія ему отъ отца. Нидерланды отложились при его жизни. Португалія возмутилась при его ближайшихъ преемникахъ. Въ Неаполѣ происходили постоянныя возстанія. Испанія, измученная инквизиціей, ослабленная несчастными войнами, имѣвшими болѣею частью религіозныя причины, потеряла свое промышленное населеніе, состоявшее изъ мавровъ и евреевъ, обѣднѣла, опустѣла и до сихъ поръ не можетъ оправиться отъ жестокихъ страданій, которымъ подвергла ее безразсудная политика Филиппа и его преемниковъ. Изъ разсказовъ путешественниковъ ясно видно, въ какомъ жалкомъ положеніи, матеріальной бѣдности и умственной неразвитости находятся жители этой страны, облагодѣтельствованной природой. Испанія была послѣднимъ убѣжищемъ и послѣднею жертвой религіознаго фанатизма въ Европѣ. Борьба между Филиппомъ II и нидерландскимъ народомъ, происходившая въ концѣ XVI вѣка, имѣетъ обширное, общечеловѣческое значеніе во всемирной исторіи. Вглядываясь въ различныя фазы этой борьбы, разсматривая различныя части этой великой исторической картины, наши читатели могутъ составить понятіе о ха-



ракетистических особенностях такъ называемыхъ переходныхъ эпохъ. Въ эти эпохи всего сильнѣе разыгрываются человѣческія страсти, принципъ борется съ принципомъ, и выступаютъ на сцену великія историческія личности, вокругъ которыхъ группируются ихъ послѣдователи. Историческій міръ раздѣляется на двѣ враждебныя партіи. Настоящее не имѣетъ тогда опредѣленнаго характера и не имѣетъ представителей; есть только прошедшее, упорно отстаивающее свои права на существованіе и постепенно теряющее свою законность, и будущее, сначала гонимое, но потомъ мало по малу оттѣсняющее прежнюю жизнь и водворяющее съ полной силой. Мы уже назвали нашимъ читательницамъ двухъ представителей борющихся между собою принциповъ. Личный характеръ этихъ представителей заслуживаетъ полнаго вниманія. Посредственность не можетъ воплотить въ себѣ какую-нибудь идею. На характерѣ Филиппа лежитъ печать мрачной, дикой энергіи, не отступающей ни передъ какими насиліями, не презирающей никакихъ хитростей, могущихъ повести къ цѣли. Для поддержанія своего принципа Филиппъ жертвуетъ политическими видами, личными выгодами, самыми нѣжными привязанностями, къ какимъ только была способна его мрачная природа, самыми священными семейными узами. Того же фанатизма требуетъ онъ отъ всѣхъ его окружающихъ, и дѣйствительно вокругъ его престола группируются суровыя личности, неспособныя ни къ состраданію, ни къ угрызеніямъ совѣсти. Однѣ изъ нихъ жестоки по убѣжденію, другія — по страсти. Однѣ проливаютъ кровь холодно, другія — съ наслажденіемъ, непонятнымъ для большинства людей, но достигающимъ колоссальныхъ, ужасающихъ размѣровъ въ нѣкоторыхъ личностяхъ, находящихся подъ вліяніемъ особыхъ историческихъ обстоятельствъ. Появленіе подобныхъ личностей составляетъ одну изъ отличительныхъ чертъ историческаго броженія, предшествующаго и сопровождающаго великіе перевороты. Подобныя личности являлись въ первые вѣка христіанства и съ яростью боролись съ новымъ ученіемъ. Такія же личности засѣдали между монтаньярами въ эпоху великой французской революціи. Впереди фанатиковъ, составлявшихъ свиту Филиппа, стоитъ личность, колоссальная по своимъ воинскимъ дарованіямъ и по своему историческому значенію — личность, почти заслоняющая собою образъ Филиппа. Это — герцогъ Альба, знаменитый полководецъ, прославившій себя многочисленными побѣдами и безчисленными казнями, холодно и спокойно совершенными въ Нидерландахъ. Ни Филиппъ, ни Альба не были людьми кровожадными по темпераменту: оба они совершали бесполезныя жестокости болѣе изъ излишней предосторожности, нежели изъ наслажденія. Они были равнодушны къ страда-

ніямъ человѣчества, но не находили въ нихъ удовольствія; казни были въ ихъ глазахъ средствомъ, а не цѣлью; дѣйствіями ихъ управлялъ всегда глубокій расчетъ, всегда обманывавшій ихъ ожиданія. Ихъ принципъ былъ невѣренъ; но нельзя отвергнуть того, что они дѣйствовали по принципу. Они не были обыкновенными злодѣями. Ихъ породили историческія обстоятельства, а не физиологическія особенности ихъ организациі. За этими могучими личностями стоятъ цѣлыя легіоны темныхъ бездарныхъ злодѣевъ, служившихъ имъ орудіями и достойныхъ одного презрѣнія.

Насилія такихъ людей не могли не вызвать реакціи въ такой богатой, образованной странѣ, какъ Нидерланды. Реакція началась, и во главѣ оппозиціи явился Вильгельмъ, принцъ Оранскій, человѣкъ хладнокровный, принявшійся за дѣло освобожденія родины не по минутному порыву, а послѣ долгаго, глубокаго размышленія. Вильгельмъ принадлежалъ къ числу тѣхъ желѣзныхъ людей, на твердость которыхъ не дѣйствуютъ неудачи и нравственные страданія. Эти люди долго медлятъ прежде, нежели рѣшительно выступать на историческую сцену; но, выступивъ однажды, они уже не оглядываются назадъ, не отступаютъ ни передъ какими пожертвованіями, не боятся никакихъ опасностей и твердымъ, рассчитаннымъ шагомъ идутъ къ такой отдаленной цѣли, которой не смѣлъ бы предположить себѣ человѣкъ болѣе пылкій или менѣе даровитый. Такимъ человѣкомъ былъ Робертъ Брюсъ, освободитель Шотландіи. Таковъ былъ и Тамерланъ, жившій среди другой цивилизаціи и направившій иначе громадныя силы своей души. Всѣ они долго терпѣли неудачи, всѣ обрывались и падали, но поднимались всякій разъ, шли впередъ и достигали завѣтной цѣли. Личныя свойства Вильгельма Оранскаго совершенно подходятъ подъ тѣ черты, которыми Грановскій характеризуетъ людей прогресса. Одаренный чуткимъ слухомъ и зоркимъ глазомъ, Вильгельмъ лишенъ того поэтическаго ореола, который окружаетъ образы нѣкоторыхъ историческихъ личностей, замѣчательныхъ по романтической судьбѣ или по симпатичнымъ чертамъ характера. Вильгельмъ заслуживаетъ безграничное уваженіе, какъ безкорыстный и даровитый историческій дѣятель; но онъ слишкомъ твердъ и холоденъ, дѣйствія его слишкомъ рассчитаны и правильны, въ немъ самомъ слишкомъ мало романтизма, слишкомъ великъ перевѣсъ мысли надъ чувствомъ, чтобы личность его могла привлекать къ себѣ тою прелестью, которая носится вокругъ именъ Альфреда Великаго, Лудовика IX, Баярда, Дона Карлоса, Маріи Стюартъ. Вильгельму не нужно этого сочувствія, въ которомъ есть много безотчетнаго: съ него довольно осмысленнаго уваженія, которое внушаетъ намъ къ его особѣ безпристраст-



ный приговоръ исторіи. Бѣльшій интересъ можетъ возбудить своими разнообразными приключеніями и пылкою, чисто средневѣковою храбростію брать Вильгельма, Лудовикъ Нассаускій,—Баярдъ своего времени и правая рука брата въ дѣлѣ освобожденія Нидерландовъ. Вильгельмъ составлялъ планы и пріискивалъ средства; Лудовикъ бралъ на себя выполненіе и часто губилъ общее дѣло своею безумною отвагою. Рядомъ съ этими двумя личностями и за ними стоитъ пестрая толпа освободителей, различныхъ по положенію въ обществѣ, по религіознымъ убѣжденіямъ, по характеру и по образу дѣйствій. Дворяне, купцы и ремесленники, католики и протестанты, фанатики и мыслящіе люди, пылкіе воины и хладнокровные мыслители,—все дѣйствовало заодно и каждый по-своему, когда испанскій деспотизмъ коснулся самыхъ существенныхъ интересовъ народа, его правъ на собственность. Дѣйствія этихъ освободителей не могли носить на себѣ характера единства. Одни домогались полной вѣротерпимости, другіе—исключительнаго господства протестантизма. Одни желали вести дѣло умѣренно, другіе портили его жестокостями, примѣшивая къ дѣлу освобожденія узкіе планы личной мести. Въ сторонѣ отъ борющихся партій, не принимая прямого участія въ дѣлѣ, стояли европейскіе государи, составлявшіе общественное мнѣніе и нерѣдко употреблявшіе свое дипломатическое вліяніе, чтобы дать перевѣсъ той или другой сторонѣ. Елисавета англійская, Карлъ IX французскій, виновникъ варооломеевской ночи, и императоръ Максимилианъ, нерѣшительный и измѣнчивый, стояли на первомъ планѣ въ этой группѣ зрителей, болѣе или менѣе заинтересованныхъ дѣйствіемъ.

Мы постарались въ немногихъ словахъ набросать историческую картину, которой подробности читатели наши могутъ прослѣдить у Мотлея; какъ при разборѣ художественнаго произведенія, мы объяснили общее значеніе дѣйствія и, не касаясь самаго хода событій, познакомили читателей съ характерами главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Уже по нашему бѣглому перечню онѣ могутъ судить о важности дѣйствія, могутъ угадывать элементы драматическаго интереса, которые заключаются какъ въ положеніи борющихся сторонъ, такъ и въ колоссальныхъ характерахъ отдѣльныхъ личностей. Для дальнѣйшихъ подробностей надобно обратиться къ той статьѣ, на которую мы указываемъ. Въ ней онѣ найдутъ вѣрное, отчетливое и послѣдовательное изображеніе событій, рельефное воспроизведеніе характеровъ и положеній, — словомъ, все, что составляетъ необходимую принадлежность и лучшее достоинство историческаго сочиненія.

**Леонардо да-Винчи. К. К. Герца.** («Атевей», 1858 г., № 25 и 26).

Леонардо да-Винчи былъ, какъ, вѣроятно, извѣстно нашимъ читательницамъ, знаменитый итальянскій художникъ, жившій въ концѣ XV вѣка,—въ ту замѣчательную эпоху, которая называется во всемірной исторіи эпохою возрожденія наукъ и искусствъ. Въ это время лучшіе, просвѣщеннѣйшіе люди, утомленные средневѣковыми смутами и невѣжествомъ, обратились къ изученію классической (римской и греческой) древности, которая была забыта и оставлена въ первые вѣка христіанства. Вниманіе тогдашнихъ ученыхъ обратилось къ изслѣдованію языка и словесности; художники нашли въ остаткахъ классическаго искусства, въ архитектурныхъ памятникахъ и статуяхъ, образцы, достойные изученія и подражанія. Всего сильнѣе движеніе ума въ эту эпоху проявилось въ Италіи. Въ Италіи всего полнѣе сохранились остатки древняго міра; въ Италіи Римъ служилъ живымъ памятникомъ отжившей образованности. Италія была по своему географическому положенію всего ближе къ образованности Византіи. Итальянскія республики держали въ своихъ рукахъ тогдашнюю торговлю; богатства, стекавшіяся въ руки генуэзцевъ, венеціанъ, флорентійцевъ, давали имъ средства и досугъ подумать о высшихъ потребностяхъ и лучшихъ наслажденіяхъ человѣчества; роскошная природа и благорастворенный климатъ развивали въ итальянцахъ стремленіе къ поэтическому творчеству и къ эстетическому наслажденію. Все эти причины имѣли сильное вліяніе на ту роль, которую заняла Италія въ исторіи развитія человѣчества. Эпоха возрожденія была ознаменована цѣлымъ рядомъ знаменитыхъ именъ итальянскихъ художниковъ, которыхъ творенія остаются до сихъ поръ безсмертными памятниками по всемъ отраслямъ искусства. Къ числу этихъ первоклассныхъ художниковъ относится Леонардо да-Винчи, достойный современникъ Микель-Анджело и Рафаэля. Подобно Микель-Анджело, Леонардо да-Винчи не ограничился какой-нибудь одною сферою творческой дѣятельности: оба художника приобрѣли себѣ безсмертіе самыми разнообразными трудами. Микель-Анджело былъ архитекторомъ, ваятелемъ и живописцемъ; онъ создалъ куполъ св. Петра въ Римѣ, статую «Моисея» и картину «Страшнаго суда»; каждое изъ этихъ колоссальныхъ твореній могло бы обезсмертить имя художника, а между тѣмъ все три принадлежатъ генію одного человѣка. Еще разнообразнѣе была дѣятельность Леонардо да-Винчи. Не ограничиваясь пластическими искусствами, къ которымъ относятся живопись, скульптура и зодчество, онъ проникъ въ область музыки и поэзіи; не ограничиваясь сферою искусства, онъ находилъ себѣ



время и силы заниматься науками: математикой, механикой и фортификаціей. Онъ былъ творецъ въ механикѣ и замѣчательный военный инженеръ. Въ наше время трудно себѣ представить такой всеобъемлющій умъ, такую обширную дѣятельность. Почему-же такъ было прежде? Почему нѣтъ этого теперь? Такіе вопросы возникаютъ невольно при чтеніи біографіи этихъ колоссальныхъ геніевъ. На эти вопросы мы можемъ отвѣтить только предположеніемъ: въ то время, когда жили Микель-Анджело и Леонардо да-Винчи, у науки почти не было прошедшаго, наука была въ младенчествѣ; пытливому уму почти не нужно было изучать труды предшественниковъ, потому что трудовъ этихъ было очень немного; труды эти были большей частью робкія и слабыя попытки ума, неувѣреннаго въ своихъ силахъ; каждая смѣлая, удачная, живая мысль могла подвинуть науку впередъ, могла произвести на современниковъ глубокое впечатлѣніе. Теперь положеніе дѣлъ измѣнилось. Теперь мало одного природнаго ума и дарованія: нужны еще долговременный, усидчивый трудъ, изученіе; теперь труднѣе сдѣлать переворотъ въ наукѣ, труднѣе дать ей новое направленіе; наука во многихъ отношеніяхъ стоитъ на непоколебимыхъ основаніяхъ, количество развитыхъ и трудящихся людей сдѣлалось больше; критическій смыслъ передовыхъ людей общества сдѣлался проникательнѣе и острѣе; приговоръ ихъ будетъ основательнѣе и строже; потому въ наше время геніальный человѣкъ большей частью, развивъ свои способности предварительнымъ приготовленіемъ, общимъ образованіемъ, берется за одну отрасль науки, дѣлается специалистомъ; иначе у него не достанетъ силъ удовлетворить вполнѣ требованіямъ безпристрастной и строгой критики. Напротивъ того, въ средніе вѣка замѣчательные люди часто охватывали всю область современныхъ имъ знаній, занимались въ одно время предметами, не имѣющими между собою никакой тѣсной связи. Дѣятельность ихъ была безспорно обширнѣе; но врядъ-ли она была глубже дѣятельности современныхъ специалистовъ. Мы позволили себѣ это отступленіе потому, что желали предохранить нашихъ читателей отъ невѣрнаго взгляда на прошедшее. Видя колоссальныя личности Микель-Анджело и Леонардо, онѣ могли подумать, какъ думаютъ многіе, что родъ человѣческій измѣлчалъ нравственно и умственно, что настоящее положеніе дѣлъ хуже прошедшаго. Такая мысль неутѣшительна и невѣрна; она противорѣчитъ естественному ходу событій. Въ исторіи мы должны видѣть развитіе человечества, его стремленіе къ совершенству. Стремле-

ніе это бываетъ иногда уродливо, человечество переживаетъ тяжелыя эпохи нравственной борьбы и болѣзни, но оно постоянно подвигается впередъ, несмотря на ошибки и уклоненія. Какъ ни блеснуть знаменитыми именами эпоха возрожденія, а наше время во всѣхъ отношеніяхъ стоитъ выше ея и пользуется выработанными ею результатами несравненно полнѣе, нежели пользовались ими люди XV и XVI вѣковъ. Все, что мы сказали, относится конечно только къ ученой дѣятельности Леонардо, которая, при всей своей обширности, почти не оставила по себѣ слѣда. Слава Леонардо да-Винчи основана на его художественныхъ произведеніяхъ и преимущественно на его картинахъ, которыя къ несчастью уцѣлѣли далеко не всѣ. Человѣческая личность Леонардо также заслуживаетъ полнаго уваженія; онъ былъ человѣкъ религіозный, строго нравственный и въ высшей степени добросовѣстный. Эти качества получаютъ въ нашихъ глазахъ всю свою цѣну, когда мы вспоминаемъ, что современники Леонардо были люди, незнавшіе ничего священнаго,—люди, готовые жертвовать для своихъ личныхъ выгодъ, для чувственныхъ наслажденій всѣми законами чести и справедливости. Въ отношеніи къ нравственному упадку, Италія стояла, быть можетъ, еще ниже другихъ, менѣе образованныхъ государствъ Европы. Папы и свѣтскіе владѣтели не знали границъ своему честолюбію, не останавливались ни передъ какими злодѣяніями, когда дѣло шло объ исполненіи ихъ прихотей или замысловъ; цѣль въ ихъ глазахъ оправдывала средства; рядъ измѣнъ, убійствъ, междоусобій, нарушенныхъ договоровъ и коварно расторгнутыхъ союзовъ — такова политическая жизнь Италіи въ XV и XVI столѣтіяхъ; внутренняя, домашняя жизнь была еще грязнѣе политической, и между тѣмъ Леонардо да-Винчи умѣлъ остаться чистъ среди подобной обстановки, умѣлъ сохранить въ душѣ безкорыстную любовь ко всему изящному, истинному. Факты его жизни не вполнѣ извѣстны; но отзывы его лучшихъ современниковъ и ближайшихъ потомковъ даютъ ему полное право на уваженіе. Статья Герца познакомитъ нашихъ читателей съ главными чертами характера Леонардо и его творческой дѣятельности. Не имѣя матеріаловъ для полнаго описанія его жизни, Герцъ всего болѣе обращаетъ вниманіе на личность Леонардо, какъ художника; онъ показываетъ, какъ творилъ Леонардо и какъ смотрѣлъ онъ на свое искусство; онъ перечисляетъ его картины, дошедшія до насъ, и даетъ понятіе о ихъ достоинствахъ и томъ значеніи, которое имѣли онѣ для своего времени и для развитія искусства.



## „Журналъ для Воспитанія“ 1857, 1858 и 1859 гг.

Съ 1857 г. въ нашей журнальной литературѣ появились два изданія \*), исключительно посвящающія себя обсужденію вопросовъ, касающихся воспитанія. Самое появленіе этихъ двухъ журналовъ составляетъ фактъ замѣчательный, заслуживающій полнаго вниманія и сочувствія. Видно, что общество наше, обратившись къ изслѣдованію своихъ слабостей и недостатковъ, не останавливается на одномъ разсмотрѣніи внѣшнихъ фактовъ. Отъ явленія оно восходитъ къ причинѣ. Видя зло, оно сознаетъ, что это зло росло постепенно, и потому въ воспитаніи, въ условіяхъ, при которыхъ развиваются отдѣльныя личности, старается найти объясненіе тѣхъ несовершенствъ, которыя поражаютъ насъ въ нашей общественной и домашней жизни. Изслѣдуя причины зла, кроющіяся въ превратномъ воспитаніи, оно въ то-же время отыскиваетъ средства исправлять эти недостатки, дѣйствуя на молодое подрастающее поколѣніе. Говорить о важности воспитанія, о благодѣтельныхъ послѣдствіяхъ, которыя поведетъ за собою обсужденіе педагогическихъ вопросовъ, мы считаемъ излишнимъ, потому что намъ пришлось бы повторять общія мысли, уже давно вошедшія въ сознаніе образованнаго общества. Не будемъ также говорить, почему мы принимаемъ на себя обязанность сдѣлать обзоръ нашихъ педагогическихъ журналовъ. Причины этого ясны и находятся въ непосредственной связи съ цѣлью и назначеніемъ нашего изданія. Скажемъ только, что мы начнемъ нашъ обзоръ съ начала существованія обоихъ журналовъ, съ того времени, когда вопросъ о воспитаніи сдѣлался современнымъ, жизненнымъ вопросомъ, обратившимъ на себя вниманіе лучшихъ людей нашего общества. Говоря о другихъ журналахъ, мы разсматривали только прошлый 1858 годъ. При обзорѣ педагогическихъ журналовъ такъ поступить нельзя: нужно прослѣдить въ хронологической послѣдовательности постепенное развитіе педагогическихъ идей въ нашемъ отечествѣ. Развитіе это совершилось и совершается на нашихъ глазахъ; начало этого развитія, начало движенія относится къ нашей современности; этимъ началомъ, этимъ первымъ толчкомъ обуславливается дальнѣйшій ходъ развитія; послѣдующее находится въ связи съ предыдущимъ и независимо отъ него не можетъ быть вполне понято, потому что каждая идея возникаетъ въ обществѣ не внезапно, а посте-

пенно развивается, уясняется и приходитъ въ сознаніе. Итакъ, мы начнемъ съ перваго года существованія „Журнала для Воспитанія“, возникшаго въ 1857 году, нѣсколькими мѣсяцами раньше „Русскаго Педагогическаго Вѣстника“. Цѣль и объемъ нашего журнала не позволяютъ намъ обсуживать всѣ педагогическія статьи, помѣщенные въ обоихъ журналахъ. Мы будемъ говорить преимущественно о томъ, что относится къ назначенію и образованію женщины.

### Письма къ русскимъ женщинамъ. I. X—вой. (№№ 1 и 3).

Въ первыхъ нумерахъ «Журнала для Воспитанія» помѣщены два письма г-жи X—вой, въ которыхъ высказывается взглядъ автора на то, чѣмъ должна быть женщина, и на то, въ какомъ положеніи находится она въ современномъ обществѣ. Эти два письма составляютъ повидимому начало цѣлаго ряда писемъ о женскомъ воспитаніи; это какъ-бы вступленіе, въ которомъ авторъ знакомитъ читателя съ своими убѣжденіями, съ своимъ взглядомъ на предметъ. Въ этомъ вступленіи высказаны общія положенія, на основаніи которыхъ авторъ хотѣлъ построить свою систему; но первыя два письма остались безъ продолженія, и потому мы лишены возможности судить о практическихъ средствахъ, которыми авторъ надѣется осуществить свою теорію. На этомъ основаніи мы принуждены ограничиться обсужденіемъ самой теоріи, общихъ положеній, высказанныхъ въ первыхъ двухъ письмахъ. Эти общія положенія не могутъ возбудить никакого серьезнаго опроверженія, тѣмъ болѣе, что въ настоящее время они составляютъ уже доказанную и общественную истину. Въ первомъ письмѣ г-жа X—ва словами покойнаго Бѣлинскаго упрекаетъ русскую женщину въ неразвитости, въ стремленіи къ внѣшнему блеску, въ пренебреженіи къ внутреннимъ, прочнымъ достоинствамъ собственнаго существа и окружающихъ людей. Большая выписка изъ Бѣлинскаго составляетъ самую капитальную часть статьи, — ту часть, вокругъ которой группируются мнѣнія автора. Выписка эта въ правдивыхъ и энергичныхъ выраженіяхъ выставляетъ наружу пустоту обыкновеннаго свѣтскаго воспитанія и еще болѣе обыкновенной семейной жизни въ свѣтѣ и для свѣта. Слова Бѣлинскаго, справедливыя двадцать лѣтъ тому назадъ, не потеряли своей силы и теперь. Онъ рисуетъ въ сильныхъ, крупныхъ, но неутрированныхъ чертахъ картину жизни

\*) «Журналъ для Воспитанія» и «Русскій Педагогическій Вѣстникъ».



русской дѣвушки. Читая его слова, нельзя не сознаться, что домашняя жизнь медленно и вяло подвигается впередъ въ нашемъ отечествѣ. Нельзя не сознаться, что г-жа Х—ва и въ наше время не могла сдѣлать лучшаго выбора, чтобы, сообразно съ своей цѣлью, представить русскимъ женщинамъ ихъ собственныя несовершенства, требующія радикальной, энергической реформы въ воспитаніи. Г-жа Х—ва согласна съ словами нашего критика; она признаетъ мѣткость его упрековъ, но не соглашается съ причинами, которыми Бѣлинскій объясняетъ себѣ недостатки русскихъ женщинъ. Бѣлинскій говорить, что виновато все общество, что виноваты особенно мужчины, смотрящіе на женщину или съ коммерческой, или во всякомъ случаѣ съ эгоистической точки зрѣнія,—мужчины, непонимающіе истинной красоты, истинной женственности, непризнающіе правъ женщины на самостоятельное развитіе. Г-жа Х—ва говорить просто:

«Не будемъ обвинять другихъ въ нашихъ недостаткахъ, какъ это дѣлаетъ критикъ, находившій, что мужчина причиною нашей неразвитости <sup>1)</sup>; но не будемъ также, подобно страусу, прятать наши головы въ кусты, чтобы не видѣть врага. Встрѣтимъ лучше его лицомъ къ лицу и постараемся побѣдить. Я увѣрена, что всѣ эти недостатки не органическіе, т. е. не заключаются въ природѣ русской женщины, но скорѣе слѣдствіе ложныхъ понятій о воспитаніи женщины и ея назначеніи».

Г-жа Х—ва не хочетъ видѣть въ мужчинахъ главной причины недостатковъ. Она хочетъ увѣрить женщинъ, что онѣ виноваты сами, что онѣ сами, однѣ могутъ исправиться, и что съ исправленіемъ ихъ все пойдетъ иначе. Цѣль въ этомъ случаѣ похвальная. Г-жа Х—ва дѣлаетъ воззваніе къ русскимъ женщинамъ и же-

лаетъ ввѣрить имъ бодрость, подать имъ силы для великаго и прекраснаго подвига; но похвальная цѣль автора не мѣшаетъ намъ замѣтить неполноту вѣрнаго сужденія. Общество развивается органически: усовершенствованіе въ одной части его ведетъ за собою пропорциональное улучшеніе всего устройства, всего общественного сознанія; недостатокъ въ отдѣльной части лежитъ тяжелымъ бременемъ на всемъ общественномъ зданіи. Неразвитость мужчинъ парализовала всѣ лучшія стремленія женщинъ, тѣмъ болѣе, что въ нашемъ обществѣ одному мужчинамъ были даны кой-какія средства къ развитію, — средства, которыми женщина, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, могла пользоваться не иначе, какъ черезъ мужчину. Неразвитость женщинъ, вслѣдствіе неразвитости мужчинъ, въ свою очередь оказывала губительное, мертвящее вліяніе на семейную жизнь, развивала пустыя свѣтскія отношенія, задерживала и забивала стремленіе къ истинѣ, проявившееся въ молодомъ поколѣніи. Оба пола вредили другъ другу, не пускали другъ друга впередъ, и женщина собственными силами не могла пробить преграду, которую поставили передъ нею своекорыстная рутинка, привычка, общественные предрасудки; ей трудно, невозможно было идти къ истинному образованію, когда общество и близкіе люди требовали отъ нея совсѣмъ другого; нуженъ былъ сильный толчокъ, который бы отозвался во всѣхъ слояхъ общества: такимъ толчкомъ были историческія обстоятельства, совершающіяся передъ нашими глазами. Толчокъ этотъ вызвалъ дѣятельность мужчинъ и уже потомъ нашелъ себѣ отголосокъ въ женщинъ; слѣдовательно, главною причиною зла были все-таки мужчины, которые, присвоивъ себѣ неограниченную монополію, принимая участіе въ государственной жизни, занимаясь наукой, творя въ области искусства, не умѣли или не могли внести живительной мысли въ свою семейную жизнь, не могли открыть глазъ на истину тѣмъ существамъ, которыя находились отъ нихъ въ умственной зависимости. Не можемъ, такимъ образомъ, принять возраженія г-жи Х—вой противъ мнѣнія Бѣлинскаго, тѣмъ болѣе, что возраженіе это высказано голословно, бездоказательно, въ формѣ воззванія къ русской женщинѣ. Второе письмо — «о назначеніи женщины» вполне соответствуетъ своему заглавію. Роль женщины въ семейномъ быту опредѣлена вѣрно; обязанности ея въ отношеніи къ человечеству, значеніе ея для усовершенствованія и облагораживанія отдѣльной личности и цѣлаго общества представлены въ общихъ чертахъ, но такъ, что ни одно слово автора не можетъ вызвать противорѣчія. Указаны также условія, препятствовавшія развитію и разумной самостоятельности женщины.

<sup>1)</sup> «И неужели вы обвините ее во всемъ этомъ? Какое имѣете вы право требовать отъ нея, чтобы она была не тѣмъ, чѣмъ сами-же вы ее сдѣлали? Можете-ли вы обвинять даже ея родителей? Развѣ не вы сами сдѣлали изъ женщины только невѣсту и жену, и ничего болѣе? Развѣ когда-нибудь подходили вы къ ней безкорыстно, просто, безъ всякихъ видовъ, для того только, чтобы наслаждаться этимъ ароматомъ, этой гармоніей женственнаго существа, этимъ поэтическимъ очарованіемъ присутствія и сообщества женщины, которыя такъ кротко, успокоительно и обаятельно дѣйствуютъ на жесткую натуру мужчины? Желали-ли вы когда-нибудь имѣть друга въ женщинѣ, въ которую вы совсѣмъ не влюблены, сестру въ женщинѣ, вамъ посторонней? — Нѣтъ! если вы входите въ женскій кругъ, то не иначе, какъ для выполненія обычая, приличія, обряда; если танцуете съ женщиной, то потому только, что мужчинамъ танцовать съ мужчинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину свое исключительное вниманіе, то всегда съ положительными видами — ради женитбы или волокитства. Вотъ взглядъ на женщину чисто-утилитарный, почти коммерческій: она для васъ — капиталъ съ процентами, деревня, домъ съ доходомъ; если не то, такъ кухарка, прачка, ключница, нянька, много, много, если одалиска...» «Отеч. Зап.», т. XXXIX.



Условія эти вытекають изъ многихъ ложныхъ, неправильно понятыхъ или искаженныхъ законовъ общества, вытекають изъ неразвитости самого общества, создавшего себѣ уродливые законы или искажившаго тѣ правила общегитія, которыя вначалѣ имѣли разумное основаніе. При этомъ г-жа Х—ва обходитъ вопросъ, затронутый ею въ первомъ письмѣ,—вопросъ о томъ, насколько мужчина виноватъ въ неразвитости женщинъ. Вообще, нельзя не замѣтить въ статьѣ г-жи Х—вой неопредѣленности и неоконченности, которая происходитъ оттого, что статья эта должна была имѣть продолженіе. Многіе поднятые въ ней вопросы не разрѣшены, во многихъ мѣстахъ авторъ общается читателю объяснить нѣкоторыя вещи вполнѣ ствѣи и не объясняетъ. На этомъ основаніи нельзя надъ этой статьёю произнести рѣшительнаго приговора. Можно только сказать, что идеаль женщины, который представляетъ г-жа Х—ва, стоитъ на той нравственной высотѣ, которой требуютъ понятія лучшихъ, передовыхъ людей нашего современнаго общества. Считаю семейство истиннымъ поприщемъ для дѣятельности женщины, авторъ въ то-же время не отнимаетъ у нея права говорить свое слово въ дѣлахъ общества, науки и искусства. Г-жа Х—ва избѣгаетъ такимъ образомъ той деспотической исключительности, въ которую впадаютъ въ наше время многіе писатели, обсуживающіе вопросъ о назначеніи и обязанностяхъ женщины.

**Мысли объ устройствѣ женскихъ училищъ въ губернскихъ городахъ. А. Чумикова. Институты. Луизы Бюхнеръ.**

Статья Чумикова и небольшой отрывокъ изъ сочиненія нѣмецкой писательницы Луизы Бюхнеръ сходятся между собою по сюжету и по основной идеѣ, и потому мы будемъ говорить о нихъ вмѣстѣ. Первая статья больше второй по объему, предложенные вопросы рассмотрѣны въ ней полнѣе, и потому мы обратимъ на нее преимущественное вниманіе. Желая высказать свои мысли объ устройствѣ женскихъ училищъ въ губернскихъ городахъ, Чумиковъ сначала предлагаетъ себѣ вопросъ, удовлетворяютъ-ли современнымъ требованіямъ педагоги закрытыя или замкнутыя учебныя заведенія, которыя г-жа Бюхнеръ называетъ въ своей статьѣ институтами. И Чумиковъ, и г-жа Бюхнеръ находятъ въ основной идеѣ этихъ заведеній существенные недостатки; возраженія ихъ въ главныхъ чертахъ сходны между собою и имѣють много общаго съ мыслями г-жи L. S. de M., которой брошюру: „Un mot aux mères“ мы уже рекомендовали нашимъ читательницамъ. Сознвая необходимость домашняго семейнаго воспитанія, безъ котораго дѣвица не

можетъ сдѣлаться хорошею женою, матерью и хозяйкой, всѣ трое возстають противъ замкнутыхъ заведеній, отчуждающихъ дочь отъ матери и отъ той сферы, для которой она создана. Возраженія Чумикова отличаются особенною полнотою, практическимъ знаніемъ дѣла и заботливымъ вниманіемъ въ подробности пансіонскаго воспитанія. Чтобы со всѣхъ сторонъ обсудить дѣло, авторъ прежде всего рассказываетъ объ историческомъ происхожденіи закрытыхъ заведеній. Заведенія эти получили свое развитіе подъ вліяніемъ г-жи Ментенонъ, въ царствованіе Людовика XIV, когда общество было развращено, когда, вслѣдствіе этого, семейная жизнь находилась въ упадкѣ, когда дѣвицы не могли видѣть у себя дома поучительнаго примѣра со стороны родителей. Сообразныя съ духомъ того времени, вызванныя мрачными, печальными, историческими обстоятельствами, закрытыя училища, при постепенныхъ успѣхахъ нравственности и семейственности, стали терять благотѣльное значеніе для общества; они утратили свой смыслъ, какъ утрачиваетъ его всякое учрежденіе, переживающее свое время. Конечно, этого положенія нельзя возвести въ общее правило, нельзя сказать утвердительно, что закрытыя заведенія пережили свое время, потому что многія матери и теперь не могутъ или не хотятъ воспитывать своихъ дѣтей собственными силами, собственнымъ вліяніемъ и примѣромъ. Все это справедливо; но при этомъ нельзя не согласиться съ мнѣніемъ Чумикова, допускающаго пансіоны только какъ необходимое зло, для тѣхъ только дѣтей, «которыхъ родители умерли физически или нравственно». Обсудивъ идею, лежащую въ основаніи замкнутыхъ заведеній, объяснивъ ея происхожденіе историческими обстоятельствами, Чумиковъ обращается къ нашей современности и рассматриваетъ эту идею въ единичныхъ проявленіяхъ, въ практическомъ примѣненіи къ дѣйствительной жизни. Эта часть статьи, основанная, повидимому, на личномъ опытѣ автора, отличается наглядностью, полнотою подробностей и тонкимъ анализомъ того вліянія, которое могутъ оказывать на воспитанницъ различныя стороны обстановки, окружающей ихъ въ училищѣ. Чумиковъ начинается съ того, что сравниваетъ любящій надзоръ, нѣжную заботливость матери съ официальною, часто благонамѣренною, но большей частью холодною дѣятельностью гувернантокъ и наставницъ. Разница между тѣмъ и другимъ, разница очевидная, понятная для нашихъ читательницъ, представлена очень вѣрно. Опредѣливъ роль наставницъ, указавъ на необходимыя, неизбѣжные недостатки ихъ педагогической дѣятельности, Чумиковъ обращаетъ вниманіе читателей на то обстоятельство, что наставницы эти принуждены дробить свое вниманіе, свою заботливость между сотнями дѣвицъ, различ-



ныхъ по характеру, по умственнымъ способностямъ, по первоначальному направленію, полученному ими въ родительскомъ домѣ. Естественнымъ слѣдствіемъ этого дробленія является, по словамъ Чумикова, необходимость дѣйствовать *гуртомъ*, на массу; а такого рода дѣйствія ведутъ за собой подавленіе индивидуальности, сглаживаніе личнаго характера, между тѣмъ какъ воспитаніе должно, напротивъ того, покровительствовать развитію личности, вызывать наружу, пробуждать и направлять къ дѣятельности врожденные способности каждого недѣлимаго. Затѣмъ Чумиковъ переходитъ къ разсмотрѣнію отношеній между воспитанницами и въ этихъ отношеніяхъ видитъ зародыши многихъ свойствъ души, искажающихъ и подавляющихъ женственность. Соревнованіе ведетъ къ развитію зависти, къ желанію отличиться, къ кокетству; тѣсныя ежедневныя отношенія между дѣвками, получившими различное направленіе, могутъ произвести между ними взаимный обмѣнъ недостатковъ, отъ которыхъ, быть можетъ, многія воспитанницы остались-бы свободны въ родительскомъ домѣ. При этомъ Чумиковъ не упускаетъ изъ вида развитія мечтательности, романческаго настроенія ума, развитія того *обожанія*, которое составляетъ техническій терминъ въ каждомъ закрытомъ заведеніи. Таковы нравственные слѣдствія пансіонскаго воспитанія; разъединенность съ дѣйствительной жизнью, холодность сердца, сосредоточенность и рядомъ съ этими качествами болѣзненное развитіе воображенія, внѣшней чувствительности, которая, конечно, не замѣнить душевной теплоты, возникающей только при соприкосновеніи съ дѣйствительнымъ житейскимъ горемъ, при видѣ дѣйствительнаго страданія. Не менѣе печальны результаты собственно умственнаго, научнаго образованія. Недостатки системы преподаванія, сухой, стѣсненной отсталыми программами, стѣсненной всей пансіонской, рутинной жизнью въ классахъ и внѣ классовъ, эти недостатки понятны всякому, кто дорожитъ въ наукѣ живою мыслью, кому близко къ сердцу развитіе ученика безъ отношенія къ экзамену и къ благоволенію начальства. Чумиковъ представилъ очеркъ борьбы молодого преподавателя съ обстоятельствами, внѣшней обстановкой заведенія и умственной апатіей воспитанницъ. Борьба эта кончается тѣмъ, что молодой, талантливый и образованный учитель начинаетъ вести дѣла по-старому, т. е. задавать уроки, диктовать готовые вопросы и отвѣты, прослушивать затверженные, но не вошедшія въ сознаніе слова, предложенія и періоды. Трудно себѣ представить, чтобы такъ было вездѣ, во всѣхъ закрытыхъ заведеніяхъ; но нельзя не согласиться, что въ словахъ Чумикова видно основательное знаніе описываемаго предмета, что въ нихъ слышится тако

искреннее, честное убѣжденіе, которое невольно заставляетъ вѣрить, тѣмъ болѣе, что представленныя имъ результаты, подкрѣпленные примѣрами изъ жизни, прямо, непосредственно вытекаютъ изъ самой сущности или основной идеи закрытаго заведенія. Чумиковъ и Луиза Бюхнеръ разсматриваютъ тотъ-же предметъ съ различныхъ сторонъ. Первый говоритъ о положительномъ вредѣ пансіонскаго воспитанія; вѣнецкая писательница, напротивъ того, обращаетъ вниманіе на его отрицательную сторону, т. е. на то, чего лишаются воспитанницы, удаляясь на долгое время изъ родительскаго дома или вообще изъ семейнаго быта. Статья г жи Бюхнеръ заслуживаетъ сочувствія по своему направленію; но она очень коротка, не разсматриваетъ практическихъ средствъ, которыми располагаютъ пансіоны, и не показываетъ недостатковъ преподаванія.

Вторая часть статьи Чумикова содержитъ въ себѣ практическіе совѣты для устройства въ губернскихъ городахъ училищъ для входящихъ дѣвицъ или, какъ ихъ называютъ теперь, женскихъ гимназій. Совѣты эти относятся преимущественно къ отысканію матеріальныхъ средствъ для учрежденія и содержанія этихъ училищъ и къ главнымъ чертамъ внутренняго управленія училища; о системѣ преподаванія, о числѣ классовъ, о распредѣленіи занятій между училищами различныхъ возрастовъ сказано очень коротко и въ общихъ выраженіяхъ; объ экзаменахъ, о томъ, оставить-ли ихъ въ новыхъ училищахъ, и ежели они останутся, какъ ихъ производить,—объ этомъ не сказано ни слова. Вообще, вторая часть статьи замѣчательна болѣе по своему современному направленію, нежели по практической примѣнимости высказанныхъ въ ней совѣтовъ. Чумиковъ правильно обсудилъ свой вопросъ, но въ его статьѣ нельзя видѣть проекта, который могъ-бы быть приведенъ въ исполненіе. Ежели смотрѣть на статью съ этой точки зрѣнія, то въ ней можно замѣтить много недоговореннаго, много пробѣловъ. Заслуга Чумикова заключается въ томъ, что онъ выставилъ недостатки закрытыхъ заведеній и указалъ путь къ лучшему порядку вещей въ дѣлѣ женскаго воспитанія.

#### Заграничныя письма въ редакцію «Журнала для воспитанія», В. Водовозова.

Заграничныя письма Водовозова заслуживаютъ полнаго вниманія нашихъ читателей, какъ по своему литературному достоинству, такъ и по интересу описываемаго въ нихъ предмета. Водовозовъ сообщаетъ свѣдѣнія о современномъ положеніи воспитанія въ Германіи. Письма его занимательнѣе простыхъ впечатлѣній и путевыхъ записокъ туриста,—записокъ, чааго довольно безсвязныхъ, носящихъ на себѣ



явные слѣды случайности въ выборѣ и расположеніи описываемыхъ предметовъ. Причины этой случайности заключаются въ томъ, что на путешествіе многіе смотрятъ, какъ на простое развлеченіе. Всякое путешествіе, предпринятое сознательно, по внутренней потребности, должно имѣть какую-нибудь специальную, хотя и неисключительную цѣль. Путешественникъ передъ своимъ отъѣздомъ долженъ отдать себѣ отчетъ въ томъ, что интересуетъ его, чего онъ намѣренъ искать за-границею, во что намѣренъ вглядываться, съ какой точки зрѣнія будетъ онъ смотрѣть на встрѣчающіеся ему предметы. Поэтъ и художникъ будутъ собирать впечатлѣнія въ картинахъ природы, въ наблюденіи типическихъ личностей, въ которыхъ отражается національность; натуралистъ будетъ смотрѣть на тѣ-же предметы, но будетъ подвергать ихъ анализу, вмѣсто того, чтобы соединить ихъ въ стройныя картины и наслаждаться общимъ впечатлѣніемъ; историкъ, агрономъ, политикъ, — словомъ, каждый специалистъ взглянетъ на дѣло съ своей точки зрѣнія; всѣ они осмотрятъ все, что заслуживаетъ вниманія, но каждый изъ нихъ откроетъ и разработаетъ для себя ту сторону предмета, которая займетъ его болѣе, каждый вынесетъ свое, оригинальное впечатлѣніе, и характеръ этой оригинальности отразится въ его запискахъ. Безъ этого самобытнаго характера, придающаго описанному впечатлѣнію жизнь и силу, безъ единства мысли не можетъ быть въ путевыхъ запискахъ ни художественнаго достоинства, ни научнаго интереса. Научный интересъ дѣлается тѣмъ сильнѣе, чѣмъ меньше дробится вниманіе путешественника, чѣмъ сосредоточеннѣе кругъ его наблюденій. Въ этомъ отношеніи заграничныя письма Водовозова почти теряютъ характеръ путевыхъ впечатлѣній и, сохраняя литературную живость изложенія, представляютъ чисто научныя свѣдѣнія о состояніи германскихъ училищъ. Здѣсь авторъ писемъ понялъ и представилъ германскій народный характеръ, насколько онъ выразился въ педагогической дѣятельности. Высокое развитіе народа, просвѣщенный взглядъ на вещи и добросовѣстное знаніе дѣла обнаруживаются въ каждомъ учрежденіи, описанномъ Водовозовымъ. Нигдѣ нѣтъ ничего необдуманнаго, считаго на живую нитку или предоставленнаго случайности: все заранѣе обсуждено, разобрано и примѣнено къ условіямъ мѣстности, къ потребностямъ воспитывающагося сословія, къ возрасту дѣтей и къ степени ихъ умственнаго развитія. Преподаваніе идетъ рука объ-руку съ нравственнымъ воспитаніемъ; сообщая фактическія свѣдѣнія, учитель въ то-же время пробуждаетъ самостоятельность учениковъ, заставляетъ ихъ мыслить, дѣйствуетъ на ихъ нравственное чувство, причасть ихъ къ сознательному повиновенію и къ исполненію долга. Въ низшихъ училищахъ нѣтъ

строгаго разграниченія между областями наукъ; уроки, задаваемые учителями, не лежатъ особнякомъ, какъ-бы въ отдѣльныхъ ящикахъ, въ головѣ ребенка: они постоянно находятся въ движеніи, примѣняются въ постоянныхъ упражненіяхъ, въ которыхъ вызываются въ одно время наружу свѣдѣнія географическія, историческія, арифметическія и т. д. Ребенокъ привыкаетъ смотрѣть на эти свѣдѣнія, какъ на свою собственность; онъ привыкаетъ распоряжаться этимъ капиталомъ, онъ знаетъ, гдѣ что взять въ своей памяти, какъ иногда приложить къ дѣлу. Словомъ, живая связь науки съ практической жизнью составляетъ основную черту той педагогической системы, по которой идетъ преподаваніе въ училищахъ, посѣщенныхъ Водовозовымъ. Водовозовъ видѣлъ сиротскіе дома, дѣтскіе сады, въ которыхъ развиваются въ играхъ умственныя способности дѣтей перваго возраста, видѣлъ народныя училища съ болѣе серьезной методой преподаванія, осматривалъ гимнастическія школы и, наконецъ, посѣтилъ нѣсколько женскихъ учебныхъ заведеній, объ устройствѣ которыхъ онъ отзывался съ большой похвалой. Устройство этихъ училищъ, насколько можно судить по фактамъ, сообщеннымъ Водовозовымъ, удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ современной науки. Объемъ преподаванія, распределеннаго въ Ганноверскомъ училищѣ между девятью классами, довольно обширенъ и можетъ дать дѣвушкамъ самое разностороннее развитіе, особенно ежели принять въ соображеніе, что воспитанницы не ограничиваются сферою школьной дѣятельности: живя дома, у родителей, онѣ имѣютъ всѣ средства приобретать практическое знаніе и прилагать къ жизни свѣдѣнія, вынесенныя изъ школы. Распределеніе предметовъ между различными классами указываетъ на строго соблюденную постепенность въ переходѣ отъ легкаго къ болѣе трудному, отъ чисто конкретнаго къ болѣе отвлеченному. Число уроковъ, время занятій также измѣняются сообразно съ возрастомъ воспитанницъ. Цѣлю образованія въ Ганноверской школѣ является гармоническое развитіе силъ ума и души, безъ всякаго стѣсненія личности, безъ всякаго стремленія къ какой-нибудь частной, ограниченной цѣли; на женщину смотрятъ, какъ на самостоятельную личность, имѣющую право развиваться для себя и пользоваться своимъ развитіемъ для удовлетворенія своихъ внутреннихъ потребностей, сообразно съ своими наклонностями и побужденіями. Не всѣ германскіе педагоги раздѣляютъ этотъ взглядъ на вещи: въ нѣкоторыхъ женскихъ училищахъ жертвуютъ для частныхъ цѣлей всестороннимъ развитіемъ; но на такой взглядъ на вещи можно смотрѣть не иначе, какъ на уклоненіе, при которомъ труднѣе женщинамъ достигнуть своего назначенія.



**Вліяніе искусства на воспитаніе. Б. М—а.**  
(№№ 2 и 9).

Необходимость эстетическаго образованія сознается всѣми современными педагогами, правильно смотрящими на конечную цѣль воспитанія. Эта цѣль состоитъ въ томъ, чтобы сдѣлать человѣка человекомъ, то-есть возвысить, облагородить, развить всѣ его способности, вселить въ него стремленіе къ лучшему и дать ему средства къ самосовершенствованію. На пути этого самосовершенствованія человѣка ожидаютъ горести и сомнѣнія; ему предстоятъ борьба съ собственными несовершенствами, трудъ, работа надъ самимъ собою. Поэтому такъ часто говорятъ, что человѣкъ созданъ для труда и борьбы. Борьба эта становится тѣмъ упорнѣе, исходъ борьбы тѣмъ сомнительнѣе, чѣмъ больше расходятся обязанности человѣка съ его желаніями, чѣмъ больше разладъ между нравственнымъ долгомъ и чувственными явленіями. На этомъ основаніи одна изъ важнѣйшихъ задачъ воспитанія состоитъ не въ томъ, чтобы во имя долга подавить личную свободу, искоренить враждебныя наклонности и влеченія, а въ томъ, чтобы согласить, примирить одно съ другимъ, чтобы дать правильное развитіе этимъ наклонностямъ, которыя, въ противномъ случаѣ, не получивши должнаго направленія, могутъ переродиться въ страсти и повести къ самымъ печальнымъ уклоненіямъ отъ разумности. Нужно, чтобы человѣкъ дѣлалъ добро, по возможности не насилуя своей природы; нужно, чтобы онъ смотрѣлъ на трудъ не какъ на печальную необходимость, а какъ на внутреннюю потребность, какъ на существенное условіе жизни, какъ на высокое наслажденіе; хорошія благородныя влеченія должны по возможности обратиться въ привычку, сдѣлаться второю природою правильно развитогаго человѣка. Степень развитія можно довольно безошибочно опредѣлять по тѣмъ предметамъ, которые нравятся человѣку,—по тому, въ чемъ онъ находитъ себѣ удовольствіе или наслажденіе. Чѣмъ грубѣе, необразованнѣе человѣкъ, чѣмъ ниже стоитъ его природа въ нравственномъ отношеніи, тѣмъ матеріальнѣе его наслажденія, тѣмъ менѣе они проникнуты мыслью, тѣмъ ближе они къ чисто животнымъ влеченіямъ. Такія наслажденія, конечно, не могутъ имѣть образовательнаго вліянія: вмѣсто того, чтобы облагораживать человѣка, они удерживаютъ его въ состояніи нравственнаго униженія. Между тѣмъ наслажденіе составляетъ одну изъ потребностей человѣческой души. Способность наслаждаться принадлежитъ къ числу благороднѣйшихъ ея способностей: но способность эта нуждается въ развитіи. Человѣку свойственно стремленіе къ прекрасному, но каждый понимаетъ прекрасное по-своему, часто невѣрно и превратно. Задача

эстетическаго образованія состоитъ именно въ томъ, чтобы воспользоваться этимъ врожденнымъ стремленіемъ и показать ему вѣрную дорогу. Эстетическое образованіе должно приучить человѣка любить прекрасное и правильно понимать его; оно должно образовать и очистить вкусъ, показать человѣку то, въ чемъ должно искать наслажденія, развить въ немъ способность наслаждаться тѣмъ, что дѣйствительно прекрасно,—тѣмъ, что можетъ оказывать на душу благотворное, обновляющее вліяніе. Плодомъ эстетическаго образованія должны быть внутренняя гармонія, согласіе между долгомъ и желаніемъ, между разсудкомъ и чувствомъ, отсутствіе той борьбы, которая всегда служитъ признакомъ еще неполнаго развитія. Къ такой цѣли должно стремиться. Можно-ли ея достигнуть—это другой вопросъ,—вопросъ, на который, повидимому, придется отвѣчать отрицательно. Были, впрочемъ, избранные люди, которые еще при жизни достигали внутренняго успокоенія и прочнаго душевнаго мира. Къ числу такихъ людей можно отнести В. Гумбольдта и Огюстена Тьерри: оба эти ученые считали трудъ, самоотверженіе во имя науки высочайшимъ наслажденіемъ; слѣдовательно, влеченіе и долгъ были согласены. Оба они были высоко развиты въ эстетическомъ отношеніи: В. Гумбольдтъ былъ замѣчательный критикъ, цѣнитель изящнаго во всѣхъ его проявленіяхъ; Тьерри былъ художникъ въ дѣлѣ историческаго творчества. Оба они подъ конецъ жизни сознавали, что честно исполнили долгъ человѣка, и оба умерли съ этимъ спокойнымъ сознаніемъ; ихъ душевнаго мира не могли нарушить ни тѣлесныя страданія, которыя пришлось испытать Тьерри, ни огорченія отъ потери близкихъ людей, которыя выпали на долю Гумбольдта. Итакъ, вотъ плоды эстетическаго образованія. Говорить отдѣльно о необходимости такого образованія для женщины мы считаемъ излишнимъ, потому что твердо убѣждены, что ея духовная природа имѣетъ тѣ-же потребности, какъ и природа мужчины, что женщина, какъ и мужчина, имѣетъ право сказать: «Я—человѣкъ, и ничто человѣческое не считаю для себя чуждымъ».

Возникаетъ вопросъ: съ какихъ лѣтъ должно начинать эстетическое образованіе? Отвѣтъ на это ясенъ: для однихъ раньше, для другихъ позднѣе, но вообще чѣмъ раньше, тѣмъ лучше. Пока еще нельзя дѣйствовать положительными средствами, пока нельзя развивать вкуса, потому что дремлютъ умственныя способности и не окрѣпли физическія силы, до тѣхъ поръ нужно дѣйствовать отрицательно, охраняя ребенка отъ всего того, что можетъ непріятно поразить его и произвести болѣзненное, хотя и смутное, неясное впечатлѣніе. Статья г. М—а содержитъ въ себѣ множество прекрасныхъ и вполне примѣнимыхъ наставленій насчетъ того,



какъ управлять первоначальнымъ эстетическимъ образованіемъ ребенка. Для исполненія его совѣтовъ не нужно ни хлопотъ, ни большихъ издержекъ: нужна только добрая воля, а главное—убѣжденіе въ необходимости эстетическаго образованія и сознаніе того, что образованіе это начинается съ первыхъ впечатлѣній ребенка, а не съ того времени, когда ему читаютъ съ кафедръ теорію изящнаго. Авторъ статьи совѣтуетъ обращать вниманіе на обстановку, которая окружаетъ ребенка въ первые дни и годы его жизни. Совѣтъ этотъ основателенъ, хотя съ перваго взгляда можетъ показаться, что внѣшняя обстановка не имѣетъ важнаго значенія въ дѣлѣ воспитанія. Надо вспомнить, что ребенокъ сначала способенъ воспринимать одни внѣшнія впечатлѣнія, что на него всего сильнѣе дѣйствуетъ то, что поражаетъ его чувство. Эти впечатлѣнія, воспріятыя сначала случайно, инстинктивно, мало-по-малу получаютъ смыслъ въ глазахъ ребенка. Оставаясь въ его памяти, они начинаютъ дѣйствовать на его понятія, будить въ его душѣ чувства, вызывать къ дѣятельности воображеніе. Для характера ребенка очень важно то, при какихъ условіяхъ совершилось это первое пробужденіе духовной дѣятельности; важны даже обстановка, убранство комнаты, потому что все это производитъ впечатлѣніе на воспріимчивые, еще не окрѣпнувшіе нервы. Впослѣдствіи, въ извѣстномъ возрастѣ, любовь въ чистотѣ и порядку совершенно отдѣляется отъ высшаго эстетическаго чувства, пробуждающаго человека наслаждаться созерцаніемъ красоты или воплощать мысль въ соответствующую ей форму; но въ первые годы жизни опрятность и порядочность составляютъ первые проблески эстетическаго чувства, котораго высшія проявленія еще не доступны дѣтскому пониманію. Поэтому г. М—ъ совѣтуетъ дорожить этими проблесками и смотрѣть на нихъ не только съ практической стороны, не только какъ на качества, доставляющія въ жизни внѣшнія удобства и комфортъ. Говоря о попыткахъ творчества, которыя часто проявляются въ дѣтскихъ играхъ, въ любимыхъ занятіяхъ дѣтей, г. М—ъ обращаетъ на этотъ предметъ вниманіе воспитателей. Чѣмъ самобытнѣе и безыскусственнѣе эти попытки, чѣмъ меньше въ нихъ подражательности и стремленія къ эффекту, тѣмъ болшую цѣну должны онѣ имѣть въ глазахъ воспитателя, который, не стѣсняя свободы ребенка, не обращая его забавы въ работу, долженъ помогать ему и дружескимъ совѣтомъ руководить его опыты. Попытки эти дороги не столько, какъ задатки будущаго таланта, сколько потому, что онѣ показываютъ въ ребенкѣ присутствіе живого природнаго смысла и самороднаго стремленія къ дѣятельности. Совершенную противоположность съ этими здоровыми про-

явленіями творчества, выражающагося часто въ грубыхъ или причудливыхъ, но естественныхъ формахъ, составляютъ такъ называемые таланты, привитые къ дѣтямъ искусственнымъ воспитаніемъ, суровою дисциплиною, безъ которой рѣдко обходится раннее обученіе какому-нибудь искусству. Эти преждевременные таланты чаще всего проявляются въ дѣтяхъ художниковъ и, къ сожалѣнію, составляютъ рѣдко предметъ спекуляціи со стороны родителей. Въ такомъ талантѣ обыкновенно нѣтъ ничего самобытнаго; все его достоинство состоитъ во внѣшней эффектности. Ребенокъ безсознательно усваиваетъ себѣ механизмъ искусства, не понимая его идеи, не имѣя въ себѣ искры художественнаго чувства. Подобное развитіе представляетъ печальное, болѣзненное уклоненіе отъ той цѣли, къ которой должно вести истинное эстетическое образованіе. Къ числу такихъ-же неестественныхъ, привитыхъ къ дѣтскому возрасту проявленій эстетическаго чувства г. М—ъ относитъ совершенно справедливо дѣтскіе балы и театры, стѣсняющіе свободное развитіе личностей и побуждающіе дѣтей перенимать всѣ приемы взрослыхъ. Опредѣливъ, въ чемъ должно состоять вообще развитіе любви къ изящному въ дѣтяхъ перваго возраста, авторъ переходитъ къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ отраслей искусства. Онъ объясняетъ ихъ образовательную силу и показываетъ средства, которыми можно ввести предметы искусствъ въ кругъ ежедневныхъ впечатлѣній ребенка. Эти предметы, назначенные для того, чтобы пробуждать эстетическое чувство въ высшемъ смыслѣ этого слова, должны быть приноровлены къ дѣтскому возрасту. Красоты тѣхъ произведеній, которыми мы окружаемъ дѣтей, должны быть красоты простыя, понятныя, близкія дѣтскому сердцу. Картины должны изображать такіе эпизоды, въ которыхъ проявлялось-бы чувство, доступное дѣтямъ, способное возбудить въ нихъ сочувствіе,—музыкальная мелодія должна отличаться простотою; въ противномъ случаѣ, искусство останется для дѣтей чуждымъ элементомъ и не получитъ образовательнаго вліянія. Нужно прежде всего не учить искусству, а пробудить въ ребенкѣ способность наслаждаться изящнымъ. Наслажденіе это будетъ сначала инстинктивное, безотчетное; но лишь-бы это было дѣйствительное, непритворное, хотя и несознанное наслажденіе: оно облагородитъ и принесетъ свою пользу. У насъ въ общежитіи держатся обратнаго пути: о вліяніи искусства на нравственность, на чувства не заботятся. Искусство сведено на степень механической ловкости, и на развитіе этой ловкости обращено все вниманіе родителей и воспитателей. Ребенка, не обнаружившаго еще никакихъ музыкальных наклонностей, неспособнаго съ удовольствіемъ выслушать самую простую и не натянутую ме-



лодію, сажаютъ прямо на фортепіано и заваливаютъ гаммами и экзерсисами. Мудрено-ли, что, при подобныхъ условіяхъ, гибнетъ эстетическое чувство ребенка, забитаго рутинною, запуганнаго сухими безжизненными формами, въ которыхъ впервые передъ его глазами является искусство. Немудрено и то, что наше общество, которое всего болѣе дорожитъ внѣшностью, не заботясь о внутреннемъ содержаніи, немудрено, что это общество обращаетъ такъ мало вниманія на истинное эстетическое образованіе. При этомъ образованіи внѣшній блескъ есть явленіе случайное, на которое нельзя рассчитывать; а обществу нуженъ блескъ, во что бы то ни стало, и вотъ въ наше воспитаніе введено, подъ именемъ искусства, бездушное изученіе разныхъ механическихъ приѣмовъ, въ которыхъ нѣтъ ни мысли, ни чувства. Такъ изучаютъ музыку, живопись, танцы. При такомъ порядкѣ вещей воспитанники и воспитанницы не могутъ испытывать на себѣ благотворнаго вліянія искусства, при такомъ порядкѣ вещей можно смѣло сказать, что у насъ еще нѣтъ эстетическаго образованія или что оно составляетъ удѣлъ немногихъ избранныхъ людей, поставленныхъ судьбою въ особое счастливое положеніе. Статья г. М—а можетъ напомнить педагогамъ, какую важную часть воспитанія они упускаютъ изъ вида.

**Быть и казаться. Н. И. Широкова. (№ 5).  
Внѣшность въ жизни и воспитаніи. Наталіи Гр. (№№ 4 и 5).**

Говоря о статьѣ Х—вой: «Письма къ русскимъ женщинамъ», мы видѣли, что главный недостатокъ, который авторъ замѣчаетъ въ нашихъ женщинахъ, состоитъ въ ихъ двойственности, въ стремленіи къ блестящей внѣшности, въ желаніи прикрыть приличною и изящною обстановкою бѣдность и пустоту какъ духовнаго міра, такъ и физическаго, домашняго быта. Эта двойственность не есть явленіе случайное: напротивъ, это результатъ неправильнаго развитія общества; она проникла во всѣ условія его существованія и породила множество пустыхъ иногда вредныхъ формальностей въ отношеніяхъ между людьми. Эти формальности сдѣлались необходимы; онѣ освящены временемъ и получили силу закона. За нихъ держатся многіе, какъ за святыню, и держатся не безъ причины: отнимите у нихъ эти формальности, и они ужаснутся, имъ сдѣлается страшно. Вы отнимете у нихъ все, что составляло содержаніе ихъ жизни, все, что давало пищу ихъ мыслительной способности, и имъ поневолѣ придется познакомиться съ пустотою собственной души; а пустота всегда возбуждаетъ ужасъ. Этотъ-то ужасъ и заставляетъ людей, считающихъ себя неспособными къ серьезному дѣлу, создавать себѣ свой

міръ, въ которомъ есть и трудъ, и борьба, и развлеченія, но въ которомъ все это не требуетъ ни напряженія мысли, ни внутренняго подготовленія, въ которомъ и труды, и непріятности облечены въ самую заманчивую и привлекательную форму. Къ этому-то особенному міру внѣшности, къ этому міру, живущему по своимъ искусственнымъ законамъ, готовятъ и молодое поколѣніе, особенно съ того возраста, когда въ немъ пробуждается умственная самостоятельность, когда мысли его, развиваясь по естественнымъ законамъ природы, начинаютъ принимать направленіе, несходное съ установившимися условіями. Вліяніе внѣшности на воспитаніе женщины составляетъ явленіе признанное,—явленіе, о которомъ высказано нѣсколько правдивыхъ мыслей въ статьѣ г-жи Х—вой. Мы уже знаемъ, какъ дѣйствуютъ на дѣвушку безпрестанные выѣзды, практическіе уроки старшихъ дѣвицъ и женщинъ, приѣмъ гостей у себя дома, старанія нравиться и держать себя въ обществѣ, какъ слѣдуетъ,—словомъ, вся обстановка свѣтской жизни, въ которую часто вступаютъ дѣвушки, едва переставшія быть дѣтьми. Но какъ ни рано вступаютъ онѣ въ свѣтъ, а вліяніе этого свѣта должно проявиться еще гораздо раньше. Чтобы вывести дѣвушку на балъ, нужно ее приготовить, и вотъ приготовленіе это начинается чуть ли не съ самой колыбели. Что вліяніе свѣта на первоначальное и нравственное воспитаніе ребенка дѣйствительно существуетъ, это неопровержимый фактъ, это доказывается тѣмъ различіемъ, которое существуетъ между городскимъ и деревенскимъ воспитаніемъ, между воспитаніемъ средняго и высшаго классовъ. Въ чемъ же состоитъ это вліяніе? Статья г-жи Гр. представляетъ замѣчательную попытку отвѣчать на этотъ любопытный вопросъ. Статья эта: «Внѣшность въ жизни и воспитаніи» не посвящена исключительно женскому воспитанію, но затронутый въ ней вопросъ такъ важенъ, онъ имѣетъ такое всеобъемлющее значеніе, отъ его правильнаго разрѣшенія такъ много зависитъ успѣшное развитіе женщины, что мы считаемъ себя въ правѣ говорить объ этой статьѣ на страницахъ нашего журнала. Г-жа Гр. разсматриваетъ въ своей статьѣ первый возрастъ, въ которомъ воспитаніе еще не различаетъ половъ,—тотъ возрастъ, когда еще не начиналось правильное ученіе, когда вмѣсто уроковъ преподавателя мы видимъ первыя изустныя наставленія матери или няньки. Возрастъ этотъ очень важенъ, болѣе, нежели могло бы показаться съ перваго взгляда. Въ этомъ возрастѣ ребенокъ жадно воспринимаетъ впечатлѣнія окружающаго міра, перерабатываетъ ихъ по-своему въ своей маленькой головкѣ и изъ отдѣльных, мелкихъ фактовъ своей ежедневной жизни, изъ подмѣченныхъ имъ отрывочныхъ словъ и поступковъ собираетъ себѣ ма-



теріалы для будущаго характера. Въ этомъ возрастѣ ребенокъ живетъ своей жизнью; у него своя логика, свой міръ, полный грезъ и дѣтскихъ фантазій,—міръ, къ которому трудно примѣниться взрослому, въ который можно проникнуть только при довѣріи малютки, о которомъ можно составить себѣ понятіе только долгимъ, тщательнымъ наблюденіемъ. Въмѣсто того, чтобы изучать этотъ дѣтскій міръ, существованіе котораго прекрасно представилъ Н. И. Пироговъ въ своей статьѣ «Быть и казаться», воспитатели въ старину насильно врываются въ этотъ міръ «съ жезломъ въ рукѣ», то-есть, преждевременными наказаніями возмущали гармонію дѣтской души, а въ наше время они вносятъ въ дѣтскія понятія много такого что не имѣетъ ничего общаго съ природою и составляетъ исключительную принадлежность общества. Г-жа Гр. беретъ примѣры прямо изъ жизни; она перечисляетъ множество привычекъ, которыя насильно навязываютъ дѣтямъ, множество правилъ общежитія, съ которыми ихъ заставляютъ сообразоваться, которыхъ они не могутъ обсудить и подвергнуть критикѣ и которыя, при неправильномъ или неполномъ пониманіи, могутъ внушить имъ превратный или безразличный взглядъ на вещи. Вотъ для примѣра выписка изъ статьи г-жи Гр.:

«Ему столько твердятъ о необходимости расшаркиваться, посылать ручкой поцѣлуй и даже иногда говорить заученные комплименты — все это часто съ помощью сластей и подобныхъ наградъ — что, наконецъ, побѣдивъ его природную застенчивость, достигаютъ своей цѣли. Но что-же сообщаютъ ему въ этомъ чисто внѣшнемъ обычаѣ? Одну пустую, холодную форму учтивости, которая для взрослыхъ имѣетъ смыслъ и значеніе, но совершенно чужда понятіямъ дитяти, потому что безъ разбора прилагается ко всякому являющемуся въ гостиной: она не выражаетъ ни влеченія его сердца къ одному лицу болѣе, нежели къ другому, ни привязанности къ тѣмъ близкимъ, которыхъ онъ привыкъ часто видѣть въ домѣ родителей,—однимъ словомъ, ни одного изъ тѣхъ откровенныхъ порывовъ чувства, которые составляютъ главную прелесть дѣтскаго возраста. И неужели эти свѣтскія формы, которыя позже обращаются въ принужденность и жеманство, могутъ имѣть въ глазахъ матери болѣе прелести, нежели простота и истина въ каждомъ движеніи, словѣ и дѣйствіи? Вѣдь эта истина во всемъ существѣ человѣка остается ему на всю жизнь не въ одной только внѣшней формѣ, но и проникаетъ всѣ изгибы его сердца. Кромѣ этого ранняго искаженія дѣтской наивности, ребенокъ, при такомъ вниманіи къ наружнымъ формамъ, научается преждевременно различать отъѣнки положенія и свѣтскихъ отношеній, которыя какъ можно долѣе должны оставаться ему неизвѣстны. Онъ рано видитъ, что реверансы и комплименты требуются отъ него только въ гостиной; но никто не заставитъ его поклониться какому-нибудь не почетному гостю, котораго принимаютъ въ залѣ или передней, мастеровому или бѣдной старушкѣ, которые приходятъ къ родителямъ его съ задняго крыльца. Какъ грустно видѣть, что такимъ образомъ уничтожаются въ самомъ зародышѣ истинно-человѣчскія его чувства: неподдѣльная сердечность, искренность и невинное понятіе о братствѣ

людей, эти чистые источники любви, которые выше всѣхъ добродѣтелей христіанскихъ! И чѣмъ замѣняютъ ихъ? внѣшними безжизненными формами, которыя покрываютъ сердце человѣка какою-то ледяною корою, и всего чаще изъ-подъ этой наружной утонченной любезности проглядываютъ надменность, холодность и нечувствительность».

Въ этихъ первыхъ проявленіяхъ пробуждающагося въ ребенкѣ сознанія, въ первыхъ движеніяхъ мысли, обсуживающей совѣты и наставленія взрослыхъ, въ первыхъ умозаключеніяхъ, которыя выведетъ изъ своего размышленія ребенокъ, можно видѣть зачатки, зародыши будущихъ свойствъ его души. Ребенка приучаютъ къ салонной вѣжливости, его заставляютъ улыбаться знатному гостю, и въ то-же время онъ видитъ, что не обращаютъ вниманія на другаго: онъ видитъ это и (дѣти догадливы и часто наблюдательны) думаетъ по-своему, и Богъ знаетъ, къ какому результату ведетъ его процессъ его ребяческаго мышленія, незрѣлага, часто неполнослѣдовательнаго, но имѣющаго въ его глазахъ полную цѣну. Изъ мысли, заронившейся въ подобную минуту и незамѣченной взрослыми, могутъ возникнуть современемъ, сообразно съ общественнымъ положеніемъ ребенка, гордость, аристократическая исключительность или стремленіе къ внѣшнимъ отличіямъ, честолюбіе или-же рабское подобострастіе и желаніе угождать сильнымъ. Такимъ образомъ стараніе родителей приучить дѣтей къ внѣшнимъ приемамъ вѣжливости можетъ повести къ подавленію естественныхъ, вложенныхъ въ душу человѣка благородныхъ побужденій. То-же преобладаніе внѣшности проходитъ чрезъ всѣ отрасли нашего воспитанія; оно представлено въ статьѣ г-жи Гр. въ приложеніи къ религіозному образованію и къ умственному развитію. Въ первомъ случаѣ ребенка заставляютъ учить наизусть длинныя молитвы, которыхъ онъ не понимаетъ и которыми слѣдовательно не можетъ сочувствовать; во второмъ случаѣ его механически обучаютъ языкамъ, и главную роль въ этомъ обученіи занимаетъ заучиваніе наизусть басенъ и стиховъ, которые потомъ репетируются въ салонѣ, въ присутствіи родителей и гостей. Въ первомъ случаѣ подавляется свободное развитіе религіознаго чувства; является безсознательная, тупая или лицемѣрная, притворная приверженность къ внѣшности, къ обрядамъ. Во второмъ случаѣ врожденная любознательность забывается или получаетъ превратное направленіе; ребенокъ привыкаетъ рисовать, выставлять свои свѣдѣнія, предпочитать похвалу и лесть собственному, внутреннему сознанію своего достоинства,—сознанію, которое можетъ и должно быть внушаемо ребенку съ самаго ранняго возраста. Ежели представить себѣ развитіе всѣхъ названныхъ нами качествъ въ дѣвушкѣ, пережившей уже первые годы дѣтства, то легко будетъ объяснить себѣ причины мелочной расчетливости, расчитанной и безцѣль-



ной кокетливости, пустой формальности въ дѣлѣ религіи,—формальности, не оживленной мыслью, не согрѣтой истиннымъ, нравственнымъ чувствомъ. Ежели вспомнить, что всѣ эти свойства часто проявляются въ нашихъ женщинахъ, ежели привести ихъ въ прямое соотношеніе съ направленіемъ, которое даютъ дѣтямъ перваго возраста, то не трудно будетъ представить себѣ, какую важную роль играетъ въ судьбѣ нашей женщины развитіе внѣшности въ жизни и воспитаніи. Г-жа Гр. правильно и послѣдовательно опредѣляетъ недостатки такого направленія. Она указываетъ въ то-же время на направленіе противоположное, при которомъ силы ребенка, не стѣсненные неумѣстнымъ, грубымъ внимательствомъ взрослыхъ, развиваются естественно и правильно, при которомъ роль воспитателя ограничивается тѣмъ, что онъ предохраняетъ ребенка отъ уклоненій и ошибокъ, даетъ матеріалъ его мысли и постепеннымъ упражненіемъ укрѣпляетъ его физическія и духовныя силы. При такой системѣ воспитанія, г-жа Гр. совѣтуетъ воспитателю входить въ міръ дѣтскихъ интересовъ, изучать законы, по которымъ дѣйствуетъ мысль воспитанника, и дѣйствовать на него, сообразуясь съ этими законами. Стараясь примѣнить первоначальное воспитаніе къ дѣтскимъ понятіямъ, г-жа Гр. иногда впадаетъ въ крайность. Такъ наприимѣръ, она отстаетъ волшебные рассказы, которыми занимаютъ дѣтей въ первомъ возрастѣ, и требуетъ только, чтобы рассказы эти были художественны и граціозны. На это можно возразить, что дѣтямъ трудно одѣлать художественное достоинство рассказа, что все вниманіе ихъ будетъ устремлено на фантастическое сплетеніе событій; ихъ поразитъ всего болѣе противорѣчіе между этими событіями и законами дѣйствительности. Ежели мы даже допустимъ, что волшебные рассказы не поведутъ къ несоразмѣрному развитію воображенія, не породятъ вредныхъ и нелѣпыхъ предразсудковъ, то все таки они останутся бесполезнымъ бременемъ въ памяти и не дадутъ здоровой пищи мыслительнымъ силамъ ребенка. Есть много знаній изъ области естествознанія и исторіи, которыя могутъ быть сообщены ребенку въ самомъ нѣжномъ возрастѣ и которыя подѣйствуютъ на него такъ-же обаятельно, какъ дѣйствуетъ волшебная сказка. Есть, наконецъ, рассказы, въ которыхъ ребенокъ можетъ нечувствительно ознакомиться съ окружающимъ его міромъ, можетъ мало по малу расширить сферу своихъ понятій. Такіе рассказы, ежели въ нихъ есть эстетическія достоинства, могутъ нечувствительно приготовить вкусъ къ тѣмъ литературнымъ произведеніямъ, интересъ которыхъ основанъ не на событіяхъ, а на развитіи мысли, на созданіи характеровъ, на изображеніи людей и жизни.

Статья Пирогова «Быть и казаться», перепечатанная въ «Журналѣ для Воспита-

нія», въ отдѣлѣ «Педагогическій Сборникъ», изъ «Одесскаго Вѣстника», разбираетъ тотъ-же вопросъ о значеніи внѣшности, примѣненный въ частному случаю. Пироговъ спрашиваетъ себя, какое вліяніе можетъ имѣть на нравственность дѣтей выходъ ихъ передъ публикою на сцену въ роли, заранее приготовленной и изученной. Вопросъ этотъ вызванъ былъ спектаклемъ, происходившимъ въ одной изъ одесскихъ гимназій. Разрѣшеніе этого вопроса повело за собою въ статьѣ Пирогова рядъ прекрасныхъ мыслей о своеобразныхъ свойствахъ дѣтской души, о внутреннемъ мірѣ дѣтей, въ который взрослые насиліемъ или хитростью, съ умысломъ или неумышленно, вносятъ преждевременно свои не всегда вѣрныя понятія, не всегда честныя побужденія, не всегда естественныя и законныя стремленія. Отъ этого смѣшенія разнородныхъ элементовъ въ душѣ ребенка рано проявляется двойственность, рано обнаруживается потребность замѣнить или, вѣрнѣе, заслонить истинныя чувства поддѣльными, естественныя мысли привитыми, голосъ совѣсти—пониманіемъ приличій. Дѣтскіе театры, по словамъ Пирогова, содѣйствуютъ такому превращенію; свѣтскія удовольствія не имѣютъ ничего общаго съ дѣтскими играми, не составляютъ потребности возраста: они принесены извнѣ, привиты взрослыми и уже по одному этому составляютъ въ дѣтской жизни явленіе ненормальное,—явленіе, которое можно было-бы допустить только тогда, когда-бы оно приносило существенную пользу. Но пользы эти развлеченія не приносятъ; напротивъ, они только готовятъ дѣтей къ будущей свѣтской жизни, пріучая ихъ къ пустой болтовнѣ, къ бездѣйствію, къ мелочному тщеславію. Слѣдовательно, развлеченія эти вредны. Можно было-бы возразить на это, что изученіе роли заставляетъ всматриваться въ положенія дѣйствующаго лица, вдумываться въ его характеръ, что оно такимъ образомъ развиваетъ мыслительную способность, пробуждаетъ эстетическое чувство и знакомитъ съ дѣйствительной жизнью. Все это справедливо въ теоріи, но непримѣнимо къ силамъ дѣтскаго возраста. Ребенокъ видитъ въ театрѣ развлеченіе; онъ не обращаетъ вниманія ни на нравственную сторону сценическаго представленія, ни на художественное достоинство пьесы. Онъ способенъ чувствовать изящное тогда, когда оно поражаетъ, охватываетъ его со всѣхъ сторонъ; ему сдѣлается хорошо и легко на душѣ при видѣ прекрасной мѣстности, цвѣтущей природы. Но отыскивать изящное, вдумываясь въ предметъ, онъ еще не въ состояніи: для этого нужно слишкомъ много критики. Въ литературныхъ произведеніяхъ дѣтямъ всего болѣе нравится обыкновенно то, что выходитъ изъ уровня дѣйствительности,—то, что человѣку съ развитымъ вкусомъ покажется уродливымъ и неестественнымъ. Преобладающая сила вообра-



женія и неспособность вдумываться въ предметъ помѣшаютъ дѣтямъ оцѣнить красоты драматическаго произведенія, ежели даже допустить, что они станутъ искать въ своемъ спектаклѣ чего-нибудь, кромѣ костюмовъ, декораций и необычной, хлопотливой дѣятельности. Сверхъ того, пьесы, предназначенныя для дѣтскихъ спектаклей, пишутся обыкновенно кое-какъ, безъ психологическаго изученія, безъ вѣрнаго воспроизведенія жизни; авторъ влагаетъ въ свое произведеніе нравственную мысль, пересыпаетъ рѣчи дѣйствующихъ лицъ сентенціями; въ концѣ порока наказывается, добродѣтель торжествуетъ, и занавѣсъ опускается. Все это заставляетъ насъ вполне согласиться съ мнѣніемъ Пирогова о дѣтскихъ спектакляхъ, которые стоятъ совершенно на ряду со всѣми свѣтскими развлеченіями, примѣняемыми къ дѣтскому возрасту. Элемента изящнаго въ дѣтскихъ спектакляхъ искать нельзя. Обсуживая свой частный вопросъ. Пироговъ не говоритъ о всѣхъ проявленіяхъ внѣшности въ воспитаніи: онъ только прекрасно опредѣляетъ нравственное значеніе двойственности и выводитъ происхожденіе этой двойственности изъ разлада между приемами воспитанія и естественными свойствами дѣтской души,—между дѣтскою природою и тѣмъ элементомъ, который насильственно прививается извнѣ.

### Значеніе матери въ юношескомъ воспитаніи.

*Наталіи Г—тѣ. (№ 3).*

Участіе матери въ воспитаніи сына или дочери не только важно, но даже необходимо: отъ вліянія матери во многихъ отношеніяхъ зависитъ будущій характеръ ребенка, въ ея рукахъ находится возможность дать его пробуждающимъ мыслямъ то или другое направленіе. Отвѣтственность матери велика, обязанности ея священны. Для достойнаго выполненія подобныхъ обязанностей, кромѣ истиннаго материнскаго чувства, къ которому способна каждая женщина, необходимо еще предварительное теоретическое приготовленіе, необходимо умственное развитіе, которое внушило-бы матери-воспитательницѣ правильный взглядъ на ея задачу, которое предохранило-бы ее въ дѣлѣ воспитанія отъ увлеченій и ошибокъ. Въ воспитаніи своихъ дѣтей мать должна дѣйствовать съ полнымъ безкорыстіемъ, не стараясь пріобрѣсти надъ ними исключительнаго вліянія, которое могло-бы подавить ихъ самостоятельность или дать ихъ душевнымъ способностямъ одностороннее направленіе. Вліянію этому дѣти могутъ подчиниться тѣмъ болѣе, что оно не тяготитъ ихъ, что оно проникнуто искреннею любовью и не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ грубымъ деспотизмомъ, который всегда, рано или поздно, вызываетъ противодействие со стороны угнетенныхъ. Здѣсь воспитанники не видятъ ни наказаній, ни строгихъ

выговоровъ; имъ хорошо, они любятъ свою мать всѣми силами дѣтской души и съ удовольствіемъ привыкаютъ не думать о своихъ потребностяхъ и даже удовольствіяхъ, не обсуживать своихъ поступковъ, смотрѣть на все глазами матери и, не формируя себѣ ни собственнаго мышленія, ни собственной воли, повинуются по силѣ инерціи. Есть возрастъ, когда такое повиновеніе необходимо; но должно желать, чтобы возрастъ этотъ кончился какъ можно раньше, чтобы воспитаннику было время упражнять мыслительныя способности и волю прежде, нежели онъ выйдетъ изъ родительскаго дома и вступитъ въ дѣйствительную жизнь. Но ребенокъ не можетъ такимъ образомъ соображать и разсчитывать, онъ не можетъ знать, что ему понадобится самостоятельность, и потому не можетъ самъ постепенно освобождать себя изъ-подъ вліянія матери. Здѣсь должна дѣйствовать сама мать; она сама должна приучать ребенка обдумывать и взвѣшивать ея приказанія, которыя мало по малу должны измѣнять свой характеръ и переходить въ совѣты и наставленія; она сама должна развивать въ немъ практическую способность ума и предостерегать его отъ слѣпота подчиненія авторитету. Задача трудная! За нее должно браться осторожно, должно вести дѣло впередъ нечувствительно для самого воспитанника, который не былъ-бы въ состояніи понять истинной побудительной причины въ дѣйствіяхъ матери. Для выполненія этой задачи необходимо теоретическое размышленіе надъ цѣлями и средствами педагогической дѣятельности. Матери необходимо заранѣе опредѣлить себѣ свою роль, свое значеніе въ дѣлѣ воспитанія. Это вопросъ очень важный, и теоретическое рѣшеніе его должно составить одну изъ задачъ нашей педагогической литературы. Рѣшеніе этого вопроса можетъ имѣть благотворное вліяніе на воспитаніе женщины. Объяснивъ себѣ, въ чемъ состоитъ задача матери, мы узнаемъ, чѣмъ должна быть женщина, и тогда нетрудно будетъ соразмѣрить приемы воспитанія съ той конечной цѣлью, которая должна быть имъ достигнута. Статья г-жи Г—тѣ по своему заглавію даетъ намъ право ожидать удовлетворительнаго отвѣта. Значеніе матери въ юношескомъ воспитаніи—это и нужно опредѣлить. Вліяніе матери на физическое воспитаніе дѣтей очевидно и понятно. Вліяніе ихъ на умственное образованіе дѣтей перваго возраста не представляетъ значительнаго интереса, потому что въ этомъ возрастѣ едва пробуждается самостоятельность воспитанника; зато вліяніе матери на юношеское воспитаніе составляетъ важный и сложный вопросъ. Здѣсь уже нужно опредѣлить отношеніе между этимъ вліяніемъ и формирующимся характеромъ личности; здѣсь еще нужно вліяніе матери, чтобы сдерживать



и умѣрять слишкомъ сильныя проявленія юношескаго права. Но вліяніе это должно быть въ извѣстныхъ границахъ, чтобы не стѣснять свободнаго развитія личности; въ опредѣленіи этихъ границъ и заключается весь вопросъ. Посмотримъ, насколько отвѣчаетъ на него статья г-жи Г—ть. Статья эта состоитъ изъ трехъ частей. Въ первой части, вродѣ вступленія, г-жа Г—ть доказываетъ только, что вліяніе матери благотворно, «что для женщины недостаточно посвящать себя» хозяйству, кухнѣ или рукодѣлю, что она должна быть матерью и что, желая быть матерью, нужно приготовить себя къ этому прочнымъ умственнымъ образованіемъ. Все это вѣрно, но не ново. Доказывая эти признанныя истины, г-жа Г—ть тратитъ понапрасну много труда; она оспариваетъ мнѣнія, нестоющія опроверженія,—мнѣнія, которыхъ, вѣроятно, въ наше время никто не рѣшился бы высказать громко или печатно. Такъ, напримѣръ, она говоритъ: «непростительно думать, что женщинѣ вовсе не нужно образованія и познаній»; «полагать, что все, чему ее учили въ дѣтствѣ и юности, имѣло только одну суетную цѣль, есть опасное заблужденіе» и т. п. Но кто-же теперь такъ думаетъ или полагаетъ? Говоря о важности вліянія матери, г-жа Г—ть не выходитъ изъ общихъ мѣстъ, иногда впадаетъ въ преувеличеніе, употребляетъ, вмѣсто доказательствъ, сравненія и риторическія фигуры и вообще не обсуживаетъ своего вопроса хладнокровно, не разсматриваетъ его со всѣхъ сторонъ, а старается подѣйствовать на чувство и воображеніе читателя. «Кто, кромѣ просвѣщенной матери, — говоритъ она, — можетъ образовывать человека въ лучшемъ его значеніи?» На этотъ вопросъ, на который г-жа Г—ть, повидимому, не ожидаетъ отвѣта, можно отвѣчать: обстоятельства жизни, горькая школа лишеній и несчастій. Большая часть великихъ характеровъ образуется въ борьбѣ, и борьба эта часто начинается съ малолѣтства. Ребенокъ, лишенный покровительства родителей, сирота, сосредоточиваетъ въ себѣ свои душевныя силы, не даетъ воли чувству, вдумывается въ поступки окружающихъ его людей, привыкаетъ къ лишеніямъ и съ малолѣтства забираетъ силы для будущей борьбы съ обстоятельствами. Суровое воспитаніе, нерадостно проведенное дѣтство часто могутъ имѣть болѣе благотворное вліяніе на развитіе характера, нежели любящая заботливость матери. Считать вслѣдствіе этого подобное воспитаніе нормальнымъ было бы странно, потому что оно можетъ преждевременно озлобить юношу, внушить ему неосновательную ненависть къ жизни и къ людямъ; мы сдѣлали наше замѣчаніе для того только, чтобы показать, что сужденіе г-жи Г—ть высказано бездоказательно, и что она не дала себѣ

труда ближе и точнѣе опредѣлить заслугу матери въ дѣлѣ воспитанія. Вмѣсто того г-жа Г—ть сравниваетъ вліяніе матери съ значеніемъ «дождя для брошеннаго въ землю сѣмени», или «солнечнаго луча для раскрывающагося цвѣтка». Должно сознаться, что подобныя фигуры мало разъясняютъ дѣло. За этой первой частью, которая, даже какъ общее вступленіе, недостаточна, по бѣдности и общезвѣстности высказанныхъ въ ней идей, слѣдуютъ двѣ главы объ умственномъ образованіи. Въ одной изъ этихъ главъ говорится объ ученіи, въ другой—о выборѣ наставниковъ. Обѣ главы эти заключаютъ въ себѣ нѣсколько совѣтовъ, которые могутъ быть полезны для матерей; но ни та, ни другая не опредѣляютъ значенія матери въ юношескомъ воспитаніи. Въ первой доказывається, что ученіе должно быть серьезно, дѣльно, не должно состоять изъ однихъ забавъ, съ которыхъ обыкновенно начинается преподаваніе для дѣтей перваго возраста. Это—мысль вполне вѣрная; г-жа Г—ть справедливо упрекаетъ составителей такъ называемыхъ популярныхъ руководствъ въ томъ, что они для занимательности жертвуютъ достоинствомъ науки, серьезно ея идеею, что, напримѣръ, вмѣсто курса исторіи они предлагаютъ собраніе анекдотовъ, плохо связанныхъ между собою. Наша литература бѣдна учебниками, и потому въ ней нѣтъ подобныхъ явленій; зато литературы иностранная, особенно французская, изобилуютъ такого рода книгами (напримѣръ, учебники Ламе-Флери.) Г-жа Г—ть подмѣчаетъ здѣсь одинъ изъ главныхъ недостатковъ исключительнаго вліянія матери: жалѣя своихъ дѣтей, не желая напрягать ихъ умственныя способности, мать можетъ излишней нѣжностью ослабить ихъ энергію, отучить ихъ отъ всякаго серьезнаго труда. Это замѣчаніе вполне справедливо. Домашнее преподаваніе очень часто страдаетъ указанными недостатками, которые ведутъ за собою дилетантизмъ въ наукѣ и поверхностность во взглядѣ на жизнь и на всякую дѣятельность. Слѣдующая глава не имѣетъ связи съ предыдущимъ и разсматриваетъ частный вопросъ—«о выборѣ наставника». Г-жа Г—ть совѣтуетъ искать въ преподавателѣ не внѣшней эффектности, «не свѣтскаго остроумія и умѣнья нравиться», а внутреннихъ достоинствъ и прочныхъ познаній; она говоритъ, что не должно при оцѣнкѣ личности поддаваться первому впечатлѣнію, требуетъ, чтобы уважали людей, посвятившихъ себя наукѣ и педагогическимъ трудамъ, и вообще, какъ и въ первой части своей статьи, ограничивается тѣмъ, что высказываетъ довольно гладкими фразами общезвѣстныя мысли, не имѣющія ничего общаго съ главнымъ предметомъ статьи. Вопросъ о вліяніи матери на воспитаніе юноши остается едва затронутымъ и совершенно нерѣшеннымъ.



**Деспотизмъ материнской любви. С. Н.**  
(№№ 3 и 4.)

Повѣсть г-на С. Н. заслуживаетъ вниманія нашихъ читателей, по вѣрности и оригинальности проведенной въ ней идеи. Авторъ этой повѣсти доказываетъ, что исключительное вліяніе матери на воспитаніе дѣтей можетъ имѣть свои печальныя послѣдствія, что самая материнская любовь, чувство высокое и святое, можетъ впадать въ крайность и тяготѣть надъ самостоятельностью сына или дочери. Это—мысль смѣлая. Авторъ можетъ навлечь на себя упрекъ въ томъ, что онъ не понялъ или искажилъ материнское чувство; но упрекъ этотъ былъ бы несправедливъ: какъ бы мы ни уважали какое-либо чувство, какъ бы ни было оно чисто и прекрасно, мы никогда не должны читать ему панегирикъ; напротивъ, не теряя ни на минуту критической способности, мы должны подвергнуть это чувство анализу, и тогда, отдѣливъ его случайныя несовершенства и уклоненія отъ разумности, мы будемъ въ состояніи сознательно уважать его прекрасныя стороны, а сознательное уваженіе всегда прочнѣе увлеченія. На этомъ основаніи мы не думаемъ, чтобы чтеніе повѣсти: «Деспотизмъ материнской любви» могло имѣть для нашихъ читателей какія-нибудь вредныя послѣдствія: оно не потрясетъ авторитета доброй матери, а, напротивъ, заставитъ вдуматься въ ея чувство и попытается оцѣнить его безкорыстно. Авторъ повѣсти представилъ деспотизмъ материнской любви; но и въ этомъ деспотизмѣ нѣтъ ничего неблагороднаго, къ нему не примѣшиваются никакіе личные виды: этотъ деспотизмъ происходитъ изъ избытка чистой любви и доказываетъ только, что въ дѣлѣ воспитанія для матери мало одной привязанности къ дѣтямъ и что рядомъ съ этой привязанностью должно быть умственное развитіе и знаніе тѣхъ законовъ, по которымъ правильно и свободно развиваются способности человеческой души. Нельзя не пожалѣть, что вполне вѣрная мысль автора изложена въ формѣ повѣсти, а не въ теоретическомъ разсужденіи. Въ послѣднемъ случаѣ форма гармонировала-бы съ содержаніемъ, мысль выиграла-бы въ ясности, и не видно было-бы неудачной попытки создать характеры и сочинить событія. Форма повѣсти возбуждаетъ въ насъ требованія, которыхъ не возбудила-бы серьезная статья. Въ послѣдней мы должны обратить все вниманіе на мысль, и мысль оказалась-бы вѣрною; на первую, то-есть на повѣсть, мы должны смотрѣть, какъ на изящное произведеніе, и имѣемъ полное право требовать вѣрности характеровъ, живости дѣйствія, занимательности, художественнаго группированія событій, въ которыхъ была-бы проведена общая мысль, но проведена такъ, чтобы со стороны

автора не было замѣтно усилія, старанія навязать на эту мысль событія. Повѣсть, по нашимъ современнымъ понятіямъ, должна быть не нравоученіемъ въ лицахъ, а живымъ разсказомъ, взятымъ изъ жизни. Авторъ долженъ соблюсти въ своемъ произведеніи условія времени, то-есть воспроизвести ту эпоху, въ которой происходятъ описываемыя имъ событія; съ соблюденіемъ условій времени неразрывно связано соблюденіе мѣстнаго, народнаго колорита. Мы хотимъ видѣть въ дѣйствующихъ лицахъ живыхъ, дѣйствительныхъ людей; а на такихъ людяхъ всегда имѣютъ сильное вліяніе обстоятельства и духъ времени, въ нихъ всегда выражаются черты той національности, къ которой они принадлежатъ. Наконецъ, въ повѣсти должны быть представлены характеры, дѣйствительно существующіе или могущіе существовать, то-есть, авторъ долженъ соблюсти психологическую истину и общечеловѣческую истину. Дѣйствія каждаго изъ лицъ должны опредѣляться его личнымъ характеромъ; авторъ не имѣетъ права вводить случайностей, насильственно набирать событія, чтобы провести свою идею или отгѣнить какую-нибудь черту характера; событія должны въ естественной послѣдовательности вытекать одно изъ другого, не нарушая дѣйствительности, не противорѣча ея законамъ. Для насъ не должна быть замѣтна рука автора, передвигающаго дѣйствующихъ лицъ и распоряжающагося по своему произволу ихъ поступками и рѣчами. Постараемся-же примѣнить высказанныя нами общезвѣстныя мысли къ повѣсти г-на С. Н., которая, повторяемъ, по вѣрности идеи, заслуживаетъ полнаго одобренія. Главными дѣйствующими лицами разсказа являются графиня и ея сынъ, вокругъ личности котораго и группируются событія. Ни въ началѣ разсказа, ни послѣ авторъ не объявляетъ намъ, къ какой націи принадлежали графиня и ея сынъ. Онъ говоритъ, что дѣйствіе повѣсти происходитъ лѣтъ тридцать тому назадъ; но это указаніе на время не имѣетъ никакого вліянія ни на ходъ событій, ни на характеръ личностей. Обстановка, среди которой они живутъ, отношенія ихъ къ сосѣдямъ, къ другимъ сословіямъ не могутъ бросить никакого свѣта на важный и интересный вопросъ о ихъ національности. Эта обстановка, эти отношенія очерчены такъ блѣдно, неопредѣленно и безцвѣтно, что могли-бы имѣть мѣсто почти во всякой національности, почти во всякое время. Упоминается о замкѣ, въ которомъ они жили, о священникѣ и предсѣдателѣ суда, какъ о сосѣдяхъ; но что это за замокъ, на какой степени развитія стоятъ эти сосѣди, этого мы положительнаго не знаемъ. Личность самой графини очерчена только со стороны ея педагогической дѣятельности, но даже и здѣсь можно сдѣлать нѣсколько вопросовъ, которые не найдутъ себѣ удовлетворительнаго отвѣта. Гдѣ воспитывалась,



при какихъ условіяхъ развивалась графиня, этого намъ не говоритъ авторъ; а между прочимъ это чрезвычайно важно: это обстоятельство, быть можетъ, объяснило-бы многія черты ея характера, многія особенности въ томъ вліяніи, которое она имѣла въ послѣдствіи на развитіе своего сына. Мы читаемъ въ повѣсти г-на С. Н., что графиня любила свѣтскую жизнь; но какимъ образомъ въ ней совершился переходъ отъ свѣтской жизни къ любящей матери-воспитательницѣ, этого не объяснено. Психологическій фактъ вѣренъ: женщина, веселившаяся въ продолженіи всей своей молодости, въ зрѣломъ возрастѣ обыкновенно обращается на путь истины, удаляется въ свою внутреннюю семейную жизнь и большей частью, какъ бы желая воротить попусту потраченное время, вдается въ какую-нибудь крайность: ежели она обратится къ религіи, то впадетъ въ безполезное и предосудительное, но часто искреннее ханжество; ежели займется хозяйствомъ, то потеряетъ всякую женственность, превзойдетъ любого приказчика въ мелочной расчётливости и практичности. Подобной крайности не миновала и графиня: она занялась воспитаніемъ сына и посвятила себя этому дѣлу съ фанатическимъ, исключительнымъ увлеченіемъ. Фактъ, повторяемъ, вѣренъ, его можно объяснить себѣ; но этотъ трудъ долженъ былъ принять на себя самъ авторъ. Ему слѣдовало-бы показать намъ какую-нибудь сцену изъ жизни графини.—сцену, въ которой внѣшнія обстоятельства или внутренній процессъ мысли производятъ въ ней измѣненіе къ лучшему. Тогда переворотъ былъ-бы объясненъ и нельзя было-бы упрекнуть автора въ произвольной группировкѣ событій. Воспитаніе молодого графа и жизнь его подъ вліяніемъ матери составляютъ сюжетъ повѣсти. Дѣйствія ребенка съ самаго нѣжнаго возраста стѣснены любящей, но излишней заботливостью матери. Г-нъ С. Н. приводитъ изъ жизни ребенка нѣсколько примѣровъ, нѣсколько очень естественныхъ случаевъ, въ которыхъ проявляется это стѣсняющее вліяніе. И въ этой части повѣсти вредить автору его желаніе, во что бы то ни стало, какъ можно ярче выставить на видъ и провести свою идею. Приведенные имъ случаи рассказаны мелькомъ, не оживлены подробностями, не происходятъ передъ глазами читателя; они рассказаны для нравоученія, и нравоученіе слѣдуетъ за каждымъ подобнымъ эпизодомъ. Сверхъ того, г-нъ С. Н. обнаруживаетъ намъ только одну сторону развитія молодого графа Вольдемара: приводимые имъ случаи подтверждаютъ мысль о деспотизмѣ материнской любви, но не даютъ полной и связной картины развитія молодого человѣка, не опредѣляютъ основныхъ чертъ его характера. Наконецъ, случаи эти лишены той занимательности, которую можно было-бы придать имъ, ежели бы остановиться на живыхъ подробностяхъ внѣшней об-

становки, ежели бы приложить къ нимъ психологическій анализъ,—словомъ, ежели бы сдѣлать изъ нихъ сцены семейной жизни, которыя, какъ нельзя лучше, очертили-бы характеры главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Г-нъ С. Н. ни разу не воспользовался въ рассказѣ этихъ случаевъ діалогической формой, которая придавала-бы имъ колоритъ дѣйствительности, живость и наглядность. Здѣсь, передавая разговоръ между матерью и сыномъ, можно было-бы показать съ одной стороны нѣжную любовь, выражающуюся въ каждомъ словѣ, и рядомъ съ этой любовью незнаніе дѣтскаго сердца, непониманіе истинной цѣли воспитанія; съ другой стороны, можно было представить въ словахъ сына ребяческую наивность съ проблесками ума, съ постепенно пробуждающимся стремленіемъ къ самостоятельности; можно было-бы прослѣдить борьбу, совершавшуюся въ душѣ ребенка между этимъ стремленіемъ и чувствомъ сыновней любви; изъ ряда этихъ сценъ можно было-бы показать, какое направленіе принимаетъ характеръ молодого графа, въ какую сторону развиваются его наклонности. Въ рукахъ г-на С. Н. находился богатый матеріалъ, которымъ онъ рѣшительно не воспользовался. Диалогическая форма является у него совершенно некстати, въ такомъ мѣстѣ, гдѣ всего лучше было-бы замѣнить ее яснымъ и сжатымъ изложеніемъ. Г-нъ С. Н. приводитъ разговоръ между графиней и наставникомъ, приглашеннымъ для воспитанія ея сына; въ этомъ разговорѣ наставникъ высказываетъ свою педагогическую теорію; графиня ее оспариваетъ, но оспариваетъ неудачно и подъ конецъ принуждена согласиться. Авторъ очевидно вложилъ въ уста учителя свои собственные мысли о воспитаніи. Мысли эти вѣрны и были-бы вполне уместны въ серьезной статьѣ; но въ повѣсти не слѣдовало о нихъ много распространяться; не слѣдовало развивать цѣлую теорію: нужно было только обозначить ее въ главныхъ чертахъ и потомъ, по возможности подробно, въ сценахъ между педагогомъ и воспитанникомъ показать, какъ дѣйствуетъ эта система воспитанія на Вольдемара. Этого не сдѣлано. Приведа длинный и утомительный споръ, въ которомъ графиня, свѣтская женщина, не получившая основательнаго образованія, говоритъ языкомъ ученаго, но отсталого спеціалиста, г-нъ С. Н. въ самыхъ общихъ выраженіяхъ говоритъ, что вліяніе наставника на Вольдемара было благотворно, приводитъ нѣкоторые распоряженія новаго педагога, но совершенно не прослѣживаетъ, какъ привились эти распоряженія, какимъ образомъ они были приняты матерью и ребенкомъ. То-же отсутствіе художественности и жизни, рядомъ съ вѣрностью мысли и правдоподобіемъ рассказанныхъ фактовъ, проходитъ черезъ всю повѣсть г-на С. Н. Такъ, напримѣръ, послѣднее проявленіе



представить своимъ слушательницамъ тотъ процессъ исторической критики, путемъ котораго эти факты очищены отъ вымысловъ; воспитанницамъ всегда даютъ готовые результаты науки, и онѣ часто не подозрѣваютъ, какими трудами и долгими сомнѣніями, какою борьбою куплено то, что достается имъ такъ легко, какъ бы само собою. Мы не желаемъ готовить дѣвицъ къ специально научной дѣятельности, но думаемъ, что для развитія умственныхъ способностей необходимо познакомиться, хотя отчасти, съ тайнами науки, съ процессомъ дѣятельности человеческой мысли въ лицѣ ея лучшихъ, самыхъ развитыхъ представителей. Нѣтъ той науки, которая, при правильномъ преподаваніи, не могла-бы развитъ мыслительныя силы, и между тѣмъ изъ всѣхъ наукъ, преподаваемыхъ дѣвицамъ, ни одна не достигаетъ въполнѣ этой цѣли. Изученіе литературы пробуждаетъ въ дѣвицѣ, при самыхъ благоприятныхъ условіяхъ, эстетическое чувство; но чувство это почти никогда не возвышается отъ инстинктивнаго восхищенія прекраснымъ до свѣтлой, опредѣленной, обдуманной, сознательной оцѣнки художественнаго произведенія. Все въ обученіи дѣвушки до такой степени клонится къ развитію чувства въ ущербъ холодному, спокойному разсудку, что въ педагогической литературѣ образовалось даже мнѣніе, будто такъ и должно быть, будто преобладаніе чувства надъ умомъ въ женщинѣ—явленіе нормальное и необходимое, будто гармонія въ развитіи ума и чувства—химера, недостижимая цѣль, къ которой даже не должно стремиться.

Мы уже высказали объ этомъ свое мнѣніе и думаемъ, что многія образовательныя средства оставлены до сихъ поръ въ незаслуженномъ пренебреженіи при воспитаніи женщины у насъ, въ Россіи. Къ числу этихъ средствъ можно отнести рациональное, систематическое преподаваніе математическихъ наукъ, въ томъ объемѣ, въ какомъ онѣ нужны каждому образованному человѣку, сколько для приложенія къ жизни, столько и для формированія правильнаго, послѣдовательнаго мышленія. Къ этимъ отраслямъ математики, необходимымъ для каждого, мы относимъ ариметику и геометрію. Алгебра и аналитическая геометрія слишкомъ отвлеченны, и потому нѣтъ надобности вводить ихъ въ кругъ предметовъ женскаго образованія. Смотри такимъ образомъ на значеніе математики въ ряду другихъ наукъ, мы съ полнымъ сочувствіемъ и съ уваженіемъ встрѣтили трудъ Гурьева, составившаго подробный конспектъ для преподаванія арифметики и основныхъ началъ геометріи. Не будемъ входить въ разборъ приемовъ, употребленныхъ Гурьевымъ, а постараемся только передать духъ, мысль этихъ приемовъ. Конспектъ составленъ на основаніи системы нагляднаго обученія, такъ что, сообразуясь съ нимъ, преподаватель

можетъ постоянно вести ребенка отъ предметовъ, непосредственно извѣстныхъ ему, къ болѣе отвлеченнымъ и общимъ понятіямъ; вмѣсто цифръ ученикъ видитъ передъ собою нѣсколько палочекъ или черточекъ и надъ ними, не изучивъ предварительно никакихъ приемовъ, дѣлаетъ всѣ арифметическія дѣйствія. Обиліе разнообразныхъ практическихъ упражненій составляетъ отличительный признакъ и главное достоинство конспекта Гурьева. При помощи этихъ упражненій ученикъ самъ угадываетъ и формируетъ себѣ общій законъ прежде, нежели услышитъ его отъ учителя. Законъ, вошедшій такимъ образомъ въ сознаніе путемъ собственнаго опыта и размышленія ученика, останется навсегда въ его памяти и при томъ можетъ постоянно, какъ живой капиталъ, находиться въ его распоряженіи; онъ добытъ изъ жизни и потому всегда останется свѣжѣе, осмысленнѣе, жизненнѣе заученаго урока. Для неопытнаго преподавателя, особенно, какъ говорить самъ Гурьевъ, для преподавательницъ, выходящихъ изъ женскихъ учебныхъ заведеній, конспектъ этотъ будетъ самымъ полезнымъ пособіемъ, тѣмъ болѣе, что онъ очевидно составленъ не по одной чистой теоріи, а совмѣщаетъ въ себѣ указаніе педагогической науки съ результатами собственнаго опыта автора.

#### О воспитаніи дѣвочекъ. Сочиненіе Фенелона.

Редакціи «Русскаго Педагогическаго Вѣстника» принадлежитъ мысль знакомить нашу читающую публику съ классическими произведеніями иностранныхъ педагогическихъ литературъ. Мысль эта была высказана при самомъ началѣ изданія, во 2 № 1857 года; за общаніемъ немедленно послѣдовало исполненіе, и «Русскій Педагогическій Вѣстникъ» въ два первые года своего существованія представилъ переводъ двухъ замѣчательныхъ произведеній. Первое—«Мысли о воспитаніи» Джона Локка, второе—«О воспитаніи дѣвочекъ» Фенелона. Оба эти произведенія не относятся къ нашей современности: оба они возникли въ концѣ XVII вѣка. И то и другое имѣло въ свое время значительный и въполнѣ заслуженный успѣхъ, но ни то, ни другое не осталось свободнымъ отъ вліянія своего времени. Твореніе Локка и произведеніе Фенелона стоятъ, по своему нравственному направленію, несравненно выше тѣхъ понятій и идей, которыя жили въ ихъ современномъ обществѣ. Локкъ и Фенелонъ смѣло и открыто нападаютъ на пороки своего вѣка, обличаютъ тѣ недостатки, которые изъ общества постепенно вкрадываются въ воспитаніе; они опровергаютъ мнѣнія современныхъ имъ педагоговъ,—мнѣнія, совершенно несостоятельныя, но имѣвшія свою силу, требовавшія еще въ то время опроверженія. Если сравнить эти мнѣнія,



если сравнить господствовавшую тогда систему воспитанія, или, лучше сказать, отсутствіе всякой здоровой системы, съ тѣми свѣтлыми мыслями, которыя проводятъ Локкъ и Фенелонъ, то нельзя не признать ихъ важной заслуги въ области педагогической науки. Но, съ другой стороны, если поставить ихъ сочиненія рядомъ съ современными трактатами о воспитаніи, то должно сознаться, что они не выдержатъ съ ними сравненія. Многое, о чемъ едва догадывались Локкъ и Фенелонъ, многое, о чемъ они совѣмъ не думали, сдѣлалось теперь необходимой принадлежностью правильнаго воспитанія; многое, что они допускали въ обращеніи съ дѣтьми, въ отношеніяхъ между наставниками и учениками, то теперь считается предосудительнымъ. Основные мысли остаются въ прежней силѣ, потому что мысли эти безотносительно вѣрны, истинны, не зависятъ отъ условій времени и мѣста; но обстановка, воспитаніе, педагогическіе приемы, объемъ преподаванія, — словомъ, внѣшняя форма, въ которую облакаются эти идеи, во многихъ отношеніяхъ уже не соответствуетъ требованіямъ современной науки. Это обстоятельство вполне естественно; въ немъ нельзя обвинять ни Локка, ни Фенелона, оно можетъ только служить мѣрой для опредѣленія тѣхъ успѣховъ, которые сдѣлала послѣ нихъ педагогика. Мы не будемъ подробно говорить о сочиненіи Локка, потому что оно посвящено преимущественно воспитанію мальчиковъ; что касается до произведенія Фенелона, то содержаніе его, какъ видно уже по самому заглавію, прямо относится къ нашему предмету. Фенелонъ первый серьезно взглянулъ на воспитаніе женщины, первый высказалъ ту мысль, что женщина, имѣя свои священные обязанности, должна, наравнѣ съ мужчиною, получать прочное систематическое образованіе, которое подготовило бы ее къ будущей дѣятельности. Мысль эта въ то время была нова; но общество было уже настолько приготовлено, что идеи Фенелона встрѣтили живое сочувствіе. Въ то время дѣвницъ воспитывали по старой рутинѣ. Ихъ держали дома или отдавали въ монастыри, въ которыхъ онѣ оставались до того возраста, когда имъ нужно было вступить въ свѣтъ; учили ихъ кой-чему и кое-какъ. Матери и воспитательницы рѣдко отдавали себѣ отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ, да и не сознавали необходимости отдавать себѣ подобный отчетъ. Дѣвицы росли, иногда развивались правильно, получали хорошее направленіе, но это было дѣломъ случая, результатомъ счастливыхъ обстоятельствъ. Хорошая воспитательница оказывала благотворное вліяніе: но она дѣйствовала инстинктивно, не имѣя въ виду опредѣленной цѣли, къ которой неуклонно должно было бы вести дѣло воспитанія. Фенелонъ понялъ и объяснилъ современному обществу различіе между

инстинктивнымъ и сознательнымъ воспитаніемъ; онъ показалъ въ своемъ теоретическомъ трактатѣ необходимость послѣдняго и ненадежность перваго, въ которомъ достигаются случайны-результаты, въ которомъ все безусловно зависитъ отъ личныхъ свойствъ воспитателя; наконецъ, онъ поставилъ вопросъ о воспитаніи женщины на ряду съ вопросомъ о воспитаніи мужчины, — съ вопросомъ, котораго важность въ то время уже вошла въ сознаніе. Онъ доказалъ, что для государственнаго и частнаго благосостоянія необходимо совокупное, согласное дѣйствіе обоихъ половъ, что только правильное развитіе мужчины и женщины можетъ быть прочнымъ залогомъ прогресса, успѣшнаго совершенствованія всего человѣчества. Высказавъ такимъ образомъ мысль о необходимости систематическаго образованія женщинъ, подтвердивъ эту мысль примѣрами изъ жизни и изъ исторіи, Фенелонъ приступаетъ къ опроверженію господствовавшей рутинѣ; онъ доказываетъ ея несостоятельность, разбирая тѣ результаты, которыхъ она обыкновенно достигаетъ; доказавъ въ общихъ чертахъ превосходство сознательнаго воспитанія надъ инстинктивнымъ, онъ переходитъ къ подробному, тщательному разбору главныхъ недостатковъ послѣдняго и при этомъ разборѣ обращается къ своей современности, беретъ факты изъ дѣйствительной жизни. Недостатки, которые замѣчаетъ Фенелонъ въ тогдашнихъ дѣвушкахъ, не исчезли и въ наше время: неразвитость, неразположеніе къ труду, стремленіе къ удовольствіямъ, внутренняя пустота, преобладаніе воображенія и развитіе мечтательности, искренней или притворной, составляютъ до сихъ поръ общія свойства дѣвушекъ, воспитанныхъ въ свѣтъ и для свѣта. Встрѣтивъ такое странное соотношеніе между указаніями Фенелона на свою современность и тѣми явленіями, которыя мы замѣчаемъ въ наше время, читатели наши могли бы вывести неправильное заключеніе: имъ могло бы показаться, что эти недостатки составляютъ неизбѣжныя свойства женской природы, — свойства, которыя, не исчезая никогда вполне, проявляются въ различныхъ формахъ, сообразно съ условіями времени и мѣста. Но при этомъ не должно забывать одного обстоятельства: одинакія причины производятъ одинаковыя слѣдствія. Наше обыкновенное, свѣтское воспитаніе очень мало ушло впередъ отъ того воспитанія, которое получали дѣвицы временъ Фенелона: въ нашемъ воспитаніи предоставлено такое-же обширное поприще случайности и произволу, въ немъ господствуетъ та-же рутинѣ, обращенная на внѣшность, основанная не на законахъ ума, а на обычаяхъ свѣта. Слѣдствіемъ этого воспитанія является развитіе тѣхъ недостатковъ, которые замѣтилъ еще Фенелонъ, и отсутствіе тѣхъ добродѣтелей, въ



которыхъ нуждается женщина для выполненія своихъ обязанностей. Приписывать этимъ недостаткамъ всеобъемлющее значеніе, считать это отсутствіе добродѣтелей за неизбѣжное, законное явленіе значило бы не понимать важности воспитанія, значило бы оскорблять женщину, не признавая въ ней способности къ самосовершенствованію. Мысли Фенелона объ этомъ предметѣ сходятся съ мнѣніемъ современной науки. Фенелонъ старается предупредить развитіе этихъ недостатковъ, давая нравственнымъ силамъ ребенка правильное направленіе; онъ совѣтуетъ начинать воспитаніе какъ можно раньше, совѣтуетъ дѣйствовать на ребенка вѣщими впечатлѣніями и, подобно всѣмъ современнымъ педагогамъ, придаетъ важное значеніе первымъ обнаруживающимся наклонностямъ дѣтей, первымъ проблескамъ развивающагося характера. Онъ требуетъ, чтобы воспитатель дорожилъ этими проявленіями, чтобы, управляя ими, онъ поступалъ осторожно, не стѣняя дѣтской природы, чтобы онъ дѣйствовалъ такими убѣжденіями, которыя близки и доступны дѣтскому пониманію. Такой образъ дѣйствій исключаетъ въ обращеніи съ дѣтьми повелительный тонъ, холодное или рѣзкое обращеніе и, наконецъ, тѣ понудительныя средства, на которыя обыкновенно такъ щедры педагоги, не понимающіе своихъ обязанностей, не проникнутые просвѣщеніемъ и безкорыстною любовью къ воспитанникамъ. На дѣтей можно дѣйствовать тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ сильнѣе будетъ возбуждена ихъ самостоятельность, чѣмъ болѣе заброшенная въ ихъ голову идея переработается силою ихъ собственного мышленія. На этомъ основаніи Фенелонъ считаетъ косвенное вліяніе гораздо дѣйствительнѣе вліянія прямого, выражающагося въ формѣ наставленій и соединеннаго съ властью. Ребенокъ обыкновенно недовѣрчиво смотритъ на приказаніе со стороны старшаго и между тѣмъ легко и свободно поддается вліянію сверстника или чловека, умѣющаго поставить себя съ нимъ на одну доску. Слово, нечаянно произнесенное и вслѣдъ затѣмъ тотчасъ забытое, дѣйствуетъ иногда сильнѣе самаго опредѣленнаго приказанія, не допускающаго ни возраженія, ни обсужденія. Въ первомъ случаѣ ребенокъ самъ подхватываетъ слово, самъ размышляетъ и выводитъ для себя заключеніе, которое для него почти то-же, что для взрослаго убѣжденіе, выработанное опытомъ: во второмъ случаѣ онъ и желалъ бы разсуждать и обдумывать, да ему не даютъ на это ни времени, ни свободы. Отъ него требуютъ немедленнаго и точнаго повиновенія; онъ повинуется, но не усваиваетъ себѣ смысла приказанія, не обращаетъ его въ общее правило, въ законъ, и потому приказаніе должно быть повторяемо при каждомъ частномъ случаѣ. (Сверху того, у ребенка, какъ и у взрослаго, есть инстинктивное стремленіе къ свободѣ; ему

хочется поступать по своему, жить своимъ умомъ. Косвенное вліяніе оставляетъ неприкосновенною эту драгоценную свободу, которую стѣсняетъ опредѣленное и рѣзкое приказаніе. Такое приказаніе непрямо дѣйствуетъ на самолюбіе ребенка и вызываетъ въ душѣ его оппозицію глухую, но часто вредную въ дѣлѣ воспитанія. Для воспитателя несравненно труднѣе дѣйствовать на ребенка косвеннымъ вліяніемъ, нежели давать ему совѣты, наставленія и приказанія. Подъ именемъ косвеннаго вліянія мы разумѣемъ то незамѣтное, тихое вліяніе, которое оказываетъ какая-нибудь личность на окружающихъ ее людей своимъ собственнымъ примѣромъ, жизнью, всѣми самыми незначительными поступками и словами. Чтобы такое вліяніе со стороны воспитателя было вполнѣ благотворно, нужно, чтобы его чловеческая личность была высоко развита, чтобы его убѣжденія были возвышенны и чисты, чтобы во всѣхъ его поступкахъ было видно постоянное стремленіе провести эти убѣжденія въ жизнь; словомъ, нужно, чтобы онъ былъ вполнѣ честный и развитой чловекъ. Этого требуетъ отъ воспитателя и Фенелонъ. Въ противномъ случаѣ, если приказанія и совѣты будутъ въ разладѣ съ поступками воспитателя, то они останутся для ребенка мертвою буквою и покажутся ему или слишкомъ строгими, или просто несправедливыми и неисполнимыми. Ребенокъ увидитъ, что воспитатель его—фразеръ, и съумѣетъ различить въ немъ двѣ личности: одну—проповѣдующую, другую—дѣйствующую; потерявъ уваженіе къ его личному характеру, онъ станетъ заподозрѣвать и его теорію. Итакъ, хотя нельзя въ дѣлѣ воспитанія ограничиваться однимъ косвеннымъ вліяніемъ, но должно желать, чтобы это вліяніе постоянно подкрѣпляло собою приказанія и совѣты: воспитатель долженъ обращать вниманіе на мельчайшіе свои поступки и слова, потому что всѣ они имѣютъ педагогическое значеніе. Нужно, чтобы вся обстановка воспитанія была заранѣе обдумана; въ ней не должно быть случайностей, не должно быть такихъ предметовъ или происшествій, которые, оказывая на ребенка косвенное вліяніе, могли бы разрушить дѣло воспитателя и возбудить въ ребенкѣ мысли и чувства, вредящія гармоническому развитію его характера. Опредѣливъ то, въ чемъ должно состоять нравственное вліяніе наставника, Фенелонъ переходитъ къ связи между воспитаніемъ и преподаваніемъ, т. е. между жизнью и наукой. Онъ признаетъ необходимость этой связи и этимъ признаніемъ поражаетъ схоластическую систему преподаванія, при которой сообщались голые факты, отрывочныя свѣдѣнія, не имѣвшія практической приспособительности и не содѣйствовавшія умственному развитію. Схоластика господствовала въ средніе вѣка; при Фенелонѣ ова была еще сильна, хотя не преобладала,



хотя уже не была системой. Схоластика живеть еще въ наше время и въ общественныхъ училищахъ, и въ домашнемъ воспитаніи; къ схоластикѣ обращаются всѣ бездарные, несвѣдущіе или недобросовѣстные преподаватели. Они довольствуются твердымъ отвѣтомъ ученика, не заботясь о томъ, насколько этотъ отвѣтъ показываетъ присутствіе сознанія; имъ пріятно видѣть со стороны ученика тупое повиновеніе авторитету, вмѣсто живой и самостоятельной (насколько возможно по возрасту) работы мысли. Они не заботятся о томъ, чтобы ребенокъ понялъ необходимость знанія и принялся за дѣло по собственной охотѣ, по внутреннему убѣжденію. Противъ такихъ злоупотребленій въ дѣлѣ преподаванія вооружается Фенелонъ. Онъ совѣтуетъ сообразоваться съ возрастомъ ребенка, изучать его личныя наклонности, вносить въ науку живой интересъ и, развивая умъ воспитанника, возбуждать въ немъ самостоятельность, чтобы каждое слово учителя принималось сознательно, подвергаясь оцѣнкѣ и предварительной переработкѣ въ умѣ ученика. Всѣ эти мысли Фенелона безусловно вѣрны и въ свое время имѣли, конечно, важное значеніе и благотворное вліяніе на развитіе педагогическихъ идей; всѣ эти мысли одинаково приложимы къ воспитанію мужчины и женщины, или вѣрнѣе — составляютъ необходимое основаніе всякаго правильнаго воспитанія. Чтобы быть хорошимъ воспитателемъ и наставникомъ, нужно любить ребенка и умѣть уважать въ немъ его человѣческую личность, его формирующійся характеръ, его стремленіе къ самостоятельности и къ дѣятельности мысли. Изъ этого вполне гуманнаго положенія можно вывести всѣ приведенныя нами мнѣнія Фенелона. Этими мнѣніями обрисовываются его педагогическія убѣжденія, которые и въ наше время не показались бы отсталыми. Затѣмъ Фенелонъ переходитъ къ предметамъ преподаванія. Онъ очень подробно говоритъ въ трехъ главахъ о необходимости религіознаго образованія и указываетъ на тѣ приемы, которые долженъ употреблять учитель, чтобы внушить ребенку искреннее благоговѣніе и правильное пониманіе религіозныхъ истинъ. Фенелонъ требуетъ, чтобы наставникъ приводилъ нравственное ученіе религіи въ живую связь со вседневною жизнью, требуетъ, чтобы сознанія ребенка истинны не оставались въ застоѣ, чтобы, находясь въ постоянномъ примѣненіи, онѣ имѣли образовательное вліяніе на нравственный характеръ воспитанника. Обращая такимъ образомъ преимущественное вниманіе на нравственную сторону религіи, Фенелонъ отъ религіознаго образованія переходитъ къ подробному обозрѣнію тѣхъ недостатковъ, къ которымъ, по его мнѣнію, особенно склонны дѣвушки. Недостатки эти — излишняя застѣчивость, на-

клонность къ притворству, тщеславію, проявляющееся въ желаніи блестящею красотой и нарядами — прививаются къ дѣвочкамъ извнѣ, вслѣдствіе дурного примѣра окружающаго ихъ общества. Нѣкоторые изъ этихъ недостатковъ имѣютъ чисто мѣстный и временный характеръ: такъ, напримѣръ, преобладающая наклонность къ притворству происходитъ, по сознанію самого Фенелона, отъ разлада между старымъ и молодымъ поколѣніями. Разладъ этотъ былъ особенно силенъ въ тогдашнемъ французскомъ обществѣ. Старшіе члены семействъ, проводя свою молодость безопасно, въ веселомъ и не всегда безгрѣшномъ разгулѣ, вздумали на старости лѣтъ заглаживать прежніе проступки и вдалились въ ханжество, въ тупое, фанатическое исполненіе обрядовъ; они окружили себя монахами, ввели въ свой домъ мрачную обстановку средневѣковаго аббатства и стѣснили въ своихъ дѣтяхъ всѣ самыя законныя проявленія чувства, самыя естественныя въ молодости стремленія къ развлеченіямъ и удовольствіямъ. Удаляя ихъ отъ свѣтскаго общества, они не могли дать имъ въ замѣнъ ни прочнаго умственнаго развитія, ни занятій, которыя бы избавили ихъ отъ тяжелой внутренней пустоты. Они хотѣли, чтобы дѣти ихъ довольствовались той безцвѣтной и холодной жизнью, которой жили они, люди, истратившіе свои физическія и нравственныя силы, притупившіе свой вкусъ избыткомъ наслажденій и не видѣвшіе впереди себя ничего, кромѣ болѣзней и могилы. Такія требованія были незаконны и неисполнимы. Естественнымъ слѣдствіемъ ихъ явилась взаимная недовѣрчивость между родителями и дѣтьми. Недовѣрчивость эта выразилась съ одной стороны въ холодной строгости, съ другой — въ стремленіи къ хитрости и притворству. Трудно ставить эти недостатки въ вину дѣвцамъ, выросавшимъ при такихъ невыгодныхъ условіяхъ. Фенелонъ говоритъ совершенно справедливо, что недостатокъ откровенности со стороны дѣтей является естественнымъ слѣдствіемъ неправильныхъ отношеній между родителями и дѣтьми. Причина этихъ неправильныхъ отношеній заключается въ неразвитости родителей и въ односторонности ихъ взгляда на вещи. Достигнуть полной откровенности со стороны ребенка, не подавляя его личности, приобрести его добровольное, неограниченное довѣріе очень трудно, особенно для тѣхъ лицъ, которыя имѣютъ надъ нимъ непосредственную власть. Рѣшеніе такой трудной педагогической задачи было не по силамъ родителей и воспитателей временъ Фенелона. Стараясь внушить дѣтямъ благочестіе, они не умѣли узнать внутренняго состоянія ихъ души, не вызывали съ ихъ стороны откровеннаго сознанія въ слабостяхъ, желаніяхъ и сомнѣніяхъ, возникающихъ въ умѣ ребенка. Религіозное воспитаніе ограничивалось заучива-



нiемъ догматовъ и строгимъ исполненiемъ обрядовъ. Съ этой внѣшней, формальной стороною въ душѣ ребенка развивались нетронутые и незамѣченные воспитателемъ зародыши пороковъ, которые рано или поздно должны были опрокинуть шаткое зданiе, воздвигнутое недалекими педагогами. Такъ и случилось. Молодое поколѣнiе, выросшее при описанныхъ нами условiяхъ, видѣвшее вокругъ себя строгую и мрачную обстановку, затаило въ душѣ жажду наслажденiй и, вырвавшись на волю, освободившись изъ-подъ влiянiя старшихъ, предалось самому необузданному, безнравственному разгулу. Религiозное воспитанiе, вошедшее въ моду въ послѣднiе годы жизни Людовика XIV, подготовило во многихъ отношенiяхъ времена Регентства и вѣкъ Людовика XV. Понимая влiянiе женщины на общественную нравственность, Фенелонъ хотѣлъ своимъ трактатомъ отвратить подобныя уклоненiя отъ разумности, онъ хотѣлъ убѣдить родителей въ томъ, что истинная религiозность выражается въ нравственности, а не въ обрядахъ; но идеи его не успѣли проникнуть въ сознание общества и не принесли практической пользы. Намъ остается еще разобратъ одинъ весьма важный отдѣлъ сочиненiя Фенелона. Въ XI и XII главахъ авторъ говоритъ объ обязанностяхъ женщины и о томъ, какъ должно развивать ея умъ и готовить ея къ исполненiю этихъ обязанностей. Фенелонъ смотритъ на женщину съ практической точки зрѣнiя. Онъ хочетъ приготовить изъ подростокъ дѣвочекъ хорошихъ матерей и хозяекъ; воспитывать будущее поколѣнiе и завѣдывать внутреннимъ управленiемъ дома — вотъ въ чемъ состоитъ, по мнѣнiю Фенелона, назначенiе женщины. На это мы позволимъ себѣ замѣтить, что, во-первыхъ, исключительно практическiй взглядъ на вещи не можетъ быть допущенъ въ разбираемомъ нами вопросѣ. Нельзя смотрѣть на женщину, какъ на орудiе, примѣнимое въ домашнемъ быту и полезное въ дѣлѣ воспитанiя: не должно забывать въ женщинѣ самостоятельную личность, имѣющую свои духовныя потребности и предъявляющую права свои на самостоятельное развитiе; во-вторыхъ, если даже принять практическiй взглядъ на вещи, если, оставляя въ сторонѣ человѣческую личность женщины, мы будемъ готовить ее только для жизни, и преимущественно для жизни семейной, и въ такомъ случаѣ взглядъ Фенелона окажется узкимъ и ограниченнымъ. Фенелонъ обращаетъ все свое вниманiе на материнскiя обязанности женщины и почти совершенно забываетъ объ обязанностяхъ жены; онъ ограничиваетъ эти обязанности матеріальными хозяйственными заботами; для спокойствiя мужа и для семейнаго счастья онъ находитъ совершенно достаточнымъ, если жена будетъ держать въ порядкѣ домъ и прислугу, если она сумѣетъ готовить хорошiй

столъ и соблюдать въ хозяйственныхъ издержкахъ экономiю, не переходящую въ скупость. Такой идеалъ семейной жизни удовлетворилъ бы требованiямъ нашего общества временъ допетровскихъ, когда взаимное чувство и обоюдное согласiе жениха и невѣсты не составляли необходимаго условiя брака; теперь такая семейная жизнь для cadaго развитого человѣка показалась бы невыносимою. Мужъ имѣетъ право требовать отъ жены не только любви, но и дружбы; а для дружбы необходимо взаимное уваженiе и одинаковое развитiе, которое давало бы супругамъ средства понимать другъ друга. Мужъ долженъ найти въ женѣ сочувствiе. У него есть духовныя потребности, которыя должны находить себѣ удовлетворенiе въ семейномъ кругу; а удовлетворить этимъ высшимъ потребностямъ можетъ только женщина развитая, приготовленная правильнымъ воспитанiемъ, способная мыслить и усвоивать себѣ отвлеченныя идеи. Слѣдовательно, умственныя способности женщины должны быть развиваемы до возможныхъ предѣловъ; жена-хозяйка, способная передать дѣтямъ кой-какія элементарныя свѣдѣнiя, не подходитъ еще къ тому идеалу развитой женщины, котораго требуютъ понятiя лучшихъ людей нашего времени. Программа, по которой Фенелонъ совѣтуетъ вести обученiе дѣвочекъ, недостаточна, потому что она составлена по одностороннему, исключительно практическому взгляду на назначенiе женщины. Фенелонъ требуетъ, чтобы дѣвочкамъ преподавали только тѣ отрасли знанiя, которыя нужны для домашняго хозяйства, для первоначальнаго обученiя дѣтей. Вотъ предметы его программы: чтенiе и письмо, знанiе отечественнаго языка, четыре правила ариметики и нѣкоторыя свѣдѣнiя въ законодѣнiи — тѣмъ и ограничивается число необходимыхъ предметовъ. Къ этому можно еще прибавить практическія занятiя рукодѣлiемъ и домашнимъ хозяйствомъ. Сверхъ того, религiозное образованiе поставлено у Фенелона совершенно отдѣльно и приведено въ связь съ нравственнымъ воспитанiемъ. Изъ приведеннаго нами краткаго перечня видно, что Фенелонъ ошибается не только въ опредѣленiи личности и назначенiя женщины, но даже и въ пониманiи отношенiй между преподаванiемъ и воспитанiемъ. Онъ смотритъ на преподаванiе, какъ на сообщенiе практически полезныхъ свѣдѣнiй, и совершенно упускаетъ изъ вида образовательную, облагораживающую силу науки; онъ забываетъ, что не всѣ отрасли науки необходимы для практической жизни, но что всѣ онѣ развиваютъ мыслительныя способности, всѣ очищаютъ и формируютъ вѣжливiя. Ограничивать кругъ занятiй женщины тѣми предметами, которые ей придется приложить къ жизни, учить ее только домашнему хозяйству, счетоводству, грамотѣ и правильному употребленiю отечествен-



наго языка значить не давать ей средства разумно дѣйствовать даже въ томъ ограниченномъ кругу, къ которому предназначаетъ ее Фенелонъ. Умственные способности требуютъ себѣ пищи, требуютъ развитія; а въ механическихъ пріемахъ, которымъ Фенелонъ предписываетъ обучать дѣвицъ, нѣтъ пищи для ума, нѣтъ матеріаловъ для мыслительной дѣятельности. Между тѣмъ Фенелонъ понимаетъ, что для женщины нужно нѣкоторое умственное развитіе. Во многихъ мѣстахъ своего сочиненія онъ упоминаетъ объ этомъ развитіи, но нигдѣ не указываетъ на средства, которыми оно могло бы быть достигнуто. Онъ допускаетъ чтеніе греческой и римской исторіи, но только допускаетъ, и то съ тѣмъ, чтобы дѣвицы находили «въ ней чудеса храбрости и безкорыстія». Изученіе или, вѣрнѣе, чтеніе отечественной исторіи допускается также только по отношенію къ ея «прекраснымъ сторонамъ», то-есть по отношенію къ тѣмъ нравственнымъ поступкамъ, которые въ ней описаны. Нравоучительная цѣль въ глазахъ Фенелона стоитъ на первомъ планѣ и заслоняетъ собою чисто историческій интересъ событій, то-есть развитіе человѣческаго рода. При такомъ способѣ преподаванія исторія не можетъ служить пищей для мыслительной способности; смыслъ событій, связь между причинами и слѣдствіями ускользаютъ отъ учащагося. Въмѣсто жизни народовъ, онъ видитъ передъ собою рядъ анекдотовъ, относящихся къ жизни отдѣльных личностей; въ этихъ анекдотахъ нѣтъ общей мысли, и даже нравственное вліяніе ихъ будетъ такъ сильно, какъ могло быть сильно вліяніе сознанныхъ историческихъ истинъ, законовъ, по которымъ народы живутъ, развиваются и гибнутъ. Созерцаніе этихъ истинъ, изученіе этихъ законовъ составляетъ главнѣйшую, конечную цѣль историческихъ занятій. Это созерцаніе можно сдѣлать доступнымъ и для дѣвицъ, у которыхъ Фенелонъ отнимаетъ возможность возвыситься надъ нравоученіями и дѣтскими разсказами. Фенелонъ не понимаетъ также необходимости эстетическаго образованія: чтеніе литературныхъ произведеній онъ допускаетъ только съ нравоучительной цѣлью. Изученіе отечественныхъ писателей и знакомство съ главнѣйшими явленіями иностранныхъ литературъ не составляетъ, по мнѣнію Фенелона, необходимой части женскаго образованія; о занятіяхъ музыкой, живописью и другими искусствами сказано довольно неопредѣленно. Занятія эти, говоритъ Фенелонъ, могутъ разслабить и изнѣжить человѣка; но, при строгомъ выборѣ и правильномъ руководствѣ, они могутъ также принести пользу. Пользѣ этой Фенелонъ не придаетъ, впрочемъ, большого значенія. Все вниманіе знаменитаго французскаго писателя было исключительно обращено на религіозное воспитаніе и на практическую, житейскую сторону жизни.

Онъ неправильно и неполно опредѣлялъ значеніе женщины и потому составилъ неудовлетворительную программу. Это неудивительно и не должно служить ему укоромъ: живши въ то время, когда слѣдовало еще доказывать необходимость женскаго воспитанія, Фенелонъ не могъ одинъ, первый, разрѣшить вопросъ и обнять его со всѣхъ сторонъ. Требованія времени измѣнились, и теорія Фенелона во многихъ отношеніяхъ устарѣла и требуетъ пополненій и исправленій. Несмотря на то, сочиненіе его «О воспитаніи дѣвочекъ» имѣетъ важное значеніе въ исторіи педагогической науки и по своему глубокомысленному характеру заслуживаетъ до сихъ поръ вниманія читателей. Переводъ, представленный въ «Русскомъ Педагогическомъ Вѣстникѣ», сдѣланъ довольно тщательно, языкомъ правильнымъ и понятнымъ. Замѣтимъ только одну случайную ошибку, которая можетъ поставить читателя въ затрудненіе. Въ заключеніи — говоритъ Фенелонъ — представимъ здѣсь очеркъ женщины съ твердою волею, сдѣланный Ле-Сажемъ». Здѣсь по ошибкѣ слово: «le Sage», означающее обыкновенно премудраго Соломона, переведено именемъ собственнымъ, и вслѣдствіе этого слова Соломона о женщинѣ съ твердою волею, — слова, взятыхъ изъ его Притчей, приписаны французскому писателю-романисту.

#### Объ истинномъ наставникѣ дѣтей.

Статья, заглавіе которой мы здѣсь выписали, переведена изъ французской книги: «Education des mères de famille». Авторъ старается доказать въ этой статьѣ, что естественнымъ наставникомъ, воспитателемъ дѣтей должна быть сама мать. Мысль вѣрная; но часто случается, что, стараясь, во что бы то ни стало, доказать и провести до конца какую-нибудь, хотя и вѣрную мысль, человѣкъ увлекается, впадаетъ къ крайности и доходитъ до самыхъ странныхъ результатовъ. Множество такихъ странныхъ выводовъ встрѣчается въ указываемой нами статьѣ. Авторъ доказываетъ мысль не новую, но, стараясь подѣйствовать на читателя, стараясь убѣдить его, беретъ для подтвержденія ея примѣры изъ исторіи, изъ жизни великихъ людей и, пользуясь ихъ собственными словами, объявляетъ, что они обязаны всѣмъ своимъ величіемъ вліянію матерей. Насколько такіе смѣлые выводы искажаютъ фізіономію историческихъ фактовъ, можно судить по слѣдующимъ примѣрамъ. Различіе между Карломъ IX и Генрихомъ IV объясняется исключительно вліяніемъ Екатерины Медичи на перваго и Юанны д'Альбре на втораго. Характеръ Людовика XIV выводится прямо изъ характера Анны Австрійской; направленіе сочиненій Вольтера, по мнѣнію автора, опредѣлилось личностью его матери. Слѣдовательно, не духъ времени, не



направленіе общества вырабатывает личности исторических дѣятелей, а случайныя обстоятельства домашней жизни родителей. Женись только отецъ Вольтера на другой женщинѣ, кончено дѣло: не было бы энциклопедистовъ — вотъ до какого смѣшного искаженія истины доводитъ автора его желаніе во всемъ видѣть вліяніе матери. Желаніе, положимъ, похвальное; у автора въ каждомъ словѣ видна цѣль подѣйствовать на современныхъ ему французскихъ женщинъ и возбудить въ нихъ желаніе воспитывать своихъ дѣтей. Все это хорошо; но вѣдь въ наше время извѣстное правило Макіавеля: «цѣль оправдываетъ средства» считается несостоятельнымъ и безнравственнымъ. Въ наше время мало того, чтобы доказываемая мысль была вѣрна, требуется еще, чтобы она была доказана вѣрными доводами. Зачѣмъ-же искажать исторію, зачѣмъ обнаруживать такое ребяческое непониманіе тѣхъ законовъ, по которымъ живетъ человѣчество? Сказать, что не духъ времени, а вліяніе матери породило сочиненія Вольтера, это все равно, что думать, будто реформацію *сдѣлалъ* Лютеръ, а не вызвала потребность оскорбляемаго человѣчества. Будь Вольтеръ воспитанъ иначе, онъ бы можетъ быть остался «золотой посредственностью». Въ немъ могли подавить природныя способности; но дать имъ другое направленіе, противоположное духу вѣка, заставить его быть передовымъ человекомъ и между тѣмъ дѣйствовать не такъ, какъ онъ дѣйствовалъ, это невозможно. Авторъ забылъ мысль Гегеля: всякій человѣкъ — сынъ своего вѣка и своего народа. Вліяніе матери, отца, воспитателя, кого угодно, не можетъ бороться съ господствующимъ направленіемъ времени. Направленіе это сильно и увлечетъ за собою всякую пылкую, воспримчивую натуру. Оставимъ теперь вопросъ объ исторической вѣрности доказательствъ, приводимыхъ авторомъ; посмотримъ, до какихъ результатовъ доходитъ онъ путемъ этихъ доказательствъ. Признавая важность вліянія матери, доводя значеніе матери до невообразимыхъ предѣловъ, авторъ старается доказать, что въ воспитаніи, веденномъ матерью, все есть верхъ совершенства. Онъ хвалитъ, увлекаясь своимъ предметомъ, даже тѣ недостатки, которыхъ исправленія должны желать каждый, понимающій значеніе воспитанія, — недостатки, которые, по всей вѣроятности, составляютъ современное явленіе и исчезнуть, лишь только образованіе женщины получить вѣрное направленіе.

«Наконецъ, самый этотъ неосновательный умъ, эта склонность къ удовольствіямъ, эта привязанность ко всему чудесному, что всѣ вообще такъ неблагоприятно осуждаютъ въ женщинахъ, еще болѣе увеличиваетъ гармонію между матерью и ея ребенкомъ».

Неосновательный умъ, склонность къ удовольствіямъ, привязанность къ чудесному, т. е.

преобладающая сила воображенія, — словомъ, всѣ недостатки, которые являются въ женщинахъ вслѣдствіе неправильнаго воспитанія, всѣ они здѣсь возведены на степень добродѣтелей, полезныхъ, почти необходимыхъ для матери семейства. Такія мысли, высказанныя въ такой повидимому благообразной формѣ, могутъ найти себѣ довѣрчивыхъ читателей, и потому мы считаемъ долгомъ опровергнуть ихъ и показать всю ихъ нелогичность. Желая поддержать въ женщинѣ неосновательный умъ, склонность къ удовольствіямъ, привязанность къ чудесному, авторъ осуждаетъ ее на вѣчное дѣтство, которое, впрочемъ, многіе поэты называютъ счастливою порою жизни. Они говорятъ о невинности дѣтскаго возраста, объ его беззаботности, о томъ, какъ ребенокъ, подобно бабочкѣ, перепархиваетъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, и пр., и пр. Все это — фразы, потерявшія въ наше время значеніе. Дѣтство есть приготовленіе къ разумной жизни, время неполнаго раскрытія душевныхъ силъ, время ограниченной, безсознательной или смутно сознаваемой жизни. Желать продлить это время значить подавлять развитіе, значить нарушать законы природы. Да и чѣмъ оправдываетъ авторъ свое странное, неосмысленное желаніе? Онъ говоритъ, что качества, которыя «такъ неблагоприятно осуждаютъ въ женщинахъ, еще болѣе увеличиваютъ гармонію между матерью и ея ребенкомъ». Вѣдь это фраза. Качества эти намъ извѣстны: неосновательный умъ, склонность къ удовольствіямъ, привязанность къ чудесному. Они, дѣйствительно, составляютъ общую принадлежность дѣтей и женщинъ, не получившихъ правильнаго развитія. Но есть-ли что-нибудь общее между этими качествами, какъ они проявляются у тѣхъ и у другихъ? Что въ ребенкѣ естественно, въ чемъ видны проблески пробуждающихся способностей, то въ человѣкѣ взросломъ составляетъ болѣзненное явленіе, результатомъ извращеннаго воспитанія и бесполезно пережитой жизни. Неосновательный умъ неразвитой женщины проявляется въ умничаньи, въ нелѣпыхъ парадоксахъ, въ которыхъ нѣтъ ничего общаго съ свѣжимъ лепетомъ пробуждающейся, но еще не пробудившейся мысли ребенка; привязанность къ чудесному составляетъ одно изъ проявленій неосновательнаго ума, не привыкшаго къ работѣ. Въ ребенкѣ эта привязанность естественна, потому что есть надежда, что она съ лѣтами пройдетъ; въ человѣкѣ взросломъ она составляетъ порокъ, болѣзнь, которая съ каждымъ годомъ становится неизлечимѣе, которая навсегда можетъ разстроить правильное отправленіе мыслительной способности. Авторъ находитъ, что склонность къ удовольствіямъ также увеличиваетъ гармонію между матерью и ребенкомъ. Это черезчуръ оригинально. Авторъ, быть можетъ, предпола-



гаетъ, что дѣтство, на которое онъ осуждаетъ женщину, есть полное дѣтство, что мать интересуется сама тѣми-же предметами, которые занимаютъ ребенка, что наклонность къ удовольствіямъ выражается въ пристрастіи къ игрушкамъ, къ бѣганью, къ дѣтскимъ забавамъ. Въ такомъ случаѣ онъ сильно ошибается. Самая неразвитая женщина все-таки забавляется сообразно съ своимъ возрастомъ, ежели только она не находится въ состояніи идиотизма; слѣдовательно подъ именемъ наклонности къ удовольствіямъ, въ которой упрекаютъ женщинъ, должно подразумѣвать наклонность къ свѣтскимъ удовольствіямъ, а подобная наклонность никакимъ образомъ не увеличитъ «гармоніи между матерью и ребенкомъ». Недостатки ни въ какомъ случаѣ, ни подъ какимъ видомъ не могутъ имѣть хорошихъ результатовъ, не могутъ быть возведены на степень добродѣтелей. Изъ вышесказаннаго можно заключить, что авторъ, идеализирующій даже недостатки современной женщины, оттого только, что эта женщина—мать, пристрастенъ къ своему предмету и не въ мѣру увлекается. Мы увидимъ сейчасъ, къ чему приводитъ его это увлеченіе. Отстаивая права матери на воспитаніе дѣтей, авторъ совершенно оттѣсняетъ мужчинъ и по видимому даже не признаетъ законнымъ участіе отца въ дѣлѣ воспитанія. Онъ впадаетъ въ ту-же крайность, которую мы уже замѣтили въ статьѣ Пальховскаго, но съ увлеченіемъ, свойственнымъ французу, ведетъ дѣло еще дальше:

«Хорошіе наставники создаютъ добрыхъ учениковъ; но только одна мать можетъ создать человѣка; въ этомъ-то и состоитъ разница въ ихъ назначеніи. Отсюда слѣдуетъ, что всѣ попеченія о воспитаніи принадлежатъ вполнѣ матерямъ, и если мужчины имъ завладѣли, то это потому только, что они смѣшали воспитаніе съ обученіемъ — двѣ совершенно разныя вещи, которыя нужно отдѣлять одну отъ другой, потому что ученіе можетъ быть и прервано, и безъ всякой опасности передано изъ однихъ рукъ въ другія. Но воспитаніе должно быть нераздѣльно и въ однихъ рукахъ; оно не удастся тому, кто его прерываетъ. Кто, предпринявъ его однажды, оставляетъ его, тотъ увидитъ своего ребенка погибавшимъ въ заблужденіяхъ или, что еще того хуже, равнодушнымъ къ истинѣ».

Все, что тутъ сказано, съ начала до конца, все неправда. Слова: «только одна мать можетъ создать человѣка» — фраза, способная многимъ понравиться, но неистинная. Создаютъ человѣка не хорошіе наставники, не мать, а обстоятельства жизни и принципі, руководившіе воспитаніемъ, кѣмъ бы ни былъ проведенъ этотъ принципі. Впрочемъ, это частность; главное дѣло въ томъ, что авторъ представляетъ, будто мужчины, участвуя въ дѣлѣ воспитанія, завладѣли тѣмъ, что не принадлежало имъ по праву. Это обидная для мужчинъ и несправедливая исключительность. Желая оправдать

свои слова, авторъ старается раздѣлить то, что нераздѣлимо, и впадаетъ въ грубую ошибку противъ положеній современной педагогической науки. Воспитаніе и обученіе, по его мнѣнію, — двѣ совершенно разныя вещи. Авторъ упрекаетъ мужчинъ въ томъ, что они смѣшали одно съ другимъ. Упрекъ этотъ не имѣетъ никакого смысла: чѣмъ болѣе мы станемъ отдѣлять обученіе отъ воспитанія, тѣмъ безжизненнѣе будетъ наука, тѣмъ неосмысленнѣе — жизнь. Нужно, чтобы каждая научная истина проникала черезъ сознаніе въ плоть и кровь ребенка, чтобы она могла современемъ помочь ему сформировать себѣ убѣжденія. Развитіе ума должно идти параллельно съ развитіемъ всѣхъ остальныхъ способностей физическихъ и нравственныхъ. Все воспитаніе (включая сюда и обученіе) должно быть построено на однихъ началахъ, проникнуто одной идеей. Къ тому и стремится современная педагогика, чтобы разрушить грань между воспитаніемъ и обученіемъ: одно должно проникать другое. Ребенокъ развивается не въ классной комнатѣ: онъ развивается ежедневно; потому надо постоянно занимать его способности; а развѣ это не обученіе? Съ другой стороны, давая ему уроки, надо въ этихъ урокахъ проводить идеи, способныя благотворно дѣйствовать на весь образъ мыслей, на нравственныя убѣжденія ребенка; а развѣ это будетъ не воспитаніе? Слить одно съ другимъ, вывести обученіе изъ классной комнаты и ввести его въ кругъ игръ, ежеминутныхъ занятій ребенка, подѣйствовать на душу теплымъ словомъ живой науки — вотъ цѣль современной педагогики, и, при такой цѣли, невозможно неестественное дѣленіе, предлагаемое авторомъ разбираемой нами статьи. Этихъ замѣчаній будетъ довольно, чтобы опредѣлить ея достоинство: авторъ на каждомъ шагѣ увлекается и почти не выходитъ изъ общихъ фразъ и восклицаній; гдѣ нѣтъ фразъ, тамъ начинаются искаженія исторіи или ошибки противъ педагогики. Словомъ, статью читать не стоитъ, и мы говорили о ней единственно для того, чтобы предохранить нашихъ читателей отъ ложныхъ сужденій и натянутыхъ выводовъ автора.

**О вліяніи женщинъ вообще и о бракѣ, какъ необходимомъ условіи цивилизаціи. — О воспитаніи дѣвочекъ, какъ его понимали аббаты Флери и Фенелонъ и какъ оно нынѣ ведется.**

Первая изъ этихъ статей развиваетъ очень дѣльную мысль, поддерживаетъ ее примѣрами изъ исторіи и изъ современной жизни человечества, и, наконецъ, изъ этой мысли выводитъ нѣкоторыя заключенія, довольно важныя для направленія женскаго воспитанія. Вотъ эта



мысль: женщина оказывает постоянное влияние на судьбу человечества, и влияние это дѣлается тѣмъ сильнѣе, чѣмъ многостороннѣе и рациональнѣе жизнь, чѣмъ шире распространена цивилизація. Это вѣрно. Въ первобытномъ состояніи человечества, когда люди приближались къ животной природѣ образомъ жизни и наклонностями, влияние женщины, существа физически слабого, было ничтожно; господствовала грубая сила, ломившая все, что попадалось на дорогѣ. Нравственная сторона человѣка дремала, на нее нельзя было дѣйствовать, да и сверхъ того тогдашняя женщина не въ силахъ была разбудить въ мужчинѣ высшія, духовныя стремленія. Мы имѣемъ свидѣтельства лѣтописцевъ о томъ, что было время, когда брака не было и когда человѣкъ не возвысился еще до понятія о немъ. Впослѣдствіи, когда мало-по-малу проснулось сознание родственныхъ отношеній, когда дикая жизнь смѣнилась оскѣлою, когда звѣроловство уступило мѣсто земледѣлію,—женщина стала завѣдывать внутреннимъ управленіемъ дома и, какъ хозяйка, какъ полезная работница, получила нѣкоторое значеніе въ глазахъ мужа. Значеніе это было еще очень невелико: физическая сила мужчины доставляла ему огромный перевѣсъ и ставила женщину въ совершенную зависимость. Мужчина обыкновенно покупалъ себѣ жену и платилъ ей родителямъ *вѣно* (такъ назывался выкупъ этотъ у славянъ). Этотъ обычай былъ распространенъ между всѣми европейскими народами, и онъ служилъ яснымъ доказательствомъ того, что дѣвушка считалась сначала собственностью родителей, а потомъ собственностью мужа. Въ Западной Европѣ влияние германскихъ началъ, рыцарство и христіанство облегчили судьбу женщины и выдвинули ее въ общество; началось въ средніе вѣка поклоненіе женщинѣ, обожаніе красоты, выразившееся въ тогдашней поэзіи и придавшее рыцарству романической характеръ. Рыцарство отжило свой вѣкъ; но рыцарскіе нравы жили въ обществѣ до XVIII столѣтія. Они породили ту утонченную вѣжливость, которая при дворѣ Людовика XIV составила цѣлую сложную науку. Во имя женщины перестали совершать военные подвиги; но ей по-прежнему поклонялись, и въ этомъ поклоненіи было по-прежнему много неосмысленнаго: восхищались красотой женщины, ея легкимъ остроуміемъ, но на внутреннее развитіе ея, на нравственное ея значеніе никто не обращалъ вниманія. Поднять и рѣшить вопросъ о женскомъ образованіи было слишкомъ трудно для тогдашняго слабого и пустого общества. Женщину любили и ласкали; но ей не позволяли серьезно мыслить, находили, что ей это не по силамъ и не къ лицу. Мужчины перестали оскорблять женщину грубыми проявленіями деспотизма; но права женщины еще не были признаны, потому что она не имѣла опре-

дѣленныхъ обязанностей и была осуждена на какое-то вѣчное дѣтство. Нашему вѣку суждено было сдѣлать переворотъ во взглядѣ на женщину: на нее начинаютъ смотрѣть серьезно; сравнивая ея права съ правами мужчины, хотѣть сравнить и обязанности. Предоставляя ей самостоятельность, хотѣть дать ей средства воспользоваться свободой разумно, употребить ее на благо для себя и для человечества. Начинается развитіе мыслей о женскомъ воспитаніи, о женскомъ трудѣ; поднимается вопросъ о женщинѣ, какъ о самостоятельной личности, имѣющей не только юридическія, но и нравственныя права. Вотъ, въ самыхъ общихъ чертахъ, судьба женщины, веденная параллельно съ главными фазами развитія европейскаго общества. Авторъ разбираемой статьи не представляетъ полного очерка этой судьбы, но беретъ нѣкоторые характеристическіе моменты и изъ сравненія ихъ выводитъ свои заключенія. Онъ сопоставляетъ нравственное униженіе женщины на Востокѣ съ положеніемъ современной европейской женщины, далѣе сравниваетъ между собою различныя историческія эпохи и отдаетъ предпочтеніе тѣмъ временамъ, когда женщина пользовалась всеобщимъ уваженіемъ. При этомъ авторъ впадаетъ въ ошибки и обнаруживаетъ отсутствіе историческаго пониманія. Вотъ что онъ говоритъ о рыцарствѣ и о послѣдовавшихъ за нимъ вѣкахъ.

«Рыцари становятся покровителями беззащитныхъ; они искореняютъ заблужденія произвола и вмѣсто его приготавливаютъ торжество закону. Сражаясь сперва для того, чтобы завоевывать государства, они оканчиваютъ тѣмъ, что сражаются за красоту женщинъ, и такимъ образомъ просвѣщеніе начинается любезностью. Великій переворотъ произошелъ во Франціи съ того самаго дня, когда одинъ благородный рыцарь, осаждая замокъ, въ которомъ находилась жена его непріятеля, отвелъ отъ него свои войска потому только, что эта женщина готовилась сдѣлаться матерью.

Нѣсколько позже, когда начала наука, высвободясь изъ-подъ школьнаго мрака, господствоващаго повсюду, озарили собою умы людей, судьба женщины сдѣлалась вполне достойной сожалѣнія. Пока мужчины считали себя выше женщинъ только тѣлесной силой и храбростью, они еще уступали влиянію слабости и красоты; но коль скоро они набили себѣ головы пустыми знаніями, гордость овладѣла ими вполне, и женщины едва не потеряли своего могущества. Самымъ несчастнымъ временемъ для нихъ былъ вѣкъ теологовъ и ученыхъ; съ той поры были возбуждены всѣ дерзкіе вопросы о первенствѣ мужчины и о подчиненіи ему женщины. Тогда-то принимаются описывать ихъ коварство и ихъ несовершенство; доходятъ до того, что сомнѣваются въ существованіи въ нихъ души, и самые теологи въ своемъ смущеніи, кажется, забываютъ, что самъ Иисусъ Христосъ по своей матери былъ связанъ съ человечествомъ».

Авторъ ставитъ времена рыцарства выше времени теологовъ и ученыхъ. Это несправедливо. Уваженіе рыцаря къ женщинѣ было неосмысленное увлеченіе; человечество переживало пору юности, ту пору, когда мальчикъ готовъ обо-



жать каждую женщину, когда въ каждой женщинѣ онъ видитъ чуть не мадонну. Уваженіе рыцарей не требовало ничего отъ женщинъ, не подвинуло ихъ впередъ на пути умственнаго и нравственнаго развитія. Женщина могла заснуть на незаслуженныхъ лаврахъ, и потому было необходимо, чтобы взглядъ мужчины сдѣлался строже, глубже и серьезнѣе. Въѣкъ теологовъ и ученыхъ былъ въѣкомъ пробужденія критики. Критика эта была необходима, чтобы очистить взглядъ мужчины и возвысить женщину. Критика появилась, быть можетъ, въ уродливой формѣ, но это понятно и законно. Ничто не выходитъ готовымъ изъ рукъ природы: все должно быть вырабатываемо и только постепенно, мало-по-малу, достигаетъ опредѣленной, законченной формы. Если видно движеніе впередъ, стремленіе къ лучшему, то историкъ не имѣетъ права осуждать той странной формы, въ которой выражаются попытки усовершенствованія. Ставить эпоху предшествующую выше послѣдующей, въ которой замѣтна перемѣна направленія, но не видно ни застоя, ни движенія назадъ, это значитъ сомнѣваться въ прогрессѣ, не понимать идеи исторіи. Переходъ отъ неосмысленнаго поклоненія женщинѣ къ правильной оцѣнкѣ ея личности не могъ совершиться вдругъ; а переходное время всегда бываетъ болѣе или менѣе тяжело. Уяснивъ значеніе женщины, авторъ говоритъ про облагораживающее вліяніе истиннаго чувства и совѣтуетъ не скрывать отъ дѣвицъ существованія любви, но, напротивъ, представлять имъ это чувство, какъ одно изъ высшихъ проявленій законнаго стремленія къ прекрасному. Эта мысль вѣрна, и система воспитанія, при которой дѣвицъ до замужества не даютъ въ руки ни одного романа, какъ бы ни былъ онъ нравственъ и вѣренъ дѣйствительности,—эта система теперь почти оставлена, потому что сознають съ одной стороны ея беспо-

лезность, съ другой—нелогичность. Эта система, основанная на запрещеніи, на скрываніи, никогда не приносила хорошихъ результатовъ. Тайна раздражаетъ любопытство, запрещеніе усиливаетъ стремленіе къ запрещенному. Сверхъ того, нужно-ли и возможно-ли скрывать отъ дѣвушки существованіе любви? Не лучше-ли, вмѣсто того, чтобы дѣвушкѣ узнавать объ ней стороною, черезъ подругъ, украдкою, не лучше-ли матери самой внушить ей уваженіе къ этому чувству и указать ей на тѣ обязанности, которыя возлагаетъ оно на человѣка, и на тѣ чистыя радости, которыя доставляетъ оно въ жизни? Кажется, такой взглядъ на воспитаніе дѣвушекъ беретъ перевѣсъ не только въ теоріи, но и въ жизни. Приготовляя дѣвушку быть женою, матерью, необходимо заставить ее заглянуть въ будущее, заставить заранѣе понять то чувство, безъ котораго жизнь не полна и развитіе не все-сторонне. О второй статьѣ того-же автора мы скажемъ коротко. Авторъ разбираетъ мысли Флери и Фенелона, заговорившихъ въ царствованіе Людовика XIV о необходимости образованія для женщинъ; онъ опредѣляетъ значеніе обоихъ писателей для тогдашняго времени и отношеніе ихъ педагогической теоріи къ системѣ современнаго воспитанія. Признавая заслуги того и другого, авторъ находитъ, что ихъ понятія узки и ограничены для нашего времени. Онъ сообщаетъ при этомъ нѣсколько основательныхъ замѣчаній, сходныхъ съ мыслями, высказанными нами при разборѣ сочиненія Фенелона, и, наконецъ, кончаетъ обращеніемъ къ современнымъ женщинамъ, увѣщая ихъ исправиться отъ господствующаго въ обществѣ недостатка (на который указывали еще Флери и Фенелонъ), отъ пагубнаго стремленія—казаться, а не быть. Все это вѣрно, и мы не находимъ противъ этого возраженій.

## ОБЛОМОВЪ. Романъ И. А. Гончарова.

Въ каждой литературѣ, достигшей извѣстной степени зрѣлости, появляются такіа произведенія, которыя соглашаютъ общечеловѣческій интересъ съ народнымъ и современнымъ и возводятъ на степень художественныхъ созданій типы, взятые изъ среды того общества, къ которому принадлежитъ писатель. Авторъ такого произведенія не увлекается современными ему, часто мелкими, вопросами жизни, не имѣющими ничего общаго съ искусствомъ; онъ не задаетъ себѣ задачи составить поучительную книгу и осмѣять тотъ или другой недостатокъ общества

или превознести ту или другую добродѣтель, въ которой нуждается это общество. Нѣтъ! Творчество съ заранѣе задуманной практической цѣлью составляетъ явленіе незаконное; оно должно быть предоставлено на долю тѣхъ писателей, которымъ отказано въ могучемъ талантѣ, которымъ дано взаимнѣе нравственное чувство, способное сдѣлать ихъ хорошими гражданами, но не художниками. Истинный поэтъ стоитъ выше житейскихъ вопросовъ, но не уклоняется отъ ихъ разрѣшенія, встрѣчаясь съ ними на пути своего творчества. Такой



поэтъ смотритъ глубоко на жизнь и въ каждомъ ея явленіи видитъ общечеловѣческую сторону, которая затронетъ за живое всякое сердце и будетъ понятна всякому времени. Случится-ли поэту обратить вниманіе на какое-нибудь общественное зло,—положимъ, на взяточничество,—онъ не станетъ, подобно представителямъ обличительнаго направленія, вдаваться въ тонкости казуистики и излагать разные запутанныя продѣлки: цѣль его будетъ не осмѣять зло, а разрѣшить передъ глазами читателя психологическую задачу; онъ обратитъ вниманіе не на то, въ чемъ проявляется взяточничество, а на то, откуда оно исходитъ; взяточникъ въ его глазахъ—не чиновникъ, недобросовѣстно исполняющій свою обязанность, а человѣкъ, находящійся въ состояніи полного нравственнаго униженія. Прослѣдить состояніе его души, раскрыть его передъ читателемъ, объяснить участіе общества въ формированіи подобныхъ характеровъ—вотъ дѣло истиннаго поэта, котораго твореніе о взяточничествѣ можетъ возбудить не одно отвращеніе, а глубокую грусть за нравственное паденіе человѣка. Такъ смотритъ поэтъ на явленія своей современности, такъ относится онъ къ различнымъ сторонамъ своей національности, на все смотритъ онъ съ общечеловѣческой точки зрѣнія; не тратя силъ на воспроизведеніе мелкихъ внѣшнихъ особенностей народнаго характера, не дробя своей мысли на мелочныя явленія всенедней жизни, поэтъ разомъ постигаетъ духъ, смыслъ этихъ явленій, усваиваетъ себѣ полное пониманіе народнаго характера и потомъ, вполне располагая своимъ матеріаломъ, творить, не списывая съ окружающей его дѣйствительности, а выводя эту дѣйствительность изъ глубины собственного духа и влагая въ живые, созданные имъ образы одушевляющую его мысль. «Народность—говоритъ Бѣлинскій—есть не достоинство, а необходимое условіе истинно художественнаго произведенія». Мысль поэта ищетъ себѣ опредѣленнаго, округлаго выраженія и по естественному закону выливается въ ту форму, которая всего знакомѣе поэту; каждая черта общечеловѣческаго характера имѣетъ въ извѣстной національности свои особенности, каждое общечеловѣческое движеніе души выражается сообразно съ условіями времени и мѣста. Истинный художникъ можетъ воплотить свою идею только въ самыхъ опредѣленныхъ образахъ, и вотъ почему народность и историческая вѣрность составляютъ необходимое условіе изящнаго произведенія. Слова Бѣлинскаго, сказанныя имъ по поводу повѣстей Гоголя, могутъ быть въ полной силѣ приложены къ оцѣнкѣ новаго романа Гончарова. Въ этомъ романѣ разрѣшается обширная, общечеловѣческая психологическая задача; эта задача разрѣшается въ явленіяхъ чисто русскихъ, національных,

возможныхъ только при нашемъ образѣ жизни, при тѣхъ историческихъ обстоятельствахъ, которыя сформировали народный характеръ, при тѣхъ условіяхъ, подъ вліяніемъ которыхъ развивалось и отчасти развивается до сихъ поръ наше молодое поколѣніе. Въ этомъ романѣ затронуты и жизненные, современные вопросы настолько, насколько эти вопросы имѣютъ общечеловѣческій интересъ; въ немъ выставлены и недостатки общества, но выставлены не съ полемической цѣлью, а для вѣрности и полноты картины, для художественнаго изображенія жизни, какъ она есть, и человѣка съ его чувствами, мыслями и страстями. Полная объективность, спокойное, безстрастное творчество, отсутствіе узкихъ временныхъ цѣлей, профанирующихъ искусство, отсутствіе лирическихъ порывовъ, нарушающихъ ясность и отчетливость эпического повѣствованія,—вотъ отличительные признаки таланта автора, насколько онъ выразился въ послѣднемъ его произведеніи. Мысль Гончарова, проведенная въ его романѣ, принадлежитъ всѣмъ вѣкамъ и народамъ, но имѣетъ особенное значеніе въ наше время, для нашего русскаго общества. Авторъ задумалъ прослѣдить мертвящее, губительное вліяніе, которое оказываютъ на человѣка умственная апатія, усыпленіе, овладѣвающее мало-по-малу всѣми силами души, охватывающее и сковывающее собою всѣ лучшія, человѣческія, разумныя движенія и чувства. Эта апатія составляетъ явленіе общечеловѣческое, она выражается въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и порождается самыми разнородными причинами; но вездѣ въ ней играетъ главную роль страшный вопросъ: «зачѣмъ жить? къ чему трудиться?»,—вопросъ, на который человѣкъ часто не можетъ найти себѣ удовлетворительнаго отвѣта. Этотъ неразрѣшенный вопросъ, это неудовлетворенное сомнѣніе истощаютъ силы, губятъ дѣятельность; у человѣка опускаются руки, и онъ бросаетъ трудъ, не видя ему цѣли. Одинъ съ негодованіемъ и съ желчью отбросить отъ себя работу, другой отложить ее въ сторону тихо и лѣнливо; одинъ будетъ рваться изъ своего бездѣйствія, негодовать на себя и на людей, искать чего-нибудь, чѣмъ можно было бы наполнить внутреннюю пустоту; апатія его приметъ оттѣнокъ мрачнаго отчаянія, она будетъ перемежаться съ лихорадочными порывами къ безпорядочной дѣятельности и все-таки останется апатіей, потому что отнять у него силы дѣйствовать, чувствовать и жить. У другого равнодушіе къ жизни выразится въ болѣе мягкой, безцвѣтной формѣ; животныя инстинкты тихо, безъ борьбы, выплывутъ на поверхность души; замрутъ безъ боли высшія стремленія; человѣкъ опустится въ мягкое кресло и за-



снеть, наслаждаясь своимъ безмысленнымъ покоемъ; начнется вмѣсто жизни прозябаніе, и въ душѣ человѣка образуется стоячая вода, до которой не коснется никакое волненіе вѣшняго міра, который не потревожитъ никакой внутренней переворотъ. Въ первомъ случаѣ мы видимъ какую-то вынужденную апатію,—апатію и вмѣстѣ съ тѣмъ борьбу противъ нея, избытокъ силъ, просившихся въ дѣло и медленно гаснущихъ въ безплодныхъ попыткахъ; это — байронизмъ, болѣзнь сильныхъ людей. Во второмъ случаѣ является апатія покорная, мирная, улыбающаяся, безъ стремленія выйти изъ бездѣйствія; это — обломовщина, какъ называлъ ее Гончаровъ, это болѣзнь, развитію которой способствуютъ и славянская природа, и жизнь нашего общества. Это развитіе болѣзни прослѣдилъ въ своемъ романѣ Гончаровъ. Огромная идея автора во всемъ величій своей простоты улеглась въ соответствующую ей рамку. По этой идеѣ построенъ весь планъ романа, построенъ такъ обдуманно, что въ немъ нѣтъ ни одной случайности, ни одного вводнаго лица, ни одной лишней подробности; чрезъ всѣ отдѣльныя сцены проходитъ основная идея, и, между тѣмъ, во имя этой идеи, авторъ не дѣлаетъ ни одного уклоненія отъ дѣйствительности, не жертвуетъ ни одной частностью во вѣшной отдѣлкѣ лицъ, характеровъ и положеній. Все строго естественно и между тѣмъ вполне осмысленно, проникнуто идеей. Событій, дѣйствій почти нѣтъ; содержаніе романа можетъ быть рассказано въ двухъ, трехъ строкахъ, какъ можетъ быть рассказана въ нѣсколькихъ словахъ жизнь всякаго человѣка, не испытавшаго сильныхъ потрясеній; интересъ такого романа, интересъ такой жизни заключается не въ замысловатомъ сѣбленіи событій, хотя бы и правдоподобныхъ, хотя бы и дѣйствительно случившихся, а въ наблюденіи надъ внутреннимъ міромъ человѣка. Этотъ міръ всегда интересенъ, всегда привлекаетъ къ себѣ наше вниманіе; но онъ особенно доступенъ для изученія въ спокойныя минуты, когда человѣкъ, составляющій предметъ нашего наблюденія, предоставленъ самому себѣ, не зависитъ отъ вѣшнихъ событій, не поставленъ въ искусственное положеніе, происходящее отъ случайнаго стеченія обстоятельствъ. Въ такія спокойныя минуты жизни, когда человѣкъ, не тревожимый вѣшными впечатлѣніями, сосредоточивается, собираетъ свои мысли и заглядываетъ въ свой внутренній міръ, въ такія минуты происходитъ иногда никому не замѣтная, глухая внутренняя борьба, въ такія минуты зрѣетъ и развивается душевная мысль или происходитъ поворотъ на прошедшее, обсуживаніе и оцѣнка собственныхъ поступковъ, собственной личности. Эти таинственныя минуты особенно дороги для художника, особенно инте-

ресны для просвѣщеннаго наблюдателя. Въ романѣ Гончарова внутренняя жизнь дѣйствующихъ лицъ открыта передъ глазами читателя; нѣтъ путаницы вѣшнихъ событій, нѣтъ придуманныхъ и рассчитанныхъ эффектовъ, и потому анализъ автора ни на минуту не теряетъ своей отчетливости и спокойной провицательности. Идея не дробится въ сплетеніи разнообразныхъ происшествій: она стройно и просто развивается сама изъ себя, проводится до конца и до конца поддерживаетъ собою весь интересъ, безъ помощи постороннихъ, побочныхъ, вводныхъ обстоятельствъ. Эта идея такъ широка, она охватываетъ собою такъ много сторонъ нашей жизни, что, воплощая одну эту идею, не уклоняясь отъ нея ни на шагъ, авторъ могъ, безъ малѣйшей натяжки, коснуться чуть ли не всѣхъ вопросовъ, занимающихъ въ настоящее время общество. Онъ коснулся ихъ невольно, не желая жертвовать для временныхъ цѣлей вѣчными интересами искусства; но это, невольно высказанное въ общественномъ дѣлѣ, слово художника не можетъ не имѣть сильнаго и благотворнаго вліянія на умы: оно подѣйствуетъ такъ, какъ дѣйствуетъ все истинное и прекрасное. Часто случается, что художникъ приступаетъ къ своему дѣлу съ извѣстной идеей, созрѣвшей въ его головѣ и получившей уже свою опредѣленную форму; онъ берется за перо, чтобы перенести эту идею на бумагу, чтобы вложить ее въ образы—и вдругъ увлекается самымъ процессомъ творчества; произведеніе, задуманное въ его умѣ, разрастается и получаетъ не ту форму, которая была назначена ему прежде. Отдѣльный эпизодъ, которому вначалѣ слѣдовало только подтвердить основную мысль, обрабатывается съ особенной любовью и вырастаетъ такъ, что почти выдвигается на первый планъ, и между тѣмъ отъ этого, повидимому незаконнаго, преобладанія одной части надъ другими не происходитъ дисгармоніи; основная идея не теряетъ своей ясности, не затемняется развитіемъ эпизодовъ; все произведеніе остается стройнымъ и изящнымъ, хотя и не соблюдена математическая строгость въ соразмѣрности частей. Описанный нами фактъ творчества свершился, какъ кажется, надъ романомъ Гончарова. Главной идеей автора, насколько можно судить и по заглавію, и по ходу дѣйствія, было изобразить состояніе спокойной и покорной апатіи, о которой мы уже говорили выше; между тѣмъ, послѣ прочтенія романа у читателя можетъ возникнуть вопросъ: что хотѣлъ сдѣлать авторъ? Какая главная цѣль руководила имъ? Не хотѣли ли онъ прослѣдить развитіе чувства любви, анализировать до мельчайшихъ подробностей тѣ видоизмѣненія, которыя испытываетъ душа женщины, взволнованной сильнымъ и глубокимъ чувствомъ? Вопросъ этотъ рождается не



оттого, чтобы главная цѣль была не достигнута, не оттого, чтобы вниманіе автора уклонилось отъ нея въ сторону: напротивъ! дѣло въ томъ, что обѣ цѣли, главная и второстепенная, возникшая во время творчества, достигнуты до такой степени полно, что читатель не знаетъ, которой изъ нихъ отдать предпочтеніе. Въ *Обломовѣ* мы видимъ двѣ картины, одинаково законченныя, поставленныя рядомъ, проникающія и дополняющія одна другую. Главная идея автора выдержана до конца; но во время процесса творчества представилась новая психологическая задача, которая, не мѣшая развитію первой мысли, сама разрѣшается до такой степени полно, какъ не разрѣшалась, быть можетъ, никогда. Рѣдкій романъ обнаруживалъ въ своемъ авторѣ такую силу анализа, такое полное и тонкое знаніе человѣческой природы вообще и женской въ особенности; рѣдкій романъ когда-либо совмѣщалъ въ себѣ двѣ, до такой степени огромныя, психологическія задачи, рѣдкій возводилъ соединеніе двухъ такихъ задачъ до такого стройнаго и повидимому несложнаго цѣлаго. Мы бы никогда не кончили, если бы стали говорить о всѣхъ достоинствахъ общаго плана, составленнаго такою смѣлою рукою; переходимъ къ разсмотрѣнію отдѣльных характеровъ.

Илья Ильичъ Обломовъ, герой романа, олицетворяетъ въ себѣ ту умственную апатію, которой Гончаровъ придалъ имя обломовщины. Слово обломовщина не умереть въ нашей литературѣ: оно составлено такъ удачно, оно такъ осязательно характеризуетъ одинъ изъ существенныхъ пороковъ нашей русской жизни, что, по всей вѣроятности, изъ литературы оно проникнетъ въ языкъ и войдетъ во всеобщее употребленіе. Посмотримъ, въ чемъ-же состоитъ эта обломовщина. Илья Ильичъ стоитъ на рубежѣ двухъ, взаимно противоположныхъ, направлений: онъ воспитанъ подъ вліяніемъ обстановки старо-русской жизни, привыкъ къ барству, къ бездѣйствію и къ полному угожденію своимъ физическимъ потребностямъ и даже прихотямъ; онъ провелъ дѣтство подъ любящимъ, но неосмысленнымъ надзоромъ совершенно неразвитыхъ родителей, наслаждавшихся впродолженіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ полной умственной дремотою, вродѣ той, которую охарактеризовалъ Гоголь въ своихъ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ». Онъ изнѣженъ и избалованъ, ослабленъ физически и нравственно; въ немъ старались, для его-же пользы, подавлять порывы рѣзвости, свойственные дѣтскому возрасту, и движенія любознательности, просыпающіяся также въ годы младенчества: первые, по мнѣнію родителей, могли подвергнуть его ушибамъ и разнаго рода поврежденіямъ; вторыя могли разстроить здоровье и остановить развитіе физическихъ силъ.

Кормленіе на убой, сонъ въ волю, поблажка всѣмъ желаніямъ и прихотямъ ребенка, не грозившимъ ему какимъ-либо тѣлеснымъ поврежденіемъ, и тщательное удаленіе отъ всего, что можетъ простудить, обжечь, ушибить или утомить его,—вотъ основныя начала обломовскаго воспитанія. Соная, рутинная обстановка деревенской, захолустной жизни дополнила то, чего не успѣли сдѣлать труды родителей и нянекъ. На тепличное растеніе, не ознакомившееся въ дѣтствѣ не только съ волненіями дѣйствительной жизни, но даже съ дѣтскими огорченіями и радостями, пахнуло струей свѣжаго, живого воздуха. Илья Ильичъ сталъ учиться и развился настолько, что понималъ, въ чемъ состоитъ жизнь, въ чемъ состоятъ обязанности человѣка. Онъ понималъ это умомъ, но не могъ сочувствовать воспринятымъ идеямъ о долгѣ, о трудѣ и дѣятельности. Роковой вопросъ: къ чему жить и трудиться? вопросъ, возникающій обыкновенно послѣ многочисленныхъ разочарованій и обманутыхъ надеждъ, прямо, самъ собою, безъ всякаго приготовленія, во всей своей ясности представился уму Ильи Ильича. Этимъ вопросомъ онъ сталъ оправдывать въ себѣ отсутствіе опредѣленныхъ наклонностей, нелюбовь къ труду всякаго рода, нежеланіе покупать этимъ трудомъ даже высокое наслажденіе, безсиліе, не позволявшее ему идти твердо къ какой-нибудь цѣли и заставлявшее его останавливаться съ любовью на каждомъ препятствіи, на всемъ, что могло дать средство отдохнуть и остановиться. Образованіе научило его презирать праздность; но сѣхена, брошенная въ его душу природою и первоначальнымъ воспитаніемъ, принесли плоды. Нужно было согласить одно съ другимъ, и Обломовъ сталъ объяснять себѣ свое апатическое равнодушіе философскимъ взглядомъ на людей и на жизнь. Онъ дѣйствительно успѣлъ увѣрить себя въ томъ, что онъ—философъ, потому что спокойно и безстрастно смотритъ на волненія и дѣятельность окружающихъ его людей; лѣнь получила въ его глазахъ силу закона; онъ отказался отъ всякой дѣятельности; обезпеченное состояніе дало ему средства не трудиться, и онъ спокойно задремалъ съ полнымъ сознаніемъ собственнаго достоинства. Между тѣмъ идутъ года, и съ годами возникаютъ сомнѣнія. Обломовъ оборачивается назадъ и видитъ рядъ бесполезно прожитыхъ лѣтъ, смотритъ внутрь себя и видитъ, что все пусто, оглядывается на товарищей—всѣ за дѣломъ; настаютъ порою страшныя минуты яснаго сознанія; его щемитъ тоска, хочется двинуться съ мѣста, фантазія разыгрывается, начинаются планы, а между тѣмъ двинуться нѣтъ силъ, онъ какъ будто приросъ къ землѣ, прикованъ къ своему бездѣйствію, къ спокойному креслу и къ халату; фантазія слабѣетъ, лишь только приходитъ пора



дѣйствовать; смѣлые планы разлетаются, лишь только надо сдѣлать первый шагъ для ихъ осуществленія. Апатія Обломова не похожа на тотъ тяжелый сонъ, въ который были погружены умственные способности его родителей: эта апатія парализируетъ дѣйствія, но не деревянитъ его чувства, не отнимаетъ у него способности думать и мечтать; высшія стремленія его ума и сердца, пробужденныя образованіемъ, не замерли; человѣческія чувства, вложенныя природою въ его мягкую душу, не очерствѣли: они какъ будто зацѣпились жиромъ, но сохранились во всей своей первобытной чистотѣ. Обломовъ никогда не приводилъ этихъ чувствъ и стремлений въ соприкосновеніе съ практической жизнью; онъ никогда не разочаровывался, потому что никогда не жилъ и не дѣйствовалъ. Оставшись до зрѣлаго возраста съ полной вѣрой въ совершенства людей, создавъ себѣ какой-то фантастическій міръ, Обломовъ сохранилъ чистоту и свѣжесть чувства, характеризующую ребенка; но эта свѣжесть чувства бесполезна и для него, и для другихъ. Онъ способенъ любить и чувствовать дружбу; но любовь не можетъ возбудить въ немъ энергіи; онъ устаетъ любить, какъ усталъ двигаться, волноваться и жить. Вся личность его влечетъ къ себѣ своей честностью, чистотою помысловъ и «голубиною», по выраженію самого автора, нѣжностью чувствъ; но въ этой привлекательной личности нѣтъ мужественности и силы, нѣтъ самостоятельности. Этотъ недостатокъ губитъ всѣ его хорошія свойства. Обломовъ робокъ, застѣнчивъ. Онъ стоитъ по своему уму и развитію выше массы, составляющей у насъ общественное мнѣніе, но ни въ одномъ изъ своихъ дѣйствій не выражаетъ своего превосходства; онъ не дорожитъ свѣтомъ—и между тѣмъ боится его пересудовъ и безпрекословно подчиняется его приговорамъ; его пугаетъ малѣйшее столкновеніе съ жизнью, и, ежели можно избѣжать такого столкновенія, онъ готовъ жертвовать своимъ чувствомъ, надеждами, матеріальными выгодами; словомъ, Обломовъ не умѣетъ и не хочетъ бороться съ чѣмъ бы то ни было и какъ бы то ни было. Между тѣмъ, въ немъ совершается постоянная борьба между лѣнливой природою и сознаніемъ человѣческаго долга, — борьба безплодная, не вырывающаяся наружу и не приводящая ни къ какому результату. Спрашивается, какъ должно смотрѣть на личность, подобную Обломову? Этотъ вопросъ имѣетъ важное значеніе, потому что Обломовыхъ много и въ русской литературѣ, и въ русской жизни. Сочувствовать такимъ личностямъ нельзя, потому что онѣ тяготятъ и себя и общество; презирать ихъ безусловно тоже нельзя: въ нихъ слишкомъ много истинно-человѣческаго, и сами онѣ слишкомъ много страдаютъ отъ несовершенствъ своей природы. На подобныя личности должно, по нашему мнѣ-

нію, смотрѣть какъ на жалкія, но неизбѣжныя явленія переходной эпохи; онѣ стоятъ на рубежѣ двухъ жизней: старо-русской и европейской, и не могутъ шагнуть рѣшительно изъ одной въ другую. Въ этой нерѣшительности, въ этой борьбѣ двухъ началъ заключается драматичность ихъ положенія; здѣсь-же заключаются и причины дисгармоніи между смѣлостью ихъ мысли и нерѣшительностью дѣйствій. Такихъ людей должно жалѣть, во-первыхъ, — потому, что въ нихъ часто бываетъ много хорошаго, во-вторыхъ, — потому, что они являются невинными жертвами исторической необходимости. Рядомъ съ Обломовымъ выведенъ въ романѣ Гончарова другой характеръ, соединяющій въ себѣ тѣ результаты, къ которымъ должно вести гармоническое развитіе. Андрей Ивановичъ Штольцъ, другъ Обломова, является вполне мужчиной, такимъ человѣкомъ, какихъ еще очень мало въ современномъ обществѣ. Онъ не избалованъ домашнимъ воспитаніемъ, онъ съ молодыхъ лѣтъ началъ пользоваться разумной свободой, рано узналъ жизнь и умѣлъ внести въ практическую дѣятельность прочныя теоретическія знанія. Выработанность убѣжденій, твердость воли, критическій взглядъ на людей и на жизнь и рядомъ съ этимъ критическимъ взглядомъ вѣра въ истину и въ добро, уваженіе ко всему прекрасному и возвышенному, — вотъ главныя черты характера Штольца. Онъ не даетъ воли страстямъ, отличая ихъ отъ чувства; онъ наблюдалъ за собою и сознаетъ, что человѣкъ есть существо мыслящее, и что разсудокъ долженъ управлять его дѣйствіями. Господство разума не исключаетъ чувства, но осмысливаетъ его и предохраняетъ отъ увлеченій. Штольцъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ холодныхъ, флегматическихъ людей, которые подчиняютъ свои поступки расчету, потому что въ нихъ нѣтъ жизненной теплоты, потому что они не способны ни горячо любить, ни жертвовать собою во имя идеи. Штольцъ не мечтатель, потому что мечтательность составляетъ свойство людей, больныхъ тѣломъ или душою, не умѣвшихъ устроить себѣ жизнь по своему вкусу; у Штольца здоровая и крѣпкая природа; онъ сознаетъ свои силы, не слабѣетъ передъ неблагоприятными обстоятельствами и, не напрашиваясь насильно на борьбу, никогда не отступаетъ отъ нея, когда того требуютъ убѣжденія; жизненные силы бьютъ въ немъ живымъ ключемъ, и онъ употребляетъ ихъ на полезную дѣятельность, живетъ умомъ, сдерживая порывы воображенія, но воспитывая въ себѣ правильное эстетическое чувство. Характеръ его можетъ съ перваго взгляда показаться жестокимъ и холоднымъ. Спокойный, часто шутиливый тонъ, съ которымъ онъ говоритъ и о своихъ, и о чужихъ интересахъ, можетъ быть принятъ за неспособность глубоко чувствовать



за нежеланіе вдуматься, вникнуть въ дѣло; но это спокойствіе происходитъ не отъ холодности: въ немъ должно видѣть доказательство самостоятельности, привычки думать про себя и дѣлиться съ другими своими впечатлѣніями только тогда, когда это можетъ доставить имъ пользу или удовольствіе. Въ отношеніяхъ между Обломовымъ и Штольцемъ Обломовъ нѣжнѣе и общительнѣе своего друга. Это очень естественно: характеры слабые всегда нуждаются въ нравственной поддержкѣ и потому всегда готовы раскрыться, подѣлиться съ другимъ горемъ или радостью. Люди съ твердымъ, глубокимъ характеромъ находятъ въ голосѣ собственнаго разсудка лучшую опору и потому рѣдко чувствуютъ потребность высказаться. Въ отношеніи къ любимой женщинѣ Штолецъ не способенъ быть страдательнымъ существомъ, послушнымъ исполнителемъ ея воли: сознаніе собственной личности не позволяетъ ему, для кого бы то ни было, отступать отъ убѣжденій или мѣнять основныя черты своего характера. Осмысливая все, онъ осмысливаетъ и любовь и видитъ въ ней не служеніе кумиру, а разумное чувство, долженствующее пополнить существованіе двухъ взаимно уважающихъ другъ друга людей. Штолецъ — вполне европеецъ по развитію и по взгляду на жизнь; это — типъ будущій, который теперь рѣдокъ, но къ которому ведетъ современное движеніе идей, обнаружившееся съ такою силой въ нашемъ обществѣ. «Вотъ, — говоритъ Гончаровъ, — глаза очнулись отъ дремоты, послышались бойки, широкіе шаги, живые голоса... Сколько Штольцевъ должно явиться подъ русскими знаменами!»

Личности, подобныя Штольцу, рѣдки въ наше время: условія нашей общественной и частной жизни не могутъ содѣйствовать развитію такихъ характеровъ; въ наше время еще трудно согласить личные интересы съ чистотою убѣжденій, трудно не увлечься, съ одной стороны, въ сферу отвлеченной мысли, не имѣющей связи съ жизнью, съ другой — въ область копѣчнаго, бездушнаго разсчета. Гончаровъ сознаетъ исключительность характера Штолца и объясняетъ его происхожденіе тѣми особенными условіями, подъ влияніемъ которыхъ онъ росъ и развивался. Отецъ его, нѣмецъ, приучилъ его къ дѣятельности и съ малыхъ лѣтъ предоставилъ ему такую свободу, которая принудила его самого обсуживать поступки и заботиться объ его дѣтскихъ интересахъ; мать его, русская дворянка, не сочувствовала реальному направленію, которое давалъ отецъ воспитанію Андрею, и старалась возбудить въ немъ эстетическое чувство, заботилась даже о внѣшнемъ изяществѣ его манеръ и туалета. Отецъ старался сдѣлать изъ Андрея нѣмецкаго бюргера, дѣятельнаго, разчетливаго и расторопнаго; мать желала видѣть въ немъ человѣка съ нѣж-

ной душой и русскаго барина, образованнаго, способнаго блистать въ обществѣ и прожить честнымъ образомъ деньги, зарабатываемыя отцомъ. Отецъ воспитывалъ мальчика на римскихъ классикахъ, водилъ его по фабрикамъ, давалъ ему разныя коммерческія порученія и предоставлялъ его наклонностямъ возможно полную свободу; мать учила его прислушиваться къ задумчивымъ звукамъ Герца, пѣла ему о цвѣтахъ, о поэзіи жизни и проч. Вліянія обоихъ родителей были такимъ образомъ почти діаметрально противоположны; сверхъ того, на Андрея дѣйствовала окружавшая его обстановка русской жизни, широкая, безпечная, располагавшая къ лѣни и покою, дѣйствовала, наконецъ, и школа труда, которую онъ принужденъ былъ пройти, чтобы составить себѣ карьеру и состояніе. Всѣ эти разнородныя вліянія, умѣряя другъ друга, формировали сильный, недюжинный характеръ. Отецъ далъ Андрею практическую мудрость, любовь къ труду и точность въ занятіяхъ; мать воспитала въ немъ чувство и внушила ему стремленіе къ высшимъ духовнымъ наслажденіямъ; русское, деревенское общество положило на его личность печать добродушія и откровенности. Наконецъ, жизнь закалила этотъ характеръ и придала строгую опредѣленность тѣмъ нравственнымъ свойствамъ, которыя не успѣли вполне выработаться въ молодости, при воспитаніи. Характеръ Штолца вполне объясненъ авторомъ и такимъ образомъ, несмотря на свою рѣдкость, является характеромъ понятнымъ и законнымъ.

Третья замѣчательная личность, выведенная въ романѣ Гончарова, — Ольга Сергѣевна Ильинская — представляетъ типъ будущей женщины, какъ сформируютъ ее впоследствии тѣ идеи, которыя въ наше время стараются ввести въ женское воспитаніе. Въ этой личности, привлекающей къ себѣ невыразимой прелестью, но не поражающей никакими рѣзко выдающимися достоинствами, особенно замѣчательны два свойства, бросающія оригинальный колоритъ на всѣ ея дѣйствія, слова и движенія. Эти два свойства рѣдки въ современныхъ женщинахъ и потому особенно дороги въ Ольгѣ; они представлены въ романѣ Гончарова съ такой художественной вѣрностью, что имъ трудно не вѣрить, трудно принять Ольгу за невозможный идеалъ, созданный творческой фантазіей поэта. Естественность и присутствіе сознанія — вотъ что отличаетъ Ольгу отъ обыкновенныхъ женщинъ. Изъ этихъ двухъ качествъ вытекаютъ правдивость въ словахъ и въ поступкахъ, отсутствіе кокетства, стремленіе къ развитію, умѣнье любить просто и серьезно, безъ хитростей и уловокъ, умѣнье жертвовать собой своему чувству настолько, насколько позволяютъ не законы этикета, а голосъ совѣсти и разсудка. Первые два характера, оговоренные нами выше,



представлены уже сложившимися, и Гончаровъ только объясняетъ ихъ читателю, то-есть показываетъ тѣ условія, подъ вліяніемъ которыхъ они образовались; что-же касается до характера Ольги, онъ формируется передъ глазами читателя. Авторъ выводитъ ее сначала ребенкомъ, дѣвучкой, одаренной природнымъ умомъ, пользовавшейся при воспитаніи нѣкоторой самостоятельностью, но не испытавшей никакого сильнаго чувства, никакого волненія, незнакомой съ жизнью, непривыкшей наблюдать за собою, анализировать движенія собственной души. Въ этотъ періодъ жизни Ольги мы видимъ въ ней богатую, но нетронутую натуру; она не испорчена свѣтомъ, не умѣетъ притворяться, но не успѣла также развить въ себѣ мыслительной силы, не успѣла выработать себѣ убѣжденія; она дѣйствуетъ, повинаясь влеченіямъ доброй души, но дѣйствуетъ инстинктивно; она слѣдуетъ дружескимъ совѣтамъ развитого человѣка, но не всегда подвергаетъ эти совѣты критикѣ, увлекается авторитетомъ и иногда мысленно ссылается на своихъ пансіонскихъ подругъ, старается припомнить, что сдѣлала бы въ томъ или другомъ случаѣ Сонечка. Она не поступаетъ такъ, какъ поступили бы эти подружки, но мысленно упрекаетъ себя въ этомъ, не понимая, не сознавая еще ясно, что кокетство—ложь, что, слѣдуя внушеніямъ собственной души, она поступаетъ честно, и что инстинктивное отвращеніе ко всякому притворству есть проявленіе нравственнаго чувства, а не слѣдствіе неразвитости или, какъ она говоритъ, глупости. Опытъ и спокойное размышленіе могли постепенно вывести Ольгу изъ этого періода инстинктивныхъ влеченій и поступковъ, врожденная любознательность могла повести ее къ дальнѣйшему развитію путемъ чтенія и серьезныхъ занятій; но авторъ выбралъ для нея другой, ускоренный путь. Ольга полюбила, душа ее взволновалась, она узнала жизнь, слѣдя за движеніями собственного чувства; необходимость понять состояніе собственной души заставила ее многое передумать, и изъ этого ряда размышленій и психологическихъ наблюденій она выработала самостоятельный взглядъ на свою личность, на свои отношенія къ окружающимъ людямъ, на отношенія между чувствомъ и долгомъ,—словомъ, на жизнь въ самомъ обширномъ смыслѣ. Гончаровъ изображеніемъ характера Ольги, анализомъ ея развитія показалъ въ полной силѣ образовательное вліяніе чувства. Онъ подмѣчаетъ его возникновеніе, слѣдитъ за его развитіемъ и останавливается на каждомъ его видоизмѣненіи, чтобы изобразить то вліяніе, которое оказываетъ оно на весь образъ мыслей обоихъ дѣйствующихъ лицъ. Ольга полюбила нечаянно, безъ предварительнаго приготовленія; она не создавала себѣ отвлеченнаго идеала, подъ который многія барышни стараются под-

водить знакомыхъ мужчинъ, не мечтала о любви, хотя, конечно, знала о существованіи этого чувства. Она жила спокойно, не стараясь искусственно возбудить въ себѣ любовь, не стараясь видѣть героя будущаго своего романа въ каждомъ новомъ лицѣ. Любовь пришла къ ней неожиданно-негаданно, какъ приходитъ всякое истинное чувство; чувство это незамѣтно прокралось къ ней въ душу и обратило на себя ея собственное вниманіе тогда, когда получило уже нѣкоторое развитіе. Когда она замѣтила его, она стала вдумываться и соразмѣрять съ своей внутренней мыслью слова и поступки. Эта минута, когда она отдала себѣ отчетъ въ движеніяхъ собственной души, начинается собою новый періодъ въ ея развитіи. Эту минуту переживаетъ каждая женщина, и переворотъ, который совершается тогда во всемъ ея существѣ и начинается обличать въ ней присутствіе сдержаннаго чувства и сосредоточенной мысли, этотъ переворотъ особенно полно и художественно изображенъ въ романѣ Гончарова. Для такой женщины, какъ Ольга, чувство не могло долго оставаться на степени инстинктивнаго влеченія; стремленіе осмысливать въ собственныхъ глазахъ, объяснять себѣ все, что встрѣчалось съ нею въ жизни, пробудилось тутъ съ особенной силой: явилась цѣль для чувства, явилось и обсуживаніе любимой личности: этимъ обсуживаніемъ опредѣлилась самая цѣль. Ольга поняла, что она сильнѣе того человѣка, котораго любить, и рѣшилась возвысить его, вдохнуть ему энергію, дать ему силы для жизни. Осмысленное чувство сдѣлалось въ ея глазахъ долгомъ, и она съ полнымъ убѣжденіемъ стала жертвовать этому долгу нѣкоторыми внѣшними приличіями, за нарушеніе которыхъ чистосердечно и несправедливо преслѣдуетъ подозрительный судъ свѣта. Ольга растетъ вмѣстѣ съ своимъ чувствомъ; каждая сцена, происходящая между нею и любимымъ ею человѣкомъ, прибавляетъ новую черту къ ея характеру, съ каждой сценой граціозный образъ дѣвочки дѣлается знакомѣе читателю, обрисовывается ярче и сильнѣе выступаетъ изъ общаго фона картины. Мы достаточно опредѣлили характеръ Ольги, чтобы знать, что въ ея отношеніяхъ къ любимому человѣку не могло быть кокетства: желаніе завлечь мужчину, сдѣлать его своимъ обожателемъ, не испытывая къ нему никакого чувства, казалось ей непростительнымъ, недостойнымъ честной женщины. Въ ея обращеніи съ человекомъ, котораго она впоследствии полюбила, господствовала сначала мягкая, естественная грація, никакое разсчитанное кокетство не могло подѣйствовать сильнѣе этого неподдѣльнаго, безыскусственно простаго обращенія, но дѣло въ томъ, что со стороны Ольги тутъ не было желанія произвести то или другое впе-



чательнѣе. Женственность и грація, которыя Гончаровъ умѣлъ вложить въ ея слова и движенія, составляютъ неотъемлемую принадлежность ея природы и потому особенно обаятельно дѣйствуютъ на читателя. Эта женственность, эта грація становится сильнѣе и обаятельнѣе по мѣрѣ того, какъ чувство развивается въ груди дѣвушки; игривость, ребяческая безпечность смѣняются въ ея чертахъ выраженіемъ тихаго, задумчиваго, почти торжественнаго счастья. Передъ Ольгою открывается жизнь, міръ мыслей и чувствъ, о которыхъ она не имѣла понятія, и она идетъ впередъ, довѣрчиво глядя на своего спутника, но въ то же время всматриваясь съ робкой любознательностью въ тѣ ощущенія, которыя толпятся въ ея взволнованной душѣ. Чувство растетъ; оно дѣлается потребностью, необходимымъ условіемъ жизни, а между тѣмъ и тутъ, когда чувство доходитъ до пагуба, до «лунатизма любви», по выраженію Гончарова, и тутъ Ольга не теряетъ сознанія нравственнаго долга и умѣетъ сохранять спокойный, разумный, критическій взглядъ на свои обязанности, на личность любимаго человѣка, на свое положеніе и на дѣйствія свои въ будущемъ. Самая сила чувства даетъ ей ясный взглядъ на вещи и поддерживаетъ въ ней твердость. Дѣло въ томъ, что чувство въ такой чистой и возвышенной натурѣ не нисходитъ на степень страсти, не помрачаетъ разсудка, не ведетъ къ такимъ поступкамъ, отъ которыхъ въ послѣдствіи пришлось бы краснѣть; подобное чувство не перестаетъ быть сознательнымъ, хотя порою оно бываетъ такъ сильно, что давитъ и грозитъ разрушить собою организмъ. Оно вселяетъ въ душу дѣвушки энергію, заставляетъ ее нарушить тотъ или другой законъ этикета; но это-же чувство не позволяетъ ей забыть дѣйствительнаго долга, охраняетъ ее отъ увлеченія, внушаетъ ей сознательное уваженіе къ чистотѣ собственной личности, въ которой заключаются залогомъ счастья для двухъ людей. Ольга переживаетъ между тѣмъ новую фазу развитія: для нея наступаетъ горестная минута разочарованія, и испытываемыя ею душевныя страданія окончательно вырабатываютъ ея характеръ, придаютъ ей мысли зрѣлость, сообщаютъ ей жизненный опытъ. Въ разочарованіи часто бываетъ виновать самъ разочаровывающійся. Человѣкъ, создающій себѣ фантастическій міръ, непремѣнно, рано или поздно, столкнется съ дѣйствительной жизнью и ушибется тѣмъ больнѣе, чѣмъ выше была та высота, на которую подняла его прихотливая мечта. Кто требуетъ отъ жизни невозможнаго, тотъ долженъ обмануться въ своихъ надеждахъ. Ольга не мечтала о невозможномъ счастьи: ея надежды на будущее были просты, планы ея—осуществимы. Она полюбила человѣка честнаго, умнаго и развитаго, но сла-

баго, непривыкшаго жить; она узнала его хорошія и дурныя стороны и рѣшилась употребить всѣ усилія, чтобы согрѣть его той энергіей, которую чувствовала въ себѣ. Она думала, что сила любви оживитъ его, вселитъ въ него стремленіе къ дѣятельности и дастъ ему возможность приложить къ дѣлу способности, задремавшія отъ долгаго бездѣйствія. Цѣль ея была высоко-нравственная; она была внушена ей истиннымъ чувствомъ. Она могла быть достигнута: не было никакихъ данныхъ, чтобы сомнѣваться въ успѣхѣ. Ольга приняла мгновенную вспышку чувства со стороны любимаго ею человѣка за дѣйствительное пробужденіе энергіи; она увидѣла свою власть надъ нимъ и надѣялась вести его впередъ на пути самосовершенствованія. Могла-ли она не увлечься своей прекрасно цѣлью, могла-ли она не видѣть впереди себя тихаго разумнаго счастья? И вдругъ она замѣчаетъ, что возбужденная на мигъ энергія гаснетъ, что предпринятая ею борьба безнадежна, что обаятельная сила соннаго спокойствія сильнѣе ея живительнаго вліянія. Чтѣ было дѣлать ей въ подобномъ случаѣ? Мнѣнія, вѣроятно, раздѣлятся. Кто любитъ порывистой красотой безсознательнаго чувства, не думая о его послѣдствіяхъ, тотъ скажетъ: она должна была остаться вѣрною первому движенію сердца и отдать свою жизнь тому, кого однажды полюбила. Но кто видитъ въ чувствѣ ручательство будущаго счастья, тотъ взглянетъ на дѣло иначе: безнадежная любовь, безполезна для себя и для любимаго предмета, не имѣетъ смысла въ глазахъ такого человѣка; красота такого чувства не можетъ извинить его неосмысленности. Ольга должна была побѣдить себя, разорвать это чувство, пока было еще время; она не имѣла права губить свою жизнь, приносить собою безполезнаго жертву. Любовь становится незаконною тогда, когда ея не одобряетъ разсудокъ; заглушать голосъ разсудка значитъ давать волю страсти, животному инстинкту. Ольга не могла такъ поступить, и ей пришлось страдать, пока не выболѣло въ ея душѣ обманутое чувство. Ее спасло въ этомъ случаѣ присутствіе сознанія, на которое мы уже указали выше. Борьба мысли съ остатками чувства, подкрѣпляемаго свѣжими воспоминаніями минувшаго счастья, закалила душевныя силы Ольги. Въ короткое время она перечувствовала и передумала столько, сколько не случается передумать и перечувствовать втеченіи многихъ лѣтъ спокойнаго существованія. Она была окончательно приготовлена для жизни, и прошедшее, испытанное ею чувство, и пережитыя страданія дали ей способность понимать и цѣнить истинныя достоинства человѣка; они дали ей силы любить такъ, какъ не могла она любить прежде. Внушить ей чувство могла только замѣчательная личность. и въ этомъ чувствѣ уже для



разочарованія не было мѣста; пора увлеченія, пора лунатизма прошла невозвратно. Любовь не могла болѣе незамѣтно прокрасться въ душу, ускользая до времени отъ анализа ума. Въ новомъ чувствѣ Ольги все было опредѣленно, ясно и твердо. Ольга жила прежде умомъ, и умъ подвергалъ все своему анализу, предъявлялъ съ каждымъ днемъ новыя потребности, искалъ себѣ удовлетворенія, пищи во всемъ, чтò ее окружало. Затѣмъ развитіе Ольги сдѣлало еще только одинъ шагъ впередъ. На этотъ шагъ есть только бѣглое указаніе въ романѣ Гончарова. То положеніе, къ которому повелъ этотъ новый шагъ, не очерчено. Дѣло въ томъ, что Ольгу не могли удовлетворить вполнѣ ни тихое семейное счастье, ни умственные и эстетическія наслажденія. Наслажденія никогда не удовлетворяютъ сильной, богатой природы, неспособной заснуть и лишиться энергіи: такая природа требуетъ дѣятельности, труда съ разумною цѣлью, и только творчество способно до нѣкоторой степени утишить это тоскливое стремленіе къ чему-то высшему, незнакому,—стремленіе, котораго не удовлетворяетъ счастливая обстановка всендневной жизни. До этого состоянія высшаго развитія достигла Ольга. Какъ удовлетворила она пробудившимся въ ней потребностямъ, — этого не говоритъ намъ авторъ. Но, признавая въ женщинѣ возможность и законность этихъ высшихъ стремленій, онъ очевидно высказываетъ свой взглядъ на ея назначеніе и на то, чтò называется въ обществѣ эмансипаціей женщины. Вся жизнь и личность Ольги составляютъ живой протестъ противъ зависимости женщины. Протестъ этотъ, конечно, не составлялъ главной цѣли автора, потому что истинное творчество не навязываетъ себѣ практическихъ цѣлей; но чѣмъ естественнѣе возникъ этотъ протестъ, чѣмъ менѣе онъ былъ приготовленъ, тѣмъ болѣе въ немъ художественной истины, тѣмъ сильнѣе подѣйствуетъ онъ на общественное сознаніе. Вотъ три главные характера «Обломова». Остальныя группы личностей, составляющія фонъ картины и стоящія на второмъ планѣ, очерчены съ изумительной отчетливостью. Видно, что авторъ для главнаго сюжета не пренебрегалъ мелочами и, рисуя картину русской жизни, съ добросовѣстной любовью останавливался на каждой подробности. Вдова Пшеницына, Захаръ, Тарантьевъ, Мухоморовъ, Анисья—все это живые люди, все это типы, которые встрѣчалъ на своемъ вѣку каждый изъ насъ. Мы не будемъ говорить подробно объ этихъ второстепенныхъ личностяхъ. Изъ нихъ особенно замѣчательна вдова Пшеницына, въ лицѣ которой Гончаровъ воплотилъ чистое чувство, не возвышенное образованіемъ и не основанное на сознаніи. Захаръ, лакей Обломова, является такой типической, обработанной личностью, какой давно

не представляла наша литература. Эта личность не выдается рѣзко впередъ въ романѣ Гончарова только потому, что всѣ характеры обработаны одинаково полно, общій планъ строго обдуманъ, и всѣ дѣйствующія лица обращаютъ на себя вниманіе читателя настолько, насколько это нужно для интереса и гармонической стройности цѣлаго. Теперь намъ остается еще объяснить, почему мы считаемъ необходимымъ, чтобы дѣвицы прочли романъ Гончарова: изъ первыхъ словъ нашей статьи видно, какъ высоко ставимъ мы это произведеніе; не прочтя его, трудно познакомиться вполнѣ съ современнымъ положеніемъ русской литературы, трудно представить себѣ полное ея развитіе, трудно составить себѣ понятіе о глубинѣ мысли и законченности формы, которыми отличаются нѣкоторыя самыя зрѣлыя ея произведенія. «Обломовъ», по всей вѣроятности, составитъ эпоху въ исторіи русской литературы, онъ отражаетъ въ себѣ жизнь русскаго общества въ извѣстный періодъ его развитія. Имена Обломова, Штольца, Ольги сдѣлаются нарицательными. Словомъ, какъ ни разсматривать «Обломова», въ цѣломъ-ли, или въ отдѣльных частяхъ, по отношенію-ли его къ современной жизни, или по его абсолютному значенію въ области искусства, такъ или иначе, всегда должно будетъ сказать, что это—вполнѣ изящное, строго обдуманное и поэтически-прекрасное произведеніе. Вотъ почему мы такъ долго останавливались на его разсмотрѣніи, вотъ почему мы еще разъ настойчиво рекомендуемъ его для чтенія дѣвицамъ. Ежели даже смотрѣть на воспитаніе дѣвицъ такъ, какъ смотритъ на него наше модное общество, заботящееся такъ много о внѣшней невинности и полагающее эту невинность въ незнаніи жизни и природы, даже и тогда самая строгая цензура не найдетъ въ «Обломовѣ» ничего предосудительнаго. Изображеніе чистаго, сознательнаго чувства, опредѣленіе его вліянія на личность и поступки человѣка, воспроизведеніе господствующей болѣзни нашего времени, обломовщины,—вотъ главные мотивы романа. Ежели вспомнить при томъ, что всякое изящное произведеніе имѣетъ образовательное вліяніе, ежели вспомнить, что истинно изящное произведеніе всегда нравственно, потому что вѣрно и просто рисуетъ дѣйствительную жизнь, тогда должно сознаться, что чтеніе книгъ, подобныхъ «Обломову», должно составлять необходимое условіе всякаго рациональнаго образованія. Сверхъ того, для дѣвицъ можетъ быть особенно полезно чтеніе этого романа. Это чтеніе несравненно лучше отвлеченнаго трактата о женской добродѣтели уяснить имъ жизнь и обязанности женщины. Стоить только вдуматься въ личность Ольги, прослѣдить ея поступки, и, навѣрное, въ головѣ прибавится не одна плодотворная мысль,



въ сердце заронится не одно теплое чувство. Иначе, мы думаемъ, что «Обломова» должна всѣ капитальныя произведенія нашей словесности прочесть каждая образованная русская женщина.

## Дворянское Гнѣздо

Романъ И. С. Тургенева.

Вопросъ о томъ, что должны и что могутъ читать дѣвицы, до сихъ поръ не вполнѣ рѣшенъ, несмотря на его важность въ дѣлѣ женскаго воспитанія. Есть много замѣчательныхъ художественныхъ произведеній, которыя, представляя жизнь какъ она есть, разсматривая и обсуживая явленія современности, отыскивая въ нихъ общечеловѣческую сторону, объясняя ихъ историческимъ развитіемъ народности, заслуживаютъ полнаго вниманія всякаго просвѣщеннаго человѣка и удовлетворяютъ всѣмъ требованіямъ самой тонкой эстетической критики. Чтеніе такихъ произведеній необходимо для всесторонняго образованія какъ мужчины, такъ и женщины; а между тѣмъ, часто случается, что въ подобныхъ произведеніяхъ есть двѣ-три сцены, слишкомъ откровенно разоблачающія несовершенства жизни и слабости человѣческой природы. Тутъ потребности умственной жизни сталкиваются и приходятъ въ борьбу съ понятіями, принятыми въ обществѣ и освященными временемъ, — рождается вопросъ: читать или не читать дѣвушкѣ такое произведеніе? и вопросъ этотъ рѣшается различно, смотря по взгляду на вещи родителей и воспитателей. Иногда цуризмъ доходитъ до такихъ размѣровъ, что изъ рукъ дѣвушки вырываютъ всякій романъ, всякую книгу, въ которой встрѣчается слово «любовь»; при этомъ обыкновенно обращаютъ преимущественное вниманіе не на мысль, не на направленіе книги, а на внѣшнюю форму, на слова и выраженія. Согласить подобныя мнѣнія, еще живущія въ нашемъ обществѣ, съ сколько-нибудь жизненнымъ взглядомъ на образованіе и на ту роль, которую должно играть въ образованіи чтеніе, невозможно: идти прямо на перекоръ принятымъ понятіямъ общества, не обращать на нихъ никакого вниманія также нельзя. Этимъ можно только возбудить недовѣріе и озлобленіе въ приверженцахъ прежняго порядка вещей, ихъ нужно убѣждать разумными доводами, а не раздражать смѣлыми, но бесполезными выходками. Что же остается дѣлать, встрѣчаясь съ такими произведеніями, каково, напримѣръ,

«Дворянское Гнѣздо», послѣдній романъ И. С. Тургенева? Пройти его молчаніемъ нельзя, во имя любви къ нашей словесности, во имя того, что «Дворянское Гнѣздо» вмѣстѣ съ «Рудинымъ» представляетъ собою полный результатъ художественной дѣятельности одного изъ нашихъ первоклассныхъ писателей. Рекомендовать его для чтенія дѣвицамъ трудно: въ положеніи главныхъ дѣйствующихъ лицъ, въ самой связкѣ романа много горькой жизненной истины. А что слишкомъ истинно, то, какъ извѣстно, принято до времени скрывать. Находясь въ подобномъ затруднительномъ положеніи, мы рѣшились выбрать среднюю дорогу. Мы указали родителямъ и воспитателямъ на тѣ препятствія, которыя могутъ встрѣтиться при чтеніи «Дворянскаго Гнѣзда»; теперь мы постараемся въ нашемъ отчетѣ, минуя частности и подробности, показать, почему необходимо познакомить дѣвицъ съ этимъ во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательнымъ произведеніемъ. И. С. Тургеневъ, какъ извѣстно, вѣроятно, всѣмъ нашимъ читательницамъ, знакомымъ съ «Записками Охотника», съ «Рудинымъ», съ «Затишьемъ», съ «Муму», съ «Асею», — истинный художникъ, и художникъ преимущественно русскій. Русская національность выражается какъ въ созданіи русскихъ типовъ, такъ и въ отношеніи самого художника къ создаваемымъ имъ типамъ. Дѣйствующія лица повѣстей и рассказовъ Тургенева живутъ одной жизнью съ своимъ авторомъ. Выразимся точнѣе: у cadaго изъ выведенныхъ лицъ есть что-то общее съ авторомъ, какая-нибудь точка соприкосновенія: въ пониманіи вещей, въ складѣ ума представляемыхъ личностей есть такія оригинальныя черты, такія неувловимыя, но характеристичныя частности, которыя вырабатываетъ только русская жизнь, которая можетъ оцѣнить и подмѣтить только человѣкъ, сжившійся съ этой жизнью. одаренный тѣмъ-же національнымъ складомъ ума, перечувствовавшій на себѣ интересы и стремленія, волновавшія русское общество, и при томъ перечувствовавшій ихъ такъ, какъ чувствуетъ и воспринимаетъ ихъ русскій чело-



вѣкъ. Знаніе русской жизни, и при томъ знаніе не книжное, а опытное, вынесенное изъ дѣйствительности, очищенное и осмысленное силою таланта и размышленія, сказывается во всѣхъ произведеніяхъ Тургенева и особенно ярко выразилось въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», самомъ стройномъ и законченномъ изъ его созданий. Всѣ дѣйствующія лица его романа, начиная отъ русской дѣвушки Лизы и кончая русскимъ лакеемъ старыхъ временъ Антономъ, въ высшей степени оригинальны и жизненны; всѣ они созданы изъ тѣхъ элементовъ, которые всѣ мы знаемъ и изъ которыхъ, со времени реформы Петра, мало-по-малу слагается наша общественная и частная жизнь. Всѣ они—представители настоящего или непосредственного прошедшаго. Есть между ними и лучшіе люди, есть и дюжинные, но ни одинъ изъ нихъ не обогналъ своего вѣка, ни одинъ, подобно Штольцу, не является предвѣстникомъ будущаго, и, слѣдовательно, ни одного изъ нихъ нельзя, подобно Штольцу, упрекнуть въ томъ, что онъ—лицо, произвольно созданное авторомъ изъ такихъ элементовъ, которые еще не сдѣлались достояніемъ нашей жизни. Тургеневъ въ своемъ романѣ не говоритъ намъ о томъ, что должно быть; онъ представляетъ намъ то, что есть. Дидактизма нѣтъ и тѣни; а между тѣмъ «Дворянское Гнѣздо» — вполне поучительный романъ: онъ рисуетъ современную жизнь, отдѣляетъ ея хорошія и дурныя стороны, объясняетъ происхожденіе выведенныхъ явленій и вызываетъ читателя на серьезныя и плодотворныя размышленія. Когда мы изучаемъ исторію, намъ рѣдко удастся заглянуть въ душу людей извѣстной эпохи, не всегда удастся перенестись въ кругъ ихъ понятій, объяснить себѣ, какъ смотрятъ они на себя, на міръ, на свои отношенія къ обществу, къ семейству и къ человѣчеству. Такія черты не заносятся въ лѣтописи, гдѣ говорится только о войнахъ, мирныхъ договорахъ и дѣйствіяхъ государей. Внутренняя, духовная жизнь эпохи можетъ отразиться только въ художественномъ произведеніи. На этомъ основаніи нѣкоторыя подобныя произведенія стоятъ на ряду съ драгоценнѣйшими историческими памятниками. Къ числу такихъ произведеній можно отнести «Евгенія Онѣгина», «Героя Нашего Времени», «Мертвыя Души», «Обломова» и «Дворянское Гнѣздо». Онѣгинъ, Печоринъ и Обломовъ воплотили въ себѣ различныя фазы болѣзни вѣка, поражающей лучшихъ представителей прошлаго поколѣнія; «Мертвыя Души» и «Дворянское Гнѣздо» представили въ рядѣ свѣжихъ, жизненныхъ картинъ бытъ и понятія средняго класса нашего общества. «Мертвыя Души» обнимаютъ собою преимущественно отрицательныя явленія этой жизни, ея «бѣдность, да бѣдность, да несовершенства»; «Дворянское Гнѣздо» беретъ ея лучшихъ представите-

лей и показываетъ намъ, что въ нихъ есть хорошаго и чего недостаетъ, что слѣдовало бы добавить и исправить. Въ названныхъ нами произведеніяхъ высказалась вторая четверть XIX столѣтія; въ нихъ прослѣженъ весь процессъ внутренней жизни и развитія нашего общества въ этотъ періодъ времени.

Приступимъ теперь къ изложенію мысли автора, выраженной имъ въ выборѣ и группировкѣ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа. Не имѣя возможности касаться всѣхъ личностей и положеній, мы ограничимся анализомъ трехъ характеровъ, въ которыхъ, по нашему мнѣнію, довольно полно и ясно выразилась основная мысль. Мы будемъ говорить только о Паншинѣ, о Лаврецкомъ и о Лизѣ, упоминая объ остальныхъ личностяхъ настолько, насколько онѣ отдѣляютъ или объясняютъ собою черты ихъ характера или процессъ ихъ развитія.

Владиміръ Николаевичъ Паншинъ — чиновникъ, артистъ, свѣтскій человѣкъ, очень неглупый и довольно образованный, схватившій налету карьеру, положеніе въ обществѣ и даже довольно современный, но очень поверхностный взглядъ на вещи; онъ прекрасно характеризуетъ однимъ словомъ угрюмаго, ученаго, но забитаго жизнью музыканта Лемма. «Онъ, дилетантъ», говоритъ старый нѣмецъ о молодомъ и блестящемъ свѣтскомъ человѣкѣ, умѣющемъ соединять съ своими успѣхами въ обществѣ практическій взглядъ на административную дѣятельность и внѣшнюю, очень приличную, но вовсе не искреннюю воспримчивость къ разнообразнымъ проявленіямъ изящнаго. За Паншина заступаетъ въ разговорѣ съ Леммомъ Лизавета Михайловна Калинина. «Вы къ нему несправедливы,—говоритъ она:—онъ все понимаетъ и самъ почти все можетъ сдѣлать.» — «Да, — продолжаетъ музыкантъ: — все—второй нумеръ, легкій товаръ, спѣшная работа. Это нравится, и онъ нравится, и самъ онъ этимъ доволенъ: ну, и bravo». Въ этихъ правдивыхъ словахъ добросовѣстнаго труженика обрисованъ весь Паншинъ: онъ—дилетантъ и во вседневной жизни, и въ служебной своей дѣятельности, и особенно въ искусствѣ, которое подъ его руками превращается вполне въ изящную игрушку, въ *talent de société* или *d'agrément*. Паншинъ не служитъ никакому дѣлу, не преданъ никакой идеѣ, не выработалъ себѣ никакого твердаго, дорогаго убѣжденія; прожить весело и спокойно, нравиться окружающимъ людямъ, рисоваться передъ ними разнообразными дарованіями и чистотой нравственныхъ правилъ, возбуждать ихъ изумленіе и благоговѣніе вычитанной и кстати приведенной мыслью и наконецъ путями всѣхъ этихъ разнородныхъ, пустыхъ, но въ сущности безгрѣшныхъ успѣховъ достигнуть подъ старость высокаго чина и обеспеченнаго состоянія—вотъ



цѣль Паншина въ жизни, и этой цѣли онъ навѣрное достигнетъ, потому что онъ—человѣкъ умный, не настолько безнравственный или смѣлый, чтобы оскорбить какой-нибудь продѣлкой даже самое чуткое общественное мнѣніе, и не настолько благородный и пылкій, чтобы всей душой принять какое-нибудь убѣжденіе и во имя этого убѣжденія пожертвовать карьерой и временными выгодами. Паншинъ—сухой человѣкъ, примѣняющій и общія идеи, и высшія стремленія къ мелкимъ выгодамъ своего я, но въ то-же время тщательно скрывающій отъ всѣхъ другихъ свой узкій эгоизмъ. Онъ драпируется и постоянно играетъ роль. То онъ является государственнымъ человѣкомъ, заботящимся о трудахъ народа и горячо принимающимъ къ сердцу все, что можетъ упрочить его благосостояніе и содѣйствовать его развитію. Въ этомъ случаѣ его пылкія и, повидимому, вдохновенныя рѣчи отличаются преобладаніемъ общихъ мѣстъ и незнаніемъ истиннаго дѣла, незнаніемъ народнаго характера и народной жизни. То онъ прикидывается художникомъ, умно говоритъ о Шекспирѣ и Бетховенѣ, съ чувствомъ поетъ, съ видомъ знатока кладетъ широкіе штрихи на единственный ландшафтъ, который рисуетъ во всѣхъ альбомахъ знакомыхъ дамъ и дѣвицъ. Здѣсь Леммъ, истинный художникъ по чувству и спеціалистъ своего дѣла по знаніямъ, прямо угадываетъ его неискренность и смѣло говоритъ, что онъ не способенъ вѣрно понимать и глубоко чувствовать. То Паншинъ просто является добрымъ, откровеннымъ малымъ, у котораго нѣтъ ни затаенной мысли, ни разсчета,—человѣкомъ, увлекающимся минутными порывами, поддающимся мимолетнымъ впечатлѣніямъ и способнымъ, по живости и безпечности характера, надѣлать глупостей и поставить себя въ затруднительное и неловкое положеніе. Тутъ притворство его обнаруживается тѣмъ, что онъ, являясь на словахъ добрымъ и простымъ малымъ, на дѣлѣ держитъ себя самымъ политическимъ образомъ. Онъ шутитъ, фамильярничааетъ, позволяетъ себѣ вольности, но настолько, насколько можно: онъ никогда не забывается. Шутки его иногда оскорбляютъ личности; но онъ шутитъ только съ беззащитными людьми,—съ тѣми, кто стоитъ ниже его, или съ тѣми, кто не пойметъ ироніи и приметъ ее за чистую монету. Нельзя сказать, чтобы Паншинъ постоянно сознательно лгалъ, играя свои роли: онъ самъ увѣренъ, что онъ и артистъ, и администраторъ, и славный малый. Потому онъ чрезвычайно доволенъ всей своей особой вообще и каждымъ изъ своихъ прекрасныхъ качествъ въ особенности; онъ—актеръ, увлекающійся своей ролью и забывающій дѣйствительность. Дѣйствительности своей онъ собственнo и не знаетъ: вѣчно рисуясь и передъ другими, и передъ собою, онъ не успѣлъ возвыситься до безпристрастнаго размышленія надъ

самимъ собою и никогда не задавалъ себѣ существеннаго вопроса: чѣмъ онъ долженъ быть и что онъ на самомъ дѣлѣ? На самомъ дѣлѣ Паншинъ—человѣкъ одного разбора съ Молчалинымъ («Горе отъ ума») и Чичиковымъ («Мертвые Души»); онъ приличіе ихъ обоихъ и несравненно умнѣе перваго. Поэтому, чтобы достигнуть тѣхъ-же цѣлей, къ которымъ идутъ и Молчалинъ, и Чичиковъ, чтобы далеко обогнать того и другого, Паншину не нужно будетъ ни ползать, ни мошенничать: достаточно будетъ улыбнуться въ одномъ мѣстѣ, сказать ловкую фразу въ другомъ, почтительно выслушать нелѣпое разсужденіе въ третьемъ, прикинуться рыцаремъ чести въ четвертомъ—и на избранника судьбы широкой рѣкой полются земныя блага. Чичиковъ и Молчалинъ—мелкіе торгаши, оттого къ нимъ и прилипаетъ грязь ихъ ремесла; Паншинъ—промышленникъ большой руки, и потому онъ останется баринoмъ и честнымъ человѣкомъ, не по убѣжденію, а потому, что оно и выгодно, и спокойно. По внутреннимъ свойствамъ души, онъ ничѣмъ не лучше обоихъ своихъ предшественниковъ,—цѣль въ жизни у нихъ одна; все различіе заключается только во внѣшнемъ образованіи, да во внѣшней обстановкѣ. Такихъ людей формируетъ наше общество, оно воспитываетъ ихъ съ малыхъ лѣтъ въ своихъ салонахъ или канцеляріяхъ; оно потворствуетъ имъ своимъ благоволеніемъ и позволяетъ имъ достигнуть желанной цѣли, ежели они идутъ къ ней осторожно и прилично, не производя скандала и не марая себя вопіющей безнравственностью. Въ романѣ Тургенева Паншинъ представленъ въ одну изъ самыхъ свѣтлыхъ минутъ своей жизни: онъ любитъ достойную дѣвушку. Чувство повидимому очень благородное, но тутъ надо принять въ соображеніе три обстоятельства:

1) Онъ любитъ дѣвушку очень богатую,—дѣвушку, которая во всѣхъ отношеніяхъ представляется ему приличной, почти блестящей партіей.

2) Онъ продолжаетъ рисоваться передъ любимой дѣвушкой во все продолженіе романа; онъ рисуется торжественной важностью, когда дѣлаетъ предложеніе, рисуется мрачнымъ спокойствіемъ, когда въслѣдствіи получаетъ отказъ. Чувство во все продолженіе дѣйствія не вызвало у него ни одного живого, задушевнаго, нерасчитаннаго слова.

3) Онъ не понималъ и не зналъ любимой дѣвушки; разговоръ ихъ вертѣлся въ общихъ сферахъ музыки, живописи, поэзіи. Онъ говорилъ о нихъ, какъ дилетантъ и свѣтскій человѣкъ. Она слушала его равнодушно и отвѣчала прилично, потому что въ разговорѣ не было одушевленія, не было и откровенности. Зная одну наружность дѣвушки и довольствуясь этимъ знаніемъ, онъ не могъ любить сильно;



въ тотъ самый день, когда неблагопріятно рѣшилась его судьба, онъ съ живѣйшимъ удовольствіемъ пѣлъ, игралъ въ карты и велъ пустой разговоръ съ женщиной, не заслуживавшей ни уваженія, ни сочувствія развитого человѣка. Вотъ каковъ Паншинъ!

Лаврецкій — человѣкъ, много пережившій, испытавшій и радость, и горе, вдумывавшійся въ себя и въ свои отношенія къ людямъ, и выработавшій себѣ, наконецъ, путемъ серьезныхъ занятій, путемъ размышленій и опыта, умѣнье владѣть своимъ внутреннимъ міромъ, сдерживать порывы чувства и мириться съ жизнью, несмотря на ея мрачныя стороны, несмотря на тѣ страданія, которыя выпадаютъ въ ней на долю людей съ развитымъ умомъ и нѣжнымъ чувствомъ. Все участіе Лаврецкаго въ дѣйствіи романа представляется рядомъ незаслуженныхъ страданій, среди которыхъ крѣпнеть и формируется его мужественная личность, крѣпнеть, не черствѣя, не теряя живой воспріимчивости ко всему изящному въ природѣ и въ человѣкѣ. Его, какъ онъ самъ выражается, съ дѣтства вывихнули уродливымъ воспитаніемъ, отъ послѣдствій котораго ему трудно оправиться до зрѣлаго возраста; въ немъ пробудили любознательность и не направили ея, ему не дали даже элементарныхъ свѣдѣній, а между тѣмъ бросили въ его свѣжую и здоровую голову нѣсколько идей, взятыхъ изъ философіи XVIII вѣка, пересаженныхъ на русскую почву и понытыхъ особеннымъ, оригинальнымъ образомъ; суровымъ, почти спартанскимъ воспитаніемъ ему придали полноту и крѣпость физическихъ силъ — и не указали исхода этимъ силамъ. До двадцати-трехлѣтняго возраста его не познакомили ни съ жизнью, ни съ наукой, въ немъ развили только твердость воли, и эта твердость пригодилась ему на то, чтобы, не пугаясь упущеннаго времени, приняться за перевоспитаніе самого себя. Но между тѣмъ жизнь не ждетъ и предъявляетъ свои права, заставляетъ его идти впередъ тогда, когда нѣтъ еще ни опытности, ни умѣнья осмысливать свои поступки, когда дѣло перевоспитанія только что началось. Лаврецкій дѣлаетъ промахъ въ жизни, — промахъ, не легшій пятномъ на его совесть, но окончательный испортившій его будущую участь. Послѣдствія этого промаха — неудачнаго и неосторожнаго выбора жены по первому впечатлѣнію — развиваются въ романѣ и составляютъ его главную завязку. Лаврецкій является на сцену уже человѣкомъ 35 лѣтъ, уже знакомый съ тяжелымъ страданіемъ. Первое впечатлѣніе горести уже пережито имъ; но въ душѣ остались неизгладимые слѣды. Онъ не далъ горю опутать и обезсилить себя, не сталъ имъ рисоваться передъ самимъ собою, но, взглянувъ въ свое положеніе, сказалъ себѣ просто, что не видитъ впереди возможности счастья и

наслажденія; онъ мирится съ этой безнадежностью и при этомъ примиреніи умѣетъ убеждать себя отъ той апатіи, въ которую часто впадаютъ люди, обманутые жизнью. Наслажденія жизни кончились, говоритъ онъ себѣ, но остались обязанности, и это сознаніе неисполненнаго долга, — сознаніе, что онъ можетъ и долженъ быть полезенъ окружающимъ и зависящимъ отъ него людямъ, даетъ ему силы жить, не ожидая и не требуя ничего отъ жизни. Лаврецкій не признаетъ себя разочарованнымъ, и онъ дѣйствительно не разочарованный: онъ не возводитъ собственнаго, случайнаго несчастія въ общее правило, не смотритъ съ недоверіемъ и насмѣшкой на чужія радости, не чувствуетъ къ людямъ отвращенія, не отвергаетъ въ нихъ существованія добра, хотя, конечно, не вѣритъ ему съ прежнимъ юношескимъ увлеченіемъ. Онъ не можетъ себѣ представить, чтобы самъ онъ могъ еще разъ помолодѣть душой и испытать счастье взаимной любви; но, когда это счастье встрѣчается съ нимъ, онъ не отталкиваетъ его, начинаетъ ему вѣрить и предается своему новому чувству безъ боязни, безъ мрачныхъ предчувствій, съ полнымъ, святымъ наслажденіемъ, которымъ онъ дорожитъ тѣмъ болѣе, что уже знаетъ ему цѣну и что не смѣлъ болѣе надѣяться на него. Несчастье дѣйствуетъ на людей различно, смотря по степени ихъ ума и нравственныхъ силъ: однихъ оно убиваетъ, повергаетъ въ апатію или ожесточаетъ; это люди съ слабой волей, тратящейся на исполненіе мелкихъ прихотей и измѣняющей имъ тогда, когда нужно бороться и терпѣть, или это люди съ узкимъ и не вполне развитымъ умомъ, — люди, неспособные обсуживать своего положенія, — люди, выводящіе общія правила изъ мелкихъ случайностей, становящіяся на ходули и считающіе себя какими-то несчастными избранниками, жертвами, гонимыми рокомъ. Ихъ бессильная злоба на то, что они называютъ своей судьбой, кажется имъ законнымъ и великимъ чувствомъ; а ежели посмотреть на дѣло со стороны, то увидишь, что эта злоба такъ же безпредметна, какъ смѣшонъ гнѣвъ ребенка, ударившагося объ столъ и старающагося выместить на немъ свою боль. Къ числу такихъ жалкихъ, больныхъ людей, окисляющихся подъ вліяніемъ несчастія, принадлежатъ всѣ герои Байрона и его послѣдователи, — герои, возбуждавшіе такое благоговѣніе и сочувствіе въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Другихъ людей несчастье возвышаетъ и очищаетъ. Въ нихъ спятъ несознанныя ими самими душевныя силы; чтобы пробудить эти силы, нуженъ иногда сильный толчекъ, который, разрывая связь человѣка съ окружающими его внѣшними предметами, принудилъ бы его оглянуться на себя и привести въ извѣстность свое внутреннее достоинство. Такимъ толчкомъ бываетъ



несчастье. Послѣ такого толчка эти люди становятся терпимѣе къ другимъ; они полнѣе понимаютъ чужія страданія и живѣе сочувствуютъ чужимъ радостямъ, хотя подчасъ и грустно становится у нихъ на душѣ; несчастье дѣлается для нихъ школою; изъ тяжелаго опыта они выносятъ умѣнье сдерживать и осмысливать свои порывы, умѣнье различать людей, умѣнье выбирать наслажденія и довольствоваться тѣмъ, что есть, не требуя невозможнаго и не мучаясь произвольно создаваемыми фантазіями и сомнѣніями. Только такихъ людей можно назвать людьми крѣпкими и нравственно здоровыми. Къ числу такихъ людей принадлежитъ Лаврецкій. Онъ не отступаетъ отъ борьбы, пока можно бороться, и умѣетъ покоряться молча, съ мужественнымъ достоинствомъ, тамъ, гдѣ нѣтъ другого исхода. Последней способностью обладаютъ немногіе. На личности Лаврецкаго лежитъ явственно обозначенная печать народности. Ему никогда не измѣняютъ русскій, незатѣйливый, но прочный и здравый практическій смыслъ и русское добродушіе, иногда угловатое и неловкое, но всегда искреннее и неприготовленное. Лаврецкій простъ въ выраженіи радости и горя; у него нѣтъ возгласовъ и пластическихъ жестовъ, не потому, чтобы онъ подавлялъ ихъ, а потому, что это не въ его природѣ; онъ, какъ русскій человѣкъ, страдаетъ про себя и способенъ скорѣе къ тихому чувству, къ заумности, къ продолжительной тоскѣ, о которой поютъ наши народныя пѣсни, нежели къ бурнымъ взрывамъ отчаянія и къ стремительнымъ движеніямъ страсти. Въ драматическія минуты его жизни въ немъ иногда шевелятся грубыя, дикія чувства; но они не омрачаютъ разсудка и, тотчасъ подавленные размышленіемъ, замираютъ въ груди, не найдя себѣ выхода. У Лаврецкаго есть еще одно чисто русское свойство: легкій, безобидный, полузадумчивый, полугривный юморъ проникаетъ собою почти каждое его слово; онъ добродушно шутитъ съ другими и часто, смотря со стороны на свое положеніе, находитъ въ немъ комическую сторону и съ той-же добродушной шутливостью относится къ собственной личности и затрагиваетъ такіе предметы, которыхъ воспоминаніе заставляетъ сердце обливаться кровью. Когда случается ему укорить себя въ чемъ-нибудь, онъ рѣдко укоряетъ серьезно, съ желчью или съ негодованіемъ. Онъ никогда не впадаетъ въ трагизмъ; напротивъ, отношеніе его къ собственной личности тутъ остается юмористическимъ. Онъ добродушно, съ отгѣнкомъ тихой грусти, смѣется и надъ собою, и надъ своими увлеченіями и надеждами. Личность Лаврецкаго рельефно выдвигается въ романѣ Тургенева, тѣмъ болѣе, что она отгѣнена съ двухъ сторонъ: съ одной стороны ее отгѣняетъ космополитъ и мелкій эгоистъ Паншинъ, съ другой — энтузи-

астъ, мечтатель, претендующій на титулъ фанатика, Михалевичъ. Въ первомъ господствуетъ копѣчный расчетъ; во второмъ непомѣрно развито чувство, не допускающее никакого разсужденія и не обращающее вниманія на опытъ; въ первомъ все искусственно и размѣрено, во второмъ все широко и размашисто—и стремленія, и надежды, и виѣшнее обращеніе; первый смотритъ на жизнь, какъ на спекуляцію, въ которой можно выиграть столько-то выгодъ, столько-то почестей, столько-то наслажденій; второй видитъ въ ней фанатическое, самоотверженное служеніе какому-то долгу, обширному, великому, о которомъ онъ, впрочемъ, самъ не составилъ себѣ яснаго понятія. Лаврецкій держитъ средину между тѣмъ и другимъ; его разсудокъ сдерживаетъ чувство, а чувство охраняетъ его отъ сухости и черствости; онъ не выходитъ изъ границъ здраваго смысла, но и не останавливается на чисто положительной, сухо практической сторонѣ жизни; онъ живетъ всѣми сторонами своего существа и стремится къ полной, примиряющей гармоніи. Столкновеніе Лаврецкаго съ Паншинымъ показываетъ различіе между заносчивымъ дилетантомъ-космополитомъ, судящимъ о народности, которой онъ не знаетъ, и человѣкомъ жизни, патриотомъ безъ претензій, основательно знающимъ нужды своихъ соотечественниковъ и дѣйствительно сочувствующимъ интересамъ ихъ развитія. Столкновеніе Лаврецкаго съ Михалевичемъ обнаруживаетъ слабыя стороны ихъ обонхъ. Безцѣльный энтузіазмъ Михалевича составляетъ рѣзкую противоположность съ медленностью и нерѣшительностью Лаврецкаго. Первый кричитъ о долгѣ и дѣятельности, но не выходитъ изъ общихъ мѣстъ и самъ не можетъ опредѣлить, чего онъ требуетъ; второй знаетъ свои обязанности, но, по свойственной русскимъ людямъ обломовщинѣ, долго собирается взяться за дѣло, мѣшкаетъ и бесполезно тратитъ время. Лаврецкій—не энергическій человѣкъ, хотя въ немъ много жизненныхъ силъ и здороваго ума; недостатокъ энергіи, которымъ вообще страдаетъ русская народность, происходитъ въ немъ, быть можетъ, просто отъ фізіологическихъ или климатическихъ условій. Отгѣняя собою его хорошія качества, эта черта придаетъ его личности послѣднюю опредѣленность и сообщаетъ его образу печать поэтической жизненной правды. Личность Лаврецкаго во все продолженіе романа совершенствуется и очищается путемъ тяжелыхъ испытаній; она достигаетъ полнаго своего развитія уже въ эпилогѣ. Лаврецкій является тамъ человѣкомъ пожилымъ; онъ кончилъ навсегда личные расчеты съ жизнью, взялся за серьезное и полезное дѣло и въ этомъ дѣлѣ нашелъ себѣ ежели не счастье, то, по крайней мѣрѣ, разумное, достойное мыслящаго человѣка успокоеніе. Тур-



генеувъ показываетъ намъ Лаврецкаго въ такую минуту, при такой обстановкѣ, которая можетъ служить пробнымъ камнемъ его нравственныхъ силъ; онъ приводитъ его послѣ восьмилѣтняго отсутствія въ тѣ мѣста, въ которыхъ онъ думалъ во второй разъ найти счастье, въ которыхъ быстро промелькнулъ его романъ, получившій такую печальную развязку. На знакомыхъ мѣстахъ уже нѣтъ знакомыхъ людей; ихъ мѣсто замѣнило новое поколѣніе, которое рѣзвится и смѣется, передъ которымъ широко и безоблачно открывается жизнь. Лаврецкій погружается въ свои воспоминанія и въ то же время прислушивается къ шумнымъ восклицаніямъ свѣжихъ, молодыхъ голосовъ. Онъ задумывается, ему становится грустно, въ его душу напрашиваются образы и звуки былого, а между тѣмъ вокругъ него роскошная, расцвѣтающая жизнь громко и смѣло предъявляетъ свои права на настоящее, и Лаврецкій отъ чистаго сердца, безъ желчи и безъ зависти, признаетъ эти права и желаетъ счастья молодому поколѣнію.

Ему грустно отъ воспоминаній, а не отъ чужого веселья. Эта черта, превосходно выраженная въ концѣ эпилога, доказываетъ, что Лаврецкій достигъ полной гармоніи, полной побѣды надъ мелкимъ и завистливымъ эгоизмомъ, растрavляющимъ душевныя раны и служащимъ основой той мизантропіи, которой отличаются другіе, менѣе благородные страдалцы.

Говоря о личности Лаврецкаго, мы не можемъ не обратить вниманія нашихъ читателей на тѣ замѣчательныя главы, въ которыхъ авторъ представляетъ генеалогію своего героя и рисуетъ рядъ фамиліальныхъ портретовъ, начиная отъ прадѣда Лаврецкаго, русскаго барина стараго покроя, мрачнаго, жестокаго и своенравнаго, жившаго, вѣроятно, еще тогда, когда реформа Петра едва коснулась верхнихъ слоевъ нашего общества. Въ этихъ главахъ очерчено широкими штрихами нѣсколько чрезвычайно характерныхъ личностей, не похожихъ другъ на друга и между тѣмъ носящихъ на себѣ одинъ общій отпечатокъ русской народности. Значеніе духа нашей старины, значеніе тѣхъ идей и вліяній, которыя выносило въ себѣ наше общество съ половины XVIII вѣка, и, наконецъ, то удивительное пониманіе русскаго человѣка разныхъ временъ и слоевъ общества, которое отличаетъ собою произведенія Тургенева, выразились въ этихъ главахъ какъ въ группировкѣ личностей, такъ и въ выборѣ немногихъ, но чрезвычайно характерныхъ подробностей.

Въ началѣ нашей статьи мы замѣтили, что всѣ дѣйствующія лица «Дворянскаго Гнѣзда» цѣликомъ взяты изъ современности, что ни одно изъ нихъ ни въ какомъ отношеніи не обогнало своего вѣка, хотя многія относятся къ его лучшимъ представителямъ. Это замѣчаніе оказалось примѣнимымъ къ личностямъ Панишина

и Лаврецкаго. Одинъ изъ нихъ — чистое порожденіе испорченнаго общества; другой, успѣвшій выработать себѣ болѣе самостоятельную нравственную физіономію, также является намъ сыномъ своего народа, русскимъ человѣкомъ, выносившимъ въ себѣ всѣ вліянія, или, по выраженію одного современнаго критика, всѣ вѣянія эпохи. Эти вѣянія выразились и въ его воспитаніи, и въ событіяхъ его жизни. Но самымъ яркимъ подтвержденіемъ нашего замѣчанія мы считаемъ характеръ Лизаветы Михайловны Калитиной, одной изъ самыхъ граціозныхъ женскихъ личностей, когда-либо созданныхъ Тургеневымъ. Лиза — дѣвушка, богато одаренная природой; въ ней много свѣжей, не испорченной жизни; въ ней все искренне и неподдѣльно. У нея есть и природный умъ, и много чистаго чувства. По всѣмъ этимъ свойствамъ, она отдѣляется отъ массы и примыкаетъ къ лучшимъ людямъ нашего времени. Но богато одаренныя натуры рождаются во всякое время; умныя, искренно и глубоко чувствующія дѣвушки, неспособныя на мелкій расчетъ, бывающія во всякомъ обществѣ. Не въ природныхъ качествахъ души ума, а во взглядѣ на вещи, въ развитіи и этихъ качествъ и въ ихъ практическомъ примѣненіи должно искать вліянія эпохи на отдѣльную личность. Въ этомъ отношеніи Лиза не обогнала своего вѣка; личность ея сформировалась подъ вліяніемъ тѣхъ элементовъ, которыхъ различныя видоизмѣненія мы ежедневно встрѣчаемъ въ нашей современной жизни. Чтобы яснѣе высказать нашу мысль, мы позволимъ себѣ провести параллель между Ольгой Сергѣевной Ильинской, стоящей на нѣсколько десятилѣтій впереди нашего времени, и Лизой, современной русской дѣвушкой. У той и другой природныя качества почти тѣ-же: та-же искренность и естественность, тотъ-же природный здравый смыслъ, та-же женственная мягкость и грація поступковъ и душевныхъ движеній. Обѣ онѣ рѣзко отдѣляются отъ массы свѣтскихъ барышень, обѣ онѣ стоятъ неизмѣримо выше ихъ; но на этомъ и останавливается сходство. Въ Ольгѣ есть живая любознательность, въ Лизѣ ея не замѣтно; въ Ольгѣ женственность совмѣщается съ ея смѣлостью мысли, со способностью оцѣнивать и критиковать личности, со стремленіемъ къ умственной самостоятельности; въ Лизѣ женственность выражается въ робости, въ стремленіи подчинить чужому авторитету свою мысль и волю, въ нежеланіи и неумѣнii пользоваться врожденною проницательностью и критическою способностью. Ольга, любя Обломова, разгадываетъ его личность и честно, открыто говоритъ ему, что онъ ей не по плечу, что они вмѣстѣ не могутъ быть счастливы; Лиза, не любя Панишина, отказывается обсуживать его личность и, по волѣ матери, готова сдѣлаться его женой.



Отъ этого ложнаго шага въ жизни ее спасаетъ не собственное размышленіе, выручившее Ольгу, а постороннее вліяніе. Ежели при этомъ взять во вниманіе, насколько личность Обломова чище и возвышеннѣе личности Паншина, ежели сообразить, какое вліяніе должно было имѣть на сужденіе дѣвушки чувство, то нетрудно будетъ убѣдиться въ томъ, что между Ольгой и Лизой существуетъ значительное различіе. Ольга сознаетъ свое личное достоинство; на нее уже пахнуло воздухомъ свободы, до нея коснулось вѣяніе новыхъ идей о самостоятельности женщины, какъ человѣческой личности, имѣющей полное право на всестороннее развитіе и на участіе въ умственной жизни человѣчества. Эти идеи пустили въ ней такіе глубокіе корни и принесли такіе прекрасные плоды, какихъ еще въ наше время нельзя и ожидать. Лиза стоитъ внѣ дѣйствія этихъ идей; она попрежнему считаетъ покорность высшею добродѣтелью женщины; она молча покоряется, насильно закрываетъ себѣ глаза, чтобы не видать несовершенствъ окружающей ее сферы. Помириться съ этой сферой она не можетъ: въ ней слишкомъ много неиспорченнаго чувства истины; обсуживать или даже замѣчать ея недостатки она не смѣетъ, потому что считаетъ это предосудительною или безнравственною дерзостью. Потому, стоя неизмѣримо выше окружающихъ ее людей, она старается себя увѣрить, что она такая же, какъ и они, даже пожалуй хуже, что отвращеніе, которое возбуждаетъ въ ней зло или неправда, есть тяжкій грѣхъ, нетерпимость, недостатокъ смиренія. При случаѣ, гдѣ только есть какая-нибудь возможность, она даже готова увѣрить себя, что чужой проступокъ или чужое горе произошли по ея винѣ, что она слезами и молитвой должна загладить свое невольное, никогда даже не совершенное, но тѣмъ не менѣе тяготящее надъ ней преступленіе; ея чуткая совѣсть находится въ постоянной тревогѣ; не выработавъ въ себѣ критической способности, боясь предоставить себя своему природному здравому смыслу, избѣгая обсуживанія, которое она смѣшиваетъ съ осужденіемъ, Лиза во всякомъ движеніи своемъ, во всякой невинной радости предчувствуетъ грѣхъ, страдаетъ за чужіе проступки, упрекаетъ себя въ томъ, что замѣтила ихъ, и часто готова принести свои законныя потребности и влеченія въ жертву чужой прихоти. Она—вѣчная и добровольная мученица. Личность ея получаетъ отъ этого особенную, трогательную прелесть; но ежели взглянуть на дѣло серьезно, не поддаваясь той инстинктивной симпатіи, которую внушаетъ съ перваго взгляда привлекательный образъ молодой дѣвушки, то нельзя не замѣтить, что Лиза идетъ по ложной и опасной дорогѣ. Истиннымъ можно назвать только такое развитіе, которое ве-

детъ насъ къ нравственному совершенству и заставляетъ насъ находить счастье въ самомъ процессѣ самосовершенствованія. Такое развитіе должно пробуждать въ насъ потребности и въ то-же время должно давать намъ средства удовлетворять этимъ потребностямъ, должно вести эти стремленія къ опредѣленной и разумной цѣли. Но ежели мы будемъ требовать отъ себя невозможнаго, ежели, во имя неправильно понятой буквы нравственнаго закона, мы постоянно будемъ недовольны собой, ежели мы постоянно будемъ тратить свою энергію на совершеніе ненужныхъ подвиговъ смиренія и самоотверженія, тогда мы только измучимъ и истомимъ себя, отравимъ себѣ самыя благородныя и невинныя радости жизни, выпустимъ изъ рукъ собственное разумное счастье и омрачимъ спокойствіе и счастье близкихъ людей своими добровольными и безполезными страданіями. Ежели самодовольствіе ведетъ къ умственной неподвижности, то и постоянное фанатическое стремленіе къ недостижимому идеалу, стоящему выше человѣчества, ведетъ къ ослабленію нравственныхъ силъ, какъ неумѣренныя гимнастическія упражненія изнуряютъ физическія силы. Истинное развитіе должно вести къ равновѣсію всѣхъ силъ человѣческой души. У Лизы равновѣсіе было нарушено. Воображеніе, настроенное съ дѣтства разсказами набожной, но неразвитой няньки, и чувство, свойственное всякой женской, впечатлительной природѣ, получили полное преобладаніе надъ критическою способностью ума. Считая грѣхомъ анализировать другихъ, Лиза не умѣетъ анализировать и собственной личности. Когда ей должно на что-нибудь рѣшиться, она рѣдко размышляетъ: въ подобномъ случаѣ она или слѣдуетъ первому движенію чувства, довѣряется врожденному чутью истины, или спрашиваетъ совѣта у другихъ и подчиняется чужой волѣ, или ссылается на авторитетъ нравственнаго закона, который всегда понимаетъ буквально и всегда слишкомъ строго, съ фанатическимъ увлеченіемъ. Словомъ, она не только не достигаетъ умственной самостоятельности, но даже не стремится къ ней и забываетъ въ себѣ всякую живую мысль, всякую попытку критики, всякое рождающееся сомнѣніе. Въ практической жизни она отступаетъ отъ всякой борьбы; она никогда не сдѣлаетъ дурнаго поступка, потому что ее охраняютъ и врожденное, и нравственное чувство, и глубокая религіозность; она не уступитъ въ этомъ отношеніи вліянію окружающихъ. но, когда нужно отстаивать свои права, свою личность, она не сдѣлаетъ ни шагу, не скажетъ ни слова и съ покорностью приметъ случайное несчастье, какъ что-то должное, какъ справедливое наказаніе, поразившее ее за какую-то воображаемую вину. При такомъ взглядѣ на вещи, у Лизы нѣтъ



орудіа противъ несчастья. Считая его за наказаніе, она несетъ его съ покорнымъ благоговѣніемъ, не старается утѣшиться, не дѣлаетъ никакихъ попытокъ стряхнуть съ себя его гнетущее вліяніе: такіа попытки показались бы ей дерзкимъ возмущеніемъ. «Мы были наказаны» — говоритъ она Лаврецкому. За что? на это она не отвѣчаетъ; но между тѣмъ убѣжденіе такъ сильно, что Лиза признаетъ себя виновной и посвящаетъ всю остальную жизнь на оплакиваніе и отмаливаніе этой невѣдомой для нея и несуществующей вины. Восторженное воображеніе ея, потрясенное несчастнымъ происшествіемъ, разыгрывается и заводитъ ее такъ далеко, показываетъ ей такой мистическій смыслъ, такую таинственную связь во всѣхъ совершившихся съ нею событіяхъ, что она, въ порывѣ какого-то самозабвенія, сама называетъ себя мученицей, жертвой, обреченной страдать и молиться за чужіе грѣхи: «Нѣтъ, тетюшка, — говоритъ она: — не говорите такъ. Я рѣшилась, я молилась, я просила совѣта у Бога. Все кончено; кончена моя жизнь съ вами. Такой урокъ не даромъ; да я ужъ не въ первый разъ объ этомъ думаю. Счастье ко мнѣ не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грѣхи и чужіе, и какъ папенька богатство наше нажилъ; я знаю все. Все это отомолить, отомолить надо: васъ мнѣ жаль, жаль мамаша, Леночки; но дѣлать нечего. Чувствую я, что мнѣ не житье здѣсь, я уже со всѣмъ простила, всему въ домѣ поклонилась въ послѣдній разъ. Отзываетъ меня что-то, тошно мнѣ, хочется мнѣ запереться навѣкъ. Не удерживайте меня, не отговаривайте; помогите мнѣ. не то я одна уйду»... И такъ кончается жизнь молодого, свѣжаго существа, въ которомъ была способность любить, наслаждаться счастьемъ, доставлять счастье другому и приносить разумную пользу въ семейномъ кругу... и какую значительную пользу можетъ принести въ наше время женщина, какое согрѣвающее, благотворное вліяніе можетъ имѣть ея мягкая, граціозная личность, ежели она захочетъ употребить свои силы на разумное дѣло, на безкорыстное служеніе добру. Отчего же уклонилась отъ этого пути Лиза? Отчего такъ печально и безслѣдно кончилась ея жизнь? Чтѣ сломило ее? Обстоятельства, скажутъ нѣкоторые. Нѣтъ, не обстоятельства. отвѣтимъ мы, а фанатическое увлеченіе неправильно понятымъ нравственнымъ долгомъ. Не утѣшенія искала она въ монастырѣ, не забвенія ждала она отъ уединенной и созерцательной жизни: нѣтъ! она думала принести собою очистительную жертву, думала совершить послѣдній, высшій подвигъ самоотверженія. Насколько она достигла своей цѣли, пусть судятъ другіе. Говоря о воспитаніи Лизы, Тургеневъ даетъ намъ ключъ къ объясненію какъ нрав-

ственной чистоты ея убѣжденій, не потускнѣвшихъ отъ вреднаго вліянія неразвитаго обществa, такъ и излишней строгости и односторонности ея взгляда на жизнь.

Въ воспитаніи Лизы все было направлено къ развитію чувства. Важнѣйшимъ элементомъ этого воспитанія было пламенное религиозное чувство ея няни, попеченіямъ которой она почти исключительно была предоставлена. Наука, до сихъ поръ не приобретающая права гражданства въ женскомъ образованіи, не могла благотворно подѣйствовать на ея умъ. Искусство, именно музыка затронула ея эстетическое чувство, но не расширила круга ея понятій. Раскрывавшаяся душа ея жадно воспринимала серьезные рассказы няни, проникнутые восторженнымъ, правдивымъ чувствомъ. Воображеніе ребенка получило несоразмѣрное развитіе, а умъ остался робкимъ и неразработаннымъ. Лиза сдѣлалась набожной, она горячо полюбила добро и истину, она вынесла изъ своего дѣтства теплую вѣру и твердыя нравственныя правила, но на этомъ она и остановилась; распорядиться своими правилами, примѣнять ихъ къ жизни, находить присутствіе духа во всякомъ положеніи, обдумывать свои поступки и опредѣлять свои обязанности размышленіемъ, а не слѣпымъ порывомъ чувства — этого она не умѣла, потому она руководствуется инстинктомъ или авторитетомъ, создаетъ себѣ призраки, изнемогаетъ въ неестественной борьбѣ съ самыми законными своими побужденіями, ставить себѣ въ вину это изнеможеніе и, наконецъ, утомленная внутренними волненіями, рѣшается покинуть все, что ей дорого, и принести послѣднюю жертву. Изъ женскихъ характеровъ, существующихъ въ нашей литературѣ, Лиза представляетъ всего болѣе сходства съ Татьяною Пушкина: въ той и въ другой замѣчается перевѣсъ чувства и воображенія надъ умомъ; разница только въ томъ, что у Татьяны чувство и воображеніе, воспитанныя на романахъ, порождаютъ въ ней болѣзненную мечтательность, работаютъ надъ создаваніемъ романческаго героя и, наконецъ, воплощаютъ этого героя въ лицѣ Евгенія Онегина, неспособнаго составить счастье умной и чувствительной женщины. У Лизы чувство и воображеніе воспитаны на возвышенныхъ предметахъ; но они все-таки развиты несоразмѣрно, берутъ перевѣсъ надъ мыслительной силой и также ведутъ къ болѣзненнымъ и печальнымъ уклоненіямъ. Это преобладаніе чувства надъ разсудкомъ выражается въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и составляетъ въ современныхъ женщинахъ явленіе, до такой степени распространенное, что въ педагогической литературѣ неоднократно высказывалось мнѣніе, будто оно такъ и должно быть, будто и преподаваніе въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ должно сообразоваться съ



этимъ необходимымъ свойствомъ женской породы. Мы уже позволяли себѣ выражать противоположное мнѣніе; повторяемъ его и теперь; женщинѣ, какъ и мужчинѣ, дана одинаковая сумма прирожденныхъ способностей; но воспитаніе женщины, менѣе реальное, менѣе практическое, менѣе упражняющее критическія способности (нежели воспитаніе мужчины), съ молодыхъ лѣтъ усиливаетъ мысль и пробуждаетъ чувство, часто доводитъ его до неестественнаго, болѣзненнаго развитія. Истинная цѣль реформы, совершающейся на нашихъ глазахъ въ женскомъ воспитаніи, и состоитъ, насколько мы ее понимаемъ, именно въ томъ, чтобы уравновѣсить въ женщинѣ умъ и чувство, чтобы приучить ее самостоятельно думать, анализировать себя и другихъ и послѣдовательно, безъ увлеченія, но съ искреннимъ и глубокимъ чувствомъ проводить въ жизнь добытыя убѣжденія. Въ этомъ пробужденіи женщины къ дѣйствительной жизни, къ умственной дѣятельности въ самомъ обширномъ значеніи этого слова,—въ этомъ пробужденіи, говоримъ мы, заключаются задатки прогресса для всего нашего общества. Повторяя теперь уже высказанное нами мнѣніе, мы считаемъ себя въ правѣ подтвердить наши слова авторитетомъ двухъ замѣчательнѣйшихъ художниковъ нашего времени, Тургенева и Гончарова. Первый высказалъ свое мнѣніе объ образованіи женщины въ созданіи личности Лизы и въ своемъ отношеніи къ этой личности: онъ сочувствуетъ ея прекраснымъ качествамъ, любитъ ея граціей, уважаетъ твердость ея убѣждений, но жалѣетъ о ней и вполне сознается, что она пошла не по тому пути, на который указываютъ челоѣку разсудокъ и здоровое чувство. Гончаровъ сказалъ свое слово въ личности Ольги, уравнивающей въ себѣ мысль и чувство. Поднялось множество голосовъ, сказавшихъ, что женщинѣ, подобныхъ Ольгѣ, въ нашемъ обществѣ нѣтъ; но никто не говорилъ, чтобы образъ Ольги былъ неженствененъ, чтобы въ немъ не было поэтической правды. Это сужденіе даетъ намъ право сказать, что Ольга—русская женщина новаго поколѣнія, еще не вступавшаго въ жизнь. Требования, которыя выразилъ Гончаровъ въ созданіи этой личности, невыполнимы теперь; но они законны и могутъ быть выполнены впослѣдствіи, быть можетъ, въ скоромъ времени. Сравнивая современную дѣвушку Лизу съ будущей дѣвушкой Ольгой, мы можемъ опредѣлить тотъ путь, по которому должно пойти образованіе женщины, можемъ заранее рассчитать тѣ результаты, которыхъ оно должно достигнуть. Въ заключеніе нашей статьи еще разъ возвратимся къ Лизѣ и обратимъ вниманіе читателей на то, какъ ея личность отбѣнена двумя женскими фигурами: матери ея, Маріи Дмитріевны, и тетки, Марѳы

Тимофеевны. Первая представляетъ собою типъ, очень распространенный въ нашемъ обществѣ: это взрослый ребенокъ, то-есть женщина безъ убѣжденій,—женщина, не привыкшая къ размышленію и почти потерявшая способность мыслить; она живетъ и дышитъ одними свѣтскими удовольствіями, свойственными ея уже пожилымъ лѣтамъ; ей нравятся пустѣйшіе и безнравственные люди; семейной жизнью она не живетъ, любви дѣтей и вліянія надъ ними приобрести не умѣла; она любитъ чувствительныя сцены и щеголяетъ разстроенными нервами и сентиментальностью. Словомъ, она—ребенокъ по развитію, только лишена ребяческой граціи и чистоты. Марѳа Тимофеевна—умная и добрая женщина стараго вѣка, не получившая никакого образованія, но одаренная здоровымъ смысломъ и той проницательностью, которую обыкновенно приобретаютъ подъ старость умные люди, много видѣвшіе на своемъ вѣку и не пропускавшіе видѣннаго безъ вниманія. Марѳа Тимофеевна—старушка энергическая и дѣятельная, съ рѣзкими и угловатыми манерами, говорящая правду въ глаза и не скрывающая ни своего отвращенія къ нѣкоторымъ сомнительнымъ личностямъ, ни своего добраго расположенія къ тѣмъ, кого она любитъ. Марѳа Тимофеевна набожна, но безъ фанатизма; она не терпитъ лжи и безнравственности, но допускаетъ терпимость убѣжденія, не стѣсняетъ свободы совѣсти окружающихъ ее людей. Ей противны гости Маріи Дмитріевны, какъ пустые и вздорные люди, а Лаврецкаго она любитъ, хотя знаетъ, что расходится съ нимъ въ самыхъ существенныхъ несіяніяхъ. Практическій смыслъ, мягкость чувствъ, при рѣзкости внѣшняго обращенія, безпощадная откровенность и отсутствіе фанатизма—вотъ преобладающія черты въ личности Марѳы Тимофеевны, превосходно охарактеризованной въ романѣ Тургенева. Поставленная между этими двумя женскими личностями, Лиза является въ самомъ выгодномъ свѣтѣ: рѣзкость приговоровъ, неженственная смѣлость и придиричивость Марѳы Тимофеевны отбѣняютъ собою ея скромность, стыдливую и граціозную нерѣзкость. Что касается до Маріи Дмитріевны, то вся ея неискренняя, жеманная, безцвѣтная личность составляетъ разительный контрастъ съ серьезной, сосредоточенной, строгой фигурой дочери, проникнутой и воодушевленной однимъ принципомъ, истиннымъ и прекраснымъ, но доведеннымъ до крайности. Контрастъ этотъ дѣйствуетъ тѣмъ сильнѣе, что Марѳа Дмитріевна—живой типъ, такая женщина, какихъ очень и очень много. Какъ истинный художникъ, Тургеневъ не могъ и не долженъ былъ высказать свою мысль рѣзко: онъ показалъ въ личности Лизы недостатки современнаго женскаго воспитанія, но онъ выбралъ свой примѣръ въ ряду лучшихъ явленій, обста-



вилъ выбранное явленіе такъ, что оно представляется въ самомъ выгодномъ свѣтѣ. Отъ этого идея автора не бросается прямо въ глаза. Ее надо искать, въ нее надо вдуматься; но зато она тѣмъ полнѣе и неотразимѣе подѣйствуетъ на умъ читателя. Чѣмъ менѣе художественное произведеніе сбивается на поученіе, чѣмъ безпристрастнѣе художникъ выбираетъ фигуры и положенія, которыми онъ намѣренъ обставить свою идею, тѣмъ строинѣе и жизненнѣе его

картина, тѣмъ скорѣе онъ достигнетъ ею желаннаго дѣйствія. Ежели изображена дѣйствительность во всемъ блескѣ и разнообразіи ея явленій, и ежели всѣ эти явленія, какъ бы нечаянно выхваченныя художникомъ изъ известной намъ жизни, говорятъ намъ одно и то-же, тогда нельзя не убѣдиться. Тутъ мы уже вѣримъ не слову художника, а тому, что говорятъ факты, что засвидѣтельствовано самой жизнью.

## Т Р И С М Е Р Т И.

Разсказъ графа Л. Н. Толстого.

(„Библіотека для Чтенія“ 1859 г.)

Читательницы наши безъ сомнѣнія знакомы со многими изъ произведеній замѣчательнаго писателя, графа Толстого, о которомъ мы до сихъ поръ не имѣли случая говорить съ ними. Онѣ прочли вѣроятно его «Дѣтство, Отрочество и Юность», «Утро помѣщика», «Изъ записокъ князя Нехлюдова: Люцернъ», «Мятель», «Севастопольскія воспоминанія». Прочтя эти произведенія, легко составить себѣ понятіе о направленіи таланта автора, объ его характеристическихъ, индивидуальныхъ особенностяхъ и о тѣхъ предметахъ, на которые онъ, въ процессѣ своего творчества, обращаетъ преимущественное вниманіе. Толстой — глубокий психологъ. Въ этомъ нетрудно убѣдиться, ежели только припомнить выдающіяся черты его произведеній, — тѣ черты, которыя, даже при самомъ поверхностномъ чтеніи, поражаютъ читателя, приковываютъ къ себѣ его вниманіе и оставляютъ въ умѣ его неизгладимое впечатлѣніе. Картины природы, дышашія жизнью и отличающіяся свѣжей опредѣленностью, отчетливая обработка характеровъ, выхваченныхъ прямо изъ дѣйствительности, смѣлость общаго плана и жизненное значеніе идеи, положенной въ основаніе художественнаго произведенія, — все это общія свойства, составляющія принадлежность всѣхъ нашихъ лучшихъ писателей и отражающіяся во всѣхъ наиболѣе зрѣлыхъ произведеніяхъ нашей словесности. Кромѣ этихъ общихъ свойствъ, у Толстого есть своя личная, характеристическая особенность. Никто далѣе его не простираетъ анализа, никто такъ глубоко не заглядываетъ въ душу человѣка, никто съ такимъ упорнымъ вниманіемъ, съ такой неумолимой послѣдовательностью не разбираетъ самыхъ сокровенныхъ побужденій, самыхъ мимолетныхъ и повидимому случайныхъ

движеній души. Какъ развивается и постепенно формируется въ умѣ человѣка мысль, черезъ какія видоизмѣненія она проходитъ, какъ кипитъ въ груди чувство, какъ играетъ воображеніе, увлекающее человѣка изъ міра дѣйствительности въ міръ фантазіи, какъ въ самомъ разгарѣ мечтаній, грубо и матеріально напоминаетъ о себѣ дѣйствительность и какое первое впечатлѣніе производитъ на человѣка это грубое столкновеніе между двумя разнородными мірами, — вотъ мотивы, которые съ особенной любовью и съ блестящимъ успѣхомъ разрабатываетъ Толстой. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только припомнить наприимѣръ описаніе сна и пробужденія въ «Мятели», главу изъ «Отрочества», въ которой изображено состояніе Николинъки, ожидавшаго появленія St. Jérôme'a и наказанія, мѣсто изъ «Юности», въ которомъ Иртеневъ ждетъ духовника въ его кельѣ; не знаемъ, нужно-ли даже указывать на отдѣльныя мѣста: какую бы сцену мы ни припомнили, вездѣ мы встрѣтимъ или тонкій анализъ взаимныхъ отношеній между дѣйствующими лицами, или отвлеченный психологическій трактатъ, сохраняющій въ своей отвлеченности свѣжую, полную жизненность, или наконецъ прослѣживаніе самыхъ таинственныхъ, неясныхъ движеній души, недостижныхъ сознанія, не вполне понятныхъ даже для того человѣка, который самъ ихъ испытываетъ, и между тѣмъ получающихъ свое выраженіе въ словѣ и нелншающихся при этомъ своей таинственности. Это направленіе таланта Толстого имѣло вліяніе на выборъ сюжета того разсказа, о которомъ мы теперь будемъ говорить съ нашими читательницами. Авторъ положилъ себѣ задачей изобразить чувства умирающаго и его отношенія къ тѣмъ предметамъ, среди которыхъ



онъ жилъ и которые, переживая его, представляютъ своимъ спокойнымъ равнодушіемъ разительную противоположность съ нравственнымъ томленіемъ, происходящимъ въ его душѣ. Разсказъ Толстого состоитъ изъ трехъ отдѣльныхъ эскизовъ, связанныхъ между собою только характеромъ содержанія; общей нити разсказа нѣтъ. Авторъ изобразилъ только три момента, три смерти, происшедшія при различныхъ условіяхъ, при различной обстановкѣ и, обрисовывая самыми яркими красками это различіе, выставилъ во всѣхъ трехъ тѣ общія явленія, которыя сопровождаютъ собою разрушеніе всякаго организма. Мы рассмотримъ оба первые представленные авторомъ момента, сближая между собою общія черты и указывая нашимъ читательницамъ на постоянное противоположеніе между свѣжей, кипучей, дѣятельной и беззаботной жизнью съ одной стороны и медленнымъ, безнадежнымъ увяданіемъ — съ другой; что касается до третьяго момента, то онъ представляетъ собою смѣлую, граціозную фантазію художника, — фантазію, которая, какъ музыкальный аккордъ, заканчиваетъ собою поэтическое произведеніе, оставляя въ душѣ читателя какую-то тихую, грустную задумчивость. Мы коснемся содержанія, сюжета разсказа, чтобы быть въ состояніи обратить вниманіе нашихъ читательницъ на подробности, чтобы указать имъ въ этихъ подробностяхъ художественныя красоты. Повредить интересу разсказа мы не боимся, потому что думаемъ, какъ уже замѣчали не разъ, что достоинства изящнаго произведенія заключаются не во внѣшнемъ планѣ, не въ нити сюжета, а въ способѣ его обработки, въ группированіи подмѣченныхъ частныхъ, которыя даютъ цѣлому жизнь и опредѣленную фizioномію. Кто сталъ бы въ повѣстяхъ и разсказахъ Толстого искать романической завязки, интереса событій, тотъ, во-первыхъ, обманулъ бы въ своихъ ожиданіяхъ, а во-вторыхъ, слѣдя только за нитью дѣйствія, упустилъ бы изъ виду то, что составляетъ главную прелесть, самое прочное достоинство этихъ разсказовъ, упустилъ бы изъ виду глубину и тонкость психологическаго анализа. Читая Толстого, необходимо вглядываться въ частности, останавливаться на отдѣльныхъ подробностяхъ, повѣрять эти подробности собственными, пережитыми чувствами и впечатлѣніями, необходимо вдумываться, и только тогда чтеніе это можетъ обогатить запасъ мыслей, сообщить читателю знаніе человѣческой природы и доставить ему такимъ образомъ полное, плодотворное, эстетическое наслажденіе.

Первый эскизъ романа, о которомъ мы говоримъ, заключаетъ въ себѣ описаніе послѣднихъ дней въ жизни больной барыни, умирающей отъ чахотки. Больная эта принадлежитъ ежели не къ высшему, то по крайней мѣрѣ къ среднему,

богатому классу общества; она окружена всѣми удобствами, которыя только могутъ доставить денежные средства; она ѣдетъ за границу въ спокойной каретѣ, съ мужемъ, глубоко преданнымъ ей, и съ докторомъ, тщательно наблюдающимъ за малѣйшимъ измѣненіемъ ея здоровья, и между тѣмъ, при всемъ этомъ комфортѣ, при всей угодливости, съ которою всѣ окружающіе предупреждаютъ ея малѣйшія желанія, болѣзнь развивается не по часамъ, а по минутамъ, организмъ слабѣетъ, и больная сама, напрасно стараясь поддержать какую-нибудь надежду на выздоровленіе, замѣчаетъ въ себѣ всѣ признаки полного упадка силъ и начинающагося разложенія. Это внѣшнія условія, обстановка той страшной драмы, которая разыгрывается въ душѣ больной и которую во всѣхъ подробностяхъ развилъ Толстой. Больная не хочетъ умирать: она еще молода и имѣетъ право требовать отъ жизни многихъ наслажденій, многихъ радостей, которыхъ она едва коснулась. Она съ сверхъестественнымъ напряженіемъ всѣхъ силъ души хватается за малѣйшій проблескъ надежды, за малѣйшій остатокъ жизни, доглаголюющій въ ея истомленной, наболѣвшей груди; но силы измѣняются, энергія падаетъ, грозный образъ смерти съ ужасающей ясностью носится передъ разстроеннымъ воображеніемъ больной, преслѣдуетъ ее съ неотвѣзчивымъ постоянствомъ; надежда замираетъ въ сердцѣ; въ умѣ уже нѣтъ доводовъ, которыми можно было бы отогнать страшную мысль; остается только покориться ей, убѣдиться очевидностью и перейти изъ томительной борьбы, изъ колебанія между страхомъ и надеждою въ спокойное ожиданіе неотвратимаго удара. Такую дорогу обыкновенно выбираютъ люди съ сильнымъ характеромъ, — люди, способные взглянуть въ лицо дѣйствительности, какъ бы ни была она мрачна. Такие люди желаютъ знать истину и обгоняютъ мечты и неопредѣленныя надежды; но не таковъ характеръ, изображенный Толстымъ. Ею больная съ самаго начала разсказа не вѣритъ своему выздоровленію, ее раздражаетъ всякое проявленіе здоровой жизни; она завидуетъ такимъ проявленіямъ и видитъ въ нихъ почти умышленный намекъ на свое собственное безотрадное положеніе; она чувствуетъ, что смерть близка, и между тѣмъ не хочетъ обратить это смутное чувство въ спокойное сознаніе, бѣгется самаго слова: «умереть», умышленно закрываетъ себѣ глаза на свое положеніе, потому что проникнута чувствомъ отчаянной безнадежности. Больная Толстого похожа на человѣка, чувствующаго сильную робость и между тѣмъ боющагося не только дать волю этому чувству, но даже сознаться передъ самимъ собою въ его существованіи. Чтобы заглушить свою робость, этотъ человѣкъ обыкновенно начинаетъ хра-



бриться, громко говорить, пѣть, стараясь такимъ образомъ привить къ себѣ извнѣ бодрость духа, которую онъ напрасно ищетъ въ собственномъ сознаніи. Больная чувствуетъ, что ей не выздоровѣть; но тѣмъ сильнѣе въ ней это чувство, тѣмъ громче говоритъ она себѣ, что ея болѣзнь — вздоръ, что ее воскресятъ теплый воздухъ, пріятное путешествіе и спокойный образъ жизни. Не вѣря собственнымъ словамъ, не имѣя въ запасъ доводовъ противъ очевидности, она требуетъ такихъ доводовъ и отъ другихъ и сердится, страдаетъ и томится, когда вмѣсто желанныхъ доводовъ слышитъ изъявленія соболѣзнованія; это соболѣзнованіе пугаетъ ее, потому что напоминаетъ о томъ, что постоянно, глухо твердитъ ей собственное чувство. Мучительная нравственная борьба больной заставляетъ ее изнемогать и разрѣшается безсильными вспышками отчаянія и горести. Приводимъ небольшую сцену, замѣчательную по силѣ выраженія, по глубинѣ и вѣрности психическаго анализа; въ этой сценѣ читатели наши могутъ прослѣдить развитіе цѣлаго ряда чувствъ и мыслей: здѣсь, въ первыхъ, противопоставляется жизнь и разрушеніе жизни; здѣсь представлены враждебныя отношенія умирающей ко всему здоровому и живому, ко всему, что даетъ ей поводъ дѣлать неутѣшительныя сравненія съ собственнымъ положеніемъ; здѣсь, наконецъ, видна ея попытка ободрить себя надеждою: попытка эта не нашла себѣ поддержки въ окружающихъ и разбилась временно возникшую въ больной энергію:

«— Что, какъ ты, мой другъ? сказалъ мужъ, подходя къ каретѣ и прожевывая кусокъ.

— Все одинъ и тотъ-же вопросъ, подумала больная:—а самъ ѣстъ!—Ничего, пропустила она сквозь зубы.

— Знаешь-ли, мой другъ, я боюсь, тебѣ хуже будетъ отъ дороги въ эту погоду, и Эдуардъ Ивановичъ тоже говорить. Не вернуться-ли намъ?

Она сердито молчала.

— Погода поправится, можетъ быть, путь установится, и тебѣ бы лучше стало; мы бы и поѣхали всѣ вмѣстѣ.

— Извини меня. Ежели бы я давно тебя не слушала, я бы была теперь въ Берлинѣ и была бы совсѣмъ здорова.

— Что-жъ дѣлать, мой ангелъ, невозможно было, ты знаешь. А теперь, ежели бы ты осталась на мѣсяцъ, ты бы славно поправилась, я бы кончилъ дѣла, и дѣтей бы мы взяли...

— Дѣти здоровы, а я нѣтъ.

— Да вѣдь пойми, мой другъ, что съ этой погодой, ежели тебѣ сдѣлается хуже дорогой... тогда по крайней мѣрѣ дома.

— Что-жъ, что дома?.. Умереть дома? вспльщиво отвѣчала больная. Но слово умереть видимо испугало ее, она умоляюще и вопросительно посмотрѣла на мужа. Онъ опустил глаза и молчалъ. Ротъ больной вдругъ дѣтски изогнулся, и слезы полились изъ ея глазъ. Мужъ закрылъ лицо платкомъ и молча отошелъ отъ кареты.

— Нѣтъ, я поѣду, сказала больная, подняла глаза къ небу, сложила руки и стала шептать несвязныя слова. — Боже мой! за что-же? говорила

она, и слезы лились сильнѣе. Она долго и горячо молилась; но въ груди такъ-же было больно и тѣсно, въ небѣ, въ поляхъ и по дорогѣ было такъ-же сѣро и пасмурно, и та-же осенняя мгла, ни чаще, ни рѣже, а все такъ-же сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету и на тулупы ямщиковъ, которые, переговариваясь сильными, веселыми голосами, мазали и закладывали карету\*...

Обратимъ вниманіе читателей на картину русской природы и русской жизни, набросанную художникомъ въ послѣднихъ словахъ приведеннаго нами отрывка. Эта картина возникла отъ одного взмаха пера, въ ней нѣтъ отчетливости описанія, нѣтъ отдѣльных подробностей, но есть удивительная яркость цѣлаго, есть изобразительность и сила, которая придаетъ этому бѣглому очерку особенное художественное значеніе. Впечатленіе, производимое этимъ очеркомъ, особенно сильно по тому отношенію, въ которомъ онъ находится къ главному дѣйствію, совершающемуся среди этой обстановки. Печальная фізіономія сѣраго осенняго дня гармонируетъ съ безнадежнымъ положеніемъ больной, а живая, обыденная дѣятельность, происходящая на станціонномъ дворѣ, служитъ поразительнымъ контрастомъ напряженному, торжественно унылому настроенію ея души. Читатель угадываетъ по этому расположенію подробностей, что больная, представленная графомъ Толстымъ, испытываетъ на себѣ всѣ впечатленія, какія только можно вынести изъ созерцанія изображенной авторомъ картины, разстилавшейся передъ окнами ея кареты. Въ природѣ ищетъ она себѣ подкрѣпленія; но въ природѣ все пасмурно, все напоминаетъ о поблекшихъ надеждахъ и о предстоящемъ прощаніи съ жизнью. Къ людямъ обращается она, надѣясь найти въ нихъ сочувствіе; но люди вокругъ нея заняты своимъ дѣломъ, имъ некогда, и ихъ здоровыя лица, ихъ шумная, хлопотливая дѣятельность поражаютъ больную своимъ равнодушіемъ, надрываютъ ей сердце полнотой жизни и избыткомъ веселости. Послѣднія минуты больной изображены съ той-же силой анализа, которая ни на минуту не оставляетъ Толстого, какъ бы ни были таинственны и повидимому недоступны для наблюденія выбранныя имъ моменты внутренней жизни человѣка. Изображая эти послѣднія минуты, авторъ представилъ со стороны больной тѣ-же чувства, ту-же борьбу между любовью къ жизни и ожиданіемъ смерти,—борьбу, которую мы уже видѣли въ приведенномъ нами отрывкѣ. Здѣсь эти чувства и эта борьба носятъ на себѣ особый отгѣнокъ—передъ смертью наступаетъ минута величественнаго спокойствія; не замирая вполне, земные помыслы затихаютъ въ душѣ человѣка; больная приближается къ состоянію полной безнадежности,—къ состоянію, похожему на полное спокойствіе: она приближается къ нему, но еще не достигла его; изрѣдка про-



блескиваетъ лучъ какой-то надежды, неопредѣленной, несбыточной, но дорогой сердцу,—надежды, къ которой по временамъ, находя свою прежнюю энергію, устремляются всѣ силы ея души. За минутами тревоги, возбужденной этими прощальными проблесками надежды, наступаетъ грустная, покорная тишина, которая опять нарушается какимъ-нибудь страстно болѣзненнымъ, раздражительнымъ порывомъ къ жизни, и все тише и тише волауется въ больной груди чувство, рѣже и тоскливѣе становятся его послѣднія движенія, неопредѣленнѣе и несбыточнѣе дѣлаются тѣ формы, въ которыхъ показывается надежда. Наконецъ, исчезаетъ послѣдній призракъ надежды, и остается только тихое, полное невыразимой тоски желаніе жить, во что бы то ни стало. Больная понимаетъ, что желаніе это неисполнимо, а между тѣмъ оно живетъ въ ней до послѣдней минуты и подъ конецъ выражается только непреодолимымъ страхомъ передъ приближающейся смертію. Вотъ цѣлый міръ чувствъ, почти непонятныхъ для человѣка въ спокойномъ состояніи,—міръ чувствъ, въ который вводитъ насъ графъ Толстой, представляя сцену между умирающей больной и ея родственниками, вошедшими въ ея комнату послѣ того, какъ она причастилась Святыхъ Тайнъ.

«Кухина и мужъ вошли. Больная тихо плакала, глядя на образъ.

— Поздравляю тебя, мой другъ, сказалъ мужъ.

— Благодарствуй! Какъ мнѣ теперь хорошо стало, какую непонятную сладость я испытываю, говорила больная, и легкая улыбка играла на ея тонкихъ губахъ. — Какъ Богъ милостивъ! Неправда ли, Онъ милостивъ и всемогущъ? И она снова съ жадной мольбой смотрѣла полными слезъ глазами на образъ.

Потомъ вдругъ какъ будто что-то вспомнилось ей. Она знаками подозвала къ себѣ мужа.

— Ты никогда не хочешь сдѣлать, что я прошу, сказала она слабымъ и недовольнымъ голосомъ.

Мужъ, вытянувъ шею, покорно слушалъ ее.

— Что, мой другъ?

— Сколько разъ я говорила, что эти доктора ничего не знаютъ, есть простыя лекарки, онѣ лечиваютъ... Вотъ батюшка говорилъ... мѣщанинъ... Пошли.

— За кѣмъ, мой другъ?

— Боже мой! ничего не хочетъ понимать... И больная сморщилась и закрыла глаза.

Докторъ, подойдя къ ней, взялъ ее за руку. Пульсъ замѣтно бился слабѣе и слабѣе. Онъ мигнулъ мужу. Больная замѣтила этотъ жестъ и испуганно оглянулась. Кухина отвернулась и заплакала.

— Не плачь, не мучь себя и меня, говорила больная: — это отнимаетъ у меня послѣднее спокойствіе.

— Ты—ангелъ! сказала кухина, цѣлуя ея руку.

— Нѣтъ, сюда поцѣлуй, только мертвыхъ цѣлуютъ въ руку. Боже мой! Боже мой!»

Переходимъ ко второму эскизу рассказа. Главное дѣйствующее лицо этого эскиза взято авторомъ изъ низшаго класса и поставлено въ такую обстановку, которой бѣдность и неслож-

ность составляютъ прекрасно выдержанный контрастъ съ изящной обстановкой больной барыни. Бѣдный ящикъ, человѣкъ, не имѣющій ни роду, ни племени, умираетъ на чужой сторонѣ, въ душевной кухнѣ, на печи, среди громкихъ разговоровъ и обычныхъ хлопотъ своихъ товарищей-ящиковъ, почти забывшихъ о существованіи больного и вспоминающихъ о немъ только тогда, когда онъ самъ напомнитъ о себѣ судорожнымъ кашлемъ или стономъ. Различіе обстановки производитъ различіе въ образѣ дѣйствій обоихъ больныхъ: барыня, окруженная попеченіями и предупредительными услугами близкихъ ей людей, стремится высказаться и ищетъ облегченія въ ихъ словахъ, въ выраженіи ихъ физіономіи; она взыскательна въ своихъ требованіяхъ, и не всякое выраженіе участія способно удовлетворить и успокоить ее. Ящикъ, напротивъ того, молча страдаетъ, молча переноситъ ворчанье кухарки, недовольной тѣмъ, что онъ занялъ ея уголь, молча смотритъ на занятія своихъ товарищей и слушаетъ ихъ толки, въ которыхъ рѣдко проглядываетъ участіе къ его страданіямъ. Поставленный въ такое положеніе, больной не боится смерти или, по крайней мѣрѣ, не выражаетъ своей боязни. Къ его тѣлеснымъ страданіямъ почти не примѣшивается то нравственное томленіе, которое такъ глубоко понималъ и такъ мастерски изобразилъ авторъ въ первомъ эскизѣ. Это нравственное томленіе существуетъ въ немъ, правда, потому что оно неизбежно сопровождается собою приближеніе смерти и даже обусловливается, быть можетъ, особеннымъ, болѣзненнымъ настроеніемъ нервовъ и всего организма; итакъ, томленіе существуетъ, но не прорывается наружу. Больной боится беспокоить здоровыхъ и сдѣлаться имъ въ тягость; онъ считаетъ себя какъ бы виноватымъ передъ ними, виноватымъ въ своемъ безпомощномъ положеніи, виноватымъ тѣмъ, что загрозилъ собою уголь и стѣснилъ товарищей. Поэтому въ обращеніи больного проглядываютъ трогательная мягкость, ласковость, вмѣсто которой мы въ первомъ эскизѣ видѣли требовательность и безпокойную, хотя и извинительную раздражительность. Стоить сравнить самыя простыя слова больной барыни и больного ящика, и изъ одного этого сравненія разомъ откроется передъ читателемъ различіе какъ ихъ общественнаго положенія, такъ и внутренняго настроенія каждого изъ нихъ. Контрастъ между разрушеніемъ и живой, сильной жизнью, представленный такъ рельефно въ первомъ эскизѣ, нашелъ себѣ мѣсто и во второмъ и выразился въ формахъ, еще болѣе опредѣленныхъ, почти рѣзкихъ, потому что формы эти обусловливаются тѣмъ бытомъ, въ которомъ происходитъ все дѣйствіе. Въ первомъ эскизѣ здоровые изъясняютъ свое участіе, соболѣзнуютъ и только не измѣняютъ есте-



ственныхъ условій своего существованія и своей дѣятельности, и это уже кажется большой оскорбительнымъ равнодушіемъ, насмѣшкой надъ ея положеніемъ. Здѣсь, напротивъ того, здоровые ворчатъ на больного, тяготятся его присутствіемъ, стараются извлечь изъ него какія нибудь выгоды, основываютъ на его болѣзни и смерти разные меркантильные расчеты, о которыхъ съ самымъ напыннымъ видомъ говорятъ съ самимъ больнымъ, не понимая, да и не желая понимать, что подобные разговоры должны мучительно дѣйствовать на разстроенные нервы и напряженное воображеніе страдальца. И больной молчитъ, терпитъ и проситъ прощенія. Какъ въ первомъ эскизѣ не должно обвинять больную барыню въ томъ, что она несправедливо капризничаетъ и требуетъ невозможнаго, такъ и во второмъ не должно осуждать здоровыхъ въ томъ, что они грубо обходятся съ своимъ товарищемъ: первая дѣйствуетъ подъ вліяніемъ болѣзни, которая заставляетъ ее забывать все, что не относится къ ея положенію; вторые не настолько развиты, чтобы уметь поставить себя на мѣсто больного и соразмѣрять каждое свое слово съ его положеніемъ, поэтому обращеніе ихъ неровно: за чисто человѣческими движеніями состраданія слѣдуютъ проявленія несправедливой досады или грубаго эгоизма. Что касается до личности больного ямщика, то это—личность забитая, загнанная своимъ положеніемъ, привыкшая страдать молча и робко переносить упреки за свои-же страданія. Такія личности встрѣчаются во всякомъ неразвитомъ обществѣ, въ которомъ уважается не человѣческая личность, а случайные ея атрибуты: физическая сила, богатство, здоровье и т. п. Эти черты неразвитого общества и забитой личности выразились во второй главѣ разсказа. Не дѣлаемъ здѣсь выписокъ, а отсылаемъ нашихъ читателей къ этой главѣ.

Если мы сравнимъ между собою приемы, которые употребляетъ авторъ въ первомъ и во второмъ эскизѣ, то найдемъ, что въ первомъ онъ преимущественно слѣдитъ за внутреннимъ развитіемъ мыслей и чувствъ, а во второмъ почти исключительно обращаетъ свое вниманіе на изображеніе вѣшной обстановки, при которой умираетъ больной, вѣшнихъ условій его быта, вѣшнихъ отношеній его къ окружающимъ товарищамъ. Причину этого объяснить нетрудно. Въ первомъ эскизѣ обстановка ничего не значить: она не увеличиваетъ собой страданій больной и не можетъ дать читателю средствъ заглянуть въ ея внутренний міръ, тамъ весь интересъ борьбы сосредоточенъ въ этомъ внутреннемъ мірѣ, самая борьба происходитъ отъ чисто внутреннихъ причинъ, и, слѣдовательно, тамъ авторъ не могъ быть простымъ наблюдателемъ, изображающимъ то, что можно видѣть

и слышать: ему нужно заглядывать въ душу больной, ловить ея сокровеннѣйшія движенія и подвергать ихъ тонкому, проникающему анализу. Во второмъ случаѣ, напротивъ того, больной подавленъ обстановкой: въ этой обстановкѣ все, начиная отъ душнаго воздуха въ избѣ и кончая неосторожнымъ обращеніемъ ямщиковъ, все заставляетъ страдать больного; борьба его съ неудобствами и лишеніями такъ сильна и такъ очевидна, что она поглощаетъ собою всѣ его силы, не оставляетъ времени для мучительныхъ мыслей, не позволяетъ ему уходить въ свой внутренний міръ и прислушиваться къ беспокойнымъ біеніямъ собственного сердца. Мысль лѣниво движется въ утомленной головѣ, безцвѣтны и однообразны ея видоизмѣненія; мучительная боль въ груди, тѣлесное беспокойство, душный воздухъ, которымъ онъ дышитъ, жесткая печь, на которой онъ лежитъ, вотъ что бросается въ глаза въ положеніи больного ямщика, вотъ что дало матеріалъ для эскиза Толстого. Въ этомъ эскизѣ самое отсутствіе психическаго анализа, то-есть то обстоятельство, что авторъ ограничивается однимъ рельефнымъ воспроизведеніемъ вѣшнихъ подробностей, имѣетъ важное значеніе и составляетъ необходимую принадлежность самаго содержанія. Не потому здѣсь нѣтъ анализа, что анализъ слишкомъ труденъ для автора, а потому, что нечего анализировать. Загляните въ душу больного ямщика, выведеннаго Толстымъ, и вы не найдете въ его чувствахъ ни порывистой силы и твердости, ни сложности и разнообразія; васъ поразятъ въ нихъ забитость и безотвѣтная покорность, по временамъ переходящая въ какое-то оупѣніе,—покорность, выработанная длиннымъ рядомъ однообразныхъ трудовъ, привычныхъ обыденныхъ страданій и безцвѣтныхъ, постоянно сѣрыхъ дней жизни. Эта покорность выражается во всемъ существѣ больного ямщика: въ его словахъ и движеніяхъ, во всѣхъ его отношеніяхъ къ окружающей обстановкѣ и къ другимъ людямъ. Достаточно изобразить эти отношенія, описать движенія и передать слова, и передъ читателемъ откроется весь его внутренний міръ съ его бѣдностью и несложностью. Такъ поступилъ Толстой, и это обстоятельство положило своеобразный отпечатокъ на второй эскизъ его разсказа.

Переходимъ къ третьему эскизу, чрезвычайно оригинальному по своей художественной концепціи. Третья смерть есть смерть срубленнаго дерева: рука человѣка играетъ здѣсь роль судьбы, и картина природы, замѣчательная по свѣжести красокъ, по осязательности линий и контуровъ, заканчиваетъ собою весь разсказъ. Такъ какъ этотъ третій эпизодъ очень не великъ, то мы позволяемъ себѣ привести его цѣликомъ, чтобы не дробить общаго впечатлѣнія.



«На всемъ лежалъ холодный матовый покровъ еще падавшей, не освѣщенной солнцемъ, росы. Востокъ незамѣтно яснѣлъ, отражая свой слабый свѣтъ на подернутомъ тонкими тучами сводѣ неба. Ни одна травка внизу, ни одинъ листъ на верхней вѣтви дерева не шевелились. Только изрѣдка слышавшіеся звуки крыльевъ въ чащѣ дерева или шелеста по землѣ нарушали тишину лѣса. Вдругъ странный, чуждый природѣ звукъ разнесся и замеръ на опушкѣ лѣса. Но снова послышался звукъ и равномѣрно сталъ повторяться внизу около ствола одного изъ неподвижныхъ деревьевъ. Одна изъ макушекъ необычайно затрепетала, сочные листья ея зашептали что-то, и малиновка, сидѣвшая на одной изъ вѣтвей ея, со свистомъ перепорхнула два раза и, подергивая хвостикомъ, сѣла на другое дерево.

Топоръ звучалъ глуше и глуше, сочныя бѣлыя щепки легли на росистую траву, и легкій трескъ послышался изъ-за ударовъ. Дерево вздрогнуло всѣмъ тѣломъ, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своемъ корнѣ. На мгновеніе все затихло; но снова погнулось дерево, снова послышался трескъ въ его стволѣ и, ломая сучья и спустивъ вѣтви, оно рухнулось макушкой на сырую землю. Звуки топора и шаговъ затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Вѣтка, которую она зацѣпила своими крыльями, покачалась нѣсколько времени и замерла, какъ и другія, о всѣхъ своими листьями. Деревья еще радостнѣе красовались на новомъ просторѣ своими неподвижными вѣтвями.

Первые лучи солнца, пробивъ сквозившую тучу, блеснули въ небѣ и пробѣжали по землѣ и небу. Туманъ волнами сталъ переливаться въ лощинахъ, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачныя поблѣвшія тучки, спѣша, разбѣгались по синѣвшему своду. Птицы громоздились въ чащѣ и, какъ потѣрянные, щебетали что-то счастливое, сочные листья радостно и спокойно шептались въ вершинахъ, и вѣтви живыхъ деревьевъ медленно, величаво зашевелились надъ мертвыми, поникшимъ деревомъ».

Опять то-же потрясающее душу противоположеніе между жизнью и смертью,—противоположеніе, напоминающее по своей идеѣ извѣстные стихи Пушкина:

И пусть у гробового входа  
Младая будетъ жизнь играть,  
И равнодушная природа  
Красою вѣчною сіять.

Замѣчательно то, что это противоположеніе не рѣжетъ глазъ, а, напротивъ, образуетъ какое-то гармоническое сочетаніе, общую картину, въ которой отдѣльныя черты жизни и смерти дополняютъ и отгѣняютъ другъ друга. Замѣчательнѣе, наконецъ, оригинальный взглядъ на природу, выраженный художникомъ въ приведенномъ нами отрывкѣ. Онъ угадываетъ, подслушиваетъ проблески мысли и чувства въ жизни и говорѣ лѣса, въ шелестѣ листьевъ, въ веселомъ щебетаньи и чириканьи птичекъ. При этомъ онъ не снимаетъ съ природы покроя ея таинственности, не заходитъ въ область фантастическаго вымысла, не навязываетъ природѣ ничего чисто человѣческаго, несвойственнаго ей, нарушающаго законы растительной жизни.

Картина срубленнаго дерева, медленно склоняющагося макушкой на сырую землю, представлена во всей своей простотѣ, безъ всякихъ фіоритуръ, и между тѣмъ въ этомъ простомъ изображеніи простого, обыденнаго явленія художникъ умѣлъ уловить идею общей жизни природы, медленно и неохотно уступающей напору посторонняго, враждебнаго вліянія. Онъ прослѣдилъ борьбу между жизнью и смертью сначала на разныхъ степеняхъ общественнаго развитія, а потомъ—въ двухъ различныхъ царствахъ природы. Чѣмъ ниже спускался онъ, тѣмъ глуше былъ протестъ жизни, тѣмъ молчаливѣе совершалась борьба, такъ что, наконецъ, въ послѣднемъ эскизѣ наблюдатель сомнѣвается даже въ существованіи подобной борьбы и не знаетъ, къ чему отнести ту впечатлительность, которою художникъ надѣлилъ растительную природу,—къ области-ли дѣйствительности, или къ творческой фантазіи поэта, отыскиващаго въ природѣ отраженія или подобія человѣческаго духа. Вотъ глубокое художественное значеніе разсказа Толстого. Читательницамъ нашимъ можетъ показаться страннымъ, что мы такъ долго останавливались на разсмотрѣніи этого небольшого разсказа. На это есть причины. Цѣлью нашей было не только заинтересовать читательницъ къ прочтенію этого разсказа, но преимущественно обратить ихъ вниманіе на тѣ художественныя красоты, которыхъ должно искать, на которыхъ должно останавливаться при чтеніи произведеній Толстого. Сверхъ того, сюжетъ и построеніе разсмотрѣннаго нами разсказа заставляютъ насъ останавливаться на подробностяхъ потому, что подробности и частности сосредоточиваютъ въ себѣ здѣсь весь художественный интересъ. Здѣсь нѣтъ развитія характеровъ, нѣтъ дѣйствія, а есть только изображеніе нѣкоторыхъ моментовъ внутренней жизни души, есть анализъ; а чтобы оцѣнить вѣрность анализа, необходимо взглянуть въ него и вникнуть въ подробности. Гдѣ нѣтъ анализа душевныхъ движеній, тамъ есть, какъ мы уже видѣли, наглядное и точное до мелочей воспроизведеніе внѣшнихъ подробностей. Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ необходимо, при оцѣнкѣ, обращать вниманіе на художественное выполненіе подробностей: иначе останется непонятою лучшая часть произведенія,—та часть, которая составляетъ характеристическую особенность таланта Толстого. Чтобы обратить вниманіе нашихъ читательницъ на эту важнѣйшую часть, мы позволили себѣ подробно распространиться насчетъ разсматриваемаго нами разсказа и привели въ нашемъ отчетѣ нѣкоторые наиболѣе замѣчательные отрывки, объяснивъ ихъ значеніе.



1861.

## НЕСОРАЗМѢРНЫЯ ПРЕТЕНЗІИ.

(Уличные типы. Текстъ *А. Голицынскаго*, съ 20-ю рисунками *М. Пикколо*. Изданіе *К. Рихау*. 1860. Москва).

«Если хотите знать народъ, изучайте его на улицѣ,—сказалъ одинъ философъ.—Къ русскому человѣку скорѣй всего можно сдѣлать такое приложеніе. Нашъ простолюдинъ—гость у себя дома, и часто гость очень церемонный: тутъ вы отъ него иногда слова не добьетесь. Онъ является домой большей частью для того только, чтобъ поѣсть, отдохнуть, да, пожалуй, умереть. Вся жизненная и общественная дѣятельность выражается на улицѣ: здѣсь онъ работаетъ, пьетъ, гуляетъ, бранится, торгуетъ, мошенничаетъ, значить, весь на распахку; на блюдай и рисуй, сколько хочешь».

Такъ Голицынскій начинаетъ вступленіе въ своей книгѣ «Уличные типы». Это его программа. Изъ этихъ словъ видно, что авторъ придастъ своему произведенію довольно важное значеніе; онъ полагаетъ, что оно можетъ познакомить читателя съ народной жизнью, и, конечно, всякій образованный читатель согласится, что узнать свойства и потребности нашего народа—наущная задача нашего времени. Мы съ живѣйшимъ сочувствіемъ встрѣчаемъ комедіи Островскаго и Писемскаго, потому что онѣ открываютъ черты народнаго характера; каждое собраніе пѣсень, сказаній, легендъ подвергается серьезной критикѣ и внимательному изученію; каждая черта народной жизни, занесенная въ лѣтописи или въ разгульную пѣсню бурлака, съ любовью и съ жаднымъ вниманіемъ отмѣчается талантливыми и добросовѣстными изслѣдователями нашей отечественной исторіи. Мы недавно принялись за изученіе народности и какъ-будто въ разъясненіи ея хотимъ провѣрить свои недостатки, слабости, несчастія, однимъ словомъ, подмѣтить и опредѣлить истинныя черты своего характера. Мы приходимъ къ сознанію, что историческая маска вовсе не передаетъ вѣрнаго портрета народной фizioноміи. И вотъ намъ общаются представить рядъ картинъ, изображающихъ жизнь народа на московскихъ улицахъ. Это любопытно. Не ожидая глубокаго изученія, мы, однакожъ, позволяемъ себѣ надѣяться, что встрѣтимъ нѣсколько сценъ, полныхъ жизни и здороваго юмора, нѣ-

сколько мѣтко схваченныхъ чертъ народнаго характера, нѣсколько типическихъ, бойко очерченныхъ фигуръ. Надѣемся, наконецъ, что авторъ, согласно своему обѣщанію, отнесется къ предмету серьезно и тепло, какъ должно относиться къ свѣжему, молодому организму, не успѣвшему развернуться, но представляющему задатки здоровой силы и будущей самостоятельной дѣятельности. Во имя этихъ задатковъ надо извинить и оправдать существующія безобразныя уклоненія и ошибки; молодостью этого народа, его неразвитостью объясняется большая часть его слабостей и недостатковъ. Мы не требуемъ оптическихъ обмановъ, мы не боимся тяжелаго впечатлѣнія, не отвертываемся отъ нравственнаго зла, но настоятельно требуемъ, чтобъ это зло было намъ объяснено, чтобъ наше обличеніе было не клеветой на дѣйствительность, не камнемъ, брошеннымъ въ грѣшника, а осторожнымъ и бережнымъ раскрытіемъ раны, на которую мы не имѣемъ права смотрѣть съ ужасомъ и отвращеніемъ. Наука и искусство должны мирить насъ съ жизнью, объясняя намъ ея смыслъ и внушая мягкое и осмысленное состраданіе къ самымъ повидимому неизвинительнымъ уклоненіямъ ея отъ законовъ разума. Законъ осуждаетъ уголовнаго преступника, отдѣляетъ его отъ общества, наказываетъ его физической или гражданской смертію, повинуюсь грустной необходимости оберегать большинство и во имя его интересовъ и безопасности жертвовать отдѣльной личностью; но человѣкъ, и тѣмъ болѣе художникъ, долженъ видѣть въ преступникѣ человѣка, смотрѣть на него какъ на больного и не клеймить его своимъ презрѣніемъ. Объясняя преступленіе, мы уже до нѣкоторой степени его извиняемъ; человѣкъ, дурно воспитанный, не видѣвшій съ дѣтства ни ласки, ни совѣта, можетъ сдѣлаться бездушнымъ эгоистомъ, мелкимъ или крупнымъ взяточникомъ, уличнымъ воровъ или грубымъ деспотомъ въ семействѣ, смотря по тѣмъ обстоятельствамъ, при которыхъ сложилась его жизнь, смотря по тому положенію, которое онъ займетъ въ обществѣ.



смотря по тѣмъ жизненнымъ средствамъ, которыя достанутся ему на долю. Порокъ, которому онъ предается, конечно, будетъ противенъ нашему нравственному и эстетическому чувству, но одержимая имъ личность возбудитъ наше состраданіе; если дерево растетъ въ сукъ, его надо выправлять, разузнавъ сначала причины, заставившія его уклониться отъ нормальнаго направленія; если ребенокъ капризенъ или склоненъ ко лжи, надо изучить его характеръ и подыскать средства, способныя дѣйствовать на него благотворно, а не презирать его и не глумиться надъ его слабостями. А развѣ больной не тотъ-же ребенокъ? А развѣ человекъ, испорченный въ нравственномъ отношеніи,—не больной? А развѣ пороки цѣлаго сословія или даже цѣлаго народа не болѣзни? Относиться къ этимъ порокамъ съ легкой шуткой—непростительно. Это значить зубоскалить надъ тѣмъ, отъ чего многіе страдаютъ и плачутъ. Относиться къ нимъ съ безпощаднымъ осужденіемъ, хладнокровно презирать ихъ, значить бить ребенка за то, что онъ не понимаетъ заданнаго урока. Есть, конечно, нравственное зло, до такой степени наглое, есть люди, до такой степени испорченные, что противъ нихъ возмущается вся наша природа; отъ такихъ людей отступится самый гуманнѣйшій педагогъ, самый великодушнѣйшій филантропъ, какъ самый просвѣщенный медикъ можетъ отказаться отъ больного, уже превращающагося въ трупъ. Но съ такими исключеніями литературѣ нечего дѣлать. Раскапывать грязь, чтобы показать, какъ она грязна, раскапывать ее безъ малѣйшей надежды и даже безъ желанія отыскать въ ней что-нибудь, заслуживающее оправданія или объясненія,—трудъ безплодный и неблагодарный. Что говорятъ намъ злодѣи разныхъ парижскихъ и лондонскихъ тайнъ, наводнявшихъ французскую литературу? Что есть негодяи, мошенники и разбойники. Это всякій знаетъ. Кто желаетъ по этому предмету навести статистическія справки, тому всего удобнѣе обратиться въ архивы уголовныхъ судовъ. Тамъ, по крайней мѣрѣ, найдется дѣйствительность, а не поддѣлка, не вымыселъ. Со стороны художника нельзя считать законнымъ ни враждебное отношеніе къ выводимой имъ дѣйствительности, ни холодное равнодушіе. Кто смотритъ на предметъ непріязненно, тотъ видитъ или слишкомъ мало, или слишкомъ много, тотъ вмѣсто картины представитъ карикатуру. Кто смотритъ на предметъ совершенно холодно, тотъ не имѣетъ достаточной побудительной причины взглянуть въ него и изучить его, тотъ не имѣетъ достаточно внутренней силы и теплоты, чтобы выносить его въ груди и вдохнуть ему живое дыханіе жизни. Фотографія—не картина. и ремесленникъ—не художникъ, хотя бы онъ довелъ до высокаго совершенства техническую

отдѣлку своихъ произведеній. Дайте намъ въ художникъ человека, и хорошаго человека, способнаго хоть въ минуты творчества любить горячо и бильно, стремиться къ добру и красотѣ и, ненавидя зло, прощать и щадить злодѣя, какъ слабаго и больнаго человека! Чтобы возсоздавать сцены народной жизни, всего необходимѣе эта способность любить, способность спускаться въ міросозерцаніе людей, стоящихъ ниже насъ по своему развитію, и не относиться къ ихъ радостямъ и горестямъ, къ ихъ ошибкамъ и страданіямъ съ холодной высоты отвлеченной мысли.

Эти замѣчанія вызваны не самой книгой Голицынскаго, а тѣми ожиданіями и требованіями, на которыя даетъ намъ право самоувѣренный и самодовольный тонъ его вступленія. Трудно, впрочемъ, согласиться съ тѣми словами, которыя я привелъ въ началѣ статьи. Россія—не Италия, Москва—не Римъ; ни климатъ, ни характеръ народа не располагаютъ къ такому обширному развитію наружной жизни, при которомъ изучать народъ было бы всего удобнѣе на улицѣ. Мысль о томъ, что русскій «простолюдинъ—гость дома, и часто гость очень церемонный», высказана Голицынскимъ смѣло и голословно, какъ неопровержимая аксіома. Доказательства, которыя онъ выдвигаетъ на поддержку ея, состоятъ въ общихъ фразахъ, которыя, въ свою очередь, должны быть доказаны. «Вся его жизненная и общественная дѣятельность,—говоритъ авторъ,—выражается на улицѣ». Въ чемъ-же состоитъ эта жизненная и общественная дѣятельность? Вотъ въ чемъ: «здѣсь,—продолжаетъ Голицынскій,—онъ работаетъ, пьетъ, гуляетъ, бранится, торгуетъ, мошенничаетъ, значить—весь на распашку...»

Работаетъ русскій человекъ, сколько мнѣ извѣстно, не на улицѣ, а въ мастерскихъ или у себя дома,—стало быть, съ этой стороны изучить его на улицѣ мудрено; самъ Голицынскій, кромѣ извозчиковъ, не нашелъ въ уличныхъ типахъ ни одного ремесла, производимаго на улицѣ. Торгуетъ русскій народъ дѣйствительно отчасти и на улицѣ, но что-же изъ этого? Если вы будете наблюдать русскаго человека съ одной этой стороны, то рискуете или не сдѣлать никакого заключенія о его характерѣ, или прійти къ невѣрнымъ выводамъ. Глядя на суетливость московскихъ мелкихъ торговцевъ, вы, пожалуй, подумаете, что дѣятельность и подвижность составляютъ основныя черты народнаго характера. Затѣмъ изъ всѣхъ проявленій «жизненной и общественной дѣятельности» русскаго человека остается только то, что онъ на улицѣ «пьетъ, гуляетъ, бранится и мошенничаетъ». Чтобы по этимъ проявленіямъ составить себѣ понятіе о народномъ характерѣ, надо быть ясновидящимъ или пророкомъ, а ясновидящему вовсе не нужно никакихъ наблю-



деній; онъ и такъ угадаетъ духъ народа. Но Голицынскій—не пророкъ, и потому ему слѣдовало бы взглянуть въ свой предметъ попристальнѣе и подумать посерьезнѣе. Считать вычисленныя имъ проявленія существенными моментами народной жизни, значить не понимать народа, не любить и не уважать его. Если мы хотимъ знать о народѣ только то, какъ онъ работаетъ, торгуетъ, пьетъ, гуляетъ, бранится и мошенничаетъ, то мы этимъ самымъ или отвергаемъ въ немъ присутствіе другихъ, болѣе благородныхъ, инстинктовъ, или не интересуемся ими. Какъ мужикъ любить, какъ онъ живетъ въ семействѣ, какъ онъ воспитываетъ своихъ дѣтей, чтò думаетъ и чувствуетъ,—этого мы, стало быть, и знать не хотимъ. Если народность даетъ намъ поводъ съострить, рассказать забавный анекдотъ или нарисовать бойкую карикатуру, тогда мы ей рады, какъ случаю выказать наше остроуміе, а иначе намъ до нея и дѣла нѣтъ. Приступать съ такими идеями къ изученію русскаго народа—по меньшей мѣрѣ несовременно. Но можетъ быть, подумаетъ читатель, это только неудачное выраженіе, употребленное въ предисловіи Голицынскаго случайно и не имѣющее логической связи съ характеромъ всей книги.

Посмотримъ-же, чтò даетъ намъ книга, и насколько въ своихъ очеркахъ авторъ остается вѣренъ идеямъ, высказаннымъ во вступленіи. Во всей книгѣ четыре очерка: «Нищіе», «Пріѣзжіе мужички», «Прислуга» и «Представители Толкучаго рынка». Въ очеркахъ «Пріѣзжіе мужички» авторъ описываетъ тѣ иллюзіи и мистификаціи, которыя приходится встрѣтить простолюдину-провинціалу на московскихъ улицахъ. Вотъ идетъ по тротуару мужикъ, спрашивая у каждаго встрѣчнаго, гдѣ живетъ «нѣмка Мантилья Карловна, бѣлобрысая такая, дюжая изъ себя»; вотъ мужикъ хлебнулъ московской водки и отплевывается, говоря, что у нихъ «водка въ Смоленскѣ хмельнѣе и лучше»; далѣе мужики разговариваютъ о томъ, какъ «нѣмецъ по пружинѣ на телеграфѣ чихвири пишетъ». Далѣе заѣзжій извозчикъ-ванька терпитъ горькую долю то отъ господъ, дешево платящихъ за далекіе концы, то отъ казака, везущаго въ часть арестанта, то отъ такихъ людей, которые отъ извозчиковъ уходятъ въ проходные дворы. Въ этомъ очеркѣ остроуміе Голицынскаго разыгрывается самымъ роскошнымъ образомъ. Не смѣшно-ли въ самомъ дѣлѣ, что мужикъ говоритъ *Мантилья* вмѣсто *Матильда*, *телеграфъ* вмѣсто *телеграфъ*, *чихвири* вмѣсто *цифра*? Не смѣшно-ли, что мужикъ не знаетъ, что справляются объ адресахъ въ адресномъ столѣ или въ полиціи, что въ московскихъ кабакахъ продаютъ разбавленную водку, что отъ Сухаревой башни до

Зубова очень далеко, и что бываютъ дома съ проходными дворами? Выставить на показъ это незнаніе и посмѣяться надъ нимъ съ полнымъ удовольствіемъ и съ беззавѣтнымъ увлеченіемъ—вотъ цѣль автора въ названномъ очеркѣ, и, конечно, цѣль достигается вполне. Народность выводимыхъ личностей тоже выражается вполне, какъ въ ихъ незнаніи, такъ и въ ихъ проиженіи. У насъ еще до сихъ поръ не перевелись писатели, которые характеризуютъ русскаго мужика тѣмъ, что онъ почесываетъ затылокъ, говоритъ *эфтомъ* вмѣсто *этомъ* и коверкаетъ иностранныя слова. Гуманность этихъ писателей вообще, и Голицынскаго въ особенности, заключается по большей части въ томъ, что они, считая слово *мужикъ* грубымъ и обиднымъ, представляютъ его въ смягченномъ видѣ *мужичекъ*. Совершенно одобряя такого рода гуманное смягченіе, я позволю себѣ замѣтить, что въ такомъ случаѣ было бы очень хорошо и удобно, а главное дѣло—гуманно говорить: *казачекъ* вмѣсто *казакъ*, *солдатикъ* вмѣсто *солдатъ*, *бабочка* вмѣсто *баба*, смягчая такимъ образомъ постоянно слова, обозначающія собою низшія ступени сословій.

Въ рассказѣ «Прислуга» вся соль заключается въ томъ, что лакеи, кучера, кухарки и горничныя на чемъ свѣтъ стоитъ ругаютъ своихъ господъ, рассказываютъ о ихъ любовныхъ пожденіяхъ и отпускаютъ другъ другу площадныя любезности и такія-же остроты. Вотъ, напримѣръ, сцена за воротами:

— Какой-же это клубъ на Цвѣточномъ бульварѣ? спросили лукаво дѣвушки.

— Мы тамъ свой завели (отвѣчаетъ кучеръ), тальянскій, значить, съ французскимъ угощеніемъ... на нѣмецкій ладъ.

Кучеръ опять откашлянулся, наклонилъ голову на сторону и зашѣлъ подъ свою гармонию: «Вотъ на-а пути-и-и село-о большо-о-е, туда...».—Чтòжь орѣшками-то не попоштуете! крикнулъ онъ неожиданно, щипнувъ за талью одну изъ слушательницъ.

— Ахъ, чтобъ тебѣ лопнуть! Жидъ ты эдакій! Перепугалъ до смерти! крикнула та въ свою очередь, изо всѣхъ силъ треснувъ его по спинѣ ладонью.

— Попоштуйте орѣхами-то, хоть крѣпки-ли зубы попробовать.

— На-те вотъ, берите, коль не побрезгаете.

— Изъ вашего платочка завсегда очень приятно, отвѣчала ловелась съ необыкновенной галантною.

— Почему-же это?

— А потому не въ примѣръ скусятъ орѣхи будутъ... «его забилось ре-е-ти-во-е, и по-о-тих...» и т. д.

Были и до сихъ поръ есть писатели, принимающіе тривіальность за народность; употребляя слова: *треснуть*, *лопнуть*, *тальянскій*, *галантерейность*, *поштовать*, *скушать*, и восклицанія вродѣ *жидъ ты эдакій!* Голицынскій убѣжденъ въ томъ, что, во-пер-



выхъ, онъ уловилъ букетъ народности и что, во-вторыхъ, онъ создалъ сцену, исполненную неподдѣльнаго комизма и самаго живого юмора. Писатели съ посредственнымъ талантомъ и съ ограниченнымъ даромъ наблюдательности не умѣютъ воссоздавать народное міросозерцаніе и часто вовсе не подозреваютъ его существованія. Они подмѣчаютъ только внѣшнія угловатости и рѣзкости, и потому ихъ сцены изъ народной жизни, при бѣдности и безцвѣтности внутренняго содержанія, отличаются аффектаціей и поддѣлкой народнаго разговорнаго языка. Инымъ это нравится, и не мудрено: романы Зотова и Воскресенскаго находятъ себѣ многочисленныхъ читателей; выходы фарсеровъ въ водевиляхъ, дающихся для сѣзда и разсѣзда публики, возбуждаютъ въ райкѣ громкій хохотъ и рукоплесканія. Эстетическія понятія и требованія различныхъ людей отличаются безконечнымъ разнообразіемъ; почему-же и Голицынскому не прослыть въ извѣстномъ кругу читателей юмористомъ и знакомомъ русской народности? Наше дѣло — показать, что въ его книгѣ можно встрѣтить, чтобы предостеречь болѣе разборчивую публику отъ разочарованія. Комизмъ Голицынскаго далеко не изысканъ, но смѣется каждый тому, что ему кажется смѣшнымъ; смѣлся-же сослуживецъ Жевакина надъ тѣмъ, что ему показывали палецъ, а между тѣмъ, у кого-же достанетъ духу быть за это въ претензіи на добродушнаго мячмана? Но если писатель позволить себѣ смѣяться надъ тѣмъ, что въ каждой гуманной личности должно возбудить чувство грусти, состраданія или ужаса, тогда мы въ правѣ сказать и доказать, что такой смѣхъ — кощунство, и что вліяніе его, по крайней мѣрѣ на ту часть публики, которая вѣритъ авторитету печатной буквы, безнравственно и вредно. Это гаерство, которому нуженъ канатъ и дурацкая шапка, чтобы развлекать публику, а не любовь и симпатія къ народу. Читая очерки Голицынскаго «Нищія» и «Представители Толкучаго рынка», я не могъ отдать себѣ отчета въ томъ, съ какой цѣлью написалъ ихъ авторъ. Я даже сомнѣваюсь, чтобы самъ авторъ сознавалъ въ нихъ какую-нибудь цѣль. Хотѣлъ-ли онъ обличить плугни нищихъ и московскихъ жуликовъ, и должно-ли поставить эту статью на ряду съ книгой Зоркина, обличающаго плутни шуллерской игры? Хотѣлъ-ли онъ представить рядъ очерковъ съ чисто-эстетической цѣлью, какъ писатель, изображающій «бѣдность, да бѣдность, да несовершенства нашей жизни»? Что онъ хотѣлъ сдѣлать, мы не знаемъ; посмотримъ-же, что онъ сдѣлалъ.

Въ очеркѣ «Нищія» представлены *салонница*, *бѣдный, но благородный человѣкъ*, *шарманщикъ*, и, наконецъ, очерченъ вергепъ или подвалъ, въ которомъ живутъ калѣки-ни-

щіе, пробавляющіеся милостыней у входа въ церкви, на паперти, на бульварахъ и на улицахъ. Почти во всѣхъ этихъ сценахъ мы имѣемъ дѣло съ поддѣльною бѣдностью, и авторъ вездѣ обращаетъ вниманіе не на степень матеріальнаго недостатка, а на средства, которыя употребляютъ бѣдняки, чтобы возбуждать состраданіе народа. Онъ относится къ самой бѣдности ихъ холодно, а по поводу ихъ пронырства и искусства притвориться даетъ полную волю своему натянутому юмору. Онъ чрезвычайно игриво остритъ и надъ салонницей, и надъ *«бѣднымъ, но благороднымъ человѣкомъ»*, и даже надъ бѣдной дѣвочкой, сопровождающей шарманщика и дѣлающей жертвой разврата въ такомъ возрастѣ когда еще ни физическія, ни нравственныя силы не окрѣпли и не способны поддержать и предохранить ее отъ пагубнаго вліянія окружающей среды. О салонницѣ онъ говоритъ, напримѣръ, что салонъ «служить такимъ-же отличительнымъ признакомъ ея званія, какъ, напримѣръ, для испанки мантилья». О *«бѣдномъ, но благородномъ человѣкѣ»* приводится цѣлая сцена, въ которой такой проситель на ломаномъ французскомъ языкѣ обращается къ состраданію порядочно одѣтаго господина. Остроуміе Голицынскаго остается вѣрно себѣ: вся соль этой сцены заключается въ искаженіи французскихъ словъ, которыя даже для большей картинности напечатаны русскими буквами. Напримѣръ:

— Vous demandez l'aumone? (спрашиваетъ господинъ).

— Фи донъ, лимонъ... (отвѣчаетъ проситель). жѣ при сюръ поврете, мусье».

Веселость Голицынскаго не помрачается даже тогда, когда онъ рассказываетъ о томъ, что одного *«бѣднаго, но благороднаго человѣка»* нашли замерзшимъ на улицѣ. Остроуміе его не сдерживается и передъ трупомъ. Дѣло вотъ въ чемъ. Однажды отставной чиновникъ выпросилъ у Голицынскаго гривенникъ, говоря, что ему необходимо ѣхать на Амуръ; на другой день утромъ, въ присутствіи Голицынскаго, поднимаютъ на улицѣ чей-то замерзшій трупъ. «Представьте-же мое удивленіе, когда, взглянувъ на его посинѣлое лицо, — продолжаетъ авторъ, — я узналъ вчерашняго амурца. И даже бронзовая медаль болталась у него въ петлицѣ. Доѣхалъ! подумалъ я, и спросилъ у квартальнаго: куда-жъ вы теперь его повезете?» — Человѣкъ умеръ, какъ собака, подъ заборомъ, безъ пріюта, безъ ласки и не возбуждаетъ въ Голицынскомъ даже той жалости, какую невольно чувствуешь къ страданіямъ животнаго. Я могу объяснить этотъ фактъ только гипотезой: вѣроятно, Голицынскій заподозрѣлъ своего амурца въ пьянствѣ и, возмущенный этой слабостью, отнесся къ его жалкой кон-



чинъ съ добродѣтельнымъ равнодушіемъ и презрѣніемъ. Но любопытно то обстоятельство, что сцена, рассказанная Голицынскимъ, производитъ на читателя совсѣмъ не то впечатлѣніе, какого ожидалъ авторъ. Если кто изъ трехъ личностей, дѣйствующихъ въ сценѣ, рассказанной Голицынскимъ, способенъ подѣйствовать на читателя тяжело и враждебно, то это, конечно, то *я*, отъ лица котораго идетъ весь рассказъ. Бродяга, собиравшійся ѣхать на Амуръ, умеръ мучительною смертью, онъ погибъ, какъ «собака подъ заборомъ». Если квартальный отзывается о смерти человѣка совершенно равнодушно, то это извиняется его необразованностью или давнишнею привычкой. Но что-же сказать въ оправданіе того *я*, которое, закутываясь въ шубу, думаетъ о замершемъ бѣднякѣ: «доѣхалъ!», что значитъ другими словами: «окопѣлъ! туда и дорога!» А всего любопытнѣе то, что Голицынскій даже не выдѣляетъ себя изъ этого *я*, не замѣчаетъ, что это *я* нуждается въ оправданіи или въ презрительномъ состраданіи, и, довольный своей теплою шубой и неизсякаемымъ остроуміемъ, переходитъ къ другимъ забавнымъ сценамъ. Къ числу такихъ забавныхъ сценъ относится аукціонъ на ребенка, происходящій въ вертепѣ. Къ числу такихъ-же сценъ относится смерть ребенка въ этомъ вертепѣ, — смерть, которая рассказана такъ: «Мать видитъ, что ребенокъ дѣйствительно кончается, и начинаетъ выть и причитать по привычкѣ. Жильцы вертепа, Богъ знаетъ почему, хохочутъ. Черезъ часъ маленькій герой нашъ умираетъ и — *finita la comedia!*» Что за наглый цинизмъ! Кто далъ право Голицынскому относиться такъ грубо къ лучшимъ чувствамъ человѣческой природы! Мать — нищая, развратная, безносая женщина, какъ неоднократно съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ повторяетъ Голицынскій; такъ что-же изъ этого? Развѣ она не можетъ любить своего ребенка? Она отдаетъ его на прокатъ другимъ нищимъ-старухамъ, она торгуетъ пшъ, она поступаетъ отвратительно, но что-же изъ этого? Развѣ въ минуту агоніи ребенка въ ней не можетъ проснуться материнское чувство, усиленное внезапно выступившими угрызеніями совѣсти? Надо быть сердцевѣдцемъ, надо быть Богомъ, чтобы осмѣлиться сказать, что эта несчастная мать воетъ и причитаетъ *по привычкѣ*. Жильцы вертепа смѣются — неумудрено! Образованный человѣкъ, литераторъ находитъ сказать только — *finita la comedia*; было бы удивительно, если бы нищіе не смѣялись и не глумились надъ смертью бѣднаго ребенка; осуждать ихъ за это несправедливо, можно только замѣтить, что сцены, подобныя описанной, составляютъ клевету на человѣчество. Онѣ могутъ войти только въ протоколъ уголовного

процесса; многое совершенно неправдоподобное случается иногда въ дѣйствительности, но мы не повѣримъ художнику, если онъ представить намъ въ своей картинѣ эти случайности и исключенія, потому что исключительныя положенія не даютъ матеріала для типа, а только могутъ быть до нѣкоторой степени объяснены случайнымъ и страннымъ стеченіемъ обстоятельствъ. Въ природѣ встрѣчаются, можетъ быть, совершенные злодѣи, но нуженъ колоссальный талантъ, чтобы заставить повѣрить въ возможность такого злодѣя, представленнаго въ литературномъ произведеніи. Если смерть ребенка въ вертепѣ нищихъ происходила передъ глазами самого Голицынскаго, тогда холодный цинизмъ, съ которымъ она рассказана, приведетъ читателя въ ужасъ. Если эта сцена создана фантазіей автора, тогда это лишній камень осужденія, брошенный безъ особенной причины въ классъ людей, который нуждается въ состраданіи и который безусловно презирать — несправедливо, чтобы не сказать больше. Народные пороки — вопросъ до такой степени серьезный, что къ нему надо относиться осторожно, съ знаніемъ и пониманіемъ дѣла, съ полною способностью сочувствовать несчастному и съ полнымъ желаніемъ простить и оправдать то, что упало въ грязь случайно и стремится изъ нея выйти. Въ подобныхъ случаяхъ всегда лучше быть слишкомъ мягкимъ, нежели слишкомъ жестокимъ: изыщнѣе, справедливѣе и гуманнѣе тотъ сердобольный купецъ или мужикъ, который подастъ нищему грошъ, не справляясь даже о его нравственности, чѣмъ тотъ писатель-обличитель, которому во всякомъ оборванномъ просителѣ мерещится тунеядецъ, обманщикъ или мошенникъ. Голицынскій такъ презираетъ поддѣльную бѣдность, что рядомъ съ нею рѣшительно не даетъ мѣста истинной бѣдности. Эта безразличность недостойна ни художника, ни развитого человѣка. Подумайте, что такое поддѣльная бѣдность? Заслуживаетъ-ли она дѣйствительно такого безжалостнаго осужденія? Если просить милостыню человѣкъ, имѣющій состояніе, то это болѣзнь, мономанія. Если человѣкъ, дѣйствительно не имѣющій средствъ и даже работы, прикидывается калѣкой, то онъ выставляетъ только яркую вывѣску того положенія, въ которомъ дѣйствительно находится. Нищенство — занятіе очень неизящное; нищенство не излечивается тѣмъ величавымъ презрѣніемъ, съ которымъ вы будете смотрѣть на бѣдняка. Амурець, которому Голицынскій далъ гривенникъ, былъ очень здоровъ, однако это не помѣшало ему замерзнуть; стало быть, онъ дѣйствительно былъ въ крайности, потому что даже авторъ уличныхъ типовъ, строгій censor morum, не говоритъ положительно о томъ, что онъ замерзъ въ пьяномъ видѣ. Зачѣмъ, скажете вы, здоровому человѣку нищен-



ствовать и пить, когда онъ можетъ работать? Да развѣ, отвѣчу я, всякому здоровому чело-вѣку такъ легко найти себѣ работу? Вы безъ рекомендаціи не наймете дворника, не пустите къ себѣ въ домъ кухарку, тѣмъ болѣе не дадите работы чело-вѣку, протягивающему вамъ руку на улицѣ. А, можетъ быть, есть между нищими и такіе люди, которые душой рады были бы найти себѣ занятія. Можетъ быть, униженные случайно, эти люди стремятся выйти изъ своего тяжелаго положенія, но ихъ отталкиваетъ окружающее общество, и они медленно развращаются и мирятся съ жизнью тунеядца и бродяги. Сидя безъ хлѣба и безъ мѣста, отвѣдавши случайно, въ крайности, дарового пропитанія, молодой и здоровый малый можетъ совершенно испортиться, отбиться отъ работы и поступить въ разрядъ поддѣльныхъ калѣкъ. Жалкое паденіе, скажемъ мы, но это паденіе, какъ и большая часть чело-вѣческихъ пороковъ, простительно и заслуживаетъ состраданія, а не презрѣнія. Съ распространеніемъ грамотности развивается обыкновенно трудолюбіе и, слѣдовательно, уменьшается число тунеядцевъ и нищихъ. Содѣйствовать такого рода усовершенствованіямъ — дѣло каждого честнаго гражданина, но кто-же станетъ этому содѣйствовать? У кого хватить духу смѣяться надъ тѣмъ, въ чемъ проявляется слабость чело-вѣческой природы во всей своей ужасающей наготѣ? Кто способенъ стать къ очерку Голицынскаго въ критическія отношенія, тому онъ покажется жалокъ и смѣшонъ; кто увлечется юморомъ автора, тотъ вмѣстѣ съ нимъ погрѣшитъ противъ справедливости и здраваго смысла.

«Представители Толкучаго рынка», конечно, блѣднѣютъ передъ очеркомъ «Нищіе». Автору не приходится имѣть дѣло съ такими мрачными явленіями жизни, и потому остроуміе его уже не производитъ на читателя такого сильнаго и страннаго впечатлѣнія. Въ этомъ очеркѣ любопытно и поучительно замѣтить только то, что авторъ съ особеннымъ удовольствіемъ напираетъ на подробности, напоминающія романы Поль-де-Кока; но у Поль-де-Кока эти подробности наивны и веселы, а у Голицынскаго онѣ просто плоски и грязны. Онъ любитъ останавливаться на такихъ подробностяхъ, въ которыхъ, по его мнѣнію, лежитъ и особенность русскаго народа, и мѣстный колоритъ московскаго Толкучаго рынка. Какъ ѣсть русскій мужикъ, и чѣмъ отъ какой рыбы пахнетъ, и какъ поддерживается теплота въ кушаньѣ на открытомъ воздухѣ, — все это описано съ такою любовью, что иностранецъ могъ бы подумать, что русская народность безъ этихъ особенностей невообразима. Опять мы скажемъ: «вольному воля!». Остроуміе Голицынскаго мнѣ кажется плоскимъ и натянутымъ, но вѣдь много у насъ на Руси такой публики, для кото-

рой двусмысленный, часто топорный анекдотъ стоитъ любой комедіи Островскаго; что-же съ этимъ дѣлать? Какъ ни грустно признаться въ этомъ, а можно быть увѣреннымъ, что книга «Уличные типы» разойдется хорошо и что, читая ее, многіе православные будутъ надирать животики. Пріятно, по крайней мѣрѣ, встрѣтить въ этой-же самой книгѣ приговоръ надъ ней въ бесѣдѣ двухъ букинистовъ. Обсуживая состояніе современной книжной торговли, одинъ изъ этихъ промышленниковъ замѣчаетъ между прочимъ, что книжка «Старичокъ-весельчакъ», рассказывающій старинныя московскія были», вышла шестымъ изданіемъ и «ходко идетъ». Этими словами букиниста Голицынскій очевидно даетъ публикѣ урокъ и старается показать ей, что она раскупаетъ дрянъ и ею услаждаетъ свои досуги. Но мы пожалѣли бы и букиниста, и публику, еслибъ этотъ урокъ послужилъ въ пользу и былъ примѣненъ къ оцѣнкѣ разобранной нами книги. «Уличные типы» Голицынскаго составляютъ на русско-й почвѣ подражаніе безчисленнымъ юмористическимъ изданіямъ, наводняющимъ французскую литературу и потѣшающимся надъ смѣшными и плачевными сторонами народности. Всѣ эти изданія, начиная съ самаго роскошнаго изданія «Le diable à Paris», отличаются гласированной бумагой, прекраснымъ выполненіемъ рисунковъ и замѣчательною пустотой содержанія. Всѣ эти качества замѣчаются въ книгѣ Голицынскаго, конечно, въ ослабленномъ видѣ, какъ и слѣдуетъ ожидать отъ подражанія. О пустотѣ содержанія мы уже говорили; о вѣдѣ изданія нельзя не отозваться съ похвалой. Бумага и шрифтъ хороши; а рисунки напоминаютъ собою манеру Гаварни и выполнены опытною и искусною рукой. Даже жаль, что издержки издателя и талантъ художника потрачены на такую ничтожную книгу. Эта книга, сама по себѣ, конечно, не стоила такого подробнаго разбора, но я рѣшился отдать ей нѣсколько страницъ, потому что она глубоко и неловко затрогиваетъ предметъ, близкій сердцу каждого честнаго чело-вѣка. Грустно видѣть, когда гримасничаютъ, кривляются и глумятся надъ такимъ предметомъ, который любящъ горячо, искренно и сознательно, — надъ предметомъ, которому даровитые дѣятели посвящаютъ лучшіе труды свои, къ которому избранные люди приступаютъ съ любовью и уваженіемъ. Тутъ поневолѣ зашевелится въ душѣ негодованіе, и невольно подумаешь, что, проходя молчаніемъ постыдное кощунство, дѣлаешься его пассивнымъ соучастникомъ и ободрителемъ. Въ оправданіе книги Голицынскаго сказать нечего. Въ извиненіе самого автора можно привести развѣ то обстоятельство, что онъ самъ не вѣдаетъ, чтѣ творить; и въ этомъ лучшее оправданіе его передъ судомъ критики.



# НАРОДНЫЯ КНИЖКИ.

(Русская азбука для народн. школъ и для домашн. обуч. по новѣйш. методѣ. Изд. Лермантова и К. 1861. — Русская азбука съ наставленіемъ какъ должно учить. 2 изд., значит. доп. В. Золотова. — Изд. товари. „Общество. Поизд.“. 1860. — Хрестоматія — 28 басенъ русск. баснописцевъ Измайлова, Хемницера, Дмитріева и Крылова. Изд. Лермантова и К. 1861. — Бесѣды въ досужее время. Разск. для чтенія простому народу. Изд. Станиславовича. 1860. — Дѣдушка Назарычъ. Разск. А. Писекина. 1860. — Первый винокуръ Древнее сказ. — Механикъ самоучка Кулибинъ. Соч. Н. Третьякова. Изъ „Народн. чтеній“. 1860. — Дядя Титъ Антоничъ учить, какъ надо любить ближняго. Соч. Н. С. 1861. — Княгиня Ольга, первая русская правительница-христіанка. Соч. Н. С. 1861).

Наконецъ общество начинаетъ сознать, что на немъ лежитъ обязанность—дѣлиться съ народомъ знаніями и идеями. Вѣроятно, многія изъ книгъ, поименованныхъ въ заглавіи моей статьи, написаны съ добросовѣстнымъ желаніемъ принести пользу; вѣроятно также, что нѣкоторыя изъ нихъ составлены съ промышленной цѣлью; но и это не бѣда. Составить предметъ спекуляціи можетъ только такое предпріятіе, котораго необходимость вошла въ общественное сознаніе. Разумѣется, книга, написанная для народа только ради торговаго сбыта, не дѣлаетъ чести нравственному чувству ея составителя, но самое существованіе подобной спекуляціи—фактъ отрадный, потому что онъ указываетъ на большой запросъ или, по крайней мѣрѣ, на возможность подобнаго запроса въ ближайшемъ будущемъ. Необходимость народнаго образованія вошла въ общественное сознаніе, но между теоретическимъ и практическимъ рѣшеніемъ вопроса лежитъ цѣлая бездна. Давно-ли въ нашихъ журналахъ разсуждали и спорили о томъ, нужна-ли и полезна-ли для народа грамотность? Вопросъ этотъ рѣшенъ утвердительно, но самая возможность подобнаго спора, самая необходимость доказывать аксіому служить осязательнымъ примѣромъ того, какъ ново и непривычно для насъ дѣло народнаго образованія. И это не удивительно. Потребность умственнаго прогресса была отодвинута въ нашей жизни на задній планъ, и мы, вмѣсто истиннаго образованія, довольствовались одними внѣшними условіями его; мы не видѣли или, лучше, не хотѣли видѣть, что позади насъ есть милліоны другихъ людей, которые имѣютъ одинаковое право на человѣческую жизнь, образованіе и социальное усовершенствованіе. Теперь мы сознаемъ, что безъ этихъ милліоновъ людей мы далеко не уйдемъ съ своей привозной цивилизаціей и съ своимъ просвѣщеніемъ, взятымъ напрокатъ. Такимъ образомъ великой задачей нашего времени становится умственная эманципація массъ, черезъ которую предвидится имъ исходъ къ лучшему положенію не только ихъ самихъ, но и всего общества. Школой нашего воспитанія является весь народъ, а воспитателемъ его—образованное меньшинство. Въ теоріи мы знаемъ, что надо дѣлать. Надо изучить характеръ воспитанника, взвѣсить тѣ обстоятельства и обстановку его прежней жизни, ко-

торыя могли имѣть вліяніе на складъ его способностей и жизни, надо честнымъ и откровеннымъ обращеніемъ приобрести его довѣріе, надо узнать его насущныя потребности и, наконецъ, оцупавъ дѣйствительную почву, взяться за дѣло такъ, какъ потребуютъ обстоятельства, какъ Богъ на душу положитъ, не ожидая отъ теоріи рѣшенія такихъ вопросовъ, которые должны рѣшаться на мѣстѣ, путемъ какого-то наитія и творческаго вдохновенія. Съ такими требованіями каждый развитой человѣкъ имѣетъ право обратиться къ любому порядочному воспитателю, и, вѣроятно, въ этихъ требованіяхъ не будетъ ничего преувеличеннаго. Если-же нельзя братья кое-какъ, съ налету, за воспитаніе ребенка, то тѣмъ болѣе нельзя съ кой-какими теоретическими свѣдѣніями приступать къ воспитанію народа. Въ первомъ случаѣ мы рискуемъ приготовить обществу дурного гражданина, можетъ быть, несчастную жертву порока; во второмъ—мы принимаемъ на себя тяжелую отвѣтственность за свою націю. И если жалко видѣть отдѣльное лицо, испорченное ложнымъ воспитаніемъ, то съ какимъ-же чувствомъ мы должны смотрѣть на умственный развратъ всего народа? Къ сожалѣнію, мы рѣдко задумываемся надъ этимъ вопросомъ и, облачаясь въ санъ воспитателя его, оказываемъ ему услугу, подобную той, какую въ баснѣ Крылова оказалъ медвѣдь спавшему пустынноику. Говоря вообще, мы плохо понимаемъ требованія народной жизни, хотя и много кричимъ на эту тему. Теоретики, фразеры, реформаторы съ высоты величія отвлеченной мысли, доктринеры, фанатки, готовые умереть на словахъ за честь своего знамени, энтузіасты, крикуны и махатели руками расплодились неимоვნю въ нашемъ разсыропленномъ обществѣ. Предпріятія возникаютъ и лопаются; теоріи въ одинъ день создаются и распадаются; всѣ какъ-будто заняты, а дѣло движется медленно впередъ. Мы никогда не отличались особенной энергіей, но теперь на всѣхъ замѣтна апатія, лихорадочные порывы и вслѣдъ за ними какая-то нравственная усталость и безпощадное равнодушіе. Первое препятствіе охлаждаетъ насъ, первая неудача отбрасываетъ наши силы въ совершенное бездѣйствіе. Притомъ мы давно привыкли думать, что великія дѣла можно дѣлать посредствомъ маленькихъ людей, между тѣмъ для добросовѣстнаго выполненія и малень-



каго дѣла нуженъ если не великій, то хорошій человѣкъ. Мы эту истину цѣнимъ мало: и я увѣренъ, что, остановивъ на улицѣ тридцать встрѣчныхъ и предложивъ имъ быть воспитателями народа, мы получимъ отказъ развѣ отъ одного: всѣ прочіе точно такъ-же возьмутся за этотъ трудъ, какъ они взяли бы за переписываніе бумагъ. Это признакъ совершеннаго непониманія общественныхъ интересовъ и крайняго презрѣнія къ нимъ.

Встрѣчаясь съ слабыми и блѣдными попытками провести въ народное сознаніе нѣсколько свѣтлыхъ мыслей, я прежде всего считаю нужнымъ выяснитъ до нѣкоторой степени тѣ формы, въ которыхъ вообще можетъ и должна появиться пропаганда. И педагогъ, и поэтъ, и учитель, и профессоръ—пропагандисты, которыхъ вліяніе, конечно, обуславливается ихъ личными свойствами и достоинствами; но между пропагандою поэта и педагога нельзя не замѣтить существенной разницы. Поэтъ не видитъ передъ собой публики и не рассчитываетъ на нее, не взвѣшиваетъ каждое слово и не предлагаетъ себѣ на каждомъ шагѣ вопроса: какое впечатлѣніе произведу я на современное общество? Создавая по внутренней необходимости, выдѣляя отъ себя то, что накопилось и накопило въ груди, онъ весь занятъ своимъ предметомъ, весь живетъ въ мірѣ вызванныхъ имъ образовъ и кромѣ этихъ образовъ въ минуту творчества не видитъ ничего, да и не долженъ ничего видѣть. Связь между поэтомъ и обществомъ неизбежна, но она существуетъ помимо воли поэта, и поэтъ не дѣлаетъ, да и не долженъ дѣлать ни шагу, чтобы скрѣпить или ослабить эту связь. Связь эта основана на томъ, что поэтъ переживаетъ съ современниками и горе, и радость, и надежды, и опасенія, и моменты юношеской вѣры, и годы мучительныхъ сомнѣній и тяжкаго раздумья. Онъ переживаетъ все это вмѣстѣ съ нами, но чувствуетъ живѣ насъ; оттого наша неясная грусть или тревожная, но еще не сознательная и почти безпричинная радость въ созданіяхъ поэта принимаютъ плоть и кровь; оттого-то поэтъ учитъ насъ, не говоря намъ ничего новаго.

Въ пропагандѣ педагога, напротивъ того, все соображено, размѣрено и клонится къ пользѣ воспитываемой личности. Его пропаганда должна быть послѣдовательна и строго сообразна условіямъ времени, личности и степени ея развитія. Насколько поэту необходима искренность чувства, настолько педагогу необходима постоянная наблюдательность и осторожность какъ въ выборѣ предмета, такъ и въ процессѣ его изложенія. Чистый типъ поэта и педагога, вѣроятно, не встрѣчается въ природѣ, потому что вообще не встрѣчается воплощеній отвлеченныхъ качествъ. Чтобы быть поэтомъ въ дѣлѣ народнаго образованія, надо стоять на одной почвѣ съ народомъ, надо горячо любить его и при томъ любить просто и безъ претензій;

надо силой непосредственнаго чувства понимать и его невысказанное горе, и несознанныя надежды, и невыяснившіяся стремленія. Кромѣ Кольцова, врядъ-ли кто-нибудь изъ нашихъ замѣчательныхъ поэтовъ умѣлъ въ своихъ произведеніяхъ жить одною жизнью съ той массой людей, которая нуждается въ умственномъ содѣйствіи со стороны образованнаго меньшинства. Ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ не могли проникнуть творческой мыслью исключительно въ народное міросозерцаніе, потому что все ихъ вниманіе было поглощено анализомъ окружающей ихъ полу-русской среды, сложившейся подъ вліяніемъ акклиматизаціи европейскаго этикета, европейскіхъ предразсудковъ и отчасти европейскихъ идей и воззрѣній. Эту среду, въ которой они выросли и развились, наши поэты поняли и изучили; что-же касается до простого народа, съ которымъ каждый изъ насъ имѣетъ чисто внѣшнія отношенія, то изъ него наши поэты брали нѣкоторыя характерныя фигуры, но при этомъ постоянно останавливались на одной внѣшней сторонѣ явленія. Они представляли лакея, крестьянина, фабричнаго и т. п., но кромѣ подробностей костюма и обстановки, кромѣ копированія домашняго быта и языка, кромѣ воспроизведенія внѣшнихъ отношеній, въ ихъ произведеніяхъ не было ничего такого, въ чемъ выразилось бы пониманіе внутреннихъ и существенныхъ особенностей русской жизни. Осипъ въ «Ревизорѣ», Петрушка и Селифанъ въ «Мертвыхъ Душахъ»—живые люди, это бесспорно, но они схвачены только съ внѣшней стороны, какъ лица, составляющія декорацію, обстановку и потому не заслуживающія особенно тщательнаго разсмотрѣнія. Все, что они говорятъ,—вѣрно; все это непременно было бы сказано русскимъ дворовымъ человѣкомъ, находящимся въ ихъ положеніи, но все это, взятое вмѣстѣ, такъ незначительно, что никакимъ образомъ не даетъ читателю средства проникнуть во внутренній міръ этихъ личностей. Писль Гоголя дѣло сближенія образованнаго класса съ народомъ подвинулось впередъ; главными дѣйствующими лицами романовъ и повѣстей стали являться русскіе мужики и бабы, но и здѣсь анализъ скользитъ по одной поверхности. Романы изъ народнаго быта рисовали и рисуютъ намъ не столько характеры, сколько положенія. Если есть драматическая борьба, то она замыкается въ кругъ чисто внѣшнихъ происшествій. Черезъ это всѣ характеры являются въ напряженномъ состояніи, и мы видимъ не естественное и спокойное развитіе жизни, а нравственные судороги, которыя не позволяютъ намъ дѣлать какія бы то ни было заключенія о выраженіи лицъ въ обыденныя, будничныя минуты жизни. На это мы можемъ быть скажутъ, что трудовая, пасмурная жизнь крестьянина такъ безцвѣтна и однообразна, что собственно человѣческія стороны его личности выражаются



только проблесками, въ тѣ минуты, когда заговорить ретивое и когда нашъ простолюдинъ на нѣсколько мгновений стряхнетъ съ себя тяжелую и вынужденную апатію.

Но это возраженіе опровергается пѣснями Кольцова, относящимися такъ часто и съ такою любовью къ этой заунывной, трогательной сторонѣ народной жизни, состоящей изъ длиннаго ряда однообразныхъ трудовъ, крупныхъ и мелкихъ лишений. При томъ замѣчу, что только незнаніе русскаго человѣка и человѣка вообще можетъ рѣшить такъ смѣло и голословно, что обыденная жизнь простолюдина сама по себѣ безцвѣтна и пуста. Народъ ближе насъ стоитъ къ природѣ и смотритъ на окружающій его міръ яснѣе, чѣмъ мы, потому что взглядъ его не омраченъ предубѣжденіями и ложными понятіями нашей жизни. Но потому-то намъ и трудно наблюдать и анализировать внутреннюю сторону народной жизни. Мы обыкновенно подступаемъ къ ней съ предвзятыми идеями и даемъ свой собственный, произвольный смыслъ дѣйствительнымъ явленіямъ. Кто, напримѣръ, понялъ и вѣрно выразилъ отношенія крестьянина къ любимой имъ женщинѣ? Изображая отношенія между влюбленными, наши романисты большей частью рисовали намъ сцены, созданныя воображеніемъ, — сцены, за вѣрность которыхъ не поручится ни самъ авторъ, ни внутреннее чутье читателя. «Свиданіе», описанное въ «Запискахъ Охотника» Тургенева, составляетъ въ ряду подобныхъ сценъ рѣдкое исключеніе, но при этомъ не должно упускать изъ виду обстоятельство, которое придаетъ всей сценѣ живой и своеобразный колоритъ. Тургеневъ выставляетъ контрастъ между дѣвственной, свѣжей душой молодой крестьянки и засушенной и пошлой натурой лакея, любимца барина. Вѣшнее положеніе дѣйствующихъ лицъ само по себѣ такъ характеристично, что оно совершенно овладѣваетъ вниманіемъ читателя и совершенно выкупаютъ въ его глазахъ недостатокъ анализа самаго чувства. Семейныя отношенія точно также были недоступны правильному наблюденію нашихъ писателей; мы знаемъ, что отецъ — хозяинъ въ домѣ, что мужъ распоряжается съ женою деспотически, что жена считаетъ такой порядокъ вещей естественнымъ и законнымъ, что взрослые дѣти ходятъ въ страхѣ передъ старикомъ-отцомъ; но всѣ эти свѣдѣнія очень похожи на примѣты, выставляемыя въ паспортахъ и отпускныхъ билетахъ; живое явленіе жизни трудно пестерить описаніемъ, — его надо прочувствовать и пережить на самомъ себѣ; если бы какой-нибудь путешественникъ, прожившій десять лѣтъ въ Парагваѣ или на Сандвичевыхъ островахъ, написалъ романъ изъ тамошнихъ нравовъ, мы, вѣроятно, съ большимъ любопытствомъ остановились бы на описаніи мѣстныхъ обычаевъ, обрядовъ, образа жизни, быта и предразсуд-

ковъ, но въ то же время имѣли бы полное право усомниться въ жизненной вѣрности и полнотѣ выведенныхъ характеровъ и изображенныхъ личностей. А между тѣмъ, читая романы изъ народнаго быта, публика наша думаетъ, что имѣетъ дѣло съ дѣйствительной народной жизнью. Спрашивается: развѣ различіе между какимъ-нибудь парагвайцемъ и европейскимъ туристомъ значительно больше того различія, которое существуетъ между русскимъ простолюдиномъ и русскимъ писателемъ? Развѣ между простолюдиномъ и писателемъ есть какая-нибудь связь, кромѣ единства языка и мѣста рожденія? Развѣ отношенія простолюдина къ писателю искреннѣе, душевнѣе и ближе отношеній парагвайца къ затѣжему европейцу? Мы любимъ народъ или, по крайней мѣрѣ, воображаемъ себѣ, что любимъ, потому что мудро дѣйствительно любить того, кого мы почти не знаемъ, но народъ не любитъ насъ и не вѣритъ намъ. Мы для него до сихъ поръ ровно ничего не сдѣлали, мы его трудами жили втеченіи столѣтій, и онъ это помнитъ той самой памятью, которая до сихъ поръ хранитъ въ народной пѣснѣ воспоминанія о Дунаѣ-рѣкѣ и о Владимірѣ Красномъ-Солнышкѣ. Кто станетъ винить нашего мужика въ томъ, что онъ въ каждомъ одѣтомъ по-европейски господинѣ видитъ человѣка, съ которымъ надо держать ухо востро и съ которымъ пускаться въ откровенность не слѣдуетъ ни подъ какимъ видомъ? — Какъ бы то ни было, мы должны признаться, что при настоящемъ положеніи дѣлъ изученіе народности только что начинается; мы едва начали распознавать ея существенные признаки, мы не можемъ даже дать внѣшняго описанія народнаго типа, стало-быть, вывести этотъ типъ въ художественномъ произведеніи еще нѣтъ никакой возможности. Исторія разлучила насъ съ нимъ гораздо ранѣе Петра. До сихъ поръ, сколько можно припомнить, народная инициатива выразилась только въ эпоху самозванцевъ да въ 1812 году; во все остальное время народъ нашъ представлялъ собою огромную массу, повиновавшуюся данному извнѣ толчку по силѣ инерціи и принимавшую любую форму, смотря по тому, откуда чувствовалось давленіе. — На основаніи всего сказаннаго, можно допустить предположеніе, что едва-ли поэтическая и педагогическая пропаганда по силамъ нашему поколѣнію. Нашей поэтической пропаганды народъ не пойметъ, потому что мы говоримъ на двухъ разныхъ языкахъ, живемъ въ двухъ разныхъ сферахъ и въ умственныхъ нашихъ интересахъ не имѣетъ ни одной, да вѣдь ни одной точки соприкосновенія. Чтò волнуетъ лучшихъ людей нашего общества, чтò заставляетъ ихъ стремиться къ отвлеченной истинѣ, къ знанію ради знанія, чтò заставляетъ ихъ страдать и радоваться муками творческаго рожденія, то, конечно, покажется вся-



кому здравомыслящему, но неразвитому простолюдину искусственной потребностью, прихотью барства, слѣдствіемъ изнѣженной и праздной жизни. Эстетическія понятія наши расходятся также сильно съ понятіями нашего народа; что намъ кажется превосходнымъ, вызываетъ нашъ умъ на усиленную дѣятельность, а въ душѣ будитъ цѣлый міръ неясно сознаваемого чувства, то навѣрное покажется народу слишкомъ блѣднымъ, потому что требованія его фантазіи и сердца гораздо шире и проще нашихъ. Словомъ, разстояніе между нашими воззрѣніями и наклонностями до сихъ поръ еще такъ велико, что оно исключаетъ всякую возможность непосредственного пониманія. Намъ достаточно было бы развернуть передъ народомъ наше міросозерцаніе во всей его полнотѣ, чтобы внушить ему недовѣріе и боязнь. Есть такіе народные вѣрованія и предразсудки, которые невозможно затрогивать грубо и неосторожно; ихъ надо разрушать исподволь, надо вести народное развитіе, не касаясь ихъ прямо и предоставляя ихъ устраненіе времени и здравому смыслу. — Стало быть, надо дѣйствовать педагогически, т. е. привораживать свое изложеніе къ понятіямъ слушателя и не сходить съ его точки зрѣнія. Но для педагогической дѣятельности необходимо, чтобы, во 1-хъ, воспитатель зналъ своего воспитанника вдоль и поперекъ, и чтобы, во 2-хъ, между воспитателемъ и воспитанникомъ существовало полное довѣріе. Въ послѣднемъ случаѣ намъ представляется величайшее затрудненіе. Мы можемъ возвратить довѣріе народа только тогда, когда станемъ къ нему снисходительными братьями. Доселѣ мы искали только однихъ правъ и расширенія произвола въ отношеніи массы, но не хотѣли знать, что кромѣ правъ есть и обязанности съ нашей стороны.

Высказавъ свое мнѣніе о народной литературѣ вообще, приступлю къ разбору фактовъ, т. е. выпедшихъ для народа книжекъ. Этотъ разборъ фактовъ подтверждаетъ мое заключеніе, сдѣланное *a priori*; скажу болѣе: онъ приводитъ къ результату, гораздо болѣе печальному, чѣмъ можно было ожидать. Если бы принять совокупность лежащихъ передо мною книжекъ за *maximum* того, что можетъ дать народу пишущая Россія, то можно было бы подумать, что у насъ нѣтъ ни одного таланта, ни одного человѣка, любящаго народъ.

Въ этихъ книжкахъ даже нельзя указать на слишкомъ большія ошибки, потому что онѣ ниже ошибокъ. Если бы составители этихъ книжекъ имѣли какое-нибудь понятіе о своей задачѣ (т. е. о народѣ, для котораго пишутъ, и о предметѣ, по которому пишутъ), то, хотя бы это понятіе было ложное, самое существованіе его отразилось бы въ большей жизненности и теплотѣ изложенія. Но въ этихъ книжкахъ нѣтъ ни мысли, ни направленія, ни пони-

манія народности: это даже не книги, это бумага, болѣе или менѣе сѣрая, напечатанная болѣе или менѣе убогимъ шрифтомъ, съ большимъ или меньшимъ числомъ опечатокъ. Четыре книжки, именно двѣ азбуки и два сборника стихотвореній, по многимъ причинамъ должны быть изъяты изъ общаго разбора, и потому я теперь-же скажу о нихъ нѣсколько словъ. Обѣ азбуки составлены по новой методѣ, и въ нихъ обученіе начинается не съ буквъ, а съ цѣлыхъ словъ; эта метода, признанная современной педагогикой, дѣйствительно рациональнѣе прежней методы и отличается большими практическими удобствами. Когда русскому человѣку говорятъ русское слово, онъ его понимаетъ, но когда неграмотному человѣку называютъ букву, онъ рѣшительно не въ состояніи понять, что это такое. Факты доказываютъ намъ, что въ исторіи изобрѣтенія письменъ буквенная система занимаетъ высшую и послѣднюю степень, и что гораздо прежде раздѣленія словъ на буквы находилось въ употребленіи письмо, изображающее самые предметы или символически указывающее на идею того слова, которое нужно было написать. Не слово составилось изъ буквъ или звуковъ, а, напротивъ того, звуки произошли оттого, что аналитическая дѣятельность ума разложила существующія слова и нашла въ нихъ общія составныя части, элементы, которые сами по себѣ, самостоятельно никогда не существовали. Требовать такой аналитической дѣятельности отъ человѣка неграмотнаго и мало мыслящаго нельзя; поэтому необходимо, чтобы учитель на наглядныхъ примѣрахъ показалъ ему, какъ слова дѣлятся на слоги, а слоги на буквы, и на этомъ основаніи метода, предлагаемая двумя названными мною азбуками, во многихъ отношеніяхъ облегчаетъ первоначальное обученіе, которое было такъ скучно и утомительно для учителя и для ученика. Честь изобрѣтенія этой методы принадлежитъ европейскимъ педагогамъ; примѣнена она въ обѣихъ азбукахъ не дурно, но, сколько мнѣ кажется, она лучше примѣнена въ изданіи Лермантова и комп. Въ азбукѣ Золотова воспитанникъ, прочтя при помощи учителя девять двусложныхъ словъ, въ первомъ-же упражненіи переходитъ къ слогамъ и даже къ буквамъ; въ азбукѣ Лермантова этотъ переходъ дѣлается нечувствительно; тамъ ученикъ прочитываетъ рядъ словъ, очень короткихъ и сходныхъ между собою по своимъ составнымъ частямъ, напр. *ты, то, та, — ты, мы, вы*. Видя сходство въ написаніи и созвучіе въ произношеніи, онъ естественно проводитъ параллель между тѣмъ и другимъ и собственнымъ умомъ доходитъ до пониманія отдѣльных буквъ; это возбуждительное вліяніе, которое азбука можетъ оказать на самостоятельность мысли, особенно важно и полезно, потому что оно ободраетъ ученика и облегчаетъ ученіе. Въ обѣ-



ихъ азбукахъ есть нѣсколько страницъ упражненій; на нихъ, какъ это бываетъ во всѣхъ дюжинныхъ азбукахъ, есть и правоученія, и ариѳметика, и статистическія свѣдѣнія о Россіи; все тамъ есть, и зачѣмъ оно туда попало, — единому Богу извѣстно. Азбуки изъявляютъ желаніе быть энциклопедіями и черезъ это перестаютъ быть хорошими азбуками. Достаточно было бы, кажется, дать ученику, выучившемуся читать, страницъ 20 занимательнаго и понятнаго чтенія, чтобы пріохотить его, или, пожалуй, просто, чтобы дать ему средства съ удовольствіемъ почитать подъ руководствомъ учителя; но изъ чтенія исторіи, ариѳметики, правилъ общежитія и изъ всѣхъ этихъ отрывочныхъ полусвѣдѣній выходитъ такая скучная и бесполезная смѣсь, что ученикъ, конечно, не въ состояніи будетъ ни прочесть ее съ удовольствіемъ, ни пріобрѣсти изъ нея какое-нибудь дѣйствительное знаніе. На двухъ страницахъ азбуки Золотова говорится объ именованныхъ числахъ, о календарѣ, о древней исторіи, о сотвореніи міра, о Рождествѣ Христовомъ, Евангеліи и объ основаніи Россійскаго государства. Прочтя такія двѣ страницы, невольно вспомнишь о томъ уѣздномъ учителѣ, который въ одинъ урокъ прочиталъ отъ ассиріянъ и вавилонянъ до Александра Македонскаго и даже въ заключеніе сломалъ казенный стулъ. Вотъ, напр., о древней исторіи: «Во все это время (отъ сотворенія міра до 1860 года) жили разные народы; самыми древними изъ нихъ были египтяне, вавилоняне, евреи, римляне, греки и многіе другіе», а далѣе уже слѣдуетъ объ откровенномъ законѣ Моисея и о Рождествѣ Христовомъ. А вотъ изъ азбуки Лермантова статья изъ отдѣла «Основные законоположенія»: «Власть родительская простирается на дѣтей обоюго пола и всякаго возраста, съ различіемъ и въ предѣлахъ, законами для сего постановленныхъ (Св. Зак. Т. X. ст. 158)». Насколько, прочитавъ эти строки, ученики получаютъ понятіе о древней исторіи и о предѣлахъ родительской власти въ Россіи — это я предоставляю рѣшить самимъ составителямъ. Есть родители и воспитатели, которые, желая своимъ дѣтямъ и воспитанникамъ добра, говорятъ: пускай всему учится, все пригодится; не узнаетъ всего вполнѣ, по крайней мѣрѣ получитъ какое-нибудь понятіе. Въ отношеніи къ понятію эти педагоги чрезвычайно нетребовательны; они часто называютъ понятіемъ одно слово, одну фразу, часто просто имя собственное.

Съ этой точки зрѣнія можно, пожалуй, оправдать приложенія къ азбукамъ Золотова и Лермантова, но я позволяю себѣ держаться мнѣнія діаметрально противоположнаго и потому замѣчу, что нехорошо и недобросовѣстно заваливать память человѣка, которому придется въ будущемъ многому учиться; это значитъ злоупотреблять правами учителя и терпѣніемъ

ученика. — Оба сборника стихотвореній отличаются вычурностью обертки и совершенною случайностью въ выборѣ помѣщенныхъ пьесъ. Любопытно было бы спросить у господъ составителей, какой цѣли старались они достигнуть своими сборниками, нравственной или эстетической? Хотѣли-ли они дать народу назидательное чтеніе, или просто познакомить его съ лучшими произведеніями русской поэзіи? Отвѣчать на этотъ вопросъ я предоставляю имъ самимъ, а отъ себя скажу только, что они не достигли никакой цѣли. Первая цѣль вообще недостижима, потому что исправить нравственность человѣка баснями и поученіями невозможно. Вторая цѣль не достигается по причинѣ крайней неразборчивости составителей. Плохія басни Дмитріева и Измайлова безъ малѣйшаго выбора ставятся рядомъ съ баснями Крылова; и къ чему все это, и почему это предназначается для народа, и что можетъ, по разсчетамъ составителя, найти народъ въ этихъ книжкахъ — не знаю, да и считаю лишнимъ изслѣдовать. До сихъ поръ я имѣлъ дѣло съ такими книгами, которыхъ идеи собственно не подвергались критикѣ. Въ азбукахъ мы видѣли примѣненіе извѣстной методы; въ сборникахъ — перепечатку давно извѣстныхъ произведеній. Составителямъ принадлежали только расположеніе частей и выборъ. И то, и другое оказалось неудовлетворительнымъ; посмотримъ, что дадутъ намъ книги, не *составленные*, а *написанные* для народа.

Въ числѣ этихъ книгъ есть беллетристическіе опыты («Первый Винокуръ» и «Дѣдушка Назарычъ»), нравственные разсужденія («Дядя Титъ Антонычъ учитъ, какъ надо любить ближняго»), попытки популярно изложить начала физики («Бесѣды въ досужее время») и два біографическіе очерка («Княгиня Ольга» и «Механикъ-самоучка Кулибинъ»). Разсмотрю сначала повѣсти. Древнее сказаніе «Первый Винокуръ» написано съ дидактической и полемической цѣлью и напоминаетъ наивныя проповѣди противъ пьянства, которыми такъ богата наша древняя церковная литература. Гласъ вопіющаго въ пустынѣ раздастся до нашего времени; желаніе наговорить читателямъ множество душеспасительныхъ поученій, желаніе исправить народную нравственность фразами живетъ, какъ видно, и въ нашемъ вѣкѣ. Кто беретъ въ руки перо, чтобы писать для народа или для дѣтей, тотъ непременно задаетъ себѣ какую-нибудь благонамѣренную задачу, неуклонно стремится къ достиженію своей добродѣтельной цѣли, не обращая вниманія на бѣдность собственной фантазіи, и заканчиваетъ свое скучное произведеніе — нравоученіемъ, которое выражаетъ собою всю идею и вѣнчаетъ дѣло. Въ этомъ разрядѣ литературныхъ произведеній примѣняется, какъ видно, самымъ оригинальнымъ образомъ знаменитое положеніе



Маккиавелли: «цѣль оправдываетъ средства». Авторъ древняго сказанія «Первый Винокуръ» ставитъ себѣ великую и полезную задачу — учить народъ отъ пьянства и очернить въ общественномъ мнѣніи не только откупщиковъ, но даже и винокуровъ.

Желая внушить мужику отвращеніе къ пьянству, онъ рассказываетъ, что куреніе вина идетъ отъ дьявола, и что первый винокуръ былъ чертенокъ, посланный на землю самимъ сатаною, чтобы сотворить людямъ великую пакость. Авторъ не сообразилъ, какое вліяніе можетъ произвести его брошюра. Я съ своей стороны думаю, что она будетъ совершенно оставлена безъ вниманія, но авторъ, рѣшившійся писать и издавать рассказъ съ нравоучительной цѣлью, по всей вѣроятности, рассчитывалъ на то, что народъ повѣритъ его доводамъ и будетъ сочувствовать его идеямъ. Если авторъ такимъ образомъ смотрѣлъ на вещи, то онъ сдѣлалъ непростительную педагогическую ошибку. Пьянство вредно, въ этомъ спорѣ нѣтъ, но народное суевѣріе, исключаящее всякую возможность разумнаго и здороваго міросозерцанія, составляетъ не меньшее зло, и при томъ такое зло, противъ котораго можетъ и должна бороться литература. Что же дѣлаетъ рассказъ «Первый Винокуръ»? Поражая пьянство, онъ поддерживаетъ дикіе народные предрасудки. Онъ ратуетъ противъ пьянства тѣми самыми доводами, которыми народъ ополчался противъ табаку, противъ картофеля, противъ желѣзныхъ дорогъ, словомъ, противъ всякаго заморскаго изобрѣтенія. «Православные люди,—говоритъ авторъ,—это дьявольское навожденіе; отилевайтесь и отрещивайтесь отъ него». И съ такой логикой, съ такими литературными приемами люди берутся учить народъ, просвѣщать и гуманизировать его. Нашъ народъ вѣритъ во все сверхъестественное: въ чертей, въ колдуновъ, въ домовыхъ, въ лѣшихъ, въ водяныхъ, въ русалокъ, въ вѣдьмъ, оборотней и знахарокъ; и вдругъ ему представляютъ нравоучительный рассказъ, котораго главные дѣйствующія лица взяты изъ преисподней и созданы самой безобразной и въ то-же время безсильной фантазіей. Хороши народные воспитатели, которые укореняютъ и узаконяютъ народные предрасудки и дѣлаютъ изъ нихъ пугала для поддержания народной нравственности и первобытной простоты нравовъ. Къ сожалѣнію должно сознаться, что, несмотря на дикое направленіе, этотъ рассказъ написанъ живымъ языкомъ и что народъ можетъ понять его и, сколько мнѣ кажется, прочесть съ удовольствіемъ. Художникъ, если бы его воображенію представились гибельныя послѣдствія пьянства для народной нравственности, воплотилъ бы эту идею въ простомъ безыскусственномъ образѣ, взялъ бы матеріалы изъ живой дѣйствительности и напи-

сать бы такую картину, которая для читателейъ всѣхъ сословій имѣла бы свой смыслъ и всѣмъ имъ сказала бы свое слово. Взялся за ту-же идею проповѣдникъ, нагородилъ вздору, построилъ фантастическую исторію, не принеся ни малѣйшей пользы, а можетъ быть даже сблизъ съ толку какого-нибудь простодушнаго и довѣрчиваго читателя.

Другая повѣсть Погосскаго: «Дѣдушка Назарычъ», не представляя никакихъ положительныхъ достоинствъ, не бросается въ глаза яркими недостатками. Погосскій недурно владѣетъ языкомъ, не употребляетъ высокопарныхъ выраженій, непонятныхъ для народа, но въ его литературныхъ приемахъ есть нѣкоторыя странности, показывающія, что онъ—не художникъ; онъ поддѣляется подъ солдатскій говоръ и испещряетъ свои страницы разными замысловатыми метафорами, непонятными для непосвященныхъ. Огородъ онъ сравниваетъ съ фронтомъ солдатъ, кочни капусты разставлены у него по ранжиру и образуютъ шеренги, словомъ, фантазія автора черпаетъ изъ военнаго артикула богатый запасъ сравненій и образовъ.

Такого рода приемы встрѣчаются очень часто въ такой литературѣ, которая предназначается для публики, стоящей ниже автора по умственному своему развитію. Въмѣсто того, чтобы возвысить ее до себя, авторъ самъ унижается до нея и перенимаетъ ея дурныя привычки или невольныя ея уклоненія отъ разумности и естественности. Не можетъ быть, чтобы Погосскій самъ находилъ свои воинственные сравненія изящными и умѣстными. Скалозубы вообще не любятъ литературу и относятся къ ней съ пренебреженіемъ, а Погосскій, какъ издатель «Солдатской бесѣды», самъ доказываетъ фактически, что не таковы его наклонности и убѣжденія. А поддѣляясь подъ вкусъ публики, которую желаетъ развить и гуманизировать, значить подчиняться нравственному вліянію своего ученика и исполнять и предупреждать его нелѣпыя капризы. Мы знаемъ, что нашъ народъ считаетъ изящнымъ, и однако, стараясь подвинуть впередъ его эстетическое образованіе, не станемъ распространять по дешевой цѣнѣ лубочныя картины съ безграмотными и бессмысленными подписями. Современная педагогика дошла до того убѣжденія, что надо воспитывать преимущественно и прежде всего человѣка, что даже складъ ума и наклонности воспитанника должны имѣть вліяніе на составъ энциклопедическаго преподаванія, т. е., что будущій гуманистъ, будущій математикъ, юристъ, офицеръ, администраторъ, технологъ должны получить прежде всего одинаковое общее образованіе, которое бы возвысило и укрѣпило въ нихъ чувство и сознание собственнаго человѣческаго достоинства. Узкая спеціальность и неорганическое обособленіе от-



дѣльныхъ сословіи ведутъ къ духу исключительности и истеричности, дробятъ народность и сознаніе національнаго единства. Дѣльность специалиста не исключаетъ въ немъ общительности и не должна развиваться въ ущербъ человѣческимъ качествамъ ума и сердца. Можно быть храбрымъ солдатомъ и не класть всю душу въ выправку и ружейные приемы. Можно быть опытнымъ фронтовикомъ и выражаться общечеловѣческимъ и общепонятнымъ языкомъ. Кромѣ несовершенствъ вышшняго изложенія, можно еще замѣтить въ рассказѣ Погосскаго одинъ существенный недостатокъ. Спрашивается: почему именно старый солдатъ выбранъ Погосскимъ для того, чтобы украситься всѣми лучшими качествами человѣка? Почему именно идеаломъ добродѣтельнаго старика является старый солдатъ? Если это сдѣлано въ назиданіе читателямъ-солдатамъ, то я упрекну Погосскаго въ дидактизмъ, который, какъ неоднократно бывало доказано, никогда не достигаетъ даже своей узкой и ограниченной цѣли. Жизнь, полная дѣятельности, тревогъ и лишеній, жизнь походная и бивачная, отсутствіе своего крова, оторванность отъ семьи заставитъ неразвитою человѣка съежиться въ самомъ себѣ, но никакъ не доведетъ его до той идиллической мягкости, которою отличается все поведеніе Назарыча.

«Бесѣды въ досужее время» до нѣкоторой степени напоминаютъ тѣ энциклопедическія свѣдѣнія, которыя сообщаютъ азбуки Золотова и Лермантова. На 72-хъ крошечныхъ страничкахъ авторъ умѣстилъ и предостереженіе противъ деревенскихъ знахарей, и панегирикъ ученымъ врачамъ, и магнетизмъ, и гальванизмъ, и электрическую машину, и паровозы, и телеграфъ. Люди, читавшіе или изучавшіе физику Ленца, конечно, поймутъ, чтѣ хочетъ сказать авторъ, но пойметъ-ли это народъ и вынесетъ-ли онъ изъ книжки что-нибудь существенное—это вопросъ, да еще очень важный. Да, наконецъ допустимъ, что народъ пойметъ, какъ устроенъ вольтовъ столбъ и какъ производится гальванопластическое золоченіе. Какая-жъ въ этомъ будетъ польза? Представьте себѣ, что я бы прочелъ путешествіе Герберштейна по Россіи, потомъ палеонтологію Кювье, потомъ изслѣдованіе о языкѣ Кави Вильгельма Гумбольдта, потомъ геральдику Лакіера, потомъ *Radices linguae Slavicae* Добровскаго и т. д.,—неужели тысячи страницъ и цѣлыя полки томовъ, поглощенныхъ такимъ образомъ, обогатили бы хоть на одну іоту мой внутренній міръ? Мнѣ кажется, что, напротивъ, надо было бы быть чуть не гениемъ, чтобы при такомъ чтеніи не сдѣлаться круглымъ дуракомъ. А вѣдь народное образованіе, выражающееся въ грошовыхъ изданіяхъ, ведется именно такимъ образомъ. Если бы народъ прочелъ и усвоилъ себѣ то, что специально для него пишутъ, то

это было бы для него величайшимъ несчастьемъ; это заволокло бы тусклою тinou живую струю народнаго ума. Образованіе народа пойдетъ мимо этихъ бездарныхъ попытокъ, и пойдетъ неустержимою волной, когда дремлющія силы сознаютъ собственное существованіе и двинутся по внутренней потребности. Скажите, какую живую мысль дастъ нашему мужику описаніе вольтова столба? Улучшится-ли отъ этого его матеріальное благосостояніе; прибудетъ-ли хлѣба на гумнѣ; перестанетъ-ли онъ бить свою хозяйку; внесетъ-ли онъ человѣческую логику въ свои вѣрованія и убѣжденія? Придетъ время говорить и о вольтовомъ столбѣ, да вѣдь не теперь-же, и не такимъ образомъ. Вѣдь нельзя-же забрасывать человѣка незнакомыми словами, до которыхъ ему нѣтъ дѣла, вѣдь зарыбить въ глазахъ и зашумитъ въ ушахъ отъ этой безцвѣтной пестроты. «Бесѣды въ досужее время» могли бы быть хорошею книжкой, если бы онѣ не захватили разомъ такое множество предметовъ, если бы онѣ о чемъ-нибудь однимъ поговорили подробно, занимательно и общепонятно. Но тутъ-то и является препятствіе: чтобы говорить подробно, надо прочесть что-нибудь, кромѣ учебника, да и подумать о томъ, чтѣ выбрать и какъ изложить. Сказать-же вскользь о громѣ, потомъ объ электрическихъ машинахъ, потомъ о гальванизмѣ, выказать при этомъ просвѣщенное сочувствіе къ прогрессу, привести этимологию этого слова, порадоваться на свою образованность и ткнуть мужику въ глаза его невѣжество и суетвѣріе — на это способенъ любой гимназистъ, перешедшій въ старшій классъ и гордый своимъ общественнымъ положеніемъ. Если чтѣ при такомъ изложеніи забудется — не бѣда, можно заглянуть въ учебникъ; а переврешь что-нибудь — и то не штука, благо публика ничего не знаетъ и взыскать не съумѣетъ. Если народныя книжки не являются у насъ сотнями и тысячами, то развѣ только потому, что книгопродавцы боятся типографскихъ издержекъ и не увѣрены въ сбытѣ. За авторами не стало бы дѣла: народная книжка всякому по плечу; она не требуетъ отъ составителя ни стараній, ни свѣдѣній, ни любви къ своему дѣлу, ни даже умѣнья порядочно писать по-русски. Захотѣлъ и написалъ, а чтѣ изъ этого выйдетъ, объ этомъ смѣшно и спрашивать. Конечно, ничего не выйдетъ, и это самое утѣшительное, что можно сказать въ этомъ случаѣ. Было бы страшно за будущее нашего народа, если бы можно было думать, что недоучившіяся или ничему не учившіяся бездарности могли бы имѣть какое-нибудь вліяніе на его образъ мыслей. Народъ, который можно было бы вылечить отъ вѣковыхъ предрасудковъ грошевою книжкой, былъ бы пустой народъ, который не стоило бы воспитывать, котораго убѣ-



жденія никогда не приобрѣли бы стойкости и самостоятельности. Изъ дряблага и мягкаго дерева трудно выточить хорошую вещь, а твердое дерево уступаетъ съ трудомъ и какъ будто борется съ обрабатывающимъ его инструментомъ; часто бываетъ и то, что плохой инструментъ ломается о хороший матеріалъ.

Книжка «Дядя Титъ Антонычъ учитъ, какъ надо любить ближняго», стоитъ ниже всякой критики. Это скучная, безцвѣтная проповѣдь, облеченная, неизвѣстно зачѣмъ, въ діалогическую форму, обставленная неправдоподобными личностями, несуществующими ни въ русскомъ, ни въ какомъ-либо другомъ быту. Дѣло вотъ въ чемъ: у хозяина-мужика живетъ батракъ, тоже мужикъ, который въ деревнѣ играетъ роль проповѣдника, и которому самъ хозяинъ и сосѣдніе поселяне кланяются въ поляхъ. Этотъ деревенскій патриархъ, постушившій въ батраки для процесса самоуничженія, объясняетъ текстъ изъ Евангелія собравшимся сосѣдямъ; всѣ слушаютъ съ благоговѣніемъ и выносятъ изъ его рѣчи то незамысловатое заключеніе, что турки, нѣмцы и французы — такіе-же люди, какъ и рускіе, и потому имѣютъ право на нашу любовь и на наше участіе. — Мнѣ кажется, все разсужденіе въ высокой степени бесполезно и сверхъ того изложено языкомъ растянутымъ, витіеватымъ и въ то же время водянистымъ. Ни одно слово не бьетъ въ сердце; ни разу ораторъ не возвышается до пафоса и не покидаетъ старчески-византійскаго тона рѣчи; ни въ одной строкѣ не слышно живого чувства; вездѣ условная, клерикальная риторика, вездѣ холодная, безстрастная наставительность. Знаній эта брошюра не даетъ, на чувство подѣйствовать не можетъ, стало быть, больше нечего о ней и говорить.

На эту брошюру похожа по своей внѣшности біографія княгини Ольги; кажется, она составлена тѣмъ-же авторомъ; на обѣихъ книжкахъ написано: «Соч. Н. С.», и обѣ онѣ представляютъ значительное сходство въ литературномъ отношеніи. Приемы построения совершенно тѣ-же. Точно также какая-то личность, называющая себя, т. е. говорящая отъ своего имени, подходитъ къ группѣ деревенскихъ мальчиковъ и дѣвочекъ, собравшихся вокругъ учителя. Роль дяди Тита Антоныча въ этой брошюрѣ играетъ приходскій священникъ, отецъ Павелъ. Отъ перемѣны имени не перемѣняется манера изложенія; она представляетъ ту-же утомительную безцвѣтность, которою въ высокой степени отличалось повѣствованіе дяди Тита; въ этой брошюрѣ эта утомительность еще замѣтнѣе, потому что отъ историческаго разсказа мы требуемъ того, чего нельзя ожидать отъ поучительнаго слова. Но ужъ таково свойство бездарности, что она вноситъ холодъ и скуку во все, за что ни берется. Разсказъ о

жизни Ольги шибко сбивается на проповѣдь; онъ составленъ по житію св. Ольги и осизательно показываетъ, какъ мало авторъ умѣлъ воспользоваться своими источниками. Исторія, сколько мнѣ кажется, даже въ настоящее время нужна для народнаго образованія: фонъ исторической картины, колоритъ мѣста и времени, подробности, рисующія громадную, хотя отвлеченную личность народа, должны обратиться на себя все вниманіе историка, способнаго писать для народа, т. е. излагать свои идеи просто и популярно. Пусть на этомъ фонѣ выделяются и выступаютъ передъ воображеніемъ читателя личности отдѣльных историческихъ дѣятелей и работниковъ. Народу необходимы историческія идеи; изъ этихъ идей формируются убѣжденія, составляется міросозерцаніе. Но чѣмъ нужнѣе какой-нибудь предметъ, тѣмъ строже надо быть въ его выборѣ, тѣмъ неумолимѣе надо клеймить неудачныя и бессмысленныя попытки. Въ біографіи княгини Ольги — бѣдность содержанія, безцвѣтность изложенія и отсутствіе всякой исторической идеи поражаютъ на каждой строкѣ. Авторъ разсказываетъ, что древляне убили Игоря, что жена Игоря Ольга отмстила за него, что потомъ въ 955 году она приняла христіанство, потомъ видѣла видѣнія, а наконецъ умерла. Вотъ вамъ и историческая идея, и мѣстный колоритъ, и фізіономія фактовъ. Точно также можно было бы разсказать какую-нибудь деревенскую сплетню, не измѣняя обстановки, потому именно, что обстановки нѣтъ и тѣни. О древлянахъ не сказано даже, что они жили въ лѣсной странѣ и отличались отъ полянъ дикостью и суровостью; имени полянъ не встрѣчается во всемъ разсказѣ. Сказано, что князь Рюрикъ былъ первый русскій государь, и это послѣднее выраженіе оставлено безъ всякаго поясненія. Грамотный мужикъ, имѣющій понятіе о теперешнихъ границахъ Россіи и о значеніи слова *государь*, можетъ себѣ представить, что Рюрикъ былъ то-же, что теперь императоръ, что онъ владѣлъ такою-же территоріей, имѣлъ такой-же дворъ и штатъ министровъ, что онъ велъ такой-же образъ жизни и, пожалуй, даже, что его резиденціей былъ Петербургъ и Зимній дворецъ. Въдѣ популярное изложеніе состоитъ именно въ томъ, чтобы каждое слово было объяснено и вызывало въ умѣ читателя именно то представленіе, которое вы хотите вызвать. Вы должны предвидѣть самое полное незнаніе, предполагать возможность самой грубой ошибки и приступать къ дѣлу, почувствовать въ себѣ достаточно силъ, чтобы разбить это невѣжество и устранить упорное заблужденіе. Это очень трудно, но кто-же и говорить, чтобы добросовѣстное исполненіе задачи популяризатора было легко; сдѣлать дѣло, какъ слѣдуетъ, всегда трудно, а такими популяризаторами, какіе у насъ теперь



развелись, хоть прудъ пруди, да что-же въ нихъ толку? Говорится, напр., что «Ольга сочла нужнымъ принять на себя управленіе русскимъ государствомъ». А что такое было тогдашнее русское государство, и въ чемъ состояло его управленіе, какъ совершался въ то время механизмъ государственной дѣятельности, это не пояснено ни однимъ словомъ. Далѣе говорится, что Ольга была «язычницей и поклонялась идоламъ и не знала, что первый долгъ человѣка состоитъ въ томъ, чтобы прощать обиды». Этими словами объясняется то, что она погубила древлянъ, присланныхъ просить ея руки для своего князя Мала. Въ этихъ словахъ есть двѣ ошибки: во-первыхъ, объ язычествѣ Ольги не сказано ни слова, а выраженіе *поклонялась идоламъ* ничего не поясняетъ, потому что само по себѣ требуетъ поясненія. Во-вторыхъ, эти слова даютъ невѣрное и неправдоподобное объясненіе поступка Ольги съ древлянами. Древляне были избиты, потому что идея родовой мести, идея «кровь за кровь» господствовала во всемъ славянскомъ мірѣ въ то время, когда еще слабо развиты были юридическія понятія. Христіанство не могло сразу искоренить эти понятія и подкапывало ихъ настолько, насколько оно постепенно содѣйствовало смягченію нравовъ. Заглушить голосъ человѣческихъ страстей и подчинить ихъ нравственному закону оно не могло, и стоитъ взглянуть на исторію Византіи, гдѣ императоры рзали другъ другу носы и выкалывали глаза, сталкивая другъ друга съ престола, чтобы убѣдиться въ томъ, что христіанство было безсильно, когда ему приходилось бороться съ корыстнымъ расчетомъ или съ дикой страстью. Ольга потому убила древлянъ, что не была христіанкою, а почему-же христіанинъ Владиміръ Святой собирался идти войною на непокорнаго сына своего Ярослава? Почему христіанинъ Святополкъ перебилъ своихъ братьевъ Бориса, Глѣба, Святослава? Почему христіанинъ Святополкъ - Михайлъ выкололъ глаза Васильку Ростиславичу? Почему, наконецъ, въ XV столѣтіи христіане Дмитрій Шемяка и Василій Темный позволяли себѣ во время междоусобій такія кровавыя и бесполезныя злодѣянія?—Говоря о жестокостяхъ Ольги, авторъ старается показать высокое значеніе христіанства; но, выводя эти жестокости изъ язычества, онъ навязываетъ христіанству отвѣтственность за тѣ злодѣянія, которыя были совершены послѣ крещенія Руси. Это опять плачевное слѣдствіе дидактизма, который такъ-же неумѣстенъ въ исторіи, какъ въ художественномъ произведеніи. Читая исторію, надо учиться тому, чему учить сама жизнь, сами факты; если-же авторъ желаетъ вставлять нравоученія, до которыхъ онъ дошелъ собственнымъ умомъ, тогда лучше писать проповѣди вродѣ Тита Антоныча, нежели статьи съ претензією на историческое знаніе.

Первыя не оставляютъ никакого сомнѣнія насчетъ своего характера, а послѣднія обманываютъ и заинтересовываютъ своимъ заглавіемъ. Рассказывая о прибытіи Ольги въ Константинополь, авторъ дѣлаетъ грубую историческую ошибку. «Греческій императоръ Константинъ Багрянородный — говоритъ онъ—въ золотой колесницѣ, сопровождаемый патріархомъ и всѣми высшими чиновниками, выѣхалъ навстрѣчу русской княгинѣ». Нелѣпѣ этого извѣстія трудно что-нибудь придумать. Кажется, въ лѣтописяхъ Византіи не было примѣра, чтобы императоръ выѣхалъ навстрѣчу какому-нибудь иностранному государю, и вдругъ онъ выѣзжаетъ навстрѣчу Ольгѣ, на которую онъ не могъ даже смотрѣть, какъ на государыню, и въ которой онъ долженъ былъ видѣть просто полудикую искательницу приключеній. Но не нужно въ этомъ случаѣ дѣлать предположеній насчетъ возможности подобнаго факта. Наши лѣтописи и сочиненія Константина Порфиророднаго опровергаютъ эту нелѣпую выдумку; изъ рассказа нашихъ лѣтописей видно, что Ольга была недовольна приѣмомъ, который сдѣлалъ ей императоръ, и по возвращеніи въ Кіевъ жаловалась на то, что ее заставили долго стоять въ гавани Константинополя. У Константина Порфиророднаго въ церемоніяхъ Византійскаго двора подробно описанъ приѣмъ Ольги русской («Ελλην τῆς Ρωσεννης»); приѣмъ этотъ происходилъ въ золотомъ триклиніи (столовой), сопровождался обѣдомъ, и, конечно, въ описаніи этого приѣма ни о золотой колесницѣ, ни о встрѣчѣ не упоминается ни однимъ словомъ. Я подозреваю въ этой выдумкѣ Н. С. нравоучительную цѣль. Онъ, вѣроятно, имѣлъ поползновеніе показать величіе русскаго государства даже въ тѣ времена, которыя для самого повѣствователя покрыты густымъ мракомъ неизвѣстности. Но добродѣтель не всегда торжествуетъ, и добродѣтельный и благонамѣренный патріотизмъ Н. С. разбился о скалу историческихъ свидѣтельствъ и фактовъ. Выдумка Н. С. можетъ служить яркимъ подтвержденіемъ моей мысли о томъ, что книжки для народа составляются по плохимъ учебникамъ, и что, гдѣ понадобится, факты учебниковъ пополняются и подкрашиваются сообразно съ наклонностями и глубокомысленными соображеніями недоучившихся составителей. Научная и литературная добросовѣстность неизвѣстны въ низшихъ слояхъ нашей письменности, въ толкучемъ рынкѣ нашей журналистики и книжной торговли. Нашарлатанить, наврать, привести цитату изъ нечитаннаго сочиненія или утаить источникъ, изъ котораго заимствована какая-нибудь идея, — подобныя подвиги позволяютъ себѣ и не одни составители грошовыхъ книжекъ. Но кто посмышленѣе да пообразованнѣе, тотъ мошенничаетъ умно, такъ, что трудно будетъ поймать и уличить;



кто-же берется за перо, едва умѣя писать, безъ дарованій и безъ свѣдѣній, тотъ попадется на первой-же выдумкѣ и обнаружить въ полномъ блескѣ все свое невѣжество и все свое неуваженіе къ истинѣ, къ своимъ читателямъ и къ предмету своего разсказа. Пусть Н. С. приметъ въ расчетъ это обстоятельство и постарается быть осторожнѣе или хитрѣе въ послѣдующихъ своихъ изданіяхъ для народа. Пусть онъ чаще справляется съ учебниками и рѣже увлекается преслѣдованіемъ побочныхъ цѣлей въ историческомъ изложеніи.

Биографія «Механика-самоучки Кулибина», составленная Троицкимъ и продающаяся какъ отдѣльный оттискъ изъ журнала «Народное Чтеніе», интересна по сообщаемымъ фактамъ, но изложена такъ дурно, какъ только можетъ быть дурно изложена статья, написанная для народа. Троицкій какъ будто нарочно старается нарушить своимъ изложеніемъ всѣ условія, которыхъ соблюденіе необходимо для того, чтобы народъ могъ понять то, что для него пишутъ. Отвлеченныя разсужденія, составляющія собою начало статьи, написаны такимъ тяжелымъ языкомъ, такими длинными и запутанными періодами, что ими затруднится даже тотъ, кто привыкъ къ чтенію и къ книжнымъ выраженіямъ. Напримѣръ: «Будучи убѣждены, что благое Провидѣніе, одѣлая человѣчество своими безчисленными дарами, соблюдаетъ строгую справедливость, мы не можемъ, однако, оспаривать, что многія историческія событія, а также и различныя условія окружающей мѣстности имѣютъ весьма сильное вліяніе на каждый народъ и вырабатываютъ ему, если не всегда, то на извѣстный промежутокъ времени, особенный характеръ, отличающій его отъ другихъ народовъ». Такъ много наговорить и такъ мало сказать—на это надо особенное искусство. Вѣдь ни одинъ порядочный журналъ не принялъ бы на свои страницы статью, написанную такимъ языкомъ, а написать такимъ образомъ для народа считается дѣломъ позволительнымъ, между тѣмъ какъ для народа хорошій языкъ составляетъ не прихоть, а насущную потребность, при неудовлетвореніи которой онъ не будетъ въ состояніи понимать то, что ему стараются передать. Если бы Троицкій принесъ свою статью въ редакцію одного изъ нашихъ большихъ журналовъ, то его, вѣроятно, попросили бы передѣлать введеніе и повсемѣстно исправить языкъ. Печатавъ ее въ «Народномъ Чтеніи», редакція должна была сдѣлать гораздо большія измѣненія. Отвлеченныя разсужденія надо было совершенно уничтожить; связь между отдѣльными фактами жизни Кулибина надо было провести яснѣе; личный характеръ механика-самоучки, очерченный въ бѣгломъ очеркѣ подъ конецъ статьи, долженъ былъ осмысливать и окрашивать собою всѣ сообщаемые эпизоды. Языкъ

надо было передѣлать *de fond en comble*; больше жизни, больше движенія мысли и художественности и меньше отвлеченныхъ разсужденій, больше критики и меньше панегиризма — и тогда біографія Кулибина могла бы быть прекраснымъ подаркомъ для грамотной части нашего народа. Въ настоящемъ своемъ видѣ книга Троицкаго для народа недоступна, и ее прочтутъ только тѣ грамотные простолюдины, которые читаютъ для процесса чтенія. Небрежность, съ которою пишутъ для народа даже люди, толкующіе о сочувствіи ко всему русскому и о народномъ благѣ, превышаетъ всякое вѣроятіе. Я разсмотрѣлъ десять книжекъ для народа, изданныхъ въ прошломъ и въ нынѣшнемъ году, и какіе-же результаты дало намъ это обозрѣніе?—Оно убѣдило меня и моихъ читателей въ отсутствіи хорошихъ книгъ для народа, и хотя это убѣжденіе, какъ всякая истина, имѣетъ свою хорошую сторону, оно тѣмъ не менѣе крайне неутѣшительно. Мы сознаемъ свое безсиліе — это хорошо, но существованіе самаго безсилія — явленіе очень печальное. Начиная свою статью, я надѣялся указать на разбираемые книги, какъ на неудачныя попытки, которыя могутъ по крайней мѣрѣ имѣть свое значеніе, какъ первая степень въ исторіи развитія литературы для народа. Но чѣмъ внимательнѣе я вглядываюсь въ преобладающій характеръ этихъ книгъ, тѣмъ болѣе убѣждаюсь въ томъ, что видѣть въ нихъ неудачныя попытки, предполагать въ нихъ зародыши будущаго развитія — значить впадать въ доктринерство и оказывать слишкомъ много чести этимъ топорнымъ произведеніямъ промышленнаго пера. Гг. составители этихъ книжекъ дѣлали, кажется, только одну попытку—выручить за свою работу деньги; насколько эта попытка удалась имъ — не наше дѣло; что изъ подобныхъ книжекъ ничего не разовьется ни въ близкомъ, ни въ отдаленномъ будущемъ, и что первому человѣку, который выступитъ впередъ съ добросовѣстнымъ и просвѣщеннымъ желаніемъ служить народному образованію, будетъ такъ-же трудно начать, какъ будто бы онъ первый пошелъ по этому пути, въ этомъ, кажется, усомниться трудно. Дѣло нашей народности не стоитъ на одномъ мѣстѣ, но его двигаютъ не грошоваго изданія. Его несутъ на плечахъ наши публицисты, наши ученые и художники. Знакома наше общество съ государственными идеями и учрежденіями Европы, изучая прошлое нашего народа въ его словесности, въ его государственной, юридической и семейной жизни, выясняя мало-по-малу, черту за чертою, характеристическія особенности народнаго типа, публицисты, ученые и художники постепенно вырабатываютъ и проводятъ въ общественное сознаніе тотъ идеалъ, къ которому стремится наше современное общество.



## ИДЕАЛИЗМЪ ПЛАТОНА.

(Обозрѣніе философской дѣятельности Сократа и Платона. по Целлеру; составилъ Клевановъ).

Есть такіа привилегированныя личности, которыхъ имена пользуются особенной, часто незаслуженной и не всегда лестной популярностью. Вы встрѣтите имя такой личности и въ учебникѣ, и въ собраніи анекдотовъ для дѣтей, и, пожалуй, даже на прописяхъ. Дѣйствительная фizioномія этой личности отъ частаго употребленія ея имени какъ-то стирается и замѣняется какимъ-то условнымъ понятіемъ: личность дѣлается представителемъ цѣлаго типа или воплощаетъ въ себѣ какое-нибудь отдѣльное качество и доводитъ его въ себѣ до невысказанныхъ и невозможныхъ размѣровъ. Кто, напримеръ, въ дни дѣтства или юношества не воображалъ себѣ Баярда представителемъ рыцарства, хотя Баярдъ жилъ въ такое время, когда рыцарство, особенно во Франціи, превращалось уже въ анахронизмъ? Кто не видѣлъ въ Генрихѣ IV, королѣ французскомъ, воплощенія кротости и какого-то простоватаго добродушія? Кто не смотрѣлъ на Платона, Сократа и Сенеку, какъ на свѣтила міра, воплотившія въ себѣ всю мудрость грековъ и римлянъ? Эти свѣтила міра, эти фокусы добродѣтели прославляются въ учебникахъ, въ которыхъ, конечно, вы не найдете о нихъ ничего кромѣ возгласовъ, болѣе или менѣе безцвѣтныхъ и риторичныхъ. Не подражая голословности учебниковъ, многія серьезныя изслѣдованія раздѣляютъ съ ними подобострастное отношеніе къ этимъ избраннымъ личностямъ. Ослѣпленные блескомъ имени, имѣющаго за себя двухтысячелѣтній авторитетъ, изслѣдователи, особенно нѣмцы, проходя передъ этими личностями, обезоруживаютъ свою критику, скромно потупляютъ взоры и ограничиваются въ отношеніи къ нимъ ролью почтительнаго и аккуратнаго передатчика. Видно, что надъ ними тяготѣетъ авторитетъ преданія и школы. Излагая исторію греческой философіи, принято какъ-то относиться покровительственно къ элеатской школѣ, къ Гераклиту и Демокриту, къ Пифагору и Анаксагору, потомъ съ негодованіемъ упомянуть о софистахъ, потомъ умилиться надъ личностью и судьбою Сократа, поклониться въ поясъ Платону, его Диміургу и Идеямъ, назвать Аристотеля великимъ ученикомъ его, часто несправедливымъ къ великому учителю, потомъ разругать Эпикура, посмѣяться надъ скептиками и выразить добродѣтельное сочувствіе возвышеннымъ доблестямъ стоиковъ. Это принято; этого требуютъ интересы *нравственности*, которую такъ ревниво берегутъ многіе псевдо-художники и многіе дѣйствитель-

ные труженики на обширномъ и такъ часто неблагодарномъ полѣ науки. Эти нравственныя воззрѣнія, которыя чуть-ли не двѣ тысячи лѣтъ проводятся въ книгахъ и рукописяхъ, часто не имѣющихъ ни малѣйшаго отношенія къ вопросамъ практической нравственности, поставили Сократа и Платона на тотъ несокрушимый пьедесталь, съ котораго я, конечно, не попытаюсь свести почтенныхъ стариковъ. Пусть они остаются на этихъ пьедесталахъ, но только повыше, подальше отъ насъ; пусть ихъ идеи почитаются святыней, непонятной и непригодной для нашего безнравственнаго вѣка и поколѣнія. Пусть ихъ возвышенный идеализмъ служитъ предметомъ благоговѣнія для немногихъ избранныхъ, и пусть эти избранные гонять прочь непосвященную чернь, которую такъ не любитъ фешенебельный Горацій, и въ ряды которой охотно вмѣшаемся мы и охотно вмѣшали бы нашего читателя. Но мы не шутимъ: мнѣ кажется, что книга Клеванова уже по выбору предмета можетъ быть признана высоко-бесполезной и бесполезно-высокой попыткой популяризировать то, что не можетъ и не должно быть популярно; кто хочетъ писать для всей читающей публики, тотъ долженъ обработать предметъ живой, самородной критикой, взяться за дѣло съ смѣлыми литературными приѣмами, произнести свое сужденіе, сказать живое, задушевное слово, хотя бы о мертвомъ и застывшемъ предметѣ. Что-же касается до пионеровъ общества, до специалистовъ, врядъ-ли извлеченіе изъ Целлера будетъ для нихъ особенно драгоценнымъ приобрѣтеніемъ. Специалисты—народъ упрямый и склонный къ сомнѣнію; они любятъ лезть до источниковъ и не загребаютъ жара чужими руками. Діалектическія тонкости, наполняющія собой большую часть книги Клеванова, для публики слишкомъ тонки, безцвѣтны и безцѣльны, слишкомъ недоступны здравому смыслу, а для специалиста онѣ слишкомъ не новы. Въ одномъ только пунктѣ Клевановъ могъ придать своему труду свѣжій колоритъ и живое бѣеніе; онъ могъ бы показать отношеніе Сократа и Платона къ практической дѣйствительности, къ вопросамъ общественной жизни, къ интересамъ народа, отдѣльной личности и государства. Онъ могъ бы остановиться на практическихъ слѣдствіяхъ идеализма и взвѣсить трезвой критикой особенности того вліянія, которое этотъ идеализмъ могъ оказать на человѣческую личность и на отношенія между людьми въ семействѣ и государствахъ.



Клевановъ этого не сдѣлалъ; не сдѣлалъ онъ этого потому, что надъ нимъ тяготѣютъ два авторитета, Платонъ и Целлеръ; чтобы обсудить, какъ слѣдуетъ, съ современной или просто съ человѣческой точки зрѣнія поставленные выше вопросы, надо рѣшиться думать своимъ умомъ, а это такая смѣлость, до которой и теперь не всякій охотникъ. Передъ тѣнями Платона и Сократа благоговѣтъ Клевановъ; отъ печатной буквы Целлера онъ отступить не рѣшается; при такихъ условіяхъ мудрено сказать живое слово объ идеализмѣ; мудрено, первыхъ, потому, что мысли, взятые у другого, въ чужихъ рукахъ всегда отзываются холодной сухостью, а во-вторыхъ, потому, что Целлеръ, какъ нѣмецкій теоретикъ, разсматриваетъ Платона, любясь красотой и стройностью системы и не обращая вниманія на степень ея внутренней состоятельности и практической пригодности. У нѣмецкихъ мыслителей и критиковъ есть одинъ очень честный, но часто донъ-кихотскій пріемъ—становиться на точку зрѣнія противника и сражаться съ нимъ его же оружіемъ. Такимъ путемъ вы можете уличить его въ непоследовательности, но не уличите въ непрактичности, потому что практическая жизнь представляется каждому различно, смотря по его темпераменту, по его положенію, по степени и по условіямъ его развитія. Мнѣ кажется, критикъ можетъ идти по другому пути; онъ можетъ не требовать отъ себя полной и безстрастной объективности, не переноситься искусственно въ чужое воззрѣніе и оставаться полнымъ человѣкомъ съ живыми убѣжденіями, съ ясно обозначенными и ни мало не скрываемыми симпатіями и антипатіями. Онъ можетъ представить читателю сущность разбираемыхъ имъ мыслей, потомъ развить свои идеи, показать между тѣми и другими точки соприкосновенія и разногласія, защитить свои положенія отъ нападокъ и возраженій, могущихъ придти на умъ читателю, и, наконецъ, представить самому читателю выборъ между нимъ и предметомъ его рецензіи.

«Du choc des opinions jaillit la vérité», говоритъ извѣстная поговорка, и если это изреченіе справедливо, объективность не всегда можетъ быть признана въ критикѣ великимъ достоинствомъ. Трудно быть субъективнѣе Маколея, а между тѣмъ никто не упрекнетъ знаменитаго историка ни въ пристрастіи, ни въ узкой односторонности. Личности оживаютъ подъ его перомъ и отдають полный отчетъ въ своихъ поступкахъ, въ своихъ мысляхъ и побужденіяхъ; передъ глазами читателя происходитъ величавый процессъ, въ которомъ живой и умный англичанинъ, ораторъ и парламентскій боецъ, являлся то обвинителемъ, то адвокатомъ выводимой личности, смотря по тому, куда влечь его голосъ совѣсти и личнаго убѣжденія.

Кромѣ описываемой и разбираемой исторической личности, читатель видитъ передъ собой образъ критика, видитъ, какъ мѣняется выраженіе этого умнаго и подвижнаго лица, слышитъ въ его дикціи то сочувствіе, то негодованіе, то иронию, то одушевленіе, которыя возбудили бы во всякомъ энергическомъ человѣкѣ тѣ или другія явленія жизни и человѣческой мысли. Излишнее увлеченіе можетъ, конечно, повредить ясности взгляда, но съ даровитымъ критикомъ этого случиться не можетъ. У кого дѣятельность анализирующей мысли преобладаетъ надъ потребностью самостоятельнаго творчества, кто по темпераменту болѣе критикъ, чѣмъ художникъ, тотъ даже въ минуту энтузіазма не вдается въ фантазерство. Въ эти минуты, когда полнѣе дышетъ грудь, когда живѣе бьется сердце, въ эти минуты быстрѣе работаетъ мозгъ, смѣлѣе и оригинальнѣе льются мысли, и кропотливый контроль надъ этой ускоренной дѣятельностью анализирующаго ума оказывается такъ-же бесполезенъ, какъ бесполезно труженническое шлифованіе лирическихъ стиховъ, вылившихся изъ души истиннаго поэта въ минуты искренняго волненія. Талантъ всегда имѣетъ свою оригинальную фizioномію, и ему трудно отрѣшиться отъ этой фizioноміи; что бы онъ ни писалъ, художественное-ли произведеніе, или критическое изслѣдованіе, онъ положить на него свою печать и не погонится за искусственнымъ спокойствіемъ тона и за умышленной объективностью. Когда говорятъ о Платонѣ, то всякій развитой человѣкъ понимаетъ, что отъ него нельзя требовать того, чего мы теперь потребовали бы отъ любого студента; никто не думаетъ сравнивать его даже съ какимъ-нибудь современнымъ обскурантомъ, никто не ставитъ ему въ вину ребячество многихъ его политическихъ воззрѣній и тенденцій; но, воля ваша, признавая его сыномъ своего народа и своей эпохи, мы не можемъ относиться съ почитительной и безстрастной вѣжливостью къ его нравственнымъ и политическимъ теоріямъ. Предметъ близокъ къ сердцу, потому что Платонъ захватываетъ въ свои изслѣдованія такіе вопросы, которые постоянно на очереди и которые человѣчество въ каждомъ поколѣніи рѣшаетъ и перерѣшаетъ по своему. Къ такимъ вопросамъ остается совершенно равнодушной только кабинетная ученость почтеннаго Целлера и похвальная скромность его усерднаго послѣдователя, Клеванова. Въ благоговѣніи къ Платону, выражающемся въ книгѣ Клеванова, не слышно горячаго сочувствія; Клевановъ на каждой страницѣ свидѣтельствуетъ Платону свое почтеніе, но ни разу, излагая его мысли, не обнаруживаетъ того воодушевленія, съ которымъ живой человѣкъ всегда выскажетъ свою задуманную мысль, свое заветное убѣжденіе. Языкъ Клеванова вездѣ остается гладокъ, ровень, ме-



тодичевъ; мысли медленно развиваются одна изъ другой; изложение ясно, правильно, вяло и утомительно. Съ этой минуты я могу устранить личность Клеванова изъ моей критической статьи; онъ вѣрно слѣдуетъ Целлеру и передаетъ мысли Платона, не разбирая ихъ и не обнаруживая къ нимъ дѣйствительнаго сочувствія. По общему тону изложенія можно предположить, что Клевановъ—идеалистъ, но дальнѣйшее разъясненіе этого вопроса представляетъ такъ мало общаго интереса, что мы предпочитаемъ перейти къ самому Платону. Въ личности этого греческаго философа можно видѣть на первомъ планѣ сильное поэтическое дарованіе, т. е. богатую фантазію и огромное стремленіе къ творчеству. Съ отзывчивостью, свойственной поэту, Платонъ откликнулся всей своей жизнью, всей дѣятельностью на самый животрепещущій интересъ эпохи, воплотившійся въ личности Сократа. Дѣло Сократа было дѣйствительно такъ красиво и величественно на взглядъ, что имъ не мудрено было увлечься. Человѣкъ незнатный, небогатый, неученый, невзрачный, беретъ быть учителемъ нравственности для цѣлаго народа, старается влить живые соки въ истощенное національное сознаніе, побуждаетъ одной непосредственной искренностью убѣжденных знаменитѣйшихъ діалектиковъ своего времени, перетягиваетъ на свою сторону всю даровитую молодежь и, наконецъ, падаетъ жертвой реакціи и до конца жизни сохраняетъ непоколебимую твердость и спокойное присутствіе духа. Смерть Сократа часто обезоруживаетъ даже новѣйшую критику, готовую приступить съ анатомическимъ ножомъ къ диссекціи его философской системы. Философія Сократа, говорятъ многіе, хороша уже потому, что поддержала его въ минуту смерти; онъ своей мученической кончиной, говорятъ многіе, запечатлѣлъ свое ученіе. Этотъ аргументъ будетъ имѣть свою силу, если мы безусловно примемъ положеніе Сократа о томъ, что знать истину и дѣлать добро—одно и то-же; но мы этой ошибки не сдѣлаемъ и съумѣемъ, конечно, отдѣлать область воли отъ области знанія. Сократъ умеръ какъ мужчина, потому что былъ мужчиной, а не потому, что его поддерживали въ минуту смерти положенія его философіи. Одна и та-же мысль производитъ на различныхъ людей различное впечатлѣніе; изъ одной и той-же школы выходятъ люди съ различными наклонностями и стремленіями; человѣкъ—не пустая бутылка, въ которую можно влить какую угодно жидкость. Смерть Сократа рисуетъ только личность этого человѣка, не говоря ничего ни *pro*, ни *contra* его ученія. Смерть Сократа доказываетъ, что Сократъ былъ не фразеръ, но не говоритъ намъ, что онъ не могъ ошибиться въ теоріи или въ жизни. Факты подтверждаютъ мое мнѣніе о томъ, что чест-

ность и стойкость Сократа принадлежали его личности, а не его ученію. Въ числѣ учениковъ и друзей Сократа мы находимъ Алкивіада и Критія, главнаго предводителя олигархіи, одного изъ 30-ти тирановъ,—человѣка, котораго имя по справедливости было ненавистно его современникамъ и согражданамъ. Ни Алкивіадъ, ни Критій не отличались ни политической честностью, ни стойкостью убѣждений, стало быть, ученіе Сократа оказалось несостоятельнымъ, когда нужно было исправлять нравственность и передѣлывать природу человѣка. Но тѣмъ не менѣе личность Сократа не могла не зарекомендовать въ глазахъ Платона проповѣдуемаго имъ ученія: Платонъ увлекся личностью и сдѣлался ея ревностнымъ прозелитомъ тѣмъ болѣе, что философія Сократа открывала широкій просторъ фантазіи и творчеству мысли.

Поэтическій геній Платона получилъ рѣшительный толчекъ и сталъ творить въ томъ направленіи, которое было ему указано любимымъ наставникомъ. Во всемъ этомъ еще не было большой бѣды, хотя быть можетъ позволительно пожалѣть о томъ, что поэтъ оставилъ свѣтлый міръ образовъ и картинъ и переселился въ возвышенныя, но холодныя сферы отвлеченной мысли. Красота, къ которой Платонъ стремился какъ художникъ, стала являться ему, отрѣшенная отъ всякой вѣншей формы, или, вѣрнѣе, онъ самъ старался отрѣшить ее отъ формы, проникнуть въ ея общую сущность, уловить ее въ полной отвлеченности. Началось стремленіе къ идеалу, т. е. къ призраку, къ галлюцинаціи. Богатая полнота жизни, рельефность матеріи, переливы линій и красокъ, пестрое разнообразіе явленій, все, чѣмъ красна и полна наша жизнь, стало казаться Платону зломъ, ширмой, за которой насильно скрыта, какъ красавица въ заколдованномъ теремѣ, истина міра, нетлѣнная, неизмѣнная, вѣчная красота. Пылкая фантазія усилила эти мечты; галлюцинація Платона дошла до того, что онъ вѣрилъ въ дѣйствительное существованіе идеи отдѣльно отъ явленія; идеализмъ сразу поднялся на такую поэтическую высоту вымысла и вмѣстѣ съ тѣмъ сразу дошелъ до такого полнаго отрицанія самыхъ элементарныхъ свидѣтельствъ опыта, какого, вѣроятно, онъ не достигалъ никогда ни прежде, ни послѣ Платона. Подъ творческой, размашистой кистью его содалась цѣлостная, фантастически-величественная картина міра. Диміургъ, Идеи, міровая душа, масса матеріи съ ея тупой инерціей, звѣзды и свѣтила, живущія своей жизнью и мыслящія въ безконечномъ пространствѣ,—все это создается подъ перомъ Платона, начинаетъ жить и дышать, все это производитъ такое впечатлѣніе, какъ будто бы оно дѣйствительно существовало, и все это только потому, что Платонъ крѣпко вѣритъ въ свое созданіе, да



еще потому, что Платонъ—великій художникъ, подобный Гомеру, Данту или Мильтону. Вся физика Платона есть чистое созданіе фантазій, не допускающее въ слушатель тѣни сомнѣнія, не опирающееся ни на одно свидѣтельство опыта, развивающееся само изъ себя и основанное на одной діалектической разработкѣ идеи, положенной въ основаніе. Платонизмъ есть религія, а не философія, и вотъ почему онъ имѣлъ такой громаднй успѣхъ въ мистическую эпоху паденія язычества: вотъ почему онъ сохраненъ и взлелѣянъ византійскими учеными, переданъ Италіи и Европѣ въ эпоху Возрожденія, поставленъ на незыблемый пьедесталь и подъ разными именами живетъ и теперь. У кого нѣтъ самостоятельнаго творчества, тотъ примыкаетъ къ чужой фантазій и дѣлается ея адептомъ. Изъ многихъ подобныхъ фантазій, фантазія Платона отличается высокимъ полетомъ мысли и смѣлой концепціей общей картины. Немудрено, что къ его идеямъ примыкаютъ съ полнымъ сочувствіемъ многіе мистики, отличающіеся развитымъ умомъ и тонкимъ эстетическимъ чувствомъ. Платонъ вѣрилъ въ созданія своей фантазій; онъ считалъ ихъ за безусловную истину и ни разу не становился къ нимъ въ критическія отношенія; одна секунда сомнѣнія, одинъ трезвый взглядъ могли разрушить все очарованіе и разсѣять всю яркую и великолѣпную галлюцинацію. Но этой роковой секунды въ его жизни не было, и на всѣхъ сочиненіяхъ Платона легла печать самой фантастической и въ то-же время спокойной вѣры въ непогрѣшимость своей мысли и въ дѣйствительность вызванныхъ ею призраковъ. Вѣра въ самого себя тѣсно связана съ умственной нетерпимостью, а умственная нетерпимость ждетъ только удобнаго случая, чтобы воздвигнуть дѣйствительное гоненіе на диссидентовъ. Пока Платонъ остается въ сферахъ отвлеченной мысли или, вѣрнѣе, свободнаго вымысла, до тѣхъ поръ онъ является чистымъ поэтомъ. Когда онъ входитъ въ область существующаго, онъ становится доктринеромъ. Какъ вамъ понравится, напр., понятіе Платона о любви! Онъ въ бесѣдѣ «Пиршество» опредѣляетъ любовь, какъ стремленіе конечныхъ существъ обезсмертить и увѣковѣчить себя въ цостоянно новыхъ порожденіяхъ. Первая степень любви, по мнѣнію Платона, есть любовь къ прекраснымъ чувственнымъ формамъ; вторая—любовь къ прекраснымъ душамъ; третья и высшая степень любви—къ прекраснымъ наукамъ и, наконецъ, какъ результатъ и вѣнецъ дѣла, любовь къ идеѣ, которая порождаетъ истинное познаніе и истинную добродѣтель. Очень понятно, что у человѣка, дошедшаго до этой высшей квинтэссенціи любви, не должно быть мѣста для любви къ женщинамъ; стало быть, нравственное оскотленіе человѣче-

ства во имя идеи должно быть конечной цѣлью нормальнаго развитія. Вотъ къ какимъ красивымъ результатамъ приводитъ доктринерское желаніе внести общую, искусственно-созданную идею во всѣ живыя явленія и отправленія жизни. Доктринерство Платона идетъ въ разрѣзъ съ дѣйствительностью и даже съ его собственнымъ жизненнымъ опытомъ. Какъ художникъ, Платонъ былъ очень воспримчивъ къ пластической красотѣ; какъ здоровый и сильный мужчина, развившійся подъ небомъ цвѣтущей Греціи, онъ не думалъ останавливать своихъ эротическихъ стремленій, и любовь къ идеѣ не мѣшала ему любить направо и налево... отдавая дань эпохѣ и народу... Но зло было сдѣлано; зерно аскетизма и вражды къ матеріи было брошено; въ эпоху римской имперіи оно разрослось въ ученія новоплатониковъ и новоплатониковъ и, опираясь на Платона, принесло человѣчеству обильный плодъ добровольныхъ заблужденій и бессмысленныхъ самоистязаній. Кто не былъ поэтомъ, подобно Платону, тотъ требовалъ отъ себя послѣдовательности и страдалъ отъ разлада, существовавшего между идеей и жизнью, не понимая того, что идея берется изъ жизни, а не жизнь располагается по данной программѣ. Для такого человѣка являлась необходимость бороться съ самимъ собою, и лучшія силы несчастнаго идеалиста уходили на бесплодную нравственную гимнастику, на отчаянную ломку, на искорененіе страстей, на сглаживаніе самыхъ своеобразныхъ и жизненныхъ чертъ своей фizioноміи. Такого рода идеализмъ тяготѣлъ надъ Рудинными и Чулкатуринными прошлаго поколѣнія; онъ породилъ нашихъ грызуновъ и гамлетиковъ, людей съ ограниченными умственными средствами и съ безконечными стремленіями. Смѣшно выводить этихъ господъ отъ Платона, но можно замѣтить, что эти дряблыя и хилыя личности страдаютъ именно той болѣзнью, которую Платонъ воспѣлъ въ своихъ философскихъ стремленіяхъ, какъ лучшую принадлежность человѣчества и какъ единственное отличіе человѣка отъ животнаго. Доктринерство Платона проходитъ чрезъ все его нравственное ученіе. Платонъ здѣсь, какъ и въ своей физикѣ, не смотритъ на то, что даетъ жизнь; онъ не изучаетъ естественныхъ стремленій человѣческой природы, да и къ чему изучать? Абсолютная истина, въ существованіе которой всей душой вѣритъ поэтъ-мыслитель, находится не въ явленіи, а гдѣ-то внѣ его, высоко и далеко, въ такихъ сферахъ, куда можетъ залетѣть пылкое воображеніе, но куда не поведетъ критическое изслѣдованіе, основанное на изученіи фактовъ. Платонъ считаетъ себя полнымъ обладателемъ этой драгоценной, хотя и невѣсомой истины; онъ утверждаетъ, правда, «что душѣ въ здѣшней жизни невозможно достигнуть вполне чистаго



воззрѣнія на истину»; но это положеніе вовсе не ведетъ къ тѣмъ слѣдствіямъ, какихъ можно было отъ него ожидать; видно, что оно не проникаетъ особенно глубоко въ сознаніе Платона; Платонъ допускаетъ то обстоятельство, что смерть можетъ открыть его духу болѣе обширный міръ знаній, но не видно, чтобы онъ сознавалъ неудовлетворительность своего наличнаго капитала; не видно, чтобы онъ сомнѣвался въ вѣрности своихъ идей; то, что онъ знаетъ или создаетъ творческой фантазіей, кажется ему безусловно вѣрнымъ и не допускаетъ надъ собой никакого контроля. Вслѣдствіе этого Платонъ говоритъ въ своей нравственной философіи: должно думать такъ-то, поступать такъ-то, стремиться къ тому-то. Эти приказанія отдаются человѣчеству съ высоты философской мысли, не допускаютъ ни комментаріевъ, ни возраженій и требуютъ себѣ безусловнаго повиновенія. Черты народнаго характера, коренныя свойства человѣческой природы возмущаются противъ этихъ указовъ Платона, но это нисколько не смущаетъ гордаго мыслителя, упоеннаго созерцаніемъ своихъ твореній.

Все, что не согласно съ его инструкціями, признается ложнымъ, случайнымъ, незаконнымъ, препятствующимъ общему благу всего человѣчества. А кто-же, спросите вы, создалъ это понятіе общаго блага? Генераль-отъ-философіи Платонъ, отвѣчу я,—и бѣдное человѣчество, опекаемое его неусыпными трудами, лишено даже права голоса въ такомъ дѣлѣ, которое называется его общимъ благомъ. Добро, по словамъ Платона, должно быть предметомъ всякой человѣческой дѣятельности; къ добру долженъ стремиться каждый человѣкъ, потому что обладаніе добромъ составляетъ собою благополучіе. Добро или благо — понятіе чрезвычайно широкое и способное расширяться до безконечности; для голоднаго кусокъ хлѣба есть высшее благо; для влюбленнаго—благосклонный взглядъ любимой женщины, для служащаго человѣка—вниманіе начальника, повышение въ чинѣ и орденъ въ петличку, для поэта—минута творчества, и т. д., и т. д. И всѣ эти господа правы съ своей точки зрѣнія; и если мы отнесемся иронически ко многимъ людскимъ стремленіямъ и въ то-же время съ уваженіемъ упомянемъ о другихъ, то мы сдѣлаемъ это только потому, что сами стоимъ ближе къ однимъ, и можемъ ихъ лучше понимать и полнѣе имъ сочувствовать. Если одинъ гастрономъ любитъ пить за обѣдомъ хересъ, а другой портвейнъ, то, вѣроятно, въ цѣломъ мірѣ не найдется такого критика, который могъ бы доказать ясно и осязательно, что одинъ изъ двухъ любителей правъ, а другой ошибается. По логическому закону надо допустить, что предпочтеніе г. А. къ хересу, а г. Б. къ портвейну происходитъ или отъ фізіологической причины, т. е.

отъ особенностей нѣба, гортани или желудка, или отъ исторической причины, т. е. отъ пріобрѣтенной привычки. Пристрастіе г. А. къ хересу, а г. Б. къ портвейну можетъ подвергнуть того и другого разнымъ неприяностямъ и испытаніямъ. Если г. А. попадетъ въ общество любителей портвейна, то при неумѣнии нашего общества уважать чужое мнѣніе, вкусъ его найдутъ страннымъ, быть можетъ даже испорченнымъ; вокругъ него будутъ пожимать плечами, на него будутъ глядѣть удивленными глазами; далѣе, если г. А. попадетъ въ какой-нибудь маленький уѣздный городокъ, въ которомъ нѣтъ порядочнаго хереса, то ему будетъ предстоять печальная альтернатива отказаться отъ любимаго напитка и приняться за другое вино, или остаться вѣрнымъ самому себѣ и съ несокрушимой твердостью переносить лишеніе. Находясь въ положеніи г. А., одни пошли бы по одному пути, другіе по другому, и, мнѣ кажется, можно выразить предположеніе, что ни тѣхъ, ни другихъ не осудило и не прославило бы общественное мнѣніе. Но вотъ въ чемъ бѣда: когда надо судить о хересѣ и портвейнѣ, мы остаемся спокойными, хладнокровными, мы разсуждаемъ просто, здраво и довольно искусно, хотя часто безсознательно владѣемъ діалектическимъ оружіемъ; но когда заходитъ рѣчь о высокихъ предметахъ, тогда мы сейчасъ-же принимаемъ постную фізіономію, становимся на ходули и начинаемъ говорить высокимъ слогомъ, согласно съ эстетическими требованіями прошлаго столѣтія. Мы позволяемъ нашему ближнему имѣть свой вкусъ въ отношеніи къ закускѣ и десерту, но бѣда ему будетъ, если онъ выразитъ самостоятельное мнѣніе о нравственности, и еще болѣе бѣда, чуть не побіеніемъ камнями, или *Камнемъ*, если онъ проведетъ свои идеи въ жизнь, даже въ своемъ домашнемъ быту. Если взвѣсить дѣло простымъ здравымъ смысломъ, то мы имѣемъ право требовать отъ нашего сосѣда только того, чтобы онъ не вредилъ нашей особѣ матеріальнымъ насиліемъ, чтобы онъ не портилъ умышленно нашей собственности и чтобы онъ не присвоивалъ ее себѣ мошенническими продѣлками. Разсуждать о его поведеніи въ этихъ трехъ случаяхъ мы, конечно, имѣемъ полное право, потому что, сколько мнѣ кажется, нѣтъ той вещи въ мірѣ, которую нельзя было бы взять предметомъ разговора или критическаго анализа. Но, разсуждая такимъ образомъ о личности и поведеніи нашего сосѣда, мы должны помнить, если желаемъ быть логичны, что наши сужденія о его нравственности настолько же имѣютъ безусловное значеніе, насколько имѣетъ его напр. мнѣніе о томъ, что брюнетки красивѣе блондинокъ, или наоборотъ. Вѣдь пора-же, наконецъ, понять, господа, что общій идеалъ такъ-же мало можетъ предъявить правъ на существованіе, какъ



общія очки, или общіе сапоги, сшитые по одной мѣркѣ и на одну колодку. Если вы станете носить чужія очки, вы испортите глаза; если пройдете верстъ пять въ чужихъ сапогахъ, вы въ кровь изотрете ноги; если вы навяжете себѣ на спину котомку чужихъ убѣжденій, вы изнеможете подъ этой неестественной обузой; вы выбьетесь изъ силъ, поправляя и привязывая ее къ себѣ покрѣпче, а кончится все-таки тѣмъ, что котомка отвалится и пропадетъ гдѣ-нибудь на пыльной дорогѣ, но воротить потраченные силы часто бываетъ очень мудрено, воротить потерянное время всегда невозможно, и свѣжесть первой молодости, довѣріе къ самому себѣ почти всегда отрывается вмѣстѣ съ котомкой идеала и вмѣстѣ съ ней заваливается въ дорожной пыли. Надо-же наконецъ понять, что идеаль не есть даже отвлеченное понятіе, а просто сколокъ съ другой личности; всякій идеаль имѣетъ своего автора, какъ всякая народная пѣсня имѣетъ не только родину, но даже и составителя. Добраться до имени того и другого всегда бываетъ очень трудно и въ большей части случаевъ совершенно невозможно; но, составляя нравственный портретъ одного лица,—портретъ иногда польщенный, иногда просто обезцвѣченный, идеаль годится только для того, съ кого онъ снять, или для тѣхъ людей, которые совершенно подходятъ къ нему по темпераменту, по внѣшнему положенію и по внутреннимъ силамъ. Но трудно найти двухъ людей, совершенно сходныхъ лицомъ; полное-же нравственное сходство двухъ самостоятельно развившихся личностей составляетъ такое рѣдкое явленіе, какого, кажется, и не встрѣтишь во всей исторіи человѣчества; есть много безцвѣтныхъ и безличныхъ субъектовъ, задавленныхъ какими-нибудь внѣшними обстоятельствами, пригнанныхъ на одну колодку общественной дисциплиной или отшлифованныхъ на одинъ образецъ тиранническими законами моды и этикета; посмотришь на нихъ,—они все покажутся похожими между собой и лицомъ, и голосомъ, и манерами; всякая оригинальность, выражающаяся въ образѣ жизни, въ прическѣ, въ одеждѣ, кажется въ подобномъ обществѣ дерзостью, нарушеніемъ закона, оскорбленіемъ нравственности. Живой человѣкъ съ сожалѣніемъ посмотритъ на такое общество; затѣмъ, подумаетъ онъ, эти господа добровольно поддерживаютъ придуманные законы, отъ которыхъ каждому отдѣльному лицу приходится терпѣть лишенія? Этотъ вопросъ, вѣроятно, кажется вамъ здравымъ, а между тѣмъ все эти господа, стѣсняющіе свою личную свободу во имя придуманныхъ или наслѣдственныхъ законовъ, все до послѣдняго—идеалисты, хотя конечно многіе изъ нихъ и не слышали никогда этого слова. Наше свѣтское общество, нашъ beau monde биткомъ набиты идеалистами, со-

знательно и бессознательно стремящимися къ отвлеченному совершенству. Un jeune homme comme il faut, une jeune personne charmante, эти два почетные титула, которыми награждаетъ общество за усердное исполненіе его устава, составляютъ въ то-же время заглавіе двухъ идеаловъ, къ которымъ, смотря по различію половъ, стремятся множество молодыхъ людей, одаренныхъ свѣжими силами и задатками развитія. Эти молодые люди гибнутъ въ нравственномъ отношеніи, сохнутъ и мельчаютъ, оттого что стараются во имя идеала уничтожить свою личность или тѣ зародыши, изъ которыхъ при благоприятныхъ условіяхъ могла бы развиться самостоятельная индивидуальность. Множество браковъ по расчету, множество продѣлокъ сомнительнаго свойства, множество дуэлей дѣлаются не для удовлетворенія той или другой страсти, а во имя идеала, или изъ страха передъ общественнымъ мнѣніемъ, стоящимъ у подножія воздвигнутаго имъ кумира. «Это принято», «это не принято», вотъ тѣ слова, которыми въ большей части случаевъ рѣшаются житейскіе вопросы; рѣдко случается слышать энергическое и честное слово: «я такъ хочу» или «не хочу», а между тѣмъ каждый имѣетъ разумное право произнести это слово, когда дѣло идетъ о немъ и объ его личныхъ интересахъ. Принято и не принято значить другими словами согласно и не согласно съ моднымъ идеаломъ; слѣдовательно, идеализмъ тяготѣетъ надъ обществомъ и, сковывая индивидуальныя силы, препятствуетъ разумному и всестороннему развитію. Отвергая общій идеаль, я не думаю отвергать необходимость и законность самосовершенствованія. Я не считаю стремленіе къ совершенству обязанностью человѣка. Сказать, что это обязанность, такъ же смѣшно, какъ сказать, что человѣкъ обязанъ дышать и принимать пищу, расти къ верху и толстѣть въ ширину. Самосовершенствованіе дѣлается такъ-же естественно и произвольно, какъ совершаются процессы дыханія, кровообращенія и пищеваренія. Чѣмъ бы вы ни занимались, вы съ каждымъ днемъ пріобрѣтаете большую техническую ловкость, большій навыкъ и опытность. Это дѣлается совершенно бессознательно и помимо вашего желанія, и это правило можетъ быть примѣнено не только къ какому-нибудь ремеслу, но и къ жизни. Все мы, не смотря на различіе состоянія, образованія и положенія въ обществѣ, живемъ мыслью и чувствами, хотя дѣятельность нашей мысли тратится на самые разнородные интересы и хотя дѣятельность нашихъ чувствъ возбуждается самыми разнокалиберными предметами. Все мы воспринимаемъ и перерабатываемъ впечатлѣнія, и чѣмъ больше мы живемъ, тѣмъ большую техническую ловкость мы пріобрѣтаемъ въ этомъ занятіи. Существованіе житейской опытности



не подлежитъ сомнѣнію; ее признають и уважають грамотный и неграмотный, образованный европеецъ и австралійскій дикарь; эта опытность есть результатъ самосовершенствованія; процессъ ея приобрѣтенія есть процессъ безсознательнаго, чисто растительнаго умственнаго развитія; этотъ процессъ можетъ всгрѣтить себѣ случайное содѣйствіе или случайное препятствіе въ окружающей обстановкѣ, точно такъ-же, какъ процессъ пищеваренія можетъ быть нарушенъ нездоровой пищей или восстановленъ моціономъ и воздержаніемъ. Наблюденія надъ природой человѣка, приведенныя въ систему и составившія собою собирательную науку, медицину, указываютъ на тѣ предметы и на тѣ отправленія, которые вредятъ человѣческому организму или приносятъ ему пользу. Сообразуясь съ предписаніями науки, человѣкъ можетъ вести правильный образъ жизни, берегающій его силы и содѣйствующій его физическому благосостоянію. Но ни одинъ порядочный медикъ не предприметъ всѣмъ своимъ пациентамъ общую гігіену; онъ непременно изучитъ сначала темпераментъ cadaго и потомъ расположить свои предписанія, сообразуясь съ собранными матеріалами. Въ образованномъ обществѣ люди вообще больше думаютъ о себѣ, нежели въ простомъ народѣ, отчасти потому, что на это представляется больше средствъ и досуга, отчасти потому, что образованіе развиваетъ и укрѣпляетъ самосознаніе. Образованный классъ болѣе простаго народа заботится о своемъ здоровьѣ, поддерживаетъ его искусственными средствами и разными предосторожностями старается предотвратить могущее произойти разстройство. Точно такія-же гігіеническія мѣры по отношенію къ своему умственному развитію и нравственному совершенствованію принимаетъ человѣкъ, сознавшій въ себѣ умственную личность и заботящійся о нормальности своихъ интеллектуальныхъ отправленій. Положимъ, я созналъ въ себѣ стремленіе и способность къ научнымъ занятіямъ и, слѣдуя внутреннему побужденію, принимаюсь читать и изучать историковъ и мыслителей. Не поставлю-же я себѣ, подобно Берсеневу, идеаломъ Т. Н. Грановскаго или П. Н. Кудрявцева. Не стану же я подражать ни Маколею, ни Нибуру, ни Тьері, ни Гизо, какъ бы велико ни было мое уваженіе къ этимъ передовымъ представителямъ человѣческой мысли. Я себѣ не поставлю впереди никакой цѣли, не задамъ никакой предвзятой идеи; я не знаю, къ какимъ результатамъ я приду, и меня вовсе не занимаетъ вопросъ о томъ, что я сдѣлаю въ жизни; меня занимаетъ самый процессъ дѣланія; я вижу, что никому не мѣшаю своей дѣятельностью, и на этомъ основаніи считаю себя правымъ передъ собой и передъ цѣлымъ міромъ; я работаю и ста-

раюсь облегчить себѣ трудъ или (что то-же самое) вынести изъ cadaго своего усилія возможно большее количество наслажденія; это, по моему мнѣнію, альфа и омега всякой разумной человѣческой дѣятельности. Процессъ умственнаго развитія и нравственнаго совершенствованія допускаетъ нѣкоторые гігіеническіе приемы, но, конечно, одни и тѣ-же приемы не могутъ быть примѣнены даже къ двумъ недѣлимымъ. Эти приемы состоятъ, конечно, не въ томъ, чтобы пригонять личность къ извѣстному образцу; основанные на изученіи самаго недѣлимаго, эти приемы клонятся только къ тому, чтобы дать больше простора и разгула индивидуальнымъ силамъ и стремленіямъ. Уманизировать собственную личность не такъ просто и легко, какъ кажется; въ насъ много умственныхъ предубѣжденій, много нравственной работы, мѣшающей намъ свободно желать, мыслить и дѣйствовать; мы сами добровольно стѣсняемъ себя собственнымъ вліяніемъ на свою личность; чтобы избѣгнуть такого вліянія, чтобы жить своимъ умомъ въ свое удовольствіе, надо значительное количество естественной или выработанной силы, а чтобы выработать эту силу, надо, можетъ быть, пройти цѣлый курсъ нравственной гігіены, который кончится не тѣмъ, что человѣкъ приблизится къ идеалу, а тѣмъ, что онъ сдѣлается *личностью*, получитъ разумное право и сознаетъ блаженную необходимость быть самымъ собою.—Я стану избѣгать вреднаго для меня общества пустыхъ людей по тому-же побужденію, по которому съ простуженными зубами не подойду къ открытому окну, но я нисколько не возведу этого себѣ въ добродѣтель и не найду нужнымъ, чтобы другіе подражали моему примѣру. Надѣюсь, что я достаточно отгѣнилъ различіе, существующее между стремленіемъ къ идеалу и процессомъ самосовершенствованія. Вѣроятно, я не сказалъ ничего новаго, но полагаю, что всякое самостоятельное убѣжденіе имѣетъ право выразиться въ словъ, хотя бы сотни людей исповѣдывали его впродолженіи десятковъ и сотенъ лѣтъ. Кромѣ того, вопросъ объ идеализмѣ живетъ и будетъ жить до тѣхъ поръ, пока будутъ существовать мистическія теоріи и неосуществимыя стремленія; стало быть, разъясненіе этого вопроса, какъ бы ни было оно слабо и поверхностно, теперь еще не можетъ быть излишнимъ и несвоевременнымъ. Возвращаюсь къ нравственной философіи Платона. Какъ я уже говорилъ выше, добро, по мнѣнію Платона, должно быть для человѣчества предметомъ дѣятельности и источникомъ высшихъ наслажденій. *Понятіе* добра существуетъ у него какъ абсолютная идея и не приводится ни въ малѣйшую зависимость отъ личности и положенія *понимающаго* субъекта. Что это самостоятельное, абсолютное понятіе добра на



самомъ дѣлѣ есть произведеніе мозга Платона, это, кажется, не требуетъ доказательства; человѣкъ мыслить только своимъ мозгомъ; точно такъ-же, какъ онъ варить пищу только своимъ желудкомъ и дышитъ только своими легкими. Любопытно замѣтить, что Платонъ, ставящій служеніе добру въ непремѣнную обязанность всему человѣчеству, самъ не вполне выяснилъ себѣ свои собственные представленія о сущности и фizioноміи этого добра. Въ своихъ бесѣдахъ *Тестетъ* и *Федонъ* и въ трактатѣ о *Государствѣ* Платонъ смотритъ на всѣ чувственные явленія какъ на зло, на наше тѣло—какъ на враждебное начало, на нашу жизнь—какъ на время заточенія въ глубокомъ и мрачномъ вертепѣ. Смерть представляется минутой освобожденія, такъ что при этомъ воззрѣніи остается только непонятнымъ, почему Платонъ не ускорилъ для себя этой вождѣльной минуты, почему онъ въ теоріи не оправдалъ самоубійства, и почему онъ воспѣлъ благость Диміурга, виновника нашего заточенія и всѣхъ связанныхъ съ нимъ золь и страданій. Въ другихъ бесѣдахъ Платона, напр. въ *Филебѣ*, высшее добро опредѣляется какъ полное примиреніе чувственного начала съ духовнымъ, какъ гармоническое сліяніе того и другого, и средствами произвести это сліяніе почитаются изящныя искусства и въ особенности музыка. Въ враждебномъ отношеніи Платона къ чувственному міру видно усиліе могучаго ума оторваться отъ родимой почвы, которая его вскармливала и возрастила. Поэтъ-мыслитель хочетъ отрѣшиться отъ народнаго характера, отъ колорита окружающей дѣйствительности, отъ своей собственной плоти и крови. Грекъ, гражданинъ свободнаго города, здоровый и красивый мужчина, къ которому по первому призыву соберутся на роскошный пиръ друзья и гетеры, старается во что бы то ни стало доказать себѣ, что въ этомъ мірѣ все—зло: и полная чаша вина, и жгучая ласка красивой женщины, и аромат цвѣтовъ, и звуки лиры, и звучный гекзаметръ, и даже дружба, которая, по мнѣнію грековъ, была выше и чище любви. Эти усилія доказать себѣ и другимъ то, противъ чего говоритъ свидѣтельство пяти чувствъ, не вызваны никакой дѣйствительной причиной и потому рѣшительно не носятъ на себѣ печати искренняго воодушевленія. Романтизмъ возникаетъ обыкновенно въ эпоху бѣдствій и страданій, когда человѣку нужно гдѣ-нибудь забыться, на чемъ-нибудь отвести душу; я несчастливъ здѣсь, мнѣ здѣсь душно, тяжело, больно дышать, такъ я успокоюсь, по крайней мѣрѣ, въ вѣчно-свѣтлой, вѣчно-тихой и теплой атмосферѣ, которую создастъ мое воображеніе и куда не проникнутъ ни горе, ни заботы, ни стоны страдальцевъ. Романтизмъ искренній, вызванный самой почвой, зарождается въ эпоху римской имперіи и развивается съ особенной силой въ средніе вѣка; отрицаніе доходитъ до ужасающихъ размѣровъ; пропадаетъ всякая вѣра въ благородныя стороны и побужденія человеческой природы, и вмѣсто этой здоровой вѣры въ дѣйствительность доходитъ до степени галлюцинаціи вѣра въ дѣйствительное существованіе и недостижимое совершенство призрачнаго, заоблачнаго міра фантазій. Сенека, Тацитъ, Маркъ-Аврелій въ своихъ сочиненіяхъ выражаютъ съ полной искренностью и съ замѣчательною силой моментъ грусти, негодованія противъ настоящаго и полнаго сомнѣнія въ будущемъ. Новоплатоники, Эссеяне и египетскіе терапевты, средневѣковые рыцари, монахи и отчасти трубадуры воплощаютъ въ себѣ моментъ романтическаго стремленія оторваться отъ дѣйствительности и унести въ лучшій, сверхчувственный міръ. У всѣхъ этихъ господъ романтизмъ былъ потребностью души; въ Римѣ послѣ Августа порядочному человѣку невозможно было жить полной жизнью; каждый день совершались самыя отвратительныя злодѣянія: предательства, доносы, пытки, казни, игры гладиаторовъ, истязанія рабовъ, апофеозы разныхъ нравственныхъ уродовъ и кретиновъ,—все это поневолѣ должно было ожесточить самаго добродушнаго оптимиста. Мыслящимъ людямъ того времени оставались только двѣ дороги: или удариться въ самый широкій разгулъ чувственности, или дать полную свободу своему воображенію, утѣшаться его свѣтлыми созданіями и во имя этихъ созданій вступить въ открытую вражду со всей дѣйствительностью, начиная съ собственного тѣла. По первому пути пошли эпикурейцы, по второму между прочими—новоплатоники. Люди съ трезвымъ критическимъ умомъ не могли вѣрить въ созданія собственной фантазій и предпочитали, за неимѣніемъ лучшаго, грубыя, но дѣйствительныя наслажденія болѣе тонкимъ, но совершенно призрачнымъ утѣшеніямъ. Эпикуреизмъ и новоплатонизмъ, разгулъ чувственности и умерщвленіе плоти вызваны одною историческою причиною. Идти путемъ середины, т. е. проводить въ жизнь теоретическія убѣжденія и черпать свои идеи изъ житейскаго опыта, сдѣлалось невозможнымъ, потому что жизнь располагалась по волѣ немногихъ личностей и дѣлалась жертвой случайности и произвола; тогда явились двѣ крайности: одни совершенно отказались отъ идеи и стали искать наслажденія въ физическихъ отправленіяхъ жизненнаго процесса; другіе совершенно отказались отъ жизни и стали любоваться построеніями своего мозга. Оба направленія должны быть оправданы, какъ произвольныя и естественныя отклоненія отъ обыкновеннаго порядка вещей. Но если мы перенесемся къ эпохѣ Платона, то трудно будетъ себѣ представить, что могло вызвать съ



его стороны враждебныя отношенія къ физическому міру явленій. Ни нравственное, ни политическое состояніе Греціи во время Пелопоннесской войны и послѣ ея окончанія не было до такой степени плохо, чтобы привести мыслителя въ отчаяніе и вызвать съ его стороны безусловное осужденіе. Многія стороны греческаго быта, напр., рабство и *извѣстнаго рода развратъ*, могли бы возмутить человѣка нашей эпохи, но Платонъ не относился къ нимъ строго и не понималъ ихъ отвратительности. Рабы остаются рабами въ его идеальномъ государствѣ, а развратъ онъ идеализируетъ, видя въ немъ эстетическое стремленіе и набрасывая покрывало на физическія послѣдствія... Платонъ, какъ извѣстно, составилъ прозекъ идеальнаго государственнаго устройства и, кажется, старался даже осуществить свой политическій идеалъ въ Сиракузахъ и въ Сиплиіи. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что онъ вѣрилъ въ возможность земнаго счастья, и что существующіе въ наличности матеріалы не казались ему настолько негодными, чтобы изъ нихъ было невозможно построить прочное и красивое зданіе. Какъ-же послѣ этого понимать враждебное отношеніе Платона къ чувственному міру? Мнѣ кажется, его должно понимать только какъ теоретическій выводъ платоновой мысли, которому не сочувствовала и на который даже не обращала вниманія живая, человѣческая природа поэта-мыслителя. Все скверно въ матеріальной жизни, говоритъ доктрина Платона; напротивъ, все прекрасно и способно сдѣлаться еще лучше, возражаетъ его поэтическое чувство, и этотъ голосъ непосредственнаго чувства поддерживается примѣромъ его собственной жизни, свѣтлымъ колоритомъ его фантазій и чувственной яркостью самыхъ повидимому отвлеченныхъ его представлений. Поэтъ-мыслитель постоянно ищетъ образа и воплощаетъ свои идеи въ формы, заимствованныя изъ міра матеріи; этимъ самымъ онъ показываетъ, что этотъ міръ вовсе не внушаетъ ему отвращенія, и что великая идея не оскверняется отъ соприкосновенія съ чувственнымъ явленіемъ. Но Платону было необходимо указать на источникъ и возможность зла; это такой вопросъ, котораго не обойдешь ни въ какой философской системѣ, ни въ какомъ поэтическомъ міросозерцаніи. Приписать зло волѣ Диміурга было мудрено; противъ подобной мысли возмущались и здравая логика, и эстетическое чувство Платона. Навязать добродушию и мудрому существу всѣ гадости и несовершенства человѣческой жизни значило уничтожить возможность его существованія и перевернуть вверхъ дномъ всю красивую систему платоническаго міросозданія. Олицетворить зло въ отдѣльномъ понятіи, создать идею зла и противопоставить ее идеѣ добра было также невозможно.

Это подало бы поводъ къ неисчислимымъ и неразрѣшимымъ вопросамъ и противорѣчіямъ. Если зло вѣчно, то, стало быть, оно естественно, а если оно естественно, то оно не есть зло. Если Диміургъ воплощаетъ въ себѣ идею могущества и отличается самыми благими стремленіями, то онъ хочетъ и долженъ истребить зло, а если онъ не истребляетъ его, то, стало быть, онъ не въ силахъ сдѣлать этого. Чтобы избѣжать подобныхъ противорѣчій, Платонъ обращается къ матеріи и путемъ діалектическихъ доводовъ доказываетъ, что она-то есть невольная и безсознательная причина зла. Принужденный признать инертное могущество и вѣчность матеріи, существующей помимо воли Диміурга и только получающей отъ него свою форму, Платонъ доходитъ до теоретическаго убѣжденія, что зло есть свойство матеріи. Создавая какое-нибудь существо, Диміургъ кладетъ на матерію печать извѣстной идеи, но матерія слишкомъ груба, чтобы воспринять этотъ отпечатокъ въ полной ясности и чистотѣ; матеріальное сопротивляется рукѣ художника, и это невольное сопротивленіе даже олицетворяется у Платона подъ именемъ неразумной міровой души; въ этомъ сопротивленіи и лежитъ начало зла. Изъ этого видно, что пессимизмъ Платона не вытекъ живою струею изъ его непосредственнаго чувства и не былъ вызванъ обстоятельствами и обстановкой его жизни, а выработанъ путемъ умозаключеній и никогда не проникалъ глубоко въ его личность. Противорѣчіе, въ которое впадаетъ Платонъ, развивая почти рядомъ два, чуть не діаметрально противоположныя, міросозерцанія, открываетъ намъ одну изъ симпатичнѣйшихъ сторонъ его личности. Это противорѣчіе ясно показываетъ, что доктринеръ не могъ побѣдить въ Платонѣ поэта и человѣка, и что живые инстинкты и живыя симпатіи его души вылились наружу, не стѣсняясь мертвою буквою писанной системы. Но, между тѣмъ, доктрина развивается своимъ чередомъ; Платонъ, какъ мыслитель, выводитъ крайнія слѣдствія своей философской системы, а Платонъ, какъ человѣкъ, и жизнью, и словомъ протестуетъ противъ порожденій своей собственной мысли. Впечатлительный, измѣнчивый и подвижный, какъ истинный поэтъ, онъ противорѣчитъ самому себѣ и самъ того не замѣчаетъ, самъ не думаетъ о томъ, чтобы какъ-нибудь сблизить и примирить два противоположныя воззрѣнія. Обращаясь такъ нецеремонно съ собственными теоріями, Платонъ не допускаетъ подобной свободы для другихъ; его возмущаютъ существующія непослѣдовательности и уклоненія отъ разумности въ сферѣ частной и государственной жизни. Не будучи въ состояніи внести строгое единство даже въ міръ собственной мысли, онъ хочетъ подчинить неизмѣннымъ законамъ всѣ явленія человѣче-



ской жизни, водворить строгую правильность и разумность во всѣ отношенія между людьми въ семействахъ и въ государствахъ. На мѣстѣ живого развитія жизни онъ хочетъ поставить неизмѣнное и неподвижное созданіе своей творческой мысли. Трактатъ Платона о государствахъ не есть произведеніе свободной фантазіи, не есть красивая игрушка, которой житейскую бесполезность и непримѣнимость сознавалъ бы самъ творецъ. Это почти прозекъ, и любимой мыслью Платона было привести его въ исполненіе. Перестроить общество на новый ладъ, заставить цѣлый народъ жить не такъ, какъ онъ привыкъ и какъ ему хочется, а такъ, какъ, по моему убѣжденію, ему должно быть полезно,—это, конечно, такая задача, за которую теперь не взялся бы ни одинъ здравомыслящій человекъ. Во время Платона такая задача была, вѣроятно, такъ-же немислима, какъ и теперь, но на видъ она должна была казаться гораздо легче уже потому, что греческая народность была разбита на множество мелкихъ государствъ и что авторъ, стоя на площади въ Афинахъ, могъ говорить чуть не съ цѣлой національностью. Сословіе свободныхъ и полноправныхъ гражданъ было очень ограничено въ сравненіи съ цѣлымъ народонаселеніемъ; это сословіе одно имѣло возможность измѣнять по своему благоусмотрѣнію фізіономію государства, а умами этого сословія дѣйствительно могъ управлять любимый ораторъ или писатель. Это обстоятельство, конечно, не могло повести къ тому, чтобы законы и учрежденія, придуманные однимъ лицомъ и не воспитанные самой почвой, могли остановить потокъ исторической жизни или дать ему произвольное направленіе; но оно могло, по крайней мѣрѣ, внушить Платону обманчивыя надежды; оно могло увѣрить его въ возможности составлять и прикладывать къ дѣлу проекты государственнаго устройства. Мы до сихъ поръ видѣли Платона, какъ поэта, какъ доктринера; не раздѣляя его фантастическихъ бредней, мы принуждены были признавать въ его созданіяхъ много искренняго воодушевленія, много смѣлости и силы воображенія; не сочувствуя его нравственнымъ принципамъ, мы не могли отказать имъ во внутренней стройности и послѣдовательности. Этой послѣдовательности не повредила даже двойственность его воззрѣній на матерію и ея отношенія къ человѣческому духу; какъ мыслитель, задавшійся извѣстной идеей, Платонъ смѣло дошелъ до крайнихъ выводовъ; какъ живой человекъ, онъ пошелъ совершенно другой дорогой и доказалъ, такимъ образомъ, въ одно и то-же время силу своей творческой мысли, крѣпость своей физической природы и невозможность стиснуть жизнь въ узкія рамки теорій.—Словомъ, въ концѣ концовъ можно вывести заключеніе, что Платонъ имѣетъ несомнѣнные права на наше

уваженіе, какъ сильный умъ и замѣчательный талантъ. Колоссальныя ошибки этого таланта въ области отвлеченной мысли происходятъ не отъ слабости мысли, не отъ близорукости, не отъ робости ума, а отъ преобладанія поэтическаго элемента, отъ сознательнаго презрѣнія къ свидѣтельствамъ опыта, отъ самонадѣяннаго, свойственнаго сильнымъ умамъ стремленія вынести истину изъ глубины творческаго духа, вмѣсто того, чтобы разсмотрѣть и изучить ее въ единичныхъ явленіяхъ. Не смотря на свои ошибки, не смотря на полную несостоятельность своей системы, Платонъ можетъ быть названъ по всей справедливости родоначальникомъ идеалистовъ. Составляетъ-ли это обстоятельство важную заслугу предъ лицомъ человѣчества, это, конечно, такой вопросъ, на который отвѣтятъ различно представители различныхъ направленій въ области отвлеченной мысли; но какъ бы ни былъ рѣшенъ этотъ вопросъ, все-таки никто не откажетъ Платону въ почетномъ мѣстѣ въ исторіи науки. Есть такія гениальныя ошибки, которыя оказываютъ возбуждательное вліяніе на умы цѣлыхъ поколѣній; сначала увлекаются ими, потомъ къ нимъ становятся въ критическія отношенія: это увлеченіе и эта критика долгое время служатъ школой для человѣчества, причиной умственной борьбы, поводомъ къ развитію силъ, руководящимъ и окрѣпительнымъ началомъ въ историческихъ движеніяхъ и переворотахъ. Но Платонъ не остановился въ области чистаго мышленія и не понималъ того, что, пренебрегая опытомъ и единичными явленіями, нельзя понимать истиннаго смысла исторической и государственной жизни. Онъ взялся за рѣшеніе практическихъ вопросовъ, не умѣя ихъ даже поставить, какъ слѣдуетъ; его попытки въ этомъ родѣ до такой степени слабы и несостоятельны, что онѣ распадаются въ прахъ отъ самаго легкаго прикосновенія критики; въ этихъ попыткахъ нѣтъ ни разумной любви къ человѣчеству, ни уваженія къ отдѣльной личности, ни художественной стройности, ни единства цѣли, ни нравственной высоты идеала. Представьте себѣ причудливое и некрасивое зданіе, съ арками, фронтонами, портиками, бельведерами и колоннадами, не имѣющими никакого практическаго назначенія, и вы получите понятіе о томъ впечатлѣніи, которое производятъ на читателя трактаты Платона о государствахъ и о законахъ. «Первая цѣль государства,—по мнѣнію Платона,—сдѣлать гражданъ добродѣтельными, обезпечить вещественное и нравственное благосостояніе всѣхъ и каждого». Новые изслѣдователи, напр. Вильгельмъ Гумбольдтъ («Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen»), смотря на дѣло иначе и опредѣляютъ государство какъ охранительное учрежденіе, избавляющее отдѣльную лич-



ность отъ оскорбленій и нападковъ со стороны вѣншихъ и внутреннихъ враговъ. Этимъ опредѣленіемъ они избавляютъ взрослого гражданина отъ своеобразной и непрошенной опеки, которая впродолженіи всей жизни тяготѣетъ надъ нимъ въ государствѣ Платона. Оставляя въ сторонѣ невѣрность основного взгляда, мы увидимъ, что даже та цѣль, которую задается Платонъ, не можетъ быть достигнута тѣми средствами и приемами, которые предлагаются въ его трактатахъ. Граждане должны быть добродѣтельны, а между тѣмъ Платонъ предписываетъ имъ такіа оскорбительная стѣсненія, противъ которыхъ возмущается нравственное и эстетическое чувство; уму читателя представляется такая дилемма: или граждане, какъ порядочные люди, не вынесутъ этого стѣсненія, и тогда всѣ учрежденія Платона пойдутъ прахомъ; или они подчинятся этимъ стѣсненіямъ и систематически развращенные ими, потеряютъ способность быть добродѣтельными. Добродѣтель, даже какъ понимаетъ ее Платонъ, и соблюденіе законовъ въ его идеальномъ государствѣ составляютъ два несовмѣстимыя начала. Мудрость, мужество, самообладаніе и справедливость представляются четырьмя главными добродѣтелями въ нравственной философіи Платона. Спрашивается, которая изъ этихъ четырехъ добродѣтелей отнимаетъ у человѣка право свободной критики и приводитъ къ безусловному повиновенію? Если-же ни одна изъ этихъ добродѣтелей не пригодна для послушныхъ гражданъ идеальнаго государства, то это значитъ, что Платонъ отдѣляетъ идеаль человѣка отъ идеала гражданина. Многіе мыслители древности, между прочими и Аристотель въ своей «Политикѣ», говорятъ, что добродѣтель доступна только полноправнымъ гражданамъ и не существуетъ ни для раба, ни для ремесленника, ни для женщины. Но Платонъ, подчиняя *всѣхъ* гражданъ своего государства неестественнымъ и оскорбительнымъ стѣсненіямъ, идетъ гораздо дальше. Онъ даетъ обществу такое устройство, которое самымъ фактомъ своего существованія дѣлаетъ невозможнымъ не только осуществленіе идеала, но даже стремленіе къ нему. Со стороны мыслителя, по понятіямъ котораго вѣ идеала нѣтъ спасенія, такого рода распоряженія должны показаться чрезвычайно оригинальными. Если идеаль человѣка неосуществимъ даже теоретически въ гражданскомъ обществѣ, то изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что человѣку слѣдуетъ жить и развиваться вѣ общества, или-же что пресловутый идеаль есть бесполезная игрушка празднаго воображенія. Ни то, ни другое заключеніе не понравилось бы Платону, но устранить оба заключенія можно, только отказавшись отъ утопической теоріи или перестроивъ идеаль. Въ государствѣ Платона есть чиновники, воины, ремесленники, торговцы, рабы и самки, но лю-

дей нѣтъ и не должно быть. Каждая отдѣльная личность есть извѣстной формы и величины винтъ, шестерня или колесо въ государственномъ механизмѣ; кромѣ этой служебной обязанности, онъ ни въ какомъ кругу не имѣетъ никакого значенія; онъ не сынъ, не братъ, не мужъ, не отецъ, не другъ и не любовникъ. Съ минуты рожденія его отрываютъ отъ груди матери и помѣщаютъ въ воспитательный домъ; его не показываютъ родителямъ впродолженія нѣсколькихъ лѣтъ и его происхожденіе умышленно забывается; его воспитываютъ наравнѣ со всѣми дѣтьми его возраста, и онъ, какъ только начинаетъ поминуть и сознавать себя, чувствуетъ, что онъ — казенная собственность, не связанная ни съ кѣмъ и ни съ чѣмъ въ окружающемъ его мірѣ. Онъ вырастаетъ и получаетъ извѣстную должность; его дѣлаютъ воинномъ, и военныя упражненія становятся главнымъ его занятіемъ и развлеченіемъ; въ эти упражненія онъ, какъ хорошій гражданинъ, обязанъ влагать тѣ остатки энергіи и души, которыхъ не успѣло засушить школьное воспитаніе. Когда у него появляется борода и развивается мужеская сила, его осматриваетъ и свидѣтельствуетъ *особый сановникъ* и потомъ приводитъ къ нему молодую дѣвушку, которая, по его убѣжденію, годится ему въ жены. Приплодъ идетъ на пользу общества, и съ нимъ поступаютъ точно такъ-же, какъ поступали съ его родителями. Когда мужчина становится старикомъ, его дѣлаютъ гражданскимъ чиновникомъ и опредѣляютъ въ одно изъ существующихъ вѣдомствъ; онъ становится судьей, казначеемъ или воспитателемъ юношества, смотря по тому, на что его найдутъ годнымъ. Занятіе торговлей или ремесломъ считается унижительнымъ для полноправнаго гражданина и запрещено законами. Вѣншія формы, въ которыя должны воплотиться эти политическія убѣжденія, едва набросаны въ сочиненіяхъ Платона. Онъ считаетъ нужнымъ, чтобы во главѣ государства стояли достойнѣйшіе и мудрѣйшіе, но ему рѣшительно все равно, будутъ ли тамъ одинъ мудрѣйшій или нѣсколько мудрѣйшихъ. Демократическая форма правленія ему противна, какъ аристократу по рожденію и какъ человѣку, считающему себя неизмѣримо выше массы по умственнымъ силамъ и по нравственному достоинству. Вотъ нѣсколько выписокъ изъ книги Клеванова, въ которыхъ эта сторона теоріи Платона очерчена довольно ясно. «Относительно вопроса: правительство должно ли быть основано на согласіи народа или дѣйствовать на него силой, Платонъ прямо высказываетъ убѣжденіе, что если нужно согласіе массъ народа, то никакія, самая благоразумныя учрежденія не могутъ быть никогда приведены въ дѣйствіе. Сознующій свои обязанности правитель долженъ поступать съ зависящими отъ



него людьми какъ благоразумный врачъ; не спрашиваясь ихъ согласія, волей-неволей долженъ давать онъ имъ горькое, но полезное лекарство». «Далѣе Платонъ говорить, что неблагоразумно было бы мудраго правителя стѣснять законами». «Вообще Платонъ приходитъ къ рѣшительному убѣжденію, что массы народа неспособны управлять сами собою, и что невозможно требовать, чтобы имъ когда-нибудь было доступно и понятно истинное искусство управленія». «Но Платонъ, имѣя самое невыгодное понятіе о степени нравственнаго развитія массъ народныхъ, не могъ допустить, чтобы большинство людей подвластныхъ терпѣливо и съ покорностью сносили власть мудрецовъ; а потому Платонъ долженъ былъ вооружить своихъ правителей-философовъ такой властью, которой было бы достаточно для приведенія въ исполненіе ихъ распоряженій; вслѣдствіе этого они должны были имѣть всегда подъ руками достаточное число дѣятельныхъ и способныхъ исполнителей. Такимъ образомъ выяснилась для Платона потребность въ отдѣльномъ сословіи воиновъ, которое должно имѣть цѣлью своей дѣятельности не столько защиту государства извнѣ, сколько поддержаніе внутри его порядка и общественнаго спокойствія». «А потому Платонъ въ своемъ трактатѣ о государствѣ, запрещая ложь частному человѣку, допускаетъ обманъ, какъ средство управленія въ рукахъ властителей». Эти выписки прямо показываютъ, что, по понятіямъ Платона, со стороны правителей не существуетъ обязанности въ отношеніи къ управляемымъ личностямъ; обманъ, насиліе, произволъ допускаются какъ средства управленія. Законы нравственности, существующіе для частныхъ лицъ, теряютъ обязательную силу для государственныхъ дѣятелей. Они должны быть мудрыми, но право судить о степени ихъ мудрости отнимается у наиболѣе-заинтересованныхъ личностей и предоставляется, кажется, одному Диміургу. Съ одной стороны произволъ имѣетъ только тѣ границы, на которыхъ онъ самъ заблагоразсудитъ остановиться. Съ другой стороны покорность не имѣетъ никакихъ предѣловъ. Если она начинаетъ ослабѣвать, ее слѣдуетъ подкрѣплять искусственными средствами, нравственными или физическими, слабыми или сильными, смотря по комплекціи пациента и по благоусмотрѣнію врача. Устраненіе вредныхъ вліяній должно играть важную роль въ курсѣ воспитанія или леченія, которому должны подвергаться граждане идеальнаго государства. Гомеръ изгоняется, какъ безнравственный сказочникъ. Мнѣя пересочиняются и пропитываются высокими идеями. Статуи Аполлона и Афродиты въ интересахъ приличія прикрываются костюмомъ. Чтобы сосѣдніе народы не могли вводить

въ соблазнъ гражданъ идеальнаго государства, сношенія съ иностранными землями должны быть по возможности затруднены и ограничены: «путешествія за-границу дозволены только людямъ зрѣлаго возраста, и при томъ не иначе, какъ или для собственнаго образованія, или для государственныхъ цѣлей. По возвращеніи граждане должны подвергаться испытанію, не принесли ли они съ собою вредныхъ убѣжденій». Разбирать подобныя положенія бесполезно; они сами говорятъ за себя очень громко и краснорѣчиво. Позволю себѣ замѣтить, что, къ чести человечества, духъ политическихъ идей Платона никогда не пытался завоевать себѣ мѣсто въ дѣйствительности. Сумасброднѣйшіе деспоты—Ксерксъ персидскій, Калигула и Домиціанъ—никогда не пробовали почеркомъ пера уничтожить семейство и поставить свой народъ на степень конскаго завода. Къ счастью для своихъ подданныхъ, эти господа не были философами; они казнили людей для препровожденія времени, но, по крайней мѣрѣ, они не реформировали человечества и не старались систематически развратить своихъ согражданъ. Просвѣщенные и умные деспоты, вродѣ Людовика XI, Тиверія и Фердинанда Католическаго, оказывали на своихъ подданныхъ сознательное вліяніе, но ихъ проэскты и отдаленнѣйшія мечты никогда не достигали того величія и той смѣлости, которыми отличаются идеи Платона. Стремленія у нихъ были общія; но, увлекаясь поэтическимъ гениемъ, Платонъ проводитъ эти стремленія съ безпримѣрной силой; злѣйшимъ врагомъ этихъ стремленій былъ могучій духъ критики и сомнѣнія, элементъ свободнаго мышленія и личной оригинальности, и этотъ элементъ ненавистенъ Платону; нравственной опорой имъ служила вывѣска народнаго блага, и этой-же вывѣской пользуется Платонъ; матеріальной поддержкой ихъ было войско, и эта-же самая сила имѣетъ важное мѣсто въ государствѣ Платона. Эти правители, подобно мудрецамъ идеальнаго государства, считали себя достойнѣйшими и лучшими изъ своихъ согражданъ, — людьми, призванными быть воспитателями и врачами неразвившагося и нравственно-больного человечества. Римскія пытки и казни, испанская инквизиція, походы противъ Альбигойцевъ, клѣтка кардинала *La Balue*, костеръ Гусса, Варооломеевская ночь, Бастилія и проч., и проч. могутъ быть названы *горькими, но полезными* лекарствами, которыя въ разныя времена и въ разныхъ дозахъ врачи человечества давали своимъ пациентамъ *волей-неволей, не спрашиваясь ихъ согласія*. Принципъ, проведенный Платономъ въ его трактатахъ о государствѣ и о законахъ, небезызвѣстенъ новѣйшей европейской цивилизаціи.



# ФИЗИОЛОГИЧЕСКІЕ ЭСКИЗЫ МОЛЕШОТА.

(„Physiologisches Skizzenbuch von Jac. Moleschott“. Giessen, 1861).

## I.

«Въ наше время было бы странно думать, что духъ не зависитъ отъ матеріи»—этими словами начинается Молешотъ свою книгу. Мы постепенно перестаемъ бояться природы и благоговѣть передъ нею; мы перестаемъ навязывать ей сознательныя стремленія и опредѣленныя цѣли; мы смотримъ на то, что у насъ передъ глазами, и стараемся быть внимательными; усилія наши направлены къ тому, чтобы усовершенствовать орудія познания, и, чтобы разсмотрѣть предметъ нашего наблюденія въ разныхъ положеніяхъ и съ разныхъ сторонъ, мы обуздываемъ дѣятельность теоретическаго мышленія, которое постоянно торопится къ общимъ выводамъ; мы хотимъ какъ можно больше видѣть и какъ можно меньше догадываться. До сихъ поръ не придумано такого микроскопа, который могъ бы слѣдить за работой мысли въ мозгу живого человѣка; на этомъ основаніи изслѣдователи очень благоразумно обходятъ до времени эти интересныя отправленія человѣческаго организма и сосредоточиваютъ свои силы на разъясненіи другихъ процессовъ, болѣе грубыхъ и слѣдовательно болѣе осязательныхъ. Что можно разсмотрѣть микроскопомъ и разложить химическимъ анализомъ, то разсматривается и разлагается; что недоступно непосредственному изслѣдованію, то наблюдается черезъ обличіе отдѣльныхъ фактовъ, подобно тому, какъ въ алгебраическихъ уравненіяхъ неизвѣстная величина опредѣляется по извѣстнымъ. Камень за камнемъ сносится на то мѣсто, гдѣ надо выстроить домъ; наблюденія и опыты не противорѣчатъ другъ другу, но часто лежатъ особнякомъ, не обнаруживая между собою видимой связи и необходимаго соотношенія. Незвѣстнаго еще такъ много, что даже не обозначены общія линіи того зданія, которое выстроится современемъ и въ которое войдутъ, какъ строительныя матеріалы, всѣ песчинки, добытыя правильнымъ трудомъ человѣческой мысли. Ничто не построено, но многое собрано, и, главное, многое разрушено.

Съ тѣхъ поръ, какъ живетъ человѣчество, оно невольно старалось себѣ объяснить, что такое человѣкъ, міръ, природа и ея законы; любознательности было много, а знаній мало; поневолѣ приходилось добавлять фантазіей; возникло великое множество міросозерцаній, болѣе или менѣе поэтическихъ, великое множе-

ство образовъ болѣе или менѣе величавыхъ; отъ разныхъ остатковъ этихъ міросозерцаній приходится теперь избавляться; разные изношенные образы приходится разбивать, выметая ихъ осколки съ того мѣста, на которомъ предполагается строить новое зданіе въ современномъ вкусѣ, на прочномъ фундаментѣ. Отношеніе между человѣкомъ и окружающей природой, и даже въ самомъ человѣкѣ отношенія между различными частями и отправленіями его организма составляютъ рѣшительное яблоко раздора между мыслителями и фантазерами. Послѣдніе, сильные числомъ, хотятъ допустить, во что бы то ни стало, присутствіе такихъ элементовъ, какихъ въ дѣйствительномъ мірѣ никогда не было и не можетъ быть, такихъ вещей, о которыхъ, по выраженію нашего народно-эпическаго языка, «ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать». Фантазеры вооружаются самымъ разнообразнымъ дрекольемъ, чтобы отстоять свое дѣло; они вносятъ свои невѣдомыя тонкости во всѣ сферы человѣческихъ знаній и искусства; натуралисты, историки и поэты часто оказываются зараженными самымъ узколюбимъ мистицизмомъ. Мыслителямъ приходится иногда тратить много времени на то, чтобы разбивать теоріи и фантазіи и чтобы открывать глаза слишкомъ довѣрчивымъ и совершенно беззащитнымъ неспеціалистамъ; лучшіе изъ мыслителей идутъ другимъ путемъ, болѣе труднымъ, но зато болѣе плодотворнымъ; они совершенно отворачиваются отъ области произвольныхъ гаданій, предоставляютъ ее идеалистамъ, а сами наблюдаютъ и изучаютъ химическій составъ крови, процессъ пищеваренія, конструкцію волосъ, ногтей и прочія ничтожныя мелочи; и эти ничтожныя мелочи уже теперь повернули вверхъ-дномъ колоссальныя теоріи мировыхъ мыслителей и цѣлыхъ народовъ; эти ничтожныя мелочи уже теперь разбили оковы человѣческой мысли. Дѣло разрушенія сдѣлано; дѣло созиданія будетъ впереди и займетъ собою не одно поколѣніе.

## II.

«Физиологическіе эскизы» Молешота посвящены строгому изслѣдованію нѣкоторыхъ отправленій и отдѣльныхъ частей человѣческаго тѣла. Первый этюдъ разсматриваетъ вліяніе пищи на человѣческій организмъ, второй разбираетъ подробно тѣ видоизмѣненія, которыя произво-



дить въ человѣкѣ движеніе на чистомъ воздухѣ, четвертый въ популярной формѣ сообщаетъ публикѣ микроскопическія наблюденія ученыхъ надъ роговой оболочкой человѣческаго тѣла. Третій очеркъ, о которомъ стоитъ поговорить подробно въ концѣ статьи, существенно отличается отъ остальныхъ по своему характеру и предмету; онъ заключаетъ въ себѣ характеристику Георга Форстера, написанную съ замѣчательной глубиной критическаго взгляда и проникнутую самымъ честнымъ сочувствіемъ къ личности благороднаго дѣятеля. Главной задачей моей настоящей статьи будетъ сгруппировать мысли Молешота, выраженные въ его чисто физиологическихъ эскизахъ, и представить ихъ читателямъ въ ясномъ и по возможности сжато изложеніи.

«Жить,—говоритъ Молешотъ,—значитъ сохранять форму своего тѣла вопреки непрерывному измѣненію мельчайшихъ матеріальныхъ частицъ, составляющихъ собою тѣло». Безпрерывное измѣненіе матеріальныхъ частицъ совершается посредствомъ тѣхъ выдѣленій, которыя сопровождаютъ собою процессы дыханія и пищеваренія; кромѣ того оно происходитъ путемъ испарины, отпаденія засохшихъ частичекъ кожи, выростанія и обрѣзыванія волосъ и ногтей. Убывающія частицы нашего тѣла должны замѣщаться новыми; новыя надо вырабатывать изъ какого-нибудь матеріала, а матеріалъ этотъ мы получаемъ изъ пищи, которую принимаемъ въ желудокъ, и изъ воздуха, который вдыхаемъ въ легкія. Мы, по словамъ Либиха, похожи на ходячія печи, нуждающіяся въ постоянной или по крайней мѣрѣ часто повторяющейся топкѣ. Положенное въ насъ топливо перегораетъ и, претерпѣвая разныя измѣненія, перерабатывается въ кровь. А что такое кровь? Бордѣ говоритъ, что кровь есть мясо въ жидкомъ состояніи, но Молешотъ съ этимъ не соглашается. Въ крови, по его словамъ, заключаются задатки и зародыши всего тѣла: мозгъ, нервы, кости, мясо, кожа и хрящи—все вырабатывается изъ крови, слѣдовательно въ крови есть такія химическія составныя части, которыхъ нѣтъ въ мясѣ и которыя идутъ на построение другихъ тканей нашего тѣла.

Значеніе крови становится такимъ образомъ чрезвычайно важнымъ.

Химическій составъ крови даетъ намъ мѣрку для оцѣнки сравнительнаго достоинства всякой пищи; если употребляемая нами пища содержитъ въ себѣ всѣ составныя части крови и при томъ въ одинаковой пропорціи съ кровью, то эта пища можетъ поддерживать наше существованіе и сохранять наше здоровье. Тщательное изслѣдованіе химическаго состава здоровой крови должно такимъ образомъ служить основаніемъ для всякихъ дальнѣйшихъ изслѣдованій о количествѣ и качествѣ пищи, необхо-

димыхъ для надлежащаго восполненія убывающихъ частицъ организма.

Молешотъ посвящаетъ разсмотрѣнію крови цѣлую главу своего эскиза. Изъ этого разсмотрѣнія оказывается, какъ извѣстно людямъ, знакомымъ съ физиологіей, что кровь состоитъ изъ соединенія азота, углерода, водорода, кислорода, калия, натрія, кальція, магнія, желѣза, сѣры, фосфора, хлора и фтора. Если выразиться проще, можно сказать, что на 100 частей крови приходится 79 частей воды; остальные 21 часть состоятъ изъ бѣлковины (т. е. изъ такого вещества, которое по своему составу и по свойствамъ очень похоже на яичный бѣлокъ), изъ различныхъ солей и изъ очень незначительнаго количества жира и сахара; на 1000 частей крови приходится около 4 частей жира, а количество сахара, заключающееся въ крови, еще гораздо меньше и до сихъ поръ еще не было опредѣлено. Красный цвѣтъ крови происходитъ отъ примѣси желѣза; нарушеніе этого цвѣта сопровождается собою разстройство и большую или меньшую слабость всего организма; поэтому присутствіе желѣза въ крови совершенно необходимо, хотя количество такъ незначительно, что не можетъ быть въ точности опредѣлено. Каждая изъ составныхъ частей крови потребляется организмомъ на построеніе тѣхъ или другихъ разрушающихся или устарѣвшихъ частицъ. Такъ, напр., фосфорнокислая известь (соединеніе фосфора, кислорода и кальція) идетъ на ремонтъ костей, фтористый кальцій образуетъ зубы, поваренная соль — хрящи.

Для работы нашего мозга необходимъ фосфоръ и особеннаго рода фосфористый жиръ. «Какъ кровь не можетъ обращаться съ должной силой безъ притока желѣза, какъ кости не могутъ служить опорой для нашего тѣла безъ притока извести, такъ точно мозгъ не можетъ думать безъ притока фосфора и фосфористаго жира». Безъ фосфора нѣтъ дѣятельности мысли; но предполагать, чтобы у умнаго человѣка было въ мозгу много фосфора, по словамъ Молешота, неосновательно, потому что органъ одинаково страдаетъ отъ избытка какого-нибудь ингредиента, какъ и отъ недостатка. Каждый органъ вытягиваетъ изъ крови именно то количество матеріала, которое необходимо для его отправленій; онъ не возметъ себѣ лишняго, но если-же случится недостатка, если въ крови не найдется необходимыхъ матеріаловъ, тогда, конечно, дѣятельность органа должна ослабѣть и постепенно прекратиться (Moleschott. «Lehre der Nahrungsmittel» S. 100). Очень можетъ быть, что утомленіе, которое мы чувствуемъ послѣ продолжительной умственной работы, происходитъ отъ того, что фосфористый жиръ истрачивается, и что мозгъ не успѣваетъ вытягивать изъ крови необходимаго количества матеріала; очень мо-



жетъ быть, что напряженіе мысли, усиліе ума связано съ усиленной дѣятельностью тѣхъ судовъ, которые тянутъ фосфоръ изъ крови въ мозгъ. Что это утомленіе, эти усилія и напряженія основываются на чисто *матеріальномъ* процессѣ — въ этомъ смѣшно и сомнѣваться, но сущность этого процесса совершенно не разъяснена, и потому мы хорошо сдѣлаемъ, если изъ заманчивой сферы гипотезъ снова спустимся на твердую почву положительныхъ фактовъ.

### III.

Такъ какъ принимаемая нами пища должна переработаться въ кровь, то она, какъ уже было выше замѣчено, должна заключать въ себѣ всѣ тѣ составныя части, которыя были указаны въ крови; вода, бѣлковина, соли, жиръ и сахаръ непремѣнно должны входить въ нашу пищу, потому что всѣ эти спеціи необходимы для образованія крови; воды должно быть всего больше, потому что изъ нея состоятъ почти  $\frac{4}{5}$  всей нашей крови; дѣйствительно, опытъ показываетъ, что самыя сухія пищи содержатъ въ себѣ значительный процентъ воды; мы пьемъ чай или кофе утромъ и вечеромъ; за обѣдомъ мы ѣдимъ супъ, слѣдовательно во всѣхъ этихъ видахъ поглощаемъ воду; сверхъ того мы по нѣскольку разъ въ день чувствуемъ жажду и утоляемъ ее напитками, которыхъ большая часть разбавлена водою; наконецъ, мы вдыхаемъ въ себя водяные пары, носящіяся въ воздухѣ, и такимъ образомъ еще увеличиваемъ количество поглощаемой воды. Словомъ, вода есть самая важная и необходимая составная часть нашей пищи; жажда чувствуется скорѣе голода и въ меньшее время ведетъ за собою смерть; впрочемъ, всѣ составныя части крови непремѣнно должны входить въ нашу пищу; если будетъ совершенно опущенъ хоть одинъ изъ ея ингредиентовъ, то произойдетъ расстройство организма, которое рано или поздно приведетъ къ его разрушенію.

Я обратилъ вниманіе на особенную важность воды только потому, что недостатокъ ея замѣчается всего скорѣе, измучиваетъ и убиваетъ человѣка въ самое короткое время, и слѣдовательно бросается въ глаза при самомъ поверхностномъ взглядѣ на дѣло. Въ строго научномъ смыслѣ нельзя сказать, чтобы вода была важнѣе другихъ составныхъ частей крови: всѣ онѣ необходимы для поддержанія жизни и здоровья, слѣдовательно всѣ одинаково важны; замѣчу только, что жиръ можетъ быть замѣненъ сахаромъ потому, что сахаръ, принимаемый въ кишечномъ каналѣ разными химическія измѣненія, превращается въ жиръ. Пчелы приготавливаютъ воскъ изъ цвѣточнаго сахара, а воскъ представляетъ существенное сходство съ жиромъ, съ той только разницей, что еще ме-

нѣе жира содержитъ въ себѣ кислорода. Наблюденія Либиха надъ домашними животными доказали рѣшительно, что сахаръ превращается въ жиръ; знаменитый химикъ взвѣшивалъ жиръ убитыхъ быковъ и масло, доставляемое коровами, и вычислилъ, что эти животныя не могли получить этихъ веществъ изъ своей пищи въ видѣ чистаго жира. Анализъ коровьяго помета показалъ, что въ немъ корова выбрасываетъ столько-же жира, сколько его находится въ ея пищѣ. Но въ этой пищѣ (въ сѣнѣ и картофелѣ) есть много такихъ веществъ, которыя въ желудкѣ превращаются въ сахаръ; изъ сахара развивается молочная кислота, изъ молочной кислоты — масляная кислота и, наконецъ, жиръ. Изъ этого превращенія сахара въ жиръ видно, что вещества, составляющія нашу пищу, болѣе или менѣе подвергаются измѣненіямъ, смотря по тому, насколько эти вещества сродны составнымъ частямъ нашей крови. Молочная кислота ближе сахара подходит къ жиру; сахаръ подходитъ къ жиру ближе крахмала. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что крахмалъ не такъ скоро можетъ быть превращенъ въ жиръ, какъ сахаръ, и что сахаръ, въ свою очередь, перейдетъ въ жиръ медленнѣе молочной кислоты.

Но главная и важнѣйшая часть пищеваренія заключается именно въ приготовленіи крови изъ принятой пищи, слѣдовательно чѣмъ скорѣе и легче принятая пища перерабатывается въ кровь, тѣмъ успѣшнѣе совершается пищевареніе; успѣшность пищеваренія зависитъ преимущественно отъ свойства пищи или, точнѣе, отъ степени сродства ея съ составными частями крови; удобоваримую можно назвать ту пищу, изъ которой легче и скорѣе добываются ингредиенты крови; на этомъ основаніи молочная кислота окажется удобоваримѣе сахара, сахаръ — удобоваримѣе крахмала. Тѣ составныя части нашей пищи, которыя не могутъ переработаться въ кровь, оказываются ненужными и должны быть удалены какъ постороннія тѣла. Эти-то ненужныя составныя части нашей пищи составляютъ главное основаніе испражнений, къ которымъ сверхъ того присоединяются желудочныя и кишечныя слюны и жидкости, обветшалыя частицы кожи, выдѣленія желчи, словомъ, такіе матеріалы, которые входили въ составъ нашей крови и нашего тѣла и потомъ устарѣли и пришли въ негодность. Чѣмъ меньше ненужныхъ частицъ содержитъ въ себѣ наша пища, тѣмъ большее количество питательныхъ веществъ она отдаетъ въ кровь; такимъ образомъ болѣе питательной называется та пища, которая содержитъ въ себѣ наибольшій процентъ веществъ, необходимыхъ для образованія крови. Не всѣ питательныя вещества, заключающіяся въ нашей пищѣ, могутъ быть изъ нея добыты во время ея пребыванія въ же-



лудкѣ и въ кишечномъ каналѣ. Пребываніе это ограничено извѣстнымъ временемъ, и если втеченіи этого времени желудочные и кишечные соки не успѣли химически переработать пищу, если они не успѣли обратить ее въ кровь, то пища выйдетъ изъ нашего тѣла, несмотря на то, что она въ неразложенномъ состояніи заключаетъ въ себѣ много матеріаловъ, способныхъ превратиться въ кровь.

Мясо и молоко по своему химическому составу подходятъ къ крови ближе печенаго хлѣба; печеный хлѣбъ подходитъ къ ней ближе сѣна; мясо и молоко питательнѣе хлѣба и сверхъ того удобоваримѣе хлѣба; это значить, что фунтъ мяса заключаетъ въ себѣ больше ингредиентов крови, чѣмъ фунтъ хлѣба; кромѣ того, ингредиенты крови, заключающіеся въ фунтѣ хлѣба, должны претерпѣть нѣсколько химическихъ измѣненій, прежде чѣмъ они превратятся въ дѣйствительную кровь, и число этихъ химическихъ измѣненій больше, чѣмъ число измѣненій, которыя должны претерпѣть питательныя вещества, заключающіяся въ фунтѣ мяса. Стало быть, не говоря уже о томъ, что количество питательныхъ частицъ въ хлѣбѣ меньше, чѣмъ въ мясѣ, нужно еще обратить вниманіе на то, что это меньшее количество труднѣе добыть изъ хлѣба, чѣмъ изъ мяса, и что слѣдовательно большее количество питательнаго вещества пропадаетъ даромъ, т. е. пройдетъ черезъ пищеварительный каналъ, не разложившись. При всемъ томъ человѣкъ можетъ жить, питаясь хлѣбомъ и водою и совершенно обходясь безъ мяса и молока; онъ будетъ слабѣе человѣка, питающагося мясомъ; но не умретъ и даже будетъ способенъ работать. Если-же вы будете кормить человѣка однимъ картофелемъ, то онъ черезъ двѣ недѣли ослабѣетъ и сдѣлается неспособнымъ зарабатывать себѣ пропитаніе. Это происходитъ отъ того, что картофель непитателенъ и неудобоваримъ. Въ крови нашей заключается въ 50 разъ больше бѣлковины, чѣмъ жира, а въ картофелѣ бѣлковины почти въ 20 разъ меньше, чѣмъ веществъ, образующихъ жиръ. Стало быть, чтобы вытянуть изъ картофеля то количество бѣлковины, которое необходимо для поддержанія нормальнаго состава крови, человѣкъ долженъ принять въ желудокъ огромное количество разныхъ постороннихъ и ненужныхъ веществъ. По вычислениямъ Мошоты оказывается, что здоровый сработникъ долженъ сѣдать въ день 20 фунтовъ картофеля, чтобы добывать изъ него необходимое количество бѣлковины. Но органы пищеваренія не могутъ справиться съ такимъ огромнымъ количествомъ матеріала; они будутъ завалены ненужнымъ мусоромъ и, можетъ быть, совершенно остановятъ свою дѣятельность; если бы этого не случилось, тогда произошло бы другое неудобство: крахмалъ картофеля пере-

работался бы въ жиръ, и этотъ жиръ потопилъ бы собою остальные, болѣе благородныя части нашей крови.

«Можетъ-ли, — восклицаетъ Мошотъ, — лѣнивая картофельная кровь придавать мускуламъ силу для работы и сообщать мозгу животворный толчокъ надежды? Бѣдная Ирландія! Твоя бѣдность родитъ бѣдность! Ты не можешь остаться побѣдительницей въ борьбѣ съ гордымъ сосѣдомъ, которому обильныя стада сообщаютъ могущество и бодрость! Ты не можешь побѣдить! Твоя пища можетъ породить безсильное отчаяніе, но не возбудитъ она воодушевленія, а только воодушевленіе способно отразить исполна, въ жилахъ котораго течетъ живая сила дѣятельности вмѣстѣ съ богатой кровью. Не благодари Америку за тотъ подарокъ, который увѣковѣчиваетъ твое несчастіе! Мы можемъ хвалить доброе намѣреніе Гокинса, привесшаго тебѣ картофель, но ты не должна считать его своимъ благодѣяніемъ». («Ученіе о пищѣ»).

Но почему-же картофель, неспособный поддерживать силы человѣка, служить отличной пищей для рогатаго скота и для свиней? Почему сѣно, изъ котораго человѣческій желудокъ не вытянетъ ни одной питательной частицы, можетъ, въ случаѣ необходимости, втеченіи многихъ мѣсяцевъ поддерживать существованіе лошади? Почему человѣкъ, оставленный въ луговой степи, рискуетъ умереть съ голоду, между тѣмъ какъ эти-же самыя степи кормятъ многочисленныя стада буйволовъ? Отвѣтъ на всѣ эти вопросы отыскивается въ различномъ устройствѣ органовъ пищеваренія. Эти органы у травоядныхъ животныхъ гораздо сложнѣе, чѣмъ у плотоядныхъ, потому что растительная пища сравнительно съ животной нуждается въ большемъ количествѣ измѣненій, чтобы превратиться въ кровь, и слѣдовательно должна дольше животной пищи пребыть въ желудкѣ и въ кишкахъ и дольше ея подвергаться дѣйствію пищеварительныхъ соковъ и кислотъ. «Пища, — говоритъ Мошотъ, — превратила дикую кошку въ ручную. Изъ плотояднаго животного съ короткимъ пищеварительнымъ каналомъ путемъ постепенной привычки изъ нея образовалось совершенно другое существо, которому длинный каналъ даетъ возможность переваривать растительную пищу, незнакомую ему въ естественномъ состояніи». («Ученіе о пищѣ»). «Человѣкъ занимаетъ средину между плотоядными и травоядными животными: зубы и челюсти, желудокъ и кишки, слюнные железы и жевательные мускулы его устроены такъ, что дѣлаютъ его способнымъ принимать и переваривать смѣшанную пищу (ibid.). Вслѣдствіе этой смѣшанной пищи кровь его также стоитъ по своему химическому составу по срединѣ между кровью чисто плотояднаго и кровью чисто травояднаго. Изъ крови вырабатываются ткани



организма; свойствами крови обуславливаются свойства мускуловъ, зубовъ, железокъ, костей, мозга, особенности ума и характера. Измѣните пищу человѣка, и весь человѣкъ мало-по-малу измѣнится. Переходъ отъ мяса къ сѣну такъ рѣзокъ, что человѣкъ его не вынесетъ, но путемъ постепенныхъ измѣненій можно довести человѣка до того, что онъ сдѣлается травояднымъ животнымъ, точно такъ-же, какъ кошка изъ животного плотояднаго сдѣлалась животнымъ, способнымъ варить растительную пищу. Такой переходъ потребовалъ бы многихъ поколѣній, но въ немъ нѣтъ ничего невозможнаго; сомнительно только, чтобы травоядный человѣкъ могъ быть вѣнцомъ созданія и человѣкомъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Сомнительно, чтобы усовершенствованіе или, вѣрнѣе, усложненіе пищеварительныхъ органовъ не совершилось въ ущербъ развитію мозга.

Можно выразить смѣлое предположеніе, что разнообразіе пищи, ведущее за собою разнообразіе составныхъ частей крови, служить основаніемъ разносторонности ума и гармоническаго равновѣсія между разнородными силами и стремленіями характера. Европейецъ доводитъ разнообразіе пищи до послѣднихъ предѣловъ; какъ гражданинъ міра, онъ не ограничивается произведеніями своей родины и питается всѣмъ, что приходится ему по вкусу; какъ человѣкъ занимаетъ средину между животными, такъ европеецъ занимаетъ средину между людьми; растительная и мясная пища достигаютъ возможно полнаго равновѣсія въ репертуарѣ европейской кухни образованныхъ и зажиточныхъ классовъ. Поэтому въ европейцѣ нѣтъ той дикости, которая характеризуетъ собою племена звѣролововъ; нѣтъ и той сонливости, которою отличаются индусы, питающіеся корнями и овощами; процессъ пищеваренія совершается легко и скоро; отягощеніе и лѣнь, порождаемая сытнымъ обѣдомъ, продолжаются не болѣе часа, потому что смѣшанная пища разлагается легко и отсылаетъ въ кровь необходимый транспортъ матеріаловъ. Мозгъ тянетъ изъ крови столько фосфора, сколько понадобится; работа мысли идетъ широкимъ махомъ; возникаютъ философскія системы и художественныя произведенія, слагаются социальныя теоріи и практическія усовершенствованія, является вѣра въ силы человѣчества и уваженіе къ человѣческому достоинству — и что-же? Если даже побудительный толчокъ къ этимъ прекраснымъ движеніямъ лежитъ внѣ свойствъ нашей пищи, то, конечно, этимъ свойствамъ мы обязаны тѣми силами, которыя выполняютъ задуманное дѣло и не даютъ замереть благороднымъ и высокимъ стремленіямъ («Уч. о пищѣ»).

#### IV.

Существеннѣйшая часть принимаемой нами пищи подвергается нѣсколькимъ болѣе или менѣе

нѣ важнымъ измѣненіямъ, прежде нежели мы рѣшаемся взять ее въ ротъ. Никто не ѣстъ сырого мяса или картофеля, никто не глотаетъ цѣликомъ зерна ржи или пшеницы. Поваренное искусство, развившееся помимо всякой научной теоріи, заботится только о томъ, чтобы угодить болѣе или менѣе утонченнымъ требованіямъ вкуса, а между тѣмъ большая часть его распоряженій заслуживаетъ полнаго одобренія со стороны возникающей науки о предметахъ пищи. Цѣлый рядъ примѣровъ можетъ подтвердить собою ту мысль, что человѣчество руководилось безошибочнымъ инстинктомъ въ выборѣ и приготовленіи своихъ яствъ.

По извѣстному неприятному ощущенію жаждущій чувствуетъ, что его организмъ нуждается въ притока воды; грудной ребенокъ кричитъ, когда чувствуетъ голодъ, и успокаивается, когда начинаетъ сосать грудь; въ этихъ случаяхъ очевидно дѣйствуетъ природный инстинктъ, а не опытъ. Тотъ-же природный инстинктъ выражается въ чувствѣ вкуса; когда мы находимся въ здоровомъ состояніи, то намъ нравится то, чего дѣйствительно требуетъ нашъ организмъ; намъ пріѣдается одна и та-же пища, потому что она вноситъ въ нашу кровь слишкомъ много однихъ ингредиентовъ и слишкомъ мало другихъ; намъ никогда не надоѣдаетъ хорошая говядина именно потому, что она доставляетъ намъ въ изобиліи всѣ составныя части нашей крови; намъ никогда не надоѣдаетъ чистая ключевая вода, именно потому, что этого матеріала всегда требуетъ наша кровь. Словомъ, организмъ нашъ заявляетъ свои требованія по мѣрѣ того, какъ они возникаютъ, и мы по необходимости стремимся ихъ выполнить; мы чувствуемъ, что намъ чего-то хочется, и чувствуемъ, въ чемъ именно мы нуждаемся; для этого намъ нѣтъ надобности напрягать вниманіе; такъ называемыя животныя потребности и влеченія сказываются сами собою и говорятъ громче и громче, до тѣхъ поръ, пока вы не заткнете имъ ротъ полнымъ удовлетвореніемъ. Духовную потребность вы можете отсрочить или даже задуть въ себѣ, но бѣда вамъ будетъ, если вы вздумаете упрямиться и идти наперекоръ заявившей себя физической потребности. Разстройство организма, помраченіе умственныхъ способностей, общій упадокъ силъ, — вотъ тѣ послѣдствія, которыя неминуемо ведетъ за собою умышленная борьба съ собственнымъ тѣломъ. Тому, кто выбралъ однажды мрачную дорогу аскета, трудно повернуть назадъ и выбратъ на вѣрный путь.

Неправильный образъ жизни развиваетъ органическія ткани, отклоняющіяся отъ нормы; неправильно слагающійся мозгъ порождаетъ дикія идеи и ведетъ къ нелѣпнымъ заключеніямъ; эти заключенія образуютъ міросозерцаніе, въ которомъ каждый предметъ представляется въ своеобраз-



ныхъ размѣрахъ и окрашивается произвольными красками; жизнь смѣняется вѣчною галлюцинаціей; образъ жизни становится строже, потому что этого требуютъ дикія умозаключенія, и все это фантастическое зданіе завершается явленіемъ идиотизма или помѣшательства. — Къ счастью всего человѣчества, поваренное искусство никогда не шло въ разрѣзъ съ потребностями нашей физической природы; оно дѣйствовало ощупью и попадало въ цѣль безъ промаха, потому что старалось угодить требованіямъ нашего вкуса, а во вкусѣ всегда заявлялись дѣйствительныя нужды нашего организма. — Приведу нѣсколько примѣровъ.

Мы варимъ картофель и поступаемъ въ этомъ случаѣ очень рачительно. Превращеніе крахмала въ сахаръ, долженствующее совершиться въ желудкѣ, значительно облегчается этой операцией. Въ сыромъ картофелѣ крахмалъ заключенъ въ видѣ маленькихъ зернышекъ въ клѣточки или пузырьки; оболочка этихъ клѣточекъ состоитъ изъ такой матеріи, которую желудочный сокъ разлагаетъ съ большимъ трудомъ. Дѣйствіе горячей воды разрушаетъ сдѣланные клѣточки между собой, и крахмальные зернышки освобождаются изъ своихъ футляровъ; они приходятъ въ непосредственное соприкосновеніе съ разлагающими слизями пищеварительныхъ органовъ, и превращеніе ихъ въ сахаръ и въ жиръ значительно облегчается.

Крахмалъ хлѣбныхъ зеренъ освобождается изъ клѣточекъ уже тогда, когда дѣйствіе мельничныхъ жернововъ превращаетъ ихъ въ муку. Просѣиваніе муки отдѣляетъ отъ нея отруби, т. е. мелкіе остатки клѣтчатки (Zellstoff). Печеніе хлѣба превращаетъ значительную часть крахмала въ сахаръ, и потому печеный хлѣбъ не только вкуснѣе сырой муки, но и удобоваримѣе ея.

Изъ гороха и чечевицы готовится супъ; этотъ супъ или похлебка протирается сквозь сито, и шелуха гороховыхъ и чечевичныхъ зеренъ выбрасывается. Это значительно облегчаетъ работу желудка. Шелуха этихъ зеренъ состоитъ изъ очень плотной клѣтчатки, которая почти вовсе не поддается разлагающему дѣйствію желудочнаго сока. Если бы мы стали цѣликомъ глотать горошины, какъ пилюли, то большая часть ихъ прошла бы черезъ пищеварительный каналъ совершенно неразложившейся. Если бы мы стали жевать горохъ, то зерна, конечно, разложились бы въ желудкѣ и въ кишкахъ, но шелуха составила бы совершенно лишнее бремя и понапрасну засорила и распухла бы наши внутренности. Стало быть, приготовленіе гороховой похлебки предлагаетъ нашему желудку питательныя вещества гороха въ очищенномъ и упрощенномъ видѣ.

Если изъ куска мяса хотятъ приготовить бульонъ, то это мясо кладутъ въ холодную

воду, и эту воду кипятятъ вмѣстѣ съ мясомъ; если-же хотятъ получить хорошій кусокъ варенаго мяса, то мясо кладутъ прямо въ кипятокъ; это правило, извѣстное каждой кухаркѣ, также имѣетъ свое разумное основаніе.

Въ сыромъ мясѣ мясныя волокна окружены особеннаго рода сокомъ, заключающимъ въ себѣ растворъ бѣлковины, различныхъ солей и азотистаго креатина (Fleischstoff). Этотъ растворъ отъ прикосновенія горячей воды свертывается и твердѣетъ; вокругъ мяса образуется корка, затрудняющая дѣйствіе воды на мясо; питательныя вещества остаются въ самомъ кускѣ и не выходятъ въ воду, и такимъ образомъ получается вареное мясо, сохраняющее весь свой вкусъ и всю питательность. Въ холодной водѣ, постепенно подогреваемой, распускается сокъ, окружающій мясныя волокна; онъ весь выходитъ изъ мяса и переходитъ въ воду, такъ что когда вода вскипитъ, то получатся крѣпкій мясной наваръ и вываренный кусокъ мяса, котораго волокна легко отдѣляются другъ отъ друга и, сравнительно съ прежнимъ составомъ мяса, представляютъ мало питательности.

Жареное мясо удобоваримѣе, чѣмъ сырое. По изслѣдованіямъ Мюльдера оказалось, что жареніе образуетъ уксусную кислоту, которая облегчаетъ собою пищевареніе; маринованное мясо, т. е. мясо, вымоченное въ уксусѣ, переваривается также легче сырого мяса. Очень жирное мясо, напримѣръ, свинину, обыкновенно солятъ, потому что соленое сало переваривается легче сырого жира. Употребленіе разныхъ приправъ: перца, гвоздики, лавроваго листа, мускатнаго орѣха, употребленіе сахара, стараго сыра, вина и ликера основано также на требованіяхъ нашего желудка; если пользоваться всѣми этими приправами съ благоразумною умѣренностью, то всѣ онѣ могутъ содѣйствовать пищеваренію, ускорять въ нашемъ тѣлѣ обмѣнъ соковъ и передвиженіе частицъ и, слѣдовательно, усиливать дѣйствіе нервовъ, воспринимающихъ впечатлѣніе и вырабатывающихъ мысль.

На умѣренное употребленіе крѣпкихъ напитковъ Мошотъ смотритъ очень снисходительно; попытки разныхъ филантроповъ и обществъ трезвости онъ считаетъ не только практически бесполезными, но даже теоретически неразумными. Алкоголь, говоритъ онъ, замедляетъ стараніе органическихъ тканей, такъ что работникъ, выпивающій чарку водки послѣ своего скуднаго обѣда, не такъ скоро проголодается, какъ его товарищъ, не употребляющій крѣпкихъ напитковъ. «Изъ этого слѣдуетъ заключеніе,— продолжаетъ онъ,—что было бы жестоко отнимать у поденщика, который въ потѣ лица зарабатываетъ себѣ кусокъ хлѣба, средство подольше удерживать въ своемъ тѣлѣ скудную пищу. Пусть дадутъ ему обильное пропитаніе, тогда онъ будетъ въ состояніи обходиться безъ



водки. Пока не позаботятся о томъ, чтобы работа должнымъ образомъ прокармливала человѣка, до тѣхъ поръ будетъ казаться насмѣшкой наше желаніе устранить менѣе хорошее, не давая и не умѣя давать лучшаго. Или, можетъ быть, слѣдуетъ отмѣнить употребленіе водки, потому что оно дѣлаетъ возможнымъ злоупотребленіе? Тогда попробуйте сначала опровергнуть тотъ упрекъ, что вы унижаете нравственное достоинство человѣка, если заставляете его отказываться отъ наслажденія во избѣжаніе скотскаго разврата. Аскетъ, требующій строгаго цѣломудрія, насилуетъ чело-вѣческую природу; точно такъ-же насилуетъ ее врачъ, требующій уничтоженія водки на томъ основаніи, что на свѣтѣ есть пьяницы. Гѣте далъ новому міросозерцанію прекрасный лозунгъ: *memento vivere!* (помни, что нужно жить!). Кто проповѣдуетъ уничтоженіе водки, тотъ переноситъ насъ въ средневѣковое католичество, которое душило лучшій цвѣтъ чело-вѣческой природы безобразнымъ девизомъ: *memento mori!* (помни, что нужно умереть)» («Уч. о пищѣ»).

## V.

Мы видѣли такимъ образомъ, что пригото-вленіе пищи въ нашихъ кухняхъ основано на инстинктивно понятыхъ потребностяхъ нашего организма.

На томъ-же инстинктивномъ пониманіи этихъ потребностей основано смѣшеніе нашихъ кушаній между собою, порядокъ, въ которомъ они слѣдуютъ другъ за другомъ въ обѣдѣ, и старанія разнообразить репертуаръ обѣда такъ, чтобы сегодня не повторялось то, что подавалось вчера.—Мясо, напр., подается обыкновенно съ какимъ-нибудь соусомъ, и соусъ этотъ состоитъ изъ какихъ-нибудь овощей.

Причина объясняется очень просто. Мясо даетъ нашей крови необходимое количество бѣлковины, а овощи сообщаютъ ей тѣ вещества, изъ которыхъ образуется жиръ; сверхъ того они содержатъ въ себѣ значительное количество солей, облегчающихъ собою перевариваніе мяса. Если-же приправою къ мясу постоянно служить одинъ сортъ овощей, то очень понятно, что въ кровь вносится постоянно та соль, которая преобладаетъ въ данномъ овощѣ; въ другихъ соляхъ и минеральныхъ частицахъ чувствуется недостатокъ, и этотъ недостатокъ обнаруживается въ томъ, что намъ надоѣдаетъ и пріѣдается одна и та-же приправа, и мы съ удовольствіемъ принимаемся за что-нибудь новое. Напр., въ рѣпѣ мало желѣза, а въ шпинатѣ его очень много; если на вашемъ столѣ въ продолженіи трехъ дней будетъ появляться рѣпа, то на четвертый день вы съ удовольствіемъ увидите шпинатъ, именно потому, что онъ способенъ пополнить возникшій въ крови недостатокъ желѣза.

Мы видимъ такимъ образомъ, что главное назначеніе принимаемой пищи состоитъ въ томъ, чтобы поддерживать въ нашемъ организмѣ необходимое количество и нормальный химическій составъ крови. Очевидно, что не только качество, но и количество пищи должно быть въ этомъ случаѣ принято въ соображеніе. Какъ бы ни была пища питательна и удобоварима, но если ея такъ мало, что она не покрываетъ расходовъ нашего тѣла, то мы постоянно будемъ терять больше, чѣмъ будемъ получать; сводить концы съ концами будетъ невозможно, и всѣ наши жизненные отправленія будутъ страдать отъ недостаточнаго питанія. Бѣлковина, заключающаяся въ крови, постепенно перегораетъ и, превращаясь въ мочевины, въ мочевую кислоту, въ углекислоту и въ воду, выбрасывается изъ нашего тѣла разными каналами и путями. Жиръ и вещества, служащіе къ его образованію, также выдѣляются въ формѣ воды и углекислоты. Съ каждымъ выдыханіемъ выходитъ изъ нашего тѣла извѣстная часть пережженной бѣлковины и пережженного жира. Каждый разъ, когда мы испражняемся, съ нашими испражнениями выходитъ желчная кислота, образовавшаяся изъ жира. Каждый разъ, когда мы выпускаемъ мочу, изъ нашего тѣла выдѣляются разныя соли и минеральныя частицы. Втеченіи 24 часовъ различныя выдѣленія и испраженія уменьшаютъ вѣсъ нашего тѣла на  $\frac{1}{14}$  часть. Этотъ ущербъ долженъ быть пополненъ, если мы на завтрашній день желаемъ сохранить ту сумму силъ, которою владѣли сегодня. Около четвертой части понесеннаго ущерба покрывается тѣмъ количествомъ кислорода, который мы вдыхаемъ въ атмосферномъ воздухѣ; остальные три четверти должны быть пополнены пищей и питьемъ.

Такимъ образомъ, чтобы не почувствовать ослабленія, мы должны втеченіи сутокъ принимать такое количество питательныхъ веществъ, котораго вѣсъ былъ немного больше  $\frac{1}{19}$  части вѣса всего нашего тѣла. Если предположить, что въ вашемъ тѣлѣ 4 пуда вѣса, то вы втеченіи сутокъ должны принимать пищи отъ  $8\frac{1}{2}$  до 9 фунтовъ; если вы цѣлыя сутки пробудете на одномъ мѣстѣ въ совершенномъ спокойствіи, то количество выдѣленій будетъ меньше, и меньшее количество пищи будетъ въ состояніи поддержать вашу жизнь и вѣсъ вашего тѣла. Но мы ѣдимъ не для того, чтобы жить, говоритъ Молешотъ. «Наука, конечно, интересуется тѣмъ, при какой діетѣ чело-вѣкъ можетъ не умереть, но чело-вѣчеству важно знать то, при какой пищѣ мужчина способенъ работать, а женщина—кормить своихъ дѣтей». Чѣмъ сильнѣе работа, тѣмъ обильнѣе и питательнѣе должна быть пища. «Когда идетъ дѣло о лошадяхъ и о конской работѣ,—говоритъ Мюльдеръ,—тогда никто не сомнѣвается въ томъ,



что пища должна соответствовать работѣ. Не сѣно, а овесъ способенъ удовлетворять потребностямъ лошадиного организма, когда лошадь должна работать какъ слѣдуетъ. А при напряженной работѣ и овесъ оказывается недостаточнымъ: тогда лошадей надо кормить бобами. Лошадямъ даютъ то, что имъ необходимо! А людямъ?» (!)

Такимъ образомъ наибольшую практическую важность имѣетъ въ нашихъ глазахъ количество пищи, необходимое человѣку для того, чтобы жить полной человѣческой жизнью, чтобы работать и мыслить, чувствовать и любить, чтобы производить дѣтей и выкармливать ихъ, а не для того только, чтобы прозябать и предохранять свои органическія ткани отъ окончательнаго разрушенія. Исслѣдованія Молешота доводятъ его до слѣдующихъ результатовъ. Сумма всей пищи должна равняться 7-ми фунтамъ; на это количество приходится почти  $5\frac{3}{4}$  фунтовъ воды. Твердыхъ веществъ требуется немного больше  $1\frac{1}{4}$  фунта (125 золотниковъ); въ томъ числѣ должно быть около 25 золотниковъ бѣлковины, около 14 золотниковъ чистаго жира, около 80 золотниковъ веществъ, способныхъ превратиться въ жиръ, и около 6 золотниковъ солей и минеральныхъ частицъ.

Молешотъ допускаетъ, что отдѣльныя личности уклоняются отъ этихъ цифръ въ ту или другую сторону, но онъ утверждаетъ, что эти цифры могутъ быть смѣло приняты въ основаніе разсчета, когда дѣло идетъ о запасеніи провіанта для крѣпости или для экипажа корабля. Жиръ, сахаръ и крахмалъ могутъ замѣнять другъ друга въ этомъ разсчетѣ; но бѣлковина, которой требуется только 25 золотниковъ въ сутки, не можетъ быть замѣнена никакимъ другимъ веществомъ. Дешевая растительная пища, богатая крахмаломъ, обыкновенно бѣдна бѣлковиной, и потому количество бѣлковины въ большей части случаевъ опредѣляется собой степень питательности. Бѣлковина всего дороже, потому что ея мало и потому, что она въ достаточномъ количествѣ встрѣчается большей частью въ такой пищѣ, которая по дорогой цѣнѣ своей мало доступна рабочему классу. Изъ предметовъ растительной пищи только чечевица, бобы и горохъ содержатъ въ себѣ столько бѣлковины, что одного фунта этой пищи почти достаточно, чтобы удовлетворить въ этомъ отношеніи требованіямъ организма на цѣлыя сутки. Печенаго хлѣба надо сѣсть для достиженія той-же цѣли около 3 фунт., рису болѣе 5 фунт., картофеля 20 фунт., цвѣтной капусты 52 фунта, а грушъ 110 фунт. Питаться фруктами работнику нѣтъ никакой возможности; питаться картофелемъ тоже мудрено. Мясо, горохъ или печеный хлѣбъ одни въ состояніи поддерживать силы человѣка, доставляя ему необходимый процентъ бѣлковины. и потому,

конечно, позволительно выразить желаніе, чтобы бобы, горохъ и чечевица вытѣснили собой картофель, занимающій самое почетное мѣсто въ пропитаніи неимущихъ классовъ Ирландіи и Германіи. Такого рода измѣненіе могло бы повести за собой улучшеніе породы, укрѣпленіе народнаго здоровья и возвышеніе національнаго самосознанія. Значеніе употребляемой пищи въ развитіи историческихъ событій до сихъ поръ еще не было достаточно принято въ соображеніе, и даже Бокль выразилъ насчетъ этого предмета однѣ догадки, которыя ожидаютъ еще въ будущемъ опроверженія или подтвержденія.

Мы видѣли выше, что здоровый человѣкъ втеченіи 24 ч. долженъ принять около семи фунтовъ пищи; эта средняя величина измѣняется, смотря по времени года, смотря по полу и возрасту субъекта и смотря по той степени напряженія, которой требуетъ отъ него его работа. Зимой мы ѣдимъ больше, чѣмъ лѣтомъ, если только предположить, что дѣятельность наша остается одинаковой; зимой мы больше, чѣмъ лѣтомъ, выдыхаемъ углекислоты и выдѣляемъ мочи. Расходъ черезъ это увеличивается, и сообразно съ этимъ долженъ увеличиваться и приходъ. Каждый замѣчалъ, что аппетитъ уменьшается во время сильныхъ лѣтнихъ жаровъ; въ это время организмъ нашъ собственными средствами развиваетъ меньшую степень животной теплоты, пережигаетъ меньшее количество бѣлковины и жира и потому нуждается въ меньшемъ количествѣ топлива. Праздность значительно уменьшаетъ скорость обменъ матеріи. Люди богатые, не привычные ни къ физической, ни къ умственной работѣ, обыкновенно не въ мѣру толстѣютъ, страдаютъ приливами крови, жалуются на недостатокъ аппетита и стараются расшевелить его искусственными средствами и замысловатыми приправами. Женщины выдыхаютъ только двѣ трети того количества углекислоты, которое выдыхаютъ мужчины; вслѣдствіе этого онѣ ѣдятъ обыкновенно меньше мужчинъ. Старики выдѣляютъ также меньше взрослыхъ мужчинъ, и этимъ обстоятельствомъ объясняется то уменьшеніе аппетита, которое обыкновенно замѣчается подъ старость. Грудной ребенокъ и юноша, не достигшіи еще полнаго развитія силъ, выдѣляютъ относительно величины своего тѣла больше углекислоты и мочевины, чѣмъ взрослый мужчина. Кромѣ того и ребенокъ, и юноша растутъ, слѣдовательно приходъ долженъ превышать расходъ, потому что только избытокъ принимаемой пищи даетъ матеріалы для увеличенія объема тѣла и для укрѣпленія всѣхъ органическихъ тканей. Стало быть, если бы мы стали опредѣлять количество пищи, необходимое для ребенка, сравнивая размѣры его тѣла съ размѣрами нашего. то мы рисковали бы за-



морить его голодомъ и во всякомъ случаѣ значительно остановили бы его ростъ. Во-первыхъ, ребенокъ выделяетъ сравнительно больше взрослого, во-вторыхъ, онъ растетъ, следовательно по этимъ двумъ причинамъ нуждается въ большемъ количествѣ пищи, чѣмъ нуждался бы карликъ зрѣлаго возраста и одинаковой величины съ нашимъ субъектомъ. «Съ того дитя растетъ», говорятъ русскія няньки, видя, что окружающіе удивляются аппетиту ихъ питомцевъ. Здѣсь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, данныя науки оправдываютъ народное изреченіе, основанное на непосредственномъ опытѣ. Если ребенокъ не приученъ къ лакомствамъ, и если онъ требуетъ себѣ простой пищи, то можно давать ему столько, сколько онъ пожелаетъ. Неиспорченная природа не потребуетъ лишняго и не создастъ себѣ искусственныхъ нуждъ. Животныя объѣдаются очень рѣдко, и нѣтъ причины думать, чтобы ребенокъ, не избалованный воспитаніемъ, составилъ въ дурную сторону исключеніе изъ общаго правила.

## VI.

Вопросъ о сравнительной цѣнѣ съѣстныхъ припасовъ съ каждымъ десятилѣтіемъ становится существеннѣе и важнѣе. Въ Западной Европѣ, въ Англіи, во Франціи и въ Германіи, при густомъ и постоянно возрастающемъ населеніи, пролетаріи обращаютъ на себя вниманіе государственныхъ людей и ученыхъ, социалистовъ и филантроповъ. Вѣдь нельзя-же цѣлымъ тысячамъ работниковъ и работницъ оставаться безъ куска хлѣба, нельзя-же имъ умирать голодной смертью, а между тѣмъ нельзя-же требовать, чтобы хлѣбъ, овощи и мясо составляли общую собственность, подобно тому, какъ составляютъ общую собственность атмосферный воздухъ, солнечный свѣтъ и рѣчная вода. Надо, стало-быть, подумать о томъ, чтобы неимущіе могли собственными руками зарабатывать себѣ здоровую пищу, которая могла бы сообщать ихъ мышцамъ силу для новой работы, а ихъ мозговымъ нервамъ—живую бодрость и постоянно обновляющійся притокъ надежды. Въ 1679 году Папинъ предложилъ готовить пищу изъ костей; кости эти подвергались сильному давленію, вываривались въ кипяткѣ и превращались такимъ образомъ въ клей или студень. Обстоятельства замяли проектъ Папина, но когда французская революція выдвинула впередъ вопросъ о пролетаріяхъ, комиссія знаменитыхъ тогдашнихъ врачей получила приказаніе рассмотреть это предложеніе, остававшееся подъ спудомъ въ продолженіи цѣлаго столѣтія. Каде де-Во, Жемберна, Пелльтье, д'Арсе и другіе объявили, что кости даютъ превосходную пищу, что одинъ фунтъ костей даетъ столько навару, сколько давали

шесть фунтовъ говядины, и что супъ изъ костей во всѣхъ отношеніяхъ лучше говяжьяго бульона. Такъ называемый румфордовскій супъ, приготовленный изъ костей, былъ даже введенъ въ госпитали и въ инвалидные дома. Но больнымъ и инвалидамъ отъ этого супа не поправилось, и новой комиссіи поручено было снова рассмотреть дѣло; членами этой комиссіи были между прочими Дю-Пюитренъ и Мажанди; результаты новаго изслѣдованія были вовсе неутѣшительны. Оказалось, что румфордовскій супъ легко подвергается гніенію, что онъ не вкусенъ, обременителенъ для желудка и вовсе не такъ питателенъ, какъ мясной наваръ. Новѣйшія изслѣдованія подтвердили мнѣнія второй комиссіи, и теперь можно сказать рѣшительно, что супъ изъ костей настолько-же дороже мясного супа, насколько дурное сукно дороже хорошаго. Конечно, порцію костяного супа и аршинъ плохого сукна можно получить за меньшее количество денегъ, чѣмъ порцію мясного навару и аршинъ хорошаго сукна, но если вы примете въ соображеніе сравнительную питательность обоихъ суповъ и сравнительную прочность обѣихъ матерій, то вы увидите, что, покупая болѣе дорогую вещь, вы сберегаете деньги, потому что обезпечиваете себя отъ новыхъ тратъ на болѣе долгое время и доставляете себѣ существенную, а не воображаемую пользу.

Въ новѣйшее время, въ 1849 году, французскій ученый Мильонъ предложилъ печь хлѣбъ изъ непросѣянной муки, говоря, что отдѣляющіяся отруби уносятъ съ собою множество самыхъ питательныхъ частицъ. Комиссія, разсматривавшая вопросъ о костяхъ, бралась подарить Франціи огромное количество пропадавшей до того времени говядины. Мильонъ сулилъ Франціи такую-же громадную прибыль въ сбереженіи отрубей. «Если бы,—говоритъ онъ,—кто-нибудь вдругъ объявилъ, что ему удалось обогатить Францію на нѣсколько милліоновъ гектолитровъ очень питательной пищи, не увеличивая трудовъ земледѣльца и не отнимая ни вершка земли у какого-нибудь другого растенія; если бы этотъ человѣкъ сталъ утверждать, что эта пища въ сравненіи съ пшеничной мукой содержитъ въ себѣ больше клейковины и вдвое больше жира, и что остальныя ея части, за исключеніемъ 10 процентовъ клѣтчатки, легко превращаются въ кровь, то можно было бы подумать, что онъ бредитъ или видитъ сонъ. А между тѣмъ, эта пища дѣйствительно существуетъ, она находится въ пшеницѣ, и ее удаляютъ изъ пшеницы съ большимъ трудомъ. У пшеницы отнимаютъ значительную часть ея азота, ея жира, ея крахмала, солей, вкусныхъ и пряныхъ материаловъ для того только, чтобы освободиться отъ нѣсколькихъ тысячныхъ долей клѣтчатки». Это краснорѣчивое воззва-



нiе Мильона, напечатанное въ «Annales de chimie et de physique» за 1849 годъ, встрѣтило себя правдивое опроверженiе. «Хлѣбопашецъ и садовникъ,—пишетъ Бушарда,—люди, постоянно работающiе и находящiеся въ постоянномъ движенiи, могутъ переваривать рѣшетный хлѣбъ; отруби, заключающiяся въ этомъ хлѣбѣ, находятъ себя полезное назначенiе. Но если вы дадите этотъ хлѣбъ слабому старику, то отруби, не разложившись, пройдутъ черезъ его кишечный каналъ, потому что пищеваренiю помѣшаютъ плотность питательныхъ частицъ и тотъ слой клѣтчатки, въ которомъ онѣ заключены. Не экономнѣе-ли будетъ въ этомъ случаѣ отдать отруби и мякину рогатому скоту и получить отъ него взамѣнъ мясо и молоко, въ высшей степени полезныя для людей съ слабыми пищеварительными органами».

Солдаты, получающiе въ крѣпостяхъ рѣшетный хлѣбъ, по словамъ Молешота, часто продаютъ свой паекъ и покупаютъ себя хлѣбъ изъ просѣянной муки. Дѣло въ томъ, что только сильный желудокъ способенъ переносить рѣшетный хлѣбъ, и каждый согласится съ тѣмъ, что прiятнѣе избѣгать разстройства, нежели лечиться отъ него. «Всякiй,—говоритъ Молешотъ,—съ бѣльшимъ удовольствiемъ понесетъ деньги къ булочнику, чѣмъ къ аптекарю».

Эти два примѣра показываютъ ясно, что когда дѣло идетъ о пищѣ, то сравнительная дешевизна съѣстныхъ припасовъ опредѣляется не только той суммой денегъ, которая за нихъ заплачена. Возь соломы дешевле четверти овса, но ежели вы станете кормить вашихъ лошадей соломой, то навѣрное въ концѣ концовъ останетесь въ убыткѣ. Картофель дешевле мяса, но если вы станете питаться картофелемъ, то навѣрное придете къ неприятымъ и разорительнымъ результатамъ. Дешевымъ можно назвать то средство, которое съ наименьшими издержками ведетъ насъ къ желанной цѣли; если-же, платя ничтожную сумму, мы не достигаемъ предположенной цѣли, то мы бросаемъ деньги на вѣтеръ и угѣшаемся только тѣмъ, что бросаемъ ихъ мелкими клочками. Развѣ картофель можетъ быть названъ дешевой пищей? Развѣ онъ исполняетъ назначенiе пищи? Если онъ обманываетъ голодъ, то на это есть средства еще болѣе дешевыя: стоитъ только покрѣпче затянуть себя животъ, какъ дѣлаютъ то австралiйскiе дикари, и вы этимъ средствомъ на нѣсколько часовъ укротите мучительное чувство голода; вы не дадите новой силы вашему организму, но этого не сдѣлаетъ и картофель; вся разница въ томъ, что картофельная дiета ослабитъ и разстроитъ васъ мало-по-малу и на медленномъ огнѣ сожжетъ ваши силы, между тѣмъ какъ голодъ разрушитъ ихъ быстро и заставитъ васъ испытать острые мученiя вмѣсто хронической болѣзни. Есть-ли между тѣмъ

и другимъ чувствительная разница?—это такой вопросъ, рѣшенiе котораго совершенно зависитъ отъ вашего вкуса, если дѣло идетъ о васъ самихъ; но если вы—администраторъ или филантропъ, если вы обязаны или желаете обсуживать и рѣшать вопросы народнаго продовольствiя, тогда будьте осторожны и не рекомендуйте той или другой дешевой пищи, не справившись съ тѣмъ, насколько она питательна и здорова. Гокинсъ, познакомившiй Ирландiю съ картофелемъ, оказалъ ей плохую услугу; его можно оправдать только его невѣдѣнiемъ; привести же невѣжество въ оправданiе какого-нибудь современнаго вамъ дѣятеля было бы бессмысленно, потому что теперь физиологiя, дiететика, гигиена возвысились до степени науки; кто не знакомъ съ успѣхами науки, тотъ рѣшительно неспособенъ быть судьей въ какомъ бы то ни было важномъ вопросѣ практической жизни, тотъ рѣшительно неспособенъ быть благодѣтелемъ челоѣчества въ какомъ бы то ни было отношенiи.

Время случайныхъ открытiй миновало; усовершенствованiя вырабатываются, а не рождаются сами собою. Микроскопъ и химическiй анализъ—вотъ орудiя современнаго прогресса, и при помощи этихъ орудiй Молешотъ дошелъ до одного простаго, частичнаго, но существенно важнаго результата. Онъ доказалъ, что обработка стручковыхъ растений (чечевицы, гороха, бобовъ и фасоли) должна вытѣснить обработку картофеля. За первыми больше хлопотъ и издержекъ, но зато эти растения даютъ такую пищу, которая во всѣхъ отношенiяхъ можетъ замѣнить собою мясо, недоступное по своей цѣнѣ бѣднымъ работникамъ Западной Европы. Недостаточность картофеля, какъ главной пищи, сознается всѣми свѣдущими людьми. Съ разныхъ сторонъ слышатся предложенiя замѣнить его какимъ-нибудь заморскимъ еще не акклиматизованнымъ растенiемъ. Верро хвалитъ корни трюфелевиднаго растенiя, прозябающаго въ средней Африкѣ и извѣстнаго подъ англiйскимъ именемъ «native bread» (туземный хлѣбъ). Боскъ рекомендуетъ корни *Glucine Arios*, растущей въ Каролинѣ; Трекюль указываетъ на *Arios tuberosa*, находящуюся въ Миссури; Мульдеръ говоритъ объ обилии бѣлкины, заключающейся въ корняхъ *Ullico tuberosus*. Всѣ эти растенiя съ мудреными названiями надо еще прiучать къ европейской почвѣ, а между тѣмъ горохъ, бобы и чечевица цвѣтутъ на нашихъ глазахъ и нуждаются только въ томъ, чтобы мы расширили масштаб ихъ обработки. Простой, чисто-житейскiй совѣтъ Молешота, основанный въ то-же время на тщательномъ анализѣ составныхъ частей рекомендуемыхъ имъ растенiй, во всякомъ случаѣ долженъ былъ бы обратить на себя вниманiе европейскихъ агрономовъ.



Если мысль Молешота может быть осуществлена на дѣлѣ, то послѣдствія этого осуществленія навѣрное будутъ имѣть самое благотворное вліяніе на улучшеніе народной нравственности, на развитіе народнаго богатства, на усиленіе народной дѣятельности и предприимчивости.

## VII.

Послѣ всего, что было говорено выше, трудно сомнѣваться въ томъ вліяніи, которое оказываетъ пища на темпераментъ, направленіе и дѣятельность мысли, словомъ, на весь нравственный и интеллектуальный характеръ человѣка. Есть осязательные факты, способные убѣдить самаго необузданнаго идеалиста. Въ кузницахъ департамента Тарнъ рабочихъ постоянно кормили растительной пищей; по ежегоднымъ отчетамъ оказывалось, что каждый работникъ круглымъ числомъ проводилъ въ году 15 дней въ лазаретѣ. Въ 1833 году Талабо, назначенный главнымъ начальникомъ этихъ заведеній, ввелъ мясную пищу, и здоровье рабочихъ поправилось такъ сильно, что уже только три дня въ году приходилось на болѣзни. При этомъ нужно принять въ соображеніе то, что рабочій уходилъ въ лазаретъ тогда, когда уже чувствовалъ себя совершенно неспособнымъ къ работѣ, что онъ нѣсколько времени перемогался, работалъ черезъ силу, старался выходиться и переломить болѣзнь; окажется, что 15 дней лежанія въ больницѣ равняются нѣсколькимъ мѣсяцамъ ненормальнаго состоянія, мрачнаго и раздражительнаго расположенія духа. Здоровая пища въ пять разъ уменьшила число больничныхъ дней; ясно, что она вмѣстѣ съ тѣмъ значительно измѣнила характеръ рабочихъ; кто впятеро рѣже бываетъ боленъ, тотъ по крайней мѣрѣ вдвое веселѣе и бодрѣе, у того по крайней мѣрѣ вдвое успѣшнѣе идетъ работа, и вслѣдствіе этого вдвое больше родится надеждъ и предпріятій. Ирландцы, переселяющіеся въ Америку, часто представляютъ замѣчательные примѣры физическаго и нравственнаго превращенія. Изнуренный и органически испорченный картофельной діетой, ирландецъ лѣнивъ по слабости, вслѣдствіе химическаго состава крови, и не годится у себя дома ни на какую работу. Тотъ-же ирландецъ переѣзжаетъ въ Америку, подкрѣпляетъ свои силы сочнымъ мясомъ — и становится другимъ человѣкомъ; мускулы становятся тверже, работа идетъ успѣшнѣе; смѣлость, предприимчивость, веселая бодрость и самоуваженіе, естественныя слѣдствія здоровья и успѣшной дѣятельности, вытѣсняють мало-по-малу прежнія неутѣшительныя черты ирландскаго характера. Ирландецъ перерождается на новой почвѣ и становится другимъ человѣкомъ вслѣдствіе обильной и здоровой пищи. Различіе типовъ въ различныхъ сословіяхъ навѣрное находится въ связи съ свойствами принимаемой ими пищи.

Насколько свойства пищи имѣютъ вліяніе на особенности народнаго характера, это опредѣлять, вѣроятно, болѣе тщательныя изслѣдованія; здѣсь достаточно будетъ привести нѣсколько общихъ замѣчаній. Племена, питающіяся звѣриной ловлей, отличаются большей частью физической силой и отвагой; тѣмъ-же свойствами, хотя не въ такой степени, одарены кочевые народы, питающіеся молокомъ и мясомъ; многіе расположены искать причины этихъ свойствъ въ образѣ жизни этихъ племенъ; но при этомъ не должно забывать, что образъ жизни развивается изъ особенностей темперамента, что темпераментъ обусловливается преимущественно химическимъ составомъ крови, и что кровь вырабатывается изъ принимаемой пищи.

Невозможно отрицать вліяніе мѣстности и климата; но невозможно также не видѣть, что эти условія дѣйствуютъ уже на нѣчто данное, на существующее тѣло, и что слѣдовательно всего важнѣе вопросъ: изъ чего составилось это тѣло? Вопросъ о принимаемой пищѣ равносильнъ этому вопросу и слѣдовательно всего ближе подходитъ къ вопросу о личномъ характерѣ человѣка. «Пока яванцы будутъ питаться преимущественно рисомъ, а суринамскіе негры банановой мукой, до тѣхъ поръ они будутъ подчинены голландцамъ», говоритъ Молешотъ. «Безъ сомнѣнія, преобладаніе англичанъ и голландцевъ надъ туземцами своихъ колоній зависитъ преимущественно отъ большаго развитія мозга; мозгъ зависитъ отъ химическаго состава крови, а кровь — отъ пищи. Сравните, на примѣръ, кротость отаитянъ, питающихся плодами, съ дикостью новозеландцевъ, упивающихся кровью своихъ враговъ» («Физ. эск.»).

Въ дѣйствіи вина на организмъ и мыслительныя способности человѣка всего ярче обнаруживается наша зависимость отъ матеріи; нѣсколько рюмокъ крѣпкаго напитка измѣняютъ человѣка совершенно; если онъ былъ грустенъ, онъ становится веселъ; если онъ былъ сосредоточенъ, онъ становится общителенъ; шутки, остроты, откровенныя изліянія, внезапные порывы гнѣва, неожиданные припадки чувствительности — рядъ словъ и поступковъ, на которые тотъ-же самый человѣкъ никогда бы не рѣшился при другихъ условіяхъ, становится естественнымъ въ его собственныхъ глазахъ и понятнымъ для всѣхъ окружающихъ; всѣ говорятъ: «онъ пьянъ» и извиняють многое, чего не извинили бы трезвому. Состояніе пьянаго человѣка рѣзко отдѣляютъ отъ нормальнаго положенія; это дѣлають потому, что напряженіе силъ и нервовъ, произведенное дѣйствіемъ вина, продолжается очень недолго и вскорѣ смѣняется разслабленіемъ организма и усыпленіемъ субъекта; сверхъ того, это напряженіе рѣзко бросается въ глаза, и потому невольно



кажется намъ подозрительнымъ и какъ будто болѣзненнымъ. Но сравните между собою двухъ трезвыхъ людей: одинъ изъ нихъ хладнокровенъ и разсудителенъ, спорить спокойно, возмражаетъ мягко, дѣлаетъ жесты умѣренные и скромные; другой горячъ и впечатлителенъ, спорить съ ожесточеніемъ, кричить на васъ, машетъ руками и во всякую минуту готовъ вамъ наговорить дерзостей, въ которыхъ черезъ четверть часа будетъ просить извиненія. Если бы эти два господина А и В помѣнялись между собою ролями, вы навѣрное подумали бы, что А пьянъ, а В боленъ и потому не въ мѣру тихъ и кротокъ. Между тѣмъ А не дѣлалъ бы ничего неприличнаго; онъ только обнаруживалъ бы ту степень страстности, съ которой вы уже совершенно освоились въ В; разница между прежнимъ А и теперешнимъ показала бы вамъ поразительной только потому, что та возникла вдругъ, безъ всякихъ переходовъ и промежуточныхъ инстанцій. Если вы сегодня видѣли 10-ти-лѣтняго ребенка, который приходится вамъ по-поясъ, и черезъ четверть часа увидите, что тотъ-же самый ребенокъ приходится вамъ по плечо, то вы скажете конечно, что его поставили на ходули; но если вы увидите того-же ребенка лѣтъ черезъ пять, то васъ даже нисколько не удивитъ происшедшая въ немъ перемѣна, единственно потому, что вы видѣли или можете предположить промежуточные инстанціи. Если бы, выдаясь постоянно съ А, вы видѣли и замѣчали, что его спокойная природа становится постепенно живѣе и страстнѣе, и если бы лѣтъ черезъ пять онъ сдѣлался очень похожъ на В, то вы, вѣроятно, не стали бы объяснять дѣйствіемъ вина эту странность и впечатлительность. Вы только сказали бы, припоминая прошлое, что въ характерѣ вашего знакомаго произошла значительная перемѣна; эта перемѣна, совершившаяся внезапно, могла бы васъ озадачить и испугать; совершаясь постепенно, она васъ будетъ радовать; вы увидите въ ней признаки здоровья и возрастающей силы. Слабая степень опьяненія оказывается такимъ образомъ усиленіемъ и ускореніемъ кровообращенія, произведеннымъ внезапно и вслѣдствіе этого продолжающимся недолго. Укрѣпляющая пища, принимаемая въ изобиліи, произведетъ при продолжительномъ дѣйствіи на организмъ тѣ-же явленія, которыя производитъ лишняя рюмка крѣпкаго вина, съ той только существенной разницей, что эти явленія будутъ нормальнымъ достояніемъ организма, а не результатомъ временнаго возбужденія.

Наша зависимость отъ вѣчныхъ свойствъ матеріи, выражающаяся рѣзко въ дѣйствіи вина на организмъ, выражается не такъ рѣзко, но зато болѣе прочнымъ образомъ въ дѣйствіи мясной и растительной пищи. Эту зависимость хорошо понимали поборники аскетизма;

воздержаніе отъ мясной пищи было необходимо для достиженія ихъ цѣлей; надо было ослабить мускулы и разводить кровь, чтобы приучить человѣка къ изнуренію плоти. Всѣ мы знаемъ по опыту, что воздержаніе отъ мясной пищи уменьшаетъ половое влеченіе; противъ этого никто не споритъ, какъ противъ существующаго факта; а допуская это обстоятельство, можно-ли долѣе сомнѣваться въ зависимости всего нравственнаго характера отъ химическаго состава пищи. Развѣ могутъ смотрѣть одними глазами на разнообразныя явленія жизни сильный и слабый, здоровый и больной, человѣкъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова и аскетъ, изуродованный образомъ жизни и питанія? Краски и звуки окружающей природы, дѣйствія и личности близкихъ людей, движенія собственной мысли и собственного чувства—словомъ, всѣ матеріалы, надъ которыми работаетъ зиждущая дѣятельность нашего мозга, представляются въ различномъ свѣтѣ этимъ двумъ діаметрально-противоположнымъ типамъ. Тамъ, гдѣ здоровый и сильный человѣкъ увидитъ только пестроту и разнообразіе явленій, привлекательную игру жизни, тамъ слабый и больной увидитъ тщету міра сего, суетность земной красоты, неразумное и незаконное уклоненіе отъ вѣчной нормы; тамъ, гдѣ первый снисходительно улыбнется, тамъ второй нахмуритъ брови; тамъ, гдѣ первый увлечется живымъ порывомъ, тамъ второй призоветъ на помощь суровыя требованія идеала; то, что первый пойметъ и оправдаетъ инстинктомъ сердца, силой чувства, то осудитъ второй педагогическимъ приговоромъ сухого разсудка, вращающагося въ ограниченной сферѣ одностороннихъ отвлеченностей.

«Сытый голоднаго не разумѣетъ», говоритъ русская пословица, и эту пословицу въ самомъ буквальномъ смыслѣ можно приложить ко всѣмъ сферамъ духовной дѣятельности человѣчества. Разладъ между сытыми и голодными, между людьми наслаждающимися и людьми страждущими продолжится до тѣхъ поръ, пока на бѣломъ свѣтѣ будутъ люди, нуждающіеся въ необходимомъ, и люди, упорно отворачивающіеся отъ наслажденія; обезпечить матеріальное существованіе первыхъ и побѣдить разумными доводами упорство вторыхъ—эти двѣ великія задачи, сознанныя уже нашей эпохой, предстоитъ окончательно рѣшить отдаленному будущему. Уничтоженіе матеріальныхъ лишеній и связанныхъ съ ними физическихъ страданій уничтожило бы большую часть общественныхъ золъ и преступленій. Каждая дикая мысль, каждое отчаянное движеніе души могутъ быть приведены въ нѣкоторую зависимость отъ неправильнаго или недостаточнаго питанія; тѣ-же обстоятельства жизни, тѣ-же столкновенія съ печальной дѣйствительностью производятъ совершенно различное впечатлѣніе на сытаго и на



голодного, на здорового и на больного. «Мы рождены изъ матеріи—говоритъ Молешотъ,—растенія, вытягивающія свойственныя имъ соли изъ земли, связываютъ насъ съ извѣстною почвой. Черты нашего лица и мысли нашего мозга имѣютъ такую-же географію, какъ и растенія. Мы не можемъ жить безъ пищи и потому не можемъ избѣжать вліянія матеріи, распространяющагося изъ кишечнаго канала черезъ кровь во все части нашего тѣла при каждомъ кускѣ пищи, который мы проглатываемъ» («Phys. Skizz.»).

Связанный такимъ образомъ съ почвой, на которой онъ живетъ, человѣкъ господствуетъ надъ этой почвой, умѣя выбирать себѣ именно то, что ему нравится и что онъ признаетъ для себя необходимымъ. Не ограничиваясь простымъ утоленіемъ голода и жажды, человѣкъ создаетъ себѣ потребности, которыя можно было бы назвать искусственными, если бы онѣ не проявлялись одновременно у всѣхъ народовъ земного шара, и если бы какой-то непосредственный инстинктъ не указывалъ этимъ народамъ на разнообразныя средства, удовлетворяющія этимъ потребностямъ. Стремленіе къ наркотическимъ веществамъ существуетъ у аравитянъ и у гренландцевъ, у негровъ и у европейцевъ, у индусовъ и у американскихъ индійцевъ. Сибирскіе дикари пьютъ настой мухомора; турки курятъ табакъ и опиумъ; мы пьемъ чай, кофе, пиво, вино и курумъ табакъ; индусы жуютъ бетель, перуанцы—коку; негры готовятъ вино изъ пальмоваго сока, киргизы—изъ кобыльаго молока: всѣ безъ исключенія находятъ возможность какимъ-нибудь снадобьемъ привести себя въ возбужденное состояніе. Колоритъ этого возбужденія измѣняется, смотря по свойствамъ принятаго вещества, смотря по силѣ приѣма и по комплекціи принимающаго субъекта.

Между тѣмъ галлюцинаціями, которыя возбуждаютъ опиумъ и гашишъ, и тѣмъ слабымъ возбужденіемъ, которое доставляетъ чашка крѣпкаго чаю, — лежитъ множество промежуточныхъ отгѣнковъ. Сильное напряженіе нервовъ, порождаемое опиумомъ и гашишемъ, ведетъ за собою всеобщее расслабленіе и страданіе; крѣпкій чай производитъ только бѣшеніе сердца и очень медленно разстраиваетъ нервную систему; поэтому опиумъ и гашишъ употребляютъ на Востокѣ люди, готовые за нѣсколько минутъ жгучаго наслажденія заплатить годами страданій; чай и кофе, напротивъ того, пьютъ европейцы, съ величайшею осторожностью и бережливостью тратящіе силы. Генрихъ Кенигъ говоритъ, что кофе принадлежитъ католикамъ, а чай—протестантамъ. Дѣйствительно, тщательныя наблюденія показали, что кофе развиваетъ силу воображенія, а чай изощряетъ критическую способность ума; въ сѣверной Германіи преобладаетъ чай, въ южной—

кофе. Движеніе идей, начавшееся въ XVIII столѣтіи, совпадаетъ съ введеніемъ въ Европѣ чая и кофе во всеобщее употребленіе; правители, боявшіеся этого движенія, запирали кофейныя дома, служившіе сборнымъ мѣстомъ для людей, интересовавшихся политическими вопросами; такъ распорядился Карлъ II, но эта полицейская мѣра не принесла особенной пользы династіи Стюартовъ и не остановила даже распространенія чая и кофе.

Видѣть въ употребленіи чая или кофе причину того или другого политическаго переворота было бы, конечно, смѣшно, но вотъ съ какой стороны можно посмотрѣть на дѣло: если бы народонаселеніе какого-нибудь государства вмѣсто стакана чая выпивало утромъ и вечеромъ по стакану пива, то у большей части жителей нервы сложились бы какъ-нибудь иначе; не было бы той впечатлительности, той подвижности, той раздражительности, которую возбуждаетъ чай; мозговые нервы воспріимчивѣ остальныхъ нервовъ и прежде другихъ испытываютъ на себѣ вліяніе наркотическихъ веществъ; очень понятно, что въ мозговыхъ нервахъ и выразилось бы всего сильнѣе дѣйствіе пива или чая. Скорость и послѣдовательность въ развитіи идей, вліяніе воспріятой идеи на поступки, словомъ, логика и практическая философія народа всего замѣтнѣе могутъ измѣниться отъ того, что одинъ наркотическій напитокъ будетъ замѣненъ другимъ. Представьте же себѣ, что въ государство это проникаетъ какая-нибудь новая, общечеловѣческая идея: скоро-ли она распространится, встрѣтитъ-ли себѣ горячее сочувствіе, найдется-ли критическое опроверженіе, явятся-ли въ отношеніи къ этой идее фантастическіе адепты или благоразумные цѣнители,—все это такіе вопросы, на которые можно отвѣчать приблизительно вѣрно только въ томъ случаѣ, если мы будемъ знать главныя особенности народной логики или, проще, если мы будемъ знать свойства мозговыхъ нервовъ отдѣльныхъ гражданъ. На положеніе этихъ нервовъ имѣютъ несомнѣнное вліяніе употребительныя наркотическіе напитки. Стало быть, эти-же напитки имѣютъ нѣкоторую долю вліянія на судьбу то й или другой великой идеи.

«Посредствомъ кофе,—говоритъ Молешотъ,—точно такъ-же, какъ посредствомъ пароходовъ и электрическихъ телеграфовъ, пускается въ обращеніе рядъ мыслей, возникаетъ теченіе идей, проэктовъ и предпріятій, которые всѣхъ увлекаютъ за собою». Не одинъ историкъ-министръ придетъ въ негодованіе при мысли о міровомъ значеніи чая или кофе; употребляя слова «духъ времени, требованія эпохи, настроеніе умовъ», онъ не думаетъ и не гадаетъ, что въ основѣ всѣхъ этихъ высокихъ представленій лежатъ часто матеріальныя причины, которыя еще ждуть себѣ правильной оцѣнки. Развитіе



промышленности, путей сообщенія, торговли и зерства и подавляющаго мистицизма. Веселѣе военнаго дѣла принимаются въ соображеніе и считаются существенными чертами въ прогрессѣ народностей и въ совершенствованіи всего человѣчества. Когда рѣчь заходитъ о выборѣ и приготовленіи пищи, т. е. о построеніи нашего собственнаго тѣла, тогда мы улыбаемся или дѣлаемъ гримасу, относимся къ изслѣдованію, какъ къ безвредной шуткѣ, или осуждаемъ его, какъ неумѣстный парадоксъ. Наши историки говорятъ о тѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, которыя клонятся къ тому, чтобы доставить нашему тѣлу извѣстнаго рода комфортъ, избытокъ и частости жизненнаго наслажденія, и ничего не говорятъ о томъ, изъ чего слагалось это тѣло, и какъ съ теченіемъ времени совершенствовались и очищались эти строительные матеріалы. Эта странная непоследовательность извиняется съ одной стороны молодостью естественныхъ наукъ, не успѣвшихъ еще занять свое мѣсто въ ряду руководящихъ знаній исторіи, съ другой стороны — бѣдностью историческихъ свидѣтельствъ о пищѣ различныхъ народовъ и различныхъ сословій. Теперь интересъ къ естественнымъ наукамъ пробуждается, мелочи перестаютъ считаться бесполезными и незанимательными, анализъ подробностей разрушаетъ туманныя теоріи и звонкія фразы, и зданіе антропологіи, надъ фундаментомъ котораго работаютъ люди, подобные Фохту и Молепшоту, основывается на твердыхъ фактахъ, на неопровержимыхъ данныхъ непосредственнаго опыта и точнаго наблюденія.

Надѣюсь, что, прочитавъ эти страницы, наша публика согласится съ тѣмъ, что изслѣдованія Молепшота о съѣстныхъ припасахъ, представленныя въ популярной формѣ, заслуживаютъ полнаго вниманія всякаго образованнаго человѣка и могутъ имѣть самое благотворное вліяніе на дѣятельность молодой, формирующейся мысли, сбрасывающей оковы рутиннаго фра-

жить, легче дышать, когда вмѣсто призраковъ и отвлеченностей видишь осязательныя явленія и сознаешь какъ свою зависимость отъ нихъ, такъ и свое господство надъ ними. Я беру въ руки топоръ и знаю, что могу этимъ топоромъ срубить себѣ домъ или отрубить себѣ руку; я держу въ рукѣ бутылку и знаю, что налитое вино можетъ доставить мнѣ умѣренное наслажденіе или довести меня до уродливыхъ нелѣпностей; въ каждой частицѣ матеріи лежитъ и наслажденіе, и страданіе; все дѣло въ томъ, чтобы знать ея свойства и умѣть ими пользоваться, какъ мы умѣемъ пользоваться топоромъ и виномъ; чѣмъ шире и глубже становятся наши знанія, тѣмъ полнѣе и безслѣднѣе расплываются въ ничто неуклюжіе призраки Ормузда и Аримана, пугавшіе довѣрчивое дѣтство отдѣльных личностей и цѣлыхъ народовъ. Газы, соли, кислоты, щелочи соединяются и видоизмѣняются, дробятся и разлагаются, кружатся и движутся безъ цѣли и безъ остановки, проходятъ черезъ наше тѣло, порождаютъ новыя тѣла — и вотъ вся жизнь, и вотъ исторія. Но формы для насъ дороже матеріала; мы любимъ и ненавидимъ только формы, сражаемся за формы и противъ формъ, и потому въ исторіи, конечно, слѣдимъ за развитіемъ и увяданіемъ формъ, а не матеріала, потому что матеріаль въчѣнъ, неизмѣненъ. Это естественно, но, изучая формы, надо-же знать и матеріалы, хотя бы для того, чтобы опредѣлить, насколько дорогія намъ формы зависятъ отъ свойствъ матеріала, хотя бы для того, чтобы овладѣть матеріаломъ и располагать имъ по своему благоусмотрѣнію. Изученіе матеріала и изученіе формъ, естественныя науки и гуманныя, химія и исторія должны идти рука объ руку и сознать въ себѣ потребность соединенія, хотя самое соединеніе относится также къ области будущаго.

## ПРОЦЕССЪ ЖИЗНИ.

Физиологическія письма *Карла Фохта*.

(„Physiologische Briefe“ von Carl Vogt).

### I.

Представьте себѣ, что вамъ приходится описывать очень сложную машину съ замысловатымъ внутреннимъ устройствомъ, которое непременно должно находиться во время дѣйствія снаряда въ плотно закупоренномъ ящикѣ, чтобы не подвергнуться разлагающему вліянію

атмосфернаго воздуха, чтобы не отсырѣть, не засориться и не придти въ негодность. Представьте себѣ, что эта машина приводится въ движеніе не одними механическими средствами (т. е. не только колесами, гирями, шестернями и цѣпочками), а кромѣ того химическими соединеніями и разложеніями, совершающимися внутри снаряда. Чтобы дать читателямъ какое-



нибудь понятіе объ этой сложной машинѣ, вамъ поневолѣ придется описывать ее по частямъ, представлять ее въ разрѣзѣ, вынимать изъ нея отдѣльныя колеса и гири, разсматривать химическіе агенты, словомъ, разрушать ту общую связь, которая необходима для успѣшнаго дѣйствія снаряда. Вамъ придется утомлять вниманіе читателя мелкими подробностями, которыхъ необходимость нѣсколько времени будетъ оставаться для него непонятной; въ то время, когда читатель будетъ требовать отъ васъ общаго, идеи снаряда, вы будете принуждены говорить ему о дѣйствіи того или другого блока, о свойствахъ той или другой щелочи. Въ такомъ-то непріятномъ положеніи находится фзіологъ, пытающійся сообщить публикѣ въ популярной формѣ главные результаты новѣйшихъ изслѣдованій, касающихся человѣческаго организма. Конечно, никакая машина не можетъ интересовать насъ такъ сильно, какъ интересуется насъ наше собственное тѣло. Но зато какая-же машина сложностью своего внутреннего устройства можетъ сравниться съ животнымъ организмомъ? Какая машина представляетъ наблюдателю такія, на первый взглядъ непреодолимая, препятствія? Мы хотимъ видѣть машину въ полномъ ходу,—это оказывается невозможнымъ. Какъ только мы попытаемся какимъ-нибудь способомъ раскрыть дверцу, чтобы бросить любопытный взглядъ на внутреннее устройство, такъ это внутреннее устройство оказывается насильственно измѣненнымъ; гармонія нарушена, и намъ остается только догадываться, какъ было прежде, до той минуты, когда мы разорвали живую связь органическихъ тканей.

О тѣхъ временахъ, когда предразсудокъ мѣшалъ врачамъ анатомировать трупы, нечего и говорить; въ тѣ времена фзіологія не существовала, какъ наука; тогда приходилось любознательному врачу рѣзать кошекъ, собакъ, кроликовъ и по аналогіи возсоздавать внутреннее устройство человѣческаго тѣла; зато тогда медицина опиралась на магію; поле этихъ двухъ наукъ не можетъ быть разграничено, и многіе знаменитые врачи за излишнюю догадливость попадали въ тюрьму священной инквизиціи и умирали на кострахъ. Теперь измѣнились препятствія, измѣнились опасности, угрожающія фзіологу; наука далеко подвинулась впередъ, но и теперь еще она нуждается почти въ оправданіи, въ извиненіи въ глазахъ той массы, которая именно всего болѣе нуждается въ знаніяхъ и которая уже потому, что знаетъ грамотѣ, была бы дѣйствительно способна усвоить себѣ результаты изслѣдованія. Теперь добросовѣстный и талантливый изслѣдователь рискуетъ остаться непрочитаннымъ только потому, что онъ не забѣгаетъ впередъ фактовъ, не строитъ скороспѣлыхъ теорій, не возвы-

шается преждевременно до синтетическихъ взглядовъ. Мы все еще сильно заражены наклонностью къ натурфилософіи, къ познанію общихъ свойствъ естества, основныхъ началъ бытія, конечной цѣли природы и человѣка и прочей дребедени, которая смущаетъ даже многихъ специалистовъ и мѣшаетъ имъ обращаться какъ слѣдуетъ съ микроскопомъ и съ анатомическимъ ножомъ. Теоріи фзіологіи растутъ какъ грибы подъ руками плодовитыхъ писателей; медицина кидается на эти теоріи, прилагаетъ ихъ къ дѣлу, едва провѣривъ степень ихъ основательности; является путаница, практическія ошибки, отзываются сотнями смертныхъ случаевъ, сотнями и тысячами неудачныхъ леченій. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, иначе объяснить появленіе на нашихъ глазахъ разныхъ противорѣчивыхъ системъ леченія, гомеопатіи, гидропатіи, магнитическаго, электрическаго, гальваническаго леченія? Если все это не одно чистое шарлатанство, что предположить какъ-то совѣстно, то это продукты скороспѣлыхъ теорій, а скороспѣлыя теоріи—остатокъ средневѣковой методы восходить къ началу всехъ началъ, когда знаешь факты изъ пятого въ десятое, и когда почва еще колыхнется подъ ногами.

Естественныя науки не то, что исторія, со-всѣмъ не то, хоть Бокль и пытается привести ихъ къ одному знаменателю. Въ исторіи все дѣло въ возрѣніи, въ гуманной личности самого писателя; въ естественныхъ наукахъ все дѣло въ фактѣ; если бы Маколей ошибся сто разъ въ фактическомъ разсказѣ событій, и тогда бы его произведенія имѣли для насъ несравненно болѣе прелести, болѣе жизненной полноты и человѣческаго достоинства, чѣмъ творенія какого-нибудь Капфига или Миркура, хотя бы эти господа не ошиблись ни въ одномъ годѣ, ни въ одной генеалогической подробности. Разсматривая прошедшую жизнь человѣчества, я неперемѣнно становлюсь къ ея проявленіямъ въ тѣ или другія отношенія; если же у меня нѣтъ никакихъ отношеній къ прошедшимъ событіямъ, тогда становится непонятнымъ, для чего-же я ихъ разсказываю. Лѣтописецъ записываетъ для того, чтобы событія не пропали для потомства. А историкъ такой причины въ наше время привести нельзя. Лѣтописи не пропадутъ; онѣ хранятся въ библіотекахъ и архивахъ, за замками и запорами. Стало быть, если я беру эти лѣтописи, то для того, чтобы сказать что-нибудь по поводу событій, а не для того, чтобы пересказать событія, иначе и Семевского придется зачислить въ русскіе историки. Исторія есть осмысленіе событія съ личной точки зрѣнія автора; каждая политическая партія можетъ имѣть свою всемірную исторію и дѣйствительно имѣетъ ее, хотя, конечно, не все эти исторіи записаны, точно такъ-же, какъ всякая философская школа имѣетъ свой фило-



софскій лексиконъ. Исторія есть и всегда будетъ теоретическимъ оправданіемъ извѣстныхъ практическихъ убѣжденій, составившихся путемъ жизни и имѣющихъ свое положительное значеніе въ настоящемъ. Объ естественныхъ наукахъ этого, конечно, нельзя сказать; природѣ нѣтъ никакого дѣла до того, какъ вы объ ней думаете; если вы ошиблись, она васъ помнетъ или совсѣмъ раздавитъ, какъ помнетъ или раздавитъ васъ колесо огромной машины, къ которой вы подошли слишкомъ близко во время ея полного хода. Изучая природу, вы имѣете дѣло съ слѣпыми силами, но съ силами громадными, постоянно дѣйствующими, которыя не поддадутся для васъ ни вправо, ни влѣво. Управлять вы ими можете, но для этого вы должны *знать* ихъ, а не составлять себѣ объ нихъ произвольныя теоретическія понятія. Каждая естественная наука имѣетъ свои практическія приложенія; отъ степени развитія этихъ практическихъ приложеній зависитъ вся наша жизнь; самосохраненіе, удобства жизни, наслажденія—все это возможно только при знаніи окружающей природы; тутъ ужъ на теоріи далеко не уѣдешь.

Цѣль естественныхъ наукъ—никакъ не формированіе міросозерцанія, а просто увеличеніе удобствъ жизни, расширеніе и расчищеніе того русла, въ которомъ текутъ наши интересы, занятія, наслажденія, словомъ, все то, что мы называемъ жизнью. Для естествоиспытателя нѣтъ ничего хуже, какъ имѣть міросозерцаніе. Если вы думаете, что Фохтъ, Мошотъ и другіе подобные имъ имѣютъ міросозерцаніе, то вы сильно ошибаетесь. Эти люди просто настолько сильны умомъ, что откинули всѣ бредни, которыми наслаждались, а подчасъ и пугали себя окружающія ихъ взрослые дѣти въ очкахъ, въ парикахъ, съ бородами и бакенбардами. Они рѣшились каждую вещь брать въ руки, осматривать, класть ее подъ микроскопъ, опускать въ кислоту и потомъ сообщать публикѣ описанія своихъ опытовъ съ рисунками и чертежами; какъ люди, способные работать мозгомъ, они, конечно, видѣли нѣкоторую связь между наблюдаемыми явленіями и даже старались находить эту связь, располагая свои наблюденія въ извѣстной послѣдовательности; общихъ результатовъ они не нашли еще, потому-ли, что ихъ вовсе нѣтъ, или-же потому, что фактическая часть науки еще малоизвѣстна; какъ бы то ни было, по своей теоріи міра они не построили, и въ этомъ, вообразите себѣ, и состоитъ величайшая ихъ заслуга. Когда люди, расположенные строить теоріи міра, берутся за изученіе природы, то они дѣлаются Сведенборгами или Экартсгаузенами, или-же, по крайней мѣрѣ, подобно Мильну-Эдвардсу, превращаютъ природу въ спеціалиста политической экономіи. Мнѣ всегда приходило въ голову, что

подобные господа положительно не поняли своихъ наклонностей и способностей. Въ нихъ творчество положительно преобладаетъ надъ любознательностью. Имъ бы слѣдовало усвоить себѣ изящную форму изложенія и писать романы, повѣсти, поэмы, лирическія мелочи, все, что угодно, только никакъ не ученныя изслѣдованія. Оно, конечно, пріятно смотрѣть на природу какъ на кучку пестрыхъ камешковъ, изъ которыхъ можно сложить красивую, пеструю мозаику, но вѣдь надо-же себя поставить на мѣсто тѣхъ людей, которые желали бы видѣть, какъ эти пестрые камешки лежатъ не въ книгѣ неудавшагося поэта, а на самомъ дѣлѣ, въ живой дѣйствительности. Зачѣмъ-же этихъ людей вводить въ заблужденіе заглавіемъ книги? Если бы на оберткѣ было написано: *Фантазія такого-то о природѣ, въ стихахъ и прозѣ*, то, можетъ быть, эти люди и въ руки не взяли бы этого произведенія.

Да, строители теорій или, что то-же, неудавшіеся поэты надѣлали много вреда; они, напримѣръ, до такой степени извратили понятія и вкусъ публики, что публика требуетъ отъ изслѣдованій натуралистовъ—направленія. Ради Бога, господа, вникните въ безобразіе этого требованія: направленія отъ натуралистовъ. Я поясню это требованіе короткимъ разсказомъ дѣйствительнаго происшествія. Мнѣ случилось разговаривать о Мошотѣ съ однимъ знакомымъ мнѣ современно развитымъ гуманистомъ. Мой собесѣдникъ упрекнулъ Мошоту въ аристократизмѣ. Я пришелъ въ недоумѣніе и ждалъ, что-то будетъ. Помилуйте, продолжалъ гуманистъ, онъ придаетъ такое значеніе пищѣ, что по его теоріи выйдетъ такъ: кто хорошо ѣдаетъ, тотъ и силенъ, и уменъ, а тотъ, у котораго рѣдко бываетъ во щахъ кусокъ мяса, стало быть, дрянъ. Мой знакомый долго продолжалъ говорить на эту тему, но направленіе его рѣчи уже намѣчено, и потому я его оставлю въ сторонѣ. Что же касается до Мошоты, его конечно защищать мудрено. Онъ виноватъ безъ оправданія! Какъ онъ смѣлъ, вопреки гуманнымъ тенденціямъ вѣка, доказывать, что мясная пища даетъ силы мускуламъ и мозгу, а растительная заставляетъ организмъ почти исключительно заниматься пищевареніемъ! Можно было бы возразить пожалуй, что для бѣдныхъ ирландцевъ было бы полезнѣе, если бы филантропы поменьше восторгались ихъ патріархальными добродѣтелями и побольше заботились о замѣненіи картофеля чечевицею и горохомъ. Но филантропы такого возраженія не примутъ: если вы скажете, что народъ грубъ, они обвинятъ васъ въ негуманности; если вы скажете, что порода измелъчала и испортилась отъ дурной пищи и дурного образа жизни, они обвинятъ васъ въ кощунствѣ. Преклоняйтесь предъ народной правдой, уважайте даже народныя



щи да кашу и не вѣрьте Мошешоту, котораго, по выраженію Полонскаго, изучаетъ самъ чортъ,—вотъ что скажутъ вамъ филантропы, гуманисты, которые всѣ болѣе или менѣе под- ходятъ подъ типъ неудавшихся поэтовъ.

## II.

Фохтъ не поэтъ; его фізіологическія письма написаны безъ міросозерцанія; съ міромъ онъ и не имѣетъ дѣла, онъ старается описать понятнымъ языкомъ главныя органическія от- правленія, образующія собою тотъ страшно сложный процессъ, который мы называемъ про- стымъ, общезвѣстнымъ словомъ жизнь. Вся книга Фохта состоитъ изъ отдѣльныхъ подроб- ностей и исчерпывается, насколько это теперь возможно, только одну сторону жизни, расти- тельную жизнь (*das vegetative Leben*). Въ книгѣ Фохта говорится только о томъ, какъ поддерживается органическая жизнь, т. е. какъ обращается кровь, какъ совершается процессъ дыханія, какъ принимается и переваривается пища. Цѣлая, огромная сторона жизни остается еще нетронутой; о жизни животной, т. е. о воспріятіи и переработкѣ впечатлѣній, о дѣя- тельности нервной системы, въ этомъ томѣ еще не сказано ни слова. Говоря о различныхъ от- правленіяхъ растительной жизни (т. е. той жизни, которая составляетъ общее достоиніе растений и животныхъ), Фохтъ принужденъ бо- роться съ рутиной и скрытымъ мистицизмомъ прежнихъ фізіологовъ. Говорить-ли онъ о кро- вообращеніи, о дыханіи или о пищевареніи, ему вездѣ приходится еще *доказывать*, что всѣ эти процессы совершаются по простому сиѣпле- нію физическихъ и химическихъ законовъ, безъ всякаго вмѣшательства посторонней, таинствен- ной силы. Эту таинственную силу прежніе фи- зіологи называли жизненной силой. Гдѣ кон- чались предѣлы ихъ наблюденій, тамъ они вмѣ- сто того, чтобы откровенно сказать: не знаю, говорили: здѣсь начинается дѣйствіе жизненной силы.

«Жизненная сила,—говоритъ Фохтъ,—при- надлежитъ къ числу тѣхъ заднихъ дверей, ко- торыхъ такъ много въ наукѣ и которыя всегда будутъ убѣжищемъ праздныхъ умовъ; вмѣсто того, чтобы потрудиться да изслѣдовать то, что на первый взглядъ кажется непостижимымъ, эти умы довольствуются тѣмъ, что дивятся ка- жущемуся чуду. Медицина въ этомъ отношеніи особенно избѣгательна. Боже милостивый! Что бы случилось съ медицинской практикой, если бы не было подъ руками терминовъ: ревма- тизмъ, ипохондрія и истерія, этихъ трехъ кла- довыхъ, въ которыя мы сваливаемъ все то, о чемъ не имѣемъ точныхъ свѣдѣній? Когда не знали электричества, тогда считали громъ явле- ніемъ сверхъестественнымъ; но чѣмъ дальше

шли впередъ въ познаніи природы, тѣмъ болѣе исчезало таинственное и чудесное. То-же явле- ніе совершалось и въ фізіологіи; жизненная сила есть тотъ неизвѣстный, тотъ *x*, который стоитъ вездѣ въ глубинѣ сцены и постоянно увертывается, когда его хотятъ схватить; цар- ство этого неизвѣстнаго отодвигается назадъ и въ глубь, по мѣрѣ того какъ наука прони- каетъ впередъ съ своимъ факеломъ. Еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія не было ни одного отправления нашего тѣла, въ которомъ этотъ неизвѣстный элементъ жизненной силы не игралъ бы значительной роли:—теперь ссылка на жизненную силу для объясненія наблюдаемаго факта не имѣетъ уже никакого научнаго зна- ченія; она будетъ просто описательнымъ выра- женіемъ невѣднія». Итакъ, жизненной силы, какъ чего-то самостоятельнаго, неразлагаемаго, не существуетъ; послѣдній оплотъ невѣжества разрушенъ; маска сорвана съ мистицизма, и изслѣдователи смотрятъ на природу вниматель- но, но просто, безъ суевѣрнаго благоговѣнія, безъ институтской мечтательности.

Иные скажутъ, пожалуй, что это и есть на- правленіе изслѣдованія. Господа, помилосер- дуйте! Неужели человекъ, говорящій самому себѣ: смотри въ оба, не зѣвай по сторонамъ, не ври глупостей, — вслѣдствіе этого предста- вляется вамъ адептомъ извѣстной школы? Тогда вы должны будете сознаться, что и здравый смыслъ, и нормальный глазъ тоже принадле- жать не здоровымъ людямъ вообще, а привер- женцамъ того или другого ученія. Впрочемъ, и это бываетъ. Когда я въ одной критической статьѣ выразилъ сомнѣніе въ необходимости идеаловъ, то мнѣ замѣтили въ «Сѣверной Пче- лѣ», что я только подставляю вмѣсто суще- ствующихъ идеаловъ свой идеальчикъ; вотъ видите-ли, отсутствіе идеаловъ и безграничная свобода личности, формулирующаяся русской пословицей: «кто во что гораздъ» или «вся- кій молодецъ на свой образецъ», какъ же- лаемое состояніе человѣчества, показались мое- му рецензенту новымъ идеаломъ. Если такъ смо- трѣть на вещи, тогда, конечно, и Мошешота, и Фохта придется считать идеалистами и адеп- тами школы: они отрицаютъ всякія предвзя- тия теорій, освобождаются отъ всякихъ пред- убѣжденій. Ну, что жъ? это отрицаніе и есть, стало быть, ихъ теорія. Спорить съ подобнымъ мнѣніемъ не стоитъ уже потому, что оно ни- сколько не измѣняетъ сущности дѣла, а спо- рить изъ-за словъ

Есть тѣмъ охотниковъ.—  
Я не изъ ихъ числа.

## III.

Приступимъ къ дѣлу. Въ процессѣ жизни можно замѣтить три главныя отправления, тѣсно, неразрывно связанныя между собою. не между



тѣмъ совершающіяся отдѣльными органами и, слѣдовательно, допускающія отдѣльное изученіе. Эти три отправленія называются кровообращеніемъ, дыханіемъ и пищевареніемъ. При остановкѣ одного изъ этихъ трехъ отправленій останавливаются и остальные; организмъ разлагается, и составныя его части возвращаются въ вѣчный круговоротъ вещества. Если, положимъ, отъ холода остановилось обращеніе крови, мы говоримъ, что животное замерзло; если какое-нибудь постороннее препятствіе остановило притокъ кислорода въ легкія, мы говоримъ, что животное задохнулось; если отъ недостатка питательныхъ матеріаловъ остановилось на извѣстный промежутокъ времени пищевареніе, мы говоримъ, что животное умерло съ голоду. Во всѣхъ трехъ случаяхъ прекращеніе одной изъ функцій жизненнаго процесса повело за собою прекращеніе двухъ остальныхъ и, слѣдовательно, уничтоженіе органической жизни вообще. Жизнь же есть не что иное, какъ постоянное измѣненіе матеріала при сохраненіи извѣстной формы. Я сегодня тотъ-же человѣкъ, какой былъ вчера, а между тѣмъ процессы испраженія, испаренія и выдыханія выдѣлили изъ моего тѣла матеріалы, входившіе вчера въ его составъ; въ то же время процессы принятія пищи и вдыханія воздуха внесли въ мое тѣло частицы, которыхъ въ немъ не было вчера. Если я теряю способность выдѣлять или воспринимать, я, вмѣстѣ съ тѣмъ, теряю способность жить; запоръ, задержаніе мочи, отсутствіе аппетита и проч. составляютъ болѣзни; если эти болѣзни не будутъ устранены медицинскими средствами или дѣйствіемъ самой природы, если потерянная способность выдѣлять или воспринимать не возвратится въ свое время, организмъ непремѣнно разрушится, и мое я превратится въ черноземъ, войдетъ въ тѣло земляныхъ и другихъ червей, въ составъ травы, и вообще поступитъ въ полное распоряженіе общей кормилицы, матушки сырой земли, а духъ, конечно, воспаритъ, и т. д. Оно хоть и обидно для человѣческаго самолюбія, а дѣлать нечего! Какъ ни толкуй гг. гуманисты о нравственномъ и юридическомъ смыслѣ, а противъ рожна прать мудрено и съ фактами примириться необходимо. Для тѣхъ-же изъ гуманистовъ, которые любятъ прислоняться къ авторитету и утѣшаться тѣмъ, что они имѣютъ за себя великіе голоса человѣчества, будетъ безконечно полезно въ этомъ случаѣ припомнить слова Гамлета надъ черепомъ Юрика. Противъ осязательнаго факта они еще поспорятъ, но когда увидятъ, что за этотъ же фактъ говорить и Шекспиръ, тогда они сложатъ оружіе.

Но къ дѣлу! къ дѣлу! Постараюсь по Фохту, въ самыхъ общихъ чертахъ, охарактеризовать процессы кровообращенія, дыханія и пищеваренія. Подробности невозможны при отсутствіи чертежей; сверхъ того, онѣ утомительны для

человѣка, рѣшительно незнакомаго съ анатоміей; что-же касается до легкаго очерка, то я надѣюсь, что его прочтутъ безъ скуки и неудовольствія.

Въ обращеніи крови главную роль играетъ сердце. «Все движеніе крови, — говоритъ Фохтъ, — зависитъ исключительно отъ дѣятельности сердца». Сердце есть полый мускулъ, сжимающійся и расширяющійся; этотъ мускулъ соединяется съ двумя системами кровеносныхъ сосудовъ, расходящихся отъ сердца ко всѣмъ частямъ тѣла. Одна изъ этихъ системъ — *артеріи* несутъ кровь отъ сердца къ оконечностямъ; другая — *вены* несутъ кровь отъ оконечностей къ сердцу. Артеріи отличаются отъ венъ большей толщиной стѣнокъ и большей эластичностью. Если разрѣзать артерію и выдавить изъ нея кровь, она все-таки сохранитъ свою цилиндрическую форму, такъ что ее можно будетъ сравнить съ гуттаперчевой трубкой; если же сдѣлать то-же самое съ веною, она сморщится и потеряетъ прежнюю форму, какъ потеряетъ ее, напримѣръ, узкій и длинный мѣшокъ, изъ котораго будетъ высыпанъ содержавшійся въ немъ порошокъ.

Сердце разгорожено продольной стѣнкой на двѣ половины, не имѣющія между собою сообщенія. Каждая изъ двухъ половинъ разгорожена поперечной стѣнкой на двѣ части, сообщающіяся между собою черезъ широкія отверстія. Верхнія части каждой половины называются *предсердіями*; нижнія — *желудочками*. Оба предсердія сжимаются въ одно время и выпускаютъ содержащуюся въ нихъ кровь въ желудочки; затѣмъ предсердія расширяются, и тогда въ одно время сжимаются оба желудочка. Кровь течетъ изъ обѣихъ полостей въ разныя стороны, и потому мы сначала прослѣдимъ за тою кровью, которая идетъ изъ лѣваго желудочка. Прямо изъ сердца кровь вступаетъ въ широкую артерію, въ *аорту*, которая на нѣкоторомъ разстояніи отъ сердца развѣтвляется на нѣсколько второстепенныхъ артерій и несетъ кровь одними сосудами въ верхнюю часть тѣла: въ шею, въ голову и въ руки, другими — въ нижнюю часть тѣла: къ пищеварительному каналу, къ печени, къ половымъ органамъ и къ ногамъ. По мѣрѣ приближенія артерій къ поверхности тѣла, онѣ развѣтвляются болѣе и болѣе; развѣтвленія эти подъ конецъ дѣлаются такъ тонки, что ихъ нельзя рассмотреть простымъ глазомъ; эти тончайшія развѣтвленія, находящіяся подъ кожей на всей поверхности тѣла и, кромѣ того, въ кишечномъ каналѣ, въ печени, въ легкихъ, соединяются съ другими тончайшими развѣтвленіями, которыя уже отъ поверхности тѣла поворачиваютъ назадъ къ сердцу; дошедши до поверхности тѣла, кровь артеріальныхъ сосудовъ переходитъ въ венозные сосуды, которые по-



степенно сходятся въ толстыя вены. Кровь изъ верхнихъ и нижнихъ частей тѣла этими толстыми венами идетъ къ правому предсердію, а изъ праваго предсердія вливается въ правый желудочекъ. Правая полость сжимается, и кровь черезъ артерію течетъ въ легкія, разливается тамъ по волоснымъ сосудамъ, входитъ въ венозные сосуды, потомъ идетъ назадъ въ лѣвое предсердіе и въ лѣвый желудочекъ, и тогда снова начинается та-же исторія.

Стало-быть, вотъ маршрутъ крови въ тѣлѣ человѣка: изъ лѣваго сердца въ оконечности тѣла, изъ оконечностей въ правое сердце, изъ праваго сердца въ легкія, изъ легкихъ назадъ въ лѣвое сердце. Кровь идетъ по этому пути, а не по другому, на томъ основаніи, что другого пути нѣтъ; сжатіе сердца дѣйствуетъ на движеніе крови, какъ поршень на движеніе воды въ насосѣ; кровь, выдавленная изъ сердца, поневолѣ бросается въ открытыя трубочки; сердце сжимается еще разъ, и новая волна крови течетъ въ трубочки и продвигаетъ дальше прежнюю, а прежняя въ свою очередь толкаетъ впередъ ту часть крови, которая прошла черезъ сердце раньше. Покуда сердце будетъ сжиматься, до тѣхъ поръ кровь будетъ двигаться.

Всмотрѣвшись въ этотъ элементарный обзоръ кровообращенія, читатель будетъ въ состояніи понять приблизительно то разстройство, которое можетъ причинить организму недостатокъ крови или ея избытокъ. При недостаткѣ крови неизбежно медленное ея движеніе въ оконечностяхъ и у поверхности тѣла; при полнокровіи, напротивъ того, напоръ крови къ различнымъ частямъ тѣла слишкомъ силенъ, и движеніе крови вообще слишкомъ быстро. Люди малокровные отличаются вялой кожей, слабостью половой дѣятельности, спокойнымъ, ровнымъ, часто нерѣшительнымъ характеромъ. Люди полнокровные страдаютъ приливами, легко раздражаются, часто горячатся, сильно увлекаются, любятъ движеніе и дѣятельность, отличаются физической силой и предприимчивостью. Горячительные напитки, гимнастическія упражненія, волненіе, возбужденное разговоромъ или событіемъ, ускоряютъ біеніе сердца, т. е. его сжатіе и расширеніе, увеличиваютъ быстроту кровообращенія и этимъ самымъ возвышаютъ температуру тѣла. У кого кровь движется быстро, у того всѣ отправления дѣлаются не такъ, какъ у человѣка съ медленнымъ движеніемъ крови. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что и процессъ мысли, и весь такъ называемый нравственный характеръ въ значительной степени зависятъ отъ скорости кровообращенія.

Біеніе пульса, по которому медики опредѣляютъ состояніе своихъ пациентовъ, находится въ непосредственной связи съ сжатіемъ и расширеніемъ сердца: сердце сжимается, волна

крови ударяетъ въ пульсовую артерію; артерія, какъ упругая трубочка, расширяется и вслѣдъ затѣмъ, пропустивши волну, опять сжимается. При каждой новой волнѣ повторяется расширеніе и сжатіе; это и есть біеніе пульса. Свойства этого біенія зависятъ отъ трехъ обстоятельствъ: отъ силы сжатія сердца, отъ величины кровяной волны и отъ эластичности артерій; эти три обстоятельства измѣняются, смотря по состоянію субъекта, и слѣдовательно даютъ медику возможность ознакомиться съ положеніемъ больного. Въ оконечностяхъ тѣла, въ волосныхъ сосудахъ приливы крови отъ сердца, отзывающіеся въ артеріяхъ сжатіемъ и расширеніемъ ихъ, становятся едва чувствительными; тамъ кровь течетъ ровно; точно такъ-же течетъ она въ венахъ, и потому вены не бьются подобно артеріямъ. Волосные сосуды отличаются значительной способностью сжиматься; отъ холода они могутъ совершенно закрыться; если морозъ сильно подѣйствовалъ на вашъ палецъ, волосные сосуды его сжимаются, кровь перестаетъ проникать въ него, и весь палецъ или по крайней мѣрѣ поверхность его начинаетъ коченѣть. Возьмемъ другой примѣръ: положимъ, вы входите по поясъ въ холодную воду; волосные сосуды нижней части вашего тѣла, отъ дѣйствія холода, до извѣстной степени сжимаются; потокъ крови, хлынувшій къ этой нижней части, не можетъ проникнуть въ нее весь; ясно, что въ верхней части вашего тѣла окажется больше крови, чѣмъ сколько нужно; произойдетъ приливъ крови къ головѣ; во избѣжаніе этого прилива, который можетъ повести за собою непріятныя послѣдствія, обыкновенно, входя въ воду, прежде всего мочатъ голову, чтобы волосные сосуды головы также сжались и не пустили бы къ себѣ излишняго количества крови.

Во сколько времени совершается полный оборотъ крови, т. е. во сколько времени частица крови, вышедшая изъ лѣваго сердца, обойдетъ все тѣло и возвратится назадъ въ лѣвое сердце? Тщательныя наблюденія показали, что средняя величина времени, необходимаго для полного оборота, равняется одной минутѣ. Въ сутки полный оборотъ крови совершается слѣдовательно 1440 разъ. Этой быстротой оборота объясняется то обстоятельство, что всякій ядъ, разлагающій или заражающій кровь, вѣдается въ организмъ чрезвычайно быстро. Зачумленные частицы втеченіи сутокъ 1440 разъ обѣгутъ ваше тѣло, столкнутся со множествомъ еще здоровыхъ частицъ, передадутъ имъ долю своей ядовитости и, смотря по силѣ яда, въ нѣсколько часовъ или въ нѣсколько дней перепортятъ всю кровь. Змѣя укусила васъ въ ногу, а между тѣмъ у васъ пухнетъ все тѣло; бѣшеная собака оцарапала руку, а между тѣмъ, если тотчасъ-же не прижечъ рану, явятся признаки



бъшенства, т. е. общаго пораженія организма. На кровообращеніи основываются также страшныя послѣдствія сифилитической болѣзни, которая, начинаясь едва замѣтной ранкой, кончается или по крайней мѣрѣ может кончиться гніеніемъ всего тѣла. Возможность осприживанія заключается также въ обращеніи крови. Ничтожная частичка коровьей оспы, положенная въ ранку, всасывается кровью, производитъ въ ней химическія измѣненія, порождаетъ всеобщее воспаленіе и сыпь и наконецъ отнимаетъ у организма способность воспринимать эту заразу втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ.

Умѣйте только узнавать свойства природы и дѣйствительную фізіономію вещей, и вы всегда будете въ состояніи воспользоваться этими свойствами по вашему благоусмотрѣнію; не передѣлывая природу посвоему, вы будете ея повелителемъ. Магики, искавшіе такихъ заклинаній, которыми можно было бы держать стихіи въ своемъ распоряженіи, инстинктивно понимали силу человѣка. Они видѣли эту силу въ знаніи и въ этомъ случаѣ не ошибались. Ошибались-же они только тѣмъ, что однимъ прыжкомъ хотѣли вскочить на ту лѣстницу, по которой приходится идти медленно, отдыхая на каждой ступенькѣ и тщательно ощущывая слѣдующія ступени, чтобы не оступиться и не полетѣть внизъ. Они хотѣли магическимъ словомъ или обрядомъ достигнуть того, чего современная цивилизація достигла путемъ долговременныхъ и безчисленныхъ опытовъ. Они хотѣли отгадать и не отгадали. Мошотъ и Фохтъ ищутъ и кое-что отыскивали, точно такъ-же, какъ много отыскивали Ньютонъ, Коперникъ, Леверрье, Гайу, Кювье, Линней, Берцелиусъ, Либихъ, Фаредъ и пр.

«Неужели же,—спрашиваетъ Фохтъ въ концѣ главы о кровообращеніи,—фізіологіи удалось такимъ образомъ смирить сердце, безпокойно волнующееся въ груди человѣка, положить на него оковы и навязать ему законы? Неужели-же то участіе, которое мы ему приписываемъ въ нашихъ чувствахъ, оказывается вымысломъ? Когда мы, по старой привычкѣ, говоримъ, что наше сердце усиленно бьется, замираетъ отъ радости или сжимается отъ тоски, неужели мы употребляемъ только картинныя выраженія, отдаемъ дань привлекательной мечтѣ подвижнаго воображенія? Неужели съ нами случилось то-же, что случилось съ Петромъ въ сказкѣ Гауффа о Тангейзерѣ? Неужели у насъ, какъ у Петра, вырвали изъ груди живое сердце и вставили каменное, которое, правда, бьется и приводитъ въ движеніе кровь, но не принимаетъ участія въ нашихъ радостяхъ и страданіяхъ, равномерно бьется отъ любви и ненависти, какъ маятникъ стѣнныхъ часовъ? Нѣтъ! право, нѣтъ! До этихъ результатовъ не дохо-

дитъ наша механика. Она открываетъ намъ законы; она показываетъ намъ физическія силы, дѣйствующія въ сердцѣ и въ сосудахъ; но наблюденія и размышленія показываютъ также, какъ сильно приложеніе этихъ силъ зависитъ отъ высшаго руководителя, отъ нервной системы; каждое впечатлѣніе, воспринятое ею, отзывается и отражается въ скорости и въ силѣ движеній сердца и въ распредѣленіи крови. Мы не ошибаемся, когда чувствуемъ, какъ въ минуту воодушевленія сердце бьется полѣе, какъ въ минуту тоски или ожиданія оно судорожно вздрагиваетъ. Мы ошибаемся только въ томъ случаѣ, если непосредственно самому сердцу приписываемъ это участіе. Сердце отражаетъ только впечатлѣнія и ощущенія, воспринятія мозгомъ, центральнымъ органомъ нервной системы; раздраженія, исходящія изъ этого центральнаго органа, дѣйствуютъ на сердце сильнѣе непосредственнаго раздраженія. Мы не ошибаемся, когда чувствуемъ, что щеки наши краснѣютъ отъ стыда и блѣднѣютъ отъ страха; мы ошибаемся только въ томъ случаѣ, если приписываемъ эти измѣненія дѣйствию крови, между тѣмъ какъ они производятся сосудными нервами, управляющими распредѣленіемъ крови. Раздраженные дѣйствіемъ мозга, эти нервы сжимаютъ сосуды; когда-же эти нервы найдутся въ бездѣйствіи и въ ослабленіи, сосуды расширяются и наливаются кровью. Но что большею частью вліяніе мозга на растительные процессы жизни основано на этой тѣсной связи его съ сердцемъ и его движеніями, съ расширеніемъ и сжатіемъ сосудовъ, это, кажется, не подлежитъ сомнѣнію. Впрочемъ тоска и работа изнуряютъ тѣло. Веселое расположеніе духа, бодрый взглядъ на жизнь, умѣренность въ волненіяхъ и страстяхъ сохраняютъ здоровье и свѣжесть. Эти замѣчанія каждый можетъ провѣрить въ жизни. Причину связи этихъ явленій между собою объяснить не такъ легко. Но отъ постоянного обновленія крови зависитъ питаніе, дыханіе, вся растительная жизнь; а обновленіе и движеніе крови находится въ непосредственной зависимости отъ движенія сердца. Гдѣ недостатокъ одного фактора, тамъ и вся сумма будетъ невѣрна; если избытокъ страстей, необузданная смѣна сильныхъ ощущеній или постоянное вліяніе грустнаго настроенія духа нарушаютъ или ослабляютъ правильную дѣятельность сердца и сосудовъ, конечно ни обращеніе крови, ни зависящее отъ него питаніе тѣла не могутъ совершаться должнымъ порядкомъ».

Это великолѣпное мѣсто Фохта можно принять за попытку, не отходя ни на шагъ отъ осязательныхъ фактовъ, сблизить между собою области психологіи и фізіологіи. О вліяніи сердца и кровеносныхъ сосудовъ на нервы онъ здѣсь не упоминаетъ. потому что считаетъ это



обстоятельство совершенно несомнѣннымъ и очевиднымъ для всѣхъ. О вліяніи мозговыхъ нервовъ на сердце онъ говоритъ особенно подробно для того, чтобы убѣдить читателя въ томъ, что физиологія не вырывается у живого человѣка сердца и не отнимается у этого полагая мускула способности повиноваться (чисто пассивно) распоряженіямъ мозга. Изъ словъ Фохта можно вывести чисто физиологическое опредѣленіе понятій: мысль и чувство. Вы видите, что на движеніе сердца, на положеніе кровеносныхъ сосудовъ дѣйствуютъ исключительно чувства, напр. грусть, радость, боязнь, стыдъ, и т. д. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что чувство есть такое раздраженіе въ мозговыхъ нервахъ, которое мгновенно, по крайней мѣрѣ быстро и при томъ непронизовольно, проходитъ черезъ всѣ нервы нашего тѣла и черезъ эти нервы такъ или иначе дѣйствуетъ на обращеніе крови. Мысль, напротивъ того, есть такое раздраженіе мозговыхъ нервовъ, которое распространяется въ нихъ медленно и не дѣйствуетъ на нервы тѣла; оно совершается въ извѣстномъ порядкѣ, за которымъ мы сами можемъ прослѣдить и для котораго у насъ даже есть готовое названіе — логическая послѣдовательность. Надо полагать и надѣяться, что понятія *психическая жизнь*, *психологическое явленіе* будутъ со временемъ разложены на свои составныя части. Ихъ участь рѣшена; они пойдутъ туда-же, куда пошелъ философскій камень, жизненный эликсиръ, квадратура круга, чистое мышленіе и жизненная сила. Слова и иллюзіи гибнутъ — факты остаются.

#### IV.

Дыханіе, какъ несомнѣнный и очень важный фактъ, должно обратить на себя теперь наше вниманіе. Дыханіе совершается посредствомъ легкихъ, это мы уже знаемъ изъ общегитія; это одна изъ тѣхъ медицинскихъ истинъ, которыя находятся во всеобщемъ обращеніи, но въ которыхъ мы все-таки не отдаемъ себѣ яснаго отчета. Такъ напримѣръ, не всѣмъ извѣстно то, что сжатіе и расширеніе легкихъ совершается чисто пассивно. Грудная клѣтка человѣческаго скелета состоитъ изъ двѣнадцати паръ плоскихъ, въ различной степени согнутыхъ, эластичныхъ костей; кости эти называются ребрами и прикрѣпляются спереди къ грудной кости, а сзади — къ спинному хребту. Внутренняя сторона этой костяной клѣтки обтянута крѣпкой кожей, не пропускающей внѣшняго воздуха; нижняя часть клѣтки, смежная съ брюшной полостью, отдѣляется отъ этой полости мускулистой поперечной перегородкой, извѣстной въ анатоміи подъ названіемъ грудобрюшной преграды; верхняя часть грудной клѣтки гораздо уже нижней и черезъ дыхательное горло сообщается съ полостями рта и

носа. Въ грудной клѣткѣ висятъ на разныхъ сосудахъ и мышцахъ легкія и сердце. Легкія можно сравнить съ двумя мѣшками, сдѣланными изъ эластической матеріи. Кожа, обтягивающая стѣнки грудной клѣтки, плотно прилегаетъ къ легкимъ и даже срастается съ ихъ верхней частью. Теперь положимъ, что грудная клѣтка увеличивается въ своемъ объемѣ: мускулы грудобрюшной преграды вытягиваются, и середина этой кожаной перегородки немного опускается къ брюшной полости; очень понятно, что объемъ грудной клѣтки становится больше и стѣнки этой клѣтки отходятъ отъ внѣшней поверхности легкихъ. Но грудная клѣтка плотно обтянута кожей; въ ней нѣтъ атмосфернаго воздуха, потому что съ дыхательнымъ горломъ сообщается не самая клѣтка, а висящія въ немъ легкія. Стало быть, между стѣнками легкихъ и стѣнками грудной клѣтки, въ случаѣ расширенія послѣдней, происходитъ пустота; не встрѣчая себѣ сопротивленія извнѣ и испытывая на себѣ изнутри давленіе содержащагося въ нихъ атмосфернаго воздуха, легкія расширяются до тѣхъ поръ, пока не наполняютъ собою всей грудной клѣтки; такимъ образомъ происходитъ дыханіе. Но вотъ грудная клѣтка, расширившаяся на мгновеніе, снова сжимается и сжимаетъ легкія; очень естественно, что часть принятаго воздуха выбрасывается черезъ тѣ-же отверстія, черезъ которыя онъ вошелъ; происходитъ выдыханіе. Расширять или сжимать легкія мы собственно не можемъ; мы сжимаемъ и расширяемъ грудную клѣтку, а легкія измѣняются въ объемѣ уже помимо нашей воли, по физическому закону равновѣсія газообразныхъ тѣлъ, — по тому самому закону, по которому пузырь, положенный подъ колоколъ воздушнаго насоса, при вытягиваніи воздуха изъ подъ колокола, раздувается и наконецъ лопається отъ напора содержащагося внутри его воздуха, не встрѣчающаго себѣ уравновѣшивающаго давленія извнѣ.

Кромѣ физическаго процесса въ дыханіи есть еще процессъ химическій; воздухъ не только входитъ въ легкія и выходитъ обратно; онъ самъ испытываетъ измѣненія и производитъ измѣненія въ тѣхъ частяхъ, съ которыми приходится въ соприкосновеніе. Каждому извѣстно, что въ комнатѣ, гдѣ слишкомъ много людей, становится душно, тяжело дышать; всякому извѣстно, что въ комнатахъ необходимо освѣжать воздухъ, лѣтомъ открывая окна, а зимою протапливая печи.

Все это происходитъ оттого, что мы выдыхаемъ не тѣ газы, которые вдыхаемъ, и слѣдовательно въ извѣстный промежутокъ времени можемъ химически переработать весь воздухъ, содержащійся въ комнатѣ, и сдѣлать его негоднымъ для дальнѣйшаго вдыханія. Тогда надо переменить воздухъ или задохнуться. «Давно



уже,—говорить Фохтъ,—былъ извѣстенъ фактъ, что люди или животныя, запертые въ тѣсномъ и плотно закупоренномъ пространствѣ, по прошествіи нѣкотораго времени начинали дышать съ трудомъ; кожа людей становилась синекраснаго цвѣта, и самыя значительныя усилія вздохнуть не находили себѣ удовлетворенія. Если ихъ оставляли запертыми еще дольше, то у нихъ являлись конвульсивныя движенія, исчезало сознаніе и наконецъ жизнь постепенно угасала при сильнѣйшихъ судорогахъ; словомъ, при этомъ родѣ смерти повторялись тѣ-же явленія, какія случаются при удушеніи». Причина этого явленія объяснилась вполне удовлетворительно только тогда, когда химія сдѣлала значительные успѣхи, позволившіе ей разлагать и анализировать газы. Теперь мы знаемъ положительно, что атмосферный воздухъ состоитъ изъ 21 процента кислорода и 79 процентовъ азота; мы знаемъ, что количество азота не измѣняется отъ процесса дыханія, а что кислородъ, напротивъ того, поглощается нашими легкими, которыя, взявъ воспринятаго количества кислорода, выделяютъ равное по объему количество углекислоты. Кислородомъ дышатъ всѣ животныя; въ другихъ газахъ они задыхаются, и углекислота въ этомъ отношеніи стоитъ на ряду съ другими, т. е. рѣшительно не можетъ поддерживать животной жизни. Кислородъ имѣетъ особенное химическое сродство съ красными шариками, плавающими въ нашей крови и сообщающими ей ея яркій цвѣтъ. Эти красные шарики жадно соединяются съ кислородомъ и подъ его вліяніемъ измѣняютъ даже свой цвѣтъ; до соединенія съ кислородомъ они отличаются синекраснымъ, багровымъ цвѣтомъ, послѣ соединенія они принимаютъ яркокрасный, болѣе свѣтлый колоритъ.

При теперешнемъ состояніи науки мы еще не въ состояніи прослѣдить всѣ химическія измѣненія, совершающіяся въ крови. Причины и назначеніе каждаго измѣненія еще не могутъ быть указаны. Мы знаемъ только, что кровь, притекающая къ легкимъ, бываетъ синекраснаго цвѣта и насыщена углекислотой; въ легкихъ она выделяетъ углекислоту, принимаетъ соотвѣтствующую дозу кислорода и выходитъ изъ легкихъ, превратившись въ ярко-красную кровь. Мы знаемъ также, что это насыщеніе кислородомъ необходимо для процесса жизни; есть ядовитые газы, которые при вдыханіи отнимаютъ у кровяныхъ шариковъ способность соединяться съ кислородомъ. Къ числу такихъ газовъ принадлежитъ окись углерода, которую не должно смѣшивать съ углекислотой. Углекислота можетъ задушить чисто пассивно; здѣсь дѣйствуетъ не углекислота, а просто отсутствіе кислорода; человекъ задохнувшійся въ углекислотѣ, все равно что утопленникъ; если его вытащить во-время, то его можно оживить,

вдувая ему въ легкія воздухъ или чистый кислородъ. Окись углерода, напротивъ того, прекращая процессъ дыханія, кромѣ того химически измѣняетъ кровь и отнимаетъ у нея способность сродства съ кислородомъ. Людей, задохнувшихся въ этомъ газѣ, невозможно спасти. Съ этимъ газомъ намъ приходится встрѣчаться во вседневномъ быту. Онъ производитъ угаръ, отъ него болитъ голова, когда онъ въ небольшомъ количествѣ проникаетъ черезъ легкія въ кровь, и отъ него умираютъ люди, если онъ дѣйствуетъ на нихъ долгое время, т. е. впродолженіи нѣсколькихъ часовъ. На дѣйствіи этого газа основанъ извѣстный, очень употребительный въ Парижѣ способъ самоубійства посредствомъ жаровни; этотъ способъ по своей дешевизнѣ доступенъ бѣднякамъ, на которыхъ всего тяжелѣе напиралъ суровая сторона жизни, сторона лишеній, трудовъ и страданій; сверхъ того онъ нечувствительно приводитъ къ смерти, если только можно найти средство заснуть, подвергаясь дѣйствію убивающаго газа. Кто испыталъ ощущеніе угара или видѣлъ его дѣйствіе на другихъ, тотъ пойметъ, какъ сильно отзывается во всемъ организмѣ, во всей нервной системѣ малѣйшее химическое измѣненіе въ составѣ крови. Какъ ни быстро развивается въ наше время химія, а она не въ состояніи еще, по несовершенству своихъ орудій, прослѣдить за этими едва замѣтными измѣненіями, которыя ведутъ за собою очень ощутительныя послѣдствія. Многіе вопросы вслѣдствіе этого должны еще остаться нерѣшенными. Почему напримѣръ кровяные шарики должны соединяться именно съ кислородомъ? На что нуженъ этотъ кислородъ въ общей экономіи животной жизни? Рѣшеніе этихъ вопросовъ принадлежитъ еще будущему.

#### V.

Третій процессъ, необходимый для поддержанія животной жизни, основанъ на томъ, что мы перерабатываемъ въ свое тѣло вещества, воспринимаемая нами извнѣ, изъ окружающаго міра. Этотъ процессъ называется пищевареніемъ и отличается особенной сложностью. Говоря о пищевареніи, надо принимать въ расчетъ свойства тѣхъ предметовъ, которые мы принимаемъ въ себя, и свойства тѣхъ органовъ, которые ихъ перерабатываютъ. Дышать мы можемъ только атмосфернымъ воздухомъ; питаемся мы, напротивъ того, самыми разнообразными веществами; это конечно имѣетъ на насъ значительное вліяніе; мы обыкновенно приписываемъ разнымъ невѣдомымъ причинамъ то, что надо отнести на счетъ дѣйствія пищи, мы даже приходимъ въ негодованіе, когда намъ объясняютъ чисто физическими причинами то, что, мы называемъ душевнымъ страданіемъ; мы улыбаемся съ ви-



домъ недовѣрія, когда опытный медикъ совѣтуетъ намъ, для устраненія дурного расположенія духа, кушать то или другое, заниматься гимнастикой или принимать слабительное. Во вседневной частной жизни мы стараемся такимъ образомъ проломить лбомъ стѣну или, что то-же самое, подчинить себѣ наши физиологическія отправления, вмѣсто того, чтобы подчиниться имъ, и, поддерживая ихъ въ самомъ нормальномъ положеніи, во всякую данную минуту располагать всѣми силами организма. Мы даже во вседневной жизни, которая, однако, у большей части людей вовсе не отличается преобладаніемъ высокихъ стремлений, стараемся забыть великолѣпное правило классической древности: «въ здоровомъ тѣлѣ—здоровая мысль» (*mens sana in corpore sano*). Мудрено-ли послѣ того, что, когда намъ приходится имѣть дѣло съ общими вопросами, хоть бы, напримѣръ, въ области исторіи, мы уже окончательно замираемъ и соглашаемся скорѣе говорить фразы, которыхъ сами не понимаемъ, чѣмъ приводить различныя великія событія въ связь съ матеріальными причинами, подобными выбору пищи и процессу пищеваренія.

Мои выписки изъ Молешота \*) многимъ показались парадоксальными. Фохтъ тѣмъ не менѣе во всѣхъ отношеніяхъ сходитъ съ выводами Молешота, и потому я, чтобы не повторяться, обойду то письмо его, въ которомъ онъ говоритъ о предметахъ, употребляющихся въ пищу. Приведу только двѣ-три выписки, въ которыхъ выражается взглядъ Фохта на значеніе пищи для общественной и исторической жизни. «При разведеніи картофеля,—говоритъ онъ,—всѣ выгоды лежатъ на сторонѣ производящаго, всѣ невыгоды падаютъ на потребителя, который получаетъ пищу въ неудобной формѣ и въ неудобномъ смѣшеніи составныхъ частей; потребитель этотъ долженъ пустить въ ходъ величайшую сумму пищеварительной дѣятельности для того, чтобы добиться малѣйшаго полезнаго результата. На этомъ основаніи одинъ замѣчательный изслѣдователь говоритъ совершенно справедливо, что преобладаніе картофельной пищи доводитъ бѣдный классъ до послѣдней крайности, что ему уже некуда отступить и не на что опереться; бѣдный поденщикъ или бѣдный мужикъ поставленъ въ необходимость разрѣшить ужасную задачу: доставить наибольшее количество работы при наименьшемъ количествѣ пищи плохого достоинства».

Пріятно встрѣтить въ серьезномъ изслѣдователѣ истинно гуманнаго человѣка; пріятно видѣть, что сухой анализъ отдѣльныхъ составныхъ частей человѣческаго тѣла не вытѣснилъ

въ умѣ ученаго натуралиста образа полной человѣческой личности, не сдѣлалъ его невнимательнымъ къ ея затрудненіямъ и страданіямъ. Ни Молешоту, ни Фохту нельзя отказать въ здоровой, дѣльной гуманности; гуманность эта не фразиста и не слезлива; она выражается не возгласами, не умиленіемъ надъ непорочностью простого народа, а всѣмъ ходомъ мысли, математически вѣрными выкладками, внимательностью къ насущнымъ потребностямъ бѣдняка и снисхожденіемъ къ тѣмъ слабостямъ, которыя порождаются его лишеніями и страданіями.

«Съ каждымъ днемъ,—говоритъ Фохтъ,—возрастаетъ потребленіе чая и кофе; чѣмъ больше распространяется, при увеличеніи бѣдности, картофельная пища, тѣмъ упорнѣе народъ держится за кофе, который дѣлается необходимымъ подкрѣпляющимъ средствомъ... Сильное возбуждающее дѣйствіе алкалоида, заключающагося въ настоѣ, заставляетъ прибѣгать къ употребленію чая и кофе, потому что эти напитки доставляютъ возможность управляться съ пищей, принятой при такихъ неблагоприятныхъ условіяхъ». Считать чай или кофе пустой прихотью и осуждать бѣдныхъ людей за то, что они, отказывая себѣ въ необходимомъ, позволяютъ себѣ въ отношеніи къ этимъ напиткамъ нѣкоторую роскошь, было бы, какъ вы видите, неосновательно и негуманно. Извѣстная доля наслажденія до такой степени необходима для того, чтобы поддержать въ человѣкѣ бодрость, что онъ скорѣе согласится не доѣсть и не доспать, чѣмъ обойтись безъ этой микроскопической радости. Чѣмъ больше въ его обыденной жизни труда и черной заботы, тѣмъ необходимѣе для него минуты развлеченія и разгула. У кого есть всякій день сытный обѣдъ и умѣренная работа, тотъ можетъ, пожалуй, круглый годъ не отходить отъ конторки или письменнаго стола. Но для пролетарія, для поденщика, таскающаго по буднямъ кули и съѣдающаго кусокъ черстватаго хлѣба, совершенно необходимо въ воскресенье или въ праздникъ пропѣть пѣсню, отхватить трепака или даже хлебнуть чарку водки. «Собственно предметы пищи,—говоритъ Фохтъ,—необходимы для поддержанія жизни, а наркотическія и спиртуозныя вещества увеличиваютъ наслажденіе и доставляютъ нѣсколько счастливыхъ часовъ даже тому, кого гнететъ забота». «Отдѣльная личность,—говоритъ Вибра,—принявшая слишкомъ много гашиша, бѣгающая по улицамъ и нападающая на встрѣчнаго и поперечнаго, исчезаетъ при сравненіи съ тѣмъ множествомъ людей, которые, принявъ умѣренную дозу послѣ обѣда, проводятъ нѣсколько веселыхъ и счастливыхъ часовъ. Число тѣхъ людей, которымъ *кока* доставляетъ возможность преодолевать самыя страшныя трудности и даже

\*) См. «Физиологическіе эскизы Молешота», стр. 281.



спасаться отъ голодной смерти, значительно превышаетъ количество тѣхъ немногихъ *кокверо*, которые неумѣреннымъ употребленіемъ этого наркотическаго вещества погубили свое здоровье. Точно также одно неумѣстное лицемѣріе можетъ проклинать употребленіе кубка, прогоняющаго заботы, основываясь на томъ, что есть пьяницы, не останавливающіеся во-время и не знающіе мѣры».

По этимъ выпискамъ можно видѣть, что Фохтъ соглашается съ Мошешотомъ какъ въ общей идеѣ, такъ и въ отдѣльных фактахъ. Онъ вмѣстѣ съ Мошешотомъ придаетъ пицѣ очень важное значеніе и находитъ, что въ выборѣ пищи всего лучше руководствоваться инстинктомъ, т. е. естественными требованіями своего вкуса; но такъ какъ подобный образъ дѣйствія доступенъ только людямъ обезпеченнымъ, такъ какъ бѣдняки ѣдятъ не то, чего имъ хочется, а то, что подешевле, то вопросъ о сравнительномъ достоинствѣ одинаково дешевой пищи имѣетъ важное практическое значеніе. Въ рѣшеніи этого вопроса Фохтъ опять-таки сходится съ Мошешотомъ: картофель безусловно отвергается и вмѣсто него рекомендуются стручковые растенія, горохъ, чечевица и бобы. Къ наркотическимъ и спиртуознымъ веществамъ и Фохтъ, и Мошешотъ относятся очень снисходительно; обоимъ изслѣдователямъ одинаково противенъ тотъ квакерскій ригоризмъ, который превращаетъ человѣка въ рабочую машину и запрещаетъ всякое наслажденіе для того, чтобы не могло быть излишества. Оба изслѣдователя стоятъ на твердой почвѣ живыхъ фактовъ и смотрятъ на человѣческую личность трезвымъ взглядомъ, не исключаяющимъ ни снисхожденія, ни любви.

## VI.

Теперь мнѣ остается только прослѣдить за тѣми видоизмѣненіями, которыя испытываетъ пища, проходя черезъ желудокъ и кишечный каналъ. Мы здѣсь имѣемъ дѣло съ цѣлой химической лабораторіей, которая, работая безостановочно, превращаетъ въ кровь то, что можетъ подвергнуться этому измѣненію, и выбрасываетъ то, что не разлагается, изъ чего уже добыты всѣ нужные ингредиенты.

Прежде всего мы беремъ пищу въ ротъ, разжевываемъ ее зубами и при этомъ невольно смачиваемъ ее слюной; пища отправляется въ желудокъ въ размельченномъ видѣ и притомъ пропитанная водянистой жидкостью; черезъ это она дѣлается доступной химическому вліянію желудочнаго сока; если бы мы глотали куски, не прожевавши ихъ, то это химическое вліяніе вовсе не могло бы имѣть мѣста или по крайней мѣрѣ совершалось бы гораздо медленнѣе, и процессъ пищеваренія во всякомъ случаѣ потерпѣлъ бы нѣкоторое разстройство.

Мнѣ случилось читать въ одной статьѣ о Карлѣ V, что этотъ государь постоянно страдалъ несвареніемъ желудка, и что это обстоятельство объясняется до нѣкоторой степени устройствомъ его черепа; дѣло въ томъ, что нижняя челюсть была сильно выдвинута впередъ, такъ что не могла плотно сходиться съ верхней. Императоръ не могъ хорошо пережевывать пищи и при томъ любилъ плотно покушать; жирные куски говядины и рыбы, едва помятые во рту, скользя въ горло и, конечно, комомъ залегали въ желудкѣ. Кто знаетъ, насколько это обстоятельство имѣло вліянія на эксцентрическіе поступки повелителя образованнаго міра и даже на его удаленіе въ монастырь св. Юста? Сколько мнѣ помнится, статья, о которой я говорю, была напечатана въ «Русскомъ Вѣстникѣ» за 1856 годъ и авторомъ ея былъ П. Н. Кудрявцевъ. Жаль, что не вездѣ и не всегда физическія причины какого-нибудь явленія такъ очевидны и осязательны, какъ въ дѣлѣ Карла V!

Размельченная пища проникаетъ въ желудокъ—простой мѣшокъ, сдѣланный изъ тонкой кожи и снабженный мускулами; внутреннія стѣнки желудка шероховаты и покрыты железами, отдѣляющими кислотавую жидкость; эта жидкость называется желудочнымъ сокомъ и играетъ главную роль въ химической переработкѣ пищи. Одинъ любопытный опытъ показалъ физиологамъ, что желудокъ не растираетъ пищу, а только разлагаетъ ее выдѣляемымъ сокомъ. Собакамъ, уткамъ и курамъ давали проглотить маленькія жестяныя или деревянныя коробочки, въ которыхъ была положена пища; стѣнки этихъ коробочекъ были продырявлены такъ, чтобы жидкость могла проникать въ коробочки, но чтобы самая пища не приходила въ соприкосновеніе съ стѣнками желудка; коробочки эти были привязаны на ниткѣ, за которую ихъ можно было вытащить назадъ. Когда ихъ вытащили по прошествіи нѣсколькихъ часовъ, то въ нихъ уже не осталось пищи; все было, слѣдовательно, разложено желудочнымъ сокомъ и унесено въ кишечный каналъ.

Какъ кровообращеніе нѣсколько не зависитъ отъ присутствія какой-нибудь воображаемой жизненной силы, такъ точно и пищевареніе совершается безъ вмѣшательства этого таинственнаго агента. Химическій процессъ пищеваренія можно произвести внѣ животнаго организма, если только взять тѣ кислоты, которыя дѣйствуютъ въ желудочномъ сокѣ, смѣшать ихъ въ должной пропорціи и привести ихъ въ температуру, равняющуюся теплотѣ нашихъ внутренностей. Мясо и растительная пища, подверженныя дѣйствію такого состава въ какомъ-нибудь стеклянномъ сосудѣ, измѣняются точно такъ-же, какъ и измѣнились бы они въ человѣческомъ желудкѣ.



Работа желудка кончается тѣмъ, что пища превращается въ такъ называемую пищевую кашу, т. е. въ болѣе или менѣе густое тѣсто, смотря по свойству принятой пищи. Эта каша, въ которой однѣ частицы оказываются совершенно разложенными, другія — только размягченными, третьи — совершенно нетронутыми, изъ желудка выходитъ въ тонкую кишку и подвергается дѣйствию поджелудочной железы и печени. Поджелудочная железа выделяетъ изъ себя прозрачную, клейкую жидкость, имѣющую свойство превращать крахмалъ въ сахаръ, сахаръ — въ молочную, потомъ въ масляную кислоту и, наконецъ, въ жиръ. Примѣшиваясь къ готовому жиру, эта жидкость производитъ въ немъ такое химическое измѣненіе, которое позволяетъ ему распускаться въ водѣ и вообще соединяться съ водянистыми жидкостями. Это измѣненіе необходимо для того, чтобы жиръ просачивался сквозь стѣнки кишечнаго канала и по мелкимъ волоснымъ сосудамъ проходилъ въ кровь. Печень, дѣйствующая на пищу посредствомъ выделяемой ею желчи, играетъ очень важную роль какъ въ медицинскихъ сочиненіяхъ, такъ и въ обиходныхъ понятіяхъ, распространенныхъ въ массѣ; печени объясняются многія болѣзненные явленія; страданіе печени и разлитіе желчи составляютъ, по мнѣнію публики и нѣкоторыхъ медиковъ, главные причины дурного расположенія духа, ипохондріи, меланхолии и т. п. Фохтъ говоритъ, что по болѣе части эти объясненія ошибочны, но во многихъ случаяхъ приходится оставить дѣло нерѣшеннымъ; нельзя отвѣчать ни да, ни нѣтъ, потому что химическая работа печени и вліяніе желчи на пищевареніе еще недостаточно разработаны. До сихъ поръ найдено, что желчь оказываетъ двоякое вліяніе на пищевую кашу. Во-первыхъ, она предохраняетъ ее отъ гніенія въ самомъ кишечномъ каналѣ. Во-вторыхъ, она, подобно соку поджелудочной железы, превращаетъ жиръ въ эмульсію, легко соединяющуюся съ водянистыми жидкостями. Надъ животными производили слѣдующій опытъ: у нихъ перевязывали каналъ, ведущій изъ желчнаго пузыря въ кишки, такъ чтобы ни одна капля желчи не могла попасть въ переваривающуюся пищу; потомъ желчный пузырь прорѣзывался съ другой стороны такъ, чтобы желчь выливалась наружу и чтобы дѣятельность печени шла такимъ образомъ своимъ порядкомъ. Многія животныя не выдерживали операціи и умирали подъ ножомъ изслѣдователя; другія жили болѣе или менѣе долго, но всѣ безъ исключенія не могли выздороветь; они бѣли чрезвычайно много и при этомъ постоянно худѣли, жиръ совершенно пропадалъ; а такъ какъ жиръ въ извѣстномъ количествѣ совершенно необходимъ нашему организму, то отсутствіе жира приводило за собою смерть. Эта пропажа жира

объясняется тѣмъ, что жиръ, содержащійся въ пищѣ, не превращался въ эмульсію и слѣдовательно, не имѣя возможности черезъ волосные сосуды просачиваться въ кровь, проходилъ по кишечному каналу и выходилъ вонъ, не принеся организму никакой пользы. Жиръ животный, или сало, и жиръ растительный, или масло (напр., конопляное, маковое), какъ извѣстно каждому по всѣдневному опыту, не соединяются съ водой, между тѣмъ изъ сала дѣлается мыло, распускающееся въ водѣ; а изъ тѣхъ же самыхъ зеренъ, изъ которыхъ выжимается масло, дѣлается молоко (конопляное, маковое), очень легко соединяющееся съ водой. Желчный сокъ поджелудочной железы превращаетъ жиръ и сало въ мыло (т. е. въ жирныя вещества, растворяющіяся въ водѣ), а растительное масло — въ растительное молоко или эмульсію. У животныхъ, у которыхъ была вырѣзана печень, эта переработка жира не могла производиться въ достаточныхъ размѣрахъ, и потому они чахли, несмотря на огромное количество поглощаемой пищи. Кромѣ того экскременты этихъ животныхъ отличались отвратительнымъ гнилымъ запахомъ; запахъ этотъ сообщался даже ихъ дыханію; ясно, что пища загнивала въ ихъ кишечномъ каналѣ оттого, что къ ней не было притока желчи.

Испытавъ на себѣ вліяніе сока поджелудочной железы и желчи, пищевая каша смачивается еще кишечнымъ сокомъ и, наконецъ, выходитъ изъ нашего тѣла. Составныя части экскрементовъ значительно отличаются отъ составныхъ частей пищи; многія вещества, входящія въ пищу, не находятся въ экскрементахъ; зато въ нихъ находится много такого, чего не было въ пищѣ и что входило въ составъ нашего тѣла, какъ-то: желудочный сокъ, желчь, кишечный сокъ и т. п. Въ экскрементахъ организмъ выбрасываетъ то, что оказывается въ принятой пищѣ лишнимъ или неразстворимымъ, и съ этими остатками пищи соединяетъ тѣ вещества, которые ему нужно выделить изъ себя, и которыя, оставаясь долѣе въ организмѣ, могли бы произвести въ немъ то или другое разстройство. А что-же сдѣлалось съ тѣми частями пищи, которыя пошли въ прокъ? Говоря о химической переработкѣ пищи, мы до сихъ поръ показали только, какимъ образомъ изъ пищи выделяются эти полезныя части. Посмотрите теперь, какъ эти части входятъ въ общую экономію организма.

Если мы положимъ въ воду сухое органическое вещество, напр., кусокъ дерева, кожи, пузыря, то это вещество разбухнетъ, т. е. приметъ въ себя нѣкоторое количество воды. На этой способности органическихъ тканей всасывать водянистыя жидкости основанъ весь процессъ питанія и обновленія нашего тѣла. Сверхъ того, органическія ткани имѣютъ также способность



служить проводниками между двумя жидкостями, прикасающимися къ нимъ съ обѣихъ сторонъ. Если вы нальете виннаго спирта въ пузырь и, крѣпко завязавши его, положите все это въ чашу, наполненную водой, то черезъ нѣсколько часовъ окажется, что въ пузырь — разбавленный спиртъ, а въ чашѣ — вода со слабою примѣсью спирта. Водянистыя жидкости такимъ образомъ не только всасываются въ органическія ткани, но и просачиваются насквозь. Органическая ткань даже притягиваетъ къ себѣ жидкость; въ этомъ вы можете убѣдиться слѣдующимъ опытомъ: возьмите длинную стеклянную трубку, налейте въ нее спирта, завяжите ее конецъ пузырькомъ и опустите этотъ завязанный конецъ въ воду: вы увидите, что жидкость въ трубкѣ начнетъ подниматься и поднимется даже гораздо выше общаго уровня воды. Последнее обстоятельство не могло бы случиться, если бы конецъ трубки не былъ завязанъ пузырькомъ. Ясно, стало быть, что притягиваетъ органическая ткань.

Если мы посмотримъ вообще на устройство кишечнаго канала, то увидимъ, что его можно сравнить съ длинною трубкой, на внутренней поверхности которой находится безчисленное множество чрезвычайно тонкихъ лимфатическихъ и кровеносныхъ сосудовъ; сосуды закрыты со всѣхъ сторонъ, но стѣнки сосудовъ состоятъ изъ органическихъ тканей, которыя не только пропускаютъ, но даже притягиваютъ жидкости; очень естественно, что между содержаніемъ кишечнаго канала, т. е. пищевой кашицей, и жидкостями сосудовъ совершается постоянный обмѣнъ; чѣмъ жиже пища, тѣмъ скорѣе она всасывается кровяными и лимфатическими сосудами, вносится въ общее кровообращеніе, испытываетъ множество химическихъ измѣненій и, наконецъ, совершенно уподобляется крови или лимфѣ, а потомъ идетъ на обновленіе твердыхъ химическихъ тканей. Это очень неясно, я это знаю, но, чтобы представить это ясно, надо подождать дальнѣйшихъ успѣховъ физиологіи и при томъ написать статью въ 100 разъ больше той, которую я теперь представляю на благосклонное вниманіе читателя.

## VII.

Вотъ мы въ бѣгломъ очеркѣ посмотрѣли на три важнѣйшіе процесса растительной жизни человѣка. Что-же мы изъ этого выведемъ? Любопытны ли сложнымъ устройствомъ нашего тѣла? Или, напротивъ того, находить въ этой сложности существенный недостатокъ? Въдѣ известное дѣло, чѣмъ сложнѣе машина, тѣмъ чаще она портится, тѣмъ чаще ее приходится чинить, тѣмъ бережнѣе съ нею приходится обращаться. Если принять въ соображеніе многочисленность нашихъ болѣзней, несовершенство нашей медицины, необходимость множества предосторожностей и необходимость умереть, несмотря на всѣ предосторожности, то можно, пожалуй, подумать: Богъ съ нею, съ этой красивою сложностью; съ нею такъ много хлопотъ, неприятностей и страданій! Но эти мысли будутъ совершенно неосновательны, собственно потому, что онѣ глубоко безплодны. Физическое *statu quo*, то, что мы называемъ природой, то, чѣмъ мы любимся, то, къ чему поэты пишутъ или, по крайней мѣрѣ, писали воззванія и идилліи, безстрастно, безчувственно, безсознательно, неумолимо, глухо къ нашимъ благодарственнымъ возгласамъ и къ нашимъ безсильнымъ проклятіямъ. Къ чему-же становиться намъ къ этой слѣпой силѣ въ какія бы то ни было нравственныя отношенія? Она не посторонится для насъ ни вправо, ни влево. Она сама по себѣ, мы сами по себѣ, но мы отъ нея зависимъ, и зависимъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ меньше знаемъ ее. Вотъ что намъ нужно: узнавать ее, вглядываться въ нее и постепенно овладѣвать ея тайнами, которыхъ она, впрочемъ, и не думаетъ скрывать, а которыя мы считаемъ за тайны только потому, что онѣ до поры до времени не попадались намъ на глаза. Старайтесь разяснить себѣ факты и законы, а потомъ, какое впечатлѣніе произведутъ на васъ эти факты и законы, какое міросозерцаніе вы себѣ состряпаете и какимъ чувствомъ вы его окрасите, — любовью, ненавистью, благоговѣніемъ или презрѣніемъ, — это уже предоставляется вашему личному вкусу, и до этого, кромѣ васъ, никому нѣтъ ни малѣйшаго дѣла.

## Схоластика XIX вѣка.

## I.

Развитіе русской журналистики съ каждымъ годомъ становится шире; возникаютъ новые журналы и въ короткое время приобретаютъ себѣ значительный кругъ читателей; между тѣмъ старые журналы продолжаютъ свое су-

ществованіе, и число ихъ подписчиковъ нисколько не уменьшается. Периодическія изданія расходятся по всѣмъ концамъ Россіи, и идеи, выработанныя въ тиши кабинета, за письменнымъ столомъ, становятся достояніемъ цѣлой обширной страны, становятся почти единственной умственной пищей для нѣсколькихъ де-



сятковъ тысячъ людей. Большинство публики читаетъ одни журналы, это—фактъ, въ которомъ могъ наглядно убѣдиться всякій, кто жилъ въ провинціи и бывалъ въ обществѣ какого-нибудь уѣзднаго города. Одинъ экземпляръ «Современника» или «Русскаго Вѣстника» читается цѣлымъ городомъ, переходитъ изъ рукъ въ руки и возвращается обыкновенно къ владельцу въ самомъ жалкомъ, истрепанномъ видѣ, такъ что ему приходится только сказать: «расчитали въ дребезги». При этомъ нѣкоторые отдѣлы остаются совершенно нетронутыми и даже неразрѣзанными; отмѣтить подобные отдѣлы было бы, конечно, любопытно для физиологіи общества, но я не съ этой цѣлью повелъ рѣчь о распространеніи журналовъ въ массѣ читающей публики. Кромѣ журналовъ, этой публикѣ дѣйствительно читать нечего; отдѣльныя книги издаются теперь чаще прежняго, но ихъ все таки мало; кромѣ того, онѣ имѣютъ или ученый, или учебный характеръ; это—или изслѣдованія, или популярныя руководства, а учиться большинство нашей публики или не желаетъ, вѣроятно потому, что воспитаніе, данное ей въ школѣ, было дурно и оставило послѣ себя на всю жизнь полнѣйшее отвращеніе къ тому, что отзывалось школой или книжной ученостью. Сочиненія Пушкина, Лермонтова и Гоголя знаютъ почти наизусть люди, одаренные эстетическимъ чувствомъ и сколько-нибудь развитые въ литературномъ отношеніи; что-же касается до большинства, то оно или вовсе не читаетъ ихъ, или прочитываетъ ихъ одинъ разъ, для соблюденія обряда, и потомъ откладываетъ въ сторону и почти забываетъ. Перечитать во второй разъ художественное произведеніе потому только, что оно художественно или проникнуто глубокой мыслью, это такой подвигъ, котораго возможность понимаютъ далеко не всѣ и на который рѣшаются очень немногіе. Между тѣмъ журналы неотразимой силой привлекаютъ къ себѣ этихъ господъ: во-первыхъ, они даютъ свѣжія новости, во-вторыхъ, разнообразіе, часто даже пестрота оглавленія даетъ каждому всѣ средства выбрать себѣ чтеніе по вкусу и по плечу; въ-третьихъ, одна книжка не успѣваетъ еще приглядѣться, какъ она смѣняется новой, и провинціальный читатель слѣдитъ за идеями и интересами вѣка, не успѣвая соскучиться и не утомляя свой мозгъ усиленной работой. Все это было бы очень хорошо; литераторы и публика удовлетворяли бы другъ друга, но дѣло въ томъ, что на практикѣ выходитъ совсѣмъ не то, что выходило въ теоріи.

Пишущіе люди забываютъ, что они пишутъ не для себя, а для общества, литераторы составляютъ замкнутый кружокъ; этотъ кружокъ внутри себя вырабатываетъ идеи и убѣжденія и передаетъ публикѣ результаты, которые ча-

сто оказываются понятными только тогда, когда мы знаемъ, какъ они вырабатывались и формировались; одинъ кружокъ сталкивается въ мнѣніяхъ съ другимъ, начинается споръ, котораго предметъ остается теменъ для публики; между тѣмъ публика читаетъ полемику, видитъ, какъ горячатся оба противника, и съ любопытствомъ слѣдитъ за скандальной стороной дѣла. Не вините въ этомъ публику; поставьте себя на ея мѣсто; представьте себѣ, что при васъ происходитъ споръ на непонятномъ для васъ языкѣ. Если вы не выйдете изъ комнаты, то вы, вѣроятно, почти невольно будете слѣдить за выраженіемъ лица и за мимикой спорящихъ личностей. То-же самое дѣлаетъ публика. О предметѣ ученаго или литературнаго спора она судить не можетъ, потому что спорящіе литераторы большей частью забываютъ о ея существованіи и не дѣлаютъ ни шагу для того, чтобы пояснить ей, въ чемъ дѣло. Они ссылаются на иностранные авторитеты, на собственные сочиненія или статьи, разбросанныя по разнымъ журналамъ или напечатанныя лѣтъ десять тому назадъ, наконецъ, на голосъ внутренняго чувства, какъ сдѣлалъ Погодинъ на диспутѣ съ Костомаровымъ или покойный Хомяковъ, возстава въ «Русской Бесѣдѣ» противъ матеріализма. Справляться по всѣмъ этимъ ссылкамъ мудрено; у публики не достало бы на это ни досуга, ни терпѣнія. Слѣдовательно, останется ей двѣ дороги: или вовсе не читать спора, или, читая его, втихомолку посмѣиваться надъ тѣмъ, какъ горячатся спорящія стороны. Публика такъ и дѣлаетъ.

## II.

Вопросъ о народности, сближеніе съ народомъ, изученіе народности—эти слова слышатся на каждомъ шагу и встрѣчаются на каждой страницѣ нашихъ большихъ журналовъ. Идеи этихъ словъ мудрено не сочувствовать, трудно въ этихъ святыхъ словахъ не видѣть великой задачи времени, самаго животрепещущаго интереса нашей будущей исторіи. Но съ другой стороны нужно быть въ высшей степени доврчивымъ и добродушнымъ оптимистомъ, чтобы отъ нашихъ журналовъ ожидать дѣйствительнаго сближенія съ народомъ. «Русская Бесѣда» втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ печатала дѣльныя и основательныя изслѣдованія Хомякова, Кирѣевскихъ, Аксаковыхъ, Бѣляева; «Отечественныя Записки» въ прошломъ году приложили къ своему журналу цѣлый сборникъ пѣсенъ Якушкина; въ «Свѣточѣ» во всѣхъ подробностяхъ описана русская свадьба; «Современникъ» принужденъ выслушивать замѣчанія со стороны «Отечественныхъ Записокъ» за то, что мало занимается народнымъ элементомъ; новый журналъ «Время» на интересахъ народности строитъ всю свою программу, и что-же



## III.

изъ этого выходить, какія практическія слѣдствія ведутъ за собою всѣ эти благородныя стремленія? Ровно никакихъ. Они дадутъ только будущему біографу матеріалы, по которымъ онъ будетъ въ состояніи сдѣлать ошибочный выводъ такого рода: «въ половинѣ XIX столѣтія вопросъ о народности возбуждалъ къ себѣ сильное сочувствіе въ читающей части русскаго общества». Этотъ выводъ будущаго бібліографа я смѣло рѣшаюсь назвать ошибочнымъ, на томъ основаніи, что «Современникъ» и «Русскій Вѣстникъ» пользуются наибольшей популярностью, несмотря на то, что первый отличается космополитическимъ направленіемъ, а второй занимается гражданской жизнью Западной Европы гораздо пристальнѣе, нежели интересами нашей народности. Если сверхъ того принять въ соображеніе тотъ фактъ, что «Русская Бесѣда» существуетъ почти безъ подписчиковъ, то не трудно будетъ убѣдиться въ томъ, что наша журналистика не успѣла пріохотить къ ознакомленію съ народностью даже ту часть публики, на которую она можетъ имѣть непосредственное вліяніе. О вліяніи на простой народъ, о фактическомъ сближеніи съ нимъ путемъ журнальной литературы—смѣшно и говорить. Нашъ народъ, конечно, не знаетъ того, что о немъ пишутъ и разсуждаютъ, и вѣроятно еще лѣтъ тридцать не узнаетъ объ немъ. Житейскихъ, осязательныхъ результатовъ онъ вѣроятно долго не увидитъ, потому что стремленія не переходятъ въ дѣло и остаются на страницахъ журналовъ, къ обоюдной выгодѣ редакцій и сотрудниковъ. Что вопросъ объ эмансипаціи разрѣшился независимо отъ журнальных толковъ, въ этомъ конечно нельзя винить журналистику; эмансипація была дѣломъ правительства и совершается административнымъ путемъ. Но воскресныя и бесплатныя школы?—Это было дѣломъ общества, а между тѣмъ этотъ вопросъ прошелъ мимо журналистики, и журналы ограничились тѣмъ, что отмѣтили совершившійся фактъ на страницахъ своей современной лѣтописи или хроники. Не журналы возбудили этотъ вопросъ, и литература не указала обществу на его насущную потребность, а только оговорила эту потребность уже тогда, когда ее существованіе было сознано всѣми, когда уже были приняты мѣры для удовлетворенія этой потребности. Любопытно было бы знать, можно-ли указать хоть на одно полезное дѣло, хоть на одинъ живой вопросъ народной жизни, который былъ бы возбужденъ и рѣшенъ нашими журналами и который не остался бы на бумагѣ, а хоть на одну іоту увеличилъ бы матеріальное и нравственное благосостояніе нашего народа. Я почти увѣренъ, что отвѣтъ на этотъ вопросъ получится отрицательный. Причины этого явленія я постараюсь разобрать въ самыхъ общихъ чертахъ.

Внѣшняя фізіономія нашего общества слагается, конечно, помимо литературы. Наша журналистика не можетъ имѣть никакого вліянія на рѣшеніе административныхъ вопросовъ, слѣдовательно эту сторону дѣла я могу совершенно выпустить изъ моего разсужденія. Само собою понятно, что статьи «Русскаго Вѣстника» объ англійскомъ *jury* или объ англійскомъ парламентѣ имѣютъ для насъ интересъ чисто научный и не могутъ содѣйствовать нашему гражданскому воспитанію, потому что гражданъ воспитываетъ жизнь, а не книга. Точно также понятно, что сблизиться съ народомъ мы путемъ журналистики не можемъ; сблизается съ народомъ тотъ, кто живетъ среди него, кто видитъ его каждый день въ разныхъ видахъ и положеніяхъ, у кого есть съ нимъ общіе интересы и общія стремленія. Нѣтъ сомнѣнія, что помѣщики лучше петербургскихъ и московскихъ литераторовъ знаютъ бытъ и характеръ простого народа; они знаютъ народъ въ самомъ будничномъ и непривлекательномъ видѣ; у нихъ происходятъ съ нимъ ежедневныя столкновенія, которыми ожесточаются обѣ стороны; подъ вліяніемъ этихъ столкновеній у впечатлительнаго человѣка портится характеръ и формируется мрачный и гуманный взглядъ на личность русскаго простолюдина; все это справедливо, но зато въ основу этого взгляда ложится не теорія, а непосредственный опытъ, и вслѣдствіе этого понятіе, которое сложилось въ головѣ практическаго хозяина о типическихъ особенностяхъ русскаго крестьянина, будетъ всегда ярче и опредѣленнѣе въ частностяхъ, чѣмъ понятіе теоретика-литератора, воодушевленнаго самыми безкорыстными и гуманными стремленіями. Практическое сближеніе съ народомъ—дѣло до такой степени важное, что его нельзя предпринять между прочимъ, толкуя о Боклѣ и Стюартѣ Миллѣ; какая-нибудь поѣздка по Россіи можетъ оставить въ воображеніи нѣсколько типическихъ фигуръ, которыя годятся для альбомнаго рисунка или для легкаго литературнаго очерка; но внутренній смыслъ этихъ фигуръ дается не сразу и постепенно измѣняется по мѣрѣ того, какъ вы подходите къ нимъ ближе и вглядываетесь внимательнѣе въ ихъ выраженіе и обстановку. Словомъ, журналистика, проводящая общечеловѣческія идеи въ русское общество, нуждается въ посредникахъ, которые проводили бы эти идеи къ народу. Въ настоящее время народъ еще не въ состояніи сознавать эти идеи, обращать ихъ въ свое умственное достояніе, органически перерабатывать ихъ силой собственнаго мышленія; пусть онъ по крайней мѣрѣ чувствуетъ на себѣ ихъ благотворное, согревающее вліяніе. Русскій крестьянинъ, быть мо-



жеть, еще не въ состояніи возвыситься до понятія собственной личности, возвыситься до разумнаго эгоизма и до уваженія къ своему я: пускай-же онъ почувствуетъ по крайней мѣрѣ какую-то пережѣну въ окружающей атмосферѣ, пускай почувствуетъ, что съ нимъ обращаются *господа* какъ-то не по-прежнему, а какъ-то серьезнѣе и мягче, любовнѣе и ровнѣе. Такого рода пережѣна въ обращеніи не укрылась бы отъ его вниманія и измѣнила бы его нечувствительно для него самого. «Чѣмъ болѣе вы будете обращаться съ мальчикомъ, какъ съ джентльменомъ, тѣмъ скорѣе онъ дѣйствительно превратится въ джентльмена»—это основное положеніе американской педагогики, и это положеніе можетъ быть примѣнено къ дѣлу вездѣ, гдѣ эмансипація идетъ не снизу вверхъ, а сверху внизъ. Чтобы русскій мужикъ почувствовалъ эту благодѣтельную пережѣну, нужно, чтобы наше провинціальное дворянство и мелкое чиновничество перестало быть тѣмъ, что оно теперь. Гуманизировать это сословіе—дѣло литературы и преимущественно журналистики. Это дѣло, конечно, исполнимѣе сближенія съ народностью или гражданской реформы путемъ журнальных статей. Это дѣло требуетъ дружныхъ усилій и долговременнаго труда, но какое-же дѣйствительное усовершенствованіе въ сферѣ гражданской жизни не требуетъ времени, труда, траты силъ и единодушія? По крайней мѣрѣ, можно сказать одно: это—цѣль достижимая, и это, можетъ быть, единственная задача, которую можетъ выполнить литература, и которую при томъ только одна литература и въ состояніи выполнить. Это среднее сословіе, гуманизированное общечеловѣческими идеями, можетъ сдѣлаться посредникомъ между передовыми дѣятелями русской мысли и нашими младшими братьями-мужиками, въ избу которыхъ, конечно, никогда не заходятъ книжки журналовъ, стоящихъ 15 руб. сер. въ годъ. Ни грошовыя изданія, о которыхъ было говорено, ни «Народное Чтеніе», о которомъ нужно будетъ поговорить со временемъ, не принесутъ народу никакой чувствительной пользы. Эти книги написаны людьми, имѣющими какое-то отвлеченное, книжное понятіе о народѣ, старающимися приноровиться къ его потребностямъ и обнаруживающими въ своихъ попыткахъ полнѣйшую непрактичность, полнѣйшее незнаніе той почвы, которую они хотятъ воздѣлывать. Но не забывайте, что въ нашемъ обществѣ есть тысячи людей, понимающихъ нашъ книжный языкъ, носящихъ нашъ костюмъ, словомъ—*господа*, которые въ состояніи прочесть и понять ученую статью въ журналѣ и которые въ то-же время живутъ среди народа, въ деревняхъ и уѣздныхъ городахъ нашего обширнаго отечества. Эти люди поневолѣ выучиваются говорить съ народомъ и присматриваются къ его потребностямъ; эти

люди по самому своему положенію стоятъ на рубежѣ двухъ элементовъ, общества и народа, и какъ будто призваны быть передатчиками и проводниками идей и знаній сверху внизъ. Отчего-же мы ими не пользуемся? Оттого, мнѣ кажется, что до сихъ поръ мало обращали на нихъ вниманія. Наша журнальная критика и журнальная наука могли особенно благодѣтельно дѣйствовать на это сословіе, но, къ сожалѣнію, ни критика, ни наука не имѣли въ виду этого класса читателей и не заботились даже о томъ, чтобы сдѣлаться доступными имъ по формѣ. Въ настоящее время вы не найдете почти ни одной критической статьи, которая была бы вполне понятна человѣку, не имѣющему специальныхъ свѣдѣній по тому кругу предметовъ, къ которому относится статья. Обыкновенному читателю такая статья представляется непрерывнымъ рядомъ намековъ, въ которыхъ онъ будетъ смутно чувствовать какую-то общую связь, но въ чемъ состоитъ эта связь и что говорятъ эти намеки, это останется ему совершенно непонятнымъ. Опять-таки доказательство того, что если цѣлые отдѣлы нашихъ журналовъ остаются неразрѣзанными, то виновата въ этомъ не публика. Наши журналисты мечтаютъ о гражданской жизни и о сближеніи съ народомъ, и эти безплодные мечты отвлекаютъ ихъ отъ настоящаго дѣла, отъ дѣйствительной обязанности, отъ живого общенія съ той сферой читателей, которая ждетъ отъ нихъ притока знаній и идей. Кромѣ того, кромѣ этого міра благородныхъ, но неосуществимыхъ мечтаній, у нашихъ журналистовъ есть цѣлый міръ закулисныхъ тайнъ, и намеками на интересы этого міра пересыпаны ихъ критическія обзорѣнія и полемическія статьи. Этотъ міръ мелкихъ личныхъ непріятностей, міръ литературнаго кумовства и нелитературныхъ перебранокъ даетъ себя чувствовать по временамъ въ какомъ-нибудь журнальномъ скандалѣ, котораго причина и истинная фізіономія остаются непонятными для массы читающей публики. А между тѣмъ, публику потчуютъ этими скандалами, и она *volens nolens* узнаетъ факты, непонятные для нея и вовсе не интересные.

#### IV.

Но что же можетъ и что должна сдѣлать журналистика для той публики, которая исключительно занимается чтеніемъ журналовъ? Она должна разбить ея предрасудки и помочь ей выработать себѣ разумное міросозерцаніе. При этомъ она должна имѣть въ виду ту часть публики, которая способна подвинуться впередъ, людей молодыхъ и свѣжихъ, людей, способныхъ принять истину и отрѣшиться отъ отцовскихъ заблужденій. Для такихъ людей талантливый критикъ съ живымъ чувствомъ и съ энерги-



ческимъ умомъ, критикъ, подобный Бѣлинскому, могъ бы быть въ полномъ смыслѣ слова учителемъ нравственности, да не той условной нравственности, которая осуждаетъ г-жу Толмачеву, а той широкой нравственности, которая желаетъ только, чтобы человѣкъ былъ самимъ собою, чтобы всякое чувство проявлялось свободно, безъ посторонняго контроля и придуманныхъ стѣсненій. Литература во всѣхъ своихъ видоизмѣненіяхъ должна бить въ одну точку; она должна всѣми своими силами эмансипировать человѣческую личность отъ тѣхъ разнообразныхъ стѣсненій, которыя налагаютъ на нее робость собственной мысли, предразсудки касты, авторитетъ преданія, стремленіе къ общему идеалу и весь тотъ отжившій хламъ, который мѣшаетъ живому человѣку свободно дышать и развиваться во всѣ стороны. А то ли дѣлаетъ наша литература? Къ большей части вопросовъ жизни, науки или искусства она относится какъ-то нерѣшительно, какъ-то въ половину, оглядываясь по сторонамъ, боясь колыхнуть авторитетъ, боясь оскорбить исторію; эти оглядки, эти опасенія часто имѣютъ мѣсто въ такомъ дѣлѣ, въ которомъ можно смѣло положиться на голосъ здраваго смысла, въ которомъ можно даже отдаться внушенію непосредственнаго чувства. Возьмемъ примѣръ: пермская дама прочла на публичномъ чтеніи стихотвореніе Пушкина; корреспондентъ одной газеты описалъ это чтеніе, стараясь для удовольствія публики блеснуть яркостью красокъ и не жалѣя риторическихъ украшеній; сотрудникъ другой газеты, также для удовольствія публики, начинаетъ глумиться надъ описаніемъ перваго и, давши волю своему неопрятному юмору, съ размаху задѣваетъ имя и личность читавшей дамы. Дѣло, кажется, ясное! Оно ясно до такой степени, что о немъ, можетъ быть, и вовсе не стоило говорить, но правильное чутье нѣкоторыхъ нашихъ журналовъ показало имъ, что это—вопросъ, для насъ еще нерѣшенный и требующій оговорок. Юмористъ газеты «Вѣкъ» получилъ отъ лица нашей журналистики серьезный выговоръ за свои циническія выходки противъ личности женщины и за ретроградное направление своей статьи. Этотъ выговоръ можно было бы назвать донкихотствомъ, если бы общественное мнѣніе въ Россіи опредѣлилось на столько, чтобы всѣ образованные люди рѣшали въ одинъ голосъ важнѣйшіе вопросы жизни. Но у насъ рѣшительно нѣтъ общественныхъ убѣжденій; въ каждомъ семействѣ происходитъ борьба между старыми понятіями и молодыми стремленіями; эта борьба и эти колебанія порождаютъ въ жизни общества много противорѣчащихъ другъ другу явленій; напр., молодая дѣвушка приходитъ въ университетъ учиться, а профессоръ старается выжить ее изъ аудиторіи циническимъ тономъ своей лекціи. Очевидно,

эта дѣвушка и этотъ профессоръ расходятся между собою во взглядѣ на такой простой и понятный предметъ, какъ образованіе женщинъ; они представляютъ борьбу двухъ диаметрально-противоположныхъ началъ, Домостроя и XIX вѣка. Обѣ стороны открыто несутъ свое знамя и понимаютъ свою несовмѣстимость. Но не всѣ члены общества становятся рѣшительно на ту или на другую сторону; большая часть такъ называемыхъ серьезныхъ людей держатъ нейтралитетъ и становятся въ самыя разнообразныя положенія въ отношеніи къ предмету спора; они обсуживаютъ его, вводя въ свои сужденія такое множество оговорокъ и ограниченій, что сущность дѣла становится мало по-малу неясной для самыхъ жаркихъ защитниковъ того или другого мнѣнія; качая мудрыми головами, эти разсудительные люди обвиняютъ обыкновенно обѣ спорящія стороны въ крайности и въ увлеченіи, и сами стараются выбрать золотую середину. А возможна-ли эта середина? Попробуйте стать посерединѣ между негромъ и плантаторомъ, между самодуромъ-отцомъ и дочерью, которую насильно выдаютъ замужъ, между мистицизмомъ и рационализмомъ. Примиренія нѣтъ, и держать нейтралитетъ значитъ стоять совершенно въ сторонѣ и не принимать никакого участія въ обсуждаемомъ вопросѣ. Нейтралитетъ, который стараются держать люди разсудительные, есть въ сущности оптический обманъ, и, какъ оптический обманъ, онъ можетъ быть опасенъ для неопытныхъ глазъ.

Въ нашемъ обществѣ есть много людей молодыхъ, которые душою рады были бы пойти за свѣтлыми и привлекательными идеями вѣка, но которыхъ останавливаетъ, во-первыхъ, то, что результаты этихъ идей совершенно расходятся съ существующими формами жизни, и, во-вторыхъ, голосъ разсудительныхъ людей, въбравшихъ мнимую золотую середину. Робость ихъ неокрѣпшей мысли останавливается на существующемъ порядкѣ и на авторитетѣ. Чтобы помочь этимъ людямъ, надо пользоваться случаемъ, брать примѣры прямо изъ жизни и на этихъ примѣрахъ показывать приложеніе общихъ правилъ и руководящихъ идей.

Протестъ нашихъ журналовъ противъ Камня-Виногорова былъ положительно полезенъ; онъ показалъ обществу, какъ наше литературное большинство понимаетъ права женщины, и показалъ не въ теоретическомъ разсужденіи, а на живомъ примѣрѣ. Но нерѣшительность отношеній къ простому и ясному дѣлу нашла себѣ представителей въ двухъ значительныхъ органахъ нашей журналистики. «Отечественныя Записки» приняли шутиливый тонъ, говоря объ этомъ событіи въ отдѣлѣ русской литературы (1861, апрѣль, стр. 143); осмѣляли какъ школьническую продѣлку всю исторію протеста и постоивали о томъ, что толки о женщинѣ не



уясняли значенія семейнаго начала въ Россіи. «Русскій Вѣстникъ» отнесся къ дѣлу гораздо строже; у него всѣ оказались виноваты: и г-жа Толмачева, и фельетонистъ «Петербургскихъ Вѣдомостей», и юмористъ «Вѣка», и въ особенности Михайловъ и *спущенная имъ стая*. На 17 страницахъ разбирается это дѣло, и разборъ приводитъ къ самымъ неожиданнымъ результатамъ; съ-плеча высказываются смѣлыя по-видимому мнѣнія, которыя на слѣдующей-же страницѣ встрѣчаютъ себѣ такое-же смѣлое опроверженіе. На стр. 24 говорится о томъ, что женщина въ нашемъ обществѣ пользуется всѣми разумными правами, а на страницѣ 36 прорывается признаніе, что «у насъ дѣвушка не легко отважится пройти одна по улицѣ». Концы съ концами сведены такъ, что вы при чтеніи не замѣтите противорѣчій, но если вы захотите отдать себѣ отчетъ въ прочитанномъ, то общее впечатлѣніе выйдетъ самое смутное. Дѣло въ томъ, что въ подобномъ вопросѣ надобно отвѣчать ясно и категорически: да или нѣтъ. Меттерниховскія полумѣры, отвѣты *и да, и нѣтъ* или *ни да, ни нѣтъ* неприменимы и безсмысленны. Молодыя женщины и дѣвушки нашего общества чувствуютъ потребность учиться; у нихъ пробуждается дѣятельность мысли; вопросъ въ томъ, дать-ли имъ книги въ руки или нѣтъ, пустить-ли ихъ въ университетъ или нѣтъ. Давая имъ книги и пуская ихъ въ университетъ, мы, мужчины, собственно говоря, ничего не дѣлаемъ, а только устраняемъ свое влияние и рѣшительно не принимаемъ на себя никакой отвѣтственности. Не давая книгъ и запирая двери университета, мы самымъ грубымъ образомъ посягаемъ на чужую свободу. Скажите-же, въ какомъ образованномъ обществѣ возможенъ такой вопросъ? Вѣдь это все равно, что спросить печатно: нужно-ли бить женщину кулакомъ, или нѣтъ. Неужели для разрѣшенія такого вопроса нужно обращаться къ исторіи, уяснять значеніе семейнаго начала, или ссылаться на права женщины передъ сводомъ законовъ, какъ дѣлаетъ «Русскій Вѣстникъ»? Научный вопросъ, историческое значеніе женщины въ древней и новой Россіи можно обсуживать сколько угодно, и чѣмъ больше фактовъ вы наберете въ лѣтописяхъ, тѣмъ полнѣе и серьезнѣе будетъ ваше изслѣдованіе; но если вы въ житейскій вопросъ вмѣшаете результаты вашихъ кабинетныхъ трудовъ, то это будетъ напрасная трата времени.

А время вещь какая?

Дѣйствительно, діалектическія тонкости, въ которыя пускаются наши журналы по поводу самыхъ простыхъ и понятныхъ вещей, какъ нельзя больше напоминаютъ читающей публикѣ знаменитаго метафизика, сваливашагося въ яму и не рѣшающагося безъ предварительнаго раз-

мышленія схватить веревку, которую спускаетъ къ нему здравомыслящій человѣкъ. «Фразы за-ѣли насъ», говоритъ «Русскій Вѣстникъ» въ своей статьѣ о г-жѣ Толмачевой (1861 г., мартъ, стр. 37). Это совершенно справедливо. Когда нужно приложить къ дѣлу здравый смыслъ, когда можно дать волю непосредственному чувству, мы пускаемся въ фразы и выдвигаемъ впередъ вычитанную теорію; живой фактъ превращается въ отвлеченное, безжизненное и безцвѣтное понятіе; это понятіе поворачиваемъ во всѣ стороны; на цѣлыхъ страницахъ мы переливаемъ изъ пустого въ порожнее и въ заключеніи подводимъ такіе результаты, которые на завтрашній-же день, какъ мыльные пузыри, лопнутъ отъ движенія жизни. Жизнь идетъ мимо литературы, и журнальныя теоріи одна за другой сдаются въ архивъ и умираютъ.

#### V.

Жизнь наша бѣдна внутреннимъ содержаніемъ, а между тѣмъ и эта бѣдная жизнь съ ея потребностями и стремленіями отражается довольно ясно только въ изящной словесности. Наша изящная словесность во всѣхъ отношеніяхъ стоитъ выше нашей критики, такъ что во многихъ случаяхъ критика не была въ состояніи дать отчета о художественномъ произведеніи, возбудившемъ всеобщее сочувствіе въ читающей публикѣ. О «Воспитанницѣ» Островскаго не было сказано ни слова, а между тѣмъ какъ много говоритъ эта небольшая драма, какія живыя личности и положенія выступаютъ передъ воображеніемъ читателя! Если молчаніе критики о «Воспитанницѣ» произошло отъ невниманія, то это непростительная оплошность; впрочемъ трудно сдѣлать подобное предположеніе; вѣрнѣе то, что у нашей критики не достало силъ разобрать аналитически тѣ явленія, которыя въ стройныхъ образахъ явились передъ творческимъ сознаніемъ художника; сознаніе этого безсилія и нежеланіе отдѣлаться фразами отъ замѣчательнаго произведенія дѣлаетъ честь добросовѣстности нашихъ критиковъ; но самый фактъ безсилія—явленіе, дѣйствительно существующее и въ то-же время очень печальное. На изящную словесность намъ рѣшительно невозможно пожаловаться; она дѣлаетъ свое дѣло добросовѣстно и своими хорошими и дурными свойствами отражаетъ съ дагерротипической вѣрностью положеніе нашего общества. Во-первыхъ, все вниманіе ея сосредоточено на среднемъ сословіи, т. е. на томъ классѣ, который дѣйствительно живетъ и движется, для котораго смѣняются идеалы, взгляды на жизнь и вѣянія эпохи. Романы изъ жизни высшей аристократіи и изъ простонароднаго быта сравнительно довольно рѣдки, а явленіе писателя, подобнаго Марку Вовчку,—писателя, сливающаго свою личность съ наро-



домъ, составляетъ совершенное исключеніе. Это предпочтеніе нашихъ художниковъ къ среднему сословію объясняется тѣмъ, что къ этому сословію принадлежитъ почти все то, что пишеть, читаетъ, мыслить и развивается. Высшая аристократія и простой народъ въ сущности мало измѣнились со временъ напр. Александра I; народъ остался тѣмъ, чѣмъ былъ, и не перемѣнилъ даже покроя платья; аристократія перемѣнила костюмъ, приняла какія-нибудь новыя привычки, но образъ мыслей, взглядъ на жизнь остались тѣ-же и по-прежнему напоминаютъ вѣкъ Людовика XIV. Что-же касается до средняго сословія, то каждое десятилѣтіе производить въ немъ замѣтную перемѣну; поколѣніе рѣзко отличается отъ поколѣнія; идеи европейскаго запада дѣйствуютъ почти исключительно на высшіе слои этого средняго класса; этотъ классъ наполняетъ собою университеты, держитъ въ рукахъ литературу и журналистику, ѣздитъ за границу съ ученой цѣлью, словомъ, онъ выражаетъ собою національное самосознаніе. Художникъ, который ищетъ человѣческихъ чертъ, а не бытовыхъ подробностей, психологическаго, а не этнографическаго интереса, естественно обращается къ этому классу и изъ него черпаетъ матеріалы. Борьба идей, а не личностей, столкновеніе понятій и воззрѣній возможны только въ этомъ классѣ. Предметъ борьбы и столкновенія характеризуетъ собою эпоху, и при томъ такъ вѣрно, что хороший критикъ по одному внутреннему содержанию художественнаго произведенія, котораго герои взяты изъ средняго сословія, можетъ опредѣлить безошибочно то десятилѣтіе, въ которомъ оно возникло. Сравните «Герой нашего времени», «Кто виноватъ?» и «Дворянское Гнѣздо», и вы увидите, до какой степени измѣняются характерныя физіономіи и понятія изъ десятилѣтія въ десятилѣтіе.

Занимаясь преимущественно среднимъ сословіемъ, наша изящная словесность обращаетъ свое вниманіе не столько на общество, сколько на человѣческую личность. Психологическій интересъ въ большей части нашихъ романовъ и повѣстей преобладаетъ надъ бытовымъ и социальнымъ. Дѣйствіе происходитъ обыкновенно внутри семейства и почти никогда не приводится въ связь съ какии-нибудь общественнымъ вопросомъ. Въ этомъ обстоятельствѣ также отражается явленіе русской жизни; дѣло въ томъ, что у насъ, собственно говоря, нѣтъ общества, и до сихъ поръ не бывало такихъ движеній, которыя бы заинтересовали всѣхъ и дали почувствовать каждому, что онъ не только Петровъ или Ивановъ, но въ то-же время гражданинъ Россіи; у насъ есть множество отдѣльных кружковъ, которые другъ друга не знаютъ и знать не хотятъ; внутренняя связь этихъ кружковъ иногда имѣетъ

очень опредѣленный смыслъ, а иногда вовсе не имѣетъ смысла; въ нѣкоторыхъ случаяхъ кружокъ составляется изъ людей, связанныхъ между собою симпатіей, единствомъ убѣжденій, сходствомъ характеровъ; большей частью кружки основаны на связи чисто случайной, на родствѣ или свойствѣ, на сосѣдствѣ по деревнѣ, на товариществѣ по службѣ, на встрѣчѣ за бутылкой вина. Физіономію кружка часто очень удачно схватываетъ художникъ; въ этой физіономіи есть обыкновенно нѣсколько типическихъ чертъ, которыя каждому русскому понятны и знакомы; другія черты, составляющія индивидуальную особенность того или другого кружка, тоже могутъ войти въ романъ, потому что идея художника должна выразиться въ самомъ опредѣленномъ обособленіи, такъ чтобы выведенныя личности были живыми людьми и въ то-же время представителями извѣстнаго типа. Но для критики отсутствіе связи между отдѣльными кружками составляетъ рѣшительно камень преткновенія; какъ судить объ обществѣ, какъ наблюдать за проявленіями его жизни, когда общества нѣтъ и когда жизнь общества ни въ чемъ не проявляется! Задача дѣйствительно мудреная, и за рѣшеніе этой задачи критика наша берется, сколько мнѣ кажется, не такъ, какъ слѣдовало бы. За неимѣніемъ общества она старается его выдумать; она пытается привить къ намъ общественные интересы и истощается въ благородныхъ, но бесполезныхъ усиліяхъ; она хочетъ сдѣлать слишкомъ много и потому ровно ничего не дѣлаетъ; она забываетъ, что критика можетъ только обсуждать существующія явленія, выражать потребности, носящіяся въ обществѣ, а не порождать новыя явленія и не будить въ обществѣ такія потребности, для которыхъ еще нѣтъ почвы въ дѣйствительности. Забѣгать впередъ не дѣло критики; это значитъ разрушать живую связь между собою и читающимъ обществомъ; если критика 1861 года осталась непрочитанной или по прочтеніи не произвела на читателя никакого впечатлѣнія, то она навсегда пропала; вѣдь будущее поколѣніе не станетъ-же разрывать старые журналы, чтобы искать въ нихъ идеи, приходящіяся по душѣ. Журналистика — дѣло нынѣшняго дня; что не прочитано сегодня, то уже устарѣло завтра. Бѣлинскаго издають и читають теперь преимущественно потому, что его съ жадностью читали его современники, потому что онъ былъ учителемъ цѣлаго поколѣнія, а не потому, что въ его критикѣ заключаются вѣчныя истины. Бѣлинскій дорогъ намъ не какъ мыслитель, а какъ выраженіе извѣстной эпохи. Самые недостатки Бѣлинскаго, его увлеченія, порывы страстности, вредящіе порою ясности критическаго взгляда, могли только содѣйствовать успѣху его критики. Эти недостатки принадлежали времени; ихъ раздѣляли съ Бѣлинскимъ



лучшіе люди той эпохи, и потому эти самые недостатки скрѣпляли связь между критикомъ и читателемъ.

Ничего подобнаго не встрѣтишь въ теперешней критикѣ, потому что усвоить себѣ всѣ сочувствія извѣстной эпохи, всѣ ея сильныя и слабыя стороны, словомъ, воплотить въ себѣ эпоху можетъ только сильный талантъ, а нашимъ критикамъ именно недостаетъ силы и таланта. У нихъ есть кой-какія знанія, есть честныя убѣжденія, благородныя стремленія, но нѣтъ той жизни, той энергіи и огня, которые неотразимымъ обаяніемъ дѣйствуютъ на общество и увлекаютъ за собою умы читателей. Этимъ недостаткомъ таланта объясняются ошибки нашей критики, ея безтактность, и главное—ея поразительная мертвенность. Человѣкъ талантливыи творить по внутренней потребности; онъ увлекается процессомъ творчества за предѣлы всякой теоріи и увлекаетъ за собою слушателей или читателей; онъ иногда ошибается, противорѣчитъ себѣ, потому что впечатлительность и подвижность мысли часто мѣшаютъ ему размѣрять каждый шагъ и взвѣшивать каждое слово. Трудлюбивая посредственность часто найдетъ случай уличить его въ поверхностности, въ поспѣшности выводовъ, въ недостаточномъ знакомствѣ съ фактами, но во всѣхъ этихъ ошибкахъ, въ самыхъ противорѣчіяхъ видна самородная сила мысли, отъ нихъ вѣетъ жизнью, и во имя этого обаятельнаго дыханія жизни мы охотно извинимъ талантливому человѣку отдѣльные пробѣлы и недосмотры; задаться какой-нибудь теоріей и не отступать отъ нея в теченіи всей своей дѣятельности—это невозможно для талантливаго человѣка; оторваться отъ интересовъ дѣйствительной жизни онъ рѣшительно не въ состояніи; его природа слишкомъ воспримчива и впечатлительна, чтобы не отозваться на то, «что проситъ у сердца отвѣта». Онъ можетъ расходиться съ своими современниками въ пониманіи житейскихъ вопросовъ и важнѣйшихъ интересовъ эпохи, онъ можетъ вступить съ ними въ открытую борьбу на жизнь и на смерть, но предметомъ этой борьбы будетъ дѣйствительная почва, а не отвлеченная, схоластическая теорія, созданная односторонней работой мозга.

Современная критика грѣшитъ именно тѣмъ, что она задается теоріями и изобрѣтаетъ жизнь вмѣсто того, чтобы приглядываться и прислушиваться къ звукамъ окружающей дѣйствительности. Бѣдны, однообразны эти звуки, не слагаются они въ стройную гармонію, — все это правда, но вѣдь все-таки это дѣйствительность, и самая ея бѣдность и однообразие представляютъ намъ фактъ, способный вызвать слово сочувствія у дѣйствительнаго поэта или навести истиннаго критика на плодотворныя размышленія. Эту бѣдность не замаскируешь самыми пест-

рыми декораціями фантазіи, да и кого обмануть эти декораціи? Дѣтей, не выучившихся отличать мишуру отъ золота, да тѣхъ жалкихъ людей, у которыхъ воображеніе преобладаетъ надъ чувствомъ, и которые способны жить одной головой и удовлетворяться тѣмъ, что въ ихъ мозгу господствуетъ строгая систематичность и существуетъ гармоническое согласіе между поселенными въ немъ идеями. Витать мыслью въ радужныхъ сферахъ фантазіи или уноситься куда-нибудь за море къ лучшему порядку вещей въ то время, когда окружающіе насъ люди терпятъ горькую судьбу или несутъ тяжелый трудъ, это такая способность сибаритства, которой обладаютъ многіе, но которая, къ сожалѣнію, недоступна человѣку, одаренному живымъ чувствомъ. Возлѣ меня человѣкъ работаетъ и страдаетъ, терпитъ голодъ, холодъ и оскорбленія, а я, сидя на мягкомъ диванѣ, послѣ сытнаго обѣда, боюсь даже пошевелить своей мыслью и подумать о его положеніи; вздохнувъ ex officio о несовершенствахъ жизни, я отворачиваюсь отъ некрасиваго зрѣлища, отгоняю прочь сѣренкія впечатлѣнія и начинаю строить воздушныя замки или разсуждать о парламентской реформѣ въ Англіи. Нѣтъ сомнѣнія, что подобныя спокойныя и свѣтлыя размышленія полезны для головы и для желудка; пульсъ бьется ровно, и пищевареніе идетъ нормальнымъ порядкомъ, но что эти размышленія — сонъ на яву, это, мнѣ кажется, тоже не требуетъ доказательствъ.

## VI.

Наша изящная словесность представляетъ интересъ преимущественно психологическій: она разсматриваетъ человѣка, а не гражданина, не представителя извѣстной эпохи, не члена извѣстнаго общества. Черты народности, эпохи и общества встрѣчаются въ изобиліи въ создаваемыхъ ею образахъ, потому что эти образы дѣйствительно художественны и слѣдовательно вполне опредѣленны; но эти черты составляютъ только необходимые аксессуары; что-же касается до главныхъ пружинъ романческаго интереса, то онѣ обыкновенно скрываются во внутреннемъ развитіи отдѣльных характеровъ, въ колоритѣ личныхъ и семейныхъ отношеній главныхъ дѣйствующихъ лицъ. У насъ не было историческаго романа, за исключеніемъ «Капитанской Дочки» Пушкина; у насъ нѣтъ до сихъ поръ соціальнаго или правоописательнаго романа. Въ этомъ отношеніи литература служить вѣрнымъ отраженіемъ жизни; у насъ каждый занятъ собою и своимъ семейнымъ бытомъ; гражданскія доблести и патріотическое чувство пробуждаются только тогда, когда всѣмъ угрожаетъ опасность, какъ то было, напр., въ 1812 году; вызванное общей опасностью, это патріотическое чувство равносиль-



но чувству самосохраненія, возбужденному одновременно въ нѣсколькихъ милліонахъ людей. Эти милліоны поднимаются не для того, мнѣ кажется, чтобы отстоять какую-нибудь общую идею, а для того, чтобы защитить свои личные интересы. Поднимаются все вмѣстѣ потому, что каждому отдѣльно грозитъ опасность. Эта разрозненность не подлежитъ сомнѣнію. Хороша-ли она, или нѣтъ, это вопросъ, и, мнѣ кажется, вопросъ далеко не рѣшенный. Она мѣшаетъ единству гражданского дѣйствія, но зато развиваетъ личную оригинальность и самостоятельность. Трудно также рѣшить а priori, составляетъ-ли эта разрозненность черту русскаго характера, или простое временное слѣдствіе вѣтшей организаціи нашего общества; какъ бы то ни было, фактъ существуетъ, и, если можно, изъ него нужно извлечь пользу.

Вмѣсто того, чтобы проповѣдывать голосомъ вопіющаго въ пустынѣ о вопросахъ народности и гражданской жизни, о которыхъ молчить изящная словесность, обладающая большимъ тактомъ, наша критика сдѣлала бы очень хорошо, если бы обратила побольше вниманія на общечеловѣческіе вопросы, на вопросы частной нравственности и житейскихъ отношеній. Въ уясненіи этихъ вопросовъ нуждается всякій; эти вопросы затемнены и запутаны разнымъ старымъ хламомъ, который не мѣшало бы отодвинуть въ сторону, чтобы всѣмъ и каждому можно было непредубѣжденными глазами взглянуть на свѣтъ божій и на добрыхъ людей. Съ важнымъ видомъ взойти на кафедру и ни съ того, ни съ сего начать проповѣдь о человѣческихъ обязанностяхъ и добродѣтеляхъ было бы, конечно, смѣшно; я этого и не требую отъ нашей критики; но вы не забудьте того, что въ каждой книжкѣ каждаго толстаго журнала появляются повѣсти и романы; хорошія произведенія представляютъ намъ характеры и образы, посредственные — выражаютъ стремленія и воззрѣнія авторовъ; и тѣ, и другія могутъ дать поводъ къ обсужденію разныхъ сторонъ нашей всендневной жизни, а эти стороны нуждаются въ пересмотрѣ и въ расчищеніи; это выразилъ еще въ «Петербургскомъ Сборникѣ» талантливый и рыцарски-честный человекъ, авторъ статьи: «Капризы и раздумье», и эта мысль нашла себѣ полное сочувствіе въ теплой душѣ Бѣлинскаго. Отношенія между мужемъ и женою, между отцомъ и сыномъ, матерью и дочерью, между воспитателемъ и воспитанникомъ, — все это должно быть обсуживаемо и рассматриваемо съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія. Это обсужденіе не должно привести къ составленію законовъ семейной нравственности. Боже упаси! Догматизмъ вреденъ въ такихъ отношеніяхъ, въ которыхъ не должно быть ничего условнаго, въ которыхъ понятіе обязанности должно совершенно уступить мѣсто свободному влеченію и непосредственному чувству. Выражать

свои мысли и убѣжденія объ условіяхъ домашней жизни должно не для того, чтобы навязать эти мысли современному обществу, а для того, чтобы натолкнуть его на мысль о необходимости подвергнуть тщательному и смѣлому пересмотру существующія формы, освященные вѣками и потому подернувшіяся вѣковой плѣсенью. Говорить мелькомъ объ условной или мѣщанской нравственности принято въ современной литературѣ. Слово «условная нравственность» сдѣлалось даже общимъ мѣстомъ; повторяясь ежеминутно, это слово потеряло свой живой смыслъ и обратилось въ побрякушку, не возбуждающую въ насъ никакого опредѣленнаго представленія, почему это такъ случилось? Намъ заѣли фразы, мы пустились въ діалектику, воскресили схоластику и вращаемся въ заколдованномъ кругу словъ и отвлеченностей, которыми мѣшаютъ намъ видѣть настоящее дѣло. Вотъ, напр., Григорьевъ пишетъ цѣлую статью объ отношеніи искусства къ нравственности: статья по своему направленію соотвѣтствуетъ духу времени, а между тѣмъ авторъ не выходитъ изъ сферы отвлеченностей и ни одного литературнаго типа не разбираетъ по отношенію къ затронутому вопросу; именъ встрѣчается довольно много, но по поводу этихъ именъ высказываются замѣчанія, относящіеся къ исторіи литературы, но не бросающія никакого свѣта на понятіе условной и истинной нравственности. Прочитавъ статью въ 23 страницы, читатель убѣждается въ томъ, что Григорьевъ протестуетъ противъ «условной нравственности», но самое понятіе «условная нравственность» остается для него такъ-же мало опредѣленнымъ, какъ, напр., выраженія того-же критика: «литыя формы» Карамзина («Время» 1861, мартъ) или «казовые концы» нашего общества («Свѣточъ» 1861, апрѣль). Заявить въ себѣ присутствіе того или другого убѣжденія не трудно; тотъ фактъ, что вы — прогрессистъ или обскурантъ, касается только васъ самихъ и вашихъ ближайшихъ знакомыхъ; публика не нуждается въ вашемъ голословномъ исповѣданіи вѣры; оно ни для кого не поучительно и, можетъ быть, даже не интересно; но если вы дадите себѣ трудъ развить отдѣльныя мысли вашего міросозерцанія, если вы покажете ихъ приложеніе къ дѣлу въ различныхъ столкновеніяхъ съ жизнью, тогда публика увидитъ степень самостоятельности и искренности вашихъ убѣжденій, степень ихъ жизненности и практической примѣнимости; она увидитъ, что можно задуматься надъ выраженными вами идеями, и, можетъ быть, скажетъ вамъ спасибо за то, что вы дали ей поводъ къ тѣмъ или другимъ размышленіямъ. Есть множество истинъ простыхъ и понятныхъ, которыя, однако, не совсѣмъ легко примѣнить, даже въ теоретическомъ разсужденіи, къ отдѣльнымъ случаямъ жизни. «Ува-



жайте въ себѣ и въ другихъ человѣческую личность», — что можетъ быть проще этого правила; вѣроятно, не найдется ни одного человека въ мірѣ, который рѣшился бы спорить противъ этой мысли, выраженной въ догматической формѣ; вѣроятно, никто не найдетъ этого изреченія безнравственнымъ; а между тѣмъ, посмотрите вокругъ себя — вы встрѣтите на каждомъ шагѣ противорѣчія этому простому правилу практической нравственности; загляните въ исторію человѣчества, и вы убѣдитесь въ томъ, что оно даже теоретически не уяснило себѣ этой идеи; религіозныя войны, утопическія теоріи, реформы съ высоты административнаго величія или отвлеченной мысли доказываютъ ясно, что необходимость уважать человѣческую личность не была признана во всемъ своемъ объемѣ ни мыслителями, отъ Платона до Гегеля, ни практическими дѣятелями, отъ Кира Персидскаго до Наполеона III. Можно сказать рѣшительно, что приложеніе принципа къ дѣлу гораздо важнѣе самаго принципа; подъ однимъ знаменемъ могутъ стоять люди самыхъ несходныхъ характеровъ и даже до нѣкоторой степени разнорѣчивыхъ убѣжденій. Вѣроятно, «Русскій Вѣстникъ» не рѣшится выставить на своемъ знамени цитату изъ Домостроя, вѣроятно, онъ скажетъ смѣло, что радуется за прогрессъ и за свободу человѣческой мысли и личности, а между тѣмъ, онъ съ ожесточеніемъ возстаетъ противъ тѣхъ людей, которые выразили свое неудовольствіе по поводу статьи Камня-Виногорова, называетъ ихъ стаей, спущенной Михайловымъ, а всю исторію протеста клеймитъ именемъ возмутительнаго гама на площадяхъ русской литературы. Споры возникаютъ въ наше время не столько за принципъ, сколько за отдѣльныя частности въ его приложеніи къ дѣлу; въ основномъ принципѣ всѣ порядочные люди болѣе или менѣе согласны между собою; кто не сходится съ нами въ основаніи, съ тѣмъ мы считаемъ всякій споръ совершенно бесполезнымъ; вѣроятно, ни одинъ порядочный журналъ не вступитъ въ полемику съ «Домашней Бесѣдой» и не откликнется ни однимъ словомъ на кривлянія Асоченскаго. Изъ всего слѣдуетъ, что критика будетъ тѣмъ живѣе и плодотворнѣе для общества, чѣмъ меньше будетъ въ ней отвлеченностей и общихъ взглядовъ, чѣмъ неуклоннѣе она будетъ слѣдить за движеніемъ жизни и чѣмъ внимательнѣе будетъ обсуживать отдѣльныя явленія науки и искусства, даже отдѣльные случаи всендневной жизни.

Помилуйте, вы низводите критику на степень городской сплетницы, скажутъ съ ужасомъ тѣ литераторы, которые прежде всего гонятся за серьезностью направленія и за величіемъ и строгостью идеи. Господа, отвѣчу я, не будемъ обманывать самихъ себя: вѣдь мы должны писать для общества, слѣдовательно, должны за-

ниматься тѣмъ, что всѣмъ доступно и всѣмъ можетъ принести пользу. Какой-нибудь общественный скандалъ въ данную минуту интересуется публику гораздо больше, нежели рѣшеніе вопроса о томъ, существуютъ-ли у насъ западники и славянофилы; по поводу этого общественного скандала вы можете развить нѣсколько свѣтлыхъ идей и заронить въ вашихъ читателей кое-какіе задатки развитія и движенія впередъ. Спрашивается, по какому-же побужденію вы не воспользуетесь этимъ случаемъ? Потому, скажете вы, что не желаете уронить достоинства идеи, не желаете вмѣшаться въ толпу крикуновъ и свистуновъ, etc..., etc... Что за щепетильность, что за брезгливость, что за фешенебельное и въ то-же время педантическое презрѣніе къ тѣмъ интересамъ, которые волнуютъ окружающихъ васъ людей! Какъ критикъ, вы должны помогать общественному самосознанію и не оставаться, сложа руки, когда общество рискуетъ ошибиться, или когда является возможность высказать ему нѣсколько истинъ. Олимпійское спокойствіе можетъ быть очень умѣстно въ ученомъ собраніи, но оно никуда не годится на страницахъ журнала, служащаго молодому, еще не перебродившему обществу. Если вашъ утонченный слухъ не терпитъ рѣзкихъ звуковъ, откажитесь отъ критической дѣятельности, приводящей васъ въ соприкосновеніе съ живымъ и безалабернымъ міромъ людей; плохой тотъ медикъ, который блѣднѣетъ при видѣ крови и падаетъ въ обморокъ, когда нужно перевязывать рану больного; плохой тотъ критикъ, который не въ состояніи вынести шума житейскихъ толковъ и потому можетъ познакомиться съ жизнью только по книгамъ, написаннымъ высокимъ сло-гомъ и проникнутымъ олимпійскимъ спокойствіемъ. Но, извините, между медикомъ и критикомъ большая разница. Медикъ не виноватъ въ томъ, что у него слабы нервы; онъ борется съ собою и не можетъ побѣдить себя; что-же касается до щепетильнаго критика, то онъ очевидно напускаетъ на себя дурь и даже любитъ тѣмъ величавымъ презрѣніемъ, съ которымъ онъ относится къ суевающейся мелюзгѣ. «Время» говорило о литературныхъ генералахъ; помилуйте, да у насъ есть не только литературные генералы, а просто литературные богдыханы, которые сердятся за всякое громкое слово и пушатъ насъ, какъ мальчишекъ, за отсутствіе серьезности и за то, что мы смѣемъ беспокоить ихъ барскія уши и нарушать ихъ величавую полудремоту. Попробуйте написать рѣзкую критическую статью: «Огчественныя Записки» сейчасъ обвинятъ васъ въ гарцованіи, въ срамословіи и сквернословіи (sic!), а «Русскій Вѣстникъ» крикнетъ изъ Москвы: «молчать, мальчишки, не смѣйте разсуждать, когда я говорю!».

Все это было бы почти грустно, если бы не было въ высшей степени смѣшно.



## VII.

Стремленіе къ серьезности, господство теорій, переходящихъ порою въ ругину, отвлеченность и вслѣдствіе этого безжизненность содержания и неясность ви́шней формы составляютъ неотъемлемое достояніе нашей современной критики. Она гордится этими свойствами и держитъ въ запасѣ нѣсколько казенныхъ фразъ, которыми эти слабости и недостатки возводятся въ высшія достоинства; отворачиваться отъ явлений дѣйствительности значить служить вѣчнымъ интересамъ мысли; туманныя отвлеченности называются философіей; даже самый осязательный недостатокъ—неясность формы—не встрѣтилъ себѣ со сихъ поръ опредѣленно выраженного протеста въ печати. Словомъ, средневѣковая схоластика и египетская символика живутъ въ нашей періодической литературѣ, несмотря на изобрѣтеніе Гутенберга, которое, какъ мы знаемъ по самымъ элементарнымъ учебникамъ, должно было разбить замкнутость ученаго сословія и сдѣлать науку достояніемъ массы. Схоластика оправдывается условіями своего времени; египетская символика вытекла изъ религіи и поддерживалась народнымъ характеромъ, любившимъ таинственность и мистическій мракъ; но въ наше время схолистическое отчужденіе отъ жизни и символическая загадочность выраженія составляютъ печальный анахронизмъ. Попытки нѣкоторыхъ критиковъ построить эстетическую теорію и уяснить вѣчные законы изящнаго рѣшительно не удались, и не удались именно потому, что нашъ вѣкъ уже не ловится на теоріи и не повинуется слѣпо вымышленнымъ законамъ. Прошли тѣ времена, когда Буало и Батте, законодатели ложнаго классицизма, могли произвольно обрѣзывать область творчества и выбрасывать изъ нея все низкое (т. е. невысокое) и пошлое (т. е. обыденное). У насъ въ журнальной критикѣ былъ моментъ, когда теорія сразилась съ интересами жизни и употребила всѣ усилія, чтобы поворотить движеніе мысли туда, куда требовалось, согласно съ буквою эстетическаго закона; схватка, происшедшая между теоретиками и практиками, была жаркая, и, какъ того слѣдовало ожидать, теоретики не остановили теченія жизни и отошли въ сторону, пожимая плечами. Дѣло шло объ обличительной литературѣ. Надо было рѣшить, законное-ли оно явленіе, или нѣтъ. Собственно говоря, въ рѣшеніи этого вопроса никто не нуждался; публика съ наслажденіемъ читала «Губернскіе Очерки» Щедрина, нисколько не заботясь о томъ, осудить или оправдаетъ его наша критика; но рьяные систематики, любящіе систему для системы, не могли быть спокойны, пока не нашли той категоріи, въ которую можно было включить произведенія новаго беллетриста. Эти си-

стематики возстали противъ обличительной литературы и съ фанатическимъ жаромъ вступились за отвлеченное понятіе искусства. Ахшарумовъ помѣстилъ даже въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1858 года статью подъ громкимъ заглавіемъ: «Порабощеніе искусства». Словомъ, господа теоретики такъ горячо вступились за отвлеченное понятіе, какъ вступаются только за живого человѣка, когда ему наносятъ тяжелое оскорбленіе. Слушая ихъ можно было подумать, что не повѣсти и романы пишутся для того, чтобы удовлетворить творческому стремленію авторовъ и доставить публикѣ эстетическое наслажденіе, а наоборотъ — писатели и публика существуютъ: первые для того, чтобы писать, а послѣдняя для того, чтобы читать художественныя произведенія. Теорія здѣсь, какъ и вездѣ, посягала на свободу писателей и читателей; здѣсь, какъ и вездѣ, она обнаружила крайнюю близорукость и крайнее незнаніе жизни. Она хотѣла передѣлать жизнь по-своему и подчинить своимъ приговорамъ творчество художника и вкусъ цѣнителя. Она не поняла того, что протестъ былъ насущной потребностью русскаго общества въ лицѣ наиболѣе развитыхъ его представителей; она не захотѣла вникнуть въ то, что протестъ могъ выразиться только въ изящной словесности, и что на этомъ основаніи наши протестанты съ жадностью ухватились за эту форму. Критика отстала отъ общества и отъ изящной словесности и, толкуя объ исторіи, сама забыла приложить историческую оцѣнку къ невиданному явленію. Она заговорила объ абсолютныхъ законахъ творчества и не сообразила того, что абсолютной красоты нѣтъ, и что вообще понятіе красоты лежитъ въ личности цѣнителя, а не въ самомъ предметѣ. Что на мои глаза прекрасно, то вамъ можетъ не нравиться; что приходилось по вкусу нашимъ отцамъ, то можетъ наводить на насъ сонъ и дремоту. Негритянка, которая своему соотечественнику покажется воплощеніемъ красоты, навѣрное не понравится европейцу. Красота чувствуется, а не мѣряется аршиномъ; требовать, чтобы художественное произведеніе приводило зрителей или слушателей въ одинаковое настроеніе, значитъ желать, чтобы у всѣхъ этихъ господъ равномѣрно бился пульсъ, а сдѣлать это очень трудно; намъ извѣстно изъ исторіи, что Карлъ V, во время пребыванія своего въ монастырѣ св. Юста, при всѣхъ усиліяхъ не успѣлъ привести къ равномѣрному ходу двухъ стѣнныхъ часовъ. Человѣческой организмъ будетъ по-сложитѣ стѣнныхъ часовъ; къ тому-же онъ образуется и развивается помимо нашей воли; изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что законодатели-эстетики напрасно стараются добаться до такихъ законовъ, которые на практикѣ признало бы все человѣчество. Вы можете рядомъ силлогизмовъ доказать



мнѣ, что такое-то произведеніе художественно, но если это произведеніе не подѣйствовало на мою нервную систему, то, прочитавши вашу рецензію, я останусь къ нему такъ-же холоденъ, какъ и прежде. Если, стоя передъ картиною, вы предварительно отдаете себѣ отчетъ въ правильности рисунка, въ вѣрности выраженія и въ живости колорита, а уже потомъ начинаете наслаждаться общимъ впечатлѣніемъ, то это доказываетъ, что картина писана не художникомъ, а трудолюбивымъ и ученымъ техникомъ, или что вы, цѣнитель, до такой степени пропитаны теоретическими знаніями, что научный элементъ задушилъ въ васъ живое чувство и непосредственную воспримчивость къ явленію красоты. Это значить, что вы заучились, и что ваши мыслительныя силы развились въ ущербъ остальнымъ отправленіямъ вашего организма. Мы, обыкновенные люди, идемъ обратнымъ путемъ, отъ синтеза къ анализу, т. е. сначала чувствуемъ впечатлѣніе, а потомъ отдаемъ себѣ отчетъ въ причинахъ этого впечатлѣнія. Если я не почувствовалъ красоты, то не стану справляться съ мнѣніемъ знатоковъ, а подожду, пока большое количество жизненнаго опыта не дастъ мнѣ средствъ самостоятельно насладиться даннымъ произведеніемъ, или пока тотъ-же жизненный опытъ не покажетъ мнѣ, что я былъ правъ передъ собственной личностью, пройдя совершенно равнодушно мимо этого произведенія.

Личное впечатлѣніе, и только личное впечатлѣніе можетъ быть мѣриломъ красоты. Пусть всякій критикъ передаетъ намъ только то, какъ на него подѣйствовало то или другое поэтическое произведеніе; пусть онъ даетъ публикѣ отчетъ въ своемъ личномъ впечатлѣніи, и тогда каждая критическая статья будетъ такъ-же искренна и жива, какъ лирическое стихотвореніе истиннаго поэта; тогда рецензія будетъ создаваться, вытекать изъ души критика, а не строиться механически, какъ строится она теперь. Тогда критика будетъ дѣломъ таланта, и бездарность не будетъ въ состояніи укрыться за чужую теорію, превратно понятую и превратно передаваемую. Это, конечно, *pia desideria*. Бездарность никогда не откажется отъ критической дѣятельности уже потому, что не сознаетъ себя бездарностью. Бездарность никогда не откажется отъ теоріи, потому что ей необходимъ критеріумъ, на которомъ можно было бы строить свои приговоры, необходима надежная стѣна, къ которой можно было бы прислониться. Вѣдь высказывается-же въ нашей журналистикѣ мнѣніе о томъ, что литература наша *страдаетъ* отсутствіемъ авторитетовъ («Отч. Зап.», 1861, февраль, «Рус. Лит.», стр. 76), точно будто вѣра въ авторитетъ или въ теорію составляетъ необходимое условіе жизни. Если такое мнѣніе до сихъ поръ

высказывается даже въ догматической формѣ, то очевидно, оно будетъ жить очень долго, можетъ быть, даже никогда не умереть, потому что, вѣроятно, не переведутся въ обществѣ такіе люди, которые по вялости и робости мысли не рѣшаются стать на свои ноги и постоянно наирашиваются къ кому-нибудь подъ умственную опеку. Тѣмъ не менѣе было бы очень хорошо, если бы вѣра въ необходимость теоріи была подорвана въ массѣ читающаго общества. Строго проведенная теорія непремѣнно ведетъ къ стѣсненію личности, а вѣрить въ необходимость стѣсненія значитъ смотрѣть на весь міръ глазами аскета и истязать самого себя изъ любви къ искусству.

Въ вопросѣ объ обличительной литературѣ теорія эстетики выказала всю свою несостоятельность. Дѣло было такъ просто, что возвести его въ теоретическій вопросъ и толковать о немъ больше трехъ лѣтъ могли только Метафизикъ Хемницера, да наша заучившаяся критика. Дѣло состояло въ томъ, что въ журналахъ рядомъ съ нѣкоторыми замѣчательными очерками Щедрина стали появляться посредственные рассказы и сцены съ обличительными стремленьями и съ худо скрытой правоучительной цѣлью. Посредственные беллетристическія произведенія ни въ какой литературѣ не составляютъ рѣдкости, а у насъ ими хоть прудъ пруди; каждый журналъ ежемѣсячно вноситъ на алтарь отечества свою посильную лепту, втеченіи года возникаетъ отъ 60 до 80 повѣстей, и конечно въ этомъ числѣ по крайней мѣрѣ  $\frac{9}{10}$  нигде не годятся. Литературныя посредственности обладаютъ обыкновенно значительной гибкостью, потому что онѣ дѣлаютъ, а не творятъ свои произведенія. Увидя успѣхъ щедринскихъ рассказовъ, эти господа пустились въ подражаніе, и можно сказать положительно, что они хорошо сдѣлали. Ихъ повѣсти не могли имѣть художественнаго значенія ни въ какомъ случаѣ; когда они взялись за обличеніе, ихъ очерки получили житейскій интересъ. Пушкинъ въ своемъ стихотвореніи «Поэтъ и чернь» спрашиваетъ:

Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?

и, какъ извѣстно, выражаетъ ту мысль, что поэты созданы для пѣснопѣній, для звуковъ сладкихъ и молитвъ. Я совершенно согласенъ съ мнѣніемъ Пушкина, но позволю себѣ одинъ нескромный вопросъ: неужели можно назвать жрецами искусства Колбасина, Карновича, С. Ѳедорова, Основскаго, Вахновскую, Нарскую, Кугушева etc. etc.? Мнѣ кажется, эти господа могутъ смѣло взять метлу въ руки, нисколько не роняя своего достоинства. Красота формы имъ недоступна; пускай-же они рассказываютъ интересные житейскіе случаи, это будетъ гораздо занимательнѣе для читателя, чѣмъ тѣ sentimentalno блѣдные романы, которые про-



изводить г-жи Нарская и Вахновская. Но наша критика увидала въ наплывѣ обличительныхъ очерковъ новое направленіе, опасное для искусства, точно будто сфера искусства доступна для людей безъ дарованія, и точно будто истинное дарованіе можетъ сбиться съ пути какимъ-нибудь господствующимъ направленіемъ. Явились также защитники обличительной литературы, доказывавшіе, что гражданскій протестъ есть прямая обязанность искусства. Спорящія стороны были достойны другъ друга и одинаково смѣшны для безпристрастнаго наблюдателя. Я бы имъ посоветовалъ проѣхать мимо академіи художествъ, прочитать на фронтонѣ надпись «свободнымъ художествамъ» и подумать о смыслѣ этихъ словъ. Спорящія стороны вспомнили бы, можетъ быть, что свобода въ выборѣ и обработкѣ сюжета такъ-же необходима для художника, какъ для насъ съ вами воздухъ и пища; что ни наталкивать художника на какую-нибудь задачу, ни насильно оттащить его отъ нея нельзя; они поняли бы тогда, можетъ быть, что искренній крикъ негодованія, вырвавшійся у художника при видѣ общественныхъ гадостей, составляетъ такой-же драгоценный моментъ его творческой дѣятельности, какъ спокойное созерцаніе прекраснаго образа; другая сторона поняла бы, что этотъ крикъ негодованія только тогда дѣйствительно силенъ, когда онъ не поддѣланъ, а вырывается невольно изъ груди дѣйствительно раздраженнаго человѣка; она поняла бы слѣдовательно, что сердиться на художника за отсутствіе подобныхъ криковъ—значитъ посягать на его личную свободу и заставлять человѣка плакать или смѣяться, когда ему не грустно или не смѣшно. Что-же касается до обличительнаго мусора, заваливаша наши журналы 1857 и 1858 годовъ, то обѣ стороны хорошо бы сдѣлали, если бы совершенно не спорили о немъ. Мусоръ — явленіе неизбежное, и никакое направленіе литературы его не уничтожить; если-же выбирать изъ двухъ золъ лучшее, то, конечно, можно выбрать обличительный родъ, который хоть не изображаетъ жизни, но по крайней мѣрѣ рассказываетъ о ней. Замѣчательно, что до сихъ поръ состязаніе двухъ направленій нашей критики не прекратилось или не забыто. Г—бовъ до нашихъ временъ въ началѣ каждой статьи прохаживается на счетъ эстетической критики, а Григорьевъ оплакиваетъ паденіе истинной поэзіи, видитъ въ Тургеневѣ послѣдняго Могикана чистаго искусства и даже въ послѣдней, очень туманной статьѣ своей «Объ идеализмѣ и реализмѣ» («Свѣточъ», 1861, апрѣль) является робкимъ ходатаемъ идеализма, который, по его мнѣнію, воплотился въ Тургеневѣ. Обѣ стороны, т. е. критики, старающіеся запереть поэзію въ возъ, и критики, стремящіеся къ безпредѣльности и къ вѣчной красотѣ, спорятъ между собою, дѣлаютъ другъ

на друга колкіе намеки, обижаются ими, отвѣчаютъ на нихъ упреками,—и хоть бы одинъ разъ на досугъ они подумали: «изъ чего мы хлопочемъ? Кого интересуютъ наши кровавые споры? Зачѣмъ и на что мы тратимъ энергію? На кого наши слова будутъ имѣть вліяніе?» Да, господа, Крыловъ не умретъ, и его басня: «Муха и дорожные» не разъ найдетъ себѣ приложеніе.

### VIII.

Наше время рѣшительно не благопріятствуетъ развитію теорій. Народъ хитрѣе сталъ, какъ выражаются наши мужики, и ни на какую шутку не ловится. Умъ нашъ требуетъ фактовъ, доказательствъ; фраза насъ не отуманитъ, и въ самомъ блестящемъ и стройномъ созданіи фантазіи мы подмѣтимъ слабость основанія и произвольность выводовъ. Фанатическое увлеченіе идеей и принципомъ вообще, сколько мнѣ кажется, не въ характерѣ русскаго народа. Здравый смыслъ и значительная доля юмора и скептицизма составляютъ, мнѣ кажется, самое замѣтное свойство чисто русскаго ума; мы болѣе склоняемся къ Гамлету, чѣмъ къ Донъ-Кихоту, намъ мало понятны энтузіазмъ и мистицизмъ страстнаго адепта. На этомъ основаніи мнѣ кажется, что ни одна философія въ мірѣ не привьется къ русскому уму такъ прочно и такъ легко, какъ современный здоровый и свѣжій матеріализмъ. Діалектика, фразерство, споры на словахъ и изъ-за словъ совершенно чужды этому простому ученію. До фразъ мы конечно большіе охотники, но насъ въ этомъ случаѣ занимаетъ процессъ фразерства, а не сущность той мысли, которая составляетъ предметъ разсужденія или спора. Русскіе люди способны спорить о какой-нибудь высокой матеріи битыхъ шесть часовъ и потомъ, когда пересохнетъ горло и охрипнетъ голосъ, отнестись къ предмету спора съ самой добродушной улыбкой, которая покажетъ ясно, что въ сущности горячившемуся господину было очень мало дѣла до того, о чемъ онъ кричалъ. Эта черта нашего характера привела бы въ отчаяніе добросовѣстнаго нѣмца, а въ сущности это пресимпатичная черта. Фанатизмъ подъ-часъ бываетъ хорошъ, какъ историческій двигатель, но въ повседневной жизни онъ можетъ повести къ значительнымъ неудобствамъ. Хорошая доза скептицизма всегда вѣрнѣе пронесетъ васъ между разными подводными камнями жизни и литературы. Эгоистическія убѣжденія, положенныя на подкладку мягкой и добродушной натуры, сдѣлаютъ васъ счастливымъ человѣкомъ, не тяжелымъ для другихъ и пріятнымъ для самого себя. Жизненные передѣлки достанутся легко; разочарованіе будетъ невозможно, потому что не будетъ очарованія; паденія будутъ легкія, потому что вы не будете взбираться на



недосягаемую высоту идеала; жизнь будетъ не трудомъ, а наслажденіемъ, занимательной книгой, въ которой каждая страница отличается отъ предыдущей и представляетъ свой оригинальный интересъ. Не стѣсня другихъ непрощенными заботами, вы сами не будете требовать отъ нихъ ни подвиговъ, ни жертвъ; вы будете давать имъ то, къ чему влечетъ живое чувство, и съ благодарностью или, вѣрнѣе, съ добрымъ чувствомъ будете принимать то, что они добровольно будутъ вамъ приносить. Если бы всѣ въ строгомъ смыслѣ были эгоистами по убѣжденіямъ, т. е. заботились только о себѣ и повиновались бы одному влеченію чувства, не создавая себѣ искусственныхъ понятій идеала и долга и не вмѣшиваясь въ чужія дѣла, то, право, тогда привольнѣе было бы жить на бѣломъ свѣтѣ, нежели теперь, когда о васъ заботятся чуть не съ колѣбелю сотни людей, которыхъ вы почти не знаете и которые васъ знаютъ не какъ личность, а какъ единицу, какъ члена извѣстнаго общества, какъ недѣлимое, носящее то или другое фамильное прозвище.

Возможность такого порядка вещей представляетъ, конечно, неосуществимую мечту, но почему-же не отнестись добродушно къ мечтѣ, которая не ведетъ за собою вредныхъ послѣдствій и не переходитъ въ мономанію. Міръ мечты можетъ тоже сдѣлаться обильнымъ источникомъ наслажденія, но этимъ источникомъ надо воспользоваться съ крайней осторожностью. Самый крайній матеріалистъ не отвергаетъ возможности наслаждаться игрою своей фантазіи или слѣдить за игрою фантазіи другого человѣка. Въ первомъ случаѣ на первомъ процессѣ основанъ процессъ поэтического творчества; на второмъ—процессъ чтенія поэтическихъ произведеній. Но съ другой стороны самый необузданный идеализмъ происходилъ именно отъ того, что элементъ фантазіи получалъ слишкомъ много простора и разыгрывался въ чужой области, въ области мысли, въ сферѣ научнаго изслѣдованія. Пока я сознаю, что вызванные мною образы принадлежатъ только моему воображенію, до тѣхъ поръ я тѣшусь ими, я властвую надъ ними и воленъ избавиться отъ нихъ, когда захочу. Но какъ только яркость вызванныхъ образовъ ослѣпила меня, какъ только я забылъ свою власть надъ ними, такъ эта власть и пропала; образы переходятъ въ призраки и живутъ помимо моей воли, живутъ своей жизнью, какъ кошмаръ, оказываютъ на меня вліяніе, господствуютъ надо мною, внушаютъ мнѣ страхъ, приводятъ меня въ напряженное состояніе. Такъ, напр., пелазгъ создавалъ свою первобытную религію и падалъ во прахъ передъ созданіемъ собственной мысли. Галлюцинація его была ослѣдительно ярка; критика была слишкомъ слаба,

чтобы разрушить мечту; борьба между призракомъ и человѣкомъ была не ровная, и человѣкъ склонялъ голову и чувствовалъ себя подавленнымъ, пригнутымъ къ землѣ...

Шутить съ мечтой опасно; разбитая мечта можетъ составить несчастье жизни; гоняясь за мечтою, можно прозвѣвать жизнь или въ порывѣ безумнаго воодушевленія принести ее въ жертву. У такъ называемыхъ положительныхъ людей мечта принимаетъ формы болѣе солидныя и превращается въ условный идеалъ, наслѣдованный отъ предковъ и носящійся передъ цѣлымъ сословіемъ или классомъ людей. Идеалъ человѣка *comme il faut*, человѣка дѣльнаго, хорошаго семьянина, хорошаго чиновника—все это мечты, которымъ многое приносится въ жертву. Эти мечты болѣе или менѣе отравляютъ жизнь и мѣшаютъ беззавѣтному наслажденію. Да какъ-же жить, спросите вы, неужели безъ цѣли? Цѣль жизни! Какое громкое слово, и какъ часто оно оглушаетъ и вводитъ въ заблужденіе, отуманивая слишкомъ довѣрчиваго слушателя. Посмотримъ на него поближе. Если вы поставите себѣ цѣлью такую дѣятельность, къ которой стремится ваша природа, то вы дадите себѣ только лишній трудъ; вы бы сами пошли по тому пути, на который навело васъ размышленіе; непосредственный инстинктъ натолкнулъ бы васъ на прямую дорогу, и натолкнулъ бы, можетъ быть, скорѣе и вѣрнѣе, нежели навелъ тщательный анализъ; если-же, Боже упаси, вы поставите себѣ цѣль, несовмѣстную съ вашими наклонностями, тогда вы себѣ испортите жизнь; вы потратите всю энергію на борьбу съ собой; если не побѣдите себя, то останетесь недовольны; если побѣдите себя, то вы сдѣлаетесь автоматомъ, чисто-разсудочнымъ, сухимъ и вялымъ человѣкомъ. Старайтесь жить полной жизнью, не дрессируйте, не ломайте себя, не давите оригинальности и самобытности въ угоду заведенному порядку и вкусу толпы — и, живя такимъ образомъ, не спрашивайте о цѣли; цѣль сама найдется, и жизнь рѣшитъ вопросы прежде, нежели вы ихъ предложите.

Васъ затрудняетъ, можетъ быть, одинъ вопросъ: какъ согласить эти эгоистическія начала съ любовью къ человѣчеству? Объ этомъ нечего заботиться. Человѣкъ отъ природы—существо очень доброе, и если не окислять его противорѣчій и дрессировкой, если не требовать отъ него неестественныхъ нравственныхъ фокусовъ, то въ немъ естественно разовьются самыя любовныя чувства къ окружающимъ людямъ, и онъ будетъ помогать имъ въ бѣдѣ ради собственного удовольствія, а не изъ сознанія долга, т. е. по доброй волѣ, а не по нравственному принужденію. Вы подумаете, можетъ быть, что я указываю вамъ на *état de la nature*, и обратите мое вниманіе на то, что дикари, живущіе въ



первобытной простотѣ нравовъ, далеко не отличаются добродушіемъ и доводятъ эгоизмъ до полнѣйшей животности. На это я отвѣчу, что дикари живутъ при такихъ условіяхъ, которыя мѣшаютъ свободному развитію характера; во-первыхъ, они подчинены вліянію вышней природы, между тѣмъ какъ мы успѣли уже отъ него избавиться; во-вторыхъ, они вѣрятъ въ тѣ призраки, о которыхъ я говорилъ выше; въ-третьихъ, они болѣе или менѣе стремятся къ условному идеалу, и идеаль у нихъ одинъ, потому что вся дѣятельность ограничивается охотой и войной; присутствіе этого идеала оказываетъ самое стѣснительное вліяніе на живыя силы личности. Изъ всего этого слѣдуетъ заключеніе, что развитіе недѣлимаго можно сдѣлать независимымъ отъ вышнихъ стѣсненій только на высокой степени общественнаго развитія; эмансипація личности и уваженіе къ ея самостоятельности является послѣднимъ продуктомъ позднѣйшей цивилизаціи. Дальше этой цѣли мы еще ничего не видимъ въ процессѣ историческаго развитія, и эта цѣль еще такъ далека, что говорить о ней значить почти мечтать. Набросанныя мною мысли, вылившіяся изъ глубины души, составляютъ основу цѣлаго міросозерцанія; вывести всѣ послѣдствія этихъ идей не трудно, и я надѣюсь, что читатель, если захочетъ, будетъ въ состояніи по начертанному плану возсоздать въ воображеніи все зданіе. Къ сожалѣнію, наша критика не высказала до сихъ поръ этихъ идей и относилась къ эгоизму, какъ къ пороку, а въ фокусахъ и подвигахъ самопожертвованія видѣла высокую добродѣтель. До сихъ поръ, касаясь философіи жизни, она считаетъ идеаль совершенной необходимостью и въ стремленіи къ идеалу, въ сознаніи долга видитъ самыя живыя стороны человѣческой личности и дѣятельности. Стремленіе къ наслажденію она называетъ свойствомъ чисто животнымъ, но допускаетъ однако, что изъ этого-же источника можетъ развиваться благородное и высокое стремленіе къ самосовершенствованію. Система глубоко вкоренилась въ нашу нравственную философію и хозяйничаетъ въ области человѣческихъ мыслей и чувствъ, не обращая никакого вниманія на самого хозяина. Теоретикамъ нѣтъ дѣла до того, что есть въ наличности; они говорятъ: такъ должно быть, поворачиваютъ все вверхъ дномъ и утѣшаются тѣмъ, что внесли симметрію и систему въ живой міръ явленій. Кто хоть по наслышкѣ знакомъ съ философій исторіи Гегеля, тотъ знаетъ, до какихъ поразительныхъ крайностей можетъ довести даже очень умнаго человѣка манія всюду соваться съ законами и всюду вносить симметрію. Если вы читали въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлогодняго прекрасную статью Вагнера: «Природа и Мильнъ-Эдвардсъ», то вы могли

убѣдиться въ томъ, что въ сферѣ естественныхъ наукъ рьяное систематизированіе ведетъ къ поразительнымъ и осязательнымъ недѣлостямъ. Внесенная въ область человѣческой нравственности, система не ведетъ къ такимъ явнымъ недѣлостямъ только потому, что мы привыкли смотрѣть на вещи ея глазами; мы живемъ и развиваемся подъ вліяніемъ искусственной системы нравственности; эта система давить насъ съ колыбели, и потому мы совершенно привыкаемъ къ этому давленію; мы раздѣляемъ этотъ гнетъ системы со всѣмъ образованнымъ міромъ и потому, не видя предѣловъ своей клѣтки, считаемъ себя нравственно свободными.

Но, оставаясь для насъ незамѣтнымъ, это умственное и нравственное рабство медленнымъ ядомъ отравляетъ нашу жизнь; мы умышленно раздваиваемъ свое существо, наблюдаемъ за собою, какъ за опаснымъ врагомъ, хитримъ передъ собою и ловимъ себя въ хитрости, боремся съ собою, побѣждаемъ себя, находимъ въ себѣ животныя инстинкты и ополчаемся на нихъ силою мысли; вся эта глупая комедія кончается тѣмъ, что передъ смертію мы, подобно римскому императору Августу, можемъ спросить у окружающихъ людей: «хорошо-ли я сыгралъ свою роль?» Нечего сказать! Приятное и достойное препровожденіе времени! Поневолѣ вспомнишь слова Нестора: «никто-же ихъ не биша, сами ся мучиху».

## IX.

Матеріализмъ сражается только противъ теорій; въ практической жизни мы всѣ матеріалисты и всѣ идемъ въ разладъ съ нашими теоріями; вся разница между идеалистомъ и матеріалистомъ въ практической жизни заключается въ томъ, что первому идеаль служитъ вѣчнымъ упрекомъ и постояннымъ кошмаромъ, а послѣдній чувствуетъ себя свободнымъ и правымъ, когда никому не дѣлаетъ фактическаго зла. Предположимъ, что вы въ теоріи крайній идеалистъ, вы садитесь за письменный столъ и ищете начатую вами работу; вы осматриваетесь кругомъ, шарите по разнымъ угламъ, и если ваша тетрадь или книга не попадется вамъ на глаза или подъ руки, то вы заключаете, что ея нѣтъ, и отправляетесь искать въ другое мѣсто, хотя бы ваше сознаніе говорило вамъ, что вы положили ее именно на письменный столъ. Если вы берете въ ротъ глотокъ чаю и онъ оказывается безъ сахара, то вы сейчасъ-же исправите вашу оплошность, хотя бы вы были твердо увѣрены въ томъ, что сдѣлали дѣло какъ слѣдуетъ и положили столько сахара, сколько кладете обыкновенно. Вы видите такимъ образомъ, что самое твердое убѣжденіе разрушается при столкновеніи съ очевидностью, и что свидѣтельству вашихъ чувствъ вы невольно придаете гораздо больше значенія, нежели со-



ображеніямъ вашего разсудка. Проведите это начало во всѣ сферы мышленія, начиная отъ низшихъ до высшихъ, и вы получите полнѣйшій матеріализмъ: я знаю только то, что вижу или вообще въ чемъ могу убѣдиться свидѣтельствомъ моихъ чувствъ. Я самъ могу поѣхать въ Африку и увидеть ея природу и потому принимаю на вѣру рассказы путешественниковъ о тропической растительности; я самъ могу провѣрить трудъ историка, сличивши его съ подлинными документами, и потому допускаю результаты его изслѣдованій; поэтъ не даетъ мнѣ никакихъ средствъ убѣдиться въ вещественности выведенныхъ имъ фигуръ и положеній, и потому я говорю смѣло, что они не существуютъ, хотя и могли бы существовать. Когда я вижу предметъ, то не нуждаюсь въ діалектическихъ доказательствахъ его существованія: *очевидность есть лучшее ручательство дѣйствительности*. Когда мнѣ говорятъ о предметѣ, котораго я не вижу и не могу никогда увидеть или ощупать чувствами, то я говорю и думаю, что онъ для меня не существуетъ. *Невозможность очевиднаго проявленія исключаетъ дѣйствительность существованія*.

Вотъ каноника матеріализма, и философы всѣхъ временъ и народовъ сберегли бы много труда и времени и во многихъ случаяхъ избавили бы своихъ усердныхъ почитателей отъ бесплодныхъ усилій понять несуществующее, если бы не выходили въ своихъ изслѣдованіяхъ изъ круга предметовъ, доступныхъ непосредственному наблюденію.

Въ исторіи человѣчества было нѣсколько свѣтлыхъ головъ, указывавшихъ на границы познанія, но мечтательныя стремленія въ несуществующую безпредѣльность обыкновенно одерживали верхъ надъ холодною критикой скептическаго ума и вели къ новымъ надеждамъ и къ новымъ разочарованіямъ и заблужденіямъ. За греческими атомистами слѣдовали Сократъ и Платонъ; рядомъ съ эпикуреизмомъ жилъ новоплатонизмъ; за Бекономъ и Локкомъ, за энциклопедистами XVIII вѣка послѣдовали Фихте и Гегель; легко можетъ быть, что послѣ Фейербаха, Фохта и Мошота возникнетъ опять какая-нибудь система идеализма, которая на мгновеніе удовлетворитъ массу больше, нежели можетъ удовлетворить ее трезвое міросозерцаніе матеріалистовъ. Но что касается до настоящей минуты, то нѣтъ сомнѣнія, что одолеваетъ матеріализмъ; всѣ научныя изслѣдованія основаны на наблюденіи, и логическое развитіе основной идеи, развитіе, не опирающееся на факты, встрѣчаетъ себѣ упорное недовѣріе въ ученомъ мірѣ. Не послѣдовательности выводовъ требуемъ мы теперь, а дѣйствительной вѣрности, строгой точности, отсутствія личнаго произвола въ группировкѣ и выборѣ фактовъ. Естественныя науки и исторія, опирающаяся

на тщательную критику источниковъ, рѣшительно вытѣсняють умозрительную философію; мы хотимъ знать что есть, а не догадываться о томъ, что можетъ быть. Германія — отечество умозрительной философіи, классическая страна новѣйшаго идеализма, — породила поколѣніе со-временныхъ эмпириковъ и выдвинула впередъ цѣлую школу мыслителей, подобныхъ Фейербаху и Мошоту. Филологія стала сближаться въ своихъ выводахъ съ естественными науками и избавляется мало-по-малу отъ мистическаго взгляда на человѣка вообще и на языкъ въ особенности. Извѣстный молодой ученый Штейнталь, комментировавшій Вильгельма Гумбольдта въ замѣчательной брошюрѣ «Языкознаніе В. Гумбольдта и философія Гегеля», откровенно сознается въ томъ, что умозрительная философія сама по себѣ существовать не можетъ, что она должна слиться съ опытомъ и изъ него черпать всѣ свои силы; онъ понимаетъ философію только какъ осмысленіе всякаго знанія и внѣ области видимыхъ, единичныхъ явленій не видитъ возможности знанія и мышленія.

Не забудьте, что это голосъ изъ противоположнаго лагеря, голосъ со стороны гуманистовъ, — людей, не привыкшихъ обращаться съ микроскопомъ и съ анатомическимъ ножомъ и по самому роду своихъ занятій расположенныхъ искать высшихъ причинъ и двигательныхъ силъ; если эти люди сходятся въ своихъ идеяхъ съ натуралистами, то это доказываетъ, что доводы послѣднихъ дѣйствительно имѣютъ за себя неотразимую силу истины. Признаніе Штейнталья далеко не представляется намъ единичнымъ фактомъ, исключеніемъ изъ общаго правила. Вотъ, напримѣръ, что говоритъ Гаймъ въ своемъ предисловіи къ лекціямъ о философіи Гегеля («Гегель и его время»): «Есть души, которыя никакъ не въ состояніи обойтись безъ такъ называемыхъ Бекономъ *idola theatri* и потому постоянно будутъ страшиться скачка черезъ широкій ровъ, отдѣляющій метафизическое отъ чисто исторически человѣческаго. Къ числу такихъ людей принадлежатъ тѣ, которые точку опоры ищутъ не въ самихъ себѣ, но надъ собой и внѣ себя». Далѣе: «Господствующее въ наше время удаленіе отъ занятій философіей и все болѣе и болѣе возрастающая самостоятельность исторической науки и естествовѣднія должны пользоваться, какъ всякій согласится, по крайней мѣрѣ тѣми-же правами, какъ и всякій другой фактъ».

Изъ этихъ словъ Штейнталья и Гайма можно, кажется, вывести заключеніе, что умозрительная философія упала въ общественномъ мнѣніи ученаго міра, и что паденіе это признано даже тѣми людьми, которые ex officio, какъ ученики Гегеля и люди, занимающіеся философіей, должны были отстаивать ея права на существованіе. Посмотримъ теперь въ бѣгломъ очер-



кѣ, какъ отнеслась къ этимъ современнымъ явленіямъ и вопросамъ наша критика и ученая литература.

### Х.

Прилично писать о философіи для насъ дѣло новое; семинарская философія существуетъ уже давно, но она, къ счастью, не находитъ себѣ читателей и цѣнителей внѣ предѣловъ извѣстной касты. Мертвая доктрина Новицкаго и составителя «Философскаго лексикона» ни для кого не можетъ быть опасна. Она не отъ міра сего, и міръ ея не пойметъ. Эти дряхлыя явленія могутъ быть смѣло пропущены критикой и оставлены безъ всякаго вниманія публикой. Можно сказать, что Антоновичъ въ своей рецензій «Философскаго лексикона» («Современникъ» 1861 г., февраль) сражается съ вѣтранными мельницами; было бы гораздо проще предложить читателямъ двѣ-три выписки изъ этого произведенія; читатели сразу поняли бы, въ чемъ дѣло, и, вѣроятно, потеряли бы всякое желаніе платить деньги за «Философскій лексиконъ» такого сорта; бороться съ идеями «Философскаго лексикона» недостойно развито-го чело-вѣка, да и просто не стоитъ, потому что эти идеи ни для кого не опасны уже по той допотопной формѣ, въ которую онѣ облечены; нужно было просто предохранить публику отъ бесполезныхъ расходовъ, а эта цѣль могла быть достигнута съ гораздо меньшею тратой труда и времени. Вполнѣ сочувствуя свѣжему и здоровому направленію мысли, высказавшемуся въ статьѣ Антоновича, я позволю себѣ выразить сожалѣніе о томъ, что эти свѣжія силы потратились на опроверженіе чепухи, которая никого даже не введетъ въ соблазнъ, которую навѣрное не возьметъ въ руки ни одинъ читатель «Современника».

Въ послѣдніе четыре года у насъ стали появляться статьи философскаго содержанія, до нѣкоторой степени доступныя читающей публикѣ; въ нихъ толкуютъ, правда, объ общемъ идеалѣ, въ нихъ есть много туманныхъ мѣстъ и бесполезной діалектики, но, по крайней мѣрѣ, онѣ не призываютъ небесныхъ громовъ на головы не соглашающихся съ ними мыслителей и спорятъ съ ними умѣреннымъ тономъ, не употребляя старославянскихъ выраженій, не приходя въ священный ужасъ и не обнаруживая благочестиваго негодованія. Статьи Лаврова о гегелизмѣ, о механической теоріи міра, о современныхъ германскихъ теистахъ и др. обнаружили въ авторѣ обширную начитанность и основательное знакомство съ внѣшнею исторіей философскихъ системъ. Эти два качества, довольно рѣдкія въ пишущихъ людяхъ нашего времени, доставили Лаврову журнальную извѣстность. Добравшись до слабыхъ сторонъ Лаврова наша критика не могла, потому

что ей самой крѣпко приходится по душѣ неопредѣленность выводовъ и діалектическія тонкости. Между тѣмъ слабая сторона этого писателя заключалась именно въ отсутствіи субъективности, въ отсутствіи опредѣленныхъ и цѣльныхъ философскихъ убѣжденій. Эта слабая сторона могла укрыться отъ глазъ общества тогда, когда Лавровъ писалъ историческіе очерки по философіи и занимался изложеніемъ чужихъ системъ; въ подобномъ трудѣ неопредѣленность личныхъ убѣжденій автора можетъ прослыть за историческое безпристрастіе, за объективность и обратиться въ положительное достоинство въ глазахъ читателя. Но въ нынѣшнемъ году въ январьской книжкѣ «Отеч. Зап.» напечатаны три публичныя лекціи Лаврова подъ общимъ заглавіемъ: «Три бесѣды о современномъ значеніи философіи». Уже это заглавіе должно было подать надежду на то, что Лавровъ выскажетъ *свои* понятія о философіи и открыто примкнетъ къ одной изъ двухъ партій, составляющихъ великій расколъ въ современномъ философскомъ мірѣ, т. е. или заявить невозможность умозрительной философіи, или станетъ отстаивать ея права на существованіе. Заглавія каждой отдѣльной бесѣды подавали еще болѣе заманчивыя надежды; въ нихъ Лавровъ обѣщалъ объяснить, что такое философія въ знаніи, что такое философія въ искусствѣ и что такое философія въ жизни. Читающее общество было въ правѣ ожидать отъ этихъ бесѣдъ, что онѣ уяснятъ ей современное движеніе философскихъ наукъ и что онѣ выдвинутъ впередъ цѣлое міросозерцаніе, выработанное или по крайней мѣрѣ переработанное самостоятельнымъ умомъ современно развито-го русскаго чело-вѣка. Судя по предыдущимъ работамъ Лаврова, общество могло заключить, что у него въ распоряженіи находится много матеріаловъ, и что въ его бесѣдахъ оно получитъ въ популярной формѣ существеннѣйшіе результаты его долговременныхъ и добросовѣстныхъ занятій.

Вышло совсѣмъ не то. Бесѣды не коснулись современнаго значенія философіи, совершенно обошли вопросы, поднятые въ этой области новѣйшей школой мыслителей, и не представили никакого опредѣленнаго міросозерцанія. Лавровъ съ особеннымъ стараніемъ скрылъ свою личность такъ, что вы до нея рѣшительно не доберетесь. Не рѣшаясь высказать ни одного яснаго и опредѣленнаго сужденія, Лавровъ не выходитъ изъ общихъ мѣстъ элементарной логики, психологіи и эстетики, которую преподаютъ въ гимназіяхъ подъ названіемъ теоріи словесности. Мысли вытекаютъ одна изъ другой; между ними есть связь, есть логическая послѣдовательность, но для чего онѣ текутъ, что вызвало ихъ теченіе и къ чему оно, наконецъ, приводить, — это остается совершенно непонятнымъ.



Да что-же такое, наконецъ, философія? Неужели это медицинская гимнастика мысли, шевеленіе «мозгами», какъ говорить купецъ у Островскаго, которое начинается по нашей прихоти и прекращается по нашему благоусмотрѣнію, не приведя ни къ чему, не рѣшивъ ни одного вопроса, не разбивъ ни одного заблужденія, не заронивъ въ голову живой идеи, не отозвавшись въ груди усиленнымъ біеніемъ сердца. Да полно, философія-ли это?... Такъ развѣ-жъ не философія двигала массы, развѣ не она разбивала дряхлые кумиры и распатывала устарѣлыя формы гражданской и общественной жизни? А XVIII вѣкъ? А энциклопедисты?... Нѣтъ, воля ваша, то, что Лавровъ называетъ философіей, то отрѣшено отъ почвы, лишено и плоти и крови, доведено до игры словъ—это схоластика, праздная игра ума, въ которую можно играть съ одинаковымъ успѣхомъ въ Англіи и въ Алжирѣ, въ Небесной Имперіи и въ современной Италіи. Гдѣ-же современное значеніе подобной философіи? Гдѣ ея оправданіе въ дѣйствительности? Гдѣ ея права на существованіе?—Лавровъ предлагаетъ вопросъ, что такое *я*? бьется надъ этимъ вопросомъ продолженія цѣлой страницы и кончаетъ тѣмъ, что находитъ вопросъ о нашемъ *я* научно неразрѣшимымъ. Зачѣмъ-же было его поднимать? Какая естественная, жизненная потребность влечетъ къ разрѣшенію вопроса: что такое *я*? Къ какимъ результатамъ въ области мысли, частной или гражданской жизни можетъ привести рѣшеніе этого вопроса? Искать разрѣшенія подобнаго вопроса все равно, что искать квадратуры круга. Философскій камень, жизненный элексиръ и *perpetuum mobile*—чрезвычайно полезныя вещи въ сравненіи съ этими гимнастическими фокусами мысли. Этихъ вещей никто не добудетъ, но по крайней мѣрѣ кто стремится къ нимъ, тотъ стремится къ осязательнымъ благамъ и идетъ къ нимъ путемъ опыта, такъ что можетъ на этомъ пути сдѣлать случайно какое-нибудь неожиданное и полезное открытіе. Самый вопросъ о томъ, что такое *я*? и попытки Лаврова освѣтить этотъ вопросъ съ разныхъ сторонъ останутся непонятными для человѣка, одареннаго простымъ здравымъ смысломъ и не посвященнаго въ мистеріи философскихъ школъ; это обстоятельство, какъ мнѣ кажется, служить самымъ разительнымъ доказательствомъ незаконности или, вѣрнѣе, полнѣйшей бесполезности подобныхъ умственныхъ упражненій. Отгонять непросвѣщенную чернь (*profanum vulgus*) отъ храма науки—не въ духѣ нашей эпохи; это негуманно да и опасно: Лавровъ этого, конечно, не желаетъ, потому что самъ открываетъ *публичныя* лекціи; если-же всѣ вообще, а не одни избранные должны и желаютъ учиться и размышлять, то не мѣшало бы выкинуть вонъ изъ науки то, что пони-

мается немногими и не можетъ никогда сдѣлаться общедоступнымъ. Вѣдь странно было бы называть гениальнѣйшимъ произведеніемъ Гёте вторую часть «Фауста», которую никто не понимаетъ; точно также странно назвать міровою истиною или міровымъ вопросомъ такую идею или такой вопросъ, которые смутно понимаются незначительное меньшинство односторонне развитыхъ людей. А какъ-же не назвать одностороннимъ и уродливымъ развитіе такихъ умовъ, которые на всю жизнь погружаются въ отвлеченность, ворочаютъ формы, лишеныя содержанія, и умышленно отворачиваются отъ привлекательной пестроты живыхъ явленій, отъ практической дѣятельности другихъ людей, отъ интересовъ своей страны, отъ радостей и страданій окружающаго міра? Дѣятельность этихъ людей указываетъ просто на какую-то несоразмѣрность въ развитіи отдѣльных частей организма; въ головѣ сосредоточивается вся жизненная сила, и движеніе въ мозгу, удовлетворяющее самому себѣ и въ себѣ самомъ находящее свою цѣль, замѣняетъ этия недѣлимымъ тотъ разнообразный и сложный процессъ, который называется жизнью. Давать такому явленію силу закона такъ-же странно, какъ видѣть въ аскетѣ или въ скопцѣ высшую фазу развитія человѣка.

Отвлеченности могутъ быть интересны и понятны только для ненормально развитого, очень незначительнаго меньшинства. Поэтому ополчаться всѣми силами противъ отвлеченности въ наукѣ мы имѣемъ полное право по двумъ причинамъ: во-первыхъ,—во имя цѣлостности человѣческой личности, во-вторыхъ,—во имя того здороваго принципа, который, постепенно проникая въ общественное сознаніе, нечувствительно сглаживаетъ грани сословій и разбиваетъ кастическую замкнутость и исключительность. Умственный аристократизмъ—явленіе опасное именно потому, что онъ дѣйствуетъ незамѣтно и не высказывается въ рѣзкихъ формахъ. Монополія знаній и гуманнаго развитія представляетъ, конечно, одну изъ самыхъ вредныхъ монополій. Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массѣ? Что за искусство, котораго произведеніями могутъ наслаждаться только немногіе спеціалисты? Вѣдь надо-же помнить, что не люди существуютъ для науки и искусства, а что наука и искусство вытекли изъ естественной потребности человѣка наслаждаться жизнью и украшать ее всевозможными средствами. Если наука и искусство мѣшаютъ жить, если они разъединяютъ людей, если они кладутъ основаніе кастамъ, такъ и Богъ съ ними, мы ихъ знать не хотимъ; но это неправда, истинная наука ведетъ къ осязательному знанію, а то, что осязательно, что можно рассмотреть глазами и ощупать руками, то пойметъ и 10-ти-



лѣтній ребенокъ, и простой мужикъ, и свѣтскій человѣкъ, и ученый специалистъ.

Итакъ, съ какой стороны ни посмотримъ на діалектику и отвлеченную философію, она всячески покажется бесполезной тратой силъ и передѣлываніемъ изъ пустого въ порожнее. Если разбирать публичныя лекціи Лаврова, то нужно, мнѣ кажется, говоря о первыхъ двухъ бесѣдахъ, не слѣдить шагъ за шагомъ за авторомъ, не опровергать его отдѣльныя положенія, не ловить его на частныхъ противорѣчіяхъ, а просто въ нѣсколькихъ крупныхъ чертахъ показать полнѣйшую бесполезность всего предпринятаго пмъ труда. Антоновичъ («Соврем.», 1861, апрѣль) написалъ обширную рецензію первыхъ двухъ лекцій Лаврова, провелъ въ этой рецензіи свѣжій и современный взглядъ на философію, но, сколько мнѣ кажется, пустился въ совершенно ненужныя частности и тонкости. Возставая противъ діалектики, онъ сражается съ нею діалектическимъ оружіемъ; онъ доказываетъ логическую непоследовательность тогда, когда слѣдовало бы доказать практическую бесполезность. Дѣло не въ томъ, вѣрно-ли рѣшаются вопросы о сущности вещей и о томъ, что такое я, а въ томъ — нужно-ли рѣшать эти вопросы. Антоновичъ спорить съ Лавровымъ, какъ адептъ одной школы съ адептомъ другой; было бы, мнѣ кажется, проще и полезнѣе для публики, еслибы онъ сталъ на точку зрѣнія совершеннаго профана и спросилъ бы: а какими знаніями и идеями обогатить меня ваша хваленая философія? Одинъ этотъ вопросъ былъ бы, мнѣ кажется, серьезнѣе и радикальнѣе всего длиннаго ряда доказательствъ, которыми Антоновичъ выводитъ противъ Лаврова.

Обративъ все вниманіе свое на одну личность русскаго мыслителя, Антоновичъ упускаетъ изъ виду умозрительную философію вообще, между тѣмъ какъ ее давно бы слѣдовало отпѣть и похоронить. — Лавровъ сдѣлалъ попытку поговорить съ нашимъ обществомъ объ умозрительной философіи; этотъ фактъ можно обсудить съ двухъ сторонъ. Можно спросить, во-первыхъ, умѣтна-ли эта попытка? и во-вторыхъ, удачно-ли она выполнена? Первый вопросъ имѣетъ общій интересъ; обсуживая его, мы толкуемъ о нуждахъ нашего общества и разсматриваемъ характеръ нашей эпохи. Второй вопросъ относится чисто къ личности Лаврова и имѣетъ совершенно частный и, сравнительно съ первымъ, узкій интересъ. — Между тѣмъ Антоновичъ усиленно работаетъ надъ вторымъ вопросомъ и не рѣшаетъ перваго; мы узнаемъ отъ него, что Лавровъ — электикъ, и не узнаемъ того, годится-ли на что-нибудь для нашего времени и для нашего общества умозрительная философія вообще. — Словомъ, статья Антоновича наполнена прекрасными частностями, но этихъ частныхъ такъ много, что

въ нихъ тонетъ общая идея, а именно эту общую идею и слѣдовало выставить какъ можно рѣзче. Замѣчу еще, что Антоновичъ напрасно ограничился разборомъ двухъ первыхъ бесѣдъ Лаврова; третья бесѣда о философіи въ жизни отличается отъ двухъ первыхъ болѣе значительнымъ внутреннимъ содержаниемъ. Философскія убѣжденія Лаврова высказываются, наконецъ, въ болѣе опредѣленной формѣ и ведутъ къ реальнымъ выводамъ въ сферѣ практической жизни. Объ этой бесѣдѣ стоитъ сказать нѣсколько словъ. Лавровъ говоритъ, во-первыхъ, что цѣль жизни находится внѣ ея процесса, который *«въ каждое мгновеніе есть только переходное, случайное выраженіе для того, что не можетъ воплотиться вполне, что составляетъ высшее, существенное, относительно неизмѣнное въ человѣкѣ — для его нравственнаго идеала»*.

Во-вторыхъ, Лавровъ говоритъ, что самый грубый и элементарный взглядъ на жизнь есть тотъ, при которомъ мы стремимся только къ наслажденію; *«первое правило — ищи то, чѣмъ наслаждаемся, — доступно животному наравнѣ съ человѣкомъ, дикому наравнѣ съ образованнымъ человѣкомъ, ребенку наравнѣ съ мужемъ»*. Последнее — пренебрегай всѣмъ, кромѣ высшаго блага, — есть изреченіе, отъ котораго не откажется самый строгій аскетъ; а, какъ извѣстно, истинныя аскеты — большая рѣдкость между людьми».

Замѣчу мимоходомъ, что уроды тоже составляютъ большую рѣдкость между людьми; ихъ сохраняютъ даже въ спирту!

Въ-третьихъ, Лавровъ говоритъ, что *«личность есть совокупленіе всѣхъ главныхъ отраслей дѣятельности въ жизни одной личности. Но она есть совокупленіе, а не смѣшеніе. Каждая дѣятельность, ставя свой вопросъ, свою цѣль, свой идеалъ, рѣзко отличается отъ другой, и одно изъ главныхъ золъ человечества заключается въ недостаточномъ различеніи этихъ вопросовъ, въ перенесеніи идеаловъ изъ одной области дѣятельности въ другую»*.

А вѣдь еслибы вовсе не было идеаловъ, тогда и переносить нечего было бы, и путаницы никакой не могло бы быть. Такъ зачѣмъ-же ставить идеалъ необходимымъ условіемъ развитія?

Приведенныя выписки показываютъ ясно, что Лавровъ склоняется къ такому міросозерцанію, которое существенно отличается отъ мыслей, высказанныхъ мною на предыдущихъ страницахъ. Я все основываю на непосредственномъ чувствѣ; Лавровъ строитъ все на размышленіи и на системѣ; я требую отъ философіи осязательныхъ результатовъ; Лавровъ довольствуется безцѣльнымъ движеніемъ мысли въ



сферѣ формальной логики. Я считаю очевидность полнѣйшимъ и единственнымъ ручательствомъ дѣйствительности; Лавровъ придаетъ важное значеніе діалектическимъ доказательствамъ, спрашиваетъ о сущности вещей и говоритъ, что она непостижима, слѣдовательно предполагаетъ, что она существуетъ какъ-то независимо отъ явленія. Въ области нравственной философіи взгляды наши почти діаметрально противоположны. Лавровъ требуетъ идеала и цѣли жизни внѣ ея процесса; я вижу въ жизни только процессъ и устраняю цѣль и идеалъ; Лавровъ останавливается передъ аскетомъ съ особеннымъ уваженіемъ; я даю себѣ право пожалѣть объ аскетѣ, какъ пожалѣлъ бы о слѣпомъ, о безрукомъ или о сумасшедшемъ. Лавровъ видитъ въ человѣчности какой-то сложный продуктъ разныхъ нравственныхъ специй и ингредиентов; я полагаю, что полнѣйшее проявленіе человѣчности возможно только въ цѣльной личности, развившейся совершенно безыскусственно и самостоятельно, не сдавленной служеніемъ разнымъ идеаламъ, не потрагившей силъ на борьбу съ собой.

Я говорилъ, что, по моему мнѣнію, критику лучше всего высказывать *своей* взглядъ на вещи, дѣлиться съ читателемъ *своимъ* личнымъ впечатлѣніемъ; я такъ и сдѣлалъ въ отношеніи къ Лаврову. Я поставилъ рядомъ съ его воззрѣніями мои воззрѣнія и предоставляю читателямъ полнѣйшую свободу выбрать тѣ или другія или отвергнуть и тѣ, и другія. Я не старался убѣждать въ вѣрности моихъ мыслей, не задавалъ себѣ задачи во что бы то ни стало поставить читателя на мою точку зрѣнія. Умственная и нравственная пропаганда есть до нѣкоторой степени посягательство на чужую свободу. Мнѣ бы хотѣлось не заставить читателя согласиться со мною, а вызвать самостоятельность его мысли и подать ему поводъ къ самостоятельному обсужденію затронутыхъ мною вопросовъ. Въ моей статьѣ навѣрное встрѣтятся много ошибокъ, много поверхностныхъ взглядовъ; но это въ сущности нисколько не мѣшаетъ дѣлу; если мои ошибки замѣтитъ самъ читатель, это будетъ уже самостоятельное движеніе мысли; если онѣ будутъ указывы ему какимъ-нибудь рецензентомъ—это опять-таки будетъ полезно; *du choc des opinions jaillit la vérité*—говорятъ французы, и читатель, присутствуя при спорѣ, будетъ самъ разсуждать и вдумываться. Смѣю льстить себя одной надеждой: еслибы статья моя вызвала какое-нибудь опроверженіе, то споръ сталъ бы вертѣться въ кругу дѣйствительныхъ и жизненныхъ явленій и не перешелъ бы въ схоластическое *словопрение*. Я обсуживалъ явленія нашей критики, руководствуясь голосомъ простого здраваго смысла, и надѣюсь, что если мнѣ будутъ возражать, то возраженія эти будутъ вытекать

изъ того-же источника и не будутъ сопровождаться непонятными для публики ссылками на авторитеты Канта, Гегеля и другихъ.

Говоря о нашей философской литературѣ, я упоминалъ только о статьяхъ Лаврова и считая совершенно лишнимъ обсуживать Страхова и Эдельсона; эти явленія такъ блѣдны и чахлы, что объ нихъ не стоитъ упоминать, да и сказать-то нечего. Утомленіе и скука—вотъ все, что можно вынести изъ чтенія этихъ произведеній; и возражать нечему, и поспорить не съ чѣмъ, такъ все элементарно, утомительно ровно и невозмутимо спокойно. Страховъ считаетъ нужнымъ доказывать, что между человекомъ и камнемъ большая разниа, а Эдельсонъ ни съ того, ни съ сего начинаетъ восторгаться идеей организма, а потомъ, также безъ видимой причины, начинаетъ предостерегать ученыхъ отъ излишняго увлеченія этой идеей.

Всюю пятамъся языцы?

## XI.

Не такъ давно \*) я высказалъ нѣсколько мыслей о безжизненности нашей критики и изложилъ тѣ идеи, которыми я руководствуюсь при разборѣ этихъ чахлыхъ и безцвѣтныхъ явленій. Съ тѣхъ поръ, втеченіи трехъ мѣсяцевъ, въ которыхъ журнальная полемика разгорѣлась особенно ярко, критическій отдѣлъ большей части періодическихъ изданій украсился многими любопытными статьями; эти статьи подають поводъ къ размышленію; онѣ подтверждаютъ высказанныя мною замѣчанія, которыя могли показаться голословными читателямъ моей первой статьи; поэтому я намѣренъ воспользоваться ими какъ матеріаломъ и, обсуживая ихъ, договорить то, что было недосказано, яснѣе и обстоятельнѣе изложить то, чего я прежде коснулся слегка. Я не возстаю противъ полемики, не зажимаю уши отъ свиста, не проклиная свистуновъ; и Ульрихъ-фонъ-Гуттенъ былъ свистунъ, и Вольтеръ былъ свистунъ, и даже Гете вмѣстѣ съ Шиллеромъ свистнули на всю Германію, издавши совокупными силами свой альманахъ «Die Xeniен»; у насъ, на Руси, свисталъ часто и рѣзко, стихами и прозою Пушкинъ; свисталъ Брамбеусъ, которому, вопреки громовой статьѣ Дудышкина: «Сеньковский дилеттантъ русской словесности», я не могу отказать ни въ умѣ, ни въ огромномъ талантѣ. А развѣ во многихъ статьяхъ Бѣлинскаго не прорываются рѣзкіе, свистящіе звуки? Припомните, господа, ближайшихъ литературныхъ друзей Бѣлинскаго,—людей, которымъ онъ въ дружескихъ письмахъ выражалъ самое теплое сочувствіе и уваженіе: вы увидите, что многіе

\*) Первые 10 главъ этой статьи были написаны въ маѣ, а остальныя въ сентябрѣ 1861 года.



изъ нихъ свистали, да и до сихъ поръ свищутъ тѣмъ богатырскимъ посвистомъ, отъ котораго у многихъ звонитъ въ ушахъ и который безъ промаха бьетъ въ цѣль, несмотря на разстояніе.

Оправдывать свистуновъ—напрасный трудъ; ихъ оправдало чутье общества; на ихъ сторонѣ большинство голосовъ, и каждое нападеніе изъ противоположнаго лагеря обрушивается на голову самихъ-же нападающихъ, такъ называемыхъ людей серьезныхъ, дѣятелей мысли, кабинетныхъ тружениковъ, русскихъ Гегелей и Шопенгауэровъ, профессоровъ, снувшихъ въ журналистику, или литературныхъ промышленниковъ, прикрывающихъ свою умственную нищету притворнымъ сочувствіемъ къ вѣчнымъ интересамъ науки. «Русскій Вѣстникъ» и «Отечественныя Записки» убиваются надъ развратомъ русской мысли и заживо оплакиваютъ русскую литературу; ихъ книжки—бюллетени сердобольнаго врача, писанныя у постели больного, умирающаго отъ послѣдствій безпорядочной жизни. Главные *благонамѣренныя* органы нашей журналистики составляютъ консилиумъ, ищутъ лекарства, шупаютъ пульсъ и съ ужасомъ сообщаютъ другъ другу о быстрыхъ успѣхахъ болѣзни; за ними выдвигается группа постныхъ журналовъ и газетъ, совѣтующихъ больному познать тщету и суетную гордыню дольняго міра сего, воспарить духомъ къ высотамъ Сіонскимъ и, отложивъ надежду и попеченіе о выздоровленіи, приготовиться къ мирной, христіанской кончинѣ живота. А въ это время больной мечется въ бреду, лепечетъ въ лихорадочномъ полуснѣ безсвязныя слова, «извергаетъ хулы», называетъ громкія имена всѣхъ вѣковъ и народовъ: Кавуръ, Россель, Платонъ, Страховъ, Пальмерстонъ, Аскоченскій... Что за сумбуръ! И все-то онъ ругаетъ, надъ всѣмъ-то онъ смѣется, все-то ему нипочемъ. «Бѣлая горячка», говорятъ врачи. «*Delirium tremens!*» важно повторяетъ Леонтьевъ. «Дьявольское навожденіе», шепчетъ, отплеываясь, Аскоченскій. «Какъ ему не умереть! Онъ отрицаетъ общіе авторитеты, все, чѣмъ красна и тепла наша жизнь», говоритъ печально г. Н. Ко.

Кто-же наконецъ играетъ роль больного? Кто-же, какъ не «Современникъ» вмѣстѣ съ «Русскимъ Словомъ»? Кто-же, кромѣ этихъ двухъ отверженныхъ, осмѣливался относиться скептически къ дѣятельности Росселя и Кавура? Кто находилъ сухими и безплодными ученые труды Буслаева и Срезневскаго? Кто совѣтовалъ сдать въ архивъ стройныя, красивыя, величественныя системы идеализма, внутри которыхъ темно, сыро и холодно, какъ въ старомъ готическомъ соборѣ? Кто дерзнулъ обвинить Гизо въ историческомъ мистицизмѣ, Лаврова—въ неясности формы и неопредѣленности направленія. Буслаева—въ наивности и старо-

вѣрствѣ, Юркевича—въ отсталости и въ любомудріи. Н. И. Пирогова—въ патріархальности педагогическихъ приѣмовъ, «Отечественныя Записки»—въ вялости тона и въ отсутствіи направленія, «Русскій Вѣстникъ»—въ мѣщанскомъ пристрастіи къ золотой серединѣ?... Можно было бы исписать десять страницъ и все-таки не перечесть всѣхъ преступленій, въ которыхъ были уличены втеченіи 1861 года «Русское Слово» и «Современникъ». Каждая статья составляла *crime des autorités*, сшибая съ пьедестала какой-нибудь кумиръ, которому кричали другіе журналы «выдыбай, Боже!». Человѣкъ въ нормальномъ положеніи, въ здоровомъ умѣ не могъ бы найти въ себѣ столько продерзости. Статья Чернышевскаго о Гизо, «Полемическія красоты», политическія статьи Благосвѣтлова, Схоластика Писарева и его статья о Молешотѣ, рецензія стихотвореній Сковороды и отвѣтъ Крестовскаго Костомарову, Дневникъ темнаго человѣка и Свистокъ—все это бредъ больного, послѣднее напряженіе силъ, за которымъ будетъ и должна слѣдовать реакція, агонія.—Аминь! речетъ «Домашняя Бесѣда», и къ своему крайнему удивленію благонамѣренныя врачи русской журналистики въ первый разъ въ жизни вторятъ Аскоченскому. Но позвольте, господа врачи, *doctores augustissimi*, я не понимаю вашего огорченія. Отчего же вы такъ взволнованы? Здоровый человѣкъ, владѣющій полнымъ разсудкомъ, не станетъ беспокоиться попусту, скликать пожарную команду, когда у сосѣда топится овинъ и когда не предвидится ни малѣйшей опасности. Надо предположить одно изъ двухъ: или дѣйствительно свистуны сильны въ области литературы, или благонамѣренныя люди сами больны и, по разстройству нервовъ, вздрагиваютъ отъ малѣйшаго шума. Каждая выходка «Современника» или «Русскаго Слова» осуждается синадріономъ такъ называемыхъ солидныхъ журналовъ; осужденіе обыкновенно занимаетъ больше мѣста, чѣмъ самая выходка; стало быть, эти выходки дѣйствительно опасны, или-же, извините, вамъ больше не о чемъ говорить, и вы ловите случай, раздуваете скандалъ для того, чтобы наполнить книжку, и слѣдовательно поступаете сами, какъ неудавшіеся фельетонисты.

Разберемъ оба предположенія. Кому и чему могутъ быть опасны выходки свистуновъ? Вѣроятно только идеямъ или-же такимъ личностямъ, которыя передъ лицомъ всего образованнаго міра служатъ представителями той или другой тенденціи. Вѣдь вы, господа врачи, вступаете не за Козлянинова, не за Вергейма, а за Кавура, за Росселя, за исторію, за философію, за серьезную науку. Всѣмъ этимъ лицамъ и идеямъ вы своимъ заступничествомъ оказываете очень плохую услугу. Прикосновенія критики боится только то, что гнило, что, какъ егип-



петская мумія, распадается въ прахъ отъ движенія воздуха. Живая идея, какъ свѣжій цвѣтокъ отъ дождя, крѣпнеть и разрастается, выдерживая пробу скептицизма. Предъ заклинаніемъ трезваго анализа исчезаютъ только призраки; а существующіе предметы, подвергнутые этому испытанію, доказываютъ имъ дѣйствительность своего существованія. Если у васъ есть такіе предметы, до которыхъ никогда не касалась критика, то вы бы хорошо сдѣлали, если бы порядкомъ встряхнули ихъ, чтобы убѣдиться въ томъ, что вы храните дѣйствительное сокровище, а не истлѣвшій хламъ. Если же вы для себя уже сдѣлали этотъ опытъ, то позвольте-же и другимъ сдѣлать то-же для себя. Вы, положимъ, убѣждены въ томъ, что умозрительная философія есть мать всѣхъ добродѣтелей и источникъ всякаго благосостоянія. А вотъ для меня, напр., это положеніе составляетъ еще недоказанную теорему. Что-же, мнѣ вамъ на слово прикажете вѣрить? Или прикажете до тѣхъ поръ не писать ничего, пока не выработаю себѣ абсолютно вѣрнаго, неизблемаго убѣжденія, пока не превращу въ аксіомы всѣ теоремы? На второй мой вопросъ вы отвѣтите утвердительно, а я вамъ докажу сейчасъ, что этотъ утвердительный отвѣтъ—нелѣпость. Каждое поколѣніе разрушаетъ міросозерцаніе предыдущаго поколѣнія; чтò казалось неопровержимымъ вчера, то валится сегодня; абсолютныя, вѣчныя истины существуютъ только для народовъ неисторическихъ, для эскимосовъ, папуасовъ и китайцевъ. Вы мнѣ скажете, что  $2 \times 2 = 4$ —абсолютная истина для всѣхъ вѣковъ и народовъ, а я вамъ отвѣчу, что  $2 \times 2 = 4$  не есть идея; тутъ подлежащее повторяется въ сказуемомъ; въ первой и второй части уравненія предметъ одинъ и тотъ-же, и измѣняются только формы выраженія. «Прямая линія есть кратчайшее разстояніе между двумя точками»—это тоже не идея; вы тутъ связываете между собою не два предмета, а два названія, изъ которыхъ одно сжато, другое—пространно. Эти такъ называемыя математическія истины могутъ быть сведены на общую формулу *опредѣленія*: «островъ есть кусокъ земли, окруженный со всѣхъ сторонъ водою». Тутъ объясняется слово, а не предметъ. Кромѣ того математическія опредѣленія вообще имѣютъ дѣло съ рамками, съ самыми общими, совершенно безцвѣтными отвлеченностями, къ которымъ человѣкъ не можетъ имѣть никакихъ личныхъ отношеній. *Два, прямая линія*—все это не предметы, не явленія жизни, а рамки, въ которыя можно вставить чтò угодно. Математическія истины неизблемы, потому что онѣ безжизненны; вѣдь математики посмотрите куда угодно,—всѣ понятія наши о природѣ и человѣкѣ, о государствѣ и обществѣ, о мысли и дѣятельности, о нравственности и красотѣ, мѣ-

няются такъ быстро, что послѣдующее поколѣніе не оставляетъ камня на камнѣ въ міросозерцаніи предыдущаго. Кто усталъ идти, тотъ можетъ сѣсть въ сторонѣ отъ дороги и помириться съ тѣмъ, что его обгоняетъ. Такъ сдѣлалъ «Русскій Вѣстникъ», такъ поступилъ Тургеневъ. Мнѣнія «Русскаго Вѣстника» соотвѣтствовали требованіямъ нашего общества года три тому назадъ; теперь они многимъ покажутся ретроградными. Образъ Елены въ «Наканунѣ» могъ казаться безукоризненно прекраснымъ года три тому назадъ; въ 1860 году въ немъ уже могли замѣтить несмѣлыя отношенія автора къ идеѣ равноправности мужчины и женщины.

Вы видите такимъ образомъ, что не писать до тѣхъ поръ, пока не установятся убѣжденія, значить безъ толку пожертвовать лучшими годами дѣятельности. Убѣжденія ваши *остановятся* на какомъ-нибудь результатѣ только тогда, когда выѣстѣ съ костями и хрящами начнетъ твердѣть и сохнуть мозгъ; вы остановитесь не потому, что достигли истины, а потому, что утомились работой жизни и мысли, потеряли ту эластичность, гибкость и подвижность ума, которыми обладали въ молодости; остановившись, вы начинаете жить прошедшимъ, и если вы писатель, то этимъ-же прошедшимъ вы дѣлитесь съ публикой. А прошедшее движущемуся обществу можетъ дать матеріалъ для размышленія, а не норму для дѣятельности. Стало быть, ваши слова будутъ живѣе и плодотворнѣе, если вы выскажете ихъ тогда, когда ваша личность и дѣятельность еще принадлежитъ будущему. Страстный бредъ или пылкая діалектика юноши всегда западаютъ въ душу слушателя глубже и шевелятъ ее живѣе, чѣмъ мудрый совѣтъ старика, высказанный осторожно, безстрастно и торжественно. Юноша способенъ ошибаться—согласенъ, но зато онъ не учитъ общества, не читаетъ лекцій; онъ самъ ищетъ, самъ стремится, а стремленіе къ истинѣ, поступательное движеніе всегда лучше обладанія ею, уже потому, что послѣднее есть самообольщеніе, а первое—дѣйствительный фактъ. Итакъ, позвольте людямъ, не достигшимъ крайнихъ предѣловъ своего развитія, т. е. еще не остановившимся,—говорить, писать и печатать; позвольте имъ встряхивать своимъ самороднымъ скептицизмомъ тѣ залежавшіяся вещи, ту обветшалую рухлядь, которая вы называете общими авторитетами, и которая, по вашему признанію, грѣютъ и красятъ вашу жизнь. Согласитесь съ тѣмъ, что «спросъ не бѣда», и что общему авторитету не больно отъ того, что его подвергнуть сомнѣнію. Если авторитетъ ложный, тогда сомнѣніе разобьетъ его и прекрасно сдѣлаетъ; если-же онъ необходимъ или полезенъ, тогда сомнѣніе повертитъ его въ ру-



кахъ, осмотрить со всѣхъ сторонъ и поставить на мѣсто. Словомъ, вотъ ultimum нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержать ударъ, то годится; что разлетится въ дребезги, то хламъ: во всякомъ случаѣ, бей направо и налево, отъ этого вреда не будетъ и не можетъ быть. Клеветать, конечно, не слѣдуетъ; лгать въ фактахъ—не хорошо, но въ подобной лжи еще никто не уличилъ свистуновъ; ихъ уличали въ ложныхъ воззрѣніяхъ, а воззрѣнія не могутъ быть ни истинны, ни ложны: есть мое, ваше воззрѣніе, третье, четвертое и т. д. Которое истинно? Для каждого свое, и потому я совершенно согласенъ съ словами Н. Ко., которыя онъ хотѣлъ сказать мнѣ въ пику: «Давайте всѣ мыслить самостоятельно, и—чуръ!—одинъ другому не мѣшать». Нашелъ въ чемъ упрекнуть! въ самостоятельности мысли. Давай Богъ побольше такихъ обличителей, которые, желая обругать, говорятъ комплименты.

Я замѣтилъ выше, что серьезные журналы дѣлаютъ изъ мухи слона, потому что имъ больше нечего дѣлать; это положеніе я поддерживаю; только полнѣйшая умственная праздность можетъ возводить въ событіе каждую статью Свистка, каждую выходку Темнаго человѣка. Люди толкуютъ о серьезныхъ интересахъ науки и общества и въ то-же время сотни страницъ посвящаютъ Чернышевскому, котораго сами называютъ свистуномъ и верхоглядомъ. И что это за страницы! сколько глубокомыслія, сколько проницательной критики, сколько высоко-нравственного негодованія тратится на опроверженіе «Полемическихъ красотъ»! Судя по тому значенію, которое придаютъ Чернышевскому современные серьезные люди, надо думать, что если энциклопедическій словарь дойдетъ до буквы *Ч*, то ему будетъ посвящена обширная статья. Подлинно, Чернышевскій имѣетъ полное право произнести извѣстное стихотвореніе Пушкина: «Ex ungue leonem», кончающееся такъ:

Я по ушамъ узналъ его какъ-разъ.

## XII.

«Полемическія красоты» Чернышевскаго взволновали журнальный міръ; никакое научное открытіе, никакое серьезное изслѣдованіе не обращало на себя такъ внезапно всеобщаго вниманія серьезныхъ литераторовъ. «Русскій Вѣстникъ» съ несвойственной ему поспѣшностью, въ іюньской книжкѣ своего изданія, отвѣчалъ на статью, помѣщенную въ іюньской же книжкѣ «Современника»; «Отеч. Зап.» въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ не спускаютъ глазъ съ «Современника», лишающаго ихъ сна и покоя; даже безвредный «Свѣточъ» не преминулъ заявить свой протестъ противъ нарушенія литературныхъ приличій Чернышевскимъ.

Мысль невольно переносится къ той давно прошедшей эпохѣ, когда памфлетъ Ульриха фонъ-Гуттенъ «Письма темныхъ людей» («*Epistolae obscurorum virorum*») прошумѣлъ по Германіи и нарушилъ умственную апатію записныхъ ученыхъ. Доктора и монахи принялись ругаться на всѣ лады и доказали двѣ вещи, во-первыхъ,—мѣткость ядовитаго памфлета, во-вторыхъ,—собственную духовную нищету, связанную съ нахальной заносчивостью и карикатурнымъ самообожаніемъ. Такого рода происшествія возможны во всякое время. Люди лѣнныя или отъ природы малосильные всегда сердятся на людей дѣятельныхъ и даровитыхъ, которые, идя скорѣе ихъ, увлекаютъ за собою большинство и пользуются его заслуженнымъ сочувствіемъ. Сердятся они не всегда изъ корыстныхъ видовъ: иному дѣйствительно обидно; онъ, можетъ быть, лѣтъ пятнадцать рылся въ библіотекахъ и архивахъ, трудился въ потѣ лица, считалъ себя полезнымъ специалистомъ, предъявлялъ права на признательность соотечественниковъ, и вдругъ—о, разочарованіе!—является какой-нибудь неизвѣстный юноша, высказываетъ о предметѣ специальныхъ изслѣдованій мысли, ошеломляющія специалиста своей оригинальностью и новизною, и прямо называетъ долготѣнныя труды вышписаннаго ученаго сухимъ хламомъ, изъ котораго не выжмешь ни идеи, ни важнаго фактическаго результата. Какъ-же такому непонятому специалисту не озлиться? Какъ ему не пуститься съ азартомъ въ несвойственное ему поле журнальной полемики? Какъ ему въ проклятіяхъ противъ свистопляски не дойти до того пафоса задорности, какимъ отличается переписка Ивана IV съ Курбскимъ? Кто-же рѣшится сознаться даже перелъ самимъ собою (не то что передъ публикою) въ томъ, что онъ въ продолженіи десятковъ лѣтъ не зналъ, что дѣлалъ и съ какой цѣлью трудился. Чтобы рѣшиться на такое признаніе, надо быть почти великимъ человѣкомъ, а великіе люди не тратятъ жизни на перепечатку лѣтописей и на копировку старинныхъ шрифтовъ. Раздраженіе Погодина, выразившееся въ его письмѣ къ Костомарову и въ изобрѣтеніи слова «свистопляска», негодованіе Буслаева, напечатавшаго въ «Отеч. Зап.» письмо къ Пыпину, и гнѣвъ Вяземскаго, посвятившаго свистунамъ сатирическую пѣснь лебедя, объясняются только что выписанными мною побудительными причинами. Ярость «Русскаго Вѣстника» и «Отеч. Зап.» объясняется проще. Винить журналиста въ томъ, что онъ желаетъ увеличенія подписки, было бы смѣшно. Кто-жъ себѣ врагъ? Фразамъ о безкорыстномъ служеніи идеѣ и обществу наше время плохо вѣрить. Какъ ни кричите противъ меркантильности эпохи, вы ея крикомъ не прогоните. Эта меркантильность есть современная форма эгоизма, выражавшагося въ



прежнія времена властолюбіемъ, жаждой славы, донжуанствомъ и т. д. Возставать противъ корыстолюбія журналовъ я не буду; постараюсь только посмотрѣть, какія средства они пускаютъ въ ходъ, чтобы выдвинуть себя впередъ и отбросить совмѣстниковъ на задній планъ. Буду обращать вниманіе не столько на нравственное достоинство этихъ средствъ, сколько на ихъ практическую пригодность. Можно быть отличнымъ, честнѣйшимъ человѣкомъ и очень плохимъ литераторомъ, и тѣмъ болѣе негодящимся журналистомъ. «Хоть пей, да дѣло разумѣй», это мудрое правило надо особенно крѣпко помнить въ наше время, когда развелись легіоны печатающихъ людей, которые «немножечко дерутъ»,

Зато ужъ въ ротъ хмѣльного не берутъ».

Впрочемъ опять-таки этого нельзя сказать ни объ «Отечественныхъ Запискахъ», ни о «Русскомъ Вѣстникѣ». Тѣ и дерутъ, и чистотой литературныхъ нравовъ не отличаются. Объ «Русскомъ Вѣстникѣ» довольно будетъ замѣтить, что онъ не уважаетъ умственной самостоятельности своихъ сотрудниковъ (исторія о Свѣчинной), попрекаетъ Чернышевскаго саратовской семинаріей и даже пишетъ о томъ, что у него крадутъ книги и четвертаки. Что-же касается до «Отечественныхъ Записокъ», этого притона современной схоластики, кладезя недоступной премудрости, то я намѣренъ посвятить имъ все продолженіе этой статьи. Надо разъ навсегда высказаться насчетъ этого ученаго журнала, противъ котораго почти невозможна серьезная критика. Почему? А потому, что въ немъ нѣтъ живой мысли, стало быть, надо или смѣяться надъ тупымъ педантствомъ, или закрыть книгу и лечь спать съ отяжелѣвшей головой.

Легіонъ редакторовъ «Отечественныхъ Записокъ», чего добраго, назоветъ эти слова нарушеніемъ литературныхъ приличій; они скажутъ, пожалуй, что мнѣ слѣдуетъ спорить съ ними, а не отдѣлываться брошенной фразой; они, можетъ быть, сочтутъ мои слова уловкой; вѣдь требовали-же они отъ Чернышевскаго, чтобы онъ состязался съ Юркевичемъ; вѣдь считали-же они отказъ Чернышевскаго за доказательство его несостоятельности. Поймите, господа, что спорить съ вами и съ Юркевичемъ—значитъ ломать себѣ голову, слѣдя за извилинами вашихъ аргументацій, написанныхъ тяжелымъ, неяснымъ языкомъ 30-хъ годовъ, входитъ въ мрачный лабиринтъ вашей буддійской науки, отъ которой мы сторонимся съ нѣмымъ благоговѣніемъ. Скажите, ради чего намъ съ Чернышевскимъ брать на себя такой трудъ? Чтобы убѣдить васъ? Да мы этого не желаемъ. Чтобы убѣдить публику? Да она и безъ того на нашей сторонѣ. Ей смертельно надоѣдаютъ ваша наука и критика. Читаетъ она въ «Отечественныхъ Запискахъ» повѣсти, переводные

романы (которыхъ всегда довольно), историческія статейки; что-же касается до критики, ее рѣдко разрѣзываютъ; вопросы, которые Дудышкинъ, какъ сфинксъ современной литературы, задаетъ на разрѣшеніе журналамъ (напр., о Пушкинѣ), прочитываются для смѣха журналистами и, какъ слѣдуетъ того ожидать, не разрѣшаются никакъ.

Убѣждать публику намъ, стало быть, не въ чемъ; кромѣ того, смѣхъ и свистъ лучшія орудія убѣжденія. Если бы мы стали васъ опровергать по пунктамъ, статьи наши вышли бы такъ-же скучны и головоломны, какъ ваши критическія изслѣдованія, а этого-то мы не желаемъ. Итакъ, спорить съ вами мы не будемъ, а смѣяться, если придетъ расположеніе, не преминемъ. Спора вы требуете, а смѣха бонетесь. Вотъ смѣхомъ-то мы васъ и доканаемъ. Вы непременно разсердитесь и въ сердцахъ выкажете свои больныя мѣста, которыхъ у васъ очень много. Вы уже разсердились на Чернышевскаго и высказывали много диковинныхъ вещей. Кромѣ того, вы напрягли всѣ свои силы, ничего не успѣли сдѣлать и слѣдовательно обличили свое безпомощное состояніе, свою убогость, которой вы насъ все-таки не разжалобите.

### XIII.

Шестидесять пять страницъ въ разныхъ отдѣлахъ «Отечественныхъ Записокъ» 1861 года за августъ выдвинуто противъ второй коллекціи «Полемическихъ красотъ». Упрекъ въ отсутствіи направленія подѣйствовалъ слишкомъ хорошо; всѣ редакторы ополчились, какъ одинъ человѣкъ, и пошли четверо противъ одного; впрочемъ, на флотѣ лиллипутовъ, который увелъ въ плѣнъ капитанъ Лемуиль Гулливеръ, было гораздо больше четырехъ храбрыхъ бойцовъ; всѣ были воодушевлены патріотическимъ жаромъ, всѣ они тоже защищали народность, и между тѣмъ всѣ сдались на капитуляцію. Что дѣлать, гг. идеалисты, спиритуалисты и супранатуралисты! Духъ бодръ, плоть немощна. Крестовый походъ политической умѣренности, историческаго глубокомыслія, критической серьезности и откровенной запальчивости противъ наглаго, насмѣшливаго невѣжества кончился безславнымъ пораженіемъ. Ряды нападающихъ смѣшались; разнокалиберность союзниковъ и непривычка стоять подъ однимъ знаменемъ взяли свое; пошли ученые рыцари кто въ лѣсъ, кто по дрова; своя своихъ не познаша, и предпологавшійся стройный натискъ превратился въ беспорядочное гарцованіе, достойное Благо-свѣтлова, но нисколько не приличное для пуристовъ русской мысли. Бѣдные пуристы! Они были не на своемъ мѣстѣ; они напоминали несчастнаго Франца Горна, комментатора Уильяма Шекспира, попавшагося въ дикую охоту



и скакавшего за своимъ любимымъ поэтомъ на ослѣ, держась за гриву и творя молитву дрожащимъ голосомъ (Heine. «Atta Troll»). И что за охота? Вѣдь говорилъ вамъ Чернышевскій: куда вамъ полемизировать! а вы его не послушали; вы, вѣроятно, думали, что онъ говоритъ это отъ зависти; вотъ и додумались. А все—самолюбіе васъ губить. Ну, ему-ли вамъ завидовать! Вотъ видите-ли, въ чемъ дѣло: намъ (т. е. «Современнику» и «Русскому Слову») позволительно посвящать вамъ обширныя критическія статьи; мы—люди задорные; мы въ вашемъ лицѣ осмѣиваемъ рутину и слѣдовательно остаемся вѣрны своему характеру. Вамъ, напротивъ того, совсѣмъ не слѣдуетъ съ нами говорить: всякая попытка свистнуть съ вашей стороны доставляетъ намъ перевѣсъ; вы беретесь за наше оружіе, стало быть, полагаете, что оно лучше вашего, и слѣдовательно этимъ самымъ осуждаете вашу всегдашнюю дѣятельность. Нельзя служить Богу и мамону, а то выйдетъ ни Богу свѣча, ни чорту кочерга. Вы должны показывать видъ, будто чувствуете къ намъ полнѣйшее, холодное, равнодушное презрѣніе, будто *игнорируете* насъ; вы иногда стараетесь поступать такимъ образомъ, но солидность ваша не выдерживаетъ развѣдающаго прикосновенія мѣткой насмѣшки. Нашъ сарказмъ жжетъ васъ, какъ раскаленное желѣзо; вы теряете всякое хладнокровіе, забываете *роль* и, не умѣя язвить шуткой, начинаете браниться, почерпая ваши слова то изъ церковно-славянскаго (напр., срамословіе, скверномысліе), то изъ площаднаго народнаго. Вотъ въ эти-то минуты вы крайне занимательны; тутъ-то васъ и нужно изучать и списывать съ натуры.

Августовская книжка «Отечественныхъ Записокъ» доставила мнѣ самое живое наслажденіе своей полемической частью. Она дорисовала тѣ образы, которые складывались уже въ моемъ умѣ; она показала мнѣ, какъ говорятъ и дѣйствуютъ рутинеры, выведенные изъ терпѣнія и чувствующіе, что почва колыхается подъ ихъ ногами. Мнѣ случалось читать въ исторіи объ отчаянной борьбѣ отживающаго съ начинающимъ жить, и теперь мнѣ очень пріятно прослѣдить въ маленькихъ размѣрахъ процессъ этой борьбы между представителями русской мысли. Тяжело смотрѣть на агонію человѣка или животнаго, но агонія идеи, принципа, направленія представляетъ любопытное и пріятное зрѣлище. Весело смотрѣть на то, какъ защитники этого умирающаго принципа мечутся, суетятся, теряютъ голову, противорѣчатъ сами себѣ, сбиваютъ другъ друга съ ногъ, говорятъ всѣ вдругъ, какъ Добчинскій и Бобчинскій, и все-таки лишаются постепенно своихъ прозелитовъ, а между тѣмъ новая идея какъ пожаръ разли-  
вается по сценѣ дѣйствія, не останавливается

никакими преградами, просачивается сквозь щели стѣнъ и дочиста сжигаетъ старый хламъ, какъ бы ни былъ онъ плотно закупоренъ и подъ какимъ бы крѣпкимъ карауломъ его ни содержали. Чернышевскій говоритъ, что въ «Отечественныхъ Запискахъ» нѣтъ единства направленія, и Дудышкинъ торжественно соглашается съ нимъ отъ лица всѣхъ главныхъ членовъ редакціи. Я позволю себѣ не согласиться ни съ тѣмъ, ни съ другимъ. Статьи «Отечественныхъ Записокъ» часто противорѣчатъ другъ другу—это правда; но у нихъ есть что-то общее, есть свой букетъ, который принадлежитъ имъ однимъ: этотъ букетъ онѣ называютъ *серьезностью*; въ переводѣ на общепотребительный русскій языкъ это значить недоступность живымъ интересамъ, неумѣнье и нежеланье отнестись къ возникающимъ вопросамъ откровенно и ясно, *игнорированіе* живыхъ и больныхъ мѣстъ нашей частной и общественной жизни. Возникаетъ-ли какой-нибудь литературный споръ о предметѣ общезвѣстномъ, имѣющемъ практическое значеніе во вседневной жизни,—«Отечественныя Записки» тотчасъ превращаютъ споръ въ научную теорему; предметъ уносится учеными критиками на вершины Олимпа руссійской мысли, и густой туманъ скрываетъ его отъ глазъ обыкновенныхъ зрителей; кто попроще, тотъ начинаетъ благоговѣть, ничего не понимая, а кто смѣлѣе, тотъ закрываетъ книгу и говоритъ, что начинается «ерунда». Въ обоихъ случаяхъ вопросъ, поставленный жизнью, остается нерѣшеннымъ и понемногу замираетъ. Достоинство журнала спасено, а между тѣмъ не высказано ничего рѣзкаго, что могло бы раздражить гусей; и волки сыты, и овцы цѣлы.

Вотъ видите-ли, въ нашемъ общественномъ мнѣніи есть множество оттѣнковъ, нечувствительно переливающихся одинъ въ другой. Крайними полюсами этого общественного мнѣнія можно назвать съ одной стороны Асоченскаго, съ другой—ну, хоть бы Чернышевскаго, благо мы часто о немъ упоминаемъ. У Асоченскаго есть положительная сторона—ханжество, и отрицательная—ненависть къ человѣческому разуму. Эта отрицательная сторона, эта ненависть у него груба, рьяна, нелѣпа; если отъ Асоченскаго мы будемъ постепенно подвигаться къ Чернышевскому, эта ненависть будетъ находиться въ убывающей прогрессіи; мракобѣіе перейдетъ въ мраколюбіе, наконецъ, въ довольство мракомъ, въ терпѣніе мрака; доводы противъ разума будутъ видоизмѣняться, но полную эманципацію разума мы найдемъ только на противоположномъ полюсѣ. Духъ Асоченскаго вѣетъ не въ одной «Домашней Бесѣдѣ»; съ его вѣяніемъ можно встрѣтиться даже за предѣлами любезнаго отечества; ослабленные и смягченные Асоченскіе есть и въ



Европѣ, даже въ Англіи, даже въ партіи виговъ. Авторитеты ихъ, пожалуй, благообразіе нашихъ, но въ сущности все равно, пеньковая или шелковая веревка вяжетъ васъ по рукамъ и по ногамъ! Шелковая даже хуже; отъ нея не такъ больно, и потому связанный легче мирится съ своимъ положеніемъ. Отношенія «Отечественныхъ Записокъ» къ разуму отличаются робостью; самодѣятельность мысли отошла отъ нихъ вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ; новая идея не найдетъ себѣ пріюта на страницахъ этого журнала: рискъ великъ! Кто ее знаетъ, эту идею? Вдругъ окажется вздоромъ, не примется въ обществѣ; начнутъ надъ нею смѣяться; нѣтъ, лучше не рисковать; лучше идти себѣ битой дорогой, печатать новости заднимъ числомъ, хвалить то, что уже всѣ признавали хорошимъ, и бранить то, въ чемъ еще сомнѣвается большинство. Внѣшнимъ образомъ эта черта характера «Отечественныхъ Записокъ» выразилась въ томъ, что, сколько мнѣ помнится, ни одинъ литераторъ не начиналъ своей карьеры въ «Отечественныхъ Запискахъ». Когда имя дѣлалось извѣстнымъ, Краевскій допускалъ его на Олимпъ; талантливый юноша, не печатавшій до того времени нигдѣ, не могъ прямо попасть въ «Отечественныя Записки», хотя бы онъ былъ семи пядей во лбу. Это было очень благоразумно со стороны Краевскаго. Когда нѣтъ творчества, не надо творить; когда нѣтъ собственной критической способности, надо поневолѣ полагаться на мнѣніе другихъ; «незачѣмъ пѣть, когда голоса нѣтъ», говоритъ русская пословица. Откровенное сознаніе собственной несостоятельности — дѣло очень похвальное, хотя, конечно, было бы еще похвалнѣе совсѣмъ не браться за такое дѣло, въ которомъ не смыслишь ни аза.

Итакъ, робость и неясность отношеній составляютъ букетъ «Отечественныхъ Записокъ». Причина этихъ свойствъ заключается отчасти въ дипломатической осторожности, отчасти въ слабости мысли. Ширина и смѣлость взгляда, неумолимая послѣдовательность логики, ясность и простота въ рѣшеніи вопросовъ свойственны только живому уму, а его нѣтъ въ редакціи «Отечественныхъ Записокъ». Посредственность не любитъ быстрого поступательнаго движенія; оно ее утомляетъ; довольствоваться наличнымъ умственнымъ капиталомъ, старой философской системой, шлифовать и полировать уголки, любоваться деталями, — вотъ ея дѣло, вотъ сфера ея муравьиной дѣятельности. А тутъ вдругъ придетъ какой-нибудь нахаль, все переверочаетъ, все переломаетъ, на шумитъ, напылитъ, такъ что послѣ его вторженія хозяинъ не можетъ узнать своего уютнаго кабинета, въ которомъ все было такъ аккуратно, такъ невозмутимо-спокойно, такъ тихо и безмятежно. Собирается онъ съ силами, чтобы послѣ нашествія новаго Аттилы привести въ прежній порядокъ свою крошечную

систему, въ которой ему было тепло, въ которой онъ чувствовалъ себя безопаснымъ, какъ улитка въ раковинѣ, и къ которой онъ даже, можетъ быть, успѣлъ пріохотить кружокъ почтительныхъ и кроткихъ прозелитовъ. Хлопочетъ онъ о томъ, чтобы истребить слѣды разрушительнаго набѣга, да что-то не ладится; прозелиты ошеломлены; однихъ прельстила смѣлость вражескаго натиска, другихъ она удивила, третьихъ привела въ негодованіе, но во всякомъ случаѣ всѣ они уже не тѣ невинные, непосредственные, нетронутые слушатели, какіе были прежде. Да и система не дозволяетъ добродушному хозяину прежняго умственного комфорта. Молча перенести дерзкое нападеніе невозможно: самолюбіе мѣшаетъ, да и опасно; мальчишки — народъ заносчивый, зазнаются, примутъ молчаніе за признакъ слабости; надо спорить, да и при томъ какъ спорить! Состязаться съ человѣкомъ одной школы съ вами пріятно; говоря съ нимъ, вы можете сослаться на положеніе учителя, и, лишь бы статья вашего общаго кодекса была подведена вѣрно, вашъ противникъ согласится съ вами и даже будетъ смотрѣть на васъ съ сугубымъ уваженіемъ, какъ на человѣка, которому полнѣе доступна неизреченная мудрость. Но спорить съ человѣкомъ другой школы совсѣмъ не то; вы сошлетесь на авторитетъ, а онъ вамъ скажетъ, что знать его не хочетъ; вы скажете: «это говорить Гегель!», а онъ отвѣтитъ: «а мнѣ что за дѣло!» — Вамъ придется доказывать основныя положенія, шевелить такія стропила ученія, которыя вы считали незыблемыми и неприкосновенными, придется передѣлывать съизнова дѣло учителя, и при томъ при такихъ условіяхъ, которыя значительно усложняютъ задачу. Когда жилъ и дѣйствовалъ учитель, тогда люди его времени еще не могли приготовить противъ его ученія разрушительныхъ доводовъ, по той простой причинѣ, что ученіе было ново, свѣжо, способно развиваться и не похоже на жреческую символистику; когда жилъ этотъ предполагаемый учитель, онъ уловилъ послѣднее слово своего времени и развилъ его въ систему; теперь настали другія времена; выработалось другое послѣднее слово, и можно сказать навѣрное, что еслибы учитель жилъ въ наше время, то и ученіе его вышло бы не такое, какимъ онъ его сдѣлалъ. Въ наше время Гегель навѣрное не былъ бы гегельянцемъ, потому что только узкіе и вялые умы живутъ въ области преданій тогда, когда можно выдти въ область дѣйствительно живыхъ идей и интересовъ.

Итакъ, умственная посредственность всегда отличается пассивнымъ консерватизмомъ и противопоставляетъ натиску новыхъ идей тупое сопротивленіе инерціи. Бываетъ и прозелитическая посредственность; иные нищій духомъ стремятся, очертя голову, вслѣдъ за увлекающимъ ихъ талантомъ; слѣпой фанатизмъ и



дешевый скептицизмъ одинаково часто встрѣчаются въ людяхъ ограниченныхъ; но въ нашемъ обществѣ дешевый скептицизмъ, кажется, преобладаетъ, потому что мы вообще страстностью не отличаемся. Вотъ эту-то тупую оппозицію инерціи и безпричиннаго скептицизма вы встрѣтите на каждой страницѣ «Отечественныхъ Записокъ».

Слова оппозиція и скептицизмъ требуютъ нѣкотораго поясненія. Оппозиція есть гарантія личности противъ посягательства большинства или силы: осмысленная оппозиція возбуждаетъ къ себѣ искреннее сочувствіе и заслуживаетъ полное уваженіе со стороны всякаго благороднаго человѣка; но что вы скажете, напр., объ оппозиціи помѣщицы Коробочки, не желающей продать мертвыя души на томъ основаніи, что она не знаетъ городскихъ цѣнъ? Вѣдь источникъ этой оппозиціи заключается въ неспособности понять предметъ, въ неумѣніи или нежеланіи сдѣлать малѣйшее усиліе мысли. Оппозиція многихъ старовѣровъ очень напоминаетъ оппозицію Коробочки. Ему толкуютъ объ удобствахъ какой-нибудь земледѣльческой машины, — онъ слушаетъ изъ пятого въ десятое и потомъ наотрѣзъ отказывается сдѣлать нововведеніе. Вы добываетесь причины его упорства, считаете вашего собесѣдника фанатикомъ наслѣдованнаго отъ отцовъ экономическаго порядка вещей, строите въ головѣ цѣлую теорію объ исторической памяти русской народности, а между тѣмъ вашъ дубиноголовый противникъ способенъ отвѣтить вамъ только словами Лазаря Елизарыча: «Для того, что не для чего!..» Онъ упирается, потому что неясно понимаетъ, а не понимаетъ и не хочетъ понимать оттого, что не привыкъ работать мыслью, — а на старости лѣтъ привыкать мудрено!

Скептицизмъ великъ и законенъ, какъ слѣдствіе разлагающей дѣятельности мысли, какъ результатъ тщательнаго анализа, но скептическое отношеніе къ предмету мало извѣстному обличаетъ только нежеланіе взглянуть въ него и ближе съ нимъ ознакомиться, — такой скептицизмъ вытекаетъ часто изъ очень мелкаго и мутнаго источника. Возьмемъ примѣръ. Положимъ, что моя статья возбудитъ къ себѣ недоувѣріе въ двухъ читателяхъ: одинъ прочтетъ ее внимательно и, положимъ, замѣтитъ въ ней противорѣчія, тонъ страстнаго раздраженія, натяжки въ выводахъ; это наведетъ его на мысль, что статья написана пристрастно, онъ отнесется къ ней скептически. Такого рода скептицизмъ вполне уважителенъ; онъ основанъ на знакомствѣ съ предметомъ; ошибка тутъ возможна. Другой читатель перелистуетъ статью, увидитъ, что дѣло идетъ объ «Отечественныхъ Запискахъ», и скажетъ: «это брань журналистовъ, старающихся переманить подписчиковъ. Вздоръ! не стоитъ читать!» — Это уже дешевый скепти-

цизмъ, хватающій вершки, судящій по внѣшности, не желающій или не умѣющій приложить анализа къ самому предмету. У человѣка, способнаго къ такому скептицизму, есть въ головѣ нѣсколько десятковъ готовыхъ сужденій, и онъ подводитъ подъ нихъ разные случаи жизни, нимало не заботясь о ихъ дѣйствительной фізіономіи. Развиваться такой человѣкъ не способенъ; вращаясь въ безвыходномъ кругу готовыхъ сужденій и вывѣтрившихся фразъ, онъ не видитъ дѣйствительнаго міра и не даетъ себѣ труда взглянуть на него просто и серьезно. Эти оппозиціи и этотъ скептицизмъ выражаются въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. «Отечественныя Записки» выражаютъ ихъ тѣмъ, что не высказываютъ никогда определеннаго мнѣнія; въ нихъ вы не найдете такого слова, изъ котораго можно было бы вывести осязательное, практическое заключеніе. У нихъ есть два молчалинскіе таланта: умѣренность и аккуратность, которую они называютъ серьезностью. До «степеней извѣстныхъ» они уже дошли. Развѣ двадцать-три года существованія журнала, и при томъ отъ 1838—1861 года, не «степени извѣстныя»?

#### XIV.

Букетъ «Отечественныхъ Записокъ» я нашелъ; ихъ цвѣтъ — безцвѣтность; ихъ тактика состоитъ въ томъ, чтобы говорить, ничего не высказывая, числиться въ рядахъ прогрессивистовъ, не раздѣляя съ ними трудовъ и опасностей, отуманивать своихъ читателей книжною ученостью и отводить имъ глаза отъ живыхъ идей, вопросовъ и интересовъ. Почему онѣ молчалиниствуютъ, по расчету или по умственной убогости — рѣшать не берусь; можетъ быть, по тому и по другому вмѣстѣ. Посмотримъ лучше, какъ общая тактика журнала выдерживается въ различныхъ отдѣлахъ. Первая полемиическая статья, встрѣчающаяся въ августовской книжкѣ, принадлежитъ перу Альбертини; съ нея я и начну.

Альбертини вступаетъ за Кавура, стыдитъ Чернышевскаго его незнаніемъ и совѣтуетъ ему побольше читать и учиться. О Кавурѣ Альбертини спорить, нимало не обобщая вопросъ; онъ полагаетъ, что нападки «Современника» направлены противъ личности, а не противъ типа, противъ отдѣльных поступковъ Кавура, а не противъ цѣлаго направленія его политики. Альбертини не понимаетъ или не хочетъ понимать, что Чернышевскій возстаетъ противъ Кавура за то, что, находясь по своему положенію во главѣ современной Італіи, сардинскій министръ сдерживалъ воодушевленіе народа (боясь, чтобы оно не хватило черезъ край) вмѣсто того, чтобы поддерживать его и давать ему направленіе. Кавура осуждаютъ за то, что онъ былъ болѣе піемонтскимъ



подданнымъ, чѣмъ гражданиномъ свободной Италіи. Если вы, Альбертини, способны высестись до синтетическаго взгляда на личность Кавура, тогда доказывайте противное; мы васъ послушаемъ. Но если вы любите изучать факты, не обладая способностью обобщенія, тогда вамъ нельзя спорить съ Чернышевскимъ; да онъ и не станетъ съ вами спорить. Замашка останавливаться на голомъ фактѣ, на заглавіи—обнаруживается также въ томъ мѣстѣ, гдѣ Альбертини говоритъ о Пальмерстонѣ и Брайтѣ. Чернышевскій въ «Полемическихъ красотахъ» говоритъ, что для удобства и для краткости называетъ одинъ типъ прогрессистовъ — Пальмерстономъ, другой — Брайтомъ. Предупредивъ такимъ образомъ читателя, онъ говоритъ: «Пальмерстонъ только тогда непоколебимъ, когда опирается на Брайта, и теряетъ власть, когда отталкиваетъ отъ себя Брайта». Ясно, что это надо понимать такъ: «Англійское правительство, выступающее на своемъ знамени девизъ прогресса, только тогда непоколебимо, когда опирается на ту часть народа, которая дѣйствительно воодушевлена прогрессивными стремленіями». Противъ этой мысли долженъ былъ возражать Альбертини, если онъ съ нею несогласенъ. Но онъ сдѣлалъ не то. Онъ совершенно утаилъ отъ своихъ читателей тотъ смыслъ, который Чернышевскій придавалъ именамъ Пальмерстона и Брайта; онъ беретъ слова Чернышевскаго *au pied de la lettre* и начинаетъ объяснять различіе между Пальмерстономъ и Брайтомъ, невозможность ихъ соединенія и грубость ошибки, сдѣланной критикомъ «Современника». Вся тирада эта, пущенная не противъ Чернышевскаго, а противъ какого-то воображаемаго противника, завершается такъ: «о такихъ вещахъ, объ азбукѣ современной политики, совѣстно толковать порядочнымъ людямъ, а вы меня хотите увѣрить, будто Пальмерстонъ тогда и силенъ, когда слушается Брайта. Какъ вамъ не совѣстно?» Кто не понимаетъ мысли своего противника, когда она выражена ясно, тотъ обнаруживаетъ слабоуміе. Кто не хочетъ понимать и умышленно искажаетъ мысль противника, тотъ поступаетъ безчестно и унижается до степени литературнаго фокусника («Отечественныя Записки» сказали бы даже: «мазурика»). Которое изъ этихъ двухъ объясненій благоволятъ принять Альбертини, не знаю, но думаю, что третьяго не сдумаетъ приискать ни самъ онъ, ни литературные его сподвижники. Совѣстно-то будетъ, должно быть, не Чернышевскому.

Далѣе слѣдуетъ статья того-же Альбертини объ Токвилѣ, какъ значится въ заглавіи, но героемъ статьи является все тотъ-же Чернышевскій. Изъ этой статьи я выпишу нѣсколько умилительныхъ мѣстъ и ничего не скажу объ общей идеѣ, потому что общей идеи

нѣтъ. Авторъ силится доказать, что Токвиль—прекрасный человѣкъ, а Чернышевскій—нахаль и невѣжда; но, прочтя его статью, читатель не выноситъ никакого понятія о французскомъ публицистѣ, и даже обвиненіе въ сумбурности, неосновательно взведенное на него Чернышевскимъ, не оказывается снятымъ. Избави Богъ отъ защитниковъ, подобныхъ Альбертини! Они способны затемнить самое чистое дѣло и запутать самый простой вопросъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, казня своего лютаго врага, Альбертини возвышается до пафоса ироніи. «Неужели,—восклицаетъ онъ,—послѣ этого (т. е. обругавши Кавура и Токвиля) вы (Чернышевскій) осмѣлитесь еще требовать отъ нашей молодежи, чтобъ она серьезно училась? Полноте! Вы гордитесь, кажется, что васъ читаютъ съ удовольствіемъ. Знаете-ли, кто читаетъ васъ съ истиннымъ удовольствіемъ? Все господа Якубовичи да Кондыревы (безграмотные переводчики Токвиля). Оттого-то они и перевели такъ безобразно Токвиля, что васъ они читаютъ съ удовольствіемъ и позаимствовались отъ васъ тѣмъ пренебреженіемъ къ наукѣ, къ серьезной мысли и къ серьезному труду, котораго проповѣдникъ всегда найдетъ себѣ приверженныхъ адептовъ. Отчего-же вы такъ несправедливы къ своему адепту, г. Якубовичу? Отчего-же вы его обвиняете въ бессмыслицѣ? Еслибы вы были послѣдовательны, вы его должны были бы погладить по головкѣ за то, что онъ такъ дико перевелъ писателя, по-вашему, сумбурнаго».

Когда Альбертини говоритъ хладнокровно, тогда ему почти не нужна логика; рассказывать событія можно въ хронологическомъ порядкѣ; разсужденія можно заимствовать изъ плохихъ нѣмецкихъ газетъ; отсутствіе собственных приговоровъ можно выдавать читателямъ за осторожность и серьезность. Недостатокъ логической связи и послѣдовательности можетъ пройти незамѣченнымъ, тѣмъ болѣе, что русская публика читаетъ невнимательно и съ обзоромъ политическихъ событій знакомится не столько по ежемѣсячнымъ журналамъ, сколько по ежедневнымъ газетамъ. Но въ полемикѣ съ Чернышевскимъ вопросъ становится иначе. О Чернышевскомъ заграницей не пишутъ, стало быть, о немъ надо говорить свое. Кромѣ того, сонливое спокойствіе или, что то-же, историческое безпристрастіе, хранившееся въ груди Альбертини, когда онъ разсуждалъ о Кавурѣ, Росселѣ и Пальмерстонѣ, исчезло; Чернышевскій задѣлъ самолюбіе нашего публициста, и Альбертини началъ свое знаменитое: «*quo usque tandem*». Тутъ понадобилась хоть бы внѣшняя связь — и логика Альбертини (именно его собственная, исключительная логика) обозначилась. Проскользнула вмѣстѣ съ индивидуальной логикой и нравственная



исповѣдь. Спohватитесь во-время, г. Альбертини, вы расточаете передъ нами сокровища вашей рыцарской литературной честности!

Вы находите: 1) что Чернышевскій долженъ былъ похвалить работу Якубовича, потому что Якубовичъ—его адептъ, и 2) что Чернышевскій долженъ былъ обрадоваться безобразному переводу Токвиля, потому что онъ не соглашается съ его идеями. Вы упрекаете Чернышевскаго въ непоследовательности за то, что онъ не поступаетъ такимъ образомъ; значить, вы на его мѣстѣ поступили бы такъ, какъ совѣтуете ему поступать; такимъ образомъ вы даете намъ право воспроизвести двѣ слѣдующія статьи вашего нравственнаго кодекса: 1) должно хвалить своихъ адептовъ, хотя бы они говорили вздоръ и дѣлали гадости; 2) должно ругать напoвалъ своихъ противниковъ, чернить ихъ всѣми правдами и неправдами и радоваться, если чернить ихъ кто-либо другой. Эти статьи вашего кодекса даютъ намъ ключъ къ пониманію вашей выходки противъ Чернышевскаго по поводу Брайта и Пальмерстона; ясно, что она сдѣлана не по наивности.

Понятнымъ дѣлается также слѣдующее мѣсто: «Мы могли бы трактовать его (Чернышевскаго), какъ трактовали нѣкогда г. Благосвѣтлова, какъ обыкновенно трактуютъ балаганныхъ паяцовъ, которыхъ все дѣло—выкинуть штуку половчѣе, показистѣе». И Чернышевскій и Благосвѣтловъ извѣстны, какъ ваши литературные противники, *ergo*: надо ругать. Дайте срокъ, г. Альбертини. Напишите еще двѣ-три статьи, подобныя разбираемой нами, провритесь еще раза три такъ, какъ провалились теперь, и ваша брань сдѣлается такъ-же почетной и похвала такъ-же позорной, какъ брань и похвала юродствующаго редактора «Домашней Бесѣды». Вотъ еще одна выписка, въ которой приведено то-же нравственное воззрѣніе: «Люди «Современника» находятъ слѣдовательно, что авторитетъ Токвиля можетъ помѣшать воспринятію и усвоенію въ нашемъ обществѣ ихъ собственныхъ идей о тѣхъ самыхъ предметахъ, о которыхъ разсуждаетъ Токвиль; вотъ отчего и понадобилось имъ сокрушить его авторитетъ. Иначе зачѣмъ бы имъ было собирать грозу противъ Токвиля, доказывать его сумбурность, убѣждать своихъ читателей не читать Токвиля?» — Альбертини хотѣлъ бросить въ Чернышевскаго большимъ комомъ грязи и самъ по локоть выпачкалъ себѣ руки; всего смѣшнѣе то, что онъ самъ этого не замѣчаетъ, и что другіе со стороны должны говорить ему: «посмотрите на себя! чтó вы съ собою сдѣлали! на чтó вы похожи!» Вѣдь по-вашему выходить, что назвать бѣлое бѣлымъ, а черное чернымъ можно только въ томъ случаѣ, если это доставляетъ вамъ прямую вы-

году, если у васъ въ этомъ дѣлѣ свои расчеты. Представитель серьезной науки, служитель идеи, поборникъ истины, чтó вы говорите! Вѣдь послѣ этого честному человѣку нельзя спорить съ вами, потому что вы въ отвлеченномъ спорѣ преслѣдуете только ваши выгоды и въ собесѣдникѣ вашемъ предполагаете такіе-же тенденціи. Вы говорите возмутительныя вещи, и на васъ нельзя сердиться только потому, что вы сами не понимаете вѣса своихъ словъ. Вы несвѣдущи какъ ребенокъ, но какъ развращенный ребенокъ; вы говорите громко то, чтó многіе думаютъ про себя, но то, что вы говорите,—все-таки дурно. Вашей непосредственностью уничтожается вмѣняемость преступленія, но публикѣ остается только недоумѣвать, какъ это безсознательно лепечущій младенецъ можетъ писать и печатать серьезные статьи? Впрочемъ, въ нашъ вѣкъ удивительныхъ изобрѣтеній все возможно. Есть молотильная машина, швейная машина, скоропечатная машина. Кто знаетъ, можетъ быть Краевскій прославится изобрѣтеніемъ машины, доставляющей за умѣренную плату журнальныя статьи произвольнаго объема и направленія! Объ Альбертини довольно. Его, вѣроятно, достаточно поняли мои читатели. Перехожу къ Бестужеву-Рюмину.

## XV.

Статья Бестужева-Рюмина направлена противъ статьи Чернышевскаго: «О причинахъ паденія Рима». Безтактность редакціи «Отечественныхъ Записокъ» обнаруживается вполне въ помѣщеніи этой статьи въ августовской книжкѣ. Статья Чернышевскаго напечатана въ маѣ. Спрашивается, отчего-же Бестужевъ-Рюминъ ждалъ два мѣсяца и пустилъ свою статью именно послѣ июльскихъ «Полемическихъ красотъ»? Вотъ единственный возможный отвѣтъ: «Отечественныя Записки» вѣрны тому принципу, который съ дѣтской откровенностью высказалъ Альбертини. Чернышевскій двойнѣ врагъ ихъ: какъ членъ редакціи «Современника» и какъ авторъ «Полемическихъ красотъ»; его надо ругать, придираясь ко всякому удобному и неудобному случаю. Бестужеву-Рюмину попадаетъ въ руки подлая книга Дюбуа-Гюшана о римской имперіи. Чернышевскій тоже писалъ о римской имперіи. Прекрасный случай! Какъ отказать себѣ въ удовольствіи поставить рядомъ имена Дюбуа и Чернышевскаго; какъ не провести между ними параллели. Общаго нѣтъ ничего—ни по внѣшности, ни въ содержаніи, ни въ направленіи ихъ трудовъ нѣтъ ни малѣйшаго сходства, но зато впечатлѣніе на читателя будетъ произведено; иной довѣрчивый добрякъ (а на такую публику, кажется, сильно разсчитываютъ «Отечественныя Записки») въ самомъ дѣлѣ повѣритъ, что Чернышевскій и



Дюбуа-Гюшанъ—одного поля ягоды; вотъ и цѣль сопоставленія будетъ достигнута.

Позднее появленіе статьи Бестужева-Рюмина и ея заголовокъ предрасполагають противъ нея; трудно себѣ представить, чтобы человѣкъ могъ написать что-нибудь хорошее, когда онъ берется за перо съ твердымъ намѣреніемъ очернить своего противника. Искреннее воодушевленіе, кипучая діалектика, разительность доводовъ возможны при полемикѣ только въ томъ случаѣ, если вы спорите, какъ представитель извѣстной идеи. Если-же существуютъ личныя отношенія между полемизирующими сторонами, и если эти личныя отношенія всплываютъ въ спорѣ, тогда полемика превращается въ перебранку, надѣдается публикѣ и возбуждаетъ въ ней законное презрѣніе. Чтеніе статьи Бестужева-Рюмина оправдало мое непріязненное предрасположеніе. Говоря о Дюбуа-Гюшанѣ, онъ ни съ того, ни съ сего вставляетъ язвительные (по его мнѣнію) намеки насчетъ поверхностности убогихъ фельетонистовъ, кѣторые, черпая «свои идеи изъ юмористическихъ стишковъ, а познанія изъ кой-какихъ полубеллетристическихъ книгъ», ненавидятъ «самое имя науки», потому что «нѣкогда профессоръ срѣзалъ его на экзаменѣ на какихъ-нибудь грамматическихъ формахъ», и такъ далѣе въ томъ-же ядовитомъ родѣ. Не правда ли, намеки такъ тонки, что читатель, не приготовленный специально, т. е. не знающій скрытыхъ страданій серьезнаго журнала, не пойметъ, въ чей огорождъ Бестужевъ-Рюминъ мететь камни. Онъ говоритъ, что, встрѣчаясь съ произведеніемъ такого убогаго фельетониста, «можно только улыбнуться и пойти прочь; избіеніе невинныхъ—дѣло очень легкое и потому мало привлекательное». Какой шутникъ—Бестужевъ-Рюминъ! онъ въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ собирался *улыбнуться*, а *пойти прочь* рѣшается, только написавши 15 страницъ; и все это ради убогаго фельетониста, ради невиннаго малютки Чернышевскаго, котораго нашъ ученый критикъ можетъ такъ легко убить статьей, взмахомъ могучаго пера. Только серьезные люди способны шутить такъ естественно, мило и, главное, правдоподобно, какъ шутитъ Бестужевъ-Рюминъ. Серьезная часть статьи представляетъ въ патологическомъ отношеніи такое-же замѣчательное явленіе, какъ и запоздавшая улыбка. Книга Дюбуа-Гюшана, нравственное состояніе современной французской литературы, римскій міръ, цезаризмъ и наполеонизмъ—все это только декорации; живетъ и дѣйствуетъ среди этой грандіозной обстановки все то же лицо—убогій фельетонистъ, котораго не стоитъ даже оспаривать. Образъ Чернышевскаго, какъ неотвязчивый призракъ, какъ мысль о любимой женщинѣ, преслѣдуетъ Бестужева-Рюмина, и наконецъ, наскоро развязавшись съ Дюбуа, пустивъ стороною нѣсколько

тяжеловѣсныхъ сарказмовъ въ школьниковъ, вооружающихся «дѣтскою пращей противъ голиафовъ умственнаго міра», нашъ ученый критикъ всецѣло посвящаетъ себя статьѣ Чернышевскаго. Статьи этой онъ однако не понимаетъ. Какъ и слѣдуетъ ожидать, онъ, какъ сотрудникъ «Отечественныхъ Записокъ», останавливается на буквѣ и не возвышается до идеи. «Г. Чернышевскому,—говоритъ онъ,—захотѣлось доказать, что новымъ обществамъ не грозитъ той катастрофы, которая разрушила древній міръ». Помилуйте, г. Бестужевъ-Рюминъ. Чтобы доказать такую штуку, надо быть Кифою Мокиевичемъ, а не Чернышевскимъ. Кто же боится подобной катастрофы? Даже заклятые руссофилы перестали называть Западъ гнилымъ и предрекать ему неминуемое разложеніе. Какъ же это вошла въ голову Чернышевскаго мысль доказывать то, противъ чего никто не споритъ, о чемъ даже никто (кромѣ Дюбуа-Гюшана развѣ) не говоритъ? Статья Чернышевскаго вызвана книгой Гизо, появившейся въ русскомъ переводѣ; въ этой статьѣ Чернышевскій возстаётъ противъ историческаго мистицизма и историческаго фразерства, которыя можно замѣтить даже у такого строгаго мыслителя, какъ Гизо. Большинство историковъ, въ томъ числѣ и доктринеръ Гизо, говоритъ, что древній міръ *долженъ* былъ пасть; что его опрокинула не стихійная сила, не германцы, а внутренняя необходимость. Германцы являются какими-то *chargés d'affaires* историческаго промысла, являются потому, что понадобились соки въ историческомъ организмѣ. Словомъ, эти историки видятъ въ цѣпи событій общую разумную идею. Чернышевскій смотритъ на вещи проще и хладнокровнѣе. Онъ говоритъ, что за классической цивилизаціей наступило варварство не потому, что такъ было необходимо, а потому, что такъ случилось. Классическій міръ погибъ оттого, что его буквально задавили варвары. Не будь варваровъ, онъ бы жилъ до сихъ поръ, и навѣрно выработалъ бы себѣ и новыя идеи, и новыя стремленія, и новыя бытовыя формы. Противъ этого возражать мудрено. Какъ же бы въ самомъ дѣлѣ погибла классическая цивилизація, еслибы никто не разорялъ городовъ, не жегъ книгъ и не билъ людей? Положимъ, пролетаріатъ бы съ каждымъ годомъ увеличивался,—что-жъ изъ этого? Если вы слишкомъ натянете струну—она лопнетъ. Если голодный народъ дойдетъ до крайней степени страданія—онъ взбунтуется. Такъ или иначе произойдетъ переворотъ; оппозиція сдѣлается правительствомъ, и пойдутъ новыя порядки. Какъ бы ни было тяжело жить, а не могли же всѣ жители Рима разбѣжаться въ лѣса, уничтожить свои жилища и превратиться въ полудикихъ. Всѣ эти событія, обозначающія собой паденіе цивилизацій, возможны только при напорѣ грубой



матеріальной силы. т. е. опять-таки при нашествіи варваровъ, или, что почти то-же самое, при геологическомъ переворотѣ. Стало-быть, основная мысль Чернышевскаго остается вѣрной: не будь варваровъ, не было бы и паденія древней цивилизаціи. Внутренней необходимости паденія не было. Но, доказывая вѣрную мысль, Чернышевскій, какъ съ нимъ часто бываетъ, заходитъ слишкомъ далеко и впадаетъ въ парадоксъ. Онъ начинаетъ утверждать, что общество не бываетъ ни молодымъ, ни зрѣлымъ, ни старымъ, что измѣняются и старятся только отдѣльные люди, и что на мѣсто 20-ти-лѣтняго Петра выдвигается 20-ти-лѣтній Иванъ, потомъ 20-ти-лѣтній Андрей, обладающій той же свѣжестью силъ и тѣми же юношескими стремленіями, какими въ свое время обладали составившіеся Иванъ и Петръ. Парадоксальное положеніе это опровергается двумя-тремя простыми вопросами: г. Чернышевскій, неужели вы думаете воспитать вашего сына въ тѣхъ идеяхъ, въ какихъ васъ самихъ воспитали ваши родители? Г. Чернышевскій, неужели вы теперь пишите то же самое, что въ 1841 году писалъ баронъ Брамбеусъ? Г. Чернышевскій, неужели вы раздѣляете вѣрованія и предразсудки вашего дѣдушки? или неужели вашъ дѣдушка съ удовольствіемъ прочелъ бы вашу статью объ антропологическомъ принципѣ? Отвѣтивъ себѣ на эти вопросы, Чернышевскій немедленно убѣдится въ томъ, что онъ теперь не то, чѣмъ былъ лѣтъ 20 тому назадъ его отецъ, и что сынъ его (Чернышевскаго) будетъ лѣтъ черезъ 20 не то, что теперь Чернышевскій. Убѣдившись въ этомъ, онъ допуститъ для общества возможность крѣпнуть и дряхлѣть, но все-таки никогда не согласится съ тѣмъ, чтобы общество могло одичать, а цивилизація погибнуть безъ внѣшняго напора матеріальной силы.

Философскую часть статьи Чернышевскаго Бестужевъ-Рюминъ совершенно оставляетъ безъ вниманія. Онъ приступаетъ къ разбору журнальной критической статьи, какъ къ оцѣнкѣ спеціальнаго, историческаго изслѣдованія. Онъ сражается не съ идеей, а съ отдѣльными фактами, и, сказать правду, сражается крайне неудачно. «Точно-ли,—спрашиваетъ онъ,—Риму нужно было ждать варваровъ, чтобы погибнуть? Что-же, Марій съ своими когортами, Сулла съ проскрипціями, триумвиры съ своими знаменитыми пожертвованіями были лучше варваровъ?... Не измѣнилось-ли подѣ влияніемъ всѣхъ этихъ событій римское общество, не перемѣнился-ли самый составъ его, не перемѣнились-ли его элементы?» Ну, что-же изъ этого слѣдуетъ? — Общество измѣняется, элементы перемѣняются, а классическая цивилизація все-таки живетъ, и люди все-таки не превращаются въ дикарей, несмотря ни на когорты

Марія, ни на проскрипціи Суллы, ни на жертвованія триумвировъ. Но приходятъ варвары, рѣжутъ дѣля населенія, сжигаютъ города,—и цивилизація тонетъ въ крови, задыхается подѣ пепломъ и мусоромъ. Вы сами, г. Бестужевъ-Рюминъ, возражая Чернышевскому, говорите то, что сказали онъ въ своей статьѣ. Послѣ Марія, Суллы и триумвировъ классическій міръ дышалъ дѣля пять столѣтій, сопротивляясь даже внѣшнему напору германцевъ. А если бы не было этого внѣшняго напора, мы не знаемъ, какъ бы повернулись дѣла. Протестъ противъ военнаго деспотизма, противъ угнетенія рабовъ, противъ господствовавшаго разврата слышался съ разныхъ сторонъ; протестовали философы; поэты, историки; протестовали жизнью и смертью христіанскіе мученики, египетскіе терапевты и чисто эллинскіе новоплатонники. Въ законодательствѣ и въ судебной практикѣ замѣчаются около времени Антониновъ нѣкоторыя смягченія, участь рабовъ облегчается, увольненіе раба становится легче и прочее. Очень правдоподобно, что древній міръ извернулся бы своими средствами, если бы его не скрутили внѣшнія обстоятельства. Мало того, иначе даже и не могло бы случиться. Мыслимо-ли, чтобы какой-нибудь народъ умеръ естественной смертью, если его не тѣснятъ снаружи? А вѣдь древній міръ представлялъ собою, какъ выражается Бестужевъ-Рюминъ, «конгломератъ народовъ». Каково бы ни было истощеніе его духовныхъ силъ, а умереть онъ не могъ. Переворотъ былъ неизбеженъ, но самый этотъ переворотъ и предупредилъ бы гибель; какъ только зло или, проще, неудобство общественнаго устройства становится невыносимымъ для большинства гражданъ, такъ это устройство и сваливается, какъ засохшій струнъ, какъ бесполезная чешуя. Такъ, безъ сомнѣнія, случилось бы и съ Римомъ. Но Бестужевъ-Рюминъ, какъ идеалистъ, не можетъ помириться съ трезвымъ воззрѣніемъ Чернышевскаго. «Жаль,—говоритъ онъ,—что вы не взглянули на римскую имперію еще съ другой, весьма поучительной точки зрѣнія. Въ Римѣ матеріальная цивилизація была доведена до послѣднихъ предѣловъ; житейскій комфортъ, роскошь, все это развивалось до размѣровъ громадныхъ. Кажется, чего бы лучше; человѣчество должно бы благоденствовать. Мало того: равенство было совершенное; правда, существовали рабы, но и съ ними, какъ непобѣдимо доказываетъ Дюбуа, обходились человѣколюбно... Чего-же недоставало Риму? Тѣхъ учреждений, которыми онъ нѣкогда былъ силенъ, и тѣхъ дѣятелей, тѣхъ воззрѣній, которые немислимы въ душевной атмосферѣ цезарскаго Рима. Вотъ чего ему недоставало; недоставало сознанія, что «не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ», недоставало



даже возможности и силы всецѣло принять въ себя это сознаніе».

Это мѣсто характеристично, какъ по своей фразистости, такъ и по полному незнанію предмета, которое обнаруживаетъ въ немъ Бестужевъ-Рюминъ. Развратъ, чувственность, преобладаніе матеріи надъ духомъ—вотъ тѣ свойства, которыя съ-плеча приписываютъ древнему міру люди, знающіе его кое-какъ, изъ вторыхъ и третьихъ рукъ. «Древній Римъ утопалъ въ роскоши и въ развратѣ; древнія доблести его померкли» — скажетъ вамъ любой гимназистъ по Кайданову или Смарагдову; тоже самое говоритъ намъ и серьезный критикъ. «Риму недоставало сознанія, что не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ», т. е. недоставало аскетизма. Странно! Справьтесь съ любой исторіей древней философіи (возьмите, напримѣръ, 4-й томъ Генриха Риттера), и вы увидите, что во времена императоровъ философы всѣхъ школъ (кромѣ эпикурейцевъ) сошлись между собою въ аскетическихъ и мистическихъ стремленіяхъ. Но что-же могъ сдѣлать аскетизмъ? Высосать тѣ живыя силы, которыя могли составить энергическую оппозицію. Такъ онъ и сдѣлалъ. Чистые аскеты, нозоплатоники и новопифагорейцы удалились въ міръ призраковъ и галлюцинацій, изморили себя постною пищею и пустыми обрядами и, стремясь стать выше земного, сдѣлались неспособны ни къ чему земному. У нихъ были живыя идеи, но эти идеи были завалены хламомъ самонистязанія и фантазерства, — тѣмъ сознаніемъ, надъ которымъ умиляется Бестужевъ-Рюминъ. Чего другого, а аскетизма и суевѣрія было въ Римѣ довольно. Изумительно также то проворство, съ которымъ Бестужевъ-Рюминъ отдѣлывается отъ рабства, составляющаго самую больную сторону древней цивилизаціи. Шутка-ли это надъ Чернышевскимъ, или дѣйствительное мнѣніе Бестужева-Рюмина — все равно. Въ нашемъ молодомъ обществѣ шутить вещами, подобными рабству, — неумѣстно; обходить такіе вопросы въ серьезной статьѣ серьезнаго журнала или относиться къ нимъ слегка — просто непозволительно. Это значитъ играть словами, маскируя отъ читателя ихъ истинный смыслъ. «Нѣтъ, г. Чернышевскій, мало одной матеріальной цивилизаціи, мало накормить, — продолжаетъ нашъ критикъ:—надо еще способствовать его развитію; а этого Римъ не могъ сдѣлать». Я узнаю въ этихъ словахъ духъ того журнала, въ которомъ былъ помѣщенъ проектъ Щербины «о читальникѣ». Учитъ народъ, пускать въ продажу правительственнымъ путемъ книги для чтенія — все это дѣло извѣстное. А не лучше-ли было бы «накормить народъ», не заваливая его непосильною работою. Досугъ и матеріальное довольство порождаютъ цивилизацію; упрочьте экономическій бытъ,

обеспечьте матеріальную сторону, и народъ скорѣе, чѣмъ вы думаете, примется читать и даже писать книги. А на голодный желудокъ какъ-то плохо дѣйствуетъ книжное ученіе. «Отечественныя Записки» говорятъ: «помогайте народу развиваться», а мы говоримъ: «не мѣшайте народу, удалите препятствія, онъ самъ разовьется». Кто изъ насъ правъ?

Далѣе Бестужевъ-Рюминъ винитъ статью Чернышевскаго въ томъ, что ея послѣднее слово — «преобладаніе матеріальныхъ интересовъ надъ всѣми другими условіями существованія общества, т. е. именно то, что такъ долго старались втолковать намъ, и, кажется, не безъ успѣха, но отъ чего пора намъ излечиваться: общества чисто матеріальныя создаютъ «движимый кредитъ», книгу Дюбуа и цезаризмъ». Что значать слова «что такъ долго старались втолковать намъ»? Кто-же это толковалъ намъ доктрину матеріализма? Да и возможна-ли пропаганда матеріализма въ такомъ обществѣ, гдѣ до нашихъ временъ, до нынѣшняго года, существовало крѣпостное право? Въдѣ только идеалистическое воззрѣніе, говорящее, что высокая степень духовнаго развитія даетъ *право* одному человѣку брать опеку надъ другимъ, только такое воззрѣніе, говорю я, можетъ оправдывать порабощеніе личности. Да и кромѣ того, пора взять въ толкъ, что неудовлетвореніе какой бы то ни было матеріальной потребности кладетъ непреодолимое препятствіе дальнѣйшему развитію, физическому, духовному, нравственному, интеллектуальному — какому угодно, назовите, какъ хотите. Когда человѣкъ голоденъ — прежде всего накормите его; когда у человѣка спина болитъ отъ побоевъ — позаботьтесь прежде всего о томъ, чтобы вылечить его и обезпечить его отъ подобныхъ пассажей на будущее время; когда человѣкъ изнуренъ непосильною работою—дайте ему отдохнуть. Прежде всего надо устранить физическое страданіе личности, а потомъ учить ее и развивать или, даже лучше всего, предоставить это дѣло на благоусмотрѣніе каждаго отдѣльнаго лица, давая средства желающимъ и снимая путы со связанныхъ. Аргументъ, приводимый критикомъ: «общества чисто матеріальныя создаютъ движимый кредитъ» и т. д. — звонкая фраза. Вообразите себѣ, что даровитый молодой человѣкъ втеченіи 20-ти лѣтъ жизни испытываетъ разныя неудачи, утраты и разочарованія; въ 40 лѣтъ онъ—старикъ по взгляду на жизнь; онъ—полнѣйшій матеріалистъ, скептикъ въ отношеніи къ людямъ, эгоистъ въ общепринятомъ, узкомъ смыслѣ этого слова, человѣкъ сухой, холодный, брюзгливый и тяжелый. Правильно-ли вы поступите, если свалите на счетъ его матеріалистическихъ убѣжденій причину всѣхъ его недостатковъ? Эти недостатки пришли къ нему



вмѣстѣ съ матеріалистическими убѣжденіями, но не вслѣдствіе этихъ убѣжденій; этого чловѣка окислила жизнь; эта-же жизнь дала ему трезвость взгляда, въ которой надо видѣть искупающую сторону, возмездіе за понесенныя страданія и испытанныя нравственныя поврежденія. Путей, ведущихъ къ матеріалистическимъ убѣжденіямъ, очень много; одни легче, другіе тяжеле, одинъ дойдетъ до нихъ простымъ, теоретическимъ размышленіемъ, не состарѣвшись душой или, точнѣе, чувствами, другой доберется до нихъ жизнью и купить ихъ дорогою цѣной молодости и свѣжести; винить въ этомъ онъ все-таки долженъ не воспринятые убѣжденія, а обстоятельства своей собственной жизни.

Что примѣняется къ отдѣльному чловѣку, то можно примѣнить и къ обществу. Современное французское общество испорчено политическими событіями послѣдняго пятидесятилѣтія; лучшіе французскіе писатели сознаются въ томъ, что рядъ неудачныхъ революцій породилъ поколѣніе людей, смотрящихъ на государственные перевороты, какъ на азартную игру, и ставящихъ на карту послѣднюю копѣйку, въ надеждѣ пробить себѣ дорогу къ почестямъ, удовлетворяющимъ требованіямъ мелкаго самолюбія. Играя такимъ образомъ великими словами и интересами, эти господа дошли до политическаго скептицизма, до меркантильности и вмѣстѣ съ тѣмъ добрались, путемъ чистаго опыта, до матеріалистическихъ убѣжденій. Матеріалистъ можетъ быть брюнетомъ и блондиномъ, честнымъ и безчестнымъ чловѣкомъ, страстнымъ и холоднымъ, — неужели-же всѣ эти свойства выработались изъ его умственныхъ убѣжденій? Повторяю, аргументъ Бестужева - Рюмина — просто звонкая фраза. Вся критическая статья его несомнѣнна ни по своему направленію, ни по своей фактической сторонѣ. Изложеніе ея неясно, доказательства неубѣдительны и разбросаны. Полемическая тенденція бросается въ глаза читателю и не гармонируетъ съ тономъ серьезнаго безпристрастія, который авторъ напрасно усиливается принять и выдержать до конца.

#### XVI.

Если вы, гг. читатели, желаете посмотреть, какъ Дудышкинъ умѣетъ быть игривымъ и остроумнымъ, то приглашаю васъ пробѣжать «Обзоръ русской литературы» въ августовской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» отъ стр. 140 — 146. Тутъ Чернышевскій сравненъ съ траппистомъ, съ аскетомъ; при чемъ Дудышкинъ сознается, что самъ не знаетъ, почему это ему такъ кажется; тутъ приведены два куплета изъ лермонтовскаго «Пророка»; тутъ Дудышкинъ удивляется Чернышевскому, «какъ рѣдкости, какъ антику»; всего не перечтешь.

Чтобы передать весь комизмъ этой чисто полемической части, нужно было бы переписать цѣлыя шесть страницъ, но я полагаю, что игра не стоитъ свѣчь, и спѣшу перейти къ тѣмъ отдѣламъ статьи, въ которыхъ Дудышкинъ излагаетъ мысли, а не играетъ словами. Натѣшившись ѣдкими выходками противъ Чернышевскаго, Дудышкинъ начинаетъ съ того, что отстаиваетъ свой журналъ противъ упрека въ отсутствіи направленія и единства; этотъ упрекъ Дудышкинъ обращаетъ въ похвалу. «А вы нашли дурнымъ, — говоритъ онъ, — что въ «Отечественныхъ Запискахъ» нѣсколько частныхъ редакторовъ, завѣдывающихъ отдѣлами! Бѣда не въ томъ, что нѣсколько редакторовъ, а въ томъ, что ихъ не больше. Чѣмъ больше въ журналѣ специалистовъ, тѣмъ онъ меньше живетъ общими мѣстами, непригодными для жизни; тогда только возможны не теоретическія, вычитанныя изъ иностранныхъ книжекъ, сужденія о предметахъ русскаго міра, а болѣе практическія, примѣнимыя къ дѣлу».

Дудышкинъ прикидывается, будто вовсе не понимаетъ того, о чемъ говоритъ Чернышевскій. Я говорю: «прикидывается», потому что рѣшительно не могу себѣ представить, чтобы журналистъ, занимающійся своимъ дѣломъ больше десяти лѣтъ, не зналъ азбучныхъ правилъ этого дѣла. Ему говорятъ о томъ, что редакторы и сотрудники его ходятъ какъ впотѣмахъ, сталкиваются мнѣніями, противорѣчатъ другъ другу и этимъ затемняютъ всѣ представляющіеся вопросы, а онъ отвѣчаетъ на это: «Нѣтъ, вы не говорите, что насъ слишкомъ много. Кабы больше было, было бы лучше». Да Богъ съ вами, господа! Будь васъ хоть сто чловѣкъ — публикѣ это все равно, лишь бы вы говорили толкомъ, такъ, чтобы можно было понять, чего вы хотите, съ чѣмъ спорите, съ чѣмъ соглашаетесь. Специалисты по разнымъ отдѣламъ могутъ, сколько мнѣ кажется, сходиться въ области общечеловѣческихъ убѣжденій точно такъ-же, какъ въ этой-же области могутъ сходиться между собою люди различныхъ темпераментовъ. Если-же принимать слова Дудышкина за чистую монету, то надо предположить, что онъ не подозреваетъ существованія этой области общечеловѣческихъ убѣжденій и что онъ кромѣ того не имѣетъ никакого понятія о томъ, что идея, которую проводитъ журналъ, составляетъ его единственное право на существованіе, его разумное оправданіе и объясненіе передъ лицомъ читающей публики. Изъ продолженія статьи оказывается впрочемъ, что этотъ отвѣтъ Чернышевскому былъ сдѣланъ только для того, чтобы представить его нападеніе смѣшнымъ. Эти тенденціи я замѣтилъ уже у Альбертини и Бестужева-Рюмина. Онѣ существуютъ и у Дудышкина и выражаются чаще и страстнѣе. Продолженіе его



статьи говорить намъ, какъ онъ понимаетъ направление «Отечественныхъ Записокъ». Эта исповѣдь «Отечественныхъ Записокъ» въ лицѣ ихъ второго редактора въ высшей степени замѣчательна. Дудышкинъ доказываетъ, что «Отечественныя Записки» постоянно поддерживали слѣдующія воззрѣнія:

1) Въ области экономическихъ наукъ—онѣ, пользуясь сотрудничествомъ Бунге, Бабста и другихъ людей, раздѣляющихъ ихъ убѣжденія, хваля Кери, Милля, Бастіа, были постоянно на сторонѣ практичности и постоянно боролись съ утопистами и съ экономическими статьями Чернышевскаго.

2) Въ области политической—онѣ *во всѣхъ отдѣлахъ* хвалили Кавура, Маколея, Токвиля, Гизо, какъ людей теоріи, близкой къ дѣлу, какъ людей, высоко цѣнившихъ и высоко поставившихъ законъ исторической постепенности.

3) Литературу и поэзію онѣ считали тѣсно связанной съ народной жизнью и ея лучшими духовными проявленіями, высшимъ проявленіемъ всего великаго и прекраснаго въ человѣкѣ.

Итакъ, практичность въ дѣлахъ житейскихъ и уваженіе къ чистому искусству—вотъ девизъ «Отечественныхъ Записокъ». Такое благообразное слово, какъ *практичность*, способно подкупить въ свою пользу многихъ читателей, но, какъ это часто бываетъ, названіе и предметъ оказываются двумя различными вещами. Все-гда-ли практичность есть хорошее качество? Практичностью называется способность примѣняться къ существующему порядку вещей, мириться съ нимъ, извлекать изъ него пользу. Если существующій порядокъ хорошъ, т. е. удобенъ для всѣхъ, тогда практичность—великое достоинство. Если-же онъ дуренъ, тогда практичность достается на долю людей дюжинныхъ, робкихъ, ограниченныхъ, дряблыхъ или плутоватыхъ; эти люди или молча покоряются «обстоятельствамъ», «судьбѣ», или ловятъ рыбу въ мутной водѣ. Люди замѣчательные въ такія эпохи бываютъ или восторженными мечтателями, или суровыми отрицателями, или презрительными скептиками. Утопія, ювеналовская сатира и демоническій смѣхъ слышатся съ высотъ умственнаго міра; между тѣмъ золотая посредственность, люди, мелко плавающие, съ удивленіемъ и съ непріязненнымъ чувствомъ прислушиваются къ этимъ рѣзкимъ звукамъ. «Что за странный народъ эти мыслители и поэты!—говорятъ они.—Чего имъ хочется! Намъ хорошо, покойно. Жили бы они себѣ, какъ мы живемъ». Воля ваша, эти люди практичнѣе тѣхъ чудаковъ, которые попусту надсаживаются, толкуя о возможности лучшаго, ругая безобразіе существующихъ понятій и отношеній, или смѣясь надъ тѣми системками и идейками,

которыми тѣшатся современники. Быть практичнымъ—значитъ соглашаться съ мнѣніемъ большинства или силы. Чиновникъ, берущій взятки тамъ, гдѣ всѣ берутъ, практиченъ; практиченъ тотъ, кто не умиѣ и не глупѣе большинства; все, что стоитъ выше уровня массы, непрактично; оттого-то всѣхъ великихъ людей цѣнятъ обыкновенно послѣ ихъ смерти; оттого-то гениальная личность при жизни встрѣчаетъ столько страданій, столько масмѣшекъ, столько грубаго непониманія. «Вы находите,—говоритъ Дудышкинъ Чернышевскому,—политическія убѣжденія такихъ людей, какъ Кавуръ, мизерными—мы ихъ находимъ практичными». Этими словами, г. Дудышкинъ, вы охарактеризовали превосходно себя, свой журналъ, своихъ сотрудниковъ, все свое направленіе. Вы хвалите то, что вамъ по плечу,—а по плечу вамъ то, что кажется мизернымъ утопистамъ, т. е. людямъ, смотрящимъ дальше, чувствующимъ глубже и говорящимъ смѣлѣе. Еслибы вы жили во времена Галилея, вы были бы въ числѣ его судей; въ наше время вы ограничитесь тѣмъ, что назовете Сенъ-Симона сумасшедшимъ, а Оуэна—старымъ идиотомъ. Такъ, что-ли?—А вѣдь я вамъ укажу на противорѣчіе, г. Дудышкинъ. Если ваше уваженіе къ чистому искусству—не фраза, если вы дѣйствительно способны чувствовать прекрасное, то вы, какъ художникъ, должны восхищаться утопіями, величественными построеніями человеческого ума, сбросившаго всякія оковы и идущаго впередъ съ неудержимой силой, съ неотразимой послѣдовательностью. Какъ художникъ, вы, при оцѣнкѣ ихъ, должны быть способны стать выше мизернаго взгляда сухой практичности; если же вы хоть на минуту посмотрите на нихъ, какъ на созданія сильнаго ума, а не какъ на бредъ сумасшедшаго, если вы только дадите себѣ трудъ взглянуть на нихъ серьезно, то вы, какъ критикъ, должны будете сознаться, что во всѣхъ его утопіяхъ есть одна хорошая сторона: отрицаніе существующихъ нелѣпостей и желаніе стать выше ихъ. Вы цитируете, какъ практическихъ мыслителей, Бокля и Милля. Да вѣдь Бокль и Милль—англичане. Поймите это, г. Дудышкинъ.

Говоря объ отношеніяхъ «Отечественныхъ Записокъ» къ эстетическимъ интересамъ, Дудышкинъ самодовольно противопоставляетъ свободное искусство искусству, порабощенному интересомъ общественнаго и экономическаго быта. Я раздѣляю съ Дудышкинымъ его отвращеніе къ дидактизму, къ поучительнымъ повѣстямъ и къ комедіямъ съ добродѣтельной цѣлью. Но позволю себѣ замѣтить, что бываютъ такія дѣловыя эпохи, когда всѣ мыслящіе и чувствующіе люди, а слѣдовательно и художники, поневолѣ заняты насущными нуждами общества, нетерпящими отлагательства и гроз-



но, настоятельно требующими удовлетворенія. Въ такія эпохи вся сумма умственныхъ силъ страны бросается въ омутъ дѣйствительной жизни. Тогда историкъ поневолѣ дѣлается страстнымъ адвокатомъ или безпощаднымъ судьей прошедшаго; поневолѣ поэтъ дѣлается въ своихъ произведеніяхъ поборникомъ той идеи, за которую онъ стоитъ въ своей практической дѣятельности. Безпристрастіе, эпическое спокойствіе въ подобныя эпохи доступны только людямъ холоднымъ или мало развитымъ,—людямъ, которые или не понимаютъ, или не хотятъ понять, въ чемъ дѣло, о чемъ хлопочутъ, отчего страдаютъ, къ чему стремятся ихъ современники. Читая Фета или Полонскаго, я буду отдавать справедливость благоухающей граціи ихъ картинъ и мотивовъ, но рѣшительно откажу и тому, и другому въ обширности горизонта, въ глубинѣ кипучаго чувства, въ смѣлости и зоркости взгляда. Замѣчательный поэтъ откликнется на интересы вѣка не по долгу гражданина, а по невольному влеченію, по естественной отзывчивости. Стоитъ стать на эту точку зрѣнія, чтобы увидать, что всѣ споры о назначеніи искусства—просто переливаніе изъ пустого въ порожнее. На повѣрку-то и выйдетъ, что девизъ «Отечественныхъ Записокъ»: «практичность и служеніе чистому искусству»—сводится на возгласъ: «*Vivat aurea mediocritas!*» (да здравствуетъ золотая посредственность!), потому что только золотая посредственность способна наслаждаться идеями, не выходящими изъ уровня мѣщанской практичности, только она способна въ дѣлѣ искусства руководствоваться предвзятой теоріей, а не живымъ непосредственнымъ чувствомъ; исповѣдь «Отечественныхъ Записокъ» подтверждаетъ то, что я сказалъ въ ихъ общей характеристикѣ. Ненависть къ свистунамъ, отстаиваніе серьезной науки, т. е. неумѣніе возвыситься отъ факта до идеи, безцвѣтность литературной критики, отсутствіе ясныхъ житейскихъ убѣжденій при вывѣскѣ практичности, все объясняется однимъ словомъ: «золотая посредственность» или, что то-же, бесплодное трудолюбіе и безцѣльная кропотливость.

## XVII.

Не довольно-ли, читатель? Не пора-ли кончить?—Скажу еще нѣсколько словъ. Въ дѣлѣ Юркевича «Отечественныя Записки» конечно стоять на его сторонѣ, во-первыхъ потому, что онъ противъ Чернышевскаго; во-вторыхъ потому, что онъ за рутину; въ-третьихъ потому, что его доводы чрезвычайно туманны, какъ вообще доводы идеалистовъ, старающихся поддерживать свои построенія путемъ діалектики. Спорить съ Юркевичемъ уже потому было бы смѣшно, что за этимъ споромъ не стала бы слѣдить публика. Если ужъ кому-нибудь при-

детъ желаніе поспорить съ нимъ, то гораздо лучше сдѣлать это путемъ частнаго письма, вмѣсто того, чтобы заваливать журналъ неудобоваримыми статьями. «Отечественныя Записки» гостепріимно предлагаютъ Чернышевскому свой журналъ для веденія полемики съ Юркевичемъ. Въ этомъ предложеніи они остаются строго вѣрны себѣ. Онѣ любятъ тѣ статьи, которыя ошеломляютъ публику сухостью предмета, туманностью изложенія и баснословнымъ количествомъ мудреныхъ терминовъ. Признавая себя круглымъ невеждой въ дѣлѣ философіи, Дудышкинъ обнаруживаетъ въ этомъ случаѣ общую черту людей темныхъ—охоту послушать то, чего не понимаешь. Но что касается до Чернышевскаго, то мы надѣмся, что для увеселенія Дудышкина онъ не приметъ радужнаго приглашенія «Отечественныхъ Записокъ» и не возобновитъ съ ними тѣхъ сношеній, которыя, какъ язвительно замѣчаетъ Дудышкинъ, были прерваны по поводу его знаменитой диссертациі.

Въ заключеніе моей статьи мнѣ остается только довести до свѣдѣнія публики неблагообразный поступокъ Дудышкина, касающійся уже лично меня. Въ іюльской книжкѣ «Русскаго Слова» я помѣстилъ статью объ одной книгѣ Молешота; статья эта, какъ и слѣдовало ожидать, не понравилась Дудышкину, какъ почитателю Юркевича. Желая побить Чернышевскаго его же оружіемъ, Дудышкинъ воспользовался моей статьей, чтобы показать, до какихъ нелѣпыхъ заключеній доводитъ гибельное лжемудріе. «Школа, къ которой принадлежитъ Чернышевскій,—пишетъ ученый критикъ,—говоритъ намъ: ни нравственныхъ, ни общественныхъ причинъ въ развитіи общества не существуетъ, существуютъ однѣ матеріальныя причины». Затѣмъ слѣдуетъ выписка изъ моей статьи, выписка изумительно нелѣпая по своему содержанію: вотъ она: «Вѣдная Ирландія никогда не выйдетъ изъ того несчастнаго положенія, въ которомъ находится, пока будетъ ѣсть картофель и не замѣнить его чечевичей или бобами; реформація, сильно развѣвшаяся на сѣверѣ Германіи, обязана своими успѣхами введенію въ употребленіе; чаю англійская революція обязана своимъ страстнымъ характеромъ кофею; повсемѣстное развитіе идей въ началѣ XVII столѣтія происходитъ отъ введенія въ общее употребленіе чаю и кофе». Прочитавъ эту выписку, я ужаснулся. Неужели я могъ написать такую чепуху? Неужели я нашелъ въ англійской революціи страстный характеръ и вывелъ его изъ кофе? Неужели я объяснилъ реформацію чаемъ? Во мнѣ шевельнулось сомнѣніе, я внимательно просмотрѣлъ всю мою статью и совершенно успокоился. Того мѣста, которое выписалъ Дудышкинъ, въ ней *положительно нѣтъ*. Говорится въ ней и объ Ирландіи, и объ сѣверной



Германи, объ чаѣ и кофе, но только въ разныхъ мѣстахъ и совсѣмъ не такъ, какъ выпиваетъ Дудышкинъ. Вотъ, напримѣръ, объ Ирланди:

«Можетъ-ли, — восклицаетъ Молешотъ, — лѣнивая картофельная кровь придавать мускуламъ силу для работы и сообщить мозгу животворный толчокъ надежды? Бѣдная Ирландія! Твоя бѣдность родитъ бѣдность! Ты не можешь остаться побѣдительницей въ борьбѣ съ гордымъ сосѣдомъ, которому обильная стада сообщаютъ могущество и бодрость».

А вотъ что сказано о реформаци и о чаѣ: «Генрихъ Кенигъ говоритъ, что кофе принадлежитъ католикамъ, а чай — протестантамъ. Дѣйствительно, тщательная наблю-

денія показали, что кофе развиваетъ силу воображенія, а чай изощряетъ критическую способность ума; въ сѣверной Германіи преобладаетъ чай, въ южной — кофе. Движеніе идей, начавшееся въ XVIII столѣтіи, совпадаетъ съ введеніемъ въ Европу чая и кофе во всеобщее употребленіе». Эти слова составляютъ почти буквальный переводъ изъ Молешота. О страстномъ характерѣ англійской революціи, о распространеніи реформаци посредствомъ чая — ни слова. Нелѣпости, сочиненныя Дудышкинымъ, по всѣмъ правамъ принадлежатъ ему самому. Не знаю, какъ оправдаетъ или объяснитъ свой поступокъ Дудышкинъ; я считаю этотъ поступокъ безчестнымъ и печатно называю его *литературнымъ подлогомъ*.

## СТОЯЧАЯ ВОДА.

(Сочиненія А. Ѳ. Писемскаго. Томъ I. 1861.)

### I.

Говоря о сочиненіяхъ Писемскаго, я не буду рѣшать вопроса о степени таланта автора и о художественномъ достоинствѣ его произведеній; эти вопросы давно разсмотрѣны и рѣшены. Стоитъ раскрыть любую повѣсть или драму, любой романъ Писемскаго, чтобы силою непосредственнаго чувства убѣдиться въ томъ, что выведенныя въ нихъ личности — живые люди, выражающіе собою въ полной силѣ особенности той почвы, на которой они родились и выросли. Толковать на нѣсколькихъ страницахъ читателю то, что совершенно очевидно, значить понапрасну тратить время и трудъ; на этомъ основаніи я постараюсь въ моей статьѣ заняться дѣломъ болѣе интереснымъ и, какъ мнѣ кажется, болѣе полезнымъ. Въмѣсто того, чтобы говорить о Писемскомъ, я буду говорить о тѣхъ сторонахъ жизни, которыя представляютъ намъ нѣкоторыя изъ его произведеній. — Чтобы не растеряться во множествѣ разнообразныхъ явленій, я ограничусь одной повѣстью Писемскаго. Эта повѣсть — «Тюфякъ» — очень проста по завязкѣ и при этой простотѣ такъ глубоко и сильно схватываетъ матеріалы изъ живой дѣйствительности, что всѣ сѣрыя и грязныя стороны нашей жизни и нашего общества представляются разомъ воображенію читателя. Эти стороны жизни стоитъ разсматривать и изучать. Надъ ними задумываются и будутъ постоянно задумываться люди съ пытливымъ умомъ и съ

теплымъ сердцемъ; ихъ не выкинешь изъ жизни и не заставишь самого себя забыть о ихъ существованіи. Гнетъ, несправедливость, незаконныя посягательства однихъ, бесполезныя страданія другихъ, апатическое равнодушіе третьихъ, гоненія, воздвигаемыя обществомъ противъ самообытности отдѣльныхъ личностей. — все это факты, которыхъ вы не опровергнете фразой и къ которымъ вы не останетесь равнодушны, несмотря ни на какое олимпійское спокойствіе. Эти факты заставили страдать нашихъ отцовъ и дѣдовъ; эти-же факты тяготѣютъ надъ нами и, вѣроятно, будутъ еще отвѣлять жизнь нашего потомства; всѣ мы терпимъ одну участь, но между тѣмъ наши отношенія къ тому, что заставляетъ насъ страдать, существенно измѣняются; каждое новое поколѣніе относится къ своимъ бѣдствіямъ и страданіямъ проще, смѣлѣе и практичнѣе, чѣмъ относилось предыдущее поколѣніе. Вѣроятно, ни одинъ образованный человекъ не будетъ теперь жаловаться на свою судьбу и не увидитъ наказанія свыше въ постигшей его неудачѣ; вѣроятно, ни одна порядочная дѣвушка не считаетъ своей обязанностью въ выборѣ мужа руководствоваться вкусомъ дражайшихъ родителей; наша личная свобода, конечно, стѣсняется общественнымъ мнѣніемъ или, вѣрнѣе, свѣтскимъ qu'en dira-t-on, но, по крайней мѣрѣ, мы уже потеряли вѣру въ непреложность этихъ свѣтскихъ законовъ и руководствуемся ими большей частью по силѣ привычки, потому что



не достаетъ силъ и энергіи возстать въ жизни противъ того, что наша мысль признала стѣснительнымъ и нелѣпымъ. Всѣ мы—большіе прогрессисты въ области мысли; на словахъ мы доводимъ до геркулесовыхъ столбовъ уваженіе наше къ личности человѣка; въ жизни намъ представляется, конечно, другая картина; наши Уильберфорсы и Говарды часто являются поборниками произвольныхъ законовъ этикета, книжниками и фарисеями, или просто мандаринами и столоначальниками. Но этимъ иногда забавнымъ, а часто и очень печальнымъ противорѣчіемъ между прогрессивнымъ сужденіемъ и рутиннымъ поступкомъ смущаться не слѣдуетъ, и то хорошо, что думать начинаютъ по-человѣчески; вы не забудьте, что эти человѣческія мысли подхватываетъ на лету молодежь; эта молодежь не умѣетъ двоить свое существо, не умѣетъ хитрить сама съ собою и принимаетъ за чистую монету тѣ слова, которыя вы произносите въ минуту увлеченія и отъ которыхъ, можетъ быть, завтра отречетесь вашими поступками. За поколѣніемъ людей, много говорящихъ, выдвигается незамѣтно поколѣніе людей, дѣлающихъ дѣло. *Pia desideria* мало-по-малу перестаютъ быть неуволними мечтами. Всякому поступку предшествуетъ размысленіе, отдѣльный человѣкъ размыслиаетъ воспроизведеніи нѣсколькихъ минутъ или часовъ; общество находится въ раздумьи цѣлыми десятилѣтіями, и это время наружнаго бездѣйствія было бы несправедливо считать потеряннымъ. Умственная зрѣлость нашихъ отцовъ идетъ намъ на пользу, и хотя мы перерѣшаемъ по-своему большую часть рѣшенныхъ ими вопросовъ, но перерѣшаемъ-то мы ихъ именно потому, что ихъ рѣшенія оказались неудовлетворительными, извѣщая насъ, такимъ образомъ, отъ дорого стоящихъ заблужденій.

## II.

Много-ли мы подвинулись впередъ съ того времени, какъ написанъ «Тюфякъ»? Съ тѣхъ поръ прошло одиннадцать лѣтъ, и много воды утекло. Открылись поѣзды по Московской желѣзной дорогѣ, открылось пароходство по Волгѣ, возникло множество акціонерныхъ компаній, появилось въ свѣтъ и упало множество журналовъ и газетъ, взяли Севастополь, заключенъ парижскій миръ, поднять крестьянскій вопросъ, родились воскресныя школы, появились въ университетѣ женщины, а между тѣмъ, читая повѣсть Писемскаго, поневолѣ скажешь: знакомыя все лица, да и до такой степени знакомыя, что всѣхъ ихъ можно встрѣтить въ любой губернской залѣ дворянскаго собранія, гдѣ такъ безцвѣтно, безжизненно и вяло. Въ этихъ углахъ уходить много свѣжихъ силъ на без-

смысленныя попытки подладиться подъ тонъ окружающей среды; многіе люди, слабые отъ природы, дѣлаются совершенной дрянью оттого, что не умѣютъ быть самими собою и ни въ чемъ не могутъ отдѣлиться отъ общаго хора, поющего съ чужого голоса. Этотъ хоръ слѣдуетъ модѣ въ образѣ мыслей, въ политическихъ убѣжденіяхъ, въ семейной жизни, начиная отъ устройства столовой и кончая воспитаніемъ дѣтей. Такимъ образомъ плывутъ по теченію два разряда людей. Одни проноживаютъ, откуда дуетъ вѣтеръ, и, соображаясь съ своими личными выгодами, разставляютъ свои паруса и мѣняютъ убѣжденія. Другіе совершенно безкорыстно, какъ зеркало, отражаютъ въ себѣ то, что проходитъ мимо нихъ, только потому, что въ нихъ нѣтъ рѣшительно ничего своего. Ихъ дѣло почувствовать, восторгаться или негодовать, апплодировать или шикать, либеральничать или подличать, смотря по тому, что дѣлается кругомъ. Кто-нибудь крикнетъ въ толпѣ, десять голосовъ подхватятъ, еще не зная хорошенько, къ чему клонится дѣло; возгласъ, поддержанный десяткомъ безкорыстными клакерами, превращается уже въ крикъ и получаетъ уже авторитетъ и обязательную силу. *Chaque sot trouve un plus sot qui l'admire*; комокъ снѣга, сорвавшійся съ верхушки горы, катится внизъ и растетъ отъ прилипающихъ къ нему снѣжинокъ; онъ превращается въ безобразную лавину и давитъ своимъ нелѣпымъ паденіемъ все, что попадаетъ на пути: дома, деревья, скотъ, люди, все поглощается и гибнетъ. Спросите у лавины: къ чему она это сдѣлала? Вы не получите отъ нея отвѣта и точно также не узнаете отъ толпы побудительной причины ея словъ и поступковъ, отъ которыхъ, можетъ быть, страдаетъ ваше доброе имя и душевное спокойствіе. Да, можно сказать рѣшительно, что лучше ошибаться по собственному убѣжденію, нежели повторять истину только потому, что ее твердитъ большинство. Кто ошибается, тотъ можетъ сознать свою ошибку, того можно убѣдить, въ томъ можно встрѣтить сопротивленіе или дѣйствительное сочувствіе. Но что-же вы сдѣлаете съ человѣкомъ, у котораго нѣтъ личности, на котораго нельзя ни надѣяться, ни разсердиться, потому что причина его дѣйствій, словъ и движеній лежитъ въ окружающемъ мірѣ, а не въ немъ самомъ? Что вы сдѣлаете съ этими вѣчными дѣтьми, для которыхъ послѣднее произнесенное слово служитъ закономъ и для которыхъ противъ безсознательнаго крика большинства нѣтъ апелляціи?—Безличность, безгласность, умственная лѣнь и вслѣдствіе этого умственное безсиліе, вотъ болѣзни, которыми страдаетъ наше общество, наша критика; вотъ что часто мѣшаетъ развитію молодого ума, вотъ что заставляетъ людей сильныхъ, ставшихъ выше этого мѣщанскаго уров-



ня, страдать и задыхаться въ тяжелой атмосферѣ рутинныхъ понятій, готовыхъ фразъ и бессознательныхъ поступковъ.

### III.

Семейная драма, составляющая сущность повѣсти Писемскаго «Тюфякъ», разыгрывается именно въ той душной атмосферѣ, въ которой старые и молодые, мужчины и женщины съ утра до вечера играютъ въ гости, сплетничаютъ другъ на друга и занимаются картами, какъ существеннымъ, важнымъ дѣломъ. Три молодые личности, не обиженные природой, измучиваются, вянутъ и погибаютъ въ этой атмосферѣ. Въ этихъ личностяхъ нѣтъ ничего особеннаго ни въ дурную, ни въ хорошую сторону; онѣ—не гении и не уроды; одаренныя достаточною долею ума и практическаго смысла, онѣ могли бы прожить себѣ въ свое удовольствіе, вырастить съ полдюжины дѣтей и умереть спокойно, оставивъ по себѣ пріятное воспоминаніе въ сердцахъ признательнаго потомства, т. е. своихъ дѣтей и внучатъ. Выходитъ совсѣмъ не то, чего слѣдовало ожидать. Одинъ изъ трехъ—Павелъ Бешметевъ—спивается съ кругу и умираетъ въ молодыхъ лѣтахъ. Другая—жена Бешметева—проводитъ молодость въ грубыхъ семейныхъ сценахъ и остается вдовой тогда, когда уже не знаетъ, что дѣлать со своей свободой; третья—сестра Бешметева—посвящаетъ жизнь свою служенію обязанности, живетъ для своихъ дѣтей, терпитъ дурака-мужа, полу-Ноздрева, полу-Манилова, и медленно хилѣетъ, потому что съ одной обязанностью не проживешь жизни.

И это жизнь!.. Стоить-ли заботиться о своемъ пропитаніи, поддерживать свое здоровье, беречься простуды только для того, чтобы видѣть, какъ день смѣняется ночью, какъ чередуются времена года, какъ подростаютъ одни люди и старѣются другіе? Если жизнь не даетъ ни живого наслажденія, ни занимательнаго труда, то зачѣмъ-же жить? зачѣмъ пользоваться самосознаніемъ, когда самъ не находишь для него цѣли и наслажденія? Странно! Этотъ вопросъ представляется самъ собою, какъ только взглянешь на себя, какъ только отдашь себѣ отчетъ въ своемъ прошедшемъ, въ настоящемъ и въ предполагаемомъ будущемъ; между тѣмъ, изъ десяти знакомыхъ вамъ личностей врядъ-ли одна будетъ въ состояніи отвѣчать на этотъ вопросъ удовлетворительно, врядъ-ли одна сумѣетъ представить причины и оправданія своего бытія; сказать проще, рѣдкій человѣкъ окажется довольнымъ своею судьбой, и между тѣмъ изъ этихъ недовольныхъ рѣдкій старается выйти изъ своего положенія и устроить свою жизнь такъ, какъ бы ему самому хотѣлось. Мы опуга-

ны разными связями и отношеніями, мы стѣснены разными соображеніями, не имѣющими ничего общаго съ нашей свободною волей, но стѣснены не фактически, а нравственно; надъ нами въ большей части случаевъ тяготеетъ не матеріальная сила, а *scrupule de conscience*, и мы такъ робки и слабы, что не можемъ сбросить съ себя даже этого ничтожнаго ограниченія. Безличность, безгласность, инерція,—куда ни поглядишь,—такъ и лѣзутъ въ глаза; эти свойства въ большей части случаевъ составляютъ основу нормальнаго положенія, начиная отъ чисто комическаго и кончая страшно трагическимъ. Возьмите съ одной стороны «Женитьбу» Гоголя, гдѣ безличность воплощена въ надворномъ совѣтникѣ Подколесинѣ, съ другой стороны «Тюфякъ» Писемскаго, гдѣ вы видите вынужденную безгласность со стороны Юліи Кураевой, которую отецъ насильно выдаетъ замужъ за Бешметева. Въ первомъ случаѣ вы отъ души смѣетесь, и если дадите себѣ трудъ взглянуть въ личность Подколесина, то просто назовете его козлакомъ, какъ не разъ величаетъ его услужливый пріятель Кочкаревъ. Во второмъ случаѣ вамъ будетъ не до смѣху; искреннее негодованіе и глубокое сочувствіе къ оскорбляемой личности заговоритъ въ вашей душѣ тогда, когда вы прочтете, на примѣръ, такого рода сцену:

«Юлія, проплакавъ цѣлый день послѣ помолвки, къ вечеру слегла въ постель, съ сильной головной болью. Отецъ ея, проѣздивъ цѣлый день съ Бешметевымъ за разными покупками, приводитъ его въ спальню своей дочери, показывая видъ, что доставляетъ ей этимъ величайшее удовольствіе. Но этимъ еще не кончилось дѣло.

— А что, голова болитъ? спрашиваетъ онъ у дочери.

— Болитъ, папа.

— Хочешь, я тебѣ лекарство скажу?

— Скажите.

— Поцѣлуй жениха. Сейчасъ пройдетъ. Не такъ-ли, Павелъ Васильевичъ?

— Что это, папа? сказала Юлія.

Павелъ покраснѣлъ.

— Непремѣнно пройдетъ. Ну-те-ка, Павелъ Васильевичъ, лечите невѣсту смѣлѣй.

Онъ взялъ Павла за руку и поднялъ со стула.

— Поцѣлуй, Юлія; съ женихомъ-то и надобно цѣловаться.

Павелъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ, да, кажется, и Юлія не слишкомъ было легко исполнить приказаніе папеньки. Она нехотя приподняла голову, поцѣловала жениха, а потомъ сейчасъ же опустилась на подушку и, кажется, потихоньку отерла губы платкомъ, но Павелъ ничего этого не видалъ».

Хороши всѣ актеры этой грязной сцены! Хорошъ отецъ, торгующій поцѣлуями своей дочери и распоряжающийся ея тѣломъ, какъ своею собственностью; хорошъ тюфякъ-женихъ, цѣлующій свою невѣсту по мановенію папеньки; да, коль говорить правду, хороша и та дѣвушка, которая не смѣетъ выйти изъ-подъ родительской власти, несмотря на то, что эта



власть наталкиваетъ ее на такія гадости, отъ которыхъ возмущается ея физическая и нравственная природа. Невольное презрѣніе къ рабской безгласности продаваемой дѣвушки смѣняется въ вашей душѣ состраданіемъ и сочувствіемъ къ оскорбляемой личности только потому, что вы видите весь механизмъ домашняго гнета, тяготящаго надъ несчастной жертвой, вы слышите строгое приказаніе въ словахъ Владиміра Андреича: «поцѣлуй, Юлія», вы понимаете, что послѣ ухода жениха можетъ начаться такая семейная сцена, которой грязныя подробности не будутъ даже прикрыты флеромъ внѣшняго приличія; Владиміръ Андреичъ начнетъ дѣлать внушенія, потомъ браниться и кричать, потомъ никто не поручится намъ за то, что онъ не прибѣгнетъ или не высѣчетъ непочтительную дочь. Все это будетъ происходить въ тѣсномъ семейномъ кругу, безъ постороннихъ свидѣтелей; все это будетъ тщательно скрыто отъ ближайшихъ сосѣдей, насколько можно скрыть семейную тайну въ губернскомъ городѣ, гдѣ всѣ слуги знакомы между собою, и гдѣ всѣ господа имѣютъ обыкновеніе выпрашивать у своихъ лакеевъ подробности скандальной хроники; все это, повторяю, совершится безъ официальной огласки, но побои останутся побоями и не сдѣлаются пріятнѣе и сноснѣе отъ того, что ихъ не станутъ считать посторонніе зрители. Юлія систематически развращена холопскимъ воспитаніемъ: она забита приемами военной дисциплины, примѣненными къ патріархальному быту русскаго семейства; она боится папеньки даже послѣ своего замужества; она въ отношеніи къ нему на всю жизнь остается дѣвчонкой, и потому отъ нея нельзя многого требовать. Чтобы бороться съ семейнымъ деспотизмомъ, не разборчивымъ въ средствахъ, надо обладать значительною силой характера. Сила характера развивается на свободѣ и гложется подъ внѣшнимъ гнетомъ. Юлія не виновата въ томъ, что она сдѣлалась дрянью подъ ферулой своего пѣжнаго родителя, но въ ту минуту, когда мы ее видимъ, она является уже вполнѣ дрянью, — женщиной, отъ которой невозможно ожидать ни благороднаго порыва чувства, ни живого проблеска мысли. Это — губернская барышня въ полномъ смыслѣ этого слова. Умъ ея не занятъ никакими серьезными интересами и скользитъ на поверхности окружающихъ явленій, не вглядываясь въ нихъ и не отдавая себѣ отчета въ собственныхъ своихъ впечатлѣніяхъ. Она наряжается, выѣзжаетъ, выслушиваетъ любезности, поддерживаетъ салонные разговоры, шепчется со своими подругами, читаетъ попадающіеся подъ руку романы, ѣздитъ съ визитами и возвращается домой, ложится спать и встаетъ, словомъ, живетъ со дня на день, ни разу не спросивъ себя о томъ,

есть-ли въ ея жизни какой-нибудь смыслъ, хорошо-ли ей живется на свѣтѣ и нельзя-ли жить какъ-нибудь полнѣе и разумнѣе. Она умѣетъ мечтать о будущемъ, о томъ, что «выйдетъ за какого-нибудь гвардейскаго офицера, который увезетъ ее въ Петербургъ, и она будетъ гулять съ нимъ по Невскому проспекту, блистать въ высшемъ свѣтѣ, будетъ представляема ко двору, сдѣлается статсъ-дамой».

Чего, чего нѣтъ въ этихъ мечтахъ! Гвардейскіе эполеты мужа, Невскій проспектъ, высшій свѣтъ и, наконецъ, дворъ, какъ конечная цѣль всѣхъ стремленій! Характеръ этихъ мечтаній находится въ строгой гармоніи съ характеромъ того образа жизни, который ведетъ Юлія въ родительскомъ домѣ. Всѣ наслажденія, о которыхъ она мечтаетъ, оказываются наслажденіями чисто внѣшними и искусственными. Мечтая объ этихъ наслажденіяхъ, дѣвушка мечтаетъ не отъ своего лица, а отъ лица того кружка, въ которомъ она выросла. Почему пріятнѣе выйти замужъ за гвардейскаго офицера, чѣмъ за губернскаго чиновника? Почему пріятнѣе блистать въ высшемъ свѣтѣ, чѣмъ въ среднемъ кругу? Неужели эстетическое чувство удовлетворяется созерцаніемъ красныхъ отворотовъ гвардейскаго мундира или брилліантовыхъ фермуаровъ, надѣтыхъ на дамахъ высшаго свѣта? Неужели званіе гвардейскаго офицера или великосвѣтской дамы достается только людямъ, отличающимся замѣчательнымъ умомъ, вѣжностью чувства и высокимъ образованіемъ? Неужели всякій гвардейскій офицеръ способенъ быть хорошимъ мужемъ, а всякая великосвѣтская дама — пріятною собесѣдницей? Какъ ни была Юлія мало развита, а, мнѣ кажется, и у ней хватило бы здраваго смысла на то, чтобы найти подобные вопросы совершенно бессмысленными. Стало быть, что-же ее привлекало? Чтѣ вызывало въ головѣ ея эти завѣтные мечты? Ясно, что она мечтаетъ именно такъ только потому, что точно такъ-же мечтаютъ ея подружки. Всѣ говорятъ, что блистать въ высшемъ свѣтѣ весело; какъ-же не повѣрить всѣмъ? Какъ не положиться на общій говоръ, когда нѣтъ ни собственнаго сужденія, ни ясныхъ собственныхъ желаній? Мечтая съ чужого голоса, Юлія точно такъ-же съ чужого голоса ведетъ свою дѣйствительную жизнь, вышедши замужъ за Бешметева. Она выѣзжаетъ и наряжается и кромѣ этого ничего не дѣлаетъ. Да что-же ей дѣлать? Когда она жила въ родительскомъ домѣ, ей иногда приходилось отказаться отъ какого-нибудь предполагаемаго выѣзда собственному потому, что этотъ выѣздъ могъ нарушить финансовыя или дипломатическія соображенія главы семейства. Очень понятно, что въ подобныхъ случаяхъ Юлія мечтала о замужествѣ, какъ о вождѣльной минутѣ освобожден-



ня. Было бы странно, если бы она не воспользовалась этой минутой. Дѣйствительность разбилась большую часть ея воздушныхъ замковъ. Петербургъ, гвардейскіе эплеты и высшій свѣтъ оказались миражемъ. Надо-же было хоть чѣмъ-нибудь вознаградить себя; надо было пожить въ свое удовольствіе хоть въ тѣхъ узенькихъ и бѣдненькихъ предѣлахъ, которые очертила вокругъ нея судьба. А какъ жить въ свое удовольствіе? Вѣдь это, воля ваша, вопросъ очень важный. Немногіе въ состояніи рѣшить его совершенно ясно и удовлетворительно для самихъ себя, а кто на это способенъ, тотъ почти навѣрное устроитъ себѣ жизнь по-своему и не будетъ ни въ какомъ случаѣ несчастнымъ. Юлія не могла рѣшить этого вопроса удовлетворительно; ей недоставало для этого двухъ вещей: знанія жизни вообще и знанія своей собственной личности; она не знала, чего можно требовать отъ жизни, и не знала, чего требуетъ именно она. Въ подобномъ затруднительномъ положеніи надо было поневолѣ пойти торной дорогой, по которой раньше ея шли сотни губернскихъ барышень, сдѣлавшихся дамами по волѣ заботливыхъ родителей. Двинувшись впередъ по этому пути, Юлія не могла остановиться; пустая жизнь отнимаетъ силы даже подумать о серьезномъ дѣлѣ; еслибы Юлія даже подозрѣвала существованіе и возможность какой-нибудь другой жизни, она не пожелала бы ее выбрать; еслибы даже она пожелала этого, у ней не хватило бы энергіи на то, чтобы осуществить это желаніе; ни въ себѣ самой, ни вокругъ себя она не нашла бы поддержки, и только безсильное отрицаніе и инстинктивное недовольство своимъ настоящимъ положеніемъ было бы результатомъ этихъ желаній. Впрочемъ, безсознательное недовольство, скука и пресыщеніе неминуемо выпали бы на долю Юліи, еслибы ей никто не мѣшалъ идти по той дорогѣ, на которую навело ее вліяніе общества. Юлія навѣрно бы соскучилась отъ выѣздовъ и нарядовъ, еслибы никто не мѣшалъ ей выѣзжать и рядиться. Но жизнь ея измѣнилась подъ вліяніемъ двухъ обстоятельствъ: разладъ съ мужемъ и зародившаяся въ ея душѣ любовь къ постороннему мужчйнѣ поневолѣ отвлекли ея вниманіе отъ выѣздовъ и нарядовъ; пришлось отстаивать свою свободу отъ пассивной оппозиціи тѣфяка-Бешметева; пришлось ежеминутно жить съ образомъ любимого челоѣка, и вышнія удовольствія губернской свѣтской жизни потеряли половину своей практической важности и большую часть своей прелести; дрызги жизни воплотились въ личности докучливаго мужа, поэзія жизни, которой почти не подозрѣвала Юлія, сказала сама собой въ восторженномъ поклоненіи красивому, идеализованному образу Бахтіарова. Юлія въ первый разъ перестала быть куклой и почувствовала

себя женщиной, существомъ любящимъ и требующимъ сочувствія. Дурно-ли, хорошо-ли она пристроила свое чувство — это уже совсѣмъ другой вопросъ. Главное дѣло въ томъ, что она любила: однимъ этимъ фактомъ она становилась неизмѣримо выше той Юліи, которая мечтала о гвардейскомъ офицерѣ и о Невскомъ проспектѣ. Любя красивую фигуру, она выражала свою личность, жила своей жизнью, своими глазами принимала и своимъ умомъ обуславливалась впечатлѣніями. Она ошибалась, но ошибалась, какъ свойственно челоѣку ошибаться; она, по крайней мѣрѣ, переставала быть обезьяной или глупымъ ребенкомъ, требующимъ себѣ зажженной папироски единственно потому, что вокругъ него курятъ взрослые. Въ любви Юліи къ Бахтіарову есть недостатокъ разборчивости, есть неумѣнье вглядываться въ людей и отличать сусальное золото отъ настоящаго, но этому чувству нельзя отказать въ нѣкоторой высотѣ нравственныхъ требованій. Юлія не умѣетъ распознать настоящаго Бахтіарова, но тотъ Бахтіаровъ, котораго она любитъ, т. е. то воображаемое лицо, которое она ставитъ на мѣсто дѣйствительно существующаго, вовсе не дурной и даже недюжинный челоѣкъ. Какъ только Бахтіаровъ оказывается подлецомъ, такъ онъ погибаетъ въ глазахъ Юліи; женщина поумѣе и поопытнѣ Юліи разобрала бы своего героя раньше—объ этомъ спору нѣтъ; но дѣло въ томъ, что умственная неразвитость Юліи, а не нравственная испорченность ея была причиной ея увлеченія. Она любила хорошую и красивую личность и только не видѣла того, что эта личность не имѣетъ ничего общаго съ настоящимъ Бахтіаровымъ. Кто еще не жилъ, тотъ и не умѣетъ жить; кто никогда не мыслилъ и не наблюдалъ, тотъ не можетъ распознавать характеры окружающихъ людей. Юлія не виновата въ своей ошибкѣ. Какъ жертва своего воспитанія и своего общества, она можетъ возбудить къ себѣ состраданіе; горести и радости ея внутренняго міра такъ мелки и ничтожны, что имъ мудрено сочувствовать; разсматривая ихъ, придется только пожалѣть о челоѣческой личности, тратящей нравственные силы на пустыя и безсвязныя тревоги. Словомъ, Юлія—личность очень обыкновенная по врожденнымъ способностямъ, испорченная безобразной домашней дисциплиной и постепенно мельчающая подъ вліяніемъ нелѣпыхъ условий семейной и общественной жизни. Личность ея очень не изящна именно потому, что въ большей части случаевъ она сливается съ окружающимъ обществомъ, боится отъ него отшатнуться, по рукамъ и по ногамъ связана его предрасудками и раздѣляетъ почти всѣ его вкусы и наклонности. Она почти нигдѣ не составляетъ исключенія ни въ худшую, ни въ лучшую сторону. Любя Бахтіарова, она порой



Увлекается и дѣлаетъ неосторожный поступокъ; эти минуты увлечения выражаютъ собою лучшія, живыя стороны ея характера, но, къ сожалѣнію, она увлекается дряннымъ человѣкомъ, и недостойная личность ея героя бросаетъ грязную тѣнь на чистоту ея порывовъ. Къ тому-же эти порывы слишкомъ слабы; она дѣлаетъ неосторожный шагъ и оглядывается по сторонамъ, прячется, боится и папеньки, и мужа. На ея мѣстѣ женщина, способная сильно любить, увлеклась бы за предѣлы всякаго приличія и надѣлала бы множество яркихъ глупостей. На ея мѣстѣ женщина съ твердымъ и честнымъ характеромъ не стала бы прятаться и гордо пошла бы навстрѣчу домашнимъ сценамъ и общественному стыду. Но Юлія не изъ тѣхъ; ей хочется служить и Богу, и мамону, и вслѣдствіе этого изъ нея выходитъ ни то, ни се, ни Богу свѣча, ни чорту кочерга, какъ выражается наше простонародье.

## IV.

А что за человѣкъ—мужъ Юліи? — Учился онъ въ университетѣ и мечтаетъ о магистерскомъ экзаменѣ. Въ немъ есть сходство съ Обломовымъ, и самое существенное различіе между этими двумя личностями заключается въ различіи манеры Гончарова и Писемскаго. Гончаровъ щадитъ и любитъ своего героя, а Писемскій безжалостно продергиваетъ свое созданіе, гдѣ только можно, и продергиваетъ его безъ злобной раздражительности, спокойно, холодно и почти весело. При всей своей объективности Гончаровъ можетъ быть названъ лирикомъ въ сравненіи съ Писемскимъ. Гончаровъ сочувствуетъ отдѣльнымъ личностямъ своихъ произведеній и отдѣльнымъ поступкамъ своихъ героевъ; иное онъ осуждаетъ, иное объясняетъ и оправдываетъ; критикъ часто уравниваетъ и оправдываетъ. Ничего подобнаго не встрѣтите вы у Писемскаго; его воззрѣній и отношеній къ идеалу вы нигдѣ не встрѣтите, они даже и не просвѣчиваютъ нигдѣ. Онъ никому не сочувствуетъ, никѣмъ и ничѣмъ не увлекается, ни отъ чего не приходитъ въ негодованіе, никого не осуждаетъ и не оправдываетъ. Грязь жизни остается грязью; сырой фактъ такъ и бьетъ въ глаза; берите его какъ онъ есть, осмысливайте, осуждайте, оправдывайте—это ваше дѣло; голосъ автора не поддержитъ васъ въ вашемъ критическомъ процессѣ и не заспоритъ съ вами. — Бешметевъ и Обломовъ похожи другъ на друга тѣмъ, что оба зависятъ отъ окружающей обстановки, несмотря на то, что стоятъ выше ея по умственному развитію. Отсутствіе активной инициативы, отсутствіе твердой оппозиціи, шаткость и слабость—вотъ основныя черты ихъ характера. Бешметевъ такъ-же слабъ, какъ Обломовъ, и при томъ нѣсколько не лѣнивъ; онъ былъ бы

способенъ двигаться впередъ, еслибы кто-нибудь велъ его за собою или толкалъ его сзади; общество, въ которое онъ попадаетъ, употребляетъ всѣ усилія, чтобы задержать и отодвинуть его назадъ; онъ страдаетъ отъ этого, но подается и опускается съ ужасающей быстротой. Неопытный въ житейскихъ дѣлахъ, онъ позволяетъ женить себя черезъ сваху и не понимаетъ того, что невѣста его терпѣть не можетъ, а что родители смотрятъ на него, какъ на владѣльца пятидесяти незаложенныхъ душъ. Не умѣя ни отразить нападковъ крикливой родни своей, ни отмалчиваться отъ нихъ, онъ, по ихъ настоянію, отказывается отъ предполагаемой ученой карьеры, отлагаетъ попеченіе о магистерскомъ экзаменѣ и превращается въ столоначальника губернскаго присутственнаго мѣста. Мечты о взаимной любви смѣшались нелѣпой женитьбой; мечты о разумной дѣятельности уснули подъ вицъ-мундиромъ чиновника, не отказывающагося отъ безгрѣшныхъ доходовъ. Писемскій не говоритъ ничего о доходахъ, но надо думать, что было не безъ того, потому что у Бешметева уже не было денегъ тогда, когда онъ поступилъ на службу; надо было чѣмъ-нибудь жить, и мѣсто столоначальника досталось Бешметеву по рекомендаціи Владиміра Андреевича Кураева, котораго практическія воззрѣнія мы уже видѣли, говоря о воспитаніи и замужествѣ Юліи. Далѣе паденіе Бешметева идетъ еще скорѣе; когда человѣкъ сбился съ настоящей дороги, тогда всякое случайное обстоятельство путаетъ и портитъ его. Нѣтъ настоящей дѣятельности, нѣтъ желаннаго наслажденія—такъ что-же дѣлать? Надо проживать жизнь, убивать время, забивать въ самомъ себѣ лучшія потребности своей природы, лучшіе результаты своего развитія; чтобы не страдать, надо опошляться, тупѣть и черствѣть. Все это случилось бы съ Бешметевымъ; онъ отострилъ бы брюшко, сталъ бы мечтать о счастіи получить крестикъ и объ удовольствіи составить вечеркомъ преферансикъ, началъ бы нюхать табакъ, получилъ бы лысину и репутацію исполнительнаго чиновника и, наконецъ, умеръ бы, оставивъ своимъ дѣтямъ состояніе, исправленное и допущенное. Все это произошло бы тогда, когда бы жизнь потекла спокойно, когда бы мечты не разбивались насильственно, а просто, медленно разсѣялись бы, какъ утренній туманъ. Еслибы Юлія Владиміровна Бешметева постепенно выказалась въ настоящемъ своемъ свѣтѣ, тогда ея ослѣпленный мужъ помирился бы съ своимъ разочарованіемъ такъ-же тихо, какъ онъ помирился съ бюрократической дѣятельностью. Но толчокъ, полученный Бешметевымъ со стороны его семейной жизни, былъ такъ рѣзокъ и силенъ, что ему только и оставалось или вдругъ выпрыгнуть на прежнюю дорогу и утѣшить себя разумной дѣятельностью, или го-



ловой впередъ броситься въ омутъ грязи и гадости, запить и съ горя ухнуть остатокъ физическихъ и нравственныхъ силъ. Вообразите себѣ, что человѣкъ любить свою жену и надеется, что она его оцѣнитъ и полюбитъ въ свою очередь. Онъ работаетъ надъ ея нравственнымъ возвышеніемъ и не отчаявается отъ видимой неудачи своихъ первыхъ попытокъ; вдругъ онъ замѣчаетъ, что она не только любить другого, но даже вѣшается этому другому на шею и за-одно съ этимъ другимъ дурачить его, любящаго мужа и усерднаго наставника. Чистая, непорочная, неопытная дѣвочка вдругъ превращается въ его глазахъ въ очень опытную, очень хитрую и совершенно испорченную женщину, которая проведетъ и выведетъ полдюжины наставниковъ и надзирателей, подобныхъ ему, Бешметеву. Сдѣлавъ подобное открытие, человѣкъ твердый и рѣшительный, вѣроятно, плюнулъ бы на все это, разорвалъ бы всякую связь съ своимъ прошедшимъ, понялъ бы то, что умный мужчина можетъ быть счастливъ собственными силами, и поступилъ бы сообразно съ этими размышленіями. Будь онъ въ положеніи Бешметева, такой человѣкъ вышелъ бы въ отставку, поѣхалъ бы въ Москву, занялся бы серьезно магистерскимъ экзаменомъ и въ освѣжающемъ трудѣ мысли нашелъ бы себѣ полное утѣшеніе, достойное развитого человѣка. Впрочемъ, надо сказать правду, несчастье, поразившее Бешметева, до такой степени важно, что и покрѣпче его люди могутъ надъ нимъ позадуматься. Лаврецкій—не чета Бешметеву, а и Лаврецкій, узнавши объ измѣнѣ Варвары Павловны, считаетъ себя очень несчастнымъ человѣкомъ. Большая часть людей умѣютъ еще кое-какъ перенести холодность любимой женщины, но не переносятъ того, что они называютъ ея невѣрностью. Актъ невѣрности сваливаетъ любимое существо съ высокаго и роскошнаго пьедестала въ грязную лужу; какъ ни широки эмансипаціонныя стремленія нашей эпохи, а до сихъ поръ большая часть развитыхъ мужчинъ нечувствительно для самихъ себя смотритъ на женщину какъ на движимую собственность или какъ на часть своего тѣла. Когда женщина, уступая силѣ чувства, начинаетъ располагать собою, какъ свободной и полноправной личностью, тогда вдругъ забываются всѣ широкія теоріи; тотъ мужчина, который по своему общественному положенію стоитъ къ этой женщинѣ въ отношеніяхъ друга и защитника, вдругъ выступаетъ на сцену судьей и палачемъ; онъ призываетъ на нее громы общественного мнѣнія, онъ отступаетъ отъ нея съ добродѣтельнымъ отвращеніемъ, и общество, конечно, съ величайшей готовностью начинаетъ кидать грязью въ оставленную и обиженную личность. При болѣе грубыхъ нравахъ, мужчина преслѣдуетъ женщину болѣе чувствительнымъ оружіемъ, на-

чиная отъ грязныхъ намековъ и кончая побоями. Бешметевъ, при своемъ полномъ незнаніи жизни и при полномъ отсутствіи настоящаго, гуманнаго развитія, никогда не думалъ о правахъ женщины и объ отношеніяхъ ея къ мужчинамъ; онъ только мечталъ, лежа на диванѣ, о наслажденіяхъ взаимной любви; мечтамъ этимъ не пришлось осуществиться—и Бешметевъ просто озлился на жизнь и на женщину, не спрашивая у себя, правъ-ли онъ въ своемъ озлобленіи, и имѣютъ-ли какое-нибудь разумное оправданіе его мечты о любовномъ счастьи? Если посмотрѣть глазами самого Бешметева на непріятности его семейнаго быта, тогда можно оправдать всѣ глупости, къ которымъ его приводить житейскія испытанія; но если посмотрѣть на дѣло со стороны, то увидимъ, что всѣ несчастья эти составляютъ естественное и неизбежное слѣдствіе поведенія самого героя. Молодой человѣкъ женился на дѣвушкѣ почти насильно и почти замуривъ глаза; онъ видитъ, что она хороша собою, и правильныя линии ея лица мѣшаютъ ему видѣть всю уродливость ихъ взаимныхъ отношеній; любитъ-ли его будущая его жена, уважаетъ-ли его, сходятся-ли они между собою въ понятіяхъ и склонностяхъ, объ этомъ онъ забываетъ справиться; онъ женился и послѣ свадьбы начинаетъ требовать семейнаго счастья. Нелѣпныя требованія! Человѣкъ самъ положилъ руку на раскаленное желѣзо и удивляется тому, что ему больно, и сердится на несчастную плиту, которая жжетъ его безъ всякаго злого умысла, вслѣдствіе вѣчныхъ законовъ природы. А между тѣмъ, будь вы на мѣстѣ этого человѣка, и вы положили бы руку на раскаленную плиту; вѣдь хватаются-же дѣти за горячія жаровни, потому что имъ нравится ихъ странный блескъ и яркій цвѣтъ. Дѣло вотъ въ чемъ: характеръ отдѣльнаго человѣка развивается подъ вліяніемъ окружающей среды и обстоятельствъ жизни; въ человѣкѣ можетъ воспитаться преступникъ или эксцентрикъ гораздо прежде того времени, когда онъ будетъ въ состояніи дѣлать дѣйствительныя глупости и фактическія преступленія. Скажите-же, кто въ подобномъ случаѣ болѣе виноватъ: тотъ-ли матеріалъ, изъ котораго выкраивается та или другая фигура, или та рука, которая ее выкраиваетъ? Рука эта большей частью дѣйствуетъ безсознательно; ее называютъ случаемъ, судьбою, силою обстоятельствъ, вліяніемъ обстановки; послѣдніе два термина представляютъ нѣкоторый смыслъ, между тѣмъ какъ первые два отличаются крайней мистической неопредѣленностью. Сваливая вину на силу обстоятельствъ, на вліяніе обстановки, мы снимаемъ отвѣтственность съ извѣстнаго лица, но тѣмъ прямѣе и строже относимся къ той идеѣ, которая лежитъ въ основѣ извѣстнаго общества, къ



тѣмъ условіямъ быта, къ тѣмъ житейскимъ отношеніямъ, отъ которыхъ недѣлному трудно отрѣшиться, и которыя съ самой колыбели тяготѣютъ въ извѣстномъ направленіи надъ его мыслью и дѣятельностью. Вглядитесь въ личности, дѣйствующія въ повѣсти Писемскаго, — вы увидите, что, осуждая ихъ, вы собственно осуждаете ихъ общество; всѣ онѣ виноваты только въ томъ, что не настолько сильны, чтобы проложить свою оригинальную дорогу; онѣ идутъ туда, куда идутъ всѣ; имъ это тяжело, а между тѣмъ онѣ не могутъ и не умѣютъ протестовать противъ того, что заставляетъ ихъ страдать. Вамъ ихъ жалко, потому что онѣ страдаютъ, но страданія эти составляютъ естественныя слѣдствія ихъ собственныхъ глупостей; къ этимъ глупостямъ ихъ влечетъ то направленіе, которое сообщаетъ имъ общество. Сочувствовать тому, что намъ кажется глупостью, мы не можемъ. Намъ остается только жалѣть о жертвахъ уродливаго порядка вещей и проклинать существующія уродливости. Тѣмъ и замѣчательна повѣсть Писемскаго, что она рисуетъ намъ не исключительныя личности, стоящія выше уровня массы, а дюжинныхъ людей, копошащихся въ грязи, замаранныхъ съ ногъ до головы, задыхающихся въ смрадной атмосферѣ и не умѣющихъ найти выхода на свѣтъ. Чтобы дѣйствительно оцѣнить всю грязь нашей всенедней жизни, надо посмотрѣть на то, какъ она дѣйствуетъ на слабыхъ людей; только тогда мы въ полной мѣрѣ поймемъ ея отравляющее вліяніе; сильный человѣкъ легко выкарабкается изъ нея; но людей слабыхъ или неокрѣпшихъ она душитъ и мертвитъ. Читая «Дворянское Гнѣздо» Тургенева, мы забываемъ почву, выражающуюся въ личностяхъ Панина, Марьи Дмитріевны и т. д., слѣдимъ за самостоятельнымъ развитіемъ честныхъ личностей Лизы и Лаврецаго; читая повѣсти Писемскаго, вы никогда, ни на минуту, не позабудете, гдѣ происходитъ дѣйствіе; почва постоянно будетъ напоминать о себѣ крѣпкимъ запахомъ, русскимъ духомъ, отъ котораго не знаютъ куда дѣваться дѣйствующія лица, отъ котораго порой и читателю становится тяжело на душѣ.

## V.

Трудно себѣ представить болѣе яркую и сжатую картину грязной жизни губернскаго города, чѣмъ та, которую нарисовалъ Писемскій въ повѣсти «Тюфякъ». И это не карикатура, даже не сатира. Каждая отдѣльная фигура такъ твердо убѣждена въ полной правотѣ своихъ притязаній, въ полной законности своихъ дѣйствій, что она живетъ мимо воли автора, и что вамъ кажется, будто иначе она и не можетъ жить. Это правда; иначе не можетъ она жить, машина заведена въ извѣст-

номъ направленіи и пойдетъ себѣ своимъ порядкомъ, пока не разматается пружина или не изотрутся колеса, или — же пока незамѣченное, но постепенно увеличивающееся внутреннее разстройство не остановитъ разомъ всего развихляшагося механизма. Семейный деспотизмъ развращаетъ младшихъ членовъ семействъ и готовитъ изъ нихъ будущихъ деспотовъ, которыхъ рука будетъ тяготѣть надъ будущими подчиненными личностями такъ-же тяжело, какъ тяготѣли надъ ними самими руки отцовъ и матерей. Та молодая дѣвушка, которая сегодня возбуждала ваше участіе, какъ несчастная жертва, задышавшаяся отъ сдержанныхъ рыданій при помолвкѣ съ немилымъ человѣкомъ, черезъ нѣсколько недѣль явится передъ вами молодой барыней, держащей въ ежовыхъ рукавицахъ свою прислугу, терзающей мужа капризами и истериками и тратящей съ возмутительнымъ цинизмомъ его трудовыя копѣйки на украшеніе своей особы. Несчастный мужъ, котораго вы пожалѣете теперь, какъ мученика, явится скоро домашнимъ тираномъ и будетъ съ систематической жестокостью отравлять существованіе той самой женщины, на которую онъ въ былое время чуть-чуть не молился. Любящая мать, старающаяся устроить счастье своихъ дѣтей, часто связываетъ ихъ по рукамъ и ногамъ узкостью своихъ взглядовъ, близорукостью своихъ расчетовъ и непрошенною нѣжностью своихъ заботъ. Чувство ея сильно и искренно, но убѣжденія односторонни и ложны, и потому сумма ея вліянія вредна и губительна. Голосомъ этой любящей матери говорить почва, на которой она росла и прозябала, и молодой человѣкъ, слышавшій вдали отъ родительскаго дома что-то новое, рванувшійся душой къ этому новому, еще неизвѣстному, но уже привлекательному образу жизни и дѣятельности, рискуетъ остановиться въ нерѣшительности, растрогаться и расплакаться, раскаяться въ завиральныхъ идеяхъ, увидать свой долгъ въ сыновнемъ повиновеніи и нечувствительно заглохнуть въ томъ омутѣ, изъ котораго онъ было старался выкарабкаться. Когда два направленія мысли вступили между собою въ борьбу на жизнь и на смерть, когда нейтралитетъ оказывается невозможенъ, тогда людямъ съ мягкими чувствами и съ нерѣшительнымъ умомъ приходится очень тяжело. Кто не способенъ ежечь за собою корабли и идти смѣло впередъ, шагая черезъ развалины своихъ прежнихъ симпатій, вѣрованій, воздушныхъ замковъ и идеаловъ и слыша за собою ругательства, упреки, слезы и возгласы негодующаго изумленія со стороны близкихъ людей, тотъ хорошо сдѣлаетъ, если заглушить въ головѣ работу критическаго ума и даже простого здраваго смысла, если заблаговременно начнетъ отплывать отъ лукаваго демона, сидящаго въ мозгу каждаго здо-



роваго человѣка, смотрящаго на вещи собственными глазами. Кому жаль разставаться съ прошедшимъ, тому нечего и пытаться заглядывать въ лучшее, свѣтлое будущее. Идти, такъ идти, смѣло, безъ оглядки, безъ сожалѣнія, не унося за собою никакихъ пенатовъ и реликвій и не раздваивая своего нравственного существа между воспоминаніями и стремленіями. Этого никакъ не могутъ взять въ толкъ люди мягкіе и пѣжные; имъ все хочется или согласить между собою двѣ противоположности, или переубѣдить людей несправившихъ, состарѣвшихся въ своихъ понятіяхъ и косящихся на все незнакомое; соглашая противоположности и добываясь отъ самихъ себя историческаго безпристрастія, эти господа дѣлаются сами совершенно нерѣшительными и безцвѣтными; переубѣждая застарѣлыхъ противниковъ, они нечувствительно мирятся съ ними и переходятъ на ихъ сторону, устраниваютъ свою жизнь по заведенному порядку и увеличиваютъ собой слой грязной почвы, подобно тому, какъ прошлогоднія растенія увеличиваютъ слой чернозема. Тѣ условія, при которыхъ живетъ масса нашего общества, такъ неестественны и нелѣпы, что человѣкъ, желающій прожить свою жизнь дѣльно и пріятно, долженъ совершенно оторваться отъ нихъ, не давать имъ надъ собою никакого вліянія, не дѣлать имъ ни малѣйшей уступки. Какъ вы попробуете на чемъ-нибудь помириться, такъ вы уже теряете вашу свободу; общество не удовлетворится уступками; оно вмѣшается въ ваши дѣла, въ вашу семейную жизнь, будетъ предписывать вамъ законы, будетъ налагать на васъ стѣсненія, переусаживать ваши поступки, отгадывать ваши мысли и побужденія. Каждый шагъ вашъ будетъ опредѣляться не вашей доброй волей, а разными общественными условіями и отношеніями; нарушеніе этихъ условій будетъ постоянно возбуждать толки, которые, доходя до васъ, будутъ досаждаютъ вамъ, какъ жужжаніе сотни мошекъ и комаровъ. Если-же вы однажды навсегда рѣшитесь махнуть рукою на пресловутое общественное мнѣніе, которое слагается у насъ изъ очень неблагоприятныхъ матеріаловъ, то васъ, право, скоро оставятъ въ покоѣ; сначала потолкуютъ, подивятся или даже ужаснутся, но потомъ, видя, что вы на это не обращаете вниманія, и что эксцентричности ваши идутъ себѣ своимъ чередомъ, публика перестанетъ вами заниматься, сочтетъ васъ за погибшаго человѣка и, такъ или иначе, оставитъ васъ въ покоѣ, перенеся на кого-нибудь другого свое милостивое вниманіе... «Тюфякъ» даетъ намъ необходимые матеріалы для того, чтобы опредѣлить характеръ нашего общественнаго мнѣнія. Въ губернскомъ городѣ суетятся и хлопочутъ столько-же, сколько и въ столицѣ, съ той только разницей, что въ столицѣ большее количество

людей собрано въ одномъ мѣстѣ, и потому, когда всѣ разомъ суетятся, то происходитъ гораздо больше шума, движенія, толкотни. Побудительныя причины, заставляющія столичныхъ жителей суетиться, гораздо разнообразнѣе именно потому, что жителей очень много, и что они стоятъ на самыхъ различныхъ ступеняхъ общественной лѣстницы и умственного развитія. Въ провинціи аристократическое сословіе состоитъ изъ чиновниковъ и помѣщиковъ; литераторы, художники, ученые составляютъ большую рѣдкость; имъ нечего тамъ дѣлать, и они бывають въ провинціи не иначе, какъ на правахъ гостей; да и гдѣ эти господа не гости въ нашемъ отечествѣ? гдѣ ихъ вліяніе на жизнь и понятія общества? гдѣ та сфера жизни, въ которой они распоряжаются, какъ хозяева, и заявляютъ свои права? Если и чувствуется въ послѣднее десятилѣтіе какое-то взаимодействіе между мыслями передовыхъ людей и жизнью общества, то какъ еще оно слабо, и какъ немногіе признають дѣйствительность его существованія! Итакъ, чиновники и помѣщики, съ женами и дѣтьми, составляютъ собою губернскую аристократію. Помѣщики, живущіе въ губернскомъ городѣ, поручаютъ свои имѣнія приказчикамъ и бурмистрамъ, изъ ихъ рукъ принимаютъ свои доходы, проживають ихъ, навѣщаютъ иногда свои помѣстья и, пропзведя ревизію, получивъ должныя суммы, снова возвращаются въ городъ, чтобы наслаждаться жизнью. Эти господа пользуются обыкновенно обезпеченнымъ состояніемъ, такъ что съ матеріальной стороны они не встрѣчаютъ себѣ препятствій и стѣсненій. Что-же они дѣлають? Они ѣздятъ въ гости и принимаютъ гостей, приглашаются на званые обѣды и даютъ такіе-же обѣды у себя, танцуютъ и играютъ въ карты на вечерахъ и балахъ и устраивають у себя такіе-же балы и вечера. Это называется пользоваться общественными увеселеніями. Интервалы между увеселеніями вродѣ званыхъ обѣдовъ и вечеровъ наполняются визитами и разговорами, для которыхъ самой интересной темой служатъ городскія событія. Вставая утромъ съ постели, губернский аристократъ, если ему не предстоитъ какого-нибудь приглашенія, обыкновенно не знаетъ, что предпринять, куда дѣвать день, и отправляется къ кому-нибудь отъ нечего дѣлать, говоритъ что-нибудь отъ нечего дѣлать, беретъ въ руки книжку журнала, садится играть въ карты, выпиваетъ рюмку водки, — все отъ нечего дѣлать. Да и въ самомъ дѣлѣ, что-же ему дѣлать? — Доходы получаются исправно, нужды ни въ чемъ не предвидится, ѣхать никуда не надо. Что-же дѣлать? — Сѣсть за книгу, что-ли? Легко сказать; посмотрите-ка на дѣло поближе, и вы увидите, что ничто не можетъ быть скучнѣе, какъ читать для процесса чтенія, безъ послѣдовательности и системы.



Вѣдь не станете-же вы безъ особенной надобности читать листокъ полицейскихъ вѣдомостей. Что за охота утруждать зрѣніе и напрягать умъ только для того, чтобы убить нѣсколько часовъ? Предпочитать, какъ препровожденіе времени, книгу живымъ явленіямъ жизни несвойственно человѣческой природѣ. Желая развѣяться, человѣкъ ищетъ смѣлыя впечатлѣнія. Чѣмъ живѣе впечатлѣнія и ощущенія, тѣмъ болѣе они его удовлетворяютъ; на этомъ основаніи онъ отправляется въ общество, болтаетъ съ знакомыми, садится за зеленое сукно, танцуетъ и кружится въ освѣщенной залѣ. Вся бѣда въ томъ, что ему нечего дѣлать, что онъ развѣивается въ продолженіи всей своей жизни. Вѣдь не задавать-же себѣ самому задачъ, не трудиться-же для препровожденія времени, когда сама жизнь не шевелитъ своимъ потокомъ, не задаетъ никакихъ задачъ и не требуетъ никакого труда. Жизнь эта — странная штука! Губернскіе чиновники, кормчіе провинціального общества, работаютъ нерѣдко машинально, почти не сталкиваясь въ своей работѣ съ явленіями жизни и не выходя изъ сферы тѣхъ неизмѣнныхъ канцелярскихъ формъ, для которыхъ нѣтъ прогресса даже въ языкѣ. Утро занято у этихъ господъ, но ихъ машинальная дѣятельность оставляетъ по себѣ такую-же пустоту, какую производятъ бездѣйствіе въ людяхъ праздныхъ. Умъ все-таки остается незанятымъ и набивается, чѣмъ попало, а попадаютъ въ него обыкновенно бюрократическія интриги, городскія сплетни, преферансовыя соображенія и воспоминанія вродѣ походовъ Чичикова. И вотъ изъ этихъ-то элементовъ составляетъ общественное мнѣніе, и отдѣлится отъ него не совѣтъ легко.

Исключеніе изъ общаго правила составляютъ тѣ немногіе, которыхъ жизнь исходитъ въ борьбѣ или въ совершенномъ отчужденіи отъ окружающей среды. Это люди сильные, которыхъ не легко надломить даже губернскому обществу. Но сильныхъ людей, къ сожалѣнію, у насъ немного; наша литература до сихъ поръ не представила образа сильнаго человѣка, проникнутаго идеями общечеловѣческой цивилизаціи; большей частью изъ нашихъ университетовъ выходили люди, пламенно-любящіе идею, страстно привязанные къ теоріи, но потерявшіе способность руководствоваться простымъ здравымъ смысломъ, чувствовать просто и сильно, дѣйствовать рѣшительно и въ то-же время умѣренно. Они готовились воевать съ крокодилами и драконами, которыхъ не бываетъ въ нашихъ провинціальныхъ болотахъ, и въ то-же время забывали отмахиваться отъ мошекъ и комаровъ, которые носятся надъ ними цѣлыми міриадами. Они выходили противъ мелкихъ гадюкъ съ такимъ оружіемъ, которымъ поражаютъ чудовищъ; они со всего размаха убивали

дубиною цѣлаго комара и къ ужасу своему замѣчали, что колоссальная трата энергіи и воодушевленія оплачивалась совершенно незамѣтнымъ результатомъ. Герои обезсиливали, постоянно махая тяжелыми дубинами; мошки лѣзли имъ въ глаза, уши, въ носъ и въ ротъ, облѣпляли ихъ со всѣхъ сторонъ, оглушали ихъ своимъ жужжаньемъ, очень больно кусали и кололи ихъ едва замѣтными жалами и, высасывая изъ нихъ кровь, постепенно охлаждали ихъ боевой жаръ, ихъ добродѣтельную отвагу и великодушный пафосъ. Жизнь подступала къ нашимъ героямъ такъ незамѣтно, она обхватывала ихъ со всѣхъ сторонъ такъ искусно и такими тонкими сѣтями, что не оставалось теоретикамъ никакой возможности не только сопротивляться, но даже замѣтить надвигающуюся опасность. Уступка за уступкой, шагъ за шагомъ, и къ концу концовъ восторженные энтузіасты становились достойными дѣтьми своихъ отцовъ. Одни, бывшіе идеалисты или энтузіасты, просто превращались въ *толстыхъ*, о которыхъ говоритъ Гоголь; другіе, болѣе прочнаго закала, съ грустью сознавали свою бесполезность и, никуда не пристроившись, слонялись по бѣлому свѣту, нося въ разстроеной груди невылившуюся любовь къ человѣчеству и разбитыя надежды; немногіе, очень немногіе собирали и пересчитывали свои силы послѣ перваго пораженія и, приведя ихъ въ извѣстность, принимались за мелкія дѣла дѣйствительности, внося въ свои практическія занятія ту любовь къ истинѣ и къ добру, которую они, бывши юношами, громко исповѣдывали въ теоріи.

Да, масса нашего общества не безъ основанія относилась съ недоувѣріемъ къ людямъ мысли, принимавшимся за житейскія дѣла. Лаврецькихъ и Штольцовъ немного! О томъ и другомъ мы знаемъ только, что они что-то работали, но процесса ихъ работы мы не видимъ; Штольць отзывается искусственностью постройки; словомъ, все говоритъ намъ, что въ дѣйствительности очень мало положительныхъ дѣятелей, и что попытка представить такихъ дѣятелей въ литературѣ не удалась именно отъ недостатка наличныхъ матеріаловъ.

## VI.

До сихъ поръ еще жизнь нашего общества не поддавалась такому вліянію, которое могло бы шевельнуть стоячую воду и спустить внизъ по теченію тину, накопившуюся въ продолженіи цѣлыхъ столѣтій. Почти никто не занятъ полезнымъ и разумнымъ дѣломъ, почти никто не знаетъ, гдѣ отыскать себѣ такое дѣло, почти никто не сознаетъ въ себѣ потребности чѣмъ-нибудь заняться, и между тѣмъ почти всѣ чѣмъ-то недовольны и отчего-то скучаютъ. Праздность и скука ведутъ за собою много послѣдствій. Безпрерывная умственная праздность



нѣсколькихъ поколѣній сохраняетъ для позднѣйшихъ внуковъ тѣ формы быта, тѣ воззрѣнія на отношенія между людьми, отъ которыхъ даже дѣдамъ и прадѣдамъ солоно было жить на свѣтѣ. Патриархальность понятій еще живетъ въ нашемъ обществѣ, несмотря на заграничныя моды, которыя съ замѣчательною быстротой приносятся изъ Парижа въ разныя захолустья православной Руси. Господа въ англійскихъ визиткахъ и барыни въ кринолинахъ подчасъ разыгрываютъ такія семейныя и вообще домашнія сцены, на которыя съ удовольствіемъ могли бы смотрѣть бородатые бояре до-петровской эпохи. Отражается-ли въ этихъ сценахъ народность—это я предоставляю рѣшить знатокамъ и любителямъ; знаю только, что отъ этихъ сценъ больно достается пассивнымъ и подчиненнымъ личностямъ; можетъ быть, эти сцены дѣлаютъ честь исторической памяти русскаго народа, но въ нихъ страдаетъ человѣкъ, въ нихъ топчутъ въ грязь человѣческое достоинство, и потому—Богъ съ нимъ, съ этимъ призракомъ прошедшаго, откуда бы его ни почерпнули! Далѣе, праздность нашего общества ведетъ за собою существованіе искусственныхъ интересовъ; надо-жъ чѣмъ-нибудь заняться, — и вотъ придумываются какія-нибудь цѣли; настоящей жизни нѣтъ, является подставная жизнь, которая никому не приноситъ ни пользы, ни наслажденія, но отъ которой не отрѣшается почти никто. Трехмѣсячные доходы ухлопываются, наприкладъ, на званый обѣдъ или балъ, на которомъ, можетъ быть, не будетъ ни одного человѣка, дѣйствительно дорогаго и близкаго для хозяевъ. Балъ дается съ особеннымъ великолѣпіемъ изъ тщеславія, чтобы заставить говорить въ городѣ; многіе изъ гостей, бывшихъ на балѣ, говорятъ, приѣхавши домой, что надо и имъ устроить что-нибудь подобное, и говорятъ это иногда съ сокрушеннымъ сердцемъ, потому что денегъ мало, а между тѣмъ изъ кожи лѣзутъ—и устраиваютъ. Вотъ вамъ и наполнена жизнь, вотъ и борьба интересовъ, вотъ и драма, переходящая то въ комическій, то въ трагическій тонъ. Иной почтенный отецъ семейства чуть не за пистолеты хватается, увѣряя своихъ домашнихъ, что жить нечѣмъ; глядя на него, подумаешь, что всему семейству придется завтрашній день безъ обѣда сидѣть, а на повѣрку окажется, что все отчаяніе происходитъ оттого, что ему нельзя дать больше одного бала въ нынѣшнемъ сезонѣ. Это комедія! Но между тѣмъ вмѣсто одного бала дается два или три; дѣла запутываются, имѣнія закладываются и просрочиваются; долги растутъ, кредитъ падаетъ; являются серьезныя финансовыя разстройства; начинается мѣщанская трагедія. Придуманная прихоти считаются въ искусственномъ мірѣ нашей общественной жизни необходимыми потребностями; имъ жертвуютъ часто дѣйствительными

удобствами жизни. Сколько семействъ средняго круга отказываются отъ сытнаго обѣда для того, чтобы обить комнаты новыми обоями, чтобы купить старшей дочери шелковое платье, или чтобы въ нанятой каретѣ поѣхать куда-нибудь на вечеръ! Еслибы еще подобныя распоряженія дѣлались съ общаго согласія, ихъ можно было бы извинить; но вѣдь дѣлами семейства завѣдуютъ только папенька съ маменькой, остальные члены, — лица безъ рѣчей, не имѣющія даже совѣщательнаго голоса, — терпятъ лишенія для того, чтобы покрыть расходы такихъ удовольствій, въ которыхъ они не принимаютъ участія.

Согласитесь, что это возмутительно! А развѣ не возмутительны тѣ мелкія интриги, которыя все клонятся къ тому, чтобы можно было занять и удержать за собою извѣстное мѣсто, извѣстную роль въ обществѣ? Не уважая почти никого въ отдѣльности, члены общества уважаютъ всехъ вмѣстѣ; для нихъ ничего не значить огорчить или оскорбить сосѣда и приобрести въ немъ личнаго врага; но возбудить о себѣ толки, навлечь на себя вниманіе всего общества какою-нибудь эксцентричностью или потерять ту долю общественнаго вниманія, которою они пользовались за роскошный образъ жизни, — это для нихъ невыносимо тяжело. Чтобы удерживать балансъ въ общественномъ мнѣніи, надо прибѣгать къ самымъ разнообразнымъ средствамъ, надо тратиться и разоряться, надо занимать деньги, не теряя кредита, надо принимать у себя важныхъ лицъ, надо внушать своимъ дѣтямъ такія идеи, которыя не могли бы произвести диссонанса, надо направлять сыновей по такой дорогѣ, которую общество считало бы блестящей, надо располагать по своему произволу и благоусмотрѣнію судьбой дочерей и выдавать ихъ замужъ за людей родовитыхъ, чиновныхъ и богатыхъ. Если вы—отецъ семейства, то вы отвѣчаете передъ обществомъ не за одного себя; проступокъ вашей жены, вашей дочери, вашего сына, брата или племянника падаетъ на васъ болѣе или менѣе тяжело, смотря по тому, насколько близко къ вамъ провинившійся. Взыскивая, такимъ образомъ, со всехъ членовъ семейства за вину одного, общественное мнѣніе, конечно, оправдываетъ или даже поощряетъ внимательство родственниковъ и родственницъ въ такія дѣла, которыя, собственно говоря, нисколько до нихъ не касаются. Простой здравый смыслъ говоритъ ясно, что каждый отдѣльный человѣкъ можетъ отвѣчать только за себя, да развѣ еще за малолѣтнаго своего ребенка, который долженъ быть подъ хорошимъ присмотромъ, чтобы не имѣть возможности повредить какъ-нибудь своему здоровью и не нанести сосѣду убытка или непріятности. Наше русское общественное мнѣніе, не имѣющее ничего общаго со здоровымъ



смыслѣмъ, судить совѣмъ не такъ: оно предполагаетъ между членами семейства и даже рода такую крѣпкую связь, такую солидарность отношеній, которыя возможны только въ патриархальномъ быту, и о которыхъ наше время, къ счастью, не имѣетъ понятія. Требованія общественнаго мнѣнія въ полномъ объемѣ неисполнимы, но эти требованія даютъ извѣстное направленіе индивидуальнымъ силамъ; при всѣхъ вашихъ стараніяхъ, вы не усмотрите за всей своей родней и не будете въ состояніи привести всѣ ихъ дѣйствія къ должной мѣркѣ; но важно уже то, что вы будете стараться, будете вмѣшиваться и слѣдовательно, сталкиваясь съ сильными характерами, будете надѣяться имъ, а имѣя дѣло съ людьми слабыми, будете сбивать ихъ съ толку. Сильные характеры я могу оставить въ сторонѣ; они не поддаются общественному мнѣнію, не слушаютъ чужихъ совѣтовъ и слѣдовательно не страдаютъ отъ уродливыхъ особенностей почвы. Что же касается до людей неглупыхъ, сколько-нибудь развитыхъ, но не настолько сильныхъ, чтобы отстоять результаты своего развитія, то легко можно себя представить, какъ тяжело ихъ положеніе. Доходящіе до нихъ слухи о городскихъ толкахъ волнуютъ и смущаютъ ихъ; совѣты какого-нибудь нелѣпаго родственника или доброжелателя приводятъ ихъ въ недоумѣніе: голосъ собственнаго просвѣщеннаго убѣжденія говоритъ имъ одно, почва требуетъ совершенно другого, и они повинуются требованіямъ почвы, не успѣвая заглушить въ себѣ невольнаго протеста. Они унижаются и сами сознаютъ свое униженіе; это внутреннее раздвоеніе мучитъ, озлобляетъ ихъ и возбуждаетъ въ нихъ желаніе срывать зло на окружающемъ, они дѣлаются несправедливыми и, чувствуя это, еще болѣе окисляются и становятся еще несноснѣе. Эти люди, конечно, неспособны внушить къ себѣ уваженіе или сочувствіе, но они-то всего болѣе и нуждаются въ исцѣленіи; они дѣйствительно очень больны; къ тому-же ихъ очень много, и объ нихъ стоитъ подумать. Перемѣнить окружающую ихъ атмосферу невозможно; для этого нужно было бы перевоспитать все общество; стало быть, надо сдѣлать ихъ по возможности нечувствительными къ міазмамъ этой атмосферы; надо настолько возвысить ихъ надъ уровнемъ окружающаго общества, чтобы они могли смотрѣть à vol d'oiseau на его гнѣвъ, негодованіе и волненіе; чтобы жить въ провинціальномъ обществѣ, не окисляясь и не опошляясь, надо умѣть презирать людей безъ злобы, презирать ихъ холодно, сознательно, отказываясь отъ всякой попытки возвысить ихъ до себя и понимая совершенную невозможность сойтись съ ними на какомъ-нибудь воззрѣніи. Когда дѣти играютъ въ куклы, было бы смѣшно подойти

къ нимъ и начать имъ доказывать, что они тратятъ попусту драгоценное время, — отнестись къ обществу взрослыхъ, какъ къ группѣ играющихъ дѣтей, — и кроткая улыбка смѣнить собою тяжелое негодованіе, накопившееся въ вашей груди. «Пустые люди!» — подумаете вы. Да что-же изъ этого? Вѣдь не насильно-же наполнять ихъ внутреннимъ содержаніемъ. Есть только одна сторона жизни, съ которою никакъ нельзя помириться; къ счастью, эта сторона скрыта внутри домовъ и не напрашивается на глаза постороннимъ зрителямъ. Бывая въ обществѣ, вы увидите только пустоту его жизни, мелочность и ложность его интересовъ; это еще не большая бѣда, каждый живетъ для себя и потому воленъ лично для себя забавляться чѣмъ вздумается и работать надъ чѣмъ угодно, но только *лично для себя*. Приневолить къ чему бы то ни было членовъ своего семейства, располагать ихъ судьбой по своему близорукому благоусмотрѣнію, опредѣлять карьеру сыновей и выдавать замужъ дочерей — о! это такія права, противъ которыхъ глубоко возмущается человѣческая природа; замѣтьте при томъ, что человѣкъ тѣмъ болѣе расположенъ пользоваться этими возмутительными правами, чѣмъ менѣе онъ способенъ употребить ихъ на благо подчиненныхъ личностей. Необразованный, безнравственный, пьющій губернской чиновникъ обыкновенно является деспотомъ въ семействѣ, крутитъ и ломитъ всякую оппозицію, не слушаетъ ни резоновъ, ни просьбъ, — съ пьяныхъ глазъ опредѣляетъ сыновей на службу, отправляетъ дочерей подъ вѣнецъ, — и при всемъ этомъ опирается на свои природныя и законныя права, ссылается на свою родительскую любовь и заботливость. Съ этой стороны жизни невозможно помириться; къ ней нельзя даже отнестись съ равнодушнымъ презрѣніемъ; здѣсь страдаютъ и гибнутъ люди, и при томъ люди молодые, не успѣвшіе испортиться. Но сцены притѣсненія, драмы семейнаго деспотизма разыгрываются внутри семейства; ихъ можно предполагать и отгадывать, но видѣть ихъ можно только самимъ актерамъ, потому что эти сцены происходятъ безъ постороннихъ зрителей, тогда, когда ничто не требуетъ приличныхъ декораций и благообразной костюмировки. Прекратить эти халатныя сцены, развертывающія свое полное безобразіе въ спальняхъ, дѣтскихъ, кухняхъ и другихъ жилыхъ комнатахъ, недоступныхъ для гостей, — не можетъ ни законодательство, ни общественное мнѣніе. Пока жена будетъ зависѣть отъ мужа въ отношеніи къ своему пропитанію, пока мужъ будетъ такъ грубъ, что будетъ находить удовольствіе въ притѣсненіи слабого и зависимаго существа, пока родители и дѣти не будутъ имѣть яснаго понятія о своихъ человѣчески-разумныхъ пра-



вахъ,—до тѣхъ поръ можно будетъ обходить букву самаго мягкаго и справедливаго закона, до тѣхъ поръ можно будетъ обманывать контроль самаго чуткаго и просвѣщеннаго общественнаго мнѣнія. Но на наше общественное мнѣіе полагаться нельзя; оно составлено изъ голосовъ тѣхъ самыхъ семьянъ, которые тяготеютъ надъ своими домочадцами; оно проникнуто духомъ Домостроя и только облагообразило до нѣкоторой степени вѣншіе пріемы, рекомендуемые попомъ Сильвестромъ. Оно признаетъ за родителями право распоряжаться судьбой дѣтей и, обязывая послѣднихъ къ пассивному повиновенію, вознаграждаетъ ихъ за потерю свободы правомъ угнетать современемъ другихъ. Наше общественное мнѣіе можетъ быть возмущено только скандаломъ; оно прощаетъ несправедливость и систематическую жестокость, лишь бы не было крика, лязга пощечинъ, кровавыхъ синяковъ и истерическихъ припадковъ; впрочемъ, это общественное мнѣіе умѣетъ быть глухо и слѣпо, умѣетъ смотрѣть сквозь пальцы и часто оказывается до того пропитаннымъ духомъ патріархальности, что принимаетъ сторону притѣснителя; часто оно обвиняетъ жертву деспотизма въ томъ, что она не умѣла избѣжать срама и покориться молча. Недаромъ говоритъ пословица: «изъ избы сору не выноси»; кажется, всѣ члены чисто русскаго семейства только и заботятся о томъ, чтобы хранить свой соръ чуть не подъ образами, и ни за что не рѣшаются съ нимъ разстаться и вышвырнуть его на улицу. Тайна, въ которую ложный стыдъ облакаетъ разныя семейныя непріятности, искусственный мракъ, который стараются поддержать въ семейномъ святилищѣ,—мракъ, непроницаемый ни для какой гласности, конечно, содѣйствуютъ сохраненію въ семейныхъ правахъ и отношеніяхъ той дикости, которая уже выводится въ отношеніяхъ общественныхъ и междусловныхъ. Реформировать семейство можетъ только гуманизация отдѣльных лицъ и возвышеніе личнаго самосознанія и самоуваженія. Человѣкъ, дѣйствительно уважающій человѣческую личность, долженъ уважать ее въ своемъ ребенкѣ, начиная съ той минуты, когда ребенокъ почувствовалъ свое *я* и отдѣлилъ себя отъ окружающаго міра. Все воспитаніе должно измѣниться подъ вліяніемъ этой идеи; когда она глубоко проникнетъ въ сознаніе каждаго взрослого недѣлмага, всякое принужденіе, всякое насиліе воли ребенка, всякая ломка его характера сдѣлаются невозможными. Мы поймемъ тогда, что формировать характеръ ребенка—нелѣпая претензія; мы поймемъ, что дѣло воспитателя—заботиться о матеріальной безопасности ребенка и доставлять его мысли матеріалы для переработки; кто старается сдѣлать больше, тотъ посягаетъ на чужую свободу и воздвигаетъ

на чужой землѣ зданіе, которое хозяинъ непременно разрушитъ, какъ только вступитъ во владѣніе. Когда мы поймемъ все это?—не знаю; все это, можетъ быть, утопія, надъ которыми засмѣются практики въ дѣлѣ педагогики и семейной жизни. Смѣйтесь, гг. практики, смѣйтесь! Но не удивляйтесь тому, что возникаютъ утопіи; когда рутина довела до того, что приходится барахтаться и захлебываться въ грязи, тогда поневолѣ отвернешься отъ дѣйствительныхъ фактовъ, проклянешь прошедшее и обратишься за рѣшеніемъ жизненныхъ вопросовъ не къ опыту, не къ исторіи, а къ творчеству здраваго смысла и къ непосредственному чувству.

## VII.

Грозная филиппика моя противъ нашего общества вообще и провинціального въ особенности выставила такимъ образомъ на видъ два главныя свойства: 1) пустоту жизни, порождающую искусственность и ложность интересовъ, и 2) патріархальную рутинность понятій и отношеній, ведущую за собой семейный деспотизмъ. Эти два свойства имѣютъ, конечно, значительное вліяніе на формированіе тѣхъ нравственныхъ воззрѣній и правилъ, которыя признаетъ и отстаиваетъ общественное мнѣіе. Эти нравственные воззрѣнія не разъ назывались въ нашей практикѣ условной или мѣщанской нравственностью. Оба названія довольно мѣткі. Дѣйствительно, принято, условлено не позволять себѣ того или другого поступка, хотя бы въ этомъ поступкѣ самая тщательная критика не открыла ничего предосудительнаго или неизящнаго; принято, условлено—и всѣ такъ и дѣлаютъ; кто не повинуется обычаю—навлекаетъ на себя нареканія; осуждая человека за нарушеніе обычая, мы не разбираемъ его поступка собственнымъ здравымъ смысломъ, а просто подводимъ его подъ букву того кодекса, который успѣли заучить въ различныхъ столкновеніяхъ съ людьми и съ обстоятельствами. Мы какъ будто условились признать авторитетъ этого незримаго кодекса, и слѣдовательно наша общественная нравственность вполнѣ заслуживаетъ названія условной. *Мѣщанская*—эпитетъ довольно выразительный. Нравственные понятія, установленныя общественнымъ кодексомъ, узки, мелки, робки, непослѣдовательны, какъ мѣщанскій либерализмъ, эмансипирующій личность *до извѣстныхъ предѣловъ*, какъ мѣщанскій скептицизмъ, допускающій критику ума *въ извѣстныхъ границахъ*. Въ основѣ общественной нравственности лежатъ существенныя черты того ложнаго идеала, которому поклоняется общество,—того идеала, который изобразилъ Пушкинъ въ «Евгеніи Онегинѣ» въ стихахъ:



Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ,  
 Блаженъ, кто во-время созрѣлъ,  
 Кто постепенно жизни хололъ  
 Съ лѣтами вытерпѣть умѣлъ;  
 Кто страннымъ снамъ не предавался,  
 Кто черни свѣтской не чуждался,  
 Кто въ двадцать лѣтъ былъ франтъ иль хватъ,  
 А въ тридцать выгодно женатъ;  
 Кто въ пятьдесятъ освободился  
 Отъ частныхъ и другихъ долговъ;  
 Кто славы, денегъ и чиновъ  
 Спокойно въ очередь добился.  
 О комъ твердили цѣлый вѣкъ:  
 N. N.—прекрасный человѣкъ!

Общество не любитъ рѣзкостей и оригинальностей: его возмущаютъ яркіе пороки, проявленія сильной страсти, живыя движенія мысли; новыя идеи кажутся ему такъ-же предосудительными, какъ нарушенія чужого права; эмансипація человѣческой личности смѣшивается въ его глазахъ съ отсутствіемъ всякаго человѣческаго чувства, съ явнымъ посягательствомъ на интересы, на личность и собственность ближняго; протестъ противъ патріархальнаго начала, противъ обязательности родственныхъ отношеній вызываетъ такую-же бурю негодованія, какую могло бы вызвать какое-нибудь грубое насилие. Горячее слово за свободу и полноправность женщины можетъ упрочить за вами въ обществѣ репутацію развратнаго и опаснаго человѣка, умышленно подрывающаго лучшія чувства человѣческой жизни. Общій уровень умственнаго развитія стоитъ въ нашемъ обществѣ такъ низко, что ни одна идея недоступна ему въ полномъ своемъ объемѣ, въ полномъ величій и достоинствѣ своего значенія. Общество наше знаетъ какое-нибудь одно узенькое, жалкое приложеніе этой идеи; опешившись въ этомъ приложеніи и не будучи доступна обществу въ чистомъ своемъ понятіи, идея великая, широкая и прекрасная встрѣчаетъ себѣ въ обществѣ тупое недовѣріе и наглую насмѣшку. Представьте себѣ, что васъ обманулъ купецъ, торгующій рожью. Чтò, еслибы вы на этомъ основаніи стали считать мошенниками всѣхъ купцовъ, занимающихся этой отраслью торговли? Вѣдь всякій здравомыслящій человѣкъ имѣлъ бы право обвинить васъ въ бессмысленномъ и несправедливомъ недовѣріи; между тѣмъ всѣ приговоры, которыми наше общество поражаетъ незнакомыя ему идеи, основаны на подобномъ процессѣ мысли. Судить о цѣлой идеѣ по тому мизерному ея извращенію, которое находится передъ вашими глазами, такъ-же нелѣпо и несправедливо, какъ судить о цѣломъ сословіи по худшему его представителю.—Личная свобода, напримѣръ, даетъ лѣнивцу возможность пролежать нѣсколько дней на печи, а пьяницѣ—возможность спустить въ кабакъ послѣдніе сапоги. Еслибы лѣнинецъ былъ негромъ-невольникомъ, то его принудили бы встать и выйти на работу; еслибы пьяница

сидѣлъ гдѣ-нибудь подъ присмотромъ, то на немъ уцѣлѣло бы необходимое платье. Ну, что-жъ! Не угодно-ли изъ этого вывести заключение, что рабство гораздо лучше личной свободы? Такого рода попытка не имѣла бы даже прелести новизны и оригинальности. Такъ разсуждали многіе помѣщики и помѣщицы. Любозъ часто ведетъ за собою многія глупости, иль, вѣрнѣе, многія глупости прикрываются фирмой любви; во имя любви заключаются экстремитомъ браки, въ которыхъ не соблюдаются ни соразмѣрность лѣтъ, ни соотвѣтствіе характеровъ и наклонностей. ни экономическія требованія простаго практическаго здраваго смысла: старикъ женится на молоденькой институткѣ, не имѣющей понятія о жизни; человѣкъ умный и серьезный—на пустой и вѣтряной дѣвчкѣ; человѣкъ бѣдный и неспособный трудиться—на дѣвушкѣ бѣдной и также неспособной трудиться: начинаются семейныя огорченія, начинается нужда, во всемъ оказывается виноватой любовь,—и нѣжныя матери предостерегаютъ сыновей и дочерей, указывая на роковыя примѣры и приговаривая со вздохомъ: «А ужъ какъ влюблены-то были!» Поневолю умному и развитому, молодому существу, слушающему такія рѣчи, приходится отвѣчать: «я не влюбленъ, я люблю». Это не діалектическая тонкость, это—необходимое разграниченіе. Общество наше понимаетъ только влюбленность, какую-то *febris erotica*, въ которой человѣкъ бѣснуется и дѣлаетъ такія-же пошлости, какія предпринималъ добрый рыцарь Донъ-Кихотъ въ горахъ Сьерры-Морены. Надо-же заявить этому обществу, что я, дескать, въ своемъ умѣ и потому въ опекѣ не нуждаюсь, что я способенъ руководствоваться здравымъ смысломъ и между тѣмъ все-таки нахожу величайшее наслажденіе въ сближеніи съ такой-то женщиной, а не въ томъ, чтобы приобрѣтать много денегъ, и не въ томъ, чтобы быть самымъ блестящимъ кавалеромъ на балѣ или самымъ исполнительнымъ столоначальникомъ въ департаментѣ. Видя дурачества своихъ влюбленныхъ, общество отождествляетъ любовь съ дурачествомъ и сердится на то, чего оно не знаетъ. Многія женщины нашего общества удерживаются отъ того, чтò называется паденіемъ, — страхомъ отцовъ или мужей, страхомъ стыда и осужденія; онѣ сами сознаютъ это, и это-же самое понимаютъ и мужчины, заботящіеся о поддержаніи ихъ нравственной чистоты; узость и мелкость ихъ воззрѣній мѣшаетъ этимъ господамъ и барынямъ видѣть въ женщинѣ что-нибудь, кромѣ матеріальныхъ половыхъ влеченій и нравственныхъ обязанностей жены и матери.

Между тѣмъ до этихъ господъ, которые при всей своей неразвитости суются толковать о назначеніи женщины, подкладывая подъ это



слово, какъ и подѣ многія другія, свой домо-рощенный смыслъ, — доходятъ изумительные для нихъ слухи. Они узнаютъ, что въ Европѣ и въ Америкѣ передовые люди толкуютъ о томъ, что женщина такой-же человѣкъ, какъ и мужчина, что она вовсе не обязана только о томъ и думать, чтобы готовить мужу обѣдъ, рожать ему дѣтей и кормить ихъ сначала грудью, а потомъ — манной кашкой, что она можетъ мыслить, чувствовать и дѣйствовать, не спрашивая позволенія ни у отца, ни у мужа. Задумываются наши господа; имъ говорятъ о правѣ женщины, и они сейчасъ-же понятіе женщины воплощаютъ въ тѣхъ образахъ, которые суетятся и пищатъ передъ ихъ глазами; они себѣ представляютъ, что случилось бы, еслибы ихъ жены и дочери были отпущены на волю, т. е. эмансипированы, — и съ ужасомъ зажимаютъ глаза, и начинаютъ отмахиваться отъ эмансипационныхъ идей, потому что ихъ воображенію представляются неблагоприятныя картины. Они думаютъ, что женская нравственность и цѣломудріе, супружеская вѣрность и материнская заботливость поддерживаются только стараніями отцовъ и мужей, да гнетомъ общественнаго мнѣнія, и вдругъ имъ предлагаютъ отказаться отъ своего господства надъ женщинами и устранить гнетъ общественнаго мнѣнія. Да какъ-же такъ? спрашиваютъ они; да гдѣ-жъ тогда граница, гдѣ будетъ плотина, которая до сихъ поръ сдерживала безнравственныя наклонности? гдѣ возможность, гдѣ обезпеченіе семейнаго счастья? — Словомъ, они видятъ, что можно употребить во зло идею, и уже кромѣ злоупотребленія въ этой идеѣ ничего не видятъ. Дѣйствительно, въ такой странѣ, гдѣ женщина признается полноправной личностью, ей легче завести себѣ любовника, чѣмъ у насъ, точно такъ-же, какъ у насъ это легче сдѣлать, чѣмъ въ Турціи или въ Персіи; въ этомъ не ошибаются противники эмансипаціи. Но захотѣли эмансипированная женщина удариться въ развратъ изъ любви къ разврату — объ этомъ они не спрашиваютъ. Дурно-ли дѣлаетъ женщина, если дѣйствительно, любя мужчину, она отдается ему, — до этого вопроса они не умѣютъ возвыситься.

Еслибы къ киргизамъ проникла какая-нибудь европейская идея, то, конечно, она произвела бы такой диссонансъ, такой сумбуръ, котораго бы не было, еслибы она оставалась неизвѣстной. Беспорядокъ продолжался бы до тѣхъ поръ, пока эта идея не была бы задушена или пока бы она рѣшительно не восторжествовала и не переработала весь строй народныхъ понятій. Къ числу такихъ рѣзкихъ диссонансовъ безспорно принадлежитъ разладъ между нашими средневѣковыми понятіями о семействѣ и совершенно новыми по своей ширинѣ идеями о полноправности женщины. Многіе-ли изъ на-

шихъ образованныхъ умниковъ достаточно приготовлены, чтобы только понять обширность и величіе этой идеи? Чтобы всецѣло провести ее въ собственной жизни, надо располагать такими силами, которыя достаются на долю немногихъ единицамъ. А между тѣмъ посмотрите и послушайте. Полу-кретины, не умѣющие ни мыслить, ни уважать мысли другого, судятъ и рядятъ, оплевываютъ и закидываютъ грязью то, что для нихъ — пустой звукъ, а для людей съ умомъ и съ душой — сознательное и дорогое убѣжденіе. Личная свобода, любовь, полноправность женщины понимаются нашимъ обществомъ только въ опошленномъ, одностороннемъ и извращенномъ видѣ. Точно такъ-же понимается ими идея эгоизма, неразрывно связанная съ идеей свободы личности и составляющая необходимое основаніе всякой истинной любви. Эгоистъ, по понятію нашего общества, — тотъ человѣкъ, который никогда не любитъ, живетъ только для того, чтобы набивать себѣ карманъ или желудокъ, и наслаждается только чувственными удовольствіями или удовлетвореніемъ своей алчности или честолюбія. Тутъ прямо пододвинули подѣ слово такое понятіе, которое не имѣетъ ничего общаго съ его подлиннымъ значеніемъ. Почему-же эгоистъ долженъ быть недоступенъ эстетическому наслажденію? Почему онъ не можетъ любить? Почему онъ не можетъ находить наслажденія въ томъ, чтобы дѣлать добро другимъ? Эгоизмъ, т. е. любовь къ собственной личности, ставитъ цѣлью жизни наслажденіе, но не ограничиваетъ выбора наслажденія тѣмъ или другимъ кругомъ предметовъ. Я наслаждаюсь тѣмъ, что мнѣ пріятно, а что пріятно — это уже подсказываютъ каждому его наклонности, его личный вкусъ. Стало быть, внутри понятія *эгоистъ* открывается необъятный просторъ личнымъ особенностямъ и стремленіямъ. Эгоистами могутъ быть и хорошіе, и дурные люди; эгоистъ — человѣкъ свободный въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова; онъ дѣлаетъ только то, что ему пріятно; ему пріятно то, чего ему хочется, слѣдовательно, онъ дѣлаетъ только то, чего ему хочется, или, другими словами, остается самимъ собою во всякую данную минуту и не насилуетъ себя ни изъ угожденія къ окружающему обществу, ни изъ благоговѣнія передъ призракомъ нравственнаго долга. Что ему пріятно, въ этомъ весь вопросъ, и тутъ начинается нескончаемое разнообразіе, и ни одинъ человѣкъ не имѣетъ права подводить это естественное и живое разнообразіе подѣ какую-нибудь придуманную имъ или наслѣдованную откуда-нибудь норму. Отсутствіе нравственнаго принужденія — вотъ единственный существенный признакъ эгоизма, но этого, конечно, не понимаетъ наше общество; именемъ эгоиста оно называетъ непремѣнно человѣка сухого и черстваго, не понимая того, что та-



кой человѣкъ даже и самого себя любить слабо и вяло, что онъ даже самому себѣ не умѣетъ доставлять тѣ наслажденія, которыя можно вынести изъ сношеній съ другими людьми. Называть эгоизмомъ бѣдность крови и худосочіе, мѣшающія энергическому восприниманію впечатлѣній, совершенно нелѣпо; и надо согласиться съ тѣмъ, что только бѣдность крови и худосочіе могутъ сдѣлать человѣка нечувствительнымъ къ наслажденіямъ любви, семейной жизни и дружбы,—недоступнымъ тому волненію, которое возбуждаютъ въ насъ истинно художественныя произведенія,—неспособнымъ къ творчеству мысли и къ искреннему воодушевленію. Эгоизмъ—система умственныхъ убѣжденій, ведущая къ полной эмансипаціи личности и усиливающая въ человѣкѣ самоуваженіе; а между тѣмъ этимъ словомъ обозначаютъ совокупность нравственныхъ, а можетъ быть, и чисто физическихъ свойствъ, мѣшающихъ развитію полной человѣчности и слѣдовательно не позволяющихъ человѣку сильно любить, сильно желать и сильно наслаждаться жизнью. Отчего происходитъ эта ошибка въ опредѣленіи понятій? Вѣроятно, оттого, что мы обыкновенно очень поверхностно смотримъ на вещи. Мы видимъ, напримѣръ, что человѣкъ никого не любитъ, держитъ жену и дѣтей въ черномъ тѣлѣ, копить деньги безъ всякой цѣли или тратитъ ихъ на грязныя удовольствія, въ которыхъ онъ одинъ принимаетъ участіе; изъ этого мы заключаемъ, что этотъ человѣкъ любить только самого себя, и что слѣдовательно онъ—эгоистъ: онъ никого, кромѣ самого себя, не любитъ—это вѣрно; но слѣдуетъ-ли изъ этого заключенія, что онъ самого себя любить сильнѣе, чѣмъ тотъ человѣкъ, который находитъ наслажденіе въ томъ, чтобы доставить другимъ удовольствіе и счастье? Эти два человѣка расходятся между собою только во вкусахъ; оба идутъ къ одной цѣли—къ наслажденію; первый пускаетъ въ ходъ тѣ жалкія средства, которыя отыскиваетъ его узенькій умъ и до которыхъ дощупывается его бѣдная, хилая природа; второй живетъ всѣми фибрами своего организма, дышетъ полной грудью, смотритъ на міръ весело, любовно, радуется свѣжей жизни окружающей природы и довольству, разлитому на лицахъ близкихъ и дорогихъ ему людей; одинъ вѣчно безстрастенъ, вялъ, почти боленъ; другой здоровъ, свѣжъ, бодръ и вслѣдствіе этого воспримчивъ къ радостямъ окружающаго міра; различіе, какъ видите, лежитъ скорѣе въ темпераментѣ, чѣмъ въ системѣ умственныхъ убѣжденій. Повторяю: эгоизмъ, если понимать его какъ слѣдуетъ, есть только полная свобода личности, уничтоженіе обязательныхъ трудовъ и добродѣтелей, а не искорененіе добрыхъ влеченій и благородныхъ порывовъ. Пусть только никто не требуетъ подвиговъ, пусть никто не навязываетъ влече-

ній и порывовъ, пусть общество уважаетъ личность настолько, чтобы не осуждать ее за отсутствіе влеченій и порывовъ, и пусть самъ человѣкъ не старается искусственно прививать къ себѣ и воспитывать въ себѣ эти влеченія и порывы,—вотъ все, чего можно желать отъ послѣдовательнаго проведенія и сознательнаго воспринятія идеи эгоизма. Гнетъ общества надъ личностью такъ-же вреденъ, какъ гнетъ личности надъ обществомъ; еслибы всякій умѣлъ быть свободенъ, не стѣняя свободы своихъ сосѣдей и членовъ своего семейства, тогда, конечно, были бы устранены причины многихъ несчастій и страданій. Другими словами, еслибы всякій былъ эгоистомъ по-своему, не мѣшая другимъ быть эгоистами по-своему, тогда не было бы въ среднемъ кругу ни ссоръ, ни сплетенъ, ни скандаловъ. Въ *среднемъ кругу*, говорю я, потому что для низшихъ слоевъ общества есть такое зло, которое до сихъ поръ не могли устранить, при всѣхъ своихъ усиліяхъ, лучшіе мыслители Европы. Это зло—пролетаріатъ со всѣми своими ужасными послѣдствіями. Отысканіе средства, долженствующаго устранить это зло, принадлежитъ еще будущему времени.

Большая часть идей, находящихся въ обращеніи между передовыми людьми нашего вѣка, превратно понимается массой нашего общества и вслѣдствіе этого не находитъ себѣ довѣрія. Ничтожный и дешевый скептицизмъ, съ которымъ встрѣчаются у насъ самыя честныя воззрѣнія, самыя теплыя выраженія человѣческаго чувства, самыя благородныя и широкія стремленія мысли, доказываютъ, что наше общество вообще равнодушно къ истинѣ и красотѣ, или что оно не понимаетъ, въ чемъ дѣло. Последнее, мнѣ кажется, вѣрнѣе; схвативъ верхушку образованія, слыша слова, знакомыя по французскимъ учебникамъ и романамъ, наша публика всякую идею понимаетъ по-своему, т. е. вкривъ и вкось, а наши критики, не давая себѣ труда разъяснить ей самыя элементарныя понятія, проповѣдуютъ въ пустынь и не производятъ на своихъ читателей никакого вліянія, потому что эти читатели принимаютъ ихъ за педантовъ, фразеровъ или шарлатановъ. Видя то, какъ общество относится къ идеямъ, составляющимъ славу нашего вѣка, можно уже до нѣкоторой степени составить себѣ понятіе о достоинствѣ его нравственныхъ воззрѣній. Покорность существующему порядку вещей и отношеній составляютъ одно изъ главныхъ нравственныхъ требованій. Протестъ, какъ бы ни былъ онъ законенъ и неизбеженъ, въ какой бы формѣ онъ ни выразился, всегда осуждается, какъ преступленіе. Семейная іерархія во всей своей строгости поддерживается общественнымъ мнѣніемъ; это общественное мнѣніе караетъ какъ тѣхъ, кто снизу возмущается противъ этой



іерархіи, такъ и тѣхъ, кто сверху ослабляетъ okay семейнаго деспотизма. Первыхъ оно называетъ непочтительными дѣтьми, вторыхъ — слабыми родителями. Отношенія между молодыми людьми разныхъ половъ находятся подъ самымъ дѣятельнымъ надзоромъ общественнаго мнѣнія. Въ правильности этихъ отношеній и заключается весь мистическій смыслъ условной нравственности. Всякое проявленіе чувства между молодыми людьми, не связанными узами брака и даже не помолвленными, считается наглým оскорбленіемъ общественной нравственности. Честная дѣвушка должна больше всѣхъ любить папечку съ маменькой, а потомъ, когда ее выдадутъ замужъ, она должна всю сумму своей любви перенести на мужа, а потомъ, когда у нея родятся дѣти, — на дѣтей. Жить такимъ образомъ — значитъ исполнять свой долгъ. Если дѣвушка замѣчаетъ въ своихъ родителяхъ недостатки, она должна убѣждать себя въ томъ, что это ей только такъ показалось, или же что эти свойства не недостатки, а хорошія качества; если она страдаетъ отъ этихъ недостатковъ, она должна принять эти страданія съ покорностью и считать ихъ крестомъ, возложеннымъ на нее Богомъ; стараться объ устраненіи этихъ страданій — грѣшно. Если родители — люди дурные, то дочь должна считать ихъ хорошими людьми и любить ихъ, какъ таковыхъ; впрочемъ брать съ нихъ примѣръ общественнаго мнѣнія не велитъ. Если дѣвужкѣ случится полюбить молодого человѣка, она немедленно должна во всемъ признаться своимъ родителямъ или по крайней мѣрѣ маменькѣ, хотя бы она со стороны послѣдней не могла ожидать себѣ сочувствія, хотя бы даже ей пришлось за это выслушать упреки и испытать прѣпятствія; если маменька посоветуетъ ей прервать сношенія въ любимымъ человѣкомъ или, говоря языкомъ патріархальнаго быта, велитъ выкинуть дурь изъ головы, она должна немедленно повиноваться; если родители приищутъ ей жениха, способнаго составить ей счастье, человѣка солиднаго, т. е. прилично-пожилого, одареннаго состояніемъ, чинами и знаками отлчія, она должна съ благодарностью принять отъ нихъ это доказательство ихъ заботливости; въ подобномъ случаѣ общественное мнѣніе поощряетъ только со стороны невѣсты обильныя слезы, долженствующія служить доказательствомъ неизмѣнной привязанности къ родительскому дому; впрочемъ эта привязанность, очень похвальная, если она проявляется до свадьбы, можетъ показаться странной и даже предосудительной, если она слишкомъ сильно будетъ выражаться послѣ замужества. Молодые должны быть, или казаться, счастливыми; молодая женщина должна быть довольна своей участью, хотя бы ее супругу было подъ семьдесятъ лѣтъ и хотя бы ей при-

ходило быть сплѣшкой, а не женой; если она покажется недолюбливаемой и если — Боже упаси! — въ числѣ знакомыхъ ее мужа отыщется какой-нибудь юноша, котораго нельзя будетъ называть уродомъ, — общественное мнѣніе отмѣтитъ ее и возьметъ ее подъ присмотръ; при малѣйшемъ предлогѣ молодая женщина будетъ обвинена въ нарушеніи супружеской вѣрности, и репутація ее будетъ замарана; объ ней никто не пожалѣетъ, никто не вмѣнитъ ей въ заслугу многолѣтняго повиновенія родителямъ; все прежнее образцовое поведеніе будетъ вмѣнено ей въ вину. «Какова! — скажутъ всѣ — а еще какой смиренницей прикидывалась! Ужъ подлинно въ тихомъ омутѣ...» Я нарочно выбралъ женщину для того, чтобы по ее личности прослѣдить требованія общественной нравственности.

По физическимъ силамъ, по силѣ умственныхъ силъ, вырабатывающихся въ ней воспитаніемъ, по положенію и правамъ своимъ въ обществѣ, женщина является намъ существомъ слабымъ, подчиненнымъ, подавленнымъ. И общественное мнѣніе только къ тому и стремится, чтобы представить эту слабость нормальнымъ положеніемъ, чтобы упрочить гнетъ, чтобы еще больше подавить и безъ того подавленную личность. *Vae victis!* — вотъ варварскій девизъ этого общественнаго мнѣнія. Нѣтъ въ немъ ни человѣколюбія, ни справедливости. Поклоненіе силѣ, къ чему бы она ни примѣнялась, узаконеніе существующаго порядка вещей, какъ бы ни былъ онъ безобразенъ, осужденіе слабого, какъ бы ни были справедливы его притязанія, перевѣсъ авторитета надъ здравымъ смысломъ, — словомъ, необузданный консерватизмъ патріархальнаго быта, — вотъ чѣмъ отличается наше общественное мнѣніе. Оно знаетъ и поощряетъ только два рода добродѣтелей: со стороны старшихъ и начальниковъ — строгость, твердость, настойчивость, не допускающія разсужденія, не смягчаемыя уваженіемъ къ подчиненному, не признающія въ немъ самобытной личности; со стороны младшихъ и подчиненныхъ — пассивное, безсмысленное, чисто виѣшнее повиновеніе, несовмѣстное съ умственной самостоятельностью и обидное для человѣческаго достоинства. Это общественное мнѣніе формируетъ только рабовъ и деспотовъ; свободныхъ людей нѣтъ; кто не чувствуетъ надъ собою гнета, тотъ гнететъ самъ и вымещаетъ на своихъ подчиненныхъ то, что ему приходилось терпѣть въ молодые годы. Что нарушить эти преемственные преданія школы, семейства и общественнаго быта? когда произойдетъ это нарушеніе? — на все это отвѣтитъ будущее. Но такъ жить, какъ жило и до сихъ поръ живетъ большинство нашего общества, можно только тогда, когда не знаешь о возможности лучшаго порядка вещей и когда не понимаешь своего страданія.



## VIII.

Все, что я говорил о нашем провинціальномъ обществѣ,—искусственность занимающихъ его интересовъ, грубость семейныхъ отношеній, неестественность нравственныхъ воззрѣній, подавленіе личной самостоятельности гнетомъ общественнаго мнѣнія,—все это выразилось въ повѣсти «Тюфякъ». Мое дѣло будетъ обратить вниманіе читателя на тѣ факты, которые всего болѣе даютъ матеріаловъ для размышленія. Въ «Тюфякъ» есть двѣ женщины; одну изъ нихъ мы знаемъ—это жена Бешметева; ее всѣ ожидаютъ, съ нею никто не знакомится; знакомыя съ нею дамы прерываютъ съ нею сношенія; все это дѣлается за то, что ее подозрѣваютъ въ интригѣ съ Бахтіаровымъ. Вотъ вамъ образчикъ общественной логики: выйти замужъ за человѣка, котораго не любишь,—не бѣда; отдаться любимому человѣку—стыдно и грѣшно. Другая женщина—сестра Бешметева; ея мужъ—лгуны, мотъ, игрокъ, человѣкъ пустой и ограниченный; въ немъ нѣтъ сильныхъ страстей и пороковъ, но зато нѣтъ ни одной свѣтлой, человѣческой черты, за которую можно было бы простить ему его гаденькія свойства; съ такимъ джентльменомъ живешь умная, честная, хоть и неразвитая женщина; въ отношеніи къ нему она хранитъ супружескую вѣрность; она страдаетъ отъ его пошлости; ей просто нечѣмъ жить, нечѣмъ дышать,—и она дѣйствительно медленно истлѣваетъ, сохнетъ отъ пустоты жизни, отъ недостатка внутренняго содержанія. Общественное мнѣніе не жалѣетъ объ ней и не возмущается ея бесполезнымъ самоотверженіемъ; оно говоритъ, что Лизавета Васильевна Масурова — добродѣтельная женщина, исполняющая свои обязанности! Еслибы Лизавета Васильевна любила и уважала своего мужа, тогда въ исполненіи ея обязанностей не было бы ничего оскорбительнаго для ея человѣческаго достоинства, тогда она сама была бы счастлива, и въ ея образѣ дѣйствій не видно было бы подвиговъ самоотверженія. Именно по этой причинѣ наше общество, воспитанное въ правилахъ приниженія личности, не поставило бы ей въ заслугу ея хорошаго поведенія; въ нашемъ обществѣ глубоко коренится взглядъ на добродѣтель, какъ на насиліе надъ природою. Вы услышите на каждомъ шагѣ: «Что-жъ за важность, что такой-то не пьетъ?—Онъ не расположенъ къ вину. Что за важность, что такая-то хорошо живетъ съ мужемъ?—Она его любитъ». Если судить такимъ образомъ, то надо всегда ставить раскаявагося преступника выше человѣка, неспособнаго сдѣлать преступленіе. Естественное расположеніе къ добру считается въ такомъ случаѣ счастливою принадлежностью человѣче-

ской природы, счастливѣе преимуществомъ, а не результатомъ акта свободной воли. По нравственнымъ понятіямъ нашего общества, свободная воля человѣка должна быть направлена на то, чтобы ломать врожденныя наклонности, искоренять тѣ слабости, которыя всего болѣе свойственны нравственному организму, и прививать тѣ добродѣтели, которыя ему всего болѣе антипатичны. Идеализмъ, т. е. выкраиваніе людей на одинъ образецъ и вражда къ матеріи, какъ къ источнику всякаго зла, лежитъ въ основаніи этихъ нравственныхъ воззрѣній, которыя раздѣляютъ съ массою даже лучшіе люди общества. Они восхваляютъ женщину за то, что она исполняетъ свои обязанности въ отношеніи къ нелюбимому мужу;—они не понимаютъ того, что выйти замужъ за нелюбимаго человѣка—возмутительно. Они не понимаютъ того, что женщина, соглашающаяся принадлежать человѣку, котораго она разлюбила, подавляетъ въ себѣ естественный голосъ женской гордости и стыдливости и профанируетъ актъ любви, сводя его на степень хладнокровно исполняемаго, условнаго обряда. Здѣсь, какъ и вездѣ, приговоры общественнаго мнѣнія клонятся къ тому, чтобы извратить и изуродовать чувство человѣческаго достоинства, чтобы въ угоду неосознательному принципу раздавить и уничтожить живую личность. Самъ Бешметевъ можетъ служить намъ яркимъ примѣромъ того нравственнаго развращенія, которое въ грязной средѣ выпадаетъ на долю молодой и слабой личности, стоявшей на хорошей дорогѣ, но не сумѣвшей на ней удержаться. Поддержало-ли, остановило-ли его хоть на минуту общественное мнѣніе? Напротивъ, оно постоянно толкало его къ паденію, и потому, когда онъ повалился въ пропасть, оно отреклось отъ своего поступка и рѣзко осудило его за нравственное униженіе. Переходъ отъ ученой карьеры къ бюрократической дѣятельности, нелѣпыя отношенія къ женѣ, посягательства на ея свободу, грубая ревность, притѣсненія и попреки—все это оправдывало общественное мнѣніе, ко всему этому оно подзадоривало доврчиваго Тюфяка, и все это привело къ чему-же?—Къ внутренней пустотѣ, къ озлобленію противъ жены, къ недовольству собою и людьми, къ желанію забыться, къ пьянству запоемъ, къ грязному паденію нравственныхъ силъ, къ разрушенію здоровья, къ преждевременной смерти. И что-же сдѣлали тѣ старшіе родственники, которые, какъ проводники общественнаго мнѣнія, управляли дѣйствіями Бешметева? Увидали-ли они по крайней мѣрѣ, что слишкомъ хорошо повиноваться ихъ совѣтамъ—нелѣзно? Поняли-ли они свою оплошность? Сознали-ли они свою неспособность руководить дѣйствіями молодыхъ и свѣжихъ личностей?—Нимало! Они отступились отъ своего дѣла и не хотѣли по-



нять того, что несчастія, свалившіяся на Бешметева, составляютъ естественныя слѣдствія своей неѣпости. И это судьи! Это законодатели общественнаго мнѣнія!

## ПИСЕМСКИЙ, ТУРГЕНЕВЪ И ГОНЧАРОВЪ

(Сочиненія А. Ѳ. Писемскаго. Т. I и II. Сочиненія Н. С. Тургенева).

### I.

Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ принадлежатъ къ одному поколѣнію. Это поколѣніе уже давно созрѣло и теперь клонится къ старости; дѣти этого поколѣнія уже способны рѣшать по-своему вопросы жизни, и потому отцы постепенно становятся дѣтелями прошедшаго времени и для нихъ настаетъ судъ ближайшаго потомства. Пора провѣрить результаты ихъ работъ, не для того, чтобы выразить имъ свою признательность или неудовольствіе, а просто для того, чтобы пересчитать умственный капиталъ, достоящійся намъ отъ прошедшаго, узнать сильныя и слабыя стороны нашего наслѣдства и сообразить, что въ немъ можно оставить на старомъ основаніи и что надо фундаментально передѣлать. Всего этого наслѣдства разомъ не оглядишь; оно, какъ и все русское, велико и обильно. Посмотримъ на первый разъ, что оставили намъ наши первоклассные романисты, лучшіе представители русской поэзіи сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ. Вопросъ, поставленный мною, шире, чѣмъ можетъ подумать читатель. Романы Писемскаго, Гончарова и Тургенева имѣютъ для насъ не только эстетическій, но и общественный интересъ; у англичанъ рядомъ съ Диккенсомъ, Теккереемъ, Бульверомъ и Эллиотомъ есть Джонъ Стюартъ Милль; у французовъ рядомъ съ романистами есть публицисты и социалисты; а у насъ въ изящной словесности, да въ критикѣ на художественныя произведенія сосредоточилась вся сумма идей нашихъ объ обществѣ, о человѣческой личности, о междучеловѣческихъ, семейныхъ и общественныхъ отношеніяхъ; у насъ нѣтъ отдѣльно существующей нравственной философіи, нѣтъ социальной науки; стало быть, всего этого надо искать въ художественныхъ произведеніяхъ. Я говорю: *надо искать*, потому что не можетъ-же быть, чтобы люди, имѣющіе знакомыхъ, жену, дѣтей, состоящіе на государственной или частной службѣ, и при томъ сколько-нибудь способные размышлять, не составляли себѣ извѣстныхъ понятій о своихъ отношеніяхъ, о жизни и ея требованіяхъ;

не можетъ быть, чтобы, составивъ себѣ эти понятія, они не дѣлились ими съ тѣми, кто можетъ ихъ понимать. Въмѣсто того, чтобы сообщать результаты своихъ наблюдений въ отвлеченной формѣ, они стали облекать идею въ образы. Многіе изъ нашихъ беллетристовъ сдѣлались художниками потому, что не могли сдѣлаться общественными дѣтелями или политическими писателями; что-же касается до истинныхъ художниковъ по призванію, то они также должны были какою-нибудь стороною своей дѣятельности сдѣлаться публицистами.

Кто, живя и дѣйствуя въ сороковыхъ и пятидесятихъ годахъ, не проводилъ въ общественное сознаніе живыхъ, общечеловѣческихъ идей, того мы уважать не можемъ, того потомство не помѣтитъ въ число благородныхъ дѣтелей русскаго слова. Гг. Фетъ, Полонскій, Щербина, Грековъ и многіе другіе микроскопическіе поэтики забудутся такъ-же скоро, какъ тѣ журнальныя книжки, въ которыхъ они печатаются. «Что вы для насъ сдѣлали?» спроситъ этихъ господъ молодое поколѣніе. «Чѣмъ вы обогатили наше сознаніе? Чѣмъ вы насъ шевельнули, чѣмъ заронили въ насъ искру негодованія противъ грязныхъ и дикихъ сторонъ нашей жизни? Сказали-ли вы теплое слово за идею? Разбили-ли вы хоть одно господствующее заблужденіе? Стояли-ли вы сами, хоть въ какомъ-нибудь отношеніи, выше воззрѣній вашего времени?» На всѣ эти вопросы, возникающіе сами собою при оцѣнкѣ дѣятельности художника, наши версификаторы ничего не сумѣютъ отвѣтить. Мало того. Они не поймутъ этихъ вопросовъ и останутся въ недоумѣніи; они въ наивности души увѣрены въ величій своихъ заслугъ и въ правахъ своихъ на всеобщую признательность; они думаютъ, что, шлифуя русскій стихъ, баюкая насъ своими тихими мелодіями, воспѣвая на тысячу ладовъ мелкіе отѣнки мелкихъ чувствъ, они приносятъ пользу русской словесности и русскому просвѣщенію. Они считаютъ себя художниками, имѣя на это званіе такія-же права, какъ модистка, выдумавшая новую куафюру.



Чтобы эти слова не казались бессмысленною выходкой, лаявием на луну, я считаю нелишнимъ сказать нѣсколько словъ о томъ, что я понимаю подъ словомъ «художникъ». Вотъ видите-ли, всѣ мы смотримъ на какой-нибудь уличный скандалъ, но не во всѣхъ насъ это зрѣлище западетъ одинаково глубоко, не всѣхъ насъ оно потрясетъ одинаково сильно. Чего, чего не передумалъ бы человѣкъ впечатлительный, присутствуя, положимъ, при подвигѣ расправы надъ извозчикомъ; одна эта сцена показала бы ему только эпизодомъ длинной, никому не вѣдомой драмы, разыгрывающейся каждый день безъ свидѣтелей въ разныхъ бѣдныхъ квартирахъ, на улицахъ, «подъ овиномъ, подъ стогомъ», — вездѣ, гдѣ бѣдный и слабый терпитъ горькую долю отъ богатаго и сильного. Воображеніе дорисовало бы недостающія подробности; естественное, гуманное чувство, воспитанное разностороннимъ образованіемъ, согрѣло бы всю картину, и вотъ изъ грубой уличной сцены возникло бы художественное произведеніе, которое навѣрное подѣйствовало бы на читателя, шевельнуло бы его или заставило бы его задуматься. Кто по природѣ и по воспитанію впечатлительнъ, да кто усвоилъ себѣ умѣнье передавать свои впечатлѣнія другимъ такъ, чтобы они могли перечувствовать то, что онъ самъ чувствуетъ, тотъ и художникъ. Умѣнье передавать составляетъ техническую сторону искусства и пріобрѣтается навыкомъ и упражненіемъ. Способность воспринимать, или впечатлительность составляетъ принадлежность человѣческаго характера художника; эта способность кроется въ строеніи нервовъ, рождается вмѣстѣ съ нами и, конечно, развивается или притупляется обстоятельствами жизни. Умѣнье передавать, или виртуозность формы сама по себѣ не можетъ сильно и обаятельно подѣйствовать на читателя; не угодно-ли вамъ, напримѣръ, описать самымъ яркимъ и подробнымъ образомъ лицо вашего героя такъ, чтобы читатель, видѣлъ каждую морщинку на его лбу, каждый волосокъ на его бровяхъ, каждую бородавку на лбу или щекѣ? На каждой академической выставкѣ есть нѣсколько подобныхъ картинъ; тутъ, положимъ, художникъ нарисовалъ палитру, карандашъ и куски красокъ; въ другомъ мѣстѣ—корзину съ цвѣтами или разрѣзанный арбузъ; въ третьемъ—портретъ какого-нибудь господина, у котораго бобровый воротникъ и пуговицы на шинели выдѣланы такъ тщательно, что не знаешь, портретъ-ли это, или вывѣска мѣховщика. Ахъ, какъ натурально, скажете вы, но представить себѣ, чтобы художникъ, рисуя всѣ эти прелести, что-нибудь думалъ или чувствовалъ, вы рѣшительно не будете въ состояніи. Вы увидите, что такой-то господинъ хорошо составляетъ краски и ловко владѣетъ кистью, но человѣческаго характера этого господина вы не увидите; ни мысли его,

ни чувства вы не уловите; отходя отъ картины, вы будете въ правѣ сказать, что такой-то NN тратитъ свое замѣчательное умѣнье на совершеннѣйшіе пустяки; почему это происходитъ — на это могутъ быть многія причины: или г. NN не настолько уменъ, чтобы составить въ головѣ свой планъ картины, или не настолько развить, чтобы умѣть обставить свою идею, или не настолько впечатлительнъ, чтобы нечаянно наткнуться на сюжетъ и, почти помимо собственной воли, выносить и взлѣдѣять его въ груди. Во всякомъ случаѣ, этотъ NN—художникъ только на-половину, настолько-же, насколько можетъ быть названъ художникомъ поваръ, отлично изготовившій кулебяку. NN совершенно воленъ рисовать палитры, арбузы и мѣховые воротники всѣхъ цвѣтовъ и достоинствъ, но мы, зрители, также совершенно вольны восхищаться или не восхищаться его малеваніями.

Перенесемъ теперь то, что было сказано о живописи, на поэзію. Къ сожалѣнію, область поэзіи въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ далеко не такъ обширна, какъ область живописи. Вы можете, напримѣръ, нарисовать картину, не выразивъ ровно никакой идеи и никакого чувства; эта завидная привилегія совершенно отнимается у васъ, когда вы берете орудіемъ своимъ — слово; тогда надо непременно что-нибудь сказать; читая самое наглядное описаніе какого-нибудь плетня или огорода, читатель никакъ имъ не удовлетворится, а все будетъ спрашивать, что-же дальше? Если-же вы ему ничего дальше не дадите, то онъ подумаетъ, что вы надъ нимъ подшутили, и, чего добраго, найдетъ вашу шутку довольно плоскою. На этомъ основаніи каждый поэтъ, какъ бы онъ ни дорожилъ своей художнической свободой и какъ бы ни былъ ему враждебенъ элементъ мысли, старается чисто для приличія прикинуться въ своихъ произведеніяхъ мыслящимъ и чувствующимъ. Никто, конечно, не упрекнетъ Фета, Мея и Полонскаго въ томъ, чтобы они были глубокіе мыслители, а между тѣмъ и въ ихъ лирическихъ стихотвореніяхъ есть подобія мыслей и чувствъ; случается, правда, что вы прочтете маленькое стихотвореніе въ три-четыре куплета и тотчасъ-же забудете его, какъ забываете докуренную сигару; но зато это стихотвореніе подѣйствовало на вашу нервную систему почти такъ-же, какъ сигара; первые два стиха подкупили васъ своей благозвучностью, первыя четыре рimes ублажали васъ своимъ мѣрнымъ паденіемъ, и вы дочитываете до конца, находясь въ состояніи пріятной полудремоты и потерявъ всякую способность да и всякое желаніе отнестись критически къ прочитанному произведенію. Такого рода чтеніе дѣйствительно хорошо въ гигиеническомъ отношеніи послѣ обѣда, и кромѣ того такого рода стихотворенія очень полезны въ типографскомъ отноше-



нии для пополненія бѣлыхъ полосъ, т. е. страницъ, между серьезными статьями и художественными произведеніями, помѣщающимися въ журналахъ. Но знаете-ли, что часто случается? Дженгльмэнъ, наполнившій гладкими пустяками штукъ полтора-та такихъ бѣлыхъ полосъ, производится въ русскіе поэты, становится авторитетомъ, издаетъ собраніе своихъ стихотвореній и начинаетъ помышлять о признательности потомства, о монументѣ аере регеннius. Я совершенно согласенъ признать за ними права на монументъ, но позволю себѣ только дать читателю такихъ поэтовъ одинъ совѣтъ: попробуйте, милостивый государь, переложить два-три хорошенькія стихотворенія Фета, Полонскаго, Щербина или Бенедиктова въ прозу и прочтите ихъ такимъ образомъ. Тогда всилывутъ наверхъ, подобно деревянному маслу, два драгоценныя свойства этихъ стихотвореній: во-первыхъ, — неподражаемая мелкость основной идеи, и во-вторыхъ, — колоссальная напыщенность формы; какъ покажется, будто вы по ошибкѣ раскрыли томъ сочиненій Марлинскаго, вы ошибаете семейство Манюкова или даже надписи на конфетныхъ билетикахъ, вы закроете книгу и, вѣроятно, согласитесь съ моимъ мнѣніемъ. Мнѣ кажется, что въ стихахъ, какъ и въ прозѣ, прежде всего нужна мысль; отсутствіе мысли можетъ быть замаскировано фантастическими арабесками и затуманено гладкостью и музыкальностью стиховъ; но то, что лишено мысли, никогда не произведетъ сильнаго впечатлѣнія.

У нашихъ лириковъ, за исключеніемъ Майкова и Некрасова, нѣтъ никакого внутренняго содержанія; они не настолько развиты, чтобы стоять въ уровень съ идеями вѣка; они не настолько умны, чтобы собственными силами здраваго смысла выхватить эти идеи изъ воздуха эпохи; они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающія ихъ явленія обыденной жизни, отражать въ своихъ произведеніяхъ фizioномію этой жизни съ ея бѣдностью и печалью. Имъ доступны только маленькія тревоженія ихъ собственнаго, узенькаго, психическаго міра: какъ дрогнуло сердце при взглядѣ на такую-то женщину, какъ сдѣлалось грустно при такой-то разлукѣ, что шевельнулось въ груди при воспоминаніи о такой-то минутѣ, — все это описано, можетъ быть, и вѣрно, все это выходитъ иногда очень мило, только ужъ больно мелко; кому до этого дѣло, и кому охота вооружаться терпѣньемъ и микроскопомъ, чтобы черезъ нѣсколько десятковъ стихотвореній слѣдить за тѣмъ, какимъ манеромъ любитъ свою возлюбленную Фетъ, или Мей, или Полонскій? Поучитесь-ка, гг. лирики, почитайте да подумайте! Вѣдь нельзя, называя себя русскимъ поэтомъ, не знать того, что наша эпоха занята интересами, идеями, вопро-

сами гораздо пошире, глубже и поважнѣе вашихъ любовныхъ похощеній и нѣжныхъ чувствованій. Впрочемъ, опять-таки говорю, вы вольны дѣлать, какъ угодно, но и я, какъ читатель и критикъ, воленъ обсуживать вашу дѣятельность, какъ *мнѣ* угодно. И дѣятельность ваша, вѣроятно, не на однихъ моихъ глазахъ покажется больно пустой и безцвѣтной.

Не трудно, конечно, понять, почему я изъ числа нашихъ лириковъ выгородилъ Майкова и Некрасова. Некрасова, какъ поэта, я уважаю за его горячее сочувствіе къ страданіямъ простаго человѣка, за честное слово, которое онъ всегда готовъ замолвить за бѣдняка и угнетеннаго. Кто способенъ написать стихотворенія: «Филантропъ», «Эпилогъ къ ненаписанной поэмѣ», «Бѣду-ли ночью по улицѣ темной», «Саша», «Живя согласно съ строгою моралью», — тотъ можетъ быть увѣренъ въ томъ, что его знаетъ и любитъ живая Россія. Майкова я уважаю, какъ умнаго и современно развитого человѣка, какъ проповѣдника гармоническаго наслажденія жизнью, какъ поэта, имѣющаго опредѣленное, трезвое міросозерцаніе, какъ творца «Трехъ Смертей», «Савонароллы», «Приговора», и т. д. Всякій согласится, что эти два лирика, Майковъ и Некрасовъ, по уму, по таланту, по развитію и по отношенію своему къ современной жизни стоятъ неизмѣримо выше тѣхъ версификаторовъ, о которыхъ я говорилъ на предыдущей страницѣ. Но все-таки, если мы желаемъ изучить тотъ запасъ общечеловѣческихъ идей, который находился въ обращеніи въ мыслящей части нашего общества, если мы хотимъ прослѣдить, какъ эта мыслящая часть относилась къ жизни массы, то мы преимущественно должны обратить наше вниманіе на тѣхъ трехъ романистовъ, которыхъ имена выписаны въ заглавіи статьи. Ихъ личности, ихъ манера писать, условія ихъ развитія, складъ ихъ таланта, взгляды на жизнь — все это представляетъ самое пестрое разнообразіе; между тѣмъ всѣ трое пользуются постоянной любовью нашей публики, слѣдовательно или каждый изъ нихъ какой-нибудь стороной своего таланта удовлетворяетъ требованіямъ этой публики, или, извините за откровенность, эта публика не предъявляетъ никакихъ опредѣленныхъ требованій и кушаетъ всѣмъ разбору все, что ей ни поднесутъ. Оба эти предположенія имѣютъ нѣкоторую долю основательности. Дѣйствительно, публика наша не взыскательна и мало развита, какъ въ эстетическомъ, такъ и во всякомъ другомъ отношеніи; съ другой стороны, каждый изъ трехъ названныхъ романистовъ имѣетъ свою характерную особенность; въ Гончаровѣ, напр., развита та сторона, которая слаба въ Тургеневѣ и Писемскомъ; въ Писемскомъ есть такія достоинства, которыхъ вы не найдете ни въ Тургеневѣ, ни въ Гонча-



ровѣ; Тургеневъ задѣнетъ въ вѣсь такіа струны, которыхъ не шевельнетъ ни Гончаровъ, ни Писемскій; стало быть, публика наша, читая ихъ вмѣстѣ и находя всѣхъ троихъ по своему вкусу, поступаетъ очень основательно; она для своего умственного продовольствія располагается точно такъ же благоразумно, какъ опытная хозяйка, заказывающая хорошій обѣдъ и инстинктивно устраивающая такъ, чтобы одно кушанье дополнялось другимъ, чтобы питательныя вещества, не находящіяся въ мясѣ, приносились въ соусѣ и приправѣ, и чтобы такимъ образомъ организмъ вынесъ изъ-за стола возможно большее количество обновляющаго матеріала.

Чтобы открыть характерныя особенности каждаго изъ нашихъ трехъ романистовъ, надо поговорить довольно подробно о каждомъ изъ нихъ въ отдѣльности. Я начну съ Гончарова; онъ писалъ меньше Писемскаго и Тургенева; его романы менѣе замѣчательны для характеристики русской жизни, и потому съ нимъ легче справиться; покончивши съ нимъ, я оставлю все вниманіе читателей на параллели между Писемскимъ и Тургеневымъ.

## II.

Гончаровъ написалъ только два капитальные романа: «Обыкновенную Исторію» и «Обломова». Первый изъ этихъ романовъ сразу поставилъ его въ ряды первоклассныхъ русскихъ литераторовъ, и его «Очерки кругосвѣтнаго плаванія» и «Обломовъ» были встрѣчены журналами и публикой съ такою радостью, съ какой рѣдко встрѣчаются на Руси литературныя произведенія. Мнѣ кажется, причины этого замѣчательнаго явленія заключаются преимущественно въ томъ, что Гончаровъ по плечу всякому читателю, т. е. для всякаго ясенъ и понятенъ. Онъ вездѣ стоитъ на почвѣ чистой современной практичности, и при томъ практичности не западной, не европейской, а той практичности, которой отличаются образованные петербургскіе чиновники, читающіе помѣщики, разсуждающіа о современныхъ предметахъ барыни, и т. п. Прочтите Гончарова отъ начала до конца и вы, по всей вѣроятности, ничѣмъ не увлечетесь, ни надѣясь не замечаетесь, ни о чемъ горячо не спорите съ авторомъ, не назовете его ни обскурантомъ, ни рынымъ прогрессистомъ, и, закрывая послѣднюю страницу, скажете очень хладнокровно, что Гончаровъ—очень умный и основательно разсуждающій господинъ. У Гончарова нѣтъ никакого конька, никакой любимой идеи; утопія всякаго рода ему совершенно враждебна; ко всякому увлеченію онъ относится съ легкимъ и вѣжливымъ отбѣнкомъ ироніи; онъ—скептикъ, не доводящій своего скептицизма до крайности; онъ—практикъ и материалистъ, способный ужиться съ фантазеромъ

и идеалистомъ; онъ—эгоистъ, не рѣшающійся взять на себя крайнихъ выводовъ своего міросозерцанія и выражающій свой эгоизмъ въ тепловатомъ отношеніи къ общимъ идеямъ, или даже, гдѣ возможно, въ *игнорированіи* чловѣческихъ и гражданскихъ интересовъ. Этотъ эгоизмъ проглядываетъ во всѣхъ его произведеніяхъ; кто читалъ «Фрегатъ Палладу» и «Обломова», тотъ не найдетъ удивительнымъ мое мнѣніе. Постоянно спокойный, ничѣмъ не увлеченный романнистъ нашъ развязно подходитъ къ запутаннымъ вопросамъ общественной и частной жизни своихъ героевъ и героинь; безстрастно и безпристрастно осматриваетъ онъ положеніе, отдавая себѣ и читателю самый ясный и подробный отчетъ въ мелкихъ его особенностяхъ, становясь поочередно на точку зрѣнія каждаго изъ дѣйствующихъ лицъ, не сочувствуя особенно сильно никому и понимая по-своему всѣхъ. Онъ обсуживаетъ положеніе и свойства своихъ дѣйствующихъ лицъ, но всегда воздерживается отъ окончательнаго приговора. Прочитавши «Обыкновенную Исторію», читатель не можетъ сказать, чтобы авторъ сочувствовалъ старшему Адуеву, и не можетъ также сказать, чтобы онъ находилъ его неправымъ; сочувствія къ младшему Адуеву также не видно ни въ ту минуту, когда онъ составляетъ совершенную противоположность съ своимъ дядей, ни въ тотъ моментъ, когда онъ становится на него похожимъ. Вслѣдствіе этого, оканчивая послѣднюю страницу романа, читатель чувствуетъ себя неудовлетвореннымъ. «Обыкновенная Исторія» производитъ такое впечатлѣніе, какое могла бы произвести отлично нарисованная, но неясно освѣщенная картина; мы чувствуемъ, что авторъ романа—человѣкъ умный, наблюдательный и способный осмысливать свои наблюденія; этотъ человѣкъ говоритъ съ нами о явленіяхъ нашей жизни, описываетъ ихъ подробно и наглядно, изображаетъ вліяніе этихъ явленій на молодое существо, знакомящееся съ жизнью, но изображаетъ чисто вѣшнымъ образомъ, перечисляя только симптомы переменъ, происходящихъ въ его героѣ.

Очень естественно, что читатель, занятый рессованный настолько-же личностью рассказчика, насколько нитью самаго разсказа, ждетъ на каждой страницѣ, чтобы авторъ въ постановкѣ образовъ или въ лирическомъ отступленіи выразилъ бы свои воззрѣнія, сказалъ бы: я считаю это хорошимъ, а то дурнымъ, по такимъ-то причинамъ. Мнѣ могутъ возразить на это, что объективность—высшее достоинство эпического поэта; я отвѣчу, что это одна изъ тѣхъ наслѣдованныхъ отъ прошедшаго фразъ, которыми пробавляются, за непмѣніемъ лучшаго, эстетика и критика,—одна изъ тѣхъ фразъ, въ которыхъ многіе свѣдущіе, но робкіе люди видятъ предѣлъ. «его-же не преидеши». Во-пер-



выхъ, эпическая поэзія въ чистомъ видѣ своемъ теперь невозможна; попробуйте рассказывать событія безъ основной мысли, не группируя ихъ такъ, чтобы читатель могъ видѣть просвѣщающую идею, — вы собьетесь на Дюма-отца, Февала и компанію, и ни одинъ развитой человѣкъ не раскроетъ вашей книги и не скажетъ вамъ спасибо за ваше эпическое спокойствіе. Рассказывать что-нибудь безъ особенной цѣли даже своимъ знакомымъ — свойственно только празднему болтуну или дряхлѣющему старцу, а рассказывать для процесса рассказыванія всей читающей публикѣ — просто недобросовѣстно и невѣжливо; надо помнить, что публика за рассказы платитъ деньги и на чтеніе ихъ тратитъ время. Зачѣмъ-же такъ безцеремонно обращаться съ достойнымъ ближняго? Я этимъ не хочу сказать, чтобы необходимо было читать публикѣ нравоученія и наставленія. Боже упаси! Это еще скучнѣе! Но дѣло въ томъ, что, собираясь рассказывать что-нибудь, писатель долженъ-же самъ имѣть въ головѣ понятіе о томъ, что онъ будетъ сообщать другимъ. Если ему приходится описывать явленіе, зависящее отъ другого явленія, то долженъ-же онъ объяснить одно другимъ, вывести одно изъ другого, показать, что такая-то причина должна привести и приводитъ въ такому-то слѣдствію. Слѣдовательно, рассказчикъ долженъ раскрыть передъ читателемъ свой процессъ мысли. Кромѣ того читателю невольно придетъ въ голову вопросъ: да съ какой стати NN рассказываетъ мнѣ эти событія? что, кромѣ желанія получить авторскій гонораръ, побудило его написать нѣсколько страницъ, вывести на сцену десятка полтора лицъ и слѣдить за ними въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ ихъ жизни? — Отвѣта на эти естественные вопросы надо искать въ самомъ произведеніи; если произведеніе вылилось изъ души, то писатель, конечно, въ этомъ произведеніи говорить о томъ, что, такъ или иначе, интересуется его лично, что затрагиваетъ его за живое, что онъ горячо любитъ или горячо ненавидитъ. Если предметъ его рассказа для него равнодушенъ, то какъ объяснить себѣ то, что онъ обратилъ на него вниманіе, сталъ надъ нимъ задумываться, сталъ уяснять его самому себѣ и, наконецъ, довелъ его до такой степени наглядности, что онъ и для другихъ людей сталъ замѣтенъ, понятенъ и осязателенъ? А если ничего этого не было, если писатель не вдумывался, не уяснял себѣ и т. д., то рассказъ выйдетъ блѣдный и скучный; его дѣйствующія лица будутъ тѣни или маріонетки, но никакъ не живые люди; таковы дѣйствительно бываютъ рассказы, писанные на заказъ, безъ внутренняго желанія, безъ живого участія къ предмету.

Для того, чтобы печатныя строки казались

рѣчами и поступками живыхъ людей, необходимо, чтобы въ этихъ печатныхъ строкахъ сказалась живая душа того, кто ихъ писалъ; только въ этомъ соприкосновеніи между мыслью автора и мыслью писателя и заключается обаятельное дѣйствіе поэзіи; живопись говоритъ глазу, музыка — уху, а поэзія (творчество) — чисто одному мозгу; вы видите глазомъ черныя значки на бѣломъ полѣ и при помощи этихъ значковъ узнаете то, что думалъ человѣкъ, котораго вы, можетъ быть, никогда въ глаза не видали; на васъ дѣйствуетъ чисто сила мысли, а мысль и чувство всегда бываютъ *личныя*; слѣдовательно, что-же останется отъ поэтическаго произведенія, если вы изъ него вытравите личность автора? вполне объективная картина — фотографія; вполне объективный рассказъ — показаніе свидѣтеля, записанное стенографомъ; вполне объективная музыка — шарманка; добиться этой объективности значитъ уничтожить въ поэзіи всякій патетическій элементъ и вмѣстѣ съ тѣмъ убить поэзію, убить искусство, даже науку, даже всякое движеніе мысли.

Личность автора для меня интересна, какъ всякая человѣческая личность и кромѣ того какъ личность, чувствующая потребность высказаться, слѣдовательно воспринявшая въ себѣ рядъ извѣстныхъ впечатлѣній и переработавшая ихъ силой собственной мысли. Личности-же вымышленныхъ дѣйствующихъ лицъ я только терплю и допускаю, какъ выраженіе личности автора, какъ форму, въ которую ему заблагоразсудилось вложить свою идею. Если я съ идеей согласенъ, если я ей сочувствую, а выведенныя личности оказываются блѣдными и неестественными, то я скажу, что авторъ — неопытный музыкантъ, что чувство въ немъ есть, а техническаго умѣнья мало; замѣтивши этотъ недостатокъ, я все-таки буду, можетъ быть, нѣкоторые отрывки читать съ удовольствіемъ, вѣроятно, тѣ отрывки, въ которыхъ сила внутренняго убѣжденія и воодушевленія укрѣпляетъ неопытныя руки виртуоза и заставляетъ его на нѣсколько мгновеній побѣдить трудности техники. «Ничего, современемъ будетъ прокъ, явится навыкъ», — можно будетъ сказать, закрывая книгу, написанную такимъ образомъ, т. е. съ неподдѣльной теплотой, но безъ достаточнаго знанія жизни; читатель съ добрымъ чувствомъ расстанется съ такимъ писателемъ и съ радостью встрѣтитъ съ нимъ въ другой разъ. Но если въ рассказѣ, великолѣпно обставленномъ живыми подробностями, не видно идеи и чувства, не видно личности творца, то общее впечатлѣніе будетъ совершенно неудовлетворительно. Вамъ покажется, что передъ вами играетъ на фортепiano какой-нибудь заѣзжій искусникъ, выдѣлывающій удивительныя штуки пальцами, исполняю-



щій съ быстрой молніи невообразимыя трели и рулады, возбуждающій ваше искреннее изумленіе бѣгlostью рукъ, но ничѣмъ не дающій вамъ почувствовать, что онъ—человѣкъ. Тутъ ужъ нѣтъ никакой надежды; тутъ года не принесутъ пользы; пріобрѣсти фактическія знанія можно, усвоить технику какого угодно искусства тоже небольшая трудность, но откуда-же взять свѣжести чувства, самодѣтельной энергіи мысли, той электрической, непонятной силы, которая берется въ насъ, Богъ вѣсть откуда, и уходитъ съ годами, Богъ вѣсть куда?

Словомъ, только личное воодушевленіе автора грѣшетъ и раскаляетъ его произведеніе; гдѣ этого личнаго воодушевленія не замѣтно, тамъ, какъ бы ни были вѣрно подмѣчены и искусно сгруппированы подробности, тамъ, повторяю, нѣтъ истинной силы, нѣтъ истинно обаятельнаго вліянія поэзіи, нѣтъ сочувствія между поэтомъ и читателемъ.

### III.

Между публикой и любимымъ писателемъ почти всегда устанавливаются извѣстныя отношенія, основанныя на сочувствіи и довѣріи. Любя произведенія какого-нибудь NN, невольно составляешь себѣ понятіе о его личности, допускаешь въ ней тѣ или другія свойства и рѣшительно отвергаешь разныя темныя пятна. Иногда случается разочароваться, и часто подобное разочарованіе бываетъ такъ-же тяжело, какъ разочарованіе въ близкомъ и дорогомъ человѣкѣ. Гончаровъ—писатель, любимый публикой; въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, а между тѣмъ, странное дѣло, между нимъ и публикой положительно нѣтъ подобныхъ отношеній; его человѣческой личности никто не знаетъ по его произведеніямъ; даже въ дружескихъ письмахъ, составившихъ собою «Фрегатъ Палладу», не сказались его убѣжденія и стремленія; выразилось только то настроеніе, подъ вліяніемъ котораго написаны письма; настроеніе это переходитъ отъ спокойно лѣниваго къ спокойно веселому, и больше намъ не представляется никакихъ данныхъ для обсужденія личнаго характера нашего художника. Во всякомъ случаѣ, если два большіе романа, которыхъ сюжеты взяты изъ современной жизни, не выражаютъ ясно даже отношеній автора къ идеямъ и явленіямъ этой жизни,—это значитъ, что въ этихъ романахъ есть умышленная или печальная недоговоренность, и что эти романы продуманы и состроены, а не прочувствованы и созданы. Бѣглый взглядъ на остова «Обыкновенной Исторіи» и «Обломова» подтвердитъ эту мысль. «Обыкновенная Исторія» говоритъ намъ: вотъ чтó дѣлается изъ молодого человѣка подъ вліяніемъ нашей петербургской жизни. Ну, что-же такое? спрашиваетъ читатель. Чтó она его формируетъ или портитъ? Чтó она сама хоро-

ша или дурна?—На второй вопросъ Гончаровъ отвѣчаетъ такъ: петербургская жизнь вотъ какая, и описываетъ наружность этой жизни, тщательно избѣгая какихъ бы то ни было отношеній къ этой наружности. Положимъ, у васъ спрашиваютъ, хороша-ли такая-то женщина? вы отвѣчаете:—носъ у нея такой-то длины и такой-то ширины, ротъ такой-то величины, зубовъ столько-то, такого-то цвѣта глаза, столько-то линій въ длину и столько-то въ разрѣзѣ, цвѣтъ ихъ такой-то, и т. д. Согласитесь, что изъ подобнаго безпристрастнаго описанія не вынесешь сколько-нибудь цѣлостнаго понятія о характерѣ фізіономіи, какимъ бы увлекательнымъ языкомъ ни были записаны эти статистическія данныя. Точно также описаніе петербургскаго житья-бытья у Гончарова выходитъ неяркимъ потому, что авторъ рѣшительно не хочетъ выразить своего мнѣнія, своего взгляда на вещи.

На вопросъ о томъ, формируетъ или портитъ эта жизнь молодого Александра Адуева, Гончаровъ ничего не отвѣчаетъ. Онъ самъ рассказываетъ въ концѣ романа, что Александръ пріобрѣлъ лысину, почтенную полноту и житейскую опытность, охладившую его мечтательность; тѣмъ дѣло и кончается. Читатель въ правѣ сказать: г. Гончаровъ, я самъ очень хорошо знаю, что у человѣка лѣтъ въ пятьдесятъ вылѣзаютъ волосы, что сидячая жизнь увеличиваетъ въ насъ количество жира, и что съ годами мы становимся опытнѣе. Вы описали это чрезвычайно подробно, вѣрно и наглядно, но вы не сказали намъ ничего новаго и скрыли отъ насъ внутренній смыслъ вашихъ сценъ и картинъ. Дѣйствительно, крупныя, типическія черты нашей жизни почти умышленно сглажены писателемъ и слѣдовательно ускользаютъ отъ читателя; зато отдѣлка подробностей тонка, красива, какъ брюссельскія кружева, и, по правдѣ сказать, почти такъ-же бесполезна. Александръ приходитъ въ соприкосновеніе съ міромъ чиновниковъ—объ этомъ сказано вскользь, и потомъ сообщенъ результатъ, что онъ привыкъ къ канцелярской работѣ и сталъ получать порядочное жалованье. Александръ вступаетъ въ сношенія съ журналами,—объ этомъ тоже упоминается мимоходомъ, и только для того, чтобы отмѣтить приращеніе его годового дохода. Двѣ такія важныя стороны нашей жизни, какъ бюрократія и періодическая литература, не удостоиваются внимательнаго разсмотрѣнія, а между тѣмъ приводится отъ слова до слова длиннѣйшіе разговоры между Петромъ Ивановичемъ и Александромъ, между Александромъ и Наденькой, Александромъ и Тафавой и т. п. Это—ошибка, какъ передъ изображеніемъ самой жизни, такъ даже и передъ личностью самого героя. Положимъ, старшіе родственники и любимыя женщины имѣютъ значи-



тельное вліяніе на формированіе характера и убѣжденій; но вѣдь все-таки формируетъ-то самая жизнь, столкновение съ ея дразгами, съ ея сѣрыми трудовыми сторонами; намъ любопытно видѣть, какъ живутъ герои Гончарова, а онъ намъ показываетъ, какъ они резонерствуютъ о жизни или мечтаютъ о ней, сидя рядомъ съ героинями гдѣ-нибудь подъ кустомъ сирени, въ тѣнистой бесѣдкѣ. Это очень хорошо и трогательно, но это не жизнь, а развѣ крошечный уголокъ жизни. Конечно, таланту Гончарова должно отдать полную дань удивленія: онъ умѣетъ удерживать насъ на этомъ крошечномъ уголкѣ въ продолженіи цѣлыхъ сотенъ страницъ, не давая намъ ни на минуту почувствовать скуку или утомленіе; онъ чаруетъ насъ простою своего языка и свѣжей полнотою своихъ картинъ, но если вы по прочтеніи романа захотите отдать себѣ отчетъ въ томъ, что вы вмѣстѣ съ авторомъ пережили, передумали и перечувствовали, то у васъ въ итогѣ получится очень немного. Гончаровъ открываетъ вамъ цѣлый міръ, но міръ микроскопическій; какъ вы приняли отъ глаза микроскопъ, такъ этотъ міръ исчезъ, и капля воды, на которую вы смотрѣли, представляется вамъ снова простой каплей. Еслибы эта сила анализа, невольно подумаете вы, была направлена не на мелочи, а на жизнь во всей ея широтѣ, во всемъ ея пестромъ разнообразіи,—какія бы чудеса она могла произвести! — Эта мысль ошибочна; кто останавливается на анализѣ мелочей, тотъ, стало быть, и неспособенъ идти дальше и подниматься выше. Гончаровъ останется на анализѣ мелочей потому, что у него нѣтъ побудительной причины перейти къ чему-либо другому; онъ холоденъ, его не волнуютъ и не возмущаютъ крупныя нелѣпности жизни; микроскопическій анализъ удовлетворяетъ его потребности мыслить и творить; на этомъ поприщѣ онъ пожинаетъ обильныя лавры — стало быть, о чемъ-же еще хлопотать, къ чему еще стремиться? Словомъ, Гончаровъ, какъ художникъ, то-же самое, что Срезневскій, какъ ученый; первый творить для процесса творчества, не заботясь о степени важности тѣхъ предметовъ, которые онъ воспѣваетъ, не спрашивая себя о томъ, высѣкаетъ-ли онъ своимъ рѣзцомъ великолѣпную статую или вытачиваетъ красивую бездѣлушку для письменнаго стола богатаго барина; второй точно также изслѣдуетъ для процесса изслѣдованія, не спрашивая себя о томъ, стоитъ-ли игра свѣчей, и выйдетъ-ли изъ его трудовъ какой-нибудь осязательный результатъ. Обѣ эти личности, представители одного типа, выработались подъ вліяніемъ извѣстныхъ условий, сжились съ ними и, почисливъ вопросы жизни рѣшенными вполне удовлетворительно, обратили дѣятельность свою на шлифованіе подробностей, не имѣющихъ да-

же относительной важности. Какъ, — спросить съ негодованіемъ мой читатель, — и «Обломовъ» — шлифованіе подробностей? Да, — отвѣчу я съ подобающею скромностью. — «Обломовъ», какъ правоописательный романъ, не что иное, какъ шлифованіе подробностей. Типъ Обломова не созданъ Гончаровымъ; это повтореніе Бельтова, Рудина и Бешметева; но Бельтовъ, Рудинъ и Бешметевъ приведены въ связь съ коренными свойствами и особенностями нашей начинающейся цивилизаціи, а Обломовъ поставленъ въ зависимость отъ своего неправильно сложившагося темперамента. Бельтовъ и Рудинъ сломяны и помяты жизнью, а Обломовъ просто лѣнивъ, потому что лѣнивъ. Вліяніе общества на личность героя здѣсь, какъ и въ «Обыкновенной Исторіи», скрыто отъ глазъ читателя; авторъ понимаетъ, что оно должно существовать, но онъ держитъ его гдѣ-то за кулисами, и изъ-за этихъ кулисъ его герой выходитъ совершенно готовымъ и начинаетъ разсуждать и ходить по сценѣ. Если читатель возразитъ мнѣ, что «Сонъ Обломова» объясняетъ намъ процессъ его развитія, то я на это отвѣчу, что «сонъ» говоритъ только о младенческихъ годахъ нашего героя. Никакой характеръ не оказывается сложившимся въ десяти или двѣнадцатилѣтнемъ мальчикѣ; тѣмъ болѣе не могъ сложиться въ такіе годы характеръ Обломова, котораго и въ тридцать-пять лѣтъ можно было ворочать куда угодно; стало быть, зачѣмъ-же авторъ, заговоривши о воспитаніи и развитіи своего героя, не далъ намъ сценъ изъ его гимназической, студенческой, чиновнической жизни? Вѣдь это, воля ваша, было бы не только плодотворнѣе, но даже интереснѣе многихъ сценъ между Обломовымъ и Захаромъ. Вѣдь любопытно знать, что именно формируетъ у насъ Обломовыхъ, гораздо любопытнѣе, чѣмъ смотрѣть на то, какъ уже сформированные Обломовы, т. е. люди, на которыхъ надо махнуть рукой, валяются на диванѣ и плюютъ въ потолокъ. Но, какъ вездѣ, интересный, живой вопросъ обойденъ, а подробностей гибель.

Изображая личность Обломова, Гончаровъ могъ еще ограничиться тѣсною сферой, не выходить за предѣлы кабинета и спальни и занимать своего читателя пересказываніемъ того, что говорили между собою Илья Ильичъ и Захаръ. Но вотъ нашъ художникъ хочетъ противопоставить своему лѣнивому герою лицо дѣятельное, весело и дѣльно смотрящее на жизнь и энергически расправляющееся съ ея дразгами и невзгодами. Является Андрей Ивановичъ Штольцъ, о которомъ даже самъ авторъ возвѣщаетъ не безъ торжественности, говоря, что это человекъ будущаго, что много Штольцевъ кроется подъ русскими именами, что люди такого закала будутъ дѣлать дѣло, какъ слѣ-



дуетъ. О, думаете вы, вотъ тутъ-то Гончаровъ выскажетъ то, что у него на душѣ, тутъ-то онъ воспользуется всѣми собранными матеріалами, чтобы дать плоть и кровь этому чело-вѣку будущаго, тутъ-то онъ приведетъ своего любимаго героя въ столкновение съ разными сторонами и типическими особенностями нашей жизни. Вы продолжаете читать съ воз-растающимъ нетерпѣніемъ и убѣждаетесь въ томъ, что Штольцъ ведетъ себя точно такъ-же, какъ всѣ гончаровскіе герои, т. е. много гово-рить, хорошо округляетъ періоды, самодовольно развертываетъ передъ слушателемъ свои убѣждения и ничего не дѣлаетъ; о его дѣятельности, которая составляетъ сущность его ха-рактера и замѣчательнѣйшее его достоинство, авторъ рассказываетъ намъ въ самыхъ общихъ выраженіяхъ. Штольцъ представленъ внѣ жизни; а Штольцъ безъ жизни все равно, что рыба безъ воды. Онъ выведенъ изъ своего есте-ственного положенія, и потому самъ блѣденъ и неестествененъ до крайности. Такъ какъ онъ на нашихъ глазахъ не дѣйствуетъ, то ему, чтобы зарекомендовать себя читателю, понево-лѣ приходится говорить самому о себѣ: «я, де-скать, чело-вѣкъ дѣятельный, вѣрьте мнѣ на-слово»; автору точно также приходится обра-щаться къ вѣрѣ читателя и говорить ему: «Штольцъ у меня чело-вѣкъ дѣятельный; дѣя-тельности вы его не увидите, но онъ, право, постоянно занятъ». Читатель, расположенный къ скептицизму, подумаетъ при этомъ такъ: «если романистъ приписываетъ одному изъ своихъ ге-роевъ какое-нибудь качество, а между тѣмъ это качество не выражается въ его дѣйствіяхъ, то я, читатель, имѣю право заключить, что у автора не хватило силъ вложить въ образы то, что онъ выразилъ въ отвлеченной фразѣ. Дѣятельный Штольцъ принадлежитъ къ раз-ряду лицъ, подобныхъ добродѣтельному стано-вому Львова и знаменитому чиновнику его сія-тельства графа Соллогуба». Читатель-скеп-тикъ не ошибется въ своемъ предполо-женіи.

Впрочемъ, то обстоятельство, что Гончаровъ взялся за сооруженіе своего Штольца, и то об-стоятельство, что это сооруженіе вышло до крайности неудачнымъ, такъ характерны, что объ нихъ стоитъ поговорить подробнѣе. Дѣй-ствующія лица романовъ Гончарова постоянно вращаются въ безразличной атмосферѣ, жи-вуть въ тѣхъ комнатахъ, въ которыя не прони-каетъ русскій духъ, и становятся другъ къ другу въ такія отношенія, которыя зависятъ отъ осо-бенностей ихъ личнаго характера, а не отъ условій мѣста и времени. Декорации у Гонча-рова русскія; для обстановки онъ выводитъ рус-скаго лакея, русскую кухарку, но это—аксес-суары, которые могутъ быть устранены, не на-рушая завязки романа; главные дѣйствующія

лица созданы головой автора, а не навѣяны впечатлѣніями живой дѣйствительности. Задав-шись своей идеей, набросавъ ее въ общихъ чер-тахъ, Гончаровъ потомъ уже съ натуры подри-совываетъ подробности, и все вмѣстѣ выходитъ очень удовлетворительно и на первый взглядъ кажется романомъ, взятымъ изъ русской жизни и воспроизводящимъ русскіе типы. Но это только на первый взглядъ. Отдѣляйтесь только отъ обаянія великолѣпнаго языка, отбросьте аксес-суары, не относящіеся къ дѣлу, обратите все ваше вниманіе на тѣ фигуры, въ которыхъ со-средоточивается смыслъ романа, и вы увидите, что въ нихъ нѣтъ ничего русскаго и кромѣ того — ничего типичнаго. Если мы поступимъ такимъ образомъ съ «Обыкновенной Исторіей», то увидимъ, что смыслъ романа лежитъ въ двухъ фигурахъ, въ дядѣ и въ племянникѣ, и что изъ этихъ двухъ фигуръ одна невѣрна и неестественна, а другая совершенно пассивна и безцвѣтна.

Петръ Ивановичъ Адуевъ, дядя,—не вѣренъ съ головы до ногъ. Это какой-то англійскій джентльмэнъ, пробившій себѣ дорогу въ люди силой своего ума, составившій себѣ карьеру и состояніе и при этомъ нисколько не загрязнив-шійся. Въ нашемъ отечествѣ дорога къ поче-стямъ и деньгамъ устлана всякаго рода терніа-ми. Кто хочетъ преуспѣть на томъ поприщѣ, по которому путешествовалъ Петръ Ивановичъ, тотъ немного сохранить въ себѣ гонора и фа-наберіи; подъ старость непременно дойдетъ до положенія Фамусова, а вѣдь между Фамусовымъ и Петромъ Ивановичемъ — огромная разница. Петра Ивановича видимо уважаетъ Гончаровъ, а къ Фамусову онъ, по всей вѣроятности, от-несся бы съ добродѣтельнымъ презрѣніемъ. Это видимое различіе между Фамусовымъ и Пе-тромъ Ивановичемъ не можетъ быть объяснено различіемъ времени. Скажите по совѣсти, неужели мы такъ много ушли впередъ съ тѣхъ поръ, какъ была написана комедія Грибоѣдова? Неужели вы до сихъ поръ не встрѣчаете между вашими знакомыми Фамусова, Молчалина и Скалозуба? Формы стали дѣйствительно попри-личнѣе, но что-же это за утѣшеніе? Неужели-же Гончаровъ, выводъ своего героя, обманулъ вышней благопристойностью формы и не умѣлъ загнать поглубже и распознать подъ глад-кими фразами Петра Ивановича родовыхъ свойствъ фамусовскаго типа? Врядъ-ли такой острый аналитикъ могъ впасть въ грубую ошибку, въ которой можетъ уличить его всякій школьникъ. Мнѣ кажется, дѣло въ томъ, что въ самомъ Фамусовѣ авторъ «Обыкновенной Исторіи» осудилъ бы не сущность, а вышнее неблагообразіе. Потихоньку вести свои дѣла, заводить связи и поддерживать ихъ изъ чи-стаго разчета, заниматься такимъ дѣломъ, къ которому не лежитъ сердце и котораго не



оправдываетъ умъ, оставлять подъ снудомъ въ практикѣ тѣ идеи, которыя исповѣдуешь въ теоріи, смотрѣть съ скептической улыбкой на порывы молодежи, стремящейся обратить слово въ дѣло,—всѣ эти вещи можно назвать благоразуміемъ, лишь бы онѣ не представлялись въ полной наготѣ, безъ прикрасъ и смягченій. Своему герою Гончаровъ приписываетъ именно это благоразуміе, утаивая и сглаживая тѣ сѣренькія стороны, которыя неизбежно связаны съ этимъ благоразуміемъ. Но утаить и сгладить эту обратную сторону медали можно было только съ тѣмъ условіемъ, чтобы показывать читателямъ одну сторону дѣла. Еслибы Гончаровъ вздумалъ выдержать очерченный имъ характеръ, приведя его въ столкновение со всѣми фазами русской жизни, тогда ему пришлось бы всѣ эти фазы выдумать самому, и тогда вопиющая неестественность бросилась бы въ глаза каждому читателю. На этомъ основаніи надо было пройти молчаніемъ всѣ отношенія Петра Ивановича къ тому міру, который лежитъ за предѣлами его кабинета и спальни. На этомъ основаніи нельзя было сказать ни слова о томъ, какъ Петръ Ивановичъ вышелъ въ люди; даже тѣ средства и пути, которыми его племянникъ приобрѣлъ себѣ независимое положеніе, покрыты мракомъ неизвѣстности. Петръ Ивановичъ, какъ чиновникъ, какъ подчиненный, какъ начальникъ, какъ свѣтскій человѣкъ,—не существуетъ для читателя «Обыкновенной Исторіи», и не существуетъ именно потому, что автору предстояло рѣшить грозную дилемму: или выдумать отъ себя всю русскую жизнь и превратить Петербургъ въ Аркадію, или бросить грязную тѣнь на своего героя, какъ на человѣка, подкупленнаго этой жизнью и отстаивающаго ея нелѣпости ради своихъ личныхъ выгодъ. Чтобы не насиловать явленій жизни, чтобы не становиться къ нимъ въ ложныя отношенія и чтобы не закидать грязью своего героя, Гончаровъ заблагоразсудилъ въ «Обыкновенной Исторіи» совершенно отвернуться отъ явленій жизни. Отнестись къ нимъ съ тѣмъ суровымъ отрицаніемъ, съ которымъ относились къ нимъ всѣ честные дѣятели русской мысли, открыто заявить свое non-conformity Гончаровъ не рѣшился. Почему?—Отвѣчать на этотъ вопросъ не мое дѣло; пусть отвѣтитъ на него самъ романистъ. Во всякомъ случаѣ, въ «Обыкновенной Исторіи» онъ исполнилъ удивительный *tour de force*, и исполнилъ его съ безпримѣрной ловкостью; онъ написалъ большой романъ, не говоря ни одного слова о крупныхъ явленіяхъ нашей жизни; онъ вывелъ двѣ невозможныя фигуры и увѣрилъ всѣхъ въ томъ, что это дѣйствительно существующіе люди; онъ сталъ въ первый рядъ русскихъ литераторовъ, не откликаясь ни однимъ звукомъ на вопросы, поставленные исторической жизнью народа,

пропуская мимо ушей то, что носится въ воздухѣ и составляетъ живую связь между живыми дѣятелями. Исполнить такого рода *tour de force*, и притомъ исполнить его на глазахъ Бѣлинскаго, удалось Гончарову, только благодаря удивительному совершенству техники, невыразимой обаятельности языка, безпримѣрной тщательности въ отдѣлкѣ мелочей и подробностей. Герои Гончарова ведутъ между собой такіе живые переговоры, что, прислушиваясь къ нимъ, невольно забываешь невѣрность ихъ типа и невозможность ихъ существованія. А между тѣмъ эта невѣрность и невозможность, не заявленные положительно въ нашей критикѣ, заявляются въ ней отрицательно. Рудина, Лаврецкаго, Калиновича, Бешметева наши критики берутъ, какъ представителей типовъ, какъ живыхъ людей, служащихъ образчиками русской природы, а героев Гончарова никто не беретъ такимъ образомъ, потому что, повторяю, въ нихъ нѣтъ ничего русскаго, и нѣтъ никакой природы.

Оба Адуевы, дядя и племянникъ, не обратились и никогда не обратятся въ полу-нарицательныя имена, подобныя Онѣгину, Фамусову, Молчалину, Ноздреву, Манилову и т. п. Что сказать о личности Александра Федоровича Адуева, племянника? Только и скажешь, что у него нѣтъ личности, а между тѣмъ даже и безличность или безхарактерность не можетъ быть поставлена въ число его свойствъ. Онъ молодъ, пріѣзжаетъ въ Петербургъ съ большими надеждами и съ сильной дозой мечтательности; петербургская жизнь понемногу разбиваетъ его надежды и заставляетъ его быть скромнѣе и смотрѣть подъ ноги, вмѣсто того, чтобы носиться въ пространствахъ эмира. Онъ влюбился—ему измѣняетъ любимая дѣвушка; онъ напускаетъ на себя хандру—и понемногу отъ нея вылечивается; потомъ онъ влюбляется въ другую, и на этотъ разъ уже самъ измѣняетъ своей Дульцинеѣ; съ годами онъ становится разсудительнѣе; при этомъ онъ постоянно споритъ съ своимъ дядей и мало-по-малу начинаетъ сходить съ нимъ во взглядѣ на жизнь; романъ кончается тѣмъ, что оба Адуевы сходятся между собою совершенно въ понятіяхъ и наклонностяхъ.—«Это канва романа,—скажете вы,—это—общія черты, контуры, которые можно раскрасить, какъ угодно». Это правда; и эти контуры такъ и остались нераскрашенными; бѣдность и недодѣланность ихъ опять-таки замаскированы тщательностью внѣшней отдѣлки. Напримѣръ, Александръ ѣдетъ къ той дѣвушкѣ, которую онъ любитъ; онъ чувствуетъ сильное нетерпѣніе, и Гончаровъ чрезвычайно подробно рассказываетъ, въ какихъ именно внѣшнихъ признакахъ проявлялось это нетерпѣніе, какъ сидѣлъ его герой, какъ онъ перемѣнялъ положеніе, какое впечатлѣніе производили на



него окрестные виды; потомъ эта дѣвушка ему измѣнила, предпочла другого,—и Гончаровъ опять-таки съ дагерротипической вѣрностью воспроизводитъ внѣшнія выраженія отчаянія, а потомъ апатію своего героя. Онъ пишетъ вообще исторію болѣзни, а не характеристику больного: поэтому, еслибы романъ Гончарова попался въ руки какому-нибудь разумному жителю луны, то этотъ господинъ могъ бы составить себѣ довольно вѣрное понятіе о томъ, какъ говорятъ, любятъ, живутъ, наслаждаются и страдаютъ на землѣ животныя, называемыя людьми. Но мы, къ сожалѣнію, все это знаемъ по горькому опыту, и потому тѣ общія черты, которыя нашъ романистъ разрабатываетъ съ замѣчательнымъ искусствомъ, представляютъ для насъ мало существеннаго интереса. Мы знаемъ, что, отправляясь на свиданіе съ любимой женщиной, молодой человѣкъ чувствуетъ усиленное біеніе сердца; какъ подробно ни описывайте этотъ симптомъ, вы охарактеризуете только извѣстное фізіологическое отравленіе, а не очертите личной фізіономіи. Описывать подобные моменты все равно, что описывать, какъ человѣкъ жуетъ или храпитъ во снѣ, или сморкается. Дѣло другое, если герой, отправляясь на свиданіе, перебираетъ въ головѣ такія идеи, которыя составляютъ его типовое или личное свойство; тогда его мысли стоитъ отмѣтить и воспроизвести. Но Гончаровъ думаетъ иначе; онъ съ зеркальной вѣрностью отражаетъ все или, вѣрнѣе, все то, что находить удобоотражаемымъ, все безцвѣтное, т. е. именно все то, чего не слѣдовало и не стоило отражать.

Условія удобоотражаемости измѣняются съ годами; чтó было неудобно лѣтъ десять тому назадъ, то сдѣлалось удобнымъ и общепринятымъ теперь. Вслѣдствіе этихъ измѣненій въ воздухѣ времени, измѣнилось и направленіе Гончарова. Его «Обыкновенная Исторія», за исключеніемъ послѣднихъ страницъ, которыя какъ-то не вяжутся съ цѣлымъ и какъ будто приклеены чужой рукой, говоритъ довольно прямо, хоть и очень осторожно: «эхъ, молодые люди, протестанты жизни, бросьте вы ваши стремленія въ даль, къ усовершенствованіямъ, къ лучшему порядку вещей!—все это пустяки, фантазерство!—надѣньте вицмундиры, вооружитесь хорошо очиненными перьями, покорностью и терпѣніемъ, молчите, когда васъ не спрашиваютъ, говорите, когда прикажутъ и чтó прикажутъ, скрипите перьями, не спрашивая, о чемъ и для чего вы пишете,—и тогда, повѣрьте мнѣ, всѣ будутъ вами довольны, и вы сами будете довольны всѣмъ и всѣми».

Эти мысли и воззрѣнія въ свое время были какъ нельзя болѣе ксати, ихъ надо было только выразить съ нѣкоторой осторожностью, чтобы не прослыть за послѣдователя почтеннѣйшаго

Булгарина; а, какъ мы видѣли, дипломатической осторожности въ «Обыкновенной Исторіи» дѣйствительно гораздо больше, чѣмъ мысли, и несравненно больше, чѣмъ чувства. Но времена перемѣнились, и пришлось настраивать лиру на новый ладъ; всѣ заговорили о прогрессѣ, о разумѣ, и Гончаровъ также заблагоразсудилъ дать нашему обществу урокъ, наставить его на путь истины и указать ему на свѣтлое будущее. «Россіяне!—говоритъ онъ въ своемъ «Обломовѣ»,—всѣ вы спите—всѣ вы равнодушны къ судьбѣ родины, всѣ вы до такой степени одурѣли отъ сна и заплыли жиромъ, что мнѣ, романисту, приходится въ укоръ вамъ брать своего положительнаго героя изъ нѣмцевъ, подобно тому, какъ предки ваши, новгородскіе славяне, изъ нѣмцевъ призвали себѣ великаго князя, собирателя русской земли».—И россияне, со свойственной имъ однимъ добродушной наивностью, умиляются надъ геніальнымъ произведеніемъ своего романиста, всматриваются въ утрированную до-нельзя фигуру Обломова и восклицаютъ съ добродѣтельнымъ раскаяніемъ: «да, да! вотъ наша язва, вотъ наше общее страданіе, вотъ корень нашихъ золъ—Обломовщина, Обломовщина!... Всѣ мы—Обломовы! всѣ мы ничего не дѣлаемъ! а дѣло ждетъ» и т. д.

Добрые люди! напрасно вы такъ на себя ропщете; да чтó же вы будете дѣлать? Какая это вамъ пригрезилась работа? Это, должно быть, одно изъ слѣдствій вашего продолжительнаго сна; перевернитесь на другой бокъ и усните опять. Вы можете быть или Обломовыми, или Молчаливыми, Фамусовыми и Петрами Ивановичами; первые—байбаки, тряпки; вторые—положительные дѣятели; но всякій порядочный человѣкъ скорѣе согласится быть Обломовымъ, чѣмъ Фамусовымъ. Гончаровъ, какъ авторъ «Обломова»\*), думаетъ иначе; онъ думаетъ, что дѣло ждетъ, а работники спятъ, такъ что приходится нанимать ихъ за границы; спятъ они не потому, что ихъ измучила работа, не потому, что ихъ истомила жажда и пропекли жгучіе лучи солнца, а потому, что—негодящій народъ, лѣнтая, увальни, жиромъ заплыли! Вотъ ужъ это дешевая клевета, пустая фраза, разведенная на цѣлый огромный романъ. Гончаровъ, какъ Панинъ въ романѣ Тургенева «Дворянское Гнѣздо», думаетъ, что стоитъ только захотѣть, такъ сейчасъ и посыпятся въ ротъ жареные рябчики, и l'idée du cadastre будетъ популяризирована; вотъ поэтому его «Обломовъ» и относится къ тогдашнему пробужденію дѣятельности, какъ замѣчаніе на-

\*) Какъ авторъ «Обыкновенной Исторіи», Гончаровъ думаетъ совсѣмъ не то: тамъ онъ думаетъ, что все хорошо и всѣ хороши; стоитъ только приглядѣться да вглянутья.



чальника, высказанное подчиненному: «что-жь вы, дескать, любезный мой, спите? вѣдь такъ нельзя! вы видите, я самъ не жалѣю силъ». Гончаровъ, очевидно, думалъ этой мыслью попасть въ ноту, и дѣйствительно многимъ показалось, что онъ попалъ; а на повѣрку выходитъ, что пѣнье было фальшивое, да и подтягивалъ-то онъ не теноромъ, а фистулой. Дѣло въ томъ, что Обломовъ похожъ на Бельтова, Рудина и Бешметева, только гораздо рѣзче обрисованъ; вотъ многимъ, если не всѣмъ, и покажись въ то время, что Гончаровъ говорить то-же самое, что Тургеневъ и Писемскій; а Гончаровъ говорилъ другое, только съ свойственной ему осторожностью. Бельтовъ, Рудинъ и Бешметевъ доходятъ до своей дрянности вслѣдствіе обстоятельствъ, а Обломовъ—вслѣдствіе своей натуры. Бельтовъ, Рудинъ и Бешметевъ — люди измятые и исковерканные жизнью, а Обломовъ—человѣкъ ненормальнаго тѣлосложенія. Въ первомъ случаѣ виноваты условія жизни, во второмъ—организация самого человѣка. По мнѣнію Тургенева, Писемскаго и др., наше общество нуждается въ реформахъ; по мнѣнію Гончарова, мы всѣ — больные, нуждающіеся въ лекарствахъ и въ совѣтахъ врача. Согласитесь, что это не совсѣмъ то-же самое. Вотъ изъ этого-то взгляда и вытекла попытка Гончарова соорудить нелѣпую фигуру Штольца. Положительныхъ дѣятелей нѣтъ, — это фактъ, который рѣшается признать нашъ романистъ; но почему ихъ нѣтъ? спрашиваетъ онъ. Дать на этотъ вопросъ удовлетворительный отвѣтъ онъ боится, потому что такой отвѣтъ можетъ повести ужасно далеко, по русской пословицѣ: «языкъ до Кіева доведетъ». Вотъ онъ и отвѣчаетъ: «дѣятелей нѣтъ, потому что мы страдаемъ Обломовщиной». Это не отвѣтъ, это повтореніе вопроса въ другой формѣ, а между тѣмъ фраза облетѣла всю Россію, «Обломовщина» вошла въ языкъ, и даже талантливый критикъ «Современника» посвятилъ цѣлую критическую статью на разборъ вопроса: что такое Обломовщина?

Далѣе Гончаровъ разсуждаетъ такъ: если мы страдаемъ припадками болѣзни, то, чтобы изобразить положительнаго дѣятеля, стоитъ только представить здороваго человѣка; въ насъ недостаетъ энергіи, стало быть, если приписать энергію какому-нибудь джентльмену, если заставить его ходить большими шагами, говорить рѣшительно и громко, рѣшать, не задумываясь, теоретическіе вопросы,—великая задача будетъ рѣшена; ключъ найденъ, рецептъ положительнаго дѣятеля составленъ; остается только послать въ аптеку, чтобы тамъ подписали: «*ordinavit nobis doctor vitae russicae I. Gontcharow*». А ну, какъ въ аптекѣ не найдется матеріаловъ? Что, если провизоръ усмѣхнется, прочитавъ рецептъ, и отвѣтитъ ученому док-

тору, что такихъ спецій въ цѣломъ свѣтѣ нѣтъ, и что такія химическія соединенія невозможны ни подъ какой широтой? Что тогда? Ничего. Докторъ умоетъ руки, скажетъ, что больной непременно выздоровѣлъ бы, еслибы можно было найти птичье молоко, о которомъ толкуетъ его рецептъ. Въ дѣйствительности больной не поправится, но зато докторъ будетъ правъ: онъ не задумался, онъ рѣшилъ вопросъ; его-ли вина, что вопросъ можетъ быть рѣшенъ только въ теоріи или, вѣрнѣе, въ фантазіи? Да и всего вѣрнѣе, что робкій провизоръ не отвѣтитъ доктору такъ рѣзко, какъ мы это предположили. Благоговѣя передъ репутаціей ученаго мужа, онъ начнетъ смѣшивать и размѣшивать, и если у него не выйдетъ требуемаго соединенія, отнесетъ свою неудачу на счетъ собственной неловкости, вмѣсто того, чтобы обличить эскулапа въ невѣжество и шарлатанствѣ.

Благоговѣніе передъ авторитетами, общими и частными, одинаково сильно: въ аптекахъ и въ журналахъ. Если откинуть это благоговѣніе, то надо будетъ сказать напрямикъ, что весь «Обломовъ» — клевета на русскую жизнь, а Штольцъ — просто *faux-fuyant*, подставное рѣшеніе вопроса, вмѣсто истиннаго, попытка разрубить фразами тотъ узелъ, надъ которымъ, не жалѣя глазъ и костей, трудятся впродолженіи цѣлыхъ десятилѣтій истинно добросовѣстные дѣятели. Да! Авторъ «Обыкновенной Исторіи» напрасно прикинулся прогрессистомъ. Обращаясь къ нашему потомству, Гончаровъ будетъ имѣть полное право сказать: не поминайте лихомъ, а добромъ нечѣмъ!

#### IV.

Теплѣе и искреннѣе могутъ быть наши отношенія къ Тургеневу и Писемскому. Оба они — честные дѣятели и прямые люди; оба смотрятъ на явленія нашей жизни, понимая и чувствуя свое сродство съ ними; оба говорятъ о нихъ то, что думаютъ въ самомъ дѣлѣ, говорятъ искренно и задушевно, не задавая себѣ задачи поддѣлаться подъ господствующій тонъ. За эту правдивость, за эту честную стойкость имъ можно сказать большое спасибо; говорить, что думаешь, не насилуя себя, — совсѣмъ не такъ легко, какъ кажется; этого даже нельзя и требовать отъ всякаго, но этимъ свойствомъ надо дорожить въ тѣхъ людяхъ, въ которыхъ оно встрѣчается. Имена двухъ романистовъ нашихъ, Тургенева и Писемскаго, чисты; никто не обвинитъ ихъ, какъ людей и какъ писателей, въ потаканіи и нашимъ, и вашимъ. Это отрицательное достоинство, можетъ замѣтить читатель; съ этимъ совершенно согласенъ, но именно это



отрицательное достоинство въ наше время такъ рѣдко, что его стоитъ отмѣтить тамъ, гдѣ мы его замѣчаемъ. Читая романы Писемскаго и Тургенева, пріятно сознавать, что каждая строчка ихъ произведеній—не фраза, брошенная для удовольствія тѣхъ или другихъ читателей, а дѣйствительное выраженіе дѣйствительно существующаго въ авторѣ чувства или воззрѣнія. Съ этими чувствами и воззрѣніями можно не соглашаться, но ихъ нельзя не уважать, потому что право на уваженіе имѣтъ всякое искреннее убѣжденіе.

Существенное различіе между Тургеневымъ и Писемскимъ бросается въ глаза при самомъ бѣгломъ обзорѣ ихъ произведеній; это различіе было не разъ отмѣчено въ нашей критикѣ; еще недавно А. Григорьевъ назвалъ Писемскаго представителемъ реализма, и Тургенева—представителемъ и чуть-ли не послѣднимъ могиканомъ идеализма. Такого рода разграниченіе обыкновенно ведетъ къ спору о сравнительномъ достоинствѣ этихъ двухъ направленій и слѣдовательно заводитъ въ такую глубь эстетики, которой, какъ мнѣ кажется, было бы бесполезно и невѣжливо утомлять читателя. Для меня Тургеневъ и Писемскій важны настолько, насколько они разъясняютъ явленія жизни; слѣдовательно, для меня всего интереснѣе отношенія ихъ къ изображаемымъ ими типамъ. Что же касается до того, какъ каждый изъ нихъ рисуетъ явленія и картины, то этотъ вопросъ имѣетъ для меня совершенно второстепенный интересъ. Пусть одинъ рисуетъ крупными штрихами, а другой съ любовью отдѣлываетъ подробности—все равно; они могутъ сходиться между собою въ результатахъ. Разбирать манеру писателя и отдѣлять ее отъ манеры другого писателя—почти то-же самое, что писать стилистическое изслѣдованіе; это, конечно, важно для характеристики писателя, но это не можетъ служить отвѣтомъ на нашъ вопросъ: чтó сдѣлали Тургеневъ и Писемскій для нашего общественнаго сознанія? Чтобы сколько-нибудь разрѣшить этотъ важный и интересный вопросъ, надо обратиться къ остоу романовъ и повѣстей нашихъ литераторовъ, взглянуть на нихъ почти à vol d'oiseau, отмѣтить выдающіеся типы и, главное, отдать себѣ ясный отчетъ въ отношеніи авторовъ къ этимъ типамъ.

При теперешнемъ положеніи женщины въ обществѣ и въ семействѣ, мужчина является необходимымъ и единственнымъ проводникомъ идей, носящихся въ воздухѣ эпохи, — въ тѣ домашніе кружки, которые замѣняютъ намъ общество. Подъ вліяніемъ этихъ идей, понятыхъ такъ или иначе, складываются обстоятельства жизни, формируются характеры, опредѣляются направленія мысли и дѣятельности. Мужчины приходятъ въ непосредственныя столкновѣнія

съ жизнью; они серьезно учатся, служатъ, обдѣлываютъ жизнь въ ту или въ другую форму, смотря по своимъ силамъ и по обстоятельствамъ времени и мѣста. Женщины въ настоящее время зависятъ отъ мужчинъ въ отношеніи къ своему матеріальному положенію, въ отношеніи къ своему развитію, къ взгляду на жизнь, къ тому складу и направленію, которое принимаетъ все ихъ существованіе. При анализѣ романа не мѣшаетъ взять отдѣльно эти два ряда типовъ и личностей; одни лица—дѣятельныя, распоряжающіяся обстоятельствами, испытывающія на себѣ ихъ непосредственное вліяніе; другія лица — пассивныя, зависящія отъ первыхъ, получающія отъ нихъ свѣтъ преломленный и видоизмѣненный. Мужчины зависятъ отъ общихъ условій; женщины—отъ частныхъ условій, отъ отдѣльныхъ личностей, отъ отца, отъ старшаго брата, отъ любовника или мужа. Общія условія почти для всѣхъ одни и тѣ-же; слѣдовательно, эти условія въ извѣстной сферѣ общества вырабатываютъ довольно определенное количество типовъ; личнаго разнообразія искать и требовать мудрено; одинъ мирится съ общими условіями, другой заявляетъ свой протестъ, — вотъ вамъ двѣ главныя категоріи, подъ которыя можно подвести личности мыслящія и дѣйствующія; одни идутъ направо, другія налево; кромѣ того, одни идутъ по избранному направленію скорее, другія медленнѣе; одни идутъ сознательно, другія изъ обезьянства; одни легко устаютъ, другія оказываются неутомимыми; но всѣ эти второстепенные оттѣнки происходятъ уже отъ того, что у одного человѣка больше мозга въ головѣ, у другого больше крови въ жилахъ, у третьяго больше лимфы въ сосудахъ, у четвертаго больше желчи выдѣляется изъ печени. Физиологу можетъ быть очень интересно разграничивать эти оттѣнки и сортировать сообразно съ ними людскіе характеры, но для физиологіи общества подобныя изслѣдованія будутъ довольно бесплодны.

Изучая общество, талантливый и умный романистъ выводитъ слабаго, сильнаго, безцвѣтнаго человѣка, и т. д. не для того, чтобы сказать читателю: «вотъ посмотрите, господа, какіе бываютъ люди!», а для того, чтобы сказать ему: «вотъ посмотрите, какъ дѣйствуютъ на различныхъ людей тѣ условія жизни, тѣ идеи и стремленія, среди которыхъ живете вы сами. Посмотрите, какіе типы формируются подъ вліяніемъ этихъ условій». Только тогда, когда романистъ доходитъ до такихъ размышленій, онъ является истиннымъ художникомъ, потому что только тогда онъ вполне овладѣваетъ своимъ предметомъ и перерабатываетъ его силой живущей мысли. Гдѣ нѣтъ этой переработки, тамъ есть только списываніе картинокъ съ природы,—списываніе, предпринимаемое для препро-



вожденія времени,—списываніе, при которомъ ни сила мысли, ни сила чувства не подсказываетъ рисовальщику истиннаго общаго смысла тѣхъ явленій, которыя онъ кладетъ на полотно или на бумагу. Какъ бы ни былъ ярко нарисованъ поэтический образъ, я имѣю полное право спросить: на что онъ мнѣ нуженъ? что у меня съ нимъ общаго? отвѣчаетъ-ли онъ хоть на одинъ жизненный вопросъ?—Если эти вопросы останутся безъ отвѣта, я смѣло отнесу яркій образъ къ разряду пестрыхъ игрушекъ, до которыхъ всегда найдется много охотниковъ между взрослыми дѣтьми обоого пола.

Романы Тургенева и Писемскаго никакимъ образомъ не могутъ быть отнесены къ разряду этихъ игрушекъ; всѣ они слишкомъ глубоко прочувствованы или слишкомъ полно отражаютъ картины жизни, чтобы не показаться каждому читателю серьезнымъ и дѣльнымъ словомъ мыслящаго человѣка. Въ дѣятельности Писемскаго до сихъ поръ нельзя отмѣтить ни одной фальшивой ноты; въ дѣятельности Тургенева, до его несчастнаго романа «Наканунъ», не было также значительныхъ ошибокъ \*); ни тотъ, ни другой не пробовали представить положительныхъ дѣятелей, т. е. такихъ героев, которымъ вполне могли бы сочувствовать авторъ и читатели; ни тотъ, ни другой не давали даже нелѣпыхъ общаній, вродѣ того, которое далъ Гоголь въ первой части «Мертвыхъ Душъ», и которое онъ такъ уродливо выполнилъ во второй части своей поэмы. Оба—Тургеневъ и Писемскій—стояли въ чисто отрицательныхъ отношеніяхъ къ нашей дѣйствительности, оба скептически относились къ лучшимъ проявленіямъ нашей мысли, къ самымъ красивымъ представителямъ выработавшихся у насъ типовъ. Эти отрицательныя отношенія, этотъ скептицизмъ—величайшая ихъ заслуга передъ обществомъ. Сбить съ пьедестала пустого фразера, показать ему, что онъ несетъ вздоръ, упиваясь звуками собственнаго голоса, что онъ только фразеромъ и можетъ быть,—это чрезвычайно важно; это такой урокъ, послѣ котораго отрезвляется цѣлое поколѣніе; отрезвившись, оно всматривается въ окружающія явленія... Поколѣніе Рудиныхъ—гегельянцы, заботившіеся только о томъ, чтобы въ ихъ идеяхъ господствовала систематичность, а въ ихъ фразахъ—замысловатая таинственность, мирили насъ съ нелѣпостями жизни, оправдывали ихъ разными высшими взглядами и, всю свою жизнь толкуя о стремленіяхъ, не трогались съ мѣста и не умѣли измѣнить къ лучшему даже особенности своего домашняго быта.

Развѣнчать этотъ типъ было такъ-же необходимо, какъ необходимо было Сервантесу похоронить своимъ Донъ-Кихотомъ рыцарскіе романы, какъ одно изъ послѣднихъ наслѣдій средневѣковой жизни. Типъ красиваго фразера, совершенно чистосердечно увлекающагося потокомъ своего краснорѣчія, типъ человѣка, для котораго слово замѣняетъ дѣло, и который, живя однимъ воображеніемъ, прозябаетъ въ дѣйствительной жизни, совершенно развѣнчанъ Тургеневымъ и представленъ во всей своей дрянности Писемскимъ.

Люди этого типа совершенно не виноваты въ томъ, что они не дѣйствуютъ въ жизни, не виноваты въ томъ, что они—люди бесполезные; но они вредны тѣмъ, что увлекаютъ своими фразами тѣ неопытныя созданія, которыя прельщаются ихъ виѣшней эффектностью; увлекши ихъ, они не удовлетворяютъ ихъ требованіямъ; усиливъ ихъ чувствительность, способность страдать, они ничѣмъ не облегчаютъ ихъ страданія; словомъ, это—болотные огоньки, заводящіе ихъ въ тупоходы и погасающіе тогда, когда несчастному путнику необходимо свѣтъ, чтобы разглядѣть свое затруднительное положеніе.

Тургеневъ исчерпалъ этотъ типъ въ Рудинѣ, Писемскій представилъ его въ Эльчаниновѣ («Боярщина») и въ Шамиловѣ («Богатый Женихъ»). Всѣ трое съ самыхъ юныхъ лѣтъ все собираются летѣть, все расправляютъ крылья, иногда машутъ ими до изнеможенія, но ни на вершокъ не поднимаются отъ полу и для безпристрастнаго наблюдателя остаются смѣшными и пошлыми въ самыя пылкія минуты своего лиризма. Въ этихъ людяхъ равновѣсіе между головой и тѣломъ оказывается нарушеннымъ съ самаго дѣтства; уродливое воспитаніе не позволяетъ имъ развиваться, какъ слѣдуетъ, въ физическомъ отношеніи; они не отличаются въ дѣтствѣ ни здоровьемъ, ни силой, но зато, благодаря наемнымъ гувернерамъ, очень рано начинаютъ украшать свою голову разнообразными свѣдѣніями; они опережаютъ своихъ сверстниковъ и сами замѣчаютъ это; воспитатели своимъ вліяніемъ поддерживаютъ въ нихъ это «благородное соревнованіе». У ребенка являются искусственные интересы, ему хочется не конфетъ, не игрушекъ, не бѣготни, не забавъ, а того, чтобы его похвалили, по головкѣ погладили, отличили передъ другими; онъ заботится не о томъ, что доставляетъ непосредственное пріятное ощущеніе, а о томъ, что считается хорошимъ въ глазахъ старшихъ. Вотъ онъ подрастаетъ, становится къ своимъ педагогамъ въ критическія отношенія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, привычка смотрѣть на себя со стороны не пропадаетъ; когда ему было десять лѣтъ, ему хотѣлось хорошо отвѣтить урокъ, чтобы учитель назвалъ его молодцомъ; а въ семнадцать лѣтъ ему хочется совершить

\*) Я не говорю о его стихотвореніяхъ и драматическихъ произведеніяхъ, которыя извѣстны очень многимъ читателямъ.



удивительнѣйшій подвигъ, чтобы его имя повторяли съ уваженіемъ соотечественники и соотечественницы. «Благородная гордость, благородныя стремленія», — говорятъ окружающіе люди. Мнѣ кажется, вѣрнѣе было бы сказать, что началось маханіе крыльями, которое рѣшительно ни къ чему не поведетъ. Удивительнѣйшій подвигъ, конечно, не совершается, но мысль о такомъ подвигѣ раздражаетъ нервы; молодой искатель великихъ дѣлъ говоритъ съ увлеченіемъ и увлекательно; его слушатели—добрая, довѣрчивая молодежь уважаетъ высоту его порывовъ и съ умиленіемъ слушаетъ его тирады; герой нашъ чувствуетъ свою силу надъ кружкомъ, воодушевляется своимъ торжествомъ, питается своимъ тщеславіемъ, растетъ въ своихъ собственныхъ глазахъ и, одерживая постоянно въ спорѣ легкія побѣды, мечтая и говоря о широкой и великой дѣятельности, малопомалу теряетъ всякую способность трудиться. Вотъ еслибы тутъ, въ кругу молодыхъ слушателей и собесѣдниковъ будущаго великаго человѣка, нашелся умный, ѣдкій скептикъ, который, какъ дважды-два—четыре, доказалъ бы оратору, что онъ поретъ ахинею, — тогда, можетъ быть, нашъ герой одумался бы и понялъ бы, что мечтать смѣшно, а не трудиться, когда есть силы,—глупо или, по крайней мѣрѣ, нерасчетливо; но молодое пиво бродитъ, ничто не сдерживаетъ его броженія, и оно бьетъ черезъ край и утекаетъ въ мутной пѣнѣ; года идутъ; силы, не освѣжаемыя трудомъ, тупѣютъ; матеріальное положеніе остается сомнительнымъ; способность импровизировать восторженную гиль превращается въ привычку говорить высокими слогами о мудреныхъ вещахъ, какъ-то: *жизнь, Русь, назначеніе человека, долгъ гражданина*; удивительный подвигъ, который предполагалось совершить въ началѣ поприща, откладывается: фразеръ начинаетъ понимать, что онъ ничего не сдѣлалъ и ничего не сдѣлаетъ, но отказаться отъ эффектированія передъ самимъ собой онъ рѣшительно не въ состояніи; онъ начинаетъ говорить: «у меня были силы, ихъ разнесла жизнь; жизнь меня измѣла, но я не уступилъ ей напору; теперь я безсиленъ, теперь я жалокъ, ничтоженъ, смѣшонъ». Даже въ патетическомъ перечисленіи своихъ нравственныхъ нарывовъ и струповъ нашъ герой ищетъ картинной эффектности, подобно тому, какъ уѣздная барышня ищетъ интересной блѣдности, если не можетъ похвастаться свѣжимъ цвѣтомъ лица и округлостью бюста. Роль, позы, трагическая мантія оказываются самыми насущными потребностями неудавшагося титана. Искренности, жизни, натуры — ни на волю.

На словахъ эти люди способны на подвиги, на жертвы, на героизмъ; такъ, по крайней мѣрѣ, подумаетъ каждый обыкновенный смертный

слушая ихъ разглагольствованія о человѣкѣ, о гражданинѣ и другихъ тому подобныхъ отвлеченныхъ и высокихъ предметахъ. На дѣлѣ эти дряблыя существа, постоянно испаряющіяся въ фразы, неспособны ни на рѣшительный шагъ, ни на усидчивый трудъ. Вглядитесь въ Рудина: какъ онъ говоритъ о жизни, какъ его слова западаютъ въ душу двумъ молодымъ личностямъ—Натальѣ и Басистову, какъ онъ самъ воодушевляется и становится почти великъ, когда его увлекаетъ потокъ его мыслей! И вдругъ, что-же выходитъ на дѣлѣ? Рудинъ труситъ предъ Воынцевымъ, труситъ предъ Натальей, спотыкается объ ничтожнѣйшія препитствія, падаетъ духомъ, выѣзжая изъ гостепріимнаго дома Дарьи Михайловны, и, наконецъ, является передъ читателемъ измятымъ, забытымъ, бесполезнымъ, какъ выжатый лимонъ; и тутъ онъ фразерствуетъ только нѣсколькими тонами ниже. Но въ Рудинѣ есть выкупающія стороны; Рудинъ—поэтъ, голова, сильно раскаляющаяся и быстро простывающая для того, чтобы снова раскалиться отъ прикосновенія другихъ предметовъ. Онъ впечатлителенъ до крайности, и въ этой впечатлительности заключаются и его обаятельность, и источникъ его страданій. Еслибы дѣло такъ-же скоро дѣлалось, какъ сказка сказывается, то Рудинъ могъ бы быть великимъ дѣятелемъ; въ ту минуту, когда онъ говоритъ, его личность вырастаетъ выше обыкновенныхъ размѣровъ; онъ гальванизируетъ самого себя, онъ силенъ и вѣритъ въ свою силу, онъ готовъ пойти на острый бой со всей неправдой земли; вотъ почему онъ умираетъ со знаменемъ въ рукѣ; но въ обыденной жизни нельзя устранивать свои дѣла однимъ взмахомъ руки; ничто не приходитъ къ намъ по шучьему велѣнію: надо выработать, надо срыть препятствія и разровнять себѣ дорогу; для этого необходима выдержка, устойчивость; взрывомъ кипучей отваги, вспышкой нечеловѣческой энергіи можно только ослѣпить зрителей; оно красиво, но безплодно. Рудинъ умираетъ великолѣпно, но вся жизнь его не что иное, какъ длинный рядъ самообольщеній, разочарованій, мыльныхъ пузырей и миражей.

Всего печальнѣе то, что эти миражи обманывали не его одного; съ нимъ вмѣстѣ, за него, и часто сильнѣе его самого страдали люди, принимавшіе его слова на вѣру, воспламенявшіеся вмѣстѣ съ нимъ и не умѣвшіе остыть тогда, когда остывалъ Рудинъ. Особенно вредно Рудины дѣйствуютъ на женщинъ; женщины въ нашемъ обществѣ нерѣдко до сѣдыхъ волосъ остаются дѣтми; онѣ не знаютъ жизни, потому что сами не сталкиваются съ нею; онѣ не знаютъ того, какъ лгутъ въ жизни, поступками и словами, на каждомъ шагу и при каждомъ удобномъ случаѣ, иногда даже лучшіе люди и добросовѣстнѣйшіе дѣя-



тели; онѣ видятъ этихъ людей и дѣятелей въ домашнемъ костюмѣ, когда вицмундиръ смѣняются простыми сюртуками; онѣ слышатъ, какъ эти люди разсуждаютъ о своей дѣятельности, и много фальшивой монеты принимаютъ за настоящую. Упоминая такимъ образомъ о женщинахъ, я, конечно, не говорю о тѣхъ несчастныхъ личностяхъ, которыхъ горькая нужда слишкомъ хорошо познакомила съ грязью жизни, или которыхъ уродливое воспитаніе сдѣлало нечувствительными къ какимъ бы то ни было впечатлѣніямъ, кромѣ чисто-физической боли и чисто-физическаго наслажденія.

Нѣкоторая независимость отъ вѣншихъ обстоятельствъ совершенно необходима для того, чтобы человѣкъ могъ мыслить и чувствовать; если человѣкъ цѣлый день работаетъ для того, чтобы не умереть съ голода, и утоляетъ свой голодъ для того, чтобы завтра опять цѣлый день работать, то онъ прозябаетъ, а не живетъ; онъ черствѣетъ, тупѣетъ, покрывается какой-то ржавчиной; въ этомъ и заключается деморализующее, опошляющее вліяніе пауперизма, котораго не испытываютъ животныя и который страшнымъ бременемъ тяготѣетъ надъ человѣкомъ. Слѣдовательно, говоря о психической жизни женщинъ, я поневолѣ принужденъ ограничиться тѣми сферами, въ которыхъ эта психическая жизнь не подавлена и не забита ежечасною тревожною заботой о кускѣ хлѣба; такія женщины, знающія жизнь настолько, насколько пожелаютъ показать имъ жизнь ихъ папеньки, опекуны или супруги, любятъ смѣлыя рѣчи Рудиныхъ; онѣ въ этихъ людяхъ надѣются увидѣть тѣхъ героевъ, къ которымъ инстинктивно стремятся ихъ желанія; онѣ надѣются черезъ нихъ познакомиться съ той болѣе полною и широкою жизнью, онѣ привязываются къ этимъ людямъ той пылкою любовью, которою мы любимъ наши лучшія надежды, наши свѣтлыя мечты, наши благородныя стремленія; все то, что даетъ намъ силы переносить тягости жизни, все это воплощается для женщины въ образѣ того человѣка, который горячимъ словомъ шевельнулъ ея мозговые нервы; тутъ обмануться, тутъ разочароваться значитъ упасть со страшной высоты; вынести такое паденіе, окрѣпить послѣ такого грубаго удара удается очень немногимъ.

Вотъ въ какомъ отношеніи Рудины принимаютъ на себя страшную отвѣтственность; кто будитъ въ человѣкѣ его лучшіе инстинкты, тотъ долженъ и удовлетворить ихъ требованіямъ; кто ведетъ слабого ребенка на крутую гору, тотъ можетъ сдѣлаться преступникомъ, если не поддержитъ до самаго конца горы это существо, вѣрующее въ его силу и смѣло пошедшее за нимъ по его призыву; оставить такое существо на половинѣ дороги, когда впереди страшная крутизна, а сзади страшный спускъ въ сы-

рую трущобу,—это непростительно: тутъ извиненіемъ не можетъ служить ни ошибка, ни слабость; когда берешься устраивать чужую жизнь, надо взвѣсить свои силы; кто этого не умѣетъ или не хочетъ сдѣлать, тотъ опасенъ, какъ слабоумный или какъ эксплуататоръ.

## V.

Выкупающія стороны, отмѣченные мною въ характерѣ Рудина, не встрѣчаются въ личностяхъ Эльчанинова и Шамилова. Сущность типа состоитъ, какъ мы видѣли, въ несоразмѣрности между силами и претензіями; духъ бодръ, плоть немощна—вотъ формула рудинскаго типа. Несоразмѣрность эта можетъ происходить отъ избытка претензій или отъ недостатка силъ. Рудинъ воплощаетъ въ себѣ первый моментъ; Эльчаниновъ и Шамиловъ служатъ представителями второго. Рудинъ—человѣкъ очень недюжинный по своимъ способностямъ, но онъ постоянно собирается сдѣлать какой-то фокусъ, перескочить *à pieds joints* черезъ всѣ препятствія и дразни жизни; этотъ фокусъ ему не удастся, потому что онъ вообще удастся только немногимъ счастливымъ или генимъ; вслѣдствіе этого Рудинъ истощается въ безплодныхъ попыткахъ, разливается въ разсужденіяхъ объ этихъ попыткахъ и дальше этого не идетъ; дѣятельность обыкновеннаго работника мысли ему сподручна, да вотъ, видите-ли, онъ—бѣлоручка, онъ ее знать не хочетъ; ему подавайте такое дѣло, которое во всякую данную минуту поддерживало бы его въ восторженномъ состояніи; онъ черновой работы не терпитъ, потому что считаетъ себя выше ея. Эльчаниновъ и Шамиловъ, напротивъ того, представляютъ собою полнѣйшую посредственность; они даже въ мечтахъ своихъ слишкомъ высоко не забираютъ; имъ съ трудомъ достаются даже такіе рядовые результаты, какъ кандидатскій экзаменъ; они—просто лѣнтяи, не рѣшающіеся соизнаться самимъ себѣ въ причинѣ своихъ неудачъ.

Въ каждомъ обществѣ, дурно или хорошо устроенномъ, есть два рода недовольныхъ: одни дѣйствительно страдаютъ отъ господствующихъ предразсудковъ; другіе страдаютъ отъ побочныхъ причинъ и только сваливаютъ вину на эти предразсудки. Одни жалуются на то, что масса ихъ современниковъ отстаютъ отъ нихъ; другіе — на то, что эти-же современники идутъ мимо нихъ, не обращая вниманія на ихъ возгласы и трагическіе жесты; къ числу первыхъ относятся Галилей, Іоаннъ Гуссъ, аболіціонистъ Броунъ; къ многочисленной фалангѣ вторыхъ принадлежатъ разные непризнанные дарованія и непонятые души,—люди, нищіе духомъ и не рѣшающіеся убѣ-



даться въ своей нищетѣ. Одинъ, положимъ, оказался неспособнымъ кончить курсъ и вслѣдствіе этого кричить, что система преподаванія уродлива, а преподаватели — взяточники; другому возвратили нелѣпую статью изъ редакціи журнала, — онъ начинаетъ жаловаться на тлетворное направленіе періодической литературы; третьяго выгнали со службы за то, что онъ пьетъ запоемъ, — онъ становится въ мефистофелевскія отношенія къ современному порядку вещей. Критическія отношенія къ дѣйствительности неизбежны и необходимы, но критиковать надо честно и дѣльно; кто кидается въ отрицаніе съ горя, съ досады, чтобы сорвать зло за личную непріятность, тотъ вредитъ дѣлу общественнаго развитія, тотъ роняетъ идею оппозиціи и подрываетъ въ публикѣ довѣріе къ тѣмъ честнымъ дѣятелямъ, съ которыми онъ повидимому стоитъ подъ однимъ знаменемъ.

Когда вы горячо спорите о чемъ-нибудь, то нѣтъ ничего непріятнѣе, какъ услышать отъ другого собеседника плохой аргументъ въ пользу вашего мнѣнія; нечестный или ограниченный союзникъ въ умственномъ дѣлѣ, въ борьбѣ принциповъ, — вреднѣе врага; поэтому псевдо-прогрессисты мѣшаютъ дѣлу прогресса гораздо сильнѣе, чѣмъ открытые обскуранты, если только послѣдніе въ борьбѣ съ новыми идеями останавливаются на одной аргументаціи. Мелкіе представители рудинскаго типа схватываютъ на лету свѣжія идеи, выкраиваютъ себѣ изъ нихъ эффектную, по ихъ мнѣнію, драпировку и, закутываясь въ нее, до такой степени опошляютъ самую идею, что становятся совѣстно за нихъ и до слезъ обидно за идею. Возьмемъ, напримѣръ, Шамилова. Онъ пробылъ три года въ университетѣ, болтался, слушалъ по разнымъ предметамъ лекціи такъ же безсвязно и безцѣльно, какъ ребенокъ слушаетъ сказки старой няни, вышелъ изъ университета, уѣхалъ во-свояси, въ провинцію, и рассказалъ тамъ, что «намѣренъ держать экзаменъ на ученую степень и пріѣхалъ въ провинцію, чтобы удобнѣе заняться науками». Въмѣсто того, чтобы читать серьезно и послѣдовательно, онъ пробавлялся журнальными статьями и тотчасъ по прочтеніи какой-нибудь статьи пускался въ самостоятельное творчество: то вздумаетъ писать статью о «Гамлетѣ», то составитъ планъ драмы изъ греческой жизни, напишетъ строкъ десять и броситъ; зато говорить о своихъ работахъ всякому, кто только соглашается его слушать. Розсказни его интересуютъ молодую дѣвушку, которая по своему развитію стоитъ выше уѣзднаго общества; находя въ этой дѣвушкѣ усердную слушательницу, Шампиловъ сближается съ нею и, отъ нечего дѣлать, воображаетъ себя до безумія влюбленнымъ: что-же касается до дѣ-

вушки, — та, какъ чистая душа, влюбляется въ него самымъ добросовѣстнымъ образомъ и, дѣйствуя смѣло изъ любви къ нему, преодолеваетъ сопротивленіе своихъ родственниковъ; происходитъ помолвка съ тѣмъ условіемъ, чтобы Шамиловъ до свадьбы получилъ степень кандидата и опредѣлился на службу. Является, стало быть, необходимость поработать, но нашъ новый Митрофанушка не осиливаетъ ни одной книги и начинаетъ говорить: «не хочу учиться, хочу жениться». Къ сожалѣнію, онъ говоритъ эту фразу не такъ просто и откровенно, какъ произносилъ ее его прототипъ. Онъ начинаетъ обвинять свою любящую невесту въ холодности, называетъ ее сѣвѣрной женщиной, жалуется на свою судьбу; прикидывается страстнымъ и пламеннымъ, приходитъ къ невестѣ въ нетрезвомъ видѣ и, съ пьяныхъ глазъ, совершенно некстати и очень неграціозно обнимаетъ ее. Всѣ эти штуки продѣлываются отчасти отъ скуки, отчасти потому, что Шамилову ужасно не хочется готовиться къ экзамену; чтобы обойти это условіе, онъ готовъ поступить на хлѣба къ дядѣ своей невесты и даже выпросить черезъ невесту обезпеченный кусокъ хлѣба у одного стараго вельможи, бывшаго друга ея покойнаго отца. Всѣ эти гадости прикрываются мантией страстной любви, которая будто бы омрачаетъ разсудокъ Шамилова; осуществленію этихъ гадостей мѣшаютъ обстоятельства и твердая воля честной дѣвушки. Шамиловъ дѣлаетъ ей сцены, требуетъ, чтобы она отдалась ему до брака, но невеста его настолько уйна, что видитъ его ребячество и держитъ его въ почтительномъ отдаленіи. Видя серьезный отпоръ, нашъ герой жалуется на свою невесту одной молодой вдовѣ и, вѣроятно, чтобы утѣшиться, начинаетъ объясняться ей въ любви. Между тѣмъ отношенія съ невестой поддерживаются; Шамилова отправляютъ въ Москву держать экзаменъ на кандидата; Шампиловъ экзамена не держитъ, къ невестѣ не пишетъ и, наконецъ, успѣваетъ увѣрить себя безъ большого труда въ томъ, что его невеста его не понимаетъ, не любить и не стоитъ. Невѣста отъ разныхъ потрясеній умираетъ въ чахоткѣ, а Шамиловъ избираетъ благуу часть, т. е. женится на утѣшавшей его молодой вдовѣ; это оказывается весьма удобнымъ, потому что у этой вдовы — обезпеченное состояніе. Молодые Шамиловы пріѣзжаютъ въ тотъ городъ, въ которомъ происходило все дѣйствіе разсказа; Шамилову отдаютъ письмо, написанное къ нему его покойною невестой за день смерти, и по поводу этого письма происходитъ между нашимъ героемъ и его женой слѣдующая сцена, достойнымъ образомъ завершающая его бѣглую характеристику:



«— Покажите мнѣ письмо, которое отдалъ вамъ вашъ другъ, начала она.

— Какое письмо? спросилъ съ притворнымъ удивленіемъ Шамиловъ, садясь у окна.

— Не запирайтесь: я все слышала... Понимаете-ли вы, что дѣлаете?

— Что такое я дѣлаю?

— Ничего: вы только принимаете отъ того человѣка, который самъ прежде интересовался мною, письма отъ вашихъ прежнихъ приятельницъ и потомъ еще говорите ему, что вы теперь наказаны — кѣмъ? позвольте васъ спросить. Мною, вѣроятно? Какъ это благородно и какъ умно! Еще васъ считаютъ умнымъ человѣкомъ; но гдѣ-же вашъ умъ? въ чемъ онъ состоитъ, скажите мнѣ пожалуйста?... Покажите письмо!

— Оно писано ко мнѣ, а не къ вамъ; я вашими переписками не интересуюсь.

— У меня не было и нѣтъ ни съ кѣмъ переписки... Я играть вамъ собою, Петръ Александрычъ, не позволю... Мы ошиблись, мы не поняли другъ друга.

Шамиловъ молчалъ.

— Отдайте мнѣ письмо или сейчасъ-же поѣзжайте, куда хотите, повторила Катерина Петровна.

— Возьмите. Неужели вы думаете, что я привязываю къ нему какой-нибудь особый интересъ? сказалъ съ насмѣшкой Шамиловъ.

И, бросивъ письмо на столъ, ушелъ.

Катерина Петровна начала читать его съ замѣчаніями.

«Я пишу это письмо къ вамъ послѣднее въ жизни»...

— Печальное начало!

«Я не сержусь на васъ; вы забыли ваши клятвы, забыли тѣ отношенія, которыя я, безумная, считала неразрывными».

— Скажите, какая неопытная невинность.

«Передо мною теперь...»

— Скучно!.. Аннушка!..

Явилась горничная.

— Поди, отдай барину это письмо и скажи, что я совѣтую ему сдѣлать для него медальонъ и хранить его на груди своей.

Горничная ушла и, воротившись, доложила баринѣ:

— Петръ Александрычъ приказали сказать, что они безъ вашего совѣта будутъ беречь его.

Вечеромъ Шамиловъ поѣхалъ къ Карелину, просидѣлъ у него до полуночи и, возвратясь домой, прочиталъ нѣсколько разъ письмо Вѣры, вздохнулъ и разорвалъ его. На другой день онъ цѣлое утро просилъ у жены прощенія».

Вотъ онъ каковъ, Шамиловъ. Надо отдать Писемскому полную справедливость: онъ раздавилъ, втопталъ въ грязь дрянной типъ драпирующагося фразера. Ни Тургеневъ въ своемъ Рудинѣ, ни Жоржъ-Зандъ въ Орасѣ не возвышались до такой удивительной, практической простоты отношеній къ личностямъ этихъ героевъ.

Въ выписанной мною заключительной сценѣ нѣтъ ни малѣйшей эффектности, ни тѣни искусственности; характеръ дорисовывается вполне; впечатлѣніе производится на читателя самое сильное и при томъ самыми простыми, дешевыми, естественными средствами. Пустой фразеръ наказанъ какъ нельзя больнѣе, и при томъ наказанъ не стеченіемъ обстоятельствъ, какъ Рудинъ въ эпилогѣ, а неизбежными слѣдствіями соб-

ственного характера. Онъ тщеславенъ, неспособенъ трудиться и сухъ, — очень естественно, что онъ съ удовольствіемъ женится на богатой женщинѣ, хотя бы она была и гораздо постарше его. Соблюдая передъ самимъ собой благообразіе отношеній, онъ не сознается въ томъ, что поставилъ себя въ зависимое положеніе — ему даютъ почувствовать эту зависимость; онъ видитъ, что дѣло некрасиво, и пробуетъ возмутиться — ему затягиваютъ мундштукъ потуже; онъ, чисто для приличія, произноситъ передъ горничной гордую фразу — его заставляютъ отказать отъ этой фразы; онъ уходитъ и надушается — его принуждаютъ просить прощеніе, да еще цѣлое утро, ему грозятъ, что его сгонятъ со двора, — и онъ становится шелковый. «Собака — собачья смерть», говоритъ пословица; но, мнѣ кажется, было бы правильнѣе сказать: «собака — собачья жизнь». Смерть — случайность, потому что камень можетъ свалиться и на героя, и на не-героя, но жизнь съ своимъ направленіемъ и съ своей обстановкой зависитъ отъ самого человѣка; жизнь Шамилова представляетъ полный оттискъ его личности; какимъ бы геросомъ этотъ джентльменъ ни умеръ — все равно; мы видѣли, какъ онъ расположилъ свое существованіе, какъ напакостилъ себѣ и другимъ, и этого совершенно достаточно, чтобы оцѣнить букетъ его характера.

Въ Шамиловѣ, по моему мнѣнію, больше жизненнаго значенія, чѣмъ въ Рудинѣ: Шампиловыхъ тысячи, Рудиныхъ — десятки. Тургеневъ беретъ довольно исключительное явленіе. Писемскій, напротивъ того, прямо запускаетъ руку въ дѣйствительную жизнь и вытаскиваетъ оттуда такихъ людей, какихъ мы встрѣчаемъ сплошь да рядомъ; между тѣмъ общій характеръ типа у Писемскаго проанализированъ такъ-же вѣрно, какъ и у Тургенева, а очерченъ даже гораздо ярче.

Виновато-ли общество въ формированіи недѣлимыхъ, относящихся къ этому типу? На этотъ вопросъ можно отвѣтить такъ. Общество виновато во всемъ томъ, что совершается въ его предѣлахъ; всякая дрянная личность самымъ фактомъ своего существованія указываетъ на какой-нибудь недостатокъ въ общественной организаціи. Что-же дѣлать обществу? спросить читатель. Вѣшать что-ли преступниковъ, или усиливать полицейскія мѣры для предупрежденія преступленій? Нѣтъ, отвѣчу я. Воръ не могъ родиться воровъ, потому что новорожденный ребенокъ не имѣетъ никакого понятія о томъ, что такое собственность. Его испортило воспитаніе, а воспитаніе зависитъ отъ отношеній, отъ условій экономическаго быта, отъ суммы гуманныхъ идей, находящихся во всеобщемъ обращеніи; если воспитаніе плохо въ какомъ бы то ни было отношеніи, въ этомъ прямо виновато общество; ни вы, ни я, ни Петръ, ни Си-



доръ отдѣльно не заслуживаютъ порицанія, но гѣ отношенія, въ которыхъ Петръ стоитъ къ Сидору или я стою къ вамъ, могутъ быть названы ложными, неестественными и стѣснительными.

Отношенія эти образовались помимо насъ и до нашего рожденія; ихъ освятила исторія, ихъ не устранить никакая единичная воля; вѣрнѣе и сомнѣваться мы не можемъ *ad libitum*; мысли наши текутъ въ извѣстномъ порядкѣ, помимо нашей воли; даже въ процессѣ мысли мы стѣснены условіями нашей физической организаціи и обстоятельствомъ нашего развитія; если вы выросли при извѣстной обстановкѣ, свыклись съ нею в теченіи вашей жизни и при томъ не обладаете значительной силой мысли, то вамъ, можетъ быть, никогда не удастся обсудить эту обстановку совершенно свободно и смѣло; винить васъ въ этомъ было бы смѣшно, но замѣтить, что ваша робость оказываетъ вредное вліяніе на зависящія отъ васъ личности, было бы совершенно справедливо; устранить это вредное вліяніе, хотя бы вамъ это было не по сердцу, также очень законно; но валить на васъ отвѣтственность за то, что вы поступаете сообразно съ вашей природой, безжалостно и бесполезно. Если пороховые газы у васъ въ рукахъ разорвутъ ружье, въ которомъ уже образовался разстрѣлъ, то вы, вѣроятно, не станете сердиться ни на ружье, ни на порохъ, хотя бы отъ разрыва у васъ перекалѣчило руки. Вы просто выведете заключеніе, что разстрѣленное ружье можетъ быть разорвано, если положить въ него слишкомъ крѣпкій зарядъ, и, вѣроятно, на будущее время будете осматривательнѣе. Еслибы только вы могли быть всегда послѣдовательны, то и на человѣческія слабости и погрѣшности вы смотрѣли бы такъ-же безстрастно, какъ на разрывъ ружья; вы бы остерегались отъ вредныхъ послѣдствій этихъ слабостей, но на самыя слабости не могли бы сердиться; поэтому необходимо хотъ въ критикѣ становиться выше искусственнаго понятія; необходимо, говоря о личности человѣка, разсмотрѣть причины его поступковъ, привести ихъ въ соотношеніе съ условіями его жизни, объяснить ихъ вліяніемъ обстоятельствъ и вслѣдствіе этого оправдать того грѣшника, въ котораго прежде летѣли камни. Въ заключеніе всего, можно только сказать о подсудимой личности: такой-то слабъ и не вынесъ гнета обстоятельствъ, а такой-то силенъ и побѣдилъ всѣ препятствія. Одного мы уважаемъ за его силу, другого презираемъ за его слабость по той-же самой причинѣ, по которой мы съ удовольствіемъ съѣдаемъ кусокъ свѣжаго мяса и съ отвращеніемъ выбрасываемъ въ помойную яму гнилое яйцо. Кто-же во всемъ этомъ виноватъ? Неужели самъ субъектъ, т. е. продуктъ извѣстныхъ условій, совершенно не зависѣвшихъ отъ его выбора? Никто не вино-

вать, да и что это за скверное слово: *вина*, *виноватъ*; отъ него пахнетъ уголовнымъ наказаніемъ. Это слово, это понятіе исчезаетъ теперь, и пенитенціарная система Сѣверныхъ Штатовъ является намъ первой удачной попыткой замѣнить наказаніе перевоспитаніемъ.

Шамиловъ и подобныя имъ личности не имѣютъ права претендовать на общество за то, что общество обращается съ ними, какъ съ трупными, но они имѣютъ право жаловаться на то, что общество допустило ихъ сдѣлаться людьми дряблыми и никуда не годными. Они должны сказать: мы—лишніе люди, насъ нельзя пристроить ни къ какому дѣлу, но еслибы насъ иначе воспитывали въ дѣтствѣ и иначе направляли въ молодости, мы, можетъ быть, не обременяли бы собою земли и не относились бы къ коптителямъ неба и къ чуждымъ растениямъ.

## VI.

Чтобы отгнать своихъ героевъ, принадлежавшихъ къ рудинскому типу, чтобы рельефнѣе выставить безпощадность своихъ отношеній къ ихъ чахлымъ личностямъ и смѣшнымъ претензіямъ, Тургеневъ и Писемскій ставятъ ихъ рядомъ съ простыми, очень неразвитыми смертными, и эти простые смертные оказываются выше, крѣпче и честнѣе полированныхъ и фразерствующихъ умниковъ. Рудинъ пасуетъ передъ Волыnceвымъ, передъ отставнымъ армейскимъ ротмистромъ, не получившимъ никакого образованія. Эльчаниновъ у Писемскаго въ подметки не годится Савелію, мелкопомѣстному дворянину, пашущему вмѣстѣ съ своимъ единственнымъ мужикомъ. Шамиловъ оказывается дрянью въ сравненіи съ лихимъ гусаромъ Карелинымъ и даже въ сравненіи съ тупоумнымъ Сальниковымъ.

Рудинъ, Эльчаниновъ и Шамиловъ гораздо образованнѣе и даже развитѣе тѣхъ личностей, которымъ они противопоставляются, а между тѣмъ неотесанныя натуры послѣднихъ внушаютъ гораздо больше довѣрія, уваженія и сочувствія. Отчего это происходитъ? Оттого, что въ фразахъ мы ничего не видимъ, кромѣ извѣстной дрессировки, а въ дичкахъ видимъ человѣка, каковъ онъ есть, съ самородными достоинствами и съ прилипшими случайно странностями и шероховатостями. Но теперь возникаетъ другой вопросъ: съ какой цѣлью Тургеневъ и Писемскій рѣшаются дѣлать эти сопоставленія? Что они хотятъ этимъ доказать? Неужели то, что образованіе вредно дѣйствуетъ на человѣка? На послѣдній вопросъ можно смѣло отвѣтить: нѣтъ. Дѣло въ томъ, что польза образованія, на словахъ, если не на самомъ дѣлѣ, до такой степени признана всѣми, что этого положенія никто не станетъ доказывать, и что противъ этого положенія, выраженнаго



совершенно абстрактно, никто не станетъ спорить. Самъ Асоченскій не скажетъ прямо: образованіе вредно, хотя и постарается подблаговиднымъ предлогомъ очернить самые свѣтлые его результаты. Для порядочныхъ-же людей нашего времени вопросъ о пользѣ образованія давнымъ-давно, чуть не съ пеленокъ, пересталъ быть вопросомъ. Къ признанному-же факту, стоящему на незыблемыхъ основаніяхъ, мы можемъ относиться совершенно смѣло, съ самой безпощадной и послѣдовательной критикой. Намъ незачѣмъ ни миндальничать передъ идеями цивилизаціи, ни благоговѣть передъ ея благодѣяніями. Мы можемъ уже говорить другимъ тономъ. Мы видимъ, что свѣтъ цивилизаціи исподволь распространяется въ нашемъ обширномъ отечествѣ, и отъ всей души радуемся этому факту, но, признавая его чрезвычайно важнымъ, именно по этой причинѣ и стараемся всмотрѣться въ него какъ можно пристальнѣе. Великолѣпное растеніе, принадлежащее всѣмъ людямъ, но воздѣланное съ особенной любовью западными европейцами и доставляющее имъ богатые плоды, перенесено на нашу почву и посажено на нашихъ равнинахъ, гдѣ его и вѣтромъ качаетъ, и снѣгомъ заносить, и засухой зажариваетъ. Вѣдь, право, не грѣшно будетъ спросить: «каково принялось иноземное растеніе? есть-ли надежда акклиматизировать его подъ нашимъ негостепріимнымъ небомъ?» Не грѣшно будетъ отвѣтить на это: «надежда, пожалуй, есть, да гдѣ-же ея нѣтъ?» А принялось-то нѣжное растеніе Запада не совсѣмъ хорошо; характеръ его извращенъ климатическими и другими условіями; плоды мелкіе и горьковатые; зелень чахлая и тощая. Вотъ и стали кричать по этому случаю славянофилы: «не надо намъ этого растенія! Оно намъ не по климату; оно истощитъ всю нашу навозную почву, которую мы, отцы и дѣды наши удобряли съ такимъ постояннымъ усердіемъ, не щадя живота и животныхъ. Проклятый тотъ народъ, который воздѣлываетъ это растеніе; чтобъ ему подавиться тѣми плодами, которые оно приносить!»

Было бы грустно думать, что лучшіе изъ нашихъ современныхъ художниковъ вторятъ въ своихъ произведеніяхъ этимъ нестройнымъ крикамъ. Неужели Писемскій и Тургеневъ славянофильствуютъ, ставя полудикія натуры выше фразеровъ? Еслибы эта статья принадлежала перу славянофила, то навѣрное бы авторъ ея подвелъ такого рода заключеніе и пришелъ бы въ неописанный восторгъ оттого, что наши повѣствователи преклоняются будто-бы передъ народной правдой и святыней. Я-же, не имѣя счастья принадлежать къ сотрудникам покойной «Русской Бесѣды» и нынѣ процвѣтающаго «Дня», позволю себѣ взглянуть на дѣло болѣе широкимъ взглядомъ и постараюсь оправдать

Тургенева и Писемскаго отъ упрека въ славянофильствѣ.

Противуполагая полудикую натуру — обезцвѣченной, наши художники говорятъ за человѣка, за самородныя и неотъемлемыя свойства и права его личности, они не думаютъ выхвалять одинъ народъ на счетъ другого, одинъ слой общества на счетъ другого; національная или кастическая исключительность не можетъ найти себѣ мѣста въ томъ свѣтломъ и любовномъ взглядѣ, которымъ истинный художникъ охватываетъ природу и человѣка; обнимая своимъ могучимъ синтезомъ все разнообразіе явленій жизни, обобщая ихъ естественнымъ чутьемъ истины, видя въ каждомъ изъ нихъ его живую сторону, художникъ видитъ человѣка въ каждомъ изъ выводимыхъ типовъ, заступаетъ за него, когда онъ страдаетъ, сочувствуетъ ему, когда онъ опечаленъ, осуждаетъ его, когда онъ гнететъ другихъ; — и во всѣхъ этихъ случаяхъ только интересы человѣческой личности волнуютъ и потрясаютъ впечатлительные нервы художника. Споръ о томъ, что годится намъ лучше, западная-ли наука, или восточная рутина, не можетъ имѣть никакого интереса для художника; эпитеты: *западная* и *восточная*, въ которыхъ, по мнѣнію борцовъ различныхъ партій, заключается вся сила, откидываются въ умъ художника или даже вообще умнаго человѣка. Онъ разсматриваетъ просто науку и рутину, движеніе и застой, какъ два различныя состоянія человѣческаго мозга; онъ одинаково легко отрѣшается отъ узкой англоманіи московскихъ доктринеровъ и отъ тупого патріотизма славянофиловъ: способность сочувствовать всему человѣческому, всему живому и естественному, — способность, составляющая необходимую принадлежность истиннаго художника, даетъ ему возможность видѣть хорошія стороны самыхъ противоположныхъ между собой явленій и ни подъ какимъ видомъ не позволяетъ ему дѣлаться рабомъ какой бы то ни было головной теоріи.

Нашъ братъ-работникъ часто вдается въ крайность и вслѣдствіе этого противорѣчитъ самому себѣ; полемизируя противъ вредной идеи, мы противопоставляемъ ей тотъ принципъ, который считаемъ хорошимъ, и часто, увлекаясь благороднымъ жаромъ, проводимъ этотъ принципъ до послѣднихъ, въ дѣйствительности невозможныхъ предѣловъ; мы пересаливаемъ, какъ партизаны, какъ люди партіи, и въ эти минуты художникъ, понимающій какъ-то инстинктивно правду и ложь всякаго дѣла, можетъ нарисовать насъ и воспроизвести въ одно время и благородное побужденіе, заставляющее насъ кричать и бѣсноваться, и смѣшныя крайности, до которыхъ доводитъ насъ увлеченіе. Такъ поступили Писемскій и Тургеневъ въ отношеніи къ явленіямъ, произведеннымъ у насъ



на Руси вліянієм цивилизації; они отнеслись совершенно безпощадно къ той дикой почвѣ, на которой разбрасываются сѣмена нѣжнаго европейскаго растенія; ни Писемскаго, ни Тургенева нельзя упрекнуть въ тупомъ пристрастіи къ патріархальности; но съ другой стороны ихъ нисколько не подкупилъ блескъ той цивилизації, которая дѣлаетъ чудеса въ Америкѣ и въ Англіи; «блестѣть-то она блеститъ», — говорятъ наши романисты, — да каково-то у насъ она принимается. Въдѣ теперь періодъ порыва и страсти и много уродливыхъ, много жалкихъ явленій, много крикливыхъ диссонансовъ происходить отъ сшибки обще-человѣческаго элемента съ Домостроемъ».

Что дѣлать художнику въ такія эпохи? Что дѣлать человѣку, горячо любящему человѣческіе интересы и сильно нуждающемуся въ нравственной опорѣ? На что ему надѣяться? На силу идеи, внесенной въ жизнь народа, или на энергію народа, который переработаетъ доставшуюся ему идею и обратитъ ее въ свою полную умственную собственность, въ капиталъ, съ котораго онъ современемъ будетъ брать богатые проценты? На что ему надѣяться, повторяю я: на силу идеи, или на энергію человѣка? Конечно, на силу идеи, подхватятъ идеалисты и доктринеры, — на силу истины, которая всегда восторжествуетъ и останется вѣчно истиной. Хорошо; пускай себѣ идеалисты говорятъ, что имъ угодно, а я скажу, что надо надѣяться на силу человѣка, какъ живого органическаго тѣла, и со мной въ этомъ случаѣ согласны, по смыслу своихъ произведеній, Тургеневъ и Писемскій. Увлеченъ идеей не трудно, подчиниться идеѣ способенъ человѣкъ очень ограниченныхъ способностей, но такой человѣкъ не принесетъ идеѣ никакой пользы и самъ не выжметъ изъ этой идеи никакихъ плодотворныхъ результатовъ; чтобы переработать идею, напротивъ того необходимъ живой мозгъ; только тотъ, кто переработалъ идею, способенъ сдѣлаться дѣятелемъ или измѣнить условія своей собственной жизни подъ вліяніемъ воспріятой имъ идеи, т. е. только такой человѣкъ способенъ служить идеѣ и извлекать изъ нея для самого себя оиззательную пользу. Подчиняются идеямъ многіе, овладѣваютъ ими — избранныя личности; оттого въ тѣхъ слояхъ нашего общества, которые называютъ себя образованными, господствуютъ идеи, но эти идеи не живутъ; идея только и живетъ, когда человѣкъ вырабатываетъ ее силою собственнаго мозга; какъ только она перешла въ категорическій законъ, которому всѣ подчиняются, такъ она застыла, умерла и начинаетъ разлагаться.

Столкнувшись съ цѣлымъ міромъ новыхъ, широкихъ идей, наши рудинствующіе молодые люди теряютъ всякую способность переработать ихъ въ плоть и кровь свою; они

благоговѣютъ передъ тѣми идеями, которыхъ они наслушались, любятъ на эти идеи, но жить ими не могутъ, потому что нельзя-же жить такими вещами, на которыя смотришь издали и которыхъ не осмѣливаешься взять въ руки. Они — сами по себѣ, а идеи ихъ — сами по себѣ. Очень можетъ быть, что новыми идеями вообще увлекаются прежде другихъ натуры впечатлительныя, подвижныя, неспособныя къ критикѣ и вслѣдствіе этого ничтожныя въ дѣлѣ жизни; тѣ крижистыя натуры, которыя противопоставляются Рудинимъ, воспринимаютъ тугу, недовѣрчиво, постепенно; но когда извѣстная идея, какъ извѣстный пріемъ лекарства, расшевелила ихъ мозговые центры, тогда они начинаютъ дѣйствовать; мысль не расходится съ дѣломъ; они живутъ вмѣсто того, чтобы рассуждать о жизни; такихъ людей у насъ не много, но такихъ людей начинаетъ признавать и уважать наше общество. Къ числу ихъ принадлежалъ Зыковъ, котораго представилъ Писемскій въ романѣ «Тысяча Душъ»; такимъ людямъ приходится только говорить, надсаживать легкія безплоднымъ крикомъ, надирать грудь надъ неблагодарной работой, иногда вдаваться въ дикій кутежъ съ горя, сжигать жизнь до-тла и умирать съ горькимъ сознаніемъ своего безсилія, умирать, какъ умираетъ человѣкъ, задыхающійся подъ стогомъ сѣна, котораго онъ не въ силахъ своротить съ своей груди. Некрасивая и даже не громкая смерть. Эти мученики нашего тупоумія и нашей инертности до сихъ поръ были разрозненными единицами, и художники наши не могли обращаться съ ними, какъ съ представителями цѣлаго типа; въ томъ, что называется у насъ обществомъ, замѣчалось страшное раздвоеніе; одни повторяли на разные лады чужія мысли и воображали себѣ, что они *думаютъ*; другіе ничего не думали и ничего не воображали, росли въ брюхо, ѣли и наѣдались, жили и умирали, словомъ, задавая себѣ маленькія цѣли, шли къ нимъ бодримъ, твердымъ шагомъ и всегда достигали ихъ, если не случалось поскользнуться или если не расшибалъ параличъ. Весь запасъ мыслей былъ на одной сторонѣ, весь запасъ воли и энергіи — на другой; между тѣми и другими лежала бездна...

Но отъ кого-же ждать спасительнаго толчка: отъ фразеровъ или отъ дикарей? Отвѣтъ на этотъ вопросъ ясенъ. Фразеры развились до послѣднихъ предѣловъ, настолько, насколько они способны развиваться; развились и остановились; они сдѣлали все, что могли, и больше отъ нихъ нечего ждать, это — выпавшее поле; а у дикарей — новъ, дичь, глушь, рѣцъ да крапива, но есть растительная сила, которую ничто не замѣнитъ. Кто заучился до такой степени, что потерялъ здравый смыслъ, на того остается махнуть рукой; кто ничему не



учился, у того могутъ быть проблески самороднаго здраваго смысла, и изъ этихъ проблемъ можетъ выработаться, смотря по обстоятельствамъ, живая мыслительная сила или горькій, забудыжный русскій юморъ. Въ живой силѣ, въ здоровомъ тѣлѣ, въ мускулахъ, въ костяхъ и въ нервахъ, а не въ бумажныхъ страницахъ и не въ кожаныхъ переплетахъ заключаются для человѣка задатки свѣтлаго будущаго. Работать надо, работать мозгомъ, голосомъ, руками, а не упиваться сладкозвучнымъ теченіемъ чужихъ мыслей, какъ бы ни были эти мысли стройны и выложены.

## VII.

Кромѣ типа несправимыхъ фразеровъ, въ произведеніяхъ Писемскаго и Тургенева можно отыскать еще два главные разряда мужскихъ характеровъ. Во-первыхъ, заслуживаютъ вниманія люди, подобные Лежневу и Лаврецкому; вторыхъ,—люди, подобные Веретьеву (въ повѣсти Тургенева «Затишье») и Рымову (въ рассказѣ Писемскаго «Комикъ»). Первые проникаются гуманными идеями и, не вступая во имя этихъ идей въ борьбу съ дѣйствительностью, располагаютъ только свою собственную жизнь сообразно съ этими идеями. Если они—помѣщики, они берутъ съ своихъ крестьянъ легкій оброкъ, обращаются съ ними кротко и ласково и, не ломая круто ихъ предрасудковъ, стараются по возможности улучшать ихъ матеріальный бытъ и смягчать грубость ихъ нравовъ; если у нихъ есть семейство, они предоставляютъ свободу женѣ своей, воспитываютъ дѣтей своихъ внѣ предрасудковъ и не стѣсняютъ ихъ свободной воли съ той самой минуты, когда она начинается у нихъ проявляться. Словомъ, это люди мягкіе, не тяжелые, терпѣливые ко всему, чтѣ ихъ окружаетъ, и въ томъ числѣ къ глупостямъ и подлостямъ другихъ людей. Какъ дѣятели, они никуда не годятся, но мѣрить достоинства человѣка только той пользой, которую онъ приноситъ идеѣ или окружающему обществу, было бы не совсѣмъ справедливо. Если человѣкъ не вредитъ другому, если онъ живетъ въ свое удовольствіе, не эксплуатируя другихъ и не стѣсняя чужой свободы, то самое строгое нравственное *jura* должно признать его невиннымъ. Какъ дѣятель, онъ—нуль, но заставлять всѣхъ быть дѣятелями и клеймить презрѣніемъ того, кто въ этомъ отношеніи оказывается несостоятельнымъ или, вѣрнѣе, кто совершенно не выступаетъ на это поприще, значитъ врываться въ область личной свободы и смотрѣть на человѣка не какъ на самостоятельный организмъ, а какъ на винтъ или какъ на гайку въ общемъ механизмѣ общества. Предоставляю этотъ взглядъ Пла-

тону, Аристотелю и новѣйшимъ ихъ послѣдователямъ; я-же съ своей точки зрѣнія безусловно оправдываю Лежнева, Лаврецкаго и Бѣлавина; они дѣлаютъ, чтѣ могутъ, и больше отъ нихъ нечего требовать, потому что требовать отъ человѣка самоотверженія совершенно не-деликатно и негуманно, какъ бы велика и прекрасна ни была та идея, во имя которой мы его требуемъ.

Темпераментъ людей, подобныхъ Лежневу и Бѣлашину, обыкновенно очень спокоенъ; развиваются они при благопріятныхъ условіяхъ, т. е. обыкновенно пользуются обезпеченнымъ состояніемъ, усваиваютъ себѣ свои убѣжденія безъ особенной боли, смотря на жизнь свѣтло и любовно, любятъ ровно и тихо, ненавидѣть не умѣютъ и спокойно презируютъ то, что возмущаетъ до глубины души людей болѣе страстныхъ и раздражительныхъ. Они—люди умѣренные по самой натурѣ своей; ихъ несправедливо было бы смѣшать съ тѣми личностями, которыя угождаютъ нашимъ и вашимъ изъ чистаго разсчета, изъ боязни навлечь на себя непріятности или изъ желанія подслужиться; первые—люди, отъ природы лишеныя жала и желчи; вторые—скрываютъ жало и желчь и пускаютъ ихъ въ ходъ тогда, когда они могутъ сдѣлать это.

Совершенную противоположность съ этими спокойными натурами представляютъ люди, подобные Рымову и Веретьеву. Это—люди съ кипучими силами, съ огненнымъ темпераментомъ, съ огромными страстями, съ рѣзкими недостатками, но съ яркими талантами и съ могучими стремленіями. Дарованія и силы этихъ людей разбрасываются, тратятся на пустяки, и сами они видятъ это, и самимъ имъ жаль себя, и досадно на себя, и хочется забыться, утопить тяжелое чувство, размыкать горе. Сколько могучихъ талантовъ гибнетъ въ нашемъ отечествѣ отъ безпорядочной жизни, отъ пьянства и кутежа. Зачѣмъ пьютъ, зачѣмъ кутятъ?.. Человѣкъ съ умомъ и съ душой такого наглаго вопроса не предложитъ. Кабы не было тяжело, такъ не стали бы пить. Пить съ горя не взыщно, я съ этимъ согласенъ, но жалокъ тотъ человѣкъ, который постоянно смотритъ на себя со стороны и всю свою жизнь думаетъ о томъ, чтобы сохранить внѣшнее благообразіе; у людей, полныхъ души и чувства, бываютъ такія минуты, когда весь человѣкъ сосредоточенъ въ одномъ стремленіи, когда онъ имъ только и живетъ, въ немъ только и видитъ отраду и цѣль существованія; и если что-нибудь остановитъ такого человѣка въ то время, когда онъ идетъ къ своей любимой цѣли, если что-нибудь станетъ между этимъ человѣкомъ и его призваніемъ, тогда не пеняйте на него и не удивляйтесь его поступкамъ. Та самая сила, которая могла бы сдѣлать чудеса, побѣдить всѣ



вышнія препятствія, осуществить безпокойное стремленіе, та самая сила, передъ проявленіями которой мы бы стали благоговѣть и преклоняться, обращается противъ самого человѣка и разбиваетъ въ дребезги ту грудь, въ которой она гнѣздится. Есть люди, которые могутъ помириться съ неполной или помятой жизнью, съ перекошенной и перекрашенной дѣятельностью; есть и другіе люди, которые не умѣютъ дѣлать уступокъ; имъ подавай или все, или ничего; при первой разбитой надеждѣ, при первой попыткѣ жизни прибрать ихъ къ рукамъ и скрутить ихъ по-своему, они бросаютъ все и съ какимъ-то злобнымъ наслажденіемъ разбиваютъ объ дорогу и свой идеалъ, и свои стремленія, и молодость, и силы, и жизнь. Являются вспышки отчаянной энергіи, попытки повернуть дѣло по-своему и головой пробить себѣ дорогу къ любимой дѣятельности; но такія попытки одному человѣку не по силамъ, и за энергическимъ движеніемъ впередъ слѣдуетъ обыкновенно страшная, часто отвратительная реакція. Кабы этимъ силамъ да другую сферу — было бы совсѣмъ другое дѣло. Типъ широкой натуры, разбрасывающейся въ простомъ народѣ на сивуху, а въ среднемъ кругу — на шампанское, могъ бы переродиться въ типъ талантливаго, живого, веселаго работника.

Отношенія Писемскаго къ этому типу теплѣе, симпатичнѣе и справедливѣе, чѣмъ отношенія Тургенева. Тургеневъ смотритъ на своего Веретьева какъ-то слишкомъ легко и слишкомъ презрительно: это невеликодушно; жертвы нашего собственнаго тупоумія, нашей собственной инертности имѣютъ право на наше сочувствіе или по крайней мѣрѣ на наше состраданіе; если жизнь однихъ вколачиваетъ въ могилу, другихъ вгоняетъ въ кабакъ, третьихъ превращаетъ въ негодаевъ, то согласитесь, что въ этомъ не виноваты тѣ личности, которыя не выносятъ атмосферы этой жизни. «Комикъ» Писемскаго неподражаемо хорошъ, какъ выраженіе этой идеи въ поразительно яркихъ образахъ. Вотъ, говоритъ авторъ, Рымовъ запыль, превратился въ тряпку, попалъ подъ башмакъ глупой жены своей, какого-то ходячаго пуховика; а вотъ, полюбуйте, то общество, среди котораго онъ живетъ, всѣ, какъ на подборъ: одинъ глупѣе другого, и каждый подличаетъ по-своему; Рымовъ пьяный умнѣе ихъ всѣхъ трезвыхъ. Какъ-же ему не пить? Когда вездѣ видишь, по выраженію Гоголя, одни свинья рыла, тогда поневолѣ захочешь хоть на нѣсколько минутъ закрыть глаза, чтобы ничего не видѣть. Рымовъ ищетъ одурѣнія, само-

забвенія, бреда — и все это очень понятно, все это — протестъ противъ того, съ чѣмъ борются всѣ честные дѣятели, и что ненавидятъ всѣ порядочные люди.

## VIII.

Въ томъ, что я написалъ до сихъ поръ, есть нѣсколько мыслей о тѣхъ явленіяхъ жизни, которыя представлены Писемскимъ и Тургеневымъ. Полной оцѣнки ихъ дѣятельности нѣтъ, а между тѣмъ статья вышла уже очень большая. Сознывая ея неполноту, я постараюсь въ особой статьѣ высказать свои мысли о женскихъ типахъ, выведенныхъ въ произведеніяхъ Гончарова, Тургенева и Писемскаго. Кромѣ того, о такомъ романѣ, какъ «Тысяча Душъ», нельзя говорить вскользь и между прочимъ. По обилію и разнообразію явленій, схваченныхъ въ этомъ романѣ, онъ стоитъ положительно выше всѣхъ произведеній нашей новѣйшей литературы. Характеръ Калиновича задуманъ такъ глубоко, развитіе этого характера находится въ такой тѣсной связи со всѣми важнѣйшими сторонами и особенностями нашей жизни, что о романѣ «Тысяча Душъ» можно написать десятокъ критическихъ статей, не исчерпавши вполне его содержанія и внутреннего смысла. О такихъ явленіяхъ говорить всегда кстати; говорить о нихъ — значитъ говорить о жизни, а когда-же обсужденіе вопросовъ современной жизни можетъ быть лишено интереса? Поэтому я теперь постараюсь въ нѣсколькихъ словахъ сгруппировать выводы, которые могутъ быть сдѣланы изъ теперешней моей статьи:

1) Я считаю трехъ названныхъ мною романистовъ важнѣйшими представителями современной поэзіи и отвергаю заслуги нашихъ лирическихъ поэтовъ, за исключеніемъ Майкова и Некрасова.

2) Въ романѣ Гончарова я вижу только тщательное копированіе мелкихъ подробностей и микроскопически тонкій анализъ. Ни глубокой мысли, ни искренняго чувства, ни прямодушныхъ отношеній къ дѣйствительности я не замѣчаю.

3) Въ Писемскомъ и въ Тургеневѣ я дорожу преимущественно ихъ отрицательнымъ и совершенно трезвымъ возрѣніемъ на явленія жизни.

4) Писемскій глубже Тургенева захватываетъ эти явленія, изображаетъ ихъ болѣе густыми красками и по жизненной полнотѣ своихъ твореній, какъ «черноземная сила», стоитъ выше Тургенева.



# ЖЕНСКІЕ ТИПЫ

ВЪ РОМАНАХЪ И ПОВѢСТЯХЪ ПИСЕМСКАГО, ТУРГЕНЕВА И ГОНЧАРОВА.

## I.

Сколько лѣтъ уже живутъ люди на свѣтѣ, сколько времени толкуютъ они о томъ, какъ бы устроить свою жизнь поизящнѣе и поудобнѣе, а до сихъ поръ самыя простыя и положительно необходимыя отношенія не установились какъ слѣдуетъ. До сихъ поръ мужчина и женщина мѣшаютъ другъ другу жить, до сихъ поръ они взаимно, самыми разнообразными и утонченными средствами, отравляютъ другъ другу жизнь. Разойтись они не могутъ, сойтись какъ слѣдуетъ не умѣютъ и, инстинктивно стараясь сблизиться, запутываются въ такія сложныя, мучительныя, неестественныя отношенія, о которыхъ свѣжій человѣкъ съ здоровымъ мозгомъ не можетъ себѣ составить даже приблизительно вѣрнаго понятія. Мужчина гнетъ женщину и клеветаетъ на нее. Взгляните на восточныя гаремы, вспомните о тѣхъ законахъ, по которымъ вдова должна была сжигаться на кострѣ покойнаго мужа, вспомните тѣ страшныя статьи первобытнаго уголовного кодекса, въ силу которыхъ нарушительница супружеской вѣрности подвергалась смертной казни или по меньшей мѣрѣ жестокому и унижительному тѣлесному наказанію, — вспомните все это, и вы увидите ясно, что на сторонѣ мужчины всегда находились сила, власть и неограниченное право мучить по своему благоусмотрѣнію подчиненную, безотвѣтную и сравнительно съ нимъ слабую спутницу. Загляните потомъ въ литературу всѣхъ народовъ, начиная съ древнѣйшихъ временъ, пересчитайте, если у васъ на то хватитъ силъ и свѣдѣній, всѣ ядовитыя или просто грязныя обвиненія, направленныя противъ женщины вообще, и вы увидите такъ-же ясно, что мужчина, постоянно развращавшій женщину гнетомъ своего крѣпкаго кулака, въ то-же время постоянно обвинялъ ее въ ея умственной неразвитости, въ отсутствіи тѣхъ или другихъ высокихъ добродѣтелей, въ наклонности къ тѣмъ или другимъ преступнымъ слабостямъ. Обвиненія эти дѣлались, конечно, чисто съ точки зрѣнія самого обвинителя, который въ своемъ собственномъ дѣлѣ является обыкновенно истцомъ, судьей, присяжнымъ и палачомъ. Если, напримѣръ, молодому образованному греку временъ Перикла было скучно сидѣть съ своей женой, которая не знала ничего, кромѣ своихъ рабынь и шерстяной пряжи, то онъ громко обвинялъ ее въ тупоуміи и уходилъ съ веселыми пріятелями къ модной гетерѣ, гдѣ, конечно, находилъ полное сочувствіе своему семейному горю, а вслѣдъ

за сочувствіемъ отыскивалъ и утѣшеніе. Жена, существо молодое, свѣжее, способное развиваться и наслаждаться, оставалась одна, не смѣя даже роптать, съ тихимъ затаеннымъ вздохомъ принималась опять за пряжу, робко поджидала возвращенія господина — супруга, стыдливо принимала его полупыяныя ласки и, не получая ни откуда притока свѣжаго воздуха, постоянно тупѣла и съ каждымъ днемъ сильнѣе и сильнѣе надоедала своему мужу. Возьмемъ другой примѣръ.

Если богатый мусульманинъ, владѣтель великолѣпнаго гарема, не имѣлъ возможности любить съ одинаковой силой всѣхъ своихъ женъ и любовницъ, и если одна изъ оставленных одалискъ искала себѣ утѣшенія въ какой-нибудь посторонней привязанности, если она успѣвала склонить стражу и украдкой ввести въ гаремъ своего возлюбленнаго, — хозяинъ и владѣлецъ считалъ себя смертельно оскорбленнымъ и самымъ жестокимъ образомъ вымещалъ свою обиду на своей возмущившейся собственности. Эта собственность зашивалась въ мѣшокъ и отправлялась на дно ближайшей рѣки или немилосердно уродовалась палками, плетями, розгами и другими исправительными орудіями, принадлежащими къ той-же категоріи.

Но все это, скажетъ читатель, примѣры, взятые изъ отдаленнаго прошлаго или изъ другой уродливо сложившейся цивилизаціи! Хорошо, возьмемъ примѣръ изъ нашихъ временъ и изъ нашего быта. Года четыре тому назадъ въ нашемъ отечествѣ былъ поднятъ вопросъ о воспитаніи; появилось нѣсколько педагогическихъ журналовъ, и въ нихъ между прочимъ заговорили очень рѣчисто о женщинѣ. На нашихъ женщинъ напали съ двухъ сторонъ: во-первыхъ, ихъ раскритиковали въ пухъ, какъ воспитательницъ; во-вторыхъ, — какъ часть воспитывающагося и вырастающаго молодого поколѣнія. Матерямъ и воспитательницамъ наша литература говорила безъ всякихъ обиняковъ: «вы воспитываете скверно, вы сами пусты, вы живете нарядами и выѣздками, вы не думаете о страшной отвѣтственности, которая лежитъ на васъ передъ обществомъ, передъ родиной, передъ собственной совѣстью. Покайтесь и обратитесь на путь истины». Обращаясь къ воспитанницамъ, литература наша даже ихъ умѣла обвинить въ томъ, что онѣ получили съ самыхъ раннихъ лѣтъ скверное направленіе, что онѣ не любятъ науки, равнодушны къ интересамъ своего развитія, обожаютъ своихъ учителей, начинаютъ кокетничать чуть не съ



пеленокъ и, достигши шестнадцати-лѣтняго возраста, норовятъ выйти замужъ за кого попало. Я возьму только одинъ фактъ этого обвиненія и докажу вамъ, что по своей идеѣ онъ нисколько не лучше тѣхъ двухъ примѣровъ, которые я привелъ выше.

Въ первомъ примѣрѣ грекъ дуется на свою жену за ея неразвитость, которую онъ-же самъ поддерживаетъ въ ней своимъ обращеніемъ съ нею.

Во второмъ примѣрѣ мусульманинъ колотитъ свою одалиску за невѣрность, которую онъ-же самъ вызываетъ своей невнимательностью.

Въ третьемъ примѣрѣ литераторы наши ругаютъ женщинъ за ихъ вѣтренность, за ихъ пустоту, которая поддерживается складомъ всего общества, и въ которой виноваты одни мужчины, какъ единственные дѣятельные члены этого общества.

Наши русскія матери плохо воспитываютъ—согласенъ; да гдѣ-жъ имъ было научиться примѣрамъ здравой педагогики? Гдѣ имъ было проникнуться человѣческими идеями? Наши матери занимаются устройствомъ своихъ куафюръ или маринованіемъ грибовъ—опять-таки согласенъ. Да что-же имъ дѣлать, когда онѣ ничего лучшаго не знаютъ? А не знаютъ онѣ потому, что съ ними никто по-человѣчески не говорилъ. Виноваты-же въ этомъ одни мужчины, потому что мужчины дирижируютъ оркестромъ общественныхъ убѣжденій и являются запѣвалами. Если выходить разладаца, они-же сами за это отвѣчаютъ и на себя должны пенять.

Наши дѣвушки кокетничаютъ потому, что никто не умѣетъ шевельнуть какъ слѣдуетъ ихъ ума; молодыя силы ищутъ себѣ исхода и, не находя себѣ разумнаго приложенія, обращаются на пустяки и тратятся на нелѣпости; дѣвушка старается выйти замужъ—это очень похвально и благоразумно; желая этого, она повинуется единственному голосу физической природы и показываетъ въ себѣ присутствіе свѣжихъ силъ, потребность любви и наслажденія; кромѣ того, она очень хорошо понимаетъ, что, выходя замужъ, она становится свободнѣе, чѣмъ была прежде, находясь въ родительскомъ домѣ; если она ищетъ для себя личной свободы, значитъ, она инстинктивно или сознательно понимаетъ ея цѣну. Кто стремится къ независимости, тотъ во всякомъ случаѣ оказывается сильнѣе, умнѣе и энергичнѣе челоѣка, мнящагося со своимъ подчиненнымъ положеніемъ.

Чтобы выйти замужъ, многія дѣвушки пускаютъ въ ходъ неблагообразныя средства; онѣ стараются понравиться, продаютъ товаръ лицомъ, кокетничаютъ; все это очень нехорошо, по опять-таки въ этомъ виноваты мужчины. Еслибы мужчинамъ не нравились кокетки, еслибы мужчины требовали отъ женщинъ серьезнаго ума, еслибы они не довольствовались лег-

кой граціей, тогда кокетство сдѣлалось бы невозможнымъ. А кричать въ литературѣ противъ того зла, которое поощряешь въ жизни, безцѣльно и бесполезно. Валить нравственную отвѣтственность на такое существо, которое втеченіи всей своей жизни находится въ зависимости, несправедливо и неблагородно. Пора, мнѣ кажется, сказать рѣшительно и откровенно: женщина ни въ чемъ не виновата. Она постоянно является страдальцей, жертвой или по крайней мѣрѣ страдательнымъ лицомъ. Если случается иногда, что женщина отравляетъ существованіе добраго, честнаго и умнаго мужчины, то въ этомъ случаѣ совершается только круговая порука. Женщина вымещаетъ на своемъ мужѣ то зло, которое ей сдѣлали въ домѣ отца; ее испортили,—она и является испорченной; а все-таки въ существованіи портящихъ элементовъ виновата не женщина. Она въ полномъ смыслѣ слова—продуктъ извѣстныхъ бытовыхъ формъ и условій, и при томъ продуктъ, не имѣющій никакой возможности заявить свой протестъ. Даже мужчина, недовольный той жизнью, на которую обрекаютъ его понятія, укоренившіяся въ обществѣ, бываетъ принужденъ выдержать страшную борьбу,—такую борьбу, которая обыкновенно истощаетъ до послѣдней капли живыя силы его личности; большая часть мужчинъ не доводятъ этой борьбы до конца, смиряются и склоняютъ голову, признавая себя побѣжденными; кто остается побѣдителемъ, тотъ скоро умираетъ отъ послѣдствій непомѣрныхъ усилій.

Подумайте, что-же при такихъ условіяхъ можетъ сдѣлать женщина? Вспомните, что женщина у насъ знаетъ несравненно меньше, чѣмъ мужчина, изнѣжена несравненно больше и также несравненно больше мужчины сдавлена контролемъ общественнаго мнѣнія. Мужчина приходитъ въ столкновеніе съ множествомъ разнообразныхъ сферъ; родительскій домъ, гимназія, университетъ, департаментъ или полкъ, маскарадъ, трактиръ, редація журнала, прилавокъ торговой конторы—вѣдь это все школы жизни; положимъ, что каждая изъ этихъ школъ сама по себѣ неудовлетворительна, но зато ихъ довольно много, и каждая изъ нихъ болѣе или менѣе даетъ матеріалы для критики остальныхъ. Если даже мы видимъ уродливыя явленія, то они оказываютъ на нашу мыслительную дѣятельность возбуждающее вліяніе, лишь бы только эти уродливыя явленія не были утомительно-однообразны. Мужчинѣ есть на чемъ развиваться; что это развитіе пойдетъ вкривъ и вкосъ—въ этомъ нѣтъ почти ни малѣйшаго сомнѣнія; но тѣмъ не менѣе первобытный сонъ ребенка будетъ нарушенъ; придется не разъ задуматься, разсердиться, опечалиться, явятся столкновенія съ разными личностями, съ разными сферами,



явится борьба, и эта борьба такъ или иначе начнетъ обтесывать личность молодого индивидуума, вступающаго въ жизнь. Тѣ задатки способностей и страстей, которые лежали въ темпераментѣ мальчика, разовьются въ дурную или хорошую сторону, смотря по обстоятельствамъ; сдѣлавшись молодымъ человѣкомъ, этотъ мальчикъ помирится съ жизнью или возстанетъ противъ нея, но во всякомъ случаѣ онъ обозначится, по-своему пойметъ самого себя и станетъ къ окружающей его жизни въ какія-нибудь отношенія. Личность сложится такъ или иначе, а у женщины, въ большей части случаевъ, и этого не бываетъ. Мужчину жизнь вертитъ и колышетъ круче, но женщину она давитъ сильнѣе. Для того, чтобы одна женщина выдѣлилась своимъ образомъ жизни изъ тысячеголовой массы необозначившихся, недоразвившихся и ничѣмъ и не затронутыхъ индивидуумовъ, необходимо соблюденіе нѣсколькихъ условій, которыя въ нашемъ обществѣ, при теперешнемъ складѣ воспитанія и понятій, встрѣчаются чрезвычайно рѣдко.

Необходимо, во-первыхъ, чтобы что-нибудь вызвало на размышленія и на критику. Необходимо какой-нибудь толчокъ, который нарушилъ бы ребяческую полудремоту дѣвушки или женщины. Мужчина встрѣчаетъ такіе толчки довольно часто; каждый изъ насъ помнить, вѣроятно, теплое слово какого-нибудь учителя или профессора, старшаго товарища или случайнаго знакомаго, котораго свѣтлая личность рельефно вырисовывается на темномъ фонѣ будничныхъ, житейскихъ воспоминаній; каждый испыталъ, вѣроятно, электрическое дѣйствіе такого слова, послѣ котораго приходилось оглянуться на свою прежнюю жизнь, перебрать въ умѣ свои неясныя, непребродившія чаянія и стремленія и положить первый краеугольный камень будущимъ, мужскимъ убѣжденіямъ. — Къ такимъ словамъ женщины воспримчивѣе, чѣмъ вы думаете: такія слова для нихъ не пропадаютъ даромъ, онѣ запоминаютъ ихъ чувствомъ, онѣ вырастаютъ и развертываются мгновенно подъ живительнымъ вліяніемъ такого слова, онѣ привязываются всѣми силами молодой и пылкой души — и къ этому слову, и къ тому, кто его произноситъ; но посмотрите, гдѣ, когда, отъ кого приходится имъ слышать такое слово? Много-ли у насъ такихъ людей, которые способны заговорить съ женщиной по-человѣчески? а изъ тѣхъ людей, которые на это способны, много-ли такихъ, которые достойны этого? Много-ли такихъ, повторяю я, которые, вызвавъ довѣріе и сочувствіе женщины смѣлой, вдохновенной тирадой, не обманутъ этого довѣрія и не окажутся мыльными пузырями и ничтожными фразерами? Оглянемся на самихъ себя; посмотримъ, каковы мы сами; посмотримъ, чтó мы, люди дѣла, люди

мысли, дали и даемъ нашимъ женщинамъ? посмотримъ — и покраснѣемъ отъ стыда! Порисоваться передъ женщиной изяществомъ чувствъ, огоршить ее блестящей оригинальностью вычитанной мысли, очаровать ее красивой смѣлостью честнаго порыва — это наше дѣло, на это мы — мастера. А дальше, дальше, когда надо эту же самую женщину поддержать, защитить, ободрить — мы на попятный дворъ, мы начинаемъ дѣлаться благоразумными, мы пугаемся того, чтó мы сдѣлали, мы стараемся залить тотъ пожаръ, который сами, сдуру, не спросясь броду, раздули; мы говоримъ и себѣ, и другимъ, и даже женщинамъ: вольно-жъ было такъ горячо принимать къ сердцу! Надо помириться, надо покориться! Да, вотъ мы каковы, и туда же требуемъ отъ женщины, чтобы она была мыслящимъ существомъ. И смѣшно, и досадно!

Вотъ видите-ли: стало быть, если даже толчокъ данъ, если даже мышленіе и критика пробудились, этого еще недостаточно. Женщина во всякомъ возрастѣ до такой степени лишена самостоятельности, что первыя-же проявленія этой критики очень легко могутъ быть задавлены тѣми людьми, которые составляютъ обстановку. Молодое существо шевельнется, рванется къ какой-то новой, незнакомой жизни, — его круто осадятъ назадъ; оно заговоритъ — его осмѣютъ; оно начнетъ протестовать — ему велятъ молчать; чтобы побѣдить въ неравной борьбѣ, которая завяжется между молодой женщиной и обстановкой, необходимы или особенно благоприятныя обстоятельства, или огромная сила характера. Осуждать ту молодую дѣвушку или женщину, которая начнетъ борьбу и не выдержитъ ея до конца, — я не рѣшаюсь. Силь у нея мало — да чтó же дѣлать? Гдѣ было развиться этимъ силамъ? На чтó было опереться? Да и наконецъ, развѣ ей самой, этой побѣжденной личности, склонившей голову и смирившейся передъ тѣмъ, чтó вызываетъ въ ней глубокое отвращеніе, развѣ ей легко жить на свѣтѣ? Обличать страдальцу, осуждать женщину, сломленную и изнавающую подъ ея бременемъ — это, можетъ быть, высоко-нравственно и глубоко-справедливо, но я предоставляю подобные подвиги другимъ, тѣмъ болѣе, что охотники всегда найдутся.

Итакъ, получивши расшевеливающій толчекъ, женщина должна еще получить извнѣ или развить въ самой себѣ силы для протеста и борьбы. Борьба будетъ самая разнообразная; сначала — внутренняя борьба, ломка прежнихъ убѣжденій и созиданіе новыхъ; потомъ — борьба съ семейными властями, съ маменьками, съ тетусками, съ ихъ матримоніальными планами, съ ихъ великосвѣтскими предрассудками, съ ихъ мѣщанской посредственностью и окоченѣвшей рутинностью; наконецъ — борьба съ обще-



ственнымъ мнѣніемъ, съ насмѣшками, намеками и сплетнями. Возьмемъ самую простую вещь—трудъ женщины. Мы знаемъ вѣщный фактъ: нѣкоторыя дѣвушки ходили на лекціи въ университетъ и ходятъ до сихъ поръ въ медицинско-хирургическую академію. Но знаемъ-ли мы внутреннюю, закулисную, семейную сторону этого факта? Сколько домашнихъ споровъ вызывало, быть-можетъ, желаніе дѣвушки учиться серьезно, сколько разъ это желаніе бывало подавляемо, сколько слезъ тутъ было пролито, и какія святые слезы! Если вы, положимъ, видите сегодня десять дѣвушекъ на лекціи, то почему вы знаете, чего имъ стоило придти? И почему вы знаете, что на эту лекцію не пришло бы еще двадцать дѣвушекъ, еслибы ихъ не задержали... доводами, насмѣшками, силой? Теперь идетъ рѣчь о томъ, что женщины желаютъ быть допущены къ медицинской практикѣ. Вопросъ, какъ вы видите, поднять свѣжій, но какіе иногда встрѣчаются отзывы, хоть святыхъ вонъ неси. Напримѣръ, кievская газета: «Современная Медицина» въ своемъ фельетонѣ вздумала позубоскалить на эту тему; она говоритъ, что женщины-медики будутъ поставлены въ щекотливое положеніе, если имъ придется лечить специально-мужскія болѣзни; и потомъ предлагаетъ этимъ женщинамъ-медикамъ называться докториссами. Это только плоское и, конечно, не можетъ имѣть никакого вліянія на разрѣшеніе поставленнаго вопроса, но вы посмотрите на дѣло вотъ съ какой точки зрѣнія: если такіа шутки откалываются въ печати людьми грамотными, чуть-ли даже не учеными, то чтѣ же говорится на эту тему конфиденціально, въ своихъ кружкахъ, людьми темными и употребляющими прилагательное *ученый* не иначе, какъ съ прибавленіемъ существительнаго *гусь*... Каково тутъ будутъ острить и потѣшаться надъ той женщиной, которая у насъ въ Россіи первая рѣшится объявить себя практикующимъ медикомъ? И вѣдь эти остроты и потѣхи будутъ раздаваться въ тѣхъ самыхъ семейныхъ кружкахъ, въ которыхъ будутъ подростать молодыя существа, способныя проникнуться до глубины души идеей о пользѣ и необходимости женскаго труда. Какова будетъ борьба! Каково будетъ слабый женщинѣ съ нѣжной, тонкой кожей проходить сквозь строй грубыхъ насмѣшекъ, наглыхъ взглядовъ въ упоръ, благонамѣренныхъ совѣтовъ и крупнопосоленныхъ остротъ и намековъ. Подумайте-ка объ этомъ, поставьте на мѣсто этой пробивающейся личности образъ дорогой для васъ женщины, и тогда найдите въ себѣ силы бросить камнемъ въ ту, которая ослабѣетъ и спасуетъ на половинѣ дороги. Мнѣ кажется, вы тогда согласитесь со мной въ томъ, что женщина находится у насъ въ такомъ положеніи, при которомъ она не отвѣчаетъ ни за что; когда она изнемогаетъ и

адаетъ, мы должны ей сочувствовать, какъ ученицѣ; когда она одолеваетъ препятствія и должна прославлять ее, какъ героиню.

Если что-нибудь дурно въ женщинѣ, такъ дурна форма, въ которую отлиты ея понятія, чувства и дѣйствія; а форму эту изготовили мы; измѣнить ее собственными силами женщина не можетъ; а матеріалъ въ ней такъ хорошъ, такъ свѣжъ, несмотря на уродливую форму, въ которую онъ втиснуть, что онъ заставляетъ все забывать; любовь матери, сестры, любовницы, жены разливаетъ на нашу сѣрую жизнь свѣтлыя полосы счастья и поэзіи. И за что насъ любятъ эти милыя существа? И чѣмъ мы это заслужили? На этотъ вопросъ мы затруднимся отвѣтить, если не захотимъ отвѣтить фразой; но въ этомъ избыткѣ любви, которая вырывается изъ мѣры и тратится безъ разбора, въ этой кипучей полнотѣ покуда неосмысленнаго чувства, въ этомъ отсутствіи нравственной экономіи и разсудочности—заключаются именно задатки будущаго богатаго развитія, будущей широкой, разносторонней, размашистой жизни, будущей плодотворной, любвеобильной дѣятельности. Чтѣ сдѣлаетъ женщина, если она будетъ развиваться наравнѣ съ мужчиной?—это вопросъ великій и покуда неразрѣшимый.

## II.

Изъ предыдущихъ общихъ разсужденій читатель можетъ замѣтить двѣ выдающіяся черты: во-первыхъ, то, что я во всѣхъ случаяхъ безусловно оправдываю женщину; во-вторыхъ, то, что я считаю теперешнее положеніе женщины крайне тяжелымъ и неутѣшительнымъ. Съ этими двумя основными идеями я приступаю теперь къ анализу женскихъ типовъ, встрѣчающихся въ романахъ и повѣстяхъ Гончарова, Тургенева и Писемскаго. Я буду выбирать только тѣ личности, которыя еще борются съ жизнью и чего-нибудь отъ нея требуютъ. Женщины, уже помирившіяся съ извѣстной долей, не войдутъ въ мой обзоръ, потому что онѣ, собственно говоря, уже перестали жить.

Тѣ конечные результаты, къ которымъ приводитъ жизнь, не лишены интереса; ихъ можно изучать, какъ опредѣлившіеся факты, какъ памятники прошедшаго; но дѣло въ томъ, что мы теперь живемъ тревожной жизнью настоящей минуты; мы чувствуемъ неотразимую потребность отвернуться отъ прошедшаго, забыть, похоронить его и съ любовью устремить взоры въ далекое, манящее, неизвѣстное будущее. Поддаваясь этой потребности, мы сосредоточиваемъ все наше вниманіе на томъ, въ чемъ видна молодость, свѣжесть и протестующая энергія,—на томъ, въ чемъ вырабатываются и зрѣютъ задатки новой жизни, представляющей рѣзкую противоположность съ нашимъ теперешнимъ прозябаніемъ. Наши романисты также



поддаются этой потребности, изображая своих героинь именно въ тотъ моментъ, когда онѣ, подъ вліяніемъ чувства къ мужчине, развертываютъ все силы своей природы и поворачиваютъ свою жизнь въ ту или другую сторону. Этотъ поворотный пунктъ въ жизни женщины особенно важенъ; рѣдко удается женщине пойти по той дорогѣ, которая обѣщаетъ полное удовлетвореніе ея потребностямъ и стремленіямъ; большей частью ей приходится, споткнувшись объ какое-нибудь препятствіе, свернуть куда-нибудь въ сторону и потомъ, убѣдившись въ невозможности выйти снова на прежній широкій, свѣтлый и ровный путь, жить день за днемъ, безъ цѣли, безъ опредѣленныхъ желаній, безъ живого наслажденія. Кто видитъ женщину въ этой фазѣ развитія, тотъ видитъ существо больное, слабое, увядающее, способное молча покоряться, но уже потерявшее силы и желаніе работать и бороться. Въ такой отживающей женщины вы не найдете слѣдовъ той энергіи, которая кипѣла въ молодой дѣвушкѣ; въ энергіи этой заключаются залоговѣ будущаго развитія, слѣдовательно, чтобы составить себѣ понятіе о томъ, на что способна женщина, какія силы таятся въ ея мозгу, въ ея нервахъ, изучайте ее тогда, когда она еще полна жизни и свѣжести, а не тогда, когда она измята, избита и обезцвѣчена вліяніемъ пошлыхъ людей и пошлой обстановки. Берите ее именно въ ту минуту, когда она любитъ и когда, подавая руку избранному человѣку, она готова съ нимъ рядомъ весело идти навстрѣчу труду, лишеніямъ, суду свѣта, упрекамъ родственниковъ, словомъ—всѣмъ тѣмъ передрыгамъ, которыя закаляютъ человѣка и которыя на нашемъ безцвѣтномъ и неточномъ разговорномъ языкѣ называются горемъ и непріятностями.

Романъ большей части нашихъ женщинъ не продолжителенъ и нерадостенъ, благодаря тому обстоятельству, что наши мужчины изъ рукъ вонъ плохи; а почему плохи наши мужчины, это я, насколько возможно, старался объяснить въ предыдущей статьѣ. Большею частью мужчина влюбляется въ женщину или тогда, когда онъ находится въ положеніи неоперившагося птенца, или тогда, когда жуированіе жизнью, мелкія дразги и постоянный разладъ между міромъ мысли и міромъ дѣйствительности измучили и утомили его до крайности. Свѣжести и силы нѣтъ у нашихъ мужчинъ; они становятся стариками на другой день послѣ того, какъ перестаютъ быть ребятами; мало того, старческая дряблость живетъ въ нихъ рядомъ съ ребяческой наивностью и неразвитостью; не умѣя ни однимъ серьезнымъ дѣломъ заняться серьезно, они уже начинаютъ чувствовать себя лишними на бѣломъ свѣтѣ въ томъ возрастѣ, въ которомъ при нормальномъ образѣ жизни должно еще продолжаться физическое

и умственное развитіе. Дѣлать нечего, заняться нечѣмъ, болтать вдохновенную чепуху надѣдаетъ—и человѣкъ мечется изъ угла въ уголъ, привязывается къ разнымъ искусственнымъ интересамъ, чтобы хоть чѣмъ-нибудь заинтересоваться и, наконецъ, встрѣтивъ на своей дорогѣ женщину, которая ему нравится и способна понимать то, что онъ ей будетъ говорить, воображаетъ себѣ, что онъ въ пристани, что цѣль жизни найдена, что его счастье въ рукахъ этой любимой имъ особы. Но дѣло въ томъ, что особа и ея обожатель совершенно различными глазами смотрятъ на жизнь.

Женщину интересуетъ то, что мужчина говоритъ ей о жизни; она сама не жила, а покуда только росла или прозябала въ родительскомъ домѣ; а между тѣмъ силъ пожить и желанія пожить въ ней набралось много; вотъ она и слушаетъ съ напряженнымъ и постоянно возрастающимъ любопытствомъ и участіемъ то, что ей говоритъ ея собесѣдникъ о новомъ для нея процессѣ, о самостоятельной жизни, въ которой человѣкъ самъ пожинаетъ посѣянные плоды и самъ несетъ отвѣтственность за свои хорошіе и дурные поступки. Она не замѣчаетъ того, что ея собесѣдникъ усталъ жить, хотя въ сущности очень мало жилъ; она не замѣчаетъ того, что ея собесѣдникъ постоянно оставался школьникомъ, хотя давно уже покинулъ университетскую скамью; она воображаетъ себѣ, что дѣятельность ея собесѣдника дѣйствительно широка и плодотворна, что жизнь его полна и разнообразна; она готова была бы завидовать ему, еслибы она его не любила и не надѣялась раздѣлить съ нимъ все наслажденіе и всю обаятельную тревогу этой, по ея мнѣнію, дѣятельной жизни. Она не знаетъ и не понимаетъ, что ея обожатель никогда въ жизни не являлся и не явится полноправной, самостоятельной, всесторонне развитой человѣческой личностью; она не видитъ того, что избранникъ ея сердца бѣгаетъ, какъ бѣлка въ колесѣ, и будетъ продолжать это общепольное занятіе до тѣхъ поръ, пока не откажутся служить его руки и ноги; заглядывая изъ спертой атмосферы своей дѣвической каморки въ рабочій кабинетъ того человѣка, котораго она желаетъ назвать своимъ мужемъ, дѣвушка не замѣчаетъ того, что она только изъ одной клѣтки хочетъ перейти въ другую; эта другая будетъ, пожалуй попросторнѣе первой, да что-же въ этомъ толку?—клѣтка все-таки останется клѣткой.

Ошибаясь насчетъ размѣровъ и значенія дѣятельности, дѣвушка ошибается точно также насчетъ самой личности того человѣка, который, поразивши ея воображеніе, начинаетъ мало-по-малу возбуждать въ ней любовь. Она слушаетъ его разсужденія о жизни съ страстнымъ воодушевленіемъ и придаетъ его лично-



сти часть того огня, который горитъ въ ней самой: она воображаетъ себѣ, что рассказчикъ чувствуетъ то-же самое, что чувствуетъ она, слушательница; вѣдь случается-же иногда, что человѣкъ, съ которымъ произошло какое-нибудь счастливое событіе, выходитъ на улицу и воображаетъ себѣ, подѣ влияніемъ своего господствующаго настроенія, что всѣ окружающіе предметы, одушевленные и неодушевленные, смотрятъ на него какъ-то особенно весело, дружелюбно и довѣрчиво. Если такой человѣкъ одаренъ значительной долей впечатлительности и фантазіи, то съ нимъ можетъ случиться то, что онъ подойдетъ къ цѣпной собакѣ, чтобы приласкать ее, и, конечно, очень быстро печальнымъ опытомъ убѣдится въ ошибочности своихъ оптимистическихъ воззрѣній. Для молодой дѣвушки, воспитывающей въ груди своей первое чувство любви, такого рода ошибка почти неизбежна. Идеализировать личность нравящагося человѣка гораздо легче, чѣмъ идеализировать цѣпную собаку, а послѣдствія отъ того и другого могутъ выйти одинаково скверныя, хотя и существенно различныя по вѣншимъ проявленіямъ.

Молодой человѣкъ, рассказывающій дѣвушкѣ о томъ, какъ онъ развивался, какъ боролся съ обстоятельствами, что перенесъ и страдалъ, гальванизируетъ самого себя процессомъ разсказа и близостью нравящейся ему женщины; глаза его блестятъ, давно поблекшія щеки загораются яркимъ румянцемъ; дикція его оживляется по мѣрѣ того, какъ онъ замѣчаетъ впечатлѣніе, производимое его рѣчью на свою собесѣдницу; онъ самъ наслаждается своимъ торжествомъ; чувство удовлетворяемаго самолюбія доставляетъ ему болѣе сильное удовольствіе, чѣмъ чувство раздѣленной любви; въ самой пылкой сценѣ любви онъ является въ одно время и актеромъ, и зрителемъ, и эта несчастная способность смотрѣть на самого себя со стороны въ то время, когда существо свѣжее безраздѣльно отдается обаятельному впечатлѣнію минуты, эта несчастная способность, повторяю я, есть вѣрный симптомъ вялости и дряблости; мозгъ постоянно бодрствуетъ и господствуетъ надъ всѣми отправлениями организма потому, что остальные нервы припустились и ослабли. А между тѣмъ дѣвушка вся находится подѣ обаяніемъ: ни одно слово въ разсказѣ, ни одна нота въ голосѣ рассказчика, ни одно измѣненіе въ мускулахъ его лица или въ выраженіи его глазъ не пропадаютъ для нея и не ускользаютъ отъ ея напряженнаго, благоговѣющаго вниманія. Новыя, неиспытанныя и неожиданныя ощущенія проходятъ черезъ ея нервную систему съ такой непостижимой быстротой, что она втеченіи получасоваго разговора переживаетъ чуть-ли

не два-три года и почти внезапно изъ взрослого ребенка превращается въ любящую женщину. И какъ она хороша въ эту минуту перерожденія! И какъ она, при всей своей чуткости, при всей напряженной силѣ вниманія, не способна отнестись критически къ своему собесѣднику! Какъ она горячо вѣритъ и какъ жестоко ошибается! Въ ней вспыхиваетъ энергія, и въ немъ вспыхиваетъ энергія, но въ ней это первые проблески разгорающагося пламени, а въ немъ это послѣднія искры потухающаго огня. Она послѣ двухъ-трехъ теплыхъ разговоровъ способна рѣшиться на все, а онъ послѣ двухъ-трехъ такихъ разговоровъ ужъ ровно ни на что не способенъ; она подойдетъ къ нему и скажетъ: «ну, что-же! мы довольно говорили; пора дѣйствовать, пора жить; если между нами есть препятствія, опрокинемъ ихъ, перешагнемъ черезъ нихъ. Пойдемъ на встрѣчу трудамъ, опасностямъ и наслажденію». А онъ, потративши остатки энергіи на восторженную рѣчь, чистосердечно удивится тому, что отъ него еще чего-то требуютъ; она думаетъ, что разговоръ есть только начало дѣйствія, прелюдія жизни, а онъ послѣ разговора отдыхаетъ на лаврахъ, въ полномъ убѣжденіи, что разговоръ есть полнѣйшее и единственно возможное проявленіе жизни. Увлеченная его рѣчами, она кидается къ нему на шею и въ эту минуту забываетъ и папеньку, и маменьку, и то, что въ комнату можетъ войти посторонній человѣкъ, и даже то, что она—благородная дѣвица, какъ неоднократно внушали ей воспитательницы. А онъ, при подобной вспышкѣ дѣйствительнаго чувства, при подобномъ проявленіи свѣжей жизни, теряетъ и опускаетъ руки подѣ влияніемъ чисто-комическаго, глубокаго испуга; онъ не знаетъ, что ему дѣлать съ этой женщиной, принявшей его слова въ такомъ серьезномъ смыслѣ; онъ до такой степени теряетъ присутствіе духа, что не понимаетъ даже того, что ему изъ деликатности почти изъ приличія слѣдуетъ приласкать любящее существо и отвѣтить выраженіемъ теплаго сочувствія на страстные обіятія; онъ предобродушно проситъ взволнованную женщину успокоиться, придти въ себя, вспомнить, что ихъ могутъ застать...

Если эта сцена происходитъ съ дѣвушкой впечатлительной, слабой и нервной, то она разрѣшается слезами, кончается истерическимъ припадкомъ и не производитъ рѣшительнаго перелома; дѣвушка объясняетъ себѣ всю нескладность этой сцены тѣмъ обстоятельствомъ, что она сама была разстроена и взволнована; любимый мужчина не терлетъ въ ея глазахъ своего достоинства, и разочарованіе происходитъ уже впослѣдствіи, послѣ цѣлаго ряда подобныхъ сценъ и нѣсколькихъ мѣсяцевъ вѣлыхъ отношеній. Но если дѣйствующимъ ли-



цомъ въ этой нелѣпой сценѣ была дѣвушка или женщина сильная, страстная и энергичная, то она сразу понимаетъ, какъ пошло вель себя въ этой сценѣ нравившійся ей мужчина, она быстро откидывается назадъ, однимъ холоднымъ взглядомъ уничтожаетъ впечатлѣніе всего разговора, въ одну минуту сосредотчивается въ самой себѣ, и только что начатый романъ оказывается навсегда оконченнымъ, безъ шума, безъ слезъ, безъ эффектныхъ выходовъ, и повидимому къ обоюдному удовольствію героя и героини. А между тѣмъ чувство женщины глубоко и несправедливо оскорблено; она обманута въ лучшихъ своихъ вѣрованіяхъ; первое проявленіе жизни прихвачено морозомъ, и самая жизнь оказывается надломленной. Зло, конечно, поправимое, но кому-жъ его поправить? Гдѣ у насъ тѣ люди, которые умѣли и хотѣли бы понять страданія женщины и радикально излечить эти страданія любовью, лаской, удовлетвореніемъ той потребности дѣятельности, которая постоянно волнуетъ мыслящую человѣческую личность. Еслибы у насъ было много такихъ людей, то во многихъ отношеніяхъ жизнь наша пошла бы не такъ, какъ она идетъ теперь.

### III.

Изъ женскихъ личностей, выведенныхъ въ романахъ Гончарова, только Ольга Сергѣевна Ильинская до нѣкоторой степени заслуживаетъ анализа. Въ доброе, старое время, когда литература считалась роскошью и забавой жизни, отъ автора романа требовали только блестящаго вымысла и разнообразія картинъ; самые строгіе цѣнители требовали отъ него нравственнаго поученія и совершенно удовлетворялись его произведеніемъ, если оно изображало борьбу добра и зла и выводило на сцену воплощенія разныхъ добродѣтелей и пороковъ; одни критики требовали, чтобы непременно торжествовало добро; другіе, болѣе догадливые, позволяли злу одерживать побѣду, но желали только, чтобы зло, подавленное или торжествующее, было представлено въ очень отвратительномъ видѣ, «во всей наготѣ своего безобразія», какъ выражались съ добродѣтельнымъ негодованіемъ эти догадливые цѣнители. Для однихъ романъ былъ источникомъ благородной забавы, пособіемъ для успѣшнаго пищеваренія, чѣмъ-нибудь вродѣ хорошей сигары, рюмки ликера или коньяка; для другихъ романъ былъ правоученіемъ въ лицахъ, и эти другіе смотрѣли на первыхъ, какъ на жалкихъ умственныхъ недорослей, какъ на людей пустыхъ и ничтожныхъ. Эти другіе, считавшіе себя солью земли и свѣтилами міра, очень много толковали объ идеалахъ и искали идеаловъ въ романахъ, повѣстяхъ и драмахъ. Подъ именемъ идеала они разумѣли что-то очень высокое и хорошее;

идеаломъ человѣка они называли совокупленіе въ одномъ вымышленномъ лицѣ всевозможныхъ хорошихъ качествъ и добродѣтельныхъ стремленій; чѣмъ больше такихъ качествъ и стремленій романистъ нанизывалъ на своего героя, тѣмъ ближе онъ подходилъ къ идеалу и тѣмъ больше похвалъ заслуживалъ онъ со стороны этихъ высоко развитыхъ цѣнителей. Цѣнители эти хотѣли, чтобы читатель, закрывая книгу, могъ сказать съ сердечнымъ умиленіемъ: «да! вотъ какіе должны быть люди! Увы! зачѣмъ это я не похожъ на этого героя, и зачѣмъ это въ моей супругѣ нѣтъ ни малѣйшаго сходства съ изящной личностью этой героини?»

Доброе, старое время, о которомъ я говорю, время Грандисоновъ и Клариссъ, для многихъ добродушныхъ людей еще не миновало и для многихъ никогда не минуетъ. До сихъ поръ есть такіе высоконравственные люди, которые смотрятъ на литературу, какъ на проповѣдь, возвышающую душу и очищающую нравственность; есть и такіе, которые видятъ въ ней весьма позволительную забаву; есть даже и такіе, которые видятъ въ ней источникъ всякаго зла. Люди послѣдней категоріи не читаютъ ничего, кромѣ календарей и дѣловыхъ бумагъ; но зато люди первыхъ двухъ категорій съ наслажденіемъ читаютъ «Обломова»; людей, наслаждающихся чтеніемъ романовъ послѣ сытнаго обѣда, нѣжатъ обаятельность языка и спокойствіе разсказа; сверхъ того ихъ радуетъ и умиляетъ тщательная отдѣлка мелочей; нужны-ли эти мелочи для пониманія дѣла, объ этомъ они не спрашиваютъ; ощущеніе, доставляемое имъ романомъ,—пріятно, и они совершенно довольны. Люди, ищущіе назиданія, восхищаются фигурой Ольги и видятъ въ ней идеалъ женщины; каюсь, господа читатели, года два тому назадъ я принадлежалъ къ числу этихъ людей, и я восторгался Ольгою, какъ образцомъ русской женщины. Но нашъ желѣзный вѣкъ, вѣкъ демоническихъ сомнѣній и грубо реальныхъ требованій, образуетъ мало-по-малу такихъ людей, которые даже романисту не позволяютъ быть фантазеромъ и даже ученому специалисту не позволяютъ быть буквоедомъ. Мы нуждаемся, говорятъ эти люди, въ рѣшеніи самыхъ элементарныхъ вопросовъ жизни, и намъ некогда заниматься тѣмъ, что не имѣетъ прямого отношенія къ этимъ вопросамъ. Мы жить хотимъ и слѣдовательно назовемъ дѣятелемъ жизни, науки или литературы только того человѣка, который помогаетъ намъ жить, пуская въ ходъ всѣ средства, находящіяся въ его распоряженіи.

Но созданія Гончарова не выясняютъ намъ ни одного явленія жизни, и слѣдовательно мы можемъ взглянуть на всю его дѣятельность, какъ на явленіе чрезвычайно оригинальное, но



вмѣстѣ съ тѣмъ въ высокой степени бесполезное. Мы не требуемъ отъ художника мелкаго обличенія, но полагаемъ, что пониманіе жизни и ясныя, сознательныя и при томъ искреннія отношенія къ поставленнымъ имъ вопросамъ представляютъ необходимую принадлежность художника. Гончаровъ попытался нарисовать образъ русской дѣвушки, одаренной отъ природы значительными умственными силами и поставленной при самыхъ выгодныхъ условіяхъ развитія. Картинка вышла на первый взглядъ очень красивая. Благодаря пластичности гончаровскаго изложенія, большинство читателей приняли Ольгу за живую личность, возможную при условіяхъ нашей жизни. Первое впечатлѣніе говорить въ пользу героини «Обломова», но стоитъ только, не останавливаясь на мелочахъ, взглянуть на крупныя черты этого характера, чтобы убѣдиться въ томъ, что онъ выдуманъ, какъ и все то, что когда-нибудь выходило изъ-подъ пера Гончарова. При первомъ своемъ появленіи на сцену Ольга выходитъ изъ головы автора совершенно сформированной, въ полномъ вооруженіи, подобно тому, какъ въ доброе, старое время Паллада-Афина вышла изъ черепа Зевеса.

Авторъ пытается объяснить происхожденіе выведеннаго имъ женскаго характера, но попытки эти оказываются совершенно неудачными. Говоря вскользь о развитіи Ольги, Гончаровъ указываетъ только на два обстоятельства, отличавшія собою ея жизнь отъ жизни другихъ дѣвушекъ, принадлежащихъ къ тому-же слою общества. Первымъ обстоятельствомъ является отрицательное вліяніе тетки, вторымъ—положительное вліяніе Штольца. Тетка, замѣнившая Ольгѣ родителей, не мѣшала ей дѣлать, что угодно, а Штольцъ въ досужія минуты училъ ее уму-разуму; первое обстоятельство довольно правдоподобно: сироты обыкновенно растутъ свободнѣе, чѣмъ дѣти, воспитывающіяся въ родительскомъ домѣ; они терпятъ больше горя, но зато развиваются самобытнѣе и становятся тверже, именно потому, что ихъ не охватываетъ со всѣхъ сторонъ расслабляющая атмосфера слѣпой любви и неотразимаго деспотизма. Ольгѣ было удобнѣе развиваться подъ надзоромъ тетки, чѣмъ подъ руководствомъ матери; но вѣдь тетка могла дать только отрицательный элементъ; она могла до извѣстной степени не мѣшать развитію, а условія жизни, выборъ чтенія, кружокъ знакомыхъ должны были направлять силы молодого ума въ ту или другую сторону.

Что могъ сдѣлать Штольцъ? Еслибы даже онъ съ неуклоннымъ вниманіемъ слѣдилъ за проявленіями мысли и чувства въ молодой дѣвушкѣ, то и тогда ему одному было бы довольно трудно составлять противовѣсъ всему вліянію домашней и общественной обстановки. Но

кромѣ того Штольцъ—«человѣкъ дѣятельный»; онъ съ утра до вечера бѣгаетъ по городу, онъ постоянно находится въ развѣздахъ; гдѣ-жѣ ему быть руководителемъ и воспитателемъ молодой дѣвушки? Сверхъ того, Штольцъ относится къ Ольгѣ, какъ къ ребенку, даже во время той сцены, послѣ которой онъ предлагаетъ ей руку и сердце; когда Ольга говоритъ ему о своемъ романѣ съ Обломовымъ, онъ ей отвѣчаетъ на ея признанія: «вась за это надо оставить безъ сладкаго блюда за обѣдомъ». Если этотъ дѣловой господинъ, сильно смахивающій вообще на *commis voyageur*, относится такъ шутивно къ серьезному разсказу дѣвушки о серьезныхъ чувствахъ и о дѣйствительныхъ, пережитыхъ ею страданіяхъ, то можно себѣ представить, съ какой покровительственной улыбкой онъ относился къ этой дѣвушкѣ, когда она ходила въ коротенькихъ платьяхъ, и когда она, какъ умный, развивающійся ребенокъ, всего болѣе нуждалась въ дружескомъ совѣтѣ и въ уваженіи со стороны взрослого. Кромѣ того Штольцъ и самъ не отличается значительной высотой развитія; когда Ольга, сдѣлавшаяся уже его женою, жалуется ему на какія-то стремленія, на какую-то неудовлетворенную тоску, Штольцъ говоритъ на это: «мы не боги», и совѣтуетъ ей покориться, помириться съ этой тоскою, какъ съ неизбѣжной принадлежностью жизни. Штольцъ, очевидно, не понимаетъ смысла и причины этой тоски, но, какъ человѣкъ самолюбивый и самонадѣянный, онъ не рѣшается признаться въ своемъ непониманіи и пускается въ фразерство. Человѣкъ, неспособный понять такую простую вещь, человѣкъ, неспособный въ рѣшительную минуту поддержать и разумнымъ образомъ успокоить женщину, опирающуюся на него съ полнымъ довѣріемъ, конечно, не можетъ имѣть на развитіе молодого существа того рѣшительнаго и благотворнаго вліянія, которое приписано Штольцу въ романѣ Гончарова. Если Штольцъ не умѣетъ направить къ разумной дѣятельности силы женщины, уже сложившейся и окрѣпшей, то какимъ-же образомъ можетъ этотъ самый Штольцъ пробудить и вызвать къ жизни силы, еще дремлющія въ мозгу ребенка? Есть, конечно, такіе люди, которые могутъ расшевелить, но потомъ не въ силахъ поддержать довѣрившуюся имъ женщину; къ числу такихъ людей принадлежатъ Рудинъ, Шамиловъ, герой стихотворенія Некрасова «Саша»; такіе люди слабы и порывисты, а Штольцъ твердъ и спокоенъ; такіе люди очень хорошо знаютъ, что надо дѣлать, но у нихъ не хватаетъ силъ на то, чтобы исполнить сознанное дѣло. Штольцъ, напротивъ того, могъ бы все сдѣлать, но онъ не знаетъ, что надо дѣлать. Изъ всего этого видно, что Штольцъ не имѣетъ ничего общаго съ людьми рудинскаго типа; мало того, онъ



поставленъ въ противоположность къ этому типу; онъ, по мнѣнію Гончарова, является живымъ укоромъ этимъ людямъ. Спрашивается, какъ же этотъ высоко развитой, металлически твердый, трезво и спокойно размышляющій человекъ оказался неспособнымъ вывести жену свою изъ лабиринта осадившихъ ее сомнѣній и стремленій?

Тѣ эпитеты, которые я здѣсь придаю Штольцу, не выражаютъ моего личнаго мнѣнія объ этой фигурѣ; этими эпитетами я обозначаю только тѣ свойства, которыя Гончаровъ *хотѣлъ* придать своему созданію; я-же съ своей стороны не считаю Штольца ни высокоразвитымъ, ни металлически твердымъ, ни спокойно размышляющимъ; всѣ эти свойства могутъ быть приписаны человѣку, а я не считаю Штольца за человѣка. Я вижу въ немъ довольно искусно выточенную маріонетку, двигающуюся взадъ и впередъ по произволу выточившаго ее мастера. Еще гораздо искуснѣе маріонетки Штольца выточена другая, очень красивая маріонетка, Ольга Сергѣевна Ильинская; но жизни нѣтъ ни въ той, ни въ другой. Поэтому, говоря о гончаровскихъ лицахъ, намъ приходится только слѣдить за процессомъ мыслительной дѣятельности въ головѣ автора; намъ приходится не обезуживать выведенныя имъ стороны жизни, а просто рѣшать вопросъ: послѣдовательны-ли и пригодны-ли его сужденія. Беру я на себя этотъ трудъ потому, что имя Гончарова пользуется значительной извѣстностью, и слѣдовательно мнѣнія его могутъ имѣть нѣкоторое вліяніе на мысли читателей.

Итакъ, мы видѣли, что Гончаровъ думаетъ о развитіи женщины: онъ полагаетъ, что дѣвушка достаточно пользоваться нѣкоторой независимостью и встрѣчаться порою съ умнымъ и твердымъ мужчиной, для того, чтобы вполне развить свои природныя силы. Тѣ предѣлы, которыхъ должна достигать эта независимость, не обозначены ясно, потому что отношенія Ольги къ теткѣ совершенно не обрисованы и отношенія ея къ обществу оставлены въ тѣни, съ тѣмъ замѣчательнымъ умѣніемъ, съ которымъ Гончаровъ всегда набрасывалъ покрывало на то, о чемъ, по его мнѣнію, неудобно распространяться. Тѣ размыслы, въ которыхъ должны проявляться умъ и твердость мужчины, также не опредѣлены съ достаточной ясностью; Гончаровъ не далъ себѣ труда подумать о томъ, чѣмъ могутъ быть искреннія и разумныя отношенія между развитымъ мужчиною и развитой женщиной, и вслѣдствіе этого отношенія эти вышли блѣдны и фальшивы, какъ казенная фраза на избитую тему. Въ самомъ характерѣ Ольги встрѣчаются внутреннія противорѣчія, которыя ясно показываютъ, до какой степени туманны и сбивчивы понятія автора о томъ идеалѣ женщины, который онъ

самъ себѣ составилъ и который онъ хотѣлъ выяснить читателямъ своего романа.

Возьмемъ отношенія Ольги къ Обломову. Ольгу заинтересовываетъ граціозность этой честной, мѣшковой личности, которой наивность и природный умъ рѣзко отдѣляются отъ вычурности и безцвѣтности тѣхъ свѣтскихъ джентльменовъ, которыхъ до того времени приходилось видѣть Ольгѣ. Заинтересовавшись Обломовымъ, Ольга начинаетъ въ него вглядываться, убѣждается въ томъ, что онъ дѣйствительно уменъ, честенъ, мягокъ, симпатиченъ, и начинаетъ чувствовать къ нему влеченіе. Когда эта зародившаяся любовь сдѣлалась замѣтна для самой Ольги, то она взглянула на свое чувство оригинально; она посмотрѣла на него, какъ на подвигъ, который посылаетъ ей судьба; она вообразила себѣ, что ей предстоитъ обновить Обломова, одряхлѣвшаго отъ умственного сна, воодушевить его новой энергіей и сдѣлать его способнымъ къ дѣятельной, человеческой жизни. Чтобы понимать такимъ образомъ свои отношенія къ любимому человѣку, надо стоять на высокой степени умственного развитія и обладать огромными природными силами. Кто стоитъ на такой степени и обладаетъ такими силами, тотъ неспособенъ затосковать безпредметной тоской и не понять причины своей тоски. Если Ольга понимаетъ, что Обломову необходима дѣятельность, то какъ-же она можетъ не понять, что ей, какъ энергической личности, дѣятельность еще гораздо необходимѣе? Какъ-же она не понимаетъ, что вся ея тоска съ любимымъ человѣкомъ, на южномъ берегу Крыма, среди роскошной, цвѣтущей природы,— не что иное, какъ неудовлетворенная потребность разумной дѣятельности? Какъ, наконецъ, эта энергическая природа не рвется вонъ изъ душной атмосферы спокойнаго, соннаго счастья въ живую среду дѣятельности и тревоги? Какъ возможно, чтобы Ольга, рѣшившаяся такъ рѣзко разорвать свои отношенія съ Обломовымъ тогда, когда Обломовъ оказался тряпкой, чтобы эта самая Ольга, повторяю я, успокоилась на плоскомъ отвѣтѣ Штольца: «мы не боги», и помирилась съ такой жизнью, въ которой, сколько намъ извѣстно по словамъ Гончарова, не было ничего, кромѣ воркованія любящаго супруга, нянчанія ребенка и заботъ по домашнему хозяйству? Энергическая женщина сама пробила бы себѣ дорогу къ дѣятельности и взглянула бы съ невольнымъ презрѣніемъ на того мужчину, который рѣшился бы увѣрить ее, что надо быть богомъ, чтобы работать и наслаждаться. Но Гончаровъ, расходясь съ моимъ мнѣніемъ, доказываетъ, кажется, совершенно противное. Если сгруппировать въ общую картину всѣ черты, введенныя имъ въ фигуру Ольги, то смыслъ выйдетъ довольно оригинальный, гар-



монирующій съ основной идеей «Обыкновенной Исторіи». Ольга въ крайней молодости беретъ себя на плечи огромную задачу; она хочетъ быть нравственной опорой слабаго, но честнаго и умнаго мужчины; потомъ она убѣждается въ томъ, что эта работа ей не по силамъ, и находитъ гораздо болѣе удобнымъ самой опереться на крѣпкаго и здороваго мужчину. Положеніе ея очень прочно и комфортабельно, но, какъ вспышка молодости, у нея является припадокъ тоскливаго волненія. Этотъ припадокъ отъ времени до времени повторяется, постепенно ослабѣвая; наконецъ, молодая женщина совершенно излечивается, дѣлается спокойной и веселой, и жизнь ея начинается струиться тихимъ, прозрачнымъ и отчасти усыпительно журчащимъ ручейкомъ. Гончаровъ находитъ, что это сонное спокойствіе должно быть признано счастьемъ: я съ нимъ не буду спорить, потому что у каждаго свои понятія о счастьѣ: это—дѣло личнаго вкуса. Гончаровъ въ изображеніи личности Ольги точно такъ-же, какъ и въ «Обыкновенной Исторіи», производитъ варіаціи на извѣстныхъ русскихъ пословицы: «жгуча крапива, да уварится», или «кабы на горохъ, да не морозъ, онъ бы и тынъ переросъ»; онъ видитъ въ проявленіяхъ молодости и свѣжести дикія вспышки, безплодныя попытки перекрутить все по-своему и постепенно ослабѣвающіе припадки сумасброства, онъ смотритъ на вещи трезвыми глазами благоразумнаго старца и считаетъ развитіе чловѣка благополучно довершеннымъ въ ту эпоху, когда онъ начинаетъ располагать свои слова и поступки, сообразуясь съ внушеніями приличнаго разсчета.

Знаете-ли, господа читатели, что вышло бы изъ «Обломова», еслибы этотъ романъ былъ рассказанъ писателемъ, смотрящимъ на вещи не такъ благоразумно, какъ смотритъ Гончаровъ. Вышло бы вотъ что: Обломовъ оказался бы беззаботной головой, съ поэтическими стремленіями, не находящими себя удовлетворенія; онъ бы вышелъ похожимъ на Вельтова; и авторъ показалъ бы, что условія жизни, а не лимфатическій темпераментъ, мѣшаютъ ему развернуть свои способности и удовлетворить тѣмъ стремленіямъ, которыя отъ неудовлетворенія чахнутъ и мелѣютъ. Ольга оказалась бы очень умной дѣвушкой, во всей личности которой совершается борьба между энергическимъ голосомъ чувственности—съ одной стороны и разсчетомъ—съ другой стороны. Ей нравится Обломовъ; она желала бы отдаться ему; ее привлекаетъ граціозная беззаботность, спокойная размашистость этой честной личности; но съ другой стороны эти самыя свойства внушаютъ ей серьезныя и благоразумныя опасенія. «Вѣдь этотъ Обломовъ,—разсуждаетъ она,—ужасный ротозѣй; его могутъ оплести и обма-

нуть, такъ что онъ и ухомъ не поведетъ; растратить все состояніе, работать не сѣмѣетъ, служить не пойдетъ, потому что «прислуживаться тошно». Что-же я съ нимъ буду дѣлать? Онъ милый, хорошій; мнѣ его поцѣловать хочется, у меня къ нему сердце лежитъ, да вѣдь страшно; вѣдь онъ по міру пустить». Пока дѣвушка раскидываетъ такимъ образомъ своимъ рано созрѣвшимъ разсудочкомъ, чувство симпатіи къ Обломову въ ней усиливается, она увлекается пылкимъ темпераментомъ; случайно рука ея попадаетъ въ его руку; она наклоняется къ нему, слышится звукъ поцѣлуя; случай этотъ повторяется,—она счастлива, потому что находится подъ обаяніемъ минуты и потому, что въ ней громко говоритъ голосъ здоровой природы... Но въ это время обаяніе вдругъ разрушается; ей дѣлается предложеніе молодой чловѣкъ, Штольцъ, находящійся на отличной дорогѣ, подвигающійся къ видному положенію въ обществѣ, отлично устроившій свое имѣніе и пользующійся репутаціей красиваго, умнаго и дѣльнаго джентльмена. «Изъ молодыхъ, да ранній», говорятъ объ этомъ юношѣ благоразумные старцы, и этотъ-то юноша съ подобающей солидностью выражаетъ Ольгѣ искренность и силу своего чувства и, серьезно глядя ей въ глаза, предлагаетъ ей руку и сердце. Юноша Штольцъ дѣйствуетъ не безъ разсчета, онъ знаетъ, что Ольга можетъ разсчитывать на наслѣдство отъ какой-нибудь тетюшки или бабушки; «кромѣ того,—разсуждаетъ онъ,—все-же будетъ женщина въ домѣ; больше порядка, изящества, представительности; въ томъ положеніи, которое мнѣ въ скоромъ времени придется занимать, это даже необходимо». Ну, да что тянуть рассказъ! разсчитать у Ольги беретъ верхъ надъ чувствомъ; она круто обрываетъ отношенія съ Обломовымъ, называетъ его пустымъ чловѣкомъ, хотя самой больно разстаться съ милой личностью, и, наконецъ, скрѣпя сердце, выходитъ замужъ за дѣльнаго Штольца, который представляетъ что-то среднее между Калиновичемъ Писемскаго и Паншинымъ Тургенева. Апоеоза разсчета, скептическое отношеніе къ чувству—вотъ альфа и омега обоихъ романовъ Гончарова. Эти черты составляютъ остовъ характера Ольги; не та дѣвушка хороша, по мнѣнію Гончарова, которая любитъ сильно и безкорыстно, а та, которая умѣетъ выбирать себя мужа; не тотъ чловѣкъ хорошъ, по мнѣнію Гончарова, у котораго есть и теплое чувство, и свѣтлый умъ, и широкія стремленія, а тотъ, кто, живя съ волками, умѣетъ быть по-волчьи. Это совершенно справедливо, и эту глубокую истину, до которой мы, легкомысленные свистуны, никакъ не можемъ додуматься, уже давно сознала ученая редакція учено-литературнаго журнала «Русскій Вѣстникъ». Одно опасно въ этомъ случаѣ: желая понравиться



волкамъ, подражая подъ нихъ, какъ говоритъ наше купечество, можно завять такъ нескладно и нелѣпо, что даже волкамъ придется тошно. Да и наконецъ, неужели большинство нашей публики—волки? Не наговоръ-ли это?

Итакъ, насчетъ Ольги Ильинской мы можемъ замѣтить, что это характеръ, невѣрно понятый и ложно представленный авторомъ. Кто не можетъ ужиться съ нами, думаетъ Гончаровъ, тотъ и дрянъ; кто живетъ припѣваючи, тотъ молодецъ. Коротко и ясно. Но справедливо-ли будетъ, если я поступлю такъ: положимъ, я иду мимо высыхающаго прудка и вижу, что карась издыхаетъ отъ недостатка воды; въ это самое время сотни лягушекъ прыгаютъ и квакаютъ, пляшутъ отъ радости и съ наслажденіемъ таскаютъ червяковъ изъ жидкой грязи; я останавливаюсь надъ карасемъ и, указывая ему на лягушекъ, начинаю ругать его, зачѣмъ онъ не веселится и не наслаждается благами жизни. Правъ-ли я буду? Кажется, нѣтъ. Не виноватъ карась въ томъ, что онъ родился карасемъ, и небольшая заслуга лягушкамъ отъ того, что онѣ родились или сдѣлались лягушками. Одинъ дышетъ жабрами, другой—легкими; одинъ любить свѣтлую воду,—другой жидкую грязь. Ну, и съ Богомъ!

## VI.

Съ любовью и съ полнымъ довѣріемъ обращаюсь я снова къ нашимъ менѣе благоразумнымъ художникамъ, Писемскому и Тургеневу. У Тургенева мы находимъ разнообразіе женскихъ характеровъ, у Писемскаго—разнообразие положеній. Тургеневъ входитъ своимъ тонкимъ анализомъ во внутренній міръ выводимыхъ личностей; Писемскій останавливается на яркомъ изображеніи самаго дѣйствія. Романы Тургенева глубже продуманы и прочувствованы; романы Писемскаго плотнѣе и крѣпче построены. Тургеневъ больше Писемскаго рискуетъ ошибиться, потому что онъ старается отыскать и показать читателю смыслъ изображаемыхъ явленій; Писемскій не видитъ въ этихъ явленіяхъ никакого смысла, и въ этомъ случаѣ, заботясь только о томъ, чтобы воспроизвести явленіе во всей его яркости, онъ, кажется, избираетъ вѣрную дорогу. У Тургенева уловленъ смыслъ нашей жизни, но рядомъ съ тонкими и вѣрными замѣчаніями и соображеніями попадаются фальшивыя ноты, вродѣ построенія Инсарова. У Писемскаго букетъ нашей жизни, какъ крѣпкій запахъ дегтя, конопляника и тулупа, поражаетъ нервы читателя мимо воли самого автора. Тургеневъ мудритъ надъ жизнью, и иногда не впадать; Писемскій лѣпитъ прямо съ натуры, и созданія его выходятъ некрасивыя, грубыя, кряжистыя, какъ некрасива, груба и кряжиста самая жизнь наша, самая неотесанная наша натура. Общая атмосфера нашей жизни схвачена полнѣе у Писемскаго, но зато индивидуальныя характеры

у Тургенева обработаны гораздо тщательнѣе. Словомъ, романы Писемскаго представляютъ *этнографическій* интересъ, а романы Тургенева замѣчательны по интересу *психологическому*.

Въ повѣстяхъ и романахъ Тургенева много великолѣпно отдѣланныхъ женскихъ характеровъ. Я остановлюсь только на нѣкоторыхъ; возьму: Асю, Наталью (изъ «Рудина»), Зинаиду (изъ «Первой Любви»), Вѣру (изъ «Фауста»), Лизу (изъ «Дворянскаго Гнѣзда») и Елену (изъ «Наканунѣ»).

Ася—милое, свѣжее, свободное дитя природы; какъ незаконнорожденная дочь, она въ домѣ отца своего не пользовалась тѣмъ тщательнымъ надзоромъ, который душитъ въ ребенкѣ живыя движенія и превращаетъ здоровую дѣвочку въ благовоспитанную барышню. Свободно играла и рѣзвилась она, бывши ребенкомъ; свободно стала она развиваться подъ руководствомъ своего старшаго законнорожденного брата, добродушнаго молодого человѣка, весело, свѣтло и широко смотрящаго на жизнь. «Вы видите,—говоритъ объ ней ея братъ, Гагинъ,—что она много знала и знаетъ, чего не должно бы знать въ ея годы... Но развѣ она виновата? Молодые силы разъигрывались въ ней, кровь кипѣла, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила... Полная независимость во всемъ, да развѣ легко ее вынести? Она хотѣла быть не хуже другихъ барышень. Она бросилась на книги. Что тутъ могло выйти путнаго? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце въ ней не испортилось, умъ уцѣлѣлъ».

Эти слова Гагина характеризуютъ и того, кто ихъ произноситъ, и ту дѣвушку, о которой говорятъ. Мы можемъ возразить, что изъ этихъ словъ не видно, чтобы Гагинъ смотрѣлъ на жизнь широко. На это возраженіе отвѣчу, что Гагинъ принадлежитъ къ числу людей мягкихъ, неспособныхъ вступить въ открытую борьбу съ существующимъ предразсудкомъ или завязать горячій споръ съ несогласающимся собесѣдникомъ. Мягкость и добродушіе поглощаютъ въ немъ всѣ остальные свойства; онъ изъ добродушія посовѣститъ уличить васъ въ нелѣпости; онъ даже съ подлецомъ старается обойтись помягче, чтобы не обидѣть его, самъ онъ не стѣсняетъ Аси ни въ чемъ и даже не находитъ въ ея своеобразности ничего дурного, но онъ говоритъ объ ней съ довольно развитымъ, но отчасти фешенебельнымъ господиномъ и потому невольно, изъ мягкости, становится въ уровень съ тѣми понятіями, которыя онъ предполагаетъ въ своемъ собесѣдникѣ. Онъ высказываетъ о воспитаніи Аси тѣ понятія, которыя живутъ въ обществѣ; самъ онъ не сочувствуетъ этимъ понятіямъ; находя на словахъ, что полную независимость вынести не легко, онъ самъ никогда не рѣшится стѣснить чью-нибудь независимость; зато и не рѣшится отстоять отъ



притязаній общества свою или чужую независимость. Уступая требованіямъ общественныхъ приличій, онъ отдалъ Асю въ пансіонъ; когда же Ася по выходѣ изъ пансіона поступила подъ его покровительство, онъ не могъ стѣснять ея свободы ни въ чемъ, и она стала дѣлать, что ей было угодно. Что-же, спроситъ читатель, она, вѣроятно, надѣлала много непозволительныхъ вещей? О да, отвѣчу я, ужасно много. Какъ-же въ самомъ дѣлѣ! Она прочла нѣсколько страстныхъ романовъ, она одна ходила гулять по прибрежнскимъ скаламъ и развалинамъ; она держала себя съ посторонними людьми то очень застѣнчиво, то весело и бойко, смотря по тому, въ какомъ она была настроеніи, она... ну, да что-же! Неужели вамъ этого мало? *Вы видите, что она многое знала и знаетъ, чего не должно бы знать въ ея годы. Полная независимость во всемъ! Да развѣ легко ее вынести?* О, эти двѣ фразы имѣютъ великое значеніе. Золотая середина! Тебѣ я посвящаю ихъ! «Русскій Вѣстникъ»! «Отечественныя Записки»! Возьмите ихъ въ эпиграфъ!

Ася является въ повѣсти Тургенева восемнадцатилѣтней дѣвушкой; въ ней кипятъ молодыя силы; и кровь играетъ, и мысль бѣгаетъ; она на все смотритъ съ любопытствомъ, но ни во что не вглядывается; посмотреть и отвернется, и опять взглянетъ на что-нибудь новое; она съ жадностью ловитъ впечатлѣнія и дѣлаетъ это безъ всякой цѣли и совершенно безсознательно; силъ много, но силы эти бродятъ. На чемъ онѣ сосредоточатся и что изъ этого выйдетъ, вотъ вопросъ, который начинаетъ занимать читателя тотчасъ послѣ перваго знакомства съ этой своеобразной и прелестной фигурой.

Она начинаетъ кокетничать съ молодымъ человѣкомъ, съ которымъ Гагинъ случайно знакомится въ нѣмецкомъ городѣ; кокетство Аси такъ-же своеобразно, какъ и вся ея личность; это кокетство безцѣльно и даже безсознательно; оно выражается въ томъ, что Ася въ присутствіи посторонняго молодого человѣка становится еще живѣе и шаловливѣе; по ея подвижнымъ чертамъ пробѣгаетъ одно выраженіе за другимъ; она какъ-то вся въ его присутствіи живетъ ускоренной жизнью; она при немъ побѣжитъ такъ, какъ не побѣжала бы, можетъ-быть, безъ него; она станетъ въ граціозную позу, которую не приняла бы, можетъ-быть, еслибы его тутъ не было, но все это не разсчитано, не пригоняется къ извѣстной цѣли; она становится рѣзвѣе и граціознѣе, потому что присутствіе молодого мужчины незамѣтно для нея самой волнуетъ ея кровь и раздражаетъ нервную систему; это не любовь, но это—половое влеченіе, которое неизбѣжно должно явиться у здоровой дѣвушки точно такъ-же, какъ оно является у здороваго юноши. Это половое влеченіе, признакъ здоровья и силы, систематически заби-

вается въ нашихъ барышняхъ образомъ жизни, воспитаніемъ, обученіемъ, пищей, одеждой; когда оно оказывается забытымъ, тогда тѣ-же воспитательницы, которыя его забыли, начинаютъ обучать своихъ воспитанницъ такимъ манерамъ, которые до извѣстной степени воспроизводятъ его внѣшніе симптомы. Естественная грація убита; на ея мѣсто подставляютъ искусственную; дѣвушка зацугана и забита домашней выправкой и дисциплиной, а ей велитъ при гостяхъ быть веселой и развязной; проявленіе истиннаго чувства навлекаетъ на дѣвушку потокъ правоученій, а между тѣмъ любезность ставится ей въ обязанность; однимъ словомъ, мы вездѣ и всегда поступаемъ такъ: сначала разобьемъ естественную, цѣльную жизнь, а потомъ изъ жалкихъ черепковъ и верешковъ начинаемъ клеить что-нибудь свое и ужасно радуемся, если это свое издала почти похоже на натуральное. Ася—вся живая, вся натуральная, и потому-то Гагинъ считаетъ необходимымъ извиниться за нее передъ той золотой серединой, которой лучшимъ и наиболѣе развитымъ представителемъ является г. Н. Н., рассказывающій всю повѣсть отъ своего лица. Мы такъ далеко отошли отъ природы, что даже ея явленія мѣряемъ не иначе, какъ сравнивая ихъ съ нашими искусственными копіями; вѣроятно, многимъ изъ нашихъ читателей случалось, глядя на закатъ солнца и видя такіе рѣзкіе цвѣта, которыхъ не рѣшился бы употребить ни одинъ живописецъ, подумать про себя (и потомъ, конечно, улыбнуться этой мысли): «что это, какъ рѣзко! Даже не натурально». Если намъ случается такимъ образомъ ломить на колѣнку явленія неодушевленной природы, которыя имѣютъ свое оправданіе въ самомъ фактѣ своего существованія, то можно себѣ представить, какъ мы безсознательно, незамѣтно для самихъ себя, ломаемъ и насируемъ природу человѣка, обсуживая и перетолковывая вкривь и вкосъ явленія, попадающіяся намъ на глаза. Изъ того, что я до сихъ поръ говорилъ объ Асѣ, прошу не выводить того заключенія, будто это—личность совершенно непосредственная. Ася настолько умна, что умѣетъ смотрѣть на себя со стороны, умѣетъ по-своему обсуживать свои собственные поступки и произносить надъ собою приговоръ. Напримѣръ, ей показалось, что она черезчуръ распаллась, на другой день она является тихой, спокойной, смиренной до такой степени, что Гагинъ говоритъ даже объ ней:—«А-га! Постъ и покаяніе на себя наложилъ».

Потомъ она замѣчаетъ, что въ ней что-то не ладно, что она, кажется, привязывается къ новому знакомству; это открытіе ее пугаетъ; она понимаетъ свое положеніе, двусмысленное, по мнѣнію нашего общества; она понимаетъ,



что между нею и любимым человеком может появиться такая преграда, через которую она из гордости не захочет перескочить и через которую он из робости не посмеет перешагнуть. Весь этот ряд мыслей пробегает в ее голове чрезвычайно быстро и отдается во всем ее организм; кончается тем, что она, как испуганный ребенок, порывисто отвертывается от неизвестного будущего, которое является ей в образе нового чувства, и с детским доверием, с громким плачем и в то же время с недетской страстностью кидается назад к своему милому прошедшему, воплощающемуся для нее в личности доброго, снисходительного брата.

— Нѣтъ, говорить она сквозь слезы:—я никого не хочу любить, кромѣ тебя; нѣтъ, нѣтъ, одного тебя я хочу любить—и навсегда.

— Полно, Ася, успокойся, говорит Гагинъ, — ты знаешь, я тебя вѣрю.

— Тебя, одного тебя!—повторила она, бросилась ему на шею и съ судорожными рыданиями начала цѣловать его и прижиматься къ его груди.

— Полно, полно, твердилъ онъ, слегка проводя рукой по ее волосамъ».

Наша европейская цивилизація какъ-то такъ устроена, что она пугаетъ дикарей и мало-по-малу истребляетъ ихъ; Ася въ отношеніи къ этой цивилизаціи находится почти въ такомъ положеніи, въ какомъ можетъ быть поставленъ какой-нибудь краснокожій стрѣлокъ; ей предстоитъ рѣшить грозную дилемму: надо или отказаться отъ того человека, къ которому она начинаетъ чувствовать влеченіе, или стать во фронтъ, войти въ ранжиръ, отказаться отъ милой свободы; она инстинктивно боится чего-то, и инстинктъ ее не обманываетъ; она хочетъ воротиться къ прошедшему, а между темъ будущее манитъ къ себѣ, и не отъ насъ зависитъ остановить теченіе жизни.

Настроеніе Аси, ее обращеніе къ прошедшему скоро исчезаютъ безъ слѣда; приходитъ Н. Н., начинается разговоръ, прихотливо перепрыгивающій отъ одного впечатлѣнія къ другому, и Ася вся отдается настоящему, и отдается такъ весело и беззаботно, что не можетъ даже скрыть ощущаемаго удовольствія; она болтаетъ почти безсвязный вздоръ, обаятельный, какъ выраженіе ее свѣтлаго настроенія, и наконецъ прерывается и просто говорить, что ей хорошо. И это настроеніе совершенно неожиданно разрѣшается въ весьма естественномъ желаніи—повальсировать съ любимымъ человекомъ.

«Все радостно сіяло вокругъ и съ, внизу, надъ нами, небо, земля и воды; самый воздухъ, казалось, былъ насыщенъ блескомъ».

— Посмотрите, какъ хорошо!—сказалъ я, невольно понизивъ голосъ.

— Да, хорошо!—также тихо отвѣтила она, не смотря на меня.—Еслибъ мы съ вами были птицы—

какъ бы взвились, какъ бы полетѣли... Такъ бы и утонули въ этой синевѣ... Но мы не птицы.

— А крылья могутъ у насъ вырасти, возразилъ я.

— Какъ такъ?

— Поживете—узнаете. Есть чувства, которыя поднимаютъ насъ отъ земли. Не безпокойтесь, у васъ будутъ крылья.

— А у васъ были?

— Какъ вамъ сказать?... Кажется, до сихъ поръ я еще не леталъ.

Ася опять задумалась. Я слегка наклонился къ ней.

— Умѣете вы вальсировать? спросила она вдругъ.

— Умѣю, отвѣчалъ я, нѣсколько озадаченный.

— Такъ пойдемте, пойдемте... Я попрошу брата сыграть намъ вальсъ... Мы вообразимъ, что мы летаемъ, что у насъ выросли крылья.

Она побѣжала къ дому. Я побѣжалъ вслѣдъ за ней, и нѣсколько мгновений спустя мы кружились въ тѣсной комнатѣ подъ сладкіе звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, съ увлеченіемъ. Чтото мягкое, женское проступило вдругъ сквозь ее дѣвически-строгій обликъ. Долго потомъ рука моя чувствовала прикосновеніе ее нѣжнаго стана, долго слышалось мнѣ ее ускоренное близкое дыханіе, долго мерещились мнѣ темные, неподвижные, почти закрытые глаза на блѣдномъ, но оживленномъ лицѣ, рѣзко обвѣянномъ кудрями».

Во всей этой сценѣ Ася, очевидно, находится въ напряженномъ состояніи; она переживаетъ новую для себя фазу развитія; она въ одно время и живетъ, и думаетъ о жизни, какъ это всегда бываетъ съ людьми, одаренными свѣтлыми умственными способностями; она поддается новымъ впечатлѣніямъ и въ то же время боится ихъ, потому что не знаетъ, что дадутъ они ей въ будущемъ; порою пересиливаетъ страхъ, порою одолеваетъ желаніе. Чувство растетъ съ каждымъ днемъ; Ася объявляетъ г. Н., что крылья у нея выросли, да летѣть некуда, а потомъ признается брату, что она любитъ этого господина. «Увѣряю васъ,—говоритъ Гагинъ въ разговорѣ съ Н.,—мы съ вами, благоразумные люди, и представить себѣ не можемъ, какъ она глубоко чувствуетъ и съ какой невѣроятной силой высказываются въ ней эти чувства; это находить на нее такъ-же неожиданно и такъ-же неотразимо, какъ гроза». Дѣйствительно, чувство Аси высказывается не одними словами и слезами; оно доводитъ ее до дѣйствія; забывая всякую предосторожность, отлагая въ сторону всякую ложную гордость, она назначаетъ любимому человеку свиданіе, и тутъ-то, при этомъ случаѣ высказывается въ полной яркости превосходство свѣжей, энергической дѣвушки надъ вялымъ продуктомъ великосвѣтской, условно-этикетной жизни. Посмотрите, чѣмъ рискуетъ Ася, и посмотрите, чего боится Н.? Идя на свиданіе, Ася, конечно, не знала, чѣмъ оно можетъ кончиться; свиданіе это было назначено безъ всякой цѣли, по неотразимой потребности сказать любимому человеку наединѣ что-то такое, чего и сама Ася ясно не сознавала; свидѣвшись съ Н. у фрау Луизъ, она такъ без-



раздѣльно отдалась впечатлѣнію минуты, что потеряла и желаніе, и способность сопротивляться чему бы то ни было; она безусловно довѣрилась, не слышавши отъ Н. ни единого слова любви; безсознательная робость молодой дѣвушки и сознательная боязнь лишиться доброго имени — все умолкло передъ настоятельными, неотразимыми требованіями чувства.

Если можно благоговѣть передъ чѣмъ бы то ни было, то всего разумнѣе и изящнѣе будетъ съ благоговѣніемъ остановиться передъ этой силой чувства: это такой двигатель, для котораго не существуетъ непреодолимыхъ трудностей; при всякой борьбѣ между людьми одолѣетъ рано или поздно та партія, на сторонѣ которой находится наибольшая сумма энергическаго чувства; человѣкъ, вносящій въ жизнь пылокое желаніе наслаждаться, горячую, энергическую любовь къ жизни, навѣрное достигнетъ желаемого счастья, если ему не свалится на голову какой-нибудь нелѣпый камень. Только вялость и апатія вьзнутъ въ трясины, не умѣя осилить ни матеріальную нужду, ни людское недоброжелательство. *Femme le veut, Dieu le veut*—эта поговорка живетъ у французовъ со временъ рыцарства, и въ ней есть значительная доля правды; чего, чего не надѣлаетъ любящая женщина? Какія новыя силы не пробудятся въ ней подъ вліяніемъ ея чувства? Еслибы дѣйствительно (какъ утверждаютъ противники такъ называемой эмансипаціи женщинъ) у женщины не было ничего, кромѣ способности любить, то и тогда еще неизвѣстно, чья природа оказалась бы крѣпче и богаче интеллектуальными дарами—природа мужчины или природа женщины? Въ разбираемой мною повѣсти неразвита, полудикая дѣвушка одной силой своего чувства становится выше молодого человѣка, у котораго есть и умъ, и образованіе, и современное развитіе. Она на все рѣшилась, не остановилась даже передъ той мыслью, что можетъ огорчить брата, единственнаго человѣка въ мірѣ, котораго она любить; она пошла на встрѣчу осужденію и позору, страданію и домашнему горю, а онъ, онъ... на чемъ онъ запнулся? Стыдно сказать, а умалчивать незначѣмъ. На томъ, читатели, что его женѣ на визитныхъ карточкахъ неудобно будетъ написать: *M-me N., née une telle*. На томъ, что онъ самъ, г. Н., затруднится отвѣчать на вопросъ какого-нибудь великосвѣтскаго хлыща: «какъ ваша супруга урожденная?» Потомъ онъ послѣ двухдневной борьбы одолѣваетъ это препятствіе, но эта побѣда оказывается несвоевременной. Кромѣ того, читатели, подумайте сами, если мы будемъ бороться съ такими плюгавыми препятствіями, какъ съ какимъ-нибудь дѣйствительно существующимъ колоссальнымъ врагомъ, то не правда-ли, какъ мы далеко уйдемъ впе-

редъ, какъ много сдѣлаемъ дѣльнаго, а главное, какъ много успѣемъ насладиться жизнью? А жизнь, ей-Богу, коротка, и счастливыя стеченія обстоятельствъ бываютъ такъ рѣдки, что ими необходимо пользоваться, если не хочешь глупѣйшимъ образомъ прозвѣвать жизнь. На личность г. Н. можно взглянуть еще съ одной очень поучительной стороны. Онъ приходитъ на свиданіе съ твердымъ намѣреніемъ объявить Асѣ, что они должны разстаться. «Жениться на семнадцатилѣтней дѣвчкѣ (прибавьте еще, г. Н., на незаконнорожденной дочери),—говоритъ онъ самъ себѣ,—съ ея нравомъ (тутъ г. Н. очевидно боится, чтобы у него, вслѣдствіе этого нрава, не выросли рога), какъ это можно?» (Да и не бойтесь, г. Н.: вамъ конечно нельзя, да вы и не женитесь. Это вамъ сказали уже и Гагинъ). Твердое намѣреніе г. Н. начинаетъ колебаться, когда онъ видитъ грустную, робкую и обаятельную въ этой грустной робости фигуру Аси, которая старается улыбнуться и не можетъ, хочетъ сказать что-то и не находитъ ни словъ, ни голоса. Ему становится жаль этой милой, любящей дѣвушки; онъ снисходитъ къ ней и называетъ ее ласкательнымъ полуименемъ.

«— Ася, сказалъ я едва слышно.

Она медленно подняла на меня свои глаза... О взглядъ женщины, которая полюбила, кто тебя опишетъ? Они молили, эти глаза, они довѣрились, вопрошали, отдавались... Я не могъ противиться ихъ обаянію. Тонкій огонь пробѣжалъ по мнѣ жгучими иглами, я нагнулся и приникъ къ ея рукъ...

Послышался трепетный звукъ, похожій на прерывистый вздохъ, и я почувствовалъ на моихъ волосахъ прикосновеніе слабой, какъ листъ дрожащей, руки. Я поднялъ голову и увидалъ ея лицо. Какъ оно вдругъ преобразилось! Выраженіе страха исчезло съ него, взоръ ушелъ куда-то далеко и увлекалъ меня за собой, губы слегка раскрылись, лобъ поблѣднѣлъ, какъ мраморъ, и кудри отодвинулись назадъ, какъ-будто вѣтеръ ихъ откинулъ. Я забылъ все и потянулъ ее къ себѣ—покорно повиновалась ея рука, все ея тѣло повлеклось вслѣдъ за рукою, шаль покатила съ плечъ и голова ея тихо легла на мою грудь, легла подъ мои загорѣвшіяся губы...

— Ваша... прошептала она едва слышно.

Уже руки мои скользили вокругъ ея стана...

«Ахти, бѣда!—подумаетъ сердобольный читатель.—Погубитъ онъ, озорникъ, бѣдную дѣвушку! Да, дѣйствительно, всякій здоровый и крѣпкій человѣкъ увлекся бы до послѣднихъ предѣловъ и конечно въ увлекающей Асѣ не встрѣтилъ бы ни малѣйшаго сопротивленія. Честный человѣкъ увлекся бы, и отъ послѣдствій его увлеченія не пострадалъ бы никто; онъ женился бы на Асѣ на другой день послѣ свиданія, и самое свиданіе осталось бы въ жизни обоихъ супруговъ свѣтлымъ, блестящимъ воспоминаніемъ. Энергическій негодай, вродѣ Василія Лучинова (въ повѣсти Тургенева «Три портрета»), также не отказался бы отъ плодовъ свиданія, воспользовался бы всеми насла-



жденіями, какія можно было бы добыть отъ Аси, и потомъ бросилъ бы ее, какъ прочитанную записку. Первый поступилъ бы—какъ порядочный человѣкъ, второй—какъ отъявленный негодяй. Что-же касается до тѣстообразнаго г. Н., то онъ поступилъ такъ замысловато и вслѣдствіе этого такъ глупо, какъ можетъ поступить только существо, лишенное плоти и крови, или одаренное весьма жалкой дозой крови плохого достоинства. Онъ сначала было растаялъ, а потомъ спохватился. У него не достало мозгу, чтобы съ первой минуты окатить дѣвушку ушатомъ холодной воды, а потомъ не достало полнокровія, чтобы, не заботясь о послѣдствіяхъ, дать этой дѣвушкѣ и самому себѣ нѣсколько мгновеній жгучаго наслажденія. У него все перепутано; чувство врывается въ процессъ мысли, мысль парализируетъ чувство. Воспитаніе ослабило его тѣло и набило мозгъ его идеями, которыхъ тотъ не можетъ осилить и переварить. У него нѣтъ физической силы, физической силы, физической свѣжести; это—ходячая теорія, человѣческая голова на курьихъ ножкахъ, выжатый лимонъ безъ соку, безъ вкуса и безъ остроты. И таково большинство; и намъ этотъ типъ такъ привыченъ, что насъ даже не поражаютъ его вопіющіе недостатки; многіе читатели навѣрное скажутъ по прочтеніи «Аси», что Н.—очень честный человѣкъ, которому не посчастливилось въ жизни. Да, честный. Никто у него и не отнимаетъ этой честности...

Ася—такая личность, въ которой есть всѣ задатки счастливой полной жизни; развившись помимо условій нашей жизни, она не разилась ея нелѣпостями. Встрѣтись она съ свѣжимъ мужчиной, она бы показала намъ, что значить быть счастливой и дала бы намъ самый спасительный и плодотворный урокъ, котораго намъ до сихъ поръ никто не умѣлъ дать. Но гдѣ-же взять такого мужчину? У насъ ихъ нѣтъ. И вотъ свѣжее, молодое, здоровое существо попало въ лазаретъ, въ которомъ стонутъ на разные лады субъекты, одержимые самыми разнообразными болѣзнями. Ну, конечно, изъ этого не могло выйти ничего путнаго; поневолѣ ей пришлось зачехнуть отъ аптечнаго воздуха или заразиться отъ дыханія окружающихъ субъектовъ. Виновата-ли въ этомъ женщина?

#### V.

Наталя въ «Рудинѣ» похожа на Асю или, вѣрнѣе, въ основу ихъ личностей положена авторомъ одна идея, разработанная различно въ обоихъ романахъ. Въ Асѣ больше граціи, въ Натальѣ больше твердости; Ася отличается подвижностью, Наталя—сдержанностью и способностью глубоко вдумываться въ предметъ и долго вынашивать въ головѣ идею или чувство. Въ Асѣ огонь вспыхиваетъ

сильно и внезапно; дѣйствіе этого внутренняго огня тотчасъ отражается на ея фізіономіи, въ ея поступкахъ, во всемъ ея поведеніи; въ Натальѣ этотъ огонь разгорается медленно, и дѣйствіе его долгое время скрывается отъ нея самой и отъ другихъ; а потомъ, когда она сама отдаетъ себѣ отчетъ въ своемъ настроеніи, она все-таки скрываетъ его отъ другихъ и одна, безъ постороннихъ свидѣтелей, хозяйничаетъ въ своемъ внутреннемъ мірѣ. Различій, какъ видите, очень много, а между тѣмъ сходство самое существенное: обѣ дѣвушки сохранили свѣжесть и здоровье помимо обстановки, помимо тѣхъ людей, которые считали себя въ правѣ распоряжаться ихъ мыслями и чувствами. Наталя это было труднѣе сдѣлать, чѣмъ Асѣ, и потому Наталя вышла изъ своей борьбы крѣпче и вынесла изъ нея болѣшій запасъ сознаннаго опыта. Наталя—старшая дочь богатой барыни, окруженная съ малолѣтства гувернантками, французскими грамматиками и душеспасительными наставленіями, произносимыми на разныхъ европейскихъ языкахъ. Какъ тутъ не оплошиться? Дѣйствительно мудро, но тутъ выручаетъ одно обстоятельство, именно то, что матери некогда постоянно наблюдать за воспитаніемъ, а гувернантки большей частью довольно тупы.

Воспитанію дѣтей посвящаютъ себя обыкновенно тѣ лица, которыя по ограниченности ума ни на что другое не способны, да иначе и быть не можетъ. Во-первыхъ, матеріальное положеніе наставника всегда зависимо и всегда скудно обезпечено. Во-вторыхъ, обречь себя на то, чтобы постоянно передавать другому то, что знаешь, значить отказаться отъ возможности идти дальше. Когда начинаешь учить другого, тогда уже интересы собственнаго развитія отодвигаются на задній планъ. Кто хочетъ денегъ, тотъ не пойдетъ въ педагоги, потому что мѣсто не хлѣбное. Кто хочетъ идей, тотъ не пойдетъ въ педагоги, потому что занятія съ дѣтьми отнимаютъ у человѣка время, не обогащая его внутреннимъ содержаніемъ. Стало-быть, въ педагога идетъ, даже по призванію, только трудолюбивая посредственность; въ гувернантки идутъ тѣ дѣвушки, которымъ не удалось выйти замужъ. То обстоятельство, что мѣсто педагога не пользуется почетомъ и что вслѣдствіе этого на эти мѣста идутъ люди, обиженные Богомъ, не разъ возбуждало въ нашей педагогической литературѣ жалобные вопли; я осмѣлюсь самымъ скромнымъ тономъ выразить сомнѣніе въ основательности этихъ воплей. Осмѣлюсь даже предложить вопросъ: велика-ли та услуга, которую мы оказываемъ дѣтямъ, занимаясь ихъ нравственнымъ воспитаніемъ? Воспитывать—значить готовить къ жизни; спрашивается, можетъ-ли готовить къ жизни кого бы то ни было такой человѣкъ, который



самъ не умѣть жить? А что мы не умѣемъ жить—въ этомъ, кажется, не усомнится благосклонный читатель. Воспитывая нашихъ дѣтей, мы втискиваемъ молодую жизнь въ тѣ уродливыя формы, которыя тяготѣли надъ нами; мы поступаемъ такимъ образомъ съ такими личностями, которыя сами не могутъ еще ни подать голоса, ни заявить протеста, ни оказать сопротивленія; мы безъ спросу мнемъ чужія личности и чужія силы; когда владѣльцы этихъ силъ и этихъ личностей начинаютъ вступать въ свои человѣческія права, то они находятъ, что въ ихъ владѣніяхъ все перепутано; мысль загромождена разными кошмарами и кикиморами; чувство извращено и болѣзненно нацарапано или насильственно притуплено педагогическими внушеніями о долгѣ, о чести, о нравственности; молодое тѣло изнурено безплодной, односторонней мозговой работой, отсутствіемъ правильнаго моціона, чистаго воздуха, часто даже недостаткомъ здоровой пищи. Физическое здоровье подорвано, а что дано взаимнѣ? Насажень въ мозгу по разнымъ грядкамъ съ нѣмецкой тщательностью и возмутительной аккуратностью бурьянъ и чертополохъ, который надо вырывать съ корнемъ, чтобъ онъ не истощилъ всю умственную почву. И вотъ молодой хозяинъ поневолѣ посылаетъ ко всѣмъ чертямъ услужливыхъ огородниковъ, вскопавшихъ и засѣявшихъ ему мозгъ; онъ исподволь или вдругъ, смотря по обстоятельствамъ, эмансипируетъ себя отъ ихъ непрошенной опеки и начинаетъ жить по-своему и думать по-своему. Но на борьбу съ сорными травами уходитъ много хорошихъ силъ, часто человѣкъ оказывается освобожденнымъ отъ бурьяна уже тогда, когда тѣлесное развитіе достигло полной зрѣлости и стоитъ уже на поворотномъ пунктѣ.

Чѣмъ раньше молодая личность становится въ скептическія отношенія къ своимъ наставникамъ, тѣмъ лучше, потому что тѣмъ меньше послѣдніе успѣютъ напортить и тѣмъ больше времени останется на поправленіе или, вѣрнѣе, на радикальное уничтоженіе ихъ работы. Стать въ скептическія отношенія легче къ дураку, чѣмъ къ умному человѣку, и потому я рѣшаюсь признать положительно полезнымъ то обстоятельство, что нашимъ воспитаніемъ занимались и занимаются большей частью недалекіе люди. Развиваться подъ руководствомъ наставника, мнѣ кажется, положительно невозможно, а развиваться помимо наставника тѣмъ удобнѣе, чѣмъ ограниченнѣе наставникъ. Но отчего же однако—спроситъ читатель—умный и широко-развитый человѣкъ не можетъ принести своему воспитаннику существенной пользы? Оттого, любезный читатель, что умный и широко развитый человѣкъ никогда не рѣшится воспитывать ребенка; онъ пойметъ, что врываться въ интеллектуальный міръ другого че-

ловѣка съ своей инициативой—безчестно и нелѣпо; онъ будетъ хорошо кормить ребенка, удалять отъ него вредные предметы, вродѣ бѣшеной собаки, каленаго желѣза, сырой комнаты, угарнаго воздуха. На томъ онъ и остановится; если ребенокъ предложитъ ему вопросъ, онъ ему отвѣтитъ; если ребенокъ принесетъ на его судъ какое-нибудь сомнѣніе, онъ ему выскажетъ свое убѣжденіе. Зрѣлый умъ старшаго будетъ имѣть вліяніе на формированіе сужденій ребенка, но это вліяніе будетъ независимо отъ воли обоихъ дѣйствующихъ лицъ; его не будутъ втискивать силой или всучивать педагогической хитростью. Кто попытается сдѣлать больше этого, тотъ, стало быть, не настолько умень или не настолько широко развитъ, чтобы быть безвреднымъ сознательно и добровольно. Если онъ не можетъ быть безвреденъ сознательно и добровольно, то пускай будетъ безвреденъ невольно, вслѣдствіе безсилія. Если нельзя найти человѣка очень умнаго, возьмите человѣка очень глупаго. Результатъ получится почти въ такой-же мѣрѣ удовлетворительный, а людей глупыхъ много, особенно между педагогами. Стало быть, выйдетъ и дешево, и сердито.

Наталя, какъ умный ребенокъ, рано заявила свою умственную жизнь какимъ-нибудь озадачивающимъ вопросомъ, мѣткимъ замѣчаніемъ, вспышкой своеволія; это заявленіе, благодаря тупости воспитательницы, встрѣтило себѣ холодный или даже недоброжелательный приемъ. На вопросъ отвѣчали вскользь; на мѣткое замѣчаніе воспослѣдовало со стороны гувернантки не менѣе мѣткое замѣчаніе: «маленькія дѣвочки не должны такъ говорить». Маленькая дѣвочка спросила: почему? Ей приказали молчать. Вспышку своеволія назвали капризомъ и подавили силой. Словомъ, такъ или иначе, воспитывающая сторона уронила себя въ глазахъ воспитываемой стороны, а это, какъ извѣстно всѣмъ, занимавшимся когда-нибудь воспитаніемъ, вовсе не трудно сдѣлать, когда имѣешь дѣло съ умнымъ ребенкомъ. Маленькая дѣвочка широко раскрыла свои умные глаза, съ удивленіемъ посмотрѣла на старшихъ недоумѣвающимъ взоромъ и подумала про себя: какіе они странные; а черезъ нѣсколько времени она подумала: а, такъ вотъ они какіе! Вотъ и вошелъ въ воспитаніе новый элементъ, котораго существованіе не подозрѣваютъ воспитатели и который между тѣмъ постоянно путаетъ алгебраическія выкладки педагогическихъ соображеній. Приказанія ихъ исполняются, но «формировать умъ и сердце» ребенка имъ не удается; приказанія ихъ не прохватываютъ въ глубь; маленькая дѣвочка, какъ улитка, ушла въ себя и начинаетъ строить себѣ свой мірокъ, въ который она ни за какія коврижки не пуститъ ни мамашу, ни гувернантку; откровенность от-



кладывается въ сторону, и чѣмъ умнѣе ребенокъ, тѣмъ безуспѣшнѣе оказываются попытки старшихъ разбить раковину улитки и поддомтрѣть нескромнымъ взоромъ тайну внутренняго развитія.

Дѣти, начинающія развиваться помимо руководства наставниковъ, выбираютъ обыкновенно одинъ изъ двухъ путей: или они вступаютъ въ ожесточенную, отчаянную борьбу съ посягательствами взрослыхъ, или они, отказываясь отъ всякой борьбы, повинуются чисто внѣшнимъ образомъ и уже постоянно держатся на-сторожѣ, постоянно относятся къ распоряженіямъ педагоговъ критически и скептически. Первые—будущіе Донъ-Кихоты жизни, всегда готовые ломать копье за свои идеи, всегда дѣйствующіе открыто и смѣло и часто погибающіе за доброе дѣло. Другія—тѣ люди, о которыхъ говоритъ нашъ народъ: «въ тихомъ омутѣ черти водятся». Невозмутимо-спокойные по наружности, глубоко-страстные въ душѣ, непоколебимые и неподкупные, эти люди дѣйствуютъ медленно, бьютъ на-вѣрняка и рѣдко промахиваются. Наталья принадлежала ко второй категоріи, а между тѣмъ промахнулась. Она полюбила Рудина и ошиблась въ немъ; но кто-же бы и не ошибся въ Рудинѣ? Кого бы не подкупили его рѣчи, если даже онъ подкупилъ Лежнева, мужчину, одареннаго значительной дозой скептицизма и здраваго смысла. Причины ошибки Натальи лежатъ не въ ней самой, а въ окружавшихъ ее обстоятельствахъ. Рудинъ былъ лучшимъ изъ окружавшихъ ее мужчинъ, она его и выбрала; что же дѣлать, если и лучший оказался никуда не годнымъ? И Лежневъ, и Волынцевъ крѣпче Рудина, въ этомъ спору иѣтъ; но ни Волынцевъ, ни Лежневъ не могли шевельнуть молодую дѣвушку, находящуюся въ той порѣ жизни, когда умъ требуетъ яркости идей и когда весь организмъ проситъ сильныхъ ощущений. Романъ Натальи очень похожъ на романъ Аси; и та, и другая искали въ любимомъ человѣкѣ жизни и силы; и та, и другая наткнулись на вялое резонерство и на позорную робость. И опять приходится закончить главу вопросомъ: въ чемъ тутъ виновата женщина?

# VI.

Но не все-же дѣвушкамъ удастся развиваться помимо обстановки; многія, и очень многія, даже большинство, пропитываются насквозь атмосферой нашей жизни, въ дѣтствѣ принимаютъ въ себя зародыши разложенія, живыми тѣнями проходятъ свое земное странствіе и, какъ неизлечимые больные, рано начинаютъ увядать и клониться къ могилѣ.

Къ этому чрезвычайно многочисленному типу, допускающему внутри себя почти безконечное разнообразіе, принадлежатъ два замѣча-

тельные женскіе характеры: Вѣра (изъ «Фауста») и Лиза (изъ «Дворянскаго Гнѣзда»).

Первая искусственно заморожена воспитаніемъ; вторая заражена съ дѣтства міазмами нашей домашней атмосферы. Разберу отдѣльно ту и другую личность.

Вѣра воспитывается подъ руководствомъ своей матери, женщины очень умной, очень энергичной, испытавшей много несчастій и сосредоточившей всю силу своей любви на единственной дочери. Сказать по правдѣ, трудно найти болѣе невыгодныя условія развитія. Любящая мать, да еще къ тому-же энергичная, да еще къ тому-же умная, да еще къ тому-же испытавшая несчастія, навѣрное будетъ слѣдить за каждымъ движеніемъ дочери, будетъ прокрадываться въ ея мысли, будетъ рѣшать за нее все представляющіеся вопросы жизни, будетъ оберегать ее отъ впечатлѣній такъ-же заботливо, какъ отъ сквозного вѣтра. Въѣсто того, чтобы жить въ жизни, дочь будетъ обрѣтаться въ какой-то восковой ячейкѣ, построенной вокругъ нея любящей рукой матери. Любить человѣка и не мѣшать ему въ жизни, не отравлять его существованія непрощенными заботами и навязчивымъ участіемъ, это такой фокусъ, который немногимъ по силамъ. Родителямъ онъ совершенно недоступенъ. Они хотятъ, во что-бы то ни стало, чтобы ихъ опытность шла на пользу дѣтямъ; того они не понимаютъ и не хотятъ понять, что самый процессъ пріобрѣтенія опытности чрезвычайно пріятенъ, и что этотъ процессъ никакъ не можетъ быть замѣненъ чужимъ рассказомъ или описаніемъ; когда вы голодны, вамъ надо ѣсть, а не читать описанія лакомыхъ блюдъ и даже не смотреть на эти блюда; когда вы любите женщину, чтеніе самыхъ разнообразныхъ романовъ и рассказы о самыхъ замысловатыхъ любовныхъ похожденияхъ вашего папеньки не замѣняютъ вамъ двухъ минутъ разговора, созерцанія непосредственной близости; когда вы молоды, когда вы вступаете въ жизнь, вамъ надо жить, а никакъ не слушать рассказы о томъ, какъ жили ваши родители.

Мать Вѣры вообразила себѣ, что она пожила за себя и за свою дочь, и рѣшилась, во что бы то ни стало, избавить Вѣру отъ ошибокъ и страданій, выпавшихъ на долю ея матери. Для этого нужно было обработать по-своему мягкій матеріалъ, попавшійся въ руки, и г-жа Ельцова принялась за работу довольно ловко: она успѣла приготовить изъ дочери своей такую консерву, которая могла бы десятки лѣтъ плавать по морю житейскому, постоянно сохраняя подъ свинцовой крышкой свою нетронутую, дѣтскую невинность; борьба между умной, опытной женщиной съ одной стороны и не пробудившимися силами бѣднаго ребенка съ другой стороны была слишкомъ неравна; мать



побѣдила безъ труда, и живыя силы почти безъ сопротивленія отпавились подъ свинцовую крышку; и свинцовая крышка эта придавила ихъ такъ рано, что онѣ замерли, не заявивъ протеста; дѣвочка даже не замѣтила существованія этой крышки и выросла, считая свое положеніе нормальнымъ или, вѣрнѣе, не думая подвергать его анализу.

Во-первыхъ, г-жа Ельцова приобрѣла полное довѣріе своей дочери и внушила ей страстную, доходящую до благоговѣнія, любовь къ своей особѣ. Есть личности, которымъ очень пріятна подобная любовь, исключая критику. Мнѣ кажется, существованіе такого чувства унижаетъ человѣческое достоинство того, кто его испытываетъ,—того, къ кому оно обращено. Обожающее лицо теряетъ всякую самостоятельность: обожаемое—ставится въ обидное положеніе китайскаго идола.

Вѣруя въ опытность матери, въ ея умъ и непогрѣшимость, Вѣра Ельцова поневолѣ должна была безусловно подчиниться ея воззрѣніямъ: но убѣжденія отжившей старухи не могутъ быть убѣжденіями молодой дѣвушки; они могутъ сдѣлаться для нея только догматами вѣры; она можетъ повторять ихъ про себя, какъ магическое заклинаніе, не понимая ихъ истиннаго смысла, потому что этотъ смыслъ дается только тому, кто пожилъ и кого помяла жизнь; принять на вѣру убѣжденія матери значило отказаться отъ знакомства съ жизнью; при всей любви своей къ матери, молодая дѣвушка могла бы не рѣшиться на подобную жертву, еслибы кто-нибудь представилъ ей эту жертву въ настоящемъ свѣтѣ; но такого Мефистофеля не нашлось, а старый ангель-хранитель, г-жа Ельцова, употребила съ своей стороны всѣ усилія, чтобы отвести дочери глаза и показать ей только тѣ уголки жизни, которые, по ея мнѣнію, не могли произвести вреднаго вліянія, т. е. не могли нарушить умственной и нервной дремоты дѣвушки. Все, что могло сильно потрясти нервы, подѣйствовать на воображеніе и сообщить сильный толчокъ критическому уму, было тщательно устранено; ни посторонній человѣкъ, ни посторонняя книга не могли пробиться сквозь ту китайскую стѣну, которой г-жа Ельцова отдѣлила свою Вѣрочку отъ всего живого міра; еслибы Вѣрѣ случилось поговорить съ кѣмъ-нибудь, то этотъ разговоръ она-же сама отъ слова до слова передала бы матери; еслибы Вѣрѣ попалась книга, она не стала бы ее читать, не смрся позволенія матери; когда узникъ полюбилъ свою тюрьму, тогда нѣтъ средствъ освободить его; вѣдь не насильно-же тащить его на свѣтъ Божій! Вѣрѣ до ея замужества не давали въ руки ни одного романа; зато научное ея образованіе было такъ полно, что она удивляла кандидата своими обширными свѣдѣніями; свѣдѣнія эти были,

конечно, чисто фактическія; Вѣра знала, въ которомъ году произошло, положимъ, Нердлингенское сраженіе, къ какому роду и виду принадлежитъ божья коровка, сколько пестиковъ и тычинокъ въ георгинѣ, но значенія реформациі она не понимала и общаго взгляда на жизнь природы не имѣла.

Настѣнное г-жа Ельцова боялась Вольтера и Фегербаха такъ-же сильно и такъ-же основательно, какъ Жоржъ Занда или Бальзака. Вѣрочкѣ позволялось украшать свою память всякими антиками и диковинками, но работать мыслью или воспринимать какія-нибудь необыденныя ощущенія нервами было строго запрещено.

Строгій выборъ книгъ былъ только административнымъ средствомъ въ рукахъ г-жи Ельцовой; цѣль, къ достиженію которой она стремилась, опираясь на подобныя средства, лежала очень далеко; надо было устроить по извѣстной программѣ всю жизнь молодой дѣвушки, надо было искусно обѣжать опасный періодъ любви; надо было выдать ее замужъ за хорошаго человѣка, укрѣпить ее въ понятіи долга и, наконецъ, поставить ее на якорь въ такой пристани, въ которую не заходятъ и не заглядываютъ житейскія бури, смѣлыя мысли, беспорядочныя, кометообразныя чувства. Чтобы дойти до такой пристани, надо было лавировать, и Ельцова лавировала не безъ успѣха.

Молодой человѣкъ, заинтересованный Вѣрой, съ похвальной скромностью просить у Ельцовой позволенія сдѣлать ей предложеніе; заботливая маменька, видя, что этотъ молодой человѣкъ, несмотря на всю свою скромность, не похожъ на желанную пристань, отказывается ему прямо, не спросивши мнѣнія дочери; она даже не считаетъ нужнымъ сказать ей потомъ, что за нее сватался такой-то. Одно этого факта достаточно, чтобы составить себѣ понятіе о томъ, насколько Ельцова употребляла во зло довѣренность своей дочери, и какъ грубо она нарушала ея святыя человѣческія права. Наконецъ, желанная пристань находится; добродушный, простоватый господинъ, бывшій въ университетѣ, не вынесшій оттуда завиральныхъ идей и превратившійся въ помѣщика, несмотря на свои молодые лѣта, оказывается достойнымъ субъектомъ; эврика! говоритъ Ельцова—и выдаетъ за него свою дочь, которая, конечно, ставитъ себѣ за счастье исполнить волю Божію и родительскую. Ельцова умираетъ, вполнѣ спокойная: «пристроила,—думаетъ она,—теперь и безъ меня проживетъ; въ сторону-то сбиться некуда».

Мы видѣли такимъ образомъ, какъ формировалась Вѣра Ельцова; посмотримъ теперь, какъ она, несмотря на предосторожности маменьки, столкнулась съ жизнью мысли и чувства. Вотъ



она уже лѣтъ девять замужемъ, ей уже двадцать восемь лѣтъ, а она смотритъ семнадцатилѣтней дѣвушкой. «То-же спокойствіе, та-же ясность, голосъ тотъ же, ни одной морщинки на лбу, точно она всѣ эти годы пролежала гдѣ-нибудь въ снѣгу». И по прежнему незнакома съ волненіями мысли и чувства, по прежнему не тронута жизнью, по прежнему не прочла ни одного романа, ни одного стихотворенія. Страшно становится за эту женщину!—Если она проживетъ свой вѣкъ и умретъ, не любивши, не мысливши, не испытавши ни одного эстетическаго наслажденія, то, спрашивается, для чего же было жить? А если она вдругъ проснется отъ какого-нибудь сильнаго потрясенія,—что съ нею будетъ? Вынесутъ-ли ея нервы ту массу ощущеній, которыя нахлынутъ со всѣхъ сторонъ и поразятъ ее сильнѣе, чѣмъ кого-либо другого? Дѣти впечатлительнѣе взрослыхъ; ребенокъ плачетъ о сломанной игрушкѣ,—о томъ, что мать ѣдетъ куда-нибудь дня на два, такъ же горько, какъ взрослый заплачетъ о смерти дорогаго человѣка; ребенокъ утѣшается также гораздо скорѣе, и это служить новымъ доказательствомъ того, что онъ впечатлительнѣе взрослого. Міръ дѣтскихъ радостей и дѣтскихъ горестей гораздо мельче и уже, чѣмъ міръ горя и радости у взрослого; если-бы у ребенка было столько же серьезныхъ интересовъ, сколько ихъ у взрослого, и если-бы ребенокъ на всѣ эти интересы откликался съ той же живостью, съ какой онъ радуется подарку или горюетъ о минутной разлукѣ, то навѣрное организмъ его не вынесъ бы этого избытка сильныхъ ощущеній. Входя въ міръ мысли и чувства постепенно, незамѣтно, втягиваясь понемногу въ серьезныя занятія и въ интересы дѣйствительной жизни, ребенокъ мало-по-малу теряетъ свою прежнюю раздражительность и воспримчивость. Нервы притупляются отъ часто повторяющагося раздраженія; является привычка; человѣкъ черствѣетъ и вслѣдствіе этого крѣпнѣетъ. Крайняя раздражительность несовмѣстна съ мужественной твердостью и, чтобы вынести передраги жизни, необходимо утратить невинность, свѣжесть, дѣвственность чувства и тому подобныя свойства, которыми особенно дорожатъ въ своихъ воспитанникахъ добродѣтельные педагоги.

Недобрую штуку сотворила Ельцова съ своей дочерью; сохранивши первобытную чуткость и отзывчивость ребенка, Вѣра смотритъ на вещи, какъ женщина; она понимаетъ умомъ многое, чего не переживала чувствомъ: силы въ ней дремлютъ, но онѣ созрѣли; стоитъ дать толчокъ, и вся эта личность преобразится; въ ней мгновенно разыграется такая драма, которая удивитъ всѣхъ знающихъ ее людей порывистостью и силой борьбы. Положеніе ея страшно усложнено заботливыми распоряже-

ніями матери: она никогда не любила, а между тѣмъ она замужемъ; она рискуетъ полюбить той свѣжей и сильной любовью, какая доступна и понятна только очень молодымъ существамъ, а между тѣмъ у нея есть семейство, есть такъ называемыя обязанности, и въ ней сильно развито чувство долга. Что-то будетъ?

Чего можно было ожидать, то и происходитъ на самомъ дѣлѣ. Мужчина открываетъ Вѣрѣ Николаевнѣ доступъ въ тотъ міръ сильныхъ ощущеній, который оставался ей неизвѣстнымъ впродолженіи цѣлаго десятка лѣтъ; мужчина пробуждаетъ ее изъ того летаргическаго сна, въ который погрузило ее воспитаніе; мужчина превращаетъ мраморную статую въ женщину, и эта женщина привязывается къ своему просвѣтителю всѣми силами богатой, любящей женской души. Проспать слишкомъ десять лѣтъ, лучшіе годы жизни, и потомъ проснуться, найти въ себѣ такъ много свѣжести и энергіи, сразу вступить въ свои полныя человѣческія права—это, воля ваша, свидѣтельствуешь о присутствіи такихъ силъ, которыя при сколько-нибудь естественномъ развитіи могли бы доставить огромное количество наслажденія, какъ самой Вѣрѣ Николаевнѣ, такъ и близкимъ ей людямъ. Вѣра Николаевна любила такъ сильно, что забыла и мать, и мужа, и обязанности; образъ любимаго человѣка и наполняющее ее чувство сдѣлались для нея жизнью, и она рванулась къ этой жизни, не оглядываясь на прошедшее, не жалѣя того, что остается позади, и не боясь ни мужа, ни умершей матери, ни упрековъ совѣсти; она рванулась впередъ и надорвалась въ этомъ судорожномъ движеніи; глаза, привыкшіе къ густой темнотѣ, не выдержали яркаго свѣта; прошедшее, отъ котораго она кинулась прочь, настигло и придавило ее къ землѣ. Она первая, прямо, безъ вызова со стороны мужчины, объявляетъ ему, что она его любитъ; она сама назначаетъ свиданіе и идетъ къ нему твердымъ шагомъ къ назначенному мѣсту.

«Послѣ чаю, когда я уже начиналъ думать о томъ, какъ бы незамѣтно выскользнуть изъ дому, она сама вдругъ объявила, что хочетъ идти гулять, и предложила мнѣ проводить ее. Я всталъ, взялъ шляпу и побрелъ за ней. Я не смѣлъ заговорить, я едва дышалъ, я ждалъ ея перваго слова, ждалъ объясненій; но она молчала. Молча дошли мы до китайскаго домика, молча вошли въ него, и тутъ—я до сихъ поръ не знаю, не могу понять, какъ это сдѣлалось—мы внезапно очутились въ объятіяхъ другъ друга. Какая-то невидимая сила бросила меня къ ней. ее—ко мнѣ.

При потухшемъ свѣтѣ дня ея лицо, съ закинутыми назадъ кудрями, мгновенно озарилось улыбки самозабвенія и нѣги, и наши губы слились въ поцѣлуй...

Этотъ поцѣлуй былъ первымъ и послѣднимъ.

Вѣра вдругъ вырвалась изъ рукъ моихъ и, съ выраженіемъ ужаса въ расширенныхъ глазахъ, отшатнулась назадъ...



— Оглянитесь,—сказала она мнѣ дрожащимъ голосомъ:—вы ничего не видите?

Я быстро обернулся.

— Ничего. А вы развѣ что-нибудь видите?

— Теперь не вижу, а видѣла.

Она глубоко и рѣдко дышала.

— Кого? Что?

— Мою мать,—медленно проговорила она и затрепетала вся.

Я тоже вздрогнулъ, словно холодомъ меня обдало. Мнѣ вдругъ стало жутко, какъ преступнику. Да развѣ я не былъ преступникомъ въ это мгновенье?

— Полноте,—началь я:—что вы это? Скажите мнѣ лучше...

— Нѣтъ, ради Бога нѣтъ!—перебила она и схватила себя за голову.—Это сумасшествіе.. Я съ ума схожу.. Этимъ шутить нельзя—это смерть.. Прощайте...

Я протянулъ къ ней руки.

— Остановитесь, ради Бога, на мгновенье! воскликнулъ я съ невольнымъ порывомъ. Я не зналъ, что говорилъ, и едва держался на ногахъ.— Ради Бога, вѣдь это жестоко.

Она взглянула на меня.

— Завтра, завтра вечеромъ, поспѣшно проговорила она:—не сегодня, прошу васъ... уѣжайте сегодня... завтра вечеромъ приходите къ калиткѣ сада, возлѣ озера. Я тамъ буду, я приду... я клянусь тебѣ, что приду, прибавила она съ увлеченіемъ, и глаза ея блеснули...—Кто бы ни останавливалъ меня, клянусь! Я все скажу тебѣ, только пустите меня сегодня.

II прежде чѣмъ я могъ промолвить слово, она исчезла.

А потомъ умерла. Организмъ не выдержалъ потрясенія, и обаятельная сцена любви разрѣшилась смертельной нервной горячкой. Образы, въ которыхъ Тургеневъ выразилъ свою идею, стоятъ на границѣ фантастическаго міра. Онъ взялъ исключительную личность, поставилъ ее въ зависимость отъ другой исключительной личности, создалъ для нея исключительное положеніе и вывелъ крайнія послѣдствія изъ этихъ исключительныхъ данныхъ. Старуха Ельцова и дочь ея—такіе чистые представители двухъ типовъ, какихъ въ дѣйствительности не бываетъ. Какая мать сдумаетъ провести такъ послѣдовательно свои идеи въ воспитаніе дочери, и какая дочь захочетъ съ такой слѣпой покорностью подчиняться этимъ идеямъ? Размѣры, взятые авторомъ, превышаютъ обыкновенные размѣры, но идея, выраженная въ повѣсти, осязается вѣрной, прекрасной идеей. Какъ яркая формула этой идеи, «Фаустъ» Тургенева неподражаемо хорошъ. Ни одно единичное явленіе не достигаетъ въ дѣйствительной жизни той опредѣленности контуровъ и той рѣзкости красокъ, которая поражаютъ читателя въ фигурахъ Ельцовой и Вѣры Николаевны, но зато эти двѣ почти фантастическія фигуры бросаютъ яркую полосу свѣта на явленія жизни, расплывающіяся въ неопредѣленныхъ, сѣроватыхъ, туманныхъ пятнахъ.

## VII.

Слѣдуетъ-ли подвергать отдѣльному разбору личность Лизаветы Михайловны Калитиной, героини романа «Дворянское Гнѣздо»? Этотъ романъ написанъ такъ недавно, по поводу его выхода въ свѣтъ появилось въ нашей періодической литературѣ столько критическихъ статей, что читателямъ вѣроятно пріѣлисы толки о Лизѣ и о Лаврецкомъ,—толки, въ которыхъ все-таки не договаривалось послѣднее слово. Я знаю, что мнѣ тоже не придется договориться до послѣдняго слова, и потому предпочитаю вовсе не говорить. Если-же, паче чаянія, кто-нибудь изъ читателей пожелаетъ звать мое мнѣніе о Лизѣ, то я попрошу этого читателя внимательно просмотрѣть предыдущую главу моей критической статьи и потомъ перечитать «Дворянское Гнѣздо». Зная, какъ и смотрю на Вѣру, читатель узнаетъ также, какъ я смотрю на Лизу. Лиза ближе Вѣры стоитъ къ условіямъ нашей жизни; она вполне правдоподобна, размѣры ея личности совершенно обыкновенные; идеи и формы, сдавливающія ея жизнь, знакомы какъ нельзя лучше каждому изъ нашихъ читателей по собственному горькому опыту. Словомъ, задача, рѣшенная Тургеневымъ въ абстрактѣ въ повѣсти «Фаустъ», рѣшается имъ въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ» въ приложеніи къ нашей жизни. Результатъ выходитъ одинъ и тотъ-же; гниль одолеваетъ, праведная смерть торжествуетъ надъ грѣховной жизнью.

О Зинаидѣ Засѣкиной (изъ повѣсти «Первая любовь») не скажу ни слова. Я ея характера не понимаю.

## VIII.

Совершенно уйти отъ вліянія обстановки невозможно; такъ или иначе, обстановка даетъ себя знать; если вы живете съ дурными людьми, то эти люди могутъ подѣйствовать на васъ двойнымъ образомъ, смотря по тому, на сколько стойки ваши убѣжденія и тверда ваша воля. Вы можете или заразиться отъ этихъ людей ихъ преобладающимъ порокомъ, или довести въ самомъ себѣ до уродливой крайности протестъ противъ этого порока. Большею частью случается такъ, что отдѣльная личность немногу окрашивается подъ общій цвѣтъ массы; личности, одаренныя значительными силами, обыкновенно немногочисленны; и эти нѣ многія избранныя личности окрашиваются обыкновенно въ противоположный цвѣтъ и, нечувствительно для самихъ себя, доводятъ этотъ цвѣтъ до рѣзкой крайности именно потому, что масса постоянно пытается заштукатурить подъ одну тѣнь съ собою. Если вы жизнью и словами съ особеннымъ воодушевленіемъ про-



тестуете противъ господствующаго въ обществѣ порока, то вы протестуете такъ горячо именно потому, что порокъ стоитъ передъ вашими глазами; причина протеста лежитъ не въ вашей природѣ, а въ томъ, что васъ окружаетъ; для васъ самихъ протестъ дѣло безплодное и утомительное; вашъ крикъ сушить вамъ легкія и производить охриплость въ голосъ; а между тѣмъ нельзя не кричать; вы кричите и этимъ самымъ платите дань тѣмъ идеямъ, которыя уродуютъ жизнь вашихъ соотечественниковъ. Если вы отмахиваетесь отъ комаровъ и не даете имъ укусить себя, то все-таки комары дѣйствуютъ на васъ тѣмъ, что заставляютъ васъ дѣлать утомительныя движенія. Подлость и глупость раздражаютъ ваши нервы, слѣдовательно производятъ въ васъ перемѣну, и можно сказать навѣрное, что, въ какомъ бы направленіи ни совершилась эта перемѣна, она никогда не можетъ быть перемѣной къ лучшему. Вотъ это-то послѣднее обстоятельство Тургеневъ упустилъ изъ виду, создавая характеръ Елены, и отъ этой ошибки произошла, мнѣ кажется, вся нескладница, поражающая читателя въ построеніи романа «Наканунъ».

Елена раздражена мелкою тѣхъ людей и интересовъ, съ которыми ей приходится имѣть дѣло каждый день. Она умѣе своей матери, умѣе и честнѣе отца, умѣе и глубже всѣхъ гувернантокъ, занимавшихся ея воспитаніемъ, она раздражена и неудовлетворена тѣмъ, что даетъ ей жизнь; она съ сознаннымъ негодованіемъ отвертывается отъ дѣйствительности, но она слишкомъ молода и женственна, чтобы стать къ этой дѣйствительности въ трезвыя отрицательныя отношенія. Ея недовольство дѣйствительностью выражается въ томъ, что она ищетъ лучшаго и, не находя этого лучшаго, уходитъ въ міръ фантазіи, начинаетъ жить воображеніемъ. Это болѣзненное состояніе. Когда воображеніе забѣгаетъ впередъ, когда начинается сооруженіе идеала и потомъ бѣгъ за нимъ, тогда живыя силы уходятъ на безплодные поиски и попытки, и жизнь проходитъ въ какомъ-то тревожномъ, безпредметномъ, смутномъ ожиданіи. Елена все мечтаетъ о чемъ-то, все хочетъ что-то сдѣлать, все ищетъ какого-то героя; мечты ея не приходятъ и не могутъ придти въ ясность именно потому, что это мечты, а не мысли; она не критикуетъ нашей жизни, не всматривается въ ея недостатки, а просто отворачивается отъ нея и хочетъ выдумать себѣ жизнь. Такъ нельзя, Елена Николаевна! Что жизнь въ дурныхъ своихъ проявленіяхъ вамъ не нравится, это дѣлаетъ вамъ величайшую честь, это показываетъ, что вы умѣете мыслить и чувствовать; но жить и дѣйствовать вы рѣшительно не умѣете. Если не нравится жизнь, надо или

исправить ее, или умереть, или уѣхать. Чтобы исправить жизнь для себя лично, надо взглянуться въ ея недостатки и отдать себѣ самый ясный отчетъ въ томъ, что именно особенно не нравится; чтобы умереть, надо обратиться къ оружію или къ яду; чтобы уѣхать куда бы то ни было, надо взять паспортъ и запасти деньги. Но не мечтать, ни въ какомъ случаѣ не мечтать! Это совсѣмъ не практично; это расстраиваетъ раны, вмѣсто того, чтобы залечивать ихъ; это губить силы, вмѣсто того, чтобы обновлять и укрѣплять человѣка. Мечты — принадлежность и утѣшеніе слабого, больного, заданнаго существа, а вамъ, Елена Николаевна, нечего Бога гнѣвить; можно и другимъ дѣломъ заняться. Вы пользуетесь нѣкоторой независимостью въ домѣ вашихъ родителей, васъ не бьютъ, не гнутъ въ дугу, не выдаютъ насильно замужъ; этихъ условій слишкомъ мало для того, чтобы наслаждаться, но ихъ слишкомъ достаточно для того, чтобы дѣйствовать и бороться; мечтать было позволительно въ былые годы вашей крѣпостной горничной, точно такъ-же, какъ ей позволительно было пить запоемъ, но теперь и ей это будетъ не къ лицу. Я не осуждаю Елену въ томъ, что она мечтаетъ; я бы не осудилъ человѣка, схватившаго сильнѣйшій простудный кашель, я бы сказалъ только, что онъ боленъ; точно также я говорю и доказываю самой Еленѣ, что она больна и что она ошибается, если считаетъ себя здоровой. Въ этомъ отношеніи ошибается вмѣстѣ съ нею самъ Тургеневъ; онъ глазами психически-больной Елены смотритъ на дѣйствующія лица своего романа; оттого онъ вмѣстѣ съ Еленой ищетъ героевъ; оттого онъ вмѣстѣ съ нею бракуетъ Шубина и Берсенева; оттого онъ выписываетъ изъ Болгаріи невозможнаго и ни на что не нужнаго Инсарова. Елена и вмѣстѣ съ нею Тургеневъ не удовлетворяются обыкновенными, человѣческими размѣрами личностей; все это обыкновенно, все это пошло; давай имъ эффекта, колоссальности, героизма. «Жить скверно», говорятъ Тургеневъ и Елена. — Согласенъ. «Жить скверно потому, что люди скверны». — Несогласенъ! Отношенія между людьми ненормальны—это такъ, а люди ни въ чемъ не виноваты, потому что передѣлать отношенія, затвердѣвшія отъ десятилѣтковой исторической жизни, и передѣлать ихъ тогда, когда еще очень немногіе пачалы сознавать ихъ неудобства—это, воля ваша, мудро. Если не сестра бѣшеныхъ лошадей, то я никакъ не рѣшусь называть мелкими трусами всѣхъ тѣхъ людей, которые будутъ уклоняться въ сторону и давать имъ дорогу. Инстинктъ самосохраненія и трусость—двѣ вещи разныя. Ставить самоотверженіе въ число необходимыхъ добродѣтелей, обязательныхъ для всякаго человѣка, можетъ только мечтательная дѣвушка Елена Николаевна Стахова, да замечтавшійся



до забвенія дѣйствительности художникъ Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

Бракуя людей за то, что они не герои, раскидывая направо и налево окружающую его мелюзгу, Тургеневъ доходитъ, наконецъ, до созданія идеальнаго человѣка. Человѣкъ этотъ — болгаринъ. На какомъ основаніи? Неизвѣстно. Принимать Инсарова за живое лицо я не могу; потому прослѣживать его развитіе и возсоздавать его личность критическимъ анализомъ я не берусь; выпишу только съ буквальной вѣрностью рядъ фактовъ, совершенныхъ этимъ героемъ, и рядъ свойствъ, приписанныхъ ему Тургеневымъ.

1) Инсаровъ — болгаръ; мать его убита турецкимъ агою; отецъ разстрѣлянъ безъ суда.

2) Въ 48-мъ году Инсаровъ былъ въ Болгаріи, исходилъ ее вдоль и поперекъ, провелъ въ ней два года и въ 50-мъ году вернулся въ Россію съ широкимъ рубцомъ на шеѣ и съ желаніемъ образоваться въ Московскомъ университетѣ и сблизиться съ русскими.

3) Вотъ портретъ Инсарова: «это былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-пяти, худощавый и жилистый, съ впалой грудью, съ узловатыми руками; черты лица имѣлъ онъ рѣзкія, носъ горбиной, изсиня-черные прямые волосы, небольшой лобъ, небольшіе, пристально глядѣвшіе, углубленные глаза, густыя брови; когда онъ улыбался, прекрасные бѣлые зубы показывались на мигъ изъ-подъ тонкихъ, жесткихъ, слишкомъ отчетливо очерченныхъ губъ. Одѣтъ былъ въ старенькій, но опрятный сюртучокъ, застегнутый доверху».

4) Когда Берсенева предлагалъ Инсарову перѣѣхать къ нему на дачу, Инсаровъ соглашается только съ тѣмъ условіемъ, чтобы заплатить Берсенева по расчету 20 руб. сер.

5) По уходѣ Берсенева Инсаровъ бережно снимаетъ сюртукъ.

6) Берсенева говоритъ объ Инсаровѣ, что онъ ни отъ кого не возьметъ денегъ взаймы.

7) Инсаровъ отказывается обѣдать съ Берсеневымъ, говоря ему съ спокойной улыбкой:

— «Мои средства не позволяютъ мнѣ обѣдать такъ, какъ вы обѣдаете!»

8) Инсаровъ никогда не мѣняетъ никакого своего рѣшенія и никогда не откладываетъ исполненія даннаго обѣщанія.

9) Инсаровъ учится русской исторіи, праву и политической экономіи, переводитъ болгарскія пѣсни и лѣтописи, собираетъ матеріалы о восточномъ вопросѣ, составляетъ русскую грамматику для болгаръ, болгарскую — для русскихъ.

10) Инсаровъ не любитъ распространяться о собственной своей поѣздкѣ на родину, но о Болгаріи вообще говоритъ охотно со всякимъ.

11) Инсаровъ надѣваетъ на голову ушастый картузъ и на прогулкѣ выступаетъ не спѣша, глядитъ, дышетъ, говоритъ и улыбается спокойно.

12) Инсаровъ уходитъ куда-то на три дня съ тремя болгарками, которые предварительно съѣдаютъ у него «цѣлый огромный горшокъ каши».

13) Въ разговорѣ съ Еленой Инсаровъ откровенно рассказываетъ исторію своей отлучки, говоритъ, что онъ ѣдетъ за шестьдесятъ верстъ, чтобы помирить двухъ земляковъ, что его всѣ знаютъ, и что всѣ ему вѣрятъ. Елена спрашиваетъ у него: «вы очень любите свою родину?» Онъ на это отвѣчаетъ: «это еще неизвѣстно. Вотъ, когда кто-нибудь изъ насъ умретъ за нее, тогда можно будетъ сказать, что онъ ее любилъ». Потомъ онъ говоритъ такъ: «Но вы сейчасъ спрашивали меня, люблю-ли я свою родину? Чтѣ же другое можно любить на землѣ? Чтѣ одно неизмѣнно, чтѣ выше всѣхъ сомнѣній, чему нельзя не вѣрить, послѣ Бога?» Эта, не лишенная риторикѣ, рѣчь заканчивается удивительной антитезой: «Замѣтите, послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и я, мы желаемъ одного и того-же». Антитеза, ей-Богу, очень хороша. А Елена-то слушаетъ и только уши развѣшиваетъ.

14) Инсаровъ бросаетъ въ воду пьянаго нѣмца, обезпокоившаго дамъ на гуляніи.

15) Инсаровъ замѣчаетъ, что онъ полюбилъ Елену, и хочетъ уѣхать. Онъ говоритъ: «Я — болгаръ, мнѣ русской любви не нужно».

16) Инсаровъ наканунѣ своего отъѣзда на просьбу Елены придти къ нимъ на другой день утромъ — ничего не отвѣчаетъ и не приходитъ. «Я васъ ждала съ утра», говоритъ Елена, встрѣтившись съ нимъ у часовни. Онъ отвѣчаетъ на это: «я вчера, вспомните, Елена Николаевна, ничего не общалъ».

17) Въ объясненіи съ Инсаровымъ Елена постоянно является активнымъ лицомъ и постоянно тащить его за собою; она первая говоритъ ему о любви.

18) По возвращеніи съ дачи въ Москву Инсаровъ опасно занемогаетъ и двѣ недѣли находится при смерти.

19) Елена приходитъ къ Инсарову послѣ его выздоровленія; Инсаровъ въ ея присутствіи чувствуетъ волненіе и проситъ ее уйти, говоря, что онъ ни за что не отвѣчаетъ; Елена не уходитъ и отдается ему.

20) Тайно обвѣчавшись съ Еленой, Инсаровъ уѣзжаетъ вмѣстѣ съ нею въ Венецію, чтобы оттуда пробраться въ Болгарію.

21) Инсаровъ въ Венеціи умираетъ отъ аневризмы, соединеннаго съ разстройствомъ легкиихъ.

Ради Бога, господа читатели, изъ этого длиннаго списка дѣяній и свойствъ составьте себѣ какой-нибудь цѣлостный образъ; я этого не умѣю и не могу сдѣлать. Фигура Инсарова не возстаетъ передо мною; но за то съ ужасающей отчетливостью возстаетъ передо мною тотъ про-



цессъ механическаго построения, которому Инсаровъ обязанъ своимъ происхожденіемъ. Тургеневъ не могъ остановиться на чистомъ отрицательныхъ отношеніяхъ къ жизни; ему до смерти надоѣли пигмеи, а между тѣмъ отъ этого жизнь не измѣнилась, и пигмеи не выросли ни на вершокъ. Ему захотѣлось колоссальности, героизма, и онъ задумался надъ тѣмъ, какія свойства надо придать герою; образъ не напрашивался въ его творческое сознаніе; надо было съ невѣроятными усиліями составлять этотъ образъ изъ разныхъ кусочковъ; во-первыхъ, надо было поставить героя въ необыкновенное положеніе; положеніе придумано: Инсаровъ—болгаръ, и родители его погибли лютой смертью. Потомъ надо было устроить такъ, чтобы каждое слово и движеніе героя были проникнуты особенной многозначительностью, не сознаваемой самимъ героемъ; Тургеневъ достигъ этого, заставивъ Инсарова разглагольствовать о любви къ родинѣ почти такъ-же, какъ разглагольствуетъ чиновникъ Соллогуба, съ той только разницей, что послѣдній не дѣлаетъ блестящей антитезы (послѣдній мужикъ — и я). Чтобы отгнать то воодушевленіе, которое овладѣваетъ Инсаровымъ, когда онъ говоритъ о родинѣ, Тургеневъ напираетъ даже на то, что въ Инсаровѣ не видно ничего необыкновеннаго, что въ немъ все очень просто, начиная отъ ушаго картуза и кончая спокойной походкой. Чтобы показать благородную гордость героя, Тургеневъ упоминаетъ о томъ, что Инсаровъ ни отъ кого не возьмъ бы денегъ займа и даже отъ Берсенева не принимаетъ даромъ комнаты, когда тотъ приглашаетъ его къ себѣ на дачу. Не знаю, какъ другимъ, а мнѣ эта гордость по поводу десяти или двадцати рублей кажется мелочностью. Не принимать одолженія отъ мало знакомаго человѣка или отъ такого, которому тяжело быть обязаннымъ, это понятно, но съ мелочной тщательностью отгораживать свои интересы отъ интересовъ товарища-студента или друга—это, воля ваша, бесплодный трудъ. Моели перейти къ нему, его-ли ко мнѣ, чортъ-ли въ этомъ? Я знаю, что самъ съ удовольствіемъ сдѣлаю ему одолженіе, и потому съ полной довѣрчивостью принимаю отъ него такое-же одолженіе. Чтобы показать, какъ земляки-болгары вѣрятъ Инсарову, Тургеневъ рассказываетъ о поѣздкѣ послѣдняго за шестьдесятъ верстъ; чтобы дать образчикъ той колоссальной энергіи, на которую способенъ герой, Тургеневъ изобразилъ бросаніе пьянаго нѣмца, и при томъ великана, въ воду. Чтобы дать понятіе о любви Инсарова къ родинѣ, Тургеневъ заставляетъ его бороться съ любовью къ Еленѣ; Инсаровъ готовъ на пользу Болгаріи пожертвовать любимой женщиной, — и это невольно переноситъ читателя въ лучшіе дни Римской республики. Но вотъ что любопытно. Инсаровъ—герой, сильный

человѣкъ; отчего-же онъ постоянно предоставляетъ Еленѣ инициативу? Отчего Елена тащитъ его за собою и постоянно сама дѣлаетъ первый шагъ къ сближенію? Отчего Инсаровъ постоянно принимаетъ отъ нея разныя доказательства любви не иначе, какъ послѣ нѣкотораго упрямства съ ея стороны? Чтѣ это за церемоніи, и умѣстны-ли онѣ между не-пигмеями? Инсаровъ видитъ, что дѣвушка вышла къ нему на встрѣчу и съ тоской спрашиваетъ у него: отчего-же вы не пришли сегодня утромъ? Въ этомъ вопросѣ сказывается любовь, недоумѣніе, страданіе, а Инсаровъ отвѣчаетъ на это: «я вамъ не общаюсь» и старается только отстоять ненарушимость своего слова. Точно будто хозяинъ торговаго дома отвѣчаетъ кредитуру: «срокъ вашему векселю не сегодня!» Освободить-ли Инсаровъ Болгарію — не знаю, но Инсаровъ, какимъ онъ является въ отдѣльных сценахъ романа «Наканунѣ», не представляетъ изъ себя ничего цѣлостно-человѣческаго и рѣшительно ничего симпатичнаго. Что это подобная болѣзненно-восторженная дѣвушка, Елена. — въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго; вѣдь и Титанія гладила съ любовью длинныя уши ослиной головы; но что истинный художникъ, Тургеневъ, соорудилъ ходульную фигуру, стоящую ниже Штольца,—это очень грустно; это показываетъ радикальное измѣненіе во всемъ міросозерцаніи, это начало увяданія. Кто въ Россіи сходилъ съ дороги чистаго отрицанія, тотъ падаетъ. Чтобы освѣтить ту дорогу, по которой идетъ Тургеневъ, стоитъ назвать одно великое имя—Гоголя. Гоголь тоже затосковалъ по положительнымъ дѣятелямъ, да и свернулъ на переписку съ друзьями. Чтѣ-то будетъ съ Тургеневымъ? Кромѣ фальшиваго пониманія и уродливаго построения, въ романѣ «Наканунѣ» есть еще недоговоренность, умышленная недоконченность въ выраженіи главной идеи. Нѣтъ отвѣта на естественный вопросъ: нашла-ли Елена своего героя въ Инсаровѣ? Вопросъ этотъ важенъ, потому что ведетъ къ рѣшенію общаго психологическаго вопроса. Чтѣ такое мечтательность и исканіе героя? Болѣзнь-ли это, порожденная пустотой и пошлостью жизни, или это—естественное свойство личности, выходящей изъ обыкновенныхъ размѣровъ? Есть-ли это проявленіе силы или проявленіе слабости? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, надо было создать для Елены самыя благоприятныя обстоятельства и тогда въ картинахъ и образахъ показать намъ: счастлива-ли она, или нѣтъ? А тутъ, чтѣ такое? Инсаровъ скоропостижно умираетъ: да развѣ это рѣшеніе вопроса? Къ чему эта смерть, обрывающая романъ на самомъ интересномъ мѣстѣ, замазывающая черной краской неоконченную картину и избавляющая художника отъ труда отвѣчать на поставленный вопросъ? Но, можетъ



быть, Тургеневъ и не задавалъ себѣ этого вопроса? Можетъ быть, для него центромъ романа была не Елена, а былъ Инсаровъ? Тогда остается только пожалѣть, что въ плохомъ дидактическомъ романѣ, похожемъ на Обломова по идеѣ, встрѣчается такъ много такихъ великолѣпныхъ частности, какъ, напримѣръ, личности Елены, Шубина и Берсенева, дневникъ Елены, сцена ожиданія, сцены любви и, наконецъ, неподражаемый Уваръ Ивановичъ.

# IX.

У Писемскаго я не буду брать отдѣльных женскихъ характеровъ; постараюсь только показать общія отношенія его къ женщинамъ; отношенія эти въ высшей степени гуманны; всепрощеніе доведено въ нихъ до послѣднихъ предѣловъ. «Женщина,—говоритъ намъ Писемскій своими произведеніями, — никогда ни въ чемъ не виновата. Ее бьютъ, ее угнетаютъ, ее обижаютъ дѣломъ и словомъ, ея потребности остаются неудовлетворенными и непонятыми; она страдаетъ и своими страданіями мучитъ мужчину; мужчина на нее сердится и не понимаетъ того, что онъ самъ причина ея страданій и своихъ мученій». Переберите всѣ романы Писемскаго, и вы убѣдитесь въ вѣрности моихъ словъ. Писемскій не идеализируетъ женщинъ; у него есть дрянныя женщины, есть и хорошія; но и самая дрянная женщина освобождается отъ всякаго укора. Посмотрите на Юлію Владиміровну въ «Тюфякѣ», на Марію Антоновну въ «Бракѣ по страсти», на Катерину Александровну въ «Богатомъ Женитѣ». Некрасивы эти три барыни, куда некрасивы, но вы чувствуете и видите, что имъ не было никакого выхода изъ пошлости и грязи. Онѣ увязли и перемарались, потому что не было никакой возможности пробраться въ жизни сухими тропинками. И во всѣхъ трехъ случаяхъ мужчина постоянно является ближайшей, непосредственной причиной униженія женщины. На Юлію женится почти насильно тюфякъ - Вешметевъ; очень понятно, что Юлія

пускается во всѣ тяжкія; на Марію Антоновну женится по расчету хлыщъ Хозаровъ; она выходитъ за него замужъ по чистосердечной страсти; онъ оставляетъ ее въ забросѣ и начинаетъ ухаживать за другой женщиной; она отъ скуки начинаетъ цѣловаться съ офицеромъ Пириневскимъ. На Катеринѣ Александровнѣ женится фразеръ Шамиловъ, также по расчету; потомъ этотъ господинъ начинаетъ показывать себя несчастнымъ, не имѣя на то законнаго повода; Катерина Александровна чувствуетъ себя оскорбленной и съ своей стороны очень жестоко показываетъ своему неделикатному супругу его зависимое положеніе.—Вы видите такимъ образомъ, что эти три женщины находятъ себѣ оправданіе въ поведеніи своихъ мужей и въ томъ воспитаніи, которое было имъ дано въ родительскомъ домѣ.

Когда Писемскій симпатизируетъ выводимой женской личности, тогда все построеніе и изложеніе повѣсти или романа согрѣвается такимъ искреннимъ и глубокимъ чувствомъ, какое на первый взглядъ трудно даже предположить въ этомъ безпощадномъ реалистѣ. Это чувство выражается не въ лирическихъ отступленіяхъ, не въ идеализаціи любимаго женскаго типа; оно, помимо воли и сознанія самого автора, просвѣчиваетъ въ постановкѣ фигуръ, въ группировкѣ событій; оно не нарушаетъ правдивости; оно само вытекаетъ изъ этой правдивости. Чтобы сочувствовать страданіямъ женщины, чтобы оправдать ее, не нужно подкупать себя въ ея пользу; надо только смотрѣть на вещи простыми, не вооруженными и не предубѣжденными глазами.

Писемскій вполне понялъ значеніе этой мысли и въ свойственной ему неумолимой и при томъ бессознательной послѣдовательностью провѣлъ эту мысль во всѣхъ своихъ произведеніяхъ.

Прочтите, господа читатели, его рассказъ «Виновата-ли она?», помѣщенный во второмъ томѣ его сочиненій, и вы увидите, какъ просто и честно относится онъ къ вопросу о женщинахъ.

Хотѣлось бы мнѣ подольше остановиться на отношеніяхъ Писемскаго къ женщинамъ, но я потратилъ много времени на разборъ мнѣе отрадныхъ явленій, и потому приходится кончить.



## Библиографическія замѣтки.

### 1.

#### Берлинъ. Осенняя сказка *Генриха Гейне*.

Гейне, одинъ изъ величайшихъ поэтовъ всѣхъ вѣковъ и народовъ, ближайшій къ намъ по времени, по складу мысли и по образамъ, жилъ и умеръ вдали отъ своихъ соотечественниковъ, т. е. отъ людей, говорившихъ съ нимъ на одномъ языкѣ. Благонравные нѣмцы приходили въ ужасъ отъ его безпощаднаго смѣха и не понимали его ѣдкой грусти; все въ направленіи его таланта, все въ личныхъ особенностяхъ его пафоса и юмора приводило ихъ въ краску, въ негодованіе или въ ужасъ; когда поэтъ говорилъ имъ о наслажденіи, о полной чашѣ жизни, о связи человѣка съ природой, — они скромно опускали глазки и находили его безнравственнымъ; когда онъ разбивалъ своимъ сарказмомъ устарѣлыя идеи, обезсмысленныя формы, тяжелыя оковы разума — тогда противъ него поднимался сонмъ профессоровъ и протестантскихъ пѣтистовъ, и своимъ маленькимъ аршинчикомъ эти люди принимались мѣрить идеи гения; гений, конечно, далеко превышалъ ихъ масштабъ, и они называли его уродомъ. Когда, наконецъ, поэтъ становился трибуномъ вѣка, ораторомъ за права человѣческой личности, — ему зажимали ротъ, какъ вредному безмозглому крикуну. Поэтъ умеръ, и картина перемѣнилась. Нѣмцы поняли, наконецъ, что Гейне — бессмертный поэтъ, что онъ войдетъ въ исторію литературы помимо всякихъ узкихъ теорій, и что на немъ будетъ воспитываться молодое поколѣніе помимо всякихъ отчаянныхъ возгласовъ благонамѣренныхъ педагоговъ. Тѣ люди, которые знали Гейне, состарѣлись и успѣли выказать въ полномъ блескѣ свою умственную нищету; выдвинулось впередъ то поколѣніе, которое, читая Фохта, Мошшота и Бюхнера, идетъ къ дѣлу помимо фразъ, и слѣдовательно способно понимать своего поэта и чувствомъ, и мыслью. Изданія сочиненій Гейне стали расходиться съ изумительной быстротой; въ 1860 году Кампе напечаталъ девятнадцатое изданіе; вмѣстѣ съ тѣмъ въ нѣмецкой публикѣ явилась надежда получить со временемъ собраніе посмертныхъ произведеній Гейне, и въ нынѣшнемъ году Штейнманъ, пользовавшійся личнымъ знакомствомъ поэта, напечаталъ два тома его неизданныхъ мелкихъ стихотвореній,

три тома писемъ и осеннюю сказку «Берлинъ». Книжки Штейнмана взволновали нѣмецкую критику, и во многихъ періодическихъ изданіяхъ появились скептическіе отзывы о подлинности изданныхъ имъ произведеній. Скептическіе отзывы эти получили особенную силу, когда родной братъ поэта, Густавъ Гейне, печатно объявилъ, что стихотворенія и письма, изданныя Штейнманомъ, не могутъ принадлежать перу Генриха Гейне, что всѣ бумаги покойнаго находятся у него, Густава Гейне, и у вдовы поэта, и что слѣдовательно изданія Штейнмана не что иное, какъ поддѣлка, принятая изъ корыстныхъ видовъ. Штейнманъ, однако, не упалъ духомъ и, продолжая изданія посмертныхъ произведеній Гейне, отвѣчалъ рѣзкой брошюрой на нападки, направленные противъ литературной честности издателя и противъ подлинности издаваемыхъ матеріаловъ. Въ этой брошюрѣ онъ доказываетъ, что Густавъ Гейне не присутствовалъ при кончинѣ своего брата, что Генрихъ Гейне не упоминаетъ о Густавѣ въ своемъ завѣщаніи и назначаетъ своимъ душеприказчикомъ не брата своего, а посторонняго человѣка, доктора Христіани. Что-же касается до изданныхъ стихотвореній, то Штейнманъ ручается за ихъ подлинность и предлагаетъ каждому желающему явиться къ нему и убѣдиться въ томъ, что письма и стихи дѣйствительно писаны рукою Гейне. Такое печатное приглашеніе говоритъ, конечно, въ пользу Штейнмана, хотя и не можетъ устранить всякое сомнѣніе. Противники Штейнмана могутъ во всякое время завести съ нимъ формальный процессъ, и если они этого не сдѣлаютъ, то, конечно, дадутъ намъ право думать, что Штейнманъ правъ. Пока этотъ вопросъ еще не совсѣмъ рѣшенъ, обратимся къ самымъ сочиненіямъ Гейне, изданнымъ Штейнманомъ, и посмотримъ, есть-ли въ нихъ хоть блѣдное подобіе того, что мы привыкли встрѣчать въ вѣчно-свѣжихъ произведеніяхъ великаго лирика. Возьмемъ на первый разъ осеннюю сказку «Берлинъ». Въ предисловіи издатель объявляетъ, что эта сказка составлена изъ черновыхъ набросковъ, и что для общей связи чужая рука должна была вставлять нѣкоторые строки и куплеты. Откровенное признаніе Штейнмана свидѣтельствуетъ въ пользу его искренности и даетъ намъ право думать, что мы имѣемъ дѣло не съ обманщикомъ; но зато



это сознание такъ наивно, что трудно удержаться отъ улыбки. Кто сколько-нибудь знакомъ съ Гейне, тотъ очень хорошо понимаетъ, что подражать ему совершенно невозможно; его обороты и формы такъ эксцентричны и капризны, что только колоссальный талантъ нашего поэта спасаетъ ихъ отъ уродливости. Гейне непереводимъ; наши поэты, даровитые и бездарные, берутъ изъ Гейне идеи и образы, пишутъ свои стихотворенія на эту заимствованную тему, потомъ ставятъ въ заголовкѣ: «изъ Гейне» и воображаютъ себѣ, что они его перевели. Ихъ стихотворенія бываютъ хороши или дурны, смотря по тому, написаны-ли они М. Л. Михайловымъ, или какимъ-нибудь г. Семперверо, но во всякомъ случаѣ это не переводы; Гейне остается самъ по себѣ, а стихотвореніе, навѣянное имъ, само по себѣ; теперь представьте же себѣ, любезный читатель, каково должно быть—дополнять Гейне, работать подъ Гейне, какъ столяры работаютъ подъ орѣхъ. Попытка Штейнмана округлить черновые наброски великаго поэта напоминаетъ какъ нельзя больше распоряженія иныхъ богатыхъ вельможъ, приказывающихъ поновить какую-нибудь старую картину знаменитаго мастера; но что извинительно вельможѣ, то кажется страннымъ въ скромномъ издателѣ посмертныхъ сочиненій Гейне,—въ человѣкѣ, соприкасавшемся съ литературной дѣятельностью и имѣющемъ нѣкоторое понятіе о ея требованіяхъ. Еслибы Штейнманъ, какъ слѣдуетъ добросовѣстному издателю, далъ намъ въ руки то, что нашлось въ подлинныхъ бумагахъ, мы бы по самой отрывочности могли судить о томъ, какъ въ головѣ Гейне зрѣли и слагались его обаятельныя, причудливыя созданія, для которыхъ и не приберешь другого имени, какъ «сонъ въ лѣтнюю ночь» или «зимняя сказка»; тотъ процессъ творчества, который всякій поэтъ скрываетъ при своей жизни, являясь передъ публикой не иначе, какъ *en grande tenue*, или, по крайней мѣрѣ, въ изысканномъ *négligé*,—этотъ процессъ творчества, повторяю я, хоть сколько-нибудь сдѣлался бы для насъ понятнымъ; но теперь, благодаря наивной услужливости добраго Штейнмана, что прикажете дѣлать съ его книгой? еслибы онъ сдѣлалъ свои вставки въ совершенно обработанное произведеніе Гейне, эти вставки бросились бы въ глаза, какъ заплаты другого цвѣта; но бѣда въ томъ, что сказка «Берлинь» находилась въ положеніи эскиза, а Гейне, какъ сообщаетъ тотъ-же Штейнманъ въ комментаріяхъ къ письмамъ, сильно шлифовалъ свои стихи, выпуская ихъ въ свѣтъ; слѣдовательно, намъ не остается никакого критеріума, чтобы строго отдѣлать гейневскіе стихи отъ не гейневскихъ. На этомъ основаніи подѣлимся съ читателями только общимъ впечатлѣніемъ. «Берлинь» во всѣхъ

отношеніяхъ стоитъ неизмѣримо ниже «Атта Тролля» и «Германіи». Разсказать сюжетъ этой осенней сказки совершенно невозможно, точно такъ-же, какъ разсказать сюжетъ «Атта Тролля» или «Германіи»; фантазія поэта скачетъ отъ одного предмета къ другому, не заботясь ни объ общей связи, ни о соразмѣрности частей, ни о постепенности переходовъ. Но въ «Атта Троллѣ» и въ «Германіи» Гейне, перепрыгивая отъ одного предмета къ другому, рисуетъ рядъ отдѣльных блестящихъ, совершенно законченныхъ картинъ; онъ бросаетъ читателю совершенно неожиданно цѣлые букеты смѣлыхъ идей, которыя дѣйствуютъ на васъ особенно сильно нечаянностью своего появленія, своей парадоксальностью и неподражаемой оригинальностью формы. Ничего этого нѣтъ въ «Берлинь». Отдѣльныя картины не додѣланы; въ нихъ недостаетъ рельефности; идеи, конечно, достойны передового поэта нашего времени; но такъ какъ образы, въ которыхъ выражены эти идеи, не доведены поэтомъ до полной ясности и осязательности, то и самыя идеи не могутъ дѣйствовать такъ сильно и не производятъ того впечатлѣнія, которое мы привыкли выносить изъ Гейне. Кромѣ того, говоря о «Берлинь», Гейне вдается въ частности и мелочи, которыя могутъ быть вполнѣ интересны только тому, кто совершенно знакомъ съ закулисными тайнами берлинскаго литературнаго и театральнаго міра; эти мелочи встрѣчаются у Гейне вездѣ; полемическія выходки противъ Масмана, противъ Генгстенберга, противъ швабскихъ поэтовъ есть и въ «Атта Троллѣ», и въ «Германіи»; но тамъ эти выходки дотогу блестятъ остроуміемъ, что онѣ получаютъ общій интересъ; намъ нѣтъ дѣла до того, кого бранить Гейне; мы видимъ, какъ онъ бранитъ, отгадываемъ, за что онъ бранитъ, и совершенно удовлетворяемся этими свѣдѣніями. Въ недодѣланной сказкѣ «Берлинь», напротивъ того, эти выходки не отличаются игривостью и оставляютъ совершенно равнодушнымъ читателя-иностранца. Въ заключеніе укажу на тѣ главы, въ которыхъ наиболѣе проявляется юморъ и блескъ гейневской поэзіи. Всѣхъ главъ 27; особеннаго вниманія заслуживаетъ 15-я глава, въ которой Гейне говоритъ о судьбѣ своихъ первыхъ поэтическихъ опытовъ, 19-я, въ которой онъ, страстный поклонникъ Наполеона I, какъ геніальной личности, изображаетъ въ нѣсколькихъ штрихахъ исторію Европы въ началѣ XIX вѣка; и, наконецъ, эпилогъ къ «осенней сказкѣ», въ которомъ Гейне совѣтуетъ приготовить обѣдъ для людоедовъ изъ различныхъ представителей германской мысли и берлинской жизни, изъ различныхъ враждебныхъ нашему поэту элементовъ и направленій. Въ другихъ мѣстахъ поэмы есть разбросанныя картинки, много удачныхъ выраженій, но, повторяю, все вмѣстѣ не-



ясно и не производитъ цѣлостнаго впечатлѣнія. Постараюсь въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ поговорить о мелочахъ стихотвореній Гейне, изданныхъ Штейнманомъ, о его письмахъ и прозаическихъ статьяхъ.

## II.

### Посмертныя стихотворенія Гейне. Dichtungen von H. Heine.

По тѣхъ стихотвореніямъ Гейне, которые издалъ въ нынѣшнемъ году Штейнманъ, нельзя составить себѣ сколько-нибудь удовлетворительнаго понятія о поэтической личности Гейне, о силѣ и разнообразіи его дарованія. Въ этомъ посмертномъ изданіи собраны стихи и пьесы, оставшіеся въ неотдѣланномъ видѣ, забытые самими поэтомъ, набросанные кое-какъ на клочкѣ бумаги, между дѣломъ, въ минуту дружескаго разговора, и сохранившіеся отъ совершеннаго уничтоженія и забвенія, благодаря заботливости друзей покойнаго поэта. Личность Гейне, его міросозерцаніе, его капризная и шаловливая муза знакомы и милы всѣмъ истинно развитымъ людямъ нашего времени. Тяжело людямъ будетъ пріятно видѣть проблески гейневскаго юмора, созданія его обаятельной фантазіи, выраженія его мимолетныхъ чувствъ, хотя бы эти проблески были блѣдны, хотя бы эти созданія находились въ видѣ эскизовъ, хотя бы эти чувства выразились въ неотдѣланной и даже не совсемъ ясной формѣ. Намъ дорогъ Гейне весь, какъ онъ есть; мы интересуемся его человѣческими чувствами, слабостями и страданіями; мы видимъ въ немъ мученика нашего вѣка, не признаннаго своими соотечественниками, принужденнаго бѣжать изъ роднаго края отъ умственной робости и рутинныхъ понятій филистеровъ, — разбитаго болѣзью и медленно умирающаго вдали отъ друзей, въ чужомъ городѣ, среди перадостныхъ впечатлѣній. Намъ дороги страданія великаго поэта, какъ Марку Антонію была дорога окровавленная рубашка Цезаря: намъ дороги эти страданія, какъ укоръ нашему вѣку, гордящемуся терпимостью и свободой мысли, какъ приговоръ осужденія надъ идеями и бытовыми формами, изучившими своей уродливостью честнаго и гениальнаго человѣка. Въ посмертныхъ стихотвореніяхъ Гейне мы не будемъ искать тѣхъ великолѣпныхъ и широкихъ идей, тѣхъ обаятельно оригинальныхъ образовъ, которые бросаются въ глаза на каждой страницѣ въ его «Buch der Lieder», въ «Romanzero», въ «Deutschland», въ «Atta Troll» и т. п.

Налюбуемся въ изображеніе, что посмертные стихотворенія не что иное, какъ крошки, упавшія со стола поэты и подобранныя почтительными друзьями.

Потому, говоря объ этихъ стихотвореніяхъ, достаточно будетъ отмѣтить нѣкоторыя отдѣльныя пьесы, отличающіяся отъ массы остальныхъ изящной формой или выражающія совершенно безыскусственно то настроеніе, которому онѣ обязаны своимъ происхожденіемъ.

Многія изъ вновь изданныхъ стихотвореній навѣяны событіями, совершавшимися на политическомъ горизонтѣ. Вотъ, напримѣръ, баллада «Миссидуха», написанная очевидно въ то время, когда страданія Испаніи обращали на себя вниманіе образованной и сочувствующей Европы:

«Монтезума», царь Мексики, жарился на медленномъ огнѣ: его принуждали сжигаться, гдѣ его казна: отъ костра распространился запахъ, не похожій на запахъ паштета или поджаривающейся колбасы. Въ это время благоуханіе костровъ можно было встрѣтить и въ Европѣ. Запаху жарить людей на медленномъ огнѣ терпѣли законы и обычаи.

«Вокругъ костра стояли испанскіе кавалеры, искатели приключеній изъ Ла-Манчи, монахи, вооруженные крестомъ, — всякая испанская сволочь, жадная къ деньгамъ.

«Кто проигралъ все до послѣдней рубашки въ азартной игрѣ и въ спекуляціяхъ, тотъ и присоединился къ этимъ экспедиціямъ.

«Въ Америку! — кричатъ пеготы въ темныхъ трущобахъ Мадрида: и въ приморскихъ городахъ раздаются возгласы мошенниковъ и бездѣльниковъ.

«Подонки испанскаго населенія поступаютъ подѣ начальство Кортеса и Пизарро: ихъ привлекаетъ блескъ мексиканскаго золота: имъ не надо лавровыхъ вѣнковъ.

«Ступивши ногою на американскій берегъ, они тотчасъ начинаютъ грабить и разбойничать: ихъ дерзкія руки крушатъ безъ разбора дѣла и женщинъ.

«Опираясь на мечъ, на огонь и на вышку, опустошеніе разливается по несчастной странѣ: видной пѣлю и предположъ должно служить обращеніе язычниковъ.

«И храмы, и кумиры падаютъ и разрушаются: пресвятая, пречистая Дѣва, тебѣ воздвигается алтарь.

«Держа въ рукахъ распятіе, правдивая анімъ схиждомъ безвѣріе и злодѣяніе, монахи и поны идутъ впередъ и освѣщаютъ себя крестнымъ знаменіемъ во имя Бога.

«Мексиканскаго императора забираютъ въ бѣзель, устроенную по пенсильванской системѣ: злодѣи дѣлаютъ изъ него, играя съ нимъ, какъ кошка съ мышью.

«Его сокровища поглощаются корыстолюби-



выми звѣрями; мексиканскій народъ страдаетъ и гибнетъ; страна превращается въ печальную пустыню.

«Но за преступленіями послѣдовало воздаяніе, мщеніе неба: на твоей землѣ, Испанія, полилась рѣками кровь твоихъ гражданъ.

«Мнѣнческій ящикъ Паядоры, наполненный бѣдствіями, опрокинулся надъ тобою, пролился до послѣдней капли, и ты, Испанія, была жестоко поражена.

«Въ пестрой смѣнѣ міровыхъ событій ты дошла до послѣдней степени слабости и униженія,—ты, могучая держава, въ которой не заходило солнце».

Недостатокъ отдѣлки въ этомъ стихотвореніи бросается въ глаза, но достоинство основной идеи говоритъ само за себя. Поэтъ видитъ явную связь между упадкомъ Испаніи и тѣми жестокостями, съ которыми было сопряжено завоеваніе отдѣльных государствъ Америки. Онъ выражаетъ эту связь словами: «воздаяніе, мщеніе неба»; Гейне понимаетъ очень ясно и очень просто, что народъ, увлекающійся духомъ завоеваній и рѣшающійся угнетать чужую національность, развращается тѣми продѣлками, въ которыхъ онъ видитъ великіе и блестящіе подвиги, украшающіе собой страницы исторіи. Очень понятно, что испанецъ XVI вѣка, мечтавъ о томъ, какъ легко обогатиться за моремъ, какъ весело пожить подъ тропическимъ небомъ и дать просторъ звѣриннымъ инстинктамъ въ чужой землѣ, гдѣ для побѣдителя не существуетъ уголовныхъ законовъ, очень понятно, повторяю я, что испанецъ мало думалъ о честныхъ и мирныхъ средствахъ зарабатывать себѣ деньги. Его манило въ Америку, въ страну чудесъ, въ родину золота и алмазовъ; его поощряло общественное мнѣніе, его благословляло католическое духовенство, съ нимъ вмѣстѣ шли монахи съ крестомъ въ рукѣ, и молодой мечтатель уѣзжалъ за море, а на родину возвращался бандитомъ, не годнымъ ни на какое дѣло, способнымъ только пьянствовать въ тавернахъ, играть въ кости, убивать людей по частнымъ заказамъ или поступать на службу къ тому, кто хорошо платитъ. Можно себѣ представить, какъ плохо шла промышленность и торговля. Еслибы Гейне захотѣлъ представить гибельное вліяніе угнетасмой Америки на мучительницу ея Испанію въ нѣсколькихъ яркихъ картинахъ, то, конечно, эта прекрасная мысль могла бы послужить основой для великолѣпной поэмы. Но Гейне, кажется, былъ не изъ тѣхъ художниковъ, которые долго вынашиваютъ и медленно вырабатываютъ въ себѣ занимающую ихъ идею; мысль Гейне такъ быстро перебѣгаетъ отъ одного предмета къ другому, что почти ни одна идея его не оказывается вполне доработанной и совершенно обставленной виѣшними подробностями. Онъ говоритъ намеками, рисуетъ ли-

рокипп, бѣглыми штрихами и представляетъ обильное поле для дѣятельности комментатора и критика.

Изъ балладъ, напечатанныхъ въ собраніи Штейнмана, приведу еще довольно большое стихотвореніе подъ заглавіемъ «Гренадеръ Рикю».

## 1.

«Папа сидѣлъ подъ арестомъ въ Савонскомъ замкѣ, и французскіе гренадеры караулили его, слѣдя за малѣйшимъ его движеніемъ.

«Каждый день, чтобы служить обѣдню, папа проходилъ въ маленькую капеллу черезъ галереи рыцарскаго зала.

«Въ залѣ стояли на часахъ гренадеры; папа каждое утро давалъ свое благословеніе съдымъ усачамъ, которые, увидѣвъ святого отца, становились на колѣни.

«Вдругъ караульнымъ солдатамъ было отдано строжайшее приказаніе: не пропускать папу черезъ двери рыцарскаго зала.

«Передъ папскими покоями стоялъ на часахъ гренадеръ Рикю, когда папа пошелъ въ капеллу въ первый разъ послѣ новаго приказанія.

«Съдой усачъ подошелъ къ папѣ и доложилъ ему о новомъ распоряженіи. Папская свита заговорила о смертномъ грѣхѣ и вѣчномъ осужденіи.

«И требовала, чтобы Рикю пропустилъ святого отца для совершенія святого дѣла, но Рикю отказалъ наотрѣзъ, несмотря на всѣ увѣщанія.

«Когда папа все-таки хотѣлъ пройти, Рикю воскликнулъ: «именемъ императора!»

«Съдой усачъ прогналъ папу назадъ, опустивъ штыкъ.

«Пусть меня Богъ проститъ!—сказалъ онъ.—Еслибы мнѣ приказалъ императоръ, я бы штыкомъ распоролъ животъ самому Господу Богу!

«Я за императора шестнадцать разъ ходилъ въ огонь, въ самыхъ жаркихъ сраженіяхъ; за него я готовъ идти въ адъ, въ наказаніе за смертный грѣхъ».

## 2.

«Прошло сорокъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ не позволилъ святому отцу совершить святое дѣло. Сколько пережвѣтъ, сколько новыхъ событій!

«Тронъ Бонапарта разбитъ въ-прахъ; престолъ Бурбоновъ разрушенъ; Людовикъ Филиппъ бѣжалъ изъ Парижа. «Vive la république!» кричитъ народъ.

«По улицамъ на берегахъ Сены, на башняхъ



Notre-Dame развѣвается трехцвѣтное знамя, а подъ нимъ завываютъ колокола.

«По тротуару идетъ живой скелетъ, опираясь слабою рукой на палку и придерживаясь бокомъ къ стѣнамъ домовъ.

«На немъ надѣтъ, словно футляръ, старый капотъ, изношенный и вытертый до послѣдней степени. Ноги его заплетаются одна о другую.

«Фуражка, потерявшая форму и цвѣтъ, покрываетъ лысую голову; на груди болтается, на полинялой ленточкѣ, крестъ Почетнаго Легиона.

«Нижняя часть лица покрыта серебристою бородой. Глаза, въ которыхъ было прежде такъ много огня, погасли и потускнѣли.

«На согнутой спинѣ лежитъ бремя восьмидесятилѣтней жизни. Кто этотъ бѣдный старикъ?— Это инвалидъ Рику.

«Каждый день онъ безъ отдыха таскаетъ по улицамъ свое бѣдное тѣло. Его, какъ вѣчнаго Жида, гонить и преслѣдуетъ какая-то сила.

«На немъ лежатъ проклятіе и осужденіе за то, что онъ не нарушилъ клятвы, данной императору.

«Теперь не у всѣхъ такая чуткая совѣсть, какъ у инвалида Рику. Теперь уже не то время.

«Утолившись до-смерти, онъ свалился на мостовую. «Не могу ни жить, ни умереть»,— простоналъ онъ, когда пришли къ нему на помощь.

«А между тѣмъ,—продолжалъ онъ,—умереть такъ легко и такъ удобно. Я, право, и самъ не знаю, живъ-ли я или умеръ.

«И какъ дешево! Стоитъ только взять въ аптеку нѣсколько капель хлороформа, чтобы отправиться на тотъ свѣтъ.

«Друзья, принесите мнѣ нѣсколько капель! Скажите аптекарю: у Рику нѣтъ ничего, нѣтъ денегъ, нѣтъ покоя. Нельзя ни жить, ни умирать.

«Сорвите у меня съ груди этотъ крестъ на полинялой лентѣ! Отнесите его къ аптекарю и скажите: «вотъ Рику посылаетъ ему за нѣсколько капель!»

«Какъ только онъ проговорилъ послѣднее слово, такъ голова его склонилась.

«Желанный покой достался ему на долю безъ хлороформа.

«На носилки положили тѣло стараго инвалида, который при жизни воздавалъ кесарево кесареви, и божіе Богови».

По задушевности тона, по простотѣ изложенія и по яркости образовъ, это стихотвореніе не уступитъ лучшимъ балладамъ «Romanezo». Идея также вполне достойна нашего поэта. Гренадеръ Рику, человѣкъ простой и честный, поставленъ въ жизни своей между двумя огнями; онъ — вѣрующій католикъ и въ то-же

время ревностный солдатъ; религіозный деспотизмъ тащитъ его въ одну сторону, военный деспотизмъ — въ другую, но со стороны религіознаго деспотизма онъ имѣетъ передъ собою только отвлеченный догматъ; личныхъ отношеній къ папѣ и къ церковной власти у него нѣтъ; военный деспотизмъ, напротивъ того, представляется его воображенію въ обаятельномъ образѣ любимаго императора, по приказанію котораго онъ, не задумываясь, готовъ идти на смерть и на мученіе, въ огонь и въ воду. Поэтому, когда происходитъ столкновение между религіознымъ элементомъ и военнымъ, послѣдній одерживаетъ рѣшительную побѣду, и мы видимъ, какъ личные симпатіи, индивидуальныя влеченія французскаго воина торжествуютъ надъ голосомъ отвлеченнаго долга. Но между тѣмъ время проходитъ, лѣта берутъ свое, и тотъ поступокъ, который онъ сдѣлалъ изъ любви къ императору, бывши молодцомъ-гренадеромъ, начинаетъ серьезно пугать его воображеніе. Онъ воображаетъ себя проклятымъ, отверженнымъ существомъ, отъ котораго сторонится даже самая смерть. Наконецъ, утомленіе жизнью доходитъ до такой степени, что даже любимый образъ Наполеона отодвигается на задній планъ: Рику готовъ продать крестъ Почетнаго Легиона за нѣсколько капель хлороформа. И вотъ приходитъ смерть. А зачѣмъ жилъ этотъ человѣкъ? За что онъ любилъ Наполеона? зачѣмъ, въ послѣдніе годы своей жизни, считалъ себя проклятымъ? Зачѣмъ, зачѣмъ?...

Въ настоящее время, когда вниманіе образованнаго міра обращено на послѣднюю борьбу между защитниками рабства и его врагами, когда въ самой демократической странѣ нашей планеты совершается послѣдняя попытка удержатъ за однимъ человѣкомъ право смотрѣть на другого человѣка, какъ на вьючное животное,— слѣдующій стихотворный рассказъ Гейне окажется не лишеннымъ современнаго интереса:

«Колокола звонятъ къ обѣднѣ и призывають на молитву; толпа стремится въ церкви; прекрасное воскресное утро!

«Молодые матери убаюкиваютъ на колыбеляхъ своихъ новорожденныхъ дѣтей; дѣвушки и матроны сидятъ въ прохладной тѣни верандъ.

«А въ это время бѣдная невольница-негрптянка, молодая, цвѣтушая красотой, лежитъ и стонетъ на жесткой соломѣ, одна, всѣми оставленная, въ тюрьмѣ.

«Законъ благочестиваго штата Луизианы опредѣляетъ смертную казнь тому рабу, который подниметъ руку на своего господина.

«Дина,—такъ зовутъ эту дѣвушку, которая, по словамъ закона, принадлежитъ къ человѣческому скоту и отдается въ полное распоряженіе владѣльца. —

«Дина ударила свою госпожу, чтобы защититъ



себя отъ побоевъ; она совершила дѣло дозволенной обороны.

«Но буква закона рѣшаетъ дѣло: ее тотчасъ же осудили на смерть, и поэтому она томится въ мрачной тюрьмѣ.

«День ея казни тогда былъ еще далекъ, потому что у нея была страшная надежда сдѣлаться матерью.

«Отецъ этого ребенка, котораго рожденія она ожидала, какъ приближенія своей смерти, былъ супругъ ея строгой госпожи.

«Дина сдѣлалась жертвой его похотливости, и черезъ два мѣсяца родила мальчика, безъ всякой помощи, въ стѣнахъ тюрьмы.

«Изъ ея рукъ вырвали ребенка; не помогли ни просьбы, ни слезы; напрасно бѣснуетъ лвица, у которой отняли дѣтенышей.

«Вслѣдъ затѣмъ закрипѣли запоры тюрьмы, ее ожидалъ эшафотъ; палачъ ведетъ ее подъ руку на послѣднюю прогулку.

«Вокругъ эшафота собирается любопытная толпа, желающая посмотрѣть на бѣдную преступницу и присутствовать при послѣднихъ минутахъ ея жизни».

Впечатлѣніе, производимое на читателя этимъ стихотвореніемъ, готовится съ самаго начала его заглавіемъ. Оно называется «Ein Stück Menschen-Vieh» («Штука человѣческаго скота»), и слѣдовательно самымъ этимъ названіемъ даетъ намъ возможность бросить взглядъ на отношенія между американскими плантаторами и ихъ рабами. По вышней формѣ это стихотвореніе совершенно необработано; видно, что поэтъ написалъ только канву, набросалъ основныя черты, изъ которыхъ могло возникнуть со временемъ замѣчательное художественное произведеніе; положеніе взято очень характерное; въ короткомъ разсказѣ сгруппированы самые замѣчательные моменты въ отношеніяхъ между рабомъ и господиномъ; мы видимъ, во-первыхъ, что молодая негрятка ни въ чемъ не смѣетъ отказать своему владѣльцу; ни чувство женской стыдливости, ни желаніе сохранить въ полной неприкосновенности то, что женщины называютъ своею добродѣтью, ни любовь къ другому человѣку, — словомъ, ничто не можетъ избавить молодую и красивую невольницу отъ преслѣдованій похотливаго плантатора; ему дозволены закономъ всѣ средства; побои, жестокія тѣлесныя наказанія, насиліе — все это такого рода домашнія распоряженія, на которыя некуда пожаловаться, и въ которыхъ никто не станетъ требовать у хозяина отчета. Къ общественному мнѣнію обратиться невозможно; оно составляется голосами такихъ-же рабовладѣльцевъ, которые у себя дома распоряжаются такъ-же безцеремонно съ человѣческимъ скотомъ, составляющимъ неотъемлемую собственность. Молодая невольница, какъ безотвѣтная

жертва, отдается своему господину, а между тѣмъ для нея готовится новое испытаніе; она возбуждаетъ ревность своей госпожи, и гнѣвъ обманываемой супруги обрушивается не на обманщика-мужа, а на его несчастную жертву, на беззащитную невольницу; бѣдной дѣвушкѣ ея несчастіе выѣшется въ преступленіе; начинается глухое домашнее преслѣдованіе, мелкое тиранство, къ которому такъ способны страстные и ревнивыя женщины. Между тѣмъ молодая невольница чувствуетъ себя беременною и вслѣдствіе этого становится раздражительнѣе; ея характеръ измѣняется подъ влияніемъ ея новаго положенія; госпожа преслѣдуетъ ее сильнѣе прежняго; въ людской на ея счетъ дѣлаются обидныя намеки; надъ нею смѣются, ее оскорбляютъ невольницы, забывая то, что съ ними случалось или можетъ случиться то-же несчастіе, которое постигло бѣдную Дину. Наконецъ, всякому терпѣнью есть-же предѣлы; когда вездѣ испытываешь оскорбленія, когда на сивѣ чувствуешь слѣды недавнихъ побоевъ, когда впереди видишь горе, безконечный трудъ и невыносимыя лишенія, тогда поневолѣ забудешь всякую осторожность и хоть разъ въ жизни попробуешь сорвать зло на своихъ утѣснителей. Такъ случается съ нашей Диною. Госпожа подвергается ей подъ руку съ бранью и побоями въ ту минуту, когда у нея накипѣло на душѣ много желчи и горечи; на побои она отвѣчаетъ побоями, и судьба ея рѣшена. Посмотрите на какую хотѣ породу животныхъ, вы увидите, что самецъ всегда станетъ защищать свою самку; но плантаторъ южныхъ штатовъ составляетъ исключеніе изъ этого общаго правила: онъ смотритъ на свою бывшую любовницу, какъ на домашнее животное или какъ на мебель, которою онъ пользовался вирожденіи нѣсколькихъ недѣль или мѣсяцевъ; прошла потребность въ этой мебели, и ее можно сломать на дрова безъ малѣйшаго сожалѣнія; владѣлецъ Дины даже не пробуетъ защитить ее противъ гнѣва своей супруги; ему даже пріятно пожертвовать ей свою любовницу и этой ничтожною уступкой возстановить нарушенный миръ домашняго очага. Къ тому-же заступиться передъ судомъ за невольницу, ударившую свою госпожу, значило бы поднять противъ себя все общественное мнѣніе штата; и вотъ Дину сажаютъ въ тюрьму, а впереди—публичная казнь; ей прочтываютъ смертный приговоръ; но казнить беременную женщину значитъ нанести хозяину денежный убытокъ; приплодъ по всѣмъ правамъ принадлежитъ хозяину, и законы Луизианы не имѣютъ права посягать на частную собственность; казнь Дины отсрочивается до ея разрѣшенія отъ бремени; она въ тюрьмѣ рождаетъ своему хозяину сына; у нея отнимаютъ новорожденнаго ребенка, который, конечно, никогда



не будетъ знать родительской ласки и не найдеть себѣ облегченія въ кровной связи своей съ плантаторомъ. Этого бѣднаго ребенка воспитаютъ въ рабствѣ; онъ останется на всю жизнь рабомъ и, вѣроятно, не разъ будетъ переносить побои отъ родного отца, отъ родныхъ братьевъ и въ особенности отъ мачихи. А мать этого ребенка, едва оправившаяся отъ родинѣ, слабая, истомленная страданіями и душнымъ тюремнымъ воздухомъ, идетъ на эшафотъ и умираетъ отъ руки палача; вокругъ эшафота собирается толпа зѣвакъ, и въ этой толпѣ можно узнать тѣ-же лица, которыя вамъ встрѣтились прошлое воскресенье въ церкви и которыя, со слезами умиленія, слушали поучительныя проповѣди пастора. Въ судьбѣ молодой невольницы, изображенной въ стихотвореніи Гейне, заключается, какъ видите, цѣлая драма или, вѣрнѣе, цѣлая страшная трагедія съ кровавой развязкой. Идея до такой степени преобладаетъ надъ формой, что стихотвореніе это необходимо надо считать простымъ наброскомъ, легкимъ эскизомъ, хотя Гейне, можетъ быть, и не имѣлъ въ виду когда-нибудь обстоятельнѣе разработать выраженную въ немъ идею.

Отъ души ненавидя физическое рабство со всѣми его ужасными послѣдствіями, Гейне точно также ненавидѣлъ умственное рабство. Въ собраніи его посмертныхъ стихотвореній отличается преобладаніемъ этого чувства пьеса подъ заглавіемъ: «Она все-таки движется!» («Und sie bewegt sich doch!»).

Вотъ это стихотвореніе, изображающее въ немногихъ штрихахъ отреченіе Галилея отъ своего астрономическаго ученія:

«Не угасай на небосклонѣ, солнце, яркое свѣтило! Пусть узнаетъ весь міръ то несчастное сужденіе, которое возникло въ воспаленномъ мозгу!

«Галилео Галилеи, мужъ науки, чистый и безгрѣшный, какъ ангелъ, томится въ тюремномъ заключеніи.

«И отчего прогнѣвались на почтеннаго, добродушнаго старика? Оттого что онъ училъ, будто земля вращается вокругъ солнца!

«Его потащили въ судилище «священной инквизиціи»; его обвинили въ такомъ преступленіи, за которое онъ, какъ сынъ церкви, былъ достоинъ смертной казни.

«Залъ наполненъ монахами; монахи сидятъ вокругъ судейскаго стола; они громко признали его ученіе ложнымъ и еретическимъ.

«Лучи солнца, свѣтите ярче! Шаръ земной, вращайся быстрѣе! Міръ, внемли преступному приговору, произнесенному верховнымъ судилищемъ!

«Взгляните! Покрытый серебристыми сѣдинами, почтенный, величавый старикъ встаетъ съ мѣста, чтобы отречься отъ своихъ изслѣ-

дованій, отъ своего ученія и чтобы проклясть свои мысли.

«По приказанію судей, онъ становится на колѣни, протягиваетъ правую руку надъ евангеліемъ, отрекается отъ своихъ идей, но потомъ встаетъ и, ударивъ ногою объ полъ, говоритъ смѣло, потому что наука не покоряется никакому игу: «земля, ты все-таки движешься!»

Въ этомъ стихотвореніи Гейне выбралъ величественный моментъ. Галилей передъ судомъ инквизиціи воплощаетъ въ себѣ тотъ духъ критики и изслѣдованія, который, послѣ долговременной и тяжелой борьбы, объявилъ человѣческой разумъ полноправнымъ и совершеннолѣтнимъ. Въ тотъ моментъ, который изображаетъ Гейне, физическая сила очевидно находится на сторонѣ гасильниковъ; поддерживать свои идеи аргументами эти люди не могутъ и не хотятъ; но горе тому, кто вздумаетъ ихъ вызвать на диспутъ и кто посмѣетъ разойтись съ ними въ мнѣніяхъ; въ распоряженіи монаховъ, произносящихъ судъ надъ досогонствомъ специальныхъ научныхъ изслѣдованій, находятся страшныя средства, способныя привести въ ужасъ самаго рѣшительнаго подвижника истины; за монаховъ стоитъ слѣпо-вѣрующая толпа; по одному слову этихъ монаховъ смѣлый поборникъ истины отправляется въ тюрьму, въ инквизиціонный застѣнокъ, на разнообразныя, утонченныя пытки и, наконецъ, на костеръ; вокругъ костра собирается многочисленная толпа, и въ этой толпѣ нѣтъ ни одного человѣка, въ груди котораго шевельнулось бы искреннее состраданіе, — ни одного человѣка, на лицѣ котораго отразилось бы сознательное сочувствіе къ страданіямъ праведника; мужчины и женщины, старики и дѣти смотрятъ на возмутительную казнь, какъ на выраженіе воли Всевышняго, какъ на праведный судъ раздраженнаго Неба, какъ на справедливое воздаяніе за страшное, непростительное проявленіе человѣческой дерзости; они смотрятъ на несчастнаго мученика, какъ на отверженное созданіе, обреченное на вѣчное истязаніе въ неугасимомъ пламени. И не понимаютъ эти люди, что мученикъ этотъ трудился для нихъ и для ихъ дѣтей, что онъ умираетъ на кострѣ не за убійство, не за воровство, а за то, что думаетъ о разныхъ предметахъ не совсѣмъ такъ какъ совсѣмъ не такъ, какъ думаетъ большая часть его современниковъ; не предвидятъ они того, что ихъ-же потомство, въ прямой нисходящей линіи, возвеличитъ и прославить проклятаго еретика, а на благочестивые подвиги отцовъ и предковъ посмотритъ съ укоризной, съ отвращеніемъ и съ ужасомъ; и, что всего удивительнѣе, та-же исторія повторяется постоянно; въ каждомъ вѣкѣ есть свои Галилеи, свои инквизиторы; въ каждомъ вѣкѣ есть такіе софизмы, которыми можно одурачить толпу и натравить ее



именно на того человѣка, который горячо любить ее и съ дон-кихотскимъ самоотверженіемъ отстаиваетъ ея права и интересы. Что толпа любитъ на эти софизмы, это еще не слишкомъ удивительно; толпа долго еще останется слѣпой стихійной силой; средній уровень знаній и умственного развитія возвышается въ толпѣ такъ медленно, что, право, со временъ Галилея ума и терпимости въ ней прибавилось очень немного; по странно то, что до сихъ поръ находятся въ высшихъ слояхъ умственной аристократіи такіа дон-кихотски-честныя натуры, которые за эту слѣпую и неподвижную толпу готовы идти на казнь или въ изгнаніе. Удивительно, какимъ это образомъ тѣ люди, которымъ знакомы факты историческаго прошедшаго, которымъ извѣстны имена и личности Сократа, Галилея, Гусса, Савонароллы, рѣшаются брать на свои плечи и пытаются повернуть къ лучшему участь своихъ младшихъ братьевъ, участь той толпы, которая привыкла побивать камнями своихъ пророковъ и потомъ ронять на ихъ могилы бесполезныя слезы и бросать лавровые вѣнки. Если дѣлая тысячелѣтія горькаго и постоянно повторяющагося историческаго опыта не могутъ вылечить человѣка отъ дурной привычки или отъ хронической болѣзни жертвовать собою для пользы другихъ, и при томъ такихъ другихъ, которые не поймутъ и не оцѣнятъ его жертвы, то надо предположить, что эта привычка или болѣзнь пустила глубокіе корни въ натурѣ человѣка.

Въ изданіи Штейнмана есть нѣсколько стихотвореній Гейне, обращенныхъ къ Германіи; здѣсь, какъ и вездѣ, Гейне относится къ политической и умственной дѣятельности Германіи съ самой ѣдкой ироніей, его возмущаетъ нерѣшительность и глубокомысліе нѣмцевъ, тратащихъ драгоценное время на схоластическіе споры, не имѣющіе ни малѣйшаго отношенія къ дѣйствительнымъ, практическимъ нуждамъ родины. Въ области умственной дѣятельности Германіи Гейне осмѣиваетъ академическую рутину, бесплодную эрудицію, мертвенность мысли, скрывающуюся подъ обиліемъ выписокъ, ссылокъ и цитатъ. Ясный, конкретный умъ Гейне не терпитъ отвлеченностей и враждуетъ противъ всего туманнаго, неопредѣленнаго и мистическаго. Доктринерство въ области политической жизни, гегелевская діалектика въ области философіи, мертвенность въ области практической нравственности совершенно антипатичны нашему гениальному поэту. Всѣ эти качества, составляющія неотъемлемую принадлежность официальныхъ представителей германской жизни и науки, жестоко осмѣяны какъ въ прежнихъ стихотвореніяхъ Гейне, такъ и въ тѣхъ произведеніяхъ, которые теперь собраны и изданы Штейнманомъ. Нѣкоторые ученые и литераторы въ продолженіи нѣсколькихъ десятковъ

лѣтъ служили мишенями для самыхъ злыхъ сарказмовъ со стороны Гейне. Эти господа не забыты и здѣсь; Масманъ, Венедей, Луиза Мюльбахъ, Менцель, Генгстенбергъ, всѣ критики-платисты, вся школа швабскихъ поэтовъ, постоянно воспѣвающихъ весну, луну и т. п., осмѣяны безъ всякаго состраданія; Гейне, какъ чрезвычайно умный и крайне раздражительный человѣкъ, не могъ ужиться среди той атмосферы тупоумія, скучной серьезности, бездарности и узкаго тщеславія, которая душила его въ Германіи; его ненавидѣли и боялись всѣ эти дюжинные писатели, и это, конечно, дѣлаетъ ему большую честь. Большая часть чисто-поэтическихъ стихотвореній Гейне состоятъ изъ силовыхъ намековъ на мелкія событія германской прессы и пересыпаны такими откровенными выраженіями, къ которымъ не привыкло ухо русскаго читателя. На этомъ основаніи я передамъ здѣсь въ переводѣ только тѣ стихотворенія Гейне о Германіи, въ которыхъ развивается какая-нибудь общая идея, удобопонятная для нашей публики. Вотъ, напримѣръ, стихотвореніе «Вы и я»:

«Вы поносите меня, когда во мнѣ закипаетъ молодость, и когда я, человѣкъ съ горячей кровью, слѣдую ей внушеніямъ,

«Измѣна!», кричали вы, когда я окрестилъ Иуду того, кто за сребренники продалъ Бога, говорившаго его устами.

«Вы обвиняли меня въ наглой клеветѣ, когда я говорилъ правду и срывалъ зрѣлые плоды съ дерева знанія.

«Вы бранили меня за легкомысліе, когда я смѣялся и шутилъ; еслибы вы могли это сдѣлать, вы бы вычеркнули мое имя,

«Вписанное огненными буквами въ книгу временъ, вы бы охотно выскоблили его и вытравили его ядомъ».

«Но оно будетъ сіять, не померкая, до тѣхъ поръ, пока земной шаръ будетъ обращаться вокругъ солнца, и пока стрѣлка компаса будетъ указывать на сѣверъ».

«Несмотря на вашу зависть и ваши преслѣдованія, ни одинъ Геростратъ не разрушитъ того памятника, который я построилъ себѣ собственной рукой».

Первые четыре куплета приведеннаго стихотворенія представляютъ сжатую, но полную характеристику тѣхъ нападокъ, которымъ талантливый и честный человѣкъ подвергается со стороны завистливыхъ и подкупленныхъ рутинеровъ. Рутинеры, какъ извѣстно, ничего не любятъ, кромѣ того мѣстечка, которое обезпечиваетъ собою ихъ бренное существованіе; не любя ни того предмета, которымъ они занимаются, ни той сладенькой идеи, которую они проводятъ въ своей жизни или въ своихъ литературныхъ работахъ, эти господа очень любятъ облекать себя въ красивую драпировку полного



безпристрастія и обыкновенно смотрять на самыя обыкновенныя житейскіе вопросы съ такой высшей точки зрѣнія, съ которой вполнѣ познается суетность всего земного и ничтожество отдѣльнаго человѣка, его интересовъ, идей, горячихъ желаній и душевныхъ стремленій. Не желая высказывать какую-нибудь идею, приложимую къ практической дѣйствительности, ученый рутинеръ обыкновенно останавливается на тщательной переборкѣ голыхъ фактовъ, сшивая эти факты между собою чисто внѣшнимъ образомъ и издаетъ болѣе или менѣе увѣсистый томъ или даже жиденькую брошюру, которые немедленно расхваливаются рутинерами критиками и съ уваженіемъ упоминаются *коллегами* или *коммилитонами* автора. «Рыбакъ рыбака видитъ издалека», «рука руку моетъ»; въ силу этихъ премудрыхъ пословицъ, рутинеры тщательно поддерживаютъ другъ друга; если послушать ихъ, то надо умилиться тому; сколько гениальныхъ ученыхъ и талантливыхъ литераторовъ развелось на бѣломъ свѣтѣ; рутинеры спорятъ иногда между собою, но такъ какъ споръ обыкновенно касается какого-нибудь мельчайшаго и ни на что ненужнаго факта, то спорящія стороны не роняютъ другъ друга въ общественномъ мнѣніи, потому что ни одна изъ нихъ не можетъ довести своего противника *ad absurdum*; кромѣ того, какъ бы горячо ни спорили между собою два рутинера, они всегда готовы заключить между собою вѣчный миръ и совокупными силами разгромить того дерзкаго человѣка, который осмѣлится заявить въ своей головѣ присутствіе живой мысли и скептическаго отношенія къ ихъ антикварнымъ трудамъ; съ рутинерами можно спорить, но только надо принадлежать къ ихъ цеху, надо въ спорѣ кружиться въ извѣстномъ кругу понятій и доказательствъ, надо руководствоваться не простымъ здравымъ смысломъ, а здравымъ смысломъ, положеннымъ на извѣстныя ноты, подстриженнымъ по извѣстному образцу; если-же вы вздумаете заговорить, какъ самостоятельно мыслящій человѣкъ, то рутинеры возстанутъ на васъ всѣмъ синклитомъ, раздерутъ ризы свои, посыпятъ пепломъ главу, поднимутъ крикъ и вой и объявятъ всему читающему міру о томъ, что появилась новая ересь, достойная, если не пытки и костра, то по крайней мѣрѣ исправительнаго полицейскаго наказанія. Рутинеры стоятъ обыкновенно къ предмету своихъ занятій въ отношеніяхъ чисто утилитарныхъ; они смотрять на науку, какъ на дойную корову, по весьма справедливому замѣчанію Шиллера; тотъ запасъ идей и свѣдѣній, который они сообщаютъ своимъ слушателямъ или читателямъ съ высоты занимаемыхъ кафедръ или на страницахъ своихъ журналовъ, составляетъ ихъ капиталъ; съ этого капитала они, смотря по степени своей практической ловкости, берутъ болѣе или менѣе

обильные проценты; чтобы доходы рутинеровъ не уменьшались, публика должна считать ихъ идеи за непреложную истину; всякая попытка отнестись критически къ этимъ идеямъ есть посягательство на собственность рутинера; очень понятно, что онъ, рутинеръ, возстанетъ противъ скептика не такъ, какъ представитель противоположнаго мнѣнія, а просто, какъ страждущій собственникъ. Онъ закричитъ: «караулъ! грабежъ!», онъ готовъ будетъ обратиться къ полиціи, и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Представьте себѣ въ самомъ дѣлѣ положеніе какого-нибудь добродушнаго профессора второстепеннаго германскаго университета; лѣтъ 20 тому назадъ, бывши еще молодымъ человѣкомъ, подающимъ блестящія надежды, этотъ господинъ приобрѣлъ себѣ довольно значительныя знанія, составилъ себѣ взглядъ на вещи и репутацію, добылъ себѣ кафедру, отчасти черезъ протекцію, и, конечно, какъ слѣдуетъ благо-разумному нѣмцу, задремалъ на рано-приобрѣтенныхъ лаврахъ; по домовитости и аккуратности, свойственной нѣмцу среднихъ лѣтъ, господинъ профессоръ обзавелся семействомъ, сообразивъ предварительно объемъ своего жалованья и убѣдившись въ томъ, что онъ можетъ себѣ позволить *эту роскошь*, т. е. женитьбу по взаимной наклонности и счастье семейнаго очага. Чтобы содержать семейство, надо получать жалованье; чтобы получать жалованье, надо имѣть слушателей; а чтобы имѣть слушателей, надо считаться хорошимъ профессоромъ, отворяющимъ дверь въ храмъ науки, а не въ какой-нибудь завалающій хлѣвъ; что-же прикажете дѣлать такому почтенному отцу семейства, если вдругъ какой-нибудь Гейне пуститъ въ свѣтъ такую ракету, къ которой съ невольнымъ сочувствіемъ обратятся любопытные взоры вѣтренной молодежи; вѣдь это убытокъ, вѣдь это разореніе. Вѣдь каждая новая идея кладетъ охулку на тотъ залежавшійся товаръ, который господинъ докторъ, профессоръ и членъ разныхъ ученыхъ обществъ старается сбыть за хорошую плату въ головы своихъ слушателей! Что-же тутъ дѣлать? Вѣдь не идти-же въ самомъ дѣлѣ по міру съ Frau Professorin и съ чадами! Надо дѣлать то, что дѣлаютъ въ подобныхъ случаяхъ купцы, не могущіе выдерживать конкуренціи съ заграничными товарами. Надо оплевать и очернить разомъ и тѣ идеи, которыя подрываютъ источники профессорскихъ доходовъ, и тѣхъ людей, которые высказываютъ эти идеи вслѣдствіе твердаго и честнаго убѣжденія. Всякая новая идея врывается въ міръ съ нѣкоторой страстностью, которая постепенно усиливается отъ встрѣчающихся препятствій; эту страстность рутинеры разсматриваютъ черезъ микроскопъ; изъ этой страстности они выкраиваютъ страшное пугало, чтобы выхлопотать противъ самой идеи что-нибудь вродѣ *lettre*



*de cachet*. Вотъ такіе-то люди такими-то продѣлками выгнали Гейне изъ Германіи; замолчать передъ этими людьми и отвѣтить презрѣніемъ на ихъ грязныя и корыстныя обвиненія значило-бы исполнить ихъ величайшее желаніе. Имъ только и нужно было, чтобы ихъ оставили въ покоѣ, чтобы никто не обличалъ ихъ ограниченности и не смущалъ ихъ довѣрчивыхъ, юныхъ слушателей и читателей; но Гейне, какъ честный дѣятель, не положилъ оружія; онъ продолжалъ тревожить ихъ своими сарказмами, долетавшими до ихъ слуха съ береговъ Сены; больной, разбитый параличемъ, изнуренный борьбой жизни, поэтъ не умолкалъ и постоянно бросалъ имъ въ глаза свою возрастающую популярность и ихъ безсильную злобу. Въ выписанномъ выше стихотвореніи поэтъ, какъ вы видите, упрекаетъ своихъ враговъ въ несправедливости и злонамѣренности ихъ нападокъ; враги Гейне, какъ онъ самъ говоритъ, нападали на него за горячность, за рѣзкость приговоровъ, за новизну идей и за насмѣшливость и легкость тона. Кто имѣлъ на своемъ вѣку дѣло съ рутинной критикой, тотъ знаетъ, что слова Гейне представляютъ собой полнѣйшее выраженіе истины. Рутинеры не терпятъ горячности, потому что сами они холодны и вялы; рутинеры не терпятъ рѣзкихъ выраженій, потому, что сами чувствуютъ за собою грѣхи и боятся правдивой и безпощадной оцѣнки, не скрашенной даже мягкостью внѣшней формы; рутинеры не терпятъ новыхъ идей, потому что новая идея есть смертный приговоръ надъ рутинной и надъ тѣми, кто поконится и пасется подъ ея широколиственной тѣнью; и, наконецъ, рутинеры не терпятъ шутиваго тона, во-первыхъ, потому, что имъ вездѣ чудится злая иронія, а, во-вторыхъ, потому, что, улыбаясь и, шутя, можно легко и быстро объяснить мірянамъ такія вещи, которыя люди рутины желаютъ удержать для себя, какъ жреческую символистику; шутивый тонъ связанъ съ популярностью изложенія, а популярность, по мнѣнію многихъ и многихъ ученыхъ идіотовъ, *унижаетъ достоинство науки*; мы-же съ своей точки зрѣнія переведемъ эту послѣднюю фразу такъ: популярное изложеніе разливаетъ элементарныя свѣдѣнія въ массу общества и вслѣдствіе этого опять-таки убавляетъ доходы рутинеровъ. Еслибы только два десятка профессоровъ могли объяснить удовлетворительно законы свободнаго паденія тѣлъ, то, конечно, эти двадцать свѣтилъ были-бы провозглашены великими мудрецами; на ихъ лекціи стекались-бы сотни слушателей и соразмѣрно съ этимъ возрастали-бы или по крайней мѣрѣ упрочивались-бы ихъ доходы. Когда-же наука выходитъ изъ университетовъ и академій и начинаетъ ходить по улицамъ, тогда надо быть дѣйствительно замѣчательнымъ дѣятелемъ, чтобы обра-

тить на себя вниманіе, чтобы съ почетомъ удержаться на кафедрѣ и чтобы въ продолженіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ кормить жену и дѣтей результатами своихъ ученыхъ подвиговъ. Чѣмъ шире распространены грамотность и элементарное образованіе, тѣмъ сильнѣе становится конкуренція на мѣста преподавателей; всякое молодое, свѣжее или зрѣлое и крѣпкое дарованіе найдетъ себѣ поле дѣятельности, но зато рутинная и посредственность будутъ сбиты съ пьедестала и затеряются въ толпѣ. Стало быть, популяризированіе знаній ни для кого не представляетъ такихъ серьезныхъ опасностей, какъ для тѣхъ людей, которые держатъ въ рукахъ монополію знаній и выдаютъ себя за ревностныхъ подвижниковъ просвѣщенія. — Разборъ двухъ стихотвореній Гейне далъ мнѣ такимъ образомъ поводъ поставить рядомъ два типа людей: одни, подобно Галилею, работаютъ по внутренней потребности, совершаютъ чудеса въ разрабатываемой ими области и въ награду за свои подвиги попадаютъ на костеръ или отправляются въ изгнаніе; другіе работаютъ по расчету, перестаютъ трудиться, какъ только имъ удастся составить себѣ репутацію и жить рентами съ припасеннаго умственного капитала, морочатъ молодыхъ людей фразами, забиваютъ въ нихъ охоту мыслить сухостью своего изложенія и въ награду за свои подвиги попадаютъ на академическое кресло или отправляются еще куда-нибудь повыше. Какое общее заключеніе можно вывести изъ этой неутѣшительной параллели? А то заключеніе, что человѣкъ самъ по себѣ предобро, премилое и преблагородное существо: въ немъ пропасть силъ, пропасть желанія примѣнять эти силы такъ, чтобы и себѣ, и другимъ было хорошо и удобно, пропасть мягкости, готовности уступить другому и въ свою очередь съ признательностью принять отъ другого радушно-предложенную уступку. Но попробуйте этого-же самаго милѣйшаго человѣка втолкнуть въ тѣсную комнату съ маленькимъ окошечкомъ, биткомъ набитую другими людьми и получающую со двора слабый притокъ свѣжаго воздуха,—нашъ милѣйшій человѣкъ задохнется или, что всего вѣрнѣе, начнетъ драться съ своими новыми сожителями, чтобы протѣсниться къ окошечку. Если у милѣйшаго здоровые локти и бока, онъ пробьется, начнетъ дышать свѣжимъ воздухомъ и навѣрное очень жестко будетъ отталкивать тѣхъ джентльменовъ, которые въ свою очередь будутъ ловить глотокъ кислорода. Тутъ ужъ гуманность въ сторону, когда уступить — значитъ умереть, и когда вся жизнь должна быть борьбой не съ обстоятельствами, какъ риторически выражаются писатели и простые смертные, а съ такими-же живыми людьми, которыхъ мы обязаны, видите-ли, любить, какъ своихъ братьевъ, и какъ самихъ себя. А почему-же, спросить любозна-



тельный читатель, жизнь должна быть такой ожесточенной борьбой?—Почему, да почему!— Ну, стало быть, такъ ужъ суждено; я, ей Богу, не знаю!

Да, жизнь была-бы совершенно невыносима, еслибы въ ней не было ничего кромѣ драки за кусокъ хлѣба и за право жить къ свое удовольствіе. Къ счастью для человѣка, въ самой сѣрой трудовой и задорной жизни бываютъ свѣтлыя, теплыя, упоительныя минуты, минуты сіяющаго счастья, минуты тихаго благоухающаго довольства, минуты безмятежнаго спокойствія. Человѣкъ, измученный тычками и пинками, получаемыми отъ разныхъ сосѣдей по жизни, человѣкъ, утомленный тѣмъ напряженіемъ нервовъ и мускуловъ, которое необходимо для того, чтобы возвращать эти тычки и пинки по принадлежности, человѣкъ этотъ отдыхаетъ и крѣпнетъ, когда ему удастся въ теплый лѣтній вечеръ броситься въ пахучую траву, надышаться чистымъ воздухомъ, насмотрѣться на голубую даль, на тихую зыбь спокойнаго, свѣтлаго озера, на зеленую листву здоровой растительности. Мы любимъ природу, мы любимъ жизнь, когда она насъ не гнететъ и не разрушаетъ; мы рады хоть на нѣсколько минутъ сложить оружіе, оставить задорную позу, забыть желѣзный вѣкъ и его реальныя, неотразимыя требованія; мы рады хоть нѣсколько минутъ пожить одной жизнью съ природой, смотрѣть, слушать, дышать, не резонерствуя, не умничая, не полемизируя. Такія минуты коротки: того и гляди, откуда-нибудь слышится тревога; но тѣмъ короче подобныя минуты, тѣмъ онѣ дороже. Кромѣ внѣшней природы, у человѣка есть еще другое убѣжище — любовь женщины. Гейне великолѣпно понимаетъ и то, и другое; онъ; ветеранъ мысли, стоявшій на брешѣ слишкомъ двадцать лѣтъ, оставилъ намъ нѣсколько сотъ мелкихъ стихотвореній, въ которыхъ уловлены самые разнообразныя и тонкіе оттѣнки человѣческихъ наслажденій; для Гейне жила своей жизнью каждый вновь распускавшійся цвѣтокъ; его радовало, какъ проявленіе жизни, щебетаніе каждаго жаворонка, суетливая дѣятельность ласточки, бойкое чириканье воробья. Онъ наслаждался легкими, глазами, ушами: онъ ловилъ своими пятью чувствами все, что въ окружающей насъ природѣ нѣжить ласкаетъ, грѣетъ и освѣжаетъ человѣка; это обиліе наслажденій, не требовавшихъ никакихъ искусственныхъ приготовленій, одинаково доступныхъ богачу и пролетарію, было необходимо для Гейне; надо было много наслаждаться, всей грудью вдыхать въ себя свѣжія впечатлѣнія, чтобы такъ долго бороться съ ложью жизни и такъ ѣдко и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ обаятельно смѣяться надъ людскими глупостями. Сарказмъ Гейне — не головной сарказмъ; онъ не выдуманъ, не подобранъ; онъ выливается такъ-же свободно,

такъ-же образно, какъ самое свѣжее лирическое стихотвореніе; въ немъ такъ-же много души и чувства, какъ въ какомъ-нибудь страстномъ обращеніи поэта-юноши къ цвѣтущей природѣ или къ любимой женщинѣ. Чтобы владѣть такимъ сарказмомъ, надо до послѣдней минуты сохранить полную способность жить и наслаждаться, потому что только въ наслажденіи человѣкъ обновляетъ свои силы. Живучесть нашего поэта, его воспримчивость къ звукамъ природы и къ наслаженію, въ какой-бы формѣ оно ни представилось, превышаетъ всякое вѣроятіе. Какъ ни мучили его люди, какъ ни уродовала его болѣзнь, онъ все-таки любилъ жизнь и все-таки находилъ себѣ отраду.

Въ изданіи Штейнмана есть нѣсколько обаятельно свѣжихъ произведеній Гейне, въ которыхъ поэтъ выражаетъ самыя теплыя, любовныя отношенія къ наслаженіямъ жизни. Къ числу такихъ стихотвореній относится, напри-  
мѣръ, «Первый поцѣлуй подъ солнцемъ».

Воодушевленіе поэта доходитъ до такихъ размѣровъ, что онъ даже отступаетъ отъ своего обыкновеннаго трезваго міросозерцанія; онъ представляетъ себѣ, что во всемъ мірѣ развита общая жизнь, что вся природа проникнута одной идеей, и что всѣ отдѣльныя лучи свѣта, теплоты и жизни сосредоточиваются въ одномъ фокусѣ. Діаметрально противоположно по проведенному взгляду на вещи слѣдующее короткое стихотвореніе, также помѣщенное въ изданіи Штейнмана:

«Міръ, ты — молодая дѣвушка, міръ, ты — бродячая вѣдьма, смотря по тому, черезъ какія очки смотрѣть на тебя: черезъ выпуклыя, или черезъ вогнутыя.

«Но если смотрѣть на тебя астрономически, черезъ телескопъ, — то у тебя не найдется половыхъ частей, и ты окажешься гермафродитомъ».

Насчетъ міросозерцанія Гейне я распространяться не буду. Поговорю лучше объ отношеніяхъ его къ женщинѣ. Гейне смотрѣлъ на женщину, какъ на источникъ величайшихъ наслажденій, но дальше этого взгляда онъ не шелъ; женщина удовлетворяла самымъ утонченнымъ требованіямъ его нервной системы, но она не шевелила его мозговыхъ нервовъ: онъ любилъ въ женщинѣ пластическую красоту, граціозное сочетаніе линий, контуровъ и красокъ, женственную мягкость и кокетливое остроуміе, но не становился съ женщиной въ равноправныя отношенія, не говорилъ съ нею серьезно, не сообщалъ ей задушевныхъ идей и убѣжденій, и самъ рѣшительно не заботился о томъ, какъ она смотритъ на міръ, на жизнь и на человѣка. Онъ шалилъ, игралъ съ женщиной, находилъ, что эти шалости составляютъ лучшее украшеніе жизни, но, кажется,



не считалъ возможнымъ стоять съ женщиной подъ однимъ знаменемъ и сморгѣть на нее, какъ на честнаго и стойкаго союзника. Его эротическія стихотворенія всѣ до одного носятъ на себѣ печать этого воззрѣнія; никогда онъ не говоритъ съ женщиной или о женщинѣ безъ какой-то снисходительной улыбки, которая даже въ самыхъ патетическихъ мѣстахъ не покидаетъ его губъ. Гейне не могъ возвыситься до тѣхъ серьезныхъ и глубокихъ отношеній, въ которыхъ, по собственному своему признанію, Джонъ Стюартъ Милль находился къ своей покойной женѣ. Люди, ратующіе теперь за полноправность женщины, имѣютъ полное право упрекнуть Гейне въ легкости его воззрѣній на женщину; этотъ упрекъ будетъ справедливъ, но жестокъ. Для человѣка, работавшаго и сражавшагося съ рутиной втеченія всей своей жизни, для скитальца, изгнаннаго изъ родины, для поэта съ пылкими страстями и съ впечатлительными нервами необходимо было имѣть теплый уголокъ, отогрѣться въ объятіяхъ женщины, отдыхать и обновляться ея страстными ласками. Послѣ труда необходимъ былъ полный отдыхъ, а перевоспитываніе любимой женщины — опять-таки дѣятельность, — дѣятельность обаятельная, но все-таки истощающая силы. Реформировать тѣхъ женщинъ, которыми онъ увлекался, у нашего поэта не доставало силъ; измученный борьбой жизни, онъ входилъ къ любимой женщинѣ единственно для того, чтобы подышать другимъ воздухомъ, чтобы пошутить, подурчиться, приласкаться. Можно ли за это быть въ претензіи на Гейне? Можно ли требовать отъ человѣка, поднимающаго на плечи десять пудовъ, чтобы онъ поднималъ еще пять, да еще чтобы онъ не осмѣливался нигдѣ присѣсть и перевести духъ? Вѣдь это жестоко, вѣдь это значитъ прямо требовать, чтобы человѣкъ надорвался. А Гейне и безъ того былъ надорванъ жизнью. Страданія взяли свое — и великій поэтъ умеръ отъ мучительной нервной болѣзни, превратившись задолго до своей смерти въ разлагающійся трупъ. Стоить прочесть въ изданіи Штейнмана отдѣлъ стихотвореній «Aus der Matratzengruft» («Изъ постельной могилы»), чтобы составить себѣ понятіе о томъ, что вынесъ этотъ великій страдалецъ.

### III.

**Побѣда надъ самодурами и страдальческій крестъ.** Сатирическая бывальщина *Гермогена Трехзвѣздочкина*.

Когда мнѣ было лѣтъ семь или восемь, когда я учился французскому языку, мнѣ часто при-

ходило переводить анекдотъ слѣдующаго содержания: «Одинъ драматическій писатель послалъ въ дирекцію театра комедію своего сочиненія. Къ этой комедіи было приложено письмо, въ которомъ авторъ извѣщалъ дирекцію, что онъ написалъ свою комедію въ двѣнадцать дней. Дирекція просмотрѣла комедію и возвратила ее съ помѣткой, что автору слѣдуетъ употребить двѣнадцать мѣсяцевъ для того, чтобы исправить свое произведеніе». Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ я переводилъ этотъ анекдотъ съ французскаго языка на русскій, и обратно; съ тѣхъ поръ мнѣ пришлось до нѣкоторой степени познакомиться съ міромъ литературныхъ дѣателей и литературныхъ рабочихъ, и я тутъ припомнилъ давно забытый анекдотъ и вполне убѣдился въ его справедливости. Самолюбіе литератора заносчиво и мелочно, щеколиво и необузданно; это самолюбіе постоянно встрѣчаетъ себѣ заслуженные щелчки и все-таки не унимается.

Плодомъ такого неудержимаго самолюбія явилась книга: «Побѣда надъ самодурами и страдальческій крестъ». Эта книга снабжена введеніемъ, изъ котораго мы узнаемъ два любопытные факта о личности автора, скрывшаго свое подлинное имя подъ оригинальнымъ псевдонимомъ Гермогена Трехзвѣздочкина.

Первый фактъ тотъ, что вся книга написана въ четыре недѣли. «Это была, — говоритъ авторъ, — импровизація сердца, это были вопли души, убитой полнымъ равнодушіемъ и жестокимъ злорадствомъ нѣкоторыхъ». Второй фактъ тотъ, что авторъ импровизаціи впродолженіи тридцати лѣтъ питалъ постоянную дружбу къ Алексѣю Алексѣвичу Одинцову, которому и посвящается вся книга, написанная даже вслѣдствіе его совѣта. — То, что я называлъ введеніемъ, представляетъ, собственно говоря, лирическое обращеніе автора къ своему испытанному другу; какъ лирическое обращеніе, оно въ полномъ своемъ составѣ для публики не понятно и не интересно. Мы, публика, имѣемъ право вывести изъ него слѣдующія заключенія: Трехзвѣздочкинъ уже не молодъ и притомъ одержимъ неистовой охотой писать. Если даже предположить, что онъ подружился съ Одинцовымъ, когда ему было лѣтъ десять, то теперь автору «сатирической бывальщины» окажется сорокъ, стало быть, пора юношескихъ порывовъ и бѣшеннаго вдохновенія прошла безвозвратно и при томъ безслѣдно; Трехзвѣздочкинъ самъ признаетъ себя рекрутомъ въ фалангѣ писателей; но, воля ваша, чтобы въ мѣсяцъ написать цѣлую книгу въ 244 стр., надо обладать значительной бѣглостью пера, такой бѣглостью, которая, сколько мнѣ извѣстно, недоступна самымъ плодовитымъ изъ нашихъ журнальных писателей. Несмотря на эту бѣглость, которая сама по себѣ составляетъ немаловаж-



ное достоинство, я осмѣлюсь выразить предположеніе, что Трехзвѣздочкинъ останется скромнымъ рекрутомъ, и что пріемъ, который сдѣлаетъ публика его «импровизаціи», больно растравитъ раны его оскорбленнаго самолюбія. Повѣсть или романъ, который онъ рассказываетъ въ своей книгѣ, представляетъ одну изъ безчисленныхъ варіацій на давно избитую тему. Прожившійся дворянчикъ женится на купеческой дочкѣ, чтобы породниться съ богатымъ купцомъ и запустить руку въ его непочатой сундукъ. Въ первой части «сатирической бывальщины» все идетъ самымъ казеннымъ порядкомъ; тутъ есть и гостинница, въ которую промотавшійся герой, Валерьянъ Николаевичъ Шугаровъ, задолжалъ за нѣсколько мѣсяцевъ; тутъ есть и буфетчикъ, дающій тому-же герою деньги въ кредитъ, вѣроятно потому, что иначе Валерьяну Николаевичу невозможно будетъ исполнить приказаній своего автора; тутъ подвертывается очень кстати пріятель Шугарова съ рекрутской квитанціей, которая даетъ герою возможность познакомиться съ семействомъ богатаго купца Сермяжникова; тутъ, ну, однимъ словомъ — тутъ авторъ устраняетъ всѣ препятствія; Гермогенъ Трехзвѣздочкинъ рассуждаетъ, вѣроятно, такъ: я — авторъ, я выдумалъ этихъ людей, я создалъ это положеніе, ну, стало быть, я воленъ распоряжаться ими, какъ мнѣ угодно; а если какой-нибудь нахаль-критикъ, по зависти къ моей изобрѣтательности, вздумаетъ доказывать мнѣ, что я вру на дѣйствительность, то я отвѣчу ему, что это не его дѣло, назову его злонамѣреннымъ и злораднымъ клеветникомъ, напишу чувствительное посланіе къ моему старому другу и въ двѣ недѣли выдумаю новую вереницу лицъ и положеній. Для Трехзвѣздочкина не существуетъ затрудненій; ему надо, чтобы его герой познакомился съ купеческой дочкой, — сейчасъ является на выручку рекрутская квитанція; надо, чтобы этотъ герой понравился своей будущей супругѣ, — это достигается двумя-тремя комплиментами; надо сдѣлать подарокъ горничной, — сейчасъ-же оказывается, что у Шугарова подъ руками платье, которое ему поручили передать его сестрѣ. Авторъ «сатирической бывальщины» не задумывается надъ средствами; онъ запутываетъ и распутываетъ интригу, не обращая никакого вниманія на законы логики и правдоподобія; дѣло кончается тѣмъ, что его герой, похожій, какъ блѣдная копія, на Хлестакова или Вихорева, женится на толстой дочери богатаго купца и сверхъ всякаго ожиданія становится образцовымъ мужемъ, хорошимъ хозяиномъ и во всѣхъ отношеніяхъ добродѣтельнымъ человекомъ.

Уже изъ одного этого обстоятельства мы можемъ заключить, что авторъ смотритъ на жизнь

и на людей почти такъ-же наивно и добродушно, какъ покойный Карамзинъ, авторъ «Бѣдной Лизы» и «Исторіи государства Россійскаго». Оптимизмъ Трехзвѣздочкина вырисовывается еще яснѣе во второй части его произведенія. Тутъ онъ рѣшаетъ такую задачу, передъ которой отступили величайшіе дѣятели нашей литературы: дѣятели эти, къ сожалѣнію, всѣ были болѣе или менѣе пессимистами и никакъ не умѣли возвыситься до той умилительной наивности воззрѣній, на которую съ перваго раза отважился Трехзвѣздочкинъ. Въ произведеніяхъ нашихъ дѣятелей случалось всегда такъ, что одолѣвали самодуры, и что подъ ихъ тяжелыми стопами задыхалось и вымирало всякавшее движеніе жизни. У Трехзвѣздочкина выходитъ совсѣмъ наоборотъ, и даже вторая часть его бывальщины украшена заманчивымъ заглавіемъ: «Побѣда надъ первымъ самодуромъ». Я, признаюсь, приступилъ съ замираніемъ сердца къ чтенію этой второй части. Что, если, думалъ я, содержаніе этихъ 114 страницъ соответствуетъ заглавію? Что, если дѣйствительно Трехзвѣздочкинъ укажетъ намъ средство радикально излечивать людей, одержимыхъ бѣсомъ самодурства: вѣдь это будетъ рай земной, блаженство, а не жизнь. Всѣ наши страданія происходятъ отъ того, что мы сами дуриимъ и что дурятъ окружающіе насъ люди; когда это повсемѣстное преобладаніе глупости будетъ опрокинуто, тогда буквально потекутъ рѣки молока и меда; и все это найти за 2 р. 50 к. въ книгѣ совершенно неизвѣстнаго писателя, — согласитесь, что это такое счастье, отъ котораго можетъ закружиться голова. Человѣкъ всегда расположенъ надѣяться; надежда, кроткая посланница небесъ, даетъ намъ силы переносить дразги нашей отвратительной жизни, дразги отъ климата, дразги отъ денежныхъ дефицитовъ, дразги отъ глупостей и подлостей человѣческаго рода. Когда на дворѣ смертельный холодъ, мы надѣемся, что будетъ оттепель; когда на улицѣ стоятъ непроходимыя лужи, мы надѣемся, что ихъ какъ-нибудь разметутъ; когда мы завалены безплодною работою, мы надѣемся, что авось будетъ когда-нибудь полегче; не только человѣкъ, даже собака, и та надѣется; когда хозяинъ начинаетъ ее бить, она визжитъ, а сама все-таки надѣется: ну, думаетъ себѣ, ударить, побьетъ, больно побьетъ, а все-же когда-нибудь да перестанетъ; и вѣдь, знаете-ли, собака не ошибается: дѣйствительно побьетъ и перестанетъ; она полижетъ руку и на будущее время будетъ надѣяться пуще прежняго. Но я, какъ рецензентъ, оказался гораздо несчастнѣе собаки: я прочиталъ 130 страницъ, нашелъ, что онѣ наполнены невообразимую чепухой, и думалъ на томъ покончить, но мнѣ бросилось въ глаза заманчивое до нельзя заглавіе второй части, и я понадѣялся: не все-



же Трехвѣздочкинъ будетъ говорить вздоръ.— началъ читать и жестоко разочаровался. Вторая часть вышла не въ примѣръ безобразнѣе первой, а средство побуждать самодурство оказалось ужаснѣйшимъ пухомъ, достойнымъ самаго отчаяннаго идеалиста. Дѣло вотъ въ чемъ: Шугаровъ женился на дочери Сермяжникова, и женился, какъ я уже говорилъ, потому, что прокутилъ свое наслѣдство, а жить и жуировать желалъ по прежнему. Съ женой онъ зажилъ какъ нельзя лучше; занялся ея образованіемъ, научилъ ее одѣваться, какъ слѣдуетъ, и даже ввертывать въ разговоръ французскія слова, и даже читать какія-то умныя книжки, которыхъ заглавія, впрочемъ, по неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ, не помѣчены въ «сатирической библіотекѣ». Гуманизируя такимъ образомъ свою жену, Шугаровъ не забылъ и тестя, хотя, конечно, перевоспитать крижистаго старовѣра-купца, да еще вдобавокъ милліонера, было совсѣмъ не такъ легко, какъ отполировать молодую женщину, страстно привязанную къ своему разврату. Педагогическія упражненія свои надъ старымъ самодуромъ Шугаровъ началъ съ слѣдующей, весьма оригинальной продѣлки. У Сермяжникова была рожа, купленная имъ на имя той самой дочери, которая вышла замужъ за Шугарова; М-ше Шугарова дала своему мужу довѣренность, а мужъ этотъ, чтобы уплатить свои долги, приобрѣтенныя до свадьбы, взялъ да и заложилъ куда-то въ частныя руки тятенькину рошу. Вы не угадываете, читатель, какую связь эта продѣлка имѣетъ съ гуманизацией стараго купца. О, вы недогадливы, почти такъ-же недогадливы, какъ я самъ; я тоже, читая бывальщину, не понималъ, къ чему клонится дѣло, а на повѣрку вышло, что эта штука не что иное, какъ первый урокъ. Педагоги твердятъ постоянно, что надо учить дѣтей шутя и играя, вотъ Шугаровъ и сыгралъ штуку, и успѣхъ превзошелъ всѣ ожиданія читателя и рецензента.

Узнавши о томъ, какимъ манеромъ зять начинаетъ его обтесывать, старый Сермяжниковъ разсвирѣпѣлъ; онъ тоже не понималъ, что все это дѣлается для его-же пользы; потребовалъ къ себѣ своего молодчика-зятя, накричалъ, напумѣлъ, хотѣлъ даже поколотить его, но тутъ Шугаровъ, вспомнивъ святое назначеніе педагога, немедленно вступаетъ въ отправленіе своихъ обязанностей и даетъ самодуру второй урокъ; онъ схватываетъ стулъ и замахивается имъ надъ самой головой тятеньки, а потомъ произноситъ краекое, но крѣпкое слово. Прошу васъ, господа читатели, обратить вниманіе на тотъ фактъ, что Шугаровъ только замахивается, а не разить; онъ, стало-быть, принадлежитъ къ новой школѣ педагоговъ; онъ наказываетъ непослушнаго воспитанника страхомъ палки, а не самой палкой,—разница, какъ видите, огромная;

достоинство человѣка спасено, и въ то-же время воспитаннику внушенъ спасительный страхъ. Самодуръ утихаетъ, потомъ отправляется къ какой-то княгинѣ; та его усовѣщиваетъ окончательно, исторгаетъ изъ его очей слезы раскаянія и умиленія, заставляетъ его на-вѣки отказаться отъ самодурства и убѣждаетъ его въ необходимости отдѣлить дочери и зятю по крайней мѣрѣ двѣсти тысячъ серебромъ. Самодуръ окончательно растаяваетъ отъ этихъ словъ; кланяется въ ноги матушкѣ-княгинѣ, благодаритъ ее за то, что она его, дурака, наставила на путь истины, и обѣщается свято исполнить ея совѣты. Приѣхавъ домой, Псой Бауусевичъ мирится съ зятемъ, находитъ себя во всемъ виноватымъ, благодаритъ и его также за ученіе и потомъ отдѣляетъ ему съ женою такой кушъ, на который немедленно покупается имѣніе въ тысячу душъ. Вотъ тебѣ и разъ! Изъ этой замысловатой были можно вывести, во-первыхъ, правоученіе, а во-вторыхъ, — практическое заключеніе.

*Нравоученіе.* Если ты, о читатель, находишься въ затруднительномъ положеніи, ищи себѣ богатую невѣсту.

Если ты задолжалъ, плати долги деньгами супруги; если у нея нѣтъ денегъ, продавай и закладывай ея вещи; если у нея нѣтъ вещей, стащи что-нибудь у ея тятеньки и, продавъ сташенную вещь, откупись отъ долгового отдѣленія и спаси такимъ манеромъ свою дворянскую честь.

Если тятенька узнаетъ объ участи своей вещи, не робѣй; если онъ станетъ укорять тебя въ посягательствѣ на чужую собственность, воспрянь въ полномъ величіи оскорбленной гордости, смѣлой рукой схвати тяжелый стулъ, взмахни имъ надъ головой обидчика и опять-таки заговори взволнованнымъ голосомъ о долгѣ и чести дворянина.

Поступая такимъ образомъ, ты, о читатель, поправишь свои разстроенныя обстоятельства, составишь счастье той женщины, которая кинется въ твои объятія душой и тѣломъ, одержишь окончательную побѣду надъ закоренѣлымъ самодурствомъ ея отца и, въ заключеніе, сдѣлаешься обладателемъ великолѣпнаго имѣнія и отличнаго каменнаго дома. Ты сдѣлаешь такимъ образомъ великое добро себѣ и другимъ, исполнишь какъ слѣдуетъ назначеніе человѣка и умрешь въ мирѣ, съ спокойной совѣстью.

*Практическое заключеніе.* Любезный читатель, если васъ одолеваетъ самодуры, то вы распорядитесь съ ними такъ: сначала половчѣе надуйте ихъ, потомъ шарахните ихъ по головѣ какимъ-нибудь тяжелымъ дрекольемъ; повторяйте оба эти маневра какъ можно чаще и будьте увѣрены, что вы скоро избавитесь отъ самодуровъ, и что они-же сами придутъ васъ благодарить за ваши заботы.



Любезный читатель, согласитесь, что все это ужасно нелѣпо и даже перестаетъ быть смѣшнымъ; я самъ это сознаю и пишу только потому, что я самъ—лицо подначальное; что намъ велятъ писать, то мы пишемъ; чего не велятъ писать, того не пишемъ; бьемся, какъ рыба объ ледъ, пляшемъ, какъ карась на сковородѣ, смѣемся, когда кошки на сердцѣ скребутся... Эхъ, ужъ и не говорилъ-бы! Ну, ихъ совсѣмъ! Приведу вамъ лучше препотѣшное мѣсто изъ «саатирической бывальщины», именно самый эпизодъ:

«Итакъ, побѣда надъ однимъ изъ самодуровъ была полная, совершенная: оно пало, это самодурство, и уже болѣе никогда не поднималось. И такимъ образомъ въ одинъ и тотъ-же часъ, въ одной и той-же комнатѣ, въ одномъ и томъ же лицѣ совершилось и возстаніе, и паденіе (sic!); возсталъ падшій ангелъ, пало возносившееся когда-то высоко самодурство. И чудо это совершилось отъ одного только легкаго дуновенія цивилизаціи... Что-же станется съ человѣчествомъ, когда подуетъ полный, путный вѣтеръ прогресса и накренитъ впередъ всѣми парусами тотъ гигантскій левиаѳанъ цивилизаціи, на которомъ человѣчество плыветъ по безпредѣльному океану жизни... Но откуда, но куда, но зачѣмъ?.. И не разгадать того во-вѣки уму человѣческому!.. Преклонимся-же передъ этой густой завѣсой будущаго: не въ мочь хилой человѣческой рукѣ приподнять эту тяжелую завѣсу; не выдержать его слабому, непривычному зрѣнію сіянія того солнца, которому суждено освѣщать отдаленную будущность нашей расы. Парализъ разобьетъ эту дерзкую руку, мгновенная слѣпота поразитъ это слабое зрѣніе и вящшій мракъ разольется окрестъ человѣчества, отъ его преждевременнаго и богопротивнаго домогательства. Предоставимъ-же рукѣ Божественнаго Промысла мало-по-малу приподнимать эту завѣсу, такъ что постепенно окрѣпнетъ человѣческое зрѣніе и люди будутъ въ состояніи беззавѣтно и согрѣваться, и освѣщаться лучами солнца вездѣсущихъ разума, справедливости и человѣколюбія и уже болѣе не бояться ослѣпнуть отъ лучезарнаго сіянія солнца Безусловной Правды».

Я васъ спрашиваю, господа читатели, возвышался-ли самъ Гаврило Романъ до такого паѳоса созерцанія?—Нѣтъ, не возвышался! Доходилъ-ли самъ Кифа Мокіевичъ до такихъ глубокихъ и всеобъемлющихъ выводовъ?—О, нѣтъ, не доходилъ!

Я-бы никогда не позволилъ себѣ во второй разъ утруждать читателей «Русскаго Слова» отчетомъ о литературныхъ трудахъ Гермогена Трехзвѣздочкина, еслибы этотъ господинъ не обвинилъ меня печатно въ пристрастіи, въ несправедливости, во лжи и пр. Всѣ эти обвине-

нія посыпались на меня за рецензію, помѣщенную мною въ ноябрьской книжкѣ нашего журнала. Чтобы показать моимъ читателямъ, что отзывъ мой о книгѣ Трехзвѣздочкина былъ очень снисходителенъ, я въ этой статьѣ не буду говорить отъ себя почти ни одного слова. Представляю читателямъ букетъ выписокъ, и пусть они сами судятъ книгу и произносятъ надъ нею приговоръ.

Вотъ, наприимѣръ, о воспитаніи: «Ну, и наградите его, да только не изюмцемъ и не яблочкомъ... А дайте ему въ соприкасалище, т. е. постегайте его маненько извѣстными и по извѣстной. Это будетъ для него не въ примѣръ «пользительнѣе» вашего изюмца и яблочка, если не въ настоящемъ, то въ будущемъ».

Вотъ остроуміе: «Что-же касается до конторскаго кота Васьки, который имѣлъ чрезвычайно много и ума, и гонору, и ни капли мѣднаго лба, то, услышавъ рѣзкій о себѣ отзывъ Виссаріона I, рѣшился сильно и немедленно протестовать, и для этого собралъ на митингъ въ конторскомъ подвалѣ всѣхъ красноярскихъ котовъ и промяукалъ передъ ними блистательную рѣчь въ защиту своей чести. Вотъ образчикъ этого котовскаго краснорѣчія»:

И затѣмъ слѣдуетъ на десяти страницахъ сцена между кошками.

Вотъ изображеніе сильнаго чувства: «За малѣйшее оскорбленіе моего самолюбія буду мстить здѣсь, до гроба, и даже тамъ, за гробомъ. Если не успѣю выместить на самомъ обидчикѣ, буду мстить его женѣ, сестрѣ, брату, дѣтямъ, внучатамъ, правнучатамъ. А если никого изъ нихъ не окажется, и обидчикъ мой умретъ прежде, нежели я успѣю ему отмстить, тогда я проберусь ночью, какъ тать, на кладбище, самъ своими руками разрою его могилу, достану гробъ, выну кости моего обидчика и буду наругаться надъ ними, буду топтать, попирать ихъ моими ногами, стану плевать, харкать на нихъ и размечу ихъ на всѣ четыре стороны!»

Вотъ мнѣніе Трехзвѣздочкина о современной литературѣ: «Слѣпцы!.. имъ нужны авторитеты, а не таланты... Какъ пѣтухи, которые копаются въ навозныхъ кучахъ и отыскиваютъ въ нихъ одни овсяныя или другія зерна, бросая съ презрѣніемъ попавшійся имъ случайно алмазъ или жемчужину, они роются въ навозной кучѣ земной жизни и отыскиваютъ въ ней не новые и свѣжіе таланты, а авторитеты, въ которые вѣрують слѣпо, безконтрольно, мѣряя ихъ на аршинъ мелочныхъ, но непосредственныхъ барышей. И вотъ попалось въ ихъ пѣтушиный клювъ зерно, то есть статейка, такъ себѣ, но за подписью авторитета и порой какого?.. Отысканнаго кѣмъ-то въ закоулкахъ Апраксина или Щукина двора у какого-то букиниста и вымѣняннаго, какъ библіографическая рѣдкость, но только подозрительнаго достоинства...



И вотъ нашъ пѣтухъ, со статей въ клювъ, бѣжить со всѣхъ ногъ и карабкается на заборъ. А другіе пѣтухи, его собраты по навозной кучѣ, глядя на него, кричатъ во все пѣтушье горло: *кукуреку!* Смотрите, смотрите! у нашего собрата въ клювъ гениальная статья, *перлъ созданія*, плодъ глубокой учености и высокаго таланта нашего Апраксинскаго авторитета! Кукуреку, ку-куреку!!! Ну, а за этими пѣтухами и нѣкоторые хохлатые куры вторятъ своимъ мужьямъ и горланятъ во всю куричью глотку: «кудахъ-тахъ-тахъ, кудахъ-тахъ-тахъ!»

Вотъ дѣяніе того героя, которому исполнѣ сочувствуетъ авторъ: «Громиловъ, весь погруженный въ разговоръ съ купчикомъ и словно пробужденный отъ сна, встрепенулся, поднялъ голову и, сказавъ: «Дерзкая маска!» со всего размаху послалъ ей въ накрахмаленныя юбки и пониже спины сильнѣйшаго шлепка, который, какъ пистолетный выстрѣлъ, раздался по всей залѣ».

А вотъ какъ извиняется тотъ-же герой въ своемъ эксцентричномъ поступкѣ: «Ахъ, это вы! Извините меня, мадамъ N N! Я полагалъ, что это кухарка моего пріятеля, извѣстная всему городу Каролинхенъ. Я видѣлъ вчера на ней точъ-въ-точъ такой-же костюмъ, какъ и на васъ, который принесли къ ней изъ магазина Семихвостовой и который она при мнѣ примѣривала. Еслибы я зналъ, что это не кухарка, а вы, я никогда не позволилъ-бы себѣ того, что я сейчасъ сдѣлалъ».

А вотъ еще поступокъ того-же сорта: «Громиловъ не выдержалъ: вырвалъ племянницу изъ рукъ полупьяной мегеры, отдалъ ребенка на руки одной изъ горничныхъ, сбѣжавшихъ толпой въ залу на шумъ и на обморокъ барыни. Потомъ повернулъ нѣмку своей могучей рукой къ двери и принялся ее выталкивать. Мегера еще не хотѣла сознать себя побѣжденной, а обернувшись, царапнула ногтями одну щеку у Громилова и намѣревалась сдѣлать то-же и съ другой; а въ заключеніе собралась укусить его за руку. Но это ей не удалось. Владиміръ снова повернулъ ее къ двери и на этотъ разъ такъ сильно придержалъ ее за плечо, что у нея отнята была малѣйшая возможность оборачиванья, царапанья и кусанья. Затѣмъ, раздраженный до-нельзя и обморокомъ сестры, и болѣзненнымъ крикомъ ребенка, и не совсѣмъ пріятнымъ ощущеніемъ царапины на собственной щекѣ, онъ отпустилъ ей по спинѣ нѣсколько полновѣсныхъ ударовъ тоненькой камышевой тросточкой, находившейся у него въ рукѣ. Конецъ концовъ: нѣмка была вытолкана изъ дома, посажена на телѣгу, куда уже были снесены всѣ ея пожитки, рассчитана до послѣдней копѣйки и отправлена въ Одессу».

Вотъ еще выходка автора противъ литературы и критики, осмѣлившейся осудить оригинальные

поступки его героя: «И этого мало: поддѣлывать его ошибку разные бумагомаратели, пачкуны и кропатели, эти одиодворцы ума и таланта, эти бездарные поденщики мысли, слова и пера, чернорабочіе современныхъ изданій, панегиристы и кадилъщики однихъ авторитетовъ. И примутся они бросать печатной грязью въ честное и свѣтлое имя того, кто виновенъ только въ томъ, что сознался въ одномъ своемъ проступкѣ, тогда какъ у многихъ изъ его хулителей и судей нѣбеса на совѣсти десятки проступковъ, несравненно предосудительнѣйшихъ, но тщательно ими скрывааемыхъ. И попадетъ онъ, мученикъ своей добросовѣстности и правды, въ разные печатные листы и карикатуры, на одну доску съ опозоренными именами. И осудятъ его безъ суда и безъ апелляции, и убьютъ въ немъ и талантъ, и жажду добра и полезной дѣятельности!...»

Вотъ будущій апофеозъ героя, избивающаго барынь и нѣмокъ: «Проснется тогда нашъ Владиміръ отъ оцѣпенѣнія, т. е. отъ слѣдствій недоверія къ своимъ силамъ, неумолимой, беспощадной строгости къ своимъ произведеніямъ и тяжелаго, всеподавляющаго воспоминанія о своей колыбели, гдѣ его встрѣтила и повела на жизнь ненависть родной матери... И запоетъ онъ тогда пѣснь громкую, дивную, сладкозвучную, соловьиною, но быть можетъ свою пѣснь послѣднюю лебединую; пропоетъ и улетитъ туда, къ источнику свѣта и тепла, премудрости и любви, бросивъ съ грустнымъ сожалѣніемъ о бесплодности своего земного поприща, бросивъ свой умирающій взглядъ на своихъ бывшихъ судей и хулителей и сказавъ имъ:

«Прощайте, друзья и братія! Я былъ между вами—и вы меня не позвали. Оставайтесь-же вѣчными дѣтьми и слѣпцами, оставайтесь со своими позолоченными кумирами, увѣнчанными вами незаслуженными и поддѣльными лаврами. И никогда не перестанете вы поклоняться тѣмъ или другимъ кумирамъ; на вѣки останетесь слѣпцами и язычниками... А я полечу къ моему Отцу Небесному, и у подножія Его престола буду пѣть пѣсни сладкія, высокія, которыхъ вы не хотѣли слушать, потому что ихъ не понимали. *Не доросли до нихъ!*...»

А вотъ наконецъ образецъ реализма, до котораго, конечно, до Трехвѣздочкина не доходилъ никто: «Подлецъ ты, мой зятюшка, бывший купецъ Софронъ Антроповъ сынъ Тропейниковъ, а нынѣшній мусье Софронье Антропье Тропенье! Подлецъ ты естественный! Подлецъ ты съ головы до пятокъ! Подлецъ ты и съ рожей, и съ кожей, и съ руками, и съ ногами! Подлецъ ты изъ подлецовъ! Подлецъ ты быть, подлецъ ты есть, подлецъ будешь, подлецомъ издохнешь; и да будешь ты, анаема, проклятъ отнынѣ и во вѣки вѣковъ аминь! Вотъ тебѣ



мое родительское благословеніе!—И съ самымъ эвтимъ словомъ собралъ я, сватъ, полонъ ротъ слюны, нарочито для того откашлянувшись и харкнувъ я въ его богомерзкую харищу. Увертливъ, окаянный! Прежде, чѣмъ я успѣлъ въ рожищу-то ему харкнуть, повернулся ко мнѣ спиной; ну, и шлепнулось ему о спину мое родительское благословеніе. Такую большущую, знашь, яичницу налѣпилъ на его кургузку, что одного полотенца куда мало, чтобы стереть ее».

Ну, довольно и этого. Судите сами, господа читатели, хороша-ли книга Трехзвѣздочкина, который въ статьѣ, направленной противъ меня, съ пѣной у рта требуетъ, чтобы критика относилась мягко къ *начинающимъ дарованіямъ*. Мое убѣжденіе насчетъ «сатирической бывальщины» таково: первая часть плоха и скучна. Вторая часть составляетъ уже просто патологическое явленіе. Трехзвѣздочкину нужна не критика, а медицинская помощь.

## МЕТТЕРНИХЪ.

«Мои мемуары, — говоритъ князь Меттернихъ, — составили бы исторію моего времени; мнѣ не нужно писать ихъ, они уже написаны и лежать въ архивахъ». Въ этихъ словахъ, насквозь пропитанныхъ наивнѣйшимъ самообожаніемъ, много правды. Съ 1809 года Меттернихъ становится главой австрійской дипломатіи, и до 1848 года ни одно обще-европейское событіе не обходится безъ его участія. Впродолженіи сорока лѣтъ Меттернихъ завязываетъ и распутываетъ дипломатическіе вопросы, созываетъ конгрессы, обсуживаетъ важнѣйшіе интересы націй и правительствъ, умѣряетъ по-своему воодушевленіе народовъ, постоянно борется противъ требованій духа времени и, наконецъ, падаетъ отъ неудержимаго напора новыхъ идей и стремленій. Характеристика этой многосторонней дѣятельности можетъ подать поводъ къ плодотворнымъ размышленіямъ въ области новѣйшей исторіи и психологіи. Писать біографію Меттерниха значитъ обсуживать тѣ идеи, которыя онъ проводилъ въ своей дѣятельности, отдѣлять въ этихъ идеяхъ то, что принадлежитъ самому Меттерниху, отъ того, что приписано ему ошибочно, и, объясняя дѣйствія отдѣльной личности вліяніемъ времени и обстоятельствъ, произносить сужденіе надъ цѣлымъ типомъ политическихъ дѣятелей, надъ цѣлымъ направленіемъ, надъ цѣлой системой административныхъ учрежденій. Въ полномъ объемѣ разрѣшить такую огромную задачу въ предѣлахъ журнальной статьи—невозможно; поэтому необходимо изъ многолѣтней дѣятельности Меттерниха выбрать болѣе яркіе факты, замѣчательные моменты и, освѣтивъ ихъ какъ слѣдуетъ, показать читателямъ, что за человѣкъ былъ князь Климентъ Венцеславъ Лотарій Непомукъ Меттернихъ, и что такое его знаменитая система, передъ которой многіе благоговѣли, которую многіе осуждали и которой изобрѣтеніе не совсѣмъ основательно приписывали австрійскому государственному канцлеру.

### I.

Отецъ австрійскаго министра, графъ Францъ-Георгъ фонъ-Меттернихъ, принадлежалъ къ старинной нѣмецкой аристократіи: предки его владѣли обширными помѣстьями на Рейнѣ и отличались особенной приверженностью къ интересамъ католической церкви; имена многихъ Меттерниховъ встрѣчаются въ нѣмецкихъ лѣтописяхъ, и Лотаръ Меттернихъ въ началѣ XVII столѣтія является даже владѣтельнымъ курфирстомъ Трирскимъ. Впрочемъ, на этой высотѣ родъ Меттерниховъ не удержался, и графъ Францъ-Георгъ въ 1768 году является посланникомъ Трирскаго курфюрста при вѣнскомъ дворѣ, а въ 1774 году переходитъ въ австрійскую службу. Состояніе графа по числу помѣстьевъ было блестящее, но онъ жилъ такъ роскошно, что доходовъ не доставало; долги росли ежегодно, и сыну графа, князю Клименту Меттерниху, пришлось удовлетворять старыхъ кредиторовъ своего отца тогда, когда онъ самъ уже находился на высшей степени своего могущества. Разоряя такимъ образомъ своихъ малолѣтнихъ дѣтей, Францъ Меттернихъ умѣлъ хорошо поставить себя при вѣнскомъ дворѣ и, составивъ себѣ значительныя связи, далъ своему сыну возможность сразу выйти на блестящую дорогу, не тратя силъ на черную работу и не засиживаясь въ низшихъ инстанціяхъ. Воспитаніе молодого графа Климента было ввѣрено его матери, женщинѣ умной, серьезно смотрѣвшей на свои обязанности, но, конечно, какъ и слѣдовало ожидать, не свободной отъ кастическихъ предразсудковъ.

Климентъ Меттернихъ родился въ 1773 году, въ концѣ XVIII столѣтія, въ то время, когда выросло поколѣніе первой французской революціи. Идеи, опрокинувшія старый престолъ Бурбоновъ, прокрались въ аристократическій графскій домъ; первымъ наставникомъ Климента былъ эльзасскій уроженецъ Симонъ, горячо сочувствовавшій мнѣніямъ и поступкамъ позднѣй-



шихъ якобинцевъ. Онъ говорилъ ребенку о силѣ и значеніи этихъ мнѣній, носившихся въ воздухѣ эпохи, онъ предсказывалъ ихъ торжество, и ребенокъ запоминалъ эти рѣчи; онъ не сдѣлался революціонеромъ, потому что обстоятельства повели его въ другую сторону; но, отставая всѣми силами абсолютизмъ, Меттернихъ считалъ необходимымъ поддерживать его искусственными средствами. Это стремленіе къ поддержанію принципа, за который онъ боролся въ продолженіи 40 лѣтъ, эта постоянная тревожная боязнь революціи происходила въ Меттернихѣ именно оттого, что онъ былъ близко знакомъ съ идеями либераловъ и въ молодости самъ испыталъ на собѣ силу этихъ идей. Пятнадцати лѣтъ отъ роду молодой графъ отправился въ Страсбургъ слушать лекціи въ тамошнемъ университетѣ. Онъ вынесъ оттуда свободное отношеніе къ вопросамъ религіи, усвоилъ способность послѣдовательно мыслить и привыкъ внимательно вглядываться въ окружающіе предметы; онъ развилъ формальную сторону ума, не обогативши его значительнымъ запасомъ фактическихъ свѣдѣній. Онъ учился шути, не переставая быть диллетантомъ науки и обходя всѣ ея непривлекательныя и на первый взглядъ сухія стороны; оно и понятно: ему было 16 лѣтъ; онъ былъ уменъ и хорошъ собою; у него была возможность жить весело и роскошно; онъ пользовался жизнью и, когда приходила фантазія, обращался къ лекціямъ профессоровъ, какъ къ новому источнику пріятныхъ ощущеній; счастливыя способности давали ему средства воспользоваться всѣмъ, что онъ слышалъ мелькомъ, и легко пополнять тѣ пробѣлы, которые оставляли въ его умѣ эти отрывочныя занятія.— Товарищами его были молодые люди аристократическихъ семействъ и различныхъ національностей; со многими изъ нихъ ему пришлось встрѣтиться на дипломатическомъ поприщѣ; вмѣстѣ съ нимъ учились въ Страсбургѣ Разумовскій, Штакельбергъ, Толстой, Голицынъ, Аяштетень, Нарбоннъ и другіе. Между тѣмъ разыгралась французская революція, и заботливая маменька вызвала Климента изъ Страсбурга, гдѣ онъ успѣлъ пробыть около двухъ лѣтъ; протекція отца доставила молодому Меттерниху возможность, въ качествѣ церемоніймейстера, присутствовать при коронаціи императора Леопольда II; потомъ молодой человѣкъ еще четыре года слушалъ лекціи въ майнцкомъ университетѣ, потомъ отправился путешествовать, побывалъ въ Англіи и, наконецъ, 23 лѣтъ отъ роду, въ 1795 году, женился на княжнѣ Элеонорѣ Кауницъ, внучкѣ покойнаго министра Маріи-Терезіи. Легко и весело жилось счастливому юношѣ; его съ удовольствіемъ принимали въ высшемъ кругу; старый Кауницъ незадолго передъ своей смертію называлъ его «образцовымъ кавалеромъ»; его любили и ласкали вѣн-

скія красавицы; узы брака, заключеннаго по расчету, не стѣсняли его эротическихъ наклонностей; словомъ, свѣтскій блескъ и нѣга жизни наполняли всѣ минуты и владѣли, повидимому, всѣми помысленіями молодого графа. Между тѣмъ это время не пропадало даромъ; Меттернихъ всматривался въ людей и пріобрѣталъ то умѣніе держаться въ обществѣ и обращаться съ разнородными личностями, которое было причиной его позднѣйшихъ дипломатическихъ успѣховъ и главнымъ основаніемъ его карьеры и слѣдовательно исторической извѣстности.

У Меттерниха были всѣ условія, необходимыя въ то время для дипломата: знатное происхожденіе, значительное богатство, красивая наружность, непринужденное обращеніе, чего же больше? онъ могъ вполне успѣшно быть представителемъ своего кабинета при какомъ-нибудь иностранномъ дворѣ, и дѣйствительно въ 1801 году его назначили посланникомъ въ Дрезденъ. Важныхъ дѣлъ у него тамъ не было, тѣмъ болѣе, что политика саксонскаго правительства зависѣла тогда отъ Пруссіи, а въ Берлинѣ австрійскимъ посланникомъ былъ опытный дипломатъ Стадіонъ, указывавшій Меттерниху своимъ примѣромъ, какъ поступать въ томъ или въ другомъ случаѣ. Жизнь въ Дрезденѣ была такъ-же весела, какъ въ Вѣнѣ; изъ связей Меттерниха можно отмѣтить связи его съ княгиней В—нъ и герцогиней Саганъ, съ которой онъ поддерживалъ постоянныя сношенія до самаго вѣнскаго конгресса. Въ Дрезденѣ же онъ сблизился съ Фридрихомъ Генцомъ, который впослѣдствіи сдѣлался его помощникомъ и секретаремъ, безусловнымъ исполнителемъ его воли. Въ 1803 году Меттерниха перевели въ Берлинъ; дѣла сдѣлались серьезнѣе; Австрія въ это время нуждалась въ союзникахъ, и Стадіонъ былъ посланъ въ Петербургъ, а Меттерниху поручено было склонять къ войнѣ съ Наполеономъ прусское правительство, чтобы составить такимъ образомъ противъ французской имперіи тройственный союзъ между Австріей, Россіей и Пруссіей. Аустерлицкое сраженіе разстроило весь этотъ планъ, и Меттернихъ, собиравшій грозу противъ Наполеона, въ 1806 году самъ былъ отправленъ посланникомъ въ Парижъ. Положеніе его было очень затруднительно; ладить съ Наполеономъ было мудрено; послѣ побѣды при Аустерлицѣ Наполеонъ не зналъ границъ своему высокоумію, распекалъ представителей иностранныхъ державъ, безъ церемоніи бранилъ при посланникахъ ихъ государей и особенно гнѣвался на австрійскаго императора, котораго онъ громко называлъ «мятежнымъ вассаломъ». Меттерниху надо было поддерживать достоинство своего двора, не раздражая гордаго побѣдителя; тутъ-то въ Парижѣ и пригодилось ему его поверхностное образованіе и обращеніе: онъ умѣлъ льстить, не



возбуждая къ себѣ презрѣнія, и это замѣчательное искусство понадобилось ему въ полномъ своемъ объемѣ. Сверхъ того, Меттернихъ и въ Парижѣ пустилъ въ ходъ еще одно искусство: пользоваться любовными связями для политическихъ цѣлей. Онъ завязалъ интригу съ сестрой Наполеона, Каролиной Мюратъ, и черезъ нее узнавалъ намѣренія императора и вкрадывался до извѣстной степени въ его политическіе планы. Наполеонъ зналъ о существованіи этой интриги, думалъ даже, что она можетъ быть ему полезна, и, конечно, жестоко ошибался въ своихъ ожиданіяхъ; Меттернихъ не проговаривался, и кромѣ того Каролина дѣйствительно любила его и для него охотно жертвовала интересами своего брата. На какомъ-то придворномъ собраніи Наполеонъ громко сказалъ своей сестрѣ: «Amusez se niais là; nous en avons besoin à présent!» Первая часть этого приказанія исполнялась какъ нельзя лучше, но положительно извѣстно, что интересы французской имперіи оставались въ этомъ случаѣ въ сторонѣ, и французскіе дипломаты того времени находятъ даже, что было бы гораздо лучше, еслибы сестра императора вовсе не забавляла австрійскаго посланника. «Se niais» начиналъ быть нуженъ Наполеону потому, что въ это время, т. е. около 1808 года, война въ Испаніи приняла самые серьезные размѣры; отношенія Франціи къ Пруссіи и Россіи также были ненадежны; ссориться съ Австріей было, стало-быть, опасно, потому что война могла объять всю Европу, а между тѣмъ австрійское правительство усиливало свое войско; всѣ дипломатическія сношенія Наполеона и его министровъ съ австрійскимъ дворомъ не могли остановить этихъ зловѣщихъ приготовленій. 15-го августа 1808 года, въ день своего рожденія, Наполеонъ, накануне возвратившійся изъ Испаніи, принималъ посланниковъ всѣхъ европейскихъ державъ; онъ былъ раздраженъ неудачами своихъ армій на Пиренейскомъ полуостровѣ и рѣшился запугать Австрію угрозами и страшными взрывами своего диктаторскаго гнѣва. Въ самомъ началѣ аудіенціи онъ напалъ на неаполитанскую королеву, потомъ, отыскавъ Меттерниха, пошелъ прямо на него, взялъ его за грудь и спросилъ громовымъ голосомъ:

«— Чего хотите вашъ императоръ?»

Меттернихъ не тронулся съ мѣста, не перемѣнился въ лицѣ и отвѣчалъ спокойно и твердо:

— Онъ хочетъ, чтобы вы уважали его посланника».

Наполеонъ принялъ руку и остановился на минуту, но раздраженіе его было слишкомъ сильно, и онъ продолжалъ, громко и постепенно разгораясь, выговаривать австрійскому правительству неискренность его политики. Меттернихъ слушалъ спокойно, сохраняя почтительное выраженіе лица, не обнаруживая ни

волненія, ни робости. Слѣдствіемъ этой героически выдержанной аудіенціи было то, что молодой дипломатъ значительно повысился въ мнѣніи Наполеона; уже въ то время многіе при парижскомъ дворѣ замѣтили, что Меттернихъ отлично владѣетъ собой и во всякую данную минуту располагаетъ своими словами, тономъ голоса и мускулами лица. Маршалъ Ланнъ, первый герой наполеоновской арміи, бывший на *ты* съ императоромъ, громко расхохотался однажды послѣ ухода Меттерниха и Талейрана, имѣвшихъ при немъ довольно оживленный разговоръ съ Наполеономъ.

«— Хорошъ вкусъ у Каролины, — сказалъ открытый маршалъ; — каково смиреніе! Въ то время, какъ онъ (Меттернихъ) говорилъ съ тобой, я-бы могъ дать ему сзади пинка, и ты-бы навѣрное не замѣтилъ на его сладкихъ губахъ ни малѣйшаго движенія».

Доходило-ли *смиреніе* Меттерниха до такихъ баснословныхъ предѣловъ — не знаю; положительно извѣстно то, что онъ своей непроницаемостью выводилъ изъ терпѣнія пылкаго Наполеона; кончилось тѣмъ, что императоръ, видя, что отъ Меттерниха никогда нельзя добиться истины, махнулъ на него рукой и пересталъ разспрашивать его о намѣреніяхъ австрійскаго правительства. Роль Меттерниха была дѣйствительно тяжела и невыгодна; приходилось до послѣдней минуты, до окончательнаго разрыва хитрить съ Наполеономъ, зная, что никто этими хитростями не обманывается. Война 1809 года прекратила на время дипломатическую игру Меттерниха; но война эта, какъ извѣстно, продолжалась всего четыре мѣсяца, кончилась пораженіемъ австрійцевъ при Ваграмѣ и принудила Австрію исполнить всѣ требованія побѣдителя. Меттерниху поручено было вести переговоры, но никакое умѣніе владѣть собой, никакая діалектика, никакая дипломатическая изворотливость не могли доставить Австріи перевѣса. Сила была на сторонѣ побѣдителя, и ваграмское дѣло было слишкомъ энергическимъ аргументомъ для австрійскихъ уполномоченныхъ. Условія мира были тяжелы, и попытка Австріи отмстить за Аустерлицъ обрушилась на ея-же голову. Во всемъ этомъ дѣлѣ всѣхъ больше выигралъ Меттернихъ; дипломатическія дѣянія его были не блестящи; виѣшняя его представительность, какъ мы видѣли, не приносила Австріи существенной пользы; роль его въ Дрезденѣ была ничтожна, въ Берлинѣ — бесплодна, въ Парижѣ — положительно вредна; дѣло въ томъ, что Меттернихъ ошибался самъ насчетъ положенія Наполеона; въ своихъ донесеніяхъ и посольскихъ депешахъ онъ представлялъ его болѣе затруднительнымъ, чѣмъ оно было на самомъ дѣлѣ; этими донесеніями онъ поддерживалъ воинственные намѣренія своего правительства; война вышла неудачная; повидимому, часть отвѣтственности должна была



насть на заблуждавшася посланника; мало того, этотъ самый посланникъ, уполномоченный вести переговоры, не успѣлъ ничего выторговать у побѣдителя, стало-быть, и тутъ оказался если не виноватымъ, то, по крайней мѣрѣ, несчастливымъ.

Начало карьеры было очевидно не блестяще, а между тѣмъ дѣло повернулось такъ, что, тотчасъ по заключеніи мира съ Наполеономъ, Меттернихъ былъ сдѣланъ министромъ иностранныхъ дѣлъ на мѣсто графа Стадіона, стоявшаго въ головѣ военной партіи. Почему такъ случилось—сказать трудно. Одни думаютъ, что назначеніе Меттерниха было сдѣлано въ угоду Наполеону, который, несмотря на парижскія размолвки съ бывшимъ посланникомъ, видѣлъ въ немъ больше сочувствія къ себѣ, чѣмъ въ Стадіонѣ; другіе объясняютъ это дѣло гораздо проще—придворными интригами враговъ Стадіона и доброжелателей Меттерниха.

Съ минуты своего назначенія въ министры иностранныхъ дѣлъ графъ Климентъ Меттернихъ весь принадлежитъ исторіи до самой эпохи своего паденія въ 1848 году; его частная нравственность, его личныя добродѣтели и недостатки отходятъ на задній планъ; онъ становится важенъ, какъ дѣятель, какъ проводникъ принципа, какъ поборникъ извѣстнаго направленія.

## II.

Принимая портфель министра, Меттернихъ опирался на партію, противоположную чисто-нѣмецкой, патриотической партіи, желавшей войны съ Наполеономъ и находившейся подъ предводительствомъ Стадіона. — Первыя дѣйствія Меттерниха показали, что онъ находитъ безразсудной и невозможной дальнѣйшую борьбу съ французской имперіей; въ покорности передъ Наполеономъ и въ союзѣ съ нимъ онъ видѣлъ единственный путь къ спасенію. Какія слѣдствія будетъ имѣть этотъ союзъ—этого нельзя было предвидѣть, да Меттернихъ и не смотрѣлъ вдаль; потребность настоящей минуты обращала на себя все его вниманіе, и онъ шелъ по извѣстному пути, если такъ было выгодно, а потомъ сворачивалъ въ другую сторону, если того требовали обстоятельства. Теперь сила была на сторонѣ Наполеона, ссориться съ нимъ было неудобно, стало-быть, надо было съ нимъ сблизиться, вопреки всѣмъ преданіямъ австрійской политики, вопреки всѣмъ недавнимъ оскорбленіямъ, и даже несмотря на то, что всякій союзъ съ Наполеономъ непремѣнно долженъ былъ принять видъ вассальныхъ отношеній. Средствомъ къ сближенію было, между прочимъ, бракосочетаніе Наполеона съ дочерью императора Франца, эрцгерцогиней Маріей - Луизой. Переговоры объ этомъ бракѣ были завязаны по идеѣ Меттерниха, и самъ Меттернихъ, весной 1810 года,

проводилъ въ Парижъ молодую французскую императрицу. Союзъ съ Франціей состоялся, однако, гораздо позднѣе, передъ самымъ началомъ похода 1812 года; Меттернихъ умѣлъ затянуть переговоры, такъ что Наполеону, торопившемуся разгромить Россію, пришлось купить союзъ съ Австріей цѣной такихъ уступокъ, о которыхъ онъ не думалъ прежде. Какъ только обозначились недружелюбныя отношенія между Россіей и Франціей, такъ Меттернихъ принялъ на себя роль хладнокровнаго зрителя, присутствующаго при горячемъ спорѣ двухъ противниковъ, не сочувствующаго ни тому, ни другому и готоваго склониться на ту или другую сторону, смотря по тому, кто больше дастъ и кто сильнѣе. Такіе люди всегда должны выиграть въ большихъ и въ малыхъ дѣлахъ; они ничѣмъ не рискуютъ; внимательно слѣдя за ходомъ борьбы, они стараются только уловить ту минуту, въ которую одна изъ борющихся сторонъ начинаетъ одолевать, но еще не увѣрена въ своемъ торжествѣ; тогда они присоединяются къ этой торжествующей партіи, ускоряютъ пораженіе противоположной стороны и дѣлать добычу, не принимавши участія въ серьезныхъ опасностяхъ борьбы. Это называется по-русски: «въ мутной водѣ рыбу ловить», и эта формула дѣйствительно подходитъ какъ нельзя лучше къ той политикѣ Меттерниха, за которую его произвели чуть не въ геніи. Наполеонъ идетъ на Россію; Австрія присоединяетъ къ его арміи вспомогательный корпусъ; начинаются неудачи Наполеона, и австрійскій корпусъ, слѣдуя приказаніямъ своего правительства, начинаетъ дѣйствовать вяло и медленно; наконецъ, Наполеонъ бѣжитъ изъ Россіи, и австрійскій генераль Шварценбергъ, вмѣсто того, чтобы прикрыть его отступленіе, выводитъ свои войска изъ Польши и безъ сопротивленія отдаетъ ее русской арміи. Благодаря этимъ маневрамъ, Австрія къ концу кампаніи 1812 года поставила себя въ совершенно нейтральное положеніе и дала понять воюющимъ сторонамъ, что она, смотря по обстоятельствамъ, можетъ повернуть свои пушки противъ французовъ или противъ русскихъ. Въ сношеніяхъ своихъ съ французскими дипломатами Меттернихъ далъ замѣтить, что война слишкомъ тяжела для Австріи, что Австрія желаетъ мира, и что австрійскому правительству было бы пріятно знать требованія Наполеона, чтобы, сообразуясь съ ними, начать за себя и за Францію переговоры съ Россіей и Пруссіей. Между тѣмъ, не дожидаясь положительныхъ отвѣтовъ Наполеона, Меттернихъ послалъ Вессенберга въ Лондонъ, а Лебцелтерна въ русскую главную квартиру, чтобы на всякій случай завязать сношенія съ врагами Франціи.

Союзъ съ Наполеономъ оказался фактически разрушеннымъ, хотя на словахъ Меттернихъ и продолжалъ увѣрять его въ неизмѣнной дружбѣ



своего правительства.—Роль посредника между воюющими сторонами постепенно смѣнила собою роль союзника; Наполеонъ давно пересталъ вѣрить искренности Австріи, но онъ былъ поставленъ въ такое положеніе, что не могъ круто повернуть дѣло и поневолѣ долженъ былъ мириться съ двуличной политикой Меттерниха, чтобы не превратить ее въ открытую вражду. А между тѣмъ дошло дѣло и до вражды. Являясь примирительницей воюющихъ сторонъ, навязывая Наполеону свое непрошенное посредничество, Австрія стала склоняться на сторону Пруссіи и Россіи и поставила Наполеону такія условія мира, на которыя онъ не могъ согласиться; тогда Наполеонъ попробовалъ заключить отдѣльный миръ съ Россіей; еслибы эта попытка была удачна, то Австрія, конечно, потеряла бы всѣ выгоды своего положенія и испытала бы еще разъ слѣдствія наполеоновскаго гнѣва. Меттернихъ предвидѣлъ это и понималъ, что подобнаго соглашенія между Россіей и Франціей допускать ни подъ какимъ видомъ не слѣдуетъ; онъ обѣщалъ союзникамъ, что Австрія объявитъ войну Наполеону, если онъ не согласится на предлагаемыя условія и не заключитъ общаго мира. Между воюющими сторонами было заключено перемиріе на шесть недѣль; Меттернихъ поѣхалъ къ союзникамъ въ главную квартиру, потомъ къ Наполеону въ Дрезденъ; заявилъ первымъ готовность Австріи поднять оружіе противъ французовъ и принудилъ второго принять посредничество Австріи и открыть въ Прагѣ конгрессъ, на которомъ должны были опредѣлиться условія мира. Конгрессъ состоялся, но не привелъ къ заключенію мира. Наполеонъ постоянно дѣлалъ уступки слишкомъ поздно и началъ соглашаться тогда, когда конгрессъ былъ уже закрытъ и перемиріе прекращено. Въ полночь 10-го августа 1813 года переговоры были прерваны, и на другой день Австрія приступила къ коалиціи противъ Наполеона. Въ полгода произошелъ такимъ образомъ, безъ шума и скандала, совершенный поворотъ въ положеніи Австріи и въ ея политикѣ; отъ союза съ Наполеономъ она перешла къ открытой враждѣ; неудачи Наполеона не повредили Австріи; союзники слишкомъ дорожили ея содѣйствіемъ, чтобы ставить ей въ вину то обстоятельство, что она такъ недавно стояла на сторонѣ общаго врага; они мирились даже съ тѣмъ, что австрійское правительство, не желая окончательной гибели Наполеона, во многихъ случаяхъ умышленно ослабляло энергію военныхъ дѣйствій.

Вліяніе австрійской политики на дѣйствія союзниковъ выразилось прежде всего въ томъ, что война измѣнила свой колоритъ; интересы народовъ, выдвинутые впередъ въ прокламаціи короля прусскаго, отошли на задній планъ; Францъ I и Меттернихъ вовсе не хотѣли быть

вождями народа, стремящагося къ самоосвобожденію; первый заботился о территоріальномъ приращеніи и о личномъ вліяніи на дѣла Европы; второй хотѣлъ быть первымъ министромъ своего государя, исполнителемъ его воли, ревностнымъ защитникомъ интересовъ своего правительства. Народъ, по мнѣнію того и другого, долженъ былъ играть роль послушнаго орудія. Патріотическое воодушевленіе было, по ихъ мнѣнію, ненужно и могло при случаѣ сдѣлаться вреднымъ и опаснымъ. Превратить войну противъ Наполеона въ дѣло народа—значило дать этому народу возможность почувствовать свою силу, значило внушить ему ошибочную идею о томъ, что инициатива принадлежитъ ему, и что правительство нуждается въ его сочувствіи. Эта ошибочная идея могла повести къ цѣлому ряду заблужденій, и отъ этихъ-то заблужденій Францъ I и Меттернихъ старались предохранить Австрію.

Вмѣстѣ съ стремленіемъ къ освобожденію въ Германіи проснулась идея о національномъ единствѣ. Эта идея также была не по вкусу австрійскаго правительства. Составленная изъ самыхъ разнородныхъ элементовъ, нѣмецкихъ, славянскихъ, мадьярскихъ, Австрія не могла почувствовать никакимъ національнымъ стремленіемъ, потому что во всякомъ случаѣ эти стремленія должны были разорвать ее на составныя части и прекратить ея существованіе. Еслибы идея германскаго единства осуществилась, то въ положеніи Австріи произошло бы во всякомъ случаѣ значительное измѣненіе. Императору Францу пришлось-бы отказаться или отъ нѣмецкихъ, или отъ славянскихъ и мадьярскихъ владѣній; ему было-бы необходимо или сдѣлаться императоромъ германскимъ, или, отказавшись отъ германской имперіи, остаться владѣтелемъ восточныхъ своихъ земель и уступить нѣмецкому правительству своихъ нѣмцевъ. Сдѣлаться германскимъ императоромъ было, конечно, лестно; но кто-же могъ сказать навѣрное, что освободившаяся Германія пожелаетъ имѣть императоромъ именно Франца, а не кого-нибудь другого, напримѣръ, не короля прусскаго? Еслибы случилось такъ, то австрійскій императоръ оказался-бы въ чистомъ убыткѣ; ему пришлось-бы пожертвовать значительной частью своихъ владѣній и кромѣ того допустить образованіе новаго, сильнаго и притомъ сопредѣльнаго государства. Ни Францъ I, ни Меттернихъ не могли слѣдовательно сочувствовать идеѣ соединенія Германіи; ни тотъ, ни другой не любили рискованныхъ мѣръ и значительныхъ переворотовъ; оба рѣшились по возможности поддержать существующее положеніе дѣлъ, образовать германскій союзъ и, пользуясь обстоятельствами, примешивать къ наслѣдственнымъ австрійскимъ владѣніямъ тѣ клочки земли, которые можно будетъ выторговать на конгрессахъ.



Первымъ дѣйствиємъ этой политики была тайная статья тейлицкаго договора между союзниками, въ которой говорилось, что рейнский союзъ, основанный Наполеономъ, будетъ разрушенъ и что отдѣльными германскимъ государямъ, которыхъ владѣнія входили въ его составъ, будетъ предоставлена полная и безусловная независимость. Далѣе, привлекая Баварію къ коалиціи противъ Наполеона, Меттернихъ тайной статьей договора обѣщалъ королю баварскому полную самостоятельность; точно такъ-же поступилъ онъ въ отношеніи къ другимъ членамъ рейнскаго союза, такъ что его идеи нашли себѣ полное сочувствіе во всѣхъ второстепенныхъ государяхъ Германіи; приверженцамъ германскаго единства пришлось поневолѣ покориться, потому что въ противномъ случаѣ они могли возбудить въ союзномъ лагерѣ раздоры, которыми воспользовался-бы Наполеонъ. Безъ шума, совѣщаясь съ каждымъ правительствомъ отдѣльно, Меттернихъ на вербовалъ такъ много приверженцевъ своихъ идей, что германское единство оказалось невозможнымъ, и что его невозможность начали сознавать еще въ то время, когда война съ Наполеономъ была въ полномъ разгарѣ.

Въ отношеніи къ Наполеону Меттернихъ держалъ себя болѣе чѣмъ умѣренно; личное сочувствіе къ императору французовъ и отвращеніе къ крутымъ переворотамъ не позволяли ему желать низверженія Наполеона; ему казалось совершенно достаточнымъ отбѣснить Францію въ ея естественныя границы, т. е. за Рейнъ; уже въ Франкфуртѣ-на-Майнѣ, послѣ рѣшительнаго пораженія Наполеона при Лейпцигѣ, Меттернихъ заговорилъ о мирѣ, и если миръ не состоялся, то въ этомъ виноваты только безразумное упорство Наполеона, который, разгорячившись, какъ азартный игрокъ, ставилъ на послѣднюю карту судьбу своей династіи и не умѣлъ забавовать во-время. Крестовый походъ освободившихся національностей на Паризъ возбуждалъ въ Меттернихѣ самое неурязанное чувство; онъ видѣлъ въ этомъ походѣ неминуемое усиленіе Россіи, которой онъ начиналъ бояться чуть-ли не сильнѣе, чѣмъ Наполеона; кромѣ того ему было совершенно непонятно яростное воодушевленіе пруссаковъ, и онъ нисколько не хотѣлъ придавать войнѣ противъ Наполеона того героическаго, священнаго и популярнаго характера, который сообщали ей прокламаціи Александра и Фридриха-Вильгельма. Сносась постоянно съ княземъ Шварценбергомъ, главнокомандующимъ союзныхъ армій, переписываясь съ дипломатами Наполеона, Меттернихъ старался по возможности затянуть военныя дѣйствія, отсрочить рѣшительный ударъ, чтобы дать Наполеону время одуматься и согласиться на благоразумныя условія мира. Благодаря его маневрамъ, корпусъ Баухера былъ почти уничтоженъ; по его стараніямъ открылся въ началѣ

1814 года конгрессъ въ Шатиллонѣ, который, какъ извѣстно, не имѣлъ никакихъ рѣшительныхъ послѣдствій. Наполеонъ хитрилъ съ союзниками, торговался, чтобы выиграть время, старался разсорить Австрію съ Пруссіей и Россіей и между тѣмъ собиралъ послѣднія усилія, чтобы продолжать войну; союзникамъ надобно было эти продѣлки; партія войны восторжествовала окончательно; Меттернихъ принужденъ былъ замолчать, и военныя дѣйствія кончились только взятіемъ Париза и отреченіемъ Наполеона.

Политика Меттерниха или, вѣрнѣе, его личный характеръ, какъ мы видѣли, обозначился въ его отношеніяхъ къ Наполеону.—Не имать противъ теченія, не прать противъ рока, ожидать удобную минуту, не давать хода чувствамъ и страстямъ націй, смотрѣть на политическія событія глазами придворнаго, жить со дня на день и принимать тѣ мѣры, которыхъ требуетъ данная минута, хотя-бы въ слѣдующую минуту пришлось прямо противорѣчить себѣ, не управлять обстоятельствами, а подчиняться имъ—вотъ формула той политики, которая въ продолженіи сорока лѣтъ господствовала на материкѣ Европы, и которой оракуломъ былъ князь Меттернихъ \*). Эта политика была естественнымъ слѣдствіемъ личнаго характера австрійскаго министра. Мягкій и гибкій по природѣ, воспитанный въ идеяхъ политическаго скептицизма, пріученный съ молодыхъ лѣтъ къ ароматической атмосферѣ блестящихъ дворцовъ и аристократическихъ салоновъ, Меттернихъ не могъ выработать себѣ общихъ началъ, крѣпкихъ убѣжденій и горячихъ политическихъ вѣрогованій. Какъ исполнительный чиновникъ, онъ съ полнымъ усердіемъ повиновался императору, сообщая ему сверху, и, какъ чиновникъ, онъ не понималъ тѣхъ живыхъ силъ и живыхъ личностей, на которыя падали его распоряженія. Я приступаю теперь къ описанію роли Меттерниха на вѣнскомъ конгрессѣ, послѣ котораго начинается уже общеевропейское значеніе его личности и политики.

### III.

Вѣнскому конгрессу нужно было, во-первыхъ, разобрать и привести въ ясность границы европейскихъ государствъ, перенутанные войнами и самовластіемъ Наполеона; во-вторыхъ, необходимо было обновить бытовыя формы, опрокинутыя движеніемъ французской революціи. Меттернихъ считалъ первое дѣло гораздо болѣе важнымъ и интереснымъ; онъ говорилъ, что вопросъ о внутреннемъ устройствѣ Германіи разрѣшится самъ собою, какъ только будутъ при-

\*) Высшее достоинство было дано Меттерниху послѣ сраженія при Лейпцигѣ.



ведены къ концу «важныя совѣщанія о внѣшнихъ дѣлахъ и территоріальныхъ отношеніяхъ».

Въ этомъ равнодушіи, въ этой легкости возрѣній видно, какъ нельзя яснѣе, недостаточное знакомство съ дѣломъ. Меттернихъ еще не приходилъ въ соприкосновеніе съ законодательными и административными вопросами, не понималъ и не хотѣлъ понимать требованій народной жизни и потому относился къ этимъ интересамъ съ небрежностью. Главное дѣло, по его мнѣнію, подѣлить на вѣнскомъ конгрессѣ 32.000,000 душъ, жившихъ въ тѣхъ земляхъ, которыя были вырваны у Наполеона и его союзниковъ; подѣлить ихъ надо было такъ, чтобы Австрія досталось какъ можно больше, а другимъ великимъ державамъ, которыхъ усиленіе могло быть опаснымъ для Австріи, какъ можно меньше. Всего непріятнѣе было для Меттерниха территоріальное увеличеніе Россіи и Пруссіи, и потому всѣ его усилія на конгрессѣ были направлены на то, чтобы не дать первой Польши, а второй—Саксоніи. Чтобы растронуть намѣренія этихъ двухъ державъ, онъ пустилъ въ ходъ самыя разнообразныя средства, не отличающіяся ни строгимъ нравственнымъ достоинствомъ, ни даже приличіемъ внѣшней формы. Желая поссорить русское правительство съ прусскимъ, онъ написалъ прусскому министру Гарденбергу ноту, въ которой приглашалъ его заодно съ Австріей сопротивляться притязаніямъ Россіи и за это обѣщалъ со стороны Австріи полную поддержку всѣмъ требованіямъ Пруссіи. Гарденбергъ, человекъ слабый и впечатлительный, отвѣчалъ на эту ноту и въ своемъ отвѣтѣ выразился очень недоброжелательно насчетъ притязаній русскаго кабинета. Меттернихъ вздумалъ эту бумагу употребить, какъ орудіе, противъ Гарденберга; онъ пошелъ къ императору Александру и показалъ ему, какъ о немъ отзывается его союзникъ. Продѣлка эта, однако, не удалась. Императору Александру она показала въ высшей степени грязной, и онъ объявилъ Францу I, что не хочетъ имѣть дѣла съ министромъ, подобнымъ Меттерниху. Когда Меттерниху не удалось поссорить Пруссію съ Россіей интригами, онъ рѣшился противодѣйствовать ихъ требованіямъ другими окольными путями. При содѣйствіи знаменитаго Талейрана, готоваго участвовать во всякой интригѣ изъ любви къ искусству, былъ заключенъ тайный союзъ между Австріей, Англіей и Франціей противъ Пруссіи и Россіи; до войны не дошло дѣло только потому, что обѣ спорящія стороны были утомлены и послѣ продолжительныхъ переговоровъ начали мириться на взаимныхъ уступкахъ.

Конгрессъ тянулся уже болѣе четырехъ мѣсяцевъ, какъ вдругъ пришло извѣстіе, что Наполеонъ скрылся съ острова Эльбы; велѣдъ затѣмъ узнали о его высадкѣ на берега Фран-

ціи и о бѣгствѣ Людовика XVIII изъ Парижа; тутъ уже, передъ общей опасностью, некогда было разбирать частные вопросы и помнить мелкія непріятности, испытанныя на конгрессѣ. Александръ помирился съ Меттернихомъ, несмотря на то, что Наполеонъ прислалъ ему подлинный актъ тайнаго союза, найденный имъ въ Тюльерійскомъ дворцѣ на столѣ Людовика XVIII. Работы вѣнскаго конгресса, тянувшіяся медленно и безплодно, пошли живѣе; вопросъ объ устройствѣ Германіи былъ выдвинутъ впередъ, и Меттернихъ сталъ употреблять всѣ усилія, чтобы сдѣлать это устройство по возможности сложнымъ и неповоротливымъ, а связь между отдѣльными частями—по возможности слабой и неопредѣленной. Онъ остался вѣренъ роли австрійскаго министра и считалъ самое слово «Германія» простымъ географическимъ терминомъ. Предложенный имъ проектъ дѣлить всю Германію на семь округовъ; по два округа приходится на Австрію и на Пруссію и по одному на Баварію, Ганноверъ и Виртембергъ. Австрійскій императоръ и короли прусскій, баварскій, ганноверскій и виртембергскій должны составить совѣтъ, въ которомъ первымъ двумъ членамъ, какъ представителямъ двухъ округовъ, принадлежитъ по два голоса, а остальнымъ тремъ членамъ—по одному; этотъ совѣтъ долженъ завѣдывать иностранными дѣлами и рѣшать вопросы о войнѣ и мирѣ. Рядомъ съ этимъ совѣтомъ долженъ существовать другой совѣтъ съ законодательной властью, составленный изъ мелкихъ владѣтелей, изъ представителей вольныхъ городовъ и изъ членовъ перваго собранія. При такомъ устройствѣ Германіи, Австрія и Пруссія, рѣшившись дѣйствовать согласно, могли-бы вести за собой весь союзъ и распоряжаться войсками мелкихъ владѣтелей, какъ своими собственными. Изъ семи голосовъ четыре принадлежали Австріи и Пруссіи, стало-быть, большинство было всегда на сторонѣ ихъ мнѣнія; мелкіе владѣтели испугались за свою самостоятельность, и проектъ Меттерниха встрѣтилъ себѣ непреодолимую оппозицію. Дѣло осталось нерѣшеннымъ. Когда за него снова принялись въ 1815 г., въ концѣ мая, его окончили въ одиннадцатъ посѣднихъ засѣданій, и Германія получила свою теперешнюю фیزیономію. Усилія Меттерниха увѣнчались успѣхомъ; у Германіи отнято единство, отнята возможность энергическаго, дружнаго дѣйствія; ея политическое значеніе ничтожно, потому что раздробленность ея доходитъ до крайнихъ предѣловъ; она представляетъ собой не федеративное государство, а союзъ изъ отдѣльных, замкнутыхъ въ самихъ себѣ государствъ, безъ общаго правительства, безъ инициативы.

Всѣ благомыслящіе нѣмцы стремятся, какъ извѣстно, къ тому, чтобы отдѣлаться отъ по-



дарка Меттерниха, но, какъ кажется, слишкомъ сорокалѣтняя давность имѣть свое значеніе, и энергія націи надломлена тѣмъ неестественнымъ положеніемъ, въ которое ее поставили дипломаты вѣнскаго конгресса. Зато самому Меттерниху вѣнскій конгрессъ принесъ чрезвычайно много пользы. Благодаря посредственности прочихъ дѣятелей знаменитаго конгресса, австрійскій министръ сталъ во главѣ европейской дипломатіи, и при томъ въ такую рѣшительную минуту, которая навсегда должна была остаться въ памяти современниковъ и потомства. Передъ мудростью князя Меттерниха стали благоговѣть даже многіе изъ тѣхъ людей, которые не могли уважать его, какъ человѣка; на него посыпались знаки отличія, титулы, денежныя награжденія, пенсіоны и подарки землями и помѣстьями. Семейныя дѣла Меттерниховъ значительно поправились, и огромные долги отца и сына стали погашаться. Князю Меттерниху досталась доля изъ той контрибуціи, которую Австрія взыскала съ Франціи; неаполитанскій король, возстановленный послѣ изгнанія Мюрата, при содѣйствіи Меттерниха, пожаловалъ ему титулъ герцога Портелла, съ которымъ былъ связанъ ежегодный доходъ въ 60,000 фряковъ; союзники подарили Меттерниху землю бывшаго бенедиктинскаго монастыря Іоганнисберга въ рейнскомъ округѣ; императоръ Александръ, возвращаясь въ Россію, просилъ Меттерниха поддерживать съ нимъ дружескую, неполитическую переписку и опредѣлилъ ему на издержки 50,000 червонцевъ ежегоднаго пенсіона.

Всѣ эти факты должны были служить для австрійскаго министра неопровержимыми доказательствами несомнѣннаго превосходства его личныхъ дарованій и политическихъ убѣжденій. Тонъ его послѣ вѣнскаго конгресса значительно измѣняется; онъ становится опекуномъ континентальной Европы, блюстителемъ народной нравственности и менторомъ владѣтельныхъ особъ. Онъ начинаетъ говорить всѣмъ и каждому о своей системѣ, онъ угадываетъ будущее и своей предусмотрительностью предотвращаетъ такія бѣдствія, которыхъ никто кромѣ него не видитъ. Словомъ, овладѣвши довѣренностью императора Франца І, ловкій придворный чиновникъ дѣлается всемогущимъ министромъ, законодателемъ и администраторомъ Австріи; какъ это часто случается съ людьми, внезапно или по крайней мѣрѣ очень быстро дошедшими до «степеней извѣстныхъ», онъ начинаетъ приписывать своимъ собственнымъ заслугамъ то, что относится къ случайностямъ; вслѣдствіе этого является слѣпая вѣра въ самого себя, безпричинная самонадѣянность и непреодолимое стремленіе рисоваться передъ собою и передъ другими. Это случилось даже съ гениальнымъ человѣкомъ, съ Наполеономъ І,

то-же самое въ меньшихъ размѣрахъ случилось и съ ловкимъ придворнымъ чиновникомъ Меттернихомъ. Не имѣя никакого понятія о социальной наукѣ, не зная характера тѣхъ народовъ, съ которыми ему приходилось имѣть дѣло, не справляясь даже съ статистическими данными, не имѣя даже общаго гуманно-философскаго развитія, князь Меттернихъ вообразилъ себя государственнымъ человѣкомъ, и, что всего удивительнѣе, Европа повѣрила ему на-слово, продолжала вѣрить втеченіи сорока лѣтъ и подъ рубрикой государственнаго человѣка зачислила его имя въ свои историческіе архивы. Съ высоты своего чиновническаго величія *soldisant* государственный человѣкъ сталъ предписывать законы человѣческой природѣ и человѣческому разуму. «Германія,—говоритъ онъ,—географическій терминъ; Италія—географическій терминъ; требованія народовъ—якобинскія бредни».

Согласитесь, любезный читатель, что при помощи шести-семи готовыхъ названій, подобныхъ вышеприведеннымъ, не трудно будетъ управлять половиной вселенной и распутывать или, вѣрнѣе, разрубать самые сложные вопросы общественной и экономической жизни. Для этого нужно только имѣть въ рукахъ мечъ Александра Македонскаго, и тогда васъ не остановитъ никакой Гордіевъ узелъ. Впрочемъ, нужно еще одно драгоценное свойство: способность рубить направо и налево, зажимывая глаза и не обращая вниманія на стоны и крики. Этой способностью обладалъ до извѣстной степени австрійскій министръ; не-то, чтобы онъ былъ особенно жестокъ, этого объ немъ нельзя сказать; онъ былъ только мало чувствителенъ и потому былъ въ состояніи подписать безъ особеннаго волненія какой-нибудь суровый приговоръ или разорить цѣлую область налогами, или убить лучшія проявленія человѣческой мысли, хотя въ то-же время онъ ненавидѣлъ всякое кровопролитіе, всякое грубое насиліе и даже всякую рѣзкую мѣру. Въ немъ не было любви къ человѣку и не было уваженія къ человѣческому достоинству; поэтому всѣ его распоряженія клонятся къ тому, чтобы безопасно эксплуатировать живыя силы народа, не становясь къ этому народу ни въ какія душевныя отношенія и нисколько не сочувствуя его развитію.

#### IV.

Какъ ни ссорились, какъ ни интриговали дипломаты вѣнскаго конгресса, а наконецъ генеральное размежеваніе Европы совершилось полюбовно; за Австріей была упрочена значительная часть сѣверной Италіи, именно все Ломбардо-Венеціанское королевство; кромѣ того австрійскій императорскій домъ находился въ родственныхъ связяхъ съ владѣтелями Тосканы, Модены и Пармы и вслѣдствіе этого могъ имѣть



сильное вліяніе на виѣшнюю и внутреннюю политику этихъ второстепенныхъ государствъ. Такимъ образомъ, можно было сказать заранее, что Австрія будетъ добиваться и дѣйствительно добьется преобладанія въ Италіи. Какъ только Бурбонская династія была восстановлена въ Неаполѣ, Меттернихъ заключилъ съ неаполитанскимъ королемъ тайный союзный договоръ и обязалъ его не давать Неаполю такихъ законовъ, которые въ какомъ бы то ни было отношеніи будутъ отличаться отъ австрійскихъ законовъ, господствующихъ въ Ломбардо-Венеціанскомъ королевствѣ. Въ то-же время былъ заключенъ наступательный и оборонительный союзъ съ великимъ герцогомъ тосканскимъ, съ цѣлью обоюдной защиты, для поддержанія въ Италіи спокойствія и порядка; точно такъ-же поступилъ Меттернихъ въ отношеніи къ Моденѣ. Но Піемонтъ на подобный союзъ не согласился; папа также пожелалъ сохранить свою самостоятельность; планъ Меттерниха, старавшагося отгородить австрійскія владѣнія въ Италіи отъ всякаго доступа зловредныхъ якобинскихъ идей, разстроился, потому что ближайшій сосѣдь Ломбардіи, сардинскій король, не захотѣлъ подчиниться австрійскому уставу. Еслибы вся Италія управлялась по одной нормѣ, тогда жителямъ Ломбардіи не представлялось бы искушенія; на это разсчитывалъ Меттернихъ; когда этотъ разсчетъ лопнулъ, тогда онъ счелъ нужнымъ отрѣзать австрійскихъ подданныхъ отъ остальной Италіи и заставить ихъ забыть, что они—итальянцы. Меттернихъ самъ сказалъ маркизу Ст.-Марцано: «Императоръ, желая подавить духъ итальянскаго единства, не принялъ и не приметъ титула итальянскаго короля; поэтому онъ распустилъ итальянское войско и уничтожилъ всѣ тѣ учрежденія, которыя могутъ подготовить образованіе большого національнаго королевства. Онъ хочетъ убить духъ итальянскаго якобинства и обезпечить такимъ образомъ спокойствіе Италіи».

Соблюдая такую дипломатическую осторожность въ совѣщаніяхъ съ итальянскими патріотами, обращаясь такъ бережно на словахъ съ ихъ національнымъ чувствомъ, Меттернихъ такъ-же деликатно обращался на дѣлѣ съ лучшими вѣрованіями и стремленіями австрійскихъ итальянцевъ; онъ ввелъ ненавистную для нихъ конскрипцію, навязалъ имъ непривычные для нихъ австрійскіе законы, австрійское судопроизводство, австрійскую методу воспитанія. Въ короткое время эти мудрыя и своевременныя распоряженія сдѣлали то, что итальянцы, поступившіе подъ управленіе Австріи безъ особеннаго отвращенія, возненавидѣли ея господство тѣмъ пламенною ненавистью, которая свойственна южнымъ народамъ романскаго племени. Интригамъ и насилію правительства удалось стать противопоставлять заговоры, тай-

ныя общества и возмущенія; правительство еще туже стало стягивать оковы; Меттернихъ оцуталъ всю страну сѣтью полицейскихъ сыщиковъ и шпионовъ; глухое раздраженіе итальянцевъ сдѣлалось еще болѣе серьезнымъ и замкнутымъ. Правительство и народъ не довѣряли другъ другу, боялись другъ друга, и это взаимное недоувѣріе, вызывая съ одной стороны новыя полицейскія мѣры, съ другой — новыя попытки къ возстанію, должно было увеличиваться съ каждымъ годомъ.

Рѣшившись идти по этому направленію, Меттернихъ уже не могъ ни остановиться, ни повернуть назадъ. Сдѣлать то или другое — значило поставить на карту Ломбардо-Венеціанское королевство, а рисковать имъ не желали ни Францъ I, ни его исполнительный чиновникъ Меттернихъ. Стремленія Меттерниха происходили въ этомъ случаѣ исключительно отъ его незнанія; онъ думалъ, что можно перевоспитать народъ въ два-три года, что можно приучить его къ какимъ угодно учрежденіямъ, что стоитъ только подписать тотъ или другой законъ, и что онъ сейчасъ-же получитъ полную силу и произведетъ желанное дѣйствіе. Въ дипломатическихъ сношеніяхъ оно пожалуй что и такъ; если трактатъ подписанъ, значитъ, представитель государства согласенъ, — и дѣло съ концомъ; остается только привести въ исполненіе, отмежевать уступленную землю, взыскать условленную контрибуцію, срыть означенное укрѣпленіе, и т. п. Привыкши къ такого рода дѣятельности, Меттернихъ вздумалъ съ живыми народными интересами обращаться такъ-же безцеремонно, какъ онъ обращался съ интересами различныхъ правительствъ. Такая безцеремонность сначала озадачила націю, а потомъ привела ее въ негодованіе. Распоряженія Меттерниха привели къ результату, диаметрально противоположному той цѣли, которую онъ себѣ поставилъ. Онъ хотѣлъ германизировать Италію и вмѣсто того итализировалъ ее, потому что чужеземный гнетъ пробудилъ въ народѣ чувство національной гордости и стремленіе къ политической самостоятельности. Онъ боялся революцій и всѣми силами старался отклонить или, по крайней мѣрѣ, отсрочить ее, и въ то-же время своими распоряженіями заготовилъ горячаго матеріала на цѣлые десятки революцій и вулканизировалъ всю почву новопріобрѣтенныхъ австрійскихъ владѣній. «Система налоговъ и полиція, — говоритъ Монтанелли, — составляли всю административную науку австрійскаго правительства».

Экономическое положеніе Ломбардіи было такъ-же тяжело, какъ общественное и нравственное; налоги были почти вдвое больше, чѣмъ въ остальныхъ частяхъ имперіи; цѣль австрійскихъ таможенъ не пропускала въ Ломбардію англійскихъ и французскихъ продуктовъ



и принуждала жителей пробавляться произведениями нѣмецкихъ фабрикъ, не отличавшимися ни дешевизной, ни хорошимъ достоинствомъ. Эти таможи точно также затрудняли вывозъ ломбардскихъ произведений въ Піемонтъ, въ Швейцарію, во Францію, въ Англію. Устройство банковъ, экономическихъ обществъ, промышленныхъ ассоціацій встрѣчало со стороны австрійскаго правительства непреодолимое сопротивление. Въ полицейскомъ отношеніи Ломбардія была отгорожена отъ образованнаго міра какою-то китайскою стѣной, только отнюдь не фарфоровой. Въѣздъ въ Ломбардію и выѣздъ изъ нея затруднялся безчисленными формальностями; случалось часто, что человѣку, просившему паспортъ въ Лондонъ или въ Парижъ, предлагали паспортъ въ Вѣну. Понятно, что при такомъ порядкѣ вещей ни одно сословіе не могло быть довольно. Дворянство было оскорблено невниманіемъ вѣнскаго двора; духовенство было озлоблено индифферентизмомъ Меттерниха въ дѣлахъ церкви; простой народъ былъ приведенъ въ отчаяніе налогами и наборами; купцы жаловались на уродливыя таможенныя распоряженія; литераторы были выведены изъ терпѣнія гнетомъ цензуры; наконецъ, вся нація въ одинаковой степени страдала отъ произвола въ судахъ, отъ неспособности администраторовъ, отъ всемогущества полиціи и отъ нахальства военного сословія.

Нашъ дипломатъ оказывается такимъ образомъ великимъ человѣкомъ на малые дѣла; онъ умѣетъ подольщаться къ отдѣльнымъ личностямъ, но не умѣетъ приобретать довѣріе и любовь цѣлаго народа; онъ самъ говоритъ даже, что и не ищетъ популярности; эти слова показываютъ всю его недалекость; онъ не понимаетъ того, что постоянно держать націю въ повиновеніи силой полиціи и войска — невозможно и кромѣ того невыгодно, потому что деньги, употребляемыя для содержанія лишняго войска, тратятся даромъ и не приносятъ ни пользы странѣ, ни удовольствія правительству. Впрочемъ, нужно-ли еще опровергать политику Меттерниха? она уже осуждена исторіей, ея несостоятельность обнаружили итальянскія событія послѣднихъ годовъ.

#### V.

Политика Меттерниха въ Германіи нисколько не отличается отъ его политики въ Италіи; та-же боязнь національных стремленій, та-же ненависть ко всякому усовершенствованію существующихъ учреждений, та-же обширная система шпионства. Чувствуя наибольшее отвращеніе къ яркимъ и крутымъ мѣрамъ, Меттернихъ не рѣшился идти напроломъ противъ тѣхъ идей и тенденцій, которыя возбудила въ нѣмецкомъ народѣ война за освобожденіе Германіи. Дѣйствуя окольными путями противъ германскаго

единства, онъ точно также хитро и осторожно повелъ интриги противъ конституціонныхъ идей, пользовавшихся сочувствіемъ націи и начинавшихъ укореняться въ умахъ владѣтельныхъ особъ и министровъ. Надъ проектомъ прусской конституціи работали въ то время Гарденбергъ и Вильгельмъ Гумбольдтъ, о конституціи говорили и писали въ Баваріи и Виртембергѣ, и все эти толки, собранія, произносимыя рѣчи чрезвычайно не нравились Меттерниху; во-первыхъ, они нарушали то спокойствіе, которое онъ считалъ высшимъ благоденствіемъ; во-вторыхъ, они увеличивали значеніе Пруссіи, на которую вся Германія начинала смотрѣть съ любовью и надеждой.

Какъ представительница чистаго абсолютизма и какъ соперница Пруссіи, Австрія должна была относиться враждебно къ конституціонному движенію и противодействовать ему всеми мѣрами своей изобрѣтательной дипломатіи. Меттернихъ разослалъ ко всемъ посланникамъ своего дворца инструкціи и приказанія вслѣдствіе противодействовать осуществленію этихъ тенденцій; въ то-же самое время представитель Австріи на германскомъ сеймѣ, по инструкціи того-же Меттерниха, говорилъ языкомъ болѣе приличнымъ и не являлся отъявленнымъ противникомъ тѣхъ началъ, въ которыхъ горячо вѣровала вся живая Германія. Здѣсь, какъ и вездѣ, Меттернихъ велъ параллельно двѣ политики, официальную и неофициальную, явную и тайную, которыя сближались или расходились между собою, смотря по обстоятельствамъ. Официальный представитель Австріи говорилъ одно, а тайныя инструкціи, сообщаемыя посланникамъ, тайныя и конфиденціальныя письма къ государямъ и министрамъ говорили совершенно другое. Вступить въ открытый и честный бой съ опасными идеями вѣка Меттернихъ не рѣшался; онъ подкапывалъ ихъ потихоньку, и результаты его подземныхъ работъ не оставались безплодными; конфиденціальныя письма его тревожили впечатлительныя умы тогдашнихъ государей и парализировали ихъ честныя намѣренія. Гарденбергъ, безъ характерный прусскій министръ, повѣрилъ внушеніямъ Меттерниха, оттолкнулъ отъ себя своего помощника Гумбольдта и отшатнулся отъ дѣла конституціи; окончательное рѣшеніе вопросовъ затянулось на неопредѣленное время.

Интригуя такимъ образомъ противъ того, что цѣлый германскій народъ считалъ своей потребностью, Меттернихъ, конечно, не могъ чувствовать особаго расположенія къ печатной гласности. Журналистика, обращавшая вниманіе общества на тѣ вымышленныя препятствія и пустыя отговорки, которыми затягивались совѣщанія о важныхъ вопросахъ, журналистика, напоминавшая обществу его нужды, — возбуждала въ Меттернихѣ самыя серьезныя опа-



сенія; въ ней видѣлъ онъ самое страшное орудіе агитаціи, и противъ нея началъ онъ принимать постепенно усиливающіяся мѣры. Сначала онъ выдвинулъ противъ органовъ либеральной партіи свои органы, проводившіе въ возможно-приличной формѣ идеи и симпатіи австрійскаго правительства. Главнымъ бойцомъ Меттерниховскаго лагеря былъ извѣстный публицистъ Генцъ, человекъ умный и ловкій.—Блестящія статьи этого политическаго писателя помѣщались въ «Австрійскомъ Наблюдателѣ», котораго официальнымъ редакторомъ былъ Юсифъ Пилать, домашній секретарь князя Меттерниха; ожесточенная полемика этого журнала съ «Рейнскимъ Меркуріемъ», издававшимся подъ редакціей талантливаго и честнаго писателя Герреса, обратила на себя вниманіе всей читающей Германіи, и Меттернихъ увидалъ, что спорить съ либералами значить распространять и популяризировать ихъ идеи; онъ повелъ дѣло правительственнымъ путемъ и упростилъ Гарденберга запретить ненавистный журналъ; но Герресъ не унялся и началъ издавать брошюры и летучіе листки, которые покупались и читались нарасхватъ; тогда Меттернихъ задумалъ устроить въ обширныхъ размѣрахъ полицейское управленіе Германіи и по возможности всей континентальной Европы.

Опираясь на трактатъ священнаго союза, въ которомъ подписавшіеся государи обязывались совокупными силами поддерживать въ Европѣ общественное спокойствіе и наблюдать за народной нравственностью, Меттернихъ осенью 1818 года устроилъ въ Ахенѣ конгрессъ и членамъ этого конгресса представилъ самымъ убѣдительнымъ образомъ необходимость дружно дѣйствовать противъ общаго врага, т. е. противъ того духа якобинства, который, если дать ему волю, опрокинетъ весь соціальныи порядокъ. Увѣщанія Меттерниха, указавшаго на грядущія бѣдствія съ воодушевленіемъ истиннаго пророка, подѣйствовали какъ нельзя лучше; члены конгресса воротились во-свояси съ сильнымъ предубѣжденіемъ противъ пагубныхъ идей вѣрка и съ той спасительной боязнью революціи, изъ которой не трудно было развить современемъ самыя крутыя мѣры реакціи. Меттернихъ сталъ ковать желѣзо, пока оно было горячо, и черезъ годъ послѣ ахенскаго конгресса пригласилъ нѣмецкихъ министровъ въ Карлсбадъ для совѣщаній «о тѣхъ мѣрахъ, которыя должно принять противъ демагогическихъ неурядицъ». Неурядицы эти, требовавшія обще-германскаго конгресса, состояли въ нѣсколькихъ рѣчахъ, произнесенныхъ на студенческихъ сходкахъ, да еще въ томъ, что молодой патріотъ Зандъ убилъ извѣстнаго писателя Коцебу, подерживавшаго подозрительныя сношенія съ однимъ иностраннымъ правительствомъ. Поды-

мать изъ-за этого тревогу было почти смѣшно, но правители Германіи на все смотрѣли глазами Меттерниха, а Меттернихъ старался преувеличивать опасность, чтобы показать необходимость систематическаго преслѣдованія извѣстныхъ идей и стремленій. Карлсбадскія конференціи состоялись, и система Меттерниха восторжествовала. Двѣ статьи союзнаго акта, статья 13-я, обѣщавшая отдѣльнымъ государствамъ Германіи представительное правленіе, и 18-я, объявлявшая свободу печати, были истолкованы такъ ловко, что потеряли все свое значеніе. Черезъ мѣсяцъ послѣ карлсбадскихъ конференцій союзный сеймъ объявилъ, что, желая уберечь Германію отъ бѣдствій анархіи, онъ самъ дастъ общую норму, по которой должны быть выработаны конституціи отдѣльныхъ государствъ; что сейму, какъ верховной правительственной и законодательной инстанціи, должно имѣть въ своемъ распоряженіи вооруженную силу для исполненія рѣшеній; что вредное направленіе университетскаго преподаванія требуетъ строгаго надзора за студентами и профессорами; что вредное направленіе литературы должно быть обуздано цензурой, и что въ Майнцѣ должно устроить центральную слѣдственную комиссію для того, чтобы разублаживать и разрушать революціонные замыслы.

Князь Меттернихъ поступалъ такимъ образомъ по мелкому, трусливому чувству самосохраненія; его личная судьба была тѣсно связана съ участіемъ Франца I, и потому онъ, во что бы то ни стало, старался упрочить могущество Австріи и ея преобладаніе въ Германіи.

Геніальные люди не становятся въ оппозицію съ требованіями времени, потому что они въ состояніи всецѣло понять эти требованія и вынести ихъ на своихъ плечахъ. Меттернихъ сознательно принимается за преслѣдованіе прогрессивныхъ идей; это доказываетъ, съ одной стороны, что онъ не въ состояніи быть проводникомъ этихъ идей, съ другой стороны—что честность не можетъ быть поставлена въ число его человѣческихъ добродѣтелей. Умъ его не выходитъ изъ размѣровъ мелкой изворотливости; честность останавливается на той степени, которая мѣшаетъ человѣку залѣзть въ чужой карманъ, но не доходитъ до искренности и стойкости убѣжденій. Меттернихъ сходень въ этихъ двухъ отношеніяхъ съ Талейраномъ, съ той только разницей, что Талейранъ еще болѣе Меттерниха пустъ и мелоченъ и еще менѣе Меттерниха способенъ отъ отдѣльныхъ фактовъ возвышаться до общихъ идей.

## VI.

Обезпечивъ себя со стороны Германіи, Меттернихъ поставилъ себѣ за правило рѣшительно сопротивляться всякому измѣненію существующаго порядка вещей во всей Европѣ; всякая



попытка націи улучшить свое положеніе считалась уголовнымъ преступленіемъ, которое должны были преслѣдовать всѣми мѣрами всѣ европейскія правительства. Когда въ Неаполѣ въ 1820 году вспыхнула революція, вынудившая конституцію у короля Фердинанда, Меттернихъ поставилъ австрійскую армію въ Италіи на военное положеніе и отправилъ къ итальянскимъ государямъ циркулярную ноту, въ которой объявлялось, что Австрія ручается за неприкосновенность ихъ владѣній и даже, въ случаѣ надобности, отправить свои войска для усмиренія мятежниковъ. Неаполитанское правительство отправило посланника къ вѣнскому двору; посланника этого не приняли и не признали въ его должности; послѣ частнаго разговора съ Меттернихомъ онъ получилъ приказаніе немедленно оставить австрійскія владѣнія. — Этимъ, конечно, дѣло не кончилось; Меттернихъ, заботливый блюститель порядка, обратился къ своему любимому средству, къ конгрессу. Въ Тронавѣ, осенью 1820 года, собрались представители великихъ державъ, и начались совѣщанія о томъ, какія мѣры пустить въ ходъ для вразумленія заблуждающихся грѣшниковъ. Меттернихъ собственноручно написалъ проектъ новаго союза, въ которомъ принципъ вѣдѣтельности во внутреннія распоряженія государствъ былъ развитъ до послѣднихъ предѣловъ.

«Тѣ-же идеи,—говоритъ этотъ проектъ,—во имя которыхъ соединились великія державы, чтобы опрокинуть военный деспотизмъ чловѣка, вышедшаго изъ революціи, должны быть примѣнены къ дѣлу въ отношеніи къ революціоннымъ движеніямъ, частью—путемъ посредничества, частью—силою оружія». Къ этому вновь скрѣпленному союзу приступили Россія и Пруссія. Вооруженное вѣдѣтельство Австріи въ дѣла Неаполя было такимъ образомъ оправдано въ глазахъ Европы, и цѣль Меттерниха была достигнута. Протестъ Англіи не произвелъ на него сильнаго впечатлѣнія, потому что онъ не придавалъ особеннаго значенія ея вліянію на дѣла континента и не думалъ, чтобы протестъ этотъ выразился въ осязательной формѣ.

На тронавскомъ конгрессѣ было рѣшено пригласить неаполитанскаго короля въ Лайбахъ и тамъ, вмѣстѣ съ нимъ, фундаментально обсудить положеніе его королевства. Король пріѣхалъ, съ радостью согласился, по приглашенію Меттерниха, взять назадъ ту конституцію, въ ненарушимости которой онъ полгода тому назадъ клялся передъ лицомъ своего народа, и съ восторгомъ принялъ отъ Австріи 50,000-ное вспомогательное войско. Сопротивленіе неаполитанскаго парламента было задавлено безъ труда; конституція — уничтожена... Въ началѣ 1821 года произошло дви-

женіе въ Піемонтѣ; австрійскій корпусъ задалъ это движеніе, и торжественный циркуляръ, подписанный тремя великими державами, объявилъ всѣмъ правительствамъ о рѣшительной побѣдѣ священнаго союза надъ пагубными стремленіями злоумышленниковъ, якобинцевъ и карбонаріевъ. Но еще не успѣли закрыть лайбахскаго конгресса, какъ пришло извѣстіе о возстаніи грековъ; Меттернихъ хотѣлъ и въ этомъ случаѣ пустить въ ходъ принципъ вооруженнаго вѣдѣтельства, но на этотъ разъ онъ встрѣтилъ рѣшительное сопротивленіе со стороны Франціи, Англіи и Россіи и согласился отложить разсмотрѣніе греческаго вопроса до будущаго года.

До сихъ поръ Меттернихъ послѣ вѣнскаго конгресса не встрѣчалъ серьезной оппозиціи на дипломатическомъ поприщѣ; система его находила себѣ всеобщее сочувствіе среди правителей и министровъ; Австрія пользовалась самымъ обширнымъ вліяніемъ на дѣла Европы; императоръ Францъ, видя ревность своего министра и оцѣнивая его заслуги, награждалъ его послѣ лайбахскаго конгресса званіемъ государственнаго канцлера Австрійской имперіи; послѣ этого Меттерниху нельзя было идти далѣе; онъ стоялъ на высшей ступени іерархической лѣстницы,—на той ступени, на которую послѣ Кауница не становился ни одинъ австрійскій подданный; онъ фактически былъ законодателемъ Европы; онъ управлялъ, повидимому, историческими событіями; кажется, ему больше ничего не оставалось желать, и дѣйствительно, вся его дѣятельность въ послѣднее десятилѣтіе, т. е. послѣ окончательнаго низложенія Наполеона, была, по его собственному выраженію, чисто консервативная; мы ее назовемъ узкоконсервативной, потому что истинный консерватизмъ возможенъ только при благоразумныхъ уступкахъ требованіямъ времени; кто хочетъ поддержать всю машину въ состояніи общей годности, тотъ долженъ наблюдать за тѣмъ, чтобы не стирались и не ржавѣли отдѣльные колеса, и заблаговременно замѣнять порченныя части новыми, крѣпкими и свѣжими элементами; но для такой дѣятельности надо быть ученымъ или по крайней мѣрѣ практически опытнымъ механикомъ, надо знать назначеніе каждаго колеса, надо понимать общій строй машины, а ничто не даетъ намъ права думать, чтобы Меттернихъ былъ глубокихъ знатокомъ своего дѣла; продержатъ лѣтъ тридцать запретительную систему сѣужетъ всякій, если вы отгадите въ его распоряженіе полицію и войско; но гдѣ-же прочные результаты такой системы? да и возможны-ли тутъ прочные результаты? Развѣ Меттернихъ успѣлъ перевоспитать ту націю, которой онъ управлялъ? Развѣ онъ убѣдилъ ее въ законности своей системы? Развѣ онъ отклонилъ въ какую-нибудь другую



сторону тѣ силы и стремленія, которыхъ порывы были ему такъ ненавистны? Развѣ онъ создалъ для этихъ беспокойныхъ силъ какое-нибудь поприще дѣятельности?

Нѣтъ, такая задача была слишкомъ головоломна для нашего салоннаго дипломата. Онъ дрессировалъ націю, какъ плохія гувернантки дрессируютъ своихъ воспитанницъ, повторяя имъ на каждомъ шагѣ: не говорите громко, не гримасничайте, не трогайте этихъ вещей, не смотрите въ эту сторону. Такая дрессировка скоро надоедаетъ воспитаннику и скоро внушаетъ ему презрѣніе къ своему педагогу. Приложенная къ цѣлымъ народамъ, эта система политическаго воспитанія подѣйствовала точно такъ-же; раздраженіе націй выразилось довольно поздно, но зато взрывъ былъ очень силенъ и разстроилъ планы государственнаго канцлера раньше, чѣмъ онъ думалъ; старой консервативной системы достало на вѣкъ Генца, умершаго въ 1835 году, но на вѣкъ Меттерниха ея оказалось мало, и событія 1848 года явились наказаніемъ за грѣхи 20-хъ и 30-хъ годовъ.

Неудачи системы начались гораздо раньше, тотчасъ послѣ того торжественнаго циркуляра, который возвѣстилъ народамъ Европы побѣду священнаго союза надъ нарушителями общественнаго порядка. Греческій вопросъ былъ первымъ яблокомъ раздора между членами священнаго союза. Меттернихъ, какъ сухой дипломатъ, видѣлъ въ возмущившихся грекахъ такихъ-же мятежниковъ, каковы были неаполитанцы и піемонтцы; у императора Александра, напротивъ того, пылкое религіозное чувство говорило громче всѣхъ остальныхъ соображеній; онъ хотѣлъ помочь своимъ единовѣрцамъ; кромѣ того война съ Турціей могла усилить вліяніе Россіи на дѣла Востока, и потому императоръ Александръ показалъ самое серьезное расположеніе вступить за грековъ вооруженной силой. Меттернихъ давно уже боялся Россіи, и потому, наскоро сговорившись съ англійскимъ министромъ лордомъ Кастльригомъ, для отвращенія угрожавшей войны предложилъ русскому правительству посредничество Австріи и Англіи. Посредничество это было принято, и Порта очистила Молдавію и Валахію, которыя она, въ ожиданіи войны, уже успѣла занять своими войсками. Что же касается до грековъ, то члены священнаго союза согласились въ отношеніи къ нимъ оставаться на время нейтральными; со стороны Меттерниха это уже была важная уступка; онъ соглашался смотрѣть на возмущеніе подданныхъ противъ своего законнаго государя, не посылая войска для усмиренія мятежниковъ. Это, какъ вы видите, составляетъ уже отступленіе отъ системы, провозглашенной въ Ахенѣ, въ Тропавѣ и въ Лайбахѣ. Въ этомъ отступленіи нѣтъ ничего уди-

вительнаго; мы уже настолько знаемъ личный характеръ князя Меттерниха, чтобы понимать, какъ мало онъ былъ способенъ бороться съ серьезнымъ препятствіемъ во имя своей идеи; какъ встрѣчается такое препятствіе, такъ нашъ дипломатъ уклоняется въ сторону и только потомъ изъ личнаго тщеславія старается показать, что его уступка не что иное, какъ результатъ глубокихъ политическихъ соображеній, не что иное, какъ естественный и необходимый выводъ его знаменитой системы. Чѣмъ дальше отступаетъ онъ отъ этой системы въ жизни, тѣмъ упорнѣе держится за нее въ теоріи, чтобы посредствомъ запутанной діалектики замаскировать свои политическія неудачи и пораженія.

Чувствуя что-то пеладное въ отношеніяхъ между главными членами священнаго союза, Меттернихъ считалъ необходимымъ скрѣпить этотъ союзъ новымъ конгрессомъ и на этомъ предполагаемомъ конгрессѣ еще разъ самымъ ревностнымъ образомъ втолковать присутствующимъ лицамъ тѣ догматы политической вѣры, безъ которыхъ нѣтъ ни спасенія, ни порядка. Благодаря его стараніямъ, состоялся конгрессъ въ Веронѣ. Въ четыре года—четыре европейскіе конгресса, и всегда составителемъ, рассылающимъ пригласительные билеты, является Меттернихъ. Въ этихъ постоянно повторяющихся совѣщаніяхъ объ одномъ и томъ-же, въ этомъ постоянно повторяющемся обращеніи къ союзникамъ, въ этихъ періодическихъ увѣреніяхъ во взаимной дружбѣ и взаимной помощи, видна тревожная боязливость, происходящая отъ тайнаго, инстинктивнаго, невысказаннаго чувства собственной безпомощности. Меттернихъ очевидно боялся остаться глазъ-на-глазъ со своимъ народомъ; онъ очевидно боялся, что его захватитъ врасплохъ какое-нибудь энергическое движеніе массы; на этомъ основаніи, при малѣйшемъ волненіи въ какомъ-нибудь уголкѣ Европы, послѣ малѣйшей размовки съ кѣмъ-нибудь изъ союзниковъ, онъ тотчасъ разсылаетъ во всѣ концы Европы приглашенія собраться для совѣщаній; онъ съ тревожной заботливостью освѣдомляется о настроеніи разныхъ правительствъ и, собравши ихъ представителей, начинаетъ опять толковать съ ними объ общей опасности, о необходимости прочнаго союза, о неосцѣненныхъ достоинствахъ своей системы. Эта вѣчная тревога служить новымъ доказательствомъ того, какъ мало князь Меттернихъ былъ убѣжденъ въ прочности своихъ собственныхъ дѣйствій.

## VII.

Каждый конгрессъ созывался Меттернихомъ съ той цѣлью, чтобы отнять у народовъ какія-нибудь права, чтобы въ чемъ-нибудь стѣснить ихъ законную свободу, чтобы безнаказанно нарушить данныя имъ обѣщанія, чтобы напустить на нихъ войска священнаго союза. Верон-



скій конгрессъ въ своихъ результатахъ нисколько не отличается отъ трехъ предыдущихъ. Революція въ Испаніи обратила на себя все вниманіе австрійскаго канцлера; король испанскій, Фердинандъ VII, былъ принужденъ дать своему народу конституцію, но потомъ, введя эту конституцію, онъ своей двуличной политикой въ отношеніи къ конституціоннымъ властямъ самъ поддерживалъ въ своемъ королевствѣ волненія и безпорядки. Противъ конституціоннаго порядка бунтовали низшіе слои народа. Они вооружались противъ конституціи и объявляли, что идутъ защищать религію и короля. Монашество, терявшее, по опредѣленію кортесовъ, значительную долю своихъ помѣстьевъ и доходовъ, было недовольно конституціоннымъ порядкомъ. На сторонѣ конституціи стояло все мыслящее населеніе Испаніи; Фердинандъ VII, насколько это было возможно, замедлялъ и парализировалъ дѣйствія кортесовъ противъ бунтовщиковъ. Могъ-ли Меттернихъ оставаться равнодушнымъ зрителемъ испанскихъ событій? Всѣ усилія австрійскаго министра на веронскомъ конгрессѣ были направлены къ тому, чтобы убѣдить Францію въ необходимости пойти на помощь испанскимъ роялистамъ, осуществить желанія самой испанской націи, требующей восстановления стараго порядка, и низложить ту партію мятежниковъ, которая овладѣла правленіемъ. Вслѣдствіе этого представителя Франціи обязались, отъ имени своего правительства, представить мадридскому кабинету энергическую ноту и, если это не поможетъ, рѣшить дѣло французскими штыками, къ полному удовольствію Меттерниха, Фердинанда VII и испанскихъ роялистовъ.

Греческій вопросъ не могъ быть рѣшенъ съ такимъ блистательнымъ успѣхомъ. Императоръ Александръ, при всей своей привязанности къ принципу священнаго союза, не могъ никакъ убѣдиться въ необходимости предпринимать крестовый походъ въ пользу турецкаго султана; онъ по-прежнему сочувствовалъ возмущившимся грекамъ, и потому Меттернихъ, вывѣдавъ сторону о его настроеніи, заблагоразсудилъ не поднимать этого щекотливаго вопроса и употребилъ все свое искусство на то, чтобы на конгрессѣ обойти дѣло грековъ молчаніемъ. Самимъ грекамъ это казалось невыгоднымъ; они прислали отъ себя депутацію, чтобы просить помощи у великихъ державъ; Меттерниха это нисколько не затруднило; по его приказанію этихъ грековъ задержали въ Анконскомъ карантинѣ до тѣхъ поръ, пока конгрессъ не разошелся. Австрійскій министръ, какъ видите, недолго задумывался въ выборѣ средствъ; цѣли его были такъ обширны, такъ возвышенно-благородны, что ими оправдывались и прикрывались неизящныя средства. Да и передъ кѣмъ было ихъ оправдывать? До мнѣнія народовъ

Меттерниху не было дѣла, а правители и министры большей частью смотрѣли на вещи его глазами, и къ тому-же ихъ было такъ легко отуманить софизмами и запугать мрачными прощаніями.

Видя огромное вліяніе, которымъ несомнѣнно пользовался Меттернихъ въ первой половинѣ нынѣшняго столѣтія, и зная тѣ дешевыя домашнія средства, которыми пріобрѣталось это вліяніе, историкъ останавливается въ недоумѣніи и ищетъ причины этому явленію. Неужели современники не понимали Меттерниха? Неужели они, зная его личность, могли слѣпо вѣрить его политическимъ теоріямъ? Неужели никто изъ тогдашнихъ дѣятелей не видѣлъ поверхностности, двуличности, безхарактерности и политической неразвитости австрійскаго государственнаго канцлера? Да кто-же изъ тогдашнихъ официальныхъ дипломатовъ былъ лучше Меттерниха? Кто изъ нихъ не былъ ему сродни по умственнымъ и нравственнымъ качествамъ? Средство тогдашнихъ государственныхъ людей съ княземъ Меттернихомъ заключалось въ томъ, что большая часть изъ нихъ раздѣляла всѣ его недостатки, не обладая его мелкой изворотливостью и изобрѣтательностью. Никто изъ тогдашнихъ дипломатовъ не былъ специально приготовленъ къ своему дѣлу; всѣ они поступили на свои мѣста или по праву рожденія, или по придворнымъ заслугамъ; всѣ они держались на своихъ высокихъ мѣстахъ кулисиными средствами, не имѣющими ничего общаго съ государственной мудростью; живя со дня на день, не зная и не предвидя того, что принесетъ завтрашній день, они постоянно сомнѣвались и трусили, постоянно ненавидѣли все новое, потому что во всякомъ непривычномъ, необыденномъ предметѣ или движеніи думали прочесть осужденіе и неминуемую гибель; имѣя дѣло съ неизвѣстными имъ силами, которыхъ взрывы могли быть страшно разрушительны, эти доморощенные политики тоскливо оглядывались по сторонамъ, отыскивая себѣ союзниковъ. Меттернихъ душой и тѣломъ принадлежалъ къ ихъ лагерю, стоялъ съ ними подъ однимъ знаменемъ и обнаруживалъ при томъ такую проницательность, догадливость и усердную предусмотрительность, которой не могли не дорожить всѣ остальные дѣятели. О великихъ народныхъ и человѣческихъ интересахъ никто изъ нихъ не думалъ; поэтому всѣ они старались только отсрочить рѣшительную минуту; а придумывать разные отговорки, пускать въ ходъ разныя полумѣры — Меттернихъ былъ великій мастеръ, собственно потому, что такое мастерство доступно всякому чловѣку, стоящему въ положеніи австрійскаго министра. Давить движеніе мысли — не трудно, была бы только сила да добрая воля, т. е. совершенная нечувствительность къ тому, что волнуетъ, пе-



чалить или радовать другихъ людей. А въ этомъ отношеніи у Меттерниха были развязаны руки; онъ былъ свободенъ отъ всякихъ предразсудковъ; справедливость, развитіе мысли, литература, наука, народность были для него пустыя слова, на которыя жадно бросается неопытная молодежь, но къ которымъ разсудительный человѣкъ относится съ снисходительной улыбкой. Улыбка эта оставалась на губахъ разсудительнаго человѣка до тѣхъ поръ, пока дѣло не выходило изъ предѣловъ шутки, препровожденія времени; какъ только неопытная молодежь, внимая злонамѣреннѣйшимъ толкамъ, ослѣпленная громкими словами, принимала дѣло серьезно, такъ князь Меттернихъ нахмуривалъ брови, входилъ въ роль заботливаго отца семейства, скликалъ европейскій педагогическій совѣтъ и представлялъ ему необходимость вразумлять увлекающееся юношество. И развитіе этого юношества дѣйствительно задерживалось распоряженіями педагогическаго совѣта; и почти два поколѣнія изжили свой вѣкъ и потеряли свои силы въ шпильбергскихъ карцерахъ, въ ссылкѣ, въ глухой, безплодной оппозиціи противъ австрійской государственной тактики.

Читая мартирологию итальянскихъ патріотовъ, каждый по-человѣчески чувствующій читатель, можетъ-быть, почувствовалъ бы ненависть къ Меттерниху, душѣ австрійской политики, автору и проводнику всѣхъ жестокихъ мѣръ. Читатель этотъ поступить такимъ образомъ не совсѣмъ справедливо или, по крайней мѣрѣ, не совсѣмъ логично. Въ личности Меттерниха нѣтъ того мрачнаго величія, которое можно замѣтить въ историческихъ фигурахъ Людовика XI французскаго, Филиппа II испанскаго, Генриха VIII англійскаго, нашего Ивана IV; у Меттерниха нѣтъ тѣхъ смѣлыхъ и обширныхъ идей, которыя проводилъ въ своей дѣятельности Людовикъ XI, централизаторъ феодальной Франціи; у него нѣтъ того дикаго фанатизма, который одушевлялъ собою тирана Испаніи; въ его оправданіе нельзя привести того болѣзненнаго разстройства, которымъ до нѣкоторой степени объясняются кровавыя эксцентричности Генриха и Ивана. Острый умъ Людовика XI, строившаго для будущихъ поколѣній, не можетъ примирить насъ съ его жестокостями, но во всякомъ случаѣ выдвигаетъ его личность изъ ряда дюжинныхъ явленій; односторонняя дюжинность Филиппа II не можетъ вызвать къ себѣ нашего сочувствія, но во всякомъ случаѣ заставляетъ насъ смотрѣть на его громадные преступленія, какъ на результатъ горячаго убѣжденія; болѣзненное состояніе Генриха VIII и Ивана IV не можетъ показаться намъ привлекательнымъ, но оно почти снимаетъ съ нихъ отвѣтственность за пролитую кровь. Скажите на милость, можно-

ли въ пользу Меттерниха привести хоть одно подобное оправданіе? Созидаль-ли онъ прочное знаніе для будущихъ вѣковъ? Дѣйствовалъ-ли онъ подъ увлеченіемъ страсти? Страдалъ-ли онъ умопомѣшательствомъ?—Ничуть не бывало; все дѣлалось у него хладнокровно, прилично, чуть-чуть не кротко: онъ безъ малѣйшаго раздраженія и безъ малѣйшей надобности, исполняя чужую волю, принималъ на себя роль главнаго тюремщика австрійской имперіи; какъ услужливый исполнитель, онъ съ полнымъ усердіемъ припиралъ на себя всякія обязанности: нужно быть первымъ министромъ—онъ готовъ; нужно распечатать и прочесть чужое письмо—извольте; нужно подослать шпиона—и это можно; нужно вывѣдать черезъ свою любовницу секретъ—будетъ исполнено; нужно присмотрѣть за арестантами—и тутъ князь Меттернихъ не ударитъ лицомъ въ грязь. Въ его характерѣ нѣтъ крупныхъ чертъ, и вслѣдствіе этого ничто въ немъ насъ не шевелитъ, ничто не приводитъ въ негодованіе. Смотри на судьбу и личность Меттерниха, только и можно подуматъ: бѣдный *petit-maitre*! Рядъ случайныхъ обстоятельствъ поставилъ его такъ высоко, такъ высоко, что ему самому сдѣлалось и весело, и страшно; сойти внизъ ему не хочется, а упасть онъ боится; его маленькая фигура исчезаетъ на необозримо-высокомъ пьедесталѣ, и новый столпникъ забываетъ, что онъ—человѣкъ; онъ не смотритъ на то, что дѣлается внизу; ему лишь бы удержаться на своемъ пьедесталѣ; ему нѣтъ дѣла до тѣхъ ничтожныхъ людей, которые не могутъ слѣдовать за нимъ на высоту. Онъ жалокъ въ своемъ неестественномъ положеніи; смѣшныя стороны его мизерной фигурки видны со всѣхъ сторонъ всей толпѣ, стоящей вокругъ пьедестала... Что-же тутъ ненавидѣть? Онъ мелокъ, и оцѣнивать его личный характеръ значить только хладнокровно отмѣтить эти выдающіяся черты его фizioноміи.

### VIII.

Дряблость князя Меттерниха начинается обозначаться въ тѣхъ неудачахъ, которыя въ половинѣ двадцатыхъ годовъ испытываетъ его система.

Случалось-ли вамъ, любезный читатель, встрѣчаться съ такими людьми, которые на словахъ готовы совершить чудеса геройской храбрости, а на дѣлѣ оказываются трусливѣе самаго обыкновеннаго смертнаго? Такіе господа при спорѣ говорятъ очень громко и постепенно возвышаютъ голосъ, по мѣрѣ того, какъ ихъ противникъ становится скромнѣе; если они могутъ запугать васъ, они начинаютъ самовольно распоряжаться вами; если-же, напротивъ того, вы крикнете громче ихъ или выкажете сопротивленіе, они дѣлаются мягкими, уступ-



чивыми и понижаютъ тонъ. Къ числу такихъ людей принадлежалъ государственный канцлеръ Австрійской имперіи; пока онъ не встрѣчалъ себя оппозиціи, претензіи его росли не по днямъ, а по часамъ; система съ каждымъ годомъ проводилась настойчивѣе; внимательство Австріи въ дѣла другихъ государствъ становилось нахальнѣе; дипломатическія ноты писались рѣзче и внушительнѣе; вся Германія была взята въ опеку; вмѣстѣ съ правами націй нарушалась и самостоятельность правителей. Король виртембергскій и великій герцогъ баденскій сами были расположены къ конституціонной системѣ управленія и дорожили любовью своихъ подданныхъ; австрійское правительство не обратило вниманіе на ихъ личныя мнѣнія и симпатіи и разными полунасильственными мѣрами заставило ихъ подчиниться политикѣ священнаго союза и ввести въ своихъ владѣніяхъ ту систему гнета, которую испытывала въ это время почти вся континентальная Европа.

Принципъ законности, провозглашенный Меттернихомъ послѣ вѣнскаго конгресса, превратился рѣшительно въ принципъ чистаго султанизма. Меттернихъ поддерживалъ только тѣхъ законныхъ государей, которые соглашались подчиниться его инструкціямъ; кто возставалъ противъ этихъ инструкцій, тотъ былъ врагомъ Австріи и ея министра, какъ бы ни были законны его права на престолъ; еслибы произошло столкновеніе между законнымъ государемъ, поддерживающимъ конституціонныя идеи, и партіей, стремящейся водворить абсолютизмъ, Меттернихъ не задумался бы протянуть руку партіи вопреки желанію правителя. Тяжело приходилось континентальной Европѣ подъ флагомъ австрійской политики; пора было остановить зазнавашагося придворнаго чиновника и положить конецъ его диктаторскому самовластію, тяготѣвшему надъ націями такимъ-же страшнымъ гнетомъ, какимъ деспотизмъ Наполеона тяготѣлъ надъ государями. Англійскій министръ Каннингъ нанесъ первый рѣшительный ударъ австрійской гегемоніи.

Нанести этотъ ударъ было вовсе не трудно. Меттернихъ, какъ я уже замѣтилъ, былъ слабъ и трусливъ. Встрѣчая серьезный отпоръ, онъ сначала пробовалъ запугать противника, но стоило только прикрикнуть, и нашъ дипломатъ, не рѣшаясь вступить въ борьбу, начиналъ заботиться только о томъ, чтобы прилично устроить себя отступленіе и не признавать себя разбитымъ въ глазахъ европейскихъ правительствъ. Споръ между Каннингомъ и Меттернихомъ завязался по поводу вопроса объ испанскихъ колоніяхъ въ Южной Америкѣ. Колоніи эти: Колумбія, Буэносъ-Айресъ и Чили, отложились отъ метрополіи, объявили себя независимыми и ввели у себя республиканское устройство. Меттер-

нихъ на веронскомъ конгрессѣ объявилъ тономъ диктатора, что великія державы никогда не признаютъ существованія этихъ республикъ и, въ случаѣ надобности, пошлютъ свое войско въ Америку, чтобы возстановить нарушенные интересы монархическаго принципа. Внимая изреченіямъ своего оракула, европейскіе дипломаты благоговѣли, и мысль о крестовомъ походѣ въ Новый Свѣтъ серьезно занимала ихъ умы, возбуждала въ однихъ дѣятеляхъ тревожныя опасенія, въ другихъ—гордое чувство радости. Но явился невѣрующій скептикъ, и европейская паника была уличена въ грубомъ заблужденіи. Джоржъ Каннингъ объявилъ ясно и просто, что Англія ни въ какомъ случаѣ не допуститъ внимательства европейскихъ державъ въ дѣла американскихъ колоній. Меттернихъ попробовалъ устроить конгрессъ, надѣясь какимъ-нибудь образомъ уломать Каннинга; Каннингъ наотрѣзъ отказался участвовать въ конгрессѣ и еще разъ замѣтилъ, что въ отношеніи къ бывшимъ испанскимъ колоніямъ Англія будетъ поступать по собственному благоусмотрѣнію, не обращая вниманія ни на конгрессъ, ни на священный союзъ. Чтѣ тутъ было дѣлать? Меттернихъ видѣлъ, что нашла коса на камень, и что придется отступить; онъ сталъ просить Каннинга не дѣлать, по крайней мѣрѣ, ничего такого, чтѣ могло бы уронить въ общественномъ мнѣніи Европы систему священнаго союза; Каннингъ и на это не согласился; онъ отвѣчалъ, что Англія признаетъ независимость возмущившихся колоній; всѣ доводы Меттерниха были истощены, всѣ его заискиванія разбились о непоколебимую волю англичанина, и къ довершенію скандала французскій кабинетъ, подчиняясь вліянію Англіи, также обнаруживалъ расположеніе признать самостоятельность южно-американскихъ республикъ. Меттернихъ не былъ способенъ стоять за свою идею до послѣдней возможности; на гордую ноту англійскаго министра онъ отвѣтилъ очень скромно, что священный союзъ не будетъ сопротивляться тому, чтобы бывшія испанскія колоніи были объявлены независимыми, лишь бы только монархическій принципъ оставался неприкосновеннымъ, лишь бы только отложившіяся земли выбрали себя въ правители законныхъ государей. Каннингъ не сдѣлалъ никакой уступки и, рѣшительно отказавши Меттерниху во всѣхъ его требованіяхъ, вслѣдъ затѣмъ официально, безъ всякихъ условій и ограниченій, призналъ независимость новыхъ республикъ. Меттернихъ, какъ и слѣдовало ожидать, покорился необходимости, и торжественныя обѣщанія его о крестовомъ походѣ великихъ державъ за море остались громкими фразами.

Еще чувствительнѣе было пораженіе, нанесенное политикѣ Меттерниха въ Португаліи; виновникомъ этого пораженія былъ тотъ-же Кан-



нингъ. Въ Португаліи королева Марія да-Глорія, дочь бразильскаго императора Педро, ввела бразильскую конституцію, предоставлявшую націи значительныя льготы и политическія права; дядя королевы, Мигуэль, призванный сдѣлаться ея мужемъ и соправителемъ, сталъ во главѣ абсолютистовъ и пытался уничтожить конституцію и опрокинуть существующее правительство, чтобы сдѣлаться неограниченнымъ государемъ; всѣ законныя права были на сторонѣ королевы Маріи, но вѣнскій кабинетъ, сочувствуя стремленіямъ Мигуэля, ободрялъ его приверженцевъ и даже убѣждалъ французское и испанское правительство поддерживать своими войсками замыслившуюся революцію абсолютистовъ. Меттернихъ, *soi-disant* легитимистъ и консерваторъ, становился нарушителемъ общественнаго спокойствія, исподтишка раздувалъ междоусобную войну и, по своему обыкновенію, поддерживалъ ту сторону, противъ которой говорили и божественное право, и голосъ націй, и здравый смыслъ, и нравственное чувство. Каннингъ замѣтилъ австрійскія интриги и вдребезги разбилъ планы государственнаго канцлера. Онъ самъ поѣхалъ въ Парижъ и отклонилъ французское правительство отъ вмѣшательства въ португальскія дѣла; когда-же Мигуэль, опираясь на испанскія войска, произвелъ революцію, то подъ стѣнами Лиссабона показалось десять англійскихъ военныхъ кораблей, и партія Мигуэля оставила свои замыслы. На другой день послѣ отправления этой эскадры Каннингъ произнесъ въ парламентѣ нѣсколько многозначительныхъ словъ, надъ которыми пришлось позадуматься Меттерниху. «Я не боюсь войны за хорошее дѣло,—сказалъ англійскій министръ.—Но я боюсь ея потому, что знаю, какимъ образомъ Великобританія можетъ довести борьбу до такихъ послѣдствій, о которыхъ страшно подумать. Можно возбудить войну, въ которой будутъ сражаться между собою не арміи, а идеи, и тогда подъ знамена Великобританіи станутъ всѣ граждане, недовольные современнымъ положеніемъ своихъ земель. Въ настоящее время существуетъ такая сила, которая, подъ руководствомъ Англіи, можетъ сдѣлаться страшнѣе всѣхъ силъ, когда-либо боровшихся во всемірной исторіи». Каннингъ былъ человекъ дѣла, а не фразы; онъ не отступилъ бы отъ европейской войны, еслибы ему пришлось отстаивать свои политическія убѣжденія; но Меттернихъ боялся шума и скандала; узнавъ о появленіи англійскихъ кораблей подъ Лиссабономъ и о громовой рѣчи Каннинга въ парламентѣ, онъ отступился отъ Мигуэля и объявилъ, что никогда не сочувствовалъ его революціи.

Да, еслибы Каннингъ не умеръ въ 1827 году, многое на европейскомъ континентѣ могло бы сложиться не такъ, какъ оно сложилось. Бла-

годаря его энергіи, кредитъ Меттерниха началъ слабѣть, и его система стала постепенно терять своихъ поклонниковъ. Между тѣмъ и греческій вопросъ, котораго рѣшеніе государственныи канцлеръ отсрочивалъ разными дипломатическими фокусами, неожиданно разыгрался въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. 6-го іюля 1827 года Россія, Англія и Франція заключили между собою въ Лондонѣ союзъ и обязались, въ случаѣ надобности, силою оружія принудить Португальскія королевскія войска къ освобожденію грековъ: союзъ этотъ былъ заключенъ безъ вѣдома Меттерниха; союзъ этотъ былъ заключенъ противъ одного изъ законныхъ государей Европы, и при томъ противъ одного изъ самыхъ самовластныхъ, слѣдовательно наиболѣе достойныхъ просвѣщеннаго сочувствія австрійскаго министра; союзъ этотъ усиливалъ значеніе Англіи и Россіи, и слѣдовательно парализировалъ вліяніе Австріи; какъ дипломатъ, какъ защитникъ абсолютизма и какъ тайный врагъ Англіи и Россіи, Меттернихъ чувствовалъ себя глубоко оскорбленнымъ заключеніемъ этого союза. Онъ вмѣстѣ съ императоромъ Францомъ разразился въ ругательствахъ и проклятіяхъ противъ Каннинга. «Чортъ въ него поселился!»—кричалъ Францъ I, и министръ по обыкновенію былъ одного мнѣнія со своимъ государемъ; но ругательства эти не перешли въ дѣло, не перешли, конечно, на бумагу дипломатическихъ нотъ, и только частная корреспонденція Меттерниха съ однимъ нѣмецкимъ государемъ берегла для потомства свидѣтельство этого безсильнаго гнѣва; въ этихъ письмахъ австрійскій министръ отзывался о Каннингѣ, какъ «о безмозгломъ сумасбродѣ, корчащемъ либерала и не имѣющемъ понятія о политическихъ интересахъ Англіи». Въ этихъ отзывахъ выражается то комическое изступленіе, которое невольнo обнаруживаютъ люди, пережившіе свою славу и замѣчающіе, что жизнь идетъ мимо нихъ, далеко обгоняя ихъ и не обращая вниманія на ихъ безсильныя старанія пріостановить ея теченіе; по этимъ отзывамъ становится замѣтно, что Меттернихъ, постоявши лѣтъ 12 въ первыхъ рядахъ европейской дипломатіи, въ значительной степени потерялъ способность владѣть собой.

Время Ахена, Тропавы, Лайбаха и Вероны прошло невозвратно; выдвинулись новые дѣятели—и подавленные интересы націй понемногу поднимаютъ голову. Вскорѣ послѣ заключенія лондонскаго договора Каннингъ умеръ, но отъ этого Меттерниху легче не сдѣлалось. Преемникъ Каннинга, лордъ Веллингтонъ, гордый и упрямый, какъ истый англичанинъ, не склонялся ни на какія представленія австрійскаго правительства, держался въ союзѣ съ Россіей и защищалъ дѣло грековъ. Въ августѣ 1827 г. союзныя державы представили турецкому пра-



вительству свои требованія и, не получивши удовлетворенія, послали свои эскадры въ Архипелагъ; Меттернихъ рѣшился на отчаянную продѣлку—на дипломатическій подлогъ; желая во что бы то ни стало предупредить столкновение между Портой и союзными державами, боясь нарушенія всего политическаго равновѣсія, Меттернихъ написалъ отъ имени грековъ изъясленіе раскаянія и покорности; какіе-то подкупленные греки подписали эту бумагу, и 18-го сентября константинопольскій патріархъ торжественно передалъ этотъ подложный актъ турецкому правительству. Плоская и безчестная комедія эта упала; публика, передъ которой она разыгрывалась, ей не повѣрила; союзныя державы, которыхъ Меттернихъ этимъ страннымъ способомъ надѣялся принудить къ прекращенію военныхъ дѣйствій, не обратили на всю эту штуку никакого вниманія. Извѣстіе о наваринскомъ сраженіи, уничтожившемъ турецкій флотъ, убѣдило австрійскаго министра въ томъ, что, имѣя дѣло съ людьми рѣшительными, нельзя остановить ихъ дипломатической діалектикой и поддѣльными подписями. Меттернихъ узналъ о наваринскомъ дѣлѣ въ ту самую минуту, когда онъ садился въ карету, чтобы ѣхать вѣнчаться; можно сказать положительно, что это извѣстіе испортило ему этотъ торжественный для него день; свадьба не была, правда, отложена, но женихъ оказался не въ блестящемъ расположеніи духа. Этотъ второй бракъ Меттерниха отличается отъ перваго тѣмъ, что на этотъ разъ нашъ герой женился по любви на дѣвушкѣ, отличавшейся замѣчательной красотой, но не представлявшей для него блестящей партіи. Противъ этого брака возставали всѣ его ближайшіе родственники, особенно гордая аристократка, старуха-мать его, которой въ то время было слишкомъ восемьдесятъ лѣтъ и которая изъ прошлаго столѣтія принесла свои предрасудки и антипатіи. Впрочемъ, если самъ Меттернихъ наперекоръ этимъ предрасудкамъ рѣшился на женитьбу, то въ этомъ не слѣдуетъ видѣть проявленія истиннаго и глубокаго чувства. Когда государственный канцлеръ былъ еще юношей, онъ и тогда не отличался сердечной нѣжностью; на внучкѣ Кауница онъ женился по расчету; связью съ Каролиной Мюратъ онъ пользовался для политическихъ цѣлей или, вѣрнѣе, для того, чтобы пробить себѣ дорогу къ почестямъ и повышенію; любовь всегда была для него развлеченіемъ, а иногда полезнымъ, хоть и неблагообразнымъ средствомъ; онъ былъ слишкомъ сухъ и холоденъ, слишкомъ тщеславенъ и мелокъ, чтобы выносить въ груди прочное чувство и хоть разъ въ жизни принести ему въ жертву какую-нибудь существенную выгоду, какую-нибудь частицу своего самолюбія. Онъ женился во второй разъ, когда ему было 54 года; въ этихъ лѣтахъ мужчины бываютъ

особенно чувствительны къ красотѣ молодыхъ женщинъ; капризъ увядающей чувственности бываетъ такъ силенъ, что онъ можетъ показаться дѣйствительнымъ чувствомъ; такого рода капризъ рѣшилъ судьбу государственнаго канцлера; выгодъ ему искать нечего было; богатства у него было довольно; въ связяхъ онъ не нуждался; стало быть, онъ женился на красавицѣ именно потому, что только красота и могла доставить ему наслажденіе; что чувство его къ своей избранной не было глубоко и прочно—это можно заключить по общему характеру разбитаго нами личности; кромѣ того, княгиня Меттернихъ умерла черезъ два года послѣ своей свадьбы, а супругъ ея безъ всякой горести перенесъ свою утрату и вслѣдъ затѣмъ женился на третьей женѣ.

Я счелъ нужнымъ сказать нѣсколько словъ о семейной жизни Меттерниха для того, чтобы предостеречь читателя отъ ошибки; приписать этому человѣку способность глубоко чувствовать и сильно любить значило бы совершенно не понять его характера; Меттернихъ былъ мелокъ въ своихъ человѣческихъ чувствахъ настолько-же, насколько онъ былъ мелокъ и блонзурокъ въ своихъ политическихъ идеяхъ и административныхъ соображеніяхъ. Официальная, постоянно салонная жизнь, которой онъ прожилъ больше пятидесяти лѣтъ, удовлетворяла его потребностямъ, наполняла всѣ его минуты, составляла для него источникъ сильныхъ ощущеній, горя и радости, надеждъ и опасеній. У него не было внутренняго міра, и эта холодная официальность, проникавшая насквозь всю его личность и таившаяся подъ простотой и изысканной непринужденностью вѣшняго обращенія,—отразилась, конечно, на его гражданской дѣятельности, отъ которой вѣтъ ледянымъ холодомъ и сухой безучастностью къ дѣйствительно живымъ сторонамъ дѣла.

Когда наваринское сраженіе подало сигналъ къ серьезной войнѣ между Россіей и Турціей, Меттернихъ, испытавшій такимъ образомъ совершенное дипломатическое пораженіе, сталъ опасаться за существованіе Оттоманской Порты и старался возстановить противъ Россіи французское правительство. Когда его убѣжденія не подѣйствовали, онъ взялся за угрозы. Сынъ Наполеона, воспитывавшійся при вѣнскомъ дворѣ въ качествѣ герцога Рейхштадтскаго, внука императора Франца, послужилъ темой этихъ угрозъ. Со стороны Меттерниха эти угрозы были довольно оригинальны и безтактны; ему, защитнику законности, было просто неприлично противъ династіи Бурбоновъ, признанной великими державами и посаженной на престолъ при его-же содѣйствіи,—выставлять претендентомъ на французскую корону сына корсиканскаго демократа, вышедшаго изъ рядовъ революціи и перевернувшаго по-своему поземельныя отно-



шенія Европы. Но Меттернихъ уже давно пересталъ заботиться о послѣдовательности своихъ поступковъ; для него дѣло шло о самосохраненіи Австріи, стало быть, тутъ уже поздно было толковать о проведеніи принципа; намъ дипломатъ не подумалъ и о томъ, что его косвенныя угрозы окажутся мыльнымъ пузыремъ, если только французское правительство не испугается ихъ съ перваго разу. Дѣйствительно, у Меттерниха не было въ рукахъ никакихъ средствъ сдѣлать герцога Рейхштадтскаго опаснымъ для Франціи. Императоръ Францъ никогда не согласился бы отпустить изъ Вѣны своего внука, и это было хорошо извѣстно государственному канцлеру. Французское правительство поняло ничтожество этихъ угрозъ, отвѣчало на нихъ очень рѣзко, и австрійскій министръ принужденъ былъ замолчать.

Когда русское правительство спросило у австрійскаго кабинета отчета въ его пятригахъ противъ Россіи, Меттерниху пришлось отказываться отъ своихъ словъ и поступковъ, пришлось извиняться и лстить, а императоръ Францъ собственноручно написалъ къ императору Николаю дружеское письмо. Куда-же дѣвалось прежнее могущество Австріи, ея недавнее первенство на европейскихъ конгрессахъ? Рядъ дипломатическихъ неудачъ, испытанныхъ государственнымъ канцлеромъ, разрушилъ то фантастическое обаяніе, которое политика Австріи со времени низложенія Наполеона оказывала на умы европейскихъ дипломатовъ. Андрианопольскій миръ между Россіей и Турціей упрочилъ русское вліяніе на дѣла Порты и еще больше далъ почувствовать Меттерниху его безсиліе; Греческое королевство возникло помимо желанія Австріи; при выборѣ греческаго короля Австрія оставалась безъ голоса, и дѣло было рѣшено Англіей и Россіей. Словомъ, съ легкой руки Каннинга, униженія слѣдовали за униженіями, и бывший законодатель Европы навсегда потерялъ свое громадное вліяніе; онъ пробовалъ завязать сношенія съ Россіей, снова втянуть ее въ священный союзъ, но дѣло не шло на ладъ; многое измѣнилось въ обстоятельствахъ и въ личностяхъ, много воды утекло, и воротить начало 20-хъ годовъ было невозможно; идеи, ненавистныя Меттерниху, окрѣпли во время гоненія и готовы были, при первомъ удобномъ случаѣ, вспыхнуть во всей своей яркости и освѣтить кропотливо выстроенное зданіе австрійской государственной мудрости.

#### IX.

Въ 1830 году настроеніе умовъ въ Парижѣ сильно тревожило князя Меттерниха. Оппозиціонная партія въ палатѣ депутатовъ вела упорную борьбу съ министерствомъ Полиньяка, и за успѣхами этой борьбы слѣдили съ тревожнымъ вниманіемъ люди всѣхъ партій во

всѣхъ странахъ континентальной Европы; одни надѣялись, другіе боялись; къ числу послѣднихъ принадлежалъ, конечно, австрійскій министръ; онъ видѣлъ, что въ Парижѣ волнуются, постепенно сближаясь между собою, республиканцы и бонапартисты; онъ зналъ, что ихъ идеи и стремленія находятъ сочувствіе и въ Испаніи, и въ Италіи, и въ Германіи, и даже въ наслѣдственныхъ земляхъ Австрійской имперіи; онъ видѣлъ кромѣ того, что Карлъ X и министръ его Полиньякъ вполне увѣрены въ силѣ своего правительства, и эта легкомысленная самоувѣренность, основанная на несправедливости настоящаго положенія дѣлъ, еще болѣе беспокоила князя Меттерниха; онъ боялся, чтобы какой-нибудь самовластный поступокъ французскаго правительства не повелъ къ страшной катастрофѣ; онъ постоянно упрямилъ князя Полиньяка дѣйствовать осторожно и мало-по-малу стѣснять дѣятельность оппозиціонной партіи; Полиньякъ успокаивалъ его самыми положительными обѣщаніями, а между тѣмъ въ глубокой тайнѣ работалъ вмѣстѣ съ королемъ надъ составленіемъ новыхъ ординансовъ, измѣняющихъ конституцію 1815 года. Въ концѣ іюля 1830 года князь Меттернихъ получилъ отъ своего посланника въ Парижѣ самыя успокоительныя извѣстія; ему писали, что ни Карлъ X, ни Полиньякъ не думаютъ предпринимать никакихъ рѣшительныхъ мѣръ, и что оппозиціонная партія съ своей стороны не обнаруживаетъ никакихъ враждебныхъ намѣреній. Но велѣдъ за этими утѣшительными извѣстіями явились дѣла совершенно другого свойства. Оказалось, что Карлъ X и Полиньякъ въ послѣднихъ числахъ іюля попытались ввести новые ординансы, и что въ Парижѣ тотчасъ-же вспыхнуло страшное возстаніе; Меттернихъ разразился проклятіями противъ безразсудныхъ посягательствъ французскаго правительства; когда-же онъ узналъ о томъ, что Бурбоновъ выгоняютъ изъ Франціи, онъ пришелъ въ совершенное уныніе. «Теперь все пропало,—говорилъ онъ,—теперь вездѣ загорится!»

Дѣйствительно, приверженцы либеральной партіи подняли голову; въ Бельгіи вспыхнула революція, окончившаяся распаденіемъ Нидерландскаго королевства; въ Германіи обнаружилось броженіе; въ Гессенѣ, въ Саксоніи и въ Брауншвейгѣ произошли отдѣльныя возстанія; при такомъ положеніи дѣлъ Меттерниху и думать нечего было о томъ, чтобы вести съ революціей наступательную войну и бороться съ ея результатами во Франціи; ему надо было употребить всѣ усилія, чтобы уцѣлѣть въ Вѣнѣ и сохранить спокойствіе въ разнородныхъ лоскуткахъ австрійской монархіи. Поэтому онъ показлъ себя готовымъ на всякаго рода уступки и началъ съ того, что первый призналъ Людовика-Филиппа, получившаго корону изъ рукъ



торжествующей революціи, законнымъ королемъ Франціи; точно также было признано существованіе отдѣльнаго Бельгійскаго королевства; точно также были фактически признаны результаты брауншвейгской революціи, низвергнувшей съ престола герцога Карла, пользовавшагося особеннымъ расположеніемъ князя Меттерниха.

Осторожно и уступчиво повелъ себя австрійскій министръ въ отношеніи къ оппозиціи, начинавшей возникать въ мадьярской націи. Вниманіе народа, по распоряженіямъ правительства, было отвлечено на блестящіе празднества, сопровождавшія собою коронацію эрцгерцога Фердинанда, объявленнаго венгерскимъ королемъ при жизни отца своего, Франца I. Когда въ сеймѣ произошли пренія насчетъ рекрутскихъ наборовъ и взиманія податей, правительство на всѣхъ пунктахъ уступило настоятельнымъ требованіямъ оппозиціи. Эта неожиданная уступчивость смягчила воинственное настроеніе умовъ, и всеобщее воодушевленіе венгерской націи не пошло ей въ прокъ, благодаря уклончивой робости князя Меттерниха.

Уступая въ Венгріи, Меттернихъ не хотѣлъ уступать въ Италіи; это былъ послѣдній уголокъ, въ которомъ съ грѣхомъ пополамъ держалась его отжившая система; мелкіе итальянскіе владѣтели боялись своихъ собственныхъ подданныхъ и съ величайшей радостью принимали отъ Австрій вооруженныхъ блюстителей порядка: Италіи недоставало единодушія; смѣлыхъ патріотовъ было довольно, но они были разсѣяны и дѣйствовали врознь. То въ Моденѣ, то въ папской области, то въ Неаполѣ обнаруживались волненія, но приходили австрійскіе солдаты и тушили огонь, прежде чѣмъ онъ успѣвалъ разгорѣться. Европейскія державы обыкновенно не мѣшали этимъ упражненіямъ австрійскихъ отрядовъ и смотрѣли на вмѣшательство Австрій, какъ на дѣло очень естественное и вполне законное. Но послѣ іюльской революціи новое французское правительство, чувствуя настоятельную потребность поддерживать свою популярность въ глазахъ тѣхъ людей, которымъ оно обязано было своимъ возвышеніемъ, — рѣшилось защищать національные интересы Италіи противъ посягательства Австрій.

Въ мартѣ 1831 года французскій кабинетъ объявилъ Меттерниху, что вступленіе австрійской арміи въ итальянскія земли можетъ подать поводъ къ войнѣ съ Франціей. что война эта возможна, если австрійцы займутъ Модену, правдоподобна, если они войдутъ въ папскую область, и неизбежна, если они перешагнутъ черезъ границу Піемонта. Когда Меттернихъ, несмотря на это объявленіе, двинулъ войска въ Болонью, въ которой обнаружилось возстаніе, то французское правительство отъ словъ перешло къ дѣлу: Людовикъ-Филипп послалъ сильную эскадру и захватилъ приморскую крѣ-

пость Анкону, чтобы въ случаѣ дальнѣйшихъ предпріятій со стороны Австрій, имѣть противъ нея точку опоры въ папской области. Въ это самое время французскій посланникъ при папскомъ дворѣ убѣждалъ Пія VIII уступить желанію недовольнаго народа и отнять такимъ образомъ у Австрій поводъ къ вмѣшательству. Требованія Франціи поддерживала Англія; на сторонѣ Австрій находилась Пруссія. Меттернихъ боялся войны, и потому съ своей обыкновенной технической ловкостью отступилъ, поддерживая только внѣшнее благособоріе; но самъ передъ собою, въ тиши своего рабочаго кабинета, австрійскій министръ не могъ не сознаться въ томъ, что даже въ Италіи, на которую постоянно было обращено его бдительное вниманіе, выражавшееся въ многочисленныхъ арестахъ и въ постоянномъ движеніи военныхъ отрядовъ, даже въ Италіи, повторяю я, преобладаніе австрійской политики колеблется и становится сомнительнымъ.

Тоскливо оглядываясь вокругъ себя, отыскивая испуганнымъ взоромъ друзей и единомышленниковъ, князь Меттернихъ попробовалъ пустить въ ходъ старое средство, приносившее такіе блестящіе результаты въ Ахенѣ, въ Тропавѣ, въ Лайбахѣ и въ Веронѣ; онъ попробовалъ освѣжить идею священнаго союза и пригласилъ короля прусскаго пріѣхать въ одинъ изъ городовъ Австрій для совѣщанія съ императоромъ Францомъ о дѣлахъ Европы. Свиданіе между вѣнценосцами произошло въ Мюнхенѣ-Грецѣ, въ Богеміи, но не принесло тѣхъ послѣдствій, которыхъ такъ усердно добивался Меттернихъ. Тѣсный оборонительный и наступательный союзъ, котораго желалъ Меттернихъ, не состоялся, потому что Пруссія не обнаружила того консервативнаго рвенія, которымъ пылалъ австрійскій министръ. Не одобряя дѣйствій французскаго правительства въ папской области, Пруссія ограничилась однако тѣмъ, что выразила это неодобреніе очень миролюбивымъ тономъ, въ очень умѣренныхъ дипломатическихъ нотахъ. Нота австрійскаго правительства, напротивъ того, была написана рѣзко, она обвиняла французскій кабинетъ въ поощреніи безпорядковъ и объявляла торжественно, что Австрія, Пруссія и Россія готовы съ оружіемъ въ рукахъ поддерживать спокойствіе въ тѣхъ странахъ, которыя Франція волнуеетъ своимъ вліяніемъ. Ни Пруссія, ни Россія не уполномочивали Меттерниха пользоваться ими; грозя Франціи вооруженнымъ вмѣшательствомъ трехъ великихъ державъ, нашъ дипломатъ обѣщалъ больше, чѣмъ онъ могъ выполнить; французское правительство поняло это и отвѣчало очень рѣшительно, что Франція никогда не потерпитъ ничего вмѣшательства въ Бельгіи, въ Швейцаріи и въ Пімонтѣ. Въ Бельгіи и въ Швейцаріи—это еще ничего! Но въ Пімонтѣ, лежащемъ на границѣ Ломбардо-Венеціанскаго



королевства! Въ Пьемонтѣ не имѣть права возстановить порядокъ — это, по мнѣнію Меттерниха, значило отказаться отъ итальянскихъ владѣній, значило признать себя побѣжденнымъ до начала сраженія. А между тѣмъ, какъ ни страдало сердце государственнаго канцлера, пришлось покориться и этому тягостному ограниченію. Находясь въ крайне затруднительномъ положеніи, Меттернихъ попробовалъ пропустить мимо ушей то, что было сказано о Пьемонтѣ; онъ отвѣчалъ французскому посланнику, что требованія Франціи касательно Бельгіи и Швейцаріи совершенно законны; французскій посланникъ замѣтилъ ему, что онъ забываетъ Пьемонтъ; Меттернихъ выразилъ притворное удивленіе, потомъ благодарное негодованіе, но французскій дипломатъ продолжалъ настаивать; Англія также поддерживала это послѣднее требованіе, и Меттерниху пришлось уступить, потому что ни Пруссія, ни Россія не изъявляли желанія проливать кровь своихъ гражданъ за неприкосновенность австрійскихъ владѣній въ Италіи и за торжество меттерниховой системы въ континентальной Европѣ.

Тайная ненависть Меттерниха къ королю Людовику - Филиппу, возвысившемуся путемъ революціи, постепенно возрастала по мѣрѣ того, какъ политика новаго французскаго правительства парализировала его вліяніе на европейскія событія. Въ рукахъ Меттерниха находилось вѣрное средство надѣлать этому ненавистному правительству множество хлопотъ; при австрійскомъ дворѣ жилъ герцогъ Рейхштадтскій, о которомъ я уже упоминалъ прежде, и этимъ именемъ можно было бы отъ времени до времени грозить Орлеанской династіи точно такъ-же, какъ до ея вступленія на престолъ грозили династіи Бурбоновъ. Но угрозы Меттерниха выполнялись такъ рѣдко, и въ этомъ случаѣ выполненіе ихъ было такъ ненадежно, что правительство Людовика-Филиппа выслушало ихъ съ полнымъ равнодушіемъ, зная какъ нельзя лучше, что императоръ Францъ I никогда не выпуститъ своего внука изъ Вѣны и не позволитъ ему отвѣдать заманчиво-тревожной жизни политическаго авантюриста. Герцогъ Рейхштадтскій хорошо понималъ свое положеніе и не могъ съ нимъ помириться. Ему пошелъ двадцать-второй годъ; онъ былъ уменъ и честолюбивъ; подвиги его отца рисовались ему какими-то баснословными дѣяніями сказочнаго героя; они раскаляли его молодое воображеніе; онъ чувствовалъ въ себѣ силы идти путемъ своего отца, онъ рвался къ шумной дѣятельности, онъ задыхался въ атмосферѣ вѣнскихъ салоновъ; его не пускали на волю, а между тѣмъ онъ зналъ, что многочисленная партія требуетъ его присутствія во Франціи; постоянная тревога, постоянно сдерживаемая

правительствомъ страданій раба его здоровья, онъ истомился, зачахъ и въ 1832 году умеръ въ той самой комнатѣ Шенбруннскаго замка, въ которой отецъ его въ былые годы диктовалъ Австріи условія унижительнаго мира.

Смерть герцога Рейхштадтскаго разстроила на время надежды бонапартистовъ во Франціи, но надежды эти сосредоточились скоро съ новою силой на одномъ изъ племянниковъ «великаго императора», — на томъ самомъ, которому удалось совершить переворотъ 2-го декабря 1851 года.

Чисто германскіе дѣла требовали со стороны Меттерниха самаго неуклоннаго вниманія; подъ вліяніемъ июльскихъ событій 1830 года, въ германской націи просыпались тѣ опасныя стремленія къ національному единству и къ самоуправленію, которыя австрійскій министръ усилъ задушить послѣ войны съ Наполеономъ I. Сямытомы болѣзни были тѣ-же; стало быть, надо было, по мнѣнію Меттерниха, пустить въ ходъ тѣ лекарства, которыхъ дѣйствіе уже было испытано въ прошедшемъ кризисѣ. Опять началась дѣятельная перениска вѣнскаго кабинета съ различными дворами Германіи; однихъ упрасивали, другихъ увѣщевали, третьихъ усовѣщивали; всѣмъ грозили ужасами революціи, отъ всѣхъ требовали энергическихъ мѣръ. Энергическіе мѣры, которыхъ требовалъ Меттернихъ, состояли въ усиленіи полицейскаго надзора, проявляющагося въ самыхъ разнообразныхъ и замысловатыхъ формахъ; во Франкфуртѣ-на-Майнѣ была учреждена центральная слѣдственная коммиссія, что-то вродѣ комитета общественной безопасности; эта коммиссія должна была преслѣдовать и отыскивать либерализмъ во всемъ... Прежде всего упала, конечно, гроза на литературу, на журналистику и на книжную торговлю; посыпались аресты, денежные штрафы и запрещенія; всякія политическія сходки и народныя праздники были запрещены; политическіе рѣчи считались преступленіемъ; кокарда на шляпкѣ или цвѣтная лента въ костюмѣ считались нарушеніемъ общественнаго спокойствія.

Имя Меттерниха, которому совершенно основательно приписывалась инициатива реакціонныхъ мѣръ, сдѣлалось предметомъ ненависти... Сеймъ, служившій Меттерниху послушнымъ орудіемъ, потерялъ всякое значеніе въ глазахъ націи; его узаконенія и декреты, издававшіеся цѣлыми десятками по поводу самыхъ ничтожныхъ происшествій, надѣли всѣмъ и возбуждали презрительный смѣхъ; слабость и робость центральнаго правительства, душой котораго былъ Меттернихъ, выражались самымъ нагляднымъ образомъ въ этомъ ни на что не нужномъ обиліи указовъ и постановленій, постоянно повторявшихся и постоянно нарушавшихся. Между тѣмъ неудовольствіе народа прорывалось въ частныхъ демонстраціяхъ; старыя бытовья



формы, подправленные въ 1815 году, не удовлетворяли молодого поколѣнія, на глазахъ котораго совершились іюльскія событія. Меттернихъ все-таки не понималъ и не хотѣлъ понять того, что нація стремится къ новой политической жизни и что ни полумѣры, ни уступки не заставятъ ее помириться съ положеніемъ дѣлъ. Онъ думалъ, что разогнать представительное собраніе значить уничтожить въ народѣ стремленіе къ самоуправленію; запретить книгу или газету значило, по его мнѣнію, искоренить тотъ вредный образъ мыслей, которому она обязана своимъ происхожденіемъ. Словомъ, вдавливая внутрь проявленіе какого-нибудь принципа, Меттернихъ думалъ уничтожить самый принципъ. Такимъ образомъ, имѣя въ виду радикальное успокоеніе Германіи, стремившейся, по его мнѣнію, къ губительной анархіи, Меттернихъ въ началѣ 1834 года собралъ въ Вѣнѣ посланниковъ отъ всѣхъ нѣмецкихъ правительствъ для того, чтобы по общему соглашенію совокупными силами раздавить революціонную партію въ Германіи. Изъ рѣчи, которую Меттернихъ произнесъ передъ началомъ перваго засѣданія, видно, какое огромное значеніе онъ придавалъ этой партіи:

«Возненія нашей эпохи, — говорилъ между прочимъ австрійскій министръ, — породили партію, которой смѣлость, поощряемая нашей усугубчивостью, дошла до непозволительной дерзости. Вражду съ властями и авторитетами, считая себя призванной къ господству, эта партія среди общаго политическаго мира поддерживаетъ внутреннюю войну, отравляетъ духъ и настроеніе народа, соблазняетъ юношество, отуманиваетъ даже людей зрѣлаго возраста, путаетъ и искажаетъ всѣ общественныя и частныя отношенія, сознательно подстрекаетъ подданныхъ къ систематическому недовѣрію противъ законныхъ государей и проповѣдуетъ разрушеніе и уничтоженіе всего существующаго. Эта партія успѣла вселиться въ представительныя собранія, учрежденныя въ германскихъ государствахъ. Дѣйствуя по строго обдуманному плану, она сначала довольствовалась тѣмъ, что въ палатахъ депутатовъ составила противовѣсъ влиянію правительства. На этомъ ея стремленія не остановились; она старалась усилить свое значеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ заключить правительственную власть въ возможно тѣсныя границы; наконецъ, она пожелала, чтобы дѣйствительная власть изъ рукъ вѣнценосца была перенесена въ представительныя собранія... И должно сознаться, партія эта, къ сожалѣнію, во многихъ мѣстахъ, съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ, достигаетъ своей цѣли; если высококатящіяся волны этого направленія не встрѣтятъ на пути своемъ крѣпкой плотины, если успѣхамъ этой партіи не будетъ положенъ конецъ, то въ скоромъ времени изъ

рукъ многихъ правителей ускользнетъ послѣдняя тѣнь монархической власти».

Открывшись рѣчью государственнаго канцлера, вѣнскія конференціи повели къ слѣдующимъ результатамъ: протоколъ 12-го іюня 1834 года отнялъ у представительныхъ собраній германскихъ государствъ все ихъ дѣйствительное значеніе; эти собранія лишились права отказывать правительствамъ въ податяхъ и налогахъ и обсуживать государственный бюджетъ. Университеты и вся система народнаго образованія были подчинены строгому полицейскому надзору; значеніе суда присяжныхъ въ дѣлѣ литературныхъ преступленій было стѣснено вмѣшательствомъ администраціи; представительныя собранія, школы и литература — словомъ, всѣ проявленія народной мысли были систематически сдавлены; большая часть статей этого протокола, по рѣшенію совѣщавшихся лицъ, была оставлена въ тайнѣ; примѣръ Карла X и его ординамсовъ былъ еще слишкомъ свѣжъ въ памяти Меттерниха; рѣшаясь подражать дѣйствіямъ неосторожнаго французскаго короля, Меттернихъ не рѣшался подражать его отважной откровенности. Должно замѣтить, что нѣкоторые изъ германскихъ государей съ неудовольствіемъ исполняли рѣшенія вѣнскихъ конференцій; они понимали, что подобныя распоряженія отнимаютъ у правительства всякую нравственную опору, подрываютъ и губятъ его популярность, ставятъ его въ открытую оппозицію съ разумными стремленіями націи. «Намъ, — пишетъ одинъ изъ тогдашнихъ государей, — слѣдовало бы огорчаться результатами вѣнскихъ конференцій; онѣ отняли у насъ любовь и довѣріе нашихъ подданныхъ; мы лишились ихъ по милости Меттерниха. Если мы когда-нибудь снова достигнемъ сочувствія нашего народа, то это будетъ съ нашей стороны великая заслуга; но, говоря откровенно, я не знаю, какимъ образомъ можно будетъ засыпать бездну, отдѣляющую теперь престолъ отъ хижины простыхъ гражданъ, государя — отъ народа».

Государи, лично заинтересованные въ поддержаніи монархическаго принципа, были такимъ образомъ недовольны излишней услужливостью и безтолковымъ усердіемъ Меттерниха, громко величавшаго себя самой надежной опорой европейскихъ престоловъ. Государи упрекали его въ томъ, что онъ вредилъ ихъ дѣйствительнымъ интересамъ и компрометтировалъ ихъ имена въ общественномъ мнѣніи. Меттернихъ не могъ не знать ихъ мнѣнія; онъ самъ разными дипломатическими маневрами, угрозами и притѣсненіями навязывалъ свою политику тѣмъ государямъ Германіи, которые не хотѣли отнимать назадъ предоставленныя права; такъ поступилъ онъ съ Баденскимъ великимъ герцогомъ, а поступая такимъ образомъ, онъ уже не



могъ говорить, что отстаиваетъ права монарховъ; и дѣйствительно, Меттернихъ не былъ чистосердечнымъ монархистомъ; онъ былъ бюрократомъ и, какъ бюрократъ, тѣнилъ и преслѣдовалъ выборное начало.

## Х.

2-го марта 1835 года умеръ императоръ Францъ I, и политическій міръ Европы задалъ себѣ интересный вопросъ: какимъ образомъ и въ какомъ отношеніи измѣнится положеніе князя Меттерниха? Императоръ и его первый министръ, дѣйствовавшіе за-одно въ продолженіи 25 лѣтъ, сжились между собою, коротко узнали другъ друга и не разстались бы ни въ какомъ случаѣ, хотя бы императоръ Францъ прожилъ еще нѣсколько десятковъ лѣтъ. Гибкость и уступчивость князя Меттерниха уже давно расположили въ его пользу Франца I, не терпѣвшаго ни въ комъ изъ своихъ приближенныхъ присутствія собственной воли и самостоятельныхъ убѣжденій; между императоромъ и министромъ существовало различіе, но это различіе исчезало въ практической дѣятельности, благодаря драгоцѣнному свойству Меттерниха безъ малѣйшей боли отступать отъ идей и принциповъ. Францъ I былъ вѣрующій католикъ, Меттернихъ былъ скептикъ и индифферентистъ; Францъ I былъ злопамятенъ и мстителенъ; Меттернихъ легко забывалъ обиды и никогда никого не преслѣдовалъ своей ненавистью; Францъ въ своемъ отвращеніи къ нововведеніямъ доходилъ до слѣпота фанатизма; Меттернихъ былъ не прочь отъ мелкихъ улучшеній, лишь бы только проектъ подобныхъ улучшеній былъ выработанъ правительственнымъ лицомъ и облеченъ въ канцелярскія формы. Меттернихъ очень часто не сочувствовалъ распоряженіямъ своего государя, но всегда являлся его послушнымъ орудіемъ; Францъ I намѣчалъ общее направленіе, въ которомъ слѣдуетъ вести дѣло, а Меттернихъ, сохраняя про себя свое сочувствіе или несочувствіе, придумывалъ, какимъ образомъ провести это направленіе въ отдѣльныя отрасли администраціи. При жизни императора Франца Меттернихъ составилъ проектъ амністіи для политическихъ преступниковъ Ломбардіи; императоръ не утвердилъ этого проекта, Меттернихъ немедленно отложилъ его въ сторону и съ прежнимъ усердіемъ продолжалъ поддерживать тѣ мелкія притѣсненія, на которыя жалуются въ своихъ мемуарахъ Сильвіо Пеллико, Паллавичино и другіе шпильбергскіе арестанты. Францу I нуженъ былъ расторопный исполнитель, и Меттернихъ, изучившій своего государя, былъ незамѣнимъ для императора Франца, какъ чиновникъ по особымъ порученіямъ.

Какъ посмотреть на этого чиновника новый государь, и суждетъ-ли шестидесятилѣтній

министръ съ надлежащей быстротой приворотовиться къ новымъ требованіямъ, — вотъ какъ формулировался вопросъ, занимавшій умы европейскихъ дипломатовъ въ первое время послѣ смерти стараго императора. Новый государь, тридцатилѣтній Фердинандъ I, носившій титулъ короля венгерскаго со времени своей коронаціи въ Пресбургѣ въ сентябрѣ 1830 г., почти ни въ чемъ не былъ похожъ на своего отца; онъ былъ человѣкъ очень болѣзненный, съ трудомъ могъ сосредоточить свои мысли на обсужденіи серьезнаго предмета и не выдерживалъ двухчасоваго засѣданія въ государственномъ совѣтѣ; всѣ люди, знавшіе его въ то время, когда онъ былъ еще наслѣднымъ принцемъ, любили его за кроткій нравъ и отъ души жалѣли о томъ, что болѣзнь, ослабляющая умственныя способности, мѣшаетъ новому государю провести въ жизнь съ должной энергіей человѣколюбивыя стремленія. Первымъ дѣломъ Фердинанда по вступленіи на престолъ было облегченіе участи итальянцевъ, заключенныхъ въ Шпильбергъ и въ Мункачъ; узникамъ этимъ позволено было выселиться въ Америку. Фердинандъ могъ сдѣлать много частичнаго добра, но измѣнить господствующее направленіе политики онъ былъ не въ состояніи; съ благоговѣніемъ почтительнаго сына принявъ овъ изъ рукъ отца санъ императора, а вмѣстѣ съ этимъ саномъ получилъ инструкціи, въ непреложность которыхъ онъ безусловно вѣрилъ. Всѣ старые слуги Франца I были оставлены на прежнихъ мѣстахъ, и князь Меттернихъ, вскорѣ послѣ смерти стараго императора, получилъ отъ Фердинанда собственноручное ласковое письмо, въ которомъ новый государь благодарилъ министра за услуги, оказанныя имъ габсбургскому дому и Австрійской имперіи, и просилъ по-прежнему отправлять обязанности государственнаго канцлера. Несмотря на это любезное обращеніе Фердинанда къ старому слугѣ покойнаго отца, положеніе Меттерниха при новомъ правительствѣ чувствительно измѣнялось. При Францѣ государственный канцлеръ былъ исполнителемъ монаршей воли и представителемъ высочайшей особы, и потому все безропотно и безпрекословно склонялось предъ его могуществомъ. При Фердинандѣ этого не могло быть, потому что, во-1-хъ, у императора не было опредѣленной воли, и потому что, во-2-хъ, князь Меттернихъ вовсе не пользовался его исключительнымъ или даже преобладающимъ расположеніемъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ, природный чехъ, графъ Коловратъ - Либштейнскій, послѣ смерти Франца явился соперникомъ государственнаго канцлера, и несогласія между этими важнѣйшими правительственными лицами стали часто нарушать ходъ административныхъ распоряженій. Коловратъ, какъ государственный человѣкъ, былъ даровитѣе, смѣлѣе и популярнѣе Меттерниха, но главной причиной



размолвокъ между обоими министрами было не столько существенное различіе въ коренныхъ убѣжденіяхъ, сколько мелочное желаніе каждаго изъ нихъ поставить на своемъ и подчинить соперника своему вліянію.

Несогласія начались съ того, что Коловратъ составилъ проектъ о новомъ устройствѣ государственнаго совѣта, а Меттернихъ изъявилъ желаніе учредить конференціонный совѣтъ, какъ высшую административную инстанцію. Государственный совѣтъ въ то время фактически не существовалъ; онъ никогда не собирался въ полномъ своемъ составѣ, и только отдѣльные департаменты его имѣли дѣйствительное значеніе; между тѣмъ Коловратъ пользовался титуломъ председателя государственнаго совѣта, и ему хотѣлось придать этому титулу фактическую силу; для этого надо было, по его мнѣнію, превратить государственный совѣтъ въ высшее государственное мѣсто, предоставить председателю его отдѣльныхъ департаментовъ право дѣлать словесные доклады самому императору и учредить общія собранія всѣхъ департаментовъ. Председателемъ этого общаго собранія государственнаго совѣта былъ бы, конечно, графъ Коловратъ, и черезъ это его вліяніе могло бы даже перевѣсить значеніе князя Меттерниха.

Но Меттернихъ также не оставался въ бездѣйствіи; его сторону держалъ эрцгерцогъ Людовикъ, братъ покойнаго Франца І, и оба совокудными силами противодействовали проекту Коловрата; они считали исполненіе этого проекта опаснымъ, они боялись, чтобы государственный совѣтъ, соединившись въ одно административное цѣлое, не составилъ сильной оппозиціи намѣреніямъ и стремленіямъ самодержавнаго правителя; со стороны Меттерниха къ этимъ опасеніямъ примѣшивалось, конечно, въ значительной степени невысказанное, чисто личное и очень мелкое чувство зависти къ возрастающему вліянію Коловрата. Чтобы ни въ какомъ случаѣ не предоставить послѣднему рѣшительнаго перевѣса, Меттернихъ предложилъ оставить государственный совѣтъ въ покоѣ и дать новое устройство конференціонному совѣту, въ которомъ окончательно обсуживались и рѣшались важные государственные вопросы. Членами этого совѣта были только Меттернихъ и Коловратъ. Когда они не соглашались между собою, тогда не было никакой возможности рѣшить предложенный вопросъ, и государственная машина принуждена была остановиться въ своемъ движеніи до тѣхъ поръ, пока не уступитъ кто-нибудь изъ обоихъ членовъ конференціи. Обыкновенно примирителемъ и посредникомъ являлся эрцгерцогъ Людовикъ. Чтобы положить конецъ этимъ неудобствамъ, Меттернихъ предложилъ принять эрцгерцоговъ Людовика и Франца въ число постоянныхъ членовъ конференціоннаго совѣта. Въ конференціи оказалось бы такимъ

образомъ четыре члена, и перевѣсъ голосовъ постоянно находился бы на сторонѣ государственнаго канцлера, потому что оба эрцгерцога вѣрили въ непогрѣшимость его политическихъ мнѣній. Планъ Меттерниха встрѣтилъ себѣ чувство въ императорской фамиліи, а Коловратъ, чувствуя себя побѣжденнымъ, удалился отъ государственныхъ дѣлъ и ухалъ въ свои помѣстья. Безъ него не сдумѣли управиться; эрцгерцоги старались помирить его съ Меттернихомъ, и кончилось тѣмъ, что Коловратъ возвратился въ Вѣну, принялъ на себя управление министерствомъ внутреннихъ дѣлъ и министерствомъ финансовъ, отказался отъ перестройки государственнаго совѣта и согласился вмѣстѣ съ Меттернихомъ и двумя эрцгерцогами засѣдать въ государственной конференціи. Государственные дѣла пошли своимъ обычнымъ ходомъ, еще вялѣе, еще медленнѣе, чѣмъ они шли при Францѣ І; всѣ важные чиновники чувствовали необходимость переменъ, но никто изъ нихъ не зналъ, какъ приступить къ дѣлу, чтó измѣнить, чтó оставить по-старому. Громадность задачи пугала ихъ тѣмъ болѣе, что ни на одномъ пунктѣ они не могли между собою согласиться. Всѣ они чего-то ожидали, чего-то боялись и не смѣли притронуться къ существующимъ учрежденіямъ.

Смерть Франца І лишила австрійское правительство того начала инициативы, которымъ оно отличалось въ первой четверти нынѣшняго столѣтія. Меттернихъ, являвшійся услужливымъ исполнителемъ предначертаній, не былъ способенъ дѣйствовать въ духѣ покойнаго императора съ той твердостью и послѣдовательностью, какой отличался Францъ І. При жизни Франца Меттернихъ могъ опереться на него и поставить себя подъ его защиту; онъ дѣйствовалъ по приказанію государя и зналъ, что его не дадутъ въ обиду; при Фердинандѣ надо было держать себя иначе: возбуждать неудовольствіе подданныхъ непопулярными мѣрами было опасно, потому что добродушный и слабохарактерный императоръ не рѣшился и не сдумѣлъ бы наперекоръ общественному мнѣнію защищать даже своего любимца, а Меттернихъ пользовался только официальнымъ уваженіемъ государя и не внушалъ ему особенной симпатіи. Еслибы Меттернихъ деспотическими распоряженіями разбудилъ противъ себя въ австрійскихъ подданныхъ ту ненависть, которую уже давно чувствовали къ нему иностранцы, то онъ упалъ бы съ своего высокаго мѣста; онъ это зналъ, и потому, угнетая нѣмцевъ и итальянцевъ сѣтью дипломатическихъ интригъ, держалъ себя очень осторожно въ отношеніи къ ближайшимъ поданнымъ своего государя. Онъ постоянно уступалъ требованіямъ венгерской оппозиціи, и уступалъ изъ личнаго чувства самосохраненія въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ, съ точки зрѣнія монархическаго принципа, слѣдовало п.



стить въ ходъ энергическія мѣры. Въ 1836 г. Кошутъ въ первый разъ обнародовалъ засѣданія венгерскаго сейма, распустивъ по всей Венгріи литографированные отчеты. Правительство сдѣлало попытку остановить обращеніе этихъ листовъ, но встрѣтило сильное сопротивленіе и, не смѣя раздражать энергическую націю, сдѣлало важную уступку: съ 1839 г. въ венгерскихъ газетахъ стали печататься подробные отчеты о засѣданіяхъ сейма, и нѣмецкій языкъ былъ вытѣсненъ изъ официальныхъ актовъ.

Чувство національности, подавленное системой Франца I и его предшественниковъ, стало расправлять свои крылья и почти мгновенно выросло на глазахъ самого Меттерниха, который, конечно, не сочувствовалъ ея проявленіямъ и, между тѣмъ, не смѣлъ прикоснуться къ тому, за что народъ готовъ былъ поднять оружіе. Уступки, которыя Меттернихъ дѣлалъ требованіямъ массъ, не возбуждали къ нему сочувствія и не оправдываютъ его личности въ глазахъ исторіи. Уступки эти были чисто вынужденныя; народности, обращающія ихъ въ свою пользу, презирали министра за его слабость. Проявленіемъ слабости, слѣдствіемъ малодушнаго страха объяснялись и объясняются до сихъ поръ всѣ уклоненія Меттерниха отъ системы Франца I. Если Меттернихъ не сочувствовалъ мѣрамъ своего покойнаго государя, то, стало быть, онъ служилъ при немъ изъ-за жалованья и изъ-за вѣшняго почета; если онъ сочувствовалъ этимъ мѣрамъ, то, стало быть, онъ теперь отступилъ отъ нихъ вслѣдствіе мелкой трусости. Поинякъ въ сравненіи съ Меттернихомъ является героемъ и мученикомъ. Чѣмъ ближе всматриваемся мы въ человѣческую личность Меттерниха, тѣмъ болѣе убѣждаемся въ томъ, что въ ней нельзя найти ни одной выкупающей черты. Все въ этомъ человѣкѣ мелко, посредственно. Ни дальновидности, ни великодушія, ни даже мужественной твердости. Неумѣніе обсуживать государственные вопросы и неспособность твердо держаться принятаго рѣшенія кладутъ на всю дѣятельность Меттерниха послѣ смерти Франца I печать жалкаго безсилія и совершенной безхарактерности. Онъ постоянно идетъ ощупью, постоянно боится споткнуться на какомъ-нибудь препятствіи; ему совѣстно стоять на одномъ мѣстѣ и страшно идти впередъ; народныя силы ему по-прежнему неизвѣстны и по-прежнему пугаютъ разными небывалыми признаками болѣзненно-настроенное воображеніе; ему вездѣ мерещится революція, и онъ не знаетъ, въ какую сторону бѣжать отъ нея. Пруссія предлагаетъ, напримѣръ, очень простой проектъ: уничтожить заставы и таможи между германскими государствами и составить для всей Германіи общій таможенный уставъ; выгода очевидная: торговля оживится, потому что товары не будутъ задерживаться, общеніе между мелкими гер-

манскими государствами сдѣлается тѣснѣе, и торговля сношенія ихъ съ иностранцами будутъ удобнѣе; но Меттернихъ эту очевидную выгоду не принимаетъ въ соображеніе; онъ не понимаетъ того, что Австрія, взявши на себя устройство дѣла, выгоднаго для Германіи, можетъ усилить свое значеніе и увеличить политическое вліяніе. Проектъ Пруссіи тотчасъ возбуждаетъ въ немъ недоверіе; онъ дипломатическимъ путемъ начинаетъ противодействовать осуществленію, потомъ понемногу мирится съ нимъ, потомъ, наконецъ, становится покровителемъ той самой идеи, противъ которой онъ интриговалъ; но эту идею онъ не въ силахъ привести въ исполненіе; ее осуществляетъ уже послѣ паденія Меттерниха баронъ фонъ - Брукъ, присоединившій Австрію къ германскому таможенному союзу въ 1853 году; между тѣмъ, толки о возможности подобнаго торговаго договора между Австріей и Германіей происходили еще въ 1834 году; спрашивается, по чьей милости девятнадцать лѣтъ прошло въ пустыхъ переговорахъ? Положимъ даже, что Меттернихъ чистосердечно желалъ успѣха этой реформы, положимъ, онъ даже работалъ въ ея пользу, это нисколько не снимаетъ съ него вины и отвѣтственности. Возникаетъ вопросъ, на который не сумѣютъ отвѣтить самые ревностные защитники государственнаго канцлера: отчего этотъ человѣкъ, собиравшій конгрессы и конференціи, вродѣ карлсбадскихъ и вѣнскихъ, отчего этотъ самый человѣкъ былъ такъ слабъ, когда надо было и когда можно было принести управляемому народу существенную пользу? Въ этомъ вопросѣ заключается полное осужденіе Меттерниха.

## XI.

Вѣшняя политика Меттерниха послѣ 1830 года и особенно послѣ смерти Франца I сдѣлалась совершенно робкой и нерѣшительной. Англія, Франція и даже Пруссія постоянно стремились къ расширенію своего политическаго вліянія, а между тѣмъ Австрія постоянно заботилась только о томъ, чтобы сохранить вѣшнюю представительность и удержать за собою блѣдную тѣнь того могущества, которымъ она пользовалась послѣ 1815 года. Князь Меттернихъ терпѣлъ постоянныя пораженія на дипломатическомъ поприщѣ и только крайней уступчивостью умѣлъ маскировать чувствительность этихъ неудачъ. Уступчивость эта, происходившая отъ безсилія и отъ робости, называлась благоразуміемъ и оправдывалась желаніемъ поддержать въ Европѣ миръ и спокойствіе. Греческое королевство, возникшее помимо воли и даже вопреки желанію Меттерниха, рѣшительно не подчинялось вліянію Австріи; Бельгійское королевство отложило отъ Нидерландовъ и, благодаря содѣйствію Франціи и Англіи,



рѣшительно отстояло свою независимость, не смотря на пассивное сопротивленіе Австріи. Донъ Мигуэль, любимецъ Меттерниха и ревностный послѣдователь его политическихъ теорій, былъ изгнанъ изъ Португаліи, и Австрія не дѣлала въ его пользу ни малѣйшаго распоряженія; въ Испаніи вспыхнула революція, сбросившая съ престола Дона Карлоса, и Меттернихъ не рѣшился поддерживать изгнаннаго инфанта; всѣ политическіе вопросы рѣшались совершенно противно желанію австрійскаго министра, и онъ оставался безгласнымъ, иногда слабо возражалъ, иногда пускалъ въ ходъ мелкую интрижку, но никогда не заявлялъ рѣшительнаго протеста, боясь пораженія и не надѣясь на свои силы. Съ тѣхъ поръ, какъ Каннингъ разрушилъ вѣру въ непогрѣшимость Меттерниха, ни одно дипломатическое предпріятіе не клеилось въ рукахъ австрійскаго министра, всѣ его попытки создать что-нибудь подобное священному союзу не шли въ прокъ и вели только къ усиленію полицейскаго элемента въ управленіи Германіи или къ изобрѣтенію какой-нибудь новой стѣснительной мѣры въ отношеніи къ Италіи.

Въ 1832 году вся Европа обратила вниманіе на Турцію; египетскій паша Мегеметь-Али, усилившійся въ своихъ владѣніяхъ, потребовалъ себѣ отъ султана сирійскій пашалыкъ. Султанъ отказалъ, и тогда сынъ Мегемета, Ибрагимъ, вступилъ въ Сирію съ сильной арміей, разбивъ турецкое войско, и черезъ Малую Азію грозилъ пройти къ Константинополю. Султанъ обратился съ просьбой о помощи къ Россіи; русскій флотъ отправился изъ Чернаго моря къ берегамъ Сиріи, и сильная армія вступила въ турецкія владѣнія; Меттернихъ пришелъ въ сильное безпокойство; онъ особенно боялся усиленія ближайшихъ сосѣдей Австріи, онъ предвидѣлъ, что русская армія рано или поздно одержитъ побѣду надъ Ибрагимомъ, и что тогда русское правительство, выручившее султана изъ крайне опаснаго положенія, приобрететъ вліяніе на Турцію. Требовать отъ Россіи, чтобы она не вмѣшивалась въ турецкія дѣла, значило вызвать съ ея стороны рѣзкій отвѣтъ, нарушить дружескія отношенія съ русскимъ кабинетомъ и поставить себя въ необходимость или молча перенести дерзость, или объявить войну Россіи. Войны Меттернихъ не желалъ ни въ какомъ случаѣ; перспектива дипломатическаго пораженія также не имѣла для него ничего привлекательнаго; поэтому онъ, не говоря ни слова русскому посланнику, рѣшился околнѣлымъ путемъ разстроить планы русскаго правительства. Чтобы сдѣлать вмѣшательство Россіи безполезнымъ и даже невозможнымъ, надо было помирить воюющія стороны. Мирить бунтующаго подданнаго съ законнымъ государемъ было, конечно, мудро для такого усерднаго защитника легитимизма, какимъ любилъ себя выказывать пе-

редъ лицомъ Европы князь Меттернихъ. Съ точки зрѣнія системы, господствовавшей надъ континентальною Европой послѣ сверженія Наполеона I, съ точки зрѣнія той системы, которую Меттернихъ съ гордостью называлъ *своей*, слѣдовало, конечно, усмирить мятежника, возбудить въ немъ чистосердечное раскаяніе и потомъ, смотря по желанію властелина, простить дерзкаго нарушителя общественнаго спокойствія или накинуть ему на шею шелковую петлю. Но, что дѣлать, легче составлять политическія теоріи, чѣмъ примѣнять ихъ къ дѣлу. Въ настоящемъ случаѣ для Меттерниха было гораздо важнѣе устранить вмѣшательство Россіи, чѣмъ спасти достоинство законнаго государя Турецкой имперіи. Дерзкій мятежникъ Мегеметь-Али не хотѣлъ идти съ повинной головой къ своему законному повелителю; считая себя побѣдителемъ, онъ очень настоятельно требовалъ себѣ Сирію, и Меттернихъ, повидимому, нашелъ его требованіе законнымъ; по крайней мѣрѣ австрійскій интернунцій при турецкомъ дворѣ поддерживалъ домогательства египетскаго паши и доказывалъ Портѣ необходимость уступить силѣ обстоятельствъ. Австрійская логика убѣдила султана и его совѣтниковъ; сирійскій пашалыкъ былъ отданъ Мегемету-Али, и въ Кутаѣ былъ подписанъ договоръ, въ которомъ такимъ образомъ законный государь, по совѣту легитимиста Меттерниха, во всѣхъ отношеніяхъ исполнялъ требованія своего возмущившагося подданнаго.

Но въ то самое время, какъ Меттернихъ подавлялъ въ себѣ голосъ легитимизма для того, чтобы уничтожить вліяніе Россіи на Турцію, это вліяніе упрочилось и облекалось въ законную форму. Въ мѣстечкѣ Ункяръ-Скелесси былъ заключенъ въ это время оборонительный союзъ между Турціей и Россіей. Меттерниха сильно встревожило извѣстіе объ этомъ договорѣ, который, по его мнѣнію, могъ повести къ обще-европейской войнѣ; въ этой войнѣ Австріи пришлось бы непременно принять сторону того или другого лагеря; можетъ быть, оказалась бы необходимость рѣшиться тогда, когда результатъ борьбы будетъ еще неизвѣстенъ; война на границахъ славянскихъ и мадьярскихъ владѣній Австріи могла надѣлать множество хлопотъ австрійскому правительству; усиленіе Россіи было, конечно, непріятно для патріотическаго сердца князя Меттерниха, но лучше было стерпѣть молча это усиленіе, чѣмъ изъ-за него подвергать себя опасностямъ великой войны. Поэтому Меттернихъ, пожертвовавшій принципомъ легитимизма ради политическаго разсчета, пожертвовалъ политическими разсчетами ради самосохраненія; онъ боролся съ преобладаніемъ Россіи въ Турціи, пока оно еще устанавливалось и пока можно было подорвать его дипломатическими интригами; какъ только оно явилось узаконеннымъ фактомъ, такъ Меттер-



нихъ тотчасъ же покорился необходимости и сталъ убѣждать представителей Франціи и Англіи послѣдовать его примѣру. Дѣйствительно, Франція и Англія успокоились, а Меттернихъ сблизился съ Россіей и заключилъ съ ней договоръ, въ силу котораго Австрія и Россія гарантировали неприкосновенность турецкихъ владѣній даже въ томъ случаѣ, если вымретъ царствующая династія.

Конечно, всѣ эти дѣйствія Меттерниха не разрѣшали и не могли разрѣшить восточнаго вопроса—они только отсрочивали смуты и раздоры на неопредѣленное время. Внутренняя слабость Оттоманской имперіи не позволяла ей существовать самостоятельно; великія европейскія державы постоянно сосредоточивали свое вниманіе на Константинополѣ, чтобы не допустить до рѣшительнаго преобладанія котораго-нибудь изъ ближайшихъ сосѣдей Турціи. Англія, Франція и Австрія постоянно упражнялись въ дипломатическихъ состязаніяхъ, и можно было предвидѣть, не будучи ни пророкомъ, ни великимъ политикомъ, что эти оберегатели Оттоманской Порты рано или поздно передерутся между собой, не сойдясь въ обсужденіи какого-нибудь спорнаго пункта. Знали или не знали Меттернихъ, что это такъ случится,—все равно. Во всякомъ случаѣ онъ дѣйствовалъ такъ, какъ дѣйствуютъ люди, рѣшительно не заботящіеся о томъ, что будетъ впереди, лѣтъ черезъ десять или черезъ пятнадцать. Надо было кое-какъ увернуться отъ войны, и если это удавалось, Меттернихъ оказывался совершенно довольнымъ, не замѣчая того, что количество горячаго матеріала постоянно увеличивалось, и что, отсрочивая взрывъ, можно было увеличивать его потрясающую силу.

Въ концѣ тридцатыхъ годовъ Мегеметь-Али опять обезпокоилъ султана; онъ потребовалъ, чтобы его пашалыкъ былъ объявленъ наслѣственнымъ въ его родѣ; когда ему отказали, онъ захватилъ въ плѣнъ весь турецкій флотъ и разбилъ армію султана при Низибѣ въ іюнѣ 1839 года; въ это самое время умеръ султанъ Махмудъ II, и весь дипломатическій міръ Европы пришелъ въ волненіе; всѣ государственные люди ожидали, что Россія, поручившаяся въ неприкосновенности турецкихъ владѣній, введетъ свои войска въ Турцію, чтобы охранять ее отъ притязаній египетскаго пашы; еслибы это случилось, то столкновение между Россіей съ одной стороны и Англіей и Франціей съ другой было бы неизбежно. Франція уже выказала свое сочувствіе Мегемету-Али; Англія держала сторону Порты и въ этомъ отношеніи сходилась съ Россіей; но еслибы Россія захотѣла взять въ опеку султана Абдуль-Меджида и занять турецкія области своими войсками, тогда, по всей вѣроятности, Англія и Франція совокупными силами вступили бы въ борьбу съ Россіей. Чтобы еще разъ отклонить предстоя-

щую войну, Меттернихъ убѣдилъ Порту просить посредничества пяти великихъ державъ въ дѣлѣ съ Мегеметомъ-Али. Порта послѣдовала его совѣту и въ августѣ 1839 года обратилась къ представителямъ пяти державъ съ формальной просьбой усмирить бунтующаго пашу. Когда бы такимъ образомъ всѣ великія державы принялись за это дѣло, тогда, конечно, вліяніе Россіи на турецкія дѣла оказалось бы значительно ослабленнымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ ближайшій поводъ къ войнѣ былъ бы устраненъ.

Россія не сопротивлялась плану Меттерниха; въ Лондонѣ шли даже переговоры между Россіей и Англіей о томъ, чтобы составить союзъ для защиты Турціи; но Франція, поддерживавшая пашу, рѣшительно не соглашалась принимать участія въ предлагаемомъ посредничествѣ и старалась найти себѣ союзника въ Австріи. Можно было сказать навѣрное, что эти старанія будутъ совершенно безуспѣшны; кто сколько-нибудь зналъ Меттерниха, тотъ могъ себѣ легко представить, какъ онъ посмотритъ на предложеніе Франціи; еслибы Австрія присоединилась къ Франціи, тогда оказалось бы, что двѣ великія державы идутъ противъ двухъ другихъ великихъ державъ; обѣ враждующія партіи оказались бы почти равными, и слѣдовательно исходъ борьбы между кабинетами или между войсками былъ бы крайне сомнителенъ; еслибы, напротивъ того, Австрія стала на сторону Россіи и Англіи, тогда пошли бы три державы противъ одной; въ первомъ случаѣ можно было предполагать, что дѣло дойдетъ до войны; во второмъ случаѣ трудно было себѣ представить, чтобы одна Франція, и при томъ Франція Людовика-Филиппа, рѣшилась за египетскаго пашу вызвать на бой почти всю Европу; миролюбивыя наклонности князя Меттерниха побуждали его сблизиться съ Россіей и Англіей, чтобы такимъ образомъ показать Франціи, что ея оппозиція будетъ бесполезна; кромѣ того, примыкая къ Англіи и Россіи, Меттернихъ доставлялъ имъ рѣшительный перевѣсъ въ случаѣ войны. Тутъ незачѣмъ было болѣе колебаться, и Меттернихъ, въ совѣщаніи съ французскимъ посланникомъ Сентъ-Олеромъ, посоветовалъ ему передать своему правительству, чтобы оно не сопротивлялось единодушному желанію европейскихъ державъ. «Я всѣмъ даю совѣты,—говорилъ государственный канцлеръ,—я выслушиваю, умѣряю страсти; но я не могу и не хочу сдѣлаться рѣшительнымъ приверженцемъ той или другой партіи. Я желаю сохраненія мира, согласія между державами; такъ какъ въ Лондонѣ происходятъ совѣщанія, то я не понимаю, почему Франція, по необъяснимой любви къ пашѣ, держится въ сторонѣ отъ обще-европейскаго дѣла. Если вы хотите знать мое мнѣніе, то, по-моему, лучше всего согласиться съ тѣмъ, что будетъ рѣшено сообща, потому что это рѣшеніе



вѣроятно, будетъ основательно и дѣльно. Мы не хотимъ исключать Францію, но мы также вовсе не желаемъ, чтобы Франція взяла насъ на буксиръ».

Эти слова, произнесенныя Меттернихомъ осенью 1839 года, показывали ясно, что онъ рѣшился дѣйствовать за-одно съ Англіей и Россіей, предоставляя, впрочемъ, своимъ союзникамъ полное право драться за общее дѣло и безъ его содѣйствія проливать кровь и пожинавать лавры. Впрочемъ, дѣло тянулось еще болѣе полугода; только лѣтомъ 1840 года, 15 іюля, былъ подписанъ союзный договоръ между Россіей, Англіей, Пруссіей и Австріей; этимъ договоромъ четыре державы обязывались противодѣйствовать неумѣреннымъ требованіямъ Мегемета-Али и поставить его въ прежнія отношенія къ султану. Сообразно съ условіями дипломатической вѣжливости, подписавшіяся державы черезъ своихъ представителей предложили и Франціи приступить къ союзу, но Франція на это любезное предложеніе отвѣчала сухимъ отказомъ и даже встревожила князя Меттерниха, принявъ воинственную осанку; во главѣ французскаго министерства стоялъ въ то время историкъ Тьеръ, восторженный поклонникъ Наполеона I, человѣкъ честолюбивый, энергическій, мечтавшій о военной славѣ и вполне способный затѣять обще-европейскую войну изъ тщеславія, изъ любви къ блеску и треску оружія. Конечно, воинственные порывы Тьера умѣрились холодной расчетливостью короля Людовика-Филиппа, но тѣмъ не менѣе Франція стала вооружаться, и Меттернихъ съ безпокойствомъ обратился за объясненіями къ Сентъ-Олеру. «Къ чему эти поспѣшныя приготовленія,—говорилъ онъ.—Неужели вы хотите войны? Мы такъ миролюбивы, а вы намъ грозите. Неужели вамъ хочется, чтобы Германія поднялась такъ, какъ она поднималась въ 1813 году? Если это случится, то это поведетъ къ важнымъ послѣдствіямъ и тогда ни за что нельзя поручиться».

Это совершенно справедливо; еслибы Германія въ 1840 году поднялась съ тѣмъ энтузіазмомъ, который она обнаружила въ войнѣ съ Наполеономъ I, тогда конечно нельзя было бы поручиться за неприкосновенность Австріи и за министерство Меттерниха. Государственный канцлеръ очень хорошо понималъ, что ему самому воодушевленіе Германіи можетъ повредить гораздо сильнѣе, чѣмъ Людовику-Филиппу и Франціи. Это обстоятельство было, конечно, одной изъ важнѣйшихъ причинъ его миролюбивой политики.

Подписавшій союзный договоръ, Меттернихъ, несмотря на всю свою дипломатическую осторожность, рѣшился даже послать къ берегамъ Сиріи небольшую флотилію, которая вмѣстѣ съ англійской эскадрой Станфорда взяла вѣсколько приморскихъ крѣпостей и такимъ образомъ значительно поколебала настойчивость египетскаго паши. Это распоряженіе Меттерниха объ-

ясняется тѣмъ, что, поступая такимъ образомъ, Австрія ничѣмъ не рисковала и между тѣмъ доказывала свою энергію, являясь въ числѣ самыхъ ревностныхъ исполнителей подписаннаго договора. Порта захотѣла выместить на Мегеметъ-Али тотъ страхъ, который египетскій паша не разъ нагонялъ на нее своими побѣдами; она объявила его отставленнымъ отъ управленія Египетомъ; англійское правительство, въ лицѣ лорда Пальмерстона, сочувствовало этому распоряженію и желало продолжать военные подвиги противъ Сиріи и Египта. Франція значительно понизила свои требованія и желала только, чтобы Мегеметъ-Али остался наслѣдственнымъ правителемъ Египта; о Сиріи-же не было рѣчи, потому что она, благодаря дѣйствіямъ англо-австрійскаго флота, была предоставлена въ полное распоряженіе султана. Тьеръ вышелъ въ отставку, и вмѣстѣ съ нимъ исчезло воинственное настроеніе французскаго правительства. Меттернихъ былъ очень радъ помириться съ Франціей и съ удовольствіемъ согласился отстоять пашу отъ Порты и отъ Англіи; продолжать обстрѣливаніе сирійскихъ береговъ значило работать въ пользу Англіи и дать ей возможность захватить два-три приморскихъ пункта — этого Меттерниху, конечно, не хотѣлось; онъ отозвалъ австрійскую эскадру и говорилъ, что считаетъ египетское дѣло оконченнымъ; о воинственныхъ стремленіяхъ Англіи онъ сталъ отзываться съ неудовольствіемъ. «Это сумасшедшій,—говорилъ онъ о лордѣ Понсонби, англійскомъ посланникѣ въ Константинополь:—онъ способенъ заключить миръ или объявить войну, не обращая вниманія на положительныя приказанія своего двора; онъ во всѣхъ отношеніяхъ человѣкъ прекрасный, но сумасшедшій. Впрочемъ, теперь онъ можетъ дѣлать, что ему угодно; исторія эта кончена».

Дѣйствительно, ни одна изъ великихъ державъ, кромѣ Англіи, не была заинтересована въ продолженіи войны, и потому всѣ согласились съ предложеніемъ Меттерниха оставить Мегемета-Али въ покоѣ, предоставляя ему владѣть Египтомъ и завѣщать его своему сыну. Мегеметъ-Али, рисковавшій потерять все, съ радостью согласился на предложенныя условія, и вопросъ оказался такимъ образомъ рѣшеннымъ, несмотря на усилія Пальмерстона запутать дѣло и затянуть войну. Австрія вышла съ честью изъ этого дѣла и вынесла изъ него много существенныхъ выгодъ; поддержавши въ рѣшительную минуту Мегемета-Али и остановившись во-время, она упрочила и скрѣпила дружескія отношенія съ Франціей. Впрочемъ, весь этотъ вопросъ представлялъ такъ мало затрудненій, что изъ него вовсе немудрено было выдти съ достоинствомъ и съ прибылью, особенно для Австріи, которая, не имѣя въ этомъ дѣлѣ прямого, личнаго интереса, могла обсуживать его совершенно спокойно и хладно-



кровно и кромѣ того во всякую данную минуту могла отойти въ сторону и, въ случаѣ надобности, ограничиться ролью безпристрастнаго зрителя. Кромѣ того, Меттерниху благопріятствовало счастье; когда Франція возвысила голосъ и начала вооружаться, дѣло могло сильно запутаться; еслибы Франція объявила войну, еслибы французская армія вступила на германскую землю, тогда многіе расчеты государственнаго канцлера могли бы оказаться невѣрными; изъ домашняго дѣла турецкаго султана со своимъ вассаломъ могла выдти обще-европейская коллизія, которая разыгралась бы въ огромныхъ размѣрахъ и повела бы къ неисчислимымъ послѣдствіямъ; французскія войска могли бы вступить въ Италію, и въ 1840 году могло бы случиться то, что произошло въ 1859 году. Паденіе министерства Тьера спасло Австрію и Меттерниха; причина этого кризиса заключалась въ самой Франціи; Меттернихъ нисколько не содѣйствовалъ паденію Тьера и даже не предвидѣлъ его; такъ случилось, и изъ этой случайности для Меттерниха вышли хорошія послѣдствія; еслибы случилось иначе, Меттерниху и Австріи пришлось бы нехорошо. Стало быть, государственнаго канцлера выручила не дипломатическая опытность, не предусмотрительная мудрость, а просто счастливое стеченіе обстоятельствъ.

## ХІІ.

Въ сентябрѣ 1843 года въ Греціи произошла революція, и король Оттонъ былъ принужденъ даровать конституцію. Хотя преданія политики конгрессовъ и священнаго союза уже давно были сданы въ архивъ исторіи, но Меттернихъ не утерпѣлъ; въ немъ заговорило ретивое, и желаніе вспомнить подвиги молодости, когда, по его мановенію, полки ходили усмирять Піемонтъ, Неаполь и Испанію, шевельнулось въ душѣ ветерана-легитимиста, такъ часто измѣнявшаго принципу легитимизма. Въ настоящемъ случаѣ Меттернихъ осенью 1844 года обратился въ Парижъ съ дипломатическимъ вопросомъ: не будетъ-ли удобно, для поддержанія престола короля Оттона, пяти великимъ державамъ сообща принять участіе въ дѣлахъ Греціи? Вопросъ этотъ былъ обращенъ къ тогдашнему министру Гизо, считавшему себя великимъ прогрессистомъ и ex officio чувствовавшему ко всякой конституціи величайшую нѣжность. Гизо отвѣчалъ Меттерниху, что ни Пруссія, ни Англія не обнаруживаютъ ни малѣйшаго желанія вмѣшиваться въ дѣла Греціи; отъ себя-же французскій министръ выразилъ то мнѣніе, что лучше всего предоставить Грецію ея собственнымъ силамъ и стремленіямъ, ограничиваясь только тѣмъ нравственнымъ вліяніемъ, которое можно оказывать на личности отдѣльныхъ дѣятелей посредствомъ письменныхъ и изустныхъ совѣтовъ. Изъ этого отвѣта князь Меттернихъ могъ за-

ключить съ глубокою грустью, что времена перемѣнились. Онъ печально махнулъ рукой на Грецію, понялъ невозвратимость милаго прошедшаго и сталъ смотрѣть въ другую сторону.

Въ 1846 году онъ высмотрѣлъ и присоединилъ къ Австріи вольный городъ Краковъ. Не буду обсуживать нравственной стороны этого событія. Замѣчу только мимоходомъ, что въ 1815 году, на вѣскомъ конгрессѣ, самъ князь Меттернихъ составилъ и подписалъ актъ, въ которомъ четыре статьи (отъ VI-й до X-й) освящали и обезпечивали на вѣчныя времена независимое существованіе вольнаго города Кракова; въ 1846 году тотъ-же самый князь Меттернихъ объявилъ, что Австрія считаетъ должнымъ, повинаясь политической необходимости, прекратить независимое существованіе города Кракова и присоединить его къ австрійскимъ владѣніямъ. Есть обстоятельства, объясняющія до нѣкоторой степени оригинальный поступокъ Меттерниха и до нѣкоторой степени снимающія съ него отвѣтственность, но во всякомъ случаѣ онъ уничтожилъ то, что самъ создалъ; онъ разбилъ свое дѣло; онъ самъ затопталъ въ грязь преданія той политики, къ которой онъ питалъ такое нѣжное чувство.

Италія по-прежнему была предметомъ неуслынныхъ заботъ австрійскаго министра и по-прежнему показывала себя неблагодарной и недостойной его попеченій. Итальянцы по-прежнему продолжали ненавидѣть австрійцевъ и начинали даже придумывать средство совсѣмъ выгнать ихъ изъ Италіи; уже Мадзини и партія «Юной Италіи» начали свою агитаторскую дѣятельность; Піемонтъ сдѣлался центромъ итальянскаго движенія; мысль о свободѣ и единствѣ Италіи понемногу стала облекаться въ образы, способные возбудить энтузіазмъ народной массы. Сардинскій король, Карлъ Альбертъ, отецъ итальянскаго короля Виктора-Эммануила, личный врагъ князя Меттерниха, сталъ опираться на патріотическую партію и въ рѣзкихъ нотахъ выражать австрійскому правительству свои враждебныя чувства и намѣренія. Въ это самое время, 1 іюня 1846 года, умеръ папа Григорій XVI, поддерживавшій политику Меттерниха въ Италіи, и черезъ двѣ недѣли послѣ его смерти на папскій престолъ вступилъ Матаи-Феррети подъ именемъ Пія IX. Первымъ дѣломъ новаго преемника Св. Петра была всеобщая амнистія. Этого было достаточно, чтобы привести въ восторгъ итальянцевъ и возбудить въ австрійскомъ правительствѣ самыя серьезныя опасенія. Піи IX съ первой минуты сдѣлался героемъ патріотическихъ надеждъ Италіи; первые поступки его были приняты взрывомъ національнаго энтузіазма, и ропотъ одобренія, способный съ минуты на минуту превратиться въ призывъ къ оружію противъ враговъ и угнетателей родины, пробѣжалъ по всему Аппенинскому полуострову. Меттернихъ



даль замѣтить папѣ, что считаетъ амнистію не своевременной, и просилъ Пія IX не выходить въ предполагаемыхъ реформахъ изъ тѣхъ границъ, которыя были установлены въ маѣ 1831 г. Амнистія тревожила Меттерниха потому, что, пользуясь ею, множество итальянскихъ патріотовъ или политическихъ преступниковъ со всѣхъ концовъ земли стеклись въ Церковную область, откуда имъ очень удобно было завязать сношенія съ недовольными гражданами Ломбардіи, Неаполя, Тосканы, Модены и Пармы. Предчувствуя, что папа не обратитъ особеннаго вниманія на его совѣты, Меттернихъ принялъ серьезныя мѣры противъ ожидаемаго движенія въ Италіи вообще и въ Церковной области въ особенности. Онъ началъ съ того, что усилилъ въ Феррарѣ австрійскій гарнизонъ, занимавшій эту крѣпость со временъ вѣнскаго конгресса. Папское правительство, боясь, чтобы его не заподозрили въ тайномъ сообществѣ съ Австріей, протестовало противъ этой мѣры, и протестовало такъ громко, что въ это дѣло вмѣшались Франція и Англія.

Итальянскіе патріоты потребовали учрежденія національной гвардіи; раздраженіе противъ Австріи усилилось и приняло опредѣленную форму. Въ это самое время въ Римѣ произошли волненія, возбужденныя партіей реакціи, желавшей насильно обратить папу къ политикѣ прежняго правительства; общественное мнѣніе приписало эти волненія интригамъ австрійскаго правительства, и гласный протестъ Меттерниха противъ этого обвиненія нисколько не поколебалъ этого слуха. Когда Меттернихъ, желая энергическими мѣрами задавить возрастающее броженіе, предложилъ папскому правительству успокоить народъ австрійскими отрядами, ему отвѣчали на это предложеніе громкимъ и гордымъ отказомъ, въ которомъ говорилось между прочимъ, что итальянцы сами умѣютъ защищать себя. Вслѣдъ за тѣмъ папское правительство смѣлѣе прежняго стало поддерживать идею итальянскаго единства и завязало съ Сардиніей и Тосканой переговоры насчетъ устройства итальянскаго таможеннаго союза. Меттернихъ понялъ тогда, что Пій IX стоитъ на ложной дорогѣ, съ которой невозможно будетъ своротить его кроткими увѣщаніями; онъ понялъ также, что начинающееся итальянское движеніе можетъ повести за собою важныя послѣдствія; онъ назвалъ это движеніе революціей, объявилъ себя рѣшительнымъ врагомъ этого движенія и, по своему обыкновенію, сталъ собирать союзниковъ, сталъ совѣщаться чаще обыкновеннаго съ посланниками и переписываться съ министрами. «Я вѣрю, — писалъ онъ около этого времени къ Гизо, — въ торжество умѣренныхъ идей въ такихъ странахъ, которыя, подобно Франціи, пережили нѣсколько революцій. Тогда возможенъ компромиссъ, ведущій къ благодѣтельнымъ результатамъ. Но я не

думаю, чтобы могъ водвориться порядокъ *juste milieu* въ той фазѣ, въ какой находится итальянскія государства; тамъ революція не подходитъ къ концу, а только что начинается; если въ государствѣ власть переходитъ изъ рукъ существующихъ правительствъ въ руки другой, какой бы то ни было, партіи, тогда можно сказать, что государство находится въ состояніи революціи. Меня несправедливо считаютъ приверженцемъ абсолютнаго сопротивленія; нѣтъ ничего абсолютнаго, кромѣ истины. Политика имѣетъ дѣло съ результатами и не знаетъ ничего абсолютнаго. Ни въ теоріи, ни въ практикѣ не было создаваемо ничего абсолютнаго. Мое сопротивленіе революціонному духу было иногда дѣятельное, какъ въ 1820 году, часто оборонительное, какъ въ 1831. Теперь я выжидаю. То, что происходитъ въ Италіи, скорѣе можно назвать мятежомъ (*révolte*), чѣмъ революціей (*révolution*). Мятежники осозательнѣе революціи; у нихъ есть тѣло, за которое можно ухватиться. Революціи похожи на призраки; чтобы разсчитать свои дѣйствія въ отношеніи къ нимъ, надо выждать, пока эти призраки не облукуются въ тѣла».

Орывокъ этого даетъ нѣкоторое понятіе о замѣчательномъ искусствѣ Меттерниха сообразоваться съ характеромъ и наклонностями того человѣка, съ которымъ онъ говоритъ. Онъ имѣетъ дѣло съ ученымъ историкомъ, отыскивающимъ общіе законы, подводящимъ явленія жизни подъ разныя искусственныя построенія собственнаго мозга и распредѣляющимъ въ придуманныя рубрики неопредѣлившіяся и невыяснившіяся стремленія и движенія настоящаго; кромѣ того, онъ имѣетъ дѣло съ человѣкомъ, любящимъ опираться на хартію, но чувствующимъ нѣкоторую, весьма естественную робость передъ толпой пролетаріевъ, шумящихъ на площади и требующихъ себѣ хлѣба и работы; кромѣ того, онъ имѣетъ дѣло съ французомъ, постоянно выражавшимъ съ высоты профессорской кафедрѣ и министерской трибуны свое благоговѣніе и умиленіе передъ доблестями и гениальностью французской націи. Чтобы понравиться Гизо, какъ ученому, Меттернихъ пускается въ бесплоднѣйшія діалектическія разысканія о различіи между *révolte* и *révolution*; чтобы польстить его псевдо-либерализму, онъ хвалитъ *juste milieu* и обнаруживаетъ добродѣтельное отвращеніе, какъ къ слѣбому пристрастію къ реакціи, такъ и къ рыаному демократизму; чтобы погладить по шерsti фразистый патріотизмъ французскаго министра, Меттернихъ самымъ утонченнымъ образомъ намекаетъ на превосходство французской цивилизаціи надъ зарождающейся итальянскою гражданственностью. Меттернихъ, скептикъ, практикъ, неразборчивый въ средствахъ, начинаетъ толковать о благодѣтельныхъ послѣдствіяхъ компромисса, о разумности историческаго теченія событій! Что



можно подумать о подобномъ превращеніи? Да ничего. Это маска, очень искусно прилаженная къ лицу. Меттернихъ, сочиняя это письмо къ Гизо, въ душѣ навѣрное посылалъ ко всѣмъ чертямъ и доктрину, и *juste milieu*, и развитіе Франціи, и въ особенности папу, забравшаго себя въ голову неприличныя его лѣтамъ и званію патріотическія тенденціи. Ему надо было только отстоять плодородныя равнины Ломбардіи, а для этого было необходимо устранить вмѣшательство Франціи и Англіи въ итальянское движеніе. И вотъ Меттернихъ становится доктринеромъ съ доктринерами и напрягаетъ свои мыслительныя способности, чтобы поддѣлаться подъ складъ ихъ идей.

Дѣйствительно, циркулярная нота, посланная 2 августа 1847 года къ четыремъ великимъ державамъ, находится въ рѣзкомъ противорѣчій съ идеями, выраженнымъ въ письмѣ Меттерниха къ Гизо. Эта нота отвергаетъ существованіе итальянскаго народа. «Италія,—пишетъ въ ней Меттернихъ,—географическій терминъ. Итальянскій полуостровъ составленъ изъ самостоятельныхъ и независимыхъ другъ отъ друга государствъ. Существованіе и территоріальныя границы этихъ государствъ основаны на принципахъ всеобщаго международнаго права и свѣрфлены ненарушимыми политическими трактатами. Императоръ съ своей стороны рѣшилъ уважать эти трактаты и всѣми силами, находящимися въ его распоряженіи, содѣйствовать ихъ поддержанію».

Цѣль этой ноты, въ которой уже не было рѣчи о *juste milieu* и о компромиссахъ, состояла въ томъ, чтобы узнать мнѣніе великихъ державъ объ итальянскомъ движеніи и о тѣхъ гарантіяхъ, которыми обезпечивалось независимое существованіе отдѣльныхъ итальянскихъ государствъ. Россія и Пруссія обратили на эту ноту мало вниманія и не обнаружили желанія посылать въ Италію войска для охраненія австрійскихъ владѣній и итальянскихъ вѣнценосцевъ. Франція приняла двусмысленное положеніе: она стала ободрять итальянскихъ патріотовъ и въ то-же время продолжала увѣрять Австрію въ неизмѣнной прочности своего дружескаго расположенія; Меттернихъ нуждался въ политическихъ друзьяхъ и потому не имѣлъ возможности быть разборчивымъ и подвергать строгой критикѣ поступки своего мнимаго друга, который легко могъ превратиться въ дѣйствительнаго врага; онъ чувствовалъ себя одинокимъ, и дружба Франціи связывала ему руки; какъ только онъ заводилъ рѣчь о вооруженіи вмѣшательства Австріи, такъ начинался немедленно громъ французской прессы; общественное мнѣніе возмущалось противъ Австріи, и французское правительство, побуждаемое броженіемъ умовъ въ обществѣ, заявило свой официальный протестъ противъ намѣреній князя Меттерниха. Въ это время Англія гораздо яснѣе

высказывала Италіи свое сочувствіе; Пальмерстонъ послалъ въ Туринъ лорда Мinto съ порученіемъ общать Сардиніи содѣйствіе Англіи и поддерживать враждебное настроеніе итальянцевъ противъ австрійскаго правительства. Въ официальныхъ своихъ депешахъ Пальмерстонъ объявилъ рѣшительно, что англійское правительство считаетъ реформы необходимыми для Италіи и намѣревается поддерживать и защищать своимъ вліяніемъ тѣ попытки, въ которыхъ выразится стремленіе измѣнить къ лучшему существующія въ этой націи бытовыя формы. Меттернихъ все еще надѣялся на то, что, когда вспыхнетъ рѣшительное возстаніе, великія державы позволятъ Австріи ввести свои войска въ Италію; имѣя въ виду эту надежду, онъ поспѣшилъ заключить съ отдѣльными государями Италіи договоры, въ силу которыхъ австрійскимъ войскамъ дано было разрѣшеніе пройти черезъ ихъ владѣнія. Парма и Модена изъявили согласіе, но папа отказался отъ подобнаго договора, и тогда государственный канцлеръ, видя, что его благія идеи находятъ себѣ очень мало сочувствія, рѣшился предоставить Италію ея горькой участи, лишить ее покровительства Австріи и сосредоточить всю свою заботливость на сохраненіи спокойствія въ Ломбардіи.

Ломбардія начинала волноваться; въ Миланѣ происходили частые беспорядки; сосѣдство съ Пиемонтомъ и надежда на содѣйствіе Англіи начинали оказывать свое ядовитое вліяніе; наконецъ все это страшно натянутое положеніе разрилось возстаніемъ и вступленіемъ сардинцевъ въ предѣлы Ломбардіи; сигналомъ къ этимъ роковымъ событіямъ послужила февральская революція, низвергнувшая престолъ Людовика-Филиппа и отозвавшаяся электрическимъ сотрясеніемъ во всѣхъ концахъ континентальной Европы. Эта революція вмѣстѣ съ престоломъ Людовика-Филиппа опрокинула и министерство Меттерниха; государственный канцлеръ принужденъ былъ бѣжать изъ Вѣны такъ поспѣшно, что не успѣлъ даже, какъ слѣдуетъ, сдать своимъ преемникамъ дѣла и бумаги. Но, не забывая впередъ событий, я теперь снова обращаюсь къ внутреннимъ распоряженіямъ князя Меттерниха. Обзоръ его иностранной политики я считаю оконченнымъ; онъ, конечно, неполонъ и отрывоченъ; но такъ какъ дѣло идетъ не о томъ, чтобы представить систематическій перечень событий, а о томъ, чтобы охарактеризовать человѣческую личность министра, занимавшаго втеченіи сорока лѣтъ высшую государственную должность въ одной изъ великихъ державъ, то я полагаю, что достаточно будетъ и тѣхъ немногихъ фактовъ, которые приведены и очерчены въ этихъ главахъ. Представлять въ сжатой формѣ выводы изъ тѣхъ фактовъ я считаю неудобнымъ и кромѣ того бесполезнымъ; если изъ всего разсказа читатель не вы-



несь никакого общаго, живого впечатлѣнія, то онъ не вынесетъ его изъ краткаго résumé. Если же мнѣ удалось сгруппировать событія такъ, что читатель составилъ себѣ сколько-нибудь цѣлостное понятіе о личности и дѣятельности Меттерниха, тогда всего лучше предоставить самому-же читателю охарактеризовать эту личность и эту дѣятельность какимъ угодно хвалебнымъ словомъ или эпитетомъ.

### XIII.

Уже со времени возстанія Германіи противъ Наполеона въ отдѣльных частяхъ Австрійской имперіи начали обозначаться такія стремленія, которые до того времени были совершенно неизвѣстны. Почувствовалась потребность реформъ; потребность эта выразилась и въ однихъ мѣстахъ, напримѣръ въ Италіи, была подавлена, въ другихъ, напримѣръ въ Венгріи, была потихоньку замята или усилена частичными уступками. Французская революція 1830 года оживила надежды той партіи, которая признавала необходимость и пользу фундаментальныхъ измѣненій; смерть императора Франца, заклатаго, упрямаго врага всякой новизны, дала новую пищу этимъ надеждамъ; примѣръ Пруссіи, работавшей надъ учрежденіемъ таможеннаго союза, былъ живымъ укоромъ для реакціонной партіи и постоянно побуждалъ умѣренныхъ друзей реформы къ дѣятельной борьбѣ съ тѣми людьми и обстоятельствами, которые хотѣли китайской стѣной отгородить Австрію отъ живого, развивающагося и мыслящаго міра.

Въ 1840 году на прусскій престолъ вступилъ король Фридрихъ-Вильгельмъ IV. Первые поступки и рѣчи этого короля вызвали сочувствіе лучшихъ гражданъ Германіи и вмѣстѣ съ тѣмъ обезпокоили мнительнаго старца князя Меттерниха почти такъ-же сильно, какъ въ 1846 году его встревожилъ первый дебютъ папы Пія IX. Новый король обѣщалъ свои владѣнія, произнесъ нѣсколько рѣчей, изумившихъ современниковъ смѣлой честностью выраженныхъ стремленій, и потомъ, возвратясь въ столицу, началъ постепенно приводить въ дѣйствіе свои либеральные планы. Пруссія повеселѣла; литература и журналистика заговорили смѣлѣе; въ 1842 году былъ изданъ указъ короля объ учрежденіи сословныхъ собраній, изъ которыхъ современемъ должны были выработаться парламентскія учрежденія. Въ сентябрѣ того-же 1842 года Меттернихъ, съ недоумѣніемъ смотрѣвшій на обозначившіяся тенденціи новаго правительства, свидѣлся съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ въ Кобленцѣ и пустилъ въ ходъ весь запасъ своего краснорѣчія, чтобы самыми яркими красками расписать заблуждающемуся монарху ту опасность, къ которой онъ своими распоряженіями ведетъ Пруссію. Краснорѣчіе государственнаго канцлера пропало даромъ; прусскій король выслушалъ его доводы,

не повѣрилъ ни одному изъ нихъ и дѣлать прежняго повелѣ приготовительныя работы по конституціонному вопросу. Тогда Меттернихъ пришелъ въ крайнее замѣшательство; противъ Пруссіи невозможно было пустить въ ходъ знаменитое средство вооруженнаго вмѣшательства; король самъ становился въ ряды той партіи, которую Меттернихъ называлъ революціонной; не за кого было поднимать оружіе, а дипломатическіе приемы, вродѣ личныхъ свиданій и словесныхъ уговариваній, не дѣйствовали на упрямаго паціента. Полевольтъ приходилось оставить Пруссію въ покоѣ, и князь Меттернихъ, конечно, съ величайшимъ удовольствіемъ согласился бы на это условіе, но этого нельзя было сдѣлать. Пруссія не оставляла его въ покоѣ; видя начинающееся движеніе сосѣдей и единоплеменниковъ, читая книги, брошюры и журналы, появляющіеся въ Пруссіи, австрійскіе поданные чувствовали живѣе прежняго значеніе новаго порядка вещей, котораго они не признавали еще во всѣхъ подробностяхъ. Высшіе и средніе классы общества, слѣдовавшіе въ жизни совѣтамъ Эпикура и долго остававшіеся равнодушными къ политическимъ событіямъ, стали съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдить за движеніемъ идей и за ходомъ реформы въ Пруссіи; люди, специально знакомые съ технической частью австрійской администраціи, стали за границей печатать сочиненія, въ которыхъ существующія учрежденія подвергались самой строгой, безпристрастной и вслѣдствіе этого разрушительной критикѣ. Собранія сословій въ разныхъ областяхъ имперіи заговорили рѣшительнѣе, чѣмъ когда-либо, и выдвинули впередъ такія требованія, которые и въ голову не приходили князю Меттерниху. Венгерскій сеймъ съ 1843 на 1844 годъ обнаружилъ сильнѣйшую оппозицію противъ намѣреній и распоряженій австрійскаго правительства; ненависть къ нѣмецкому элементу въ языкѣ и въ учрежденіяхъ и желаніе оторвать Венгрію отъ Австрійской имперіи и дать ей самостоятельное политическое существованіе выразились съ такой силой, что государственная конференція въ Вѣнѣ пришла въ смятеніе. Нашлись люди, которые посовѣтовали произвести въ Венгріи государственный переворотъ и указомъ императора уничтожить всѣ представительныя учрежденія. Меттернихъ не могъ рѣшиться на такую крутую мѣру; для него это значило поставить на карту существованіе Австрійской имперіи и вмѣстѣ съ нею свое канцлерство; онъ зналъ, что подобный *coup d'Etat* поставитъ подъ оружіе всю Венгрію; вмѣстѣ съ Венгріей могли, опасаясь за свои права и учрежденія, подняться чехи и другіе славяне; пользуясь этой удобной минутой, вооружилась бы Ломбардія, и такимъ образомъ Фердинанду II и Меттерниху пришлось бы завоевывать всю Австрійскую имперію. Но государственному канцлеру



на старости лѣтъ не хотѣлось садиться на боевого коня, и потому онъ въ государственной конференціи выразилъ ту мысль, что правительство должно уступить требованіямъ общественнаго мнѣнія и само начать необходимыя реформы. Идея Меттерниха получила перевѣсъ, и втеченіи 1846 года австрійское правительство приготовило цѣлый рядъ проектовъ, которые въ 1847 году должны были разсматриваться и обсуживаться въ предстоящемъ венгерскомъ сеймѣ. Чешскіе чины не уступали венгерскимъ въ силѣ оппозиціи; національныя стремленія съ небывалой силой охватили Богемію и выразились въ наукѣ, въ литературѣ и политической жизни. Даже ниже-австрійскіе чины, застѣдавшіе въ Вѣнѣ и отличавшіеся въ былое время примѣрнымъ благонравіемъ, каждый годъ стали требовать отъ правительства уступокъ; и правительство постоянно уступало, потому что представительныя собранія были сильны сочувствіемъ своихъ избирателей, которые съ напряженнымъ вниманіемъ ловили слухи и печатныя извѣстія. Дѣло дошло до того, что ниже-австрійскіе чины потребовали обнародованія государственнаго бюджета, права обсуживать всѣ важныя дѣла, касающія ихъ области, учрежденія земскаго банка и радикальныхъ реформъ въ общинномъ устройствѣ.

Меттернихъ не вѣрилъ ушамъ своимъ, и всѣ эти неожиданныя событія, валившіяся, какъ свѣтъ на голову, вызывали въ его умѣ печальныя размышленія; слишкомъ тридцатилѣтнія старанія оказывались разрушенными; если, несмотря на всѣ затворы и запоры, зараза вѣка проникла въ наслѣдственные владѣнія австрійскаго императора и въ короткое время усилилась въ нихъ до такой степени, то чего-же можно ожидать впереди? На чемъ-же остановится эта язва? Что она пощадитъ? Дѣйствительно, язва ничего не пощадила, и князь Меттернихъ, несмотря на всю свою безпримѣрную уступчивость, не могъ удержаться во главѣ правительства. Но сначала я попрошу читателя обратить вниманіе на то обстоятельство, что уступчивость князя Меттерниха въ послѣдніе два года его правительственной дѣятельности доходить до невѣроятныхъ предѣловъ. Тотъ-же страхъ передъ революціей, который въ двадцатыхъ годахъ побуждалъ Меттерниха разрушать насильственнымъ образомъ малѣйшія проявленія національнаго чувства и невиннѣйшія стремленія человѣческой мысли, тотъ-же страхъ передъ революціей, повторяю я, заставлялъ Меттерниха въ концѣ сороковыхъ годовъ предлагать самыя разнородныя либеральныя мѣры и произносить такія рѣчи, которыя, конечно, очень странно было слышать отъ бывшаго министра и испытаннаго друга Франца I. Люди, неумѣренно пользующіеся силой тогда, когда сила находится въ ихъ рукахъ, обыкновенно являются очень трусливыми тогда,

когда сила переходитъ въ руки ихъ противниковъ. Меттернихъ подходитъ подъ это общее правило. Въ мартѣ 1847 года онъ обратился къ Пруссіи съ предложеніемъ подать на союзномъ сеймѣ голосъ въ пользу свободы печати; въ этомъ-же году онъ выразилъ государственной конференціи ту идею, что пора создать для Австріи конституцію; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ представилъ два проекта, имѣвшіе цѣлью расширить конституціонныя права отдельныхъ провинцій и потомъ составить обще-австрійское государственное представительное собраніе, которому предоставлялось право обсуживать и утверждать бюджетъ, разсматривать и рѣшать важнѣйшіе правительственные вопросы, словомъ—отъ лица всей націи принимать дѣятельное и постоянное участіе въ администраціи.

Но не всѣ члены правительства умѣли, подобно Меттерниху, безъ сожалѣнія и безъ борьбы расставаться съ своими политическими идеями и стремленіями. Новые проекты Меттерниха встрѣтили себѣ сопротивление при дворѣ: эрцгерцогъ Людовикъ не понималъ необходимости такихъ капитальныхъ уступокъ и во всякомъ случаѣ не хотѣлъ торопиться: съ недо-вѣріемъ, свойственнымъ старику, онъ хотѣлъ сначала всмотрѣться въ предлагаемыя реформы, попривыкнуть къ нимъ, протянуть нѣсколько лѣтъ пренія и совѣщанія о частностяхъ и подробностяхъ и потомъ уже вводить новые порядки понемногу, не слыша, безъ шума и эффекта. Вліяніе эрцгерцога, находившаго себѣ единомышленниковъ въ старыхъ подвижникахъ своего покойнаго брата Франца, остановило проекты Меттерниха; начались толки, разсужденія, назначенія комиссій для разсмотрѣнія разныхъ предметовъ и вопросовъ, и всѣ реформы остановились на одномъ разсмотрѣніи.

1 января 1848 года было учреждено высшее управленіе цензуры (Censur-Oberdirection), а 1 февраля еще кромѣ того появилось высшее цензурное судилище (Oberstes Censurgericht); оказалось впрочемъ, что реформы эти не подвинули дѣла впередъ. Тогда вѣнскіе книгопродавцы и вѣнскіе литераторы подали прошеніе, которое не принесло никакой существенной пользы.

2 февраля 1848 года была открыта вѣнская академія наукъ, но это торжество не произвело на общество того благотѣльнаго впечатлѣнія, котораго ожидало правительство. Множество замѣчательныхъ ученыхъ и писателей получили званіе дѣйствительныхъ академиковъ; множество важныхъ лицъ были назначены почетными членами; въ числѣ послѣднихъ находится самъ князь Меттернихъ, вѣлможный покровитель просвѣщенія въ Германіи и въ Европѣ; словомъ, все было чинно, важно и офиціально, а между тѣмъ многія характерныя подробности не укрылись отъ бдительнаго вниманія публики. Не укрылось, напримѣръ, то обстоятельство, что люди, подобные



Араго, Шлоссеру, Ранке, Гервинусу, не были приняты въ число академиковъ, потому что ихъ политическія мнѣнія не нравятся правительству. Не укрылось и то обстоятельство, что рѣчь Гаммера, произнесенная имъ при открытіи академіи, была помѣщена въ вѣнской газетѣ съ пропусками. Все это были, конечно, мелочи, на которыя не стоило обращать вниманія, но эти мелочи хватали за сердце и кипятили желчь.

Вечеромъ 28 февраля къ князю Меттерниху прискакалъ курьеръ съ первымъ извѣстіемъ о февральской революціи; государственный канцлеръ узналъ только, что Людовикъ-Филиппъ отказался отъ престола и что герцогиня Орлеанская приняла на себя регентство; это извѣстіе не произвело особеннаго впечатлѣнія, потому что вѣнскій кабинетъ никогда не питалъ особеннаго сочувствія къ личности и къ политикѣ короля, возведеннаго на престолъ революціей. Но на другой день утромъ пришло новое извѣстіе: Франція объявила себя республикой. Это извѣстіе сильно поразило Меттерниха: прочитавъ депешу, онъ нѣсколько минутъ съ смертной блѣдностью на лицѣ неподвижно просидѣлъ въ креслѣ. Съ замѣраніемъ сердца сталъ онъ ожидать новыхъ извѣстій изъ Франціи; у него оставалась слабая надежда на то, что произойдетъ контръ-революція, которая положитъ конецъ существованію юной республики. Послѣдующія событія разбили эту надежду, и князь Меттернихъ съ нѣмымъ отчаяніемъ сталъ ожидать грядущихъ бѣдствій; съ именемъ французской республики ему казались неразлучными картины дикаго насилия и безотрадная перспектива нескончаемыхъ войнъ и повсемѣстныхъ волненій. Меттернихъ, всегда любившій вооруженное вмѣшательство, на этотъ разъ считалъ его примѣненіе рѣшительно невозможнымъ. Послѣдній ударъ, нанесенный политикѣ государственнаго канцлера переворотомъ во Франціи, былъ такъ силенъ и такъ внезапнѣй, что Меттернихъ растерялся, пришелъ въ уныніе и потерялъ всякую вѣру въ дѣйствительность какого бы то ни было средства. Онъ очевидно не могъ собраться съ мыслями и, на предложенія идти во Францію и разсѣять мятежниковъ, отвѣчалъ нерѣшительно: «надо подождать, надо высмотрѣть, какъ и куда станеть распространяться революція». Какъ доводъ противъ наступательной войны съ Франціей, Меттернихъ приводить даже то обстоятельство, что подобная война можетъ возбудить противъ себя негодованіе націи. Меттернихъ началъ обращать вниманіе на то, что говоритъ, и даже на то, что думаетъ нація; по одному этому аргументу, приведенному государственнымъ канцлеромъ въ официальныхъ дипломатическихъ нотахъ, можно составить себѣ довольно яркое понятіе о томъ, какъ неизмѣримо великъ былъ страхъ его передъ ожидаемымъ движеніемъ. Распоряженія по внутренней администраціи за-

мерли въ такомъ положеніи, въ какомъ ихъ захватили роковыя извѣстія изъ Парижа. Проекты реформъ не пошли въ дѣло: дворъ и конференція раздѣлились на двѣ партіи, неравныя по числу своихъ приверженцевъ; эрцгерцогъ Людовикъ и Меттернихъ стали доказывать, что производить реформы несвоевременно и опасно, что всякая уступка со стороны правительства покажется обществу и народу поблажкой, признакомъ слабости, поощреніемъ къ дальнѣйшимъ требованіямъ и, въ случаѣ крайности, къ возстанію. Всѣ остальные члены императорской фамиліи и государственной конференціи считали быстрыя реформы совершенно необходимыми: они хотѣли упрочивать за собою расположеніе народа; для Меттерниха любовь общества и націи была невозвратно потеряна; для Фердинанда, извѣстнаго своимъ кроткимъ характеромъ, и для тѣхъ членовъ его семейства, которые не принимали дѣятельнаго участія въ правительственныхъ распоряженіяхъ Франца I, было очень нетрудно сохранить или даже вновь приобрести популярность. Надо было только вычеркнуть изъ списка австрійскихъ чиновниковъ то громкое имя, съ которымъ связывалось такъ много роковыхъ воспоминаній,—то имя, которое впродолженіи сорока лѣтъ постоянно тяготѣло надъ правительственными распоряженіями. Имя Меттерниха уже успѣло приобрести себѣ такую печальную извѣстность, что его одного было достаточно, чтобы возбудить полное недовѣріе противъ правительства; члены правительства понимали это и, конечно, не желая раздѣлять съ Меттернихомъ тѣхъ опасностей, которыя являлись для него, съ удовольствіемъ готовы были исключить его изъ списковъ, чтобы помириться съ общественнымъ мнѣніемъ.

Во главѣ этой партіи, желавшей искренняго примиренія съ обществомъ, стояла эрцгерцогиня Софія, жена эрцгерцога Франца, брата императора, женщина умная, энергическая, постоянно слѣдившая за ходомъ событій и понимавшая довольно вѣрно ихъ истинный смыслъ; она ожидала сильныхъ волненій и совѣтовала болѣзненному Фердинанду отказаться отъ престола въ пользу ея сына, Франца-Иосифа; сверхъ того она считала необходимымъ, чтобы эрцгерцогъ Людовикъ и князь Меттернихъ совершенно устранили свое вліяніе на государственныя дѣла, и чтобы Австрія, получивши общую конституцію, вступила въ новую эру исторической жизни. Софія считала подобныя мѣры рѣшительно необходимыми для спасенія австрійской династіи отъ той участи, которая два раза постигала Бурбоновъ и такъ недавно обрушилась на Орлеановъ. Эти мысли часто выражались эрцгерцогиней въ семейныхъ совѣщаніяхъ; при этихъ совѣщаніяхъ присутствовалъ иногда князь Меттернихъ, и тутъ-то ему нерѣдко приходилось выслушивать горькія истины; эрцгерцогъ Іоаннъ, личный врагъ государственнаго канцлера, раз-



бывалъ по пунктамъ его политическія теоріи и прямо, не церемонясь, говорилъ при немъ, что его удаленіе отъ дѣлъ необходимо для блага государства и для спокойствія царствующей династіи. Меттернихъ на подобныя любезности отвѣчалъ холодно и почтительно, что онъ удалится отъ дѣлъ только въ такомъ случаѣ, когда самъ императоръ выразитъ ему такого рода желаніе. Государственный канцлеръ даже не останавливался на той идее, что ему могутъ серьезно предложить отставку; онъ твердо вѣрилъ въ неразлучность своей судьбы съ судьбою Австрійской имперіи; онъ полагалъ, что можетъ пасть подъ развалинами всего государственнаго зданія, какъ послѣдній надежный защитникъ погибающаго принципа; подобная катастрофа представлялась ему чѣмъ-то возможнымъ, но далекимъ и неопредѣленнымъ; за этой катастрофой, по его убѣжденію, неминуемо должны были слѣдовать анархія, терроръ и хаосъ. Представить себѣ, чтобы ему, какъ всякому другому министру, дали отставку, — представить себѣ все это князь Меттернихъ былъ рѣшительно не въ силахъ. Между тѣмъ его противники не дремали; придворная партія, желавшая реформъ и перемѣны министерства, завела сношенія съ предводителями оппозиціи на ниже-австрійскомъ сеймѣ, котораго засѣданія должны были открыться 13 марта. Имъ дали понять, что паденія государственнаго канцлера желаютъ многіе члены высшаго правительства, и что слѣдовательно прошеніе сейма объ удаленіи Меттерниха будетъ принято благосклонно и можетъ повести за собою плодотворныя послѣдствія.

6-го марта, въ присутствіи графа Коловрата и эрцгерцога Франца, общество промышленности (Gewerbeverein) составило и одобрило на имя императора адресъ, въ которомъ выражалось ясно то убѣжденіе, что взаимное довѣріе между управляющими и управляемыми можетъ быть восстановлено только послѣ удаленія Меттерниха. Этотъ адресъ былъ врученъ эрцгерцогу Францу, наслѣднику престола, и эрцгерцогъ поблагодарилъ подателей и составителей за честность ихъ стремленій. Это обстоятельство, конечно, ободрило публику и въ первый разъ показало народу, что даже императорская фамилія не довольна управленіемъ государственнаго канцлера.

.... Составили прошеніе объ отставкѣ Меттерниха, и два профессора, Гіе и Эндлихеръ, официально подали это прошеніе эрцгерцогу Людовику. Эрцгерцогъ принялъ депутацію и прочиталъ прошеніе съ видимыми знаками неудовольствія; онъ не далъ депутатамъ положительнаго отвѣта, но въ тотъ-же день, въ два часа по полудни, созвалъ государственную конференцію и пригласилъ для совѣщаній нѣкоторыхъ членовъ императорской фамиліи. Въ этомъ собраніи Людовикъ разсказалъ исторію прошенія и рѣшилъ, что на основаніи такой причины невозможно удалить отъ должности человѣка, оказавшаго

такія великія услуги государству и царствующей династіи. Государственный канцлеръ очень кротко и спокойно замѣтилъ, что онъ тотчасъ готовъ отказаться отъ своей должности, если таково будетъ желаніе императора, но что, не искавши никогда популярности, онъ не можетъ удалиться отъ исправленія своихъ обязанностей. Послѣ засѣданія конференціи, въ тотъ-же день, вечеромъ, могущественные недоброжелатели Меттерниха нашли средства провести въ комнату самого императора тѣхъ профессоровъ, которые утромъ подавали прошеніе эрцгерцогу Людовику. Императоръ принялъ ихъ съ обычной своей привѣтливостью и даже общалъ обдумать представленное ему прошеніе; но никакихъ опредѣленныхъ надеждъ или обѣщаній онъ имъ не далъ.

Меттернихъ изъ конференціи поѣхалъ домой, грустный и озабоченный: онъ чувствовалъ, что ему придется или выйти въ отставку, или уступить той партіи, которая требовала реформъ и уступокъ общественному мнѣнію. Ему представлялась такая дилемма, хотя въ сущности ея не было: на какія реформы и уступки уже не могли спасти его отъ паденія; но онъ во всякомъ случаѣ долженъ былъ удалиться, но отъ него зависѣло допить или не допивать до дна чашу огорченій и оскорбленій; отъ него зависѣло сказать: «я выхожу въ отставку, потому что мой образъ мыслей не находитъ себѣ сочувствія ни въ обществѣ, ни въ моихъ товарищахъ по управленію», или-же дожидаться, пока ему скажутъ: «ступайте, ваше вліяніе вредитъ государству и обществу». Нѣтъ сомнѣнія, что Меттернихъ, какъ человѣкъ практическаго ума и какъ «образцовый кавалеръ», дорожащій соблюденіемъ внѣшняго благообразія, выбралъ бы первый исходъ, еслибы онъ зналъ, что изъ его положенія дѣйствительно только два выхода; но, къ несчастію для государственнаго канцлера, онъ былъ совершенно ослѣпленъ вѣрой въ самого себя; онъ все-таки считалъ свое положеніе непоколебимымъ и, главное, неразлучно связаннымъ съ судьбой Австріи. Онъ былъ совершенно увѣренъ, что дѣло идетъ только объ уступкахъ, а уступить онъ былъ не прочь, потому что упорная борьба съ людьми, находящимися съ нимъ въ непосредственныхъ ежедневныхъ отношеніяхъ, вообще была ему не по силамъ и рѣшительно не соответствовала его мягкому и слабому характеру. Теперь-же въ особенности, думая уступками утвердиться въ своемъ положеніи и зажать ротъ своимъ врагамъ при дворѣ и въ обществѣ, Меттернихъ оказался въ высшей степени гибкимъ и сговорчивымъ; онъ постоянно говорилъ до того времени, что уступки несвоевременны, потому что онѣ покажутся вынужденными; теперь и эта послѣдняя отговорка была отложена въ сторону; разграниченіе между добровольными и вынужденными уступками исчезло. Вечеромъ въ тотъ-же день Меттернихъ пригласилъ къ себѣ предводителя дворянства



(Landesmarschall), графа Монтекукули, пользовавшагося популярностью и расположеніемъ ниже-австрійскихъ чиновъ; онъ сталъ совѣтоваться съ нимъ о предполагаемыхъ уступкахъ и общался ему, что въ самомъ непродолжительномъ времени будутъ созваны депутаты отъ областныхъ представительныхъ собраній. Въ заключеніе бесѣды онъ попросилъ графа Монтекукули позаботиться о томъ, чтобы засѣданія сейма были по возможности спокойны и не увеличивали бы своими шумными преніями глухого раздраженія, проявлявшагося уже въ народѣ.

13-го марта члены конференціи съ ранняго утра собрались во дворецъ императора; недалеко отъ конференціонной залы, въ комнатѣ Фердинанда, находилась вся императорская фамилія; этотъ день былъ назначенъ для открытія сейма; въ ночь были получены очень неспокойтельныя извѣстія о положеніи города; улицы, прилегающія къ дому сейма, къ университету и даже къ императорскому дворцу, наполнялись людьми. Эрцгерцогъ Людовикъ и князь Меттернихъ приказали стянуть войска ко дворцу и разставить по улицамъ многочисленные патрули, чтобы разгонять народъ при малѣйшемъ шумѣ. Ни Людовикъ, ни Меттернихъ не думали, что дѣло можетъ дойти до свалки между войсками и народомъ. Между тѣмъ толпы народа запередили улицы, громко произносимыя рѣчи принимались криками одобренія, съ этими криками смѣшивались возгласы: «долой Меттерниха!», и эти зловѣщіе возгласы подхватывались сотнями голосовъ. Въ это время во дворецъ къ императору приступали съ двухъ сторонъ двѣ противоположныя партіи: эрцгерцогиня Софія и эрцгерцогъ Іоаннъ требовали немедленныхъ радикальныхъ уступокъ. Съ другой стороны Людовикъ и Меттернихъ совѣтовали пустить въ ходъ энергическія мѣры. Почему совѣтовалъ это сдѣлать Людовикъ—я не знаю, да мнѣ до этого и дѣла нѣтъ. Почему добивался этого Меттернихъ—понятно. Онъ слышалъ нелестныя для себя крики и начиналъ понимать, что ему нельзя помириться съ этимъ народомъ, что надо побѣдить его или бѣжать безъ оглядки изъ Вѣны, изъ Австріи, быть можетъ даже изъ континентальной Европы; кромѣ того, онъ начиналъ понимать, что Фердинандъ, не рѣшившійся оттолкнуть его отъ себя, можетъ, въ минуту крайней опасности, оставить его, отшатнуться отъ него и такимъ образомъ поставить его въ самое затруднительное положеніе; поэтому, совѣтуя императору пустить въ ходъ самыя энергическія мѣры, Меттернихъ, сознательно или инстинктивно, дѣлалъ послѣднюю отчаянную попытку связать неразрывными узами судьбу своей личности съ участью Австріи.

Еслибы императоръ Фердинандъ, слѣдуя совѣту Меттерниха, приказалъ подавить возстаніе силой, то правительству необходимо было бы или побѣдить, или упасть; еслибы правитель-

ство побѣдило, то навѣрное вліяніе Меттерниха перевѣсило бы значеніе всѣхъ противниковъ его личности и его политики. Еслибы правительство упало, то съ нимъ вмѣстѣ упалъ бы Меттернихъ; но онъ начиналъ думать, что онъ можетъ упасть даже и въ томъ случаѣ, когда правительство удержится, и потому увлечь правительство вмѣстѣ съ собою ему не казалось особенно страшнымъ. Ухватываясь всѣми силами за императорскую мантию Фердинанда, прячась за эту мантию отъ ярости народа, Меттернихъ увеличивалъ для себя шансы спасенія. Еслибы ему удалось склонить Фердинанда сломить возстаніе военной силой, то, можетъ быть, Меттерниху удалось бы до самой смерти своей остаться государственнымъ канцлеромъ. Но Фердинандъ не рѣшился на крайнія мѣры. Онъ находился въ недоумѣніи, а между тѣмъ каждую минуту приходили съ улицы новыя вѣсти: уступки правительства не приняты... домъ сейма занятъ толпой народа... патруль далъ залпъ по толпѣ... нѣсколько человекъ убито... народъ остервенился; «долой Меттерниха!» кричатъ въ одинъ голосъ всѣ недовольные... Въ это время пришла во дворецъ депутація, состоящая изъ членовъ сейма. Эрцгерцогъ Людовикъ принялъ депутатовъ, выслушалъ ихъ разсказъ объ уличныхъ событіяхъ, разспросилъ о желаніяхъ народа и отвѣчалъ имъ твердо и спокойно, что «комитетъ разберетъ эти желанія, и тогда императоръ рѣшитъ дѣло; какъ слѣдуетъ».

Меттернихъ въ это время прошелъ къ себѣ домой; вѣроятно, его не замѣтили или не узналъ толпящійся народъ, иначе жизнь его могла бы подвергнуться самой серьезной опасности; подойдя къ окну своего кабинета, онъ слышалъ, какъ одинъ ораторъ разбиралъ его систему передъ народомъ, и какъ народъ, увлеченный живыми доводами оратора, кричалъ съ возрастающей яростью: «Прочь, прочь Меттерниха!» Эти крики не производили на Меттерниха особеннаго впечатлѣнія; онъ былъ увѣренъ въ томъ, что терпѣніе Фердинанда лопнетъ, что полиція и войско разметутъ улицы и площади, что ораторъ насидится гдѣ-нибудь въ острогѣ и что тѣмъ дѣло кончится. А между тѣмъ онъ уже сдѣлалъ еще одну вынужденную уступку: передъ уходомъ своимъ изъ дворца онъ, сообразно съ требованіемъ депутаціи, убѣдилъ императора немедленно назначить комитетъ для составленія конституціи и для произведенія другихъ реформъ, не терпящихъ дальнѣйшаго отлагательства. Но когда Меттернихъ снова отправился во дворецъ, тогда онъ началъ убѣждаться въ томъ, что полиція и войско не задавятъ движенія.

Когда появился государственный канцлеръ, неблаговолившіе къ нему члены императорской фамиліи окружили его со всѣхъ сторонъ и стали просить его подать въ отставку и такимъ образомъ положить конецъ уличнымъ волненіямъ, разразившимся уже сценами насилія и крово-



пролитія; одни указывали ему на жертвы возстанія, другіе говорили, что изъ-за одного чловѣка нельзя подвергать опасности цѣлую династію.

Меттернихъ обвелъ глазами вокругъ себя. Всѣ окружающіе молчали послѣ того, какъ прошелъ первый приступъ увѣщаній, направленный на Меттерниха его врагами; ни одного слова сочувствія не послышалось ни откуда, ни одного ободрительнаго взгляда не встрѣтилъ вопрошающій взоръ Меттерниха. Даже императоръ, даже эрцгерцогъ Людовикъ не говорили ни слова; Меттернихъ почувствовалъ себя очень одинокимъ; легкая краска пробѣжала по его лицу; онъ едва совладѣлъ съ внутреннимъ волненіемъ, внезапно разыгравшимся въ его груди, и быстрыми шагами прошелъ въ комнату государственной конференціи.

Между тѣмъ депутація приходитъ за депутаціей; въ предмѣстьяхъ Вѣны свирѣпствуетъ разгуливающая чернь; депутаты настоятельно требуютъ, чтобы ихъ выслушали, и говорятъ, что они не ручаются ни за что, если до наступленія ночи не будетъ восстановлено спокойствіе.

Эрцгерцогъ Людовикъ призываетъ къ себѣ депутатовъ и узнаетъ отъ нихъ, что народъ по-прежнему требуетъ отставки Меттерниха и отступленія солдатъ, пустившихся въ рукопашный бой безъ особеннаго приказанія изъ дворца. Выслушавъ эти требованія, Людовикъ отвѣчалъ сухо, что онъ ничего не можетъ сдѣлать, и, отправившись въ комнату конференціи, предложилъ Меттерниху выйти «къ этимъ людямъ» и сдѣлать имъ тѣ уступки, которыя онъ признаетъ удобными.

Меттернихъ вышелъ къ депутатамъ отъ вѣнской милиціи; за нимъ послѣдовали почти всѣ члены императорской фамиліи; всѣ интересовались знать, что скажетъ и на что согласится государственный канцлеръ. Меттернихъ подошелъ къ одному изъ офицеровъ, положилъ ему руку на плечо и произнесъ слѣдующія слова:

«— Вы граждане; вѣнскіе граждане отличались всегда и во всѣхъ случаяхъ; имъ было бы стыдно, еслибы они, въ соединеніи съ войскомъ, не были въ состояніи разогнать уличныхъ буяновъ.

— Ваша свѣтлость, отвѣчалъ офицеръ, — тутъ дѣло не въ буянахъ: въ городѣ происходитъ революція, въ которой принимаютъ участіе всѣ сословія.

— Это неправда, перебилъ Меттернихъ поспѣшно. — итальянцы, поляки и швейцарцы возмущаютъ народъ.

— Ваша свѣтлость, представленные прошенія подписаны тысячами именъ; вы встрѣтите тутъ и важнаго государственнаго чиновника, и простаго ремесленника; еслибы вашей свѣтлости угодно было взглянуть на улицу, то вы убѣдились бы въ правдивости моихъ словъ».

Меттернихъ больше не сказалъ ни слова; аудіенція окончилась, но депутацію задержали, боясь, чтобы она не увеличила раздраженія народа разговоромъ о происходившемъ свиданіи съ властями. Между тѣмъ крики уличной толпы съ каждой минутой становились явственнѣе и громче; и все то-же самое слышалось въ этихъ

крикахъ, и все такъ-же часто Меттернихъ слышалъ свое имя, и все такъ же мало достойнаго и утѣшительнаго заключалось въ этихъ безпрерывныхъ поминаніяхъ; у бѣднаго старика начинала кружиться голова и звенѣть въ ушахъ; не зная, что дѣлать, онъ объявилъ, наконецъ, свою готовность уступить всѣмъ требованіямъ народа. Національная гвардія, свобода печати, конституція, все было отдано разомъ; но между тѣмъ и тутъ, уступая во всемъ, уступая безславно передъ открытой силой, Меттернихъ захотѣлъ сохранить внѣшнее благообразіе; исполняя всѣ требованія волнующагося народа, онъ придумалъ другія названія требуемымъ предметамъ, чтобы хоть этимъ заявить инициативу и самостоятельность своего правительства. Въмѣсто «національной гвардіи» онъ далъ «гражданскую милицію» (Bürgerwehr); вмѣсто свободы печати — уничтоженіе цензуры; наконецъ, вмѣсто «Constitution» — «Constituierung des Vaterlandes». Меттернихъ отправился въ свой рабочій кабинетъ писать объ этихъ предметахъ указы, которые немедленно должны были быть представлены на подписи императору; дѣлая всѣ эти уступки, онъ забывалъ о четвертомъ требованіи народа, онъ пропускалъ умышленно мимо ушей тотъ крикъ, который повторялся громче и чаще всѣхъ остальныхъ: «Меттерниха, Меттерниха!» Въ то время, какъ падающій министръ сидѣлъ за столомъ, служебная участь его окончательно рѣшалась въ кабинетѣ императора. Эрцгерцогиня Софія и эрцгерцогъ Іоаннъ доказывали Фердинанду, что если Меттернихъ останется первенствующимъ министромъ, то всѣ уступки, сдѣланныя правительствомъ, окажутся бесполезными и даже не укротятъ народнаго волненія. Императоръ былъ утомленъ шумомъ и сплывшими ощущеніями, пережитыми имъ съ утра этого дня; ему хотѣлось спокойствія и мира; его ужасали и огорчали до глубины души кровавыя сцены, разыгрывавшіяся на улицахъ его столицы; онъ уступилъ доводамъ своихъ родственниковъ, и удаленіе князя Меттерниха отъ должности государственнаго канцлера почислилось дѣломъ рѣшеннымъ. Пользуясь позволеніемъ императора, эрцгерцогъ Іоаннъ тотчасъ отправился въ кабинетъ Меттерниха и передалъ ему просьбу Фердинанда отказаться отъ занимаемаго мѣста для успокоенія націи и для устраненія тѣхъ опасностей, которымъ подвергается царствующая династія. Меттернихъ получилъ такимъ образомъ фактическое доказательство того, что его дѣятельность положительно вредна. Слова эрцгерцога были произнесены сухо, рѣзко и не допускали возраженій. Государственный канцлеръ выслушалъ ихъ молча. Онъ былъ блѣденъ, сосредоточенно серьезенъ и глубоко опечаленъ. Внутреннія страданія его выразились въ проницательной улыбкѣ, которая какъ-то неестественно искривила его блѣдныя губы. Онъ



вышелъ въ комнату аудіенціи, въ которой депутаціи просили свиданія съ императоромъ, чтобы лично просить его объ увольненіи канцлера. Спокойнымъ, ровнымъ, медленно-торжественнымъ шагомъ вышелъ съдой министр на середину залы и сказалъ предводителямъ депутаціи:

«— Милостивые государи, если вы полагаете, что, отказываясь отъ моей должности, я могу принести пользу государству, то я съ радостью соглашаюсь на это.»

Всѣ эти слова были сказаны для благообразія. Меттернихъ не могъ придавать никакого значенія приговору тѣхъ людей, которыхъ онъ за полчаса предъ тѣмъ называлъ уличными буянами. Меттернихъ не могъ съ радостью согласиться на такую жертву, для избѣжанія которой онъ за пять минутъ передъ тѣмъ за своимъ письменнымъ столомъ собирался отречься отъ политическихъ тенденцій, составлявшихъ сущность всей его долголѣтней дѣятельности. Умирающему гладиатору необходимо было принять граціозную позу, и онъ умиралъ, насильственно придавая всей своей фигурѣ выраженіе величаваго и неестественнаго спокойствія.

Предводитель депутаціи отвѣчалъ на слова Меттерниха:

«— Ваша свѣтлость, мы не имѣемъ ничего противъ вашей личности, но все—противъ вашей системы, и поэтому мы должны принять съ радостью извѣстіе о вашемъ выходѣ въ отставку.»

— Задачею всей моей жизни, заговорилъ снова старый канцлеръ,— было дѣйствовать для блага Австріи всѣми силами, находившимися въ моемъ распоряженіи; если думать, что дальнѣйшее пребываніе мое на этомъ мѣстѣ подвергаетъ это благо какимъ бы то ни было опасностямъ, то для меня не можетъ быть жертвой сойти съ этого мѣста. Я слагаю въ руки императора отправленіе моихъ обязанностей. Поздравляю васъ съ новымъ правительствомъ. Желаю Австріи счастья».

Всѣ эти слова пропадали даромъ: депутатамъ не было никакого дѣла до такой задачи, которую Меттернихъ поставилъ себѣ въ жизни; имъ не было дѣла и до того, съ какими чувствами удалился государственный канцлеръ съ арены правительственной дѣятельности; ихъ интересовалъ только фактъ удаленія, и они, не заявивъ ему своего сочувствія ни однимъ словомъ, отвѣчали на фразы Меттерниха громкимъ крикомъ торжествующей радости и возгласами: «да здравствуетъ императоръ Фердинандъ!»

Меттернихъ не рѣшился уйти, не заявивъ еще разъ своего присутствія передъ толпой, собравшейся въ залѣ. Онъ посмотрѣлъ на всѣхъ окружающихъ его людей спокойнымъ, испытующимъ взоромъ и опять заговорилъ:

«— Я предвижу, что распространится ложное убѣжденіе, будто я унесъ съ собою монархію. Противъ подобнаго убѣжденія я торжественно заявляю свой протестъ. Ни у меня, ни у кого другого нѣтъ такихъ широкихъ плечей, на которыхъ можно было бы унести государство. Если державы исчезаютъ, то это происходитъ только тогда, когда онѣ сами отрекаются отъ себя».

Въ этихъ послѣднихъ словахъ, произнесенныхъ Меттернихомъ въ санѣ первенствующаго министра, сказалось то самообожаніе, которое подъ конецъ политической карьеры составляло его преобладающій недостатокъ; онъ воображалъ себѣ, что всѣ смотрятъ на него такими же глазами, какими онъ самъ смотрѣлъ на себя: онъ воображалъ себѣ, что всѣ видятъ въ немъ воплощеніе монархическаго принципа и думаютъ, что съ его удаленіемъ отъ государственныхъ дѣлъ исчезнетъ та идея, которую онъ олицетворялъ въ своей особѣ.

Вѣнская революція не возставала противъ монархическаго принципа; она просто требовала, чтобы правительство посвѣжѣло, обновилось и дѣятельно принялось за пересмотръ и переборку старой административной машины. Она выбросила Меттерниха не какъ представителя принципа, а просто какъ бесполезнаго, одряхлѣвшаго старика. Но принять свое паденіе такъ просто было не по силамъ государственному канцлеру: онъ сталъ на ходули, накинулъ на себя драпировку и сошелъ со сцены, какъ герой какой-нибудь ложно-классической трагедіи Расина или Корнеля; а дѣйствительно вѣнская революція едва не кончилась для него трагически. Народъ, узнавшій объ его удаленіи, на другой день утромъ, въ ночь съ 13 го на 14-е марта, разорилъ его загородную виллу и искалъ его съ твердымъ намѣреніемъ убить. Бывшему министру пришлось бѣжать изъ Вѣны въ наемной каретѣ, въ чужомъ платьѣ, почти безъ денегъ; пришлось бѣжать изъ астрійскихъ владѣній, черезъ всю Германію, въ Англію, въ которой онъ нашелъ себѣ безопасное убѣжище вмѣстѣ съ Людовикомъ-Филиппомъ.

О послѣдующихъ годахъ жизни Меттерниха говорить не стоитъ. Къ политической дѣятельности онъ не возвращался, а человѣческая его личность не настолько интересна, чтобы занимать насъ въ психологическомъ или въ какомъ бы то ни было другомъ отношеніи. Какъ и что онъ читалъ, какъ принималъ гостей и посѣтителей, какъ смотрѣлъ онъ самъ на политическія событія, совершавшіяся безъ его содѣйствія, какъ онъ, можетъ быть, дивился тому, что міръ не сдѣлался жертвой анархіи послѣ его выхода въ отставку,— намъ до этого нѣтъ никакого дѣла.

Князь Меттернихъ умеръ въ 1859 году, 11-го іюня, въ тотъ день, когда французы и сардинцы входили въ Миланъ, и когда дѣло Меттерниха въ Италіи окончательно разрушилось. Его похоронили послѣ торжественной процессіи 15-го іюня. Впереди его гроба несли на четырехъ черныхъ бархатныхъ подушкахъ его ордена, принадлежавшіе всѣмъ европейскимъ государствамъ, кромѣ Англіи.



# ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ СКАЗОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА.

Въ составъ этой библіотеки войдутъ избранныя сказки разныхъ культурныхъ народовъ. Всѣхъ книжекъ предполагается выпустить отъ 100 до 150. Въ каждой книжкѣ помѣщается одна большая или нѣсколько мелкихъ сказокъ, иллюстрированныхъ большимъ или меньшимъ количествомъ рисунковъ (отъ 3-хъ до 25 на книжку). Книжки нумеруются по порядку ихъ выхода. Цѣна книжекъ отъ 5 до 25 коп. До декабря 1896 года вышло 78 книжекъ.

**СКАЗКИ АНДЕРСЕНА.** 1) Дочь болотнаго царя. Съ портретомъ и біографіей Андерсена. Ц. 15 к.—2) Райскій садъ. 8 к.—3) Домовой и лавочникъ. Свиныя-кошки. На птичьемъ дворѣ. Красныя башмачки. 10 к.—4) Сулъ изъ колбасной палочки. 6 к.—5) Оле-Луки-Ойе. Лентъ. Свиныя. Капля воды. 10 к.—6) Цѣлыя маленькія Иды. Сосѣднія семейства. Пастушка и грубчистыя. 10 к.—7) Сидящая царица. 15 к.—8) Анна-Либета. 5 к.—9) Самое невѣроятное. Гомета. Небесный листъ. 5 к.—10) На дюнахъ. 15 к.—11) Последній сонъ стараго дуба. Калѣка. 8 к.—12) Бузинная старушка. Дѣвочка, наступившая на хлѣбъ. 8 к.—13) Колоколь. Стойкій оловянный солдатикъ. Мотылекъ. 6 к.—14) Ибъ и Христиночка. Сновидѣніе Перо и чернильница. 10 к.—15) Камень мудрости. 8 к.—16) Большой морской змѣй. Свѣчи. 5 к.—17) Золотое сокровище. Блоха и профессоръ. 6 к.—18) Дикіе лебеди. 8 к.—19) Сынъ привратника. 8 к.—20) Морская царевна. Дождя-же быть разица. 10 к.—21) Соловей. Жаба. 8 к.—22) Попутчикъ. 8 к.—23) Исторія пяти горошинъ. Ёлка. Дѣвочка со спичками. 6 к.—24) Калоши счастья. 10 к.—25) Она никуда не годилась. Старый домъ. Дѣтская болтовня. 8 к.—26) Исторія одной матери. Кто-жъ въ этомъ сомнѣвается. Наволочный жукъ. 8 к.—27) Безобразный утенокъ. Маргаритка. Серебряная монетка. 8 к.—28) Тиль. Мѣдный кабанъ. Какъ старикъ ни сдѣлается—все хорошо. 10 к.—29) Бутылочное горлышко. Подъ нвой. 10 к.—30) Дѣва льдовъ. 18 к.

**СКАЗКИ ГАУФА.** 31) Холодное сердце. Съ портретомъ и біографіей Гауфа. 18 к.—32) Сказка о Калифъ-анстѣ. Молодой англичанинъ. 12 к.—33) Преданіе о золотомъ. Маленькій Мукъ. 15 к.—34) Карликъ-посѣ. 12 к.—35) Приключенія Санда. 15 к.—36) Принцъ-Самозванецъ. Еврей Абнеръ, который ничего не видалъ. 10 к.

**СКАЗКИ ГУСТАФСОНА.** 37) Корона морскаго царя.—Друзья короля Османа.—Неумѣстная гордость.—Король Карій. Съ портретомъ и біографіей Густафсона. 10 к.—38) Пастухъ и принцесса.—Такъ водится на войнѣ.—Баржа. 10 к.—39) Храмъ истины.—Король, страдавшій бессонницей.—Каменная глыба.—Скороспѣлки.—Попугай и жаворонокъ. 10 к.—40) Парижская кукла.—Бѣлка.—Исторія одного дерева.—Земной глобусъ папы. 10 к.—41) Три брата.—Маленькій сборникъ сказокъ. 10 к.

**СКАЗКИ ЖОРЖЪ-ЗАНДЪ.** 42) Говорящій дубъ. Красный молотокъ. Съ портретомъ и біографіей Ж. Зандъ. 18 к.—43) Розовое облако. 12 к.—44) Великанъ Іеусъ. 15 к.—45) Крылья мужества. 25 к.

**РУССКІЯ НАРОДНЫЯ СКАЗКИ.** Съ предисловіемъ Н. С. Тургенева—25 книжекъ отъ № 46 до 70-го. Цѣна каждой книжки—10 к.

**СКАЗКИ КАРМЕНЪ СИЛЬВЫ.** 71) Омуль. Замокъ Вѣдмы. Съ 10-ю рис., портретомъ и біографіей Карменъ Сильвы. Ц. 15 к.—72) Оленья Долина. Близнецы. Чахлау. Съ 11-ю рис. Ц. 15 к.—73) Піатра Арса. Карайманъ. Варфуль-кудереъ. Фурника. Съ 13-ю рис. Ц. 15 к.

**СКАЗКИ ЛАБУЛЭ.** 74) Мальчикъ съ пальчикъ. Маленькій человекъ. Довольны-ли ты? или приключеніе съ носами. Съ 16-ю рис., портретомъ и біографіей Лабулэ. Ц. 15 к.—75) Пвонъ и Финетта. Съ 17-ю рис. Ц. 15 к.—76) Зербинъ-Вирюкъ. Золотое руно. Съ 21 рис. Ц. 15 к.—77) Паша-Пастухъ. Фраголетта. Божьи гуси. Съ 25-ю рис. Ц. 15 к.—78) Бацъ-бацъ! Съ 13 рис. Ц. 15 к.

## Списокъ книжекъ „Сказочной Библіотеки“ по ихъ цѣнамъ:

Книжки въ 5 к.: №№ 8, 9, 16.—Книжки въ 6 к.: №№ 4, 13, 17, 23.—Книжки въ 8 к.: №№ 2, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27.—Книжки въ 10 к.: №№ 3, 5, 6, 14, 20, 24, 28, 29, 36—41, 46—70.—Книжки въ 12 к.: №№ 32, 34, 43.—Книжки въ 15 к.: №№ 1, 7, 10, 33, 35, 44, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78.—Книжки въ 18 к.: №№ 30, 31, 42, 76.—Книжки въ 25 к.: № 45. За всѣ 78 книжекъ—8 р. 45 к.

## ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЛЕРМОНТОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА

(30 книжекъ).

1) Демонъ. Цѣна 6 коп.—2) Ангель смерти. Ц. 3 к.—3) Исмаиль-Бей. Ц. 10 к.—4) Хаджи. Абрекъ. Ц. 3 к.—5) Бояринъ Орша. Ц. 4 к.—6) Пѣсня про купца Калашникова. Ц. 3 к.—7) Мцыри. Ц. 4 к.—8) Ауль Бастунджи. Ц. 3 к.—9) Литвинка. Ц. 3 к.—10) Каллы. Ц. 2 к.—11) Кавказскій плѣнникъ. Ц. 3 к.—12) Норсаръ. Ц. 2 к.—13) Чернесы. Ц. 2 к.—14) Джудіо. Ц. 3 к.—15) Назначейша. Ц. 4 к.—16) Герой нашего времени. Ц. 2 к.—17) Бѣла. Ц. 8 к.—18) Тамань. Ц. 3 к.—19) Княжна Мери. Ц. 12 к.—20) Фаталистъ. Ц. 2 к.—21) Призракъ. Ц. 3 к.—22) Маскарадъ. Ц. 10 к.—23) Испанцы. Ц. 10 к.—24) Ашикъ-Керибъ. Ц. 2 к.—25) Княгиня Лиговская. Ц. 8 к.—26) Люди и страсти. Ц. 8 к.—27) Станный человекъ. Ц. 8 к.—28) Два брата. Ц. 5 к.—29) Всѣ баллады и легенды. Ц. 5 к.—30) Повѣсти изъ современной жизни. Ц. 7 к.

Цѣна всѣхъ 30 №№ „Библіотеки“—1 р. 71 к.



# ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

БЮГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА.

Въ составъ ея войдетъ около 200 биографій замѣчательныхъ людей. Каждому изъ нихъ посвящается особая книжка, объемомъ отъ 80 до 160 страницъ, снабженная портретами. Къ биографіямъ художниковъ и музыкантовъ прилагаются снимки съ картинъ и ноты.

Цена каждой книжки отдѣльно — 25 коп.

До 1 ноября 1896 г. вышли слѣдующія 180 биографій:

**I. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ:** Будда (Сиддх-Муни), Григорій VII, Густъ, Кальвинъ, Конфуцій, Лойола, Магометъ, Савонарола, Горькемада, Францискъ Ассизскій, Цвингли. — Аввакумъ (глава рус. раскола), патриархъ Николь.

**II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛЮДИ И НАРОДНЫЕ ГЕРОИ:** Бисмаркъ, Гарибальди, Гладстонъ, Гракхи, Кромвелъ, Анжело, Мирабо, Томасъ Моръ, Гринелъ. — Воронцовъ, Дашкова, Иоаннъ Грозный, Каплицъ, Меншиковъ, Потемкинъ, Скобелевъ, Сперанскій, Богданъ Хмельницкій.

**III. УЧЕНЫЕ:** Беккариа и Бенгемъ, Бокль, Галилей, Гарвей, А. Гумбольдтъ, Даламбертъ, Дарвинъ, Джениеръ, Келлеръ, Кетле, Кондорсе, Конринкъ, Кювье, Лавуазье, Лапласъ и Эйлеръ, Линней, Лейбницъ, Мальтусъ, Милль, Монтескье, Паскаль, Ньютона, Прудонъ, Адамъ Смитъ, Фарадей. — К. Вэръ, Вотицъ, Ковалевская, Лобачевскій, Пироговъ, Соловьевъ (историкъ), Струве.

**IV. ФИЛОСОФЫ:** Аристотель, Бакоунъ, Декартъ, Джордано Бруно, Гегель, Кантъ, Огюстъ Контъ, Лейбницъ, Локкъ, Сенека, Сократъ и Платонъ, Спиноза, Шопенгауэръ, Юмъ.

**V. ФИЛАНТРОПЫ И ДѢЯТЕЛИ ПО НАРОДНОМУ ПРОСВѢЩЕНЮ:** Говардъ, Оуэнъ, Песталоцци, Франклинъ. — Карзининъ (основатель харьков. университета), баронъ Н. А. Корфъ, Цвиконъ К. Д. Ушинскій.

**VI. ПУТЕШЕСТВЕННИКИ:** Колумбъ, Ливингстонъ, Стэнли. — Пржевальскій.

**VII. ИЗОБРЕТАТЕЛИ И ЛЮДИ ШИРОКАГО ПОЧИНА:** Гутенбергъ, Дагеръ и Нипсъ (изобрѣтатели фотографіи), Лессепсъ, Ротшильды, Стефенсонъ и Фултонъ (изобрѣтат. жел. дорогъ и пароходовъ), Уаттъ, Эдисонъ и Морзе. — Демидовы.

**VIII. ПИСАТЕЛИ РУССКІЕ И ИНОСТРАННЫЕ. Иностранные писатели:** Андерсенъ, Байронъ, Бальзакъ, Берне, Беранже, Боккаччо, Бомарше, Вольтеръ, Гейне, Гете, Гюго, Дантъ, Дефо, Дидро, Диккенсъ, Жоржъ-Зандъ, Золя, Ибсенъ, Карлейль, Лессингъ, Маколей, Мильтонъ, Мицкевичъ, Мольеръ, Рабле, Реналь, Руссо, Свифтъ, Сервантесъ, В. Скоттъ, Теккерей, Шекспиръ, Шиллеръ, Джоржъ Эліотъ.

**Русскіе писатели:** Аксаковы, Бѣлинскій, Гоголь, Гончаровъ, Грибоѣдовъ, Державинъ, Добролюбовъ, Достоевскій, Жуковский, Кантемиръ, Карамзинъ, Кольцовъ, Крыловъ, Лермонтовъ, Ломоносовъ, Никитинъ, Писаревъ, Писемскій, Пушкинъ, Салтыковъ (Щедринъ), Сеяковский (баронъ Брамбеусъ), Левъ Толстой, Тургеневъ, Фовизинъ, Шевченко.

**IX. ХУДОЖНИКИ:** Леонардо да Винчи, Микель Анджело, Рафаэль, Рембрандтъ. — Ивановъ, Крамской, Перовъ, Фёдоровъ.

**X. МУЗЫКАНТЫ И АКТЕРЫ:** Бахъ, Бетховенъ, Вагнеръ, Гаррикъ, Мейербертъ, Моцартъ, Шопенъ, Шуманъ. — Волковъ (основатель русск. театра), Глинка, Даргомыжскій, Сбровъ, Щепкинъ.

Приготавливаются къ печати біографіи слѣдующихъ лицъ:

Александра II, Вашингтона, Вирхова, Гельмгольца, Герцена, Екатерины II, Лассалъ, Лютера, Макиавелли, Меттерниха, Наполеона I, Некрасова, Островскаго, Пастера, Петра Великаго, Суворова, Фридриха II и др.

## ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

(40 книжекъ).

**ОТДѢЛЬНЫЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ:** 1) Русланъ и Людмила. Цена 10 к.—2) Навказой плѣнникъ. Ц. 3 к.—3) Братья Разбойники. Ц. 2 к.—4) Бахчисарайскій фонтанъ. Ц. 3 к.—5) Цыганы. Ц. 3 к.—6) Полтава. Ц. 6 к.—7) Галубъ. Ц. 2 к.—8) Сказка о царѣ Салтанѣ. Ц. 4 к.—9) Сказка о попѣ и работницѣ его Балдѣ. Ц. 2 к.—10) Сказка о мертвой царевнѣ. Ц. 3 к.—11) Сказка о золотомъ петушѣ. Ц. 2 к.—12) Сказка о рыбацк. и рыбацк. Ц. 2 к.—13) Пѣсни западныхъ славянъ. Ц. 4 к.—14) Евгений Онегинъ. Ц. 20 к.—15) Графъ Нулинъ. Ц. 2 к.—16) Домикъ въ Коломнѣ. Ц. 2 к.—17) Мѣдный всадникъ. Ц. 3 к.—18) Анджело. Ц. 3 к.—19) Борисъ Годуновъ. Ц. 10 к.—20) Скупой рыцарь. Ц. 2 к.—21) Моцартъ и Сальери. Ц. 2 к.—22) Каменный гость. Ц. 3 к.—23) Пиръ во время чумы. Ц. 2 к.—24) Русалка. Ц. 3 к.—25) Выстрѣлъ. Ц. 3 к.—26) Метель. Ц. 3 к.—27) Гробовщикъ. Ц. 2 к.—28) Станціонный смотритель. Ц. 3 к.—29) Барышня-крестьянка. Ц. 4 к.—30) Пиковая дама. Ц. 5 к.—31) Дубровский. Ц. 10 к.—32) Арапъ Петра Великаго. Ц. 6 к.—33) Напитанная дочка. Ц. 20 к.—34) Исторія пугачевскаго бунта. Ц. 20 к. **СБОРНИКИ:** 3) Всѣ поэмы. Ц. 25 к.—35) Всѣ сказки. Ц. 10 к.—36) Всѣ баллады и легенды. Ц. 10 к.—37) Всѣ драматическія произведенія. Ц. 20 к.—38) Повѣсти Бѣлкина. Ц. 10 к.—39) Всѣ письма, съ 26-ю портретами. Ц. 25 к. Цена всѣхъ отдѣльныхъ произведеній (№№ 1—34) 1 р. 74 к. Цена всѣхъ сборниковъ (№№ 35—40)—1 р.



# СОЧИНЕНІЯ Д. И. ПИСАРЕВА.

## ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и статьей ЕВГЕНІЯ СОЛОВЬЕВА (автора біографіи Писарева).

### ТОМЪ ВТОРОЙ.

#### СОДЕРЖАНІЕ ТОМОВЪ

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1-й ТОМЪ.</b> Первые литературные опыты. Несоразмѣрные претензіи. Народныя книжки. Идеализмъ Платона. Физіологическіе эскизы Мелешета. Процессъ жизни (по Фохту). Схоластика XIX вѣка. Стоячая вода. Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ. Женскіе типы въ романахъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова. Библиографическія замѣтки. Меттернихъ.</p> <p><b>2-й ТОМЪ.</b> Аполлоній Тианскій. Московскіе мыслители. Русскій Донъ-Кихотъ. Вольные русскіе переводчики. Генрихъ Гейне. Пчелы. Физіологическія картины. Баваровъ. Очерки изъ исторіи печати во Франціи. Зарожденіе культуры.</p> <p><b>3-й ТОМЪ.</b> Наша университетская наука. Историческіе эскизы. Цвѣты невиннаго юмора. Мотивы русской драмы. Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растений. Историческое развитіе европейской мысли.</p> | <p><b>4-й ТОМЪ.</b> Реалисты. Кукольная трагедія. Промахи незрѣлой мысли. Романъ кисейной дѣвушки. Сердитое безсміе. Прогулка по садамъ русской словесности. Переломъ въ умственной жизни средневѣковой Европы. Мысли Вирхова о воспитаніи женщинъ. Педагогическіе софизмы. Разрушеніе эстетики. Школа и жизнь.</p> <p><b>5-й ТОМЪ.</b> Пушкинъ и Бѣлинскій. Подвиги европейскіхъ авторитетовъ. Посмотримъ! Подростающая гуманность. Историческія идеи Огюста Конта. Погибшіе и погибающіе. Популяризаторы отрицательныхъ доктринъ. Взгляды англійскихъ мыслителей на умственныя потребности современнаго общества. Льюисъ и Гексли.</p> <p><b>6-й ТОМЪ.</b> Очерки изъ исторіи европейскіхъ народовъ. Образованная толпа. Борьба за знанія. Романы Андре Лео. Старое барство. Французскій крестьянинъ 1789 г.— Приложеніе: Литературный процессъ ко 2-му тому Сочиненій Д. И. Писарева въ 1868 году.</p> |
|--|---|

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.  
1894.

Цѣна каждаго тома 1 рубль.



## Литература, публицистика и законовѣдѣніе.

Сочиненія Чирльза Диккенса Полное собраніе. Цѣна каждаго тома (равнаго 75 журнальнымъ листамъ)—1 р. 50 к.—До 10 декабря 1893 г. вышли первые пять томовъ: 1) Давидъ Копперфильдъ, 2) Домби и сынъ, 3) Холодный домъ. Повѣсть о двухъ городахъ, 4) Крошка Дорритъ. Большія ожиданія. 5) Нашъ общій другъ и Оливеръ Твистъ, 6) Записки Пиквикскаго клуба. Тяжелыя времена. 7) Николай Никльби. Три святочныхъ разсказа. 8-й томъ печатается.

Сочиненія Пушкина. Съ портр., біографіей и 500 письмами. Полное собр. въ 1-мъ томѣ и въ 10 томахъ. Ц. 1-томнаго и 10-томнаго изд. одна и та же: безъ карт.—1 р. 50 к. Съ 44 кар.—2 р. 50 к. На лучшей бумагѣ—на 50 к. дороже. За переплеты: для 1-томн. изд.—40 к. и 1 р. Для 10-томнаго (въ 5 пер.) 1 р. и 2 р.

Сочиненія Лермонтова (въ одномъ томѣ). Полное собраніе всѣхъ сочиненій. Съ портретомъ, біографіей, написанной А. М. Скабичевскимъ, и 115 рисунками въ текстѣ. Ц. 1 р., въ простомъ перепл.—1 р. 40 к., въ коленкоровомъ съ золотымъ тисненіемъ—2 руб.

Сочиненія Лермонтова (въ четырехъ томахъ). Полное собраніе всѣхъ сочиненій. Съ портретомъ автора, его біографіей и 115 рисунками въ текстѣ. Цѣна за всѣ 4 тома 1 р., въ двухъ простыхъ переплетахъ—1 р. 50 к., въ двухъ роскошныхъ переплетахъ—2 руб.

Сочиненія Н. Шелгунова. Въ двухъ томахъ. Съ портретомъ автора и вступительной статьей Н. Михайловскаго. Ц. 3 р., въ пер.—4 р.

Повѣсти и разсказы И. Н. Потапенко. Восемь томовъ. Ц. каждаго—1 р. Перепл. для 2 том. вмѣстѣ по 75 к.

Сочиненія Глѣба Успенскаго. 3 изданіе въ 2 томахъ, съ портретомъ автора и статей Н. К. Михайловскаго. Ц. за два тома—3 р. Переплеты въ 50 к. и въ 1 р.

Сочиненія Глѣба Успенскаго. Томъ 3-й. Ц. 1 р. 50 к.

Сочиненія В. Рѣшетинова. Въ двухъ томахъ, съ портретомъ автора и статей М. Протопопова. Ц. за все собраніе—2 р. 50 к. Переплеты въ 50 к. и 1 р.

Сочиненія А. М. Скабичевскаго. Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литерат. характеристики. Съ портр. автора. Ц. за все собраніе въ двухъ больш. том. (до 1700 стр.) 3 р. Перепл.—въ 50 к. и 1 р.

Большой альбомъ къ „Сочиненіямъ Пушкина“. 44 иллюстраціи съ подписями, портретомъ и спискомъ съ почерка. Цѣна въ папкѣ 1 р. 50 к.

Малый альбомъ къ „Сочиненіямъ Пушкина“. Тѣ же иллюстраціи, но меньшаго формата. Ц. въ коленкоровомъ переплетѣ—1 р. 25 к.

120 рисунковъ къ Лермонтову. Художественный альбомъ М. Е. Малышева. Ц. въ папкѣ 50 к.

Герои и героическое въ исторіи. Томъ Карлейля. Перев. В. Яковенко. Ц. 1 р. 50 к.

По волнамъ безконечности. Астрономическая фантазія К. Фламмаріона. Съ франц. 350 стр. 2-е изд. Ц. 80 к.

Грядущая раса. Фантастическій романъ Эд. Бульвера. Переводъ съ англійск. А. Каменскаго. Ц. 50 к.

Исторія французской революціи. Н. Карно. Переводъ съ франц. Около 400 страницъ. Ц. 1 р.

Европейскіе монархи и ихъ дворы. *Politicos'a*. Пер. съ англ. и дополнилъ В. Ганцовъ. Съ 16 портр. Ц. 1 р.

Черезъ сто лѣтъ. Соціологическій романъ Э. Беллами. 3-е изданіе, дополненное научно-предсказательнымъ очеркомъ Рише: «Куда мы идемъ?». Ц. 1 руб.

Въ трущобахъ Англіи. (Планъ соціал. борьбы съ эконом. явленіями современнаго общества) Бутса. Ц. 1 р.

Нашъ офицерскіе суды Ф. Павленкова. Ц. 35 к.

Напитанская дочка. Повѣсть А. Пушкина. Роскошное изд. съ 188 рис. Ц. 60 к. въ пап. 75 к. въ пер. 1 р.

Голодь. Романъ К. Гамсуна. Съ норвежскаго. Ц. 60 к.

Забота. Романъ Зудермана. Съ 14 ил., изд. Ц. 60 к.

До потопа. Романъ изъ жизни первобытныхъ людей. Рони. Съ 16 рис. Ц. 50 к.

Въ небесахъ (Uranie). Астрономическій романъ К. Фламмаріона. Съ 89 рис. 2-е изд. Ц. 75 к.

Новѣйшіе русскіе писатели. Книга для домашнего чтенія. А. Цыткова. Съ 72 портр. Ц. 3 р. въ пер. 3 р. 75 к.

Исторія новѣйшей Рус. литературы (1848 — 1892 гг.). А. М. Скабичевскаго. 2-е исправленное изд. Ц. 2 р.

Исторія русской цензуры. А. М. Скабичевскаго. Ц. 2 р.

Счастье и трудъ. П. Мантегасса. 2-е изд. Ц. 75 к.

Въ пазухахъ (Очерки и разсказы изъ жизни русской

Вырожденіе. Психопатическія явленія въ области современной литературы и искусствъ. Макса Нордау. Переводъ съ нѣмецкаго, подъ редакціей и съ предисловіемъ Р. Сементковскаго. Ц. 1 р. 60 к.

Исторія культуры. Липперта. Перев. съ нѣмецкаго. 85 рис. Ц. 1 р. 60 к.

Матери великихъ людей. Блока. Переводъ З. Горской. Многими рисунками. Ц. 60 к.

Долой оружіе! Анти-военный романъ В. Зутнеръ. Компактное изданіе. Цѣна 80 коп.

Подъ маской благочестія. (Преступленія и оргіи папы). Романъ Э. Постери. Съ итальянскаго. Ц. 1 р.

Тургеневъ о русскомъ народѣ. Чтеніе для народа. Съ портретомъ И. С. Тургенева. Ц. 15 к.

Литература и жизнь. Письма о разныхъ разностяхъ. Н. К. Михайловскаго. Ц. 1 руб.

Въ поискахъ за истиной. Макса Нордау. Перев. съ 4-го нѣмецкаго изд. Э. Зауеръ. 8-е изд. Ц. 1 р.

Большая любовь. Гигіенич. романъ Мантегасса. Ц. 50 к.

Роль общественнаго мнѣнія въ государственной жизни. Профес. Гольцендорфа. Цѣна 75 к.

Очерки самоуправленія (земскаго, городского и сел. го). С. Приклонскаго. Ц. 2 р.

Борьба съ земельнымъ хищничествомъ. Бытовые очерки Н. Тимошенкова. Ц. 1 р.

Брюхо Петербурга. Общественно-физиологическіе очерки А. Бахтіарова. Ц. 1 р. 50 к.

Бесѣды о законахъ и порядкахъ. С. Горянской, под. Я. Абрамова. Цѣна 15 к.

Законы о гражданскихъ договорахъ, общепонятно женные и объясненные. Составилъ В. Фармако. Изданіе 4-е. Цѣна 1 р. 25 к.

Исторія книги на Руси. А. Бахтіарова. Со многими рисунками въ текстѣ. Ц. 1 р. 50 к.

Русскіе фланеры въ Парижѣ. Попова. 2-е изд. Ц. 1 р.

По градамъ и веснямъ. Романъ изъ исторіи нашего времени. Володина (Засодимскаго). Ц. 1 р. 50 к.

Обломки разбитаго корабля. Сцены у мировыхъ судовъ. Составилъ В. Никитинъ. Ц. 1 р.

## Популярно-научныя книги.

Наука о жизни. Популярная физиологія человѣка. В. Луи кевича. Съ 91 рис. Ц. 1 р.

Преступная толпа. Опытъ коллективной психологіи. С. Сигеле. 116 стр. Ц. 30 к.

Пессимизмъ. Сочиненіе Джамса Селли. Популярный обзоръ всѣхъ пессимистическихъ ученій. Пер. съ англійскаго подъ редакціей В. Яковенко. Цѣна 1 р. 50 к.

Философія Герберта Спенсера, въ сокращ. изложеніи. Коллинга. Перев. съ англійскаго Н. Мокіевскаго. Ц. 2 р.

Законы подражанія. Тарда. Пер. съ фр. Ц. 1 р. 50 к.

Домашній опредѣлитель поддѣлокъ. А. Альмединена. Ц. 60 к.

На всякій случай! Научно-практическіе совѣты сельскимъ хозяевамъ. А. Альмединена. Ч. 2-я. Ц. 50 к.

Гигіена женщины. Д-ра М. Тило. Ц. 40 к.

Гигіена семьи. Гейбера. Переводъ съ нѣм. Ц. 50 к.

Берегите легкія! Гигіеническія бесѣды д-ра Нимейра. Съ 30 рисунками. Цѣна 75 к.

Уходъ за больными дѣтьми. Д-ра Э. Церье. Переводъ съ франц. Ц. 50 к.

Сохраненіе здоровья. Общая гигиена въ прим. къ обыденной жизни. Д-ра Эйдама. Съ 7 рис. Ц. 40 к.

Дѣтскій докторъ. Популярное руководство для матерей и воспитателей. Д-ра Варіо. Перев. съ франц. подъ редакціей проф. Пономарева. Со мног. рис. Ц. 1 р.

Бантеріи и ихъ роль въ жизни человѣка. Д-ра Минулы. Перев. съ нѣм. съ 35 рис. Ц. 1 р.

Предсказаніе погоды. Г. Далле. Переводъ съ франц. Съ 40 рисун. Цѣна 1 р. 25 к.

Дарвинизмъ. Э. Ферьера. Переводъ съ франц. Популярное изложеніе ученія Дарвина. Ц. 60 к.

Жизнь на Сѣверѣ Югѣ (отъ полюса до экватора). А. Брэма. Дополн. къ его сочин. „Жизнь животн.“. Со мног. рис. Ц. 2 р.

Первобытные люди. Дебера. Перев. съ франц. и дополн. М. Энгельгардтъ. Съ 84 рис. Ц. 1 р.

Фабричная гигиена. Святловскаго. Съ 153 рис. Ц. 4 р.

Усталость. Популярно-научныя бесѣды проф. А. Мосера. Перев. М. Манассиной. Съ 30 рис. Ц. 1 р. 25 к.

Рабочій вопросъ. Его значеніе въ современн. жизни. Перев. М. Манассиной. Съ 30 рис. Ц. 1 р. 25 к.



Ваня Павленко

СОЧИНЕНІЯ

**Д. И. ПИСАРЕВА.**

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

**ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.**

ТОМЪ ВТОРОЙ.

---

Цена каждого тома 1 рубль.

---

Портретъ автора и статья о его литературной дѣятельности  
помѣщены при шестомъ томѣ.

---

Изданіе Ф. Павленкова.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.  
1894.



2p  
9m



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

1861.

е

СТРАН.

Аполлоній Тианскій . . . . . 1—104

1862.

Московскіе мыслители . . . . . 165—214

Русскій Донъ-Кихоть . . . . . 215—234

Вольные русскіе переводчики . . . . . 235—252

Генрихъ Гейне . . . . . 253—304

Пчелы . . . . . 305—326

Физиологическія картины . . . . . 327—372

Базаровъ . . . . . 373—420

Очерки изъ исторіи печати во Франціи . . . . . 421—496

1863.

Зарожденіе культуры. . . . . 497—616









# АПОЛЛОНІЙ ТІАНСКІЙ.

Агонія древняго римскаго общества, въ его политическомъ, нравственномъ и религіозномъ состояніи.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Аполлоній Тіанскій, извѣстный намъ по сочиненію Филострата и по немногимъ отрывочнымъ отзывамъ другихъ писателей, былъ практическій философъ пифагорейской школы, пытавшійся путемъ обновленія нравственности и религіи оживить умиравшее общество, и сдѣлать людей гражданами и гражданъ людьми. Какъ реформаторъ, онъ приходилъ въ столкновеніе со всѣмъ существующимъ порядкомъ вещей; и нравственная жизнь частныхъ лицъ, и проявленія духовной жизни цѣлыхъ обществъ обращали на себя его вниманіе. Чѣмъ шире былъ кругъ его дѣйствій, тѣмъ болѣе нужно для правильной оцѣнки его личности и стремленій составить себѣ хотя приблизительное понятіе о фізіономіи тогдашняго общества и человѣка; на этомъ основаніи я считаю необходимымъ остановиться болѣе подробно на тѣхъ сторонахъ римско-греческаго быта, которыя обусловливали собою дѣятельность Аполлонія, и едва коснусь многихъ другихъ, можетъ быть, болѣе важныхъ, но не имѣющихъ тѣсной связи съ моимъ предметомъ.

Направленіе предпринятой Аполлоніемъ реформы было религіозно-нравственное; онъ хотѣлъ дѣйствовать на своихъ современниковъ изнутри наружу; къ вопросамъ практической нравственности онъ относился прямо и рѣшительно; въ этой области онъ чувствовалъ себя хозяиномъ и не стѣснялъ работы мысли и голоса нравственнаго чувства ни мнѣніемъ большинства, ни авторитетомъ преданія. Къ вопросамъ религіозной догматики онъ относился настолько, насколько догматы обусловливали собою жизнь. Отвлеченному догмату, внѣшнему обряду онъ не придавалъ большого значенія, и въ большей части случаевъ оставлялъ неприкосновенными существующія формы. Рѣшительнѣе и страстнѣе относился онъ къ политическимъ вопросамъ своего времени; но и какъ

публицистъ, Аполлоній остается учителемъ практической нравственности. Въ идеалъ древняго человѣка входило такъ много чертъ гражданина, что тѣ формы, въ которыя вылилась общественная жизнь, не могли не обращать на себя вниманіе мыслителя-моралиста. Въ доказательство неизбежности такого соприкосновенія между нравственностью и государственными формами, достаточно будетъ назвать сочиненіе Платона: «*de republica*» и Аристотеля: «*Politica*».—Столкновенія Аполлонія съ властями были вызваны необходимостью; онъ не хотѣлъ производить революціи, или по крайней мѣрѣ революція не была цѣлью его жизни, потому что цѣль его была и шире, и глубже, и достойнѣе мыслящаго человѣка. Аполлоній не составлялъ никакихъ проектовъ для преобразованія государства; его болѣе занимала жизнь отдѣльной личности, и онъ возставалъ противъ тиранніи настолько, насколько она подавляла свободное развитіе духовныхъ силъ и независимое отправленіе гражданскихъ и человѣческихъ добродѣтелей. Итакъ важнѣе всего была для Аполлонія мыслящая и дѣйствующая личность человѣка; все остальное болѣе или менѣе является въ его глазахъ обстановкою, оказывающею значительное вліяніе на главный предметъ, но не имѣющею самостоятельнаго интереса.—Слѣдовательно, чтобы познакомиться съ полемъ его дѣятельности, мы должны составить себѣ понятіе о томъ, какъ думалъ, чувствовалъ и поступалъ человѣкъ, жившій въ эпоху паденія язычества. Для этого я очерчу наружную обстановку его жизни, начиная съ самаго внѣшняго, съ правительства, и постепенно переходя къ болѣе внутреннимъ, семейственнымъ отношеніямъ, потомъ постараюсь разсмотрѣть вліяніе этой внѣшней обстановки на внутреннее сознаніе, и наконецъ кончу изображеніемъ этого внутренняго сознанія, какъ высшаго и послѣдняго результата внѣшнихъ условій жизни.



## I.

Вступленіе на престолъ Тиверія, разсказанное Тацитомъ въ началѣ его лѣтописи, бросаетъ яркій свѣтъ на отношеніе императорской власти къ народу и на взглядъ народа на императорскую власть въ началѣ перваго вѣка христіанской эры. — Октавіанъ Августъ былъ самодержавнымъ государемъ *de facto*, а не *de jure*; побѣда надъ совмѣстниками, подобными Антонію и Лепиду, и надъ противниками по принципу, подобными Бруту и Кассію, доставило счастливому полководцу фактическое господство; искусная политика, умѣнье льстить народу и войску, и держать въ страхѣ аристократію, удерживало за нимъ эту пріобрѣтенную власть. Но самодержавіе Августа было все-таки единичнымъ случаемъ, не оправданнымъ никакимъ общимъ правиломъ; убійцы Цезаря не считались государственными преступниками, и Августъ не былъ наслѣдникомъ своего дяди. Власть его принадлежала только его личности и не успѣла еще перейти въ отвѣченное понятіе. Любопытно было знать, что случится послѣ его смерти: распадутся ли соединенныя имъ должности, уничтожится ли имперія, или вторичное соединеніе этихъ должностей въ одномъ лицѣ укрѣпитъ въ народномъ сознаніи возникающее понятіе императорской власти. Тутъ много зависѣло отъ личности преемника Августа; нужно было дѣйствовать рѣшительно и осторожно, такъ чтобы новая идея созрѣвала и крѣпла подъ защитой старыхъ формъ, нарушеніе которыхъ могло встревожить народъ и вызвать изъ рядовъ его новаго Брута. Тиверій понялъ свою роль и потому его поступки носятъ на себѣ печать двойственности, выходявшей отчасти изъ его положенія, отчасти изъ самаго характера. За проявленіемъ дерзкаго произвола слѣдуетъ постоянно выраженіе самаго глубокаго благоговѣнія передъ существующимъ порядкомъ вещей. Тотчасъ послѣ смерти Августа онъ самовольно принимаетъ начальство надъ войскомъ и вслѣдъ затѣмъ отказывается отъ предлагаемаго ему императорства; онъ именемъ покойнаго Августа приказываетъ убить Агриппу Постума, и тотчасъ же отрекается отъ своихъ словъ и говорить центуріону, исполнившему его волю, что «онъ не приказывалъ и что, объ этомъ надо отдать отчетъ передъ сенаторомъ». На дѣлѣ онъ ворочаетъ всѣмъ государствомъ; по формѣ онъ дѣлаетъ все черезъ консуловъ. Въ то же время онъ произвольно назначаетъ себѣ тѣлохранителей и пишетъ приказы по арміи. Смѣлость въ поступкахъ и робость въ словахъ характеризуютъ собою всю его политику. Что эта политика обманывала не многихъ или по крайней мѣрѣ далеко не всѣхъ, на это мы имѣемъ доказательства въ томъ же разсказѣ Тацита. Римская чернь была равнодушна къ формамъ управленія; она вся была занята матеріальными заботами о про-

питаніи и о грубыхъ чувственныхъ удовольствіяхъ; Августъ сдерживалъ ее раздачею хлѣба, и уже одно это обстоятельство доказываетъ, что чернь эта была матеріальная сила, громадная, но слѣпая, которую надо было постоянно имѣть въ виду, но на которую нельзя было надѣяться, и которой неосновательно было бояться. Владѣть ею могъ всякій умный правитель; на это нуженъ былъ бдительный надзоръ, да еще значительныя денежныя траты, чтобы кормить ее даровымъ хлѣбомъ и забавлять зрѣлищами. Тиверій не надѣялся на ея привязанность къ личности и къ дому Августа; онъ понималъ, что любой демагогъ можетъ въ удобную минуту увлечь ее за собою, и потому распорядился, чтобы погребальная процессія Августа была прикрыта военнымъ отрядомъ.

И дѣйствительно, въ высшихъ слояхъ общества ходили о семействѣ Августа такіе толки, которые ясно показывали, что Римляне не потеряли своихъ сатирическихъ способностей, и что при удобномъ случаѣ не будетъ недостатка въ предводителѣ народной партіи. — Итакъ одна часть народа, масса, была равнодушна къ политическимъ переворотамъ, тѣмъ болѣе, что ни одинъ правитель не покушался на ея матеріальное благосостояніе. Образованная же часть общества смотрѣла на личность и дѣйствія Тиверія съ недоувѣріемъ и со страхомъ, но понимала, что этихъ чувствъ выказывать нельзя, потому что новый императоръ, по словамъ Тацита, «запоминаетъ каждое слово, каждое выраженіе лица и перетолковываетъ ихъ въ преступленіе». Тиверій и сенатъ хорошо понимали другъ друга и отлично играли свои роли. Тиверій не говорилъ ни слова, а сенатъ угадывалъ, что надо просить его о принятіи власти; на ихъ просьбы Тиверій отвѣчалъ, «что только духъ божественнаго Августа былъ способенъ нести такое бремя; что одному человеку не по силамъ управлять всѣми, что соединенныя усилія многихъ успѣшнѣе его одного поведутъ государственныя дѣла». Тутъ, какъ видно, шло дѣло не о томъ, кому быть императоромъ, а о томъ, быть ли вообще императору. Впрочемъ это нисколько не доказываетъ того, чтобы существованіе имперіи въ то время могло быть еще вопросомъ, и чтобы сенатъ былъ въ состояніи рѣшить этотъ вопросъ утвердительно или отрицательно. Тиверій зналъ, что сенатъ скажетъ все, что прикажетъ онъ, — всемогущій начальникъ войска, и что слѣдовательно сенаторамъ важнѣе всего узнать его истинный образъ мыслей. Его притворство сбивало ихъ съ толку, и они уже не знали, что дѣлать: оставить ли его въ покоѣ, или продолжать упрашивать. Тиверію было необходимо, чтобы сенаторы не принимали его словъ за чистую монету, и потому, желая показать слушателямъ своимъ, что онъ отказывается только для виду, онъ упомянулъ въ своемъ отвѣтѣ о возстановленіи республики и далъ такимъ обра-



зомъ на выборъ или сдѣлать его императоромъ, или уничтожить императорскую власть. Второе было невозможно: это доказано послѣдующею исторіею, хоть бы напримѣръ воцареніемъ Клавдія; сознание этой невозможности существовало во всѣхъ благоразумныхъ и хладнокровно размышлявшихъ людяхъ того времени. Еще въ началѣ единодержавія Августа «ни одинъ благоразумный человѣкъ, говоритъ Нибуръ, не пожелалъ бы восстановленія республики, если бы оно даже и было возможно».

Дилемма, поставленная Тиверіемъ, подтверждаетъ мнѣніе знаменитаго критика. Тиверій не далъ на выборъ сенату сдѣлать императоромъ его или кого нибудь другого, хотя Августъ, къ которому онъ офиціально питалъ религіозное уваженіе, положительно называлъ людьми способными занять его мѣсто М. Лепида и Л. Арунція. Онъ не только не называлъ этихъ именъ, но даже старался всѣми возможными средствами погубить эти личности. Стало быть, онъ предлагалъ республику только потому, что убѣжденъ былъ въ ея невозможности и кромѣ того былъ увѣренъ въ томъ, что эту невозможность сознавали и его слушатели. Сенаторы играли комедію по необходимости, по волѣ Тиверія; кто сбивался съ роли, тому приходилось плохо. Л. Гатерій некстати спросилъ у него: «Долго ли ты, цезарь, оставишь государство безъ главы?» и за это, нѣсколько времени спустя, во дворцѣ, на глазахъ у Тиверія былъ самымъ грубымъ образомъ оскорбленъ его тѣлохранителями. Мамеркъ Скавръ далъ замѣтить, что онъ понимаетъ Тиверія: «Есть надежда, сказалъ онъ, что просьбы сената не будутъ напрасны, потому что онъ (Тиверій) не противился предложенію консуловъ своею трибунскою властью». За это сенаторъ Скавръ попалъ въ немилость; Тиверій никогда не прощалъ, но и никогда не наказывалъ тотчасъ; 18 лѣтъ спустя, въ 32 году по Р. Х., Скавръ былъ обвиненъ въ оскорбленіи величества, и «Тиверій взялъ его дѣло къ себѣ, говоря, что самъ изслѣдуетъ его въ сенатѣ, и при этомъ зловѣщимъ образомъ отозвался о Скаврѣ; черезъ два года судъ возобновился, и Скавръ лишился себя жизни, чтобы избѣжать казни. Замѣчу впрочемъ, для соблюденія исторической вѣрности, что Тиверій и прежде не любилъ Скавра, который, какъ талантливый трагическій писатель и человѣкъ безукоризненной нравственности, съ одной стороны возбуждалъ его подозрительность, съ другой оскорблялъ его притворную добродѣтель.—Разыгрывая свою государственную комедію, Тиверій самъ направлялъ актеровъ и какъ бы подсказывалъ роли тѣмъ, кто сбивался по простодушію и въ комъ онъ не подозрѣвалъ злого умысла или блестящихъ способностей». Въ то время, когда сенатъ унижался до самыхъ раболѣпныхъ упрашиваній, Тиверій сказалъ случайно: «я не способенъ управлять всѣмъ, но я согласенъ завѣдывать тою частью, которую

мнѣ поручать».—«Я спрашиваю тебя, цезарь, сказалъ тогда Азиній Галлъ, какую же часть управленія ты хочешь на себя принять?»—Это была грубая ошибка со стороны Азинія Галла; онъ этими словами показывалъ, что считаетъ возможнымъ раздѣленіе власти и возвратъ къ республикѣ, показывалъ то, чего онъ вѣроятно никогда и не думалъ. Тиверій смутился этимъ неожиданнымъ вопросомъ, но потомъ оправившись отвѣчалъ: «мнѣ, при моей скромности, не пристало выбирать или отклонять что нибудь изъ тѣхъ обязанностей, отъ которыхъ мнѣ всего пріятнѣе было бы вовсе отказаться». Въ этомъ замѣчательно-дипломатическомъ отвѣтѣ, Тиверій ясно намекнулъ Азинію, что нераздѣльность тѣхъ должностей, которыя соединилъ въ своемъ лицѣ Августъ, составляетъ основной догматъ, *article de foi*, и что нарушителямъ его грозитъ высочайшая немилость. Галлъ понялъ, что онъ сдѣлалъ ошибку, понялъ это и по словамъ Тиверія, и по выраженію его лица, и поспѣшилъ, насколько было возможно, поправиться.—«Я не затѣмъ предложилъ этотъ вопросъ, началъ онъ, чтобы раздѣлять то, что не можетъ быть раздѣлено, но чтобы ты самъ подтвердилъ своимъ словомъ, что одно государственное тѣло должно управляться однимъ духомъ». Этихъ словъ Азинію показалось мало, чтобы загладить неумѣстную выходку; онъ началъ хвалить Августа и распространялся о военныхъ подвигахъ Тиверія, но и это не помогло. Тиверій вообще подозрѣвалъ въ немъ либеральныя наклонности и взялъ его на замѣчаніе. Черезъ 19 лѣтъ, когда обвиненія въ оскорбленіи величества сдѣлались особенно многочисленны и смертельны, Азиній Галлъ былъ обвиненъ, и не надѣясь выпутаться, уморилъ себя голодомъ. Итакъ Тиверій и сенаторы были актерами. Тиверій дирижировалъ ходомъ всей пьесы; сенаторы говорили противъ своего желанія, противъ убѣжденія, сознавая, что и Тиверій притворяется, что онъ видитъ и цѣнитъ по достоинству ихъ притворное усердіе. При этомъ, они еще сами не знали, чѣмъ это все кончится, потому что Тиверій былъ непроницаемъ и за малѣйшую догадку о его истинныхъ намѣреніяхъ могъ серьезно возненавидѣть и современемъ погубить. Сенатъ былъ такимъ образомъ пассивенъ и не смѣлъ даже передъ самимъ собою сознаться въ этой пассивности; онъ долженъ былъ прикрывать своимъ заслуженнымъ семисотлѣтнимъ авторитетомъ проявленія чужого, единичнаго произвола; онъ долженъ былъ передъ народомъ нести отвѣтственность въ поступкахъ, которые дѣлалъ другой и которыхъ онъ часто не зналъ во всемъ ихъ объемѣ; сенатъ былъ орудіемъ и долженъ былъ постоянно притворяться всемогущею, разумною политическою личностью. Римская аристократія выносила все это, и люди, подобные благородному Тразеѣ Пету, являлись рѣдко и составляли исключительныя явленія, не имѣвшія подъ собою почвы и



погибшія со славою, но безплодно. Въ Римѣ, при императорахъ, человѣкъ богатый и знатный былъ подверженъ самымъ разнообразнымъ опасностямъ. Во-первыхъ, его богатства возбуждали въ доносчикахъ желаніе оклеветать его, чтобы воспользоваться частью его конфискованнаго состоянія. Во-вторыхъ, онъ стоялъ на виду, и власти смотрѣли на него съ негодованіемъ, слѣдя за каждымъ шагомъ его и перетолковывая въ худую сторону каждое дѣйствіе. Если онъ велъ распутную жизнь, императоръ, властью цензора, могъ исключить его изъ сенаторовъ и всадниковъ; если онъ занимался науками, его считали человѣкомъ опаснымъ, потому что направленіе философіи вообще и стоической школы въ особенности было ненавистно правительству и дѣйствительно находилось въ оппозиціи, какъ съ правительствомъ, такъ и съ религіей. Если онъ не приносилъ жертвъ, его обвиняли въ безбожии; если онъ не клялся именемъ Августа, Тиверія, Поппеи, то его обвиняли въ безбожии и въ мятежѣ; если онъ, будучи сенаторомъ, не посѣщалъ куріи, и это ставилось ему въ вину. Если, присутствуя въ сенатѣ, онъ молчалъ, это могло быть принято за признакъ гордости и неудовольствія. Если онъ говорилъ по убѣжденію, то опала была неминуема, а за опалою слѣдовала обыкновенно придирка къ какой нибудь мелочи, обвиненіе въ оскорбленіи величества, конфискація имущества и казнь; причѣмъ единственною милостью было иногда позволеніе выбрать себѣ родъ смерти. Приговоры издавались отъ имени сената и даже процессъ обсуживался самими сенаторами; императору даже не нужно было нарушать законнаго порядка; рабство римскаго вельможи, отмѣченное Тацитомъ, было такъ безпредѣльно, что онъ могъ противъ убѣжденія быть не только палачомъ, но даже судьей и присяжнымъ. Тразеа Петъ былъ осужденъ при Неронѣ своими товарищами, съ которыми онъ могъ сидѣть рядомъ въ тотъ самый день, когда Капитонъ Коссуніанъ собирался произнести свою обвинительную рѣчь; онъ былъ осужденъ людьми, которые всѣ безъ исключенія его уважали, потому что его уважалъ самъ Неронъ, потому что онъ былъ «сама добродѣтель»; вѣроятно, многіе изъ этихъ людей его любили, потому что Тразеа былъ человѣкъ кроткій, честный и незаносчивый. Это показываетъ намъ, что аристократія была совершенно ничтожна, какъ матеріальная и нравственная сила. Народу до нея не было дѣла; пролетаріи обѣдали богачей, но богачи отпускали своимъ кліентамъ ихъ *спортулы* и принимали ихъ за свои обѣды съ такимъ наглымъ пренебреженіемъ, которое желудокъ кліента могъ переварить, но которое никакъ не могло заронить въ нихъ чувство преданности и вѣрности. *Pietas* кліента къ патрону, считавшаяся въ лучшіе годы республики такою же обязательною добродѣтельною, какъ *pietas* сына къ отцу, отошла въ область прошедшаго вмѣстѣ съ

вызавшею ее потребностью взаимной помощи и защиты. Народъ любилъ, правда, нѣкоторыхъ честныхъ дѣятелей, но въ минуту опасности онъ ничего не дѣлалъ для ихъ спасенія. Популярность Тразеа Пета доходила до того, что когда онъ не посѣщалъ курію, то ежедневныя народныя вѣдомости (*diurna populi Romani*) усердно читались во всѣхъ провинціяхъ и во всѣхъ лагеряхъ, потому что всѣ тревожно старались узнать, какое дѣло рѣшилось помимо согласія Тразеа Пета. И вся эта блестящая популярность только ускорила гибель знаменитаго сенатора: она обратила на него недоброжелательное вниманіе власти и ничѣмъ не поддержала его въ критическую минуту паденія. На что же могла опереться аристократія? У нея были тысячи рабовъ, но рабы, по словамъ лучшихъ мыслителей древности,—живыя орудія и притомъ личные враги своихъ господъ. Рабы могли только угрожать всѣмъ прихотямъ своихъ господъ, сносить побои, умирать по произволу господина на крестѣ, или, если дѣло поворачивалось иначе, являться доносчиками на своихъ господъ, или же выдерживать пытку и изъ-подъ пытки, въ бреду страданія, высказывать ихъ тайны и наговаривать на нихъ разныя небылицы. Внутри себя, римскій вельможа тоже не имѣлъ твердой опоры, способной поддержать его въ борьбѣ съ произволомъ и несправедливостью. Эти люди наперерывъ старались льстить властелину, и нѣкоторые изъ нихъ, напр. Вителлій, доходили въ этомъ отношеніи до невѣроятной изобрѣтательности; «онъ, рассказываетъ Светоній, первый назвалъ К. Кесаря (Калигулу) богомъ, и сталъ поклоняться ему; когда Калигула возвратился изъ Сиріи, Вителлій не иначе осмѣливался приближаться къ нему, какъ закрывъ голову и отворачиваясь, а потомъ падая ницъ». Чтобы поправить Клавдію, преданному женамъ и вольноотпущеннымъ, онъ просилъ у Мессалины, какъ высшей милости, позволенія снять съ нея башмаки; снявъ правый башмакъ, онъ постоянно сталъ носить его между того и туниками, и неоднократно прикладывалъ его къ губамъ. Въ числѣ своихъ домашнихъ боговъ онъ обожалъ золотыя изображенія Нарцисса и Палласа, съ которыми Клавдій находился въ связи. Привѣтствуя Клавдія на устроенныхъ имъ вѣковыхъ играхъ (*ludi saeculares*), онъ сказалъ извѣстное слово: *Saepe facias!* (устроивай почаще!) Видно тутъ, что лестъ вошла Вителлію въ привычку и слѣдалась насущною потребностью его природы, такъ что при государѣ, не любящемъ льстецовъ, ему было бы трудно удержаться отъ униженія своего человѣческаго достоинства. Такихъ или почти такихъ Вителліевъ было много, и поэтому ихъ рабскія ужимки большею частью пропадали даромъ и только портили и безъ того уже заносчивый нравъ императоровъ Юліева дома. Мудрено ли, что слабыя головы Калигулы, Клавдія и Нерона закружились въ этомъ чадѣ куренія, на этой



недостигаемой высотѣ, на которой они стояли одни среди всего человѣчества? Мудрено ли, что Калигула, въ которомъ, по справедливому замѣчанію Шмидта, воплотилось сумашествіе деспотизма, серьезно вообразилъ себя богомъ и становился на поклоненіе толпы въ пластическую позу между статуями Кастора и Поллукса. Деспотизмъ развращалъ римскихъ гражданъ, но и граждане въ свою очередь развращали своихъ деспотовъ, давая одному человѣку право презирать все человѣчество. Были свѣтлыя исключенія и между римскими цезарями, и между римскими вельможами, но они оставались особнякомъ, и не производили никакого цѣлительнаго вліянія на своихъ современниковъ и на потомство. Возможность существованія и царствованія Домиціана послѣ Тита, и Коммода послѣ Марка Аврелія доказываетъ ясно, что въ римскомъ народѣ не было жизненной силы, никакой инициативы. Онъ терпѣлъ, какъ огромный животный организмъ; когда боль была слишкомъ сильна, онъ дѣлалъ судорожное, большею частью мѣстное движеніе, и потомъ впадалъ въ ту же летаргическую апатію.

При Тиверіѣ (въ 32 г. по Р. Х.) хлѣбъ сдѣлался слишкомъ дорогъ, и народъ сталъ роптать; императоръ былъ осторожный и хитрый политикъ, но онъ не считалъ нужнымъ льстить народу. Были приняты строгія мѣры военнаго деспотизма, и чернь немедленно утихла, а консулы поставили ей даже въ вину ея унылое молчаніе. Впрочемъ съ чернью правители обходились всегда осторожно, и самъ Тиверій рѣшился употребить крутыя мѣры, опираясь на то, что при немъ выдача хлѣба производилась гораздо чаще и въ болѣе обширныхъ размѣрахъ, чѣмъ при Августѣ. Но вообще говоря, тупое, бесплодное терпѣніе, неоснованное ни на какой надеждѣ въ будущемъ, неосмысленное никакою высшею идеею, терпѣніе, происходящее отъ недостатка самоуваженія и отсутствія нравственной энергіи, терпѣніе инерціи, постоянно соединенное съ малодушіемъ и низостью, составляетъ самую общую черту римскихъ подданныхъ. Это терпѣніе однакожъ не мѣшало имъ выдавать своихъ друзей, родственниковъ и единомышленниковъ. Слѣдствіе по заговору Пизона выставило самымъ яркимъ образомъ всю дряблость римской аристократіи. Милыхъ, рабъ Антонія Наталъ, донесъ объ этомъ заговорѣ Нерону. Наталъ долго отпирался, но какъ только ему погрозили пыткой, онъ указалъ на Пизона и на Сенеку; остальныхъ выдалъ Сцевинъ, думавшій, что уже все открыто. Долѣе всѣхъ крѣпились Луканъ, Квинктіанъ и Сенеціонъ. Но когда имъ обѣщали полное прощеніе, Квинктіанъ и Сенеціонъ назвали ближайшихъ друзей своихъ, а Луканъ выдалъ старуху мать свою, Атиллу. Ободренные капитальными признаніями аристократовъ, слѣдователи думали, что всѣ подробности дѣла расскажетъ имъ вольноотпущенная Эпихарида, соучастница заговора,

выданная Волузіемъ Прокломъ. Ее стали пытать, но усердіе слѣдователей разбилось о твердость женщины; ее жгли на медленномъ огнѣ, били плетью, но она не назвала никого, и на другой день, когда ее въ послѣдкахъ несли на вторичное истязаніе, удавилась косынкою. Изъ этого никакъ нельзя заключить, что высшіе классы были хуже низшихъ. Изъ этого можно вывести одно заключеніе, что проявленіе твердости и добродѣтели относились въ то время къ случайностямъ, составлявшимъ личную принадлежность отдѣльных людей, и не обуславливались ни степенью образованія, ни положеніемъ въ обществѣ, ни эпохою, ни народностью. Вся политическая фізіономія эпохи производитъ самое тяжелое впечатлѣніе; разрозненные примѣры бесплодно погибающей добродѣтели усиливаютъ безнадежность; изъ этихъ примѣровъ становится виднѣе безсиліе лучшихъ началъ человѣческой нравственности; добро является обыкновенно единичною вспышкой и ни разу не дѣлается принципомъ; оттого на римскомъ престолѣ являются хорошіе государи, но въ римскомъ народѣ не замѣтно ни одного хорошаго движенія. Благородная душа Тацита глубоко страдала въ то время, когда онъ описывалъ ужасныя злодѣянія и еще болѣе ужасную апатію. Можетъ быть нигдѣ эти страданія не выразились съ такою трогательною силою, съ такою неподдѣльною искренностью, какъ въ 16 главѣ XVI книги его лѣтописи. Онъ рассказываетъ въ предыдущихъ главахъ о поступкахъ Нерона и Тигеллина и вдругъ прерываетъ свое повѣствованіе лирическимъ отступленіемъ: «Еслибы я съ такимъ однообразіемъ подробностей упоминалъ даже о войнахъ съ врагами отечества и о гражданахъ, умирающихъ за общее дѣло, то мною овладѣло бы пресыщеніе и я предположилъ бы скуку въ читателѣ, котораго утомить кончины гражданъ, честныя, но печальныя и однообразныя. Но здѣсь рабское терпѣніе и столько крови, потраченной дома, утомляютъ душу и наводятъ грусть. Отъ тѣхъ, кто узнаетъ эти событія, я потребую только одной милости: дайте мнѣ силы не презирать тѣхъ людей, которые погибли такъ безславно. Гнѣвъ боговъ противъ Рима былъ слишкомъ ужасенъ, чтобы разразиться разомъ въ пораженіи войска или въ потерѣ нѣсколькихъ городовъ».—Я взялъ такимъ образомъ изъ сочиненія Тацита нѣсколько сценъ и картинъ, въ которыхъ выразилось довольно ярко нравственное вліяніе римскихъ императоровъ. Колоритъ этого вліянія измѣнялся съ личностями, вступавшими на императорскій престолъ. Конечно, дворъ Калигулы, Домиціана или Коммода не былъ похожъ на дворъ Тита, Траяна или Марка Аврелія; и то обстоятельство, что отдѣльная личность могла оказывать такое вліяніе на всѣ отрасли духовной жизни образованнаго міра доказываетъ ясно, какъ слабо было бѣніе жизненнаго пульса въ огромномъ организмѣ рим-



ской имперіи. Императоръ поступалъ самъ и заставлялъ не только поступать, но и говорить и думать другихъ, какъ ему было угодно. Аруленъ Рустикъ пострадалъ за то, что похвалилъ Тразея Пета при Неронѣ; Геренній Сенеціонъ за то, что отозвался съ уваженіемъ о Гельвидіѣ Прискѣ; сочиненія того и другого были сожжены на форумѣ. «Этимъ огнемъ, говоритъ Тацитъ, они думали уничтожить голосъ римскаго народа, свободу сената и сознаніе человѣческаго рода; они прогнали учителей мудрости, послали въ ссылку науку и искусство, чтобы не могло быть совершенно ничто честное. Точно, мы представили великое доказательство терпѣнія; какъ время нашихъ предковъ видѣло крайній предѣлъ свободы, такъ мы дошли до крайней границы рабства, потому что шпіонство отняло у насъ возможность и говорить, и слушать. Мы бы вмѣстѣ съ голосомъ потеряли и память, еслибъ было настолько же въ нашей власти забывать, насколько молчать. Теперь наконецъ возвращается дыханіе; при самомъ началѣ блаженнѣйшаго вѣка, Нерва Цезарь соединилъ то, что до него считалось несоединимымъ, — монархію и свободу; Нерва Траянъ ежедневно увеличиваетъ счастье имперіи; общественная безопасность перестала быть предметомъ желаній и надеждъ; — она перешла въ увѣренность и окрѣпла; но, по слабости человѣческой природы, лекарства дѣйствуютъ медленно; болѣзни; тѣла растутъ медленно, а угасаютъ быстро; легче подавить дарованіе и науку, чѣмъ снова вызвать ихъ къ жизни. Подъ конецъ самое бездѣйствіе дѣлается пріятнымъ. Покой, ненавистный прежде, обращается въ любимую привычку. Да! втеченіе пятнадцати лѣтъ (а это много для человѣческаго вѣка) многіе померли случайно, а кто былъ поспособиѣ, погибъ отъ жестокости властелина! Насъ немного, и мы пережили не только другихъ, но и самихъ себя; изъ середины нашей жизни вырвано столько лѣтъ, что изъ юношей мы сдѣлались стариками, и составившись, въ молчаніи дошли до самыхъ предѣловъ кратковременнаго существованія».

Вотъ голосъ честнаго и талантливаго человѣка, пережившаго на себѣ нѣсколько разнохарактерныхъ эпохъ, видѣвшаго Тита, Домиціана и Траяна. Замѣтно по его тону, что онъ считаетъ деспотизмъ цезарей главнымъ источникомъ бѣдствій; онъ ищетъ ему объясненія, но, не рѣшаясь заклеить своихъ соотечественниковъ и отказать всему римскому народу въ жизненной силѣ и въ надеждѣ на обновленіе, онъ часто, въ исторіи и въ лѣтописи своей, останавливается въ нерѣшительности, тревожно ищетъ отвѣта, и наконецъ съ мрачною покорностью говоритъ, что это *воля боговъ* и проявленіе ихъ гнѣва. Онъ любитъ свой народъ, страдаетъ за него; у него не поднимается рука, чтобы бросить въ него, хотя и не первый камень, но порою негодованіе беретъ верхъ надъ всѣми остальными чувствами; историкъ дѣлается

лирикомъ, и страстное обличеніе отрывочными фразами вырывается прямо изъ души писателя; иногда оно смѣняется горькою улыбкою, повидимому, холоднаго презрѣнія. Выписанное мною мѣсто не носитъ на себѣ этого характера ожесточенія; историкъ сочувствуетъ угнетенному народу, забывая, что самъ онъ въ другихъ мѣстахъ готовъ былъ презирать людей, погибающихъ такъ хладнокровно. Здѣсь онъ сравниваетъ тяжелую эпоху Домиціановскаго терроризма съ лучшими днями настоящаго; онъ говоритъ, что «возвращается дыханіе»; но между тѣмъ, взгляните въ его слова, слышатся ли въ нихъ живые звуки радости за настоящее и твердой надежды на будущее? Обращается ли онъ, говоря о тѣхъ пятнадцати годахъ, которые потеряны для него и для его сверстниковъ, къ молодому поколѣнію, къ будущимъ людямъ и гражданамъ, для которыхъ громко и смѣло звучитъ слово истины? Тацитъ не эгоистъ, онъ думаетъ о потомствѣ, какъ доказываетъ самый историческій трудъ его, какъ доказываютъ его страданія за несовершенство современности. Стало быть, если онъ не глядитъ впередъ, если онъ, говоря о потомствѣ, имѣетъ дѣло съ отвлеченнымъ понятіемъ, а не съ тѣмъ, что формируется на его глазахъ, причины этого заключаются не въ его личности; ихъ надо искать въ окружавшемъ его мірѣ. Ключъ къ рѣшенію этого вопроса даютъ слова самого историка. Домиціану было легче задушить дѣятельность мысли, чѣмъ Нервъ и Траянъ оживить ее. Дѣятельность мысли задушили безъ борьбы, и если Домиціанъ палъ, то палъ случайно, отъ руки убійцы, но не какъ жертва всеобщаго негодованія. Конечно, Карлъ I англійскій не могъ позволить себѣ того, что позволялъ себѣ Домиціанъ, а между тѣмъ Карла судилъ парламентъ, а Домиціана убилъ какой-то Стефанъ, который могъ и не убить его; и въ возвышеніи римскихъ тирановъ, и въ ихъ паденіи господствуетъ личный произволъ, случайность, элементъ дворцовой интриги или военнаго бунта; а что же общаго имѣетъ жизнь народа съ временщикомъ Макрономъ, задушившимъ Тиверіа, съ дворомъ, наполненнымъ личностями, вроде Вителлія, или съ преторіанскою когортою, располагавшею императорскимъ саномъ? И между тѣмъ эти чисто внѣшнія обстоятельства опредѣляютъ направленіе народной жизни на цѣлыя десятилѣтія. Стало быть, въ народѣ нѣтъ силы, не только для оппозиціи, но и для дѣятельнаго, органическаго воспринятія и переработки какого нибудь начала. Итакъ, знаменательно уже то, что Домиціанъ такъ легко задушилъ дѣятельность мысли. Но гораздо важнѣе то, что Нервъ и Траянъ трудно возбудить ее снова. Этотъ фактъ не требуетъ объясненія; любопытно только замѣтить при этомъ, какъ Тацитъ, при всемъ величій своей личности, отдаетъ дань своему времени. Современное ему болѣзненное явленіе воз-



водится имъ въ общечеловѣческое проявленіе и получаетъ въ его глазахъ силу закона. Тацитъ прямо говоритъ, что легче погасить, нежели зажечь, распространить эту мысль двумя сравненіями и слѣдовательно ясно показываетъ, что не видитъ ничего ненормального въ безуспѣшности прогрессивныхъ попытокъ правительства. Далѣе, говоря объ опасномъ обаяніи бездѣйствія, онъ невольно намекаетъ намъ на то, что и самъ порою чувствуетъ то утомленіе, ту нравственную хилость, до которой въ подобныя эпохи разложенія доходили, путемъ безплодной борьбы и горькаго разочарованія, люди умные, сильные и честные. Эта проскользнувшая незамѣтно для самаго писателя черта его личнаго ощущенія можетъ служить мѣриломъ болѣзни, разѣдавшей тѣло и кровь римскаго общества. Если, лицомъ къ лицу съ этою болѣзью, опускались руки у людей, подобныхъ Тациту, стало быть надежды на исцѣленіе не было и не предвидѣлось.

Послѣ всего сказаннаго ясно, что во времена имперіи положительно никто не думалъ проводить въ политическую жизнь своихъ теоретическихъ убѣжденій.

У кого были убѣжденія, тотъ берегъ ихъ, какъ драгоценность, и старался только, подобно Тразеа Пету, сохранить ихъ въ чистотѣ и не противорѣчить имъ въ дѣйствіяхъ; оппозиція подобныхъ людей была чисто отрицательная, положеніе ихъ оборонительное, и при всемъ томъ въ высшей степени опасное. Германикъ, Сенека, Тразеа Петъ, Агрикола стояли въ такихъ отношеніяхъ къ правительству, и умерли тогда, когда это ему понадобилось. Историки Титъ Лабіенъ и Кремуцій Кордъ отстаивали свободу мысли и принуждены были умереть съ голоду, а произведенія ихъ сожжены на площади. Стоическая школа, къ которой примкнула почти вся умственная аристократія Рима, навлекала гоненія не только на себя, но и на философію вообще. Два раза, при Неронѣ и при Домиціанѣ, философовъ выгоняли изъ Рима и изъ Италіи. Было опасно таить въ душѣ убѣжденія, хотя бы они и не имѣли прямого отношенія къ политикѣ. Послушная масса римскаго народа, здѣсь какъ и вездѣ, слѣдовала теченію и старалась забыться въ омутѣ наслажденій; ученіе Эпикура, понятное конечно не такъ, какъ понималъ его Лукрецій, упрощенное и примѣненное къ разумной толпѣ, находило себѣ множество послѣдователей и не вызывало гоненій со стороны правительства. Донося Нерону о богатомъ римлянинѣ Плавтѣ, Тигеллинъ прямо ставитъ ему въ вину то, что онъ въ жизни не слѣдуетъ ученію Эпикура. «Плавтъ богатъ, говоритъ онъ, и даже не притворяется человекомъ, любящимъ покой, а старается подражать примѣру древнихъ Римлянъ. Онъ принялъ гордость стоиковъ и ихъ ученіе, которое дѣлаетъ мятежнымъ и возбуждаетъ охоту браться за по-

литическія занятія». Итакъ въ періодъ имперіи политическія убѣжденія не развивались; греко-римскій классическій міръ выработалъ свою собственную принципъ: изобрѣтательная способность, какъ замѣчаетъ неоднократно Генрихъ Риттеръ, была истощена и мыслители, во всемъ отдѣлахъ науки, только комментировали своихъ предшественниковъ или старались путемъ эклектизма сблизить между собою философскія системы, возникшія въ цвѣтущее время эллинизма. Посмотримъ же теперь, каковы были понятія о государствѣ у лучшихъ представителей греческой мысли.

## II.

Въ сочиненіи Аристотеля «о Политикѣ» заключается критика политическихъ идей прежнихъ греческихъ мыслителей, и между прочими, Платона. На этомъ основаніи, мы изъ одной этой книги можемъ вывести какъ различіе между взглядами Аристотеля и Платона, такъ и вообще понятіе древнихъ о государствѣ и его отношеніяхъ къ отдѣльной личности. При первомъ сравненіи Аристотеля съ Платономъ видно, что первый практичнѣе, а второй смѣлѣе въ области отвѣченной мысли. Оба жертвуютъ отдѣльною личностью во имя цѣлаго; оба смотрятъ на человѣка, не какъ на самостоятельный организмъ, а какъ на одинъ изъ разнообразныхъ винтовъ большой государственной машины. Но Платонъ беретъ на себя крайнія слѣдствія своей теоріи и доводитъ уничтоженіе лица въ государствѣ до невозможныхъ предѣловъ, до полного отсутствія собственности и семейства. Аристотель вступаетъ за личность, но отстаиваетъ ее не для нея самой, а для государства, и впадаетъ такимъ образомъ въ безысходное противорѣчіе. Каждый, говоритъ онъ, долженъ имѣть собственность, жену и семейство для одного себя, потому что люди вообще способны вполне заботиться только о томъ, что составляетъ ихъ личную собственность; «о томъ же, чѣмъ онъ владѣетъ сообща съ другими, человѣкъ заботится настолько, насколько на его долю приходится опредѣленная часть». Если это свойство человѣка есть недостатокъ, мыслитель не долженъ съ нимъ мириться: распространенный порокъ никакимъ образомъ не можетъ сдѣлаться добродѣтелью, несмотря на обширность своего господства. Если же это законное свойство, то оно рѣшительно не позволяетъ человѣку быть только служебнымъ орудіемъ въ государственномъ организмѣ. Въ первомъ случаѣ Аристотель долженъ былъ бы не отступать отъ логически послѣдовательныхъ требованій Платона; во второмъ, онъ долженъ былъ эмансипировать личность. Но какъ эмпирикъ, требовавшій отъ своихъ выводовъ практической примѣнимости, онъ не могъ увлечься гениальными фантазіями Платона; какъ грекъ, онъ не могъ отбросить ни одного изъ своихъ національ-



ныхъ предразсудковъ, и старался только узаконить ихъ своею діалектикою. Поэтому его разсужденія носятъ на себѣ печать крайней одно-сторонности; въ нихъ нѣтъ той вѣчной свѣжести, которая лежитъ на твореніяхъ гения, ставшаго на общечеловѣческую точку зрѣнія; порою слышатся въ разсужденіяхъ Аристотеля толки современнаго намъ обскуранта (о женщинѣ, о рабахъ, о ремесленникахъ). Но зато въ Аристотелѣ самыя эти уклоненія отъ истины, какъ мы понимаемъ ее теперь, проникнуты такимъ яркимъ историческимъ колоритомъ, что они совершенно переносятъ насъ въ міросозерцаніе древняго чело-вѣка. Цѣль Аристотелева государства есть высшее благосостояніе, но благосостояніемъ этимъ будутъ, какъ онъ самъ признается, наслаждаться не отдѣльныя личности гражданъ, а весь орга-низмъ государства. Причину этого существованія чело-вѣка для общества Аристотель находитъ въ глубочайшихъ основахъ чело-вѣческой природы. «Человѣкъ», говоритъ онъ, болѣе, чѣмъ пчела, созданъ для государственной общественности... потому что одному чело-вѣку природа дала даръ слова, т. е. способность сообщать другимъ то, что онъ находитъ полезнымъ или вреднымъ, справедливымъ или несправедливымъ. На этомъ основаніи, продолжаетъ онъ, хотя семейство состоитъ изъ отдѣльныхъ людей, а государство изъ нѣсколькихъ семействъ, можно сказать утверди-тельно, что государство или общество есть пер-вое и первобытное, а семейство и отдѣльный чело-вѣкъ вырабатываются только изъ него. Цѣлое необходимо есть основаніе частей, и потому должно быть разсматриваемо какъ нѣчто болѣе самостоя-тельное и первобытное». Изъ этого основного по-ложенія вытекаетъ аристократизмъ всѣхъ поли-тическихъ идей Аристотеля; это положеніе оправ-дываетъ самый грубый деспотизмъ. Человѣкъ, не желающій принять въ обществѣ ту роль, ко-торую назначаетъ мыслитель, заботясь о строй-ности цѣлаго, является въ глазахъ Аристотеля существомъ, нарушающимъ законы природы и слѣдовательно больнымъ или порочнымъ; такого чело-вѣка можно для его же пользы, а главное для блага общества, взять въ опеку; противъ него можно употребить силу. Аристократизмъ идей Аристотеля состоитъ въ слѣдующемъ. Счи-тая свое положеніе о томъ, что общество есть цѣлое и первобытное, а чело-вѣкъ—часть и про-изводное, совершенно доказаннымъ, Аристотель выставляетъ впередъ ту мысль, что, «если изъ многихъ частей должно состоять цѣлое, то части должны быть различнаго рода, и исправлять раз-личныя должности. Поэтому необходимо, для бла-га и сохраненія всѣхъ государствъ, чтобы раз-личныя сословія жителей составляли другъ другу противовѣсъ, стояли отдѣльно другъ отъ друга, и между тѣмъ соглашались между собою въ своихъ конечныхъ цѣляхъ». Отъ этой идеи до кастиче-скаго устройства одинъ шагъ, и Аристотель дѣй-

ствительно дѣлаетъ этотъ шагъ, и прямо ста-новится защитникомъ государственныхъ формъ Египта и Крита.

Управлять государствомъ могутъ, по его мнѣ-нію, только войны, политики и судьи, которые должны составлять одно сословіе; кто въ моло-дости былъ воиномъ, тотъ можетъ подѣ старость, когда физическія силы ослабѣютъ, а мудрость и опытность увеличатся, — завѣдывать государ-ственными дѣлами и засѣдать въ судѣ. Только управляющіе государствомъ могутъ быть назва-ны гражданами; остальные—земледѣльцы, пас-тухи и ремесленники необходимы, какъ черно-рабочіе, но на ихъ долю приходится только трудъ и повиновеніе, потому что они не могутъ, по не-достатку времени, пріобрѣсти познанія, необхо-димыя для управленія государствомъ. О томъ, что между этими людьми можетъ современемъ распространиться образованіе, у Аристотеля нѣтъ и рѣчи; онъ этого не предполагаетъ, да и не же-лаетъ, потому что это конечно нарушило бы су-ществующія отношенія и повредило бы внѣшней стройности его идеальнаго государства. О про-грессѣ въ государствѣ этомъ не можетъ быть рѣчи; прогрессъ основанъ на развитіи отдѣль-ныхъ личностей, которое приводитъ современемъ къ реформѣ существующаго порядка вещей. Ари-стотель былъ врагъ прогресса, во-первыхъ по-тому, что онъ сразу силою творческой мысли хо-тѣлъ создать совершенство, которое не нужда-лось бы ни въ какой реформѣ, во-вторыхъ по-тому, что онъ считалъ чело-вѣческую личность частью и слѣдовательно не могъ желать разви-тія части, потому что такое развитіе могло на-рушить гармонію цѣлаго. Цѣль всей государствен-ной, педагогической, юридической и промышлен-ной дѣятельности клонится у него не къ усовер-шенствованію, а къ поддержанію существующаго порядка вещей. Какъ рѣшительный поборникъ аристократизма, Аристотель не могъ желать воз-вышенія умственнаго уровня въ массѣ народа, потому что, развившись, эта масса неминуемо по-требовала бы себѣ разныхъ правъ. Какъ творецъ утопіи, Аристотель показываетъ совершенное от-сутствіе историческаго взгляда на событія. Онъ думаетъ, что учрежденія должны подчинить себѣ жизнь и характеръ народа; онъ вѣритъ въ со-вершенство идеальнаго государства, не замѣчая того, что его идеалъ весь составленъ изъ чисто-греческихъ матеріаловъ. Такъ напр. онъ положи-тельно оправдываетъ безправность иностран-цевъ передъ закономъ и существованіе рабства. При эмпирическомъ направленіи своихъ полити-ческихъ изслѣдованій, Аристотель не можетъ упустить изъ виду требованій жизни, но эти тре-бованія жизни онъ понимаетъ чисто внѣшнимъ образомъ. Въ 11-й главѣ IV книги онъ говоритъ, что лучшая форма управленія по его мнѣнію та, гдѣ власть находится въ рукахъ средняго сосло-вія, т. е. людей, не слишкомъ богатыхъ, не обез-



печенныхъ, потому, говоритъ онъ, что большія богатства располагаютъ къ заносчивости, а бѣдность къ раболѣпству и къ зависти. Самое опредѣленіе лучшей формы управленія показываетъ, до какой степени Аристотель подчиняетъ личность человѣка внѣшнимъ условіямъ. Не внутрѣнный характеръ, не степень и обстоятельства развитія, а степень матеріальнаго благосостоянія служитъ ему ручательствомъ за вѣрность мышленія и за благородство чувствъ. Чтобы личный трудъ доставилъ человѣку независимое положеніе и самостоятельный, почтенный характеръ, этого онъ, особенно для массы, не допускаетъ. Мало того, онъ положительно считаетъ трудъ ремесленника и мелкую торговлю чѣмъ-то неблагороднымъ, препятствующимъ развитію духовныхъ силъ, и потому несомѣстнымъ съ полноправнымъ гражданиномъ. Аристотель сравниваетъ ремесленника съ рабомъ, живущимъ отдѣльно и не имѣющимъ постоянного господина, и потомъ спрашиваетъ очень серьезно, существуетъ-ли добродѣтель для раба, для ремесленника, для женщины и для ребенка? Важно уже постановленіе этого вопроса, но еще замѣчательнѣе отвѣтъ. «Если сказать «да», говоритъ Аристотель, то въ чемъ же будетъ состоять различіе между свободнорожденными и рабами? Если сказать «нѣтъ», то выйдетъ какъ будто нелѣпость, потому что рабы все-таки люди и существа разумныя». «У раба есть разсудокъ, но не настолько, чтобы свободно рѣшаться и дѣйствовать. У женщины есть способность размышлять и рѣшаться, но она не настолько тверда, чтобы управлять собою. У дѣтей тѣ же способности незрѣлы и неразвиты». Такимъ образомъ рабы, ремесленники, женщины и дѣти стоятъ между собою на одномъ уровнѣ, въ томъ отношеніи, что всѣ они должны быть подчинены внѣшней власти и не пользуются правами гражданства. Оттѣнки ихъ подчиненія конечно различны, но фактъ зависимости одинаково законенъ и необходимъ. Всѣ они зависятъ отъ гражданъ и потому дѣйствуютъ не по своимъ убѣжденіямъ и повинуются не отвлеченной идеѣ, а единичнымъ личностямъ. Непосредственно съ идеею государства имѣютъ дѣло только граждане, т. е. люди лично свободные, обезпеченные состояніемъ, нетрудящіеся и получившіе извѣстное образованіе. Разсмотримъ отношеніе ихъ личности къ идеѣ государства. «Ни одинъ гражданинъ, говоритъ Аристотель, не долженъ думать, что онъ существуетъ и живетъ самъ для себя; всѣ должны думать, что они живутъ для государства; всякій относится къ государству, какъ членъ къ тѣлу, какъ часть къ цѣлому, а самое удобное и естественное попеченіе о членѣ есть то, которое клонится къ благосостоянію всего тѣла». Этотъ отрывокъ взятъ мною изъ той главы, въ которой Аристотель говоритъ о воспитаніи юношества. Въ этой главѣ онъ рѣшаетъ утвердительно два вопроса: 1) составляетъ-ли воспитаніе дѣло за-

конодательства? и 2) слѣдуетъ-ли предпочитать общественное воспитаніе домашнему? Замѣчу здѣсь мимоходомъ, до какой степени результаты классической образованности расходятся съ тѣми началами, которыя выработала европейская цивилизація. Эти же два вопроса Вильгельмъ Гумбольдтъ рѣшаетъ отрицательно. Отстаивая самостоятельность и оригинальность личности, онъ положительно въ одномъ изъ своихъ сочиненій по теоріи педагогики (Ueber oeffentliche Staatserziehung. Bd. I. S. 336—342) говоритъ, что правительству вовсе не нужно заботиться о воспитаніи, и находить, что общественное воспитаніе хуже домашняго, именно по той причинѣ, по которой Аристотель считаетъ его лучшимъ, т. е. потому, что оно формируетъ всѣхъ на одинъ покрой и препятствуетъ развитію индивидуальных силъ и стремленій. В. Гумбольдтъ хочетъ, чтобы воспитаніе было равномернымъ развитіемъ всѣхъ способностей души, и чтобы при этомъ не направляли воспитанника ни къ какой предвзятой практической цѣли. Аристотель, напротивъ того, хочетъ воспитывать не человѣка, а гражданина, притомъ гражданина извѣстнаго государства, такъ что демократическое государство должно слѣдовать одной системѣ воспитанія, олигархическое—другой, а его идеальное—самой лучшей, соединяющей въ себѣ хорошія стороны обѣихъ крайностей. Въ семи главахъ о воспитаніи, составляющихъ 8-ю книгу его «Политики», Аристотель принимаетъ въ соображеніе только гражданъ; о воспитаніи же дѣтей ремесленниковъ, мелочныхъ торговцевъ или рабовъ мы ничего не знаемъ; не можемъ даже сказать, считаль-ли Аристотель для нихъ нужнымъ какое-нибудь воспитаніе; но онъ положительно говоритъ: 1) о томъ, что юноши должны умѣть повиноваться, чтобы современемъ умѣть повелѣвать, и 2) о томъ, что должны быть изъ воспитанія совершенно исключены тѣ занятія, въ которыхъ есть что-нибудь неблагородное, низкое и рабское. Ясно, что Аристотель заботится только о воспитаніи того счастливаго меньшинства, которому онъ даетъ имя и права гражданъ. Впрочемъ это меньшинство можетъ быть названо счастливымъ только сравнительно съ другими, систематически угнетенными сословіями. Не имѣя права смотрѣть на себя, какъ на самостоятельное цѣлое, свободный гражданинъ по рукамъ и по ногамъ связанъ законодательствомъ. Законъ, составленный не имъ, управляетъ его воспитаніемъ и волею-неволею втискиваетъ его молодой умъ въ ту рамку, которая считается нормальною въ видахъ благосостоянія отвлеченнаго цѣлаго; законъ опредѣляетъ лѣта брака, не позволяя мужчине жениться раньше 30 лѣтъ, а женщинѣ выходить замужъ раньше 18-ти; законъ позволяетъ заключеніе браковъ только между личностями соразмѣрныхъ лѣтъ; при этомъ принимается, что мужчина послѣ семидесяти лѣтъ не способенъ къ сожитію, а жен-



щина послѣ 50-ти лѣтъ не способна производить дѣтей; на этомъ основаніи считаются соразмѣрными тѣ лѣта, при которыхъ мужчина и женщина находятся въ одинаковомъ разстояніи, первый отъ 70-ти, вторая отъ 50-ти лѣтъ. «Что касается, продолжаетъ онъ, до времени года, въ которомъ всего удобнѣе супружеское сожитіе, то многіе опредѣляютъ для него зиму; и, можетъ быть, не будетъ несправедливымъ слѣдовать этому правилу». Тутъ Аристотель не говоритъ опредѣлительно, чтобы нужно было этотъ предметъ огорочить обязательною статью закона; но нѣтъ положительныхъ основаній думать, чтобы онъ совершенно предоставилъ это на волю обычая или личнаго благоусмотрѣнія. Беременные женщины должны дѣлать ежедневно движеніе, и законодательство должно заботиться объ этомъ, «вмѣняя имъ въ обязанность посѣщать храмы боговъ, покровительствующихъ родамъ», и т. д.

Въ какихъ ужаснымъ результатамъ могло привести законодательство Аристотеля, проведенное съ тою строгостью, которой онъ самъ желаетъ, — каковы были бы тѣ люди, которые бы имъ подчинились, — каково было бы молодое поколѣніе, которое выросло бы подъ ихъ вліяніемъ и не сбросило бы ихъ съ справедливымъ негодованіемъ, какъ тяжелыя, позорныя и безцѣльныя оковы, — это совершенно понятно современно-развитому человѣку. Аристотель забылъ, что человѣкъ успѣшно занимается только тѣмъ, къ чему влечетъ его внутренняя потребность, и что онъ способенъ быть полезнымъ членомъ общества только тогда, когда онъ внозитъ въ него что-нибудь, что онъ способенъ быть полезнымъ членомъ общества и проникнуть къ ней искреннимъ сочувствіемъ. Словомъ, онъ не возвысился до понятія человѣческой личности и потому ищетъ конечную цѣль человѣческихъ способностей и стремленій внѣ самаго человѣка, въ мірѣ отвлеченныхъ понятій и воображаемыхъ интересовъ. Идея Аристотеля раздѣлила вся древность; съ нимъ соглашались Цицеронъ и Сенека, убѣжденія которыхъ заключаютъ въ себѣ довольно полно плоды философскаго сознанія римлянъ. Только Эпикуръ и Киренайская школа цлонистовъ (ἡδονή - удовольствіе) подъ предводительствомъ Аристиппа, выгородили человѣка изъ той зависимости, въ которую поставила его вся древняя философія. Видя цѣль жизни въ наслажденіи, эти мыслители не требовали, чтобы человѣкъ жертвовалъ своими радостями и интересами для стройности общественнаго зданія. Они желали, чтобы, развивая свое эстетическое чувство, человѣкъ дѣлался все болѣе и болѣе воспримчивымъ къ тонкимъ наслажденіямъ, обогащающимъ умъ и смягчающимъ душу; при этомъ конечно не было забыто и тѣло: въ эпоху паденія римской республики, при страшномъ распространеніи роскоши въ высшемъ классѣ и пролетаріатѣ въ низшемъ, римская молодежь ухватилась за эпикуреизмъ, и, по-своему примѣнивъ его къ жизни, превра-

тила его въ грязное служеніе чувственности, въ которомъ совершенно заглохло сознаніе изящнаго, необходимое для всякаго истиннаго наслажденія. Попытка Эпикура оказалась такимъ образомъ безплодною, и поэтому можно сказать совершенно справедливо, что древнему міру неизвѣстна была гуманность, т. е. уваженіе къ человѣку, независимо отъ его національности и положенія въ обществѣ. Развитію этой гуманности мѣшало существованіе древнихъ національностей, смотрѣвшихъ другъ на друга свысока и враждебно. Генрихъ Риттеръ говоритъ, что въ эпоху паденія древней философіи задачею времени было разбить національности и перемѣшать между собою ихъ элементы. Въ теоріи личность гражданина приносилась въ жертву государству; еслибы это теоретическое положеніе было проведено въ жизнь, тогда самоотверженіе составило бы сущность политической жизни древняго человѣка. Исторія показываетъ намъ совершенно другое. Примѣры самоотверженія гражданъ относятся ко временамъ минувшимъ, или встрѣчаются очень рѣдко, или только неправильно принимаются за доказательства самоотверженія. Въ гомеровскомъ эпосѣ, въ самыхъ крупныхъ и рельефныхъ личностяхъ не замѣтно гражданскаго самопожертвованія; если оно встрѣчается въ отрывкахъ римскаго историческаго эпоса, то это обстоятельство, быть можетъ, просто обличаетъ искусственность его происхожденія. Во времена историческія имена Деція Муса и Регула стоятъ особнякомъ, да и въ этихъ двухъ личностяхъ элементъ самолюбія (въ лучшемъ смыслѣ этого слова) и самоуваженія играютъ такую-же важную роль, какъ и любовь къ Риму. Если поставитъ рядомъ съ этими именами имена Пизистрата, Перикла, Алкивиада, Гармодія и Аристокрита (которыхъ такъ не кетати прославилъ афинскій народъ), Сократа, Платона и Аристотеля (какъ индифферентистовъ въ области государственной жизни), то мы увидимъ, что, во 1-хъ, каждый изъ названныхъ дѣятелей имѣетъ рѣзко обозначенную физіономію, которую не поглотило и не сгладило государство; во 2-хъ, всѣ они принадлежатъ къ цвѣтущей эпохѣ греческой національности, а нѣкоторые изъ нихъ сами по себѣ составляютъ эпоху въ развитіи греческаго духа; въ 3-хъ, всѣ они принадлежатъ къ лучшимъ людямъ своего времени, и потому заслуживаютъ быть его представителями. Несмотря на всѣ эти условія, всѣ они или дѣйствовали по чисто эгоистическимъ цѣлямъ, или, становясь выше окружающаго ихъ порядка вещей, жили въ мірѣ идей и, подобно Сократу, умирали за идею, не имѣющую ничего общаго съ греческою національностью. Въ Платонѣ разладъ теоріи съ жизнью прямо бьетъ въ глаза; въ своей «Республикѣ» онъ требуетъ совершеннаго уничтоженія личности въ государствѣ, доходящаго до коммунизма женъ и дѣтей, а на дѣлѣ онъ былъ положительно плохимъ гражданиномъ, въ чемъ упрекаетъ его Нибуръ.



Я не съ тѣмъ заговорилъ объ этой сторонѣ предмета, чтобы упрекнуть древнихъ мыслителей въ невѣрности своимъ идеямъ; подобный упрекъ я считаю безплоднымъ; но мнѣ кажется, что, бросивъ взглядъ на это обстоятельство, можно вѣрнѣе объяснить себѣ источникъ самаго уничтоженія личности передъ идеею государства. Древнимъ писателямъ трудно было отдѣлаться отъ понятій, съ которыми они сжились. Философы Греціи остаются греками извѣстнаго періода въ самыхъ отвлеченныхъ своихъ изслѣдованіяхъ, въ самыхъ смѣлыхъ своихъ теоріяхъ. Стать въ сторонѣ отъ своей національности и отнестись къ ея особенностямъ просто и критически для нихъ невозможно. Еще невозможное отрѣшиться отъ собственной своей личности, увидать въ себѣ присутствіе извѣстной доли эгоизма, и признать въ другихъ подобныхъ себѣ людяхъ законность и естественность такой же доли эгоизма. Въ философѣ, пишущемъ политическую теорію, эгоизмъ, управляющій поступками его жизни, дѣйствуетъ на ходъ мыслей тѣмъ сильнѣе, чѣмъ менѣе онъ подозрѣваетъ въ себѣ его существованіе. Принимая внушенія національнаго, сословнаго и личнаго эгоизма за выраженіе чистой истины, не подозрѣвая въ себѣ и тѣни своекорыстія, мыслитель возмущается всякою личною самостоятельностью, какъ вреднымъ проявленіемъ эгоизма, и потому давитъ личность во имя отвлеченныхъ результатовъ, добытыхъ имъ, безсознательно для него самого, путемъ чисто личныхъ впечатлѣній и чисто личной мыслительной дѣятельности. Обращусь за примѣромъ къ «Политикѣ» Аристотеля. Аристотель — грекъ, мужчина, свободный человѣкъ и философъ. Такой именно личности по всеѣмъ правамъ отводится первое мѣсто въ томъ идеальномъ государствѣ, которое онъ изображаетъ. Аристотель можетъ съ полнымъ убѣжденіемъ говорить о службѣ отечеству, о недопущеніи къ правамъ гражданства ремесленниковъ и женщинъ, о законности рабства и о достойномъ презрѣніи къ варварамъ. Онъ не замѣчаетъ, что каждая черта его законодательства имѣетъ отношеніе къ его личности, или тѣмъ, что оно предоставляетъ подобнымъ ему людямъ положительныя преимущества, или тѣмъ, что, отгоняя отъ этихъ преимуществъ толпу, возвышаетъ на нихъ цѣну. Платонъ прямо говорить, что философы должны управлять государствомъ. Всѣ тягости, вся черная работа падаетъ конечно не на тотъ классъ, къ которому принадлежатъ авторы утопій. Аристотелю и Платону ни разу не приходитъ въ голову подумать: что, еслибы я родился ремесленникомъ, или рабомъ, или женщиною, или варваромъ, и не приходило въ голову только потому, что они даже не замѣчаютъ тѣхъ ограниченій, которыя оказываетъ ихъ личность на мыслительную ихъ дѣятельность. Принимая свое личное за абсолютное, они и не предполагаютъ, и не чаютъ, чтобы даже

случайно могло быть что нибудь вѣрное за тѣмъ предѣлами, которые они считаютъ безконечно обширными и которые на самомъ дѣлѣ такъ страшно тѣсны и деспотичны. Поэтому въ «Политикѣ» Аристотеля абсолютное начало тяготеетъ надъ правами гражданъ и негражданъ; но это не абсолютное, не идея государства вообще, — это личность самого Аристотеля, выраженная въ ряду понятій; она гнететъ все, что не однородно съ нимъ; оттого страдаютъ ремесленники, рабы, женщины и варвары; оттого приносятся въ жертву идеѣ цѣлаго даже полноправные граждане; оттого блаженствуетъ только идея цѣлаго, т. е. творческая мысль Аристотеля. Цѣль его творенія — самоудовлетвореніе. Его «Политика» стоитъ на ряду съ любымъ лирическимъ стихотвореніемъ, съ тою только разницею, что лирическое стихотвореніе выражаетъ минутное настроеніе, а «Политика» Аристотеля — зрѣлую, мыслящую личность творца философа. Въ «Политикѣ» Аристотеля ясно выразилась одна черта, очень важная для характеристики древности; эта черта есть эгоизмъ личности и сословія т. е. эгоизмъ и аристократизмъ.

### III.

Въ римскомъ обществѣ первыхъ вѣковъ христіанства, эгоизмъ личности выразился въ военномъ деспотизмѣ, эгоизмъ сословія въ рабствѣ. О рабствѣ говорили почти все писатели древности; никто не возставалъ противъ него прямо, никто не опровергалъ его основного принципа. Многіе, подобно Аристотелю, доказывали его необходимость; многіе, на примѣръ Цицеронъ, въ жизни своей являлись болѣе гуманными, чѣмъ въ теоріи. Въ первые два вѣка имперіи замѣтно въ нѣкоторыхъ лучшихъ писателяхъ, на прим. въ Сенеку, въ Плутархѣ, въ Плиніи младшемъ пробужденіе почти гуманнаго чувства. Главныя школы философовъ, стоики и эпикурейцы сходились между собою во взглядѣ на рабство. Эпикуреецъ Лукрецій и стоикъ Эпиктетъ не считаютъ его несчастіемъ и говорятъ, что истинно свободенъ только мудрецъ и что рабство, бѣдность, тѣлесныя страданія принадлежатъ къ случайностямъ и не должны тревожить душу. То смягченіе чувства, на которое я указалъ выше, сначала выразилось не въ философской системѣ. Сенека обнаруживаетъ его въ дружескихъ письмахъ и не облакаетъ ихъ въ форму доктрины. Плутархъ и Плиній говорятъ о своемъ обращеніи съ рабами, и ихъ слова носятъ характеръ простодушнаго личнаго изліянія. Между тѣмъ духъ классической философіи незамѣтно смягчается и слабѣетъ. У Аристотеля видно рѣзкое разграниченіе сословій; у Эпиктета говорится уже о совершенномъ ничтожествѣ внѣшнихъ разграниченій между рабствомъ и свободою, между богатствомъ и бѣдностью, между знатностью и



незнатностью рода; Аристотель сомнѣвается въ существованіи добродѣтели у рабовъ; Сенека говоритъ, что онъ уважаетъ человѣка не за ремесло, а за нравственные свойства, и что рабъ можетъ быть свободенъ по своему духу. Важность рабства сознавали или чувствовали мыслители древности; ни одинъ изъ нихъ не могъ себѣ представить такого порядка вещей, при которомъ не было бы рабовъ; рабы считаются необходимою частью государства въ обѣихъ утопіяхъ древности, у Платона и у Аристотеля. Рабы были ремесленниками, земледѣльцами, пастухами, художниками, актерами, гладіаторами, писемоводителями, домашними грамматиками, философами и педагогами. Имъ поручались самыя грубыя работы и имъ же предоставлялась такая короткость отношеній съ господами, до которой не могъ дойти никакой наемникъ; при этомъ не дѣлалось ни малѣйшаго различія между педагогомъ и послѣднимъ чернорабочимъ, несмотря на разстояніе, существующее между ихъ должностями; оба они подвергались тому же презрительному, а иногда и жестокому обращенію со стороны своихъ господъ; и тотъ и другой совершенно оставались въ зависимости отъ ихъ произвола, и потому важная должность, поручаемая рабу, не облагораживала и не эмансипировала его въ нравственномъ отношеніи. Это разнообразіе должностей давало только средства рабамъ дѣйствовать въ одно и то же время и на чернѣ, и на аристократію. Какъ рабочая сила, обязательный трудъ составлялъ конкуренцію вольному труду; какъ испорченное и униженное сословіе, рабы сообщали свои пороки аристократамъ, поручаемымъ ихъ надзору въ младенчествѣ и находившимся съ ними въ постоянныхъ домашнихъ отношеніяхъ втеченіи всей своей жизни. Съ этихъ двухъ сторонъ надо разсмотрѣть вліяніе рабства.

Въ первыя времена существованія римскаго государства земледѣліе составляло главный источникъ пропитанія для всѣхъ классовъ. Землею владѣли и патриіи, и плебеи; народонаселеніе завоеванныхъ земель не обращалось въ рабство; оно оставалось на особыхъ правахъ въ своемъ отечествѣ, или переводилось въ Римъ и увеличивало собою сословіе плебеевъ, людей свободныхъ, но не пользовавшихся всѣми правами гражданства. Количество земли, которымъ владѣли граждане, было большею частью очень ограничено. «Римскому народу, говоритъ Плиніи старшій, было довольно по два югера на человѣка, и Ромулъ не далъ никому большаго количества земли». Въ землѣ Цинцинната было четыре югера. Впослѣдствіи на человѣка приходилось не болѣе семи югеровъ. До времени Самнитскихъ войнъ, считалось нужнымъ, чтобы количество земли не превышало силъ самого хозяина. Но исключенія изъ этого правила встрѣчались уже довольно часто; частные долги при-  
нуждали бѣднаго плебея закладывать или прода-

вать свой участокъ земли; капиталы богатѣй притягивали къ себѣ деньги и земли, и, увеличиваясь, получали тѣмъ большую силу притяженія. Прсценцы въ древнемъ Римѣ были такъ тяжелы, что Катонъ старшій, на вопросъ: «что такое отдавать деньги въ ростъ? отвѣчалъ другимъ вопросомъ: а что такое убивать человѣка». Ростовщикъ овладѣвалъ часто не только имуществомъ, но и особою несостоятельнаго должника, такъ что эксплуатація должника была однимъ изъ внутреннихъ источниковъ рабства, хотя это рабство не было такъ полно и безотвѣтно, какъ рабство, происшедшее отъ покупки или отъ взятія въ плѣнъ\*). Такимъ образомъ поземельныя владѣнія богача разрослись, и уже Спуріи Кассій потребовалъ новаго раздѣла общественнаго поля (*ager publicus*), въ которое поступало постоянно опредѣленное количество завоеванныхъ земель; послѣ его несчастной попытки, Лициній Столонъ, опираясь на сочувствіе усилившихся плебеевъ, провелъ законъ о томъ, чтобы ни одинъ гражданинъ не имѣлъ въ своемъ владѣніи болѣе 500 югеровъ земли. Этотъ законъ было трудно провести, что доказываетъ ясно, до какой степени во время Лицинія, т. е. за 100 лѣтъ до пуническихъ войнъ разрослись поземельныя владѣнія богачей. Съ увеличеніемъ земли должно было увеличиваться число рабовъ; въ былое время приходилось большею частью по одному рабу на семейство, и даже во время первой пунической войны Регулъ отпрашивался въ отпускъ, говоря, что рабъ его умеръ, а нанятой работникъ убѣжалъ съ земледѣльческими орудіями. Конечно, положеніе Регула было исключительное: онъ владѣлъ семью югерами, когда многіе граждане не довольствовались пятью стами, но тѣмъ не менѣе присутствіе нанятаго работника на его участкѣ доказываетъ, что вольный трудъ не былъ вытѣсненъ обязательнымъ. Почти повсемѣстно разорившіеся плебеи брали земли на аренду или нанимались въ работники; если Гораций въ одной изъ своихъ сатиръ могъ еще указать на личностъ вольнаго арендатора Офеллы, то конечно за 200 лѣтъ до Горация подобныя примѣры встрѣчались гораздо чаще. Даже въ городѣ ремеслами занимались, по мнѣнію Валлона, городскія трибы плебеевъ. Что касается домашнихъ работъ, онѣ исправлялись рабами и рабынями, подъ управленіемъ и при содѣйствіи матроны.

Вторая пуническая война въ отношеніи къ распространенію рабства, какъ и во многихъ другихъ отношеніяхъ, составляетъ поворотный пунктъ въ исторіи римскаго народа. Войны, вѣденыя до этого времени, были сопряжены съ нѣкоторою опасностью для самаго Рима; послѣ

\*) Въ 325 году до Р. Х. злоупотребленіе власти со стороны кредитора Папірія надъ молодымъ плебеемъ Публиціемъ подало поводъ къ закону Петілія, по которому кредиторъ долженъ былъ находить себѣ ручательство не въ личности должника, а въ его имуществѣ.



сраженія при Замѣ, Римъ почувствовалъ себя хозяиномъ образованнаго міра, и историки не трудятся даже записывать число людей, проданныхъ въ рабство и приведенныхъ въ Римъ. Нѣкоторыя цифры, встрѣчающіяся довольно рѣдко, показываютъ, что цѣлыя народонаселенія обращались въ невольниковъ. Послѣ низложенія Персея, въ одномъ Эпирѣ продано въ рабство 150,000 человѣкъ; Марій привелъ въ Италію 90,000 плѣнныхъ тевтоновъ и 60,000 кимвровъ. Въ царствѣ Митридата Лукуллъ набралъ такъ много добычи, что рабъ продавался по 4 драхмы (около 90 к.), а волъ по 1 драхмѣ (около 23 к. с.). Кромѣ войны, важнымъ источникомъ рабства былъ морской разбой. Пираты дѣлали высадки на берега, захватывали попадавшихся обывателей и путешественниковъ и продавали ихъ на чужую сторону. Иногда губернаторы провинцій именемъ данной имъ власти обращали въ рабство и продавали съ публичнаго торга значительное число ввѣренныхъ имъ жителей. Вионія, Галатія, Каппадокія, Сирія, Греція были обращены въ обширные рынки рабовъ!

Этотъ родъ торговли перешелъ въ частныя руки и сдѣлался предметомъ самыхъ обширныхъ спекуляцій; законъ опредѣлялъ отношенія между покупщикомъ и продавцомъ рабовъ съ такою тщательною осмотрительностью, которая прямо показываетъ всю важность этой торговли какъ въ коммерческомъ, такъ и въ житейскомъ отношеніи, т. е. какъ для выгодъ продавца, такъ и для домашняго комфорта покупщика. Въ этотъ періодъ времени, между второю пуническою войною и началомъ имперіи, владѣнія богачей приняла самые обширные размѣры. Неудавшаяся попытка Гракховъ возстановить забытые полевые законы Лицинія показываетъ ясно, какъ крѣпко владѣли богачи тѣмъ, что они присвоили себѣ изъ общественнаго поля. При этомъ нужно еще замѣтить, что Тиверій Гракхъ не требовалъ исполненія Лициніевыхъ законовъ во всей ихъ строгости. Онъ понималъ требованія времени, и потому предоставлялъ, кромѣ 500 югеровъ, на каждаго неотдѣленнаго сына по 250-ти; остальное количество земли общественнаго поля онъ предлагалъ выкупить у богачей; стало быть, съ его стороны уступка была сдѣлана, но этой уступки показалось мало, и оба Гракха заплатили жизнью за свои усилія дать римскому простолудину осѣдность и обезпеченный трудъ. Распространеніе большихъ владѣній измѣнило направленіе сельскаго хозяйства; обширныя земли богачей были превращены въ пастбища, и скотоводство, требующее большого пространства земли и незначительнаго количества рукъ, было признано большинствомъ римскихъ агрономовъ самымъ выгоднымъ промысломъ. Катонъ старшій, на вопросъ, чѣмъ лучше всего заниматься хозяину, отвѣчалъ: хорошо пасти стада. А второе?—Порядочно пасти стада. А третье?—Дурно

пасти стада. А четвертое?—Пахать землю. Колумелла и Варронъ въ агрономическихъ своихъ сочиненіяхъ жалуются объ упадкѣ земледѣлія, но не считаютъ его промысломъ болѣе выгоднымъ; они жалуются не столько объ упадкѣ этой отрасли сельскаго хозяйства, сколько о паденіи того патріархальнаго быта, съ которымъ была связана эпоха его процвѣтанія. Оба они совѣтуютъ употреблять на сельскія работы рабовъ и замѣнять ихъ наемниками только при очень снѣжной работѣ или при обработываніи полей земли, отличающихся тяжелымъ климатомъ.

Изъ этого ясно, что обязательный трудъ совершенно вытѣснилъ вольный; у Варрона и особенно у Колумеллы нѣсколько главъ посвящено совѣтамъ касательно выбора домоправителя и экономки изъ рабовъ, касательно обращенія съ рабами, касательно ихъ жилищъ, ихъ пищи и распредѣленія работъ и наказаній. О вольныхъ работникахъ упоминается несравненно рѣже и постоянно мимоходомъ. Отнявши у бѣдняковъ земли, богачи отняли у нихъ и работу; толпа бездомныхъ и поневолѣ праздныхъ гражданъ стекалась въ города и особенно въ Римъ; тамъ со времени Кая Гракха производились безденежныя раздачи хлѣба; тамъ можно было подавать на выборахъ свой голосъ, можно было пользоваться возникавшими волненіями и ловить рыбу въ мутной водѣ; словомъ, столица республики представляла множество средствъ къ существованію; средства эти не могли назваться ремеслами, не нарушали праздности, но доставляли пропитаніе, требовали той шумной суетливости, которую всегда любила чернь южнаго народа, и принуждали кандидатовъ въ публичныя должности заискивать въ нихъ сторонниковъ и забавлять ихъ зрѣлищами, которыя для нихъ были такъ же необходимы, какъ даровой кусокъ хлѣба. При Тиверіѣ, Долабелла постановилъ закономъ, чтобы гладиаторскія игры праздновались ежегодно кандидатами квестуры. Вредное вліяніе этого обычая задобривать народъ зрѣлищами распространилось изъ Рима на провинціи, и Неронъ въ свое второе консульство запретилъ прокураторамъ давать игры гладиаторовъ, потому что это мотовство, говоритъ Тацитъ, наравнѣ съ лихоимствомъ изнуряло подданныхъ и давало средства заглаживать происками грѣхи распутства».

Въ отношеніяхъ народа къ чиновникамъ, какъ въ отношеніяхъ его къ императорамъ, правительство систематически развращало народъ, а развращенный народъ, своею продажною, рабскимъ терпѣніемъ и вспышками буйства, оказывалъ вредное вліяніе на нравственность правителей. Эти печальныя свойства римской черни не могутъ быть поставлены ей въ вину; у нея не было ни имущества, ни обезпеченнаго труда; въ городахъ вся ремесленная и фабричная дѣятельность находилась въ рукахъ рабовъ: богатые аристократы дѣлали все, что было нуж-



но у себя дома; у нихъ были сотни доморощен-ныхъ или купленныхъ за дорогую цѣну ремесленниковъ, поваровъ, художниковъ, писцовъ и ученыхъ. Надписи въ такъ называемыхъ колумбаріяхъ (*columbaria* — высокія и обширныя залы, въ которыхъ располагались въ нѣсколь-ко ярусовъ урны съ прахомъ рабовъ и вольноотпущенныхъ, служившихъ въ важныхъ домахъ) показываютъ названія различныхъ должностей, которыя занимали рабы, служившіе господину въ городѣ. Число и разнообразіе этихъ названій можетъ дать понятіе о томъ, до какой степени аристократы могли удовлетворять трудомъ своихъ рабовъ тѣмъ потребностямъ, которыя въ нашемъ обществѣ удовлетворяются фабричною дѣятельностью. Фабрикантамъ, поставившимъ свои продукты людямъ менѣе богатымъ, было также всего выгоднѣе покупать за незначительную цѣну молодыхъ рабовъ, обучать ихъ извѣстному ремеслу и потомъ втеченіи всей ихъ жизни пользоваться ихъ заработками. Мы знаемъ положительно о подобныхъ спекуляціяхъ въ области книжной торговли.

Помпоній Атиккъ, другъ Цицерона, завелъ въ Римѣ первое значительное заведеніе для переписыванія и продажи книгъ. Въ его мастерской работали вѣроятно цѣлыя сотни писарей и переплетчиковъ, потому что сочиненія любимыхъ авторовъ издавались нерѣдко въ числѣ нѣсколькихъ тысячъ экземпляровъ, и каждый экземпляръ продавался въ переплетѣ. Послѣ Помпонія Атика въ періодъ имперіи, изданіемъ книгъ занимались въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ братья Созіи, издатели Горація, Атректь, Валеріанъ Поллій, Трифонъ, издавшій Марціала и Квинтиліана, и много другихъ, имена которыхъ дошли до насъ и свидѣлствуютъ этимъ обстоятельствомъ объ обширности и важности ихъ предпріятій. Что въ этихъ мастерскихъ работали рабы, это почти не требуетъ доказательствъ. Во 1-ыхъ, пользоваться ихъ трудомъ было выгодно для хозяина; во 2-ыхъ, писцу необходимо было извѣстнаго рода образованіе и привычка къ дѣлу; писцы эти писали чрезвычайно скоро; Марціалъ говоритъ, что писецъ въ 1 часъ переписывалъ вторую книгу его эпиграммъ, состоящую изъ 546 стиховъ. Они писали подъ диктовку, потому что всѣ разомъ не могли списывать съ небольшого числа экземпляровъ еще неизданнаго сочиненія. Стало быть, эти писцы должны были писать четко, скоро и правильно, и потому это дѣло никакъ не могло быть довѣряемо вольнымъ поденщикамъ. Надо было, чтобы будущій писарь пробылъ нѣсколько времени въ ученіи, и потому всего удобнѣе было для издателя книгъ обучить этому искусству собственныхъ рабовъ, которые не могли оставить произвольно его мастерскую, и выучившись скорописи, перейти къ кому нибудь изъ его конкурентовъ.

Итакъ вотъ какое вліяніе оказывало рабство

на низшіе классы: оно вытѣснило сначала мелкихъ земледѣльцевъ, потомъ вольныхъ арендаторовъ (*coloni*), доставивъ богачамъ средства обработывать съ значительною выгодною обширныя пространства земли, составлявшія *latifundia*. Въ городахъ, и особенно въ Римѣ, рабство, если не совершенно вытѣснило, то по крайней мѣрѣ значительно стѣснило ремесленную дѣятельность свободныхъ людей.

Составляя почти исключительную принадлежность рабовъ, эта дѣятельность навлекла на себя презрѣніе свободныхъ сословій, презрѣніе, отъ котораго не умѣли отдѣлаться самые сильные умы древности: Платонъ, Аристотель, Цицеронъ и Тацитъ. Трудно было вольному плебею найти себѣ работу, и, когда онъ ее находилъ, она не давала ему ни выгоды, ни почета. Мы уже видѣли выше, какимъ образомъ Варронъ и Колумелла, писавшіе свои теоріи для богачей, потому что только богачи могли возвышаться до теоріи, совѣтуютъ прилагать къ дѣлу вольный трудъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Для низшаго класса оставались еще нѣкоторыя низшія общественныя должности, которыя, не смотря на существованіе многочисленнаго класса государственныхъ рабовъ (*servi publici*), исправлялись болѣею частью свободными гражданами. Плебеи служили ликторами, герольдами, трубачами и общественными писарями. Изъ нихъ же было много консуловъ, преторовъ и т. д. Должность послѣдняго рода занималъ, какъ извѣстно, Горацій; онъ вспоминаетъ о ней въ сатирахъ, слѣдовательно она не считалась унижительною и рабскою.

Конечно, количество этихъ должностей было такъ ограничено, что предоставленіе ихъ свободнымъ людямъ не могло произвести чувствительнаго измѣненія въ положеніи римскаго плебейства. Чѣмъ занималась бездомная масса, какъ она жила, трудно себѣ представить. *Satiricon* Петронія, въ которомъ онъ выводитъ приключенія образованнаго гражданина Энколпія и его друзей, ясно показываетъ, что бродяжничество, воровство и часто насильственный грабежъ были въ порядкѣ вещей, никого не удивляли и не казались страшною крайностью для того, кто на нихъ пускался. Изъ *Сатирикона* видно, что можно было украсть, ограбить и остаться порядочнымъ человѣкомъ. На другой день послѣ отчаянной продѣлки, къ которой его вынудило безденежье, Энколпій обѣдаетъ у богача Трималхиона и съ одинаковымъ добродушіемъ рассказываетъ читателю о томъ, какъ онъ обокралъ корабль и о томъ, какъ былъ сервированъ богатый столъ его хозяина. Въ каждомъ изъ своихъ кліентовъ богатый аристократъ видѣлъ самое постыдное, яркое раболѣпство, въ каждомъ изъ нихъ онъ могъ предполагать самыя порочныя наклонности, потому что связь между патрономъ и кліентомъ основывалась на корысти съ одной стороны и на тицеславіи съ другой. Послѣ этого



понятно, почему кліенты встрѣчали за обѣдомъ у патрона самыя грубыя оскорбленія, почему имъ подавали дурное кушанье, почему ихъ поднимали на смѣхъ, какъ шутовъ, почему за ними наблюдали, какъ за мошенниками. Кліенты сносили это обращеніе, и число ихъ постоянно возросло, стало быть они заслуживали свою судьбу. Передъ абсолютною нравственностью виноваты и патронъ, и кліентъ. Передъ судомъ исторіи не виноваты ни тотъ, ни другой; оба являются жертвами и естественными слѣдствіями своего времени, приготовленнаго цѣлымъ рядомъ предшествовавшихъ столѣтій, и задача историка исполнена, если онъ, объяснивъ связь причинъ и слѣдствій, сдержитъ слишкомъ строгій приговоръ читателя надъ личностью, сословіемъ, народностью или эпохою. Единичное зло ничтожно тамъ, гдѣ общая система не допускаетъ никакого добра...

Въ третій разъ въ этой бѣглой характеристикѣ римской жизни я встрѣчаюсь съ такимъ положеніемъ вещей, въ которомъ двѣ стороны взаимно развращаютъ другъ друга (императоръ и народъ, чиновники и управляемые, патроны и кліенты). По моему мнѣнію, это во-первыхъ подтверждаетъ историческую мысль, что общество есть организмъ, въ которомъ каждое отправление обуславливается общимъ его положеніемъ, и въ свою очередь обуславливаетъ это общее положеніе. Во-вторыхъ, въ отношеніи къ разсматриваемой эпохѣ это доказываетъ совершенно осязательно, что никакія внѣшнія реформы не могли оживить и обновить разлагавшійся организмъ. Императоръ могъ перестать быть деспотомъ; черезъ это не прекратилась бы возможность деспотизма; эта апіоричная мысль подтверждается на единичномъ примѣрѣ. Нервъ и Траяну, какъ мы знаемъ изъ Тацита, трудно было оживить науку, которую задушилъ Домпціанъ. Чиновники могли прекратить лихоимства и угнетенія; отъ этого не воскресло бы въ народѣ давно подавленное и заглушенное чувство нравственности и человѣческаго достоинства. Въ отношеніяхъ между патронами и кліентами нельзя даже допустить того предположенія, которое я допускалъ въ первыхъ двухъ примѣрахъ; тамъ стояли лицомъ къ лицу правительство и народъ, а въ правительствѣ, въ которомъ инициатива зависитъ отъ воли одного лица, можно себѣ представить возможность довольно внезапнаго измѣненія. Но патроны и кліенты — представители двухъ сословій: они могли перемѣниться только тогда, когда новый духъ проникъ бы собою все общественное сознание; чтобы патронъ сталъ уважать кліента, нужно, чтобы кліентъ заслужилъ это уваженіе: чтобы кліентъ возвысился въ нравственномъ отношеніи, нужно, чтобы онъ почувствовалъ свое человѣческое достоинство и увидалъ въ другихъ уваженіе къ своей человѣческой личности. Словомъ, нужно, чтобы въ понятіяхъ обоихъ сословій, въ

міросозерцаніи цѣлага народа произошелъ крутой переворотъ; нужно, чтобы онъ въ обоихъ сословіяхъ произошелъ одновременно, потому что въ противномъ случаѣ они стали бы мѣшать другъ другу, и одно потянуло бы назадъ другое. Никакой аграрный законъ не могъ этого сдѣлать; еслибы даже было возможно раздѣлить земли, дать на каждаго пролетарія по семи югеровъ, купить ему земледѣльческія орудія, то его пришлось бы насильно выгонять изъ Рима и насильно заставлять пахать и сѣять, пришлось бы воспитывать насильственными мѣрами цѣлую націю, а въ націи въ періоды самаго жалкаго распаденія есть по крайней мѣрѣ одна страшная сила — сила инерціи. Одному не поднять гору, хотя бы никто не мѣшалъ ему, и въ исторіи конечно нѣтъ ни одного примѣра, чтобы правительство передѣлало жизни нравственность своего народа. Не могло также произвести значительной перемѣны воспитаніе высшаго класса или распространеніе между аристократами какой-нибудь философской доктрины. Что сдѣлали академія, стоицизмъ, эпикуреизмъ, пифагореизмъ? Они породили множество почтенныхъ, чистыхъ личностей, на которыхъ съ любовью отдыхаетъ взоръ историка, но которымъ публицистъ откажетъ въ чувствительномъ вліяніи на эпоху. Они были чужды массѣ и чуждались ея сами. Они отказывались отъ вліянія на практическую жизнь, они ея брезговали, боясь замарать объ нее руки; они проповѣдывали полное равнодушіе ко всякимъ внѣшнимъ интересамъ, къ сословнымъ различіямъ, къ страданіямъ раба и бѣдняка; къ этому презрѣнію нельзя примѣнить пословицы: «сытый голоднаго не разумѣетъ», потому что Эпиктетъ, громче и яснѣе всѣхъ высказавшій это презрѣніе, былъ самъ почти нищій, вольноотпущенный, человѣкъ некалѣченный рабствомъ.

Все дѣло въ томъ, что философія эта была умозрительная и не хотѣла, да и не могла выйти изъ міра идей: это была внутренняя сторона готовившейся реформы, сторона, доступная меньшинству и заботящаяся о массѣ, потому что она вообще не заботилась о пропагандѣ и практическомъ вліяніи. «Долженъ ли философъ, спрашиваетъ Эпиктетъ, приглашать людей слушать его ученіе? Солнце, пища и питіе сами привлекаютъ къ себѣ людей. Долженъ ли философъ какимъ-нибудь другимъ образомъ привлекать къ себѣ тѣхъ, кому онъ желаетъ принести пользу? Какой врачъ предлагаетъ больному полечить его? А впрочемъ, я слышалъ, что теперь въ Римѣ врачи дѣлаютъ подобныя предложенія». Философія эта сдѣлала свое дѣло, но не могла сдѣлать всего дѣла. Она не создала ничего, но разрушила все старое и отжившее, всѣ рамки сословныхъ и національных предразсудковъ: она пришла къ печальному заключенію: суета суетствій и всяческая суета. Паукъ, пишетъ Маркъ Аврелій, горлится тѣмъ, что



поймалъ муху; иной человѣкъ—тѣмъ, что поймалъ зайца въ тенета; другой — сардинокъ въ сѣти, третій—кабановъ; четвертый—медвѣдей; пятый — сарматовъ». Не отъ древнихъ философовъ надо было ждать обновленія. Движеніе идей подготавливается незамѣтно и въ небольшомъ кружкѣ, и тогда его понимаютъ немногіе, а масса къ нему равнодушна или смотритъ на него, если только знаетъ о его существованіи, съ недовѣріемъ, съ боязнью и ненавистью. Движеніе въ области жизни, въ практической нравственности и въ религіи находится въ органической, хотя часто и отдаленной связи съ движеніемъ идеи; оно начинается въ самомъ народѣ, на площадяхъ, въ городахъ и въ селеніяхъ и увлекаетъ за собою цѣлыя поколѣнія, безъ различія сословій, часто даже безъ различія національностей. Чтобы увлечь за собою всѣхъ, это движеніе должно произойти въ той сферѣ, которая составляетъ общее достояніе богатыхъ и бѣдныхъ, образованныхъ и необразованныхъ, знатныхъ и незнатныхъ; оно не можетъ совершиться ни въ области чистой мысли, потому что даже существованіе этой области сознается немногими, ни въ сферѣ житейскихъ интересовъ, потому что здѣсь никакая реформа не можетъ возбудить единодушнаго сочувствія людей, стоящихъ на различныхъ, или даже на крайнихъ ступеняхъ общественной лѣстницы. Остается только одно общее поле, практическая нравственность и религія—философія массы. Я по своему предмету имѣю дѣло съ попыткой подобной реформы, и потому эта приговорительная глава должна между прочимъ отвѣчать на одинъ важный вопросъ, обуславливающей собою достоинство реформы, и слѣдовательно умственную и нравственную личность реформатора, на вопросъ, насколько принятая реформа была нужна эпохѣ, насколько ея требовали тѣ условія, при которыхъ слагалась всенародная жизнь народа?

#### IV.

Чтобы покончить съ рабствомъ, остается охарактеризовать положеніе раба передъ закономъ и отношенія его къ господину, т. е. нравственное вліяніе, которое рабство оказывало на рабовъ и владѣльцевъ. Рабъ (*municipium*) былъ вполне вещь въ римскомъ правѣ республики и первыхъ двухъ вѣковъ имперіи; самое его названіе средняго рода показываетъ, что народная логика не заботилась даже о разграниченіи пола въ личности раба. Рабъ *nullum caput habet* (не имѣетъ никакихъ правъ) и потому *diminutio capitis*, бывшее, какъ извѣстно, трехъ родовъ и означающее отнятіе у свободнаго человѣка извѣстной части его правъ и преимуществъ, для раба не имѣетъ мѣста. Рабъ переходитъ отъ одного господина къ другому, и положеніе его отъ этого нисколько не измѣняется. Господинъ можетъ подарить своего раба, отдать

его напрокатъ, заложить, промѣнять, продать, уступить для заключенія мировой въ тяжбномъ дѣлѣ; за долги господина онъ можетъ быть взятъ кредиторомъ или проданъ съ аукціона наравнѣ съ прочею движимостью. Рабъ самовольно не можетъ имѣть собственности; все, что онъ пріобрѣтаетъ, по закону принадлежитъ господину; если же господинъ предоставляетъ какое-нибудь имущество во владѣніе рабу, то рабъ владѣетъ имъ, пока господину не придетъ въ голову взять его назадъ. Отъ господина зависитъ во всякое время увеличить или уменьшить имущество раба, или вовсе отнять его. Какъ собственность, такъ и личность раба находятся въ полномъ его распоряженіи. Господинъ имѣетъ надъ своими рабами право жизни и смерти; раба, осужденнаго на смерть господиномъ, казнили публично, и въ этомъ не было никакого нарушенія закона, потому что на господина не было апелляціи, и законъ не входилъ въ отношенія его съ рабами. Римскій всадникъ Ведій Полліонъ, современникъ и приближенный Августа, бросалъ провинившихся рабовъ въ садокъ, гдѣ ихъ живьемъ съѣдали мурены; онъ любилъ смотрѣть на подобныя казни, и потому придирался къ каждой мелочи, чтобы потѣшать себя этими казнями. Однажды у Полліона обѣдалъ Августъ; рабъ уронилъ хрустальную вазу, и хозяинъ объявилъ ему, что онъ будетъ казненъ. Рабу нечего было терять; онъ бросился въ ноги къ Августу и умолялъ его объ милости, чтобы его не бросали на съѣденіе рыбамъ, а казнили какъ нибудь иначе. Августъ ужаснулся и пришелъ въ негодованіе; онъ простилъ раба и приказалъ перебить у Полліона всю хрустальную посуду. Нарушителемъ закона явился императоръ, но произвольный поступокъ Августа не облегчилъ положенія рабовъ на будущее время. Продолжалъ ли Полліонъ *по-прежнему* кормить рабами своихъ муренъ, этого мы не знаемъ; знаемъ только, что во времена Ювенала слово господина или госпожи по-прежнему вело раба на крестъ или арену, гдѣ его разрывали звѣри; но уже при Адріанѣ и Маркѣ Авреліѣ владѣльцу было запрещено отправлять своихъ рабовъ на борьбу съ звѣрями, а Антонинъ за убійство раба положилъ съ господина одинаковое взысканіе, какъ за убійство вообще. Смягченіе нравовъ, на которое я указалъ, говоря о мнѣніяхъ философовъ о рабствѣ, проявилось, какъ видно, и въ законодательствѣ, и въ судопроизводствѣ. Но это смягченіе есть уже уклоненіе отъ чистаго принципа древности, уклоненіе непоследовательное. въ которомъ мы уважаемъ пробуждающуюся гуманность, но въ которомъ нѣтъ строгой логики, необходимой въ законодательной системѣ, и отличающей собою древнее римское право. Вотъ яркій примѣръ гуманной непоследовательности этихъ законовъ. Если женщина забеременѣетъ въ рабствѣ, а ребенокъ родится, когда мать отпущена на волю, то ребенокъ свободенъ. Если



свободная женщина забеременѣетъ и родить ребенка, сдѣлавшись рабою, — ребенокъ остается свободнымъ. Очевидно, что этихъ двухъ статей закона нельзя подвести подъ общее, отвлеченное юридическое положеніе; зато въ нихъ какъ нельзя лучше видно стремленіе правительства облегчить всѣми возможными средствами положеніе рабовъ. Но въ предѣлахъ той эпохи, когда жилъ и дѣйствовалъ Аполлоній Тіанскій, рабъ былъ вполне вещь; такъ смотрѣлъ на него господинъ, такъ смотрѣло и государство. Если онъ и отличался тѣмъ вещью, то это конечно было для него невыгодно. Отличіе состояло въ томъ, что рабъ, сдѣлавшій преступленіе, безъ вѣдома, согласія или приказанія господина, отвѣчалъ за него передъ закономъ. Преступнику-рабу было тяжело, нежели преступнику свободного званія. Рабъ не могъ просить защиты народнаго трибуна: судьями его были чиновники, завѣдывавшіе уголовными наказаніями (*triumviri capitales*) и слѣдовательно, привыкшіе видѣть страданіе и слышать безплодныя просьбы; послѣ произнесенія приговора, онъ не могъ просить о вторичномъ пересмотрѣ дѣла въ высшей инстанціи. Наказанія для рабовъ бывали обыкновенно на одну степень строже наказаній, назначаемыхъ свободнымъ людямъ. Свободнаго били палкой, раба — кнутомъ; свободнаго осуждали на работу въ рудники, раба за ту же вину возвращали господину, мѣняя послѣднему въ обязанность держать его на работѣ въ оковахъ. Смертная казнь была тоже различная: свободному рубили голову мечомъ, рабу — топоромъ; свободнаго сбрасывали со скалы, раба — вѣшали или распинали. Рабу приходилось плохо въ судѣ, даже когда онъ не былъ причастенъ къ преступленію: его часто казнили по одному подозрѣнію или въ примѣръ другимъ.

Городской префектъ временъ Нерона, Педаній Секундъ былъ убитъ своимъ рабомъ; по обычаю древнихъ, повели на казнь всѣхъ рабовъ, жившихъ съ нимъ подъ одною кровлей, всего 400 человекъ; это возмутило народъ и произвело въ городѣ волненіе; въ сенатѣ тоже разсуждали о томъ, не измѣнить ли обычай древнихъ; но противъ этого мнѣнія возсталъ К. Кассій, рѣшительный приверженецъ старины; онъ произнесъ рѣчь, въ которой доказалъ необходимость примѣра; его доводы могутъ показаться возмутительными, но если разобрать ихъ хладнокровно, то окажется, что онъ только послѣдовательно проводить принципъ рабства. Учрежденіе, которое само по себѣ есть насиліе и несправедливость, можетъ держаться только несправедливыми и насильственными мѣрами. Въ сенатѣ слышались голоса, выражавшіе состраданіе къ полу, къ возрасту, къ числу приговоренныхъ, къ очевидной невинности многихъ изъ нихъ; но мнѣніе Кассія превозмогло. Между тѣмъ на пути, по которому надо было вести приговоренныхъ, собрался народъ, вооруженный камнями и голов-

нями. Неронъ издалъ грозный эдиктъ; осужденныхъ повели съ военнымъ конвоемъ, и приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе. Когда рабу приходилось быть свидѣтелемъ въ судѣ за или противъ обвиненнаго, дѣло никогда не обходилось безъ пытки. Слово раба и его свидѣтельство только при пыткѣ получало значеніе; клятва его не ставилась ни во что. Августъ не любилъ безъ особенной надобности пытать рабовъ, но при разборѣ важныхъ государственныхъ дѣлъ или страшныхъ преступленій онъ считаетъ пытку самымъ дѣйствительнымъ и вѣрнымъ средствомъ добратся до истины. Когда господинъ хотѣлъ оправдаться въ взводимомъ на него обвиненіи, онъ предлагалъ подвергнуть пыткѣ кого-нибудь изъ своихъ рабовъ, и слѣдователи обыкновенно принимали это предложеніе. Если рабъ молчалъ, или говорилъ вещи, неимѣющія ничего общаго съ обвиненіемъ, подсудимаго оправдывали или по крайней мѣрѣ считали незнаніе раба за одно изъ доказательствъ невинности господина. Если рабъ умиралъ среди истязаній въ дѣлѣ, некасающемся господина, то послѣднему платили за него справочную цѣну.

Смерть раба считалась въ этомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ остальныхъ, ущербомъ для владѣльца, и потому денежное вознагражденіе исправляло все дѣло. Впрочемъ денежное вознагражденіе было недостаточно, если посторонній частный человекъ убивалъ или увѣчилъ чужого раба. Тутъ кромѣ матеріальнаго ущерба господину наносилось оскорбленіе, и за подобное нарушеніе правъ римскаго гражданина начинался особый процессъ. Законъ Аквилія опредѣляетъ наказаніе за безпричинное умерщвленіе чужого раба и чужой скотины; отъ этого сравненія домашняго скота съ домашней челядью выигрывалъ конечно одинъ господинъ убитаго или изуродованнаго раба. Самому рабу не могло быть нанесено оскорбленіе; обругать раба или ударить раба кулакомъ, за дѣло или по простому капризу, могъ первый встрѣчный совершенно безнаказанно; это предвидитъ и разрѣшаетъ буква закона. Отвергая въ рабѣ присутствіе какой бы то ни было личности, римское право не могло допустить для раба и существованіе семейства. Можетъ ли человекъ, неимѣющій ни личности, ни собственности, ни права пріобрѣтать для себя, — можетъ ли такой человекъ заключить какое нибудь обязательство, можетъ ли онъ дать клятву въ супружеской вѣрности, когда для него вообще не существуетъ клятвы? Отвѣтъ на этотъ вопросъ ясенъ, и потому рабъ могъ имѣть только *сожителство* (*contubernium*), которое заключалось и расторгалось по волѣ господина; если для этого и спрашивали иные гуманные господа согласія соединяемыхъ сторонъ, то это была чисто ихъ добрая воля, и только при позднѣйшихъ императорахъ признаются до нѣкоторой степени семейныя узы между рабами. Такъ



какъ между рабами не было брака, то не могло быть и нарушенія супружеской вѣрности; если рабъ былъ любовникомъ свободной женщины, тогда конечно его наказывали за дерзость и за безчестіе, оказанное свободной женщиной. Вездѣ и во всѣхъ отношеніяхъ съ рабомъ обращались какъ съ вещью, а наказывали его какъ человѣка или по крайней мѣрѣ какъ существо, сознающее свои поступки и слѣдовательно отвѣчающее за нихъ. Отъ раба требовали извѣстныхъ добродѣтелей, за которыя ему никто не оказывалъ уваженія или сочувствія, но за отсутствіе которыхъ его истязали и наказывали. «Когда господина убиваютъ, говоритъ законъ, то рабы должны подавать помощь и оружіемъ, и рукою, и крикомъ, и закрывая его собственнымъ тѣломъ. Если они, бывши въ состояніи сдѣлать это, не сдѣлали, то ихъ по справедливости слѣдуетъ казнить». Законъ устами холоднаго мыслителя, юрисконсульта, требуетъ отъ раба положительной добродѣтели, подвиговъ самоотверженія, вмѣняетъ ихъ ему въ обязанность и въ то же время отвергаетъ въ немъ личность.

Объяснить эту чудовищную непоследовательность можно только безобразнымъ эгоизмомъ древности. Законодатель писалъ законы, не умѣя перенестись въ положеніе того человѣка, которому придется имъ подчиняться. Оттого въ одномъ лицѣ хотѣли для собственного комфорта соединить свойства, взаимно исключаютія другъ друга. Рабъ долженъ быть мертвымъ орудіемъ; въ немъ должно молчать нравственное чувство, когда господинъ бьетъ его отца, мать, друга, его самого, когда насилуютъ его жену, дочь; малѣйшее возмущеніе въ подобномъ случаѣ ведетъ за собою мучительную смерть или каторжную работу, плети, цѣпи, голодъ и подземельное заключеніе; и въ то же самое время хотять, чтобы этотъ идеалъ раба, эта вещь, при опасности, угрожающей господину, нашла въ себѣ энергію, храбрость и самоотверженіе, свойства, возможные только при сознаніи и уваженіи собственной личности. Впрочемъ до того, какимъ образомъ рабъ исполнить предписанное волею господина или закономъ, до этого нѣтъ дѣла ни владѣльцу, ни государству. И тотъ, и другое говорятъ: «чтобы было сдѣлано» и наказываютъ ослушниковъ, не разбирая злостныхъ и несчастныхъ. Личный интересъ владѣльца и безопасность государства говорили громко и рѣшительно, подавляя безъ труда естественный голосъ человѣчности. Личный интересъ владѣльца опредѣлялъ частныя условія быта рабовъ. Въ немъ не было удобствъ жизни; было только то, что нужно, чтобы не умереть, и чтобы быть въ состояніи работать. Прикащику (*villicus*) и пастухамъ давалась мѣсячина, т. е. опредѣленное, очень ограниченное количество хлѣба; другимъ рабамъ готовился обшій столъ; платье давалось на два года; пара толстыхъ башмаковъ должна была служить

столько же. Если принять въ соображеніе, что это предписанія агронома и эконома, что это слѣдовательно норма, отъ которой хозяева удалялись охотно въ худшую сторону; если представить себѣ, сколько изъ отпускаемыхъ денегъ шло въ карманъ прикащику (*villicus*), который имѣлъ обыкновенно свое имущество и вѣроятно пряталъ отъ хозяина свои деньги, какъ это дѣлаютъ и наши прикащики,—то можно вывести заключеніе, что рабы были постоянно впроголодь, и что *Scriptores rei rusticae* не даромъ ставятъ воздержаніе въ число главныхъ добродѣтелей раба. Помѣщеніе было тѣсное и вѣроятно мало отличалось отъ хлѣбовъ, а если и отличалось, то врядъ ли въ лучшую сторону. Колумелла, Варронъ и Катонъ заботятся о жилищахъ рабовъ только въ видахъ болѣе бдительнаго и постоянного надзора за ними. Для рабовъ, осужденныхъ носить цѣпи, Колумелла отводитъ жилища подъ землею, вродѣ казематовъ, освѣщенныхъ сверху узкими окнами, до которыхъ нельзя было бы достать рукою. Для рабовъ не было праздниковъ; рабочіе воли, по обычаю древней религіи, отдыхали въ извѣстные дни, но рабамъ Катонъ въ праздники назначаетъ работы, не требовавшія содѣйствія рабочаго скота; они могутъ чистить сады, полоть луга, копать канавы, очищать бассейны и поправлять дороги.

Все это была норма; что дѣйствительность была гораздо хуже, видно изъ того, что всѣ экономы убѣдительно просятъ владѣльца пріѣзжать на ревизію и контролировать прикащиковъ, осматривать помѣщеніе и одежду рабовъ, спрашивать ихъ насчетъ количества и тяжести работы, отвѣдывать ихъ пищу и питье, спускаться въ подземелья и свидѣтельствовать скрѣпленныхъ узниковъ. Всѣ эти хлопоты, на которыя конечно не рѣшались девять десятыхъ римскихъ аристократовъ, клонились къ тому, чтобы достигнуть идеала, очерченнаго мною выше. Мы знаемъ теперь по опыту, до какой степени не похожа на образцовую ферму кака-я нибудь степная, забытая помѣщикомъ деревня. Если приложить этотъ масштабъ къ римскому быту и принять за норму экономическое устройство рабскаго житія по Катону, Варрону и Колумеллѣ (на что мы имѣемъ полное право), то конечно самое смѣлое воображеніе откажется нарисовать картину запущеннаго или даже обыкновеннаго римскаго хозяйства. Въ городѣ было не лучше; конечно приближенные и парадные рабы, страдая, правда, отъ господскихъ вспышекъ и капризовъ, были содержимы хорошо, уже потому, что господину или госпожѣ было бы непріятно смотрѣть на истомленные лица, грязныя одежды и кровавые синыки; но при малѣйшей провинности, раба ссылали, наказывали и приставляли къ чернымъ работамъ. Кухня и булочная были не легче рудниковъ и деревенскихъ мельницъ для тѣхъ рабовъ, на долю которыхъ при-



ходила не художническая, а машинальная работа. «Что за отверженные люди! говорит осель Апулея, попавши въ булочную. Кожа изрѣзана кнутомъ и росписана синими рубцами, спина въ струпьяхъ, едва прикрыта лохмотьями куртки; у иныхъ только поясъ на бедрахъ, у всѣхъ видно голое тѣло сквозь платье; лобъ клейменный, голова до половины обрита, на ногахъ желѣзные колодки, на лицахъ безобразная блѣдность, вѣки изъѣдены дымомъ и густымъ паромъ, и глаза едва смотрятъ на свѣтъ». Довольно и этого; видно, что римскій аристократъ, владѣвшій тысячами безотвѣтныхъ рабовъ, зналъ предѣлы. т. е. безпредѣльность своей власти и умѣлъ ею пользоваться; видно также, какою цѣною покупалась роскошь знаменитыхъ римскихъ обѣдовъ и ужиновъ!

#### У.

Вліяніе рабства на нравственность римской аристократіи опредѣлить не трудно. Младенецъ выросъ на рукахъ рабыни-кормилицы и поднявшись на ноги, переходилъ подъ надзоръ раба дядьки, котораго онъ не уважалъ и надъ которымъ онъ рано начиналъ понимать свое господство. Родители не мѣшали развитію барства и грубаго произвола въ ребенкѣ, потому что не могли видѣть въ этихъ свойствахъ ничего дурного, и сами подавали первый примѣръ своею нравію и жестокости. Ребенокъ билъ своего учителя, и учитель, если былъ человѣкъ умный и изворотливый, старался, чтобы избѣжать ссылки и плети, лавировать между родителями и своимъ воспитанникомъ, баловалъ послѣдняго и прикрывалъ отъ первыхъ тѣ шалости, которыя могли имъ не понравиться. Даже хорошій воспитатель, поставленный въ такое положеніе, не нашелъ бы другого выхода; чего же можно было требовать отъ дядьки, выбиравшагося изъ рабовъ, неспособныхъ ни къ какой другой должности? Чтожъ мудренаго, что ребенокъ, едва начиналъ говорить, пристращался къ театру, къ цирку и къ конскимъ скачкамъ, и что наукѣ и искусству не было мѣста въ душѣ, занятой подобными мыслями и стремленіями. Сынъ, выросшій подъ вліяніемъ дурного отца, долженъ былъ выдти хуже, потому что въ его молодую душу всецѣло вліяніемъ воспитанія вносилась сумма зла, которую собралъ отецъ въ разныхъ житейскихъ передѣлкахъ, втеченіи десятковъ лѣтъ. При прогрессѣ общества, поколѣнія несомнѣнно улучшаются и притомъ съ возрастающей скоростью; при паденіи общества повторяется то же явленіе, напоминающее законъ свободного паденія тѣла, т. е. не только скорость увеличивается, но самое увеличеніе скорости въ каждый данный моментъ возрастаетъ. Сынъ хуже отца, внукъ хуже сына, и притомъ въ большее число разъ, нежели сынъ хуже отца. Объясненіе этого явленія лежитъ въ

воспитаніи, а для воспитанія важны два момента: сумма педагогическихъ убѣжденій воспитывающаго поколѣнія и тѣ средства, которыми проводятся въ жизнь эти убѣжденія. Сумма педагогическихъ убѣжденій въ массѣ была равна отрицательной величинѣ, т. е. было бы лучше, еслибы ихъ вовсе не было.

Какую цѣль воспитанія предполагалъ римлянинъ временъ имперіи? Воспитывать *гражданина* было не по силамъ извѣщенной эпохѣ, да эти стремленія были бы кромѣ того подавлены императорскою полиціей, если не въ періодъ воспитанія, то при первой попыткѣ воспитанника приложить ихъ къ жизни. Воспитывать *человѣка* не могла эпоха, гдѣ каждый, по мѣрѣ возможности, былъ рабомъ и въ то же время деспотомъ, смотря по обстоятельствамъ. Воспитывали юношу для двора и для свѣтской жизни; учили его говорить по-гречески, и хорошо говорить, потому что главнымъ предметомъ преподаванія было краснорѣчіе, хотя примѣненіе его въ судѣ и въ администраціи было сильно стѣснено въ періодъ имперіи. Юношу учили читать и писать; ему давали нѣкоторыя свѣдѣнія изъ ариметики, и потомъ все вниманіе воспитателя обращалось на лингвистическую часть образованія; преподавалась грамматика, діалектика и реторика; учили наизусть стихи и мѣста изъ писателей; упражнялась память, развивалась діалектическая находчивость и мелкая изобрѣтательность, дававшая средства переспоривать противника и убѣждать слушателя; формальная сторона ума не была забыта; но ни школа, ни отеческій домъ не давали реальныхъ свѣдѣній и прочныхъ нравственныхъ убѣжденій. Дѣтямъ давали педагога, ихъ посылали въ школу, причемъ рабы, назначенные для этой должности, несли за ними книги и письменный приборъ, и все это дѣлалось по привычкѣ, по рутинѣ, потому что такъ было заведено, по тому же самому, почему до позднѣйшихъ императоровъ удержались республиканскія формы. Воспитаніе домашнее было предоставлено случайности, и колоритъ его зависѣлъ отъ личности педагога, сомнительной и по своему положенію, и по связаннымъ съ этимъ положеніемъ нравственнымъ и умственнымъ свойствамъ. Общественное воспитаніе, т. е. преподаваніе въ школахъ грамматиковъ и риторовъ было отрѣшено отъ дѣйствительной жизни. Краснорѣчіе не имѣло подъ собою почвы и потому вдавалось въ фантастическія бредни; чувство, возбуждавшееся прежде живою дѣйствительностью, сознаниемъ своего гражданскаго достоинства, перешло въ напыщенность и декламацию.

Послушаемъ, что говоритъ Тацитъ: «теперешніе ученые не знаютъ законовъ, не помнятъ сенатскихъ постановленій, смѣются надъ правомъ, пугаются изученія мудрости, боятся совѣтовъ опытности. Краснорѣчіе, изгнанное изъ своего царства, стѣняется узкими, произвольно придуманными правилами; царица всѣхъ искусствъ—краснорѣ-



чіе, наполнявшее грудь высокимъ вдохновеніемъ, теперь обрѣзано, оборвано, преподается безъ торжественности, безъ почета, можно почти сказать не какъ свободное искусство, а какое нибудь грязное ремесло». Далѣе онъ противопоставляетъ современному воспитанію древне-римское, основанное на постоянномъ общеніи между жизнью и школою, на ежедневномъ практическомъ примѣненіи слышанныхъ наставленій, словомъ, на совпаденіи нравственнаго воспитанія съ умственнымъ обученіемъ. Пробуждающійся умъ мальчика искалъ себѣ пищи, а школа не давала ему ничего, ни прочнаго, ни увлекательнаго.

Чѣмъ ничтожнѣе было образовательное вліяніе школы и домашняго наставника, тѣмъ сильнѣе должно было быть вліяніе окружающей среды, вліяніе случайное, изъ котораго мальчикъ или дѣвочка выбирали конечно то, что имъ нравилось, что бросалось въ глаза, льстило чувственности и доставляло пріятныя ощущенія. Окруженные рабами и рабынями, они не могли встрѣчать съ ихъ стороны ни твердаго сопротивленія своимъ прихотямъ и капризамъ, ни разумнаго совѣта и предостереженія. Въ родительскомъ домѣ они видѣли постоянные пиры, гдѣ чванная роскошь патрона сталкивалась съ низкой угодливостью кліента, гдѣ несправедливая запальчивость господина или его холодная жестокость давили безотвѣтнаго раба. Уберечь дѣтей отъ подобныхъ сценъ было бы очень трудно, еслибы даже объ этомъ старались родители; но воспитаніе было положительно въ загонѣ, на рукахъ рабовъ, и потому ребенокъ могъ видѣть все, что происходило въ домѣ и возбуждало его любопытство.—Внѣ дома, ребенокъ бывалъ съ родителями или педагогомъ въ театрѣ, смотрѣлъ трагедіи, комедіи и пантомимы, присутствовалъ даже при травляхъ звѣрей на аренѣ и при гладіаторскихъ играхъ, на которыя даже Августъ приводилъ жену и дѣтей. И въ театрѣ, и въ циркѣ ребенокъ могъ многому научиться. Въ театрѣ онъ видѣлъ, напримѣръ, какъ приговоренный къ смерти игралъ роль Геркулеса или Прометея, и какъ въ первомъ случаѣ его сжигали въ насмоленной туникѣ, а во второмъ приковывали къ скалѣ и выпускали на него медвѣдя, замѣнявшаго въ этомъ случаѣ того коршуна, который, по мнѣю, выклевываетъ у Прометея печень; онъ слышалъ страшные крики умирающаго и радостные возгласы зрителей; онъ вырасталъ на подобныхъ представленіяхъ; тутъ формировались эстетическія понятія, тутъ развивалось стремленіе къ наслажденіямъ и опредѣлялся ихъ выборъ; тутъ росло нравственное чувство и рѣшались вопросы о томъ, что хорошо и что дурно. Ясно, что когда онъ дѣлался мужчиною, его огрубѣвшіе нервы требовали большихъ потрясеній; онъ уже не могъ довольствоваться тѣмъ, что удовлетворяло предыдущее поколѣніе. Только этимъ прогрессомъ жестокости можно объ-

яснить себѣ тотъ фактъ, что народъ и аристократы смотрѣли съ одинаковымъ наслажденіемъ не только на бой гладіаторовъ, гдѣ проявлялась по крайней мѣрѣ пластическая сила, искусство и отвага, но и на то, какъ среди арены звѣри разрывали людей беззащитныхъ, невооруженныхъ и связанныхъ. Гладіаторы—порожденіе римскаго рабства; невѣроятное развитіе этого учрежденія при императорахъ характеризуетъ время и конечно имѣло значительное вліяніе на складъ народнаго характера.

Нибуль выводилъ гладіаторскія игры изъ обычаевъ древнихъ грековъ и римлянъ первыхъ вѣковъ республики приносить человѣческія жертвы на могилахъ павшихъ героевъ. Кромѣ того, у народовъ южной Италіи былъ обычай заставлять сражаться между собою военнопленныхъ. Эти два обычая слились между собою, такъ что въ Римѣ, при торжественныхъ погребеніяхъ, стали постоянно появляться поединки между пленными инородцами. Эти представленія понравились народу, и эдилы ввели ихъ въ народные празднества. Рабство создало въ Римѣ многочисленный классъ людей, жизнью которыхъ не дорожили ни государство, ни общество. Очень естественно, что при возрастающей жестокости римскаго народа, при тѣхъ средствахъ, которыя давало рабство, при дешевизнѣ людей, гладіаторскія игры получили самое обширное развитіе. Съ общественной сцены онѣ проникли въ частные дома, и комнатные гладіаторы, набранные изъ рабовъ и обученные фехтованію, сражались между собою въ то время, когда господа обѣдали; чиновники, желающіе задобрить народъ, старались превзойти другъ друга въ роскоши предлагаемыхъ зрѣлищъ, и главная роскошь этихъ зрѣлищъ состояла въ числѣ сражающихся гладіаторовъ и въ разнообразіи ихъ вооруженія. Главные виды гладіаторовъ были *Thrax*, вооруженный короткимъ еракійскимъ мечомъ, копьемъ и щитомъ, и *Mirmillo*, представлявшій галла съ широкимъ мечомъ; далѣе *retiarius* съ сѣтью и съ трезубцомъ, старавшійся набросить свою сѣть на голову *Secutoris*, вооруженнаго мечомъ и копьемъ и одѣтаго въ панцырь. Всѣ они отдавались на обученіе къ ланисту (*lanista*), который заботился о ихъ здоровьѣ, хорошо кормилъ ихъ и укрѣплялъ ихъ силы гимнастическими упражненіями. Они съ своей стороны обязывались страшною клятвою позволять дѣлать съ собою все, что будетъ нужно для удовольствія зрителей.

Императоры замѣчали не разъ вредное вліяніе гладіаторскихъ игръ, какъ средства подкупать народъ, и Неронъ противодействовалъ этому своими указами. Вреднаго вліянія этихъ зрѣлищъ на характеръ народа не замѣчало ни правительство, ни писатели. Нѣкоторые философы, особенно Сенека, возмущаются требованіями римской публики, желающей, чтобы гладіаторы умирали въ граціозно пластичныхъ позахъ, но противъ самаго учрежденія въ



первомъ вѣкѣ по Р. Хр. не слышно ни откуда энергическаго протеста.

# VI.

Перехожу къ семейной жизни древняго греко-римскаго міра. Въ греческой жизни не было мѣста для многоженства; женщину не запирали въ гаремы, ее не караулили евнухи, но о равноправности мужчины и женщины не думалъ ни народъ, ни мыслители. На жену смотрѣли какъ на неизбѣжное зло, необходимое для сохраненія порядка въ домѣ и для произведенія дѣтей. Образованіе дѣвушки ограничивалось тѣмъ, что ее учили необходимымъ домашнимъ работамъ; сверхъ того она должна была пѣть и плясать, чтобы принимать участіе въ нѣкоторыхъ религіозныхъ празднествахъ. Вся добродѣтель ея состояла въ хорошемъ хозяйствѣ и въ безпрекословномъ повиновеніи мужу. Въ Аѳинахъ женщина постоянно считалась несовершеннолѣтнею, и даже мать поступала подъ опеку сына, достигшаго законнаго возраста. Отецъ совершенно самовластно распоряжался личностью дочери и выдавалъ ее замужъ за кого ему было угодно; по смерти отца его мѣсто заступалъ старшій братъ. По выходѣ замужъ, женщина жила во внутреннихъ покояхъ дома, рѣдко видѣла постороннихъ и постоянно была окружена только своими рабынями.

Для гражданина супружество считалось нравственной обязанностью по отношенію къ государству, нуждавшемуся въ поддержаніи народонаселенія; по аѳинскимъ законамъ, холостякъ не могъ быть ни ораторомъ, ни полководцемъ, и несмотря на то, число холостяковъ постоянно увеличивалось, потому что мужчинѣ общественное мнѣніе предоставляло полную свободу въ небрачныхъ отношеніяхъ съ женщиною. Цѣлое сословіе образованныхъ и прекрасныхъ гетеръ готово было удовлетворять его желанія, и общественное мнѣніе не могло осуждать этихъ отношеній, когда изображенія знаменитой гетеры Фрины стояли въ храмахъ, какъ статуи Афродиты, и когда государственные дѣятели, художники, поэты и мыслители сходились въ домъ Аспазіи и другихъ подобныхъ женщинъ. Бракъ не сковывалъ свободу мужчины; во-первыхъ, жена не имѣла никакихъ средствъ, чтобы обуздать легкомысліе мужа, и общественное мнѣніе нисколько не осуждало нарушителя супружеской вѣрности. Во-вторыхъ, мужъ при первомъ желаніи могъ развестись съ женою и тотчасъ вступить въ новое супружество; только приданое бывшей жены должно было воротиться къ ея родственникамъ. На малочисленность браковъ, кромѣ отношеній къ гетерамъ и наложницамъ, имѣла еще значительное вліяніе бугроманія—извѣстный гнусный порокъ; противъ него ни одинъ греческій писатель то-христіанскаго періода не сказалъ серьезнаго слова обвиненія. Поэты, ораторы и философы

часто говорятъ о любви и при этомъ вовсе не думаютъ о женщинѣ; были примѣры, что въ судѣ также просто и безцеремонно упоминалось о противоестественной связи мужчинъ, какъ и объ отношеніяхъ любовника къ гетерѣ. Съ теченіемъ времени, когда цивилизація придумала для разврата различныя удобства, были учреждены публичные дома, гдѣ жили мужчины, и государство аѳинское стало брать съ нихъ опредѣленную подать. Философы до такой степени любили предаваться этому гнусному пороку, что многіе отцы рѣшительно не позволяли своимъ молодымъ сыновьямъ посѣщать ихъ и входить съ ними въ короткія отношенія. Парменидъ, Эвдоксъ, Ксенократъ, Аристотель, Полемонъ, Кранторъ, Архезилай и даже Зенонъ принадлежали къ числу извѣстныхъ любителей этого порока. Порокъ этотъ и огромное число образованныхъ гетеръ имѣли самое вредное вліяніе на судьбу женщинъ и дѣвушекъ благородныхъ семействъ. Мужъ не видѣлъ въ своей женѣ друга, и даже не любилъ ее чувственной любовью; ему нужно было имѣть дѣтей, и онъ смотрѣлъ на бракъ чисто какъ на средство исполнить одну изъ обязанностей гражданина; потребности ума, сердца и даже чувственности могли быть удовлетворяемы внѣ дома, и потому женщина не нуждалась по понятіямъ грековъ, въ разностороннемъ образованіи, которыми пользовалась гетера. Два зла взаимно поддерживали другъ друга, т. е. необразованность благородныхъ женщинъ привлекала ихъ мужей къ гетерамъ и кинедамъ, а привязанность мужей къ подобнымъ личностямъ поддерживала невѣжество и неразвитость женъ, п. ч. онѣ были принуждены довольствоваться хозяйственными заботами и обществомъ своихъ рабынь.

Развратъ и отвращеніе мужчинъ отъ супружества уменьшало народонаселеніе, и Полибій уже жалуется на недостатокъ рабочихъ рукъ и на произведенное этимъ обстоятельствомъ уменьшеніе плодородія почвы. Кромѣ малочисленности браковъ уменьшенію народонаселенія на греческой почвѣ содѣйствовали общепринятый обычай вытравливать зародышъ и выкидывать новорожденныхъ дѣтей, которыхъ родители, по какому бы то ни было причинамъ, не хотѣли воспитывать. Этотъ обычай оправдывался законами и даже одобрялся мыслителями, подобными Платону и Аристотелю. Философы, жившіе послѣ Р. Хр., относятся къ этому обычаю съ негодованіемъ; но зло, внесенное этими привычками въ народную жизнь, вѣлось слишкомъ глубоко, чтобы его могли искоренить поученія благонамѣренныхъ людей вродѣ М. Руфа или Плутарха.

Въ Римѣ супружескія отношенія стояли подъ защитою религіи и считались святынею, особенно въ лучшія времена республики. Римскій бракъ можетъ быть рассматриваемъ съ гражданской и религіозной точки зрѣнія. Какъ контрактъ между соединяющимися сторонами, бракъ



въ Римѣ бывалъ двухъ родовъ или *sint manu*, или *sine manu*. Въ первомъ случаѣ женщина совершенно поступала подѣ власть мужа; онъ получалъ надъ нею отеческую опеку, могъ наказывать ее и казнить смертью, не отвѣчая за то передъ закономъ; собственность женщины поступала въ распоряженіе мужа, и онъ никому не отдавалъ въ ней отчета. Во второмъ случаѣ жена оставалась подѣ покровительствомъ родителей и родственниковъ, и сама владѣла своимъ имѣніемъ. Какъ религіозная церемонія, бракъ заключался при извѣстныхъ обрядахъ; женихъ и невѣста приносили жертву и потомъ, сидя вмѣстѣ на бараньей кожѣ, съѣдали жертвенный пирогъ въ присутствіи великаго понтифика, главнаго фламينا и десяти гражданъ-свидѣтелей. Другія формы брака (*coemptio* и *uzus*) были менѣе торжественны и вошли въ употребленіе тогда, когда религіозное чувство остыло и отошло въ область прошедшаго.

По словамъ Діонисія Галикарнаскаго, разводы были неизвѣстны въ Римѣ 520 лѣтъ, т. е. до 234 г. до Р. Х. Въ этомъ фактѣ нѣтъ ничего неправдоподобнаго. Когда патріархальность нравовъ доходила до того, что мужъ получалъ надъ женою право жизни и смерти, тогда очень естественно, что мужу не было надобности искать развода, а жена не могла на это отважиться. Изъ этого отсутствія разводовъ нельзя вывести заключеніе, чтобы Римляне первыхъ вѣковъ республики были отличными семьянинами, особенно если сопоставить съ этимъ фактомъ извѣстный законъ 12 таблицъ, по которому сынъ, три раза проданный отцомъ въ рабство, эмансипировался изъ-подъ отеческой власти. Если законъ оговаривалъ подобный фактъ, стало быть онъ его предвидѣлъ и считалъ возможнымъ. Изъ отсутствія разводовъ можно заключить только, что слабая сторона, женщина, терпѣла безропотно и, въ случаѣ оскорбленія со стороны мужа, не смѣла обратиться къ защитѣ закона. Обширность власти римскаго *pater familias* такъ извѣстна, что ея не стоитъ оговаривать; по мѣрѣ того, какъ смягчались нравы, она стала ограничиваться контролемъ общественнаго мнѣнія и цензорской власти; разводы стали чаще и наконецъ при императорахъ обратились въ привычку. «Ни одна женщина, пишетъ Сенека, не боится развода; многія знатныя дамы считаютъ свои лѣта не по числу консуловъ, а по числу своихъ мужей; онѣ выходятъ замужъ, чтобы развестись, и разводятся, чтобы вступить въ новое супружество».

При ослабленіи супружескихъ отношеній стало уменьшаться и самое число супружествъ. Августъ, заботливый блюститель народной нравственности, счелъ нужнымъ обратить вниманіе на этотъ печальный фактъ. Онъ издалъ два закона *lex Julia* и *Porcia Porraea*, которымъ все взрослые римляне были обязаны вступать въ бракъ и производить дѣтей. Холостяки

и бездѣтные люди наказывались довольно значительнымъ денежнымъ штрафомъ, а женатые, имѣвшіе троихъ дѣтей, освобождались отъ нѣкоторыхъ повинностей и пользовались извѣстными преимуществами. Какъ и слѣдовало ожидать, законъ этотъ не принесъ никакой пользы. Самъ Августъ предоставлялъ иногда, въ видѣ особой милости, неженатымъ людямъ «право троихъ дѣтей». Преемники его поступали еще произвольнѣе, такъ что законъ часто обходили и нарушали. Сверхъ того, удобства безбрачнаго состоянія были такъ велики по понятіямъ тогдашнихъ римлянъ, что денежный штрафъ не могъ составить значительнаго противовѣса. Семейная жизнь падала, и развратъ усиливался.

Что было въ Греціи, то было и въ Римѣ. Тѣ же гетеры, тѣ же кинеды, называвшіеся экзолетами. Первые римскіе императоры до Нерона включительно отличались самыми порочными наклонностями. Это засвидѣтельствовано Тацитомъ и Светоніемъ. Жена Клавдія, Мессалина, до сихъ поръ употребляется какъ нарицательное имя развратной женщины. Внучка Августа, Юлія, довела себя до такого цинизма, что дѣдъ принужденъ былъ выслать ее изъ Рима. Неронъ, какъ извѣстно, публично женился на Спорѣ. Тиверій доходилъ на Калпурію до какого-то изступленія разврата. Юлій Цезарь находился въ неоправданныхъ отношеніяхъ съ воинскимъ царемъ Никомедомъ, такъ что солдаты при триумфѣ Цезаря пѣли стихи слѣдующаго содержанія:

Ecce Caesar nunc triumphat  
Qui subegit Galliam.  
Nicomedes non triumphat  
Qui subegit Caesarem.

Нужно ли вообще приводить факты въ пользу того мнѣнія, что развратъ императорскаго Рима перешелъ всякія границы? Достаточно сослаться на *Satiricon* Петронія. Тамъ каждая страница есть краснорѣчивый и неопровержимый фактъ. Отмѣтивъ этотъ развратъ, какъ существующее явленіе, я перейду къ характеристикѣ внутренняго, интеллектуальнаго и нравственнаго состоянія языческаго общества, т. е. къ религіи и философіи.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

### I.

Въ первой главѣ я представилъ очеркъ политическаго или внѣшняго состоянія римскаго общества; въ настоящей—предметомъ моего обзора будетъ внутреннее или религіозно-нравственное положеніе Рима.

Положительный, практическій умъ, преобладающій надъ творческой фантазіей, отличаетъ римлянина отъ грека. Въ религіи, гдѣ впервые проявляется народное міросозерцаніе, гдѣ каждый образъ выражаетъ собою или народный смыслъ или историческое воспоминаніе, не могла не вы-



разиться эта способность римскаго характера. Римская міеологія или вѣриѣ теологія, какъ называется ее Нибуръ, составившаяся изъ этрурскихъ, пеласгическихъ и сабинскихъ элементовъ, бѣдна вымыслами и образами, серьезна и представляетъ почти въ первобытной наготѣ народныя философы, составляющія ея основаніе. О ней мало говорятъ древніе писатели. Тотъ фактъ, что римская теологія была почти вытѣснена греческими міеами и въ общественномъ сознаніи, и въ глазахъ писателей — заслуживаетъ полного вниманія. Онъ доказываетъ, что отвлеченная и серьезная догматика отечественной религіи уступила мѣсто живой фантазіи чужого племени, и что римскій народъ, не находя въ себѣ самомъ творческой силы, чтобы воплотить созданія своей мысли, охотно заимствовалъ образы уже готовые, не заботясь о томъ, что эти образы не всегда соотвѣтствуютъ идеѣ, и не предвидя того, что неудачное олицетвореніе отвлеченной идеи могло унижить то философское содержаніе, которое лежитъ въ основѣ религіи.

Первобытная римская теологія основана на олицетвореніи тѣхъ силъ природы, которыя поразили воображеніе народа и представились ему наиболѣе самостоятельными и могущественными. Олицетвореніе это не было такъ полно и рельефно, какъ въ греческой міеологіи. Антропоморфизма почти не было, и только слабые его зачатки замѣтны въ именахъ воплощенныхъ стихій. Свѣтъ обожался подъ именами *Janus* и *Jana*, плодотворная сила земли называлась *Saturnus* и *Ops*, самая масса земли *Tellumo* и *Tellus*. Такимъ образомъ каждая стихія распадалась въ понятіяхъ народа на мужескій и женскій принципъ, на оплодотворяющую и воспринимавшую силу. Но изъ существующихъ матеріаловъ нельзя заключить, чтобы эти пары божествъ находились въ супружескихъ отношеніяхъ; о генеалогіи ихъ не говорится нигдѣ; начало и конецъ божества признается неизвѣстнымъ и непостижимымъ. Словомъ, силы природы признаются нравственно свободными существами, но на понятіи существа и останавливается творчество народа; оно не ограничиваетъ этого понятія личными особенностями, не стѣсняетъ его опредѣленными качествами и такимъ образомъ не впадаетъ въ антропоморфизмъ. Кромѣ этихъ главныхъ божествъ, олицетворяющихъ великія силы природы, есть безконечное число мелкихъ божествъ, въ которыхъ воплощаются всѣ фазы развитія животнаго и растительнаго царства. Нѣсколько десятковъ божествъ покровительствуютъ развитію пшеничнаго зерна и возрастанію колоса.

Міроуправленіе, по понятію римлянъ, состоитъ подъ вѣдѣніемъ трехъ силъ. Выше всего стоятъ общіе законы природы, по которымъ бытіе развивается изъ понятія, и по которымъ все существующее произошло изъ творческой мысли какаго-то, совершенно неопредѣленнаго, высшаго существа. Внутри круга, очерченнаго законами

природы, дѣйствуетъ на отдѣльные роды существъ и на единичныя личности *fatum* (судьба, рокъ). *Fatum* имѣетъ еще нѣкоторые законы и какъ бы составляетъ дополненіе и распространеніе основныхъ и общихъ законовъ природы. Внутри законовъ *fatum* дѣйствуетъ *fortuna* — случай. По законамъ природы, замѣчаетъ Сервій, человѣкъ можетъ жить 120 лѣтъ; причемъ природа назначаетъ только крайній предѣлъ — *maximum*. *Fatum* ограничилъ законъ природы, такъ что большинство людей живутъ не болѣе 90 лѣтъ. *Fortuna* — случай можетъ преемъ жизнь человѣка во всякую данную минуту, не нарушая законовъ природы, ни рѣшенія судьбы. На этомъ міросозерцаніи основано поклоненіе фортуны, продолжавшееся въ обширныхъ размѣрахъ при Цицеронѣ и во времена имперіи. Природу и судьбу нельзя было измѣнить, но можно было надѣяться умиловити богиню случая.

Это міросозерцаніе оставляло мѣсто Промыслу, и въ то же время оберегалось отъ фатализма; оно основано на томъ простомъ и здоровомъ разсужденіи, что я, какъ человѣкъ, подчиненъ извѣстнымъ физическимъ законамъ; я же, какъ опредѣленная личность, въ своихъ отношеніяхъ къ другимъ людямъ и къ неодушевленнымъ предметамъ, стою внѣ всякаго заранѣе обдуманнаго плана. Если я закалываюсь кинжаломъ, то тотъ фактъ, что я умираю отъ раны, представляетъ собою осуществленіе закона природы, а тотъ фактъ, что я нанесъ себѣ рану, есть проявленіе моей свободной воли, до котораго нѣтъ дѣла ни природѣ, ни судьбѣ.

Эта простая и серьезная религія не могла удовлетворять потребностямъ народа. Внутренняго смысла онъ не понималъ, точно также какъ не понимаетъ напр. внутреннихъ законовъ, по которымъ сложился языкъ, а внѣшняя сторона была слишкомъ проста и суха, требовала напряженія ума и не говорила воображенію. При первомъ столкновеніи съ произведеніями иноземной фантазіи, народъ увлекся ими и перенесъ къ себѣ то, что для него было особенно привлекательно, т. е. пышные обряды, религіозныя игры и поэзію; но патріотизмъ и консервативный духъ народа не позволили прямо замѣстить отечественное божество пришлымъ; нужно было соединить одно съ другимъ; безличныя существа, населявшія римскій невидимый міръ, какъ нельзя больше были способны соединиться съ какими бы то ни было личностями космическихъ божествъ, происшедшихъ изъ олицетворенія природы; и вотъ разныя древне-сабинскія, этрурскія и пеласгическія имена слились съ представленіями олимпійцевъ, личностей совершенно очерченныхъ, имѣвшихъ полную человѣческую индивидуальность и получившую исторію, генеалогію и фیزیомію. Юпитеръ-Зевесъ, Юнона-Гера, Минерва-Афина, Церера-Деметра, Либеръ-Вакхъ, Либер-Персефона, Діана-Артемиды, и т. д. населили собою римскій



олимпъ, царемъ котораго явилась величественная фигура Юпитера капитолійскаго. Еще при Тарквиніи Прискѣ существовали антропоморфическія изображенія боговъ; сивиллины книги предписывали приносить жертвы греческимъ богамъ и поклоняться Аполлону; дельфійскій оракулъ, съ которымъ совѣтовались и правительство, и частныя лица, указывалъ тоже на греческій культъ. Этотъ культъ былъ богатъ, веселъ и изященъ; онъ правилъ народу, и древне-италійскіе обряды мало по малу выходили изъ употребленія или измѣняли свой первобытно-простой и серьезно-нравственный характеръ. Такъ въ древней религіи не было кровавыхъ жертвоприношеній; вѣроятно изъ древнѣйшаго періода сохранились возліанія и приношенія, совершавшіяся въ честь домашняго бога (*lar*) и генія мѣста (*genius loci*); имъ приносились цвѣты и дѣлались возліанія виномъ и молокомъ. Но греческій культъ скоро проникъ въ Италію, явились *simulacra*—идолы боговъ, и на алтаряхъ ихъ полилась кровь жертвенныхъ животныхъ; явился даже обрядъ *lectisternia*, котораго грубая чувственность стоитъ въ яркомъ противорѣчій съ спиритуализмомъ древней теологіи. Въ важныхъ случаяхъ, при опасности государства или послѣ счастливаго событія, когда нужно было умиловить или поблагодарить боговъ, устраивался роскошный обѣдъ, на столъ ставилось золото и серебро, составлявшее собственность храмовъ, а на ложахъ возлѣ стола располагались статуи тѣхъ боговъ, для которыхъ устроенъ былъ пиръ. Объ устройствѣ такихъ пировъ говоритъ Тацитъ. Послѣ большого пожара въ Римѣ, Неронъ счелъ нужнымъ умиловить боговъ; обратились къ сивиллинымъ книгамъ, стали молиться Вулкану, Церерѣ и Прозерпинѣ; римскія матроны отправились на берегъ моря и морской водой оросили храмъ и статую Юноны; наконецъ тѣ же матроны устроили ночныя бдѣнія. Когда все это не помогло, то для окончательнаго успокоенія встревоженныхъ умовъ Неронъ казнилъ самыхъ разнообразными казнями множество христианъ, которые уже въ то время возбуждали недовѣріе и ненависть Римлянъ.

Игры состояли въ ристаніи на колесницахъ и въ кулачныхъ бояхъ; въ этихъ играхъ принимали участіе только рабы и вольноотпущенные, а природные римляне считали унизытельнымъ сходить на арену. Это обстоятельство, мнѣ кажется, объясняется иностраннымъ происхожденіемъ этихъ религіозныхъ обрядовъ и увеселеній. Игры (*ludi*) не имѣютъ ничего общаго съ гладиаторскими зрѣлищами. Онѣ были веселаго характера и оканчивались безъ кровопролитія; всѣ онѣ состояли въ сценическихъ представленіяхъ и въ ристаніи на колесницахъ; отъ нихъ строго отличаются гладиаторскія представленія, называвшіяся *spectacula* и неимѣвшія религіознаго значенія. При этомъ наплывѣ греческихъ представленій и обрядовъ изъ чисто-римскаго

культа осталась только іерархія, которая своимъ устройствомъ доказываетъ, что въ Римѣ вліяніе религіи на государственныя дѣла было несравненно сильнѣе, нежели въ Греціи. Греческіе жрецы были почти исключительно служителями при жертвоприношеніяхъ; въ Римѣ существовали цѣлыя коллегіи жрецовъ, имѣвшихъ законодательную власть и политическое значеніе \*).

Посмотримъ, что можно вывести изъ этого изображенія римской іерархіи и римскаго культа. Во 1-хъ, мы видимъ, какъ легко римская первобытная теологія и религіозные обряды уступили мѣсто греческимъ мѣамъ и обрядамъ. Это указываетъ на религіозную терпимость, граничащую съ индифферентизмомъ, и, что очень замѣчательно, эту терпимость раздѣляютъ съ народомъ и жрецы. Нигдѣ не видно признаковъ сильной борьбы; религія охотно подчиняется иностранному вліянію, и народъ съ радостью принимаетъ новый, болѣе яркій и чувственный культъ. Послѣ этого факта, совершившагося еще при царяхъ, намъ не должно казаться страннымъ то радужіе, съ которымъ римляне (которыхъ умственный горизонтъ расширялся вмѣстѣ съ территоріальными владѣніями) принимали иностранныхъ боговъ въ свой вѣчный городъ. Для объясненія этого радужія, должно еще припомнить, что римляне

\*) Первая изъ этихъ коллегій были понтифексы, во главѣ которыхъ стоялъ *pontifex maximus*, передавшій впоследствии свой титулъ папѣ. Они были судьями духовныхъ дѣлъ, законодателями касательно церемоній и обрядовъ, правъ и обязанностей жрецовъ; они судили нарушителей, имѣли *jus quaestionis* и могли даже осуждать на смерть. Они завѣдывали календаремъ, устанавливали подвижные праздники и рѣшали вопросъ, какіе дни счастливые (*fasti*) и несчастные (*nefasti*). Со временъ Августа, званіе *pontificis maximus* сдѣлалось неотъемлемой принадлежностью императора, и до временъ Феодосія даже христіанскіе императоры отправляли эту должность. Понтифексы сами не приносили жертвоприношеній и только въ самыхъ торжественныхъ случаяхъ императоръ освящаетъ жертвенное животное, которое потомъ ударяетъ молотомъ *pora*, а зарѣзываютъ рабы. *Pontifex maximus* былъ всегда одинъ; число другихъ понтифексовъ измѣнилось, постоянно увеличиваясь. Сначала было два, потомъ четыре, потомъ при усиленіи плебеевъ четыре изъ патриціевъ и четыре изъ плебеевъ, и наконецъ послѣ Суллы, пятнадцать. Съ увеличеніемъ числа падало значеніе должности, которая въ періодъ имперіи сдѣлалась чисто номинальною.

Вторая жрецеская коллегія—авгуры—играла въ Римѣ ту роль, которую въ Греціи занимали оракулы; они на основаніи своихъ книгъ, заключающихъ въ себѣ записанное откровеніе (*libri augurales*), обсуживали явленія природы и гадали о будущемъ по полету и крику птицъ, по молніи и по другимъ воздушнымъ явленіямъ. Они отличались отъ арусипціевъ (*aruspex*), имѣвшихъ этрурское происхожденіе, тѣмъ, что послѣдніе пророчествовали по вдохновенію, а авгуры только подводили то, что видѣли въ природѣ, подъ статьи и изреченія своихъ книгъ. Авгуры стояли несравненно выше арусипціевъ въ общественномъ мнѣніи и являлись вслѣдъ за понтифексами во всѣхъ процессіяхъ и на религіозныхъ играхъ.

Третью коллегію составляли хранители сивиллиныхъ книгъ, называвшіеся по числу своему сначала дуумви-



большую часть восточных божеств получили уже тогда, когда эти божества испытали на себѣ греческое вліяніе, частью тѣмъ, что они перенесены въ малоазійскую или европейскую Грецію, частью тѣмъ, что греческій элементъ проникъ въ Азію по слѣдамъ Александра Македонскаго и его преемниковъ. Римляне получили эти божества почти изъ рукъ грековъ, которыхъ они считали своими единовѣрцами; сами же римляне были плохіе догматики и потому безъ критики и безъ недовѣрія брали къ себѣ то, что встрѣчали по дорогѣ. Вліяніе грековъ можно безспорно считать первымъ доказательствомъ терпимости римлянъ и переходною порою, облегчившею Риму принятіе другихъ божествъ.

Во 2-хъ, замѣчательно въ римской іерархіи отсутствіе кастическаго духа; понтифексы, авгуры, фламины, квиндецимвиры, феціалы избирались изъ патриціевъ и плебеевъ, и каждый избранный оставался вѣренъ своимъ личнымъ интересамъ, интересамъ своего рода и сословія. Члены римской іерархіи не имѣли особой политики, сопряженной съ духовной должностью. Они не старались расширить предѣлы вліянія своего духовнаго званія; они, по мѣрѣ честолюбія cadaго, заботились о личномъ своемъ возвышеніи и считали занимаемую ими государственную или іерар-

хическую должность только болѣе или менѣе удобной переходной ступенію. Кто скажетъ напр., что въ личностяхъ Метелла нумидійскаго или Юлія Цезаря были замѣтны слѣды жреческой политики, а между тѣмъ и тотъ, и другой были pontifices maximi? Должность главнаго понтифекса была пожизненная, стало-быть человѣкъ могъ, какъ то дѣлали папы, поставить себѣ задачею возможное возвышеніе своего сана, и между тѣмъ что же мы видимъ? Если понтификатъ достается замѣчательной личности, онъ почти теряется въ числѣ другихъ ея должностей и составляетъ что-то вродѣ почетнаго титула. Если онъ достается личности посредственной, напр. триумвиру Лениду, то онъ не выводитъ этой личности изъ ея посредственности. Ни одинъ pontifex maximus не былъ знаменитъ какъ pontifex maximus. Почему? Потому вѣроятно, что положительный и практическій умъ римлянина не допускалъ ничего теократическаго. Появленіе Магомета въ римскомъ мірѣ было бы совершенно невозможно; въ Римѣ религія поддерживала государство, но никогда не являлась могучимъ двигателемъ его, не производила войнъ и не была причиною политическихъ переворотовъ.

Городъ народа фанатическаго не могъ бы сдѣлаться Пантеономъ всѣхъ религій; Риму было

рами, потомъ децемвирами и наконецъ квиндецимвирами. Въ важныхъ случаяхъ, эти духовные чиновники по порученію сената раскрывали сивиллины книги, и по прочтеніи извѣстнаго мѣста, объявляли, что должно дѣлать, какими религіозными церемоніями можно умиловить божество. Во время Тиверія, они вѣстѣ съ понтифексами и авгурами давали народу великія игры. При Домиціанѣ самъ Тацитъ былъ квиндецимвиромъ и упоминаетъ объ этомъ, говорить, что дѣлаетъ это не изъ тщеславія; изъ этого можно заключить, что въ началѣ второго вѣка имперіи эта должность была еще въ почетѣ; это мнѣніе еще болѣе подтверждается тѣмъ, что квиндецимвиромъ былъ при Неронѣ Тразеа Петъ, знаменитый сенаторъ и государственный человѣкъ.

Четвертая коллегія—феціалы (fetiales) при царяхъ и въ первое время республики имѣли значительное вліяніе; они разбирали международныя отношенія, вели во имя боговъ переговоры и не получивши удовлетворенія отъ племени, оскорбившаго римлянъ, объявляли сенату—*populum hunc injustum esse*—и бросали копье чрезъ границу, послѣ чего и начиналась обыкновенно война. Въ эпоху войны съ Пирромъ эпирскимъ они являлись въ послѣдній разъ международными судьями. При практическомъ направленіи римскаго ума, теократическій принципъ не могъ удержаться, и феціалы потеряли политическое значеніе. Въ эпоху Тиверія они упоминаются, но рѣже другихъ коллегій, и притомъ съ второстепеннымъ почетомъ, такъ что Тиверій, опираясь на прежніе документы, отказалъ имъ въ предсѣдательствѣ на великихъ играхъ на ряду съ понтифексами, авгурами и квиндецимвирами.

Кромѣ этихъ коллегій существовали еще жрецы, которыхъ исключительною обязанностью было отправлять богослуженіе и приносить жертвы. Во главѣ этихъ жрецовъ стоялъ *rex sacrificulus*, занявшій въ богослужбной іерархіи мѣсто царя послѣ изгнанія Тарквинія и имѣвшій чисто обрядную должность безъ всякаго вліянія. За нимъ слѣдуютъ фламины и весталки, служительницы Весты, богини огня. Это были дѣвы, вы-

бираемыя изъ патриційскихъ семействъ, обязанныя хранить дѣвство, поддерживать священный огонь на жертвенникѣ Весты и совершать много другихъ мелкихъ обрядовъ богослуженія; въ весталки назначались обыкновенно дѣвочки 6—10 лѣтъ; 10 лѣтъ онѣ учились, десять лѣтъ отправляли служеніе и 10 лѣтъ учили другихъ. Всего было шесть весталокъ, и старшая изъ нихъ была непосредственно подчинена главному понтифексу, который за нерадѣніе могъ ихъ подвергать тѣлесному наказанію, а за нарушеніе дѣвственности осуждалъ на голодную смерть въ подземномъ сводѣ подъ *porta collina*.—Въ періодъ имперіи, правительство старалось всѣми силами поддержать уваженіе къ весталкамъ. Когда при Августѣ, вельможи старались изъавить своихъ дочерей отъ служенія, Августъ сазалъ, что онъ самъ предложилъ бы въ весталки одну изъ своихъ внучекъ, еслибъ позволяли ихъ лѣта. Онъ отвелъ весталкамъ мѣсто въ театрѣ отдѣльно отъ прочихъ, противъ преторскаго трибунала, а Тиверій постановилъ, чтобы *Augusta* (императрица), бывая въ театрѣ, садилась между весталками. Завѣщаніе Августа было внесено въ сенатъ весталками. Въ завѣщаніи Тиверія была статья въ пользу весталокъ, которымъ онъ оставилъ значительную денежную сумму. Домиціанъ, желая возстановить упавшую нравственность весталокъ, употребилъ круглыя мѣры, свойственныя его характеру. Когда *virgo maxima*, Корнелія, была уличена въ нарушеніи обѣта, онъ велѣлъ ее закопать живую въ землю, а соблазнительей ея засѣчь до-смерти розгами въ народномъ собраніи. Послѣдующій ходъ событій доказалъ, насколько было возможно оживить внѣшними мѣрами поощренія и наказанія обветшавшій и умирающій принципъ.—Остается еще упомянуть изъ римской іерархіи Саліевъ и Арвальскихъ братьевъ (*fratres Arvales*). Первые были жрецы Марса, вторые составляли коллегію изъ 12 человѣкъ и занимались процессіями и жертвоприношеніями. Оба разряда жрецовъ существовали долго, но не имѣли никакого значенія. Вліяніе ихъ на массу народа было также ничтожно, какъ и ихъ занятія.



суждено быть тѣмъ безразличнымъ полемъ, тѣмъ *terrain neutre*, на которомъ все вѣрованія язычества перемѣшались, потеряли свою фizioномію и вмѣстѣ съ тѣмъ лишились той силы, того вліянія падъ умами, которое доставляла имъ опредѣленная историческая почва и суровая, исключительная замкнутость. Для этой задачи, которую, по словамъ Риттера, выполнила древняя философія временъ имперіи, нужно было мѣсто, и этимъ мѣстомъ сдѣлался Римъ, потому что таковъ былъ характеръ его народа. Эти черты характера, развившіяся вполне въ эпоху всемірнаго господства, лежали въ зародышѣ еще до того времени, когда на берегу Тибра возникло первоначальное бѣдное поселеніе трибы *Romnes*. Эти зародыши видны и въ теологіи, и въ построеніи іерархіи, и въ той легкости, съ какой проникли въ Италію творенія греческаго духа, Олимпійцы, статуи и ихъ роскошное богослуженіе. Законъ, приводимый Цицерономъ въ сочиненіи его *de legibus* L. II, с. 8: («Да не имѣтъ никто отдѣльныхъ или новыхъ боговъ; да не обожаютъ частнымъ образомъ пришлыхъ боговъ, не признанныхъ публично») не противорѣчитъ высказанному мною мнѣнію; онъ доказываетъ только, что римское правительство имѣло консервативный характеръ и понимало политическую важность религіознаго единства. Чтобы видѣть яснѣе, до какой степени простиралась религіозная терпимость римлянъ, я перейду въ эпоху паденія республики и основанія имперіи.

## II.

Основатели римской изящной словесности, Ливій Андроникъ, Невій и Энній, плѣненные образцами греческаго искусства, перенесли въ римскій міръ и популяризировали въ немъ греческіе мифы и героическій эпосъ. Вмѣстѣ съ греческими вѣрованіями проникло въ римскій міръ и критическое отношеніе грековъ къ мифу и къ преданію. Энній перевелъ на латинскій языкъ сочиненія Эвхемера, доказывавшаго, что все божество язычества были людьми и что ихъ обоготворила благодарная, но слишкомъ страстная преданность простодушныхъ современниковъ. Энній былъ любимый поэтъ; все, что выходило изъ-подъ его пера, имѣло успѣхъ; стало-быть, онъ зналъ своихъ современниковъ и не боялся уронить себя въ ихъ глазахъ сочувствіемъ къ смѣлымъ по тогдашнему времени идеямъ греческаго критика. Отъ своего лица онъ говорилъ: «Что есть порода небесныхъ боговъ, это я сказалъ и всегда буду повторять; но я думаю, что о жизни людей они ни мало не заботятся». Публика аплодировала, когда эти слова произносились со сцены. Еслибы въ то время были крѣпки вѣрованія, то народъ почувствовалъ бы себя оскорбленнымъ этими словами, и они возбудили бы гоненіе. Еслибы повернуть къ скептицизму былъ

уже совершенъ, Энній не сталъ бы высказывать своей идеи серьезно, какъ новое и важное убѣжденіе, а публика осталась бы равнодушна къ тому, что уже перестало быть для нея новостью. Мнѣ кажется, что слова Эннія и встрѣтившее ихъ сочувствіе доказываютъ, что въ римскомъ обществѣ господствовало въ то время броженіе; религіозныя вѣрованія боролись съ развивавшеюся критикою и слабѣли, но еще отстаивали свое существованіе. Не даромъ говорилъ дѣдъ Цицерона, человекъ стараго закала, патріотъ и приверженецъ старинной религіи: «у римлянина испорченность возрастаетъ отъ знакомства съ греческими писателями». Патріоты понимали, откуда грозитъ опасность и не ошибались въ своихъ опасеніяхъ.

Ослабленіе туземной религіи, частью замѣненіемъ италійскихъ представленій греческими, частью разрушительнымъ вліяніемъ греческой критики, породило два явленія, которыхъ развитіе идетъ параллельно, несмотря на наружное различіе внѣшнихъ признаковъ. Ослабленіе авторитета, на который мы привыкли опираться, можетъ повести къ двумъ послѣдствіямъ: или мы возведемъ нашъ опытъ въ общее правило и потеряемъ довѣріе къ авторитету вообще, или, если въ насъ сильна потребность къ чему нибудь прислониться, мы будемъ искать внѣ себя новой опоры, рискуя снова разочароваться и не рѣшаясь дать полную волю анализу ума. Вотъ что произошло въ древнемъ мірѣ, при ослабленіи народной религіи: кто могъ вынести тяжелыя послѣдствія скептицизма, тотъ отвергалъ все, что не могло быть осязательно доказано; кто былъ не въ силахъ выдержать эту борьбу, тотъ старался замѣнить искренность и глубину убѣжденія количествомъ обожаемыхъ предметовъ и соблюдаемыхъ формъ. Невѣріе и суевѣріе развивались одновременно; въ то время, когда философы дошли до полнаго раціонализма, народъ дошелъ до совершеннаго фетишизма; нужно было много внѣшнихъ обрядовъ, молитвъ, жертвоприношеній и идоловъ, чтобы заглушить въ испуганной душѣ неразвитой личности страшное сознаніе закрадывавшагося сомнѣнія. Толпа страшилась походить на атеистовъ-философовъ, и чѣмъ злѣе смѣялся эпикуреецъ Лукіанъ, тѣмъ большія массы людей стекались на поклоненіе къ пророку язычества, Александру Авонотихиту. Толпа и мыслители озлобили другъ друга и не могли ни на чемъ сойтись; тѣ и другіе находились въ трагическомъ положеніи; вѣрующіе бросались изъ стороны въ сторону, выбивались изъ силъ и нигдѣ не находили себѣ удовлетворенія. Философы-скептики стояли одиноко, громко выражали свое презрѣніе къ суевѣрной массѣ и жили однимъ отрицаніемъ, не видя ничего за предѣлами гроба и не находя возможности приложить свои силы къ плодотворной дѣятельности. Подъ ними не было почвы; сочувствіе толпы



было не съ ними; а въ такой жизни ожесточенной борьбы и ѣдкаго смѣха трудно найти себѣ отраду. Были конечно и переходные типы, старавшіеся держаться середины и часто соединявшие въ себѣ только ошибки обѣихъ крайностей. Были мыслители-мистики и полумистики, подобные Плутарху, Апулею и Максиму Тирскому; были и въ толпѣ личности, отвергавшія всякое вѣрованіе для житейскаго комфорта и для спокойнаго наслажденія минутою; это были люди безъ убѣжденія, свиньи изъ стада Эпикура, намѣренно забивавшіе въ себѣ всякую мысль и жившіе только для еластолюбія. Это былъ худшій и самый неискренній типъ, а между тѣмъ онъ составлялъ огромное большинство. Были ловкіе шарлатаны, невѣрившіе ни во что и старавшіеся пользоваться довѣрчивымъ суевѣріемъ народа. Были наконецъ восторженные мечтатели, поэты-мыслители, вѣрившіе въ сверхчувственный міръ, въ свою личность, въ силы окружающихъ людей и въ возможность обновленія. Всѣ эти разнородные типы составляли непрерывную цѣпь градацій, лѣстницу, которой крайнія ступени занимали съ одной стороны мыслители-раціоналисты, съ другой суевѣрная масса народа. Въ этой массѣ было много жизненныхъ силъ. Въ послѣдніе вѣка язычества эти силы выражались именно въ искренности суевѣрія, въ желаніи отдаться какой-нибудь высшей силѣ слѣпо и беззавѣтно. Отъ этого энтузіазма страдаетъ порою личность самого энтузіаста; но чувство это, не смотря на тѣ крайности, къ которымъ оно порою приводитъ, необходимо для исторіи, какъ двигатель. Обозначивъ такимъ образомъ то обстоятельство, что невѣріе и суевѣріе росли и развивались параллельно, я дамъ себѣ право для большей ясности прослѣдить отдѣльно развитіе того и другого, т. е. постараюсь представить сначала міросозерцаніе народной массы, а потомъ перейду къ характеристикѣ философіи. Поэты занимаютъ средину между мыслителями и массою; они популяризировали идеи философовъ и упрощали ихъ; выигрывая въ удобопонятности, эти идеи часто терялись въ глубинѣ и искажались подъ вліяніемъ поэтической обработки.

### III.

Матеріалы для характеристики народныхъ вѣрованій я буду брать изъ отзывовъ писателей о массѣ, изъ историческихъ извѣстій о жизни общества и отдѣльныхъ личностей, наконецъ изъ тѣхъ мнѣній и разсужденій писателей и мыслителей, въ которыхъ говоритъ эпоха и народность, а не самостоятельная критицирующая личность. Важнымъ пособіемъ будутъ также извѣстія географовъ и путешественниковъ, подобныхъ Страбону и Павзанію, о существовавшихъ въ ихъ время храмахъ и культахъ, о большемъ или меньшемъ процвѣтаніи оракуловъ, объ изображеніяхъ

боговъ и о соединенныхъ съ ними вѣрованіяхъ и преданіяхъ. Все это такія указанія, по которымъ можно до нѣкоторой степени составить себѣ понятіе объ умственномъ уровнѣ массы. Вслѣдъ за греческими божествами потянулись постепенно въ Римъ и въ Италію божества другихъ народовъ, приходившихъ въ соприкосновеніе съ римлянами и подчинявшихся ихъ господству. Чтобы судить о силѣ и свойствахъ оказаннаго ими вліянія, чтобы представить себѣ то, какъ они должны были дѣйствовать другъ-на-друга при столкновеніяхъ между собою,—необходимо разсмотрѣть сущность каждаго изъ главныхъ культовъ, прихлынувшихъ къ Риму вслѣдствіе историческихъ обстоятельствъ. Начнемъ съ Египта.

Египтяне отличаются отъ грековъ и римлянъ присутствіемъ пылкаго и стройнаго религіознаго чувства. Теряясь въ самой отдаленной древности своимъ началомъ, религія египтянъ сохранилась до окончательнаго паденія язычества почти въ полной чистотѣ принципа; въ ней до самаго конца ея сохранилось такъ много жизненной силы, что она подѣйствовала на Римъ своею пропагандой, и что фанатизмъ народа часто бралъ верхъ надъ осторожностью и даже надъ страхомъ римскаго имени. Во время Плутарха произошла кровопролитная религіозная война между двумя египетскими городами, обожавшими двухъ различныхъ животныхъ. Подобную же войну, отличавшуюся особенной жестокостью и происшедшую между двумя другими городами, описываетъ Ювеналь. Если сблизить эти два факта съ тою ролью, которую играла Ѡиваида въ исторіи первыхъ христіанскихъ отшельниковъ, природныхъ египтянъ, то будетъ понятно, что не сущность египетской религіи обуславливала собою это пламенное религіозное чувство, а самый характеръ народа, проникнутый мрачной и сдержанной страстностью. Стремленіе къ безконечному, къ мистически-неопредѣленному положило свою печать на египетскую теологію. Тамъ, гдѣ грекъ творитъ образы, тамъ египтянинъ придумываетъ символы; чѣмъ свѣтлѣе, опредѣленнѣе и ярче образъ божества, тѣмъ болѣе онъ удовлетворяетъ греку; чѣмъ туманнѣе, загадочнѣе и рѣзче символъ, тѣмъ болѣе онъ возбуждаетъ благоговѣніе египтянина. Оттого происходитъ пластичный антропоморфизмъ грека и уродливый зооморфизмъ египтянина. Первый привлекалъ къ себѣ каждаго, въ комъ было эстетическое чувство, ласкалъ взоры, смягчалъ душу, но не распалялъ воображенія и не вдохновлялъ вѣрующаго дикой энергіей фанатизма. Второй отталкивалъ отъ себя иностранцевъ, вселялъ въ нихъ ужасъ и отвращеніе или возбуждалъ ихъ смѣхъ; но часто фантастическая обстановка, таинственность, заставлявшая искать за символомъ какого-то высшаго смысла, какого-то божественнаго откровенія, строгость культа, самая странность и рѣз-



кость обрядовъ, все это вмѣстѣ поражало нервы новопривышшаго, сбивало его неустановившуюся критику и превращало насмѣшливаго скептика сначала въ изумленнаго и пассивнаго адепта, а потомъ въ ревностнаго прозелита и пылкаго фанатика.

Система египетскихъ боговъ чрезвычайно сбивчива; имена ихъ сливаются между собою, атрибуты мѣшаются, генеалогія путаются; одно и то-же лицо является мужемъ и женою, отцомъ и сыномъ, производитъ самого себя на свѣтъ и совокупляется съ своимъ произведеніемъ. Причины этой запутанности лежатъ отчасти въ символистикѣ, отчасти въ исторіи множества отдѣльных, мѣстныхъ культовъ, изъ соединенія которыхъ вышла общенародная египетская религія. Разбирать всю эту систему боговъ незачѣмъ. Важенъ общій колоритъ и кромѣ того три личности: Изиды, Озириса и Сераписа, которыхъ культъ былъ особенно силенъ въ Римѣ. Судьба Изиды замѣчательна тѣмъ, что рисуетъ собою отношенія египетскаго мышленія къ греческому. Египтяне воплотили въ Изидѣ женственную, пассивную матерію и противопоставили ее активному, оплодотворяющему, мужскому принципу, Озирису. Личность Изиды не опредѣлена больше ничѣмъ. Египтяне не дали ей никакого частнаго значенія; но стремясь къ символу, стараясь выразить идею вѣшнимъ знакомъ, придали ей изображенію нѣсколько атрибутовъ, которыхъ значеніе такъ темно и толкованіе такъ произвольно, что непосвященный въ ихъ тайны не могъ добраться до ихъ смысла. Греки не могли понять безцвѣтную общность Изиды: стремясь къ индивидуальной опредѣленности, они стали отождествлять Изиду съ тѣми изъ своихъ богинь, на которыхъ она, по ихъ мнѣнію, походила. Матеріалы для сравненія они брали въ атрибутахъ, во вѣшнихъ подробностяхъ міа, въ наружныхъ частностяхъ обряда. Вышло то, что Изиды стала соответствовать Аѳинѣ, Деметрѣ, Персефонѣ, Тефисѣ, Селевѣ, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ она не соответствовала ни одной изъ этихъ личностей, но можетъ быть заключала ихъ въ себѣ, какъ общее и широкое понятіе. Во всей египетской теологіи былъ только одинъ міа, Озирисъ и Изиды, да и тотъ носитъ на себѣ печать греческаго вліянія. Событія этого міа вращаются вокругъ умерщвленія Озириса Тифономъ, и въ этихъ событіяхъ, а равно и въ мистеріяхъ, посвященныхъ ихъ воспитанію, играетъ важную роль половой органъ Озириса. Космическая философа, скрывавшаяся за этимъ рѣзкимъ символомъ, не была понятна ни иностранцамъ, ни египетскому народу, такъ что прочное вліяніе удержали только скандальные обряды, сопровождавшіе собою совершеніе мистерій.

Сераписъ, по мановенію котораго Веспасіанъ испѣлилъ въ Египтѣ слѣпота, появился въ ряду египетскихъ боговъ въ эпоху греческаго влія-

нія, въ первые годы господства Лагидовъ. Въ немъ слились со стороны египтянъ Аписъ, Озирисъ и Ра, а со стороны грековъ Діонисъ, Зевсъ и Аидъ. Этому сліянію содѣйствовало то обстоятельство, что Птоломей Сотеръ, ссылаясь на видѣнный имъ сонъ, приказалъ привести въ Александрію колоссальную статую Синопскаго Зевса. Египетскіе жрецы поняли вѣроятно намѣреніе государя и тотчасъ узнали въ привезенной статуѣ изображеніе египетскаго бога Сераписа, которому по ихъ словамъ поклонялся еще Рамзесъ великій. Пользуясь покровительствомъ властей, обновленный Сераписъ широко раскинулъ по Египту свои святилища и почти совершенно вытѣснилъ Озириса даже изъ Мемфиса.

Въ египетскомъ культѣ заслуживаютъ особеннаго вниманія апофеозы государей; они начались за 1500 лѣтъ до Р. Х., вѣроятно даже раньше, и потомъ были возстановлены въ полной силѣ Птолемеями. Обогащеніе превратилось въ одинъ изъ необходимыхъ обрядовъ, сопровождавшихъ собою воцареніе новаго государя. Какъ только новый Птоломей вступилъ на престолъ, такъ его статуя ставилась въ храмъ; ей приносили жертвы, ее носили на всѣхъ процессіяхъ и обожали не только въ публичныхъ храмахъ, но даже въ частныхъ домахъ и семейныхъ часовняхъ. Если сопоставить съ этимъ фактомъ апофеозы Лизандра, Филиппа, Александра Македонскаго и Димитрія Поліоркета въ Греціи, то не трудно будетъ замѣтить, что въ обогащеніи римскихъ императоровъ не было ничего необыкновеннаго; они отличались отъ своихъ предшественниковъ обширностью поля дѣйствій: ихъ боготворилъ весь образованный міръ, а прежнихъ героевъ—какой нибудь отдѣльный городъ, или, самое большое, одна страна. Апофеоза не была съ ихъ стороны дикимъ проявленіемъ произвола; чаще всего они, позволяя обогащать себя, исполняли только убѣдительную просьбу цѣлыхъ городовъ и сословій. Жреческая каста въ Египтѣ замѣчательна своей замкнутостью и строгимъ іерархическимъ порядкомъ. Греческіе писатели насчитываютъ шесть категорій жрецовъ, и каждая изъ нихъ имѣла строго-разграниченныя права и обязанности, большею частью чисто-формальныя. Обыкновенный образъ жизни этихъ жрецовъ былъ соединенъ со множествомъ мелочныхъ и обременительныхъ ограниченій и предписаній, которыя надо было исполнять во всей точности. Они стригли себѣ брови и волосы на всемъ тѣлѣ, не носили шерстяной одежды, не ѣли свиного мяса, бобовъ, пшеничнаго и ячменнаго хлѣба и рыбы, должны были часто поститься и совершать четыре раза въ сутки омовеніе. Имъ было запрещено многоженство, дозволенное остальнымъ египтянамъ. Большею части этихъ учреждений отъ души чувствуетъ Плутархъ, и съ нѣкоторыми изъ нихъ, именно съ тѣми, въ основаніи которыхъ лежитъ



нравственная идея, сообразовался Аполлоній Тианскій.

Египтяне вѣрили въ загробную жизнь. Добрые люди, по ихъ понятіямъ, жили вмѣстѣ съ богами и часто посѣщали свою гробницу и входили въ набальзамированное свое тѣло. Злые терпѣли казни, и души ихъ вселялись въ тѣла нечистыхъ животныхъ. Душа, по мнѣнію египтянъ, была тонкая матерія, недоступная нашимъ чувствамъ и принужденная послѣ смерти тѣла очищаться отъ соприкосновенія съ нимъ и вообще съ грубымъ матеріальнымъ міромъ. Это представленіе матеріи, какъ нечистаго и злого принципа, составляетъ основаніе древняго аскетизма, развившагося сначала въ Индіи и въ Египтѣ и потомъ сообщившагося Риму и Греціи черезъ Филона Александрійскаго и отчасти черезъ Аполлонія Тианскаго.

Вотъ характеристика египетскихъ вѣрованій. Эти вѣрованія сопровождаемыя многочисленными обрядами и мистеріями, сохранились въ полной неприкосновенности въ то время, когда Египетъ сдѣлался римской провинціей. Египетъ въ это время уже вынесъ на себѣ, кромѣ давнишняго, 500-лѣтняго ига гиксовъ, два господства, персидское и греческое, и ни огнепоклонничество, ни антропоморфизмъ не проникли въ его замкнутую религію. А между тѣмъ у грековъ были свои храмы въ самомъ Египтѣ: въ Саисѣ стоялъ храмъ Аѳины, въ Тентирѣ храмъ Афродиты, въ Гермутисѣ храмы Зевса и Аполлона.

Есть историческіе признаки, по которымъ можно навѣрное сказать, что во времена Тацита поклоненіе Изидѣ было распространено въ Римѣ. На это указываетъ, между прочими, и Светоній который рассказываетъ слѣдующее объ императорѣ Отонѣ: Отонъ былъ небольшого роста, съ некрасивыми, кривыми ногами, но при томъ опрятенъ, почти какъ женщина; онъ ошипывалъ себѣ волосы на всемъ тѣлѣ; такъ какъ у него были очень рѣдки волосы, онъ посилъ на головѣ накладку, которая была такъ хорошо придѣлана, что никто не могъ этого различить; ежедневно онъ брилъ себѣ все лицо и прикладывалъ къ нему мокрый хлѣбъ; онъ началъ дѣлать это при появленіи перваго юношескаго пуха, такъ что никогда не носилъ бороды. Часто онъ отправлялъ богослуженіе Изидѣ въ льняной жреческой одеждѣ.—Частыя омовенія, на которыя указываетъ чистоплотность Отона, ошипываніе волосъ на тѣлѣ, бритье бороды и льняная одежда—всѣ эти подробности прямо указываютъ въ немъ ревностнаго служителя Изиды. Противорѣчить этому парикъ, который онъ носилъ на головѣ, но въ этомъ уклоненіи можно, мнѣ кажется, видѣть уступку, сдѣланную внѣшнему благообразію; такая уступка была почти необходима со стороны придворнаго, сдѣлавшагося подъ конецъ жизни императоромъ. Важно при этомъ замѣтить, что самъ Отонъ не былъ въ

Африкѣ, и почти всю свою жизнь провелъ въ Италіи и въ Лузитаніи, куда отправилъ его Неронъ, чтобы владѣть женою его Поппею Сабіною. Отецъ Отона былъ проконсуломъ въ Африкѣ; стало быть, Отонъ познакомился съ культомъ Изиды или непосредственно въ самомъ Римѣ, или черезъ своего отца, бывшаго въ сосѣдствѣ съ Египтомъ. Въ томъ и другомъ случаѣ это доказываетъ силу и распространенность культа Изиды. Въ жизнеописаніи Домиціана Светоній рассказываетъ слѣдующее: «Во время Вителлиевской войны онъ скрылся въ Капитолій съ дядею Сабинномъ и съ частью войска, но когда ворвались враги и загорѣлся храмъ, онъ провелъ ночь, скрывшись за оградой; на утро онъ, переодѣтый въ жреца Изиды, вмѣшался въ толпу людей, приносившихъ суетвѣрныя жертвы, и переправившись черезъ Тибръ, къ матери своего товарища, съ однимъ спутникомъ, скрылся такъ хорошо, что его не могли найти сыщики, слѣдовавшіе за нимъ по пятамъ».—Этотъ фактъ, что въ Римѣ можно было скрыться въ костюмѣ жреца Изиды, доказываетъ наглядно, что жрецовъ этихъ было очень много, и что появленіе на улицѣ ихъ оригинальнаго наряда уже никому не бросалось въ глаза. Въ первомъ вѣкѣ до Р. Хр. правительство три раза обращало свое вниманіе на культъ Изиды и Сераписа. Въ 52 г. до Р. Х. по указу сената всѣ храмы Изиды и Сераписа были разрушены, но пришлось сдѣлать уступку общественному мнѣнію, покровительствовавшему этому культу, и поклоненіе было разрѣшено, но только внѣ городской черты. Въ 46 году, аруспиціи приказали снова разрушить храмы Изиды и Сераписа; стало быть, втеченіи шести лѣтъ культъ снова усилился до такой степени, что снова возбудилъ опасеніе въ приверженцахъ туземной святыни. Въ 42 году правительство уступило наконецъ требованію массы и опредѣлило построить храмъ Изидѣ и Серапису. При Тиверіѣ указъ сената выгналъ изъ Италіи египетскій и іудейскій культъ, но это была одна изъ многихъ безплодныхъ попытокъ возстановить чистоту государственной религіи. Толпу народа привлекали въ храмъ Изиды во 1-ыхъ молва о чудотворныхъ исцѣленіяхъ, совершавшихся въ ея храмѣ, во 2-хъ, странность фантастическихъ обрядовъ, дававшихъ богатую пищу суетвѣрію. Космическаго значенія Изиды, какъ олицетворенной матеріи, народъ не понималъ, и ему до него не было дѣла. Онъ называлъ ее *Изидою исцѣляющею* (Isis salutaris), приписывалъ ей изобрѣтеніе лекарствъ и вѣровалъ въ то, что она является больнымъ во снѣ и подаетъ имъ спасительные совѣты. Греческіе и римскіе догматики видѣли въ ней личности почти всѣхъ своихъ богинь и потому также высоко ставили ея значеніе. Развившаяся въ первые два вѣка христіанской эры потребность сливать между собой личности божествъ нашла себѣ обширное



поприще въ туманныхъ и неопредѣленныхъ фигурахъ египетскихъ боговъ. Сераписъ сосредоточилъ въ себѣ Зевса, Аполлона и Анда. Представленіе о немъ подходитъ близко къ моноистическому воззрѣнію. Онъ, по словамъ Аристиды, повелѣваетъ вѣтрами, измѣняетъ вкусъ морской воды, воскрешаетъ мертвыхъ, показываетъ людямъ солнечный свѣтъ, заботится о человѣчествѣ и, управляя всею его жизнью, раздаетъ людямъ мудрость, богатства и все мірскія блага. Народъ не заботился объ обширности власти Сераписа и также чтить его преимущественно за исцѣленія. Жрецы пользовались своими медицинскими свѣдѣніями и лечили проходящихъ, объявляя имъ, что богъ открываетъ имъ врачевныя средства. Суевѣріе тогдашнихъ римлянъ было очень сильно; они довѣрялись слѣпо волѣ боговъ, которыхъ выбирали себѣ въ покровители и, не разсуждая и не задумываясь, слѣдовали наставленіямъ жрецовъ, черезъ которыхъ они узнавали эту волю. Римская матрона Паулина, замѣчательная своею красотою и горячо любившая своего мужа, при Тиверіѣ сдѣлалась жертвою своей довѣрчивости. Римскій всадникъ Децій Мундъ былъ влюбленъ въ нее и напрасно добивался обладанія ею. Онъ узналъ, что Паулина ревностно поклоняется Изидѣ и очень уважаетъ ея жрецовъ. При помощи рабыни эти жрецы были подкуплены и объявили Паулинѣ, что богъ Анубисъ назначилъ ей свиданіе въ храмѣ Изиды. Паулина явилась въ назначенный часъ и Децій Мундъ, занявши мѣсто Анубиса, достигъ своей цѣли. Дѣло тѣмъ бы и кончилось, потому что матрона не подозрѣвала обмана, но Децій Мундъ считъ нужнымъ похвастаться своей побѣдой самой Паулинѣ. Оскорбленная, какъ женщина, обманутая въ своей простодушной вѣрѣ, Паулина въ пылу негодованія рассказала мужу всю интригу. Мужъ пожаловался императору, и Тиверій выгналъ Мунда изъ Рима, распялъ жрецовъ и разорилъ храмъ Изиды. Это романическое приключеніе очень характеристично. Все поведение Паулины выставляетъ въ яркомъ свѣтѣ благородство ея характера. Измѣнивъ невольно своему мужу, она прямо открываетъ ему истину, и благородное негодованіе побѣждаетъ въ ней ложный стыдъ. Если въ такой женщинѣ чувство собственнаго достоинства и любви къ мужу было побѣждено совѣтомъ жреца и приказаніемъ бога Анубиса, то, стало-быть, вѣра была очень сильна. Когда лучшіе люди своего времени душатъ въ себѣ нравственное чувство во имя буквы жреческаго приговора, то, мнѣ кажется, это значить, что суевѣріе дошло до тѣхъ предѣловъ, какихъ оно достигало въ средневѣковыхъ убійцахъ и адептахъ первыхъ іезуитовъ. Безнравственное вліяніе культа Изиды сознавали даже поэты, вовсе неотличающіеся строгимъ пуризмомъ. «Изида сама любовница Зевса, говоритъ Овидій, и дѣлаетъ другихъ любовницами».

## IV.

Кромѣ египетскаго культа, въ Римѣ было сильно служеніе фригійскому божеству, Цибелѣ, извѣстной подъ именемъ матери боговъ. Догматическая часть этихъ малоазійскихъ религій мало извѣстна. Мы знаемъ изъ греческихъ писателей о дикомъ, изступленномъ служеніи, въ которомъ жрецы рѣзали себя ножами и собственноручно осклапливали себя, послѣ чего носили въ процессіи кровавый отрѣзанный членъ. — Хотя трудно предположить заимствование этого обряда изъ фаллическихъ мистерій Озириса, однако правдоподобно, что въ томъ и другомъ случаѣ половой органъ является символомъ мужскаго оплодотворяющаго принципа. Все языческія религіи вышли изъ олицетворенія силъ природы, а воззрѣнія первобытнаго человѣка на природу должны были у различныхъ племенъ представлять между собою сильное сходство. Мѣстныя климатическія условія имѣли вліяніе не столько на философскую, сколько на поэтическую часть религій; догматы о вѣчности матеріи и объ отсутствіи творца вселенной проходятъ почти черезъ все религіи индоевропейскихъ народовъ, и междутѣмъ насъ поражаетъ разнообразіе этихъ религій, потому что фантазія каждаго народа облекала по-своему общій, отвлеченный догматъ. Страстный и подвижный характеръ азіатскихъ народовъ породилъ тѣ эксцентричности и дикое изступленіе, до котораго, при всемъ сходствѣ догмата, никогда не могъ бы дойти мрачный и сосредоточенный въ себѣ египтянинъ. Отличительный характеръ малоазійскаго богослуженія заключается или въ страстномъ умерщвленіи плоти, или въ такомъ же страстномъ и необузданномъ боготвореніи чувственности. Вѣроятно, то и другое происходитъ отъ различно-воспринятаго олицетворенія и обожанія стихійнаго міра. Миѣ, лежащій въ основаніи этихъ культовъ, распространился посредствомъ мистерій по всемъ островамъ архипелага, проникъ въ Грецію и во Фракію, подчиняясь разнымъ видоизмѣненіямъ, зависящимъ отъ характера воспринимавшихъ его племенъ. Греческія вакханаліи, въ которыхъ давалось мѣсто самому бѣшенному разгулу, никогда не доводили участвовавшихъ до тѣхъ безобразныхъ порывовъ религіознаго бѣшенства, до которыхъ доходили малоазійскіе *галлы* или осклапленные жрецы великой фригійской богини, а между тѣмъ вакханаліи и все поклоненіе Діониса тѣсно связаны съ фригійскимъ богослуженіемъ и представляютъ несомнѣнные слѣды восточнаго происхожденія. — Главныя черты этого восточнаго міѣа заключаются въ томъ, что рядомъ съ великою богинею, матерью всего сущаго, стоитъ богъ, связанный съ нею какъ любовникъ, супругъ или сынъ, и подверженный страданію и смерти, за которыми слѣдуетъ радостное оживленіе. Къ этому миѣу подало вѣ-



роятно поводъ наблюденіе надъ явленіями природы, въ которыхъ смерть и жизнь постоянно смѣняють другъ друга и даже выходятъ другъ изъ друга. Имена этихъ двухъ божествъ измѣняются въ различныхъ мѣстностяхъ. Два наиболѣе распространенныя видоизмѣненія этого культа составляютъ, 1) обожаніе Цибелы (матери боговъ) и Атиса, 2) поклоненіе Астартѣ (азиатской Афродитѣ) и Адонису. Въ первомъ преобладаетъ элементъ дикой грусти о смерти Атиса, во второмъ элементъ изступленной радости по случаю оживленія Адониса. На этомъ основаніи въ первомъ богослуженіи господствуетъ мрачный и кровавый характеръ, выражающійся въ насильственномъ умерщвленіи плоти, во-второмъ проявляется, напротивъ того, дикій разгулъ чувственности, къ которому былъ такъ способенъ огненный темпераментъ азіатцевъ. Замѣчательно, что эти два разнородные по внѣшнимъ проявленіямъ культа сознавали свое исконное родство. Есть одна древняя духовная пѣсня, которую приводитъ Ипполитъ, сближающая Атиса съ ассирійскимъ Адонисомъ, съ Озирисомъ египтянъ и съ греческимъ Діонисомъ-Загревсомъ. Культъ Астарты былъ распространенъ въ финикійскомъ поморьѣ; то же обожаніе женскаго производительнаго начала подъ именемъ Милитты господствовало въ Вавилоніи. Богослуженіе той и другой богини отличалось любострастнымъ характеромъ. Въ храмахъ Астарты и Милитты и въ прилежащихъ къ нимъ рощахъ сидѣли туземныя женщины, пришедшія исполнить религіозный обрядъ, т. е. отдаться кому нибудь изъ иностранцевъ, посѣщающихъ богослуженіе богини. Многія дѣвушки и женщины посвящали себя служенію Астарты, дѣлались жрицами, и въ этомъ званіи почти ежедневно отдавались посѣтителямъ. По старинному обычаю, дѣвушки, выходя замужъ, должны были одинъ разъ принести себя въ жертву богинѣ; впослѣдствіи, взамѣнъ этого обычая, онѣ должны были въ честь богини обрѣзывать волосы и отдавать ихъ въ храмъ. Измѣненные и смягченные эленизмомъ, эти дикіе обряды въ европейской Греціи породили вакханаліи, въ которыхъ, какъ я уже замѣтилъ выше, не было ни фанатическаго умерщвленія мужскаго плодородія, ни систематически-устроеннаго разврата. Эти греческія празднества отличались только веселымъ разгуломъ; если этотъ разгулъ подавалъ часто поводъ къ разврату, къ дракамъ и даже къ убійствамъ, то это было естественнымъ слѣдствіемъ пьянства и не ставилось въ особенную заслугу участвовавшимъ. Вакханаліи перешли въ Италію въ 186 г. до Р. Х. и вскорѣ приняли тамъ мрачный, таинственный и преступный характеръ. Развратъ, человѣческія жертвы и приготовленіе ядовъ составляли занятія посвященныхъ; собранія ихъ происходили по ночамъ; въ нихъ участвовало до 7000 человѣкъ, слѣдовательно они не могли укрыться отъ правительства и скоро возбудили

его опасенія. Здѣсь, какъ и въ большей части случаевъ, сенатъ заботился преимущественно не о чистотѣ вѣрованій, а о нравственности народа, и вакханаліи были запрещены, но уже зло успѣло пустить такіе глубокіе корни, что въ одинъ изъ послѣдующихъ годовъ преторъ осудилъ на казнь болѣе 3000 человѣкъ, уличенныхъ въ отравленіи и въ приготовленіи яда. — Поклоненіе матери боговъ началось еще до имперіи, во время второй пунической войны, когда римляне по приказанію дельфійскаго оракула перевезли богиню изъ Пессинунта въ Римъ. При переправѣ богини черезъ Тибръ произошло чудо, о которомъ упоминаетъ Светоній и которое вѣроятно сразу хорошо отрекомендовало богиню новымъ ея почитателямъ. Корабль, на которомъ везли святыню, сѣлъ на мель въ Тибрѣ, и вся процессія остановилась. Къ берегу подошла тогда римская дама Клавдія, принадлежавшая къ тому роду, изъ котораго потомъ произошелъ Тиверій, и громко произнесла молитву, прося богиню слѣдовать за нею, если она всегда сохраняла женскую стыдливость. Корабль пришелъ въ движеніе, богиню приняли съ восторгомъ, и въ честь ея были установлены особыя игры, Megalesia, начинавшіяся 4-го апрѣля и продолжавшіяся семь дней. На этихъ играхъ представляли весь мифъ Цибелы и Атиса; оскотленіе Атиса, его смерть и возвращеніе къ жизни составляли главный интересъ дѣйствія. По улицамъ города ходили оскотленные *галлы*, неся передъ собою окровавленный ножъ и собирая подаеніе; къ ихъ процессіи присоединялись даже, по свидѣтельству Лукана, квиндецимвиры, хранители сивилинскихъ книгъ. Нѣтъ данныхъ, позволяющихъ заключить, чтобъ примѣръ самооскотленія находилъ въ природныхъ римлянахъ усердныхъ подражателей; кажется, *галлы* постоянно были природные Малоазійцы, иначе писатели, обращавшіе свое вниманіе на иностранныя культы, не преминули бы отмѣтить этой черты ихъ вліянія. Но они говорятъ только о развратѣ, совершавшемся въ храмахъ Цибелы, и допускавшемся въ угодность богинѣ, и о грубомъ шарлатанствѣ *галловъ*, неумѣвшихъ даже прилично драпировать свое умственное и нравственное ничтожество. Осмѣивая въ своей VI сатирѣ суевѣріе знатныхъ римлянокъ, Ювеналь упоминаетъ и о галлахъ: «Вотъ, говоритъ онъ, входитъ къ ней толпа оскотленныхъ жрецовъ фригійской матери боговъ, и предводитель ихъ громогласно возвѣщаетъ грозное приближеніе суроваго сентября, приводящаго за собою болѣзни. Чтобы оградить себя отъ зла, нужно очиститься, пожертвовавши сто яицъ; сверхъ того нужно отдать ему столько платя, чтобы на цѣлый годъ могли быть отвращены всѣ бѣдствія».

У.

Посмотримъ теперь на греческій міръ, на происхожденіе и идею олимпійскихъ боговъ, и на



особенности эллинизма въ сравненіи съ элементами римскимъ, египетскимъ и азіатскимъ. Олимпийскіе боги не были и не могли быть первобытными богами; ихъ существованіе обуславливается такой высокой степенью эстетическаго развитія, какая не дается сразу даже самому даровитому народу. Эти боги, созданные изъ разнородныхъ элементовъ творческой силою народной поэзіи, наполнили собою міросозерцаніе грека, воплотили въ себѣ всю идею древности, но не вытѣснили въ богослуженіи тѣхъ первобытныхъ боговъ и богинь, которыя были связаны съ извѣстными мѣстностями и народностями и которые послужили матеріаломъ для образованія идеальныхъ, общегреческихъ мифическихъ существъ. Варонъ принимаетъ три рода теологіи: теологію поэтическую, — философскую и — гражданскую. Дѣйствительно, мѣстные греческія преданія и весь характеръ мѣстныхъ богослуженій рисуютъ намъ не тѣхъ боговъ, какихъ мы знаемъ по Гомеру, Гезіоду и трагикамъ; жрецы и поэты, расходящіеся между собою въ воззрѣніи на Олимпъ, расходятся еще рѣзче съ философами, отыскивающими физическое или историческое основаніе и значеніе мифа, и нежелающими закрывать отвлеченную истину ни преданіями сѣдой древности, ни блестящими созданіями творческой фантазіи.

Вслѣдствіе разнородныхъ историческихъ переворотовъ, вслѣдствіе смѣшенія культовъ и броженія народностей, образовался на малоазійскомъ поморьѣ и на прилежащихъ роскошныхъ островахъ народный историческій и религіозный эпосъ, какого не создавала ни одна народность, ни одна цивилизація. Что этотъ эпосъ возникалъ по кускамъ, вѣроятно въ теченіи цѣлыхъ столѣтій, это можно было бы себѣ представить *a priori*, если бы даже различныя пѣсни Иліады и Одиссеи не носили на себѣ слѣдовъ различнаго языка. Для насъ цѣли важно замѣтить, что гомеровскій эпосъ представляетъ, какъ мнѣ кажется, первую и единственную въ своемъ родѣ попытку обоготворить не природу, а человѣка.

Полный антропоморфизмъ Гомера, единственный въ своемъ родѣ, тѣсно связанъ съ его вполне эпическимъ характеромъ. *Только* рассказывая, не комментируя самого себя, не анализируя теченія собственныхъ мыслей, народный поэтъ не могъ отдѣлать идею отъ образа и заставить своего слушателя видѣть за его словами какой-то скрытый и высшій смыслъ; словомъ, онъ не могъ перейти изъ области чистой поэзіи въ область символистики, которая достигла своего апогея въ египетской теологіи, отъ которой не вполне свободна даже поэзія Гезіода. Гомеръ имѣетъ дѣло съ лицами, съ опредѣленными фигурами; онъ знаетъ личный характеръ Зевса, Посейдона, Аѳины, Аполлона и рисуетъ этотъ характеръ, нисколько не приводя его въ зависимость отъ космологическаго значенія каждаго изъ этихъ бо-

жествъ. Стихійная природа существуетъ сама по себѣ и, можетъ быть, (хотя нигдѣ у Гомера ясно не выражена эта мысль) ея силы и законы, которыхъ вліянію такъ безотчетно поддается воображеніе дикаря, дали поводъ къ созданію безличной личности, судьбы, стоящей выше Зевса и боговъ, но непревратившейся еще у Гомера въ ту непреклонную и жестокую *необходимость*, которая у трагиковъ тираннически опредѣляетъ каждый шагъ и поступокъ человѣка, и которой Геродотъ также безапелляціонно подчиняетъ личности безсмертныхъ. Отношеніе боговъ къ отдѣльнымъ стихіямъ природы состоитъ въ томъ, что эти стихіи имъ подчинены въ извѣстныхъ предѣлахъ; они ими управляютъ, но никогда и не пытаются измѣнить ихъ природу. Надъ бездушною стихіей стоитъ обыкновенно громадная по своему размѣру человѣческая фигура, у которой въ рукахъ достаточно силы, чтобы дѣйствовать моремъ, вѣтромъ или облаками такъ, какъ обыкновенный человѣкъ сталъ бы дѣйствовать палкой, копьемъ, или вообще оружіемъ, т. е. въ пользу любимой личности и въ ущербъ врагу или обидчику. Эта мысль находитъ себѣ достаточно точное подтвержденіе въ разсказѣ объ Аяксѣ и Посейдонѣ. Воля этихъ громадныхъ личностей, ихъ наклонности и характеръ нисколько не связаны свойствами тѣхъ стихій, которыми они управляютъ. Перемены времени года не имѣютъ никакого вліянія на фізіономію гомеровскаго міра боговъ. Они любятъ и ненавидятъ, враждуютъ и прощаютъ, ссорятся и мирятся какъ люди, и нельзя даже сказать, чтобы ихъ чувства и страсти были сильнѣе чувствъ и страстей тѣхъ смертныхъ эпическихъ личностей, которыя выведены вмѣстѣ съ ними. Богъ въ порывѣ гнѣва страшнѣе человѣка потому же самому, почему силачъ въ подобную минуту страшнѣе раздосадованнаго ребенка. Онъ можетъ раздавить дерзкаго врага, не потому что въ немъ выше возмущенное чувство, а потому, что руки больше и крѣпче. Когда Діомедъ ранитъ Ареса, тотъ падаетъ и закрываетъ собою нѣсколько десятинъ, кричитъ такъ, какъ 10,000 воиновъ, и между тѣмъ въ послѣдствіи не мститъ Діомеду, и съ излеченіемъ раны забываетъ о нанесенной ему обидѣ. Если Посейдонъ мстителнѣе Ареса, то онъ доказываетъ своими поступками въ отношеніи къ Аяксу и къ Одиссею, то это черта характера, а не родовое свойство бога. Можно сказать вообще, что въ олимпійцахъ увеличенъ только масштабъ тѣла; духъ остается не только съ тѣми же несовершенствами какъ у обыкновеннаго человѣка, но даже его отдѣльныя свойства и способности берутся въ томъ же размѣрѣ. Боги не только способны на жестокость, на кровавое насиліе, на вспышку дикой страсти, но даже на мелкую гадость и на разсчитанное мошенничество. Зевсъ, чтобы втянуть грековъ въ бѣду, посылаетъ Агамемнону ложное знаменіе и убѣждаетъ его вступить въ



сраженіе, общія побѣды. Паллада Афина поступаетъ еще безчестнѣе, и ей въ этомъ поступкѣ вполне сочувствуетъ Гера. Богиня мудрости совѣтуетъ ликійцу Пандару нарушить перемиріе, заключенное съ греками и вопреки данной клятвѣ пустить стрѣлу въ Менелая. Это дѣлается съ тою цѣлью, чтобы повредить троянамъ; Гера и Паллада придумываютъ планъ этой интриги, а Зевесъ, хранитель клятвы, къ которому потомъ обращается Агамемнонъ, прося защиты и наказанія клятвопреступниковъ, даетъ свое согласіе послѣ нѣкотораго раздумья. Раздумье возбуждается въ немъ не отвращеніемъ къ низкому поступку, а расположеніемъ къ троянамъ, которыхъ онъ однако, какъ хорошій семьянинъ, приноситъ въ жертву прихоти супруги. Когда Главкъ мѣняется оружіемъ съ Діомидомъ, Зевесъ обманываетъ Главка, такъ что тотъ за мѣдное вооруженіе отдаетъ богатое золотое. Эти же самые боги являются въ такомъ величій силы и пластичной красоты, что, вдохновленный Гомеромъ, Фидій создалъ свою великую статую Зевса олимпійскаго.

И тутъ нѣтъ никакого противорѣчія. Дѣло въ томъ, что грекъ боготворилъ существующій порядокъ вещей, и въ существующемъ порядкѣ вещей то, что казалось ему всего изящнѣе, человѣка. Но понятіе *человѣкъ*, изящный образъ его не складывался изъ разныхъ великихъ качествъ и совершенствъ; онъ создавался изъ тѣхъ матеріаловъ, какіе были въ наличности, и потому всегда былъ полнымъ, вѣрнымъ и живымъ отраженіемъ эпохи. Если мыслитель, подобный Аристотелю, дѣлалъ своего идеальнаго гражданина на чисто-греческій образецъ, то тѣмъ болѣе Гомеръ, въ которомъ воплощается отсутствіе рефлексіи, долженъ представить и подъ Троей, и на Олимпѣ только такія личности, какія вырабатывалъ героически-патріархальный бытъ. Боготворя дѣйствительность, не выходя за ея предѣлы, гомеровскій эпосъ не дѣлаетъ никакого выбора между дурными и хорошими сторонами дѣйствительности; все, что есть, и все, какъ есть, переносится на небо и на Олимпъ, облекается въ тѣла, цвѣтущія силою, здоровьемъ и вѣчно юною красотою, и живетъ припѣваячи, не задавая себѣ никакихъ нравственныхъ задачъ, не отрѣшаясь отъ мелкихъ волненій, и внося всюду живость страсти, энергію и полноту жизненной силы, свойственную молодому человѣку и молодому народу. Это любовное, страстное, и спокойное въ своей страстности, сліяніе съ неодушевленной и одушевленной природою, эта любовь къ жизни и охота пожить и насладиться проникаетъ собою міросозерцаніе гомеровскаго грека. Смерть есть страшное зло въ глазахъ эллина; за могилой онъ признаетъ какое-то существованіе, но оно ему противно; ему нужны тѣло, веселый пиръ, полныя чаши вина, красивая женщина, пѣсни уличнаго пѣвца, а порою шумъ и тревога лагерной жизни, отвага битвы, побѣдные клики храбрыхъ

товарищей и богатая добыча; безъ этого нѣтъ жизни, а безъ жизни нѣтъ ему и блаженства. Въ XI-й книгѣ «Одиссеи» тѣнь Ахилла жалуется Одиссею на неудовлетворительность загробнаго существованія: «лучше, говоритъ онъ, быть здѣсь на землѣ работникомъ у послѣдняго бѣдняка, нежели тамъ—царемъ надъ всѣми тѣнями». На насъ обаятельно дѣйствуетъ Гомеръ не глубиною, не вѣрностью міросозерцанія, а удивительной свѣжестью и искренностью. Насъ радуетъ въ юномъ народѣ эта кипучая полнота жизни, эта роскошь силы, какъ радуетъ въ здоровомъ ребенкѣ веселость и рѣзвость. Стоитъ сравнить впечатлѣніе, производимое чтеніемъ «Иліады» съ тѣмъ, которое производитъ «Энеида», чтобы убѣдиться въ безконечномъ различіи, заключающемся между природою и самымъ искуснымъ подражаніемъ.

Насъ возмущаетъ то, что Эней обманулъ Дидону и что Virgilій его защищаетъ и оправдываетъ, потому что мы видимъ въ поэтѣ развитого и образованнаго человѣка и требуемъ отъ него большей сознательности, строгости и чистоты убѣжденій. У Гомера на каждомъ шагѣ плутуютъ и боги и люди, и ни одинъ благоразумный человѣкъ не будетъ на нихъ за то въ претензіи. Они дѣлаютъ это такъ простоудушно, съ такимъ наивнымъ и твердымъ убѣжденіемъ въ собственной правотѣ, что ихъ поступки нельзя находить безнравственными. Афродита разрушаетъ семейное счастье Менелая, сводитъ между собою любовниковъ, въ чемъ упрекаетъ ее сама Елена, и между тѣмъ вездѣ сохраняетъ во всемъ эпосѣ всю женственную прелесть слабого, прекраснаго, нѣжнаго и любящаго существа.—При своемъ свѣтломъ любовномъ взглядѣ на жизнь, грекъ не могъ себѣ составить отдѣльнаго понятія о злѣ; у него нѣтъ существа, соответствующаго египетскому Тифону, персидскому Ариману или еврейскому Сатанѣ. Не видя нигдѣ въ природѣ абсолютнаго зла, грекъ не создалъ себѣ этого понятія и въ отвлеченности. Этому содѣйствовало, можетъ быть, и географическое положеніе Греціи; не было ни мороза, ни губительнаго зноя; ни безбрежное море, ни обширная, песчаная пустыня не могли представить живому воображенію человѣка, живущаго одною жизнью съ природою, воплощенія враждебнаго начала смерти и разрушенія. Эта же причина содѣйствовала, можетъ быть, освобожденію грека отъ обожанія природы. Понятно страстное благоговѣніе скандинава передъ Бальдуромъ: онъ видитъ въ немъ солнце, а солнце грѣетъ его, свѣтитъ въ его темную хижину, вызываетъ растительность изъ почвы и сгоняетъ съ нея снѣжные сугробы. Все это почти въ диковину жителю далекаго сѣвера; онъ дорожитъ какъ днями своего короткаго лѣта, такъ и той видимой причиною, отъ которой происходитъ свѣтъ и теплота, жизнь и растительность. На томъ же самомъ побужденіи



основано поклоненіе египтянъ рѣкѣ Нилу, которую ставили наравнѣ съ *Ра*, и которой приносили жертвы до временъ Θεодосія. Ничего подобного не могло быть въ Греціи. Теплоты и сырости было довольно, земля была плодородна, растительность свѣжа и сильна; всѣ силы природы дѣйствовали умѣренно и гармонично, такъ что ни одна изъ нихъ не явилась исключительнымъ благодѣтелемъ страны; притомъ, для того чтобы воспользоваться благопріятнымъ положеніемъ и плодородіемъ почвы, человѣку необходимо было трудиться; собственный трудъ явился для него такимъ образомъ главнымъ двигателемъ и послѣднею причиною благосостоянія, такъ что внѣшняя природа была только обстановкою, полемъ дѣйствія, а героемъ выступала человѣческая личность. Она преодолевала препятствія, увеличивала удобства жизни, истребляла все вредное, чудовищное и нечистое. Гераклъ, Тезей, Кадмъ, Язонъ, Кекропъ являются такими личностями въ греческомъ миическомъ эпосѣ. Силы природы, съ которыми они борются, большею частью слѣпы и только безсознательно, по своей инерціи, составляютъ имъ препятствія. За и противъ этихъ героевъ дѣйствуютъ боги по чисто-личнымъ и человѣческимъ, а не стихійнымъ побужденіямъ. Отъ этихъ боговъ происходило и добро, и зло, какъ оно можетъ произойти и отъ любого человѣка. Происхожденіе какой нибудь язвы, наводненія, голода или войны никогда не считалось проявленіемъ злого начала, или мрачной стороны какого-нибудь бога; это объяснялось гораздо проще. Аполлонъ разсердился на грековъ за то, что они не отдали Хризиду по просьбѣ ея отца, Хризеса, жреца Аполлона. Аполлонъ сильный богъ, и у него въ колчанѣ множество стрѣлъ, навѣрное попадающихъ въ цѣль; онъ подходитъ къ греческому лагерю и начинаетъ стрѣлять; при каждомъ выстрѣлѣ умираетъ человѣкъ, и это продолжается девять дней; на десятый его умилюютъ, и повальная болѣзнь прекращается. Обыкновенный человѣкъ въ гнѣвномъ настроеніи могъ бы застрѣлить одного или двухъ, — Аполлонъ застрѣливаетъ сотни людей; вотъ и вся разница, состоящая опять-таки только во внѣшнемъ масштабѣ. Аполлонъ не превращается черезъ это въ глазахъ грековъ въ генія зла; сдѣланное имъ зло приписывается его настроенію и проходитъ вмѣстѣ съ нимъ. Смѣну добрыхъ и злыхъ движеній въ душѣ человѣка грекъ считаетъ не только естественнымъ, но и нормальнымъ явленіемъ. Это доказывается тѣмъ, что онъ переноситъ ея на свой Олимпъ.

Итакъ, антропоморфизмъ, обоготвореніе дѣйствительности и отсутствіе абсолютныхъ началъ добра и зла составляютъ главные, тѣсно-связанные между собою черты греческаго міросозерцанія въ гомеровскомъ эпосѣ. Эти черты имѣли огромное вліяніе на всю греческую жизнь. Обоготворя дѣйствительность, грекъ оправдывалъ

всякое уклоненіе отъ разумности, всякую безнравственность, если только она вошла въ обычай и принята въ обществѣ. При такомъ взглядѣ на вещи голый развратъ и грязное преступленіе превращаются въ естественныя проявленія чело-вѣческой личности и получаютъ свое освященіе путемъ религіи. Они существуютъ, стало быть, они имѣютъ право существовать — и вотъ являются Афродита, покровительница блудницъ, и Гермесъ, покровитель обманщиковъ и воровъ.

То, что въ молодомъ народѣ обличало только свѣтлый и веселый взглядъ на жизнь, то въ народѣ уже развившемся превратилось въ нравственную терпимость, граничащую съ полною безнравственностью. Грекъ героической эпохи могъ поклоняться богу, въ которомъ онъ видѣлъ отраженіе своихъ свойствъ и влеченій; грекъ временъ Перикла долженъ былъ или ничему не поклоняться, или поклоняться идеалу болѣе высокому, чтобы въ томъ и въ другомъ случаѣ относиться критически къ себѣ и къ своимъ психическимъ отправлениямъ. По двумъ указаннымъ путямъ пошли только философы; одни отвергли всякое вѣрованіе, другіе очистили для себя существующую религію; народъ смотрѣлъ довольно непріязненно на тѣхъ и на другихъ, поклонялся прежнимъ идоламъ и видѣлъ въ богахъ то, что видѣлъ въ нихъ Гомеръ.

Всѣ философы древности возстаютъ противъ вліянія поэтовъ на народную нравственность. Ксенофанъ говоритъ: «Гомеръ и Гезіодъ приложили къ богамъ все, что дурно и позорно въ человѣкѣ: воровство, прелюбодѣяніе и обманы». Гераклитъ эфесскій говоритъ, что Гомера слѣдовало бы выгнать изъ Олимпійскихъ игръ и на-давать ему пощечинъ. «Преимущественно, пишетъ Платонъ во II-й книгѣ своей «Республики», заслуживаетъ порицаніе великая ложь Гомера и Гезіода, потому что всего хуже лжетъ тотъ, кто въ своемъ изложеніи представляетъ превратно природу боговъ и героевъ. Его можно сравнить съ живописцемъ, который, желая срисовать предметъ, произвелъ нѣчто, вовсе непохожее».

Къ этимъ цитатамъ можно было-бы прибавить еще много другихъ, и уже самое число ихъ и рѣзкость нападокъ показываетъ, какъ сильно было вліяніе поэтовъ. Діонисій галикарнассскій коротко и ясно характеризуетъ положеніе массы въ отношеніи къ религіи: «Я, правда, знаю, говоритъ онъ, что многіе извиняютъ греческіе безнравственные мифы, напоминая о ихъ аллегорическомъ значеніи; я это знаю хорошо, но тѣмъ не менѣе обращаюсь съ ними осторожно и предпочитаю римскую теологію; по моему мнѣнію, хорошаго въ греческихъ мифахъ мало, и они приносятъ пользу немногимъ, изслѣдовавшимъ то, зачѣмъ они были придуманы. Немногіе сдѣлались участниками этой мудрости. Напротивъ, многочисленная толпа, незнакомая съ философіей, принимаетъ эти рассказы въ худшемъ смыслѣ и



тогда происходит одно изъ двухъ: или они начинаютъ презирать боговъ, унижающихся до самыхъ отвратительныхъ поступковъ, или сами не воздерживаются отъ грязныхъ и позорныхъ пороковъ, видя, что то же самое дѣлаютъ и боги».

Но, кажется, происходило преимущественно второе, п. ч. масса всегда съ удовольствіемъ прислоняется къ осязательному авторитету, особенно если этотъ авторитетъ не налагаетъ тяжелыхъ ограниченій и не противорѣчитъ господствующимъ вкусамъ и наклонностямъ. Безнравственность грековъ засвидѣтельствована всѣми писателями древности и проглядываетъ въ нѣкоторыхъ замѣчательныхъ греческихъ мыслителяхъ. Суевѣріе ихъ выразилось во множествѣ оракуловъ и мистерій, въ усердномъ поклоненіи иностраннымъ богамъ и наконецъ въ построеніи алтарей неизвѣстнымъ богамъ въ Олимпіи, и въ Аѳинахъ. И безнравственность, и суевѣріе находили себѣ удовлетвореніе и поощреніе въ созданіи Гезіода и въ гомеровскомъ эпосѣ; очень естественно, что поэты при такихъ условіяхъ до самаго паденія язычества удержали свое господство надъ умами и свое религіозное значеніе. Со времени Александра Македонскаго начинается сближеніе Греціи съ Востокомъ; еще до Александра проникли въ Грецію, черезъ острова, восточные, малоазійскіе культы; поклоненіе матери боговъ и Діонису представляютъ несомнѣнные слѣды азіатскаго происхожденія; но это были частныя заимствованія, и они не могли имѣть рѣшительнаго вліянія на образъ мыслей народа и на все его вѣрованія. Послѣ разрушенія персидской монархіи, когда на ея развалинахъ возникли греческія государства преемниковъ Александра, эллинизмъ, выразившійся въ языкѣ, въ литературѣ, въ философіи и въ религіозныхъ вѣрованіяхъ, проникъ въ Азію и въ Египетъ и основалъ центры своего господства въ Александріи, въ Антиохіи и въ Селевкіи. Политическіе виды Лагидовъ и Селевкидовъ побуждали ихъ сливать греческую народность съ египетской и сирійской; религія и языкъ конечно прежде всего обратили на себя ихъ вниманіе; извѣстно, какими мѣрами Антиохъ Епифанъ старался эллинизировать іудеевъ; другіе государи принимались за дѣло осторожнѣе, и попытки ихъ были успѣшнѣе.

Въ Антиохіи, въ Селевкіи, въ Дамаскѣ, въ Лаодикии и вообще въ большихъ городахъ господствовалъ греческій языкъ; въ Александріи, несмотря на мрачную исключительность египтянъ, греческая наука развернулася въ небывалыхъ до того времени размѣрахъ. Въ XVI книгѣ своей географіи, говоря о Сириі, Страбонъ упоминаетъ о многихъ храмахъ, посвященныхъ греческимъ богамъ; даже въ Египтѣ существовали такіе храмы и образовался полугреческій богъ Сераписъ. Оказывая такое могущественное вліяніе на Востокъ, Греція въ свою очередь испытывала на себѣ обратное вліяніе Востока. Служеніе Діонису

усиливалось, стремленіе къ мистеріямъ возрастало вмѣстѣ съ возрастающей наклонностью къ таинственности, которой было такъ мало мѣста въ опредѣленной и ясной гомеровской теологіи, и которая была такъ противна первобытному греческому духу, выразившемуся въ гомеровскомъ эпосѣ. Явилось сближеніе Діониса съ Озирисомъ, съ Атисомъ и Адонисомъ, потому что вообще это время (послѣ Александра Македонскаго) отличалось стремленіемъ сливать личности боговъ и находить въ нихъ сходство и тожество. Культъ Афродиты принялъ совершенно азіатскій характеръ служенія Астарты или Милитты; явилось поклоненіе Серапису и Изидѣ. На сочиненіяхъ Плутарха, жреца Аполлона, видно, до какой степени въ первомъ вѣкѣ по Р. Х. было сильно вліяніе египетской религіи на грековъ; пробудилось стремленіе къ аскетизму, выразившееся въ сочувствіи жрецамъ Изиды. Аполлоній Тіанскій путешествовалъ по Востоку съ цѣлью найти истинную мудрость и нашелъ ее у индейцевъ, гдѣ особенно понравилось ему возвышеніе мудреца надъ всѣмъ земнымъ и преходящимъ. Вліяніе Востока на греческій духъ можно, мнѣ кажется, опредѣлить слѣдующимъ образомъ: Востокъ внесъ въ Грецію крайнюю чувственность и вмѣстѣ съ тѣмъ, вызванную этой чувственностью реакцію—аскетизмъ. Крайняя чувственность проявилась въ непомѣрномъ развитіи вакханалій и служенія Афродиты; аскетизмъ выразился въ пробужденіи пифагореизма въ личности Аполлонія Тіанскаго, и въ стремленіи Плутарха возбудить сочувствіе греческаго міра къ жрецамъ Изиды и къ ихъ образу жизни. Конечно, какъ и слѣдовало ожидать, чувственность дѣйствовала въ массахъ, а аскетизмъ составлялъ достояніе немногихъ.

## VI.

Взглянемъ теперь на положеніе греческихъ жрецовъ. Общественное мнѣніе не требовало отъ нихъ ни особенныхъ умственныхъ способностей, ни особаго спеціальнаго изученія религіозныхъ догматовъ. Плутархъ говоритъ, что надо учиться религіи у поэтовъ, у законодателей и философовъ; жрецовъ онъ здѣсь не называетъ и слѣд. не считаетъ ихъ способными научить желающаго религіозному догмату. Жрецы были только священнослужителями, отправлявшими богослуженіе и приносившими жертвы; эстетическое чувство греческаго народа и духъ самой религіи, основанной на поклоненіи красотѣ, требовали отъ жреца тѣлесныхъ качествъ. Ни уродливо сложенные или некрасивые люди, ни иностранцы, ни бѣдняки не могли сдѣлаться жрецами; послѣдніе потому, что съ этой должностію, для поддержанія внѣшняго благолѣпія, были сопряжены значительныя издержки. Нѣкоторыя должности жрецовъ были наслѣдственны въ извѣстныхъ семействахъ; эти наслѣдственныя должности существовали боль-



шею частью въ старыхъ городахъ и очень рѣдко встрѣчаются въ колоніяхъ. Только при служеніи немногихъ божествъ требовалось со стороны жреца или жрицы безбрачіе; гдѣ это было нужно, тамъ большей частью служили мальчики и дѣвочки, оставлявшіе свою должность при наступленіи совершеннолѣтія. Видно, что характеру грека вообще было несвойственно насиловать человѣческую природу; онъ хотѣлъ гармоническаго наслажденія жизнью и не любилъ отнимать способности наслаждаться у тѣхъ, кого онъ считалъ себѣ равнымъ. Только жрецы Геи въ Ахайѣ, жрицы еспійскаго Геркулеса и Афродиты, іерофантъ Элевзинскихъ таинствъ и жрецы Аѳины и Артемиды Гимніи въ Аркадіи должны были втеченіи всей своей жизни хранить дѣвственность. Сильнѣе и вліятельнѣе жрецовъ были прорицатели, возвѣщавшіе волю божества по полету птицъ, по разнымъ физическимъ явленіямъ и внутренностямъ жертвенныхъ животныхъ. Они были одарены значительнымъ вліаніемъ уже въ героическую эпоху. Гомеръ упоминаетъ греческаго прорицателя Колханта и троянскаго, сына Пріама, Элена; и тотъ и другой пользуются всеобщимъ уваженіемъ; съ ними совѣтуются цари и полководцы, и предвѣщанія ихъ считаются божественнымъ даромъ. Впослѣдствіи гаданіе составило особую науку, и прорицатели получили постоянное и прочное вліаніе на политическія распоряженія; при демократическомъ устройствѣ большей части греческихъ республикъ право рѣшенія было въ рукахъ народной массы, которая конечно никогда не рѣшалась идти наперекоръ волѣ божества и потому большею частью повиновалась гадателямъ. Ихъ приговоромъ были связаны въ подобномъ государствѣ и полководцы, и правители. Это конечно подавало поводъ къ интригамъ, и Алкивиадъ, желая убѣдить Аѳинявъ послать экспедицію въ Сицилію, подкупилъ гадателей.

Греческіе оракулы во время своего процвѣтанія, пользовались безграничной довѣренностью народа и оказывали самое обширное вліаніе на общественныя и частныя дѣла. Правительства разныхъ городовъ спрашивали ихъ совѣта при началѣ войны, при заключеніи мира и при высылкѣ колоній; народъ обращался къ нимъ въ эпохи тяжелыхъ испытаній; моровая язва, голодъ, частые пожары или наводненія усиливали религіозное чувство и побуждали встревоженные умы просить совѣта, какъ умиловитъ разгнѣванныхъ боговъ. Частныя лица посылали въ Дельфы подарки и совѣтовались съ оракуломъ при началѣ важныхъ предпріятій, въ случаѣ опасной болѣзни, словомъ, тогда, когда человѣкъ сомнѣвается въ собственныхъ силахъ и ищетъ помощи и совѣта внѣ себя и выше себя. Поэты пѣли, что Аполлонъ посланъ Зевсомъ въ Дельфы, чтобы возвѣщать эллинамъ правду и законъ. Платонъ въ сочиненіи о законахъ требуетъ, чтобы всѣ богослужебныя учрежденія опредѣлялись дель-

фійскимъ оракуломъ. Дельфійскіе жрецы умѣли конечно пользоваться своимъ выгоднымъ положеніемъ, и втеченіе цѣлыхъ столѣтій оракулы давали отвѣты такъ осторожно и двусмысленно, что авторитетъ ихъ не падалъ; въ случаѣ неисполненія оракула, оставалось всегда возможностью истолковать событіе такъ, что буква изреченія Пифіи оказывалась вѣрной.

Македонское господство понизило вліаніе оракуловъ. Во-первыхъ, всѣ оракулы, не исключая и дельфійскаго, слишкомъ ясно выражали свое желаніе угодить властелину и свою готовность сообразоваться съ его волею. Когда Александръ изъявилъ притязаніе на божескій санъ, оракулы присудили божескія почести даже другу его Эфестіону. Эта подлая лесть не могла дать грекамъ, въ которыхъ уже сильно были пробуждены критическія стремленія, высокаго понятія о могуществѣ Аполлона и о честности его толкователей. Во-вторыхъ, право рѣшенія въ важныхъ дѣлахъ перешло въ руки одного лица, и это лицо не могло быть такъ суетно, какъ масса народа. Политическія соображенія стали перевѣшивать своими осязательными доводами темныя и непонятныя изреченія пифіи.

Потерянное однажды политическое значеніе оракуловъ не могло больше быть восстановлено. Этому мѣшали и историческія обстоятельства, и измѣненія во внутреннемъ образѣ мыслей народа. Римскій сенатъ еще меньше македонскихъ царей былъ расположенъ управляться въ своихъ дѣйствіяхъ приказаніями пифіи. Такъ же дѣйствовали и римскіе императоры. Къ дельфійскому оракулу обращались только частныя лица съ вопросами, касавшимися ихъ личныхъ и домашнихъ интересовъ, и уже въ первомъ вѣкѣ по Р. Х. вѣрующій Плутархъ оплакиваетъ паденіе оракуловъ и старается объяснить ихъ упадокъ не компрометируя достоинства божества. Въ послѣднія времена римской республики и при первыхъ императорахъ большая часть греческихъ и малоазійскихъ оракуловъ замолкла; въ Віотіи оставался при Плутархѣ только оракулъ Трофонія, къ которому сходилъ въ пещеру Аполлоній Тіанскій. Дельфійскій оракулъ содержалъ уже не трехъ пифій, а одну; знаменитый оракулъ Аммона въ Ливіи замолчалъ. Въ оставшихся оракулахъ ощущался недостатокъ посѣтителей. Число насмѣшливыхъ скептиковъ возрастало, и Плутархъ счелъ нужнымъ посвятить отдѣльное разсужденіе на разрѣшеніе предлагаемаго ими вопроса: отчего пифія утратила поэтической даръ и говорить свои пророчества не въ стихахъ, а въ прозѣ. Если писатель, подобный Плутарху, т. е. человѣкъ вѣрующій и заботящійся не столько объ отвлеченной истинѣ и логической послѣдовательности, сколько о религіозномъ настроеніи и нравственности народныхъ массъ, рѣшается затрогивать вопросы догматическіе и отстаивать существованіе святыни, то это, мнѣ кажется, служить при-



знакомъ того, что сомнѣнія не только высказываются мыслителями, но проникаютъ и въ народное сознаніе.

Но оракулы въ 1-мъ вѣкѣ, до и послѣ Р. Х., снова оживаютъ; возникаютъ новые культы, воздвигаются новые храмы и оракулы, напр. въ честь Антиноя въ Египтѣ, и поклоненіе этимъ божествамъ продолжается до окончательнаго паденія язычества. Это движеніе къ мистицизму порождаетъ немедленно оппозицію въ рядахъ мыслителей. Эномай Гадарскій выводитъ наружу обманы оракуловъ, ихъ двусмысленность и неясность, отвергаетъ ихъ возможность и представляетъ историческія доказательства ихъ вреднаго вліянія на общественную жизнь и на международныя отношенія. Его сочиненіе: *φωρα γοητων* («Уловки шарлатановъ»), сохранившееся въ фрагментахъ у Евсевія, написано легко, остроумно и популярно; это доказываетъ, что онъ хотѣлъ дѣйствовать на народъ и что стало быть существовала потребность противоdѣйствовать мистицизму. Эта потребность еще ярче выразилась въ сочиненіяхъ знаменитаго современника и біографа Александра Авонотихита, Лукіана самосатскаго. Впрочемъ характеристика его вліянія и сочиненій не входитъ уже въ рамку моей темы; ограничиваюсь этимъ указаніемъ на новое усиленіе религіозности въ массахъ; фактъ этотъ для меня важенъ потому, что одинъ изъ первыхъ провозвѣстниковъ этого піетистическаго движенія былъ Аполлоній Тіанскій; въ его время народъ былъ большей частью равнодушенъ къ религіи, такъ что ему нужно было ученіемъ и чудесами оживлять умирающую вѣру. Филостратъ много разъ упоминаетъ о томъ, что онъ возстановлялъ богослуженіе въ опустѣвшихъ храмахъ, и возбуждалъ въ своихъ многочисленныхъ слушателяхъ уваженіе къ богамъ, которыхъ изображенія находились въ меньшемъ почетѣ, чѣмъ статуи обоготворенныхъ р. императоровъ.

О греческихъ жертвоприношеніяхъ упомяну коротко. Этотъ актъ составлялъ главное средоточіе богослужебныхъ обрядовъ, но какъ и богослуженіе вообще, онъ не могъ имѣть значительнаго вліянія на умы, и только большая или меньшая торжественность обрядовъ можетъ до нѣкоторой степени служить мѣркой религіознаго настроенія массы. Человѣческія жертвы въ древнѣйшее время греческаго культа были явленіемъ обыкновеннымъ, что доказывается тѣмъ, что даже въ позднѣйшее время въ очень важныхъ случаяхъ приносили въ жертву человѣка. Въ цвѣтущій періодъ элленизма, начиная съ гомеровскихъ временъ, человѣческія жертвы совершенно вытѣсняются жертвоприношеніями животныхъ, соединенными съ пиршествомъ и имѣющими совершенно веселый характеръ. Умерщвленіе человѣка на жертвенникѣ встрѣчается или въ видѣ исключительнаго случая, или какъ древній обрядъ, уцѣлѣвшій въ немногихъ старинныхъ го-

родахъ и составляющій рѣзкое противорѣчіе съ общимъ колоритомъ веселаго и свѣтлаго богопочитанія. Бичеваніе мальчиковъ въ Спартѣ въ честь Артемиды Ортіи и бичеваніе женщинъ въ Алеѣ въ честь Діониса можетъ быть разсматриваемо какъ обычай, замѣнившій собою человѣческія жертвы. Значеніе этого обряда сознавали сами древніе; это видно изъ разговора Аполлонія Тіанскаго съ Теспезіаномъ. Жертвоприношенія по цѣнѣ своей бывали очень различны; богачи и города зарѣзывали иногда цѣлыя сотни воловъ или барановъ, а бѣдняки часто приносили только пироги или плоды. Очень естественно, что въ понятіяхъ народа значительныя жертвы составляли нѣкоторымъ образомъ одолженіе, оказанное богу, за которое можно было рассчитывать также съ его стороны на особую услугу; вторая сатира Персея направлена противъ этого языческаго фарисейства, и энергія его нападокъ свидѣлствуетъ о силѣ и обширномъ вліяніи этихъ понятій на нравственность. Евангельскія притчи о мытарѣ и фарисеѣ и о двухъ лептахъ бѣдной вдовицы доказываютъ, что и въ іудейскомъ обществѣ нужно было искоренять подобныя убѣжденія.

Изображенія боговъ измѣнялись по мѣрѣ развитія эстетическаго чувства и технической ловкости въ обработкѣ сырого матеріала. За архаистическимъ или іератическимъ періодомъ, въ которомъ боги изображались или въ видѣ неотесанныхъ камней и деревянныхъ столбовъ, или, позднѣе, въ человѣческомъ образѣ, но съ нераздѣленными ногами и грубо высѣченными чертами лица, за этимъ періодомъ слѣдуетъ эмансипація искусства и торжество его при Фидіѣ и Праксителѣ, совпадающее съ цвѣтущею эпохою всей политической и умственной жизни Эллады. Еще при Аполлоніѣ Тіанскомъ слава статуй Зевса Олимпійскаго, Аѣины, Афродиты Книдской и Геры Аргивской была распространена по всему образованному міру. Опираясь на эти безсмертныя творенія греческаго духа, Аполлоній говоритъ египетскому мудрецу: «ихъ создала фантазія; она мудрѣе подражанія; подражаніе изображаетъ то, что видитъ, а фантазія то, чего не видитъ; это невидимое предполагается по сравненію съ видимымъ; подражаніе можетъ быть остановлено смущеніемъ, но ни что не остановитъ фантазію; смѣло приступаетъ она къ предмету своего творчества. Хочешь творить образъ Зевса? — Представь его себѣ въ высотѣ небесъ, среди звѣздъ и вѣчнаго теченія времени, такъ, какъ его представилъ себѣ Фидій. Творишь-ли ты Аѣину — вообрази себѣ полное вооруженіе, олицетвори мудрость, окружи ее всѣми атрибутами искусствъ и представь себѣ тотъ мигъ, когда она выскакиваетъ изъ самого Зевса».

Весь антропоморфизмъ грека и все его живое эстетическое чувство рельефно выразились въ этихъ словахъ, кому бы они ни принадлежали, Аполлонію или самому Филострату.



Великолѣпные идола работы Фидія и Праксителя должны были дѣйствовать на массу народа, одареннаго сильнымъ, но безсознательнымъ чувствомъ изящнаго, — тѣмъ сильнѣе, что народъ вѣрилъ въ божественность самыхъ статуй. Онъ вѣрилъ, что при освященіи готовой статуи священнодѣйствіемъ, въ бездушный камень или металлъ вселяется частица самаго божества, и идолъ превращается въ бога. «Когда возникаетъ богъ? спрашиваетъ Минуцій Феликсъ, христіанскій апологетъ; вотъ онъ вылить, его обрабатываютъ, обрѣзываютъ—онъ еще не богъ; его спаиваютъ, собираютъ, ставятъ на пьедесталь — и все еще онъ не богъ; но вотъ его украшаютъ, освящаютъ, ему приносятъ молитву, и онъ дѣлается наконецъ богомъ, когда того хочетъ человѣкъ, когда человѣкъ возводитъ его на эту степень».

Упомяну еще о томъ, что греческая религія требовала при жертвоприношеніи физической чистоты отъ участвующихъ; эта чистота достигалась омовеніями, которые, по понятіямъ народа, очищали даже въ нравственномъ отношеніи отъ тяжелыхъ и кровавыхъ преступленій. Впослѣдствіи, когда увеличилась потребность замѣнять торжественностью обряда слабѣющее религіозное чувство, омовенія водою показались слишкомъ просты и недѣйствительны. Явился обычай омы- вать руки въ крови жертвенныхъ животныхъ, а во-второмъ вѣкѣ по Р. Х. изъ этого обычая развился торжественный обрядъ *taurobolium* и *criobolium*, въ которомъ желающій получить всепрощеніе и святость становился подъ досчатый помостъ и съ ногъ до головы обливался кровью вола, зарѣзываемаго въ честь Цибелы. Заботливость о чистотѣ жрецовъ была особенно сильно развита у египтянъ; оттого обязательныя омовенія. Этому обычаю подражалъ Пифагоръ, поставившій, отчасти по гигиеническимъ, отчасти по религіознымъ соображеніямъ, ежедневныя холодныя купанья въ обязанность своимъ ученикамъ. Аполлоній Тианскій считалъ эти омовенія очень полезными, а Плутархъ придавалъ имъ даже важное символическое значеніе.

Кромѣ общеизвѣстной греческой религіи существовала еще съ самыхъ древнихъ временъ религія мистерій, въ которой вѣрующіе, посвященные извѣстными обрядами, присутствовали при драматическомъ представленіи различныхъ мифовъ и религіозныхъ преданій. При этомъ не было опредѣленнаго догматическаго ученія; посвящаемый не узнавалъ никакихъ новыхъ религіозныхъ положеній; ему предоставлялось смотрѣть, слушать и выводить заключеніе, сообразное съ его образомъ мыслей, съ степенью его природной впечатлительности и умственнаго развитія. Плутархъ говоритъ, что въ мистеріяхъ не убѣждаютъ доводами, не сообщаютъ ничего такого, что могло бы склонить духъ къ вѣрѣ; должно только, руководствуясь философскимъ соображеніемъ, обдумывать съ благоговѣніемъ то, что тамъ

дѣлается и говорится. Отличаясь отъ общенародной религіи своею таинственностью, культъ мистерій отличался и личностями боговъ и ихъ характеромъ. Знаменитѣйшіе боги гомеровскаго цикла: Зевсъ, Аполлонъ, Гера, Афина, Посидонъ совершенно не участвуютъ въ мистеріяхъ. Важнѣйшими дѣйствующими лицами мистерій являются Діонисъ, Персефона и Деметра, неимѣющие почти никакого значенія въ гомеровской теологіи. Причины этого явленія можно видѣть отчасти въ иностранномъ происхожденіи мистерій, внесенныхъ въ собственную Грецію изъ Фракіи и съ Востока, отчасти въ томъ, что для мистерій нужны были личности подземныхъ боговъ съ неопредѣленной и загадочной фізіономіей. Внесеніе мистерій въ Грецію приписывается мифической личности Орфея, котораго трагическая кончина указываетъ на борьбу оргіастическаго культа съ мистическимъ. Центромъ мистерій является тотъ самый мифъ, о которомъ я говорилъ при описаніи фригійскаго культа. Этотъ мифъ, имѣвшій несомнѣнно свое основаніе въ поклоненіи природѣ, рано распространился по восточнымъ берегамъ Средиземнаго моря и, произведя сильное впечатлѣніе на фантазію народа какъ своею внѣшнею яркостью, такъ и глубиною основной мысли, сохранилъ полную жизненность до послѣднихъ временъ язычества.

Эта жизненность выразилась въ томъ, что онъ легко примѣнялся къ особенностямъ воспринявшихъ его народностей, у каждаго племени принялъ особый колоритъ, сохраняя притомъ основную идею. У грековъ этотъ умирающій богъ называется Діонисомъ Загревсомъ; его убиваютъ титаны по приказанію Геры, законной супруги Зевса. Зевсъ—незаконный отецъ убитаго ребенка Діониса, убиваетъ титановъ и изъ сохранившагося сердца своего сына создаетъ новаго Діониса. Важно въ этомъ мифѣ то обстоятельство, что Діониса разрываютъ и съѣдаютъ титаны. Пораженные молніей Зевса, титаны превращаются въ пепель, и изъ этого пепла рождаются потомъ люди, въ которыхъ злая природа титановъ соединена такимъ образомъ съ доброю природою съѣденнаго Діониса. Разрываніе бога и переходъ его частицъ въ другія тѣла указываетъ на пантеистическое воззрѣніе, выраженное въ мифическомъ образѣ. Такъ по крайней мѣрѣ толковали этотъ мифъ позднѣйшіе мистики. «Измѣненіе бога въ вѣтры, воду, землю и звѣзды, въ роды растений и животныхъ, говоритъ Плутархъ, переходъ бога въ мірозданіе изображается наглядно какъ разрываніе и раздробленіе, и тогда божество называется Діонисомъ Загревсомъ; гибель, уничтоженіе, смерть и возрожденіе облекаются въ басни и рассказы, соотвѣтствующіе названнымъ измѣненіямъ». Въ приведенной главѣ Плутархъ противопоставляетъ пантеистическому обожанію Діониса чисто деистическое обожаніе Аполлона. Мифъ о происхожденіи людей изъ пепла титановъ и час-



тиць Діониса доказує, що мистики признавали въ чловѣкѣ присутствіе двухъ противоположныхъ и взаимно-враждебныхъ элементовъ. На это дуалистическое воззрѣніе, чуждое гомеровскому міросозерцанію, опирались Платонъ и новоплатоники, говорившіе, что душа живетъ въ тѣлѣ, какъ въ темницѣ или въ могилѣ. Мистерій было много; онѣ праздновались на Лемносѣ, въ Оивахъ, въ Коринѣ, въ Эгинѣ, и наконецъ самыя знаменитыя (элевзинскія) въ Аѳинахъ и въ Элевзисѣ. Всѣ онѣ были разрѣшены мѣстнымъ правительствомъ, считались государственною святынею и навлекали на нарушителя уголовныя наказанія.

Первоначально къ элевзинскимъ таинствамъ допускались только аѳинскіе граждане; изъ другихъ грековъ вообще, насколько извѣстно, посвящались немногіе. Изъ греческихъ, но не аѳинскихъ историческихъ личностей извѣстны какъ участники элевзинскихъ таинствъ, Пивагоръ, Филиппъ Македонскій, Дмитрій Полиоркетъ, сынъ его Филиппъ, Аполлоній Тіанскій и Плутархъ. Варварамъ былъ запертъ входъ въ то зданіе, гдѣ совершалась сокровеннѣйшая часть таинства, но при усиленіи римлянъ, греческіе іерофанты поневолѣ должны были сдѣлать исключеніе въ пользу ихъ. Сулла, Варронъ, Крассъ, Октавіанъ и Юліанъ Апостатъ извѣстны какъ участники элевзинской святыни.

Многіе писатели древности говорятъ о мистеріяхъ, и сужденія ихъ очень различны. Оффиціальныя ораторы, напр. Исократъ превозносятъ мистеріи, какъ государственное учрежденіе. Благочестивые поэты, подобные Пиндару и Софоклу, воспѣваютъ блаженную участь посвященныхъ въ загробной жизни. Мистики, подобные Аполлонию Тіанскому и Плутарху, принимали въ нихъ участіе, и на нихъ производили особенное впечатлѣніе обѣщанія и прообразованія загробнаго блаженства. Философы напротивъ того относились къ мистеріямъ холодно и даже недоброжелательно. Сократъ не говоритъ о нихъ ни слова, такъ что есть причины предполагать, что онъ или не былъ посвященъ въ элевзинскія таинства, или же молчалъ объ нихъ, чтобы не сказать ничего дурного. Платонъ указываетъ на вредную сторону мистерій, въ которыхъ чловѣкъ ищетъ себѣ спасенія во вѣншнемъ обрядѣ, а не въ собственной нравственной силѣ. Выводимые въ мистеріяхъ миѳы Платонъ считаетъ безнравственными и соблазнительными для народа. Блаженство, которое обѣщается adeptамъ, Платонъ считаетъ очень сомнительнымъ и говоритъ, что ихъ привлекаетъ къ мистеріямъ надежда на вѣчное оупьяненіе въ загробной жизни. Циники не считали даже нужнымъ скрывать свое презрѣніе къ мистеріямъ. Когда Діогена убѣждали принять участіе въ элевзинскихъ таинствахъ, говоря ему о загробномъ блаженствѣ, онъ просто отвѣчалъ: смѣшно предполагать, что Эпаминондъ

и Агезилай (какъ непосвященные) на томъ свѣтѣ лежатъ въ грязи, а извѣстный воръ Петакионъ (какъ посвященный) наслаждается блаженствомъ. Когда одинъ изъ мистиковъ, преподававшихъ особую систему таинствъ по орфическимъ книгамъ, рассказалъ Антисеену о радостяхъ, ожидающихъ посвященныхъ за предѣлами гроба, Антисеенъ смутилъ его неожиданнымъ вопросомъ: чтожь ты не умираешь? Демонаксъ заслужилъ репутацію безбожника, и аѳинскій народъ потребовалъ его на судъ. Его спросили, отчего онъ не хочетъ быть посвященнымъ въ мистеріи. — Оттого, отвѣчалъ Демонаксъ, что я ихъ разглашу во всякомъ случаѣ: если онѣ хороши, то я хочу, чтобы всѣ могли ими пользоваться; если онѣ дурны, я хочу предостеречь отъ нихъ другихъ, незнающихъ. Мыслящіе римляне, подобные Цицерону, Варрону и стоику времянь Нерона, Аннею Корнуту, относились къ мистеріямъ съ хладнокровною критикою и смотрѣли на нихъ какъ на воспоминаніе о поклоненіи природѣ и о перенесеніи въ міръ боговъ обоготворенныхъ людей. Христіанскіе писатели съ особенною ироніей отзываются о вѣншнихъ обрядахъ мистерій, оскорблявшихъ нравственность и благопристойность.

Спрашивается, что составляло прелесть мистерій и что было причиною ихъ популярности? Скандальный характеръ ихъ обрядовъ не могъ быть значительною приманкою для древняго грека, потому что его съ колыбели окружали фаллическія изображенія, сладострастные картины и вольныя пѣсни, стало быть это не могло быть ему въ диковину и не привлекло бы къ мистеріямъ цѣлыя населенія. Для вѣрующихъ мистеріи имѣли высшій духовный интересъ; печать тайны, лежавшая въ мистеріяхъ, великолѣпныя и загадочныя обѣщанія людей посвященныхъ возбуждали любопытство профановъ, настроивали ихъ воображеніе такъ, что въ нихъ рождалось живое желаніе сдѣлаться участниками этихъ мистерій. Потомъ, когда ихъ посвящали, все въ представленіи мистерій было рассчитано на произведеніе возможно большаго эффекта. Элевзинскія мистеріи вызывались дать отвѣтъ на тѣ глубокіе вопросы, которые постоянно волнуютъ чловѣка и чловѣчество; посвящаемый вступалъ въ зданіе мистерій съ живѣйшимъ желаніемъ узнать что-нибудь о вѣчности, о загробной жизни, и передъ его глазами развертывались въ расчитанномъ порядкѣ великолѣпныя декорации и фантастическія сцены, въ которыхъ онъ силился найти высокій смыслъ, и дѣйствительно находилъ его при своемъ насильственно напряженномъ состояніи. Короткое описаніе Плутарха передаетъ не столько вѣншнія дѣйствія мистерій, сколько внутреннюю смѣну ощущеній, переживаемыхъ зрителемъ, присутствующимъ при послѣдней части элевзинскихъ таинствъ; но въ словахъ набожнаго мыслителя можно уловить колоритъ того вліянія, которое эти сцены должны



были оказывать на присутствовавшихъ. «Сначала блуждаютъ по разнымъ закоулкамъ, переносятъ труды и утомленія, напрасно тоскливо ищутъ чего-то въ темнотѣ; потомъ, передъ самымъ окончаніемъ, являются всѣ ужасы, трепетъ и содроганье, выступаетъ холодный потъ, замираетъ сердце. Вдругъ загорается удивительный свѣтъ; мы вступаемъ въ привѣтливую мѣстность, на роскошные дуга; мы слышимъ голоса, видимъ пляски; раздаются торжественные звуки священныхъ словъ и показываются священные видѣнія».

Эффекты свѣта и тѣни, невидимые голоса, торжественное настроеніе души, чаяніе вышихъ обѣтованій, все это должно было потрясать впечатлительные нервы южнаго человѣка; многое небывалое могло ему казаться случившимся, много простыхъ и случайныхъ событій могли принимать въ его глазахъ колоссальные размѣры и фантастическій колоритъ; много такихъ явленій, которыя онъ легко объяснилъ бы себѣ въ спокойномъ состояніи духа, могли въ мистеріяхъ казаться ему чудеснымъ дѣйствіемъ сверхъестественной силы. Мистеріи живымъ языкомъ символовъ и мимики говорили ему такія вещи, которымъ пріятно повѣрить. При совершеніи мистерій присутствовали только посвященные, и всѣмъ посвященнымъ сулили вѣчную жизнь и вѣчное блаженство; можно заключить изъ словъ Плутарха, что предъ внушеніемъ этого блаженства являлись свѣтлыя небесныя видѣнія, слышались звуки скрытой музыки, по сценѣ разливалось мягкое освѣщеніе и все это вмѣстѣ, послѣ предшествовавшихъ испытаній, послѣ перенесеннаго утомленія, послѣ страшныхъ и мрачныхъ зрѣлищъ, должно было нѣжить чувства, успокаивать душу и оставлять неизгладимое впечатлѣніе полнаго довольства. Ощущеніе, производимое мистеріями, было пріятно. Въ награду за это ощущеніе предлагалось вѣчное блаженство. Было бы странно, еслибы при такихъ условіяхъ толпа народа, неимѣющая внѣ мистерій никакихъ средствъ заглянуть въ будущую судьбу свою, не ухватилась бы съ жаднымъ любопытствомъ за эти мистеріи. Дѣйствительно, мистеріи держались очень долго и пали только тогда, когда уже совершенно истощились жизненныя силы язычества.

## VII.

Я очертилъ фізіономію язычества въ Египтѣ, въ передней Азіи и въ Европѣ. Надо себѣ теперь представить, что всѣ эти элементы слились въ дѣйствіе историческихъ обстоятельствъ въ Италіи и, въ буквальномъ смыслѣ этого слова, наводнили Римъ. Если припомнить ту существенную черту языческаго міросозерцанія, что не тотъ только богъ, кого уважаетъ мой народъ, а и тотъ, которому поклоняются сосѣди, и тотъ, о которомъ

доходятъ какіе-то неопредѣленные слухи, и тотъ, котораго я даже не знаю по имени, то можно себѣ вообразить, что вѣрующіе римляне временъ паденія республики и начала имперіи должны были находиться въ постоянной тревогѣ. Афинская республика построила алтарь неизвѣстнымъ или незнакомымъ богамъ для того, чтобы избавить себя разъ навсегда отъ опасности прогнѣвать непочтеніемъ кого-нибудь изъ безсмертныхъ. Такою формальною мѣрою могло оградить себя государство, но частный человѣкъ не могъ на ней успокоиться. Ему нужно было знать, что его молитвы точно доходятъ по своему назначенію, и что тотъ богъ, которому онъ молился, точно хочетъ и можетъ помочь ему.

Какому бы богу онъ ни поклонялся, онъ никогда не могъ быть увѣренъ въ томъ, что нѣтъ какого-нибудь другого, болѣе могущественнаго, который могъ бы скорѣе и вѣрнѣе даровать просимыя блага. Онъ могъ думать, что нечаянно забылъ принести жертву сильному божеству; или, принося эту жертву, опустилъ какую-нибудь важную формальность. Такъ-какъ молитва не была удовлетвореніемъ внутренней потребности души, то цѣль ея заключалась не въ ней самой: грекъ и римлянинъ всегда молился о чемъ-нибудь, т. е. обращался къ божеству съ извѣстною просьбою и потому употреблялъ всѣ усилія на то, чтобы такъ или иначе заставить божество выслушать и исполнить эту просьбу. Греческія и римскія молитвы были составлены по извѣстной формѣ, и этой формѣ приписывалась сила управлять волею боговъ; молитва принимала характеръ магическаго заклинанія, и все вниманіе молящагося сосредоточивалось на точномъ соблюденіи внѣшности и формы. Въ отношеніяхъ между богами и человѣкомъ не было ни малѣйшей искренности. Вѣрующій видѣлъ въ своемъ богѣ не идеалъ нравственнаго совершенства, а существо, одаренное значительной силой и способное, смотря по своему желанію, обратить эту силу въ его пользу или въ ущербъ ему. Богъ, по понятіямъ вѣрующаго, видѣлъ въ своемъ обожателѣ только болѣе или менѣе усерднаго и аккуратнаго исполнителя угодныхъ ему формальностей. Бога одинаково возмущалъ убійца, подходящий къ его святилищу, и человѣкъ, приступающій къ священнодѣйствию съ неумытыми руками. И тотъ, и другой были ему угодны и могли надѣяться на исполненіе прошеній, если они предварительно подвергали себя установленному очистительному обряду. Кто могъ приносить богатыя жертвы, тотъ приносилъ сколько могъ, и рассчитывалъ въ умѣ на дѣйствительность своихъ многочисленныхъ и роскошныхъ приношеній. Кто не имѣлъ значительнаго состоянія, тотъ приносилъ бѣдные дары, но непременно приносилъ что-нибудь. Если нельзя было жертвоприношеніемъ обратить на себя благосклонное вниманіе божества, надо было по



крайней мѣрѣ вмѣшаться въ толпу его обожателей и принести жертву изъ чувства самосохраненія, чтобы не случилось бѣды. О служеніи богу духомъ, о сближеніи съ божествомъ безукоризненностью поступковъ, о поклоненіи ему въ жизни языческая древность не имѣла кажется понятія. О такомъ поклоненіи часто говорятъ философы; за его отсутствіе сатирики горько жалуются на своихъ современниковъ; но самое частое повтореніе этихъ совѣтовъ и жалобъ доказываетъ ихъ полную безуспѣшность. По понятіямъ массы, божество не заботится о чистотѣ нравственности и выпускаетъ изъ виду своихъ обожателей, какъ скоро они переступаютъ за порогъ храма и входятъ въ кругъ вседневной жизни и обычныхъ заботъ и интересовъ.

Въ отношеніяхъ между языческимъ божествомъ и человѣкомъ нѣтъ ни взаимной любви, ни довѣрія. Боги способны завидовать счастью человѣка и умышленно мѣшаютъ развитію его благосостоянія. Они способны для своихъ личныхъ видовъ, или даже просто для забавы, вводить людей въ заблужденіе и отуманивать ихъ умъ ложными представленіями.

Понятіе богъ часто переливается въ понятіе демонъ, и нерѣдко послѣднее принимается въ смыслъ недоброжелательнаго духа, почти въ томъ смыслѣ, въ которомъ оно перешло въ новѣйшіе европейскіе языки. Гнѣвъ бога ведетъ за собою всякаго рода несчастья; а нѣтъ ничего легче, какъ прогнѣвить божество. Достаточно забыть одно узаконенное жертвоприношеніе, одну частность обряда, одинъ любимый богомъ титулъ или эпитетъ—и богъ не доволенъ,—на смертнаго обрушиваются непріятности и неудачи; смертный долженъ припомнить, что онъ сдѣлалъ незаконно; не припомнивши, онъ на-удачу умиливается всѣхъ боговъ, удваиваетъ дары и жертвы, посылаетъ запросы къ оракулу, совѣтуется домашнимъ образомъ съ гадалеями, получаетъ двусмысленные отвѣты, хлопочетъ, выбивается изъ силъ и все-таки не можетъ успокоить себя тѣмъ сознаніемъ, что боги ему простили. Плутархъ въ сочиненіи своемъ «о суетвѣріи» разсматриваетъ вредное вліяніе его и прямо считаетъ его хуже невѣрія. При мистическомъ направленіи Плутарха, это сужденіе доказываетъ, что въ его время суетвѣріе проявлялось въ самой возмутительной формѣ. Язычникъ временъ имперіи ходилъ въ совершенныхъ потемкахъ; онъ былъ скептикъ и потому учрежденія язычества падали одно за другимъ; но чтобы быть вполне скептикомъ, надо много природной силы и много образованности; вполне скептиками дѣлались немногіе; большая часть и не вѣрила, и сомнѣвалась, и боялась сомнѣваться; они нигдѣ не видѣли полной истины, на которую вполне можно было опереться, и между тѣмъ ни одного нелѣпаго обряда не рѣшались откинуть какъ заблужденіе. Они были слишкомъ трусливы, чтобы дать пол-

ную волю критикѣ и поступить такъ, какъ совѣтовалъ здравый смыслъ; боясь невѣрія, они дѣлали такіе подвиги, на которые, можетъ быть, не рѣшился бы и фанатикъ; между тѣмъ критика брала свое и отравляла имъ искусственныя вѣрованія; сомнѣніе само собою закрадывалось повсюду; принося жертву, проситель не зналъ, обращается ли онъ куда слѣдуетъ. Внутреннее безпокойство побуждало его искать новыхъ обрядовъ, новаго бога: не будетъ ли лучше въ другомъ храмѣ, не успокоятся ли тамъ сомнѣнія, не явится ли тамъ твердое и любовное упованіе?

Реформа чувствовалась въ воздухѣ эпохи. Всякая новизна принималась съ восторгомъ, возбуждала напряженные ожиданія и вслѣдъ за тѣмъ обманывала ихъ, а сама становилась въ ряды старыхъ учреждений, которыя всѣ уважали и хранили, но на которыя никто не возлагалъ страстной и трепетной надежды. Со времени обоготворенія Цезаря до апофеоза Діоклитіана римскіе императоры подарили языческому міру 53 новыя божества. Эти божества принимались съ такимъ сочувствіемъ, что трудно видѣть въ этомъ одно проявленіе раболопства. Лѣстить можетъ дворъ, столица, но не цѣлая имперія. При Тиверіи одиннадцать городовъ Азіи спорили о чести поставить у себя его статуи и построить ему храмъ. Это еще можно пожалуй принять за проявленіе холопства со стороны посланниковъ и уполномоченныхъ этихъ городовъ; но мы же не знаемъ, что съ поддержаніемъ богослуженія обоготвореннымъ императорамъ соединялись значительныя издержки, падавшія на городъ; и между тѣмъ храмы не пустѣли, народъ приносилъ въ нихъ жертвы, и статуи цезарей были священнѣе изображеній другихъ боговъ. Все это происходило не въ Римѣ, не на глазахъ у императора, а въ Азіи, гдѣ трудно было цѣлому городскому населенію ждать себѣ награды отъ властелина, стало-быть усердіе было дѣйствительное; очень можетъ быть, что разнородныя племена, въ первый разъ соединенныя подъ однимъ господствомъ, были поражены громадностью императорскаго могущества, и, при суетвѣрномъ, напряженномъ настроеніи вѣка, ждали дѣйствительно какихъ-то высшихъ божественныхъ милостей отъ живой человѣческой личности; вѣдь эта человѣческая личность своимъ дѣйствительнымъ могуществомъ превосходила самыя смѣлыя метафоры, которыми религіозно-настроенные поэты старались охарактеризовать божественное величіе.

Если масса была расположена видѣть участіе сверхъестественной силы въ каждомъ излеченіи бѣсноватаго, въ каждомъ фокусѣ А. Авонтихита, то было естественно видѣть воплощеніе божества въ личности такого человѣка, который одинъ стоялъ надъ всѣми, не видя себѣ равнаго во всемъ мірѣ живыхъ и разумныхъ существъ. Извѣстно, что Діоклитіанъ первый



высказалъ мысль о божественномъ происхожденіи императорской власти, но, чтобы высказать эту мысль, надо было получить ее изъ прошедшаго, укрѣпившагося и созрѣвшаго. Если эта мысль могла пережить Западную Римскую имперію, перейти въ Византію, воскреснуть въ Итакіи и Германіи при Карлѣ Великомъ и потомъ перенестись на королевскую власть бывшихъ вассаловъ священной имперіи, то, мнѣ кажется, можно допустить, что въ основаніи ея лежало дѣйствительное убѣжденіе римской толпы, а не движеніе лести и не произволъ властелина. Дикій и отвратительно-пошлый характеръ римскаго цезаря, по самой идеѣ языческаго божества, не долженъ былъ имѣть вліянія на апофеозу; вѣдь и коренные боги не являлись воплощенною добродѣтелью. Иностранные культы, введенные въ Римъ, были новѣе и страннѣе туземнаго греческаго богослуженія; они пользовались, сравнительно съ нимъ, большою популярностію, но всего больше возбуждало сочувствіе вѣрующей толпы какое-нибудь случайное, экстренное явленіе, неподходящее подъ обыкновенную форму. Эту черту характера уловилъ Сенека. «Если, говоритъ онъ, кто нибудь, потрясая жезломъ, рассказываетъ заученный вздоръ, если мастеръ рѣзать себя (жрецъ Беллоны), высоко поднимая топоръ, рубить въ кровь руки и плеча, если кто нибудь ползетъ на колѣняхъ и поднимаетъ вой, если старикъ въ холщевой одеждѣ, съ лавровою вѣткою въ рукѣ, днемъ несетъ передъ собою фонарь и громко кричитъ о гнѣвѣ какого-нибудь бога, тогда вы сбѣгаетесь и восклицаете: этотъ человѣкъ вдохновенъ богомъ!»

Потребность непосредственнаго откровенія, передъ которымъ замолчало бы самое упорное сомнѣніе, давала себя живо чувствовать. Аполлоній Тианскій былъ признанъ богомъ за свое ученіе и за свои чудеса, а между тѣмъ его рѣчи не оставили по себѣ прочныхъ слѣдовъ. Оракулъ, учрежденный Александромъ въ Авонотихѣ, пользовался такой извѣстностью, что къ нему обращался даже стоическій философъ и императоръ Маркъ Аврелій. Со смертію Александра рушилось все его искусственное зданіе. Въ жизни Нерона встрѣчается яркая черта времени. Неронъ обожалъ только одну, такъ называемую сирійскую богиню и вѣрилъ въ ея силу, но наступило время разочарованія, и Неронъ, въ минуту каприза, наругался самымъ грязнымъ образомъ надъ своимъ идоломъ. Масса не была такъ рѣшительна и постоянно колебалась между робкимъ индифферентизмомъ и напряженнымъ ханжествомъ; трусливость не оставляла ее ни на минуту, и большинство боговъ являлись ей личностями, отъ преслѣдованій которыхъ надо откупаться подарками и жертвоприношеніями.

Между пламенною вѣрою фанатика и трусливымъ суевѣріемъ, очерченнымъ Плутархомъ, лежитъ цѣлая бездна; первая вся основана на

чувствѣ, во второмъ нѣтъ искры воодушевленія; первая влечетъ къ подвигамъ самоотверженія. второе все проникнуто самымъ мелкимъ эгоизмомъ. Фанатизмъ исключаетъ и боязнь, и борьбу съ самимъ собою, и сомнѣніе; суевѣріе все основано на боязни и сомнѣніи. Словомъ, мнѣ кажется, что суевѣріе и невѣріе стояли ближе другъ къ другу, чѣмъ фанатизмъ и суевѣріе. Первые два настроенія вызваны были дряхлостью господствующей религіи, а послѣднее, проявившееся съ такою силою въ первые вѣка христіанства, могло быть вызвано только молодою и новою идеею. Суевѣріе давно потеряло изъ виду идею религіи; его близорукая трусливость не позволяла ему взглянуть вдаль и вверхъ; нужно было смотрѣть подъ ноги, обращая все вниманіе на то, чтобы не опустить какой-нибудь формальности, не нарушить обряда.

Языческія религіи не были богаты нравственнымъ содержаніемъ; подъ вліяніемъ суевѣрія онѣ окончательно измелъчали; при жертвоприношеніяхъ нужно было соблюдать столько предосторожностей въ отношеніи къ статуѣ божества, что мало-по-малу въ народномъ вѣрованіи эта статуя вытѣснила то понятіе, которое она должна была напоминать собою. Преемное освященіе статуй извѣстными молитвами и обрядами получило значеніе дѣланія боговъ; явилось мнѣніе, что люди могутъ принуждать божество вселяться въ статуи и жить въ нихъ какъ душа человѣка живетъ въ тѣлѣ. Идолъ сдѣлался святынею самъ-по-себѣ, а не по той идеѣ, которую онъ вызывалъ въ молящемся. Явилось служеніе собственно идоламъ; ревностные поклонники божества стали исполнять при идолѣ должности слуги; одни натирали его мази, другіе завивали ему волосы, шевеля руками по мраморной или металлической его причeskѣ; третьи держали передъ нимъ зеркало; многіе просили боговъ заступиться за нихъ въ судѣ и держали передъ глазами истукана выписки изъ своихъ процессовъ. Такъ какъ на идола перестали смотрѣть какъ на портретъ, то святыня идола стала заключаться не столько въ формѣ, сколько въ матеріи, освященной извѣстнымъ, почти магическимъ обрядомъ; рядомъ съ поклоненіемъ статуямъ видно поклоненіе простымъ камнямъ. Язычество совершило кажется свое мировое поприще и поворотило къ своему началу, къ пелазгическимъ временамъ. Явился грубый фетишизмъ, который тѣмъ болѣе рѣжетъ глазъ, что онъ существуетъ рядомъ съ роскошнымъ развитіемъ изобразительныхъ искусствъ; въ этомъ фетишизмѣ должно видѣть истощеніе внутренняго содержанія; его нельзя извинить или объяснить внѣшними препятствіями, лежащими въ недостаточномъ развитіи техники. На перекресткахъ лежали священные камни, политые масломъ; прохожіе становились передъ ними на колѣни, наливали на нихъ нѣсколько капель



елея и просили ихъ о своихъ нуждахъ. Апулей серьезно обвиняетъ своего противника Эмилиана въ томъ, что въ его помѣсть нѣтъ ни увѣнчаннаго сука, ни камня, помазаннаго масломъ. При фетишизмѣ существуетъ обыкновенно любопытный обычай наказывать бога за неисправное исполненіе просьбы. Этотъ обычай проявляется въ древнемъ Римѣ при императорахъ. Флотъ Августа пострадалъ отъ бури, и Нептунъ былъ наказанъ тѣмъ, что его статую исключили изъ торжественной процессіи. Калигула разговаривалъ съ Юпитеромъ капитолійскимъ, иногда бранился съ нимъ и угрожалъ ему погибелью. Юліанъ, человѣкъ умный и образованный, разсердившись на Марса, поклялся не приносить ему жертвы.

Замѣчательно, что многіе философски-развитые люди этой эпохи поддавались въ жизни самому наивному суевѣрію. Маркъ Аврелій былъ безпорно одинъ изъ лучшихъ римскихъ императоровъ, одинъ изъ благороднѣйшихъ людей своего времени и замѣчательнѣйшій изъ послѣдователей Эпиктета. Въ своихъ философскихъ сочиненіяхъ онъ презираетъ ничтожество всего земного, богатства, величія и наслажденія; онъ совѣтуетъ слѣдовать только внутреннимъ внушеніямъ своего духа и приписываетъ разуму неограниченную свободу. Онъ такъ мало зависить въ своемъ мышленіи отъ какого нибудь вѣрованія, что даже о безсмертіи души выражаетъ серьезное сомнѣніе. Тотъ же смѣлый мыслитель, тотъ же проповѣдникъ безграничной свободы мысли, въ своей вседневной жизни и даже въ своихъ государственныхъ распоряженіяхъ подчиняется не внутреннему голосу чувства, а указаніямъ жрецовъ и прорицателей. Отправляясь на войну противъ Маркоманновъ, онъ собираетъ въ Римъ жрецовъ всѣхъ религій и занимается разными торжественными церемоніями, а войско ждетъ, и удобное время уходитъ. Жертвы приносятся въ такихъ громадныхъ размѣрахъ, что бѣлые вола приходятъ въ смятеніе и, по дошедшей до насъ шуткѣ того времени, пишутъ къ благочестивому цезарю письмо слѣдующаго содержанія. «Бѣлые вола Марку Кесарю. Если ты побѣдишь, мы погибли».

Трудно понять, изъ чего такъ хлопоталъ человѣкъ, отвергавшій безсмертіе души и признававшій ничтожнымъ все земное величіе, и военную славу; трудно себѣ представить, какимъ образомъ человѣкъ, не ступавшій ни одного шага безъ гаданій, молитвъ и жертвоприношеній, могъ въ своихъ теоретическихъ разсужденіяхъ подниматься такъ высоко надъ господствовавшими понятіями эпохи. Впрочемъ разладъ между жизнью и теоріею поражаетъ насъ въ этотъ періодъ времени. Особенно часто совмѣщаются въ одномъ лицѣ самое смѣлое невѣріе въ капитальныхъ вопросахъ, касающихся міроуправленія и безсмертія души, и самое трусливое суевѣріе въ мелкихъ случаяхъ вседневной жизни. Возьмемъ

для примѣра Августа. Послѣднія его минуты описаны Светоніемъ очень подробно и наглядно, и въ нихъ нѣтъ ни малѣйшаго указанія на вѣрованіе въ загробную жизнь. За нѣсколько минутъ до смерти, Августъ справляется о томъ, что происходитъ въ городѣ, потомъ спрашиваетъ себѣ зеркало, поправляетъ волосы, приводитъ въ порядокъ отвисшую нижнюю челюсть и вдругъ обращается къ друзьямъ съ неожиданнымъ вопросомъ: «А каково я сыгралъ комедію жизни»? Потомъ онъ декламируетъ греческіе стихи: «Если вамъ нравится игруника, аплодируйте и всѣ провожайте насъ съ радостью». Затѣмъ, по его желанію, присутствующіе выходятъ изъ комнаты, онъ обнимаетъ Ливію и говоритъ: «Ливія, помни наше супружество, живи счастливо... прощай» и съ этими словами умираетъ. Намъ нѣтъ никакого основанія подозрѣвать Августа въ неискренности; Римскому императору, 76-ти-лѣтнему старику, не стоило притворяться; репутація его была составлена, и какъ бы онъ ни умеръ, онъ могъ быть увѣренъ, что его превознесутъ до небесъ и обоготворятъ. Наконецъ, если бы Августъ сталъ притворяться, то, какъ императоръ, какъ жрецъ и поборникъ государственной религіи, онъ притворился бы въ противоположную сторону и окружилъ бы свои послѣднія минуты всѣмъ аппаратомъ мистической религіозности.

Въ предсмертныхъ словахъ Августа видно только добродушно ироническое обращеніе назадъ, на пройденную жизнь. Видитъ ли онъ что нибудь впереди, сказать трудно, но что онъ равнодушенъ къ этому вопросу и не задаетъ его себѣ, это очевидно. Тотъ же Августъ, обнаружившій въ послѣднія минуты такой спокойный раціонализмъ, былъ втеченіи всей своей жизни самымъ суевѣрнымъ человѣкомъ. Онъ вѣрилъ снамъ—и своимъ, и чужимъ, и вѣра его укрѣплялась тѣмъ, что иногда, въ очень важныхъ случаяхъ, сны сбывались. Въ день филиппскаго сраженія онъ чувствовалъ себя нездоровымъ и хотѣлъ остаться въ своей палаткѣ; одинъ изъ его друзей разсказалъ ему свой сонъ, и это побудило его измѣнить свое намѣреніе. Онъ вышелъ изъ палатки и не раскаялся въ этомъ, потому что лагерь побывалъ въ рукахъ непріятеля, палатку его опрокинули, а постель истоптали и изорвали.—Любопытно также узнать отъ Светонія, что Августъ, на основаніи видѣннаго сна, ежегодно въ извѣстный день выходилъ на улицу просить милостыню и «подставлялъ ладонь проходившимъ, которые подавали ему ассы». Гаданія и предзнаменованія были у Августа въ большомъ почетѣ; велико было его смущеніе, когда онъ надѣвалъ лѣвый башмакъ раньше праваго, и велика радость, если, когда онъ отправлялся въ долгій путь, глаза его случайно наполнялись слезами. Въ природѣ всякое рѣдкое явленіе обращало на себя его



вниманіе и перетолковывалось какъ счастливое или несчастное предвѣщаніе. Нѣкоторые дни считались у Августа благоприятными, другіе бѣдственными.

Есть данныя, позволяющія думать, что и въ обществѣ скептицизмъ въ области религіозныхъ вопросовъ совмѣщался и шель рука объ руку съ суевѣрнымъ выполненіемъ мелкихъ формальностей культа, имѣвшихъ болѣею частью магическое значеніе. О послѣднемъ, т. е. о суевѣріи я уже говорилъ. Что касается до скептицизма, то онъ засвидѣтельствованъ многими писателями. Плутархъ говоритъ, что немногіе люди вѣрятъ въ существованіе Тартара, Цербера и загробныхъ казней. «А кто и вѣритъ, продолжаетъ онъ, тотъ старается избавиться отъ этого страха посредствомъ омовеній. Мы видимъ такимъ образомъ, что тѣ (эпикурейцы), отвергая безсмертіе, уничтожаютъ самыя сладкія и великія надежды обыкновенныхъ людей». Здѣсь видно, что Плутархъ уже не стоитъ за букву догмата; ее отстаивать поздно и опасно, потому что эпикурейцы могутъ поднять на смѣхъ и погубить въ глазахъ народа всю апологию. Плутархъ защищаетъ только безсмертіе души и опирается не столько на преданіе, сколько на внутреннюю потребность, живущую въ груди каждого человѣка. Невѣрію въ казни ада онъ самъ сочувствуетъ, потому что бояться боговъ и видѣть въ нихъ существа враждебныя, по его мнѣнію, грѣшно. Въ общей системѣ возраженій Плутарха, направленныхъ противъ эпикурейцевъ, просвѣчиваетъ мысль, которую однако самъ Плутархъ не рѣшается высказать прямо и смѣло. Можетъ быть вы и правы, слышится въ его доказательствахъ, можетъ быть и нѣтъ безсмертія души, но, во-первыхъ, въ него пріятно вѣрить, во-вторыхъ, это вѣрованіе можетъ быть полезно для народной нравственности. Вообще Плутархъ болѣе публицистъ, чѣмъ философъ, и заботится не столько одоженія отвлеченной истины, сколько о практическихъ удобствахъ извѣстнаго вѣрованія.

Замѣчательно, что ослабленіе вѣрованія въ безсмертіе души не измѣнило обрядовъ погребенія. Лукіанъ говоритъ, что въ его время по-прежнему клали въ ротъ покойнику оболъ для платы Харону за перевозъ, а между тѣмъ и Харонъ, и Стиксъ, и Церберъ, и самъ Аидъ съ Персефоною давно ушли въ область сказки.

Въ римскомъ мірѣ, еще во времена республики, высказывалось открыто невѣріе въ загробную жизнь. «Тамъ, говоритъ Цезарь, нѣтъ мѣста ни для радости, ни для заботы». «Недавно, говоритъ черезъ нѣсколько времени Катонъ, Кай Цезарь въ этомъ собраніи вѣрно и прекрасно рассуждалъ о жизни и смерти; онъ объявилъ, и я съ нимъ вполне согласенъ, что о преисподней разсказываютъ нелѣпости, будто тамъ злые отдѣлены отъ добрыхъ и обитаютъ въ страшныхъ, бесплодныхъ,

дикихъ и отвратительныхъ мѣстахъ». Эти слова произносились въ Сенатѣ, а сенатскія вѣдомости читались тогда всѣми, стало быть Катонъ и Цезарь говорили передъ всѣмъ римскимъ народомъ и не боялись своими религіозными мнѣніями повредить своей популярности. Филонъ Александрійскій, писатель 1-го вѣка по Р. Хр., жалуется на размноженіе пантеистовъ и атеистовъ. «Мальчики даже не вѣрятъ, говоритъ Ювеналъ, въ существованіе какихъ-то мановъ и подземнаго царства, и кота (вѣроятно собака Церберъ превращена для насмѣшки въ кошку) и черныхъ лягушекъ въ стигійскомъ болотѣ». «Лови день» (Carpe diem), говоритъ Гораций, и вообще всѣ лирики совѣтуютъ наслаждаться жизнью, пока живетъ, и вспоминая о смерти, находятъ въ ея грозномъ призракѣ лишнюю побудительную причину для дѣятельнаго участія въ жизненномъ пирѣ. Эта философія была всякому по плечу; человѣкъ убѣжденный въ неизбежности уничтоженія, видѣлъ въ ней разумное отношеніе къ случайному дару жизни, доставшемуся на время; человѣкъ, ни въ чемъ неубѣжденный и не о чемъ не мыслившій, увлекался роскошью картинъ, жизненностью образовъ, обаяніемъ беззаботности и наконецъ безграничной свободой, открывавшейся для чувственности при такомъ взглядѣ на вещи.

Любимые поэты читались въ Римѣ почти всѣми; сочиненія ихъ расходились въ огромномъ количествѣ экземпляровъ и, можетъ быть, ихъ вліянію на массу должно отчасти приписать господство эпикуреизма между такими людьми, которые собственными силами не могли бы выработать себѣ никакого міросозерцанія. Этотъ эпикуреизмъ имѣлъ мало общаго съ ученіемъ, развитымъ въ стихотвореніи Лукреція. О природѣ и естественныхъ причинахъ бытія эти доморощенные эпикурейцы не заботились. По ихъ мнѣнію вся философія состояла въ наслажденіи минутою. Эта удобная и общепонятная философія выражается между прочимъ въ надписяхъ надъ гробницами. «Что съѣлъ и выпилъ, говоритъ надпись, то со мною; что я оставилъ, то потерялъ»; — Читатель, говоритъ другая, наслаждайся жизнью; послѣ смерти нѣтъ ни смѣха, ни игры, ни сладострастія». — Друзья, совѣтуетъ третья, повѣрьте мнѣ, смѣшайте кубокъ вина и пейте его, увѣнчавъ голову цвѣтами; послѣ смерти все пожирается огнемъ и землею».

Съ инымъ настроеніемъ отвергали безсмертіе души Плиній Старшій и Сенека. Убѣжденіе подобныхъ людей нельзя не уважать, хотя и нельзя раздѣлять. Напротивъ, исповѣданіе вѣры мелкихъ скептиковъ, составлявшихъ выписанныя эпитафіи, возбуждаетъ только презрѣніе. Они играютъ идею уничтоженія, радуются ей, и эта идея какъ-будто снимается съ нихъ тяжелое бремя. Для такихъ людей страхъ составляетъ самую крѣпкую узду и самую надежную опору нравственности.



Но узда разорвалась, опора подгнила, рухнула и начинается сплошная оргія, грязный разгулъ чувственности, въ которыхъ гложуть лучшіе инстинкты человѣчества. Дешевый скептицизмъ, дикое суевѣріе и животная чувственность составляютъ три главные момента нравственной жизни человѣка временъ имперіи; эти три момента опираются другъ на друга, тѣсно связаны между собою и часто совмѣщаются въ одно время въ одной личности или господствуютъ надъ нею, попеременно смѣняя другъ друга. Жрецы государственной религіи и иноземныхъ культовъ находили свою выгоду въ этихъ трехъ свойствахъ своихъ современниковъ и потому довольно искусно заботились о ихъ поддержаніи. Скептицизмъ не былъ имъ опасенъ; они видѣли, что человѣкъ, не видѣвшій ничего впереди себя, тѣмъ болѣе дорожить земными благами и потому наравнѣ съ прочими вѣрять въ гаданія, въ предназначения и оракулы, и приносить болѣе или менѣе богатые дары и жертвы. Скептицизмъ толпы, т. е. отсутствіе твердаго убѣжденія и самостоятельнаго взгляда былъ жрецамъ полезенъ, какъ почва для суевѣрій.

Отъ обширнаго политическаго вліянія жрецы уже давно отказались и въ Римѣ, и въ Греціи, и даже въ Египтѣ; они довольствовались мелкимъ вліяніемъ на домашнюю жизнь и часто брали окупъ съ своихъ поклонниковъ; жрецу было пріятно втереться въ довѣріе значительнаго лица, давать ему совѣты, пользоваться его уваженіемъ и щедростію; но положеніе Арнуфиса, совѣтника Марка Аврелія, и Александра Авонотихита, царившаго надъ переднею Азіею, составляютъ рѣдкія исключенія; большинство жрецовъ довольствовались тѣмъ, если въ ихъ храмахъ курились жертвы и стекалась толпа вѣрующихъ просителей, если ихъ уважали богатые матроны и, слушаясь ихъ совѣтовъ, не жалѣли денегъ. Для достиженія этихъ мелкихъ цѣлей нужно было употреблять мелкія средства. Твердая увѣренность въ словахъ и движеніяхъ, выставленіе напоказъ религіознаго воодушевленія и строгости нравовъ, таинственная двусмысленность предсказаній, порою какое-нибудь чудо, чтобы подогрѣть усердіе и вѣру поклонниковъ — вотъ средства, которыми держались языческіе жрецы. Смѣшно припомнить, какими ребяческими фокусами Александръ Авонотихитъ въ продолженіи десятковъ лѣтъ обманывалъ и держалъ въ повиновеніи почти весь образованный міръ; ни эпикурейцы, ни христіане не могли сбить его съ пьедестала; онъ прямо выгонялъ изъ своего святилища всѣхъ невѣрующихъ, чтобы тѣмъ удобнѣе обманывать вѣрующихъ. Онъ возглашалъ при началѣ мистерій своихъ: «прочь христіанъ»; народъ кричалъ: «прочь эпикурейцевъ»; подозрительныхъ людей выгоняли силою, и прорицатель остался прорицателемъ до самой смерти. Шарлатанъ оставилъ свое имя во всемірной исторіи наряду съ пра-

вителями, филосогами и поэтами; у жрецовъ было много средствъ дѣйствовать на воображеніе толпы и подогрѣвать ея суевѣріе. Жрецы обладали многими медицинскими секретами, и цѣлебная сила ихъ средствъ увеличивалась вѣрующимъ настроеніемъ пациентовъ, обращавшихся къ ихъ помощи. Чудесныя исцѣленія, производившіяся въ храмахъ Эскулапа, Сераписа и Изиды, могли не быть шарлатанствомъ; они объясняются очень просто и естественно, и конечно, девять десятыхъ употреблявшихся при нихъ церемоній были не нужны и имѣли цѣлью подѣйствовать на воображеніе посѣтителей. Кромѣ медицинскихъ свѣдѣній жрецы обладали немногими знаніями изъ опытной физики и химіи. Все дѣло было въ господствовавшемъ настроеніи массы; то, что теперь показалось бы простымъ фокусомъ даже людямъ, непонимающимъ его устройства, то казалось грекамъ и римлянамъ чудомъ. Жрецы даже боялись писать о своихъ продѣлкахъ; до насъ однако дошли Рнеуматиса Герона, жившаго въ половинѣ II вѣка до Р. Х.

Эта любопытная книга заключаетъ въ себѣ наставленія и рецепты, какъ дѣлать въ храмахъ чудеса. Тутъ читатель узнаетъ, что при особенномъ устройствѣ храма зажиганіе огня на алтарѣ растворяетъ двери, а погашеніе его запираетъ ихъ; можно сдѣлать и такъ, что если зажечь огонь, то двѣ статуи, стоящія у жертвенника, сдѣлаютъ возліаніе, и при этомъ запишутъ змѣя; при раствореніи дверей храма можетъ раздаваться звукъ трубы; словомъ, разныя огненные явленія, таинственные звуки, громъ и молнія, явленіе духовъ и тѣней, странные голоса — все было въ распоряженіи жрецовъ и могло по ихъ желанію потрясать воображеніе и нервы молящихся. Если нужно было сдѣлать чудесное исцѣленіе и поразить всѣхъ зрителей эффектною сценою, то не трудно было это устроить. Стоило нанять какогонибудь бѣдняка, и онъ за ничтожную плату соглашался прикинуться хромымъ, слѣпымъ, сухорукимъ и потомъ въ данную минуту, на глазахъ цѣлаго города, прозрѣвалъ и исцѣлялся. Бывали и періодическія чудеса, происходившія каждый годъ. Въ Элеѣ три пустые котла запечатывались при всѣхъ гражданахъ и ставились въ храмъ; на другой день печать оказывалась нетронутою; ее вскрывали и въ котлахъ оказывалось вино, налитое Діонисомъ. На островѣ Андросѣ въ праздникъ Діониса текъ изъ храма ручей вина. Всѣ эти фокусы требовали конечно издержекъ, но онѣ съ лихвою окупались пріобрѣтаемымъ вліяніемъ.

Въ разсказѣ о Паулинѣ и Мундѣ видно, до какой степени простиралось въ лучшихъ людяхъ того времени довѣріе къ жрецамъ. Паулина, не отказавшая въ собственномъ тѣлѣ, конечно не отказывала въ деньгахъ; рядомъ съ этимъ разсказомъ можно поставить другой, не менѣе характеристичный. Въ Александріи жрецъ Са-



турна, Тироинъ объявилъ, что его богъ желаетъ, чтобы нѣкоторыя названныя имъ женщины проводили ночь въ храмѣ. Онъ назвалъ замѣчательнѣйшихъ красавицъ города, и мужья этихъ дамъ не оказали ни малѣйшаго сопротивленія. Вступая въ храмъ, избранная красавица видѣла только статую бога и съ полною вѣрою занимала приготовленное ложе. По особенному механизму лампы гасли, изъ пустой статуи выходилъ жрецъ, а суевѣрная дама принимала его за воплощеніе бога и поступала сообразно съ этимъ вѣровавіемъ. И это, какъ видно по разсказу Руфина, не было случайностью, единичнымъ обманомъ; та же штука повторялась всякій разъ, какъ того желалъ жрецъ.

Объ астрологіи, о магіи и ея видоизмѣненіяхъ, скажу коротко. Въ ихъ дѣйствительное существованіе вѣрили даже христіанскіе писатели. Евсевій не отвергаетъ чудесъ Аполлонія Тианскаго, и только выводитъ ихъ изъ нечистаго источника и полагаетъ, что онъ дѣйствовалъ чародѣяніями, при помощи дьявола. Масса языческаго народа была тѣмъ болѣе расположена вѣрять въ возможность магіи, что характеръ самой религіи не позволялъ провести раздѣлительную черту между молитвой и заклинаніемъ. Боги язычества были обоготворенныя силы природы, подчиненныя извѣстнымъ законамъ; хотя это предствленіе почти утратилось въ греко-римскомъ мірѣ подъ вліяніемъ антропоморфизма, выработаннаго поэзіею, однако оно сохранило свою силу въ томъ отношеніи, что за людьми признавалась способность подчинять себѣ волю боговъ при помощи извѣстныхъ обрядовъ и заклинаній, которыми боги не могли сопротивляться. Молитва въ римской религіи не требовала никакого внутренняго усердія; нужно было исполнить точно форму, и тогда божество должно было удовлетворить требованію молящагося.

Плиніи разсказываетъ, что высшіе сановники при религіозныхъ актахъ приказывали читать молитвенную формулу по богослужебной книгѣ; жрецъ долженъ былъ, во избѣжаніе ошибки, повторять за чтеніемъ каждое слово; другой жрецъ долженъ былъ наблюдать за сохраненіемъ молчанія между присутствующими; сверхъ того, при чтеніи молитвы играли на флейтѣ, чтобы заглушить всякій посторонній звукъ, способный предвѣщать несчастье. При молитвѣ римлянинъ покрывалъ себѣ голову и зажималъ уши, чтобы никакой посторонній звукъ не помѣшалъ дѣйствительности молитвенныхъ словъ. Нѣкоторые обряды, которымъ придавали очень важное значеніе, носятъ на себѣ чисто магическій характеръ; когда городъ находился въ опасности, когда государству угрожали враги, то диктаторъ, назначенный собственнo для этой цѣли, вбивалъ гвоздь въ стѣну храма Юпитера капитолійскаго.

Со временъ Сципіоновъ, этотъ обычай былъ оставленъ, вѣроятно потому, что былъ слишкомъ

простъ и не соответствовалъ всѣмъ остальнымъ роскошнымъ формамъ богослуженія. Во всякомъ случаѣ, этотъ обрядъ вбиванія гвоздя представляетъ чисто магическій характеръ. Знакомство римлянъ съ иностранными культами могло только содѣйствовать развитію магіи. У грековъ магическіе обряды были связаны съ культомъ подземныхъ боговъ, которымъ служили демоны. Геката была специально покровительницею волшебства, и ея обожаніе связано съ безчисленнымъ множествомъ заклинаній и фантастическихъ формальностей. Служеніе и мистеріи фригійской матери боговъ были проникнуты колдовствомъ. Ассирійскіе халдеи уже съ незапамятныхъ временъ примѣшали къ своему сабеизму элементъ астрологіи. Представляя себѣ свѣтила живыми существами, одаренными роковою силою, они старались узнавать свойства ихъ вліянія на людскіе интересы, старались даже по возможности управлять этимъ вліяніемъ и успѣли увѣрить согражданъ въ своихъ обширныхъ свѣдѣніяхъ, и въ своемъ могуществѣ. Въ Вавилоніи и Ассиріи былъ обычай носить амулеты, въ которыхъ, по понятіямъ народа, сосредоточивалась спасительная сила извѣстныхъ звѣздъ.

Древняя философія не мѣшала развитію астрологіи и магіи. Платонъ считаетъ звѣзды божественными существами, одаренными высшимъ разумомъ и значительной силой. Аристотель говоритъ, что свѣтила обладаютъ высшею и божественною душою и имѣютъ несомнѣнное вліяніе на землю, находящуюся въ центрѣ мірозданія. Даже пантеистическій матеріализмъ стоиковъ допускалъ, что звѣзды, какъ части мірового бога, должны въ свою очередь считаться богами и посредствомъ своихъ движеній управлять судьбою низшихъ существъ. Полный атеизмъ системы Эпикура исключалъ конечно вмѣшательство всякой высшей силы въ дѣла людей, но большинство его послѣдователей проводили только его ученіе въ жизнь, и, не забывая ни о научномъ его расширеніи, ни о пропагандѣ, не могли искоренить въ массахъ вѣру въ магію и астрологію. Такимъ образомъ въ Римѣ было множество матеріаловъ для развитія волшебства; духъ религіи и философіи содѣйствовалъ его процвѣтанію; суевѣрное настроеніе народа съ жадностью воспринимало все таинственное и чудесное. Во вседневной жизни представлялось множество случаевъ, въ которыхъ необходимо было или узнать будущее, или измѣнить въ свою пользу естественное теченіе событий. Если женщинѣ нужно было приковать къ себѣ вѣтрянаго мужа или любовника, она добывала любовный напитокъ *philtrum*, приготовлявшійся съ разными магическими церемоніями. Если дряхлому старику нужно было искусственнымъ образомъ поддержать гаснущія страсти, онъ обращался къ медицинскому колдовству. Если нужно было извести врага,—и за



этимъ дѣломъ обращались къ различнымъ заклинаніямъ. Тиверія обвиняли въ томъ, что онъ такими чарами убилъ Германика, и въ его домѣ надъ половицами были найдены полусгнившіе остатки труповъ, обгорѣлыя и кровавыя кости и свинцовыя доски, на которыхъ рядомъ съ именемъ Германика были написаны разныя проклятія и таинственныя изреченія. При магическихъ церемоніяхъ часто требовались человѣческія жертвы; при развитіи рабства, этимъ потребностямъ удовлетворять было не трудно, и владѣтель, нисколько не задумываясь, могъ рѣзать въ своихъ мистеріяхъ и взрослыхъ, и дѣтей; до исчезновенія раба ни государству, ни закону не было дѣла. Цицеронъ говорилъ въ глаза Ватинію: «Ты вызываешь духовъ усопшихъ и приносишь въ жертву подземнымъ богамъ внутренности дѣтей». Ювеналъ говоритъ о коммагенскомъ аруспиціи: «онъ разсматриваетъ грудь цыпленка, кишки ценка, а порою и внутренности мальчишкова».

Существовалъ также обычай при важныхъ заклинаніяхъ вырѣзывать незрѣлый плодъ изъ живота беременной женщины. Послѣ смерти императора Юліана нашли въ одномъ храмѣ, въ которомъ онъ совершалъ тайны жертвоприношенія, мертвую женщину; она была повѣшена за волосы и животъ ея былъ взрѣзанъ. Магія подавала поводъ ко многимъ злодѣяніямъ и попѣлямъ, къ которымъ она стремилась, и по средствамъ, которыя она употребляла. Правительство не разъ пробовало выгонять астрологовъ и математиковъ, но здѣсь, какъ и вездѣ, попытки правительства не могли искоренить зла, лежавшаго глубоко въ народныхъ вѣрованіяхъ и удовлетворявшаго насущнымъ потребностямъ массы. Тиверій удалилъ мажиковъ изъ Італіи, сбросилъ со скалы математика Питуанія, а самъ постоянно держалъ при себѣ астролога Тразилла и, на основаніи его наставленій, предсказалъ Гальбѣ, что онъ будетъ императоромъ. Высшія формы магіи были некромантія или вызываніе духовъ и теургія или вызываніе боговъ; въ ту и въ другую крѣпко вѣрили новоплатоники, въ ученіи которыхъ перемѣшались результаты строгаго мышленія и созданія болѣзненной фантазіи, вѣрованія Запада и Востока, словомъ почти все, что выработала языческая цивилизація.—Легковѣріемъ народа и его стремленіемъ къ сверхъестественному міру пользовались такимъ образомъ и жрецы, и магики, и астрологи и простые шарлатаны. Даже люди простаго званія, нищіе и рабы успѣвали поживиться отъ суевѣрія массы. Кругомъ храмовъ бродили цѣлыя кучи одержимыхъ божествомъ; немытые, нечесанные, они смотрѣли дикимъ взоромъ на проходящихъ, вертѣли члены, закидывали голову и приходили въ состояніе полного бѣшенства, причѣмъ произносили отрывистыя слова и предсказывали будущее. Этихъ людей было такъ много, что для нихъ существо-

вало даже особенное имя, по гречески, *теолептики*; по латынѣ *fanatici* (fanum-храмъ). Римскіе юристы разбирали даже вопросъ: если проданный рабъ окажется фанатикомъ, закидывающимъ голову и предсказывающимъ будущее, то составляетъ ли такой скрытый порокъ достаточную причину для уничтоженія торговаго? Изъ этого ясно, что во 1-ыхъ рабы любили предаваться этому выгодному и нетрудному занятію, и что, во 2-ыхъ, фанатиковъ (въ спеціальному смыслѣ) было такъ много, что на это явленіе пришлось обратить вниманіе закона.

Какое общее заключеніе можно сдѣлать изъ этого очерка языческихъ религій? То, мнѣ кажется, что реформа была неосходима. Каждый мыслящій и честный человѣкъ видѣлъ, что положеніе дѣлъ во всѣхъ отношеніяхъ было изъ рукъ вонъ плохо. Религія истощила свои живыя силы; самыя заветныя догматы были подорваны въ общественномъ мнѣніи; въ промыслѣ и въ безсмертіи души не вѣрили; нравственность не поддерживалась ни страхомъ, ни надеждою, а къ безкорыстной нравственности способны немногіе; что осталось изъ религій, то было вредно; а остались сладострастные мифы и безнравственныя мистеріи, развращавшія юношество и поощрявшіе всякаго рода чувственныя желанія; кровосмѣсители опирались на примѣры Зевса, бывшаго любовникомъ матери (Деметры), сестры (Геры) и дочери (Прозерпины); многіе любовались на Зевса и Ганимеда; соблазнитель дѣвушекъ и дѣвушки припоминали Даная, Европу и Леду; воры приносили жертвы Гермееу; публичныя женщины становились подъ покровительство Афродиты. Догматы были подорваны, а обряды только усилились; суевѣріе притупило умъ народа, стѣснило творческую фантазію и превратило антропоморфизмъ въ бездушный и бессмысленный фетишизмъ. Религіозное чувство, послѣднее убожище народа, выдохлось; остались формы, и сдавленное ими, мельчало и тупѣло выросшее поколѣніе. На это печальное положеніе дѣлъ не могли смотрѣть равнодушно мыслители. Они жили съ народомъ въ совершенно различныхъ сферахъ; ихъ не слыжалъ народъ; многіе гнушались имъ, и не безъ причины; если и случалось народу поймать на-лету философскую мысль, онъ коверкалъ ее такъ, что отъ нея отступился бы самъ творецъ ея... Нуженъ былъ и здѣсь, еще болѣе нежели въ государственной жизни, практическій реформаторъ, любящій «малыхъ сихъ», знающій ихъ нужды, не пренебрегающій ихъ умственной нищетою, пережившій на себѣ ихъ мелкія горести, ихъ обыденныя страданія, на которыя такъ гордо смотрѣлъ съ высоты мысли и стонка, и эпикуреецъ. Нужна была любовь; нужно было мягкое сердце; нужна была горячая голова, способная воспламенить другихъ и вызвать ихъ силою изъ нравственнаго униженія.



## VIII.

Философы стояли въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ въ отношеніи къ міамъ и къ народному богопочитанію. Всѣ они сходились между собою на томъ, что считали настоящее положеніе дѣлъ невыносимымъ и предлагали средства для исправленія народной логики и народной нравственности. Въ предлагаемыхъ средствахъ замѣчается самое пестрое разнообразіе. Одна сторона откинула всякую религію и въ религіозномъ чувствѣ видитъ корень всѣхъ современныхъ заблужденій; другая оплакиваетъ упадокъ религіознаго чувства и хочетъ реформировать господствующую религію, вдохнуть новую жизнь и здоровый разумъ въ одряхлѣвшія и обезумѣвшія формы. Мыслители, стоящіе по срединѣ, развиваютъ свое нравственное ученіе, не заботясь о томъ, чтобы привести его въ какія бы то ни было отношенія съ существующимъ порядкомъ вещей. Они далеки отъ полемическаго характера первыхъ и аналогическаго характера вторыхъ; они равнодушны ко всему, что дѣлается внѣ ихъ мыслящей личности, и возводятъ это равнодушіе въ теорію. Они самостоятельнымъ путемъ доходятъ до восточнаго квіетизма, и только легкая иронія, съ которою они относятся къ явленіямъ современности, доказываетъ, что самоуглубленіе индѣйскаго іоги не въ духѣ западнаго европейца.

Всѣ очерченныя мною группы мыслителей, невѣрующіе эпикурейцы и скептики, вѣрующіе платоники и пифагорейцы, и равнодушные стоики-эклетики отличаются практическимъ направленіемъ своихъ ученій. Чтобы охарактеризовать ихъ ученіе, необходимо бросить взглядъ назадъ, на цвѣтущее время эллинизма. Не вдаваясь въ историческое изложеніе развитія греческой философіи, я ограничусь тѣмъ, что въ самыхъ краткихъ чертахъ обозначу характеръ тѣхъ трехъ направленій, которыя развивались и видоизмѣнялись въ разсматриваемую мною эпоху. Платонъ, Эпикуръ и Зенонъ стоятъ во главѣ этихъ трехъ ученій. Говорить подробно о Платонѣ я считаю лишнимъ, потому что общій характеръ его ученія изложенъ уже былъ мною читателямъ въ статьѣ «Идеализмъ Платона». Поэтому я прямо перехожу къ результатамъ его философіи. Философія Платона похожа болѣе на религію, чѣмъ на научную систему. Односторонность замѣчается преимущественно въ воззрѣніи мыслителя на человѣческую душу. Только мысли дано право гражданства. Чувство, фантазія—вовсе исключены; ихъ надо давить и искоренять. Принимая матерію за зло, считая тѣло тюрьмою души, Платонъ совершенно уничтожаетъ эстетическое чувство; кто уважаетъ *только* вѣрность идеи, тотъ не способенъ цѣнить красоту формы и пластичность образа. Свободное твор-

чество и свободная критика должны быть чужды идеальному человѣку Платона. Для свободнаго творчества нужна фантазія, а всякая примѣсь къ божественному разуму оскверняетъ его, по мнѣнію Платона, и должна быть выбрасываема; стало быть и фантазія, показывающая идею въ образѣ, вредитъ и мѣшаетъ созерцанію истины. Свободная критика ведетъ къ сомнѣніямъ и къ индивидуальнымъ воззрѣніямъ, а то и другое, по ученію философа, предосудительно, потому что первое разрушаетъ спокойное созерцаніе, а второе—придаетъ этому созерцанію своеобразную форму; гдѣ нѣтъ ни свободнаго творчества, ни свободной критики, тамъ нѣтъ жизни мысли. Самъ Платонъ создалъ свою философскую систему при помощи фантазіи и критики. Желая превратить остальное человѣчество въ конгрегацию вѣрующихъ адептовъ, онъ, подобно Аристотелю, стираетъ личность, отвергаетъ историческій прогрессъ и является поборникомъ самаго возмутительнаго деспотизма, какого испугался бы онъ самъ въ дѣйствительности.

## IX.

Ученіе, діаметрально противоположное платонизму, развилъ Эпикуръ (340—270 до Р. Х.). Принимая свидѣтельство нашихъ чувствъ за единственный достовѣрный источникъ знанія, Эпикуръ не строитъ никакой теоріи; о мірозданіи онъ знаетъ только то, что все сложилось само собою, по внутренней необходимости, безъ вмѣшательства боговъ и высшихъ безтѣлесныхъ существъ. Какъ все это сложилось, Эпикуръ объясняетъ гипотезою, не придавая ей значительной важности. Все въ природѣ, по мнѣнію Эпикура, безцѣльно, случайно и между тѣмъ основано на естественной связи причины и слѣдствія. Все ученіе имѣетъ практическое направленіе. Эпикуръ хочетъ уничтожить суевѣріе, и понимаетъ подъ этимъ именемъ идею божества и промысла. Для этого онъ доказываетъ безцѣльность созданія и отсутствіе того міроваго разума, который Платонъ воплотилъ въ личности диміурга. Не отходя ни на шагъ отъ міра видимыхъ явленій, Эпикуръ на непосредственномъ наблюденіи физическихъ законовъ строитъ свою гипотезу о происхожденіи міра. Онъ принимаетъ вѣчность матеріи, потому что ничто въ мірѣ не уничтожается и не возникаетъ изъ ничего; согласно съ новѣйшей теоріей, Эпикуръ полагаетъ, что всѣ тѣла состоятъ изъ атомовъ; эти атомы, по его мнѣнію, носились въ пространствѣ, потомъ сталкиваясь между собою, приходили въ вращательное движеніе, образовали тѣла и принимали разныя свойства, какъ-то цвѣтъ, форму и теплоту. Атомы вѣчны; соединенія ихъ между собою временны. На постоянномъ ихъ переходѣ изъ одной формы въ другую основано кругообращеніе матеріи, явленія рожденія и смерти, развитія и размноженія. Душа человѣка по мнѣнію



Эпикура, состоитъ изъ тончайшихъ атомовъ, нѣмѣющихъ даже оцутительнаго вѣса. Эти атомы распространены по всему тѣлу, а тѣ, въ которыхъ заключается сила мышленія и чувства, живутъ въ груди. При разрушеніи тѣла, атомы души мгновенно разлетаются, и такимъ образомъ прекращается сознание и уничтожается личность. Это воззрѣніе эпикурейцы считаютъ очень утѣшительнымъ, потому что оно избавляетъ отъ вѣры въ ужасы преисподней. Эпикуръ принимаетъ совершенную свободу воли и отвергаетъ предопредѣленіе и фатализмъ. Развитіе отдѣльнаго человѣка и всего человѣчества онъ объясняетъ естественною связью причины и слѣдствія.

Къ народной религіи Лукреціи относится такъ: «Подавленная тяжелымъ культомъ, человѣческая жизнь лежала во прахѣ; религія, возвышаясь надъ смертными, показывала съ неба страшную голову, наполнявшую ихъ ужасомъ. Смертный грекъ первый рѣшился взглянуть ей въ глаза и выступить ей противникомъ. Ни храмы боговъ, ни молніи, ни грозный ропотъ неба не остановили его; напротивъ отъ этого возросло его мужество и усиливалось желаніе первому сбить запоры съ затворенныхъ дверей природы. Живая сила духа превозмогла, онъ вышелъ за пламенѣющіе предѣлы міра и работою мысли измѣрилъ все необъятное. И вотъ побѣдитель рассказываетъ намъ, что можетъ случиться и что невозможно; онъ говоритъ намъ, что каждая сила получаетъ опредѣленные границы, выше которыхъ не могутъ распространяться ея дѣйствія. И теперь религія въ свою очередь побѣждена и брошена подъ ноги; насъ побѣда возноситъ до неба. Я боюсь, ты упрекнешь меня, что я ввожу тебя въ школу безбожія и ставлю на путь преступленія. Напротивъ эта религія гораздо чаще порождаетъ зло и несчастіе. Вспомни, какъ ужасно избранные вожди данаевъ, лучшіе люди, въ Авлидѣ обагрили кровью Ифигенію жертвенникъ Артемиды. Жертвенная повязка покрыла дѣвическій уборъ; убитый горемъ, отецъ стоялъ у жертвенника, жрецы скрывали отъ него роковое желѣзо; глядя на него, граждане проливали слезы, и дѣва, онѣмѣвши отъ страха, упала на колѣни и лишилась чувствъ. И не спасло несчастную то, что она была старшая дочь короля, что она первая назвала его именемъ отца. Ее подняли люди и дрожащую понесли на рукахъ къ жертвеннику; не на бракъ ее вели, не къ знатному жениху; ее, невинную дѣву, въ самый день свадьбы, родной отецъ собирается зарѣзать на алтарѣ, чтобы флотъ дошелъ счастливо съ попутнымъ вѣтромъ; вотъ сколько бѣдъ и могъ причинить религія».

Это мѣсто Лукреція указываетъ на двѣ черты эпикурейскаго міросозерцанія. Во-первыхъ, Лукреціи не отличаетъ религію отъ суевѣрія, и отвергаетъ внутреннія основы религіознаго чувства; полагая, что изученіе природы

подрываетъ всякое благоговѣніе. Во-вторыхъ, онъ преслѣдуетъ въ религіи не столько внутреннюю нелогичность, которую онъ въ ней подзрѣваетъ, сколько безправственность, которую влечетъ за собой духъ греческаго религіознаго міросозерцанія. Стало-быть, первая черта указываетъ на обширность эпикурейскаго отрицанія, а вторая на практическое направленіе этого отрицанія. Эпикуреизмъ почти не отдѣляетъ очищеннаго идеализма Платона и фатализма стоиковъ отъ заблужденій народной религіи. Живое эстетическое чувство влекло одного Эпикура къ созданію идеальныхъ существъ, одаренныхъ всѣми физическими и нравственными совершенствами, вѣчно живущихъ и вѣчно блаженныхъ. Онъ воплотилъ идеалы въ образахъ антропоморфическихъ боговъ, не имѣющихъ ничего общаго ни съ міротвореніемъ, ни съ міроуправленіемъ, ни съ мелкими интересами людей и земли. Свободные отъ заботъ и трудовъ, неволнѣемые ни страстями, ни желаніями, они живутъ въ вѣчно свѣтлой и веселой атмосферѣ, въ такъ-называемыхъ *интермундіяхъ*, т. е. въ пространствахъ между мірами.

Что особенно отличаетъ философію Эпикура — это полная свобода мысли, не исключаящая ни одной способности человѣческой души. Пусть фантазія свободно творитъ свои образы, пусть чувство манитъ къ такимъ представленіямъ, которые непонятны трезвому критическому уму, Эпикуръ не отвергаетъ этихъ причудливыхъ, но прелестныхъ созданій. Онъ только не даетъ имъ практическаго значенія, не позволяетъ основать на нихъ теорію мірозданія, но признаетъ ихъ освѣжающее и живительное вліяніе на личность художника и человѣка. Если припомнить сужденія Платона и Аристотеля о грекахъ и о варварахъ, если припомнить далѣе, что Платонъ предлагалъ въ своей республикѣ ввести коммунизмъ женъ, а Аристотель подвергалъ сомнѣнію существованіе добродѣтели у женщины, то изъ этихъ данныхъ можно вывести заключеніе, что личность человѣка въ системѣ Эпикура пользуется такимъ уваженіемъ и такою свободою, какихъ не знала до него классическая древность.

Боги у Эпикура существуютъ какъ свободныя созданія фантазій и не связываютъ людей никакими практическими обязательствами. Такъ какъ въ жизни люди съ ними не сталкиваются, а послѣ смерти человѣческая личность уничтожается, то представленіе этихъ боговъ совершенно уживается съ Эпикуровымъ атеизмомъ. Нравственная философія его по своему духу находится въ органической связи съ его понятіями о богахъ и ихъ отношеніи къ людямъ. Въ ней проводится та мысль, что благо недѣлимыхъ должно быть конечною цѣлью всякой человѣческой дѣятельности. Не признавая закона, даннаго свыше, Эпикуръ считаетъ единственнымъ безусловнымъ добромъ наслажденіе, единственнымъ безуслов-



нымъ зломъ—страданіе. Но всякое положительное наслажденіе основано на удовлетвореніи потребности, слѣдовательно на страданіи, которое должно быть устранено. Поэтому всякое наслажденіе имѣетъ конечною цѣлью уничтоженіе страданія, и потому высшее благо для человѣка есть душевное спокойствіе и тѣлесное довольство, происходящее отъ удовлетворенія всѣхъ потребностей. Чѣмъ малочисленнѣе эти потребности, чѣмъ онѣ скромнѣе, тѣмъ легче могутъ онѣ быть удовлетворены, и потому тѣмъ достижимѣе идеалъ блаженства.

По мнѣнію Эпикура, пишетъ Целлеръ, «не пьянство и пиры, не любовь къ женщинамъ, не удовольствія стола дѣлаютъ жизнь пріятною, а трезвый умъ, изслѣдующій причины нашей дѣятельности и нашихъ стремленій, и прогоняющій величайшихъ враговъ нашего спокойствія—предразсудки». Наслажденіе и страданія души, по мнѣнію Эпикура, сильнѣе физическаго удовольствія и физической боли; въ первомъ случаѣ мы испытываемъ посредствомъ воспоминанія прошедшія, а посредствомъ страха или надежды будущія горести и радости, которыя усиливаютъ впечатлѣнія настоящей минуты. Во второмъ мы переживаемъ только въ настоящемъ ощущенія боли или удовольствія, и состояніе души, воспоминающей о прошедшемъ, смотрящей въ будущее и наслаждающейся созерцаніемъ мысли, можетъ заглушать или ослаблять страданія тѣла.

Впрочемъ Эпикуръ нигдѣ не высказываетъ стоическаго презрѣнія къ страданію; онъ утѣшаетъ страждущихъ болѣе доступной идеей: «сильныя страданія, говоритъ онъ, продолжаютъ недолго, а при посредственныхъ страданіяхъ можетъ быть наслажденіе, до нѣкоторой степени заглушающее и перевѣшивающее боль». Эпикуръ не отдѣляетъ блаженства отъ добродѣтели, но говоритъ, что не добродѣтель сама по себѣ дѣлаетъ человѣка счастливымъ, а то наслажденіе, которое изъ нея выходитъ. Добродѣтель не составляетъ для него цѣли, это только средство достигнуть блаженной жизни, но за то онъ считаетъ это средство вѣрнымъ и необходимымъ. Мудрецъ Эпикура стоитъ выше страданія, но не требуетъ этого отъ другихъ людей, и потому способенъ чувствовать жалость, хотя это чувство не должно мѣшать его философской дѣятельности; онъ не презираетъ наслажденія, но управляетъ своими чувственными стремленіями и, умѣряя ихъ силою мысли, не позволяетъ имъ оказывать вредное вліяніе на его жизнь. Мудрецъ стоитъ выше обстоятельствъ и можетъ быть счастливъ во всякомъ положеніи. «У Эпикура, говоритъ Целлеръ, выразилось стремленіе общее всѣмъ школамъ послѣ аристотелевской философіи—дать человѣку свободу и самостоятельность и сдѣлать его независимымъ отъ всего внѣшняго въ безконечности его мыслящаго самосознанія». Отдѣльныя правила жизни, пред-

писанныя Эпикуромъ, направлены къ тому, чтобы умѣрить страсти и похоти и такимъ образомъ привести человѣка къ полному довольству собою и жизнью. Внутреннее спокойствіе составляетъ счастье мудреца, котораго не отнять у него ни бѣдность, ни незнатность; естественнымъ потребностямъ удовлетворить не трудно, а отъ удобствъ, составляющихъ роскошь жизни, мудрецъ не отказывается, но не ставитъ отъ нихъ въ зависимость свое внутреннее довольство. Не подавляя чувственности, Эпикуръ умѣряетъ и ограничиваетъ ее. Мудрецъ не долженъ жить циникомъ или нищимъ; онъ можетъ наслаждаться всѣми удобствами жизни, всею прелестью изящной обстановки, всѣми оттѣнками пріятныхъ физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ ощущеній; нужно только, чтобы случившаяся потеря этихъ благъ не сдѣлала его несчастнымъ; «его умѣренность, говоритъ Целлеръ, состоитъ не въ томъ, что онъ немногимъ пользуется, а въ томъ, что онъ въ немногомъ нуждается». Циникъ съ умысломъ бросаетъ удобства жизни, эпикуреецъ умѣетъ только при случаѣ обходиться безъ нихъ.

Циники и стоики насилуютъ природу человѣка, а эпикурейцы только приводятъ ее въ естественныя границы и даютъ ей разумное направленіе. Эпикуреецъ не боится смерти и рѣшается на самоубійство, если нѣтъ другого средства избавиться отъ невыносимыхъ страданій, напр. если онъ осужденъ на мучительную казнь или болѣзнъ неизлѣчимой тяжелой болѣзныю; но, такъ какъ ни лишенія, ни временная болѣзнь не могутъ помѣшать его внутреннему довольству, то самоубійство возможно только тогда, когда и безъ того предстоитъ за длиннымъ рядомъ страданій неизбежная смерть. Короче, эпикуреецъ не ищетъ смерти, но умѣетъ въ случаѣ надобности помириться и съ нею. Онъ постоянно ищетъ возможно лучшаго и въ то же время довольствуется наличнымъ. Въ немъ соединяется элементъ движенія съ элементомъ спокойствія; это соединеніе по самой сущности своей исключаетъ и тревогу, и апатію.—«Эпикуръ, пишетъ Сенека, одинаково осуждаетъ тѣхъ, кто стремится къ смерти, и тѣхъ, кто ея боится, онъ говоритъ: смѣшно бѣжать къ смерти отъ пресыщенія жизнью, когда родомъ жизни ты самъ сдѣлалъ то, что надо бѣжать къ смерти. Гражданскаго долга Эпикуръ не признаетъ, во-первыхъ потому, что для него вообще не существуетъ понятія долга, во-вторыхъ потому, что онъ понимаетъ гражданское общество только какъ охранительное учрежденіе, котораго конечная цѣль есть безопасность отдѣльной личности. Должность правительственная дѣлается такимъ образомъ чисто полицейскою, причемъ въ различныхъ степеняхъ измѣняются только размѣры поприща. Очень понятно, что Эпикуръ предоставляет эти должности тѣмъ, кто не можетъ за-



ваться лучшимъ; его мудрецъ составляетъ въ государствѣ охраняемое, а охранителями являются люди менѣ развитые или по крайней мѣрѣ немѣющіе всеобъемлющаго развитія. Эпикуръ, по словамъ Сенеки, говоритъ: пусть мудрецъ не приступаетъ къ правительственной дѣятельности, если ни что не принудитъ». Зенонъ говоритъ: пусть приступитъ, если ни что не помѣшаетъ». Золотая середина, по мнѣнію Эпикура, всего вѣрнѣе ведетъ къ счастью, и обезпеченный частный человѣкъ можетъ быть гораздо спокойнѣе, нежели правитель государства.

Любопытно сравнить воззрѣнія Эпикура на государство съ убѣжденіями В. Гумбольдта, высказанными въ первомъ его политическомъ разсужденіи: «Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen». Мы найдемъ въ томъ и другомъ сильное развитіе индивидуализма и низведеніе государства на степень охранительнаго учрежденія. Эти сходныя мысли даже высказаны въ сходныхъ выраженіяхъ. Ослабляя узы тѣхъ отношеній, въ которыхъ человѣкъ поставленъ рожденіемъ, какъ гражданинъ государства и какъ членъ семейства, Эпикуръ придаетъ особенно важное значеніе тѣмъ связямъ, которыя основаны на взаимной наклонности. Онъ высоко цѣнитъ дружбу, называетъ ее высшимъ благомъ жизни и говоритъ, что мудрецъ можетъ даже рѣшиться для друга на величайшія страданія и смерть. И это нисколько не противорѣчитъ эгоистическому духу всего ученія; умирая за друга, эпикуреецъ не насилуетъ своей природы; онъ дѣлаетъ это потому, что ему легче умереть, нежели видѣть или знать, что умираетъ или страдаетъ его другъ.—Если прибавить къ этой характеристикѣ эпикуреизма извѣстія о личномъ характерѣ Эпикура, отличавшагося кротостью, любящимъ сердцемъ, преданностью къ друзьямъ и гуманностью къ своимъ рабамъ, то не трудно будетъ убѣдиться, что вся его нравственная философія основана на непосредственномъ чувствѣ и потому носить на себѣ характеръ неподдѣльной искренности. Эпикуръ не заботится о томъ, чтобы провести въ своемъ ученіи до конца какую-нибудь идею, онъ руководствуется тѣмъ, что подсказываетъ ему чувство, и потому, если его положенія не всегда вытекаютъ одно изъ другого, то по крайней мѣрѣ всѣ они вытекаютъ изъ одного міросозерцанія, изъ одной человѣческой личности, образъ которой очень отчетливо рисуется во всѣхъ отдѣльных частяхъ ученія. Это ученіе должно было дѣйствовать на различныхъ людей различно, и результаты его вліянія должны были рѣзко отличаться другъ отъ друга, смотря по личному характеру воспринимавшаго его человѣка. Ни одно ученіе не открываетъ такого обширнаго поля свободѣ личности, и потому ни одно ученіе болѣе эпикуреизма не подаетъ повода къ злоупотребленіямъ. Нѣтъ ничего легче, какъ оправдать имъ

всякую безнравственность. «Мнѣ это доставляетъ наслажденіе, я такъ и поступаю», говорили многіе порочные люди древности, опираясь на Эпикура, котораго они не понимали или не хотѣли понимать.

Въ Римѣ ученіе Эпикура рано нашло себѣ многочисленныхъ послѣдователей. Замѣчательнѣйшимъ и самымъ талантливымъ толкователемъ Эпикура былъ безспорно Лукрецій. Его знаменитое стихотвореніе о природѣ вещей служитъ главнымъ источникомъ для изученія эпикуровой физики. Послѣ Лукреція Эпикуръ не выдерживаетъ ничьей научной обработки и остается до паденія греко-римскаго міра безъ всякаго измѣненія. Замѣчательно, что эпикуреизмъ не породилъ философскихъ сектъ; кто предавался ему, тотъ предавался всей душою, принималъ все міросозерцаніе учителя и, успокоившись на немъ, проводилъ въ жизнь его совѣты, не заботясь о дальнѣйшей ихъ теоретической разработкѣ. Такимъ замѣчательнымъ эпикурейцемъ былъ Лукіанъ Самосатскій, обсуживавшій съ точки зрѣнія своей школы и осмѣливавшій съ неподражаемымъ остроуміемъ несообразности и грязныя стороны современнаго ему язычества. Дѣятельность этого Вольтера древности была чисто-практическая; въ умозрительныя изслѣдованія онъ не пускался; основывать свое ученіе на новыхъ доказательствахъ, отстаивать его вѣрность и такимъ образомъ доставлять ему вліяніе на массы, онъ считалъ излишнимъ и шелъ къ той же цѣли путемъ отрицанія и ожесточенной полемики съ существующимъ порядкомъ вещей. Если Лукіанъ можетъ быть принятъ за представителя умственныхъ стремленій позднѣйшаго эпикуреизма, то эротическіе поэты, подобные Горацію, Проперцію и Тибуллу могутъ считаться представителями его нравственныхъ тенденцій, какъ ихъ понимало разлагающееся общество императорскаго Рима. Горацій въ своихъ сатирахъ приближается къ идеалу эпикурова мудреца; но за то Горацій въ одахъ и эпизодахъ беретъ самую чувствительную сторону этого ученія и, извращая его истинный смыслъ, оскорбляетъ иногда эстетическое чувство читателя своими пѣснями публичнымъ женщинамъ и растлѣннымъ мальчикамъ.

Еще ниже стоятъ въ эстетическомъ и нравственномъ отношеніи Тибуллъ и Проперцій, пѣвцы грязной чувственности. Конечно, если принимать ихъ за представителей эпикуреизма, то можно отъ него отвернуться съ презрѣніемъ. Но даже сама мыслящая древность смотрѣла на эпикурейцевъ иначе и понимала, что эти неглубокіе дилетанты, несмотря на обширное вліяніе свое на толпу читателей, не могутъ быть поборниками философскаго ученія. Ни Цицеронъ, ни строгій стоикъ Сенека не любили эпикуреизма, а между тѣмъ оба они сознаются, что современные имъ послѣдователи Эпикура были большей частью честные люди, дорожившіе жизнью мысли



и понимавшіе безкорыстную и искреннюю дружбу. Я больше не возвращусь къ эпикуреизму и потому выставлю здѣсь выдающіяся черты его вліянія на нравственность и его отношенія къ народной религіи. Онъ поощрялъ развитіе чувственности въ неразвитыхъ людяхъ, небывшихъ въ состояніи подняться на высоту философской мысли. Онъ избавлялъ отъ страха загробныхъ наказаній и снималъ такимъ образомъ послѣднюю узду съ животныхъ страстей человѣка. Людей съ тонкимъ умомъ и развитымъ эстетическимъ чувствомъ онъ приводилъ къ сладкому спокойствію, и потому не было примѣровъ, чтобы эпикуреецъ сдѣлался эклектикомъ или приверженцемъ другого ученія. Съ религіей вообще онъ былъ въ открытой и непримиримой враждѣ, и потому не могъ имѣть на народъ никакого вліянія. Вѣрующіе язычники ненавидѣли эпикурейцевъ наравнѣ съ христіанами и выгоняли ихъ какъ безбожниковъ изъ храмовъ и мистерій. — Несравненно большимъ вліяніемъ пользовались поэты, разработывавшіе по-своему нравственное ученіе Эпикура. Тѣ не касались личностей боговъ, не преслѣдовали суевѣрія, а только подрывали отвлеченные догматы, которыми не особенно дорожилъ народъ. Къ тому же, когда протестъ противъ религіи выражался въ заманчивой формѣ апологіи чувственности, онъ всегда находилъ себѣ доступъ и вызывалъ сочувствіе.

Эпикуреизмъ самъ по себѣ не есть безнравственное ученіе, но что онъ содѣйствовалъ развитію безнравственности и тушой изнѣженности въ массахъ — это составляетъ общепризнанный и очень понятный фактъ, основанный на степени умственного и нравственного развитія воспринимавшихъ его личностей.

### X.

Стоицизмъ, основанный Зенономъ (340—260 до Р. Х.) и стоящій по-среднѣ между платонизмомъ и эпикуреизмомъ, принимаетъ только два неразлучныя между собою начала, матерію и движущую ее силу, которая, взятая въ полной совокупности, можетъ быть названа міровою душою или богомъ. Весь міръ составляетъ одинъ огромный организмъ, а отдѣльныя существа могутъ быть разсматриваемы какъ его члены. Всѣ эти члены связываются между собою единствомъ оживляющаго ихъ начала, мірового огня, который въ то же время составляетъ управляющую міромъ необходимость и причину жизни и движенія. Эта необходимость исключаетъ всякую случайность и подчиняетъ себѣ все, что совершается въ мірѣ. Богъ проникаетъ собою все сущее, и весь стоицизмъ представляется такимъ образомъ фаталистическимъ и пантеистическимъ матеріализмомъ. На основаніи этого пантеизма части божества, звѣзды, земля, море, рѣки и пр. являются въ свою очередь богами и заслуживаютъ божескихъ почестей. Звѣзды управляютъ

судьбами низшихъ существъ, но сами онѣ, вмѣстѣ со всею вселенною, подвержены гибели и сгорятъ въ великомъ міровомъ пожарѣ, который, по мнѣнію стоиковъ, повторяется периодически, черезъ извѣстное число тысячелѣтій. Сходясь съ Эпикуромъ въ матеріалистическомъ воззрѣніи, стоики не доходятъ однако до того холоднаго и трезваго эмпиризма, которымъ отличается изложенное мною выше ученіе. Эпикуръ отвергалъ въ природѣ разумность и не видѣлъ въ мірозданіи никакой общей цѣли; Зенонъ и его послѣдователи утверждаютъ, что все въ мірѣ устроено съ самой благой цѣлью; все, видимому бесполезное, безобразное и вредное имѣетъ въ природѣ свою особенную прелесть: даже нравственное зло произошло не какъ случайное отклоненіе отъ нормы; оно произведено сознательно, какъ оттѣненіе добра, по тому необходимому закону симметріи, по которому всякое существо или свойство должно имѣть въ природѣ свою противоположность.

Такъ какъ зло является т. о. твореніемъ необходимости, то преступникъ не можетъ быть отвѣтственнымъ въ своемъ поступкѣ. Правда, этотъ фатализмъ, какъ видно изъ извѣстнаго анекдота о Зенонѣ и его рабѣ, не уничтожаетъ наказанія, которое оправдывается тѣмъ же фатализмомъ, но зато онъ уничтожилъ бы понятіе человѣческой свободы и подавилъ бы въ адептахъ ученія всякую энергію къ самостоятельной дѣятельности; чтобы спасти это драгоценное понятіе, надо было погрѣшить противъ послѣдовательности. При преобладаніи практическаго интереса надъ чисто-научнымъ, это не представляло большого затрудненія, и Эпиктетъ говоритъ, что человѣкъ можетъ свободно распоряжаться внутренними дѣятельностями своего духа и что отъ него зависитъ судить, желать и избѣгать. Человѣческая душа матеріальна; въ ней больше ээира или божественнаго огня, нежели въ неодушевленныхъ и неразумныхъ существахъ, и потому она обладаетъ разумомъ, волею и самосознаніемъ. Все это подвержено уничтоженію, т. е. частицы ээира послѣ разрушенія тѣла присоединяются къ общей массѣ міроваго огня или переходятъ въ новыя матеріальныя формы, а личность во всякомъ случаѣ теряетъ самосознаніе и слѣдовательно бытіе. Въ частностяхъ школа была несогласна внутри себя насчетъ судьбы души. Одни полагали, что разрушеніе ея происходитъ въ минуту смерти, другіе давали ей жить до мірового пожара, третьи думали наконецъ, что до мірового пожара доживутъ въ очищенномъ видѣ души мудрецовъ, а что обыкновенныя и низкія души разрушатся вмѣстѣ съ тѣломъ. Въ отношеніи къ народной религіи стоики держали себя двойственно и довольно нерѣшительно. Большинство мнѣевъ они считали нелѣпыми или безнравственными, но презирая ихъ въ душѣ, совѣтовали уважать въ нихъ существующій по-



рядокъ вещей. Храмовъ, говорятъ они, не должно было бы строить, но ради народа въ нихъ должно вступать съ благоговѣніемъ. Многіе мнѣя они старались толковать аллегорически, отыскивая въ нихъ физическое значеніе. Обогащенію людей они не сопротивлялись, потому что при ихъ пантеистическомъ воззрѣніи можно было обожать все, въ чемъ проявляется эфиръ. Мантику они защищали, находя, сообразно съ своимъ фатализмомъ, естественную связь между предзнаменованіями и предсказываемыми ими событіями. Та же божественная сила, рассуждали они, которая распорядилась будущимъ, побуждаетъ на примѣръ жреца выбрать такое жертвенное животное, во внутренностяхъ котораго окажутся соотвѣтствующіе знаки. Стоики не признаютъ, подобно Платону, противоположности между матеріей и разумомъ. Вся добродѣтель, по ихъ ученію, заключается въ знаніи. Идеальный мудрецъ стоической школы обладаетъ всею полною разума, науки и добродѣтели; у него нѣтъ мнѣній, потому что онъ все знаетъ достовѣрно; нѣтъ страстей, потому что у него есть все, и онъ слѣдовательно ничего не желаетъ. Онъ совершенно свободенъ, не можетъ ничего потерять, потому что то, что онъ считаетъ своимъ, неотъемлемо; онъ ни въ комъ не нуждается для своего блаженства и отождествляетъ свой разумъ съ божественной необходимостью, такъ что, при столкновеніи съ разными событіями, заранее предвидитъ ихъ и совершенно мирится съ ними. Такъ какъ мудрецъ совершенно свободенъ, и высшая цѣль его состоитъ въ достиженіи философской безстрастности, то эта цѣль оправдываетъ всякія средства и открываетъ поприще для самаго необузданнаго произвола личности. Самыя страшныя преступленія позволительны, если они ведутъ мудреца къ его цѣли.

Здѣсь стоицизмъ показывается съ такой стороны, которая можетъ дѣйствовать на массу такъ же вредно, какъ и теорія наслажденія Эпикура, потому что каждый воленъ считать себя за мудреца и поступать сообразно съ этимъ достоинствомъ. Въ этомъ отношеніи стоицизмъ хуже эпикуреизма и какъ умозрительная система, и какъ школа практической нравственности. Его послѣднее положеніе нелогично и безнравственно. Становясь на пьедесталъ абсолютной добродѣтели, стоики, сами того не замѣчая, подставляли на мѣсто ея удовлетвореніе своимъ личнымъ цѣлямъ и влеченіямъ и очень наивно оправдывали свою личную прихоть грязныя слабости и проступки. Зенонъ предавался педерастіи и оправдывалъ ее какъ безразличное въ самомъ себѣ дѣйствіе. До такихъ излишествъ, сколько извѣстно, не доходилъ ни Эпикуръ, ни лучшія изъ его послѣдователей. Во взглядахъ стоиковъ на политику замѣтно постепенное охлажденіе къ гражданской дѣятельности, возраставшее по мѣрѣ того,

какъ усиливался деспотизмъ и падала родная нравственность.

Такъ какъ истина одна, то разумная дѣятельность всѣхъ людей должна быть тождественна, потому что она воплощаетъ въ себѣ общій законъ. Этотъ общій законъ связываетъ между собою отдѣльныя личности въ гражданское общество. Дѣйствуя собственно для себя, стоическій мудрецъ дѣйствуетъ въ то же время на общую пользу, потому что его интересы и стремленія не расходятся съ законами необходимости, устроившей все для блага всѣхъ существъ вообще и разумныхъ въ особенности. Что эта мысль исключаетъ позволительность преступленія—это ясно, такъ что разобранное мною положеніе стоиковъ опровергается даже ихъ собственнымъ ученіемъ. Силыѣ другихъ членовъ гражданского общества связаны между собою люди, сознающіе свою разумную природу и свое назначеніе, т. е. мудрецы, которые по сходству своихъ убѣжденій и добродѣтелей должны быть непремѣнно дружны между собою. Эти мудрецы составляютъ въ ученіи стоиковъ хотя не замкнутую, но гордую аристократію, смотрящую очень презрительно и враждебно на все, что не входитъ въ ея составъ. Гражданская дѣятельность, къ которой направляетъ стоицизмъ своихъ адептовъ, имѣетъ цѣлью благо стоическихъ мудрецовъ, а не массы, къ которой большая часть мыслителей древности относилась съ извѣстнымъ стихомъ Горация:

*Odi profanum vulgus et arceo!*...

Такъ какъ трудно управлять произвольно народомъ, которому не сочувствуешь, то Хриппъ выражаетъ ту мысль, что государственнѣйшій человѣкъ долженъ непремѣнно навлечь на себя неудовольствіе боговъ или народа. Позднѣйшіе стоики разошлись еще болѣе съ народными стремленіями и стали совѣтовать мудрецу удаляться отъ государственныхъ дѣлъ, чтобы сохранить въ неприкосновенности чистоту своей личности и спокойствіе внутренняго міра. Эпиктетъ совѣтуетъ даже избѣгать супружеской жизни, чтобы остаться независимымъ отъ всякаго посторонняго вліянія, омрачающаго блаженство созерцательнаго мышленія. Стоицизмъ подъ вліяніемъ историческихъ обстоятельствъ отрывается такимъ образомъ отъ практической жизни и теряется въ аскетизмъ, развившемся во 2-мъ и 3-мъ вѣкѣхъ по Р. Х. подъ вліяніемъ восточной философіи, пережившемъ язычество и принявшемъ такіе громадныя размѣры въ христіанскомъ подвижничествѣ, столпничествѣ и постничествѣ.

## XI.

Эти элементы разрабатывались мыслителями послѣднихъ дней римской республики и первыхъ вѣковъ имперіи. Ученія Платона, Эпикура и Зенона господствовали надъ умами и находили себѣ



болѣе или менѣе вѣрныхъ и талантливыхъ толкователей и распространителей. Для моего предмета всего важнѣе отношеніе этихъ мыслителей къ народной религіи, и потому я расположу характеристики ихъ ученій сообразно съ этимъ направленіемъ изслѣдованія. Всего враждебнѣе смотрѣли на религію эпикурейцы; ихъ идеи просты и ясны; они не хотятъ никакого соглашенія, никакого мира и отрицаютъ все, что не можетъ быть осязательно доказано и оцупано. Такое простое ученіе не могло получить особенно значительнаго научнаго развитія; опираясь непосредственно на опытъ, оно могло измѣниться только тогда, когда бы въ области опытныхъ наукъ произошли какія нибудь значительныя открытія; творческой фантазіи въ этой трезвой системѣ не было мѣста, и потому одинъ мыслитель не могъ силою собственной мысли ни опрокинуть дѣло предшественника, ни надстроить надъ его зданіемъ свое новое. «Эпикурейская философія принимала очень незначительное участіе въ научномъ движеніи, говоритъ Целлеръ. Она съ большою энергіей защищала свое міросозерцаніе противъ несогласныхъ съ нимъ воззрѣній, но не предоставляла послѣднимъ никакого вліянія надъ собою, и до такой степени довольствовалась ученіемъ своего основателя, что не пыталась даже развивать его дальше, и что изъ среды ея ни одинъ мыслитель не сдѣлался эклектикомъ». Это доказываетъ, что эпикуреизмъ былъ крайней оппозиціей; дальше человѣческая мысль не могла идти въ отрицаніи; сомнѣваться въ свѣдѣтельствѣ чувствъ и въ собственномъ существованіи можно только для упражненія въ діалектикѣ, потому что если бы даже видимые предметы были призраками, то они оказывали бы практическое вліяніе, и потому мы поневолѣ должны были бы обращаться съ ними какъ съ дѣйствительно существующими вещами. Итакъ, кто доходилъ до простого и крайняго отрицанія, для того невозможно было ни воротиться къ полужантасическимъ теоріямъ стоиковъ и платониковъ, ни уклониться въ сторону и начать собою новое направленіе философскаго изслѣдованія. Это очень естественно. Если я принимаю сверхчувственный міръ, то я могу себя представить его не такъ, какъ себя вообразить его другою, соглашающийся со мною въ фактъ существованія. Если же я его отвергаю, то соглашаюсь буквально со всѣми отвергающими. Поэтому и понятно, что эпикуреизмъ не дробился на секты, и что напротивъ того стоики и платоники развивали каждый свое ученіе, придерживаясь только основныхъ началъ своей школы. Объ эпикуреизмѣ было уже говорено достаточно; что касается стоиковъ и платониковъ, то каждая отдѣльная личность мыслителя заслуживаетъ оцѣнки и изученія.

*Цицеронъ*, какъ всеобъемлющій умъ, конечно не могъ обойти философскихъ вопросовъ міросозерцанія. Но, какъ государственный человѣкъ

и ораторъ, онъ занимался умозрительною частью философіи настолько, насколько это было необходимо для составленія себя опредѣленныхъ убѣжденій и яснаго плана дѣйствій. Этика представляется ему важнѣйшей частью философіи, и онъ постоянно жертвуетъ строгой послѣдовательностью нравственному достоинству и практической примѣнимости. Онъ не открылъ собою новаго пути въ философскомъ мышленіи, но представилъ въ своихъ многочисленныхъ сочиненіяхъ критику главныхъ системъ, и критикуя ихъ положенія, составилъ и сформулировалъ свои убѣжденія, принимая изъ каждой школы то, что казалось ему истиннымъ. Этотъ эклектизмъ иногда ведетъ его къ противорѣчіямъ, потому что онъ руководствуется не безстрастнымъ мышленіемъ, а преимущественно нравственнымъ и эстетическимъ чувствомъ. Какъ эклектикъ, Цицеронъ положительно отвергаетъ только эпикуреизмъ, и колеблется между платонизмомъ, стоицизмомъ и философіей Аристотеля.

Въ стоической этикѣ ему нравится отождествленіе добродѣтели съ блаженствомъ, но ему кажется, что стоики требуютъ отъ человѣка слишкомъ многого, и что идеалъ стоическаго мудреца неосуществимъ въ дѣйствительности. Перипатетиковъ онъ упрекаетъ въ томъ, что они отдѣляютъ блаженство отъ добродѣтели, но соглашается съ ними въ томъ положеніи, что не должно отрываться отъ физической природы, а напротивъ заботиться о ней и поддерживать ее умѣреннымъ удовлетвореніемъ потребностей. Цицеронъ признаетъ существованіе Бога и приводитъ въ пользу этого мнѣнія два главныхъ доказательства. Во-первыхъ, онъ видитъ во всемъ мірозданіи разумную идею и опредѣленную цѣль, и потому необходимо принимаетъ мыслящую личность творца и міроправителя. Во-вторыхъ религія, по его мнѣнію, практически необходима, потому что безъ нея погибла бы всякая нравственность и всякая возможность общественной жизни. Онъ говоритъ, что существо Бога не можетъ быть опредѣлено, но предполагаетъ, что Богъ одинъ, и что онъ духъ, или что его тѣло состоитъ изъ очень тонкой матеріи. Съ народной религіей римлянъ Цицеронъ и не пробуетъ мириться въ области мысли. Онъ откровенно говоритъ, что она годится только для массы, и что ее должно поддерживать, какъ полезную въ политическомъ отношеніи. Вообще у Цицерона преобладаетъ утилитарный взглядъ на религію, и онъ дорожитъ только тѣми догматами, которые, по его мнѣнію, возвышаютъ человѣческое достоинство. Безсмертіе души ему дорого, и онъ старается вѣрить въ него, но практическое направленіе его изслѣдованій побуждаетъ его во что бы то ни стало отдѣлаться отъ страха смерти, и потому онъ дѣлаетъ предположеніе и на тотъ случай, еслибы душа уничтожалась съ разрушеніемъ тѣла; тогда, разсуждаетъ онъ, все-таки не будетъ страданія,



потому что бытіе исключаетъ способность ощущать. Это предположеніе однако нигдѣ не выражено твердо и положительно; вездѣ, напротивъ того, Цицеронъ говоритъ о безсмертіи души какъ о фактѣ, въ которомъ онъ почти совершенно убѣжденъ, и какъ о догматѣ, которымъ онъ глубоко дорожитъ. Что касается до загробныхъ наказаній, онъ считаетъ ихъ баснями, оскорбляющими достоинство бога и человѣка.

## XII.

Стоицизмъ, насильственно отрывавшій человѣка отъ внѣшняго міра и заставлявшій его довольствоваться своимъ внутреннимъ я, находилъ себѣ многихъ приверженцевъ въ такое время, когда всякій честный человѣкъ смотрѣлъ на окружающій порядокъ вещей съ ужасомъ и отвращеніемъ. Когда надъ всѣмъ образованнымъ міромъ господствовалъ какой нибудь Калигула или Неронъ, когда онъ безнаказанно выгонялъ философовъ и заставлялъ римскихъ дамъ выходить на арену, когда аристократія превратилась въ толпу льстецовъ и доносчиковъ, а религія въ безалаберный наборъ суевѣрныхъ обрядовъ, тогда лучшие люди конечно принуждены были сосредоточить свои нравственные силы и замкнуться въ самихъ себѣ. Трудно было человѣку съ свѣтлымъ умомъ и теплымъ чувствомъ думать о гармоническомъ наслажденіи жизнью, когда на каждомъ шагѣ встрѣчались насилие и произволъ, цинизмъ разврата, тупоумное суевѣріе и легкомысленное отрицаніе. Нѣкоторые лучшие государственные люди имперіи представляютъ въ своей личности воплощенія стоическаго мудреца, довольно близко подходящія къ идеалу. Каній Іулъ, Тразеа Петъ, любимецъ Тацита, и Гельвидій Прискъ были мучениками своихъ убѣжденій и прославили стоическую школу своими страданіями и смертью. Въ то время, какъ они проводили въ жизнь стоическія положенія, другіе дѣятели развивали въ своихъ сочиненіяхъ начала этой нравственной философіи. Изъ нихъ заслуживаютъ особеннаго вниманія Сенека, Музоній Руфъ и Эпиктетъ. Всѣ они отличаются преимущественно практическимъ направленіемъ и смотрятъ на логику и на физику какъ на вспомогательныя науки нравственной философіи.

*Люцій Анній Сенека*, знаменитый современникъ и наставникъ Нерона, подобно Цицерону сближаетъ стоицизмъ съ дѣйствительностью и старается смягчить строгость его нравственныхъ требованій. Онъ соглашается съ основными положеніями своей школы и даже съ риторскимъ одушевленіемъ развиваетъ мысли о томъ, что добродѣтель есть высшее и единственное благо, что всякій не-мудрецъ пороченъ, и что все принадлежитъ мудрецу. Рядомъ съ этими восторженными изреченіями встрѣчаются мысли, ограничивающія ихъ значеніе; какъ человѣкъ богатый, Сенека сознается, что матеріальныя блага

содѣйствуютъ во многихъ отношеніяхъ тому внутреннему довольству, которое доставляетъ добродѣтель. Какъ придворный, онъ совѣтуетъ сносить съ покорностью оскорбленія со стороны людей, стоящихъ высоко на ступеняхъ общественной лѣстницы. Жизненный опытъ очевидно поколебалъ въ Сенека вѣру стоиковъ во всемогущество разума и нравственной воли. Люди по его мнѣнію порочны и отъ природы расположены ко злу. Поэтому онъ ограничиваетъ нравственные требованія своей школы, формулируя ихъ такъ: «мы должны сообразоваться съ волею боговъ настолько, насколько намъ позволяетъ наша человѣческая слабость». Полагая, что эта слабость есть нормальное свойство человѣка, Сенека говоритъ, что вся жизнь есть мученіе, и что только смерть спасаетъ отъ ея волненій и тревогъ. Здѣсь, очевидно, матерія признается источникомъ зла, и ей противопоставляется духовное начало, котораго не признавало матеріалистическое ученіе древнихъ стоиковъ. Сенека съ любовью развиваетъ ученіе о промыслѣ и представляетъ бога существомъ любящимъ, отцомъ добродѣтельныхъ людей, заботящимся о нихъ въ жизни и посылающимъ имъ даже несчастья съ благою цѣлью, какъ испытанія и какъ средства развить силу характера. Богъ, котораго уважаетъ и любитъ Сенека, не имѣетъ ничего общаго съ личностями древне-римскихъ и олимпійскихъ боговъ. Къ народной религіи онъ стоитъ въ совершенно враждебныхъ отношеніяхъ. Онъ прямо называетъ ее суевѣріемъ и открыто глумится надъ «неблагородною толпою боговъ», но видя въ догматахъ и обрядахъ культа государственное учрежденіе, Сенека совѣтуетъ уважать его, чтобы не подавать соблазна необразованному народу. Самъ же онъ признаетъ только того бога, который живетъ въ насъ и въ мірѣ какъ духовное и живительное начало. Всѣ религіозныя упражненія по его мнѣнію излишни, не нужно ни молитвы, ни поднятія рукъ къ небу, ни жертвоприношеній.

*Люцій Музоній Руфъ*, учившій также при Неронѣ, но пережившій Сенеку и умершій уже при Титѣ, относится иначе къ народной религіи. Онъ принимаетъ всѣхъ мифологическихъ боговъ за дѣйствительно существующія личности и говоритъ даже, что они питаются испареніями воды и земли; сообразно съ этимъ онъ говоритъ о душѣ человѣка, что она родственна съ богами по своей сущности и состоитъ изъ матеріи, которая можетъ быть повреждена и испорчена вліяніемъ воздуха, воды и другихъ тѣлъ. Все вниманіе Музонія устремлено на нравственную философію; философія, по его мнѣнію, равняется добродѣтели, она учитъ насъ познавать и примѣнять къ практикѣ правила нравственности, и потому можетъ, какъ думалъ Музоній, совершенно исправить недостатки общества и навсегда излѣчить его нравственные болѣзни. Потому философія не должна



быть достояніемъ немногихъ избранныхъ; пусть учатся философіи богатые и бѣдные, вельможи и землевладѣльцы, мужчины и женщины. Видно, что и въ рядахъ мыслителей стали сознать необходимость обновленія жизни посредствомъ распространенія въ массахъ честныхъ и твердыхъ убѣжденій, принятыхъ сознательно и осмысленныхъ самодѣятельнымъ размышленіемъ каждаго. Тотъ умственный аристократизмъ, которымъ были проникнуты древніе стоики и Аристотель, уступаетъ мѣсто болѣе гуманному и широкому пониманію человѣческой личности. Является сознаніе, что человѣкъ, какъ человѣкъ, имѣетъ извѣстныя права и что эти права должно хранить и уважать. Музоній Руфъ предназначаетъ свои философскія сентенціи для всѣхъ; онъ говоритъ, что за плугомъ и за лопатой можно научиться необходимому; человѣчеству нужно было много пережить и передумать, чтобы отъ рѣзкаго аристократизма Аристотеля возвыситься до этого, почти христіанскаго воззрѣнія на «нищихъ духомъ», т. е. на немудрецовъ. Предписывая правила жизни для всѣхъ, Музоній входитъ въ подробности домашняго быта, и не ограничиваясь начертаніемъ одной руководящей идеи, говоритъ о томъ, что нужно употреблять въ пищу, какъ одѣваться и какъ устроить жилище. Онъ старается привести человѣчество къ естественному состоянію, которое въ его глазахъ сливается съ состояніемъ первобытной дикости. Онъ совѣтуетъ воздерживаться отъ мясной пищи и, по возможности, освобождаться отъ всякихъ искусственныхъ потребностей.

Аскетизмъ гово-пиагогорейцевъ находилъ себѣ приверженцевъ во всѣхъ школахъ: господствующая изнѣженность бросалась въ глаза всѣмъ практическимъ мыслителямъ; они въ ней видѣли не проявленіе, а источникъ нравственной порчи, и потому вооружались противъ нея всей силой своей діалектики. Эклектикъ Секстій, стоикъ Музоній Руфъ, платоникъ Плутархъ и ново-пиагогорецъ Аполлоній Тианскій сходились между собою въ своихъ практическихъ предписаніяхъ, хотя теоретическіе доводы, которыми они ихъ поддерживали, были различны и соотношались съ характеромъ той философіи школы, къ которой они принадлежали. Требуя отъ человѣка естественнаго образа жизни, Музоній Руфъ значительно отклоняется отъ духа порвобитнаго стоицизма. Идеаль, къ которому онъ стремится, есть нравственная чистота, а не безмятежность духа. Извѣстное положеніе стоиковъ о возможности преступленія находитъ себѣ въ немъ горячаго противника. Совѣтуя воздерживаться отъ мясной пищи, онъ однако не хочетъ привести человѣка къ умерщвленію плоти, потому что это — не естественное состояніе. Брачную жизнь онъ одобряетъ, но прелюбодѣяніе, вытравливаніе зародышей и выкидываніе рожденныхъ дѣтей возмущаютъ его нравственное

чувство. Вообще, предписанія Музонія можно разсматривать какъ сформулированныя убѣжденія человѣка, одареннаго здравымъ смысломъ и правильнымъ нравственнымъ чувствомъ. Подъ руками Музонія философія сошла съ той высоты, на которой она была доступна немногимъ спеціально приготовленнымъ людямъ, но не приобрѣла еще той живой привлекательности, которая заставляетъ массы народа идти за проповѣдникомъ и съ благоговѣніемъ слушать его поученія. Музоній былъ мыслитель, спускавшійся до толпы, а народу нуженъ былъ практическій дѣятель, который, возвысившись до живого пониманія идеи, не потерялъ бы знанія жизни и живого сочувствія къ потребностямъ и стремленіямъ массы. Музоній въ своихъ столкновеніяхъ съ дѣйствительностью обнаруживалъ самое наивное незнаніе жизни и непониманіе человѣческаго сердца. Отправившись парламентаромъ въ военный лагерь, онъ простоудушно сталъ развивать передъ солдатами Веспасіана философское ученіе о благахъ мира и объ опасностяхъ войны, и рѣчь его такъ надѣла раздраженнымъ легіонаріямъ, что они прогнали и чуть-чуть не побили неприваннаго проповѣдника.

То же направленіе отличаетъ собою разсужденія знаменитаго *Эпиктета*, ученика Музонія Руфа, записанныя, какъ извѣстно, Арріаномъ. Эпиктетъ яснѣе своего учителя понимаетъ свое положеніе: онъ сознаетъ въ себѣ человѣка мысли и рѣшительно отказывается отъ роли проповѣдника. Его интересовали преимущественно вопросы практической нравственности, но онъ относился къ нимъ какъ строгій мыслитель и не дѣлалъ въ пользу практической жизни ни одной уступки. Онъ хотѣлъ возвысить жизнь до уровня мысли и самъ умѣлъ осуществлять въ дѣйствительности строгія предписанія стоической нравственности. Онъ былъ бѣденъ и изуродованъ бывшимъ своимъ господиномъ, Эпафродитомъ; на его стоическое ученіе недоброжелательно смотрѣло правительство, и при Домиціанѣ онъ принужденъ былъ вмѣстѣ со всѣми философами вообще удалиться изъ Рима. Всѣ эти испытанія онъ переносилъ твердо и безропотно, какъ говорить его біографы. Будучи строгимъ къ самому себѣ, онъ былъ строгъ и къ другимъ и, побуждая въ себѣ человѣческія слабости, не хотѣлъ признавать ихъ въ другихъ. Поэтому во всемъ его ученіи нѣтъ того характера мягкости, которымъ отличаются разсужденія Музонія. Эпиктетъ не возмущается грязнымъ преступленіемъ, но и не выражаетъ состраданія къ неосторожному проступку; въ томъ и другомъ онъ видитъ ошибку, происходящую отъ ложнаго представленія, и къ тому и къ другому относится съ презрительной безстрастностью. Съ той высоты мысли, съ которой онъ смотритъ внизъ на людей и на жизнь, онъ не видитъ тѣхъ оттѣнковъ различія, которые отмѣчаютъ въ практической жизни обыкно-



венные люди. Аристократъ и простой работникъ, свободный человекъ и рабъ, богатъ и бѣднякъ, счастливый и несчастный — всѣ равны между собою, и ко всѣмъ этимъ людямъ Эпиктетъ относится одинаково строго и безстрастно. При такомъ взглядѣ на вещи нужно было отказаться отъ всякой попытки измѣнить дѣйствительность въ свою пользу; къ-чему было трудиться, бороться съ препятствіями, сталкиваться съ людьми, когда можно было помириться со всякимъ положеніемъ, перенести всякія притѣсненія и остаться во всякомъ случаѣ свободнымъ, добродѣтельнымъ и счастливымъ. Бороться съ обстоятельствами значило тратиться на мелочи. Надо было переносить все и блаженствовать мыслью въ невозмутимомъ покоѣ внутреннего своего міра. Эпиктетъ совѣтуетъ мудрецу, стремящемуся къ этому блаженству, отказаться отъ политической дѣятельности и даже отъ брачной жизни. Онъ сходитъ въ этомъ отношеніи съ аскетическими предписаніями ново-пифагорейцевъ, но между тѣмъ и другими большая разница въ преслѣдуемыхъ цѣляхъ.

Ново-пифагорейцы, основываясь на ученіи о переселеніи душъ и твердо вѣря въ загробное существованіе, представляютъ себѣ всякаго рода воздержаніе, какъ средство сохранить свою чистоту и улучшить свою судьбу послѣ смерти; слѣдственно ихъ цѣль лежитъ за предѣлами земной жизни. Эпиктетъ, напротивъ того, не вѣритъ въ безсмертіе души, и несмотря на то презираетъ все внѣшнее и матеріальное только для того, чтобы не зависѣть отъ него и стоять выше случайности. Ново-пифагорейцы общали много въ будущемъ и дѣйствуя на воображеніе вѣрующей массы, могли увлечь ее за собою; Эпиктетъ говоритъ только уму, не утѣшаетъ человека никакими обѣтованіями и требуетъ самоотреченія холоднаго, разсчитаннаго, чуждаго тому энтузіазму, который производитъ восторженныхъ мучениковъ и подвижниковъ. Это самоотреченіе можно назвать безпредметнымъ; человекъ отрывается отъ жизненныхъ радостей не во имя высшей, воплощенной идеи добра, не во имя любви къ ближнимъ, а только потому, что эти радости могутъ современемъ измѣниться. Эти соображенія для народа были слишкомъ дальновидны и холодны; ему было доступнѣе ученіе платониковъ и пифагорейцевъ, говорившихъ о загробной жизни и о волѣ живыхъ боговъ, или нравственная философія Эпикура, ограничивавшая все настоящею минутою и призывавшая къ обильному наслажденію дарами жизни. Безкорыстный аскетизмъ и неутѣшительный матеріализмъ стоиковъ одинаково отталкивали народъ отъ ихъ ученія. Наслажденіе презиралось; взаимнъ его не общалось ничего лучшаго; практическихъ улучшеній, реформъ въ политической жизни стоицизмъ не дѣлалъ; слѣдовательно ничѣмъ рѣшительно ученіе Эпиктета не могло ни привлечь на свою сто-

рону умы большинства, ни влить живые соки въ народное міросозерцаніе. Между тѣмъ, религіозное ученіе Эпиктета отличается возвышенною духовностью. Цѣль всей философіи состоитъ, по его мнѣнію, въ томъ, чтобы удовлетворить нравственнымъ потребностямъ души, подкрѣпить и утѣшить духъ человека, подавленный суетностью всего земного. Чего народъ искалъ въ символическихъ актахъ мистерій, того требуетъ Эпиктетъ отъ работы мысли. Философъ, по его словамъ — врачъ, къ которому должны придти не здоровые, а больные. Философія есть святыня, мистерія, къ которой не должно приступать безъ содѣйствія божества. Мудрецъ есть посланникъ Зевса; ему поручено показать людямъ, что человекъ можетъ быть счастливъ среди лишений и матеріальныхъ страданій. Нравственное добро есть даръ божества, и сущность самого божества заключается въ разумѣ и въ знаніи. Дѣятельность и благотѣльное вліяніе его можетъ быть познаваемо въ теченіи звѣздъ, въ плодородіи земли и вообще въ физическихъ явленіяхъ; такъ понимаетъ его народъ и такъ Эпиктетъ оправдываетъ догматы и обряды богочитанія, предоставляя впрочемъ мудрецу право обходиться безъ нихъ и сноситься съ божествомъ непосредственно, черезъ внушенія своего внутреннего демона.

Благороднѣйшая часть человѣческой личности, мыслительная сила, разсматривается имъ какъ эманация божества, и онъ настаиваетъ на томъ, чтобы человекъ сознавалъ свое родство съ божествомъ, уважалъ свое нравственное достоинство и понималъ свои обязанности къ самому себѣ и свои отношенія къ другимъ людямъ, какъ къ членамъ одной, всеобъемлющей семьи. Эта эманация божества рѣзко противопоставляется тѣлу, матеріи, къ которой Эпиктетъ относится съ крайнимъ презрѣніемъ, называя ее плохимъ сосудомъ, комомъ грязи и тягостной оболочкой души. Но эта свободная душа понималась только какъ эманация божества, и о понятіи личности Эпиктетъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета. Онъ принималъ между различными людьми только одно количественное различіе; въ мудреца присутствовалъ больше божественнаго духа, въ преступникѣ меньше. О томъ, что и добро, и зло выражается въ единичныхъ, индивидуальных формахъ, что оно въ этихъ проявленіяхъ носитъ на себѣ своеобразный колоритъ, безъ котораго оно невообразимо — объ этомъ Эпиктетъ не имѣетъ понятія. Отношеніе между божествомъ и человѣческой личностью, говоритъ Деллингеръ, представлялось языческимъ мыслителямъ въ образѣ «океана, на которомъ плаваетъ множество бутылокъ, наполненныхъ водою: когда одна изъ нихъ разбивается, то часть морской воды, отдѣлявшаяся до того времени отъ цѣлага, соединяется съ общею массою». Безкорыстіе Эпиктета ученія дѣлало его недоступнымъ для народа;



неутѣшительность его налагала тяжелую печать грусти даже на тѣ избранныя личности, которыя рѣшались посвятить свои силы на стоическое умерщвленіе страстей и чувственныхъ поплзновеній. Императоръ Маркъ Аврелій воплощаетъ въ своей личности тотъ моментъ грусти и мрачнаго раздумья, который необходимо долженъ былъ испытать стоикъ, одаренный мягкимъ сердцемъ и поэтическимъ, страстнымъ сочувствіемъ ко всему благородному и прекрасному. Его окружала нравственная порча, противъ которой онъ напрасно боролся, какъ государственнй дѣятель; его философія говорила ему, что это нравственное зло въ порядкѣ вещей, что противъ него не слѣдуетъ и возмущаться, потому что все въ мірѣ измѣнчиво, и неудержимый потокъ жизни увлекаетъ за собою и личныя стремленія, и земное величіе, и человѣческія слабости, и пороки. Вмѣсто этой уничтоженной привязанности къ живой дѣйствительности, стоицизмъ не давалъ ему никакого твердаго вѣрованія; въ жизни—пустота, за предѣлами гроба небытіе, вокругъ себя—нравственное зло и лѣнливое равнодушіе къ интересамъ мысли. Вотъ что видѣлъ М. Аврелій и вотъ что настраивало его то къ спокойной и глубокой грусти, то къ мрачной и презрительной ироніи. Любопытно между прочимъ замѣтить, что стоицизмъ даже не избавлялъ своихъ адептовъ отъ грубаго суевѣрія; даже благородная и развитая личность Марка Аврелія, проникнутая нравственнымъ ученіемъ Эпиктета, была заражена нелѣпыми предразсудками и самымъ слѣпымъ довѣріемъ къ спасительной силѣ различныхъ обрядовъ и заклинаній.

Группу мыслителей-мистиковъ составляютъ платоники и пифагорейцы. Эта группа была всего ближе къ общему настроенію народныхъ массъ, и изъ нея выходили тѣ проповѣдники, которые вели народъ за собою и которыхъ народъ окружалъ суевѣрнымъ обожаніемъ и чудеснымъ сіяніемъ божественной святости. Изъ этой группы вышелъ и Аполлоній Тіанскій, котораго личность представляетъ, быть можетъ, самый яркій примѣръ такого обоготворенія.

Онъ стоитъ на переходной чертѣ отъ эклектизма къ положительному пифагореизму, котораго нравственныя тенденціи воплотились въ Аполлоніѣ Тіанскомъ, или, вѣрнѣе, въ томъ нравственномъ идеалѣ, который начертилъ Филостратъ въ своей біографіи. Мы познакомимся съ ними въ слѣдующей главѣ.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

### I.

За 4 года до Р. Хр. родился въ каппадокійскомъ городѣ Тіавѣ у богатаго гражданина Аполлонія сынъ, котораго называли именемъ отца.

Жизнь и дѣятельность этого Аполлонія произвели сильное впечатлѣніе на умы современниковъ, и потому самое рожденіе его было окружено разными чудесными сказаніями. Говорятъ, что Протей явился беременной матери Аполлонія и объявилъ ей, что она родитъ его, Протея; далѣе рассказывали, будто мать Аполлонія, повинувшись сновидѣнію, отправилась незадолго до своего разрѣшенія на лугъ рвать цвѣты, потомъ заснула на лугу, проснулась отъ цвѣтня кружившихся надъ нею лебедей и тотчасъ послѣ своего пробужденія родила Аполлонія. Въ это самое время молнія упала на землю и потомъ съ земли снова поднялась къ небу. «Этимъ знаменіемъ, говоритъ Филостратъ, боги хотѣли обозначить и предсказать величіе этого человѣка, его возвышеніе надъ земнымъ и приближеніе къ божеству». Мальчикъ, родившійся послѣ такихъ чудесныхъ предзнаменованій, былъ очень красивъ и рано обнаружилъ счастливыя умственные способности. Когда ему минуло 14 лѣтъ, отецъ повезъ его въ Киликію, въ городъ Тарсъ, и отдалъ на воспитаніе ритору Эвтидему. Изъ Тарса Аполлоній переѣхалъ вмѣстѣ съ своимъ учителемъ, съ согласія отца, въ городъ Эги; причину этого переѣзда Филостратъ объясняетъ тѣмъ, что Аполлонію не понравились нравы жителей Тарса, любившихъ роскошь и шумныя общественныя удовольствія. Видно, что біографъ хотѣлъ показать намъ, какъ въ отрочѣ заключались зародыши будущаго аскета; предположивъ себѣ такую цѣль, Филостратъ не боится натяжекъ и, комментируя факты, старается показать по возможности цѣльный характеръ. Его догадка о причинахъ переѣзда Аполлонія въ Эги очевидно носитъ на себѣ панегирическій характеръ. Мы возьмемъ только самый фактъ переѣзда, оставляя въ сторонѣ причины, которыя во 1-хъ, не совсѣмъ сообразны съ возрастомъ Аполлонія, во 2-хъ высказаны у Филострата совершенно голословно и бездоказательно. Переѣхавъ въ Эги, Аполлоній сталъ слушать представителей разныхъ философскихъ ученій, платониковъ, стоиковъ, перипатетиковъ и даже эпикурейцевъ; здѣсь стала развиваться въ немъ мистическая мечтательность, выразившаяся въ особенномъ сочувствіи его къ пифагореизму. Замѣчательно, что его поразили самыя идеи пифагореизма, а не живая личность учителя.

Учитель пифагоровой философіи, Эвксенъ изъ Иракліи на Понтѣ, самъ не исполнялъ преподаваемыхъ имъ нравственныхъ правилъ и жилъ какъ эпикуреецъ; на молодого, пылкаго Аполлонія ученіе Пифагора подѣйствовало очень сильно, тѣмъ болѣе, что онъ видѣлъ, какъ мало примѣняютъ его къ дѣйствительной жизни; ему пошелъ еемнадцатый годъ, онъ былъ красавецъ собою, человѣкъ, полный энергіи и жизненной силы; рѣшности въ немъ было много, и онъ съ полнымъ жаромъ юношескаго убѣжденія положилъ себѣ цѣлью жизни воплотить въ своей личности идеалъ



пифагорейского мудреца. Въ отношеніяхъ его къ Эвксену выразилась кроткая терпимость его личности; онъ былъ ему благодаренъ за передачу тѣхъ идей, которыя стали руководить его поступками, и при этомъ нисколько не приходилъ въ негодованіе отъ того, что самъ Эвксенъ живетъ не такъ, какъ велитъ жить проповѣдуемое имъ ученіе; онъ продолжалъ любить его какъ бывшаго учителя, выпросилъ у своего отца загородный домикъ съ садомъ и подарилъ его Эвксену: «живи ты здѣсь по-своему, сказалъ онъ ему, а я стану жить по обычаю Пифагора».

— Съ чего жеты начнешь? спросилъ Эвксенъ.

— Съ того, съ чего начинаютъ медики, отвѣчалъ Аполлоній. Очищая желудокъ, они однихъ предохраняютъ отъ болѣзни, а другихъ вылечиваютъ.

Гигіеническія предписанія прежде всего обратили на себя вниманіе Аполлонія, и онъ рѣшительно отказался отъ мясной пищи, считая ее «нечистою и омрачающею умъ»; плоды и овощи и все, что предлагаетъ человѣку сама земля, считалось чистымъ; вино, какъ напитокъ, добываемый изъ прекраснаго растенія, тоже чистое вещество, но оно противудѣйствуетъ спокойной работѣ мысли и омрачаетъ свѣтлый эфиръ души. Откинувъ все лишнее въ пищу, Аполлоній измѣнилъ и одежду; онъ сталъ ходить босыми ногами, отказался отъ шерстяного платья, приготовляемаго изъ животнаго матеріала, и ограничился льняною одеждою; онъ отпустилъ волосы на головѣ и сталъ жить въ храмѣ, чтобы быть въ постоянномъ общеніи съ божествомъ. Онъ выбралъ для своего жительства храмъ Эскулапа, и тутъ, для ознакомленія съ его характеромъ, любопытно разсмотрѣлъ, какое побужденіе заставило его поселиться въ храмѣ. Можно сдѣлать три предположенія: 1) или Аполлоній хотѣлъ дѣйствовать на народъ и съ этой цѣлью старался пріобрѣсти репутацію любимца боговъ; 2) или онъ, какъ пылкій и вѣрующій юноша, ждалъ отъ боговъ дѣйствительныхъ откровеній и вѣрилъ въ ихъ святину; 3) или наконецъ, онъ, какъ любознательный практическій медикъ, старался воспользоваться медицинскими средствами Эскулапа. Первое предположеніе всего менѣе выдерживаетъ критику. Все поведеніе Аполлонія во время его пребыванія въ Эги скромно, просто и естественно. Онъ не пророчествуетъ, не рассказываетъ о своихъ видѣніяхъ и только одинъ разъ проповѣдуетъ о нравственномъ характерѣ молитвы. Въ тѣхъ чертахъ его жизни, которыя приводитъ Филостратъ, выражается живой умъ Аполлонія и рѣдкая наблюдательность, но никакъ не даръ ясновидѣнія. Стало быть, въ то время, Аполлоній не уяснилъ себѣ цѣли своей дѣятельности настолько, чтобы для успѣшнаго ея достиженія употреблять безъ перемѣны обманъ и фокусничество; стало быть, его пребываніе въ храмѣ Эскулапа трудно объяснить желаніемъ обратиться на

себя вниманіе народной толпы. Вѣроятно, онъ искалъ для своей личности какого нибудь вышшаго блага отъ соприкосновенія съ божествомъ, или какихъ нибудь специальныхъ свѣдѣній отъ постоянныхъ сношеній съ жрецами. Его красота и молодость, особенности его строгаго образа жизни обратили на себя вниманіе окрестныхъ жителей и они толпами потянулись въ храмъ Эскулапа; жрецамъ было необходимо, чтобы, отъ времени до времени, какое нибудь чудо освѣжало уваженіе массы къ ихъ божествамъ, и потому они немедленно распустили слухъ, будто Эскулапъ сообщилъ имъ слѣдующее: «ему, Эскулапу, пріятно имѣть въ Аполлоніѣ свидѣтеля своихъ исцѣленій». Этотъ слухъ усилилъ притокъ богомольцевъ до такой степени, что по увѣренію Филострата, у киликійцевъ возникла поговорка: «куда спѣшишь? Не къ юношѣ-ли?»

Достоинство, съ которымъ держалъ себя Аполлоній, его здравый умъ и тактъ въ обращеніи съ людьми усиливали то уваженіе, которое къ нему питали приходящіе посѣтители. Это уваженіе переходило постепенно въ суевѣрное благоговѣніе, потому что толпа въ своей любви и въ своей ненависти рѣдко умѣетъ останавливаться на половинѣ дороги. Умные совѣты и медицинскія предписанія Аполлонія стали принимать, безъ малѣйшаго на то повода съ его стороны, за внушенія божества, прорицанія. Общественное мнѣніе почти насильно выдвинуло его въ прорицатели; ему самъ народъ указалъ на свое суевѣріе; онъ внушилъ Аполлонію мысль воспользоваться имъ какъ средствомъ для обновленія его одряхлѣвшей нравственности. Самыя простыя событія его вседневной жизни, самыя незначительныя столкновенія его съ посѣтителями храма принимали въ глазахъ вѣрующаго народа фізіономію чуда и превращались въ легенды, которыя были записаны сначала Максимомъ изъ Эгъ, а потомъ Филостратомъ. Однажды явился въ храмъ Эскулапа ассирійскій юноша, страдавшій водяною болѣзью и между тѣмъ продолжавшій пьянствовать и вести распутную жизнь. Онъ усердно просилъ у Эскулапа исцѣленія, богъ явился ему во снѣ и сказалъ: «Если ты поговоришь съ Аполлоніемъ, то получишь облегченіе». Юноша отправился къ Аполлонію и спросилъ у него:

— Чѣмъ поможетъ мнѣ твоя мудрость? Эскулапъ приказалъ мнѣ обратиться къ тебѣ.

— Тѣмъ, отвѣчалъ Аполлоній, что для тебя теперь очень дорого. Вѣдь ты нуждаешься въ здоровьи?

— Конечно, отвѣчалъ юноша; Эскулапъ обѣщаетъ мнѣ здоровье и все не даетъ его.

— Не говори такъ, замѣтилъ Аполлоній; онъ даетъ здоровье тѣмъ, кто его желаетъ, а ты самъ, напротивъ того, помогаешь своей болѣзни. Ты живешь въ свое удовольствіе, наполняешь разными лакомствами промоченный и испорченный свой желудокъ и льешь такимъ образомъ въ воду помой.



Юноша послушался совѣта Аполлонія и выздоровѣлъ, а Филостратъ, рассказывая это событіе самымъ наивнымъ образомъ, видитъ въ разумномъ медицинскомъ совѣтѣ голосъ божества.

Въ другой разъ Аполлоній увидѣлъ на алтарѣ многихъ дорогихъ жертвенныхъ животныхъ, которыхъ священнослужители тутъ же раздирали на части; возлѣ этихъ приношеній стояли два богатые золотые сосуда, украшенные драгоценными камнями. Аполлоній подошелъ къ жрецу: «Что это такое? спросилъ онъ. Должно быть, очень богатый человѣкъ, приносить богу эти дары?» Жрецъ отвѣчалъ ему, что «принесшіи эти дары богаче всѣхъ жителей Киликіи, вмѣстѣ взятыхъ, что онъ пріѣхалъ въ Эги наканунѣ и просить бога возвратитъ ему вытекшій глазъ, обѣщая принести еще больше даровъ, если богъ позволитъ ему проникнуть въ святилище».

Аполлоній опустилъ глаза въ землю и спросилъ: «какъ зовутъ этого человѣка?» Услышавъ его имя, онъ сказалъ: «по моему мнѣнію, этого человѣка не слѣдуетъ принимать въ святилище, онъ совершилъ преступленіе, и болѣзнь его происходитъ отъ дурной причины; не добившись отъ бога никакой милости, онъ приносить великолѣпныя жертвы; это не дары, а отмаливаніе тяжелаго злодѣянія». Несмотря на рѣшительный тонъ рѣчи Аполлонія, въ немъ видны ясно умозаключенія, основанныя на наблюденіи внѣшней фізіономіи фактовъ; видно даже, что Аполлоній самъ не думаетъ выдавать своего разсужденія за внушеніе свыше, но слова его оправдываются на дѣлѣ; оказывается, что богатый жертвователь имѣлъ любовную интригу съ своей падчерицей и что жена его выколола ему глазъ иглою. Жрецъ Эскулапа объявляетъ, что богъ, явившійся ему во снѣ, приказалъ кривому приносителю удалиться съ своими дарами, говоря, что онъ заслуживаетъ лишиться и другого глаза. Изъ этого разсказа очевидно, что Аполлоній строгостью своихъ нравственныхъ убѣжденій имѣлъ вліяніе на поступки жреческаго сословія. Понимая его важность для процвѣтанія ихъ храма, жрецы дорожили его присутствіемъ: боясь смѣлаго слова обличенія со стороны пылкаго юноши, они не рѣшались ему противорѣчить; они не могли не подражать его неподкупной честности, потому что иначе слишкомъ невыгодно отгѣнили бы себя въ глазахъ народа. Подражая этой честности, жрецы терпѣли убытки; имъ пришлось, на примѣръ, отказаться отъ даровъ киликійскаго богача; чтобы наверстывать эти убытки, нужно было добывать какъ можно больше выгоды изъ личности Аполлонія, бывшаго виновникомъ убытковъ, т. е., нужно было прокричать объ немъ, какъ о прорицателѣ и любимцѣ боговъ, чтобы его славою приманивать къ храму просителей и жертвователей.

Слова и поступки Аполлонія, сказанныя и сдѣланные имъ въ простотѣ сердечной, могли въ

устахъ жрецовъ принимать самую фантастическую фізіономію; народу это было любо, и потому легко могло случиться, что Аполлоній, скромный молодой человѣкъ, расположенный къ созерцательной жизни, былъ сдѣланъ прорицателемъ прежде, чѣмъ самъ онъ замѣтилъ въ себѣ какую нибудь наклонность мистифицировать народъ и господствовать надъ его воображеніемъ. Но когда незамѣтно для него самого, поставили его на пьедесталъ и произвели въ полубоги, онъ, не будучи въ состояніи и не желая отказываться отъ величія, котораго онъ не искалъ, принимая его, можетъ быть, при мистическомъ направленіи своего ума, за выраженіе воли божества, сталъ пользоваться имъ, какъ средствомъ благотѣльно подѣйствовать на нравственность массы.

При этомъ онъ, согласно съ общимъ убѣжденіемъ древнихъ мыслителей, не считалъ за грѣхъ обманывать народъ для его же пользы. Если строгій и холодный мыслитель, Варронъ, прямо говорить, что народу не только полезно не знать многое существующее, но даже полезно вѣрить во многое несуществующее, то тѣмъ болѣе можно извинить пылаго мистика, если онъ вдается въ фокусничество и шарлатанство, думая произвести этими средствами благотѣльную нравственную реформу.

Сумму убѣжденій, выработавшихся въ его душѣ втеченіи того времени, которое онъ пробылъ въ Эгахъ, Аполлоній вложилъ въ краткую рѣчь о силѣ молитвы и о жертвоприношеніяхъ. Эта рѣчь заключаетъ въ себѣ два важные факта умственной жизни Аполлонія: во-первыхъ, эмансипацію отъ грубаго суевѣрія, т. е. отъ фетишизма, во-вторыхъ, поворотъ къ идеальному мистицизму. Какъ человѣкъ съ сильнымъ отъ природы эстетическимъ чувствомъ, Аполлоній воображаетъ себѣ боговъ — существами справедливыми и премудрыми, и потому доходитъ до того положенія, что всякая внѣшняя молитвенная просьба бесполезна и почти грѣховна, какъ сомнѣніе въ премудрости или справедливости божества. Но отвергая молитву какъ просьбу какого нибудь желаемого блага, онъ признаетъ необходимость молитвы, какъ изъявленія покорности передъ волею высшихъ, безсмертныхъ и нравственно совершенныхъ существъ. — Аполлоній очевидно не проводитъ свою мысль до конца; въ процессъ его размышленія врываються чувство и фантазія, и онъ безусловно требуетъ отъ добродѣтельнаго человѣка молитвы и уваженія къ богамъ, не доказавши ихъ необходимости и уже подвергнувши сомнѣнію дѣйствительность и разумность просительной молитвы. Въ произнесенной имъ рѣчи было все, что нужно, чтобы понравиться народу и внушить ему благоговѣйное уваженіе къ оратору. Его идеи были настолько смѣлы, что могли показаться новыми, и между тѣмъ религіозное чувство настолько умѣряло и стѣсняло работу критической мысли, что



слова Аполлонія не могли никого озадачить и испугать, какъ пугаль и озадачивалъ неумолимо-последовательный раціонализмъ эпикурейцевъ.

Между тѣмъ семейныя обстоятельства вызвали Аполлонія изъ Эгъ. У него умеръ отецъ, и пришлось дѣлить оставленное наслѣдство съ старшимъ братомъ, человѣкомъ пьянымъ и развратнымъ. Аполлонію было въ то время 20 лѣтъ, а старшему брату 23 года, и этотъ возрастъ освобождалъ его отъ опеки. Молодому мыслителю не хотѣлось оставить брата безъ нравственной поддержки и, чтобы пріобрѣсти надъ нимъ вліяніе, онъ уступилъ ему большую часть наслѣдства; боясь оскорбить его самолюбіе, онъ представилъ ему, что они могутъ быть полезны другъ другу взаимными совѣтами, и убѣдилъ его такимъ образомъ выслушивать его наставленія; кончилось тѣмъ, что старшій братъ оставилъ свои дурныя привычки и сдѣлался порядочнымъ человѣкомъ; затѣмъ Аполлоній помогъ изъ своего имѣнія разнымъ бѣднымъ родственникамъ, и, покончивъ свои дѣла съ вѣнскимъ міромъ, обратилъ всѣ силы души на внутреннее самосовершенствованіе, какъ онъ понималъ его, согласно съ мечтательнымъ направленіемъ своего ума. Разсказъ Филострата объ отношеніяхъ Аполлонія къ брату можетъ возбудить противъ себя подозрѣнія. Объ этомъ братѣ ни прежде, ни послѣ не говорится ни слова; мы не знаемъ даже его имени; видны только развратныя привычки, очерченныя общими мѣстами, и цифра лѣтъ, показывающая, что онъ старшій братъ Аполлонія; то и другое, можетъ быть, приведено для того, чтобы отбѣнить съ выгодной стороны личность героя, чтобы выставить его благоразуміе, его воздержаніе и великодушную щедрость. Сверхъ того, нужно-же было показать, что аскетическія убѣжденія Аполлонія способны принести дѣятельную пользу и поставить на путь истины погибающаго человѣка.

## II.

Раздавши родственникамъ большую часть своего имѣнія, Аполлоній продолжалъ совершенствоваться въ пифагорейскомъ образѣ жизни. Аскетизмъ его далеко оставилъ за собою тѣ предписанія, которыя преданіе относилъ къ Пифагору. Пифагоръ предписывалъ соблюденіе супружеской вѣрности, Аполлоній обрекъ себя на безбрачіе и отказался отъ наслажденія любви. Разсказъ Филострата объ этомъ рѣшеніи молодого аскета заслуживаетъ довѣрія. Чтобы окончательно укрѣпиться въ мудрости, Аполлоній наложилъ на себя обѣтъ молчанія и хранилъ его въ продолженіи пяти лѣтъ. Этотъ обѣтъ не понимался въ буквальный смыслъ слова древнѣйшими пифагорейцами. Пифагоръ, по словамъ Мейнерса, принималъ въ свое общество людей, которыхъ онъ предварительно подвергалъ извѣстному испытанію, чтобы убѣдиться въ ихъ умствен-

ныхъ способностяхъ, въ ихъ нравственной твердости и въ ихъ умѣніи хранить тайну. Это испытаніе называлось временемъ молчанія, и позднѣйшіе пифагорейцы стали принимать это слово буквально; при общемъ аскетическомъ направленіи ихъ практической философіи, подвигомъ долговременнаго молчанія сталъ считаться блестящею побѣдою духа надъ тѣломъ.

Такъ принималъ его Аполлоній, обрекая себя на это чувствительное лишеніе. Время своего молчанія онъ провелъ въ Памфіліи и въ Киликіи; когда ему нужно было выразить свое мнѣніе, онъ обращался къ мимикѣ и часто однимъ движеніемъ руки или лицевыхъ мускуловъ производилъ на массу народа глубокое и прочное впечатлѣніе. Въ памфильскомъ городѣ Аспендѣ онъ, если вѣрить Филострату, успѣлъ укротить опасное волненіе. Аспендскіе богачи скупили весь хлѣбъ, заперли его въ свои амбары и хотѣли продавать его за границу по возвышенной цѣнѣ. Народъ сталъ терпѣть голодъ, и, полагая, что во всемъ виноватъ городской намѣстникъ, взбунтовался противъ него, принудилъ его искать убѣжища у подножія императорскихъ статуй и окружилъ его, угрожая ему горящими головнями. Въ эту минуту неожиданно явился Аполлоній и спросилъ знаками: въ чемъ дѣло? Намѣстникъ отвѣчалъ, что онъ ни въ чемъ не виноватъ, что онъ вмѣстѣ съ народомъ терпитъ обиду и что онъ погибнетъ вмѣстѣ съ народомъ, если ему не позволятъ говорить въ свое оправданіе. Аполлоній обратился тогда къ народу и знакомъ попросилъ его успокоиться. Раздраженная толпа утихла и положила головни на жертвенники. Намѣстникъ собрался съ духомъ и назвалъ имена тѣхъ богачей, которые захватили въ свои руки всю хлѣбную торговлю. Граждане изъявили желаніе отнять у нихъ собранный хлѣбъ и пустить его въ продажу, но Аполлоній приказалъ привести этихъ монополистовъ на площадь и написалъ къ нимъ слѣдующее сильное воззваніе: «Аполлоній къ хлѣбнымъ торговцамъ города Аспенда. Земля обща для всѣхъ людей; она справедлива. Вы-же несправедливо сдѣлали ее вашею исключительною матерью. Если вы не исправитесь, я вамъ не позволю стоять на землѣ». Богачи испугались этого воззванія, тѣмъ болѣе, что окружающая ихъ толпа придавала своею грозною фізіономіею страшный вѣсъ послѣднимъ словамъ Аполлонія. Они отперли свои амбары, наполнили хлѣбомъ городскіе рынки, и въ успокоившемся городѣ снова водворилось довольство.

Появленіе Аполлонія въ ту минуту, когда раздраженный народъ готовился растерзать намѣстника, составляетъ происшествіе эффектное и не вполне правдоподобное; что-же касается до вмѣшательства Аполлонія въ отношенія между горожанами, то это вмѣшательство по духу своему вполне соотвѣтствуетъ всей его



послѣдующей дѣятельности. Онъ здѣсь является вдохновеннымъ защитникомъ бѣдной и притѣсненной черни и поборникомъ общиннаго права. И то, и другое явленіе вытекаетъ изъ историческаго порядка вещей; пауперизмъ на протяженіи всей Римской имперіи бросался въ глаза самыми жалкими и возмутительными своими сторонами. Серьезному мечтателю, предположившему произвести нравственную реформу въ окружающемъ его обществѣ, необходимо было противодействовать этому явленію; увлекаясь непосредственнымъ чувствомъ, не имѣя ни основательнаго научнаго образованія, ни способности къ абстрактному мышленію, Аполлоній рѣшалъ вопросъ о пауперизмѣ съ плеча и прямо бросался въ несбыточные и оскорбительныя для личности человѣка утопіи коммунизма. Въ воззваніи его къ богатымъ аспендіяцамъ выражена только мысль о томъ, что земля общая мать и кормилица всѣхъ людей, но эта мысль, какъ видно изъ употребленія ея въ этомъ воззваніи, не была простою риторическою побрякушкой. Въ ней выразилось глубокое убѣжденіе оратора, и этому убѣжденію суждено было развиться и выработаться въ позднѣйшей дѣятельности Аполлонія. Когда кончилось время молчанія, Аполлоній рѣшился учить другихъ тѣмъ результатамъ, которые онъ выработалъ послѣ пятилѣтняго постоянного и сосредоточеннаго мышленія.

Главнымъ его предметомъ была религія и нравственность; его страстной природѣ были почти недоступны сферы отвлеченнаго мышленія, и диалектическое развитіе идеи для идеи постоянно оставалось ему чуждымъ. Его интересовало все то, и только то, что имѣло живое отношеніе къ человѣку, что непосредственно и тѣсно было связано съ его потребностями и стремленіями, что обуславливало его поступки и отношенія къ жизни и къ обществу. На этомъ основаніи онъ былъ медикъ, проповѣдникъ, филантропъ, коммунистъ и демократъ. Его занимали и физическое здоровье человѣка, и внутреннее, духовное довольство его, и внѣшняя безопасность въ матеріальномъ и общественномъ отношеніи. Онъ рѣшалъ такимъ образомъ вопросы, относившіеся повидимому къ совершенно различнымъ сферамъ знанія и дѣятельности, не имѣвшіе между собою непосредственной связи, но соединившіеся между собою въ одномъ высшемъ, многообъемлющемъ центрѣ, въ личности человѣка. Ассирійскому юношѣ онъ совѣтовалъ держать діегу, жрецамъ Эскулапа объяснилъ истинное, по его мнѣнію, значеніе молитвы, брату своему указывалъ на воздержный образъ жизни, аспендійскимъ монополистамъ доказывалъ необходимость человѣколюбія и нѣкотораго стѣсненія личныхъ интересовъ во имя благосостоянія народной массы. Съ этимъ практическимъ направленіемъ мыслительной дѣятельности Аполлонія гармонировалъ характеръ его изложенія. Онъ говорилъ

просто, коротко и сильно, не гнался за кудреватými украшениями рѣчи, не вдавался въ диалектическія тонкости и не любилъ спорить съ своими слушателями. Языкъ его былъ правильный и чисто аттический, но въ немъ не было замѣтно педантическихъ усилій отрѣшиться отъ всякихъ случайныхъ провинціализмовъ. Форма сама по себѣ не занимала его, и, какъ художнику, давалась ему въ руки сразу, безъ труда и усилія, облекая собою мысль и какъ-бы срастающаяся съ нею; онъ говорилъ короткими предложеніями, которыя Филостратъ называетъ алмазными, и высказывалъ свою мысль смѣло, рѣшительно, безъ колебаній и безъ ограниченій. Догматическій тонъ его поученій становился смѣлѣе и повелительнѣе по мѣрѣ того, какъ возрастала его популярность и жизненная зрѣлость.

Одинъ софистъ спросилъ у Аполлонія, почему онъ не излагаетъ своего ученія въ формѣ изслѣдованія. «Дѣлалъ я это, отвѣчалъ Аполлоній, когда мальчикомъ былъ. Теперь же дѣло не изслѣдовать, а учить тому, что я нашелъ».

— А какъ-же, продолжалъ его собесѣдникъ, слѣдуетъ мудрецу говорить о научныхъ вопросахъ?

— Тономъ законодателя, отвѣчалъ Аполлоній. А законодатель, продолжалъ онъ, долженъ обязывать толпу къ исполненію того, что онъ самъ сознаетъ истиннымъ.

Въ этихъ словахъ заключается полное и догматическое оправданіе умственного деспотизма. Прославленный и возвеличенный окружающими посредственностями, даровитый юноша очевидно впадаетъ въ самообожаніе и начинаетъ вѣрить въ самого себя, какъ въ полное и непогрѣшимое воплощеніе абсолютной истины. Отъ этой самонадѣянной вѣры въ собственную личность не далеко до потребности сдѣлать эту вѣру общимъ достояніемъ массы и явиться вдохновеннымъ провозвѣстникомъ новой религіи. Такая цѣль обыкновенно поглощаетъ всѣ силы человѣка, онъ отказывается отъ матеріальнаго комфорта, отъ высшихъ наслажденій семейной жизни, отъ почестей, даже отъ вліянія на государственныя дѣла; но это внѣшнее смиреніе, это самоотреченіе скрываетъ въ себѣ самое пылкое самолюбіе; самое неограниченное стремленіе къ власти; отказывался отъ внѣшняго блеска и отъ тѣлесныхъ наслажденій, восторженный мечтатель хочетъ самовластно господствовать надъ нравственнымъ сознаніемъ другихъ людей, распоряжаться ихъ совѣстью и произвольно управлять ихъ умами. Кто настолько поэтъ, чтобы предпочесть это высшее господство болѣе осязательнымъ и достижимымъ выгодамъ и наслажденіямъ, тотъ способенъ голосомъ собственнаго вдохновенія заглушить въ себѣ естественный голосъ нравственной совѣстливости и разборчивости въ средствахъ. Отдаленная, обширная цѣль до такой степени манитъ къ себѣ мыслящаго энтузіаста, что



господство надъ міромъ его личныхъ убѣжденій и вѣрованій начинаеть казаться ему единственнымъ средствомъ спасти гибнущее человѣчество; передъ такою цѣлью замолкають мелкія возраженія совѣстливости. Что значить обмануть подложнымъ чудомъ сотню ограниченныхъ зрителей? Что значить обставить себя блестящими атрибутами шарлатанства? Эти мелочи ведутъ къ такимъ громаднымъ послѣдствіямъ, что вдохновенный реформаторъ не замѣчаетъ ихъ уклоненія отъ правды, а если и замѣтитъ, то только затѣмъ, чтобы пожалѣть объ ограниченности и законѣности тѣхъ людей, для убѣжденія которыхъ нужно не разумное и живое слово истины, а чудесное, хотя-бы случайное или искусственно приготовленное знаменіе. Отказавшись отъ своего родового имѣнія, рѣшившись не вступать въ бракъ и не знать женщинъ, испытавши силу своего характера пятилѣтнимъ молчаніемъ, Аполлоній созрѣлъ для роли религіознаго дѣятеля и самъ почувствовалъ свою зрѣлость.

Человѣку необходимо имѣть въ жизни живой интересъ, а Аполлоній обставилъ себя такъ, что кромѣ вліянія надъ умами другихъ ему не оставалось ни наслажденія, ни разумной дѣятельности. За это наслажденіе и за эту дѣятельность онъ взялся съ полной энергіей и съ разсчитаннымъ искусствомъ. Прежде всего, онъ, вскорѣ послѣ истеченія пятилѣтняго срока молчанія, рѣшился отправиться въ дальнее путешествіе; побудительныхъ причинъ, заставившихъ его рѣшиться на это предпріятіе, можно насчитать очень много. Онъ ѣхалъ въ Индію, въ страну чудесъ, въ ту землю, изъ которой, по греческимъ преданіямъ, египтяне добыли свою обширную мудрость, туда могла привлекать его природная любознательность, для которой тамъ было такъ много пищи и въ роскошной природѣ, и своеобразной жизни людей; къ поѣздкѣ въ Индію могло побуждать его желаніе поучиться у индійскихъ и вообще у восточныхъ мудрецовъ тайнамъ медицины, астрологіи, физики и магіи. Каждый подобный секретъ могъ быть полезнымъ вспомогательнымъ средствомъ при утвержденіи новой религіи; наконецъ, Аполлоній вѣроятно хорошо понималъ, что долгое отсутствіе и дальнее путешествіе придаетъ въ глазахъ народа особенный вѣсъ и особую занимательность личности, рѣшившейся перенести труды и опасности переѣздовъ и столкновеній съ разнородными, полудикими племенами и національностями. Аполлоніемъ руководили вѣроятно всѣ три побужденія вмѣстѣ; онъ былъ поэтъ своего дѣла и добросовѣстно, съ искреннимъ жаромъ чувства искалъ истинной мудрости; онъ проповѣдывалъ народу то, что дѣйствительно считалъ живою правдою, и потому, желая учить другихъ, онъ сильно хотѣлъ учиться самъ и присматривался ко всему, что попадалось ему на глаза, прислушиваясь ко всякому разумному и честному совѣту. Но, съ дру-

гой стороны, онъ справедливо считалъ себя выше толпы и не пренебрегалъ тѣми вспомогательными средствами, которыя могли служить посредниками между его ученіемъ и пониманіемъ народа; онъ не прочь былъ сдѣлать чудо, сказать пророческую двусмысленность и потому конечно желалъ усвоить себѣ техническую часть своего мистическаго званія. Страна чудесъ и мистичизма, Востокъ вообще, и Индія въ особенности, были ему необходимы какъ драгоценные источники неизслѣдованныхъ матеріаловъ. Аполлоній предложилъ семи ученикамъ своимъ отправиться въ путь вмѣстѣ съ нимъ, но юноши вѣроятно болѣе своего молодого наставника были привязаны къ матеріальному комфорту домашнего очага; они отказались и старались отговорить учителя отъ смѣлаго предпріятія. Учитель снисходительно выслушалъ ихъ увѣщанія и разошелся съ ними съ той-же мягкой и кроткой терпимостью, съ какой онъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ разстался съ сластолюбивымъ Эвксеномъ. «Я посоветовался съ богами, отвѣчалъ онъ, и сказалъ вамъ, на что я рѣшился. Васъ я хотѣлъ испытать, достаточно-ли вы сильны, чтобы принять участіе въ томъ, къ чему я чувствую призваніе. Въ васъ силы недостаетъ, и потому живите счастливо и философствуйте; я-же пойду туда, куда ведетъ меня мудрость и демонъ».

Онъ отправился изъ Антиохіи съ двумя слугами и поѣхалъ на Нинивію; въ этомъ городѣ къ нему присоединился Дамидъ, человѣкъ честный и довѣрчивый, склонный къ обожанію и способный идти на край свѣта съ человѣкомъ, произведшимъ сильное впечатлѣніе на его воспримчивое чувство или на его игривую фантазію. Аполлоній безъ труда овладѣлъ этой личностью, рожденною быть прозелитомъ и съ наслажденіемъ сознающею свою нравственную и умственную нищету. Дамидъ беззавѣтно отдался даровитому энтузіасту и сознательно подчинился его умственному превосходству. Это былъ первый и самый ревностный сектаторъ аполлоніевой религіи.

— Пойдемъ вмѣстѣ, Аполлоній, сказалъ онъ; ты ступай по внушенію бога, а я буду слѣдовать за тобою. Ты увидишь, что и я способенъ принести пользу. Хотя я и не много знаю, однако знаю дорогу въ Вавилонъ и города по этой дорогѣ, по которой я недавно проѣзжалъ, и села, въ которыхъ есть много добра. Знаю я наконецъ языки варваровъ, сколько ихъ есть. Однимъ языкомъ говорятъ армяне, а другимъ мидяне и персы, а третьимъ кадузяне. Я всѣ эти языки знаю.

— И я, другъ мой, возразилъ Аполлоній, знаю всѣ языки, хотя ни одному изъ нихъ не учился. Дамидъ выразилъ свое изумленіе.

— Ты не удивляйся, продолжалъ мечтатель, понявъ свойство своего собесѣдника, что я знаю всѣ языки людей. Я и то знаю, что умалчиваютъ люди.



Ассирійнинъ Дамидъ сталъ молиться на Аполлонія, какъ на бога, и запоминая каждое его слово, написалъ сочиненіе подъ заглавіемъ «Крохи» («*εἰρηνηδαια*» — то, что выпадаетъ изъ яслей или сваливается съ обѣденнаго стола), въ которомъ съ полной благоговѣйной вѣрой и съ возможной точностью передаются поступки и поученія Аполлонія. Этотъ трудъ Дамида составляетъ, по словамъ Филострата, главный и достовѣрнѣйшій источникъ его біографіи. Этому извѣстію Филострата можно охотно повѣрить, потому что иначе трудно было бы себѣ представить, какимъ образомъ умный, талантливый и образованный писатель 3-го вѣка по Р. Х. сумѣлъ набрать такое множество неправдоподобныхъ, грубыхъ и, что всего важнѣе, неосмысленныхъ чудесъ. Только заимствование изъ простодушнаго и восторженнаго разсказа современника можетъ до нѣкоторой степени объяснить ихъ появленіе въ серьезномъ, дѣльномъ и умно составленномъ біографическомъ очеркѣ Филострата. Дамидъ дѣйствительно безъ всякаго разбора записывалъ все, что говорилъ и дѣлалъ Аполлоній. Дневникъ ихъ путешествія представляетъ даже въ передѣлкѣ Филострата такъ много безцвѣтныхъ подробностей, такъ много мелкихъ фактовъ и длинныхъ разсужденій, что мнѣ придется ограничиться самымъ короткимъ извлеченіемъ.

Съ довѣрчивымъ слушателемъ, подобнымъ Дамиду, Аполлоній могъ дѣлать, что ему было угодно; онъ могъ приписывать себѣ всевозможныя знанія, и Дамидъ никогда не подвергалъ сомнѣнію его слова; дошло до того, что Аполлоній увѣрилъ своего спутника, будто онъ, Аполлоній, понимаетъ языки животныхъ. При всемъ томъ, на Аполлонія невозможно смотрѣть какъ на обыкновеннаго шарлатана; сравнивать его съ Александромъ Авонотихитомъ было бы крайне несправедливо. Аполлоній имѣлъ въ виду огромную, міровую задачу. Ему хотѣлось обновить религіозныя и нравственныя убѣжденія человѣчества и для этого было, по его мнѣнію, необходимо поразить воображеніе современниковъ и увлечь ихъ за собою, какъ толпу слѣпо-вѣрующихъ и фанатически преданныхъ прозелитовъ. Александръ былъ фокусникъ, старавшійся обдѣлать свои дѣлишки; Аполлоній былъ мыслящій мечтатель, отказавшійся отъ всякихъ личныхъ наслажденій, неискавшій своихъ выгодъ, и творившій по внутреннему вдохновенію, какъ истинный поэтъ и энтузіастъ. Надъ Дамидомъ онъ просто смѣялся, и его личность могла навести Аполлонія только на одно плодотворное размышленіе; онъ могъ, всматриваясь въ него, убѣдиться въ томъ, что суевѣріе есть могучій двигатель, который даже людямъ слабымъ и ничтожнымъ придаетъ много энергіи и силы переносить опасности и лишенія. Конечно эти мысли могли только укрѣпить Аполлонія въ его

желаніи дѣйствовать въ этомъ направленіи на умы современниковъ. Такъ и случилось. Мы увидимъ, что изъ своего путешествія въ Индію Аполлоній, испробовавшій свои силы на Дамидѣ и другихъ приближенныхъ людяхъ, вернется въ отечество вполне чудотворцемъ, неупускающимъ ни одного случая удивить толпу и возбудить въ ней трепетное благоговѣніе или шумный взрывъ восторга.

Мѣсто не позволяетъ мнѣ распространяться о путешествіи Аполлонія. Скажу коротко, что онъ побывалъ въ Вавилонѣ и въ Индіи, говорилъ съ магами и съ индѣйскими мудрецами, учился у нихъ нравственной философіи и естественнымъ наукамъ, и изумлялъ царей Востока своими безкорыстіемъ, неподкупной честностью и смѣлой откровенностью. Исторически достовѣрнаго въ разсказѣ Филострата о путешествіи Аполлонія искать невозможно; у біографа нашего чудотворца было очень много побудительныхъ причинъ, заставлявшихъ его подкрашивать истину; сверхъ того, единственнымъ источникомъ служила ему книга Дамида, которому никогда не приходило въ голову усомниться въ вѣрности словъ учителя или въ подлинности его чудесъ. Самъ Филостратъ въ своемъ біографическомъ очеркѣ преслѣдуетъ двѣ цѣли: во 1-хъ, онъ хочетъ представить образъ идеальнаго мудреца языческаго міра; во 2-хъ, какъ царедворецъ императрицы Юліи Домны, онъ желаетъ доставить своей августѣйшей покровительницѣ занимательное чтеніе. Обѣ эти цѣли допускаютъ и оправдываютъ отступленія отъ исторической вѣрности, произвольную пестроту красокъ и, порою, свободное творчество фантазіи. Переносъ своего героя на богатую чудесами почву Востока, Филостратъ отрѣшаетъ свое повѣствованіе отъ всѣхъ требованій нетолько исторической критики, но даже простого здраваго смысла. Его разсказъ любопытенъ какъ сказка, написанная въ концѣ второго вѣка по Р. Х.; но я теперь ишу не сказочнаго интереса, и потому позволяю себѣ прямо обратиться къ дѣятельности Аполлонія послѣ его возвращенія.

### III.

Путешествіе Аполлонія привнесло ему все, чего онъ отъ него ожидалъ; больше, по его понятіямъ, ему нечего было учиться; онъ побывалъ у мудрѣйшихъ людей земли и узналъ отъ нихъ, что онъ достигъ предѣловъ человѣческаго знанія; гордый этою идеей, довольный сознаніемъ собственной силы, онъ выступилъ смѣлымъ учителемъ человѣчества, и всѣ тѣ люди, съ которыми онъ приходилъ въ соприкосновеніе, стали преклоняться предъ его всевѣдѣніемъ и нравственной чистотою. Изложеніе Филострата, начиная съ четвертой книги, принимаетъ чисто панегирическій тонъ и подготавливаетъ ту апофеозу, которою заканчивается все сочиненіе.



Когда Аполлоній и Дамидъ пріѣхали въ Эфесъ, за ними пошла цѣлая толпа народа; однихъ поражала мудрость Аполлонія, другихъ его красота, третьихъ его костюмъ и образъ жизни. Оракулы говорили о немъ народу и подготавливали его къ принятію мудреца и любимца боговъ. Многіе больные получили отъ божества приказаніе обратиться къ Аполлонію. Изъ разныхъ городовъ къ нему приходили депутаты просить его совѣта насчетъ основанія храмовъ или освященія статуй. Аполлоній больныхъ лѣчилъ, а на просьбы городовъ отвѣчалъ письмами, или отправлялся самъ по ихъ приглашенію и устраивалъ все, что имъ было нужно. Эти общія свѣдѣнія, высказанныя у Филострата довольно голословно, при самомъ началѣ IV книги, показываютъ намъ характеръ той дѣятельности, которой Аполлоній посвятилъ остальную часть своей жизни. Онъ принялъ на себя роль законодателя въ дѣлѣ религіозной догматики и практической нравственности и выполнилъ эту роль съ замѣчательнымъ искусствомъ и успѣхомъ.

Эти важныя занятія не мѣшали ему обращать вниманіе на нужды и страданія отдѣльныхъ лицъ, и множество удачныхъ исцѣленій конечно увеличивали его популярность и довѣріе народа къ его божественному посланничеству. Филостратъ упоминаетъ двухъ проповѣдяхъ, произнесенныхъ Аполлоніемъ въ Эфесѣ. Въ одной онъ говорилъ противъ роскоши и извѣженности и совѣтовалъ эфесянамъ обратиться къ серьезнымъ занятіямъ и къ работѣ мысли. Въ другой онъ говорилъ въ пользу коммунизма, доказывая необходимость взаимнаго, дѣятельнаго милосердія. Рѣчь его была прервана незначительнымъ событіемъ. Много воробьевъ сидѣло на сосѣднихъ деревьяхъ, къ нимъ подлетѣлъ еще воробей, закричалъ, зашебетаъ, и потомъ полетѣлъ куда-то прочь; остальные воробьи подняли тоже страшный крикъ, встрепенулись и полетѣли за первымъ; это обратило вниманіе слушателей Аполлонія, и проповѣдникъ, видя ихъ разсѣянность, рѣшился воспользоваться этимъ перерывомъ, чтобы подкрѣпить свою идею новымъ доказательствомъ.—«Мальчикъ, сказалъ онъ, уронилъ жѣру пшеницы въ такомъ-то переулкѣ, подобралъ зерна, но послѣ него осталось ихъ много на землѣ. Воробей, видѣвшій это, прилетѣлъ сюда, увѣдомилъ своихъ товарищей и пригласилъ ихъ раздѣлить съ нимъ обѣдъ». Большая часть слушателей побѣждали къ означенному мѣсту и возвратились съ возгласами изумленія, потому-что дѣйствительно увидѣли воробьевъ надъ зернами.—«Вотъ, видите ли, сказалъ тогда Аполлоній, какъ птицы заботятся другъ о другѣ, и какъ имъ пріятно дѣлиться между собою; а мы этого не хотимъ; когда мы видимъ, что одинъ даетъ что нибудь другимъ, мы упрекаемъ его въ неумѣренности, въ мотовствѣ и въ другихъ подобныхъ свойствахъ; кого онъ кормитъ, тѣхъ мы

называемъ льстецами и приживальщиками, шутами. Послѣ этого намъ остается только запереться и, какъ птицамъ, которыхъ кормятъ на убой, наѣдаться въ уединеніи, пока не лопнемъ отъ жира». Все, что можно сказать на основаніи этой рѣчи, состоитъ въ томъ, что Аполлоній умѣлъ говорить популярно, выбирая примѣры изъ вседневной жизни и придираясь къ каждому удобному случаю, чтобы подкрѣплять развиваемыя идеи чисто практическими доказательствами, доступными массѣ слушателей. Сказать слово за бѣдняковъ, которыхъ вездѣ было много и которые постоянно становились многочисленнѣе—было дѣйствительно необходимо. Но нужно было поднять ихъ самихъ въ нравственномъ отношеніи; извѣженность высшаго класса и грязное униженіе низшаго служили другъ-другу дополненіемъ. Стараясь своими рѣчами внушить богачамъ любовь къ умѣренному и простому образу жизни, стараясь возбудить въ нихъ чувство милосердія, Аполлоній, при всей своей мудрости, бралъ только одну сторону того социального вопроса, который онъ старался разрѣшить. Римская чернь и безъ того жила милостынею, которую давало ей правительство; и безъ-того толпы кліентовъ получали подачку съ барскаго стола. Усиливая милосердіе высшаго класса, можно было еще больше развратить низшій. Надо было возбудить въ пролетаріяхъ желаніе и дать имъ средства обходиться безъ милостыни. Для этого нужно было поднять и оживить въ нихъ чувство человѣческаго достоинства, а было ли это возможно? Сколько вѣковъ должно было пройти, чтобы образовать среднее сословіе, живущее своимъ трудомъ и между тѣмъ свободное, огражденное закономъ отъ обидъ и притѣсненій, и способное выставять изъ себя дѣльныхъ гражданъ и замѣчательныхъ людей! Нужно было, чтобы переработался весь историческій порядокъ вещей, чтобы перезрѣвшіе плоды римской цивилизаціи сгнили и удобрили собою новую почву, а этого конечно не могли сдѣлать или даже ускорить проповѣди утописта. На этомъ основаніи, мы можемъ обвинить Аполлонія только въ томъ, что онъ не понялъ истинныхъ потребностей своей эпохи и направилъ свои проповѣди не совсѣмъ туда, куда слѣдовало. Вѣрное направленіе могло бы обнаружить въ проповѣдникѣ замѣчательную проницательность и практичность взгляда, хотя можетъ-быть не имѣло бы никакого вліянія на фізіономію народной жизни.

Въ Смирнѣ Аполлоній проповѣдывалъ въ пользу гражданскихъ добродѣтелей и убѣждалъ народъ ревностно заниматься дѣломъ и добросовѣстно исполнять свои обязанности. Въ то время какъ онъ говорилъ, изъ гавани, передъ глазами его слушателей, вышелъ въ море трехмачтовый корабль, на которомъ суетились и хлопотали матросы. «Вотъ граждане корабля, сказалъ



Аполлоній, одни взялись за весла, другіе поднимають и прикрѣпляютъ якоря; вотъ эти ставятъ паруса по вѣтру, а тѣ держатъ стражу на кормѣ и на носу. Если одинъ изъ нихъ не исполнить своей обязанности, или окажется нерасудительнымъ и незнающимъ дѣла, то у нихъ на кораблѣ выйдетъ неурядица, и поѣздка будетъ неудачна. Если же они будутъ соперничать между собою и спорить въ томъ, чтобы ни одинъ не показался хуже другого, то этотъ корабль благополучно войдетъ во всѣ гавани; все пойдетъ весело и счастливо, и ихъ осмотрительность будетъ имъ Посейдономъ-хранителемъ».

Опять тотъ же удачный пріемъ—взять темою рѣчи предметъ, попавшійся на глаза слушателя, и показать на живомъ примѣрѣ приложение отвлеченной идеи. Между тѣмъ въ Эфесѣ показалась моровая язва, и народъ обратился къ Аполлонію съ мольбою прекратить бѣдствіе. Аполлоній по этому поводу сдѣлалъ чудо, которое вѣроятно придумано его біографами, чтобы поставить его на ряду съ Эпименидомъ и подобными ему древними заклинателями повальныхъ болѣзней. По первому призыву онъ явился въ Эфесѣ и, увлекая за собою всю молодежь, прямо отправился на театральную площадь, гдѣ потомъ поставили статую Геркулеса-защитника. Тамъ увидѣли они старика-нишаго, одѣтаго въ лохмотья, съ котомкою за плечами и покрытаго грязью. Этого старика Аполлоній велѣлъ окружить и побить камнями. Эфесяне сначала колебались, но въ нѣкоторыхъ изъ нихъ суетворіе перешибло жалость, и въ нишаго старика полетѣло нѣсколько камней. Довольно было начать, чтобы окончательно двинуть толпу; эфесянамъ старикъ показался демономъ; въ его глазахъ они увидали какой-то зловѣщій огонь, и градъ камней размогзилъ мнимаго демона; его буквально засыпали камнями. Черезъ нѣсколько минутъ Аполлоній приказалъ отрыть трупъ убитаго старика, и на его мѣстѣ оказалась большая убитая собака съ пѣною у рта и со всѣми признаками бѣшенства. Язва прекратилась, и на мѣстѣ подвига Аполлонія поставили статую Геркулеса-защитнику.

Подыскивать подобнымъ чудесамъ естественное объясненіе—трудно и бесполезно. Привести его я считаю нужнымъ для того, чтобы показать, что не одно наивное вѣрованіе изобрѣтаетъ чудеса, а что многія придумываются сознательно и умышленно. Во-вторыхъ, любопытно знать, какого рода вымыслами писатель надѣлся возвеличить и прославить своего героя въ глазахъ читающей массы.

Оставивъ по себѣ благодарное воспоминаніе въ сердцахъ малоазійцевъ, обозначая свой путь разными исцѣленіями и благотѣльными чудесами, столь же достоверными, какъ уничтоженіе эфесской язвы, Аполлоній направился къ европейской Греціи, къ классической почвѣ эллинизма, на которой онъ еще не былъ ниразу

въ жизни. По дорогѣ онъ съ жадною и всестороннею любознательностью осматривалъ мѣстность древняго Иліона и совершилъ много безкровныхъ жертвоприношеній надъ предполагаемыми могилами убитыхъ ахейцевъ. Сочувствіе къ личности Ахилла побудило его провести ночь на его надгробномъ холмѣ. Пользуясь всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы выставить себя существомъ, стоящимъ выше уровня человѣчества, Аполлоній далъ понять своимъ ученикамъ, что видѣлся съ тѣнью Ахилла. На другой день послѣ ночи, проведенной на могильномъ холмѣ, онъ подозвалъ къ себѣ ученика своего Антисфена, уроженца острова Пароса. «Ты находишься въ связи съ Троею?» спросилъ онъ у него.

— Какъ же! отвѣчалъ юноша. Мои предки были Троянцы!

— Ты изъ рода Пріама? продолжалъ спрашивать учитель.

— Да, я отъ него веду свой родъ, отвѣчалъ съ достоинствомъ Антисфенъ, и считаю себя благороднымъ потомкомъ благородныхъ предковъ.

— Именно по этой причинѣ, сказалъ тогда Аполлоній, Ахиллъ запрещаетъ мнѣ имѣть съ тобою сношенія. Сегодня ночью онъ далъ мнѣ порученіе къ эссалийцамъ, и я спросилъ у него, чѣмъ я еще могу угодить ему?—«Вотъ чѣмъ, отвѣчалъ онъ мнѣ: не принимай паросскаго юношу участникомъ твоей мудрости: онъ совершенный пріамидъ и до сихъ поръ не перестаетъ хвалить Гектора».

Антисфенъ принужденъ былъ удалиться. Аполлоній пожертвовалъ личностью молодого и можетъ быть даровитаго ученика желанію или потребности порисоваться; эта грязная черта его жизни вѣроятно не вымыслена; она рассказана, какъ многіе другіе анекдоты о немъ, и въ ней не замѣтно желанія біографа произнести панегирикъ; равнодушный тонъ Филостратова разсказа показываетъ, что онъ просто переписалъ сырое извѣстіе, не вдумавшись въ него и не понявъ того, что оно можетъ бросить тѣнь на личность его героя. Это извѣстіе кажется принадлежать Дамиду и можетъ дать намъ понятіе о тонкомъ умѣ и замѣчательномъ житейскомъ тактѣ Аполлонія. Прогнавъ Антисфена и намекнувъ такимъ образомъ на свиданіе съ Ахилломъ, онъ не сталъ говорить о немъ подробнѣе и молчалъ объ этомъ эпизодѣ до тѣхъ поръ, пока не лопнуло терпѣніе его учениковъ. Это поведеніе было такъ искусно рассчитано, что выставило въ самомъ лучшемъ свѣтѣ и скромность Аполлонія, и его правдивость. Ученики были принуждены приступить къ нему съ распросами; долгое ожиданіе возбудило въ нихъ живое любопытство и, разнавивъ ихъ воображеніе, расположило ихъ къ довѣрчивому выслушиванію фантастическаго разсказа. Дамида особенно мучило любопытство. Окруженный своими учениками, Аполлоній плылъ по Эгей-



скому морю и съ своею обыкновенною, ровною веселостью говорилъ объ островахъ, попадавшихъ по дорогѣ и разнообразившихъ веселый морской ландшафтъ. Дамидъ былъ чѣмъ-то встревоженъ, порицалъ все, что говорили другіе, прерывалъ начатыя рѣчи и мѣшалъ говорить другимъ, такъ что Аполлоній замѣтилъ это и захотѣлъ дать ему средства высказаться.

— Что съ тобою, Дамидъ, сказалъ онъ шутливымъ тономъ; что ты все прерываешь разговоръ? Или тебя укачало, или ты нездоровъ, что бесѣда наша тебѣ не нравится? Посмотри, какъ корабль нашъ разбѣкаетъ море и какъ благополучно идетъ наша поѣздка! Что же тебя послѣ этого тревожить?

— А то, отвѣчалъ Дамидъ, что у насъ есть великій предметъ для разговора и что лучше обратиться къ нему, нежели спрашивать о старинѣ, которая всѣмъ извѣстна и надобла.

— Что жъ бы это былъ за предметъ, сказалъ Аполлоній, предъ которымъ все остальное кажется тебѣ излишнимъ?

— Ты имѣлъ свиданіе съ Ахилломъ, продолжалъ Дамидъ, и вѣроятно слышалъ много такого, чего мы не знаемъ. А ты этого не рассказываешь и не описываешь его наружности; вмѣсто этого ты на словахъ разгуливаешь по островамъ и строишь корабли.

— Хорошо, отвѣчалъ съ кроткою покорностью Аполлоній, я расскажу все, какъ было, лишь бы только вы не сочли это съ моей стороны за хвастливость.

Затѣмъ слѣдуетъ длинный рассказъ Аполлонія о свиданіи его съ Ахилломъ; приводитъ его я считаю излишнимъ. Любопытно только обратить вниманіе на тотъ наивный пріемъ, которымъ Филостратъ старается оградить Аполлонія отъ обвиненія въ магіи или некромантіи. «Я, говоритъ мудрецъ въ самомъ началѣ разсказа, не вырывалъ, подобно Одиссею, ямы и не привлекалъ тѣней кровью барановъ; чтобы бесѣдовать съ Ахилломъ, я прочиталъ молитвы, которыми индѣйскіе мудрецы учили меня умиловлять героевъ, и потомъ сказалъ: «О Ахиллъ! многочисленная толпа говоритъ, что ты умеръ; я этого не признаю, подобно Пифагору, праѣду моей мудрости. Если правда на нашей сторонѣ, покажи мнѣ твой образъ. Мои глаза могутъ принести тебѣ пользу, если засвидѣтельствуютъ твое дѣйствительное существованіе».

Тогда произошло вокругъ холма слабое колебаніе, и появился вызываемый призракъ. Какимъ образомъ появленіе тѣни Ахилла можетъ быть соглашено съ пифагорейскимъ догматомъ переселенія душъ—этого Аполлоній не показалъ, и ученики не обратили вниманія на это неразрѣшенное противорѣчіе. Проѣзжая мимо острова Лесбоса, Аполлоній вышелъ на противоположный ему эолійскій берегъ и принесъ умиловляющую безкровную жертву погребенному здѣсь

Паламеду. Опираясь на разговоръ съ Ахилломъ, онъ откопалъ въ его могилѣ статую, съ надписью: «божественному Паламеду», поставилъ ее на томъ мѣстѣ, гдѣ она была зарыта и построилъ вокругъ нея храмъ, который Филостратъ видѣлъ собственными глазами. Филостратъ не рѣшился бы лгать въ такомъ дѣлѣ, въ которомъ его могъ уличить любой путешественникъ, и потому мы дѣйствительно можемъ принять, что при храмѣ Паламеда жило преданіе объ основаніи его Аполлоніемъ Тіанскимъ. Это конечно дастъ намъ понять, что слово Аполлонія дѣйствительно имѣло вѣсь и значеніе, и что приказанія странствующаго проповѣдника исполнялись мѣстными жителями.

#### IV.

Корабль Аполлонія присталъ къ аѣинской гавани—Пирею, и столица греческаго духа, по словамъ Филострата, съ восторгомъ приняла азіатскаго прорицателя. Наивно въ разсказѣ о его пріѣздѣ то обстоятельство, что всѣ узнавали его, никогда его не выдавши, въ такомъ городѣ, въ который онъ вѣзжалъ въ первый разъ въ жизни. Когда онъ изъ Пирея направлялся къ городу, съ нимъ встрѣтились десять молодыхъ людей; протягивая руки къ Акрополю, они съ восторгомъ говорили: «клянемся тамошнею Аѣиною, мы шли къ Пирею съ тѣмъ, чтобы ѣхать къ тебѣ въ Іонію». Былъ день Эпидаврій, т. е. восьмой день элевзинскихъ мистерій, названный такъ въ честь эпидаврійскаго Эскулапа. Пріѣздъ Аполлонія отвлекъ вѣтряную аѣинскую молодежь отъ мистерій; Аполлоній былъ самою свѣжею современною новостью, и всѣ стремились къ нему, ожидая отъ него проповѣди и чудесныхъ знаменій. Аполлоній понялъ, что это обстоятельство можетъ возбудить противъ него негодованіе аѣинскаго жречества, и приказалъ своимъ обожателямъ принять участіе въ священнодѣйствіяхъ, говоря, что онъ самъ попроситъ себѣ посвященія, а что послѣ мистерій они опять сойдутся съ нимъ и нафилософствуются вдоволь. Уговоривъ ихъ такимъ образомъ, онъ отправился къ святилищу, но уже неблагопріятное впечатлѣніе было произведено, и корпорація жрецовъ смотрѣла на него враждебно. Иерофантъ т. е. главный жрецъ, объявилъ ему, что не имѣетъ права принимать чародѣя и отворять элевзинскую святыню человѣку, оскверненному сношеніями съ демонами. Аполлоній, видя, что надо спасать свое достоинство въ глазахъ вѣтряной толпы, передъ которою правъ тотъ, кто сказалъ послѣднее слово, отвѣчалъ рѣзкою дерзостью: «Ты еще не упомянулъ самаго главнаго обвиненія, которое ты можешь мнѣ сдѣлать. Это то, что я знаю тайнства лучше тебя самого. А я ѣхалъ сюда въ ожиданіи, что меня посвятитъ человѣкъ, который будетъ мудрѣе меня».



Слушателямъ понравился рѣзкій отвѣтъ Аполлонія, и они открыто выразили свое сочувствіе. Іерофантъ струсилъ и перемѣнилъ тонъ.

— Хорошо, сказалъ онъ, я тебя посвящу, потому что ты, кажется, человѣкъ мудрый.

Но Аполлоній уже не далъ іерофанту средства поправить сдѣланный промахъ и отвѣчалъ сухо:

— Меня примутъ въ мистеріи впоследствии и посвятить меня такой-то. — Онъ назвалъ имя будущаго іерофанта, и окружающая толпа конечно подивилась его предвѣднію. — Кромѣ того, Филостратъ говоритъ положительно, что Аполлоній читалъ въ Аѣнахъ много лекцій философіи собственно для того, «чтобы опровергнуть ругательныя и безразсудныя рѣчи іерофанта». Должно быть, эти безразсудныя рѣчи заставляли его задумываться и были близки къ истинѣ.

Изъ поученій Аполлонія, упоминаемыхъ у Филострата и произнесенныхъ прорицателемъ въ Аѣнахъ, одно было направлено противъ извѣженности нравовъ. Оно было произнесено въ театрѣ во время праздниковъ Діониса, когда онъ увидѣлъ, что къ религиознымъ представленіямъ и пѣснямъ примѣшиваются звуки флейты, сладострастные танцы и балетныя позы. — Эта рѣчь, какъ она воспроизведена у Филострата, носитъ на себѣ характеръ страстной импровизаціи и отличается отъ другихъ особенно сильнымъ воодушевленіемъ, которое могло быть до нѣкоторой степени искусственнымъ, потому что Аполлоній понималъ характеръ своихъ слушателей и зналъ, какъ на нихъ надо дѣйствовать.

Въ Аѣнахъ, въ театрѣ происходили довольно часто сраженія гладиаторовъ, на которыя народъ смотрѣлъ съ наслажденіемъ. «Дорогою цѣною, говоритъ Филостратъ, покупались прелюбодѣи, сводники, воры, мошенники, разбойники и другая подобная сволочь; ихъ всѣхъ вооружали и приказывали имъ сражаться». Желая угостить Аполлонія всѣми удовольствіями своего города, аѣняне приглашали его посмотрѣть на эти игры, но Аполлоній съ отвращеніемъ отказался отъ ихъ предложенія и даже въписымъ къ аѣнскимъ гражданамъ выразилъ свое негодованіе противъ того, что они оскверняютъ нечистою и притомъ человѣческою кровью святыню Аѣины и Діониса.

Изъ исцѣленій, совершенныхъ Аполлоніемъ въ Аѣнахъ, Дамидъ упоминаетъ объ изгнаніи демона изъ одного богатаго юноши. Судя по тѣмъ симптомамъ, которые приводитъ самъ Дамидъ или Филостратъ, можно заключить, что болѣзнь юноши была однимъ изъ видоизмѣненій помѣшательства. Онъ смѣялся и плакалъ безъ видимой причины, громко говорилъ самъ съ собою и пѣлъ дикимъ голосомъ.

Аполлоній выгналъ демона взглядомъ и словомъ; было ли то лѣченіе посредствомъ магнетизма, или біографы Аполлонія скрыли лѣкарства, употребленныя имъ противъ душевнаго расстройства юноши, этотъ вопросъ рѣшать не

возможно, да и бесполезно. Самый актъ исцѣленія вѣроятно описанъ у Филострата такъ, какъ его поняли сами зрители. Аполлоній сталъ смотрѣть на юношу, засмѣвавшегося некстати, во время серьезнаго разговора, — строгимъ и гнѣвнымъ взоромъ. Демонъ устами юноши сталъ кричать и стонать, какъ-будто его мучили; онъ поклялся оставить юношу въ покоѣ и не трогать впередъ ни одного человѣка. Аполлоній заговорилъ съ нимъ гнѣвнымъ голосомъ, какъ съ безстыднымъ и лживымъ рабомъ и приказалъ ему выдти съ видимымъ знакомъ. Демонъ отвѣчалъ: я опрокину ту статую, и указалъ рукою юноши на статую, стоявшую у ближняго портика. Статуя закачалась на пьедесталѣ и съ шумомъ свалилась на землю. Поднялся въ окружающей толпѣ взрывъ шумнаго удивленія. Между тѣмъ юноша какъ будто проснулся изъ долгаго усыпленія, протеръ себѣ глаза и покраснѣлъ, увидя, что взоры всей толпы обращены на него. «Онъ возвратился къ прежнему своему тихому характеру, говоритъ Филостратъ, какъ будто-бы онъ принялъ спасительное лекарство». Вслѣдъ за тѣмъ онъ отказался отъ роскоши и комфорта, посвятилъ себя философіи и сдѣлался ревностнымъ послѣдователемъ Аполлонія.

Оставивъ Аѣины, Аполлоній пошелъ странствовать по Греціи, обнаруживая при этомъ любознательность образованнаго туриста и патриотизмъ истиннаго грека. Мѣста сраженій грековъ съ персами, особенно то мѣсто, гдѣ погибъ Леонидъ, древніе храмы и оракулы, все, что было достойно вниманія, было имъ осмотрѣно, и на каждомъ изъ этихъ мѣстъ онъ произнесъ какое-нибудь многозначительное изреченіе, которое тотчасъ же, съ любовью и съ благоговѣніемъ было отмѣчаемо Дамидомъ, и входило въ составъ его «Крохъ». Въ Коринѣ Аполлоній познакомился съ циническимъ философомъ Дмитріемъ, и увлекъ его за собою, такъ что Дмитрій всей душою принялъ его ученіе и пошелъ за нимъ, какъ усердный и любознательный ученикъ. Ученики Дмитрія подражали примѣру учителя, и такимъ образомъ число послѣдователей Аполлонія значительно увеличилось. Съ однимъ изъ учениковъ Дмитрія, съ ликійцемъ Мениппомъ произошло такое приключеніе, которое дало Аполлонію поводъ сдѣлать необъяснимое и чисто сказочное чудо. Мениппа любила одна женщина иностраннаго происхожденія, и молодой человѣкъ увлеченный ея красотою, хотѣлъ на ней жениться. Аполлоній узналъ, что эта женщина была эмпуза или ламія, т. е. злой духъ, питающійся человѣческимъ мясомъ; онъ пришелъ на свадебный пиръ, обличилъ эмпузу, заставилъ исчезнуть все приготовленія обѣда вмѣстѣ съ поварами, виночерпьями и прислуживающими рабами, и освободилъ Мениппа изъ рукъ кровожаднаго призрака. Эта нелѣпая исторія очень подробно разсказана у Филострата, и онъ признаетъ ее од-



ною изъ главныхъ достопримѣчательностей жизни Аполлонія. «Многіе, говоритъ онъ, знаютъ ее, потому что она произошла въ самой Элладѣ; но они слышали только, что онъ въ Коринѣ открылъ ламію; что же она сдѣлала, и насколько это дѣло относилось къ Мениппу — этого они не знаютъ. Ее рассказываетъ Дамидъ, и я заимствовалъ ее изъ его извѣстій».

Въ Олимпіи Аполлоній увидалъ посланниковъ изъ Лакедемона; они были одѣты такъ же роскошно, какъ и остальные греки; волосы ихъ были умащены, борода обрита и вся ихъ наружность поразила строгаго философа чрезмѣрною изысканностью и женственностью. Аполлоній написалъ къ эфорамъ увѣщательное посланіе, советуя имъ обратить серьезное вниманіе на нравственность гражданъ. Любопытно то, что Аполлонія особенно беспокоили женщины, состоявшія при баняхъ, и обычаи, вошедшіе въ то время во всеобщее употребленіе — уничтожать воскомъ волосы на всемъ тѣлѣ. Эфоры, по увѣренію Филострата, послушались его совѣта и ввели въ Лакедемонъ прежнюю простоту нравовъ, возстановили гимнастическія школы и снова принудили гражданъ обѣдать за общественными столами. Аполлоній написалъ къ эфорамъ лаконическое письмо, въ которомъ выразилъ свое одобреніе:

«Аполлоній привѣтствуетъ эфоровъ».

«Мужамъ прилично не погрѣшать; благороднымъ — сознаваться въ своихъ погрѣшностяхъ».

Письмо коротко и величественно, но допустить возможность такого переворота актомъ правительственныхъ лицъ могъ только Филостратъ, которому нужно было, во что бы то ни стало, очертить всемогущество и высокую нравственную чистоту своего прославленнаго героя. — Какъ бы то ни было, популярность Аполлонія была велика и возрастала съ каждымъ днемъ, потому что каждый день былъ отмѣченъ какимъ нибудь краснорѣчивымъ словомъ поученія или поразительнымъ чудомъ. Однажды въ Олимпіи онъ говорилъ о мудрости, о храбрости, о воздержности и вообще о разныхъ добродѣтеляхъ. Стоя на порогѣ храма, говоря громкимъ, вдохновеннымъ голосомъ, онъ привелъ присутствующихъ въ благоговѣйное изумленіе. Бывшіе въ Олимпіи спартанцы окружили его, въ присутствіи Зевса объявили его своимъ гостемъ, отцомъ своего юншества, устроившимъ ихъ образъ жизни, и украшеніемъ ихъ старости. Одинъ коринѣянинъ, досадуя за что-то на Аполлонія, спросилъ насмѣшливымъ тономъ: «Не станете ли вы въ честь его праздновать теофаніи?» Уваженіе лакедемонянъ къ Аполлонію было такъ сильно, что они не смутились этимъ рѣзкимъ вопросомъ и выразили свою полную готовность объявить великаго мудреца богомъ. «Конечно, отвѣчали они, у насъ уже все приготовлено».

Тутъ Аполлоній счелъ нужнымъ вмѣшаться

въ дѣло. Ему такая демонстрація казалась опасной и онъ просилъ своихъ обожателей оставить это намѣреніе, чтобы не возбудить противъ него всеобщей зависти. Скромность Аполлонія не могла не понравиться и произвела самое благопріятное впечатлѣніе. Черезъ Тайгетъ Аполлоній отвѣчалъ на всѣ вопросы коротко и ясно и выражалъ постоянно полное сочувствіе къ законамъ Ликурга и вообще къ древнимъ спартанскимъ учрежденіямъ. Пробывъ нѣсколько времени въ Спартѣ, онъ отправился на югъ Пелопоннеза до Малеи, оттуда, ссылаясь на видѣнный имъ сонъ, проѣхалъ въ Критъ и наконецъ явился въ Римъ, гдѣ въ то время царствовалъ Неронъ.

#### V.

Въ первой части этой статьи я упоминалъ о томъ, что римскіе императоры не разъ воздвигали гоненіе на философовъ, на математиковъ и на колдуновъ. Самыя разнообразныя причины побуждали ихъ слѣдовать этой политикѣ. Ихъ беспокоили то политическій либерализмъ философовъ, то религіозное вольнодумство, то мистическое шарлатанство, прикрывавшееся наружностью мудреца. Извѣстно, что Тиверій, Калигула, Неронъ и Домиціанъ не разъ издавали противъ философовъ грозные указы и часто старались выгонять ихъ изъ Рима и даже изъ Италіи. Если кто нибудь своими поученіями собиралъ вокругъ себя народъ, если въ Римѣ на площадяхъ и на улицахъ собирались толпы слушателей, то конечно подозрительное правительство императоровъ смотрѣло на эти собранія враждебно и недовѣрчиво. Въ то время какъ Аполлоній приближался къ Риму, извѣстный стоикъ Музоній Руфъ былъ схваченъ императорскими агентами единственно за то, что его поученія находили себѣ въ народѣ живое сочувствіе. Этотъ арестъ подействовалъ на всѣхъ прочихъ философовъ. Одинъ изъ нихъ Филолай спѣшилъ удалиться заблаговременно и въ бѣгствѣ своемъ встрѣтился съ Аполлоніемъ, направлявшимся къ Риму. Онъ наговорилъ ему и ученикамъ его о жестокости и преслѣдованіяхъ Нерона, и слова его не остались безъ послѣдствій. Изъ 34 учениковъ Аполлонія съ нимъ вошли въ Римъ только 8 человѣкъ; остальные разсѣялись, не желая идти навстрѣчу явной опасности. Въ числѣ оставшихся находились Дамидъ, Мениппъ, избавленный Аполлоніемъ отъ эмпузы, и какой-то египтянинъ Діоскоридъ. Аполлоній здѣсь, какъ и вездѣ, показалъ себя человѣкомъ разсудительнымъ, кроткимъ и терпимымъ. «Я не стану бранить тѣхъ, кто насъ оставилъ, сказалъ онъ вѣрнымъ своимъ товарищамъ, но похваляю васъ, потому что вы мужи и люди равные мнѣ. Я не назову того трусомъ, кто ушелъ изъ страха передъ Нерономъ; но кто побѣдилъ этотъ страхъ, того я назову философомъ, того я научу всему, что самъ знаю». Въ



длинной рѣчи, безъ сомнѣнія сочиненной Филостратомъ, Аполлоній ободрилъ друзей своихъ, унижилъ тирановъ, упомянулъ о злодѣяніяхъ Нерона, убившаго родную мать, и наконецъ, помолвившись богамъ, отважные философы вступили въ городъ. На другой день послѣ ихъ пріѣзда консулъ Телезинъ, извѣщенный городскими стражами о прибытіи людей, одѣтыхъ въ оригинальные костюмы, потребовалъ къ себѣ Аполлонія.

— Что это за одежда? спросилъ онъ.

— Она чиста, отвѣчалъ Аполлоній, и не взята отъ смертнаго существа.

— Въ чемъ состоитъ твое ученіе?

— Я учу почитать Бога, правильно молиться ему и приносить жертвы. Аполлоній считалъ, какъ видно полезнымъ, умалчивая о практической нравственности, обратить все вниманіе Телезина на догматическій характеръ своего ученія. Но Телезинъ былъ подозрителенъ, и отъ него не легко было отдѣлаться.

— Философъ, замѣтилъ онъ, да развѣ есть хоть одинъ человѣкъ, который бы не зналъ этого?

— Очень многіе, отвѣчалъ Аполлоній. А кто знаетъ это какъ слѣдуетъ, тотъ сдѣлается еще лучше, если узнаетъ отъ болѣе мудраго человѣка, что поступаетъ правильно. Отвѣты Аполлонія такъ заинтересовали консула, что онъ, не рѣшившись спросить его имя, думая, что онъ желаетъ сохранить инкогнито, снова навелъ разговоръ на религіозныя убѣжденія. Аполлоній разсказалъ ему, что онъ молится слѣдующею простою молитвою: «боги, дайте мнѣ то, что должно».

Этими словами онъ просить, чтобы господствовала справедливость, чтобы не нарушались законы, чтобы мудрецы жили въ бѣдности, а другіе люди въ богатствѣ, не обижая ближнихъ. Ни о коммунизмѣ, ни о громкомъ обличеніи изнѣженности, балетнаго искусства и гладиаторскихъ игръ не было сказано ни слова. Аполлоній прекрасно сообразовался съ личностью своего собесѣдника, но притомъ такъ тонко, что самый ревностный фанатикъ, слыша его разговоры съ консуломъ, не могъ бы обвинить его въ двуличности или трусости. Благодаря своему житейскому такту, онъ совершенно расположилъ Телезина въ свою пользу, и разговоръ, начавшійся какъ формальный судебный допросъ, кончился полнымъ торжествомъ Аполлонія. Телезинъ отпустилъ его съ честью и обѣщалъ написать ко всѣмъ жрецамъ, чтобы они пускали Аполлонія въ храмы и сообразовались съ его распоряженіями и совѣтами. Аполлоній жилъ въ Римѣ, ходилъ изъ храма въ храмъ, училъ и проповѣдывалъ, располагая въ свою пользу народъ и не возбуждая подозрительнаго вниманія правительства. Циникъ Дмитрій, человѣкъ болѣе пылкій и откровенный, позволилъ себѣ выходки противъ Нерона. Войдя въ гимназію, устроенную цезаремъ и снабженную роскошными термами, онъ обратился къ купающимся

съ энергической рѣчью, въ которой сталъ имъ доказывать, что теплая баня ослабляетъ тѣло и составляетъ лишній денежный расходъ. «Его не убили на мѣстѣ, говоритъ Филостратъ, только потому, что Неронъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа и въ голосѣ; Дмитрія потребовали однако къ преторіанскому префекту Тигеллину и за дерзкія слова выслали изъ Рима».

Зналъ, что Аполлоній находился съ Дмитріемъ въ дружескихъ отношеніяхъ, за нимъ стали слѣдить; Аполлонію надо было быть вдвое осторожнѣе; онъ уже въ Азіи прослылъ прорицателемъ, и потому каждое не совсѣмъ понятное изреченіе его запоминалось его ближайшими учениками, распускалось въ народъ и потомъ примѣнялось къ первому важному событію, которое происходило въ городѣ или въ государствѣ. Аполлоній могъ совершенно неумышленно, въ полномъ невѣдѣніи, сдѣлать такое прорицаніе, за которое впоследствии пришлось бы имѣть дѣло съ нероновою полиціей.

Однажды во время солнечнаго затмѣнія грянулъ громъ. Аполлоній взглянулъ на небо и сказалъ: «что-то великое случится и не случится». Черезъ три дня послѣ этого Неронъ сидѣлъ за столомъ, съ кубкомъ въ рукѣ, и молнія вышибла у него изъ рукъ кубокъ, который онъ уже несъ къ губамъ. Всѣ рѣшили, что загадочныя слова Аполлонія были прорицаніемъ, и Тигеллинъ удвоилъ бдительность своихъ шпионовъ, боясь и мудрости неизвѣстнаго иностранца, и его вліянія на народъ. Скоро представился случай обвинить его въ оскорбленіи величества. У Нерона сдѣлался кашель; онъ охрипъ и потерялъ звучный голосъ, которымъ чрезвычайно дорожилъ. Римскіе храмы наполнились людьми, молившими боговъ о выздоровленіи цезаря. Аполлонія приводило въ негодованіе ихъ раболѣпіе, но онъ сдерживалъ порывы возмущеннаго чувства и никому не выражалъ своего неудовольствія. Когда онъ увидѣлъ, что это волнуетъ Мениппа и можетъ надѣлать ему хлопотъ, онъ посоветовалъ ему не сердиться на боговъ, взирающихъ съ удовольствіемъ на эти кривлянья глупцовъ. Эти слова были подслушаны и немедленно переданы Тигеллину. Разсказывая процессъ Аполлонія, Филостратъ конечно не упустилъ случая вставить чудо. Когда обвинителя Аполлонія, погубившій уже многіхъ подозрительныхъ правительству людей, вышелъ читать свое обвиненіе и развернулъ бумагу, то вмѣсто ожидаемыхъ уликъ и доказательствъ, вмѣсто изложенія дѣла оказалось пустое мѣсто; все, что было написано, исчезло безъ слѣда. Тигеллинъ не зналъ, что подумать и пригласилъ Аполлонія въ комнату тайныхъ совѣщаній.

— Кто ты такой? спросилъ онъ очень серьезно.

Аполлоній назвалъ себя по имени и по отчеству, объяснилъ, гдѣ онъ родился и съ какою цѣлью занимается философіей. Затѣмъ свиданіе



его съ Тигеллиномъ и разговоръ разсказаны такъ неправдоподобно, что его не стоитъ и передавать. Аполлоній отшучивается и отыгрывается словами, говоритъ дерзко и своей смѣлостью запугиваетъ такого человѣка, предъ которымъ дрожали всѣ римскіе богачи и аристократы. Что Аполлоній говоритъ смѣло—неудивительно, хотя это и не совсѣмъ согласно съ его предыдущей осторожностью и сдержанностью; но что Тигеллинъ испугался этой смѣлости и выпустилъ его изъ рукъ—это очевидно выдумка Дамида или Филострата. Какъ бы то ни было, требовали ли Аполлонія къ Тигеллину, или нѣтъ, по той или по другой причинѣ онъ отдѣлался отъ него такъ дешево, все равно; главное дѣло въ томъ, что онъ остался на свободѣ и философствовалъ въ столицѣ міра до тѣхъ поръ, пока Неронъ, уѣзжая въ Грецію, не выгналъ изъ Рима формальнымъ указомъ всѣхъ философовъ безъ различія мнѣній и направленій. Во время своего пребыванія въ Римѣ онъ будто бы воскресилъ умершую молодую дѣвушку, которую несли уже для погребенія. Впрочемъ эту сказку даже Филостратъ не рѣшается разсказать безъ нѣкоторыхъ оговорокъ и ограниченій. Онъ напр. догадывается, что смерть была только видимая, наружная, что-то въ родѣ летаргическаго сна. Онъ сознается откровенно, что ни самъ онъ, ни присутствовавшіе при этомъ событіи не могли рѣшить положительно, замѣтилъ ли въ этой дѣвушкѣ Аполлоній остатокъ жизни, укрывшійся отъ наблюдательности врачей, или вложилъ онъ въ нее уже вылетѣвшее дыханіе. Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что кромѣ Филострата ни одинъ писатель древности не упоминаетъ объ этомъ чудесномъ событіи.

Изъ Рима Аполлоній пошелъ на западъ, къ Геркулесовымъ столбамъ, чтобы видѣть Гадейру, а также приливъ и отливъ Атлантическаго океана. До него дошли тоже слухи о значительныхъ философскихъ познаніяхъ тамошнихъ жителей, и онъ интересовался лично повѣрить эти извѣстія.

## VI.

Личность Нерона и его распоряженія произвели на Аполлонія и его товарищей глубокое впечатлѣніе. Выѣхавши изъ Рима, они вздохнули свободнѣе, и, не боясь уже сыщиковъ и доносчиковъ, съ наслажденіемъ стали сообщать другъ другу свои замѣчанія насчетъ Рима и императора, отправившагося въ Олимпію удивлять грековъ своимъ голосомъ. Одинъ изъ такихъ разговоровъ, отличающійся живой естественностью, приводитъ Филостратъ. Въ этомъ разговорѣ, происшедшемъ въ Гераклонѣ, выражается раздражительная иронія, смѣняющаяся порою то открытымъ негодованіемъ, то искреннимъ сочувствіемъ къ угнетенному народу. Этотъ разговоръ замѣчательнъ по своей живости и дѣлаетъ честь искусству Филострата, или той вѣрности, съ ко-

торою Дамидъ воспроизвелъ дѣйствительное событіе. Аполлоній съ неподдѣльнымъ юморомъ проводитъ въ немъ параллель между нашествіемъ Ксеркса и Нерона на Грецію и находитъ, что послѣднее принесетъ бѣднымъ грекамъ больше горя и страданія. Ненависть Аполлонія къ Нерону разлилась не въ однѣхъ насмѣшкахъ. Намѣстникъ провинціи Бетики просилъ Аполлонія назначить ему свиданіе; Аполлоній согласился и, разговаривая съ намѣстникомъ, выслалъ всѣхъ своихъ учениковъ изъ компаніи; даже Дамидъ не слышалъ, о чемъ они говорили; извѣстно только, что совѣщанія ихъ продолжались три дня, и что, прощаясь съ намѣстникомъ, Аполлоній обнялъ его и сказалъ ему: «прощай и помни Виндекса!» Изъ этихъ словъ Дамидъ заключаетъ, что бесѣда ихъ имѣла преимущественно политическій характеръ и касалась Нерона. Виндексъ, начальникъ испанскихъ легіоновъ, готовилъ возмущеніе противъ Нерона, и очень можетъ быть, что краснорѣчіе и кудесничества Аполлонія сильно помогли ему произвести движеніе умовъ.

Ни Дамидъ, ни Филостратъ не говорятъ положительно о политической роли Аполлонія; быть можетъ, причиною ихъ молчанія является скрытность и осторожность Аполлонія, нелюбившаго никому довѣрять свои планы. Скрытность же эта оправдывается многими разнородными обстоятельствами; во-1-хъ, таинственность была однимъ изъ средствъ подѣйствовать на умы; во-2-хъ, сдержанность въ политическомъ предпріятіи была положительно необходима; въ 3-хъ, никто изъ приближенныхъ Аполлонія не стоялъ съ нимъ наравнѣ по умственнымъ способностямъ и слѣдовательно не могъ вполне понять и оцѣнить его планы. Тайнственный какъ мистикъ, осторожный какъ умный заговорщикъ, гордый какъ даровитый человѣкъ, окруженный благоговѣющими посредственностями,—Аполлоній дѣлалъ свое дѣло, не торопясь, безъ суеты, и не чувствовалъ ни малѣйшей потребности дѣлиться съ кѣмъ бы то ни было своими соображеніями и надеждами. Зато ученики его сторожили каждое слово, случайно слетѣвшее съ его губъ, и давая ему произвольное толкованіе, несчетное число разъ прославляли его за мнимыя пророчества. Часто обращались они къ нему съ вопросами о будущихъ политическихъ судьбахъ имперіи; тогда Аполлоній отвѣчалъ имъ какъ-то понало, и потомъ они же сами излагали его отвѣтъ такъ, что онъ дѣйствительно оказывался въ нѣкоторомъ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что случилось на-дѣлѣ. Въ то время какъ они плыли изъ Испаніи въ Сицилію, съ тѣмъ чтобы оттуда переправиться въ Ливію, Дамидъ сильно интересовался исходомъ политическихъ совѣщаній Аполлонія съ намѣстникомъ; въ Сициліи они узнали о возмущеніи Виндекса и о несчастномъ исходѣ его предпріятія; вслѣдъ затѣмъ до нихъ дошли слухи о томъ, что въ разныхъ концахъ имперіи произошли возстанія и



явились претенденты на императорскій престолъ; ученики Аполлонія съ полной вѣрой спросили у него, чѣмъ кончится дѣло и кому достанется господство? — «Многимъ еиванцамъ» отвѣчалъ Аполлоній. — Ни одинъ еиванецъ не сдѣлался римскимъ императоромъ, а между тѣмъ изреченіе Аполлонія все-таки было вмѣнено ему въ пророческую заслугу; поняли его такъ, что онъ сравниваетъ кратковременное господство Гальбы, Отона и Вителлія съ кратковременнымъ первенствомъ Оивъ въ ряду остальныхъ греческихъ государствъ. Въ Сициліи, по поводу огнедышащей горы Этны и связаннаго съ нею мѣстнаго преданія о томъ, что здѣсь лежитъ скованный титанъ Тифонъ, извергающій изъ себя пламя — Аполлоній въ довольно пространномъ разсужденіи высказалъ своимъ ученикамъ взглядъ свой на міеологію.

Самый важный моментъ приведеннаго мною разсужденія есть критика міеовъ. Защищая разныхъ оракуловъ и жреческія преданія, Аполлоній относится довольно враждебно къ свободному вымыслу въ области міеологіи и, подобно всѣмъ почти мыслителямъ древности, строго различаетъ теологію поэтовъ, украшенную ихъ фантазіей, отъ теологіи государственной религіи, утвержденной существующими законами; все безправственное и несогласное съ духомъ чистой философіи Аполлоній относитъ насчетъ поэтовъ; это ихъ вымыселъ, по его мнѣнію, и отъ этого вымысла слѣдуетъ очистить догматическую часть религіи. Дидактическая поэзія безусловно вызываетъ къ себѣ его сочувствіе и, придавая особую цѣну правоученію, онъ почти совершенно упускаетъ изъ виду эстетическій элементъ и красоту формы. Это происходитъ оттого, что Аполлоній чувствуетъ красоту, но не доводитъ своего эстетическаго чувства до яснаго сознанія, не формулируетъ себѣ своихъ эстетическихъ убѣжденій. Онъ любитъ статуи Зевса олимпійскаго, преклоняется передъ величественнымъ образомъ Зевса, нарисованнымъ Гомеромъ; но при отвлеченномъ разсужденіи о міеахъ онъ является пуристомъ и ставитъ разсудочныя созданія Эзопы выше живыхъ и роскошныхъ твореній сильной фантазіи южнаго человѣка. Гдѣ Аполлоній руководствуется непосредственнымъ чувствомъ, тамъ онъ обыкновенно не ошибается; гдѣ онъ пытается изъ внушеній чувства, провѣренныхъ критическою мыслью, построить теорію, тамъ у него оказываются промахи и погрѣшности, которые, впрочемъ, раздѣляетъ съ нимъ вся классическая древность. Враждебное отношеніе къ міеамъ я замѣчалъ говоря о Платонѣ и обсуживая нравственное вліяніе языческаго политеизма.

Изъ Сициліи Аполлоній отправился въ Грецію, былъ посвященъ въ элевзинскія мистеріи новымъ іерофантомъ, свидѣлся съ Дмитріемъ, жившимъ и учившимъ въ Афинахъ, объѣхалъ всѣ греческіе храмы и весною отправился въ Египетъ черезъ

Хіосъ и Родосъ. Въ Александріи Аполлонія принимали съ радостью; едва онъ вышелъ на берегъ, ему представился случай показать свое ясновидѣніе; онъ встрѣтилъ двѣнадцать разбойниковъ, которыхъ вели на казнь, и понялъ, что одинъ изъ нихъ былъ невиненъ; онъ просилъ повременить казнь и остановилъ ее настолько, что на лобное мѣсто успѣлъ прибыть всадникъ, который объявилъ прощеніе разбойнику, названному Аполлоніемъ. Это благодѣтельное чудо высоко поставило философа въ глазахъ египтянъ, которые, по словамъ Филострата, вообще очень склонны къ благоговѣнію. Въ первый же день послѣ своего приѣзда Аполлоній вошелъ въ храмъ и похвалилъ его устройство и украшения; но кровавыя жертвы не понравились ему, и онъ выразилъ свое неодобреніе. Египетскій жрецъ спросилъ: на какомъ основаніи онъ самъ не совершаетъ такихъ жертвоприношеній?

— Скажи ты мнѣ напротивъ, возразилъ Аполлоній, почему ты приносишь такія жертвы?

— Кто возьметъ на себя смѣлость, спросилъ жрецъ, исправлять обычаи египтянъ?

— Всякій мудрецъ, побывавшій у индѣйцевъ, отвѣчалъ Аполлоній.

Вслѣдъ затѣмъ онъ объявилъ свое желаніе сжечь въ честь божества изображеніе вола, сдѣланное изъ ладоны; потомъ въ то время, какъ это изображеніе таяло въ огнѣ, онъ сталъ присматриваться къ фигурѣ и цвѣту пламени, и когда жрецъ объявилъ ему, что самъ не видитъ въ этихъ знакахъ ничего высшаго и божественнаго, Аполлоній упрекнулъ его въ невѣжествѣ и невнимательности къ божественнымъ обрядамъ. За поученіемъ, касавшимся богослуженія, слѣдовала нравственная проповѣдь. Въ Александріи любимымъ увеселеніемъ народа были конскія скачки; онѣ подавали поводъ къ раздѣленію народа на партіи, къ ссорамъ и кровопролитнымъ схваткамъ; Аполлонія возмутила и пустота этой забавы, и кровавыя ея послѣдствія; онъ говорилъ противъ нея въ храмѣ съ большимъ воодушевленіемъ; но насколько дѣйствительно было его поученіе, этого Филостратъ не упоминаетъ. Въ Александріи произошло, по словамъ Филострата, свиданіе между Аполлоніемъ и Веспасіаномъ, уже объявившимъ себя императоромъ и собиравшимся идти на Римъ противъ Вителлія. Это свиданіе описано съ такими античными подробностями, личность Аполлонія до такой степени остается вѣрна своему характеру, что трудно себѣ представить, чтобы она была положительно вымыслена Филостратомъ; съ другой стороны то обстоятельство, что ни Светоній въ жизни Веспасіана, ни Тацитъ въ исторіи не называютъ имени Аполлонія, подаетъ поводъ заподозрить разсказъ Филострата. Впрочемъ можно найти средство согласить одно съ другимъ. О пребываніи Веспасіана въ Египтѣ и даже о чудесномъ исцѣленіи слѣпого черезъ прикосновеніе говорятъ и Та-



цить, и Светоній. Бывши въ Александріи, Веспасіанъ конечно могъ имѣть сношенія съ мѣстными жрецами и философами; въ числѣ этихъ лицъ онъ могъ видѣть и Аполлонія. Обративъ вниманіе на его свѣтлый умъ и обширныя знанія, онъ могъ говорить съ нимъ о положеніи и потребностяхъ государства, и Аполлоній могъ высказать передъ нимъ свои политическія убѣжденія; такъ какъ, по извѣстію самого Филострата, совѣщанія Аполлонія съ Веспасіаномъ происходили не при Дамидѣ, то Дамидъ вѣроятно узнавалъ ихъ содержаніе по собственнымъ рассказамъ своего учителя, и записывая эти рассказы, конечно не желалъ смягчать или ослаблять то политическое значеніе, которымъ рисовался передъ нимъ учитель.

Конечно, если-бы Аполлоній былъ первымъ совѣтникомъ Веспасіана, о немъ упомянули бы историкъ Тацитъ и біографъ Светоній; конечно, если-бы Аполлоній никогда не видалъ Веспасіана, Филостратъ не выдумалъ бы безъ особенной необходимости цѣлаго ряда сценъ и совѣщаній, наполняющихъ собою 12 большихъ главъ его V-й книги. Особенной необходимости не видно уже потому, что, во-первыхъ, Аполлоній во все время разговоровъ съ Веспасіаномъ не дѣлаетъ ни одного замѣчательнаго чуда, а во-вторыхъ, политическія убѣжденія Аполлонія могли бы быть достаточно очерчены въ защитительной рѣчи его, приготовленной для произнесенія передъ Домиціаномъ. Стало-быть можно принять, что Аполлоній видѣлся съ Веспасіаномъ и говорилъ съ нимъ; степень уваженія Веспасіана къ нему, степень его вліянія на Веспасіана безспорно преувеличены. Но самыя политическія убѣжденія, выраженные Аполлоніемъ, могутъ быть приняты за его дѣйствительную умственную собственность.

Мы можемъ судить здѣсь лишь по внутреннимъ признакамъ, потому что нѣтъ никакихъ данныхъ, по которымъ мы могли бы контролировать Филострата; внутренняго же противорѣчія я не вижу, и мнѣ кажется, что эти черты только полнѣе и яснѣе очерчиваютъ тотъ образъ, который, на основаніи предыдущихъ извѣстій Филострата, складывается въ умѣ читателя. Даже то обстоятельство, что Веспасіанъ дорожитъ мнѣніемъ Аполлонія, не должно вызывать въ читателѣ безусловнаго недоумѣнія. Веспасіанъ не былъ еще вполне императоромъ; ему предстояло еще бороться съ совмѣстникомъ; онъ долженъ былъ дорожить своей популярностью и не пренебрегать дешевыми средствами упрочить и усилить ее; онъ видѣлъ, что Аполлонія считаютъ чудотворцемъ и любимцемъ божества, что его поученія слушаютъ съ благоговѣніемъ и съ жаднымъ вниманіемъ; если не личное суетворіе, то чистый политическій расчетъ могъ побудить его обласкать хваленаго мудреца, выразить ему свое уваженіе, и, чтобы польстить его самолюбію, попросить даже его совѣта въ такомъ важномъ дѣлѣ, которое вѣроятно давно было обдуманно и рѣшено

въ его умѣ. Веспасіану въ то время было 60 лѣтъ; онъ испыталъ придворную жизнь при Тиверіѣ, Калигулѣ, Клавдіѣ и Неронѣ, и слѣдовательно умѣлъ обращаться съ людьми и пользоваться обстоятельствами; ему было пріятно и выгодно дружески говорить съ Аполлоніемъ—онъ такъ и сдѣлалъ. Аполлоній тоже умѣлъ держать себя съ тактомъ и съ достоинствомъ; не унижаясь передъ Веспасіаномъ поспѣшной предупредительностью, не заискивая въ немъ, онъ умѣлъ по нравиться ему своей мягкостью и практической примѣнимостью своихъ совѣтовъ. Когда Веспасіанъ въѣзжалъ въ городъ, къ нему вышли навстрѣчу жрецы, правители Египта, начальники отдѣльных номовъ, философы и толпа народа. Аполлоній, о которомъ въ то время говорила вся Александрія, остался въ храмѣ и съ расчитаннымъ достоинствомъ не сдѣлалъ самъ ни одного шага, чтобы приблизиться къ властелину. Наслышавшись о его чудесахъ и видя, съ какимъ уваженіемъ смотритъ на него масса народа, Веспасіанъ подошелъ къ нему послѣ жертвоприношенія и сказалъ:

— Сдѣлай меня императоромъ!

— Я объ этомъ старался, отвѣчалъ ему Аполлоній. Я молилъ боговъ объ императорѣ справедливомъ, благородномъ, умѣренномъ, украшенномъ сѣдыми волосами и способномъ сдѣлаться отцомъ подданныхъ. Молясь такимъ образомъ, я молился о тебѣ.

На эти слова, произнесенныя спокойно и величественно, окружающая толпа отвѣчала громкимъ восклицаніемъ. Этого было довольно, чтобы показать Веспасіану популярность его собесѣдника; поговоривъ съ нимъ въ храмѣ, онъ взялъ его за руку и повелъ къ себѣ во дворецъ. Передавать происходившіе тамъ разговоры, значитъ вдаваться въ историческій романъ и вѣрить на-слово рассказамъ Филострата. Упомяну только о тѣхъ мысляхъ Аполлонія, въ которыхъ выразились его политическія убѣжденія. Съ нимъ вмѣстѣ были у Веспасіана два философа: Діонъ и Эвфратъ, который впослѣдствіи сдѣлался его врагомъ и обвинителемъ. Оба эти мыслители совѣтовали Веспасіану возстановить республику, или по крайней мѣрѣ предоставить народу самому избрать себѣ образъ правленія. Веспасіанъ выслушалъ ихъ совѣты и обратился къ Аполлонію, который между тѣмъ наблюдалъ его фізіономію и замѣчалъ въ мускулахъ лица неудовольствіе и тревогу; Аполлоній живымъ, практическимъ смысломъ понималъ потребности настоящей минуты, и не увлекаясь отвлеченными теоріями, осязательно доказалъ Діону и Эвфрату непрактичность ихъ требованій. «Вы говорите, сказалъ онъ имъ, съ консуляромъ, съ человѣкомъ, привыкшимъ властвовать, съ человѣкомъ, который погибнетъ, если откажется отъ господства. Зачѣмъ ему отталкивать дары счастья? Почему не принять то, что приходитъ само-собою? За что



его порицать, если онъ просто спрашиваетъ совѣта, какъ бы ему мудрѣе распорядиться съ тѣмъ, что у него въ рукахъ?.. Его окружаетъ цѣлое войско, вокругъ него множество копій, блескъ желѣзнаго оружія, сотни лошадей, а посмотрите, какъ онъ честенъ и умѣренъ, какъ способенъ выполнить то, что онъ замышляетъ. Пусть идетъ онъ по своему назначенію, мы проводимъ его добрымъ словомъ и будемъ обѣщать ему въ будущемъ еще большія блага! Вы не сообразили того, что у него двое взрослыхъ сыновей, что у каждого изъ нихъ свое войско и что они сдѣлаются его врагами, если онъ не приобрететъ для нихъ господства... Я съ своей стороны для себя не забочусь о правительствѣ потому, что живу подъ покровительствомъ боговъ; но я не хочу, чтобы стадо людей погибло за неимѣніемъ справедливаго и мудраго пастыря. Демократія при существованіи одного замѣчательнаго по добродѣтели человѣка превращается въ господство одного великаго лица; такъ точно и единодержавіе дѣлается народнымъ правленіемъ, если оно направлено ко всеобщему благу... Чего вы требуете? Чтобы человѣкъ, котораго признали императоромъ въ этихъ храмахъ, который вчера господствовалъ и выслушивалъ просьбы народа, чтобы такой человѣкъ вдругъ возвратился въ частную жизнь и объявилъ публично, что онъ принялъ господство въ припадкѣ безумія?! Приводя въ исполненіе свое намѣреніе, онъ находилъ вездѣ усердныхъ, преданныхъ друзей и помощниковъ. Если онъ перемѣнитъ свое намѣреніе, онъ въ каждомъ изъ нихъ встрѣтитъ врага и противника».

Затѣмъ Аполлоній высказалъ самому Веспасіану свои воззрѣнія на обязанности правителя: «Не считай богатствомъ то, что кладется въ казну; чѣмъ эти богатства лучше груды песку? Не считай богатствомъ то, что приносятъ люди, сокрушающіеся при своемъ приношеніи. Мрачно и обманчиво золото, на которомъ лежатъ слезы. Чтобы употреблять богатство на благо, поддерживай нуждающихся и обезпечивай собственность богатыхъ. Бойся могущества, дающаго тебѣ средства дѣлать, что хочешь; въ такомъ случаѣ ты употребишь это могущество благоразумно. Не срѣзывать высокихъ колосѣвъ, возвышающихся надъ нивою; это — несправедливое ученіе; но истребляй враждебный образъ мыслей, какъ репы на хлѣбной нивѣ; устрашай возмутителей порядка не наказаніемъ, а страхомъ наказанія. Пусть законъ господствуетъ и надъ тобою, государь; если ты будешь задумывать законы и для себя, то они будутъ мудро задуманы. Уважай боговъ болѣе прежняго, потому что ты получилъ отъ нихъ великіе дары и молишься имъ для полученія великихъ милостей. Въ томъ, что касается твоего тѣла, держи себя какъ частный человѣкъ... У тебя два сына и, какъ говорятъ, у нихъ благородныя наклонности. Наблюдай за

ними, потому что ихъ ошибки падутъ на твою отвѣтственность. Угрожай имъ тѣмъ, что ты не передашь имъ господства, если они не будутъ достойными людьми; пусть они смотрятъ на господство не какъ на наслѣдство, а какъ на награду добродѣтели. Разнородные пороки, господствующіе въ Римѣ подавляя постепенно и умѣренно; трудно сразу возстановить народную нравственность; должно постепенно приучать умы къ порядку, исправляя одно—публично и открыто, другое—незамѣтно. Умѣй сдерживать гордость рабовъ и вольноотпущенныхъ, которыхъ доставить тебѣ твой санъ; приучи ихъ, чтобы они были тѣмъ скромнѣе, чѣмъ могущественнѣе ихъ господинъ. Скажу еще о правителяхъ, отправляющихся въ провинціи; я разумѣю не тѣхъ, которыхъ ты самъ будешь посылать (потому что ты конечно будешь давать эти мѣста достойнымъ людямъ), а тѣхъ, которымъ достаются провинціи по жребію. Я полагаю, что изъ выбранныхъ такимъ образомъ кандидатовъ слѣдуетъ посылать къ каждому народу того, кто съ нимъ близокъ или знакомъ; люди эллинскаго образованія должны господствовать надъ эллинами; люди, получившіе римское воспитаніе, должны управлять племенами, говорящими на этомъ языкѣ».

Въ этихъ совѣтахъ, равно какъ и въ томъ мнѣніи, которымъ Аполлоній возражалъ Эвфрату и Діону, ясно выразилась его умѣренность и практическій тактъ; не насилуя живой дѣйствительности во имя недостижимаго идеала, Аполлоній не хочетъ возстановленія республики, и видитъ невозможность полнаго и быстрого исправленія падшей общественной нравственности; онъ требуетъ только отъ новаго правительства, чтобы оно честно и искренне желало общаго блага и ясно сознавало тѣ цѣли, къ которымъ оно будетъ стремиться. Тонъ Аполлоновой рѣчи отличается чрезвычайно гармоническимъ сліяніемъ правдивости и почтительности; ораторъ хочетъ высказать свои убѣжденія, но знаетъ, что говоритъ съ сильнымъ лицомъ, привыкшимъ къ господству, и что совѣты его только при особенно пріятной формѣ могутъ быть приняты благосклонно и произвести прочное впечатлѣніе. По тому образу жизни, который велъ Аполлоній, его невозможно заподозрить въ желаніи изъ личныхъ видовъ подольститься къ императору; онъ въ немъ не нуждался и потому, если говорилъ съ нимъ особенно мягко и почтительно, то лишь для того, чтобы подѣйствовать на него педагогически; чтобы ободрить его на полезное дѣло и заставить выслушать смѣлое слово истины. Это умѣнье Аполлонія принаравливать свои убѣжденія къ потребностямъ времени и соразмѣрять свои слова съ личностью собесѣдника содѣйствовало его успѣху, потому что избавляло его проповѣдническую дѣятельность отъ рѣзкостей, возмущающихъ слушателей или ведущихъ за



собою броженіе умовъ; но это же самое свойство мѣшало Аполлонію произвести какой нибудь сильный переворотъ въ общественномъ сознаниі; его проповѣди выслушивались съ удовольствіемъ и съ благоговѣйнымъ вниманіемъ, но онѣ были такъ спокойны и такъ умно соображены съ обстоятельствами, что могли только навести слушателей на размышленія, а не бросить имъ въ душу какое нибудь пламенное чувство. Аполлоній не былъ фанатикомъ; всесторонняя любознательность, пытливый умъ и спокойная ровность обращенія указываютъ въ немъ человѣка, составившаго себѣ законченное міросозерцаніе путемъ размышленія, человѣка съ твердыми убѣжденіями, старающагося передать эти убѣжденія другимъ людямъ, но дѣйствующаго такимъ образомъ не по внутреннему, слѣпому влеченію, не по внутренней потребности, а по обдуманному и сознательно принятому рѣшенію.

## VII.

Пропускаю разсказъ Филострата о свиданіи Аполлонія съ египетскими отшельниками-мудрецами и приступаю прямо къ послѣднему періоду его біографіи, къ преслѣдованіямъ, вынесеннымъ имъ въ царствованіе Домиціана.

По смерти Тита Римъ вспомнилъ времена Нерона, и вспомнилъ ихъ почти съ сожалѣніемъ. Кроважидный и мрачный деспотизмъ Домиціана затмилъ собою все, что позволяли себѣ прежніе императоры. Объявивъ себя богомъ, Домиціанъ, послѣ знаменитой фразы: «dominus et deus poster sic fieri jubet», сталъ съ систематическою жестокостію и съ возрастающею подозрительностію преслѣдовать, какъ оскорбленіе святыни и какъ государственную измѣну, всякое неосторожно сказанное слово, всякое вольное выраженіе, которое могло быть перетолковано какъ протестъ противъ его безразсудныхъ распоряженій. Аполлонію въ то время было уже гораздо болѣе семидесяти лѣтъ; умѣренный образъ жизни сохранилъ его отъ дряхлости и помраченія умственныхъ способностей; онъ испыталъ въ жизни все, что могъ и хотѣлъ испытать, и жизнь конечно не должна была казаться ему безцѣннымъ сокровищемъ, тѣмъ болѣе, что онъ вѣрилъ въ будущее свѣтлое возрожденіе и, сознавая изящество собственной личности, не могъ бояться, чтобы душа его переселилась въ какое нибудь неразумное животное. Долголѣтняя, честная жизнь научила его уважать свое достоинство и гордо смотрѣть въ глаза всему, что можетъ принести съ собою неизвѣстное будущее; эта же долголѣтняя жизнь научила его тому спокойствію, которое давало ему право говорить своимъ ученикамъ и послѣдователямъ, что онъ не боится будущаго, потому что знаетъ и предвидитъ намѣренія судьбы. Онъ съ спокойнымъ достоинствомъ давалъ совѣты Веспасіану и сыну

его Титу; съ тѣмъ же спокойнымъ достоинствомъ онъ выразилъ свое негодованіе противъ нелѣпостей Домиціана. Онъ не былъ ни политическимъ интриганомъ, ни рыанымъ демагогомъ и потому его протестъ не выразился ни въ заговорѣ ни въ страстной рѣчи къ народу. Аполлоній просто не хотѣлъ стѣснять своего чувства, и оно проявилось публично въ присутствіи друзей и враговъ, въ ироническихъ замѣчаніяхъ или въ вдохновенныхъ словахъ негодованія. Въ общихъ выраженіяхъ Филостратъ хочетъ показать, что Аполлоній хотѣлъ имѣть положительное вліяніе на существующій порядокъ вещей и что съ одной стороны онъ волновалъ массу, съ другой имѣлъ постоянныя дружескія сношенія съ тѣми людьми, которыхъ онъ считалъ способными наслѣдовать Домиціану. Но это очевидно выводы самого Филострата; по крайней мѣрѣ тѣ факты, которые онъ приводитъ для ихъ подтвержденія, говорятъ совершенно другое и представляютъ Аполлонія не политическимъ дѣятелемъ, а просто благороднымъ человѣкомъ, нежелающимъ притворяться и слишкомъ гордымъ, чтобы сдерживаться. Мы видѣли, что Аполлоній въ разговорахъ съ Телезиномъ умѣлъ быть гибкимъ и уклончивымъ, что въ Римѣ при Неронѣ онъ обуздывалъ свой языкъ и заставлялъ своихъ учениковъ молчать или говорить умѣренно. Теперь же, при Домиціанѣ, Аполлоній какъ бы умышленно вызываетъ правительство на бой. Можетъ быть лѣта сдѣлали его неуступчивымъ, можетъ быть, его дружескія отношенія съ Веспасіаномъ и Титомъ, пріучили его къ откровенности, можетъ быть переходъ отъ Тита къ Домиціану былъ такъ крутъ и рѣзокъ, что старикъ не въ силахъ былъ скрывать горькое озлобленіе противъ настоящаго. Вѣрилъ ли Аполлоній въ свою счастливую звѣзду, или онъ искалъ мученической кончины, которая бы достойнымъ образомъ завершила его образцовую жизнь, или же онъ просто, безъ всякаго разсчета давалъ волю чувству, потому что не въ силахъ былъ сдержать его?

Первое предположеніе всего вѣроятнѣе, потому что поступить по второму побужденію могъ только восторженный фанатикъ, а увлечся чувствомъ и забыть осторожность — пылкій юноша, а не 70-лѣтній старикъ, систематически учившійся владѣть собою. Аполлоній могъ вѣрить въ свою личность; вся его дѣятельность показываетъ ясно, что онъ былъ не только мистификаторъ, но и мистикъ; онъ заставлялъ вѣрить другихъ въ то, во что самъ твердо вѣрилъ; какъ средство убѣдить слушателей, или возвыситься въ ихъ глазахъ, онъ употреблялъ какой-нибудь разсказъ, которому самъ не могъ вѣрить, напр. разсказъ о бесѣдѣ съ Ахилломъ; но если онъ и не вѣрилъ въ дѣйствительность этой бесѣды, то твердо вѣрилъ въ ея возможность, и потому собственно не говорилъ противъ своего убѣжденія, а только окрашивалъ міръ и его явленія въ тотъ



цвѣтъ, который, онъ по его мнѣнію, долженъ былъ имѣть, хотя самъ онъ, Аполлоній, и не видаль предметовъ такого цвѣта.

Развитію этого убѣжденія, фаталистической вѣры въ высшее и вѣчное значеніе своего я могли содѣйствовать многіе факты въ жизни Аполлонія: Неронъ заслуживаетъ его презрѣніе и падаетъ; Гальба, Отонъ и Вителлій не заботятся о его одобреніи и падаютъ одинъ за другимъ; достойный императорскаго сана Веспасіанъ обращается къ нему за совѣтомъ и оказываетъ ему уваженіе; какъ-бы въ награду за это онъ царствуетъ спокойно и умираетъ, любимый своими подданными, умираетъ собственной смертію, оставляя престолъ своему сыну. Мистику не трудно было увидѣть высшую силу, управляющую этими событіями и постоянно шедшую рука объ руку съ его собственными желаніями, поражающую того, кого онъ осуждалъ, и возвышавшую того, на кого онъ самъ готовъ былъ указать съ любовью и съ уваженіемъ. Вѣра въ неизбежное торжество добра и разума надъ зломъ и нелѣпостію, видя въ себѣ воплощеніе высшей мудрости и полнѣйшей нравственной чистоты, Аполлоній долженъ былъ вѣрить въ божественность и въ непобѣдимость своего я. Онъ могъ серьезно думать, что для погибели Домиціана достаточно будетъ того, чтобы онъ, Аполлоній, вступилъ съ нимъ въ борьбу. Когда Дмитрій говоритъ Аполлонію, что онъ подвергаетъ себя страшной опасности, раздражая деспота, Аполлоній наивно спрашиваетъ: какая-жъ тутъ опасность?

Далѣе онъ говоритъ съ полнымъ убѣжденіемъ, въ которомъ было-бы несправедливо видѣть притворство: «я утверждаю, что я не подвергаюсь ни малѣйшей опасности и не умру отъ тиранніи, хотя-бы я самъ того хотѣлъ». Тутъ Аполлоній просто напросто довѣряется своему предчувствію, такъ какъ твердо увѣренъ, что въ его личности нѣтъ ничего случайнаго и неосмысленнаго, и что самыя инстинктивныя душевныя движенія, напр. предчувствія и сны, имѣютъ высшее значеніе и не способны обманывать. Самое-же предчувствіе въ спокойномъ и здоровомъ организмѣ является свѣтлымъ и веселымъ, и Аполлоній сознательно предается ему, какъ Сократъ предавался внушеніямъ своего внутренняго демона. Вѣра въ собственную личность такъ глубоко проникаетъ собою весь нравственный составъ Аполлонія, что она выражается въ двухъ отдѣльных актахъ, имѣющихъ другъ на друга сильное и необходимое вліяніе; первый изъ нихъ такъ-же мало зависитъ отъ воли и сознанія Аполлонія, какъ и темпъ его пульса; это—веселый колоритъ его предчувствія. Второй уже не можетъ быть названъ простымъ инстинктомъ; это—вѣра въ это предчувствіе и рѣшимость сообразовать съ нимъ свои дѣйствія. Должно сознаться, что выходки Аполлонія противъ Домиціана были довольно безцѣльны и слѣдовательно

не опасны; на нихъ могло обратить вниманіе только очень подозрительное правительство, мало надѣющееся на привязанность подданныхъ. Одинъ разъ въ театрѣ актеръ произнесъ стихи Эврипида, въ которыхъ поэтъ говоритъ, что тираннія долго растетъ и разрушается быстро. Въ театрѣ сидѣлъ намѣстникъ Азіи, молодой консуляръ, извѣстный своей нерѣшительностью. Когда были произнесены эти слова, Аполлоній вскочилъ съ своего мѣста.—«Этотъ трусъ, сказалъ онъ, разумѣя намѣстника, не понимаетъ ни Эврипида, ни меня». Въ Малой Азіи было получено извѣстіе о томъ, что Домиціанъ очистилъ храмъ Весты и казнилъ трехъ весталокъ, нарушившихъ обѣтъ дѣвственности; Аполлоній публично въ храмѣ обратился къ солнцу съ слѣдующей молитвой: «О Геліосъ, очистишь и ты отъ несправедливыхъ убійствъ, которыми теперь наполняютъ землю»!

Домиціанъ убилъ своего родственника Сабина и женился на его вдовѣ Юліи, которая, какъ дочь Тита, приходилась ему племянницей. Въ Эфесѣ по случаю этого бракосочетанія происходило торжественное празднество. Аполлоній подошелъ къ алтарю и сказалъ: «О, ночь древнихъ Данаидъ, ты до сихъ поръ была единственною въ своемъ родѣ»!

Самый дѣйствительный протестъ состоялъ въ слѣдующемъ: Домиціанъ одновременно издалъ два указа; однимъ онъ запрещалъ оскотничать мужчинъ, другимъ приказывалъ уничтожить половину существующихъ виноградниковъ и запрещалъ насаживать новыя лозы. Аполлоній вступилъ съ рѣчью въ собраніи іонянъ: «Эти указы, сказалъ онъ, ко мнѣ не относятся. Изъ числа всѣхъ людей, я, можетъ быть, одинъ не нуждаюсь ни въ половыхъ органахъ, ни въ винѣ. Но этотъ странный человѣкъ не видитъ, что, щадя людей, онъ оскотничаетъ землю. Іоняне обратились къ Домиціану съ просьбою отмѣнить законъ о виноградникахъ, и его дѣйствительно отмѣнили. Хотя этотъ протестъ имѣлъ дѣйствительныя послѣдствія, но должно сознаться, что онъ не могъ быть опасенъ и что Домиціану незачѣмъ было принимать противъ Аполлонія серьезныхъ мѣръ. Мученичество Аполлонія могло-бы только обратить на его личность вниманіе всей имперіи и возбудить всеобщее сочувствіе къ страданіямъ праведника. Но Домиціанъ думалъ не такъ, и когда до него дошло черезъ шпіоновъ извѣстіе о выходкахъ Аполлонія, онъ послалъ къ азіатскому намѣстнику приказаніе схватить его и прислать въ Римъ. По внѣшней формѣ своей нападки Аполлонія были, во-первыхъ, чрезвычайно дерзки, во-вторыхъ, для человѣка подозрительнаго и суетливаго онѣ могли казаться или зловѣщимъ предсказаніемъ, или намекомъ на существующій обширный заговоръ. Одинъ разъ Аполлоній взглянулъ на мѣдную статую Домиціана съ глубокимъ презрѣніемъ: «Ахъ ты безумецъ, сказалъ онъ, какъ мало ты понимаешь



намѣренія паркѣ и рѣшенія судьбы. Тотъ, кому суждено царствовать послѣ тебя, оживетъ, если-бы тебѣ даже удалось убить его». Произнося эти слова въ окрестностяхъ Смирны, на открытомъ мѣстѣ, примногочисленныхъ слушателяхъ, Аполлоній прямо вызывалъ на бой Домиціана, потому что могъ быть увѣренъ, что эти слова подслушаютъ и передадутъ, куда слѣдуетъ. Чувствуя, что отступать уже поздно, Аполлоній смѣло пошелъ впередъ и не дожидаясь ареста, самъ поѣхалъ въ Италію.

Недалеко отъ Рима, въ мѣстечкѣ Дикеархіи, онъ видѣлся съ циникомъ Дмитріемъ и выслушалъ его совѣтъ бѣжать и укрыться въ какой-нибудь землѣ, непринадлежащей римлянамъ. На это онъ отвѣчалъ, что считаетъ неблагороднымъ и недостойнымъ мудреца оставлять друзей своихъ въ опасности и не дѣлать съ ними до послѣдней минуты горя и радости. Другьями своими, находившимися въ опасности, онъ называлъ Нерву, Салвидіона, Орфита и Минуція Руфа. Всѣ они были страшны Домиціану, какъ люди честные и даровитые; всѣ они были удалены изъ Рима и жили въ изгнаніи, подъ опалою и подъ строгимъ полицейскимъ надзоромъ; Нерва былъ удаленъ въ Тарентъ, а Орфитъ и Руфъ на острова Средиземнаго моря. Въ лицѣ Аполлонія Домиціанъ думалъ вѣроятно найти узелъ всего заговора; бѣгство его прямо указало-бы на существованіе какого-то обширнаго замысла, и тогда, можетъ быть, правительство серьезно принялось-бы за тѣхъ подозрительныхъ людей, которые пока были только удалены изъ Рима. Возраженіе Аполлонія было основательно, и ему, какъ честному человѣку, дѣйствительно нужно было принять на себя всѣ слѣдствія своего неосторожнаго поведенія въ Азіи. Несмотря на предостереженія Дмитрія, Аполлоній вошелъ въ Римъ. Дамидъ слѣдовалъ за нимъ, хотъ сначала совѣты Дмитрія показались ему убѣдительными, и онъ самъ сталъ уговаривать своего друга и учителя скрыться отъ преслѣдованій. Дамидъ пошелъ за Аполлоніемъ не по собственному убѣжденію, а по привязанности къ его личности. Учитель шелъ впереди, оставалось идти за нимъ, куда-бы онъ ни повелъ. Аполлоній предложилъ ему остаться у Дмитрія, но Дамидъ отказался наотрѣзъ и сказалъ, что и онъ умѣетъ дѣлать съ друзьями труды и опасности. Аполлоній взялъ его съ собою, но потребовалъ, чтобы онъ снялъ съ себя пифагорейскую одежду, которая могла подвергнуть его бесполезнымъ опасностямъ. На это Дамидъ согласился, и оба старика прибыли въ Римъ. Въ Римѣ у Аполлонія были друзья и защитники; его руку держалъ преторіанскій префектъ Эліанъ, человѣкъ благоразумный, нелюбившій бесполезныхъ казней и смотрѣвшій очень вѣрно на личность Аполлонія. Ему хотѣлось спасти его, и онъ говорилъ о немъ съ Домиціаномъ довольно откровенно, выказывая только къ Апол-

лонію большое пренебреженіе и совершенную холодность. «Эти софисты, государь, говорили онъ, народъ безпокойный и неосторожный, склонный къ пустой хвастливости; жизнь имъ надоѣдаетъ, они стремятся сами къ смерти и нарочно стараются раздражать людей, держащихъ въ рукахъ мечъ правосудія». На этомъ основаніи Неронъ вѣроятно не считалъ нужнымъ убить этого Аполлонія. Когда Домиціанъ не унялся этими доводами и настоятельно потребовалъ ареста Аполлонія, тогда Эліанъ перемѣнилъ свою тактику; онъ выказалъ полное усердіе и какъ только Аполлоній вошелъ въ Римъ, его схватили по приказанію префекта преторіанской гвардіи.

Эліанъ повелъ его въ комнату тайныхъ совѣщаній, гдѣ Аполлоній говорилъ уже съ Тигеллиномъ, и тамъ начался между ними конфиденціальный разговоръ: «Тебѣ, сказалъ Эліанъ, ставятъ въ вину твою одежду, весь твой образъ жизни и то, что тебя многіе почитали за бога, и то, что ты въ Эфесѣ предсказалъ моровую язву. Говорятъ, что ты много высказывалъ противъ императора и что иное было сказано келейно, а другое—публично, и многое было произнесено, какъ бы по внушенію божества. А самое тяжелое обвиненіе, по моему, совершенно не правдоподобно, потому что я знаю, что ты не терпишь даже крови жертвенныхъ животныхъ; императору же оно кажется самымъ вѣроятнымъ. Говорятъ, что ты имѣлъ свиданіе съ Нервою, принесъ жертву противъ императора, разрѣзалъ на части аркадскаго мальчика и этимъ жертвоприношеніемъ возбудилъ въ Нервѣ властолюбивые замыслы. Говорятъ, что это происходило ночью при свѣтѣ убывающей луны. Это самое важное обвиненіе, такъ что въ сравненіи съ нимъ всѣ остальные совершенно ничтожны. Твой обвинитель нападаетъ на одежду, на образъ жизни и на даръ предвѣдѣнія только потому, что видитъ въ этомъ отступленіи отъ естественнаго порядка вещей, задатки той дерзости, которую ты будто бы обнаружилъ въ этомъ кровавомъ жертвоприношеніи. Ты долженъ приготовиться къ отвѣту на этотъ пунктъ, но рѣчь твоя не должна выражать пренебреженія къ личности императора».

Аполлоній слышалъ уже отъ Дмитрія о главныхъ статьяхъ направленного противъ него обвиненія; характеръ этого обвиненія не могъ ни удивить, ни смутить его. Ему и прежде случалось слышать, что его принимаютъ за магика, а въ магіи человѣческія жертвы не составляли ничего необыкновеннаго. Иерофантъ элевзинскихъ мистерій на этомъ основаніи отказалъ ему въ посвященіи. Египетскіе мудрецы отзывались о философій индѣйцевъ какъ о видоизмѣненіи магіи. Аполлоній могъ ожидать, что враги его именно на эту точку направятъ свои обвиненія. Онъ спокойно выслушалъ слова Эліана и объявилъ ему, что будетъ защищаться умѣренно, съ полнымъ уваженіемъ къ личности императора. Затѣмъ онъ



отданъ былъ подъ стражу и отведенъ въ тюрьму вмѣстѣ съ Дамидомъ. Тутъ онъ разсказалъ ему весь свой разговоръ съ Эліаномъ; Дамидъ ободрился, а Аполлоній выразилъ еще разъ полную увѣренность свою въ торжествѣ мудрости: «Какъ ты не понимаешь, сказалъ онъ Дамиду, что мудрость все побѣждаетъ, а сама совершенно непобѣдима?»

— Но вѣдь мы, попробовалъ-бы возражать Дамидъ, попали къ безразсудному человѣку, который насъ не боится и даже не понимаетъ возможности насъ бояться.

— Ты, стало-быть, видишь, сказалъ Аполлоній, что онъ тщеславенъ и неразуменъ?

— Какъ же этого не видѣть! отвѣчалъ Дамидъ.

— А чѣмъ болѣе ты знаешь тирана, тѣмъ болѣе ты имѣешь основанія презирать его могущество, рѣшилъ Аполлоній. Эта твердость воли проявляется въ немъ не порывисто, какъ у фанатиковъ, а спокойно и ровно и кладетъ на его личность печать такого неотразимаго и искренняго величія, что враги и судьи его дѣйствительно могли останавливаться передъ нимъ въ безотчетномъ благоговѣніи, которое легко могло перейти въ суевѣрный страхъ.

Въ тюрьмѣ Аполлоній держалъ себя бодро, и говорилъ съ своими товарищами по заключенію; ихъ всѣхъ было 50 человѣкъ: многіе изъ нихъ падали духомъ и отчаявались, думая о жестокости государя или вспоминая своихъ друзей и родственниковъ. Аполлоній утѣшалъ и ободрялъ ихъ, какъ умѣлъ, философскими разсужденіями о душѣ, которая заключена въ тѣло какъ въ тюрьму, и о всей земной жизни, которую можно считать продолжительнымъ и тяжкимъ изгнаніемъ. Потомъ онъ ободрялъ ихъ историческими примѣрами мудрецовъ и политическихъ дѣятелей, освобождавшихъ угнетенные народы, или мужественно переносившихъ несправедливыя гоненія со стороны тирановъ. Заключенные повеселѣли и ободрились; разсказы Аполлонія однихъ подкрѣпили, другихъ разсѣяли. При своей мрачной подозрительности, Домиціанъ постоянно наблюдалъ за Аполлоніемъ, и въ тюрьму, гдѣ онъ содержался, былъ посаженъ шпионъ, чтобы подслушивать и запоминать его рѣчи, стараясь при этомъ вызвать его на откровенность. Но Аполлоній слишкомъ хорошо зналъ людей и вынесъ изъ жизни слишкомъ много проницательности, чтобы попасться на удочку Домиціана. Онъ узналъ въ мнимомъ узникѣ лазутчика, и не показывая вида, что подозрѣваетъ что нибудь, былъ попрежнему бодръ и разговорчивъ, разсказывалъ о своихъ путешествіяхъ, описывалъ видѣнныя горы и рѣки, но не проронилъ ни одного слова, въ которомъ слышалось бы озлобленіе противъ Домиціана, или сильное политическое убѣжденіе.

Черезъ недѣлю послѣ того, какъ онъ былъ взятъ подъ стражу, около полудня, Аполлоній былъ отведенъ во дворецъ къ императору, ко-

торый желалъ познакомиться съ нимъ и посмотреть, какія мѣры нужно принять для изслѣдованія всего дѣла. Благодаря Эліану, Аполлоній былъ предупрежденъ наканунѣ о предстоящей аудіенціи и имѣлъ время собраться съ мыслями. Приготовить отвѣты онъ конечно не могъ, потому что самъ Эліанъ не могъ знать, какъ императору заблагоразсудится повести этотъ предварительный допросъ, но по крайней мѣрѣ онъ могъ подкрѣпить физическія силы и успокоить свой организмъ настолько, чтобы говорить съ Домиціаномъ ровно, умѣренно и спокойно. Такъ онъ и сдѣлалъ. Проведя ночь въ философскихъ размышленіяхъ и въ воспоминаніяхъ объ Индіи и тамошнихъ друзьяхъ своихъ, онъ подъ утро сказалъ Дамиду, что ему хочется уснуть. Дамидъ выразилъ свое изумленіе, говоря, что ему казалось напротивъ необходимымъ, чтобы Аполлоній подумалъ о предстоящемъ разговорѣ. — Какъ же я буду къ нему приготовляться, отвѣчалъ старый мудрецъ, когда я не знаю, о чемъ онъ будетъ спрашивать? — И не заботясь о будущемъ, онъ спокойно заснулъ.

На другой день, подходя къ дворцу въ сопровожденіи стражи, слѣдовавшей за нимъ въ почетельномъ отдаленіи, Аполлоній былъ попрежнему веселъ и спокоенъ; Дамидъ шелъ за нимъ, твердо рѣшившись идти всюду, куда позволятъ. Видя толпу людей, ежеминутно тѣснившихся при входѣ во дворецъ, входившихъ и выходившихъ, Аполлоній сдѣлалъ остроумное сравненіе. — «Это похоже на баню, сказалъ онъ Дамиду: кто стоитъ на дворѣ, спѣшитъ войти, кто — тамъ внутри, спѣшитъ выйти вонъ; первые еще не вымыты, вторые уже успѣли омыться».

Свиданіе Аполлонія съ императоромъ происходило въ присутствіи одного Эліана. Дамида не пустили, и онъ слышалъ о свиданіи этомъ уже отъ самого Аполлонія. Если дѣйствительно мы имѣемъ передъ глазами разсказъ Аполлонія, а не амплификацію Филострата, то этотъ разсказъ не дѣлаетъ чести ни правдивости, ни изобрѣтательности тіанскаго мудреца. Во-первыхъ Домиціанъ принимаетъ его за бога и громко выражаетъ свое изумленіе, что даетъ поводъ Аполлонію сдѣлать довольно колкое замѣчаніе и похвалиться передъ императоромъ своимъ просвѣтленнымъ взоромъ, умѣющимъ отличать людей отъ безсмертныхъ. Во-вторыхъ, Аполлоній умышленно играетъ съ Домиціаномъ, возбуждаетъ въ немъ напряженное ожиданіе и потомъ разочаровываетъ его, говоря ему, вмѣсто страшнаго призванія, на которое разсчитывалъ грозный правитель, самыя обыкновенныя и голословныя похвалы его врагамъ — Нервѣ, Орфиту и Руфу. Обманутый въ своихъ ожиданіяхъ, императоръ произноситъ гнѣвную рѣчь, на которую Аполлоній отвѣчалъ прямо ругательствами.

— Государь, говоритъ онъ, безчестно и незаконно начинать изслѣдованіе дѣла, когда ты



заранѣе убѣжденъ въ виновности подсудимаго или носишь въ груди такое убѣжденіе, которое не основано на изслѣдованіи. Если ты такъ думаешь, то позволь мнѣ начать мою защитительную рѣчь въ такомъ видѣ: ты, государь, дурно расположенъ ко мнѣ и поступаешь со мною не справедливо любуго сикофанта (клеветника); тотъ обѣщаетъ по крайней мѣрѣ доказать обвиненіе, а ты ему вѣришь, не выслушавъ его даже.

— Ты начинай свое защищеніе, какъ знаешь, отвѣчалъ тогда императоръ. Я самъ знаю, чѣмъ я кончу, и знаю, съ чего теперь начну.

Этими словами объясненіе кончилось. Аполлонію немедленно для посрамленія остригли волосы на головѣ и на бородѣ, и, нарушивъ такимъ образомъ его пивагорейскій костюмъ, заковали въ кандалы и отвели въ другую тюрьму, гдѣ содержались низкіе преступники. Кажется, изъ всего объясненія только и вѣрно переданы развязка да послѣднія слова Домиціана. Весь колоритъ предшествовавшей сцены неправдоподобенъ. Гдѣ же умѣренность Аполлонія, которую самъ онъ считалъ необходимой и которую предписывалъ ему доброжелатель его Эліанъ? Гдѣ же, съ другой стороны, свирѣпость Домиціана? Слова Аполлонія были положительной дерзостью, за которую, какъ за оскорбленіе величества, Домиціанъ имѣлъ полное право осудить Аполлонія на смерть. Казнить его немедленно было бы конечно невыгодно для императора, надѣявшагося добыть отъ него множество важныхъ признаній, но кто или какой расчетъ могъ помѣшать Домиціану подвергнуть его пыткамъ и допросить такъ, какъ слѣдователи по дѣлу Пизонова заговора допрашивали Эпихариду? Домиціанъ не явился бы тутъ даже нарушителемъ закона, потому что обвиненный Аполлоній сдѣлался уже явнымъ преступникомъ, позволивъ себѣ дерзкія слова противъ священной особы римскаго «владыки и бога». Благоговѣйное изумленіе Домиціана при видѣ вошедшаго Аполлонія не имѣетъ ни малѣйшаго психологическаго правдоподобія. Выказать подобное чувство, если бы даже оно шевельнулось въ груди было совершенно не кстати, потому что обоготвореніе Аполлонія въ Малой Азіи было одною изъ статей направленаго противъ него обвиненія. Заподозрить Домиціана въ неумѣніи владѣть собою значить совершенно не знать его историческаго характера. Стоитъ посмотреть его біографію у Светонія или черты его характера у Тацита въ жизни Агриколы, чтобы видѣть, что въ искусствѣ притворяться и играть роль Домиціанъ не уступалъ самому Тиверію.

Въ тюрьмѣ, скованный по рукамъ и ногамъ, Аполлоній все-таки твердо вѣрилъ въ благополучный исходъ своего дѣла. На третій день послѣ разговора Аполлонія съ Домиціаномъ, Эліанъ выхлопоталъ первому облегченіе судьбы, что также значительно противорѣчитъ рѣзкому характеру происходившаго объясненія. Съ Апол-

лонія сняли оковы и снова перевели въ прежнюю, болѣе свѣтлую и удобную тюрьму, гдѣ общество было значительно лучше и приличнѣе. Нѣкоторые личности узниковъ, сидѣвшихъ вмѣстѣ съ Аполлоніемъ въ этой тюрьмѣ, очерчены Филостратомъ; что касается до преступниковъ, заключенныхъ въ оковы, онъ не говоритъ о нихъ ни одного слова. Къ числу Дамиды должно упомянуть, что онъ раздѣлилъ съ Аполлоніемъ заключеніе и сидѣлъ съ нимъ даже въ тюрьмѣ, въ которой содержались скованные преступники. Онъ сдѣлалъ это по собственному желанію и вѣроятно съ позволенія Эліана; что это дѣлалось добровольно, видно изъ того, что Дамидъ по приказанію Аполлонія вышелъ изъ тюрьмы и пошелъ къ Дмитрію въ Дикеархію. Это случилось уже тогда, когда съ Аполлонія были сняты оковы, и когда онъ, переведенный въ прежнюю тюрьму, ожидалъ въ скоромъ времени допроса и суда. Прошаясь съ Дамидомъ, онъ сказалъ, что увидится съ нимъ въ окрестностяхъ Дикеархіи на берегу моря.

— Какъ же ты увидишься со мною спросилъ Дамидъ боязливо, живой или нѣтъ?

Аполлоній засмѣялся.

— По моему мнѣнію, я буду живъ; но ты примешь меня за воскресшаго, сказалъ онъ.

Дамидъ ушелъ, не смѣя вполне вѣрить и не рѣшаясь сомнѣваться.

### VIII.

Судъ надъ Аполлоніемъ разсказанъ также неправдоподобно, какъ и большая часть его столкновеній съ правительственными лицами; Филостратъ старался представить, что это дѣло казалось всему Риму чрезвычайно важнымъ; императоръ, говоритъ онъ, по словамъ своихъ приближенныхъ, наканунѣ не принималъ пищи и цѣлый день читалъ дѣловыя бумаги, возбуждавшія въ немъ гнѣвъ и негодованіе. Залъ суда былъ великолѣпно украшенъ, какъ будто въ немъ должна была происходить торжественная церемонія. Всѣ знатнѣйшія лица города были собраны, потому что императору хотѣлось обвинить Аполлонія въ присутствіи многихъ свидѣтелей. И вдругъ столько приготовленій, сдѣланныхъ римскимъ богомъ Домиціаномъ пропадаютъ даромъ; всѣ его старанія и заботы не ведутъ ни къ чему и разсыпаются въ прахъ. Домиціанъ предлагаетъ Аполлонію четыре вопроса; Аполлоній отвѣчаетъ на нихъ совершенно голословно и далеко не почтительно; Домиціанъ безъ всякой причины говоритъ: «я освобождаю тебя отъ обвиненія, но ты останешься, и мы поговоримъ съ тобою наединѣ!» Аполлоній не соглашается на это, позоритъ своихъ обвинителей и вообще сикофантовъ, смѣется надъ могуществомъ императора и исчезаетъ изъ собранія. Тѣмъ и кончается дѣло. Мнѣ кажется самая нелѣпость



этого разсказа свидѣтельствуешь о его подлинности. Филостратъ выдумалъ бы вѣроятно что нибудь покладнѣе. Тутъ видна рука Дамида, пишущаго со словъ Аполлонія. Аполлоній, у котораго обожаніе собственной личности сдѣлалось какою-то религіей, могъ себѣ представить, что на него смотритъ весь образованный міръ, что его святость устрашаетъ сильныхъ земли, что онъ силою своего взгляда и слова способенъ возбудить ужасъ и раскаяніе въ душѣ самаго законнѣлаго злодѣя. Внезапное исчезновеніе Аполлонія изъ судилища, которое могло быть засвидѣтельствовано только Дамидомъ, очевидно не могло быть выдуманно Филостратомъ. Это чудо такъ безцѣльно, такъ необъяснимо и такъ легко можетъ быть опровергнуто сличеніемъ этого извѣстія съ сказаніями современныхъ историковъ, что Филостратъ могъ написать его, только основываясь на письменномъ свидѣтельствѣ современника и товарища Аполлонія. Кто выдумываетъ факты, чтобы выставить историческую личность не въ томъ свѣтѣ, въ какомъ она должна явиться безпристрастному изслѣдователю, тотъ конечно будетъ выдумывать такъ осторожно, чтобы было по крайней мѣрѣ трудно уличить его въ обманѣ. Кто выдумываетъ факты, какъ романистъ, тотъ будетъ выдумывать такъ, чтобы созданіе его фантазіи воплощало въ себѣ идею, чтобы въ сочиненныхъ чудесахъ было психологическое правдоподобіе и внутреннее единство мысли. Исчезновеніе Аполлонія неправдоподобно ни какъ историческій фактъ, ни какъ черта того идеальнаго характера, который начертанъ Филостратомъ. О неправдоподобіи чуда, какъ историческаго факта, не стоитъ и распространяться.

Объ отношеніи этого чуда къ личному характеру Аполлонія стоитъ сказать нѣсколько словъ. Этимъ чудомъ Аполлоній даетъ Домиціану полное право считать его чародѣемъ и разрушаетъ такимъ образомъ собственноручно благотворное вліяніе, произведенное на слушателей и зрителей его почтенной наружностью и мудрою рѣчью. Этимъ чудомъ, очень похожимъ на побѣгъ, Аполлоній оставляетъ своихъ друзей: Нерву, Орфита и Руфа, въ очень непріятномъ и совершенно беззащитномъ положеніи. Если позволительно исчезнуть изъ судилища, то почему же было постыдно и предосудительно скрыться до начала процесса? Все мученичество Аполлонія, при подобной развязкѣ, превращается въ безцѣльную, нелѣпую и возмутительную комедію, въ рядъ фокусовъ, изъ которыхъ ни одинъ не оправдывается и не объясняется никакой удовлетворительной причиной. Филостратъ не могъ сочинить такого факта, потому что почти невозможно представить себѣ такое нравственное воззрѣніе, которое могло бы назвать этотъ поступокъ честнымъ и разумнымъ. Филостратъ очевидно заимствовалъ его у Дамида, который

въ простотѣ души записалъ то, что разсказалъ ему о судѣ Аполлоній. Аполлоній же съ своей стороны не могъ разсказать этого происшествія, не вставивъ чуда. Ему хотѣлось провести свою господствующую идею о непобѣдимости добродѣтельнаго мудреца. Освобожденный вѣроятно по ходатайству Эліана, онъ представлялъ все дѣло такъ, какъ будто бы какая нибудь высшая сила явилась къ нему на помощь и заставила Домиціана поступить вопреки собственному желанію и всякимъ политическимъ соображеніямъ. Какъ мистикъ, онъ и самъ могъ считать свое освобожденіе дѣйствіемъ высшей силы; какъ учитель мистицизма, онъ могъ изобразить собственное убѣжденіе въ увеличенномъ масштабѣ.

Вотъ единственно возможное оправданіе той развязки, которую получаетъ процессъ Аполлонія; но это оправданіе принадлежит не Филострату, потому что онъ, передавая всѣ эти чудеса, старается подыскать имъ естественное объясненіе; онъ высказываетъ предположеніе, будто Домиціанъ освободилъ Аполлонія потому, что въ рядахъ присутствующихъ придворныхъ и сановниковъ раздались восклицанія, выражающія полное сочувствіе къ личности стараго прорицателя. Изъ этого комментарія можно заключить, что Филостратъ, воспользовавшись извѣстіемъ Дамида, постарался только облечь его въ красивую форму, не вдумался въ проведенное здѣсь міросозерцаніе и искажилъ истинный колоритъ разсказа Аполлонія. Аполлоній, мнѣ кажется, долженъ былъ разсказать исторію своего освобожденія такъ, чтобы оно не было и не могло быть объяснено естественнымъ развитіемъ слѣдствій изъ причинъ. Въ томъ и состоялъ весь эффектъ, вся особенность этого разсказа, что Аполлоній могъ сказать: я самъ не сдѣлалъ ни шагу, не сказалъ ни слова, чтобы переубѣдить тирана; я говорилъ съ нимъ гордо и смѣло, какъ съ виновнымъ; за меня не заступался никто, и между тѣмъ я своей божественной личностью подѣйствовалъ такъ сильно, что поневолѣ онъ долженъ былъ оставить меня въ покоѣ. Я сказалъ, что освобожденіе Аполлонія было вѣроятно исходатайствовано Эліаномъ, и основываю это предположеніе на томъ обстоятельстве, что Филостратъ приводитъ длинную оправдательную рѣчь Аполлонія, рѣчь, которую ему не пришлось произнести и которую Дамидъ вѣроятно съ обычнымъ благоговѣніемъ переписалъ въ свое сочиненіе.

Изъ существованія этой рѣчи можно заключить, что обстоятельства складывались такъ, какъ бывало обыкновенно при уголовныхъ процессахъ того времени; въ назначенный день обвиненный долженъ былъ выслушать обвиненіе, и потомъ защищаться или предоставить свою защиту оратору, выбранному имъ въ адвокаты. Что-то очевидно нарушило этотъ заведенный порядокъ; Аполлонія освободили, не выслушавъ даже его оправданія. Въ личности Домиціана не могло



произошли внезапной перемены к лучшему, стало-быть эта перемена в отношении к Аполлонию была произведена кем-нибудь из его приближенных, вероятно Элианом, который, как начальник высшей полиции, мог наконец убедить государя в том, что заговор Первы, Орфита и Руфа существует только в его воображении. Это предположение все объясняет. Успокоенный Элианом, император, для соблюдения формальностей, требует к себе на суд Аполлония, для виду предлагает ему вопросы, не обращает внимания на клеветы его обвинителей, довольствуется его ответами и оправдывает его, не выслушав оправдания. Этот неожиданный исход дела поражает воображение Аполлония; он отправляется в Дикеархию к Дамиду, еще более проникается верой в судьбу и в свою личность и с своей точки зрения рассказывает все дело, которого скрытые пружины могли быть сохраняемы в глубокой тайне по приказанию самого императора. Между тем возрастающая вражда Аполлония в свое я еще более возвышает его личность в глазах его биографов: Дамида и Филострата, так что апофеоза тианского чудотворца является под конец восьмой книги естественным результатом искреннего и восторженного благоговения.

## IX.

Буквально исполняя приказание учителя, Дамид отправился в Дикеархию и вместе с Дмитрием стал оплакивать свою разлуку с Аполлоном, не смая без ужаса думать об исход его процесса. Впрочем ему пришлось провести с Дмитрием только одни сутки, и сокращение обоих друзей было непродолжительным. На другой день после прибытия Дамида явился и Аполлоний. Дамид употребил на путешествие от Рима до Дикеархии три дня, а Аполлоний, по праву мудреца и любимца богов — несколько часов; он исчез из судилища незадолго до полудня, а под вечер уже был в Дикеархии. Объяснения этому чудесному путешествию не дают ни Аполлоний, ни Дамид, ни Филострат. Кто из них автор этой небывлицы, решить трудно; всего вероятнее, что это событие, находящееся в связи с исходом процесса, рассказано самим Аполлоном и по обыкновению без малейшей критики передано Дамидом. Свидание друзей произошло следующим образом: Дмитрий и Дамид сидели на берегу моря и Дамид горько сожалел об участи Аполлония.

— Боже, увидимся-ли мы когда-нибудь с нашим великим другом? говорил он, горюя.

— Увидитесь! Вот он, перед вами, подхватил Аполлоний, подходя к ним.

— Ты жив? спросил Дмитрий. Если ты умер, мы не перестанем оплакивать тебя.

Аполлоний протянул ему руку.

— Возьми меня за руку, сказал он. Если я ускользну от тебя, я тень из царства Персефоны, вроде тех теней, которых боги показывают огорченным и унывающим смертным. Если же я останусь и выдержу твое прикосновение, то убеди Дамида в том, что я жив и не сбросил тела.

Тогда друзья, не зная предель своей радости, бросились обнимать его. Освобождение его казалось им до такой степени чудесным, воображение их было так разгорячено, что они готовы были поверить всякому рассказу Аполлония. Чудесное могло быть только результатом чуда, и, пользуясь их напряженной доверчивостью, Аполлоний через Дамида украсил свою биографию еще одним необъяснимым для критики эпизодом. Дмитрий думал, что он был освобожден без суда; Дамид полагал, что он оправдался раньше назначенного срока; Аполлоний сказал, что он защищался, что он выждал назначенное время, и что за несколько часов он был в Риме, а теперь с ними в Дикеархии. Дмитрий недоумевал: «каким же образом ты в такое короткое время совершил такое далекое путешествие?»

— Верь всему, отвечал величественно Аполлоний, кроме сказки о баране и о восковых крыльях.

Минута была удачно выбрана, и слушатели поверили. Оказалось даже, как вспомнил Дмитрий, что бывший консул Телезин видел сон, предвещавший Аполлонию торжество над врагами. Затем следовал со стороны Аполлония рассказ о ходе процесса, и этот рассказ также не встретил со стороны слушателей ни скептической улыбки, ни критического замечания. Божественность Аполлония была уже в их глазах дознанным фактом, и Дамид прямо и откровенно выразил это убеждение. Из Италии Аполлоний с Дамидом отправился в Грецию и поселился в Олимпии, в храм Зевса; краткость его обращения с богами дошла до того, что он, когда ему понадобились деньги, взял 1000 драхм из казны Зевса олимпийского.

— Дай мне 1000 драхм из зевсовых денег, сказал он жрецу, если ты думаешь, что Зевс не разсердится.

— Еслибы он и разсердился, отвечал любезно жрец, то разве на то, что ты не берешь больше.

Вся Греция с восторгом приветствовала своего прорицателя, тем более, что все считали его погибшим, и что носились самые разнообразные слухи о той казни, которою извел его Домициан. Замечательно однако, что над ним попрежнему тяготело обвинение в чародействе; он отправился в Беотию, чтобы побывать в святыне Трофонии близ Лебадеи, но жрецы не



пустили его въ храмъ и объявили народу, что волшебнику нельзя проникать въ святилище и вопрошать оракула. Оракулъ этотъ помѣщался въ пещерѣ, отверстіе которой находилось въ холмѣ возлѣ храма. Вопрошающіе входили въ эту пещеру съ медовыми пирогами, которыми укрощали пресмыкающихся животныхъ, наполнявшихъ узкій и темный входъ святилища. Какая-то тайная сила втягивала ихъ въ пещеру; они внимали оракулу, и потомъ земля выбрасывала ихъ наружу въ болѣе или менѣе далекомъ разстояніи отъ того мѣста, въ которомъ они вступили въ пещеру. Аполлонію жрецы отказали въ позволеніи побесѣдовать съ Трофоніемъ, но Аполлоній не обратилъ вниманія на ихъ запрещеніе и самъ вошелъ въ пещеру въ своемъ философскомъ плащѣ. Богъ принялъ его очень ласково, держалъ его цѣлую недѣлю въ своей подземной обители и отпустилъ съ книгою, въ которой было изложено философское ученіе Пивагора.

Что касается до жрецовъ, оскорбившихъ Аполлонія отказомъ, то они увидѣли во снѣ разгнѣваннаго бога, который разбиралъ ихъ за непочтительное обращеніе съ мудрецомъ и любимцемъ боговъ. Должно ли считать это приключеніе Аполлонія чистой выдумкой, или можно отыскать въ немъ какуюнибудь историческую основу? Послѣднее правдоподобнѣе, потому что Филостратъ упоминаетъ подробно о самой книгѣ, добытой отъ Трофонія; онъ говоритъ, что эта книга была въ послѣдствіи поднесена императору Адриану вмѣстѣ съ нѣкоторыми письмами Аполлонія и хранится въ его любимомъ дворцѣ въ приморскомъ городѣ Акциумѣ. Дѣйствительно существовало, стало быть, преданіе о какой-то книгѣ, добытой Аполлоніемъ какимъ-то сверхъестественнымъ образомъ. Если припомнить, какимъ образомъ Магометъ доставилъ авторитетъ своему корану, то будетъ понятно то побужденіе, по которому Аполлоній пустилъ въ ходъ исторію о Трофоніѣ. Онъ уже былъ старъ, смерть была близка, и ему не хотѣлось, чтобы его ученіе погибло вмѣстѣ съ нимъ. Чтобы возвысить въ глазахъ народа его значеніе, чтобы упрочить его существованіе, онъ вздумалъ приписать ему высшее происхожденіе. Написать книгу философскихъ сентенцій и обставить разными поразительными подробностями моментъ ея появленія на свѣтъ было не трудно. Молва о новомъ чудѣ разнеслась въ народѣ, разрастаясь и видоизмѣняясь по мѣрѣ своего распространенія. Жрецы Трофонія были рады прицѣпить новое чудо къ своей святынѣ, хотя нѣкоторые подробности этого происшествія повидимому обличали ихъ невѣжество. Жрецы выставлялись несвѣдущими, но авторитетъ бога усиливается и слѣдовательно существенная выгода была соблюдена, — приращеніе числа поклонниковъ было неизбежно. Такимъ образомъ, какая-нибудь хитрость Аполлонія, воспринятая вѣрующими на-

родомъ и поддержанная толкованіями жрецовъ, могла дѣйствительно подать поводъ къ тому преданію о свиданіи его съ Трофоніемъ, которое Филостратъ самъ слышалъ отъ жителей Лебадеи.

Ученики Аполлонія собирались вокругъ него изъ Малой Азіи, съ острововъ Архипелага и изъ разныхъ городовъ Эллады; они при жизни своего учителя приняли имя Аполлоніанъ. Между тѣмъ Домиціана убилъ Стефанъ, и Аполлоній, по разсказу Филострата, провидѣлъ это событіе въ ту самую минуту, въ которую оно совершалось въ Римѣ. Извѣстіе о пророчествѣ Аполлонія подтверждается Діономъ Кассіемъ. Узнавши о вступленіи Нервы на императорскій престолъ, Аполлоній отправилъ къ нему въ Римъ Дамила съ какимъ-то важнымъ письмомъ и умеръ во время отсутствія своего друга. Аполлоній часто говорилъ: «старайся жить въ неизвѣстности; а если это невозможно, старайся по крайней мѣрѣ такъ умереть». Послѣднее желаніе Аполлонія было исполнено; даже Филостратъ не знаетъ, какъ онъ умеръ и не можетъ даже обозначить мѣста его кончины. Какъ слѣдовало ожидать, о его смерти возникло нѣсколько преданій, которыя сходятся между собою въ томъ, что онъ вошелъ въ храмъ и оттуда исчезъ. По мнѣнію однихъ, это произошло въ Линдѣ, въ храмѣ Аѣны, по словамъ другихъ — въ Критѣ, въ храмѣ Артемиды Диткины. При той легкости, съ какою въ то время происходили апофеозы, было бы странно, еслибы любимецъ боговъ, мудрецъ и прорицатель не былъ возведенъ въ боги послѣ своей таинственной кончины. Храмъ Аполлонія былъ построенъ въ Тіанѣ на томъ дугу, на которомъ, по преданію, его родила мать, вышедшая рвать цвѣты по приказанію боговъ. Императору Аврелиану, рѣшившемуся однажды жестоко наказать тіанцевъ, явился во снѣ божественный Аполлоній и спасъ своихъ согражданъ отъ гнѣва правителя. Императоръ Александръ Северъ въ своемъ *lazarium* обожалъ Аполлонія Тіанскаго вмѣстѣ съ Орфеемъ. Аполлонія обоготворили, а между тѣмъ ученіе его не нашло себѣ ни ревностныхъ послѣдователей, ни достойныхъ толкователей. Честный мистицизмъ его перешелъ въ шарлатанство, и Александръ Авонотихитъ служить самымъ яркимъ представителемъ этого вырождающагося направленія. Прочнаго нравственнаго вліянія ученіе Аполлонія не имѣло, потому что это была философія, а не религія. Дѣйствовать на массу оно не могло, потому что не говорило чувству, а обращалось почти исключительно къ мысли. Строгая серьезная личность Аполлонія могла внушить уваженіе, но, чтобы увлечь за собою сердца народа, она была слишкомъ холодна и замкнута, слишкомъ спокойна и безстрастна. Въ отношеніяхъ своихъ къ религіи онъ являлся консерваторомъ-эклетикомъ и потому его проповѣди вели за собою только временное возвышеніе народнаго усердія къ полу-



забытымъ святынямъ язычества. Реформировать принципъ существующей религіи Аполлоній не могъ; онъ, по примѣру всѣхъ древнихъ мыслителей, поддерживалъ существующее богослуженіе, оправдывалъ догматы и обряды, стараясь только вкладывать въ нихъ другой смыслъ, котораго не сознавала масса. Въ отношеніи къ во-

просамъ практической нравственности Аполлоній не далъ никакого общаго, руководящаго принципа; возставаая противъ отдѣльныхъ уклоненій отъ нравственности, онъ не далъ новаго, лучшаго кодекса. Мудрость его оставалась замкнутою святынею и ни разу не спускалась до пониманія «малыхъ сихъ и нищихъ духомъ».

## МОСКОВСКІЕ МЫСЛИТЕЛИ.

(Критическій отдѣлъ «Русскаго Вѣстника за 1861 г.).

### I.

Гейне въ одномъ изъ своихъ посмертныхъ стихотвореній говоритъ, что міръ представляется молодой красавицей или бродягой въѣдомой, смотря по тому, черезъ какія очки на него взглянуть, черезъ выпуклыя или черезъ вогнутыя. Если вѣрить на слово поэту, если предположить, что можно произвольно надѣвать себѣ на носъ разныя очки и вмѣстѣ съ тѣмъ мѣнять взгляды на жизнь и на ея явленія, то мы принуждены будемъ сознаться въ томъ, что наше зрѣніе радикально испорчено вогнутыми очками; чуть только мы попробуемъ замѣнить ихъ другими, или снять ихъ долой, передъ нашими глазами разстелется такой густой туманъ, который помѣшаетъ намъ распознать контуры самыхъ близкихъ къ намъ предметовъ. Наше зрѣніе слишкомъ слабо для того, чтобы охватить все мірозданіе, но тѣ крошечныя уголки, которые намъ доступны, кажутся намъ такими неизящными и глубокими морщинами, которыя гораздо легче себѣ представить на старой фізіономіи бродягой въѣдомой, чѣмъ на свѣжемъ, прелестномъ лицѣ молодой красавицы.

Мы любимъ природу, но ея нѣтъ у насъ подъ руками; въѣдъ не въ Петербургѣ же любоваться природою; не заниматься же, изъ любви къ природѣ, метеорологическими наблюденіями надъ сырой и холодной погодою, не изучать же различныя видоизмѣненія гранита и не умиляться надъ различными оттѣнками петербургскаго тумана. Поневоля придется, при всемъ пристрастіи къ безгрѣшной растительной природѣ, обратить все свое вниманіе на грѣшнаго человѣка, который здѣсь, какъ и вездѣ, или самъ страдаетъ, или выѣзжаетъ на страданіяхъ другого. Какъ посмотришь на людскія отношенія, какъ послушаешь разнородныхъ сужденій, словесныхъ, рукописныхъ и печатныхъ, какъ вглядишься въ то впечатлѣніе, которое производятъ эти сужденія, то мысль о выпук-

лыхъ очкахъ и о красавицѣ отлетитъ на неизмѣримо-далекое разстояніе. Уродливыя черты бродягой въѣдомой явятся передъ глазами съ такой ужасающей яркостью и отчетливостью, что иному юному наблюдателю сдѣлается не на шутку страшно; онъ быстро проведетъ рукою по глазамъ въ надеждѣ сорвать проклятыя очки и разогнать ненавистную галлюцинацію; но галлюцинація останется ярка по прежнему, и юный наблюдатель замѣтитъ не безъ волненія, что вогнутыя очки срослись съ его глазами, и что ему придется зажмуриться, чтобы не видать образовъ, пугающихъ его воображеніе.

Иные, боясь за свои впечатлительныя нервы, дѣйствительно зажмуриваются и постепенно возвращаются къ тому вождѣльному состоянію спокойствія, которое было нарушено неосторожнымъ прикосновеніемъ къ вогнутымъ очкамъ; другіе, болѣе крѣпкіе и въ тоже время болѣе увлекающіяся, продолжаютъ смотрѣть, всматриваться, громко сообщаютъ другимъ о томъ, что видятъ, и не обращаютъ вниманія на то, что ихъ рѣчи встрѣчаютъ себѣ равнодушіе и насмѣшки въ слушателяхъ, что изображаемыя ими картины принимаются за галлюцинаціи, за бредни разстроеннаго мозга; они продолжаютъ говорить, воодушевляясь сильнѣе и сильнѣе; ихъ воодушевленіе постепенно переходитъ въ ихъ слушателей; ихъ рѣчи начинаютъ возбуждать къ себѣ сочувствіе; онѣ волнуютъ и тревожатъ, онѣ шевелятъ лучшія чувства, вызываютъ наружу лучшія стремленія; вокругъ говорящаго группируется толпа людей, готовыхъ перерабатывать жизнь и умѣющихъ взяться за дѣло; но между тѣмъ самъ говорящій изнуренъ колоссальнымъ, продолжительнымъ напряженіемъ энергіи; его измучили уродливыя образы, на которыхъ онъ долго сосредоточивалъ свое вниманіе; его истомила та борьба, которую ему пришлось выдержать съ недовѣріемъ и недоброжелательствомъ слушателей; его голосъ дрожитъ и обрывается въ ту самую минуту, когда всѣ



окужающіе прислушиваются къ нему съ любовью и упованіемъ: герой валится въ могилу.

Такова общая біографическая исторія отрицательнаго направленія въ нашей литературѣ; не даромъ большая часть писателей, изображавшихъ темную сторону жизни, находили свой трудъ тяжелымъ и лично для себя неблагоприятнымъ; не даромъ Гоголь проводитъ параллель между двумя писателями; ту же параллель повторяетъ Некрасовъ, конечно не изъ подражанія Гоголю, а именно потому, что такого рода параллель естественно напрашивается въ сознаніе и въ чувство отрицателя. Тяжела, утомительна, убійственна задача отрицательнаго писателя; но для него нѣтъ выбора; вѣдь не можетъ же онъ помириться съ тѣми явленіями, которыя возбуждаютъ въ немъ глубокое фізіологическое отвращеніе; нельзя же ему ни себя передѣлать подъ ладъ окружающей жизни, ни эту жизнь пересоздать такъ, чтобы она ему нравилась и возбуждала его сочувствіе. Стало быть, приходится или молчать, или говорить горячо, желчно, порою насмѣшливо, волнуя и терзая другихъ и самого себя. Неизбѣжность отрицательнаго направленія начала понимать наша публика. Что само по себѣ это отрицательное направленіе представляетъ патологическое явленіе, въ этомъ я нисколько не сомнѣваюсь; доказывать его нормальность и законность *quand même* значило бы доказывать вмѣстѣ съ тѣмъ нормальность и законность тѣхъ условій жизни, которыя вызываютъ противъ себя сдержанную оппозицію и глухой протестъ. Тѣ журналисты, которые подвергаютъ серьезной критикѣ существующія идеи, тѣ писатели, которые выводятъ въ своихъ эпическихъ и драматическихъ произведеніяхъ грязь жизни безъ выкупающихъ сторонъ, безъ утѣшительныхъ прикрасъ, нисколько не думаютъ дописаться до безсмертія. Что подумаютъ о нихъ потомки, скажутъ ли они имъ спасибо, раскупятъ ли они на расхватъ какое нибудь пятнадцатое изданіе ихъ сочиненій, все это право такіе вопросы, которые нисколько не занимаютъ честнаго писателя, честно выражающаго свое неудовольствіе противъ разныхъ современныхъ неудобствъ и странностей. Когда у такого писателя является потребность развить нѣсколько мыслей по поводу того или другого явленія, тогда онъ берется за перо только съ однимъ желаніемъ: чтобы тѣ люди, которымъ попадется въ руки его книга или статья, поняли, какія обстоятельства отразились въ процессѣ его мысленія и наложили свою печать на его литературное или критическое произведеніе. Надо только, чтобы между публикою и писателемъ существовало такого рода взаимное пониманіе, по которому бы публика видѣла и понимала связь между видимыми слѣдствіями и обнаруженными причинами. Писателю надо желать, чтобы его произведеніе только будило въ читателѣ дѣя-

тельность мозга, только наталкивало его на извѣстный рядъ идей, и чтобы читатель, слѣдуя этому импульсу, самъ выводилъ бы для себя крайнія заключенія изъ набросанныхъ эскизовъ. Такого рода читатели, договаривающіе для самихъ себя то, что недосказано и недописано, начинаютъ мало по малу формироваться; дайте нашимъ писателямъ такую публику, которая бы понимала каждое ихъ слово, и тогда, повѣрьте, они съ величайшимъ удовольствіемъ согласятся на то, чтобы ихъ внуки забыли о ихъ существованіи или назвали ихъ кислыми, безтолковыми ипохондриками. Работать для будущихъ поколѣній конечно очень возвышенно; но думать о лавровыхъ вѣнкахъ и объ историческомъ безсмертіи, когда надо перебиваться со дня на день, отстаивая отъ разрушительнаго или опошляющаго дѣйствія жизни то себя, то другого, то мужчину, то женщину, — это, воля ваша, какъ то смѣшно и приторно; это напоминаетъ Манилова, мечтающаго о томъ, какъ онъ соорудитъ каменный мостъ, а на мосту построятъ каменные лавки.

Очень можетъ быть, что «Русскій Вѣстникъ», съ своей основательной ученостью, съ своей эстетической критикой, съ своимъ солиднымъ уваженіемъ къ нашей милой старинѣ и къ нашему прекрасному настоящему, будетъ читаться и перепечатываться нашими потомками, которыми конечно будутъ совершенно неизвѣстны имена задорныхъ журналовъ, печатающихъ вздоръ, подобный теперешней моей статьѣ. Мы не гонимся за «Русскимъ Вѣстникомъ», не отбиваемъ у него правъ на безсмертіе, не составляемъ ему конкуренціи; мы знаемъ, что не далеко ушли бы по той дорогѣ, по которой шествуютъ московскіе мудрецы; проклятая натура взяла бы свое, и сквозь чинно отмѣренныя фразы серьезнаго безпристрастія, слышались бы звуки сдержаннаго хохота и негодующей ироніи; да намъ и нельзя подражать «Русскому Вѣстнику»; намъ никто не повѣрилъ бы; подумали бы, что мы все это не съ проста говоримъ; стали бы доискиваться какого нибудь скрытаго смысла и доискались бы, благодаря своей догадливости, чего нибудь такого, о чемъ мы бы сами и во снѣ не бредили. Дойдетъ или не дойдетъ «Русскій Вѣстникъ» до того храма безсмертія, въ который онъ рѣшительно возбраняетъ доступъ всѣмъ писателямъ, опозорившимъ себя отрицательнымъ направленіемъ, этого я не знаю; это не мое дѣло, и я этимъ вопросомъ рѣшительно не интересуюсь. Что дастъ «Русскій Вѣстникъ» для насъ, для нашихъ современниковъ, это совѣмъ другой вопросъ, и отвѣчать на этотъ вопросъ я считаю очень не лишнимъ; вѣдь у «Русскаго Вѣстника» есть и въ наше время читатели; не всѣ же тѣ люди, которые уважали его въ первые годы его существованія, махнули на него рукой за его литературные подвиги 1861 года.

На этомъ то основаніи я и рѣшаюсь посвятить



нѣсколько страницъ на то, чтобы съ точки зрѣнія человѣка, пишущаго журнальную критическую статью въ началѣ 1862 года, перебрать тѣ литературныя мнѣнія, которыя «Русскій Вѣстникъ» въ послѣднее время подносилъ своимъ читателямъ.

## II.

Не думайте, господа читатели, чтобы я написалъ вамъ полемическую статью; когда я бесѣдовалъ съ вами о сатирической бывальщинѣ Гермогена Трехзвѣздочкина, я не полемизировалъ съ авторомъ этого произведенія; полемизировать съ «Русскимъ Вѣстникомъ» также невозможно, какъ полемизировать съ авторомъ «обѣды надъ самодурами». У Трехзвѣздочкина свое оригинальное міросозерцаніе, не сходное съ міросозерцаніемъ какого бы то ни было другого обыкновеннаго смертнаго; у сотрудниковъ «Русскаго Вѣстника» также совсѣмъ особенное міросозерцаніе; еслибы я вздумалъ спорить съ ними, то нашъ споръ можно было бы сформулировать такъ: я бы сталъ доказывать этимъ господамъ, что они смотрятъ на вещи сквозь выпуклыя очки, а они съ пѣной у рта стали бы увѣрять меня въ томъ, что я имѣю глупость смотрѣть на вещи сквозь вогнутыя очки; я бы кротко попросилъ ихъ снять на минуту очки; они обратились бы ко мнѣ съ тѣмъ же требованіемъ, пересыпая его бранными возгласами и убійственными намеками; кончилось бы тѣмъ, что, наспоровшись до сыта, мы замолчали бы, не сблизившись между собою въ мнѣніяхъ ни на одну линію; споръ нашъ привелъ бы къ такимъ же плодотворнымъ послѣдствіямъ, къ какимъ приводитъ всякій споръ, происходящій между людьми различныхъ темпераментовъ, различныхъ лѣтъ и, вслѣдствіе этихъ и многихъ другихъ различій, несходныхъ убѣжденій. Кромѣ того, сражаясь съ «Русскимъ Вѣстникомъ», я находился бы въ самомъ невыгодномъ положеніи; «Русскій Вѣстникъ» побѣдоносно развернулъ бы, на удивленіе всей читающей публики, полное свое исповѣданіе вѣры, подвелъ бы, гдѣ бы понадобилось, цитаты, тексты и пункты, ссылки на авторитеты всѣхъ вѣковъ, не исключая XIX-го, засвидѣтельствовалъ бы мимоходомъ свое почтеніе той или другой великой идеѣ и умилился бы надъ непризнанными заслугами какого нибудь великаго, но неизвѣстнаго Россіи русскаго дѣятеля. А я? Что бы я отвѣтилъ на всѣ эти золотыя рѣчи? Я чувствую, что у меня оборвался бы голосъ при первыхъ моихъ попыткахъ оправдываться или защищаться. Непремѣнно бы оборвался, и я бы замолчалъ. Вотъ видите ли, «Русскій Вѣстникъ» стоитъ на положительной почвѣ, крѣпко упирается въ нее ногами, скоро срастется съ нею, и эта почва не выдастъ его въ минуту скорби и борьбы. А мы—что такое? Мы—фантазеры, верхоглядья, говорюны; мы на воздушномъ шарѣ под-

нялись, а вѣдь воздушный шаръ, какъ говорить объявленіе «Времени», тотъ же мыльный пузырь. Такъ куда же намъ бороться съ «Русскимъ Вѣстникомъ»? Повторяю вамъ, у меня оборвутъ голосъ въ ту самую минуту, когда я попробую основательно возражать мнѣніямъ «Русскаго Вѣстника». Да и къ чему, для кого возражать?

Если читатели не сочувствуютъ тѣмъ идеямъ, которыя я выражалъ въ моихъ статьяхъ, то мнѣ всего лучше не только не возражать «Русскому Вѣстнику», но и совсѣмъ не писать. Если же мнѣ сочувствуютъ, то мнѣ будетъ совершенно достаточно передать, по возможности вѣрно, литературныя мнѣнія «Русскаго Вѣстника» для того, чтобы высказать то, что лежитъ у меня на душѣ. Положимъ, что я воротился изъ какого нибудь дальняго путешествія; положимъ, я посѣтилъ Персію и чувствую желаніе передать русской публикѣ вообще и читателямъ «Русскаго Слова» въ особенности мои путевыя впечатлѣнія; я конечно для полноты, вѣрности и живости картины сочту необходимымъ воспроизвести тѣ бытовыя особенности, которыя почему бы то ни было поразили мое воображеніе и врѣзались въ мою память. Но я никакъ не поставлю себѣ въ обязанность полемизировать противъ описываемыхъ персидскихъ обычаевъ; было бы смѣшно и утомительно, еслибы я описывалъ свои путевыя впечатлѣнія такъ: «Персіяне курятъ кальянъ; я нахожу, что гораздо лучше курить сигары. Персіяне запираютъ своихъ женъ въ гаремы; это возмутительный обычай и я, какъ поборникъ эмансипаціи женщины, заявляю передъ моими читателями мой торжественный протестъ противъ такого варварскаго устройства семьи». Вообразите себѣ, господа читатели, что я отправляюсь обзрѣвать «Русскій Вѣстникъ» совершенно также, какъ бы я могъ отправиться обзрѣвать Персію. У меня съ «Русскимъ Вѣстникомъ» также мало общаго въ тенденціяхъ, мнѣніяхъ и литературныхъ приемахъ, какъ въ моихъ всѣдневныхъ привычкахъ мало общаго съ привычками какого нибудь Аббаса-Мирзы. Мы, грѣшные, вязнемъ въ тинѣ и барахтаемся среди всякихъ нечистотъ, а «Русскій Вѣстникъ» идетъ себѣ ровной дорогой, и неспѣшной поступью пробирается къ храму славы и безсмертія. Объ чемъ же намъ съ нимъ спорить? Мы просто будемъ разсматривать его съ живѣйшимъ любопытствомъ и съ напряженнымъ вниманіемъ, какъ разсматриваютъ гостя изъ иного міра, созданіе, отличающееся особымъ сложеніемъ и подчиняющееся особымъ фізіологическимъ законамъ. Установивъ разъ навсегда такого рода спокойно-наблюдательныя отношенія къ мнѣніямъ «Русскаго Вѣстника», я намѣренъ во всей послѣдующей части этой статьи дать только фактическій отчетъ о моихъ наблюденіяхъ, хронику моихъ замѣтокъ.

Не ручаюсь впрочемъ и за то, чтобы кое-гдѣ,



ошибкою, не прорвалось и критическое замѣчаніе.

### III.

Въ 1861 году въ «Русскомъ Вѣстникѣ» совершилось немаловажное измѣненіе. Современная лѣтопись оторвалась отъ книжекъ журнала и превратилась въ еженедѣльную газету. Это событіе, достопримѣчательное, само по себѣ повело за собою слѣдующія еще болѣе достопримѣчательныя послѣдствія. Во-первыхъ, книжки «Русскаго Вѣстника» стали опаздывать слишкомъ на цѣлый мѣсяць; во-вторыхъ, въ составъ книжекъ вошелъ новый отдѣлъ подъ заглавіемъ: «Литературное обозрѣніе и замѣтки»; въ этомъ отдѣлѣ редакция и сотрудники «Русскаго Вѣстника» стали дѣлиться съ публикою своими взглядами на положеніе и событія текущей литературы, и мы, благодаря этому обстоятельству, узнали много новаго и любопытнаго.

Въ первой же книжкѣ «Русскаго Вѣстника» за 1861 г., въ статьѣ «Нѣсколько словъ вмѣсто современной лѣтописи», редакция отнеслась очень сурово къ тѣмъ журналамъ, «гдѣ съ тупымъ доктринерствомъ или съ мальчишескимъ забіячествомъ проповѣдывалась теорія, лишающая литературу всякой внутренней силы, забрасывались грязью всѣ литературные авторитеты, у Пушкина отнималось право на названіе національнаго поэта, а Гоголю оказывалось снисхожденіе только за его сомнительное свойство обличителя» (стр. 480). Этихъ уголовныхъ преступниковъ противъ законовъ эстетики и художественной критики редакция «Русскаго Вѣстника» обѣщала преслѣдовать со всею надлежащею строгостью. «Мы не откажемся также, говорить она, отъ своей доли полицейскихъ обязанностей въ литературѣ и постараемся помогать добрымъ людямъ въ изловленіи безпутныхъ бродягъ и воришекъ; но будемъ заниматься этимъ искусствомъ не для искусства, а въ интересѣ дѣла и чести». Не могу удержаться, чтобы въ этомъ мѣстѣ не заявить «Русскому Вѣстнику» моего полнѣйшаго сочувствія; великія истины понятны и доступны каждому, начиная отъ развитаго дѣятеля науки и кончая простымъ, бѣднымъ труженикомъ; ловить безпутныхъ бродягъ и воришекъ изъ любви къ искусству не согласится не только редакторъ «Русскаго Вѣстника», но даже и простой хожалый; даже и тотъ понимаетъ, что этимъ искусствомъ надо заниматься въ интересѣ дѣла, т. е. чтобы получать казенный паекъ и жалованье, или въ интересѣ чести, т. е. чтобы дослужиться до унтеръ-офицерскихъ нашивокъ. Конечно редакция «Русскаго Вѣстника» понимаетъ интересы дѣла и чести не совѣмъ такъ, какъ понимаетъ ихъ хожалый, можетъ быть даже не такъ, какъ понимаетъ ихъ англійскій полисменъ; масштабы не тѣ; между хожалымъ, сажающимъ въ будку бездомнаго

пьяницу, и русскимъ ученымъ, издающимъ уважаемый журналъ и принимающимъ на себя, въ интересѣ дѣла и чести, свою долю полицейскихъ обязанностей въ литературѣ, лежитъ конечно неизмѣримое разстояніе, неизмѣримое до такой степени, что бѣдный хожалый, не привыкшій группировать явленія и сортировать ихъ по общественнымъ признакамъ, иногда не дерзнулъ бы подумать, что между нимъ и редакторомъ ученаго журнала есть такъ много общаго. Признаюсь, я въ этомъ отношеніи раздѣлялъ невѣдѣніе хожалаго; я до сихъ поръ думалъ въ виновности души, что между обязанностями хожалаго и занятіями литератора нѣтъ ни малѣйшаго сходства; такого рода образъ мыслей объясняется отчасти тѣмъ, что я не читалъ статью Громеки: «О полиціи внѣ полиціи», бросающую по всей вѣроятности, яркій свѣтъ на этотъ запутанный вопросъ, отчасти тѣмъ, что я былъ молодъ и вѣтренъ въ тѣ счастливыя годы, когда газета «Сѣверная Пчела» находилась подъ вѣдѣніемъ прежней своей редакціи. Я думаю впрочемъ, что я и впредь останусь при своемъ прежнемъ невѣдѣніи, несмотря на то, что это невѣдѣніе очень многимъ можетъ показаться забавнымъ и даже идилическимъ; на русскомъ языкѣ существуетъ поговорка «съ своимъ уставомъ въ чужой монастырь не ходятъ». Эту поговорку можно перевернуть, и она отъ этого ничего не потеряетъ. Чужой уставъ, введенный въ свой монастырь, можетъ также оказаться въ высшей степени неумѣстнымъ; поэтому, не стараясь навязать редакціи «Русскаго Вѣстника» ни малѣйшей частицы моихъ понятій, я не буду стараться о томъ, чтобы заимствовать что бы то ни было изъ ея своеобразнаго міросозерцанія. Я уже предупредилъ читателей: мы вступаемъ въ новый міръ, въ которомъ все, начиная отъ крупнѣйшаго травояднаго животнаго и кончая мельчайшей букашкой, должно возбудить удивленіе простаго наблюдателя и лихорадочную любознательность зоолога. Мы съ вами, господа читатели, простые наблюдатели, и потому мы просто будемъ удивляться:

Куда на выдумки природа таровата!

и заранѣе выражаемъ отчасти смѣлую надежду на то, что, выходя изъ кунсткамеры, намъ не придется сказать съ грустнымъ чувствомъ неудовлетвореннаго любопытства:

Слона-то я и не примѣтилъ.

Можетъ быть, то обстоятельство, на которое я указалъ при самомъ входѣ въ кунсткамеру, есть именно тотъ слонъ; можетъ быть мы сразу попали на самое характерное мѣсто; въ такомъ случаѣ мнѣ остается только пожалѣть, что я не естествоиспытатель; если бы къ этому мѣсту приложить анатомическій ножъ и микроскопъ, если бы изслѣдовать его составъ путемъ химическаго анализа, то могло бы открыться много любопытнаго; мы узнали бы законы питанія, ор-



ганы и отправления того организма, который находится передъ нашими глазами; все это могло-бы случиться только въ томъ случаѣ, если-бъ я былъ естествоиспытателемъ; но я просто рото-звѣй, описывающій внѣшнюю сторону явленія, и потому, представивъ фактъ на разсмотрѣніе читателей, принужденъ идти дальше, хотя чувствую, что въ представленномъ фактѣ много необъясненнаго.

Безпутные бродяги и воришки, слоняющіеся по пустыннымъ полямъ нашей литературы, повергають редакцію «Русскаго Вѣстника» въ самое мрачное раздумье.

«Ни одна литература въ мірѣ, восклицаетъ она, не представляетъ такого изобилія литературныхъ скандаловъ, какъ наша маленькая, скудная, едва начавшая жизнь, литература безъ науки, едва только выработавшая себѣ языкъ».

Ну вотъ наша литература выработала себѣ языкъ и на радостяхъ показываетъ его на всѣ четыре стороны, встрѣчнымъ и поперечнымъ, а эти встрѣчные и поперечные обижаются, не понимаютъ шутокъ, жалуются: «она насъ дразнитъ; это—личность, это—оскорбленіе». Кто жъ въ этомъ виноватъ? Вольно имъ оскорбляться и вольно жъ имъ, если они такъ обидчивы, смотрѣть на этотъ языкъ, который такъ добродушно показываетъ имъ наша литература. Когда наша литература выработаетъ себѣ науку, она можетъ быть вмѣстѣ съ языкомъ будетъ показывать и науку, или что нибудь другое, смотря по обстоятельствамъ. А покуда вѣдь кромѣ языка нѣтъ ничего. Ну такъ что же дѣлать? На нѣтъ и суда нѣтъ!

Впрочемъ я вообще не понимаю, какое отношеніе имѣть отсутствіе науки къ присутствію литературныхъ скандаловъ. Сколько мнѣ кажется, редакція «Русск. Вѣстника» подъ названіемъ литературнаго скандала подразумѣваетъ разныя печатныя разбирательства о литературныхъ и не литературныхъ предметахъ.

Слово *скандалъ* дастъ намъ почувствовать, что редакція «Русск. Вѣстника» входитъ въ роль и готова съ полнымъ усердіемъ взять на себя свою долю полицейскихъ обязанностей. Скандаломъ, на языкѣ образованной полиціи, называется, какъ извѣстно, всякое происшествіе, нарушающее обычный ходъ дѣйствія въ какомъ нибудь публичномъ мѣстѣ, и возбуждающее въ собравшейся толпѣ зѣвакъ какіе-бы то ни было толки. Если такого-же рода событіе произойдетъ на аренѣ нашей литературы, то «Русскій Вѣстникъ» конечно не станетъ калякать съ зѣваками, а приметъ именно ту позитуръ, которую въ подобномъ случаѣ обязанъ принять исправный членъ благоустроенной полиціи. Это я понимаю, но по прежнему продолжаю не понимать, почему отсутствіе науки обуславливаетъ собою присутствіе скандаловъ. Мнѣ кажется, что самая лучшая лекція по гражданскому праву не замѣнитъ вамъ того судебного засѣданія, въ ко-

торомъ рѣшается вашъ процессъ. Самое лучшее изслѣдованіе о причинахъ зубной боли не замѣнитъ вамъ въ минуту страданія нѣсколькихъ капель опиума. Точно также вся наука «Русскаго Вѣстника» не замѣнитъ вамъ неогрѣннаго права обратиться къ суду общественнаго мнѣнія, когда вы почувствуете себя несправедливо оскорбленнымъ. Наука—вещь хорошая, но она въ своей отвлеченности никакъ не можетъ замѣнить намъ своихъ практическихъ примѣненій къ жизни.

Какое-бы великолѣпное изслѣдованіе вы ни написали, это изслѣдованіе никакъ не выручитъ васъ въ томъ случаѣ, когда вамъ понадобится обратиться къ суду общественной гласности. Конечно, если тѣ отвлеченныя истины, которыя вы будете развивать въ научномъ трактатѣ о нравственной философіи, войдутъ въ плоть и кровь всѣхъ людей, живущихъ на земномъ шарѣ, или по крайней мѣрѣ въ Россіи, то вамъ не придется обращаться къ суду гласности и поднимать литературные скандалы, потому что всѣ будутъ уважать ваши права; но вѣдь согласитесь, тутъ долга пѣня; пока солнышко взойдетъ, роса глаза выѣстъ. Если даже литература наша создастъ себѣ науку, то отъ существованія науки еще не прекратятся скандалы. Съ прекращеніемъ-же ихъ наступитъ такой золотой вѣкъ, о которомъ мы теперь не можемъ себѣ составить и приблизительнаго понятія; въ этомъ золотомъ вѣкѣ исчезнетъ потребность въ литературной полиціи; кто знаетъ? Можетъ быть вмѣстѣ съ этою потребностью исчезнетъ и потребность въ «Русск. Вѣстн.» вообще. Теперь не то. Скандалы неизбѣжны, потому что вамъ на каждомъ шагѣ представляется неотвязная дилемма: терпѣть насиліе или подымать крикъ; а иногда приходится даже дѣлать въ одно время и то, и другое. Теперь приходится удивляться тому обстоятельству, что «Русскій Вѣстникъ» жалуется на обиліе скандаловъ. Развѣ было-бы лучше, еслибы несправедливые поступки проходили безъ огласки, еслибы нелѣпыя мнѣнія принимались безъ спора? Возставать противъ обилія скандаловъ, значить, другими словами, проклинать зарождающуюся гласность. Еслибы, приступая къ обзору «Русскаго Вѣстника», я не вошелъ въ иной міръ, то, мнѣ кажется, я осмѣлился-бы назвать эту вещь проявленіемъ обскурантизма. Но вѣдь опять таки: съ своимъ уставомъ въ чужой монастырь не ходятъ. У насъ это называется обскурантизмомъ, а у нихъ, въ «Русскомъ Вѣстникѣ», это можетъ быть именуется совѣмъ иначе: серьезностью, солидностью, ученостью или еще какъ нибудь по-замысловатѣе. Поэтому я удержу языкъ свой въ должномъ повиновеніи, несмотря на то, что я его выработалъ, и что меня ужасно разбираетъ охота показать его во всю длину противникамъ гласности, какой бы чинъ они не занимали на іерархической лѣстницѣ литературной полиціи.



## IV.

Приступаю къ февральской книжкѣ и встрѣчаю на первомъ планѣ литературнаго обозрѣнія статью загадочнаго содержанія подѣ многообѣщающимъ заглавіемъ: «Старые боги и новые боги». Судя по этому зазорному названію статьи, можно было бы подумать, что «Русск. Вѣстникъ» вступаетъ въ ряды нашихъ современныхъ идолоборцевъ и старается сбить съ пьедесталовъ тѣхъ Перуновъ и Волосовъ, которые, несмотря на честныя усилія науки, еще до сихъ поръ красуются въ нашемъ неустановившемся міросозерпаніи. Дѣйствительно, въ этой статьѣ есть отдѣльныя фразы, отъ которыхъ не отказался бы ни одинъ изъ свистящихъ журналовъ. «Кто выдаетъ себя за мыслителя, говорится между прочимъ въ этой статьѣ, тотъ не долженъ принимать на вѣру, безъ собственной мысли, ничего ни отъ Асоченскаго, ни отъ Бюхнера, ни отъ Ивана Яковлевича, ни отъ Фейербаха». Съ этой мыслью нельзя не согласиться, если принять ее въ полной ея отвлеченности; можно только замѣтить, что два имени, вставленные въ эту фразу, не гармонируютъ съ общимъ ея содержаниемъ; когда произносишь имена Бюхнера и Фейербаха, тогда вовсе не надо прибавлять то, что отъ нихъ не слѣдуетъ ничего принимать на вѣру; это само собою разумѣется. Какъ вы примите что-нибудь на вѣру отъ такого человѣка, который вовсе не хочетъ, чтобы вы ему вѣрили, и убѣждаетъ васъ не ссылками на авторитетъ, а доводами и аргументами. Эти доводы могутъ быть неудовлетворительными; слушаая того мыслителя, который представляетъ эти доводы, вы можете не замѣтить ихъ неудовлетворительности и впасть въ ту ошибку, въ которую впадаетъ самъ мыслитель. Но ошибка въ процессѣ мысли не бѣда. Въ этомъ случаѣ человѣкъ нечаянно упускаетъ что-нибудь изъ виду, а не умышленно замуриваетъ глаза и не говоритъ: я и смотрѣть не хочу. Еслибы Фейербахъ или Бюхнеръ увидѣли послѣднее настроеніе въ комъ-нибудь изъ своихъ адептовъ, то вѣроятно они или отвернулись бы отъ этого субъекта, или посовѣтовали бы ему обратиться къ какому-нибудь извѣстному психиатру за помощью и совѣтомъ.

Человѣкъ, имѣющій наклонность принимать чужія мысли на вѣру, никогда не сдѣлается послѣдователемъ Фейербаха и Бюхнера; подорогъ къ ихъ ученію, онъ встрѣтитъ великое множество пшкolv и направленій, которыя затянутъ его къ себѣ именно потому, что онъ очень многое передаютъ на вѣру. То возраженіе, что ученіе Фейербаха и Бюхнера теперь въ модѣ, въ ходу и на этомъ основаніи притягиваетъ къ себѣ людей, увлекающихся подражательными стремленіями, не имѣетъ ни малѣйшей силы. Не угодно ли вамъ справиться съ нашей журналистикой? Не угодно ли вамъ прислушаться къ

тѣмъ разговорамъ о высокихъ матеріяхъ, которыя ведутся въ нашихъ салонахъ? Не думаю, чтобы въ этихъ разговорахъ вы открыли зловредныя тенденціи матеріализма. Стало быть, моды на Фейербаха и Бюхнера нѣтъ. Стало быть, ученіе этихъ мыслителей принимается только весьма немногими людьми. Можетъ быть, эти люди ошибаются, но во всякомъ случаѣ они мыслятъ согласно съ Фейербахомъ и Бюхнеромъ, а не признаютъ непогрѣшимости Фейербаха и Бюхнера. Они не увлекаются общимъ стремленіемъ, потому что общаго стремленія къ матеріализму у насъ не существуетъ. Статья «Русскаго Вѣстника» клонится къ тому, чтобы доказать, что наши скептики и отрицатели не умѣютъ мыслить, и, освистывая суевѣріе массы, сами съ полнымъ суевѣріемъ поклоняются кумирамъ, подобнымъ Фейербаху и Бюхнеру; для большей убѣдительности, авторъ статьи сравниваетъ нашихъ журналистовъ съ Иваномъ Яковлевичемъ, отвѣтившимъ однажды на какой-то вопросъ своего обожателя: «безъ прады не бенды кололацы».

«Кололацы! кололацы!» восклицаетъ авторъ. А развѣ многое изъ того, что преподается и печатается — не *кололацы*? Развѣ философскія статьи, которыя помѣщаются иногда въ нашихъ журналахъ — не *кололацы*?»

Для этого язвительнаго вопроса была написана и напечатана вся статья: «Старые боги и новые боги». Вся эта статья представляетъ болѣе или менѣе замысловатыя варіаціи на этотъ вопросъ: развѣ не кололацы? Пускаются въ ходъ страшныя усилія и натяжки для того, чтобы доказать, что Чернышевскій и Антоновичъ какъ двѣ капли воды похожи на Ивана Яковлевича и Асоченскаго. Желаніе автора провести свою идею до конца съ возможно большимъ успѣхомъ доводитъ его до высокихъ подвиговъ самоотверженія. Онъ рѣшается печатно прикидываться дурачкомъ и упрекаетъ Антоновича въ несправедливой ненависти къ матеріализму. Такого рода упрекъ имѣетъ всю прелесть оригинальности и новизны.

Онъ доказываетъ, что можно писать критику на такую статью, которой смыслъ остается недоступнымъ для самого рецензента. Впрочемъ гораздо правдоподобнѣе будетъ предположить, что непониманіе, обнаруженное въ статьѣ «Старые боги и новые боги», есть непониманіе умышленное. Авторъ этой статьи, движимый разными побужденіями, рѣшился надъ Антоновичемъ показать первый примѣръ полицейской исправности «Русск. Вѣстника». Такъ какъ къ критической статьѣ Антоновича о философскомъ лексиконѣ «Русскій Вѣстникъ» не сдумѣлъ придраться за какую-нибудь дѣйствительную погрѣшность, то онъ рѣшился вскленать на него небылицу, и Антоновичъ оказался безъ вины виноватымъ. Этимъ первымъ подвигомъ на пути изловленія бродягъ и ворюшекъ, «Русскій



Вѣстникъ» показали наглядно, что онъ во имя принципа жертвуетъ отдѣльной личностью. Его принципъ—безусловное отрицаніе задорной журналистики, а задорнымъ онъ называетъ каждое энергическое слово, выражающее самостоятельную, а не вычитанную идею; этотъ принципъ требуетъ себѣ жертвъ; выйдя на поле нашей литературы съ твердымъ намѣреніемъ поймать бродягу или воришку, «Русскій Вѣстн.» не могъ и не хотѣлъ воротиться домой безъ добычи; первый попался ему Антоновичъ; виноватъ онъ въ глазахъ «Русскаго Вѣстника» во-первыхъ тѣмъ, что помѣщаетъ свои статьи на страницахъ ненавистнаго ему журнала; во-вторыхъ тѣмъ, что пишетъ о философіи довольно понятнымъ языкомъ и не кланяется въ поясъ разнымъ кумирамъ философскаго пандемоніума.

Этого было совершенно достаточно; Антоновича арестовали какъ подозрительнаго человѣка и привели предъ судилище «Р. В.». Какъ рѣшилось его дѣло—я сказать навѣрное не могу, потому что протоколы суда, (т. е. статья «Старые боги и новые боги») написаны крайне сбивчивымъ и неяснымъ языкомъ, наполнены голословными обвиненіями и скорѣе похожи на лирическое изліяніе озлобленнаго человѣка, чѣмъ на спокойное изслѣдованіе нелицепріятнаго судьи. Чѣмъ оказался Антоновичъ, по мнѣнію «Р. В.», бродягою или воришкою—я тоже не знаю. Словомъ, изъ статьи «Старые боги и новые боги» усматривается только одно: «Русскій Вѣстникъ» изъ кожи вонъ лѣзетъ, чтобы какъ нибудь поубійственнѣе побранить кого нибудь изъ литераторовъ, пишущихъ въ «Современникѣ»; гдѣ можно разомъ зацѣпить полицейскою алебардою двоихъ или троихъ разомъ, тамъ онъ цѣпляется; гдѣ надо для большей силы обвиненія прибавить, тамъ онъ прибавляетъ, гдѣ надо прикинуться наивнымъ, тамъ онъ наивничаетъ съ неподражаемой естественностью. Почему и для чего онъ такъ поступаетъ — не знаю. Что намъ за дѣло до побужденій, руководящихъ Катковымъ, что намъ за дѣло до степени его искренности? Мы видимъ результаты; эти же результаты видитъ общество, испытывающее на себѣ ихъ вліяніе въ томъ или другомъ направленіи; объ этихъ результатахъ и слѣдуетъ говорить, ни мало не пускаясь въ психологическія изысканія.

Можетъ быть, редакція «Р. В.» за свои убѣжденія готова (выражаясь высокимъ слогомъ) излить послѣднія капли своей благородной крови, а можетъ быть и то, что она проводитъ не свои идеи по разнымъ, нелитературнымъ расчетамъ. Въ первомъ случаѣ редакція «Русск. Вѣстника» только заблуждается; во второмъ—она дѣйствуетъ неискренно но, въ томъ и другомъ случаѣ результатъ выходитъ одинъ и тотъ же; подъ зеленоватою оберткою «Русск. Вѣстника» появляются статьи, толкующія вкривъ и вкось о такихъ вопросахъ, на которыхъ сходятся между

собою все сознательно-честные люди въ Россіи; эти статьи съ насмѣшкой и порицаніемъ относятся къ стремленіямъ и мыслямъ, выражаемымъ этими сознательно-честными людьми; съ уваженіемъ и подобострастіемъ говорятъ онѣ о томъ, что эти люди считаютъ старымъ хламомъ; болгаринскія тенденціи скрываются въ этихъ статьяхъ подъ неясными терминами, которыми любить драпироваться сомнительная ученость людей, не умѣющихъ переварить въ своей головѣ набранный запасъ сырыхъ матеріаловъ и фактовъ.

Кто не умилился сердцемъ, читая драгоценную статью Грота, помѣщенную вслѣдъ за сердитою статьею «Старые боги и новые боги?» Кто не отдохнетъ душою на этомъ спокойномъ, прозрачномъ изложеніи, чистомъ и пріятномъ на вкусъ, какъ дистиллированная, теплая вода? Кто при чтеніи этой замѣтки, не повѣритъ въ будущее торжество добра, въ наступленіе того золотого вѣка, когда литераторы будутъ любить другъ друга и когда на землѣ не будетъ другого зла, кромѣ сырой погоды и сухихъ тумановъ? Статья Грота называется: «Замѣтка о русско-й журналистикѣ» и вся насквозь пропитана тѣмъ незлобіемъ и той наивно-стью, которыя вѣроятно будутъ составлять преобладающія свойства литературы въ счастливые дни золотого вѣка, привлекающаго къ себѣ съ неотразимой силой сердца и надежды людей, вѣрующихъ въ исторію и въ прогрессъ. Эта статья начинается и кончается разными любезностями и лестными комплиментами, которыя авторъ, какъ вѣжливый кавалеръ, подноситъ нашей литературѣ; должно замѣтить, что къ литературѣ вообще Гротъ относится какъ-то со стороны, какъ человѣкъ, взявшій перо въ руки въ досужный часъ, чтобы высказать мысль, случайно зашедшую въ голову. Знаетъ онъ литературу какъ-то по слухамъ, да можетъ быть потому, что гдѣ нибудь, случайно, пробѣжалъ страницъ пятнадцать въ какой нибудь недавно вышедшей журнальной книжкѣ. Оттого любезности у него выходятъ совершенно неопредѣленныя, а замѣчанія чисто внѣшнія; такъ напримѣръ, выражается надежда, что движеніе, оживившее русскую литературу лѣтъ шесть тому назадъ (тогда, должно быть, когда началъ издаваться «Русскій Вѣстникъ») «конечно, приведетъ ее къ самымъ счастливымъ результатамъ». Въ концѣ статьи встрѣчается слѣдующее трогательное мѣсто:

«Утѣшимся тѣмъ, что одна истина носить въ себѣ неодолимую силу живучести и что во всякомъ человѣческомъ обществѣ она посреди всѣхъ заблужденій пролагаетъ себѣ путь хотя медленно, но твердо». Эта фраза напомнила мнѣ преуморительную сцену изъ комедіи Сухово-Кобылина: «Свадьба Кречинскаго». Нелькинъ, нелѣпѣйшій изъ когда либо существовавшихъ добродѣтельныхъ героевъ, восклицаетъ на сценѣ:



«Правда, правда, гдѣ же твоя сила?» А Расплюевъ очень основательно отвѣчаетъ ему на это: «а пооди, поищи ее!» Нелькинъ, какъ извѣстно, уходитъ искать правду и вмѣсто правды находитъ полицію, которую и приводитъ съ собою на сцену. Какъ ни странно держитъ себя Нелькинъ, а все-таки онъ дѣйствуетъ основательнѣе Грота; во-первыхъ Нелькинъ выражаетъ свою мысль въ вопросительной формѣ, т. е. до нѣкоторой степени сомнѣвается и даже отчаивается; во-вторыхъ онъ, не умѣя самъ найти правду, призываетъ къ себѣ на помощь частнаго пристава; что же касается до Грота, то онъ твердо увѣренъ, что истина будетъ торжествовать, что она побѣдитъ сама собою и что намъ, слабымъ смертнымъ, всего лучше сложить руки, уповать на прочность идеи и утѣшаться тѣмъ, что одна истина имѣетъ неодолимую силу живучести.

Въ серединѣ статьи Грота высказываются нѣкоторыя порицательныя замѣчанія насчетъ нашей журналистики; эти замѣчанія прелестны по своей наивности; процессъ мысли совершается въ головѣ автора до такой степени своеобразно, что я не могу отказать себѣ въ удовольствіи произвести надъ этимъ процессомъ нѣсколько наблюдений. «Въ критикѣ нашей, говоритъ Гротъ, на тронѣ гуманности возсѣдаетъ покуда заклятый врагъ ея—нетерпимость». Этотъ приговоръ, выражающійся въ такой образной формѣ, срывается съ устъ автора по тому поводу, что «вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ, въ нашей литературѣ утвердились извѣстные взгляды и мнѣнія, которые присвоили себѣ монополію обращенія въ печатномъ мірѣ». О какой это литературѣ мечтаетъ Гротъ? Кажется, о русской. Гдѣ же издаются въ одно и то же время журналы «Современникъ» и «Странникъ», «Рус. Слово» и «Русскій Вѣстникъ», «Отечествен. Записки», «Искра», «Рус. Инвал.» и «День», «Сѣв. Пчела» и «Наше Время»? Кажется, въ Россіи? Какъ же это Гротъ ухитрится помирить существованіе столькихъ совершенно разнохарактерныхъ изданій съ монополіей извѣстныхъ взглядовъ и мнѣній? Но онъ и не думаетъ объ этомъ. Онъ говоритъ о нетерпимости съ точки зрѣнія литературной кротости, а ужъ мысль о монополіи подвернулась какъ-то по дорогѣ и забрела въ его статью совершенно случайно. Гроту хотѣлось бы, чтобы всѣ наши писатели, при спорахъ между собою, все-таки сулили другъ другу лавровые вѣнки и говорили другъ о другѣ въ печати такимъ образомъ: «почтенный авторъ въ своей прекрасной статьѣ, которой основную мысль мы однако осмѣлимся найти не вполнѣ справедливой, доказываетъ съ свойственнымъ ему остроуміемъ», и т. д. Да, во время оно, когда писатели говорили между собою такимъ языкомъ, уцѣлѣвшимъ теперь только въ официальныхъ изданіяхъ ученыхъ обществъ, было пріятно

и душевноснательно заниматься литературою. Теперь обмѣнъ сладостей между писателями сдѣлался невозможнымъ; одна часть русскихъ литераторовъ превратилась, по словамъ «Русскаго Вѣстника», въ бродягъ и воришекъ; другая часть къ которой не безъ самодовольства примыкаетъ «Русскій Вѣстн.», поступила на службу въ литературную полицію. Но всѣ эти событія произошли, кажется, мимо Грота и не нарушили его очарованнаго сна, подъ вліяніемъ котораго онъ изрѣдка произносилъ отрывочныя восклицанія, имѣющія можетъ быть нѣкоторую связь съ его грезами, но не имѣющія ни малѣйшаго отношенія къ фізіономіи нашей дѣйствительной жизни. Гротъ не справляется даже повидимому съ литературными мнѣніями того журнала, въ которомъ онъ печатаетъ свои замѣтки; онъ не соображаетъ того обстоятельства, что требовать деликатности выраженій въ литературѣ значитъ упрекать «Русскій Вѣстникъ» въ невообразимомъ нахальствѣ.

Вѣдь еслибы петербургскіе литераторы не смотрѣли на выходки «Р. В.», какъ на смѣшныя проявленія безсильной, старческой злобы, то они давно заставили бы редакцію ученаго журнала дать полное и категорическое объясненіе въ своихъ намекахъ и формально, печатно отступиться отъ тѣхъ выраженій, которыя обнаруживаютъ въ себѣ стремленіе бросить тѣнь на литературную честность лучшихъ современныхъ двигателей русской мысли. Если мы не поступаемъ такимъ образомъ, то это происходитъ единственно отъ того, что мы глубоко равнодушны къ формѣ, къ выраженію; тенденціи «Русскаго Вѣстника» кажутся намъ неблагородными—мы это и высказываемъ; мысли, выраженные «Русскимъ Вѣстникомъ», кажутся намъ бѣдными и рутинными,—мы это замѣчаемъ; что же касается до того частнаго и второстепеннаго обстоятельства, что эти тенденціи проводятся въ грубой формѣ, что эти мысли облекаются въ неопрятныя выраженія, то намъ до этого уже нѣтъ никакого дѣла.

Не читать же намъ для редакціи «Русск. В.» лекціи піитики, не преподавать же ей уроки вѣжливости. Для насъ рѣшительно все равно, обругаетъ ли насъ «Русскій Вѣстникъ» бродягами и воришками, или просто отнесется недоброжелательно къ задушевной мысли нашихъ статей. Сущность дѣла въ томъ, за кого стоитъ «Русскій Вѣстникъ»: за насъ или за нашихъ литературныхъ противниковъ. Если онъ идетъ противъ тѣхъ стремленій, которыя мы считаемъ полезными для нашего общества, тогда между нами нѣтъ и не можетъ быть примиренія, хотя бы цѣлыя страницы и статьи «Русскаго Вѣстн.» были посвящены восхваленію нашихъ литературныхъ талантовъ и нравственныхъ достоинствъ. Дѣло въ томъ, что черезъ типографскій станокъ должны проходить только тѣ черты авторской личности, которыя связаны съ какимъ нибудь общимъ ин-



тересомъ. Мы не боимся гласности, проведенной до послѣднихъ предѣловъ; мы не боимся такихъ обличителей, которые по какой бы то ни было причинѣ рѣшились бы посвящать публику въ мельчайшія и интимнѣйшія подробности нашей домашней жизни, но мы сами никогда не рѣшимся навязываться публикѣ съ разными конфиденціями собственно потому, что щадимъ время каждаго изъ нашихъ читателей и желаемъ говорить съ ними только о такихъ предметахъ, которые могутъ имѣть для нихъ живой интересъ. Поэтому-то мы считаемъ совершенно излишнимъ протестовать печатно противъ тона «Р. В.». Обругалъ или не обругалъ «Русскій В.» меня или кого нибудь другого—это вовсе не интересно. За что обругалъ? Это другой вопросъ; въ отвѣтъ на этотъ вопросъ заключается уже до нѣкоторой степени отчетъ объ общихъ убѣжденіяхъ того или другого литературнаго органа. Полемика имѣетъ свою несомнѣнную важность, не той діалектической частью, въ которой одинъ изъ спорящихъ по пунктамъ опровергаетъ другого и ловить его на мелочахъ, а тѣмъ общимъ направленіемъ, по которому развивается мысль обоихъ полемизирующихъ писателей.

Форма полемики—пустое дѣло. Общая подкладка полемики, напротивъ того, имѣетъ самую существенную важность. Поэтому жалоба Грота на нетерпимость въ критикѣ показывается въ авторѣ «замѣтки» такую первобытную, нетронутую наивность, которая возможна только въ человѣкѣ, не имѣющемъ ни малѣйшаго понятія объ интересахъ, волнующихъ нашу литературу. Развѣ у насъ дерутся изъ-за литературныхъ мнѣній? Развѣ у насъ возникаютъ тяжбы дѣла изъ-за несходства эстетическихъ понятій? Упрекать въ нетерпимости можно, сколько мнѣ кажется, только такого писателя, который готовъ и желаетъ всѣми возможными средствами насолить своему литературному противнику, а упрекать человѣка въ нетерпимости за то, что онъ возражаетъ горячо на такія мнѣнія, которыя кажутся ему нелѣпыми, это крайне оригинально, чтобы не сказать больше. Въ наше время нелѣпое мнѣніе—тоже самое, что нелѣпый поступокъ; кто говоритъ нелѣпую мысль, тотъ поступаетъ также уродливо, какъ поступаетъ человѣкъ, держащій свою жену въ заперти, или отпускающій полновѣсныя пощечины своимъ дѣтямъ и домочадцамъ. Если вы увидите сцену насилія, вы вѣроятно подадите помощь страждущему, и можетъ быть затѣете драку съ обидчикомъ; точно также, если вы прочтете въ печати проповѣдь насилія и угнетенія, вы вступитесь за тѣ естественныя человѣческія права, которыя покажутся вамъ нарушенными. Если ваши возраженія будутъ горячо прочувствованы, если вы дадите понять проповѣднику насилія, что считаете его убѣжденія достойными негодяя или дурака, то вѣроятно ни одинъ благоразумный

человѣкъ не обвинить васъ въ нетерпимости, потому что въ противномъ случаѣ пришлось бы доводить терпимость до того, чтобы позволять на своихъ глазахъ бить человѣка, не заступаясь за него и не заявляя даже своего негодованія. Каждый воленъ держаться того или другого убѣжденія, но вмѣстѣ съ тѣмъ каждый точно также воленъ критиковать убѣжденія своихъ сосѣдей и называть ихъ нелѣпыми или возмутительными, если они противорѣчатъ его логикѣ или возмущаютъ его личное, нравственное или эстетическое чувство. «Журнальная гласность, говоритъ Гротъ, должна быть обоюдоострая, или, какъ богъ Янусъ, имѣть два лица, изъ которыхъ одно было бы обращено къ обществу, а другое къ самой литературѣ. Но, повторяемъ, наша литература любитъ преслѣдовать злоупотребленія только внѣ самой себя, а относительно своихъ темныхъ сторонъ предпочитаетъ скромное молчаніе». Ну, скажите на милость, какъ же не назвать эти слова отрывочными восклицаніями, произносимыми сквозь сонъ. За минуту передъ тѣмъ Гротъ жаловался на то, что наша журнальная критика нетерпима къ тѣмъ идеямъ и мнѣніямъ, которыя идутъ въ разрѣзъ съ ея убѣжденіями, а теперь онъ, прямо въ связи съ этою мыслью, начинаетъ доказывать, что эта же самая критика предпочитаетъ скромное молчаніе относительно своихъ темныхъ сторонъ. Гдѣ же тутъ скромное молчаніе, когда существуетъ страстное обличеніе и горячій протестъ?

Вѣдь въ критикѣ встрѣчаются сильныя возраженія противъ мнѣній, выраженныхъ печатно, слѣдовательно выраженныхъ въ той же русской литературѣ. Вѣдь не возражаютъ же наши критики тому, что они слышали гдѣ нибудь на обѣдѣ или на вечерѣ. Какъ же согласить скромное молчаніе съ нетерпимостью къ разнорѣчивымъ мнѣніямъ? Или, можетъ быть, представляя фигуру бога Януса, Гротъ этимъ образомъ хочетъ выразить свое желаніе, чтобы писатель въ одно и то же время и доказывалъ, и опровергалъ одну и ту же идею, чтобы критикъ въ одной книжкѣ журнала обличилъ какого нибудь обскуранта, а въ слѣдующей книжкѣ пролилъ слезы раскаянія надъ собственнымъ своимъ увлеченіемъ? Это было бы очень трогательно, и такого рода гласность была бы дѣйствительно обоюдоострая. Критическое самобичеваніе, котораго повидимому требуетъ Гротъ, напомнила бы публикѣ зрѣлище, которое часто приходится видѣть на нашихъ почтовыхъ дорогахъ; оно напомнило бы ей, какъ неопытный ямщикъ, желая стегнуть свою лошадь, замахивается кнутомъ такъ усердно, что попадаетъ сначала по сѣдоку, потомъ по своей собственной спинѣ и наконецъ, и то не всегда, по лошади. Это было бы конечно очень смѣшно, но публика имѣла бы полное право сказать такому наивному критику: «милый юноша, предпринимайте всѣ ваши исправительныя мѣры



въ тиши вашего кабинета. Стегайте себя сколько угодно, но избавьте насъ отъ тяжелаго и безплоднаго зрѣлища вашихъ самоистязаній. Давайте намъ результаты вашего мышленія, а не броженіе вашего мозга. Набичуете себя вдоволь и тогда выступайте передъ нами человѣкомъ сложившимся, сознательно идущимъ по извѣстному направленію». Если напримѣръ «Современникъ» отзывается о какой нибудь статьѣ «Русскаго Вѣстника», какъ о статьѣ дикой, то, стало быть, критика наша не проходить собственныхъ своихъ темныхъ сторонъ скромнымъ молчаніемъ. Но требовать отъ «Современника», чтобы онъ бранилъ тѣ самыя статьи, которыя онъ помѣщаетъ на своихъ собственныхъ страницахъ, это совсѣмъ нелѣпо, это что-то вродѣ пеликана, раздирающаго свое чрево для удовольствія публики. Любопытно также то обстоятельство, что Гротъ въ своей замѣткѣ высказываетъ мнѣнія, діаметрально противоположныя тѣмъ идеямъ, которыя выражаетъ редакція «Русскаго Вѣстника».

И какъ васъ Богъ не въ пору вмѣстѣ свелъ!

Вотъ что говоритъ Гротъ: «Періодическая литература наша много занимается общественными вопросами, но очень мало сама собою... Наша литература бойко затрогиваетъ все, что лежитъ внѣ ея самой, но въ собственныя свои дѣла не вглядывается пристально. А между тѣмъ первый шагъ къ самоусовершенствованію есть самоизученіе, и для всего, что живетъ и мыслить, самое полезное дѣло есть занятіе ближайшими предметами».

А вотъ что говоритъ редакція въ январской книжкѣ, на стр. 480: «Только праздные и больные умы занимаются сами собою; только хилое искусство превращается въ эстетическіе курсы; только лишенная производительности, безжизненная и безсильная литература роется въ собственныхъ дрязгахъ, не видя передъ собою Божьяго міра, и вмѣсто живого дѣла занимается толченіемъ воды или домашними счетами, мелкими интригами и сплетнями».

Какъ видите, эти два мнѣнія діаметрально противоположны; Гротъ съ укоризною замѣчаетъ, что наша литература бойко затрогиваетъ все, что лежитъ внѣ ея самой, а редакція «Русскаго Вѣстника» рѣзко упрекаетъ ее въ томъ, что она роется въ собственныхъ дрязгахъ, не видя передъ собою Божьяго міра. Если мои читатели желаютъ знать мое личное мнѣніе объ этомъ важномъ спорномъ пунктѣ, то я замѣчу, что схожусь скорѣе съ воззрѣніями редакціи, чѣмъ съ идеями Грота, возводящаго безгласность литературы въ нормальное явленіе, и дающаго этой безгласности силу вѣчнаго закона. Любезная литература, говорить г. Гротъ своимъ вышеприведеннымъ мѣстомъ, ты, пожалуйста, не моги вмѣшиваться въ вопросы общественной жизни. Тамъ тебя не спрашиваютъ, туда тебя не пустятъ, тамъ тебѣ нечего дѣлать; все будетъ

улажено и устроено безъ тебя. Вы, почтенные господа писатели, творите стишки и поэмы, сооружайте повѣсти и драмы, свидѣтельствуйте другъ другу свое почтеніе и дружеское расположеніе въ критическихъ статьяхъ, воспѣвайте на всѣ лады красоту природы и благодать providѣнія, и—довольно съ васъ. Дальше не ходите.

Признавая Карамзина и Жуковского образцовыми русскими писателями, остановившись слѣдовательно на тѣхъ понятіяхъ, которыя составляли себѣ эти два джентльмена о дѣятельности литератора и гражданина, Гротъ не можетъ думать и говорить иначе. Кто въ шестидесятыхъ годахъ повторяетъ то, что казалось новымъ и смѣлымъ въ двадцатыхъ годахъ, тотъ конечно долженъ представиться намъ какимъ-то ископаемымъ литераторомъ. Люди, начавшіе въ 1856 году изданіе журнала, не могутъ сходить въ мнѣніяхъ въ антикомъ, подобнымъ Гроту; дѣйствительно редакція «Русскаго Вѣстника» говоритъ совсѣмъ другое; она очень сердится на нашу литературу за то, что та не видитъ передъ собою Божьяго міра и рѣшительно не хочетъ принять въ соображеніе того обстоятельства, что литература наша ни въ чемъ не виновата; она дѣлаетъ все, что можетъ, и если достигаемые ею результаты оказываются неудовлетворительными, то это значитъ только, что она при всѣхъ своихъ добросовѣстныхъ усиліяхъ не можетъ прошибить ледяную кору, отдѣляющую ее отъ живого пониманія народа.

Въ наше время пишутъ многіе, пишутъ тѣ люди, у которыхъ есть дѣйствительная потребность высказаться; пишутъ и тѣ люди, которые, научившись владѣть языкомъ, стараются заработать себѣ побольше денегъ; въ числѣ книгъ и статей, появляющихся втеченіи года у насъ въ Россіи, есть очень много фабричныхъ издѣлій, но зато рядомъ съ этими грошовыми работами лежатъ тутъ же, въ этомъ ворохѣ книгъ и статей, труды лучшихъ, наиболѣе честныхъ и талантливыхъ нашихъ соотечественниковъ. Искусства намъ какъ-то не дались; ни живопись, ни скульптура, ни музыка, ни театральное искусство не привлекаютъ къ себѣ съ особенною силою нашихъ молодыхъ дѣятелей; почти вся масса ума и таланта, порождаемая русскою почвою, съ неудержимой порывистостью бросается въ литературу и находитъ въ ея различныхъ родахъ полное удовлетвореніе своему стремленію къ дѣятельности. Желаніе высказаться почти всегда бываетъ сильнѣе, чѣмъ желаніе чему нибудь научиться, и потому незрѣлость сужденій, которую «Русскій Вѣстникъ» клеймитъ позорнымъ именемъ литературной безчестности, дѣйствительно бросается въ глаза въ самыхъ замѣчательныхъ произведеніяхъ нашей критики и публицистики. Эта незрѣлость составляетъ сущую сущность фактъ, но въ существованіи этого факта не виноваты наши писатели. Всѣ мы вос-



питывались въ душевной средѣ, въ узкихъ понятіяхъ, подъ вліяніемъ мертвящихъ предразсудковъ; всѣ мы, становясь на свои ноги, принуждены были разрывать связь съ нашимъ прошедшимъ, передѣлывать сверху до низу весь строй нашихъ понятій, выкуривать изъ нашего мозга ту нелѣпую демонологию, которая замѣнила намъ въ дѣтствѣ трезвыя понятія о мірѣ, о природѣ и человѣкѣ; вступая въ борьбу съ тѣми элементами, которые, благодаря вліянію родителей и педагоговъ, приросли къ нашей природѣ, отрывая съ болью и съ кровью дѣтскія вѣрованія, дѣтскія привязанности, дѣтскіе взгляды на жизнь, мы воодушевляемся и ожесточаемся въ одно и то же время; проникнутые сознательнымъ, глубокимъ отвращеніемъ къ тѣмъ мрачнымъ формамъ семейнаго быта, къ тѣмъ суровымъ принципамъ лицеѣрной нравственности, къ тѣмъ обезсмысленнымъ обычаямъ, которые давили въ дѣтствѣ наше естественное развитіе и задерживали нашъ уметвенный ростъ,—мы съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ выжидаемъ случая, когда бы намъ можно было выразить свое негодованіе противъ всего того, что остановило развитіе многихъ даровитыхъ личностей и что до сихъ поръ продолжаетъ забивать способности дѣтей и юношей, дѣвушекъ и женщинъ нашихъ.

Когда мы беремся за перо, мы еще почти ничего не знаемъ, но сторона отрицанія оказывается уже вполне развитою. Нелѣпостей и несообразностей насмотрѣлся на своемъ вѣку каждый ребенокъ; слѣдовательно, каждый молодой человѣкъ, принимающійся за перо, имѣетъ всѣ данныя для того, чтобы всею силой критики разбивать міръ преданія и рутины. вмѣстѣ съ матеріалами, жизнь даетъ намъ импульсъ къ отрицанію; кто развился на столько, чтобы понять неестественность своихъ ребяческихъ понятій, тотъ никакъ не остановится на хладнокровномъ созерцаніи этихъ понятій; умъ не терпитъ неволи; когда онъ видитъ себя не свободнымъ, онъ принимается разрушать свою клѣтку и не оставляетъ своей работы до той минуты, пока не будетъ совершенно окончено дѣло разрушенія. Когда умъ занятъ такого рода работою, тогда нѣтъ мѣста для спокойнаго пріобрѣтенія знаній; находясь въ такой порѣ развитія, мы съ наслажденіемъ хватаемся за сочиненія, проникнутыя полемическими тенденціями, и оставляемъ въ сторонѣ многотомныя изслѣдованія кабинетныхъ ученыхъ. За это нельзя быть на насъ въ претензіи. «Своя рубашка къ тѣлу ближе»; мы ищемъ того, что соответствуетъ настоящимъ потребностямъ нашего ума, что отвѣчаетъ на вопросы, встрѣчающіеся нашей мысли на пути ея естественнаго развитія.

Когда ребенокъ растетъ, у него иногда обнаруживаются странные аппетиты: онъ ѣстъ съ наслажденіемъ мѣлъ, уголь, известку, глину, и эти вещества приносятъ ему больше удовольствія и даже больше пользы, чѣмъ питательная говядина

или крѣпкій бульонъ; дѣло въ томъ, что ему надо ввести въ кровь именно тѣ вещества, къ которымъ онъ чувствуетъ странное влеченіе; на пути нашего уметвеннаго развитія, мы часто бываемъ поставлены въ такое же положеніе; если нашему уму надо что нибудь, вродѣ извести или острой кислоты, тогда и не предлагайте намъ ни телятины, вродѣ ученыхъ изслѣдованій Буслаева, Устрялова и Соловьева. ни миндалянаго печенья, вродѣ лирическихъ стиховъ Фета и Полонскаго. Та пища, на которой живутъ наши писатели, отражается конечно и на томъ, что они производятъ. Сами писатели проникнуты полемическими тенденціями, и тѣ же тенденціи проходятъ черезъ ихъ произведенія. Мы не рассказываемъ публикѣ о томъ, что мы знаемъ; мы просто дѣлимся съ нею нашими симпатіями и антипатіями; мы говоримъ ей: это мы любимъ, этого не любимъ, приводимъ съ большею или меньшею полнотою, съ большей или меньшею ясностью объясненія и доводы; мы говоримъ о томъ, что сами думаемъ и чувствуемъ, потому что полагаемъ, что вокругъ насъ живутъ такіе же люди, какъ и мы сами, и что каждый изъ нихъ думаетъ и чувствуетъ про себя почти то же самое, что думаемъ и чувствуемъ мы. Мы разбросаны по кружкамъ, надо-же намъ подать другъ другу голосъ, надо-жъ намъ попробовать, нельзя ли намъ понять другъ друга, нельзя ли найти себѣ симпатіи, отклика; для этого надо высказаться безъ утайки, безъ задней мысли; что въ печи, то и на столѣ мечи, что на душѣ, то и на языкѣ; только правдивость и искренность способны вызвать сочувствіе; кто пишетъ теперь по живой, внутренней потребности, тотъ хлопочетъ почти исключительно о томъ, чтобы высказать предъ обществомъ свои стремленія.

Фактическія подробности, которыми наши писатели обставляютъ свои идеи, не всегда удачно выбраны, часто невѣрны, но тутъ не въ фактахъ дѣло; важно то, что писатель хочетъ выразить своимъ произведеніемъ, важна общая идея, тенденція, и если посмотрѣть съ этой точки зрѣнія на статьи лучшихъ представителей нашей журналистики, то онѣ окажутся безукоризненными и выдержатъ самую строгую критику. Но редакция «Русскаго Вѣстника» постоянно, при оцѣнкѣ явленій современной литературы, останавливается на ихъ внѣшней сторонѣ; она смотритъ на писателя не какъ на живого человѣка, увлеченнаго своею идею, или возмущеннаго той или другой стороной жизни, а какъ на фотографическій станокъ, передающій съ безсознательной вѣрностью контуры предмета, находящагося передъ нимъ. Она не переносится въ положеніе писателя; она вся уходитъ въ анализъ мелочей и подробностей, которымъ самъ писатель не придаетъ никакого значенія.

Гротъ поступаетъ еще оригинальнѣе; задулавъ говорить о русской журналистикѣ, онъ



высказываетъ объ ней слѣдующія замѣчанія, которыя самымъ нагляднымъ образомъ показываютъ намъ, на сколько Гротъ понимаетъ интересы нашего времени. Во-первыхъ, онъ упрекаетъ журнальную критику въ томъ, что она обнаруживаетъ мало сочувствія къ Карамзину и Жуковскому. Во-вторыхъ, въ томъ, что она измѣряетъ гедность человека только тѣмъ, принадлежитъ ли онъ къ старому, или къ молодому поколѣнію. Въ-третьихъ, въ томъ, что «нѣкоторые наши журналы и газеты начали употреблять также въ видѣ насмѣшки и даже брани слово *ученый*». Вотъ вамъ, господа читатели, сумма мнѣній Грота о русской журналистикѣ. Мнѣ кажется, Гроту было бы удобнѣе писать замѣтки о шрифтѣ, о бумагѣ, на которой печатаются наши журналы, о цвѣтѣ ихъ обертка, но только ужъ никакъ не о журналистикѣ. Писать о журналистикѣ, не будучи въ состояніи отдать себѣ отчетъ въ значеніи тѣхъ идей, которыми живутъ лучшіе люди нашего общества, это черезчуръ оригинально.

Но если оригинально въ этомъ случаѣ положеніе автора замѣтки, то конечно еще гораздо оригинальнѣе поступокъ редакціи, печатающей на страницахъ своего журнала такую статью, которая прямо противорѣчитъ мнѣніямъ редакціи и обличаетъ въ авторѣ такую нетронутую глубину наивности.

#### У.

Пропуская двѣ статьи Лонгинова, отличающіяся полнотой библіографическихъ свѣдѣній и полнымъ отсутствіемъ руководящей идеи, пропускаю еще двѣ статьи, изъ которыхъ одна трактуетъ о губернскихъ памятныхъ книжкахъ, а другая о картѣ Самарской губерніи, я перехожу къ мартовской книжкѣ, и встрѣчаю ту статью о госпожѣ Толмачевой, которая въ свое время вызвала противъ себя заслуженное негодованіе въ обществѣ и въ періодической литературѣ. Въ этой статьѣ редакція «Русскаго Вѣстника» косвенно объявляетъ себя противъ эманципации женщины и спрашиваетъ: чего недостаетъ нашимъ женщинамъ? Утѣшаетъ ихъ тѣмъ, что «у насъ были знаменитыя императрицы, на англійскомъ престолѣ возсѣдаетъ теперь королева, на испанскомъ тоже, и совѣтуетъ, вмѣсто того чтобы эманципировать женщину — подчинить и мужчину извѣстнымъ ограниченіямъ, ради охраненія доброй нравственности. Этихъ фактовъ совершенно достаточно, чтобы дать понятіе о букетѣ этой статьи; о ней въ свое время было говорено довольно много, и потому я ограничусь только бѣглымъ указаніемъ на это произведеніе умѣренного либерализма; въ списокъ прошлгоднихъ подвиговъ «Русскаго Вѣстника» необходимо было помѣстить и эту статью, потому что въ ней есть драгоцѣнные выходы противъ эманципаторовъ, противъ пустоголовыхъ прогрессистовъ,

противъ отрицателей общественныхъ приличій, противъ губителей общественной нравственности. Добродѣтельный паоосъ, которымъ проникнуты многіе отрывки этой замѣчательной статьи, представляетъ рѣдкое и тѣмъ болѣе отрадное явленіе въ нашей легкомысленной литературѣ, посреди преобладанія эгоизма, скептицизма, матеріализма и разныхъ другихъ безнравственныхъ идей и стремленій. Неудобно ли вамъ напримѣръ полюбоваться слѣдующими строками. Вѣдь это просто оазисъ среди песчаной пустыни.

«Общественныя приличія! Но что даетъ намъ право ставить себя выше ихъ? Можно ли допустить, чтобы общественныя приличія нарушались во имя пошлыхъ фразъ, выраженій ничтожества и пустоты? Что должно сказать при видѣ этого ничтожества, которое, подъ прикрытіемъ громкихъ словъ: прогресса, просвѣщенія, свободы, топорщится со свистомъ въ головѣ стать выше цѣлаго общества, выше убѣжденій цѣлаго міра, клеймя ихъ названіемъ предразсудковъ? Общественныя приличія имѣютъ всегда какое нибудь основаніе; вырабатываясь изъ жизни, они содержатъ въ себѣ ея разумъ, и для того, чтобы судить о нихъ, надо прежде понимать ихъ» (стр. 36).

Не знаешь, чему больше удивляться, читая это неподражаемое мѣсто: силѣ ли паооса, овладѣвашаго авторомъ, фразистости ли его произведенія, или же наконецъ тому изумительному отсутствію связи, которое мы видимъ между отдѣльными словами и предложеніями. Можно сказать навѣрное, что если бы какая нибудь модная барыня взялась защищать свѣтскія приличія противъ нападковъ разгулявшейся журналистики, то она сдѣлала бы это дѣло гораздо успешнѣе, чѣмъ редакція «Русскаго Вѣстника». Она бы твердо стала на хорошо знакомую ей практическую почву и не пыталась бы оправдывать общественныя приличія съ высшей, философской точки зрѣнія. Такого рода діалектической приѣмъ имѣетъ всю прелесть новизны въ нашей литературѣ и честь его изобрѣтенія принадлежитъ безспорно редакціи «Русскаго Вѣстника». Вотъ еще одно мѣсто:

«Вы хотите возвыситься надъ общественными приличіями: остерегитесь, чтобы не упасть не только ниже ихъ, но и ниже обнаженныхъ отпавленій скотской жизни. Вы домогаетесь благодати выше долга; но помните, благодатные люди, что она не исключаетъ долга, а, возвышаясь надъ нимъ, даетъ только больше, чѣмъ можетъ дать онъ. Вы лѣзете въ геніи, но не думайте, что для достиженія этой чести надобно только отказаться отъ здраваго смысла» (стр. 37).

Кого хочетъ поразить этими словами «Русскій Вѣстникъ», кого называетъ онъ благодатными людьми, кто лѣзетъ въ геніи и какое отношеніе вся эта тирада имѣетъ къ женщинамъ — этого я рѣшительно не понимаю. Сомнѣваюсь даже въ томъ, чтобы это было понятно самому автору



статьи. Не мало курьезныхъ цитатъ можно было бы привести изъ этой апологіи Камня Виногорова (Петра Вейнберга), но мнѣ предстоитъ еще пересмотрѣть много драгоценностей, и потому я поспѣшно иду дальше. Остановлюсь на минутку на статьѣ Лонгинова о стихотвореніяхъ А. С. Хомякова. Въ этой статьѣ начинается проявляться тотъ сладкій оптимизмъ, который составляетъ одно изъ преобладающихъ свойствъ критики «Русскаго Вѣстника». Журналъ этотъ относится чрезвычайно мягко и ласкательно ко всему тому, что не находится въ связи съ свистящей журналистикой. Все хорошо въ нашей жизни, по мнѣнію «Русскаго Вѣстника», и только безмозглые отрицатели своими нестройными криками нарушаютъ общую гармонію этой изящной жизни. Хомяковъ не принадлежалъ къ безмозглымъ отрицателямъ, слѣдовательно, его можно возвеличить, и дѣйствительно Лонгиновъ величаетъ его такъ усердно, что статья его дѣлается похожею на панегирикъ. Тѣ стихотворенія, которыя онъ приводитъ въ подтвержденіе своихъ хвалебныхъ отзывы, могутъ быть очень возвышены по своему духовному полету, но мотивы этихъ стихотвореній покажутся современному читателю черезчуръ античными и затронуть въ немъ это живое чувство также мало, какъ мало затронуть это живое чувство самыя лучшія мѣста изъ «Мессіады» Клопштока. Сомнѣваюсь напимѣрь, чтобы на кого-нибудь могло подѣйствовать слѣдующее произведеніе, выписанное въ статьѣ Лонгинова:

Подвигъ есть и въ сраженіи,  
Подвигъ есть и въ борьбѣ,  
Лучшій подвигъ въ терпѣннѣ,  
Любви и молебъ.

Если сердце заняло  
Передъ злобой людскою,  
Иль насилье схватило  
Тебя цѣпью стальной,  
Если скорби земныя  
Жаломъ въ душу впились,  
Съ вѣрой бодрой и смѣлой  
Ты за подвигъ берись:  
Есть у подвига крылья,  
И взлетишь ты на нихъ,  
Безъ труда, безъ усилія,  
Выше скорбей земныхъ,  
Выше крыши темницы,  
Выше злобы слѣпой,  
Выше воплей и криковъ  
Гордой черни людскою.

Если бы эти стихи принадлежали не Хомякову, а какому нибудь неизвѣстному поэту, я бы можетъ быть назвалъ ихъ холодной декламацией на заданную тему. Но Хомяковъ, какъ говорятъ всѣ люди, знавшіе его лично, былъ чловѣкъ въ высшей степени честный и глубоко искренній; слѣдовательно, надо повѣрить поэту на слово и предположить, что онъ въ этомъ стихотвореніи дѣйствительно выразилъ то, что чувствовалъ, то, въ чемъ онъ былъ горячо убѣжденъ. Такого рода предположеніе оправдываетъ въ нашихъ глазахъ личность Хомякова, но оно ни-

какъ не заставитъ насъ восхищаться произведеніемъ Хомякова и сочувствовать тому настроенію, подъ влияніемъ котораго оно написано. Можетъ быть, мы не стоимъ на той высотѣ духовнаго развитія и просвѣтленія, на которой находился Хомяковъ; можетъ быть намъ недоступны тѣ высшія духовныя радости, о которыхъ повѣствуетъ поэтъ, только потому, что мы испорчены скептическимъ направленіемъ нашего вѣка и придавлены къ землѣ мелкими заботами и нелѣпостями дѣйствительности; все это можетъ быть, но, какъ бы ни были унижительно для насъ самихъ причины нашего непониманія, мы все-таки откровенно сознаемся въ томъ, что не понимаемъ идеи стихотворенія. Что же касается до крыльевъ подвига и до возможности взлетѣть на нихъ выше крыши темницы и выше многихъ другихъ непріятныхъ предметовъ, то намъ, испорченнымъ дѣтямъ XIX вѣка, подобныя сочетанія словъ кажутся совершенными нелѣпостями, горячо прочувствованными самимъ поэтомъ, но рѣшительно не выдерживающими самой элементарной критики.

То, чего не понимаемъ мы, по своему неразумію или по своей испорченности, то конечно могъ бы понимать Лонгиновъ; если бы его критическая статья была проникнута тѣмъ духомъ, который вѣетъ въ стихотвореніяхъ Хомякова, тогда я совершенно понялъ бы восторгъ рецензента передъ личностью и произведеніями вдохновеннаго поэта и понялъ бы вмѣстѣ съ тѣмъ, что мы съ Лонгиновымъ живемъ въ двухъ разныхъ мірахъ, что въ нашихъ взглядахъ на жизнь нѣтъ ничего общаго, и что, слѣдовательно, намъ не надо спорить между собою и нельзя ни на чемъ сойтись. Но дѣло въ томъ, что г. Лонгиновъ вовсе не восторгается тѣми идеями и образами, которыми наполнены стихотворенія Хомякова; онъ голословно восхищается стихотвореніемъ, голословно называетъ его превосходнымъ, голословно говоритъ, что «поэтическое наслѣдіе Хомякова не велико по количеству, но состоитъ изъ чистаго золота», и голословно повторяетъ отзывъ одного цѣнителя, что Хомяковъ «не написалъ ни одного празднаго стиха». Изъ всего этого голословія читатель статьи Лонгинова никакъ не будетъ въ состояніи понять красоту хомяковской поэзіи и тѣхъ точекъ соприкосновенія, которыя существуютъ между поэтомъ и критикомъ. Гдѣ же сужденіе Лонгинова о разбираемыхъ имъ произведеніяхъ, гдѣ личныя убѣжденія критика? Неужели ихъ надо искать въ эпитетахъ, вроде «ярко», «превосходно», «глубоко», «высоко» и въ риторическихъ фигурахъ вроде «чистаго золота поэтическаго наслѣдія» или «строгія черты его цѣломудренной музы?» Но вѣдь эти эпитеты надо же чѣмъ нибудь мотивировать, эти риторическія фигуры надо чѣмъ нибудь оправдать. Вѣдь не изъ однихъ же словъ и бібліографическихъ свѣдѣній должна состоять критиче-



ская статья? Надо же, что бы въ ней была хоть какая нибудь мысль. Знать, что такая-то книга была издана первымъ изданіемъ въ такомъ то году, и что такое-то стихотвореніе было помѣщено въ такой-то книжкѣ такого-то журнала— не значить еще быть критикомъ. Въ противномъ случаѣ большая часть библіотечарей, книгопродавцевъ и грамотныхъ букинистовъ могли бы Бѣлинскаго за поясъ заткнуть. Кажется, Лонгиновъ такъ и думаетъ, если принять въ соображеніе его статью: «Бѣлинскій и его лжеученики», статью, которой мы коснемся мимоходомъ, когда дойдемъ до разбора іюньской книжки «Р. В.».

Надѣясь, что не все наши читатели раздѣляютъ мнѣніе Лонгинова объ обязанностяхъ и достоинствахъ критика, я дамъ себѣ право обратить вниманіе тѣхъ людей, которые не согласятся съ Лонгиновымъ, на то поразительное безспіе, на ту печальную безжизненность, которыя обнаруживаются въ критикѣ «Русскаго Вѣстника». У нея есть только одинъ *mot d'ordre*: преслѣдованіе свистуновъ; когда она заговоритъ о свистунахъ, тогда она сколько нибудь оживляется, начинаетъ браниться, смѣяться принужденнымъ смѣхомъ, вздыхать о горькой участи русской литературы. Все эти различные оттѣнки негодованія остаются намъ довольно непонятными въ своей исходной точкѣ, въ побудительной причинѣ; все эти проявленія возмущеннаго нравственнаго чувства похожи скорѣе на лирическія изліянія, чѣмъ на солидныя выраженія продуманныхъ убѣжденій; но по крайней мѣрѣ въ этихъ выходкахъ есть жизнь; въ нихъ авторы статей выражаютъ свои собственные чувства и не стараются поднять себя на высоту невозможной и неестественной объективности, которая, какъ двѣ капли воды, похожа на отсутствіе собственного убѣжденія, на добровольное или вынужденное критическое молчалинство. Тамъ, гдѣ рѣчь идетъ не о свистунахъ, тамъ критическія статьи «Русскаго Вѣстника» состоятъ изъ выписокъ, изъ варіацій на эти выписки, изъ біографическихъ или біографическихъ указаній и изъ фразъ болѣе или менѣе лестныхъ для автора разбираемой книги. Часто въ его рецензіяхъ видно много эрудиціи, часто онѣ представляютъ очень тщательный разборъ очень мелкихъ фактовъ, но при этомъ общая идея автора всегда ускользаетъ отъ рецензента и никогда не наводитъ его на критическія размышленія. Мысль расплывается въ безцвѣтныхъ фразахъ или задыхается подъ грудой мелкихъ фактовъ.

## VI.

Относясь мягко и почти любовно ко всему, что не имѣетъ связи съ задорной журналистикой, и въ тоже время не рѣшаясь слишкомъ громко расхваливать то, что не представляетъ никакихъ особенныхъ достоинствъ, «Русскій Вѣстникъ» держится дипломатической осторожности,

хвалить такъ, что его похвалы можно принять за выраженія свѣтской вѣжливости или условнаго почтенія. Похвалы эти голословны, какъ то официальны; въ нихъ не видно дѣйствительнаго сочувствія; но, не смотря на эту дипломатическую осторожность, у «Р. В.» прорываются порою довольно странныя признанія и сужденія.

Съ этой точки зрѣнія стоитъ привести въ примѣръ статью г. Н. о «Солдатской Бесѣдѣ» Погоесскаго. Погоесскій, какъ авторъ «Дѣдушки Назарыча», «Господина Колодника» и разныхъ другихъ рассказовъ, взятыхъ изъ солдатскаго быта и переданныхъ солдатскимъ языкомъ, извѣстенъ своей замашкой идеализировать изображаемую среду, и въ особенности тѣ личности, которыя являются въ его рассказахъ на первомъ планѣ. Какъ человѣкъ умный и не лишенный современнаго литературнаго образованія, Погоесскій идеализируетъ довольно искусно и правдоподобно. Онъ не представляетъ своихъ героев сказочными богатырями, не заставляетъ ихъ стучать себя въ грудь и плакать на взрыдъ при словѣ «матушка Русь православная», не наваливаетъ имъ на плечи невѣроятныхъ подвиговъ героизма и самоотверженія, и вообще не выходитъ, при построеніи своихъ характеровъ и положеній, изъ масштабовъ сѣренькой дѣйствительности. «Его Назарычи, Савельичи, Кудики да Калинины, говоритъ г. Н., народъ все болѣе невзрачный, тихій, нехвастливый; это все люди, которые тутъ же, обокъ насъ живутъ».

Все это почти вѣрно, а между тѣмъ это не мѣшаетъ существованію страшной идеализаціи. Все эти солдаты—люди маленькіе, но въ высшей степени добродѣтельные. «А придетъ случай—глядишь, говоритъ самъ Погоесскій, онъ (т. е. солдатъ) и встанетъ передъ тобою въ такой красотѣ душевной, такую добродѣтель окажетъ, ни передъ какимъ зломъ непреклонную, что подивившись ты невзрачному человѣку этому и за большое счастье почтешь называть его ровней, товарищемъ своимъ». Вотъ и возникаетъ вопросъ: откуда же добылъ себѣ этотъ солдатъ такую отчужденную добродѣтель? Изъ деревни ли онъ ее принесъ или въ казармахъ выработалъ? Если изъ деревни принесъ, то эта добродѣтель принадлежитъ или отчужденному лицу, или цѣлому народу, но никакъ не специальному сословію солдатъ. Если же онъ ее выработалъ въ сферѣ своей служебной жизни, тогда Погоесскому очень не мѣшало бы объяснить читателямъ, какія именно стороны этой жизни вырабатываютъ въ солдатѣ непреклонную добродѣтель и душевную красоту. Но Погоесскій, какъ художникъ, можетъ быть увлеченъ своимъ предметомъ, и вслѣдствіе этого можетъ, въ отношеніи къ этому предмету, утратить до нѣкоторой степени ту силу анализа, съ которою человѣкъ хладнокровно размышляющій приступаетъ къ обсужденію каждаго дѣла или вопроса. Можетъ быть Погоесскій видѣлъ, дѣйствительно,



такъ много примѣровъ непреклонной добродѣтели и красоты душевной, что для него понятіе солдата совершенно неразлучно съ понятіемъ человѣка, обладающаго именно такой добродѣтелью и красотой. Кромѣ того Погоскій преслѣдуетъ можетъ быть правственна-педагогическую цѣль и желаетъ представить своимъ читателямъ-солдатамъ какъ можно больше хорошихъ образцовъ, для того чтобы эти читатели, умиляясь сердцемъ, стремились подражать этимъ доблестнымъ примѣрамъ и неуклонно подвигались впередъ на пути своего духовнаго и нравственнаго совершенствованія. Если Погоскій увлекается какъ художникъ, если онъ, сочувствуя своимъ младшимъ братьямъ, видитъ ихъ отчасти въ розовомъ свѣтѣ — это дѣлаетъ величайшую честь мягкому сердцу и впечатлительнымъ первамъ издателя «Солдатской Бесѣды», хотя въ сущности не увеличиваетъ правдоподобія характеровъ, подобныхъ Назарычу, и даже не объясняетъ происхожденія этихъ характеровъ изъ наличныхъ элементовъ нашей дѣйствительности. Если Погоскій хочетъ приносить пользу нашимъ нижнимъ чинамъ представляемыми образцами, если его добродѣтельные герои — ничто иное, какъ прописи, съ которыхъ солдату должно списывать свои поступки и свою жизнь, то опять-таки нельзя не отнестись съ величайшей признательностью къ добродѣтельнымъ тенденціямъ Погоскаго, нельзя не признать его за истиннаго филантропа и нельзя не пожалѣть о томъ, что похвальная филантропія эта идетъ въ разрѣзъ съ жизненной правдой. Но аргументы, которые я привелъ для того, чтобы оправдать и объяснить увлеченіе Погоскаго своимъ предметомъ и выходящую изъ этого увлеченія идеализацію, къ сожалѣнію, никакъ не могутъ быть приведены въ пользу г. Н. — критика «Р. В.».

Дѣло критика состоитъ именно въ томъ, чтобы разсмотрѣть и разобрать отношенія художника къ изображенному предмету; критикъ долженъ разсмотрѣть этотъ предметъ очень внимательно, обдумать и разрѣшить по своему тѣ вопросы, на которые наводитъ этотъ предметъ, вопросы, которые едва затронулъ и можетъ быть даже едва замѣтилъ самъ художникъ. Художнику представляется единичный случай, яркій образъ; критику должна представляться связь между этимъ единичнымъ случаемъ и общими свойствами и чертами жизни; критикъ долженъ понять смыслъ этого случая, объяснить его причины, узаконить его существованіе, показать его *raison d'être*. Погоскій рисуетъ намъ добродѣтельныхъ солдатъ. Критикъ его произведеній можетъ соглашаться или не соглашаться съ авторомъ, признавать или отвергать дѣйствительность выводимыхъ имъ явленій; въ томъ и въ другомъ случаѣ онъ долженъ выставить на видъ тѣ соображенія, которыми онъ руководствуется, и при помощи которыхъ онъ приходитъ къ тому или

другому результату. Если онъ считаетъ Куликовъ и Назарычей дѣйствительно живыми типами, то долженъ объяснить намъ, какія именно условія русской жизни вообще или солдатскаго житія-бытія въ особенности содѣйствуютъ формированію такихъ типовъ. Если онъ считаетъ Куликовъ и Назарычей головными выдумками автора, построенными съ поучительно нравственной цѣлью, то онъ опять-таки обязанъ, подвергнувъ анализу тѣ же условія русской жизни, доказать, что при этихъ бытовыхъ условіяхъ личности подобныя добродѣтельнымъ героямъ Погоскаго существовать не могутъ. Словомъ, чтобы критическая статья не была переливаніемъ изъ пустого въ порожнее, надо, чтобы въ ней высказывался взглядъ критика на явленія жизни, отражающіяся въ литературномъ произведеніи, надо, чтобы въ ней, съ точки зрѣнія критика, обсуживался и рѣшался какой нибудь вопросъ, поставленный самою жизнью и натолкнувшій художника на созданіе разбираемаго произведенія.

Этого-то именно вы и не найдете въ статьѣ г. Н.; одобрительно-ласкательные отзывы о «Солд. Бесѣдѣ» Погоскаго, выписки изъ упоминаемыхъ повѣстей, рассказъ содержанія этихъ повѣстей — вотъ все, что вы встрѣтите въ этой *soi-disant* критической статьѣ. Мы изъ этой статьи имѣемъ право вывести одно заключеніе, что авторъ ея раздѣляетъ сладкія воззрѣнія Погоскаго и вмѣстѣ съ нимъ готовъ восхищаться той сферой, въ которой живутъ и дѣйствуютъ наши крестьяне и солдаты. Я не намѣренъ спорить ни съ Погоскимъ, ни съ г. Н. тѣмъ болѣе, что послѣдній не высказываетъ рѣшительно своихъ мнѣній, а только принимаетъ съ полной вѣрой всѣ слова и рассказы «Солд. Бесѣды». Я спорить не намѣренъ, потому что нахожу это въ высшей степени неудобнымъ и бесполезнымъ; я ограничиваюсь только тѣмъ, что указываю на крайніе выводы, къ которымъ приводитъ сладкій оптимизмъ «Русскаго Вѣстника». Затѣмъ иду дальше, къ критическимъ диковинкамъ слѣдующихъ книжекъ.

## VII.

Въ раздумьѣ останавливаюсь я передъ апрѣльской книжкой; въ ней критическій отдѣлъ начинается выпиской изъ сочиненія Юркевича («Изъ науки о человѣческомъ духѣ»). Возникаетъ вопросъ: говорить или не говорить объ этой статьѣ. Есть много аргументовъ за и противъ; но, мнѣ кажется, будетъ основательнѣе пройти эту статью молчаніемъ, напомнивъ предварительно читателямъ, что она направлена противъ статьи Чернышевскаго объ антропологическомъ принципѣ и заимствована «Русскимъ Вѣстникомъ», какъ полемическое *casse-tête*, изъ «Трудовъ кievской духовной академіи». Рѣшаюсь я не говорить объ этой статьѣ собственно потому, что не вижу ни малѣйшей точки соприкосновенія



между мыслями Юркевича и моими собственными идеями. Процессъ мысли, исходныя точки, результаты, способъ изложенія—все это до такой степени различно, какъ будто бы мы жили въ разные времена и говорили на двухъ разныхъ языкахъ. Очень можетъ и быть, что это признаніе сдѣлано мною къ моему собственному стыду, очень можетъ быть, что жить не въ томъ мірѣ, въ какомъ живетъ Юркевичъ, значитъ прозябать, вести жизнь скотоподобную, не имѣть понятія о дѣятельности мысли; все это очень возможно, а между тѣмъ я все-таки съ полною откровенностью скажу, что не понимаю, изъ чего хлопотеть Юркевичъ, что и зачѣмъ онъ доказываетъ, какая польза и какая надобность въ тѣхъ невыносимо-скучныхъ діалектическихъ тонкостяхъ, которыми наполнена его обширная статья.

Согласитесь, господа читатели, что, если я не понимаю ни цѣли, ни сущности, ни пользы статьи Юркевича, то я никакъ не могу стать къ ней въ какія бы то ни было критическія отношенія. Для меня статья Юркевича написана на неизвѣстномъ языкѣ и притомъ на такомъ языкѣ, которому я не хочу учиться, потому что очень хорошо знаю, что этотъ языкъ, сухой и безплодный, ничѣмъ не вознаградитъ меня за тѣ усилія, которыя я употреблю на его усвоеніе. Если Юркевичъ не умѣетъ говорить ясно и просто о простыхъ и ясныхъ предметахъ, если надо пройти цѣлый предварительный курсъ кабалистики для того, чтобы слышать его ученіе о природѣ, о человѣкѣ, о духѣ и разумѣ, то я полагаю, что большинство людей предпочтутъ остаться профанами. Вокругъ насъ кипитъ живая жизнь; что ни шагъ, то предметъ для размышленія, и притомъ такой предметъ, который непременно надо обсудить, чтобы имѣть возможность идти дальше; тутъ сама жизнь задаетъ вопросы и шевелитъ мысль; успѣвай только обдумывать и рѣшать; успѣвай только пробиваться и разрушать дѣйствительныя препятствія; а тутъ намъ предлагаютъ углубиться въ самихъ себя, заняться діалектическими выкладками, воскресить покойный гегелизмъ и зарыться по уши въ какую-нибудь отвлеченную систему, которая не успѣла даже выработать себѣ яснаго языка.

Мы съ удовольствіемъ готовы пользоваться философскою діалектикой, какъ орудіемъ борьбы, какъ средствомъ разрушать предрассудки, но когда такая діалектика уходитъ въ область словъ, когда она, теряя изъ виду дѣйствительность, забывая условія мѣста и времени, начинаетъ расплываться въ общихъ разсужденіяхъ, не приводящихъ и не могущихъ привести ни къ какому осязательно-практическому, жизненному результату, тогда мы отвертываемся отъ этой діалектики и находимъ, что заниматься ею скучно, а спорить съ тѣмъ, кто ею занимается, бесполезно.

Какъ бы замысловаты ни были тѣ приемы, которыми Юркевичъ уличаетъ Чернышевскаго

въ непослѣдовательности, въ нелогичности, въ неумѣннѣ мыслить, въ противорѣчіяхъ съ самимъ собою, какъ бы остроумны и глубокомысленны ни были тѣ доводы, которыми кіевскій мыслитель громитъ петербургскаго журналиста, все-таки статья кіевскаго мыслителя прочтется очень немногими любителями и даже на этихъ любителей не произведетъ сильного впечатлѣнія, потому что она споритъ изъ-за словъ и останавливается на мелочахъ. Что же касается до статьи петербургскаго журналиста, то ее прочло большинство читающей публики; идеи его вызвали дѣятельность мысли, критика ума усилена и напряжена этимъ притокомъ новаго матеріала, слѣдовательно дѣло сдѣлано, а тамъ пускай кропотливые труженики, не умѣющіе окинуть однимъ взглядомъ цѣлое направленіе мысли, возражаютъ противъ отдѣльныхъ подробностей, спорятъ противъ частныхъ недосмотровъ и превращаютъ живую идею въ діалектическое толченіе воды; этимъ они нисколько не остановятъ дѣйствительнаго развитія идей въ обществѣ; этимъ они покажутъ только свое собственное безсиліе, противъ котораго конечно людямъ дѣла и живой мысли не стоитъ предпринимать крестовый походъ; достаточно указать на это безсиліе, какъ на существующій фактъ и пройти мимо къ другимъ предметамъ, также заслуживающимъ вниманія.

Полнаго вниманія заслуживаетъ статья Лонгинова о князѣ П. А. Вяземскомъ. Эта статья вызвана отзывами разныхъ петербургскихъ журналовъ и газетъ о юбилеѣ пятидесятилѣтней литературной дѣятельности князя Вяземскаго, праздновавшемся 2 марта 1861 года. Въ свое время было много говорено объ этомъ юбилеѣ, гораздо больше, чѣмъ стоило говорить о такомъ предметѣ, и потому я конечно въ этой статьѣ не буду поднимать этихъ улегшихся толковъ. Вообще я совершенно воздержусь отъ сужденій о литературныхъ заслугахъ Вяземскаго и буду имѣть дѣло только съ Лонгиновымъ, который, увлекаясь жаромъ антикварія и панегириста, высказываетъ много любопытныхъ идей и эстетическихъ взглядовъ. Исходная точка у Лонгинова та же, что и у Грота; онъ сурово упрекаетъ нашихъ литераторовъ или, какъ онъ говоритъ съ отѣнкомъ укоризны, нашихъ фельетонистовъ въ томъ, что они не знаютъ исторіи нашей словесности и потому не чувствуютъ къ своимъ предшественникамъ на литературномъ поприщѣ того уваженія и той признательности, которую слѣдуетъ воздавать имъ по заслугамъ. Онъ указываетъ этимъ фельетонистамъ на гражданскія и человѣческія добродѣтели нашихъ писателей прежняго времени и указываетъ на нѣкоторые изъ нихъ, какъ на образцы, достойные подражанія. «Карамзинъ, говоритъ онъ, на котораго смѣютъ нападать разные борзописцы за то, что онъ не думалъ и не писалъ въ ихъ духѣ,



Карамзинъ былъ одаренъ гражданской честностью и гражданскимъ мужествомъ, какихъ дай Богъ побольше на Руси. Онъ отказывался отъ должности министра, перомъ Тацита писалъ приговоръ Іоанну, не угождалъ ни одному временщику, подавалъ государю записки о разныхъ государственныхъ дѣлахъ первой важности, не взирая на то, что мысли его противорѣчили взглядамъ Александра. Благородство Жуковского вошло въ поговорку. Шишковъ ошибался, но былъ честнѣйшій изъ людей, твердый въ правилахъ и неспособный согнуться ни передъ чѣмъ, словомъ — достойный другъ Мордвинова. Справьтесь, какая память живетъ въ министерствѣ юстиціи о Дмитріевѣ и теперь, черезъ сорокъ пять лѣтъ послѣ его отставки?»

Увлекаясь апологическимъ жаромъ, Лонгиновъ не замѣчаетъ того, какъ странно онъ защищаетъ своихъ кліентовъ. Карамзинъ не былъ льстецомъ, Жуковский — неблагороднымъ человѣкомъ, Шишковъ — безчестнымъ человѣкомъ, Дмитріевъ — суровымъ чиповникомъ; слушая воодушевленные рѣчи Лонгинова на эту тему, можно себѣ вообразить, будто наша текущая литература завалена обличеніями и обвиненіями, направленными противъ прежнихъ дѣятелей съ цѣлью очернить навсегда ихъ имена и смѣшать съ грязью ихъ память. Еслибы большинство пишущихъ людей было занято изобрѣтеніемъ разныхъ клеветъ противъ Карамзина, Жуковского, Шишкова и Дмитріева, то тогда только можно было бы объяснить себѣ происхожденіе апологіи Лонгинова. Но теперь къ чему она? Кто клеветаетъ на этихъ покойныхъ литераторовъ? Кто говоритъ объ нихъ? Мы объ нихъ и думать забыли, у насъ порвалась всякая связь съ этими людьми; у нихъ были свои интересы, свои воззрѣнія; они отжили; теперь мы живемъ, и у насъ свои интересы, свои воззрѣнія, не имѣющія ничего общаго съ прежними; когда намъ случается заглянуть въ томъ ихъ сочиненій, мы остаемся холодны къ тому, что ихъ интересовало и подѣлало, недовольно, добродушно улыбаемся ихъ восторженнымъ тирадамъ. Даже приговоръ Іоанну, написанный перомъ русскаго Тацита, Карамзина, не вызываетъ въ насъ особеннаго сочувствія, между тѣмъ какъ строки настоящаго, римскаго Тацита, написанныя слишкомъ за полторы тысячи лѣтъ тому назадъ, до сихъ поръ шевелятъ наши нервы. Что же дѣлать? Надо съ этимъ согласиться: Карамзинъ, Жуковский, Дмитріевъ и др. отжили для насъ и отжили такъ полно, такъ безнадежно, какъ вѣроятно никогда не отживутъ люди съ дѣйствительнымъ, сильнымъ талантомъ, люди, подобные Шекспиру, Байрону, Сервантесу, Пушкину. Шекспира мы до сихъ поръ читаемъ съ наслажденіемъ, а Жуковского врядъ ли кто нибудь возьметъ въ руки иначе, какъ съ ученой или библиографической цѣлью. А на это Лонгиновъ горячо возражаетъ, что Жу-

ковский, Карамзинъ и Шишковъ — честнѣйшіе люди. Ну что жъ изъ этого, отвѣтимъ мы. Мы ихъ и не бранимъ безчестными, а думаемъ только, что честность въ писателѣ — достоинство отрицательное. За отсутствіе этого достоинства — клеймятъ презрѣніемъ, а за присутствіе его еще не вѣчаютъ лавровыми вѣнками. Что Карамзинъ, Жуковский и Шишковъ были честными людьми — это при нихъ и остается. Изъ этого никакъ нельзя вывести заключенія, чтобы слѣдовало превратить текущую литературу въ поминальные списки. Мало ли въ Россіи со временъ Рюрика или Гостомысла было честнѣйшихъ людей. Неужели же ихъ всѣхъ литература должна помнить и беречь только за то, что они были честнѣйшіе. Если у нашей эпохи нѣтъ такихъ интересовъ, которые раздѣляли бы съ нами Карамзинъ и Жуковский, то въ чемъ же мы можемъ имъ сочувствовать, зачѣмъ мы будемъ къ нимъ обращаться? Отчего мы не можемъ и не должны говорить, что прошедшее нашей литературы для насъ не существуетъ, что мы отдѣлены отъ него цѣлою пропастью, чрезъ которую нельзя и не слѣдуетъ перешагнуть? Почему, на какомъ основаніи мы будемъ помнить и уважать прошедшее нашей литературы? Потому ли, что оно прошедшее и что глубокомысленная латинская поговорка велитъ говорить *de mortuis aut bene, aut nihil*, или потому, что оно наше, родное, русское? Не знаю право, который изъ доводовъ лучше и сильнѣе. Что касается до Лонгинова, то онъ кажется охотнѣе приметъ первый аргументъ, потому что уваженіе къ прошедшему, по его мнѣнію, должно быть принадлежностью образованнаго литератора и развитого человѣка. «Расинъ не Мюссе, Шиллеръ не Гейне, говоритъ Лонгиновъ, а попробуйте умному французу или нѣмцу поговорить съ презрѣніемъ о Расинѣ или Шиллерѣ; онъ вѣроятно даже не почтетъ за нужное продолжать съ вами разговоръ». Умный французъ или нѣмецъ, не дающій въ обиду своихъ стариковъ, приведенъ здѣсь собственно для того, чтобы показать нашимъ «борзописцамъ и фельетонистамъ» всю позорную опрометчивость ихъ поведенія; желая дать этимъ господамъ хорошій, полный урокъ, Лонгиновъ говоритъ множество несообразностей; онъ ставитъ на одну доску Шиллера и Расина и находитъ, что умный французъ, защищающій Расина, и умный нѣмецъ, защищающій Шиллера, будутъ одинаково правы въ своихъ сужденіяхъ.

Въ глазахъ Лонгинова оба правы, потому что оба защищаютъ прошедшее; тутъ можно только скромно замѣтить, что вѣдь прошедшее прошедшему рознь. Отстаивать Шиллера, какъ художника и человѣка, какъ вдохновеннаго защитника лучшихъ правъ и лучшихъ инстинктовъ человѣческой природы, отстаивать Шиллера, какъ честнаго бойца своего времени, гениальнаго мыслителя и поэта — позволительно каждому по-



рядочному человѣку, будь онъ нѣмецъ или французъ, русскій или татаринъ. Но отстаивать Расина, въ сочиненіяхъ котораго мы не встрѣчаемъ ничего, кромѣ лжи и ходульности, отстаивать вмѣстѣ съ нимъ все направленіе литературы въ вѣкъ Людовика XIV, это такой подвигъ, на который можетъ рѣшиться развѣ только французскій академикъ, и за который похвалить можетъ только критикъ «Р. В.».

Сочувствіе Лонгинова къ прошедшему доходить до того, что онъ съ непритворнымъ уваженіемъ отзывается о французской академіи, какъ о хранилищѣ спасительныхъ преданій. То, что говоритъ Лонгиновъ объ академіи, такъ неподражаемо хорошо, что я не могу отказать себѣ въ удовольствіи выписать нѣсколько его подлинныхъ строкъ. «Она, говоритъ онъ, исчисляя заслуги академіи, напечатала нѣсколько изданій словаря, сообразуясь съ успѣхами языка, была постоянно органомъ здоровой критики, а главное трудами и засѣданіями своими распространяла въ публикѣ тотъ эстетическій вкусъ, развивала въ ней то уваженіе къ достоинствамъ безсмертныхъ твореній великихъ писателей, благодаря чему во Франціи не можетъ первый встрѣчный заставить вѣрить публику всему, что придетъ ему въ голову говорить объ этихъ писателяхъ».

Не знаю, на какихъ это наивныхъ и несвѣдущихъ читателей рассчитываетъ Лонгиновъ; кто же это ему повѣритъ, что французская публика отличается развитымъ эстетическимъ вкусомъ и что она обязана академіи эстетическими понятіями. Чтожъ, это академія что-ли рекомендовала ей романы Дюма, Феваля, графини Дашъ, Ксавье де-Монтенена и другихъ неистощимыхъ рассказчиковъ? И что же, это пристрастіе къ подобнымъ романамъ—признакъ развитого вкуса? Или можетъ-быть Лонгиновъ не признаетъ даже публикою тѣхъ людей, которые запоемъ читаютъ Феваля и Дюма? Отъ него это станется, потому что онъ кажется дѣлаетъ различіе между обществомъ и толпою. Общество онъ уважаетъ, но толпу, *profallum vulgus*, необразованную массу онъ поражаетъ самымъ убійственнымъ презрѣніемъ, причисляя къ этой безобразной толпѣ и преступныхъ фельетонистовъ, и тѣхъ легкомысленныхъ людей, которые читаютъ эти фельетоны, не краснѣя отъ стыда и не блѣднѣя отъ добродѣтельнаго негодованія.

«Общество французское, продолжаетъ Лонгиновъ, на столько образовано, что считаетъ существованіе такого учрежденія не только совместнымъ съ движеніемъ литературы и своимъ собственнымъ, но совершенно необходимымъ, какъ убѣжище для истиннаго вкуса, для независимаго голоса людей знающихъ и почтенныхъ, для охраненія вѣчныхъ законовъ прекраснаго отъ посягательствъ легкомыслія и невѣжества. Поэтому академія руководствуется при выборѣ своихъ членовъ не только степенью таланта, а еще ме-

нѣе популярностью того или другого автора, но считаетъ условіемъ для того классическое образованіе писателя, свойство его ученыхъ пріемовъ, мастерство его владѣть языкомъ, его вкусъ и критическій даръ. Она приметъ въ члены скромнаго, малоизвѣстнаго толпѣ поэта Лапрада, и едва ли скоро допустить въ свою среду напр. блестящаго, «популярнаго», бойкаго Теофиля Готье».

Знаете ли что, господа читатели, — вглядываясь въ чужую добродѣтель, мы всего глубже и живѣе можемъ почувствовать свои собственные несовершенства, мы всего скорѣе можемъ дойти до спасительнаго раскаянія и до горячаго желанія исправиться. Со вниманіемъ всматриваясь въ идеи Лонгинова, я замѣчаю, что его оптимизмъ отличается глубокой, непочтой искренностью, и съ истиннымъ огорченіемъ обличаю самого себя въ мрачномъ и недостойномъ недовѣріи ко всему истинному и прекрасному. Посмотрите, какъ тепло вѣрить Лонгиновъ и въ образованность французскаго общества, и въ необходимость французской академіи, и въ независимость голоса тѣхъ знающихъ и почтенныхъ людей, которые удостоились сдѣлаться ея членами, и въ вѣчность тѣхъ законовъ прекраснаго, которые, несмотря на свою вѣчность, должны быть охраняемы отъ посягательствъ легкомыслія и невѣжества. Лонгиновъ такъ твердо вѣритъ въ существованіе добра и во всемѣстное его проявленіе, что онъ души сочувствуетъ всѣмъ академическимъ выборамъ, которые конечно представляются ему независимымъ голосомъ людей знающихъ и почтенныхъ. Его несказанно радуется то обстоятельство, что академія не обращаетъ вниманія на мнѣніе толпы, и, бракуя «популярнаго» (замѣйте ковычки) Теофиля Готье, принимаетъ въ члены скромнаго поэта Лапрада, вѣроятно за примѣрное благонравіе и за похвальную скромность.

Да, вотъ какъ добропорядочные люди смотрятъ на вещи; мнѣ становится стыдно за себя и за свои идеи, но я преодолеваю этотъ естественный стыдъ и публичнымъ покаяніемъ стараюсь до нѣкоторой степени смыть съ себя пятно моихъ неприличныхъ воззрѣній. Каюсь передъ читателями, вотъ въ какихъ странныхъ образахъ представлялись мнѣ тѣ факты, которые обличъ Лонгиновъ такимъ яркимъ потокомъ свѣтло-розоваго свѣта. Я думалъ, что французская академія, основанная по капризу всемогущаго министра, кардинала Ришелье, никогда не была живой потребностью для французскаго общества, а жила себѣ по силѣ инерціи, какъ правительственное учрежденіе, созданное эдиктомъ и не отмѣненное никакимъ другимъ, послѣдующимъ распоряженіемъ. Я думалъ, что существованіе французской академіи не имѣетъ ничего общаго съ движеніемъ литературы, и что французское общество не потеряло бы ровно ничего, еслибы словаря академіи вовсе не существовало; я думалъ, что истинный вкусъ не нуждается въ убѣжищѣ, и что го-



лосъ каждого человѣка—знающаго или не знающаго, почтеннаго или непочтеннаго, можетъ быть гораздо чище и самостоятельнѣе, когда этотъ человѣкъ говоритъ только отъ своего собственнаго лица, чѣмъ тогда, когда онъ ораторствуетъ на академическихъ креслахъ, какъ членъ и представитель почтенной и ученой корпораціи. Мнѣ казалось, что французская академія не охраняетъ вѣчныхъ законовъ прекраснаго по той простой причинѣ, что такихъ мудреныхъ законовъ не существуетъ, и что, думая хранить вѣчные законы, почтенное собраніе бережетъ залежавшіяся академическія преданія, окоченѣвшія отъ времени и превратившіяся въ сухую, мертвую рутину; при выборѣ своихъ членовъ академія руководствуется не степенью таланта автора, не популярностью его, а классическимъ образованіемъ писателя, свойствомъ его ученыхъ пріемовъ, мастерствомъ его владѣть языкомъ, его вкусомъ и критическимъ даромъ. Я бы отъ души желалъ повѣрить на слово Лонгинову и принять сообщаемыя имъ свѣдѣнія за святую истину, но рѣшительно не могу сдѣлать этого, потому что въ самыхъ словахъ критика заключается неразрѣшимое противорѣчіе: академія, изволите видѣть, не обращаетъ вниманія на степень таланта и между тѣмъ требуетъ мастерства владѣть языкомъ, вкуса и критическаго дара. Что же такое критическій даръ, если онъ не признается талантомъ и даже противуполагается таланту? И мастерство владѣть языкомъ, и вкусъ—это тоже не талантъ. Да что же такое талантъ? Поневолѣ приходится обращаться къ переборкѣ словъ, когда люди начинаютъ употреблять слова, не отдавая себѣ отчета въ ихъ значеніи.

Чтобы понять Лонгинова, надо обратиться къ тѣмъ примѣрамъ, которыми онъ поясняетъ свою замысловатую идею, весьма похожую на пустую фразу. «Викторъ Гюго, говоритъ онъ, въ апогеѣ своей славы не могъ сдѣлаться академикомъ до самаго 1841 года, потому что, несмотря на свое блестящее дарованіе, грѣшилъ часто противъ чистоты языка и здраваго вкуса, которые такъ уважаемы въ учрежденіи, гдѣ засѣдали тонкіе судьи ихъ, этому качеству преимущественно обязанные общимъ почетомъ, ихъ окружившимъ: Авдіе, Фелець, Нодье, Сальванди, и пр.» А, да, теперь дѣло начинаетъ разясняться. Академія требуетъ правильности (Correctheit), и въ этомъ отношеніи платитъ дань общей слабости всѣхъ академій. Одна академія требуетъ правильности рисунка, другая — правильности музыкальнаго выполненія, третья—правильности поэтическаго вымысла. Ставя подобныя требованія, каждая академія стѣсняетъ свободный полетъ мысли и втискиваетъ въ свои условныя узкія рамки творческую дѣятельность художника. По академическимъ понятіямъ, трудолюбивая посредственность, умѣющая усвоить себѣ преданія школы, и не чувствующая въ себѣ ни малѣйшей по-

требности выдти изъ рубрикъ официально предписанной программы, всегда будетъ поставлена выше независимаго таланта, разбивающаго всякія условныя ограниченія и не повинующагося въ своемъ творчествѣ никому и ничему, кромѣ собственнаго внутренняго побужденія. Поэтому академія почти всегда расходится въ своихъ приговорахъ съ неразвитою толпою; неразвитой толпѣ нравится самородная сила, оригинальная смѣлость, творческая самобытность, а академія требуетъ выдержанности, дрессировки, примѣненія къ извѣстному, условному образцу; толпа величаетъ и любитъ своихъ поэтовъ, не обращая вниманія на академическія приговоры, а почтенныя собранія, живя своею замкнутой, тепличной жизнью, знать не хотятъ о томъ, что дѣлается за стѣнами ихъ залъ и кабинетовъ, и улыбкой презрѣнія встрѣчаютъ всѣ проявленія мысли и чувства, прорывающіяся помимо ихъ приговоровъ и находящія себѣ сочувствіе въ неразвитой толпѣ. Лонгиновъ—вполнѣ академикъ по своимъ воззрѣніямъ, онъ отъ души желаетъ, чтобы толпа безпрекословно слушалась приговоровъ людей знающихъ и почтенныхъ, и чтобы всѣ ея сужденія были сколками съ протоколовъ академическихъ засѣданій; рутину школы онъ называетъ вѣчными законами прекраснаго; приговоры, произносимые съ точки зрѣнія этой рутины, называются независимымъ голосомъ, и все остальное обозначается именами, заимствованными изъ того же круга идей и понятій.

Въ элегическомъ изліяніи Лонгиновъ представляетъ своимъ читателямъ тѣ благодѣтельныя слѣдствія, которыя могло бы имѣть для нашего просвѣщенія существованіе ученаго собранія, подобнаго французской академіи. «При безпрерывномъ измѣненіи вкуса и переворотахъ въ языкѣ, говоритъ Лонгиновъ, у насъ была бы полезнѣе, чѣмъ гдѣ либо, корпорація независимая, съ авторитетомъ въ дѣлѣ словесности. Она нисколько не стѣсняла бы доброй воли всякаго писать какъ ему угодно (неправда ли, какъ это милостиво и великодушно!). Но она была бы хранилищемъ, гдѣ всякій могъ бы почерпнуть свѣдѣнія дѣльныя; центромъ, гдѣ публика знакомилась бы съ научными и литературными пріемами, узнавала бы серьезно исторію языка и словесности (очевидно, академія такого фасона была бы, по мечтамъ Лонгинова, чѣмъ-то среднимъ между присутственнымъ мѣстомъ, адреснымъ столомъ и учебнымъ заведеніемъ). Наконецъ, она была бы мѣстомъ соединенія, гдѣ сходились бы писатели разныхъ партій, которые теперь сидятъ по большей части безвыходно въ своихъ кружкахъ, въ ущербъ публикѣ, литературѣ и самимъ себѣ, потому что они ничего не видятъ, кромѣ своихъ же дѣйствій, ничего не слышатъ, кромѣ своихъ же рѣчей, повторяемыхъ близкими ихъ, да разныхъ литературныхъ сплетенъ. (Благодушно отворяя двери этой желанной академіи



для писателей разных партій. Лонгиновъ очевидно не предвидитъ того обстоятельства, что могутъ пайтись и такіе писатели, которые и заглянуть не пожелаютъ въ такое спасительное учрежденіе. Впрочемъ такихъ господъ Лонгиновъ не признаетъ писателями, почти также какъ читателей ихъ онъ не признаетъ публичкой; это, по его мнѣнію, фельетонисты, башибузуки, зелье и язва нашей литературы, отравляющіе здравый вкусъ публики и мѣшающіе развитію солидныхъ и серьезныхъ понятій. Вспомнивъ объ этихъ печестивыхъ фельетонистахъ, Лонгиновъ, какъ молочница въ баснѣ Лафонтена, видитъ, что надежды и радужныя мечты его разлетаются въ прахъ). «Но, говорить онъ съ умиливательной грустью, можно ли думать о томъ, когда фельетонисты завладѣваютъ вниманіемъ читателей, уничтожаютъ все, что было до нихъ, и провозглашаютъ, что они знаютъ не хотятъ общества, т. е. соединенія болѣе или менѣе образованныхъ людей, а ищутъ популярности между своею братіей и въ массахъ».

Грусть и негодованіе Лонгинова мнѣ понятны, хотя конечно я, какъ фельетонистъ, не могу имъ сочувствовать. Кабинетная начитанность всегда претендуетъ на авторитетъ, всегда считаетъ себя головою выше толпы и всегда приходитъ въ самое наивное негодованіе, когда эта толпа идетъ себѣ своею дорогою, не обращая никакого вниманія на совѣты, предостереженія и приговоры ученаго собранія или отдѣльнаго ученаго лица. Въ этомъ отношеніи люди кабинетовъ, архивовъ и библиотекъ очень похожи на тѣхъ деревенскихъ книжниковъ, которымъ, при невѣроятныхъ трудахъ и усиліяхъ, удалось одолѣть дюжины полторы старыхъ книгъ. Питая полное уваженіе къ трудолюбію и къ любознательности этихъ деревенскихъ начетчиковъ, нельзя не замѣтить, что напряженіе мозга надъ отдѣльными словами книгъ и часто безуспѣшныя старанія связать между собою въ головѣ эти отдѣльныя слова изнуряютъ мыслительныя силы этихъ книжниковъ; они зачитываются до такой степени, что теряютъ способность практическаго пониманія, начинаютъ вставлять въ обыденный житейскій разговоръ отдѣльныя выраженія и цитаты изъ прочитанныхъ книгъ, начинаютъ говорить высокимъ слогомъ и въ то же самое время, уважая себя за свои безплодные труды и усилія, возвышаются въ своемъ собственномъ мнѣніи, становятся невыносимо самонадѣльными и начинаютъ смотрѣть свысока на «необразованныхъ мужиковъ», которые съ своей стороны смотрять на этихъ завирающихся книжниковъ съ лукавой усмѣшкой полупрезрительнаго состраданія.

Роль, которую играютъ эти книжники въ деревняхъ, можетъ-быть отчасти объясняетъ то положеніе, въ которомъ нѣкоторая часть нашихъ цеховыхъ ученыхъ находится въ отношеніи къ

массѣ грамотнаго общества. Эти ученые работаютъ много, и между тѣмъ мы не видимъ плодовъ ихъ занятій; они читаютъ и перечитываютъ рукописи и старыя книги; они выбиваются изъ силъ, наводя какую нибудь мелкую хронологическую справку, или отыскивая потерянное значеніе какого нибудь устарѣлаго слова, встрѣчающагося раза два въ лѣтописи или въ старомъ переводѣ; сухость этой работы, утомительность подобныхъ розысканій подаетъ самому труженику поводъ думать, что онъ совершаетъ великій подвигъ самоотверженія, за который ему должны быть благодарны и современники, и потомки.

Самому труженику очень скучно возиться съ старой рухлядью всякаго рода, но отъ того, что онъ скучаетъ и выбивается изъ силъ, никто не чувствуетъ для себя осязательной пользы или освѣжающаго удовольствія, и потому никто не говоритъ спасибо. А между тѣмъ труженикъ роется въ архивахъ и библиотекахъ, поглощаетъ огромныя фоліанты, отыскиваетъ библиографическія рѣдкости и диковинки, уходитъ въ тотъ мірокъ прошедшаго, котораго блѣдныя отрывки сохранились на лоскуткахъ бумаги и пергамента, и теряетъ способность понимать тѣ побудительныя причины, которыя заставляютъ живыхъ людей говорить и спорить, горячиться и придать въ негодованіе, страдать и радоваться, надѣяться и тревожиться. Бѣдному труженику, постепенно убивающему въ себѣ человѣческіе инстинкты, стремленія и порывы свѣжаго, здраваго организма, начинается казаться, что жизнь состоитъ именно въ томъ, чтобы преслѣдовать слова и буквы изъ фоліанта въ фоліантъ, что міръ истинный, широкій, великій лежитъ именно на полкахъ его библиотeki. Онъ съ досадою слышитъ за стѣнами этой библиотeki шумъ экипажей на улицѣ, крики разнощиковъ, провозглашающихъ о своихъ товарахъ, пѣсни мастеровыхъ, мурлыкающихъ за работою, словомъ, всѣ тѣ звуки, въ которыхъ сказывается присутствіе жизни. Все это кажется ему суетой, безсмыслицей, проявленіемъ людской неразвитости, и только тотъ крошечный предметъ, къ которому присосались въ эту минуту силы его ума, кажется ему дѣйствительно важнымъ, одареннымъ самобытною, сильною, разумною жизнью.

Относясь враждебно къ звукамъ дѣйствительной жизни, цеховой ученый такъ же враждебно относится къ отраженію этихъ звуковъ и интересовъ въ литературѣ. Оживленный споръ о живомъ лицѣ, о предметѣ вседневной жизни, объ идеѣ, къ которой въ интересахъ дѣйствительной жизни надо непременно отнестись такъ или иначе, кажутся заучившемуся труженику непоколебительнымъ скандаломъ, пустой тратой словъ и времени, проявленіемъ мальчишескаго задора, слѣдствіемъ смѣшнаго желанія заявить свои идеи передъ лицомъ читающей публики.

Съ тѣхъ поръ, какъ журналистика сколько



нибудь оживилась, цеховые ученые стали къ ней во враждебныя отношенія; они не понимаютъ побужденій тѣхъ людей, которые, не щадя силъ, не боясь трудностей, выражаютъ въ журналахъ свои убѣжденія и проводятъ свои тенденціи; потерявши способность жить въ атмосферѣ дѣйствительной жизни, они вмѣстѣ съ тѣмъ потеряли возможность судить объ явленіяхъ этой жизни; тѣ мнѣнія, которыя имъ случается высказывать при нечаянномъ столкновеніи съ вопросами, стоящими на очереди, отличаются такой античностью, о которой, не слыхавши подобныхъ сужденій, невозможно составить себѣ даже приблизительнаго понятія.

Винить записныхъ ученыхъ въ этой античности идей и мнѣній конечно невозможно. Если работникъ, приводящій въ движеніе какую нибудь ручную машину, постоянно работаетъ одной правой рукою, то съ теченіемъ времени мускулы этой руки разовьются въ ущербъ мускуламъ всего остального тѣла; работникъ окажется изуродованнымъ, и его уродство явится какъ естественное и неизбежное слѣдствіе его работы. Занятія труженика-спеціалиста точно также односторонни, какъ работа ремесленника, пускающаго въ ходъ одну правую руку; у труженика-спеціалиста та или другая умственная способность, напр. память или наблюдательность, изощряются до послѣднихъ предѣловъ, между тѣмъ какъ остальные мыслительныя способности глхнуть и тупѣютъ. И ремесленникъ, работающій одной правой рукою, и труженикъ-спеціалистъ, работающій именно только извѣстными частицами мозга, могутъ быть очень полезны и даже совершенно необходимы для общества, но только надобно, чтобы каждый изъ нихъ оставался на своемъ мѣстѣ. Изъ хорошаго ремесленника можетъ выйти очень плохой музыкантъ, и труженикъ-спеціалистъ, очень полезный для составленія словаря, хронологической таблицы или библіографическаго указателя, можетъ до упаду насмѣшить читающую публику, если примется толковать объ общественныхъ интересахъ или пустится въ эстетическую критику. Трудъ—дѣло почтенное; ветеранъ какого бы то ни было труда, предпринятаго и веденнаго добросовѣстно, имѣетъ право требовать себѣ подъ старость теплаго угла отъ того общества, которому онъ посвятилъ свои силы и досуги; но если этотъ ветеранъ искалѣченъ своей трудовой жизнью, и, несмотря на свою благопріобрѣтенную убогость, упорно лѣзетъ къ такой работѣ, которую онъ не можетъ выполнить какъ слѣдуетъ, тогда, при всемъ уваженіи къ труду и къ ветерану, каждый членъ общества будетъ имѣть полное, разумное право дать ему дружескій совѣтъ: «отойдите въ сторону; это дѣло вамъ не подъ силу. Сидите себѣ на покой, не мѣшайте другимъ, и если вамъ скучно, занимайтесь для развлеченія легкими штучками изъ вашей прежней работы,

съ которою вы успѣли свыкнуться в теченіи вашей жизни».

То, что я сказалъ о мнѣніяхъ записныхъ ученыхъ вообще, можетъ быть въ полномъ объемѣ примѣнено почти ко всѣмъ статьямъ критическаго отдѣла «Русскаго Вѣстника». Яркимъ представителемъ этого серьезнаго направленія критической мысли является Лонгиновъ. Этотъ трудолюбивый библіографъ, изумляющій публику обиліемъ и точностью своихъ фактическихъ свѣдѣній, касающихся исторіи нашей литературы въ XVIII и въ началѣ XIX вѣка, оказывается крайне неопытнымъ и неискуснымъ на поприщѣ журналистики. Какъ критикъ—онъ безличенъ; какъ мыслитель—онъ отличается только крайне развитой способностью благоговѣть передъ прошедшимъ и строить себѣ безчисленное множество кумировъ и авторитетовъ. Кто желаетъ составить себѣ понятіе объ эстетическомъ вкусѣ Лонгинова, того я попрошу, въ статьѣ этого писателя о князѣ Вяземскомъ, прочитатъ тѣ стихотворенія, которыя критикъ находитъ очень замѣчательными. Въ этой статьѣ приведено девять большихъ пьесъ, одна другой скучнѣе; голый дидактизмъ, не прикрытый даже яркостью поэтическаго образа, утомляетъ вниманіе читателя, и тяжелымъ, несваримымъ комомъ ложится въ его голову, не шевеля нервовъ и не возбуждая никакого другого чувства, кромѣ непробудной, безотрадной, гнетущей скуки. Вотъ для примѣра самая коротенькая изъ этихъ пьесъ, которыя, по мнѣнію Лонгинова, упрочиваютъ за Вяземскимъ почетное мѣсто въ исторіи русской поэзіи. Выписываю ее собственно потому, что она очень коротка и потому не слишкомъ утомить моихъ читателей.

Любить. Молиться. Пѣть. Святое назначеніе  
 Души, тоскующей въ изгнаніи своемъ,  
 Святаго таинства земное выраженіе,  
 Предчувствіе и скорбь о чемъ-то неземномъ,  
 Преданіе темное о томъ, что было яснымъ,  
 И упованіе того, что будетъ вновь,  
 Души, настроенной къ созвучію съ прекраснымъ,  
 Три вѣчныя струны: молитва, пѣснь, любовь!  
 Счастливъ, кому дано познать отраду вашу,  
 Кто чашу радости и горькой скорби чашу  
 Благословлялъ всегда съ любовью и мольбой  
 И пѣсни внутренней былъ арфою живой!

Мнѣ кажется, сама Юлія Жадовская не могла бы написать стихотворенія болѣе слезливаго, сентиментальнаго, фразистаго и ничтожнаго по содержанію; мнѣ кажется даже, что у Жадовской стихотвореніе на эту тему вышло бы понятнѣе и изящнѣе по внѣшней формѣ. Что же касается до выписанной пьесы, принадлежащей перу князя Вяземскаго, то можно сказать безъ преувеличенія, что приходится дѣлать синтаксическую конструкцію, чтобы добраться до смысла, какой существуетъ въ этомъ наборѣ плаксивыхъ словъ. Замѣчу мимоходомъ, что стихотвореніе это написано въ 1840 году, послѣ смерти Пушкина,



тогда, когда русскій стихъ былъ уже почти окончательно выработанъ. Если Лонгиновъ восхищается подобными виршами, то это очевидно происходитъ оттого, что онъ къ произведеніямъ современныхъ поэтовъ приступаетъ съ тѣми же требованіями, съ какими онъ относится къ какому нибудь Сумарокову или Хераскову. Все дѣло сводится опять-таки на то, что антикварій—не критикъ, и библиографъ—не журналистъ.

### VIII.

Критическій отдѣлъ майской книжки открывается извительной полемической статьёй, стремящейся доказать, что всѣ петербургскіе журналисты, пишущіе легко, быстро и ясно, похожи на Асоченскаго и достойны быть сотрудниками его «Домашней Бесѣды». Объ убійственномъ, неразборчивомъ въ средствахъ и выраженіяхъ полемизмѣ «Русскаго Вѣстника» я уже говорилъ не разъ, и потому общая мысль и направленіе этой статьи: «Одного поля ягоды» не можетъ ни удивить меня, ни вызвать съ моей стороны неодобранія. Я не стану защищать петербургскихъ литераторовъ, не стану спорить съ «Русскимъ Вѣстникомъ» о степени сходства «Времени» или «Современника» съ «Домашней Бесѣдой», а просто вмѣстѣ съ моими читателями прогуляюсь по этой критической статьѣ и осмотрю то, что въ ней заслуживаетъ вниманія.

Поговоривъ объ исторіи, о движеніи мысли, о великихъ началахъ, управляющихъ человѣческой жизнью, авторъ статьи вдругъ изъ области высокой отвлеченности спускается на почву дѣйствительной, да еще въ добавокъ русской жизни и начинаетъ радоваться тому обстоятельству, что «у насъ съ недавнихъ поръ появилось много духовныхъ изданій съ разнообразными достоинствами» и что слѣдовательно въ нашемъ обществѣ существуетъ «потребность въ этого рода чтеній». Заявивъ свое удовольствіе передъ этимъ безъ сомнѣнія *отраднымъ* фактомъ, критикъ переходитъ къ частностямъ и начинаетъ разбирать вопросъ, нуждается ли божественная сила христіанскаго слова въ какихъ бы то ни было пособіяхъ. «Не слѣдуетъ ли, спрашиваетъ авторъ, довольствоваться однимъ размноженіемъ священныхъ текстовъ въ печати и ограничить ими одними всю духовную литературу»? Этотъ вопросъ рѣшается отрицательно, и критикъ «Русскаго Вѣстника» приходитъ къ тому убѣжденію, что должно, не ограничиваясь однимъ приведеніемъ текста, «изъяснить, истолковать его, учить и убѣждать людей и стало-быть содѣйствовать образованію въ нихъ такихъ нравственныхъ и умственныхъ настроеній, какихъ требуетъ христіанская истина». Это мнѣніе подкрѣпляется слѣдующимъ историческимъ доводомъ: «Если Христосъ избралъ нѣкоторыхъ учениковъ своихъ изъ среды людей простыхъ и неученыхъ, если эти рыбаки съ одного слова, съ одного взгля-

да Его, покинувъ мрежи, пошли за Нимъ, то кто рѣшится примѣнять къ себѣ этотъ примѣръ, полагая, что одного взгляда, одного слова его будетъ достаточно подѣйствовать на души»? Потомъ, авторъ обращаетъ вниманіе публики на то обстоятельство, что духовныя лица и духовныя корпораціи издають журналы, въ которыхъ нѣтъ духа фанатизма, «нетерпимости или недоброжелательства къ историческому ходу». «Напротивъ, продолжаетъ онъ, если въ нашей литературѣ оказывается нѣчто въ этомъ духѣ, то все такое выходитъ не изъ среды духовенства, не имѣетъ никакого отношенія къ церкви и есть плодъ досуга людей, столько же чуждыхъ ей по своему положенію, сколько и по духу».

Къ числу людей, чуждыхъ церкви по своему положенію и духу, причисляется Асоченскій, которому конечно подобный упрекъ покажется болѣе чувствительнымъ, чѣмъ всѣ нападенія прогрессистовъ. Критикъ «Русскаго Вѣстника» доказываетъ съ большимъ жаромъ и съ немалой силой краспорѣчія, что нѣтъ и не можетъ быть ни малѣйшей солидарности «между изданіями, какъ «Маякъ» или «Домашняя Бесѣда», и православной церковью или русскимъ духовенствомъ». *Совершенно справедливо* отрицая всякое соотношеніе между «Домашней Бесѣдой» и русскимъ духовенствомъ, критикъ съ замѣчательной изобрѣтательностью и гибкостью ума сближаетъ между собою воззрѣнія Асоченскаго съ политическими и философскими статьями «нашихъ прогрессистовъ». «То же циническое глумленіе надъ человѣческою свободой, восклицаетъ критикъ, то же презрѣніе къ истинѣ, то же наѣздническое обращеніе съ дѣйствительностью, та же ухорская заносчивость въ сужденіяхъ о фактахъ и лицахъ, тотъ же духъ и тотъ же смыслъ, и изъ тѣхъ же причинъ тѣ же результаты... Они совершенно сходятся въ своихъ отрицаніяхъ, а если и расходятся въ нѣкоторыхъ изъ своихъ положеній, то эти разности отрывочныя, безысленныя и темныя, ничѣмъ не отзвучивъ въ результатахъ и сами собою исчезаютъ въ дружномъ содѣйствіи родственныхъ и однозвучныхъ отрицаній. Духъ тьмы и слѣпой случай—кто будетъ взвѣшивать разницу этихъ понятій? А сходство ихъ результатовъ несомнѣнно. Возможно ли, чтобы христіанская мысль могла придти къ такому воззрѣнію на міръ? Возможно ли, чтобы мысль, искренно ищущая истины, могла успокоиться на такомъ воззрѣніи? И религіозному чувству, и мыслящему уму, и зрѣлому опыту жизни извѣстно, что міръ, въ которомъ мы живемъ, не есть міръ божественный; что во всемъ человѣческомъ есть неизбѣжное сѣмя зла, что самыя высшія степени человѣческаго превосходства не изъяты отъ злоупотребленій, и что никакая высота не спасетъ человѣка отъ паденія. Но міръ этотъ существуетъ, и христіанскій смыслъ говорить намъ, что если міръ существуетъ, то



Богъ его терпѣть, что Онъ въ какой либо мѣрѣ положилъ въ немъ свое благоволеніе, и что самое зло обращается въ орудіе къ раскрытію истины, къ осуществленію блага».

Краснорѣчіе вродѣ приведеннаго отрывка продолжается на четырехъ страницахъ; постепенно разгорая самаго себя потокомъ своего краснорѣчія, оглушая себя каскадомъ словъ и періодовъ, критикъ доходитъ до апофеоза, и какъ скандинавскій берсеркеръ, съ глазами, налившимися кровью и желчью, кидается на вѣчныхъ своихъ враговъ, на петербургскихъ фельетонистовъ, которыхъ онъ ненавидитъ безпредѣльной ненавистью соперника-журналиста. На нашу бѣдную литературу сыпятся такіа ругательства, какихъ можетъ-быть не сдумалъ бы подобрать даже разсердившійся Иванъ Никифоровичъ, такіа ругательства, какія можетъ быть полѣнился бы произнести даже мрачный Михайло Ивановичъ Собакевичъ. Журналистика равняется, по приговору «Русскаго Вѣстника», океану «пустословія, пошлостей, фальши, фразъ безъ смысла, затопляющихъ нашу литературу, литературу безъ науки, безъ всякихъ нормъ, безъ значительныхъ серьезныхъ преданій».

Рѣшительно приходится согласиться съ тѣмъ, что мы живемъ въ минуту всемірнаго потопа и можемъ покуда дышать только, благодаря уродливому устройству нашихъ легкихъ; ковчегъ, въ который конечно не пустятъ насъ, нечестивыхъ фельетонистовъ, плаваетъ по водамъ и покуда не сядилъ на мель ни на какомъ Араратѣ; изъ этого ковчега вылетаетъ, какъ невинный голубь, «Русскій Вѣстникъ» и безцѣльно, безнадежно кружится надъ мутными волнами, не представляющими его тоскливо-ищущему взору ничего отраднаго; ему некуда опуститься, не на чемъ отдохнуть, негдѣ найти масличную вѣточку; бѣдный голубокъ! Ему придется, покружившись въ пространствѣ, воротиться подъ спасительную крышу объемистаго ковчега и навсегда отказаться отъ дѣятельной роли въ грандіозной и вмѣстѣ съ тѣмъ хаотической драмѣ потопа. Впрочемъ критикъ «Русскаго Вѣстника» начинаетъ замѣчать, что онъ кружится въ пространствѣ и тоскуетъ безпредметной тоскою; что быразомъ прекратитъ это бесплодное и утомительное занятіе, онъ внезапно опускается къ океану пошлостей, пустословія и фальши, наудачу черпаетъ изъ него полную пригоршню разной дряни и подноситъ ее своимъ читателямъ, говоря имъ торжествующимъ тономъ человѣка, имѣющаго возможность доказать непреложную истину своихъ словъ: «видите, видите, что это за гадость; видите, сколько пустословія, пошлости и фальши».

Пригоршня, зачерпнутая критикомъ изъ мутнаго океана, затопляющаго нашу литературу, оказалась однимъ изъ фельетновъ Кускова, который конечно настолько же можетъ воплотить въ себя типъ русскаго журналиста, насколько онъ

можетъ воплотить въ себя типъ русскаго поэта. Было бы довольно дико, еслибы какой нибудь иностранецъ вздумалъ глумиться надъ пустотою русской поэзіи и въ подтвержденіе своихъ словъ сталъ бы приводить многочисленныя цитаты изъ поэтическихъ произведеній Кускова; такому господину можно было бы, я думаю, замѣтить, что поглумиться въ русской поэзіи есть надъ чѣмъ, но что для этого надо брать болѣе крупныхъ представителей поэзіи, такихъ людей, въ стихотвореніяхъ которыхъ дѣйствительно выражаются рельефныя, дурныя или хорошія особенности нашей поэзіи. Со стороны русскаго журналиста, подвергающаго критическому анализу явленія русской же журналистики, мы имѣемъ полное право требовать основательнаго знакомства съ дѣломъ; его приговоры должны быть произносимы надъ всей совокупностью литературныхъ явленій, и потому бросить петербургской журналистикѣ упрекъ въ хлестаковствѣ и привести въ подтвержденіе своихъ словъ цитаты изъ фельетона Кускова—это, воля ваша, пріемъ въ высшей степени недобросовѣстный; тутъ очевидно авторъ разсчитываетъ на легкомысліе нашей публики и на то обстоятельство, что эта публика покуда остается довольно равнодушной къ литературнымъ преніямъ и къ печатному слову вообще.

Дѣйствительно, при теперешней, еще не вполне нарушенной апатіи нашего общества, печатныя обвиненія всякаго рода не вызываютъ въ читающихъ людяхъ ни особеннаго сочувствія, ни энергическаго протеста; теперь можно, не опасаясь общественнаго мнѣнія, клеветать и на литературу, и на литераторовъ; голословная клевета не упадетъ на самого клеветника и не замараешь его имени только потому, что публика, не заинтересованная движеніемъ идей и столкновеніемъ мнѣній, завтра забываетъ то, что читаетъ сегодня, и часто не даетъ себѣ труда справиться ни объ имени автора или редактора, ни о степени достовѣрности печатнаго нападенія; дѣлаясь такимъ образомъ безопасной для самаго клеветника, печатная клевета въ то же время становится безвредной и для того, противъ кого она направлена. Булгаринъ и Ксенофонтъ Полевой клеветали на Пушкина, Аскоченскій клеветалъ на все, что не участвуетъ въ «Домашней Бесѣдѣ», «Русскій Вѣстникъ» клеветалъ на всю петербургскую журналистику, «Искра» оклеветала недавно Писемскаго; несмотря на всѣ эти клеветы, слѣдующія другъ за другомъ какъ частыя изверженія мелкихъ грязныхъ вулкановъ, публика продолжаетъ относиться къ оклеветаннымъ субъектамъ также кротко и ласково, какъ она отпоспалась къ нимъ до выхода въ свѣтъ клеветующихъ статей и статей. Пушкинъ остался великимъ русскимъ поэтомъ, несмотря на сильные крики булгаринской партіи; лица, не участвующія въ «Домашней Бесѣдѣ», не считаются воплощеніями антихриста, хотя Аско-



ченскій твердить это на всѣ лады; петербургская журналистика пользуется вниманіемъ публики, не смотря на то, что «Русскій Вѣстникъ» уподобилъ ее океану пустословія, пошлости и фальши. Писемскій попрежнему остается первымъ русскимъ художникомъ-реалистомъ и попрежнему будетъ пользоваться сочувствіемъ и уваженіемъ всѣхъ мыслящихъ людей Россіи, несмотря на всѣ восклицанія хроникера «Искры», напоминающаго собою москву въ извѣстной баснѣ Крылова.

Печатное слово не начинало еще быть въ нашемъ обществѣ опаснымъ орудіемъ, и потому старыя дѣти, подобные редакторамъ «Русскаго Вѣстника», шалаятъ имъ, какъ тупымъ пожомъ, не боясь обрѣзаться. Шалости ихъ иногда бываютъ чрезвычайно оригинальны. Авторъ статьи: «Одного поля ягоды» дошалился до того, что закончилъ свою статью слѣдующей загадочной выходкой, направленной опять — таки противъ Хлестаковыхъ, господствующихъ въ періодической литературѣ. «Такихъ молодцовъ, восклицаетъ онъ, дѣйствительно нельзя не побаиваться. Зарѣзать они не зарѣжутъ, но не кладите вашего четвертака плохо». Тревожное настроеніе, подѣ влияніемъ котораго критикъ «Русскаго Вѣстника» дошелъ до забвенія всякихъ литературныхъ и житейскихъ приличій, произошло вслѣдствіе чтенія фельетоновъ Кускова. Надо подивиться тому обстоятельству, что Кусковъ, писатель кроткій и безвредный до послѣдней степени, могъ возбудить противъ себя такую страшную бурю негодованія. Кусковъ, который въ безвѣстной тиши могъ бы въ продолженіи нѣлыхъ десятилѣтій писать гладкимъ языкомъ фельетоны и плачевныя стихотворенія, Кусковъ, который при концѣ своей жизни могъ бы самого себя причислить къ «явленіямъ, пропущеннымъ нашей критикой», вдругъ осыпается изъ Москвы градомъ незаслуженныхъ ругательствъ; обвиняется въ нравственной изломанности, опозоривается именемъ Тряпичкина и сравнивается наконецъ съ новой Мессалиной, «о которой рассказываютъ, что, не довольствуясь Европой, она ѣздила въ Алжирію, къ кабиламъ». Вся эта буря въ стаканѣ воды поднялась противъ Кускова за то, что онъ осмѣлился въ своемъ фельетонѣ провести слѣдующую мысль: иногда можно уголовного преступника уважать больше, чѣмъ того безукоризненнаго передъ закономъ гражданина, который произноситъ надъ нимъ приговоръ.

Заслышавъ эту еретическую мысль, «Русск. Вѣстн.» возстаетъ противъ нея во всемъ величіи добродѣтельнаго негодованія и доходитъ до такого паоеса, до котораго, какъ мнѣ казалось, можетъ доходить только очень набожная старуха. «Возмутительный душегубъ, за которымъ отказывается слѣдить всякое человѣческое чувство, всякій человѣческій смыслъ, этотъ звѣрь, который бросается на свою жертву съ тѣмъ, чтобы удовлетворить минутную прихоть, даже хуже

чѣмъ звѣрь, потому что у звѣря покрайней мѣрѣ нѣтъ прихотей—это чудовище является, въ глазахъ Тряпичкина, могучимъ человѣческимъ образомъ, обаятельнымъ и чарующимъ, подавляющимъ мелкія душонки, которые прячутся *подъ грудю правилъ, пестрящихъ прописи и азбуки*». Увлекаясь негодованіемъ, критикъ «Русскаго Вѣстника» не замѣчаетъ того, что вопросъ о преступникѣ ставится очень просто; тутъ является слѣдующая дилемма: или онъ одаренъ кровожадными инстинктами, или онъ развращенъ воспитаніемъ, влияніемъ, совѣтами и примѣромъ окружающаго общества или круга людей. Въ первомъ случаѣ онъ — больной, котораго надо только сдѣлать безвреднымъ, во второмъ случаѣ онъ самъ — несчастная жертва, о которой можно пожалѣть, онъ самъ — герой страшной трагедіи, погибающей подъ гнетомъ враждебныхъ обстоятельствъ. Наполеонъ I, желая потѣшить одну барыню, за которою онъ ухаживалъ, приказалъ сдѣлать на непріятельскій лагерь безполезное нападеніе, которое стоило жизни нѣсколькимъ солдатамъ; мы читаемъ этотъ фактъ въ его исторіи и замѣчаемъ очень кротко, что Наполеонъ въ молодости былъ не прочь подурачиться и пошалить; въ то же самое время мы читаемъ въ газетахъ, что какой нибудь мужиченка съ голоду зарѣзалъ купца и очистилъ его кошелекъ, и мы возмущаемся, мы находимъ, что наказаніе плетью и ссылка въ рудники едва покрываютъ его вину. Воронешекъ бьютъ за тѣ самыя поступки, которые сходятъ съ рукъ ворами.

## IX.

Скучно и утомительно слѣдить за критическимъ отдѣломъ «Русскаго Вѣстника»; не на чемъ остановиться; нѣтъ свѣжей идеи, которой можно было бы выразить свое сочувствіе; нѣтъ живого слова, которое могло бы хоть сколько нибудь шевельнуть мозговые нервы. Пять книжекъ (отъ января до мая) просмотрѣно, почти пятьдесятъ страницъ написано по поводу ихъ стало быть, можно считать дѣло порѣшеннымъ. Если продолжать подробный разборъ отдѣльных критическихъ статей, то это будетъ только накопленіе мелкихъ фактовъ, способныхъ наконецъ утомить вниманіе самаго терпѣливаго и благоклоннаго читателя. Если выводить общее заключеніе изъ всего, что было сказано мною о критическомъ отдѣлѣ «Русскаго Вѣстника», то это будетъ сокращенное, сухое, безполезное повтореніе всего того, что уже успѣли просмотрѣть читатели. Поэтому приведу еще два-три критическихъ перла и кончю на томъ мою неумѣренно разросшуюся статью.

*Перлъ № 1-й.* Лонгиновъ въ статьѣ: «Бѣлинскій и его лжеученики» призналъ влияніе Бѣлинскаго вреднымъ на томъ основаніи, что Бѣлинскій плохо зналъ исторію нашей литературы. Въ подтвержденіе этого обвиненія, направлен



наго противъ перваго русскаго критика, приводится слѣдующее обстоятельство:

«Въ обзорѣи русской литературы до Пушкина Бѣлинскій приводитъ (пишетъ Лонгиновъ) отрывокъ изъ предисловія Хераскова къ повѣсти его «Полидоръ», вышедшей въ 1794 году. Въ этомъ предисловіи авторъ обращается къ извѣстнымъ русскимъ писателямъ. У Хераскова имена ихъ обозначены первыми буквами ихъ фамилій. Бѣлинскій выставляетъ полныя имена Ломоносова, Державина, Карамзина, Нелединскаго, Дмитріева, Богдановича и Петрова. Но тутъ же вышло и затрудненіе. Послѣ обращенія къ Л. (Ломоносову) Херасковъ говоритъ: *можетъ ли кто не плѣниться нѣжными и пріятными звуками С?* Очевидно, что Херасковъ разумѣлъ тутъ А. П. Сумарокова, съ которымъ много лѣтъ шелъ по одному пути, какъ лирикъ и драматургъ, и сочиненіями котораго продолжалъ плѣняться до своей смерти, подобно многимъ современникамъ. Но Бѣлинскій дѣлаетъ при буквѣ С. слѣдующую выноску: *«Должно быть дѣло идетъ о Евстафій Станевичъ, весьма плохомъ пѣитъ того времени»*.

Затѣмъ Лонгиновъ очень убѣдительно доказываетъ, что Станевича не могъ хвалить Херасковъ и что Бѣлинскій сдѣлалъ грубую ошибку, что онъ поддавался увлеченію «собственныхъ страстей и пристрастій» и что его литературныя приговоры писаны «иногда въ ослѣпленіи пристрастія».

Все дѣло кончается тѣмъ, что Лонгиновъ приводитъ слѣдующій отрывокъ изъ одного неизданнаго стихотворенія:

Затѣмъ на скопищѣ клеветовъ  
Рѣшилъ верховный ихъ совѣтъ,  
Что, такъ какъ нѣтъ авторитетовъ,  
Бѣлинскій будь авторитетъ.

Вредъ, принесенный Бѣлинскимъ, состоитъ, по подлиннымъ словамъ Лонгинова, «въ расположеніи самодовольныхъ и пустозвонныхъ горлановъ, думающихъ заставить человѣчество забыть все то, что было до появленія ихъ на журнальное поприще».

*Перлъ № 2-й.* Статья Густава де-Молинали о книгѣ Прудона «La guerre et la paix», занимающая слишкомъ два листа и доказывающая непобѣдимыми доводами, что у Прудона нѣтъ ни свѣдѣній, ни способности логически мыслить, а есть только ученые эффекты, которые уже устарѣли и надобно публикѣ.

*Перлъ № 3-й.* Стихотвореніе князя Вяземскаго «Замѣтка», выражающее въ самыхъ оригинальныхъ образахъ самыя неожиданныя идеи и оканчивающееся двумя классическими куплетами:

Свободенъ тотъ одинъ, кто умиралъ желанья,  
Кто свѣтелъ и душой, и помышленьемъ чистъ,  
Кого не обольстятъ толпы рукоплесканья,

Кого не уязвить нахальной черни свистъ.

Цѣлѣнымъ равенствомъ онъ вышихъ не унизитъ,  
Но, въ предназначенной отъ Промысла борьбѣ,  
Посредникъ, онъ бойцовъ любовнымъ словомъ  
сблизитъ.

И скажетъ старшему: «я младшій братъ тебѣ».

Хотя «Замѣтка» князя Вяземскаго помѣщена не въ критическомъ отдѣлѣ и хотя вообще не принято писать критическія или полемическія статьи въ стихахъ, однако всякій согласится съ тѣмъ, что отнести эту вещь къ области поэзіи нѣтъ никакой возможности. Въ ней нѣтъ ни одного образа, и вся разница между этой замѣткой и элегической замѣткой, помѣщенной въ той же августовской книжкѣ, въ самомъ концѣ критическаго отдѣла, заключается въ томъ, что первая написана шестистопнымъ ямбомъ, а вторая — презрѣнной прозой. Смыслъ и направленіе ихъ — тождественны, выраженія одинаковы или по крайней мѣрѣ сходны; голословность выхонокъ и замашка направлять свои удары въ пустое пространство замѣчаются какъ въ произведеніи князя Вяземскаго, такъ и въ элегическомъ воздыханіи редакціи «Русскаго Вѣстника». Поэтому, помѣщая въ число критическихъ перловъ стихотвореніе престарѣлаго поэта, я вмѣстѣ съ тѣмъ обращаю вниманіе читателей на всѣ критическія статьи «Русскаго Вѣстника», въ которыхъ вѣетъ духъ раздраженной солидности, въ которыхъ выражается никѣмъ непризнанное притязаніе учить общество, становится во главѣ его и вести его за собою по пути разумнаго, умѣреннаго прогресса.

*Перлъ № 4-й.* Статья: «Кое-что о прогрессѣ», въ которой свистуны сравниваются съ гнилью, и въ которой въ первый разъ «Русскій Вѣстникъ» дѣлаетъ мнѣ честь упомянуть объ одной моей статьѣ. Онъ не называетъ ни меня, ни заглавія моей статьи, ни даже того журнала, въ которомъ я пишу, но онъ беретъ изъ «Схоластики XIX вѣка» одну цитату, которая осталась мнѣ памятна по многимъ обстоятельствамъ. Я благодарю «Русскій Вѣстникъ» за его враждебный отзывъ о моей статьѣ и объ этой цитатѣ; мнѣ пріятно видѣть, что мои идеи не нравятся московскимъ мыслителямъ, и я увѣренъ, что многіе пишущіе люди желаютъ наравнѣ со мною, чтобы «Русскій Вѣстникъ» относился какъ можно суровѣе къ нимъ и къ ихъ литературной дѣятельности.

Пора, давно пора кончить. Надѣюсь, что намъ не придется больше встрѣчаться съ «Русскимъ Вѣстникомъ» на поприщѣ журнальной полемики; мы расходимся такъ сильно въ мнѣніяхъ и наклонностяхъ, что можемъ прожить цѣлый вѣкъ, не встрѣчаясь между собой, не пробуя до чего нибудь договориться и не чувствуя ни малѣйшаго желанія сблизиться между собой на какомъ бы то ни было вопросѣ.



# РУССКІЙ ДОНЪ-КИХОТЪ.

(Сочиненія И. В. Кирѣвскаго, I и II т. Москва. 1861 г.).

## I.

Ничто не можетъ быть безцвѣтнѣе и неопредѣленнѣе общихъ выраженій: обскурантъ, прогрессистъ, либераль, консерваторъ, славянофилъ, западникъ; эти выраженія нисколько не характеризуютъ того человѣка, къ которому они прикладываются; они надѣваютъ непрошенный мундиръ на его умственную личность и, вмѣсто живого человѣка, мыслящаго и чувствующаго по своему, показываютъ намъ неподвижную вывѣску замкнутаго круга убѣжденій. Чѣмъ даровитѣе и замѣчательнѣе разсматриваемая личность, тѣмъ пошлѣе кажутся мнѣ общіе эпитеты, прилагаемые къ ней такими критиками, которые не хотятъ или не умѣютъ вдуматься въ ея личныя особенности, прослѣдить ея индивидуальное развитіе и такимъ образомъ вмѣсто голаго термина дать оживленную характеристику.

Еслибы подойти къ сочиненіямъ И. В. Кирѣвскаго такъ, какъ подошелъ къ нимъ критикъ «Современника», то съ нимъ порѣшить было бы очень не трудно. Причислить его къ самымъ мрачнымъ и вреднымъ обскурантамъ вовсе не мудрено; за цитатами дѣло не станетъ; изъ его сочиненій можно выписать десятки такихъ страницъ, отъ которыхъ покоробитъ самага невзыскательнаго читателя; ну, стало-быть и толковать нечего; привелъ полдюжины самыхъ пахучихъ выписокъ, поглумился надъ каждою въ отдѣльности и надъ всѣми въ совокупности, поспорилъ для виду съ авторомъ, давая ему чувствовать все превосходство своей логики и своихъ воззрѣній, завершилъ рецензію общимъ прогрессивнымъ заключеніемъ и дѣло готово—статья идетъ въ типографію.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. Напасть на Кирѣвскаго не трудно, да толку-то въ этомъ мало. Бороться съ нимъ не зачѣмъ, потому что его дѣятельность уже принадлежитъ прошедшему; если же мы останавливаемся на немъ, какъ на совершившемся фактѣ, то мы должны или объяснить его по мѣрѣ силъ, или сознаться въ томъ, что мы объяснять не умѣемъ; а поработать надъ объясненіемъ личности Кирѣвскаго, какъ любопытнаго психологическаго факта — право стоить. Друзья и единомышленники Кирѣвскаго скажутъ конечно, что его слѣдуетъ изучать, какъ мыслителя, что его должно уважать, какъ двигателя русскаго самосознанія, что принесенная имъ польза будетъ оцѣнена послѣдующими поколѣніями. Съ подоб-

ными мнѣніями согласиться невозможно: Кирѣвскій былъ плохой мыслитель — онъ боялся мысли; Кирѣвскій никуда не подвинулъ русское самосознаніе, онъ даже не затронулъ его; его статьи никогда не производили впечатлѣнія; ихъ читали мало, и теперь ихъ совсѣмъ забыли, не смотря на то, что послѣдняя изъ нихъ была написана всего лѣтъ семь тому назадъ; пользы Кирѣвскій не принесъ никакой, и если послѣдующія поколѣнія по какому нибудь чуждому ему имени, то они пожалѣютъ только о печальныхъ заблужденіяхъ этого даровитаго человѣка. Если-бы Кирѣвскому удалось составить обширный кругъ читателей и пріобрѣсти себѣ значеніе въ литературѣ, то вліяніе его идей составило бы самый яркій антагонизмъ съ пропагандой Бѣлинскаго. Всякому честному дѣятелю литературы пришлось бы воевать съ нимъ всѣми силами своего пера; противъ него поднялись бы всѣ люди, сколько нибудь дорожащіе мыслью; за него стали бы только люди очень ограниченные или очень недобросовѣстные. А самъ Кирѣвскій былъ человѣкъ очень не глупый и въ высшей степени добросовѣстный—отчего же онъ хотѣлъ остановить разумъ на пути его развитія? Отчего онъ порывался поворотить его назадъ къ младенческимъ его годамъ? Вотъ въ этихъ-то пунктахъ и заключается психологическій интересъ тѣхъ вопросовъ, на которые наводитъ чтеніе сочиненій Кирѣвскаго и приложенныхъ къ нимъ матеріаловъ для его біографіи.

## II.

И. В. Кирѣвскій родился въ 1806 году и выросъ въ деревнѣ своихъ родителей. Отецъ его умеръ, когда ему было шесть лѣтъ, а мать его, черезъ 5 лѣтъ послѣ смерти своего мужа, вышла замужъ за Елагина. Молодой Кирѣвскій привязался къ своему вочиму и выросъ подъ его вліяніемъ. Доброе согласіе его съ своимъ семействомъ продолжалось во время всей его жизни; ему не пришлось относиться критически къ личностямъ своихъ родственниковъ, и поэтому онъ не испыталъ того тяжелаго разочарованія, которое переживаютъ почти всѣ люди, начинающіе мыслить. Вѣроятно дѣтство Кирѣвскаго оставило въ его душѣ самое свѣтлое воспоминаніе; до конца жизни онъ дорожилъ тѣми лицами, которыя управляли его первоначальнымъ воспитаніемъ; его совершенно удовлетворяли ихъ педагогическіе приемы, ихъ воззрѣнія на жизнь,



ихъ отношенія къ разнымъ практическимъ и теоретическимъ вопросамъ; одобряя ихъ понятія, Кирѣевскій самъ успокоивался на нихъ и не чувствовалъ необходимости стремиться къ чемунибудь болѣе разумному; спокойно и пріятно проведенное дѣтство вмѣстѣ съ неизгладимыми воспоминаніями оставило въ его умѣ такой густой осадокъ допотопныхъ идей, котораго не могли сдвинуть съ мѣста ни житейскія волненія, ни теоретическія размышленія. Любопытность Кирѣевского была очень велика—онъ много читалъ, серьезно задумывался надъ прочитаннымъ, но какъ только вычитанныя идеи начинали разрушать образы, населявшіе его дѣтство, такъ онъ отстранялъ ихъ прочь, чисто-сердечно называя ихъ заблужденіями и не считая даже нужнымъ останавливаться на вопросѣ — точно ли это заблужденія. Кирѣевскій любилъ тѣ понятія, съ которыми онъ свыкся въ дѣтствѣ; а когда человѣкъ любитъ какую-нибудь идею, тогда бываетъ очень трудно убѣдить его въ ея несостоятельности; чтобы опрокинуть въ головѣ его эту любимую идею, необходимъ сильный толчокъ, крутой переворотъ или постоянное вліяніе другого человѣка, стоящаго выше его по развитію и смотрящаго на вещи непредубѣжденными глазами. Ни того, ни другого не пришлось испытать Кирѣевскому.

«Мы — пишетъ онъ къ Кошелеву, мечтая о жизни — возвратимъ права истинной религіи, изящное согласимъ съ нравственностью, возбудивъ любовь къ правдѣ, глупый либерализмъ замѣнимъ уваженіемъ законовъ и чистоту жизни возвысимъ надъ чистотою слога».

Въ началѣ 1830 года Кирѣевскій, воодушевленный этими *высокими* стремленіями, уѣхалъ за-границу; ему въ это время пришлось пережить глубокое огорченіе; онъ сдѣлалъ предложеніе любимой женщинѣ и получилъ отказъ; это событіе потрясло его здоровье, и медики предписали ему путешествіе, какъ лучшее средство поправиться и развлечься. Его не манило вдаль стремленіе къ широкой жизни мысли; ему было уютно въ московскомъ кругу родственниковъ и друзей, и спокойное наслажденіе равными отношеніями съ окружающими людьми было для него дороже кипучей дѣятельности и разнообразныхъ волненій умственной жизни. «Я возвращусь, возвращусь скоро, писалъ онъ черезъ нѣсколько дней послѣ своего отъѣзда изъ Москвы, это я чувствую, разставшись съ вами».

Мягкосердечный московскій юноша пробылъ за-границей всего 10 мѣсяцевъ, и заграничная атмосфера не успѣла произвести въ немъ никакого благотворнаго измѣненія. Онъ мѣрилъ западную мысль крошечнымъ аршиномъ своихъ московскимъ убѣжденій, которыя казались ему непогрѣшимыми и которыя раздѣляли съ нимъ всѣ убогія старушки Вѣлокаменной. Онъ слу-

шалъ лекціи извѣстнѣйшихъ профессоровъ, усвоивалъ себѣ фактическія свѣдѣнія, сообщалъ въ письмахъ къ родственникамъ и друзьямъ остроумныя замѣтки о методѣ и маперѣ ихъ преподаванія, и между тѣмъ самъ оставался неразвитымъ, наивнымъ ребенкомъ, не умѣвшимъ ни на минуту возвыситься надъ воззрѣніями пеньки и маменьки.

Слушая лекціи Шлейермахера, профессора теологін, Кирѣевскій находилъ, что Шлейермахеръ слишкомъ много разсуждаетъ и что современному мыслителю слѣдуетъ воздерживаться отъ анализа подробностей. Избавляю себя отъ обязанности выписывать то мѣсто, въ которомъ Кирѣевскій произноситъ сужденіе надъ Шлейермахеромъ, и прошу читателей моихъ, желающихъ познакомиться съ этимъ сужденіемъ, пробѣжать въ I томѣ 42-ю страницу матеріаловъ.

Въ Берлинѣ Кирѣевскій познакомился съ Гегелемъ, и на него сильно подѣйствовала чарующая мысль, что онъ окруженъ *первоклассными умами Европы*; онъ выразилъ эту мысль въ письмахъ на родину; съ первоклассными умами онъ говорилъ «о политикѣ, о философіи, о религіи, о поэзій»; какъ на него подѣйствовали сужденія первоклассныхъ умовъ объ этихъ высокихъ предметахъ, онъ не пишетъ. Развивались онъ самъ передъ ними свои наивно-ребяческія понятія и нравилось-ли имъ его нетронутое простодушіе, онъ также не сообщаетъ. Сношенія Кирѣевского съ Гегелемъ и его знакомыми продолжались очень недолго и потому не успѣли произвести прочнаго впечатлѣнія. Кирѣевскій съ любопытствомъ осматрѣлъ мнѣнія первоклассныхъ умовъ, какъ осматриваютъ диковинки какого-нибудь музеума, и оставилъ эти мнѣнія нетронутыми вѣроятно потому, что они рѣзко расходились съ его стремленіями и казались ему непригодными для жизни.

Въ концѣ 1830 года Кирѣевскій возвратился въ Россію. Впечатлѣнія его заграничной жизни глубоко запали въ его воспримчивый умъ и выразились въ искреннемъ сочувствіи къ западному просвѣщенію, въ сильномъ желаніи провести въ русскую жизнь начала лучшей цивилизаціи. Втеченіи 1831 года онъ собралъ матеріалы для изданія журнала, составилъ себѣ кругъ сотрудниковъ и въ 1832 году выпустилъ въ свѣтъ двѣ первыя книжки журнала «Европеецъ». Сочувствіе Кирѣевского къ западному просвѣщенію обнаружилось въ его статьѣ «Девятнадцатый вѣкъ», открывшей собою его журналъ и выразившей въ общихъ чертахъ ту программу, которой намѣренъ былъ слѣдовать издатель. Въ этой статьѣ проведена мысль о необходимости постоянного умственного общенія между Европой и Россіей. «Ибо просвѣщеніе одинокое, говоритъ Кирѣевскій, китайски отдѣленное, должно быть и китайски ограниченное: въ немъ нѣтъ жизни, нѣтъ блага, ибо нѣтъ прогресса»,



нѣтъ того усилѣхъ, который добывается только совокупными усилиями человечества». Въ этой статьѣ можно замѣтить только одинъ существенно важный недостатокъ — крайнюю голословность и бездоказательность. Въ подтвержденіе своихъ идей Кирѣевскій не приводитъ ни одного факта. Вся статья вертится на отвлеченныхъ умозрѣніяхъ; Кирѣевскій составляетъ себѣ какую-то химическую формулу европейской образованности и потомъ, отвергнувшись отъ дѣйствительныхъ фактовъ, смотритъ только на эту формулу, передвигаетъ и перетасовываетъ ея ингредиенты и подводитъ такіе итоги, которые столько же похожи на дѣйствительность, сколько списокъ примѣтъ, означенныхъ въ отпускомъ билетѣ, похожъ на живого владѣтеля этой бумаги.

Все сочувствіе Кирѣевского къ европейской цивилизаціи улетучивается въ общихъ мѣстахъ и въ фразахъ; если оно не выражается въ междометіяхъ и восклицаніяхъ, то это происходитъ единственно оттого, что Кирѣевскій старается вездѣ поддерживать тонъ серьезнаго и основательнаго мыслителя. На самомъ же дѣлѣ въ его статьѣ кромѣ внѣшняго тона нѣтъ ничего солиднаго и основательнаго; онъ беретъ изъ Гизо (не указывая на источникъ) его мнѣніе о томъ, что европейская цивилизація сложилась изъ трехъ элементовъ: изъ остатковъ классическаго міра, изъ христіанства и изъ германскаго варварства, и на эту тему начинаетъ разыгрывать вариаци очень однообразныя, утомительныя и безполезныя. Ни одна реальная сторона европейской жизни не затронута въ этой характеристикѣ девятнадцатаго вѣка. Мы не видимъ даже въ общихъ чертахъ, какъ живутъ люди въ Европѣ, какъ смотрятъ другъ на друга различныя сословія, къ чему стремятся отдѣльныя личности и цѣлыя партіи, какія потребности жизни отражаются въ литературѣ. Видно, что благоговѣніе Кирѣевского передъ первоклассными умами Европы еще продолжается; ему нѣтъ дѣла до того, что ѣсть французскій блузникъ, нѣтъ дѣла до того, что говорить на своемъ митингѣ англійскій ремесленникъ, нѣтъ дѣла до того, какъ богатая буржуазія эксплуатируетъ пролетаріевъ и какъ буржуа, хозяинъ въ своемъ домѣ и въ своей семьѣ, даетъ индивидуальное развитіе своимъ сыновей и дочерей; бытовые вопросы, возникающіе въ европейской жизни и составляющіе ея животрепещущій и общечеловѣчскій интересъ, проходятъ мимо его просвѣщеннаго ума, занятаго недостигаемо высокими интересами и аристократическими идеальными стремленіями. Продолжая восхищаться первоклассными умами Европы, Кирѣевскій очевидно думаетъ, что эти-то первоклассные умы, т. е. дюжины двѣ нѣмецкихъ профессоровъ философіи олицетворяютъ въ своихъ особахъ самые характерные моменты европейской цивилизаціи. Кирѣевскому кажется, что

мысль Шеллинга о сущности истиннаго познанія имѣетъ міровое значеніе и что высказавши эту мысль въ научной формѣ, Шеллингъ сдѣлалъ истинно великое открытіе, просто въ конецъ разодолилъ все человечество. Придавая такое колоссальное значеніе нѣмецкой умозрительной философіи, Кирѣевскій конечно забываетъ, что врядъ ли одна сотая часть всего населенія западной Европы интересуется діалектическими построеніями нѣмецкихъ профессоровъ, и что даже эта сотая не выноситъ для себя изъ такихъ діалектическихъ построеній ничего существеннаго. Если подъ именемъ цивилизаціи подразумѣвать тѣ формы, въ которыя укладывается жизнь отдѣльнаго человѣка и народа, то умозрительная философія получить право участвовать въ картинѣ цивилизаціи настолько, насколько она содѣйствуетъ развитію и измѣненію бытовыхъ формъ и жизненныхъ отношеній. Въ этомъ случаѣ она электрическимъ токомъ проходитъ черезъ тысячи работающихъ головъ; когда же эта умозрительная философія ограничивается построеніемъ формулъ, тогда она остается на долю досужимъ людямъ, которыхъ не помяла желѣзная рука вседневной заботы и которымъ пріятно носиться въ отвлеченныхъ пространствахъ, вмѣсто того, чтобы смотрѣть на горе окружающихъ людей и помогать имъ дѣломъ и совѣтомъ.

Умозрительная философія — пустая трата умственныхъ силъ, безцѣльная роскошь, которая всегда останется непонятной для толпы, нуждающейся въ насущномъ хлѣбѣ. Этого не понимали ни Гегель, ни Шеллингъ; этого конечно не понималъ и Кирѣевскій. Вмѣсто того, чтобы взглянуть на умозрительную философію какъ на хроническое повѣтріе, какъ на болѣзненный наросъ, развившійся вслѣдствіе того, что живыя силы, стремившіяся къ практической дѣятельности, были насильственно сдавлены и задержаны, Кирѣевскій преклоняется передъ философами, какъ передъ вожаками европейской мысли, любителами, какъ цвѣтомъ и надеждой европейской цивилизаціи. Замѣчательно, что масса читателей обыкновенно сочувствуетъ мыслителю только въ какомъ нибудь одномъ, часто очень узкомъ, часто чрезвычайно широкомъ примѣненіи его идеи. Масса беретъ только практическій выводъ и обыкновенно дѣлаетъ этотъ выводъ такъ смѣло и такъ рѣзко, что самъ мыслитель пугается и пятится назадъ. Анабаптисты и крестьянскія войны были практическимъ выводомъ идей Лютера и Меланхтона, и Лютеръ вмѣстѣ съ Меланхтономъ испугались и проклинали свое собственное дѣло. Также точно Гегель, Шеллингъ и всѣ прочіе предводители «нѣмецкаго любомудрія» проклинали бы тѣ неожиданные выводы, которые дѣлаетъ Кирѣевскій на основаніи ихъ идей и ихъ дѣятельности. Этимъ «первокласснымъ» умамъ Европы пришлось бы краснѣть отъ стыда и до-



сады, если бы они узнали, что ихъ въ Россіи гладятъ по головкѣ за то, что они показали неудовлетворительность чистаго разума, составили реакцію противъ энциклопедистовъ XVIII вѣка и такимъ образомъ натолкнули европейскій Западъ на возвратный путь.... Кирѣевскій, какъ мягкосердный московскій юноша, сросшійся съ идеями своего родимаго города, увидалъ и понялъ въ нѣмецкихъ философахъ только то, что имѣло сходство съ его стремленіями.

Чтобы согласить свое уваженіе къ первокласснымъ умамъ Европы съ своей слѣпой привязанностью къ тому, что толковали ему съ дѣтства маменька да нянюшка, Кирѣевскій употребилъ довольно ловкій маневръ: онъ говорить, что Гегель тѣмъ великъ и полезенъ, что, доведя раціонализмъ до крайнихъ предѣловъ, онъ показалъ недостаточность чистаго разума и убѣдилъ людей въ необходимости искать другихъ источниковъ познанаія, «очистилъ дорогу къ храму живой мудрости». Вотъ, думаетъ Кирѣевскій, Западъ увидалъ, что на своихъ философахъ далеко не уѣдешь; вотъ онъ погорюетъ, погорюетъ, да и обратится къ намъ за совѣтомъ, а мы конечно дадимъ ему совѣтъ въ московскомъ духѣ: Западъ прислушается, увидитъ, что это «добро зѣло», скажетъ подобно князю Владимиру, что, отвѣдавъ сладкаго, уже не хочешь горькаго, и заживемъ мы съ Западомъ душа въ душу, какъ жили съ нимъ слишкомъ лѣтъ тысячу тому назадъ. Въ такихъ-то краскахъ рисуются Кирѣевскому будущія отношенія между цивилизаціями Россіи и Европы. Эти краски въ его статьѣ «Девятнадцатый вѣкъ» положены такъ легко, что онѣ проходятъ незамѣтными для невнимательнаго читателя; Кирѣевскій въ этой статьѣ напираетъ всего больше на то, что мы должны сближаться съ Европой и заимствовать у нея образованность, но за этими словами слышится тайная надежда: будетъ и на нашей улицѣ праздникъ; придетъ къ намъ Европа просить ума-разума, и мы великодушно подѣлимся съ нею нашими духовными благами. Въ статьѣ «Девятнадцатый вѣкъ» выразились такимъ образомъ два главные момента умственной жизни Кирѣевского; на эту статью положили свою печать дѣтство Кирѣевского и его путешествіе за-границу; первое отразилось въ теплотѣ чувства и въ робости мысли, второе — въ искреннемъ, но голословномъ и необъясненномъ сочувствіи къ европейской цивилизаціи. Чему сочувствуетъ Кирѣевскій — мы не видимъ. На что ему нужна Европа — не понимаемъ. Словомъ, во всей статьѣ переплетается московскій сантиментализмъ съ какимъ-то сердечнымъ влеченіемъ къ европейскому Западу. При этомъ должно замѣтить, что это неопредѣленное, сердечное влеченіе не имѣетъ ничего общаго съ сознательнымъ уваженіемъ зрѣлаго человѣка къ одѣнной и провѣренной идеѣ.

III.

Еслибы Кирѣевскій, управляя журналомъ, продолжалъ уяснять себѣ и публикѣ свои стремленія и симпатіи, то вѣроятно, онъ договорился бы до какихъ нибудь положительныхъ результатовъ; онъ увидалъ бы противорѣчіе между европеизмомъ и московской сантиментальностью и склонился бы опредѣленнымъ образомъ на ту или на другую сторону. Пока впечатлѣніе заграничнаго путешествія было еще свѣжо и сильно, можно было надѣяться, что западный элементъ возьметъ верхъ надъ воспоминаніями дѣтства; но тутъ къ несчастью непредвидѣнныя обстоятельства насильственно прервали дѣятельность Кирѣевского. «Европеецъ» прекратился на первыхъ двухъ книжкахъ. Люди съ сильнымъ характеромъ раздражаются неудачами; ихъ энергія удваивается при борьбѣ съ препятствіями; ихъ убѣжденія становятся строже и послѣдовательнѣе, обозначаются отчетливѣе, рѣзче и неумолимѣе. Но съ Кирѣевскимъ этого не могло случиться; онъ упалъ духомъ, пересталъ писать, сталъ внимательно пересматривать свои убѣжденія и во многомъ измѣнилъ ихъ основной характеръ. Онъ конечно не прививалъ къ себѣ искусственно такихъ идей, которыя гармонировали бы съ обстоятельствами; онъ не сталъ бы себя насиловать, не поплылъ сознательно по теченію, но, какъ человѣкъ въ высшей степени впечатлительный, онъ испыталъ отъ этой неудачи самое сильное потрясеніе; встревоженный и огорченный, онъ усомнился въ самомъ себѣ; ему пришло въ голову, что можетъ быть это *само Провидѣніе* даетъ ему спасительный урокъ, что можетъ быть онъ заблуждался и указывалъ своимъ согражданамъ такой путь развитія, который не соотвѣтствуетъ ихъ потребностямъ.

Когда въ умѣ Кирѣевского началось это тяжелое раздумье, когда ему такимъ образомъ представился случай, подъ вліяніемъ житейской невзгоды, выковать себѣ убѣжденія зрѣлаго человека, тогда воспоминанія дѣтства въ полной яркости и отчетливости представились его встревоженному воображенію. Окружающія впечатлѣнія, Москва и Долбино (родовое имѣніе Кирѣевскихъ) взяли верхъ надъ европейскими тенденціями, пробудившимися во время заграничной поѣздки и выразившимися въ прерванной дѣятельности молодого журналиста. Эти тенденціи, въ которыхъ было такъ много неяснаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ много искреннаго, эти тенденціи, изъ которыхъ при другихъ условіяхъ могло выработаться много хорошаго и разумнаго, отошли на задній планъ, завяли и зачахли, уступивъ свое мѣсто другимъ воззрѣніямъ, мрачнымъ, бесплоднымъ и безжизненнымъ.

Если можно сближать литературный типъ съ личностью дѣйствительно существовавшаго человека, то я позволю себѣ сравнить участь Ки-



рѣвскаго съ судьбою Лизы изъ «Дворянскаго гнѣзда» Тургенева. И Кирѣвскій, и Лиза посили въ себѣ съ дѣтства зародыши того разложенія, которое современемъ погубило и извратило ихъ богатыя умственные силы; оба они, и Кирѣвскій, и Лиза были способны жить разумною жизнью; еслибы имъ благопріятствовало счастье, то Лиза не пошла бы въ монастырь, а Кирѣвскій остался бы вѣренъ чисто европейскимъ тенденціямъ; но когда падъ ними обрушилась бѣда, тогда въ нихъ поднялись всѣ ихъ мистическіе инстинкты, и оба кончили очень дурно.

Прекративъ изданіе «Европейца», Кирѣвскій сосредоточился и выродожденіи двѣнадцати лѣтъ написалъ только двѣ небольшія статьи; когда онъ снова началъ высказываться въ печати, тогда направленіе его мыслей оказалось уже существенно измѣненнымъ. Составитель матеріаловъ для біографіи Кирѣвскаго находитъ конечно, что это измѣненіе было важнымъ шагомъ впередъ; я скажу съ своей стороны, что это измѣненіе было глубокимъ и окончательнымъ паденіемъ.

Обо многихъ людяхъ, шедшихъ по тому пути, по которому пошелъ Кирѣвскій, можно сказать просто: туда имъ и дорога! Но о Кирѣвскомъ нельзя не пожалѣть, какъ нельзя напримѣръ не пожалѣть о Гоголѣ. Несмотря на то, что его умъ никогда не дошелъ до самоосвобожденія, ему невозможно отказать въ значительной степени даровитости. Онъ не доводитъ никакой идеи до послѣднихъ предѣловъ, но въ діалектическомъ развитіи этой идеи онъ всегда обнаруживаетъ гибкость ума и логическую находчивость. Логика Кирѣвскаго скована пристрастіями и предразсудками, но отстаивая эти пристрастія и предразсудки, онъ пускаетъ въ ходъ самые разнообразныя діалектическіе приемы и дѣйствуетъ на читателя не силой послѣдовательности, а разнообразіемъ и наглядностью аргументовъ. Онъ не мыслитель; онъ просто человѣкъ, горячо чувствующій и старающійся убѣдить читателя въ нормальности и законности своихъ симпатій. Люди, одаренные отъ природы непобѣдимой логикой здраваго смысла, конечно увидятъ, къ чему клонятся успія Кирѣвскаго, и не поддадутся ни его доводамъ, ни теплотѣ чувства, разлитого въ его статьяхъ.

Что же касается до людей слабыхъ, чувствительныхъ и способныхъ увлекаться, то на нихъ могутъ дѣйствовать въ высшей степени тенденціи Кирѣвскаго, прикрытыя приличною литературною формою, соглашенныя наружнымъ образомъ съ интересами гуманнаго развитія и подкрашенныя научными терминами и именами философовъ.

Когда Кирѣвскій толкуетъ объ общихъ историческихъ вопросахъ, о потребностяхъ народа и человѣчества, тогда онъ оказывается совершенно не на своемъ мѣстѣ. У него не хватаетъ широты

взгляда и силы ума, для того чтобы охватить подобные вопросы во всемъ ихъ величіи и чтобы, обузивая ихъ, не забиться въ какую нибудь тупую, изъ которой нѣтъ выхода на свѣжій воздухъ. Объ Европѣ и о Россіи онъ судитъ вкривъ и вкосъ, не зная фактовъ, не понимая ихъ и стараясь доказать всему читающему міру, что и философія, и исторія, и политика нуждаются для своего оживленія именно въ тѣхъ понятіяхъ, которыя были привиты ему самому. Тотъ-же Кирѣвскій, имѣя дѣло съ частнымъ вопросомъ, съ небольшимъ явленіемъ, не превышающимъ пониманія обыкновеннаго человѣка, оказывается очень тонкимъ цѣнителемъ, очень остроумнымъ критикомъ и безпристрастнымъ судьей.

Въ его мелкихъ статьяхъ разсыпано много удачныхъ замѣчаній о нашей всеневной жизни, объ уродливыхъ и смѣшныхъ явленіяхъ, встрѣчающихся на каждомъ шагу въ нашемъ сложившемся обществѣ. Вотъ напр. что говоритъ Кирѣвскій въ своей статьѣ «Горе отъ ума» на московскомъ театрѣ:

«Философія Фамусова и теперь еще кружитъ намъ головы: мы и теперь, также какъ въ его время, хлопочемъ и суетимся изъ ничего, кланяемся и унижаемся безкорыстно, только изъ удовольствія кланяться; ведемъ жизнь безъ цѣли, безъ смысла; сходимся съ людьми безъ участія, расходимся безъ сожалѣнія; ищемъ наслажденій минутныхъ и не умѣемъ наслаждаться. И теперь, также какъ при Фамусовѣ, дома наши равно открыты для всѣхъ: для званныхъ и незванныхъ, для честныхъ и для подлецовъ. Связи наши состояются не сходствомъ мнѣній, не сообразностью характеровъ, не одинаковою цѣлью въ жизни и даже не сходствомъ нравственныхъ правилъ; ко всему этому мы совершенно равнодушны. Случай насъ сводитъ, случай разводитъ и снова сближаетъ безъ всякихъ послѣдствій, безъ всякаго значенія».

Эти слова, по моему мнѣнію, выражаютъ вѣрный и безопадный взглядъ на пустую жизнь нашего общества, на отсутствіе въ немъ общихъ интересовъ, на узкую ограниченность той сферы, въ которой мы живемъ и стараемся дѣйствовать. Ясно, что Кирѣвскій, выражая подобныя мысли, не мирится съ несовершенствами нашей дѣйствительности и считалъ необходимымъ исправленіе этихъ недостатковъ. Причину недостатковъ онъ видитъ въ томъ, что «изъподъ европейскаго фрака выглядываетъ остатокъ русскаго кафтана и что, обривши бороду, мы еще не умыли лица». Средство исцѣленія заключается, по его мнѣнію, въ сближеніи съ Европой, въ усвоеніи общечеловѣческихъ идей, въ уничтоженіи особенности и неподвижности. Всѣ эти идеи здравы и вѣрны; въ положительной ихъ части, т. е. тамъ, гдѣ Кирѣвскій указываетъ на то, что должно дѣлать, можно замѣ-



тить ту же отвлеченную голословность, которую мы уже видѣли въ статьѣ «Деятнадцатый вѣкъ». Что же касается до отрицательной части, т. е. до перечисленія недостатковъ, то должно сознаться, что въ ней много справедливаго и даже оригинальнаго. Кирѣевскій глубоко чувствовалъ безалаберность русской жизни, и это чувство выразилось въ его произведеніяхъ въ очень разнообразныхъ формахъ; порою онъ является обвинителемъ житейскихъ нелѣпостей, порою выражаетъ свое сочувствіе къ тѣмъ лучшимъ единицамъ, которыя страдаютъ въ душной атмосферѣ, порою самъ тоскливо стремится вонъ изъ дѣйствительности въ міръ мечты или въ область отвлеченнаго умозрѣнія. Въ небольшой статьѣ его «О русскихъ писательницахъ» можно найти нѣсколько горячо прочувствованныхъ страницъ. Кирѣевскій понимаетъ, что женщина, чувствующая потребность высказаться передъ своими согражданами, принуждена бороться въ Россіи со многими и положительными, и отрицательными препятствіями; онъ понимаетъ, что трудъ женщины далеко не получилъ еще у насъ права гражданства, что женщина, предоставленная своимъ собственнымъ силамъ, принужденная преодолевать предубѣжденіе однихъ, равнодушіе другихъ, непониманіе третьихъ, рискуетъ умереть съ голоду, не смотря ни на свою даровитость, ни на свое образованіе, ни на искреннее стремленіе къ честному и общепользному труду. Если этого уже нѣтъ теперь, если въ наше время даровитая писательница пользуется всеобщимъ уваженіемъ, то это было иначе въ 30-хъ годахъ, когда писалъ Кирѣевскій; тогда вообще кругъ читающей публики былъ гораздо тѣснѣе, и кромѣ того, предубѣжденіе противъ литературнаго труда женщины имѣло свое значеніе въ обществѣ и въ семействѣ. Вотъ напр. краткій рассказъ Кирѣевского объ одномъ замѣчательномъ фактѣ тогдашней литературы и жизни:

«Недавно, говоритъ онъ, россійская академія издала стихотворенія одной русской писательницы, которой труды займутъ одно изъ первыхъ мѣстъ между произведеніями нашихъ дамъ-поэтовъ, и которая до сихъ поръ оставалась въ совершенной неизвѣстности. Судьба кажется отдѣлила ее отъ людей какою-то страшною бездною, такъ что, живя посреди ихъ, посреди столицы, ни она ихъ не знала, ни они ее. Они оставили ее, не знаю для чего; она оставила ихъ для своей Греціи — для Греціи, которая кажется одна наполняла все ея мечты и чувства; по крайней мѣрѣ о ней одной говоритъ каждый стихъ изъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ, написанныхъ ею. Странно: семнадцати лѣтъ, въ Россіи, дѣвушка бѣдная, бѣдная съ всею своею ученостію! Знать восемь языковъ, съ талантомъ поэзии соединять талантъ живописи, музыки, танцованья, учиться самымъ разнороднымъ наукамъ, учиться безпрестанно, работать все дѣт-

ство, работать всю первую молодость, работать, начиная день, работать отдыхал; написать три большихъ тома стиховъ по-русски, можетъ быть столько же на другихъ языкахъ; въ *свободное время* переводить трагедіи, русскія трагедіи — и все для того, чтобы умереть въ 17 лѣтъ, въ бѣдности, въ крайности, въ неизвѣстности!»

Въ этомъ живомъ рассказѣ о неизвѣстныхъ трудахъ, объ этой глухой борьбѣ съ нуждой, объ этой молодой жизни, испепелившейся въ безплодныхъ усиліяхъ, слышенъ голосъ человека, способнаго чувствовать и понимать чужое горе. Въ этомъ рассказѣ слышится страшный укоръ нашей жизни. Отчего дѣвушка даровитая, работающая изо всехъ силъ, обладающая значительными свѣдѣніями, тратитъ время на бесполезные стихи о Греціи, не находитъ въ русской жизни матеріаловъ для своей дѣятельности и умираетъ безпомощная, непризнанная, никому не нужная, никѣмъ и ничѣмъ не согрѣтая?

Кирѣевскій глубоко сочувствуетъ тѣмъ постояннымъ огорченіямъ, которыя впечатлительная душа женщины испытываетъ ежеминутно при разнообразныхъ столкновеніяхъ съ уродливыми явленіями *нашей* жизни. Онъ понимаетъ, что женщина, одаренная живымъ эстетич. чувствомъ, можетъ и должна стремиться въ какую нибудь болѣе изящную и гармоническую среду.

«Италія кажется сдѣлалась ея вторымъ отечествомъ, говоритъ онъ объ одной изъ нашихъ писательницъ, и впрочемъ кто знаетъ? Можетъ быть необходимость Италіи есть общая, неизбѣжная судьба всехъ, имѣвшихъ участь ей подобную? Кто изъ первыхъ впечатлѣній узналъ лучший міръ на землѣ, міръ прекраснаго; чья душа, отъ перваго пробужденія въ жизнь была, такъ сказать, взлелѣяна на цвѣтахъ искусствъ и образованности, въ теплой итальянской атмосферѣ изящнаго; можетъ быть для того уже нѣтъ жизни безъ Италіи, и синее итальянское небо, и воздухъ, исполненный солнца и музыки, и итальянскій языкъ, проникнутый всею прелестью нѣги и граціи, и земля итальянская, усеянная великими воспоминаніями, покрытая, зачарованная созданіями гениальнаго творчества — можетъ быть все это становится уже не прихотью ума, но сердечною необходимостію, единственнымъ неутрачиваемымъ воздухомъ для души, избалованной роскошью искусствъ и просвѣщенія».

Любуясь изящнымъ произведеніемъ, Кирѣевскій невольно сравниваетъ гармонію этого произведенія съ нестройностью окружающей жизни; онъ чувствуетъ разладъ, существующій между міромъ мечты и міромъ сѣренькой дѣйствительности, и самое эстетическое наслажденіе переходитъ въ тихое чувство грусти. «Все слишкомъ идеальное, говоритъ онъ, даже при свѣтлой наружности, рождаетъ въ душѣ печаль, отгнѣненную какимъ-то магнетическимъ сочувствіемъ; такова одинокая, чистая пѣснь, прославленная сквозь



нестройный, ее заглушающій шумъ; такова жизнь дѣвушки съ душой пламенной, мечтательной, для которой изъ міра событій существуютъ еще одни внутреннія». Пожалуйста, гг. читатели, не останавливайтесь на вѣшной сентиментальности, которую грѣшитъ это мѣсто; взгляните въ основную мысль, вникните въ то настроеніе, которое выразилось въ этихъ тихихъ измѣненіяхъ грусти, поставьте себя на мѣсто Кирѣвскаго, перенеситесь въ его время, и вы увидите, что причины этой грусти были очень реальныя.

У Кирѣвскаго разсѣяно въ его статьяхъ много замѣчательныхъ мыслей; чисто литературная критика его отличается вѣрностью эстетическаго чутья. Замѣчательнѣе другихъ его произведеній статья о стихотвореніяхъ Языкова. Приведу изъ нея нѣсколько выписокъ, выражающихъ отношенія автора къ общимъ вопросамъ жизни.

«Мы часто, говоритъ Кирѣвскій, считаемъ людьми нравственными тѣхъ, которые не нарушаютъ приличій, хотя бы впрочемъ жизнь ихъ была самая ничтожная, хотя бы душа ихъ была лишена всякаго стремленія къ добру и красотѣ. Если вамъ случалось встрѣчать человѣка, согрѣтаго чувствами возвышенными, но одареннаго притомъ сильными страстями, то вспомните и сочтите, сколько нашлось людей, которые поняли въ немъ красоту души, и сколько такихъ, которые замѣтили одни заблужденія. Странно, но правда, что для хорошей репутаціи у насъ лучше совсѣмъ не дѣйствовать, чѣмъ иногда ошибаться, между тѣмъ есть ли на свѣтѣ что нибудь безнравственнѣе равнодушія».

Вотъ замѣчательная мысль Кирѣвскаго объ отношеніяхъ между жизнью и искусствомъ:

«Но когда является поэтъ оригинальный, открывающій новую область въ мірѣ прекраснаго и прибавляющій такимъ образомъ новый элементъ къ поэтической жизни своего народа—тогда обязанность критики измѣняется. Вопросъ о достоинствѣ художественномъ становится уже вопросомъ второстепеннымъ, даже вопросъ о талантѣ является неглавнымъ, но мысль, одушевлявшая поэта, получаетъ интересъ самобытный, философическій; и лицо его становится идеей, и его созданія становятся прозрачными, такъ что мы не столько смотримъ на нихъ, сколько сквозь нихъ, какъ сквозь открытое окно стараемся разсмотрѣть самую внутренность новаго храма и въ немъ божество, его освещающее.

«Оттого, входя въ мастерскую живописца обыкновеннаго, мы можемъ удивляться его искусству; но предъ картиною художника творческаго забываемъ искусство, стараясь понять мысль, въ ней выраженную, постигнуть чувство, зародившее эту мысль, и прожить въ воображеніи то состояніе души, при которомъ она исполнена. Впрочемъ и это послѣднее сочувствіе съ художникомъ свойственно однимъ художникамъ же; но вообще люди сочувствуютъ съ нимъ только

въ томъ, что въ немъ чисто человѣческаго; съ его любовью, съ его тоской, съ его восторгами, съ его мечтою—утѣшительницею, однимъ словомъ, съ тѣмъ, что происходитъ внутри его сердца, не заботясь о событіяхъ его мастерской.

«Такимъ образомъ на нѣкоторой степени совершенства искусство само себя уничтожаетъ, обращаясь въ мысль, превращаясь въ душу».

Вотъ сужденіе Кирѣвскаго объ особенностяхъ поэзіи Языкова:

«Если мы вникнемъ въ то впечатлѣніе, которое производитъ на насъ его поэзія, то увидимъ, что она дѣйствуетъ на душу какъ вино, имъ воспѣваемое, какъ какое-то волшебное вино, отъ котораго жизнь двоится въ глазахъ нашихъ: одна жизнь является намъ тѣсною, мелкою, вседневною; другая—праздничною, поэтическою, просторною. Первая угнетаетъ душу; вторая освобождаетъ ее, возвышаетъ и наполняетъ восторгомъ. И между сими двумя существованіями лежитъ явная, бездонная пропасть; но черезъ эту пропасть судьба бросила нѣсколько живыхъ мостовъ, по которымъ душа переходитъ изъ одной жизни въ другую: это любовь, это слава, дружба, вино, мысль объ отечествѣ, мысль о поэзіи и, наконецъ, тѣ минуты безотчетнаго, разгульнаго веселья, когда звуки сердца заглушаютъ ему голосъ окружающаго міра—звуки, которыми сердце обязано собственной молодости болѣе, чѣмъ случайному предмету, ихъ возбудившему».

Я можетъ быть утомилъ читателя выписками, но мнѣ хотѣлось дать возможно полное понятіе о свѣтлой сторонѣ литературной дѣятельности Кирѣвскаго. Въ этой свѣтлой сторонѣ отразилась способность сочувствовать всѣмъ человѣческимъ ощущеніямъ и понимать чувствомъ всѣ человѣческія слабости и страданія. Кирѣвскій родился художникомъ и, неизвѣстно почему, вообразилъ себя мыслителемъ. Онъ впечатлителенъ, воспримчивъ, отзывчивъ, способенъ подчиняться чужому влиянію, увлекаться чужими идеями; у него нѣтъ умственной самобытности; онъ постоянно отражаетъ въ себѣ идеи и симпатіи той среды, въ которой онъ живетъ и которую любитъ. Бывши юношей, онъ жилъ тѣмъ, что было втолковано ему въ дѣтствѣ; поѣхавши за границу, онъ увлекся «первоклассными умами» Европы и началъ стремиться къ западному просвѣщенію, которое было извѣстно ему какъ-то по наслышкѣ да по философскимъ трактатамъ Гегеля и Шеллинга. Воротившись на родину и заслушавъ гулъ московскихъ колоколовъ, онъ крѣпко приросъ къ той родимой почвѣ, о которой убивается журналъ «Время», и вообразилъ себя представителемъ славянскаго любуудрія, необходимаго для спасенія разлагающагося Запада. Но какъ ни глубоко было заблужденіе Кирѣвскаго, оно органически вытекало изъ основныхъ свойствъ его характера, изъ тѣхъ самыхъ свойствъ, которые



выразились въ нѣсколькихъ блестящихъ мысляхъ и горячо прочувствованныхъ страницахъ.

Вотъ, видите ли, есть люди, которые не могутъ смотрѣть хладнокровнымъ критическимъ взглядомъ на все, что ихъ окружаетъ; имъ необходимо горячо любить, горячо отдаваться чему нибудь, съ полнымъ самоотверженіемъ служить какому нибудь принципу или даже какому нибудь лицу. Когда эти люди усмѣваютъ обречь себя на служеніе какой нибудь великой истинной идеѣ, тогда они совершаютъ великіе подвиги, становятся благодѣтелями своего народа и заслуживаютъ признательность современниковъ и потомковъ. Когда же они ошибаются въ выборѣ своего кумира, тогда они дѣлаются безпутными людьми, поступаютъ въ число гасильниковъ и становятся тѣмъ опаснѣе, чѣмъ ревностиѣе и чистосердечнѣе увлекаются своей привязанностью къ превратной идеѣ. Кирѣевскій чувствовалъ, что многія потребности просвѣщеннаго ума не находятъ себѣ удовлетворенія, что многія обыденныя явленія оскорбляютъ человѣческое чувство. Что же оставалось ему дѣлать въ такомъ положеніи? Оставалось бороться противъ тѣхъ сторонъ жизни, которыя можно было измѣнить, и мириться съ тѣмъ, что было не подъ силу отдѣльному человѣку. Мирясь съ явленіями жизни чисто внѣшнимъ образомъ, надо было оградить самого себя отъ развращающаго вліянія этой жизни. Надо было, отказываясь отъ фактической борьбы, оставаться на-сторожѣ и хранить свою умственную самостоятельность среди хаоса невѣжества, насилія и предразсудковъ. Но жить такимъ образомъ, безъ дѣятельной борьбы и безъ страстныхъ привязанностей, значило жить чистымъ отрицаніемъ, не вѣрить ни въ себя, ни въ другихъ, ни въ идею, сознавая безотрадность настоящаго и сомнѣваясь въ возможности лучшаго будущаго. Остановиться на такомъ печальномъ воззрѣніи на жизнь способны очень немногіе люди; чтобы ужиться съ чистымъ сомнѣніемъ въ области науки и жизни, надо обладать значительной трезвостью ума и недюжинной твердостью характера. Но у Кирѣевского не было ни того, ни другого; страдая отъ особенностей жизни, онъ не могъ ни свыкнуться съ этими особенностями, ни выстрадать себѣ полное равнодушіе къ этой жизни. Уродливыя явленія мѣшали ему дѣйствовать, но они не мѣшали ему мечтать, и онъ весь ушелъ въ міръ мечты, унося съ собою свою діалектическую ловкость, которая помогала ему доказывать и себѣ, и другимъ, что мечта его—не мечта, а живая дѣйствительность. Еслибы Кирѣевскій былъ мыслителемъ, еслибы онъ заботился не объ удобствахъ того или другого міросозерпанія, а только о степени его дѣйствительной вѣрности, тогда онъ не сталъ бы утѣшать себя произвольными фантазіями; еслибы онъ былъ чистымъ поэтомъ, тогда онъ просто окружилъ бы себя созданіями собственнаго во-

ображенія, не стараясь связывать эти созданія съ явленіями дѣйствительной жизни. Но, къ сожалѣнію, въ Кирѣевскомъ соединились эти два рѣдко совмѣстные элемента; онъ по природѣ своей—художникъ, а по развитію—ученикъ нѣмецкихъ философовъ. Онъ постоянно мечтаетъ, но воспѣваемые имъ предметы, къ сожалѣнію, вовсе не вяжутся съ поэзіей; вмѣсто того чтобы изображать свои собственные чувства, настроеніе своей души, наконецъ то или другое, мелкое или крупное событіе, онъ беретъ самыя отвлеченныя темы и пишетъ поэму въ прозѣ о европейской цивилизаціи, объ отношеніяхъ между Западомъ и Россіей, о новыхъ началахъ въ философіи. Такого рода сочиненія оказываются плохими поэмами и плохими разсужденіями.

Личное настроеніе автора не можетъ выразиться въ свободномъ лирическомъ изліяніи, потому что оно сковано логикой, діалектикой и физиономіей дѣйствительныхъ фактовъ. Что же касается до логики автора, то она конечно стоитъ ниже всякой критики, потому что ея дѣло—доказывать то, во что Кирѣевскому пріятно вѣрить. «Логическій выводъ, говоритъ собиратель матеріаловъ, думая похвалить своего героя, былъ у Кирѣевского всегда завершеніемъ и оправданіемъ его внутренняго вѣрованія, и никогда не ложился въ основаніе его убѣжденія». Въ сочиненіяхъ Кирѣевского хороши только тѣ мѣста, въ которыхъ онъ является чистымъ поэтомъ, тѣ мѣста, въ которыхъ онъ безсознательно выражаетъ всю полноту своего чувства. Повѣсти Кирѣевского (изъ которыхъ окончена только одна «Опалъ») очень плохи, потому что въ нихъ преобладаетъ головной элементъ; онѣ сбиваются на аллегоріи или же на разсужденія на заданную тему. У Кирѣевского не хватило бы творческой силы на то, чтобы обдумать и создать художественно-стройное цѣлое; у него мечтательность выражается въ общемъ направленіи мысли, а сильное воодушевленіе появляется только проблесками и продолжается недолго; я выписалъ почти всѣ тѣ мѣста, въ которыхъ Кирѣевскій, увлекаясь лирическимъ порывомъ, производитъ на читателя сильное и вполне гармоническое впечатлѣніе. Такихъ мѣстъ въ двухъ томахъ очень не много, и эти мѣста тонутъ въ сотняхъ дидактическихъ, утомительно-скучныхъ и глубоко-безполезныхъ страницъ.

#### IV.

Направленіе, по которому пошелъ Кирѣевскій послѣ своего двѣнадцатилѣтняго бездѣйствія, называется *православно-славянскимъ*. Задатки этого направленія заключаются еще въ основныхъ положеніяхъ его статьи «Девятнадцатый вѣкъ», но эти положенія получили полное развитіе и принесли обильные плоды въ послѣдствіи, въ его отвѣтъ Хомякову, въ письмѣ къ графу Комаровскому, въ критическихъ статьяхъ, по-



мѣщавшихся въ «Москвитинѣ», и въ послѣдней его философской статьѣ, украсившей собою страницы покойной «Русской Бесѣды». Всѣ эти статьи большей частью посвящены сравненію европейской цивилизаціи съ русской. Существованіе самобытной русской цивилизаціи, процвѣтавшей «во время оно» и задавленной реформою Петра, составляетъ въ глазахъ Кирѣвскаго неопровержимый фактъ, не требующій никакихъ доказательствъ. Эта русская цивилизація восхваляется всѣми возможными возгласами и причитаньями; сравнивая ее съ западной, Кирѣвскій находитъ, что она не въ примѣръ лучше; онъ останавливается на этомъ сравненіи съ особенной любовью и съ трогательнымъ патристическимъ самодовольствомъ; главное преимущество, которое онъ находитъ въ русской цивилизаціи, заключается въ томъ, что русская цивилизація не проникнута рационализмомъ и не подчинена господству разума. Чтобы доказать, что Кирѣвскій считаетъ это свойство дѣйствительнымъ и важнымъ преимуществомъ, и что дѣятельность разума кажется ему въ высшей степени опасной, я приведу слѣдующую цитату изъ его письма къ графу Комаровскому. Она очень длинна и скучна, но читатель узнаетъ изъ нея замысловатое міросозерцаніе Кирѣвскаго и убѣдится въ томъ, что русская цивилизація стоитъ неизмѣримо выше западной.

«Но остановимся здѣсь и соберемъ вмѣстѣ все сказанное нами о различіи просвѣщенія западноевропейскаго и древне-русскаго; ибо кажется достаточно уже замѣченныхъ нами особенностей для того, чтобы, сведя ихъ въ одинъ итогъ, вывести ясное опредѣленіе характера той и другой образованности.

«Христіанство проникало въ умы западныхъ народовъ черезъ ученіе одной римской церкви,—въ Россіи оно заималось на свѣтильникахъ всей церкви православной; богословіе на Западѣ приняло характеръ разсудочной отвлеченности,—въ православномъ мірѣ оно сохранило внутреннюю цѣльность духа; тамъ раздвоеніе силъ разума, здѣсь — стремленіе къ ихъ живой совокупности; тамъ движеніе ума къ истинѣ посредствомъ логическаго сѣвленія понятій, здѣсь — стремленіе къ ней посредствомъ внутренняго возвышенія самосознанія къ сердечной цѣльности и средоточію разума; тамъ исканіе наружнаго, мертвца единства, здѣсь — стремленіе къ внутреннему, живому; тамъ церковь смѣшалась съ государствомъ, соединивъ духовную власть со свѣтскою и славя церковное и мірское значеніе въ одно устройство смѣшаннаго характера, въ Россіи — она оставалась не смѣшанною съ мірскими цѣлями и устройствами; тамъ схоластическіе и юридическіе университеты, въ древней Россіи — молитвенные монастыри, сосредоточивавшіе въ себѣ высшее знаніе; тамъ разсудочное и школьное изученіе высихшихъ истинъ, здѣсь стремленіе къ ихъ живому и цѣльному познанию; тамъ взаимное проростаніе образованности языческой и христіанской, здѣсь — постоянное стремленіе къ очищенію истины; тамъ государственность изъ насилій завоеванія, здѣсь — изъ естественнаго развитія народнаго быта, проникнутаго единствомъ основнаго убѣжденія; тамъ враждебная разграниченность сословій, въ древней Россіи — ихъ единомыслие совокупность при

естественной разновидности; тамъ искусственная связь рыцарскихъ замковъ съ ихъ принадлежностями составляетъ отдѣльныя государства, здѣсь совокупное согласіе всей земли духовно выражаетъ нераздѣлимое единство; тамъ поземельная собственность — первое основаніе гражданскихъ отношеній, здѣсь собственность только случайное выраженіе отношеній личныхъ; тамъ законность формально логическая, здѣсь — выходящая изъ быта; тамъ наклонность права къ справедливости внѣшней, здѣсь предпочтеніе внутренней; тамъ юриспруденція стремится къ логическому кодексу, здѣсь, вмѣсто наружной связности формы съ формою, ищетъ она внутренней связи правомѣрнаго убѣжденія съ убѣжденіями вѣры и быта; тамъ законы исходятъ искусственно изъ господствующаго мнѣнія, здѣсь они рождались естественно изъ быта; тамъ улучшенія всегда совершались насильственными перемѣнами, здѣсь — стройнымъ естественнымъ возрастаніемъ; тамъ волненіе духа партій, здѣсь незыблемость основнаго убѣжденія; тамъ прихоть моды, здѣсь твердость быта; тамъ шаткость личной самозаконности, здѣсь крѣпость семейныхъ и общественныхъ связей; тамъ шеголеватость роскоши и искусственности жизни, здѣсь простота жизненныхъ потребностей и бодрость нравственнаго мужества; тамъ изнѣженность мечтательности, здѣсь здоровая цѣльность разумныхъ силъ; тамъ внутренняя тревожность духа при разсудочной утѣренности въ своемъ нравственномъ совершенствѣ, у русскаго — глубокая тишина и спокойствіе внутренняго самосознанія при постоянной недовѣрчивости къ себѣ и при неограниченной требовательности нравственнаго усовершенія; однимъ словомъ, тамъ раздвоеніе духа, раздвоеніе мыслей, раздвоеніе наукъ, раздвоеніе государства, раздвоеніе сословій, раздвоеніе общества, раздвоеніе семейныхъ правъ и обязанностей, раздвоеніе нравственнаго и сердечнаго состоянія, раздвоеніе всей совокупности и всѣхъ отдѣльныхъ видовъ бытія человѣческаго, общественнаго и частнаго; въ Россіи, напротивъ того, преимущественное стремленіе къ цѣльности бытія внутренняго и внѣшняго, общественнаго и частнаго, умозрительнаго и житейскаго, искусственнаго и нравственнаго. Поэтому, если справедливо сказанное нами прежде, то *раздвоеніе и цѣльность, разсудочность и разумность* будутъ послѣднимъ выраженіемъ западноевропейской и древне-русской образованности».

Читатель долженъ помнить, что всѣ великія достоинства, о которыхъ говоритъ Кирѣвскій, принадлежать только древне-русской цивилизаціи. Мы, современные русскіе люди, должны только вздыхать о томъ, что намъ не пришлось наслаждаться этими благами, и что мы, по своей крайней испорченности, потеряли даже способность любить и уважать эту милую старину. Исслѣдователь древне-русскаго быта могъ бы пожалуй возразить Кирѣвскому, что въ древней Руси было плохое житіе; что тамъ били батогами не на животь, а на смерть, что судъ никогда не обходился безъ пытки; что рабство или холопство существовало въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ, что мужья хлестали своихъ женъ шелковыми и ременными плетками, а блюстители нравственности, вроде Сильвестра, угваривали ихъ только не бить зря, по уху или по видѣнію. Много подобныхъ возраженій могъ бы привести исслѣдователь, но Кирѣвскій не обратилъ бы на нихъ никакого вниманія; онъ ска-



заль бы, что все это мелкія, внѣшнія, случайныя явленія, не касающіяся внутренней идеи, что сущность нашей цивилизаціи остается неприкосновенной, что принципъ ея великъ и непогрѣшимъ, не смотря на всѣ продѣлки, творившіяся подъ покровомъ этого принципа. На такіе убѣдительные доводы изслѣдователь конечно не нашелъ бы отвѣта. Подобно этому предполагаемому изслѣдователю, мы преклоняемся передъ непонятной мудростью мыслителя-поэта и съ трепетомъ живой надежды прислушиваемся къ его обтраваніямъ, открывающимъ намъ перспективу лучшей, просвѣтленной жизни. Изъ слѣдующихъ словъ его мы узнаемъ, что мы еще не совсѣмъ погубили, что и для насъ есть возможность спасенія:

«Но корень образованности Россіи живетъ еще въ ея народѣ и, что всего важнѣе, онъ живетъ въ его святой, православной церкви. Потому на этомъ только основаніи, и на на какомъ другомъ, должно быть воздвигнуто прочное зданіе просвѣщенія Россіи... Построеніе же этого зданія можетъ совершиться тогда, когда тотъ классъ народа нашего, который не исключительно заваять добычаніемъ матеріальныхъ средствъ жизни, и которому, слѣдовательно, въ общественномъ составѣ преимущественно предоставлено значеніе—вырабатывать мысленно общественное самосознаніе,—когда этотъ классъ, говорю я, до сихъ поръ проникнутый западными понятіями, наконецъ полнѣе убѣдится въ односторонности европейскаго просвѣщенія; когда онъ живѣе почувствуетъ потребность новыхъ умственныхъ началъ; когда съ разумною жаждой полной правды онъ обратится къ чистымъ источникамъ древней православной вѣры своего народа и чуткимъ сердцемъ будетъ прислушиваться къ яснымъ еще отголоскамъ этой святой вѣры отечества въ прежней, родимой жизни Россіи. Тогда, вырвавшись изъ-подъ гнета разсудочныхъ системъ европейскаго любомудрія, русскій образованный человѣкъ, въ глубинѣ особеннаго, недоступнаго для западныхъ понятій, живого, цѣльнаго умозрѣнія святыхъ отцевъ церкви, найдетъ самые полные отвѣты именно на тѣ вопросы ума и сердца, которые всего болѣе тревожатъ душу, обманутую послѣдними результатами западнаго самосознанія. А въ прежней жизни отечества своего онъ найдетъ возможность понять развитіе другой образованности».

Мнѣ нечего прибавлять къ этимъ словамъ. Они сами говорятъ за себя.

#### У.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о критической статьѣ, помѣщенной въ «Современникѣ» подъ заглавіемъ «Московское слово». Эта статья своею бездоказательностью и голословіемъ можетъ поспорить съ философскими поэмами самого Кирѣевскаго. Всѣ представители православно-славянскаго направленія — Хомяковъ, Е. Аксаковъ, Кирѣевскій ступеваны подъ одинъ колеръ; у всѣхъ на лбу прицѣпленъ ярлыкъ съ надписью «славянофилъ», и всѣ они совершенно лишены своей индивидуальной фizioноміи; славянофильство принимается за какое-то умственное повѣтріе, свалившееся на Москву,

какъ свѣтъ на голову, и заразившее собой цѣлый кружокъ людей, очень честныхъ и очень неглупыхъ. Внѣшніе признаки славянофильства описаны въ общихъ чертахъ, но изъ этого описанія читатель никакъ не можетъ составить себѣ понятія о томъ, какъ возникло это направленіе мысли, и почему именно оно пришлось по душѣ Кирѣевскому, Хомякову и компаніи. Если закоренѣлые обскуранты смотрятъ на нововведенія, какъ на дьявольскую прелесть, пущенную въ міръ для соблазна и гибели православныхъ христіанъ, то должно сознаться, что нѣкоторые отчаянные и черезчуръ запальчивые прогрессисты смотрятъ на явленія, подобныя славянофильству, какъ на какое-то чудовищное и необъяснимое порожденіе духа тьмы и зла. Обскуранты и прогрессисты нисколько не похожи другъ на друга по образу мыслей, но тѣ и другіе, сражаясь съ враждебными имъ явленіями, увлекаются за предѣлы благоразумія, теряютъ способность хладнокровно анализировать, и, впадая въ декламацію, берутъ фальшивыя ноты, вредящія тому дѣлу, которое они защищаютъ.

Вмѣсто того, чтобы прослѣдить развитіе Кирѣевскаго, Хомякова и другихъ славянофиловъ, вмѣсто того, чтобы разсмотрѣть тѣ свойства этихъ людей, которыя породили въ нихъ недовѣріе къ дѣятельности разума, словомъ, вмѣсто того, чтобы объяснить славянофильство какъ психологическій фактъ, критикъ «Современника» вдается въ совершенно безплодную полемику съ положеніями славянофильскихъ теорій.

Спорить съ славянофилами—это право странно; благоразумный человѣкъ не станетъ ни опровергать отрывочныхъ восклицаній, ни смѣяться надъ несвязной рѣчью. Онъ будетъ наблюдать, изучать развитіе и причины и сообщать результаты своихъ изслѣдованій другимъ людямъ, способнымъ и желающимъ его слушать.

Славянофильство — не повѣтріе, идущее неизвѣстно откуда, это—психологическое явленіе, возникающее вслѣдствіе неудовлетворенныхъ потребностей. Кирѣевскому хотѣлось жить разумной жизнью, хотѣлось наслаждаться всѣмъ, чего проситъ душа живого человѣка, хотѣлось любить, хотѣлось вѣрить... Въ дѣйствительности не нашлось матеріаловъ; а между тѣмъ онъ полюбилъ ее, обидеализировалъ ее, раскрасилъ ее по своему и сдѣлался рыцаремъ печальнаго образа, подобно незабвенному Донъ-Кихоту, любовнику несравненной Дульцинеи Тобозской. Славянофильство есть русское донъ-кихотство; гдѣ стоятъ вѣтряныя мельницы, тамъ славянофилы видятъ вооруженныхъ богатырей; отсюда происходятъ ихъ вѣчно-фразистыя, неясныя бредни о народности, о русской цивилизаціи, о будущемъ вліяніи Россіи на умственную жизнь Европы. Все это — донъ-кихотство, всегда искреннее, часто трогательное, болѣею частью непостоянное.



## ВОЛЬНЫЕ РУССКІЕ ПЕРЕВОДЧИКИ.

„СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНІЙ ИНОСТРАННЫХЪ ПОЭТОВЪ“ и „ПОЭТЫ ВСѢХЪ  
ВРЕМЕНЪ И НАРОДОВЪ“.

Переводы В. Д. Костомарова и О. Н. Берга. Москва. 1860 — 1862 г.

### I.

Грустное впечатлѣніе производятъ книги, о которыхъ рѣшительно нельзя сказать, для кого онѣ написаны; одни не найдутъ въ нихъ ничего новаго, другіе — ничего замѣчательнаго, третьи — ничего понятнаго. Для дѣтей пишутъ элементарныя руководства витѣватымъ языкомъ, народу сообщаютъ первыя необходимыя свѣдѣнія, не умѣя избѣгать научныхъ терминовъ, для русской публики переводятъ иностранныхъ поэтовъ такъ своеобразно, что человекъ, знающій подлинникъ, не узнаетъ его въ переводѣ, а незнающій пожалуй и вовсе не доищется смысла. Къ числу такихъ безцѣльныхъ и бесплодныхъ явленій въ области книжной торговли относится «Сборникъ стихотвореній иностранныхъ поэтовъ», изданный въ Москвѣ О. Н. Бергомъ и В. Д. Костомаровымъ. На ихъ книжку стоитъ обратить вниманіе во 1-хъ потому, что она своей внѣшностью и именами переведенныхъ поэтовъ можетъ расположить публику въ свою пользу, во 2-хъ потому, что переводчики обѣщаютъ продолжать свое изданіе, если первый выпускъ будетъ имѣть успѣхъ. Въ сборникъ вошли имена Гюго, Беранже, Гейне, итальянскихъ патріотовъ-поэтовъ, Шамиссо, Трегера и двухъ датчанъ Андерсена и Эленшлегера. Почему выбрали именно этихъ поэтовъ и почему изъ ихъ твореній выбрали именно такіе-то стихотворенія — остается неразрѣшимымъ вопросомъ. Сборникъ не носитъ на себѣ никакого опредѣленнаго характера; руководящей идеи не видно ни въ группировкѣ поэтовъ, ни въ выборѣ стихотвореній. Въ переводахъ съ итальянскаго господствуетъ конечно политическое направленіе; обь остальныхъ нельзя сказать ничего общаго; при чтеніи многихъ переведенныхъ стихотвореній рождается невольно вопросъ: чѣмъ они обратили на себя вниманіе переводчика и для чего онъ тратилъ время и трудъ, чтобы познакомить русскую публику съ безцвѣтными и даже не особенно граціозными лирическими стихотвореніями. Стоило ли переводить съ датскаго «Фіалки», гдѣ говорится, что «счастливый мальчикъ манитъ въ садъ цвѣточки-глазки, а что кругомъ звенятъ голоски: иди же въ садъ, иди же въ садъ». Все стихотвореніе написано для того, чтобы сравнить глазки дѣвушки съ фіалками,

и это стихотвореніе переводится на русскій языкъ въ то время, когда наша критика серьезно и дѣльно упрекаетъ нѣкоторыхъ нашихъ лириковъ въ бѣдности содержанія. Зачѣмъ же брать отъ другихъ то, чего у самихъ чересчуръ много, и брать въ такое время, когда всякій здравомыслящій человекъ сознаетъ излишество разныхъ неудавшихся подражаній «Новой веснѣ» Гейне.

Стихотворенія съ датскаго какъ-то особенно неудачно выбраны. Какъ вамъ понравится, напримеръ «Умирающее дитя»? Ребенокъ при смерти, и говоритъ съ своей мамашей о томъ, какъ прилеталъ къ нему ангелъ; замѣчательно то, что онъ говоритъ такъ же спокойно и рѣчисто, какъ учитель риторики. Всякій предметъ обозначенъ эпитетомъ, и картина выходитъ очень яркая; есть и радужное крыло, и лазурное облако, и золотой кругъ, и пестрые цвѣты, и райскій запахъ — словомъ, нужно полное отсутствіе эстетическаго чувства, чтобы не понять, что это стихотвореніе — наборъ словъ, въ которомъ нѣтъ ни естественности, ни чувства; а Бергъ перевелъ его. — Онъ перевелъ также стихотвореніе «У колодезя», и вотъ его содержаніе: дѣвочка смотритъ въ колодезь и припоминаетъ рассказы своей матери о томъ, какъ мудрая женщина приноситъ ей дѣтей изъ колодца; при этомъ у нея рождается желаніе добыть себѣ ребенка и замѣнить имъ куклолку. Это все очень наивно — спору нѣтъ, но въдѣ ужъ кромѣ наивности ровно ничего, а наивность какъ-то не прививается къ русскому здравому смыслу и переходитъ въ приторность. Если прибавить къ этому, что стихотвореніе переведено разбѣромъ «Конька-горбунка», то не покажется удивительнымъ, что наивность датскаго подлинника принимаетъ въ русскомъ переводѣ характеръ плоской двусмысленности. Затѣмъ слѣдуетъ стихотвореніе съ припѣвомъ: «говорятъ, говорятъ!», которое можно было бы напечатать развѣ только въ покойномъ «Весельчакѣ» — до такой степени при претензіи на остроуміе оно вяло и пусто. По этимъ четыремъ плохимъ стихотвореніямъ русская публика осуждена составить себѣ понятіе обь Андерсенѣ. Что можно подуматъ? Что это поэтъ безъ міросозерцанія, безъ эстетическаго чувства, даже безъ фантазіи. Чтобы оправдать Андерсена, посмотримъ, что перевелъ изъ него Шамиссо, замѣ-



чательный лирикъ и человѣкъ съ тонкимъ и развитымъ вкусомъ. Вотъ напр. буквальный переводъ стихотворенія «Mägzeilschen», взятаго имъ изъ Андерсена; это же стихотвореніе вошло въ «Сборникъ» подъ заглавіемъ «Фіалки». Сравню ихъ по строфамъ:

## Ш А М И С С О:

Сводъ небесный блеститъ чистой синевою,  
Морозъ расписалъ стекла цвѣтами;  
На окнѣ красуются сверкающіе цвѣты;  
Юноша глядя на нихъ стоитъ передъ окномъ.  
А за цвѣтами еще цвѣтеть  
Пара голубыхъ веселыхъ глазъ—  
Мартовскія фіалки, какихъ тотъ и не видывалъ.  
Иней растаетъ отъ живого дыханія;  
Ледяные цвѣты начинаютъ таять.  
Убереги Богъ молодого человѣка.

## Б Е Р ГЪ:

Блескъ солнца въ небѣ голубомъ  
И пѣнье, и весна кругомъ;  
Въ окошкѣ пестрые цвѣты  
Глядятъ на садикъ съ высоты.  
А изъ за нихъ смѣясь глядятъ  
Фіалки-глазки въ пестрый садъ.  
Счастливый мальчикъ тамъ стоитъ,  
Цвѣточки-глазки въ садъ манитъ;  
И голоски кругомъ звенятъ:  
Иди же въ садъ, иди же въ садъ!

У Шамиссо мы видимъ легкую, остроумную шутку талантливаго поэта, мы видимъ граціозный образъ, въ которомъ поэтъ выражаетъ вліяніе женской красоты. У Берга ничего этого не видно. Изъ Андерсена можно было выбрать и лучше; укажу напримѣръ на стихотвореніе: «Müllergesell», переведенное Шамиссо, представляющее самый тонкій психологическій анализъ и проникнутое теплой задушевностью. Изъ Эленшлегера Бергъ перевелъ сцену трагедіи «Гаконъ Ярль». Сцена эта замѣчательно ничтожна и заключается въ себѣ только взаимныя угрозы двухъ витязей: Гакона и Олафа. Ни замѣчательной мысли, ни драматической живости дѣйствія, ни психологической вѣрности анализа! Что поправилось тутъ Бергу, это остается совершенно непонятнымъ. Еслибы совсѣмъ откинуть переводы изъ датскихъ поэтовъ, отъ этого нисколько не потерялъ бы сборникъ.

Съ Шамиссо В. Костомаровъ обращается очень безцеремонно. Въ стихотвореніи «Старая прачка» онъ откинулъ весь послѣдній куплетъ, не пояснивъ причины. Физиономія стихотворенія совершенно измѣнена. Шамиссо изображаетъ дѣятельную, бодрую старуху, жившую честнымъ трудомъ и сохранившую до сѣдыхъ волосъ физическое здоровье и нравственную энергію. В. Костомаровъ представляетъ страдальцу, несшую тяжкій крестъ, плачущую надъ работой и нерѣшающуюся роптать на Господа. Можетъ быть оба типа одинаково законны и важны, но только Шамиссо написалъ не то, что перевелъ В. Костомаровъ. Шамиссо говоритъ: «она честнымъ прилежаніемъ наполняла тотъ кругъ, который

отвелъ ей Господь». В. Костомаровъ переводитъ «И безъ роптанія на Господа несла тотъ тяжкій крестъ, который ей послалъ онъ». Смѣшалъ ли переводчикъ *Kreis* и *Kreutz*, или сознательно отступилъ отъ подлинника—все равно, колоритъ отъ этого во всякомъ случаѣ измѣняется.

Шамиссо: Она несла долю жены; не было недостатка въ заботахъ; она ходила за больнымъ мужемъ, она родила ему троихъ дѣтей; она положила его въ гробъ и не потеряла вѣры и надежды.

## К О С Т О М А Р О ВЪ:

И съ кроткою покорностью сносила  
Обязанность суровую жены.  
Мужъ у нея сварливый былъ, больной.  
Трехъ дочекъ отъ него она имѣла,  
И не осталось съ нею ни одной—  
Но все перенести она умѣла.

Сварливость мужа, суровая обязанность жены—двѣ черты, прибавленныя переводчикомъ.

## Ш А М И С С О:

Она стала работать ножницами и иглой  
И собственноручно сшила себѣ  
Безукоризненный саванъ.

## К О С Т О М А Р О ВЪ:

Она беретъ наперстокъ и иглку  
Шьетъ саваны дрожащею рукою  
Безъ ропота... Лишь плачетъ втихомолку.

Это совершенно не то, что говоритъ Шамиссо. Отчего плачетъ прачка, отчего у нея дрожать руки—это не пояснено никакъ, да и совершенно не въ ея характеръ; въ слѣдующемъ куплетѣ Шамиссо говоритъ, что она съ удовольствіемъ всякое воскресенье смотритъ на свой саванъ. Объ удовольствіи, съ которымъ дѣлаетъ это старая прачка, В. Костомаровъ умалчиваетъ. Точно также стихотвореніе «Нищій и его собака» представлено не въ переводѣ, а скорѣе, какъ варіація на данную тему. Бѣдный нищій, у котораго разрывается сердце въ то время, какъ онъ надѣваетъ петлю на шею своей собаки, названъ у В. Костомарова «злѣдемъ». О собакѣ сказано, что она «вдругъ околѣла» на могилѣ хозяина, точно будто съ нею сдѣлался апоплексическій ударъ. По признанію самихъ переводчиковъ лучше всего переведены у нихъ стихотворенія Гюго «съ сохраненіемъ какъ образовъ, такъ даже и эпитетовъ подлинника». Посмотримъ, что это за переводъ. Вотъ напримѣръ картина разрушенія Содома и Гоморры. Курсивомъ напечатано въ подлинникѣ то, чего нѣтъ въ переводѣ, а въ переводѣ то, чего нѣтъ въ подлинникѣ.

Ce peuple s'éveille  
Qui dormait la veille  
Sans penser à Dieu.  
*Les grands palais croulent;*  
*Mille chars qui loulent*  
*Heurtent leur essieu;*  
*Et la foule accrue*  
*Trouve en chaque rue*  
*Un fleuve de feu.*  
Sur ses tours altières  
Colosses de pierre  
*Trop mal affermis*  
Abondent dans l'ombre.

Туча грозная реветъ.  
*Вихорь крыши съ зданій рветъ.*  
И проснулся тотъ народъ,  
Что вчера, забывъ о Богѣ,  
*Въ золотомъ уснулъ чертогъ.*  
*И въ смятеніи, въ тревогѣ*  
*Всѣ изъ города бѣгутъ*  
*На долину, но и тутъ*  
*Рѣки пламени текутъ.*  
*Словно глыбы хрупкой глины*  
*Пали башни-исполины*  
И, волнами снесена,  
Пала бѣлая стѣна.



Des mourants sans nombre  
Encore endormis  
Sur des murs qui pendent;  
Ainsi se répandent  
De noirs fourmis.  
Se peut-il qu'on fuie  
Sous l'horrible pluie?  
Tout périt, hélas!  
Le feu qui foudroie  
Bat les ponts qu'il broie,  
Crève les toits plats,  
Roule, tombe et brise  
Sur la dalle grise  
Ses rouges éclats.  
Sous chaque étincelle  
Grossit et ruisselle  
Le feu souverain.

Подъ развалинами сводовъ  
Улицъ крытыхъ переходовъ,  
Не опомнившись отъ сна,  
Гибнуть тысячи народа  
Въ лапы огненныхъ волнахъ.  
Гдѣ же вамъ искать спасенья  
Отъ огня и разрушенія?  
Все погибло, все, увы!  
Вотъ гранитныя твердыни  
Вашей суетной гордыни  
Въ-прахъ повергнуты, и вы,  
Дыти мрачнаго Эрева,  
Не спасетесь отъ гнѣва  
Бога силъ, Іеговы.  
Туча лопнула отъ жара  
И отъ каждого удара (чего)?  
Ярче варевъ пожара.

и такъ далѣе...

Изъ 32 строкъ переданы приблизительно вѣрно 10, и это вы найдете въ каждомъ стихотвореніи Гюго. Вотъ вамъ и сохраненіе образовъ и эпитетовъ; и хотъ бы эти отступленія выкупались художественностью языка, звучностью и вѣрностью стиховъ. Что за рѣзмы, что за грамматическія ошибки, что за нарушенія исторической вѣрности въ самовольныхъ отступленіяхъ отъ подлинника! У В. Костомарова считается рѣзми: сна и волнахъ (стр. 20), шумомъ и другомъ (21), праздникъ и участникъ (24), огромный и верховный (23), помочь имъ и они (25), ни тѣни и теченіе (25), разскажетъ и чаекъ (27), наряды и стадо (27). Всѣ эти примѣры собраны на семи страницахъ, и между тѣмъ, какія кровавыя жертвы переводчикъ приносить рѣзмѣ. Для того, чтобы найти третью рѣзми къ словамъ *своды* и *народы*, В. Костомаровъ употребляетъ выраженіе: *Лавы пламенныхъ воды* (19). Для рѣзми онъ называетъ жителей Содомы и Гомора *дѣтьми мрачнаго Эрева* и сливаетъ представленія греческой мифологіи съ еврейскими преданіями. Онъ пишетъ *шире пламенный потокъ* и вслѣдъ за тѣмъ для рѣзми небеса *сыплютъ огненный песокъ*, который для сожженія провинившихся городовъ былъ уже собственно излишенъ при потокахъ огненной лавы, но для стиха именно при потокахъ и оказалась необходимостью. А главное хорошо то, что въ подлинникѣ нѣтъ ни *пламенныхъ водъ лавы*, ни *дѣтей Эрева*, ни *огненного песка*. Это все отъ переводчика и для рѣзми. В. Костомаровъ для рѣзми сочиняетъ новыя слова и даже не поясняетъ ихъ значенія:

Драгоценная тіара  
Занялась на немъ какъ фара.

Что такое *фара*? Сличаю съ подлинникомъ и вижу тамъ *phare*, рѣзмующее въ *tiare*, и переводящееся русскимъ словомъ *маякъ*. Но ужъ *тіара* и *маякъ*, даже на спусходительное ухо Костомарова не покажется рѣзмию. Онъ и создалъ *фару*, и рѣзма вышла богатая.

А вотъ и грамматическая ошибка во имя рѣзми:

Валы пепла, волны пламя  
И царя-вохва, и знамя  
Увлекали за собой.

*Пламя*, по мнѣнію В. Костомарова, есть рѣзми падѣжъ отъ существительнаго того-же имени. Но ужъ за то, надо сказать правду: гдѣ Костомаровъ пожертвуетъ здравымъ смысломъ, исторіей или грамматикой, тамъ интересы уха спасены, и рѣзма выходитъ блистательная.

Посмотримъ, что же сталося подъ рукою непризванныхъ переводчиковъ съ граціозными, легкими созданіями Гейне и Беранже, которыя такъ легко испортить и которыя такъ часто портили у насъ въ Россіи и въ журналахъ, и въ отдѣльных изданіяхъ. Въ сборникѣ мы найдемъ между прочимъ переводъ прелестной пѣсни Беранже «*La coquette retrouvée*». Въ подлинникѣ вложенъ въ эту пѣсню цѣлый міръ чувства. Тутъ есть и грусть, и добродушный юморъ, и слезы сквозь улыбку, и то любовное отношеніе ко всему живому, ко всякой искренней радости, которое составляетъ вѣчно свѣжую и господствующую черту поэзіи Беранже. Все это выражается просто какъ Богъ послалъ, все это какъ будто не сознаетъ собственной прелести и оттого становится еще прелестнѣе. Добрый, честный, любящій старикъ смотритъ на увядшій вѣнокъ и, вспоминая прошлое, поневолѣ съ грустью относится къ настоящему. Но уже самое это тихое настроеніе грусти исключаетъ всякій цинизмъ, всякое ожесточеніе противъ настоящаго. Вотъ какъ говоритъ поэтъ о той женщинѣ, которую онъ когда-то любилъ:

Et la beauté tendre et rieuse.  
Qui de ces fleurs me courrona jadis?  
Vieille dit-on elle est pieuse;  
Tous nos baisers, les a-t-elle maudits?  
J'ai cru que Dieu pour moi l'aurait fait naître,  
Mais l'âge accourt qui vient tout effacer.  
O honte! et sans la reconnaître  
Je la verrais passer.

И вотъ какъ переводить это мѣсто В. Костомаровъ:

А та красавица, что бѣлою рукой  
Вотъ въ этотъ самый лавръ мнѣ розаны вплетала,  
Да, говорятъ, сварливою ханжей  
На старости-то лѣтъ моя красотка стала.  
Неужели-жъ и я объ ней не пожалѣю  
И такъ же, какъ она, забуду страсть свою!  
О стыдъ, теперь и я, встрѣчаясь съ нею,  
Ея не узнаю.

Я не знатокъ живописи, но мнѣ кажется, что если бы художникъ арзамасской школы взялся списать сикстинскую мадонну, то результатъ его трудолюбія былъ бы похожъ на картину Рафаэля столько же, сколько переводъ В. Костомарова похожъ на стихотвореніе Беранже. Посредственная дарованія любятъ класть краски густо, ярко, чтобы въ глаза било, чтобы издали было замѣтно. Въмѣсто картины выходитъ вывѣска. Но это не бѣда! блеститъ по-крайней-мѣрѣ. Беранже говорить: «она богомольная старушка». В. Костома-



рову это кажется слабо и онъ ставитъ сварливую ханжу, что конечно выходитъ рельефнѣе. Беранже говоритъ: «я бы можетъ быть не узналъ ее». В. Костомаровъ избавляетъ читателя отъ тягостнаго сомнѣнія: «теперь и я, встрѣчаясь съ нею, ее не узнаю». Неправда-ли, такъ будетъ гораздо яснѣе. Впрочемъ, переводчикамъ Богъ проститъ; вѣдь у нихъ разобратъ трудно, что дѣлается по глубокимъ эстетическимъ соображеніямъ, и что измѣняется случайно, въ угоду рѣшѣ; замѣчу мимоходомъ, что *ханжой* рѣшуетъ съ *рукой*, а *узнаю* съ *своею*, и это вѣроятно играетъ не послѣднюю роль въ ряду соображеній, побудившихъ В. Костомарова исковеркать мысль своего подлинника. Слѣдующее затѣмъ стихотвореніе «Фіалки» сплошь набито выдумками В. Костомарова. Напр.

Фіалка бѣдняжка! Апрѣльскій морозъ  
Ужъ стелетъ коверъ серебристый,  
И бѣлой бахромкой по вѣткамъ березъ  
Раскинулся иней пушистый.

Оно гладко и по размѣру, и по приемамъ, только къ сожалѣнію выходитъ безсмыслица, да и къ тому же Беранже говоритъ совсѣмъ не то. Если въ апрѣлѣ морозъ уже стелетъ серебристый коверъ, значитъ къ маю должно быть замерзнуть рѣчки, пойдутъ метели и ужъ тутъ подлинно горе будетъ бѣдняжкѣ-фіалкѣ; придется пуще прежняго *рыдать отъ стужи* (стр. 107). Не мѣшаетъ замѣтить, что у Беранже нѣтъ ни серебристаго ковра, ни березъ, обшитыхъ бахромкой инея, ни бѣдняжки, ни рыданій, ни даже апрѣля. Все дѣло происходитъ въ началѣ марта; отъ весеннихъ лучей солнца надъ снѣгомъ поднимается паръ, фіалки только немного зябнутъ, и поэтъ предостерегаетъ ихъ, говоря, что разрыхленный снѣгъ можетъ опять скрѣпиться морозомъ. В. Костомаровъ по привычкѣ усилилъ все это и вѣроятно принаровилъ свой переводъ къ русскому климату, перенеся дѣйствіе на апрѣль.

Перейдемъ къ Гейне. О внѣшности перевода говорить нечего; онъ ни сколько не лучше всѣхъ остальныхъ, а степень его совершенства я оцѣнилъ уже достаточно, говоря о Гюго. Любопытно теперь посмотрѣть, какъ переводчики *поняли* Гейне; этого поэта нужно знать, чтобъ перевести его; иначе внутренній смыслъ выдохнется, и тамъ, гдѣ у Гейне выражено міросозерцаніе, тамъ въ переводѣ окажется только претензія на оригинальную выходку, лишнюю внутренняго содержанія. Наша публика, незнакомая съ нѣмецкимъ языкомъ, положительно не знаетъ Гейне, и въ этомъ виноваты переводчики. Почти всѣ лирическія стихотворенія Гейне переведены, но почти никто не переводилъ ихъ по цикламъ. Въ книгѣ: «Neue Gedichte» есть нѣсколько лирическихъ романовъ, изъ которыхъ каждый названъ именемъ женщины. Анжелика, Катарина, Серафима, Эмма и т. д. состоятъ, какъ извѣстно, изъ

ряда лирическихъ стихотвореній, въ которыхъ изображены различные моменты въ развитіи чувства мужчины къ женщинѣ. Наши поэты переводили изъ этихъ цикловъ отдѣльныя стихотворенія, а фізіономія Гейне выражается именно въ связи ихъ между собою. Публика наша любитъ Гейне, но положительно не знаетъ его. Переводы Берга и Костомарова могутъ только повредить этому дѣлу, потому-что поэтическая личность Гейне ими положительно не понята. Во всякомъ сколько нибудь характеристическомъ стихотвореніи Гейне самая замѣчательная черта или вовсе опущена, или извращена самымъ безчеловѣчнымъ образомъ. Судя по переводамъ В. Костомарова, можно предположить, что онъ былъ-бы поставленъ въ крайнее затрудненіе, если бы его попросили написать критическую статью о Гейне; а тяжело должно быть перевести поэта, котораго не знаешь и не понимаешь. За примѣрами этого непониманія дѣло не станетъ. Переведена между прочимъ «Пѣсня океаниды»; вотъ сюжетъ этого стихотворенія, какъ я его понимаю. На берегу сѣвернаго моря сидитъ мужчина и хвалится передъ морскими чайками своимъ блаженствомъ. Тогда океаниды, вслушавшись въ его слова, начинаютъ пѣть ему пѣсню слѣдующаго содержанія:

«Глупый ты, глупый человѣкъ, хвастунъ нелѣпый! Гнететъ тебя тоска! Погибли твои надежды, живыя дѣти сердца, и увы! сердце твое, подобно Ніобѣ, каменѣетъ отъ горя. Въ головѣ у тебя наступаетъ ночь, и сверкаютъ въ ней молніи безумія, и ты съ горя хвастаешь! О, глупый ты человѣкъ, глупый хвастунъ. Ты упрямъ какъ твой предокъ, великій титанъ, укравшій у боговъ небесный огонь и давшій его людямъ. Измученный коршуномъ, прикованный къ скалѣ, онъ грозилъ Олимпу, не покорялся и стоналъ такъ, что мы это слышали въ глубинѣ моря и пришли къ нему утѣшать его пѣсней. Глупый, глупый ты человѣкъ, хвастливый глупецъ! вѣдь ты еще безсильнѣе. Ты бы сдѣлалъ благоразумно, если бы сталъ уважать боговъ и терпѣливо перенесъ тяжесть страданія, и несъ бы ее терпѣливо такъ долго, такъ долго, пока самъ Атласъ потеряетъ терпѣніе и сброситъ съ плечъ тяжелый міръ въ вѣчную ночь».

А вотъ переводъ Костомарова:

«Дуракъ ты, дуракъ ты, хвастливый безумецъ!  
Жалко тебя намъ!  
Тамъ погибаютъ твои золотыя надежды—  
Сердца шутливыя дѣти!  
И ахъ! твое сердце, подобно Ніобѣ,  
Окаменѣетъ отъ скорби великой,  
И въ головѣ твоей темная ночь поселится,  
И молніи бѣшенства будутъ однѣ лишь бли-  
стать въ ней  
Расхвастался ты передъ горемъ бѣдою!» И т. д.

На это мѣсто перевода стоитъ обратить вниманіе. Не говоря уже о грубомъ незнаніи нѣмец-



каго языка, выражающемся въ томъ, что В. Костомаровъ переводить «Kummergequälter» — «жалъ мнѣ тебя», «*dahin gemordet*» — «тамъ погибають», настоящія времена глаголовъ — будущими и пр., любопытно посмотрѣть, какъ понята вся идея стихотворенія.

Что хотѣлъ сказать Гейне, или вѣрнѣе что сказалося въ его поэтическомъ образѣ? — То, что человѣкъ съ разбитымъ сердцемъ, съ лопнувшими надеждами, съ уничтоженными вѣрованіями находитъ удовольствіе въ томъ, чтобы упорно говорить о своемъ счастьи, съ цинизмомъ хвастать имъ передъ другими, давая имъ впрочемъ замѣтить свою неискренность, и громкимъ, рѣзкимъ ожесточеннымъ хохотомъ заглушать голосъ тихой грусти или судорожные вопли страданія. Этотъ человѣкъ становится лицомъ къ лицу съ природою, смотритъ на волнующееся море, на сѣрое небо и въ виду ихъ безпредѣльности начинаетъ смутно чувствовать мелочность своей неискренности, начинаетъ понимать, что та несокрушимая сила, которою онъ хвастался передъ людьми, даже не успокоивала страданія, а только закрашивала рану. Страдалецъ перестаетъ рисоваться, фанфаронъ дѣлается на минуту искреннимъ человѣкомъ, и ожесточенный смѣхъ разрѣшается тихими, теплыми слезами ноющей грусти.

Кто читалъ Гейне внимательно, да кто при этомъ знаетъ нѣмецкій языкъ лучше Костомарова, тотъ припомнитъ, что борьба между искренней грустью и натянутымъ смѣхомъ не только составляетъ колоритъ его произведеній, но во многихъ изъ нихъ обращаетъ на себя его особенное вниманіе и дѣлается предметомъ поэтической обработки. В. Костомаровъ этого не знаетъ и потому принимаетъ пѣсню океанида за какое-то пророчество о будущихъ страданіяхъ и кажется вмѣсто глубокой мысли видить во всей пѣсѣ только причудливое твореніе фантазій. Въ стихотвореніи: «Горные голоса» ошибка переводчика еще наивнѣе. Гейне представляетъ, что эхо отвѣчаетъ на слова путника, разспрашивающаго о своей судьбѣ. Оно отвѣчаетъ, повторяя его послѣднія слова, и эти отвѣты, случайно нося на себѣ характеръ грустнаго предзнаменованія, наводятъ уныніе на путника. Въ этомъ поэтическомъ образѣ лежитъ глубокая иронія, но въ нее нужно вдуматься. Все, въ чемъ есть доля мистицизма, все, что основано на одномъ вѣрованіи и не провѣрено критикою мысли — все это случайно, и между тѣмъ всему этому слабое чело-вѣчество придаетъ суевѣрное значеніе, отказываясь во имя бредней отъ живыхъ надеждъ и свѣжихъ радостей жизни. Вотъ смыслъ словъ Гейне. Что В. Костомаровъ не понялъ этой затаенной ироніи — это еще не бѣда, но онъ даже не понялъ, что этотъ горный голосъ — эхо, или забылъ, что эхо повторяетъ послѣднія слова. Путникъ въ переводѣ говоритъ: «или съ темной, холодной могилой». Эхо повторяетъ: съ могилой.

Въ третьемъ куплетѣ путникъ говоритъ: «пусть съ любовью могила встрѣчаютъ», а эхо отвѣчаетъ: «тамъ счастье». Что-же это такое? вѣдь это значитъ переводить стихотвореніе, не прочтя его или не умѣя прочесть. Этакъ немудрено выпустить десять книжекъ подобныхъ разбираемой, немудрено перевести всего Гейне и Беранже, но что-же въ нихъ толку? Такія книги сбиваютъ публику съ толку, портятъ эстетическое чувство или отбиваютъ охоту отъ чтенія. Въ личностяхъ Гюго, Беранже и Гейне мы видимъ поэта фантазій, поэта чувства и поэта мысли. Созданіе фантазій искажено произвольными прибавками, опущеніями и выдумками, въ которыхъ нѣтъ ни историческаго значенія, ни эстетическаго такта. Выраженіе чувства превратилось въ грубую карикатуру, въ которой нѣтъ даже психологическаго правдоподобія. Проявленіе творческой мысли и разумнаго міросозерцанія непонято и искажено; гдѣ у Гейне иронія, тамъ въ переводѣ наивное оригинальничанье, которое само не понимаетъ своего значенія; гдѣ у Гейне истинное сдержанное чувство, тамъ въ переводѣ — искаженное и водянистое подражаніе непонятому оригиналу.

## II.

Полтора года тому назадъ, въ декабрьской книжкѣ «Рус. Слова» за 1860 годъ, я разобралъ «Сборникъ стихотвореній иностранныхъ поэтовъ» въ переводѣ В. Д. Костомарова и Ѳ. Н. Берга. Теперь явился второй выпускъ того же изданія подъ заманчивымъ заглавіемъ: «Поэты всѣхъ временъ и народовъ». Этотъ второй выпускъ отличается отъ перваго своимъ планомъ и составомъ. Издатели сочли нужнымъ помѣстить кромѣ стихотворныхъ переводовъ четыре объяснительныя статьи, написанныя конечно прозою. Кромѣ того, число переводовъ значительно увеличилось; Бергъ и Костомаровъ со времени изданія перваго выпуска успѣли набить руку, такъ что уже теперь въ ихъ переводахъ не встрѣчается тѣхъ диковинокъ, которыя я отмѣтилъ полтора года тому назадъ. Общая цѣль предпріятія, которое кажется намѣрено быть прочнымъ, до сихъ поръ остается необъясненной; почему издатели берутъ тѣхъ или другихъ поэтовъ, тѣ или другія стихотворенія — этого я не знаю, да и сами они, кажется, считаютъ совершенно лишнимъ отдавать себѣ въ этомъ отчетъ. Во второмъ выпускѣ мы встрѣчаемъ Бёрнса и Гейне — ну, это понятно! Бёрнсъ и Гейне всегда кстати; затѣмъ мы встрѣчаемъ Шультса, Андерсена и ввидѣ приложения — легенды сербовъ. Русская публика конечно ничего бы не потеряла, еслибы всего этого она и не встрѣтила. Самую слабую часть книжки составляютъ впрочемъ не стихотворенія, а объяснительныя статьи Костомарова и коротенькое предисловіе, подписанное словомъ: «издатели».



Тутъ, въ этомъ предисловіи издатели стараются объяснить цѣль своихъ трудовъ и издержекъ, но это имъ плохо удается; оказывается, что предлагаемый сборникъ желаетъ содѣйствовать знакомству русской публики съ поэзіей другихъ народовъ, а что о пользѣ такого знакомства и говорить нечего—потому-де, что она признается всѣми. Впереди, въ туманномъ отдаленіи издатели видятъ передъ собой замазчивую цѣль: составленіе на русскомъ языкѣ такой антологіи, «какими такъ богата напримѣръ хоть нѣмецкая литература». Впрочемъ эта цѣль кажется имъ на столько великой, что она, по ихъ словамъ, можетъ быть достигнута не скоро. Отдаленность великой цѣли не ослабляетъ однако самоотверженнаго усердія издателей; они надѣются, что роскошное зданіе русской антологіи сложится со временемъ и что ихъ сборники будутъ служить кирпичами въ рукахъ будущаго зодчаго. Да, воля ваша, говорите, что хотите, смѣйтесь, сколько душѣ угодно, а все-таки издателямъ отрадно думать, что ихъ внуки будутъ держать въ рукахъ толстый in-4<sup>o</sup>, въ которомъ по алфавиту или по достоинству размѣстятся иностранные «поэты всѣхъ вѣковъ и народовъ», пересаженные на русскую почву трудолюбивыми руками О. Берга, В. Костомарова и сотрудниковъ. Пріятно даже воображать себѣ въ будущемъ плоды собственной общественной дѣятельности. Вѣдь перевести на русскій языкъ пѣсенку Гейне, это—тоже общественная дѣятельность, хоть лыкомъ штая, а все дѣятельность. Я отъ души жалѣю о томъ, что не обладаю той пылкостью воображенія, которою одарены издатели; иначе я бы непременно вообразилъ себѣ, что въ настоящую минуту, болтая всякій вздоръ по поводу вздорной книжки, я занимаюсь общественной дѣятельностью, просвѣщаю вкусъ русской публики здоровой критикой, разрушаю ветхія понятія... О, общественная дѣятельность, хорошо, что ты у насъ въ Россіи—отвлеченная идея, иначе ты имѣла бы полное право обидѣться, зачѣмъ ни къ селу, ни къ городу призываютъ твое почтенное имя? Кто только не воображаетъ себя дѣятелемъ? всѣ суетятся, всѣ хлопочутъ, и все это дѣлается для пользы общей. Вотъ напри- мѣръ издатели «поэтовъ» составили книжку въ 200 страницъ и пустили ее въ продажу по 1 руб. 25 коп. Подумайте: за 1 р. 25 к. читатель узнаетъ, какъ В. Костомаровъ думаетъ о Бёрнсе, какъ тотъ же В. Костомаровъ смотритъ на Гейне, и какъ наши русскіе стихотворцы переводятъ Бёрнса, Гейне, Шюльтса, Андерсена и сербовъ. Доставить столько наслажденія за такую умѣренную цѣну—это заслуга.

Что же вы хотите доказать всѣми вашими нелѣпыми насмѣшками? спроситъ наконецъ раздосадованный читатель.

А вотъ видите ли, я хочу доказать, что претензіи всегда бываютъ смѣшны. В. Костомаровъ

и Бергъ перевели на досугѣ нѣсколько десятковъ стиховъ; имъ захотѣлось ихъ напечатать; желаніе понятное; потомъ, когда накопилось еще нѣсколько пьесъ, захотѣлось повторить тоже самое; ну, и печатали бы себѣ просто, безъ затѣй, не распространяясь о цѣли; какая тутъ цѣль! просто, отчего же не перевести, а потомъ, отчего же не напечатать? Нѣтъ, нельзя, самолюбіе одолеваетъ; надо, видите-ли, объяснить появленіе книжки выписными побужденіями, надо привести ее въ связь съ потребностями общества, надо себя заявить. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ Петръ Ивановичъ Бобчинскій; не даромъ же Гоголь былъ великій знатокъ русскаго человѣка. У русскаго человѣка бываетъ охота работать, бываютъ и силы; не достаетъ только простора и умѣнья направить свои силы; поэтому онъ или тратитъ ихъ зря въ узенькой сферѣ, или ограничиваетъ всю свою дѣятельность заявленіями о самомъ себѣ; въ нашей литературѣ есть очень много пишущихъ людей, отъ которыхъ мы до сихъ поръ не узнали ни одной идеи; но за то имъ удалось разъ двадцать или тридцать напечатать свою фамилію и извѣстить почтеннѣйшую публику о томъ, что на бѣломъ свѣтѣ живетъ такой-то Ивановъ, Арсеньевъ или Заочный. Принадлежатъ ли издатели къ категоріи непродуцированныхъ дѣятелей нашей литературы—этого еще нельзя рѣшить; во всякомъ случаѣ плоды ихъ дѣятельности еще впереди, въ будущемъ роскошномъ зданіи русской антологіи.

В. Костомарову удалось нѣкоторые переводы, но за то его характеристики Бёрнса и Гейне рѣшительно никуда не годятся. Біографія Бёрнса, занимающая 50 страницъ, ничто иное, какъ плохая компиляція изъ писемъ Бёрнса, изъ статьи Карлейля о шотландскомъ поэтѣ и изъ разныхъ англійскихъ біографій. Называя произведеніе В. Костомарова плохой компиляціей, я не думаю обвинять составителя въ томъ, что онъ не воспользовался всѣми источниками; источниковъ за глаза довольно, да бѣда въ томъ, что В. Костомаровъ не умѣетъ съ ними справиться, не умѣетъ сгруппировать ихъ и придать имъ даже внѣшнюю стройность. Одни и тѣ же факты повторяются по нѣскольку разъ. «Прекрасная душа» Бёрнса отлетаетъ «на небо» на 16-й страницѣ, и читатель, замѣчая, что впереди еще 34 страницы, начинаетъ надѣяться, что ему дадутъ подробный разборъ произведеній шотландскаго поэта; но онъ ошибается; на 16-й же страницѣ начинается письмо Бёрнса къ доктору Муру, въ которомъ поэтъ рассказываетъ всю свою жизнь, т. е. то, что уже намъ рассказалъ В. Костомаровъ. Это продолжается до 32-й страницы; мы принуждены сознаться, что рассказъ Бёрнса лучше рассказа В. Костомарова, и потому мнѣ кажется, что Костомаровъ могъ бы ограничить свою біографическую дѣятельность придѣлываніемъ нѣкоторыхъ комментаріевъ къ письму Бёрнса;



во всякомъ случаѣ печатать подъ рядъ два разсказа объ одномъ и томъ же предметѣ по меньшей мѣрѣ бесполезно; какъ ни замѣчательна личность Бернса, а все-таки мнѣ кажется, что русской публикѣ незачѣмъ учить наизусть его біографію; достаточно прочесть ее одинъ разъ. Съ 36-й страницы начинается оцѣнка поэтической дѣятельности Бернса. «Бернсъ, говоритъ Костомаровъ, былъ народный поэтъ въ высшей степени». Должно сознаться, что эти слова ничего не поясняютъ; названіе народнаго поэта совершенно неопредѣленно; а нарѣчіе «въ высшей степени» показываетъ только, что Костомарову очень хочется расхвалить Бернса.

Выписки изъ Карлейля также мало подвигаютъ дѣло впередъ. Какъ вамъ нравится напримѣръ такая характеристика Бернса, заимствованная у Карлейля: «добродѣтель живетъ въ его стихотвореніяхъ, какъ будто на зеленыхъ лужайкахъ и дышитъ воздухомъ горъ; но въ нихъ глубоко залегли слезы, и раздирающій пламень, какъ молнія, скрывается въ капляхъ лѣтнаго облачка». Добродѣтель, слезы и раздирающій пламень—вотъ ингредиенты, изъ которыхъ состоитъ поэзія Бернса; смѣшайте все это вмѣстѣ въ надлежащей пропорціи, вообразите себѣ при этомъ зеленые лужайки, воздухъ горъ и лѣтнее облачко, и дѣло съ концомъ; вы получили полное понятіе объ особенностяхъ поэтическаго таланта Роберта Бернса; вы скажете можетъ-быть, что всѣ эти разнородные ингредиенты слишкомъ отвлеченны и слишкомъ плохо вяжутся между собою въ нашемъ воображеніи, — я съ вами согласенъ; но Костомаровъ думаетъ иначе. Вся II-я глава (отъ стр. 36 до 48-й) завалена цитатами изъ Карлейля; всѣ эти цитаты очень цвѣтисты и, по правдѣ сказать, совершенно лишены осязательнаго содержанія. Что вы скажете напримѣръ о такой тирадѣ? «Онъ родился поэтомъ; поэзія была небеснымъ элементомъ существа его; на ея крыльяхъ онъ возносился въ область чистѣйшаго эѳира и уже не думалъ больше ни о какомъ другомъ повишеніи. Онъ готовъ былъ перенести и бѣдность, и неизвѣстность, и всѣ бѣдствія, только бы не унижить себя и не осквернить искусства». Мысль очень простая: «Робертъ Бернсъ былъ честный человѣкъ, никого не обманывалъ и ни передъ кѣмъ не подличалъ»; но какими узорами расписана эта простая мысль! Тутъ и небесный элементъ, и крылья поэзіи, и вознесеніе въ область чистѣйшаго эѳира, и оскверненіе искусства...

— О другъ мой, Аркадій Николаевичъ, не говори красиво...

А вотъ образчикъ того историческаго мистицизма, который у Карлейля доходитъ до галлюцинаціи. «Байронъ и Бернсъ были оба миссіонеры своего времени; цѣль ихъ миссіи была одна и та же—научить людей высочайшему ученію, чистѣйшей истинѣ; они должны были исполнить цѣль своего призванія; до тѣхъ поръ они не

могли знать покоя. Тяжко лежало на нихъ это божественное повелѣніе; они изнывали въ тяжелой, болѣзненной борьбѣ, потому что не знали его точнаго смысла; они предугадывали его въ какомъ-то таинственномъ предчувствіи, но должны были умереть, не высказавши его ясно». Тутъ Карлейль не только говоритъ красиво, но даже думаетъ красиво, такъ что вы, при всѣхъ усиліяхъ, не доростаете ни до какой простой человѣческой мысли. Костомарову это должно нравиться, потому что чѣмъ другимъ, а обиліемъ простыхъ, человѣческихъ мыслей его статьи не грѣшатъ. У него встрѣчаются поползновенія заговорить такъ же красиво, какъ говоритъ Карлейль, но эти попытки остаются слабыми подражаніями. Напримѣръ: (стр. 4). «Отъ береговъ Дуна, изъ мазанки Шотландіи выпорхнула полевая ласточка и запѣла свою честную звонкую пѣсенку» (стр. 14). «Напрасно его шотландская муза, полуодѣтая въ національный тартанъ, въ вѣнкѣ изъ орѣшника и терна являлась къ нему какъ благодѣтельная фея и ударомъ волшебной палочки превращала убогую мазанку въ чудный замокъ, — онъ умеръ, какъ жилъ, бѣднымъ фермеромъ, орошая кровавымъ потомъ жадную землю, которая кормила его нуждою». А не лучше ли было бы, вмѣсто того, чтобы съ невѣроятными усиліями соорудать риторическія фигуры, объяснить просто, почему Бернсъ всю свою жизнь терпѣлъ нужду; вѣдь изъ разсказа Костомарова этого не видать. Только и видно, что несчастнаго поэта гнететъ злая судьба, но что же это за объясненіе? Или можетъ быть Костомаровъ вѣритъ въ *fatum*, точно также, какъ Карлейль вѣритъ въ историческія миссіи? Въ такомъ случаѣ конечно и объяснять нечего.

Оцѣнка произведеній Бернса ограничивается тѣмъ, что Костомаровъ приводитъ нѣсколько его пѣсенъ и прибавляетъ къ каждой изъ нихъ эпитетъ превосходная, прекрасная, прелестная. При такомъ образѣ дѣйствій роль критика оказывается въ высшей степени легкой и пріятной.

Изъ стихотвореній Бернса, переведенныхъ въ этомъ выпускѣ, особенно замѣчательна по идеѣ и выполненію небольшая пѣсня: «Прежде всего». Приведу ее цѣликомъ.

Бѣднякъ, будь честенъ и трудись,  
Трудись прежде всего;  
Холопа встрѣтишь—отвернись  
Съ презрѣньемъ отъ него!  
Прежде всего, прежде всего  
Предъ знатымъ не блѣднѣй—  
Вѣдь знатность штемпель у гиней  
И больше ничего!

Пусть черствый хлѣбъ—весь твой обѣдъ,  
Изъ поскони кафтанъ;  
Другой и въ бархатъ разодѣтъ,  
Да плутъ прежде всего.  
Прежде всего, прежде всего  
Вѣдь титулъ—глупый звонъ.  
Бѣднякъ, будь только честенъ онъ—  
Король прежде всего!



Вотъ этотъ баринъ—знатный лордъ,  
 Да что намъ изъ того,  
 Что онъ своимъ богатствомъ гордъ,  
 А глупъ прежде всего!  
 Прежде всего, прежде всего,  
 Для насъ, дѣтей труда,  
 Его и лента, и звѣзда  
 Смѣшны прежде всего!

Холопа въ графы произвестъ  
 Не стоитъ ничего:  
 Но честнымъ сдѣлать царь—какъ есть—  
 Не можетъ нѣкого!  
 Прежде всего, прежде всего  
 Да будутъ всѣ честны.  
 Честь—наши высшіе чины  
 И умъ прежде всего.

Молитесь всѣ, чтобъ Богъ послалъ  
 Намъ царствіе свое,  
 Чобъ честный трудъ на свѣтѣ сталъ  
 Почетнѣе всего!  
 Прежде всего, прежде всего,  
 Отнынѣ и во вѣкъ,  
 Чобъ человѣку человѣкъ  
 Былъ братъ прежде всего.

Первые четыре куплета превосходно выражаютъ гордое сознаніе человѣческаго достоинства и спокойное презрѣніе къ искусственнымъ понятіямъ знатности и свѣтской чести. Пятый куплетъ грѣшитъ піетизмомъ, но послѣднія двѣ строки спасаютъ общее впечатлѣніе. Во всякомъ случаѣ надо сказать спасибо Костомарову за то, что онъ перевелъ это стихотвореніе просто и изящно, сохраняя тотъ оттѣнокъ юмора и ту непринужденность оборотовъ, которыми отличается подлинникъ.

Статья Костомарова о Гейне еще болѣе неудачна, чѣмъ его «Робертъ Бернсъ». Эта статья прямо показываетъ, что Костомаровъ не понимаетъ значенія Гейне и даже непосредственнымъ чувствомъ не можетъ оцѣнить его поэзію.

Біографическихъ данныхъ очень немного, да и тѣ, по правдѣ сказать, бесполезны; вся наша читающая публика знаетъ эти факты по многочисленнымъ статьямъ, появившимся о Гейне въ журналахъ и предисловіяхъ къ отдѣльнымъ изданіямъ переводовъ изъ Гейне. Стало быть, статья Костомарова имѣетъ главной цѣлью объяснить нашей публикѣ значеніе Гейне, какъ поэта. Посмотримъ, какъ-то Костомаровъ справится съ этой задачей. Нашъ критикъ разбираетъ сначала политическое значеніе поэзіи Гейне и обрушивается на поэта всю тяжесть своего добродѣтельнаго негодованія. Негодуетъ онъ на него, во 1-хъ, за книгу о Берне, во 2-хъ, за то, что Гейне получалъ пенсію отъ Людовика-Филиппа; и то, и другое можетъ быть очень хорошо, но къ сожалѣнію и то, и другое вовсе не относится къ политическому значенію поэзіи Гейне. Беконъ бралъ взятки, Вольтеръ часто воздвигалъ цензурныя преслѣдованія противъ своихъ литературныхъ враговъ, но если мы будемъ говорить о политическомъ значеніи умственной дѣятельности Бекона и Вольтера, то эти факты

надо будетъ оставить въ сторонѣ, не смотря на то, что они даютъ обильную пищу добродѣтельному негодованію. Беконъ и Вольтеръ могли быть дрянными людьми, но организація ихъ мозга была великолѣпная, и какъ великіе мыслители и критики людскихъ нелѣпностей, они заслуживаютъ нашу полную признательность. Политическое значеніе ихъ дѣятельности заключается въ томъ вліяніи, которое ихъ идеи оказывали на гражданскую жизнь ихъ общества. Личные поступки этихъ людей часто не имѣютъ съ этимъ вліяніемъ ничего общаго, и до нихъ нѣтъ дѣла тому критику, который разсматриваетъ Бекона или Вольтера со стороны ихъ умственной дѣятельности. Но предположимъ даже, что Костомаровъ хочетъ оцѣнить Гейне, какъ человѣка; даже и въ этомъ случаѣ его добродѣтельное негодованіе бессмысленно и риторично; чтобы бросить камень въ Гейне, надо чувствовать себя очень чистымъ и сильнымъ; надо самому побывать на аренѣ и пережить тѣ испытанія, которыя выпадали на долю Гейне; надо выйти побѣдителемъ изъ этихъ испытаній, чтобы имѣть право винить въ слабости того человѣка, который свихнулся съ прямого пути; иначе строгаго цензора нравовъ можно самого притянуть къ суду общественнаго мнѣнія; можно сказать ему: посмотрите на себя, грозный обвинитель великаго поэта, поройтесь въ вашихъ недавнихъ воспоминаніяхъ, полюбуйтесь на вашу собственную общественную дѣятельность, и тогда, насладившись этимъ поучительнымъ самосозерцаніемъ, перестаньте декламировать противъ чужихъ слабостей и проступковъ, менѣе достойныхъ презрѣнія. Не вашимъ подслѣповатымъ глазамъ отыскивать пятна на свѣтилахъ мысли, подобныхъ Генриху Гейне.

Оцѣнка Гейне, какъ поэта, т. е. собственно эстетическая часть статьи Костомарова, отличается сильными претензіями и жалкой слабостью мысли. Костомаровъ начинаетъ эстетическую часть своего труда слѣдующими словами: «чтобы вполне понять значеніе Генриха Гейне, какъ лирика, необходимо»... Итакъ Костомаровъ собирается «вполнѣ понять значеніе Гейне». Посмотримъ, что будетъ дальше. Дальше оказывается, что простота и непосредственность составляютъ главную силу поэзіи Гейне. «Безъ этой заслуги, говоритъ Костомаровъ, не смотря на все богатство своего таланта, онъ никогда не занялъ бы такого почетнаго, чтобы не сказать перваго мѣста, между нѣмецкими поэтами новаго времени, потому что вліяніе его на литературу, какъ представителя юной Германіи, какъ отвлеченнаго философа, какъ недовольнаго полемика и ироническаго юмориста — далеко не такъ обширно» (стр. 85).

Вотъ это по крайней мѣрѣ ново. Мы узнаемъ, что не содержаніе, не основная мысль, не направленіе поэтической дѣятельности Гейне имѣетъ вліяніе на умы образованныхъ европей-



цевъ, а форма выраженія. Это открытіе дѣлаетъ честь Костомарову. Если простота и непосредственность сами по себѣ, безъ посторонней помощи, производятъ такое сильное впечатлѣніе, то надо поставить монументъ неизвѣстному автору слѣдующаго стихотворенія:

Хоть весною  
И тепленько,  
А зимою  
Холодненько,  
Но я въ стужѣ  
Мнѣ не хуже.

Это стихотвореніе помѣщено въ грамматикѣ Востокова; въ немъ такъ много простоты и непосредственности, что Костомаровъ, если желаетъ быть послѣдовательнымъ, долженъ признать его лучшимъ перломъ русской поэзіи. Странно только, что Костомаровъ, придающій такое огромное значеніе простотѣ и непосредственности въ поэзіи, самъ даже въ презрѣнную прозу вставляетъ самыя диковинныя орнаменты; на примѣръ «сгустившіеся туманы романтизма», «мечущій искры костеръ, медленный пламень котораго пожираетъ древнюю, официальную Германію, заплѣсневѣлую землю филистеровъ», «любовь нечистая, пылающая пламенемъ чувственныхъ наслажденій», «благоухаютъ всею свѣжестью цвѣтка и звенятъ, какъ серебряный колокольчикъ».

— О другъ мой, Аркадій Николаевичъ, не говори красиво!

Но чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ: къ концу статьи Костомарова мы узнаемъ вещи еще болѣе новыя. Оказывается, что иронія, проникающая собою поэзію Гейне, составляетъ ея главный недостатокъ; вы не вѣрите? Полюбуйтесь слѣдующей тирадой: «Болѣзненно дѣйствуетъ на насъ эта отрицательная сторона всеобъемлющаго таланта Гейне. Эта неискренность, эта непонятная раздвоенность поэта постоянно заставлятъ думать, что самыя возвышенныя, самыя очаровательныя мѣста его лирики—есть мастерски замаскированная иронія» (стр. 100).

Это значитъ другими словами: «вѣмъ бы хорошъ былъ Гейне, кабы не проклятая иронія». Это напоминаетъ мнѣ графа Монталамбера, разсуждающаго объ англичанахъ: «славный народъ, думаетъ онъ, жаль только, что не католики». Вотъ другая тирада на той же страницѣ: «какъ часто стихи его кажутся намъ хорошенькими личиками, строящими самыя недѣльные гримасы, какъ часто онъ до самаго конца ничѣмъ не возмущаетъ нашихъ благороднѣйшихъ чувствованій, чтобы тѣмъ внезапнѣе поразить самую мѣфистофелевскую остротой или, что еще хуже, самой обнаженной плоскостью». Да кто же просилъ Костомарова соваться въ переводчики Гейне, если Гейне возмущаетъ его «благороднѣйшія чувство-

ванія», если «мѣфистофелевскія остроты» оскорбляютъ его щекотливую добродѣтель, если «обнаженные плоскости» раздражаютъ его фешенебельный слухъ. Ни Гейне, ни русская публика ничего бы не потеряли, если бы Костомаровъ махнулъ рукою на «ироническаго юмориста» и «недовольнаго полемика». Мало ли такихъ поэтовъ, которые ни одной строчкой не обнаружатъ ни полемическихъ наклонностей, ни ироніи, ни юмора. Вѣдь перевелъ же Костомаровъ изъ Лонгфелло стихотвореніе «Excelsior!» и сотни такихъ стихотвореній можно было бы отыскать, была бы только охота. Въмѣсто того, чтобы возиться съ гейневской «Германіей», въ которой «рѣшительно неистовствуетъ ѣдкая иронія», было бы гораздо удобнѣе перевести на примѣръ «Мессиаду» Клопштока, или «Joselyn» Ламартина; съ ними и хлопотъ меньше, и «благороднѣйшія чувствованія» остаются нетронутыми; если бы пришла охота переводить прозу, можно взять Шатобриана, Боссюэта, а еще лучше Өому Кемпійскаго. Тутъ уже навѣрное ни одна мѣфистофелевская острота не нарушитъ плавнаго паренія назидательной рѣчи. Далѣе Костомаровъ обвиняетъ Гейне въ нравственной нечистотѣ. «Нѣтъ, говоритъ онъ, что хотите, а это не та чистая, спасительная любовь, которая должна пылать въ сердцѣ каждаго пѣвца любви, а любовь нечистая, пылающая пламенемъ чувственныхъ наслажденій, и потому-то она вездѣ должна носить въ себѣ сознаніе своего собственнаго ничтожества» (стр. 103). Уличивъ Гейне въ отсутствіи чистой, спасительной любви, Костомаровъ преслѣдуетъ поэта на его смертномъ одрѣ и не безъ соболѣзнованія доноситъ читателю, что рабъ Божій Генрихъ Гейне умеръ нераскаяннымъ грѣшникомъ. Того, кто усомнится въ вѣрности моихъ словъ, я прошу заглянуть на стр. 103 и 104 разбираемой мною книги; мнѣ уже надобно цитировать Костомарова, да кромѣ того у насъ иногда встрѣчаются въ литературѣ такія милыя выходки, которыя гадко выписывать.

Напрасно Костомаровъ къ имени пѣтиста Генгстенберга, встрѣчающемуся въ переводѣ «Германіи», дѣлаетъ слѣдующее извѣтельное замѣчаніе: «Генгстенбергъ, по доносу котораго отнята кафедра у Фейербаха». Кто такъ близко подходитъ къ Генгстенбергу по воззрѣніямъ, тому слѣдовало бы быть поосторожнѣе въ отзывахъ.

Кто знаетъ? Можетъ быть Генгстенбергъ слѣлалъ доносъ съ благою цѣлью! Можетъ быть, дѣлая свой доносъ, Генгстенбергъ воображалъ себя такимъ же полезнымъ общественнымъ дѣятелемъ, какимъ воображаетъ себя Костомаровъ, обличая нераскаяннаго грѣшника и «ироническаго юмориста» Генриха Гейне.



# ГЕНРИХЪ ГЕЙНЕ.

## 1.

Много есть на свѣтѣ хорошихъ книгъ, но эти книги хороши только для тѣхъ людей, которые умѣютъ ихъ читать. Умѣнье читать хорошія книги вовсе не равносильно знанію грамоты. Я оставляю въ сторонѣ тѣхъ отличныхъ и усердныхъ грамотѣевъ, къ разряду которыхъ принадлежитъ чичиковскій Петрушка. Я сосредоточиваю все свое вниманіе на тѣхъ счастливицахъ, которые понимаютъ смыслъ читаемыхъ словъ, предложеній и періодовъ. Разсматривая только этотъ избранный кружокъ, я все таки прихожу къ тому заключенію, что очень немногіе члены этой умственной аристократіи обладаютъ умѣньемъ читать хорошія книги.

Если вамъ, читатель мой, удалось завоевать себѣ это драгоцѣнное умѣнье, то вы конечно помните, какимъ продолжительнымъ и упорнымъ трудомъ было куплено это завоеваніе. Во времена вашего студенчества вы начали замѣчать, что жизнь совсѣмъ не такая простая и легкая штука, которую можно было бы изучить и постигнуть вполне по наставленіямъ родителей и по казеннымъ учебникамъ, растворившимъ передъ вами двери университета. Наставленія родителей могли дать вамъ нѣсколько хорошихъ привычекъ. Казенные учебники могли сообщить вамъ сотни основныхъ научныхъ истинъ. Но вопросъ: «какъ жить?» остался нетронутымъ. Надъ рѣшеніемъ этого вопроса каждый здоровый человѣкъ долженъ трудиться самъ, точно такъ, какъ женщина должна непременно сама выстрадать рожденіе своихъ дѣтей. Для рѣшенія этого основного вопроса вамъ понадобилось перебрать, пересмотрѣть, провѣрить всѣ ваши понятія о мірѣ, о человѣкѣ, объ обществѣ, о нравственности, о наукѣ и объ искусствѣ, о связи между поколѣніями, объ отношеніяхъ между сословіями, о великихъ задачахъ вашего вѣка и вашего народа. Занимаясь этимъ пересмотромъ, вы замѣчали у себя ошибки, которыхъ до поры до времени нечѣмъ было поправить, и огромные пробѣлы, которыхъ нечѣмъ было пополнить. Вы волновались, ваше безсиліе приводило васъ въ ужасъ, вы тревожно искали отвѣтовъ на такіе вопросы, которыхъ сами не умѣли еще поставить и сформулировать; вы чувствовали, что вамъ необходимы какіе-то матеріалы, какія-то знанія, какое-то положительное содержаніе для мысли; весь вашъ организмъ томился умственными потребностями, но вы сами рѣшительно не могли опредѣлить, въ чемъ именно вы нуждались. Вообще вы были очень похожи на того древняго царя, который видѣлъ страшный сонъ, и потомъ, утромъ не могъ не только понять,

но даже и припомнить его. Отъ придворныхъ гадателей требовалось, чтобы они сначала рассказали, а потомъ объяснили царю его таинственное и ужасное сновидѣніе. Во время вашихъ умственныхъ тревогъ вы также были окружены гадателями, хотя и не придворными. Наставники и товарищи, пережившіе прежде васъ умственный кризисъ, смотрѣли съ кроткимъ и разумнымъ участіемъ на ваши необходимыя мученія. Значительно преувеличивая силу и мудрость этихъ гадателей, вы требовали отъ нихъ, чтобы они разъяснили вамъ ваше состояніе и потребности вашей собственной измученной души, изнемогающей подъ гнетомъ непривычныхъ сомнѣній и неразрѣшимыхъ вопросовъ. Гадатели указывали вамъ на хорошія книги. Вы хватались за нихъ съ звѣрской жадностью, но, такъ какъ вы не умѣли ихъ читать, то онѣ усиливали ваше безпокойство, погружали васъ въ отчаяніе, или увлекали васъ на такую дорогу, которая не соответствовала ни вашимъ естественнымъ наклонностямъ, ни окружающимъ васъ обстоятельствамъ мѣста и времени.

По вашимъ пробудившимся умственнымъ потребностямъ вы уже были мужчиною. По вашимъ привычкамъ вы остались еще ребенкомъ. Каждый умнаго человѣка вы принимали за учителя, каждую хорошую книгу за учебникъ. Васъ не пугали трудности; вы готовы были, вы даже пламенно желали окунуться съ головой въ самую утомительную, самую скучную, самую добросовѣстную работу. Но вы, по старой привычкѣ, хотѣли работать пассивно, не такъ, какъ трудится изслѣдователь, а такъ, какъ занимается ученикъ. Вы готовы были одолѣвать груды книгъ и просиживать цѣлые мѣсяцы въ библіотекѣ, но только съ тѣмъ, чтобы знающій человѣкъ управлялъ вашими занятіями и ручался вамъ за ихъ успѣхъ. Въ кругу вашихъ знакомыхъ вы постоянно искали себѣ *развивателя*; на полкахъ библіотекъ вы старались найти себѣ книгу «*развитіе*». Вы хотѣли, чтобы какойнибудь человѣкъ или какаянибудь книга влила въ васъ, какъ въ бутылку, тѣ знанія, идеи и стремленія, которыя необходимы честному и дѣльному работнику нашего времени; вы довѣрялись безусловно и людямъ, и книгамъ; вы не умѣли выбирать; если вамъ правилась въ человѣкѣ или въ книгѣ одна какаянибудь сторона, то вы, увлекаясь одной этой стороною, принимали вмѣстѣ съ ней и весь остальной запасъ мыслей, въ которомъ навѣрное было много непригоднаго и несостоятельнаго; если васъ поражала въ человѣкѣ или въ книгѣ какаянибудь одна очевидная нелѣпость, то вы точно также



изъ за одной этой нелѣпости браковали весь грузъ, въ которомъ навѣрное можно было найти много интересныхъ фактовъ, и даже быть можетъ нѣсколько вѣрныхъ и глубокихъ идей. Само собою разумѣется, что ни книги, ни люди не удовлетворяли васъ вполне, потому что вы требовали отъ нихъ невозможнаго; ни одинъ человѣкъ не можетъ быть *развивателемъ* и ни одна книга не можетъ быть *развитіемъ*. И люди, и книги могутъ быть только матеріалами, надъ которыми упражняется ваша пробудившаяся мысль. Эти матеріалы необходимы, потому что безъ впечатлѣній невозможна умственная работа. Но все-таки это—матеріалы, а не готовые убѣжденія. Готовыхъ убѣждений нельзя ни выпросить у добрыхъ знакомыхъ, ни купить въ книжной лавкѣ. Ихъ надо выработать процессомъ собственнаго мышленія, которое непременно должно совершаться самостоятельно, въ вашей собственной головѣ, такъ точно, какъ процессъ пищеваренія совершается вполне самостоятельно въ вашемъ собственномъ желудкѣ.

Сталкиваясь съ различными людьми, читая различныя книги, гоняясь за призракомъ *развитія* и *готовыхъ убѣждений*, точно такъ, какъ алхимики гонялись за призракомъ философскаго камня, вы невольно сравнивали получаемыя впечатлѣнія, становились въ тупикъ надъ противорѣчіями, подмѣчали нелогичности, обобщали вычитанные факты и такимъ образомъ укрѣпляли по немногу вашу мысль, закладывая фундаментъ собственныхъ убѣждений, и становились въ критическія отношенія къ тѣмъ людямъ и къ тѣмъ книгамъ, отъ которыхъ вы ожидали себѣ сначала чудесной благодати немедленнаго умственнаго просвѣтленія.

Наконецъ ваши наклонности и способности развернулись и обозначились настолько, что вы перестали быть для самого себя мучительной загадкой. Познакомившись съ своей собственной особой, вы въ то же время поняли общее направленіе окружающей жизни; вы отличили передовыхъ людей и честныхъ дѣятелей отъ шарлатановъ, софистовъ и попугаевъ; вы сообразили, куда передовые люди стараются вести общество; всѣ эти свѣдѣнія вы получили не разрозненно, не отъ одного человѣка и не изъ какой нибудь одной книги; всѣ эти свѣдѣнія собраны вами по кусочкамъ, извлечены изъ множества различныхъ впечатлѣній, заронены въ вашъ умъ всякими крупными и мелкими событіями частной и общественной жизни. Незамѣтно проникая въ вашу голову, всѣ эти основныя свѣдѣнія срослись съ вашимъ умомъ такъ крѣпко и превращались въ такое неотъемлемое достояніе вашей личности, что вы скоро потеряли всякую возможность опредѣлить—гдѣ, когда и какимъ образомъ пріобрѣтены составныя части самыхъ дорогихъ и непоколебимыхъ вашихъ убѣждений.

Когда убѣжденія выработаны, когда цѣль жизни отыскана, тогда начинается сознательное,

разумное и плодотворное чтеніе хорошихъ книгъ. До этого времени вы читали оцупью. Книги нравились или не нравились вамъ такъ, какъ можетъ нравиться или не нравиться шелковая матерія, кусокъ обоевъ, фарфоровая чашка, соусъ или пирожное; когда авторъ шутилъ, вы смѣялись; когда онъ впадалъ въ эгегическій тонъ—вы умилялись; когда онъ аргументировалъ горячо и краснорѣчиво—вы соглашались; когда онъ излагалъ свои мысли вяло и скучно, вы зѣвали. Изъ совокупности этихъ ощущеній, воспринятыхъ совершенно пассивно, составлялся вашъ общій взглядъ на книгу. Авторъ не могъ быть ни вашимъ союзникомъ, ни вашимъ противникомъ, серьезная цѣль книги оставалась вамъ непонятною, вы не могли судить ни о достоинствѣ этой цѣли, ни о томъ, на сколько эта цѣль достигается, и на сколько авторъ остается вѣренъ самому себѣ. Вы не могли и не умѣли уловить связь, существующую между данною книгою и всѣми явленіями окружающей жизни; книга казалась вамъ отрывочнымъ явленіемъ, безъ корней въ прошедшемъ, безъ вліянія на будущее; поэтому вы и не могли сказать, что это за явленіе—дурное или хорошее, и почему оно дурно или почему хорошо. Когда же знанія ваши увеличились на столько, что дали вамъ возможность примкнуть сознательно къ тому или къ другому знамени, тогда вы начинали пылать тѣмъ фанатическимъ жаромъ, который составляетъ неотъемлемую принадлежность всевозможныхъ неопитовъ. Духъ вашей фанатической исключительности вы, разумѣется, примѣнили также и къ чтенію книгъ. Вы считали достойными вниманія только тѣ книги, которыя написаны людьми вашего лагеря. Всѣ остальные книги слѣдовало, по вашему мнѣнію, если не сжечь, то по меньшей мѣрѣ осмѣять и забыть. Читая книгу, вы производили надъ авторомъ строжайшее слѣдствіе и чуть только замѣчали, что авторъ въ чемъ нибудь погрѣшилъ противъ вашего корана, вы немедленно причисляли этого автора къ огромной толпѣ пишущихъ идиотовъ и негодяевъ. Но чѣмъ больше вы читали, тѣмъ яснѣе становилась для васъ та истина, что цѣльные приговоры, вродѣ восклицаній: «*лбъ!*» и «*затылокъ!*», неумѣстны и въ отношеніи къ людямъ, и въ отношеніи къ книгамъ. Подъ вліяніемъ жизни и чтенія ваши собственныя убѣжденія очистились, выяснились и окрѣпли; вы пристрастились къ нимъ еще сильнѣе прежняго, вы сдѣлались еще непоколебимѣе, но вы въ то же время поняли, что для торжества вашей же собственной любимой идеи вы принуждены ежеминутно пользоваться трудами и мыслями такихъ людей, которые во многихъ отношеніяхъ уклоняются отъ вашего корана. Положимъ на примѣръ, что вы матеріалистъ. Краеугольными камнями вашего міросозерцанія оказываются труды Коперника, Галилея и Ньютона, которые постоянно были деистами и вѣро-



вали даже въ откровеніе; не станете же вы изъ-за этого обстоятельства отвергать ихъ астрономическія открытія? А если не станете, то вы не должны также относиться съ небреженіемъ ни къ химическимъ работамъ Либиха, ни къ фізіологическимъ изслѣдованіямъ Рудольфа Вагнера, ни даже къ добросовѣстнымъ компилятивнымъ трудамъ Теодора Вайца, не смотря на то, что всѣ они спиритуалисты, а Рудольфъ Вагнеръ даже піетистъ.

Положимъ далѣе, что вы фурьеристъ или прудонистъ. Спрашивается, какимъ образомъ относитесь вы къ общественной физикѣ О. Конта или къ историко-філософской теоріи Бокля? Причислите-ли вы эти книги къ вреднымъ, или къ полезнымъ явленіямъ? Станете ли вы отвергать, или защищать эти идеи? Съ одной стороны вы не можете не сочувствовать основной мысли Конта и Бокля, той мысли, что вся исторія есть борьба разсудка съ воображеніемъ, и что сильнѣйшимъ двигателемъ прогресса оказывается накопленіе и распространеніе знаній. Успѣху этой мысли вы должны содѣйствовать всѣми вашими силами; съ другой стороны вы никакъ не можете сочувствовать ни Контовской апологіи нищенства, ни боклевскому мальтузіанству. Но если бы вы вздумали, возмущившись этими нелѣпостями, забраковать цѣликомъ Конта и Бокля, то вы бы значительно ослабили ваши собственные идеи, отнявши у нихъ ту подпору, которую онѣ могутъ найти себѣ въ изслѣдованіяхъ и размысленіяхъ этихъ двухъ первоклассныхъ умовъ. Значить, вы должны отдѣлить свѣтлыя идеи отъ ошибочныхъ сужденій; вы должны пользоваться первыми, и опровергать вторыя. Пользуясь свѣтлыми идеями Конта и Бокля, вы вовсе не принимаете на себя обязанности соглашаться съ этими писателями во всемъ и превозносить каждое слово ихъ сочиненій. Опровергая то, что кажется вамъ ошибочнымъ, вы нисколько не отступаете отъ того уваженія, которое должны внушать вамъ великіе мыслители. Сказать и доказать, что Бокль ошибся, вовсе не значитъ разбить авторитетъ Бокля и не значитъ также поставить самого себя выше этого замѣчательнаго мыслителя. Съ другой стороны сказать и доказать, что у Гизо или у Маколя встрѣчаются иногда свѣтлыя мысли, вовсе не значитъ превратиться въ единомышленника этихъ доктринеровъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, т. е. опровергая Бокля и соглашаясь съ Гизо, вы все-таки остаетесь вѣрны вашимъ собственнымъ убѣжденіямъ и пользуетесь той необходимой самостоятельностью, безъ которой невозможно сильное и плодотворное мышленіе и которая не должна стѣсняться ни раболѣпнымъ благоговѣніемъ передъ великими именами, ни фанатической исключительностью партій.

Такъ какъ критика должна состоять именно въ томъ, чтобы въ каждомъ отдѣльномъ явленіи отличать полезныя и вредныя стороны—то понятно, что ограничиваться цѣльными при-

говорами значить уничтожать критику, или по крайней мѣрѣ превращать ее въ безплодное наклеиваніе такихъ ярлыковъ, которые никогда не могутъ исчерпать значеніе разсматриваемыхъ предметовъ. Въ теоріи эта мысль не можетъ вызвать противъ себя никакихъ возраженій. Всякій скажетъ, что это очень старая истина, и что несостоятельность цѣльныхъ приговоровъ давнымъ давно засвидѣтельствована общезвѣстными изреченіями о пятнахъ на солнцѣ и о золотѣ въ грязи. Но въ практической жизни цѣльные приговоры продолжаютъ господствовать, и особенно сильно проявляется это господство у насъ въ Россіи, гдѣ партіи только-что обозначились и почувствовали свою непримиримость. У каждой изъ нашихъ партій есть свои кумиры, которые для противоположной партіи оказываются чучелами и страшилищами. Каждое знаменитое имя европейской науки или литературы вызываетъ съ одной стороны восторженное поклоненіе, а съ другой — безпредѣльное и страстное порицаніе. Разногласіе партій очень естественно, необходимо и безысходно, потому что настоящія причины противоположныхъ сужденій заключаются въ противоположности интересовъ. Всякая попытка примирить партіи была бы бесполезна и бессмысленна. Въмѣсто примиренія партій, надо желать, чтобы каждая партія обозначилась яснѣе и договорилась до послѣдняго слова. Только тогда общество можетъ узнать своихъ настоящихъ друзей и дать окончательную побѣду тому направленію мысли, которое всего болѣе соотвѣтствуетъ дѣйствительнымъ потребностямъ большинства. Но именно для того, чтобы договориться до послѣдняго слова, партіи должны отказаться отъ цѣльныхъ приговоровъ, и подвергнуть одинаково тщательному анализу, какъ своихъ кумировъ, такъ и злѣйшихъ своихъ противниковъ. Вслѣдствіе такой операціи многіе кумиры утратятъ значительную долю своего сказочнаго великолѣпія, многія чучела и страшилища превратятся въ довольно обыкновенныхъ и безобидныхъ людей, но основныя идеи партій обозначатся яснѣе, именно потому, что эти идеи управляли всѣмъ ходомъ анализа, проникшаго въ самую глубину предмета и оцѣнившего всѣ его подробности.

## II.

Читатель проститъ мнѣ мое длинное и утомительное введеніе, когда узнаетъ, что я намѣренъ говорить о Гейне, обращая при этомъ особенное вниманіе на слабыя стороны его поэзіи. Гейне одинъ изъ нашихъ кумировъ, и конечно въ мірѣ не было до сихъ поръ ни одного поэта, который въ болѣе значительной степени заслуживалъ бы уваженіе и признательность мыслящихъ реалистовъ. Но чѣмъ важнѣе и колоссальнѣе какое нибудь явленіе, тѣмъ необходимѣе знать ему настоящую цѣну. Чѣмъ больше пользы можетъ принести нашему умственному развитію чтеніе



Гейне, тѣмъ сильнѣе надо стараться о томъ, чтобы къ массѣ этой пользы не примѣшивалась ни одна частица вреда. Чѣмъ неотразимѣе дѣйствуетъ поэзія Гейне на умы читателей, тѣмъ тщательнѣе эти читатели должны оберегать себя отъ умственного раболѣпства передъ Гейне, потому что изъ этого раболѣпства можетъ развиваться вредное обожаніе тѣхъ недостатковъ и пятенъ, которые наложены на поэзію Гейне обстоятельствами времени и мѣста. Приступая къ разбору этихъ недостатковъ и пятенъ, я непременно долженъ былъ напомнить читателю, что критика не имѣетъ ничего общаго съ враждою, что безъ постоянной, строгой и тщательной критики невозможно никакое разумное и плодотворное чтеніе, и что всякое умственное идолопоклонство вредитъ той самой идеѣ, во имя которой оно производится.

Принявши въ соображеніе эти простыя истины, читатель конечно пойметъ, что, критикуя Гейне, я нисколько ни желаю ослабить его вліянія на русское общество, а напротивъ того стараюсь направить, сосредоточить, усилить это вліяніе, такъ чтобы ни одна его частица не пропадала даромъ и не вырождалась въ нелѣпыя и вредныя уклоненія, къ которымъ самъ Гейне очень часто подаетъ поводъ своими эксцентричностями и внутренними противорѣчіями.

Въ настоящее время Вейнбергъ издаетъ *Сочиненія Генриха Гейне въ переводѣ русскихъ писателей*. Одиннадцать томовъ уже находятся въ рукахъ читающей публики, а все изданіе будетъ состоять изъ 15 томовъ. Можно надѣяться, что это изданіе найдетъ себѣ многихъ читателей, но въ то же время надо желать, чтобы эти читатели съумѣли усвоить себѣ такую точку зрѣнія, съ которой были бы ясно видны какъ достоинства, такъ и недостатки Гейне. Эту точку зрѣнія я постараюсь указать читателю въ моей теперешней статьѣ.

Какъ понимаетъ самъ Гейне себя и свою литературную дѣятельность? На этотъ вопросъ Гейне отвѣчаетъ не разъ стихами и прозою. Одинъ изъ этихъ отвѣтовъ особенно замѣчательнъ. «Я право не знаю, говоритъ Гейне, стою ли я, чтобы мнѣ когда нибудь украсили гробъ лавровымъ вѣнкомъ. Поэзія, какъ ни любилъ я ее, была для меня всегда лишь священной игрушкой или священнымъ средствомъ для небесныхъ пѣлій. Я никогда не придавалъ большой цѣны славѣ поэта, и хвалить ли, или бранить будутъ мои пѣсни, меня мало беспокоитъ. Но я желаю, чтобы на гробъ мой положили мечъ, потому что я былъ храбрымъ солдатомъ въ войнѣ за благо человѣчества». (Т. II стр. 120).

Въ этихъ словахъ заключается двойное противорѣчіе. Ведя войну за благо человѣчества и считая себя *храбрымъ солдатомъ*, Гейне хочетъ въ то же время служить чистому искусству. Два совершенно враждебные взгляда на искусство—утилитарный и художническій—укладываются рядомъ, одинъ возлѣ другого, въ приве-

денныхъ словахъ Гейне. *Поэзія была для меня лишь священной игрушкой*, говоритъ Гейне. Въ этихъ словахъ художническій взглядъ на искусство выразился во всей своей наивности, и въ этихъ словахъ заключается второе внутреннее противорѣчіе, доведенное до самой поразительной рельефности. Въ самомъ дѣлѣ, что такое *священная игрушка*? Есть ли какая нибудь психическая возможность играть тѣмъ, что вы дѣйствительно считаете святыней, или считать священнымъ то, что служить вамъ игрушкой? Противорѣчія очевидны, а между тѣмъ всѣ приведенныя мною слова Гейне выражаютъ чистѣйшую истину и даютъ превосходнѣйшія ключи къ пониманію всего Гейне, его міросозерцанія, его стремленій, его поэзіи. Когда есть внутреннія противорѣчія въ самомъ предметѣ, тогда они неизбежны и въ его опредѣленіи, и чѣмъ полнѣе и вѣрнѣе опредѣленіе, тѣмъ ярче должны въ немъ выступать внутреннія противорѣчія.—Да, Гейне былъ дѣйствительно и храбрымъ солдатомъ, и чистымъ художникомъ; и поэзія была для него дѣйствительно *священной игрушкой*, хотя такое сочетаніе понятій дико и неестественно до послѣдней степени.

Боевая храбрость Гейне достаточно извѣстна. Его сарказмы, направленные противъ традиционныхъ доктринъ, противъ политическаго шарлатанства, противъ національных предрасудковъ, противъ ученаго педантизма, противъ всѣхъ безчисленныхъ проявленій общеевропейской и специально нѣмецкой глупости, его сарказмы составляютъ безъ сомнѣнія самую яркую и единственную безсмертную сторону его поэзіи. Не будь у него этихъ сарказмовъ, онъ замѣшался бы въ толпу нѣмецкихъ поэтовъ, писавшихъ гладкіе стихи, и мы знали бы о немъ столько же, сколько знаемъ напримѣръ о какомъ нибудь Людвигѣ Уландѣ, или Леопольдѣ Шеферѣ, или Эммануэлѣ Гейбелѣ. Если мы въ продолженіе цѣлаго десятилѣтія переводимъ по частямъ прозу и стихи Гейне, если мы теперь издаемъ собраніе его сочиненій, если мы раскупимъ и прочитаемъ эти сочиненія не только съ удовольствіемъ, но даже съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ, то разумѣется, все это дѣлалось, дѣлается и будетъ дѣлаться лишь изъ любви къ сарказмамъ, или другими словами, изъ ненависти къ тѣмъ общеевропейскимъ подлостямъ и глупостямъ, которыми эти сарказмы были вызваны. Когда вы читаете Гейне, то самое теченіе мыслей почти никогда не занимаетъ и не можетъ занимать васъ; мысли не новы, не оригинальны и не глубоки; вы даже рѣдко можете найти что нибудь похожее на развитіе мыслей; чаще всего вы имѣете передъ собою легкую и кокетливую болтовню о легкихъ пустякахъ; но вы читаете терпѣливо, внимательно, потому что вы постоянно находитесь въ напряженномъ ожиданіи, вы знаете, что вдругъ блеснетъ такая молнія, которая съ избыткомъ вознаградитъ васъ за незначительность всей прочитанной вами болтовни.



Не смотря на ваше постоянное ожиданіе, молнія все-таки застаётъ васъ врасплохъ и поражаетъ васъ своей неожиданностью. Она явилась безо всякихъ приготовленій, совсѣмъ не съ той стороны, откуда вы ее ожидали; она изумила, очаровала васъ и исчезла; начинается опять веселая болтовня; и вы опять съ радостью готовы читать десятки страницъ этой болтовни, лишь бы только добраться до новой молніи, такой же неожиданной и такой же очаровательной, какъ первая. Надежда на новую молнію и воспоминаніе о прежней помогаетъ вамъ перебираться черезъ тѣ пустынные поляны, надъ которыми господствуетъ безсмыслица романтически чистаго искусства.

Но какъ ни великолѣпны молніи боевой храбрости и ядовитаго сарказма, однако нельзя не замѣтить, что пустынные поляны очень обширны и чрезвычайно многочисленны. Путешествуя по этимъ полянамъ, читатель начинаетъ понимать, что такое *священная игрушка*. Смыслъ этихъ загадочныхъ словъ очень печаленъ. Когда Гейне творитъ образы, не имѣющіе никакого, даже самаго отдаленнаго отношенія къ борьбѣ за благо человечества, тогда онъ благоговѣетъ передъ своею собственною виртуозностью и играетъ тѣми чувствами и мыслями, на которыя напизываются яркія и роскошныя картины. Соедините это благоговѣніе съ этимъ играньемъ, и въ общемъ результатъ вы получите *священную игрушку*.

Но эти два потока—благоговѣніе и игранье—не могутъ идти постоянно рядомъ, не дѣйствуя другъ на друга и не смѣшиваясь между собою. Съ одной стороны благоговѣніе не можетъ оставаться глубокимъ и совершенно искреннимъ, потому что предметъ этого благоговѣнія—художническая виртуозность—растрачивается на мелочи, которыя самъ художникъ признаетъ мелочами, годными только для забавы. Слѣдовательно сама виртуозность унижается и становится до нѣкоторой степени смѣшною въ глазахъ художника. Съ другой стороны, игра чувствами и мыслями становится почти серьезнымъ и торжественнымъ дѣломъ, когда художникъ увлекается процессомъ творчества и одушевляется силою благоговѣнія передъ собственнымъ волшебнымъ могуществомъ. Словомъ, ни читатель, ни художникъ не знаютъ навѣрное, какія чувства и мысли имъ приходится переживать вмѣстѣ; ни читатель не вѣритъ художнику, ни художникъ не довѣряется читателю; читатель боится принять слова художника за выраженіе искренняго чувства, боится увлечься этимъ чувствомъ, потому что художникъ тотчасъ начнетъ смѣяться надъ тѣмъ, что могло показаться искреннимъ порывомъ, и тогда читатель, распутившій нюни, попадетъ въ число сантиментальныхъ дураковъ, неспособныхъ понимать тонкую иронию; художникъ, съ своей стороны, знаетъ, что читатель остерегается и предвидитъ ироническую улыбку или циническую выходку; художникъ боится оказаться сантиментальнѣе читателя. Поэтому

каждое чувство умышленно выражается такъ, что нѣтъ никакой возможности ни повѣрить его искренности, ни сказать навѣрное, что тутъ кроется иронія. «Еще рано, говоритъ Гейне въ концѣ своего «Путешествія на Гарцъ», солнце совершило только половину своего пути, а мое сердце благоухаетъ такъ сильно, что пары его бьютъ мнѣ въ голову, и въ этомъ опьяненіи я не могу понять, гдѣ оканчивается иронія и начинается небо» (т. I, стр. 91). Эти послѣднія слова прилагается ко всей поэзіи Гейне, и въ этомъ постоянномъ отсутствіи границы между ироніей и небомъ, въ этой невозможности отличить иронию отъ неба и положиться на искренность чувства заключается типическій характеръ гейневской поэзіи.

Благодаря этой особенности, большая часть произведеній Гейне, въ цѣломъ, оказываются совершенно непонятными, или еще вѣрнѣе, въ нихъ нѣтъ никакой цѣлости. Каждое произведеніе Гейне не что иное, какъ цѣпь причудливыхъ арабесковъ, или гирлянда фантастическихъ цвѣтовъ, очень яркихъ, очень пестрыхъ, очень разнообразныхъ, но набросанныхъ неизвѣстно для чего, разсыпанныхъ безъ всякаго общаго плана, и не имѣющихъ между собою никакой связи. Въ предисловіи къ первому тому русскаго перевода, Вейнбергъ высказываетъ слѣдующія мысли: «Намъ до сихъ поръ случается встрѣчать людей очень умныхъ, развитыхъ, но которые, будучи знакомы съ Гейне только по тѣмъ переводамъ изъ него, которые существуютъ на русскомъ языкѣ, съ какимъ-то страннымъ изумленіемъ смотрятъ на него и сами сознаются, что не понимаютъ его, не понимаютъ прелести, заключающейся въ нѣкоторыхъ его произведеніяхъ. Это непониманіе, какъ мы только-что замѣтили, происходитъ отъ неполнаго знакомства съ поэтомъ, съ его своеобразною манерою, съ его прихотливыми прыжками отъ одного предмета къ другому, съ его роскошною фантазіей; не говоримъ уже здѣсь о жгучемъ остроуміи, которое и каждому непосвященному бросается въ глаза» (т. I, стр. VII). Мнѣ кажется, что съ этимъ мнѣніемъ невозможно согласиться. Если *непосвященные* выучатъ наизусть всѣ произведенія Гейне, съ перваго до послѣдняго—они все-таки останутся *непосвященными*, т. е. не дорожатъ ни до какого осязательнаго смысла, не вынесутъ никакого опредѣленнаго впечатлѣнія и наконецъ убѣдятся только въ томъ, что тутъ рѣшительно нечего искать, и что подъ этими цвѣточными іероглифами нѣтъ ничего похожаго на скрытую мудрость или на таинственную глубину. Своеобразность манеры, прихотливость прыжковъ и роскошь фантазіи—все это замѣтно съ перваго взгляда, все это бросается въ глаза каждому *непосвященному* наравнѣ съ *жгучимъ остроуміемъ*. Но все это—и фантазія, и прыжки, и манера—относится только къ *формѣ*, а не къ *содержанію* поэтическаго произведенія. Непосвященный видитъ очень хорошо, не хуже Вейнберга, какъ



выражает Гейне, но *что* именно онъ выражаетъ, *что* онъ хочетъ выразить и передать читателямъ, *какія* чувства и мысли рвутся наружу изъ его души, *какія* внутреннія убѣжденія управляютъ его перомъ и заставляютъ его рисовать бессмысленно блестящія арабески—это остается тайною для непосвященного, это останется вѣчною тайною не только для непосвященного, но даже и для самаго Вейнберга, и я осмѣливаюсь думать, что ключа къ этой тайнѣ не было даже и у Гейне. Мнѣ кажется, Гейне ясенъ для себя и для другихъ только тогда, когда онъ обнаруживаетъ свое *жгучее остроуміе*, т. е. когда онъ въ качествѣ *храброго солдата* истребляетъ пронзительнымъ смѣхомъ окружающія глупости и подлости. Когда же онъ обращается къ болѣе мирнымъ занятіямъ, тогда онъ начинаетъ небрежно и презрительно выкидывать изъ себя на бумагу какіе-то клочки мыслей и чувствъ, которыхъ онъ самъ не понимаетъ, и которыя, слѣдовательно, навсегда останутся непонятными и для его читателей. Я очень желалъ бы подтвердить мои слова наглядными и убѣдительными примѣрами, но сдѣлать это очень трудно. Примѣровъ существуетъ очень много, и даже выборъ не представляетъ никакихъ затрудненій. Но вотъ въ чемъ бѣда: чтобы доказать безсвязность и безцѣльность произведеній Гейне, надо рассказать ихъ сюжеты; но безсвязность и безцѣльность колоссальны до такой степени, что невозможно уловить никакого сюжета. Образы, восклицанія, слезливыя шутки, насмѣшливые вздохи, притворныя слезы, эротическіе порывы мелькаютъ и кружатся передъ глазами, какъ снѣжинки во время метели. Разнообразіе картинъ удивительное! Быстрота въ смѣнѣ впечатлѣній непостижима! Вы подавлены и ошеломлены пестротою красокъ. Вы принуждены сознаться, что авторъ обладаетъ невѣроятной силой и подвижностью фантазіи. Но зачѣмъ поднять весь этотъ ураганъ маленькихъ, пестренческихъ, недоучувствованныхъ чувствъ и недодуманныхъ мыслей, къ чему онъ клонится, что онъ хочетъ опрокинуть или построить—этого вы не будете понимать до тѣхъ поръ, пока не преподастъ вамъ своей таинственной мудрости какойнибудь *посвященный*, въ существованіи и возможности котораго я рѣшительно сомнѣваюсь. Если такіе посвященные дѣйствительно существуютъ, и если до нихъ дойдутъ когданибудь эти страницы, то я убѣдительно прошу ихъ объяснить мнѣ и другимъ недоумѣвающимъ профанамъ, какимъ образомъ возможно и слѣдуетъ понимать напр. извѣстное произведеніе Гейне «Идеи. Книга Ле-Гранъ». Желая показать читателю, что безъ помощи мистагоговъ и іерофантовъ нѣтъ возможности проникнуть въ тайнства этого произведенія, которыхъ всякій развитой человѣкъ восхищается по заказу—я постараюсь перечислить хоть малую долю тѣхъ странныхъ картинъ, которыя мелькаютъ одна за другой въ «Книгѣ Ле-Гранъ».

Въ первой главѣ—комическая картина ада,

видѣ огромной мѣщанской кухни. Въ аду слышится роковой напѣвъ пѣсни о невыплаканной слезѣ, о той слезѣ, которой не выронила она, женщина, любимая поэтомъ, но не отвѣчающая ему взаимностью.

Во второй главѣ поэтъ, онъ же и графъ Гангесскій, хочетъ застрѣлиться, покупаетъ себѣ пистолетъ, отправляется съ нимъ завтракать въ трактиръ и видитъ въ стаканѣ рейнвейна остъиндскіе пейзажи. Потомъ, выйдя на улицу, онъ встрѣчается съ хорошенькой женщиной, которая своимъ взглядомъ заставляетъ его остаться въ живыхъ.

Въ третьей главѣ поэтъ выражаетъ свою радость и свою любовь къ жизни.

Въ четвертой главѣ поэтъ представляетъ себѣ, какъ онъ на старости лѣтъ схватитъ арфу и споетъ молодымъ людямъ пѣсню *про цветы Бренны*.

Въ пятой главѣ: «Сударыня, я обманулъ васъ! Я не графъ Гангесскій!» Оказывается, что поэтъ родился на берегахъ Рейна. Потомъ являются три дѣвушки: Гертруда, Катарина и Гедвига и тетка ихъ Юганна. Всѣ онѣ только являются и ровно ничего не дѣлаютъ. Въ этой же главѣ Вейнбергъ показываетъ ясно, что онъ не принадлежитъ къ числу *посвященныхъ* и врядъ ли можетъ исправлять должность мистагога. «При прощаніи, говоритъ Гейне, она (Юганна) подала мнѣ обѣ руки — бѣлыя, милыя руки — и сказала: ты очень добръ, а когда ты сдѣлаешься злымъ, то думай снова о маленькой, умершей Вероникѣ» (т. I, стр. 165). Къ этимъ словамъ Вейнбергъ присоединяетъ слѣдующее подстрочное замѣчаніе: «Вероника — какое-то загадочное существо, о которомъ Гейне упоминаетъ нѣсколько разъ съ какой-то особенной грустью. Надо предположить, что это была женщина, которую онъ сильнѣе всѣхъ любилъ». Такое примѣчаніе могъ бы пожалуй сдѣлать и всякій *непосвященный*. Предположеніе совершенно произвольное, и неизвѣстно, почему оно прицѣплено къ имени Вероники, а не къ какомунибудь изъ многихъ другихъ женскихъ именъ, которыя Гейне поминаетъ также со вздохами и причитаньями такой же точно сантиментальной искренности. Вейнбергъ могъ бы на примѣръ съ большимъ удобствомъ сказать тоже самое о Маріи, которую Гейне во второй части «Путевыхъ картинъ» вспоминаетъ очень часто, постоянно называя ее *умершею* или *мертвоею*, постоянно окружая ея имя ореоломъ загадочности, постоянно напуская на себя по этому случаю колоритъ интересной элегической томности, сквозь которую просвѣчиваетъ вѣчная насмѣшливая улыбка, и ежеминутно намекая читателю на какія-то очень таинственныя, никому неизвѣстныя и нисколько не замѣчательныя событія, которыхъ онъ все-таки не рассказываетъ и которыя, по всей вѣроятности, никогда ни съ кѣмъ не случались. Вообще надо обладать огромнымъ запасомъ довѣрчивости и добродушія, чтобы принимать женскія имена, разсыпанные по книгамъ



Гейне, за имена дѣйствительно существовавшихъ женщинъ,—или чтобы видѣть въ тѣхъ любовныхъ руладахъ и флоритурахъ, которыми забавляется Гейне, намеки на радости и огорченія, дѣйствительно пережитыя самимъ поэтомъ. Мнѣ кажется, что все это—чистѣйшая фантазмагорія, вызванная великимъ виртуозомъ единственно для того, чтобы насладиться собственнымъ волшебнымъ могуществомъ, собственной способностью творить изъ ничего и разрушать въ одну секунду самые яркіе образы.

Въ шестой главѣ воспоминанія дѣтства и превосходный рассказъ о томъ, какъ курфирстъ выѣхалъ изъ Дюссельдорфа и какъ вошли въ городъ французскія войска.

Въ седьмой главѣ юмористическія подробности о школьномъ ученіи. Тутъ появляется барабанщикъ Легранъ, и Гейне рассказываетъ очень остроумно, какимъ образомъ этотъ Легранъ объяснялъ ему посредствомъ барабаннаго боя смыслъ новѣйшей исторіи. Тутъ Гейне выходитъ на политическую тропинку, и поэтомъ становится разумѣется великолѣпнѣе. Но уже въ концѣ этой главы Гейне, какъ достойный ученикъ наполеоновскаго барабанщика, падаетъ на колѣни передъ великимъ императоромъ.

Этими колѣнопреклоненіями наполнены восьмая и девятая глава. «И святая Елена, говоритъ Гейне въ IX главѣ, сдѣлается священнымъ мѣстомъ, куда народы запада и востока будутъ стекаться на поклоненіе на судахъ, изукрашенныхъ флагами,—и сердца ихъ окрѣпнутъ великимъ воспоминаніемъ о дѣяніяхъ великаго человѣка, пострадавшаго при Гудсонъ-Ло, какъ сказано въ писаніи Ласъ-Каза, Омеара и Антомарки» (т. I, стр. 192). Какъ вамъ нравится это пророчество новой религіи — наполеоніанства? Впрочемъ благоговѣніе Гейне передъ *великимъ императоромъ* составляетъ такой интересный патологическій феноменъ, что я буду говорить о немъ ниже очень подробно.

Въ десятой главѣ барабанщикъ Легранъ, воплощенная скорбь великой арміи о великомъ императорѣ, умираетъ, и Гейне, угадавши его послѣднее желаніе, прокалываетъ его барабанъ, чтобы онъ не былъ *«рабскимъ инструментомъ въ рукахъ враговъ свободы»*.—Изъ этихъ послѣднихъ главъ читатель узнаетъ, что великій императоръ былъ другомъ свободы, и что барабаны его арміи спасали Европу отъ рабства.

XI глава начинается словами «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame!» (Отъ великаго до смѣшного—одинъ шагъ, сударыня)! Эта истина доказывается тѣмъ, что когда Гейне оканчиваетъ главу о смерти Леграна, тогда пришла старуха и попросила Гейне, какъ доктора, вырѣзать ей мужу мозоли. *Смѣшное* состоитъ въ томъ, что старуха приняла доктора правъ за медика. Что же касается до *великаго*, то его надо искать въ рассказѣ о смерти Леграна; чтобы найти это *великое*, надо непременно обратиться къ помощи іерофантовъ и мистагоговъ.

Въ XII главѣ написаны слова «нѣмецкіе цензоры» и затѣмъ десять строкъ точекъ. Переходъ отъ смѣшного и отъ глупой старухи къ нѣмецкимъ цензорамъ не можетъ никому показаться удивительнымъ и рѣзкимъ.

Въ XIII главѣ очень остроумныя насмѣшки надъ нѣмецкимъ педантизмомъ и надъ ученой страстью къ безтолковымъ цитатамъ.

Главы XIV и XV разсуждаютъ о дуракахъ и отличаются неподражаемымъ остроуміемъ. «Я живу въ томъ же городѣ, говоритъ Гейне, и могу сказать, что ощущаю истинное удовольствіе, когда подумаю, что всѣхъ дураковъ, которыхъ я вижу, я могу употребить для своихъ сочиненій: это чистыя, наличныя деньги. Теперь у меня обильная жатва; богъ благословилъ меня: дураки отлично уродились въ этомъ году, и я, какъ хорошей хозяйинъ, потребляю ихъ въ небольшомъ числѣ, отбираю самыхъ лучшихъ и откладываю на будущее время. Меня очень часто можно встрѣтить теперь на гуляньи—радостнаго и веселаго. Какъ богатый купецъ, потирая отъ удовольствія руки, ходитъ между ящиками, бочками и тюками своихъ товаровъ, такъ и я прохаживаюсь посреди моего народа. Всѣ вы мнѣ принадлежите, всѣ вы мнѣ одинаково дороги, и я люблю васъ, какъ вы сами любите свои деньги,—а это много значить» (т. I, стр. 216 и 217). По этому отрывку вы можете судить объ оригинальности и дерзкой веселости этихъ двухъ главъ.

Въ XVI главѣ появляется милая подруга съ коричневой собакой. Гейне вмѣстѣ съ коричневой собакой сидитъ у ногъ милой подруги, смотритъ ей въ глаза, цѣлуетъ ея руки и рассказываетъ ей о маленькой Вероникѣ. Что онъ рассказываетъ ей—неизвѣстно.

Въ XVII главѣ продолжаются сладострастные подробности о милой подружѣ.

Въ XVIII главѣ мы узнаемъ, что «грудь рыцаря была полна тьмою и скорбью». У рыцаря происходитъ свиданіе съ синьорой Лаурою на берегахъ Бренты, и «тайнственно-темный покровъ лежитъ надъ этимъ часомъ».—При этомъ читателю по обыкновенію предоставляется понимать, какъ угодно, или даже совсѣмъ не понимать эту тайнственную темную главу, заключающую въ себѣ всего полторы странички.

Въ XIX главѣ опять подруга съ коричневой собакой, опять Вероника, растрогавшая Вейнберга, опять остъ-индскіе пейзажи, хотя уже было объяснено, что Гейне—не графъ Гангесскій, и наконецъ желтые пеньковые панталоны, повредившіе молодому человѣку во время любовнаго объясненія. Словомъ рядъ іероглифовъ-ребусовъ.

Въ XX главѣ что-то такое о страданіи и о томъ, что молодой человѣкъ хотѣлъ застрѣлиться. Этою главою оканчивается «Книга Легранъ».

### III.

Подведемъ итоги. Изъ XX главъ только пять—VI, VII, VIII, XIV и XV—удобопонятны и замѣчательны по своему остроумію. Затѣмъ три гла-



вы—VIII, IX и X славословятъ Наполеона; одна глава—XI—повѣствуетъ о глупой старухѣ; одна глава—XII—состоитъ изъ точекъ и наконецъ десять главъ не заключаютъ въ себѣ ничего, кромѣ неясныхъ намековъ на какія-то чувства, которыя испыталъ или о которыхъ фантазировалъ поэтъ. Конечно никто не запрещаетъ поэту дѣлиться съ публикой своими чувствами или фантазіями; это даже прямая обязанность поэта, но во всякомъ случаѣ публика имѣетъ право желать, чтобы съ нею говорили удобопонятнымъ языкомъ, чтобы всѣ слова и образы употребленные поэтомъ, имѣли какой нибудь ясный и опредѣленный смыслъ, чтобы поэтъ не задавалъ ей неразрѣшимыхъ загадокъ и не превращалъ своихъ произведеній въ длинную и утомительную мистификацію. Что такое *цвѣты Бренны*, что такое *Вероника*, что такое *невывлаканная слеза*, что такое *графъ Ганнескій*, и какой общій смыслъ выходитъ изъ всѣхъ этихъ таинственныхъ незнакомцевъ—все это такіе вопросы, на которые читатель имѣетъ полное право требовать себѣ отвѣта, и если онъ этого отвѣта не получаетъ, то имѣетъ полное право подумать и сказать, что поэтъ шутитъ съ нимъ очень плоскія шутки.

Было бы очень наивно думать, что въ «Книгѣ Легранъ» есть и общій смыслъ, и великая цѣль, но что эта цѣль и этотъ смыслъ запрятаны въ ней черезчуръ глубоко, и вслѣдствіе этого могутъ быть отысканы и постигнуты только особенно развитыми и свѣдущими читателями. Ни цѣли, ни смысла въ ней нѣтъ. Такою же точно безцѣльностью, безсвязностью отличаются и всѣ прочія сочиненія Гейне, если брать и разсматривать каждое произведеніе въ цѣломъ, а не по частямъ. Разсмотрите каждое произведеніе Гейне такъ, какъ я разсмотрѣлъ «Книгу Легранъ», и вы поневолѣ признаете вѣрность моего непочтительнаго приговора.

Было бы также въ высшей степени наивно думать, что безсвязность, безцѣльность и бессмысленность могутъ когда нибудь и при какихъ бы то ни было условіяхъ превратиться въ достоинства. Есть конечно любители, способные восхищаться этими уродливыми особенностями гейневской поэзіи; есть даже простофили, желающіе прививать эти уродливыя особенности къ ничтожнымъ выкидышамъ своей собственной музыки. Но тѣ люди, которыхъ умъ не поврежденъ раболопными отношеніями къ авторитетамъ, и не вертится какъ флюгеръ, сообразно со всѣми капризами эстетической моды—будутъ говорить постоянно, что стройность, цѣльность и цѣлесообразность составляютъ необходимыя качества каждаго замѣчательнаго произведенія, къ какой бы отрасли науки и литературы оно ни принадлежало. Безалаберность всегда и вездѣ останется крупнымъ недостаткомъ.

Но съ другой стороны, для человѣка, сколько нибудь способнаго понимать и чувствовать, нѣтъ ни малѣйшей возможности отрицать чарующую

прелесть гейневской поэзіи. Прелесть эта состоитъ конечно не въ безалаберности, не въ своеобразной манерѣ, не въ прихотливыхъ прыжкахъ, словомъ—совсѣмъ не въ томъ блистательномъ юродствѣ, которое, по мнѣнію поверхностныхъ цѣнителей, образуетъ всю настоящую сущность и весь букетъ этого небывалаго и невиданнаго литературнаго явленія. Прелесть эта освѣщаетъ туманы безалаберности, она заставляетъ насъ читать съ удовольствіемъ то, въ чемъ нѣтъ никакого человѣческаго смысла; но она сама, эта загадочная прелесть, выходитъ изъ гораздо болѣе глубокихъ источниковъ, не имѣющихъ ничего общаго съ достоинствами или недостатками отдѣльных поэтическихъ произведеній. Прелесть эта заключается въ неотразимомъ обаяніи той сильной, богатой, вѣжной, страстной, знойной, кипучей и пылающей личности, которая смотритъ на васъ во всѣ глаза изъ-за каждой строки, какъ бы ни была эта строка ничтожна или безумна. Что-то дышетъ, что-то волнуется, что-то смѣется и плачетъ, что-то томится и кипитъ во всѣхъ этихъ хаотическихъ образахъ, во всей этой дикой гармоніи шальныхъ и разбросанныхъ словъ.

Передъ вами стоитъ живописецъ. На палитрѣ его горятъ краски невиданной яркости. Онъ взмахнулъ кистью, и черезъ двѣ минуты вамъ улыбается съ полотна или даже просто со стѣны прелестная женская фizioномія. Еще двѣ минуты, и вмѣсто этой фizioноміи на васъ смотрятъ демонически-страстные глаза безобразнаго сатира; еще нѣсколько ударовъ кисти, и сатиръ превратился въ развѣсистое дерево; потомъ пропало дерево и явилась фарфоровая башня, а подъ ней китаецъ на какомъ-то фантастическомъ драконѣ; потомъ все замазано черной краской, и самъ художникъ оглядывается и смотритъ на васъ съ презрительно-грустной улыбкой. Вы глубоко поражены этой волшебной-быстрой смѣною прелестнѣйшихъ картинъ, которыя взаимно истребили другъ друга, и отъ которыхъ не осталось ничего, кромѣ безобразнаго чернаго пятна. Вы спрашиваете у художника съ почтительнымъ недоумѣніемъ, зачѣмъ онъ губитъ свои собственные великолѣпныя созданія и зачѣмъ онъ, при своемъ невѣроятномъ талантѣ, играетъ и шалитъ красками, вмѣсто того чтобы приняться за большую и прочную работу.

— Нечего работать, отвѣчаетъ вамъ художникъ.

Вы этого отвѣта не понимаете и просите дальнѣйшихъ объясненій.

— Нѣтъ сюжетовъ, поясняетъ художникъ.

Изумленіе ваше увеличивается, и вы скромно возражаете, что сюжетовъ вездѣ и всегда можно найти безчисленное множество.

Улыбка художника становится еще презрительнѣе и еще грустнѣе.

— Сюжетомъ, говоритъ онъ, язвительно отчеканивая каждое слово, я называю такую мысль,



которая овладѣваетъ всѣмъ моимъ существомъ, и не даетъ мнѣ покоя ни днемъ, ни ночью до тѣхъ поръ, пока я не вырву ее изъ себя и не прикую ее къ полотну. Такихъ сюжетовъ я не вижу и не чувствую въ окружающей меня атмосферѣ.

— Но вѣдь были же у васъ мысли, говорите вы, когда вы сейчасъ набрасывали одну картину за другой, или вѣрнѣе одну картину на другую.

— Это не мысли, отвѣчаетъ художникъ: это мимолетныя настроенія. Вы сами видѣли, какъ они рождались и какъ исчезали. Такими мыльными пузырями, какъ эти настроенія, можно только удивлять и забавлять глупыхъ ребятшекъ, вродѣ вашей милости.

Вы обижены и прекращаете этотъ щекотливый разговоръ.

Я взялъ тутъ живописца единственно для того, чтобы мысль моя выразилась какъ можно нагляднѣе. Дѣйствуя въ области такого искусства, которое по своимъ средствамъ неизмѣримо богаче, и по своему вліянію на общество неизмѣримо сильнѣе живописи, Гейне, подобно моему фантастическому живописцу, не находитъ себѣ сюжетовъ, и вслѣдствіе этого постоянно шалитъ и играетъ, вмѣсто того чтобы творить. Играми и шалостями наполнена вся его жизнь, но можно сказать навѣрное, что онъ съ радостью отдалъ бы половину этой жизни, лишь бы только какая нибудь высшая сила дала ему возможность бросить поэтическія шалости и посвятить остальную половину жизни серьезнымъ и великимъ подвигамъ творчества. Граціозное бездѣлничество мучительно и невыносимо для такого титана, который чувствуетъ себя способнымъ взбросить Пеліонъ на Оссу и вступить въ крупный разговоръ со всѣми обитателями Олимпа. Во время своихъ хроническихъ шалостей Гейне небрежно роняетъ на полъ свои жгучіе сарказмы, которые возбуждаютъ въ окружающихъ людяхъ чувства ужаса или восторга; но эти сарказмы могутъ только служить образчиками титанической силы и не даютъ никакого приблизительнаго понятія о тѣхъ колоссальныхъ подвигахъ, которые совершилъ бы этотъ титанъ, если-бы ему удалось найти сюжетъ и взяться за работу, способную овладѣть всѣмъ его существомъ. Но сюжетъ не нашелся, и титанъ умеръ, не совершивши ничего такого, что было бы вполне достойно его собственныхъ силъ. Титанъ не виноватъ. Если онъ не нашелъ сюжета, то значитъ сюжета дѣйствительно и не было, по крайней мѣрѣ для него, для титана. Лѣнь было искать, скажете вы, оттого и не нашелъ. Ошибаетесь, отвѣчу я. Титану нуженъ великій сюжетъ, а такой сюжетъ—не иголка. Онъ не прячется отъ людей и не заставляетъ себя искать днемъ съ огнемъ; такой сюжетъ самъ дерзко и нахально лѣзетъ людямъ въ глаза, поражаетъ ихъ воображеніе, разнуздываетъ ихъ страсти и возбуждаетъ вокругъ себя ожесточенную борьбу, которая, начавшись въ области мысли, быстро захватываетъ и наполняетъ сферу

реальной жизни. Только такой міровой сюжетъ способенъ зажечь въ груди титана тотъ великій пожаръ, отъ котораго полетятъ во все стороны, какъ блестящія искры, геніальныя произведенія. У Гейне такого сюжета не было и не могло быть.

Чтобы подкрѣпить это мнѣніе прочными доказательствами, надо сначала окинуть общимъ взглядомъ главныя отрасли титанической дѣятельности, а потомъ объяснить смыслъ той исторической эпохи, которая произвела и воспитала поэзію Гейне.

#### IV.

Титаны бываютъ разныхъ сортовъ.

Одни изъ нихъ живутъ и творятъ въ высшихъ областяхъ чистаго и безстрастнаго мышленія. Они подмѣчаютъ связь между явленіями, изъ множества отдѣльныхъ наблюденій они выводятъ общіе законы; они вырываютъ у природы одну тайну за другой; они прокладываютъ человѣческой мысли новыя дороги; они дѣлаютъ тѣ открытія, отъ которыхъ перевертывается вверхъ дномъ все наше міросозерцаніе, а вслѣдъ за тѣмъ и вся наша общественная жизнь. Ихъ открытія даютъ оружіе для борьбы съ природой сотнямъ крупныхъ и мелкихъ изобрѣтателей, которымъ наша промышленность обязана всѣмъ своимъ могуществомъ. Это—Атласы, на плечахъ которыхъ лежить все небо нашей цивилизаціи (премилое небо?—неправда-ли?) Но, подобно Атласу, эти *титаны мысли* покрыты вѣчнымъ снѣгомъ. Они ищутъ только истины. Имъ некогда и некогда любить; они живутъ въ вѣчномъ одиночествѣ. Ихъ мысли хватаютъ такъ высоко и такъ далеко, ихъ труды такъ сложны и такъ громадны, что они во время своей многолѣтней работы ни въ комъ не могутъ встрѣтить себѣ сочувствія и пониманія и ни съ кѣмъ не могутъ подѣлиться своими надеждами, радостями, тревогами или опасеніями. Ихъ начинаютъ понимать и боготворить тогда, когда цѣль достигнута и результатъ полученъ. Но и тогда между ними и массою остается длинный рядъ посредниковъ и толкователей. Только при содѣйствіи этихъ второстепенныхъ и третьестепенныхъ дѣятелей масса получаетъ кое-какое слабое и смутное понятіе о томъ, что выработалось въ громадныхъ черепахъ этихъ Давалагири и Гумалари нашей породы. Чистѣйшимъ представителемъ этого типа можетъ служить Ньютонъ.

Другой типъ можно назвать *титанами любви*. Эти люди живутъ и дѣйствуютъ въ самомъ бѣшенномъ водоворотѣ человѣческихъ страстей. Они стоятъ во главѣ всѣхъ великихъ народныхъ движеній, религіозныхъ и социальныхъ. Несмотря ни на какіе зловѣщіе уроки прошедшаго, несмотря на кровавыя пораженія и мучительную расплату, люди такого закала изъ вѣка въ вѣкъ благословляютъ своихъ ближнихъ бороться, страдать и умирать за право жить на бѣломъ свѣтѣ, сохраняя въ полной неприкосновенности святыню собственнаго убѣжденія и величіе человѣческаго до-



стоинства. Гальванизируя и увлекая массу, титанъ идетъ впереди всѣхъ и съ вдохновенною улыбкою на устахъ первый кладетъ голову за то великое дѣло, котораго до сихъ поръ еще не выиграло человѣчество. Титаны этого разбора почти никогда не опираются ни на обширныя фактическія знанія, ни на ясность и твердость логическаго мышленія, ни на житейскую опытность и сообразительность. Ихъ сила заключается только въ ихъ необыкновенной чуткости ко всѣмъ человѣческимъ страданіямъ и въ слѣпой стремительности ихъ страстнаго порыва. Въ былое время, впрочемъ, еще не очень давно, они искали себѣ точку опоры въ бездонномъ пространствѣ голубого эира, потомъ они стали вѣрить въ какую-то отвлеченную справедливость, которая уже давно собирается восторжествовать надъ земными гадостями и наконецъ, по мнѣнію добродушныхъ титановъ любви, должна когда нибудь приступить къ выполнению своего давнишняго замысла. Впрочемъ съ тѣхъ поръ, какъ изобрѣтено книгопечатаніе и усовершенствована во всей Европѣ сельская и городская полиція, титаны любви во многихъ отношеніяхъ измѣнились къ лучшему. Имъ теперь уже нельзя и пезачѣмъ проповѣдывать на открытомъ воздухѣ, гдѣ голубой эиръ рассказываетъ всякому желающему заманчивыя сказки о всевозможныхъ точкахъ опоры для всевозможныхъ воздушныхъ замковъ. Имъ нельзя увлекать слушателей восклицаніями и тѣлодвиженіями. Имъ пришлось взяться за перо. Они превратились въ кабинетныхъ работниковъ и поневолѣ должны были познакомиться съ великими трудами титановъ мысли. Это сближеніе между двумя главными областями человѣческаго титанизма, это сліяніе дѣятельной любви и трезвой науки заключаетъ въ себѣ единственные возможные задатки будущаго обновленія.

Третью и послѣднюю категорію можно назвать *титанами воображенія*. Эти люди не дѣлаютъ ни открытій, ни переворотовъ. Они только схватываютъ и облекаютъ въ поразительно яркія формы тѣ идеи и страсти, которыя воодушевляють и волнуютъ ихъ современниковъ. Но идеи должны быть выработаны и страсти—предварительно возбуждены другими дѣятелями—титанами двухъ вышнихъ категорій. Матеріаломъ можетъ служить для титановъ воображенія только то, что люди знаютъ, и то, чего они хотятъ. Само собою разумѣется, что не всѣ человѣческія знанія съ одинаковымъ удобствомъ облекаются въ яркія и блестящія формы; никакому титану не придетъ въ голову дикая и смѣшная мысль писать поэму о спутникахъ Юпитера, или о скрытомъ теплородѣ, или о произвольномъ зарожденіи. Для поэмы годится только та часть человѣческихъ знаній, которая глубоко затрогиваетъ человѣческія страсти, и притомъ не только страсти однихъ специалистовъ, способныхъ даже горячиться и ссориться изъ-за спутниковъ Юпитера, но страсти всѣхъ людей, имѣющихъ возможность познакомиться съ даннымъ вопросомъ. Такими

вѣчно жгучими знаніями могутъ быть только знанія человѣка о междучеловѣческихъ отношеніяхъ. Въ этой же области междучеловѣческихъ отношеній разыгрываются также и всѣ серьезныя и упорныя человѣческія желанія, всѣ тѣ желанія, которыми характеризуются и отличаются другъ отъ друга различныя историческія эпохи. Значитъ, титаны воображенія располагаютъ богатымъ запасомъ матеріала тогда, когда соціальныя знанія и понятія людей отличаются большою опредѣленностью, и когда желанія или стремленія очень ясно обозначены, очень сильны, настоячивы и рѣшительны. Напротивъ того, когда люди сомнѣваются въ состоятельности своихъ знаній и въ тоже время не умѣютъ отдать себѣ ясный отчетъ въ своихъ собственныхъ желаніяхъ, когда имъ противно прошедшее, и когда они плохо вѣрятъ въ лучшее будущее, тогда титаны воображенія сидятъ безъ сюжетовъ, и, отъ нечего дѣлать, шалаятъ и играютъ красками, звуками, словами и образами.

Великое несчастье титана Гейне состоитъ вовсе не въ томъ, что какой нибудь Меттернихъ или какой нибудь союзный сеймъ мѣшали ему откровенно объясняться съ нѣмецкой публикой. Это несчастье состоитъ даже и не въ томъ, что сама нѣмецкая публика отличалась поразительнымъ тупоуміемъ и во всякую данную минуту была готова и способна облизать ноги своимъ злѣйшимъ врагамъ, разорвать на части своихъ лучшихъ и безкорыстѣйшихъ друзей и подарить міру изъ своихъ собственныхъ нѣдръ тысячи новыхъ Меттерниховъ и тысячи новыхъ союзныхъ сеймовъ; когда человѣку мѣшаетъ работать грубая матеріальная сила—это конечно очень непріятно. Когда человѣка не понимает то общество, которому онъ отдаетъ кровь своего сердца и сокъ своихъ нервовъ—это еще болѣе непріятно, это даже очень больно, обидно и досадно.

Но все это—такія препятствія, которыя могутъ и должны быть побѣждены сильнымъ напряженіемъ ума и воли. При всѣхъ этихъ препятствіяхъ, настоящій источникъ мужественной энергіи и боевого задора остается нетронутымъ и незасореннымъ. Противъ матеріальной силы можно дѣйствовать хитростью. Инквизиторскую проницаемость меттерниховскихъ ищекъ можно всегда обманывать неистощимымъ запасомъ тѣхъ уловокъ, изворотовъ, цвѣтистыхъ образовъ и проницескихъ двусмысленностей, которыя постоянно находятся подъ руками каждаго даровитаго писателя и которыя придаютъ искусно затаенной мысли особенную шаловливую прелесть и раздражающую пикантность. Нѣтъ той гремучей змѣи, которую нельзя было бы опрятно и граціозно уложить въ невиннѣйшую и граціознѣйшую корзинку, наполненную самыми великолѣпными и душистыми цвѣтами. И въ этой борьбѣ между меттерниховскою ищейкой и даровитымъ писателемъ побѣда непременно должна склониться на сторону послѣдняго, потому что ищейка дѣйствуетъ по обязанности службы, а писатель



повинуется повелительному голосу всепоглощающей страсти.

Равнодушіе и непониманіе публики—это также не богъ-знаетъ какое неодолимое препятствіе. Если бы это равнодушіе и непониманіе простиралось на всю литературу безъ малѣйшаго исключенія, т. е. если бы публика не обнаруживала никакой охоты къ чтенію и не имѣла бы никакого понятія объ умственныхъ наслажденіяхъ—тогда препятствіе было бы дѣйствительно очень серьезно и далеко превышало бы силы не только одного даровитаго писателя, но даже и цѣлаго поколѣнія даровитыхъ писателей. Но когда занятія текущей литературой сдѣлались насущной потребностью для того общества, которое считаетъ и называетъ себя образованнымъ, тогда даровитому писателю уже вовсе не трудно сформировать себѣ, въ самое короткое время, понимающихъ и страстно внимательныхъ читателей. Если общество равнодушно къ политикѣ и не понимаетъ современной исторіи, то по всей вѣроятности оно не равнодушно къ театру и превосходно понимаетъ микроскопическія красоты лирическаго пустословія и романическаго селадонства. Чѣмъ равнодушнѣе становится общество къ великимъ жизненнымъ идеямъ, тѣмъ страстнѣе оно привязывается къ прекраснымъ формамъ, которыхъ пониманіе впрочемъ также извращается и мельчаетъ подъ вліяніемъ общаго умственнаго оцѣпенѣнія. Въ Европѣ такъ бывало всегда. Эпохи политическаго застоя и окупѣнія были всегда золотыми годами для чистаго искусства, которое быстро овладѣвало всеми умственными силами общества и потомъ немедленно вырождалось и доходило до послѣднихъ предѣловъ вычурности и уродливой аффектаціи. Если титанъ воображенія хочетъ при такихъ условіяхъ овладѣть вниманіемъ общества, то ему стоитъ только воспользоваться тѣми формами, которыя нравятся его современникамъ, отчистить, отполировать эти формы, навести на нихъ новый, волшебнo-ослѣпительный блескъ, и потомъ влить въ нихъ то живое содержаніе, которое было вытѣснено изъ жизни и изъ литературы тяжелыми годами невольной умственной неподвижности. Современники накинутся сначала на ослѣпительную форму, сіяющую пуще всякаго мѣднаго таза, но процессъ мышленія, направленнаго на ближайшіе и важнѣйшіе интересы и вопросы жизни, обладаетъ всегда и для всѣхъ такою неотразимою, такою раздражительною и затягивающею прелестью, что ядро орѣха очень скоро будетъ вынuto изъ шелухи, и что шумные споры о красотахъ и недостаткахъ оболочки уступятъ мѣсто гораздо болѣе ожесточеннымъ преніямъ о питательности или ядовитости содержанія. Пробужденіе притупленнаго и деморализованнаго общества начинается обыкновенно съ очищенія его эстетическихъ понятій, совсѣмъ не потому, что эти понятія важнѣе всѣхъ остальныхъ, а потому, что деморализованное и притупленное общество только съ этой стороны оказывается доступнымъ для

вразумленій. Эту сторону слабѣе караулятъ официальные аргусы, любители тупости и безнравственности; кромѣ того сама публика только съ одной этой стороны сохраняетъ способность видѣть, слышать, чувствовать, понимать, интересоваться и увлекаться. Руководствуясь тѣмъ инстинктомъ, которымъ обладаютъ титаны, Лессингъ въ Германіи и Вѣблинскій въ Россіи начали обновленіе общества со стороны его эстетическихъ понятій, которыя, при дальнѣйшемъ развитіи умственнаго движенія, должны были отодвинуться на самый задній планъ. Гейне также очень ловко умѣлъ бороться съ равнодушіемъ публики и побѣждать ея непониманіе. Какъ Лессингъ и Вѣблинскій сами дѣлались на всю жизнь эстетиками для того, чтобы положить конецъ неограниченному господству эстетики, такъ точно Гейне, осмѣивая и убивая безсодержательный романтизмъ, пользовался теченіемъ всей своей жизни романтическими формами, которыхъ причудливая и необузданная дикость очаровывала его современниковъ.

Стало быть великое несчастіе Гейне заключалось не въ умственной убогости нѣмецкой публики.

Настоящее, роковое несчастіе, гораздо болѣе неотразимое, чѣмъ Меттернихъ и филистерство, состояло въ томъ, что сама соль земли находилась въ недоумѣніи и не знала навѣрное, что и какъ солить. Лучшіе люди, самые умные, самые честные и самые страстные, искали вокругъ себя и внутри себя твердую точку опоры и не могли ея найти. Ихъ мучило безвѣріе въ самомъ обширномъ и глубокомъ значеніи этого слова. Они не знали, на что надѣяться и чего желать. Въ этомъ отношеніи лучшіе люди первой половины XIX вѣка были гораздо несчастнѣе своихъ предшественниковъ и своихъ преемниковъ. Предшественники вѣрили въ политическій переворотъ; преемники вѣрятъ въ экономическое обновленіе; а посрединѣ лежитъ темная трущоба, наполненная разочарованіемъ, сомнѣніемъ и смутно-безпокойными тревогами; и въ самомъ центрѣ этой темной трущобы сидитъ самый блестящій и самый несчастный ея представитель—Генрихъ Гейне, который весь составленъ изъ внутреннихъ разладовъ и непримиримыхъ противорѣчій.

#### V.

Передовые мыслители XVIII вѣка были глубоко убѣждены въ томъ, что хорошее правительство можетъ въ самое короткое время поставить любой народъ на высшую ступеньку цивилизації и блаженства. Мудрый законодатель и золотой вѣкъ—это по ихъ мнѣнію были два понятія, неразрывно связанные между собою, какъ причина и слѣдствіе. Задача человѣчества представлялась въ самомъ простомъ и элементарномъ видѣ: обезоружь тирановъ, посади мудрецовъ въ государственный совѣтъ, и потомъ блаженствуй. Если ты хочешь упрочить свое блаженство на



вѣчныя времена, то наблюдай только за тѣмъ, чтобы мудрецы не глупѣли и не лукавили. Чуть замѣтилъ недосмотръ или фальшь, сейчасъ отставляй мудреца отъ должности, замѣщай его новымъ благодѣтелемъ, и будь увѣренъ, что блаженству твоему не предвидится конца. Тѣ люди, которые вѣрують въ конституцію, какъ въ универсальное лекарство, разсуждаютъ именно такимъ образомъ, потому что всевозможныя конституціонныя гарантіи и уравниванія клонятся исключительно къ тому, чтобы регулировать смѣщеніе мудрецовъ, пришедшихъ въ негодность, и выборъ новыхъ мудрецовъ, долженствующихъ занять ихъ мѣсто. Откуда взялось это забужденіе, оболыстившее XVIII вѣкъ и не совсѣмъ утратившее свою силу до настоящаго времени—понять не трудно. Дѣло въ томъ, что дурное правительство дѣйствительно можетъ причинить народу необъятную массу разнообразнаго зла. Если бы дурному правительству, вродѣ турецкаго или персидскаго, удалось при помощи вооруженной силы утвердиться въ роскошной странѣ, населенной дѣятельнымъ и даровитымъ народомъ, и если бы это дурное правительство успѣло задуть всѣ взрывы народнаго негодованія, то черезъ нѣсколько десятилѣтій страна превратилась бы въ пустыню, и остатки народа сдѣлались бы толпою нищихъ идиотовъ и негодяевъ. Такое разрушеніе народнаго богатства, народныхъ силъ и народнаго ума производилось передъ глазами тѣхъ мыслителей, работы которыхъ положили свою печать на все умственное движеніе прошлаго столѣтія. Дурное правительство Людовика XIV, Филиппа Орлеанскаго и Людовика XV превращало Францію въ пустыню, а французовъ—въ нищихъ, которымъ были одинаково сподручны идиотизмъ, негодяйство и голодная смерть. Мыслители могли прослѣдить шагъ за шагомъ все развитіе зла; они могли доказать самымъ осязательнымъ образомъ, что все это зло сдѣлано дурнымъ правительствомъ. Они видѣли собственными глазами, какъ колоссально можетъ быть вліяніе правительства въ дурную сторону; они умозаклучили совершенно справедливо, что народъ испыталъ бы значительное облегченіе, если бы правительство на будущее время просто и скромно стало воздерживаться отъ грубыхъ ошибокъ и отъ слишкомъ скандальнаго озорства. Но тутъ уже трудно было остановиться во-время на пути умозаклученій. Тутъ сейчасъ подвергивалась та повидимому несомнѣнно истинная мысль что, если правительство можетъ все погубить, то оно можетъ также все спасти, воссоздать, исправить, обновить и довести до высшей степени совершенства.

Итакъ въ XVIII вѣкѣ дѣло шло о томъ, чтобы вручить правленіе искреннимъ друзьямъ и достойнымъ представителямъ народа. Такой опытъ былъ произведенъ во Франціи, и окончился неудачею. Неудачею—не въ томъ смыслѣ, что революція не принесла Франціи никакой пользы, а только въ томъ смыслѣ, что результатъ не со-

отвѣтствовалъ наивно преувеличеннымъ ожиданіямъ народа и его вождей. Феодализмъ былъ вырванъ съ корнемъ; поземельная собственность распредѣлилась равномѣрно. Въмѣсто тысячи мѣстныхъ обычаевъ выработанъ одинъ общій кодексъ гражданскихъ и уголовныхъ законовъ, одинаково обязательныхъ для герцога и для мужика; наслѣдственное чиновничество уничтожено; старое, дорогое и запутанное судопроизводство замѣнено новымъ, гораздо болѣе рациональнымъ, быстрымъ и дешевымъ. Словомъ, великое множество Авгіевыхъ стойлъ, нечищенныхъ со временемъ Гуго Капета, снесено прочь до основанія. Въ числѣ этихъ стойлъ цехи заслуживаютъ самого почетнаго упоминанія. Вообще въ одно десятилѣтіе былъ сдѣланъ невѣроятно громадный и совершенно безповоротный шагъ впередъ, котораго потомъ не могла затушевать самая бѣшенная реакція. Возстановить цехи, внутреннія таможи, мѣстные обычаи, церковную десятину, помѣщичьи права—шалишь! Объ этомъ не осмѣливалась заикнуться даже *Chambre introuvable* того толстатаго Людовика, который наперекоръ всѣмъ историческимъ фактамъ упорно называлъ себя XVIII-мъ. Это значило бы буквально искать вчерашняго дня или прошлагодняго снѣга. Но золотой вѣкъ все-таки не наступилъ, а надежды были такъ неудержимо размахисты и такъ сильно возбуждены, что уже одно это обстоятельство, одно это ненаступленіе золотого вѣка повело за собою великое, долговременное и мучительное разочарованіе.

Въ это время, подъ вліяніемъ разочарованія и реакціи, въ Европѣ распустился чахлый и блѣдный цвѣтокъ либерализма. Надежды наши разбиты, думали искренніе либералы, потому что эти надежды вообще были неосуществимы. Золотой вѣкъ всеобщаго довольства и ненарушимаго братолюбія не наступитъ никогда. Мечтать намъ бесполезно. Стремиться къ нему безумно и преступно. Земля слишкомъ мала и бѣдна. Люди слишкомъ многочисленны. Страсти ихъ слишкомъ пылки и разнообразны. Вѣчная борьба между людьми неизбежна. Поэтому надо заботиться только о томъ, чтобы борьба всегда и вездѣ рѣшалась личными достоинствами, а не прерогативами рожденія. Надо твердо стоять на той почвѣ, которую расчистили для насъ великіе принципы 1789 года. Съ одной стороны, надо отстаивать пріобрѣтенія великаго переворота противъ отвратительныхъ замысловъ реакціонеровъ, мечтающихъ о возстановленіи феодализма; съ другой—надо держать въ ежовыхъ рукавицахъ тѣхъ сумасбродовъ, которые, считая себя законными преемниками великихъ дѣятелей, стараются увлечь общество въ бездну анархіи, разоренія и варварства. Такъ разсуждали либералы, и по этой программѣ располагались всѣ ихъ дѣйствія.

Искренніе либералы, желавшіе доставить народу счастье, но считавшіе это счастье недостижимымъ для массъ, составляли незначительное



меньшинство. Настоящая боевая армія либерализма состояла изъ такихъ людей, которые жадно собирали плоды великаго переворота и нисколько не желали, чтобы число счастливыхъ собирателей увеличилось. На развалинахъ стараго феодализма утвердилась новая плутократія, и бароны финансоваго міра, банкиры, негодіанты, коммерсанты, фабриканты и всякіе *надуванты* вовсе не были расположены дѣлиться съ народомъ выгодами своего положенія. Слово *плутократія* происходитъ отъ греческаго слова *плутосъ*, которое значитъ *богатство*. Плутократіей называется господство капитала. Но если читатель, увлекаясь обольстительнымъ созвучіемъ, захочетъ производить *плутократію* отъ русскаго слова *плутъ*, то смѣлая догадка будетъ невѣрна только въ этимологическомъ отношеніи.

Бароны финансоваго міра образовали новый классъ привилегированныхъ особъ и, прикрываясь великими принципами 1789 года, стали защищать только свои собственные привилегіи. Тѣ искренніе друзья народа, которымъ пришлось жить и дѣйствовать въ первой половинѣ текущаго столѣтія, очутились такимъ образомъ въ компаніи самаго сомнительнаго достоинства.

Рыхлая и безсвязная политическая партія, составленная изъ близорукихъ лавочниковъ, честолюбивыхъ шарлатановъ, уклончивыхъ юристовъ и немногихъ искреннихъ, но глубоко разочарованныхъ друзей народа, могла имѣть нѣкоторый смыслъ и кое-какую энергію только тогда, когда надо было осаживать и обуздывать шальныхъ реакціонеровъ, потерявшихъ на старости лѣтъ послѣдніе остатки здраваго человѣческаго разсудка. Императоръ Францъ, князь Меттернихъ, союзный сеймъ, герцогъ Веллингтонъ, маркизъ Ландондерри, *Chambre introuvable*, Карлъ X, іезуиты и піетисты—были настоящимъ и неоцѣненнымъ сокровищемъ для комически-несчастной партіи либераловъ. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ бы эти несчастные либералы стали наполнять свои досуги, чѣмъ могли бы они заработать себѣ европейскую знаменитость, какими терновыми вѣнками могли бы они избородить свои интересно-блѣдные лбы, — если бы великодушные реакціонеры не доставляли имъ обильныхъ случаевъ оппонировать и будировать, ужасаться и хныкать, горячиться и торжественно доказывать, что дважды два четыре, и что мужикъ не любитъ платить десятину? Какъ только пылкіе обожатели средне-вѣковаго порядка вымерли или перестали быть опасными, какъ только либеральная партія одержала побѣду надъ своими благодѣтелями, такъ тотчасъ же либеральная партія расплзлась на свои составныя части. Честные и умные люди отшатнулись отъ нея прочь; а легіонъ пройдохъ и торгашей, оцѣненный знаменемъ *великихъ принциповъ*, сталъ представлять такое уморительное зрѣлище, что обнаружилась настоящая необходимость свернуть и спрятать тихимъ манеромъ компромети-

рующее знамя и выставить новый штандартикъ, на которомъ вмѣсто крикливыхъ словъ: «*братство, равенство, свобода!*» было написано приглашеніе не воровать носовыхъ платковъ и не ломать мостовую. Либералы очень горячо и настойчиво добивались свободы печати, но свобода печати была имъ необходима только для того, чтобы доказывать ежедневно, что дважды два четыре, что бережливость есть мать всѣхъ милліоновъ и всѣхъ добродѣтелей, что силою ума и характера поденщикъ можетъ сдѣлаться банкиромъ и перомъ Франціи, что евреи имѣютъ основательныя причины считать себя людьми, и что папѣ было бы очень полезно познакомиться съ системою Коперника, открыть свои объятія всему человѣчеству и записаться въ ряды просвѣщенныхъ и умѣренныхъ либераловъ. Когда же свободная печать начала знакомить міръ съ новыми истинами, опасными для финансоваго феодализма, тогда либералы первые закричали «карауль!» и выдумали новое слово *licence* для обозначенія печатныхъ ужасовъ, отъ которыхъ надо укрываться подъ защиту городского сержанта.

Барышники знали, чего хотѣли. Они были очень довольны собой и всею политикой. Внутреннія противорѣчія ихъ не смущали. Они говорили, что жизнь не математика, и что непоколебимая вѣрность основной идеѣ такъ же невозможна въ жизни, какъ невозможенъ въ природѣ математическій маятникъ. Этимъ людямъ было хорошо, тепло и весело. Смотря по требованіямъ данной минуты, они то отвергали принципъ, допуская въ тоже время его послѣдствія, то отвергали послѣдствія, допуская принципъ.

Такъ напримѣръ, въ первой четверти нашего столѣтія многіе англійскіе лорды пожелали увеличить доходность своихъ владѣній и съ этой цѣлью нашли удобнымъ превратить пахатныя земли въ пастбища, на которыхъ должны воспитываться феноменально-жирные и прекрасные быки и бараны. Когда окончился срокъ заключеннымъ контрактамъ, тогда владѣльцы предложили фермерамъ уходить на всѣ четыре стороны, и вслѣдъ затѣмъ немедленно приказали разрушить тѣ усадебныя строенія, въ которыхъ эти люди родились, выросли, быть можетъ даже состарѣлись и надѣялись умереть. Тысячи семействъ оказались безъ пріюта, старики и дѣти умирали отъ истощенія силъ; женщины разрѣшались отъ бремени въ открытомъ полѣ; словомъ, происходили такія странныя сцены, которыя по видимому были умѣстны и позволительны только во время нашествія непріятеля. Либеральная европейская пресса ударила въ набатъ. Вотъ, молъ, они каковы—эти олигархи, эти феодалы, эти варвары и кровопійцы!

Всѣ эти либеральныя завыванія можно было пріостановить однимъ простымъ вопросомъ: земля чья?

— Земля господская.

— Такъ чего же вы бѣснуетесь?



— Но эти несчастные фермеры! Куда же они пойдутъ?

— Куда угодно. Въ рабочій домъ, въ тюрьму, въ Ирландскій каналъ, въ Нѣмецкое море, въ ближайшій прудъ, на висѣлицу, къ чорту на кулички, или въ какое-нибудь другое злачное и пріятное мѣсто. Лорды не имѣютъ права и, какъ добрые граждане, уважающіе законы своего отечества, даже не желаютъ стѣснять своихъ бывшихъ фермеровъ въ выборѣ новой резиденціи.

— Это ужасъ, это убійство!

— Неправда! Это логика!

Вы, господа либералы, учились римскому праву. Вы называете его *писаннымъ разумомъ* (la raison écrite). Вамъ должно быть извѣстно, что право собственности есть *jus utendi et abutendi* (право пользоваться и злоупотреблять). Желая получать съ своей земли возможно большіе доходы, лордъ только пользуется этой землей, а не злоупотребляетъ. Значитъ, онъ не только не выступаетъ изъ должныхъ границъ своего неотъемлемого и священнаго права, но даже далеко не доходитъ до тѣхъ границъ, которыя очерчены вокругъ него нашимъ *писаннымъ разумомъ*. Изъ за чего же вы лѣзете на стѣну, когда все въ обществѣ обстоитъ благополучно, и когда спокойно и торжественно развертываются прямые и законные послѣдствія той идеи, передъ которой вы стоите на колѣняхъ? Если же римское опредѣленіе кажется вамъ неудобнымъ, попробуйте сочинить новое. Но при этомъ будьте осторожны. Вы рискуете поднять изъ свѣжей могилы трупъ обезглавленнаго Бабефа. Вы рискуете вызвать изъ глубины далекаго прошедшаго великія тѣни Кая и Тиверія Гракховъ. Вы рискуете потревожить грозный призракъ аграрныхъ законовъ.

Много такихъ потоковъ краснорѣчія можно было бы направить противъ европейскихъ либераловъ, осуждавшихъ энергическія хозяйственныя распоряженія англійскихъ землевладѣльцевъ. Но всѣ эти потоки пропали бы даромъ, потому что либералы рѣшительно ничѣмъ не рисковали. Опасность угрожала бы имъ только въ томъ случаѣ, если бы они хоть сколько нибудь уважали логику. Для человѣка послѣдовательнаго, измѣнить римское опредѣленіе собственности, значитъ перестроить сверху все зданіе междучеловѣческихъ отношеній. Для просвѣщеннаго либерала это значитъ внести въ книгу законовъ лишнюю ограничительную закорючку, способную породить ежегодно двѣ три сотни лишнихъ процессовъ.

Когда благоуханія какого нибудь Авгіева стойла доводятъ просвѣщеннаго и чувствительнаго либерала до тошноты или до обморока, тогда либералъ, очнувшись и собравшись съ силами, брызгается въ убійственное стойло одеколономъ, или ставитъ въ него курительную свѣчку, или выливаетъ въ него банку ждановской жидкости.

И къ этой либеральной партіи, къ этому разлагающемуся трупу Жиронды, былъ привязанъ

втеченіе всей своей жизни геніальный поэтъ Генрихъ Гейне.

## VI.

Сарказмы Гейне злы, мѣтки и картинны. Но тѣ политическія убѣжденія, изъ которыхъ они вытекаютъ, очень не глубоки, неясны и нетверды. Гейне—*храбрый солдатъ*; онъ превосходно владѣетъ оружіемъ; но въ его нападеніяхъ нѣтъ общаго плана и руководящей идеи.

Гейне—либералъ, но какъ человѣкъ очень умный, очень страстный, переполненный горячею любовью къ людямъ, онъ никогда не могъ застыть и одеревенѣть въ близорукой и самодвольной рутинѣ либерализма. Онъ оставался вѣчно неудовлетвореннымъ не только въ дѣйствительной жизни, но даже въ области мыслей и желаній. Вокругъ себя онъ не находилъ ни одного явленія, къ которому можно было бы привязаться горячей и безраздѣльной любовью. Внутри себя онъ не находилъ ни одной идеи, на которую можно было бы опереться, ни одного желанія, ради котораго стоило бы, очертя голову, броситься въ пропасть, ни одной мечты, которой умный человѣкъ могъ бы отдаться безъ оглядки всѣми силами своего существа.

Находясь въ такомъ положеніи, спокойныя и холодныя натуры, подобныя Гете и Горацию, мирятся съ тѣмъ убѣжденіемъ, что *жизнь—пустая и лунная шутка*, принимаютъ за правило, что надо *жить, пока живется*, устраиваютъ свое существованіе по рецепту умѣренной и свѣтлой эпикурейской мудрости, пишутъ граціозныя оды къ Лигурину и къ Деліи, или дѣлаютъ свой кейфъ на пестрыхъ и мягкихъ подушкахъ западно-восточнаго дивана.

Но для настоящихъ титановъ, для бурныхъ и вулканическихъ натуръ, подобныхъ Гейне и Байрону, такое сахарное блаженство остается навсегда непонятнымъ и недоступнымъ. Эти люди могутъ быть до нѣкоторой степени счастливы только тогда, когда они окунаются съ головою въ омутъ страстной и ожесточенной борьбы за идею. Этимъ людямъ необходимы цѣльные и громадные чувства, сильныя и мучительныя потрясенія нервной системы. Имъ необходимо любить, ненавидѣть, желать, стремиться и бороться такъ, чтобы при этомъ совершенно забывать о мелкихъ будничныхъ интересахъ собственной личности. Все это не всегда оказывается возможнымъ, потому что въ исторіи случаются длинные и томительные скучные антракты, когда старыя идеи блекнутъ и линяютъ, а новыя только-что начинаютъ зарождаться въ рабочихъ кабинетахъ немногихъ титановъ, еще неизвѣстныхъ своимъ современникамъ. Во время такихъ антрактовъ цѣльнымъ и громаднымъ чувствамъ не къ чему привязаться; а между тѣмъ эти чувства все-таки ищутъ себѣ выхода и все-таки никакъ не могутъ размѣняться на мелкую монету усладительныхъ вздоховъ, граціозныхъ симпатій, миловидныхъ волненій, по-



корныхъ улыбокъ и официальныхъ восторговъ. Зная пустоту и безцвѣтность своего времени, несчастные титаны воображенія, удрученные потребностью любить, ищутъ себѣ предмета любви до конца своей жизни, мечутся, какъ угорѣлые, изъ угла въ уголь, перерываютъ весь міръ существующихъ идей, стараются влюбить себя насильно, и при этомъ смѣются надъ своими бесплодными усиліями такимъ демоническимъ смѣхомъ, отъ котораго у слушателей морозъ пробѣгаетъ по кожѣ. Наконецъ длинный рядъ бесплодныхъ усилій доводитъ титана до такой лихорадочной раздражительности и награждаетъ его на всю жизнь такой болѣзненной недовѣрчивостью, что ему случается брать въ руки, осматривать со всѣхъ сторонъ и потомъ бросать, съ презрительнымъ смѣхомъ, въ общую кучу забракованныхъ нелѣпостей, ту самую идею, въ которой заключается заря лучшей исторической будущности и которая могла бы доставить ему, несчастному титану, самыя высокія изъ всѣхъ доступныхъ человѣку наслажденій.

Самъ Гейне превосходно понималъ, или по крайней мѣрѣ очень вѣрно угадывалъ настоящую причину своего рокового несчастія, неимѣвшаго конечно ничего общаго съ какой нибудь личной утратой или со старой исторіей о томъ, что онъ ее любилъ, а она его любила.

«Любезный читатель, говоритъ Гейне во второй части «Путевыхъ Картинъ», можетъ быть и ты изъ числа тѣхъ благочестивыхъ птичекъ, что согласно вторятъ пѣснѣ о байроновской разорванности, пѣснѣ, которую мнѣ уже лѣтъ десять насвистываютъ и напѣваютъ на всѣ лады, и которая даже въ черепѣ маркиза, какъ ты видишь, нашла отголосокъ? Ахъ, любезный читатель, если ты вздумаешь горевать объ этой разорванности, пожалѣй лучше, что самый міръ разорванъ изъ конца въ конецъ. Вѣдь сердце поэта—центръ міра, какъ же не быть ему въ настоящее время разорваннымъ? Кто хвалится своимъ сердцемъ, что оно осталось у него цѣло, тотъ только доказываетъ, что у него прозаическое, оторванное отъ всего міра сердце. По моему же сердцу прошелъ большой міровой разрывъ, и въ этомъ я вижу доказательство, что судьба почтила меня высокой милостью въ сравненіи съ другими и сочла достойнымъ поэтического мученичества. Прежде, въ древніе и средніе вѣка, міръ былъ цѣлъ; несмотря на внѣшнія борьбы, было единство въ мірѣ; были и цѣльные поэты. Станемъ чтить этихъ поэтовъ и радоваться ими; но всякое подражаніе ихъ цѣлостности будетъ ложью, которая не обманетъ ничьего здороваго глаза и не избѣгнетъ тогда насмѣшки. Недавно съ большимъ трудомъ добылъ я въ Берлинѣ стихотворенія одного изъ такихъ цѣльныхъ поэтовъ, очень жаловавшагося на мою байроническую разорванность, и отъ фальшивыхъ красокъ его нѣжныхъ сочувствій къ природѣ, которыми вѣяло на меня отъ книги, какъ отъ свѣжаго сѣна, бѣдное сердце мое, и

безъ того надорванное, чуть было не лопнуло отъ смѣха, и я невольно вскричалъ: «Любезный мой интендантъ-совѣтникъ Вильгельмъ Нейманъ! Что вамъ за дѣло до зеленыхъ деревьевъ!» (Т. II, стр. 154).

Большой міровой разрывъ, проходящій по сердцу поэта и отражающійся въ разорванности его произведеній, это конечно очень смѣлый поэтический образъ, но въ этомъ образѣ нисколько не искажена и даже не преувеличена самая чистая истина. Читателя могутъ ввести въ заблужденіе только слова Гейне о цѣльности міра въ древніе и средніе вѣка. Основываясь на этихъ словахъ, читатель можетъ подумать, что сердце поэта могло быть цѣло только тогда, и что поэтическая разорванность родилась на свѣтъ вмѣстѣ съ началомъ великой борьбы противъ средневѣковыхъ идей и учрежденій. Такое мнѣніе читателя было бы совершенно ошибочно. Разорванность лежитъ въ гораздо болѣе тѣсныхъ и ясно обозначенныхъ границахъ. Никакихъ признаковъ разорванности нельзя найти не только въ поэтахъ временъ Людовика XIV, не только въ Мильтонѣ и Клопштокѣ, но даже въ Шиллерѣ и во всѣхъ передовыхъ мыслителяхъ, господствовавшихъ надъ умами французовъ во второй половинѣ прошлаго столѣтія. При Людовикѣ XIV міръ былъ еще цѣлъ, хотя средневѣковый порядокъ былъ уже нарушенъ въ самыхъ существенныхъ своихъ чертахъ. Въ XVIII вѣкѣ міръ былъ уже разорванъ діаметрально противуположными стремленіями двухъ непримиримыхъ партій, изъ которыхъ одна тянулась къ будущему, вѣровала въ разумъ, а другая ухватывалась за прошедшее и не вѣровала ни во что, кромѣ штыковъ и картечи. Міръ былъ разорванъ, но сердца поэтовъ и друзей человѣчества были въ высшей степени цѣльны, здоровы и свѣжи. Эти сердца очутились цѣликомъ по одну сторону разрыва. Въ мысляхъ, въ чувствахъ, въ желаніяхъ Вольтера, Дидро, Гольбаха не было ничего похожаго на раздвоенность или нерѣшительность. Эти люди не знали никакихъ колебаній и не чувствовали никогда ни малѣйшей жалости или нѣжности къ тому, что они отрицали и разрушали. По силѣ своего воодушевленія, по рѣзкой опредѣленности своихъ понятій, по своей невозмутимой самоувѣренности эти люди могутъ выдержать сравненіе съ любымъ средневѣковымъ фанатикомъ. А фанатизмъ и разорванность—два понятія, взаимно исключаютія другъ друга. Та разорванность, которую Гейне видитъ въ самомъ себѣ и въ Байронѣ, составляетъ прямой результатъ громаднаго разочарованія, овладѣвшаго лучшими людьми образованнаго міра послѣ неудачнаго финала французской революціи. Тутъ лучшіе люди стали сомнѣваться въ вѣрности своихъ идей, тутъ они бросили грустный и тревожный взглядъ назадъ, на оторванное прошедшее, и тутъ ихъ сердца попали подъ черту мірового разрыва, потому что имъ показалось, что вмѣстѣ съ прошедшимъ они оторвали отъ себя



часть своей собственной души. Это былъ оптический обманъ. Эти ужасы привидѣлись имъ только потому, что будущее было засловено сѣрыми и грязными тучами, сквозь которыя еще не пробивался лучъ новой руководящей идеи, способной замѣнить собой потерянную вѣру въ чудотворную силу голыхъ политическихъ переворотовъ. Когда появилась эта идея, тогда исчезла разорванность лучшихъ людей, исчезла вперёдъ до ближайшаго общеевропейскаго разочарованія — если только такое разочарованіе дѣйствительно возможно. На нашихъ глазахъ живутъ и дѣйствуютъ снова цѣльные люди, идущіе впередъ очень твердыми шагами къ очень определенной цѣли. Въ Прудонѣ, въ Луи Бланѣ, въ Лассалѣ нѣтъ уже никакихъ слѣдовъ байроновской или гейневской разорванности. Если бы въ наше время сформировался великій поэтъ, то его сердце навѣрное было бы также перекинуто цѣликомъ за черту мирового разрыва, и эта цѣльность не имѣла бы ничего общаго съ интендантъ-совѣтникомъ Вильгельмомъ Нейманомъ и съ запахомъ свѣжаго сѣна.

Замѣчу между прочимъ, что стрѣла, пущенная мимоходомъ въ какого-то неизвѣстнаго или можетъ быть даже несущагося интендантъ-совѣтника Вильгельма Неймана, попадаетъ прямо въ грудь тайнаго совѣтника Вольфганга фонъ-Гете. Трудно предположить, чтобы это косвенное нападеніе было сдѣлано нечаянно. *Путевыя картины* были изданы въ 1826 году—тогда, когда Гете былъ еще живъ, и когда всѣ нѣмцы, считавшіе себя сколько нибудь компетентными судьями въ дѣлѣ поэзіи и возвышенныхъ ощущеній, буквально лежали у ногъ этого человѣка, торжественно возведеннаго въ санъ величайшаго изъ европейскихъ поэтовъ. Поэтому, нѣтъ почти ни малѣйшей возможности допустить то предположеніе, что Гейне, размышляя о характеристическихъ особенностяхъ истиннаго поэта, упустилъ изъ вида ту крупную личность, которая считалась въ то время настоящимъ воплощеніемъ поэзіи. Если же Гейне, разсуждая о мировомъ разрывѣ, хорошо помнилъ поэтическую фizioномію Гете, то Гейне долженъ былъ также видѣть и понимать очень ясно, что сердце Гете осталось совершенно нетронутымъ, что въ этой цѣльности нѣтъ ничего похожаго на страстную цѣльность Вольтера и Дидро, что слѣдовательно сердце Гете *оторвано отъ всего міра*, и что *судьба не сочла его достойнымъ поэтическаго мученичества*. Эти заключенія совершенно неопровержимы. — Никто конечно не скажетъ о произведеніяхъ Гете, что они распространяютъ *запахъ свѣжаго сѣна* и возбуждаютъ въ читателяхъ гомерическій хохотъ, но за то можно сказать навѣрное, что безчисленное стадо подражателей великаго индифферентиста наградило Германію цѣлыми стогами *свѣжаго сѣна*, и что *любезный интендантъ-совѣтникъ Вильгельмъ Нейманъ*, отъ котораго едва не лопнуло бѣдное сердце Гейне, навѣрное падалъ ницъ пе-

редъ Гете, и со всей добросовѣстной аккуратностью прусскаго чиновника старался идти по его слѣдамъ. *Quod licet Jovi, non licet bovi*. (Что позволено Юпитеру, то не позволено быку); но тотъ Юпитеръ, который увлекаетъ многія тысячи быковъ на ложную дорогу, быкамъ вовсе не свойственную, никакъ не можетъ считаться просвѣтителемъ скотнаго двора. Гете конечно очень уменъ, очень объективенъ, очень пластиченъ, и такъ далѣе; все это примемъ, и остается на вѣчныя времена. Но своему отечеству Гете сдѣлалъ чрезвычайно много зла. Онъ вмѣстѣ съ Шиллеромъ украсилъ, тоже на вѣчныя времена, свиную голову нѣмецкаго филистерства лавровыми листьями безсмертной поэзіи. Благодаря этимъ двумъ поэтамъ, нѣмецкій филистеръ имѣетъ возможность мирить высшія эстетическія наслажденія съ самой безцвѣтной пошлостью бюргерскаго прозябанія. Онъ читаетъ своихъ великихъ поэтовъ и вздыхаетъ надъ ними, и умиляется, и заводитъ глаза, какъ откормленный котъ, и остается безнадежнымъ пошлякомъ, и твердо увѣренъ при этомъ, что онъ человѣкъ, и что ничто человѣческое ему не чуждо. И все это происходитъ отъ того, что въ великихъ поэтахъ нѣмецкаго филистерства нѣтъ живой струи отрицанія. Именно по этой причинѣ ихъ любятъ и читаютъ нѣмецкіе филистеры, и по этой же самой причинѣ, любя и читая ихъ, они остаются филистерами. Гдѣ нѣтъ желчи и смѣха, тамъ нѣтъ и надежды на обновленіе. Гдѣ нѣтъ сарказмовъ, тамъ нѣтъ и настоящей любви къ человѣчеству. Если хотите убѣдиться въ этой истинѣ, припомните напримѣръ великолѣпные сарказмы противъ книжниковъ и фарисеевъ. Тогда вы увидите, до какой степени неразлучны съ истинной любовью ненависть, негодованіе и презрѣніе.

## VII.

Не удовлетворяясь либерализмомъ и въ тоже время не имѣя возможности выработать себѣ собственными силами другой, болѣе широкой и разумный взглядъ на явленія общественной жизни, Гейне, въ дѣлѣ политики, поневолѣ остался навсегда блестящимъ диллетантомъ. Лучшій изъ нѣмецкихъ либераловъ, Людвигъ Берне, стоявшій уже на порогѣ новыхъ экономическихъ теорій, не разъ печатно упрекалъ и уличалъ Гейне въ легкомысліи, въ безхарактерности и даже въ совершенномъ отсутствіи серьезныхъ политическихъ убѣжденій. «Я, говоритъ Берне въ своихъ *«Парижскихъ Письмахъ»*, могу снисходительно смотрѣть на дѣтскія игры, на страсти юноши. Но когда, въ минуту самой кровавой битвы, мальчишка, гоняющійся на полѣ сраженія за бабочками, попадетъ мнѣ подъ ноги, когда въ минуту большого бѣдствія, когда мы горячо молимся Богу, молодой фатъ становится подлѣ насъ въ церкви и только глазѣетъ на молодыхъ дѣвушекъ да перемигивается и перешептывается съ ними, тогда, не будь сказано въ обиду нашей



философіи и гуманности, мы не можемъ не сердиться... Кто признаетъ искусство своимъ божествомъ, и тутъ же, смотря по расположенію духа, обращается съ молитвами къ природѣ, тотъ въ одно и тоже время является преступникомъ противъ искусства и противъ природы. Гейне спрашиваетъ у природы ея нектаръ и цвѣточную пыль и строить ея улей изъ воска искусства, но онъ не строить улей для того, чтобы хранить въ немъ медъ, а собираетъ медъ для того, чтобы наполнить улей. Оттого-то онъ не трогаетъ, когда плачетъ, потому что вы знаете, что слезами онъ только поливаетъ свои цвѣточные гряды. Оттого-то онъ не убѣждаетъ тогда, когда говоритъ правду, потому что въ правдѣ онъ любитъ только прекрасное. Проходитъ много времени, пока она зацвѣтеть, а отцвѣтаетъ она прежде, чѣмъ принесетъ плоды. Гейне поклонялся бы нѣмецкой свободѣ, если бы она была въ полномъ цвѣту; но такъ какъ по причинѣ холодной зимы она закрыта навозомъ, тѣ онъ не признаетъ и презираетъ ее. Съ какимъ прекраснымъ одушевленіемъ онъ говоритъ о республиканцахъ въ церкви св. Маріи, о ихъ геройской смерти! То была счастливая битва, въ которой бойцы могли выказать прекрасное сопротивленіе своимъ врагамъ и умереть прекрасною смертью за свободу! Но еслибъ въ этой битвѣ не было столько прекраснаго, Гейне посмѣялся бы надъ нею. Если бы въ ту приснопамятную минуту, когда Франція очулась отъ своего тысячелѣтняго сна и поклялась, что не будетъ больше спать, Гейне посадили въ залу мяча (jeu de Raime), онъ сдѣлался бы самымъ отчаяннымъ якобинцемъ. Но замѣть онъ въ карманѣ Мирабо трубку съ красно-черно-золотой кисточкой — къ чорту свободу! И онъ ушелъ бы оттуда, и сталъ бы писать прекрасные стихи въ честь прекрасныхъ глазъ Маріи-Антуанетты».

Политическій диллетантизмъ Гейне охарактеризованъ здѣсь великолѣпно. Но Берне очень сильно ошибается въ одномъ пунктѣ. Онъ отрицаетъ у Гейне способность глубоко любить и ненавидѣть. Онъ говоритъ, что Гейне плачетъ для того, чтобы слезами поливать свои цвѣточные грядки. Онъ думаетъ, что великому разорванному поэту легко, пріятно и весело быть диллетантомъ. Онъ не видитъ трагической, роковой и мучительной стороны этого диллетантизма. Это грубая ошибка, впрочемъ совершенно естественная со стороны раздражительнаго и страстнаго

политическаго бойца. Что Гейне не былъ на самомъ дѣлѣ счастливымъ и легкомысленнымъ мотылькомъ, что его слезы и его смѣхъ стоили ему не дешево, что ему были коротко знакомы жестокия внутреннія бури и разрушительныя умственные тревоги—это доказывается всего убѣдительнѣе тѣмъ страшнымъ разстройствомъ нервной системы, которое подъ конецъ его жизни буквально положило на него вѣнецъ *поэтическаго мученичества*. Если бы Берне могъ предвидѣть такой исходъ, онъ по всей вѣроятности не рѣшился бы упрекнуть въ поливаніи цвѣточныхъ грядокъ великаго и несчастнаго поэта, изнемогающаго подъ блестящимъ, но тяжелымъ крестомъ вынужденнаго диллетантизма. Далѣе, очень странно упрекъ въ томъ, что Гейне презираетъ нѣмецкую свободу, закрытую навозомъ, по причинѣ холодной зимы. Тутъ Берне повидимому зарпортовался. По крайней мѣрѣ трудно понять, какой осязательный смыслъ вложенъ въ эту хитрую метафору. *Холодная зима*—торжество феодаловъ и ретроградовъ. *Навозъ*—система Меттерниха и союзнаго сейма. Прекрасно! Но во время такой *холодной зимы* нечего и говорить о нѣмецкой свободѣ, какъ о реальномъ фактѣ. Нѣмецкая свобода, какъ реальный фактъ, положительно не существуетъ, если она боится простуды и благоразумно почиваетъ подъ навозомъ. А что не существуетъ, того нельзя ни презирать, ни уважать. Если же Берне толкуетъ тутъ объ *идеѣ* нѣмецкой свободы, то во-первыхъ, идея не знаетъ никакихъ временъ года, всегда находится въ полномъ цвѣту, никогда не лежитъ подъ навозомъ и вообще повинуется только законамъ своего собственнаго внутренняго развитія. А во-вторыхъ—Гейне, при всей своей необузданной страсти персифлировать враговъ и друзей, никогда не отзывался насмѣшливо или презрительно объ идеѣ нѣмецкой свободы. Какъ бы то ни было, главный фактъ—дѣйствительное существованіе гейневскаго диллетантизма все таки не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію.

Въ книгѣ своей «О Людвигѣ Берне» Гейне выписываетъ приведенный выше отрывокъ изъ «Парижскихъ писемъ» для того, чтобы показать, какіе на него взводились неосновательныя обвиненія. «Не опредѣленными словами, но всевозможными намеками меня обвиняютъ тамъ—говорить Гейне—въ самомъ двусмысленномъ образѣ мыслей, если уже не въ совершенномъ отсутствіи



его. Точно такимъ же образомъ дается тамъ замѣтить, что я отличаюсь не только индифферентизмомъ, но и противорѣчіемъ съ самимъ собою». (Т. VI, стр. 316).

Гейне совершенно напрасно говорить о какихъ-то *всевозможныхъ намекахъ*. Берне, напротивъ того, выражаетъ свои обвиненія самыми *опредѣленными словами*. Читатель уже видѣлъ обращикъ этихъ обвиненій и по всей вѣроятности согласится, что въ рѣзкихъ сравненіяхъ и антитезахъ Берне нѣтъ ничего похожего на косвенный намекъ. Кажется, нѣтъ возможности выразиться яснѣе, прямѣе и нагляднѣе. Гейне думаетъ и утверждаетъ, что онъ стоитъ выше подобныхъ обвиненій и не хочетъ оправдываться. Но именно въ той самой книгѣ, гдѣ онъ цитируетъ «Париж. письма», онъ чуть не на каждой страницѣ даетъ читателю самыя поразительныя доказательства своего политическаго безвѣрія и дилетантизма. Онъ какъ будто нарочно старается подтвердить всѣ обвиненія, къ которымъ онъ относится съ такой великолѣпной самонадѣянностью.

Гейне не хочетъ, чтобы его считали союзникомъ Берне. Книга «О Людвигѣ Берне» была написана именно для того, чтобы провести между обоими писателями ясную пограничную черту. Стараясь отдѣлать себя отъ Берне, Гейне въ то же время не можетъ не уважать его. Этимъ искреннимъ и глубокимъ уваженіемъ проникнута вся книга, въ которой авторъ тѣмъ не менѣе сурово осуждаетъ Берне и нерѣдко персифлируетъ его. Отклоняя отъ себя всякую умственную солидарность съ такимъ писателемъ, которому онъ самъ не можетъ отказать въ глубокомъ уваженіи, съ такимъ писателемъ, который все-таки до конца жизни боролся и страдалъ за великую и святую идею—Гейне очевидно долженъ былъ собрать всѣ свои силы, пересмотрѣть свѣ свои убѣжденія и представить самую полную и отчетливую картину своего собственнаго образа мыслей, такую картину, которая доказала бы неопровержимо ему самому и всѣмъ его читателямъ неизбѣжность, необходимость и глубокую законность его разрыва съ величайшимъ предводителемъ нѣмецкихъ либераловъ. Гейне самъ понимаетъ главную задачу своей книги именно такимъ образомъ: «Я считаю себя обязаннымъ, говоритъ онъ, изобразить въ этомъ сочиненіи и мою собственную личность, такъ какъ вслѣдствіе сплетенія самыхъ разнородныхъ обстоятельствъ, какъ друзья, такъ и враги Берне, говоря о немъ, не-

премѣнно заводи́ли съ большимъ или меньшимъ добродѣтельствомъ или злодѣйствомъ рѣчь о моей литературной и общественной дѣятельности». (Стр. 311, т. VI).

Какими же чертами изображаетъ Гейне свою собственную личность? Такими чертами, которыя приводятъ читателя въ изумленіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ отнимаютъ у него всякое право пожаловаться на недостатокъ откровенности. Дилетантъ нисколько не драпируется въ мантию глубокомысленныхъ соображеній. Художникъ самъ себя выдаетъ головою.

«Надо, говоритъ Гейне, собственными глазами видѣть народъ во время дѣйствительной революціи, надо нюхать его собственнымъ носомъ, надо слышать его собственными ушами, чтобы понять, что хотѣлъ сказать Мирабо словами: «нельзя сдѣлать революцію лаванднымъ масломъ. «Пока мы читаемъ о революціи въ книгахъ, все выходитъ очень красиво, и съ ними повторяется та же исторія, что съ пейзажами, отличю вырѣзанными на мѣди и превосходно отпечатанными на дорогой веленовой бумагѣ; въ этомъ видѣ они чаруютъ вашъ взоръ, а посмотришь на нихъ въ натурѣ, то убѣдишься совсѣмъ въ противномъ: вырѣзанный на мѣди навозъ не воняетъ, а черезъ вырѣзанное на мѣди болото легко перейти глазами въ бродъ». (Т. VI, стр. 240).

Въ той же самой книгѣ Гейне пускаетъ слѣдующую тираду по поводу іюльской революціи.

«Лафайетъ, трехцвѣтное знамя, марсельеза... Кончилась моя жажда спокойствія. Теперь я снова знаю, чего я хочу, что долженъ, что обязанъ дѣлать... Я—сынъ революціи и снова берусь за оружіе, надъ которымъ моя мать произнесла свое полное чаръ благословеніе... Цвѣтовъ, цвѣтовъ! Я увѣчаю ими свою голову для смертельной битвы! И лиру, дайте мнѣ лиру, чтобы я спѣлъ боевую пѣсню. Изъ нея вылетятъ слова, подобныя пламеннымъ звѣздамъ, которыя стрѣляютъ внизъ съ небесной высоты и сожигаютъ чертоги, и освѣщаютъ хижины... Слова, подобныя метательнымъ копьямъ, взлетающимъ на седьмое небо и поражающимъ набожныхъ лицемѣровъ, которые пробрались тамъ въ Святую Святыхъ... Я весь—радость и пѣснопѣніе, весь—мечъ и огонь». (Т. VI, стр. 208).

Теперь читатель, сравнивая оба приведенные отрывка, начинаетъ понимать сурово-печальныя слова Берне о мальчишкѣ, преслѣдуемомъ пеструю бабочку на полѣ кровопролитнаго сраженія.



*Во-первыхъ*, весь лирическій восторгъ Гейне происходитъ — если вѣрить его собственному объясненію — оттого, что онъ созерцаетъ революцію на столбцахъ газеты, гдѣ напечатанный навозъ не воняетъ и гдѣ можно легко перейти въ бродъ глазами черезъ напечатанное болото. Гейне называетъ себя сыномъ революціи, но его сыновняя любовь кончается тамъ, гдѣ она становится несомѣстной съ лаванднымъ масломъ. Всѣ эти ужасныя минуты борьбы между матерью и лаванднымъ масломъ несчастный поэтъ остается неизмѣнно вѣренъ портрету матери, отлично вырѣзанному на мѣди и превосходно отпечатанному на дорогой веленовой бумагѣ. Благоговѣіе передъ портретомъ тѣмъ болѣе прочно, что оно никогда не можетъ помѣшать обожанію лаванднаго масла. *Во-вторыхъ*, любуясь портретомъ своей матери, Гейне, какъ настоящій ребенокъ, сосредоточиваетъ свое вниманіе не на выраженіи ея лица, а на яркихъ лентахъ ея чепчика, на тонкомъ узорѣ ея шитаго воротничка и на блестящихъ камушкахъ ея дорогого ожерелья. Знакомаясь съ революціей по газетамъ, онъ не задумывается надъ ея результатами, а только восхищается ея шумомъ, блескомъ и эффектною самой борьбы. *Лафайетъ, трехцвѣтное знамя, марсельеза!* Экая, подумаешь, благодать! Дряхлый старикъ, котораго водить за носъ первый искатель приключеній! Пестрый лоскутъ, напоминающій міру о колоссальныхъ разбояхъ Наполеона! И плохіе стишонки, положенные на бравурную музыку! Гейне забавляется сувенирчиками въ то время, когда рѣшается участь даровитаго и энергическаго народа, которому до сихъ поръ постоянно подсовывали пестрые лоскутья и эффектныя пѣсенки вмѣсто здоровой пищи, разумнаго труда, свободныхъ учрежденій и общедоступнаго образованія. Смотрѣть на революцію съ эстетической точки зрѣнія значитъ оскорблять величіе народа и профанировать ту идею, во имя которой совершается переворотъ.

Если бы Гейне, понимая ясно цѣль и смыслъ великихъ переворотовъ, видѣлъ возможность ихъ полного успѣха, если бы онъ держалъ въ рукахъ аriadнину нить, способную вывести массу изъ лабиринта лишеній и страданій, то, разумѣется, созерцаніе великой идеи, заключающей въ себѣ спасеніе человѣчества и пробивающей себѣ дорогу въ дѣйствительную жизнь, доставило бы нашему поэту такое высокое умственное наслажденіе, которое совершенно отбило бы

у него охоту развлекаться мелкими сувенирчиками, вродѣ трехцвѣтной тряпки, или справляться о томъ, употребляется ли лавандное масло во время народныхъ движеній. Но такъ какъ Гейне былъ заранѣе убѣжденъ въ томъ, что народъ и послѣ переворота останется при своей прежней, грязной нищетѣ, то эстетическій взглядъ батальнаго живописца и одерживалъ рѣшительную побѣду надъ смутными и безнадежными стремленіями разочарованнаго прогрессиста. Не имѣя возможности интересоваться серьезнымъ смысломъ переворота, потому что такого смысла онъ въ немъ не предполагалъ — Гейне любовался и восхищался позами, костюмами, смѣлостью и стойкостью патріотическихъ бойцовъ. Восхищеніе это производилось издали. Когда же Гейне подошелъ поближе и замѣтилъ отсутствіе лаванднаго масла, тогда онъ спокойно зажалъ себѣ носъ и просвисталъ свою насмѣшливую пѣсенку. Все это со стороны Гейне очень понятно, но все это вмѣстѣ составляетъ полное и отчетливое отреченіе отъ серьезной политической дѣятельности. Кто смотритъ на событія съ эстетической точки зрѣнія, тотъ не можетъ быть двигателемъ событій, такъ точно, какъ не можетъ быть хирургомъ тотъ ребенокъ, который смотритъ на ланцеты, какъ на блестящія игрушки.

Далѣе, Гейне характеризуетъ свой политическій образъ мыслей той любопытной подробностью, что ему въ молодости очень хотѣлось сдѣлаться народнымъ ораторомъ, но что къ сожалѣнію онъ не можетъ привыкнуть къ табачному дыму, жестоко свирѣпствующему въ собраніяхъ нѣмецкихъ республиканцевъ.

Затѣмъ онъ объявляетъ, что, если народъ пожметъ ему руку, то онъ, Гейне, немедленно вымоетъ ее. Подаривши міру такія великія политическія истины, Гейне считаетъ себя въ правѣ третировать Берне съ высоты своего величія, потому что Берне переноситъ дымъ и не таскаетъ съ собою рукомыльника въ народные собранія, гдѣ производятся крѣпкія и многочисленные рукопожатія.

Гейне заподозриваетъ Берне въ личной зависти.

«И именно въ отношеніи ко мнѣ, говоритъ Гейне, покойный (Берне) предавался такимъ личнымъ чувствамъ, и всѣ его нападенія на меня были ничто иное, какъ мелкая зависть, которую маленькій барабанщикъ чувствуетъ къ большому



тамбуръ-мажору. Онъ завидоваль моему высокому плюмажу, который такъ смѣло развѣвался по воздуху, моему богато вышитому мундиру, на которомъ было столько серебра, сколько онъ, маленькій барабанщикъ, не могъ бы купить за всѣ свои деньги, завидоваль ловкости, съ которой я махалъ тамбуръ-мажорскимъ жезломъ, любовнымъ взглядамъ, которые бросали на меня молодыя дѣвочки, и на которые я, можетъ быть, отвѣчалъ съ нѣкоторымъ кокетствомъ». (Т. VI, стр. 261).

Гейне влюбленъ въ самого себя, потому что ему не удалось влюбиться въ идею. Это очевидно и нисколько не удивительно. Но мы имѣемъ полное право не считать Берне мелкимъ завистникомъ, тѣмъ болѣе, что самъ Гейне даетъ намъ матеріалы для его оправданія.

«Страстные рѣчи, говоритъ Гейне, въ духѣ рейнско-баварскихъ ораторовъ доводили до фанатизма многіе умы, и такъ какъ республиканизмъ такое дѣло, которое понять гораздо легче, чѣмъ напр. конституціонную форму правленія, для уясненія которой необходимы многія другія свѣдѣнія, то прошло немного времени, какъ тысячи нѣмецкихъ ремесленниковъ сдѣлались уже республиканцами и проповѣдовали новыя убѣжденія. Эта пропаганда была гораздо опаснѣе всѣхъ тѣхъ выдуманныхъ пугалъ, которыми вышеупомянутые доносчики пугали нѣмцевъ правительства, и писанное слово Берне можетъ быть много уступало въ могуществовѣ его устному слову, съ которымъ онъ обращался къ людямъ, принимавшимъ эти слова съ нѣмецкою вѣрой и распространявшимъ ихъ у себя въ отечествѣ съ изумительнымъ рвеніемъ». (Т. VI, стр. 237).

Итакъ, Гейне хотѣлъ и не могъ сдѣлаться народнымъ ораторомъ по неспособности переносить табачный дымъ. А Берне хотѣлъ и могъ, и переносилъ дымъ, и дѣйствовалъ, и фанатизировалъ тысячи нѣмецкихъ ремесленниковъ, которые оставались для Гейне *зеленымъ виноградомъ*. Кто же изъ двухъ, Гейне или Берне, обладалъ богато вышитымъ мундиромъ и махалъ тамбуръ-мажорскимъ жезломъ? Кто изъ двухъ имѣлъ болѣе основательныя причины завидовать другому?

### VIII.

Политическій дилетантизмъ отравляетъ всю литературную дѣятельность Гейне и постоянно

мѣшаетъ ему сосредоточить свои силы на какомъ бы то ни было предметѣ. Гейне не можетъ ни подчиниться политической тенденціи, ни отдѣлаться отъ нея, Гейне рѣшительно не знаетъ, въ какихъ отношеніяхъ находятся къ политикѣ всѣ другія отрасли человѣческой дѣятельности — наука, искусство, промышленность, религія, семейная жизнь, умозрительная философія, и т. д. Но Гейне понимаетъ, что какія нибудь отношенія должны существовать между всѣми этими отраслями, и что такъ или иначе всѣ эти отрасли могутъ ускорять или замедлять движеніе человѣчества къ лучшему будущему. Предчувствуя существованіе какой-то общей связи между различными отраслями человѣческой дѣятельности, сознавая необходимость общаго взгляда на всю совокупность этихъ различныхъ отраслей, и въ тоже время не умѣя отыскать тотъ высшій принципъ, во имя котораго можно было бы обсуживать и сортировать эти отрасли по ихъ дѣйствительному внутреннему достоинству — Гейне находится въ хроническомъ недоумѣніи и постоянно колеблется между тенденціозными сужденіями недоразвившагося прогрессиста и непосредственными ощущеніями простодушнаго эстетика. Эти колебанія замаскированы отъ глазъ легкомысленныхъ читателей удивительнымъ блескомъ виѣшней формы, неистощимымъ богатствомъ картинъ, прелестью тонкаго юмора и неожиданной силой отдѣльных сарказмовъ. Но если вы, закрывши книгу, попытаете отдать себѣ отчетъ въ содержаніи прочитанныхъ страницъ, если вы захотите узнать, въ чемъ убѣдилъ и въ чемъ хотѣлъ убѣдить васъ авторъ, то на всѣ эти вопросы вы не найдете у себя въ головѣ ни одного опредѣленнаго отвѣта, ничего, кромѣ какого-то пріятнаго хаоса удачныхъ шутокъ и граціозныхъ сравненій, подъ которыми скрываются неясныя мысли, общія мѣста или внутреннія противорѣчія.

Такъ наприимѣръ, если вы захотите узнать отъ Гейне, какъ онъ понимаетъ отношенія искусства къ жизни, то вы не узнаете ровно ничего, или вѣрнѣе, вы узнаете сегодня одно, завтра совсѣмъ другое, послѣ завтра ни то, ни се. Можетъ случиться и такъ, что вы въ одинъ день получите три разнохарактерные отвѣта, которыхъ несомнѣнность поэтъ не замѣтилъ или не хочетъ замѣтить, считая ее по всей вѣроятности неизбѣжнымъ атрибутомъ поэтической раззорванности. Въ одной изъ предыдущихъ главъ



мы видѣли, что Гейне понимаетъ поэзію, какъ *священную игрушку*, или какъ *священное средство для необходимыхъ цѣлей*. Какъ ни сбивчиво это опредѣленіе, однако же изъ него все-таки можно заключить, что поэзія, по мнѣнію Гейне, должна подчиняться какимъ-то высшимъ соображеніямъ. Цѣль важнѣе средства, и средство всегда должно приноравливаться къ цѣли; въ противномъ случаѣ средство перестаетъ быть средствомъ и превращается въ самостоятельную цѣль. Стало быть, если Гейне признаетъ существованіе *небесныхъ цѣлей*, предписанныхъ для поэзіи и лежащихъ за ея собственными предѣлами, то онъ обязывается поэзію видоизмѣняться сообразно съ тѣми условіями, при которыхъ *небесныя цѣли* могутъ быть достигнуты. При такомъ взглядѣ самую лучшей оказывается та поэзія, которая всего больше облегчаетъ достиженіе *небесныхъ цѣлей*. Если *небесныя цѣли* могутъ быть достигнуты безъ содѣйствія поэзіи, то поэзія должна скромно и покорно согласиться на самоуничтоженіе. Иначе получится вопіющая нелѣпость: священная игрушка заставитъ людей забыть о *небесныхъ цѣляхъ*, и *храбрые солдаты* превратятся въ легкомысленныхъ школьниковъ. Признавая существованіе *небесныхъ цѣлей* и называя себя храбрымъ солдатомъ, Гейне повидимому никакъ не можетъ желать подобнаго результата. А между тѣмъ онъ его желаетъ. По крайней мѣрѣ онъ горько плачется на тѣхъ людей, для которыхъ поэзія не имѣетъ самостоятельнаго значенія и которые, стремясь къ *небеснымъ цѣлямъ*, не хотятъ развлекаться *священными игрушками*.

«Ахъ, говоритъ Гейне въ своей книгѣ о *Людвигѣ Берне*, пройдетъ много времени прежде, чѣмъ мы отыщемъ великое цѣлебное средство; до тѣхъ поръ придется намъ сильно хворать и употреблять всевозможныя мази и домашнія средства, которыя будутъ только усиливать болѣзнь. Тутъ прежде всего приходятъ радикалы, прописывающіе радикальное леченіе, которое однако дѣйствуетъ лишь наружнымъ образомъ, потому что развѣ только уничтожаетъ общественную коросту, но не внутреннюю гнилость. А если имъ и удастся на короткое время избавить человечество отъ страшнѣйшихъ мукъ, то это дѣлается въ ущербъ послѣднимъ слѣдамъ красоты, до тѣхъ поръ остававшимся у больного; гадкій, какъ вылечившійся филистеръ, встанетъ онъ съ постели и въ отвратительномъ госпитальномъ платьѣ, въ пепельно-сѣромъ костюмѣ равенства, станетъ жить со дня на день. Вся безмятежность, вся сладость, все благоуханіе, вся поэзія будутъ вычеркнуты изъ жизни, и отъ всего этого останется только румфордовъ супъ полезности. Красота и гений не находятъ себѣ никакого мѣста въ общественной жизни нашихъ новыхъ пуританъ и подвергаются такимъ оскорбленіямъ и угнетеніямъ, какихъ они не испытывали даже при существованіи стараго порядка... Потому что красота и гений не могутъ жить въ обществѣ, гдѣ каждый,

съ неудовольствіемъ сознавая свою посредственность, старается унижить всякое высшее дарованіе и свести его къ самому пошлому уровню. Сухое, будничное настроеніе новыхъ пуританъ распространяется уже по всей Европѣ, точно сѣрые сумерки, предшествующіе суровому зимнему времени.» (Т. VI, стр. 328).

Читателю русскихъ журналовъ достаточно знакомы эти старушечьи вопли противъ сухости новыхъ пуританъ и противъ румфордова супа полезности. Гейне, къ стыду своему, подаетъ здѣсь руку Николаю Соловьеву и т. п. Гейне унижается даже до того безсмысленнаго предположенія, что новые пуритане говорятъ и дѣйствуютъ подъ вліяніемъ личной зависти. Всѣ они, изволите видѣть, маленькіе барабанщики, желающіе ободрать и испортить галуны съ блестящихъ мундировъ большихъ тамбуръ-мажоровъ. Эту плоскую и избитую выдумку, родившуюся въ головѣ какой нибудь старой сплетницы и повторявшуюся всеми врагами народа и здраваго смысла, можно опрокинуть простымъ указаніемъ на тотъ фактъ, что новые пуритане глубоко уважаютъ тѣхъ людей, которые лучше другихъ вѣрятъ румфордовъ супъ полезности или выдумываютъ для этого супа усовершенствованный способъ приготовленія.

Новые пуритане охотно признаютъ превосходство этихъ людей, сознательно подчиняются ихъ вліянію, и предоставляя имъ видныя роли вождей и распорядителей, добровольно берутъ себѣ скромныя обязанности учениковъ, послѣдователей, исполнителей, переводчиковъ или компиляторовъ и комментаторовъ. Новые пуритане безъ сомнѣнія очень уважаютъ науку. У новыхъ пуританъ конечно есть также свои социальныя понятія, которыми они дорожатъ очень сильно. Но какъ въ реальной наукѣ, такъ и въ области социальныхъ понятій, работали и работаютъ до сихъ поръ гении первой величины и множество талантовъ крупныхъ и мелкихъ. И новые пуритане вовсе не отрицаютъ гениальности перво-классныхъ дѣятелей и даровитости второстепенныхъ работниковъ. Значитъ, пуритане возстаютъ вовсе не противъ *всякаго высшаго дарованія* вообще, а только противъ непроизводительной затраты всякихъ дарованій, высшихъ, среднихъ и низшихъ. *Пепельно-сѣрый костюмъ равенства*, на который такъ умильно жалуется любитель трехцвѣтнаго знамени—Гейне, надѣвается на людей совсѣмъ не для того, чтобы умные и глупые люди пользовались одинаковымъ вліяніемъ на общественныя дѣла. Это—вещь невозможная. И объ этомъ могли мечтать люди XVIII вѣка только потому, что они придерживались той теоріи, которая признавала всѣ интеллектуальныя различія между людьми—продуктами различныхъ впечатлѣній, воспринятыхъ послѣ рожденія. Но такъ какъ въ наше время уже достаточно извѣстна та фізіологическая истина, что люди приносятъ съ собою на свѣтъ, вмѣстѣ съ особеннымъ тѣлосложеніемъ, особую



организацию мозга и нервной системы, полученную по наследству от родителей и не изменяющуюся в своих существенных чертах ни от каких позднейших впечатлений,—то новые пуритане нашего времени вовсе и не мечтают об абсолютном равенстве. Смысл того стремления, которое Гейне называет *пепельно-сырым костюмом*, состоит только в том, что тысячи не должны ходить босиком и питаться отрубями для того, чтобы единицы смотрели на хорошия картины, слушали хорошую музыку и декламировали хорошие стихи. Кто находит подобное стремление предосудительным, тот желает, чтобы хлеб, необходимый для пропитания голодных людей, превращался ежегодно в изящные предметы, доставляющие немногим избранным и посвященным тонкия и высокия наслаждения. Здѣсь Гейне стоит очевидно на сторонѣ эксплуататоровъ и филистеровъ, но онъ не всегда рассуждаетъ такимъ образомъ.

«Это свойство, говоритъ Гейне въ *«Романтической школѣ»*, эту цѣлостность мы встрѣчаемъ и у писателей выѣшней молодой Германіи, которые также не допускаютъ различія между жизнью и литературною дѣятельностью, не отдѣляютъ политики отъ науки, искусства отъ религіи и вѣдно и тоже время являются художниками, трибунами и проповѣдниками правды. Да, я повторяю слово *проповѣдники*, потому что не могу найти болѣе характеристическаго слова. Новыя убѣжденія наполняютъ душу этихъ людей такою страстностью, о какой писатели прежняго періода не имѣли и понятія. Это—убѣжденія въ силѣ прогресса, убѣжденія, вышедшія изъ науки. Мы дѣлали измѣреніе земли, изслѣдовали силы природы, высчитывали средства промышленности — и вотъ наконецъ наши, что эта земля достаточно велика, что она даетъ каждому достаточно мѣста для того, чтобы построить себѣ на немъ хижину своего счастья, что эта земля можетъ прилично питать всѣхъ насъ, если мы всѣ хотимъ работать и не жить на счетъ другого, что наконецъ намъ нѣтъ никакой надобности отсылать болѣе многочисленный и болѣе бѣдный классъ къ небу. Число этихъ знающихъ и вѣрующихъ конечно еще весьма не велико.» (т. V, стр. 339).

Здѣсь *пепельно-сырый костюмъ равенства* представляется въ самомъ привлекательномъ видѣ, а *новые пуритане*, которые выше были заподозрѣны въ мелкой зависти, оказываются художниками, трибунами и проповѣдниками правды, людьми страстно убѣжденными, людьми цѣлостными, людьми знающими и вѣрующими. Нѣтъ ни малѣйшей возможности провести какую нибудь границу между писателями молодой Германіи, къ которымъ Гейне относится съ величайшимъ сочувствіемъ, и тѣми радикалами, которыхъ тотъ же Гейне съ комическимъ негодованіемъ обвиняетъ въ исключительномъ пристрастіи къ румфордову супу полезности. Гейне называетъ писателей молодой Германіи

художниками, но въдѣ это художество проникнуто насквозь трибунскими стремленіями и проповѣдываніемъ правды. Это художество стремится доказать образами, что каждый при соблюденіи извѣстныхъ условій можетъ построить себѣ на землѣ хижину своего счастья. Это художество выводитъ на свѣжую воду тѣ глупости и подлости, вслѣдствіе которыхъ земля кажется тѣсною, и люди принуждены строить себѣ хижины горя и бѣдности или жить въ качествѣ батраковъ въ чужихъ чуланахъ, конюшняхъ или закуткахъ. Стало быть, это художество приурочено къ румфордову супу полезности и составляетъ одну изъ самыхъ важныхъ и питательныхъ его приправъ. Стало быть, между румфордовымъ супомъ и художествомъ вовсе не существуетъ радикальнаго и необходимаго антагонизма, хотя съ другой стороны, не подлежитъ сомнѣнію, что въ жизни людей, построившихъ себѣ собственнымъ трудомъ хижину своего счастья, художество не можетъ имѣть того преобладающаго значенія, которое принадлежитъ ему теперь въ жизни людей, построившихъ себѣ чужимъ трудомъ великолѣпные замки или виллы. Наука конечно доказываетъ, что всѣ мы можемъ построить себѣ теплыя и сухія хижины, вмѣщающія въ себѣ достаточное количество чистаго воздуха, но наука до сихъ поръ не думала доказывать, что всѣ мы можемъ увѣшать стѣны нашихъ хижинъ превосходными картинами, поставить въ каждой хижинѣ по одному великолѣпному роялю, держать при каждой сотнѣ хижинъ труппу хорошихъ актеровъ и тратить каждый день по нѣскольکو часовъ на сочиненіе и чтеніе звучныхъ лирическихъ стиховъ. Счастье, доступное для всѣхъ, должно быть, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ, гораздо проще и скромнѣе того счастья, которое въ настоящее время доступно немногимъ. Величайшая прелесть общедоступнаго счастья состоитъ не въ разнообразіи и яркости наслажденій, а преимущественно въ томъ, что у этихъ наслажденій нѣтъ обратной стороны, т. е. что эти наслажденія не покупаются цѣною чужихъ страданій.

Внутреннее противорѣчіе, въ которое впадаетъ Гейне, очевидно и безвыходно. Онъ восхищается въ одномъ мѣстѣ тѣми идеями и стремленіями, противъ которыхъ вооружается въ другомъ. Онъ бросается съ одной точки зрѣнія на другую, и ни на одной изъ нихъ не можетъ остановиться. Когда художникъ поетъ какъ соловей, безо всякой тенденціи, тогда Гейне находитъ въ его произведеніяхъ запахъ свѣжаго сѣна. Когда художникъ становится на всю жизнь подъ знамя одной, строго опредѣленной идеи, тогда Гейне кричитъ, что міръ затопленъ волнами румфордова супа. И въ то же время тотъ же Гейне, смотря по минутному настроенію, хвалитъ соловьевъ, подобныхъ Уланду, Тику и Арниму, и пропагандистовъ, подобныхъ Лаубе и Гуцкову. Словомъ, передъ глазами читателя проходитъ цѣлая радуга всѣхъ возможныхъ мнѣ-



ній объ искусствѣ, и читатель, къ ужасу своему, замѣчаетъ, что вся эта радуга выходитъ изъ голы одного человѣка.

Въ выписанномъ мною отрывкѣ о писателяхъ молодой Германіи я долженъ обратить вниманіе читателя на то мѣсто, гдѣ Гейне говоритъ о *цѣлостности* новыхъ людей; этими словами самъ Гейне подтверждаетъ мое мнѣніе о томъ, что и въ настоящее время, при совершенной разорванности окружающаго міра, возможна въ писателѣ внутренняя цѣлостность, выходящая не изъ тупого равнодушія, а изъ страстнаго воодушевленія. Эта страстная цѣлостность, характеризующая представителей молодой Германіи, проводитъ рѣзкую границу между этими писателями, выступившими на литературное поприще въ началѣ 30-хъ годовъ, и самимъ Гейне, у котораго никогда и ни въ чемъ не было никакой цѣлостности.

## IX.

При своемъ неизлечимомъ политическомъ дилетантизмѣ, котораго не искоренило даже умственное движеніе молодой Германіи, Гейне никогда не могъ подвергать правильной и точной оцѣнкѣ ни событія современной исторіи, ни явленія современной литературы. У Гейне не было никакого твердаго принципа, на которомъ бы онъ могъ построить свою критику. А между тѣмъ онъ любилъ прогуливаться съ критическими намѣреніями и ухватками по различнымъ областямъ настоящаго и ближайшаго прошедшаго. Онъ любилъ разсуждать глубокомысленно и проницательно о политикѣ и литературѣ. Онъ написалъ цѣлую, довольно большую книгу о *Германіи*, и написалъ по французски—собственно для того, чтобы познакомить французовъ съ великими и плодотворными тайнами нѣмецкой философіи и нѣмецкой поэзіи. Не знаю, насколько эта книга просвѣтила французскихъ читателей; но знаю очень хорошо, по собственному горькому опыту, что русскому читателю эта книга не даетъ ровно ничего, кромѣ того неопредѣленно-пріятнаго ощущенія, которое возбуждается каждою страницей Гейне, написанною очаровательнымъ языкомъ и всегда переполненною самыми яркими и прелестными образами. Общей мысли въ этой книгѣ нѣтъ ровно никакой, а есть въ ней только хорошо рассказанные анекдоты, забавныя параллели между французами и нѣмцами, да попадаются иногда такія дикія историко-философскія соображенія и пророчества, что читатель не можетъ разобратъ—шутитъ ли авторъ, или говоритъ серьезно; и если авторъ шутитъ, то читателю становится досадно, съ какой стати шутка тянется такъ долго и до такой степени лишена игривости, забавности и язвительности; а если авторъ мудрствуетъ серьезно, то читателю становится положительно совѣстно за автора.

По глубокомысленнымъ соображеніямъ Гейне оказывается напр., что различныя фазы нѣмецкой философіи въ точности соотвѣтствуютъ раз-

личнымъ фазамъ французской революціи. Умѣренный и аккуратный Кантъ изображаетъ собою терроръ Конвента и, по мнѣнію Гейне, оказывается гораздо смѣлѣе и неумолимѣе Робеспьера. Фихте исправляетъ должность Наполеона, а Шеллингъ играетъ роль реставраціи. Эти ребяческія сближенія до такой степени забавляютъ Гейне, и наполняютъ его сердце такою святою патристическою гордостью, что онъ нѣсколько разъ съ видимымъ удовольствіемъ возвращается къ этой пріятной и затѣйливой выдумкѣ. Въ концѣ своего сочиненія о нѣмецкой философіи онъ до такой степени воодушевляется, что пророчествуетъ міру о великихъ и ужасныхъ событіяхъ, которыя вырастутъ со временемъ изъ философскихъ сочиненій Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, благополучно похороненныхъ и забытыхъ ближайшимъ потомствомъ. «Если—говоритъ Гейне, разсуждая объ ужасахъ будущей нѣмецкой революціи, имѣющей вырасти изъ умозрительной философіи—рука кантиста бьетъ сильно и мѣтко, потому что сердце его не волнуется никакимъ переходящимъ по преданію уваженіемъ, если фихтеанецъ смѣло презираетъ всякія опасности, потому что онъ въ дѣйствительности для него не существуютъ; то натуръ-философъ ужасенъ, потому что вступаетъ въ союзъ съ первородными силами природы, можетъ вызвать всѣ силы древне-германскаго пантеизма, и тогда получаетъ ту жажду борьбы, которую мы встрѣчаемъ у древнихъ германцевъ, сражающихся не для разрушенія, не для побѣды, но только для того, чтобы сражаться» (т. V, стр. 165). Нѣмецкая гроза, воспитанная Кантомъ, Фихте и Шеллингомъ, будетъ, по соображеніямъ Гейне, необыкновенно ужасна. «При этомъ грохотѣ, говоритъ онъ, орлы падутъ мертвые съ воздушныхъ высотъ и львы, въ самыхъ далекихъ пустыняхъ Африки, опустятъ хвосты и спрячутся въ свои вертепы» (т. V, стр. 167). Вся эта невинная игра яркими красками и громкими словами была бы смѣшна до послѣдней степени, если бы тутъ не видно было, что несчастному поэту больно и стыдно смотрѣть на тупое усыпленіе отечества и что онъ старается оглушить и отуманить себя громомъ несбыточныхъ и неправдоподобныхъ предсказаній. Хотя читатель и понимаетъ до нѣкоторой степени то настроеніе, которое породило эти хвастливыя рулады, однако во всякомъ случаѣ, восторженные фразы Гейне о міровомъ значеніи нѣмецкой философіи оказываются для нашего времени неудачною шуткой или бессмысленнымъ наборомъ словъ. Также ничтожны и бесполезны для читателей разныя отрывочныя замѣтки и разсужденія о Тикѣ, Шлегеляхъ, Новалисѣ, Арнимѣ и другихъ забытыхъ писателяхъ, о которыхъ распространяется Гейне въ своей «Романтической школѣ». Но здѣсь, какъ и вездѣ, Гейне роняетъ по временамъ превосходные сарказмы, которые почти достаточно вознаграждаютъ читателя за отсутствіе общей мысли и за совершенную мертвенность самаго сюжета.



О политических дѣтеляхъ, какъ и обо всѣхъ остальныхъ предметахъ, Гейне судить съ плеча, по свободному вдохновенію, разсыпая совершенно произвольно въ разныя стороны лавровые вѣнки и дурацкіе колпаки. Такъ какъ въ новѣйшей исторіи очень много мизернаго, то дурацкіе колпаки почти всегда попадаютъ безъ промаха туда, гдѣ имъ слѣдуетъ находиться. За то лавровые вѣнки, по тѣмъ же самымъ причинамъ, почти всегда залетаютъ туда, гдѣ присутствіе ихъ рѣшительно ничѣмъ не можетъ быть оправдано.

Особенно замѣчательно то несчастное упорство, съ которымъ Гейне увѣчивалъ Наполеона, одного изъ самыхъ вредныхъ людей во всей исторіи человѣчества. Обожаніе Наполеона было для Гейне любимымъ конькомъ, съ котораго онъ не слѣзаль до конца своей жизни. Этотъ конекъ былъ отчасти боевой лошадей, при содѣйствіи которой Гейне дразнилъ и огорчалъ, съ одной стороны—нѣмецкихъ радикаловъ, послѣдователей Берне, съ другой—юродствующихъ патріотовъ, подобныхъ Менцелю и Масману. Первые ненавидѣли Наполеона, какъ представителя деспотизма и солдатчины. Вторые не могли простить Наполеону того, что онъ осмѣлился многократно разбивать нѣмецкія арміи, вступать съ войскомъ въ нѣмецкія столицы и держать у себя въ передней нѣмецкихъ отцовъ отечества, предшественниковъ которыхъ, Арминій, одержалъ такую блистательную побѣду надъ римскимъ полководцемъ Варомъ. Гейне, съ своей стороны, не любилъ радикаловъ за ихъ серьезность и презиралъ тевтомановъ за ихъ дѣйствительную и поразительную тупость. Въ пику обѣимъ партіямъ, онъ падалъ на колѣни передъ великимъ и божественнымъ императоромъ при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Эти колѣнопреклоненія были также направлены въ очень значительной степени противъ тѣхъ официальныхъ политиковъ, которые, побѣдивши Наполеона, распоряжались судьбою Европы въ первой четверти нынѣшняго столѣтія.

Нерасположеніе Гейне къ этимъ политикамъ: къ Меттерниху, къ Веллингтону, къ Кестлери, очень понятно и совершенно основательно. Но какъ бы ни были вредны и отвратительны эти побѣдители Наполеона, изъ этого однако нисколько не слѣдуетъ, чтобы самъ Наполеонъ былъ очень полезенъ и прекрасенъ. Если благоговѣніе Гейне передъ Наполеономъ имѣло исключительно значеніе протеста, то нельзя не замѣтить, что для протеста выбрана очень неудобная форма, по милости которой Гейне принужденъ былъ написать десятки страницъ вопіющей бессмыслицы. Если же это благоговѣніе было чистосердечно, то я долженъ признаться, что процессъ мышленія, совершающійся въ головѣ великихъ художниковъ, заключается въ себѣ тайны, непостижимыя для простыхъ людей. Всего мудренѣе и любопытнѣе та штука, что Гейне, пророчествуя людямъ о томъ, что Наполеонъ сдѣлается божествомъ новой религіи, въ тоже время видитъ очень ясно и показываетъ своимъ

читателямъ съ полной откровенностью пятна «обожяемаго кумира». Пожалуйста, говорить Гейне во второй части *Путевыхъ картинъ*, не считай меня безусловнымъ бонапартистомъ, любезный читатель. Я благоговѣю не передъ дѣйствіями, а передъ гениемъ этого человѣка. Безусловно люблю я его только до 17 брюмера. Тутъ измѣнилъ онъ свободѣ. И не по необходимости сдѣлалъ онъ это, а изъ тайной склонности къ аристократизму. Наполеонъ Бонапартъ былъ аристократомъ, аристократическимъ врагомъ гражданского равенства, и мнѣ кажется колоссальнымъ недоразумѣніемъ, что европейская аристократія, въ лицѣ Англіи, съ такимъ ожесточеніемъ боролась съ нимъ... Любезный читатель, объяснися однажды навсегда: я никогда не превозношу дѣлъ и хвалю лишь геній человѣка; дѣло—только его одежда, и исторія ничто иное, какъ старый гардеробъ человѣческаго генія» (т. II, стр. 111).

Рѣшительное объясненіе съ любезнымъ читателемъ ни къ чему не ведетъ и заключаетъ въ себѣ очень мало осязательнаго смысла. Стараясь отдѣлать геній человѣка отъ его дѣлъ, Гейне желаетъ открыть самый широкій просторъ эстетическому произволу. Полезны ли, вредны ли дѣла человѣка, это, по мнѣнію Гейне, все равно; это—мелкія подробности стараго гардероба; надо только, чтобы въ исполненіи этихъ вредныхъ или полезныхъ дѣлъ проявлялась нѣкоторая виртуозность, нѣкоторая феенебелльная грація и развязность. Эти качества, отъ которыхъ окружающимъ людямъ ни тепло, ни холодно, составляютъ, по мнѣнію Гейне, настоящую квинтэссенцію человѣка и требуютъ себѣ нашего благоговѣнія. Политическому дѣятелю предписывается такимъ образомъ быть эффектнымъ, интереснымъ и привлекательнымъ. При соблюденіи этихъ условій ему отпускаются все его глупости и низости, промахи и преступления. И чѣмъ громаднѣе его ошибки, тѣмъ лучше для него, потому что тѣмъ поразительнѣе становится его эффектность. Съ эстетической точки зрѣнія огромная гадость заслуживаетъ гораздо большаго уваженія, чѣмъ маленькое доброе дѣло. Но при такомъ отдѣленіи генія отъ дѣлъ, совершенно искажается настоящее значеніе слова *геній*. Этимъ словомъ перестаетъ обозначаться то умственное превосходство, передъ которымъ преклоняются съ восторженной любовью все мыслящіе люди. И послѣ такого превращенія *геній* сохраняетъ свою обаятельность только для слабоумныхъ любителей театральноты грандіозности. Иначе онъ понималъ бы, что съ генія нѣтъ возможности снимать отвѣтственность за направленіе и результаты дѣлъ. Геній самъ задаетъ себѣ работу. Слѣдовательно мы имѣемъ полное право требовать отъ него отчета не только въ томъ, искусно ли и удачно ли выполнена работа, но еще и въ томъ, почему и зачѣмъ, съ какою цѣлью и на основаніи какихъ предварительныхъ соображеній онъ, геній, принялся именно за эту



работу, а не за другую. Данный историческій дѣятель только тогда и можетъ быть признанъ гениемъ, когда его дѣла и вся его жизнь даютъ совершенно удовлетворительные отвѣты на всѣ вопросы, которые могутъ быть поставлены мыслящимъ историкомъ. Выступая на арену борьбы и серьезной дѣятельности, человѣкъ бросаетъ общій взглядъ на положеніе партій, вдумывается въ потребности и въ понятія своихъ современниковъ, задаетъ себѣ вопросъ о томъ, куда идетъ главный потокъ идей и событій, словомъ—ориентируется въ лѣсу быстро смѣняющихся явленій, и затѣмъ, вооружившись своими наблюденіями, присоединяется болѣе или менѣе сознательно къ какой нибудь одной группѣ бойцовъ или работниковъ. Если собранныя наблюденія неточны и сдѣланный выборъ неудовлетворителенъ, молодой дѣятель переходитъ къ другой партіи, или старается сообщить новое направленіе мыслямъ и работамъ своихъ союзниковъ. Становясь подъ то или другое знамя, измѣняя своимъ вліяніемъ такъ или иначе характеръ своей партіи, человѣкъ набрасываетъ въ общихъ чертахъ весь планъ своей будущей дѣятельности. Достоинства или недостатки этого плана дадутъ себя знать впоследствии и во всякомъ случаѣ одержать перевѣсъ надъ достоинствами или недостатками выполненія. Если планъ былъ составленъ разумно, если, при его составленіи настоящія потребности времени были поняты вѣрно, то вся дѣятельность будетъ плодотворна и благотворна, хоть бы даже въ выполненіи было много отдѣльныхъ ошибокъ и шероховатостей. Если же при составленіи плана, потребности времени были поняты на выворотъ, то вся дѣятельность будетъ тѣмъ болѣе безмысленна и вредна, чѣмъ больше остроумія будетъ потрачено на подробности выполненія. Но если планъ составленъ невѣрно, если всей дѣятельности дано ложное направленіе, что же это значитъ? Значить очевидно, что у составителя не достало проницательности, сообразительности и глубокомыслія. Значить, въ геніальности составителя имѣется такой крупный изъянъ, который портитъ все дѣло и превращаетъ неудавшагося генія въ опаснаго и вреднаго сумасброда.

Гейне говоритъ, что Наполеонъ измѣнилъ свободѣ и былъ аристократическимъ врагомъ гражданскаго равенства. Говоря это, Гейне думаетъ, что это обстоятельство не наноситъ никакого ущерба геніальности Наполеона, точно будто это обстоятельство нисколько не зависѣло отъ процесса его мышленія, точно будто измѣна и аристократизмъ составляютъ прирожденные качества Наполеона, подобныя цвѣту его глазъ и волосъ. Измѣнилъ свободѣ и сдѣлался аристократомъ. Гдѣ жъ у него было соображеніе, куда дѣвалась его прославленная геніальность въ то время, когда онъ рѣшился идти наперекоръ такимъ стремленіямъ, которыя, выходя изъ самыхъ глубокихъ потребностей человѣческой природы, доросли уже до своей окончательной

зрѣлости? Если онъ рѣшался на борьбу съ этими стремленіями, значить онъ надѣялся побѣдить. А если онъ надѣялся побѣдить и упрочить результаты своей побѣды, значить онъ не зналъ людей, не понималъ ни прошедшаго, ни настоящаго и не составлялъ себѣ никакого приблизительно-вѣрнаго понятія о ближайшемъ будущемъ. Если же, съ другой стороны, онъ говорилъ *après moi—le déluge* и хотѣлъ побѣдить только для того, чтобы весело прожить на свѣтѣ, то стало быть, у него не было даже того величественнаго размаха мысли, который побуждаетъ всѣхъ истинныхъ геніевъ строить для далекаго будущаго. При всемъ томъ, онъ конечно былъ, если хотите, геніальнымъ полководцемъ, и за это можетъ быть поставленъ наряду съ какимъ нибудь Мальборо, передъ которымъ Гейне ни за что не согласился бы падать на колѣни. Эта частичная геніальность, или вѣрнѣе, эта виртуозность въ какомъ нибудь одномъ дѣлѣ, это умѣнье быть превосходнымъ орудіемъ какой угодно партіи, не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ свѣтлымъ умственнымъ величіемъ, которое характеризуетъ настоящихъ благодѣтелей нашей породы, людей, способныхъ угадывать наши потребности и создавать средства для ихъ удовлетворенія. Не всякій способенъ сдѣлаться отличнымъ полководцемъ, такъ точно, какъ не всякій способенъ сдѣлаться отличнымъ танцоромъ или отличнымъ знатокомъ красныхъ винъ, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы каждый отличный полководецъ имѣлъ право на то благоговѣніе, съ которымъ мы относились къ генію, согрѣвшему и украсившему нашу жизнь своими трудами.

Гейне самъ знаетъ очень хорошо настоящую цѣну всякой славы.

«Смѣшно было бы, говорить онъ, поставить статую Лафайету на вандомскую колонну, вылитую изъ пушекъ, отбитыхъ въ столькихъ сраженіяхъ—на эту колонну, вида которой не можетъ вынести ни одна французская мать, какъ поетъ Барбье. На этой желѣзной колоннѣ поставьте Наполеона, желѣзнаго человѣка. Пусть ему и здѣсь, какъ въ жизни, служить подножіемъ его пушечная слава; пусть онъ въ ужасающемъ одиночествѣ касается челомъ облаковъ, чтобы каждый честолюбивый солдатъ, увидавъ его тамъ, вверху, недостижимо, могъ изцѣлиться отъ суетной жажды славы, и чтобы эта колоссальная металлическая статуя служила для Европы громоотводомъ противъ завоевательнаго героизма, орудіемъ мира. Лафайетъ воздвигъ себѣ колонну лучше вандомской, статую лучше металлической или мраморной». (Т. VII, стр. 46).

Итакъ Лафайетъ выше Наполеона, военная слава объявлена суетною, и вандомская колонна должна служить честолюбивымъ солдатамъ тѣмъ нагляднымъ предостереженіемъ, которымъ, по соображеніямъ мудрыхъ криминалистовъ, висѣлица служить похитителямъ собственности. Стало быть памятникъ, поставленный Наполеону, изображаетъ собою не уваженіе потомковъ къ



его гениальности, а только то чувство ужаса, вслѣдствіе котораго люди стараются увѣковѣчить воспоминаніе о какомъ нибудь громадномъ національномъ бѣдствіи, вродѣ наводненія, пожара, землетрясенія или чумы.

Гейне понимаетъ также, какимъ образомъ наполеоновская система подѣйствовала на французское общество.

«Люди среднего возраста, говоритъ онъ, утомлены раздражающей оппозиціей, выпавшей на ихъ долю въ періодъ реставраціи, или развращены имперіей, которая своей блестящей солдатчиной и своей шумной славой умерщвляла всякую любовь къ свободѣ». (Т. VII, стр. 60).

Наконецъ Гейне договаривается до самаго наивнаго и неожиданнаго признанія.

«Правда, говоритъ онъ, что умершій Наполеонъ больше любимъ французами, чѣмъ живущій Лафайетъ, можетъ быть именно потому, что онъ умеръ. Мнѣ по крайней мѣрѣ это всего больше нравится въ Наполеонѣ, потому что, будь онъ въ живыхъ, мнѣ пришлось бы идти воевать противъ него». (Т. VII, стр. 47).

Это признаніе нисколько не мѣшаетъ Гейне обожать Наполеона по прежнему. Пользуясь правами поэта, Гейне презираетъ послѣдовательность и перелетаетъ съ удивительною развязностью отъ самой злой насмѣшки къ самому восторженному панегирику. Тотъ человѣкъ, который развратилъ Францію *блестящей солдатчиной* и систематически старался умертвить въ своихъ современникахъ *всякую гражданскую доблесть*, тотъ человѣкъ, котораго лучший подвигъ состоитъ въ томъ, что онъ умеръ, тотъ человѣкъ, котораго надо поставить на колонну для вѣчнаго устрашенія честолюбивыхъ солдатъ, оказывается вдругъ *божествомъ отъ головы до ногъ* (т. III, стр. 99), *божествомъ*, котораго имя сдѣлалось *лозунгомъ для народовъ* (т. III, стр. 100), такъ что «*Востокъ и Западъ*, встрѣчаясь между собою, *понимаютъ другъ друга только посредствомъ этого имени*» (тамъ же). Въ подтвержденіе той мысли, что имя Наполеона дѣйствительно можетъ служить умственной связью между Востокомъ и Западомъ, Гейне рассказываетъ слѣдующій случай. Въ лондонскую гавань вошелъ корабль, прибывшій изъ Бенгаліи; Гейне посѣтилъ этотъ корабль, почувствовалъ особенное влеченіе къ его пассажирамъ и захотѣлъ сказать имъ какое нибудь привѣтствіе. Не зная ихъ языка, Гейне, чтобы выразить имъ свое сочувствіе, произнесъ очень почтительно имя «Магометъ». Индѣйцы, желая отвѣтить на его любезность, произнесли имя «Бонапарте». На этомъ и остановился разговоръ, такъ что обмѣнъ мыслей между Востокомъ и Западомъ оказался не очень значительнымъ, не смотря на

существованіе чудотворнаго имени, «*сдѣлавшагося лозунгомъ для народовъ*».

Довольно трудно сообразить, для какой цѣли разсказанъ этотъ случай и какое изъ него можно вывести заключеніе. Что индѣйцы знаютъ о существованіи Наполеона? Прекрасно. Но что же изъ этого слѣдуетъ? Этою честью пользовались въ свое время Аттила, Чингисханъ, Тамерланъ, Надиръ-Шахъ, словомъ всѣ разбойники, занимавшіеся своимъ ремесломъ въ обширныхъ размѣрахъ. Имена этихъ людей всегда были гораздо болѣе извѣстны, чѣмъ имена великихъ изслѣдователей и изобрѣтателей. Эти имена поражали народное воображеніе и дѣлались лозунгомъ для народовъ, но эти имена всегда облегчали международныя сношенія точно на столько же, на сколько имя Наполеона помогло индѣйцамъ разговаривать съ Гейне. Все это очень хорошо извѣстно и самому Гейне, но ему, какъ разорванному поэту, нѣтъ никакого дѣла до самыхъ элементарныхъ требованій здраваго смысла, если только эти требованія мѣшаютъ ему въ данную минуту уронить съ пера эффектный эпитетъ, блестящую метафору или граціозную картинку.

Гейне излагаетъ очень обстоятельно тѣ причины, которыя побуждаютъ его считать Наполеона богомъ. Причины эти заключаются въ томъ, что у Наполеона не шевелились глаза. «Вообще, говоритъ Гейне, твердый, смѣлый взглядъ есть отличительный признакъ боговъ. Поэтому, когда Агни, Варуна, Яма и Индра приняли образъ Наля на свадьбѣ Дамаянти, послѣдняя узнала своего возлюбленнаго по движенію его зрачковъ; ибо, какъ сказано, глаза у боговъ всегда неподвижны. У Наполеона также глаза имѣли это свойство, а потому я и убѣжденъ, что онъ тоже былъ изъ боговъ». (Т. V, стр. 243).

Что вы скажете объ этомъ пассажѣ? Вы скажете по всей вѣроятности, что это шутка. Но я съ вами не соглашусь, и скажу вамъ, что это просто безмыслица, которую самъ поэтъ тоже считаетъ за безмыслицу и которую онъ тѣмъ не менѣе выбрасываетъ изъ себя на бумагу, потому что находитъ ее оригинальною и граціозною. И это самодовольное выбрасываніе безмыслицъ совершается у Гейне до такой степени часто, что читатель наконецъ теряетъ возможность опредѣлить, гдѣ кончается серьезное размышленіе и гдѣ начинается сознательное и умышленное юродство, желающее изображать собою грацію. Гейне положительно думаетъ, что поэтъ имѣетъ право производить на свѣтѣ такія сочетанія понятій, которыя никогда и ни при какихъ условіяхъ не могутъ залѣзть ни въ какую человѣческую голову. Онъ часто пишетъ то, чего онъ никогда не могъ думать, и чего вообще не можетъ подуматъ ни одно мыслящее существо.



## П Ч Е Л Ы.

Историки, публицисты и политики говорили, говорят и еще долго будут говорить чрезвычайно много вздора; все их теории будут разлетаться как мыльные пузыри до тех пор, пока они не будут чувствовать под ногами твердую почву осязательных фактов. Иной ученый муж пресерьезно начнет уверять вас, что он добрался в своих изслѣдованіяхъ до основныхъ законовъ человѣческаго развитія, до остова всемірной исторіи; спросите этого колоса учености, знаетъ ли онъ устройство человѣческаго организма, предложите ему элементарный вопросъ изъ фізіологіи или анатоміи, и вы увидите, что онъ опуститъ глаза и поневолѣ признается въ своемъ невѣдѣніи; все его выводы основаны на бумажныхъ документахъ; онъ не знаетъ ни живого человѣка, ни живыхъ людей; онъ не знаетъ ни того процесса, который совершается въ каждомъ недѣлимомъ, ни техъ отправленій, которыя имѣютъ мѣсто въ живомъ обществѣ; онъ видитъ только своими ослабѣвшими глазами ту частичку жизни, которая прилипла къ пергаментному свитку, завалившемуся въ архивной пыли; по этой частичкѣ онъ думаетъ возсоздать живыхъ личностей, составить себѣ понятіе о человѣкѣ, изучить законы его развитія; отъ этихъ безсмысленныхъ стремленій опредѣлить по жалкимъ отрывкамъ то, чего не знаешь и не хочешь изучить во всемъ разнообразіи жизненной полноты, отъ этихъ безсильныхъ попытокъ замѣнить наблюденіе творчествомъ ума происходятъ ошибки, доктрины, политическія убѣжденія, замысловатыя теории, въ которыхъ не достаетъ бездѣлицы: знанія дѣла и здравого смысла. Чтобы понимать событіе, надо знать его дѣятелей; чтобы объяснить себѣ историческое развитіе человѣчества, надо знать тѣ силы, которыя дѣйствуютъ въ немъ самомъ и вокругъ него. Пусть гг. доктринеры, которыхъ очень много во всякомъ обществѣ, начинающемъ мыслить, посмотрятъ вокругъ себя и скажутъ, положя руку на сердце: что они знаютъ? Какое дѣйствительно существующее явленіе природы имъ извѣстно и понятно? Они привуждены будутъ сознаться, что знаютъ большею частью только то, что думали другіе доктринеры, жившіе раньше ихъ; надъ этими работами прежнихъ доктринеровъ они проводятъ дни и годы, ихъ они комментируютъ и критикуютъ, не добираясь до самой жизни и принимая свои слова и понятія за существующія явленія. Эти доктринеры — современное видоизмѣненіе средневѣковыхъ монаховъ; у нихъ есть трудолюбіе, есть добросовѣстность и при этомъ ни малѣйшаго понятія о жизни,

а вслѣдствіе этого — ни одной живой идеи въ умѣ, ни одного энергическаго движенія въ мозгу. Самое простое, понятное слово *жизнь*, благодаря имъ, превратилось въ какую-то риторическую фигуру, лишенную плоти и крови; они понимаютъ по своему жизнь идеи, жизнь общества, жизнь человѣчества, словомъ — всякую *воображаемую* жизнь, всякую жизнь, кромѣ *дѣйствительной* жизни отдѣльнаго живого человѣка; о жизни животныхъ имъ некогда и подумать; это такія мелочи, на которыя имъ и взглянуть не хочется — имъ, законодателямъ человѣчества, носящимъ въ своемъ мозгу рѣшенія разныхъ міровыхъ вопросовъ. Мы не имѣемъ счастья быть доктринерами; у насъ не хватаетъ на это ни умѣнья, ни желанья; каемся чистосердечно въ томъ, что мы имѣемъ слабость интересоваться дѣйствительною жизнью, въ какихъ бы крошечныхъ размѣрахъ она ни проявлялась, и насколько не интересоваться безплотными порожденіями доктринерствующихъ умовъ, въ какія бы полноразличные фразы они ни облекались. На этомъ основаніи мы намѣрены толковать съ читателями не о теоріи божественнаго права, не объ законѣ исторической постепенности, а просто о домашней и общественной жизни пчелъ.

Мы сильно нуждаемся въ положительной почвѣ для нашихъ изслѣдованій, въ фактическомъ матеріалѣ, изъ котораго можно было бы выковать себѣ воззрѣнія и убѣжденія металлической твердости и незыблемой основательности. Будемъ же смотрѣть вокругъ себя, на живую природу, вмѣсто того чтобы зажимать глаза или съ упорнымъ вниманіемъ устремлять ихъ на буквы, слова и фразы.

### I.

Пчела принадлежитъ къ породѣ насекомыхъ; у нея нѣтъ спинного хребта, и ея тѣло раздѣляется на три, ясно обозначенныя части; эти части слѣдуютъ другъ за другомъ въ такомъ порядкѣ: во-первыхъ, голова, въ которой находятся глаза, щупальца и ротикъ; во-вторыхъ, средняя часть тѣла, къ которой прикрѣплено снизу три пары ногъ, а сверху двѣ пары крыльевъ; въ третьихъ, задняя часть тѣла, заключающая въ себѣ сердце, дыхательные органы, пищеварительный каналъ и половыя части. По обѣимъ сторонамъ головы у пчелы находятся два большіе глаза, составленные изъ нѣсколькихъ тысячъ микроскопическихъ глазъ, выглядывающихъ изъ-за общей, прозрачной роговой оболочки. Этими двумя глазами пчела смотритъ на мелкіе предметы, находящіеся вблизи; эти два глаза замѣ-



няютъ ей наши микроскопы; для того, чтобы смотрѣть въ даль, чтобы направлять вдаль свой полетъ, пчела пользуется тремя крошечными глазками, прикрѣпленными къ верхней части головы. Сколько извѣстно при теперешнемъ состояніи науки, человѣкъ лишень тѣхъ глазъ, которые управляютъ полетомъ пчелы. Вѣроятно это обстоятельство составляетъ единственную причину, по которой большая часть человѣческихъ сужденій и построеній страдаютъ отъ близорукости своихъ творцовъ.

Ротъ пчелы отличается сложнымъ устройствомъ; достаточно будетъ отмѣтить двѣ роговидныя, острые челюсти, закрывающіяся другъ на друга, какъ двѣ половинки ножницъ, щеточки, служащія для собиранія цвѣточной пыли, и длинную нижнюю губу, покрытую волосами и заступающую мѣсто языка, конечно не для разговора. Останавливаясь на немъ я не буду; замѣчу только, что рабочія пчелы на своихъ заднихъ ногахъ приносятъ въ улей медъ и цвѣточную пыль, а что трутни и матка лишены этой способности. Рабочія пчелы готовятъ въ своемъ тѣлѣ воскъ, который просачивается между колечками задней части и потомъ употребляется въ ульѣ какъ строительный матеріалъ. Матка или царица и трутни не способны къ приготовленію воска.

Рабочія пчелы вооружены жаломъ, скрывающимся въ задней части тѣла и связаннымъ съ пузырькомъ, изъ котораго выдѣляется ѣдкая, ядовитая жидкость. Трутни, какъ привилегированное сословіе, избавлены отъ обязанности защищать общество отъ внѣшнихъ враговъ и лишены жала. Челюсти ихъ особенно крѣпки и покрыты зазубринами, вслѣдствіе чего они отличаются прожорливостью. Жало царицы длиннѣе и острѣе жала обыкновенныхъ рабочихъ, но она пользуется имъ только въ единоборствѣ противъ соперниковъ, когда дѣло идетъ о господствѣ надъ ульемъ.

Мы видимъ такимъ образомъ, что все населеніе улья распадается на три касты, отличающіяся другъ отъ друга внѣшними признаками. Во главѣ всего улья стоитъ матка или царица, единственная самка, одаренная способностью и правомъ класть яйца; она буквально можетъ сказать: *l'état, c'est moi*, потому что сама производитъ на свѣтъ все, что живетъ и движется въ ульѣ. Задняя часть ея тѣла значительно длиннѣе, чѣмъ у работницъ; половые органы вполне развиты, за то крылья значительно короче; вслѣдствіе этого царица рѣдко покидаетъ улей и проводитъ всю жизнь въ наслажденіи готовою пищею и въ удовлетвореніи сильно развитымъ половымъ влеченіямъ. Она вылетаетъ только за тѣмъ, чтобы среди цвѣтущей природы отдаться любимому трутню, или чтобы уступить мѣсто счастливой соперницѣ.

За царицею слѣдуютъ трутни или самцы, далеко превосходящіе работницъ величиною тѣла;

эти трутни не работаютъ, не носятъ при себѣ оружія, много ѣдятъ, оплодотворяютъ по очереди царицу и кромѣ этого не знаютъ ни заботъ, ни обязанностей.

Рабочія пчелы—самки, не способныя къ дѣтороженію; въ ихъ неспособности виновата не природа, а воспитаніе; недостаточная пища задерживаетъ развитіе ихъ половой системы и обрекаетъ ихъ на трудовую жизнь, лишенную наслажденія. Не имѣя возможности жить для себя, рабочіе обращаютъ свою дѣятельность на воспитываніе личинокъ, рожденныхъ царицею; весь медъ, собранный ими на цвѣтахъ, идетъ на продовольствіе личинкамъ, трутнямъ и царицѣ; все—на пользу общую, и ничего—для себя; рабочая пчела съ трогательнымъ, но совершенно нелѣпымъ самоотверженіемъ, содѣйствуетъ поддержанію того уродливаго порядка вещей, который лишаетъ ее возможности пользоваться жизнью и производить потомство. Она сама плохо кормитъ цѣлыя сотни личинокъ и откармливаетъ десятокъ другихъ, чтобы изъ первыхъ вышли оскотенныя работницы, а изъ вторыхъ—полныя самки-царицы. Рабочія пчелы—жалкія парія, не чувствующія своего униженія, не способныя изъ него выдти и поддерживающія въ этомъ униженіи слѣдующее поколѣніе, которое въ свою очередь будетъ дѣйствовать въ томъ же возмутительно-консервативномъ духѣ, и такъ далѣе, до безконечности. Это—пролетаріи, задавленные существующимъ порядкомъ вещей, закабаленные въ безвыходное рабство, кружащіеся въ колесѣ и потерявшіе всякое сознаніе лучшаго положенія. Яйца, которыя кладетъ королева, совершенно равны между собою по достоинству; червячки, выползающіе изъ яичекъ, въ первые три дня, ничѣмъ не отличаются другъ отъ друга; каждый изъ нихъ можетъ сдѣлаться царицею. Но вотъ начинается различіе воспитанія: одного червячка сажаютъ въ просторную клѣтку, его кормятъ отборной пищею, его чистятъ и обмываютъ прислужницы и кормилицы; изъ этой личинки выходитъ царица; другую личинку, напротивъ того, втискиваютъ въ тѣсную коморку, кормятъ чѣмъ попало, никогда не обчищаютъ; изъ этой личинки развивается простая работница. Смотря по обстоятельствамъ, одна рабочая пчела бываетъ сильнѣе, другая слабѣе; кто по-сильнѣе, тотъ вылетаетъ изъ улья и добываетъ медъ, кто—послабѣе, тотъ сидитъ дома, ходитъ за личинками и куколками, чиститъ клѣточки и исполняетъ разныя домашнія работы. Горопливо ползаютъ эти заботливыя кормилицы и экономки отъ ячейки къ ячейкѣ; тамъ надо накормить голоднаго червячка; тутъ надо залѣпить воскомъ запасный магазинъ, наполненный медомъ, въ другомъ мѣстѣ надо закрыть клѣточку, въ которой взрослый червякъ превращается въ куколку; еще гдѣ нибудь необходимо вычистить большую клѣтку, въ которой сидѣла царствен-



ная куколка; дѣло всегда найдется, и трудовая жизнь рабочихъ пчелъ проходить въ непрерывномъ рядѣ заботъ, которыя не позволяютъ имъ задуматься о наслажденіи или помечтать о лучшемъ будущемъ. Когда молодое поколѣніе накормлено, являются новыя работы—надо построить новую клѣточку для меда, надо облизать и обчистить возвращающихся съ работы товарищей, или даже празднаго трутня, гулявшего по собственной охотѣ за предѣлами улья; когда становится холодно, кормилицы и экономки собираются вокругъ царицы, согрѣваютъ ее теплотою собственнаго тѣла, смотрятъ на нее какъ на избранное, высшее существо. Словомъ, самоотверженію рабочихъ нѣтъ предѣловъ, и если самоотверженіе—добродѣтель, а не глупость, то добродѣтельнѣйшимъ существомъ въ мірѣ надо будетъ признать рабочую пчелу.

## II.

Составленное изъ такихъ элементовъ, государство пчелъ имѣетъ свою исторію, свои періодическія волненія, свои гражданскія событія и перевороты. Вотъ вылетаетъ изъ улья новый рой, какъ толпа отважныхъ колонистовъ, рѣшившихся искать за моремъ счастья и простора. Впереди летитъ царица; ее окружаютъ сильнѣйшія изъ рабочихъ, готовые защищать ее отъ всякой опасности и положить животь за то, что онѣ считаютъ общимъ дѣломъ. За этой передовой группой слѣдуютъ въ нѣкоторомъ разстояніи лѣнныя трутни и слабыя кормилицы-экономки. Впрочемъ, старинные писатели говорятъ, что царицу окружаютъ при этомъ переселеніи трутни; по всей вѣроятности, это ошибка; если же дѣйствительно такъ было прежде, то такое измѣненіе церемоніала доказываетъ ясно, что привилегіи связанныя съ званіемъ трутня, постепенно уменьшаются, и что различіе сословій въ пчелиномъ мірѣ постепенно исчезаетъ передъ закономъ здраваго смысла и передъ фактическимъ правомъ личной, матеріальной силы. Царица долго летать не любитъ; она садится на какойнибудь сукъ, вокругъ нея густыми кучами усаживается ея народъ, а между тѣмъ нѣсколько сильныхъ рабочихъ пчелъ летятъ на рекогносцировку, чтобы высмотрѣть помѣщеніе для будущей колоніи. Обыкновенно человѣкъ предупреждаетъ эти поиски и предлагаетъ готовое жилище, соединяющее въ себѣ все требуемое удобства. Пчелы принимаютъ его съ благодарностью, не понимая того, что онѣ закабалютъ себя въ рабство, и что человѣкъ присвоиваетъ себѣ неограниченное право распоряжаться ихъ жизнью и собственностью, отнимать у нихъ медъ и воскъ, выкуривать ихъ дымомъ, оглушать ихъ сѣрой и водой, перегонять изъ одного помѣщенія въ другое и даже убивать ихъ, если, по его соображеніямъ, ихъ не стоитъ кормить тѣмъ самымъ медомъ, который онѣ же добыли.

Пчелы не предвидятъ всѣхъ этихъ неудобствъ своего новаго положенія, и весь рой съ радостнымъ жужжаніемъ влетаетъ въ новый улей.

Занявши свое новоселье, пчелы прежде всего замазываютъ и затыкаютъ все отверстія, кромѣ одной маленькой дырочки, черезъ которую поддерживается сообщеніе улья съ внѣшнимъ міромъ. На молодыхъ побѣгахъ разныхъ деревьевъ пчелы находятъ клейкую массу, и этой-то массой онѣ какъ можно плотнѣе законопачиваютъ щели; если въ улей вставлено стекло, то они замазываютъ его, стараясь такимъ образомъ сдѣлать свое жилище недоступнымъ не только для внѣшнихъ враговъ, но преимущественно для дѣйствія внѣшняго свѣта. Темнота совершенно необходима для поддержанія существующаго порядка. Вылетая изъ улья, пчела является свободнымъ, усерднымъ работникомъ; у себя дома она подавлена, принесена въ жертву внѣшней стройности государственнаго тѣла, и потому, чтобы покоряться такимъ тягостнымъ условіямъ, чтобы нести безропотно лишенія и труды, не пользуясь своей долей наслажденій, ей необходимо *игнорировать* настоящее положеніе дѣлъ, не видать и не понимать того, какъ проводятъ время царица и трутни. Первый лучъ свѣта пугаетъ работницу, освѣщая грязь и бѣдность ея всенедневной жизни; ей становится тяжело и страшно; она приписываетъ свое непріятное ощущеніе не тому зрѣлищу, которое освѣтилъ ворвавшійся лучъ, а именно самому лучу; она старается устранить его, какъ мы, люди, стараемся порою устранить возникающее сомнѣніе; если любопытный натуралистъ вставить въ улей стеклянное окошечко, его замажутъ, если онѣ для своихъ наблюденій вынетъ замазанное стекло, то въ ульѣ при первыхъ лучахъ свѣта начнется волненіе; трутни толпами побѣгутъ къ отверстию, стараясь закрыть его собственными тѣлами; рабочія полетятъ за замазкой и начнутъ заклеивать; внутри улья послышится жужжанье, и дѣла придутъ въ прежнее положеніе только тогда, когда водворится прежняя темнота.

Но если наблюдатель будетъ постоянно прочищать отверстіе, заклеиваемое рабочими и загораживаемое трутнями, если освѣщеніе улья будетъ продолжаться, несмотря на сопротивленіе всѣхъ сословій пчелинаго царства, то все дѣла мало-по-малу приходятъ въ разстройство. Рабочія перестаютъ работать и начинаютъ понимать, что плодами ихъ успій пользуются привилегированные классы. Они перестаютъ строить соты, не кормятъ личинокъ и не обращаютъ вниманія на королеву. Жужжаніе ихъ усиливается; онѣ собираются въ кучки и какъ будто разсуждаютъ о чемъ-то, къ великому ужасу торіевъ-трутней и крайнему огорченію царицы, начинающей чувствовать голодъ и одиночество. Вылетающія рабочія возвращаются безъ меда, каждая изъ нихъ сама съѣдаетъ благопріобрѣ-



тенное имущество; наконецъ многія изъ рабочихъ совершенно покидаютъ улей и начинаютъ жить на просторѣ, среди цвѣтущей природы, совершенно въ свое удовольствіе. Королева умираетъ съ голоду; трутни разсѣваются, личинки погибаютъ, и только стѣны опустѣлаго улья свидѣтельствуютъ о недавнемъ существованіи гражданственнаго или стаднаго элемента. Рабочіе наслаждаются жизнью, насколько это возможно при изуродованномъ ихъ положеніи, рѣзвятся въ тепломъ воздушномъ пространствѣ носятся, надъ цвѣтущими лугами и полянами, упиваются медомъ и свободой, досыта наѣдаются цвѣточной пылью и наконецъ, натѣшившись въволю, умираютъ, какъ жили, свободными гражданами животнаго міра. Нѣкоторые изъ этихъ анархистовъ раскаиваются впрочемъ въ своихъ поступкахъ и пытаются пристать къ какому нибудь другому государству, т. е. поселиться въ другомъ ульѣ и принять на себя тѣ самыя обязанности, которыя имъ приходилось нести прежде.

Но въ улей не принимаютъ пришельцевъ; туземцы сейчасъ узнаютъ иностранца, и гонятъ его прочь, а въ случаѣ упорства убиваютъ его и выбрасываютъ бездыханное тѣло за предѣлы своего царства. Основана ли эта китайская ненависть пчелъ къ инородцамъ на экономическомъ, или на политическомъ расчетѣ, рѣшить довольно трудно. Боятся ли они въ новомъ пришельцѣ лишняго потребителя, или проповѣдникъ анти-конституціонныхъ началъ, это до сихъ поръ не рѣшено изслѣдователями ихъ гражданскаго быта. Какъ бы то ни было, два факта не подлежатъ ни малѣйшему сомнѣнію: во-первыхъ то, что мракъ необходимъ для спокойствія и коллективнаго благоденствія улья, во-вторыхъ то, что пчелы, отрѣшившись отъ завѣтной нормы своего общественнаго устройства, не способны выработать себѣ другую норму и начинаютъ жить совершенно индивидуальной жизнью, которая, при многихъ хорошихъ сторонахъ, имѣетъ свои несомнѣнныя, чисто практическія неудобства. Рабочія пчелы умѣютъ работать и защищать свое общество отъ внѣшнихъ враговъ; но импульсъ къ этимъ работамъ и къ этой оборонѣ дается имъ извнѣ, такими существами, которыя сами не способны ни работать, ни сражаться. Въ ульѣ происходитъ самое оригинальное раздѣленіе труда: одни работаютъ, другіе ѣдятъ и плодятся. Безъ этого раздѣленія труда невозможно продолженіе породы: кто работаетъ, тотъ неспособенъ къ дѣторожденію; а кто способенъ имѣть дѣтей, тотъ не можетъ работать. Пчелы очевидно испорчены своею уродливою гражданственностью; плебеи — кастраты, и естественныя половыя отправления составляютъ привиллегію одной личности. Ни древній Египетъ, ни древняя Индія не доходили до такого строгаго проведенія кастическихъ особенностей; даже паріи имѣли возможность брать себѣ женъ и производить

дѣтей; развѣ только современная Англія, при постоянно - возрастающемъ населеніи, дойдетъ до того, что бракъ сдѣлается привиллегіей нѣкоторыхъ лицъ или сословій, и что пролетарію, не имѣющему ни кола, ни двора, ни обезпеченнаго куска хлѣба, законъ будетъ воспрещать сношенія съ женщинами и дѣтороженіе. Забѣтимъ мимоходомъ, что Джонъ Стюартъ Милль обсуживаетъ этотъ вопросъ англійской жизни въ своей знаменитой книгѣ *On liberty*; онъ, величайшій индивидуалистъ нашего времени, почти рѣшается признать за обществомъ право контролировать заключеніе браковъ и запрещать тѣ брачныя союзы, которые угрожаютъ обществу приращеніемъ неимущихъ гражданъ и слѣдовательно пониженіемъ задѣльной платы. Отъ подобной мысли до оправданія общественныхъ учрежденій пчелъ—не слишкомъ далеко, но къ чести челоуѣка можно выразить надежду на то, что подобный законъ никогда не примется и не укоренится; каждый нищій скорѣе согласится умереть, чѣмъ позволить превратить себя въ рабочаго кастрата, живущаго для того, чтобы служить бутомъ или фундаментомъ для общественнаго зданія. Иные натуралисты приходятъ въ полнѣйшее умиленіе, говоря объ умѣ пчелъ и о ихъ завидной способности жить въ обществѣ себѣ подобныхъ существъ; мнѣ кажется, напротивъ того, надо подивиться ихъ чудовищной заботливости, доходящей до того, что онѣ, изуродованныя сами, систематически уродуютъ другіхъ и являются такими образомъ въ одно и тоже время безчувственными жертвами и бессмысленными палачами.

### III.

Вотъ наконецъ щели замазаны, мракъ водворился, и государственная машина начинаетъ свою работу. Прежде всего рабочія пчелы принимаются за построеніе сотовъ, шести-угольных восковыхъ клѣточекъ извѣстной величины, опредѣленнаго формата и неизмѣнной архитектуры. Тутъ не нужно творчества, личной мысли, оригинальнаго дарованія. Каждая пчела умѣетъ строить эти клѣточки и знаетъ, въ какомъ отношеніи должны находиться между собою различныя помѣщенія. Для рабочихъ пчелъ строятся самыя крошечныя клѣточки; для трутней—побольше, а для королевы тратится на построеніе клѣтки столько воску, сколько пойдетъ на 150 рабочихъ келій. Архитекторы не спорятъ между собою о планѣ будущихъ построекъ; все давно извѣстно каждой пчелѣ; проектовъ представлять не зачѣмъ, и лишь бы было темно и тихо, все пойдетъ какъ по маслу, потому что идея конституціи съ своими мельчайшими фактическими подробностями вошла въ плоть и кровь рабочаго класса.

Трутни понимаютъ свои сословныя привилегіи; они не помогаютъ дѣятельнымъ строите-



лямъ, и въ жаркій полдень вылетаютъ изъ улья, не за тѣмъ, чтобы принести медъ на пользу общую, а за тѣмъ, чтобы въ полномъ сознаніи своего превосходства набить себѣ желудокъ цвѣточной пылью. А въ это время рабочія пчелы разъ по шести или по восьми въ день вылетаютъ изъ улья и всякій разъ возвращаются домой съ полнымъ грузомъ меда на ножкахъ и въ желудкѣ; весь принесенный медъ или по крайней мѣрѣ большая часть его идетъ на прокормленіе королевы, трутней и личинокъ; себѣ рабочая пчела оставляетъ въ обрѣзъ столько, сколько необходимо для поддержанія жизни и рабочей силы.

Трутни, какъ самцы, окружаютъ королеву, единственную самку всего улья, и стараются по возможности заслужить ея расположеніе; они толпятся вокругъ нея, лижутъ и обчищаютъ ее, оказываютъ ей самыя почтительныя любезности, на-перерывъ другъ передъ другомъ стремятся заявить свою глубокую преданность, или при случаѣ—пылкую любовь, но при всемъ томъ живутъ между собою довольно мирно, благодаря своему спокойному, лѣнивому характеру и отсутствію того смертоноснаго жала, которымъ вооружены рабочія пчелы.

Королева не остается нечувствительною къ этимъ чистосердечнымъ изъясненіямъ чувства; сердце—не камень; къ тому же ей предстоитъ важная задача—произвести изъ себя все будущее поколѣніе своего народа, и она съ благороднымъ усердіемъ принимается за работу. Ея сотрудниками въ служеніи обществу являются сотенъ шесть трутней, и благодаря ихъ добросовѣстному содѣйствію, королева въ день кладетъ до 200 яицъ, а въ полтора или въ два мѣсяца успѣваетъ снести до 12,000 яицъ. Утромъ, когда лѣнливые трутни еще спятъ, а рабочія уже вылетѣли на работу, королева выходитъ изъ своей клѣтки въ сопровожденіи десяти или двѣнадцати прислужницъ изъ рабочихъ. «Важно, говоритъ Окенъ, проходить она мимо наполненныхъ ячеекъ и останавливается, какъ только ея спутницы указываютъ ей на пустую клѣточку; сперва она опускаетъ въ нее головку, чтобы убѣдиться въ правильномъ ея устройствѣ; потомъ оборачивается задомъ—и въ эту рѣшительную минуту спутницы собираются вокругъ нея сплошною массою, чтобы скрыть ее отъ любопытныхъ глазъ. Если въ это мгновеніе королева замѣтитъ, что на нее смотритъ откуда нибудь натуралистъ, она пройдетъ мимо клѣточки, не положивши яйца, и окажется глубоко оскорбленною въ своей женской стыдливости; если же все вокругъ нея тихо и темно, она опускаетъ въ клѣточку заднюю часть своего тѣла, и на двѣ клѣточки появляется вслѣдъ затѣмъ бѣлое продолговатое яичко». Королева кладетъ такимъ образомъ яичекъ пять, и потомъ нѣсколько минутъ отдыхаетъ; ее окружаютъ усердныя прислужницы, облизываютъ все ея тѣло,

обчищаютъ крылья и наконецъ подносятъ ей на кончикѣ хоботка капельку отличнѣйшаго меда.

Черезъ три дня изъ яичекъ выползаютъ маленькіе бѣлые червячки или личинки, съ твердой, продолговатой головкой, но безъ ногъ; эти новорожденные существа рѣшительно неспособны заботиться о себѣ, и рабочія пчелы совершенно принимаютъ ихъ на свое попеченіе, потому что ни королева, ни трутни не обращаютъ на нихъ никакого вниманія. Кормилицы изъ рабочихъ пчелъ готовятъ изъ цвѣточной пыли съ медомъ кашицу, и этой кашицей кормятъ личинокъ, соблюдая при этомъ значительное различіе между той пищей, которую онѣ подносятъ будущимъ пролетаріямъ, и той, которую онѣ предлагаютъ будущимъ королевамъ и благороднымъ трутнямъ. Личинки рабочихъ пчелъ кормятся впродолженіи пяти дней, а личинки трутней немного дольше. По окончаніи этого срока, кормилицы залѣпливаютъ клѣточки воскомъ, и личинка начинаетъ превращаться въ куколку, т. е. строить себѣ коконъ изъ тонкихъ шелковидныхъ нитей. Внутри кокона совершается развитіе полного насѣкомаго, и по окончаніи этого развитія пчела выходитъ изъ своего заточенія, разрываетъ коконъ, прогрызаетъ восковую крышечку и выходитъ на свѣтъ божій въ видѣ пролетарія, трутня или королевы.

Развитіе трутня съ той минуты, когда снесено яйцо, до того времени, какъ онъ выходитъ изъ кокона, продолжается 24 дня; развитіе рабочей пчелы—20 дней, а королева уже черезъ 16 дней можетъ принять на себя государственныя заботы и считается совершеннолѣтнею и полноправною. Дѣло въ томъ, что королева у пчелъ нуждается въ меньшей степени физическаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ и умственнаго развитія, чѣмъ рабочая пчела. Вся дѣятельность королевы сосредоточена въ половыхъ отправленіяхъ; она не нуждается ни въ силѣ мускуловъ, ни въ мыслительныхъ способностяхъ; ей не надо ни строить сотовъ, ни летать въ дальнія экспедиціи, ни выбирать изъ цвѣтовъ частицы меда и ароматной пыли; ея дѣло любезничать съ трутнями, не имѣя даже надобности отбивать ихъ у соперницы, и потомъ класть яйца, не заботясь о дальнѣйшей участи своихъ будущихъ потомковъ. Народъ ея самъ отлично знаетъ свое дѣло, и вся государственная машина идетъ полнымъ ходомъ, не нуждаясь въ ея вмѣшательствѣ и даже не допуская этого вмѣшательства. Чтобы занимать почетное мѣсто, не сопряженное ни съ какими обязанностями, чтобы наслаждаться жизнью, не зная, какой цѣной покупаются эти наслажденія, не нужно большого ума—потому не удивительно, если развитіе пчелиной матки или королевы совершается скорѣе, чѣмъ развитіе рабочей пчелы. Личность этой королевы не имѣетъ никакого вліянія на дѣла улья; пчелы уважаютъ въ королевѣ воплощеніе той идеи, которая удер-



живають ихъ въ гражданскомъ обществѣ и не позволяетъ имъ разсѣяться, но этимъ пчеламъ нѣтъ никакого дѣла до того, будетъ ли ихъ королева неподвижнымъ яичкомъ, лишеннымъ сознанія, или царственной личинкой, или спящею куколкой. Если бы внезапная смерть прервала государственныя заботы взрослой королевы, то населеніе улья не пришло бы въ замѣшательство; пролетаріи, составляющіе дѣйствительную силу пчелинаго общества, знаютъ, что въ яичкахъ или въ коконахъ есть формирующіеся королевы, и, успокоенные на счетъ будущности улья, продолжаютъ свои работы, какъ будто бы не случилось ничего особеннаго.

Но спрашивается, почему же трутни, которыхъ дѣятельность такъ же ограничена, какъ дѣятельность королевы, которыхъ умственные способности отличаются крайнимъ ничтожествомъ, почему, спрашивается, трутни развиваются такъ долго? Фохтъ объясняетъ это физической вялостью, свойственной природѣ трутней; вѣчно праздные, лишенные способности работать и заботиться о чемъ бы то ни было, трутни даже развиваются медленнѣе и лѣнливѣе другихъ пчелъ; даже въ зародыши трутней проникаетъ та барственная неповоротливость и флегматичность, которой отличается во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ привилегированное сословіе пчелинаго государства.

#### IV.

У пчелъ нѣтъ постоянного войска; всякій пролетарій постоянно имѣетъ при себѣ оружіе и умѣетъ владѣть имъ; каждый солдатъ этой національной гвардіи воодушевленъ патріотическимъ чувствомъ, выражающимся въ самой пламенной ненависти къ шмелямъ, осамъ и даже пчеламъ другихъ ульевъ; если въ улей вздумаетъ влетѣть какой нибудь неосторожный или дерзкій иноплеменникъ, то ему придется очень плохо: на него бросятся сотни рабочихъ пчелъ, пуская въ ходъ и челюсти, и жало; путешественникъ будетъ непременно убитъ, и тѣло его, на страхъ другимъ, будетъ выброшено за предѣлы улья. Въ одномъ ульѣ бываетъ до 20,000 рабочихъ пчелъ, и не смотря на то, пчелы не ошибаются и не принимаютъ въ свое общество гражданина другого улья. Обмѣнивается ли влетающая пчела условленными знаками съ тѣми пчелами, которыя сторожатъ входъ въ улей—рѣшить мудрено, но достоверно то, что обитатели двухъ сосѣднихъ ульевъ не могутъ посѣщать другъ друга и что каждый улей съ чисто-китайскимъ упорствомъ ограждаетъ свои домашнія дѣла отъ постороннихъ взоровъ. Но есть средство уничтожить родовую ненависть между пчелами разныхъ ульевъ; стоитъ только побросать ихъ всѣхъ въ воду; пчелы ошалаются и теряютъ сознаніе; послѣ этого ихъ вылавливаютъ и кладутъ на солнце. Мало по малу онѣ обсыхаютъ и приходятъ въ себя;

утопленники начинаютъ двигаться, расправляютъ лапки и крылья, потягиваются и стараются помочь своими заботами товарищамъ, еще не проснувшимся изъ продолжительной летаргіи. Послѣ этого общаго несчастья національная вражда оказывается забытою, и пчелы двухъ ульевъ могутъ быть посажены въ одно помѣщеніе и общими силами приняты за построеніе сотовъ и воспитываніе молодого поколѣнія.

Сколько намъ извѣстно, вода является лекарствомъ противъ національных антипатій только у пчелъ; подѣйствуетъ ли она такимъ же чудеснымъ образомъ на гражданъ двухъ враждующихъ государствъ, этого нельзя сказать навѣрное, по недостатку положительныхъ опытовъ. Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что и на пчелъ вода окажетъ свое благотворное дѣйствіе только въ томъ случаѣ, если королева одного изъ ульевъ будетъ убитая; если же обѣ королевы вмѣстѣ будутъ брошены въ воду, то онѣ начнутъ враждовать между собою тотчасъ послѣ того, какъ къ нимъ возвратится сознаніе; къ каждой изъ нихъ пристанетъ толпа рабочихъ, и сильнѣйшая партія выгонитъ слабѣйшую изъ улья; послѣ этой схватки прежняя вражда возобновится съ новою силой, впредь до новаго купанья. Нѣмцы въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ похожи на пчелъ; въ Германіи, у себя дома, они большею частью поддерживаютъ мелкіе, мѣстные интересы отдѣльныхъ государствъ. Уроженцы Баваріи, Виртемберга, Бадена, Ганновера, какого нибудь Липпе-Шаумбурга или Гогенцоллернъ-Зигмарингена смотрятъ другъ на друга какъ на иностранцевъ и толкуютъ, каждый для себя и про себя, объ отдѣльной родинѣ и о своемъ особенномъ патріотизмѣ; но тѣ же граждане различныхъ нѣмецкихъ ульевъ ѣдутъ за море, поселяются въ Американскихъ Штатахъ, и тутъ, по единству языка, привычекъ и возрѣвнѣи, начинаютъ замѣчать, что между ними много общаго, что всѣ они—нѣмцы и могутъ симпатизировать другъ другу, не обращая никакого вниманія на разныя территоріальныя недоразумѣнія и династическія соперничества. Переездъ черезъ Атлантическій океанъ замѣняетъ, какъ видите, благотворное купанье пчелъ.

Главная и почти единственная цѣль дѣятельности у рабочихъ пчелъ заключается въ воспитаніи молодого поколѣнія. Ихъ уваженіе къ ничтожной личности королевы и ихъ терпимость къ праздному прожорливости трутней объясняется тѣмъ, что въ королевѣ они видятъ единственную свою надежду, будущую мать всего потомства, а на трутней смотреть, какъ на ея не-обходимыхъ сотрудниковъ и слѣдовательно какъ на неизбежное зло, безъ котораго не можетъ держаться ихъ государственная система. Личность кормилицъ, выбранныхъ изъ рабочихъ пчелъ, находится въ почетѣ; кормилицы избавлены отъ обязанности вылетать изъ улья и



добывать себѣ пропитаніе; ихъ кормить государство; ихъ уважають и лелѣють, несмотря на ихъ физическую хилость и слабость, другія пчелы. Если мы посмотримъ на общество людей, если мы предложимъ себѣ вопросъ о значеніи педагога въ государствѣ, въ обществѣ и семействѣ, то намъ придется сознаться, что пчелы лучше насъ понимаютъ важность воспитанія. Но намъ тоже не слѣдуетъ слишкомъ увлекаться добродѣтелями пчелъ; представьте себѣ, что вы живете на бѣломъ свѣтѣ только за тѣмъ, чтобы воспитывать вашего сына; вашъ сынъ живетъ только за тѣмъ, чтобы воспитывать вашего внука, и т. д. каждое отдѣльное поколѣніе сначала готовится къ жизни, потомъ готовится къ ней другихъ, а жить-то когда же? И для чего же готовить другихъ къ тому, чѣмъ имъ не придется пользоваться? Пчелы очень хорошо поступаютъ, обращая свое заботливое вниманіе на благоденствіе молодого поколѣнія, но кастрировать себя во имя своего потомства, для того чтобы это потомство въ свою очередь оскопляло себя для будущаго поколѣнія—это, воля ваша, безобразно, и въ этомъ отношеніи мы все-таки не такъ глупы, какъ пчелы. Всего смѣшнѣе въ жизни пчелъ то, что онѣ вѣроятно полагають, будто ихъ самоотверженіе велико и возвышенно, будто онѣ жертвуютъ собой, чтобы доставить всѣмъ другимъ счастье и наслажденіе, а на самомъ дѣлѣ выходитъ, что ихъ трудами и страданіями пользуются только трутни да матка, т. е. самая бесполезная, пустая и недобросовѣстная часть ихъ общества. Кажется, идеализмъ и пустое доктринерство, расходящіяся съ жизнью, являются сильно распространенными болѣзнями, и человѣкъ, считающій эти болѣзни величайшей привилегіей своей породы, можетъ и долженъ признать ихъ существованіе даже въ мелкихъ насѣкомыхъ. Вѣроятно и пчела подобно Платону и Гегелю строитъ свою систему міра, въ которой она является центромъ всего движущагося и живущаго, а между тѣмъ, тратя время на эти серьезные забавы и уносясь въ необятныя сферы чистаго мышленія, она подобно этимъ свѣтиламъ бѣднаго человѣчества не замѣчаетъ или не хочетъ замѣтить того, что у нея крадутъ трудомъ добытый медъ и систематически уродуютъ половые органы. Когда ей случается замѣтить свою ошибку, она круто поворачиваетъ дѣло, но идеализмъ или, что тоже, безтолковость берутъ свое, и послѣ нѣкоторыхъ волненій пчелиный міръ улегается въ прежнюю колею и застываетъ въ прежнихъ рамкахъ.

#### У.

Королева пчелинаго царства чрезвычайно добродушна и кротка, когда она одна живетъ въ ульѣ, т. е. когда у нея нѣтъ и не придвидится соперницы. Женственная мягкость ея выражается въ дружелюбныхъ отношеніяхъ къ трутнямъ,

и въ спокойномъ величіи, съ которымъ она принимаетъ отъ послѣдняго изъ пролетаріевъ изъявленія преданности, выражающіяся въ капеляхъ меда. Добродушіе королевы не измѣняютъ ей даже тогда, когда она входитъ въ соприкосновеніе съ злѣйшимъ эксплуататоромъ пчелинаго міра, съ человѣкомъ. Королеву можно смѣло брать въ руки, гладить и ласкать, не боясь ея жала; основываясь на этомъ обстоятельствѣ, старинные изслѣдователи полагали даже, что у королевы вовсе нѣтъ жала, и что она, какъ царственная особа, предоставляет своимъ подданнымъ отражать внѣшнихъ враговъ и наказывать нарушителей общественнаго спокойствія. Такъ и бываетъ дѣйствительно въ большей части случаевъ, но въ жизни королевы есть и такіе минуты, въ которыя страсть побѣждаетъ требованія этикета, заглушаетъ голосъ нравственнаго чувства и превращаетъ кроткое, величественно-спокойное и женственно-нѣжное созданіе въ какую то леди Макбетъ, въ Медею, вообще въ нѣчто подобное тѣмъ образамъ, которые повидимому, можно выкроить только изъ глубоко-развращенной природы человѣка. Бѣда, если королева начинаетъ бояться за свое господство, бѣда, если она видитъ или предчувствуетъ соперницу. Двѣ королевы, какъ два солнца, не совмѣстимы на одномъ горизонтѣ; онѣ ненавидятъ другъ друга какъ властолюбивыя повелительницы и какъ кокетливыя женщины; каждая изъ нихъ любитъ въ своемъ положеніи два выдающіеся момента: преданность пролетаріевъ и рыцарскую любезность лордовъ-трутней; и пролетаріи и трутни должны принадлежать королевѣ безраздѣльно; первые составляютъ матеріальную опору ея владычества, вторые образуютъ ея гаремъ, въ который она бросаетъ платокъ то тому, то другому счастливцу.

Все идетъ такимъ образомъ спокойно, ко взаимному удовольствію подданныхъ и повелительницъ, пролетаріевъ и лордовъ, но вдругъ получается въ палатахъ королевы извѣстіе, которое болѣе или менѣе поражаетъ и обезпokoиваетъ всѣхъ; въ извѣстіи этомъ нѣтъ ничего неожиданнаго, но, не смотря на то, оно всегда производитъ сильное впечатлѣніе. Дѣло въ томъ, что одна изъ куколокъ превращается въ пчелу-королеву и прогрызаетъ восковую крышечку своей клѣтки; рабочая пчела, приставленная къ этой клѣткѣ, доноситъ объ этомъ событіи куда слѣдуетъ, и извѣстіе это съ быстротою молніи распространяется въ самые отдаленные углы пчелинаго царства. Начинаются толки и разсужденія. Молодые, неопытныя пчелы обнаруживаютъ только любопытство и тревожную радость, старые пролетаріи, видѣвшіе на своемъ вѣку горе и радость, государственные перевороты и сцены грубаго насилія, выжидаютъ, что-то будетъ, и совѣщаются между собою, не зная на что рѣшиться; между старою и молодою короле-



вою непременно произойдет столкновение; кто же одержит победу? и за кого же им самим вступить? За ту ли повелительницу, которой они служили с таким постоянным усердием, и от которой они получали в награду такие благосклонные взоры, или за то молодое создание, которое выросло на их руках, выкормлено их заботами, взлелѣвано их любовью? Пока добрыя рабочія пчелы раздумывают и недоумѣваютъ, старая королева быстро рѣшается дѣйствовать. Въ сопровожденіи своихъ прислужницъ и трутней она поспѣшно подходитъ къ той клѣткѣ, вокругъ которой уже собралась толпа рабочихъ, ожидающихъ съ благоговѣйнымъ нетерпѣніемъ разрѣшенія грозной задачи. Не любовь къ рождающейся дочери приводитъ старую королеву къ ея колыбели; она подходитъ, видя въ дочери своей опасную соперницу; въ ней говоритъ ревность женщины и властолюбивой повелительницы; раздраженіе ея выражается въ ускоренной походкѣ, въ рѣзкихъ жестяхъ, въ невниманіи, съ которымъ она проходитъ мимо группъ, собравшихся вокругъ роковой клѣточки. Рабочія пчелы предчувствуютъ, что готовится что-то недоброе; молодые пролетаріи, сверстники молодой королевы, инстинктивно толпятся ближе къ ея жилищу и стараются загородить ея матери доступъ къ только что развившемуся существу. Старуха хочетъ пройти мимо ихъ: они ея не пускаютъ; если ей удастся преодолѣть ихъ сопротивленіе, она подходитъ къ самой клѣткѣ, запускаетъ въ нее свое жало и убиваетъ дочь свою, еще не успѣвшую взглянуть на бѣлый свѣтъ и насладиться полною жизнью. Но въ большей части случаевъ сила бываетъ на сторонѣ добродушныхъ рабочихъ; они успѣваютъ удержать расхажившую королеву, и разгнѣванная повелительница въ безсильномъ отчаяніи не зная что дѣлать, не слушая увѣщаній, считая свое господство навсегда потеряннымъ, начинаетъ безъ опредѣленной цѣли бѣгать по улью.

Дѣло кончается тѣмъ, что королева-мать вмѣстѣ съ вѣрными своими сподвижницами, и съ любимыми трутнями, покидаетъ улей и лѣтитъ искать счастья въ голубую даль, въ какое нибудь естественное дупло или въ искусственный улей. А между тѣмъ молодая королева выходитъ изъ своей клѣточки со всей обаятельной свѣжести первой молодости, не зная даже, отъ какой опасности избавили ее самоотверженіе и преданность добродушныхъ работниковъ. Ее окружаютъ оставшіяся вокругъ нея пчелы, и первымъ впечатлѣніемъ ея является въ пчелиной жизни упоеніе торжествомъ и властью, для пріобрѣтенія которыхъ она не сдѣлала сама ни одного движенія. — Она оглядывается вокругъ себя, видитъ свое превосходство надъ окружающими ее лордами и пролетаріями, и тревожно спрашиваетъ себя, одна ли она будетъ пользоваться

тѣмъ блескомъ власти и почета, который окружилъ ее съ первой минуты ея сознательной жизни; въ молодой королевѣ съ изумительной быстротою зарождаются и развиваются тѣ самые инстинкты, которые побуждали королеву-мать къ покушенію на жизнь дочери, и потомъ принудили ее выселиться изъ улья со своими приверженцами; молодая королева осматриваетъ всѣ свои владѣнія, подходитъ ко всѣмъ клѣточкамъ, въ которыхъ развиваются ея младшія сестры, прокалываетъ ихъ своимъ ядовитымъ жаломъ и убиваетъ такимъ образомъ всѣхъ будущихъ королевъ, чтобы не видать соперницы, и ни съ кѣмъ не раздѣлять господства. Иногда случается, что двѣ молодыя королевы разомъ выходятъ изъ своихъ клѣточекъ; тогда старая королева уже не пытается убить своихъ преемницъ; она тотчасъ же собираетъ вокругъ себя горсть преданныхъ ветерановъ и любимыхъ лордовъ-трутней и съ ними улетаетъ на новое мѣсто жительства. Что же касается до молодыхъ королевъ, — то онѣ конечно не могутъ ужиться вмѣстѣ; узы крови не имѣютъ никакого значенія, когда дѣло идетъ о господствѣ; одна изъ двухъ должна погибнуть, потому что ни одна изъ нихъ не рѣшится уступать добровольно и основать новую колонію; ни рабочія, ни трутни не принимаютъ участія въ борьбѣ между двумя королевами; споръ за господство, интересующій только двѣ личности, рѣшается между ними поединкомъ, въ которомъ никто не проситъ и не даетъ пощады. Соперницы подходятъ другъ къ другу, схватываются между собою челюстями, стараются повредить другъ другу шею, голову или ноги; обѣ машутъ крыльями, чтобы оглушить противника; обѣ сталкиваются между собою головами, сплетаются ножками и ищутъ удобнаго случая, чтобы пронзить врага ядовитымъ жаломъ. Онѣ цѣляютъ въ промежутки, находящіеся между роговидными пластинками, которыми защищены грудь и животъ; шея, связка между грудью и заднею частью тѣла также легко могутъ быть проколоты, и во всѣ эти части сражающіяся пчелы направляютъ свои удары. Наконецъ поединокъ оканчивается трагическимъ образомъ, смертоносное орудіе упадетъ вѣрно; раненая королева падаетъ; агонія продолжается недолго, и счастливая побѣдительница глумится, въ порывѣ гордой радости, надъ трупомъ убитой сестры. Теперь она одна — повелительница улья; рабочія окружаютъ ее, признаютъ ея господство, но сочувствіе ихъ оказывается въ началѣ довольно слабымъ. Дѣло въ томъ, что молодая королева совершила рядъ преступленій, и до сихъ поръ ничѣмъ не заявила своихъ достоинствъ. Рабочія видѣли, съ какою жестокою послѣдовательностью она истребила въ самой колыбели своихъ предполагаемыхъ соперницъ, тѣхъ самыхъ невинныхъ дѣтей, которыхъ онѣ, рабочія, лелѣли и кормили; рабочія видѣли, какъ неумо-



лима была королева въ поединкѣ съ своей ровесницею-сестрой; все это совершалось на ихъ глазахъ, но до сихъ поръ еще никто изъ нихъ не можетъ судить о той степени пользы, которую молодая королева можетъ принести ихъ улью. Ея кротость, ея правосудіе, а главное, ея плодovitость до сихъ поръ оставались рѣшительно неизвѣстны рабочимъ. Поэтому какое-то мучительное сомнѣніе сковываетъ порывъ ихъ усердія, и онѣ кланяются новой королевѣ какимъ-то холоднымъ и сдержаннымъ поклономъ, въ которомъ слышится невысказанный вопросъ: что-то будетъ?

Но лорды-трутни чужды сомнѣній; имъ нѣтъ дѣла до процвѣтанія улья; они видятъ только личность королевы, и когда споры по престолонаслѣдію оказываются рѣшенными, другъ передъ другомъ стараются заявить свою глубокую преданность. Они оглушаютъ ее льстивымъ жужжаньемъ, лижутъ ей спину, голову и ноги, обчищаютъ ей своими щеточками крылья и щупальца, разговариваютъ съ ней на оживленномъ мимическомъ языкѣ, словомъ, выказываютъ несвойственную имъ въ обыкновенное время развязность, предприимчивость и энергію. Королевѣ на первыхъ порахъ кажется очень страннымъ весь этотъ придворный балетъ. Подобно дѣвственной Елизаветѣ англійской, молодая королева холодно и даже съ нѣкоторымъ негодованіемъ отвѣчаетъ на страстные и часто слишкомъ смѣлыя любезности придворныхъ трутней. Иногда ей приходится въ голову пустить въ ходъ ядовитое жало, чтобъ разогнать всю эту блестящую толпу навязчивыхъ ласкателей и любезниковъ. Но, какъ извѣстно, жизнь постепенно расшевеливаетъ насъ; просыпаются страсти одна за другою; вслѣдъ за властолюбіемъ, выразившимся въ молодой королевѣ рядомъ кровавыхъ подвиговъ, пробуждается чувственность; страстные ласки трутней воспитываютъ и укрѣпляютъ ее; дѣвушка превращается въ женщину; существо неопытное, робкое и стыдливое начинаетъ предчувствовать ту полноту нервнаго наслажденія, которую можно вынести изъ жизни; трутни окружаютъ ее неотступными просьбами, то робко-почтительными, то страстно-восторженными. Сердце—не камень: королева склоняется, назначаетъ придворный праздникъ, и окруженная радостно-шумящей толпой трутней, вылетаетъ изъ улья порѣзвиться на чистомъ воздухѣ, среди душистыхъ цвѣтовъ, на окрестныхъ полянахъ, лугахъ и равнинахъ. Елизавета находитъ своего Лейстера.

Что происходитъ на придворныхъ банкетахъ и пикникахъ пчелинаго королевства—на этотъ вопросъ не отвѣтитъ вамъ ни одинъ натуралистъ. Услѣдить за нѣсколькими десятками пчелъ, вылетѣвшими изъ улья съ цѣлью потѣшиться и порѣзвиться, нѣтъ никакой возможности. Сердечныя тайны королевы непроницаемы для глазъ

обыкновеннаго смертнаго: бѣнчики лѣтотъ, среди которыхъ пировали трутни вмѣстѣ съ молодой королевой, хранятъ такое же глубокое молчаніе, какъ старыя вѣковыя деревья версальскаго *parc-aux-cerfs*. Надо полагать, что королева на этихъ пиршествахъ наслаждается въ волю, потому что въ улей она возвращается утомленная, измятая, запыленная. Одинъ трутень пользуется ея полнымъ расположеніемъ, или многіе счастливыцы раздѣляютъ между собою эту величайшую честь, это остается неизвѣстнымъ, какъ для человѣка, такъ и для массы гражданъ пчелинаго королевства. Граждане объ этомъ впрочемъ и не заботятся; на трутней они по прежнему обращаютъ очень мало вниманія, но королевѣ окружаютъ самыми нѣжными и почтительными ласками. Въ личномъ характерѣ королевы они конечно не могли покуда замѣтить ничего особенно утѣшительнаго. Жестокость, обнаруженная ею при избіеніи будущихъ соперницъ своихъ, уступила мѣсто необузданнымъ порывамъ чувственности. Считается ли чувственность великимъ достоинствомъ въ нравственномъ кодексѣ пчелъ—не знаю: достоверно извѣстно то, что это достоинство очень рѣдкое, потому что на 20.000 самокъ, составляющихъ главную массу населенія въ ульѣ, приходится только одна самка, вмѣщающая въ себѣ это достоинство, и именно эта самка составляетъ собою тотъ центръ, отъ котораго исходитъ и къ которому возвращается вся дѣятельность улья.

Пчелы очевидно обожаютъ производительную силу природы; въ этомъ отношеніи онѣ сходятся съ древними народами передней Азіи; королева улья для нихъ тоже самое, чѣмъ была для вавилонянъ и ассиріянъ богиня Астарты, представительница женскаго производительнаго начала. Культъ пчелъ обращенъ впрочемъ не на фантастическій образъ, облакающій собой отвлеченную идею, а на дѣйствительно существующее лицо; этотъ культъ для нихъ тѣсно связывается съ идеей государства и обусловливаетъ собою то общественное устройство, которое онѣ, по своей неразвитости, считаютъ необходимымъ для своего благосостоянія. Ихъ королева—что-то вродѣ Далай-Ламы; она считается предметомъ первой необходимости: личность ея священна и неприкосновенна; каждый изъ ея подданныхъ, бѣднѣйшій изъ пролетаріевъ, считаетъ для себя священнѣйшей обязанностью и величайшимъ наслажденіемъ сдѣлать ей жертвоприношеніе, т. е. возвращаясь въ улей съ полевыхъ работъ, поднести ей капельку чистѣйшаго, сладчайшаго мела. Тутъ дѣйствуетъ не расчетъ, не желаніе выслужиться, а простодушное, наивное религіозное чувство. Пролетарій смотритъ на свою королеву, какъ на высшее существо, и дѣйствительно, онъ имѣетъ на это полное основаніе. Королева каждый день, на его глазахъ творитъ такіа чудеса, передъ которыми поневолѣ замол-



чить самое упорное сомнѣніе; она каждый день несетъ яйца, т. е. во-очію совершаетъ такіа дѣянія, на которыя ни одинъ изъ многочисленныхъ обитателей улья не чувствуетъ себя способнымъ. Каждый день она производитъ на свѣтъ почти до 200 подобныхъ себѣ существъ, и такъ продолжается не недѣлю, не двѣ недѣли, а цѣлыхъ два мѣсяца. Королева творитъ, а пролетаріи только работаютъ; какъ же послѣ этого пролетаріямъ не повергнуться во прахъ и не сознать все ея величіе и все свое ничтожество.

Никакой скептицизмъ не устоитъ противъ такихъ очевидныхъ и такъ постоянно повторяющихся доказательствъ; скептиковъ дѣйствительно въ пчелиномъ королевствѣ не бываетъ, да и въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ терпѣть въ благоустроенномъ обществѣ такихъ беспокойныхъ и неблагонамѣренныхъ людей. Когда королева возвращается въ улей послѣ перваго своего пикника, пролетаріи начинаютъ вѣрять въ нее; они предчувствуютъ великія событія, которыя должны совершиться вслѣдствіе этой отлучки; они знаютъ, что въ скоромъ времени королева начнетъ заботиться о приращеніи народонаселенія, и на этомъ основаніи, видя въ ней будущую мать молодого поколѣнія, начинаютъ заботиться о ея здоровьѣ и спокойствіи, начинаютъ изъявлять ей самое искреннее уваженіе и самое трогательное, хотя въ высшей степени почтительное, сочувствіе. Работники толпятся вокругъ нея, съ торжествомъ носятъ ее по улью, лижутъ, чистятъ ее щеточками, кормятъ ее съ хоботковъ и возвѣщаютъ всѣмъ радостную новость: «владычица изволила сочетаться бракомъ съ однимъ изъ благородныхъ лордовъ». Эпитегъ *законный* не присоединяется къ существительному *бракъ*, потому что у пчелъ всякій совершившійся бракъ считается естественнымъ и слѣдовательно законнымъ. Имя счастливаго избранника или счастливыхъ избранниковъ также умалчивается; имъ никто не интересуется; пчелы служатъ дѣлу, а не лицамъ; для нихъ важенъ самый фактъ, а не обстановка.

Обыкновенный ходъ дѣла въ ульѣ, ровный, покойный и правильный, какъ движеніе часового механизма, нарушается иногда неприятными случайностями. Королева, не смотря на свое исключительное положеніе, не смотря на чудотворную силу, дарованную ей отъ всецѣлрой природы, подвержена тѣмъ же законамъ, которымъ покоряемся всѣ мы, простые смертные. Она можетъ подобно ничтожнѣйшему изъ своихъ подданныхъ захворать, умереть, оставить въ безпомощномъ положеніи свой улей въ ту самую минуту, когда онъ всего болѣе нуждается въ ея общепользныхъ трудахъ. Ее можетъ прихлопнуть ладонью или хлопнушкой какой нибудь шаловливый мальчишка, которому и въ голову не придетъ подумать, что онъ готовитъ для цѣлаго народа, или по крайней мѣрѣ для цѣлаго города всѣ ужасы

междоусерствія. Когда умираетъ королева, уже успѣвшая снести такіа яйца, изъ которыхъ выдутъ со временемъ новыя королевы, то никакихъ ужасовъ не бываетъ, все идетъ прежнимъ порядкомъ; всѣдъ кипитъ прежняя дѣятельность, и номинальную королевою считается старшее яичко, старшій червячекъ, или старшая куколка; эта номинальная королева обыкновенно дѣлается дѣйствительной королевой, потому что, развившись раньше своихъ младшихъ сестеръ, она успѣваетъ всѣхъ ихъ перерѣзать и слѣдовательно прибираетъ къ рукамъ весь улей. Нельзя даже сказать, чтобы пчеламъ приходилось особенно плохо въ то время, когда королевою числится яичко или куколка; ни яичко, ни куколка не требуютъ корма, и слѣдовательно общественные расходы очевидно сокращаются; рабочіе, возвращающіеся въ улей, по необходимости оставляютъ для самихъ себя тѣ лучшія капельки меда, которыя они въ обыкновенное время, въ припадкѣ благоговѣйнаго усердія, несутъ своей повелительницѣ; слѣдовательно, рабочіе очевидно не оказываются въ убыткѣ. Но усердіе ихъ сильнѣе расчета и голоса здраваго смысла; они ждутъ появленія новой королевы съ великимъ нетерпѣніемъ и привѣтствуютъ ее самымъ радостнымъ жужжаньемъ.

Если королева умретъ въ тотъ періодъ, когда она кладетъ только такіа яйца, изъ которыхъ вылупятся рабочія личинки, то весь улей приходитъ въ смятеніе. Надо во что бы то ни стало спасти монархическій и религіозный принципъ; вѣдъ принятыхъ издавна нормъ, освященныхъ тысячелѣтнимъ своимъ существованіемъ, пчелы не понимаютъ жизни и не видятъ спасенія. Королевы нѣтъ; замѣнить ее некому, что же дѣлать? Остается только попробовать, нельзя ли тщательнымъ уходомъ, отборной пищей и усиленнымъ неуспыннымъ заботамъ облагородить плебейскую натуру простыхъ яичекъ, нельзя ли развить въ будущихъ личинкахъ ту чудотворную силу, которая творитъ себѣ подобныя существа, и которую обожали въ прежней своей королевѣ простодушные обитатели улья? Тотчасъ же въ ульѣ начинается самая тревожная дѣятельность. Рядомъ съ тѣми кѣлочками, гдѣ лежитъ счастливое яичко, долженствующее обратиться въ королеву, ломаютъ стѣны и расчищаютъ мѣсто; устраивается обширное жилище, и личинка, вылупившаяся изъ яичка, начинаетъ наслаждаться тѣмъ комфортомъ, просторомъ и чистотой, которые совершенно необходимы для нормальнаго развитія половыхъ органовъ. Чтобы совершенно оградить себя отъ всякихъ случайностей, чтобы смерть избранной личинки не могла повести къ новому междоусерствію, рабочіе поступаютъ такимъ образомъ съ нѣсколькими яичками, такъ что въ одно время готовится нѣсколько королевъ, которыя потомъ съ оружіемъ въ рукахъ будутъ оспаривать другъ у друга господство надъ ульемъ.



Междуусобія не опасны для улья потому, что дѣло рѣшается поединкомъ, въ которомъ рабочіе и трутни не принимаютъ никакого участія. Какъ только изъ куколки вылупится королева, которой въ началѣ суждено было быть простой рабочей пчелой, такъ она тотчасъ же начинаетъ обнаруживать наклонности, отличающія собою ея предшественницъ; она точно также схватывается на жизнь и смерть съ соперницей, если таковая окажется, и точно также истребляетъ въ зародышѣ все то, что можетъ сдѣлаться опаснымъ для ея неограниченнаго господства. Потомъ она точно также принимаетъ любезности трутней, устраиваетъ пикникъ, вступаетъ въ брачныя отношенія, и жизнь улья катится прежнимъ порядкомъ.

Пчелы какъ-то инстинктивно понимаютъ всю важность матеріальныхъ условій; чтобы развить въ молодомъ существѣ извѣстныя наклонности, чтобы утвердить въ немъ такія свойства, которыя ему придется прикладывать къ дѣлу втеченіи всей своей жизни—онѣ начинаютъ кормить его извѣстною пищей, отводятъ ему просторное помѣщеніе, заботятся о его чистотѣ—и цѣль достигается вполне: изъ скромнаго, трудолюбиваго, безстрастнаго и добродушнаго пролетарія дѣлается гордая, властолюбивая, жестокая къ своимъ соперницамъ королева, совершенно неспособная работать, но за то чрезвычайно плодовитая и въ высшей степени расположенная къ чувственнымъ наслажденіямъ. При своемъ трезвомъ міросозерцаніи, пчелы могли бы сдѣлать великія открытія въ области естественныхъ наукъ, но къ сожалѣнію забота о насущномъ хлѣбѣ поглощаетъ всѣ живыя силы мыслящей части пчелинаго народа; у пчелъ нѣтъ ни сословія ученыхъ, ни академій, ни университетовъ; у нихъ нѣтъ даже самыхъ выводовъ изъ тѣхъ фактовъ, которые находятся постоянно передъ ихъ глазами; онѣ не умѣютъ напримѣръ разсуждать такимъ образомъ: вѣдь рабочая личинка можетъ превратиться въ королеву, если я буду кормить ее хорошимъ и сытнымъ кормомъ; вѣдь королева—тоже самое, что рабочая пчела, только она лучше откормлена и полнѣе развита; отчего же не кормить всѣхъ одинаково, чтобы всѣ могли въ равной мѣрѣ пользоваться жизнью и производить дѣтей? До этого простого разсужденія пчела никакъ не умѣетъ дойти, вѣроятно потому, что снѣжная работа не даетъ ей времени пофилософствовать. «Le travail est un frein», говорилъ Гизо въ 30-хъ годахъ нашего столѣтія, и вѣроятно его изреченіе, которое онъ великодушно примѣнялъ къ французскимъ ремесленникамъ, можетъ быть приложено не только къ людямъ, но и къ насѣкомымъ. Задавленная работой, которая не даетъ имъ ни отдыха, ни срока, съ самой минуты ихъ рожденія, пролетаріи пчелинаго королевства не составляютъ социальныхъ теорій, не задумываются о смыслѣ

жизни, и бытовые формы улья остаются неизмѣнными, неизблемыми и неподвижными. Движенія мысли нѣтъ; постояннаго прогресса не замѣтно; ни одинъ обычай, ни одно учрежденіе не оказывается устарѣлымъ и не замѣняется новымъ. Но спокойствіе въ ульѣ сохраняется только тогда, когда припасовъ достаточно, когда кругомъ улья лежатъ цвѣтущіе луга, на которыхъ тысячи пчелъ могутъ находить себѣ ежедневно обильную добычу. Какъ только наступаетъ дождливая осень, какъ только полевые цвѣты завянутъ и осыплются, такъ обитатели улья начинаютъ чувствовать безпокойство; являются экономическія недоразумѣнія; трутни сталкиваются въ своихъ интересахъ съ пролетаріями, и это столкновеніе ведетъ къ страшнымъ кровавымъ результатамъ, ясно показывающимъ несостоятельность той конституціи, которою управляются пчелы.

## VI.

Не мѣшаетъ замѣтить, что запасы меда, собранные въ ульѣ, принадлежатъ рабочимъ пчеламъ, которыя горой стоятъ за свою собственность и не позволяютъ кому бы то ни было завладѣвать ихъ экономическими суммами. На это никто и не рѣшается, покуда окрестные луга покрыты цвѣтами; трутни отправляются завтракать и обѣдать за предѣлы улья; но съ наступленіемъ осени такого рода образъ жизни становится невозможнымъ; даже рабочія пчелы возвращаются часто въ улей съ пустымъ желудкомъ и не приносятъ на ножкахъ ни меда, ни цвѣточной пыли; благородные трутни, тяжелые на подъемъ и не любящіе дальнихъ отлучекъ изъ роднаго улья, не находятъ возможности кормиться и, покругившись надъ пожелтѣвшей травой, возвращаются домой голодные и недовольные. Тогда въ ульѣ начинаются волненія, смыслъ которыхъ можно, для большей наглядности, передать въ видѣ совѣщаній и разговоровъ между представителями различныхъ сословій, партій и мнѣній въ ульѣ.

Трутни собираются въ кучки и съ ворчливымъ жужжаньемъ передаютъ другъ другу неутѣшительныя свѣдѣнія о безплодіи окружающихъ луговъ и еще болѣе неутѣшительныя мнѣнія о томъ, что при подобномъ положеніи дѣлъ надо ожидать голодной смерти.

«Мы—привилегированное сословіе, восклицаетъ одинъ изъ трутней, гордо расправляя крылья. Мы пользуемся отмѣннымъ расположеніемъ нашей милостивой повелительницы. Работники должны заботиться о нашемъ пропитаніи. Это ихъ прямая обязанность; во время лѣтнихъ дней они набрали много меда, и въ этомъ запасѣ мы должны имѣть свою долю. Мы имѣемъ природное право пользоваться общественнымъ достояніемъ. Теперь къ величайшему сожалѣнію мы видимъ, что неразвитая толпа подвер-



гаетъ сомнѣнію наши права. Рабочія пчелы полагаютъ, что запасъ принадлежитъ имъ однимъ на томъ основаніи, что онѣ однѣ собирали медъ и складывали его въ клѣточки. Тутъ онѣ явно выворачиваютъ на-изнанку самыя элементарныя основанія логики и права. Эти запасы принадлежатъ обществу, и наше пчелиное государство имѣетъ право распоряжаться ими по своему благоусмотрѣнію, для покрытія своихъ насущныхъ потребностей. А развѣ поддержаніе нашей жизни и нашего благоденствія не можетъ и не должно быть названо насущной потребностью государства? Развѣ можетъ существовать улей безъ трутней, безъ правительственнаго сословія? Запасы принадлежатъ намъ—намъ прежде всего. Обезпечивъ свое существованіе, мы охотно отдадимъ часть нашего излишка голоднымъ бѣднякамъ-рабочимъ, но надо же намъ сначала утолить свой голодъ и упрочить за собой продовольствіе на будущее время. Пойдемте къ королевѣ; изложимъ ей наши желанія и представимъ на ея разсмотрѣніе предъявляемые нами права».

Рѣчь предприимчиваго оратора приходится по душѣ слушателямъ; она соотвѣтствуетъ потребностямъ времени, она разрѣшаетъ удовлетворительнымъ образомъ страшный вопросъ, поставленный обстоятельствами, вопросъ: ѣсть или не ѣсть? и вслѣдствіе этого, встрѣчаетъ себѣ единодушное сочувствіе.

Депутаты отъ благороднаго сословія трутней отправляются къ королевѣ, и королева не только не съѣдаетъ ихъ, подобно тому, какъ жители Сандвичевыхъ острововъ съѣли европейскихъ парламентаровъ, но напротивъ того, обходится съ ними чрезвычайно милостиво и выслушиваетъ съ величайшимъ вниманіемъ ихъ всеподданнѣйшія прошенія. Затѣмъ она отвѣчаетъ

имъ въ такомъ духѣ, что господамъ трутямъ ничего не остается желать.

«Я всегда, говоритъ она, окидывая всѣхъ присутствующихъ благосклоннымъ взоромъ, была убѣждена въ томъ, что для прочности и благоденствія государства необходимо существованіе наследственнаго сословія перовъ; съ уничтоженіемъ этого сословія распадутся въ прахъ всѣ правительственныя основы общества. Вы служили мнѣ вѣрно, вы были привязаны къ моей особѣ, и ваши доблести вполне заслуживаютъ награды. Вы, безъ всякаго сомнѣнія, прежде всѣхъ другихъ имѣете право пользоваться накопленными запасами. Я, какъ повелительница ваша, даю вамъ честное слово: ваши интересы нисколько не пострадаютъ отъ наступающихъ бѣдствій. Не обращайтесь вниманія на ропотъ рабочихъ пчелъ; ихъ назначеніе работать, и пока онѣ исполняютъ свое дѣло съ подобающимъ усердіемъ, я сохраняю въ отношеніи къ нимъ милостивое расположеніе. Но вы, перы мои, не должны заботиться о своемъ пропитаніи; у васъ есть болѣе высокое и благородное призваніе; не забывайте этого и предоставьте мелкія заботы о насущномъ хлѣбѣ низшимъ существамъ, менѣе васъ облагодѣтельствованнымъ дарами природы. Въ заключеніе изъявляю вамъ, господа перы, искреннее мое благоволеніе за то, что вы съ такимъ полнымъ довѣріемъ обратились къ вашей королевѣ».

Трутниторжествуютъ и прославляютъ величіе, благодущіе и государственную мудрость своей повелительницы.

Между тѣмъ пролетаріи, встревоженные увяданіемъ цвѣтовъ, также начинаютъ собираться въ кучки и толковать. . . . .

1862 г.

## ФИЗИОЛОГИЧЕСКІЯ КАРТИНЫ.

(Physiologische Bilder von dr. Louis Büchner. 1-er Band, 1861).

### I.

Знаніе природы дается людямъ съ величайшимъ трудомъ; каждое открытіе въ области естественныхъ наукъ дѣлается путемъ сложныхъ и хлопотливыхъ наблюденій; когда открытіе сдѣлано, оно обыкновенно встрѣчается всеобщимъ недоувѣріемъ; чѣмъ важнѣе открытіе, тѣмъ сильнѣе бываетъ возбужденное имъ недоувѣріе; для большей ясности возьму самый простой примѣръ: всѣ мы въ случаѣ болѣзни обращаемся къ доктору, и пока лежимъ въ постели,

довольно точно и добросовѣстно исполняемъ его предписанія; но вотъ мы укрѣпились, ходимъ по комнатѣ, черезъ окно поглядываемъ на улицу, а между тѣмъ докторъ продолжаетъ угощать насъ лекарственными снадобьями, запрещаетъ ѣсть то, что намъ особенно нравится, и ни подѣ какимъ видомъ не велитъ подходить къ окну. Мы начинаемъ относиться скептически къ совѣтамъ доктора, мы съ досадой смотримъ на его предосторожности, мы въ тихомолку посмѣиваемся надъ его предписаніями и наконецъ подѣ



часть нарушаемъ тотъ образъ жизни, который, по мнѣнію свѣдущаго медика, необходимъ для нашего окончательнаго поправленія. Въ этомъ случаѣ мы часто поступаемъ такимъ образомъ не только по естественному нетерпѣнью выздоравливающаго человѣка; мы оправдываемъ свои неосторожныя дѣйствія разными аргументами, которые конечно не выдерживаютъ критики. Мы говоримъ: докторъ А. конечно хорошій человѣкъ, но онъ странно смотритъ на вещи. Ну, можетъ ли такая пустая вещь повредить моему здоровью; онъ, какъ специалистъ, пускаетъ въ ходъ микроскопъ, надо смотрѣть на вещи простыми, человѣческими глазами.

Тутъ, какъ вы видите, является систематическое недовѣріе къ наукѣ и къ тому самому ея представителю, который за нѣсколько дней передъ тѣмъ оказалъ намъ самую существенную услугу и этой услугой доказалъ намъ состоятельность и практическую пригодность своихъ теоретическихъ знаній. Недовѣріе это въ однихъ людяхъ бываетъ сильнѣе, въ другихъ слабѣе, въ однихъ проявляется выпышками, въ другихъ преобладаетъ постоянно. Есть доморощенные скептики, поставившіе себѣ за правило считать всю медицину шарлатанствомъ и пробавляться, въ случаѣ надобности, собственными соображеніями и домашними средствами. Есть доморощенные физиологи, составляющіе себѣ самыя своеобразныя понятія объ устройствѣ собственнаго организма. Такого рода скептики и физиологи встрѣчаются во всѣхъ слояхъ общества и почти на всѣхъ ступеняхъ умственнаго развитія: скептикъ-мужикъ нейдетъ въ больницу и отлеживается на печи или, въ случаѣ тяжкой немочи, отпаиваетъ себя разными травками; скептикъ-баринъ гордо отвергаетъ помощь врача и, руководствуясь собственными соображеніями, представляетъ себѣ пиявки и горчичники, пускаетъ кровь, принимаетъ слабительныя или глотаетъ крупинки какого нибудь гомеопатическаго лекарства. Собственные инстинкты, собственные, смутныя ощущенія кажутся этимъ господамъ основательнѣе и важнѣе умозаключеній медика, основанныхъ на тщательномъ наблюденіи и на предварительномъ изученіи человѣческаго организма въ здоровомъ и въ больномъ состояніи. Этотъ самородный скептицизмъ, приводящій нерѣдко къ самымъ печальнымъ результатамъ, находитъ себѣ пищу въ недобросовѣстности и невѣжествѣ многихъ врачей и даже въ несовершенствѣ самой медицины.

Иногда подобное недовѣріе оказывается справедливымъ, иногда медицинѣ или медику приходится сознаться въ своемъ безсиліи, приходится сказать: мы знаемъ далеко не все; но не все и ничего двѣ вещи разныя. Область медицинскихъ свѣдѣній очень обширна, она расширяется съ каждымъ годомъ, и съ каждымъ годомъ увеличиваются и усиливаются тѣ средства, при по-

мощи которыхъ изслѣдователи вносятъ свѣтъ въ темные углы своей обширной науки. Медицина, какъ извѣстно, есть практическое приложеніе свѣдѣній, добытыхъ въ области различныхъ естественныхъ наукъ; физиологія и анатомія, химія и ботаника, зоологія и физика приносятъ ей свои результаты, и она пользуется ими для того, чтобы, изучивъ нормальный процессъ различныхъ отравленій человѣческаго организма, понять уклоненія, происходящія иногда въ этомъ процессѣ, угадать причины этихъ уклоненій и наконецъ найти средства предотвращать эти уклоненія, или поправлять зло, когда оно уже сдѣлано.

Если медицина, необходимая во вседневной жизни и составляющая только практическое приложеніе уже добытыхъ истинъ, встрѣчаетъ себѣ въ массахъ такъ много незаслуженнаго недовѣрія, то легко себѣ представить, съ какими страшными трудностями приходится бороться тѣмъ теоретическимъ наукамъ, которыя ложатся въ основаніе врачебнаго искусства. Мнѣ кажется, можно сказать безошибочно, что теоретическія истины проникаютъ въ сознаніе общества гораздо медленнѣе, чѣмъ практическія открытія и усовершенствованія. Всякій русскій человѣкъ, побывавшій въ Москвѣ, знаетъ о существованіи желѣзной дороги между Москвой и Петербургомъ; всякій мужикъ, грамотный или неграмотный, садится въ вагонъ, когда ему является необходимость изъ одной столицы переѣхать въ другую; тотъ же самый мужикъ, который такимъ образомъ обращаетъ въ свою пользу изобрѣтеніе, сдѣланное въ XIX вѣкѣ, вполне увѣренъ въ томъ, что громъ происходитъ отъ колесницы пророка Ильи, и что домовый, или, какъ онъ выражается, *хозяинъ* путаетъ по ночамъ гривы его лошадей. Такого рода суевѣріе не ограничивается неграмотнымъ сословіемъ деревенскаго и городского населенія: та самая милая, образованная дама, которая съ величайшимъ воодушевленіемъ толкуетъ о современной журналистикѣ, поддерживая или опровергая идеи новѣйшихъ эмансипаторовъ — блѣднѣетъ и чувствуетъ себя разстроенной при видѣ трехъ зажженныхъ свѣчей, поставленныхъ на одномъ столѣ; тотъ самый дѣльный хозяинъ, который выписываетъ для своего сахарнаго завода машины изъ Бельгіи или изъ Англіи, способенъ встать изъ-за стола, если за этимъ столомъ сидитъ тринадцать человѣкъ гостей. Суевѣріе, живущее такимъ образомъ помимо успѣховъ науки, покрываетъ сплошной корою общество и, въ большей части случаевъ, отнимаетъ у него возможность пользоваться результатами добросовѣстныхъ изслѣдованій и располагать свою жизнь сообразно съ тѣми истинами, которыя передовые люди добываютъ дорогой цѣной трудовъ и усилій.

Можетъ быть, ни одна наука не встрѣчала себѣ на пути своего развитія столько препят-



ствій, сколько встрѣчала фізіологія. Мы готовы вѣрить тому, что натуралистъ рассказываетъ намъ о цвѣткѣ, объ улиткѣ и о слонѣ; мы сами не давали себѣ труда вглядываться въ эти предметы, мы видѣли ихъ мелькомъ, не составляли себѣ о нихъ никакого округленнаго и законченнаго понятія, и слѣдовательно, въ запасѣ унаслѣдованныхъ и благопріобрѣтенныхъ воззрѣній не имѣемъ ничего такого, что бы помѣшало намъ согласиться съ мнѣніями естествоиспытателя; но когда тотъ же естествоиспытатель, распространяя кругъ своихъ изслѣдованій, постепенно втягиваетъ въ этотъ кругъ организмъ человѣка, тогда мы начинаемъ прислушиваться внимательно и вмѣстѣ съ тѣмъ начинаемъ чувствовать разладъ между нашими понятіями и тѣми научными фактами, которые сообщаются намъ съ самою убѣдительною наглядностью. Почувствовавъ такой неизбежный разладъ, слушатели или читатели ведутъ себя различно, смотря по темпераменту и по устройству своего мозга; одни зажимаютъ себѣ уши или бросаютъ съ негодованіемъ начатую книгу за то, что она не гладитъ по головкѣ ихъ закоренѣлыя заблужденія; другіе напротивъ того, чувствуя въ книгѣ вѣяніе свѣжаго воздуха, съ удвоеннымъ вниманіемъ погружаются въ чтеніе. Кто изъ нихъ поступаетъ благоразумнѣе—это такой вопросъ, котораго рѣшеніе надо предоставить на личное благоусмотрѣніе каждаго читателя. Я нахожу впрочемъ, что уже давно пора выдти изъ области разсужденій и приступить къ фактамъ, которые гораздо рельефнѣе могутъ представить высказанныя мною идеи о развитіи естественныхъ наукъ и о ихъ постоянной борьбѣ съ невѣжествомъ массъ, съ суевѣріемъ сантиментальной публики и съ недоброжелательствомъ различныхъ инквизиторовъ, мѣнявшихъ съ вѣками свои костюмы, названія и приемы преслѣдованія.

## II.

Я намѣренъ прежде всего поговорить о крови, о такомъ предметѣ, который всякому извѣстенъ по наружному виду и который между тѣмъ не вполне извѣстенъ самымъ новѣйшимъ изслѣдователямъ по своимъ внутреннимъ свойствамъ и по своему назначенію въ общей экономіи органической жизни.

«Кровь, говоритъ Мефистофель Фаусту, есть сокъ совсѣмъ особеннаго рода», и Фаустъ, повинувшись требованію своего руководителя, подписываетъ собственною кровью пагубный контрактъ, отдающій его душу въ распоряженіе мрачнымъ силамъ ада; въ средніе вѣка такого рода контракты, заключавшіеся довольно часто, если вѣрить легендамъ, всегда подписывались кровью и вслѣдствіе этого получали свою таинственную силу; кровью подписывались священные клятвы; заключая между собою союзъ военнаго братства, два витязя обыкновенно смѣши-

вали нѣсколько капель своей крови съ тѣмъ виномъ, которое они выпивали въ честь своего побратимства; кровь невинныхъ мальчиковъ употреблялась колдунами для узнаванія будущаго и алхимиками для приготовленія жизненнаго эликсира; побѣдивъ своего врага, дикарь пилъ его горячую кровь, чтобы присвоить себѣ силу и мужество убитаго воина; кровью жертвеннаго животнаго обливались съ головы до ногъ римляне, желавшіе очиститься отъ совершеннаго преступленія; вампиръ или ушуръ, выходящій изъ могилы, сосетъ кровь живыхъ людей и вмѣстѣ съ кровью высасываетъ изъ нихъ силу и жизнь. Мы до сихъ поръ въ нашемъ разговорномъ языкѣ придаемъ крови чрезвычайно важное значеніе; о горячей, молодецкой крови поютъ наши народныя пѣсни; въ немъ кипитъ молодая кровь, говоримъ мы, желая обозначить пылкій характеръ живого юноши.

Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства,  
Но кипитъ въ тебѣ живая кровь...

говоритъ Некрасовъ о своемъ «тяжеломъ, неуклюжемъ стихѣ», и мы вполне понимаемъ это образное выраженіе, не смотря на его очевидную неточность. «Въ его жилахъ текла благородная кровь великихъ предковъ», говоритъ какой нибудь велерѣчивый панегиристъ, и мы, къ сожалѣнію, понимаемъ это выраженіе, не смотря на всю его нескладную напыщенность. Кровь играетъ такимъ образомъ очень видную роль въ повѣрьяхъ и сказкахъ, въ поэзіи и въ риторикѣ, словомъ, въ разнородныхъ созданіяхъ человѣческой фантазіи. Это обстоятельство доказываетъ намъ, что люди инстинктивно признавали важное значеніе крови для различныхъ отправленій органической жизни; это инстинктивное сознаніе выражалось и до сихъ поръ выражается въ тѣхъ медицинскихъ понятіяхъ, которыя находятся во вседневномъ обращеніи; одинъ пациентъ жалуется доктору на *полнокровіе*, другой на *малокровіе*; одинъ находитъ, что у него кровь слишкомъ густа, другой убѣжденъ въ томъ, что она чересчуръ жидка, третій острою крови объясняетъ происхожденіе разныхъ нахожныхъ сыпей или нарывовъ.

Новѣйшая раціональная фізіологія соглашается въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ преданіями и народными вѣрованіями, съ поэтами, говорящими о крови, и съ пациентами, жалующимися на различныя свойства своей крови; она соглашается съ этими господами въ томъ отношеніи, что признаетъ несомнѣнную важность крови для существованія и для развитія всякаго организма. Затѣмъ она желаетъ счастливаго пути всѣмъ фантазерамъ, приписывающимъ крови какія бы то ни было таинственныя свойства, поворачивается спиною къ панегиристамъ, прославляющимъ благородную кровь чьихъ бы то ни было предковъ, и вооружившись сильно увеличивающимъ микроскопомъ, кладетъ подъ его предметъ-



ное стекло каплю красной жидкости, обращающейся въ нашихъ венахъ и артеріяхъ. Въ этой каплѣ, положенной подъ микроскопъ, изслѣдователь можетъ видѣть миллионы крошечныхъ шариковъ, насыпанныхъ кучами другъ на друга и плавающихъ въ безцвѣтной жидкости. Если взять каплю неразбавленной крови, то при самомъ сильномъ увеличеніи микроскопа будетъ совершенно невозможно разглядѣть устройство отдѣльныхъ шариковъ; поэтому для наблюденія надъ микроскопическимъ составомъ крови лучше всего развести взятую каплю въ такой жидкости, которая бы не разлагала кровяныхъ шариковъ. Капля этой разсыропленной жидкости, положенная подъ микроскопъ, покажетъ пожалуй нѣсколько тысячъ плавающихъ шариковъ; но такъ какъ число ихъ всетаки на томъ же пространствѣ окажется значительно меньше, чѣмъ оно было въ цѣльной крови, то наблюдателю будетъ гораздо легче рассмотреть ихъ устройство. Каждый шарикъ величиной своей равняется одной трехсотой части линіи, т. е. надо положить рядомъ 5000 такихъ шариковъ, чтобы составить длину вершка; каждый изъ нихъ состоитъ изъ чрезвычайно тонкаго эластическаго пузырька, наполненнаго жидкостью; и пузырекъ, и жидкость отдѣльнаго шарика подъ микроскопомъ оказываются безцвѣтными.

Я предчувствую, что здѣсь проявится въ читателѣ самородный скептицизмъ.—Какъ же это такъ? спроситъ онъ съ улыбкой: безцвѣтные шарики плаваютъ въ безцвѣтной жидкости, а кровь, составленная изъ шариковъ и жидкости, отличается темнокраснымъ цвѣтомъ. Это я знаю лучше всякаго физиолога.

— Совершенно справедливо, г. читатель, отвѣчу я. Потрудитесь только произвести слѣдующій несложный опытъ. Положите другъ на друга листовъ 20 самаго лучшаго стекла и посмотрите тогда, покажется ли вамъ эта стеклянная гора прозрачной и безцвѣтной. Можете повторить тотъ же опытъ надъ рѣкой: вы знаете конечно, что Нева въ самую тихую погоду не покажется вамъ массою прозрачной жидкости; зачерпните стаканъ воды изъ этой синеватой рѣки и вы увидите, что эту воду можно будетъ назвать вполне безцвѣтной.

Смотря на каплю крови, вы должны помнить, что въ ней лежатъ другъ на другѣ *тысячи* безцвѣтныхъ шариковъ или пузырьковъ, заключающихъ въ себѣ невообразимо маленькую капельку жидкости, окрашенной совершенно незамѣтнымъ оттѣнкомъ краснаго цвѣта. Чѣмъ больше шариковъ навалено другъ на друга, тѣмъ опредѣленнѣе и темнѣе становится красный цвѣтъ. Простая капля крови кажется намъ свѣтлокрасной, а ведро крови покажется почти чернымъ.

Форма этихъ пузырьковъ не вполне шарообразна, такъ что названіе кровяныхъ шариковъ можно допустить съ грѣхомъ пополамъ;

они скорѣе похожи на чечевичныя зерна; у человека и у большей части млекопитающихъ эти чечевицеобразныя пузырьки отличаются круглой формой; у птицъ, рыбъ и амфибій, кромѣ того у верблюда, дромадера и ламы кровяные пузырьки имѣютъ продолговатую форму. Величина этихъ пузырьковъ у различныхъ животныхъ бываетъ различна, но величина ихъ никакъ не зависитъ отъ величины самаго животного. Крошечная мышь въ этомъ отношеніи стоитъ на однихъ правахъ съ благородной лошадыю. Слоны оказываются однако вполне послѣдовательнымъ, и размѣры его кровяныхъ шариковъ сообразуются съ размѣрами его колоссальнаго тѣла; по крайней мѣрѣ ни у кого изъ млекопитающихъ нѣтъ такихъ большихъ кровяныхъ пузырьковъ, какъ у слона.

При крайней незначительности своего объема, при гладкости и эластичности своей кожи, кровяные пузырьки свободно скользятъ вдоль стѣнокъ кровеносныхъ сосудовъ, проходятъ въ самыя тонкіе волосные сосудцы и такимъ образомъ въ короткое время пробѣгаютъ чрезъ всѣ запутанныя развѣтвленія нашихъ артерій и венъ. Подвижность этихъ шариковъ или пузырьковъ подавала поводъ къ самымъ страннымъ гипотезамъ, которыя, не смотря на свою очевидную нелѣпость, находили себѣ горячихъ защитниковъ. Нѣкоторые изслѣдователи приняли эти пузырьки за микроскопическихъ животныхъ, принадлежащихъ къ классу инфузорій, одаренныхъ самостоятельной способностью движенія и завѣдывающихъ отправленіями нашей крови по собственному, свободному влеченію. Эти воображаемыя животныя получили названіе первобытныхъ животныхъ (Urthiere) и изслѣдователи, подарившіе такимъ образомъ нашей планетѣ неисчислимо количество животныхъ существъ, выразили то мнѣніе, что изъ этихъ существъ, какъ изъ первой основы всякаго органическаго бытія, образуются всѣ ткани и отдѣльныя части нашего тѣла. Овладевъ этой своеобразной идеей, философія природы, по свойственному ей стремленію искать конечныхъ выводовъ и дѣлать общія заключенія, настроила множество самыхъ удивительныхъ системъ, которыя, какъ карточные домики, валятся отъ малѣйшаго прикосновенія непосредственнаго, непредубѣжденнаго наблюденія. Очень недавно одинъ англичанинъ Тоддъ написалъ цѣлую книгу о кровяныхъ животныхъ, которыя называются у него bloodliving-animals или болѣе ученымъ терминомъ—haematozoa. Онъ приписываетъ имъ разныя электрическія и химическія свойства; онъ даже думаетъ, что электрическія силы, заключающіяся въ этихъ животныхъ, могутъ объяснить собою то половое влеченіе, по которому мужчина и женщина стремятся сблизиться между собою.

Новѣйшая физиологія доказала самымъ нагляд-



нымъ образомъ, что всё эти попытки населить кровь легионами живыхъ существъ относятся къ области чистой фантазіи. Кровь движется въ артеріяхъ и въ венахъ точно такъ же, какъ могла бы двигаться въ нихъ какая нибудь другая жидкость, повинующаяся давленію насоса. Что же касается до кровяныхъ шариковъ, то они не затрудняютъ ея движенія, потому что они, какъ я уже замѣтилъ, очень малы по объему, очень гладки и эластичны. Назначеніе кровяныхъ шариковъ состоитъ, по мнѣнію Бюхнера, въ томъ, чтобы, проходя чрезъ легкія, насыщаться кислородомъ и проносить этотъ кислородъ, необходимый для поддержанія органической жизни, въ различныя части и оконечности тѣла. Сами кровяные пузырьки, какъ и всё составныя части организма, разрушаются и выдѣляются изъ живого тѣла, замѣняясь новыми пузырьками, образующимися изъ принимаемой пищи.

Какимъ образомъ, гдѣ и при какихъ обстоятельствахъ они разрушаются—до сихъ поръ рѣшительно неизвѣстно.

Кровь, выпущенная изъ живого тѣла, свертывается и запекается, т. е. разлагается на свѣтлую, желтоватую жидкость и на болѣе твердую студенистую, темнокрасную массу, состоящую изъ кровяныхъ шариковъ и изъ волокнины, отдѣлившейся отъ той безцвѣтной жидкости, въ которой плавали пузырьки. Эта волокнина состоитъ изъ соединенія кислорода, водорода, углерода и азота и отличается своей способностью свертываться тотчасъ послѣ выхода крови изъ кровеносныхъ сосудовъ.

Разложеніе крови, вышедшей изъ живого тѣла, давно уже обращало на себя вниманіе медиковъ и изслѣдователей. Самъ отецъ медицины Гиппократъ занимался этимъ вопросомъ, но не умѣлъ разрѣшить его. Дѣло обыкновенно кончалось тѣмъ, что изслѣдователи говорили: *кровь умираетъ*, т. е. живая жидкость, сохраняющая свои свойства, благодаря силамъ живого организма, теряетъ свои отличительныя качества, покидая то тѣло, которому она принадлежала. Объясняя такимъ образомъ разложеніе крови, изслѣдователи не замѣчали того, что они только другими словами называли непонятый ими фактъ. У нихъ спрашивали: отчего свертывается кровь? А они на это отвѣчали: кровь умираетъ. Дѣло очевидно не подвигалось впередъ; мало того, предполагая какую-то таинственную, необъяснимую связь между кровью и тѣмъ организмомъ, въ которомъ она содержится, изслѣдователи ввели въ область своей науки несчастное понятіе жизненной силы, которое долгое время отводило глаза наблюдателямъ. То, что не могло быть объяснено физическими и химическими законами, сваливалось на жизненную силу и причинялось такимъ образомъ къ области необъяснимаго. Сердце билось вслѣдствіе жизненной силы, кровь обращалась вслѣдствіе жизненной силы,

кровь свертывалась потому, что ее покидала жизненная сила. Такимъ образомъ всё фізіологическіе вопросы рѣшались легко и свободно, но такъ какъ жизненная сила оставалась понятіемъ совершенно неопредѣленнымъ и расливающимся въ пространствѣ, то такая метода рѣшенія раскидывала непроницаемое покрывало на всё отправленія, совершающіяся внутри организма. Теперешніе фізіологи дѣйствуютъ гораздо проще; они подробно описываютъ то, что они видѣли, и прямо говорятъ, что того или другого имъ пока еще не удавалось изслѣдовать. Нерѣшеннаго много, но за то нѣтъ полурѣшеній, нѣтъ шарлатанства въ терминахъ и объясненіяхъ.

Бюхнеръ прямо говоритъ, что причины разложенія крови еще не найдены.

Дѣйствіемъ атмосфернаго воздуха нельзя объяснить этого явленія, потому что кровь можетъ свертываться даже внутри живого организма, въ тѣхъ кровеносныхъ сосудахъ, въ которыхъ правильное обращеніе оказывается нарушеннымъ. Отсутствіемъ движенія также не объясняется разложеніе крови, потому что выпущенная кровь разлагается и въ томъ случаѣ, если мы станемъ болтать ее въ бутылкѣ. При взбалтываніи крови окажется только, что волокнина не успѣетъ соединиться съ кровяными шариками и осѣдетъ отдѣльными хлопьями. Если же мы будемъ постоянно размѣшивать свѣжую кровь или бить ее гибкой палкой, то осѣдающая волокнина, приставаая къ палкѣ, будетъ выдѣляться изъ крови; такимъ образомъ можно будетъ выдѣлить изъ крови всю волокнину, и тогда оставшаяся масса крови, состоящая изъ водянистой жидкости и кровяныхъ шариковъ, вовсе не свернется; впрочемъ составъ ея будетъ конечно значительно измѣненъ; взбивая кровь палкой, мы не препятствуемъ ея разложенію, а только чисто-механическимъ путемъ удаляемъ изъ нея волокнину; взбитая кровь будетъ существенно отличаться отъ той свѣжей крови, которую мы выпустили изъ жилъ животнаго; несмотря на то, эта взбитая кровь, остающаяся вслѣдствіе такой операціи въ жидкомъ состояніи, оказывается пригодной для техническаго медицинскаго употребленія: иногда, когда человекъ, потерявшій значительное количество крови, подвергается опасности умереть, ему разрѣзываютъ жилу и въ эту жилу выпускаютъ битую кровь; такого рода операція возможна на томъ основаніи, что организмъ пациента собственными силами дополнить потребное количество недостающей волокнины и такимъ образомъ обойдется съ битой кровью также удобно, какъ будто бы она была свѣжая.

Волокнина, выдѣленная изъ крови, твердѣетъ въ видѣ студенистой массы и принимаетъ зеленовато-желтый цвѣтъ; иногда, свертываясь вмѣстѣ съ кровью, волокнина осѣдаетъ сверхъ темнокрасной массы и образуетъ надъ нею жел-



товатую кору. Медики придумали для этой коры особое название *crusta inflammatoria* (воспалительная кора) и даже дошли до того ошибочнаго убѣжденія, будто эта кора образуется надъ темно-красной массой крови только въ томъ случаѣ, если кровь выпущена изъ жилъ пациента, находящагося въ воспаленномъ состояніи. Это ошибочное убѣжденіе часто приводило къ печальнымъ практическимъ результатамъ. Убѣжденный въ томъ, что его пациентъ страдаетъ отъ воспаления, докторъ продолжаетъ кровопусканія и такимъ образомъ постоянно отнимаетъ у больного тѣ силы, который могутъ быть необходимы для его выздоровленія. Судя по газетнымъ извѣстіямъ, мы можемъ заключить, что графъ Кавуръ умеръ именно вслѣдствіе того, что лечившіе его медики, держась ошибочнаго мнѣнія о *crusta inflammatoria*, истощили его организмъ излишними и положительно вредными кровопусканіями.

Убѣжденіе медиковъ насчетъ того, что кора изъ волокины образуется надъ запекшейся кровью только въ случаѣ воспаления пациента, опровергается тѣмъ обстоятельствомъ, что подобная кора можетъ образоваться даже въ свернувшейся крови субъекта, подверженнаго блѣдной немочи (*Bleichsucht*). Блѣдная немочь состоитъ въ томъ, что въ общемъ составѣ крови убавляется количество кровяныхъ пузырьковъ. Кровь становится такимъ образомъ водянистѣе и свѣтлѣе по цвѣту. Пускать кровь больному, страдающему отъ блѣдной немочи, очень опасно, потому что онъ и безъ того слабъ вслѣдствіе недостаточнаго количества кровяныхъ пузырьковъ. Медикъ, который захотѣлъ бы лечить такого больного, осмысливая по-своему образованіе *воспалительной коры*, подвергается опасности зарѣзать пациента своимъ ланцетомъ.

Вообще докторъ долженъ быть въ высшей степени остороженъ въ распознаваніи болѣзненныхъ симптомовъ. Чѣмъ обширнѣе становится научная область физиологіи, тѣмъ сильнѣе суживается область общихъ симптомовъ. Каждый болѣзненный случай имѣетъ свои причины, свою исторію, свое развитіе; каждое явленіе, совершающееся въ человѣческомъ организмѣ, обусловливается множествомъ побочныхъ обстоятельствъ, которыя не могутъ быть рассказаны заранее; эти обстоятельства надо прослѣдить и сообразить на мѣстѣ; здѣсь не выручитъ общее правило; здѣсь необходимы навыкъ, знаніе множества частныхъ случаевъ и величайшая внимательность въ разсмотрѣніи даннаго казуса. Химическій составъ человѣческой крови отличается значительной сложностью; въ нашей крови есть поваренная соль, которая сообщаетъ ей довольно замѣтный вкусъ, и желѣзо, которое въ соединеніи съ кислородомъ является причиной краснаго цвѣта крови.

Желѣзо было открыто въ крови французомъ

Мери, и это любопытное открытіе возбудило множество химическихъ идей и надеждъ. Нашлись люди, которые стали думать, что желѣзо, заключающееся въ крови, можетъ имѣть важное значеніе для промышленности, что изъ этого желѣза можно выковывать мечи, кочерги и тому подобные общепользные инструменты. Другіе господа посмотрѣли на дѣло съ болѣе сантиментальной точки зрѣнія: слышалось желаніе, чтобы изъ крови великихъ людей выковывались послѣ ихъ смерти жетоны или медали. Всѣ такія предположенія оказались совершенно невыполнимыми.

Оказалось, что если выпустить всю кровь изъ цѣлой сотни людей, то наберется около аптекарскаго фунта металлическаго желѣза. Желѣзные рудники, открывшіеся такимъ образомъ въ жилахъ людей и животныхъ, оказались на столько скудными, что никто не взялъ на себя труда разрабатывать ихъ и никто не выпросилъ себѣ привилегіи на эту новую отрасль промышленности.

Узнавъ о томъ, что въ крови человѣка заключается желѣзо, одинъ парижскій студентъ медицины выдумалъ подарить своей любовницѣ желѣзное кольцо, добытое изъ собственной крови. Предмету его любви было бы вѣроятно пріятнѣе получить въ подарокъ какую нибудь золотую вещицу, а самому студенту было бы легче добыть деньги на покупку дорогой бездѣлушки путемъ усиленнаго труда, вмѣсто того, чтобы постоянно ослаблять себя извлеченіемъ желѣза изъ собственнаго тѣла. Но онъ разсудилъ иначе: ему понравилась его странная идея, и онъ принялся безо всякой надобности пускать себѣ кровь черезъ извѣстные промежутки времени. Собираніе желѣза шло очень медленно; нетерпѣніе молодого мечтателя было слишкомъ велико; онъ поторопился, выпустилъ за одинъ разъ слишкомъ много крови и умеръ, не успѣвши привести въ исполненіе своего оригинальнаго намѣренія. Если подобныя нелѣпости предпринимались вслѣдствіе того обстоятельства, что въ крови заключаются ничтожныя частички самаго дешеваго металла, то можно себѣ представить, сколько преступлений совершалось бы въ томъ случаѣ, когда бы вмѣсто желѣза въ составъ крови входило бы напримѣръ золото. Убіиства вѣроятно сдѣлались бы весьма обыкновенными происшествіями; охотниковъ пускать кровь себѣ и другимъ нашлось бы несмѣтное количество; эпитегъ *кровотѣйца*, который придается теперь слишкомъ жаднымъ ростовщикамъ, принимался бы тогда въ буквальномъ значеніи этого слова. Игроки могли бы ставить на карту часть своей крови, точно также, какъ теперь они ставятъ на карту необходимыя деньги и вещи. Словомъ, число нелѣпостей и гадостей, совершающихся теперь, вѣроятно увеличилось бы въдесятеро.

Взглянувъ на эту бездну несчастій, въ кото-



рую погрузилось бы человечество, если бы въ его жилахъ открылись золотые рудники, я поневолѣ становлюсь оптимистомъ и, обращаясь къ нравственному чувству читателя, предлагаю ему торжественный вопросъ: осмѣлится ли онъ послѣ этого изъяснить малѣйшее сомнѣніе въ благодати Провидѣнія?

Кромѣ твердыхъ и жидкихъ веществъ, входящихъ въ составъ крови, надо упомянуть еще о веществахъ газообразныхъ, образующихъ разные химическія соединенія съ твердыми и жидкими составными частями крови. Въ крови нѣтъ газовъ, находящихся въ свободномъ состояніи; если нѣкоторое количество атмосфернаго воздуха попадаетъ въ кровеносный сосудъ, то оно можетъ нарушить весь порядокъ кровообращенія и повести къ мгновенной смерти разсматриваемаго субъекта. Такого рода опыты производились надъ животными; имъ вбрызгивали воздухъ въ открытыя жилы посредствомъ воздушнаго насоса, и они издыхали среди сильныхъ конвульсій. Иногда случается, что воздухъ проникаетъ въ кровеносный сосудъ пациента при большихъ хирургическихъ операціяхъ; тогда больной мгновенно умираетъ. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что газы, находящіеся въ крови, должны непременно образовать съ твердыми и жидкими веществами химическія соединенія.

Кислородъ, воспринимаемый организмомъ при вдыханіи атмосфернаго воздуха, соединяется съ кровью, протекающею черезъ легкія и, окисляя желѣзистое содержаніе кровяныхъ шариковъ, придаетъ всей крови ярко-красный цвѣтъ, которымъ она отличается при выходѣ своемъ изъ легкихъ. Углекислота накапливается въ крови во время ея прохожденія черезъ волосные сосуды, т. е. черезъ тончайшія развѣтвленія жилъ, находящіеся возлѣ поверхности тѣла; она образуется изъ соединенія кислорода, заключающагося въ крови, съ углеродомъ тѣхъ органическихъ тканей, черезъ которыя проходитъ кровь. Углекислота эта выдѣляется изъ легкихъ при выдыханіи; она придаетъ крови темный цвѣтъ, и потому кровь, пройдя черезъ легкія, получаетъ болѣе свѣтлый и яркій цвѣтъ.

Азотъ, проходящій въ кровь изъ пищи и изъ атмосфернаго воздуха, выдѣляется черезъ почки, въ формѣ мочи, въ соединеніи съ водой.

Въ крови совершается такимъ образомъ весь химическій процессъ превращенія воздуха и пищи въ органическія ткани нашего тѣла. Образование крови происходитъ отчасти отъ принятія пищи, отчасти отъ вдыханія атмосфернаго воздуха. Люди, страдающіе чахоткой, т. е. поврежденіемъ легкихъ, худѣютъ и сохнутъ, не смотря на предлагаемую имъ питательную пищу и не смотря на то, что они часто до послѣднихъ мѣсяцевъ своей жизни сохраняютъ полный аппетитъ. Недостатокъ воздуха, который ослабѣвшія легкія уже не могутъ принимать въ необходи-

момъ количествѣ, отнимаетъ у крови притокъ кислорода и такимъ образомъ, существенно измѣняя ея составъ, нарушаетъ нормальный процессъ питанія и жизни.

Количество всей крови, находящейся въ тѣлѣ взрослого человѣка, заключаетъ въ себѣ по вѣсу около 13 фунтовъ. По мнѣнію однихъ изслѣдователей вся масса крови составляетъ одну восьмую часть вѣса всего человѣческаго тѣла; по мнѣнію другихъ—только одну тринадцатую.

Организмъ выдерживаетъ значительныя потери крови, если только эти потери совершаются не вдругъ, а слѣдуютъ другъ за другомъ черезъ извѣстные промежутки времени. Опыты, произведенные надъ животными, показали, что можно, не убивая самага животного, въ нѣсколько пріемовъ выпустить изъ его жилъ такое количество крови, которое превосходитъ вѣсъ его собственнаго тѣла. Но въ одинъ разъ достаточно, чтобы убить животное или человѣка, выпустить изъ него количество крови, равняющееся одной двадцати пятой части его вѣса.

### Ш.

Обращеніе крови, необходимое для процесса жизни, совершается отъ сердца къ оконечностямъ и къ поверхности тѣла, и отъ поверхности обратно къ сердцу. Механизмъ кровообращенія объясняется очень просто слѣдующимъ нагляднымъ примѣромъ.

Представьте себѣ полный гуттаперчевый шаръ, въ которомъ въ двухъ мѣстахъ прорѣзаны два круглыя отверстія. Къ этимъ двумъ отверстіямъ придѣланы двѣ длинныя, гибкія трубочки; отверстія шара закрываются клапанами, которые оба отворяются въ одну сторону, положимъ, вправо.

Весь снарядъ: т. е. шаръ и оба колѣна трубки наполнены водой; свободные концы трубочекъ, т. е. концы, непрідѣланные къ шару, спаяны между собою такъ плотно, что спайка не пропускаетъ воздуха. Если вы рукой сожмете шаръ, то вода, заключающаяся въ немъ, будетъ выдвлена и черезъ тотъ клапанъ, который отворяется наружу, потечетъ въ трубочку; но трубочка и безъ того полна водой, и потому жидкость, уступаая напору вновь притекшей воды, ударяетъ въ другой клапанъ и входитъ въ шаръ. Вы еще разъ сжимаете его рукою, и опять повторяется то же самое явленіе, т. е. часть воды, опять вытѣсняется изъ шарика и опять замѣняется такимъ же количествомъ воды, прилившей съ другого конца, вслѣдствіе того же самага давленія. Если бы трубочки, по выходѣ своемъ изъ шара, раздѣлились на два канала, потомъ на четыре, потомъ на восемь, и т. д., еслибы всѣ эти развѣтвленія были спаяны между собою и такимъ образомъ опять сходились бы въ одну общую трубку, сообщающуюся съ шаромъ, то отъ этого



обстоятельства процессъ обращенія жидкости не измѣнился бы.

Роль гуттаперчевого шара играетъ въ тѣлѣ животныхъ и человѣка сердце, которое, сжимаясь и расширяясь, попеременно выгоняетъ изъ себя кровь въ артеріи и принимаетъ кровь, притекающую изъ венъ. Система артерій и венъ, раскинувшихъ свои отроги и развѣтвленія во всѣ части тѣла, раздробившихся на безчисленное множество микроскопически-тонкихъ волосныхъ сосудовъ и охватившихъ почти сплошною сѣтью тѣло животного подъ самой его кожей — замѣняетъ собою въ организмѣ тѣ гибкія трубочки, о которыхъ я говорилъ въ моемъ примѣрѣ. Въ артеріяхъ и въ венахъ существуетъ сложная система клапановъ, открывающихся только по одному направленію и потому непускающихъ обратно въ сердце ту часть крови, которая уже вышла въ артеріи вслѣдствіе его сжатія. Благодаря этому устройству клапановъ, кровь принуждена при каждомъ сжатіи сердца подвигаться впередъ по артеріямъ; подвигаясь такимъ образомъ дальше и дальше отъ сердца къ поверхности тѣла, она наконецъ входитъ въ волосные сосуды; дальше идти впередъ некуда, а между тѣмъ новыя волны крови, напираяющія изъ сердца, тѣснятъ по прежнему; волосные сосуды отъ поверхности тѣла поворачиваютъ опять къ центру, и кровь конечно течетъ туда, куда направлены эти каналы, потому что изъ нихъ нѣтъ никакого выхода. Съ той минуты, какъ сосуды поворачиваютъ назадъ къ центру, они начинаютъ называться венами; по мѣрѣ приближенія къ сердцу, тонкія вены соединяются между собой подобно тому, какъ ручьи сліяніемъ своимъ образуютъ рѣки; наконецъ венозная кровь, насытившаяся углекислотой во время своего путешествія по тѣлу, черезъ толстыя вены вливается въ сердце, а сердце опять сжимается, и кровь опять отправляется гулять по артеріямъ.

Въ статьѣ «Процессъ жизни», написанной по поводу физиологическихъ писемъ Карла Фохта (Томъ I, стр. 307—332), я говорилъ довольно подробно о маршрутѣ крови въ тѣлѣ человѣка. Теперь я поговорю о дѣятельности сердца и о различныхъ особенностяхъ этого важнаго и интереснаго органа.

Прежде всего надо замѣтить, что сердце, подобно желудку и легкимъ, относится къ тѣмъ органамъ, отъ которыхъ зависитъ исключительно растительная жизнь. Сердце своими движеніями производитъ кровообращеніе, но оно не воспринимаетъ никакихъ впечатлѣній и не общается нашимъ поступкамъ никакого импульса. Любовь, ненависть, желанія, надежды, волненія, страхъ, горе, радость — не имѣютъ ничего общаго съ дѣятельностью сердца и не могутъ доставить сердцу ни пріятнаго, ни тяжелаго ощущенія. Малѣйшее нарушеніе въ дѣятельности сердца ведетъ за собой болѣзненное разстройство, кото-

рое часто оканчивается смертью, но такого рода нарушенія происходятъ не отъ горести, не отъ душевнаго страданія, а оттого, что расхлябался какой нибудь клапанъ, распухъ тотъ полый мускулъ, который называется сердцемъ, или засорилось то или другое отверстіе, ведущее къ артеріи. Болѣзни сердца имѣютъ чисто физическія причины, и сердце наше само по себѣ также нечувствительно къ нашимъ радостямъ и страданіямъ, какъ нечувствителенъ желудокъ, постоянно занимающійся своей скромной поварской должностью.

Впрочемъ нельзя отрицать того факта, что душевныя волненія могутъ нарушить до нѣкоторой степени нормальную дѣятельность сердца. Воспринимая впечатлѣнія нервами, мы въ этихъ самыхъ нервахъ чувствуемъ ощущеніе радости, горя, страха, и т. д. Напряженное или раздраженное состояніе нервовъ отзывается во всѣхъ частяхъ нашего тѣла, потому что нервы проходятъ въ нихъ своими развѣтвленіями, и переплетаясь тонкими ниточками съ кровеносными сосудами, могутъ сжимать ихъ независимо отъ нашей воли. Мы часто краснѣемъ вовсе не впадавъ, тогда, когда не слѣдовало бы и не хотѣлось бы краснѣть; мы краснѣемъ совершенно произвольно, и это дѣлается единственно потому, что нервы, повинаясь внезапно воспринятому впечатлѣнію, мгновенно нарушаютъ нормальный ходъ кровообращенія и дольше, чѣмъ слѣдовало бы, задерживаютъ въ лицѣ ту кровь, которая должна возвращаться къ сердцу.

Если наши нервы поражены какимъ нибудь сильнымъ и прочнымъ впечатлѣніемъ, то они могутъ нарушить весь процессъ кровообращенія и вслѣдствіе этого измѣнить состояніе сердца, которое такимъ образомъ совершенно произвольно, пассивно и безсознательно испытаетъ на себѣ реакцію нашихъ психическихъ ощущеній. Точно также можетъ испытать эту реакцію и желудокъ; если вы огорчены, вы можете потерять аппетитъ не потому, что желудокъ сочувствуетъ вашему горю, а потому, что напряженіе вашей нервной системы отнимаетъ у васъ возможность внимать скромно заявляемымъ требованіямъ вашего пищеварительнаго органа.

Словомъ, всѣ ощущенія воспринимаются только нервами, а нервы, получивши извѣстное сотрясеніе, могутъ нарушить или измѣнить дѣятельность такихъ органовъ, которымъ нѣтъ никакого дѣла до нашихъ ощущеній. Мы чувствуемъ боль только въ нервахъ; ни мускулы, ни кровеносные сосуды, ни желудокъ, ни сердце не могутъ страдать; страдаютъ только прилегающіе къ нимъ нервы. — Все это такъ, скажетъ читатель, но если сердце все оплетено нервами, то оно конечно способно страдать, потому что оплетающее его нервы составляютъ одну изъ его частей.

— Конечно, отвѣчу я, это было бы совершенно справедливо, если-бы сердце дѣйствитель-



но было оплетено нервами; но этого на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Сердце совершенно лишено чувствительности, какъ на поверхности своей, такъ и въ своемъ центрѣ. Нервы, находящіеся въ сердцѣ, относятся къ тому разряду нервовъ, которые проводятъ движеніе, но не сообщаютъ ощущенія. Есть люди, у которыхъ, вслѣдствіе недостаточнаго развитія грудныхъ костей, существуетъ отверстіе, позволяющее видѣть и даже ощупывать рукою сердце. Это ощупываніе не причиняетъ имъ не только ни малѣйшей боли, но даже ни малѣйшаго ощущенія. Рана, нанесенная челювѣку въ сердце и ведущая за собою неизбѣжную смерть, заставитъ его страдать не потому, что она тронула сердце, а потому, что она по дорогѣ изломала грудныя кости и изорвала грудныя ткани.

Болѣзни сердца, нарушающія весь процессъ кровообращенія, приводятъ все тѣло въ состояніе ненормальной раздражительности и вмѣстѣ съ тѣмъ могутъ оказать значительное вліяніе на душевное настроеніе больного. Бываютъ впрочемъ и такія болѣзни сердца, которыя, несмотря на всю свою важность, не причиняютъ ни малѣйшей боли, позволяютъ пациенту веселиться и наслаждаться жизнью, и до послѣдней роковой минуты укрываются даже отъ его собственнаго вниманія. Итакъ сердце—ничто иное, какъ безсознательно дѣйствующій насосъ, необходимый для того, чтобы приводить въ движеніе кровь животнаго, но совершенно нечувствительный къ впечатлѣніямъ физическаго и духовнаго міра.

Когда мы говоримъ: у такого-то человѣка доброе сердце, а у такого-то нѣтъ сердца, когда французы говорятъ съ воодушевленіемъ: *c'est un coeur d'or, il a du coeur—cet homme*, когда нѣмцы толкуютъ съ умиленіемъ объ *herzliche Liebe, herzlicher Kummer*, то всѣ мы, русскіе, французы и нѣмцы, говоримъ такія вещи, для которыхъ въ дѣйствительности нѣтъ соотвѣствующихъ явленій. Не имѣя никакого понятія о физиологій, мы замѣняемъ дѣйствительныя знанія созданіями нашей фантазіи и надѣляемъ сердце, которымъ мы почему-то особенно интересуемся, небывалыми, невозможными и неестественными свойствами, качествами, достоинствами и пороками.

Одно французское выраженіе, навсегда утвердившееся въ языкѣ, показываетъ чрезвычайно наглядно ложность тѣхъ физиологическихъ воззрѣній, которыми пробавляется публика. *J'ai mal au coeur*, какъ извѣстно, значитъ по-французски: меня тошнитъ. Тошнота объясняется такимъ образомъ болью въ сердцѣ, между тѣмъ какъ она очевидно не имѣетъ съ сердцемъ ничего общаго. При тошнотѣ страдаетъ только желудокъ, и если страданія желудка переносятся такимъ образомъ въ сердце, то изъ этого можно вывести слѣдующія два заключенія: во-первыхъ, люди, соорудившіе это выраженіе, не имѣли по-

нятія о мѣстоположеніи сердца; во-вторыхъ, они никогда не чувствовали боли въ сердцѣ, потому что перенесли на сердце ощущенія другого органа, не имѣющаго съ нимъ никакихъ сношеній и ни малѣйшаго сходства.

Жизнь, или вѣрнѣе, біеніе сердца начинается до рожденія животнаго и продолжается до самой смерти, или вѣрнѣе, сердце продолжаетъ биться даже тогда, когда всѣ остальные признаки жизни покидаютъ тѣло. Когда куриное яйцо пролежало нѣсколько дней подъ насѣдкой, то въ немъ начинается обозначаться сердце въ видѣ маленькой, красной точки, находящейся въ постоянномъ движеніи.

Это движеніе сердца начинается тогда, когда еще не существуетъ ни крови, ни нервовъ; слѣдовательно причину этого движенія, начавшагося такъ рано, надо искать въ раздражительности самыхъ мускулистыхъ частей сердца, а не во вліяніи крови и даже не въ дѣйствіи нервовъ. Говоря такимъ образомъ, что причина движенія заключается не въ нервахъ, я не хочу сказать, чтобы нервы, проходящіе отъ мозга къ сердцу, не имѣли никакого вліянія на темпъ этого движенія. Нервы эти, при извѣстномъ раздраженіи, могутъ замедлить или задержать біеніе сердца; потомъ, за этой мгновенной задержкой послѣдуетъ ускоренная дѣятельность сердца, которое однако, несмотря на свои подчиненныя отношенія къ нервамъ, бьется все-таки по собственному внутреннему импульсу.

Сердце, вынутое изъ тѣла животнаго и слѣдовательно оторванное отъ всякой связи съ нервной системой, продолжаетъ биться нѣсколько времени. Вырѣзанные лягушечьи сердца прыгаютъ на столѣ натуралиста въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ, сначала быстро и сильно, потомъ постепенно слабѣе и медленнѣе. Это самостоятельное движеніе вырѣзанныхъ сердецъ можетъ быть поддерживаемо въ продолженіи нѣсколькихъ дней, если только не давать сердцамъ высохнуть и сохранять въ окружающемъ воздухѣ умѣренную теплоту. «Это, говоритъ Льюисъ, одно изъ тѣхъ зрѣлищъ, которыя наполняютъ духъ анатома какой-то невольной робостью. Онъ съ дѣтства привыкъ видѣть какое-то таинственное соотношеніе между біеніемъ сердца и жизнью организма, и вдругъ онъ видитъ это біеніе при такихъ обстоятельствахъ, которыя отгоняютъ всякую мысль о жизни и движеніи. Что же значить это біеніе? Въ немъ не видно равномѣрныхъ движеній жизни, не видно раздраженія испуга; его нельзя принять за дѣйствіе инстинкта. Убить и разрушить тотъ чудесный механизмъ, котораго центромъ было сердце, и вотъ рядомъ съ мертвымъ тѣломъ лежитъ этотъ органъ и продолжаетъ биться, будто самъ по себѣ хочетъ бороться со смертію».

Сердце, переставшее биться послѣ смерти животнаго или человѣка, можетъ посредствомъ



электрическаго тока еще разъ получить на нѣкоторое время способность сжиматься и расширяться. Подобные опыты производились нерѣдко надъ сердцами повѣшенныхъ или вообще казненныхъ преступниковъ.

Если даже смерть человѣка произошла не вдругъ и была слѣдствіемъ долговременной болѣзни, то случается, что бѣіе сердца не прекращается вскорѣ послѣ смерти. Знаменитому анатому Везалію, жившему въ XVI-мъ столѣтіи, пришлось дорого поплатиться за открытіе этого факта. Этотъ замѣчательный человѣкъ, стоявшій по своему развитію гораздо выше уровня своей эпохи, рѣшался анатомировать человѣческіе трупы въ то время, когда это дѣйствіе считалось грѣховнымъ и преступнымъ. Одинъ молодой дворянинъ, котораго лечилъ Везалій, умеръ, несмотря на всѣ его попеченія, и любознательный медикъ, желая узнать причину смерти, выпросилъ себѣ позволеніе вскрыть его трупъ. Вскрытіе произошло въ присутствіи нѣсколькихъ зрителей, которые пришли въ неописанный ужасъ, когда увидѣли, что сердце покойника бьется полнымъ, правильнымъ темпомъ. Везалія обвинили въ томъ, что онъ зарѣзалъ живого человѣка; въ это дѣло вмѣшалась инквизиція, и Везалій съ большимъ трудомъ избѣжалъ мучительной смерти. Его принудили отправиться въ Палестину и замолить свой грѣхъ, вызванный дерзкимъ желаніемъ узнать тайны созданій Божіихъ. Репутація Везалія, какъ врача, погибла съ того времени, и ему не удалось до самой своей смерти избавиться отъ подозрѣнія въ томъ, что онъ зарѣзалъ своего пациента.

У здоровыхъ и крѣпкихъ людей сила, съ которою сжимается сердце, равняется вѣсу въ 60 фунтовъ. Если вы, сидя на стулѣ, положите одну ногу на колѣнко другой ноги, то увидите, что носокъ свободно висящей ноги постоянно, независимо отъ вашей воли движется взадъ и впередъ; если вы повѣсите на ступню этой ноги чудовую гирю (предполагая, что вы будете въ силахъ сдерживать ее), то и эта гиря не помѣшаетъ колебаніямъ носка, которыя будутъ совершаться прежнимъ темпомъ и, по прежнему, независимо отъ вашей воли. Это колебаніе носка происходитъ отъ бѣіе сердца и отъ прилива крови въ артерію ноги. Если разрѣзать одну изъ большихъ артерій, то сила, съ которою брызнетъ изъ нея кровь, дастъ намъ понятіе о силѣ импульса, сообщеннаго этой крови сжатіемъ сердца. У собакъ и овецъ кровь брызжетъ даже изъ малыхъ артерій на шесть футовъ въ высоту. Скорость, съ которой волна крови идетъ отъ сердца по артеріямъ, равняется 28 парижскимъ футамъ въ секунду.

Весь рядъ явленій, относящихся къ кровообращенію, очень недавно сдѣлался достояніемъ науки. Запутанность и ложность понятій, господствовавшихъ объ этомъ предметѣ въ древ-

ности, превосходить всякое вѣроятіе. Греки и римляне были увѣрены въ томъ, что наши жилы наполнены воздухомъ. Римскій медикъ Галенъ, жившій въ половинѣ второго вѣка послѣ Рождества Христова, первый доказалъ, что въ жилахъ заключается кровь, и что въ однѣхъ жилахъ эта кровь отличается темнокраснымъ цвѣтомъ, а въ другихъ—яркокраснымъ. Во второй половинѣ шестнадцатаго столѣтія испанскій медикъ Михайлъ Серветъ открылъ движеніе крови отъ сердца къ легкимъ и отъ легкихъ обратно къ сердцу. Религіозный фанатизмъ не пощадилъ этого замѣчательнаго человѣка, и Кальвинъ сжегъ его на кострѣ въ Женевѣ, доказывая такимъ образомъ потомству, что начало реформациі далеко не совпадаетъ съ началомъ вѣротерпимости. Несмотря на преслѣдованія и казни, несмотря на презрѣніе и невнимательность легкомысленной массы, духъ живой любознательности и терпѣливаго изученія пробивалъ себѣ дорогу, опрокидывалъ нагроможденныя препятствія и дарилъ плоды своихъ трудовъ тому самому человѣчеству, которое не умѣло распознавать своихъ истинныхъ друзей и не понимало значенія ихъ дѣятельности. Въ началѣ семнадцатаго столѣтія англичанинъ Гарвей открылъ, что движеніе крови совершается во всемъ тѣлѣ, описалъ пути по которымъ кровь выходитъ изъ сердца и возвращается къ сердцу, и этимъ міровымъ открытіемъ положилъ основаніе новой, истинно-научной физиологіи, основанной на наблюденіи и не имѣющей ничего общаго съ прежними гаданіями и фразистыми разсужденіями.

Открытіе Гарвея встрѣтило себѣ рѣзкую оппозицію со стороны ученыхъ мечтателей того времени. Медицинскій факультетъ парижскаго университета возражалъ самыми оригинальными аргументами. «Жизнь, писалъ физиологъ Бурдахъ, потеряетъ свой идеальный блескъ, если мы рѣшимся простымъ механизмомъ объяснить теченіе крови, составляющее такую существенную часть ея проявленія».

Закаленные натурфилософы, смотрѣвшіе на вещи умственными очами, не признали существованія кровообращенія; они остались при томъ убѣжденіи, что «кажущееся движеніе крови есть необъяснимое чудо (*mirabile dictu*), колебаніе между бытіемъ и небытіемъ». Благодаря такому глубокомысленному и удобопонятному возрѣнію на тѣ факты, которые легко и свободно объяснялись непосредственнымъ наблюденіемъ, натурфилософія постепенно стала терять ореолъ своего величія, и въ XIX столѣтіи окончательно сошла съ того пьедестала, на которомъ она стояла вслѣдствіе невѣжества массъ и шарлатанства ученыхъ. Бюхнеръ говоритъ, что его учитель физиологіи былъ отчаянный натурфилософъ, старавшійся кудреватыми фразами убѣдить своихъ слушателей въ вѣрности своихъ идей и постоянно бранившій тѣхъ ученыхъ, ко-



которые хотѣли тѣлесными глазами увидѣть вещи и процессы, доступные только умственному оку. А въ это время тѣлесные глаза рассмотрѣли волосные сосуды, соединяющіе тонкія артеріи съ тонкими венами, охватывающіе всѣ части тѣла частой, тонкой, подкожною сѣткой и такимъ образомъ замыкающіе собою тѣ пути, по которымъ кровь обтекаетъ все тѣло. При помощи микроскопа открылась для изслѣдователей возможность собственными глазами разсматривать теченіе крови въ волосныхъ сосудахъ живыхъ существъ.

«Трудно себѣ представить болѣе великолѣпную микроскопическую картину, говоритъ Бенеке въ своихъ физиологическихъ этюдахъ, чѣмъ ту, которую представляетъ подъ микроскопомъ плавательная кожа живой лягушки. Постепенно суживающіеся, извивающіеся каналы, образующіе собою петли, проходятъ въ видѣ сѣтки чрезъ эту кожу; въ нихъ движется свѣтложелтоватая кровяная жидкость, и въ серединѣ этихъ рѣчекъ катятся, подобно песчинкамъ на днѣ прозрачнаго ручья, красные кровяные пузырьки; въ большихъ сосудахъ ихъ очень много, въ меньшихъ они по одиночкѣ слѣдуютъ другъ за другомъ. Слой жидкости, прилегающій къ стѣнкѣ сосуда, движется гораздо медленнѣе, чѣмъ средній потокъ, несущій въ себѣ кровяные пузырьки; если внимательно наблюдать за движеніемъ крови въ волосныхъ сосудахъ, то можно замѣтить, что оно совершается гораздо медленнѣе, чѣмъ въ большихъ сосудахъ; это обстоятельство очевидно указываетъ на то взаимное вліяніе, которое существуетъ между кровью и органическими тканями».

Натуралистъ Левенгукъ первый увидѣлъ обращеніе крови въ волосныхъ сосудахъ въ хвостѣ живой ящерицы. «Тутъ, говоритъ онъ, мнѣ представилось такое восхитительное зрѣлище, какого до тѣхъ поръ еще не видывали мои глаза. Я открылъ въ различныхъ мѣстахъ болѣе пятидесяти различныхъ циркуляцій крови. Я увидѣлъ, какъ кровь чрезъ необыкновенно тонкіе сосуды идетъ отъ середины хвоста къ краямъ его, и какъ потомъ каждый сосудъ поворачиваетъ назадъ и приводитъ кровь обратно къ серединѣ хвоста, откуда она отправляется далѣе по дорогѣ къ сердцу».

#### IV.

Вглядитесь въ общую жизнь природы, въ прозябаніе растенія, въ существованіе животнаго, и вы увидите, что необходимымъ условіемъ всякой органической жизни, всякаго движенія, измѣненія и развитія является теплота.

Теплота, или, какъ ее называютъ въ физикѣ, теплородъ не есть матерія; это—движеніе; присутствіе теплоты проявляется всегда въ движеніи того вещества, на которое она дѣйствуетъ; вездѣ, гдѣ есть движеніе, тамъ обнаруживается и теплота.

Представьте себѣ картину природы въ лѣтній день, когда теплота всего сильнѣе дѣйствуетъ на окружающіе предметы, и сравните эту картину съ тѣмъ зрѣлищемъ, которое представляетъ та же самая мѣстность зимой, при сильномъ морозѣ. Въ первомъ случаѣ вы увидите растительную жизнь во всемъ ея роскошномъ развитіи, во второмъ — вы не увидите ничего, кромѣ необозримой, утомительно однообразной снѣговой равнины. Положимъ, что 7-го іюня вы захотите взглянуть на дерево, которое вы внимательно осматривали 1-го іюня; вы навѣрное найдете въ немъ замѣтную перемѣну; тамъ распустился новый цвѣтокъ, здѣсь осыпались отжившіе цвѣтки и завязались плоды, тутъ молодой побѣгъ увеличился въ длинѣ и объемѣ. Если же вы 7-го января посмотрите на снѣговую равнину, гдѣ вамъ пришлось гулять 7-го декабря, то вы вѣроятно не замѣтите никакой перемѣны; вы увидите можетъ быть, что количество снѣга увеличилось или уменьшилось, что сугробы его окрѣпли или сдѣлались рыхлѣе, что по дорогѣ образовались лужи или ледяные раскаты. Лѣтній пейзажъ измѣняется въ своихъ отдѣльных частяхъ, развивается и живетъ подъ вліяніемъ теплоты въ каждомъ деревѣ, въ каждой былинкѣ; зимній пейзажъ, благодаря уменьшенію теплоты, показываетъ намъ оцѣпенѣніе органической жизни, неподвижность и утомительно однообразіе застоя. Скудные измѣненія, которые иногда происходятъ въ этомъ зимнемъ пейзажѣ и которые не имѣютъ ничего общаго съ развитіемъ органической жизни, совершаются все-таки при содѣйствіи теплоты. Если мы вообразимъ себѣ такую мѣстность, на которой круглый годъ стоитъ тридцатиградусный морозъ, то эта мѣстность никогда не измѣнится; пройдутъ цѣлыя вѣка, и она по прежнему останется холодной, пустынной и безжизненной; тѣ же снѣжные сугробы, тѣ же ледяныя глыбы, ни на одинъ вершокъ не измѣнившія своей фигуры, будутъ по прежнему останавливать на себѣ глаза наблюдателя. Но пусть въ эту оцѣпенѣвшую, застывшую мѣстность заглянетъ солнце, пусть начнется сильная оттепель—и черезъ день вы ее не узнаете; ледяные утесы расплывутся, снѣговые сугробы осадутъ, зашумитъ вода, потекутъ мутные ручьи; органическая жизнь, придавленная долговременнымъ холодомъ, не успѣетъ еще пробиться, но обнаружится движеніе, слышныя шумъ и плескъ воды, и мертвенная тишина ледяного застоя окажется нарушенной, благодаря сильному притоку животельной теплоты. Возьмите другой мелкій примѣръ изъ вседневной жизни. Если вы хотите сохранить кусокъ мяса въ неиспорченномъ видѣ, вы кладете его въ холодное мѣсто. Холодъ останавливаетъ или по крайней мѣрѣ значительно замедляетъ процессъ гніенія.

Гніеніе—ничто иное, какъ одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни въ природѣ. Гниющій



кусокъ мяса разлагается на свои составныя части, поступаетъ въ общую экономію природы, и, облекаясь въ новыя формы, образуя новыя тѣла, продолжаетъ принимать участіе въ общемъ круговоротѣ жизни. Жизнь—ничто иное, какъ движеніе, переходъ изъ формы въ форму, постоянное, неутомимое превращеніе, разрушеніе и созиданіе, слѣдующія другъ за другомъ и вытекающія другъ изъ друга. Задерживая гніеніе куска мяса, холодъ исполняетъ наши желанія; но здѣсь, какъ и вездѣ, онъ задерживаетъ теченіе жизни и сковываетъ ея проявленія. Когда мы беремъ съ ледника сохранившійся кусокъ мяса, когда, приготовивъ его по своему вкусу, мы съѣдаемъ его за обѣдомъ или за завтракомъ, тогда задерживающее дѣйствіе холода прекращается, и мясо, подъ вліяніемъ желудочныхъ кислотъ и теплоты нашихъ пищеварительныхъ органовъ, разлагается, входитъ въ нашу кровь, служитъ къ образованію нашихъ органическихъ тканей и такимъ образомъ снова начинаетъ принимать участіе въ движеніи вещества и въ общемъ процессѣ жизни. Вы видите такимъ образомъ, что и здѣсь движеніе началось вмѣстѣ съ притокомъ теплоты.

Всѣ мы знаемъ изъ физики и изъ всендневной жизни, что дѣйствіе теплоты измѣняетъ форму и свойства тѣлъ, подверженныхъ ея вліянію. Ледъ превращается въ воду, вода превращается въ паръ, металлы становятся мягкими и наконецъ переходятъ въ жидкое состояніе, и всѣ эти измѣненія происходятъ отъ дѣйствія теплоты. Норма этихъ измѣненій для всѣхъ тѣлъ одинакова; твердое тѣло, нагрѣваясь, становится жидкимъ и наконецъ улетучивается въ видѣ газа. Теплота расширяетъ тѣла, т. е. ослабляетъ связь между ихъ атомами; при усиленіи теплоты, связь эта становится такъ слаба, что твердое тѣло растекается; когда теплота становится еще сильнѣе, тогда вмѣсто прежняго плотнаго сѣпленія между атомами является полное разъединеніе, даже взаимное отталкиваніе, и прежняя твердая масса разлетается въ видѣ газа. Мы привыкли видѣть желѣзо въ твердомъ состояніи, ртуть и воду въ жидкомъ, воздухъ въ газообразномъ; мы считаемъ этотъ видъ названныхъ веществъ нормальнымъ и прочнымъ, потому что эти вещества находятся именно въ такомъ видѣ при той температурѣ, при которой намъ удобно и возможно жить. На самомъ же дѣлѣ то или другое вещество находится въ твердомъ, жидкомъ или газообразномъ состояніи, только благодаря количеству теплоты, разлитому въ немъ и вокругъ него. Если-бы мы могли искусственнымъ путемъ производить бесконечно высокую и бесконечно низкую температуру, то мы конечно могли бы получить газообразное желѣзо, жидкій кислородъ, твердый азотъ. Газообразное желѣзо получилось бы при страшномъ жарѣ, а жидкій кислородъ или твердый азотъ—при чрезвычайно сильномъ холодѣ.

Расширяясь отъ дѣйствія теплоты, тѣла стремятся занять большее пространство и слѣдовательно оказываютъ давленіе на все, что ихъ окружаетъ. На этомъ общемъ свойствѣ тѣлъ основано устройство паровыхъ машинъ; по этому же самому свойству порохъ, вспыхивая отъ прикосновенія зажженного фитиля, съ огромной силой вырывается въ видѣ газа изъ дула артиллерійскаго орудія и выбрасываетъ ту чугунную массу, которая мѣшала его выходу. Вода подъ вліяніемъ теплоты постепенно переходитъ изъ одного вида въ другой, постепенно расширяется и усиливаетъ свое давленіе; на этомъ основаніи вода, подверженная дѣйствію теплоты, можетъ при извѣстныхъ предосторожностяхъ быть употреблена, какъ двигательная сила; порохъ напротивъ того, не таетъ, а мгновенно изъ твердаго состоянія переходитъ въ газообразное; по этому расширеніе его совершается такъ быстро и въ такихъ обширныхъ размѣрахъ, что оно ломаетъ и коверкаетъ всѣ препятствія, словомъ производитъ то, что мы называемъ взрывомъ и что водяной паръ можетъ произвести только вслѣдствіе неопытности и оплошности машиниста. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, присутствуя при дѣйствіи паровой машины и при выстрѣлѣ изъ орудія, мы видимъ, что вліяніе теплоты развиваетъ извѣстное количество механической силы.

Теоретическая физика въ новѣйшее время открыла одинъ изъ важнѣйшихъ міровыхъ законовъ—законъ сохраненія или неразрушимости силы. Сохраненіе или неразрушимость силы заключается въ томъ, что ни въ какомъ случаѣ никакая сила не уничтожается и не возникаетъ вновь. Передъ нашими глазами совершается постоянно переходъ силы изъ одной формы въ другую; какъ ни одна частица матеріи не пропадаетъ и не уничтожается, а только видоизмѣняется, такъ точно ни одна частица какой бы то ни было силы не утрачивается, а только принимаетъ иногда такую форму, которая скрываетъ ее отъ нашего наблюденія. «Механическая, химическая, электрическая, магнетическая сила, теплота, свѣтъ превращаются другъ въ друга: величина или количество силы остается неизмѣненнымъ, не смотря на то, что самая сила проявляется въ той или въ другой формѣ». Мы уже видѣли, говоря о паровыхъ машинахъ, какимъ образомъ теплота превращается въ механическую силу. Точно также и механическая сила способна превращаться въ теплоту. Дикари добываютъ огонь, разгорячая два куска дерева посредствомъ сильнаго тренія.

Пила, которою работаетъ дюжій ремесленникъ, разогрѣвается вслѣдствіе тренія такъ сильно, что можетъ обжечь руку своимъ прикосновеніемъ; въ Мюнхенѣ, на литейномъ заводѣ производились опыты, которые доказали, что, безъ внѣшняго нагрѣванія, однимъ треніемъ машины можно довести воду до точки кипѣнія. Темпера-



тура воды возвышается даже отъ взмѣшиванія и взбалтыванія. Силою падающей воды или дѣйствіемъ вѣтра можно натопить цѣлую комнату, если приложить эти силы къ вращенію большого деревяннаго цилиндра въ металлическомъ поломъ цилиндрѣ, тѣсно прилегающемъ къ первому. Это отопленіе будетъ происходить такимъ образомъ: металлическій цилиндръ накалится отъ сильнаго тренія и, подобно желѣзной печи, будетъ выдѣлять въ окружающіе слои воздуха количество теплоты, соразмѣрное съ силою тренія, съ величиною обоихъ цилиндровъ и съ продолжительностью движенія всего снаряда. Каждому извѣстно, что оси экипажныхъ колесъ дымятся и обугливаются вслѣдствіе скорой и продолжительной ѣзды, особенно въ томъ случаѣ, если между осью и втулкой нѣтъ вещества, ослабляющаго треніе, т. е. говоря простымъ языкомъ, если колеса не смазаны. Кузнецы умѣютъ ударами молотка довести гвоздь до раскаленнаго состоянія. Ледъ, сдавленный гидравлическимъ прессомъ, превращается въ воду, потому что сила давленія порождаетъ то количество теплоты, которое необходимо для того, чтобы растопить ледъ.

Всѣ эти примѣры сводятся къ одному общему положенію: каждой механической работѣ соотвѣтствуетъ извѣстное количество теплоты; когда теплота производитъ механическую работу, тогда исчезаетъ извѣстное количество теплоты, соотвѣтствующее произведенной работѣ; потративъ вновь эту же самую работу, можно произвести то же количество теплоты. Машинистъ разводитъ огонь подъ котломъ паровой машины; дрова горятъ яркимъ пламенемъ, слѣдовательно то количество теплоты, которое въ нихъ заключается, истрачивается; вы думаете, что эта теплота пропала? Ошибаетесь. Вода превращается въ паръ, слѣдовательно теплота выражается въ формѣ движенія и видоизмѣненія вещества; паровая машина приходитъ въ движеніе, слѣдовательно теплота превращается въ механическую работу; вслѣдствіе этой механической работы разогрѣваются тѣ части машины, въ которыхъ происходитъ треніе, слѣдовательно работа опять превращается въ теплоту, которая въ свою очередь можетъ быть превращена въ работу и т. д. до безконечности.

Законъ неразрушимости силы имѣетъ свое несомнѣнное и огромное значеніе какъ теоретическое положеніе, какъ одинъ изъ краеугольныхъ камней рациональнаго міросозерцанія. Практическое примѣненіе этого закона не всегда возможно.

Ясно какъ день, что въ природѣ не пропадаетъ ни одинъ клочекъ матеріи, ни одна частичка силы, но той простой причинѣ, что имъ некуда пропасть, некуда вывалиться изъ этого безпредѣльнаго ящика. Но точно также ясно и то, что для насъ, для нашихъ цѣлей, интересовъ и по-

требностей ежедневно и ежеминутно пропадаетъ и матерія, и сила. Если вы прольете на полъ рюмку вина, которую вы несете къ губамъ, то она для васъ пропала, хотя природа конечно не потеряла отъ этого ни одного атома. Если у васъ горитъ лѣсъ, то для васъ пропадаетъ то количество теплоты, которое заключалось въ деревьяхъ, пропадаетъ, не смотря на то, что воздухъ, окружающій вашъ сгорѣвшій лѣсъ, оказывается нагрѣтымъ въ значительной степени; возвышенная температура этого воздуха производитъ движеніе въ воздухѣ—вѣтеръ; слѣдовательно, въ природѣ неразрушимость силы остается существующимъ фактомъ. Лѣсъ вашъ сгорѣлъ, воздухъ нагрѣлся, поднялся вѣтеръ. Химическое измѣненіе дерева породило теплоту, теплота породила движеніе. Это васъ однако нисколько не утѣшаетъ, и вы спрашиваете съ оттѣнкомъ досады: да для чего же все это? Кому это нужно? Кому отъ этого польза?—Для чего? Съ такимъ вопросомъ смѣшно даже обращаться къ явленіямъ природы. Ставить ей какія бы то ни было требованія, значить сходитьсь въ міросозерцаніи съ Ксерксомъ, бичевавшимъ Дарданельскій проливъ за поднявшуюся на немъ бурю. Въ такомъ міросозерцаніи можетъ быть много поэзіи, но очень мало здраваго смысла. О сгорѣвшемъ лѣсѣ можно пожалѣть, какъ можно пожалѣть о проигранныхъ деньгахъ, но отождествлять свои интересы съ интересами природы нелѣпо; природа не сдѣлается бѣднѣе отъ какого нибудь пожара или наводненія, потому что всѣ частицы сгорѣшаго лѣса или затопленной земли остаются по прежнему въ полномъ и безотчетномъ ея распоряженіи. Ваше личное положеніе, положеніе милліоновъ людей можетъ сдѣлаться бѣдственнымъ и невыносимымъ, но природѣ до этого обстоятельства нѣтъ и не можетъ быть никакого дѣла. Вамъ хорошо жить—живите, не можете жить—умирайте, и она сейчасъ же распорядится съ составными элементами вашего тѣла.

Я позволилъ себѣ это отступленіе единственно для того, чтобы сдѣлать разграниченіе между жизнью природы и нашей человѣческой жизнью, изъ которой мы такъ часто, совершенно не впадъ, выхватываемъ мѣрки, прилагаемыя нами къ оцѣнкѣ физическихъ явленій. Природу надо изучать, а мы вмѣсто того становимся къ ней въ разныя патетическія отношенія, тратимъ время на возгласы, отуманиваемъ свой мозгъ разными фантазмагоріями, въ которыхъ одни люди находятъ красоту, другіе отраду, третьи даже смыслъ и послѣдовательность. Пора однако возвратиться къ теплотѣ.

Конечный источникъ всѣхъ силъ, дѣйствующихъ на землѣ, всякой дѣятельности, проявляющейся на нашей планетѣ, заключается въ лучахъ солнца; они льютъ на землю свѣтъ и теплоту, они производятъ движеніе воды въ океанахъ и озерахъ, въ рѣкахъ и бассейнахъ; они подни-



мають въ воздухѣ водяные пары, порождаютъ облака, служатъ причиной дождя, града, снѣга; они производятъ теченія въ атмосферѣ или вѣтры; они вызываютъ изъ земли растительную жизнь и поддерживаютъ эту жизнь вліяніемъ свѣта и теплоты; они орошаютъ луга, поля, лѣса потоками той воды, которая при ихъ содѣйствіи поднимается въ видѣ паровъ и носится въ воздухѣ подъ названіями тучъ, тумановъ и облаковъ.

Животныя и люди, существующіе по милости солнечныхъ лучей, обращаютъ въ свою пользу ихъ вліяніе на почву и растительность. Травоядные питаются растеніями, не спрашивая о причинѣ ихъ происхожденія; плотоядные пожираютъ травоядныхъ, не заботясь о ихъ разведеніи; человѣкъ оказывается смышленѣе тѣхъ и другихъ: онъ не довольствуется тѣмъ, что нечаянно перепадаетъ на его долю; онъ пользуется силами и движеніями, возникающими подъ живительнымъ вліяніемъ солнечныхъ лучей; онъ ловитъ тѣ формы матеріи и силы, которыя кажутся ему удобными; онъ принимаетъ свои мѣры, для того чтобы эти удобныя формы сохранялись какъ можно долѣе или измѣнялись именно тогда, когда ему это необходимо. Онъ сохраняетъ запасы дерева и сжигаетъ ихъ тогда, когда теплота солнечныхъ лучей оказывается недостаточной; онъ ловитъ вѣтеръ и по вѣтру распускаетъ паруса своего корабля или направляетъ крылья своей вѣтряной мельницы; онъ бросаетъ въ землю сѣмена растеній, рассчитывая время такъ, чтобы растеніе успѣло вырѣсти и принести плоды раньше наступленія холода. Не создавая въ природѣ новыхъ силъ, человѣкъ пользуется существующимъ капиталомъ и примѣняется къ неизмѣняемымъ физическимъ законамъ. Во всѣхъ случаяхъ, во всѣхъ отрасляхъ своей дѣятельности онъ постоянно, посредственно или непосредственно эксплуатируетъ вліяніе солнечныхъ лучей. «Сила, говоритъ Бюхнеръ, съ которою локомотивъ несется по рельсамъ, есть капля солнечной теплоты, заключенная въ растеніяхъ силами природы за милліоны лѣтъ тому назадъ и въ настоящую минуту превращенная въ механическую работу посредствомъ машины, приготовленной рукою человѣка».

Еслибы солнце перестало согрѣвать и освѣщать землю, то наша планета въ самое короткое время превратилась бы въ ледяную глыбу; растительность исчезла бы немедленно; вмѣстѣ съ растительностью погибли бы тѣ животныя, которыя не защищены рукою человѣка и сами по себѣ не способны согрѣваться искусственно произведенною теплотой. Человѣкъ нѣсколько времени боролся бы съ природой, запираясь въ своихъ домахъ, отапливая ихъ мерзлыми остатками растительнаго царства, защищая своихъ домашнихъ животныхъ отъ разрушительнаго дѣйствія холода и питаясь набранными запасами. Но этихъ искусственныхъ средствъ хватило

бы не надолго; холодъ и голодъ погубили бы человѣка вслѣдъ за другими животными, органическая жизнь остановилась бы окончательно, и замерзшая земля превратилась бы въ страшную, громадную пустыню.

Отдавая себѣ такимъ образомъ ясный отчетъ въ томъ всеобъемлющемъ вліяніи, которое солнечная теплота оказываетъ на всѣ отправленія нашей жизни, мы будемъ въ состояніи понять, почему первобытные народы, не слыхавшіе ученія объ истинномъ *Боге*, поклонялись солнцу и огню, который они считали земнымъ отраженіемъ небеснаго свѣтила. Первобытныя религіи основаны на обоготвореніи силъ природы и выражаютъ собою міросозерцаніе народа въ томъ періодѣ, въ которомъ философія и наука были неразлучны съ поэзіей и въ которомъ идея представлялась уму не иначе, какъ въ яркомъ, фантастически разукрашенномъ образѣ. Правильный инстинктъ первобытнаго человѣка указалъ ему на ту важную роль, которую въ нашей жизни играетъ солнце; человѣкъ угадалъ связь, существующую между появленіемъ солнца на небосклонѣ и процвѣтаніемъ органической жизни на землѣ; онъ понялъ свою зависимость отъ климатическихъ измѣненій, обусловливающихъ дѣйствіемъ солнца; впечатлительный какъ ребенокъ, онъ упалъ на колѣни передъ источникомъ жизни и наслажденія; онъ заговорилъ съ нимъ своимъ языкомъ, онъ думалъ умиловитъ его мольбами и жертвами, а солнце обливало его по прежнему своимъ безучастнымъ свѣтомъ и согрѣвало его также безознательно и произвольно, какъ согрѣвало какую нибудь полевою мышъ или безчувственный камень.

#### V.

Когда мы прикасаемся рукою къ какому нибудь предмету, то чувствуемъ, что онъ тепелъ или холоденъ; мы различаемъ эти два понятія въ разговорномъ языкѣ и даже считаемъ ихъ діаметрально противоположными; на самомъ же дѣлѣ этой противоположности не существуетъ; между горячимъ и холоднымъ предметомъ существуетъ только количественное различіе; въ горячемъ предметѣ находится больше теплоты, чѣмъ въ нашей рукѣ, въ холодномъ—меньше; когда мы дотрогиваемся до горячаго предмета, то теплота изъ этого предмета проникаетъ въ нашу руку; если же мы кладемъ руку на холодный предметъ, то теплота изъ нашей руки переходитъ въ этотъ предметъ, и мы чувствуемъ потерю теплоты точно также, какъ въ первомъ случаѣ чувствуемъ приращеніе теплоты въ нашемъ собственномъ тѣлѣ. Такимъ образомъ, судя о температурѣ окружающихъ предметовъ, называя каленое желѣзо горячимъ, а ледъ—холоднымъ, мы только выражаемъ отношеніе, въ которомъ находится теплота этихъ предметовъ къ теплотѣ нашего тѣла.



Средняя температура нашего тѣла колеблется между 28 и 30 градусами Реомюра; эта температура не можетъ быть ни возвышена, ни понижена, не подвергая опасности здоровья и даже жизни; на поверхности нашего тѣла, особенно въ оконечностяхъ и въ тѣхъ частяхъ, которыя не покрыты платьемъ, эта температура подвержена значительнымъ измѣненіямъ, не представляющимъ ни малѣйшей опасности. Лицо, руки и ноги человѣка, пробывшаго около часу на открытомъ воздухѣ въ зимнее время, будутъ очень холодны, когда онъ возвратится въ комнату; потомъ, когда кровь опять прильетъ въ волосные сосуды, сжавшіеся отъ дѣйствія холода, лицо, руки и ноги сдѣлаются теплѣе, чѣмъ они были до выхода на улицу; каждый изъ моихъ читателей вѣроятно испыталъ на себѣ, какъ горитъ лицо при переходѣ изъ холоднаго воздуха въ болѣе теплый; эти измѣненія температуры, быстро слѣдующія другъ за другомъ, нисколько не вредятъ нашему здоровью, если они проявляются только въ нашей кожѣ и въ оконечностяхъ тѣла. Что же касается до степени теплоты нашей крови и нашихъ внутреннихъ частей, то она не можетъ измѣняться, не подвергая насъ опаснымъ болѣзнямъ, или не являясь слѣдствіемъ подобныхъ болѣзней.

Положимъ, говорить Льюисъ въ своей «Физиологіи обыденной жизни», что въ комнатѣ виситъ птичья клѣтка. Атмосфера комнаты измѣняетъ степень своей теплоты, смотря по времени года и по свойствамъ каждаго отдѣльнаго дня. Лучи лѣтняго солнца и холодный сѣверный вѣтеръ проникаютъ въ комнату и измѣняютъ температуру тѣхъ мѣдныхъ прутьевъ, изъ которыхъ составлена клѣтка. Но въ это время птица, сидящая въ клѣткѣ, не становится ни теплѣе, ни холоднѣе. Ни лучи августовскаго солнца, ни пронзительный декабрьскій вѣтеръ не увеличиваютъ ея нормальной теплоты, которая вообще можетъ измѣниться только на одинъ или на два градуса. Какимъ образомъ, спрашиваетъ Льюисъ, можетъ птица, подверженная вѣшнему вліянію измѣнчивой температуры, постоянно сохранять такую высокую степень собственной теплоты?

На этотъ вопросъ можно дать слѣдующій прямой отвѣтъ: каждый живой организмъ заключаетъ въ себѣ источникъ самостоятельно развивающейся теплоты. Такого рода отвѣтъ обобщаетъ вопросъ, поставленный Льюисомъ, но конечно нисколько не рѣшаетъ предложенной задачи. Мы видимъ, что всѣ организмы развиваютъ въ себѣ извѣстную степень теплоты; надо теперь объяснить, какимъ образомъ совершается въ организмахъ этотъ замѣчательный процессъ.

Когда признавали существованіе особенной, необъяснимой жизненной силы, тогда на ея широкія плечи сваливались всѣ тѣ явленія, которыя изслѣдователи не могли объяснить себѣ вѣдствіемъ незнанія фактовъ или лѣности мысли.

Вмѣстѣ съ другими процессами былъ отправленъ въ обширную область жизненной силы и процессъ развитія органической теплоты. Нѣкоторые физиологи, совѣстившіеся прикрывать свое незнаніе избытой вывѣской жизненной силы, пытались доказать, что животная теплота есть слѣдствіе таинственной дѣятельности нервовъ. И тѣ, и другіе витали въ области гипотезъ и не могли привести въ подтвержденіе своихъ догадокъ ни одного факта, выдерживающаго серьезную, научную критику.

Въ концѣ XVIII столѣтія атмосферный воздухъ былъ разложенъ на свои составныя части, и ученые того времени узнали замѣчательныя свойства кислорода. Открытіе кислорода повело къ пониманію процесса горѣнія. Изслѣдователи убѣдились въ томъ, что всякое горѣніе есть ничто иное какъ окисленіе какого нибудь тѣла или соединеніе его съ кислородомъ; когда какое нибудь тѣло соединяется съ кислородомъ, то оно сгораетъ и развиваетъ извѣстную степень теплоты; какъ бы не совершалось это соединеніе, медленно или быстро, съ пламенемъ или безъ пламени, оно все-таки сопровождается извѣстной степенью теплоты, хотя иногда эта теплота развивается такъ медленно, что мы не можемъ убѣдиться въ ея существованіи ни непосредственнымъ чувствомъ, ни термометромъ.

Узнавши о существованіи кислорода, ученые прошлаго столѣтія узнали также, что кислородъ необходимъ для поддержанія животной жизни, и что процессъ дыханія заключается именно въ поглощеніи кислорода, проникающаго въ легкія и соединяющагося съ кровью. Кислородъ соединяется съ кровью, и всякое соединеніе съ кислородомъ есть горѣніе медленное или быстрое, неразлучное съ развитіемъ большей или меньшей степени теплоты. Такого рода мысль еще въ концѣ XVIII вѣка пришла въ голову французскимъ ученымъ Лавуазье и Лапласу. Съ ними сошлись на этой идеѣ англичане Блекъ и Крофордъ, и животная теплота была объяснена этими изслѣдователями, какъ слѣдствіе горѣнія, совершающагося внутри организма. Въ двадцатыхъ годахъ нашего столѣтія французы Дюлонгъ и Депрецъ дали этой идеѣ исполнѣ научную обработку; кромѣ того, знаменитый нѣмецкій химикъ Либихъ посвятилъ вопросу о животной теплотѣ самыя тщательныя изслѣдованія и дошелъ до того заключенія, что большая часть теплоты, развивающейся въ тѣлѣ животнаго, происходитъ отъ сожженія углерода и водорода въ углекислоту и въ воду. Углеродъ и водородъ заключаются въ самомъ организмѣ, а кислородъ притекаетъ изъ атмосфернаго воздуха и, соединяясь съ этими элементами, образуетъ, какъ результаты горѣнія, углекислоту и воду.

Кислородъ черезъ легкія входитъ въ наше тѣло; въ легкихъ онъ соединяется съ кровью; кровь, насыщенная кислородомъ, идетъ во всѣ



части нашего тѣла и несетъ съ собой то количество кислорода, которое, соединяясь съ органическими тканями и пережигая ихъ, развиваетъ во всѣхъ частяхъ тѣла животнаго теплоту и потомъ выдѣляется вмѣстѣ съ пережженными веществами въ видѣ углекислоты, аммоніака и воды. Поэтому животная теплота порождается не въ однихъ легкихъ, но во всякомъ мѣстѣ, въ которомъ кислородъ соприкасается съ другими веществами, способными окисляться. Притокъ кислорода въ легкія можно сравнить съ той тягой воздуха, которая необходима для того, чтобы поддерживать горѣніе дровъ въ печи. Тяга эта необходима для развитія теплоты въ печкѣ, но теплота развивается не въ томъ мѣстѣ, въ которомъ воздухъ вливается въ печку, а въ томъ, въ которомъ кислородъ этого воздуха соединяется съ углеродомъ горящаго дерева. Такъ точно и животная теплота развивается не въ самыхъ легкихъ, представляющихъ только дверь для прохода атмосфернаго воздуха, а во всѣхъ частяхъ нашего тѣла, вездѣ, гдѣ совершается горѣніе, вездѣ, гдѣ кислородъ, заключенный въ крови, соединяется съ углеродомъ и водородомъ прилегающихъ тканей.

Постоянный обмѣнъ веществъ, составляющихъ ткани нашего тѣла, постоянное созиданіе и разрушеніе этихъ тканей при содѣйствіи атмосфернаго кислорода, являются такимъ образомъ главными и даже единственными причинами животной теплоты. Чѣмъ быстрѣе совершается этотъ обмѣнъ веществъ, тѣмъ сильнѣе развивается теплота; чѣмъ медленнѣе онъ происходитъ, тѣмъ слабѣе вырабатывается теплота. Надъ кроликами производился слѣдующій любопытный опытъ. Кролика обрили и вымазали лакомъ, не пропускающимъ воздуха; повидимому слѣдовало бы ожидать, что кролику будетъ очень тепло, потому что воздухъ не будетъ касаться его тонкой, обнаженной кожи. Вышло однако совершенно наоборотъ; теплота кролика быстро понизилась на 14, потомъ даже на 18 градусовъ, и вслѣдъ за тѣмъ, похолодѣвши заживо, кроликъ околѣлъ. Почему же такъ случилось? А потому, что лакъ закрылъ поры кожи, и потому черезъ эти поры не могли выдѣляться ни газообразныя, ни жидкія испаренія. Пережженные вещества, выдѣляющіяся чрезъ кожу, должны были оставаться въ тѣлѣ кролика и своимъ накопленіемъ замедлили общій обмѣнъ веществъ, служащій источникомъ всякой животной теплоты. Смерть вымазаннаго кролика можетъ быть замедлена только притокомъ теплоты изъ окружающаго воздуха; въ холодной комнатѣ кроликъ умираетъ скорѣе, чѣмъ въ теплой. Животныя, умирающія отъ голода, также живутъ дольше въ искусственно нагрѣтомъ воздухѣ.

Чтобы поддерживать въ нашемъ тѣлѣ то горѣніе, которое производитъ животную теплоту, мы должны постоянно принимать въ себя по-

стороннія вещества, которыя пережигаются въ нашей крови послѣ своего предварительнаго превращенія въ органическія ткани. Эти постоянныя вещества, называющіяся общимъ именемъ пищи—различными процессами, совершающимися въ нашемъ тѣлѣ, перерабатываются въ плоть и кровь и развиваютъ силу теплоты, электричество, необходимое для нервовъ, механическую силу, проявляющуюся въ мускулахъ, и ту особенную, неизслѣдованную силу, которой отправления происходятъ въ мозгу. Пища и кислородъ, постоянно созидающій и постоянно разрушающій, составляютъ, по мнѣнію Мошотта, единственные источники тѣхъ силъ, которыя обнаруживаются въ нашемъ тѣлѣ. Это мнѣніе можетъ быть принято какъ осязательная и неопровержимая научная аксіома.

Теплота нашего тѣла измѣняется періодически, смотря по возрасту человѣка, смотря по занятіямъ и по времени дня. У ребенка обмѣнъ веществъ совершается быстрѣе, чѣмъ у взрослого, и потому тѣло его обыкновенно на одинъ градусъ теплѣе. У старика обмѣнъ веществъ производится медленнѣе, чѣмъ у мушны среднихъ лѣтъ, и соразмѣрно съ этимъ тѣло его на одинъ градусъ холоднѣе.

Движеніе, гимнастическія упражненія, работа, бѣгаше ускоряютъ обмѣнъ веществъ и вмѣстѣ съ тѣмъ возвышаютъ температуру. Ускоряя горѣніе органическихъ тканей, механическая работа увеличиваетъ потребность въ пищѣ, усиливаетъ аппетитъ. Чѣмъ больше расходъ, тѣмъ больше долженъ быть и приходъ, иначе нельзя будетъ свести концы съ концами, и организмъ рано или поздно обанкротится. Въ жизни это явленіе очень обыкновенное. Тѣ сословія, которыя всего болѣе напрягаютъ свои физическія силы, питаются самою дешевою и, вслѣдствіе этого, самою не питательною пищею. Пролетарій, работающій съ утра до вечера, выбивающійся изъ силъ, изнемогающій подъ тяжестью труда, нуждается въ хорошемъ кускѣ мяса, въ питательномъ бульонѣ, въ долговременномъ отдохновеніи, а на повѣрку оказывается, что этому человѣку, растрачивающему свои силы съ вынужденной расточительностью, приходится набивать желудокъ хлѣбомъ, капустой и картофелемъ, приходится спать кое-какъ, въ промежутки между работами, безъ хорошей постели, безъ теплаго одѣяла. Послѣдствія такого образа жизни предсказать не трудно. Преждевременная дряхлость и частыя болѣзни, безотрадная жизнь и ранняя смерть—вотъ что достается на долю голоднаго бѣдняка, работающаго черезъ силу. «Голодъ и холодъ, говоритъ Бюхнеръ, величайшіе враги человѣчества, непрерывно работающіе надъ гибелью отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ обществъ и всегда достигающіе своей цѣли тамъ, гдѣ изнутри или снаружи не можетъ быть противопоставлено достаточное сопротивленіе».



На этой мысли нѣмецкій фізіологъ сходитсѣ съ замѣчательнымъ русскимъ поэтомъ:

Голодно, странничекъ, голодно,  
Голодно, родименькій, голодно

отвѣчаютъ прохожему въ «Коробейникахъ» Некрасова дуга, звѣри и мужики, у которыхъ этотъ прохожій спрашиваетъ причину ихъ бѣдствій и горестей. Этотъ страшный по своей простотѣ отвѣтъ смѣняется другимъ отвѣтомъ, не менѣе выразительнымъ:

Холодно, странничекъ, холодно,  
Холодно, родименькій, холодно.

И въ этихъ двухъ отвѣтахъ сказано столько, сколько не выразишь десятиями поэмами.

Голодь и холодъ! Этими двумя простыми причинами объясняются всѣ дѣйствительныя страданія человѣчества, всѣ тревоги его исторической жизни, всѣ преступленія отдѣльных лицъ, вся безнравственность общественныхъ отношеній. Вглядитесь въ дѣло внимательно и безъ предубѣжденія, и вы увидите, что въ этой мысли нѣтъ ничего преувеличеннаго.

Я сказалъ выше, что температура нашего тѣла измѣняется періодически втеченіи сутокъ. Утромъ, когда мы просыпаемся, она возвышается и достигаетъ высшей степени послѣ обѣда, во время пищеваренія. Къ вечеру она понижается и доходитъ до низшей степени во время сна, послѣ полуночи. Когда мы спимъ, процессы дыханія, кровообращенія и обмѣна веществъ, вообще совершаются гораздо медленнѣе, чѣмъ тогда, когда мы бодрствуемъ. Вслѣдствіе этого температура нашего тѣла понижается, и мы на этомъ основаніи принуждены ночью покрываться теплѣе, чѣмъ покрываемся днемъ. Ночью всего легче простудиться, и поэтому слѣдуетъ особенно беречься ночью сквозного вѣтра, прикосновенія къ холоднымъ предметамъ, вліянія сырости и т. п. Кто ляжетъ спать на тюфякъ, принесенномъ съ морозу, тотъ навѣрное можетъ рассчитывать на сильную простуду и на опасную болѣзнь. Люди не умѣющие противиться тому желанію заснуть, которое проявляется почти всегда подъ вліяніемъ сильнаго холода, обыкновенно замерзаютъ, потому что во время сна тѣло не вырабатываетъ достаточнаго количества собственной теплоты и слѣдовательно не можетъ бороться съ тѣмъ морозомъ, дѣйствіе котораго оно переносило во время бодрствованія.

Для того, чтобы организмъ взрослого человѣка находился въ нормальномъ положеніи, чтобы тѣло не увеличивалось и не уменьшалось въ вѣсѣ, не заплывало жиромъ и не доходило до худобы, необходимо соблюдать равновѣсіе между количествомъ принимаемой пищи и быстротою горѣнія органическихъ тканей. Мы видѣли выше, что пролетаріи сжигаютъ больше, чѣмъ сколько они принимаютъ извнѣ, и потому постепенно разрушаютъ свое собственное тѣло. Богатый человѣкъ, проводящій время въ бездѣйствіи, поступаетъ

совершенно наоборотъ; онъ принимаетъ въ себя больше, чѣмъ сколько можетъ сжечь и накопить такимъ образомъ бесполезные и обременительные запасы жира. Такой образъ жизни не можетъ быть названъ правильнымъ и неизбѣжно ведетъ за собою разныя неудобства, непріятности и болѣзни, напр. уменьшеніе аппетита, разслабленіе желудка, расположеніе къ апоплексическому удару. Нормальный образъ жизни ведетъ тотъ человѣкъ, который, наѣдаясь до сыта, работаетъ по мѣрѣ силъ; въ этомъ отношеніи умственная работа также полезна, какъ и механическая; дѣятельность мозга, подобно физическому движенію, возвышаетъ температуру тѣла и ускоряетъ процессъ горѣнія. Ученый, просидѣвшій нѣсколько часовъ за такою работой, которая требуетъ напряженія его мыслительной дѣятельности, чувствуетъ сильный аппетитъ, подобный аппетиту поденщика, коловшаго дрова или носившаго воду.

Зимой и лѣтомъ, въ холодный и въ теплый день, температура здороваго человѣка остается неизмѣненною. Между тѣмъ лѣтомъ человѣкъ не тратитъ такъ много теплоты, какъ зимой; холодный воздухъ быстро уноситъ теплоту человеческого тѣла, и потому необходимо, чтобы этой теплоты вырабатывалось больше. Дѣйствительно, процессъ горѣнія и развитія животной теплоты усиливается въ холодное время. Человѣкъ и животное начинаютъ дышать глубже и чаще; это ускореніе совершается вѣроятно вслѣдствіе дѣйствія нервовъ на кровеносные сосуды; оно происходитъ помимо воли самого недѣлимаго, такъ что путешественники, побывавшіе около полюсовъ и испытавшіе дѣйствіе сильнѣйшаго холода, говорятъ, что у нихъ утомлялись легкія и какъ будто разрывалась грудь отъ усиленнаго дыханія. У людей и животныхъ, живущихъ въ холодномъ климатѣ, грудная клѣтка бываетъ особенно развита, и легкія отличаются значительной величиной. Но, если ускоренное дыханіе ведетъ за собой ускоренное горѣніе, то необходимо, чтобы это горѣніе постоянно находило себѣ достаточно горячаго матеріала. Необходимо слѣдовательно, чтобы во время холода человѣкъ или животное съѣдали больше пищи, чѣмъ во время жара. Такъ и бываетъ. Аппетитъ усиливается зимою. Въ теплыхъ климатахъ достаточно 24 лотовъ питательной пищи въ день, чтобы поддерживать существованіе человѣка, а въ болѣе холодныхъ земляхъ для этого необходимо по крайней мѣрѣ 40 лотовъ питательной пищи. Неаполитанскій лаццарони питается макаронами и плодами и съѣдаетъ такое незначительное количество пищи, какимъ никакъ не могъ бы прокормиться нашъ простолюдинъ. Эскимосы съѣдаютъ ежедневно по 10 фунтовъ мяса и по 5 фунтовъ сала или китоваго жира. Жители Исландіи, лапландцы и самоѣды изумляютъ путешественниковъ своимъ пристрастіемъ къ салу и къ



жиру, который они пожираютъ въ огромномъ количествѣ, не обращая вниманія ни на вкусъ, ни на запахъ, ни на степень свѣжести. Это пристрастіе имѣетъ свои физиологическія причины. Жиръ, какъ вещество, заключающее въ себѣ очень мало кислорода и очень много углерода и водорода, отлично поддерживаетъ органическій процессъ горѣнія точно также, какъ онъ отлично поддерживаетъ горѣніе лампы. Жиръ горитъ долго и своимъ горѣніемъ производитъ сильную теплоту; поэтому жиръ болѣе чѣмъ какое либо другое вещество приносить пользу жителямъ полярныхъ земель; онъ даетъ имъ возможность развѣивать то значительное количество животной теплоты, которое необходимо имъ, чтобы уравновѣсить охлаждающее дѣйствіе сильныхъ и продолжительныхъ морозовъ.

Въ холодномъ климатѣ желудокъ усиливаетъ свою дѣятельность и одолѣваетъ такое количество пищи, которое могло бы разстроить его отправленія въ теплой странѣ. Путешественники, отправившіеся отыскивать остатки франклиновой экспедиціи, изумлялись тому невообразимому количеству мяса и сала, съ которымъ справлялись ихъ желудки подъ вліяніемъ полярнаго холода. Лѣтомъ или вообще въ тепломъ климатѣ выдѣленіе углекислоты уменьшается, весь обмѣнъ веществъ становится медленнѣе, аппетитъ уменьшается, и пищевареніе становится менѣе энергичнымъ. Бедуинъ отправляется въ дальнюю дорогу съ мѣшкомъ финиковъ подъ сѣдельной дугой. Отантининъ круглый годъ питается плодами своего хлѣбнаго дерева. Французы находятъ, что можно позавтракать, ограничиваясь салатомъ, орѣхами или каштанами. Подобная воздержность для насъ, жителей сѣвера, также непонятна, какъ и прожорливость гренландцевъ или самоѣдовъ.

Не всѣ животныя обладаютъ, подобно человеку, способностью усиливать или уменьшать выработываніе животной теплоты, смотря по свойствамъ окружающей температуры. Этой способности, заключающейся вѣроятно въ особенномъ устройствѣ нервовъ, нѣтъ у такъ называемыхъ *холоднокровныхъ* животныхъ: у змѣй, у лягушекъ, у рыбъ и т. п. Теплота этихъ животныхъ упадаетъ и возвышается вмѣстѣ съ окружающей температурой; это не нарушаетъ ихъ здоровья. При извѣстномъ охлажденіи они впадаютъ въ оцѣпенѣніе, которое проходитъ отъ дѣйствія теплоты. Говорятъ даже, что гусеницы, жабы и даже нѣкоторыя породы рыбъ, совершенно окоченѣвшія и затвердѣвшія отъ холода, оживаютъ, когда ихъ положить въ теплое мѣсто. Напротивъ того, всѣ млекопитающія и птицы умираютъ при извѣстной степени охлажденія и до послѣдней возможности борются противъ охлаждающаго дѣйствія вѣшней температуры. Даже тѣ животныя, которыя зимою засыпаютъ и которыя во время своего сна теряютъ значитель-

ную часть своей теплоты, не выносятъ охлажденія до нуля, т. е. до точки замерзанія воды.

Способность примѣняться къ окружающей температурѣ развивается постепенно вмѣстѣ съ другими силами животнаго. «Молодые воробьи, говоритъ Льюисъ, выпутые изъ гнѣзда, въ которомъ ихъ согрѣвала мать, при умѣренной температурѣ потеряли очень быстро около 11 градусовъ по Цельсію своей теплоты, такъ что ихъ тѣло оказалось только на полтора градуса теплѣе окружающаго воздуха». Вообще, чѣмъ моложе животное, тѣмъ менѣе оно способно сопротивляться холоду быстрымъ усиленіемъ внутренней теплоты. За то для молодого животнаго перемены внутренней температуры не такъ опасны, какъ для взрослаго. Кромѣ того, способность сопротивляться измѣненіямъ вѣшней температуры даже у взрослыхъ животныхъ измѣняется вмѣстѣ съ временами года. Первый жаркій весенній день дѣйствуетъ на насъ сильнѣе, чѣмъ знойные дни іюля или августа. Точно также утренній морозъ, являющійся лѣтомъ или раннею осенью, кажется намъ гораздо холоднѣе такого же зимняго мороза. Опыты и наблюденія надъ животными показали, что они лѣтомъ при одинаковомъ градусѣ холода теряютъ больше внутренней теплоты, чѣмъ зимой. Организмъ привыкаетъ въ извѣстное время доставлять извѣстное количество теплоты. Потомъ, когда окружающая температура постепенно сдѣлается выше (при переходѣ отъ зимы къ веснѣ) или ниже (отъ осени къ зимѣ), то и организмъ постепенно перемѣняетъ свою дѣятельность. Если же онъ вдругъ почувствуетъ сильное измѣненіе, онъ не успѣваетъ приготовиться, и вы испытаете то непріятное ощущеніе, которое причиняетъ даже здоровому человѣку внезапная перемѣна погоды. Кто живетъ въ Петербургѣ, тотъ знаетъ, чего стоятъ эти перемѣны, и какое громадное количество кашлей, насморковъ, ревматизмовъ и разнообразныхъ простудъ носится въ воздухѣ при быстрыхъ переходахъ отъ оттепели къ морозу и отъ мороза къ оттепели.

Изъ всего, что было говорено выше о животной теплотѣ, видно, что количество этой теплоты, постоянно выдѣляющееся изъ тѣла, очень значительно. По вычисленіямъ нѣмецкаго физиолога Бишофа, оказывается, что взрослый человѣкъ втеченіи 24-хъ часовъ выдѣляетъ такое количество теплоты, которое можетъ довести до кипѣнія 80 фунтовъ воды холодной какъ ледъ. Рождается вопросъ, на что же затрачивается это значительное количество теплоты?

Во-первыхъ она употребляется на то, чтобы сообщать пищу и питью, входящимъ въ наше тѣло, ту температуру, въ которой находятся наши внутренности. Всѣ холодные предметы, употребляемые въ пищу, согрѣваются въ желудкѣ и въ кишкахъ и такимъ образомъ непосредственно отнимаютъ у насъ нѣкоторую часть



нашей теплоты. Испражнения наши, при выхождѣ изъ тѣла, представляютъ температуру отъ 29 до 30 градусовъ по Реомюру, и уносятъ съ собою отъ 2 до 3 процентовъ всего количества тратящейся теплоты.

Воздухъ, проникающій въ наши легкія при дыханіи, обыкновенно бываетъ гораздо холоднѣе нашего тѣла; возвращаясь изъ легкихъ, онъ оказывается нагрѣтымъ въ значительной степени. Это нагрѣваніе вдыхаемаго воздуха отнимаетъ у нашего тѣла 5—6 процентовъ всей суточной потери теплоты.

Превращеніе твердыхъ веществъ въ жидкія, и жидкихъ въ газообразныя поглощаетъ извѣстное, довольно значительное количество теплоты, которая дѣлается *скрытою* и потомъ при обратномъ процессѣ, т. е. при превращеніи газообразнаго тѣла въ жидкое или жидкаго въ твердое, снова освобождается. Таяніе льда, превращеніе воды въ паръ уносятъ изъ окружающаго воздуха нѣкоторое количество теплоты и производятъ такимъ образомъ охлажденіе.

На поверхности всего нашего тѣла и на внутренней поверхности легкихъ происходитъ постоянное выдѣленіе воды въ газообразномъ состояніи; это испареніе воды поглощаетъ значительное количество тепла и уноситъ изъ нашего тѣла 14—15 процентовъ всей суточной потери. Охлажденіе кожи становится тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше количество выдѣляемой воды; это охлажденіе доходитъ до высшей степени, когда на поверхности кожи выступаютъ водяныя капли, которыя называются потомъ или испариной. Съ появленіемъ пота неразлучно сильное охлажденіе всего тѣла, такъ что выступающая испарина облегчаетъ горячее состояніе и въ глазахъ врача является однимъ изъ важнѣйшихъ признаковъ выздоровленія. Люди, сильно потѣющіе лѣтомъ, меньше страдаютъ отъ жара, чѣмъ люди, лишенные этой способности или обладающіе ею въ меньшей степени. Франклинъ рассказываетъ, что жнецы въ Пенсильваніи почти вовсе не страдаютъ отъ самаго сильнаго зноя; они пьютъ воду въ огромномъ количествѣ и вслѣдствіе этого потѣютъ такъ сильно, что совокупность воды, выдѣляемой ими въ однѣ сутки, равняется по вѣсу одной пятой или шестой части всего ихъ тѣла; охлажденіе, вызываемое испареніемъ этой воды, составляетъ противовѣсъ солнечному жару и даетъ жнецамъ возможность работать, не выбываясь изъ силъ, въ самое знойное время дня. Замѣчено также, что работники, занимающіеся на стеклянныхъ, фарфоровыхъ или литейныхъ заводахъ, выпиваютъ очень много воды и, увеличивая такимъ образомъ количество выдѣляемаго пота, легче переносятъ тотъ страшный жаръ, въ которомъ они должны находиться во время работы.

Въ жаркій лѣтній день мы всегда чувствуемъ

сильную жажду, которую всего пріятнѣе утолять холодными напитками. Эти напитки прохлаждаютъ тѣло отчасти непосредственно, отчасти тѣмъ, что возбуждаютъ усиленное выдѣленіе пота; повредить организму они не могутъ; для того чтобы значительное количество холодной воды не обременило собою желудка, достаточно прибавлять къ ней немного вина.

На количество испаряющейся изъ нашего тѣла воды имѣютъ значительное вліяніе свойства окружающаго насъ воздуха; чѣмъ суше воздухъ, тѣмъ больше онъ способенъ принимать въ себя водяныя пары и тѣмъ сильнѣе онъ поглощаетъ газообразную воду, выдѣляющуюся изъ нашего тѣла. Сухой воздухъ прохлаждаетъ наше тѣло сильнѣе сырого воздуха. Вычислено, что сухой воздухъ при 20 градусахъ тепла доставляетъ намъ столько же прохлады, сколько сырой воздухъ при 14 градусахъ. На высокихъ горахъ мы чувствуемъ сильный холодъ по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, рѣдкій воздухъ содѣйствуетъ испаренію воды изъ нашего тѣла; во-вторыхъ, этотъ рѣдкій воздухъ слабѣе нагрѣвается лучами солнца и даетъ нашимъ легкимъ меньше кислорода, слѣдовательно ослабляетъ процессъ органическаго горѣнія; въ-третьихъ, въ этихъ мѣстахъ постоянно дуетъ вѣтеръ, и это обстоятельство значительно усиливаетъ холодъ. На сколько холодъ становится чувствительнѣе нашему организму при сухости воздуха, на столько же усиливается ощущеніе жара при сырости атмосферы. Совершенно сырой воздухъ при сильномъ зноѣ дѣйствуетъ на тѣло расслабляющимъ образомъ. Тѣлу некуда тратить своей теплоты; окружающій воздухъ очень тепелъ и слѣдовательно уноситъ очень мало теплоты своимъ непосредственнымъ прикосновеніемъ; сверхъ того, этотъ воздухъ насыщенъ водяными парами и слѣдовательно не принимаетъ испареній нашего тѣла; обмѣнъ веществъ, совершающійся на поверхности нашего тѣла, оказывается нарушеннымъ, и во всемъ организмѣ является тяжелое ощущеніе. Сырой и жаркій климатъ разрушительно дѣйствуетъ на здоровье; съ такимъ климатомъ неразлучны разныя болѣзни, мѣстныя лихорадки и горячки, которыя особенно губительно дѣйствуютъ на иностранцевъ. Если посадить животное въ комнату, наполненную совершенно сырмъ воздухомъ, котораго теплота превышаетъ температуру тѣла, то животное скоро умретъ.

Мы видѣли такимъ образомъ, что теплота нашего тѣла тратится на согрѣваніе веществъ, входящихъ въ желудокъ, на согрѣваніе воздуха, проникающаго въ легкія, и на превращеніе воды изъ жидкаго состоянія въ газообразное. Этими тремя способами истрачивается около 24 процентовъ суточной потери. Все остальное количество вырабатываемой теплоты уходитъ путемъ непосредственнаго охлажденія, т. е. нагрѣваетъ собою тѣ слои воздуха, которые прикасаются къ



нашему тѣлу. Окружающій насъ воздухъ постоянно гораздо холоднѣе нашего тѣла и потому, какъ только онъ дотрогивается до него, такъ извѣстное количество нашей теплоты уходитъ въ воздухъ, и мы испытываемъ ощущеніе прохлады или холода, смотря по тому, какъ велико различіе температуры между воздухомъ и нашимъ тѣломъ. Что воздухъ дѣйствительно нагрѣвается отъ прикосновенія къ нашему тѣлу, это доказывается тѣмъ, что намъ становится жарко зимой въ неотапливаемой церкви, если она наполнена людьми. Такъ какъ большая часть истрачиваемой нами теплоты, именно 76 процентовъ или болѣе трехъ четвертей, уходитъ въ окружающій насъ воздухъ, то испытываемыя нами ощущенія жара или холода зависятъ почти исключительно отъ температуры этого воздуха и отъ того обстоятельства, насколько мы подвержены его прикосновенію. Идѣлая выйти на улицу, мы смотримъ на термометръ и, соображаясь съ его показаніями, надѣваемъ то или другое платье. Выйдя на улицу, мы инстинктивно принимаемъ тѣ или другія мѣры для усиленія или для ослабленія вырабатываемаго нами количества теплоты; мы ускоряемъ походку, если чувствуемъ холодъ, и, придавая нашимъ движеніямъ большую быстроту, усиливаемъ процессъ органическаго горѣнія. Если намъ жарко, мы, напротивъ того, идемъ медленнѣе, движенія наши становятся лѣнливѣе, органическое горѣніе ослабляется, и мы пассивно защищаемся противъ жара, уходимъ въ тѣнь, ищемъ вѣтерка, радуемся тучкѣ, набѣжавшей на солнце.

Въ умѣренномъ климатѣ, въ самое знойное лѣто, температура воздуха не достигаетъ той степени теплоты, на которой постоянно находятся наша кровь и внутреннія части нашего тѣла. Когда воздухъ нагрѣвается до 30 градусовъ Реомюра, мы уже не знаемъ, куда дѣваться отъ жара; мы надѣваемъ самое легкое платье, уходимъ въ тѣнистыя мѣста, купаемся по нѣскольку разъ въ день, и все-таки воздухъ отнимаетъ у нашего тѣла такое незначительное количество вырабатываемой нами теплоты, что мы чувствуемъ какое-то расслабленіе, вялость, неспособность къ работѣ. Насъ тяготитъ то количество теплоты, котораго намъ некуда выдѣлать. Температура воздуха, равняющаяся теплотѣ нашего тѣла, была бы для насъ *à la longue* невыносима. Животныя раздѣляютъ съ нами эти ощущенія. Всякій имѣлъ случай наблюдать, какъ лѣтомъ, около полудня, все въ природѣ затихаетъ и въ своей неподвижности ищетъ того уменьшенія внутренней теплоты, котораго нельзя найти въ прикосновеніи окружающей атмосферы. Чтобы человѣкъ, снявшій съ себя все платье, могъ чувствовать себя вполнѣ хорошо—необходимо, чтобы температура окружающаго воздуха заключала въ себѣ отъ 22—25 градусовъ, т. е. чтобы она была градусовъ на 8 ниже темпера-

туры нашего тѣла. Когда-же прикосновеніе между нашимъ тѣломъ и воздухомъ ослаблено, т. е. когда мы одѣты, то такая температура слишкомъ высока и дѣлается уже непріятной; тогда достаточно, смотря по возрасту и общей комплекціи человѣка, отъ 15 до 20 градусовъ.

Одежда предохраняетъ насъ отъ дѣйствія холода тѣмъ, что она устраняетъ непосредственное прикосновеніе воздуха. Всѣ тѣла, извѣстныя намъ въ практической жизни, могутъ быть раздѣлены на хорошіе и худые проводники теплоты. Всякій знаетъ, что если желѣзная палка съ одного конца накалена до красна, то и другой конецъ ея, не лежавшій въ огнѣ, непременно обожжетъ прикасающуюся къ нему руку. Всякому точно также извѣстно, что деревянную палку, зажженную съ одного конца, можно держать въ рукахъ, не боясь обжога. Всѣ металлы принадлежатъ къ числу хорошихъ проводниковъ теплоты, т. е. всѣ они очень быстро принимаютъ и передаютъ температуру окружающаго воздуха. Желѣзная крыша накаляется лѣтомъ и дѣлается невыносимо холодной во время зимы. Желѣзный домъ былъ бы вслѣдствіе этого обстоятельства въ высшей степени неудобенъ, холоденъ зимою и невыносимо тепелъ лѣтомъ. Одежда, сотканная изъ тонкихъ металлических нитокъ, имѣла бы всѣ эти неудобства; она лѣтомъ не предохраняла бы отъ жара, а зимой не защищала бы отъ холода. Для построенія нашихъ жилищъ и для приготовленія одежды мы выбираемъ, по возможности, самые худые проводники теплоты. Шерсть, изъ которой дѣлаются наши сукна, хлопчатая бумага, изъ которой готовится огромное количество разнообразныхъ матерій, и которая толстыми слоями кладется между покрывкой и подкладкой теплыхъ одеждъ, мѣха, служащія для приготовленія шубъ, и пухъ, замѣняющій вату или хлопчатую бумагу, принадлежатъ къ числу самыхъ худыхъ проводниковъ теплоты. Это объясняется тѣмъ, что между тонкими волокнами этихъ веществъ находится нѣсколько изолированныхъ слоевъ воздуха, а воздухъ принадлежитъ къ самымъ худымъ проводникамъ. Чѣмъ пушистѣе какая нибудь матерія, т. е. чѣмъ больше слоевъ воздуха находится между ея волокнами, тѣмъ хуже она проводитъ теплоту, и слѣдовательно тѣмъ сильнѣе защищаетъ наше тѣло отъ дѣйствія внѣшняго воздуха. Одежда помогаетъ намъ переносить такіе низкіе температуры, которыя принесли бы намъ вѣрную смерть, если бы мы подвергли ихъ дѣйствию свое непокрытое тѣло. Въ хорошей шубѣ мы можемъ переносить морозъ отъ 15 до 20 градусовъ, не чувствуя особеннаго страданія; та же самая температура заморозила бы насъ въ короткое время, если бы мы не были защищены отъ ея дѣйствія плохими проводниками.

Движеніе воздуха значительно увеличиваетъ



охлажденіе нашего тѣла, потому что при вѣтрѣ новые слои воздуха быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ, дотрогиваются до непокрытыхъ частей нашего тѣла, напр. до лица и мгновенно уносятъ вырабатываемую нами теплоту. Такая степень холода, которая при отсутствіи вѣтра почти вовсе не доставляетъ намъ непріятныхъ ощущеній, становится невыносимой при сильномъ движеніи воздуха. Мореплаватели, бывавшіе въ полярныхъ странахъ, говорятъ, что холодъ въ  $32^{\circ}$  по Реомюра при совершенной тишинѣ сноснѣ холода въ  $13^{\circ}$  при сильномъ вѣтрѣ. Капитанъ Парри рассказываетъ, что при холодѣ въ  $38^{\circ}$  по Реомюра безъ вѣтра, можно было въ продолженіи четверти часа оставлять руки незакрытыми. Когда же поднимался вѣтеръ, то это дѣлалось невозможнымъ даже при  $13^{\circ}$  холода.

Во время жара движеніе воздуха доставляетъ пріятную прохладу, если только температура воздуха не превышаетъ теплоты нашего тѣла. Въ тропическихъ земляхъ, богатые люди проводятъ знойное время дня въ домахъ, и воздухъ въ ихъ комнатахъ постоянно приводится въ движеніе посредствомъ большихъ вѣеровъ или опахалъ. Сверхъ того окна завѣшиваются большими соломенными матами, которые разъ десять въ часъ обливаются водой. Потокъ разогрѣтаго воздуха, проходя черезъ мокрую занавѣску, превращаетъ воду въ паръ, охлаждается вслѣдствіе этого, и доходя до обитателей комнаты, приноситъ имъ пріятное и живительное ощущеніе прохлады. Только при подобномъ искусственномъ охлажденіи атмосферы европейцу удастся свыкнуться съ такимъ климатомъ, въ которомъ температура воздуха нерѣдко становится на 10 или 12 градусовъ выше теплоты тѣла.

Замѣчательно, что въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ человекъ можетъ выносить температуру, далеко превышающую теплоту тѣла. Банксъ, говоритъ Бюхнеръ, пробылъ семь минутъ въ сухой комнатѣ, нагрѣтой до  $80^{\circ}$  Реомюра. Тиле рассказываетъ, что одна булочница провела 10 минутъ въ топленной печкѣ, въ которой жаръ доходилъ до  $90^{\circ}$ . Льюисъ говоритъ, что знаменитый «царь огня» Шаберъ возбудилъ въ зрителяхъ величайшее удивленіе, войдя въ печку, нагрѣтую выше  $160^{\circ}$  Реомюра. Мы получаемъ такимъ образомъ заключеніе, что есть люди, способные перенести въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ температуру, далеко превышающую точку кипѣнія воды. Если вѣрить разсказу о подвигѣ Шабера, то окажется, что крайній предѣлъ жара, который можетъ вынести человекъ, вдвое сильнѣе того, который заставляетъ кипѣть воду, четверо сильнѣе теплоты нашей крови и слишкомъ въптеро сильнѣе того лѣтнаго зноя, который приводитъ насъ въ разслабленное состояніе.

Изумительна также та степень холода, кото-

рую нерѣдко приходилось выдерживать путешественникамъ, пускавшимся въ полярныя экспедиціи. Холодъ доходилъ до  $32^{\circ}$ , до  $40^{\circ}$ , по словамъ Льюиса, даже до  $60^{\circ}$  Реомюра. Эта борьба съ холодомъ, стоящимъ слишкомъ на  $65^{\circ}$  ниже комнатной температуры и на  $90^{\circ}$  ниже температуры тѣла, во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательнѣе подвиговъ Шабера. Шаберъ входилъ въ печку, изъ которой онъ могъ тотчасъ выйти, а несчастные путешественники имѣли дѣло съ неумолимымъ и неотразимымъ врагомъ. Для нихъ отступленіе было невозможно; имъ надо было выдерживать борьбу или умереть, какъ умеръ Франклинъ съ своими спутниками, какъ умирали многіе смѣльчаки, участвовавшіе въ неудачныхъ полярныхъ экспедиціяхъ. Испытаніе Шабера продолжалось двѣ, три минуты, а борьба полярныхъ путешественниковъ съ мертвящимъ холодомъ тянулась цѣлыми мѣсяцами. Хорошее отопленіе корабля, обильная питательная пища, теплая мѣховая одежда, усиленное движеніе и непроизвольное усиленіе дыханія являлись главными вспомогательными средствами въ этой страшной борьбѣ человека съ колоссальными силами природы; и въ большей части случаевъ человекъ одолѣвалъ, т. е. успѣвалъ сохранить жизнь и даже здоровье, не смотря на разрушительное дѣйствіе низкой температуры.

Мы видимъ такимъ образомъ, что человекъ способенъ выдержать температуру, стоящую на  $90^{\circ}$  Реомюра ниже и на  $90^{\circ}$  Реомюра выше температуры его тѣла. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что всѣ климаты земного шара доступны человеку, и что гибкій организмъ его, при соблюденіи извѣстныхъ предосторожностей, можетъ примѣниться и къ  $35$ -ти-градусному жару тропиковъ и къ  $35$ -ти-градусному холоду Шпицбергена и Гренландіи.

Но чтобы господствовать надъ окружающими насъ физическими условіями, надо знать тѣ законы, которымъ они повинуются. Всякая попытка нарушить физическій законъ ведетъ за собой самыя непріятныя послѣдствія. Обладая способностью переносить при извѣстныхъ условіяхъ почти всѣ естественныя температуры, существующія на поверхности нашей планеты, человекъ можетъ по неосторожности или по невѣденію разрушить свое здоровье очень умѣренной степенью жара или холода. Простуда является въ большей части случаевъ главной причиной нашихъ болѣзней, а простужаемся мы большею частью не оттого, что холодъ особенно силенъ, не оттого, что намъ не-откуда взять теплое платье, а оттого, что мы не имѣемъ понятія о потребностяхъ нашего организма и потому опускаемъ необходимыя предосторожности или совершенно не въ попадъ начинаемъ дѣйствовать по какой нибудь не вѣрно понятой гигиенической системѣ.

Простуда является всего легче и бываетъ всего



опаснѣ въ томъ случаѣ, когда сильный холодъ дѣйствуетъ внезапно на очень теплую кожу. Особенно вреденъ бываетъ сквозной вѣтеръ или обливаніе холодной водой послѣ разгоряченія и сильного выдѣленія пота. Также вреденъ быстрый переходъ отъ зимняго платья къ лѣтнему. Простуда можетъ также совершиться постепенно и совершенно незамѣтно для самаго пациента; если мы носимъ слишкомъ легкое платье, не довольно тепло покрываемся ночью во время сна, живемъ въ холодной и сырой квартирѣ или въ такомъ суровомъ климатѣ, который не по силамъ нашему тѣлосложенію, то мы простужаемся постоянно и мало по малу подкапываемъ наше здоровье.

Попытки пріучить себя къ холоду, стремленіе укрѣпить здоровье своихъ дѣтей такъ называемымъ спартанскимъ воспитаніемъ возбуждаютъ справедливую оппозицію со стороны всякаго раціонально образованнаго медика. Можно до нѣкоторой степени притупить тѣ нервы, которые проводятъ въ мозгъ ощущеніе боли, но нѣтъ никакой возможности уничтожить вредное дѣйствіе холода на организмъ. Пріучить тѣло къ холоду все равно, что пріучить желудокъ къ голоду, спину къ розгамъ, легкія къ отсутствію кислорода, глаза къ полной темнотѣ. Вы никакъ не пріучите воду къ тому, чтобы она не замерзала при 0° и не кипѣла, подъ обыкновеннымъ давленіемъ, при 80° Реомюра. Вспомните, что ваше тѣло въ своихъ составныхъ частяхъ повинуется тѣмъ же законамъ, которымъ покоряется вода; вспомните, что кровь ваша обращается, и сердце бьется, и желудокъ варитъ пищу помимо вашей воли; вспомните, что въ васъ дѣйствуютъ тѣ же физическія и химическія силы, которыя сталкиваются и переплетаются между собой въ окружающемъ мірѣ, и вы убѣдитесь въ томъ, что бороться съ своими непосредственными ощущеніями значитъ бороться съ силами природы и противопоставлять этимъ силамъ не такія же дѣйствительныя физическія силы, а одну отвлеченную, неуловимую и неосязаемую силу своей воли.

Если вы почувствовали холодъ, смѣло надѣвайте теплое платье; если существуетъ ощущеніе, то существуетъ и причина, вызвавшая это ощущеніе; не бойтесь изнѣжить себя; когда теплое платье сдѣлается излишнимъ, вамъ доложитъ объ этомъ то же самое ощущеніе, которое заставило васъ вынуть это платье изъ шкапа. Мы изнѣживаемъ себя не тѣмъ, что повинемся нашимъ ощущеніямъ, а тѣмъ, что съ дѣтства, по милости родителей и воспитателей, привыкаемъ къ искусственнымъ наслажденіямъ и создаемъ себѣ искусственныя потребности.

Если вы считаете необходимымъ имѣть за обѣдомъ полдюжины замысловатыхъ соусовъ, въ которыхъ естественный вкусъ пищи заглушенъ пряностями и приправами, то эту потреб-

ность смѣло можно назвать искусственной; но если вы, какъ здоровый человѣкъ, часто чувствуете сильный аппетитъ и съѣдаете за вашимъ обѣдомъ по нѣсколько кусковъ хорошей говядины, то вамъ остается только радоваться правильнымъ отправленіямъ вашего желудка и немедленно удовлетворять всѣмъ его требованіямъ. Каждому педагогу, завѣдывающему матеріальной частью воспитанія, слѣдуетъ внушить строго на-строго, что онъ воленъ не баловать своихъ воспитанниковъ рагу и фрикасе, но что онъ положительно обязанъ кормить ихъ до отвала здоровой, свѣжей пищею. Держаться въ отношеніи къ продовольствію воспитанниковъ или воспитанницъ спартанской системы—въ высшей степени безчеловѣчно; если это дѣлается ради укрѣпленія здоровья дѣтей, то это обличаетъ тупоуміе и полнѣйшее невѣжество педагога; если же это дѣлается изъ личнаго, экономическаго расчета, тогда это подлѣе всякаго взяточничества. Это значитъ лишать воспитанниковъ тѣхъ силъ, которыя только-что начинаютъ развиваться и которыя необходимы имъ въ будущемъ для того, чтобы наслаждаться жизнью и по мѣрѣ силъ дѣйствовать на пользу своихъ согражданъ.

То, что я сказалъ о пищѣ, вполне прилагается и къ теплотѣ. Теплота, по выраженію Гюфеланда, другъ жизненной силы, и для здоровья человѣка ея присутствіе въ умѣренной степени также необходимо, какъ для прозябанія травы, для распусканія цвѣтка и для созрѣванія плода. Если вашъ воспитанникъ зябнетъ—укройте его, вытопите комнату, перемѣните квартиру; къ холоду и къ сырости человѣческой организмъ не можетъ пріучиться, и экономничать на теплотѣ также безсовѣстно, какъ экономничать на пищѣ.

Теплота всего необходимѣе для человѣка въ началѣ и въ концѣ его жизни. Новорожденный ребенокъ выходитъ изъ такой среды, которая гораздо теплѣе комнатнаго воздуха; его надо пріучать постепенно даже къ теплой, комнатной температурѣ; съ нимъ надо обращаться бережно и нѣжно, чтобы не задавить слабо мерцающую искру жизни. Обычай спартанцевъ и древнихъ германцевъ купать новорожденныхъ дѣтей въ холодной водѣ изумляетъ насъ своей нелѣпостью; ни одна собака не поступитъ такимъ образомъ съ своимъ щенкомъ, ни одна птица не выгонитъ изъ теплаго гнѣзда своихъ неоперившихся птенцовъ; спартанцы и отчасти германцы, какъ народъ, жившій войной и грабежомъ, могли обращаться такъ неосторожно съ своими новорожденными дѣтьми собственно съ тою цѣлью, чтобы избавить себя отъ труда воспитывать слабыхъ и болѣзненныхъ младенцевъ; спартанцамъ законы Ликурга даже положительно приказывали убивать уродливыхъ или щедушныхъ дѣтей. Надо впрочемъ замѣтить, что даже эта цѣль не достигается купаньемъ дѣтей въ холодной водѣ; во-первыхъ, даже совершенно здоровый и очень хорошо



сложенный ребенокъ можетъ умереть отъ подобныхъ передѣлокъ; во-вторыхъ, очень болѣзненные дѣти часто превращаются, вырастая, въ очень сильныхъ и здоровыхъ людей.

Первые годы жизни бываютъ для дѣтей самымъ тяжелымъ и опаснымъ временемъ; справьтесь съ статистическими таблицами, и вы увидите, что почти половина дѣтей, родившихся въ такомъ-то году, умираетъ, не достигши пятилѣтняго возраста. Организмъ молодого существа, не успѣвшій укрѣпиться и развернуть свои силы, не успѣвшій примѣниться къ той борьбѣ съ внѣшней природой, которая называется жизнью, погибаетъ и разрушается частью отъ невѣжества окружающихъ людей, частью отъ ихъ безпечности, частью отъ излишней внимательности и неумѣстной заботливости. Когда первые годы дѣтства пройдутъ благополучно, тогда можно постепенно укрѣплять силы ребенка тѣлесными упражненіями, можно мало-по-малу приучать его къ холоду, но при этомъ надо соблюдать извѣстную послѣдовательность и твердо помнить то обстоятельство, что есть естественныя границы, которыхъ не слѣдуетъ переступать ни въ какомъ случаѣ. Въ холодномъ климатѣ надѣвать на дѣтей шотландскій костюмъ, водить ихъ осенью или весной по улицѣ съ голыми икрами значить во всякомъ случаѣ подвергать ихъ здоровью самой серьезной опасности.

Старику, начинающему уже чувствовать упадокъ силъ, теплота также полезна и необходима, какъ и ребенку. Въ теплое время года старики чувствуютъ себя лучше обыкновеннаго; зимой они любятъ искусственную теплоту топлённой комнаты; въ нашемъ простонародьѣ старики проводятъ большую часть года на печкѣ или, какъ ее называютъ въ деревняхъ средней Россіи, на лежанкѣ. Теплыя ванны, усиливающія дѣятельность кожи и уменьшающія ея сухость и жесткость, особенно полезны для стариковъ.

Люди, ведущіе большею частью сидячую жизнь, нуждаются въ большемъ притокѣ теплоты, чѣмъ люди, часто прогуливающіеся или работающіе на открытомъ воздухѣ.

Люди холоднаго, флегматическаго или меланхолическаго темперамента больше страдаютъ отъ холода, чѣмъ люди горячіе, энергическіе, холерики или сангвиники. Во время зимняго холода 1812 года мерзли преимущественно голландцы и нѣмцы, несмотря на то, что французы, испанцы и итальянцы, находившіеся въ арміи Наполеона, меньше ихъ были приучены къ холоду.

Вообще, люди слабого сложенія, не отличающіеся значительной энергіей жизненныхъ отправленій, т. е. сильнымъ апетитомъ, крѣпкими легкими, хорошимъ пищевареніемъ, развитою дѣятельностью половой системы, любятъ теплую температуру и не выносятъ холода; напротивъ того, люди крѣпкіе и полнокровные предпочи-

таютъ прохладную атмосферу и въ ней чувствуютъ себя вполне хорошо. Умѣренная степень холода, дѣйствующая на наше тѣло въ короткій промежутокъ времени, оживляетъ жизненные отправления, привлекаетъ кровь въ кожѣ и вообще къ поверхности тѣла, ускоряетъ обмѣнъ веществъ, усиливаетъ выработываніе внутренней теплоты и дѣятельность легкихъ, возбуждаетъ нервную систему, словомъ—вызываетъ во всемъ организмѣ усиленное движеніе жизни. Но продолжительное дѣйствіе холода всегда ведетъ за собой вредныя послѣдствія уже потому, что напрягаетъ въ извѣстномъ направленіи силы организма и, требуя отъ него усиленной дѣятельности, истощаетъ его этими непомѣрными требованіями.

Для здоровья человѣка всего полезнѣе умѣренный климатъ, въ которомъ нѣтъ ни слишкомъ холодныхъ зимъ, ни изнурительныхъ лѣтнихъ жаровъ, ни рѣзкихъ переходовъ отъ одной температуры къ другой. Конечно такой идеальной-здоровый климатъ мудрено найти на земномъ шарѣ, но вообще можно замѣтить, что приморскія земли, въ которыхъ вліяніе морскихъ испареній смягчаетъ и лѣтній зной, и зимній холодъ, пользуются самымъ умѣреннымъ и благо-раствореннымъ климатомъ. Это положеніе допускаетъ впрочемъ множество исключеній; конечно сѣверные берега Сибири не отличаются пріятнымъ климатомъ, несмотря на то, что они прилегаютъ къ морю; точно также острова Борнео, Суматра, Ява не могутъ похвалиться здоровымъ климатомъ; находясь въ жаркомъ поясѣ, эти острова отличаются, какъ извѣстно, очень знойнымъ и сырýmъ воздухомъ; растительность достигаетъ до колоссальныхъ размѣровъ, животная жизнь кипитъ красотой и силой, но человѣкъ, подавленный жаромъ, который, какъ я говорилъ выше, становится еще невыносимѣе вслѣдствіе того, что воздухъ насыщенъ водяными парами, человѣкъ, повторяю я, въ такомъ климатѣ не можетъ жить умственной жизнью и равномерно развивать всѣ стороны своего существа. Что же касается до приморскихъ земель, лежащихъ въ умѣренномъ поясѣ, то ихъ климатъ по своей мягкости значительно превосходитъ климатъ континентальныхъ земель. Счастливымъ климатомъ пользуется Англія, несмотря на свои густые туманы. Въ сѣверо-восточной Ирландіи, подъ однимъ градусомъ широты съ Кенигсбергомъ, вода рѣдко замерзаетъ зимой, и муртъ растетъ на открытомъ воздухѣ точно также, какъ въ Португаліи. «Необыкновенная сила, говоритъ Бюхнеръ, съ которою англійскій умъ развился и продолжаетъ развиваться по всѣмъ направленіямъ жизни и науки, представляетъ быть можетъ отчасти слѣдствіе этихъ благопріятныхъ климатическихъ условій».

Въ рукахъ опытнаго врача теплота является однимъ изъ важнѣйшихъ средствъ леченія. Когда



вырабатываніе животной теплоты ослабѣваетъ вслѣдствіе болѣзненного разстройства, тогда всего лучше согрѣвать пациента искусственными средствами. Припарки, потогонное питье, теплыя ванны, отправленіе больныхъ въ теплый климатъ—все это такіе медицинскіе приемы, которые знакомы по наслышкѣ или по собственному опыту каждому изъ нашихъ читателей.

Повышеніе или пониженіе общей температуры тѣла даетъ медику возможность судить объ общей силѣ жизненныхъ отправленій у пациента. Жаръ или ознобъ сопровождаютъ собою большою

частью каждое болѣзненное состояніе и указываютъ на ненормальное усиленіе или ослабленіе органическаго горѣнія, на неравномѣрное распределеніе теплоты въ различныхъ частяхъ тѣла, на болѣзненное нарушеніе въ одномъ изъ важнѣйшихъ процессовъ: въ кровообращеніи, дыханіи или пищевареніи. Все это принимается въ соображеніе свѣдущимъ медикомъ, и потому небольшой термометръ, служащій для изслѣдованія теплоты больныхъ, почти всегда находится при медикѣ, изучающемъ добросовѣстно состояніе своихъ пациентовъ.



## БАЗАРОВЪ.

(ОТЦЫ и ДѢТИ, романъ И. С. Тургенева).

### I.

Новый романъ Тургенева даетъ намъ все то, чѣмъ мы привыкли наслаждаться въ его произведеніяхъ. Художественная отдѣлка безукоризненно хороша; характеры и положенія, сцены и картины нарисованы такъ наглядно и въ то же время такъ мягко, что самый отчаянный отрицатель искусства почувствуетъ при чтеніи романа какое-то непонятное наслажденіе, котораго не объяснишь ни занимательностью рассказываемыхъ событій, ни поразительной вѣрностью основной идеи. Дѣло въ томъ, что событія вовсе не занимательны, а идея вовсе не поразительно вѣрна. Въ романѣ нѣтъ ни завязки, ни развязки, ни строго обдуманнаго плана; есть типы и характеры, есть сцены и картины, а главное, сквозь ткань рассказа сквозитъ личное, глубоко-прочувствованное отношеніе автора къ выведеннымъ явленіямъ жизни. А явленія эти очень близки къ намъ, такъ близки, что все наше молодое поколѣніе съ своими стремленіями и идеями можетъ узнать себя въ дѣйствующихъ лицахъ этого романа. Я этимъ не хочу сказать, чтобы въ романѣ Тургенева идеи и стремленія молодого поколѣнія отразились такъ, какъ понимаетъ ихъ само молодое поколѣніе; къ этимъ идеямъ и стремленіямъ Тургеневъ относится съ своей личной точки зрѣнія, а старикъ и юноша почти никогда не сходятся между собой въ убѣжденіяхъ и симпатіяхъ. Но если вы подойдете къ зеркалу, которое, отражая предметы измѣняетъ немного ихъ цвѣта, то вы узнаете свою фizioномію, несмотря на погрѣшности зеркала. Читая романъ Тургенева, мы видимъ въ немъ типы настоящей минуты и въ то же время отдаемъ себѣ отчетъ въ тѣхъ измѣненіяхъ, которые испытали явленія дѣйствительности, проходя чрезъ сознаніе художника. Любопытно про-

слѣдить, какъ дѣйствуютъ на человѣка, подобнаго Тургеневу, идеи и стремленія, шевелящіяся въ нашемъ молодомъ поколѣніи и проявляющіяся, какъ все живое, въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, рѣдко привлекательныхъ, часто оригинальныхъ, иногда уродливыхъ.

Такого рода изслѣдованіе можетъ имѣть очень глубокое значеніе. Тургеневъ—одинъ изъ лучшихъ людей прошлаго поколѣнія; опредѣлить, какъ онъ смотритъ на насъ, и почему онъ смотритъ на насъ такъ, а не иначе, значитъ найти причину того разлада, который замѣчается повсемѣстно въ нашей частной семейной жизни; того разлада, отъ котораго часто гибнутъ молодая жизнь и отъ котораго постоянно кряхтятъ и охаютъ старички и старушки, неуспѣвающіе обработать на свою колодку понятія и поступки своихъ сыновей и дочерей. Задача, какъ видите, жизненная, крупная и сложная; сладить я съ нею вѣроятно не слажу, а подумать—подумаю.

Романъ Тургенева, кромѣ своей художественной красоты, замѣчательенъ еще тѣмъ, что онъ шевелитъ умъ, наводитъ на размышленія, хотя самъ по себѣ не разрѣшаетъ никакого вопроса, и даже освѣщаетъ яркимъ свѣтомъ не столько выводимыя явленія, сколько отношенія автора къ этимъ самымъ явленіямъ. Наводитъ онъ на размышленія именно потому, что весь насквозь проникнутъ самой полной, самой трогательной искренностью. Все, что написано въ послѣднемъ романѣ Тургенева, прочувствовано до послѣдней строки; чувство это прорывается помимо воли и сознанія самого автора и согрѣваетъ объективный рассказъ вмѣсто того, чтобы выражаться въ лирическихъ отступленіяхъ. Авторъ самъ не отдаетъ себѣ яснаго отчета въ своихъ чувствахъ, не подвергаетъ ихъ анализу, не становится къ нимъ въ критическія отношенія. Это обстоятель-



ство даетъ намъ возможность видѣть эти чувства во всей ихъ нетронутой непосредственности. Мы видимъ то, что просвѣчиваетъ, а не то, что авторъ хочетъ показать или доказать. Мнѣнія и сужденія Тургенева не измѣняютъ ни на волосъ нашего взгляда на молодое поколѣніе и на идеи нашего времени; мы ихъ даже не примемъ въ соображеніе, мы съ ними даже не будемъ спорить; эти мнѣнія, сужденія и чувства, выраженные въ неподражаемо живыхъ образахъ, дадутъ только матеріалы для характеристики прошлаго поколѣнія въ лицѣ одного изъ лучшихъ его представителей. Постараюсь сгруппировать эти матеріалы и, если это мнѣ удастся, объясню, почему наши старики не сходятся съ нами, качаютъ головами и, смотря по различнымъ характеристамъ и по различнымъ настроеніямъ, то сердятся, то недоумѣваютъ, то тихо грустятъ по поводу нашихъ поступковъ и разсужденій.

## II.

Дѣйствіе романа происходитъ лѣтомъ 1859 г. Молодой кандидатъ, Аркадій Николаевичъ Кирсановъ, пріѣзжаетъ въ деревню къ своему отцу вмѣстѣ съ своимъ пріятелемъ, Евгеніемъ Васильевичемъ Базаровымъ, который очевидно имѣетъ сильное вліяніе на образъ мыслей своего товарища. Этотъ Базаровъ, человѣкъ сильный по уму и по характеру, составляетъ центръ всего романа. Онъ—представитель нашего молодого поколѣнія; въ его личности сгруппированы тѣ свойства, которыя мелкими долями разсыпаны въ массахъ, и образъ этого человѣка ярко и отчетливо вырисовывается передъ воображеніемъ читателя.

Базаровъ—сынъ бѣднаго уѣзднаго лекаря; Тургеневъ ничего не говоритъ объ его студенческой жизни, но надо полагать, что то была жизнь бѣдная, трудовая, тяжелая; отецъ Базарова говоритъ о своемъ сынѣ, что онъ у нихъ отроду лишней копѣйки не взялъ; по правдѣ сказать, многого и нельзя было бы взять даже при величайшемъ желаніи, слѣдовательно, если старикъ Базаровъ говоритъ это въ похвалу своему сыну, то это значитъ, что Евгеній Васильевичъ содержалъ себя въ университетѣ собственными трудами, перебивался копѣчными уроками и въ то же время находилъ возможность дѣльно готовить себя къ будущей дѣятельности. Изъ этой школы труда и лишеній Базаровъ вышелъ человѣкомъ сильнымъ и суровымъ; прослушанный имъ курсъ естественныхъ и медицинскихъ наукъ развилъ его природный умъ и отучилъ его принимать на вѣру какія бы то ни было понятія и убѣжденія; онъ сдѣлался чистымъ эмпирикомъ; опытъ сдѣлался для него единственнымъ источникомъ познанія, личное ощущеніе—единственнымъ и послѣднимъ убѣдительнымъ доказательствомъ. «Я придержи-

ваюсь отрицательнаго направленія, говоритъ онъ, въ силу ощущеній. Мнѣ пріятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ—и баста! Отчего мнѣ правится химія? Отчего ты любишь яблоки? Тоже въ силу ощущенія—это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнутъ. Не всякій тебѣ это скажетъ, да и я въ другой разъ тебѣ этого не скажу». Какъ эмпирикъ, Базаровъ признаетъ только то, что можно ощупать руками, увидеть глазами, положить на языкъ, словомъ только то, что можно освидѣтельствовать однимъ изъ пяти чувствъ. Всѣ остальные человѣческія чувства онъ сводитъ на дѣятельность нервной системы; вслѣдствіе этого наслажденіе красотами природы, музыкой, живописью, поэзіей, любовью женщины вовсе не кажутся ему выше и чище наслажденія сытнымъ обѣдомъ или бутылкой хорошаго вина. То, что восторженные юноши называютъ идеаломъ, для Базарова не существуетъ; онъ все это называетъ «романтизмомъ», иногда вмѣсто слова «романтизмъ» употребляетъ слово «взоръ». Несмотря на все это, Базаровъ не воруетъ чужихъ платковъ, не вытягиваетъ изъ родителей денегъ, работаетъ усидчиво и даже не прочъ отъ того, чтобы сдѣлать въ жизни что нибудь путное. Я предчувствую, что многіе изъ моихъ читателей зададутъ себѣ вопросъ: а что же удерживаетъ Базарова отъ подлыхъ поступковъ и что побуждаетъ его дѣлать что нибудь путное? Этотъ вопросъ поведетъ за собой слѣдующее сомнѣніе: ужъ не притворяется ли Базаровъ передъ самимъ собой и передъ другими? Не рисуется ли онъ? Можетъ-быть онъ въ глубинѣ души признаетъ многое изъ того, что отрицаетъ на словахъ, и можетъ-быть именно это признаваемое, это затаившееся спасаетъ его отъ нравственнаго паденія и отъ нравственнаго ничтожества. Хотя мнѣ Базаровъ ни свать, ни братъ, хоть я можетъ-быть и не сочувствую ему, однако, ради отвлеченной справедливости, я постараюсь отвѣтить на вопросъ и опровергнуть лукавое сомнѣніе.

На людей подобныхъ Базарову можно негодовать, сколько душъ угодно, но признавать ихъ искренность—рѣшительно необходимо. Эти люди могутъ быть честными и безчестными, гражданскими дѣателями и отъявленными мошенниками, смотря по обстоятельствамъ и по личнымъ вкусамъ. Ничто, кромѣ личнаго вкуса, не мѣшаетъ имъ убивать и грабить и ничто, кромѣ личнаго вкуса, не побуждаетъ людей подобнаго закала дѣлать открытія въ области наукъ и общественной жизни. Базаровъ не украдетъ платка по тому же самому, почему онъ не съѣстъ кусокъ тухлой говядины. Еслибы Базаровъ умиралъ съ голоду, то онъ вѣроятно сдѣлалъ бы то и другое. Мучительное чувство неудовлетворенной физической потребности побѣдило бы въ немъ отвращеніе къ дурному запаху разлагающагося мяса и къ тайному посягательству на чужую собственность.



Кромѣ непосредственнаго влеченія, у Базарова есть еще другой руководитель въ жизни—разсчетъ. Когда онъ бываетъ боленъ, онъ принимаетъ лекарство, хотя не чувствуетъ никакого непосредственнаго влеченія къ касторовому маслу или къ ассафетидѣ. Онъ поступаетъ такимъ образомъ по разсчету; цѣной маленькой непріятности онъ покупаетъ въ будущемъ большее удобство, или избавленіе отъ большей непріятности. Словомъ, изъ двухъ золъ онъ выбираетъ меньшее, хотя и къ меньшему не чувствуетъ никакого влеченія. У людей посредственныхъ такого рода разсчетъ большей частью оказывается несостоятельнымъ; они по разсчету хитрятъ, воруютъ, запутываются и въ концѣ концовъ остаются въ дуракахъ. Люди очень умные поступаютъ иначе; они понимаютъ, что быть честнымъ очень выгодно, и что всякое преступленіе, начиная отъ простой лжи и кончая смертоубійствомъ—опасно и слѣдовательно неудобно. Поэтому очень умные люди могутъ быть честны по разсчету и дѣйствовать на чистоту тамъ, гдѣ люди ограниченные будутъ вилать и метать петли. Работая неутомимо, Базаровъ повиновался непосредственному влеченію, вкусу, и кромѣ того поступалъ по самому вѣрному разсчету. Еслибы онъ искалъ протекціи, кланялся, подличалъ, вмѣсто того чтобы трудиться и держать себя гордо и независимо, то онъ поступалъ бы нерасчетливо. Карьеры, пробитыя собственной головой, всегда прочнѣе и шире карьеръ, предложенныхъ низкими поклонами или заступничествомъ важнаго дядюшки. Благодаря двумъ послѣднимъ средствамъ, можно попасть въ губернскіе или въ столичныя тузы, но, по милости этихъ средствъ, никому съ тѣхъ поръ, какъ міръ стоитъ, не удавалось сдѣлаться ни Вашингтономъ, ни Гарибальди, ни Коперникомъ, ни Генрихомъ Гейне. Даже Геростратъ—и тотъ пробилъ себѣ карьеру собственными силами и попалъ въ исторію не по протекціи.

Что же касается до Базарова, то онъ не мѣтитъ въ губернскіе тузы; если воображеніе иногда рисуетъ ему будущность, то эта будущность какъ-то неопредѣленно широка; работаетъ онъ безъ цѣли, для добыванія насущнаго хлѣба или изъ любви къ процессу работы, а между тѣмъ онъ смутно чувствуетъ по количеству собственныхъ силъ, что работа его не останется безслѣдной и къ чему нибудь приведетъ. Базаровъ чрезвычайно самолюбивъ, но самолюбіе его незамѣтно именно вслѣдствіе своей громадности. Его не занимаютъ тѣ мелочи, изъ которыхъ складываются обыденныя людскія отношенія; его нельзя оскорбить явнымъ пренебреженіемъ, его нельзя обрадовать знаками уваженія; онъ такъ полонъ собой и такъ непоколебимо-высоко стоитъ въ своихъ собственныхъ глазахъ, что дѣлается почти совершенно равнодушнымъ къ мнѣнію другихъ людей. Дядя Кирсанова, близко подходящій къ

Базарову по складу ума и характера, называетъ его самолюбіе «сатанинской гордостью». Это выраженіе очень удачно выбрано и совершенно характеризуетъ нашего героя. Дѣйствительно, удовлетворить Базарова могла бы только цѣлая вѣчность постоянно расширяющейся дѣятельности и постоянно увеличивающагося наслажденія, но, къ несчастію для себя, Базаровъ не признаетъ вѣчнаго существованія человѣческой личности. «Да вотъ напримѣръ, говоритъ онъ своему товарищу Кирсанову, ты сегодня сказалъ, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа — она такая славная, бѣлая — вотъ сказалъ ты, Россія тогда достигнетъ совершенства, когда у послѣдняго мужика будетъ такое же помѣщеніе, и всякій изъ насъ долженъ этому способствовать... А я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... Да и на что мнѣ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти будетъ;—ну, а дальше?»

Итакъ Базаровъ вездѣ и во всемъ поступаетъ только такъ, какъ ему хочется или какъ ему кажется выгоднымъ. Имъ управляютъ только личная прихоть или личные разсчеты. Ни надъ собой, ни внѣ себя, ни внутри себя онъ не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого принципа. Впередѣ—никакой высокой цѣли; въ умѣ—никакого высокого помысла, и при всемъ этомъ—силы огромныя.—Да вѣдь это безнравственный человѣкъ! Злодѣй, уродъ! слышу я со всѣхъ сторонъ восклицанія негодующихъ читателей. Ну, хорошо, злодѣй, уродъ; браните больше, преслѣдуйте его сатирой и эпиграммой, негодующимъ лиризмомъ и возмущеннымъ общественнымъ мнѣніемъ, кострами инквизиціи и топорами палачей — и вы не вытравите, не убьете этого урода, не посадите его въ спиртъ на удивленіе почтенной публикѣ. Если базаровщина — болѣзнь, то она болѣзнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какіе палліативы и ампутаціи. Относитесь къ базаровщинѣ какъ угодно — это ваше дѣло; а остановить — не остановите; это — та-же холера.

### III.

Болѣзнь вѣка раньше всего пристаётъ къ людямъ, стоящимъ по своимъ умственнымъ силамъ выше общаго уровня. Базаровъ, одержимый этой болѣзнью, отличается замѣчательнымъ умомъ, и вслѣдствіе этого производитъ сильное впечатлѣніе на сталкивающихся съ нимъ людей. «Настоящій человѣкъ, говоритъ онъ, тотъ, о которомъ думать нечего, а котораго надобно слушаться или ненавидѣть». Подъ опредѣленіе настоящаго человѣка подходитъ именно самъ Базаровъ; онъ постоянно сразу овладѣваетъ вниманіемъ окружающихъ людей; однихъ онъ запутываетъ



гиваетъ и отталкиваетъ; другихъ подчиняетъ, не столько доводами, сколько непосредственной силой, простотой и цѣльностью своихъ понятій. Какъ человѣкъ замѣчательно умный, онъ не встрѣчалъ себя равнаго. «Когда я встрѣчу человѣка, который не спасовалъ бы передо мной, проговорилъ онъ съ разстановкой, тогда я измѣню свое мнѣніе о самомъ себѣ».

Онъ смотритъ на людей сверху внизъ и даже рѣдко даетъ себѣ трудъ скрывать свои полу-презрительныя, полу-покровительственныя отношенія къ тѣмъ людямъ, которые его ненавидятъ, и къ тѣмъ, которые его слушаются. Онъ никого не любитъ; не разрывая существующихъ связей и отношеній, онъ въ то же время не сдѣлаетъ ни шагу для того, чтобы снова завязать или поддержать эти отношенія, не смягчить, ни одной ноты въ своемъ суровомъ голосѣ, не пожертвуетъ ни одной рѣзкой шуткой, ни однимъ краснымъ словомъ.

Пустуетъ онъ такимъ образомъ не во имя принципа, не для того, чтобы въ каждую данную минуту быть вполне откровеннымъ, а потому, что считаетъ совершенно излишнимъ стѣснять свою особу въ чемъ бы то ни было, по тому же самому побужденію, по которому американцы задираютъ ноги на спинки креселъ и заплываютъ табачнымъ сокомъ паркетные полы пышныхъ гостиницъ. Базаровъ ни въ комъ не нуждается, никого не боится, никого не любитъ и въ силу этого никого не пугаетъ. Какъ Діогенъ, онъ готовъ жить чуть не въ бочкѣ и за это предоставляетъ себѣ право говорить людямъ въ глаза рѣзкія истины по той причинѣ, что это ему нравится. Въ цинизмъ Базарова можно различить двѣ стороны: внутреннюю и вѣшную, цинизмъ мыслей и чувствъ, и цинизмъ манеръ и выраженій. Ироническое отношеніе къ чувству всякаго рода, къ мечтательности, къ лирическимъ порывамъ, къ изліаніямъ составляетъ сущность внутренняго цинизма. Грубое выраженіе этой ироніи, безпричинная и безцѣльная рѣзкость въ обращеніи относятся къ вѣшному цинизму. Первый зависитъ отъ склада ума и отъ общаго міросозерцанія; второй обуславливается чисто вѣшными условіями развитія, свойствами того общества, въ которомъ жилъ разсматриваемый субъектъ. Насмѣшливыя отношенія Базарова къ мягкосердечному Кирсанову вытекаютъ изъ основныхъ свойствъ общаго базаровскаго типа. Грубый столкновеніе его съ Кирсановымъ и съ его дядей составляютъ его личную принадлежность. Базаровъ не только эмпирикъ—онъ кромѣ того неотесанный буршъ, незнающій другой жизни, кромѣ бездомной, трудовой, подъ часъ дико-разгульной жизни бѣднаго студента. Въ числѣ почитателей Базарова найдутся навѣрное такіе люди, которые будутъ восхищаться его грубыми манерами, слѣдами бурсацкой жизни, будутъ

подражать этимъ манерамъ, составляющимъ во всякомъ случаѣ недостатокъ, а не достоинство, будутъ даже можетъ быть утрировать его угловатость, мѣшковатость и рѣзкость. Въ числѣ ненавистниковъ Базарова найдутся навѣрное такіе люди, которые обратятъ особенное вниманіе на эти неказистыя особенности его личности и поставятъ ихъ въ упрекъ общему типу. Тѣ и другіе ошибутся и обнаружатъ только глубокое непониманіе настоящаго дѣла. И тѣмъ, и другимъ можно будетъ напомнить стихъ Пушкина:

Быть можно дѣльнымъ человѣкомъ  
И думать о красѣ ногтей.

Можно быть крайнимъ матеріалистомъ, полнымъ эмпирикомъ, и въ то же время заботиться о своемъ туалетѣ, обращаться утонченновѣжливо съ своими знакомыми, быть любезнымъ собесѣдникомъ и совершеннымъ джентльмэномъ. Это я говорю для тѣхъ читателей, которые, придавая важное значеніе утонченнымъ манерамъ, съ отвращеніемъ посмотрятъ на Базарова, какъ на человѣка *mal élevé* и *mauvais ton*. Онъ дѣйствительно *mal élevé* и *mauvais ton*, но это несколько не относится къ сущности типа, и не говоритъ ни противъ него, ни въ его пользу. Тургеневу пришло въ голову выбрать представителемъ базаровскаго типа человѣка неотесаннаго; онъ такъ и сдѣлалъ, и конечно, рисуя своего героя, не утаилъ и не закрасилъ его угловатостей; выборъ Тургенева можно объяснить двумя различными причинами; во-первыхъ, личность человѣка. безпощадно и съ полнымъ убѣжденіемъ отрицающаго все, что другіе признаютъ высокимъ и прекраснымъ, всего чаще вырабатывается при сѣрой обстановкѣ трудовой жизни; отъ суроваго труда грубѣютъ руки, грубѣютъ манеры, грубѣютъ чувства; человѣкъ крѣпнетъ и прогоняетъ юношескую мечтательность, избавляется отъ слезливой чувствительности; за работой мечтать нельзя, потому что вниманіе сосредоточено на занимающемъ дѣлѣ; а послѣ работы нуженъ отдыхъ, необходимо дѣйствительное удовлетвореніе физическимъ потребностямъ, и мечта нейдетъ на умъ. На мечту человѣкъ привыкаетъ смотрѣть, какъ на блажь, свойственную праздности и барской изнѣженности; нравственныя страданія онъ начинаетъ считать мечтательными; нравственныя стремленія и подвиги — придуманными и нелѣпыми. Для него, трудового человѣка, существуетъ только одна, вѣчно повторяющаяся забота: сегодня надо думать о томъ, чтобы не голодать завтра. Эта простая, грозная въ своей простотѣ забота заслоняетъ отъ него остальные, второстепенныя тревоги, дразги и заботы жизни; въ сравненіи съ этой заботой ему кажутся мелкими, ничтожными, искусственно созданными разные неразрѣшенные вопросы, неразъясненныя сомнѣнія, неопредѣленныя отношенія, отравляющія жизнь людей обезпеченныхъ и досужныхъ.



Такимъ образомъ пролетарій-труженикъ самымъ процессомъ своей жизни, независимо отъ процесса размысленія, доходитъ до практическаго реализма; онъ за недосугомъ отлучается мечтать, гоняться за идеаломъ, стремиться въ идеѣ къ недостижимо-высокой цѣли. Развивая въ труженикѣ энергію, трудъ приучаетъ его сближать дѣло съ мыслью, актъ воли съ актомъ ума. Человѣкъ, привыкшій надѣяться на себя и на свои собственные силы, привыкшій осуществлять сегодня то, что задумано было вчера, начинаетъ смотрѣть съ болѣе или менѣе явнымъ пренебреженіемъ на тѣхъ людей, которые, мечтая о любви, о полезной дѣятельности, о счастьи всего человѣческаго рода, не умѣютъ шевельнуть пальцемъ, чтобы хоть сколько нибудь улучшить свое собственное, въ высшей степени неудобное положеніе. Словомъ, человѣкъ дѣла, будь онъ медикъ, ремесленникъ, педагогъ, даже литераторъ (можно быть литераторомъ и человѣкомъ дѣла въ одно и тоже время) чувствуетъ естественное, непреодолимое отвращеніе къ фразистости, къ трагѣ словъ, къ сладкимъ мыслямъ, къ сантиментальнымъ стремленіямъ и вообще ко всякимъ претензіямъ, не основаннымъ на дѣйствительной, осязательной силѣ. Такого рода отвращеніе ко всему отрѣшенному отъ жизни и улетучивающемуся въ звукахъ составляетъ коренное свойство людей базаровскаго типа. Это коренное свойство вырабатывается именно въ тѣхъ разнородныхъ мастерскихъ, въ которыхъ человѣкъ, изоцряя свой умъ и напругая мускулы, борется съ природой за право существовать на бѣломъ свѣтѣ. На этомъ основаніи Тургеневъ имѣлъ право взять своего героя въ одной изъ такихъ мастерскихъ и привести его въ рабочемъ фартукѣ, съ неумытыми руками и угрюмо-озабоченнымъ взглядомъ, въ общество фешенебельныхъ кавалеровъ и дамъ.

Но справедливость побуждаетъ меня выразить предположеніе, что авторъ романа «Отцы и дѣти» поступилъ такимъ образомъ не безъ коварнаго умысла. Этотъ коварный умыселъ и составляетъ ту вторую причину, о которой я упомянулъ выше. Дѣло въ томъ, что Тургеневъ очевидно не благоволилъ къ своему герою. Его мягкую, любящую натуру, стремящуюся къ вѣрѣ и сочувствію, коробитъ отъ развѣдающаго реализма; его тонкое эстетическое чувство, не лишенное значительной дозы аристократизма, оскорбляется даже самыми легкими проблесками цинизма; онъ слишкомъ слабъ и впечатлителенъ, чтобы вынести безотрадное отрицаніе; ему необходимо помириться съ существованіемъ, если не въ области жизни, то по крайней мѣрѣ въ области мысли, или, вѣрнѣе, мечты. Тургеневъ, какъ первая женщина, какъ растеніе «нетропическаго», сжимается болѣзненно отъ самаго легкаго прикосновенія съ букетомъ базаровщины.

Чувствуя такимъ образомъ невольную анти-

патію къ этому направленію мысли, онъ вывелъ его передъ читающей публикой въ возможно нетраціозномъ экземплярѣ. Онъ очень хорошо знаетъ, что въ публикѣ нашей очень много фешенебельныхъ читателей и, рассчитывая на утонченность ихъ аристократическаго вкуса, не надѣясь грубыхъ красокъ, съ очевиднымъ желаніемъ уронить и опошлить, влетѣлъ съ героемъ тотъ складъ идей, который составляетъ общую принадлежность типа. Онъ очень хорошо знаетъ, что большинство его читателей скажутъ только о Базаровѣ, что онъ дурно воспитанъ и что его нельзя пустить въ порядочную гостиную; дальше и глубже они не пойдутъ, но, говоря съ такими людьми, даровитый художникъ и честный человѣкъ долженъ быть въ высшей степени остороженъ изъ уваженія къ самому себѣ и къ той идеѣ, которую онъ защищаетъ или опровергаетъ. Тутъ надо держать въ узлѣ свою личную антипатію, которая при извѣстныхъ условіяхъ можетъ превратиться въ непроизвольную клевету на людей, не имѣющихъ возможности защищаться тѣмъ же оружіемъ.

#### IV.

Я старался до сихъ поръ обрисовать крупными чертами личность Базарова, или вѣрнѣе, тотъ общій, складывающійся типъ, котораго представителемъ является герой тургеневскаго романа. Надобно теперь прослѣдить по возможности его историческое происхожденіе; надо показать, въ какихъ отношеніяхъ находится Базаровъ къ разнымъ Обѣинымъ, Печоринымъ, Рудинымъ, Бельтовымъ и другимъ литературнымъ типамъ, въ которыхъ, въ прошлые десятилѣтія, молодое поколѣніе узнавало черты своей умственной физіономіи. Во всякое время жизни на свѣтѣ люди, недовольные жизнью вообще или нѣкоторыми формами въ особенности; во всякое время люди эти составляли незначительное меньшинство. Масса во всякое время жила припѣваючи, и, по свойственной ей неприхотливости, удовлетворялась тѣмъ, что было на лицо. Только какое нибудь матеріальное бѣдствіе, вродѣ «труса, глада, потона, нашествія иноплемennыхъ», приводило массу въ безпокойное движеніе и нарушало обычный, сонливо-безмятежный процессъ ея прозябанія. Масса, составленная изъ тѣхъ сотенъ тысячъ недѣлимыхъ, которые никогда въ жизни не пользовались своимъ головнымъ мозгомъ, какъ орудіемъ самостоятельнаго мышленія, живетъ себѣ со дня на день, обдѣлываетъ свои дѣлишки, получаетъ мѣстечки, играетъ въ картишки, кое-что почи-тываетъ, слѣлитъ за модой въ идеяхъ и въ платьяхъ, идетъ черепашьимъ шагомъ впередъ по силѣ инерціи, и, никогда не задавая себѣ крупныхъ, многообъемлющихъ вопросовъ, никогда не мучась сомнѣніями, не попытываетъ



ни раздраженія, ни утомленія, ни досады, ни скуки. Эта масса не дѣлаетъ ни открытій, ни преступленій; за нее думаютъ и страдаютъ, ищутъ и находятъ, борятся и ошибаются другіе люди, вѣчно для нея чужіе, вѣчно смотрящіе на нее съ пренебреженіемъ, и въ то же время вѣчно работающіе для того, чтобы увеличить удобства ея жизни. Эта масса, желудокъ человечества, живетъ на всемъ готовомъ, не спрашивая, откуда оно берется, и не внося съ своей стороны ни одной полушки въ общую сокровищницу человѣческой мысли. Люди массы у насъ въ Россіи учатся, служатъ, работаютъ, веселятся, женятся, плодятъ дѣтей, воспитываютъ ихъ, словомъ, живутъ самою полною жизнью, совершенно довольны собой и средой, не желаютъ никакихъ усовершенствованій, и, шествуя по торной дорогѣ, не подозреваютъ ни возможности, ни необходимости другихъ путей и направленій. Они держатся заведеннаго порядка по силѣ инерціи, а не вслѣдствіе привязанности къ нему; попробуйте измѣнить этотъ порядокъ — они сейчасъ сживутся съ нововведеніемъ; закоренѣлые старовѣры являются самобытными личностями и стоятъ выше безответнаго стада. А масса сегодня ѣздитъ по сквернымъ проселочнымъ дорогамъ и мирится съ ними; чрезъ нѣсколько лѣтъ она сядетъ въ вагоны и будетъ любоваться быстротой движенія и удобствами путешествія. Эта инерція, эта способность на все соглашаться и со всемъ уживаться составляетъ можетъ быть драгоцѣннѣйшее достояніе человечества. Убогость мысли уравнивается такимъ образомъ скромностью требованій. Человѣкъ, у котораго не хватаетъ ума на то, чтобы придумать средства для улучшенія своего невыносимаго положенія, можетъ назваться счастливымъ только въ томъ случаѣ, если онъ не понимаетъ и не чувствуетъ неудобствъ своего положенія. Жизнь человѣка ограниченного почти всегда течетъ ровнѣе и пріятнѣе жизни генія или даже просто умнаго человѣка. Умные люди не уживаются съ тѣми явленіями, къ которымъ безъ малѣйшаго труда привыкаетъ масса. Къ этимъ явленіямъ умные люди, смотря по различнымъ условіямъ темперамента и развитія, становятся въ самыя разнообразныя отношенія.

Вотъ, положимъ, живетъ въ Петербургѣ молодой человѣкъ, единственный сынъ богатыхъ родителей. Онъ уменъ. Учили его, какъ слѣдуетъ, слегка всему тому, что по понятіямъ папеньки и гувернера необходимо знать молодому человѣку хорошаго семейства. Книги и уроки ему надобли; надобли и романы, которые онъ читалъ сначала потихоньку, а потомъ открыто; онъ жадно набрасывается на жизнь, танцуетъ до упаду, волочится за женщинами, одерживаетъ блестящія побѣды. Незамѣтно пролетаетъ два, три года; сегодня то же самое, что

вчера, завтра то же, что сегодня — шуму, толкотни, движенія, блеску, пестроты много, а въ сущности разнообразія впечатлѣній нѣтъ; то, что видѣлъ нашъ предполагаемый герой, то уже понято и изучено имъ; новой пищи для ума нѣтъ, и начинается томительное чувство умственнаго голода, скуки. Разочарованный или, проще и вѣрнѣе, скучающій молодой человѣкъ начинаетъ раздумывать, что бы ему сдѣлать, за что бы ему приняться. Работать, что ли? Но работать, задавать себѣ работу для того, чтобы не скучать — все равно, что гулять для моціона безъ опредѣленной цѣли. О такомъ фокусѣ умному человѣку и подумать странно. Да и наконецъ, не угодно ли вамъ найти у насъ такую работу, которая заинтересовала бы умнаго человѣка, не втянувшагося въ эту работу съ молодю. Ужъ не поступить ли ему на службу въ казенную палату? Или не готовиться ли для развлеченія къ магистерскому экзамену. Не вообразить ли себя художникомъ и не приняться ли, въ двадцать пять лѣтъ, за рисованіе глазъ и ушей, за изученіе перспективы или генералъ-баса?

Развѣ влюбиться? — Оно конечно не мѣшало бы, да бѣда въ томъ, что умные люди очень требовательны и рѣдко удовлетворяются тѣми экземплярами женскаго пола, которыми изобилуютъ блестящіе петербургскія гостинныя. Съ этими женщинами они любезничаютъ, съ ними они сводятъ интриги, на нихъ они женятся иногда по увлеченію, чаще по благоразумному расчету, но сдѣлать изъ отношеній съ подобными женщинами занятіе, наполняющее жизнь, спасающее отъ скуки — это для умнаго человѣка не мыслимо. Въ отношенія между мужчиной и женщиной проникла та же мертвящая казенщина, которая обуяла остальные проявленія нашей частной и общественной жизни. Живая природа человѣка здѣсь, какъ и вездѣ, скована и обезцвѣчена мундирностью и обрядностью. Ну, вотъ молодому человѣку, изучившему мундиръ и обрядъ до послѣднихъ подробностей, остается только или махнуть рукой на свою скуку, какъ на неизбежное зло, или съ отчаянья броситься въ разныя эксцентричности, питая неопредѣленную надежду разсѣяться. Первое сдѣлалъ Онѣгинъ, второе — Печоринъ; вся разница между тѣмъ и другимъ заключается въ темпераментѣ. Условія, при которыхъ они формировались и отъ которыхъ они заскучали — одни и тѣ же; среда, которая пріѣхала тому и другому — та же самая. Но Онѣгинъ холоднѣе Печорина, и потому Печоринъ дуритъ гораздо больше Онѣгина, кидается за впечатлѣніями на Кавказъ, ищетъ ихъ въ любви Бэлы, въ дуэли съ Грушницкимъ, въ схваткахъ съ черкесами, между тѣмъ какъ Онѣгинъ вяло и лѣнливо носитъ съ собой по свѣту свое красивое разочарованіе. Немножко Онѣгинымъ, немножко Печоринымъ бывалъ и до сихъ



поръ бываетъ у насъ всякій мало-мальски умный человѣкъ, владѣющій обезпеченнымъ состояніемъ, выросшій въ атмосферѣ барства и не получившій серьезнаго образованія.

Рядомъ съ этими скукающими трутнями являлись и до сихъ поръ являются толпами люди грустящіе, тоскующіе отъ неудовлетвореннаго стремленія приносить пользу. Воспитанные въ гимназіяхъ и университетахъ, эти люди получаютъ довольно основательныя понятія о томъ, какъ живутъ на свѣтѣ цивилизованные народы, какъ трудятся на пользу общества даровитые дѣятели, какъ опредѣляютъ обязанности человѣка разные мыслители и моралисты. Въ неопредѣленныхъ, но часто теплыхъ выраженіяхъ говорятъ этимъ людямъ профессора о честной дѣятельности, о подвигѣ жизни, о самоотверженіи во имя человѣчества, истины, науки, общества. Варіаціи на эти теплыя выраженія наполняютъ собою задушевныя студенческія бесѣды, во время которыхъ высказывается такъ много юношески-свѣжаго, во время которыхъ такъ тепло и безгранично вѣрится въ существованіе и въ торжество добра. Ну вотъ, проникнутые теплыми словами идеалистовъ — профессоровъ, согрѣтые собственными восторженными рѣчами, молодые люди изъ школы выходятъ въ жизнь съ неукротимымъ желаніемъ сдѣлать хорошее дѣло или — пострадать за правду. Пострадать имъ иногда приходится, но сдѣлать дѣло никогда не удается. Они ли сами въ этомъ виноваты, та ли жизнь виновата, въ которую они вступаютъ — разсудить мудрено. Вѣрно по крайней мѣрѣ то, что передѣлать условія жизни у нихъ не хватаетъ силъ, а ужиться съ этими условіями они не умѣютъ. Вотъ они мечутся изъ стороны въ сторону, пробуютъ свои силы на разныхъ карьерахъ, просятъ, умоляютъ общество: «пристрой ты насъ куда нибудь, возьми ты наши силы, выжми изъ нихъ для себя какую нибудь частицу пользы; погуби насъ, но губи такъ, чтобы наша гибель не пропала даромъ». Общество глухо и неумолимо; горячее желаніе Рудиныхъ и Бельтовыхъ пристроиться къ практической дѣятельности и видѣть плоды своихъ трудовъ и пожертвованій остается безплоднымъ. Еще ни одинъ Рудинъ, ни одинъ Бельтовъ не дослужился до начальника отдѣленія; да къ тому же — странные люди! — они, чего добраго, даже этой почетной и обезпеченной должностію не удовлетворились бы. Они говорили на такомъ языкѣ, котораго не понимало общество, и послѣ напрасныхъ попытокъ растолковать этому обществу свои желанія, они умолкали и впадали въ очень извинительное уныніе. Иные Рудины успокоивались и находили себѣ удовлетвореніе въ педагогической дѣятельности; дѣлаясь учителями и профессорами, они находили исходъ для своего стремленія къ дѣятельности. Сами мы, говорили они себѣ, ничего не сдѣлали. По крайней мѣрѣ, пе-

редадимъ наши честныя тенденціи молодому поколѣнію, которое будетъ крѣпче насъ и создастъ себѣ другія, болѣе благопріятныя времена.

Оставаясь такимъ образомъ вдали отъ практической дѣятельности, бѣдные идеалисты-преподаватели не замѣчали того, что ихъ лекціи плодятъ такихъ же Рудиныхъ, какъ и они сами, что ихъ ученикамъ придется точно также оставаться вѣкъ практической дѣятельности или дѣлаться ренегатами, отказываясь отъ убѣжденій и тенденцій. Рудинымъ-преподавателямъ было бы тяжело предвидѣть, что они даже въ лицѣ своихъ учениковъ не примутъ участія въ практической дѣятельности; а между тѣмъ они бы ошиблись, еслибы, даже предвидя это обстоятельство, они подумали, что не приносятъ никакой пользы. Отрицательная польза, принесенная и приносимая людьми этого закала, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Они размножаютъ людей *неспособныхъ* къ практической дѣятельности; вслѣдствіе этого, самая практическая дѣятельность, или вѣрнѣе, тѣ формы, въ которыхъ она обыкновенно выражается теперь, медленно, но постоянно понижаются во мнѣніи общества. Лѣтъ двадцать тому назадъ, всѣ молодые люди служили въ различныхъ вѣдомствахъ; люди не служащіе принадлежали къ исключительнымъ явленіямъ; общество смотрѣло на нихъ съ состраданіемъ или съ пренебреженіемъ; сдѣлать карьеру — значило дослужиться до большаго чина. Теперь очень многіе молодые люди не служатъ, и никто не находитъ въ этомъ ничего страннаго или предосудительнаго. Почему такъ случилось? А потому, мнѣ кажется, что къ подобнымъ явленіямъ приглядѣлись, или, что то же самое, потому что Рудины размножились въ нашемъ обществѣ. Не такъ давно, лѣтъ шесть тому назадъ, вскорѣ послѣ Крымской кампаніи, наши Рудины вообразили себѣ, что ихъ время настало, что общество приметъ и пуститъ въ ходъ тѣ силы, которыя они давно предлагали ему съ полнымъ самоотверженіемъ. Они рванулись впередъ; литература оживилась; университетское преподаваніе сдѣлалось свѣжѣе; студенты преобразились; общество съ небывалымъ рвеніемъ принялось за журналы и стало даже заглядывать въ аудиторіи; возникли даже новыя административныя должности. Казалось, что за эпохой безплодныхъ мечтаній и стремленій наступаетъ эпоха кипучей, полезной дѣятельности. Казалось, рудинству приходитъ конецъ, и даже самъ Гончаровъ похоронилъ своего Обломова и объявилъ, что подъ русскими именами таится много Штольцевъ. Но миражъ разсѣялся — Рудины не сдѣлались практическими дѣятелями; изъ-за Рудиныхъ выдвинулось новое поколѣніе, которое съ укоромъ и насмѣшкой отнеслось къ своимъ предшественникамъ. «Объ чемъ вы ное-те, чего вы ищете, чего просите отъ жизни? Вамъ, небось, счастья хочется, говорили эти по-



вые люди мягкосердечнымъ идеалистамъ, тоскливо опустившимъ крылышки, да вѣдь мало ли что! Счастье надо завоевать. Есть силы—берите его. Нѣтъ силъ—молчите, а то и безъ васъ тошно!»

Мрачная, сосредоточенная энергія сказывалась въ этомъ недружелюбномъ отношеніи молодого поколѣнія къ своимъ наставникамъ. Въ своихъ понятіяхъ о добрѣ и злѣ это поколѣніе сходилосъ съ лучшими людьми предыдущаго; симпатіи и антипатіи у нихъ были общія; желали они одного и того же; но люди прошлаго метались и суетились, надѣясь гдѣ нибудь пристроиться и какъ нибудь, втихомолку, урывками, незамѣтно влить въ жизнь свои честныя убѣжденія. Люди настоящаго не мечутся, ничего не ищутъ, нигдѣ не пристраиваются, не поддаются ни на какіе компромиссы и ни на что не надѣются. Въ практическомъ отношеніи они также безсильны, какъ и Рудины, но они сознали свое безсиліе и перестали махать руками. «Я не могу дѣйствовать теперь—думаетъ про себя каждый изъ этихъ новыхъ людей—не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружаетъ, и не стану скрывать этого презрѣнія. Въ борьбу со зломъ я пойду тогда, когда почувствую себя сильнымъ. До тѣхъ поръ буду жить самъ по себѣ, какъ живетъ, не мирясь съ господствующимъ зломъ и не давая ему надъ собой никакой власти. Я—чужой среди существующаго порядка вещей, и мнѣ до него нѣтъ никакого дѣла. Занимаюсь я хлѣбнымъ ремесломъ, думаю—что хочу, и высказываю—что можно высказать».

Это холодное отчаяніе, доходящее до полного индифферентизма, и въ то же время развивающее отдѣльную личность до послѣднихъ предѣловъ твердости и самостоятельности, напрягаетъ умственныя способности; не имѣя возможности дѣйствовать, люди начинаютъ думать и изслѣдовать; не имѣя возможности передѣлать жизнь, люди вымещаютъ свое безсиліе въ области мысли; тамъ ничто не останавливаетъ разрушительной критической работы; суетвѣрія и авторитеты разбиваются въдребезги, и міросозерцаніе совершенно очищается отъ разныхъ призрачныхъ представлений.

— Что же вы дѣлаете? (спрашиваетъ дядя Аркадія у Базарова).

— А вотъ что мы дѣлаемъ (отвѣчаетъ Базаровъ): прежде—въ недавнее время, мы говорили, что чиновники наши берутъ взятки, что у насъ нѣтъ ни дорогъ, ни торговли, ни правильного суда.

— Ну да, да, вы—обличители, такъ кажется это называется. Со многими изъ вашихъ обличеній и я соглашаюсь, но...

— А потомъ мы догадались, что болтать, все только болтать о нашихъ язвахъ не стоитъ труда, что это ведетъ только къ пошлости и къ доктринерству; мы увидали, что умники наши, такъ

называемые передовые люди и обличители, нигде не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, толкуемъ о какомъ-то искусствѣ, безсознательно творимъ, о парламентаризмѣ, объ адвокатурѣ и чортъ знаетъ о чемъ, когда дѣло идетъ о насущномъ хлѣбѣ, когда *грубѣйшее суетвѣріе насъ душитъ*, когда всѣ наши акціонерныя общества лопаются единственно отъ того, что оказывается недостатокъ въ честныхъ людяхъ, когда самая свобода, о которой хлопочетъ правительство, едва ли пойдетъ намъ въ прокъ, потому что мужикъ нашъ радъ самого себя обокрасть, чтобы напиться дурману въ кабацѣ...

— Такъ, перебилъ Павелъ Петровичъ, такъ; вы во всемъ этомъ убѣдились и рѣшились сами ни за что серьезно не приниматься?

— И рѣшились ни за что не приниматься, угрюмо повторилъ Базаровъ. Ему вдругъ стало досадно на самого себя, зачѣмъ онъ распространялся передъ этимъ баринкомъ.

— А только ругаться?

— И ругаться.

— И это называется нигилизмомъ?

— И это называется нигилизмомъ, повторилъ опять Базаровъ, на этотъ разъ съ особенной дерзостью.

Итакъ вотъ мои выводы. Человѣкъ массы живетъ по установленной нормѣ, которая достается ему на долю не по свободному выбору, а потому, что онъ родился въ извѣстное время, въ извѣстномъ городѣ или селѣ. Онъ весь опутанъ разными отношеніями: родственными, служебными, бытовыми, общественными; мысль его скована привитыми предразсудками; самъ онъ не любитъ ни этихъ отношеній, ни этихъ предразсудковъ, но они представляются ему «предѣломъ, его же не преидени», и онъ живетъ и умираетъ, не проявивъ своей личной воли и часто даже не заподозривъ въ себѣ ея существованія. Если попадется въ этой массѣ человѣкъ поумнѣе, то онъ, смотря по обстоятельствамъ, въ томъ или другомъ отношеніи выдѣлится изъ массы и распорядится по своему, какъ ему выгодно, удобно и пріятно. Умные люди, не получившіе серьезнаго образованія, не выдерживаютъ жизни массы, потому что она надоѣдаетъ имъ своей безцвѣтностью; они сами не имѣютъ понятія о лучшей жизни, и потому, инстинктивно отшатнувшись отъ массы, остаются въ пустомъ пространствѣ, не зная куда идти, зачѣмъ жить на свѣтѣ, чѣмъ разогнать тоску. Здѣсь отдѣльная личность отрывается отъ стада, но не умѣетъ распорядиться собою. Другіе люди, умные и образованные, не удовлетворяются жизнью массы и подвергаютъ ее сознательной критикѣ; у нихъ составленъ свой идеаль; они хотятъ идти къ нему, но оглядываясь назадъ, постоянно боязливо спрашиваютъ друга друга: а пойдетъ ли за нами общество? А не останемся ли мы одни съ своими стремленіями? Не попадемъ ли мы въ просакъ? У этихъ людей, за



недостаткомъ твердости, дѣло останавливается на словахъ. Здѣсь личность сознаетъ свою отдѣльность, составляетъ себѣ понятіе самостоятельной жизни, и, не осмѣливаясь двинуться съ мѣста, раздвигаетъ свое существованіе, отдѣляетъ міръ мысли отъ міра жизни. Люди третьяго разряда идутъ дальше—они сознаютъ свое несходство съ массой и смѣло отдаляются отъ нея поступками, привычками, веѣмъ образомъ жизни. Пойдетъ ли за ними общество, до этого имъ нѣтъ дѣла. Они полны собою, своей внутренней жизнью, и не стѣняются ея въ угоду принятымъ обычаямъ и церемоніаламъ. Здѣсь личность достигаетъ полного самоосвобожденія, полной личности и самостоятельности.

Словомъ, у Печоринныхъ есть воля безъ знанія, у Рудинныхъ — знаніе безъ воли; у Базаровыхъ есть и знаніе, и воля. Мысль и дѣло сливаются въ одно твердое цѣлое.

## V.

До сихъ поръ я говорилъ объ общемъ жизненномъ явленіи, вызвавшемъ собою романъ Тургенева; теперь надо посмотрѣть, какъ это явленіе отразилось въ художественномъ произведеніи. Узнавши, что такое Базаровъ, мы должны обратить вниманіе на то, какъ понимаетъ этого Базарова самъ Тургеневъ, какъ онъ заставляетъ его дѣйствовать и въ какія отношенія ставитъ его къ окружающимъ людямъ. Словомъ, я приступаю теперь къ подробному фактическому разбору романа.

Я сказалъ выше, что Базаровъ пріѣзжаетъ въ деревню къ своему пріятелю, Аркадію Николаевичу Кирсанову, подчиняющемуся его вліянію. Аркадій Николаевичъ—молодой человѣкъ не глупый, но совершенно лишенный умственной оригинальности и постоянно нуждающійся въ чьей нибудь интеллектуальной поддержкѣ. Онъ вѣроятно лѣтъ на пять моложе Базарова и въ сравненіи съ нимъ кажется совершенно не оперившимся птенцомъ, не смотря на то, что ему около двадцати трехъ лѣтъ и что онъ кончилъ курсъ въ университетѣ. Благоговѣя передъ своимъ учителемъ, Аркадій съ наслажденіемъ отрицаетъ авторитеты; онъ дѣлаетъ это съ чужого голоса, не замѣчая такимъ образомъ внутренняго противорѣчія въ своемъ поведеніи. Онъ слишкомъ слабъ, чтобъ держаться самостоятельно въ той холодной атмосферѣ трезвой разумности, въ которой такъ привольно дышется Базарову; онъ принадлежитъ къ рязряду людей вѣчно опекаемыхъ, и вѣчно не замѣчающихъ надъ собою опеки. Базаровъ относится къ нему покровительственно и почти всегда насмѣшливо; Аркадій часто споритъ съ нимъ, и въ этихъ спорахъ Базаровъ даетъ полную волю своему увѣсистому юмору. Аркадій не любитъ своего друга, а какъ-то невольно подчиняется неотразимому вліянію сильной личности и при томъ воображаетъ себѣ, что глубоко

сочувствуетъ базаровскому міросозерцанію. Отношеніе его къ Базарову чисто головныя, сдѣланныя на заказъ; онъ познакомился съ нимъ гдѣ нибудь въ студенческомъ кругу, заинтересовался цѣльностью его воззрѣній, покорилося его силѣ и вообразилъ себѣ, что онъ его глубоко уважаетъ и отъ души любитъ. Базаровъ конечно ничего не вообразилъ и, нисколько не стѣняя себя, позволилъ своему новому прозелиту любить его, Базарова, и поддерживать съ нимъ постоянныя отношенія. Поѣхалъ онъ съ нимъ въ деревню не для того, чтобы доставить ему удовольствіе и не для того, чтобы познакомиться съ семействомъ своего нареченнаго друга, а просто потому, что это было по дорогѣ, да и наконецъ отчего же не пожить недѣли двѣ въ гостяхъ у порядочнаго человѣка, въ деревнѣ лѣтомъ, когда нѣтъ никакихъ отвлекающихъ занятій и интересовъ.

Деревня, въ которую пріѣхали наши молодые люди, принадлежитъ отцу и дядѣ Аркадія. Отецъ его, Николай Петровичъ Кирсановъ — человѣкъ лѣтъ сорока съ небольшимъ; по складу характера онъ очень похожъ на своего сына. Но у Николая Петровича между его умственными убѣжденіями и природными наклонностями гораздо больше соотвѣтствія и гармоніи, чѣмъ у Аркадія. Какъ человѣкъ мягкій, чувствительный и даже сентиментальный, Николай Петровичъ не порывается къ раціонализму и успокоивается на такомъ міросозерцаніи, которое даетъ пищу его воображенію и пріятно щекочетъ его нравственное чувство. Аркадій, напротивъ того, хочетъ быть сыномъ своего вѣка и напояливаетъ на себя идеи Базарова, которыя рѣшительно не могутъ съ нимъ сродниться. Онъ—самъ по себѣ, а идеи—сами по себѣ болтаются, какъ сюртукъ взрослого человѣка, надѣтый на десятилѣтняго ребенка. Даже та ребяческая радость, которая обнаруживается въ мальчикѣ, когда его шутя производятъ въ большіе, даже эта радость, говоря я, замѣтна въ нашемъ юномъ мыслителѣ съ чужого голоса. Аркадій щеголяетъ своими идеями, старается обратить на нихъ вниманіе окружающихъ, думаетъ про себя: вотъ какой я молодецъ, и увѣ, какъ дитя малое, неразумное, иногда провирается и доходитъ до явнаго противорѣчія съ самимъ собою и съ накладными своими убѣжденіями.

Дядя Аркадія, Павелъ Петровичъ, можетъ быть названъ Печоринымъ маленькихъ размѣровъ; онъ на своемъ вѣку пожуровалъ и подурчился, и наконецъ все ему надоѣло; пристроиться ему не удалось, да это и не было въ его характерѣ; добравшись до той поры, когда по выраженію Тургенева, сожалѣнія похожи на надежды, а надежды на сожалѣнія, бывший левъ удалился къ брату въ деревню, окружилъ себя изящнымъ комфортомъ и превратилъ свою жизнь въ спокойное прозябаніе. Выдающимся воспоминаніемъ изъ прежней шумной и блестящей жизни Павла Петровича было сильное чувство къ одной велико-



свѣтской женщинѣ, чувство, доставившее ему много наслажденій, и въ слѣдъ за тѣмъ, какъ бываетъ почти всегда, много страданій. Когда отношенія Павла Петровича къ этой женщинѣ оборвались, то жизнь его совершенно опустѣла.

«Какъ отравленный, бродилъ онъ съ мѣста на мѣсто, говорить Тургеневъ; онъ еще выѣзжалъ, онъ сохранилъ всѣ привычки свѣтскаго человѣка, онъ могъ схватиться двумя, тремя новыми побѣдами; но онъ уже не ждалъ ничего особеннаго ни отъ себя, ни отъ другихъ, и ничего не предпринималъ; онъ состарѣлся, поспѣлъ; сидѣть по вечерамъ въ клубѣ, жельно скучать, равнодушно поспорить въ холостомъ обществѣ стало для него потребностью — знакъ, какъ извѣстно, плохой. О женитбѣ онъ, разумѣется, и не думалъ. Десять лѣтъ прошло такимъ образомъ, безцвѣтно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигдѣ время такъ не бѣжитъ, какъ въ Россіи; въ тюрьмѣ, говорятъ, оно бѣжитъ еще скорѣе.»

Какъ человѣкъ желчный и страстный, одаренный гибкимъ умомъ и сильной волей, Павелъ Петровичъ рѣзко отличался отъ своего брата и отъ племянника. Онъ не поддается чужому вліянію, онъ самъ подчиняетъ себѣ окружающихъ личностей и ненавидитъ тѣхъ людей, въ которыхъ встрѣчаетъ себѣ отпоръ. Убѣжденій у него, по правдѣ сказать, не имѣется, но зато есть привычки, которыми онъ очень дорожитъ. Онъ по привычкѣ толкуетъ о правахъ и обязанностяхъ аристократіи, и по привычкѣ доказываетъ въ спорахъ необходимость *принциповъ*. Онъ привыкъ къ тѣмъ идеямъ, которыхъ держится общество, и стоитъ за эти идеи, какъ за свой комфортъ. Онъ терпѣть не можетъ, чтобы кто нибудь опровергалъ эти понятія, хотя въ сущности онъ не питаетъ къ нимъ никакой сердечной привязанности. Онъ гораздо энергичнѣе своего брата спорить съ Базаровымъ, а между тѣмъ Николай Петровичъ гораздо искреннѣе страдаетъ отъ его безпощаднаго отрицанія. Въ глубинѣ души Павелъ Петровичъ такой же скептикъ и эмпирикъ, какъ и самъ Базаровъ; въ практической жизни онъ всегда поступалъ и поступаетъ, какъ ему вздумается, но въ области мысли онъ не умѣетъ признаться въ этомъ передъ самимъ собою, и потому поддерживаетъ на словахъ такія доктрины, которымъ постоянно противорѣчатъ его поступки. Дядѣ и племяннику слѣдовало бы помѣняться между собой убѣжденіями, потому что первый ошибочно приписываетъ себѣ вѣру въ *принципы*, второй точно также ошибочно воображаетъ себя крайнимъ скептикомъ и смѣлымъ рационалистомъ. Павелъ Петровичъ начинаетъ чувствовать къ Базарову сильнѣйшую антипатію съ перваго знакомства. Плебейскія манеры Базарова возмущаютъ отставного дѣнди; самоувѣренность и нецеремонность его раздражаютъ Павла Петровича, какъ недостатокъ уваженія къ его изящной особѣ. Павелъ Петровичъ видитъ, что Базаровъ не уступитъ

ему преобладанія надъ собою, и это возбуждаетъ въ немъ чувство досады, за которое онъ ухватывается, какъ за развлеченіе среди глубокой деревенской скуки. Ненавидя самого Базарова, Павелъ Петровичъ возмущается всѣми его мнѣніями, придирается къ нему, насильно вызываетъ его на споръ и спорить съ тѣмъ рьянымъ увлеченіемъ, которое обыкновенно обнаруживаютъ люди праздные и скучающіе.

А что же дѣлаетъ Базаровъ среди этихъ трехъ личностей? Во-первыхъ онъ старается обращать на нихъ какъ можно меньше вниманія и большую часть своего времени проводить за работою; шляется по окрестностямъ, собираетъ растенія и насѣкомыхъ, рѣжетъ лягушекъ и занимается микроскопическими наблюденіями; на Аркадія онъ смотритъ, какъ на ребенка, на Николая Петровича — какъ на добродушнаго старичка, или, какъ онъ выражается, на старенькаго романтика. Къ Павлу Петровичу онъ относится не совсѣмъ дружелюбно; его возмущаетъ въ немъ элементъ барства, но онъ невольно старается скрывать свое раздраженіе подъ видомъ презрительнаго равнодушія. Ему не хочется сознаться передъ собою, что онъ можетъ сердиться на «уѣзднаго аристократа», а между тѣмъ страстная натура беретъ свое; онъ часто запальчиво возражаетъ на тирады Павла Петровича и не вдругъ успѣваетъ овладѣть собою и замкнуться въ свою насмѣшливую холодность. Базаровъ не любитъ ни спорить, ни вообще высказываться, и только Павелъ Петровичъ отчасти обладаетъ умѣньемъ вызвать его на многозначительный разговоръ. Эти два сильные характера дѣйствуютъ другъ на друга враждебно; видя этихъ двухъ людей лицомъ къ лицу, можно себѣ представить борьбу, происходящую между двумя поколѣніями, непосредственно слѣдующими одно за другимъ. Николай Петровичъ конечно не способенъ быть угнетателемъ, Аркадій Николаевичъ конечно не способенъ вступить въ борьбу съ семейнымъ деспотизмомъ; но Павелъ Петровичъ и Базаровъ могли бы, при извѣстныхъ условіяхъ, явиться яркими представителями, первый — сковывающей, леденящей силы прошедшаго, второй — разрушительной, освобождающей силы настоящаго.

На чьей же сторонѣ лежитъ симпатія ходожника? Кому онъ сочувствуетъ? На этотъ существенно важный вопросъ можно отвѣчать положительно, что Тургеневъ не сочувствуетъ вполнѣ ни одному изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ; отъ его анализа не ускользаетъ ни одна слабая или смѣшная черта; мы видимъ, какъ Базаровъ завирается въ своемъ отрицаніи, какъ Аркадій наслаждается своей развитостью, какъ Николай Петровичъ робѣетъ, какъ пятнадцатилѣтній юноша, и какъ Павелъ Петровичъ рисуетъ и злится, зачѣмъ на него не любитъ Базаровъ, единственный человѣкъ, котораго онъ уважаетъ въ самой ненависти своей.



Базаровъ завирается — это къ сожалѣнію справедливо. Онъ съ плеча отрицаетъ вещи, которыхъ не знаетъ или не понимаетъ; поэзія, по его мнѣнію, ерунда; читать Пушкина — потерянное время; заниматься музыкой смѣшно; наслаждаться природой — нелѣпо. Очень можетъ быть, что онъ, человѣкъ затертый трудовою жизнью, потерялъ или не успѣлъ развить въ себѣ способность наслаждаться пріятнымъ раздраженіемъ зрительныхъ и слуховыхъ нервовъ, но изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобы онъ имѣлъ разумное основаніе отрицать или осмѣивать эту способность въ другихъ. Выкраивать людей на одну мѣрку съ собой значитъ впадать въ узкій умственный деспотизмъ. Отрицать совершенно произвольно ту или другую естественную и дѣйствительно существующую въ человѣкѣ потребность или способность — значитъ удалаться отъ чистаго эмпиризма.

Увлеченіе Базарова очень естественно; оно объясняется, во-первыхъ, односторонностью развитія, во-вторыхъ, общимъ характеромъ эпохи, въ которую намъ пришлось жить. Базаровъ основательно знаетъ естественныя и медицинскія науки; при ихъ содѣйствіи онъ выбилъ изъ своей головы всѣ предрассудки; затѣмъ онъ остался человѣкомъ крайне необразованнымъ; онъ слышалъ кое-что о поэзіи, кое-что объ искусствѣ, не потрудился подумать и съ плеча произнесъ приговоръ надъ незнакомыми ему предметами. Эта заносчивость свойственна намъ вообще; она имѣетъ свои хорошія стороны, какъ умственная смѣлость, но за то конечно приводитъ порою къ грубымъ ошибкамъ. Общій характеръ эпохи заключается въ практическомъ направленіи; мы всѣ хотимъ жить и придерживаемся того правила, что соловья баснями не кормятъ. Люди очень энергическіе часто преувеличиваютъ тенденціи, господствующія въ обществѣ; на этомъ основаніи слишкомъ неразборчивое отрицаніе Базарова и самая односторонность его развитія стоятъ въ прямой связи съ преобладающими стремленіями къ осязательной пользѣ. Намъ надоѣли фразы гегелистовъ, у насъ закружилась голова отъ витанія въ заоблачныхъ высяхъ, и многіе изъ насъ, отрезвившись и спустившись на землю, ударились въ крайность, и изгоняя мечтательность, вмѣстѣ съ нею стали преслѣдовать простыя чувства и даже чисто физическія ощущенія, вродѣ наслажденія музыкой. Большого вреда въ этой крайности нѣтъ, но указать на нее не мѣшаетъ и назвать ее смѣшною вовсе не значитъ стать въ ряды обскурантовъ и старенькихъ романтиковъ. Многіе изъ нашихъ реалистовъ возстанутъ на Тургенева за то, что онъ не сочувствуетъ Базарову и не скрываетъ отъ читателя промаховъ своего героя; многіе изъявляютъ желаніе, чтобы Базаровъ былъ выведенъ человѣкомъ образцовымъ, рыцаремъ мысли безъ страха и упрека, и чтобы такимъ образомъ было дока-

зано передъ лицомъ читающей публики несомнѣнное превосходство реализма надъ другими направленіями мысли. Да, реализмъ, по моему, вещь хорошая; но во имя этого же самаго реализма не будемъ идеализировать ни себя, ни нашего направленія. Мы смотримъ холодно и трезво на все, что насъ окружаетъ; посмотримъ же точно также холодно и трезво на самихъ себя; кругомъ чушь и глушь, да и у насъ самихъ не богъ знаетъ, какъ свѣтло. Отрицаемое нелѣпо, да и отрицатели тоже дѣлаютъ порою капитальныя глупости; они все-таки стоятъ неизмѣримо выше отрицаемаго, но тутъ еще честь больно невелика; стоять выше вопіющей нелѣпости не значитъ еще быть гениальнымъ мыслителемъ. Но мы, пишущіе и говорящіе реалисты, теперь слишкомъ увлечены умственной борьбою минуты, горячими схватками съ отсталыми идеалистами, съ которыми по настоящему не стоило бы даже спорить; мы, говоря, слишкомъ увлечены, чтобы скептически отнестись къ самимъ себѣ и провѣрить строгимъ анализомъ, не провираемся ли мы въ пылу діалектическихъ сраженій, совершающихся въ журнальныхъ книжкахъ и во вседневной жизни. Къ намъ отнесутся скептически наши дѣти, или можетъ быть, мы сами узнаемъ себѣ со временемъ настоящую цѣну и посмотримъ à vol d'oiseau на теперешнія любимыя идеи. Тогда мы будемъ смотрѣть съ высоты настоящаго на прошедшее; Тургеневъ же теперь смотритъ на настоящее въ высоты прошедшаго. Онъ не идетъ за нами; онъ спокойно смотритъ намъ въ слѣдъ, описываетъ нашу походку, рассказываетъ намъ, какъ мы ускорямъ шаги, какъ прыгаемъ черезъ рытвины, какъ порою скатываемся на неровныхъ мѣстахъ дороги.

Въ тонѣ его описанія не слышно раздраженія; онъ просто усталъ идти; развитіе его личнаго міросозерцанія окончилось, неспособность наблюдать за движеніемъ чужой мысли, понимать и воспроизводить всѣ ея изгибы — осталась во всей своей свѣжести и полнотѣ. Тургеневъ самъ никогда не будетъ Базаровымъ, но онъ вдумался въ этотъ типъ и понялъ его такъ вѣрно, какъ не пойметъ ни одинъ изъ нашихъ молодыхъ реалистовъ. Апостолы прошедшаго нѣтъ въ романѣ Тургенева. Авторъ «Рудина» и «Аси», разоблачившій слабости своего поколѣнія и открывшій въ «Запискахъ Охотника» цѣлый міръ отечественныхъ диковинокъ, дѣлавшихся на глазахъ этого самаго поколѣнія, остался вѣренъ себѣ и не покривилъ душой въ своемъ послѣднемъ произведеніи. Представители прошлаго, «отцы», изображены съ безпощадной вѣрностью; они люди хорошие, но объ этихъ хорошихъ людяхъ не пожалѣетъ Россія; въ нихъ нѣтъ ни одного элемента, который дѣйствительно стоило бы спасать отъ могилы и отъ забвенія; а между тѣмъ есть и такія минуты, когда этимъ отцамъ можно полнѣе сочувствовать, чѣмъ самому Базарову. Когда



Николай Петровичъ любитъся вечернимъ пейзажемъ, тогда онъ всякому непредубѣжденному читателю покажется человѣчиѣ Базарова, голословно отрицающаго красоту природы.

— И природа пустыя? проговорилъ Аркадій, задумчиво глядя вдаль на пестрыя поля, красиво и мягко освѣщенные уже не высокимъ солнцемъ.

— И природа пустыя въ томъ значеніи, въ какомъ ты ее теперь понимаешь. Природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ.

Въ этихъ словахъ у Базарова отрицаніе превращается во что-то искусственное и даже перестаетъ быть послѣдовательнымъ. Природа—мастерская, и человѣкъ въ ней — работникъ; съ этой мыслью я готовъ согласиться; но, развивая эту мысль дальше, я никакъ не прихожу къ тѣмъ результатамъ, къ которымъ приходитъ Базаровъ. Работнику надо отдыхать, а отдыхъ не можетъ ограничиться однимъ тяжелымъ сномъ послѣ утомительнаго труда. Человѣку необходимо освѣжиться пріятными впечатлѣніями, и жизнь безъ пріятныхъ впечатлѣній, даже при удовлетвореніи всѣмъ насущнымъ потребностямъ, превращается въ невыносимое страданіе. Послѣдовательные матеріалисты, вроде Карла Фохта, Молешота и Бюхнера, не отказываютъ поденщику въ чаркѣ водки, а достаточнымъ классамъ въ употребленіи наркотическихъ веществъ. Они смотрятъ снисходительно даже на нарушенія должной мѣры, хотя признаютъ подобныя нарушенія вредными для здоровья. Еслибы работникъ находилъ удовольствіе въ томъ, чтобы въ свободныя часы лежать на спинѣ и глазѣть на стѣны и потолокъ своей мастерской, то тѣмъ болѣе всякій здравомыслящій человѣкъ сказалъ бы ему: глазѣй, любезный другъ, глазѣй, сколько душѣ угодно; здоровью твоему это не повредитъ, а въ рабочее время ты глазѣть не будешь, чтобы не надѣлать промаховъ. Отчего же, допуская употребленіе водки и наркотическихъ веществъ вообще, не допустить наслажденія красотой природы, мягкимъ воздухомъ, свѣжей зеленью, нѣжными переливами контуровъ и красокъ? Преслѣдуя романтизмъ, Базаровъ съ невѣроятной подозрительностью ищетъ его тамъ, гдѣ его никогда и не бывало. Вооружаясь противъ идеализма и разбивая его воздушныя замки, онъ порою самъ дѣлается идеалистомъ, т. е. начинаетъ предписывать человѣку законы, какъ и чѣмъ ему наслаждаться и къ какой мѣркѣ пригонять свои личныя ощущенія. Сказать человѣку: не наслаждайся природой—все равно, что сказать ему: умерщвляй свою плоть. Чѣмъ больше будетъ въ жизни безвредныхъ источниковъ наслажденія, тѣмъ легче будетъ жить на свѣтѣ, и вся задача нашего времени заключается именно въ томъ, чтобы уменьшить сумму страданій и увеличить силу и количество наслажденій. Многіе возражаютъ на это, что мы живемъ въ такое тяжелое время, въ кото-

ромъ еще нечего думать о наслажденіи; наше дѣло, скажутъ они, работать, искоренять зло, сдѣлать добро, расчищать мѣсто для великаго зданія, въ которомъ будутъ пировать наши отдаленные потомки. Хорошо, я согласенъ съ тѣмъ, что мы поставлены въ необходимость работать для будущаго, потому что плоды нашихъ начинаній могутъ созрѣть только втеченіи нѣсколькихъ столѣтій; цѣль наша, положимъ, очень возвышенна, но эта возвышенность цѣли представляется очень слабое утѣшеніе въ житейскихъ передрыгахъ. Человѣку усталому и измученному врядъ ли станетъ весело и пріятно отъ той мысли, что его праправнукъ будетъ жить въ свое удовольствие. Въ тяжелыя минуты жизни утѣшаться возвышенностью цѣли — это, воля ваша, все равно, что пить неподслащенный чай, погладывая на кусокъ сахара, привѣшенный къ потолку. Людямъ, не обладающимъ чрезмѣрной пылкостью воображенія, чай не покажется вкуснѣе отъ этихъ тоскливыхъ взглядовъ къ верху. Точно также и жизнь, состоящая изъ однихъ трудовъ, окажется не по вкусу и не по силамъ современному человѣку. Поэтому, съ какой точки зрѣнія вы не посмотрите на жизнь, а все-таки выйдетъ на повѣрку, что наслажденіе рѣшительно необходимо. Одни посмотрятъ на наслажденіе, какъ на конечную цѣль; другіе принуждены будутъ признать въ наслажденіи важнѣйшій источникъ силъ, необходимыхъ для работы. Въ этомъ будетъ заключаться вся разница между эпикурейцами и стоиками нашего времени.

Итакъ, Тургеневъ никому и ничему въ своемъ романѣ не сочувствуетъ вполне. Если бы сказать ему: «Иванъ Сергѣевичъ, вамъ Базаровъ не нравится, чего же вамъ угодно?»—то онъ на этотъ вопросъ не отвѣтилъ бы ничего. Онъ ни какъ не пожелалъ бы молодому поколѣнію сойтись съ отцами въ понятіяхъ и влеченіяхъ. Его не удовлетворяютъ ни отцы, ни дѣти, и въ этомъ случаѣ его отрицаніе глубже и серьезнѣе отрицанія тѣхъ людей, которые разрушая то, что было до нихъ, воображаютъ себя, что они соль земли и чистѣйшее выраженіе полной человѣчности. Въ разрушеніи своемъ эти люди можетъ быть правы, но въ наивномъ самообожаніи того типа, къ которому они себя причисляютъ, заключается ихъ ограниченность и односторонность. Такихъ формъ, такихъ типовъ, на которыхъ дѣйствительно можно было бы успокоиться и остановиться, еще не выработала и можетъ быть никогда не выработаетъ жизнь. Тѣ люди, которые, отдаваясь въ полное распоряженіе какой бы то ни было господствующей теоріи, отказываются отъ своей умственной самостоятельности и замѣняютъ критику подобострастнымъ поклоненіемъ, оказываются людьми узкими, безсильными и часто вредными. Поступить такимъ образомъ способенъ Аркадій, но это совершенно невозможно для Базарова, и именно въ этомъ свойствѣ ума и ха-



рактера заключается вся обаятельная сила тургеневскаго героя. Эту обаятельную силу понимает и признает авторъ, не смотря на то, что самъ онъ ни по темпераменту, ни по условіямъ развитія не сходится съ своимъ нигилистомъ. Скажу больше: общія отношенія Тургенева къ тѣмъ явленіямъ жизни, которыя составляютъ канву его романа, такъ спокойны и безпристрастны, такъ свободны отъ раболѣпнаго поклоненія той или другой теоріи, что самъ Базаровъ не нашелъ бы въ этихъ отношеніяхъ ничего робкаго или фальшиваго. Тургеневъ не любитъ безпощаднаго отрицанія, а между тѣмъ личность безпощаднаго отрицателя выходитъ личностью сильной и внушаетъ каждому читателю невольное уваженіе. Тургеневъ склоненъ къ идеализму, а между тѣмъ ни одинъ изъ идеалистовъ, выведенныхъ въ его романѣ, не можетъ сравниться съ Базаровымъ ни по силѣ ума, ни по силѣ характера.

Я увѣренъ, что многіе изъ нашихъ журнальныхъ критиковъ захотятъ, во что бы то ни стало, увидать въ романѣ Тургенева затаенное стремленіе унижить молодое поколѣніе и доказать, что дѣти хуже родителей; но я точно также увѣренъ въ томъ, что непосредственное чувство читателей, не скованныхъ обязательными отношеніями къ теоріи, оправдаетъ Тургенева и увидитъ въ его произведеніи не диссертацию на заданную тему, а вѣрную, глубоко прочувствованную и безъ малѣйшей утайки нарисованную картину современной жизни. Если бы на тургеневскую тему напалъ какой нибудь писатель, принадлежащій къ нашему молодому поколѣнію и глубоко сочувствующій базаровскому направленію, тогда конечно картина вышла бы не такая, и краски были бы положены иначе. Базаровъ не былъ бы угловатымъ бурсакомъ, господствующимъ надъ окружающими людьми естественною силой своего здороваго ума; онъ можетъ быть превратился бы въ воплощеніе тѣхъ идей, которыя составляютъ сущность этого типа; онъ можетъ быть представилъ бы намъ въ своей личности яркое выраженіе тенденцій автора, но врядъ ли онъ былъ бы равенъ Базарову въ отношеніи къ жизненной вѣрности и рельефности. Предполагаемый мною молодой художникъ говорилъ бы своимъ произведеніемъ, обращаясь къ сверстникамъ: «вотъ, друзья мои, чѣмъ долженъ быть развитый человѣкъ! Вотъ конечная цѣль нашихъ стремленій!» Что же касается до Тургенева, то онъ просто и спокойно говоритъ: «вотъ какіе бываютъ теперь молодые люди!» и при этомъ не скрываетъ даже того обстоятельства, что ему такіе молодые люди не совсѣмъ нравятся.—Какъ же это можно, закричатъ многіе изъ нашихъ современныхъ критиковъ и публицистовъ, это обскурантизмъ!—Господа, можно было бы отвѣтить имъ, да что вамъ за дѣло до личнаго ощущенія Тургенева. Нравятся, или не

нравятся ему такіе люди—это дѣло вкуса; вотъ если бы онъ, не сочувствуя типу, клеветалъ бы на него, тогда каждый честный человѣкъ имѣлъ бы право вывести его на свѣжую воду, но подобной клеветы вы не найдете въ романѣ; даже угловатости Базарова, на которыя я уже обращалъ вниманіе читателя, объясняются совершенно удовлетворительно обстоятельствами жизни и составляютъ, если не существенно необходимое, то по крайней мѣрѣ очень часто встрѣчающееся свойство людей базаровскаго типа.

Намъ, молодымъ людямъ, было бы конечно гораздо пріятнѣе, если бы Тургеневъ скрылъ и скрасилъ неграціозныя шероховатости; но я не думаю, чтобы, потворствуя такимъ образомъ нашимъ прихотливымъ желаніямъ, художникъ полнѣе охватилъ явленія дѣйствительности. Со стороны виднѣ достоинства и недостатки, и потому строго-критическій взглядъ на Базарова со стороны въ настоящую минуту оказывается гораздо плодотворнѣе, чѣмъ голословное восхищеніе или раболѣпное обожаніе. Взглянувъ на Базарова со стороны, взглянувъ такъ, какъ можетъ смотрѣть только человѣкъ «отставной», не причастный къ современному движенію идей, разсмотрѣвъ его тѣмъ холоднымъ, испытующимъ взглядомъ, который дается только долгимъ опытомъ жизни, Тургеневъ оправдалъ Базарова и оцѣнилъ его по достоинству. Базаровъ вышелъ изъ испытанія чистымъ и крѣпкимъ. Противъ этого типа Тургеневъ не нашелъ ни одного существеннаго обвиненія, и въ этомъ случаѣ его голосъ, какъ голосъ человѣка, находящагося по лѣтамъ и по взгляду на жизнь въ другомъ лагерѣ, имѣетъ особенно важное, рѣшительное значеніе. Тургеневъ не полюбилъ Базарова, не призналъ его силу, призналъ его перевѣсъ надъ окружающими людьми и самъ принесъ ему полную дань уваженія.

Этого слишкомъ достаточно для того, чтобы снять съ романа Тургенева всякій, могущій возникнуть, упрекъ въ отсталости направленія; этого достаточно даже для того, чтобы признать его романъ практически полезнымъ для настоящаго времени.

## VI.

Отношенія Базарова къ его товарищу бросаютъ яркую полосу свѣта на его характеръ; у Базарова нѣтъ друга, потому что онъ не встрѣчалъ еще человѣка, «который бы не спасовалъ передъ нимъ»; Базаровъ одинъ самъ по себѣ, стоитъ на холодной высотѣ трезвой мысли, и ему не тяжело это одиночество; онъ весь поглощенъ собой и работой; наблюденія и изслѣдованія надъ живою природой, наблюденія и изслѣдованія надъ живыми людьми наполняютъ для него пустоту жизни и застраховываютъ его противъ скуки. Онъ не чувствуетъ потребности въ какомъ нибудь другомъ человѣкѣ отыскать себѣ сочувствіе



и пониманіе; когда ему приходитъ въ голову какая нибудь мысль, онъ просто высказывается, не обращая вниманія на то, согласны ли съ его мнѣніемъ слушатели, и пріятно ли дѣйствуютъ на нихъ его идеи. Чаще всего онъ даже не чувствуетъ потребности высказаться; думаетъ про себя и изрѣдка роняетъ бѣглое замѣчаніе, которое обыкновенно съ почитительной жадностью подхватываютъ прозелиты и птенцы, подобные Аркадію. Личность Базарова замыкается въ самой себѣ, потому что внѣ ея и вокругъ нея почти вовсе нѣтъ родственныхъ ей элементовъ. Эта замкнутость Базарова тяжело дѣйствуетъ на тѣхъ людей, которые желали бы отъ него нѣжности и общительности, но въ этой замкнутости нѣтъ ничего искусственного и преднамѣреннаго. Люди, окружающіе Базарова, ничтожны въ умственномъ отношеніи и никакимъ образомъ не могутъ расшевелить его, поэтому онъ и молчитъ, или говоритъ отрывочные афоризмы, или обрываетъ начатый споръ, чувствуя его смѣшную бесполезность.

Посадите взрослого человѣка въ одну комнату съ дюжиной ребятъ, и вы вѣроятно не найдете удивительнымъ, если этотъ взрослый не станетъ говорить съ своими товарищами по мѣсту жительства о своихъ человѣческихъ, гражданскихъ и научныхъ убѣжденіяхъ. Базаровъ не важничаетъ передъ другими, не считаетъ себя гениальнымъ человѣкомъ, непонятнымъ для своихъ современниковъ или соотечественниковъ; онъ просто пригужденъ смотрѣть на своихъ знакомыхъ сверху внизъ, потому что эти знакомые приходятся ему по колѣно; чтожь ему дѣлать? Вѣдь не садиться же ему на полъ для того, чтобы сравняться съ ними въ ростѣ? Не прикидываться же ребенкомъ для того, чтобы дѣлать съ ребятами ихъ недозрѣлыя мысленки. Онъ поволѣ остается въ уединеніи, и это уединеніе не тяжело для него потому, что онъ молодъ, крѣпокъ, занятъ кипучей работой собственной мысли. Процессъ этой работы остается въ тѣни; сомнѣваюсь, чтобы Тургеневъ былъ въ состояніи передать намъ описаніе этого процесса; чтобы изобразить его, надо самому пережить его въ своей головѣ, надо самому быть Базаровымъ, а съ Тургеневымъ этого не случилось, за это можно поручиться, потому что кто въ жизни своей хотя одинъ разъ, хоть въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ смотрѣлъ на вещи глазами Базарова, тотъ остается нигилистомъ на весь свой вѣкъ. У Тургенева мы видимъ только результаты, къ которымъ пришелъ Базаровъ, мы видимъ внѣшнюю сторону явленія, т. е. слышимъ, что говоритъ Базаровъ, и узнаемъ, какъ онъ поступаетъ въ жизни, какъ обращается съ разными людьми. Психологическаго анализа, связнаго перечня мыслей Базарова мы не находимъ; мы можемъ только отгадывать, что онъ думалъ и какъ формулировалъ передъ самимъ собой свои

убѣжденія. Не посвящая читателя въ тайны умственной жизни Базарова, Тургеневъ можетъ возбудить недоумѣніе въ той части публики, которая не привыкла трудомъ собственной мысли дополнять то, что не договорено или не дорисовано въ произведеніи писателя. Невнимательный читатель можетъ подумать, что у Базарова нѣтъ внутренняго содержанія, и что весь нигилизмъ состоитъ изъ сплетенія смѣлыхъ фразъ, выхваченныхъ изъ воздуха и не выработанныхъ самостоятельнымъ мышленіемъ. Можно сказать положительно, что самъ Тургеневъ не такъ понимаетъ своего героя, и только потому не слѣдитъ за постепеннымъ развитіемъ и созрѣваніемъ его идей, что не можетъ и не находитъ удобнымъ передавать мысли Базарова такъ, какъ они представляются его уму. Мысли Базарова выражаются въ его поступкахъ, въ его обращеніи съ людьми, онѣ просвѣчиваютъ, и ихъ разглядѣть нетрудно, если только читать внимательно, группируя факты и отдавая себѣ отчетъ въ ихъ причинахъ.

Два эпизода окончательно дорисовываютъ эту замѣчательную личность: во-первыхъ, отношенія его къ женщинѣ, которая ему нравится; во-вторыхъ—его смерть.

Я разсмотрю и то, и другое, но сначала считаю не лишнимъ обратить вниманіе на другія, второстепенныя подробности.

Отношенія Базарова къ его родителямъ могутъ однихъ читателей предрасположить противъ героя, другихъ—противъ автора. Первые, увлекаясь чувствительнымъ настроеніемъ, упрекнутъ Базарова въ черствости; вторые, увлекаясь привязанностью къ базаровскому типу, упрекнутъ Тургенева въ несправедливости къ своему герою и въ желаніи выставить его съ невыгодной стороны. И тѣ, и другіе, по моему мнѣнію, будутъ совершенно неправы. Базаровъ дѣйствительно не доставляетъ своимъ родителямъ тѣхъ удовольствій, которыхъ эти добрые старики ожидаютъ отъ его пребыванія съ ними, но между ними и его родителями нѣтъ ни одной точки соприкосновенія.

Отецъ его—старый уѣздный лекарь, совершенно опустившійся въ безцвѣтной жизни бѣднаго помѣщика; мать его—дворяночка стараго покроя, вѣрящая во всѣ примѣты и умѣющая только отлично готовить кушанье. Ни съ отцомъ, ни съ матерью Базаровъ не можетъ ни поговорить такъ, какъ онъ говорилъ съ Аркадіемъ, ни даже поспорить такъ, какъ онъ споритъ съ Павломъ Петровичемъ. Ему съ ними скучно, пусто, тяжело. Жить съ ними подъ одной кровлей онъ можетъ только съ тѣмъ условіемъ, чтобы они не мѣшали ему работать. Имъ это конечно тяжело; ихъ онъ запугиваетъ, какъ существо изъ другого міра, но ему-то что-жь съ этимъ дѣлать? Вѣдь это было бы безжалостно въ отношеніи къ самому себѣ, если бы Базаровъ захотѣлъ посвятить два, три мѣсяца на то, чтобы потѣ-



шить своихъ стариковъ; для этого ему надо было бы отложить въ сторону всякія занятія и цѣлыми днями просиживать съ Василиемъ Ивановичемъ и съ Ариной Власьевной, которые на радостяхъ болтали бы всякій вздоръ, приплетая каждый по своему и уѣздныя сплетни, и городскіе слухи, и замѣчанія объ урожаѣ, и рассказы какойнибудь юрודивой, и латинскія сентенціи изъ стараго медицинскаго трактата. Человѣкъ молодой, энергическій, полный своей личной жизнью не выдержалъ бы двухъ дней подобной идилліи и, какъ угорѣлый, вырвался бы изъ этого тихаго угла, гдѣ его такъ любятъ и гдѣ ему такъ страшно надоѣдаютъ. Не знаю, хорошо ли бы себя почувствовали старики Базаровы, если бы послѣ двухъ-суточного блаженства они услышали отъ своего ненагляднаго сына, что непредвидѣнные обстоятельства принуждаютъ его уѣхать. Не знаю вообще, какимъ образомъ Базаровъ могъ бы вполне удовлетворить требованіямъ своихъ родителей, не отказываясь совершенно отъ своего личнаго существованія. Если же такъ или иначе ему непременно пришлось бы оставить ихъ неудовлетворенными, тогда не изъ чего было возбуждать въ нихъ такія надежды, которыя не могли осуществиться.

Когда два человѣка, любящіе другъ друга или связанные между собой какими нибудь отношеніями, расходятся между собой въ образованіи, въ идеяхъ, въ наклонностяхъ и привычкахъ, тогда разладъ и страданіе той или другой стороны, а иногда обѣихъ вмѣстѣ, дѣлаются до такой степени неизбежными, что становится даже бесполезнымъ хлопотать объ ихъ устраненіи. Но родители Базарова страдаютъ отъ этого разлада, а Базаровъ и въ усъ не дуетъ; это обстоятельство естественно располагаетъ сострадательнаго читателя въ пользу стариковъ; иной скажетъ даже: зачѣмъ онъ ихъ мучаетъ? Вѣдь они его такъ любятъ! — А чѣмъ же, позвольте васъ спросить, онъ ихъ мучаетъ? Тѣмъ что ли, что онъ не вѣритъ въ примѣты, или скучаетъ отъ ихъ болтовни? Да какъ же ему вѣрить-то и какъ же не скучать? Если бы самый близкій мнѣ человѣкъ сокрушался отъ того, что во мнѣ слишкомъ два съ половиной, а не полтора аршина роста, то я, при всемъ моемъ желаніи, не могъ бы утѣшить его, а просто пожалъ бы плечами и отошелъ въ сторону. Предвижу впрочемъ одно довольно курьезное обстоятельство: если бы Базаровъ также страдалъ отъ невозможности сойтись съ своими родителями, то сострадательные читатели помирились бы съ нимъ и посмотрѣли бы на него, какъ на несчастную жертву историческаго процесса развитія. Но Базаровъ не страдаетъ, и потому многіе на него накинутся и съ негодованіемъ назовутъ его безчувственнымъ человѣкомъ. Эти многіе очень дорожатъ красотой чувства, хотя эта красота не имѣетъ никакого практическаго значенія. Стра-

даніе отъ разъединенія съ родителями кажется имъ чертой, необходимой для красоты чувства, и потому они требуютъ, чтобы Базаровъ страдалъ, не обращая вниманія на то, что это нисколько не поправило бы дѣла, и что Василию Ивановичу и Аринѣ Власьевнѣ отъ этого никакъ не было бы легче. Если же отношенія Базарова къ его родителямъ могутъ повредить ему только во мнѣніи сострадательныхъ читателей, то Тургеневъ нельзя упрекнуть въ несправедливости или утрировкѣ, потому что тѣмъ людямъ, у которыхъ чувствительность беретъ рѣшительный перевѣсъ надъ критикой ума, вообще не понравятся всѣ существенныя, основныя черты базаровскаго типа. Имъ не понравится ни трезвость мысли, ни безпощадность критики, ни твердость характера; не понравились бы имъ эти свойства даже въ томъ случаѣ, когда бы авторъ романа написалъ этимъ свойствамъ восторженный панегирикъ; слѣдовательно тутъ, какъ и вездѣ, не художественная обработка, а самый матеріалъ, самое явленіе дѣйствительности возбудило бы неприязненные чувства.

Изображая отношенія Базарова къ старикамъ. Тургеневъ вовсе не превращается въ обвинителя, умышленно подбирающаго мрачныя краски; онъ остается по прежнему искреннимъ художникомъ и изображаетъ явленіе, какъ оно есть, не подделывая и не скрашивая его по своему произволу. Самъ Тургеневъ, можетъ быть, по своему характеру подходитъ къ сострадательнымъ людямъ, о которыхъ я говорилъ выше; онъ порою увлекается сочувствіемъ къ наивной, почти не сознающей грусти старухи-матери и къ сдержанному, стыдливому чувству старика-отца, увлекается до такой степени, что почти готовъ корить и обвинять Базарова; но въ этомъ увлеченіи нельзя искать ничего преднамѣреннаго и разсчитаннаго. Въ немъ сказывается только любящая натура самого Тургенева, и въ этомъ свойствѣ его характера трудно найти что нибудь предосудительное. Тургеневъ не виноватъ въ томъ, что жалѣетъ бѣдныхъ стариковъ и даже сочувствуетъ ихъ непоправимому горю. Тургеневу не резонъ скрывать свои симпатіи въ угоду той или другой психологической или социальной теоріи. Эти симпатіи не заставляютъ его кривить душой и уродовать дѣйствительность, слѣдовательно, онѣ не вредятъ ни достоинству романа, ни личному характеру художника.

## VII.

Базаровъ съ Аркадіемъ отправляются въ губернскій городъ, по приглашенію одного родственника Аркадія, и встрѣчаются съ двумя въ высшей степени типичными личностями. Эти личности — юноша Ситниковъ и молодая дама Кукшина — представляютъ великолѣпно исполненную каррикатуру безмозглаго прогрессиста и



по-русски эмансипированной женщины. Ситниковых и Кукшиных у нас развелось въ послѣднее время безчисленное множество; нахвататься чужихъ фразъ, исковеркать чужую мысль и нарядиться прогрессистомъ теперь такъ же легко и выгодно, какъ при Петрѣ было легко и выгодно нарядиться европейцемъ. Истинныхъ прогрессистовъ, т. е. людей дѣйствительно умныхъ, образованныхъ и добросовѣстныхъ у насъ очень немного; порядочныхъ и развитыхъ женщинъ еще того меньше, но за то не перечесть того песмѣтнаго количества разнокалиберной сволочи, которая тѣшится прогрессивными фразами, какъ модной вещью, или драпируется въ нихъ, чтобы закрыть свои пошленькія поползновенія. У насъ можно сказать, что всякій пустомеля смотритъ прогрессистомъ, лѣзетъ въ передовые люди, создаетъ изъ чужихъ лоскутѣвъ свою теорію и даже часто силится заявить о ней въ литературѣ. «Русскій Вѣстникъ» смотритъ на это обстоятельство съ сердечнымъ прискорбіемъ, которое часто переходитъ въ крикливое негодованіе. Это крикливое негодованіе вызываетъ себѣ отпоръ.

— Что вы дѣлаете? говорятъ многіе «Русскому Вѣстнику», вы ругаете прогрессистовъ, вы вредите дѣлу и идеѣ прогресса. «Русскій Вѣстникъ» вѣроятно съ особеннымъ наслажденіемъ принялъ на свои страницы тѣ сцены романа Тургенева, въ которыхъ дѣйствуютъ Ситниковъ и Кукшина: вотъ, думаетъ онъ, всѣ псевдо-прогрессисты съ ужасомъ и съ отвращеніемъ оглянутся на самихъ себя! Многіе изъ литературныхъ противниковъ «Русскаго Вѣстника» съ ожесточеніемъ накинутся на Тургенева за эти сцены. Онъ осмѣиваетъ нашу святыню, закричатъ они съ неистовыми жестами, онъ идетъ противъ направленія вѣка, противъ свободы женщины. Этотъ споръ между сторонниками и противниками «Русскаго Вѣстника», какъ вообще многіе литературные и нелитературные споры, вовсе не касается того предмета, по поводу котораго горячатся спорящія стороны. Какъ негодованіе «Русскаго Вѣстника» противъ Ситниковыхъ, такъ и негодованіе многихъ журналовъ противъ возгласовъ «Русскаго Вѣстника» не имѣютъ ни малѣйшаго смысла. Негодованіе противъ глупости и подлости вообще понятно, хотя впрочемъ оно такъ же плодотворно, какъ негодованіе противъ осенней сырости, или зимняго холода. Но негодованіе противъ той формы, въ которой выражается глупость или подлость, дѣлается уже совершенно нелѣпымъ. Ни правительственныя распоряженія, ни литературныя теоріи никогда не уничтожатъ глупыхъ и мелкихъ людей; эти глупые и мелкіе люди надѣваются на себя тотъ или другой костюмъ, но никакой головной уборъ не можетъ закрыть ихъ ослиныя уши. Чѣмъ бы ни былъ Ситниковъ — байронистомъ (вродъ Грушниц-

каго), гегелистомъ (вродъ Шамилова) или нигилистомъ (каковъ онъ и есть), онъ все-таки останется пошлымъ человѣкомъ. Слѣдовательно, не все ли равно, какъ онъ себя величаетъ — консерваторомъ или прогрессистомъ? Всего лучше то положеніе, которое дѣлаетъ глупаго человѣка по возможности безвреднымъ, а надо сказать правду, что глупый прогрессистъ принадлежитъ къ числу наиболѣе безвредныхъ созданий. Въ былые годы Ситниковъ былъ бы способенъ изъ удалства бить на почтовыхъ станціяхъ ямщиковъ; теперь онъ уже откажетъ себѣ въ этомъ удовольствіи, потому что это не принято и потому что я-де прогрессистъ. Ужъ и это хорошо, и за то спасибо отечественному прогрессу. Противъ чего же тутъ негодовать, и отчего же не позволить Ситникову величать себя прогрессистомъ и дѣятелемъ? Кому это вредитъ? Кому отъ этого больно? Но только конечно надо знать Ситниковымъ ихъ настоящую цѣну, и не надо ожидать чудесъ гражданской и человѣческой доблести отъ такого общества, въ которомъ большая половина сама не знаетъ того, что она говорить и чего хочетъ. Поэтому художникъ, рисуящій передъ нашими глазами поразительно живую карикатуру, осмѣивающій искаженія великихъ и прекрасныхъ идей, заслуживаетъ нашей полной признательности.

Многія идеи сдѣлались ходячей монетой и, путешествуя изъ рукъ въ руки, потемнѣли и потерялись, какъ старый полтинникъ; на идею валить то, что принадлежитъ исключительно ея уродливому проявленію, то, что пристало къ ней случайно отъ прикосновенія грязныхъ рукъ; чтобы очистить идею, надо представить уродливое проявленіе во всей его уродливости и такимъ образомъ строго отдѣлить основную сущность отъ произвольныхъ примѣсей. Между Кукшиной и эмансипаціей женщины нѣтъ ничего общаго; между Ситниковымъ и гуманными идеями XIX вѣка нѣтъ ни малѣйшаго сходства. Назвать Ситникова и Кукшину порожденіемъ времени было бы въ высокой степени нелѣпо. Оба они заимствовали у своей эпохи только верхнюю драпировку, и эта драпировка все-таки лучше остального ихъ умственного достоянія. Стало быть, какой же смыслъ будетъ имѣть негодованіе теоретиковъ противъ Тургенева за Кукшину и Ситникова? Что же, было бы лучше, если бы Тургеневъ представилъ русскую женщину, эмансипированную въ лучшемъ смыслѣ этого слова, и молодого человѣка, проникнутаго высокими чувствами гуманности? Да въѣдъ это было бы пріятное самообольщеніе! Это была бы сладкая ложь, и къ тому же ложь, въ высшей степени неудачная. Спрашивается, откуда бы взялъ Тургеневъ красокъ для изображенія такихъ явленій, которыхъ нѣтъ въ Россіи и для которыхъ въ русской жизни нѣтъ ни почвы, ни простора? И какое значеніе имѣла бы эта про-



извольная выдумка? Вѣроятно возбудила бы въ нашихъ мужчинахъ и женщинахъ добродѣтельное желаніе подражать столь высокимъ образцамъ нравственнаго совершенства!.. Нѣтъ, скажутъ противники Тургенева, пусть авторъ не выдумываетъ небывалыхъ явленій! Пусть онъ только разрушаетъ старое, гнилое, и не трогаетъ тѣхъ идей, отъ которыхъ мы ожидаемъ обильныхъ, благотѣльныхъ результатовъ. Ахъ! да, это понятно; это значитъ: нашихъ не тронь! Да какъ же, господа, не трогать, если въ числѣ нашихъ много дряни, если фирмою многихъ идей пользуются тѣ самые негодяи, которые за нѣсколько лѣтъ тому назадъ были Чичиковыми, Ноздревыми, Молчалиными и Хлестаковыми? Неужели не трогать ихъ въ награду за то, что они перебѣжали на нашу сторону, неужели поощрять ихъ за ренегатство подобно тому, какъ въ Турціи поощряютъ за принятіе ислама? Нѣтъ, это было бы слишкомъ нелѣпо. Мнѣ кажется, идеи нашего времени слишкомъ сильны своимъ собственнымъ внутреннимъ значеніемъ, чтобы нуждаться въ искусственной подпorkѣ. Пусть принимаетъ эти идеи только тотъ, кто дѣйствительно убѣжденъ въ ихъ вѣрности, и пусть онъ не думаетъ, что титулъ прогрессиста самъ по себѣ, подобно индульгенціи, покрываетъ грѣхи прошедшаго, настоящаго и будущаго. Ситниковы и Кукшины всегда останутся смѣшными личностями; ни одинъ благоразумный человѣкъ не порадуется тому, что онъ стоитъ съ ними подъ однимъ знаменемъ, и въ то же время не припишетъ ихъ уродливости тому девизу, который написанъ на знамени. Посмотрите, какъ обращается Базаровъ съ этими идіотами; онъ, по приглашенію Ситникова, заходитъ къ Кукшиной, съ цѣлью посмотреть людей, завтракаетъ, пьетъ шампанское, не обращаетъ никакого вниманія на усилія Ситникова блеснуть смѣлостью мысли, и на усилія Кукшиной вызвать его, Базарова, на умный разговоръ, и наконецъ уходитъ, даже не простившись съ хозяйкой.

«Ситниковъ выскочилъ вслѣдъ за ними.

— Ну что, ну что, спрашивалъ онъ, подобострастно забѣгая то справа, то слѣва, я говорилъ вамъ: замѣчательная личность! Вотъ какихъ бы намъ женщинъ побольше? Она въ своемъ родѣ высоко нравственное явленіе!

— А это заведеніе *твоего* отца—тоже нравственное явленіе? промолвилъ Базаровъ, ткнувъ пальцемъ на кабакъ, мимо котораго они въ это мгновеніе проходили.

Ситниковъ опять засмѣялся съ визгомъ. Онъ очень стыдился своего происхожденія и не зналъ, чувствовать ли ему себя польщеннымъ или обиженнымъ отъ неожиданнаго тыканья Базарова.

### VIII.

Въ городѣ Аркадій знакомится на балѣ у губернатора съ молодою вдовой, Анной Сергѣевной

Одинцовой; онъ танцуетъ съ ней мазурку, между прочимъ заговариваетъ съ нею о своемъ другѣ Базаровѣ и заинтересовываетъ ее восторженнымъ описаніемъ его смѣлаго ума и рѣшительнаго характера. Она приглашаетъ его къ себѣ и проситъ привести съ собою Базарова. Базаровъ, замѣтившій ее, какъ только она появилась на балѣ, говоритъ о ней съ Аркадіемъ, невольно усиливая обыкновенный цинизмъ своего тона, отчасти для того, чтобы скрыть и отъ себя, и отъ своего собесѣдника впечатлѣніе, произведенное на него этой женщиной. Онъ съ удовольствіемъ соглашается пойти къ Одинцовой вмѣстѣ съ Аркадіемъ, и объясняетъ себѣ и ему это удовольствіе надеждой завести пріятную интригу. Аркадія, не преминувшаго влюбиться въ Одинцову, коробитъ отъ шутливаго тона Базарова, а Базаровъ конечно не обращаетъ на это ни малѣйшаго вниманія, продолжаетъ толковать о красивыхъ плечахъ Одинцовой, спрашиваетъ у Аркадія, дѣйствительно ли эта барыня — ой, ой, ой? говоритъ, что въ тихомъ омутѣ черти водятся и что холодныя женщины—все равно, что мороженное. Подходя къ квартирѣ Одинцовой, Базаровъ чувствуетъ нѣкоторое волненіе и, желая переломить себя, въ началѣ визита, ведетъ себя неестественно развязно и, по замѣчанію Тургенева, разваливается въ креслѣ не хуже Ситникова. Одинцова замѣчаетъ волненіе Базарова, отчасти отгадываетъ его причину, успокаиваетъ нашего героя ровной и тихой привѣтливостью обращенія и часа три проводитъ съ молодыми людьми въ неторопливой, разнообразной и живой бесѣдѣ. Базаровъ обращается съ ней особенно почтительно; видно, что ему не все равно, какъ объ немъ подумаютъ и какое онъ произведетъ впечатлѣніе; онъ, противъ обыкновенія, говоритъ довольно много, старается занять свою собесѣдницу, не дѣлаетъ рѣзкихъ выходовъ, и даже, осторожно держась внѣ круга общихъ убѣжденій и воззрѣній, толкуетъ о ботаникѣ, о медицинѣ и другихъ, хорошо извѣстныхъ ему предметахъ. Прощаясь съ молодыми людьми, Одинцова приглашаетъ ихъ къ себѣ въ деревню. Базаровъ въ знакъ согласія молча кланяется и при этомъ краснѣетъ. Аркадій все это замѣчаетъ и всему этому удивляется. Послѣ этого перваго свиданія съ Одинцовой, Базаровъ пробуетъ по прежнему говорить объ ней шутливымъ тономъ, но въ самомъ цинизмѣ его выраженій сказывается какое-то невольное, затаенное уваженіе. Видно, что онъ любитъ эту женщиной и желаетъ съ нею сблизиться; шутитъ онъ на ея счетъ потому, что ему не хочется говорить серьезно съ Аркадіемъ ни объ этой женщинѣ, ни о тѣхъ новыхъ ощущеніяхъ, которыя онъ замѣчаетъ въ самомъ себѣ.

Базаровъ не могъ полюбить Одинцову съ перваго взгляда или послѣ перваго свиданія; такъ вообще влюблялись только очень пустые люди



въ очень плохихъ романахъ. Ему просто понравилось ея красивое пли, какъ онъ самъ выражается, богатое тѣло; разговоръ съ нею не нарушилъ общей гармоніи впечатлѣнія, и этого на первый разъ было достаточно, чтобы поддержать въ немъ желаніе узнать ее покороче. Базаровъ не составлялъ себѣ никакихъ теорій о любви. Его студенческіе годы, о которыхъ Тургеневъ не говоритъ ни слова, вѣроятно не обошлись безъ походовъ по сердечной части; Базаровъ, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, оказывается опытнымъ человѣкомъ, но по всей вѣроятности онъ имѣлъ дѣло съ женщинами совершенно неразвитыми, далеко не изящными и слѣдовательно не способными сильно заинтересовать его умъ, или шевельнуть его нервы. Онъ и на женщинъ привыкъ смотрѣть сверху внизъ; встрѣчаясь съ Одинцовой, онъ видитъ, что можетъ говорить съ ней, какъ равный съ равною, и предчувствуетъ въ ней долю того гибкаго ума и твердаго характера, который онъ сознаетъ и любить въ своей особѣ. Говоря между собою, Базаровъ и Одинцова, въ умственномъ отношеніи, умѣютъ какъ-то смотрѣть другъ другу въ глаза, черезъ голову птенца Аркадія, и эти задатки взаимнаго пониманія доставляютъ пріятныя ощущенія обоимъ дѣйствующимъ лицамъ. Базаровъ видитъ изящную форму и невольно любитъ ее; подъ этой изящной формой онъ отгадываетъ самородную силу и безотчетно начинаетъ уважать эту силу. Какъ чистый эмпирикъ, онъ наслаждается пріятнымъ ощущеніемъ и постепенно втягивается въ это наслажденіе, и втягивается до такой степени, что когда приходитъ время оторваться, тогда оторваться уже становится тяжело и больно.

У Базарова въ любви нѣтъ анализа, потому что нѣтъ недовѣрія къ самому себѣ. Онъ ѣдетъ въ деревню къ Одинцовой съ любопытствомъ и безъ малѣйшей боязни, потому что хочется приглядѣться къ этой миловидной женщинѣ, хочется быть съ ней вмѣстѣ, провести пріятно нѣсколько дней. Въ деревнѣ незамѣтно проходитъ пятнадцать дней; Базаровъ много говоритъ съ Анной Сергѣевной, споритъ съ ней, высказывается, раздражается и наконецъ привязывается къ ней какою-то злобной, мучительной страстью. Такую страсть всего чаще внушаютъ энергическимъ людямъ женщины красивыя, умныя и холодныя. Красота женщины волнуетъ кровь ея обожателя; умъ ея даетъ ей возможность понимать голову и обсуживать тонкимъ психическимъ анализомъ такія чувства, которыхъ она сама не раздѣляетъ и которымъ даже не сочувствуетъ; холодность застраховываетъ ее противъ увлеченія, и усиливая препятствія, вмѣстѣ съ тѣмъ усиливаетъ въ мужчинѣ желаніе преодолѣть ихъ. Глядя на такую женщину, мужчина невольно думаетъ: она такъ хороша, она такъ умно говоритъ о чувствахъ, порою такъ ожив-

ляется, высказывая свои тонкія психическія замѣчанія или выслушивая мои горячо-прочувствованныя рѣчи. Отчего же въ ней такъ упорно молчитъ чувственность? Какъ затронуть ее за живое? Неужели вся жизнь ея сосредоточена въ головномъ мозгу? Неужели она только тѣшится впечатлѣніями и не способна ими увлечься? Время уходитъ въ напряженныхъ усиліяхъ распутать живую загадку; голова работаетъ вмѣстѣ съ чувственностью; являются тяжелыя, мучительныя ощущенія; весь романъ отношеній между мужчиной и женщиной принимаетъ какой-то странный характеръ борьбы. Знакомая съ Одинцовой, Базаровъ думалъ развлечься пріятною интригой; узнавши ее покороче, онъ почувствовалъ къ ней уваженіе, и вмѣстѣ съ тѣмъ увидалъ, что надежды на успѣхъ очень мало; если бы онъ не успѣлъ привязаться къ Одинцовой, тогда онъ просто махнулъ бы рукой и тотчасъ утѣшился бы практическимъ замѣчаніемъ, что земля не клиномъ сошлась и что на свѣтѣ много такихъ женщинъ, съ которыми легко справиться; онъ попробовалъ и тутъ поступить такимъ образомъ, но махнуть рукою на Одинцову у него не хватило силъ. Практическое благоразуміе совѣтовало ему бросить все дѣло и уѣхать, чтобы не томить себя понапрасну, а жажда наслажденія говорила громче практическаго благоразумія, и Базаровъ оставался, и злился, и сознавалъ, что дѣлаетъ глупость, и все-таки продолжалъ ее дѣлать, потому что желаніе пожить въ свое удовольствіе было сильнѣе желанія быть послѣдовательнымъ. Эта способность дѣлать сознательныя глупости составляетъ завидное преимущество людей сильныхъ и умныхъ. Человѣкъ безстрастный и сухой поступаетъ всегда такъ, какъ велятъ поступать логическія выкладки; человѣкъ робкій и слабый старается обмануть себя софизмами и увѣрить себя въ правотѣ своихъ желаній или поступковъ; но Базаровъ не нуждается въ подобныхъ фокусахъ; онъ прямо говоритъ себѣ: это глупо, а поступаю я все-таки такъ, какъ мнѣ хочется, и ломать себя не хочу. Когда явится необходимость, тогда успѣю и съумѣю повернуть самого себя, какъ слѣдуетъ. Цѣльная, крѣпкая натура сказывается въ этой способности сильно увлекаться; здоровый, неподкупный умъ выражается въ этомъ умѣніи назвать глупостью то самое увлеченіе, которое въ данную минуту охватываетъ весь организмъ.

Отношенія Базарова къ Одинцовой кончаются тѣмъ, что между ними происходитъ странная сцена. Она вызываетъ его на разговоръ о счастьи и любви, она съ любопытствомъ, свойственнымъ холоднымъ и умнымъ женщинамъ, выпрашиваетъ у него, что въ немъ происходитъ, она вытягивается изъ него признаніе въ любви, она съ отбѣнкомъ невольной нѣжности произноситъ его имя; потомъ, когда онъ, ошеломленный внезап-



нымъ притокомъ ощущеній и новыхъ надеждъ, бросается къ ней и прижимаетъ ее къ груди, она же отскакиваетъ съ испугомъ на другой конецъ комнаты и увѣряетъ его, что онъ ее не такъ понялъ, что онъ ошибся.

Базаровъ уходитъ изъ комнаты и тѣмъ кончаются отношенія. Онъ уѣзжаетъ на другой день послѣ этого происшествія, потомъ видится раза два съ Анной Сергѣевной, даже гоститъ у нея вмѣстѣ съ Аркадіемъ, но для него и для нея прошедшія событія оказываются дѣйствительно невозкресимымъ прошедшимъ, и они смотрятъ другъ на друга спокойно и говорятъ между собою тономъ разсудительныхъ и солидныхъ людей. А между тѣмъ Базарову грустно смотрѣть на отношенія съ Одинцовой, какъ на пережитой эпизодъ; онъ любитъ ее и, не давая себѣ воли пыть, страдать и разыгрывать несчастнаго любовника, становится какъ-то неровенъ въ своемъ образѣ жизни, то бросается на работу, то впадаетъ въ бездѣйствіе, то просто скучаетъ и брюзжитъ на окружающихъ людей. Высказаться онъ ни передъ кѣмъ не хочетъ, да и самъ передъ собою не сознается въ томъ, что чувствуетъ что-то похожее на тоску и на утомленіе. Онъ какъ-то злится и окисляется отъ этой неудачи, ему досадно думать, что счастье поманило его и прошло мимо, и досадно чувствовать, что это событіе производитъ на него впечатлѣніе. Все это скоро переработалось бы въ его организмѣ; онъ принялся бы за дѣло, выругалъ бы самымъ энергическимъ образомъ проклятый романтизмъ и неприступную барыню, водившую его за носъ, и зажилъ бы по прежнему, занимаясь рѣзаніемъ лягушекъ и ухаживая за менѣе непобѣдимыми красавицами. Но Тургеневъ не вывелъ Базарова изъ тяжелаго настроенія. Базаровъ внезапно умираетъ, конечно не отъ огорченія, и романъ оканчивается или, вѣрнѣе, рѣзко и неожиданно обрывается.

Въ то время, какъ Базаровъ хандритъ въ деревнѣ своего отца, Аркадій, влюбившійся также въ Одинцову со времени губернаторскаго бала, но не успѣвшій даже заинтересовать ее, сблизается съ ея сестрой, Катериною Сергѣевной, 18-ти лѣтней дѣвушкой и, самъ того не замѣчая, привязывается къ ней, забываетъ свою прежнюю страсть и наконецъ дѣлаетъ ей предложеніе. Она соглашается, Аркадій женится на ней и вотъ, когда онъ уже объявленъ женихомъ, между нимъ и Базаровымъ, уѣзжающимъ къ своему отцу, происходитъ слѣдующій короткій, но выразительный разговоръ.

«Аркадій бросился на шею къ своему бывшему наставнику и другу, и слезы такъ и брызнули у него изъ глазъ.

— Что значитъ молодость! пропзнесъ Базаровъ, да я на Катерину Сергѣевну надѣюсь. Посмотри, какъ живо она тебя утѣшитъ.

— Прощай, братъ! сказалъ онъ Аркадію, уже

изобравшись на телѣгу, и, указавъ на пару галокъ, сидѣвшихъ рядышкомъ на крышѣ конюшни, прибавилъ: — вотъ тебѣ, изучай!

— Это что значитъ? спросилъ Аркадій.

— Какъ? развѣ ты такъ плохъ въ естественной исторіи или забылъ, что галка самая почтенная, семейная птица? Тебѣ примѣръ!..

Прощайте, сеньоръ!

Телѣга задребезжала и покатилаcь».

Да, Аркадій, по выраженію Базарова, попалъ въ галки, и прямо изъ-подъ вліянія своего друга перешелъ подъ мягкую власть своей юной супруги. Но какъ бы то ни было, Аркадій свилъ себѣ гнѣздо, нашелъ себѣ кой-какое счастье, а Базаровъ остался бездомнымъ, не согрѣтымъ скитальцемъ. И это не прихоть романиста! Это не случайное обстоятельство. Если вы, господа, сколько пибудь понимаете характеръ Базарова, то вы принуждены будете согласиться, что такого человѣка пристроить очень мудрено, и что онъ не можетъ, не измѣнившись въ основныхъ чертахъ своей личности, сдѣлаться добродѣтельнымъ семьяниномъ. Базаровъ можетъ полюбить только женщину очень умную; полюбивши женщину, онъ не подчинитъ свою любовь никакимъ условіямъ; онъ не станетъ охлаждать и сдерживать себя, и точно также не станетъ искусственно подогревать своего чувства, когда оно остынетъ послѣ полного удовлетворенія. Онъ не способенъ поддерживать съ женщиной обязательныя отношенія; его искренняя и дѣльная натура не поддается на компромиссы и не дѣлаетъ уступокъ; онъ не покупаетъ расположеніе женщины извѣстными обязательствами; онъ беретъ его тогда, когда оно дается ему совершенно добровольно и безусловно.

Но умныя женщины у насъ обыкновенно бываютъ осторожны и разсчетливы. Ихъ зависимое положеніе заставляетъ ихъ бояться общественнаго мнѣнія и не давать воли своимъ влеченіямъ. Ихъ страшитъ неизвѣстное будущее, имъ хочется застраховать его, и потому рѣдкая умная женщина рѣшится броситься на шею къ любимому мужчинѣ, не связавъ его предварительно крѣпкимъ общаніемъ передъ лицомъ общества и церкви. Имѣя дѣло съ Базаровымъ, эта умная женщина пойметъ очень скоро, что никакое крѣпкое общаніе не свяжетъ необузданной воли этого своенравнаго человѣка и что его нельзя обязать быть хорошимъ мужемъ и нѣжнымъ отцомъ семейства. Она пойметъ, что Базаровъ или вовсе не дастъ никакого общанія, или, давши его въ минуту полного увлеченія, нарушитъ его тогда, когда это увлеченіе разсѣется. Словомъ, она пойметъ, что чувство Базарова свободно и останется свободнымъ, не смотря ни на какія клятвы и контракты. Чтобы не отшатнуться отъ неизвѣстной перспективы, эта женщина должна безраздѣльно подчиниться влеченію чувства, броситься къ любимому человѣку очерта



голову и не спрашивая о томъ, что будетъ завтра или черезъ годъ. Но такъ способны увлекаться только очень молодыя дѣвушки, совершенно незнакомыя съ жизнью, совершенно нетронутыя опытомъ, а такія дѣвушки не обратятъ вниманія на Базарова или, испугавшись его рѣзкаго образа мыслей, откнутся къ такимъ личностямъ, изъ которыхъ со временемъ вырабатываются почтенныя галки. У Аркадія гораздо больше шансовъ понравиться молодой дѣвушкѣ, не смотря на то, что Базаровъ несравненно умнѣе и замѣчательнѣе своего юнаго товарища. Женщина, способная цѣнить Базарова, не откажется ему безъ предварительныхъ условій, потому что такая женщина обыкновенно бываетъ себѣ на умѣ, знаетъ жизнь и по расчету бережетъ свою репутацію. Женщина, способная увлекаться чувствомъ, какъ существо наивное и мало размышлявшее, не пойметъ Базарова и не полюбитъ его. Словомъ, для Базарова нѣтъ женщинъ, способныхъ вызвать въ немъ серьезное чувство и съ своей стороны горячо отвѣчать на это чувство. Въ настоящее время нѣтъ такихъ женщинъ, которыя, умѣя мыслить, умѣли бы въ то же время, безъ оглядки и безъ боязни, отдаваться влеченію господствующаго чувства. Какъ существо зависимое и страдательное, современная женщина изъ опыта жизни выноситъ ясное сознаніе своей зависимости, и потому думаетъ не столько о томъ, чтобы наслаждаться жизнью, сколько о томъ, чтобы не попасть въ какую нибудь непріятную передѣлку. Ровный комфортъ, отсутствіе грубыхъ оскорбленій, увѣренность въ завтрашнемъ днѣ для нихъ дороги. Ихъ за это нельзя осуждать, потому что человѣкъ, подверженный въ жизни серьезнымъ опасностямъ, поневолѣ становится осмотрительнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, трудно осуждать и тѣхъ мужчинъ, которые, не видя въ современныхъ женщинахъ энергіи и рѣшимости, навсегда отказываются отъ серьезныхъ и прочныхъ отношеній съ женщинами и пробавляются пустыми интригами и легкими побѣдами.

Еслибы Базаровъ имѣлъ дѣло съ Асей, или съ Натальей (въ Рудинѣ), или съ Вѣрой (въ Фаустѣ), то онъ бы конечно не отступилъ въ рѣшительную минуту; но дѣло въ томъ, что женщины, подобныя Асѣ, Натальѣ и Вѣрѣ, увлекаются сладкорѣчивыми фразами, а предъ сильными людьми, вродѣ Базарова, чувствуютъ только робость, близкую къ антипатіи. Такихъ женщинъ надо приласкать, а Базаровъ никого ласкать не умѣетъ. Повторяю, въ настоящее время нѣтъ женщинъ, способныхъ серьезно отвѣтить на серьезное чувство Базарова, и пока женщина будетъ находиться въ теперешнемъ зависимомъ положеніи, пока за каждымъ ея шагомъ будутъ наблюдать и она сама, и нѣжные родители, и заботливые родственники, и то, что называется общественнымъ мнѣніемъ, до тѣхъ

поръ Базаровы будутъ жить и умирать бобылями, до тѣхъ поръ согрѣвающая нѣжная любовь умной и развитой женщины будетъ имъ извѣстна только по слухамъ да по романамъ. Базаровъ не дастъ женщинѣ никакихъ гарантій; онъ доставляетъ ей только своей особой непосредственное наслажденіе, въ томъ случаѣ, если его особа правится; но въ настоящее время, женщина не можетъ отдаваться непосредственному наслажденію, потому что за этимъ наслажденіемъ всегда выдвигается грозный вопросъ: а что же потомъ? Любовь безъ гарантій и условій не употребительна, а любви съ гарантіями и условіями Базаровъ не понимаетъ. Любовь, такъ любовь, думаетъ онъ, торгъ, такъ торгъ, «а смѣшивать эти два ремесла», по его мнѣнію, неудобно и непріятно. *Къ сожалѣнію*, я долженъ замѣтить, что *безнравственныя и пагубныя* убѣжденія Базарова находятъ себѣ во многихъ хорошихъ людяхъ сознательное сочувствіе.

## IX.

Разсмотрю теперь три обстоятельства въ романѣ Тургенева: 1) отношеніе Базарова къ простому народу, 2) ухаживаніе Базарова за Феничкой и 3) дуэль Базарова съ Павломъ Петровичемъ.

Въ отношеніяхъ Базарова къ простому народу надо замѣтить прежде всего отсутствіе всякой вычурности и всякой сладости. Народу это нравится, и потому Базарова любятъ прислуга, любятъ ребятишки, несмотря на то, что онъ съ ними вовсе не миндальничаетъ и не задариваетъ ихъ ни деньгами, ни пряниками. Замѣтивъ въ одномъ мѣстѣ, что Базарова любятъ простые люди, Тургеневъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ, что мужики смотрятъ на него, какъ на шута горохового. Эти два показанія нисколько не противорѣчатъ другъ другу. Базаровъ держитъ себя съ мужиками просто, не обнаруживаетъ ни барства, ни приторнаго желанія поддѣлаться подъ ихъ говоръ и поучить ихъ уму-разуму, и потому мужики говоря съ нимъ, не робѣютъ и не стѣняются; но съ другой стороны Базаровъ и по обращенію, и по языку, и по понятіямъ совершенно расходится какъ съ ними, такъ и съ тѣми помѣщиками, которыхъ мужики привыкли видѣть и слушать. Они смотрятъ на него, какъ на странное, исключительное явленіе, ни то, ни се, и будутъ смотрѣть такимъ образомъ на господъ, подобныхъ Базарову, до тѣхъ поръ, пока ихъ не разведетъ больше и пока къ нимъ не успѣютъ приглядѣться. У мужиковъ лежитъ сердце къ Базарову, потому что они видятъ въ немъ простого и умнаго человѣка, но въ то же время этотъ человѣкъ для нихъ чужой, потому что онъ не знаетъ ихъ быта, ихъ потребностей, ихъ надеждъ и опасеній, ихъ понятій, вѣрованій и предразсудковъ.

Послѣ своего неудавшагося романа съ Один-



цовой, Базаровъ снова прїѣзжаетъ въ деревню съ Кирсановымъ и начинаетъ заигрывать съ Оеничкой, любовницей Николая Петровича. Оеничка ему нравится, какъ пухленькая, молоденькая женщина; онъ ей нравится, какъ добрый, простой и веселый человекъ. Въ одно прекрасное іюльское утро онъ успѣваетъ напечатлѣть на ея свѣжія губки полновѣсный поцѣлуй; она слабо сопротивляется, такъ что ему удается «возобновить и продлить свой поцѣлуй». На этомъ мѣстѣ его любовное похождение обрывается: ему, какъ видно, вообще не везло въ то лѣто, такъ что ни одна интрига не доводилась до счастливаго окончанія, хотя все онъ начинался при самыхъ благопріятныхъ предзнаменованіяхъ.

Вслѣдъ затѣмъ Базаровъ уѣзжаетъ изъ деревни Кирсановыхъ, и Тургеневъ напутствуетъ его слѣдующими словами: «ему и въ голову не пришло, что онъ въ этомъ домѣ нарушилъ все права гостепріимства».

Увидавши, что Базаровъ поцѣловалъ Оеничку, Павелъ Петровичъ, давно уже питавшій ненависть къ «лекаришкѣ» и нигилисту, и кромѣ того равнодушный къ Оеничкѣ, которая почему-то напоминаетъ ему прежнюю любимую женщину, вызываетъ нашего героя на дуэль. Базаровъ стрѣляется съ нимъ, ранить его въ ногу, потомъ самъ перевязываетъ эту рану и на другой день уѣзжаетъ, видя, что ему послѣ этой исторіи неудобно оставаться въ домѣ Кирсановыхъ. Дуэль, по понятіямъ Базарова, нелѣпость. Спрашивается, хорошо ли поступилъ Базаровъ, принявши вызовъ Павла Петровича? Этотъ вопросъ сводится на другой, болѣе общій вопросъ: позволительно-ли вообще въ жизни отступать отъ своихъ теоретическихъ убѣжденій? Насчетъ понятія *убѣжденіе* господствуютъ различныя мнѣнія, которыя можно свести къ двумъ главнымъ отгѣнкамъ. Идеалисты и фанатики готовы все сломать передъ своимъ убѣжденіемъ — и чужую личность, и свои интересы, и часто даже непреложные факты, и законы жизни. Они кричатъ объ убѣжденіяхъ, не анализируя этого понятія, а потому рѣшительно не хотятъ и не умѣютъ взять въ толкъ, что человекъ всегда дороже мозгового вывода, въ силу простой математической аксіомы, говорящей намъ, что цѣлое всегда больше части. Идеалисты и фанатики скажутъ такимъ образомъ, что отступать въ жизни отъ теоретическихъ убѣжденій — всегда позорно и преступно. Это не помѣшаетъ многимъ идеалистамъ и фанатикамъ при случаѣ струсить и попятиться, а потомъ упрекать себя въ практической несостоятельности и заниматься угрызениями совѣсти. Есть другіе люди, которые не скрываютъ отъ себя того, что имъ иногда приходится дѣлать нелѣпости, и даже вовсе не желаютъ обратить свою жизнь въ логическую выкладку. Къ числу такихъ людей принадлежитъ

Базаровъ. Онъ говоритъ себѣ: «я знаю, что дуэль нелѣпость, но въ данную минуту я вижу, что мнѣ отъ нея отказаться рѣшительно неудобно. По моему лучше сдѣлать нелѣпость, чѣмъ, оставаясь благоразумнымъ до послѣдней степени, получить ударъ отъ руки или отъ трости Павла Петровича». Стоикъ Эпиктетъ конечно поступилъ бы иначе, и даже рѣшился бы съ особеннымъ удовольствіемъ пострадать за свои убѣжденія, но Базаровъ слишкомъ уменъ, чтобы быть идеалистомъ вообще и стоикомъ въ особенности. Когда онъ размышляетъ, тогда даетъ своему мозгу полную свободу и не старается придти въ заранее назначеннымъ выводамъ; когда онъ хочетъ дѣйствовать, тогда онъ по своему благоусмотрѣнію примѣняетъ или не примѣняетъ свой логическій выводъ, пускаетъ его въ ходъ или оставляетъ его подъ спудомъ. Дѣло въ томъ, что мысль наша свободна, а дѣйствія наши происходятъ во времени и въ пространствѣ; между вѣрной мыслью и благоразумнымъ поступкомъ такая же разница, какъ между математическимъ и физическимъ маятникомъ. Базаровъ знаетъ это, и потому въ своихъ поступкахъ руководствуется практическимъ смысломъ, сметкою и навыкомъ, а не теоретическими соображеніями.

## X.

Въ концѣ романа Базаровъ умираетъ; его смерть — случайность; онъ умираетъ отъ хирургическаго отравленія, т. е. отъ небольшого порѣза, сдѣланнаго во время разсѣченія трупа. Это событіе не находится въ связи съ общей нитью романа; оно не вытекаетъ изъ предыдущихъ событій, но оно необходимо для художника, чтобы дорисовать характеръ своего героя. Дѣйствіе романа происходитъ лѣтомъ 1858 года; втеченіе 1860 и 1861 года Базаровъ не могъ бы сдѣлать ничего такого, что показало бы намъ приложеніе его миросозерцанія въ жизни; онъ по прежнему рѣзалъ бы лягушекъ, возился бы съ микроскопомъ и, насмѣхаясь надъ различными проявленіями романтизма, пользовался бы благами жизни по мѣрѣ силъ и возможности. Все это были бы только задатки; судить о томъ, что разовьется изъ этихъ задатковъ, можно будетъ только тогда, когда Базарову и его сверстникамъ минетъ лѣтъ пятьдесятъ, и когда имъ на смѣну выдвинется новое поколѣніе, которое въ свою очередь отнесется критически къ своимъ предшественникамъ. Такіе люди, какъ Базаровъ, не опредѣляются вполне однимъ эпизодомъ, выхваченнымъ изъ ихъ жизни. Такого рода эпизодъ даетъ намъ только смутное понятіе о томъ, что въ этихъ людяхъ таятся колоссальныя силы. Въ чемъ выразятся эти силы? На этотъ вопросъ можетъ отвѣчать только біографія этихъ людей или исторія ихъ народа, а біографія, какъ извѣстно, пишется послѣ смерти



дѣятеля, точно также, какъ исторія пишется тогда, когда событіе уже совершилось.

Изъ Базаровыхъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, вырабатываются великіе историческіе дѣятели; такіе люди долго остаются молодыми, сильными и годными на всякую работу; они не идаются въ односторонность, не привязываются къ теоріи, не прирастаютъ къ спеціальнымъ занятіямъ; они всегда готовы промѣнить одну сферу дѣятельности на другую, болѣе широкую и болѣе занимательную; они всегда готовы выйти изъ ученаго комитета и лабораторіи; это не труженики; углубляясь въ тщательныя изслѣдованія спеціальныхъ вопросовъ науки, эти люди никогда не теряютъ изъ виду того великаго міра, который вмѣщаетъ въ себя ихъ лабораторію и ихъ самихъ, со всей ихъ наукой и со всеѣми ихъ инструментами и аппаратами; когда жизнь серьезно шевельнетъ ихъ мозговые нервы, тогда они бросятъ микроскопъ и скальпель, тогда они оставляютъ недописаннымъ какое нибудь учебнѣйшее изслѣдованіе о костяхъ или перепонкахъ. Базаровъ никогда не сдѣлается фанатикомъ, жрецомъ науки, никогда не возведетъ ее въ кумиръ, никогда не обречетъ своей жизни на ея служеніе; постоянно сохраняя скептическое отношеніе къ самой наукѣ, онъ не дастъ ей приобрести самостоятельное значеніе; онъ будетъ ею заниматься или для того, чтобы дать работу своему мозгу, или для того, чтобы выжать изъ нея непосредственную пользу для себя и для другихъ. Медициной онъ будетъ заниматься отчасти для препровожденія времени, отчасти, какъ хлѣбнымъ и полезнымъ ремесломъ. Если представится другое занятіе, болѣе интересное, болѣе хлѣбное, болѣе полезное — онъ оставитъ медицину, точно также, какъ Веніаминъ Франклинъ оставилъ типографскій станокъ. Базаровъ — человѣкъ жизни, человѣкъ дѣла, но возьмется онъ за дѣло только тогда, когда увидитъ возможность дѣйствовать не машинально. Его не подкупятъ обманчивыя формы; видѣвшія усовершенствованія не побѣдятъ его упорнаго скептицизма; онъ не приметъ случайной оттепели за наступленіе весны и проведетъ всю жизнь въ своей лабораторіи, если въ сознаніи нашего общества не произойдетъ существенныхъ измѣненій. Если же въ сознаніи, а слѣдовательно и въ жизни общества, произойдутъ желаемыя измѣненія, тогда люди, подобные Базарову, окажутся готовыми, потому что постоянный трудъ мысли не дастъ имъ залѣгаться, залежаться и заржавѣть, а постоянно бодрствующій скептицизмъ не позволитъ имъ сдѣлаться фанатиками спеціальности или вялыми послѣдователями односторонней доктрины.

Кто рѣшится отгадывать будущее и бросать на вѣтеръ гипотезы? Кто рѣшится дорисовать такой типъ, который только-что начинается складываться и обозначаться и который можетъ быть

дорисованъ только временемъ и событіями? Не имѣя возможности показать намъ, какъ живетъ и дѣйствуетъ Базаровъ, Тургеневъ показалъ намъ, какъ онъ умираетъ. Этого на первый разъ довольно, чтобы составить себѣ понятіе о силахъ Базарова. о тѣхъ силахъ, которыхъ полное развитіе могло обозначиться только жизнью, борьбой, дѣйствіями и результатами. Что Базаровъ не фразеръ — это увидитъ всякій, вглядываясь въ эту личность съ первой минуты ея появленія въ романъ. Что отрицаніе и скептицизмъ этого человѣка сознательны и прочувствованы, а не надѣты для прихоти и для пущей важности — въ этомъ убѣждаетъ cadaго безпристрастнаго читателя непосредственное ощущеніе. Въ Базаровѣ есть сила, самостоятельность, энергія, которой не бываетъ у фразеровъ и подражателей. Но если бы кто нибудь захотѣлъ не замѣтить и не почувствовать въ немъ присутствія этой силы, если бы кто нибудь захотѣлъ подвергнуть ее сомнѣнію, то единственнымъ фактомъ, торжественно и безапелляціонно опровергающимъ это нелѣпое сомнѣніе, была бы смерть Базарова. Вліяніе его на окружающихъ людей ничего не доказываетъ; вѣдь и Рудинъ имѣлъ вліяніе; на безрыбы и ракъ рыба; и на людей, подобныхъ Аркадію, Николаю Петровичу, Василию Ивановичу и Аринѣ Власьевнѣ, болѣе нетрудно произвести сильное впечатлѣніе. Но смотрѣть въ глаза смерти, предвидѣть ея приближеніе, не стараясь себя обмануть, оставаться вѣрнымъ себѣ до послѣдней минуты, не ослабѣть и не струсить — это дѣло сильнаго характера. Умереть такъ, какъ умеръ Базаровъ, все равно, что сдѣлать великій подвигъ; этотъ подвигъ остается безъ послѣдствій, но та доза энергіи, которая тратится на подвигъ, на блестящее и полезное дѣло, истрачена здѣсь на простой и неизбѣжный фізіологическій процессъ. Оттого, что Базаровъ умеръ твердо и спокойно, никто не почувствовалъ себѣ ни облегченія, ни пользы; но такой человѣкъ, который умѣетъ умирать спокойно и твердо, не отступитъ передъ препятствіемъ и не струситъ передъ опасностью.

Описаніе смерти Базарова составляетъ лучшее мѣсто въ романѣ Тургенева; я сомнѣваюсь даже, чтобы во всеѣхъ произведеніяхъ нашего художника нашлось что нибудь болѣе замѣчательное. Выписывать какой нибудь отрывокъ изъ этого великолѣпнаго эпизода я считаю невозможнымъ; это значило бы уродовать цѣльность впечатлѣнія; по настоящему слѣдовало бы выписать цѣлыхъ десять страницъ, но мѣсто не позволяетъ мнѣ этого сдѣлать; кромѣ того, я надѣюсь, что всеѣ мои читатели прочли или прочтутъ романъ Тургенева, и потому, не извлекая изъ него ни одной строчки, я постараюсь только прослѣдить и объяснить съ начала до конца болѣзнь психическое состояніе Базарова. Обрѣзавъ себѣ палецъ при разсѣченіи тѣла и не имѣвши возможности тотчасъ прижечь ранку лянисомъ или желѣзомъ,



Базаровъ черезъ четыре часа послѣ этого событія приходитъ къ отцу и прикидываетъ себѣ болѣзное мѣсто, не скрывая ни отъ себя, ни отъ Василія Ивановича безполезности этой мѣры въ томъ случаѣ, если гной разлагающагося трупа проникъ въ ранку и смѣшался съ кровью. Василій Ивановичъ, какъ медикъ, знаетъ, какъ велика опасность, но не рѣшается взглянуть ей въ глаза и старается обмануть самого себя. Проходитъ два дня. Базаровъ крѣпится, не ложится въ постель, но чувствуетъ жаръ и ознобъ, теряетъ аппетитъ и страдаетъ сильной головной болью. Участие и разпросы отца раздражаютъ его, потому что онъ знаетъ, что все это не поможетъ, и что старикъ самого себя лелѣетъ и тѣшитъ пустыми иллюзіями. Ему досадно видѣть, что мужчина и притомъ медикъ не смѣетъ видѣть дѣло въ настоящемъ свѣтѣ. Арину Власьевну Базаровъ бережетъ; онъ говоритъ ей, что простудился; на третій день ложится въ постель и проситъ прислать ему липоваго чаю. На четвертый день онъ обращается къ отцу, прямо и серьезно говоритъ ему, что скоро умретъ, показываетъ ему красныя пятна, выступившія на тѣлѣ и служащія признакомъ зараженія, называетъ ему медицинскимъ терминомъ свою болѣзнь и холодно опровергаетъ робкія возраженія растерявшагося старика. А между тѣмъ ему хочется жить, жаль простаться съ самосознаніемъ, съ своею мыслью, съ своей сильной личностью, но эта боль разставанія съ молодой жизнью, съ неизношенными силами выражается не въ мягкой грусти, а въ желчной, иронической досадѣ, въ презрительномъ отношеніи къ себѣ, какъ къ безсильному существу, и къ той грубой, нелѣпой случайности, которая смяла и задавила его. Нигилистъ остался вѣренъ себѣ до послѣдней минуты.

Какъ медикъ, онъ видѣлъ, что люди зараженные всегда умираютъ, и онъ не сомнѣвается въ непреложности этого закона, не смотря на то, что этотъ законъ осуждаетъ его на смерть. Точно также онъ въ критическую минуту не мѣняетъ своего мрачнаго міросозерцанія на другое, болѣе отрадное; какъ медикъ и какъ человѣкъ, онъ не утѣшаетъ себя миражами.

Образъ единственнаго существа, возбуждавшаго въ Базаровѣ сильное чувство и внушившаго ему уваженіе, приходитъ ему на умъ въ то время, когда онъ собирается простаться съ жизнью. Этотъ образъ вѣроятно и раньше носился передъ его воображеніемъ, потому что насильственно сдавленное чувство еще не успѣло умереть, но тутъ, прощаясь съ жизнью и чувствуя приближеніе бреда, онъ проситъ Василія Ивановича послать нарочнаго къ Аннѣ Сергѣевнѣ и объявить ей, что Базаровъ умираетъ и приказалъ ей кланяться. Надѣялся ли онъ увидѣть ее передъ смертью, или просто хотѣлъ ей дать вѣсть о себѣ—это невозможно рѣшить; можетъ быть ему было пріятно, произнося при другомъ чело-

вѣкѣ имя любимой женщины, живѣе представить себѣ ея красивое лицо, ея спокойные, умные глаза, ея молодое, роскошное тѣло. Онъ любитъ только одно существо въ мірѣ, и тѣ нѣжные мотивы чувства, которые онъ давилъ въ себѣ, какъ романтизмъ, теперь всплываютъ на поверхность; это не признакъ слабости, это — естественное проявленіе чувства, высвободившагося изъ подъ гнета разсудочности; Базаровъ не измѣняетъ себѣ; приближеніе смерти не перерождаетъ его; напротивъ, онъ становится естественнѣе, чело-вѣчнѣе, непринужденнѣе, чѣмъ онъ былъ въ полномъ здоровьи. Молодая, красивая женщина часто бываетъ привлекательнѣе въ простой утренней блузѣ, чѣмъ въ богатомъ бальномъ платьѣ. Такъ точно умирающій Базаровъ, распутившій свою натуру, давшій себѣ полную волю, возбуждаетъ больше сочувствія, чѣмъ тотъ же Базаровъ, когда онъ холоднымъ разсудкомъ контролируетъ каждое свое движеніе и постоянно ловитъ себя на романтическихъ попопзновеніяхъ.

Если человѣкъ, ослабляя контроль надъ самимъ собой, становится лучше и чело-вѣчнѣе, то это служить энергическимъ доказательствомъ цѣльности, полноты и естественнаго богатства натуры. Разсудочность Базарова была въ немъ простительной и понятной крайностью; эта крайность, заставлявшая его мудрить надъ собой и ломать себя, исчезла бы отъ дѣйствія времени и жизни; она исчезла точно также во время приближенія смерти. Онъ сдѣлался человѣкомъ, вмѣсто того чтобы быть воплощеніемъ теоріи нигилизма, и, какъ человѣкъ, онъ выразилъ желаніе видѣть любимую женщину.

Анна Сергѣевна пріѣзжаетъ. Базаровъ говоритъ съ ней ласково и спокойно, не скрывая легкаго оттѣнка грусти, любитъ ея, проситъ у нея послѣдняго поцѣлуя, закрываетъ глаза и впадаетъ въ безпамятство.

Къ родителямъ своимъ онъ остается по прежнему равнодушенъ и не даетъ себѣ труда притворяться. О матери онъ говоритъ: «мать бѣдная! Кого-то она будетъ кормить теперь своимъ удивительнымъ борщомъ?» Василію Ивановичу онъ предобродушно совѣтуетъ быть философомъ.

Слѣдить за нитью романа послѣ смерти Базарова я не намѣренъ. Когда умеръ такой человѣкъ, какъ Базаровъ, и когда его геройскою смертью рѣшена такая важная психологическая задача, произнесенъ приговоръ надъ цѣлымъ направленіемъ идей, тогда стоитъ ли слѣдить за судьбой людей, подобныхъ Аркадію, Николаю Петровичу, Ситникову и tutti quanti?.. Постараюсь сказать нѣсколько словъ объ отношеніяхъ Тургенева къ новому, созданному имъ типу.

## XI.

Приступая къ сооруженію характера Инсарова, Тургеневъ, во что бы то ни стало, хотѣлъ представить его великимъ, и вмѣсто того сдѣ-



лалъ его смѣшнымъ. Создавая Базарова, Тургеневъ хотѣлъ разбить его въ прахъ, и вмѣсто того отдалъ ему полную дань справедливаго уваженія. Онъ хотѣлъ сказать: наше молодое поколѣніе идетъ по ложной дорогѣ, и сказалъ: въ нашемъ молодомъ поколѣніи вся наша надежда. Тургеневъ не діалектикъ, не софистъ, онъ не можетъ доказывать своими образами предвзятую идею, какъ бы эта идея ни казалась ему отвлеченно вѣрна, или практически полезна. Онъ прежде всего художникъ, человѣкъ безсознательно, невольно искренній; его образы живутъ своей жизнью; онъ любитъ ихъ, онъ увлекается ими, онъ привязывается къ нимъ во время процесса творчества, и ему становится невозможнымъ помыкать ими по своей прихоти и превращать картину жизни въ аллегорію съ нравственной цѣлью и съ добродѣтельной развязкой. Честная, чистая натура художника беретъ свое, ломаетъ теоретическія загородки, торжествуетъ надъ заблужденіями ума, и своими инстинктами выкупаетъ все—и невѣрность основной идеи, и односторонность развитія, и устарѣлость понятій. Взглядываясь въ своего Базарова, Тургеневъ, какъ человѣкъ и какъ художникъ, растетъ въ своемъ романѣ, растетъ на нашихъ глазахъ и дорастаетъ до правильнаго пониманія, до справедливой оцѣнки созданнаго типа.

Съ недобримъ чувствомъ началъ Тургеневъ свое послѣднее произведеніе. Съ перваго разу онъ показалъ намъ въ Базаровѣ угловатое обращеніе, педантическую самонадѣянность, черствую разсудочность; съ Аркадіемъ онъ держитъ себя деспотически-небрежно, къ Николаю Петровичу относится безъ нужды насмѣшливо, и все сочувствіе художника лежитъ на сторонѣ тѣхъ людей, которыхъ обижаютъ, тѣхъ безобидныхъ стариковъ, которымъ велятъ глотать пилюлю, говоря о нихъ, что они отставные люди. И вотъ художникъ начинаетъ искать въ нигилистѣ и безпощадномъ отрицателѣ слабаго мѣста; онъ ставитъ его въ разныя положенія, вертитъ его на всѣ стороны и находитъ противъ него только одно обвиненіе—обвиненіе въ черствости и рѣзкости. Всматривается онъ въ это темное пятно; возникаетъ въ его головѣ вопросъ: а кого же станетъ любить этотъ человѣкъ? Въ комъ найдетъ удовлетвореніе своимъ потребностямъ? Кто его пойметъ насквозь, и не испугается его корявой оболочки? Подводитъ онъ къ своему герою умную женщину; женщина эта смотритъ съ любопытствомъ на эту своеобразную личность; нигилистъ съ своей стороны взглядывается въ нее съ возрастающимъ сочувствіемъ, и потомъ, увидавъ что-то похожее на нѣжность, на ласку, кидается къ ней съ неразсчитанною порывистостью молодого, горячаго, любящаго существа, готоваго отдаться вполне, безъ торгу, безъ утайки, безъ задней мысли. Такъ не кидаются люди холодные, такъ не любятъ черствые

педанты. Безпощадный отрицатель оказывается моложе и свѣжѣе той молодой женщины, съ которой онъ имѣетъ дѣло; въ немъ накопилась и вырвалась бѣшеная страсть въ то время, когда въ ней только-что начинало бродить что-то вроде чувства; онъ бросился, перепугалъ ее, сбилъ ее съ толку и вдругъ отрезвилъ ее; она отшатнулась назадъ и сказала себѣ, что спокойствіе все-таки лучше всего. Съ этой минуты все сочувствіе автора переходитъ на сторону Базарова, и только кой-какія разсудочныя замѣчанія, которыя не вяжутся съ цѣлымъ, напоминаютъ прежнее, недоброе чувство Тургенева,

Авторъ видитъ, что Базарову некого любить, потому что вокругъ него все мелко, плоско и дрябло, а самъ онъ свѣжъ, уменъ и крѣпокъ; авторъ видитъ это и въ умѣ своемъ снимаетъ съ своего героя послѣдній незаслуженный упрекъ. Изучивъ характеръ Базарова, вдумавшись въ его элементы и въ условія развитія, Тургеневъ видитъ, что для него нѣтъ ни дѣятельности, ни счастья. Онъ живетъ бобылемъ и умретъ бобылемъ, и притомъ бесполезнымъ бобылемъ, умретъ, какъ богатырь, которому негдѣ повернуться, нечѣмъ дышать, некуда дѣвать исполинской силы, некого полюбить крѣпкой любовью. А незачѣмъ ему жить, такъ надо смотрѣть, какъ онъ будетъ умирать. Весь интересъ, весь смыслъ романа заключался въ смерти Базарова. Если бы онъ струсила, если бы онъ измѣнилъ себѣ—весь характеръ его освѣтился бы иначе; явился бы пустой хвастунъ, отъ котораго нельзя ожидать въ случаѣ нужды ни стойкости, ни рѣшимости; весь романъ оказался бы клеветой на молодое поколѣніе, незаслуженнымъ укоромъ; этимъ романомъ Тургеневъ сказалъ бы: вотъ, посмотрите, молодые люди, вотъ случай: умнѣйшій изъ васъ—и тотъ никуда не годится! Но у Тургенева, какъ у честнаго человѣка и искренняго художника, языкъ не повернулся произнести теперь такую печальную ложь. Базаровъ не оплошалъ, и смыслъ романа вышелъ такой: теперешніе молодые люди увлекаются и впадаютъ въ крайности, но въ самыхъ увлеченіяхъ сказываются свѣжая сила и неподкупный умъ; эта сила и этотъ умъ безъ всякихъ постороннихъ пособій и вліяній выведутъ молодыхъ людей на прямую дорогу и поддержать ихъ въ жизни.

Кто прочелъ въ романѣ Тургенева эту прекрасную мысль, тотъ не можетъ не изъяснить ему глубокой и горячей признательности, какъ великому художнику и честному гражданину Россіи.

А Базаровымъ все-таки плохо жить на свѣтѣ, хоть они припѣваютъ и посвистываютъ. Нѣтъ дѣятельности, нѣтъ любви—стало быть, нѣтъ и наслажденія.

Страдать они не умѣютъ, нѣтъ не станутъ, а подчасъ чувствуютъ только, что пусто, скучно, безцвѣтно и безмысленно.

А что же дѣлать? Вѣдь не заражать же себя



умышленно, чтобы имѣть удовольствіе умирать красиво и спокойно? Нѣтъ! Что дѣлать? Жить, пока живется, ѣсть сухой хлѣбъ, когда нѣтъ ростбифу, быть съ женщинами, когда нельзя лю-

бить женщину, и вообще не мечтать объ апельсинныхъ деревьяхъ и пальмахъ, когда подъ ногами снѣговые сугробы и холодныя тундры.

1862 г. Мартъ.

## ОЧЕРКИ ИЗЪ ИСТОРИИ ПЕЧАТИ ВО ФРАНЦИИ.

### I.

#### При Наполеонѣ I.

«Для управленія необходимы сапоги и шпоры», сказалъ генералъ Бонапарте, принимая званіе перваго консула французской республики. Однимъ изъ первыхъ распоряженій новаго правительства было слѣдующее циркулярное предписаніе:

«Консулы республики убѣдились въ томъ, что часть журналовъ, печатающихся въ департаментѣ Сены, составляютъ орудія враговъ республики. Вслѣдствіе этого, министерство полиціи во все время войны будетъ запрещать печатаніе и разсылку всѣхъ журналовъ, кромѣ *Moniteur universel*, *Journal des Débats*, *Journal de Paris*, *le Bien informé*, *le Publiciste*, *l'Ami des Lois*, *la Clef des cabinets*, *le Citoyen francais*, *la Gazette de France*, *le Journal des hommes libres*, *le Journal du soir*, *le Journal des Défenseurs de la Patrie*, *la Décade philosophique*, и тѣхъ журналовъ, которые занимаются исключительно науками, искусствами и литературой».

Издателямъ и редакторамъ велѣно было явиться въ полицію, и тамъ съ нихъ взяли письменное обязательство не писать и не печатать ничего противъ конституціи. Имъ запретили точно также перепечатывать изъ иностранныхъ газетъ какія бы то ни было статьи, говорившія противъ верховнаго владычества французскаго народа, противъ славы французскаго оружія или противъ правительствъ и націй, находившихся въ дружескихъ отношеніяхъ или въ союзѣ съ республикой. За нарушеніе этихъ правилъ журналъ подвергался немедленному закрытію.

Когда первый консулъ Бонапарте превратился въ императора Наполеона, тогда изъ семи сенаторовъ была образована особая коммиссія, которой было поручено охранять свободу печати отъ стѣснительныхъ распоряженій администраціи. Во все время царствованія Наполеона, эта коммиссія оставалась въ совершенномъ бездѣйствіи; самъ Наполеонъ не жаловалъ литераторовъ вообще и журналистовъ въ особенности, и коммиссія никогда не рѣшалась за нихъ заступаться. «Я добился власти, говорилъ самъ императоръ, потому что умѣю ея распорядиться, я худож-

никъ въ дѣлѣ управленія... Чтобы управлять большимъ государствомъ, надо завести много судей, много чиновниковъ, много жандармовъ, много солдатъ... Сколько мнѣ пришлось выслушать объясненій и возраженій, когда я подчинилъ вѣдомству полиціи ежедневныя газеты! Чтобы убѣдить метафизиковъ, мнѣ самому пришлось пускаться въ метафизику; государственный человѣкъ долженъ говорить на всѣхъ языкахъ и принимать на себя всевозможныя роли. Поручая полиціи наблюдать за печатью, я хочу разсѣять опасныя ассоціаціи и зажать ротъ безпокойнымъ ораторамъ. Журналистъ ничто иное, какъ говорунъ, а его подписчики составляютъ вокругъ него клубъ. То, что онъ печатаетъ, читается ими, а потомъ каждый изъ нихъ составляетъ вокругъ себя кружки и ораторствуетъ въ свою очередь».

При Наполеонѣ остались въ живыхъ только четыре политическія газеты: *Moniteur*, *Journal des Débats*, *Gazette de France* и *Journal de Paris*.

*Moniteur* былъ органомъ самого императора, который довольно часто помѣщалъ въ немъ свои собственные статьи.

*Journal des Débats*, принадлежавшій Бертену-де-Во, возбуждалъ недовѣріе правительства, не смотря на то, что одинъ изъ сотрудниковъ этой газеты, Жоффруа, въ своихъ фельетонахъ постоянно лѣстилъ особѣ императора и его распоряженіямъ. Наполеонъ подозрѣвалъ издателя этой газеты въ сношеніяхъ съ Англіей и съ эмигрантами; носились даже слухи, будто Бертенъ получаетъ изъ Англіи денежныя субсидіи; по настоянію министра полиціи Фуше, къ этому журналу приставили цензора, но выборъ палъ на одного изъ друзей редактора, Фіеве, который не удовлетворилъ требованіямъ полицейскаго начальства, не смотря на то, что ему предписано было читать съ особеннымъ вниманіемъ эту газету, пользовавшуюся значительнымъ сочувствіемъ публики и имѣвшую, по словамъ правительственной инструкціи, въ десять разъ больше подписчиковъ, чѣмъ остальные періодическія изданія. Проходя черезъ руки цензора, политическая часть журнала приняла такую оффиціальную фizioномію, которая опять-таки не понравилась императору; «болтовня журналовъ, за-



мѣтилъ онъ, при многихъ неудобствахъ имѣть также свои хорошія стороны». Было рѣшено отставить цензора, но вмѣстѣ съ тѣмъ смѣнить редактора, не смотря на то, что журналъ составлялъ его собственность. Журналъ, отнятый у Бертена, былъ отданъ тому самому Фіеве, который былъ цензоромъ этого журнала; вмѣстѣ съ тѣмъ было измѣнено названіе журнала, связывавшееся съ воспоминаніями о революціи: *Journal des Débats* преобразился въ *Journal de l'Empire*. Но и Фіеве показался неудовлетворительнымъ, и его смѣнилъ Этьенъ, человекъ, преданный интересамъ правительства, но, не смотря на то, неспособный служить ему слѣпымъ орудіемъ. Однажды Наполеонъ сгоряча написалъ противъ Австріи статью, наполненную ругательствами, и послалъ ее къ Этьену для напечатанія въ слѣдующемъ номерѣ. Этьенъ пришелъ въ недоумѣніе, читая рукопись, и отправился попросить совѣта у герцога Бассано.—Это воля императора, отвѣчалъ ему герцогъ. Этьенъ отдалъ статью въ типографію, но читая корректуру, еще разъ задумался надъ ней и наконецъ рѣшился вовсе не печатать ея. На другой день императоръ беретъ журналъ, удивляется тому, что въ немъ нѣтъ его статьи и распекаетъ герцога Бассано, который въ свою очередь дѣлаетъ строгій выговоръ Этьену и приказываетъ ему непременно помѣстить статью въ завтрашнемъ номерѣ газеты. Но Этьенъ выдержалъ характеръ, и на этотъ разъ даже не послалъ статью въ типографію.—Что же моя статья? спрашиваетъ Наполеонъ у герцога Бассано.—Ваше Величество, она не помѣщена.—Да кто же осмѣливается не исполнять моихъ приказаній?—Этьенъ утверждаетъ, что эта статья недостойна васъ, и отказывается ее печатать.—А! Онъ осмѣлился... впрочемъ, прибавилъ Наполеонъ, вдругъ успокоиваясь, онъ правъ.

Книги проходили черезъ руки цензоровъ, и не смотря на то часто конфисковались послѣ поступленія въ продажу. Г-жа Сталь принуждена была уѣхать изъ Франціи за свою книгу о Германіи. Изданіе книги было отобрано въ полицію, и лавка издателя была обыскана. Въ историческихъ сочиненіяхъ, описывавшихъ далекое прошлое, администрація искала намековъ и преслѣдовала за нихъ авторовъ и издателей. Въ одномъ изъ своихъ сочиненій, Шатобріанъ пишетъ: «благоденствіе Нерона непрочно, Тацитъ родился въ его имперіи, выросъ возлѣ праха Германика, и правосудное Провидѣніе вручило неизвѣстному юношѣ славу владыки міра». Въ другомъ мѣстѣ, говоря объ отношеніяхъ Серторія къ правительству Суллы, онъ высказываетъ слѣдующую мысль: «безъ сомнѣнія, во времена Серторія, робкія души, принимавшія свою низость за благоразуміе, находили безумнымъ то, что простой гражданинъ рѣшился вызвать на бой все могущество Суллы». Наполеонъ замѣтилъ эти два мѣста и

прогнѣвался на автора. Шатобріанъ кажется считаетъ меня идиотомъ; онъ думаетъ, я его не понимаю? Я велю его изрубить саблями на ступеняхъ моего дворца.

До этого дѣла не дошло, но журналъ *Mercure de France*, купленный Шатобріаномъ у де-Фонтана, былъ запрещенъ.

Одинъ литераторъ, Мерсанъ, безъ всякаго особеннаго умысла напечаталъ сборникъ мыслей Бальзака, стариннаго писателя, жившаго въ XVIII столѣтіи. Чиновникъ, имѣвшій специальную обязанность слѣдить за нѣкоторыми отраслями литературы и доносить объ упущеніяхъ предварительной цензуры, довелъ до свѣдѣнія императора, что нѣкоторыя фразы этого сборника направлены противъ его особы. Наполеонъ вспылъ и тотчасъ же отдалъ приказаніе посадить де-Мерсана въ тюрьму. Приближенные государя задержали это приказаніе и умоляли разобрать дѣло, какъ слѣдуетъ.

— Это очень ясно, говорилъ разгнѣванный императоръ, меня называютъ бичемъ Бога, пагубнымъ человекомъ. Полюбуйтесь этими дерзостями. Завтра мы поговоримъ объ этомъ.

Изданіе де-Мерсана сличили съ книгами Бальзака, и оказалось, что фразы, взволновавшія Наполеона, были цѣликомъ направлены противъ кардинала Ришелье, который однако въ свое время не принялъ ихъ на свой счетъ.

Читая подлинный текстъ Бальзака, Наполеонъ убѣдился въ своей ошибкѣ и разорвалъ свой приказъ.

— Что за идиоты! говорилъ онъ, разбирая преступную фразу по частямъ. Развѣ эти эпитеты, *карликъ, егнухъ*, могутъ относиться ко мнѣ? Эта официальная цензура рѣшительно ни на что не годится!

По мѣрѣ того, какъ политическія дѣла Наполеона запутывались, распоряженія его касательно печати становились строже. Въ 1810 году онъ учредилъ должность генеральнаго директора книжной торговли и предоставилъ ему неограниченную власть надъ изданіями, т. е. право запрещать книгу раньше ея напечатанія и отбирать ее у книгопродавцевъ, если она уже дозволена. Въ томъ же году онъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы въ каждомъ департаментѣ (кроме Сены) издавался только одинъ журналъ, состоящій изъ казенныхъ и частныхъ объявленій и увѣдомленій, и чтобы министръ внутреннихъ дѣлъ опредѣлялъ форматъ изданій и цѣну за строчку объявленій. Въ томъ же году онъ обратилъ въ казенную собственность два журнала: *Journal de l'Empire* и *Journal de Paris*. Каждый изъ этихъ журналовъ онъ раздѣлилъ на двадцать четыре пая; восемь паявъ были отданы въ распоряженіе полиціи, которая изъ этихъ денегъ производила литераторамъ пенсіи, по благоусмотрѣнію правительства: шестнадцать остальныхъ паявъ императоръ предполагалъ раздать ввидѣ



награды надежнымъ людямъ, заявившимъ ему свою преданность.

Въ минуты раздумья и откровенности Наполеонъ самъ тяготился этимъ натянутымъ положеніемъ дѣлъ. «Пресса, сказалъ онъ однажды въ государственномъ совѣтѣ,—пресса, которую величаютъ свободной, находится въ полнѣйшемъ рабствѣ. Полиція самовластно урѣзываетъ и запрещаетъ книги и статьи; эти дѣла судить даже не самъ министръ, онъ принужденъ полагаться на мелкихъ чиновниковъ. Что за безпорядокъ, что за произволъ!»

Паденіе Наполеона мгновенно отразилось въ тонѣ періодической литературы. Газеты 30 марта 1814 года описываютъ современные событія въ духѣ имперіалистовъ и наполнены изъявленіями глубочайшей преданности къ особѣ и правительству великаго императора.

31-го марта *Journal de l'Empire* не выходитъ въ свѣтъ; а съ перваго апрѣля всѣ періодическія изданія разражаются ругательствами и проклятіями противъ Наполеона, называютъ его тираномъ, узурпаторомъ, Робеспьеромъ на конѣ, призываютъ Бурбоновъ для спасенія Франціи и превозносятъ великодушіе союзныхъ государей. Въ маѣ того же года, братья Вертени и Ру-Лабори овладѣваютъ изданіемъ *Journal de l'Empire*, оставленнымъ разсѣявшимися имперіалистами, и снова переименовываютъ его въ *Journal des Debats*.

Третьяго апрѣля того же года сенатъ признаетъ императора лишеннымъ престола и, перечисляя въ своей прокламаціи его противозаконные поступки, говоритъ между прочимъ, что «свобода печати, учрежденная и освященная, какъ одно изъ правъ французской націи, постоянно стѣснялась самовластной цензурой полиціи, и что онъ (Наполеонъ) постоянно пользовался печатью, чтобы наполнять Европу и Францію искаженными извѣстіями, превратными идеями, доктринами, благопріятствовавшими деспотизму, и ругательствами противъ иностранныхъ правительствъ».

Это говоритъ на всю Европу тотъ самый сенатъ, который повергалъ къ стопамъ императора послѣдняго человѣка и послѣдній экю французской націи. Это говоритъ тотъ самый сенатъ, котораго коммиссія, назначенная для охраненія свободы печати, во все время царствованія Наполеона ни разу не заявляла о своемъ существованіи, ни разу не прерывала благоразумнаго молчанія.

Подавая проектъ конституціи, сенатъ говоритъ въ 23 статьѣ, что «свобода печати будетъ полная, за исключеніемъ законнаго преслѣдованія тѣхъ преступленій, къ которымъ можетъ повести злоупотребленіе этой свободы. Сенатскія коммисіи, охраняющія свободу печати и личную свободу гражданъ, остаются въ прежней силѣ».

Въ то же время были приведены во всеобщую

извѣстность слѣдующія два постановленія временно-учрежденнаго правительства:

1) Запрещается выставлять на улицу афиши и плакарды безъ предварительнаго разсмотрѣнія префекта полиціи.

2) Запрещается продавать или раздавать на улицѣ памфлеты или листки, не разрѣшенные предварительно полицейскою префектурой.

## II.

### При Людовикѣ XVIII.

Хартія, на основаніи которой Людовикъ XVIII обѣщала управлять своимъ государствомъ, говоритъ въ 8-мъ пунктѣ: «Французы имѣютъ право обнародовать и печатать свои мнѣнія, соображаясь съ тѣми законами, которые должны подавлять (*réprimer*) злоупотребленія этимъ правомъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ, аббатъ Монтескье, въ іюлѣ 1814 года, представилъ проектъ закона объ учрежденіи предварительной цензуры. Этотъ проектъ былъ составленъ по идеямъ Гизо и Ройе-Коллара; слово «подавлять», употребленное въ хартіи, въ этомъ проектѣ признавалось равносильнымъ слову «предупреждать» (*prévenir*); палата депутатовъ разсмотрѣла предложеніе Монтескье; противъ него были произнесены горячія рѣчи; двѣ пятыхъ собранія объявили себя противъ него; въ палатѣ перовъ половина членовъ подали противъ него голоса, но не смотря на все это, 21 октября 1814 года состоялся законъ о печати, по которому всѣ сочиненія, заключавшія въ себѣ менѣе двадцати печатныхъ листовъ, должны были подчиняться предварительной цензурѣ; кромѣ того, журналы и другія періодическія изданія могутъ выходить въ свѣтъ не иначе, какъ по особому разрѣшенію короля; типографщики и книгопродавцы должны брать отъ правительства разрѣшеніе и давать присягу, чтобы имѣть право заниматься своей профессіей. Этотъ законъ долженъ былъ имѣть только временное значеніе, до конца засѣданій 1816 года; послѣ этого срока дѣло печати подлежало новому разсмотрѣнію.

1-го марта 1815 г. Наполеонъ высадился на французскій берегъ; 20-го марта онъ явился въ Парижъ и 25-го уничтожилъ цензуру вмѣстѣ съ дирекціей книгопечатанія и книжной торговли; министръ полиціи Фуше пригласилъ къ себѣ журналистовъ, просилъ ихъ не возбуждать общественнаго мнѣнія противъ правительства и отъ имени императора обѣщала, что новая имперія не будетъ похожа на старую, и что въ ней будетъ мѣсто для свободы и для либеральныхъ учреждений. Не всѣ журналисты повѣрили этимъ увѣреніямъ; журналъ «*Censeur Européen*» продолжалъ относиться скептически къ дѣйствіямъ и къ тенденціямъ императорскаго правительства; полиція попробовала остановить раздачу одной изъ книжекъ этого журнала, но публика такъ



громко выразила свое негодованіе, что Фуше перѣшился вести дальнѣе свои энергическія мѣры.

Статья 64-я дополнительнаго акта конституціи имперіи говоритъ, что «каждый гражданинъ имѣетъ право печатать и доводить до публики свои мысли, подписывая подъ ними свое имя, не подвергаясь никакой предварительной цензурѣ и принимая на себя законную отвѣтственность послѣ напечатанія передъ судомъ присяжныхъ, даже въ томъ случаѣ, если проступокъ заслуживаетъ по закону только исправительнаго наказанія».

7-го іюня, въ засѣданіи государственнаго совѣта, самъ императоръ говорилъ объ отношеніяхъ между литературой и правительствомъ. «Свобода печати, замѣтилъ онъ, составляетъ необходимую часть теперешней конституціи; ея нельзя стѣснять, не искажая всей нашей политической системы; но намъ необходимы карательные законы, особенно при теперешнемъ настроеніи націй; я предоставляю вамъ обдумать этотъ важный предметъ».

22-го іюня императоръ отказался отъ престола, и правительство Людовика XVIII приняло за прежнюю систему.

До 1819 года законодательство печати остается неопредѣленнымъ и возбуждаетъ самыя горячія пренія въ обѣихъ палатахъ; въ процессахъ, возникшихъ вслѣдствіе литературныхъ преступленій, судьи не имѣли прочныхъ основаній, которыми они могли бы руководствоваться; ихъ рѣшенія зависѣли отъ личныхъ соображеній и отъ настроенія общественнаго мнѣнія въ данную минуту. Крайніе роялисты, смотрѣвшіе съ величайшимъ предубѣжденіемъ на свободу печати, какъ на несчастный остатокъ зловерной революціи, не допускали въ пользу обвиняемыхъ никакихъ гарантій. Они говорили, что можно перетолковывать фразы писателя и осуждать его, на основаніи этого толкованія, хотя бы самъ онъ протестовалъ противъ смысла, придаемаго его словамъ; порицать дѣйствія министровъ значило, по ихъ мнѣнію, оскорблять особу короля; противъ обвиняемаго можно было, по ихъ мнѣнію, приводить въ дѣйствіе тѣ законы, которые уже замѣнены новыми или отмѣнены обычаемъ судебной практики; обвиненный, по ихъ мнѣнію, могъ усилить свою вину или совершить новое преступленіе, если, защищаясь передъ судомъ, онъ обнаруживалъ въ своей защитительной рѣчи либеральное направленіе идей; типографикъ, исполнившій всѣ законныя формальности, могъ, по ихъ мнѣнію, оказаться виновнымъ, если напечатанное имъ сочиненіе вызвало преслѣдованія правительства.

Въ 1819 году цензура была уничтожена, и внимательство общей полиціи въ литературныя преступленія устраниено; положено, что наказанія за литературныя преступленія приводятся въ исполненіе не иначе, какъ по приговору суда

присяжныхъ. Денежныя штрафы, тюремныя заключенія, запрещенія журналовъ на время или навсегда ставовятся рѣже, потому что присяжные, какъ люди, не имѣющіе личнаго интереса въ сужденіи обвиняемыхъ, разсматриваютъ поручаемыя имъ дѣла безпристрастно и спокойно вопросы и недостатки, потребности и болѣзни современнаго общества; крайніе роялисты, недовольные новыми законами и не имѣвшие возможности подавлять выраженіе ненавистныхъ имъ идей, вступили въ ожесточенную полемику съ тѣми людьми, которыхъ они подозрѣвали въ либерализмъ. Они осмѣивали ихъ, осыпали ихъ ругательствами, обращали вниманіе правительства на опасное направленіе ихъ литературныхъ и политическихъ мнѣній, словомъ, воевали противъ нихъ всѣми силами своего существа и пускали въ ходъ самое разнообразное оружіе.

Журналъ «Drapeau Blanc» отличался особеннымъ жаромъ и крайнею неутомимостью на поприщѣ этой полемики. «Этотъ либерализмъ, говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ номеровъ, составляетъ какъ извѣстную религію людей, коротко знакомыхъ съ галерами. На дняхъ мы слышали, что одинъ изъ этихъ честныхъ гражданъ, убѣжавшихъ съ каторги послѣ ордонанса 5-го сентября, запустилъ руку въ карманъ своего сосѣда; когда у него спросили причину этой ошибки, онъ отвѣчалъ, что всѣ носы равны, и что слѣдовательно всѣ люди должны сморкаться въ одинъ платокъ». Остроумныя нападенія «Drapeau Blanc» на либераловъ во всякомъ случаѣ казались имъ сноснѣ судебныхъ преслѣдованій, тюремныхъ заключеній и конфискацій; поэтому они были довольны законами 1819 года и готовы были защищать ихъ словесно и печатно, въ палатѣ депутатовъ и на столбцахъ періодическихъ изданій. Но законы эти продержались недолго.

13-го февраля 1820 года, герцогъ Беррійскій былъ зарѣзанъ при выходѣ изъ театра; крайніе роялисты обвинили либеральную партію въ этомъ преступленіи, которое сейчасъ же возбудило сильную реакцію; враги свободной журналистики заговорили громче, и настоятельнѣе прежняго потребовали, чтобы печать была подчинена значительнымъ ограниченіямъ; нашлись люди, которые пустили въ ходъ выразительную фразу, что герцога зарѣзала либеральная идея. Наконецъ 31-го марта 1820 года былъ изданъ новый законъ слѣдующаго содержанія: «Безпрепятственный выпускъ періодическихъ изданій на время останавливается: ни одинъ журналъ не можетъ выходить безъ предварительнаго разрѣшенія короля; до напечатанія каждая рукопись должна быть осмѣтрѣна и одобрена. Каждый листъ или каждая статья, не показанные цензору до напечатанія или напечатанные безъ его разрѣшенія, подвергаются виновныхъ исправитель-



ному наказанію. Въ этомъ случаѣ правительство предоставляетъ себѣ право останавливать выходъ журнала впродъ до судебного разрѣшенія. Въ случаѣ осужденія обвиненныхъ, задержаніе журнала можетъ быть продолжено втеченіи шести мѣсяцевъ; въ случаѣ повторенія поступка, правительство можетъ запретить журналъ.

Приказъ 1-го апрѣля того же года дополняетъ эти узаконенія:

«Журналы должны объявить, что они будутъ соображаться съ новымъ закономъ.

При министерствѣ внутреннихъ дѣлъ учреждается коммиссія цензуры, состоящая изъ двѣнадцати членовъ. Каждая журнальная статья до напечатанія должна быть подписана цензоромъ. Чтобы рѣшить спорное дѣло, должно быть на лицо по крайней мѣрѣ пять цензоровъ. Наблюденіе за дѣйствіями цензуры поручается совѣту, состоящему изъ девяти чиновниковъ. Этотъ совѣтъ опредѣляетъ запрещеніе журнала на время или навсегда».

Было предположено сначала, чтобы совѣтъ, наблюдавшій за дѣйствіями цензуры, былъ составленъ изъ трехъ перовъ, трехъ депутатовъ и трехъ коронныхъ чиновниковъ, но это предположеніе оказалось неосуществимымъ, потому что члены обѣихъ палатъ рѣшительно не согласились принять эту должность.

Въ обѣихъ палатахъ слышались со всѣхъ сторонъ сильныя, рѣзкія и справедливыя нападенія противъ новыхъ постановленій, противъ обязанности цензора и противъ личности тѣхъ людей, которые согласились принять эту должность.

Тогдашняя молодежь также заявила свое неудовольствіе....

Роялисты, съ своей стороны, защищали цензуру и ея распоряженія.

«Жалобы на цензуру несправедливы, говорилъ государственный канцлеръ де-Серръ въ палатѣ перовъ; слѣдуя своимъ инструкціямъ, она устраняетъ изъ журналовъ все то, что можетъ нарушить общественное спокойствіе. Выполнить такую задачу, не возбуждая неудовольствія въ отдѣльных партіяхъ или личностяхъ, невозможно; цензуру могутъ обвинять, съ одной стороны, за то, что она позволяетъ высказывать, а съ другой—за то, что она запрещаетъ говорить».

«Конечно, прибавилъ съ своей стороны, министр Паскье, цензура будетъ пристрастна къ монархическимъ доктринамъ».

Въ 1822 году въ палатѣ депутатовъ завязалась самая упорная борьба. Дѣло шло о законахъ печати. Приверженцы законовъ 1819 года изобразили положеніе дѣлъ въ настоящемъ, объявили его неудобства и потребовали многочисленныхъ измѣненій.

Бонжаменъ Констанъ, ревностный защитникъ свободы печати, одиннадцать разъ въ одно засѣданіе всходилъ на трибуну, опровергая воз-

раженія своихъ оппонентовъ и подробнѣе развивая свои идеи. Министерство, съ своей стороны, также требовало измѣненій въ существующемъ порядкѣ вещей; оно хотѣло уничтожить судъ присяжныхъ въ процессахъ по литературнымъ преступленіямъ. «Законы 1819 года, говорили защитники этого мнѣнія, предоставляютъ виновнымъ неопозволительную безнаказанность. Наказанія за проступки журналовъ слишкомъ недостаточны. Журналистъ, осужденный на тюремное заключеніе, сажаетъ за себя въ тюрьму подставное лицо, точно также, какъ бы онъ поставилъ за себя наемщика, чтобы не идти въ армію. Осужденіе журналиста увеличиваетъ число подписчиковъ на журналъ. Судья не долженъ поддаваться состраданію. Ядъ, послужившій злодѣю для совершенія преступленія, долженъ быть истребленъ. Журналъ—желтая лихорадка. Если запрещеніе журнала разоряетъ цѣлыя семейства, то въ этомъ должно видѣть законное наказаніе за то, что они употребили свои капиталы на дурное дѣло».

Всѣ эти идеи съ варіаціями и распространеніями составляли тему для министерскихъ рѣчей, и вызывали болѣе или менѣе энергическія возраженія. Однажды въ палатѣ депутатовъ серьезное и ожесточенное преніе объ этомъ важномъ предметѣ подало поводъ къ невинной шуткѣ. Министръ финансовъ, Виллель, высказалъ свое мнѣніе, клонившееся въ стѣсненію печати; депутатъ Станиславъ Жирарденъ послѣ него взмолился на трибуну и, запинаясь и путаясь, прочелъ возраженія противъ этого мнѣнія; правая сторона т. е. министерская партія постоянно прерывала его насмѣшливымъ ропотомъ; высказавъ свои замѣчанія, онъ закончилъ свою рѣчь слѣдующими словами: «Осмѣливаюсь думать, что доводы мои кажутся вамъ неопровержимыми (ропотъ на правой сторонѣ усиливается), скажу даже, что я выражался краснорѣчиво (ропотъ переходитъ въ ироническій смѣхъ); но справедливость требуетъ, чтобы я воздалъ Кесарево Кесареви, и потому я объявляю, что, если мои слова удостоивались вашего сочувствія, то вся честь принадлежитъ не мнѣ, а г. Виллелю (взрывъ хохота на лѣвой; Виллель проситъ слова). Это мнѣніе было цѣлкомъ высказано г. Виллелемъ въ 1617 году, по поводу проекта подобнаго тому, который теперь предложенъ на разсмотрѣніе». (Хохотъ на лѣвой сторонѣ усиливается; правая сторона изумлена и молчитъ). Виллель, блѣдный отъ гнѣва, бросается на трибуну и начинаетъ свою рѣчь словами: «*tira bien, qui tira le dernier*»; но этотъ смѣлый приступъ не вяжется съ продолженіемъ; онъ путается, возражаетъ и оправдывается слабо и наконецъ возвращается на свое мѣсто, уличенный въ безысходномъ противорѣчій съ самимъ собою.

Результатъ всѣхъ этихъ преній былъ въ высшей степени невыгоденъ для свободы печати:



судъ присяжныхъ былъ уничтоженъ въ процессахъ о литературныхъ преступленіяхъ.

Кромѣ того законы 1822 года создали новый родъ литературныхъ преступленій; они постановили, что если статьи журнала, пропущенныя по одиночкѣ цензурою, въ общей связи своей обнаруживаютъ неопозволительный образъ мыслей, то судъ въ торжественномъ засѣданіи опредѣляетъ за первую вину закрытіе журнала на одинъ мѣсяцъ, за вторую — на три мѣсяца, за третью — оковчателное запрещеніе.

Когда новые законы получили свою силу, то процессы и осужденія градомъ посыпались на тѣ журналы, къ которымъ не благоволило правительство. Перечислять отдѣльные случаи не стоитъ, они всѣ похожи другъ на друга, всѣ начинаются или съ придирки къ отдѣльному выраженію, или съ обвиненія въ незаконномъ на правленіи; затѣмъ идетъ процессъ, въ которомъ судьи почти всегда сочувствуютъ обвинителю; потомъ произносится приговоръ, взыскивается опредѣленный штрафъ или происходитъ арестованіе и запрещеніе журнала на нѣкоторое время или навсегда.

Впрочемъ, даже коронные судьи не всегда умѣли угодить требованіямъ правительства. Когда журналъ «*Courrier Français*» былъ обвиненъ въ зловредныхъ тенденціяхъ, проявляющихся въ общемъ подборѣ и въ группировкѣ статей, тогда голоса судей раздѣлились пополамъ, и слѣдовательно дѣло оставалось нерѣшеннымъ, а журналъ былъ избавленъ отъ дальнѣйшихъ преслѣдованій.

Министры увидѣли, что дѣйствія правительства возбуждаютъ неудовольствіе въ обществѣ, что постоянные процессы только озлобляютъ литераторовъ и что борьба между администраціей и оппозиціонною прессой продолжается подъ различными формами, съ постоянно возрастающимъ ожесточеніемъ. Они попробовали пустить въ ходъ новое средство — подкупъ; имъ дѣйствительно удалось купить девять журналовъ и обратитъ ихъ въ панегиристовъ правительства. Изъ секретныхъ фондовъ было истрачено на эту операцію до 2,000,000 франковъ.

Во время дебатовъ, клонившихся къ рѣшенію вопросовъ о печати, цензура потеряла свое вліяніе, и дѣйствія ея были приостановлены впредъ до исхода парламентскихъ совѣщаній. 15-го августа 1824 года цензуру возстановили въ прежнемъ ся значеніи, и журналамъ было отдано приказаніе подчиниться новымъ правиламъ черезъ 12 часовъ послѣ напечатанія ихъ въ «*Монитеръ*». Чиновники, назначенные въ цензора, пожелали, чтобы имена ихъ оставались неизвѣстными публикѣ. Раздраженіе публики противъ этихъ чиновниковъ было очень сильно, и Бенжаменъ Констанъ говоритъ, что во Франціи въ то время не нашлось бы ни одного человѣка, который рѣшился бы выйти на улицу, признавъ себя цензоромъ.

### III.

#### При Карлѣ X.

Людовикъ XVIII умеръ 16 сентября 1824 года, а 29 сентября того же года преемникъ его, Карлъ X, отменилъ указъ отъ 15 августа и такимъ образомъ уничтожилъ цензуру. При дворѣ усилилась партія піетистовъ и іезуитовъ, пользовавшихся личнымъ сочувствіемъ короля; эта партія начала преслѣдовать либеральную прессу, которая, съ своей стороны, пошла войною противъ клерикаловъ.

Въ концѣ 1825 года *Constitutionnel* и *Courrier Français* были призваны къ суду; въ первомъ нашлось 34, во второмъ — 25 статей, клонившихся, по мнѣнію генеральнаго прокурора Беллара, къ тому, чтобы уронить духовенство въ глазахъ общества. Являясь обвинителемъ, генеральный прокуроръ потребовалъ, чтобы эти журналы были закрыты на нѣсколько мѣсяцевъ, но судьи оправдали подсудимыхъ и ограничились тѣмъ, что посовѣтовали редакторамъ быть осторожнѣе на будущее время. Либеральные журналы съ восторгомъ извѣстили своихъ подписчиковъ о благополучномъ исходѣ этого процесса, но за то клерикальные журналы громко выразили свое неудовольствіе.

Втеченіе 1826 года число процессовъ по дѣламъ печати увеличилось; сорокъ три различныхъ изданія подверглись преслѣдованію; возникло сто шестьдесятъ девять процессовъ; въ нихъ было замѣшано сто восемьдесятъ четыре человѣка; изъ нихъ пятьдесятъ три человѣка заплатили штрафы; сорокъ шесть человѣкъ кромѣ того посажены въ тюрьму и восемьдесятъ пять признаны виновными.

Въ 1827 году 24 іюня, правительство возстановило предварительную цензуру и учредило комиссію наблюденія за цензурой подъ предсѣдательствомъ извѣстнаго піетиста Бональда. Эта цензура довела строгость свою до послѣднихъ предѣловъ; такъ какъ цензура была обязательна только для періодическихъ изданій, то люди, преданные интересамъ литературы, составили общество съ цѣлью печатать отдѣльными брошюрами статьи, запрещенныя цензурой въ журналахъ; въ этихъ же брошюрахъ обнародовались цензурныя распоряженія. Нѣкоторые ежедневныя газеты, ненавистныя министерству Виллеля, часто по распоряженіямъ цензуры бывали поставлены въ безвыходное положеніе; случалось такъ, что корректура цѣлаго нумера, посланная утромъ въ цензуру, возвращалась въ одиннадцать часовъ вечера; главная статья оказывалась запрещенной; выпустить нумеръ съ пробѣломъ не позволялось; тогда отправляли въ цензуру другую статью, взамѣнъ запрещенной; но эту статью никто не прочитывалъ, потому что цензоръ уже спалъ. Что же оставалось дѣлать редактору? Вы-



пустить нумеръ безъ главной статьи значило лишить его всякаго интереса; оставить пробѣль—значило возстановить противъ себя всѣхъ цензоровъ до такой степени, что они могли отказаться читать и подписывать корректурные листы; напечатать статью, непросмотрѣнную цензоромъ, было невозможно, потому что это вело за собой запрещеніе журнала; дѣло кончалось тѣмъ, что нумеръ газеты не могъ выйти въ срокъ; это раздражало подписчиковъ и вредило интересамъ редакціи, потому что запоздалый нумеръ не находилъ себѣ покупателей.

Чтобы сколько нибудь помириться съ общественнымъ мнѣніемъ, правительство опять уничтожило предварительную цензуру 5 ноября 1827 года; въ то же время палата депутатовъ была распущена, и либеральная партія рѣшительно восторжествовала на новыхъ выборахъ; попытки министерства подчинить выборы своему влиянію рѣшительно не удалось и повели къ серьезнымъ схваткамъ между народомъ и жандармами; кое-гдѣ появились баррикады, и наконецъ 4 января 1828 года министерство Виллеля пало. Съ нимъ вмѣстѣ пала цензура, которую Виллель снова хотѣлъ утвердить надъ періодическими изданіями. Клерикалы и ультра-роялисты составили оппозицію противъ новаго министерства, во главѣ котораго стоялъ Мартиньякъ, опиравшійся на либеральную партію. Но Мартиньякъ продержался всего полтора года; его смѣнилъ князь Полиньякъ, и съ августа 1829 года между либеральной журналистикой и министерствомъ завязалась ожесточенная борьба.

Полиньякъ истощилъ всѣ возможные средства, чтобы заставить замолчать ненавистную журналистику; процессы и строгія наказанія сыпались на писателей и редакторовъ за малѣйшую попытку отнестись критически къ дѣйствіямъ министерства, за фразы, написанныя безъ умысла и перетолкованныя обвинителями. Наконецъ 26 іюля 1830 г. приказъ короля еще разъ возстановилъ цензуру и вмѣнилъ въ обязанность журналистамъ, какъ редакторамъ, такъ и писателямъ, испрашивать черезъ каждые три мѣсяца разрѣшеніе у правительства для изданія журнала и для писанія статей. Въ случаѣ неудовольствія со стороны правительства, журналъ не получаетъ разрѣшенія, и писатели теряютъ право писать. Нарушители этого правила подвергаются наказаніямъ; журналы конфискуются, типографіи запечатываются, станки и шрифтъ уносятся въ полицію или ломаются и приводятся въ негодность.

Содержатели типографій заперли свои мастерскія, наборщики и печатники очутились на улицѣ, безъ работы; коронные судьи объявили приказъ 25 іюля незаконнымъ и противнымъ конституціи; президентъ Беллеймъ приказалъ продолжать печатаніе «Journal de Commerce» вопреки по-

вымъ правиламъ; сорокъ пять извѣстныхъ писателей, сотрудники одиннадцати журналовъ составили протестъ и за своими подписями напечатали его въ «National» и въ «Temps»; полиція ворвалась въ типографіи этихъ журналовъ, выломала двери, разбила станки, изорвала бумаги; работники пошли на драку; первая капля крови, пролитая полицейскими солдатами, привела въ неистовство собравшуюся толпу; свалка передъ дверьми типографіи перешла въ бунтъ; изъ бунта вышла революція, и черезъ три дня послѣ этого незначительнаго событія старшая линія Бурбоновъ лишилась престола.

Изъ всего этого запутаннаго перечня сухихъ и однообразныхъ фактовъ, которые я старался рассказать какъ можно короче, можно вывести очень простое заключеніе: правительство постоянно обращалось къ предварительной цензурѣ, какъ къ средству, имѣющему несомнѣнное свойство сдерживать строптивую часть литературы. Общественное мнѣніе постоянно къ этому послѣднему средству относилось съ непріязнью. Никакія судебныя преслѣдованія, никакіе процессы и наказанія не вызывали такого негодованія, какое обнаруживалось при введеніи цензуры и часто тяжелымъ бременемъ падало на личности самихъ цензоровъ. Правительство постоянно тянуло на сторону предварительной цензуры, толковало въ такомъ смыслѣ букву хартіи и втеченіи шестнадцати лѣтъ (1814—1830) семь разъ возстановляло и подновляло это учрежденіе. Общество постоянно предпочитало карательную систему и съ возрастающимъ раздраженіемъ подчинялось попыткамъ правительства.

Разладъ между правительствомъ и обществомъ поддерживался тѣмъ, что общество не имѣло возможности откровенно заявить свои желанія и обсудить свои потребности; разладъ этотъ повелъ къ печальному столкновенію и наконецъ разрѣшился кровопролитнымъ переворотомъ 1830 г.

#### IV.

#### При Людовикѣ Филиппѣ.

Іюльская революція доставила престолъ герцогу Орлеанскому, который, превратившись въ короля Людовика-Филиппа, въ первые дни своего царствованія былъ поставленъ въ необходимость сообразоваться до нѣкоторой степени съ желаніями своего народа. Надо было показать вновникамъ іюльской революціи, что удаленіе Бурбоновъ произвело существенныя измѣненія въ политикѣ правительства и въ духѣ административныхъ распоряженій. Новая хартія предоставляетъ французамъ право обнародовать и печатать свои мысли, соображаясь съ государственными законами; цензура уничтожается на вѣчныя времена; преступленія и проступки, совершенные путемъ печати, причисляются къ политическимъ преступленіямъ, и подобно послѣд-



нимъ судятея судомъ присяжныхъ. Эти существенныя черты законодательства не были измѣнены во все время царствованія Людовика-Филиппа; цензура не возстановлялась, и судъ присяжныхъ попрежнему рѣшалъ процессы печати.

Нарушить эти два условія, въ которыхъ французы видѣли драгоценныя гарантіи свободы мысли, казалось слишкомъ опаснымъ; примѣръ Карла X былъ памятенъ Людовику-Филиппу, и онъ не рѣшался идти по его слѣдамъ; но оставляя неприкосновенными внѣшнія формы, новое правительство повсе не хотѣло, чтобы французы съ полной откровенностью сообщали другъ другу свои мысли и желанія въ журнальныхъ статьяхъ и политическихъ обзорѣяхъ. Въ этихъ мысляхъ и желаніяхъ новое правительство постоянно встрѣчало вещи, не лестныя для его самолюбія и далеко не успокоительныя. Оно видѣло, что приверженцы республики, Наполеона и Бурбоновъ попрежнему держатся своего знамени и смотрятъ на орлеанскую династію, какъ на политическую партію, овладѣвшую на короткое время дѣлами правленія. Оно видѣло, что приверженцы Бурбоновъ опираются на принципы законности и божественнаго права, на вѣковыя преданія королевской Франціи, что бонапартисты презрѣаютъ націю блескомъ военной славы, и что республиканцы имѣютъ за себя надежды и симпатіи страждущихъ пролетаріевъ и тѣхъ людей, которые заботятся объ улучшеніи ихъ участи. Оно видѣло вмѣстѣ съ тѣмъ, что не могло выдвинуть противъ своихъ враговъ никакого принципа; у орлеанистовъ не было ни историческаго знамени, ни политическихъ убѣжденій; они не могли защищаться доводами, потому что самое сооруженіе престола Людовика-Филиппа, самое происхожденіе новой монархіи изъ июльской революціи было громадною логической ошибкой со стороны представителей французской націи и громаднымъ проявленіемъ двоедупія со стороны Людовика-Филиппа. Герцогъ Орлеанскій жилъ въ ладу съ своими родственниками, Бурбонами, до той самой минуты, пока ихъ не выгнали изъ Франціи; въ то же самое время онъ поддерживалъ сношенія съ умѣренными предводителями оппозиціи, съ представителями богатой буржуазіи, съ людьми, подобными Казиміру Перрье и Жаку Лафиту; когда Карлъ X выѣхалъ изъ Парижа, тогда эти сношенія сдѣлались живѣе и официальнѣе; богатая буржуазія рада была низверженію Бурбоновъ, начавшихъ стремиться къ абсолютизму, но въ то же время она боялась простого народа, и потому поторопилась остановить движеніе, какъ только оно опрокинуло престолъ Карла X. Богатая буржуазія поспѣшила объявить народу, что цѣль достигнута, и что желанное рѣшеніе великой соціальной задачи состоитъ именно въ томъ, чтобы на мѣсто Карла поставить Людовика-Филиппа. Очутившись такимъ образомъ во главѣ взволнованнаго народа, родственникъ Бурбоновъ

почувствовалъ свое двусмысленное положеніе и понималъ, что двусмысленность этого положенія замѣчаютъ и другіе. Легитимисты считали его измѣнникомъ и похитителемъ престола, а республиканцы смотрѣли на него, какъ на бесполезное подставное лицо, содержаніе котораго дорого стоило націи. Людовику-Филиппу приходилось балансировать между этими двумя враждебными лагерями, не имѣя возможности помпиться ни съ тѣмъ, ни съ другимъ. Чтобы удовлетворить легитимистовъ, надо было воротить Бурбоновъ и присягнуть имъ въ вѣрности, а самому Людовику-Филиппу отправиться въ ссылку по приговору королевскаго ассизнаго суда; чтобы удовлетворить республиканцевъ, надо было отказаться отъ *liste civile*, отлатъ корону со всеми брилліантами въ распоряженіе націи и удовольствоваться скромной ролью французскаго гражданина. Въ томъ и другомъ случаѣ Людовику-Филиппу предстояло выѣхать изъ тюильрійскаго дворца, а этого ему вовсе не хотѣлось. Конечно у него была возможность удержаться на престолѣ помимо всевозможныхъ политическихъ партій, потому что всякая партія, какъ бы ни была она многочисленна, всетаки составляетъ въ общей массѣ народа очень незначительное меньшинство. Это меньшинство только тогда становится опаснымъ, когда ему начинать сочувствовать равнодушная толпа, а эта равнодушная толпа только тогда выходитъ изъ своего равнодушія, когда она чувствуетъ дѣйствительное страданіе. Людовикъ-Филиппъ могъ, не обращая вниманія на ненависть партій, доставить своему народу матеріальное благосостояніе, заслужить его признательность благоразумными распоряженіями и упрочить свое шаткое господство.

Но такая задача была не по силамъ новому королю; человекъ, которому она была бы по силамъ, по всей вѣроятности съ самаго начала не принялъ бы той унизительно-двусмысленной роли, которую игралъ герцогъ Орлеанскій во время июльской революціи. Людовикъ-Филиппъ предпочелъ держаться другого образа дѣйствій. Окруживши себя личными друзьями или людьми, связанными съ нимъ въ интересахъ, онъ сдѣлалъ свое правительство партией и сталъ обращаться съ легитимистами и съ республиканцами, какъ съ опасными врагами. Крутыхъ мѣръ онъ боялся, но, гдѣ можно было учинить притѣсненіе, не отходя отъ буквы закона, тамъ онъ не упускалъ удобнаго случая. Преслѣдуя своихъ заклятыхъ недоброжелателей, онъ постоянно создавалъ себѣ новыхъ враговъ, потому что очевидная неприязнь правительства къ разнороднымъ проявленіямъ свободной мысли, неприязнь, соединенная съ внѣшней осторожностью дѣйствій, возмущала всѣхъ честныхъ гражданъ Франціи, хотя бы эти граждане не имѣли никакихъ ясно обозначенныхъ симпатій ни къ изгнанной династіи Бурбоновъ, ни къ республиканскимъ формамъ прав-



генія. Когда правительство преслѣдовало прессу — это приписывалось его недоброжелательству; когда оно оставляло ее въ покоѣ, тогда это приписывалось его робости; во всякомъ случаѣ, въ правительствѣ предполагались враждебныя намѣренія, и никто не чувствовалъ къ нему признательности, если оно, вслѣдствіе своего безсилія, не осуществляло ихъ на дѣлѣ. Извѣстный въ то время политическій писатель, членъ палаты депутатовъ, Кормененъ, писалъ уже въ 1830 году, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ июльскихъ событій: «Демократическіе журналы умрутъ. Противъ нихъ гремитъ гнѣвный голосъ министровъ, и этому голосу вторитъ эхо изъ Palais-Bourbon и изъ Luxembourg. Еще нѣсколько дней — и народная журналистика отживетъ свой вѣкъ». Если эти злобщія предсказанія, слышавшіяся почти тотчасъ послѣ воцаренія Людовика-Филиппа, не осуществились во всемъ своемъ объемѣ, то во всякомъ случаѣ прессѣ пришлось испытать много мелкихъ и крупныхъ передрагъ и притѣсненій.

Въ 1831 году правительство затѣяло нѣсколько процессовъ по дѣламъ печати, но судъ присяжныхъ сдѣлалъ свое дѣло какъ слѣдуетъ, и большая часть обвиненныхъ журналистовъ и литераторовъ были объявлены невиновными и освобождены отъ преслѣдованій. Впрочемъ, не смотря на безпристрастіе присяжныхъ, нѣкоторые журналы пострадали за излишнюю откровенность. Журналъ «Révolution» три раза былъ признанъ виновнымъ: во-первыхъ за то, что заподозрилъ палату депутатовъ въ излишней покорности правительству, во-вторыхъ за то, что пожелалъ обратиться къ народу и узнать, кого онъ захочетъ видѣть на престолѣ, въ-третьихъ за то, что перепечаталъ изъ журнала «National» одну статью Карреля. За эту статью — Карреля также потянули въ судъ, но случилось такъ, что судьи Карреля оправдали его, автора преслѣдуемой статьи, а судьи журнала «Révolution» подвергли этотъ журналъ отвѣтственности за простую перепечатку.

Это противорѣчіе между приговорами двухъ *juris* даетъ поводъ думать, что административное вліяніе можетъ прокрадываться въ самыя лучшія судебныя учрежденія, и что люди остаются слабыми смертными даже въ ту торжественную минуту, когда, украшенные титуломъ присяжныхъ, они произносятъ приговоръ надъ участью ближняго. Статья Карреля была вызвана распоряженіемъ министерства, рѣшившагося подвергнуть предварительному аресту журналистовъ и авторовъ тѣхъ статей, которыя были обвинены передъ судомъ.

Каррель, въ своемъ журналѣ *National*, протестовалъ противъ системы предварительныхъ арестовъ, объявилъ ихъ противоправными и обѣщалъ сопротивляться открытою силой въ томъ случаѣ, если бы правительство посягнуло безъ суда на его личную свободу. Эта статья

Карреля была перепечатана въ двухъ журналахъ *Mouvement* и *Révolution*. Всѣ три журнала, *National*, *Mouvement* и *Révolution*, призваны къ суду; два первые оправданы, а послѣдній подвергнутъ взысканію.

Военное министерство черезъ одного изъ своихъ агентовъ, Жиске, закупило въ Англіи огромное количество ружей, которыя оказались никуда негодными. Это плачевное событіе надѣлало много шума, и журналъ *Tribune* напечаталъ статью, въ которой самымъ спокойнымъ образомъ предлагался вопросъ: «правда ли, что гг. Казиміръ Перрье и Сульть получили при закупкѣ ружей и сукопъ больше милліона на свою долю?» Этотъ щекотливый вопросъ показался очень обиднымъ первому министру и маршалу Сульту; они пожаловались на непростительнаго обличителя, и Мараста, главнаго редактора *Tribune*, призвали къ суду и признали виновнымъ въ обезславленіи правительственныхъ лицъ. Мараста для своей защиты могъ только просить, чтобы дѣло о закупкѣ ружей было подвергнуто тщательному изслѣдованію, но такого рода просьба конечно была оставлена безъ вниманія, потому что посадить въ тюрьму литератора и взять штрафъ съ журнала было легче и пріятнѣе, чѣмъ отдать подъ судъ двухъ министровъ. Впрочемъ Перрье и Сульть также были обмануты въ своихъ ожиданіяхъ; они требовали себѣ за безчестіе и за убытки 10,000 франковъ съ оскорбившаго ихъ журнала; судъ нашелъ это требованіе нумѣреннымъ и предложилъ имъ 25 франковъ. Неизвѣстно, на сколько удовлетворило ихъ подобное предложеніе.

Откровенно выраженные мнѣнія объ особѣ короля всегда вели за собою процессы, которые постоянно кончались осужденіемъ обвиненныхъ. Не смотря на то, нерасположеніе общества и литературы къ правительству было такъ сильно, что нападенія на Людовика-Филиппа повторялись довольно часто. Журналъ *Caricature* парисовалъ его портретъ въ смѣшномъ видѣ, *Tribune* разсмотрѣлъ критически его прошедшее, *Gazette de France* объявила, что французскій престолъ принадлежитъ Генриху V, а не Людовику-Филиппу, *Gazette de France*, *Renouvateur* и *Quotidienne* обвинили короля, какъ соучастника въ умерщвленіи принца Конде. *Charivari* пустилъ въ ходъ карикатуру короля, окруженную трунами съ подписью: «Олицетвореніе самой мягкой и человѣколюбивой системы». Всѣ эти журналы были осуждены и наказаны, но къ сожалѣнію благотворный примѣръ не подѣйствовалъ, а французскіе журналы оказались несправными, не смотря на штрафы и тюремныя заключенія. Должно также замѣтить, что масса общества, въ большей части случаевъ, только тогда бросалась читать эти выходки и нападенія, когда онѣ вызывали противъ себя преслѣдованія, такъ что правитель-



ство своимъ внимательствомъ постоянно содѣйствовало успѣху либеральныхъ періодическихъ изданій. Дѣйствительно, если бы преслѣдованія со стороны правительства не усиливали подписки и продажи гонимыхъ журналовъ, то существованіе нѣкоторыхъ періодическихъ изданій во время царствованія Людовика-Филиппа оказалось бы фактомъ, совершенно необъяснимымъ.

Журналъ Tribune втеченіе четырехъ лѣтъ (1830 — 1834) выдержалъ сто два процесса; изъ нихъ онъ проигралъ семнадцать; вслѣдствіе этого онъ принужденъ былъ заплатить 120,000 франковъ штрафа и просидѣть въ тюрьмѣ, въ лицѣ своихъ редакторовъ, семнадцать лѣтъ. Восемь редакторовъ этого журнала принуждены были совокупными силами отбывать эту повинность, такъ что на каждого изъ нихъ приходилось больше двухъ лѣтъ тюремнаго заключенія. Если принять въ соображеніе, что даже тѣ восемьдесятъ пять процессовъ, въ которыхъ журналъ Tribune былъ оправданъ, отнимали у подсудимыхъ много времени, вели за собою хлопоты и были сопряжены съ болѣе или менѣе значительными издержками; если взвѣсить далѣе, что при заключеніи въ тюрьму одного изъ редакторовъ журналъ разомъ лишался одной изъ своихъ дѣйствующихъ силъ, и что въ то время, о которомъ я говорю теперь, восемь редакторовъ сидѣли, сложа руки, въ разныхъ исправительныхъ заведеніяхъ; если взять въ расчетъ огромный матеріальный подрывъ, который наносили фонду журнала штрафы, равнявшіеся въ своей совокупности 120,000 франковъ, и если вспомнить, что при всемъ томъ журналъ Tribune продолжалъ выходить въ свѣтъ и изумлять правительство смѣлостью своихъ осужденій, то, дѣйствительно, надо будетъ отдать полную дань уваженія непоколебимой стойкости либеральной прессы. Эта стойкость была бы безплодной и нелѣпой тратой героизма, если бы она не опиралась на сочувствіе умной и развитой публики; кромѣ того, такая стойкость была бы невозможна въ матеріальномъ отношеніи, если бы публика не выражала своего сочувствія, подписываясь на преслѣдуемый журналъ и покупая на расхватъ тѣ нумера, за которые редакторовъ призывали къ суду и сажали подъ арестъ. У издателей не хватило бы ни денегъ для того, чтобы оплачивать штрафы, ни живыхъ силъ для того, чтобы ими замѣнять дѣятелей, выбывающихъ въ тюрьму. Не мѣшаетъ замѣтить, что штрафы, налагаемые на Tribune, были особенно крупны; сроки тюремныхъ заключеній были также очень значительны; такъ напримѣръ за одну статью, обвинявшую палату депутатовъ въ продажности, отвѣтственный редакторъ былъ осужденъ на три года тюремнаго заключенія, и кромѣ того съ журнала взыскано 10,000 франковъ; въ другой разъ Tribune, рассказывая о пистолетномъ выстрѣлѣ, данномъ по

королю, замѣтила, что это по всей вѣроятности полицейская комедія; смыслъ этихъ словъ былъ очевидно тотъ, что полиція, желая усилить въ глазахъ правительства свою собственную важность, подстрекаетъ легковѣрныхъ людей и затѣваетъ разныя смуты, для того чтобы потомъ одерживать надъ ними легкія, но тѣмъ не менѣе блестящія побѣды. Правительство по какому-то необъяснимому процессу мысли приняло слова Tribune за оскорбленіе, нанесенное особѣ короля. Отвѣтственному редактору снова прописали годъ тюремнаго заключенія, а съ журнала взыскали штрафъ въ 24,000 франковъ.

Кромѣ штрафа и тюрьмы существовало еще одно довольно замысловатое наказаніе; когда какой нибудь журналъ, давая отчетъ о судебныхъ преніяхъ, высказывалъ какія нибудь замѣчанія, не нравившіеся тому или другому члену правительства, тогда недовольные представители власти обыкновенно обвиняли провинившійся журналъ въ невѣрности показаній и на нѣсколько времени отнимали у него право говорить о судебныхъ засѣданіяхъ; когда надъ журналомъ былъ произнесенъ такой приговоръ, тогда каждое, самое невинное слово, сказанное имъ о судебномъ дѣлѣ, раньше истеченія назначеннаго срока, считалось нарушеніемъ закона и преслѣдовалось, какъ проступокъ. Очень понятно, что наказанный журналъ терялъ часть своей занимательности, и что конкуренты легко могли переманить къ себѣ читающую публику. Вынужденное молчаніе о такомъ важномъ предметѣ, представлявшемъ постоянно живой и вѣчно современный интересъ, было чрезвычайно тяжело для живого и талантливаго журналиста. Журналъ Карреля, National, испыталъ эту горькую участь за то, что, по мнѣнію версальскаго ассизнаго суда, представилъ невѣрный отчетъ о дѣлѣ пистолетнаго выстрѣла; ему запретили въ продолженіи двухъ лѣтъ говорить о судебныхъ преніяхъ; Каррель не выдержалъ и къ 1834 году объявилъ правительству, что журналъ National прекращаетъ свое существованіе, и что открывается новый журналъ National de 1834; правительство конечно осталось равнодушно къ этой незначительной перемѣнѣ заглавія, и Каррель въ новомъ журналѣ своемъ началъ говорить о судебныхъ засѣданіяхъ, какъ будто бы прежняго приговора не существовало. Правительство выразило свое неудовольствіе, но такъ какъ законъ не предвидѣлъ этого случая, то Каррель оказался невиннымъ, и администрація принуждена была убѣдиться въ томъ, что мелкія преслѣдованія всегда вызываютъ со стороны притѣсняемыхъ мелкія хитрости и уловки.

Иногда заключеніе въ тюрьму и штрафъ соединялись еще съ потерей гражданскихъ правъ на извѣстный промежутокъ времени. Гражданскія права, отнимавшіеся такимъ образомъ у виновнаго, заключались въ слѣдующемъ: 1) право



голоса на выборах; 2) право быть избираемым; 3) право быть назначеннымъ въ званіе присяжнаго или исполнять другія общественныя должности; 4) право носить оружіе; 5) право участвовать и подавать голоса въ семейномъ совѣтѣ; 6) право быть опекуномъ или попечителемъ; 7) право быть экспертомъ или свидѣтелемъ въ актахъ; 8) право быть свидѣтелемъ въ судѣ. Депутатъ Кабе, редакторъ журнала *Populaire*, на два года былъ лишенъ гражданскихъ правъ за двѣ статьи, говорившія въ пользу республики и повѣствовавшія о преступленіяхъ коронованныхъ особъ противъ челоѣчества. Кромѣ того его посадили на два года въ тюрьму, и журналъ заплатилъ значительный штрафъ. Возможность отнимать такимъ образомъ гражданскія права у писателя, обнаруживающаго предосудительный образъ мыслей, могла сдѣлаться опаснымъ орудіемъ въ рукахъ конституціоннаго правительства. Отстранить отъ выборовъ нѣсколько десятковъ умныхъ головъ значило лишить оппозицію нѣсколькихъ талантливыхъ бойцовъ и предводителей. Журналистика и адвокатура были для свободно-мыслящаго челоѣка лучшими средствами заявить себя передъ публикой и пробить себѣ дорогу въ парламентъ, къ гражданской дѣятельности въ полномъ и обширномъ смыслѣ этого слова. Но журнальная извѣстность доставалась не легко, и лишеніе гражданскихъ правъ на нѣсколько лѣтъ передъ самыми выборами не разъ поражало людей, успѣвшихъ зарекомендовать себя статьями политическаго содержанія и сосредоточившихъ на себѣ надежды своихъ единомышленниковъ.

Когда журналъ обвинялся въ оскорбленіи палаты перовъ или депутатовъ, тогда обвиненнаго призывали къ суду въ самую палату, и такимъ образомъ оскорбленное собраніе становилось судьей въ своемъ собственномъ дѣлѣ.

Въ апрѣлѣ 1834 года правительство напало на слѣдъ обширнаго республиканскаго заговора; арестованныя лица были отданы подъ судъ въ палату перовъ; разсматривая это событіе, *National* замѣтилъ, что это распоряженіе правительства составляетъ нарушеніе конституціи, потому что, по закону 8 октября 1830 года, политическія преступленія подлежатъ производству въ ассизныхъ судахъ, а вовсе не въ палатѣ перовъ. Почтенное собраніе, котораго судебная дѣятельность объявлялась такимъ образомъ незаконною, возмутилось и потребовало *National* къ суду въ ту самую палату, у которой этотъ журналъ, опираясь на букву хартіи, отнималъ право судить, какъ политическія преступленія вообще, такъ и преступленія, совершенныя путемъ печати въ особенности. Каррель, въ своей защитительной рѣчи, продолжалъ поддерживать идею своего журнала; перебралъ тѣ случаи, въ которыхъ палата перовъ произносила несправедливые приговоры, и напомнилъ почтен-

ному собранію казнь маршала Нея, называя ее отвратительнымъ убійствомъ. Эти слова возбудили волненіе; президентъ перебилъ оратора и приказалъ ему соразмѣрять выраженія съ достоинствомъ присутствующихъ особъ. Но тутъ оказалось, что слова Карреля находятъ себѣ сочувствіе въ членахъ собранія; одинъ изъ перовъ, генераль Эксельманъ поднялся съ своего мѣста. «Я раздѣляю мнѣніе отвѣтника, сказалъ онъ громко. Да, осужденіе маршала Нея было юридическимъ убійствомъ. Я говорю это!» Оправданный такимъ образомъ голосомъ одного изъ судей, Каррель могъ продолжать свою защитительную рѣчь, но *National* тѣмъ не менѣе былъ признанъ виновнымъ, высидѣлъ два года въ тюрьмѣ и заплатилъ 10.000 франковъ штрафа.

Во время процесса апрѣльскихъ заговорщиковъ, обвиненные выбрали себѣ защитниками нѣсколько лицъ, не принадлежавшихъ къ сословию адвокатовъ. Этимъ лицамъ правительство не позволяло видѣться съ ихъ будущими кліентами. Тогда эти лица напечатали въ двухъ журналахъ *Tribune* и *Réformateur* протестъ противъ этихъ распоряженій, отнимавшихъ у подсудимыхъ возможность говорить въ свое оправданіе то, что они считали наиболѣе убѣдительнымъ.

Вслѣдъ за этимъ протестомъ въ тѣхъ же журналахъ было помѣщено письмо къ подсудимымъ, написанное на ту же тему и подписанное двумя депутатами, Кормененомъ и Одри-де-Пюираво. Палата перовъ нашла это письмо оскорбительнымъ для своего достоинства и потребовала къ суду Корменена и Пюираво. Въ палатѣ депутатовъ возникъ тогда вопросъ: давать ли своихъ членовъ въ обиду, или отказать требованію перовъ. У Корменена и Пюираво потребовали предварительныхъ объясненій; Кормененъ объявилъ, что не подписывалъ никакого письма, а Пюираво сказалъ на отрѣзъ, что никакихъ объясненій давать не желаетъ. Тогда, послѣ бурнаго засѣданія, было рѣшено предать депутата Пюираво въ руки перовъ. Это рѣшеніе взволновало всю залу; поднялся шумъ, и нѣкоторые депутаты замѣтили, что съ трибуны журналистовъ раздавались крики и бранныя слова; предѣдатель собранія приказалъ ихъ вывести; потомъ, когда черезъ нѣсколько минутъ въ залѣ возстановилась приличная тишина, президентъ пригласилъ ихъ занять прежнее мѣсто, но они отказались, и засѣданіе палаты закрылось. На дворѣ и на улицѣ произошли непріятныя объясненія и столкновенія между изгнанными журналистами и депутатами министерской партіи; на другой день журналы заговорили объ этихъ своеобразныхъ событіяхъ; *Réformateur* напечаталъ противъ депутатовъ статью подъ заглавіемъ: «*assomoirs législatifs*» (законодательные разбойники). Эта статья пришлась не по вкусу французскому парламенту: *Réformateur* былъ призванъ къ



суду въ палату депутатовъ и заплатился за свой не советѣмъ лестный отзывъ мѣсячнымъ заключеніемъ и штрафомъ въ 10.000 франковъ.

Легитимисты и республиканцы находились въ постоянной оппозиціи съ правительствомъ, но, сходясь между собою въ одномъ этомъ отрицательномъ пунктѣ, они діаметрально расходились во всѣхъ положительныхъ воззрѣніяхъ и стремленіяхъ. Взаимная непріязнь между этими двумя рѣзко разграниченными партіями обозначалась при каждомъ удобномъ случаѣ.

Однимъ изъ такихъ случаевъ была неудачная попытка вдовы герцога Беррійскаго возмутить населеніе Бретани противъ существующаго правительства. Герцогиня, высадившаяся во Франціи въ сопровожденіи нѣсколькихъ преданныхъ друзей, попалась въ плѣнъ; во время ея плѣна обнаружился симптомы болѣзненнаго разстройства, которые были приняты приставленными къ ней медиками за признаки беременности. Это извѣстіе мгновенно огласилось по всей Франціи и привело легитимистовъ въ сильное смущеніе. Не зная, какъ оправдать герцогиню, они вздумали утверждать, что орлеанисты и республиканцы клеветаютъ на нее, съ цѣлью парализовать политическое вліяніе ея имени на массу французскаго населенія. Журналы легитимистовъ постоянно говорили о болѣзни герцогини, между тѣмъ какъ правительственные и либеральные органы постоянно называли эту болѣзнь ея настоящимъ именемъ. Дѣло не остановилось на одномъ различіи показаній. Легитимисты рѣшились во что бы то ни стало зажать ротъ обвинителямъ плѣнной герцогини и начали съ того, что послали вызовъ редактору одного либеральнаго журнала *Corsaire*. Узнавъ о грозныхъ приготовленіяхъ легитимистовъ, *Tribune* и *National* объявили рыцарямъ, рѣшившимся проливать свою кровь за честь герцогини Беррійской, что журналисты либеральной партіи не отказываются отъ выраженныхъ ими мнѣній и готовы довести дѣло до дуэли. Тогда двѣнадцать легитимистовъ прислали вызовъ въ контору *National*; Каррель выбралъ одного изъ нихъ, Ру-Лабори, и былъ опасно раненъ. Въ это время обмѣнъ вызововъ между враждебными журналами продолжался, но въ палатѣ депутатовъ легитимистъ Беррье объяснился отъ лица своей партіи съ представителемъ либеральной оппозиціи, Гарнье-Пажесомъ, и печальные раздоры между журналистами прекратились. Какъ извѣстно, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ этихъ событій, герцогиня дѣйствительно разрѣшилась отъ бремени, и тогда легитимисты съ изумленіемъ узнали о тайномъ бракѣ ея съ итальянскимъ дворяниномъ, графомъ Лукези-Пали. Оказалось, что весь рыцарскій жаръ ихъ былъ потраченъ даромъ.

Правительство Людовика-Филиппа чувствовало, что его ненавидятъ съ разныхъ сторонъ и

по разнымъ побужденіямъ. Министерства возвышались и падали одно за другимъ, не удовлетворяя требованіямъ общества, не успѣвая разсѣять недовѣріе и постоянно встрѣчая въ палатѣ депутатовъ и въ журналистикѣ дѣятельную, даровитую и бдительную оппозицію. Между тѣмъ, случайныя событія, неимѣвшія никакой связи съ дѣйствіями этой оппозиціи, усиливали враждебныя отношенія правительства къ проявленіямъ свободной мысли. Въ короля стрѣляли чуть ли не каждый годъ; стрѣлковъ этихъ схватывали, судили обыкновеннымъ порядкомъ, и одна голова за другою скатывалась съ эшафота. Но этимъ дѣло не кончилось; король начиналъ ненавидѣть своихъ подданныхъ, начиналъ чувствовать къ нимъ полное недовѣріе и за преступленія отдѣльных лицъ мстилъ цѣлому королевству, усиливая административныя и юридическія притѣсненія. Людовикъ-Филиппъ не понималъ того, что открытая оппозиція, высказывающая свои мнѣнія съ парламентской трибуны или на столбцахъ либеральной газеты, по самой сущности своей не можетъ имѣть ничего общаго съ заговоромъ, съ покушеніемъ на жизнь правительственнаго лица или вообще съ такимъ предпріятіемъ, которое для своего успѣха требуетъ непроницаемой тайны. Вслѣдствіе этого каждый пистолетный выстрѣлъ, сдѣланный по королю, подавалъ поводъ къ такимъ правительственнымъ распоряженіямъ, которыя падали на невинную оппозицію и слѣдовательно увеличивали раздраженіе общества и литературы.

28 іюля 1837 года итальянецъ Фіески выстрѣлилъ въ короля изъ цѣлой батареи ружей, прилаженныхъ въ окнѣ одного дома, мимо котораго проѣзжалъ Людовикъ-Филиппъ съ своею свитой. Свита пострадала, но король остался невредимъ; въ сентябрѣ того же года появились нѣкоторые дополнительные законы о печати, законы, которые конечно не облегчили положенія журналистики. Основные черты прежняго законоположенія, освященныя буквою хартіи, остались нетронутыми, но масштаб наказаній увеличился, и число стѣсненій и препятствій сдѣлалось значительнѣе.

Особенное вниманіе правительства было обращено на журналистику, какъ на средство возбуждать легковѣрныхъ людей къ разнымъ противозаконнымъ поступкамъ. Правительство думало, что журналисты только о томъ и хлопочутъ, какъ бы взбунтовать народъ, подослать тайнаго убійцу или сдѣлать какой нибудь общественный скандалъ; потому оно прежде всего повторило законъ 17 мая 1819 года, по которому человѣкъ, возбуждившій другого къ совершенію преступленія, наказывается наравнѣ съ преступникомъ, если только возбужденіе повело за собою попытку; если же возбужденіе остается безъ всякихъ послѣдствій, тогда возбуждатель, по закону 1819 года, наказывается за-



ключеніемъ въ тюрьму отъ 3 мѣсяцевъ до 5 лѣтъ и штрафомъ отъ 50 до 6,000 франковъ.

Стало быть, къ какому бы важному преступленію вы ни подстрекали вашихъ слушателей или читателей, вы, по буквѣ закона 1819 года, должны были заплатить только 6,000 франковъ и просидѣть въ тюрьмѣ только 5 лѣтъ, въ томъ случаѣ, если слова ваши оставались безъ всякаго послѣдствія.

Эта статья закона, удовлетворявшая требованіямъ реставраціоннаго правительства, показала чрезвычайную слабость человѣколюбивому правительству Людовика-Филиппа. Оказалось, что за возбужденіе къ особенно важнымъ преступленіямъ слѣдуетъ платить отъ 10,000 до 50,000 франковъ и высылать въ крѣпости отъ 5 до 20 лѣтъ, опять-таки только въ томъ случаѣ, когда возбужденіе не произвело никакого вліянія.

Въ случаѣ оскорбленія общественной или религіозной нравственности, или въ случаѣ публичнаго заявленія мнѣній, несогласныхъ съ конституціей 1830 года, судилища, по закону 10 сентября 1835 года, получили право, смотря по обстоятельствамъ, увеличивать вдвое высшую степень наказанія, назначеннаго прежними законами.

Во всѣхъ случаяхъ обезславленія, предусмотрѣнныхъ законами, допущены также, смотря по важности обстоятельствъ, удвоенныя наказанія.

Такимъ образомъ журналъ *Tribune*, заплатившій раньше этихъ законодательныхъ усовершенствованій 120.000 франковъ штрафа и высижившій, въ лицѣ своихъ редакторовъ, 17 лѣтъ въ тюрьмѣ, могъ послѣ 1835 года рассчитывать, что въ слѣдующее пятилѣтіе ему придется истратить на штрафы отъ 300 до 400 тысячъ франковъ и высиживъ въ тюрьмѣ, по крайней мѣрѣ, лѣтъ 50. Тутъ конечно было трудно соблюсти строго математическій расчетъ; дѣло въ томъ, что за одни преступленія судилищамъ позволялось только удваивать мѣру наказанія, а за другія, которыя правительство особенно близко принимало къ сердцу, тахітимъ штрафа возвысился слишкомъ въ восемь разъ; вмѣсто 6.000 явилось 50.000 франковъ; а тахітимъ тюремнаго заключенія увеличился вчетверо; вмѣсто 5 лѣтъ оказалось 20 лѣтъ, не говоря уже о томъ, что простая тюрьма замѣнилась крѣпостью. Если бы каждое пятилѣтіе приносило съ собой такого рода законодательное усовершенствованіе, то можно было бы надѣяться, что со временемъ штрафный сборъ съ оппозиціонной журналистики составитъ одну изъ важнѣйшихъ статей дохода въ государственномъ бюджетѣ Франціи.

Законъ 10 сентября запретилъ кромѣ того открывать публичные подписки для вознагражденія штрафовъ и убытковъ, наложенныхъ судебными приговорами. Нарушеніе этой статьи

подвергаетъ виновнаго штрафу, который въ важныхъ случаяхъ можетъ быть доведенъ до 5.000 франковъ, т. е. почти до той цифры, до которой, при Людовикѣ XVIII доходилъ штрафъ за возбужденіе къ важнѣйшимъ государственнымъ преступленіямъ. Штрафъ конечно—самъ по себѣ, а тюрьма сама по себѣ; наибольшій срокъ въ этомъ случаѣ—одинъ годъ.

Если журналъ въ теченіе одного года два раза подвергается осужденію за преступленіе, то судилища имѣютъ право приостанавливать изданіе на время до 4-хъ мѣсяцевъ. Значитъ, журналъ заплатить огромный штрафъ, потеряетъ года на два двоихъ редакторовъ, и всего этого, по мнѣнію правительства, мало; къ двумъ наказаніямъ, поражающимъ личность и собственность, надо еще присоединить третье, прибавочное, парализующее проявленіе идеи.

Такова та часть сентябрьскихъ законовъ, которая имѣетъ цѣлью запугать либеральную журналистику. Есть еще другая часть, стремящаяся къ тому, чтобы затруднить для большей части французскихъ гражданъ доступъ къ журнальной дѣятельности. Издатель ежедневной газеты долженъ былъ по сентябрьскимъ законамъ представить въ государственное казначейство залогъ въ 100.000 франковъ; газета, выходящая два раза въ недѣлю—75.000 франковъ; ежедневная газета—50.000 франковъ; журналъ, выходящій два или три раза въ мѣсяцъ—25.000 франковъ; журналы, выходящіе разъ въ мѣсяцъ, остаются по прежнему избавленными отъ залога. Отвѣтственный редакторъ каждаго журнала долженъ владѣть самъ, по крайней мѣрѣ, третьей частью залога. Если эта третья часть уменьшается вслѣдствіе частной сдѣлки или взысканнаго штрафа, тогда отвѣтственный редакторъ въ теченіи 16 дней обязанъ пополнить ее, или уступить свое мѣсто другому лицу; въ случаѣ неисполненія этого условія, изданіе останавливается. Если отвѣтственный редакторъ не подпишетъ одного нумера своего изданія, съ него взыскивается штрафъ до 3.000 франковъ. Если отвѣтственный редакторъ сидитъ въ тюрьмѣ, то на его мѣсто долженъ стать другой отвѣтственный редакторъ, удовлетворяющій всѣмъ вышепоказаннымъ требованіямъ закона. Если же такого лица не отыщется, то изданіе останавливается на все время тюремнаго заключенія отвѣтственнаго редактора.

Правительство требовало такимъ образомъ, чтобы каждый издатель ежедневной газеты былъ челоѣкъ, обезпеченный въ денежномъ отношеніи. Надо было, чтобы онъ имѣлъ по крайней мѣрѣ 200.000 франковъ свободнаго капитала; половина этихъ денегъ должна была отправиться въ казначейство, а другая половина конечно была необходима для того, чтобы на первыхъ порахъ обезпечить изданіе, еще неизвѣстное читающей публикѣ. Образованный пролетарій, об-



ладающій твердыми сознанными и прочувствованными убѣжденіями, готовый за эти убѣжденія идти въ тюрьму и въ ссылку, не могъ, по сентябрьскимъ законамъ, являться отвѣтственнымъ лицомъ; чтобы быть отвѣтственнымъ редакторомъ ежедневной газеты, т. е. чтобы имѣть пріятную перспективу сидѣть въ тюрьмѣ за невинную фразу, перетолкованную обвинителями и судьями, надо было владѣть суммою въ 33.333<sup>1</sup>/<sub>3</sub> франка. Какъ только изъ этой кабалистической суммы убывалъ одинъ франкъ, такъ отвѣтственный редакторъ долженъ былъ закладывать вещи, занимать деньги у друзей или родственниковъ и пополнять роковое число; въ противномъ случаѣ всѣ прежніе труды и пожертвованія пропадали даромъ; журналъ останавливался, а между тѣмъ событія шли, и несчастный редакторъ терпѣлъ казнь Танталя; онъ видѣлъ желанную пищу для своей критики, для своего анализа, а правительство зажимало ему ротъ и говорило: вноси деньги, плати за право думать, писать и печатать твои же мысли на твоей же бумагѣ.

Посидѣть въ тюрьмѣ мѣсяца два, три—не важность; человѣкъ, рѣшающійся посвятить свои силы журнальной дѣятельности, не могъ бояться подобнаго наказанія и отступать передъ такими ничтожными опасностями; но покуда редакторъ сидитъ въ тюрьмѣ, что дѣлается съ журналомъ? Правительство велитъ закрыть его, если не найдется другого отвѣтственного редактора, имѣющаго за душою опредѣленные закономъ 33,333<sup>1</sup>/<sub>3</sub> франка. А какое же значеніе и вліяніе можетъ имѣть журналъ, если онъ будетъ прерываться и по нѣскольку разъ въ годъ поневолѣ обманывать ожиданіе публики? Оказывается такимъ образомъ, что одинъ человѣкъ, какъ бы онъ ни былъ богатъ, какъ бы онъ ни былъ готовъ жертвовать своею личностью и своимъ состояніемъ, не можетъ издавать ежедневную газету, пользующуюся сочувствіемъ публики. Необходимо, чтобы цѣлая ассоціація людей, любящихъ одну идею, соединила свои силы и капиталы; необходимо, чтобы выбывающія деньги пополнялись изъ фондовъ общества и чтобы выбывающіе дѣятели немедленно смѣнялись другими, готовыми въ свою очередь платить штрафы и сидѣть въ тюрьмѣ. Доведя законы о печати до послѣднихъ предѣловъ строгости, правительство надѣялось раззорить въ конецъ журналы оппозиціи и довести либеральную прессу до состоянія вынужденнаго молчанія; расчетъ оказался невѣрнымъ.

Нѣкоторые демократическія изданія дѣйствительно погибли насильственной смертью, но издававшіе ихъ люди на бѣду остались живы, и не смотря на отеческія увѣщанія правительства, не рѣшились сложить руки; потерявъ возможность поддерживать журналъ собственными силами, они протянули руки своимъ братьямъ по идеѣ, сблизившись съ ними, не смотря на нѣкото-

рыя отѣнки въ образѣ мыслей, и заключили между собою тѣсный оборонительный союзъ противъ общаго притѣснителя. Такъ напр. Марастъ прекратилъ изданіе своей многострадальной Tribune, Луи-Вланъ закрылъ свой журналъ Bon sens, Кабе отказался отъ Populaire, и мало-по-малу вся оппозиціонная пресса сосредоточилась въ двухъ періодическихъ изданіяхъ—National и Réforme. Сознаніе общей опасности сблизило между собою всѣхъ радикаловъ и демократовъ, всѣхъ тѣхъ честныхъ дѣятелей, которые съ надеждой смотрѣли впередъ и ожидали для націи лучшаго будущаго. Думая раздавить оппозицію, правительство оказало ей существенную услугу, заставило ее организоваться и окрѣпнуть; журналисты поняли, что время остроумныхъ выходокъ и язвительныхъ шутокъ прошло; они поняли, что публика съ безпокойствомъ смотритъ на положеніе страны и на распоряженія правительства, что она ждетъ отъ прессы серьезныхъ указаній и руководящихъ идей, вмѣсто того чтобы по прежнему искать въ журналахъ удачныхъ выраженій и колкихъ намековъ. Факты начали говорить сами за себя; чтобы поддерживать и питать въ публикѣ господствующее настроеніе, достаточно было, съ точки зрѣнія честнаго человѣка, отдавать отчетъ о текущихъ явленіяхъ государственной жизни. Отраднѣе было такъ мало, опасности надвигались со всѣхъ сторонъ въ такихъ явственно очерченныхъ фигурахъ, ошибки правительства и полный разладъ его съ общественнымъ мнѣніемъ націи были до такой степени очевидны, что только записные панегеристы, умысленно искажавшіе факты, извѣстные всѣмъ и каждому, разсыпали свою дешевую лѣсть въ министерскихъ журналахъ, расходившихся въ очень ограниченномъ количествѣ экземпляровъ. Преслѣдовать либеральную прессу за то, что она спокойно говорила правду, было невозможно; мудрено было найти такихъ присяжныхъ, которые, на глазахъ у цѣлой Франціи, рѣшились бы сознательно осудить невиновнаго или по убѣжденію признать виновнымъ человѣка за то, что онъ не лжетъ въ угоду тому или другому министру; что же касается до того, чтобы измѣнить форму судопроизводства, или вмѣсто судебныхъ преслѣдованій пустить въ ходъ противъ литературы административныя распоряженія, то правительство Людовика-Филиппа, при всемъ своемъ расположеніи къ подобнымъ мѣрамъ, находило ихъ слишкомъ опасными. Надо было, во что бы то ни стало, соблюдать приличія, чтобы не давать возможности представителямъ оппозиціи проводить опасныя параллели между дѣйствіями изгнанныхъ Бурбоновъ и властвующихъ Орлеановъ.

Послѣ 1835 года процессы и осужденія по дѣламъ печати становятся довольно рѣдки, но за то каждый ударъ, который правительство наносило оппозиціонной прессѣ былъ такъ чувстви-



теленъ, что пораженный журналъ рѣдко могъ оправиться и собраться съ силами. Но взыскивая штрафы, разсаживая писателей въ тюрьмы, закрывая журналы, правительство рубило головы лернейской гидры; головы эти выростали и размножались, не смотря ни на какія близорукія усилія: мысль не можетъ быть убита судебными приговорами; настроеніе умовъ, господствующее въ цѣлой націи, не есть выдумка двухъ или трехъ десятковъ пишущихъ людей, и не зависитъ ни отъ ихъ статей, ни отъ взгляда министерства на эти статьи. Периодическая литература, дошедшая до высшей степени своего процвѣтанія, можетъ быть только выраженіемъ этого господствующаго настроенія. Это выраженіе можно подавить или исказить, потому что—дѣло извѣстное: бумага терпитъ все, что вы на ней благоволите написать или напечатать. Но развѣ же подавить проявленіе мысли значитъ искоренить самую мысль? Даровитые представители французской журналистики, люди, подобные Луи-Блану, Маррасту, Кабе, Ледрю-Ролленю, скоро поняли тактику правительства и нашли возможность говорить съ кругомъ своихъ читателей, не возбуждая противъ себя постоянныхъ преслѣдованій и не навлекая себѣ за каждую статью хлопотливыхъ и раззорительныхъ процессовъ. То обстоятельство, что процессы по дѣламъ печати становятся рѣдкими послѣ 1835 года, никакъ не можетъ быть приписано ни приращенію милосердія въ правительствѣ, ни цѣлѣбному дѣйствію сентябрьскихъ законовъ. Ни Людовикъ-Филиппъ, ни его министры—никогда не отличались великодушіемъ и до конца своего господства считали своими естественными врагами тѣхъ людей, которые, въ угоду правительству, не могли или не хотѣли отказаться отъ своихъ личныхъ убѣжденій. Французскіе журналисты съ своей стороны были слишкомъ закалены въ борьбѣ съ администраціей, чтобы испугаться октябрьскихъ законовъ и оставить свое знамя ради того, что возвысились штрафы и увеличились сроки тюремнаго заключенія. Правительство и журналистика просто поняли, что они тратятъ порохъ на холостые заряды; министры Людовика-Филиппа убѣдились въ томъ, что осужденіе цѣлой сотни литераторовъ не доставляетъ имъ самой незначительной побѣды въ парламентѣ, и возмущая общественное мнѣніе, ни на волосъ не увеличиваетъ ихъ политическаго могущества.

Министры сдѣлались равнодушнѣе къ тенденціямъ прессы, а пресса, въ лицѣ своихъ даровитѣйшихъ представителей, сдѣлалась серьезнѣе и направилась къ болѣе опредѣленной цѣли. Правительство и оппозиція стали другъ передъ другомъ, лицомъ къ лицу, и, отложивъ въ сторону мелкія схватки, завязали между собою борьбу на жизнь и на смерть. Консервативное начало, воплотившееся въ особѣ перваго министра Гизо, сосредоточило всѣ свои силы, и втеченіе вось-

ми лѣтъ (1840—1848) имѣло на своей сторонѣ большинство голосовъ въ палатѣ депутатовъ.

Прогрессисты разныхъ оттѣнковъ сходились между собою въ стремленіи произвести реформу въ механизмѣ выборовъ и въ самомъ составѣ парламента. Они хотѣли, чтобы вся масса націи или, по крайней мѣрѣ, значительная часть ея заявляла свои желанія на выборахъ и пользовалась правомъ подавать голосъ и назначать депутатовъ. Они хотѣли кромѣ того, чтобы палата депутатовъ была независима въ своихъ дѣйствіяхъ и чтобы правительство не имѣло возможности подкупать ея членовъ деньгами или теплыми мѣстами. Ослабить такимъ образомъ преобладаніе правительства въ парламентѣ—значило лишить его возможности проводить угнѣбительные законы. Если бы оппозиція успѣла сдѣлать палату депутатовъ дѣйствительнымъ выраженіемъ воли всей французской націи, тогда литература была бы навсегда ограждена отъ несправедливыхъ преслѣдованій; тогда всѣ честные граждане Франціи получили бы полную возможность пересматривать, оцѣнивать и обсуживать болячки общества и народа. За свободой мысли неминуемо и неизбѣжно послѣдовало бы обновленіе общественной жизни. Чтобы издавать хорошіе законы, необходимо было исправить самое законодательное орудіе, самое собраніе, которое принимало или отвергало проекты, представлявшіеся на его разсмотрѣніе. Очищеніе парламента отъ постороннихъ элементовъ, которыми запрудило его министерство, обновленіе и усиленіе связи между парламентомъ и живой частью націи должно было повести за собою самыя благотворныя и рѣшительныя измѣненія въ законодательствѣ и въ администраціи. Поэтому всѣ силы оппозиціи сосредоточивались на томъ, чтобы добиться избирательной и парламентской реформы; потребность реформы глубоко сознавалась или по крайней мѣрѣ чувствовалась всѣми классами общества: литераторы и журналисты находились въ ежедневныхъ сношеніяхъ съ депутатами оппозиціи, постоянно совѣщались съ ними, присутствовали вмѣстѣ съ ними на обѣдахъ, имѣвшихъ политическое значеніе, произносили рѣчи на этихъ застольныхъ митингахъ, и въ своихъ изданіяхъ постоянно поддерживали тѣ предложенія, въ пользу которыхъ депутаты оппозиціи говорили съ парламентской трибуны. Національная гвардія, составленная, какъ извѣстно, изъ городскихъ обывателей, желала реформы; учащаяся молодежь, имѣвшая доступъ въ политическіе кружки либеральной партіи, была проникнута стремленіемъ къ реформѣ; за реформу стояли ремесленники и пролетаріи. На сколько такое единодушное требованіе преобразованій было сознательно—это другой вопросъ. Навѣрное, три четверти тѣхъ людей, которые кричали «Vive la reforme!», не отдавали себѣ яснаго отчета въ неудобствахъ той правительственной комбина-



ции, которую они хотѣли устранить, но всё они, увлекаясь общимъ теченіемъ идей и чувствуя себя не хорошо въ настоящемъ, желали отъ всей души новаго, лучшаго порядка вещей, хотя можетъ быть никто не могъ себя представить, какія бытовые формы выработаетъ завтрашній день или будущій годъ.

Старый король и старый министр не видали и не хотѣли видѣть этого броженія умовъ; они смотрѣли съ улыбкой презрѣнія на усилія парламентской оппозиціи и, имѣя за собою большинство голосовъ въ палатѣ депутатовъ, считали себя полновластными хозяевами страны. Открывая засѣданіе палаты депутатовъ въ началѣ 1848 года, Людовикъ-Филиппъ въ своей тронной рѣчи упомянулъ мимоходомъ о нѣкоторыхъ безпорядочныхъ проявленіяхъ «враждебныхъ или слѣпыхъ страстей»; бросая этотъ укоръ въ глаза оппозиціи, онъ показалъ публично, что считаетъ ее безсильной и ничтожной; оппозиція обратилась тогда къ націи, чтобы узнать ея мнѣніе, и нація отвѣтила ей февральской революціей, начавшейся при крикахъ «Vive la reforme! A bas Guizot».

Оппозиція въ парламентѣ и въ журналистикѣ слагалась изъ самыхъ разнородныхъ элементовъ. Партія Тьера и Одилона Барро, располагавшая журналами *Siècle* и *Constitutionnelle*, стояла на чисто конституціонной почвѣ, осуждала дѣйствія министерства и протестовала противъ попытокъ короля основать свое личное господство. Династію Людовика-Филиппа они считали священной и неприкосновенной; конституція 1830 года казалась имъ удовлетворительной въ своихъ основныхъ чертахъ; предводители этой оппозиціи были не прочь отъ министерскаго портфеля и въ борьбѣ своей съ кабинетомъ Гизо руководствовались до нѣкоторой степени личными побужденіями. Крайняя лѣвая сторона палаты депутатовъ, или радикальная оппозиція, владѣвшая журналами *National* и *Réforme*, смотрѣла довольно равнодушно на парламентскую борьбу, мирилась съ конституціонною монархіей, какъ съ неизбѣжнымъ зломъ, и признавала ее только какъ переходную форму; она желала республики, надѣялась на инстинкты и силы народа, и за политическими реформами угадывала необходимость радикальныхъ бытовыхъ преобразованій. Болѣе умѣренные представители этой партіи напр. Карно, Франсуа Араго, Гарнье-Паже, рѣшались дѣйствовать за-одно съ конституціоналистами и до поры до времени бороться на парламентской аренѣ; они видѣли впереди ближайшую цѣль—низверженіе консервативнаго министерства, и соединялись со всѣми противниками Гизо, не заботясь о томъ, какъ далеко идутъ стремленія ихъ временныхъ союзниковъ. Крайніе радикалы не хотѣли или не могли даже на время сблизиться съ

приверженцами конституціонной монархіи; только одинъ членъ этого кружка, Ледрю-Ролленъ, засѣдалъ въ палатѣ депутатовъ; остальные исключительные радикалы примыкали къ комитету журнала *Réforme* и съ худо скрытымъ презрѣніемъ смотрѣли какъ на дѣйствія министерства, такъ и на усилія парламентской оппозиціи. Личности этихъ людей пользовались значительной популярностью; ихъ знали и любили парижскіе блузки, но журналъ *Réforme* по-видимому не встрѣчалъ себя достаточнаго сочувствія въ читающихъ классахъ и истощался въ тяжелой борьбѣ съ издержками и процессами. 20-го февраля 1848 года, главный редакторъ этого журнала, Флоконтъ, объявилъ членамъ комитета редакціи, что средства ихъ истощены и что онъ считаетъ необходимымъ закрыть изданіе до болѣе благоприятнаго времени. Предполагалось издать еще два или три нумера, описать въ нихъ демонстрацію, приготовленную на 22-е февраля и покончить такимъ образомъ журналъ повѣствованіемъ о побѣдѣ прогрессивнаго начала. Чтобы выпустить въ свѣтъ нумера 22-го и 23-го февраля, редакція журнала *Réforme* была принуждена продать мебель изъ своей квартиры. Это бѣдственное положеніе радикальной газеты объясняется тѣмъ, что мнѣнія людей «реформы» шли слишкомъ далеко, такъ далеко, что за ними не могли слѣдовать методичные буржуа, боявшіеся за свои ренты и биржевыя спекуляціи. Большая часть журналовъ читалась и раскупалась буржуазіей, слѣдовательно періодическое изданіе, пугающее парижскихъ мѣщанъ яркостью своего знамени, не могло имѣть значительнаго успѣха, не смотря на извѣстность и популярность своихъ редакторовъ. При всемъ своемъ уваженіи къ личностямъ Флокона, Ледрю-Роллена, Луи-Блана, парижскіе ремесленники и поденщики не могли покупать и читать ихъ журнала, и только изрѣдка взглядывали на его столбцы, когда ожидалось особенно важное извѣстіе или обращеніе къ народу.

*National* выражалъ собою мнѣнія болѣе уступчивыхъ радикаловъ и на этомъ основаніи находилъ себѣ большее число подписчиковъ и покупателей.

Парламентское засѣданіе 1847 года кончилось совершеннымъ пораженіемъ оппозиціи; ни одно ея предложеніе не было принято, ни одно ея требованіе не было исполнено; авторитетъ министерства также поколебался во время этого засѣданія; возникъ рядъ скандальныхъ процессовъ, которыхъ совокупность доказала, что злоупотребленія проникли во всѣ отрасли администраціи, и не безъ вѣдома министровъ, пустили въ ней глубокіе корни. Финансы угрожали банкротствомъ; армія и флотъ страдали отъ дурного качества провизіи, на закупку которой тратились огромныя суммы; мелкіе и крупныя чинов-



ники грабили и обогащались; министры оставляли ихъ безнаказанными и не обращали вниманія на получаемые доносы; всё эти беспорядки выступили другъ за другомъ на свѣтъ и подали поводъ къ упорнымъ и ожесточеннымъ состязаніямъ въ палатѣ депутатовъ; оппозиція хотѣла взвалить всю отвѣтственность на министровъ, но большинство депутатовъ, связанныхъ съ членами кабинета интересами и личными отношеніями, отстояло Гизо и его товарищей; многія должностныя лица были осуждены и наказаны; даже трое министровъ, пострадавшихъ въ общественномъ мнѣніи отъ парламентскихъ дебатовъ, были принуждены выйти въ отставку; но Гизо и Дюшатель, стоявшіе фактически во главѣ администраціи и дававшіе ей тонъ и направление, остались первенствующими членами кабинета. Министерская пресса прославилась побѣду правительства надъ враждебными и слѣпыми страстями, правительство порадовалось многочисленности своихъ приверженцевъ въ палатѣ депутатовъ, и засѣданія 1848 года закрылись, не измѣнивъ ни одной существенной черты во внешней и внутренней политикѣ кабинета, не подвинувъ ни на шагъ впередъ вопроса объ избирательной и перламентской реформѣ.

Оппозиція чувствовала необходимость опереться на желанія всей страны и необыденными мѣрами шевельнуть общественное мнѣніе, которое оставалось нечувствительнымъ къ парламентскимъ дебатамъ и къ газетнымъ статьямъ оппозиціонныхъ литераторовъ. Съ 9 іюля 1847 г. начинается по всей Франціи рядъ объѣдовъ по подпискѣ; избиратели разныхъ департаментовъ приглашаютъ на эти объѣды депутатовъ, боровшихся въ парламентахъ за реформу; на этихъ объѣдахъ предлагаются тосты и произносятся рѣчи; журналисты даютъ своимъ читателямъ воодушевленные описанія этихъ мирныхъ политическихъ манифестацій; депутаты оппозиціи переѣзжаютъ изъ города въ городъ, чтобы придти въ соприкосновеніе, обмѣняться мыслями со всѣми свѣжими людьми Франціи, и наконецъ въ Руанѣ, въ декабрѣ былъ данъ послѣдній объѣдъ на которомъ присутствовало 1800 человекъ и въ томъ числѣ двадцать депутатовъ. На первомъ объѣдѣ, происходившемъ въ Парижѣ, былъ предложенъ рядъ тостовъ, показывающій тогдашнее настроеніе умовъ: 1) За національное господство! 2) За революцію 1830 года! 3) За избирательную и парламентскую реформу! 4) За процвѣтаніе города! 5) За улучшеніе участи рабочаго класса! 6) За благоденствіе печати! 7) За депутатовъ оппозиціи и 8) въ честь центральнаго комитета избирателей Сены. Рѣчи, сопровождавшія собою эти тосты, были положительно враждебны политикѣ кабинета и при всей мягкости официальныхъ выраженій обнаруживали глубоко вкоренившееся недовѣріе къ правительству Людовика-Филиппа. «Не будемъ сваливать на славную

іюльскую революцію—говорилъ Одилонъ Барро, предводитель конституціонной оппозиціи—отвѣтственность за грѣхи теперешней политики. Постыдное зрѣлище, которое мы видимъ теперь, порождено управленіемъ, діаметрально противоположнымъ принципу этой революціи, обманувшимъ ожиданія націи, нарушившимъ всё свои обѣщанія... Нарушенія законной свободы могутъ быть заглажены! Одинъ день побѣды общественнаго мнѣнія можетъ снести прочь всё ретроградныя мѣры, всё утѣснительныя распоряженія, которыми обременили эту страну... Но удары, нанесенные общественной нравственности, возвращеніе должностныхъ лицъ, презрѣніе народа къ правительству и къ достаточнымъ классамъ общества, недовѣріе между сословіями—вотъ въ чемъ состоитъ существенное зло, и я считаю его непоправимымъ... Да, честь и слава іюльской революціи! Пусть ея великое знамя соберетъ насъ всѣхъ вокругъ себя, пусть передъ нимъ замолкнутъ мелочные раздоры личностей и словъ, ослабляющіе насъ въ виду общаго непріятеля, и пусть Франція, подъ этимъ славнымъ знаменемъ, довершитъ то, чего она не успѣла сдѣлать въ 1830 году!» Подобныя слова, произнесенныя такимъ человекомъ, который считалъ самого себя приверженцемъ царствующей династіи, и встрѣченные дружными знаками сочувствія въ такомъ собраніи, которое вовсе не считало себя радикальнымъ, даютъ намъ понятіе о томъ, насколько тогдашнее общество было расположено подчиняться личному господству Людовика - Филиппа. Крайніе радикалы большею частью не произносили никакихъ рѣчей и даже въ большей части случаевъ не присутствовали на политическихъ объѣдахъ, находя, что ихъ время еще не пришло, и что общество врядъ ли будетъ расположено выслушать все то, что они желали ему высказать.

А что же дѣлала въ это время журналистика? Министерская пресса старалась осмѣять всѣ эти демонстраціи, пользовалась раздорами, случайно возникавшими между различными партіями прогрессистовъ, преувеличивала эти раздоры и, при всемъ томъ, тратила на вѣтеръ свое остроуміе и глубокомысліе, потому что имѣла дѣло съ самымъ малочисленнымъ кругомъ читателей. Другіе журналы ограничивались вѣрной передачей фактовъ; они понимали, что въ эпохи усиленнаго политическаго волненія дѣятельность прессы усиливается, но роль ея становится второстепенною и зависимою. Самая умная и живая журнальная статья въ такое время блѣднѣетъ передъ совершающимся событіемъ, передъ произносимымъ словомъ, передъ дѣйствительною борьбой личностей и партій. Всѣ живыя силы страны устремляются къ той практической работѣ, въ которой заключается насущный интересъ минуты; всѣ живые люди становятся ораторами, борцами, гражданами; пресса остается



только быть электрическимъ телеграфомъ, передающимъ всей странѣ съ возможною быстротой извѣстія о совершающихся событіяхъ. Политическое движеніе, подобное тому, которое овладѣло Франціей въ концѣ 1847 и которое продолжалось въ 1848 году, бываетъ плодомъ созрѣвшей мысли и долгихъ страданій; когда начинается такое движеніе, тогда уже поздно вырабатывать общественныя теоріи и управлять умами посредствомъ печатнаго слова; мыслители, теоретики, кабинетные критики общественной жизни, имѣвшіе можетъ быть рѣшительное вліяніе на формированіе убѣжденій въ молодомъ поколѣніи, теряютъ всякую силу надъ ходомъ событій, если не могутъ превратиться въ людей дѣла и заговорить съ массами языкомъ практической жизни или взволнованной страсти; изъ журналистовъ того времени многіе сдѣлались практическими дѣятелями, но они приняли участіе въ политическихъ событіяхъ, какъ отдѣльныя личности; они дѣйствовали живымъ словомъ и поступками, а не статьями. Когда вся страна въ тревогѣ ожидаетъ разрѣшенія надвинувшихся вопросовъ и недоразумѣній, тогда она ищетъ въ газетахъ и журналахъ голаго факта и не читаетъ личныхъ размышленій публициста. Умный журналистъ понимаетъ это и превращаетъ свои статьи въ подробные перечни, въ постоянно измѣняющіяся картины текущихъ событій, въ эскизы, не имѣющіе никакого значенія, кромѣ животрепещущей современности. Периодическая литература совершенно перестаетъ быть роскошью ума и становится дѣломъ жизни, превращается въ сборникъ необходимыхъ справокъ, воззваній, отчетовъ, извѣстій и указаній. Такую дѣловую литературу правительство не можетъ преслѣдовать, во-первыхъ потому, что ему въ эти минуты не до литературы, во-вторыхъ потому, что литература перестаетъ быть самостоятельною, и, слѣдовательно, слагаетъ съ себя всякую отвѣтственность.

Встрѣтившись лицомъ къ лицу съ оппозиціей въ парламентѣ и въ общественномъ мнѣніи страны, испытавъ парламентскую борьбу во время засѣданія 1847 года и увидавъ длинный рядъ политическихъ демонстрацій, выразившихся во всѣхъ значительныхъ городахъ Франціи въ формѣ объѣдовъ съ тостами и рѣчами, правительство перестало обращать вниманіе на политическую прессу; оно увидѣло, что пропаганда нашла себѣ другіе пути, другіе способы, болѣе опасные по своей новизнѣ, по своей торжественности и по своему непосредственному дѣйствію на воображеніе. Оно рѣшилось положить конецъ этимъ манифестаціямъ и такимъ образомъ опять впало въ свою обычную ошибку. Стараясь помѣшать этимъ проявленіямъ общественной жизни, оно увеличило ихъ значеніе въ глазахъ массы; какъ только правительство рѣшилось

принять мѣры противъ объѣда, замышлявшагося въ 12 округѣ Парижа, такъ общество употребило съ своей стороны всѣ усилія, чтобы привести его въ исполненіе; правительство призвало къ себѣ на помощь законъ противъ сборищъ, общество съ своей стороны оперлось на право собранія (*droit de réunion*); правительство въ лицѣ государственнаго канцлера Геберта, выразило мысль, что все то должно считаться запрещеннымъ, на что законъ не даетъ положительнаго разрѣшенія, что нѣтъ другихъ правъ, кромѣ тѣхъ, которыя формально записаны въ хартіи.

— А право дышать? спросилъ тогда одинъ изъ депутатовъ. Завязалось преніе. Это замѣчательное преніе происходило въ палатѣ депутатовъ 7 февраля 1848 года, вскорѣ послѣ открытія парламентскихъ засѣданій. Раздраженные стойкостью оппозиціи, министры не смотря на свои дѣла, не смотря на свою политическую опытность, увлекались за предѣлы всякаго благоразумія, съ ожесточеніемъ поддерживали очевидныя нелѣпости и запальчивою рѣзкостью, выражений старались замѣнить недостатокъ состоятельныхъ доводовъ. Но люди оппозиціи не убѣждались софизмами и не боялись гнѣвныхъ восклицаній. Софизмы они разбивали силой диалектики, а на гнѣвные восклицанія они отвѣчали рѣзко и рѣшительно. Пренія разгорались. Одилонъ Барро и Ледрю-Ролленъ разбивали теоріи Дюшателя и Геберта, Дюшатель и Гебертъ по нѣскольку разъ всходили на трибуну и въ рѣчахъ своихъ доходили до угрозы противъ членовъ оппозиціи. Наконецъ засѣданіе совершенно потеряло свой официально приличный характеръ; со всѣхъ сторонъ полетѣли наперекрестъ страшныя возраженія, перемѣшанныя съ отрывочными возгласами негодованія.

— Они идутъ дальше реставраціи! крикнулъ Одилонъ Барро.

— Это контръ-революція! подхватилъ Гарнье-Паже.

— Ни Полиньякъ, ни Пейроне никогда не говорили такихъ вещей!

— Это просто ругательства! Это начало насилія!

Всѣ депутаты оппозиціи вскочили съ своихъ мѣстъ: поднялся шумъ, въ которомъ затерялись слова отдѣльныхъ членовъ.

Гебертъ, стоявшій на трибунѣ, закричалъ, что Одилонъ Барро оскорбляетъ его сравненіемъ съ министрами реставраціи; легитимисты, сидѣвшіе въ собраніи, въ свою очередь сочли себя обиженными этимъ выраженіемъ министра; словомъ, всѣ разнородныя и разноцвѣтныя политическія страсти, шевелившіяся въ палатѣ, вырвались наружу и разыгрались съ небывалою силой. Наконецъ Одилонъ Барро обратился къ Геберту, требовавшему отъ него объясненія: «Да, заговорилъ онъ, вы, министры популярной іюльской революціи, вы, люди, за которыхъ дилась



кровь мучениковъ свободы, вы хотите отнять у насъ такое право, которое уважали и признавали министры реставраціи въ ту минуту, когда готовилось ея паденіе! Вотъ что я говорю—и это фактъ, фактъ неопровержимый! Вы нарушаете то, что уважалъ даже Полиньякъ!»

Собраніе пришло въ полное смятеніе; нѣкоторые члены потребовали, чтобы президентъ возстановилъ нарушенный порядокъ, но оказалось, что президента уже не было въ залѣ. Засѣданіе закрылось, и депутаты разошлись въ сильномъ волненіи. Газеты описали происшедшую сцену, и жители Парижа на другой же день съ недоумѣніемъ и съ негодованіемъ узнали о наступательныхъ дѣйствіяхъ министерства противъ оппозиціи. Даже министры увидали, что они зашли слишкомъ далеко. Вечеромъ, 9 февраля, Гизо получилъ отъ Дюшателя записку слѣдующаго содержанія:

«Засѣданіе произвело неблагоприятное впечатлѣніе. Гебертъ былъ подъ конецъ слишкомъ крутъ. Это—общее мнѣніе тѣхъ людей, которыхъ мнѣ случилось видѣть съ тѣхъ поръ. Надо успокоить палату. Мы прямо накликаемъ возмущеніе; впрочемъ я на этотъ случай принялъ мѣры».

По всему ходу парламентскихъ дебатовъ, по страстному характеру произносимыхъ рѣчей, по рѣзкости столкновеній между министерствомъ и оппозиціей и наконецъ по тому тревожному вниманію, съ которымъ парижане слѣдили за преніями, можно было сказать заранѣе, что дѣло не можетъ разрѣшиться парламентской борьбой. Гизо объявилъ рѣшительно, что ни на одинъ шагъ не отступить отъ строго консервативной политики; большинство голосовъ въ палатѣ депутатовъ было постоянно на его сторонѣ; чтобы не тратить силъ на безплодныя декламации, оппозиція было необходимо продолжать свои сношенія съ обществомъ, будить и поддерживать въ немъ стремленіе къ реформѣ, а между тѣмъ министерство хотѣло отрѣзать у нея путь мирной агитаціи и собиралось вмѣшательствомъ полицейской власти разстроивать политическіе обѣды. Оппозиція съ радостью ухватила за эту ошибку министерства, которое такимъ образомъ давало ей поводъ на наглядномъ примѣрѣ, на живомъ фактѣ показать народу безцеремонное обращеніе правительства съ самыми простыми и необходимыми правами свободныхъ гражданъ конституціонной монархіи. Полицейскій чиновникъ долженъ былъ разогнать мирныхъ гражданъ, собравшихся въ обѣденную залу съ преступнымъ намѣреніемъ пообѣдать на свои деньги—это было бы зрѣлище въ высшей степени поучительное для жителей Парижа, и депутаты оппозиціи рѣшились дѣйствовать такъ, чтобы довести министерство до этой пріятной необходимости. Они не обратили никакого вниманія на слова Геберта и Дюшателя, и приготовленія къ обѣду 12 округа продолжались попрежнему. 14 февраля всѣ жур-

налы оппозиціи напечатали слѣдующее категорическое объявленіе.

«Сегодня утромъ больше 100 депутатовъ, принадлежащихъ къ различнымъ частямъ оппозиціи, собрались для того, чтобы условиться на счетъ образа дѣйствій, котораго имъ слѣдуетъ держаться послѣ того, какъ палата утвердила послѣдній параграфъ адреса.

«Собраніе разсматривало сначала то политическое положеніе, въ которое оппозиція поставлена этимъ параграфомъ. Оно замѣтило, что адресъ въ настоящемъ своемъ видѣ—ничто иное какъ насильственное и дерзкое посягательство большинства на право меньшинства, и что министерство, подстрекнувшее свою партію къ такому неслыханному поступку, нарушило одинъ изъ самыхъ священныхъ принциповъ конституціи, оскорбило право гражданъ въ лицѣ ихъ представителей и, чтобы упрочить свое господство, бросило въ націю сѣмена раздора и безпорядка. Оппозиція думаетъ, что эти обстоятельства увеличиваютъ важность и торжественность ея обязанностей, и что среди тѣхъ событій, которыя волнуютъ Европу и занимаютъ Францію, она ни на одну минуту не должна оставлять борьбу за національные интересы. Оппозиція останется на своемъ мѣстѣ и постоянно будетъ контролировать и обуздывать реакціонную политику, возмущающую спокойствіе цѣлой страны.

«Что касается до права собранія гражданъ, до того права, которое министръ думаетъ подчинить своему благоусмотрѣнію и конфисковать въ свою пользу, то собраніе депутатовъ, убѣжденное въ томъ, что это право составляетъ необходимое условіе всякой свободной конституціи и кромѣ того формально утверждено нашими законами, рѣшилось отстаивать его всѣми легальными и конституціонными средствами; на этомъ основаніи, собраніе назначило изъ себя комиссію для совѣщаній съ центральнымъ комитетомъ парижскихъ избирателей и для того, чтобы опредѣлить участіе депутатовъ въ томъ обѣдѣ, который готовится быть протестомъ противъ посягательства произвола.

«Это рѣшеніе не помѣшаетъ членамъ оппозиціи обратиться, для заявленія протеста, какъ къ сословію избирателей, такъ и къ общественному мнѣнію страны.

«Собраніе думаетъ также, что кабинетъ искажилъ истинный характеръ тронной рѣчи и адреса, чтобы оскорбить достоинство депутатовъ, и что, вслѣдствіе этого, оппозиція поставлена въ необходимость постоянно заявлять свое неодобреніе противъ такого злоупотребленія власти; поэтому она рѣшила единогласно, что ни одинъ изъ ея членовъ не будетъ присутствовать при подачѣ адреса, хотя бы даже на него упалъ жребій».

Этотъ подлинный документъ показываетъ намъ, какъ важны были вопросы, занимавшіе полити-



ческую прессу, и какъ смѣло и откровенно она къ нимъ относилась.

Это уже не памфлетъ противъ министерства, не сатирическая выходка противъ его распоряженій, а открытое и рѣшительное заявленіе неудовольствія, соединенное съ категорическимъ объясненіемъ того плана дѣйствій, который оппозиція предписываетъ себѣ на будущее время. Оппозиція была поставлена въ исключительное положеніе; палата депутатовъ въ отвѣтъ на тронную рѣчь короля, по обыкновенію, представила адресъ, въ которомъ выразились, въ общихъ чертахъ, намѣренія и убѣжденія представительнаго собранія или по крайней мѣрѣ его большинства. Я уже замѣтилъ, что въ тронной рѣчи короля заключались слѣдующія слова, направленные противъ дѣйствій парламентской оппозиціи.

«Посреди волненія, возбужденнаго враждебными или слѣпыми страстями, меня воодушевляетъ и поддерживаетъ одно убѣжденіе: я увѣренъ, что въ конституціонной монархіи, въ единодушіи великихъ государственныхъ силъ, мы имѣемъ вѣрныя средства побѣдить всѣ препятствія и удовлетворить всѣмъ матеріальнымъ интересамъ нашего дорогого отечества». На эти слова короля палата отвѣчала въ своемъ адресѣ: «Волненія, возбуждаемыя враждебными страстями и слѣпыми увлеченіями, утихнутъ передъ общественнымъ сознаніемъ просвѣщеннымъ нашими свободными преніями». Такимъ образомъ король указывалъ на людей оппозиціи, какъ на представителей «слѣпыхъ и враждебныхъ страстей»; а палата выдавала своихъ товарищей, какъ людей, одержимыхъ слѣпыми увлеченіями и враждебными страстями; политическія убѣжденія, высказываемыя публично съ парламентской трибуны, предавались такимъ образомъ на общественное осужденіе; два официальные документа, тронная рѣчь короля и адресъ палаты депутатовъ, т. е. голосъ центральной власти и голосъ представителей націи, называли эти политическія убѣжденія преступными и опасными для общественнаго спокойствія; члены оппозиціи видѣли, что парламентское большинство давить и унижаетъ ихъ, увлекаясь въ своей побѣдѣ за предѣлы той политической умѣренности, которую предписываютъ самыя обыкновенныя приличія. Имъ оставалось только, когда выписанныя мною слова адреса были утверждены большинствомъ голосовъ, или признать себя побѣжденными и выйти въ отставку, или, обращаясь къ націи, спросить у нея, дѣйствительно ли она сочувствуетъ поступкамъ своихъ такъ называемыхъ представителей. Марастъ, редакторъ журнала National, предлагалъ депутатамъ оппозиціи пойти по первому пути, т. е. оставить палату всею массою и такимъ образомъ подать поводъ къ новымъ выборамъ. Это мнѣніе не было принято на томъ основаніи, что новые

выборы могли быть выгодны для министерства и что классъ избирателей въ своихъ мнѣніяхъ можетъ расходиться съ мнѣніями и потребностями націи. Поэтому оппозиція рѣшилась оставаться въ парламентѣ до послѣдней крайности, заявлять свое несочувствіе къ административнымъ распоряженіямъ при всякомъ удобномъ случаѣ и продолжать мирную агитацію всѣми законными средствами, не обращая никакого вниманія на репрессивныя мѣры министерскаго произвола. Борьба была начата, и выписанная мною декларация, появившаяся 14 февраля въ журналахъ оппозиціи, можетъ быть названа публичнымъ и торжественнымъ объявленіемъ войны между прогрессивной оппозиціей и упорно-консервативнымъ министерствомъ Гизо.

Рѣшено было устроить по подпискѣ обѣдъ на 1.000 человекъ, отправить къ сборному мѣсту процессію, не позволять себѣ во время шествія по улицамъ никакого возбуждающаго крика, потомъ за обѣдомъ предложить тосты за право собранія и за парламентскую реформу и наконецъ разойтись въ совершенномъ порядкѣ, не нарушая ничѣмъ спокойствія города и не давая полиціи никакого повода выѣшиться въ эту гражданскую демонстрацію.

18 февраля коммиссія, составленная изъ трехъ депутатовъ, трехъ членовъ центрального комитета и трехъ членовъ комитета 12 округа, опредѣлила всѣ подробности будущаго обѣда и назначила день—вторникъ, 22 февраля.

19 февраля депутаты оппозиціи собрались еще разъ, взвѣсили свое положеніе, обсудили свои обязанности въ отношеніи къ своимъ избирателямъ и къ французской націи, разочли возможные послѣдствія предположенной демонстраціи и опредѣлили окончательно свой образъ дѣйствій на ближайшее будущее время.

20 февраля всѣ журналы оппозиціи напечатали статью, извѣщавшую читателей о результатахъ сходимъ 19 февраля; въ этой статьѣ было сказано, что депутаты рѣшились протестовать «великимъ актомъ легальнаго сопротивленія, противъ мѣры, нарушающей принципы конституціи и самую букву закона». Этотъ актъ легальнаго сопротивленія будетъ состоять въ томъ, что 22 февраля всѣ члены оппозиціи массою отправятся къ мѣсту, назначенному для обѣда. «Парижъ, говоритъ дальше эта статья, часто предпринималъ героическія усилія и производилъ великія революціи. Ему предстоитъ теперь дать народамъ другой примѣръ; ему предстоитъ показать, что въ свободныхъ странахъ спокойствіе и твердость гражданина, уважающаго законъ и защищающаго свое право, составляютъ самую непобѣдимую и самую величественную силу націи». Далѣе, «депутаты рассчитываютъ слѣдовательно на сочувствіе и на содѣйствіе всѣхъ добрыхъ гражданъ, которые съ своей сто-



роны могутъ разсчитывать на неутомимую преданность и непоколебимую рѣшимость депутатовъ». Наконецъ статья эта объявляетъ, что уже 80 депутатовъ подписали приглашеніе комиссаровъ 12 округа.

Министры, выразившіеся такъ рѣзко противъ права собранія, были поставлены въ затруднительное положеніе. Допустить обѣдъ 22 февраля—значило признать себя побѣжденными; помѣшать ему—было опасно: полицію могли не послушать, и дѣло могло дойти до вмѣшательства войска и до серьезнаго кровопролитія. Король, Гизо и Гебертъ не отступали передъ этими крайними мѣрами; они полагали, что легкая побѣда надъ уличнымъ мятежемъ упрочитъ господство консервативной политики и окончательно сломить и разсѣять элементы оппозиціи какъ въ парламентѣ, такъ и въ народѣ вообще. Дюшатель и другіе члены кабинета не хотѣли доводить дѣла до драки и готовы были помириться съ оппозиціей на взаимныхъ уступкахъ. Последнее мнѣніе превозмогло, и министерство назначило двухъ преданныхъ депутатовъ, чтобы уладить дѣло переговорами; оппозиція согласилась на нѣкоторыя уступки, и послѣ долгихъ совѣщаній обѣ стороны сошлись на слѣдующей программѣ дѣйствій. Рѣшено было, что депутаты и вся сопровождающая ихъ толпа дойдутъ до назначеннаго мѣста, не нарушая спокойствія города; у дверей залы ихъ встрѣтитъ полицейскій комиссаръ, который именемъ закона запретитъ имъ входить; члены процессіи войдутъ, не смотря на запрещеніе и займутъ свои мѣста. Комиссаръ на мѣстѣ засвидѣтельствуетъ нарушеніе, потребуетъ, чтобы собраніе разошлось, и скажетъ, что въ случаѣ надобности, онъ употребитъ силу. Одилонъ Барро произнесетъ рѣчь противъ злоупотребленія власти, объяснитъ цѣль всей демонстраціи и объявитъ наконецъ, что онъ покоряется силѣ и оставляетъ за собой право повести дѣло судебнымъ порядкомъ; тогда депутаты разойдутся и употребятъ свое вліяніе, чтобы убѣдить толпу разойтись безъ шума. Правительство поддержало бы такимъ образомъ свое достоинство, а оппозиція показала бы съ своей стороны свое значеніе, потому что по ея призыву граждане всѣхъ сословій произвели бы мирную демонстрацію. Это я говорю, становясь на точку зрѣнія правительства и парламентскихъ доктринеровъ; конечно можно было бы замѣтить, что и тѣ, и другіе хлопочутъ изъ-за пустяковъ и гонятся за пустыми формальностями. Допуская процессію, правительство все-таки обнаруживало свою слабость; соглашаясь разойтись по требованію полицейскаго комиссара, депутаты оппозиціи все-таки фактически отказывались отъ права собранія и уходили домой безъ обѣда. Стало быть, это замысловатое примиреніе оставляло обѣ стороны неудовлетворенными; можно было предвидѣть заранѣе, что это примиреніе не

состоится, что оно будетъ нарушено одною изъ примиряющихся сторонъ, или, всего вѣрнѣе, что народъ своимъ простымъ, здравымъ смысломъ, не захочетъ понять хитрой казуистики парламентскихъ юристовъ. Правительство и оппозиція оказывались очень недалекими, не смотря на всю тонкость ума и на всю политическую опытность своихъ представителей. Предпринимая рѣшительный шагъ, ни правительство, ни оппозиція не понимали его значенія; они вѣрили въ возможность полумѣръ и не знали того, что народъ, рѣшившійся защищать то, что онъ считаетъ своимъ правомъ, не остановится передъ запрещеніемъ полицейскаго комиссара и не обратитъ особеннаго вниманія на умѣренно-либеральныя рѣчи краснорѣчиваго депутата. Впрочемъ соглашеніе между правительствомъ и оппозиціей было нарушено даже безъ вмѣшательства народа. Опираясь на состоявшееся условіе, Маррастъ отъ имени всей оппозиціи написалъ слѣдующее объявленіе, которое 21-го февраля было помѣщено во всѣхъ журналахъ оппозиціи. Я привожу его вполнѣ, потому что оно имѣло очень важныя послѣдствія.

«Генеральная комиссія, занимающаяся устройствомъ обѣда 12-го округа, считаетъ своею обязанностью напомнить, что демонстрація, назначенная на завтрашній день, во вторникъ, клонится къ тому, чтобы мирнымъ и легальнымъ путемъ отстоять конституціонное право политическихъ собраній, право, безъ котораго представительное правленіе было бы простою насмѣшкой.

«Министерство объявило и утверждало съ трибуны, что пользованіе этимъ правомъ зависитъ отъ благоусмотрѣнія полиціи; тогда депутаты оппозиціи, французскіе перы, отставные депутаты, члены генеральнаго совѣта, судьи, офицеры, унтеръ-офицеры и солдаты національной гвардіи, члены центрального комитета, избиратели оппозиціи, редакторы парижскихъ журналовъ приняли сдѣланное имъ приглашеніе участвовать въ манифестаціи, чтобы во имя закона протестовать противъ незаконнаго и произвольнаго посягательства.

«Можно предвидѣть, что этотъ публичный протестъ привлечетъ значительное стеченіе гражданъ; должно также предполагать, что парижская національная гвардія, вѣрная исполненію своихъ гражданскихъ обязанностей, присоединится къ манифестаціи, чтобы отстаивать свободу и своимъ присутствіемъ поддерживать порядокъ. Принимая въ соображеніе эти обстоятельства, мы считаемъ не лишнимъ сдѣлать нѣкоторыя распоряженія для избѣжанія толкотни и шума.

«Коммиссія полагаетъ, что манифестація должна происходить въ такой части города, въ которой ширина улицъ и площадей позволить жителямъ собраться, не производя тѣсноты.

«На этомъ основаніи, комиссія проситъ де-



путатовъ, перовъ и другихъ особъ, приглашенныхъ на обѣдъ, собраться завтра, въ одиннадцать часовъ, на обыкновенное сборное мѣсто парламентской оппозиціи, на площади Магдалины, № 2.

«Члены національной гвардіи, подписавшіеся на обѣдъ, приглашаются собраться передъ церковью Магдалины и образовать два параллельные ряда, между которыми разстанутся приглашенные.

«Во главѣ шествія будутъ находиться старшіе офицеры національной гвардіи, которые захотятъ присоединиться къ манифестаціи.

«За приглашенными и подписчиками будетъ находиться рядъ офицеровъ національной гвардіи.

«За ними построятся колоннами солдаты національной гвардіи, по номерамъ своихъ легіоновъ.

«Между третьей и четвертой колонною—молодые люди училищъ, подъ предводительствомъ своихъ комиссаровъ.

«Далѣе—остальная часть національной гвардіи, въ означенномъ порядкѣ.

«Шествіе двинется съ мѣста въ 11<sup>1/2</sup> часовъ и направится черезъ площадь Согласія и черезъ Елисейскія поля къ мѣсту обѣда.

«Коммиссія убѣждена въ томъ, что эта манифестація будетъ тѣмъ дѣйствительнѣе, чѣмъ она будетъ спокойнѣе; тѣмъ величественнѣе, чѣмъ болѣе она будетъ избѣгать повода къ столкновениямъ; поэтому она проситъ гражданъ не позволять себѣ громкихъ возгласовъ, не брать никакого знамени или внѣшняго знака; она проситъ членовъ національной гвардіи явиться безъ оружія: тутъ дѣло идетъ о легальномъ и мирномъ протестѣ, котораго сила будетъ состоять въ количествѣ гражданъ, въ ихъ твердой и спокойной осанкѣ.

«Коммиссія надѣется, что въ этомъ случаѣ каждый присутствующій человѣкъ будетъ смотрѣть на себя, какъ на должностное лицо, обязанное охранять общественное спокойствіе; она надѣется на національную гвардію, она надѣется на чувства парижскаго населенія, которое стремится къ общественному спокойствію и къ свободѣ, и которое знаетъ, что для поддержанія своихъ правъ ему стоятъ только предпринять мирную демонстрацію, достойную разумной и просвѣщенной націи, сознающей неотразимое вліяніе своей нравственной силы, и увѣренной въ томъ, что легальное и спокойное выраженіе мнѣній поведетъ ее къ желанной цѣли».

Эта прокламація вовсе не замѣчательна въ литературномъ отношеніи, она представляетъ голую программу церемоніала, но самая официальность изложенія составляетъ очень характерную особенность. Коммиссія относится къ жителямъ Парижа съ полной увѣренностью найти въ нихъ рѣшительное сочувствіе; она созываетъ національную гвардію, предвидитъ

неизбѣжность огромнаго стеченія народа и считая необходимымъ умѣрять своими совѣтами раздраженіе гражданъ. Очевидно, что эта коммиссія въ данную минуту считаетъ себя сильнѣе министерства Гизо; очевидно, что она чувствуетъ за собою поддержку общественнаго мнѣнія, которое окончательно измѣняетъ правительству; очевидно, что *de facto* временное правительство, водворившееся послѣ событій 24-го февраля, уже теперь, со времени изданія этой прокламаціи, начинаетъ вытѣснять Людовика-Филиппа и его министровъ. По буквѣ законовъ 1835 года, напечатаніе подобной статьи было преступленіемъ и вело за собою штрафъ и тюрьму; судьи могли даже взглянуть на эту статью, какъ на возбужденіе къ возстанію противъ правительства; если бы манифестація 23-го февраля дѣйствительно состоялась, то они могли по буквѣ закона присудить редакторовъ оппозиціонныхъ журналовъ къ тѣмъ наказаніямъ, которыя постигли бы главныхъ предводителей возмущенія. Дѣйствительно, если бы правительство Людовика-Филиппа силой задавило возмущеніе, возникшее изъ манифестаціи, то оно по всей вѣроятности, поступило бы съ захваченными и причастными лицами безъ малѣйшаго милосердія. Стоитъ только припомнить тотъ фактъ, что правительство, послѣ возмущенія, случившагося на похоронахъ генерала Ламарка, приказало всѣмъ медикамъ доносить въ полицію о тѣхъ раненныхъ, которые обратятся къ нимъ за медицинской помощью. Очень ясно, что, задавивъ мятежъ, правительство Людовика-Филиппа не упустило бы случая прижать оппозиціонную прессу и припомнило бы всѣ тѣ статьи закона, которыми можно было воспользоваться; но теперь, въ ту минуту, когда выписанная мною прокламація появилась въ газетахъ оппозиціи, правительству было не до прессы. Прежде всего надо было бороться съ самою мыслью, а уже потомъ можно было наказывать ея орудія и проявленія. Министерству необходимо было помѣшать манифестаціи; оно рѣшилось сражаться тѣмъ же оружіемъ, которое было употреблено оппозиціей; оно пустило въ ходъ печатную гласность и помѣстило въ Мониторъ прокламацію префекта полиціи къ жителямъ Парижа; эта прокламація требовала отъ всѣхъ добрыхъ гражданъ, чтобы они не присоединялись къ толпѣ, не составляли сборищъ и вообще не обращали вниманія на происки оппозиціи. Парижане видѣли такимъ образомъ, что имъ съ двухъ разныхъ сторонъ даютъ диаметрально противоположныя наставленія; во всякомъ случаѣ, они были мало расположены вѣрить на слово префекту полиціи; имя этого почтеннаго чиновника составляло очень слабый противовѣсъ тѣмъ любимымъ именамъ, которыя украшали собою парламентскую оппозицію.

Правительство имѣло въ виду это настроеніе добрыхъ гражданъ и принимало свои мѣры, т. е.



разставляло вооруженные отряды возлѣ сборнаго мѣста и приказывало своимъ агентамъ съ депутатами обращаться почтительно, а добрыхъ гражданъ въ случаѣ надобности разогнать силою. Слѣдующія затѣмъ событія совершенно выходятъ изъ тѣхъ рамокъ, которыя я предположилъ себѣ для моихъ очерковъ. Оказалось, что прокламація оппозиціи подѣйствовала такъ сильно, что ни предостереженія правительства, ни отступленіе депутатовъ отъ первоначальнаго плана не остановили движенія народа; увидя, что въ рѣшительную минуту депутаты пускаются опять въ юридическую аргументацію, народъ порѣшилъ, что они просто струсили, и сталъ дѣйствовать помимо ихъ, безъ особенной системы, но съ значительной дозой энергіи. Когда народъ сошелся на улицахъ безъ руководителей, тогда мирная манифестація скоро потеряла тотъ методически-величественный характеръ, которымъ заранѣе любовалась прокламація комиссіи; кровопролитіе началось 22 февраля, потомъ съ нѣкоторыми перерывами продолжалось 23-го, потомъ окончилось 24-го паденіемъ монархіи и изгнаніемъ орлеанской династіи.

Постараюсь бросить бѣглый взглядъ на положеніе печати при Людовикѣ Филиппѣ и на отношеніе іюльской монархіи къ проявленіямъ свободной мысли. Сначала мы видимъ пышныя объщанія; вступая на престолъ, герцогъ Орлеанскій говоритъ, что больше не будетъ процессовъ по дѣламъ печати; потомъ король Людовикъ-Филиппъ усаживается покрѣпче на своемъ недавно воздвигнутомъ тронѣ; укрѣпившись, онъ измѣняетъ мало-по-малу свою внѣшнюю и внутреннюю политику; измѣнивъ принципамъ іюльскихъ дней, онъ начинаетъ выслушивать съ неудовольствіемъ откровенные совѣты и строгія указанія либеральной прессы; министры начинаютъ обижаться еще чаще и еще сильнѣе самого короля; начинаются преслѣдованія, потомъ запуганное попытками отдѣльных личностей убить короля, правительство усиливаетъ строгость самаго законодательства; потомъ оказывается, что законы такъ строги, что ихъ нельзя даже примѣнять во всемъ ихъ объемѣ, не возмущая общественнаго мнѣнія страны; потомъ оказывается, что раздраженіе націи такъ сильно, что оно не можетъ уже выражаться только въ печати; начинается упорная борьба въ парламентѣ, и печать дѣлается орудіемъ систематически-организованной оппозиціи; потомъ палата депутатовъ въ свою очередь становится слишкомъ узкою ареной для ожесточенной борьбы между устарѣлымъ правительствомъ и живыми силами энергической націи; начинается сильное броженіе умовъ, подготовленное вліяніемъ обстоятельствъ, поддержанное ошибками и неспособностью правительства, направленное къ извѣстной цѣли умными и опытыми вождями парламентской оппозиціи; наконецъ сами вожди оппозиціи теряютъ власть

надъ раздраженнымъ народомъ; и кратковременная, ожесточенная, междоусобная война въ улицахъ Парижа уничтожаетъ монархію Людовика-Филиппа.

Карлъ X потерялъ престолъ отъ того, что хотѣлъ произвольно отнять у народа право свободно мыслить и громко выражать свои идеи. Наученный примѣромъ своего родственника, Людовикъ-Филиппъ рѣшился дѣйствовать хитрѣе: онъ не отнималъ существующихъ правъ неожиданнымъ указомъ; онъ хотѣлъ постепенно подкапывать ихъ мелкими ухищреніями; онъ хотѣлъ медленно задушить ихъ постоянно усиливающимся давленіемъ,—но и эта штука не удалась.

Пораженный грубымъ поступкомъ Карла X, народъ поднялся вдругъ, тотчасъ послѣ изданія знаменитыхъ ордонансовъ; постоянно раздражаемый мелкими притѣсненіями и постоянной неискренностью Людовика-Филиппа, народъ постепенно сознавалъ несостоятельность своего правительства и мало-по-малу накоплялъ противъ него ненависть и презрѣніе. Въ концѣ концовъ результатъ вышелъ одинъ и тотъ же, и Людовикъ-Филиппъ собственнымъ печальнымъ опытомъ убѣдился въ томъ, что во Франціи гнетъ всегда ведетъ за собою взрывъ, и что этотъ физическій законъ не измѣняется даже въ томъ случаѣ, если гнетъ будетъ производиться съ рассчитанной медленностью и если тяжести будутъ подкладываться самыми мелкими долями. Іезуитская тактика правительства не обманула народа, и исполнивъ двинулъ плечомъ, когда почувствовалъ боль и стѣсненія.

## У.

### Республика.

Паденіе іюльской монархіи и основаніе республики развязало руки журналистамъ; появилось множество новыхъ изданій; воспоминанія 93 года воскресли, и люди временнаго правительства увидѣли, что потребности и стремленія общества далеко опередили ихъ собственныя. близорукія доктрины. Журналистика постоянно заявляла новыя требованія общества, постоянно разрушала своей критикой нравственное вліяніе правительственныхъ распоряженій, и тѣ самые люди, которые при Людовикѣ-Филиппѣ считали себя радикалами и лучшими защитниками народныхъ правъ, вскорѣ замѣтили, что, очутившись во главѣ правленія, они превращаются въ робкихъ доктринеровъ и тормозятъ свободное развитіе народной жизни. Люди временнаго правительства захотѣли узнать волю народа посредствомъ поголовной подачи голосовъ—имъ доказали, что результатъ пресловутаго *suffrage universel* часто не имѣетъ ничего общаго съ дѣйствительнымъ желаніемъ націи; люди временнаго правительства захотѣли облегчить участь рабочаго класса учрежденіемъ мастерскихъ, раз-



дачей орудій, назначеніемъ директоровъ, инспекторовъ и контролеровъ. — имъ доказали, что прежде всего необходимы заказы, запросъ на работу, сбытъ издѣлій; люди временнаго правительства захотѣли наложить подати на богачей, брать налоги съ капиталовъ и съ предметовъ роскоши—имъ доказали, что всякій налогъ въ концѣ концовъ всею тяжестью обрушится все-таки на пролетаріевъ. Словомъ, люди временнаго правительства, искренно желая добра своему отечеству, видѣли, что кромѣ добрыхъ желаній у нихъ нѣтъ ровно ничего: ни силъ, ни средствъ, ни практическихъ знаній, ни энергической воли. Члены временнаго правительства были люди честные, но честность—достоинство отрицательное, а разрѣшеніе той общественной задачи, которую поставила на очередь февральская революція, требовало положительныхъ, колоссальныхъ силъ. Надо было разрѣшить вѣковой споръ между трудомъ и капиталомъ, надо было спасти пролетарія отъ голодной смерти, надо было обезпечить его существованіе не филантропическими заведеніями, похожими на тюрьмы, а такимъ общественнымъ порядкомъ, который отнялъ бы у одного человѣка возможность эксплуатировать грудъ сотни другихъ людей. Какъ это сдѣлать?—въ этомъ заключался весь вопросъ. Но вопросъ этотъ былъ такъ важенъ, что его неудовлетворительное разрѣшеніе неминуемо должно было погубить плоды февральской революціи.

Только сытые люди могутъ быть свободными гражданами; толпа голодныхъ и продрогшихъ бѣдняковъ всегда пойдетъ за тѣмъ, кто покажетъ ей въ перспективѣ обезпеченный кусокъ хлѣба; диктатура Цезаря и имперія Августа вышли изъ римскаго пролетаріата; имперія Наполеона III также неизбежно должна была выдти изъ неудовлетворительнаго рѣшенія соціальной задачи. Члены временнаго правительства понимали важность предстоящаго дѣла, но дѣло это было имъ не по силамъ; веѣ ихъ попытки оказались неудачными: они терялись и опускали руки, а время было горячее; размышлять было некогда, потому что каждый потерянный день усложнялъ и безъ того тяжелое положеніе страны; кредитъ падалъ, торговля шла вяло, мастерскія закрывались, капиталы прятались, ремесленники сидѣли безъ работы, безъ хлѣба, безъ пристанища. Надо было дѣйствовать, но какъ дѣйствовать, что предпринять? Положеніе временнаго правительства дѣлалось трагическимъ. Журналистика оглушала его совѣтами, упреками, насмѣшками, теоретическими и практическими замѣчаніями всякаго рода, воззваніями къ народу, выходками противъ доктринеровъ, противъ коммунистовъ. Рядомъ съ дѣльными мыслями встрѣчались тысячи нелѣпостей и груды звонкихъ фразъ; народъ имѣлъ свои экономическія причины къ неудовольствію; неудовольствіе это выражалось въ демонстраціяхъ и мѣст-

ныхъ возстаніяхъ; правительство несправедливо винило въ этихъ возстаніяхъ задорную журналистику, которая сама по себѣ не имѣла бы никакого вліянія; явилось распоряженіе противъ свободы печати, и радикалы іюльской монархіи стали на точку зрѣнія тѣхъ людей, которыхъ они сами громили рѣчами съ парламентской трибуны и статьями въ журналахъ либеральной партіи. Уже 29 февраля было запрещено приклеивать на стѣны и распространять въ народѣ листки, на которыхъ не означено имя типографщика. Это запрещеніе предполагаетъ возможность преслѣдовать типографщика за напечатаніе такого сочиненія, которое не понравится правительству, состоящему изъ радикаловъ. Въ концѣ іюня 1848 года, диктаторъ, генералъ Кавеньякъ, распорядился съ журналами по военному. Десять журналовъ было закрыто.

«Въ минуты общественныхъ кризисовъ, говорили члены правительства, можно и должно рѣшаться на все». Жирарденъ, главный редакторъ журнала *Presse* былъ подвергнутъ предварительному аресту; его продержали двѣ недѣли въ секретной, и національное собраніе изъявило Кавеньяку общественную признательность за энергическое служеніе истиннымъ интересамъ отечества.

Въ началѣ августа, реакція противъ своеволія прессы сдѣлалась систематическою; правительство не ограничилося наказаніями журналовъ и журналистовъ; оно потребовало гарантій и постановило обязательные залоги; правительство, выражавшее теплую любовь къ пролетаріямъ, выказывало ту идею, что человѣкъ, не имѣющій возможности внести сумму въ 24,000 франковъ для обезпеченія своего добропорядочнаго поведенія въ печати, не имѣетъ права издавать журналъ.

«Мы требуемъ, говорилъ въ національномъ собраніи гражданинъ Сенаръ, гарантіи противъ анархической прессы, противъ прессы социалистовъ, противъ той зловредной прессы, которая толкуетъ о правахъ труда, противъ журналовъ, которые продаются по 5 сантимовъ и обращаются къ бѣднякамъ, неимѣющимъ возможности абонироваться. Что касается до серьезной и важной журналистики, до тѣхъ органовъ, которые имѣютъ 500,000 франковъ основнаго капитала,—то мы не думаемъ ихъ беспокоить, потому что эта пресса отличается своей нравственной чистотой и просвѣщеннымъ патріотизмомъ».

Предлагаемая мѣра была одобрена, получила силу закона и немедленно принесла свои благодѣтельные плоды; нѣсколько журналовъ закрылось вслѣдствіе недостатка средствъ, и народъ лишился многихъ честныхъ органовъ, горячо стоявшихъ за его разумныя права. Въ концѣ 1848 года, Людовикъ Наполеонъ Бонапарте былъ избранъ президентомъ французской республики и началъ исподволь, съ своею обычною осторож-



ностью, готовить вторую имперію. Въ маѣ 1849 года новый президентъ запретилъ шесть журналовъ и въ томъ числѣ знаменитую «Revue», игравшую такую важную роль въ агитации противъ министерства Гизо. Редакціи этихъ журналовъ были заняты вооруженными солдатами, типографскіе станки разбиты и приведены въ негодность.

Въ іюлѣ 1849 года министръ Одилонъ-Барро, тотъ самый, который такъ недавно стоялъ во главѣ либеральной оппозиціи, объявилъ въ національномъ собраніи, что положеніе страны требуетъ усиленія законовъ противъ злоупотребленій печати. Ему возразили, что никогда еще законы противъ печати не спасали правительствъ и не восстанавливали спокойствія въ странѣ. Это возраженіе не смутило бывшаго предводителя оппозиціи: «это возможно, отвѣчалъ онъ очень откровенно, но во всякомъ случаѣ подобные законы отсрочиваютъ паденіе правительства».

Несмотря на сопротивленіе либеральныхъ членовъ національнаго собранія, новые законы были приняты. Они во многихъ отношеніяхъ напоминаютъ собою законодательныя мѣры 1819, 1822, 1828 и даже 1835 года. Залогъ остался необходимымъ условіемъ для изданія журнала; сочиненія, касающіяся политики или политической экономіи и заключающія въ себѣ менѣе 20 печатныхъ листовъ, должны быть представляемы прокурору республики за двадцать четыре часа до публикаціи и поступленія въ продажу. Эта статья новаго законодательства показываетъ, что правительство республики боится учредить предварительную цензуру, но на самомъ дѣлѣ вполнѣ сочувствуетъ принципу этой цензуры.

Дѣйствительно, въ 24 часа очень не трудно прочесть брошюру листовъ въ десять; прочитавъ эту брошюру, прокуроръ можетъ начать преслѣдованіе противъ книги раньше поступленія ея въ продажу и слѣдовательно можетъ предупредить ея выходъ въ свѣтъ. Такого рода система для писателя и издателя тяжелѣе чисто предупредительной цензуры; предупредительная цензура спасаетъ издателя отъ разорительныхъ издержекъ, она запрещаетъ или разрѣшаетъ сочиненіе въ рукописи или въ корректурѣ. Система, принятая законодательствомъ 1849 года, напротивъ того, допускаетъ печатаніе книги и потомъ предоставляетъ себѣ право остановить ея распространеніе. Издатель лишенъ такимъ образомъ всякой гарантіи и принужденъ принимать на себя роль цензора въ отношеніи къ писателю. Если бы издатель былъ даже человѣкомъ глубоко преданнымъ какой нибудь идеѣ, если бы онъ за распространеніе этой идеи въ обществѣ готовъ былъ подвергнуться самой тяжелой отвѣтственности, то новая статья закона помѣшала бы ему поступить такимъ образомъ; представляя экземпляръ вновь отпечатанной книги къ прокурору, за двадцать четыре часа до публикаціи

о ней, издатель можетъ быть увѣренъ, что все изданіе книги будетъ немедленно захвачено, если въ книгѣ заключаются какія нибудь идеи, не соответствующія вкусу правительства. Новое законодательство не ограничилось этими предосторожностями.

Оскорбленіе президента республики путемъ печати причислено къ преступленіямъ; при этомъ не оговорено, что именно можетъ считаться оскорбленіемъ, такъ что подъ категорію оскорбленій оказалось возможнымъ подводить всякое критическое замѣчаніе, всякое порицаніе дѣйствій правительства.

Чтобы сдѣлаться разнощикомъ книгъ, надо получить предварительное разрѣшеніе правительства; журналъ, навлекшій на себя неудовольствіе правительства и осужденный два раза втеченіе одного года, можетъ быть запрещенъ на время или навсегда; членъ національнаго собранія не можетъ быть отвѣтственнымъ редакторомъ журнала. Такимъ образомъ, послѣднихъ революцій, Франція опять очутилась почти въ томъ же положеніи, въ которомъ она находилась при Карлѣ X; формы были приличнѣе, но фактическое положеніе писателей висколько не улучшилось; тотъ же дамокловъ мечъ висѣлъ, если не надъ ихъ головами, то надъ ихъ карманами; залогъ, штемпельный сборъ, штрафы и тюремныя заключенія, задержаніе книги раньше ея поступленія въ продажу, запрещеніе журнала, замѣченнаго въ непріятномъ образѣ мыслей — всѣ орудія гнета, всѣ способы стѣсненія снова были на лицо, снова въ полномъ собраніи находились въ рукахъ административной власти. Всѣ книги, кромѣ молитвенниковъ, азбукъ, грамматикъ и календарей, были подчинены штемпельному сбору и, вслѣдствіе этого, должны были сильно возвыситься въ цѣнѣ, такъ что французскимъ книгопродавцамъ становилось невозможнымъ бороться съ заграничной контрафакціей.

Новая статья закона потребовала, чтобы каждая статья, напечатанная въ журналѣ и касающаяся политики, философіи или религіи, была подписана собственнымъ именемъ автора; за ложную подпись взыскивается штрафъ и опредѣляется шестимѣсячное тюремное заключеніе, какъ автору статьи, такъ и отвѣтственному редактору журнала. Это нововведеніе распространяло отвѣтственность на автора и на редактора; таково было общее направленіе правительственныхъ распоряженій; правительство хотѣло, чтобы возможно большее число лицъ подвергалось отвѣтственности; оно рассчитывало такъ: если не побоятся авторъ, то побоятся редакторъ; если не редакторъ, то издатель, если не издатель, то типографщикъ; не типографщикъ, такъ книгопродавецъ — пусть всѣ боятся отвѣтственности, и тогда ненавистная идея, родившаяся въ мозгу безпокойнаго писателя, поневолѣ должна будетъ



заглохнуть въ неизвѣстности. Вплоть до нынѣшняго 1862 года, этотъ расчетъ оказывался вѣрнымъ, а что будетъ дальше—неизвѣстно.

Еще новое распоряженіе правительства объявило отвѣтственнаго редактора вносить положенные штрафы втеченіи трехъ дней послѣ объявленія судебного приговора; неисполненіе этого правила ведетъ за собою прекращеніе журнала. Президентъ велъ дѣло такъ круто, что литераторамъ не разъ пришлось пожалѣть о королѣ Людовикѣ-Филиппѣ.

Такъ прозябала французская пресса до конца 1851 года. 2 декабря 1851 года президентъ республики распустилъ національное собраніе, распустилъ государственный совѣтъ, объявилъ Парижъ въ осадномъ положеніи и, обращаясь къ французскому народу, спросилъ у него, согласенъ ли онъ поручить ему, Людовику-Наполеону Бонапарту, составленіе новой конституціи? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ долженъ былъ служить результатъ поголовной подачи голосовъ. Чтобы надлежащимъ образомъ направить эту свободную подачу голосовъ, Людовикъ-Наполеонъ принялъ свои мѣры. Подозрительныя типографіи и литографіи заняты военными отрядами; при министертвѣ внутреннихъ дѣлъ устроена потихоньку цензурная коммиссія; двѣнадцать журналовъ въ томъ числѣ National и Siècle запрещаются; редакторы этихъ журналовъ и множество неприятныхъ для правительства писателей высылаются за предѣлы Франціи. Оппозиція лишается такимъ образомъ лучшихъ своихъ руководителей; поголовная подача голосовъ происходитъ въ такое время, когда некому руководить общественнымъ мнѣніемъ и обличать дѣйствія президента; очень понятно, что результатъ оказывается благопріятенъ для Людовика-Наполеона. Комедія сыграна—французскій народъ уполномочилъ его создать новую конституцію.

## VI.

### При Наполеонѣ III.

Въ декабрѣ 1851 года президентъ республики издалъ декретъ, по которому вѣдѣніе всѣхъ проступковъ, предусмотрѣнныхъ законами о печати, передается трибуналамъ исправительной полиціи. Пресса потеряла такимъ образомъ свою лучшую и послѣднюю гарантію—судъ присяжныхъ; прессу отдали въ руки коронныхъ судей; движеніе реакціи пошло такъ быстро, какъ не шло ни при Бурбонахъ, ни при Орлеанахъ.

Въ февралѣ 1852 года президентъ республики издалъ органическій декретъ о печати, который убилъ послѣдніе остатки свободы мысли и открыто подчинилъ прессу безграничному произволу центральной власти. По этому декрету каждый издатель журнала обязанъ испрашивать у правительства предварительное разрѣшеніе. Каждый типографщикъ и литографщикъ, каждый

книгопродавецъ обязанъ взять патентъ отъ министра полиціи, который конечно можетъ отказать въ этомъ патентѣ, если считаетъ просителя человѣкомъ неблагонадежнымъ. Если издатель журнала желаетъ продать свой журналъ, то покупатель долженъ также испрашивать разрѣшеніе правительства, чтобы имѣть право продолжать изданіе журнала. Если перемѣняется отвѣтственный или главный редакторъ, то эта перемѣна производится не иначе, какъ съ разрѣшенія правительства. Политическіе или экономическіе журналы, издающіеся за-границей, могутъ быть ввозимы во Францію только съ разрѣшенія правительства. Если бы весь органическій декретъ не былъ очень печальной и серьезной дѣйствительностью, то эта статья его показалась бы честнымъ гражданамъ Франціи смѣшною шуткой: Францію охраняютъ отъ вреднаго вліянія заграничныхъ идей, Францію, ту самую Францію, которая впродолженіи шестидесяти лѣтъ была родиной и колыбелью социальныхъ и демократическихъ идей! Президентъ даетъ себѣ трудъ беречь умственную невинность такой страны, въ которой три революціи изломали въ концѣ сословныя грани, вѣковые авторитеты, рутину мысли и жизни. Къ сожалѣнію, до нашего времени, до нынѣшняго дня еще нельзя рѣшить вопросъ: дѣйствительно ли г. президентъ давалъ себѣ въ этомъ случаѣ напрасный трудъ? Событія до сихъ поръ не отвѣчали на этотъ вопросъ утвердительно, а между тѣмъ не хочется вѣрить, чтобы теперешній status quo уже рѣшилъ этотъ вопросъ отрицательно.

Органическій декретъ удвоилъ сумму залоговъ и довелъ его для ежедневныхъ газетъ до 50,000 франковъ; штемпельная пошлина увеличилась; плата за пересылку по почтѣ, сливавшаяся съ штемпельной пошлиной по закону 1850 года, была возстановлена.

Органическій декретъ запретилъ печатать отчеты о процессахъ по дѣламъ печати и кромѣ того предоставилъ вѣзмъ трибуналамъ право запрещать, по своему благоусмотрѣнію, печатаніе отчетовъ о процессахъ исправительной полиціи, гражданскихъ и уголовныхъ. За журналами осталось только очень незавидное, но зато неотъемлемое право публиковать приговоръ, и то вѣроятно потому, что приговоръ не можетъ ни въ какомъ случаѣ остаться государственной тайной.

Органическій декретъ запретилъ печатать статьи, написанныя такими лицами, которыя осуждены на карательное и безчестящее, или только на безчестящее наказаніе. За нарушеніе этого правила издатели, отвѣтственные редакторы и типографщики подвергаются штрафу отъ 1000 до 5000 франковъ. Эта статья закона направлена противъ политическихъ преступниковъ, противъ тѣхъ изгнанныхъ литераторовъ, въ которыхъ президентъ не могъ предполагать осо-



бенно дружелюбныхъ наклонностей къ своей особѣ и къ своему правительству. Президенту казалось необходимымъ застраховать издателей и типографщиковъ, чтобы отрѣзать изгнанникамъ всякую возможность имѣть вліяніе на общественное мнѣніе страны.

Самое важное нововведеніе органическаго декрета заключается въ системѣ правительственныхъ предостереженій (*avertissements*). Министерство, замѣчая вредныя тенденціи журнала, имѣетъ, по словамъ декрета, право послать издателю предостереженіе; вслѣдъ за вторымъ предостереженіемъ оно имѣетъ право приостановить журналъ на два мѣсяца безъ приговора суда.

Высшее правительство имѣетъ право приостановить журналъ втеченіе двухъ мѣсяцевъ послѣ осужденія его за проступокъ противъ законовъ печати. Оно можетъ также, по своему благоусмотрѣнію, запрещать провинившееся изданіе.

Запрещеніе журнала неизбежно въ случаѣ осужденія его за преступленіе, совершенное путемъ печати, или въ случаѣ двукратнаго осужденія его за проступки, совершенные путемъ печати втеченіи двухъ лѣтъ.

Кромѣ того журналъ можетъ также быть запрещенъ, въ видахъ общественной безопасности, особымъ декретомъ президента республики.

Положеніе прессы, вслѣдствіе органическаго декрета, дѣлалось до такой степени тяжелымъ, что знаменитые сентябрскіе законы 1835 года, изданные Людовикомъ-Филиппомъ вслѣдствіе постоянныхъ покушеній на его драгоценную жизнь, могли показаться сравнительно легкими и милосердными. Сентябрьскіе законы оставили по крайней мѣрѣ судъ присяжныхъ и выгородили прессу отъ административныхъ распоряженій. При Людовикѣ-Филиппѣ даже за оскорбленіе королевской власти нельзя было безъ суда взять ни одной копѣйки штрафа, нельзя было подвергнуть издателя самому легкому аресту. При Людовикѣ-Наполеонѣ все сдѣлалось возможнымъ; самый законъ предвидитъ возможность крайнихъ мѣръ и незаконныхъ посягательствъ административной власти на частную собственность. Посягательствами административной власти на частную собственность могутъ быть названы по всей справедливости приостановка или запрещеніе журнала, производящаяся безъ суда, по декрету президента или по запрещенію министра. Приостановка или запрещеніе журнала наноситъ убытокъ издателю и владѣльцамъ; этотъ убытокъ наносится безъ суда, слѣдовательно онъ можетъ быть нанесенъ и правому, и виноватому; слѣдовательно, самымъ текстомъ своего органическаго декрета президентъ республики предоставляетъ себѣ и своимъ министрамъ право самовольно бить по карману свободныхъ гражданъ французской республики. Очевидно, что Людовикъ-Наполеонъ поставилъ прессу на военное положеніе и объявилъ себя диктаторомъ, имѣющимъ

надъ журналами право жизни и смерти. Онъ не боялся именно той или другой идеи, тѣхъ или другихъ стремленій періодической литературы: онъ просто хотѣлъ парализовать энергію мысли, нагнать на пишущихъ людей робость и нерѣшительность, свести ихъ всѣхъ на уровень посредственности и такимъ образомъ, опошливъ литературу, ослабить нравственное вліяніе образованныхъ и передовыхъ людей на массу публики и народа. Все въ органическомъ декретѣ направлено прямо къ этой цѣли. Читая и перечитывая этотъ декретъ съ величайшимъ вниманіемъ, журналисты никакъ не могли сообразить, о чемъ и какъ можно писать, что именно составляетъ преступленіе и проступокъ, въ какихъ случаяхъ министерство будетъ дѣлать предостереженія, какія статьи могутъ вызвать противъ себя особый декретъ президента. Всѣ подробности были совершенно неясны; ясно было только одно, вовсе неутѣшительное обстоятельство—то, что правительство было неразборчиво въ средствахъ, и что оно отъ души ненавидѣло свободную журналистику. Что отъ этого правительства нельзя было ждать справедливости—въ этомъ сознавалось само правительство, предоставляя себѣ право дѣйствовать безъ суда. О милосердіи нечего было и толковать; къ тому же зависѣть отъ милосердія правительства въ сущности все равно, что зависѣть отъ его произвола. Органическій декретъ въ эффектной перспективѣ показывалъ литераторамъ цѣлый лабиринтъ препятствій и непріятностей. «Я васъ буду преслѣдовать», говорилъ президентъ. — За что? «Это уже мое дѣло; я васъ предупредилъ, будьте осторожны». Получая такое неопредѣленное предупрежденіе, похожее на таинственную угрозу, литераторы конечно должны были стать въ тупикъ и растеряться; Людовику-Наполеону только этого и хотѣлось.

Очень естественно, что пресса, пробирающаяся ощупью между невѣдомыми опасностями, не можетъ руководить общественнымъ мнѣніемъ. Гдѣ царствуетъ постоянный, неясный страхъ, тамъ не можетъ быть энергіи, а политическая литература безъ энергіи, безъ твердыхъ гарантій, безъ самостоятельности, неминуемо должна впасть въ совершенное ничтожество. Неопредѣленность органическаго декрета сдѣлала то, чего не могли бы сдѣлать самыя жестокія уголовныя наказанія. Весь 1852 годъ былъ ознаменованъ многочисленными предостереженіями; многіе журналы закрылись по собственному желанію, находя борьбу съ правительствомъ невозможной по неравенству силъ и оружія; административная система предостереженій, приостановокъ и запрещеній окончательно восторжествовала надъ системой судебныхъ преслѣдованій. Процессы по дѣламъ печати сдѣлались очень рѣдкими, и правительство стало поражать журналы, не выслушивая никакихъ оправданій, не принимая



никакихъ объясненій. Нѣкоторые журналы въ эту тяжелую эпоху рѣшились высказать правительству нѣсколько горькихъ истинъ. «Правительство, пишетъ *Presse*, видитъ въ періодической литературѣ орудіе безпорядковъ и смутъ; оно поступаетъ сообразно съ этимъ убѣжденіемъ, и мы надѣемся польстить его самолюбію, объявляя громко, что никогда еще ни одно законодательство не вооружалось противъ этого стараго врага такими страшными и многочисленными средствами угнетенія; мысль подобна воздуху и пару—она сильна и опасна только при давленіи; намъ жаль, что у насъ отнимаютъ судъ присяжныхъ и что насъ подчиняютъ приговору полицейскихъ судовъ. Мы помнимъ впрочемъ, что во время реставраціи эти суды давали блестящіе доказательства честности и самостоятельности»... «Надъ нами постоянно виситъ угроза запрещенія, одинъ декретъ можетъ зажать намъ ротъ и уничтожить нашъ органъ»... «Вступая въ новую многотрудную карьеру, мы будемъ разсчитывать на поддержку общественнаго мнѣнія, единственной несокрушимой силы»...

«Всего серьезнѣе и опаснѣе для печати тѣ распоряженія, писала *Assemblée nationale*, въ силу которыхъ журналъ можетъ быть приостановленъ приказомъ министра или запрещенъ въ видахъ общественной безопасности... Эти распоряженія уничтожаютъ всѣ гарантіи, необходимыя для предпріятія, основаннаго на какомъ нибудь капиталѣ; ужъ лучше было бы оставить предупредительную цензуру, которой насъ подчинили со 2-го декабря, чѣмъ возвратитъ намъ такую свободу, которою мы, при всѣхъ предосторожностяхъ, не можемъ пользоваться, не навлекая на себя самыхъ гибельныхъ послѣдствій»... «Свобода печати проникла въ наши нравы и привычки; всякое правительство поневолѣ должно дать ей мѣсто. Если оно теперь уничтожаетъ ее не на бумагѣ, а на самомъ дѣлѣ, то публика будетъ искать въ другихъ мѣстахъ той умственной пищи, которую она до сихъ поръ находила въ журналахъ». Нашлись впрочемъ и такіе литераторы, которые съ сочувствіемъ отнеслись къ новому законодательству. Веронъ, въ журналѣ «*Constitutionnel*», оправдывалъ его какими-то высшими административными соображеніями. Журналистъ сошелся въ этомъ случаѣ съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, Персины, который въ одномъ изъ своихъ докладовъ императору, въ началѣ 1853 года, прославляетъ органическій декретъ, какъ одно изъ величайшихъ благодѣяній, оказанныхъ Франціи Наполеономъ III. Въ этомъ любопытномъ докладѣ встрѣчаются напимѣръ слѣдующіе лестные отзывы о періодической литературѣ. «Теперь пресса уже не можетъ измѣнить своей настоящей роли и сдѣлаться орудіемъ партій; теперь она не можетъ тревожить страну ложными извѣстіями о несуществующихъ опасностяхъ; такимъ образомъ устра-

нено великое зло, а между тѣмъ свобода мысли осталась неприкосновенной. Никогда еще тонъ прессы не отличался такимъ благоразуміемъ, такой скромностью, вполне сообразною съ достоинствомъ писателей. Никогда еще она не обнаруживала такихъ патріотическихъ чувствъ». Что должны были чувствовать французскіе журналисты, когда Персины гладилъ ихъ такимъ образомъ по головкѣ—это я предоставляю рѣшить самому читателю. Изъ доклада министра мы видимъ, что правительство Наполеона неуспѣшно заботилось о нравственномъ воспитаніи гражданъ. Благоразуміе, скромность, достоинство, патріотическія чувства—вотъ тѣ нравственныя качества, которыя оно стремилось путемъ пріостановокъ и запрещеній провести черезъ періодическую литературу въ общество. Воспитателями націи были назначены всѣ полицейскіе чиновники; въ департаментахъ журналы зависѣли отъ мѣстныхъ властей, отъ профекторовъ и ихъ помощниковъ.

Добросовѣстно управляя свои педагогическія обязанности, эти чиновники считали долгомъ вразумлять провинившихся литераторовъ, и потому, облекая свои предостереженія въ болѣе или менѣе литературную форму, они обыкновенно присоединяли къ нимъ назидательныя размышленія. Такъ, напр. *Conciliateur de l'Indre* напечаталъ, что «новое законодательство о печати наноситъ рѣшительный ударъ самымъ элементарнымъ началамъ общественнаго права и свободы». За это *Conciliateur* получилъ предостереженіе, въ которомъ было сказано, что, говоря такимъ образомъ о правительственныхъ распоряженіяхъ, журналъ «отступаетъ отъ благоразумія и умѣренности, составляющихъ необходимое условіе періодической прессы». *Gazette du Midi* напечатала въ одной статьѣ курсивомъ слова народъ и законный; ей сдѣлали предостереженіе и замѣтили въ курсивѣ лукавое намѣреніе осмѣять примѣненіе этихъ словъ къ недавнимъ событіямъ. Въ *Ami de l'Ordre* попалась такая фраза: «исторія говоритъ намъ, что имя Бонапарта не всегда бываетъ спасительнымъ талисманомъ противъ паденій». Эта фраза подала поводъ къ предостереженію; правительство приняло ее за дерзость. Два журнала *Union bretonne* и *Esperance du Peuple* вели между собой ожесточенную полемику и обмѣнивались взаимно колкостями и дерзостями, не касаясь правительственныхъ распоряженій. Префектъ послалъ предостереженія въ редакціи обоихъ журналовъ и замѣтилъ имъ, что въ ихъ статьяхъ встрѣчаются такія сильныя выраженія, которыя совершенно выходятъ изъ границъ дозволенной полемики.

Такимъ образомъ заботливая администрація наблюдала не только за чистотой политическихъ мнѣній, но даже за изяществомъ манеръ и за мягкостью перебранокъ. Французы должны были во что бы то не стало казаться счастливыми и



довольными; добродушная улыбка не должна была сходиться съ ихъ губъ; журналистъ, раздраженный притѣсненіями правительства, не могъ даже на своихъ собратьевъ по ремеслу выливать избытокъ накопившейся желчи. Наполеонъ хотѣлъ, чтобы все было спокойно, чтобы надо всей Франціей царила мертвая тишина, чтобы даже въ частной ссорѣ между двумя журналистами не встрѣчалось ни одной рѣзкой мысли, ни одного энергическаго оборота рѣчи. Надъ всею Франціей раскинулась сѣть полицейскаго наблюденія; префекты и разныя мѣстныя власти съ особенной любовью взялись содѣйствовать видамъ центральнаго правительства и принялись преслѣдовать всякое гласное выраженіе непріятныхъ идей и стремленій. Нѣкоторые чиновники увлеклись такъ далеко въ дѣлѣ разыскиванія и преслѣдованія вредныхъ мыслей, что начали заглядывать въ частныя письма, отправлявшіяся за границу. За содержаніе этихъ писемъ нѣкоторые корреспонденты заграничныхъ газетъ были арестованы, бумаги ихъ опечатаны; на другой день послѣ этихъ арестовъ въ журналахъ *Revue* и *Moniteur* появились наивныя статьи, пояснявшія причину этихъ крутыхъ мѣръ; эти наивныя статьи показали, что усердіе чиновниковъ, вскрывающихъ чужія письма, не показалось высшему правительству ни преувеличеннымъ, ни предосудительнымъ. Оказалось, что Людовикъ-Наполеонъ находитъ такой образъ дѣйствій вполне естественнымъ и, не краснѣя, разсуждаетъ о тѣхъ фактахъ, которые ему пришлось узнать такимъ окольнымъ путемъ. Въ Парижѣ, гласитъ статья въ *Moniteur*, подъ вліяніемъ старинныхъ партій уже давно составилось нѣсколько тайныхъ агенствъ и политическихъ корреспонденцій; изъ этихъ центровъ клеветы и анархіи выходили ежедневно, окольными путями, тѣ гнусныя и безсовѣстные пасквили, которые позорятъ собою нѣкоторые органы заграничной прессы, съ цѣлью навлечь презрѣніе Европы на правительство, добровольно принятое Франціей; правительство, которому были извѣстны эти интриги, не могло долѣе терпѣть этой системы поруганія и опозориванія». Съ этой официальной статьей, написанной на основаніи совершенно неофициальныхъ документовъ, не мѣшаетъ сопоставить слѣдующій циркуляръ одного изъ министровъ Наполеона I. «Я узналъ, пишетъ Карно, министръ внутреннихъ дѣлъ,—что во многихъ частяхъ имперіи тайна частной переписки была нарушена агентами правительства. Кто могъ дозволить подобныя мѣры? Виновики скажутъ можетъ быть, что они хотѣли услужить правительству и предупредить его желанія? Но вносить въ управленіе подобный образъ дѣйствій не значитъ служить императору—это значитъ клеветать на его величество; государь съ презрѣніемъ отворачивается отъ такихъ доказательствъ преданности, которыя состоятъ въ

нарушеніи законовъ. А законы говорятъ рѣшительно съ 1789 года, что тайна писемъ неприкосновенна. Всѣ наши несчастія въ различныя эпохи революцій происходили отъ нарушенія принциповъ. Пора взяться за умъ. Прошу васъ преслѣдовать по всей строгости законовъ это нарушеніе одного изъ священнѣйшихъ правъ цивилизованнаго человѣка, живущаго въ обществѣ. Мысль гражданина должна быть также свободна, какъ и его личность».

Сравнивая циркуляръ Карно, написанный въ 1815 году, съ статьею Монитера, напечатанною въ 1852 году, мы можемъ замѣтить, на сколько французское правительство втеченіи 37 лѣтъ развилось въ своихъ понятіяхъ о чести. Надо сказать правду, что если правительство 1815 г. было немного поделикатнѣе и поразборчивѣе въ средствахъ, то правительство 1852 года было гораздо послѣдовательнѣе. Въ глубинѣ души ни Наполеонъ I, ни Наполеонъ III не могли считать себя избранниками народа; и тотъ, и другой должны были помнить, что основаніе ихъ господства заключается въ насиліи. Позволивши себѣ крупную неправду, навязавшись въ вѣнценосные благодѣтели Франціи, оба Наполеона должны были хорошо понимать, что мелкая совѣстливость въ ихъ положеніи смѣшна и приторна. Кто похитилъ корону, тому нелѣпо задумываться надъ кусочкомъ сургуча, скрывающимъ собою чужую тайну. Поэтому деликатность Карно не можетъ служить вѣрнымъ выраженіемъ Наполеона I; приведенный мною циркуляръ можетъ быть объясненъ или тѣмъ обстоятельствомъ, что въ распечатанныхъ письмахъ не нашлось ничего интереснаго для правительства, или же тѣмъ, что правительство нуждалось въ популярности и прикидывалось деликатнымъ, зная легковѣрность французской націи и ея привязанность къ внѣшнимъ формамъ вѣжливости. Въ поведеніи Наполеона III, напротивъ того, нѣтъ даже этой внѣшней уступки общественному мнѣнію; онъ равнодушенъ къ нему и презираетъ его вполне, не давая себѣ труда скрывать это презрѣніе: онъ не гонится ни за популярностью, ни за уваженіемъ націи; его господство—фактъ, а какъ смотреть на этотъ фактъ—до этого ему нѣтъ никакого дѣла. Это откровенное презрѣніе къ цѣлой націи, слѣвавшей три революціи, лежитъ въ основаніи всѣхъ законодательныхъ и административныхъ мѣръ Наполеона III и само основывается на сознаніи рѣшительнаго перевѣса собственныхъ матеріальныхъ силъ надъ оцѣненными умственными и нравственными силами Франціи.

Иностранные публицисты поняли и опредѣлили отношенія между императоромъ и народомъ такъ вѣрно и такъ рельефно, что *Moniteur* счелъ долгомъ обидѣться за Францію и съ укоромъ перепечаталъ на своихъ столбцахъ нѣкоторые отзывы англійскихъ газетъ. Вотъ, напри-



мѣръ, что говоритъ 7-го января 1853 г. *Morning-advertiser*: «На всей поверхности земного шара явѣтъ ничего подобнаго тому деспотизму, который тяготѣетъ надъ Франціей, и тому униженію, въ которое погружена эта страна. Права народа находятся подъ каблуками Наполеона, имя котораго—символъ угнетенія и тиранинн. Искусство писать книги будетъ скоро совершенно оставлено у нашихъ сосѣдей. Литературные таланты преслѣдуются, какъ преступленіе; умы заключены въ оковы. Никто не смѣетъ разинуть ротъ на улицѣ, въ обществѣ, въ прессѣ. Еще нѣсколько времени—и французы будутъ погружены въ такое варварство, которому нельзя будетъ найти подобіе въ исторіи націй». «Къ чему увеличивать число цитатъ, съ глубокой грустью присовокупляетъ *Moniteur*. Довольно и этого, чтобы показать, въ какихъ выраженіяхъ нѣкоторые журналы отзываются о дружественной націи и о томъ государѣ, котораго призвали на престолъ ея восторженные клики». Надо было глубоко презирать французскую республику, чтобы въ официальномъ журналѣ перепечатывать отзывъ *Morning-advertiser*'а, заключающій въ себѣ такую горькую правду. Правительство Наполеона смотритъ на свой портретъ и, обращаясь къ публикѣ, которая очень хорошо знаетъ, что портретъ похожъ, какъ двѣ капли воды, говорить въ своемъ официальномъ журналѣ: посмотрите, добрые люди, какъ на насъ клеветуютъ; посмотрите, какая гнусная карикатура. Самъ императоръ впрочемъ не думалъ, что гражданская свобода процвѣтаетъ во Франціи; открывая въ 1853 году засѣданіе законодательнаго собранія, онъ въ своей рѣчи помѣстилъ между прочимъ слѣдующее замѣчаніе: «Тѣмъ людямъ, которые пожалѣютъ о недостаткѣ свободы, я отвѣчу: свобода никогда не содѣйствовала основанію политическаго зданія,—она вѣнчаетъ его тогда, когда его скрѣпило время». Самъ Наполеонъ скромно сознается такимъ образомъ, что свобода Франціи еще впереди, и съ нимъ соглашаются въ этомъ отношеніи всѣ здравомыслящіе французы, хотя конечно они рисуютъ себѣ эту возжелѣнную свободу не совсѣмъ такъ, какъ общаетъ ее императоръ. Приближенные Наполеона расходятся во мнѣніяхъ съ своимъ властелиномъ и прославляютъ свободу Франціи, какъ нѣчто дѣйствительно существующее въ настоящемъ. «Развѣ не свободна та страна, восклицаетъ Тролонъ въ *Монитерѣ*,—въ которой можно, не имѣя дѣла съ цензурой, писать книги обо всѣхъ предметахъ религіи и философіи, политики и нравственности? Развѣ не свободна та страна, въ которой журналы имѣютъ право говорить, когда они должны были бы молчать, или молчать, когда они должны были бы говорить?» Особенно завидно послѣднее право, въ которомъ Тролонъ видитъ доказательство французской свободы—право молчать. Презрѣніе Наполеона

къ націи становится понятнымъ, когда приходится читать подобные ланегирики о свободѣ, написанные не дюжиннымъ продажнымъ писателемъ, а человѣкомъ обезпеченнымъ въ матеріальномъ отношеніи и высоко поставленнымъ по своему общественному положенію. Читая ежедневно подобныя статьи въ *Moniteur*, въ *Pays*, въ *Constitutionnel*, выслушивая разныя торжественныя рѣчи въ законодательномъ собраніи и въ сенатѣ, Наполеонъ могъ на неопредѣленное время отсрочить обѣщанное убѣжденіе политическаго зданія. «Зачѣмъ я буду расширять свободу этой страны, говорилъ онъ одному англійскому министру, съ нея довольно; она большаго не желаетъ, а представители ея и отъ этого готовы отказаться».

*Journal des Débats* возражалъ на статью Тролона, и редакторъ Бертенъ удачно очертилъ положеніе журналистовъ послѣ обнародованія органическаго декрета. «Насъ, говоритъ онъ, не пугаетъ никакое законодательство, какъ бы ни было оно сурово; насъ пугаетъ то, что приходится писать впотѣмахъ, думая при каждомъ словѣ, что, не смотря на всю благонамѣренность, мы выходимъ за предѣлы тѣхъ правъ, которыя намъ оставлены. Мы не просимъ своеволія, Боже сохрани! Мы всегда возставали противъ него; мы не просимъ даже такой свободы, которая можетъ быть несовмѣстна съ теперешними обстоятельствами и потребностями Франціи. Пусть авторъ (Тролонъ) скажетъ намъ только (такъ какъ онъ это знаетъ), въ какихъ случаяхъ мы имѣемъ право говорить, и когда мы должны были бы молчать; мы бы сочли себя совершенно счастливыми. Кто держится мнѣній Тролона, кто раздѣляетъ его политическія симпатіи и пользуется содѣйствіемъ «*Монитера*», тотъ конечно можетъ считать себя совершенно свободнымъ и даже не понимать тѣхъ мучительныхъ затрудненій, въ которыя поставлены люди честные, уважающіе общественный порядокъ и желающіе только высказывать совершенно умѣренно свои идеи, не вполнѣ сходныя съ идеями Тролона».

Органическій декретъ принесъ свои плоды, и писатели поняли всю свою беззащитность.

Въ послѣдніе десять лѣтъ, т. е. со времени изданія органическаго декрета до нынѣшняго дня, въ судьбѣ французской прессы не произошло никакихъ существенныхъ измѣненій. Правительство попрежнему смотритъ за журналистикой во всѣ глаза и попрежнему въ официальныхъ статьяхъ своихъ литературныхъ агентовъ и въ официальныхъ рѣчахъ своихъ чиновниковъ превозноситъ ту драгоценную свободу, которой пользуются французскіе писатели. Журналистика съ своей стороны тихо стонетъ о своихъ потерянныхъ правахъ и гарантіяхъ и, не смотря на свою осторожность, навлекаетъ себѣ предостереженія за предостереженіями.



Каждое политическое событіе отзывается на отношеніяхъ правительства къ прессѣ. Когда журналистика пытается разгадать тайну дипломатическихъ соображеній Наполеона, когда она высказываетъ свои догадки и предположенія, тогда ей замѣчаютъ сверху, что она выѣшиваетъ не въ свое дѣло и понапрасну тревожитъ націю своими попытками заглянуть за непроницаемую завѣсу будущаго. Переговоры съ Австріей, предшествовавшіе началу итальянской войны, подали газетамъ поводъ предвидѣть приближеніе важнаго событія; въ началѣ февраля 1859 года *Presse* въ статьѣ объ итальянскомъ кризисѣ заявила сочувствіе Франціи къ страданіямъ угнетенной Италіи; въ этой статьѣ было выражено желаніе, чтобы Франція остановила посягательства Австріи. За эту статью *Presse* получила предостереженіе, въ которомъ было сказано, что «подобныя выходки могутъ возбуждать въ умахъ неосновательное безпокойство». Черезъ нѣсколько дней послѣ этого предостереженія въ продажѣ появилась брошюра подъ заглавіемъ «*Napoleon III et l'Italie*», не подписанная авторомъ; нѣкоторыя французскія и заграничныя газеты приписывали эту брошюру самому императору; какъ бы то ни было, эта брошюра выражала тѣ самыя мысли, за которыя *Presse* получила предостереженіе; она приглашала дипломатію сдѣлать «наканунѣ битвы то, что поневолѣ придется сдѣлать на другой день послѣ побѣды». Не смотря на эти ясныя намеки, брошюра не подверглась преслѣдованію, и даже тѣ журналы, которые видѣли въ ней произведеніе самого императора, не получили за свои догадки никакихъ предостереженій. Журналистика, видя, что брошюра остается безнаказанной, опять заговорила о приближеніи войны; тогда официальная газета *Moniteur*, въ началѣ марта, замѣтила, что «все это бредъ, воображеніе и ложь, и что пора оставить безъ вниманія неясныя слухи, распространяемые журналисткой по всѣмъ концамъ Европы». 5 марта была напечатана эта статья, а 3 мая въ томъ же «*Монитерѣ*» правительство извѣстило Францію о началѣ войны. Намѣренія правительства до послѣдней минуты остаются такимъ образомъ тайной; политическимъ газетамъ запрещается даже догадываться и предполагать; имъ остается такимъ образомъ только записывать совершившіяся событія, не выводя изъ нихъ смѣлыхъ заключеній; даже записать событіе позволяется только въ томъ случаѣ, если его нельзя утаить или не захѣмъ утаивать. Когда началась итальянская война, то министерство внутреннихъ дѣлъ сообщило журналамъ слѣдующее замѣчаніе: «Правительство уже нѣсколько разъ совѣтовало журналамъ публиковать съ крайней осторожностью извѣстія и письма, относящіяся къ итальянской арміи. Правительство теперь еще разъ

принуждено напомнить журналамъ обязанности, налагаемыя на нихъ текущими событіями. Они должны воздерживаться отъ печатанія подробностей, не имѣющихъ серьезнаго характера, распространяющихъ тревогу въ семействахъ или обманывающихъ общественное мнѣніе на счетъ положенія нашей арміи; тѣмъ болѣе они должны избѣгать сообщенія такихъ свѣдѣній, которыя могли бы приносить пользу непріятелю. Они поймутъ также, что не слѣдуетъ произвольно разсыпая похвалу или порицаніе и подрывать авторитетъ официальныхъ бюллетеней несправедливыми сужденіями или слѣсными объявленіями. Правительство надѣется, что это воззваніе къ просвѣщенному патріотизму французской прессы предупредитъ дальнѣйшія уклоненія, находящіяся впрочемъ въ странномъ разладѣ съ единодушными проявленіями національнаго чувства, которое въ журналистикѣ должно находить себѣ достойное отраженіе».

Первое свойство, бросающееся въ глаза при чтеніи подобныхъ документовъ—это фразистость и мягкость рѣчи; подумаешь, что министерство находится въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ съ литературою и пишетъ ей самыя пріятныя и любезныя замѣчанія; на самомъ же дѣлѣ выходитъ, что пилюля очень горька, не смотря на свою позолоту; практическій выводъ изъ бумаги министерства тотъ, что журналы не должны печатать объ итальянской арміи ничего, кромѣ официальныхъ бюллетеней, т. е. они должны, не мудрствуя лакаво, не толкуя вкривь и вкосъ, съ вѣрой, надеждой и любовью идти по слѣдамъ «*Монитера*» и перепечатывать изъ него извѣстія объ итальянской арміи. Можетъ быть министерство не хотѣло придти къ этому суровому выводу, можетъ быть оно желало только, чтобы редакторы не пускали утокъ, но редакторамъ, получившимъ этотъ циркуляръ, надо было поневолѣ отказаться отъ печатанія частныхъ извѣстій. Получая письмо изъ Италіи, они никакъ не могли знать, что всѣ сообщаемыя въ немъ извѣстія совершенно вѣрны. Если даже эти извѣстія были вѣрны, то нельзя было знать, находится ли правительство полезнымъ ихъ обнародованіе. Правительство всегда имѣло предлогъ послать журналу предостереженіе за напечатаніе частнаго извѣстія; оно могло сказать, что такое-то извѣстіе способно встревожить общественное мнѣніе или же, что имъ можетъ воспользоваться непріятель. Приведенный мною циркуляръ министерства по своему общему характеру сходенъ съ органическимъ декретомъ; онъ, подобно послѣднему, грѣшитъ своей совершенной неопредѣленностью; общіе совѣты, которые правительство даетъ литераторамъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи оказываются совершенно неосязательными—они только сбиваютъ съ толку; что можно писать, чего нельзя пи-



сать—это все-таки остается неизвѣстнымъ; поэтому тотъ редакторъ, который желаетъ оградить себя отъ всякой отвѣтственности и чувствовать себя совершенно спокойнымъ, долженъ принимать самыя преувеличенныя, часто совершенно излишнія предосторожности. Вотъ на что и рассчитываетъ правительство; вотъ задняя мысль, побуждающая его издавать неопредѣленные узаконенія и разсылать циркуляры, немнѣющіе осязательнаго смысла.

Послѣ окончанія итальянской кампаніи, 16 августа 1858 года послѣдовали другъ за другомъ два милостивые декрета: во-первыхъ, объявлена полная амністія «всѣмъ лицамъ, осужденнымъ за политическія преступленія и проступки и изгнаннымъ изъ Франціи въ видахъ общественной безопасности», и во-вторыхъ, «всѣ предостереженія, данныя журналамъ въ силу декрета 17 февраля 1852 года, объявлены недействительными».

Эти два милостивые декрета имѣютъ свою обратную сторону; правительству очень хотѣлось привлечь во Францію тѣхъ политическихъ изгнанниковъ, которые за границей были опаснѣе, чѣмъ въ отечествѣ, потому что за границей они могли писать и печатать такія вещи, которыя во Франціи не нашли бы себѣ ни издателя, ни типографщика. За личиною великодушія кроется такимъ образомъ очень вѣрный политическій расчетъ. Второе милостивое распоряженіе, т. е. уничтоженіе уже данныхъ предостереженій, тоже объясняется довольно просто: многіе журналы имѣли уже по два предостереженія; запретить ихъ за третій проступокъ было неудобно, потому что провинившихся было слишкомъ много, а возбуждать безъ особенной необходимости вниманіе и неудовольствіе общества непріятно даже такому правительству, которое не придаетъ значенія расположенію гражданъ; если же третій проступокъ журналовъ не повелъ бы за собою запрещенія, тогда это обстоятельство могло ослабить нравственное вліяніе предостереженій; стало быть, запретить нѣсколько журналовъ разомъ было неудобно, оставить ихъ безнаказанными — также неудобно; оставалось только простить данныя *avertissemens* и придать этому акту прощенія какъ можно больше торжественности. Отчего же въ самомъ дѣлѣ не удивить публику великодушіемъ и милосердіемъ, когда это великодушіе и милосердіе не стоитъ ни копѣйки и даже нисколько не уменьшаетъ силы правительства? Вѣдь любой изъ прощенныхъ журналовъ могъ быть закрытъ по распоряженію административной власти на другой же день послѣ милостиваго прощенія, если только онъ своимъ послѣдующимъ поведеніемъ показалъ бы недостатокъ признательности и благопадежности.

Въ сущности положеніе журналистики ни-

сколько не улучшилось отъ этой милости; литераторы конечно поняли это и дали это замѣтить правительству.

Послѣ окончанія итальянской войны на очередь выдвинулся вопросъ о папствѣ; французскіе публицисты начали разрабатывать его въ брошюрахъ и въ журнальныхъ статьяхъ. Журналы клерикальной партіи старались обвинять Наполеона въ недостаткѣ благочестія и въ неуваженіи къ правамъ папы; эти попытки побудили правительство обратить особенное вниманіе на статьи, писавшіяся подъ вліяніемъ духовенства; это особенное вниманіе выразилось въ томъ, что на клерикальные журналы посыпались предостереженія; затѣмъ послѣдовали болѣе серьезныя мѣры.—L'Universъ былъ запрещенъ.

«Религіозная журналистика, писалъ по этому поводу министръ внутреннихъ дѣлъ въ докладѣ императору, забыла, что ея дѣло — умѣрять страсти и мирить враждующія стороны. Журналъ l'Universъ въ особенности, не обращая вниманія на сообщаемыя ему предостереженія, каждый день доходитъ до послѣднихъ предѣловъ буйства; по его милости возникаютъ пылкія полемикки, въ которыхъ, къ сожалѣнію, его выходки вызываютъ рѣзкія возраженія, служащія соблазномъ и огорченіемъ для всѣхъ добрыхъ гражданъ». Теряя l'Universъ, французская пресса потеряла конечно очень много, но тѣмъ не менѣе, въ этомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ другихъ, правительство Наполеона осталось вѣрнымъ своему основному принципу, отвращенію къ рѣзко проведеннымъ идеямъ и къ крайнимъ выводамъ, сдѣланнымъ въ ту или другую сторону. Въ такой странѣ, какъ Франція, при томъ правительствѣ, которымъ она пользуется уже слишкомъ десять лѣтъ, преданность интересамъ католической религіи должна конечно считаться признакомъ благонамѣренности, потому что католицизмъ, какъ извѣстно, вовсе не поощряетъ развитія свободной мысли и вовсе не оправдываетъ возстанія человѣческаго разума противъ авторитета преданій и существующихъ учрежденій. Не смотря на то, правительство Наполеона смотритъ недоброжелательно на ревностныхъ католиковъ; ревностный католицизмъ есть все-таки сильное убѣжденіе, не смотря на всю свою ветхость и мертвенность; а сильное убѣжденіе всякаго рода не можетъ быть терпимо при томъ порядкѣ вещей, который господствуетъ въ современной Франціи; фанатики — все-таки люди беспокойные; они мѣшаютъ и противодѣйствуютъ развитію крайней централизаціи; какъ бы они ни были безтолковы, съ ними все-таки не такъ легко управляться, какъ съ людьми совершенно безличными и равнодушными вслѣдствіе своей посредственности. До свѣдѣнія министра внутреннихъ дѣлъ дошло извѣстіе, что въ департаментахъ распространяются стараніями



духовенства разныя брошюры, агитирующія въ пользу папы; тотчасъ къ префектамъ былъ разосланъ циркуляръ, въ которомъ напоминалось, что законъ запрещаетъ раздавать или продавать брошюры безъ разрѣшенія мѣстныхъ властей, и что нарушители этого правила подвергаются тюремному заключенію срокомъ отъ одного мѣсяца до полугода и денежному штрафу отъ 20 до 500 франковъ. Тонъ этого циркуляра даетъ замѣтить, что правительство не желаетъ давать спуска служителямъ церкви. «Въ этихъ случаяхъ, гласитъ окончаніе циркуляра, правительство должно будетъ на столько удалиться отъ своего обычнаго милосердія, на сколько это будетъ необходимо для укрощенія взволнованныхъ умовъ; поэтому я требую отъ васъ въ одно и то же время умѣренности и твердости!»

Обуздывая такимъ образомъ излишнюю ревность пастырей и служителей церкви, правительство въ то же время не допускаетъ, чтобы частныя лица высказывали печатно критическія замѣчанія о религіи, о церкви и о духовенствѣ. Процессъ Прудона, происходившій въ 1858 году, показываетъ ясно, что философская мысль свободна во Франціи на столько, на сколько она держится въ области чистыхъ отвлеченностей; вы можете разсуждать сколько вашей душѣ угодно о субъективности и объективности, объ идеальномъ и трансцендентальномъ, но если вы вздумаете съ философской точки зрѣнія посмотреть на существующую дѣйствительность, на осязательныя явленія и учрежденія, то вамъ тотчасъ же придется имѣть дѣло не съ литературными оппонентами, а съ императорскимъ прокуроромъ и мѣстнымъ трибуналомъ исправительной полиціи.

22 апрѣля 1858 года, въ Парижѣ, у братьевъ Гарнье поступила въ продажу книга Прудона: «О справедливости въ революціи и въ церкви», состоящая изъ трехъ томовъ и заключающая въ себѣ 1700 страницъ убористаго шрифта; 27 апрѣля полиція получила отъ императорскаго прокурора приказаніе остановить распространеніе этой книги; 28-го книга была захвачена въ полицію; 2 іюня судъ исправительной полиціи приговорилъ Прудона къ трехлѣтнему тюремному заключенію и къ уплатѣ штрафа въ 4000 франковъ; книгу его признали вредной и продажу ея запретили; издатель Гарнье и типографщикъ Бурдье также признаны виновными: перваго посадили въ тюрьму на одинъ мѣсяцъ, второго — на 15 дней; съ того и съ другого взыскали по 1000 франковъ штрафа. Но правительство этимъ не удовлетворилось; находя, что Гарнье недостаточно наказанъ, оно перенесло дѣло въ высшую инстанцію, которая приговорила подсудимаго къ четырехмѣсячному тюремному заключенію и къ штрафу въ 4000 франковъ.

Осужденные могли разсчитывать на поддержку общественнаго мнѣнія, которое вообще не распо-

ложено смотрѣть строго на политическія преступленія, и которое, по правдѣ сказать, не понимаетъ, чтобы та или другая мысль могла быть преступной; но правительство постаралось отрѣзать имъ удобнѣйшій путь къ сношенію съ обществомъ: органической декретъ запретилъ журналамъ печатать отчеты о процессахъ по дѣламъ печати; осужденнымъ оставался еще одинъ способъ: законъ 1819 года, не отмѣненный послѣдующими законодательствами, позволялъ подеудимому написать и напечатать защитительный мемуаръ. Текстъ закона говорилъ положительно, что напечатаніе этого мемуара не можетъ подать повода къ новымъ преслѣдованіямъ и нисколько не увеличиваетъ вины подсудимаго.

Прудонъ написалъ свою защиту, но парижскіе типографщики отказались печатать ее. «Правительство предупредило насъ, отвѣчали они ему, что все, что выходитъ изъ подъ вашего пера, опасно. Мы ничего не будемъ печатать для васъ безъ разрѣшенія прокурора». Прудонъ обратился тогда къ генеральному прокурору; онъ напомнилъ ему, что статья 23 закона 17 мая 1819 года дозволяетъ печатаніе записки безъ всякихъ стѣсненій, и просилъ его дать формальное свидѣтельство, удостоверяющее типографщика въ томъ, что для него не можетъ быть никакой опасности. Чтобы показать прокурору умѣренность своихъ требованій, Прудонъ соглашался даже напечатать свой мемуаръ въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ. Эта уступка не подвинула впередъ дѣла Прудона.

— Я вамъ не могу дать никакого свидѣтельства, отвѣчалъ ему прокуроръ; назначать вамъ количество экземпляровъ я также не имѣю права. У васъ есть ваше право, у насъ есть свое право. Поступайте, какъ знаете, принимая на себя рискъ и отвѣтственность.

Прудонъ готовъ былъ рисковать собою, но одной готовности было мало. Надо было найти типографщика, а въ Парижѣ не нашлось охотниковъ за чужое дѣло платить штрафъ и сидѣть въ тюрьмѣ.

Прудонъ напечаталъ свой мемуаръ въ Брюсселѣ, но это тоже не помогло. Его книжку не впустили во Францію, и приговоръ не былъ измѣненъ.

Дѣйствія французскаго правительства въ отношеніи къ Прудону находятся въ совершенной гармоніи съ порядкомъ вещей, водворившимся съ 1852 года. Удивляться нечему; негодовать смѣшно, потому что негодованіе ничего не разъясняетъ. Посмотримъ лучше, въ чемъ именно заключаются въ данномъ случаѣ отступленія правительства отъ законности. Два обстоятельства прежде всего бросаются въ глаза: во-первыхъ, книгу захватили черезъ пять дней послѣ ея поступленія въ продажу, во-вторыхъ, типографщикамъ запретили принимать отъ Прудона для напечатанія тотъ мемуаръ, который законъ



положительно позволяет обнародовать каждому гражданину, обвиненному за преступленіе или проступокъ, совершенный путемъ печати. Первое обстоятельство доказываетъ, что книга была захвачена по подозрѣнію, или вѣрнѣе, по предубѣжденію правительства противъ личности автора. Въ пять дней невозможно прочесть 1700 страницъ серьезнаго сочиненія, особенно если читатель имѣетъ добросовѣстное желаніе отдать себѣ отчетъ въ основной идеѣ книги и обсудить вліяніе этой идеи на умы согражданъ и современниковъ. Если же приказаніе захватить книгу Прудона было отдано тогда, когда еще убѣжденіе въ дѣйствительности ея вреднаго вліянія не могло составиться въ умѣ коронныхъ чиновниковъ, то очевидно, что правительство поступало съ Прудонъ не какъ съ гражданиномъ, заподозрѣннымъ въ преступленіи, а какъ съ личнымъ врагомъ.

Второе обстоятельство обнаруживаетъ намъ ту же самую непримиримую и притомъ трусливую ненависть правительства къ Прудону. У него отнимаютъ то средство, которое по закону предоставляется каждому подсудимому; всѣ мысли Прудона заранѣе объявляются опасными; правительство заранѣе предупреждаетъ типографчиковъ, чтобы потомъ, въ случаѣ появленія какой нибудь новой книги опаснаго писателя, имѣть возможность взыскать съ провинившагося типографщика вдвое строже, какъ съ чловѣка сознательно и преднамѣренно идущаго наперекоръ желаніямъ административной власти. Подвергая отвѣтственности типографщика, правительство фактически возстановляетъ предупредительную цензуру, и притомъ возстановляетъ ее въ самомъ тяжеломъ видѣ. Цензоръ, какъ чиновникъ отъ правительства, не имѣетъ права сказать писателю: я не хочу читать вашу рукопись, а типографщикъ всегда можетъ сказать: я не хочу печатать ваше сочиненіе, точно также, какъ всякій купецъ можетъ сказать, что не хочетъ продать вамъ тотъ или другой товаръ, точно также, какъ всякій домовладѣлецъ можетъ отказать вамъ въ квартирѣ. Конечно, съ другой стороны, цензоръ, поставленный отъ правительства, можетъ зачеркнуть всю представленную рукопись, но, поступая такимъ образомъ, онъ долженъ по крайней мѣрѣ найти объясненіе своему поступку; вѣдь нельзя же въ самомъ дѣлѣ сказать автору: «я запрещаю вашу статью, потому что ваша фамилія—Прудонъ». Въ благоустроенномъ государствѣ можно жаловаться на самоуправство чиновника, но жаловаться на типографщика, не желающаго принять отъ васъ заказъ—это все равно, что жаловаться на купца, съ которымъ вы не сошлись въ цѣнѣ товара. При существованіи предупредительной цензуры правительство Наполеона III могло бы значительно ослаблять дѣятельность Прудона; но совершенно запретить ему писать—это такой подвигъ, на

который оно можетъ быть не рѣшилось бы, боясь громкаго и смѣшнаго скандала. Когда же будутъ запуганы типографщики, тогда правительство можетъ запретить вамъ писать, ни сколько не компрометируя себя дѣйствіями рѣзкаго провозвѣла; стоитъ только оштрафовать двухъ, трехъ типографщиковъ — и ваша литературная дѣятельность окажется прерванной, потому что ни одинъ типографщикъ не захочетъ изъ за васъ раззоряться и сидѣть въ тюрьмѣ. Вы можетъ быть захотите открыть свою собственную типографію? Но вы забываете, что для этого надо взять патентъ отъ правительства, которое можетъ отказать вамъ, не выходя изъ предѣловъ закона.

Словомъ, если сравнивать между собою двѣ системы законовъ о печати — карательную и предупредительную, то безъ всякаго сомнѣнія надо будетъ отдать предпочтеніе карательной, но при этомъ надо будетъ замѣтить, что французское законодательство ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть названо карательнымъ.

Карательнымъ, по-настоящему, можетъ быть названо только такое законодательство, которое предоставляетъ каждому гражданину полную возможность писать и печатать что ему угодно, и потомъ взыскиваетъ съ него за нарушеніе извѣстныхъ правилъ. Когда отвѣтственность ограничивается личностями писателя и издателя, тогда законодательство остается еще карательнымъ, потому что издатель, какъ чловѣкъ, затрачивающій на книгу свой капиталъ и содѣйствующій такимъ образомъ предпріятію автора, можетъ быть признанъ его нравственнымъ соучастникомъ. Кто же, въ самомъ дѣлѣ, станетъ тратить свои деньги на неизвѣстное ему дѣло? Если же издатель знаетъ автора и характеръ его книги, то онъ можетъ быть названъ его единомышленникомъ. Издатель можетъ получить отъ продажи книги выгоду, слѣдовательно онъ можетъ дѣлить съ авторомъ опасности предпріятія. Взысканія съ издателей могутъ только уничтожить породу мелкихъ спекуляторовъ, издающихъ такіа книги, о которыхъ они сами не имѣютъ понятія. Слѣдовательно, налагая взысканія на издателей, законодательство не перестаетъ быть карательнымъ, потому что оно ничѣмъ не усложняетъ положеніе писателя, желающаго печатать свой трудъ. Если у писателя есть свободныя деньги, онъ самъ можетъ быть издателемъ; если у него нѣтъ денегъ, то онъ во всякомъ случаѣ долженъ обратиться къ другому лицу и поставить себя въ нѣкоторую зависимость отъ него; это другое лицо конечно разочтеть цѣну предпріятія и его возможныя выгоды; сдѣлавъ этотъ приблизительный расчетъ, оно рѣшится издавать или не издавать предлагаемую книгу; если это другое лицо откажетъ автору, то авторъ можетъ обратиться къ любому изъ своихъ знакомыхъ, имѣющихъ свободный



капиталъ и сочувствующихъ его предпріятію; каждый изъ этихъ знакомыхъ можетъ быть издателемъ, потому что на это не надо ни особеннаго разрѣшенія правительства, ни особеннаго заведенія. Но если бы напримѣръ только одни парижскіе трактирщики имѣли право издавать книги, или если бы человѣкъ, желающій издать книгу, долженъ былъ сначала попросить позволенія у правительства, тогда конечно законодательство перестало бы быть чисто карательнымъ, потому что тогда правительство имѣло бы возможность препятствовать обнародованію того или другого сочиненія; оно могло бы сдѣлать это, или запугивая извѣстнымъ образомъ парижскихъ трактирщиковъ, или же отказывая въ необходимомъ позволеніи тѣмъ людямъ, которые пожелаютъ сдѣлаться издателями.

Именно такъ и поступаетъ правительство съ типографщиками. Оно знаетъ, что типографщикъ получаетъ просто деньги за работу и что онъ, слѣдовательно, не заинтересованъ лично въ успѣхѣхъ книги; если бы на немъ не лежала отвѣтственность, то онъ печаталъ бы безъ разбору все, что ему заказываютъ, точно также, какъ напримѣръ оружейникъ продаетъ вамъ ружье или пистолетъ, не освѣдомляясь о томъ, какъ вы намѣрены пользоваться этими орудіями. Типографщикъ есть содержатель мастерской; онъ—исполнитель, не заинтересованный въ успѣхѣхъ предпріятія; какъ бы хорошо не пошла книга, онъ все-таки получитъ ту же условную плату, которую получилъ бы въ случаѣ совершенной неудачи; спрашивается, ради чего же типографщикъ рѣшится подвергать себя малѣйшему риску? Съ одной стороны, правительство представляетъ ему въ перспективѣ судъ, тюрьму и штрафъ; въ другой стороны, писатель и издатель предлагаютъ ему обыкновенную плату за трудъ. Всѣ выгоды типографщика побуждаютъ его разсмотрѣть очень внимательно, нѣтъ ли какой нибудь опасности? Если есть хоть тѣнь опасности, типографщикъ откажется отъ предлагаемой работы; такъ поступитъ и другой, и третій, и всѣ типографщики. Окажется, что писатель и издатель остаются съ своимъ отвлеченнымъ правомъ печатать все, что угодно. Книга остается ненапечатанной. А кто же помѣшалъ ея печатанію? Конечно не типографщики; типографщикамъ все равно, что ни печатать. Помѣшало правительство, которое грозитъ наказаніемъ не только писателю, не только людямъ, обнаруживающимъ нравственное сочувствіе его идеямъ, но и тѣмъ ремесленникамъ, которые приводятъ его идею въ исполненіе и работаютъ по его заказу. А если правительство мѣшаетъ напечатанію книги, то оно очевидно измѣняетъ чисто карательной системѣ.

Если подвергнуть взысканію типографщика, который ни душой, ни тѣломъ не участвуетъ въ

идеѣ автора, то отчего же не наказывать фабриканта бумаги, на которой напечатана вредная книга? Отчего не взыскивать съ cadaго отдѣльнаго наборщика? Отчего не судить переплетчика, брошюрующаго сочиненіе, несогласное съ видами правительства? Существеннаго различія нѣтъ между типографщикомъ и остальными ремесленниками, содѣйствующими сооруженію книги. Если взыскивать съ типографщика, то нѣтъ причины ограничиваться имъ однимъ. Эта непослѣдовательность французскаго законодательства объясняется именно тѣмъ, что правительство старается замаскировать карательными формами предупредительный элементъ своихъ дѣйствій. Правительство ненавидитъ самую свободу мысли; его тревожитъ самое безвредное проявленіе этой свободы; оно боится простыхъ выводовъ здравой логики, потому что его существованіе, его происхожденіе, его дѣйствія во всѣхъ отношеніяхъ противорѣчатъ этимъ простымъ выводамъ. Поэтому правительство желаетъ обузывать, а не наказывать. Ему важно, чтобы мысль не распространялась въ обществѣ, а не то, чтобы мыслитель посидѣлъ въ тюрьмѣ или заплатилъ штрафъ. Процессъ, тюрьма, штрафъ—все это лишняя огласка, все это нарушаетъ дремоту общества, которую правительство старается поддерживать во что бы то ни стало. Поэтому карательная система не удовлетворяетъ требованіямъ французскаго правительства. Возвратиться къ предупредительной системѣ оно какъ-то совѣстится; вѣроятно ему памятно то впечатлѣніе, которое постоянно производило на французское общество учрежденіе предупредительной цензуры; памятно и то обстоятельство, что Людовикъ-Филиппъ, вступая на престолъ, торжественно обѣщалъ націи, что цензура никогда не будетъ восстановлена.

Сочувствуя въ глубинѣ души предупредительной системѣ и между тѣмъ не рѣшаясь привести ее въ дѣйствіе, правительство Наполеона III изобрѣло какую-то смѣшанную систему, чрезвычайно удобную для администраціи и невыносимо тяжелую для писателей. Выгоды чисто карательной системы заключаются для писателей въ томъ, что они, рискуя или жертвуя собою, могутъ пустить въ ходъ самую смѣлую идею. Выгода чисто предупредительной системы заключается также для писателей въ томъ, что они, по настоящему, ни за что не отвѣчаютъ и ничѣмъ не рискуютъ. Система Наполеона отнимаетъ у писателей выгоды обѣихъ системъ; писатель за все отвѣчаетъ и, не смотря на то, ничего не можетъ провести въ общество помимо воли правительства. Было бы вовсе не удивительно, если бы французскіе писатели теперь попросили Наполеона учредить цензуру; тогда они по крайней мѣрѣ пользовались бы безнаказанностью и могли бы быть совершенно спо-



койны. Когда Прудонъ обратился къ генеральному прокурору съ просьбой о свидѣтельствѣ, удостовѣряющемъ типографщика въ отсутствіи опасности, когда онъ, чтобы получить это свидѣтельство, соглашался ограничить количество экземпляровъ, смотря по желанію прокурора, тогда Прудонъ очевидно желалъ, чтобы прокуроръ, оберегая и успокоивая типографщика, принялъ на себя ту роль, которую при существованіи предупредительной цензуры играетъ цензоръ. Прокуроръ, какъ мы видѣли, отказался отъ этой роли, онъ сказалъ Прудону, что умываетъ руки въ его дѣлѣ, и сочиненіе Прудона осталось ненапечатаннымъ. Значитъ, цензура типографіи запретила книгу, а между тѣмъ и авторъ, и издатель, и прежній типографщикъ попали подъ судъ, подъ штрафъ и въ тюрьму.

Все это вовсе не доказываетъ превосходства предупредительной системы надъ карательною. Наша литература до сихъ поръ находилась въ невыгодныхъ условіяхъ; это сознавали всѣ наши честные писатели; въ этомъ убѣдилось и правительство, рѣшившееся сдѣлать существенныя преобразованія въ нашемъ законодательствѣ о печати. Заявившись составленіемъ новыхъ правилъ, правительство пригласило литературу заявить свое мнѣніе и освѣтить по возможности вопросъ историческимъ и сравнительнымъ обзоромъ законовъ о печати, существующихъ въ другихъ образованныхъ государствахъ Европы. Настоящій очеркъ былъ вызванъ этимъ приглашеніемъ. Историческая часть моего обзора окончена; читатель имѣетъ понятіе о положеніи французской прессы въ настоящее время; утомлять его вниманіе перечнемъ предостереженій, пріостановокъ, запрещеній—я считаю излишнимъ: это не усилитъ впечатлѣнія; теперь остается только сдѣлать практическій выводъ; остается сказать, какъ я смотрю на исторію французскаго законодательства о печати, какимъ законамъ я сочувствую, какіе законы было бы пріятно видѣть у насъ въ Россіи и испытывать на самомъ себѣ. Я очень хорошо знаю, что мой практическій выводъ на самомъ дѣлѣ не можетъ имѣть никакого практическаго значенія, но я думаю, что каждый мыслящій и пишущій человекъ имѣетъ право сказать свое искреннее слово, когда рѣшается такое дѣло, отъ котораго будетъ зависѣть во многихъ отношеніяхъ развитіе нашей литературы и движеніе нашей мысли. Поэтому я буду говорить безъ утайки: изъ всѣхъ законовъ, смѣнившихся во Франціи со временъ первой реставраціи до нынѣшняго дня, нѣтъ ни одного такого, въ которомъ бы не скрывалась задняя мысль правительства, враждебная дѣйствительнымъ интересамъ національной мысли. Истинная терпимость остается совершенно неизвѣстною всѣмъ французскимъ правительствамъ, быстро слѣдовавшимъ другъ за другомъ. Каждое правительство наказываетъ лите-

ратора за его мысль; каждое правительство принимаетъ предосторожности противъ журналистики, какъ противъ враждебной партіи. Залоги и штемпельный сборъ придумываются для того, чтобы уменьшить число журналовъ, чтобы возвысить ихъ цѣну и чтобы по возможности не пропускать ихъ въ низшіе слои націи.

Распредѣленіе отвѣтственности между авторомъ, издателемъ, типографщикомъ и отвѣственнымъ редакторомъ (если дѣло идетъ о журналѣ) имѣетъ цѣлью запугать пишущихъ людей; въ основаніи всѣхъ этихъ учрежденій лежитъ глубокое недовѣріе къ литературѣ, а недовѣріе къ литературѣ равносильно недовѣрію ко всей мыслящей части націи. Изъ этого основного чувства развиваются всѣ стѣснительныя ухищренія, всѣ замысловатыя изобрѣтенія, всѣ систематическія искаженія существовавшихъ законовъ. Если правительство смотритъ на литературу, какъ на своего естественнаго и непримиримаго врага, тогда оно конечно извратитъ самыя разумныя законы и съумѣетъ уничтожить самыя непоколебимыя гарантіи. Если же правительство чувствуетъ себя способнымъ довѣриться честности писателей, если оно знаетъ, что здравый смыслъ и нравственное чувство читающей публики представляетъ самый надежный оплотъ противъ преднамѣренной клеветы или противъ легкомысленной болтовни писателей менѣе честныхъ или менѣе развитыхъ, тогда это правительство не нуждается въ особомъ законодательствѣ противъ печати. Во Франціи въ нынѣшнемъ столѣтіи не было такого правительства; за то втеченіи шестидесяти лѣтъ не было ни одного счастливаго года ни для народа, ни для правительства. Правительство и нація ненавидѣли и боялись другъ друга; вслѣдствіе этого техническая часть управленія доведена до виртуозности; въ законодательствѣ все предусмотрено; всѣ лазейки тщательно законопачены; вотъ почему французскіе законы печати могутъ показаться очень совершенными по своей внѣшней техникѣ. На самомъ же дѣлѣ это мнимое совершенство указываетъ только на крайнюю напряженность отношеній, господствовавшихъ между законодателями и націей. Правительство въ каждой частицѣ національной свободы видѣло только поводъ къ злоупотребленіямъ; нація въ каждомъ распоряженіи административной и законодательной власти видѣла только попытку отнять у нея какія нибудь права. Правительство съ боязливымъ вниманіемъ предусматривало и оговаривало всѣ возможные случаи нарушенія закона; каждому изъ этихъ нарушеній была назначена своя такса, по возможности высокая; каждый законъ о печати заключалъ въ себѣ подробный прейскурантъ преступленій и проступковъ. Нація поневолѣ должна была искать возможности ускользнуть отъ закона, вывер-



нуться изъ частыхъ петель этой юридической сѣти. Законы были такъ составлены, что остаться правымъ передъ ними и быть въ то же время честнымъ и умнымъ писателемъ было невозможно; оставалось только грѣшить и не попадаться, нарушать законъ и избѣгать наказанія.

Очень понятно, что такому неестественному дѣлу сочувствовать невозможно. Поэтому повторяю еще разъ, что насъ не удовлетворяетъ ни одна фаза французскаго законодательства по дѣламъ печати. Если же изъ многихъ золъ выбирать меньшее, тогда конечно придется отдать предпочтеніе законамъ 1819 года. По этимъ законамъ литературныя преступленія судились судомъ присяжныхъ: административныхъ мѣръ и вмѣшательства администраціи въ ходъ процесса не было; наказанія ограничивались штрафами и тюремными заключеніями; пріостановокъ и запрещеній не полагалось; залогъ считался необходимымъ для изданія журнала, и это обстоятельство было конечно важнымъ неудобствомъ и сильнымъ тормазомъ въ развитіи журналистики; требованіе залога оправдывается въ законѣ тѣмъ аргументомъ, что правительству необходимо обезпечить исправную плату налагаемыхъ штрафовъ. Этотъ аргументъ оказывается несостоятельнымъ предлогомъ; обезпеченіемъ для правительства можетъ служить личность редактора и весь основной фондъ журнала; кто приступаетъ къ изданію журнала, тотъ конечно имѣетъ капиталъ и самъ вмѣстѣ съ этимъ капиталомъ находится въ рукахъ правительства. Зачѣмъ же ослаблять еще этотъ капиталъ, отбирая часть его въ государственное казначейство? Отвѣтъ не заставитъ себя ждать: затѣмъ, чтобы только богатые люди, которые по самому своему положенію расположены быть консерваторами, могли предпринимать изданіе журнала. Въ требованіи залога проглядываетъ та глубокая неискренность французскаго правительства, которая проходитъ чрезъ всѣ его законодательныя мѣры, касающіяся прессы. Въ законахъ 1819 года есть такія черты, которымъ невозможно сочувствовать, но при всемъ томъ они оказываются сноснѣе предыдущихъ и послѣдующихъ положеній.

Къ сожалѣнію, эти идеи не долго продержались въ полной чистотѣ своей. Насильственная смерть герцога беррійскаго воскресила предупредительную цензуру, усилила мѣры строгости и увеличила количество преступленій и проступковъ, предусмотрѣнныхъ закономъ. Положеніе прессы сдѣлалось немного легче послѣ 1830 года; первое пятилѣтіе царствованія Людовика-Филиппа было можетъ быть самой свѣтлой полосой въ исторіи французской журналистики нынѣшняго столѣтія. Предупредительныхъ мѣръ не было; литературныя преступленія судились присяжными; коронные чиновники отличались, правда, особенной ревностью въ пре-

слѣдованіи отдѣльныхъ выраженій и непріязненныхъ тенденцій, но правительство не нарушало естественнаго хода правосудія; присяжные по совѣсти объявляли писателей виновными или невиновными; учрежденія были чисто карательныя, и правительство довольствовалось штрафами и тюремными заключеніями, не прибѣгая къ пріостановкамъ и запрещеніямъ. 1836 годъ ознаменованъ усиленіемъ строгости; залоговъ значительно повысились; штрафы и тюремныя заключенія возросли до громадной цифры; кромѣ того, судилища получили право пріостанавливать изданія на время до 4-хъ мѣсяцевъ. Какъ только явились пріостановки, такъ законодательство перестало быть чисто карательнымъ. Цѣль пріостановокъ заключается въ томъ, чтобы ослабить дѣйствіе журнала, который правительство признаетъ опаснымъ. Ослаблять дѣйствіе журнала—значитъ отнимать у его сотрудниковъ возможность высказать передъ читающимъ обществомъ свои идеи; отнимать у кого бы то ни было возможность высказываться, значитъ предупреждать то преступленіе, которое онъ можетъ сдѣлать, а не наказывать преступленіе уже сдѣланное. Если правительство опредѣляетъ за литературное преступленіе огромный штрафъ, тяжелое тюремное заключеніе, даже смертную казнь, то оно все еще остается въ предѣлахъ карательной системы; если же оно старается отнять у гражданина возможность писать и печатать, тогда оно начинаетъ предупреждать, и косвеннымъ образомъ возстановляетъ цензуру.

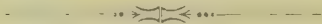
Революція 1848 года принесла печати очень мало пользы; свобода журналистики была очень непродолжительна; уже съ августа 1848 года возстановлены залогов; потомъ стѣсненія идутъ постоянно crescendo и наконецъ достигаютъ своего апогея въ началѣ 1852 года, въ день изданія знаменитаго органическаго декрета. Съ этой минуты нечего говорить о свободѣ печати во Франціи; пресса оказывается безусловно подчиненной благоусмотрѣнію полицейской власти; журналы пріостанавливаются и запрещаются, книги захватываются и конфискуются безъ суда; въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда правительство считаетъ нужнымъ для виду подвергнуть суду провинившагося литератора—его судятъ не присяжные, а коронные судьи. Стало быть, о гарантіяхъ для личности и собственности писателя нечего и толковать. Съ мыслителемъ, старающимся добратся до истины, обращаются во Франціи, по выраженію Прудона, какъ съ уличнымъ буяномъ, нарушающимъ общественный порядокъ. Его судятъ въ полицейскомъ судѣ, безъ присяжныхъ, безъ обнародованія процесса. Подвергаясь осужденію, онъ увлекаетъ за собою въ бѣду несчастнаго издателя и совершенно невиннаго типографщика. Терпя гоненіе за чужую мысль, издатель и типографщикъ



поневоѣ начинаютъ приматривать за писателемъ и останавливать тѣ произведенія идеи, которыя кажутся имъ черезъ-чуръ сильными для нашего извѣннаго вѣка. Знаменитый поэтъ, талантливый ученый, смѣлый публицистъ понадаютъ въ зависимость, подъ руководство двухъ лавочниковъ, не имѣющихъ понятія о томъ предметѣ, о которомъ говорится въ книгѣ. Читающая публика беретъ въ руки произведенія Эрнеста Ренана, Жана Мишле, П. Ж. Прудона и не знаетъ, что эти извѣстные ученые имѣли каждый по два невротическихъ и очень мало извѣстныхъ сотрудника. Это мѣсто надо смягчить, говорилъ какой нибудь книгопродавецъ Гарнье или Дидье; эта мысль слишкомъ смѣла, замѣчалъ типограф-

щикъ, котораго фамилію вѣроятно и не слыжала публика. Писатель пожимаетъ плечами, спорить, злиться, и все-таки уступаетъ; Ренанъ, Мишле. Прудонъ повинуются простому типографику и повинуются не въ выборѣ шрифта, а въ изложеніи своихъ любимыхъ идей, своихъ задуманныхъ убѣжденій.

Да, намъ не въ чемъ позавидовать французскимъ писателямъ. Заимствовать намъ что нибудь изъ теперешнихъ французскихъ законовъ о печати значило бы убить въ самомъ зародышѣ нашу формирующуюся мысль, нашу пробуждающуюся энергію, наши молодые силы, которыя мы съ радостью собираемся истратить для общаго блага нашихъ соотечественниковъ.





1863.

## ЗАРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ.

### I.

Исторія человѣчества представляетъ намъ безконечное разнообразіе лицъ и событій, идей и стремленій, политическихъ системъ и нравственныхъ переворотовъ. Подъ этимъ разнообразіемъ формъ кроются и медленно развиваются двѣ основныя потребности человѣка, двѣ такія потребности, безъ удовлетворенія которыхъ человѣкъ не могъ бы ни улучшать свое матеріальное и интеллектуальное положеніе, ни даже поддерживать брѣнное существованіе личности и породы. Первая изъ этихъ потребностей заключается въ томъ, что человѣкъ долженъ предохранять свое тѣло отъ разрушительныхъ вліяній окружающей природы; ему надо принимать пищу для того, чтобы вознаграждать неизбѣжную убыль своего организма; надо покрывать тѣло, чтобы сохранять въ немъ необходимое количество животной теплоты; надо оберегать это тѣло отъ слишкомъ быстрыхъ перемѣнъ температуры и отъ вреднаго дѣйствія сырости, зноя и холода; словомъ, человѣку необходимо завоевать себѣ на землѣ квартиру, столъ, одежду и разныя другія матеріальныя обезпеченія жизни. Но эта первая потребность можетъ быть удовлетворена только съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы такъ или иначе удовлетворялась другая потребность также чрезвычайно важная, хотя и не такъ рѣзко бросающаяся въ глаза. Эта вторая потребность состоитъ въ томъ, что человѣкъ долженъ сближаться съ человѣкомъ, помогать ему въ его предпріятіяхъ и въ свою очередь находить въ немъ естественнаго помощника и союзника. Двѣ основныя потребности человѣка удовлетворялись въ различной степени втеченіи

тѣхъ тысячелѣтій, о которыхъ сохранились лѣтописи или преданія; чѣмъ полнѣе удовлетворялись онѣ, тѣмъ удобнѣе жилось человѣку; чѣмъ сильнѣе, напротивъ того, увлекались люди посторонними цѣлями и искусственными интересами, тѣмъ мрачнѣе и тягостнѣе становилась участь огромнаго трудящагося большинства.

Лѣтописи и легенды наполнены рассказами о великихъ подвигахъ завоевателей. На равнинахъ Египта возвышаются до сихъ поръ колоссальныя пирамиды. Въ первомъ случаѣ мы видимъ, что густыя массы людей встрѣчаются съ другими густыми массами такихъ же людей, и что естественные союзники и помощники истребляютъ другъ друга съ особеннымъ удовольствіемъ. Во второмъ случаѣ мы видимъ, что люди борются съ внѣшней природой и побѣждаютъ страшныя трудности и препятствія для того, чтобы обтесать и сложить кучу камней, которая не даетъ имъ ни пищи, ни одежды, ни жилища.

Въ томъ и въ другомъ случаѣ дѣятельность людей очевидно идетъ въ разрѣзъ съ ихъ основными потребностями; но не смотря на то, эти самыя потребности, основанныя на великихъ и незыблемыхъ законахъ природы, даютъ себя чувствовать тѣмъ самымъ людямъ, которые дѣйствуютъ имъ наперекоръ. Во первыхъ, идея завоевателя и идея строителя пирамиды осуществляется не иначе, какъ при содѣйствіи многихъ людей, соединяющихъ свои усилія для достиженія одной общей цѣли. Стало-быть, потребность человѣка сближаться съ другимъ человѣкомъ остается въ полной силѣ. Во вторыхъ, воины завоевателя и каменщики строителя, не имѣя возможности добывать себѣ пищу собствен-



нымъ трудомъ, должны получать пищу, добытую другими людьми. Такимъ образомъ, другая потребность человѣка, потребность бороться съ окружающей природой и оспаривать у ней тѣ матеріалы, которые необходимы для поддержанія жизни, остается точно также въ полной силѣ. Ни военный гевій Александра Македонскаго, ни суровая воля египетскаго фараона Хеопса не могутъ ни на одно мгновеніе приостановить дѣйствіе великихъ законовъ природы. Цѣли того и другого, составляющія ихъ личную собственность, достигаются только въ томъ случаѣ, если соблюдаются законы природы; но такъ какъ эти цѣли сами по себѣ лежатъ внѣ естественныхъ потребностей человѣка, то преслѣдованіе и достиженіе этихъ и подобныхъ цѣлей несетъ съ собою неизбежное историческое возмездіе. Здоровыя силы людей, отвлеченныя отъ тѣхъ занятій, которыя доставляютъ имъ пищу, одежду и другія удобства жизни; силы, употребленныя на разореніе чужихъ земель или на сооруженіе безполезныхъ громадъ, оказываются потерянными въ общей экономіи человѣчества. Сооруженіе, произведенное этими силами, бесплодно; разореніе не вознаграждается никакимъ положительнымъ благомъ; работники, которые должны кормить война и каменщика, трудятся много и получаютъ лично для себя мало. Войны и каменщики съ своей стороны получаютъ только необходимое. Стало бытъ, все работаютъ до изнеможенія, все сближаются между собою безъ собственнаго желанія, все ѣдятъ плохо, одѣваются грязно и съ каждымъ годомъ становятся бѣднѣе и тупѣе.

Цѣлые ряды неопровержимыхъ историческихъ фактовъ показываютъ намъ самымъ нагляднымъ образомъ, что войны всегда оказывали гибельное вліяніе на побѣдителей и побѣжденных; наружное могущество завоевательной державы покупалось цѣною внутренней бѣдности, цѣною страданій и невѣжества народа-завоевателя; это могущество, основанное на неестественномъ напряженіи силъ, продолжалось обыкновенно не долго и оканчивалось такимъ паденіемъ, которое было тѣмъ глубже и тѣмъ полнѣе, чѣмъ значительно было сдѣланное напряженіе, и слѣдовательно чѣмъ величественнѣе было мимолетное проявленіе могущества. Что касается до пирамидъ, то будетъ достаточно сказать, что онѣ воздвигались трудами рабовъ и что жизнь этихъ рабовъ раточалась такъ же щедро, какъ раточалась ихъ дешевый трудъ.

Различныя видоизмѣненія войны и различныя проявленія рабства наполняютъ собою все странницы всемірной исторіи. Переходъ отъ одного вида войны къ другому и отъ одной формы рабства къ другой называется благозвучнымъ именемъ историческаго прогресса. И война, и рабство существуютъ до нашихъ временъ; война до сихъ поръ называется своимъ настоящимъ именемъ, а рабство въ большей части образованныхъ государствъ скрывается подъ другими формами и названіями, менѣе оскорбительными для просвѣщенныхъ и сострадательныхъ глазъ и ушей. Отчего произошли на свѣтъ война и рабство и отчего они благодѣствуютъ до нашихъ временъ—это такіе вопросы, которые не приходится рѣшать между прочимъ; поэтому для нашей цѣли будетъ достаточно обратить вниманіе читателя на то, что историческое развитіе человѣчества, находящееся до сихъ поръ подъ вліяніемъ войны и рабства, никогда не удовлетворяло вполне тѣмъ двумъ основнымъ потребностямъ, отъ которыхъ зависитъ счастье и совершенствованіе отдѣльныхъ личностей и цѣлыхъ народовъ. Разныя постороннія вліянія постоянно мѣшали человѣку посвящать все свои силы мирной и послѣдовательной борьбѣ съ окружающей природою; эти вліянія, происшедшія отъ неправильныхъ отношеній человѣка къ человѣку, самымъ фактомъ своего происхожденія и существованія, не позволяли людямъ сближаться между собою такъ, чтобы во всякое время находить другъ въ другѣ помощниковъ, сотрудниковъ и союзниковъ. Эти постороннія вліянія, не имѣющія ничего общаго съ законами природы, очень многочисленны и разнообразны въ каждомъ изъ новѣйшихъ обществъ. Ихъ такъ много, и они такъ перепутаны между собой, что совершенно закрываютъ отъ глазъ изслѣдователя дѣйствительную природу человѣка и настоящій смыслъ его необходимой борьбы съ предметами и силами окружающаго міра.

Находясь въ такомъ положеніи, изслѣдователь долженъ поступить такъ, какъ поступаетъ естествоиспытатель, замѣтившій, что изучаемое имъ явленіе подвергается вліянію нѣсколькихъ силъ, дѣйствующихъ по различнымъ направленіямъ. Естествоиспытатель устраняетъ все постороннія вліянія и наблюдаетъ явленіе въ его непосредственной чистотѣ; потомъ онъ даетъ въ своемъ опытѣ мѣсто одному изъ дѣйствовавшихъ прежде вліяній и замѣчаетъ видоизмѣненія, совершающіяся въ предметѣ изслѣдованія; затѣмъ



изучаются поодиночкѣ второе, третье вліяніе, и такъ далѣе, до послѣдняго; такимъ образомъ получается наконецъ общій выводъ, въ которомъ каждому вліянію отводится принадлежащее ему мѣсто. Конечно, естествоиспытатель имѣетъ передъ историкомъ то огромное преимущество, что онъ можетъ брать въ руки предметъ своего изслѣдованія и доказывать непосредственнымъ опытомъ свои положенія; онъ можетъ дѣйствительно изолировать изучаемое явленіе, между тѣмъ какъ историкъ принужденъ во всѣхъ подобныхъ случаяхъ ограничиваться разсужденіями, гипотезами и теоретическими выкладками. Но какъ ни плохи орудія историка въ сравненіи съ тѣми сложными снарядами, которыми располагаетъ натуралистъ, какъ ни гадательны выводы перваго въ сравненіи съ положительными знаніями послѣдняго, все-таки желаніе человѣка узнать что нибудь о прошедшей жизни своей породы, или обсудить какъ нибудь существующія бытовыя формы—такъ сильно, что оно всегда заставляетъ его забывать о несовершенствѣ орудій и о шаткости получаемыхъ выводовъ.

Я увѣренъ, что мои читатели интересуются общечеловѣческими вопросами, и потому надѣюсь, что они безъ особеннаго неудовольствія прочтутъ слѣдующіе очерки, излагающіе идеи извѣстнаго американскаго мыслителя Кэри (Cary) о значеніи и историческомъ развитіи человѣческаго труда. Чтобы не запутаться въ существующихъ бытовыхъ формахъ, составляющихъ болѣе или менѣе патологическія явленія, чтобы не принять этихъ явленій за естественныя отклоненія здоровой жизни, мы начнемъ съ чисто теоретическихъ разсужденій, а потомъ уже, принимая въ соображеніе одно вліяніе за другимъ, доберемся постепенно до дѣйствительныхъ фактовъ и до такихъ величественныхъ хроническихъ болѣзней, какова на примѣръ колоніальная политика, мануфактурная система и экономическая доктрина просвѣщенной и могущественной Англіи.

## II.

Изслѣдованія геологовъ надъ различными формациями земной коры и надъ остатками органическихъ тѣлъ, превратившихся въ окаменѣлости, доказываютъ неопровержимымъ образомъ, что человѣкъ появился на землѣ въ позднѣйшій періодъ ея образованія. Тысячи и можетъ быть милліоны лѣтъ прошли надъ нашей планетой, прежде чѣмъ органическая жизнь достигла того

разнообразія, той сложности и того совершенства, которыя проявляются въ высшихъ породахъ млекопитающихъ, т. е. въ обезьянахъ и въ человѣкѣ. Цѣлые геологическіе періоды отошли въ вѣчность; цѣлые могучіе виды растительности отжили свое время и, умирая, залегли подъ позднѣйшую почву громадными пластами каменнаго угля; своеобразныя породы животныхъ, господствовавшихъ въ первобытныхъ лѣсахъ и въ недосыгаемыхъ пучинахъ морей, уничтожились, оставивъ послѣ себя нѣсколько костей или даже просто отпечатки лапъ на мягкихъ известковыхъ породахъ; неисчислимыя милліоны микроскопическихъ моллюсковъ образовали изъ крошечныхъ обломковъ своихъ раковинъ цѣлые толстые слои мѣловыхъ формаций; море нѣсколько разъ перемѣнило свой бассейнъ; вулканическія поднятія земной коры взломали наслоенія почвы, выдвинули высокія и длинныя цѣпи горъ и создали скалистые острова среди необозримыхъ равнинъ океана; на развалинахъ многихъ исчезнувшихъ первобытныхъ міровъ появились новыя формы растительности; вмѣсто древовидныхъ хвоей и папоротниковъ каменноугольной эпохи возникли извѣстныя намъ породы лиственныхъ и хвойныхъ деревьевъ; климаты обозначились явственно, и могучія деревья дѣвственныхъ лѣсовъ захватили сырую почву, согрѣваемую отвѣсными лучами тропическаго солнца; за безобразными ящерами и крылатыми драконами, за колоссальными и неуклюжими мастодонтами и динотеріями послѣдовали разнообразныя породы травоядныхъ и плотоядныхъ животныхъ, составляющихъ въ настоящее время наши стада, или изощряющихъ искусство и храбрость нашихъ охотниковъ. Планета наша пришла въ то положеніе, въ которомъ она находится до нашихъ временъ, и эта планета сдѣлалась наконецъ жилищемъ человѣка. Насколько этотъ первобытный человѣкъ былъ похожъ на насъ складомъ тѣла, чертами лица, силой и подвижностью ума—этого конечно не можетъ разъяснить намъ никакое изслѣдованіе. Мы можемъ только предполагать, что человѣкъ прожилъ на землѣ много столѣтій, прежде нежели у него составились какія нибудь историческія преданія; даже языкъ и миеология—эти первыя проявленія чувства и мысли—не могли явиться готовыми и должны были, подобно всѣмъ произведеніямъ природы, развиваться и совершенствоваться мало по малу. Дурно владея орудіемъ слова, плохо справляясь съ впечатлѣніями вѣшняго міра, съ трудомъ



передавая ихъ другому и съ трудомъ понимая безсвязные звуки и неопредѣленные желанія этого другого, первобытный человѣкъ былъ вѣроятно очень несчастнымъ существомъ, если только мы позволимъ себѣ предположить, что онъ, по устройству своего тѣла, былъ похожъ на своихъ потомковъ. Будущій властелинъ природы, прямой предокъ какого нибудь Ньютона или Линнея, былъ самымъ жалкимъ рабомъ всѣхъ окружающихъ его предметовъ; у него не было ни естественнаго оружія, ни естественной защиты отъ суровой атмосферы, ни даже такого желудка, который могъ бы переваривать траву и листья. Онъ могъ совершенно справедливо завидовать и могучему медвѣдю, и покрытому шерстью барану, и пережевывающему буйволу. Что онъ перенесъ, сколько страданій ему пришлось испытать отъ голода, отъ холода, отъ другихъ животныхъ, начиная съ хищныхъ звѣрей и кончая лѣсными муравьями и москитами, сколько поколѣній измыкали свою жизнь въ тумѣ страха и безсильномъ отчаяніи—это все такіе вопросы, на которые откажется отвѣчать самое смѣлое воображеніе самага великаго поэта. Слабымъ отблескомъ этихъ доисторическихъ, или даже домиоическихъ страданій можно признать мрачный и кровавый характеръ всѣхъ первобытныхъ религій и богослуженій. Человѣческія жертвы, приносившіяся для умиловленія грозныхъ и всегда разгнѣванныхъ силъ природы, являются очевидно зловѣщимъ воспоминаніемъ о неравной и мучительной борьбѣ, перенесенной тѣми поколѣніями, среди которыхъ медленно, съ напряженіемъ и съ болью вырабатывались первые начатки языка и первые очерки религіозныхъ представленій.

Между тѣмъ эта природа, такъ безжалостно терзавшая своего новорожденнаго младшаго сына, была та самая мать-природа, которая составляетъ намъ въ избытокъ все необходимое, та самая природа, которая даетъ намъ всѣ средства къ наслажденію и которая въ добавокъ настраиваетъ лиры нашихъ сладкогласныхъ поэтовъ. Чего же не доставало первобытному человѣку? Недоставало бездѣлицы. Во-первыхъ, знанія этой природы. Во-вторыхъ, умѣнья сближаться съ подобнымъ себѣ человѣкомъ и находить себѣ въ немъ естественнаго союзника. На каждомъ пути первый шагъ обыкновенно оказывается самымъ труднымъ. Первое усиліе изобрѣтательнаго ума, проявившееся въ томъ, что человѣкъ вооружился какою нибудь деревянной дубиной, или по-

пробовалъ на какомъ нибудь бревнѣ переплыть черезъ небольшой ручей было можетъ быть самымъ удивительнымъ подвигомъ человѣчества, самымъ вѣрнымъ и блестящимъ предзнаменованіемъ будущей великой судьбы нашей породы.

Первая попытка къ сближенію человѣка съ человѣкомъ, попытка, выразившаяся какимъ нибудь безобразнымъ мычаніемъ, подергиваніемъ лицевыхъ мускуловъ и безпокойнымъ движеніемъ руки, была по всей вѣроятности важнѣе и плодотворнѣе по своимъ послѣдствіямъ, чѣмъ самыя удивительныя и сложныя комбинаціи позднѣйшихъ создателей римскаго права. Первые успѣхи людей въ практическомъ ознакомленіи съ силами и законами природы и въ создаваніи языка, какъ могучаго и незамѣнимаго орудія сближенія между собою, были конечно медленны и вялы; но за то каждый послѣдующій шагъ совершался легче и быстрѣе предыдущаго. Первые, полумиоическія преданія, открывающія собою исторію каждаго народа, застаютъ людей уже на очень высокой степени умственнаго развитія и матеріальнаго благосостоянія. Языкъ уже созданъ совершенно и примѣняется уже къ такимъ цѣлямъ, которыя не имѣютъ ничего общаго съ грубыми потребностями животной жизни. На языкѣ этомъ существуютъ уже пѣсни, космогоническіе миѳы и героическія эпопеи. Человѣкъ живетъ охотою и скотоводствомъ; онъ уже не боится дикихъ звѣрей; онъ самъ отыскиваетъ и преслѣдуетъ ихъ; у него есть оружіе; ему удалось покорить себѣ нѣкоторыя породы животныхъ и обратить ихъ въ прочную собственность. Наконецъ онъ дѣлаетъ то же самое съ растеніями; возникаетъ первобытное земледѣліе, которое даже въ самомъ грубомъ видѣ предполагаетъ очень обширныя знанія силъ и законовъ природы; чтобы сдѣлаться земледѣльцемъ, человѣку надобно, во-первыхъ, узнать, что зерна извѣстныхъ растеній заключаютъ въ себѣ питательное вещество; во-вторыхъ, надо узнать, что зерна, положенныя въ землю, производятъ новыя растенія; въ-третьихъ, надо узнать, на какой землѣ эти зерна могутъ дать ростокъ; далѣе, надо узнать, въ какое время года ихъ сѣять и когда убирать. Всѣ эти свѣдѣнія пріобрѣтаются только опытомъ и составляютъ рядъ удивительныхъ открытій, передъ которыми блѣднѣютъ паровыя машины и электрическіе телеграфы, составляющіе славу и гордость нашего вѣка.

Мы не знаемъ настоящей цѣны этимъ открытіямъ, потому что они съ незапамятныхъ вре-



мень составляютъ общее достояніе массъ; но если мы перенесемъ воображеніемъ къ тѣмъ вѣкамъ отдаленной древности, въ которыхъ открытія эти были сдѣланы, если мы представимъ себѣ, какъ бѣденъ былъ тогдашній человѣкъ опытами, знаніями, и слѣдовательно мыслями, то подобныя открытія покажутся намъ почти необъяснимыми чудесами и во всякомъ случаѣ чисто героическими подвигами младенческаго ума первобытнаго человѣка. Такіе подвиги могутъ быть воспроизведены только въ фантастической сказкѣ или въ эпической поэмѣ. На этомъ основаніи я принужденъ въ этихъ очеркахъ брать человѣка и его отношенія къ природѣ уже въ томъ моментѣ развитія, когда первыя труднѣйшія и величайшія открытія сдѣланы. Я всегда буду такимъ образомъ предполагать, что языкъ, какъ орудіе сближенія, уже созданъ, что прирученіе домашнихъ животныхъ уже совершено и что первые, важнѣйшіе начатки земледѣлія уже отысканы наблюдательнымъ умомъ древняго человѣка.

### III.

Между охотниками, пастухами и земледѣльцами первобытной эпохи часто происходятъ раздоры и драки. Эти зародыши будущихъ войнъ выдвигаютъ впередъ микроскопическихъ Цезарей и Наполеоновъ и вносятъ въ бытъ первобытныхъ людей такой элементъ, который не имѣетъ ничего общаго съ послѣдовательнымъ и правильнымъ развитіемъ труда.

Чтобы устранить изъ нашего изслѣдованія этотъ посторонній элементъ, мы должны изолировать одного изъ древнихъ земледѣльцевъ и поставить его въ исключительное положеніе. Мы желаемъ знать, что *должно было бы* произойти, если бы никакія постороннія препятствія не отвлекали человѣка отъ мирныхъ и плодотворныхъ побѣдъ надъ различными силами окружающей его природы. Для этого мы допустимъ предположеніе, что мужчина и женщина, владеющіе языкомъ, умѣющіе приручать нѣкоторыя породы животныхъ и усвоившіе себѣ элементарныя свѣдѣнія по земледѣлію, попали вмѣстѣ на необитаемый островъ, богатый всѣми дарами дѣвственной природы. Островъ великъ, плодородной земли много, и поселенцы могутъ завладѣть безпрепятственно тѣми мѣстами, которыя покажутся имъ особенно привольными. Къ сожалѣнію, эти привольныя мѣста, лежація въ долинахъ, по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, покры-

ты самой роскошной растительностью; въ одномъ изъ этихъ мѣстъ обиліе сырости образовало трясину, въ другомъ глубокій черноземъ поросъ колоссальнымъ дремучимъ лѣсомъ. Если бы поселенецъ могъ прорыть каналъ для отвода воды, или вырубить вѣковыя деревья, то осушенная и очищенная почва вознаградила бы его за трудъ обильнымъ урожаемъ. Но такой трудъ превышаетъ физическія силы отдѣльнаго человѣка. У этого человѣка нѣтъ такихъ орудій, которыя необходимы для подобныхъ работъ. Употребленіе металловъ еще не извѣстно нашему Робинзону. Онъ убиваетъ звѣря дубиной, сдираетъ съ него кожу острой раковинной, рѣжетъ его мясо на части острымъ кремнемъ. Тотъ же камень помогаетъ заострить палку; заостренный конецъ палки обжигается на легкомъ огнѣ, и обожженный колъ даетъ возможность вырывать въ рыхлой землѣ тѣ мелкія ямки, въ которыя онъ бросаетъ хлѣбныя зерна. Кусокъ остраго кремня, привязанный ремнемъ или лыкомъ къ палкѣ, образуетъ топоръ. Этимъ топоромъ можно переломить сухую хворостину; имъ можно пожалуй ушибить звѣря или врага, но имъ невозможно срубить большое дерево, точно такъ же какъ невозможно обожженнымъ коломъ вырыть каналъ. Чтобы расчистить одну десятину плодородной земли, поселенцу необходимо вырубить и стащить съ мѣста десятки, а можетъ быть и сотни большихъ деревьевъ; потомъ вырыть пни и освободить почву отъ множества валежника, отъ повалившихся и гниющихъ бревенъ; если бы поселенецъ осмѣлился взяться за такую работу, то отчаянная храбрость его ни въ какомъ случаѣ не увѣнчалась бы успѣхомъ; могучая растительность стала бы преслѣдовать его по пятамъ, заглушила бы его посѣвы и принудила бы его постоянно возобновлять одну и ту же бесплодную работу.

Очевидно стало быть, что первая попытка нашего колониста срубить первобытнымъ топоромъ колоссальное дерево покажетъ ему всю неразрѣшимость подобной задачи; спертый и сырой воздухъ, наполняющій собою мрачные своды дѣвственнаго лѣса, дастъ ему почувствовать непріятное ощущеніе лихорадочнаго озноба, и колонистъ поневолѣ пойдетъ искать для поселенія такого мѣста, на которомъ роскошная растительность не отнимала бы у него теплыхъ и живительныхъ лучей солнца и не мѣшала бы созрѣванію его скудныхъ посѣвовъ. Онъ найдетъ такое мѣсто на темени какого нибудь холма; тамъ



почва бѣднѣе, чѣмъ въ долинѣ, и эта бѣдность составляетъ въ глазахъ колониста достоинство, потому что она помѣшала лѣснымъ исполинамъ укорениться на этой площадкѣ. Съ мелкимъ кустарникомъ и съ сорными травами, покрывающими вершину холма, поселенецъ кое-какъ справляется; обожженный колѣдѣлаетъ своедѣло; площадка покрывается тощими колосьями, и хлѣбъ родится на первый разъ самъ-другъ; успѣхъ неблестящій, но прожить кое-какъ можно, если, не ограничиваясь земледѣліемъ, заниматься ловлей птицъ, охотой и собираніемъ лѣсныхъ плодовъ. Конечно богатая почва долинъ могла бы родить самъ-двадцать, но такъ какъ эта почва оказалась недоступной, то нашему Робинзону приходится смотрѣть на нее, какъ «Пери молодая» смотрѣла на потерянный рай.

Впрочемъ мы не должны думать, чтобы Робинзонъ чувствовалъ особенную нѣжность къ богатой почвѣ. Драгоценныя свойства этой почвы выражаются покуда во враждебномъ для него развитіи сырости и лѣсной растительности, а Робинзонъ, какъ плохой агрономъ и плохой мыслитель, по всей вѣроятности не воображаетъ себѣ, что современемъ эта самая почва будетъ давать его потомкамъ обильную жатву. Считая развитіе своихъ собственныхъ силъ вполне нормальнымъ и не пускаясь въ теорію историческаго прогресса, онъ конечно не можетъ себѣ представить, что его потомки будутъ обладать такими силами и такими тайнами природы, которыя сдѣлаютъ ихъ полными властителями окружающаго міра. Не предвидя великаго будущаго, Робинзонъ повинуетъ физической необходимости, поселяется на сухомъ холмѣ, и хлѣбъ родится у него самъ-другъ. Между тѣмъ семейство Робинзона увеличивается; подроставшія дѣти помогаютъ отцу и матери въ тѣхъ работахъ, которыя не превышаютъ дѣтскихъ силъ; потребности поселенія становятся значительнѣе, но вмѣстѣ съ тѣмъ возрастаютъ и силы; число умовъ увеличивается съ увеличеніемъ рабочихъ рукъ; и отецъ, и мать, и дѣти наталкиваются на разныя явленія природы, общиваются между собою опытами и наблюденіями, и, при содѣйствіи этихъ нехитрыхъ опытовъ, улучшаютъ по немногу свое матеріальное положеніе. Увеличеніе населенія имѣетъ конечно свои дурныя стороны; пяти человѣкамъ труднѣе жить въ мирѣ, чѣмъ двоимъ, на островѣ могутъ повториться тѣ же раздоры и драки, для избѣжанія которыхъ мы принуждены были увести Робинзона съ же-

ной въ тихое пристанище. Но чтобы подобные пассажи не путали нашихъ теоретическихъ выкладокъ, мы предположимъ разъ навсегда, что на нашемъ островѣ царствуетъ миръ и спокойствіе и что каждый изъ поселенцевъ пользуется плодами своего труда, не захватывая въ свою пользу труда слабѣйшаго сосѣда.

Я очень хорошо знаю, что подобное предположеніе не имѣетъ подъ собою исторической почвы — на самомъ дѣлѣ такъ не бываетъ ни на островахъ, ни на материкахъ, но я напоминаю читателю, что мы изучаемъ трудъ человѣка и выводимъ тѣ слѣдствія, которыя должны были бы получиться, если бы къ элементу труда не примѣшивались разныя неблагопріятности. Мы ставимъ человѣка лицомъ къ лицу съ природой и спрашиваемъ: кто долженъ побѣдить? Человѣкъ, или природа? Это вопросъ простой, и чтобы не усложнять его до поры до времени, мы должны постоянно отстранять всякія столкновенія человѣка съ человѣкомъ. Итакъ, мы предполагаемъ, что колонисты наши плодятся и множатся, и что цѣлыя столѣтія проходятъ надъ тихимъ пристанищемъ, принося съ собою увеличеніе потребностей и рабочихъ силъ, но не возбуждая въ людяхъ тѣхъ низкихъ страстей, которыя заставляютъ ихъ истреблять и грабить другъ друга. При такихъ условіяхъ благосостояніе поселенцевъ должно постоянно увеличиваться, и я постараюсь убѣдить въ этомъ читателя цѣлымъ рядомъ самыхъ правдоподобныхъ разсужденій.

На островѣ есть горы, а въ горахъ лежатъ жилы разныхъ металловъ. Эти жилы для Робинзона были мертвымъ капиталомъ, но какой нибудь нечаянный случай открываетъ его потомкамъ способъ извлекать изъ нихъ огромныя выгоды. Открытія въ древности производились не такъ, какъ они производятся въ наше время, когда существуютъ ученые изслѣдователи и практическіе технологи. Въ наше время ищутъ и находятъ, а въ древности на открытія натывались случайно; стало быть въ древности для произведенія открытія были необходимы два элемента: счастливый случай и смѣтливый глазъ человѣка, способнаго извлечь изъ даннаго случая пользу. Число этихъ двухъ элементовъ конечно увеличивается съ увеличеніемъ населенія. Чѣмъ больше людей, тѣмъ больше смѣтливыхъ глазъ и сообразительныхъ умовъ. Чего не случается съ однимъ, то можетъ случиться съ другимъ; чего не доглядитъ другой, то подмѣтитъ третій, чего не сообразитъ третій,



то осилить умомъ четвертый. Такъ или иначе, первый кусокъ мѣдной руды попалъ случайно въ огонь, и получилась какая-то красная масса, которая конечно изумила и, какъ новинка, обрадовала колонистовъ. Кому нибудь пришло въ голову испытать крѣпость новаго тѣла; оказалось, что оно можетъ замѣнить кремнь и жженое дерево; земледѣльческія орудія значительно усовершенствовались; явилась возможность глубже взрывать землю и съ меньшимъ трудомъ рубить небольшія деревья; поля колонистовъ расширились и урожанъ сдѣлался обильнѣе, во-первыхъ, отъ этого расширенія, во-вторыхъ—отъ улучшеній въ обработкѣ земли. Ободренные этимъ успѣхомъ, колонисты, уже не дожидаясь новаго случая, пробуютъ дѣйствіе огня надъ разными кусками земли и камня. Послѣ многихъ безплодныхъ попытокъ, они натыкаются на оловянную руду; пробуютъ смѣшать олово съ мѣдью: смѣсь оказывается крѣпче чистой мѣди и производитъ новое усовершенствованіе орудій: съ увеличеніемъ матеріала улучшается вѣроятнo и форма инструментовъ, потому что работники, разумѣется, соображаются съ указаніями возрастающаго опыта.

Наконецъ добираются и до желѣза; можетъ быть желѣзная руда попадалась раньше, но ею не умѣли пользоваться прежніе колонисты; не было ни той опытности, ни тѣхъ орудій, которыя необходимы для добыванія иковки желѣза; теперь же, когда есть люди, привыкшіе обращаться съ мѣдью и съ оловомъ, когда есть мѣдныя лопаты и мѣдные молотки, теперь и желѣзная руда должна уступить усиліямъ человѣка; и вотъ новый металлъ снова производитъ благодѣтельный переворотъ во всѣхъ отрасляхъ производства. Каждый успѣхъ является такимъ образомъ переходной ступенью къ дальнѣйшимъ и притомъ болѣе важнымъ успѣхамъ. Желѣзными орудіями колонисты взрываютъ землю такъ глубоко, что добираются до слоевъ другого состава: подъ песчанымъ грунтомъ они находятъ мергель, подъ глинистой почвой известковую землю. Смѣшеніе двухъ слоевъ между собою значительно увеличиваетъ производительность земли. Хлѣбопашцы замѣчаютъ это и придумываютъ такія орудія, которыя даютъ имъ возможность нахать гораздо глубже, чѣмъ пахали ихъ предки. Обожженный колъ давно уже замѣнился заступомъ; теперь заступъ въ свою очередь уступаетъ мѣсто сохѣ и плугу; эти новыя орудія по своей тяжести изнурительны для человѣка, и ему при-

ходить въ голову воспользоваться силами вола или лошади. Это новое усовершенствованіе значительно ускоряетъ работу, которая вмѣстѣ съ тѣмъ становится легче для человѣка и плодотворнѣе по своимъ результатамъ. Времени и мускульной силы тратится меньше, а нини получается больше. Теперь можно безъ особенной опасности предпринять нашествіе на тѣ части острова, въ которыхъ при жизни стараго Робинзона деспотически господствовала могучая лѣсная растительность. Теперь лютей много, у каждаго есть въ рукахъ желѣзный топоръ, и за каждымъ слѣдуютъ вьючныя животныя, которыя немедленно выволокутъ срубленные деревья гнущія бревна и бучи валежника. Пользуясь услугами вьючныхъ животныхъ, поселенны замѣчаютъ, что этимъ животнымъ легче тащить такія тѣла, которыя катятся по землѣ, чѣмъ такия, которыя производятъ сильное треніе. Путь постепенныхъ усовершенствованій, они доходятъ до изобрѣтенія телеги, значительно сберегающей силы вола или лошади. Влѣтъ желѣзными орудіями и перевозочными средствами, потомки Робинзона во-первыхъ успѣваютъ расчистить и распахать лѣкоторыя части тучной почвы, лежащей по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, и во-вторыхъ получаютъ возможность воспользоваться срубленными большими деревьями для различныхъ построекъ. Тучная почва даетъ обильный урожай, а крѣпкіе бревенчатые срубы доставляютъ множество удобствъ и выгодъ. Жилище родоначальника колоніи было похоже на логовище медвѣдя; Робинзонъ принужденъ былъ довольствоваться простой пещерой, гдѣ ему приходилось сидѣть въ темнотѣ, или задышаться отъ дыма, когда холодъ заставлялъ его разводить огонь. Черезъ нѣсколько времени ему удалось вмѣстѣ съ сыновьями сплести изъ хвороста шалашъ, служившій плохой защитой отъ дождя, вѣтра, холода и зноя; потомъ онъ воспользовался тѣми бревнами и сучьями, которые валялись въ лѣсу и сгородилъ изъ нихъ съ большимъ трудомъ очень безобразную и неудобную хижину, въ которой было что-то подобное двери, но въ которой нельзя было найти ни окна, ни дымовой трубы. Темнота, дымъ и грязь продолжали преслѣдовать семью колонистовъ. Открытіе металловъ было во всѣхъ отношеніяхъ поворотнымъ пунктомъ въ ихъ образѣ жизни. Явилась возможность рубить большія деревья и распиливать ихъ на доски; возникло умѣнье выкалывать изъ каменной горы большія глыбы и об-



тесывать ихъ такъ, чтобы онѣ могли держаться одна на другой; при ближайшемъ знакомствѣ съ свойствами различныхъ пластовъ земли, поселенцы замѣтили, что глина очень легко принимаетъ въ жидкомъ видѣ всевозможныя формы, и потомъ твердѣетъ, подвергаясь дѣйствию солнечныхъ лучей. Въ избѣ, построенной изъ бревенъ, является тогда досчатый полъ, окно, заставляющееся досками, и печка, сложенная изъ камня и смазанная глиной. Здоровье поселенцевъ значительно улучшается, потому что имъ не приходится страдать ни отъ дыму, ни отъ холода, ни отъ грязнаго землянаго пола; кромѣ того оказываются значительный выигрышъ времени, потому что представляется возможность работать въ избѣ, въ которой перестаетъ царствовать вѣчная темнота.

Позабывшись о себѣ, поселенцы заботятся о своемъ домашнемъ и рабочемъ скотѣ. Въ былое время свиньи, быки и овцы жили у нихъ подъ открытымъ небомъ и круглый годъ находились на подножномъ корму; въ холодное время года пещера колониста превращалась въ Ноевъ ковчегъ, потому что все животныя загонялись въ это первобытное жилище и тамъ согрѣвали другъ друга собственной теплотой. Когда процессъ строенія значительно облегчился улучшеніемъ орудій, когда вмѣстѣ съ увеличеніемъ силъ произошло усложненіе потребностей и вкусовъ, тогда непосредственная близость самыхъ полезныхъ животныхъ потеряла въ глазахъ колонистовъ всякую прелесть. Люди и животныя разлучились, къ обоюдной выгодѣ тѣхъ и другихъ. Появились скотные дворы и закутки; уходъ за скотомъ улучшился; количество добываемаго молока и мяса увеличилось, и порода скота стала замѣтно совершенствоваться.

#### IV.

Столѣтія прошли надъ тихимъ пристанищемъ нашего Робинзона; въ его размножившемся потомствѣ живутъ уже одни темныя преданія о тѣхъ далекихъ временахъ, когда родоначальникъ ихъ поселился на островѣ; молодому поколѣнію кажутся уже совершенно неправдоподобными рассказы о лишеніяхъ и страданіяхъ, выдержанныхъ первыми поселенцами. Въ самомъ дѣлѣ трудно повѣрить. Ихъ было только двое; въ ихъ распоряженіи находился цѣлый островъ, обширный и богатый, а между тѣмъ они часто терпѣли нужду, и съ трудомъ спасались отъ голодной смерти. Теперь колонисты считаются тысячами,

островъ не увеличился въ объемѣ ни на одинъ вершокъ, а между тѣмъ все хорошо одѣты и живутъ припѣваячи. Ясно, что такая благотворительная перемѣна произошла именно потому, что ихъ теперь много, и что эти многіе являются прямыми и законными наслѣдниками всей массы вѣкового опыта, набраннаго предками и купленнаго дорогою цѣной прошедшихъ трудовъ и страданій. Каждое послѣдующее поколѣніе оказывается многозначительнѣе предыдущаго, живетъ богаче и придумываетъ новыя техническія улучшенія, которыя позволяютъ ему добывать больше пищи и одежды съ меньшимъ напряженіемъ мускуловъ и съ меньшей тратой времени. Открывается возможность пользоваться для промышленныхъ цѣлей великими естественными силами воды, вѣтра и наконецъ пара. Въ былое время хлѣбныя зерна растирались между двумя камнями, приводимыми въ движеніе руками человѣка. Эта работа была утомительна, и мука получалась плохая, потому что многія зерна оставались полураздавленными. Вслѣдъ за тѣмъ было найдено средство замѣнить трудъ человѣка трудомъ лошади или вола. Работа пошла быстрѣе, и мука улучшилась. Потомъ, когда практическая механика сдѣлала значительные успѣхи, превращеніе зеренъ въ муку было поручено водѣ и вѣтру, такимъ работникамъ, которые не требуютъ пищи и которыхъ могущество неизмѣримо велико въ сравненіи съ ограниченными и быстро устающими силами человѣка, лошади и вола. Такимъ образомъ произошло громадное сбереженіе труда и времени, а между тѣмъ количество производимаго продукта значительно увеличилось, и въ такой же степени повысилось его качество.

То же самое произошло въ тѣхъ отрасляхъ производства, которыя относятся къ приготовленію одежды. Одежда Робинзона состояла изъ звѣриной кожи, наброшенной на плеча. Такъ какъ первобытному поселенцу рѣдко случалось убивать такого большого звѣря, шкура котораго могла бы служить для человѣка достаточной защитой отъ воздуха, то конечно одежда считалась большою рѣдкостью и очень неудовлетворительно исполняла свое назначеніе. Рѣдкость большихъ шкуръ навела на мысль связывать ремешками маленькія шкурки; когда у Робинзона развелись домашнія животныя, то конечно добываніе шкуръ значительно облегчилось; вмѣсто связыванія шкуръ явилось сшиваніе; вмѣсто иголки употреблялась какая нибудь острая кость, а вмѣсто нитокъ—тонкіе ремешки, тонкія жилы,



или струны, скрученные изъ кишечной кожи. Счастливая мысль сучить нитки изъ животной шерсти и растительныхъ волоконъ повела за собою многочисленныя улучшенія; возникло прядильное искусство, изъ котораго въ свою очередь развилось производство тканей. Затѣмъ явились механическія усовершенствованія орудій; простое веретено замѣнилось самопрядкой, и первобытный ткацкій станокъ испыталъ значительныя превращенія. Наконецъ сила пара, приложенная къ этой отрасли производства, довела выработываніе тканей до изумительной легкости и быстроты.

Мы знаемъ, что всѣ эти открытія и усовершенствованія были произведены въ дѣйствительности, но мы можемъ кромѣ того доказать, что они неизбѣжно должны были быть произведены. Въ нихъ нѣтъ ничего случайнаго, и они нисколько не зависятъ отъ личныхъ свойствъ тѣхъ людей, которые сдѣлали ихъ достояніемъ человѣчества. Мы считаемъ этихъ людей благодѣтелями нашей породы и чувствуемъ къ нимъ признательность по тому же самому свойству нашей натуры, по которому мы кидаемся на шею къ человѣку, сообщающему намъ очень радостное извѣстіе. На самомъ же дѣлѣ свойства вещества, подмѣченные изобрѣтателемъ, такъ же мало зависятъ отъ его воли, какъ мало зависятъ счастливое событіе отъ человѣка, передающаго радостное извѣстіе. Эти свойства вещества только потому оставались неизвѣстными, что большинство людей поглощено механической работой, а наблюдать и размышлять, трудиться и осмысливать свой трудъ могутъ только немногія единицы; эти единицы одарены сильнымъ умомъ, но ихъ такъ мало не отъ того, что на извѣстную полосу земли отпускается такое количество ума, а отъ того, что отпускаемое количество расходуетъ самымъ нерасчетливымъ образомъ. Умные и полезные люди составляютъ рѣдкія исключенія, между тѣмъ какъ они должны были бы составлять правило.

Я не намѣренъ отнимать у великихъ гениевъ ни одного вершка ихъ роста, но съ полнымъ убѣжденіемъ выражаю ту мысль, что они стоятъ такъ неизмѣримо высоко надъ общимъ уровнемъ человѣчества только потому, что неблагоприятныя обстоятельства довели этотъ общій уровень до неестественно низкой степени. Великая, богатая и могучая природа человѣка, совершившая въ своемъ славномъ младенствѣ столько героическихъ умственныхъ подвиговъ въ дѣлѣ завоеванія внѣшней природы, истощается и уродуется

именно тѣми условіями жизни, которыя представляютъ жалкія и пагубныя уклоненія отъ великаго дѣла производительнаго и постоянно расширяющагося труда. Намъ часто случается слышать панегирики замѣчательнымъ открытіямъ нашего вѣка; конечно хорошо, что открытія эти сдѣланы; но удивляться тутъ нечему; скорѣе слѣдовало бы подивиться тому, что они сдѣланы такъ поздно;—тому, что мы до сихъ поръ такъ мало знаемъ природу;—тому, что земледѣліе, извѣстное человѣку съ незапамятныхъ временъ, только въ послѣднее столѣтіе, въ немногихъ уголкахъ Европы начало пользоваться указаніями осмысленнаго опыта.

Если бы Шекспиръ не написалъ «Отелло» или «Макбета», то конечно трагедіи «Отелло» и «Макбета» не существовали бы, но тѣ чувства и страсти человѣческой природы, которыя разоблачаютъ намъ эти трагедіи, несомнѣнно были бы извѣстны людямъ какъ изъ жизни, такъ и изъ другихъ литературныхъ произведеній, и притомъ были бы извѣстны такъ же хорошо, какъ они извѣстны намъ теперь. Шекспиръ придалъ этимъ чувствамъ и страстямъ только индивидуальную форму; но машина или законъ природы не могутъ имѣть индивидуальной формы. Изъ двухъ различныхъ машинъ, построенныхъ для одной и той же цѣли, одна непременно будетъ удобнѣе другой и слѣдовательно вытѣснитъ изъ употребленія другую. Изъ двухъ различныхъ объясненій явленія природы, одно будетъ непременно ложнымъ, и слѣдовательно рано или поздно будетъ отвергнуто. Въ дѣлѣ изученія и завоеванія природы нѣтъ мѣста личному произволу; тутъ нельзя изобрѣтать, надо только наблюдать и понимать, пользоваться отъ вѣка существующими силами и разгадывать отъ вѣка существующую связь причинъ и слѣдствій. Открытіе есть встрѣча между вѣчнымъ явленіемъ и вѣчнымъ умомъ человѣчества. Встрѣча эта неизбѣжна, но она можетъ совершиться раньше или позднѣе, смотря по тому, много или мало отдѣльныхъ человѣческихъ умовъ стоятъ на извѣстной высотѣ развитія и предаются плодотворному дѣлу труда и наблюденія. Если бы Уаттъ не открылъ двигательной силы пара, то ее непременно открылъ бы кто нибудь другой, потому что эта сила существовала въ доисторическія времена и будетъ существовать на нашей планетѣ до тѣхъ поръ, пока не изсякнетъ послѣдняя лужа воды и не уничтожится послѣдній лучъ теплоты. Эту силу открыли въ XVIII столѣтіи, а не раньше, только



потому, что чѣмъ дальше мы будемъ забираться въ древность, тѣмъ сильнѣе будутъ проявляться элементы враждебныя труду, и слѣдовательно тѣмъ рѣже будутъ становиться шансы для счастливыхъ и плодотворныхъ встрѣчъ между явленіемъ природы и наблюдательнымъ умомъ человѣка.

Мы въ нашей гипотезѣ устранили съ Тихаго Пристанища всѣ элементы, враждебные труду и ассоціаціи; поэтому мы имѣемъ полное право утверждать, что на островѣ Робинзона весь ходъ неизбѣжныхъ открытій и совершенствованій будетъ несравненно быстрѣе, чѣмъ гдѣ либо въ дѣйствительности. Чтобы историческимъ фактомъ доказать читателю неизбѣжность главныхъ практическихъ открытій и независимость ихъ отъ отдѣльныхъ личностей, я напому ему только ту извѣстную истину, что китайцы совершенно самостоятельнымъ путемъ дошли почти до всѣхъ техническихъ усовершенствованій, которыми гордится теперь европейская цивилизація. Если мы предположимъ, что Тихое Пристанище продолжало бы жить до нашихъ временъ своею мирною и разумною жизнью, то мы совершенно послѣдовательно принуждены будемъ допустить, что жителямъ счастливаго острова извѣстны такія свойства природы и такія техническія комбинаціи, о которыхъ не имѣетъ понятія ни одна изъ передовыхъ странъ Европы. Мы конечно знаемъ, что мы далеко еще не достигли предѣловъ естествознанія, но этого мало: мы теперь не можемъ и не имѣемъ также права сказать, что этому знанію существуютъ какіе нибудь предѣлы; мы не имѣемъ также права утверждать, что силы природы когда нибудь могутъ быть исчерпаны или истощены. Напротивъ, оглядываясь назадъ на поприще, пройденное человѣчествомъ, и потомъ видя впереди необозримую и безпредѣльную даль, мы имѣемъ полное основаніе думать, что наша порода вѣчно могла бы съ каждымъ поколѣніемъ становиться могущественнѣе, богаче, умнѣе и счастливѣе, если бы только не мѣшали этому развитію безконечныя и разнообразныя междоусобицы распри, поглощающія и истощающія лучшую и значительнѣйшую часть великихъ и прекрасныхъ способностей человѣческаго тѣла и человѣческаго ума. Природа человѣка всегда была такъ же способна къ безпредѣльному развитію, какъ природа, окружающая человѣка, всегда была способна къ безконечному разнообразію видоизмѣненій и комбинацій; но человѣкъ не могъ сразу понять ни себя, ни природу; онъ и до сихъ поръ понимаетъ

невѣрно и неполно какъ самого себя, такъ и тѣ бытовыя условія, при которыхъ дѣятельность его можетъ быть плодотворна, развитіе—быстро и успѣшно, и счастье—по возможности совершенно. Изъ этого неполнаго и невѣрнаго пониманія, какъ изъ вѣчно открытаго ящика Пандоры, сыпятся и льются роковыя ошибки, и только въ этихъ ошибкахъ заключаются причины всякой бѣдности и всякихъ страданій.

#### У.

Многія причины заставляли Робинзона довольствоваться тѣми скудными жатвами, которыя давали ему участки тощей и сухой почвы, лежавшей по вершинамъ холмовъ. Тучная почва долины была занята вѣковымъ лѣсомъ, котораго одинокій и несвѣдущій колонистъ не могъ вырубить; она была покрыта болотами, которыхъ онъ не могъ осушить. Кромѣ того Робинзонъ не умѣлъ пахать ту почву, которая была ему по силамъ; минеральныя частицы различныхъ слоевъ не смѣшивались между собою; песокъ и мергель, суглинокъ и известь оставались несоединенными, и вслѣдствіе этого земля развѣвывала только самую незначительную долю своихъ производительныхъ силъ. Скотъ Робинзона бродилъ по волѣ и пометъ его пропадалъ даромъ, тѣмъ болѣе что первобытный агрономъ по всей вѣроятности не зналъ его драгоценныхъ свойствъ. Всѣ эти причины бѣдности были постепенно устранены когда населеніе увеличилось и обогатилось опытными знаніями. Рубка лѣсовъ и осушеніе болотъ посредствомъ каналовъ открыли позднѣйшимъ колонистамъ путь въ роскошныя долины; вмѣстѣ съ тѣмъ, усовершенствованіе земледѣльческихъ орудій и введеніе рациональнаго скотоводства дало имъ возможность распашать и удобрить тѣ участки сухой почвы, которыя ихъ предки царапали обожженными колыями. Переходъ отъ бѣдной почвы къ богатой совершился такимъ образомъ съ увеличеніемъ числа рабочихъ рукъ и съ улучшеніемъ средствъ обработки. Такой переходъ самъ по себѣ въ высшей степени правдоподобенъ, но намъ нѣтъ надобности считать его только правдоподобнымъ; мы можемъ подтвердить его всѣми дѣйствительными фактами заселеній, совершавшихся на глазахъ исторіи.

Колонизація Сѣверо-Американскихъ Штатовъ была произведена такъ недавно, что каждый шагъ поселенцевъ на новомъ материкѣ можетъ быть указанъ, какъ въ историческихъ свидѣ-



тельстввахъ, такъ и на самой почвѣ. Первая англійская колонія Плимутъ была основана въ штатѣ Массачусетъ, на песчаной прибрежной почвѣ. Весь Массачусетъ отличается топкимъ грунтомъ, но пуритане, селившіеся на скалистыхъ холмахъ, выбирали самыя бѣдныя части этого тощаго грунта. Въ штатѣ Нью-Йоркѣ старая желѣзная дорога идетъ по возвышенностямъ, на которыхъ лежатъ деревни и мѣстечки первыхъ поселенцевъ; напротивъ того, новая желѣзная дорога прямою линіей прорѣзываетъ богатѣйшія долины штата, которыя до сихъ поръ остаются неосушенными и невоздѣланными. Плодороднѣйшія земли Пенсильваніи долгое время считались совершенно неудобными, потому что сырой и болотистый воздухъ преслѣдовалъ поселенцевъ періодическими лихорадками. Въ Нью-Джерси квакеры основали свои первые поселенія на песчаныхъ холмахъ, поросшихъ жидкими сосновыми рощами, а потомки ихъ оставили эти мѣста, когда имъ удалось вырубить дубовые лѣса, покрывавшіе тучный грунтъ, и осушить тѣ низменности, на которыхъ росъ бѣлый кедръ. Въ штатѣ Огайо, въ самомъ началѣ, сухія земли холмовъ были гораздо дороже долинъ и рѣчныхъ береговъ, на которыхъ никто не хотѣлъ селиться; по берегамъ Сускеганны цѣлыя сотни акровъ передавались изъ рукъ въ руки за одинъ долларъ, или даже за кружку водки; теперь эти земли возвысились въ цѣнѣ, а холмы, напротивъ того, оставлены и заброшены. Въ Висконсинѣ богатѣйшая земля штата называлась «мокрыми лугами» и составляла ужасъ первыхъ поселенцевъ; теперь эти «мокрые луга» высушены безъ всякихъ гидравлическихъ сооружений; ихъ просто каждый годъ косили и вытравливали рогатымъ скотомъ; солнце и воздухъ вытянули излишекъ воды, и земледѣлецъ получилъ возможность воспользоваться толстѣйшими слоями превосходнаго чернозема. По берегамъ рѣки Миссисипи, ниже того мѣста, гдѣ она принимаетъ въ себя рѣку Огайо, лежатъ милліоны акровъ богатѣйшей почвы, которая до сихъ поръ остается нетронутою и сохраняетъ зловѣщее названіе трясины (Swamp). Эта обширная мѣстность покрыта лѣсомъ и камышами, и наполнена цѣлыми озерами стоячей и гніющей воды, которая, содѣйствуя развитію разнообразной растительности, заражаетъ воздухъ самыми вредными міазмами. Разливы Миссисипи затопляютъ въ обѣ стороны огромныя полосы земли и, увеличивая ея пло-

дородіе осадками ила, поддерживаютъ тотъ избытокъ сырости, который отражаетъ завоевательныя попытки самыхъ смѣлыхъ колонистовъ. Трясина только тогда перестанетъ быть трясиной, когда большіе каналы спустятъ громадныя лужи стоячей воды, и когда высокія плотины положатъ предѣлъ разрушительнымъ шалостямъ рѣки. Подобныя сооруженія могли быть выполнены только многочисленнымъ и предпріимчивымъ населеніемъ. Они далеко превышали силы мѣстныхъ плантаторовъ, считавшихъ рабство и земледѣльческую рутину краеугольными камнями своего личнаго и общественнаго благосостоянія. На этомъ основаніи, въ трясинѣ господствовали исключительно охогники, рыбаки и дровосѣки—люди бѣдные, полудикіе, привыкшіе къ ежедневнымъ опасностямъ и небожавшіе ни лѣсныхъ звѣрей, ни болотныхъ испареній. По теченію рѣкъ Миссури, Кентукки, Теннесси и Красной мы постоянно замѣчаемъ однородныя явленія: чѣмъ гуще населеніе, чѣмъ значительнѣе накопленіе богатства, тѣмъ ближе подступаютъ земледѣльцы къ береговымъ низменностямъ; чѣмъ рѣже и бѣднѣе становится населеніе, тѣмъ исключительно сосредоточивается хлѣбопашество на тощей почвѣ сухихъ холмовъ, отодвигаясь далѣе и далѣе отъ теченія рѣкъ. Въ обѣихъ Каролинахъ, въ Джорджіи, въ Флоридѣ и Алабамѣ милліоны акровъ великолѣпнѣйшихъ луговъ и лѣсовъ даже оставались неосушенными и нерасчищенными, между тѣмъ какъ плантаторы этихъ штатовъ вытягивали послѣдніе соки изъ своихъ тощихъ земель.

Земледѣльцы, отправлявшіеся искать счастья на дальнемъ западѣ, постоянно основывали свои первые поселенія на холмахъ, не смотря на то, что у нихъ были отличные стальные топоры и заступы. Хорошія орудія очень полезны, но такія громадныя предпріятія, какъ расчистка дѣвственныхъ лѣсовъ и осушеніе обширныхъ болотъ, могутъ быть выполнены только соответственнымъ количествомъ рабочихъ рукъ, и поэтому рѣшеніе подобныхъ задачъ всегда представляется болѣе или менѣе отдаленному будущему. Всякая попытка нарушить этотъ основной законъ и начать обработку прямо съ тучныхъ участковъ земли неизбежно ведетъ за собою неудачу и народныя бѣдствія; посѣвы гніютъ на корню, колонисты мрутъ отъ лихорадокъ, и возникающее поселеніе погибаетъ, задавленное непомѣрными силами дѣвственной природы. Много такихъ примѣровъ представляетъ исторія



французскихъ колоній въ Луизианѣ и въ Кайеннѣ, и первыхъ англійскихъ поселеній въ Виргиніи и въ Каролинѣ.

Въ Мексикѣ обрабатывались прежде другихъ земли Потози и Закатекаса, лишенные естественнаго орошенія и часто подвергавшіяся губительнымъ засухамъ; между тѣмъ оставались неводѣланными и незаселенными берега рѣкъ и Мексиканскаго залива, покрытые богатѣйшей тропической растительностью и производящіе сами собою хлопчатую бумагу и индиго, маисъ и сахарный тростникъ. Возвышенности Тласкалы и сухая почва Юкатана обрабатывались, а плодородныя земли Табаско и Гандураса оставались нетронутыми. Скалистые острова Караибскаго моря Монсерратъ, С. Луччія и С. Винцентъ давно заселены, а Порто-Рико и Тринидадъ, самые плодородные изъ этихъ острововъ, долго оставались почти въ первобытномъ состояніи. На Панамскомъ перешейкѣ развѣтывается вся изумительная сила американской природы; дожди продолжаются сплошь по семи мѣсяцевъ, и лѣсная растительность развивается такъ быстро, что линія панамской желѣзной дороги заросла бы лѣсомъ въ одинъ годъ, если бы на ней не производились постоянныя расчистки. Конечно, какъ и слѣдовало ожидать, Панамскій перешеекъ, по обѣ стороны рельсовъ, представляетъ нетронутую глушь.

Въ Южной Америкѣ повторяется тотъ же общій законъ въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. Во времена Пизарро существовала цивилизація только въ гористомъ и сухомъ Перу, составляющемъ крутой склонъ Кордильеровъ къ Восточному океану. Перу орошается небольшими и быстрыми рѣками, которыя, не застываясь въ своемъ теченіи, не могутъ образовать болотистыхъ разливовъ. Кромѣ того, пассатные вѣтры, насыщенные водяными парами, задерживаются вершинами Кордильеровъ, и облака, гонимыя этими вѣтрами, проливаютъ свой дождь, не достигая плоскихъ возвышенностей Перу и Боливіи. Отъ этого происходятъ засухи и неурожаи, и однако, не смотря на эти неудобства, гражданственность сосредоточилась именно въ Перу. Бразилія, лежащая къ востоку отъ Перу, орошается величайшими рѣками въ мірѣ и можетъ производить въ безпредѣльномъ изобиліи сахаръ, кофе, табакъ, пряности, красильныя вещества и все, чего только человѣкъ можетъ потребовать отъ тропической природы. Луга ея покрыты стадами буйволовъ и дикихъ лошадей;

драгоценныя металлы лежатъ почти на самой поверхности земли. Кажется, людямъ стоило бы только придти и овладѣть всѣми этими сокровищами, а между тѣмъ весь неизмѣримый бассейнъ Амазонской рѣки и ея громаднѣйшихъ притоковъ до сихъ поръ представляется во многихъ мѣстахъ сплошнымъ дѣвственнымъ лѣсомъ. Ту же самую противоположность мы видимъ южнѣе, сравнивая гористую и населенную береговую полосу Чили съ обширною, плодородною и почти нетронутою долиною Ла-Платы.

## VI.

Въ Англіи съ незапамятныхъ временъ были обработаны земли Корнваллиса, извѣстныя по своей сухости; почти каждый холмъ въ этой странѣ представляетъ слѣды древнихъ поселеній. Теперь эти мѣста считаются худшими землями и обыкновенно оставляются подъ выгономъ. Во времена первыхъ норманскихъ королей, южный Ланкаширъ былъ покрытъ болотами, въ которыхъ едва не увязло побѣдоносное войско Вильгельма Завоевателя. Теперь на этихъ самыхъ мѣстахъ созрѣваютъ богатая жатвы и пасутся стада породистаго рогатаго скота. Во времена Плантагенетовъ въ Англіи было множество лѣсовъ, въ которыхъ водились кабаны и волки; теперь на мѣстѣ этихъ лѣсовъ мы находимъ пахатныя земли, далеко превосходящія своимъ плодородіемъ тѣ участки, которые воздѣлывались въ древности и въ средніе вѣка. Въ Шотландіи слѣды древняго земледѣлія находятся на горахъ; теперешнимъ жителямъ кажется до такой степени неправдоподобнымъ воздѣлываніе такихъ мѣстностей людьми, что они называютъ эти слѣды пашнями эльфовъ. Въ средніе вѣка житницею Шотландіи называлась тощая полоса земли, къ которой хлѣбопашцы нашихъ временъ чувствуютъ весьма незначительное уваженіе. Напротивъ того, лучшія теперешнія фермы Шотландіи лежатъ на бывшихъ болотахъ временъ Елизаветы и Маріи Стюартъ. Въ средніе вѣка Оркнейскіе острова имѣли очень важное значеніе, которое совершенно утратилось теперь. Они были однажды заложены какому-то норвежскому королю въ обезпеченіе такой значительной денежной суммы, за которую ихъ теперь нельзя было бы продать, если бы даже покупателю, вмѣстѣ съ верховнымъ господствомъ, предоставлялось право собственности надъ землею. Оркнейскіе острова



могли быть такъ дороги только потому, что лучшія земли оставались недоступными для земледѣльцевъ. Теперь обитатели этихъ острововъ живутъ очень бѣдно, но мы не имѣемъ основанія думать, что уровень ихъ благосостоянія понизился со времени среднихъ вѣковъ. Что считалось богатствомъ тогда, то покажется бѣдностью теперь, точно такъ же, какъ богатство дикаря для цивилизованнаго человѣка можетъ быть крайнею степенью нищеты.

Въ Галліи временъ Юлія Цезаря сильнѣйшія племена галловъ: арверны, эдуи и секваны, жили по склонамъ Альпійскихъ горъ. Въ ихъ земляхъ возникли богатые торговые города, а въ настоящее время эти самыя земли лишены дорогъ, и путникъ, попавшій въ эту глушь, принужденъ перебираться черезъ горные потоки по переброшеннымъ бревнамъ, а еще чаще по камнямъ, положеннымъ въ воду, въ нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга. Въ такомъ положеніи находится территория «le Morvan», занимающая до полутора ста квадратныхъ лье, и представляющая мѣстами сохранившіеся слѣды отличныхъ военныхъ дорогъ. Вообще остатки древней цивилизаціи находятся именно въ самыхъ дикихъ и бѣдныхъ захолустьяхъ современной Франціи: въ Бретани, въ Оверни, въ Лимузенѣ, въ Севенскихъ горахъ и на склонахъ Альповъ. Всѣ значительные города, извѣстные въ исторіи Капетинговъ, Людовика Святого, Филиппа Августа, — Шалонъ, Сенъ Кентенъ, Суассонъ, Реймсъ, Труа, Нанси, Орлеанъ, Буржъ, Дижонъ, Вьеннъ, Нимъ, Тулуза, Кагоръ — всѣ построены на высокихъ мѣстностяхъ, недалеко отъ истоковъ большихъ рѣкъ, или на возвышенностяхъ, составляющихъ водораздѣлы. Многія изъ лучшихъ земель Франціи до второй половины нашего вѣка были не обработаны, и «Journal des Economistes» еще въ 1855 году обращалъ вниманіе правительства на необходимость осушить болотистыя мѣстности.

Въ Бельгіи, тощія земли Лимбурга и Люксембурга обрабатывались съ незапамятныхъ временъ, а тучная Фландрія до седьмого столѣтія нашей эры оставалась пустыней. Въ Голландіи первенство между отдѣльными провинціями принадлежало узкой и песчаной полосѣ земли, лежавшей между Утрехтомъ и моремъ. Эта провинція называлась Голландіей, и преобладаніе ея достаточно выражается уже въ томъ обстоятельстве, что она дала свое имя всей странѣ.

Преданія скандинавскаго племени выводятъ

обитателей скандинавскаго полуострова съ юга и указываютъ ихъ первобытную родину на берегахъ Дона. Мы видимъ такимъ образомъ, что цѣлый народъ уходитъ съ богатой почвы южной Россіи, не останавливаясь на тучныхъ равнинахъ средней и сѣверной Германіи, отыскиваетъ себѣ за моремъ новую отчизну, и на этой бѣдной землѣ выбираетъ себѣ для поселеній самыя гористыя и тощія мѣстности. Это послѣднее обстоятельство доказывается тѣмъ, что слѣды древнѣйшихъ жилищъ въ Скандинавіи, какъ и въ Шотландіи, находятся на возвышенностяхъ.

Славянскія племена, заселившія Россію, въ пѣсняхъ своихъ вспоминаютъ о южномъ происхожденіи своемъ съ береговъ Дуная. Первая проявленія гражданственности въ нашемъ отечествѣ находимъ мы на берегахъ Волхова и Ильменя, въ суровомъ климатѣ, на тощей почвѣ. Кіевъ является преимущественно военною стоянкой князей; народная жизнь уходитъ на сѣверъ и сѣверо-востокъ, держится въ Новгородѣ и Псковѣ, проявляется въ Суздальѣ и Владимірѣ, производитъ колонизацію Вятки и разбрасывается по берегамъ Бѣлаго моря. Еще въ 60-хъ годахъ сѣверныя части Россіи, за исключеніемъ тѣхъ крайнихъ оконечностей, въ которыхъ холодъ губитъ всякую растительность, оказывались болѣе населенными и лучше воздѣланными, чѣмъ роскошныя степи новороссійскаго края. По вѣрному замѣчанію Тенгоборскаго, псковская губернія занимала тогда девятое мѣсто по относительному количеству пахатной земли, и въ этомъ отношеніи стояла гораздо выше губерній подольской, саратовской и волынской, которыя конечно всегда далеко превосходили ее плодородіемъ почвы.

Въ нынѣшней Венгріи сподвижники Атилы основали свои первыя поселенія на песчаной равнинѣ, лежащей между Тиссою и Дунаемъ; потомки ихъ долго держались на этихъ бесплодныхъ мѣстахъ, оставляя необработанными и неосушенными богатыя земли, простирающіяся за Тиссою.

Въ Италіи Самнитскіе холмы и высокая Этрурія были уже обработаны, а Веи и Альба-Лонга считались уже могущественными городами, когда при низовьяхъ Тибра еще не возникало бѣдное поселеніе товарищей Ромула. Возвышенности цизальпинской Галліи были заняты въ древности, а лагуны адріатическаго побережья, на которыхъ стоитъ Венеція, заселены только въ началѣ среднихъ вѣковъ. Въ Корсику хижины жителей раз-



бросаны по горамъ, а почва долинъ, способная производить табакъ, сахарный тростникъ, хлопчатникъ и даже индиго, остается еще на половину невоздѣланной. Тоже самое мы видимъ въ Сардиніи, на Балеарскихъ островахъ и въ Сициліи.

Въ древней Греціи обработка земли началась въ гористой Аркадіи и въ сухой Атикѣ гораздо раньше, чѣмъ въ тучной Беотіи. Фокаене, локры и этолійцы тѣснились на скалистыхъ возвышенностяхъ, между тѣмъ какъ рядомъ съ ними лежали слабо заселенныя богатая равнины Тессалии и Фракіи.

Египетская цивилизація возникаетъ въ верхнихъ частяхъ Нила, и первой столицей ея являются Оивы; отсюда она спускается внизъ по теченію, къ Мемфису, и наконецъ уже гораздо позднѣе захватываетъ плодородную дельту Нила, на которой построена Александрія.

Столица Абиссиніи лежитъ на высотѣ 8,000 футовъ надъ поверхностью моря, а долины не заселены.

Въ Остѣ-Индіи дельты Инда и Ганга покрыты непроходимыми лѣсами, и почти всѣ долины большихъ рѣкъ остаются въ первобытномъ состояніи, а между тѣмъ по склонамъ горъ туземцы выбиваются изъ силъ, чтобы добыть себѣ въ день горсть рису, или въ мѣсяцъ двѣ рупіи заработной платы. На Цейлонѣ и на Явѣ жители боятся и тщательно обходятъ тучную почву долинъ, въ которыхъ рядомъ съ могучей растительностью развиваются губительныя міазмы.

Вся эта груда набросанныхъ фактовъ, взятыхъ изъ всѣхъ частей свѣта, подъ всеми широтами, изъ настоящаго и изъ прошедшаго, у народовъ, стоящихъ на самыхъ различныхъ ступеняхъ умственнаго и общественнаго развитія, самымъ блестящимъ образомъ доказываетъ съ разныхъ сторонъ непреложность одного общаго закона. Человѣкъ постоянно переходитъ отъ худшаго къ лучшему, отъ бѣдной почвы къ богатой, точно также какъ онъ переходитъ отъ острой раковины къ желѣзному и стальному ножу, отъ обожженнаго кола къ плугу, отъ пещеры къ каменному дому, отъ лука къ штуцеру, отъ звѣриной кожи къ сукну и бархату. Для того, чтобы переходъ этотъ совершался, необходимо только предоставить свободу естественнымъ отправленіямъ человѣческаго организма.

Человѣку, вмѣстѣ со всеми другими животными, свойственно стремленіе размножаться, и мы видимъ дѣйствительно, что размноженіе людей

составляетъ непремѣнное условіе всякаго прогресса. Человѣку свойственно искать сближенія съ другими людьми, и оказывается на самомъ дѣлѣ, что только соединенныя человѣческія силы могутъ успѣшно бороться съ природой. Человѣку свойственно искать себѣ матеріальныхъ удобствъ, и мы замѣчаемъ вездѣ и всегда, что чѣмъ усерднѣе онъ ихъ ищетъ, т. е. чѣмъ сильнѣе онъ работаетъ мозгомъ и мускулами, тѣмъ быстрѣе улучшается его положеніе. Каждая потребность человѣка можетъ найти себѣ удовлетвореніе, и чѣмъ полнѣе она будетъ удовлетворяться, тѣмъ больше будетъ оказываться средствъ удовлетворять ей въ будущемъ. Но изъ этого никакъ не слѣдуетъ выводить то лестное заключеніе, что потребности человѣка дѣйствительно удовлетворяются всегда и вездѣ. На земномъ шарѣ и кромѣ человѣка существуетъ множество различныхъ организмовъ, которые всѣ могутъ жить и развиваться въ свойственной имъ обстановкѣ; но каждый изъ этихъ организмовъ можетъ быть искусственно поставленъ въ такое положеніе, при которомъ онъ или зачахнетъ, или разрушится. Положите рыбу на берегъ, бросьте птицу въ воду, запрягите въ одно стойло лошадь, а въ другое кошку, и положите передъ первую пудъ сырого мяса, а передъ второй мѣру овса, и вы увидите, что четыре организма будутъ разрушены, первые очень быстро, послѣдніе довольно медленно. Если бы нашелся такой проказникъ, который могъ бы перетасовать такимъ образомъ всѣ существующіе организмы, то въ короткое время весь земной шаръ покрылся бы трупами, чего никакъ уже нельзя приписать простому дѣйствію законовъ природы.

Разрушить произвольнымъ вмѣшательствомъ всю органическую жизнь на земномъ шарѣ невозможно, но повредить въ какойнибудь отдѣльной странѣ правильному развитію человѣческаго труда вовсе нетрудно; для этого не требуется даже злонамѣренности,—одно незнаніе производить искусственныя комбинаціи въ между-человѣческихъ и общественныхъ отношеніяхъ; при такихъ комбинаціяхъ удовлетвореніе многихъ человѣческихъ потребностей становится невозможнымъ, и самое существованіе такихъ потребностей дѣлается источникомъ страданій и приводитъ къ гибели—точно также, какъ потребность дышать губить птицу, погруженную въ воду, или потребность принимать пищу—кошку, находящуюся tête-à-tête съ мѣрою овса. Очевидно, что тутъ виновата не потребность, а



уродливая комбинація. Каждая изъ европейскихъ націй прошла черезъ множество подобныхъ комбинацій, но натура человѣка такъ крѣпка и эластична, а естественное теченіе событій настолько сильнѣе ошибочныхъ расчетовъ и произвольныхъ распоряженій, что не смотря на всѣ историческія несчастія, мы все-таки замѣчаемъ въ передовыхъ странахъ Европы постоянное возрастаніе народонаселенія, постоянное улучшеніе техническихъ пріемовъ, и вслѣдствіе того постоянное стремленіе къ переходу отъ тощей почвы къ болѣе плодородной. Но въ нѣкоторыхъ земляхъ враждебныя вліянія были до такой степени сильны, что они превозмогали дѣйствіе естественныхъ стремленій человѣка: народонаселеніе убывало, матеріальное довольство уменьшалось, техническая ловкость и изобрѣтательность терялась, и человѣкъ покидалъ богатую почву, чтобы снова добывать себѣ скудное пропитаніе на тощихъ и сухихъ земляхъ. Войны, поработаніе труда и разныя видоизмѣненія административнаго произвола составляютъ главныя причины такихъ печальныхъ явленій. Такъ опустѣли Греція и Италія въ послѣдніе годы римской республики и во время имперіи. Такъ пустѣетъ теперь Турція, заключающая въ себѣ плодороднѣйшія земли Европы и Азіи, и между тѣмъ населенная такимъ народомъ, который едва успѣваетъ предохранять себя отъ голодной смерти. Богатая Буюкдерская долина, разстилающаяся у самыхъ воротъ Константинополя, не обрабатывается, такъ что въ столицу привозится хлѣбъ съ холмовъ, лежащихъ за сорокъ и за пятьдесятъ миль. Земли, орошаемыя нижнимъ теченіемъ Дуная, давали богатые жатвы во времена римскаго владычества, а теперь на нихъ пасутся малочисленные стада свиней, пастухи которыхъ находятся въ самомъ жалкомъ положеніи. Такія же картины запущенія попадаются путешественнику въ Малой Азіи, въ Сиріи, по берегамъ Тигра и Евфрата—въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ процвѣтала греческая цивилизація, и тамъ, гдѣ земля кипѣла молокомъ и медомъ. Все это произведено отчасти военными опустошеніями былыхъ временъ, отчасти такою системой управленія, которая не обезпечиваетъ ни личности, ни собственности, отчасти тѣмъ обстоятельствомъ, что Турція вывозитъ постоянно свои сырые продукты на далекіе рынки, постоянно истощаетъ свою почву, и слѣдовательно, проживая такимъ образомъ свой капиталъ, съ каждымъ годомъ становится бѣднѣе и слабѣе.

Южныя, рабовладѣльческіе штаты Америки находились почти въ такомъ же положеніи. Вся нижняя Виргинія была покрыта развалинами оставленныхъ плантаторскихъ домовъ; поля заброшены и поросли верескомъ и кустарникомъ; хозяева принуждены искать новыхъ земель, и такъ какъ расчистка и осушеніе богатой почвы была имъ не по силамъ, то они, естественнымъ образомъ, разрабатывали сухія вершины холмовъ. Здѣсь этотъ упадокъ земледѣлія порождался двумя причинами, тѣсно связанными между собою: постояннымъ вывозомъ сырыхъ продуктовъ, истощающимъ землю, и рабствомъ, обусловливающимъ собою хозяйственную рутину. Сырые продукты вывозились въ Англію оттого, что не было мануфактуръ на мѣстѣ, а мануфактуръ не было оттого, что не было предприимчивости, а предприимчивость немыслима въ такой странѣ, гдѣ большинство жителей работаетъ изъ подъ палки. Слѣдовательно, рабство и истощеніе почвы составляли такой заколдованный кругъ, изъ котораго южныя штаты никакъ не могли вырваться.

## VII.

Если бы нельзя было осязательно доказать, что земледѣліе возникаетъ на возвышенностяхъ и уже впослѣдствіи спускается въ долины, то идея о возможности прогресса, составляющая краеугольный камень разумаго міросозерцанія, въ научномъ отношеніи могла бы занять мѣсто рядомъ съ теоріями старухъ о близости свѣтопреставленія. На первый взглядъ такое положеніе кажется нелѣпымъ, но первое впечатлѣніе здѣсь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, оказывается ошибочнымъ. Тучная почва всегда находится въ долинахъ и низменностяхъ, потому что каждый ливень смываетъ съ высокихъ мѣстъ частицы почвы и несетъ ихъ мутными потоками дождевой воды въ низкія мѣста, гдѣ эти частицы осаждаются по естественному дѣйствію тяжести. Если бы первобытные поселенцы могли разработать тучную почву, и если бы размножающееся потомство этихъ поселенцевъ было принуждено мало по-малу распахать тощія земли, то очевидно трудъ послѣднихъ съ каждымъ годомъ сталъ бы получать болѣе скудное вознагражденіе; чѣмъ больше нарождалось бы людей, тѣмъ дальше пришлось бы земледѣльцамъ забираться на сухіе холмы; цѣною постоянно возрастающихъ усилій пришлось бы добывать постоянно уменьшающееся количество



пищи и других сырыхъ матеріаловъ. При такомъ положеніи дѣлъ, всякое приращеніе народонаселенія было бы зломъ, потому что оно вело бы за собой постоянно увеличеніе бѣдности. Некогда было бы придумывать техническія усовершенствованія, потому что все время жителей уходило бы на заботы о кускѣ хлѣба, и всѣ эти заботы все-таки не могли бы предохранить ихъ отъ частыхъ посѣщеній голода; кромѣ того, всякія техническія усовершенствованія были бы бесполезны, если бы не увеличивалось количество сырыхъ матеріаловъ, которое въ концѣ концовъ всегда служить настоящимъ мѣриломъ богатства. О прогрессѣ нечего было бы и думать; нищета, голодъ, заразительныя болѣзни составляли бы естественную судьбу человечества и поражали бы каждое послѣдующее поколѣніе сильнѣе, чѣмъ предыдущее; передъ такою перспективой самый неукротимый идеалистъ сложить оружіе и сознается, что о нравственномъ и умственномъ совершенствованіи приходится отложить попеченіе.

Существуетъ однако цѣлая школа ученыхъ мужей, которые, не считая себя неукротимыми идеалистами, полагаютъ, что есть возможность помирить идею прогресса съ враждебнымъ воззрѣніемъ на возрастаніе народонаселенія. Дѣло идетъ о многочисленныхъ послѣдователяхъ слишкомъ знаменитыхъ учителей Мальтуса и Рикардо. Теорія Мальтуса состоитъ, какъ извѣстно, въ томъ, что люди плодятся въ геометрической прогрессіи (1, 2, 4, 8, 16, 32...) въ то самое время, какъ предметы, употребляющіеся въ пищу, размножаются въ арифметической прогрессіи (1, 2, 3, 4, 5, 6...). Черезъ такую неравномѣрность размноженія происходитъ для людей недостатокъ пищи, нищета, голодъ, болѣзни — однимъ словомъ, всѣ тѣ бѣдствія, отъ которыхъ страдаетъ гарнизонъ осажденной крѣпости. По мнѣнію Мальтуса, Англія уже дошла до такого бѣдственнаго положенія, и причины пауперизма и развивающихся изъ него страданій и преступленій заключаются именно въ излишкѣ народонаселенія. Идеи Рикардо относятся къ заселенію земли. Онъ утверждаетъ, что первые поселенцы захватили лучшія земли, потому что они имѣли полную свободу выбора; послѣдующимъ поколѣніямъ пришлось довольствоваться тѣмъ, что осталось, или платить наслѣдникамъ первыхъ собственниковъ извѣстное количество продукта за пользованіе лучшими, уже захваченными землями. Такъ объясняется происхожденіе поземельной

ренты. Обѣ теоріи составлены въ рабочемъ кабинетѣ, за письменнымъ столомъ, за которымъ можно составить какіе угодно проекты, выкладки, комбинаціи и доктрины. Обѣ теоріи носятъ на себѣ печать тѣхъ счастливыхъ временъ, когда можно было тасовать и раскладывать въ головѣ и на бумагѣ разныя мысли о природѣ и человѣкѣ, не обращая никакого вниманія ни на законы и явленія природы, ни на свидѣтельства исторіи и ежедневнаго опыта.

Въ подобныхъ выкладкахъ и человѣкъ, и природа являются только какъ отвлеченныя понятія и показываютъ изслѣдователю только ту, часто даже несуществующую сторону, которую ему угодно принимать въ соображеніе. Рикардо говоритъ, что первые поселенцы *конечно* выбрали лучшую землю. Тутъ очевидно берутся отвлеченныя поселенцы и отвлеченная земля. Въ «лучшей землѣ» принимается въ соображеніе только та сторона, что она можетъ давать много хлѣба. Въ «первыхъ поселенцахъ» берется въ расчетъ только то свойство, что они имѣютъ глаза и могутъ сдѣлать выборъ. Но что лучшая земля, именно потому, что она лучшая, должна была непременно зарости лѣсомъ или покрыться лужами стоячей воды, объ этомъ Рикардо не думаетъ. Что первый поселенецъ, именно потому, что онъ первый, долженъ былъ располагать очень плохими орудіями и очень слабыми техническими свѣдѣніями, этого Рикардо также не соображаетъ. Между тѣмъ мы видѣли, что именно эти непризнанныя свойства земли и человѣка вездѣ мѣшали одинокому колонисту захватить тѣ участки, которые могли давать ему обильные урожаи. Мы видѣли также, на сколько историческіе факты находятся въ согласіи съ идеями Рикардо, который очевидно дошелъ до своихъ заключеній только потому, что соблазнился внѣшней логичностью своихъ кабинетныхъ соображеній. Оригинально также то обстоятельство, что существованіе поземельной ренты въ Англіи, въ которой землевладѣльцы ведутъ свои права отъ норманскихъ завоевателей и феодальныхъ бароновъ, приводится въ связь съ какимъ-то идеальнымъ заселеніемъ земли.

Такіе логическіе и историческіе salto-mortale неизбежны въ тѣхъ случаяхъ, когда писатель, насилуя свою совѣсть и закрывая глаза и уши, старается, во что бы то ни стало, узаконить и оправдать некрасивыя явленія современной дѣйствительности. Гаданія Мальтуса о размноженіи людей вытекаютъ изъ того же мутнаго петоч-



ника и, подобно разсужденіямъ Рикардо, не имѣютъ ни малѣйшаго научнаго основанія. Такъ называемый мальтусовъ законъ много разъ подвергался разрушительной критикѣ мыслителей, имѣющихъ здравыя понятія объ условіяхъ народнаго благосостоянія. Не желая повторять приводимыхъ ими аргументовъ, я обрисую здѣсь только мертвящій взглядъ Мальтуса и его послѣдователей на жизнь природы и на дѣятельность человѣка.

Земля и ея производительныя силы представляются Мальтусу сундукомъ, наполненнымъ деньгами: если, разсуждаетъ онъ, пять человѣкъ раздѣляютъ между собой эти деньги, то каждому достанется одна пятая; если десять человѣкъ раздѣлятъ ихъ, то каждому достанется вдвое меньше, чѣмъ въ первомъ случаѣ; если двадцать—четверо меньше, и т. д. Изъ этого очевидно слѣдуетъ заключеніе, что чѣмъ меньше будетъ людей, предъявляющихъ свои притязанія на деньги, тѣмъ богаче будутъ тѣ, которые раздѣляютъ содержаніе сундука. Мальтусъ допускаетъ правда, что производительныя силы земли могутъ увеличиваться, но и сумма денегъ можетъ увеличиться, если ее положить въ банкъ. Мальтусъ вычисляетъ возрастаніе въ количествѣ продуктовъ также опредѣлительно, какъ можно было бы высчитать проценты съ извѣстнаго денежнаго капитала. Разумѣется, въ сочиненіяхъ Мальтуса не встрѣчается сравненія земли съ сундукомъ, но вездѣ выражается стремленіе смотрѣть на производительныя силы природы, какъ на мертвую массу, которую можно измѣрить футами и свѣсить фунтами. Въ человѣческомъ трудѣ онъ также видитъ механическое приложеніе мускульной силы и совершенно забываетъ дѣятельность мозга, постоянно одерживающую побѣды надъ физическою природою и постоянно открывающую въ ней новыя свойства.

Такой взглядъ въ отношеніи къ природѣ радикально невѣренъ, а въ отношеніи къ человѣку совершенно одностороненъ, и слѣдовательно, также несостоятеленъ. Вся жизнь природы на нашей планетѣ представляется мыслящему наблюдателю вѣчнымъ круговращеніемъ, неостанавливающимся ни на одну миллионную долю секунды. Въ это круговращеніе вовлечены и атмосфера, и вода, и минеральныя частицы, и всѣ организмы, отъ инфузорій до кита, и отъ плѣсени до человѣка. Растенія составляютъ свои корни, стебли, листья, цвѣты и плоды изъ минеральныхъ частицъ и изъ углекислоты, поглощаемой ими изъ

атмосфернаго воздуха. Эту углекислоту они разлагаютъ и, удерживая углеродъ, выбрасываютъ назадъ кислородъ, посредствомъ выдыханія. Кроме того, они поглощаютъ воду изъ почвы и водяные пары изъ воздуха. Растенія служатъ посредствующимъ звѣномъ между газами атмосферы и минеральнымъ составомъ земной коры съ одной стороны, и травоядными животными организмами—съ другой. Травоядные животныя нуждаются въ пищѣ; для поддержанія жизни имъ необходимы именно тѣ элементы, которые заключаются частью въ атмосферномъ воздухѣ, частью въ минералахъ; крахмалъ и клейковина растительныхъ веществъ состоятъ преимущественно—первый изъ водорода, кислорода и углерода, вторая изъ тѣхъ же трехъ элементовъ съ прибавкою четвертаго, азота. Но травоядное животное можетъ питаться крахмаломъ и клейковиной, а четырьмя названными газами питаться не можетъ. Ему необходимо, чтобы составные элементы его пищи были приведены растеніемъ именно въ ту форму, въ какой они могутъ быть восприняты и усвоены его организмомъ. Работа, которую растеніе производитъ для травояднаго, совершается потомъ травояднымъ для плотояднаго. Растеніе питается газами и минералами, коза сѣдаетъ растеніе, козу сѣдаетъ волкъ; потомъ волкъ издыхаетъ и снова возвращаетъ землѣ всѣ составныя части, которыя были взяты имъ напрокатъ и которыми тотчасъ же можетъ питаться новое растеніе. И волкъ, и коза, и прежнее растеніе при жизни своей постоянно отдавали въ общую экономію природы большую часть поглощаемой матеріи; растеніе постоянно выдѣляло кислородъ, а коза и волкъ выдыхали углекислоту; однолѣтнее растеніе, сѣдненное въ цвѣтъ лѣтъ козою, не могло непосредственно отдать землѣ своихъ твердыхъ составныхъ частей, но растеніе многолѣтнее каждый годъ рождаетъ листья; коза и волкъ постоянно выдѣляли твердыя вещества въ испраженіяхъ и въ видѣ выпадающихъ волосъ. Все это опять попадало въ общій круговоротъ.

Человѣкъ конечно участвуетъ въ этомъ круговоротѣ такъ же невольно и такъ же безсознательно, какъ коза и волкъ; но этимъ роль его не ограничивается. Онъ поглощаетъ и выдѣляетъ извѣстныя количества матеріи, но кромѣ того онъ еще сознательнымъ вмѣшательствомъ своимъ ускоряетъ и направляетъ нѣкоторыя струйки круговаго теченія. Такое вмѣшательство начинается на самыхъ низшихъ ступеняхъ умствен-



наго и общественнаго развитія. Человѣкъ разводитъ огонь, и уже это простѣйшее дѣйствіе ускоряетъ круговоротъ въ одномъ крошечномъ уголкѣ нашей планеты. Дерево въ этомъ случаѣ быстро разлагается на свои составныя части; дымъ уносится вѣтромъ и вступаетъ тотчасъ же въ разныя комбинаціи, а зола остается на землѣ и втягивается также въ общее движеніе. Все это произошло бы и въ томъ случаѣ, если бы сожженные сучья спокойно сгнили отъ сырого воздуха, но произошло бы гораздо медленнѣе; стало бы, вліяніе человѣка выразилось въ ускореніи движенія. Я считаю это специфическимъ вліяніемъ человѣка, потому что ближайшее къ человѣку животное, обезьяна, не умѣетъ не только развести, но даже поддержать огонь. Когда человѣкъ занимается скотоводствомъ и заботится о доставленіи корма своимъ коровамъ, онъ очевидно ускоряетъ круговращеніе, и самъ пользуется результатами этого ускоренія. Корова сама отыскивала себѣ пищу, но не такъ скоро, или не столько, сколько нужно, или не такого качества. Вмѣшательство человѣка производитъ здѣсь ускореніе круговращенія, которое выражается въ томъ, что корова жирѣетъ и даетъ больше молока. Но если бы корова зимою стала искать себѣ пищи, она бы не нашла ея; круговращеніе продолжалось бы своимъ чередомъ, значительная часть тканей коровы была бы вовлечена въ это вѣчное круговращеніе, и корова окочлѣла бы. Здѣсь уже вмѣшательство человѣка, доставляющаго коровѣ пищу, не только ускоряетъ, но и направляетъ струйку кругообращенія такъ, какъ того требуютъ человѣческія выгоды и соображенія. Занимаясь земледѣліемъ, человѣкъ постоянно ускоряетъ круговращеніе; онъ старается на извѣстномъ пространствѣ земли собрать всѣ условія, содѣйствующія быстрому превращенію минеральныхъ частицъ и газовъ въ различныя части извѣстныхъ растений; для этого онъ проводитъ борозды по землѣ, кладетъ на эту землю разлагающіяся вещества, бросаетъ сѣмена, покрываетъ ихъ слоемъ земли, и конечно всякій посторонній зритель отличить съ перваго взгляда ниву, обработанную и засѣянную человѣкомъ, отъ участка земли, на которомъ изъ случайно попавшихъ хлѣбныхъ зеренъ выросли кое-гдѣ колосья. Круговращеніе на обработанной нивѣ усилено и направлено сообразно съ выгодами человѣка, и человѣкъ пользуется плодами своего вмѣшательства.

Человѣкъ не можетъ прибавить ни одного

атома къ массѣ существующей матеріи, но въ этомъ онъ не нуждается. Для него важны формы, которыя принимаетъ на себя матерія, и комбинаціи, въ которыя вступаютъ между собою простые элементы; а создавать и разрушать формы и комбинаціи значитъ именно ускорять и направлять круговращеніе. На это у человѣка есть множество средствъ, и число этихъ средствъ постоянно увеличивается, потому что человѣкъ постоянно узнаетъ новыя свойства и тайны природы. Что же касается до сырого матеріала, изъ котораго человѣку приходится лѣпить необходимыя ему комбинаціи, то количество его неизмѣримо велико. Однимъ изъ важнѣйшихъ матеріаловъ мы должны признать атмосферный воздухъ и плавающіе въ немъ газы; воздуха у насъ достаточно; надъ землею лежитъ слой атмосферы въ семьдесятъ верстъ толщиною; другой важный матеріалъ заключается въ различныхъ минералахъ — тоже недостатка не предвидится; вся земная кора къ нашимъ услугамъ, а толщина этой коры, по мнѣнію однихъ геологовъ, заключается въ себѣ *пятьдесятъ*, а по мнѣнію другихъ, *двести* миль; третій матеріалъ — вода; воды довольно: всѣ океаны, моря, рѣки, вмѣстѣ взятые, могутъ покрыть всю сушу; если разравнять всѣ горы и долины материковъ и побросать массы твердой земли въ самыя глубокія мѣста морей, какъ чтобы выравнялись всѣ неровности морского дна, то образуется на земномъ шарѣ сплошная масса воды въ 1,100 футовъ глубины.

Надо припомнить кромѣ того, что ни одна песчинка, ни одна капля воды, ни одинъ атомъ газа не пропадаетъ, не отрывается отъ земного шара, не улетучивается въ міровое пространство. Громадный капиталъ, изъ котораго не теряется ни одна полушка, конечно долженъ быть признанъ неистребимымъ капиталомъ. А пока существуютъ газы, минералы и вода, до тѣхъ поръ совершенно обезпечено существованіе растений, слѣдовательно и плотоядные, и человѣкъ не останутся въ накладѣ. На землѣ теперь существуетъ безчисленное множество растений, но ихъ число можетъ еще увеличиться въ безконечное число разъ, потому что на созиданіе растений пущена въ оборотъ только крайне незначительная часть всего капитала, состоящаго изъ совокупности всѣхъ газовъ, минераловъ и водъ. Растенія дѣйствительно завоевываютъ мало по малу такія мѣста, которыя прежде состояли изъ голаго камня. Процессъ такого завоеванія описанъ у Шлейдена въ



его книгѣ «Растеніе». На вершинѣ Брокена, на голомъ гранитѣ открыто микроскопическое растеніе, которое невооруженному глазу представляется въ видѣ тончайшихъ красноватыхъ пылинокъ; если потереть кусокъ гранита, поросшіи милліонами растеній, то они издають фіалковый запахъ; это растеніе питается исключительно дождевыми каплями, растворившими въ себѣ амміакъ и углекислоту. Оно готовитъ почву для болѣе крупныхъ лишаевъ темнаго цвѣта, называемыхъ стигійскимъ и фолунскимъ; за лишаями идутъ мхи, потомъ дернъ, трава, можжевельникъ и наконецъ сосна. А подъ этими растеніями гранитъ уже не тотъ, что былъ прежде, онъ разрыхляется, разлагается и втягивается мало по малу въ круговращеніе. Что на брокенскомъ гранитѣ дѣлаетъ сама природа, то дѣлаетъ на поляхъ своихъ человѣкъ, когда онъ взрываетъ плугомъ глубокіе слои почвы и втягиваетъ въ круговоротъ мергель, лежавшій мертвымъ капиталомъ подъ пескомъ, или известъ, лежавшую такимъ же образомъ подъ глиною. Чѣмъ больше милліоновъ людей работаетъ плугомъ на поляхъ, тѣмъ большее количество мергеля и извести вовлекается въ круговое теченіе; чѣмъ больше десятковъ тысячъ людей работаетъ въ кузницахъ и на фабрикахъ, тѣмъ больше хорошихъ орудій и хорошей одежды получаютъ предыдущіе милліоны; чѣмъ больше сотенъ людей работаетъ въ химическихъ лабораторіяхъ, тѣмъ больше открывается новыхъ средствъ втягивать въ круговоротъ массы мертваго капитала. Не Либихъ, не Берцеліусъ, не Дэви, не Лавуазье создали химію; ее создали умственные и матеріальныя потребности массъ, реальное и практическое направленіе нашего времени; умные люди были и въ средніе вѣка, но они писали теологическіе трактаты или картины; это было очень похвально, но отъ этого не прибавилось на землѣ не одного зерна хлѣба. Когда населеніе разрослось, когда люди плотнѣе сдвинулись между собой, когда начался живой обмѣнъ мыслей, тогда массы почувствовали свои потребности и выдвинули впередъ своихъ геніальныхъ дѣтей, которые сдѣлались дѣтьми-работниками въ великой мастерской природы, а не праздными вздыхателями въ храмахъ науки и искусства. Такое движеніе не могло бы произойти безъ возрастанія народонаселенія. Только въ одномъ случаѣ вмѣшательство человѣка ослабляетъ производительныя силы природы; это происходитъ тогда, когда человѣкъ вывозитъ сырые продукты земли на далекіе рынки и такимъ

образомъ, постоянно отнимая у земли извѣстныя составныя части, не возвращаетъ ей взамѣнъ никакого удобренія. А такой образъ дѣйствій возможенъ только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мало людей и гдѣ, вслѣдствіе этого, нѣтъ промышленнаго движенія. Если бы было много людей, явилась бы по необходимости предприимчивость, выросли бы фабрики, сырые продукты стали бы перерабатываться и поглощаться на мѣстѣ, остатки переработанныхъ продуктовъ давали бы богатое удобреніе, и почва, вмѣсто того чтобы истощаться, постоянно становилась бы плодороднѣе.

Выходить, стало быть, какъ разъ противное тому, что утверждалъ Мальтусъ. Бѣдность происходитъ отъ малолюдства; если же бѣдность существуетъ иногда вмѣстѣ съ многолюдствомъ, то въ такомъ случаѣ надо искать причинъ бѣдности въ ненормальной организаціи труда, а никакъ не въ многолюдствѣ. Многолудство есть обиліе силъ; если что нибудь мѣшаетъ приложенію этихъ силъ, то виновато конечно препятствіе, а не существованіе силъ. Историческіе факты доказываютъ самымъ нагляднымъ образомъ, что люди вовсе не размножаются быстрѣе, чѣмъ предметы пищи. Во Франціи въ 1760 г. было 21,000,000 жителей, и на каждого человѣка приходилось по 450 литровъ различнаго хлѣба; въ 1840 г. жителей было 34,000,000, а хлѣба приходилось на каждого по 541 литру; да кромѣ того были введены въ употребленіе картофель и различные овощи, которые въ 1760 не были извѣстны въ народномъ хозяйствѣ; картофеля и овощей получалось въ 1840 году по 291 литру на человѣка; стало быть, всего питательнаго продукта добывалось на человѣка по 832 литра. Число жителей увеличилось только на 60 процентовъ, а количество пищи утроилось, такъ что Мальтусъ и его законъ на этотъ случай оказались непригодными. Надобно притомъ замѣтить, что Франція вовсе не похожа на образцовую ферму, и что ея земледѣліе чрезвычайно далеко даже отъ той степени совершенства, которая возможна при теперешнемъ состояніи агрономической науки, а агрономическая наука въ свою очередь далеко еще не воспользовалась всѣми указаніями и открытіями современной химіи, а химія опять-таки вовсе не находится въ законченномъ состояніи: множество вопросовъ рѣшается, множество стоитъ на очереди, и безчисленное множество вопросовъ еще не поставлено, потому что къ нимъ и подойти невозможно при теперешнихъ средствахъ науки. Слѣдовательно, въ настоящее время дѣлать ка-



кіе нибудь выводы о производительныхъ силахъ природы и о будущихъ успѣхахъ человѣка значило бы только обнаруживать ту близорукость и заносчивость, которыя всегда свойственны самолюбивому невѣжеству.

Любопытно замѣтить въ заключеніе этой длинной главы, что школа Мальтуса не отказывается отъ возможности прогресса. Послѣдователи Мальтуса полагаютъ, что люди должны только употреблять въ отношеніи къ себѣ моральное стѣсненіе (*moral restraint*) и воздерживаться отъ излишняго дѣторожденія. Рикардо думаетъ, что рабочіе должны получать такую плату, которая позволила бы имъ существовать, не размножаясь и не уменьшаясь. Милль, тотъ самый Джонъ Стюартъ Милль, котораго такъ уважаютъ всѣ наши разноцвѣтные публицисты, говоритъ, что многочисленное семейство пролетарія должно возбуждать въ насъ къ отцу этого семейства такое же отвращеніе и презрѣніе, какое возбудило бы безобразное пьянство. Ратуя за женщину и доказывая необходимость женскаго труда, Милль особенно напираетъ на то соображеніе, что трудъ въ значительной степени отвлечетъ женщину отъ дѣторожденія. Наконецъ, въ своей знаменитой книгѣ «О свободѣ» (*On liberty*) Милль признаетъ за государствомъ право запрещать, по своему благоусмотрѣнію, браки между людьми необезпеченныхъ классовъ. Тутъ ужъ не знаешь, чѣмъ больше восхищаться, гуманностью ли, или дальновидностью подобной идеи. Я посмотрю на нее съ точки зрѣнія дальновидности. Ну, прекрасно: государство запретило браки; тогда начинаютъ рождаться дѣти внѣ брака у такихъ родителей, которымъ дѣтей имѣть не позволено; чтобы быть послѣдовательнымъ, государство назначаетъ за незаконныя рожденія уголовныя наказанія; тогда начинаются вытравленія зородышей и дѣтоубійства; государство казнить преступниковъ и преступницъ. Такъ или иначе задуманное желаніе Милля исполнено; возрастаніе населенія приостановлено. Кто потрусливѣе, тотъ воздержится посредствомъ «*moral restraint*», а кто построптивѣе, того обуздаетъ палачъ. Казни будутъ происходить каждый день, но что за бѣда? Великая цѣль достигнута, и прогрессъ человечества обезпеченъ. Я удивляюсь только, какъ это Миллю не пришло въ голову подать государству слѣдующій мудрый совѣтъ: пусть государство само назначаетъ, сколько новорожденныхъ младенцевъ мужескаго пола могутъ современемъ пользоваться своими половыми спо-

собностями; затѣмъ, пусть остальные будутъ лишены этихъ антипрогрессивныхъ способностей. При теперешнемъ состояніи хирургинъ, такое лишеніе можетъ быть совершено безъ малѣйшей опасности для жизни, и малютки выростутъ, сохраняя на всю жизнь превосходный soprano и не жалѣя о своей утратѣ. При такомъ образѣ дѣйствій государство всегда можетъ сохранить контроль надъ размноженіемъ людей.

### УШ.

Одинокій поселенецъ находился на своемъ богатомъ островѣ въ положеніи Тантала; деревья дѣвственнаго лѣса были усыпаны птицами, которыя могли доставить ему превосходное жаркое; изъ чащи выскакивали поминутно зайцы и дикія козы, отъ которыхъ не отказался бы самый разборчивый гастрономъ; въ прозрачной водѣ рѣки шевелились форели, лещи, щуки и разныя другія очень аппетитныя рыбы. Задача состояла только въ томъ, чтобы взять въ руки всѣ эти летающія, бѣгающія и плавающія кушанья. Но именно въ руки-то они и не давались; Робинзону приходилось пробавляться дикими плодами и съ сокрушеніемъ размышлять о прелестяхъ мясного и рыбнаго стола. Если ему удавалось, послѣ долгихъ попытокъ и разочарованій, убить мѣтко пущеннымъ камнемъ какого нибудь кролика, то конечно онъ очень дорожилъ своей добычей; онъ придавалъ ей тѣмъ болѣе цѣнности, чѣмъ значительнѣе были побѣжденные имъ препятствія. Чтобы набрать себѣ плодовъ, Робинзону надобно было ходить по лѣсу и взлѣзать на деревья въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ; чтобы убить камнемъ кролика, ему надо было ходить, осматривать, подкарауливать, прицѣливаться и промахиваться въ продолженіи нѣсколькихъ дней. Понятно, что онъ дорожилъ убитымъ кроликомъ больше, чѣмъ нѣсколькими десятками банановъ или кокосовыхъ орѣховъ. Но Робинзонъ — человѣкъ догадливый; онъ придумываетъ устроить себѣ лукъ, и опыты убѣждаютъ его, что заостренныя деревянныя стрѣлы летятъ дальше и достигаютъ цѣли вѣрнѣе, чѣмъ камень, брошенный рукой. Кролики и птицы начинаютъ дѣлаться его добычею чаще, чѣмъ прежде; добываніе животной пищи значительно облегчено, между тѣмъ какъ за бананами и за кокосовыми орѣхами по прежнему приходится бродить по лѣсу и взлѣзать на деревья въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ. Въ преискурантѣ Робинзона



совершается переворотъ: кролики, сравнительно съ плодами, дешевѣютъ, а плоды, сравнительно съ кроликами, становятся дороже. Когда Робинзонъ дѣйствовалъ камнемъ, онъ готовъ былъ дать за кролика сорокъ штукъ плодовъ; теперь, владѣя лукомъ, онъ уже не дастъ больше тридцати. Но у него родилось неистовое желаніе отвѣдать рыбы; за хорошаго леща онъ съ удовольствіемъ далъ бы двѣ пары кроликовъ или двадцать штукъ плодовъ; изобрѣтательность опять выручаетъ его изъ затрудненія; заостренная кость, тонкая жила и деревянная палка образуютъ первобытную удочку; является рыба, и колонистъ нашъ скоро замѣчаетъ, что поймать рыбу вовсе не такъ трудно, какъ ему казалось; цѣнность рыбы понижается, хорошій лещъ уравнивается въ правахъ съ кроликомъ, а потомъ когда устройство удочки совершенствуется, то лещъ даже становится ниже кролика. Но всѣ эти передвиженія на прейсъ-курантѣ Робинзона клонятся къ постоянному возвышенію одной цѣнности, съ которою Робинзонъ сознательно или безсознательно сравниваетъ всѣ блага и удобства своей одинокой жизни. Это—цѣнность человѣческаго труда. Съ каждымъ новымъ изобрѣтеніемъ или улучшеніемъ трудъ Робинзона становится болѣе производительнымъ. Вооруженный лукомъ и удочкой, Робинзонъ въ одинъ день застрѣлитъ больше дичи и наловитъ больше рыбы, чѣмъ онъ прежде могъ бы застрѣлить или наловить въ недѣлю. Дичь и рыба подешевѣли, а трудъ вздорожалъ.

Такъ и должно быть. Всякая новая машина, всякое новое приложеніе къ дѣлу двигательныхъ силъ природы должны возвышать цѣнность человѣческаго труда, т. е. дѣлать его болѣе производительнымъ, и слѣдовательно, улучшать матеріальное и всякое другое положеніе трудящагося человѣка. Если въ дѣйствительности выходитъ наоборотъ, если машины часто отбиваютъ у работника хлѣбъ, или увеличиваютъ его порабощеніе, то въ этомъ конечно не слѣдуетъ винить изобрѣтеніе.

Робинзонъ на своемъ островѣ ни съ кѣмъ не ведетъ войны и ни отъ кого не терпитъ обиды. Цѣнность его труда постоянно увеличивается, а цѣнность продуктовъ и составленныхъ запасовъ также постоянно уменьшается. Первый лукъ стоилъ Робинзону много труда; трудно было убить кролика; слѣдовательно, трудно было достать ту жилку, изъ которой надо было сдѣлать тетиву; когда первый лукъ устроенъ, то стрѣляніе кро-

ликовъ стало легче, стало быть, и добываніе жилъ облегчилось; второй лукъ стоилъ меньше труда, чѣмъ первый, слѣдовательно и первый лукъ понизился въ цѣнѣ, если только Робинзонъ не дорожилъ имъ, какъ историческою реликвіей.

Такъ точно бываетъ и въ дѣйствительной жизни. Каменный уголь облегчаетъ добываніе желѣза и понижаетъ его цѣнность; увеличившееся количество подешевѣвшихъ желѣзныхъ орудій облегчаетъ добываніе каменнаго угля, и слѣдовательно, также понижаетъ цѣнность послѣдняго. Оказывается, что каменный уголь самъ понизилъ свою цѣнность, точно также какъ первый лукъ Робинзона самъ себя понизилъ въ цѣнѣ. При всѣхъ этихъ пониженіяхъ возвышается цѣнность человѣческаго труда и увеличивается могущество человѣка надъ окружающей природой. Цѣнность предмета опредѣляется такимъ образомъ не тѣмъ количествомъ труда, которое было употреблено на его произведеніе, а тѣмъ, которое необходимо употребить для его воспроизведенія. Если вы пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ купили штуку сукна, то какъ бы она хорошо не сохранилась, вы никакъ не получите за нее тѣхъ денегъ, которыя вы заплатили сами. Въ фабрикаціи сукна произведено много усовершенствованій, понизившихъ цѣну этого продукта, и вы, въ самомъ лучшемъ случаѣ, можете получить за вашъ товаръ только ту цѣну, по которой продается теперь сукно того же достоинства. Капиталъ Робинзона, состоящій въ его удочкѣ, въ лукѣ, челнокѣ, топорѣ, хижинѣ и разной грубой утвари, постоянно понижается въ цѣнѣ, но Робинзонъ отъ этого не бѣднѣетъ, потому что онъ трудится, потому что трудъ его становится производительнѣе, и потому что именно успѣшность и производительность его труда ведетъ за собою техническія улучшенія, понижающія цѣнность всѣхъ прежнихъ накопленій. Лукъ, требовавшій дѣлныхъ сутокъ работы, можетъ быть сдѣланъ въ два часа; челнокъ, который прежде надо было долбить полгода, можетъ быть сдѣланъ въ два мѣсяца; хижина, которую надо было гордить цѣлый годъ, можетъ быть выстроена въ четыре мѣсяца.

Всѣ эти переменны очевидно выгодны и пріятны для Робинзона; онъ выросъ, онъ сталъ сильнѣе, онъ покорилъ себѣ до нѣкоторой степени природу, и потому его прежніе подвиги кажутся ему незначительными и легкими, точно также какъ взрослому человѣку кажутся чрезвычайно простыми тѣ самыя ариѳметическія задачи, которыя



приводили его въ отчаяніе въ дѣтствѣ. Но положимъ, что у Робинзона есть сосѣдъ, у котораго былъ челнокъ въ то время, когда у Робинзона челнока не было; сосѣдъ позволяетъ Робинзону пользоваться челнокомъ и требуетъ взамѣнъ три четверти того количества рыбы, которое будетъ поймано при помощи челнока. Робинзонъ по необходимости соглашается и выполняетъ заключенное условіе, а сосѣдъ между тѣмъ предается сладостному *far niente* и питается трудами дѣятельнаго рыболова. Но Робинзонъ, съ свойственною ему смѣтливостью, находитъ возможность кое-какъ выдолбить полусгнившее бревно; этотъ новый челнокъ плохъ, но на водѣ держится; на немъ ѣздить очень неудобно, но Робинзонъ предпочитаетъ пользоваться плохимъ челнокомъ, чѣмъ платить за прокатъ хорошаго три четверти своей добычи. Сосѣду приходится или сбавить цѣну, или разстаться съ любезнымъ бездѣйствіемъ. Сосѣдъ выбираетъ первое, и Робинзонъ платитъ за челнокъ уже не три четверти, а половину улова. Затѣмъ слѣдуетъ новое ухищреніе Робинзона, и новая уступка со стороны сосѣда. Наконецъ Робинзону удается сдѣлать точъ въ точъ такой челнокъ, какой есть у сосѣда; тогда Робинзонъ привозитъ обратно челнокъ, взятый напрокатъ, и дружелюбно раскланивается съ своимъ сосѣдомъ, которому поневолѣ приходится отъ «безпечальнаго созерцанія» перейти къ презрѣннымъ заботамъ дѣйствительности. Капиталъ, дававшій ему доходъ, растаялъ у него въ рукахъ. Каждое изобрѣтеніе Робинзона, уменьшавшее крѣпостную зависимость послѣдняго, было тяжелымъ ударомъ для благосостоянія празднаго обладателя челнока.

Тотъ фактъ, который представленъ здѣсь въ простѣйшемъ видѣ, повторяется въ дѣйствительной жизни въ самыхъ большихъ размѣрахъ и съ самыми разнообразными усложненіями. Трудъ постоянно стремится выбиться изъ-подъ контроля и господства капитала въ тѣхъ земляхъ, въ которыхъ человѣческій умъ не находится въ бездѣйствіи. Рабочая плата постоянно растетъ, не смотря на всѣ усилія капиталистовъ держать ее на самомъ низкомъ уровнѣ. Въ XIV столѣтіи работникъ получалъ въ недѣлю 7½ пенсовъ (около 11 копѣекъ), а теперь онъ зарабатываетъ въ тотъ же срокъ отъ 12 до 15 шиллинговъ (отъ 3 р. 60 к. сер. до 4 р. 50 к. с.). Драгоценные металлы, сравнительно съ трудомъ, подешевѣли такимъ образомъ въ 30—40 разъ, и могущество обладателя денегъ надъ пролетаріемъ уменьши-

лось въ значительной степени. Въ XIV столѣтіи, когда работникъ получалъ по 11 копѣекъ въ недѣлю, обладатель одного фунта серебра могъ за пользованіе этимъ количествомъ металла брать съ своего должника очень большіе проценты, потому что приобрести фунтъ серебра въ собственность можно было только полуторагодовымъ трудомъ; теперь никто не дастъ въ Англіи такихъ процентовъ, потому что фунтъ серебра зарабатывается въ двѣ недѣли съ небольшимъ. Въ настоящее время проценты очень высоки въ самыхъ бѣдныхъ и чисто земледѣльческихъ странахъ, въ которыхъ трудъ дешевъ; по мѣрѣ того, какъ мы переходимъ въ тѣ земли, въ которыхъ существуютъ разнообразныя приложенія человеческого труда, мы замѣчаемъ, что трудъ становится дороже, человѣкъ самостоятельнѣе, возможность накопленія значительнѣе, капиталы всякаго рода обильнѣе, и слѣдовательно, проценты ниже. Трудящееся большинство выигрываетъ отъ каждаго уменьшенія въ могуществовѣ капитала.

## IX.

Оставляя въ сторонѣ Робинзона и его островъ, читатель можетъ въ собственномъ своемъ кабинетѣ, не вставая съ мѣста, отдать себѣ полный и ясный отчетъ въ томъ, съ какими предметами онъ связываетъ идею цѣнности. Онъ увидитъ прежде всего, что онъ окруженъ атмосфернымъ воздухомъ, который для него необходимъ и которому онъ однако не придаетъ никакой цѣнности. Днемъ онъ не придаетъ никакой цѣнности солнечному свѣту, который однако чрезвычайно важенъ, какъ для здоровья читателя, такъ и для его занятій. Лѣтомъ теплота кабинета также не имѣетъ никакой цѣнности. Но освѣщеніе комнаты посредствомъ свѣчей, лампъ или газа имѣетъ цѣнность; отопленіе комнаты посредствомъ дровъ или каменнаго угля также имѣетъ свою очень опредѣленную цѣнность, а между тѣмъ искусственное освѣщеніе хуже солнечнаго свѣта, и нагрѣтая комната составляетъ плохую замѣну теплаго лѣтняго воздуха.

Читатель пойметъ безъ труда, почему онъ придаетъ цѣнность искусственному освѣщенію и отопленію и не придаетъ никакой цѣнности воздуху, солнечному свѣту и лѣтней теплотѣ. Поэтому, отвѣтитъ онъ самъ себѣ, что воздухъ, свѣтъ и теплота доставляются природою въ неограниченномъ количествѣ, въ томъ самомъ видѣ, въ которомъ мы ими пользуемся, и на то самое



мѣсто, на которомъ мы въ нихъ нуждаемся. Если бы воздухъ не проникалъ въ какой нибудь тоннель, то его надо было бы накачивать туда, и тогда за трудъ накачиванія пришлось бы платить, и воздухъ получилъ бы цѣнность. Если солнечный свѣтъ не проникаетъ въ глубокую шахту, то въ ней приходится работать съ фонарями, и тогда свѣтъ даже во время дня имѣетъ цѣнность. Въ монастырѣ св. Бернарда, на высотѣ 14 т. туазовъ, приходится топить каминны круглый годъ, потому что природа даже во время лѣта не доставляетъ туда достаточнаго количества теплоты. Тамъ теплота всегда имѣетъ цѣнность. Разсудивъ такимъ образомъ, читатель рѣшитъ немедленно, что онъ придаетъ цѣнность дровамъ и свѣчамъ потому, что ихъ приготовленіе и доставленіе на мѣсто стоитъ труда. Природа даетъ даромъ деревья и торфъ, изъ котораго дѣлаются парафиновые свѣчи; но дерево надо срубить, а торфъ надо добыть; потомъ срубленное дерево надо разрубить на мелкія части, а надъ торфомъ надо произвести разныя химическія и механическія операци. Наконецъ, готовые дрова и готовые свѣчи надо перенести на мѣсто потребленія. На перемѣну формы и на перемѣщеніе употребленъ человѣческій трудъ: за этотъ самый трудъ и дается извѣстному предмету его цѣнность. Но необходимое количество человѣческаго труда измѣняется, и это измѣненіе выражается въ измѣненіи цѣнности. Читатель сидитъ на креслѣ, передъ письменнымъ столомъ, на которомъ лежатъ книги и письменныя принадлежности. Чернила, стальные перья и бумага куплены недѣлю тому назадъ; съ тѣхъ поръ въ фабрикаціи этихъ предметовъ не могло произойти усовершенствованій, и новый комплектъ этихъ вещей стоилъ бы такого же количества труда, и слѣдовательно такой же суммы денегъ, какая заплачена за вещи моего читателя. Но мебель куплена лѣтъ десять тому назадъ; съ тѣхъ поръ столярное производство облегчилось и улучшилось введеніемъ новыхъ пріемовъ и инструментовъ; цѣнность кресла и письменнаго стола понизилась, потому что теперь можно сработать такія же вещи съ меньшей тратой труда и времени; можетъ быть въ денежномъ отношеніи кресла и письменные столы не подешевѣли, можетъ быть они даже вздорожали, но цѣнность предметовъ должна измѣряться не деньгами, а трудомъ; если десять лѣтъ тому назадъ письменный столъ дѣлался однимъ работникомъ въ продолженіи десяти дней, и если теперь также одинъ

работникъ можетъ сдѣлать такой же столъ въ восемь дней, то цѣнность стола понизилась. Но если десять лѣтъ тому назадъ работникъ получалъ въ день 70 коп. с., а теперь получаетъ 90 коп. сер., то столъ, сработанный десять лѣтъ тому назадъ, стоилъ 7 р. сер., а столъ такого же достоинства теперь будетъ стоить 7 р. 20 к. с. Это значитъ, что трудъ возвысился въ цѣнѣ, какъ сравнительно съ столами, такъ и сравнительно съ деньгами, т. е. съ драгоценными металлами; при этомъ цѣнность послѣднихъ понизилась сильнѣе, чѣмъ цѣнность первыхъ.

Если читатель, сидящій за своимъ письменнымъ столомъ, самъ человѣкъ трудящійся, то для него такая перемѣна выгодна и пріятна. Онъ платитъ дороже прежняго столяру, портному и сапожнику, но за то и самъ получаетъ за свой трудъ большее количество денегъ и удобствъ.

Разсматривая свои книги, читатель замѣчаетъ, что каждая изъ нихъ представляетъ сумму нѣсколькихъ сложныхъ операций. Прежде всего онъ видитъ умственный трудъ автора, затѣмъ передъ нимъ рисуются фабрикація бумаги, добычаніе металла, изъ котораго отливается шрифтъ, отливка шрифта, работа наборщиковъ, отпечатаніе набранныхъ полосъ, корректура, брошюрованіе листовъ и переплетная работа. Облегченіе какой нибудь одной изъ этихъ операций отражается на цѣнности книги. Чѣмъ больше операций и чѣмъ онѣ сложнѣе, тѣмъ больше основаній предполагать, что общая цѣнность продукта должна быстро понижаться, потому что тѣмъ больше есть шансовъ для отдѣльныхъ техническихъ усовершенствованій. Химикъ открываетъ такой составъ, которымъ удешевляется бѣленіе бумаги; цѣнность бумаги понижается, и вмѣстѣ съ этимъ понижается цѣнность книги. Желѣзная дорога уменьшаетъ издержки на перевозку тряпокъ, идущихъ на фабрикацію бумаги—опять пониженіе. Примѣненіе пара къ выдѣлкѣ бумаги даетъ фабриканту возможность производить стопы бумаги въ то время, въ которое прежде онъ производилъ только дести. Паръ примѣняется къ отливанію шрифта; паръ приводитъ въ движеніе скоропечатную машину и оттискиваетъ тысячи листовъ въ часъ, между тѣмъ какъ машина, приводившаяся въ дѣйствіе руками, оттискивала въ часъ только сотни листовъ. Читатель можетъ себѣ представить, какъ совокупность такихъ колоссальныхъ усовершенствованій должна отразиться на цѣнности окончательнаго продукта, т. е. книги. Экземпляръ сочиненій Шек-



спира или Мильтона, лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ, изображалъ собою недѣлю человѣческаго труда, а теперь онъ можетъ быть воспроизведенъ работою одного дня.

Читатель встрѣчаетъ здѣсь имена англійскихъ писателей потому, что Англіи и Америкѣ принадлежитъ пальма первенства въ дѣлѣ техническихъ усовершенствованій всякаго рода. Если читатель перенесетъ вопросъ на русскую почву, то онъ конечно увидитъ, что мы ничего не усовершенствовали самостоятельно, даже мало переняли у передовыхъ народовъ; слѣдовательно, цѣнность русскихъ книгъ въ послѣднее полу столѣтіе понизилась не такъ значительно.

Изъ всѣхъ размышленій, предпринятыхъ читателемъ въ его кабинетѣ, онъ можетъ вывести то плодотворное заключеніе, что цѣнность каждаго изъ окружающихъ его предметовъ равняется тому количеству труда, которое необходимо для его воспроизведенія. Это необходимое количество труда уменьшается съ каждымъ усовершенствованіемъ въ производствѣ, и слѣдовательно цѣнность всѣхъ продуктовъ стремится къ постоянному пониженію, которое совершается быстро или медленно, смотря по тому, быстро или медленно совершенствуются различныя отрасли производительнаго труда. Читатель увидитъ, что результаты, добытые имъ въ кабинетѣ, остаются въ полной силѣ, какъ бы мы ни расширяли поле нашего изслѣдованія и въ какихъ бы сложныхъ комбинаціяхъ ни представлялся намъ вопросъ о цѣнности различныхъ угодій и предметовъ. Цѣнность обработанной земли подчиняется тому же общему закону. Земля сама по себѣ не имѣетъ никакой цѣнности, точно также какъ воздухъ, солнечный свѣтъ, теплота, электричество, вѣтеръ и всякія другія силы природы. Если бы кому нибудь принадлежали милліоны десятинъ земли въ скалистыхъ горахъ Сѣверной Америки, въ дѣвственныхъ лѣсахъ Бразиліи, или въ пустынныхъ равнинахъ нашей Сибири, то этотъ счастливый собственникъ не могъ бы получить съ своей земли ни копѣйки дохода. Между тѣмъ въ Англіи или во Франціи, каждый квадратный аршинъ земли имѣетъ свою цѣнность и можетъ приносить доходъ, не смотря на то, что по качеству англійская или французская земля гораздо хуже бразильской. Вся разница между Англіей и Бразиліей заключается въ томъ, что въ Англіи съ незапамятныхъ временъ потрачено многими десятками поколѣній неизмѣримое количество труда, и что весь этотъ трудъ положенъ въ зем-

лю, какъ въ огромную сберегательную кассу. Трудъ человѣка вырубилъ лѣса, осушилъ болота, насыпалъ плотины, провелъ дороги, основалъ деревни и города, построилъ школы, больницы, запасныя магазины, превратилъ деревья въ корабли и сдѣлалъ тысячи другихъ операций, вслѣдствіе которыхъ дикая пустыня сдѣлалась жилищемъ многочисленнаго и дѣятельнаго народа. Если бы вдругъ можно было отнять отъ Англіи всю массу потраченнаго на нее человѣческаго труда, если бы въ одно мгновеніе ее можно было превратить въ Англію доисторическихъ временъ, то навѣрное девять десятыхъ ея жителей погибли бы въ самомъ непродолжительномъ времени, а оставшая десятая часть съ ужасомъ бѣжала бы на континентъ. Англія опустѣла бы, и земля тотчасъ же потеряла бы всякую цѣнность; тотчасъ началась бы конечно новая колонизація изъ Франціи и Германіи, и земля быстро стала бы приобретать цѣнность, благодаря тому обстоятельству, что много человѣческаго труда потрачено на земли лежащія недалеко отъ Англіи, и что населенность этихъ земель и промышленная дѣятельность народовъ чрезвычайно облегчаетъ трудъ разработки и разчистки новой почвы.

Населенность земель и промышленная дѣятельность народовъ нашего времени составляетъ также прямое слѣдствіе того огромнаго количества труда, которое было положено въ землю всѣми предыдущими поколѣніями. Земля не могла бы быть густо населена, если бы трудъ человѣка не сдѣлалъ ее предварительно обитаемою; а если бы на извѣстномъ пространствѣ земли не сосредоточилось значительное число людей, то никогда не могла бы развиваться промышленность. Грубый трудъ полудикаго пахаря лежитъ въ основаніи всѣхъ чудесъ европейской цивилизаціи. Этотъ же самый трудъ, котораго значительная доля скрывается въ доисторической древности, составляетъ единственную причину цѣнности земли. Богатый и могущественный землевладѣлецъ Англіи является прямымъ и, по мнѣнію юристовъ, законнымъ наслѣдникомъ вооруженнаго варвара, пришедшаго въ мирную землю и конфисковавшаго въ свою пользу личный трудъ англо-саксовъ и трудъ многихъ вѣковъ, составлявшихъ наслѣдственное достояніе беззащитныхъ поселянъ. Теперешній англійскій перъ, филантропъ и аболіціонистъ, обязанъ всѣмъ своимъ богатствомъ и могуществомъ тѣмъ самымъ поступкамъ своего славнаго предка, которые онъ, перъ, съ добродѣ-



тельнымъ ужасомъ назвалъ бы позорными преступленіями.

Въ XVII и въ XVIII столѣтіяхъ было много примѣровъ, что люди богатые и вліятельные получали въ подарокъ или за ничтожную сумму огромныя пространства земли въ нынѣшнихъ американскихъ штатахъ. Они дѣятельно принимались за разработку земель, нанимали поселенцевъ, тратили много денегъ, хлопотали сами, и въ результатѣ оказывалось, что они раззорялись въ конецъ. Такой случай произошелъ съ Вилльямомъ Пенномъ, съ герцогомъ іоркскимъ, съ Робертомъ Моррисомъ и съ голландскою поземельной компаніей. Наемный трудъ чрезвычайно дорогъ въ обработкѣ новой земли, а рабскій трудъ особенно убыточенъ потому, что невольники мрутъ въ большемъ количествѣ отъ работъ въ лѣсахъ и болотахъ. Для заселенія новой земли не годится ни наемный работникъ, ни рабъ; только вольный колонистъ, предприимчивый и самостоятельный, трудящійся для себя, завоевывающій новую землю для своего семейства и потомства, имѣющій полную возможность идти направо или налѣво, не спрашиваясь ни у кого и не давая никому отчета — только такой колонистъ можетъ положить прочное основаніе будущему богатству и цвѣтущему поселенію. Такіе колонисты въ древности заселили и начали обрабатывать Англію; а потомки этихъ колонистовъ были обобраны и порабощены предками нынѣшнихъ перовъ, точно также какъ русскіе были порабощены татарами Батыя, которымъ они въ продолженіи двухъ столѣтій платили дань.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что цѣнность земли, какъ и всякой другой вещи, заключается въ трудѣ человѣка.

## X.

Трудъ есть борьба человѣка съ природою; въ борьбѣ «то сей, то онъ на бокъ гнется»; когда побѣждаетъ природа, мы называемъ трудъ неудачнымъ; когда побѣждаетъ человѣкъ, мы говоримъ, что трудъ удаченъ; побѣды бываютъ болѣе или менѣе полныя и, сообразно съ этимъ, трудъ бываетъ совершенно или несовершенно удачнымъ. На одну совершенную удачу обыкновенно приходится нѣсколько несовершенныхъ удачъ и нѣсколько совершенныхъ неудачъ. Такъ какъ совершенная удача случается сравнительно рѣдко, то мы говоримъ, что для достиженія такой удачи надо преодолѣть сильное сопротивленіе природы.

Конечно всѣ эти выраженія: «борьба съ природой», «сопротивленіе природы», при ближайшемъ разсмотрѣніи, оказываются простыми метафорами. Природа вовсе не борется съ нами и не старается злоумышленнымъ сопротивленіемъ разрушить наши замыслы и повредить нашимъ интересамъ. Наши неудачи или неполныя удачи просто происходятъ отъ нашего неумѣнья и неполнаго знанія причинъ и слѣдствій; но отчего бы онѣ не происходили, онѣ несомнѣнно существуютъ и оказываютъ свое вліяніе на цѣнность предметовъ, производимыхъ трудомъ. Стекло-щикъ кладетъ въ горнъ большое количество сырого матеріала, который долженъ превратиться въ листовое стекло; послѣ окончанія разныхъ операций, нѣсколько десятковъ листовъ оказываются готовыми. Матеріалъ для всѣхъ листовъ былъ одинъ, работникъ тоже одинъ, количество работы одинаковое, между тѣмъ четыре листа вышли совершенно гладкіе, одиннадцать листовъ съ едва замѣтными неровностями, десятка три — съ порядочными крапинами, а остальной листъ — весь въ пузыряхъ, такъ что никуда не годится. Это произошло, разумѣется, оттого, что для первыхъ листовъ случайно стеклись такіа благоприятныя обстоятельства, которыя работникъ, по недостатку умѣнья, не могъ обратить въ общее правило для всего количества продукта. Поэтому онъ сортируетъ изготовленные листы, и цѣнность перваго сорта считается выше второго, который въ свою очередь цѣнится выше третьяго и т. д.

Различіе въ цѣностяхъ происходитъ отъ различія въ сопротивленіи природы. Стекло перваго сорта можетъ образоваться при исключительно благоприятныхъ условіяхъ, которыя встрѣчаются рѣдко, и оттого это стекло дорого; чтобы приготовить одинъ такой листъ, надо испортить на неудачныя попытки больше десятка. Конный заводчикъ воспитываетъ съ одинаковымъ стараніемъ сотню жеребятъ, но изъ этой сотни можетъ быть сформирована только два замѣчательные скакуна, потомъ штукъ пятнадцать отличныхъ верховыхъ и упряжныхъ лошадей, потомъ штукъ тридцать порядочныхъ лошадей, а затѣмъ остальные окажутся дрянью. Причины тѣ же самыя, какія мы видѣли въ фабрикаціи стекла — именно неполное знаніе естественныхъ свойствъ предмета, и слѣдовательно, неполное умѣнье пользоваться благоприятными условіями и устранять разстроивающія вліянія. Цѣна различнымъ лошадямъ будетъ конечно чрезвычайно



различная. Замѣчательный скакунъ долженъ будетъ по возможности навертывать трудъ, потраченный на него самого и на менѣе удачные экземпляры, представляющіе собою неосуществившіяся стремленія заводчика. Тамберликъ получаетъ за свой зимній сезонъ въ Петербургѣ такую значительную сумму денегъ, что каждая арія его можетъ быть рассчитана на рубли и копѣйки. Положимъ, что какой нибудь прожектеръ вздумалъ сформировать новаго Тамберлика съ тѣмъ, чтобы онъ пѣлъ въ его пользу. Такое предпріятіе имѣетъ какіе нибудь шансы успѣха только въ томъ случаѣ, если предпріимчивый оригиналъ займется физическимъ и музыкальнымъ воспитаніемъ цѣлыхъ сотенъ или тысячъ дѣтей, подающихъ надежды. Нѣкоторые изъ этихъ дѣтей умрутъ, другія потеряютъ голосъ, третьи окажутся лишенными слуха, четвертыя обнаружатъ непроходимую тупость, большая часть сдѣлаются хорошими людьми, но плохими пѣвцами. Наконецъ, если и выдрессируется новый Тамберликъ, то онъ навѣрное не окупитъ издержекъ и трудовъ, убитыхъ на его воспитаніе и на неудавшіяся попытки. Тогда предпріимчивый воспитатель увидитъ, что Тамберликъ цѣнится такъ дорого потому, что надо побѣдить множество препятствій, прежде нежели можно будетъ воспроизвести другой подобный голосъ. А препятствія все-таки состоятъ въ незнаніи тѣхъ фیزیологическихъ, гигиеническихъ, климатическихъ и всякихъ другихъ данныхъ, которыхъ совокупность необходима для образованія превосходной музыкальной организаціи.

Мы до сихъ поръ ходимъ ощупью во всѣхъ отрасляхъ нашей дѣятельности; все, что выходитъ у насъ хорошаго, принимается нами, какъ подарокъ судьбы, какъ счастливая случайность, какъ исключеніе, стоящее рядомъ съ сотней уродливостей, которыя считаются нами за настоящее правило. Поэтому первый сортъ вездѣ дѣрогъ, и на стеклянной фабрикѣ, и на конномъ заводѣ, и въ музыкальной школѣ. Это доказываетъ намъ, что полное знаніе природы, полное могущество надъ нею, и слѣдовательно, полное счастье человѣка лежитъ еще далеко впереди насъ, но это вовсе не доказываетъ того, чтобы знаніе наше имѣло передъ собой неодолимые преграды, и чтобы въ природѣ заключались такія тайны, которыя навсегда останутся недоступными пытливому уму человѣка. Въ наше время никто не удивился бы такому усовершенствованію въ фабрикаціи стекла, вслѣдствіе котораго весь сырой матеріалъ, положенный въ горнъ,

сталъ бы превращаться въ стекло перваго сорта. Даже значительное усовершенствованіе въ коннозаводствѣ, дающее возможность удвоить или утроить число ежегодно формирующихся превосходныхъ скакуновъ или ломовиковъ, не показалось бы намъ невѣроятнымъ, не смотря на то, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ органической жизнью въ одномъ изъ самыхъ сложныхъ ея проявленій. Если бы мы могли по произволу улучшать складъ нашихъ домашнихъ животныхъ, если бы посредствомъ тщательнаго ухода и измѣненныхъ условій питанія мы могли сообщить простому русскому жеребенку превосходныя качества арабской лошади, то мы конечно очень близко подошли бы къ той чрезвычайно важной задачѣ, чтобы путемъ различныхъ фیزیческихъ вліяній сообщать развивающемуся человѣческому организму возможно большее количество мускульной и мозговой силы. Уже Платонъ мечталъ о средствахъ производить великихъ людей; для его времени такая цѣль была совершенно фантастична, потому что не была намѣчена даже та дорога, которая можетъ къ ней привести; въ наше время эта цѣль все еще остается недостижимой, но мы знаемъ уже тотъ путь изслѣдованія, который навѣрное, рано или поздно, приведетъ къ рѣшенію самыхъ сложныхъ вопросовъ органической жизни.

Къ сожалѣнію, между теоретическимъ знаніемъ и практическимъ приложеніемъ лежитъ до сихъ поръ, во всѣхъ отрасляхъ нашей дѣятельности, глубокая и широкая бездна. Теоретическая гигиена давно твердитъ людямъ, что для ихъ организма необходимы чистый воздухъ, свѣтъ, теплота, свѣжая и обильная пища, а между тѣмъ, всѣ эти совѣты гигиены звучатъ горькою насмѣшкой для каждого, кто сколько нибудь знакомъ съ бытовыми условіями огромнаго большинства. Большіе города, грязные переулки и дворы, темнота, сырость, голодъ, холодъ, разлагающаяся пища, гніющая вода—все это существуетъ въ огромныхъ размѣрахъ и нимало не смущается предписаніями гигиенической науки. Къ довершенію нелѣпости, находятся люди, которые всѣ эти явленія оправдываютъ, какъ неизбѣжныя слѣдствія неизмѣнныхъ естественныхъ законовъ.

«Вольно-жъ имъ плодиться, какъ свиньямъ», говоритъ мальтузіанецъ Милль:—они сами виноваты, и намъ, людямъ приличнымъ, не слѣдуетъ становиться между прегрѣшеніемъ и наказаніемъ».



Весь историческій ходъ событій, породившій такое повсемѣстное практическое порицаніе гігіены, представляется каждому мыслящему человѣку обиднымъ и бесконечно долгимъ недоразумѣніемъ, перебивающимъ въ значительной степени то благодѣтельное вліяніе, которое должны были бы оказать на судьбу нашей породы великія открытія естествознанія. Можно было бы, глядя на продолжающіяся историческія недоразумѣнія, усумниться въ силѣ открытій, усумниться въ ихъ приложимости къ всенедней жизни всѣхъ людей, можно было бы принять эти открытія за новое видоизмѣненіе монополій и привилегій, если бы неподкупный духъ анализа, пробужденный естественными науками, не проникъ въ изслѣдованіе существующихъ формъ общественной и экономической жизни. Та минута, въ которую плодами этого изслѣдованія можно будетъ подѣлиться со всѣмъ человечествомъ, откроетъ собою новую эру справедливости, физическаго здоровья и матеріальнаго благосостоянія. Препятствій много, минута эта далека. Но къ приближенію этой минуты направлены всѣ усилія всѣхъ честныхъ работниковъ мысли на земномъ шарѣ; нѣтъ тѣхъ препятствій, которыхъ не побѣдила бы, рано или поздно, энергія мысли и сила честнаго убѣжденія; нѣтъ тѣхъ испытаній, которыя бы испугали людей, сознающихъ въ себѣ естественныхъ депутатовъ и защитниковъ своей породы,—и потому славное будущее человечества не можетъ погибнуть. Знаніе есть сила, и противъ этой силы не устоятъ самыя окаменѣлыя заблужденія, какъ не устояла противъ нея инерція окружающей насъ природы.

Всякая побѣда человѣка надъ инерціей природы увеличиваетъ пользу окружающей насъ матеріи и уменьшаетъ цѣнность предметовъ нашего потребленія. Пользою предметовъ измѣряется сила человѣка надъ природой; поэтому польза увеличивается, когда люди сближаются между собой. Цѣнностью предметовъ измѣряется напротивъ того сила природы надъ человѣкомъ; поэтому цѣнность уменьшается при сближеніи людей между собою. Одиному поселенцу приходится бѣгать за водой къ рѣкѣ за нѣсколько сотъ шаговъ, такъ что каждое ведро воды стоитъ значительнаго количества труда. Когда число поселенцевъ увеличивается, то имъ удается вырыть колодезь возлѣ самыхъ домовъ; цѣнность воды уменьшается, но польза ея увеличивается, потому что ее употребляютъ въ домашнемъ быту

чаще и въ большемъ количествѣ. Потомъ, поселенцы ставятъ надъ колодеземъ насосъ, который еще облегчаетъ добываніе воды и, уменьшая ея цѣнность, снова увеличиваетъ ея пользу. Наконецъ, когда силы поселенія оказываются уже очень значительными, вода проводится въ дома, послѣ чего каждому изъ жителей стоитъ только отвернуть кранъ, чтобы добыть себѣ цѣлыя бочки воды. Цѣнность падаетъ такимъ образомъ до самой низкой степени, а польза увеличивается до самыхъ большихъ размѣровъ. Этотъ простой примѣръ, въ которомъ нѣтъ ни натяжки, ни произвольной гипотезы, показываетъ намъ, что цѣнность и польза предметовъ находятся всегда въ обратномъ отношеніи между собою. Кроме того, этотъ примѣръ подтверждаетъ еще разъ ту истину, что дружное соединеніе человѣческихъ силъ распространяетъ свое благотворное вліяніе на всѣ мелкія подробности всенедней жизни.

## XI.

Положимъ, что буря выбрасываетъ обломки корабля на такой островъ, котораго еще не посѣщали европейскіе мореплаватели; дикіе островитяне осматриваютъ эти обломки и находятъ, въ числѣ другихъ вещей, нѣсколько ружей, запасъ неподмоченнаго пороха, нѣсколько фунтовъ пуль и дробы, и большое количество пистолетовъ. Для людей, живущихъ охотою, чрезвычайно выгодно замѣнить луки и стрѣлы хорошими ружьями, но дикари навѣрное не поймутъ важнаго значенія своей находки и останутся при своемъ прежнемъ, варварскомъ оружіи. Для нихъ ружья не составляютъ богатства, потому что они не умѣютъ ими пользоваться. Если бы къ нимъ перенесли всѣ паровыя машины Англіи или Американскихъ Штатовъ, и если бы земля ихъ заключала въ себѣ мощные пласты каменнаго угля и неистощимыя жилы желѣзной руды, то и тогда они не сдумѣли бы сдѣлать себѣ ни одного ножа, и по прежнему продолжали бы рѣзать кожу и мясо животныхъ острыми раковинами и кремнями. У нихъ недостаетъ знаній для того, чтобы обращаться, какъ слѣдуетъ, съ паровой машиной или съ ружьемъ. Они даже не подозреваютъ, чтобы въ природѣ существовала возможность тѣхъ явленій и сложныхъ комбинацій, которыя извѣстны каждому фабричному работнику въ Англіи или въ Америкѣ. Въ тѣхъ предѣлахъ, до которыхъ успѣли развиваться знанія дикарей, они воспользуются и паровою машиною, и ружьемъ.



Первую они вѣроятнo разламываютъ на части, чтобы изъ этихъ частей сдѣлать себѣ разную домашнюю утварь; второе будетъ обращено въ дубинку, которую дикарь будетъ брать въ руки за дуло, чтобы поражать своего врага прикладомъ. Это своеобразное употребленіе паровой машины и ружья обнаруживаетъ въ дикаряхъ опытное знаніе самыхъ элементарныхъ свойствъ матеріи: видно, что они умѣютъ пользоваться емкостью, твердостью, тяжестью, клинообразной или остро-конечной формой и другими наглядными свойствами окружающихъ предметовъ. Благодаря этимъ слабымъ знаніямъ, они могли извлечь очень незначительную пользу изъ тѣхъ снарядовъ, изъ которыхъ свѣдущій европеецъ извлекаетъ большое количество важныхъ житейскихъ удобствъ.

Всякій читатель согласится, что большое количество житейскихъ удобствъ можетъ быть названо богатствомъ, и что европеецъ, пользующійся ружьемъ, какъ огнестрѣльнымъ оружіемъ, богаче дикаря, употребляющаго точно такое же ружье, какъ дубину. Въ рукахъ перваго, ружье развертывается всѣ свои производительныя силы, между тѣмъ какъ у послѣдняго всѣ специфическія свойства ружья остаются мертвымъ капиталомъ. Причины такихъ различныхъ результатовъ заключаются въ различіи знаній; слѣдовательно надо согласиться съ тѣмъ, что знаніе составляетъ важнѣйшій элементъ богатства. Но знаніе не такой предметъ, который человѣкъ могъ бы найти готовымъ на какой нибудь горѣ или въ какой нибудь пещерѣ. Знаніе составляется изъ мелкихъ крупинокъ ежедневнаго опыта, а такъ какъ жизнь отдѣльнаго человѣка очень коротка и кругъ его зрѣнія очень ограниченъ по своему пространству, то онъ никогда не выбился бы изъ подъ гнета невѣжества и бѣдности, если бы, сходясь съ другими людьми, онъ не выслушивалъ отъ нихъ и не обращалъ бы въ свою пользу собранныхъ ими опытовъ и наблюденій. Сближеніе съ людьми составляетъ для человѣка самое могущественное средство умственного развитія; въ обществѣ человѣкъ мыслить быстрѣе, чѣмъ въ одиночествѣ, и мысли каждаго отдѣльнаго лица находятъ себѣ повѣрку въ опытѣ другихъ, и средство къ испытанію и примѣненію въ совѣтахъ и въ содѣйствіи слушателей. На этомъ основаніи, всякая мѣра, уменьшающая разстояніе между отдѣльными людьми, или уничтожающая препятствія, лежащія на пути ихъ сближенія, или увеличивающая потребность людей сближаться между

собою—всякая подобная мѣра, говорю я, увеличиваетъ скорость въ обращеніи идей, распространяетъ знанія и производитъ увеличеніе богатства.

Люди всего больше расположены сближаться между собою тогда, когда они занимаются различными промыслами, и могутъ мѣняться между собой продуктами своего труда. Земледѣлецъ не пойдетъ къ сосѣду земледѣльцу, потому что онъ знаетъ, что у него и у сосѣда одни и тѣ же излишки, и однѣ и тѣ же потребности. Сосѣдъ не возьметъ у него хлѣба, потому что у сосѣда своего хлѣба слишкомъ много, и сосѣдъ не дастъ ему рубашки, потому что сосѣдъ самъ хочетъ пріобрѣсти себѣ полотно или бумажной матеріи. Чтобы сбыть лишній возъ зернового хлѣба и пріобрѣсти нѣсколько аршинъ полотна или сукна, пару сапоговъ или новую косу, земледѣлецъ принужденъ отправиться въ ближайшій городъ, за нѣсколько десятковъ верстъ, по дурной и гористой дорогѣ. Это препятствіе, находящееся между производителемъ—земледѣльцемъ и потребителемъ—ремесленникомъ, и заключающееся въ далекомъ разстояніи и въ дурной дорогѣ, ведетъ за собою много невыгодъ. Цѣлый день земледѣльца будетъ потраченъ непроизводительно, т. е. не увеличитъ количества продукта; вмѣстѣ съ трудомъ земледѣльца пропадетъ и трудъ лошади, которая повезетъ хлѣбъ въ городъ и телѣгу изъ города. Пометъ лошади, падающій на дорогу, потеряетъ; кромѣ того, земледѣлецъ, не имѣющій подъ рукою близкаго сбыта, принужденъ обсеивать свои поля только такими сортами хлѣба, которые, при наименьшей громоздкости, продаются по наиболѣе дорогой цѣнѣ. Онъ не можетъ возить въ городъ картофель или сѣно, потому что продажная цѣна этихъ продуктовъ не окупитъ издержекъ и трудовъ перевозки. Это обстоятельство вредитъ успѣшному ходу его хозяйства, не позволяетъ ему ввести рациональный сѣвооборотъ и заставляетъ его истощать свои поля постоянными посѣвами ржи, пшеницы, овса и другихъ зерновыхъ хлѣбовъ. Положимъ теперь, что черезъ владѣнія нашего земледѣльца пролегла желѣзная дорога, ведущая къ тому городу, въ который прежде приходилось ѣздить по разнымъ трясинамъ и буеракамъ; теперь продукты отправляются на продажу въ вагонахъ, а то количество лошадинаго и человѣческаго труда, которое тратилось на безплодныя прогулки по дурной проселочной дорогѣ, посвящается улучшенію земли; пометъ весь идетъ на удобреніе земли, и



количество земледѣльческихъ продуктовъ увеличивается. Тогда земледѣлецъ нанимаетъ большее число работниковъ, чтобы еще болѣе расширить кругъ своихъ дѣйствій. Является необходимость построить новые амбары и скотные дворы; плотникъ, замѣчая запросъ на свой трудъ, поселяется рядомъ съ земледѣльцемъ; сапожникъ, получая съ фермы частые заказы, приближается къ своимъ заказчикамъ; мельникъ ставитъ мельницу на ближайшей рѣчкѣ, потому что предвидитъ себѣ работу. Прежде надо было ѣздить къ плотнику за тесомъ и за рамами, къ сапожнику за обувью, къ мельнику съ зерномъ, и отъ мельника съ мукою; на всѣ эти прогулки въ общей сложности тратилось большое количество труда и помета; теперь все это терявшееся количество сохраняется и увеличиваетъ плодородіе земли: хлѣба добывается гораздо больше прежняго, и притягательная сила процвѣтающаго мѣстечка постоянно увеличивается; приходитъ ткачъ, чтобы на мѣстѣ превращать ленъ и пеньку въ полотно; затѣмъ устроивается сукновальня, избавляющая фермера отъ необходимости возить въ городъ шерсть своихъ овецъ. Затѣмъ являются портной, кузнецъ, колесникъ, шорникъ, пивоваръ и другіе рабочіе. Сблизившись между собою, всѣ эти различные ремесленники ежедневно доставляютъ другъ другу значительныя выгоды, какъ производители и какъ потребители; всѣ они могутъ постоянно заниматься своими работами, не имѣя надобности бѣгать по дорогамъ ни за покупателями, ни за продавцами. Сапожнику стоитъ перейти черезъ улицу, чтобы купить у ткача полотно; ткачу стоитъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, чтобы достать у мельника муки; и сапожникъ, и ткачъ знаютъ также, что ихъ сосѣди сами придутъ къ нимъ за тѣми продуктами, которые они вырабатываютъ. Что же касается до земледѣльца, то онъ находится въ самомъ цвѣтущемъ положеніи; каждый кусокъ земли приносить ему пользу и доходъ; хлѣбъ, говядина, баранина, масло, яйца, домашняя птица, сыръ—все это находитъ себѣ сбытъ, и все это дешево, потому что продается на мѣстѣ, и все это кромѣ денегъ даетъ удобреніе, которое постоянно увеличиваетъ производительную силу земли.

Нравственныя слѣдствія такого сближенія разнородныхъ людей и промысловъ также очень значительны. Каждое отдѣльное ремесло знакомитъ человѣка съ особенными свойствами того или другого сырого матеріала; каждое изъ нихъ даетъ человѣку особенныя орудія и научаетъ его

особеннымъ приемамъ; каждое изоощряетъ въ человѣкѣ ту или другую способность и направляетъ его природную наблюдательность на ту или другую сторону обыденныхъ явленій. Всякій знаетъ, что у землевладѣльца есть свои особенныя метеорологическія примѣты, что пастухамъ извѣстны многія интересныя свойства въ характерѣ домашнихъ животныхъ, что мельники по необходимости пріобрѣтаютъ практическія свѣдѣнія по части механики и гидростатики. Когда множество различныхъ ремесленниковъ живутъ между собою рядомъ и находятся другъ съ другомъ въ ежедневныхъ сношеніяхъ, то они невольно и безсознательно сообщаютъ другъ другу большое количество замѣтокъ и свѣдѣній, которыя возбуждаютъ любознательность, нарушаютъ неподвижность ума и расширяютъ кругъ понятій и возрѣній. Особенно важны нравственныя слѣдствія такого сближенія для подрастающихъ дѣтей. Гдѣ земледѣліе составляетъ единственный промыселъ всего населенія, тамъ не можетъ быть и рѣчи о личныхъ наклонностяхъ или способностяхъ молодыхъ членовъ общества. Къ чему бы ни былъ расположенъ мальчикъ, каковы бы ни были его природныя дарованія, онъ все-таки долженъ непремѣнно браться за соху, потому что внѣ сохи нѣтъ спасенія отъ нищеты. Когда же, напротивъ того, десятки различныхъ ремесленниковъ живутъ на пространствѣ одной квадратной версты, тогда самые прихотливые вкусы и самыя разностороннія способности могутъ и должны находить себѣ удовлетвореніе. Кто расположенъ къ сидячей жизни и къ кропотливой работѣ, тотъ пойдетъ въ ученіе къ портному или къ сапожнику; у кого вѣрный глазъ и сильная рука, тотъ сдѣлается плотникомъ; кто владѣетъ тѣмъ же хорошимъ глазомѣромъ при меньшей физической силѣ, тотъ займется столярною работою; кто любитъ работать на открытомъ воздухѣ, тотъ посвятитъ свои силы садоводству или огородничеству; всякому откроется возможность заниматься своимъ дѣломъ съ охотою, по свободному влеченію, а не вслѣдствіе горькой необходимости. Индивидуальныя силы, наклонности и способности заявятъ свое существованіе, и это обстоятельство, во-первыхъ, возвыситъ нравственное состояніе людей, и во-вторыхъ, увеличитъ количество и улучшитъ качество продуктовъ, понизитъ ихъ цѣны посредствомъ усовершенствованій въ производствѣ, усилитъ такимъ образомъ ихъ сбытъ и возвыситъ общее благосостояніе производителей и потребителей.



Наконецъ разнообразіе промысловъ благотворительно тѣмъ, что оно уменьшаетъ зависимость простаго работника отъ хозяина или мастера и увеличиваетъ въ первомъ чувство собственного достоинства, принуждая въ то же время второго уважать человѣческую личность своего подчиненнаго. Гдѣ всѣ пахутъ землю, тамъ личность работника не существуетъ; тамъ человѣкъ, идущій за сохою, по свойствамъ своего труда, очень мало отличается отъ лошади или отъ вола, на которыхъ онъ покрикиваетъ и помахиваетъ кнутомъ. Хозяинъ не дорожитъ умомъ и ловкостью своего батрака; онъ совершенно основательно разсуждаетъ, что за сохой съумѣетъ ходить и круглый дуракъ; поэтому онъ и помыкаетъ своими работниками, какъ ему угодно, и гонитъ ихъ съ двора, когда они начинаютъ пускаться въ разсужденія. Замѣнить выгнаннаго работника вовсе нетрудно, потому что особенныхъ достоинствъ и способностей отъ кандидата на такое мѣсто не требуется. Въ ремесленной дѣятельности вопросъ ставится совершенно иначе. Хозяинъ дорожитъ человѣкомъ и смышленнымъ работникомъ, потому что его не скоро замѣнишь. Въ чисто земледѣльческомъ быту принималась въ расчетъ только животная сила человѣка; при ремесленной работѣ, напротивъ того, сила мускуловъ обыкновенно отходитъ на второй планъ, а всего больше обращается вниманіе на искусство, на званіе дѣла, на сообразительность. Въ ремеслѣ впервые проявляется и признается элементъ личнаго таланта. Этотъ элементъ эмансипируетъ и возвышаетъ ремесленника и смягчаетъ въ отношеніи къ нему хозяина, котораго личный интересъ зависитъ отъ ума и технической ловкости рабочаго.

Въ исторіи среднихъ вѣковъ встрѣчается такой фактъ, который совершенно подтверждаетъ собою предыдущія разсужденія. Первые признаки самостоятельности въ отношеніи къ феодаламъ проявляются между ремесленниками; они образуютъ коммуны и возмущаются противъ епископовъ и бароновъ; изъ нихъ составляется знаменитый *tiers-état*, а въ это время земледѣльцы еще несутъ на себѣ всю тяжесть барщины и разныхъ произвольныхъ поборовъ.

Изъ всего, что было сказано о жизни разросшагося мѣстечка, мы можемъ замѣтить, что сближеніе людей между собой, распространеніе знаній, увеличеніе богатства и нравственное освобожденіе личности зависятъ преимущественно отъ разнообразія занятій, и при существованіи

этого послѣдняго условія естественнымъ образомъ развиваются одно изъ другого.

Для того, чтобы въ каждой отдѣльной мѣстности какойнибудь страны проявлялось то разнообразіе занятій, изъ котораго вытекаютъ дѣятельность, знаніе, богатство и свобода, необходимо существованіе множества мѣстныхъ центровъ притяженія. Если въ какойнибудь землѣ одинъ огромный городъ стягиваетъ въ себѣ большую часть промышленныхъ силъ страны, то жители находятся въ зависимости отъ этого общаго центра; они принуждены возить свои продукты на этотъ далекій рынокъ, и на этомъ же рынкѣ покупать тѣ фабричныя издѣлія, которыя необходимы имъ для домашняго обихода. Ни одинъ изъ жителей не рѣшается устроить какоенибудь промышленное заведеніе внѣ большого центра, потому что не можетъ разсчитывать на сбытъ; разбросанное населеніе поневолѣ занимается исключительно земледѣліемъ и истощаетъ свою почву постояннымъ вывозомъ сырыхъ произведеній, которыя потребляются на далекомъ рынкѣ, и слѣдовательно, не даютъ обратно никакого удобренія. Между тѣмъ въ большомъ центрѣ заводятся всякія гадости; туда бѣжитъ все, что голодно, въ надеждѣ найти работу, и находить чаще всего крайнюю степень нужды, совершенное нравственное паденіе и преждевременную смерть отъ изнуренія, отъ гнилой пищи, или отъ вынужденнаго разврата; туда бѣжитъ и ѣдетъ все, что честолюбиво, въ надеждѣ найти блескъ и повышеніе, и чаще всего находитъ развращающую школу низкопоклонства и ничѣмъ не вознаграждаемаго насилуванія совѣсти; туда же, въ обѣтованную землю всякой роскоши, несутся всѣ люди, стремящіеся пожить на чужой счетъ, начиная отъ безконечнаго числа разныхъ просителей, искателей, и кончая легіономъ шуллеровъ и уличныхъ мошенниковъ. Первые большею частью питаются надеждами и нравственными подзатыльниками, но за то вторые, какъ люди, избравшіе благую часть, обыкновенно находятъ себѣ обильную ловлю рыбы въ мутной водѣ этихъ колоссальныхъ клоакахъ нашей великой цивилизаціи. Такимъ образомъ страна, имѣющая одинъ большой центръ притяженія, какъ Лондонъ, представляетъ очень неутѣшительную картину; провинціи постоянно бѣднѣютъ и истощаются; жители тупѣютъ отъ однообразнаго и неблагоприятнаго труда; а въ центрѣ собирается вся дрянь страны, вся испорченная кровь, весь гной ея бѣдности, вся квинт-эссенція ея разврата и



нравственной низости, ея страданій и преступленій.

## XII.

Когда Робинзонъ жилъ одинъ на своемъ островѣ, то ему надо было ходить на охоту, собирать плоды, ловить рыбу, сносить всѣ эти запасы въ свою пещеру, варить или жарить ихъ, готовить себѣ одежду изъ шкуръ, таскать изъ лѣса дрова для отопленія жилища, сооружать и чистить охотничьи и рыболовные инструменты. Все это и можетъ быть много другихъ занятій лежало на немъ одномъ, потому что у него не было союзника и помощника. Когда онъ отправлялся въ лѣсъ за добычей, то запасы, набранные наканунѣ, оставались безъ присмотра и могли быть съѣдены крысами или унесены какимъ нибудь болѣе крупнымъ животнымъ; когда онъ былъ на охотѣ, пища не приготавливалась ко времени его возвращенія, и одежда, которую онъ началъ шить до своего ухода, оставалась недоконченною. Когда онъ готовилъ пищу, или дошивалъ одежду, время удобное для ловли рыбы могло быть пропущено. Словомъ, Робинзонъ постоянно принужденъ былъ переходить отъ одного дѣла къ другому, причемъ конечно много труда и времени терялось на эти безпрестанные переходы; всѣ занятія, по необходимости, шли плохо, потому что они сталкивались между собою и ежеминутно мѣшали другъ другу. Каждая работа дѣлалась урывками, и ни въ одной не было того постоянного и послѣдовательнаго движенія, которое необходимо для достиженія выгодныхъ результатовъ. Если у Робинзона была жена, то уже всѣ работы должны были идти гораздо успѣшнѣе: пока мистеръ Робинзонъ бродилъ по лѣсу за дичью, или плавалъ по рѣкѣ за рыбой, домашній очагъ охранялся бдительнымъ окомъ мистриссъ Робинзонъ, которая кромѣ того въ это же время варила или жарила мясо, чистила набранные наканунѣ плоды, потрошила наловленную рыбу, или шила одежду; работы не прерывались такъ часто, какъ во время холостой жизни Робинзона, и вслѣдствіе этого, въ этихъ работахъ замѣчалось больше порядка, и отъ нихъ получалось большее количество продукта. Между Робинзономъ и его женою происходили постоянные обмѣны услугъ къ обоюдной выгодѣ обѣихъ сторонъ. Когда подросли дѣти, то быстрота въ обмѣнѣ услугъ значительно увеличилась. Одинъ изъ членовъ семейства охотился за дичью, другой ловилъ рыбу,

третій чинилъ охотничьи инструменты, четвертый варилъ кушанье, пятый шилъ одежду, шестой копалъ землю, такъ что всѣ отрасли работъ одновременно и дружно подвигались впередъ; потому продукты этихъ работъ обмѣнивались одинъ на другой; когда вся семья садилась обѣдать, тутъ излишекъ дичи одного обмѣнивался на излишекъ рыбы другого; тутъ съѣстные припасы, добытые однимъ, оплачивали труды другихъ, посвящавшихъ свои силы на приготовленіе кушанья, на шитье одежды, на сооруженіе луковъ, челноковъ и удочекъ. Этотъ обмѣнъ былъ выгоденъ для каждого, потому что вслѣдствіе такого обмѣна каждый пользовался разнообразнымъ столомъ, каждый былъ одѣтъ, каждый, кому надо было охотиться или ловить рыбу, былъ снабженъ необходимыми инструментами. Трудъ каждого былъ гораздо производительнѣе, чѣмъ трудъ одинокаго колониста, потому что каждый посвящалъ своему занятію все свое время и все свое вниманіе, не кидаясь отъ одной работы къ другой и не отвлекаясь посторонними заботами и соображеніями.

Эта небольшая семья колонистовъ служить прототипомъ общества; въ ней, какъ и въ самомъ многочисленномъ обществѣ, происходитъ раздѣленіе труда и обмѣнъ услугъ; эти два явленія заключаютъ въ себѣ источникъ всѣхъ благодѣтельныхъ дѣйствій, которыя существованіе общества производитъ на матеріальное и нравственное положеніе отдѣльнаго человѣка. Чѣмъ многочисленнѣе общество, тѣмъ значительнѣе можетъ быть раздѣленіе труда, тѣмъ дѣятельнѣе, умнѣе, богаче и свободнѣе можетъ становиться человѣкъ, тѣмъ сильнѣе должны понижаться цѣнности предметовъ и тѣмъ сильнѣе должна возвышаться ихъ польза.

Такъ *можетъ* быть, и такъ *должно* быть, но такъ не бываетъ въ дѣйствительности, потому что люди, кромѣ раздѣленія труда и обмѣна услугъ, всегда вносятъ въ каждое зарождающееся общество элементъ присвоенія чужого труда. Начинается съ того, что мужъ бьетъ свою жену и побоями принуждаетъ ее работать въ то время, какъ самъ онъ лежитъ на спинѣ и грѣется на солнцѣ. Такимъ образомъ нарушается естественное раздѣленіе труда и свободный обмѣнъ услугъ. Мужчина беретъ себѣ большее количество продуктовъ и меньшее количество труда; для установленія равновѣсія въ обмѣнѣ, онъ отпускаетъ женщинѣ нѣсколько ударовъ кулакомъ по лицу, или палкой по спинѣ, и равновѣсіе



дѣйствительно возстановляется, потому что вознагражденія женщины умолкаютъ послѣ полученія подобной монеты,—и обмѣнъ услугъ продолжается, не смотря на явное нарушеніе справедливости. Какъ мужъ присвоилъ себѣ значительное количество труда жены, такъ родители присвоиваютъ себѣ значительное количество труда дѣтей; братья поступаютъ точно такъ же въ отношеніи къ сестрамъ, и старшій братъ въ отношеніи къ младшему; потомъ, когда дѣти становятся взрослыми людьми, а родители дряхлыми стариками, то первые эксплуатируютъ послѣднихъ, и наконецъ, измучивъ ихъ до крайности непосильными работами, предоставляютъ имъ полную свободу умереть съ голода.

Войны и порабощеніе начинаются такимъ образомъ въ самомъ семействѣ и, начавшись однажды, не останавливаются ни на одну минуту; каждый изъ членовъ семейства бываетъ постоянно то побѣдителемъ, то побѣжденнымъ, то рабовладельцемъ, преподающимъ осязательныя внушенія слабѣйшему родственнику, то рабомъ, испытывающимъ убѣдительность такихъ же наставленій со стороны сильнѣйшаго. Значительная доля труда и изобрѣтательности, большое количество физической силы и нравственной идеи тратятся на постоянно повторяющіеся натиски и отпоры, на завоевательныя попытки и на отраженіе такихъ попытокъ. При борьбѣ съ природою человѣкъ никогда не встрѣчаетъ сознательнаго сопротивленія своему сознательному нападенію; при борьбѣ человѣка съ человѣкомъ коса находится на камень: насилие встрѣчается съ насилиемъ, хитрость отражается хитростью, суровая воля рабовладельца натывается на пассивное, но сознательное упорство раба. Борьба затягивается, усложняется и принимаетъ на себя безконечное разнообразіе видовизмѣненій. Семейство оказывается для первобытнаго человѣка превосходною школою безнравственности. Изъ этой школы онъ выноситъ очень основательныя свѣдѣнія по части естественнаго гладіаторства и самороднаго макіавеллизма; за предѣлами семейства онъ встрѣчается съ воспитанниками другихъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ преподавались тѣ же элементарныя науки, съ нѣкоторыми измѣненіями и дополненіями въ программѣ и въ планѣ. Встрѣтившіеся юноши начинаютъ пробовать другъ надъ другомъ силу и убѣдительность своихъ научныхъ аргументовъ и стратегическихъ пріемовъ. Предѣлы диспутовъ расширяются; первобытные силлогизмы совер-

шенствуются и усложняются. Человѣческій умъ развертывается во всемъ своемъ величіи и блескѣ и производитъ въ этомъ направленіи такія же превосходныя усовершенствованія, какими являются въ области производительнаго труда паровыя машины и приложеніе химіи къ земледѣлію. Не рискуя ошибиться, можно даже сказать, что элементъ присвоенія развился гораздо быстрѣе, чѣмъ элементы труда и обмѣна услугъ; этотъ первый элементъ достигъ полнѣйшаго совершенства и успѣлъ уже просочиться въ практическое примѣненіе тѣхъ открытій, которыя подарило человечеству естествознаніе, составляющее одно изъ важнѣйшихъ и плодотворнѣйшихъ проявленій элемента труда. Элементъ присвоенія преобладаетъ во всѣхъ существующихъ обществахъ, вездѣ и всегда искажаетъ природу человѣка и во всѣхъ бѣдствіяхъ частной и общественной жизни является единственной причиною страданій и преступленій.

Дойдя до этого элемента и указавъ на него читателю, я уже вышелъ изъ области гипотезъ и теоретическихъ выкладокъ и стою теперь на порогѣ исторіи, на почвѣ дѣйствительныхъ фактовъ. Здѣсь я считаю удобнымъ остановиться на нѣсколько минутъ, оглянуться назадъ и въ сжатомъ очеркѣ напомнить читателю добытые нами результаты, составляющіе въ своей совокупности физиологическую часть исторіи труда. Мы видѣли, что человѣкъ былъ слабъ и бѣденъ, пока онъ оставался одинокимъ; силы природы, окружавшія человѣка, не приносили ему почти никакой пользы, а всѣ удобства жизни, начиная отъ самой грубой пищи, имѣли въ его глазахъ самую значительную цѣнность; когда число людей увеличилось, тогда люди стали помогать другъ другу и совокупными силами успѣли одержать надъ природою много важныхъ побѣдъ; каждая такая побѣда увеличивала пользу сырого матеріала и уменьшала цѣнность предметовъ потребленія. Каждая побѣда человѣка надъ природою давала ему въ руки новыя орудія и такимъ образомъ прокладывала ему путь къ новымъ и болѣе важнымъ побѣдамъ. Начавши обработку земли на сухихъ холмахъ, человѣкъ спускался въ тучныя долины, когда увеличившееся число людей и усовершенствованіе орудій давали ему возможность вырубить лѣса и осушить болота, покрывавшія плодородную почву. Овладевъ тучной землею, человѣкъ становился богатымъ; въ основаніи его богатства лежало знаніе, дававшее ему господство надъ природою;



знаніе пріобрѣтается и развивается вслѣдствіе частыхъ и разнообразныхъ сношеній людей между собою. Сношенія эти завязываются и поддерживаются разнообразіемъ занятій; разнообразіе занятій возможно только въ томъ случаѣ, когда существуетъ множество небольшихъ, тѣсныхъ центровъ притяженія. Эти тѣсные центры образуются сами собою въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ общественныя аномаліи не парализируютъ естественнаго развитія человѣческаго труда. Общественныя аномаліи всякаго рода выросли изъ элемента присвоенія чужого труда, а этотъ враждебный элементъ возникъ въ доисторическія времена въ семейномъ быту и изъ него раскинулъ свои вѣтви по всѣмъ отраслямъ человѣческой дѣятельности.

Вотъ бѣглый перечень тѣхъ мыслей, которыя были изложены на предыдущихъ страницахъ. Совокупность этихъ мыслей указываетъ на ту великую и свѣтлую участь, которая должна составлять естественное достояніе людей; участь эта не имѣетъ ничего общаго съ тѣми мрачными явленіями, которыя наполняютъ всемірную исторію и обращаютъ на себя вниманіе современнаго наблюдателя. Люди сбились съ настоящаго пути, исказили свою природу и до сихъ поръ продолжаютъ мучить другъ друга. Факты эти очень достовѣрны и тѣмъ болѣе печальны. Но эти факты не даютъ намъ права думать, чтобы свѣтлое будущее было недостижимо. Надо помнить, что люди потратили много тысячелѣтій на то, чтобы ознакомиться съ природой; надо помнить, что они до сихъ поръ не знаютъ ея вполнѣ, и надо помнить кромѣ того, что человѣкъ есть самое сложное явленіе природы, всего менѣе доступное непосредственному наблюденію и почти совершенно недоступное опыту. Очень естественно, что величайшее число ошибокъ, теоретическихъ и практическихъ, относится именно къ человѣку, какъ самому сложному, самому неизвѣстному и въ то же время самому интересному предмету во всей природѣ. Очень естественно, что астрономія и химія уже въ настоящее время вышли изъ тумана произвольныхъ гаданій, между тѣмъ какъ общественныя и экономическія доктрины до сихъ поръ представляютъ очень близкое сходство съ отжившими призраками астрологій, алхиміи, магіи и теософій. Очень вѣроятно, что и эти кабалистическія доктрины сложатся когда нибудь въ чисто-научныя формы и современемъ обнаружатъ свое вліяніе на практическую жизнь.

### XIII.

Когда человѣку хочется ѣсть, и когда онъ видитъ у себя подъ рукою приготовленный запасъ пищи, то въ немъ тотчасъ рождается влеченіе взять эту пищу въ руки и отправить ее къ себѣ въ ротъ. Это влеченіе раздѣляютъ съ человѣкомъ все животныя, съ тою только разницей, что они въ подобныхъ случаяхъ обходятся безъ пособія рукъ. Можно было бы подумать, что это дѣйствіе надъ пищей совершается машинально или инстинктивно, т. е. вообще безъ посредствующаго процесса мысли. Но въ первыхъ, такія слова, какъ «машинально», «инстинктивно» сами по себѣ ровно ничего не объясняютъ; а во-вторыхъ, есть и прямые опыты, доказывающіе, что дѣятельность мозга обуславливаетъ собою даже эти простѣйшіе поступки: голуби и куры, у которыхъ французскій фізіологъ Флурансъ снималъ переднія полушарія головного мозга, глотали пищу только въ томъ случаѣ, когда ее клали имъ въ ротъ и проталкивали до горлового отверстія; когда же ихъ оставляли въ покоѣ, то они умирали съ голода среди цѣлыхъ кучъ хлѣбныхъ зеренъ. Итакъ, мы съ полнымъ основаніемъ можемъ сказать, что человѣкъ захватываетъ приготовленный запасъ пищи вслѣдствіе размышленія. Конечно, размышленіе это въ высшей степени просто, потому что какъ мы уже видѣли, все животныя размышляютъ точно также. Но, именно по своей простотѣ, это размышленіе, доступное всѣмъ людямъ безъ исключенія, оказывало и до сихъ поръ оказываетъ на судьбу нашей породы такое могущественное вліяніе, какимъ не пользуются ни чистѣйшія нравственныя истины, ни величайшія научныя открытія. Изъ этого размышленія развилось все, что составляетъ красоту и гордость нашей цивилизаціи, и все, что составляетъ ея позоръ.

Запасъ пищи, найденный человѣкомъ, могъ быть приготовленъ природою или другимъ человѣкомъ, захватъ пищи въ первомъ случаѣ является зародышемъ труда, а во второмъ онъ оказывается присвоеніемъ чужого труда и кладетъ основаніе борьбѣ между людьми и порабощенію одного человѣка другимъ. Въ жизни нашей породы встрѣчались несчетное число разъ оба эти случая, и изъ нихъ развивались все ихъ неизбежныя послѣдствія. Человѣкъ, присвоившій себѣ пищу, приготовленную природою, старался устроить такъ, чтобы природа дала ему



новый запасъ, и эти старанія постепенно превращали охотника въ пастуха, потомъ въ земледѣльца; эти же старанія рядомъ съ земледѣльцемъ создавали кузнецовъ, портныхъ, ткачей и всѣхъ другихъ ремесленниковъ, вооружающихъ человѣка рабочими инструментами, снабжающихъ его одеждой, устраивающихъ его жилище, и доставляющихъ ему на счетъ окружающей природы всѣ возможные удобства жизни. Изъ этихъ же стараній развились искусство и наука, увеличивающія силу человѣка надъ природой, расширяющія его умъ, приготовляющія ему безконечное разнообразіе наслажденій и доставляющія ему возможность уважать самого себя и, анализируя себя и другихъ, сознательно прощать и любить заблуждающихся людей, такъ дорого платящихъ за свои заблужденія. Между тѣмъ второй случай—захватъ пищи, приготовленной человѣкомъ — повторялся ежедневно, и слѣдствія, неизбежно вытекающія изъ него, развивались гораздо быстрѣе, чѣмъ тѣ благодѣтельные явленія, въ основаніи которыхъ лежалъ чистый трудъ, не политый слезами и не пропитанный человѣческой кровью.

Всемирная исторія все еще до сихъ поръ принуждена заниматься исключительно политической жизнью людей, потому что, дѣйствительно, факты политической жизни совершенно заслоняютъ собою тѣ проявленія мысли, энергіи и творчества, которыя происходятъ въ лабораторіяхъ, въ мастерскихъ, на поляхъ, вездѣ, гдѣ человѣкъ подмѣчаетъ тайны природы или вводитъ въ процессъ производства тѣ естественныя силы, которыя уже изслѣдованы и обузданы. Исторію интересуютъ преимущественно органическое развитіе государственныхъ формъ, послѣдовательная смѣна системъ, существенныя измѣненія въ законодательствѣ и въ международныхъ отношеніяхъ, пробужденіе въ массахъ политическаго смысла и національнаго чувства.

Кажется набросанная мною рамка достаточно широка; я не думаю, чтобы кто нибудь изъ современныхъ историковъ увидѣлъ въ подобномъ опредѣленіи задачъ исторіи — признаки неуваженія къ наукѣ, или попытку исказить и унижить ея настоящее значеніе. Между тѣмъ, не трудно замѣтить, что элементъ присвоенія составляетъ единственный предметъ изысканій историка. Въ этомъ нисколько не виноватъ историкъ, потому что такова дѣйствительная жизнь, которую изслѣдователь не имѣетъ права украшать и разглаживать. Государственные формы, поли-

тический смыслъ и даже національное чувство составляютъ прямое слѣдствіе элемента присвоенія, т. е. всѣ эти вещи—или произошли отъ присвоенія, или возникли, какъ отпоръ присвоенію. Государства, всѣ безъ исключенія, порождены элементомъ присвоенія; прошу читателя не видѣть въ этой мысли ничего безнравственнаго и не искать въ ней никакого лукавства; я вовсе не хочу сказать, чтобы всѣ основатели государствъ были люди буйные и одержимые жадностью къ чужой собственности; если такія наклонности и существовали у нѣкоторыхъ викинговъ, конунговъ, шейковъ и другихъ эмбриологическихъ властителей, то это обстоятельство вовсе не можетъ быть возведено въ правило. Многія государства возникали потому, что жителямъ извѣстной земли необходимо было сгруппироваться для отраженія нападающихъ враговъ. Въ другихъ случаяхъ государство основывалось потому, что жителямъ необходимо было существованіе такой власти, которая разбирала бы ихъ ссоры и своимъ вмѣшательствомъ отвращала бы кровопролитія. При такихъ условіяхъ основаніе государства было благодѣяніемъ, но люди нуждались въ этомъ благодѣянніи только потому, что заѣзжали въ чужую личность и захватывали чужой трудъ. Нападавшіе враги и ссорившіеся единоплеменники, по всей вѣроятности, должны были признаны людьми; слѣдовательно то зло, въ отпоръ которому возникло государство, заключалось все-таки въ попыткахъ однихъ людей попользоваться трудомъ другихъ. Не существовало ни одного государства, которое было бы основано съ тою цѣлью, чтобы отражать звѣрей, или общими силами гражданъ разрабатывать землю.

Национальное чувство, къ которому каждый благомыслящій человѣкъ долженъ питать глубокое уваженіе, составляетъ прямое слѣдствіе того недовѣрія и антагонизма, которыя водворились между отдѣльными группами людей, вслѣдствіе взаимныхъ обидъ и нападеній, клонившихся все-таки къ присвоенію труда и его продуктовъ. Национальное чувство просыпается тогда, когда націи приходится защищать себя отъ пораженія; такъ было у насъ въ эпоху Минина и въ 1812 году; такъ было въ Испаніи во время войнъ ея съ Наполеономъ, въ Германіи — во время ея поголовнаго возстанія въ 1813 году, во Франціи — при революціонной борьбѣ ея съ европейскими коалиціями, въ Италіи—съ самаго начала нынѣшняго столѣтія,



въ Греціи, возмущившейся противъ турецкаго господства... Вездѣ это національное чувство дѣлало чудеса и вызывало къ жизни народъ, находившійся въ самомъ бѣдственномъ положеніи, но вездѣ это чувство возбуждалось предшествовавшими страданіями или угрожавшими опасностями; вездѣ проявленіе этого чувства сопровождалось очень тягостными пожертвованіями, которыя были необходимы, но все таки оставляли послѣ себя глубокіе слѣды въ матеріальномъ благосостояніи народа.

#### XIV.

Элементъ присвоенія конечно составляетъ зло; можно сказать больше: онъ составляетъ источникъ и причину всякаго зла, а между тѣмъ этотъ ядовитый элементъ, этотъ Ариманъ чело-вѣческой природы, самъ вытекаетъ изъ совершенно безвреднаго свойства нашего ума, и притомъ изъ такого свойства, которое мы никакъ не съумѣли бы устранить, если бы намъ была предоставлена возможность передѣлать по нашему благоусмотрѣнію все физическія и интеллектуальныя способности чело-вѣка. Это свойство состоитъ въ томъ, что умъ нашъ всегда начинаетъ свою дѣятельность съ самыхъ простыхъ процессовъ мысли, и уже потомъ, укрѣпляясь и совершенствуясь, переходитъ къ болѣе сложнымъ процессамъ, соображаетъ вѣроятія и отдаленныя послѣдствія, разсматриваетъ и обсуживаетъ явленія съ разныхъ сторонъ и точекъ зрѣнія. У всякаго животнаго есть потребности и желанія, имѣющія связь отчасти съ сохраненіемъ жизни недѣлимаго, отчасти съ поддержаніемъ жизни породы. Мозговые силы животнаго посвящаются исключительно изысканію средствъ, ведущихъ къ удовлетворенію этихъ потребностей и желаній. Руководствуясь своими ви́шними чувствами, зрѣніемъ, слухомъ, обоняніемъ, осязаніемъ и вкусомъ, животное соображаетъ, идти ли ему направо, или налѣво, грозитъ ли ему опасность, или ждетъ его наслажденіе. Животное руководствуется конечно іезуитскою нравственностью; нѣтъ всегда оправдываетъ въ его глазахъ средства, и въ выборѣ средствъ животное обнаруживаетъ, кромѣ неразборчивости, крайнюю одно-сторонность и близорукость соображенія, въ чемъ оно далеко превышаетъ іезуитовъ. Рыба хватается за червяка, не обращая вниманія на крючокъ, въ которомъ заключается весь смыслъ трагическаго эпизода; мышъ развязно вбѣгаетъ въ мы-

шеловку, руководясь запахомъ мяса, и не даетъ себѣ труда замѣтить, что въ общемъ видѣ снаряда есть что-то странное и зловѣщее. Такъ дѣйствуютъ животныя и почти такъ дѣйствуютъ дѣти и дикари. Океанскіе островитяне, пріѣзжая на европейскіе корабли, обыкновенно начинаютъ съ изумительной ловкостью воровать все, что приходится имъ по душѣ. Ихъ за это бьютъ очень больно веревками, но конечно это ихъ не унимаетъ. Нельзя сказать, чтобы воровство было у нихъ принятымъ обычаемъ, или чтобы оно составляло ихъ болѣзненную мономанію; нельзя себѣ представить, чтобы они переносили съ совершеннымъ равнодушіемъ удары веревками; ихъ поступки объясняются всего удовлетвори-тельнѣе крайней простотою тѣхъ умственныхъ отправленій, на которыя способенъ ихъ мозгъ.

Дикарь разсуждаетъ такъ: я вижу блестящую пуговицу, она мнѣ нравится, слѣдовательно... тутъ разсужденіе обрывается, потому что дѣло сдѣлано, пуговица очутилась въ рукахъ нашего мыслителя, и тутъ начинается новый рядъ соображеній, клонящійся къ тому, чтобы спрятать пріобрѣтенное имущество и напустить на свою фізіономію выраженіе полнѣйшей невинности. Процессъ мысли, разрѣшившійся въ пріобрѣтеніи пуговицы, совершился съ быстротою молніи; дикарь схватилъ понравившуюся ему вещь съ такой же непосредственной жадностью, съ какой рыба хватается за червяка. Преимущество дикаря надъ рыбой ограничивается въ этомъ случаѣ тѣмъ, что дикарь въ одно мгновеніе успѣваетъ принять нѣкоторыя предосторожности, которыя всегда останутся недоступными самой геніальной рыбѣ. Сходство же дикаря съ рыбой состоитъ въ томъ, что и тотъ, и другая неспособны ни на минуту усомниться въ выгоды своего предпріятія и отнести къ нему критически; желаніе возникло и тотчасъ удовлетворяется, съ болѣе или меньшей степенью искусства, проворства и осторожности. Что будетъ потомъ? объ этомъ дикарь потомъ и подумаетъ, потому что въ его головѣ не удерживается сложный рядъ мыслей, въ которомъ причины связывались бы со слѣдствіями.

Если мы разберемъ значеніе нашего національнаго «авось», то замѣтимъ въ немъ несомнѣнное родственное сходство съ умозрѣніями океанійца. Дѣйствія на авось не имѣютъ ничего общаго ни съ мужествомъ героя, ни съ сознательнымъ рискомъ смѣлаго спекулятора; въ нихъ просто выражается неумѣнье и нежеланье доду-



мать до конца, неспособность ума къ сложнымъ выкладкамъ и лѣньность мысли, ведущая за собою необходимость оставлять въ туманѣ тѣ слѣдствія, которыми непремѣнно долженъ закончиться данный поступокъ. Строгая общественная нравственность, заключающаяся въ томъ, что каждая отдѣльная личность сознательно несетъ отвѣтственность за свой образъ дѣйствій и отдаетъ себѣ и другимъ отчетъ въ каждомъ своемъ поступкѣ — такая нравственность совершенно немыслима въ такой средѣ, въ которой «авось» составляетъ основаніе практической философіи. Общественная нравственность людей вовсе не зависитъ отъ хорошихъ качествъ ихъ сердца или ихъ натуры, отъ обилія добродѣтелей и отъ отсутствія пороковъ. Всѣ подобныя слова не имѣютъ никакого осязательнаго смысла. Нравственность того или другого общества зависитъ исключительно отъ того, на сколько члены этого общества сознательно понимаютъ свои собственные выгоды. Красть невыгодно, потому что если я обокралъ удачно сегодня, то меня такъ же удачно могутъ обокрасть завтра, не говоря уже о томъ, что я могу попасться и получить болѣе или менѣе серьезную непріятность. По тѣмъ же причинамъ невыгодно убивать; точно также невыгодны и всякія другія посягательства на личность и собственность ближнихъ и дальнихъ. Если бы всѣ члены общества прониклись сознаниемъ этой невыгодности, то преступленія были бы немыслимы, и вся непроизводительная трата силъ на совершеніе, преслѣдованіе, предотвращеніе и наказаніе преступленій сдѣлалась бы излишней и перестала бы существовать. Но проникнуться такимъ спасительнымъ сознаниемъ не можетъ ни дикарь, ни пролетарій, котораго мысль постоянно направлена на борьбу съ голодомъ. Чтобы быть нравственнымъ человѣкомъ, необходимо быть до извѣстной степени мыслящимъ человѣкомъ, а способность мыслить крѣпнеть и развивается только тогда, когда личность успѣваетъ вырваться изъ-подъ гнета матеріальной необходимости.

Человѣкъ не получаетъ отъ природы ничего готоваго ни внѣ себя, ни внутри себя; ему самому надо устроить себѣ оружіе, рабочіе снаряды, одежду, жилище и даже ту землю, въ которую онъ бросаетъ сѣмена; точно также ему самому надо укрѣпить свои мускулы посредствомъ упражненія и развернуть силы своего мозга также посредствомъ упражненія. Пока дикарь доберется до хорошихъ орудій, ему приходится про-

бавляться плохими; цѣлыя поколѣнія дѣйствуютъ каменными топорами, потому другія поколѣнія работаютъ мѣдными, и такъ идетъ дѣло въ продолженіи цѣлыхъ столѣтій. Точно также дикарю приходится изворачиваться въ жизни работою плохо развитаго мозга, и весь домашній и общественный бытъ дикаря складывается сообразно съ несовершенными отправленіями недоразвитаго органа мысли. Всякое усовершенствованіе мозга даетъ себя чувствовать и въ улучшеніи орудій, и въ увеличеніи богатства, и въ возвышеніи общественной нравственности. Но мозгъ совершенствуется чрезвычайно медленно, потому что вся жизнь дикаря проходитъ въ постоянной заботѣ о пропитаніи, и вся наличная мозговая сила тратится на пріисканіе мелкихъ средствъ, ведущихъ къ мелкимъ цѣлямъ. Тутъ некогда припоминать и обобщать опыты, и потому знаніе увеличивается и кругъ мыслей расширяется только тогда, когда опыты бьютъ въ глаза и насильно втираются въ сознаніе. Это дѣтство человѣческаго ума не только неизбежно, но даже совершенно необходимо. Если бы первобытному человѣку былъ вложенъ въ голову совершенно развитый мозгъ, то вѣроятно этотъ мозгъ былъ бы почти такимъ же мертвымъ капиталомъ, какимъ было бы ружье въ рукахъ дикаря, совершенно незнакомаго съ его употребленіемъ. Мы способны пользоваться только тѣмъ, что мы сами выработали. Если человѣкъ своими трудами пріобрѣлъ себѣ тысячу рублей, то они пойдутъ ему въ прокъ, потому что, пріобрѣтая рубли, онъ пріобрѣталъ кромѣ того умѣнье обращаться съ ними. Но если вы подарите десять тысячъ такому человѣку, который не умѣлъ пріобрѣсти ни копѣйки, то легко можетъ случиться, что вашъ подарокъ будетъ разбросанъ на пустыки, или запертъ въ сундукъ. Точно также, развитой мозгъ, доставшійся человѣку, какъ милостыня природы, могъ быть растроченъ на мелочи или могъ погрузиться въ сонное блаженство, за которымъ непремѣнно послѣдовала бы вялость и разслабленіе. Все, что живетъ въ природѣ, растетъ и развивается, подвергаясь въ своемъ развитіи болѣзнямъ, опасностямъ и тяжелой борьбѣ за существованіе. Умъ человѣка, какъ самое сложное явленіе въ природѣ, подвергается въ большей степени, чѣмъ что-либо другое, этому общему закону всего существующаго. Присвоеніе чужого труда, вражда между людьми и всѣ ужасы варварства вытекаютъ прямо изъ тѣхъ простѣйшихъ процессовъ мысли, которые одни доступны младенческому



уму дикаря. Всѣ эти мрачныя явленія составляютъ неизбѣжную дѣтскую болѣзнь нашей породы, но дѣтство и его болѣзни не должны продолжаться вѣчно, и потому въ наше время слѣдуетъ по крайней мѣрѣ отдавать себѣ отчетъ въ томъ, какія именно условія удерживаютъ различныя группы людей въ состояніи младенчества и превращаютъ временныя болячки въ постоянно открытыя фонтанели.

#### ХУ.

Грубое присвоеніе, заключавшееся въ грабежѣ и сопровождавшееся убійствами, такъ естественно вытекаетъ изъ слабости мысли у дикарей и изъ недостаточнаго количества пищи, добываемой плохими орудіями первобытныхъ людей, что не стоитъ останавливаться на объясненіи этого явленія. Нѣсколько удачныхъ набѣговъ, нѣсколько безнаказанныхъ убійствъ пріохочивали дикаря къ такимъ занятіямъ, развивали въ немъ духъ молодечества, возвышали его въ глазахъ единоплеменниковъ и собирали вокругъ него шайку людей, искавшихъ добычи и называвшихъ ее славою. Такъ формировалось зерно военного сословія; оно скоро начинало чувствовать презрѣніе къ тѣмъ жалкимъ людямъ, которые пашутъ землю и пасутъ стада; потомъ жалкіе люди поработались; ихъ заставляли платить дань, и когда это взиманіе извѣстной части продукта приводилось въ правильную форму, тогда группа людей, отмѣченная какимъ нибудь общимъ названіемъ, вступала въ историческую жизнь, подъ предводительствомъ поработившихъ ее воиновъ.

Пойдемъ однако дальше. Люди всегда нуждались и до сихъ поръ нуждаются во взаимномъ обмѣнѣ услугъ и продуктовъ; одинъ производитъ хлѣбъ, другой выдѣлываетъ ткани; если первый дастъ второму излишекъ своего хлѣба и возьметъ у него въ замѣнъ излишекъ его тканей, то положеніе обоихъ значительно улучшится, потому что оба будутъ сыты и одѣты. Этотъ обмѣнъ услугъ производится очень легко и удобно, если земледѣлецъ и ткачъ живутъ между собою въ близкомъ сосѣдствѣ; но если они живутъ въ разныхъ земляхъ и если между ихъ землями лежатъ горы, рѣки, пустыни и моря, то прямой обмѣнъ становится невозможнымъ; тогда является услужливый джентльменъ, который ткачу привозитъ хлѣбъ, а земледѣльцу ткани; земледѣлецъ и ткачъ оба очень рады, потому что продукты

эти имъ необходимы, а добрый джентльменъ еще болѣе радъ тому, что ему удалось услужить такимъ достойнымъ людямъ. Но услужливость и добродушіе джентльмена обходятся очень дорого и ткачу, и земледѣльцу. Ткачъ получаетъ очень мало хлѣба, а земледѣлецъ очень мало тканей; ткачъ за малое количество хлѣба отдаетъ всѣ свои ткани, а земледѣлецъ за малое количество тканей отдаетъ весь хлѣбъ, который онъ можетъ сберечь отъ своего личнаго потребленія. Ткачъ сидитъ впроголодь, а земледѣлецъ оказывается полуодѣтымъ; за то добрый джентльменъ питается изысканными кушаньями и одѣвается съ утонченнымъ изяществомъ; въ его рукахъ остается весь хлѣбъ, который не доходитъ до ткача, и всѣ ткани, которыхъ не получаетъ земледѣлецъ; эти излишки продуктовъ онъ везетъ къ такимъ людямъ, которые производятъ табакъ или пряности; тутъ опять происходитъ та же исторія; джентльменъ беретъ у нихъ какъ можно больше табаку и даетъ имъ какъ можно меньше хлѣба и тканей; потомъ онъ ѣдетъ съ табакомъ въ такое мѣсто, гдѣ добываются мѣха, и опять беретъ очень много мѣховъ и даетъ очень мало табаку.

Такимъ образомъ, услужливый джентльменъ прогуливается по разнымъ землямъ, осыпаетъ своими благодѣяніями жителей всѣхъ географическихъ широтъ и долготъ, и, не увеличивая ни на одинъ золотникъ количества ихъ продуктовъ, оставляетъ у себя въ рукахъ столько хлѣба, тканей, мѣховъ, табаку и другихъ удобствъ, сколько можно оттягать у производителей и потребителей. Конечно эти удобства остаются въ рукахъ торговца не въ первоначальномъ своемъ видѣ; они превращаются въ болѣе удобную форму золотыхъ и серебряныхъ монетъ, но сущность дѣла отъ этого не измѣняется. Интересы торговца идутъ постоянно въ разрѣзъ съ выгодами и потребностями всѣхъ тѣхъ людей, съ которыми онъ приходитъ въ соприкосновеніе. Ткачъ и земледѣлецъ могутъ обмѣнивать между собою свои продукты такъ, что рабочій день ткача будетъ отдаваться за рабочій день земледѣльца, и для обоихъ такой обмѣнъ будетъ выгоденъ, потому что оба хлопочутъ не о томъ, чтобы увеличить общую сумму своего продукта, а только о томъ, чтобы измѣнить его форму. Но между ткачемъ и земледѣльцемъ появляется посредникъ, у котораго нѣтъ никакого продукта; онъ берется перевести хлѣбъ въ такое мѣсто, гдѣ производятся ткани, и обѣщаетъ возвратиться къ земледѣльцу съ грузомъ тканей, со-



отвѣтствующимъ взятому грузу хлѣба. Очевидно, что и ткачу, и земледѣльцу выгодно, чтобы на перевозку потрачено было какъ можно меньше продукта, но торговцу-перевозчику выгодно, напротивъ того, чтобы перевозка обошлась ткачу и земледѣльцу какъ можно дороже, потому что вся сумма продукта, поглощенная перевозкой, идетъ въ его пользу. Поэтому ткачъ и земледѣлецъ желаютъ оба, чтобы обмѣнъ между ними совершался какъ можно легче, чтобы разстояніе между ними сокращалось и чтобы число и величина препятствій становились какъ можно меньше; ткачъ и земледѣлецъ стараются сблизиться между собой и завязать непосредственныя сношенія. Купецъ напротивъ того желаетъ, чтобы производитель и потребитель были какъ можно дальше другъ отъ друга, чтобы непосредственныя сношенія между ними были совершенно невозможны, чтобы препятствія, лежащія между ними, были или, еще лучше, казались обѣимъ сторонамъ чрезвычайно значительными.

Обмѣнъ услугъ и продуктовъ составляетъ ту общую цѣль, къ которой стремятся всѣ люди; торговля есть дорога, ведущая къ этой цѣли; чѣмъ эта дорога прямѣе и короче, тѣмъ выгоднѣе для производителя и потребителя; чѣмъ она длиннѣе и запутаннѣе, тѣмъ выгоднѣе для торговца, стоящаго между производителемъ и потребителемъ. Купить дешево и продать дорого — вотъ то золотое правило, которое всегда руководило торговцами, а это правило можетъ быть выполнено въ самыхъ роскошныхъ размѣрахъ тогда, когда производитель и потребитель не знаютъ другъ друга и не имѣютъ возможности условиться между собою на счетъ цѣны и достоинства продуктовъ.

Средства мѣшать сношеніямъ людей между собою очень незамысловаты; они были извѣстны всѣмъ торговцамъ древняго міра и въ существенныхъ чертахъ своихъ остались неизмѣненными до нашихъ временъ. Морская торговля и морской разбой постоянно помогали другъ другу; финикіяне, малоазійскіе греки и жители острововъ Архипелага съ одинаковымъ успѣхомъ занимались и тѣмъ, и другимъ.<sup>1</sup> Когда въ какомъ нибудь поселеніи проявлялось желаніе жителей удовлетворять своимъ потребностямъ безъ помощи торговцевъ, когда зарождались первые начатки разнообразія занятій и когда, такимъ образомъ, ткачъ пытался поселиться рядомъ съ земледѣльцемъ, — тогда конечно торговцы старались немедленно искоренить такія предосуди-

тельные стремленія. Къ мятежному поселенію приставала сильная флотилія; съ кораблей сходили вооруженные люди; мѣстечко раззорялось; часть его жителей погибала въ свалкѣ, а кто оставался въ живыхъ и не успѣвалъ укрыться въ какую-нибудь трущобу, тотъ обращался въ товаръ и продавался въ рабство въ такомъ мѣстѣ, гдѣ за рабовъ давали хорошую цѣну. Послѣ такого разгрома, оставшіеся жители выползали изъ своихъ убѣжищъ и конечно принуждены были употреблять всѣ свои силы на добываніе пищи; о ремесленныхъ занятіяхъ нечего было и думать; людей оставалось слишкомъ мало, да и всѣ заведенія вмѣстѣ съ орудіями производства были истреблены разгнѣванными торговцами. Разумѣется, зависимость оставшихся жителей отъ сосѣднихъ воинновъ и торговцевъ становилась совершенно безотвѣтною, и всякое стремленіе къ промышленной самостоятельности затихало на многіе десятки лѣтъ.

Сила торговцевъ состояла преимущественно въ томъ, что въ ихъ рукахъ была монополія перевозочныхъ средствъ; они были владѣльцами кораблей и мореплавателями, они знали торговые пути, они умѣли обходить подводные камни и выбирать для своихъ путешествій благопріятное время года; если дѣло шло о сухопутной торговлѣ, то имъ были извѣстны свойства земель и нравы жителей, мимо которыхъ лежалъ путь ихъ каравановъ; они знали, какъ проходить черезъ песчаныя пустыни и гдѣ отыскивать въ нихъ оазисы и источники воды, они держали стада верблюдовъ, приученныхъ ко всѣмъ тягостямъ походной жизни; и наконецъ какъ сухопутные, такъ и морскіе торговцы знали въ совершенствѣ, въ какихъ краяхъ господствуетъ изобиліе или недостатокъ въ тѣхъ или другихъ произведеніяхъ, т. е. другими словами, на какомъ рынкѣ можно купить какой нибудь предметъ дешево, или продать его за дорогую цѣну. Всѣ эти знанія и преимущества оберегались торговцами самымъ ревностнымъ образомъ: торговые пути финикіянъ и карфагенянъ считались государственной тайной, и путешественники этихъ націй распространяли умышленно самыя нелѣпыя сказки о тѣхъ далекихъ земляхъ, которыя они посѣщали. Если у какого нибудь сосѣдняго племени заводились корабли, то купцы, видя въ нихъ будущихъ конкурентовъ, при первой возможности захватывали ихъ въ плѣнъ или пускали ихъ ко дну; иногда тѣмъ и кончалось дѣло, а иногда обиженное племя затѣвало войну, послѣ которой побѣ-



дители становились властителями моря и на нѣсколько времени избавлялись отъ всякаго соперничества. Съ воинами, не пускавшими въ торговля предпріятія, купцы жили въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ; воины были самыми лучшими покупателями; они сбывали купцамъ захваченныхъ плѣнниковъ и ту часть добычи, которая не была удобна для ихъ личнаго потребленія; тѣмъ же путемъ уходила значительная часть той дани, которую воины собирали натурою съ поработенныхъ земледѣльцевъ и со всей трудящейся массы; купцы давали имъ въ замѣнъ предметы роскоши, привезенные изъ далекихъ земель; за эти предметы воины давали очень хорошія цѣны и находили такія покупки чрезвычайно выгодными, потому что продукты, которыми они расплачивались, были произведены работою простыхъ смертныхъ и не стоили самимъ героямъ ни малѣйшаго личнаго труда. Доброе согласіе между воинами и купцами всею своею тяжестью лежало на плечахъ трудящагося большинства; чѣмъ туже набивался кошелекъ торговца и чѣмъ чаще появлялись затѣйливыя кушанья на столѣ воина, или пестрыя ткани въ его одеждѣ, тѣмъ сильнѣе голодалъ земледѣлецъ, тѣмъ грубѣе становились его орудія и тѣмъ полнѣе дѣлалось его поработеніе.

Древняя исторія представляетъ много примѣровъ такихъ зачинавшихся цивилизацій, которыя сначала были приостановлены войной и торговлей, а потомъ погибли безъ слѣда подъ грудой благодѣній, насыпанныхъ на развитіе народа щедрыми руками купцовъ и героевъ. Война и торговля, какъ два главные вида присвоенія, возникаютъ чрезвычайно рано въ каждомъ образующемся обществѣ людей; исторія не можетъ прослѣдить ихъ происхожденія, потому что она вездѣ находитъ ихъ уже существующими; исторія каждаго народа начинается даже обыкновенно съ какихъ нибудь сказочныхъ преданій о военныхъ подвигахъ и о приобрѣтеніи богатой добычи. Такъ какъ добыча эта навѣрное куда нибудь сбывалась и на что нибудь обмѣнивалась, то очевидно, война и торговля относятся къ ряду такихъ фактовъ, которые, подобно языку, мифологіи и варварскимъ начаткамъ земледѣлія, зарождаются въ глухія времена неопредѣлимой древности. Война и торговля совершенно доступны дикарямъ, находящимся на очень низкой степени умственнаго развитія. Для войны требуется физическая сила, изъ которой естественнымъ образомъ развивается самонадѣянность и отвага;

а для торговли необходима хитрость, т. е. умѣнье прикладывать мелкія средства къ достиженію мелкихъ цѣлей. Для войны не требуется никакихъ знаній, а при торговлѣ принимаются въ расчетъ только такія знанія, которыя легко усваиваются дикаремъ и не нуждаются въ изслѣдованіи и въ анализирующемъ трудѣ мысли. Торговцу надо помнить дороги и подводные камни, надо примѣняться къ обычаямъ иностранцевъ и знать по нѣскольку словъ изъ ихъ языковъ, надо соображать, куда везти купленный товаръ и что брать за него въ обмѣнъ. Всѣ эти свѣдѣнія, при ограниченномъ объемѣ торговыхъ операцій, приобрѣтаются очень легко, путемъ простаго навыка, безъ содѣйствія тѣхъ сложныхъ процессовъ мысли, къ которымъ неспособенъ мозгъ первобытнаго человѣка.

#### XVI.

Могущество торговца и его господство надъ первобытнымъ обществомъ основано преимущественно на томъ обстоятельстве, что онъ одинъ владѣетъ перевозочными средствами. Когда число людей увеличивается и населеніе становится гуще, тогда власти торговаго сословія наносится первый значительный ударъ; между деревнями, мѣстечками и городами проводятся дороги, которыя даютъ каждому изъ жителей возможность нести и везти свои продукты на различные рынки. Когда не было дорогъ, тогда каждый производитель поневолѣ принужденъ былъ продавать свои произведенія на мѣстѣ странствующему купцу, у котораго были лодки и корабли для рѣчной и морской перевозки, или верблюды, волы, ослы и мулы для перевозки черезъ горы, луговья степи и песчанья пустыни. Чѣмъ лучше становятся дороги, тѣмъ доступнѣе дѣлается перевозка каждому изъ производителей; шоссейныя дороги покрываются цѣлыми обозами сельскихъ продуктовъ, а когда шоссе, въ свою очередь, смѣняется желѣзною дорогой, тогда длинные ряды вагоновъ почти совершенно уничтожаютъ разстояніе между производителемъ и потребителемъ, такъ что купецъ, назначавшій въ былое время свои цѣны съ диктаторскимъ самовластіемъ, превращается теперь въ скромнаго комиссіонера, получающаго за свой трудъ опредѣленный процентъ. Во время владычества купца, при отсутствіи путей сообщенія, значительное количество человѣческаго труда тратилось на перемѣщеніе продуктовъ. Цѣлые ле-



гіоны разныхъ погонщиковъ и ямщиковъ проводили всю свою жизнь въ странствованіи по горамъ и пустынямъ; къ этому же классу людей слѣдуетъ отнести лодочниковъ, бурлаковъ и матросовъ; всё они не производили ни одного зерна, и пропитаніе ихъ цѣликомъ ложилось на земледѣльцевъ.

Всякое улучшеніе дорогъ клонится къ уменьшенію этой непроизводительной траты труда: на шоссе тройка лошадей можетъ свезти тотъ грузъ, который на простой дорогѣ свезутъ пять лошадей, слѣдовательно какъ количество лошадей, такъ и количество людей, трудящихся при перевозкѣ, уменьшается почти на половину при переходѣ съ простой дороги на шоссе. Паровозы сгоняютъ съ дороги всѣхъ лошадей и почти всѣхъ людей; такъ точно поступаютъ рѣчные пароходы съ бурлаками, и морскіе пароходы съ матросами купеческихъ судовъ; въ экономіи оказывается огромная масса лошадиного и человеческого труда, и эта экономія на первый разъ производитъ тягостный застой рабочей силы, потому что люди, привыкшіе къ извѣстному роду занятій, не знаютъ, куда пристроить себя; но застой этотъ не можетъ быть продолжителенъ, потому что никогда и нигдѣ еще земледѣліе не доходило до такой степени совершенства, при которой приложеніе новыхъ рабочихъ силъ къ землѣ было бы дѣломъ излишнимъ. Мы теперь даже не знаемъ, можетъ ли быть достигнуто такое положеніе; вѣроятно же то, что производительныя силы земли могутъ увеличиваться безгранично и что каждое новое приложеніе труда къ обработкѣ земли будетъ всегда вознаграждаться соотвѣтственнымъ приращеніемъ продукта. Если даже производительныя силы земли имѣютъ предѣлы, то предѣлы эти далеко не достигнуты и для насъ, съ ближайшимъ нашимъ потомствомъ, недостижимы; слѣдовательно во всякомъ случаѣ, экономія труда по теоріи должна быть признана выгодной; если же мы видимъ иногда въ исторіи и въ жизни, что устраненіе людей отъ производительныхъ занятій ведетъ за собою множество индивидуальныхъ страданій, то мы должны искать причины этихъ страданій не въ развитіи путей сообщенія, а въ тѣхъ обстоятельствахъ, которыя предшествовали этому развитію.

Преобладаніе военнаго и торговаго элемента всегда и вездѣ мѣшаетъ разнообразію занятій, затрудняетъ сношенія и сближеніе между людьми, дѣлаетъ невозможнымъ прямой обмѣнъ продуктовъ и быстрое обращеніе мыслей и такимъ

образомъ удерживаетъ массы на самомъ низкомъ уровнѣ промышленнаго и умственнаго развитія. Каждая отдѣльная личность въ этой массѣ порабощена, затерта произволомъ и задавлена утомительнымъ однообразіемъ неблагоприятнаго труда. Такая личность не знаетъ ни своихъ силъ и способностей, ни тѣхъ отраслей дѣятельности, къ которымъ могутъ быть примѣнены эти способности. Для такой личности каждая важная перемѣна, даже самая благотѣльная, составляетъ истинное несчастіе, потому что застаётъ ее всегда въ располѣхъ и всегда повергаетъ ее въ безвыходное недоумѣніе. Приложеніе рабочимъ силамъ всегда найдется, но чтобы искать, необходима смѣтливость и предприимчивость, а эти свойства не существуютъ, потому что они систематически истреблялись всей совокупностью обстоятельствъ, развившихся изъ элемента присвоенія въ далекомъ историческомъ и доисторическомъ прошедшемъ. Само собою разумѣется, что эта совокупность неблагоприятныхъ обстоятельствъ не могла произойти отъ развитія путей сообщенія, которое, напротивъ того, составляетъ первый шагъ къ освобожденію человеческой личности и къ возвышенію благосостоянія трудящихся массъ. Сначала пути сообщенія облегчаютъ перевозку, но потомъ они мало по малу избавляютъ производителя отъ необходимости перевозить продукты.

Эта послѣдняя мысль можетъ показаться парадоксальной, но не трудно убѣдиться въ томъ, что она не заключаетъ въ себѣ ни малѣйшей натяжки. Всякое усовершенствованіе въ путяхъ сообщенія передаетъ, какъ мы видѣли, въ руки производителей часть барышей, достававшихся прежде посредникамъ, т. е. торговому классу. Когда купецъ становился богатымъ, то онъ употреблялъ свое богатство—или на расширеніе торговыхъ операцій, или на удовлетвореніе тѣмъ прихотямъ, которыя естественнымъ образомъ возникаютъ у обеспеченнаго человѣка. Въ первомъ случаѣ, господство купца надъ производителями, потребителями и мелкими торговцами становилось тѣмъ неотразимѣе, чѣмъ большее количество капитала пускалось въ обращеніе. Въ увеличеніи этого господства не было конечно ничего утѣшительнаго ни для цѣлаго общества, ни для трудящейся массы. Во второмъ случаѣ, купецъ тратилъ свое богатство въ большихъ торговыхъ и промышленныхъ центрахъ страны; черезъ это увеличивалась притягательная сила этихъ центровъ, которые и безъ того высасывали



изъ провинцій лучшіе соки ихъ продуктовъ; кромѣ того, такая трата поощряла производство предметовъ роскоши. Положеніе дѣлъ совершенно измѣняется, когда огромный барышъ купца раздѣляется между производителями такъ, что каждый изъ нихъ получаетъ небольшой излишекъ. Этотъ излишекъ тратится непременно или на то, что необходимо для личнаго потребленія, или на улучшеніе орудій производства.

У насъ есть въ обществѣ недовѣрчивые читатели, которые, считая себя практическими людьми, немедленно поражаютъ мою аргументацію словами: «мужикъ пропьетъ! Чѣмъ больше получить, тѣмъ больше въ кабаки оставить!» Какъ ни сильно звучитъ въ этихъ словахъ *практическая* нота, тѣмъ не менѣе приходится признать возраженіе недовѣрчивыхъ читателей совершенно неосновательнымъ. И статистическія таблицы, и наблюденія всевозможныхъ путешественниковъ, и доклады разныхъ спеціальныхъ комиссій доказываютъ самымъ положительнымъ образомъ, что пьянство и всякое безобразіе развивается всего сильнѣе въ бѣдныхъ странахъ и въ бѣднѣйшихъ классахъ. Люди пьютъ съ голоду, что имѣетъ и фізіологическое, и экономическое основаніе. Чарка водки дешевле хорошаго куска мяса, а между тѣмъ алкоголь уменьшаетъ количество выдыхаемой углекислоты и, замедляя такимъ образомъ перегараніе органическихъ тканей, даетъ работнику возможность поддерживать свои силы меньшимъ количествомъ пищи.

Устраняя такимъ образомъ возраженіе отечественныхъ практиковъ, производящихъ свои глубокомысленныя наблюденія на пространствѣ десяти квадратныхъ верстъ, я повторяю, что излишекъ, достаемый производителямъ, будетъ истраченъ ими — или на пищу, платье и жилище, или на рабочіе инструменты. Въ томъ и въ другомъ случаѣ общество получаетъ прямую выгоду. Когда производитель сытъ, одѣтъ и живетъ въ сухомъ тепломъ и свѣтломъ помѣщеніи, тогда онъ работаетъ больше, охотнѣе и успѣшнѣе. Здоровье его улучшается; средняя продолжительность жизни увеличивается, способность размноженія становится сильнѣе, и общество растетъ и богатѣетъ; вмѣстѣ съ многолюдствомъ является разнообразіе занятій, развивающее предприимчивость и изобрѣтательность, движеніе идей усиливается вмѣстѣ съ обмѣномъ продуктовъ, и общество во всѣхъ своихъ слояхъ съ каждымъ годомъ становится богаче, дѣятельнѣе

и счастливѣе. То же самое происходитъ въ томъ случаѣ, когда производитель затрачиваетъ свой излишекъ на улучшеніе орудій, потому что за улучшеніемъ орудій конечно слѣдуетъ приращеніе продукта, которое ведетъ за собою новое улучшеніе и такимъ образомъ подаетъ сигналъ къ постоянно ускоряющемуся движенію впередъ. Движеніе это совершается тѣмъ скорѣе, чѣмъ меньше труда и времени тратится на перевозку, а я сказалъ уже выше, что улучшеніе путей сообщенія не только облегчаетъ перевозку, но даже постепенно устраняетъ ея необходимость.

Вотъ какъ это дѣлается: когда производители увеличиваютъ количество своихъ закупокъ и заказовъ, то такое увеличеніе очень скоро замѣчается фабрикантами и ремесленниками; производителей такъ много, что если каждый изъ нихъ прибавитъ только по пяти копѣекъ къ своимъ ежемѣсячнымъ расходамъ, то эта прибавка составитъ уже замѣтный расчетъ для ихъ поставщиковъ. Поставщикъ, постоянно получающій много заказовъ изъ одного мѣста, постарается конечно приблизиться къ этому мѣсту, рассчитывая совершенно основательно, что заказовъ будетъ тѣмъ больше, чѣмъ меньше будутъ препятствія, заключающіяся въ разстояніи и въ перевозкѣ. Когда къ кузнецу, живущему въ городѣ, постоянно приводятъ дляковки по десяти лошадей въ день изъ большого села, лежащаго верстъ за пятнадцать отъ городской заставы, то кузнецъ можетъ совершенно основательно предположить, что въ этомъ селѣ куютъ лошадей только тѣ мужики, у которыхъ есть надобность побывать въ городѣ; кто побѣднѣе, кто бережетъ каждый часъ времени, тотъ оставитъ свою лошадь некованной, а между тѣмъ и этотъ мужикъ подковалъ бы свою лошадь, если бы кузнецъ жилъ въ селѣ; далѣе кузнецъ соображаетъ, что у него въ городѣ много конкурентовъ и что городской работы на всѣхъ не хватаетъ; тогда онъ переселяется на лоно сельской природы, къ великому удовольствію мужиковъ и къ великой пользѣ всѣхъ лошадиныхъ ногъ. Такъ точно разсуждаетъ и поступаетъ плотникъ, котораго часто требуютъ съ топоромъ въ село для сооруженія избъ, амбаровъ, скотныхъ дворовъ и всякихъ другихъ хозяйственныхъ построекъ. Пока мужики ходили въ лаптяхъ, сапожнику нечего было дѣлать въ селѣ, и тѣ богатые крестьяне, которые могли позволять себѣ эту роскошь, принуждены были покупать сапоги въ городѣ; когда выгодный сбытъ



сельскихъ продуктовъ помимо благодѣтельныхъ купцовъ далъ возможность всѣмъ мужикамъ обуваться по человѣчески, тогда въ селѣ появился свой сапожникъ. Чѣмъ богаче становятся крестьяне, тѣмъ больше заводится въ ихъ селѣ ремесленныхъ и торговыхъ заведеній; образуется мѣстный центръ, удовлетворяющій всѣмъ потребностямъ мѣстныхъ жителей; крестьянинъ кормитъ ремесленника и сбываетъ такимъ образомъ свой хлѣбъ, а ремесленникъ одѣваетъ и обуваетъ крестьянина и сбываетъ такимъ образомъ свой трудъ. Сырые продукты, получающіеся на мѣстѣ, тутъ же на мѣстѣ перерабатываются, потребляются и возвращаются землѣ въ видѣ разнообразнаго удобрения. Крестьянину не зачѣмъ ѣхать въ городъ ни для продажи, ни для покупки, стало быть его производство увеличивается всѣмъ тѣмъ количествомъ труда и времени, которое прежде тратилось на разъѣзды. Но если мы припомнимъ первоначальную причину этого сбереженія, то увидимъ, что она заключается въ томъ улучшеніи путей сообщенія, которое избавило крестьянина отъ тиранической власти купца и увеличило заработокъ перваго, уменьшивъ хищные барыши послѣдняго.

## XVII.

Пути сообщенія приносятъ обществу значительнѣйшую долю пользы въ томъ случаѣ, когда они содѣйствуютъ образованію и развитію мелкихъ мѣстныхъ центровъ; эти мѣстные центры противодействуютъ притягательной силѣ большихъ центровъ и распространяютъ во всей странѣ то разнообразіе занятій, которое прежде сосредоточивалось исключительно въ главныхъ городахъ. Чтобы достигнуть этой цѣли, пути сообщенія должны быть пролагаемы и улучшаемы именно такъ и именно тамъ, гдѣ и какъ того требуютъ выгоды производителей и потребителей. Надобно, чтобы производитель прямо съ своего поля или гумна могъ везти хлѣбъ на ближайшій рынокъ по такой дорогѣ, на которой, по крайней мѣрѣ, не вязли бы по ступицу колеса телѣги и не надрывались бы животы лошадей; необходимо слѣдовательно, чтобы пути сообщенія устраивались и улучшались прежде всего между отдѣльными деревнями и между деревнею и ближайшимъ городомъ; необходимо, чтобы облегчалась та часть перевозки, которая падаетъ прямо на одного производителя.

Большая часть экономистовъ разсуждаетъ

иначе. Они очень мало заботятся о движеніи продуктовъ и о разнообразіи занятій въ самомъ обществѣ; все вниманіе ихъ устремлено на торговлю общества съ другими обществами; сравнительное богатство различныхъ государствъ опредѣляется, по ихъ мнѣнію, тѣми количествами продуктовъ, которые вывозятся за границу, или ввозятся изъ-за границы; чѣмъ сильнѣе вывозъ перевѣшиваетъ ввозъ, тѣмъ радостнѣе бьются патристическія сердца экономистовъ. Разсуждая такимъ образомъ и питая самую нѣжную привязанность къ барышамъ купца, эти мыслители заботятся исключительно о такихъ путяхъ сообщенія, которые соединяютъ между собою большіе центры, или о такихъ, которые соединяютъ большой центръ съ приморскимъ пунктомъ, отпускаящимъ продуктъ за границу. Эти пути приносятъ самую существенную выгоду торговцамъ и не доставляютъ никакой выгоды производителямъ; продуктъ, свезенный въ одинъ изъ центровъ, сосредоточился уже въ рукахъ купцовъ, слѣдовательно перевозка этого продукта въ другой центръ или въ приморскій пунктъ составляетъ заботу торговцевъ, и облегченіе этой перевозки ведетъ за собою только увеличеніе купеческихъ барышей и расширеніе торговыхъ операций. Въ это самое время производители, которымъ приходится возить продуктъ изъ своихъ деревень въ ближайшіе города, за пять-десять или шестьдесятъ верстъ, по прежнему калѣчатъ своихъ лошадей и ломаютъ свои телѣги, такъ что тяжелая часть перевозки по прежнему лежитъ на производителяхъ, между тѣмъ какъ она снята съ торговцевъ. Но конечно экономисты, принадлежащіе повидимому къ той школѣ эстетиковъ, которая признавала только высокое и прекрасное, не снисходятъ до разсмотрѣнія низкихъ предметовъ сѣрой производительской жизни. Статистика не отмѣчаетъ числа испорченныхъ мужицкихъ лошадей и поломанныхъ колесъ, и поэтому экономисты соболѣзнуютъ только о тѣхъ возвышенныхъ трудностяхъ, съ которыми приходится бороться купеческимъ капиталамъ, обращеннымъ на заграничную торговлю, а между тѣмъ не дурно было бы помнить, что благосостояніе всего общества зависитъ гораздо больше отъ числа сытыхъ людей и здоровыхъ лошадей, работающихъ въ полѣ, чѣмъ отъ числа рублей, долларовъ или фунтовъ стерлинговъ, составляющихъ годовой барышъ того или другого первокласснаго негодіанта. Поэтому экономистамъ и всѣмъ другимъ людямъ,



болѣющимъ душою объ общественномъ благѣ, вовсе не мѣшало бы отъ времени до времени переносить свое просвѣщенное вниманіе съ великихъ и прекрасныхъ линій желѣзныхъ дорогъ на низкіе и пошлые предметы, называющіеся въ просторѣчій грязными проселками. Въ нихъ-то именно и заключается вся сила путей сообщенія, та сила по крайней мѣрѣ, которая можетъ накормить и одѣть мужика, научить его уму, разуму и сдѣлать его зажиточнымъ и полезнымъ человѣкомъ.

Дороги, рѣки и каналы страны могутъ быть названы кровеносными сосудами, въ которыхъ обращаются питательные соки общественного организма; всѣ люди, правильно понимающіе дѣйствительные интересы общества, должны желать, чтобы эти питательные соки обращались какъ можно равномѣрнѣе и быстрѣе, чтобы они не застаивались ни въ какомъ мѣстѣ кровеносной системы, чтобы нигдѣ не происходило приливовъ и чтобы ни одна часть страны не страдала малокровіемъ. Любители общественного блага, заграничной торговли и купеческихъ барышей находятъ, напротивъ того, что о быстротѣ и равномѣрности внутренняго обращенія заботиться не стоитъ. Они полагаютъ, что счастье страны будетъ совершенно обезпечено, если окажется возможность вскрыть одну изъ большихъ артерій, и затѣмъ постоянно отсылать за море бочки вытекающей крови. Чѣмъ больше можно будетъ отослать этой крови и чѣмъ быстрѣе она будетъ притягиваться къ ранѣ и вытекать наружу, тѣмъ богаче и могущественнѣе будетъ становиться весь организмъ общества. Это сравненіе употреблено здѣсь вовсе не для красоты слога. Не трудно будетъ доказать, что оно буквально вѣрно. Панегиристы заграничной торговли совѣтуютъ тѣмъ странамъ, въ которыхъ мало развита мануфактурная дѣятельность, вывозить сырые продукты и обмѣнивать ихъ на иностранныя сукна, полковыя и бумажныя матеріи, стальныя орудія и всякія другія фабричныя произведенія. Такъ дѣлается теперь во многихъ странахъ, но панегиристы доказываютъ, что такъ и всегда должно дѣлаться, потому что нѣкоторые государства должны быть чисто земледѣльческими, а другія промышленными; затѣмъ дѣло считается рѣшеннымъ въ теоріи, и всѣ усилія направляются къ тому, чтобы на практикѣ усилить вывозъ сырыхъ произведеній изъ тѣхъ странъ, которымъ вѣрно быть чисто земледѣльческими.

Но тутъ представляется маленькое затрудненіе. Земля родитъ хорошо въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, а потомъ становится скупой, и чѣмъ дальше, тѣмъ хуже, такъ что даже оставленіе земли подъ паромъ не поправляетъ дѣла. Тогда истощенный участокъ покидается и вмѣсто него разрабатывается полоса новой земли; это разрабатываніе сопряжено съ значительными трудностями и только на ограниченный промежутокъ времени поправляетъ положеніе земледѣльца, потому что новая земля также истощается и начинаетъ отказывать въ урожаяхъ. Снова является необходимость распахать новъ, и такъ продолжается до тѣхъ поръ, пока не окажется, что вся земля выпажана и истощена. А потомъ? Потомъ человѣку приходится бѣжать куда нибудь вдаль, искать опять новыхъ земель, какъ бѣгутъ американскіе землевладѣльцы на западъ съ такихъ земель, которыя только пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ были заселены. Но вѣдь и западъ не безконеченъ; придется когда нибудь добѣжать до Великаго Океана и повернуть назадъ, на опустошенную глушь, поросшую бурьяномъ и сорными травами. Вывозить сырой продуктъ все равно, что срѣзывать верхніе слои земли и отправлять ихъ за море; срѣзавши нѣсколько слоевъ, человѣкъ находитъ, что больше нечего рѣзать, потому что онъ дошелъ уже до того грунта, который не даетъ ему пищи, и слѣдовательно, для продажи за границу также не годится. Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что такой образъ дѣйствій въ народномъ хозяйствѣ совершенно соотвѣтствуетъ вытягиванію крови изъ животнаго организма. Всякому деревенскому свинопасу извѣстно, что земля родитъ хлѣбъ хорошо тогда, когда ее удобряютъ; а удобреніе есть тотъ же сырой продуктъ, прошедшій черезъ желудки людей и животныхъ и возвращающійся въ землю. Если продуктъ отправить за границу, то съ удобреніемъ приходится проститься. Тѣ хозяева, которые, держатъ скотъ для удобренія и въ то же время отправляютъ цѣлые обозы зернового хлѣба на дальніе рынки, утѣшаютъ себя сладкими, но обманчивыми мечтами. Земля ихъ медленно истощается. Чтобы сохранять и увеличивать свою производительную силу, земля должна получать обратно, въ видѣ удобренія, весь сырой продуктъ, снятый съ нея при уборкѣ хлѣба. Если мы будемъ давать ей только часть этого продукта, то она будетъ становиться бѣднѣе, хотя конечно не такъ быстро, какъ въ томъ случаѣ, когда бы мы не возвращали ей ни-



чего. Цвѣтущее земледѣліе существуетъ только въ тѣхъ странахъ, въ которыхъ весь сырой продуктъ перерабатывается и сѣдается на мѣстѣ, а это возможно только въ тѣхъ частяхъ земли, въ которыхъ разнообразіе занятій и развитіе промышленности позволяютъ людямъ сдвигаться въ тѣсныя группы и устраивать множество мелкихъ центровъ. Земледѣліе идетъ хорошо въ Англіи, еще лучше въ Бельгіи и въ Сѣверной Германіи, то-есть именно въ тѣхъ странахъ, въ которыхъ всего сильнѣе развита мануфактурная дѣятельность. Земледѣліе идетъ плохо въ Россіи, въ Турціи, въ южныхъ штатахъ Америки, то-есть именно въ тѣхъ странахъ, которыя обречены учеными людьми на исключительно земледѣльческую роль.

Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что чисто земледѣльческая страна, съ успѣхомъ занимающаяся земледѣліемъ, есть чистѣйшій мѣсъ. Созданіе этого мѣса, стоящаго рядомъ съ законами Мальтуса и Рикардо, дѣлаетъ величайшую честь блестящей фантазіи ученыхъ изобрѣтателей, но къ явленіямъ и фактамъ дѣйствительности этотъ мѣсъ относится точно такъ же, какъ относятся къ нему Оберонъ и Титанія. Въ дѣйствительности есть земли, производящія въ изобиліи хлѣбъ и ткани, сырые продукты и фабричныя издѣлія, и есть другія земли, которыя не производятъ ничего, кромѣ сырья, но за то и сырье производятъ мало. На этихъ послѣднихъ земляхъ вовсе не лежитъ какая нибудь печать отверженія; онѣ могутъ также завести у себя мануфактуры, оживить свое населеніе разнообразіемъ занятій и устроить множество мелкихъ центровъ производства и потребления. Когда онѣ сдѣлаютъ это, тогда и сырье будетъ рождаться у нихъ въ большемъ количествѣ, а пока онѣ будутъ слушать мудрыхъ экономистовъ и гнаться только за усиленіемъ вывоза, до тѣхъ поръ имъ придется только дивиться тому, какъ это чисто земледѣльческая страна не можетъ завести у себя порядочнаго земледѣлія; чѣмъ сильнѣе и продолжительнѣе будетъ упорство въ этомъ направленіи, тѣмъ полнѣе будетъ истощеніе земли и тѣмъ ужаснѣе будутъ нищета, невѣжество и порабощеніе жителей.

Изъ всего, что было говорено выше, слѣдуетъ, что пути сообщенія полезны тогда, когда пробуждаютъ мѣстную жизнь и содѣйствуютъ образованію мелкихъ центровъ. Но путями сообщенія можетъ овладѣть торговый элементъ, или какая нибудь другая сила, развивающаяся изъ того же

общаго начала—и тогда пути сообщенія, проложенные не тамъ гдѣ слѣдуетъ, могутъ только ускорить движеніе общества къ истощенію земли, къ подавленію всякой внутренней промышленности и къ порабощенію жителей, обреченныхъ на вѣчное однообразіе труда и на безвыходную зависимость отъ наглаго произвола торговцевъ и отъ непрерывныхъ колебаній цѣнъ на далекихъ рынкахъ.

#### XVIII.

Чтобы передвигать или перевозить съ мѣста на мѣсто сырой матеріалъ, человѣку надо знать только величину и вѣсъ его, то-есть такія свойства, которыя опредѣляются простымъ свидѣтельствомъ чувствъ. Чтобы производить въ этомъ матеріалѣ механическія или химическія измѣненія, необходимо имѣть болѣе подробныя и спеціальныя свѣдѣнія о свойствахъ матеріи. Поэтому, умѣнье перерабатывать сырой матеріалъ развивается въ человѣческихъ обществахъ уже тогда, когда существуютъ перевозочныя средства и пути сообщенія. Въ самомъ грубомъ бытѣ дикарей проявляется уже способность измѣнять форму матеріи, но эти зародыши ремесленной дѣятельности относятся къ высшимъ видамъ развитой промышленности точно такъ же, какъ начатки варварскаго земледѣлія относятся къ подвигамъ научной агрономіи. Дикарь умѣетъ добыть себѣ огня треніемъ двухъ кусковъ дерева; онъ умѣетъ изжарить кусокъ мяса или сварить пойманную рыбу; онъ умѣетъ превратить палку въ лукъ и заострить оконечность твердаго кремня; но все эти операціи скользятъ по поверхности матеріи, производятъ въ ней незначительныя измѣненія и доставляютъ дикарю очень ограниченную власть надъ окружающею природой. Дикарь убиваетъ звѣря тяжелымъ камнемъ, но онъ не знаетъ, что въ этомъ самомъ камнѣ заключается желѣзная руда, и что изъ этой руды можно сдѣлать топоръ, которымъ очень удобно можно будетъ убивать звѣрей и рубить деревья. Поваливши звѣря, дикарь сдираетъ съ него шкуру и набрасываетъ ее себѣ на плеча, но онъ опять таки не знаетъ, что шерсть, покрывающая шкуру можетъ быть переработана въ такую матерію, которая гораздо удобнѣе самой шкуры можетъ служить одеждою. Кромѣ того, дикарь не знаетъ, что шкуру можно выдѣлать и превратить въ кожу, которая доставитъ очень удобную обувь. Такимъ образомъ, звѣриная кожа, способная



дать дикарю суконный плащъ и сапоги, даетъ ему только какую-то неуклюжую и неудобную накидку. Силы природы остаются подъ спудомъ, потому что у дикаря нѣтъ тѣхъ свѣдѣній о свойствахъ матеріи, которыя необходимы для того, чтобы вызвать эти силы къ цѣлесообразной дѣятельности. Тѣ немногія и незначительныя измѣненія, которымъ дикарь умѣетъ подвергать сырой матеріалъ, требуютъ отъ дикаря большихъ усилій и даютъ ему ничтожные результаты; много времени и труда уходитъ на перемѣщеніе матеріи и также много на перемѣну формы, такъ что на самое важное дѣло человѣка, на обработываніе и улучшеніе земли, единственного источника всякаго богатства, дикарь можетъ употреблять очень мало времени и физическихъ усилій.

Улучшеніе перевозочныхъ средствъ уменьшаетъ трудности передвиженія, а улучшеніе механическихъ и химическихъ процессовъ производства точно также уменьшаетъ трудности превращенія. Вся масса сберегаемой силы должна тогда обращаться на землю, и это увеличеніе въ средствахъ обработки должно вести за собою соотвѣтствующее приращеніе въ количествѣ сырого продукта. На мельницѣ вода, вѣтеръ или паръ превращаютъ зерно въ муку и выполняютъ такимъ образомъ ту работу, которую прежде должны были совершать тысячи человѣческихъ рукъ или сотни лошадиныхъ силъ; въ это время освобожденные люди и лошади могутъ прилагать свой трудъ болѣе производительнымъ образомъ, увеличивая количество того зерна, которое должно быть превращаемо въ муку. Приложение паровой силы къ прядильной машинѣ и къ усовершенствованному ткацкому станку даетъ возможность шести женщинамъ превращать въ ткань такое количество шерсти, которое, сто лѣтъ тому назадъ, въ тотъ же промежутокъ времени, требовало для своей переработки—усиленнаго труда нѣсколькихъ сотъ мужчинъ; эти освободившіеся работники могутъ посвятить свои силы тщательному уходу за скотомъ, могутъ улучшить породу овецъ обильнымъ и отборнымъ кормомъ и могутъ такимъ образомъ значительно увеличить то количество шерсти, которое должно быть превращаемо въ ткань.

Усовершенствованіе механическихъ и химическихъ процессовъ, сберегающее ту рабочую силу, которая должна была употребляться на переработку матеріала, ведетъ за собою, кромѣ того, сбереженіе въ той массѣ силъ, которая

тратилась на перемѣщеніе. Положимъ, что страна производитъ хлѣбъ и желѣзную руду; если она будетъ отправлять за границу то и другое, то на перевозку этого сырья потребуется много повозокъ, вагоновъ или кораблей, потому что хлѣбъ и руда занимаютъ много мѣста и представляютъ сравнительно съ своей цѣнностью очень громоздкій и тяжелый грузъ. Но если хлѣбомъ кормить дома работниковъ, которые будутъ превращать руду въ полосовое или листовое желѣзо, то этотъ новый продуктъ можетъ быть отправленъ на меньшемъ количествѣ повозокъ, между тѣмъ какъ цѣнность его будетъ соотвѣтствовать цѣнности руды, сложенной съ цѣнностью сѣдѣннаго хлѣба. Если листовое и полосовое желѣзо будетъ превращено внутри страны въ стальные ножи, то цѣнность этихъ ножей будетъ также соотвѣтствовать цѣнности употребленнаго желѣза, сложенной съ цѣнностью того хлѣба, который сѣдятъ новые работники, а для перевозки ножей потребуется еще меньше повозокъ, чѣмъ сколько требовалось для перевозки листового и полосного желѣза.

Если мы подумаемъ теперь, сколько повозокъ надо было бы употребить для вывоза желѣзной руды и всего хлѣба, сѣдѣннаго всеми работниками, и если мы сравнимъ это количество съ тѣмъ, которое потребуется для вывоза ножей, сдѣланныхъ изъ той же массы руды, то мы увидимъ, что первое количество по крайней мѣрѣ въ двадцать разъ больше второго. Это докажетъ намъ, что всякая переработка сырого продукта на мѣстѣ сберегаетъ огромную массу силъ, которыя иначе пришлось бы издержать на перевозку. Руда и хлѣбъ комбинируются между собою и сжимаются въ форму ножей, которые можно везти на край свѣта. Точно также шерсть и хлѣбъ сжимаются въ форму сукна, хлопокъ и хлѣбъ—въ форму кисеи, ленъ и хлѣбъ—въ форму полотна или кружева, и при всѣхъ этихъ операціяхъ постоянно сберегается значительное количество перевозочной силы; а такъ какъ всякая трата труда на перевозку сама по себѣ непроизводительна, то всякое сбереженіе въ этомъ дѣлѣ приноситъ обществу чистую выгоду.

Эти соображенія составляютъ также довольно увѣсительный аргументъ противъ мечтателей, превозносящихъ вывозъ сырья и прелести исключительнаго земледѣлія. Въ Великобританіи всѣ паровыя машины, вмѣстѣ взятыя, замѣняютъ собою ручной трудъ шести сотъ милліоновъ людей, и большая часть этихъ машинъ употре-



бляется на сжиманіе хлѣба и шерсти въ сукно, хлѣба и хлопка въ разныя ткани, хлѣба, угля и руды въ стальныя орудія; можно себѣ представить, сколько человѣческой силы сберегается для земледѣлія и для изученія свойствъ природы; если далеко не вся масса сбереженной силы употребляется производительно, то въ этомъ виноваты уродливыя условія англійскаго землевладѣнія и распредѣленія имуществъ, то-есть такія обстоятельства, которыя завѣщаны настоящей эпохѣ тѣми мрачными временами, когда элементъ присвоенія не встрѣчалъ себѣ никакой задерживающей плотины.

### XIX.

Чѣмъ сильнѣе развивается въ какомъ нибудь обществѣ способность перерабатывать сырой матеріалъ на мѣстѣ, тѣмъ большее количество даровъ природы находитъ себѣ полезное употребленіе. Одинокій поселенецъ всегда бѣденъ и кромѣ того по необходимости расточителенъ. Чтобы расчистить себѣ нѣсколько акровъ или десятинъ земли, онъ часто сжигаетъ сотни деревьевъ; этотъ обычай до сихъ поръ существуетъ въ нашихъ сѣверныхъ губерніяхъ и въ американскихъ поселеніяхъ на далекомъ западѣ; зола сожженныхъ деревьевъ идетъ на удобреніе земли, между тѣмъ какъ въ заселенной и промышленной землѣ всѣ составныя части дерева нашли бы себѣ полезное приложеніе; стволъ превратился бы въ доски, кора пошла бы на дубленіе кожи и даже тонкія вѣтки нашли бы себѣ душевспасительное педагогическое примѣненіе. Въ бѣдномъ поселеніи изношенныя трипки выбрасываются, а въ промышленномъ городѣ онѣ идутъ на выдѣлку бумаги; гвозди, выскакивающіе на улицахъ изъ подковъ лошадей, превращаются въ ружейные стволы; мѣдныя опилки употребляются на приготовленіе краски, обрѣзки кожи на производство клея; кости мертвыхъ животныхъ на очистку сахара, изъ уличныхъ нечистотъ добывается амміакъ, составляющій одну изъ составныхъ частей нашатырнаго спирта. Словомъ, въ большихъ и промышленныхъ городахъ не теряется почти ни одна частица матеріи; здѣсь дѣятельность и изобрѣтательность людей повторяетъ въ меньшихъ размѣрахъ то вѣчное круговращеніе вещества, которое составляетъ собою жизнь природы. Разнообразіе занятій даетъ возможность каждому отдѣльному человѣку проявить свои индивидуальныя способности въ соответствующей

имъ формѣ дѣятельности, и это же самое разнообразіе занятій позволяетъ одной отрасли промышленности извлекать пользу изъ тѣхъ по видимому негодныхъ остатковъ и обрѣзковъ, которые выбрасываются ремесленниками другой отрасли. Такимъ образомъ сильно развитое умѣнье производить механическія и химическія измѣненія въ формѣ вещества распредѣляетъ самымъ выгоднымъ образомъ какъ человѣческія силы, такъ и частицы сырого матеріала.

Тѣ земли, въ которыхъ мануфактурная промышленность доведена до высокой степени совершенства, несутъ конечно свою долю страданій, произведенныхъ элементомъ присвоенія, но положеніе этихъ земель, по всей справедливости, можетъ быть названо счастливымъ, если мы сравнимъ его съ участіемъ тѣхъ странъ, въ которыхъ свирѣпствуетъ исключительное земледѣліе. Какъ ни тяжела жизнь англійскаго или бельгійскаго пролетарія, она все таки показалась бы легкою негру, работающему на сахарныхъ плантаціяхъ Ямайки, или разводящему хлопокъ въ Каролинѣ. Въ чисто земледѣльческихъ южныхъ штатахъ силы человѣка тратятся самымъ нерасчетливымъ образомъ, и рабство держалось въ нихъ именно потому, что отсутствіе разнообразія въ занятіяхъ лишало работника всякой возможности примѣнять къ производству силы своего мозга. Человѣкъ дѣлаетъ то, что могъ бы дѣлать вошь, но такъ какъ самый глупый человѣкъ умнѣ самаго умнаго вола, и такъ какъ самый сильный человѣкъ слабѣ самаго слабого вола, то очевидно замѣнять рабочій скотъ людьми чрезвычайно невыгодно, потому что значительнѣйшая доля человѣческой силы (мозгъ) остается незанятою и теряется даромъ, между тѣмъ какъ призывается къ дѣятельности та часть человѣческаго организма (мускулы), которая въ человѣкѣ слабѣе, чѣмъ въ каждомъ изъ выючныхъ животныхъ. Плантаторъ, распоряжающійся такимъ образомъ съ своими неграми, похожъ на охотника, который лягавую собаку пустилъ бы въ погоню за зайцемъ, а борзую заставилъ бы отыскивать дичь. Было бы неосновательно думать, что плантаторы чувствуютъ особенную нѣжность къ рабству и къ такой методѣ земледѣлія, которая истощаетъ почву; они сами попали въ заколдованный кругъ; тиранническое господство англійской торговли поддерживало у нихъ исключительное земледѣліе; исключительное земледѣліе, какъ и всякое однообразіе занятій, мѣшало ассоціаціи человѣческихъ силъ и



тѣнному группированію населенія; разбросанность населенія не позволяла людямъ побѣждать тѣ препятствія, которыя встрѣчаютъ земледѣльцы на богатой почвѣ долины и рѣчныхъ береговъ; необходимость ограничиваться обработкой тощей земли холмовъ поддерживала бѣдность; бѣдность мѣшала усовершенствованію орудій: плохія орудія укрѣпляли рутину земледѣльческихъ приѣмовъ; рутинные приѣмы вели къ отупѣнію работника; тупой работникъ могъ очень легко быть замѣненъ работою; а когда рабство пустило свои корни, тогда потерялась всякая возможность освободиться отъ торгового ига Англіи и завести свои мануфактуры. Вызванное къ жизни бѣдностью и рутиной, рабство въ свою очередь сдѣлалось самымъ твердымъ оплотомъ рутины и бѣдности; заколдованный кругъ оказался такимъ образомъ замкнутымъ, и онъ могъ быть разбитъ только такимъ событіемъ, которое, какъ американская война, не зависѣло ни отъ плантаторовъ, ни отъ ихъ негровъ, ни отъ торговыхъ оптиматовъ Англіи.

Гдѣ неразсчитливо тратится высшій видъ матеріи, заключающійся въ человѣческихъ силахъ, тамъ тратится также неразсчитливо низшій видъ матеріи, состоящій въ разнообразныхъ сырыхъ продуктахъ почвы. Во всѣхъ исключительно земледѣльческихъ странахъ, природа каждый годъ формируетъ и каждый годъ разрушаетъ огромное количество такого матеріала, который при надлежащей обработкѣ могъ бы доставить человѣку множество разнородныхъ удобствъ жизни. Въ южныхъ штатахъ стебли хлопчатника сжигались на плантаціяхъ, между тѣмъ какъ въ нихъ заключаются превосходныя волокна, изъ которыхъ можно было бы сработать отличныя ткани. Сѣмена этого растенія могли бы дать большое количество масла, но объ немъ никто не заботился. Бананы, кромѣ плодовъ, могутъ давать съ каждаго акра отъ девяти до двѣнадцати тысячъ фунтовъ волокна, которое годится на всякое производство, начиная отъ выдѣлки канатовъ и кончая фабрикаціей тончайшей кисеи; и никто этимъ не пользовался въ такой странѣ, въ которой рабочій классъ ходилъ почти въ первобытной наготѣ. Почва плантацій истощалась до послѣднихъ предѣловъ тупымъ упорствомъ распорядителей, добывавшихъ постоянно одинъ и тотъ же продуктъ: хлопокъ, или сахарный тростникъ, или рисъ, или кофе; а въ это самое время оставались безъ всякаго вниманія сотни деревьевъ, кустарниковъ и травъ,

которыя природа производитъ даромъ и которыя даютъ или волокна, годныя для пряжи, или превосходныя красильныя вещества. Рутинна ничего не видитъ и портитъ все, что попадаетъ ей въ руки; а рутинна совершенно неизбежна въ чисто земледѣльческихъ странахъ, потому что предприимчивость вызывается только разнообразіемъ занятій.

Развитіе механическихъ и химическихъ процессовъ, превращающихъ сырой матеріалъ въ предметъ, годный для потребленія, или въ орудіе, облегчающее дальнѣйшее производство, составляетъ для общества важнѣйшій шагъ впередъ, къ богатству, къ свободѣ и къ мирному наслажденію разумной трудовой жизнью. Человѣческая личность развилась всего роскошнѣе и выбилась изъ-подъ средневѣковаго гнета феодаловъ всего полнѣе именно въ тѣхъ странахъ, въ которыхъ развернулась разнообразная ремесленная дѣятельность. Эпоха освобожденія и возвышенія человѣческаго достоинства совпадаетъ вездѣ съ эпохой пробужденія технической изобрѣтательности и предприимчивости. Человѣкъ, начинающій чувствовать себя властелиномъ природы, не можетъ оставаться работою другого человека. Но элементъ присвоенія, отравившій торговлю и извращающій въ свою пользу пути сообщенія, не можетъ и въ этомъ случаѣ оставаться въ бездѣйствіи. Когда сдѣлано какое нибудь открытіе, то близорукіе люди стараются прежде всего не о томъ, чтобы обратить это открытіе противъ инертнаго сопротивленія природы, а о томъ, чтобы сдѣлать изъ него оружіе противъ тѣхъ людей, которымъ оно неизвѣстно или недоступно. Положимъ, что въ одной землѣ открыта возможность прилагать силу пара къ производству тканей; эта земля родитъ ленъ; сдѣланное открытіе дастъ средства производить огромное количество полотна, употребляя на эту работу малое количество труда; стало быть, трудъ сберегается и можетъ быть приложенъ къ дальнѣйшему усовершенствованію въ разведеніи льна. Кромѣ того, жители страны становятся богаче, потому что каждый изъ нихъ, вмѣсто одной рубашки, можетъ приобрести себѣ дюжину. Такъ должно быть, но *бываетъ* совсѣмъ не такъ. Люди, разжившіеся торговлей, тотчасъ заводятъ себѣ новыя машины, а тѣ люди, которые не могутъ завести машинъ, принуждены покупать полотно почти по той цѣнѣ, по которой оно продавалось до изобрѣтенія и примѣненія паровыхъ двигателей. Прежде въ странѣ было мно-



жество ткачей, работавших на ручных станкахъ, въ свою собственную пользу; теперь обладатели машинъ совершенно отбиваютъ у нихъ работу; они, обладатели машинъ, понижаютъ цѣну полотна какъ разъ на столько, на сколько нужно, чтобы убить мелкую промышленность, но совѣтъ не на столько, на сколько они безъ убытка себѣ могли бы понизить цѣну вслѣдствіе облегченій, произведенныхъ новымъ открытіемъ.

Такимъ образомъ, роковой ударъ, нанесенный мелкимъ производителемъ, вовсе не уравнивается той ничтожной пользой, которую получаютъ потребители. Вся выгода валится въ карманъ посредника, стоящаго между производителемъ, т. е. поденщикомъ, работающимъ на фабрикѣ, и потребителемъ, т. е. человекомъ, покупающимъ полотно. Если бы человѣческій трудъ въ данной странѣ распределялся по различнымъ отраслямъ производства совершенно разсчитливо, такъ, чтобы ни терялись ни время, ни способности работниковъ, тогда конечно ткачи, принужденные оставить свои ручные станки, могли бы тотчасъ приняться за земледѣліе и обогатить страну приращеніемъ сырого продукта. Но въ дѣйствительности бываетъ сплошь и рядомъ такъ, что одни работники голодаютъ отъ недостатка работы, между тѣмъ какъ нѣсколько другихъ отраслей промышленности въ той же странѣ могли бы много выиграть, если бы привлекли къ себѣ большее количество рабочихъ рукъ. Ланкаширскіе работники сидятъ безъ дѣла вслѣдствіе недостатка хлопка и терпятъ крайнюю степень нужды, а между тѣмъ земля Англіи все еще далеко не такъ хорошо обработана, какъ того требуетъ современное положеніе агрономической науки. А происходитъ такая неурядица отъ того, что и мануфактуристъ, и землевладѣлецъ стараются извлечь свои барышни и ренты не изъ природы, а изъ тощихъ кошелековъ потребителей и изъ того куска хлѣба, который они бросаютъ производителю. Объ увеличеніи количества и объ улучшеніи качества продукта заботятся очень немногіе капиталисты, а возвысить цѣну своихъ произведеній и понизить задѣльную плату работниковъ стараются всѣ. Но кошельки покупателей могутъ быть истощены, и желудки работниковъ также только до извѣстной степени способны переносить лишения; между тѣмъ богатство и силы природы совершенно неистощимы. Кто борется съ природой, тотъ обогащаетъ и самого себя, и всѣхъ окру-

жающихъ людей; кто обираетъ людей дозволенными или недозволенными средствами, тотъ разливаетъ вокругъ себя бѣдность и страданіе, которыя непремѣнно, рано или поздно, тѣмъ или другимъ путемъ доберутся и до него самого.

Если внутри каждой промышленной страны происходитъ постоянная борьба между перепутанными интересами различныхъ людей, содѣйствующихъ производству, то конечно та же бесплодная и гибельная борьба, въ большихъ размѣрахъ и съ большимъ ожесточеніемъ, разыгрывается во всѣхъ международныхъ промышленныхъ сношеніяхъ. Та страна, въ которой открыто средство ткать полотно паровыми машинами, будетъ употреблять всѣ усилія, чтобы помѣшать другой странѣ, производящей шелкъ, въ примѣненіи новыхъ машинъ къ выдѣлкѣ атласа, тафты и другихъ матерій. Между тѣмъ обѣимъ странамъ было бы положительно выгодно, если бы въ одной производилось какъ можно больше полотна, а въ другой какъ можно больше шелковыхъ тканей. Обмѣнъ между обѣими землями усилился бы, и жители обѣихъ земель могли бы пользоваться въ изобиліи бѣльемъ и шелковымъ платьемъ. Но международной торговлей и фабричной промышленностью управляютъ не жители, а капиталисты, которые, по своему невѣднію, воображаютъ себѣ, что имъ нѣтъ никакого дѣла до общаго уровня народнаго благосостоянія. Невѣдніе капиталистовъ внушаетъ имъ своеобразные расчеты и предвзятые идеи, которыми эти джентльмены служатъ съ непоколебимымъ постоянствомъ и иногда съ изумительнымъ самоотверженіемъ. Капиталисты, затратившіе свои капиталы на сооруженіе фабрикъ, воображаютъ себѣ, что имъ необходимо перерабатывать на своихъ фабрикахъ весь сырой продуктъ, получающійся съ полей, лѣсовъ, стадъ и рудниковъ всего міра. Пусть обитатели всего земного шара занимаются земледѣліемъ, скотоводствомъ и добычаніемъ руды; пусть все это сырье везутъ къ намъ, въ нашъ маленькій уголокъ; за все это мы сами будемъ давать такую цѣну, какую захотимъ; потомъ мы сами все это переработаемъ на нашихъ фабрикахъ, нашими неизмѣримо-могущественными машинами; и наконецъ пусть обитатели всего земного шара покупаютъ у насъ все, что имъ нужно для одежды, все, что имъ нужно для украшенія и комфорта, все, что имъ нужно для работы, начиная отъ желѣзнаго гвоздя и кончая паровымъ локомотивомъ. Чѣмъ меньше будетъ фабрикъ и чѣмъ



больше онѣ будутъ централизованы, тѣмъ безконтрольнѣе будетъ наше господство надъ міромъ. Мы всѣмъ и всему будемъ назначать цѣны; отъ насъ будетъ зависѣть и плантаторъ, разводящій хлопокъ, и работникъ, нанимающійся на нашу фабрику, и всякій человѣкъ, желающій купить платье или орудіе. Захотимъ помиловать—помилуемъ; захотимъ безъ хлѣба оставить—оставимъ; все это будетъ въ нашихъ рукахъ, и власти нашей не будетъ предѣла.

Вотъ чего желаютъ, вотъ о чемъ по крайней мѣрѣ мечтаютъ многіе капиталисты; эти золотыя грезы понемногу. осуществляются; Англія, классическая страна капитала, дѣйствительно держитъ въ крѣпостной зависимости производителей многихъ плодородныхъ и обширныхъ земель. Ирландія, Португалія, Турція, Остъ-Индіа, Вестъ-Индіа, южные штаты, Бразилія продаютъ ей свои сырые продукты и покупаютъ у нея каждый лоскутъ матеріи и каждый обдѣланный кусокъ желѣза по той цѣнѣ, которую ей благоразсудится назначить. Внутри самой Англіи тысячи рабочихъ рукъ находятся въ полномъ распоряженіи капиталистовъ; тысячи желудковъ, соотвѣтствующихъ этимъ рукамъ, ожидаютъ отъ нихъ манны небесной, и по желанію тѣхъ же капиталистовъ могутъ быть поражены всѣми язвами египетскими. Мечта такихъ капиталистовъ была бы совершенно осуществлена, и блаженство этихъ столповъ отечества было бы безоблачно, если бы только имъ удалось подорвать всѣ фабрики, существующія во Франціи, въ Бельгіи, въ Германіи и въ другихъ странахъ, не пожелавшихъ ограничиваться поставкой сырья въ Англію. Къ этой-то цѣли и направляются усилія близорукихъ капиталистовъ всѣхъ націй. Подорвать иностранныхъ соперниковъ и отбить у нихъ выгодный рынокъ—это считается подвигомъ просвѣщеннаго патріотизма, хотя отъ этого подвига не выигрываетъ никто, кромѣ капиталистовъ. Они понижаютъ цѣны на свои произведенія, работаютъ себѣ въ убытокъ, несутъ огромныя потери, а потомъ, подорвавши иностранную промышленность, опять возвышаютъ цѣны и съ избыткомъ вознаграждаютъ себя за пожертвованія, положенныя на алтарь отечественной славы. Вся тяжесть этихъ патріотическихъ операций обрушивается конечно на работниковъ, которымъ никогда не удастся полакомиться ихъ сладкими послѣдствіями. Когда фабрика работаетъ себѣ въ убытокъ, тогда хозяинъ понижаетъ задѣльную плату, а когда фабрика при-

носить двойные барыши, тогда хозяинъ радуется и кладетъ деньги въ карманъ.

## XX.

Ремесленники и фабричные работники посредствомъ разныхъ химическихъ и механическихъ процессовъ измѣняютъ форму того сырого матеріала, который такъ или иначе производитъ земля. Въ большей части случаевъ человѣкъ до сихъ поръ дѣлаетъ очень мало для увеличенія производительныхъ силъ земли. Роль земледѣльца почти вездѣ ограничивается тѣмъ, что онъ приводитъ землю въ соприкосновеніе съ сѣянами и потомъ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, беретъ себѣ то, что выросло на нивѣ. Сколько сырого матеріала произведетъ земля и какого качества будетъ этотъ матеріалъ — это такіе вопросы, на которые земледѣлецъ не сумѣетъ дать опредѣленнаго отвѣта. Мельникъ знаетъ, сколько пудовъ муки выйдетъ изъ четверти зернового хлѣба, и ткачъ знаетъ, сколько аршинъ полотна онъ можетъ выткать изъ даннаго количества пряжи; но земледѣлецъ, бросившій свои зерна въ землю, находится скорѣе въ положеніи игрока, взявшаго лотерейный билетъ, чѣмъ въ положеніи ремесленника, способнаго высчитать будущіе результаты своего труда. Что дастъ земля, что дастъ погода — то и возьметъ земледѣлецъ; успѣхъ его труда зависитъ отъ стеченія многихъ благопріятныхъ условій; успѣху этому могутъ повредить множество случайныхъ препятствій; зерно, положенное въ землю, должно испытать не одинъ видоизмѣняющій процессъ, а цѣлый рядъ такихъ процессовъ, и этотъ длинный рядъ видоизмѣненій долженъ тянуться въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Чтобы управлять этими процессами, совершающимися въ таинственныхъ лабораторіяхъ природы, земледѣльцу необходимо обладать множествомъ сложныхъ знаній, а такъ какъ до сихъ поръ земледѣліе повсемѣстно находится въ рукахъ людей очень бѣдныхъ и совершенно невѣжественныхъ, то разумѣется всѣ процессы, относящіеся къ созиданію сырыхъ матеріаловъ, совершаются какъ придется, по волѣ прихотливой судьбы и коварныхъ стихій.

Земледѣліе зарождается въ самой глубокой древности, въ то время, когда фабричной промышленности совершенно не существуетъ; но зародившись такъ рано, земледѣліе останавливается на очень низкой степени развитія и на-



чинаетъ совершенствоваться только тогда, когда между людьми существуетъ уже привычка къ общественной жизни, значительное разнообразіе занятій и дѣятельное движеніе идей. Торговля, пути сообщенія, многочисленныя и разнородныя фабрики должны познакомить человѣка со многими прекрасными результатами разумаго труда и ассоціаціи и со многими печальными явленіями раздора, прежде нежели появится мысль о рациональномъ земледѣліи. Искарпать землю засѣпкомъ или плугомъ и засыпать борозды хлѣбными зернами можетъ всякій дикарь, и мы дѣйствительно видимъ, что этими работами занимаются такіе люди, которые отличаются отъ дикарей только платежомъ денежныхъ или натуральныхъ повинностей. Но чтобы довести шансы неурожая до самой незначительной величины, чтобы обратить азартную игру земледѣлія въ вѣрное ремесло, чтобы развернуть и вызвать къ дѣятельности скрытыя силы земли—человѣку необходимо знать особенности различныхъ слоевъ земной коры, химическія свойства составныхъ частей почвы, условія жизни растительнаго организма, нравы насѣкомыхъ, которые могутъ вредить посѣву, признаки, по которымъ можно судить объ атмосферическихъ измѣненіяхъ, степень зависимости этихъ измѣненій отъ горъ, рѣкъ, лѣсовъ и другихъ особенностей мѣстоположенія, степень вліянія этихъ измѣненій на посѣвы и множество другихъ одинаково важныхъ подробностей. Физика, химія, геогнозія, метеорологія, энтомологія, фізіологія животнаго и растенія находятъ себѣ непосредственное приложеніе къ земледѣлію; большая часть этихъ наукъ возникли очень недавно; обѣ ихъ стороны, теоретическая и прикладная, разработаны еще очень неудовлетворительно; кругъ распространенія знаній вообще и естественныхъ наукъ въ особенности чрезвычайно тѣсенъ; ксотины, открытыя въ лабораторіи, проникаютъ въ мастерскую очень медленно и примѣняются къ фабричному производству очень нерѣшительно; еще медленнѣе пробираются онѣ къ земледѣльцу, работающему въ полѣ, и еще нерѣшительнѣе относится къ нимъ практика сельскаго хозяйства.

Въ послѣднемъ случаѣ медленность и нерѣшительность доходитъ до такихъ крайнихъ предѣловъ, что рациональная агрономія въ передовыхъ странахъ Европы представляется до сихъ поръ чѣмъ-то вродѣ затѣйливаго эксперимента, не успѣвшаго упрочить себѣ никакого значенія

въ промышленной практикѣ. Англійскіе экономисты, напримѣръ Макъ-Куллохъ, утверждаютъ до сихъ поръ, что выгоднѣе заниматься мануфактурнымъ производствомъ, чѣмъ земледѣліемъ, на томъ основаніи, что «нѣтъ предѣловъ дарамъ природы въ мануфактурныхъ издѣліяхъ; напротивъ того есть предѣлы, и не слишкомъ отдаленные, ея дарамъ въ земледѣліи». Эта чрезвычайно странная мысль подкрѣпляется слѣдующимъ разсужденіемъ: «Самый огромный капиталъ можетъ быть истраченъ на сооруженіе паровыхъ машинъ, и когда число ихъ будетъ увеличено безгранично, то послѣдняя машина будетъ такъ же сильна, какъ первая, и будетъ производить столько же продуктовъ и сберегать столько же работы. Въ отношеніи къ землѣ, вопросъ ставится совершенно иначе. Земли перваго сорта оказываются быстро истощенными; и если мы будемъ прилагать безграничныя массы капитала даже къ лучшимъ землямъ, то непремѣнно будемъ получать съ капитала постоянно уменьшающееся количество процентовъ». (Mac Culloch: Principles of Political Economy, p. 166).

Я привелъ эти умозрѣнія не для того, чтобы ихъ опровергать: они уже вѣроятно опровергнуты въ умѣ читателя тѣмъ простымъ аргументомъ, что самая отличная паровая машина не можетъ произвести ни одного клочка шерсти или хлопчатой бумаги и что она приноситъ пользу только тогда, когда есть сырой матеріалъ, произведенный землею посредственно (какъ шерсть) или непосредственно (какъ хлопокъ). Стало быть, если есть извѣстные предѣлы производительности земли, то на этихъ же самыхъ предѣлахъ должна останавливаться и дѣятельность машинъ. Но важно и любопытно замѣтить, какъ несокрушимо экономистъ увѣренъ въ томъ, что производительныя силы земли ограничены. Эта увѣренность возникаетъ и поддерживается въ такихъ мыслителяхъ совершенно независимо отъ свидѣтельствъ естествознанія; она существуетъ даже наперекоръ этимъ свидѣтельствамъ. Если же цѣлая доктрина, поддерживаемая такими людьми, которыхъ многіе считаютъ умными и учеными, можетъ говорить о земледѣліи, и при этомъ оставлять совершенно въ сторонѣ современныя попытки и будущія осмысленныя надежды рациональной агрономіи,—то это очевидно доказываетъ, что истины, вырабатывающіяся въ лабораторіяхъ и кабинетахъ натуралистовъ, плохо проникаютъ даже въ смежные кабинеты другихъ ученыхъ и въ



міросозерцаніе той части общества, у которой есть досугъ образованія и досугъ для размышленія. Знанія распределяются чрезвычайно неравномѣрно между различными слоями человѣческихъ обществъ; въ низшіе слои они проникаютъ туго, а оставаясь въ верхнихъ слояхъ, они часто превращаются въ красивую игрушку, развлекающую праздный умъ, но неспособную помогать какой бы то ни было производительной работѣ. Въ одной части общества лежитъ масса бесполезнаго знанія, а въ другой части въ это же самое время напрягаются человѣческія силы до болѣзненнаго истощенія — напрягаются въ слѣпомъ, рутинномъ и слѣдовательно неблагодарномъ трудѣ. Соедините знаніе и трудъ, дайте знаніе тѣмъ людямъ, которые по необходимости извлекутъ изъ него всю заключающуюся въ немъ практическую пользу, и вы увидите, что богатства страны и народа начнутъ увеличиваться съ невѣроятной быстротою.

Къ сожалѣнію, въ этой разрозненности труда и знанія, проявляющейся въ жалкомъ состояніи современнаго земледѣлія, нѣтъ ничего случайнаго. Эта разрозненность служитъ вѣрнымъ симптомомъ и является неразлучнымъ спутникомъ слабости общественнаго движенія. Гдѣ населеніе разбросано по большому пространству земли, гдѣ всѣ жители поневолѣ принуждены добывать себѣ хлѣбъ первобытными приѣмами грубаго земледѣлія, гдѣ нѣтъ разнообразія занятій, тамъ не можетъ быть и обмѣна продуктовъ, потому что нечего и не на что обмѣнивать; тамъ не можетъ быть и путей сообщенія, потому что нечего, некуда и незачѣмъ возить; тамъ не можетъ быть и живого обмѣна идей, потому что идеи такого общества такъ же однообразны, какъ его матеріальные продукты; когда историческія событія выдвигаютъ среди такого населенія на первый планъ группу предприимчивыхъ и задорныхъ личностей, то этимъ личностямъ бываетъ очень легко справиться съ разбросанными, тупыми и невѣжественными обитателями страны. Эта выдвинувшаяся группа, какъ было на примѣръ въ средніе вѣка, налагаетъ на остальную массу произвольную дань и монополизировать въ свою пользу матеріальныя удобства и наслажденія, право носить оружіе и любить отечество, право возмущаться оскорбленіями и воспитывать въ груди преувеличенное чувство собственного достоинства, право совершать чудеса храбрости и изумлять потомство громомъ историческихъ подвиговъ. Съ теченіемъ

времени эти монополизированныя права измѣняются, добыча, приобретаемая собираніемъ дани и войною, порождаетъ роскошь и нечувствительность разнѣживааетъ непреклонныя сердца героевъ, такъ что потребности ихъ становятся менѣе кровавыми и болѣе утонченными; герои начинаютъ наслаждаться произведениями искусствъ и наполняютъ свои досуги разсужденіями о высочайшихъ и прекрасныхъ предметахъ; возникаетъ официальная и офиціозная наука, рождается на свѣтъ патентованная поэзія; міръ обогащается великодушными меценатами и вдохновенными творцами одъ, элегій, дифирамбовъ, картинъ, статуй, портиковъ и мавзолеевъ. Историкъ съ свойственнымъ ему просвѣщеннымъ и человѣколюбивымъ восторгомъ повѣствуетъ о смягченіи нравовъ, о процвѣтаніи наукъ и искусствъ, о приближеніи золотого вѣка и о томъ, какъ роскошно развертываются самыя блестящія способности человѣческаго ума.

Но всѣ эти прелести, восхищающія растроганнаго историка, относятся только къ выдѣлившейся группѣ, которая сначала обладала монополіей военной доблести, а потомъ такъ же исключительно стала пользоваться монополіей эстетическаго развитія и умственной дѣятельности. Точно также промышленный прогрессъ, приводящій въ движеніе сотни колоссальныхъ машинъ, вовсе не можетъ служить мѣриломъ благосостоянія страны и доказательствомъ развитости ея жителей. Въ несомнѣнно лучшемъ положеніи находятся поэтому земледѣльческія страны.

Чтобы судить о богатствѣ и образованіи работающихъ массъ, надо наблюдать ихъ тогда, когда онѣ сами задаютъ себѣ работу и сами, въ свою собственную пользу, выполняютъ заданный себѣ урокъ. Масса населенія вездѣ занимается земледѣліемъ, т. е. непосредственнымъ добываніемъ пищи, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ возникли и укрѣпились привычки осѣдлой жизни. Съ успѣхами земледѣлія связано тѣснѣйшимъ образомъ все матеріальное и умственное благосостояніе трудящейся массы, составляющей лучшую, значительнѣйшую и необходимѣйшую часть всякаго человѣческаго общества. Земледѣліе во всѣхъ странахъ земного шара находится до сихъ поръ въ младенческомъ состояніи; въ одномъ мѣстѣ оно идетъ лучше, въ другомъ хуже, но нигдѣ общій уровень его не можетъ удовлетворить самымъ снисходительнымъ требованіямъ агрономической науки; въ совершенномъ соотвѣтствіи съ жалкимъ положеніемъ земледѣлія



находится уровень матеріальнаго довольства и интеллектуальнаго развитія массъ; гдѣ земледѣліе идетъ лучше, тамъ и масса меньше голодаетъ и меньше поражаетъ наблюдателя своимъ невѣжествомъ; гдѣ земледѣліе идетъ хуже, тамъ оказывается все безобразіе нищеты и вся грязь невѣжества и вынужденной порочности. Но такъ какъ земледѣліе вездѣ идетъ неудовлетворительно, то и масса вездѣ живетъ бѣдно и мыслить плохо. Мы даже привыкли въ этомъ отношеніи удовлетворяться малымъ и обнаруживать такимъ образомъ въ дѣлѣ меньшей братіи похвальную умѣренность требованій. Мы неприятно восхищаемся, когда читаемъ въ путешествіяхъ или въ статистическихъ сочиненіяхъ, что въ томъ или въ другомъ государствѣ большая часть жителей или даже всѣ жители умѣютъ читать и писать. Конечно это хорошо, но если восхищаться такими вещами и считать ихъ крайней цѣлью грезъ и желаній, то это значитъ ставить развитію массъ очень узкія рамки, это значитъ мириться съ той перспективой, что наука, искусство, мысль въ самомъ высокомъ значеніи этого слова, навсегда будутъ составлять аристократическую привиллегію ничтожнаго меньшинства.

Соглашаясь такимъ образомъ урѣзать и сгустить умственное развитіе массъ, довольствуясь для нихъ грамотой, главными молитвами и четырьмя правилами ариѳметики, мы сами обрекаемъ современныя общества на хилость и дряблость...

## XXI.

Всѣ погибшія цивилизаціи успѣли выработать себѣ военное сословіе, торговлю, дороги и корабли, науку, искусство и промышленную технику. Вавилонія, Персія, Египетъ, Греція, Римъ записали въ исторію воспоминаніе о многихъ побѣдахъ, открыли нѣсколько торговыхъ путей и оставили отдаленнѣйшему потомству нѣсколько удивительныхъ образчиковъ зодчества, скульптуры, поэтическаго творчества или историческаго изложенія. Но ни одна изъ этихъ погибшихъ цивилизацій никогда, въ самый цвѣтуцій періодъ своего существованія, не доходила до рациональнаго земледѣлія. Можно даже, не боясь ошибиться, утверждать положительно, что, если бы та или другая изъ этихъ цивилизацій доработалась до рациональнаго земледѣлія — то эта цивилизація пережила бы всѣ остальные и на-

вѣрное продолжала бы развиваться и совершенствоваться до нашихъ временъ. Внѣшнія проявленія тѣхъ болѣзней, отъ которыхъ погибли древнія цивилизаціи, чрезвычайно различны, но существенный и основной характеръ этихъ болѣзней вездѣ и всегда остается неизмѣннымъ. Вездѣ и всегда цивилизаціи гибнутъ отъ того, что плоды ихъ растутъ и зрѣютъ для немногихъ. Немногіе наслаждаются, немногіе размышляютъ, немногіе задаютъ себѣ и разрѣшаютъ общественные вопросы, немногіе открываютъ міровые законы, немногіе узнаютъ о существованіи этихъ законовъ и опять таки немногіе въ пользу немногихъ прилагаютъ къ промышленному производству открытія и изобрѣтенія, сдѣланные также немногими, воображавшими себѣ въ простотѣ души, что они работаютъ для всѣхъ. А въ это время, въ славное время процвѣтанія наукъ и искусствъ, массы страдаютъ, массы надрываютъ свои силы, массы своимъ недѣльнымъ трудомъ истощаютъ землю, массы медленно роютъ въ полѣ могилы для себя и для своего потомства, и дѣйствительно массы бѣднѣютъ, тупѣютъ, вымираютъ, и роскошный цвѣтъ древней цивилизаціи вянетъ, потому что корень оказывается подгнившимъ.

Этотъ безплодный, поверхностный и недолговѣчный характеръ цивилизаціи выражается въ самыхъ разнообразныхъ историческихъ формахъ; иногда мы видимъ его въ теократическомъ господствѣ жрецовъ, въ другой разъ — въ завоевательныхъ стремленіяхъ политики, далѣе — въ несоразмѣрномъ развитіи внѣшней торговли, потомъ — въ фабричной дѣятельности, далеко превышающей естественныя потребности и даже силы извѣстной страны. Всѣ цвѣты погибшихъ цивилизацій росли и распускались въ ущербъ благосостоянію массъ, и поэтому насъ не должно удивлять то обстоятельство, что во всѣхъ этихъ цивилизаціяхъ упадокъ съ такою ужасающей быстротой слѣдовалъ именно за эпохой величайшаго блеска. Этотъ блескъ самъ по себѣ былъ сильнѣйшимъ выраженіемъ общественной болѣзни, а эпоха упадка была даже сравнительно временемъ облегченія для массъ, потому что этимъ массамъ, дошедшимъ до крайней степени нищеты и безсилія, позволялось тогда по крайней мѣрѣ сосредоточить свое вниманіе на устройствѣ собственныхъ мелкихъ дѣлишекъ, о которыхъ не заботится политическая исторія.

Разнообразные опыты многихъ вѣковъ говорятъ намъ, что крѣпка, прочна и богата благо-



дѣтельными послѣдствіями будетъ только та цивилизація, которая будетъ улучшать быть и развивать умственные силы всѣхъ людей, составляющихъ данное общество. Неизбѣжнымъ спутникомъ такой прочной цивилизаціи и вѣрнѣйшимъ ручательствомъ ея живучести будетъ развитіе раціональнаго земледѣлія, развитіе именно той отрасли дѣятельности, которая была запущена и заброшена всѣми исчезнувшими цивилизаціями. Раціональное земледѣліе будетъ въ одно и то же время самымъ величественнымъ продуктомъ и самой непоколебимой опорой той безсмертной цивилизаціи, которой выпадетъ на долю задача сгладить различіе между старшими и младшими братьями.

Если мы рассмотримъ тѣ условія, при которыхъ становится возможнымъ существованіе и всеобщее распространеніе раціональнаго земледѣлія, то мы увидимъ, что этотъ родъ дѣятельности неразрывно связанъ съ богатствомъ, просвѣщеніемъ и всестороннимъ благоденствіемъ тѣхъ массъ, которыя до сихъ поръ вездѣ и всегда трудились черезъ силу, и не смотря на то, постоянно оставались впроголодь. Мы уже видѣли, какъ много долженъ знать тотъ земледѣлецъ, который желаетъ заниматься своимъ дѣломъ не какъ азартной игрой, а какъ выгоднымъ и вѣрнымъ ремесломъ. Къ этому можно прибавить, что ни одно ремесло не имѣетъ передъ собою такой широкой будущности, какъ земледѣліе; ни одно ремесло не способно къ такому безконечному совершенствованію, какъ обработка земли, потому что въ основаніи этой обработки лежитъ самое разностороннее изученіе природы, постоянно обогащающееся новыми фактами, опытами и наблюденіями. Всѣ знанія, необходимыя земледѣльцу, лежатъ въ области естественныхъ наукъ, а всѣмъ извѣстно, что естественныя науки самымъ радикальнымъ образомъ уничтожаютъ предрасудки и очищаютъ засорившіеся мозги. Слѣдовательно земледѣлецъ, сознательно занимающійся своей работой, незамѣтно и нечувствительно для самого себя вымететъ изъ своего домашняго быта и изъ своего міросозерцанія ту безобразную паутину суевѣрія, которая до сихъ поръ повсемѣстно застилаетъ младшимъ братьямъ свѣтъ божій Бекона, Галилея, Коперника и всѣхъ другихъ свѣтилъ человѣчества, свѣтящихъ только для старшихъ братьевъ.

Но для водворенія раціональнаго земледѣлія недостаточно одного распространенія полезныхъ знаній. Этого мало, если земледѣлецъ будетъ

знать, что ему слѣдуетъ дѣлать; необходимо, кромѣ того, чтобы онъ имѣлъ возможность дѣйствительно выполнять то, что онъ справедливо считаетъ полезнымъ. Агрономическія свѣдѣнія нашихъ крестьянъ чрезвычайно скудны, но и эти скудныя свѣдѣнія большею частью составляютъ мертвый капиталъ, потому что они далеко превышаютъ мѣру практическаго могущества земледѣльцевъ. Крестьяне знаютъ, что землю слѣдуетъ удобривать, и знаютъ, чѣмъ ее удобривать, но это полезное свѣдѣніе въ большей части случаевъ остается непримѣнимымъ. Удобренія взять не откуда, когда не на что завести и кормить скотину и когда хлѣбъ приходится возить на продажу или даже отпавлять за море, богъ знаетъ въ какую даль. Самый просвѣщенный агрономъ ничего не сдѣлаетъ со всѣми своими свѣдѣніями, когда ему придется отсылать сырой продуктъ за тысячи верстъ и получать за каждые десять пудовъ хлѣба по фунту сукна или по полуфунту обдѣланной стали. Ни сукна, ни стали не положишь въ землю, а сырой продуктъ уѣхалъ за море, и заключающееся въ немъ удобреніе навсегда потеряно для страны. Очевидно стало быть, что для развитія раціональнаго земледѣлія, кромѣ распространенія между массами полезныхъ свѣдѣній, необходимо еще повсемѣстное разнообразіе занятій и повсемѣстное же образованіе мелкихъ центровъ притяженія, въ которыхъ постоянно перерабатывались, потреблялись и превращались бы въ удобреніе сырые продукты, добываемые изъ земли окрестными жителями. Близость рынковъ къ мѣсту производства и непосредственное сближеніе земледѣльца съ ремесленникомъ, производителя съ потребителемъ—ведутъ за собою, во первыхъ—возможность возвращать землѣ взятый отъ нея сырой продуктъ въ видѣ удобрения и, во вторыхъ—возможность разнообразить посѣвы и уменьшать такимъ образомъ количество неблагоприятныхъ шансовъ, угрожающихъ успѣху земледѣльческаго труда.

Первое слѣдствіе приближенія рынковъ понятно и не нуждается въ дальнѣйшихъ объясненіяхъ. Второе слѣдствіе этого приближенія также объясняется очень легко и просто. Когда рынокъ далекъ, тогда земледѣлецъ принужденъ воздѣлывать на своихъ нивахъ только такіе растительные продукты, которые выдерживаютъ далекую перевозку, слѣдовательно такіе, которые продаются по дорогой цѣнѣ, не отличаются особенной громоздкостью и могутъ быть достав-



лены на далекій рынокъ въ неиспорченномъ видѣ. Земледѣлецъ не можетъ отправлять за тысячу верстъ рѣпу или картофель, потому что цѣна этихъ громоздкихъ продуктовъ не окупить ихъ перевозки; точно также сельскій хозяинъ не можетъ отправлять за тысячу верстъ яйца или свѣжія ягоды, потому что первыя перебьются въ дорогѣ, а вторыя—непремѣнно загниютъ и испортятся. Всего удачнѣе выдерживаетъ перевозку зерновой хлѣбъ, да и цѣну за него даютъ такую, которая окупаетъ труды земледѣльца и перевозочныя издержки; поэтому для продажи на далекіе рынки производится исключительно зерновой хлѣбъ разныхъ сортовъ и достоинствъ. Земля любитъ перемѣну; для земли было бы полезно, чтобы за пшеницей слѣдовалъ напримѣръ картофель, а за картофелемъ—кормовыя травы; земледѣлецъ знаетъ это свойство земли, но онъ опять таки не можетъ воспользоваться своимъ знаніемъ; разводить картофель и кормовыя травы невозможно, потому что сбывать ихъ вблизи некуда, а везти на далекій рынокъ не стоитъ; не сѣять пшеницы также невозможно, потому что если земледѣлецъ не доставить на рынокъ пшеницы, то земледѣльцу не на что будетъ купить себѣ рубашку и кафтанъ, не на что будетъ приобрести новый топоръ или соху. Поневолѣ, подчиняясь требованіямъ далекаго рынка, земледѣлецъ сознательно истощаетъ свою ниву постоянно повторяющимися посѣвами пшеницы, ржи и другихъ зерновыхъ хлѣбовъ. Онъ знаетъ, что слѣдовало бы распорядиться иначе, онъ и радъ былъ бы вести свое хозяйство разумнѣе, но это полезное познаніе добра и зла и эта добродѣтельная готовность покаяться въ сознанныхъ заблужденіяхъ оказываются совершенно безсильными передъ неотразимыми требованіями матеріальной необходимости. Засѣявъ всѣ свои поля зерновымъ хлѣбомъ, земледѣлецъ поставилъ на одну карту весь свой годовой заработокъ. Перемѣна погоды, неблагоприятная для зернового хлѣба, разомъ губитъ всѣ законныя надежды хозяина. Этого не могло бы случиться, если бы рынокъ находился подъ рукой. Тогда хозяинъ добывалъ бы съ своего участка земли, кромѣ разныхъ сортовъ хлѣба, всякаго рода овощи, фрукты и ягоды, кормовыя травы, красильныя и лекарственныя вещества; близость сбыта и непрерывность запроса возбудили бы въ земледѣльцѣ предпримчивость и изворотливость, смысленность и старательность, которыя совершенно немислимы и почти бесполезны въ че-

ловѣкѣ, живущемъ вдали отъ всякаго промышленнаго движенія. Раздѣливши свою ниву на мелкіе участки, воздѣлывая на каждомъ изъ нихъ именно то растеніе, которое соотвѣтствуетъ составу и свойствамъ даннаго участка, перемѣняя каждый годъ назначеніе этихъ участковъ, и, сверхъ всего этого, заваливая каждый участокъ удобреніемъ, земледѣлецъ, живущій возлѣ самаго рынка, можетъ конечно уменьшить до самой незначительной величины рискъ, сопряженный съ его занятіями. Та или другая перемѣна погоды можетъ быть неблагоприятна только для одной какой нибудь части его будущаго дохода; что повредитъ напримѣръ овощамъ, то можетъ быть принесетъ пользу пшеницѣ и не произведетъ никакого вліянія на фрукты; потерявши на какомъ нибудь одномъ продуктѣ, хозяинъ будетъ всегда въ состояніи вознаградить свой убытокъ на другомъ, и средній уровень его дохода въ большей части случаевъ останется почти неприкосновеннымъ. Конечно можетъ случиться такая засуха, которая все зажаритъ, или такой градъ, который перепашетъ за-ново всѣ поля, но такого рода случайностямъ подвержено вообще всякое дѣло рукъ человѣческихъ; и фабрика можетъ загорѣться отъ грозы, и домъ можетъ быть разрушенъ наводненіемъ, землетрясеніемъ или ураганомъ; противъ такихъ случайностей есть одно средство — страхованіе, и это средство, какъ всякій согласится, находится также всего больше въ ходу и прилагается все-го чаще тамъ, гдѣ существуетъ разнообразіе занятій и гдѣ совершается дѣятельное движеніе продуктовъ, капиталовъ и идей.

Мы видимъ такимъ образомъ, что для развитія раціональнаго земледѣлія необходимы два условія: распространеніе полезныхъ свѣдѣній между массами и разнообразіе занятій, неизбежно ведущее за собой образованіе мѣстныхъ центровъ производства и притяженія. Должно замѣтить здѣсь, что эти два условія всегда бываютъ неразлучны между собой и, собственно говоря, составляютъ только двѣ различныя стороны того нормальнаго процесса, который порождаетъ раціональное земледѣліе. Дѣйствительно, полезныя свѣдѣнія никакими искусственными мѣрами не могутъ быть привиты къ жизни такого населенія, которое разбросано по большимъ пространствамъ земли, непривычно къ промышленному сближенію и угнетено бѣдностью и однообразіемъ занятій. Никакія благотворныя попеченія мудрыхъ правительствъ о земледѣльческихъ



и реальных школахъ, никакія заохочиванія, поощренія и приневоливанія къ ученію не улучшатъ пріемовъ земледѣльской рутинѣ и не расширятъ умственнаго горизонта трудящихся милліоновъ. Массы воспитываются не школьною указкой, не крупницами, падающими съ умственной трапезы пресытившихся старшихъ братьевъ, а исключительно только правильнымъ, здоровымъ и не задержаннымъ развитіемъ общественной и экономической жизни. Когда устраняются препятствія, лежавшія на пути этого развитія, когда появляется свобода труда, когда этому свободному труду открываются разнообразныя приложенія, тогда каждый отдѣльный кусочекъ сърою массы начинаетъ чувствовать себя человекомъ и быстро схватываетъ себя на лету тѣ свѣдѣнія, которыя необходимы ему для жизни. Тогда, и только тогда, становятся дѣйствительно полезными и школы, стоявшія прежде пустыми, и популярныя руководства, которыя до сего времени никого не могли научить уму-разуму. Не школа преобразовываетъ жизнь, а напротивъ того жизнь создаетъ для себя школу и приспособляетъ ее къ своимъ потребностямъ и стремленіямъ.

Пробужденіе массъ, необходимое для вступленія людей въ истинную цивилизацію, всегда производится только какимъ нибудь рѣшительнымъ поворотомъ въ теченіи общественной и экономической жизни, а не громкими и гуманными кликами старшихъ братьевъ, подвизающихся на пользу младшихъ въ литературѣ и на различныхъ каѳедрахъ. Каждый поворотъ, дѣйствующій освѣжительно на жизнь и самосознаніе массъ, обыкновенно заключается въ томъ, что эти массы освобождаются отъ какой нибудь стѣснительной опеки и полнѣе прежняго предоставляются естественному ходу собственныхъ инстинктовъ и стремленій. Чѣмъ больше эта темная масса, о которой такъ соболѣзнуютъ просвѣщенные дѣятели, получаетъ возможность жить собственнымъ дряннымъ умишкомъ, тѣмъ удобнѣе она устраиваетъ свой бытъ, тѣмъ быстрее она богатѣетъ, тѣмъ рациональнѣе становится ея земледѣліе и тѣмъ человѣчнѣе дѣлается каждый изъ ея отдѣльныхъ кусочковъ. Если бы масса съ самаго начала исторіи была предоставлена собственной горькой участи, то рациональное земледѣліе давно утвердилось бы во всемъ мірѣ, и мы бы теперь не имѣли случая восхищаться тѣмъ, что въ томъ или другомъ государствѣ большая часть жителей умѣютъ читать и

писать. Но за то исторія была бы совершенно лишена того удивительнаго драматизма, который придаютъ ей великіе подвиги и кровавые перевороты. Исторія была бы утомительно однообразна, какъ нравоучительная біографія добродѣтельнаго семьянина. Старшіе братья никакъ не могли допустить подобнаго оскорбленія законовъ эстетики и начали заботиться о массахъ съ той самой минуты, какъ сознали свое старшинство и вникли въ свои обязанности къ младшимъ. Они тотчасъ начали вовлекать своихъ не эстетическихъ братьевъ въ драматическія войны, въ эпическія торговые предпріятія и въ траги-комическія ошибки по части мануфактурной конкуренціи. Усилія просвѣщенныхъ эстетиковъ увѣнчались болѣе или менѣе полнымъ успѣхомъ, и совокупность этихъ успѣховъ составляетъ канву той весьма изящной драмы, которая называется всемірной исторіей. Гдѣ не мѣшаются въ дѣло старшіе братья—тамъ миръ и богатство; гдѣ они мѣшаются—тамъ драматизмъ и эффектность. Одно другого стоитъ, но такъ какъ старшіе братья болѣе или менѣе вездѣ болѣе душой объ участи младшихъ, то драматизма и эффектности оказывалось и до сихъ поръ оказывается на бѣломъ свѣтѣ несравненно больше, чѣмъ мира и богатства. Рациональное же земледѣліе до сихъ поръ принадлежитъ вездѣ къ далекой области мечты и желанія. Правильный прогрессъ прямо ведетъ въ эту область, но когда начнется этотъ прогрессъ и когда онъ дойдетъ до своихъ результатовъ—неизвѣстно, онъ повидимому только-что начинается.

## XXII.

На всѣхъ материкахъ и островахъ земного шара, за исключеніемъ полярныхъ льдовъ и песчаныхъ пустынь, человекъ окруженъ неисчислимыми и безконечно разнообразными богатствами. Богатства эти заключаются въ тѣхъ сырыхъ матеріалахъ, которые производитъ земля, или которые она можетъ производить при соответственной обработкѣ. Богатства эти нигдѣ и никогда не даются человеку сразу; человекъ долженъ трудиться, чтобы овладѣть ими; онъ долженъ наблюдать и размышлять, чтобы замѣтить ихъ существованіе и оцѣнить ихъ значеніе. Человекъ начинаетъ свою борьбу съ природой тамъ, гдѣ природа слаба и бѣдна, и гдѣ она вслѣдствіе этого скорѣе и легче уступаетъ его усиліямъ. Онъ обращаетъ въ свою пользу мягкую мѣдь



прежде, чѣмъ твердое желѣзо; онъ покоряетъ слабую овцу и козу прежде, чѣмъ сильнаго быка; онъ расчищаетъ и засѣваетъ тощую почву холмовъ прежде, чѣмъ тучную землю долинъ и рѣчныхъ береговъ. Пока продолжается борьба чело-вѣка съ слабой и бѣдной природою, пока одерживаются надъ ней первыя побѣды, покупаемыя дорогою цѣной и приносящія мало непосредственныхъ выгодъ, до тѣхъ поръ чело-вѣкъ самъ остается слабымъ и бѣднымъ. Онъ слабъ и бѣденъ, потому что ему помогаетъ малочисленная горсть людей, и потому что онъ самъ, со всеми своими помощниками, неопытенъ и несвѣдущъ. Онъ слабъ и бѣденъ, но могущество и богатство его постоянно увеличиваются вмѣстѣ съ каждымъ новымъ приобрѣтеніемъ опытности и вмѣстѣ съ каждымъ приращеніемъ въ числѣ трудящихся людей. Онъ слабъ и бѣденъ, но потомки его не-премѣнно будутъ богаты и могущественны, если только они не будутъ уклоняться въ сторону съ пути терпѣливаго труда и внимательнаго изученія природы.

Все богатство чело-вѣка заключается въ сырыхъ матеріалахъ, добываемыхъ изъ земли; все могущество чело-вѣка заключается въ умѣнѣи переработывать и обращать въ свою пользу добываемые матеріалы. Эта истина поразительна по своей простотѣ. Эту истину несчетное число разъ внушали людямъ, подъ страхомъ земныхъ и загробныхъ наказаній, все гражданскія и нравственныя законоположенія, предписывавшія чело-вѣку уважать права чужой личности и чужого труда. Ни простота этой истины, ни авторитетъ законовъ и законодателей не могли предупредить или удержать въ должныхъ границахъ безчисленныя и гибельныя уклоненія нашей породы съ дороги производительнаго труда, съ той единственной дороги, которая могла привести чело-вѣчество къ богатству и къ полнотѣ жизненныхъ наслажденій. Бесиліе законовъ объясняется особенно удовлетворительно тѣмъ обстоятельствомъ, что большая часть законодателей, толковавшихъ очень краснорѣчиво и убѣдительно о необходимости уважать чужое право — сами, своими же законами, такъ же краснорѣчиво и убѣдительно освящали важнѣйшія и вреднѣйшія уклоненія своихъ согражданъ и современниковъ съ пути производительнаго труда, съ того единственнаго пути, который всегда и вездѣ совпадаетъ съ требованіями справедливости. Римское право, освящавшее рабство, превращавшее жену въ собственность мужа, и сына въ собственность

отца, проводившее строгое различіе между римскимъ гражданиномъ и провинціаломъ, между патриціемъ и плебеемъ, между вольнымъ и вольноотпущеннымъ, римское право, говорю я, конечно никому не могло внушить достаточнаго уваженія къ тѣмъ предписаніямъ, которыми оно старалось обуздать хищныя наклонности бѣдныхъ и буйныхъ гражданъ. Другіе кодексы также не могли претендовать на особенную чистоту и выдержанность основного принципа. Люди обыкновенно издавали кодексы отчасти для того, чтобы дать опредѣленную и прочную форму своимъ любимымъ заблужденіямъ, отчасти для того, чтобы пугнуть себя и своихъ современниковъ строгими требованіями односторонняго идеала казенной нравственности. Ни та, ни другая цѣль не достигалась. Любимыя заблужденія отживали свой вѣкъ и разрушались, не смотря на опредѣленность и прочность приданной имъ формы, а застегнутый на все пуговицы идеалъ никого не запугивалъ своими требованіями и рѣшительно никого не обращалъ на путь истины. Ошибались и падали отдѣльныя личности; безвинно, невольнo и безсознательно вовлекались въ ошибки и доводились до паденія цѣлые народы. Отдѣльныя личности быстро расплачивались за свои ошибки, и обыкновенно, согласно буквѣ того или другого кодекса, оканчивали свое земное существованіе въ мученіяхъ, дѣлавшихъ большую честь остроумію изобрѣтателей и усердію исполнителей. Невольныя ошибки народовъ, напротивъ того, не замѣчались и не считались ошибками. На нихъ не указывалъ никакой кодексъ. Имъ обыкновенно сочувствовалъ, ихъ часто вызывалъ самъ законодатель. Ошибки народовъ воспѣвались поэтами, превозносились историками и ставились въ примѣръ потомству неподкупленными моралистами. Эти ошибки анализировались холодными мыслителями и оказывались великими проявленіями народнаго генія. На этихъ ошибкахъ строились и до сихъ поръ строятся цѣлыя политическія и экономическія теоріи. Когда рядъ великихъ проявленій народнаго генія вдругъ приводилъ къ рѣзкому паденію, которое повидимому должно было бы окатить бочками холодной воды всехъ пѣвцовъ, мечтателей и спокойно упорныхъ теоретиковъ — тогда это паденіе приписывалось постороннимъ и случайнымъ причинамъ; пѣсно-пѣнія продолжались, тѣмъ болѣе, что паденіе являло имъ новый эффектный мотивъ; историки попрежнему что-то превозносили и что-то анализировали; теоретики торжествовали, потому



что всякая теорія одарена удивительною гибкостью и растяжимостью; а въ это время массы, о которыхъ пѣлись дифирамбы, писались изслѣдованія и сочинялись побѣдоносныя теоріи, массы несли тяжелое вѣковое возмездіе за ошибки, привитыя къ ихъ тихой и темной жизни посторонними двигателями событій. Массы доходили до дикаго состоянія, теряли всякую власть надъ питающими ихъ силами природы и, умирая отъ лишеній, превращали цѣлыя области въ дикія и печальныя пустыни, въ которыхъ все говорило о бывшей дѣятельности человѣка, о его предсмертной борьбѣ и о его страшной кончинѣ. Такими пустынями покрыты все тѣ мѣста, на которыхъ въ былое время кипѣла историческая жизнь и на которыхъ жизнь эта замерла вслѣдствіе произвольныхъ, но неисправимыхъ ошибокъ, совершенныхъ цѣлыми народами и истощившихъ до послѣдней капли ихъ живыя силы.

Ошибокъ этихъ, въ большей или меньшей степени, не минуетъ въ своемъ существованіи ни одинъ народъ. Народъ, какъ дерево, растетъ и въ стволъ, и въ сукъ; онъ, какъ крѣпкій организмъ, можетъ уклоняться отъ строго-гигіеническаго образа жизни; онъ можетъ болѣть и выздоравливать; онъ много испытаній можетъ перенести, не надламываясь и не хирѣя; но чѣмъ сильнѣе сукъ перевѣшиваетъ стволъ, чѣмъ значительнѣе дѣлаются уклоненія отъ разумной гигиены, чѣмъ продолжительнѣе и чаще болѣзненные припадки, тѣмъ опаснѣе становится положеніе колоссальнаго паціента и тѣмъ ближе надвигается грозная катастрофа.

Богатство и могущество народа, равносильное благосостоянію всѣхъ составляющихъ его единицъ, заключается въ добываніи и цѣлесообразной переработкѣ различныхъ сырыхъ продуктовъ, доставляемыхъ землею. Земледѣліе и мануфактурная промышленность, взаимно поддерживающія другъ друга, составляютъ естественныя и необходимыя занятія народа, стремящагося къ благоденствію. Все, что отвлекаетъ народъ отъ этихъ производительныхъ занятій, все, что нарушаетъ необходимое равновѣсіе между земледѣліемъ и мануфактурами, составляетъ ошибку и ведетъ къ бѣдности. Наука, расширяющая умъ человѣка, и искусство, обновляющее его силы живымъ наслажденіемъ, не могутъ быть названы помѣхами для производительныхъ занятій; но при этомъ должно замѣтить, что наука и искусство не имѣютъ ничего общаго со многими современными фокусами празднаго ума и

дряблой фантазіи, не смотря на то, что фокусы эти стараются прикрыть себя разными почтенными именами. Кромѣ того не мѣшаетъ помнить, что наука и искусство только тогда будутъ въ состояніи жить естественной и здоровой жизнью, когда будутъ удовлетворяться насущными и грубыми потребностями человѣческихъ организмовъ. Музыкальная консерваторія — учрежденіе очень хорошее, но она доставитъ мало наслажденія такому народу, у котораго не хватаетъ хлѣба. Ученое путешествіе на берега Тигра для чтенія гвоздеобразныхъ надписей — дѣло очень похвальное, но оно произведетъ слабое впечатлѣніе на черствую душу лапотника, не умѣющего разбирать печатныя буквы собственнаго языка. Совѣстно назвать науку и искусство затѣями, отклоняющими силы ума отъ настоящаго дѣла; въ отношеніи къ естественнымъ наукамъ такое сужденіе было бы совершенно нелѣпо и несправедливо; но приходится сознаться, что наука и искусство до сихъ поръ оставались совершенно безсильными и не имѣли никакого вліянія на умственное состояніе массъ. И наука, и искусство были, по меньшей мѣрѣ, красивымъ анахронизмомъ. Это — подсыжники, распустившіеся задолго до наступленія весны; имъ приходится ежиться и дрожать отъ холода, или съ похвальнымъ благоразуміемъ укрываться въ теплицы, называющіяся музеями, академіями, консерваторіями и другими именами, которыя для массъ столько же новы, сколько вразумительны.

Я вовсе не думаю становиться здѣсь на славянофильскую точку зрѣнія и декламировать о ложности и чужеземности нашей цивилизаціи. Наша цивилизація ничѣмъ не лучше и ничѣмъ не хуже всѣхъ остальныхъ; наука и искусство вездѣ прозябаютъ въ оранжереяхъ, и массы, оплачивающія эти оранжереи, вездѣ интересуются ими также сильно, какъ напримѣръ внутреннимъ содержаніемъ египетскихъ пирамидъ, или вопросомъ о желѣзной маскѣ. Какое дѣло англійскому фабричному до британскаго музея? Что общаго у нѣмецкаго работника съ мюнхенскою глиптотеккой? Какую точку соприкосновенія имѣетъ парижскій блузникъ съ французскою академіей?

Мы уже такъ присмотрѣлись къ этимъ академіямъ, что намъ могутъ даже показаться наивными подобные вопросы, если только они не покажутся намъ лукавыми и безнравственными. Впрочемъ какъ ни смѣшна кружевная заплата наукъ и искусствъ на изорванной сермягѣ, составляющей драпировку массъ, должно однакѣ



сознаться, что эта рѣзкая несообразность принадлежит къ самымъ невиннымъ уклоненіямъ отъ правильнаго и разумнаго развитія народной жизни. Съ тѣхъ поръ какъ солнце свѣтитъ и весь міръ стоитъ, ученые и художники не погубили еще собственными силами ни одной цивилизаціи; справедливость побуждаетъ насъ замѣтить, что они также ни одной цивилизаціи не поддерживали; они только украшали ихъ подобно тому, какъ мохъ украшаетъ стволы вѣковыхъ деревьевъ; когда дерево падаетъ, мохъ продолжаетъ украшать его, и украшаетъ его въ то самое время, когда оно лежитъ на землѣ, гниетъ и истачивается муравьями.

Губителями древнихъ цивилизацій оказываются война и торговля. Война и торговля появляются сначала на свѣтъ въ самомъ простомъ и бѣдномъ видѣ. Первое генеральное сраженіе производилось навѣрное кулаками, за обладаніе какимъ нибудь кокосовымъ орѣхомъ; первая торговая операція, по всей вѣроятности, клонилась къ тому, чтобы выманить этотъ же кокосовый орѣхъ за гнилой бананъ, котораго гнилость утаивалась тщательно, но неискусно; за горячей схваткой могла слѣдовать торговая сдѣлка, а коммерческіе переговоры въ свою очередь могли прерываться воинственными демонстраціями. Всякій былъ и воиномъ, и купцомъ, и работникомъ; всякій могъ замѣтить, что число наличныхъ банановъ увеличивалось не во время драки, не во время торговыхъ совѣщаній. Сомнительная выгода, извлекавшаяся изъ единоборствъ и изъ мелкихъ мошенничествъ, по всей вѣроятности подорвала бы во мнѣніи людей этотъ родъ занятій, если бы только не открылась возможность образовать коллективныя драки и крупныя обманы. Опираясь на ассоціацію, война и торговля расширяютъ кругъ своихъ дѣйствій и облекаются въ новыя формы. Предпримчивый юноша собираетъ вокругъ себя другихъ юношей, уступающихъ ему въ изобрѣтательности, но равныхъ ему по отвагѣ. Ассоціація, составляющая вѣрное средство для развитія производительнаго труда, дѣлается такимъ образомъ орудіемъ войны и является самымъ сильнымъ средствомъ для разрушенія труда, самымъ серьезнымъ препятствіемъ на пути его совершенствованія. Храбрые витязи удалой дружины тотчасъ дѣлаются старшими братьями собирателей банановъ и тотчасъ начинаютъ смотрѣть на вещи такими широкими взглядами, которые совершенно недоступны младшимъ. Затѣмъ является настоятельная необхо-

димость кормить ассоціацію, и тогда собирателямъ банановъ вмѣняется въ обязанность приносить въ жилище своихъ старшихъ братьевъ опредѣленное количество плодовъ земныхъ. Такимъ образомъ среди населенія, собирающаго бананы, образовалась сначала небольшая добровольная ассоціація; это ядро привлекло къ себѣ другихъ людей, частью обольстительными обѣщаніями, частью разсчитанными угрозами, частью скрытой силой. Но вовлечь въ воинственную ассоціацію всѣхъ собирателей банановъ неудобно, потому что тогда некому будетъ кормить удалую дружину. На этомъ основаніи, разросшаяся ассоціація прилагаетъ свои силы къ тому, чтобы держать всю совокупность собирателей банановъ въ состояніи недобровольной ассоціаціи. Эта недобровольная ассоціація состоитъ въ томъ, что дѣльныя тысячи людей содѣйствуютъ своими трудами выполненію такихъ возвышенныхъ замысловъ, о которыхъ они не имѣютъ никакого понятія и которые не приносятъ имъ ни малѣйшей выгоды. Мы видѣли на примѣръ, что пути сообщенія должны служить къ образованію мѣстныхъ центровъ разнородной дѣятельности; мы видѣли также, что количество всякихъ банановъ можетъ увеличиваться только тогда, когда существуютъ такіе мѣстные центры; но система недобровольной ассоціаціи этого не знаетъ и разсуждаетъ совершенно по своему. Гдѣ есть бананы, думаетъ она, тамъ прежде всего должна чувствоваться сила дружины. На основаніи этого разсужденія, всѣ важнѣйшія дороги прокладываются такъ, что онѣ увеличиваютъ притяженіе центра, усиливаютъ въ этомъ центрѣ искусственное движеніе и ослабляютъ естественныя проявленія жизни во всѣхъ далекихъ оконечностяхъ страны банановъ.

Изобрѣтенія, относящіяся къ механической и химической переработкѣ сырого матеріала, должны вести къ тому, чтобы всѣ люди питались, одѣвались и жили лучше прежняго, чтобы берегалось какъ можно больше человѣческаго труда и чтобы этотъ сбереженный трудъ употреблялся на усиленіе производительныхъ силъ земли и на развитіе безпредѣльныхъ способностей человѣческаго ума. Но эта цѣль вовсе не соответствуетъ великимъ интересамъ и строгимъ замысламъ той системы, которая выработалась изъ первобытной дружины. По соображеніямъ системы, добываемые металлы должны превращаться не въ заступы, плуги и паровыя машины, а въ сабли, копья и ружья; строевыя деревья должны употребляться не на постройку домовъ, мельницъ и плотинъ, а



на сооруженіе огромныхъ кораблей: изъ мѣди должны дѣлаться не самовары, а пушки; порохъ долженъ служить не для истребленія хищныхъ звѣрей, не для добыванія мѣховъ и дичи, а для отбиванія человѣческихъ рукъ, ногъ и головъ; изъ камня должны строиться не мосты и набережныя, а такія стѣны, которыя будутъ разбиваться чугунными ядрами и взрываться порохомъ. Такимъ образомъ рабочая сила и изобрѣтательность нашей породы должны направляться не къ тому, чтобы увеличивать существующія удобства жизни, а къ тому, чтобы руками однихъ людей какъ можно быстрѣе и искуснѣе разрушать то, что сдѣлано руками другихъ.

Кто слѣдилъ за современными открытіями Армстронга и Уайтворта, кто помнитъ происхожденіе мерримакъ и монитора, кто слышалъ о любопытной борьбѣ англійскаго адмиралтейства, стремящагося создать для кораблей непроницаемую обшивку, съ англійскимъ артиллерійскимъ вѣдомствомъ, порывающимся разбить въ дребезги всякую обшивку, тотъ конечно скажетъ, что XIX вѣкъ въ своихъ нелѣпостяхъ также великъ и послѣдователенъ, какъ въ своихъ общепользныхъ открытіяхъ и человѣчныхъ стремленіяхъ. Но нелѣпость немедленно получаетъ себѣ практическое примѣненіе, а человѣчныя стремленія, по недостатку матеріальныхъ силъ, останавливаются обыкновенно на одной теоретической послѣдовательности. Можно сказать безъ преувеличенія, что остроумныя изобрѣтенія Армстронга и подобныхъ ему благодѣтелей человѣчества причинили Англій больше вреда, чѣмъ длинный рядъ сильнѣйшихъ неурожаяевъ. Если бы не было этихъ изобрѣтеній, то старые корабли, старыя укрѣпленія и старыя пушки оставались бы совершенно годными для употребленія, а теперь, благодаря остроумію изобрѣтателей, приходится тратить безъ всякой пользы огромныя количества дерева, желѣза, мѣди, и главное, человѣческаго труда. Вредъ не ограничивается Англійей, потому что за нею, волей или неволей, изъ чувства самосохраненія, тянутся всѣ остальные державы. Но кому же всѣ эти усилія приносятъ пользу? Никому. Кто выигрываетъ отъ этихъ всеобщихъ непроизводительныхъ затратъ? Никто. Всѣмъ извѣстно, что финансы сильнѣйшихъ государствъ Европы обременены страшными долгами и что долги эти произошли отъ прежнихъ войнъ; всѣмъ извѣстно далѣе, что чуть ли не три четверти ежегодныхъ доходовъ употребляются на уплату процентовъ

и на содержаніе армій и флотовъ; всѣ знаютъ, что эти издержки постоянно увеличиваются, потому что каждая держава боится своего сосѣда и старается превзойти его силою вооруженія. Спрашивается, есть ли возможность своротить съ этой дороги извращеннаго и постоянно ускоряющагося прогресса? Отвѣта на этотъ вопросъ не рѣшится дать ни одинъ глубокій политикъ, но очевидно, что этотъ вопросъ для всей европейской цивилизаціи равняется вопросу: *быть или не быть*.

### XXIII.

Изъ всего, что было говорено въ этомъ очеркѣ, мы можемъ вывести довольно важныя и плодотворныя заключенія. Человѣческое общество въ первоначальной его формѣ можно представить себѣ въ видѣ пирамиды, разгороженной на нѣсколько этажей. Въ самомъ нижнемъ этажѣ работаютъ люди, добывающіе сырые матеріалы; они находятся въ непосредственномъ соприкосновеніи съ землею, и ихъ этажъ составляетъ основаніе всего строенія, потому что въ остальныхъ ярусахъ люди только перерабатываютъ или передаютъ другъ другу изъ рукъ въ руки то, что отрываютъ отъ земли обитатели нижняго яруса. Во второмъ этажѣ совершается механическая и химическая переработка добытыхъ матеріаловъ. Въ третьемъ этажѣ дѣйствуютъ люди, занимающіеся перевозкой и устраивающіе пути сообщенія. Въ четвертомъ обитаютъ всѣ разнообразныя классы людей, живущихъ производительнымъ трудомъ нижняго этажа.

Равновѣсіе этой общественной пирамиды будетъ тѣмъ устойчивѣе, чѣмъ обширнѣе будутъ нижніе два этажа въ сравненіи съ верхними, и чѣмъ значительнѣе вѣсъ нижнихъ этажей будетъ превышать тяжесть верхнихъ. Нижніе этажи должны быть обширнѣе—это значитъ, что большее число людей должно заниматься добычею и переработкою сырыхъ продуктовъ, а не перевозкой съ мѣста на мѣсто и не разнообразнымъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. Нижніе этажи должны быть тяжелѣе. Такъ какъ специфическая сила человѣка заключается не въ мускулахъ, а въ мозгу, то вѣсомъ человѣка въ переносномъ смыслѣ можетъ быть названа сумма его дѣятельныхъ умственныхъ способностей. Исторія показываетъ намъ, что пріобрѣтаетъ и удерживаетъ господство въ обществѣ именно тотъ классъ или кругъ людей, который владѣетъ наибольшимъ количествомъ развитыхъ умствен-



ныхъ силъ. Преобладанію аристократіи во Франціи пришелъ конецъ, когда перевѣсъ ума, таланта и образованія оказался въ рядахъ зажиточной буржуазіи. Слѣдовательно, когда мы говоримъ: «нижніе этажи должны быть тяжеле», это

значить, что въ массахъ земледѣльцевъ и фабричныхъ должно сосредоточиваться и обращаться больше знаній, чѣмъ въ кучкахъ людей, занимающихся очень неголовомнымъ дѣломъ исключительнаго потребленія продуктовъ.





Который час? *И. Вавилова*. Популярн. руковод. для по-  
 вѣрки часовъ безъ помощи часовщика и для устройства  
 солнечн. часовъ. Съ 13 рис. Ц. 30 к.

Физиологическая психологія. *Цигена*. Переводъ подъ редак-  
 ціей проф. *В. Чижка*. Съ 21 рис. Ц. 75 коп.

Рассказы о небѣ. *К. Фламмаріона*. Перев. съ француз-  
 скаго. *Е. Предтеченскаго*. Съ 64 рис. Ц. 50 к.

Уходъ за больными въ семьѣ. Д-ра *Энцлера*. Ц. 50 к.

Гигіена дѣтства. Д-ра *Перье*. Ц. 50 к.

Записки желудка. Съ англійскаго. Ц. 50 к.

Электричество въ природѣ. *Жоржа Дари*. Переводъ съ  
 французскаго. *Д. Голова*. Съ 102 рис. Ц. 1 р. 25 к.

Огородничество. Практич. настав. для народ. учителей.  
*Ф. Шубелера*. Съ 137 рис. Ц. 60 к.

Міръ грѣзъ. Д-ра *Симона*. Сновидѣнія, галлюцинаціи,  
 сомнамбулизмъ, гипнотизмъ. Съ франц. Ц. 1 р.

Физиологія души. *А. Герцена*. профессор. Лозанскаго уни-  
 верситета. Переводъ съ франц. Ц. 1 р.

Ручной трудъ. Составилъ *Графини*. Руководство къ до-  
 маш. занятіямъ ремеслами. Пер. съ фр. Съ 400 рис  
 Ц. 1 р. 50 к. Въ пап.—1 р. 75 к. Въ пер.—2 р.

Экстазы человѣка. *П. Мантегача*. Переводъ съ 5-го  
 итал. изданія д-ра *Лейненберга*. Ц. 1 р. 50 к.

Умственные эпидеміи. Д-ра *Реньяра*. Перев. съ франц.  
*Эм. Зауэръ*. Съ 110 рис. Ц. 1 р. 75 к.

Свѣтъ Божій. Популярныя очерки міровѣдѣн. 6-е изд.  
 значительно исправленное съ 65 рис. Ц. 30 к.

Общедоступная астрономія. *К. Фламмаріона*. Перев. съ  
 фр. *В. Черкасова*. Съ 100 рис. 3-е изд. Ц. 80 к.

Звѣздный міръ. Популярно-астрономическія бесѣды  
*Предтеченскаго*. Съ мног. рис. Ц. 30 к.

Телефонъ и его прантическія примѣненія. Соч. *Майера* и  
*Присса*. Пер. *Д. Голова*. Съ 293 рис. Ц. 2 р. 50 к.

Электрическіе элементы. Соч. *Нюде*. Перев. и дополнитъ  
*Д. Голова*. Со мног. рисунками. Ц. 2 р.

Электрическіе аккумуляторы. *Э. Ренье*. Перевелъ и до-  
 полнитъ *Д. Голова*. Съ 76 рис. Ц. 1 р. 25 к.

Электрическое освѣщеніе. Составилъ *В. Чиколевъ*. Съ  
 151 рис. Ц. 2 р. 50 к.

Домашнее электрическое освѣщеніе и уходъ за аккумуля-  
 торами. *Селоменса*. Съ англ. 81 рис. Ц. 1. 25 к.

О безопасности электрич. освѣщенія. *В. Чиколева*. Ц. 25 к.

Электричество и магнетизмъ. *А. Гано* и *Ж. Маневрье*. Перев-  
 одъ *Ф. Павленкова*, *В. Черкасова* и *С. Степанова*.  
 340 рис. Ц. 1 р. 50 к.

Популярныя лекціи объ электричествѣ и магнетизмѣ. *О.*  
*Хвольсона*. Съ 230 рис. Ц. 2 р.

Главнѣйшія приложенія электричества. *Э. Госпиталье*.  
 Со множествомъ рис. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.

Электрическая передача энергіи (передача силы на раз-  
 стояніе). *Каппа*. Съ 50 рис. Ц. 1 р. 60 к.

Электричество въ домашнемъ быту. *Э. Госпиталье*. Со мно-  
 жествомъ рис. 2-е изд. Ц. 2 р.

Электрическіе звонки. *Боттона*. Съ свѣд. о воздуш. звон-  
 кахъ. 114 рис. Пер. съ англ. *Голова*. Ц. 1 р.

Что сдѣлалъ для науки Ч. Дарвинъ? Популяр. обзоръ его  
 трудовъ, состав. *Гексли*. Гейки, Дайеромъ и Рома-  
 несомъ. Съ портр. Дарвина. Ц. 75 к.

Соціальная жизнь животныхъ. *Эспинаса*. Перев. съ франц.  
*Ф. Павленкова*. 500 стр. 2 р. 50 к.

Единство физическихъ силъ. Опытъ популярно-научноѣ  
 философіи. *А. Секки*. Перев. съ франц. *Ф. Павлен-  
 кова*. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.

Психологія вниманія. Д-ра *Рибо*. Съ франц. 2-е изд. Ц. 40 к.

Психологія великихъ людей. *Жоли*. Съ франц. 3-е изд. Ц. 60 к.

Современныя психопаты. *Кюллера*. Съ франц. Ц. 1 р. 50 к.

Гениальность и помѣшательство. *Ц. Ломброзо*. Съ портр.  
 автора и рисунками. 2-е изд. Ц. 1 р.

Вредныя полевые наѣдомыя. *Иверсена*. 43 рис. Ц. 80 к.

Эйфелева башня. Составилъ *Г. Тисандье*. Съ 34 рис. Ц. 50 к.

Хлѣбный жукъ. Съ 3 рис. *Барона Н. Корфа*. Ц. 10 к.

Школьный садоводъ. Объ устройствѣ питомниковъ и обу-  
 ченіе садоводству. *А. Волотовскаго*. Ц. 20 к.

### Для дѣтей и юношества.

Иллюстрированныя сказки Андерсена. Полное собраніе въ  
 6 томахъ. Съ 530 рисунками. Перев. *Б. Порозов-  
 ской*. Цѣна каждаго тома 60 коп., въ папкѣ 75 к.,  
 въ изящномъ переп. по 3 тома—2 р. 50 к.

Иллюстрированная сказочная бібліотека. *Ф. Павленкова*.  
 Издастся съ 1894 г. Всѣхъ книжекъ будетъ отъ 150 до  
 200. Вышло до 10 мая тридцать книжекъ, отъ  
 № 1 до 30. Цѣны книжекъ отъ 5 до 20 коп.

Иллюстрированныя романы Диккенса въ сокращенномъ пе-  
 реводѣ *Л. Шелмуновой*: 1) Давидъ Копперфильдъ; 2)  
 Домби и сынъ; 3) Оливеръ Твистъ; 4) Большая надежда;  
 5) Нашъ общій другъ; 6) Лавка древностей; 7) Крошка  
 Дорритъ; 8) Тяжелыя времена; 9) Холодный домъ;  
 10) Николай Никльби; 11) Два города; 12) Мартинъ  
 Чезльвитъ. Цѣна каждаго ром. 40 к. Въ пап. 50 к.  
 въ переплетѣ по 6 ром.—3 р. 25 к.

Иллюстрированныя романы Вальтеръ-Скотта въ сокращен-  
 номъ переводѣ *Л. Шелмуновой*. 1) Веверлей; 2) Анти-  
 квариі; 3) Робъ-Рой; 4) Айвенго; 5) Астрологъ; 6) Квен-  
 тинъ Дорвардъ; 7) Вудстокъ; 8) Замокъ Кенильвортъ;  
 9) Ламермурская невѣста; 10) Легенда о Монтроузѣ;  
 11) Невериль Никъ; 12) Пресвитеріане; 13) Пертская  
 красавица; 14) Аббатъ; 15) Монастырь; 16) Пиратъ;  
 17) Карлъ Смѣлый; 18) Ричардъ-Львиное Сердце; 19)  
 Обрученные; 20) Черный Карликъ. Ц. кажд. ром. 40 к.,  
 въ пап. 50 к., въ перепл. по 5 роман. Ц. 2 р. 80 к.

Знакомъ гвоздю свое мѣсто *А. Круглова*. Съ 46 рис.  
 Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.

Дѣтскій маскарадъ. *Н. Азбелева*. Съ 16 рис. Ц. 20 к.

Блуждающіе огоньки. Сборн. дѣтск. разсказовъ. *Важинной*.  
 Съ мног. рис. Ц. 1 р. Въ пап.—1р.25к. Въ пер.—1р.60к.

Два прозвонія. Шуточн. разск. въ стихахъ. *В. Буша*. Пер.  
 съ нѣм. 100 рис. 2-е изд. Цѣна въ папкѣ 50 к.

Русскія народныя сказки въ стихахъ. *А. Брянчанинова*. Съ  
 предисловіемъ *И. С. Тургенева*. Множ. рисунковъ.  
 Ц. 2 р. Въ папкѣ 2 р. 50 к., въ переплетѣ 3 р.

Черныя богатыри. *Е. Конради*. Со множествомъ рисун-  
 ковъ. Ц. 2 р., въ переплетѣ 2 р. 75 к.

Въ добрый часъ! Сборн. дѣтск. разсказовъ. *А. Лякида*.  
 Съ рис. Ц. 75 к., въ папкѣ 1 р., въ пер. 1 р. 25 к.

Подружка. Книжка для маленькихъ дѣтей. Сост. *Бостромъ*.  
 Съ 130 рис. Ц. 75 к., въ папкѣ—1р., въ перепл.—1р.30к.

Задумевныя разсказы. *Ц. Засодимскаго*. Два тома съ 135  
 рис. Ц. кажд. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.

Хорошіе люди. *В. Острогорскаго*. Съ 45 рис. 2-е изд.  
 Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ пер. 1р. 60 к.

Изъ жизни и исторіи. *А. Арсентева*. Съ рис. Ц. въ папкѣ  
 1 р. 50 к., въ перепл. 2 р.

Послушаемъ! Дѣтскіе разсказы. *А. Нольде*. 28 рис. Цѣна  
 въ папкѣ 1 р., въ перепл. 1 р. 35 к.

Робинзонъ. Его жизнь и приключенія. *Гейбнера*. Съ 107  
 рис. Ц. 30 к. Въ папкѣ 40 к., въ перепл. 60 к.

Донъ-Нихотъ. *Сервантеса*. Сокращ. перев. для юношества.  
 Съ 43 рис. Ц. 50 к., въ папкѣ—60к., въ перепл.—90 к.

Наглядныя несообразности. (Дѣтскія задачи въ картинкахъ).  
*Ф. Павленкова*. 10 листовъ (на каждомъ по 20 рис.).  
 Ц. 1 р. «Объясненіе» къ нимъ 5 к.

Математическія развлечения. *Люкаса*. Переводъ съ франц.  
 Съ 55 фиг. и таб. Ц. 1 р. Въ переплетѣ 1 р. 75 к.

Тройная головоломка. *В. Обреимова*. Сборникъ геометр.ч.  
 игръ. Съ 300 рис. и 39 кастет. Ц. 1 р.

Образовательное путешествіе. *В. Ворисюфера*. Съ 73 рис.  
 Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ пер. 2 р. 25 к.

Чрезъ дебри и пустыни. *В. Ворисюфера*. Съ иллюстр.  
 Ц. 2 р., въ пап. 2 р. 25 к., въ пер. 2 р. 75 к.

Сказочная страна. *В. Ворисюфера*. Съ иллюстраціями.  
 Ц. 2 р., въ папкѣ 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 75 к.

Приключенія контрабандиста. *В. Ворисюфера*. Съ иллюс.  
 Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ перепл. 2 р. 25 к.

Мученики науки. *Г. Тисандье*. Переводъ подъ ред. *Ф. Па-  
 вленкова*. Съ 55 рис. 3-е изд. Ц. 1 р. 25 к., въ пер. 2 р.

Вечерніе досуги. *А. Круглова*. Съ 70 рис. 2 изд. Ц. 1 р.  
 въ папкѣ 1 р. 25 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к.

Научныя развлечения. *Г. Тисандье*. Пер. подъ ред. *Ф. Па-  
 вленкова*. Съ 353 рис. 3-е изд. Ц. 1р.50к., въ пер. 2р.25к.

Сказки Густафсона. Съ 30 рис. Цѣна 1 р. 25 к., въ папкѣ  
 1 р. 50 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к.

На землѣ и подъ землей. Изъ воспомин. всемірнаго путеше-  
 ственника. *В. Галузьева*. Съ рисунками. Ц. 1 р.

25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.

До потопа. Романъ изъ жизни первобытныхъ людей.  
*Рони*. Съ 16 рисунками. Ц. 50 к.

Рыжій графъ. Неразлучники. Дочь угольщика. *П. Засо-  
 димскаго*. Съ рисунками. Ц. кажд. кн. по 35 к.

Живыя картинки. *А. Смирнова*. Съ 50 рис. Ц. 1 р. 50 к.,  
 въ папкѣ 1 р. 75 к., въ переплетѣ 2 р.

Незабудки. *А. Круглова*. Сборникъ разсказовъ. Съ 50 рис.  
 Ц. 1 р. 50 к., въ пап. 1 р. 75 к., въ пер. 2 р.

Несчастливцы. *Э. Кандеза*. Съ 56 рис. Ц. 1 р. 25 к., въ  
 папкѣ—1 р. 50 к., въ перепл.—2 руб.

20 біографій образц. русск. писателей. *В. Острогорскаго*.  
 4-е изд. Съ 20 портр. Ц. 50 к., въ папкѣ 75 к., въ пер. 1 р.



и Биологического уѣзда. *Кружова*. Съ 6 рис. Ц. 25 к.  
 включенія сверчка. *9. Кандеза*. Съ 67 рис. Ц. 2 р.,  
 въ папкѣ 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 50 к.  
 исторія открытія Америки. *Ламе-Флери*. 3-е изд. Съ 52 рис.  
 Ц. 75 к. въ папкѣ—1 р. въ пер.—1 р. 30 к.

## Учебныя руководства и пособія.

*Алгебра. Годиентера* Ц. 2 р. 50 к.  
 курсъ начальной механики. *Рыкачевъ*. 197 рис. Ц. 1 р. 50 к.  
 ратическая геометрія. *Заблудка*. Съ 300 чертеж. Ц. 60 к.  
 курсъ метеорологіи и климатологіи. *Д. А. Лачинова*. Съ  
 122 рисунками и 6 картами. Ц. 2 р.  
 основы химич. технологій. *Селезнева*. Съ 70 рис. Ц. 1 р. 50 к.  
 полный курсъ физики. *А. Гано*. Перев. *Ф. Павленкова* и  
*В. Черкасова*. 8-е изд. 1863 рис., 170 задачъ, 2 таб.  
 спектровъ, метеорологія и краткая химія. Ц. 4 р.  
 ебники химіи. *Альмендингена*. 96 рис. и 140 задачъ. Ц. 2 р.  
 общепонятная геометрія. *Потоцкаго*. 143 фиг. Ц. 40 к.  
 самостоятельныя работы въ начальной школѣ. *Т. Лубенца*.  
 2-е дополненное изд. Ц. 15 к.  
 сборникъ самостоят. упражненій по ариметикѣ. Задачникъ  
 для учениковъ. *С. Житкова*. Ц. 25 к.  
 Методика ариметики. *С. Житкова*. 3-е изд. Ц. 75 к.  
 сборникъ ариметическихъ задачъ съучителямъ. Приложение  
 къ «Методикѣ ариметики». *С. Житкова*. 4-е изд. Ц. 40 к.  
 начальный курсъ географіи. *Корнелля*. 11-е изданіе, съ  
 10-ю раскраш. картами и 82 рис. Ц. 1 р. 25 к.  
 пизодическій курсъ всеобщей исторіи. *Кузнецова*. Ц. 1 р.  
 наглядная азбука. *Ф. Павленкова*. 800 рис. 13-е изд. Ц. 20 к.  
 объясненіе къ «Наглядной Азбукѣ». *Ф. Павленкова*. 7-е  
 изданіе. Ц. 15 к.  
 одна азбука. *Ф. Павленкова*. 8-е изд. 200 рис. Ц. 5 к.  
 руководство къ «Зернышку». *Т. Лубенца*. Ц. 50 к.  
 зернышко. Первая послѣ азбуки книга для чтенія и письма  
 Съ прил. церк.-славянской грамоты и многими рис.  
*Т. Лубенца*. Ц. 30 к. 2-я кн. Ц. 40 к.  
 азбука-копѣйка. *Ф. Павленкова*. 8-е изд., 100 рис. Ц. 1 к.  
 наглядно-звуковыя прописи. *Ф. Павленкова*. 1) къ «Родному  
 слову» Ушинскаго (400 рис.), 2) къ азбукѣ Бунакова (460  
 рис.), 3) къ «Первой учебной книжкѣ» Паульсона (430  
 рис.), 4) Общія наглядно-звуковыя прописи (въ другіяхъ  
 азбукамъ) (464 рис.). Цѣна каждой книжки 8 к.

Элементарная грамматика русск. языка. *Тудинова*. Ц. 50 к.  
 Методика ариметики. *Т. Лубенца*. Ц. 30 к.  
 Руководитель для воскресныхъ школъ. *А. Н. Корфа*. Ц. 50 к.  
 Итоги народнаго образованія въ европейскихъ государ-  
 ствахъ Барона *Н. А. Корфа*. Ц. 60 к.  
 Нашъ другъ. Книга для чтенія въ школѣ дома. Сост. бар. *Н.  
 А. Корфъ*. 15-е изд., съ 200 рис. и портретами. Ц. 75 к.  
 Начальн. рус. грамматика. *Н. Бучинскаго*. Ц. 80 к.  
 Иллюстрированная хрестоматія. *А. Тарнавскаго*. Для низш.  
 учебныхъ заведеній и младш. классовъ гимназій. (Съ  
 80 рис. и портретами). 4-е изд. Ц. 60 к.  
 Церковно-славян. бунварь. *Т. Лубенца*. 2-е изд. Ц. 5.  
 Руководство къ «Ц.-С. бунварю». *Т. Лубенца*. Ц. 15.  
 Книга для обученія церковно-славянскому языку. *А. Ка-  
 рюкова*. 2-е изд. Ц. 20 к. «Замѣтки для учителя»  
 обучающаго по этой книжкѣ—10 к.  
 Азбука домоводства и домашней гігіены. Сост. *М. Клима*  
 Перевелъ баронъ *Н. Корфъ*. Ц. 75 к.  
 Триста письменныхъ работъ. Задачи для упражненій въ  
 письмѣ къ начальной школѣ. *Н. А. Корфа*. Ц. 15 к.  
 Первоначальное правописаніе. 40 диктовокъ съ указаніемъ  
 грамматическихъ правилъ. *Н. А. Корфа*. Ц. 12 к.  
 Сборникъ задачъ по русскому правописанію. *Ризыраева*  
 1) Элементарныя свѣд. о право. словъ. Ц. 50 к. 2) Си-  
 стематическія свѣд. о право. словъ. Ц. 50 к. 3) Эlemen-  
 тарныя свѣдѣнія о знакахъ препинанія. Ц. 35 к. 4)  
 Систем. свѣдѣнія о знакахъ препинанія. Ц. 35 к.  
 Сборникъ ариметическ. задачъ. *Лубенца*. 13-е изд. (ок. 200  
 зад. и 3000 числен. примѣровъ). Ц. 40 к. Тотъ же «Сбор-  
 никъ по частямъ: Годъ I—12 к. Г. II—15 к. Г. III—20 к.  
 Сборникъ алгебраическихъ задачъ. *М. Савицкаго*. Ц. 40 к.  
 Первое знакомство съ физикой. *Герасимова*. 96 рис. Ц. 50 к.  
 Дешевый географ. атласъ. 10 раскр. карт. Ц. 30 к.  
 Очерки новѣйшей исторіи. *И. И. Григоровича*. 6-е изд.  
 съ 57 портретами. Ц. 2 р. Въ перепл. 2 р. 75 к.  
 Первая понятія о зоологіи. *Поля Бера*. Перев. подъ редакц.  
 проф. *И. Мечникова*. Съ 345 рис. 2-е изд. съ портрет.  
 автора. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 20 к., въ перепл. 1 р. 50 к.  
 Краткій курсъ ботаники. *М. Сіазова*. Съ 118 р. Ц. 50 к.  
 Общедоступное землебріе. *А. Колтановскаго*. Съ 271  
 рисунками въ текстѣ. Ц. 75 к.  
 Руководство къ рисованію акварелью. *Дакассаня*. 120 по-  
 литипажей и 6 авверелей. Ц. 1 р. 50 к.

Съ осени 1890 г. *Ф. Павленковымъ* издается біографическая бібліотека подъ заглавіемъ:

## ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

въ составъ ея войдутъ біографіи 200 лицъ. Каждому изъ нихъ посвящается особая книжка, объемомъ отъ  
 10 до 100 и болѣе страницъ, снабженная портретами. Къ біографіямъ путешественниковъ, художниковъ и му-  
 зыкантовъ прилагаются кромѣ того карты, снимки съ картинъ и ноты. Ежемѣсячно выпускается 4 книжки



Цѣна каждой книжки отдѣльно—25 коп.



До мая 1894 г. вышли отдѣльными книжками 143 біографіи слѣдующихъ лицъ:

*Протопопа Авакума*, *Андерсена*, *Аристотеля*, *Бай-  
 она*, *Баха*, *Беккариа* и *Бентама*, *Бёрне*, *Вэкона*, *Бьлин-  
 гона*, *Карла Бера*, *Беранже*, *Бетховена*, *Богдана Хмель-  
 нickaго*, *Бовкачіо*, *Бомарше*, *Боткина*, *Джордано Бруно*,  
*Шарда Вагнера*, *Леонардо да Винчи*, *Волкова* (осно-  
 вателя русск. театра), *Вольтера*, *Воронцовыхъ*, *Гали-  
 лея*, *Гарвея*, *Гарибальди*, *Гарриза*, *Гегеля*, *Гейне*, *Гете*,  
*Гладстона*, *Глинки*, *Говарда*, *Гоголя*, *Грибоєдова*, *Гри-  
 рія VII*, *А. Гумбольдта*, *Гуса*, *Гутенберга*, *Гюго*, *Да-  
 рра* и *Ніепса*, *Даламбера*, *Данте*, *Дарвина*, *Дарю-  
 жского*, кн. *Дашковой*, *Демидовыхъ*, *Державина*, *Дефо*,  
*Дженнера*, *Диккенса*, *Достоевскаго*, *Жоржъ-Занда*, *Ива-  
 нова* (художника), *Іоанна Грознаго*, *Кальвина*, *Канкрина*,  
*Канта*, *Кантемира*, *Каразина* (основателя харьв. универ-  
 ситета), *Карлейля*, *Кеплера*, *Ковалевской*, *Колумба*, *Кон-  
 ція*, *Кольцова*, *Коперника*, *Барона Н. А. Корфа*,

*Крамского*, *Крылова*, *Кювье*, *Лавуазье*, *Лапласа* и *Эйлера*  
*Лейбница*, *Лермонтова*, *Лессепса*, *Лессинга*, *Ливинг-  
 стона*, *Линкольна*, *Линнея*, *Лойбля*, *Локка*, *Ломоносова*  
*Лябеля*, *Маколея*, *Мейербера*, *Микель-Анджело*, *Мпалля*  
*Мидтона*, *Мирабо*, *Мицкевича*, *Мольера*, *Монтескье*  
*Томаса Мора*, *Монарта*, *Никитина*, *Никона*, *Новикова*  
*Ньютона*, *Роберта Оуэна*, *Паскаля*, *Песталоцци*, *Перова*  
*Пирогова*, *Писарева*, *Писемскаго*, *Потемкина*, *Прже-  
 валскаго*, *Прудона*, *Пушкина*, *Рабле*, *Рафаэля*, *Ришелье*,  
*Сакія-Муни* (Будды), *Салтыкова*, *Савонаролы*, *Свифта*,  
*Сенковского*. *В. Скотта*, *Адама Смитта*, *Сперанскаго*, *Сте-  
 фенсона* и *Фальтона*, *Струве*, *Стэнли*, *Сьррова*, *Теккерея*,  
*Торквемады*, *Уатта*, *Ушинскаго*, *Фарадея*, *Фонвизина*,  
*Франклина*, *Цвинглія*, *Шевченко*, *Шиллера*, *Шопенгауэра*,  
*Шопена*, *Шумана*, *Щепкина*, *Эдисона* и *Морзе*, *Джорджъ-  
 Эліота*, *Юма*, *Федотова*.

Приготавливаются къ печати біографіи слѣдующихъ лицъ:

*Аксакова*, *Александра П*, *Бальзака*, *Бисмарка*, *Бокля*,  
*Вашингтона*, *В. В. Верещагина*, *Вирхона*, *Гайдна*, *Гоним-  
 ова*, *Гракховъ*, *Грамовскаго*, *Декарта*, *Дидро*, *Добролю-  
 ова*, *Екатерины II*, *Жуковскаго*, *Ибсена*, *Карамзина*,  
*Катле*, *Кондорсе*, *Конта*, *Н. И. Костомарова*, *Кука*,  
*Лавровскаго*, *Лютера*, *Магомета*, *Макіанелли*, *Мен-  
 шикова*, *Меттерниха*, *Мольете*, *Т. Мюнцера*, *Напо-*

*леона I*, *Некрасова*, *Островскаго*, *Настера*, *Петра Ве-  
 ликаго*, *Платона*, *Н. Полевого*, *Радичиса*, *Рембрандта*,  
*Ренана*, *Рикардо*, *Ротшильдовъ*, *Руссо*, *Сенеки*, *Серван-  
 теса*, *Скобелева*, *Сократа*, *С. Соловьева*, *Спенсера*, *Спино-  
 за*, *Станкевича*, *Суворова*, *Льва Толстого*, *Тургенева*,  
*Успенскаго*, *Франциска-Ассизскаго*, *Фридриха II*, *Цице-  
 рона*, *Чайковскаго*, *Шекспира*, *А. Н. Энгельмарта*, и др.











AC65

P5

t.1-2

Pisarev, Dmitriy I

Sochineniya.



